

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ



ВОЙ...

НА:

ОТ

ГЕРОЕВ

БЫЛЫХ

ВРЕМЁН

МОСКВА-БИШКЕК 2017

УДК
К

Авторы-составители: докт.филол. наук профессор А. С. Кацев,
канд. филол. наук доцент А. В. Куликовский,
канд. филол. наук доцент Н. Л. Слободянюк.

Идея, общее руководство и предисловие: А. С. Кацев.

Подбор материалов: Н. Л. Слободянюк.

Редактор, дизайнер: А.В. Куликовский.

Рецензенты: док. филол. наук профессор Б. Т. Койчуев,
канд. филол. наук доцент А. Т. Омурканова.

Рекомендовано к изданию
кафедрой международной журналистики КРСУ,
Ученым советом ФМО КРСУ.

К Вой... на: от героев былых времен. Хрестоматия-учебник. / Сост. А. С. Кацев, А. В. Куликовский, Н. Л. Слободянюк; авт. пред. А. С. Кацев – Бишкек: КРСУ, 2017.

История человечества – это в первую очередь история войн, противостояний, столкновений интересов народов, государств, групп. А любая война начинается словом, словом подогревается и словом же заканчивается. Бывает, что исключительно словом война и ограничивается.

В древнейшие времена человек, вряд ли уже знавший слова любви, в совершенстве владел языком войны.

Хрестоматия адресована читателю, интересующемуся историей общественной мысли и военной журналистики, преподавателям, студентам.

Н.Л. Слободянюк

© Составители А. С. Кацев, А. В. Куликовский, Н. Л. Слободянюк, 2017.

<u>Предисловие.....</u>	<u>2</u>
<u>Страницы, пропахшие порохом и потом.....</u>	<u>2</u>
<u>Периодические издания.....</u>	<u>2</u>
<u>Северная война в периодических изданиях.....</u>	<u>2</u>
<u>Военный журнал.....</u>	<u>2</u>
<u>Современное сказание о походе Карла XII В Россию.....</u>	<u>3</u>
<u>Первая мировая война в российских периодических изданиях.....</u>	<u>5</u>
<u>Разведчикъ.....</u>	<u>5</u>
<u>Распоряжения по военному ведомству.....</u>	<u>5</u>
<u>Армейские заметки.....</u>	<u>6</u>
<u>Армейския заметки.....</u>	<u>6</u>
<u>„Societe Economique“.....</u>	<u>7</u>
<u>Право на „Армейския заметки“.....</u>	<u>7</u>
<u>Некоторые цифры административнаго засилия въ строевой армии.....</u>	<u>7</u>
<u>Собрание армии и флота и лото.....</u>	<u>8</u>
<u>„Арестовалка“.....</u>	<u>8</u>
<u>Обзор печати.....</u>	<u>9</u>
<u>Военно-исторический журнал.....</u>	<u>10</u>
<u>Наступательный бой 11-й пехотной дивизии в брусиловском прорыве 4-10 июня 1916 г.....</u>	<u>10</u>
<u>Великая Отечественная война в периодических изданиях 1941-1945.....</u>	<u>13</u>
<u>Правда.....</u>	<u>13</u>
<u>Нутро трусливых негодяев.....</u>	<u>13</u>
<u>Трусливая болтовня банкрота Гитлера.....</u>	<u>13</u>
<u>Шулерская фотостряпня германских фашистов.....</u>	<u>14</u>
<u>Как фабрикуются германские сводки.....</u>	<u>14</u>
<u>Ложные слухи — отравленное оружие фашизма.....</u>	<u>14</u>
<u>Красная звезда.....</u>	<u>15</u>

<u>Документы о кровожадности фашистских мерзавцев.....</u>	<u>15</u>
<u>Венерические болезни в немецкой армии.....</u>	<u>15</u>
<u>Адольф Вшивый.....</u>	<u>16</u>
<u>Вестник воздушного флота.....</u>	<u>16</u>
<u>Добьем фашистского зверя в его берлоге!.....</u>	<u>16</u>
<u>Борьба истребительного соединения за господство в воздухе.....</u>	<u>17</u>
<u>Британский союзник.....</u>	<u>18</u>
<u>400 километров за 3 недели.....</u>	<u>18</u>
<u>Американские плацдармы за Мозелем.....</u>	<u>18</u>
<u>Он сражался в России.....</u>	<u>19</u>
<u>Битва за Сену.....</u>	<u>19</u>
<u>Вооружение для партизан.....</u>	<u>19</u>
<u>5,4-тонные бомбы.....</u>	<u>20</u>
<u>Советская Сибирь.....</u>	<u>21</u>
<u>Международный обзор.....</u>	<u>21</u>
<u>В бой за Родину!.....</u>	<u>23</u>
<u>Пулеметчики большевики.....</u>	<u>23</u>
<u>Парторганизация выросла в боях.....</u>	<u>23</u>
<u>Заветная мечта.....</u>	<u>23</u>
<u>Молодые коммунисты.....</u>	<u>23</u>
<u>Письма из тыла.....</u>	<u>24</u>
<u>Военные периодические издания (По даннымъ 1911 г.).....</u>	<u>24</u>
<u>Военная публицистика.....</u>	<u>24</u>
<u>Война и слово в Древней Руси.....</u>	<u>24</u>
<u>Слово о погибели Русской земли после смерти великого князя Ярослава.....</u>	<u>24</u>
<u>Сказание о Житии Александра Невского.....</u>	<u>24</u>
<u>Повесть о Житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра.....</u>	<u>24</u>
<u>Сказание о Довмонте.....</u>	<u>25</u>
<u>Сказание о благоверном князе Довмонте и о храбрости его.....</u>	<u>25</u>
<u>Повесть о разорении Рязани Батыем.....</u>	<u>26</u>
<u>Задонщина.....</u>	<u>26</u>
<u>Слово о великом князе Дмитрие Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамаю.....</u>	<u>26</u>
<u>Краткая летописная повесть 1408 г. «О великом побоище на Дону».....</u>	<u>27</u>
<u>О великом побоище на Дону.....</u>	<u>28</u>
<u>Летописная повесть 1421 г. о Донской битве.....</u>	<u>28</u>
<u>включенная в Новгородскую I летопись младшего извода.....</u>	<u>28</u>
<u>Пространная летописная повесть 1425 г. "О побоище на Дону".....</u>	<u>28</u>
<u>О побоище на Дону и о том, как великий князь бился с Ордою.....</u>	<u>28</u>

Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция. 80-90-е гг. XV в.....	29
Отечественная война 1812 года.....	31
В. Ф. Малиновский. Рассуждение о мире и войне.....	31
В.И. Бакунина. Двенадцатый год в записках Варвары Ивановны Бакуниной.....	35
А. Б. Камаев. Эпизод из жизни сибиряков в 1812 году.....	37
И.С. Тургенев. Письма о франко-прусской войне.....	37
Е.П. Ковалевский. Эпизод из войны черногорцев с австрийцами (Из воспоминаний очевидца о войнах за независимость Черногории и Италии).....	38
В. Г. Короленко. Честь мундира и нравы военной среды.....	41
М. Н. Катков. О конгрессе, предложенном императором Наполеоном III.....	46
Д. В. Давыдов. Встреча с великим Суворовым.....	47
Д.В. Давыдов. Три письма на 1812 года компанию, написанные русским офицером, убитым в сражении при Монмартре 1814-го года.....	49
Ф. Глинка. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год.....	49
Русско-японская война.....	55
П. Ларенко. Из книги «Страдные дни Портъ-Артура».....	59
Хроника военных событий и жизни въ осажденной крепости.....	60
съ 26-го января 1904 г. по 9-е января 1905 г.....	60
По дневнику мирнаго жителя и рассказамъ защитниковъ крепости.....	60
Е. К. Ножин. Из книги «Правда о Портъ-Артуре».....	99
Первая мировая война.....	118
И. Горбунов-Посадов. Война войне!	118
Наброски в дни войны.....	118
Великая Отечественная война.....	127
А. Фадеев. Об авторе.....	127
А. Фадеев. Залог победы.....	128
К. Симонов. Страшные факты.....	128
И. Эренбург. Фриц-мистик.....	129
И. Эренбург. Изысканный фриц.....	129
И. Эренбург. Фриц-философ.....	130
И. Эренбург. Фриц-литератор.....	130
И. Эренбург. Фриц-нарцис.....	130
И. Эренбург. Фриц-биолог.....	131
И. Эренбург. Осенние фрицы.....	131
И. Эренбург. Жалобы фрица.....	131
И. Эренбург. Киргизы.....	131
И. Эренбург. Евреи.....	132
Г. Александров. Товарищ Эренбург упрощает.....	132

А.Гайдар. Ракеты и гранаты.....	133
А.Гайдар. У переправы.....	134
Г. Боровик. Пылающий остров.....	135
<u>Военная журналистика СССР и России.....</u>	<u>154</u>
<u>Великая Отечественная война.....</u>	<u>154</u>
В. Некрасов. В окопах Сталинграда.....	154
М. Соловьев. Записки советского военного корреспондента.....	236
<u>Война в Афганистане 1979-1989 гг.</u>	<u>266</u>
Справка.....	266
В. Окулов: "Правда" исполняла свой интернациональный долг.....	267
Артем Боровик.....	269
Об авторе.....	269
<u>Чеченские кампании.....</u>	<u>311</u>
А. Политковская. Закавказское гетто. Беженцев гонят поближе к кладбищу....	311
А. Политковская. Имитация атаки. Потешные полки, потешная забота. Только боль — настоящая.....	311
А. Политковская. Чечня в кольце. Добра. В исполнении «младших медведей».....	312
А. Бабицкий. На войне.....	315
<u>Войны нашего времени.....</u>	<u>330</u>
Н. Слободянюк. Летопись современных войн.....	330
<u>Война в Южной Осетии.....</u>	<u>332</u>
И. Кудрявцев. Военные корреспонденты.....	332
Е. Поддубный. Война в Южной Осетии.....	333
Александр Сладков. О корреспонденте.....	334
Александр Коц. О корреспонденте.....	334

Предисловие

Страницы, пропахшие порохом и потом

Война в истории цивилизаций занимает центральное место. Доказательством может служить даже месторасположение понятий в эпосе Льва Николаевича Толстого. Сначала – «Война»...

Русская (российская) документальная, автобиографическая, публицистическая литература с зарождения до наших дней основана на милитаризации сознания (пишущего и читающего) в разные исторические периоды и стремления воссоздать ратный подвиг.

Весь этот массив произведений объединяет образ более позднего времени «... идет война народная...». Даже если в летописях биография событий связана с именем того или другого князя, народность происшедшего или происходящего подчеркивается образ княжеской дружины, которая то воюет, то пирует – постоянный и сквозной.

Летоисчисление передается в воинских доблестях и подвигах.

Война, как правило, воспринимается сначала, как патриотическое явление и, намного позже, как трагедия.

Данная книга призвана представить воплощенную в разнообразные произведения войну – событие, свидетельствующее о единении народа – нации – доблесть, подъем патриотизма, защита Отечества.

Разный уровень мастерства и таланта в представленных, а точнее, в возрожденных текстах. Их единство не только в расположении материала, но и в пафосе.

Не случайно, подчеркнута в названии: война – грохот оружия и орудий, плач, стон, вопль матерей, жен провожающих своих самых родных, предощущение трагического конца – вой. «На» - посмотри, оцени и осмысли смерть, которую заключает в себе война. Поэтому название «Вой на» закономерно. Как закономерен и подзаголовок «От героев былых времен».

Надеемся, что раскрывший книгу приобщится к национальным истокам глобального понятия «война», переживет, а точнее вживется в образ «войны», ощутит, и осмыслит судьбы тех, о ком Иосиф Бродский писал: «удобрить её (землю – А.С.) солдатам. Одобрить ее поэтам»:

Мимо рестаищ, капищ,
Мимо храмов и баров,
Мимо шикарных кладбищ,
Мимо больших базаров,
Мира и горя мимо,
Мимо Мекки и Рима,
Синим солнцем палимы,
Идут по земле пилигримы,
Увечны они, горбаты,
Голодны, полуодеты,
Глаза их полны заката,
Сердца их полны рассвета,
За ними поют пустыни,
Вспыхивают зарницы,
Звезды горят над ними,
И хрипло кричат им птицы:
Что мир останется прежним,
Да, останется прежним,
Ослепительно снежным,
И сомнительно нежным,
Мир останется лживым,
Мир останется вечным,
Может быть, постижимым,
Но всё-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
От веры в себя да в Бога.
... И, значит, остались только
Иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
И быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.

Одобрить ее поэтам.

А.С. Кацев

Периодические издания

Северная война в периодических изданиях

Военный журнал

«ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛЬ» в 1811 году вместе с «АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ЖУРНАЛОМ» прекратил свое существование. Помешала война с Наполеоном. До 1817 года в России не было государственного специального военного журнала. Возобновленный «ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ» вышел в 1817 году при участии того же Рахманова. Он стал выходить по воле императора Александра 1. Издавался при гвардейском штабе в 1817—1819 годах. Его издание предприняло «Общество военных людей при гвардейском штабе». Предшествовала журналу брошюра «Краткое начертание военного журнала» Ф. Глинки, который позднее стал его редактором. (23; 346). В 1819 году на 28 номере журнал перестал издаваться, возобновился в 1827г.

ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛЬ,

По Высочайшему

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

СОИЗВОЛЕНИЮ

ИЗДАВАЕМЫЙ

ВОЕННО-УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ

№ VI.

Санктпетербургъ

В ВОЕННОЙ ТИПОГРАФИИ

1844

Гилленкрок А. Сказание о выступлении его величества короля Карла XII из Саксонии и о том, что во время похода к Полтаве, при осаде ее и после случилось. [Пер. с нем., введ. и примеч. Я. Турунова].— ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ, 1844, № 6, с. 1—105.

Пер. по изд.: «Östreichische militärische Zeitschrift», 1842, Н. 1—3.

Гилленкрок А., генерал-квартирмейстер Карла XII, был взят в плен под Полтавой.

Окт. 1700 г. — июнь 1709 г. Краткое описание событий Северной войны до 1707 г. Подробное изложение военных действий шведской армии на территории Белоруссии и левобережной Украины в 1708—1709 гг. Планы военных операций, личное руководство ими Карла XII. Свидание его с Мазепой. Осада Полтавы весной и летом 1709 г.

«Сказание генерал-лейтенанта и ландсгевдинга, высокороднаго барона Акселя Гилленкрока, о выступлении Его Величества Короля Карла XII из Саксонии, и о том, что во время похода к Полтаве, при осаде ее, и после случилось» (в пер с нем). В четвертую долю листа, 192 страницы. Подписано: Muscou b 4 Mart. An. 1711 (т. е. Москва, 4 Марта 1711 года. Аксель Гиллекрок). Судя по тому, что рукопись составлена в Москве, надобно предполагать, что автор ее был взят в плен, вместе со многими другими генералами, в битве под Полтавою, и Москва назначена ему местопребыванием. — Имея весь интерес современности, сказание Гилленкрока изобилует многочисленными подробностями как о самом походе и пребывании шведской армии в пределах России, так и о знаменитом сопернике Петра Великаго, выставленном здесь, так сказать, в домашнем виде. Во всяком случае, эта статья должна быть отнесена к числу замечательных материалов для истории Северной Войны, конечно, не без критического разбора, особенно там, где автор, явно увлекаясь чувством патриотизма и сознанием тогдашней славы Швеции, или не отдает справедливости противникам, или неохотно упоминает об их успехах.

Я. Т.

Современное сказание о походе Карла XII В Россию

ВВЕДЕНИЕ

Между тем как государства западной и южной Европы, вовлеченные в войну за наследство Испанскаго Престола, имели в виду интересы домов Бурбонскаго и Габсбургскаго и поддержание так называемаго политическаго равновесия, свирепствовала на Севере и на Востоке кровопролитная борьба за обладание Балтийским Морем.

После Тридцатилетней Войны, Швеция, усилиями Густава-Адольфа и Карла X, заняла место между главными европейскими державами. Бедная естественными произведениями, она получала лучшие средства к своему существованию из соседственных богатых земель, господствуя над их берегами и торговлею. Бремен, Висмар, Штральзунд, Штетин, Рига и Ревель находились тогда под властью Швеции; устья Везера, Одера, Двины и Невы, занятые Шведами, доставляли им богатую пошлину; Ингерманландия, Лифляндия и Эстляндия были житницами Шведского Королевства, а Россия прилегалась только к морям Ледовитому и Азовскому.

При всем том могущество Швеции было неестественно и непрочно, ибо оно возникло в следствие благоприятных обстоятельств, когда внутренние смуты ослабляли соседственные ей государства. Одна страшная воинская сила могла удерживать многочисленные владения на чуждых берегах, но, в таком случае, все зависело от личного характера государя, следовательно и господство Швеции, вне ее пределов, не могло быть продолжительно, тогда как соседи постоянно напрягали все силы для приобретения береговых земель и устьев рек, ей принадлежавших. По смерти Карла XI (1697), когда на шведский престол вступил пятнадцатилетний король, Россия, Дания и Польша выступают на поприще той продолжительной и упорной Северной Войны, которой суждено было иметь столь необъятные и важные следствия для всей Европы. Датский Король, Фридрих IV, имел в виду возвращение отторгнутых от Дании Карлом X областей; Август II, Король Польский, старался о приобретении Лифляндии, а Петр Великий хотел стать твердою ногою на Балтийском Море. В 1699 году, три монарха заключили между собою договор, в силу которого обязывались содействовать друг другу в исполнении своих планов.

Датчане начали неприязненные действия тем, что в марте 1700 года вступили в Голштинию. Англия и Голландия, связанные со Швециею торговыми выгодами, отправили на помощь несколько кораблей, которые вскоре примкнули к шведскому флоту, вышедшему из Карлскроны. Восемнадцатилетний Карл находился сам на адмиральском корабле, и пошел прямо на Копенгаген. После бесполезного бомбардирования, он решился высадиться пятью милями дальше от города, что и последовало 4 августа 1700 года, в шесть часов вечера, под жесточайшим огнем

Датчан. Карл, со шпагою в руке, выпрыгнул из корабля в воду, и мужественно устремился на датския батареи, сопровождаемый одушевленными солдатами. Неприятельския укрепления были взяты; бежавшая войска укрылись под пушками Копенгагена. Фридрих IV, удаленный от союзников, и видя всю неровность борьбы, принужден был заключить мир в Травендале, по которому отказался от союза против Швеции, и обязался вознаграждать Герцога Голштейн-Готторпскаго. Один неприятель был таким образом обезоружен в несколько недель. Между тем, Король Польский и Курфирст Саксонский, Август II, желая привлечь к себе Поляков и вырвать Польское Королевство из безсилія, вознамерился покорить Лифляндию, осадил саксонским войском Ригу, защищаемую храбрым семидесятипятилетним генералом Дальбергом, однако вскоре принужден был снять осаду. Возвратясь из Дании в Швецию, Карл занялся распоряжениями к отправлению войск в Лифляндию, но в это самое время получил известие, что Петр вступил в Эстляндию и осадил Нарву. 17-го октября высадился Шведский Король в Пернове; следствием этого была несчастная для Русских битва, о которой великий Монарх писал: «И так над нашим войском Шведы Викторию получили, что есть безспорно; но надлежит разуметь, над каким войском оную получили. Ибо один только старый Лефортовский полк был, да два полка гвардии были только у Азова, а полевых боев, паче же с регулярными войсками, никогда не видали; прочие же полки, кроме некоторых полковников, как офицеры, так и рядовые самые были рекруты. К тому ж, за поздним временем и за великими грязями, и провианта доставить не могли, и единым словом сказать, казалось все то дело яко младенческое играющее было, а искусства ниже вида: то какое удивление, такому старому, обученному и практикованному войску над такими неискусными сыскать викторию?»

Карл XII считал теперь Петра неопасным, и потому решился действовать против Августа. Разбив на берегах Двины саксонское войско, он овладел всею Лифляндию и Курляндию, вступил в Литву, а вскоре потом и в Польшу. Варшава сдалась ему без сопротивления, и здесь объявил он, что тогда только согласится на мир с Республикою, когда будет избран другой король. Сейм, действительно, провозгласил Августа лишенным престола, и избрал королем познанскаго воеводу, Станислава Лещинскаго. Тщетно собирал Август свои саксонския войска против Шведов; северный герой всюду одерживал над ними победы, так что после сражения при Фрауштадте (в Феврале 1706 года), Шведы окончательно утвердились в Польше. Но Карл не оставил в покое своего противника. Через Силезию и Лузанию двинулся он в Саксонию, расположился лагерем в Альтранштедте, недалеко от Люцена, и отсюда господствовал над всею Саксонию. Август нашелся наконец вынужденным просить мира, и получил его на тяжких условиях: он должен был отказаться навсегда от Польши, признать Станислава королем, прекратить все сношения с Россиею, доставить Шведам зимния квартиры в Саксонии и выдать Паткуля. Вознесенный на высшую степень могущества Альтранштедским Миром, Карл XII решился двинуться в Россию.

Отсюда начинает свое сказание барон Гилленкрот, находившийся при главной квартире Короля, в Альтранштедте, генерал-квартирмейстером .Я. Т.

В то время, когда Король Карл XII находился с шведскою армиею в Саксонии, я приказал, согласно повелению Его Величества, изготовить карты всей Саксонии, и занимался также составлением большой генеральной карты Польши. Когда карты были кончены и представлены мною Королю, он изъявил свое благоволение, и при этом отдал мне на сохранение большую печатную карту всей России, полученную им в подарок от Короля Августа. Я отозвался по этому случаю: «Имея теперь карты Саксонии, Польши и России, я желал бы иметь также верныя специальныя карты Лифляндии, Псковской Губернии, Ингерманландии и Петербурга. Статся может, что Ваше Величество, вышед из Саксонии, направите путь туда». Король отвечал: «Мы можем иметь другой план: выгнать неприятеля из нашей земли, и овладеть Псковом. На этом основании, вы должны составить диспозицию к атаке». Я отвечал: «Так как этот план самый верный и самый лучший, то и желаю, чтобы Господь Бог благословил его». Я просил Короля о позволении требовать от Фортификационной Конторы высылки плана Пскова и всех находящихся там карт Псковской Земли. Король не только изъявил согласие на мою просьбу, но и приказал вызвать несколько инженерных офицеров для употребления их при осадах. На вопрос: «Сколько именно я желаю?» я отвечал: «Довольно шести офицеров с теми, которые уже состоят при армии. А если потребуетса больше, то можно взять из лифляндских гарнизонов». Король приказал немедленно написать об этом генерал-квартирмейстеру и директору Пальмквисту.

В следствие королевскаго повеления, Пальмквист прислал мне план крепости Пскова. Судя по чертежу, укрепления состояли из одной наружной стены, с воротами, и двух внутренних в городе. На плане были обозначены многия решетки, без профиля, как и самый план, и несколько малых внешних верков. Сколько могу припомнить, карта сия имела в длину и ширину около аршина. Карта Псковской Земли имела 5/4 аршина в ширину, и от 5 до 6 аршин в длину. На ней были показаны реки, водопады, немного леса и несколько деревень. Мне были присланы следующие инженерные офицеры: 1 капитан, 3 поручика и 2 кондуктора. Псковский план и карту показывал я Королю, который нашел их неудовлетворительными и отозвался: «Фортификационная Контора должна иметь плохия сведения о неприятельской земле, если не прислала лучших карт». Я отвечал: «Ежели будет время, то я постараюсь достать лучшия карты и записать лучшими сведениями». Король сказал: «Когда Фортификационная Контора увидит ваши карты, то полюбуется ими». Я выразил желание «исполнить все к удовольствию Его Величества», и Король принял это весьма милостиво. Мне было приказано снять копии со всех саксонских карт

для Короля Августа, который просил об этом, и никому не говорить о сем распоряжении. В неделю работа была кончена и представлена Королю Августу.

При частых совещаниях с Королем, я вознамерился начертать проект о походе армии чрез Польшу до Пскова, об осаде этой крепости, об устройстве магазинов для сохранения армии в Лифляндии и т. д. Проект сей был так подробно изложен, что занимал шесть мелко исписанных листов. Вот вкратце его содержание: «В 1707 году, армия должна стать на зимняя квартиры в Плоцкой Области и Мазовии, от города Торна до Остроленки и Пултуска. В Швецию и Померанию послать повеление, чтобы вся излишняя пехота была перевезена, при первом вскрытии моря, в Ригу, для усиления армии генерала Левенгаупта. Генерал Левенгаупт, как скоро получит приказание, должен выступить со столькими пушками и мортирами, сколько их нужно для осады Пскова, и потом соединиться с армиею Короля. Весною 1708 года, лишь только дороги установятся, продолжать поход к Литве, занять позицию вдоль Немана в Уездах Слонимском, Новогрудском и Слуцком, и там собрать возможно большое количество провианта».

«Армия, усиленная пехотою генерала Левенгаупта, должна двинуться со всею артиллериею, и вытеснить неприятеля, между Двиною и Днепром, из Смоленскаго Воеводства внутрь России. Неприятель сожжет, вероятно, деревни, чтобы тем воспрепятствовать дальнейшему походу Короля к Москве». «Во время сих движений, генерал Левенгаупт, снабженный кавалериею и необходимою для рекогносцировки пехотою, должен стараться собрать сведения о силах неприятеля, и потом занять позицию в Псковском Уезде при Березине, в окрестностях города (?) Долгинова, для прикрытия и подкрепления тех войск, которыя будут собирать провиант для королевской армии. Королевская же армия остановится на верхнем Днепре, перед Дорогобужем и в Белом Уезде. Литовския войска должны следовать за отступающим неприятелем в Смоленскую Область и беспокоить его разъездами. Генерал, командующий под Ригою, должен собрать как можно более пехоты из Эстляндии, Лифляндии, Курляндии и с острова Эзеля, и сформировать из них полки, которые, будучи подкреплены малым числом кавалерии, должны быть в готовности к немедленному выступлению по получении приказа». «В начале благоприятнаго времени года, должна выступить армия Короля, вместе с 3 или 4,000 Литовцев и кавалериею королевских Валахов, и кратчайшими дорогами следовать в Псковскую Область. Литовская армия остановится в Смоленском Воеводстве, чтобы тревожить и наблюдать неприятеля. Неприятель, по всему вероятно, отступить к Новугороду с большею частию своей армии».

«Тогда генерал Левенгаупт должен тронуться с своим корпусом, и идти чрез Полоцк в Псковскую Область, чтобы атаковать неприятеля с тыла, если часть неприятельскаго войска, заняв дефилеи, станет препятствовать движению армии Короля. Как скоро соединятся обе армии, надобно отправить одного генерала, с несколькими тысячами драгунов и малым числом пехоты, для принятия всех пушек и мортир, которыя он должен охранять до времени бомбардирования и осады Пскова, и недопускать сюда неприятельских подвозов».

«Генерал, стоящий под Ригою, должен тотчас выступить, и послать часть своей пехоты к Пскову. Остальныя войска пойдут чрез Эстляндию и так окружать Нарву, чтобы туда не могло проникнуть ни одно известие. Финляндская армия должна выступить в тоже время и следовать к Неве по дороге в Петербург, если бы неприятельская армия ретировалась из Ингерманландии к Новугороду.»

«Когда армия Короля вступит в Псковскую Область, то, полагаю я, можно будет отрядить генерала Левенгаупта с достаточным корпусом для вытиснения неприятеля из Ингерманландии. Финляндская армия могла бы переправиться чрез Неву с несколькими пионерами и известным числом брусев, связанных железными скобами в виде моста, и от Ладоги двинуться к Петербургу, который, если прикажет Король, тотчас можно сжечь. Из армии надобно отрядить 2,000 кавалерии в Ингерманландию, чтобы там набрать всех годных в пехоту людей для ея усиления, а потом помогать королевскому флоту в

разрешении петербургской гавани и тамошняго флота. Остальная часть финляндской армии должна идти к Пскову и бомбардировать сию крепость. Между тем, армия Короля продолжает свое дальнейшее движение, и именно мимо Старой Руссы, если позволять дороги, или мимо Новагорода, вместе с корпусом генерала Левенгаупта, который, неослабно наблюдая неприятеля, ретирующегося из Ингерманландии, всегда может соединиться с армиею Короля. Корпус сей должен непременно всегда оставаться на большой дороге из Москвы в Новгород, чтобы встретить неприятеля, если бы он решился дать сражение, чего однако ж я не предполагаю. Если дороги у Старой Руссы будут проходимы, то, конечно, оне должны быть заняты для сообщений с Псковом. Королевских Валахов и литовский корпус можно послать на разорение и сожжение Рославльскаго Уезда до Торопца, чтобы неприятель, или партии его не могли больше приходить в Псковскую Область. Потом, литовский корпус, с несколькими драгунами, можно употребить на доставку провианта для армии из Уездов Наркапольскаго (?) и Великолуцкаго. Когда армии Короля и Левенгаупта оттеснят неприятеля за Волгу, тогда было бы весьма полезно укрепить на этой реке удобное место и там заложить магазины; ибо отнюдь не должно переходить за Волгу раньше овладения Псковом, осаду котораго надобно кончить в 1709 году, если только крепость не сдастся после бомбардирования. Нарва, полагаю я, не устоит после падения Пскова. Чтобы принудить Нетебург (ныне Шлиссельбург) к капитуляции, надлежит послать из Кексгольма корабли в Ладожское Озеро, которое они должны очистить от неприятеля, и кроме того захватить и сжечь все неприятельския суда, если таковыя будут находиться при деревнях или городах, в окрестностях Ладожскаго Озера. Небольшая крепость Ладога может быть взята также финляндскою армиею».

«Если и по очищении всей Ингерманландии, неприятель не согласится на мир, тогда можно перейти за Волгу и продолжать поход к Москве, чтобы принудить неприятеля к миру. Литовскую армию равным образом можно было бы двинуть к Москве. Польской армии надлежит вторгнуться в Украину, и стараться привлечь на свою сторону Казаков, чтобы выгнать неприятеля, как из Украины, так и из Северскаго Края».

Проект сей был у меня уже готов на тот случай, если бы Король отказался от своего плана относительно Пскова. Я всегда старался побудить Короля к благоразумному намерению, именно идти на Псков и выгнать неприятеля из своей собственной земли, а не углубляться в страну неприятельскую. Этого я никогда не советовал, но постоянно противоречил такому плану. Король, простояв почти целый год в Саксонии, приказал мне изготовить маршруты к выступлению армии, которые и были разосланы в полки и к саксонским комиссарам, долженствовавшим заботиться о продовольствии. 22-го Августа 1707 года, армия выступила различными колоннами, и заняла позицию на Одере, до решения силезских дел в Вене. Затем, двинулась армия в Польшу, и расположилась на кантонир-квартирах от Калиша, мимо Слупцы, где была главная квартира, до Познани (19-го Сентября). Неприятель, предпринявший рекогносцировку из Калиша, был атакован и разбит авангардом. Взятые при этом случае в плен показали: «что Царь отступил, с своею армиею за Вислу и Буг, и первую реку занял дивизионом драгунов, которые сожгли мост при Торне и расположились в Плоцком Округе для наблюдения за нашею армиею. Брест также был занят дивизионом неприятельских драгунов».

Лишь только рекруты пришли к полкам, Король повелел мне изготовить марш - ордера до Варшавы на Висле и до Винницы, где с 4-го Ноября находилась главная квартира. Армия заняла кантонир-квартиры в Куявском и Иноврацлавском округах, ожидая постройки мостов. Но как, при наступлении холодов, мосты были снесены сильным пловучим льдом, то армия и осталась здесь до замерзания рек. В течении этого времени, я занимался, по воле Короля, диспозициями зимних квартир в Округах Плоцком и Мазовецком.

28-го Декабря 1707 года двинулась армия, чтобы переправиться в различных местах чрез Вислу, и занять квартиры от Остроленки и Пултуска до Торна. В городе Добрине, куда 1-го Января 1708 года прибыла главная квартира, Его Величество приказал мне, по прошествии

нескольких дней, направить движение армии через Мазовецкий Лес к Гродно. Неприятельский авангард оставил при нашем приближении Пултуск, и отступил к Тикочину, к своей армии, расположенной от Гродно до Вильны и Самогитии. Русския войска, стоявша в Бресте, ретировались к Минску. Я сказал Королю, что «жаль оставлять так скоро такая хорошия квартиры». Но Король возразил: «Армия довольно отдохнула в Саксонии. Из этого ничего не выйдет. Да и не нужно заботиться о новых зимних квартирах». Я отвечал: «По воле Вашего Величества, маршруты будут немедленно изготовлены. Осмелюсь однакож всеподданнейше доложить, что, по собранным мною сведениям, в Мазовецком Лесу мало деревень, дороги очень дурны, и, как говорят, там укрывается шайка разбойников из Польши. Его Величество сказал: «Разбойники не могут сделать нам ни малейшаго вреда. В деревнях мы не будем останавливаться, а только пройдем через них; дороги же не могут быть хуже прежних».

Армия, получив маршруты, выступила тремя колоннами в лес. При начале онаго, собралась неприятельская партия для воспрепятствования нашему походу; однако ее вскоре прогнали. В середине леса, одна дефиля была завалена срубленными деревьями. Король тотчас приказал уничтожить засеку.

При этом движении, Король едва не подвергся несчастию. Один мародер выстрелил из леса, и ранил лошадь трабанта, ехавшаго по правую сторону Короля. Отряд трабантов бросился отыскивать выстрелившаго, однако не нашел. Отдано было приказание полкам жечь все деревни, а людей, которыми будут атакованы, убивать, что и было исполняемо. Армия таким образом весьма скоро подвигалась к Гродно. Неприятель с такою же скоростью отступал по мостам, близь Гродно, за Неман. Король атаковал лично, с 600 всадниками, неприятельский ариергард, овладел мостом, прогнал неприятеля, и занял (28-го Января) Гродно (*), В следующую ночь, неприятель старался захватить здесь Короля, однако не имел в том удачи, но сам был разбит и прогнан.

(*) Мост пред Гродно поручено было бригадиру Мюленфельду защищать до последней крайности; и, в случае отступления, уничтожить его. Мюленфельд, неисполнивший сего приказания, был отдан под суд, но подкупил стражу и бежал к Шведам, о чем упоминает далее и автор рукописи. В последствии, Мюленфельд попался в плен под Переволочною, и, по приговору военного суда, разстрелян. «Голикова Дополн. XVI, 81. Я. Т.

Армия получила приказание выступить, на разсвете и как можно скорее переплавиться через Неман. Я должен был составить маршрут до города Минска, именно таким образом, чтобы армия шла на неприятеля четырьмя колоннами, но неприятель поспешно оставил свои зимния квартиры и отступил за Березину в Смоленский и Витебский Округи. При отступлении, Русские сожгли все мосты, и, сколько было можно, фуража. Король дошел за пятнадцать миль до Минска. Здесь движение было изменено вместе с главною квартирою, которая, под прикрытием лейб-регимента и драгунов полковника Гельмса (Hielms), расположилась в городе Сморгоне (8-го Февраля). В это время перешел сюда русский бригадир Мюленфельд, и обратился с своими предложениями к фельдмаршалу Реншильду. Вскоре заговорили везде, даже в свите Короля, о походе на Москву. Между прочими льстивыми словами, генерал-майор Лагеркрона утверждал, что «неприятель не осмелится воспротивиться походу Короля на Москву». Генерал-майор Аксель-Снарре сказал Его Величеству: «Есть старинное предвещание, что один из фамилии Спарре должен быть губернатором в Москве". Король очень этому смеялся, и заметил, что речь генерал-майора Спарре клонится к получению от Короля слова «быть ему, Спарре, московским губернатором, если Шведы овладеют сим городом».

Подобныя льстивыя речи, равно как то обстоятельство, что Король часто бывал у фельдмаршала и несколько раз говорил с русским бригадиром, очень меня тревожили и беспокоили. Я боялся, что Его Величество, увлекшись лестию, решится на опасный план, идти к Москве. Я откровенно сообщил свои опасения советнику канцелярии Гермелину, и просил его, при случае, переговорить о столь опасном походе с графом Пипером. Он отвечал, что «уже говорил с фельдмаршалом о движении на Псков, и фельдмаршал

отозвался только, что Король давно составил план, о котором никто ничего не знает, и, вероятно, со славою исполнит свое намерение». Советник Гермелин просил меня, «при случае изложить мои мысли, касательно движения на Псков, фельдмаршалу и даже самому Королю, когда речь пойдет об операционном плане».

Через несколько дней, я пошел к фельдмаршалу и застал его одного. В разговоре, я заметил: «если неприятель, при отступлении, решится дать сражение, то нашу армию едва можно собрать в две недели». Фельдмаршал отвечал: «неприятель не решится, а отойдет к своим границам». Я возразил: «Русские поступают благоразумно, стараясь обезопасить свой тыл и соединение с своею землею. Мне кажется, и нам было бы гораздо лучше, если бы Его Величество решился следовать по псковской дороге для изгнания неприятеля из нашей земли, чем отваживаться на Москву; а об этом все толкуют».

Фельдмаршал отвечал: «Уверяю, что ни я, никто другой не может знать намерения Короля. Пока мы отдыхаем, он работает в своих мыслях больше, нежели мы думаем». Я сказал: «Господь да сохранить его; потому что неудачный план и проигранное сражение могут иметь пагубные следствия». Фельдмаршал отвечал: «Король, конечно, храним Богом, и я твердо уверен, что Господь его не оставит, и что он достоиславно совершит свои намерения».

Спустя еще несколько дней, пошел я, с тем же предложением, к графу Пиперу, который тотчас спросил меня: «Известно ли мне, что неприятель атаковал лейб-драгунов в квартирах, и оттеснил их. Из этого видно, что неприятель старается вредить нам, где только может». Я отвечал: «Если неприятель остановится, то, я боюсь, что, против ожидания, он может наделать нам много вреда. Армия его расположена так, что может быть сосредоточена в десять дней». Граф отозвался: «Я говорил об этом Королю, и просил его не пренебрегать неприятелем, а поступать осторожнее, чтобы не подвергнуть себя несчастию». Вскоре после этого, Король приказал мне заняться распоряжениями насчет кантонир-квартир. Я спросил: «Займет ли Его Величество квартиру в городе Мархове, на что Король не изъявил согласия, но спросил «Нет ли, по близости, другого города?» Я сказал: «есть городок Радошковичи, но жилища в нем так плохи, что Его Величество не найдет ни в одном доме и третьей части необходимаго помещения». Король объявил, что «ему довольно этого». По разсылке в полки назначения новых квартир, Король отправился туда (15—17 Августа).

Пока армия стояла на квартирах, случилось мне быть однажды у графа Пипера. Между прочим, он спросил у меня: «Много ли полков перед главною квартирою?». Я отвечал: «Гвардия с двумя пехотными и четырьмя конными полками; а Валлахи, с литовскими войсками, охраняют переправы чрез Березину». Граф сказал: «В таком случае, неприятель не может тревожить нас на наших квартирах». Я, с своей стороны, заметил, что «при настоящем расположении, нечего бояться неприятельской атаки, и с Божиею помощью, мы управимся с неприятелем, если только Его Величество бросит опасное намерение идти на Москву, а лучше останется в своей собственной земле. Я могу сказать утвердительно, что если Король отважится на поход в Россию, таким же образом как он ходил в Польшу, то непременно и себя и всю армию свою подвергнет величайшему бедствию». Граф отвечал, что он тоже самое говорил Королю, и просил его, ради Бога, быть осторожнее и не пренебрегать неприятелем, так как армия, им ведомая, есть основа всего, и лишившись ее, он, быть может, лишится и короны. Но просьбы мои не помогли; он до того упрям, что не хотел и слушать ни какой благоразумной причины. Я думаю, что он до тех пор не переменит своих мыслей и намерений, пока с ним не случится беды, а тогда все дело уничтожится само собою. Нам ничего инаго не остается делать, как молить Бога, да руководствует и управляет Он нашим Королем».

Я занялся тогда изготовлением карты Витебскаго, Полоцкаго и других смежных Округов. Король пришел ко мне посмотреть сию работу. Между прочим, Его Величество сказал: «Ну, вот мы и на большой московской дороге!». Я отвечал: «До Москвы еще довольно далеко». Король возразил: «Когда тронемся с места, то, конечно, приедем туда». Я

заметил: «Неприятель употребит, вероятно, все средства к воспрепятствованию нашего похода». Король сказал: «Неприятель не может остановить нас. Как вы думаете об этом, скажите свое мнение». Я отвечал: «Полагаю, что неприятель не отважится вступить в сражение с Вашим Величеством. Но Русские будут, для лучшей обороны, окапываться на всех трудных для нас местах». Король сказал: «Все эти окопы ничего не значат, и они не могут мешать нашему движению». Я заметил: «Когда неприятель увидит, что не может остановить движения нашей армии, то непременно начнет жечь в своей земле». Король возразил: «Если он не выжжет своей земли, то я сожгу все». Я отвечал: «Со временем, Ваше Величество убедитесь, как опасно углубляться в неприятельскую землю, не имея прочных сообщений с отечеством». Король сказал: «Мы должны отважиться на это, покамест нам благоприятствует счастье». Я отвечал: «Обманчиво полагаться на счастье. Ясное тому доказательство Ваше Величество изволите видеть на французском короле (*), который до тех пор был счастлив во всех своих предприятиях, пока не

(*). Людовик XIV, войско которого, в войну за наследство Испанского Престола, было разбито на голову Марльборо и Евгением при Гохштедте или Блендгейме (13 Августа 1704 года). Маршал Таллар был взят в плен с 15,000 Французов. Остальные войска бежали в совершенном беспорядке за Рейн. На поле битвы осталось до 10,000 человек. Я. Т. сделал ошибки, отодвинув так далеко от Франции свою армию до Гохштедта, на Дунае, где она была почти совершенно истреблена. Не имея возможности оправиться, он все таки отваживался на новые сражения, и всегда терял их». Король воскликнул: «Бедный Француз! Он несчастлив! Ему уже не поправиться». Я отвечал: «Франция государство сильное, Французы народ умный. После первого удачного дела, они скоро отдохнут». Король сказал: «Этого не будет! Француз в беде». Я отвечал: «Это во власти Божией. Господь да избавить Ваше Величество от подобной беды! Я страшусь опасных последствий». Его Величество возразил: «Тут нет ни какой опасности. Будьте покойны». Я просил Короля не гневаться, если я свои чистосердечныя мысли выразил в разговоре, быть может, не совсем осторожно. Король тотчас отвечал мне с обычным благоволением: «Нет, Мы на это не гневаемся; ведь Мы говорили только о Французах». Еще прежде объяснялся я с генералом Левенгауптом касательно предприятия на Псков. Генерал объявил, что план составлен весьма хорошо. Тогда я просил представить этот план, при случае, Королю, также фельдмаршалу и графу Пиперу; но генерал Левенгаупт сказал, что он уже представлял, и что Король отозвался: «Дороги к Пскову идут чрез большие леса, и весьма затруднительны». Кто сообщил Королю столь ошибочное известие о Псковской Губернии, стране прекрасной и плодородной, гораздо лучше Лифляндии, этого я не мог узнать, или генерал Левенгаупт не умел мне сказать. При сближении срока к открытию похода, пехотные полки, стоявшие далеко, получили повеление выступить к Минску. Полки кавалерийские следовали к ближайшим квартирам кавалерии при Радошковичах. Были ли известны неприятелю сии действия, не знаю (*); только вскоре показалась неприятельская армия, и стала при второй переправе чрез Березину, именно при Борисове и Березе. Тогда Король приказал мне написать маршрут до Могилева. Я доложил Его Величеству: «Туда ведут три большия дороги. На двух, с нашего леваго фланга, неприятель укрепился в окопах, а третья, от Слуцка до Могилева, как говорят, во многих местах болотиста, и кроме того, по словам крестьян, ее охраняют Татары». Король решился идти по этой дороге.

(*). Известно, что Карл XII своими движениями ввел в заблуждение Русских, переправясь чрез Березину там, где его вовсе не ожидали, то есть ее у Борисова, а у Нижняго Березина. По этому случаю, Петр писал к Меншикову: «Письмо ваше получил и видел, что неприятель вас обманул, перебравшись реку Березу в ином месте». Я. Т. В то время, когда армия, выступив 12 июня, следовала к местечку Березе Записенской, встретил я, с квартирмейстерами и конвоем, толпу Татар, немедленно атаковал их и преследовал до Березины, при чем 100 Татар были убиты или утонули. Татары оставили

после этого свой лагерь, и я также воротился. В деле сем был ранен Принц Вюртембергский.

Как скоро были готовы мосты чрез реки, армия подошла к Белицам, где укрепился неприятель. Мы расположились с левой стороны, на большом поле за рекою. Так как большая дорога из Белиц в Оршу шла мимо нашего лагеря, то я заметил Королю: «не угодно ли ему будет избрать сию дорогу в Оршу, чтобы вывести армию из лесов». Его Величество, отвергнув этот план, приказал идти к Могилеву по дурным проселочным дорогам, требовавшим много исправлений, и продолжать путь к городу Головчину, где находится большая дорога в Могилев. Таким образом, мы с большими затруднениями продолжали наше движение до Головчина (30 июня). Неприятель стоял впереди нас, и снял все мосты. Король приказал мне раскинуть лагерь для полков, за ним следовавших, именно для гвардии, Далева полка, Вестманландскаго, лейб-регимента и лейб-драгунов. Валлахи и остальная часть армии заняли позицию на других полях, за лесом. Неприятель ретировался на всех пунктах через реки. Я начертил карту сих рек. Оне были так глубоки, что вода доставала до груди человека средняго роста. Король дал мне шесть эскадронов Валлахов для рекогносцировки переправ, находившихся недалеко от неприятельских ретраншементов. Выслушав мою реляцию, Король сам поехал туда, чтобы обозреть влево лежавшую точку переправы, признанную мною наиболее удобною. Его Величество решился атаковать здесь неприятеля и оттеснить его. Но как понтонные мосты еще не были готовы, то Король тронулся в ночь на 4-е июля, и перейдя на другую сторону реки Бабича, которая разделяла, при Головчине, обе армии при чем вода доставала солдатам под мышки, выстроил гвардию на небольшом поле, впереди неприятельских ретраншементов. Гвардия двинулась под огнем неприятельской артиллерии, чтобы атаковать Русских с тыла. Неприятель постепенно выходил против гвардии из своих окопов, и, после упорного дела, был обращен в бегство Далевым полком. Полки Вестманландский и Упландский подоспели к концу сражения. Правое крыло неприятеля было отделено от центра большим лесом, и потому не могло поддерживать его; войска этого крыла отступили за Днепр, большая часть к Шклову, другия к Быкову, и расположились по ту сторону Днепра, на дороге в Могилев и Смоленск. Король не преследовал неприятеля, а остался на поле сражения (*).

(*) В воспоминание победы при Головчине, Карл приказал выбить медаль с пышною надписью: «Побеждены леса, болота, оплоты и неприятель». Петр не только не упал духом от этой неудачи, но еще писал, между прочим, к Апраксину: «Я zelo благодарю Бога, что наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем хорошенько». Вместе с тем, указом, данным Меньшикову 16 июля, Царь повелел строго исследовать причины неточного исполнения некоторыми военачальниками своих, обязанностей в сражении при Головчине. По суду, генерал-поручик князь Репнин, стоявший на левом фланге, был найден виновным и лишен командования. Голикова, Дополн. VIII. 89. Я. Т.

Когда похоронили убитых и сделаны были распоряжения к отвозу раненых, армия выступила (7-го июля) к Могилеву, где Его Величество расположился (9-го июля) с несколькими полками лагерем. Прочия войска были размещены в деревнях от Шклова до Могилева.

Между тем как мы озабочивались снабжением армии провиантом, в котором уже оказывался недостаток, я предложил идти со всеми войсками к Орше, где мы могли достать запасы из смежных округов. Король, не одоблив моего предложения, отозвался, что «он отправил генерал-адъютанта Каннифера с Валлахами для сбора провианта с тех округов». Но Валлахи были прогнаны неприятелем, и сам Каннифер попался в плен. Тогда армия начала терпеть большую нужду, особенно в хлебе. Король вознамерился, по этой причине, перейти чрез Днепр, и впервые расположился лагерем (5-го Августа) по ту сторону реки, пред Могилевом. По переходе всей армии за Днепр, поход был продолжаем до города Зинькова (Чирнкова), где неприятельский арьергард был атакован и прогнан за реку Сожу. При отступлении, Русские зажгли мосты, и расположились в ретраншементах

по ту сторону. Король приказал мне приготовить маршрут до Мессилова. Армия продолжала идти до селения Малатицы, недалеко от местечка Добраго (28-го Августа). Неприятель стоял со всею армиею позади большого болота, находившегося при речке Беляне (Белоль), и окопал сильно все переправы. Здесь армия отделилась от Короля, потому что малая местность не позволяла сосредоточить всех сил. Генерал-майор Роос, с 4 полками пехоты и 1-м кавалерии, занял позицию при плотине, лежавшей чрез болото. Неприятельские форпосты были расположены на высоте сей плотины, а в конце оной, в одном доме, стоял караул. Король приказал мне съездить туда, осмотреть размещение полков, и сказать потом, не должно ли изменить позицию. Я доложил Его Величеству, что «генерал-майор Роос занимает не ту позицию, которая была ему назначена, но стоит при ближайшей от главной квартиры плотине, равно как и генерал-майор Спарре. Притом, полки размещены так тесно, что, в случае тревоги, кавалерия не могла бы тронуться с места. Тогда Король приказал генерал-майору Роосу не трогаться с места, хотя бы неприятель и обстреливал его своею артиллериею; но если пальбы не будет, то в сумерки перенести позицию выше, на поле. Пока распоряжались переменою позиции, начало светать (31-го Августа). Неприятель, пользуясь туманом, неожиданно атаковал полк полковника Букваля (Buckvall), который только что хотел разойтись по своим палаткам, и в начале нападения потерпел большой урон, пока солдаты не взяли за оружие. Когда же подоспели на помощь прочие полки, неприятель, оттесненный к болоту, потерял много убитых (*).

Король решился атаковать неприятеля в позиции его при Добром, и с этою целию расположился в полумили от оной, при Валовниках (3-го Сентября). Его Величество приказал мне, вместе с фельдмаршалом, сделать рекогносцировку неприятельского лагеря. Приблизившись к оному, мы нашли его покинутым и зажженным. Мы не встретили даже ни одного человека из неприятельского арьергарда, который следовал за армиею по большой дороге к Мстиславлю, равномерно сожженному неприятелем. На другой день (4-го Сентября), Король выступил, с намерением занять позиции на большой дороге от Мстиславля к Смоленску, надеясь принудить Русских к сражению. Но как неприятель не имел с собою обоза, то и успел убраться в свой укрепленный лагерь позади большой болотистой реки, в четырех милях от Смоленска. При движении нашей армии к Райкову, один неприятельский отряд напал на полк полковника Альбедиля, был однако ж отбит. Казаки зажигали все деревни и истребляли все запасы. Король повелел стараться тушить огонь.

(*) Сражение при Добром описано обстоятельно в собственном извещении Петра (См. Голик. Дополн. VII 104.—110). Я. Т.

На следующий день, Король решился приблизиться к неприятелю. Когда армия двинулась (10-го Сентября), неприятель стоял с 10,000 корпусом драгунов за одною рекою, на высоте. Его Величество приказал гвардейским гренадерам, вместе с 6 эскадронами, составлявшими мое прикрытие, перейти влево от нас небольшую реку, и овладеть лагерем. С сими войсками, Король пошел вверх по реке. Встретившийся Его Величеству фельдмаршал, с остготским кавалерийским полком, сказал: «Здесь, кажется, дойдет до сражения». Король подтвердил его слова, и приказал двинуть все прочие полки. Когда фельдмаршал уехал, Король лично произвел атаку с одним полком. Я следовал позади с 6 эскадронами, и бросился на неприятеля. В середине сражения, лошадь Короля была подстрелена, и Его Величество пересел на коня убитого генерал — адъютанта Туре-Горда (Thure Hard). Пораженный неприятель отступил по дефилею, при одном селении. Фельдмаршал поскакал с одним кавалерийским полком атаковать неприятеля в тыл и отрезать ему путь к упомянутой дефилею; но, наткнувшись на непроходимое болото, принужден был переменить свое направление, и воротился к Королю тогда, когда сражение кончилось и неприятель исчез. Король приказал мне расположить лагерь на этом поле.

На другой день (11 Сентября), Король подвинулся ближе к неприятелю, и расположился в виду его ретраншементов, которые, находясь за рекою, с обеих сторон были окружены болотами. Здесь невозможно было пройти, потому что неприятель сильно укрепил все выходы. Мы простояли на этом месте несколько дней. Король вошел однажды в мою палатку, и сказал, чтобы я посоветовал ему, каким бы образом двинуть дальше армию. Я отвечал: «Не зная плана Вашего Величества и предполагаемой Вами дороги, я не могу сообщить и своего мнения». Король отозвался, что у него нет ни какого плана. Я сказал: «Ваше Величество изволите милостиво шутить со мною. Я знаю, что Ваше Величество имеете план, и куда намерены идти». Король отвечал: «А я не знаю, куда нам идти с армиею, если вы не выберете дороги». Я сказал: «При таких обстоятельствах, мне весьма трудно сделать какое - либо предложение». В эту минуту, на форпостах послышалась тревога, и Король тотчас от меня уехал.

На другое утро Король опять пришел ко мне и спросил: подумал ли я о средствах к дальнейшему движению армии? Я отвечал: «Так как я не знал, что Ваше Величество говорили со мною не шутя, то и не думал об этом». Король уверил меня, что он вовсе не шутил. Я сказал: «Мне трудно исполнить волю Вашего Величества, потому что и прочие господа генералы предложат свое мнение». Король возразил: «Да что же они могут мне присоветовать, когда не знают ни дорог, ни положения страны? Только вы можете подать мне совет, а генералы от вас же получают сведение о дорогах и местности». Я сказал: «Не могу не сознаться, что Ваше Величество говорите сухую истину. Но я должен подумать об этом обстоятельнее, и собрать обо всех дорогах вернейшия известия». Король приказал мне все исполнить и дать ему ответ.

Лишь только Король уехал от меня, я пошел к фельдмаршалу и объявил ему: «Король два дня требует от меня совета, куда должно направить дальнейшее движение армии. Так как предмет сей до меня не касается, то я и не осмелился присоветовать что-либо Королю, и теперь прошу Ваше Высокопревосходительство, как фельдмаршала, дать Его Величеству такой совет, какой для службы вашего Государя вы найдете лучшим и полезнейшим».

Фельдмаршал поблагодарил меня за открытие всего мною сказанного, и прибавил: «Я еще прежде говорил с графом Пипером, который часто давал советы Королю (*), чтобы и теперь он присоветовал чтонибудь. Но граф Пипер, изумленный моими словами, отвечал: «Черт советовал прежде, пусть он же и теперь советует». Я просил фельдмаршала, ради Бога «устранить всякую неприязнь и зависть, которая могли быть между ими, и подать Королю единодушный, полезный совет». Фельдмаршал от вечал, что он охотно поступит таким образом, и просил меня сказать ему, как бы вывести армию. Я сказал: «Советовать я не смею; но все, что мне известно о дорогах, охотно передам Вашему

Высокопревосходительству». Фельдмаршал взял при этом свою карту, и спросил меня: «Какия сведения имею я о дорогах?». Я отвечал: «мне известно, что неприятель укрепился на большой дороге, идущей чрез Смоленск в Москву. Идти по этой дороге невозможно, потому что неприятель, если будет принужден оставить какую либо позицию, все сожжет и уничтожит». Фельдмаршал согласился со мною. — «Другое средство вывести армию состоит в том, чтобы переправить ее назад за Днепр и расположить в Витебской Области. Я обозначил здесь все деревни». Фельдмаршал заметил: «Король не согласится на это. Неприятель стоял там на квартирах всю зиму, даже до июня, следовательно или мало, или вовсе не найдем ни провианта, ни фуража». Я продолжал: «От Вашего Высокопревосходительства зависит переговорить обо всем этом с Королем, как разсудит Его Величество». Фельдмаршал спросил меня:

(*) Граф Пипер, весьма замечательное лице в истории Карла XII. Он, как говорят, первый разгадал способности юнаго Короля, когда, в ноябре 1697 года, сопровождая его на смотру войск, спросил о причине задумчивости, и получил в ответ: «Я думаю, сказал Карл, что и сам мог бы давать повеления таким храбрым солдатам, и желал бы выйти из-под опеки женщины». После смерти отца, четырнадцатилетний Карл остался под опекою своей бабки, но теперь Пипер воспользовавшись сим ответом, побудил дворянство объявить

Короля совершеннолетним, и в декабре того же года совершилось коронование. Граф Пипер с тех пор всегда пользовался особенною доверенностию Карла, и был его лучшим советником. Я. Т.

«Какия еще есть дороги?». Я отвечал: Третья дорога лежит от нас вправо; она ведет в Северский Край, где можно найти достаточное количество запасов. Только надобно заметить, что все тамошние жители вооружены, а в одном городе стоит русский гарнизон». Фельдмаршал возразил: «Город ничего не значит. Король всегда может овладеть им, а Казаки не помешают нам». Я сказал: «В этом случае, я не могу быть советником; я сообщил только то, что узнал о стране». Фельдмаршал объявил, что он переговорит обо всем с Королем, и спросил меня: «Ежели Король пойдет в Северский Край, то каковы туда дороги?». Я отвечал: «Есть две дороги, отделенные одна от другой лесом, имеющим в длину девять польских миль; на каждой миле встречаются небольшие деревни, где довольно фуража, но нет провианта». Фельдмаршал спросил наконец: «Каким образом, по вашему мнению, можно было бы расположить армию на квартирах?» По карте указал я ему, что армию Короля можно расположить от Пацанова до Стародуба; корпус же Левенгаупта разместить в самом Стародубе и в окрестностях, так чтобы он собирал провиант для всех войск». Его Высокопревосходительство, совершенно одобрив мой проект, просил меня сообщить все это графу Пиперу.

Я тотчас же пошел к графу Пиперу, и сказал ему от имени фельдмаршала: «Король спрашивает у меня совета. Но я не могу подавать Его Величеству советов; на это имеее право Ваше Сиятельство и фельдмаршал». Граф Пипер отвечал: «Сожаления достойно, что мы должны говорить чрез повереннаго. Единственная причина недоразумения между нами состоит в том, что я заметил Королю и фельдмаршалу, что они ни сколько не подумав, отважно стремятся к цели.

Но Его Величество и фельдмаршал меня же подняли на смех. А я давно сказал: придет такое время, что сам Король не будет знать, каким путем следовать ему, потому что он не составил себе плана. Вы очень хорошо сделали, что не дали Королю ни какого совета, а сообщили волю Его Величества фельдмаршалу». Граф спросил меня потом: «Какия дороги имеются в виду?» Я передал графу все сказанное мною пред сим фельдмаршалу. Выслушав меня, он сказал: «Король не воротится за Днепр. Он сочтет это посрамлением, и лучше на все отважится. Если же Король решится идти в Северский Край, то я думаю, что Русские не осмелятся жечь все, как жгут теперь, и что Казаки перейдут к нам». Я отвечал: «Не могу этого ни знать, ни утверждать, а только предполагаю, что Казаки не допустят жечь свой край, если мы пойдем туда». Граф послал к фельдмаршалу приглашение отправиться вместе с ним к Королю; потом еще раз спросил меня: нет ли еще других мер, кроме трех, мною упомянутых? Я сказал, что кроме этих дорог, других не знаю. Тогда граф произнес: «Так пусть Король выбирает любой путь!»

После совещаний обоих графов с Королем, меня также позвали к Его Величеству. Когда я вошел, у Короля были граф Пипер, фельдмаршал и генерал-майор Мейерфельд. Король принял меня очень милостиво и ласково, взял за руку и подвел к своему столу, за которым писал граф Пипер. Граф сказал мне, в присутствии Короля, что Его Величество решились идти в Северский Край, и попросил, чтобы я сделал ему очерк движения генерала Левенгаупта к Стародубу. Я спросил: «Где же генерал Левенгаупт?» Его Сиятельство отвечал, что он не знает, где теперь генерал Левенгаупт, но полагает, что ему предписано следовать к Шклову. Король заметил, что он слышал от Валлахов, будто бы генерал Левенгаупт стоит при городе Лисянке (Lisianka?), и спросил меня, знаю ли я, где этот город? Я отвечал: «Знаю, и если Ваше Величество прикажете, то составлю записку о дорогах из Лисянки и Шклова к Стародубу».

Получив приказание, я составил в своей палатке описание обеим дорогам, принес эту записку Королю, и в его присутствии отдал графу Пиперу. Король спросил меня: «Сколько дорог идет через лес, и есть ли там деревни, при которых можно было бы останавливаться?». Я отвечал: «Есть две дороги и деревни для ночлегов; но дороги очень

плохи и требуют исправления». Тогда фельдмаршал сказал Королю: «Так как Гилленкроку известны дороги и местность, то было бы всего лучше, если бы он написал записку о том, что, по его мнению, должно еще иметь в виду». Король одобрил это, и я поспешил домой, написал две записки, и представил их Королю, который, милостиво приняв от меня бумаги, прочитал их вместе с фельдмаршалом. Затем фельдмаршал написал приказы генералам, и Король решился выступить на следующее же утро, потому что иные полки три недели не получали хлеба, и в фураже был величайший недостаток. Я вызвался найти хлеб для некоторых полков, только не для всей армии, и принимал также на себя собрать недельный запас фуража, так что в течении этого времени Левенгаупт будет в безопасности. Король, отклонив мое предложение, приказал составить маршрут. Основываясь на том, что в Кричев идут три дороги, надлежало двинуть армию столькими же колоннами.

Когда были готовы маршруты, Король приказал мне отдать генералу Лагеркроне следующий ему маршрут и вместе с тем повестить квартирмейстерам, чтобы они собрались за час до разсвета при лейб-регimente. Передав Лагеркроне маршрут, я вручил ему также небольшую карту с означением значительнейших мест в Северском Крае. На другой день (15-го Сентября), выступил прежде всех, до разсвета, Лагеркрона, а потом рано утром, двинулась и вся армия к Кричеву. Когда армия расположилась здесь лагерем (19-го Сентября), воротился посланный к генералу Левенгаупту с королевским повелением, ибо он не мог пробраться сквозь неприятельския войска, занявшия все промежуточные дороги.

На другой день армия пошла далее. По просьбе моей, я получил позволение ехать к генерал-маиору Лагеркроне, чтобы руководствовать его проводником. Тут нашел я майоров Апелгрепа и Коскуля, наблюдавших за постройкою мостов. Вскоре приехал и генерал Лагеркрона. Я хотел переговорить с его проводником о прямой дороге через лес, чтобы он не повел отряда по другой дороге, но Лагеркрона отозвался, что у него есть лучшие сведения о дорогах, нежели те, которыя были сообщены мною. Колонна его немедленно пустилась в поход.

На другой день, Король прибыл на то место, где я провел ночь в ожидании армии. Король получил письмо от Лагеркроны, в котором сей генерал писал, что он стоит при засеке, и нашел проселочную дорогу к деревне Лесной. Я справился в своей записке обо всех дорогах, и сказал Королю: «Опасаясь, что генерал не найдет дороги, о которой пишет, и что он стоит с своим отрядом не там, где следует». Король возразил: «Ежели он пишет, что нашел проселочную дорогу, то, верно, эта дорога вам неизвестна». Я отвечал: «Когда армия тронется, можно будет видеть попадет ли генерал-маиор Лагеркрона на нашу дорогу. В противном случае, он заблудится».

По приходе армии в лагерь, не видно было и следов отряда Лагеркроны. Нельзя также было получить сведений о его движении, ибо все жители разбежались из деревни. Я доложил Его Величеству, что мой проводник уверяет меня, будто нет ни какой другой проселочной дороги к Лесной, и потому генерал находится не на настоящей дороге.

Король отвечал: «Так как он пишет определительно, что нашел проселочную дорогу к деревне Лесной, то мы должны подождать, пока придем туда, а он наверное предупредит нас».

На следующий день, когда армия пришла в отстоявшую на две мили от Лесной деревню, где было несколько крестьян и один польский дворянин, мы узнали, что никто из наших не проходил здесь мимо, к Лесной, и что там также нет ни каких войск. Обо всем этом я донес Королю, но Его Величество почитал невозможным, чтобы Лагеркрона ошибся, и прибавил: «Завтра увидим, предупредил ли он нас в Лесной и работает ли над мостом». Когда Король пришел в Лесной (25-го числа), генерала там не было, даже ни чего не было слышно об нем. Тогда Его Величество сказал мне: «Ну, теперь я вижу, что Лагеркрона наделал глупостей», и спросил меня: «что делать в этом случае?» Я отвечал: «Написать ему, если угодно Вашему Величеству, что как он идет уже по большой дороге к Стародубу,

то и должен там остановиться». Король сказал: «Об этом нет надобности писать. Ежели он идет по этой дороге, то, конечно, займет Стародуб».

Я отозвался: «При всем моем желании, боюсь, что этого не случится, если генерал не получит повеления Вашего Величества». Король сказал: «Тогда он будет суший дурак. Но невозможно, чтобы он был так глуп, как вы думаете», и спросил: «Почему я думаю, что Лагеркрона не пойдет на Стародуб?» Я отвечал: «Лагеркрона подумает, что переправа чрез реку Ипуть опасна, и притом ему приказано укрепиться на оной, в случае если предполагает найти там неприятеля. Следовательно, он лучше пойдет туда, чем останется при Стародубе, чтобы обезопасить движение Вашего Величества». Король сказал: «Он не так глуп, и не сделает такого крюка, чтобы идти к нам на встречу. Я уверен, что этого не случится, но что он займет Стародуб». Затем Его Величество потребовал от меня мнения что теперь предпринять? Я предложил: «Пустить вперед гвардию и Далев полк с отрядом Кациуса и занять позицию при Мглине. Потом может двинуться армия, смотря по обстоятельствам». — Король изъявил согласие на мое предложение, и сам пошел вперед с своею гвардиею. Пехота переправилась через реку Бизич вброд, и вода доходила людям под мышки. На походе получил Король донесение генерал-майора Крузе, что его колонна была атакована неприятелем, которого он разбил, причем неприятель потерял 400 человек. В двух милях от местечка Мглина, Король решил остановиться при одном селении на стародубской дороге (25-го Сентября, при Коссинице), и выждать известия об отряде Лагеркрона. Между тем он приказал укрепить позиции в Мглине и в окрестных деревнях. Генерал-майор Крейц, который вел предпоследнюю колонну, хотя и получил сведение о встрече отряда Левентаупта с неприятелем, однако жители не могли сообщить ему подробностей о происходившем сражении.

1-го Октября приехал к Королю майор Апельгреен с донесением от г. м. Лагеркрона. Король тотчас спросил: «В Стародубе ли Лагеркрона?» Майор отвечал: «Нет, потому что неприятель за два дня занял здесь позицию с 2,000 Русских, кроме Казаков?» Король возразил с неудовольствием: «Лагеркрона просто помешался: дошел до Стародуба и не занял его! Что причиною такого поступка?» Майор отвечал: «Когда г. м. Лагеркрона находился в полумили от Стародуба, все полковники предлагали занять позицию в этом городе. Но генерал сказал, что он не имеет на то повеления, и потому не может атаковать находящихся там Казаков, если они не впустят его добровольно. — Король сказал: «На это и не нужно было особенного повеления. Он выбрал себе дорогу без предписания, был у Стародуба, следовательно надлежало, без особенного приказанья, занять здесь позицию, и тем не допустить сюда неприятеля. А Казаки не стали бы ему сопротивляться». Майор отвечал: «Все полковники просили о том генерала, но он не согласился, а решился двинуться к Вашему Величеству, и теперь стоит только в четырех милях отсюда». Король спросил еще: «Почему он не воспрепятствовал неприятелю жечь деревни?» Майор отвечал: «Генерал старался воспрепятствовать тому; но неприятель везде скрывался от Шведов, и зажигал деревни, лишь только мы приближались к ним. Все это было производимо с такою скоростью, что генерал ничего не мог сделать, несмотря на все старания». Прочитав письмо г. м. Лагеркрона, Король сказал мне: «Лагеркрона поступил необдуманно, и просит теперь повеления, куда ему идти. Его глупости уже не поправишь. Но вы должны указать ему место, где он может ожидать дальнейших приказаний». Я отвечал: «Не получив точных сведений о Стародубовском Округе, потому что все жители разбежались, я полагаю, если Ваше Величество одобрите, отправить его в деревню, лежащую влево от стародубской дороги, где он найдет провиант, впредь до дальнейших распоряжений». Король изъявил согласие, и послал с этим повелением майора Апельгреена.

Через день по отъезде майора, пришедший рекрут Далева полка, из отряда генерала Левентаупта, показал, что неприятель атаковал отряд сего генерала в одиннадцать часов утра, и что сражение продолжалось до вечера. Неприятель остался на поле битвы, насупротив Левентаупта, и разложил сторожевые огни, что сделал, с своей стороны, и

генерал Левенгаупт. За тем генерал приказал отступить пехоте, со всеми лошадьми и обозом, ночью, как можно тише. Солдат, принесший сие известие, заблудился и попал на дорогу, по которой шла армия Короля. Он не знал о потере, понесенной Левенгауптовым отрядом в этом сражении, но уверял, что потеря неприятеля значительна, так как на поле осталось много убитых. — Когда я передал Королю слова солдата, Его Величество объяснил их таким образом, как будто солдат наговорил это со страху, и уверял меня, что Левенгаупт разбил неприятеля. Но когда тоже известие было подтверждено и другими пришедшими солдатами, Король, убедившись в уничтожении всех своих замыслов, старался скрыть свою досаду. Несколько дней был он очень безпокоен, так что ночью приходил в мою квартиру, где полковник Карл Гардт спал со мною в одной комнате. Мы оба должны были занимать Короля обыкновенными разговорами, потому что Король страдал бессонницею. С тою же целью мы отправились и на квартиру Его Величества, и между тем, как мы вели беседу, Король лежал на постели нераздетый.

По получении известия от генерал-майора Лагеркроны, что Левенгаупт примкнул к нему с остатками своего корпуса, Король решился выступить с армиею (11 Октября) и идти по стародубской дороге. Полковник Гамильтон был откомандирован, с 1,000 конников, в тыл неприятеля, который жег деревни и выгонял жителей. Генерал Левенгаупт сошелся с Королем на первом ночлеге, и сообщил о сражении при Лесной следующие сведения: «В одиннадцать часов, в Михайлов день, вступил он с неприятелем в сражение, продолжавшееся до темной ночи. Потом он занял небольшое поле при деревне Лесной. Неприятель также остановился, и с обеих сторон были зажжены сторожевые огни. Генерал думал идти в ту ночь к Пропойску; но как неприятель расположился с сильным отрядом не допускать его до переправы через реку Сожу, то он нашелся вынужденным оставить обоз и артиллерию, чтобы только спасти остальные войска по узкой лесной дороге, находившейся с леваго неприятельскаго фланга. Это и удалось ему в такой мере, что он сохранил 6,700 человек». — Король приказал распределить сих людей по другим полкам своей армии, а 18-го Октября продолжал движение и остановился за милю перед Стародубом. Здесь получено было известие, что Стародуб занят 10,000 Русских и Казаков, и что неприятельская армия идет к Батуруину впереди шведских полков, которые также имели повеление следовать, мимо Стародуба, к Батуруину.

Когда армия отошла за несколько миль от Стародуба, явился казацкий офицер, посланный Мазепою, с одним лифляндским кистером, который говорил по-немецки и по-казацки (по-малороссийски). Г. М. Крейц повстречался с ними на дороге, и сам сопровождал Казака к Королю. Офицер просил Короля, переменяв маршрут, идти на Новгород-Северский и там занять позицию. Король обещал следовать этим путем, и приказал мне взять офицера с собою на квартиру. Когда мы обедали, пришел слуга казацкаго офицера из Новгорода-Северскаго с известием, что фельдмаршал Шереметев идет туда со всею армиею.

Офицер просил меня уговорить Короля к немедленному отправлению отряда для занятия там позиции. Я тотчас пошел к Его Величеству, и передал совет офицера. Король обещал, но промедлил до вечера. Тогда только приказано было г. м. Крейцу идти к Новгороду-Северскому с несколькими полками кавалерии и пехоты. На следующее утро, Король хотел выступить с остальною армиею туда же. Крейц подошел к Новгороду за милю, и взял здесь несколько пленных, пробиравшихся в город. Пленные показали, что русская пехота уже заняла город, и что фельдмаршал Шереметев стоит в полумили отсюда, за большим болотом. Г. М. Крейц донес обо всем этом Королю, который и ускорил своим движением для атаки неприятеля. Но прежде нежели армия пришла на место, Шереметев уже переправился через Десну в Новгород. Король приказал навести через Десну мосты при шанце, находившемся в полуторе мили от Новгорода; армия же была расположена (25 Октября) по деревням в одной миле от города. Неприятель укрепился окопами на другом берегу реки, и построил батареи при всех переправах. Так как батареи мешали производству работ, то Король решился не переправляться здесь через Десну.

Тремя милями ниже по реке, явился к Королю Мазепа (29 Октября). Что говорил он с Его Величеством, я не знаю; но Король вознамерился перейти Десну тремя милями ниже. — Хотя неприятель и старался воспрепятствовать переправе, однако был оттеснен (2 и 3 Ноября), и тогда армия двинулась дальше. На походе было получено известие, что неприятель занял и сжег Батуриин (3-го Ноября), а потом русский отряд отступил к своей главной армии. Не смотря на то, Король пошел к Батурину, и армия расположилась (8 Ноября) на квартирах по деревням, по сию сторону реки Сейма.

Граф Пипер прислал за мною, и когда я явился, сказал мне: «Мазепа говорил со мною и просил, чтобы Король оставил гарнизон в городе, называемом Гадячем, который сильно укреплен и может быть очень полезен в том отношении, чтобы удерживать неприятеля вдали от четырех округов». — Я отвечал: «Я знаю, где лежит Гадяч, но мне неизвестно, так ли он хорошо укреплен и так ли важен, как говорит Мазепа. Если Королю будет угодно занять этот город, то, по моему мнению, слишком смело отделять на такое пространство гарнизон от армии: до Гадяча больше восемнадцати шведских миль (180 верст)». — Граф отозвался: «Да, не близко!»

На другой день Король позвал меня к себе, и когда я пришел, Мазепа и фельдмаршал находились у Его Величества. Король повторил мне предложение Мазепы, потребовал моего мнения, и услышав мой отзыв, сказанный накануне графу Пиперу, согласился, что Гадяч слишком далеко от армии. Его Величество спросил у меня другого мнения. Я отвечал: «Есть город, называемый Ромны, при реке Суле, текущей в шести милях от Гадяча. Там, коль скоро будет угодно Вашему Величеству, ближе поддерживать войка, находящийся в Гадяче». — Король и фельдмаршал обратились к Мазепе, который сказал: «Ромны город хороший; в округе можно поместить армию; и Ромны ближе шести миль от Гадяча». — Король решился занять Гадяч; армию же направить к Ромнам. Мне было приказано распределить квартиры в роменском Округе.

Полковник Дальдорф, с своим и еще одним пехотным полком, был откомандирован для занятия Гадяча. Армия расположилась (16—18 Ноября) в окрестностях Ромен, где была главная квартира. На этом переходе, полковник Дюкер отделился с своим полком от пехоты, пошел к местечку Смелому, и был атакован неприятелем. Однако подоспела к нему на помощь пехота из деревни Хмелевой, и неприятель был оттеснен. В то же время неприятель атаковал пехоту, стоявшую с обозом в деревне Хмелевой, и стал ее сильно теснить; но полковник Дюкер, пришедший на помощь, отбил неприятеля. Тогда полки сии отправились далее, для занятия квартир в Роменском Округе.

Мазепа, по приходе с своими казаками к Гадячу (19 Ноября), имел дело с неприятелем, занимавшим небольшой город Веприк, в одной миле от Гадяча. Принужденный отступить к Гадячу, Мазепа сам приехал в Ромны. Полковник его Апостол перешел к не приятелю, который стоял при реке Псёл, три мили ниже Гадяча. Главные же силы Русских были расположены при Лебедине и Сейме, в четырех милях выше Гадяча. В сих позициях обе стороны простояли до 15 Декабря спокойно, кроме стычек, происходивших между разъездными партиями.

(*) Миргородский полковник Апостол был прислан к Петру Мазепой, который, уже после измены своей, предлагал выдать Карла XII с главными генералами, и тем заглазить свое преступление. Полковник Апостол, по неведению увлеченный Мазепой, раскаялся и был оставлен в царской службе. Я. Т.

В это время, Король отдал при главной квартире приказ возвратить всех с фуражировки, о чем известили меня инженерные офицеры. Я тотчас отправился в главную квартиру для точнейших сведений. На дороге я встретил Короля, который и воротился со мною в мою квартиру. Его Величество сказал, что не может допустить, чтобы неприятель беспокоил нас на квартирах, и потому хочет прогнать его. — Я отвечал: «Мы находимся в неприятельской земле и иначе не может быть. Но слава Богу, до сих пор неприятель не причинил большаго вреда армии Вашего Величества». — Король отвечал: «Мы должны прогнать неприятеля дальше для того, что бы занять лучшие квартиры, а теперешняя

никуда не годятся». — Я сказал: «Мне весьма прискорбно, что эти квартиры не нравятся Вашему Величеству. Однако сомнительно, чтобы в другом месте мы нашли квартиры лучше и безопаснее». — Король возразил: «Вокруг Гадяча, говорят, есть лучшие города и селения». — Я отозвался: «По собранным мною сведениям, по ту сторону Гадяча, до степи, есть, действительно, несколько городов, но мало деревень. Малочисленность же селений зависит будто бы от того, что, при вторжении Татар, все жители спасаются, с имуществом и скотом, в городах». Король сказал: «Собранные вами сведения неверны; я утверждаю, что там есть большие деревни и города, и лучше стоять там, нежели здесь». — Я отвечал: «Я сказал только то, что мне было сообщено». Король велел приготовить маршруты и вышел от меня.

В тот же день поспешил я к фельдмаршалу, который, выслушав волю Его Величества, отвечал мне быстро: «По моему мнению, всего лучше и надежнее прогнать неприятеля». Заметив, что фельдмаршал одинаково мыслить с Королем, я удержался от дальнейших возражений. На возвратном пути повстречался я с графом Пипером, шедшим в главную квартиру. Он подзвал меня к себе, и спросил: «Что опять за глупость, что Король хочет выступать?» — Я отвечал, что ни какой причины не знаю, кроме того, что Король недоволен настоящими квартирами». — Граф отвечал: «Король сам виноват. Если бы план, касательно Стародуба, был выполнен надлежащим образом, то мы имели бы лучшие квартиры. Впрочем, и теперешние квартиры, кажется, довольно хороши, потому что полки уже запаслись на долгое время провиантом и фуражем. Я, с своей стороны, имею фуража на два или на три месяца». Я сказал: «Дай Бог, чтобы Его Величество остался здесь, а я уверяю, что ни около Гадяча, ни в другом месте, нигде не найдем таких безопасных и удобных квартир». Граф пошел к Королю с тем, чтобы убедить Его Величество остаться в настоящем расположении.

Вся армия выступила 17 Декабря 1708 года, и все полки, стоявшие по реке Суде на квартирах, пошли в другие деревни на Коралле. Прочие полки подвинулись к Суле, и заняли очищенные квартиры. Когда я прибыл, с квартирмейстерами и Валлахами Короля, к деревне Липовой Долине, то наткнулся на неприятельский разезд из 150 драгунов. Они были разбиты, взяты в плен, и из них спаслись только четыре человека. Командовавший офицер сказал мне, что Царь выступил со всею армиею для нападения на Гадячь. Я спросил: известно ли Царю, что шведская армия на походе? — Офицер отвечал, что Царь ничего об этом не знает, но получит теперь известие от четырех спасшихся драгунов. Я донес это Королю, после чего Его Величество немедленно отправил в Гадячь две партии своих Валлахов с приказаниями к полковнику Дальдорфу. Однако Валлахы не могли попасть туда, потому что неприятельская войска уже находилась перед Гадячем. Они донесли, что неприятель зажег предместье Гадяча. Король выступил на другой день (18 Декабря), и пошел к Гадячу, откуда неприятель отступил после сожжения предместья. Король занял город. Но как большая часть домов была сожжена, то и третьей части войск нельзя было разместить под кровлею, от чего, при сильной стуже, полки лишились многих солдат.

Король стоял здесь до сочельника. За день перед этим, он приказал мне изготовить маршруты к Веприку, и я должен был тотчас же составить их за королевским столом. Я представил Его Величеству, что армия на этом походе, при чрезвычайной стуже, может подвергнуться большому несчастью, и прибавил, что, по моему мнению, гораздо лучше воротиться на прежние квартиры и разрушить валы Гадяча. — Фельдмаршал сказал: «Полковник говорит дело, и этот план, кажется, самый лучший».

Но Король возразил: «Нет! этого я никогда не сделаю». По воле Короля, я написал маршруты, которые тотчас же были отправлены по полкам. В сочельник, рано утром, выступила армия и двинулась к Веприку. Когда увидели нас неприятельские часовые (форпостов неприятель не выставил по причине жестокой стужи), то находившиеся здесь 6,000 человек отступили с величайшею поспешностью к своей армии, которая стояла при Лебедине, в трех милях от Веприка. Но пехота и Казаки, в числе слишком 2000 человек,

остались в Веприке, заперли и завалили ворота. Король приказал гвардии атаковать их; однако, по неимению топоров для разломки ворот, и штурмовых лестниц для перехода через вал, Его Величество решил обложить Веприк двумя полками кавалерии и двумя полками пехоты. Прочие полки последовали за Королем до одной деревни, в полумиле от Веприка, где и простояли весь праздник Рождества Христова, пока длилась страшная стужа, похитившая многих солдат. Поелику не многие могли быть размещены по домам, то большая часть людей построила вокруг огней соломенные щиты. Король приказал сказать Веприкскому Коменданту (*), чтобы он немедленно сдался военно-пленным с своим гарнизоном; в противном случае, город будет взят приступом, гарнизон истреблен, а он повешен на воротах. Комендант отвечал: «Зная, что Король уважает отличающихся храбростию, он не думает, чтобы Его Величество, в случае победы, поступил так жестоко, ибо, по повелению Царя, он должен защищаться до последней возможности».

(*) Мужественному подполковнику Юрлову. Л. Т.

После Рождества Христова, когда стужа уменьшилась, Король приказал мне написать маршрут к городу Зинькову, и расположить полки на постоянных квартирах. 30-го Декабря, Король прибыл в Зиньков.

5-го Января 1709 года, Король отправился с фельдмаршалом к Веприку, не известив меня об этом, а вскоре после, когда я еще спал, пришел ко мне камер-юнкер, Густав Адлерфельд (*), и спросил: «Известно ли мне, что Его

(*) Густав Адлерфельд, восторженный поклонник военной славы Карла XII, находился при нем безотлучно до самого сражения под Полтавою, где убит пушечным ядром возле носилок Короля. Адлерфельд, пользуясь, по приказанию Карла, официальными сведениями обо всех военных действиях, написал дневник, доведенный до Полтавской Битвы, одно из важнейших пособий для истории Северной Войны. Эта рукопись, на шведском языке, была захвачена Русскими, вместе с вещами Принца Максимилиана Вюртембергского, а потом она досталась сыну Адлерфельда, который издал ее на Французском языке.

(Военная История Карла XII, Короля Шведского, от 1700 года до сражения при Полтаве в 1709 году, написанная по особому повелению Его Величества камергером Густавом Адлерфельдом. С присовокуплением подробной реляции о полтавском сражении, и журнала отступления Короля к Бендерам. Амстердам 1740 года. 4 тома в 12 д. л.). Я. Т. Величество пошел брать Веприк?» — Я отвечал: «Решительно ничего об этом не знаю». — Затем Адлерфельд спросил: «Не поеду ли я туда, и в таком случае он последует со мною?» — Я сказал: «Сейчас узнаю я в главной квартире, кто отправился за Королем». Узнав, что с Его Величеством поехали все генералы, также полковники Зигрот и Карл Гардт, я поспешил в Веприк с камер-юнкером Адлерфельдом. По приезде, мы: узнали, что Король и фельдмаршал выехали с генералом Штакельбергом и полковником Зигротом, которым было поручено составить диспозицию к атаке Веприка. В этом деле, я не принимал ни какого участия. 6-го Января, в день, назначенный для приступа, был я, вместе с прочими полковниками, в комнате Короля. Его Величество дал прочесть фельдмаршалу написанную диспозицию. Фельдмаршал заметил: «Ваше Величество вмешиваетесь в дело Гилленкрока». — Король отвечал: «Это не осада, но приступ. Мы сами распорядимся им». Потом, Король приказал мне выслушать диспозицию штурма, которую фельдмаршал и прочитал громко в присутствии Его Величества. По прочтении бумаги, Его Величество и фельдмаршал спросили моего мнения. Я сказал: «В диспозиции не может быть никакой перемены, потому что она имеет три надлежащие отдела, которые надобно принимать в соображение при всех атаках. Единственное мое замечание состоит в том, что люди со штурмовыми лестницами слишком открыты, так как приступ будет днем, и если эти люди погибнут, то и лестниц некому приставить к стенам». — Король отвечал: «Ничего подобного не случится; я буду орудиями обстреливать вал, так что неприятель и не посмеет выглянуть». Тогда я предложил изготовить несколько фашинных мантелетов (переносных щитов), под прикрытием которых можно идти до вала и

постоянными выстрелами, не допускать неприятеля вредить людям с штурмовыми лестницами. Король отозвался: «Такия затей не нужны, потому что орудия будут обстреливать вал. В полдень последует приступ, и вы увидите, как быстро ворвутся солдаты в Веприк».

На приступ пошли полковники де Фритм, графы Каспар и Яков Сперлинги и Альбедиль. Солдаты, которые несли штурмовые лестницы, были, большею частию, перебиты, и только две лестницы достигли вала. Вообще же было убито слишком 1000 человек, и много ранено. Фельдмаршал получил контузию в грудь в то время, когда ехал через поле к драгунам, которые должны были подвинуться к самому валу и стрелять в неприятеля из пистолетов.

После этого не удачного дела, Король приказал генералу Левенгаупту послать от своего имени к Веприкскому Коменданту офицера, и сказать ему, что мы ночью опять будем штурмовать, непременно возьмем город, и тогда нет никому пощады. Если же он сдастся военнопленным, то все могут надеяться на хорошее обращение и на сохранение своего имущества». Комендант отвечал: «Если бы Его Величество сделал это предложение при самом начале, то он тотчас же и охотно согласился бы быть его пленником». Затем комендант сдал ночью один пост нашим войскам, а через день гарнизон был отведен в Зиньков, где получил хорошия квартиры. На полковника Ранка возложено наблюдение за пленными и попечение об их продовольствии.

В Зинькове пришла Королю мысль: разделить военнопленных на партии в 300 человек, и так обменивать их. Я одобрил столь благодетельную меру; но она не состоялась. Когда вся пехота расположилась в Зинькове и Лютенке на квартирах, Король получил известие, что неприятель занял несколькими драгунскими полками места, предназначенныя мною для квартирования наших войск, а именно: Городню, Козьмино, Опошнуа, Полтаву четырьмя полками пехоты. Ольтва, на Псёле, также была занята. В следствие этого известия, полковник Дюкер был откомандирован с 600 человеками для атакования неприятеля в Городне. Он, действительно выгнал оттуда Русских (20 Января) и взял несколько пленных. Шведская армия была слишком разбросана; генерал-майор Крейц стоял, с одинадцатью полками кавалерии, слишком за четырнадцать шведских миль (140 верст) от главной квартиры. Неприятель же находился от нас, со всею армиею, только в трех шведских милях, так что если бы он вздумал атаковать, то я опасался дурных для нас последствий. Об этом докладывал я Королю, но Его Величество отвечал, как и всегда, что «неприятель не посмеет атаковать нас». — Граф Пипер уверил меня, что он, при удобном случае, переговорит об этом с Королем. А как неудачное дело при Веприке весьма огорчило Короля, то и надлежало обождать несколько времени, пока Король успокоится.

Когда неприятель усилился в Опошне, в трех милях от главной квартиры, Король вознамерился вытеснить его оттуда, и приказал достать мне проводников. Король выступил с 6 полками кавалерии в вечерняя сумерки (27-го Января), и мы следовали всю ночь, так что через час после разсвета (28-го Января), достигли Опошны. Неприятель выслал против нас несколько эскадронов; но, увидев шедших впереди Валлахов, и заметив движение других полков, готовившихся к атаке, он поспешно воротился в местечко, преследуемый до самой Ворсклы полком полковника Таубе и королевскими Валлахами. Король тронулся с прочими полками, чтобы отрезать неприятеля от реки, но, по причине чрезвычайно крутаго спуска, невозможно было сойти к реке. Король принужден был воротиться и поспешно пройти чрез город. Встретив неприятеля, стоявшего в числе 8,000 человек при Ворскле, Король тотчас атаковал его и прогнал. Неприятель потерял более 1,000 человек убитыми и 150 пленными. Король остановился в Опошне. В тот же вечер отправлен был генерал-адъютант Дюваль с приказанием в Зиньков, чтобы два полка пехоты шли с г. м. Роосом в Опошну, а прочие полки и артиллерия, под начальством г. м. Крузе, в Козьмино, и ожидали бы Короля при Котильве. Г. м. Крейц, стоявший на другом берегу Псёла, занял позицию на этой стороне, в Ольтве. В Опошне оставлено было только 60 драгунов для надзора за 150 русскими пленными. Король ре-шился выступить к

Котильве с 6 полками. Я напомнил Королю, что 60 драгунов, оставленных с русскими пленными, подвергнутся опасности, если Его Величество выступит из Опошны, прежде нежели прибудет пехота. Король сказал: «Неприятель прогнан, и сюда не воротится». — При приближении Короля к Котильве, неприятель отступил. На другое утро получено из Опошны известие, что неприятель атаковал находившихся там 60 драгунов, и не только освободил своих пленных, но и взял в плен команду.

Между тем как Король стоял при Котильве, явился шведский обер-аудитор Эренкас (Ehrenkas), отпущенный на слово для переговоров об обмене пленных. Эренкас рассказывал, что когда неприятель вел его во всю дорогу, около полумили, до города, с завязанными глазами, он слышал движение неприятельских войск вправо от себя в деревнях и других местах. Тогда я сказал Его Величеству: «Опасаясь, не намерены ли Русские предпринять чтонибудь против г. м. Крейца и полков, расположенных за Псёлом». Король отвечал: «Крейц, верно, примет меры, чтобы неприятель не нанес ему какого вреда, если бы на то решился. Но я не думаю, что бы Русские решились». По прибытии в Котильву графа Пипера с главной квартирою, аудитора отослали назад. Обмен пленных не состоялся.

Затем Король выступил (9 Февраля) по направлению к Ахтырмам, где находился неприятель со всею своею кавалериею. Король приказал атаковать русский авангард, который не принял, впрочем, сражения, а отступив с кавалериею через город, зажег оный. Сии неприятельския войска отошли к Богуденке и Красному Кусту, чтобы здесь занять позицию. После этого, г. м. Гамильтону поручено было отправиться с полком чрез Ахтырки и Лебедин, сжечь там все и потом воротиться на прежнюю квартиру, в Будищи. Король выступил (11 Февраля) с гвардиею, Далевым полком, артиллериею и кавалерийскими полками к Красному Кусту, где стояли 10,000 неприятельских драгунов, которых Его Величество приказал атаковать 21 эскадроном. Неприятель, потеряв 2000 человек, отступил к Богуденке. Король остался с кавалериею на ночь у Городни. На другой день (12 Февраля), прибыли пехота и артиллерия, и с сими войсками последовал Его Величество за неприятелем к Богуденке. Но как разнесся слух, что неприятель ретировался со всею армиею в Белгородский Округ, то Король двинулся (13 Февраля) к Коломаку. На этом пути сожжены были все деревни и города, оставленные самими жителями.

В Коломаке, Король приказал мне осведомиться о дорогах в Азию. Я отвечал: «Азия далеко отсюда, и вовсе не в этой стороне». Король возразил: «Мазепа сказал мне, что Азия недалеко отсюда. А мы должны туда идти, чтобы можно было сказать: мы были в Азии!» — Я отвечал: «Ваше Величество изволите шутить со мною, и, конечно, не думаете о походе в Азию». — Король сказал: «Я не шучу. Вы должны осведомиться о дорогах туда.» — Я отвечал, что немедленно это исполню, и тут же прибавил, что Азия отдалена от нас на несколько сот миль. От Короля пошел я к Мазепе, и просил его сообщить мне сведения о дорогах в Азию? Мазепа спросил меня: для чего мне нужно знать о дорогах в Азию? — Я отвечал: «Ваше Превосходительство сказали Королю, будто Азия отсюда недалеко, и потому Его Величество, приказав мне осведомиться о дорогах, намерен туда идти». — Мазепа очень испугался и сказал, что он пошутил с Королем. — Я отвечал: «Ваше Превосходительство сами видите, что Его Величество славлюлюбивый Государь, который часто, без всякой пользы, идет далее и далее. Иногда такой разговор опасен». — Мазепа обещал тотчас сходить к Королю и просить его о перемене намерения. — Возвратясь к Королю, я сказал: «Я был у Мазепы с тем, чтобы узнать от него о дорогах в Азию, так как все здешние жители, у которых я спрашивал об Азии, ничего об ней не знают. По этой причине я должен был обратиться с вопросом к Мазепе, который уже говорил с Вашим Величеством». — Король спросил: «А что отвечал Мазепа?» — Я сказал: «Он очень испугался, потому что просто шутил с Вашим Величеством. Он обещал немедленно явиться перед Вашим Величеством с извинением». Король много смеялся и сказал: «Вы так, напугали старика, что он заболит». — Я отвечал: «Не моя будет вина, если он

захворает или умрет. Я его не просил шутить с Вашим Величеством. Я думал, что Ваше Величество непременно хотите предпринять поход в Азию».

Король приказал мне составить маршрут для обратного похода к Опошне. Полки двинулись затем 15 Февраля 1709 года. В это время настала такая оттепель, что вскрылись все реки, а по дорогам было столько воды, что она покрывала почти орудия и обозные фуры. Наконец, с величайшею опасностью переправились мы через Ворсклу, к Опошне (19 Февраля). Здесь получил Король известие, что неприятель атаковал полк полковника Альбедилля (в Рашевке, 15 Февраля), при чем несколько сот человек было частью убито, частою взято в плен и с полковником; обоз также был захвачен. Остатки полка спаслись за Пселом, в Лютенке, где стояла пехота. Г. м. Крейц, известясь об этом, хотел поспешить полку на помощь; но он подоспел уже тогда, как неприятель со всеми своими силами, простиравшимися до 20,000 человек пехоты и кавалерии, отступил к Локавичу. Крейц занял между тем позицию в деревнях, вдоль Псела. Король перенес (3 Марта) свою главную квартиру в Будищи, а Опошна была занята двумя полками пехоты, 2 полками кавалерии и всею артиллериею. Прочие полки стояли, по Ворскле, до Полтавы, и в селениях около этого города. По причине вскрытия всех рек, гарнизону Гадяча приказано было оставить сей город, и занять позицию в Лютенке, при пехоте. Четыре пехотные полка отправлены в Решетиловку для соединения с генерал-майором Крейцем, который находился там с 10 полками кавалерии, чтобы наблюдать за фельдмаршалом Шереметевым, стоявшим с 20,000 войска при Ольтве. Остальная часть пехоты расположилась на квартирах в Будищах. Находясь в Будищах, Король часто ездил к Полтаве с полковником Зигротом. Долго не мог я узнать, какия были намерения Короля. Наконец, один казацкий офицер, состоявший при Мазепе, рассказал мне, что подполковник Зильфергельм вел переговоры с казацким полковником Левеным, находившимся с Русскими в Полтаве. Этот полковник хотел доставить нам случай напасть врасплох на Полтаву. Но переговоры не имели успеха. Неприятель, узнав про это, арестовал и выводит из города казацкого полковника.

Не знаю, присоветовал ли кто Королю осаду Полтавы, или неудавшиеся переговоры подали к тому повод. Дело в том, что, чрез несколько времени, Король пришел ко мне с полковником Зигротом и сказал: «Капитан Эллер занял, с 200 человек, на одной дороге такую выгодную позицию, что никто не может пройти в Полтаву». Я отозвался: «Положение Полтавы, должно быть, необыкновенно, ежели один пост может запереть целый город». Король и полковник Зигрот, подтвердив это, заметили, что Полтава лежит высоко, что хотя внизу, по берегу Ворсклы, есть дорога, однакож она понята водою, и потому никому нельзя миновать поста капитана Эллера, и что, наконец, повелено Эллеру укрепить пост, наименовав это укрепление Эллербургом. Говоря это, Король казался очень довольным и веселым; он просил меня съездить, с несколькими офицерами, к Полтаве, и для удобнейшей рекогносцировки местоположения взять прикрытие от генерала Гамильтона. Я поехал с несколькими офицерами, и исследовал все, по возможности. Когда я воротился, Король пришел ко мне с полковником Зигротом и спросил, в том ли виде нашел я местность, как говорено было Его Величеством? Я отвечал: «Так как вода покрывает всю дорогу, то, конечно, нельзя, идя в город, миновать ретраншмент капитана Эллера, или посты, охраняющие дорогу с суши». Король прибавил: «И патрули Эллера не должны допускать до этого». Полковник Зигрот показал мне, в присутствии Его Величества, небольшой изготовленный им рисунок Полтавы. Король спросил меня: «Верен ли рисунок?» Я отвечал, что хотя в поспешности и не мог подробно рассмотреть Полтавы, однако нахожу рисунок Зигрота довольно верным. Король приказал мне составить новый чертеж и представить Его Величеству. Чертеж, мною составленный, не вполне согласовался с рисунком Зигрота, особенно в отношении к цитадели, находившейся на высшем пункте. Король приказал послать несколько инженерных офицеров, не удастся ли им снять Полтаву и изготовить возможно точный план. Рассмотрев мою работу, Король отозвался, что план верен, и чтобы по этому чертежу я

расположил атаку. Я спросил: «Разве Ваше Величество намерены осаждать Полтаву?» Король отвечал: «Да, и вы должны составить диспозицию осады и сказать нам заранее, в какой день мы завладеем городом; так делает Вобан во Франции, а вы здесь маленький Вобан». — Я отвечал: «Дай Бог, чтобы я заступал при Вашем Величестве место Вобана. Но я полагаю, что и сам Вобан, великий инженер и генерал, увидел бы себя в немалом затруднении, потому что не имел бы под рукою того, что нужно для осады». Король отвечал: «У нас довольно всего, что может быть нужно против Полтавы. Полтава крепость ничтожная». Я отвечал: «Крепость, конечно, не из сильных; но, по многочисленному гарнизону из 4,000 Русских, кроме Казаков, Полтава не слаба». Король сказал: «Когда Русские увидят, что мы хотим атаковать, то, после первого выстрела, сдадутся все». Я отвечал: «Такая случайность совершенно от меня сокрыта. Я только наглядно могу судить о положении крепости и о гарнизоне. Не могу также не думать, что бы неприятель, заняв сию позицию, не защищал ее до последней крайности. Если же это случится, то пехота Вашего Величества может погибнуть». Король возразил: «Мы не много употребим пехоты при осаде, а пошлем Запорожцев Мазепы». Я просил Короля обдумать, как мало можно полагаться на Запорожцев, когда с ними нельзя говорить без переводчика, и как они несведущи в осадных работах. Я уверен, что они наскучат работою и разбегутся, коль скоро из среды их будет убито несколько человек. Тогда все-таки шведская пехота должна, ко вреду своему, продолжать осадные работы». Король отвечал: «Уверяю, что Запорожцы сделают все по моему желанно, и ни один из них не побежит. Мы прикажем хорошо платить им». Я заметил еще: «Если бы и можно было употребить Запорожцев на работу, то у нас нет пушек для сделания бреши, или для разрушения палисадов». Король отвечал: «На это у нас достанет пушек, и вы сами видели, что Бинов пробивал иные дома, которые толще палисада». Я возразил: «Нисколько не сомневаюсь, что он может пробить палисад, когда попадет в него. Но вопрос в том, может ли он уничтожить сто или несколько палисадов?» Король сказал: «Если может пробить один, то может и сотню». Я отвечал: «Конечно, это возможно, но опасаясь, что когда Бинов собьет сто палисадов, то не останется ни пороха, ни ядер». Король отозвался: «Вас не должно затруднять это дело. Вы привыкли к большим осадам, и когда не имеете всего нужного, то везде видите невозможность. Мы должны изворачиваться тем, что имеем в своем распоряжении, точно так как и неприятель должен довольствоваться своими наличными средствами». Я сказал: «Я поступил бы непростительно и неблагородно в отношении Вашего Величества, если бы создавал затруднения там, где их нет. А где нет затруднений, там я с величайшим удовольствием и радостью исполню желание Вашего Величества. Я только предвижу, что не достигну цели с малым числом орудий, и с апрошами могу сделать только то, что подойду ближе к неприятельским веркам. Тогда пехота должна будет одна брать Полтаву с величайшими усилиями, предполагая упорную оборону неприятеля; а ваша пехота, находясь в дурном состоянии, может погибнуть». Король сказал: «Говорю наверное, что дело не дойдет до штурма. Они сдадутся». Я заметил, что не вижу и не понимаю, как это может случиться без особенного счастья. Король, усмехнувшись, отвечал: «Мы совершим необыкновенное дело, и приобретем славу, и честь». Я сказал: «Бог знает, необыкновенное ли это предприятие. Я только страшусь необыкновенного окончания дела». — «Приготовьте только план и проект, возразил Король, а потом, когда мы поведем атаку, вы увидите, как скоро она будет кончена». Между тем явился из Полтавы переметчик, русский поручик. Он сообщил мне длину валов, но без профиля. Я изготовил, как мог, план, определив известные пункты инструментами. В это время (24-го Апреля), Король поехал к г. м. Крейцу, стоявшему у Решетилówki, потому что неприятель двинулся его атаковать; но так как Крейц стоял с своими полками позади большого болота, то движение это не имело последствий. Король приказал двинуться сим полкам к Полтаве и расположиться в ближайших деревнях. По возвращении, Король пришел ко мне с полковником Зигротом, посмотреть изготовленный мною план. Король одобрил план и признал местность вполне удовлетворительною. Я сказал, что хочу повести атаку прежде

всего на пригород, на ту сторону, где стоит высокая деревянная башня над городскими воротами, а потом уже атаковать русское предместье, ибо перебежавший поручик сказал, что в русском городе только один колодезь, а в пригороде колодезей много, и Русские берут из них воду

Следовательно, до получения дальнейших известий о местоположении, должно предположить атаку отсюда. Вместе с тем я всеподданнейше просил Его Величество «обдумать, сколь малую пользу принесет взятие Полтавы, и какой великий вред может произойти в случае неудачи». Но Король отвечал «Я атакую и возьму город». — Разсматривая мой план, Король спросил меня: «Каким образом думаю я составить апроши?» Я отвечал, что хочу составить только три паралели, с простою между ими коммуникационной линиею, дабы в первую ночь дойти до рва». Король отвечал: «Дельно, и вы должны так поступить». Я начертил карандашом проект апрошей, который Его Величество одобрил. При этом я сказал: «Ежели я получу достаточное число лопат и рабочих, то надеюсь в первую же ночь дойти до рва». Король отвечал: «Получите все по вашему желанию, и спросил: «сколько надобно людей для первой ночи?» Я оказал, что определить в точности не могу до тех пор, пока не узнаю свойства земли, вынудой при рытье; однако, по самой меньшей мере, надобно по 300 человек на каждую паралель и соединительную линию. Кроме того, нужно иметь еще других людей для подноски фашии и туров». Король, по видимому весьма довольный, сказал: «Вы получите все, что желаете». Он приказал мне изготовить проект и дать знать инженерным офицерам, чтобы они, по первому повелению, могли отправиться в Полтаву.

Генерал-майор Крузе был послан с несколькими кавалерийскими полками и несколькими сотнями Казаков против неприятельского отряда, который стоял по другую сторону Ворсклы, в двух милях от Днепра, с тою целию, чтобы переманивать на свою сторону наших Казаков, которые находились против их по сию сторону Ворсклы. Г. м. Крузе про» гнал неприятельский отряд.

Король приказал мне назначить для армии позицию и квартиры в окрестностях Полтавы. Так как в сих окрестностях было не много деревень, то я назначил их для пехоты, стоявшей перед Полтавою, а кавалерия должна была расположиться подалее, и содержать себя фуражировкою. Король одобрил мой проект и повелел мне, в последний день Апреля, быть с инженерными офицерами под Полтавою, чтобы 1-го Мая открыть апроши.

30-го Апреля отправился я с инженерными офицерами к Полтаве, где нашел Короля с Далевым полком. Его Величество приказал мне в тот же вечер открыть траншеи. Я попросил позволения исследовать местность около пригорода с инженерными офицерами, чтобы в темноте они не заблудились. Король отвечал: «Нет надобности в подробном исследовании места. Где бы ни начали, все равно». Я стал умолять Его Величество взять терпение на эту ночь, а в следующую начать работы. Сначала, Король не соглашался, но, по убедительной просьбе моей и Зигрота, изъявил наконец согласие. Я тотчас же поехал со всеми инженерными офицерами осматривать Полтаву. Попавшийся на дороге фельдмаршал попросил меня показать ему укрепления Полтавы. Я повел фельдмаршала на небольшое возвышение, откуда он мог обозреть крепость. После внимательного обозрения он сказал: «Укрепления плохи, и я уверяю вас, что, по первому выстрелу Короля, они сдадутся». Я отвечал: «Укрепления не важны; но гарнизон состоит из 4,000 человек русской пехоты, кроме Казаков». Затем Фельдмаршал уехал, а я продолжал рекогносцировку с офицерами. Найденный мною под городом лесок в 200 шагов длины, поросший кустарником, назначил я для работы, потому что почва земли была хорошая, не каменистая, не покрытая травою, как в тех местах, где дома предместья были выжжены. В тот же день я показал это место Королю, и он одобрил мой выбор.

1-го Мая 1709 года, я приказал открыть траншеи, разставив часовых едва в двадцати шагах от края рва. Причиною, почему неприятель не мог слышать нашего приближения, был русский обычай, в следствие котораго, при наступлении темноты, все караулы вокруг

валов безпрестанно окликают друг друга; например: «добрый хлеб и доброе пиво!» Во время этого крика, Король сам побежал через поле, и довольно громко позвал своего генерал-адъютанта. Я просил Короля говорить потише, чтобы не встревожить неприятеля, ибо тогда он начнет стрелять и помешает рабочим окопаться. Лишь только я сказал это Королю, как неприятели смолкли, перестали окликать друг друга и зажгли вокруг всего вала огни. В тоже время они начали бросать на поле светящаяся ядра. Попуганные люди все прибежали ко мне в лесок, где я находился, потому что я приказал инженерным офицерам, которые вели апроши, и тем, которые были при рабочих, искать себя возле леса, если надобно будет об чем спросить, или чтонибудь донести. После такой тревоги, неприятель начал неумолчно стрелять с вала, от чего все Запорожцы, долженствовавшие работать, разбежались. Я заметил Королю, какую сумятицу столь ничтожное происшествие может наделать между народом, подобным Запорожцам, которые ничего в таких делах не смыслят; но Его Величество возразил: «Это не беда; мы скоро их воротим». Король приказал своему генерал-адъютанту собрать Запорожцев, а я приказал, впредь до повеления, прикрывавшим их командам прилечь на поле. Через час, неприятели стали стрелять реже, заметив, что наши не двигаются вперед.

Во время тревоги у траншеев, полковник Апельгрэн был, со многими другими офицерами, за ужином у фельдмаршала, который рассказывал, что Король сейчас приказал открыть траншеи под Полтавою, и что, по первому выстрелу Его Величества, город немедленно сдастся. Пока фельдмаршал это говорил, неприятельские выстрелы не умолкали. Тогда фельдмаршал сказал гостям: «Неужели Русские до такой степени безразсудны, и станут защищаться?»

По возвращении Запорожцев, я подвинул служивших им прикрытием солдат на прежнее место, и объявил повеление Короля, что они не должны удаляться отсюда, хотя бы неприятель постоянно бросал светящиеся ядра; что, напротив, они обязаны крепко держаться на своих местах до разсвета, а потом, в порядке и тишине, отойти к траншеям. Таким образом проработали над апрошами всю ночь. Однакож до разсвета не могли окончить всех трех паралелей и их комуникационных линий, особенно ближайшей ко рву, которая имела еще не больше сорока шагов в длину. Комуникация от этой паралели к другим не могла быть окончена, потому что шла зигзагом. И так надлежало и днем работать над нею сапами, и по этой причине нельзя было занять оной. Но две другия паралели были заняты войсками и исправляемы днем.

На следующую ночь, комуникационная линия была почти готова до передней паралели. Тогда я спросил Короля: «Не благоугодно ли ему будет штурмовать до разсвета, и не прикажет ли занять позицию при палисадах за рвом. Король, не изъявив согласия, сказал, чтобы я прошел с сапами через ров и заложил мину под валом, дабы можно было видеть, как это будет сделано. Я отвечал: «Охотно исполню желание Вашего Величества, но должен предупредить, что подобная работа идет медленно». — Король отвечал: «Нужды нет! Нам надобно упражняться в таких работах».

Вскоре потом Король получил известие от отряда, расположенного при Будищах, также от полков, находившихся при Опошне, что неприятель, со всею своею армиею, стоит на другом берегу Ворсклы, и что он захватил (7 Мая), вместе с двумя орудиями, один наш пехотный пост, который должен был препятствовать переправе через реку. Король сказал мне, что хочет отправиться в Опошну, и чтобы я обращался с своими требованиями к фельдмаршалу. В отсутствие Короля, мина и сапы были продолжены через ров. Когда мину довели до вала, капитан Кронштедт заметил, что и неприятель, с своей стороны, вел работы. Тотчас уведомил он об этом фельдмаршала, и спросил, позволено ли будет уничтожить неприятельскую мину, ибо иначе нельзя продолжать свою мину. Фельдмаршал позволил. Окончив мину, капитан зарядил ее; но неприятель вытащил из нашей мины порох, и таким образом предприятие не осуществилось. Возвратись из Опошны, Король узнал с неудовольствием о сей неудачной попытке, и решился наконец штурмовать и утвердиться у палисадов. Это удалось после незначительного сопротивления; наши

утвердились там, и коммуникация через ров была восстановлена. Неприятель оградил себя на валу бочками, равно как и в пригороде, по несколько линий одна за другою. Я приказал пробить вал в предместье, и сделал длинную параллель, в которой могло поместиться около 2,000 человек, если бы Король еще раз вознамерился идти на приступ. Эта параллель прикрывалась самым валом, который был выше того места, где наши стояли. Король не решился однакож на это, а положил уничтожить пушками слабые досчатые ретраншементы неприятеля. Намерение Короля оказалось неудобоисполнимым, потому что артиллерия не имела большого запаса ни в ядрах, ни в порохе. Даже пехота, расположенная у апрошей, перестала стрелять от недостатка пороха. Ободренный тем неприятель наносил нам большой вред своею стрельбою, лишь только Швед выказывался из-за траншей у песочных мешков. В следствие этого, Король решился зажечь палисады для распространения пожара в неприятельских ретраншементах, на валу. Но неприятель, увидев приближение огня, отодвинулся с своими бочками и досками, и принялся тушить пожар. Я заметил Королю, что «все наши подобныя предприятия не выгонят неприятеля из Полтавы, если мы не решимся на штурм; но что прежде надобно или сбить или сжечь деревянную башню». Король отвечал, что не согласен на штурм, а сжечь башню сей час прикажет. — Я сказал: «Без штурма, нет надобности в уничтожении башни». Артиллерия направила огонь на башню; однако зажечь ее не удалось, потому что неприятель тушил пожар, а артиллерия, по недостатку снарядов и орудий, не могла постоянно поддерживать огня. Неприятель явился со всею своею армиею и расположился на другой стороне Ворсклы. Река была разделена на два рукава, и ближайший к нам был укреплен ретраншементами на всех переправах, для удержания неприятеля. Наконец, Русские решились занять позицию на нашей стороне, в небольшом, прилегавшем к болоту, лесу. В ту же ночь, когда это было исполнено (16 Июля), несколько тысяч неприятельских драгунов утвердились, под утро, с правой стороны при деревне Петровской, куда был назначен один Мейерфельдов полк, для наблюдения плотины на Ворскле; но полк сей был послан на другой пункт. Утвердившись у Петровской, неприятель окопал себя ретраншементами. С левой стороны, в четверти мили от главной квартиры, неприятель производил в тот же день ложную атаку несколькими эскадронами кавалерии и Казаков. Король сам отправился туда, и, оставив меня на возвышении, у одного леса, для наблюдения неприятельских движений, приказал «немедленно атаковать неприятеля нашею пехотою, скрытно стоявшею в долине, если бы он вознамерился проложить себе путь в Полтаву». Наша артиллерия, находившаяся на той же высоте, обстреливала ретраншементы Русских, так что они не могли продолжать с успехом своих работ. Неприятель имел, правда, батарею из 4 орудий в узком лесу, однакож она не слишком нам вредила. Я приказал поставить еще небольшую батарею, под высотой, на равнине, чтобы взять неприятеля во фланг, если бы он вздумал двинуться вперед.

Между тем Король был ранен при переправе через Ворсклу с леваго берега. Его Величество приехал ко мне на возвышение и сказал, чтобы я, ни под каким видом, не пускал неприятеля, к городу, но чтобы генералы Спарре и Штакельберг немедленно атаковали его пехотою. Король уехал, и я вовсе не думал о возможности случившагося несчастья. Вскоре однако прискакал генерал Лагеркрона и сказал, что Король ранен. Испуганный, я спросил: «Не убить ли?» Но Лагеркрона, отвечав нет, уехал от меня без дальнейших объяснений. Приехавший потом генерал-адъютант Дюваль приказал мне, именем Короля, явиться к Его Величеству, лишь только будут кончены все нужныя распоряжения. На вопрос мой о здоровье Короля, он отвечал: «Король ранен в ногу и лежит в постели». Когда была кончена батарея и поставлены орудия, я отправился к Его Величеству и донес о сделанных мною распоряжениях к задержанию неприятеля от переправы. Король остался всем очень доволен.

В это время пришел фельдмаршал, и донес Королю, что ночью неприятель построил на поле, перед Петровскою, семь небольших редутов, обставил их пушками и занял пехотою. Фельдмаршал показал мне в своей книге план расположения сих редутов, и объявил

Королю, что неприятель перенес свой лагерь в ближайшую к Полтаве деревню. Король приказал мне внимательно следить за всеми предприятиями неприятеля, и обо всем доносить ему.

После полудня, фельдмаршал призвал к себе на возвышение генерала Левенгаупта и всех генерал-майоров, испросил у них, именем Короля, мнения: что должно предпринять теперь против неприятеля? Генералы отвечали: «Лучше всего снять осаду». Фельдмаршал возразил: «Его Величеству это не угодно. Вопрос состоит в том, находите ли вы полезнейшим идти на неприятеля и прогнать его, или мы должны ждать, пока он сам наступит на нас?» Генерал-майор Аксель-Спарре сказал, что «по его мнению, лучше идти на неприятеля». Прочие же генералы, вместе с Левенгауптом, заметили, что «опасно наступать на неприятеля, так как дорога; по словам Гилленкрока, болотиста». Фельдмаршал спросил меня: «Каким образом полагаю я не допустить неприятеля до переправы?» Я отвечал: «Когда стемнеет, то можно, если Ваше Превосходительство одобрите, и ежели будет на то воля Короля, заложить ретраншемент на той стороне болота, где стоит неприятель, чтобы обезопасить связь с прочими ретраншементами и редутами, находящимися у реки». Фельдмаршал и генералы признали это также за лучшую меру для преграждения неприятелю дороги в город, если бы он вздумал пробиваться. Генерал-майор Штакельберг вызвался помогать в эту ночь при работах. Я, между тем, просил, чтобы вся пехота была готова для прикрытия работ, если бы неприятель захотел прорваться. Фельдмаршал изъявил свое согласие и обещал переговорить об этом с Королем.

Под вечер был я у Его Величества, где находился и фельдмаршал. Король, хорошо знакомый с местностью, спросил: как хочу я заложить ретраншемент против неприятеля? Я показал Королю на карту и объяснил, что заложу ретраншемент по сую сторону болота, дабы оставаться в соединении с редутами. Потом, предполагал я заложить несколько малых редутов, внутри ретраншемента, чтобы защищать их в случае атаки неприятеля. Малые редуты должны быть усилены палисадами. В продолжение сей работы, вся пехота может остаться на ночь в небольшом лесу, под ружьем. Король был доволен моим проектом, я приказал мне привести его в исполнение. В сумерки, двинулся я и г. м. Штакельберг, вперед с работниками, под прикрытием пехоты, и работа шла так быстро, что была готова к разсвету, и войска уже занимали свои места. Те же войска, которые находились в лесу, отошли туда, где стояли днем. На разсвете, неприятель, увидев ретраншемент, начал обстреливать его со всех батарей и пехотою, однакож не причинил большого вреда. Когда на нашем ретраншементе были положены мешки, то и наши солдаты стреляли по неприятельским рабочим, лишь только они ставили тур. По этой причине, работы Русских во весь день подвигались вперед медленно, так как большая часть рабочих была убита. Следующую ночь неприятель был покоен; раздавался только стук перевозимых орудий, а под утро все смолкло. На разсвете (20-го числа) оказалось, что неприятель со всею своею армиею перешел к Петровской.

За неделю до того дня, как был ранен Король, граф Пипер присоединился с своею канцеляриею к армии, расположенной в виду Полтавы. Вскоре поехал он с советником Гермелином и секретарем Фейфом на высокую гору, где была атака, и откуда можно было видеть весь лагерь неприятеля и все работы. Я рассказал графу как о намерениях неприятеля переправиться через Ворсклу в город, так и о работах, предпринятых для воспрепятствования сей переправе. При этом я сказал утвердительно, что «атака на Полтаву никогда не будет иметь успеха, хотя бы Его Величество целый год продолжал нападения». Граф спросил: «Какия тому причины и препятствия?» Я отвечал: «Причины те, что у нас нет ни ядер, ни пороха, как для малых орудий, так и для пехоты, и все выстрелы, теперь нами слышимые, принадлежат неприятелю, а не нашим. По этой причине мы теряем много людей; необходимые простые посты вапрошах, для наблюдения неприятеля, подвергаются величайшей опасности. Досчатый ретраншемент, построенный

неприятелем в пригороде, можно бы столкнуть ногою, но чтобы сбить его, для этого мы не имеем ни ядер, ни пороха, а на штурм Его Величество не решается. Я обо всем докладывал Королю, но он и слышать о том не хочет. По моему мнению, ничего не остается Королю как снять осаду и найти для армии хорошия квартиры. Если же этого не будет, нам грозит большое несчастье. Или Король будет убит, потому что он подвергает себя всем, опасностям, а это тревожит и рядовых, и офицеров, которые, как я сам слышал, говорят между собою: Король хочет быть убитым; или, если неприятель решится подать помощь Полтаве, сражение может иметь для нас несчастный исход. В таком случае, мы все погибли, ибо, без особеннаго счастья, никто отсюда не выйдет, так как мы отдалены от отечества на несколько сот миль».

Через несколько дней, фельдмаршал спросил меня: «Каково идет осада?» Я отвечал: «Очень плохо, и даже нет надежды, чтобы Король, овладел Полтавою». Тут я спросил у фельдмаршала: «Зачем Король это предпринимает?» Фельдмаршал сказал, будто Король должен иметь занятие до прибытия Короля Станислава. Я возразил: «Такое времяпровождение стоит не дешево; Король, теряя множество людей, мог бы, конечно, найти лучшее занятие». Почти через неделю после раны, полученной Королем, неприятель поднялся со всею своею армиею, и расположился за плотиною Ворсклы, в четверти мили от Полтавы (25-го Июня). При этом движении Русских, выдвинулась и шведская армия, и стала в боевом порядке перед Полтавою: кавалерия, справа и слева, в двух линиях; пехота, в середине, в одной линии. Генерал-майор Крейц был послан с отрядом для наблюдения за движениями неприятеля. Возвратясь, он донес, что неприятель остановился у реки, где плотина. Около полудня, Король получил известие, что неприятель укрепляет свою позицию окопами, это можно было видеть, и в зрительную трубу. Тогда Король решился, со всею пехотою и тремя кавалерийскими полками, перейти на другое место, насупротив неприятеля. Фельдмаршал, с остальною кавалериею, расположился у деревни, по близости неприятельскаго шанца. Когда я кончил расположение лагеря для пехоты, Король приказал мне последовать за фельдмаршалом и отыскать место, где бы можно было поставить обоз всей армии. Так как я нашел место, где обоз имел позади себя лощину, а половина фронта и левый фланг были прикрыты недоступною глубокою долиною, то весь обоз и поместился здесь с своим прикрытием. Королевский лагерь был очень тревожим Казаками, и потому фельдмаршал приказал мне ночью заложить перед оным укрепление. Однако ж этого не было сделано, потому что рабочие, из Запорожцев, не являлись до самага утра, а на высоте, у реки, был поставлен пехотный караул, который не допускал Казаков так смело нас тревожить. Генерал Левенгаупт просил у фельдмаршала прикрытия для обозрения лагеря и позиции Русских. Фельдмаршал сказал: «Не нужно. Я знаю место, где стоит неприятель, так же хорошо как и то, которое мы занимаем». Наконец Король решился, после совещания с графом Пипером и фельдмаршалом, дать сражение, в понедельник 27-го Июня. Что случилось при этой несчастной битве, изложил я в особой реляции.

Перев. Я. Турунов.

Первая мировая война в российских периодических изданиях

Разведчикъ

Распоряжения по военному ведомству

-- Высочайше повелено:

I. Въ изменение п. а ст. 482 кн. VII Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 2-е, установить следующую очередь назначения на должность командира кавалерийскаго полка: 1 — отъ гвардии, 2 (временно) — генеральнаго штаба и 2 — отъ армии и въ конце третьей изъ таковыхъ

очередей одно назначение предоставлять кандидату переменной очереди (т. е. одно из шестнадцати назначений).

II. Въ изменении ст. 102-й положения о военной службе казаковъ Донского войска, объявленнаго въ приказе по военному ведомству 1874 г. за № 284, установить следующую очередь назначения на должность командира казачьяго полка Донского войска: 1 — отъ гвардии, 2 — Генеральнаго штаба и 4 — отъ армии.

Полковниковъ артиллерии, равно какъ и адъютантовъ и лицъ административной службы, имеющихъ право кандидатуры на казачьи полки, выделить въ особую очередь переменной службы, предоставивъ этимъ кандидатамъ одно назначение въ конце второй очереди (т. е. одно изъ пятнадцати назначений) (Пр. в. в. № 27).

-- Военнымъ советомъ постановлено: переменный составъ офицерской артиллерийской школы на 1914 г. определить въ нормѣ 152 капитановъ, есауловъ и подъесауловъ гвардейской, полевой и казачьей артиллерии, взаменъ положенныхъ ныне 35 штабъ-офицеровъ и 108 капитановъ, есауловъ и подъесауловъ техъ же родовъ артиллерии (Пр. в. в. № 12).

-- Комендантскимъ адъютантамъ комендантскихъ управлений Царскосельскаго и Петергофскаго (Св. Шт. воен.-сух. вед., кн. I, изд. 1912 г., шт. № 27) предоставлено право на зачисление, за отличие по службе, по гвардии (Пр. в. в. № 17).

-- 12-го января 1914 г. Высочайше утверждень проектъ положения объ обучении инженерныхъ войскъ: Общія положенія, ч. I — Обучение молодыхъ солдатъ, ч. II — Занятие со старослужащими, ч. IV — Войсковыя унтеръ-офицерскія школы и ч. V — Занятія съ подпрапорщиками и унтеръ-офицерами съ тѣмъ, чтобы онъ былъ принятъ въ войскахъ въ видѣ опыта на 3 г.

Въ виду этого предписано принять означенный проектъ къ руководству взаменъ Высочайше утвержденаго 24-го июня 1896 г. «Положенія о специальномъ образовании инженерныхъ войскъ», сохранивъ таковыя въ силѣ для войскъ железнодорожныхъ и воздухоплавательныхъ. Подготовку же нижнихъ чиновъ инженерныхъ войскъ къ унтеръ-офицерскому званию продолжать вести, впредь до объявленія части III Положенія объ обучении инженерныхъ войскъ, по Высочайше утверждённому 24-го июня 1896 г. «Положенію о школахъ въ частяхъ инженерныхъ войскъ для подготовки строевыхъ нижнихъ чиновъ къ унтеръ-офицерскому званию».

Отъ командующихъ войсками въ округахъ должны быть доставлены въ главное управление генеральнаго штаба къ 1-му октября 1916 г. заключения на означенный проектъ, основанныя на донесеніяхъ войсковыхъ начальниковъ о результатахъ применения его въ войскахъ (Пр. в. в. № 43).

-- Военный советъ положилъ: сформировать офицерскую железнодорожную школу съ 15-го сентября 1914 г. (Пр. в. в. 1913 г. № 672).

-- На офицерскихъ чиновъ отрядовъ, командированныхъ въ пределы Монголии и Китая, распространено Высочайше утвержденное 27-го мая 1913 г. положеніе военнаго совета (приказъ по военному ведомству 1913 г. № 314) о применении къ офицерскимъ чинамъ, командированнымъ въ Персію, положенія объ эвакуации (Пр. в. в. № 2).

-- Военный советъ положилъ:

1) Въ развитие Высочайше утвержденаго 4-го мая 1912 г. положенія военнаго совета о командировании офицеровъ генеральнаго штаба въ воздухоплавательныя части для прохожденія практическихъ курсовъ воздухоплавания, объявленнаго въ приказе по военному ведомству 1912 г. № 354, утвердить новый проектъ положенія о прикомандировании офицеровъ генеральнаго штаба къ воздухоплавательнымъ и авиационнымъ частямъ и школамъ.

2) Взаменъ требованій, указанныхъ въ пунктахъ 3, 11 и 14 утвержденаго военнымъ советомъ 15-го сентября 1911 года распісанія болезней и телесныхъ недостатковъ, объявленнаго при приказе по военному ведомству 1911 г. № 481, установить

нижеследующия условия, препятствующие службе офицеровъ генеральнаго штаба на аэростатахъ и аэропланахъ:

а) резко выраженныя неврастения и истерия, а также все формы травматическихъ неврозозъ;

б) острота зрения въ одномъ глазу ниже 0,75, а въ другомъ ниже 0,5 безъ коррекции стеклами;

в) резко выраженное хроническое воспаление соединительной оболочки глазъ и краевъ векъ (Пр. в. в. № 14).

-- Определениемъ св. синода учреждена «Касса взаимопомощи на случай смерти по ведомству протопресвитера военнаго и морского духовенства».

Согласно § 3 устава кассы, членами ея обязательно состоятъ все штатные священно-церковнослужители ведомства протопресвитера военнаго и морского духовенства по избранному ими одному изъ трехъ установленныхъ § 8 п. б устава разрядовъ, причемъ, членские взносы, на основании § 10 устава, вычитаются ежемесячно изъ содержания членовъ кассы казначеями техъ воинскихъ частей, управлений и учреждений, при которыхъ они состоятъ и препровождаются въ правление кассы въ два срока: къ 1-му января и къ 1-му июля.

Въ виду изложеннаго и вследствие ходатайства протопресвитера военнаго и морского духовенства, главный штабъ предписалъ, чтобы казначеи воинскихъ частей и учреждений, начиная съ января 1914 года, удерживали изъ содержания всехъ членовъ кассы взаимопомощи, получающихъ оное вместе съ воинскими чинами, соответствующие взносы въ кассу помесечно, именно: съ лицъ, участвующихъ въ кассе по первому разряду — 20 руб., по второму — 16 руб. и по третьему разряду 12 руб. ежегодно. Вычеты производить въ каждомъ полугодии въ первые 5 месяцевъ полугодия съ членовъ кассы по первому разряду 2 руб. въ месяц (10 руб. въ полугодие), съ членовъ по второму разряду по 1 руб. 60 коп. (8 руб. въ полугодие) и по третьему разряду по 1 руб. 20 коп. въ месяц (6 руб. въ полугодие), въ последний месяцъ каждого полугодия полученныя удержания высылать въ правление кассы казначею кассы взаимопомощи, причемъ почтовые расходы по пересылке денегъ должны покрываться изъ содержания техъ лицъ, взносы которыхъ высылаются въ правление кассы (Цирк. гл. шт. 1913 г. № 247).

-- Командующий Императорскою Главною квартирою, сообщилъ, что Государю Императору благоугодно, чтобы впредь на Высочайшихъ парадахъ и смотрахъ не приготовлялась для Его Величества пробная порция и не подносились чарки. Его Императорское Величество разрешаетъ, въ подобныхъ случаяхъ, командующему парадомъ провозглашать «ура» Его Величеству и Особамъ, коимъ доньше возглашалась здравица (Цирк. шт. Одесск в. в. № 12).

-- Семействамъ офицеровъ, классныхъ чиновъ и священниковъ частей пограничной стражи, квартирующихъ въ Мерве, Кушке, Термезе, Чарджуе, Керки и Келифе, начиная съ 1914 года, предоставлено право на переездъ за счетъ казны на летнее время въ другия местности Туркестанскаго военнаго округа съ более благоприятнымъ климатомъ (Прик. шефа погр. стр. № 3).

-- На основании ст. 370 кн. VII С. В. П. 1869 года, по редакции приказа по в. в. 1913 года № 613, тотъ годъ, въ который гражданскій чиновникъ военнаго ведомства получилъ предупреждение о неполномъ служебномъ соответствии, исключается изъ срока выслуги для производства въ следующий чинъ.

Въ виду сего, главный штабъ предписалъ, чтобы ко всемъ безъ исключения представлениямъ о производстве чиновниковъ прилагались, кроме документовъ, требуемыхъ ст. 371 кн. VII С. В. П. 1869 года изд. 2-е, и краткия решения по аттестациямъ за все годы, выслуженные чиновникомъ на производство въ следующий чинъ.

Вместе съ этимъ подтверждено, что все ходатайства о производстве чиновниковъ, безъ приложения краткихъ решений по ихъ аттестациямъ, будутъ оставляться безъ рассмотрения (Пр-ние Московск. в. о. № 19).

На запрось одного из окружных штабов, кем именно должны выдаваться удостоверения о безпорочном несении службы во время войны 1904-1905 гг., для приложения к ходатайствам о разрешении повсеместного жительства тем нижним чинам из евреев, кои служили в частях войск, ныне расформированных, главный штаб разъяснил, что, согласно пункта 7-го Высочайшего указа 11-го августа 1904 года, правом повсеместного жительства пользуются те из участвовавших на войне с Японией нижние чины из евреев, кои представляют удостоверение с надлежащей подписью и приложением казенной печати от своего бывшего начальства о том, что таковые нижние чины действительно находились на театре военных действий и безпорочно несли службу в действовавших войсках.

Состояли ли такие запасные на строевых или нестроевых должностях, а равно участвовали ли они в сражениях или нет, представляется по точному смыслу пункта 7-го указа безразличным.

Ходатайства же о выдаче удостоверений нижним чинам, служившим в расформированных ныне частях, должны удостоверяться начальством той части, где хранятся дела расформированных частей, или теми уездными воинскими начальниками, у коих имеются письменные сведения, из коих можно извлечь необходимые сведения (Пр-ние Иркутск. в. о. № 2).

-- Главный штаб сообщил, что при исчислении сроков старшинства, отдаваемого Георгиевским кавалерам в порядке п. 2 «Правил», объявленных при приказе воен. вед. 1913 года № 643, надлежит принимать во внимание не только фактическую выслугу в предыдущем чине, но и отданное, при производстве в этот чин, старшинство (Цирк. шт. Одесск. в. о. № 8).

-- Главное интендантское управление сообщило, что с требованием об удовлетворении путевым довольствием лиц военного ведомства, командиремых в уездные по воинской повинности присутствия, в качестве членов для приема новобранцев надлежит обращаться в то уездное воинское присутствие, куда эти лица командированы (Пр-ние Одесск. в. о. № 8).

-- Главное управление генерального штаба уведомило, что в 1914 году предполагается призвать в учебные сборы прапорщиков запаса и нижних чинов 1-го разряда по образованию следующих сроков службы:

В первый учебный сбор: 1) прапорщиков запаса, проходивших действительную службу в войсках в 1912-1913 годах и зачисленных в запас в 1913 году; 2) вольноопределяющихся и охотников 1-го разряда по образованию, проходивших действительную службу в 1912-1913 годах и зачисленных в запас в 1913 году, и 3) жеребьевых 1-го разряда по образованию срока службы 1909 года.

Во второй учебный сбор: 1) прапорщиков запаса, проходивших действительную службу в 1906-1907 годах и зачисленных в запас в 1907 году; 2) вольноопределяющихся и охотников 1-го разряда по образованию, зачисленных в запас в 1907 году, и 3) жеребьевых 1-го разряда по образованию срока службы 1907 года.

В третий учебный сбор: прапорщиков запаса, проходивших действительную службу в 1900-1901 годах и зачисленных в запас в 1901 году; при призыве их надлежит применить приказ по в. в. 1907 года № 479 (Цирк. шт. Туркестанск. в. о. № 6).¹

Армейские заметки

Армейские заметки

¹ Журнал "Разведчик", 1914, № 7(1215) (11 февраля 1914 г. - <http://personalhistory.ru/papersBA-1914-1215.htm>)

Петербургъ живеть лихорадочной одухотворенной жизнью. Въ Петербурге идетъ широкая, огромной важности государственная работа. Петербургъ — мозгъ страны, направляющий системой нервовъ всю ея жизнь. И какой обаятельной кажется эта кипучая жизнь и деятельность скромному провинциалу изъ Чухломы, какъ широки горизонты, какъ высоки побуждения, какъ чистъ жертвенникъ и какъ величественны, недоступны жрецы. Правда, иное мероприятие, иное назначение вызываютъ въ немъ недоумение... Но это объясняется такъ легко неосведомленностью провинциала въ вопросахъ государственной важности...
И ноетъ Чухлома, засасываемая скукой и пошлостью тусклой, серой жизни, подобно Чеховскимъ тремъ сестрамъ:
— Въ Петербургъ, въ Петербургъ!..

Офицеры 152-го пех. Владикавказскаго генерала Ермолова полка въ день празднования 50-тилетия своего существования

Пока... пока случайно не окунется въ изнанку петербургской жизни и не коснется жертвенника... Тогда спадетъ повязка съ глазъ, и изъ-за официальныхъ оснований многихъ мероприятий выгянетъ грубая, неприкрытая, неприкрашенная личина эгоизма и личныхъ побуждений.

Реформа проводимая въ ведомственныхъ интересахъ, противно научнымъ и опытнымъ основаниямъ... Полезныя мероприятия, задерживаемыя благодаря личной обиде — возбуждены, видите ли, по чужой инициативе... А всемъ известно, что министерство финансовъ, напримеръ, даже на обучение подведомственныхъ ему войскъ не можетъ смотреть подъ однимъ угломъ зрениа съ военнымъ. Головокружительные курбеты на высшихъ ступеняхъ власти... Исходъ изъ Петербурга лицъ, не пришедшихся ко двору, хотя и талантливыхъ, или лицъ съ подмоченной репутацией — въ провинцию съ повышениемъ... И притомъ иногда съ трогательнымъ по своей прямолинейности объяснениемъ:

— Правда, онъ недалекъ. Но мой ближайший сотрудникъ не можетъ получить низшее назначение.

Перетасовка видныхъ деятелей, причемъ съ удивительной легкостью меняется мечъ на рало, перо на мечъ... А тамъ, где-то, на три — четыре ступеньки иерархической лестницы пониже, сидитъ притаившись какой-нибудь Петръ Петровичъ и улыбается въ бороду. Милейший Петръ Петровичъ! Ведь это вы виновникъ всей этой кутерьмы! Ведь это для васъ расчищаютъ путь, для вашего движения и благополучия!..

Перемена научной системы не по убеждению, а «въ пику»... Красивыя фразы о поощрении родной промышленности и изобретательности, и тутъ же рядомъ предпочтение и заказы иностранцамъ, по новому и важному военнотехническому делу... Крепостная ограда, сооруженная для того, чтобы черезъ несколько летъ разрушить ее, и разрушаемая до основания для того, чтобы черезъ несколько летъ создать ее вновь... Все это — явления одного порядка, въ которыхъ если и нетъ элемента корысти, то большую роль играетъ борьба личныхъ самолюбий и честолюбий.

Читаетъ Чухлома въ своде штатовъ и табелей о создании какого-нибудь новаго отдела: «прохождения службы лицами, не пригодными къ оной». Читаетъ и удивляется. Вотъ, моль, до чего заботливость доведена! А поговорить съ Петромъ Петровичемъ, и дело станетъ яснымъ:

— Окончили мы большую работу во временной комиссии. Наши штатныя места уже заняты. Куда деваться?

Обратились по линии наименьшаго сопротивления — къ Ивану Ивановичу:

— Пристройте!

И пристроилъ.

Было бы, однако, ошибкой, считать явление личного *) эгоизма в вопросах служебных, общественных и государственных порядком современности, не имеющим преемственного обоснования в страницах прошлого. Историк, знакомясь с одной старинной рукописью — по-видимому проектом жалованной грамоты ко дню трехсотлетия Куликовской битвы, был изумлен: среди многих пожалований дьякам, сыновьям боярским и «перелетам» (слово не понятное, по-видимому равнозначное нынешнему «переменному роду службы»), он не нашел ничего в пользу приказов стрелецкого, пушкарского, казачьяго и рейтарского — главных составных частей тогдашней вооруженной силы. В двух, трех местах рукописи, сбоку были сделаны пометки почерком подъячаго, скрепившаго рукопись, и среди них такая: «а наипаче измыслити како быти дьякомъ». Это была, по-видимому, заветная мечта подъячаго, вызвавшая такую рассеянность и забвение главного служилого элемента. И цели своей он достиг, придумав соответственное «титло»: в списках позднейших лет имя его упоминается уже в разряде думных дьяковъ.

Из чувства простой справедливости я должен отметить, что личный эгоизм составляет отличительную черту не одного лишь Петербурга. Он развернулся широко в провинции. И если там масштаб его уже, то приемы до крайности элементарны.

Позвольте рассказать вам сказку про белого бычка.

Жили были... А. — начальник бригады; Б. — воинский начальник; В. — его помощник; Г. — старший адъютант окружного штаба; Д. — его помощник. В штабе стало известным, что новая власть желает назначить старшим адъютантом постороннего и младшего чином офицера — Е. Начинаются конфиденциальные переговоры, в результате которых Г. и Д., понимая, что нельзя прати против рожна, соглашаются уйти добровольно, но с компенсацией и без перемены пункта квартирования.

Дальнейшие события разворачиваются в следующей постепенности: А. под давлением уходит в отставку; Б. на его место; В. в виду неимения ценза, подвергается экзамену в специально для него образованной в неурочное время комиссии и уходит воинским начальником. Г. и Д. назначаются на места Б. и В. Наконец, Е. попадает старшим адъютантом.

Способ привлечения охотников на службу в английской армии. Военное министерство раздает десятки тысяч экземпляров составленной им книги о преимуществах военной службы — „Армия и что она дает“. Прилагаемые иллюстрации говорят сами за себя.

Несомненно, все эти пертурбации вызваны были... пользой службы. Но Чухлома, благоговейная еще перед Петербургом, отравлена уже ядом скептицизма и относится подозрительно к провинциальным жрецам:

— Знаем мы вашу «пользу службы»...

Когда-то, давно это было, прошла трудная полоса моей жизни, отмеченная невыносимым дерганьем, бичами и скорпионами, посылаемыми свыше. Недоумевал, но думал: хоть стоять и на ложном пути, но стараются служить и не спать.

Но вот недавно встретил старого знакомого, штабного офицера.

Разговорились за рюмкой.

— Сказать правду... после вашего «Сверчка» позвал нас тогда — трех адъютантов — в свой кабинет помощник начальника штаба и говорит: «ознакомьтесь хорошенько с делами N-й части, переройте архив хоть за все три года, но найдите мне какая-нибудь упущения — надо прижать Ночина».

Так вот в чем дело!..

Ваше-ство! Где бы вы ни были, примите издалика мой искренний привет. Извиняюсь за доставленную вам и вашим сотрудникам лишнюю работу. Ценю ваш передовой

взглядь на важность и значение военной печати, вашу лестную оценку моей скромной журнальной деятельности. Не упало, значить, семя на камень...

Личные интересы и самолюбия играют роль даже в области чистой науки, где, казалось бы, имъ не можетъ быть уже вовсе места. Такое, по крайней мере, впечатление производять научные диспуты и газетная полемика послѣдняго времени. Но есть область, въ которой личные интересы, заслоняя собою и долгъ, и здравый смыслъ и вторгаясь въ область образования и воспитания, развращающе действуютъ на цѣлыя войсковыя соединения, становясь не только карикатурными, но и опасными.

Лагерь иностраннаго легиона въ окрестностяхъ Алжира. Иностранннй легионъ французской армии комплектуется волонтерами всехъ национальностей. Въ числѣ ихъ имеемся и несколько русскихъ.

Предлагаю вниманію читателя извлеченный изъ моей «капилки курьезовъ» монологъ, въ которомъ, прошу верить, нетъ ни одного слова сочиненнаго.

...Кажется все? Да забылъ сказать: здѣсь поблизости отъ меня полки ночныя двухстороння ученья производять и палять какъ оглашенные. Сами знаете, Анна Дмитриевна — человекъ нервный и притомъ въ такомъ положеніи... Негде больше учиться? Знаю. Отдайте просто въ приказе, чтобы не стреляли. — Что? Какъ встречать атаку? — Штыками-съ! Да что вы мне тычете все опытомъ войны. Такой «опытъ» поскорей забыть нужно, вотъ что я вамъ скажу. Ну, не надо въ приказе, верно; отдайте въ приказаніи. — Какъ мотивировать? — Садитесь, возьмите карандашикъ. «При производствѣ маневренныхъ действийъ ночью»... Написали?... «стрельбы не производить, ибо ночная стрельба не приноситъ пользы, такъ какъ не можетъ быть меткой; патроны слѣдуетъ выдавать только дозорнымъ, часовымъ, выстрелы коихъ не могутъ испугать...» Виновать, что я, зачеркните пожалуйста... «выстрелы коихъ могутъ имѣть значеніе сигнала...» Ну, теперь, кажется, все...

Въ русской армии, милостивые государи, какъ и встарь, живы начала героизма, самопожертвованія и доблести. Но снизу доверху чувствуется некоторый недостатокъ въ людяхъ... долга.

И. Ночинъ.

„Societe Economique“

Въ уютномъ кабинетѣ гвардіи полковника Александра Ивановича Петрова велась дружеская беседа между хозяиномъ дома, зажиточнымъ помещикомъ одной изъ южныхъ губерній, и его товарищемъ и закадычнымъ другомъ по корпусу и военному училищу, подполковникомъ Страховымъ.

Пріятели не виделись около двадцати лѣтъ, такъ какъ Страховъ, выйдя на службу въ глухую провинцію и не имея средствъ, въ Петербургѣ не бывалъ, теперь же попалъ лишь по служебнымъ деламъ. Но десять лѣтъ совместной школьной жизни крепко спаяли двухъ друзей, и въ ихъ отношеніяхъ такъ и проглядывала теплота и сердечность.

— Ну, голубчикъ Страховъ, какъ же тебе понравился нашъ Питеръ? ты, пожалуй, городъ совершенно позабылъ, а за двадцать лѣтъ онъ принарядился такъ, что его совершенно не узнать.

— Какъ не узнать, дорогой, улицы остались на месте. Пообстроился городокъ, это верно, но что меня поражаетъ и удивляетъ... Ты знаешь, я человекъ чисто русский, горячо люблю мою родину, достаточно образованъ, начитанъ, знаю языки, но очень и очень не долблѣваю наше старанье коситься на иностранннй ладъ; и терпеть не могу эту гибель

никому и ни для чего ненужной иностранщины, которая так и бьет, так и режет мои нервы и глаза.

Вышел я на Невский. Люблю его ширину, его просторь такой родной русский и вдруг начинается: что ни вывеска, то три четверти иностранщина: «Gebruder Elisseieff», «Andre Coiffeur», «Tailleur de dame Michailoff», «Chic Parisien» «Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft»; просто обидно за себя за всех нас. Посуди сам: кь чему это разноязычье? Какая-то подъяремность! Русскому человеку только гадко и противно, а иностранцу смешно.

Собрался я вчера на концерт. Ты знаешь, как я люблю и понимаю музыку. Взяль «Новое Время», думаю, быть в Питере и хорошаго пианиста или певца не послушать — грех. Ищу, ищу, что за навождение — неть. Спасибо Павло меня выручил. «Ахь, ты деревня, деревня глухая ты, провинция.

«Смотришь вь книгу, а видишь»... А еще языки хорошо знаешь. Хочешь рояль послушать — Clavier-Abend Ирины Энери; хорошо играет. Хочешь пение слышать — Lieder-Abend вь маломь зале Императорской Консерватории».

— Пойми, дружище, другого объявления — «руссаго» — совершенно неть. «Эхь, дорогой Страховь, узнаю тебя, какой был, такимь и остался. Не все ли равно «Lieder-Abend» или «Вечерь песни»: кому надо, тоть пойметь, а ты просто был разсеянъ.

Испанския войска вь Марокко. Выступление изь Теуана для установления сообщения сь Цеутой — испанской крепостью.

— Неть, неть, ты меня не уговаривай. Я отлично знаю и чувствую, что ты на моей стороне. «Lieber-Abend» режеть твое ухо. Ты искренно этому возмущаешься. У тебя тоже сердце болит за нашу халатность ко всему родному, за нашу падкость всюду кстати и некстати употреблять иностранные языки.

— Успокойся, старый товарищ, успокойся. Ты правь. Но оть теории перейдемь кь практике: передь обедомь волноваться вредно, а мы сь женою решили тебя накормить по-русски — пойдемь.

Друзья перешли вь столовую, где Мария Петровна ожидала ихь за обеденнымь столомь. После того, какь быль утолень первоначальный голодь, беседа пошла еще более оживленнымь темпомь. Мария Петровна, коренная москвичка, оть души смеялась надь злоключениями руссаго вь родной столице, и досталось же Clavier'у и Lieder'у Abend'амь. Гость повеселель. Хорошее вино привело всю компанию вь добродушное настроение.

— Неть, не бери это красное, оно не такь хорошо; я угощу тебя такимь сотерномь, что пальчики оближешь! Это, голубчикь, нашего Гвардейсаго Экономичесаго: дешево и сердито. — Взяль Страховь бутылку вь руки и окаменель: на ярлыке бутылки блестящими золотыми буквами выведено: «Gaut sauternes Bordeaux. Cave Societe economique de la garde, a St-Petersbourg. Maison fondee en 1892» а сбоку марка, вь которой такь французския буквы перепутаны, что надо долго смысль искать.

Хозяинь и хозяйка, не понявь сразу изумления своего гостя, вдругь дружно и весело разсмеялись.

— Что, приятель, прощаешь «Новому Времени» его «Clavier-Abend», прощаешь!.. «Прощаю и «New-Times'у» и «Gebruder'у Elisseieff'у», всемь прощаю, но простите и меня, «люди русские» — понять не могу.

Разговорь перешель на другие вопросы. Товарищеская беседа затянулась. Около 2-х часовь ночи Страховь вышель оть Петрова. Сель на перваго извозчика. Сказаль свой адресь на Фонтанке и весь погрузилсь вь свои думы...

И снится старому, закаленному вь манчжурскихь боевыхь невзгодахь полковнику, что едеть онь по городу: какь будто Питерь, потому что улицы знакомы. Вечерь. Освещение полное. Все горить огнями. Молодцеватые городовые лихо отдають честь, но на

извозчиковъ покрикиваютъ: «Rechts, links!» Извозчикъ, что было силы, хлестнулъ свою клячку, но не выругался, а ласково промолвилъ: «Ach du mein lieber Augustchen!» Вывески все такъ и горятъ электрическими огнями и все иностранныя: «Souvoroff», «Mischin», «Strachoff», а вдали залитое моремъ света высится большое зданіе и ярко горятъ надъ нимъ буквы: «Societe economique de la garde»... Трахъ, толчокъ, звонъ битого стекла, крикъ: «заснулъ, чортъ, лешій, гужеедъ желтоглазый!» Это кричалъ шофферъ встречнаго автомобиля, подъ который попалъ задремавшій извозчикъ Страхова. Самъ Страховъ долго не могъ прийти въ себя и решить, продолжается ли сонъ, или все прошедшее действительность: передъ его глазами ярко горела электрическими огнями безграмотная вывеска глухого Апраксина переулка: «Grand Hotel des Marchants» и больше ни одной русской буквы.

И только настоящий безъ всякой иностранной примеси разговоръ, коимъ продолжали обмениваться столкнувшіеся шофферъ и извозчикъ, вернули Страхова къ действительности...

Черезъ два дня после описаннаго вечера полковникъ Петровъ получилъ письмо отъ выехавшаго изъ Петербурга Страхова.

«Дорогой Александръ Ивановичъ,

После моего къ Вамъ прощальнаго визита, когда ты и твоя супруга такъ мило смеялись надъ моимъ сномъ, «Апраксина переулка», я заехалъ въ Гвардейское Экономическое Общество и купилъ пустячную принадлежность мужского туалета ценою въ 70 копеекъ. На вещице рядомъ съ ценою виситъ марка магазина, которую для примера прилагаю *). Целую ручки Марии Петровны. Крепко жму твою руку.

Твой Страховъ».

Хлысть.

Право на „Армейскія заметки“

(Письмо въ редакцію).

Въ № 1212 «Разведчика» высказаны противоречивые взгляды по вопросу о заголовке «Армейскія заметки». Да будетъ позволено мне поделиться съ читателями и своимъ мнениемъ. Мне сдается, что если бы подъ «Армейскими заметками» не стояло имени Драгомирова, то теперь врядъ ли бы возникъ вопросъ объ авторскомъ, такъ сказать, правѣ на этотъ заголовокъ. Мало ли сейчасъ въ газетахъ и журналахъ одноименныхъ рубрикъ и заголовковъ. Въ томъ же номере «Разведчика» вследъ за полемикой о заголовкахъ идетъ заметка — «Наши кадетскіе корпуса». Сколько разъ это заглавіе украшало выступления многихъ лицъ, причемъ некоторые писали на эту тему по несколько разъ. Я не могу съ точностью сейчасъ подвести итоги, но вероятно неоднократно за подписью разныхъ лицъ появлялись: «кавалерійскія заметки» или «заметки кавалериста», «пехотинца» и т. д. Никто не придавалъ значенія повторяемости такихъ заглавий.

Собственно говоря, отчего бы не только заметки, но целыя периодическія изданія не помечать одними и теми же общеупотребительными, ходовыми выраженіями, какъ, напримеръ; «Военный Сборникъ» или «Разведчикъ»? Правда, при такой попытке даже и предрержащая власть запротестуетъ, усмотритъ нарушение права другого лица, но нетъ юридическихъ ограниченій къ выпуску въ свѣтъ въ журналахъ или отдельными книгами произведеній подъ заглавіемъ: «Первая любовь», «Преступленіе и наказаніе», «Детство и отрочество»... Однако о такихъ новыхъ книгахъ что-то не слышно, а ведь въ жизни сколько первыхъ любвей, преступленій и наказаній, а темъ паче детства и отрочества, которыя переживаютъ безусловно все.

Мне могутъ сказать, да кто же позволить себѣ покушаться на авторское право? Въ отвѣтъ спешу удостоверить, что нетъ ничего новаго подъ луною. Можно съ уверенностью сказать, что, при непомерной массѣ напечатаннаго, эти заглавія появлялись до Тургенева, Достоевскаго и Толстого. Но только они, великіе писатели, одухотворили эти простыя слова, зажгли ихъ огненными буквами, запечатлели навсегда.

Только большой талант может заставить обыденное выражение обратиться, так сказать, из нарицательного в имя собственное, в нечто выпуклое, характерное. Подобное перерождение случилось и с таким заурядным выражением как — «Армейския заметки», случилось, благодаря исключительно дарованию Драгомирова. Вот почему автор заметки пережил колебание, задал себе вопрос: «удобно ли брать этот заголовок после Драгомирова»?

Я не вхожу в оценку, «допустимо ли или недопустимо»? Чувство почитания к трудам Михаила Ивановича навеивает непреодолимое желание сказать: «нет, господа, не трогайте пока «Армейския заметки», выбирайте для заглавий другое сочетание слов. Тогда сами собой замолкнут вопросы об удобстве и допустимости».

В. С. Кривенко.

Некоторые цифры административного засилия в строевой армии

В списке старшинства полковников 1913 года значится командиров пехотных армейских полков:

Бывших гвардейцев — 57 или 17%

Генерального штаба — 96 или 30%

Строевых армейцев — 108 или 34%

Остальные 62 полка занимают лица, ранее служившие на каких-нибудь административных должностях, именно: воспитатели, офицеры училищ, адъютанты окружных штабов, делопроизводители, столоначальники, правители канцелярий, даже бывшие пристава, уездные начальники и вице-губернатор. Из 170 полков, остающихся от гвардии и генерального штаба, административный элемент таким образом отнимает у армии 62, т. е. 37%.

Еще рельефнее засилие административного элемента выступает при сравнении числа командиров полков с числом полковников по каждой категории. Так:

На 102 полк.-гвардейца — 57 командир. полк.

— 312 генерального штаба — 96 командир. полк.

— 405 армейцев — 108 командир. полк.

И всего только на 89 полковников административных, состоявших в 1913 году в армейских полках, приходится 62 командира полка.

Вот в каких, совершенно исключительных, условиях находится административный элемент при получении полков.

Ни гвардейские привилегии, ни высшее образование далеко не дают таких громадных прав на получение полков, как служба на административных должностях.

Гвардия и генеральный штаб получают армейские полки по особой, строго определенной, очереди в известной пропорции. Административный элемент получает полки без всякого ограничения, сразу по двум линиям: и по очереди переменной службы, и по армейской очереди, первые места в кандидатском списке которой систематически ежегодно заполняются административными лицами.

Гвардия и генеральный штаб, пользуясь ускоренным производством до чина полковника, зато получают полки по более замедленной очереди. Административные лица и до чина полковника идут ускоренно сравнительно со строевыми армейскими сверстниками и полки получают по самой скорой, армейской очереди.

От такого порядка вещей, конечно, существенно страдают интересы строевой армии, так как 62 командира полка, да 89 административных полковников, самое меньшее года на 3, отодвигают получение полков всеми строевыми армейцами.

Молодые годами, административные полковники свободно ожидают полки по 4—5 лет, а в это время, отодвинутые ими назад, заслуженные боевые армейские офицеры, вовсе не получают частей, исключаясь из кандидатского списка за достижением предельного возраста, или получая полки за 3, много 4, года до отставки.

Вследствие этого должность бригадного командира доступна строевому армейцу лишь при особо благоприятном стечении обстоятельств. Зато, как видно из нижеприводимых цифр, эта, чисто строевая, должность всецело открыта административному элементу. Так, исключив из 132-х должностей командиров пехотных бригад 82, — занятых в 1913 году гвардейцами и генеральным штабом, из 50 остальных — 29, т. е. 58%, было занято административными лицами и только 21, т. е. 16% общего числа бригад, оставалось на долю строевой армии.

Должен оговориться, что фактически административное засилие превосходить приводимая мною цифры, так как список старшинства не дает полных сведений; так, например, некоторые, лично мне известные, лица административной службы в этом списке показаны чисто строевыми.

Не избавлена от такого же засилия и армейская кавалерия, где сплошь да рядом строевые штаб-офицеры, полные сил и здоровья, уходят в отставку по предельному возрасту, а полками командуют люди, чуждые строевого кавалерийского духа, но нахватавшие чинов на стороне.

Нечего и говорить, какой страшный вред всему нашему делу наносит подобный порядок вещей, при котором отодвигаются назад строевые офицеры, большая часть которых, помимо знания дела, обладает и хорошим боевым опытом, а систематически выдвигаются на старшие строевые должности лица, отставившие от строя, не бывшие на войне и обогнавшие строевых сверстников лишь благодаря лучшему производству на административной службе.

А, между тем, при иной, нормальной постановке дела административная служба играла бы очень полезную для строя роль.

Пусть, люди, склонные к педагогической деятельности, идут в воспитатели, склонные к канцелярской в штабы, управления, более слабые в поле — в обозные, конвойные, местные и дисциплинарные части, смотрителями лазаретов и т. д.

Пусть все эти службы будут обставлены лучше строевой, пусть манят они к себе всякого, не чувствующего призвания к полевому военному делу.

Но пусть вечно, навсегда закрывается обратная дорога в строй тому, кто хоть раз его оставил; строевая армия не должна быть гостиницей. Иначе, как это и есть у нас в настоящее время, страдают и интересы строя, и той административной службы, где требуется особое призвание.

Если воспитатели корпусов будут иметь свою отдельную педагогическую дорогу, если они будут обставлены соответственно своему тяжелому и ответственному труду, то при отсутствии возврата в строй, пойдет в воспитатели лишь человек с призванием.

Ныне же частенько идут в воспитатели люди карьеры, которым все равно где служить, лишь бы хватать чинов.

Вникните теперь хоть немножко в психологию того чисто строевого, боевого, израненного капитана или штаб-офицера, у которого ныне командиром полка является его товарищ по школьной скамье, с тем же образованием, но без боевого и строевого опыта, только механически нахватавший чинов на административной службе и в силу этого далеко обогнавший строевых сверстников.

Минувшая война, говорят, обнаружила в нашем командном составе недостаток настоящих вождей-воинов. Но откуда же, скажите, могли взяться они при таком систематическом предпочтении в мирное время чиновников воинам, при таком систематическом унижении достоинства строевой службы?

Люди, мало знакомые с условиями армейской службы, для доказательства пригодности административного элемента к строевому делу, ссылаются на выдающиеся аттестации, получаемые в строю этим элементом. Им очевидно неизвестно, что у нас в армии аттестацию невыдающуюся рискуют получить только 3 категории лиц, именно: 1) физически полные развалины, 2) умственно совершенно убогие и 3) настоящие военные люди с твердым, независимым характером, служащие делу, а не лицам.

Ни къ одной изъ этихъ категорій большинство административнаго элемента, конечно, не принадлежитъ, а потому аттестація выдающаяся для нихъ вполне естественна. Что же касается военныхъ знаний и способностей, то ведь еще покойный М. И. Драгомировъ, если не ошибаюсь, сказалъ, что у насъ можно попасть подъ судъ изъ-за несколькихъ копеекъ, но еще никто не платился за незнание элементарныхъ вещей, отъ которыхъ въ бою зависитъ жизнь сотенъ и тысячъ людей.

Вполне естественно, что, въ большинстве заведомо невежественный въ военномъ отношеши и не военный по духу, административный элементъ, попадая на высшия строевыя должности, не можетъ насадить въ войскахъ ни воинскаго духа, ни знаний. Не за знания и военную душу этотъ элементъ будетъ аттестовывать и выдвигать подчиненныхъ. Такимъ, вполне законнымъ, путемъ насаждается военное невежество и среди строевыхъ офицеровъ; культивируется тотъ штатскій духъ, который такъ ярко сказался въ известной части команднаго состава во время минувшей войны и бывшихъ беспорядковъ. У каждой категоріи административнаго элемента имеются ныне свои сильные заступники.

Вполне понятно, что главное управление военно-учебныхъ заведений усиленно хлопочетъ о наибольшихъ льготахъ для офицеровъ училищъ и воспитателей, не интересуясь какъ эти льготы отразятся на строевой армии.

Имеются «руки» во всехъ штабахъ до главнаго включительно у разныхъ адъютантовъ, столоначальниковъ, делопроизводителей, получающихъ иной разъ полки прямо съ канцелярскаго стула.

Приходится надеяться, что вступится, наконецъ, кто-нибудь и за «великую молчальницу русскую» — нашу строевую армию. Въ страдныя дни минувшей войны, водимая отъ поражения къ поражению, вынесла эта армія тяжелое испытаніе лишь на плечахъ своего, буквально истекшаго кровью, строевого пехотнаго офицерскаго состава.

Въ смутныя дни революціи, при колебаниі всехъ сословій, отсутствіи указаній сверху, ежедневныхъ бунтахъ, подъ градомъ бомбъ, убійствъ и проклятій уличной толпы и печати, только строевой офицеръ спасъ целостъ и возстановилъ спокойствіе Россіи.

Но кончилась война и революція, минула острая нужда въ строевомъ офицере, и сталъ онъ по мнѣнію некоторыхъ лицъ «неподходящимъ» для должностей командира полка, и выше стали ставить его въ хвостъ за горе-педагогами и чиновниками, вернувшимися въ строй.

Въ спокойное время для старшихъ строевыхъ должностей другіе стали находиться люди, умеющіе ловко избегать тяжелой строевой оберъ-офицерской лямки. Жалуютъ они въ строй лишь на штабъ-офицерскія, въ худшемъ случае капитанскія должности, закрывая производство своимъ бывшимъ строевымъ сверстникамъ, — участникамъ кровавыхъ боевъ и тяжелыхъ дней смуты, застрявшихъ въ чинахъ капитана и подполковника, единственно изъ-за административнаго засилія. Давить это засиліе нашего строевого офицера, создаетъ оно у насъ и все эти проклятыя вопросы: капитанскіе и штабъ-капитанскіе, роняетъ и самый престижъ строевой службы.

Сарафанъ, ты мой, сарафанъ,
Всюду, сарафанъ, пригожаешься!

А не надо, сарафанъ,
И подъ лавкой лежишь.

Словами этой старинной русской песенки хочется ответить темъ, правда, единичнымъ, личностямъ, которыя находятъ еще нормальнымъ нынѣшнее положеніе скромнаго безропотнаго героя-труженика нашей арміи,— строевого армейскаго офицера.

Собрание арміи и флота и лото

Смутное и неприятное чувство производить видъ залъ собранія арміи флота въ праздничныя дни. Въ прекрасной монументальной столовой верхняго этажа поставленъ

покоем покрытый зеленым сукном огромный стол в ожидании игроков в лото: точно находишься в каком-нибудь клубе из числа тех, которые закрываются по распоряжению полиции чуть ли не ежедневно. Оказывается, администрация нашего всероссийского военного собрания, озабоченная доставлением развлечений военному обществу, придумала эту игру, как для офицеров, живущих здесь же в военной гостинице, так и для офицеров Петербургского гарнизона с их семьями и даже знакомыми. Что же это такое? Неужели офицеры гвардии или приезжие из провинции не могут найти себе в русской столице развлечений более здоровых, чем игра в лото на деньги? Каким образом администраторы собрания могут забывать, что одно сопоставление имени русского военного клуба с игрой, за которую закрывают «лотошные» притоны, недопустимо? Обстоятельство, что здесь игра ведется «по маленькой», несколько не изменяет дела: есть положения, кои неудобны по самому существу своему, и куш в этом вопросе не играет никакой роли. Ведь нельзя же допустить ни в одном военном собрании азартной игры только потому, что проигрыш не может превысить 3—5 рублей. На страницах «Разведчика» кто-то указал, что совмещение на арматуре фасада нового здания гвардейского экономического общества жезла Меркурия со шлемом Марса режет глаза. А что же тогда можно сказать про коллективную игру в лото внутри здания, коего фасад украшен государственным гербом? Конечно учредители военного клуба и не помышляли о подобной его роли в жизни русской армии. Насколько я припоминаю, при создании собрания армии и флота для карточной коммерческой игры был отведен тот зал, в котором теперь обедают, а стильная величественная столовая, украшенная портретами Императоров, служила своему прямому назначению. Теперь роли этих помещений переменились: офицерство обедает в низких сводчатых комнатах, а для игры в лото отведен едва ли не лучший зал во всем здании.

Итак, по моему мнению, лица, ведающие наше военное собрание, заботятся о духовных потребностях своих городских и иногородных клиентов способом совершенно неудачным и делают его ареной развития азарта. Я смело настаиваю на последней мысли потому, что возможность выиграть 5—10 рублей, заплатив за карту 5 коп., то-есть получить более поставленного в 100—200 раз, должно неизбежно развивать страсти, всюду преследуемая законом и проявление которых совершенно неуместно в военной среде, а тем более в официальном учреждении. Я уже не говорю о возможности проигрыша тех грошей, которые находятся в распоряжении многих офицеров, вынужденных приехать в Петербург из провинции по своим или служебным делам. И это неприятное, а часто и безвыходное положение, может связаться с именем собрания армии и флота, то-есть учреждения, долженствующего быть, подобно жене Цезаря, вне всяких нареканий. Естественно, что при таких условиях в обществе можно услышать намеки на то, что коллективная игра в лото, запрещенная в общественных клубах, разрешена на углу Кирочной и Литейной и что здесь можно играть без опасения полицейского надзора.

Согласитесь, что все вышесказанное наводит на нежелательные размышления, совершенно несовместные с достоинством Всероссийского военного собрания. А между тем непонятная заботливость о нездоровых развлечениях в стенах нашего клуба по-видимому отвлекает внимание его администрации от тех сторон жизни этого важного для военного мира России учреждения, на кои положительно следует обратить внимание. Начать хотя бы с той неряшливости помещений, которая наблюдается везде в собрании, в особенности в гостинице, и которая делает ее похожей на обширные средней руки меблированные комнаты. Входные двери в гостиницу обдерганы; швейцарские и лестницы в этажи грязны, с обитыми углами на стенах и ступенях; грязь на паркете коридоров и номеров методически затирается полотерами так добросовестно, что полы совершенно черны, и если вы зайдете, например, в помещение казначейства, что напротив, и где с утра до вечера толчется всякий люд, то сравнение

выйдет не в пользу офицерского собрания. Во всякой даже второстепенной гостинице имеется забота о том, чтобы в швейцарской было достаточно матов для вытирания ног или места для снятия галош, лестницы там нередко устланы ковром с переменяющимися половиками и прочее. У нас же эти обстоятельства, вопреки требованиям чистоты, гигиены и комфорта, игнорируются вовсе; в номерах гостиницы армии и флота вы можете увидеть шторы, которые неприятно даже опустить на ночь — до того они запылены и грязны; от парикмахерской тоже можно было бы потребовать большей опрятности; дезинфекция номеров не производится никогда и даже проветривание их не делается в качестве систематической меры. Все подобные элементарные требования гигиены и опрятности, обыденные для всякой даже не первоклассной гостиницы нашей столицы, чужды русскому военному собранию. Выручает пока во внутреннем убранстве его ценная солидная обстановка, заведенная при основании; она составляет украшение, которое еще надолго не сведут на нет неудачные административные порядки. Обратите внимание на следующие сопоставления: импозантно одетый швейцарь наряду с грязной неустроенной передней; прилично одетая прислуга при номерах попутно с черными полами, обитыми углами и общей нечистотой; масса всевозможных по адресу приезжаго правил и обязательств, отлитографированных на клочках бумаги и пришпиленных кнопками к стенам номеров, и вместе с тем невнимание к удобствам живущих офицеров, доходящее до мещанской бедности: то нет стаканов или ножей; то за недостатком вам приносят в номер к чаю не тот хлеб, какой потребован, а какой найдется; иногда всю прислугу из помещения гостиницы отправляют на какой-нибудь концерт или ужин членов взаимопомощи, и вот по коридорам раздаются раздражительные крики по адресу единственного оставшагося мальчика, исполняющего все функции услуг; горничные иногда неряшливы и одеты в случайные костюмы. Подобные недочеты, являющие смесь величественности первоначального устройства и бедности по существу в настоящее время, делают собрание армии и флота далеким от того идеала, который доступен однако даже и не лучшим гостиницам Петербурга, не получающим к тому же сильной материальной поддержки в виде дарового освещения, отпускаемого нашему собранию от казны. Нужно заметить, что экономия на чистоте, здоровом комфорте и прочем несколько лет назад была потрачена на устройство тех удивительных занавесок, которые красуются ныне в коридорах на каждой двери номеров гостиницы. Не говоря уже о том, что дешевенький багет с еловыми стойками не гармонирует с ценной мебелью в комнатах и может быть уподоблен плебею, вторгшемуся в барский дом, но и в гигиеническом отношении подобные суконные занавеси представляют собою большой минус в благоустройстве собрания армии и флота, сосредоточивая на себе пыль и миазмы и не давая никаких осязательных удобств. Нигде в гостиницах Европы, блещущих своею гигиеничностью, мне не приходилось видеть подобных неудачных и дорого стоящих затей. К числу отличительных особенностей нашего военного собрания относится также многописание. Без письменного заявления в тетрадках, заведенных по этажам, ничего нельзя добиться; к тому же подобные записки, касающиеся мелких нужд клиентов гостиницы, мало гармонируют с требованиями взаимоотношений между военнослужащими. Примерно: «нельзя ли обратить внимание вашего превосходительства на то, что в номере есть насекомая; поручик X». «Сегодня мне подали совершенно холодный самовар; сообщаю об этом вашему превосходительству; штабс-ротмистр У», или «прошу ваше превосходительство не отказать в принятии мер, чтобы к чаю не подавали черствого хлеба, как это имело место сегодня в № 00. Подпоручик Z». Такие заявления, совершенно понятные в сношениях потребителя, платящего деньги, с администрацией гостиницы, не могут считаться безукоризненными с военно-этической стороны по отношению к хозяину собрания, генералу действительной службы. Впрочем, на ряду с этим в книжках попадаются панегирики искусству и

достоинствам собранской прислуги, записанныя по просьбе лакеевъ, при отъезде въ какой-нибудь медвежий уголь нашей обширной Империи добродушнымъ россияниномъ, не имеющимъ надежды можетъ быть никогда воспользоваться услугами собрания. Конечно, способъ письменныхъ сношений очень удобенъ для лицъ, свыкшихся съ канцелярской работой: администраторъ въ тиши кабинета можетъ принимать доклады и налагать резолюции. Но кто же не знаетъ, какъ такой мертвящий живое дело способъ отражается на потребителяхъ, то есть на офицерахъ? При отсутствии фактическаго контроля все сводится къ формальному отношению къ делу, докладамъ по начальству и къ личнымъ усмотрениямъ, ибо въ живомъ деле нельзя установить правилъ на все случаи. Меня удивляетъ, что въ жизни нашего всероссийскаго клуба коллективный контроль практикуется только при проверке денежнаго баланса, то есть той стороны дела, которую можно поручить любому опытному бухгалтеру, тогда какъ ежедневная жизнь, наиболее нуждающаяся въ общественномъ надворе, лишена коллективнаго наблюдения, единственно въ настоящемъ случае продуктивнаго. Ведь въ полковыхъ и гарнизонныхъ военныхъ клубахъ имеются же распорядительные комитеты. Отъ подобнаго надзора только выиграетъ дело и могутъ быть предотвращены ошибки и нераспорядительность администрации, особенно нежелательныя по отношению къ офицерамъ армии, меняющимся въ гостинице, какъ въ калейдоскопе, а потому и мирящимся съ недостатками собрания армии и флота. Есть еще и другие крупные недочеты въ жизни нашего всероссийскаго военного клуба; но объ этомъ до другаго раза.

„Арестовалка“

По поводу нормальности и целесообразности наложения на офицеровъ ареста были высказаны разнообразныя мнения, но вопросъ остался вопросомъ.

Дня 3—4 назадъ у меня въ доме разыгралась маленькая сценка, которая на мой взглядъ осветила затронутую тему со стороны, остававшейся для спорившихъ недоступной, почему я и решаюсь рассказать о случившемся, озаглавивъ сценку — «Арестовалка».

Действующия лица:

Вова — 3-хъ летъ, живой, беленький, маленький, толстенький, сбитый, мускулистый, съ искрающимися большими серыми глазами и круглымъ личикомъ, положительно сияющимъ, когда обладатель его играетъ или смеется. Вова все желаетъ делать «самъ».

Андрей — братъ Вовы, 5-ти летъ, резонеръ, во все вслушивающийся, во все вдумывающийся, все помнящий, ничего не забывающий, никогда не упускающий случая вставить свое замечание въ разговоръ взрослыхъ или поставить ихъ въ затруднительное положение какимъ-либо неожиданнымъ вопросомъ. Длинный, худощавый, онъ очень напоминаетъ своими неуклюжими движениями цебатаго кровнаго жеребенка, а черные глаза и темные волосы довершаютъ противоположность его Вове. Но это не мешаетъ, даже, пожалуй, помогаетъ детямъ быть очень дружными и все делать вдвоемъ.

Въ качестве статистовъ: «фрэлинъ», «мама» и я.

Место — моя квартира.

Время — 7 часовъ вечера, когда дети, передъ сномъ, носятся по всему дому и переворачиваютъ все вверхъ дномъ, изображая и поезда, и трамвай, и авто, и аэромобили.

Беготня обычно и неизменно заканчивается «прятками» при участии «мамы» и «фрэлинъ».

Мне въ это время приходится удаляться въ спальню, такъ какъ мой кабинетъ положительно необходимъ (необбегаемъ) для игры.

Въ отчетный, какъ пишутъ обыкновенно рецензенты, вечеръ «прятки» почему-то отставлены.

— Мы будемъ играть, слышится энергичный басъ Вовы, въ солдаты.

— Хорошо, отвечаетъ Андрей.

«Мама», «Фрэлинъ», идите играть въ солдаты, кричитъ Вова.

— Смирр-но! Командуеть Андрей. Онъ всегда — «офицеръ»; Вова же съ удовольствиємъ беретъ на себя менее почетную, но более деятельную роль солдата. Онъ — Эннецъ. Двухлетнее пребывание на даче въ Энке не прошло для него безследно: онъ великолепно делаетъ своимъ ружьемъ «на плечо» и «къ ноге»; когда же мимо дачи проходилъ генераль С., Вова выносился за калитку и пресерьезно отдавалъ честь. Нужно было видетъ при этомъ его морденку!

— «Шагомъ маршь»! Командуетъ дальше Андрей.

Игра началась. Фрейлейнъ и «мама» идутъ за Вовой, отбивая тактъ и подсчитывая подъ левую ногу. Но не проходитъ и двухъ минутъ, какъ до меня доносится плачь Андрея. Онъ редко плачетъ и никогда не плачетъ по пустякамъ.

— Въ чемъ дело? — кричу я.

— Андруса, не плацъ, утешаетъ брата Вова. Голоса жены и фрейлейнъ мешаются съ голосомъ Вовы и плачемъ Андрея, видимо чемъ-то возмущеннаго до глубины его детской души.

— Андрей, Адя, что случилось?

— Маа... мма... скаа... заа... ла, чтобы... я сель... въ арестовалку... Разве можно офицера сажать въ арестовалку?

Бедный мальчикъ, что же ты скажешь, когда узнаешь, что то, что кажется твоему детскому уму невозможнымъ, что оскорбило твое нетронутое жизнью самолюбие, — считается взрослыми для священнаго для тебя понятия «офицеръ» не только возможнымъ, но и нормальнымъ? Сейчасъ ты утешился темъ, что попытка посадить тебя подъ арестъ была признана мною бунтомъ, и мама и фрейлейнъ были заключены въ кабинетъ; но какой бунтъ переживетъ твоя душа, когда ты познаешь действительность?²

А. М. Н.

Обзор печати

10-ти летие нашей несчастной войны было отмечено во многихъ периодическихъ изданияхъ, но почти исключительно шаблонными статьями, не внесшими для освещения этой печальной годовщины чего-либо новаго или заслуживающаго внимания.

Да и по правде — что можно сказать объ этомъ «юбилее». Къ чему бередить старыя раны, когда знаешь, что пользы отъ этого никакой не будетъ. Поэтому и редакция «Разведчика» не нашла возможнымъ напоминать объ этихъ тяжелыхъ дняхъ отдельною статьей.

Исключение изъ этихъ статей составляетъ статья генерала Куропаткина въ «Голосе Москвы» отъ 26-го января, интересная уже по личности автора ея.

На эту статью ополчился г. К. Дружининъ въ «Дыме Отечества».

Прочитавъ юбилейную статью Куропаткина, пишетъ онъ, не могу не сказать словами Драгомирова — «какой упущенъ авторомъ удобный случай помолчать». Далее онъ пишетъ:

„Куропаткинъ говорить, что уже во второмъ периоде войны армия наша улучшилась въ томъ отношении, что „все робкое и слабое находило возможность уехать въ тылъ или совсемъ покинуть армию“. Почему же, однако, этотъ командный неудовлетворительный материалъ былъ терпимъ въ первомъ периоде и почему онъ самъ „находить возможность удалиться“, а не былъ быстро и самымъ решительнымъ образомъ удаляемъ? Почему, напримеръ, Тюренченский генераль Засуличъ и его сподвижникъ оставались командовать и въ третьемъ периоде? Почему разные другие командиры частей, оказавшиеся вполне несостоятельными еще до Ляоянскихъ боевъ и въ нихъ, не были

² Журнал "Разведчикъ", 1914, № 7(1215) (11 февраля 1914 г. - <http://personalhistory.ru/papersBA-1914-1215.htm>)

удалены, хотя их несостоятельность была известна, что подтверждено на страницах официального издания истории войны?

Но могъ ли оставаться въ третьемъ периоде войны на Сыпингайскихъ позицияхъ самъ Куропаткинъ, разжалованный изъ главнокомандующаго въ командующаго армией? Неужели этимъ фактомъ разжалования его авторитетъ не былъ донельзя поколебленъ, а можно ли продолжать такое ответственное и грозное дело, какъ командование армией на войне, имея авторитетъ поколебленнымъ? Опять-таки у Куропаткина въ данномъ случае проявляется полное непонимание военной, да, пожалуй, и всякой психологии. Действительно, онъ пишетъ въ своей объемистой книге „Россия для русскихъ“, что у насъ въ Манчжурскую войну были слишкомъ снисходительны къ ошибкамъ всякихъ войсковыхъ начальниковъ, а между темъ следуетъ ихъ карать и для этого понижать въ командовании, напримеръ, командира корпуса делать начальникомъ дивизии, а начальника дивизии командиромъ бригады. Какъ вамъ это нравится? И вотъ вся дивизия, все бойцы, весь ея командный составъ будутъ знать, что ихъ начальникъ, за свою несостоятельность по командованию корпусомъ, присланъ командовать ихъ дивизией. Ясно, что, въ случае боя, все будутъ сомневаться въ приказаньяхъ и решенияхъ такого штрафованнаго начальника, — у него не будетъ никакого авторитета, а вести войска въ бой безъ авторитета, безъ веры въ свои способности и умение — невозможно.

Да, Петръ Великий разжаловывалъ своихъ генераловъ и даже фельдмаршаловъ, но... въ солдаты. Это совсемъ другое дело, а потому, если бы Куропаткинъ пошелъ сражаться после Мукдена рядовымъ бойцомъ, съ винтовкой на плече, то история поставила бы ему это въ величайшую заслугу. Но нетъ, онъ предпочелъ, будучи разжалованнымъ, оставаться при войскахъ на войне въ большой роли. Расчетъ его, казалось, былъ веренъ: если армия будетъ вновь разгромлена, какъ подъ Мукденомъ, то, значить, знайте, что не только я, а никто вообще не можетъ выигрывать сражения въ Манчжурии: если же будетъ одержана победа, то знайте, что я былъ правъ, отступая, что у меня было мало силъ, что было несвоевременно наступать (побеждать?) и т. д., словомъ то, что Куропаткинъ пишетъ сейчасъ въ „Голосе Москвы“: „Продолжись война, за первымъ нашимъ успехомъ начался бы разгромъ японскихъ армий. Победа вернулась бы къ нашимъ знаменамъ, и вместе съ темъ на весь периодъ, предшествовавший этой победе, современники посмотрели бы совершенно иными глазами, чемъ смотрять теперь“. Это надо понимать такъ: „въ Куропаткине признали бы победителя и гения“.

Ни того, ни другого не случилось, т. е. Сыпингайская армия Линевица не имела ни поражения, ни победы, и миръ былъ заключенъ безъ новаго решительнаго столкновения. А потому Куропаткинъ остался въ наши дни и въ истории просто полководцемъ, не выдержавшимъ въ Манчжурии ни одного боевого экзамена — отъ Ляояна до Мукдена включительно. Будемъ надеяться, что въ будущей войне ему переэкзаменовки не дадутъ... Въ новомъ журнале «Армия и флотъ» г. Смирновъ, разбирая задачи нашего флота, говорить, что русский флотъ долженъ превосходить флоты всехъ державъ, расположенныхъ на этомъ море.

Конечно, сей плодъ досужей фантазии возможенъ лишь въ томъ случае, если эти флоты въ одинъ прекрасный день исчезнуть съ поверхности Балтики. Съ этимъ согласенъ и авторъ статьи, предупреждающий возражение въ роде только что приведеннаго, следующимъ соображениемъ:

„Кто знаетъ, во что обратятся флоты морскихъ державъ Севернаго Немецкаго моря при грядущемъ разрешении ихъ соперничества! Кто можетъ предсказать, что останется у нашего соседа на Балтийскомъ море после столкновения“.

Такими способами, конечно, цель достигается всего лучше, а главное легче.

Просятъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновь выходящие труды ихъ были отмечены въ «Разведчике», присылать по 2 экземпляра ихъ въ редакцию «Разведчика», Спб.

Колокольная, 14.

Вследствие значительного количества поступающих в редакцию книг и недостатка места в журнале, Редакция не берет на себя обязательства давать отзывы о каждой поступающей к ней книге.

Армия и флотъ. Двухнедельный иллюстрированный военно-литературный журналъ. № 1. Приветствуя рождение новаго военнаго журнала, пожелаемъ ему достигнуть своей цели — объединить те две руки, которыми, по завету Великаго Петра, долженъ обладать «всякий потентатъ» — армию и флотъ. Высказываться определенно объ этомъ молодомъ органе, конечно, по первому номеру нельзя, но не можемъ скрыть, что этотъ первый номеръ насъ разочаровалъ. Ведь какъ никакъ, а «товаръ лицомъ показываютъ», и после техъ широковещательныхъ объявлений о рождении новаго журнала, подписчики были въ праве ожидать, что именно въ первомъ, казовомъ номере, они увидятъ — что можетъ имъ дать издатель и редакторъ.

Начнемъ съ внешности. Если не считать обложки профессора Самокиша, где же иллюстрации «наиболее известныхъ художниковъ», техъ 13 баталистовъ, участие которыхъ обещано издателемъ? Взаменъ ихъ случайно подобранныя фототипии, плохо исполненныя и отпечатанныя — къ стыду такой фирмы, какъ «Голике и Вильборгъ»; хорошъ только портретъ Петра. Мысль начать номеръ съ этого портрета, конечно, удачна, но почему въ первомъ же номере нетъ и портрета Верховнаго Вождя армии и флота? Почему помещенъ портретъ морскаго министра, а портрета военнаго министра — нетъ, все это для читателя совершенно непонятно.

Нельзя не пожалеть также, что въ первомъ же номере нетъ всехъ отделовъ, обещанныхъ издателемъ, и что вообще материалъ подобранъ не совсемъ удачно: заметно преобладание морскихъ вопросовъ и нетъ главнаго — нетъ попытки объединить сухопутныя и морскія силы, т. е. не разрабатывается почва для совместнаго служения задачамъ государственной обороны.

Что сказать о содержании журнала? Въ первой статьѣ — «Армия, флотъ и народъ» г. К. Дружининъ доказываетъ

всемъ известную и уже достаточно приевшуюся истину о томъ, что государственная оборона основана на единении этихъ трехъ факторовъ. Писать объ этомъ на протяжении шести страницъ, пожалуй, и многовато; необходимо, однако, оговориться, что написана статья горячо, умно и литературно, какъ и вообще все, что выходитъ изъ-подъ пера этого автора. Г. Незнамовъ пишетъ о военномъ творчестве. Въ одномъ изъ периодическихъ изданий было высказано, что понять мысль автора трудно. Охотно присоединяемся къ этому мнению; заметимъ также, что ошибки въ цитатахъ (французскій текстъ) и въ переводе этихъ цитатъ, допущенныя авторомъ, очень нежелательны, темъ более, что переводъ совершенно исказилъ смыслъ цитаты. Изъ остальныхъ статей наибольшій интересъ предоставляетъ статья г. Борисова о тактическихъ занятияхъ.

Насъ могутъ обвинить въ излишней придирчивости и строгости къ новому журналу, но мы, рассматривая его, думали, что безпристрастное и откровенно высказанное суждение принесетъ гораздо больше пользы самому журналу, чемъ похвала не по заслугамъ. Мы полагаемъ, что каждый подписчикъ въ праве ожидать отъ редакции журнала исполнения обещаний, данныхъ ею въ объявлении о подписке, и не вина рецензента, если эти обещания не исполнены.

Ю. Лазаревичъ.

Вопросы, присланные въ редакцію безъ № бандероли, по которой спрашивающему высылается «Разведчикъ», будутъ оставляться безъ последствий.

Вопросъ № 4914. Могутъ ли военные врачи, состоящие не при войскахъ, а въ военно-врачебныхъ заведенияхъ, носить шпоры?

Ответъ. Да, могутъ, на основании прик. по воен. вед. 1912 г. № 15, коимъ шпоры присвоены всемъ врачамъ. Въ соответствии съ симъ подлежить исправленію ответъ на вопросъ № 4858 въ «Разведчике» № 1205.

Вопросъ № 4915. Въ какомъ месяце начинается курсъ учения въ С.-Петербургской офицерской воздухоплавательной школе; сколько времени долженъ пробить офицеръ въ этой школе (съ экзаменами), чтобы получить звание военного летчика, и можетъ ли офицеръ, окончившій воздухоплавательную школу, поступить въ томъ же году въ одну изъ военныхъ академій?

Ответъ. Офицерская воздухоплавательная школа въ С.-Петербурге подготовляетъ офицеровъ только къ полетамъ на шарахъ и дирижабляхъ. Для подготовки военныхъ летчиковъ существуетъ два учебныхъ учреждения: а) авиационный отдѣлъ офицерской воздухоплавательной школы, въ которомъ занятия начинаются съ 10-го января и оканчиваются 80-го октября того же года (прик. по воен. вед. 1912 года № 508) и б) офицерская школа авиации отдела воздушнаго флота, въ которой занятия продолжаются съ 7-го января по 20-е декабря съ перерывомъ съ 15-го мая по 15-е сентября. По окончании школы авиации офицеры могутъ поступить въ одну изъ военныхъ академій или въ другую какую-либо школу не ранее, какъ черезъ полтора (1 1/2) года.

Вопросъ № 4916. Какого цвета выпушка должна быть на воротнике походнаго мундира уезднаго воинскаго начальника?

Ответъ. Алаго, какъ это определено нижнимъ чинамъ управленийъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ ведомостью, объявленной при прик. по воен. вед. 1918 г. № 106.

Вопросъ № 4917. Можетъ ли полковникъ, имеющій 3 года старшинства въ чине и 36 летъ офицерской службы, участвовавшій въ двухъ кампаніяхъ и имеющій боевыя награды, быть представленнымъ къ награжденію чиномъ генераль-майора при увольнении въ отставку по предельному возрасту?

Ответъ. Можетъ; награждение это испрашивается въ изъятие изъ закона (ст. 170 кн. VIII, изд. 2-е, Св. Воен. Пост. 1869 г.) по ходатайству командующаго войсками.

Вопросъ № 4918. Имеетъ ли право командиръ полка сместить писаря или вообще нестроеваго нижняго чина со старшаго разряда въ младшій?

Ответъ. Да, имеетъ право, на точномъ основаніи п. 3 ст. 29 устава дисциплинарнаго (кн. XXIIII, изд. 4-е, Св. Воен. Пост. 1869 г.).

Вопросъ № 4919. Распространяется ли действие прик. по воен. вед. 1913 г. № 588 на участковыхъ начальниковъ Терской области и на чиновъ округовъ этой области?

Ответъ. Неть, действие прик. по воен. вед. 1913 г. № 588 распространяется только на чиновъ военно-народныхъ управленийъ, перечисленныхъ въ штатахъ за №№ 38, 39 и 40 и приложенияхъ 1 и 2 къ последнему штату книги II Св. штатовъ, изд. 1912 г. Участковые же начальники и чины округовъ Терской области, какъ должностныя лица военнаго управления казаковъ (кн. IX, изд. 2. Св. Воен. Пост. 1869 г. и штатъ № 63 кн. IIII Свода штатовъ 1910 г.), на ношение формы одежды, описанной въ прик. по воен. вед. 1913 г. № 588, права не имеютъ.

Почтовый ящикъ.

Херсонъ — поруч. Д. Въ морскомъ ведомствѣ неть подразделений офицеровъ на пользующихся, въ отношеніи чинопроизводства, полными правами и на имеющихъ право на производство въ чины черезъ 6 летъ и только до чина штабсъ-капитана включительно. Всякій офицеръ, переводимый изъ армии во флотъ, считается во всехъ правахъ службы вне какихъ-либо ограниченій и чинопроизводство его будетъ зависеть только отъ места, которое онъ занимаетъ.

Курскъ — шт.-кап. М. Начальнику пулеметной команды, какъ получающему столовыя деньги менее 300 р. въ годъ, отпускаются квартирныя деньги изъ оклада младшаго офицера; законъ: пр. в. в. 1911 г. № 425.

Севастополь — шт.-кап. К. Указанная вами ст. 961 кн. XIX Св. Воен. Пост. относится до штабсъ-капитановъ, служащихъ на административныхъ должностяхъ и получающихъ жалованье не по чинамъ, причемъ въ цитату этой статьи вошелъ пр. в. в. 1895 г. № 77.

Штабсъ-капитаны же, служащія въ строю, получаютъ квартирныя деньги по окладамъ, указаннымъ въ пр. в. в. 1911 г. № 425.

Бендеры — У-ву. Священники на места по военному ведомству избираются и назначаются протопресвитеромъ военного и морского духовенства, согласно постановлениямъ ст. ст. 167—174, изд. 2-е, Св. Воен. Пост. 1869 г. (Ст. 754 кн. И, изд. 3-е, Св. Воен. Пост. 1869 г.).
Нижний-Новгородъ — подпоруч. С-ву. Офицеръ, служивший нижнимъ чиномъ въ полку, права на ношение офицерскаго нагруднаго юбилейнаго знака этого полка не имеетъ; онъ можетъ носить этотъ знакъ образца, установленнаго для нижнихъ чиновъ этой части (цирк. Гл. Шт. 1911 г. № 221 и 1912 г. № 16 и «Разведчикъ» № 1056).

Нижний-Новгородъ — подпоруч. С-ву. По изложеннымъ въ вашемъ письме въ редакцию отъ 19-го декабря 1913 г. вопросамъ командиръ полка можетъ возбудить ходатайство по команде.

Рязскъ — полковн. Б-зе. Особыми правами на образование въ кадетскихъ корпусахъ и въ другихъ учебныхъ заведенияхъ внуки полковника, имеющаго золотое оружие и ордена св. Владимира 4 ст. съ мечами и 3 ст., не пользуются.

Владикавказъ — полк. Г-му. Кавалерственное одеяние, присвоенное кавалерамъ ордена св. Георгия, не носится (учрежд. орденовъ и друг. знак. отл., т. И ч. 2 Св. Зак. Рос. Имп. изд. 1892 г.).

Кронштадтъ — кап. И. 1) До пробития сбора войска гарнизона коменданту не подчинены, а потому, если онъ прибудетъ къ разводу до команды «бей сборъ», то ему отдается честь, не деля на карауль. 2) Правилами о форме одежды не воспрещается офицерамъ носить вне строя и службы ботинки, полусапожки и т. п. обувь.

Лодзь — подполк. М. Права потомственнаго дворянства даетъ производство въ чинъ полковника не при отставке, а на действительной службѣ; законъ: св. зак., т. IX, зак. о сост., изд. 1899 г., ст. 20, по прод. 1906 г.

Манчжурия — подполк. Д. Те коменданты железнодорожныхъ и водныхъ участковъ, на которыхъ распространены преимущества отдаленной службы, имеютъ право на получение единовременныхъ пособий, указанныхъ въ ст. 728 кн. XIX с. в. п.

Благовещенскъ — поруч. З. 1) Поручикъ, командующий нестроевою ротой, не можетъ получать квартирныхъ денегъ по окладу ротнаго командира; законъ: пр. в. в. 1911 года № 425. 2) Командующий нестроевою ротой, какъ получающий фуражные деньги на верховую лошадь, имеетъ право носить шпоры.

Херсонъ — кап. Б. Въ заключительныхъ словахъ указа 10-го августа 1913 года сказано, что «прежний статутъ военного ордена считать отмененнымъ, сохранивъ въ силе лишь постановления о прибавочномъ жалованьи и пенсияхъ по знаку военного ордена», а потому заурядъ-прапорщикъ, имеющий Георгиевские кресты, долженъ получать на нихъ добавочное жалованье по прежнимъ окладамъ.

Ѳеодосия — кол. асес. В. 1) Установленный ст. 8 кн. XIX с. в. п. годичный срокъ конечно распространяется и на пособия, указанные въ ст. 297-й той же книги. 2) Все неистребованное довольствие взыскивается съ начальника хозяйственной части и делопроизводителя; законъ: пун. в ст. 19 кп. XX с. в. п. и пр. в. в. 1898 г. № 313.

Островъ — кап. П-ву. О зачете въ службу времени пребывания въ резерве С.-Петербургской столичной полиции Вы можете возбудить ходатайство по команде.

Джаркентъ — кап. И-ву. Да, на основании приказа по воен. вед. 1899 г. № 161 и 1913 г. № 357 Вы имеете право на преимущества отдаленной службы (см. ответъ на вопросъ № 4879 въ «Разведчике» № 1209).

Не будутъ даны ответы по причинамъ, указаннымъ въ № 1160 «Разведчика».

По п. И: Ст. Якеши — ротм. Б.; Карсъ — пор. Е.; Тобольскъ — Г. С. Б.; Смоленскъ — подполк. В.; Казань — фельдф. Ж.; Керки — пис. Н.

По п. ИИ: Васильковъ — В. Д.; Симбирскъ — подполк. Б.; Новохоперскъ — делопр. К.; Благовещенскъ — подполк. К.; Бельцы — № 3329.

Изъ присланныхъ въ редакцию по 3-е января статей не будутъ напечатаны:

Е. А. — «Русские инструктора въ Урге».

Н. З. — «Жизнь офицера на 90 копеек в сутки», «Больные вопросы», «Из уст младенцев».

Ө. С. — «Ростов Великий».

Б. З. — «Как провалился штабс-капитан Черемухин» (новогодний рассказ).

В. В. — «За Богом молитва, а за Царем служба не пропадают».

Т. — «Психологические рекламы».

К. С. — «О новой форме обмундирования».

С. — «Наглядный способ обучения прицеливанию молодого солдата».

К. — «Поступление в военную академию».

А. Ш. — «Из писем «моментов» друг к другу».

Я. К. — «Работа в воинских присутствиях по новому уставу».

Г. И. — «Нельзя не торопиться».

Л. — «Несколько слов о саперном батальоне».

А. К. — «Где сила, там и право».

Редактор-издатель В. А. Березовский.³

Военно-исторический журнал

Наступательный бой 11-й пехотной дивизии в брусиловском прорыве 4-10 июня 1916 г.

П. Балдин, майор

Редакция будет систематически помещать в отделе «Из опыта боев» военно-исторические примеры из первой мировой, гражданской и современных войн в масштабе полк — дивизия — корпус. Цель опубликования этих примеров — дать командному составу РККА материал, могущий служить фоном для разработки тактических задач, а также сообщить ему поучительные факты боевой деятельности войск для использования на занятиях по тактике.

Редакция просит читателей и авторов журнала присылать материал для отдела «Из опыта боев».

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА

4 июня 1916 г. ¹русские армии Юго-западного фронта под командованием генерала Брусилова должны были перейти в общее наступление против германо-австрийцев. К началу наступления 11-й армейский корпус, входящий в состав 9-й армии, занимал тринадцатикилометровый фронт южнее р. Днестр от д. Онут до Доброноуц.

Перед фронтом 11-го корпуса оборонялись австро-венгерские части, закрепившиеся здесь еще с зимы. Корпусу противостояли 26-й и 27-й пехотные полки 42-й гонведной дивизии, 6-й и 19-й пехотные полки 40-й гонведной дивизии; кроме того, в резерве находились 25-й пехотный полк в Нахорлоуц, 1-й полк 5-й пехотной дивизии в Юркоуц и 30-я пехотная дивизия в Кучурми.

В состав 11-го корпуса входили 11-я и 32-я пехотные дивизии; кроме того, корпус был усилен тяжелым дивизионом 12-й артиллерийской бригады, 19-й пехотной дивизией и 1-й Донской казачьей дивизией.

3 июня командир корпуса получил приказ атаковать противника 4 июня, прорвать его укрепленную позицию на участке от выс. 266 с крестом, что в 1,5 км севернее корд. П., до отметки 218 в 2 км южнее корд. П. и овладеть высотами на фронте Нахорлоуц, Доброноуц, развивая успех в направлении Юркоуц².

³ Журнал "Разведчик", 1914, № 7(1215) (11 февраля 1914 г. - <http://personalhistory.ru/papersBA-1914-1215.htm>)

Таким образом, главный удар был нацелен южнее выс. 272 на фронте 3,5 км. На этом участке в первой линии сосредотачиваются 4 пехотных полка: в первой линии 43-й и 44-й пехотные полки 11-й Пехотной дивизии и 126-й и 128-й пехотные полки 32-й пехотной дивизии при содействии 159 орудий (из них 36 тяжелых).

О группировке сил корпуса дает представление следующая таблица:

В резерве находились: 74-й пехотный полк за левым флангом 32-й пехотной дивизии; 75-й пехотный полк в Блищади; 1-я Донская казачья дивизия в районе Малинцы, Клишковцы; Текинский кавалерийский полк в Перебуйковцы (в дальнейшем — в Блищади).

Таким образом, на протяжении 13 км к утру 4 июня было сосредоточено 48 русских батальонов с 211 орудиями, 220 станковыми пулеметами, или 46 тыс. штыков (58 тыс. бойцов). Им противостояли 24 австрийских батальона с 100 орудиями и 130 станковыми пулеметами, или 17 тыс. штыков (22 тыс. бойцов).

Русские имели двойное общее превосходство, а на направлении главного удара — в 2,5 раза.

Примечания:

Даты везде приведены по новому стилю [↔]



ЦВИА, д. № 215, л. 842. [↔]



ОБСТАНОВКА НА ФРОНТЕ 11-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ

В состав 11-й пехотной дивизии входили 41-й Селенгинский, 42-й Якутский, 43-й Охотский и 44-й Камчатский полки, каждый четырехбатальонного состава.

В середине мая дивизия была пополнена людьми и техническими средствами и к моменту наступления имела 16 батальонов (15 500 штыков), 49 пулеметов, 44 бомбомета, 8 полевых мортир, 36 полевых лег- кик орудий, 10 тяжелых орудий, 772 патрона на винтовку, из них 529 австрийских (дивизия была вооружена австрийскими винтовками). Дивизия занимала фронт на направлении главного удара армии и корпуса протяжением в 7 км, от д. Онут до р. Хороскоуц. Справа располагалась 3-я Заамурская дивизия и слева — 32-я пехотная дивизия.

Перед фронтом 11-й пехотной дивизии находились укрепленные позиции, занятые 27-м австро-венгерским пехотным полком и двумя батальонами 26-го пехотного полка 42-й гонведной дивизии группы генерала Бенигни. В резерве австрийцы имели 25-й пехотный полк в д.- Нахорлоуц и 1-й пехотный полк 5-й пехотной дивизии в д. Юркоуц.

Средняя плотность на 1 км фронта на участке 11-й пехотной дивизии равнялась: у русских — 1 800 штыков, 8 орудий, 6 пулеметов; у австрийцев — 1 300 штыков, 5 орудий и 5 пулеметов. Таким образом, значительного общего превосходства в силах 11-я дивизия не имела, но на направлении главного удара это превосходство было почти тройным. Позиции 11-й пехотной дивизии были расположены в удалении 300—1 000 м от австрийских позиций. В тактическом отношении они были выбраны весьма удачно. Первая полоса состояла из 3—4 линий окопов с проволокой в 3—4 ряда перед ними. Окопы были оборудованы убежищами и замаскированы, соединены ходами сообщения, но еще не совсем приспособлены к наступлению и даже к обороне: отсутствовали площадки для переноса раненых, не все линии имели ходы сообщения и т. д. Частые дожди размывали необшитые стенки окопов и ходов сообщения. Главным же недочетом было значительное удаление от позиции противника.

Австро-венгерская позиция была оборудована лучше, особенно ее первая линия. Из показаний пленного, впоследствии подтвердившихся при прорыве, было известно, что позиция имела три укрепленные полосы, расположенные друг от друга на расстоянии 500 м. Первая полоса состояла из двух линий окопов на удалении 100—200 м, соединенных ходами сообщения. Перед нею имелось проволочное заграждение из 4—5 рядов кольев, местами железных; затем шли два ряда электрических заграждений, далее полоса из 9 рядов кольев и засеки из толстых деревьев.

Местные предметы были обращены в опорные пункты. Особенно сильно была укреплена выс. 272 (схема 2), владение которой обеспечивало оборону всего района.

Командующие высоты занимались австро-венгерцами, что усложняло для русских наблюдение за тыловыми позициями противника и за подходом его резервов из тыла.

На основании полученных указаний о подготовке плацдарма для наступления командир 11-й пехотной дивизии генерал Бачинский лично с командным составом произвел рекогносцировку и изучил местность и позицию австрийцев.

Был составлен план подготовки плацдарма, включавший меры маскировки, инженерной, артиллерийской и химической подготовки.

С целью маскировки наступления никакие оперативные распоряжения письменно и по телефону не отдавались, а сообщались командирам полков лично командиром или начальником штаба дивизии. Разведка велась на всем фронте, мелкими партиями. Работы производились только ночью. При осмотре местности в 100 шагах от русских позиций был обнаружен австрийский телефонный провод, что было использовано для организации подслушивания.

Инженерная подготовка (схема 3) заключалась в усовершенствовании позиций для наступления. Она развернулась еще в конце апреля. Окопы развивались и усовершенствовались, увеличивалось количество ходов сообщения, блиндажей, лисьих нор для резервов; велась постройка дорог и мостов.

В приказе по 11-й пехотной дивизии № 11 от 21 мая указывалось: «Передовая линия должна находиться в сплошную у неприятельского проволочного заграждения...

Плацдармы, устраиваемые на участках Камчатского и Охотского полков, должны состоять из параллельных траншей, соединенных ходами сообщения. Таких ходов сообщения должно быть устроено по 16 на пехотный полк. Перед каждой выносимой вперед траншеей тотчас же ставить рогатки. Все насыпи маскировать под цвет местности.

Продельвание проходов по мере приближения к проволочным заграждениям делать всеми способами и средствами. Проходов должно быть 4 на роту шириной 6 сажений.

Вести занятия с офицерами и нижними чинами по решению задан на атаку. Устраивать окопные тревоги»¹.

Цель подготовки плацдарма сводилась к тому, чтобы приблизиться к позиции противника на 100—150 м, дабы одним броском в атаку овладеть первыми линиями окопов.

Приближение к австро-венгерским позициям производилось каждую ночь, начиная с середины мая, в следующем порядке. С наступлением темноты русская цепь внезапно выбегала из окопов, совершала перебежку на ранее намеченную линию и окапывалась одиночными окопами, затем эти окопы соединялись между собой, рылись ходы сообщения в тыл и т. д. Вперед сразу же выбрасывались рогатки, заготовленные заранее.

Подготовка плацдарма проводилась в трудных условиях: шли сильные дожди, окопы, разрушались, люди работали вводе, под огнем противника. За месяц в дивизии вышло из строя 1 500 человек. Но, несмотря на это, моральное состояние войск было хорошее.

К началу наступления на участке главного удара окопы русских находились от австро-венгерских позиций на 100—150 м. Окопы и артиллерийские позиции были замаскированы так хорошо, что при наблюдении с воздуха их совсем не было видно.

Легкая артиллерия стояла на ОП в удалении не более 2 км от позиции противника, а тяжелая — на 3—4 км.

Очень хорошо была налажена связь артиллерии с пехотой. Передовые наблюдательные пункты от батарей, получивших задачу разрушения позиций противника, находились при ротах и батальонах. Для сопровождения пехоты были назначены специальные батареи. Телефонная связь от артиллерии к пехоте была протянута двухпроводная. Для химической подготовки атаки была привлечена 9-я химическая команда, установившая баллоны с газом у д. Черный Поток, в первых линиях окопов 41-го пехотного полка. Все солдаты имели противогазы, а в окопах хранились нефть и керосин для зажигания костров с целью выкуривания газов в случае пуска их противником. Дивизия провела два ночных учения по занятию плацдарма полками. Австро-венгерское командование знало о готовящемся наступлении русских, но особых мер не принимало. Оно не знало, где готовится прорыв. Движение же в тылу у русских оценивало как демонстрацию.

Примечания:

ЦВИА, д. № 209, лл. 8—10. [↔]

—

ЗАДАЧА 11-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ И РЕШЕНИЕ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ

Согласно (приказу командира корпуса от 3 июня 11-я пехотная дивизия должна была атаковать противника на фронте от д. Онут до р. Хороскоуц, нанося главный удар левым флангом на участке от выс. 266 с крестом до р. Хороскоуц. Ближайшая задача дивизии —; овладеть линией выс. 236, что севернее д. Черный Поток, выс. 265, мост через р. Хороскоуц у винокуренного завода¹.

Пехота должна была атаковать 3—4 волнами, за которыми следовали резервы. Волны шли одна за другой в 150—200 шагах. Вторая волна должна была заполнять бреши в первой, третья волна — служить ближайшей поддержкой.

Первая и вторая волны снабжались гранатами и средствами для уничтожения проволочных заграждений. Пулеметы располагались во второй и третьей волнах.

На долю дивизии, из общего количества 161 орудий корпуса, приходилось 75—79 орудий поддерживающей артиллерии. Вся артиллерия была разделена на три группы с задачами: одной группе — вести огонь по окопам, другой — по заграждениям, третьей — по артиллерии противника. По мере продвижения пехоты вся артиллерия должна была переносить огонь по резервам и местам скопления противника.

По овладении 1-й и 2-й линиями неприятельских окопов часть тяжелой артиллерии должна была быстро выдвинуться вперед.

Как видно из этих распоряжений, командир корпуса точно указал командиру дивизии как его задачу, так и способ ее решения. Этой детализацией он лишил командира дивизии инициативы в выборе направления главного удара. В то же время дивизии вовсе не была поставлена дальнейшая задача, несмотря на наличие в штабе корпуса точных данных о резервах противника.

Крупным недочетом решения командира корпуса было излишнее уплотнение полков первой линии на главном направлении, что привело в дальнейшем! к большим потерям. Получив задачу от командира корпуса, командир 11-й дивизии в 14 часов 3 июня отдал приказ № 13, предписывавший:

«41-му Селенгинскому полку с 16 орудиями атаковать противника на фронте от Онут до перекрестка дорог с отм. 265, нанося главный удар между д. Онут и Черный Поток (т. е. правым флангом). Ближайшая задача — овладеть выс. 236, молочная ферма, северные склоны выс. 265.

42-му Якутскому полку 2 батальонами с 6 орудиями атаковать противника на фронте от перекрестка дорог до выс. 266 севернее корд. П, нанося главный удар на выс. 272 с целью прикрыть фланг 44-го и 43-го полков.

44-му Камчатскому полку с 16 орудиями атаковать противника на фронте выс. 266 с крестом до южного перегиба хребта Черный Поток. Ближайшая задача — овладеть высотой между отм. 251 и 206.

43-му Охотскому полку с 16 орудиями атаковать противника на фронте от юго-восточного перегиба хребта Черный Поток до р. Хороскоуц. Ближайшая задача — овладеть юго-восточными склонами выс. 278, мостом через р. Хороскоуц у винокуренного завода и держать непосредственную связь с 32-й пехотной дивизией.

Взводу 8-го Сибирского горного дивизиона занять огневую позицию севернее д.

Баламутовка для стрельбы по аэропланам.

Полкам занять исходное положение для атаки к 2 часам 4 июня; время атаки будет указано за 3 часа до начала атаки в зависимости от успеха артподготовки»².

Таким образом, по решению командира дивизии 41-й и два батальона 42-го пехотного полка выполняли второстепенную задачу. 41-й полк наступал на широком фронте в 4,3 км. 42-й полк занимал фронт в 1,2 км и, имея всего два батальона, наносил, как сказано в приказе, «главный удар на укрепленную выс. 272».

43-й и 44-й пехотные полки наступали на фронте в 1,5 км, т. е. по 750 м на полк, что создавало излишнюю скученность.

Если командир дивизии хорошо подготовил плацдарм для наступления, то в решении он допустил ряд грубых тактических ошибок, которые сводились к следующему:

Вся дивизия была построена в одном эшелоне, не считая двух резервных батальонов, которые сразу же были введены в дело, что уже в первый день боя лишило командира дивизии возможности развивать успех на направлении главного удара.

Резерв был создан за счет 42-го пехотного полка, наступавшего на сильно укрепленную выс. 272. В результате атака 42-го полка в первый же час захлебнулась, а выделенный дивизионный резерв вместо использования на главном направлении впоследствии был истрачен для пополнения убыли 42-го полка и поэтому никакой роли не сыграл.

Командир дивизии собирался лобовым ударом взять выс. 272, опутанную десятками рядами проволоки и обороняемую силами 2 1/2 батальонов австрийцев. Конечно, для 2 батальонов 42-го полка эта задача была невыполнима, что и привело в дальнейшем к семидневным бесплодным атакам и к потерям до 60 проц. состава полка.

Задача полкам была поставлена на овладение рубежом, а не на уничтожение и окружение живой силы противника, хотя такая возможность была. Дальнейшей задачи полки не получили вовсе.

Наступая главными силами южнее выс. 272, 11-я дивизия подставляла свою ударную группу под удар резервов противника от Хорошоуц, Юркоуц. Обстановка требовала иметь сильный резерв на направлении главного удара и сковывать противника перед фронтом выс. 272. Поэтому надо было 42-й пехотный полк иметь во втором эшелоне за 43-м и 44-м полками и вводить его для развития прорыва, а за счет 42-го пехотного полка расширить фронт 41-го и 44-го полков.

Однако в решении командира дивизии был и ряд положительных моментов: Так, артиллерия была распределена правильно, что сыграло большую роль в атаке; выбор времени атаки соответствовал создавшейся обстановке, так как беспечность австро-венгерского командования ослабляла силы противника и т. д.

Штаб дивизии четко разработал приказ и быстро довел его до полков.

На основании хорошей информации штаба об обстановке все части дивизии имели точные сведения о противнике, о характере его укрепленных позиций.

В штабах дивизий и полков, хорошо была поставлена взаимная информация; донесения представлялись своевременно. Была налажена бесперебойная связь командного и наблюдательного пунктов командира дивизии с полками как до атаки, так и во время нее. Взаимодействие пехоты с артиллерией было организовано правильно. Все командиры батарей, которые должны были проделывать проходы в проволочных заграждениях и

разрушать окопы, вместе с командирами соответствующих рот и батальонов наметили места проходов и оставили своих наблюдателей при этих ротах.

Примечания:

ЦВИА, д. № 215, л. 842. [↔]

—

ЦВИА, д. № 209, л. 13. [↔]

—

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Прорыв укрепленной полосы противника и обстановка перед выс. 272 (схема 4).

4 июня к 2.00 части дивизии заняли исходное положение для атаки. В 3.15 на участке 41-го пехотного полка, севернее и южнее Черный Поток 9-я химическая команда пустила газовую волну, которая вначале шла хорошо. Но внезапно подувший легкий ветер с кхга направил часть газа на русские окопы. Несмотря на принятые меры, в 41-м пехотном полку все же оказалось 30 пораженных (из них 3 умерли, а остальные вернулись в строй). В целом же химическая атака удалась: газовое облако пошло на противника и произвело в его рядах панику.

В 4.00 началась артиллерийская пристрелка, а с 6.00 до 12.00 вся артиллерия стреляла на поражение. Три раза артиллерия русских переносила огонь в тыл противника; но когда австрийцы выходили из убежищ и занимали окопы для встречи атаки, артиллерия возобновляла стрельбу по окопам. Наконец, когда в четвертый раз артиллерия перенесла огонь в тыл, австрийцы не вышли из убежищ, думая, что их опять обманывают. Этим воспользовались русские и в 12.00 пошли в атаку.

Уже через полчаса 41-й, 43-й и 44-й полки заняли три линии австрийских окопов. 42-й полк (два батальона) занял окопы южнее выс. 272.

В 15.00 три полка — 42-й, 43-й и 44-й — были контратакованы австро-венгерцами и отступили. Но перейдя вновь в атаку, они вскоре заняли две линии окопов и к наступлению темноты закрепились на рубеже: выс. 237, 236, западная окраина Черный Поток, восточные скаты выс. 272, выс. 266 с крестом, мост через р. Хороскоуц. Таким образом, дивизия вклинилась в расположение противника в среднем на 1—2 км. 42-й полк выс. 272 не овладел.

За день боя дивизия взяла в плен 120 офицеров, 4 100 солдат и захватила 15 пулеметов. Один только 43-й полк взял в плен 88 офицеров и 1 850 солдат, причем пленные без конвоя густыми толпами бежали в тыл к русским¹.

Потери дивизии убитыми и ранеными исчислялись в 2 800 человек. Больше всего потерь понес 42-й пехотный полк.

В 21.40 командир дивизии приказал двум левофланговым батальонам 41-го и 42-го пехотных полков атаковать противника ночью с задачей овладеть выс. 272. Но эта ночная атака никаких результатов не дала.

5 июня продолжались бои за выс. 272, но противник упорно сопротивлялся и, кроме того, фланкировал огнем 43-й и 44-й полки, которые из-за этого не могли продвинуться дальше. В 18.45 5 июня левый фланг 3-й Заамурской дивизии (сосед 11-й пехотной дивизии справа) был контратакован австрийцами со стороны станции Окна. Заамурцы начали отход, и это стало угрожать правому флангу 11-й пехотной дивизии. Для обеспечения стыка были брошены три батальона 75-го пехотного полка.

В 19.00 42-й пехотный полк, наконец, добился успеха и овладел выс. 272; но в результате контратаки австро-венгерцев она была вновь потеряна.

Таким; образом, результаты боя 5 июня свелись только к захвату пленных. Было взято в плен 1 500 человек, потеряно убитыми и ранеными — 530 человек.

6 июня командир корпуса приказал 11-й пехотной дивизии с 75-м полком взять выс. 272 и наступать на Нахорлоуц и г. дв. Влайко. Корпусной резерв — Текинский кавалерийский полк — перешел в Блищады.

В 2.00 командир дивизии приказал после артиллерийской подготовки вновь атаковать выс. 272. При этом два батальона 41-го пехотного полка должны были наступать с севера, 42-й пехотный полк — с востока и два батальона 44-го и 75-го пехотных полков — с юго-востока. Но и на этот раз наступление было безрезультатным.

В 11.00 австрийцы густыми цепями силою до одного полка вышли из Нахорлоуц на поддержку своих передовых линий.

В 13.00 противник в составе одного полка перешел в контратаку с выс. 272, но был задержан артиллерийским и пулеметным огнем.

В 14.00 41-й пехотный полк и три батальона 75-го полка во взаимодействии с 3-й Заамурской дивизией перешли в наступление на Нахорлоуц. 42-й и 44-й полки вновь атаковали выс. 272 в обход со стороны выс. 266 с крестом.

Австро-венгерцы, опасаясь окружения, оставили восточный склон выс. 272, а заняли самую ее вершину, оказывая упорное сопротивление. В тылу у них на ст. Юркоуц прибывали эшелоны.

44-й пехотный полк занял часть склона выс. 272, но атака на остальных участках успеха не имела. Известную роль в этой неудаче сыграла плохая, дождливая погода, которая отрицательно повлияла на артиллерийскую подготовку.

Несколько лучше были результаты наступления на фронте севернее Днестра, где 2-я Заамурская пехотная дивизия воспользовалась перегруппировкой противника и на плечах его отходящих частей заняла восточный берег Днестра.

Три дня боя ослабили физические и моральные силы австро-венгерцев. Они перебросили к участку прорыва три дивизии и в частности 51-ю гонведную дивизию из района Залешики (севернее Днестра) в район восточнее Юркоуц, т. е. против 11-й пехотной дивизии. Кроме того, генерал Бенигни, опасаясь окружения русскими 42-й гонведной дивизии, к вечеру 6 июня отвел ее на более сильную позицию — ст. Окна, выс. 251 (севернее ст. Окна).

Развитие прорыва. Захват д. Юркоуц, Хорошоуц и выход к Черновице (схема 5).

С 7 по 9 июня на фронте корпуса и дивизии происходила перегруппировка: смена частей, пополнение их людским составом, материальной частью и боеприпасами. Велась подготовка к новому наступлению, намеченному на 10 июня.

11-й корпус получил директиву: прорвать фронт на участке Нахорлоуц, Юркоуц и, удерживаясь левым флангом у выс. 458, 11 июня переправиться через р. прут и захватить Черновице (схема 1)². Во исполнение задачи корпуса 11-я пехотная дивизия заняла фронт от выс. 237 (исключительно) до винокурного завода, имея целью прорвать фронт и наступать на рубеж Юркоуц, Хорошоуц. Дивизии была придана 1-я бригада 12-й пехотной дивизии (два полка), наступающая справа от выс. 253 до выс. 237. Во втором эшелоне за этой бригадой располагались остальные части 12-й пехотной дивизии.

Перед фронтом 11-й пехотной дивизии оборонялись: бригада 5-й австрийской пехотной дивизии, 30-я пехотная дивизия и остатки 40-й гонведной дивизии — всего около 12 тыс. штыков. 11-я пехотная дивизия имела около 12 500 штыков.

Выс. 272 оборонялась 54-м пехотным полком 5-й австрийской пехотной дивизии.

9 июня в 23.00 командир дивизии отдал распоряжение: 44-му пехотному полку наступать правее выс. 272, 43-му пехотному полку наступать за 44-м полком. Оба полка должны были овладеть выс. 272 и в дальнейшем наступать на выс. 268. 42-му пехотному полку содействовать 44-му пехотному полку в овладении выс. 272 и по овладении ею перейти в

дивизионный резерв. 41-му пехотному полку наступать с задачей овладеть рубежом отм. 206 и выс. 250³.

10 июня с 4.00 до 10.00 велась артиллерийская подготовка. В 10.00 пехота пошла в атаку. Артиллерия противника хоть и открыла огонь, но не остановила наступления.

Справа заамурцы и 74-я пехотная дивизия в 11.00 овладели ст. Окна и выс. 279.

12-я пехотная дивизия вышла на фронт отм. 231 и выс. 265, приближаясь к д. Нахорлоуц. Австро-венгерцы удерживали выс. 272. Попытка 44-го пехотного полка атаковать ее с востока не имела успеха.

В 12.00 полки 12-й пехотной дивизии (приданные 11-й пехотной дивизии) обошли выс. 272 с запада. Наконец, 44-й пехотный полк захватил высоту, взяв в плен Оборонявший ее 54-й австрийский полк.

В это время до двух полков австро-венгерцев из Нахорлоуц перешли в контратаку по обоим берегам р. Черный Поток, угрожая правому флангу 12-й пехотной дивизии. Противник наступал вначале без выстрелов, его артиллерия выкатилась галопом на открытые позиции и поддержала свою пехоту. Артиллерия 11-й и 12-й пехотных дивизий создала огневую завесу и стала успешно бить артиллерию противника. Вскоре австро-венгерские орудийные расчеты напали разбегаться, бросая орудия; но пехота все же продолжала наступать, хотя и несла большие потери. Это внесло некоторый беспорядок в ряды 12-й пехотной дивизии и в левофланговые части 74-й пехотной дивизии. Вскоре эти части начали отход в ложину.

Но русская артиллерия ураганным огнем по цепям противника остановила их на линии отм. 248. В это время 11-я пехотная дивизия, взяв выс. 272, продолжала наступление.

Части 12-й пехотной дивизии, видя это, ободрились и вновь стали наступать. Австро-венгерская контратака захлебнулась.

Наступая на Юркоуц и достигнув рубежа отм. 246 и г. дв. Влайко, 11-я пехотная дивизия была внезапно контратакована из ложин густыми цепями противника силою до двух полков. Артиллерия русских молчала, так как происходила смена огневых позиций. В рядах 11-й пехотной дивизии произошло некоторое замешательство. Но в это время был введен в бой Текинский кавалерийский полк в составе 360 всадников, стоявший в корпусном резерве в Блищади. Полк полевым галопом в конном строю внезапно атаковал густые цепи австро-венгерцев северо-восточнее Юркоуц и внес в их ряды панику. В итоге текинцы захватили в плен 1 500 человек и сорвали австрийскую контратаку.

К 16.00 части 11-й пехотной дивизии захватили: 44-й пехотный полк — восточную часть д. Юркоуц и центр д. Боянцук; 43-й пехотный полк — центральную часть д. Боянцук и северо-западную окраину д. Хорошоуц; 41-й пехотный полк после отбития контратаки противника из д. Добро-ноуц захватил д. Хорошоуц; 42-й пехотный полк в дивизионном резерве расположился в г. дв. Влайко. К 19.00 11-я пехотная дивизия окончательно овладела деревнями Юркоуц, Боянцук и Хорошоуц.

За день боя 11-я пехотная дивизия взяла в плен 117 офицеров, 6 379 солдат и захватила 25 пулеметов и одно орудие.

11 июня на основании распоряжения командира корпуса командир дивизии приказал наступать на Черновице, причем 43-й пехотный полк должен был выступить в 12.00 из Боянцука и следовать в авангарде дивизии по маршруту вост. окр. Кучурник, Шубранец, зап. окр. Черновице (схема 6).

Примечания:

Перенос операционного направления 9-й армии на юго-запад вытекал из новой задачи армии, поставленной командованием фронта. — Ред. [↔]

ЦВИА, д. № 179, л. 31. [↔]

ВЫВОДЫ

4 июня при атаке укрепленной позиции австро-венгерцев 11-я пехотная дивизия имела крупный успех, прорвав фронт противника в глубину на 1,5—2 км и захватив 4 220 пленных. Успех первого дня боя был обеспечен неожиданностью наступления, искусной маскировкой, хорошей подготовкой плацдарма и отлично проведенной артиллерийской подготовкой.

Австро-венгерское командование переоценило свои позиции (считая их непреодолимыми) и преувеличило боевую стойкость своих войск.

Достигнув крупного успеха, 11-я пехотная дивизия понесла большие потери: было убито и ранено 2 800 человек. Это произошло потому, что часть австро-венгерской артиллерии и пулеметов «ожили» после артиллерийской подготовки русских.

Развития успеха в первый день прорыва не произошло также и (потому, что в построении боевого порядка русских не было глубины, а резервы у командира дивизии фактически отсутствовали. Два батальона 42-го пехотного полка не; сыграли никакой роли, так как были быстро введены в бой на участке своего же полка.

Во втором этапе наступления после перегруппировки и создания глубины боевого порядка 11-я дивизия прорвала фронт противника в глубину на 8 км и заставила его отступить. К 17 июня дивизия достигла д. Ленкоуц (северо-западнее Черновице), т. е. прошла с боями 32 км.

В итоге боев с 4 по 10 июня дивизия взяла в плен 12 528 человек и захватила 41 пулемет, 4 орудия, 8 минометов, 8 бомбометов; но за те же дни она потеряла до 40 проц. состава, т. е. около 7 тыс. человек.

Во втором этапе боя дивизия наступала двумя эшелонами, имея в первой линии три полка, во второй один полк, который являлся резервом командира дивизии; этот боевой порядок соответствовал обстановке.

Ошибка австро-венгерского командования заключалась в том, что части своевременно не были отведены на тыловую позицию, в результате чего обойденный 54-й полк, оборонявший выс. 272, сдался, а другие части отступили, не успев занять тыловой оборонительной рубеж Нахорлоуц, Юркоуц.

Великая Отечественная война в периодических изданиях 1941-1945

Правда

Нутро трусливых негодяев

Лозунгом «блиц-криг» (молниеносная война) были заправлены брошенные на Восток гитлеровские двуногие военные машины.

Гebbельсовские граммофоны из ведомства пропаганды вдолбили в отупевшие, не привыкшие думать головы гитлеровских ландскнехтов заманчивую мысль о легкой победе над СССР в «три-четыре недели».

Одни простодушно поверили в «блиц-криг», потому что измучены и страстно желают окончания войны. А желание, как известно, — отец мысли. Другие поверили потому, что их опьянили победы над более слабыми и неподготовленными к серьезному отпору противниками на Западе.

Настроения «блиц-криг» были широко распространены в германской армии — массовый гипноз, посеянный отравленной геббельсовской пропагандой! В наших руках тысячи солдатских и офицерских писем к родным и знакомым в Германию. В первые дни войны каждое письмо содержало хвастливую стереотипную фразу: «Сомнений быть не должно. Война будет окончена с полной победой через 3-4 недели... В начале июля будем в Москве».

Особенной самоуверенностью отличались письма ССовцев — отборных, отъявленных фашистских головорезов из охранных отрядов.

Один из этих вырожденцев — некто Циге с развязной наглостью писал 23 июня Лие Циге в Штутгарт: «Я полагаю, что война с Россией в 3 недели будет окончена».

Он немного ошибся, этот гитлеровский змееныш. Для него «все кончено» было не через «три недели», а намного раньше. От красноармейской пули в бою он получил три аршина вождельной русской земли, и в Москву попало лишь его письмо — документ отвратительной тупости.

Другой ССовец — Христиан Гельцер писал Георгу Гельцеру в Альтен Грокау, округ Шлухтерн: «К тому времени, как ты получишь письмо, русские будут разбиты, а мы, вероятно, будем в Москве...».

Любопытно, как сумасбродный план международного разбойника Гитлера — проложить путь в Англию через Россию — отображался в головах его бандитов: «Я полагаю, — глубокомысленно изрек фашистский вояка из Альтен Грокау, — что после России буду писать вам из Англии».

Путь в Англию через Москву завершить ему не удалось. Карьера и жизнь ландскнехта оборвалась где-то возле Двинска...

О таком финале дрессированные солдафоны Гитлера меньше всего думали. Франц Вейгер, член охранного отряда СС, писал своим друзьям в Пург Шталь, в районе Нидердонау: «Я горжусь тем, что могу участвовать в борьбе с Красной Армией. Вы за меня не бойтесь, со мной ничего не случится...».

Он надеялся на легкую прогулку. Красная Армия заткнула ему спесивую глотку.

На «военную прогулку» собрался и старший ефрейтор Эдуард Вилли. В письме, которое так и не было отправлено (полевая почта № 09201), он тоном завоевателя вселенной писал 10 июля: «Я рассчитываю быть в воскресенье в Киеве». Может быть, его предположение оправдалось и ему удалось в назначенный срок попасть в Киев, но, конечно, не в качестве завоевателя, а военнопленного!

Дни сменяются днями. Ряды гитлеровских армий редеют под ударами Красной Армии. И постепенно в письмах кичливый тон начинает спадать. Меж строк слышатся уже тревожные нотки. Ефрейтор Макс Грубер (полевая почта № 00567) в письме к старшему ефрейтору Карлу Лайцингеру с опаской пишет, что их бронетанковая дивизия проходит через сожженные села, что всюду им в спину стреляют партизаны.

Но идиотская самоуверенность еще не сломлена, — он все еще надеется «через 10 дней быть в Москве». Тот же Макс Грубер в письме от 5 июля к брату Сикстусу Грубер в Мюнхен, на Брюдершюлштрассе, 10, вновь обещает через несколько дней взять Москву», после чего, по его мнению, война будет окончена. Фашистский вырожденек не намерен мешкать, не желает задерживаться на пути в Москву. У него на то весьма серьезные основания. О них он откровенно и горестно повествует своему брату: «В России хуже, чем в Польше. Красть (!) здесь вообще нечего. Во-первых, нет времени, а во-вторых, все сожжено».

Боясь, что ему не поверят, матерый грабитель ссылается на опыт отца: «Как себя русские ведут на войне, отец знает еще по прошлой мировой войне. Но, к сожалению, русские

основательно изменились. Они борются до последней капли крови. И потому мы теряем много убитыми. Я уже потерял в России по крайней мере 20 фунтов...».

Свое письмо этот отощавший громила, бравый наци, краса и гордость гитлеровского режима, кончает унылой припиской, свидетельствующей о начавшемся прояснении мозгов: «Лишь бы только добраться целым домой. Пусть без железного креста, зато с целым крестцом» (позвоночником — непереводаемая игра слов).

Вот именно!

Так двуногие волки, до мозга костей развращенные безнаказанностью в прошлом, постепенно обнажают свое поганое нутро жалких и трусливых негодяев.

С чувством невероятного отвращения читаешь это письмо фашистского грабителя, покрытое пятнами его грязной воровской крови. Отрадно сознавать, что дикарю не удастся никогда осуществить низменную свою мечту — пограбить Москву, а потом открыть у себя дома лавочку и торговать наворованным.

В письмах фашистских вырожденков, как в зеркале, отображается моральный облик гитлеровских полчищ. Таким ордам не выдержать настоящего удара, — под натиском Красной Армии они рассыплются в прах. // Фридрих Вольф, А.Бухвалов.⁴

Трусливая болтовня банкрота Гитлера

"Идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию".
(Сталин)

Германский народ хочет получить ответ на вопросы:

— Почему Гитлер не выполнил своего хвастовства, обещая закончить войну со всеми своими противниками и на Западе, и на Востоке до зимы 1941 года?

— Почему продолжается убийственная для Германии война, когда же конец этой войне?

Вопросы простые и ясные. На них и отвечать надо просто и ясно. Но, чтобы ответить так, надо мужественно признать провал своих планов и расчетов. Надо признать, что германский народ обманут.

У Гитлера нет мужества для простого и ясного ответа. Он наболтал целый короб дрянных, пустых, ничтожных слов с единственной целью: отболтаться от ответа, уклониться от вынужденного признания своего провала. Это тактика не государственного деятеля, а мелкого жулика, припертого к стене. Жалкий трус, жалкий политик.

Германский народ знает, что фашистские полчища наткнулись в советской стране на сопротивление, которого не ожидали, что «молниеносная» война, о которой так кричала вся фашистская печать, потерпела крах; что армия Гитлера истощена потерями... Каковы потери? — вот что волнует немцев. Но Гитлер панически боится самого слова «потери».

Он трусливо прячется от этого слова, боится сказать правду о потерях немцев на Восточном фронте. Все другие говорят о своих потерях, а Гитлер, который больше всех знает о германских потерях, боится сказать правду, страшную для немецкого народа.

В доме повешенного не говорят о веревке. В немецко-фашистских кругах не говорят о потерях. Сначала их совсем отрицали, потом стали нехотя признавать: действительно есть потери. Но каковы же они? Гитлер знает, но трусливо молчит. Он орудует какими угодно цифрами, но только не цифрами германских потерь, об этом ни слова! Этому Гитлер боится, как чорт ладана, ибо назвать цифры германских потерь — значит признать и причину неудач, причину провала «молниеносной» войны, причину зимней кампании и затяжной войны.

⁴ Фридрих Вольф, А.Бухвалов, "Правда", СССР (№212 [8620]). Статья опубликована 2 августа 1941 года. - <http://ognev.livejournal.com/92196.html>

У мелких фашистских жуликов, вороватых по натуре людишек, нехватает сил для того, чтобы сказать народу правду о войне. Гитлер боится правды. Фашизм держится только на лжи.

Гитлер о евреях, Гитлер о русских, Гитлер о коммунистах. О чем же битый час говорил Гитлер, если боялся говорить о главном, о том, что интересует народ. Он пережевывал свою старую лживую жвачку о том, что он, видите ли, самый мирный человек на свете, чуть ли не теленок по характеру. А вот все сговорились погубить его и вместе с ним Германию. Снова размазана старая басня о каких-то мифических приготовлениях СССР к нападению, о чем будто бы шла речь в каких-то «секретных» заседаниях английской палаты общин... Весь этот жалкий вздор преподносится сейчас, чтобы оправдать перед германским народом разбойничье, вероломное нападение на Советский Союз. Ничего более правдоподобного Гитлер за все эти месяцы придумать не мог. Всеми миру ясно, что Гитлер начал и ведет разбойничью, захватническую империалистическую войну, что он держит в порабощении значительную часть Европы, что он — злостный агрессор, разбойник и грабитель, а он талдычит одно и то же в явном противоречии с фактами. Так мелкий жулик, подавленный уликами, схваченный за руку, болтает бессмысленно одно и то же, пытаясь ужом изворачиваться в безнадежном своем положении. Ни ума, ни силы, ни достоинства нет в этой тактике уголовного сброда, засыпавшегося на грязном деле. Никакие увертки грязного лжеца Гитлера не помогут ему смыть с себя клеймо захватчика, клеймо грабителя, клеймо кровавого агрессора-империалиста, ненавистного всему миру, всем честным людям.

Гитлер несколько раз хвастался перед всем миром, что немцы уничтожили всю русскую армию, что у русских колоссальные потери. Но если у русской армии такие большие потери, если она не существует, то почему же, спрашивается, Гитлер не берет Москву? Кто же ему мешает осуществить свой план захвата Москвы «в ближайшие дни», о котором он объявил еще 2 октября?

— Во всем виновата осенняя грязь, вся причина в снеге, — бормочет Гитлер в явной растерянности. Оказывается, не нужна Красная Армия, чтобы остановить на месяцы наступление профессиональных захватчиков-грабителей. Оказывается, это делает сама грязь, сам снег, без красноармейцев. Вот как просто делаются дела на этом свете! Нелепая, пустая отговорка перехваставшегося болтуна, возмнившего себя великим стратегом. Но, ведь, всем известно, что всегда была осень, была и есть осенняя грязь. Всегда в ноябре выпадал снег, это известно всем, в том числе известно и немецким генералам. И если хвастунишка-«фюрер» подлинно всем своим фашистским лицом ударил в грязь, то нечего винить в этом русскую осень. Надо признать свою немецко-фашистскую наглость, соединенную с изрядным тупоумием, что фашистский разбойничий нахрап натолкнулся на стойкость и непоколебимость мужественных советских людей. Жалкий трус, прячущийся в страхе перед неизбежной расплатой, сваливает на природу, на грязь, дожди и снег вину за свои собственные преступления, ошибки и просчеты. И только жулик, трус может визжать вроде Гитлера о евреях, как самых опасных людей в мире. Гримасничая, кривляясь, дергаясь в припадке, Гитлер лжет, что СССР — это будто бы «еврейское государство»...

Где источник этой глупой лжи, панического страха фашистов перед евреями? Гитлер сам запуган и других пытается запугать умом евреев, их предприимчивостью, изобретательностью. Фашисты чувствуют свое духовное убожество, свою ограниченность. Пуганая ворона куста боится.

Советскому народу чужд и смешон этот тупоумный страх. Нам ли, создавшим могучее государство трудящихся, построившим социалистическую промышленность, самое передовое в мире колхозное сельское хозяйство, выковавшим многочисленные кадры талантливых строителей, героических бойцов из русских, украинцев и других народов, — нам ли бояться кого-либо, будь они евреи или не евреи. Только трусам трусы могут внушать страх перед другим народом. В советской стране перед умом,

предприимчивостью, изобретательностью всех народов, всех людей открыты широкие пути, в том числе и для евреев. Это равные среди равных.

Советские люди знают, что Гитлер боится и ненавидит не только евреев, но и русских, все славянские и не славянские народы СССР. Мы помним, что людоед Гитлер учил своих бандитов: «если мы хотим создать нашу великую империю, мы должны прежде всего истребить славянские народы — русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белоруссов. За эти людоедские речи ему воздастся сполна и по заслугам. Придет время своей судьбы «фюрер» и фюреньята не ускачут...

Мелкой трусостью, мелким жульничеством проникнуто все выступление банкрот Гитлера. Страх сквозит в каждом его слове. Он боится быстро растущих германских потерь, он боится германского народа, он боится грязи и снега, он боится русской зимы, он боится евреев, — а больше всего он боится завтрашнего дня и будущего года, который несет неминуемый разгром.⁵

Шулерская фотостряпня германских фашистов

С каждым днем растет и крепнет отпор немецко-фашистским войскам, усиливаются смертоносные удары Красной Армии по зарвавшемуся врагу. Самоотверженной работой в тылу советский народ помогает героическому фронту. Руководство главными командованиями отпора врагу возложено на маршалов Советского Союза тт. Ворошилова, Тимошенко, Буденного. Врагу будет отброшен и разгромлен!

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. (ТАСС). Германские пропагандистские органы посылают в американские газеты фотоснимки, заснятые якобы на советско-германском фронте. Однако редакторы газет открыто выражают сомнения в подлинности этих снимков и, помещая некоторые из них, предупреждают тут же читателей, что к этим фото надо относиться с недоверием.

Как известно, недоверие к шулерской фотостряпне немецких фашистов особенно усилилось после того, как газета «П. М.» («Пост Меридиум») поймала их с поличным. История этого дела такова: 7 июля эта газета поместила присланный немцами снимок, на котором изображены германские солдаты с «боевым знаменем Красной Армии, захваченным на восточном фронте». На следующий день газета вновь поместила эту фотографию, сопроводив ее редакционной заметкой, озаглавленной «Фальшивый снимок».

«Вчера, — говорится в этой заметке, — наша газета опубликовала этот снимок, на котором изображены немецкие солдаты со знаменем, имеющим русскую надпись. Подпись к этому снимку, сделанная в Берлине, гласит, что это — флаг, захваченный в бою на восточном фронте. В действительности, — это флаг юных пионеров. На нем изображены пионерская эмблема и написан пионерский лозунг. Немецкие фашисты должны теперь заявить, что пионеры препятствовали германскому наступлению. Иначе читатели будут смеяться над мистером Геббельсом, а также над «П. М.» и другими американскими газетами, напечатавшими этот снимок, не ознакомившись с надписью на флаге».

После этого целый ряд газет опубликовал специальные заметки, в которых отметил, что помещенный ими снимок является берлинской фальшивкой. Газета «Нью-Йорк таймс» сообщила читателям об этом случае в специальной заметке, озаглавленной «Трюк Геббельса». Агентство Ассошиэйтед Пресс, «Нью-Йорк геральд трибюн» и другие газеты сообщили, что во время посещения государственного департамента США посол СССР Уманский разоблачил перед корреспондентами эту махинацию германских фашистов, которая вызывает недоверие и к другим германским фотоснимкам.

5 "Правда", СССР (№312 [8720]). Статья опубликована 10 ноября 1941 года. - <http://ognev.livejournal.com/66630.html>

Разоблачен и другой трюк нацистских пропагандистов. Как известно, после вступления германских войск во Львов там была организована неслыханная резня. Заплечных дел мастера из гестапо в течение нескольких дней мучили, пытали и убивали беззащитных граждан, в том числе женщин, стариков и детей. Жертвы насчитываются тысячами. Затем фашистские палачи поступили по уже установившемуся у них порядку. Сначала они убивали, затем они фотографировали трупы убитых, а вслед за тем к полученным снимкам фабриковали подписи о том, что на фотографиях изображены «жертвы русских зверств». Некоторые американские газеты напечатали сфабрикованные германскими пропагандистами снимки «русских зверств» во Львове, но снабдили их примечаниями, в которых призывают читателей не верить подобной фашистской пропаганде. Газета же «П. М.», касаясь германских фото и сообщений о «зверствах» во Львове, прямо писала: Нет никакого основания верить нацистам. Убитые во Львове граждане были жертвами гестапо. Так выводятся на свежую воду гнусные фашистские фабриканты лжи. Американское общественное мнение все больше начинает относиться с чувством презрения и гадливости ко всей нацистской брехне, разоблачаемой американской печатью.

Как фабрикуются германские сводки

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. (ТАСС). Берлинский корреспондент шведской газеты «Социал-демократен» описывает жульническую механику, применяемую фашистскими фабрикантами лжи при составлении сводок.

Корреспондент указывает, что с начала войны с Россией обычный лаконичный военный язык сменился в германских военных коммюнике пропагандистскими реляциями. До сих пор германские коммюнике составлялись военными специалистами. Теперь же, и это ни для кого не секрет, окончательную редакцию коммюнике осуществляет Гитлер в своей ставке. Он сам изменяет характер сообщений и делает добавления.

Корреспондент иллюстрирует все эти махинации на следующем примере. Поступило сообщение о том, что в одном из районов окружена группа советских солдат. В сообщении вносится изменение и объявляется, что группа советских солдат якобы перешла на сторону немцев. Для «усиления» впечатления добавляется, что эти солдаты предварительно «расправились с политическими комиссарами». В следующем коммюнике опять фигурировала та же группа, но они именовались уже «перебежчиками», и число их было взмахом пера увеличено более чем в 3,5 раза.

Разоблачая эти шулерские махинации, корреспондент указывает, что их участники сделали явный промах: они забыли или не знали о том, что институт политических комиссаров в Красной Армии ликвидирован почти год назад.

Вторым методом, применяемым германской пропагандой, указывает корреспондент, является описание «жестокостей русских» в отношении беззащитного населения. Эта грубая ложь «подкрепляется» обычно «документальными доказательствами», которым, конечно, никто не верит.⁶

Ложные слухи — отравленное оружие фашизма

Красная Армия героически отражает атаки озверелого фашизма, наносит врагу огромные потери. Обеспечим усиленную работу всех предприятий! Дадим Красной Армии больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов! Сплотим все силы страны для победы над врагом!

⁶ "Правда", СССР (№191 [8599]). Статья опубликована 12 июля 1941 года. - <http://0gnev.livejournal.com/87546.html>

В своем выступлении по радио Председатель Государственного Комитета Оборона товарищ Сталин предостерег советский народ против благодушия и беспечности к подлым и вероломным методам и воровским махинациям коварного врага: «Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации».

Товарищ Сталин потребовал от всех граждан нашей родины беспощадной борьбы со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожения шпионов, диверсантов. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля об ответственности за распространение ложных слухов устанавливает суровые наказания по законам военного времени всем, кто сеет тревогу и тем самым сознательно или бессознательно действует на-руку врагу.

Советские люди должны знать, что фашистские изверги прибежали и впредь будут прибегать к самой беззастенчивой лжи при помощи всякого рода подделок. Ложные, провокационные слухи, распространяемые врагом, — это та же диверсия. Нередко провокационные слухи могут быть не менее опасны, чем динамит.

Ложь издавна является признанным оружием в арсенале фашистских варваров. «Наука» фашистской лжи изложена в библии мракобесия и человеконенавистничества, в книге Гитлера «Майн Кампф». В ней атаман бандитов поучает своих подручных: врите без зазрения совести, пусть ваша ложь будет столь чудовищна, чтобы ни один человек не мог и подумать, что можно так нагло врать. Чем больше ложь, тем легче ей верят.

Так поучает обер-бандит Гитлер. Методы фашистской пропаганды грубы и примитивны, как самая грубая фальшивка, как самая наглая провокация.

Таковы военные сводки германских фашистов. В них Гитлер так преуменьшает свои потери и преувеличивает потери противника, что в этом диком хвастовстве оставляет далеко позади все рекорды барона Мюнхгаузена.

Советское Информационное бюро систематически разоблачает подлое фашистское вранье. Англичане однажды установили, что германские фашисты выдают германские потери за английские...

Ложь неотделима от фашизма, он выращен на гнусных провокациях и чудовищном обмане. В первые же дни захвата власти фашистская правящая клика Германии не только организовала чудовищную провокацию в виде поджога рейхстага, но и обзавелась министерством пропаганды, которое с самого начала заслужило во всем мире название министерства лжи. Во главе этого министерства был поставлен один из самых отвратительных гитлеровских молодчиков — зловещий карлик Геббельс. Машина Геббельса сейчас пущена на полный ход для распространения диверсионной фашистской лжи.

Как показал опыт, фашисты чаще всего прибегают к запугиванию, сеют панику.

Известно, что во Франции при наступлении на Париж они провокационно лили крокодиловы слезы о судьбе мирного населения противника, которое беспощадно бомбардировали и расстреливали с самолетов. Фашисты лицемерно советовали гражданскому населению спасать свою жизнь бегством из городов и сел. Этим самым фашистские сеятеля паники создали затруднения для отпора наступавшим немецким полчищам — все дороги были запружены беженцами, послушавшимися фашистов. Военские части не в состоянии были в нужное время и в нужном месте развернуться.

Пропаганда немецких фашистов провокационно взывает к войскам противника, старается их деморализовать, уговаривает их капитулировать. Фашисты обещали французам «спасение», если они заключат мир, обещали хорошо обращаться с французскими солдатами, если они сдадутся в плен. А вместо этого гитлеровские захватчики подвергали французских пленных нечеловеческим пыткам и истязаниям, сгноили в застенках концентрационных лагерей сотни тысяч лучших сынов французского народа, отрубили головы тем смелым французам, которые подняли голос протеста против произвола и насилия гитлеровских варваров.

Фашистская пропаганда стремится провокационно сеять недоверие в рядах союзников. Так, гитлеровцы объявили англичан виновниками поражения Франции. На одном из плакатов, распространявшихся немцами во Франции, изображен на фоне пожарища и руин вместе с женой и детьми французский солдат на костылях. Позади изувеченного француза беспечно смеется молодой англичанин во френче с сигарой в зубах. Подпись гласит: «Вот что из нас сделала Англия». Фашистские палачи, разрушившие, предавшие огню цветущие французские города и села, убившие сотни тысяч беззащитных женщин, детей и стариков, угнавшие в плен на рабский труд оставшихся в живых мужчин, бессовестно пытаются взвалить вину за свои каиновы преступления на другие страны.

Такова кухня отравленной лжи и провокационных уловок фашистов, пытающихся использовать в войне еще одно оружие — панику и деморализацию.

Но все уловки гнусного врага будут тщетны. Широко известно, что внутри Германии, вопреки бешеной демагогии гитлеровцев, война с СССР совершенно непопулярна и не встречает поддержки. Перед настроением германского народа втупик встала даже гитлеровская провокация. Любопытно, что еще накануне своего разбойничьего нападения на СССР фашисты уверяли, что у Германии нет территориальных споров с Россией и что Германия не будет вести войны на два фронта. И только 22 июня 1941 года население Германии внезапно узнало, что оно еще раз стало жертвой предательского обмана Гитлера и его клики.

Ложь, без которой фашисты не могут и шагу ступить, говорит о том, что они боятся народных масс своей страны. Тревога фашистской правящей клики не напрасна: солдаты германской армии и германский народ все более убеждаются в том, что они обмануты, проливают кровь за неправо дело, за чудовищную кровавую авантюру. На демагогии фашистам долго не продержаться. Фашизм обречен!

Наша правда, схватившись с фашистской кривдой, не оставит от нее камня на камне и развеет ее в прах в огне всенародной отечественной войны. Чтобы обеспечить победу, надо беспощадно преследовать, невзирая на лица, паникеров, сеятелей тревожных слухов, провокационно распускаемых врагом. // А.Бухвалов.⁷

Красная звезда

Газета «Красная звезда» создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган наркомата обороны СССР по военным делам (в последующем – Министерства обороны СССР). Первый номер вышел 1 января 1924 года. В период Великой Отечественной войны «Красная звезда» стала одной ведущих общенациональных газет. В редакции трудились такие выдающиеся писатели и публицисты, как М.А. Шолохов, А.Н. Толстой, В.В. Вишневский, К.М. Симонов, А.П. Платонов.

Награждена орденами Красной Звезды (1933 г.), Боевого Красного Знамени (1945 г.), Ленина (1965 г.) и Октябрьской революции (1974 г.).

Весной 1992 года с созданием Министерства обороны Российской Федерации «Красная звезда» стала его центральным печатным органом. 30 июня 1992 года газета была зарегистрирована в Министерстве печати информации РФ как общероссийское печатное издание, учредителем которого является военное ведомство.

«Красная звезда» выходит пять раз в неделю: во вторник, четверг и субботу на 4 полосах формата А-2, в пятницу – на 24 полосах формата А-3, в среду – на 8 полосах формата А-2, в субботу в качестве региональных вкладок выходят 4-полосные газеты четырёх военных округов (Западного, Южного, Центрального и Восточного) и двух флотов (Северного и Тихоокеанского).

⁷ А.Бухвалов, "Правда", СССР (№190 [8598]). Статья опубликована 11 июля 1941 года. - <http://ognev.livejournal.com/87054.html>

Газета печатается в Москве (на полиграфической базе ОАО «Издательский дом «Красная звезда») а также в 8 городах России (Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Санкт-Петербург, Севастополь и Хабаровск). С августа 1998 года главный редактор газеты «Красная звезда» - Ефимов Николай Николаевич.

Документы о кровожадности фашистских мерзавцев

Воины Красной армии! Фашистский гнет — горше смерти. Бесстрашно и самоотверженно бейтесь за Родину. Во что бы то ни стало преградить путь фашистским палачам!

В боях под Ленинградом у убитых фашистских солдат и офицеров обнаружены публикуемые ниже документы.

ДОКУМЕНТ ПЕРВЫЙ: «Памятка германского солдата», найденная у убитого лейтенанта Густава Щигеля из Франкфурта-на-Майне

«Солдат великой Германии, ты будешь неуязвим и непобедим, точно выполняя следующее наставление. Если ты не исполнишь хотя бы одно из них, ты погибнешь. Спасая себя, действуй по этой «Памятке».

Помни и выполняй:

1) Утром, днем, ночью всегда думай о фюрере, пусть другие мысли не тревожат тебя, знай — он думает и делает за тебя. Ты должен только действовать, ничего не бояться, ты, немецкий солдат, неуязвим. Ни одна пуля, ни один штык не коснется тебя. Нет нервов, сердца, жалости — ты сделан из немецкого железа. После войны ты опять обретишь новую душу, ясное сердце — для детей твоих, для жены, для великой Германии. А сейчас действуй решительно, без колебаний.

2) Германец не может быть трусом. Когда тебе станет тяжело, думай о фюрере. Ты почувствуешь радость и облегчение; когда на тебя нападут русские варвары, ты подумай о фюрере и действуй решительно. Они все погибнут от твоих ударов. Помни о величии, о победе Германии. Для твоей личной славы ты должен убить ровно 100 русских, это справедливейшее соотношение — один немец равен 100 русским. У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девушка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее всей семьи и прославишься навеки.

3) Ни одна мировая сила не устоит перед германским напором. Мы поставим на колени весь мир. Германец — абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки. Ты германец, как подобает германцу, уничтожая все живое, сопротивляющееся — на твоём пути, думай всегда о возвышенном, о фюрере — ты победишь. Тебя не возьмет ни пуля, ни штык. Завтра перед тобой на коленях будет стоять весь мир».

ДОКУМЕНТ ВТОРОЙ: Записи в блокноте солдата Генриха Тивеля

«Я, Генрих Тивель, поставил себе целью истребить за эту войну 250 русских, евреев, украинцев, всех без разбора. Если каждый солдат убьет столько же, мы истребим Россию в один месяц, все достанется нам, немцам. Я, следуя призыву фюрера, призываю к этой цели всех немцев. // Генрих Тивель, 1915 года рождения, Кельн».

ДОКУМЕНТ ТРЕТИЙ: Записи в дневнике обер-ефрейтора Ганса Риттеля

«12 октября 1941 г. Чем больше убиваешь, тем это легче делается. Я вспоминаю детство. Был ли я ласковым? Едва ли. Должна быть черствая душа. В конце концов мы ведь истребляем русских — это азиаты. Мир должен быть нам благодарным.

Сегодня принимал участие в очистке лагеря от подозрительных. Расстреляли 82 человека. Среди них оказалась красивая женщина, светловолосая, северный тип. О, если бы она была немкой. Мы, я и Карл, отвели ее в сарай. Она кусалась и выла. Через 40 минут ее расстреляли».

ДОКУМЕНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: Письмо, найденное у лейтенанта Гафна

«Куда проще было в Париже. Помнишь ли ты эти медовые дни? Русские оказались чертовками, приходится связывать. Сперва эта возня мне нравилась, но теперь, когда я весь исцарапан и искусан, я поступаю проще — пистолет у виска, это охлаждает пыл.

Между нами здесь произошла неслыханная в других местах история: русская девчонка взорвала себя и обер-лейтенанта Гросс. Мы теперь раздеваем донага, обыск, а потом... После чего они бесследно исчезают в лагере».

ДОКУМЕНТ ПЯТЫЙ: Письмо солдата Гейнца Мюллера

«Герта, милая и дорогая, я пишу тебе последнее письмо. Больше ты от меня ничего не получишь.

Я проклинаю день, когда родился немцем. Я потрясен картинами жизни нашей армии в России. Разврат, грабеж, насилие, убийства, убийства и убийства. Истреблены старики, женщины, дети. Убивают просто так. Вот почему русские защищаются так безумно и храбро.

Мы хотим истребить целый народ, но это фантазия, это не осуществится.

Наши потери гигантские. Войну мы уже сейчас проиграли. Мы можем взять еще один, два больших города, но русские нас уничтожат, разгромят. Я против всего этого!

Через два часа нас бросают в бой. Если я уцелею от русских пуль и снарядов, я с моим настроением погибну от немецкой пули. Прощай, Герта! // Гейнц Мюллер». ⁸

Венерические болезни в немецкой армии

Части 54 армии генерал-майора Федюнинского разгромили Волховскую группу противника и освободили 32 населенных пункта. Войска Западного фронта заняли города Наро-Фоминск и Белев. Воины Красной Армии! Вперед, на полный разгром врага!

Мне, по роду моей службы, приходится иметь дело с военнопленными. И чем ближе я узнаю солдат и офицеров Гитлера, тем больше поражаюсь их умственному и моральному ничтожеству. Фашизм растлил их. Это не воины, в обычном смысле этого слова, это бандиты и грабители, потерявшие человеческий облик, прогнившие морально и физически.

Среди немецких солдат и офицеров очень много венериков. Венерические заболевания носят массовый характер в немецко-фашистской армии. Публичный дом вместо семьи — такова скотская мораль гитлеровцев!

В одном из лагерей военнопленных ко мне обратился за медицинской помощью молодой солдат Вилли Глюк, страдавший, как оказалось, острой хронической гонорреей.

Я спросил, где он заразился, и гитлеровский молодчик словоохотливо объяснил: в солдатском доме терпимости во Франции. «Девчонки из публичного дома, — ухмыляясь, сказал он, — заразили многих наших солдат». Вылечиться Глюк не успел — отправили на Восточный фронт. Отсутствие правильного лечения, пьянки и непрерывные марши обострили процесс болезни.

Пленный рассказал мне, что больных гонорреей и сифилисом особенно много среди «стариков» — так называют в немецкой армии солдат, побывавших в истерзанной фашистами Франции, Югославии, Греции. Гитлеровцы не только нимало не печалются

⁸"Красная звезда", СССР (№255 [5010]). Статья опубликована 29 октября 1941 года.
<http://0gnev.livejournal.com/112376.html>

венерическими заболеваниями, но, наоборот, даже гордятся ими, как своего рода фронтовой «доблестью».

Больные солдаты, по словам Глюка, не соблюдают режима лечения, пьют водку, ведут распущенную половую жизнь.

Но больше всего венериков среди молодых офицеров. «Им хорошо живется!», с завистью говорит Глюк.

Медицинский осмотр военнопленных подтвердил то, что рассказал Глюк. За несколько месяцев работы в лагере я осмотрел 328 солдат и офицеров. 52 из них оказались больны гонорреей и 14 — сифилисом. Большинство больных — молодые солдаты и офицеры, развращенные домами терпимости, порнографическими книжками и карточками, имеющими большое хождение в немецкой армии.

Отметим, кстати, что еще до войны в германской армии было значительно больше венерических заболеваний, чем в других армиях. Если во французской армии в 1925 году было зарегистрировано на 1.000 солдат 4 случая сифилиса и 17 случаев гонореи, то в германской армии на 1.000 солдат было зарегистрировано 8 случаев сифилиса и 29 — гонореи. Наибольшее число венерических заболеваний было среди солдат берлинского и гамбургского гарнизонов.

В нынешнюю войну число венерических заболеваний в немецкой армии, прошедшей с разбоем по всей Европе, увеличилось во много раз. Эта морально и физически растленная, грязная, вшивая, больная сифилисом и гонорреей фашистская солдатчина насилует советских женщин в захваченных городах и селах. Мерзавцы глумятся над своими жертвами вдвойне — они топчут их честь и лишают здоровья. Страшно становится, когда подумаешь, сколько несчастных жертв фашистских насильников заражено тяжелыми венерическими заболеваниями!

Немцы всегда кичились своей культурой и своей чистоплотностью. Факты говорят, чего стоят теперь хваленая, немецкая культура и чистоплотность. Двигаясь по дорогам войны, немецкие варвары сеют смерть, разрушения, голод и болезни. // Военврач 3-го ранга В.Прозоровский.⁹

Адольф Вшивый

Усиливать наступательную активность наших войск. Сильнее нажим на оккупантов! Не давать врагу закрепляться на новых рубежах, бить его без передышки, преследовать неотступно!

Новый год. Трубят рога в Берхтесгадене, звучат фанфары в Берлине — Адольф Гитлер выходит из замка своего и садится на коня. Трепещите, народы! Сам Адольф поведет свои войска в бой.

Немецкие генералы уже не могут поправить дело. Германская армия отступает, бросая оружие. Прославленное воинство местами бежит. Вся Германия подавлена неожиданным провалом. В таких случаях возникает срочная надобность в чуде. Бывали к древности времена: небеса посылали видение, появлялась чудесная дева. Но эти времена давно прошли. На мистику и чудеса надежд мало. Адольф Гитлер сам себе чудо. Он не чудесная дева, но он, так и быть, спасет Германию.

Адольф Гитлер назначает себя главнокомандующим армией. Какая радость для всего немецкого народа, какое счастье для окоченевшей немецкой армии! Вши затанцуют от этой вести на тощем теле немецкого солдата, а ноги согреются сами собой. Сам Адольф Гитлер ведет войска в бой!

⁹ В.Прозоровский, "Красная звезда", СССР (№305 [5060]). Статья опубликована 27 декабря 1941 года. - <http://0gnev.livejournal.com/110302.html>

Правда, пока он их уводит от боя, старается увести подальше от опасных мест. В очередном обращении по случаю своего самоназначения главнокомандующим армией Гитлер обещает победы весной. Пока он только утешает победными словами. Он не может накормить своих голодных рабов, не может одеть их. Но он отпускает им без счета такие слова: «Мои солдаты! ...Мое сердце принадлежит вам, ...мой ум и моя воля знают только уничтожение противника, то-есть победоносное окончание войны...»

— Мои солдаты! — кричит Адольф Гитлер. Но солдаты Гитлера не подымут головы своей на его призыв. Солдаты Гитлера лежат в снегах России. Их трупы разбросаны на огромном пространстве. А те, кто живет, понуро ждут своей участи, и только отчаяние дает им еще силу сопротивления.

Адольф Гитлер хочет сотворить чудо. Но он может только выбросить новый шулерский трюк. Его самоназначение — это новая попытка обмануть немцев. Гитлер и его банда разыгрывают комический спектакль: будто до сих пор командовали генералы Браухич и другие, а он, великий Адольф, только восседает на небесах и оттуда созерцал войну. А теперь, когда генералы подкачали, он сам, божественный фюрер, спускается с высот, недоступных человеку, и берет в руки жезл полководца. Его «ум», его «воля» спасут немецкий народ!

Шутовской балаган для простаков из глухих баварских деревень! Кто же не знает, что именно «ум» Гитлера и его «воля» направляли всю войну. Это Гитлер возвестил в октябре первое генеральное наступление на Москву и обещал скорую, решительную и окончательную победу. Это Гитлер приказывал в ноябре взять Москву «любой ценой». Это он, его «ум», его «воля» громоздили груды немецких трупов на подступах к Москве. И за этим последовал его провал, именно его, Гитлера. На свой личный счет Гитлер должен записать поражение под Москвой.

Адольф Гитлер произвел себя в звание немецко-фашистской Жанны д'Арк. Но если он даже наденет на себя юбку германской валькирии, это ничего не изменит и ничему не поможет. Адольф божественный не может воскресить истребленных немцев, не может родить из своей груди могучих новых резервов, не может забить фонтаном горячего. Фашистская Германия идет навстречу новым поражениям, навстречу катастрофе. Гитлер — виновник этого. Как может он спасти Германию от самого себя?

Известный барон Мюнхгаузен вытаскивал самого себя за волосы из болота. Это хорошо в шутовском произведении. Но немцам теперь не до смеха. Сколько бы ни рвал Гитлер на себе волосы, он не вытащит себя и свою банду.

Германский фашизм в некоторых отношениях копирует царский строй. Адольф хочет повторить судьбу последнего Романова. Когда царское правительство стало проигрывать войну по своей бездарности, по гнили своего режима, Николай второй тоже назначил себя главнокомандующим. Он начал с декларации, не менее пышной, чем декларация Адольфа Гитлера. Известно, как окончил Николай Кровавый свою полководческую карьеру. Вместе с его карьерой рухнул царизм.

Пусть Адольф Гитлер заблаговременно подберет себе прозвище, с которым он будет выброшен в мусорную яму истории. Адольф Вшивый — это будет всего больше соответствовать положению и призванию полководца, обовшивевшей немецко-фашистской армии. // Д.Заславский.¹⁰

Вестник воздушного флота

Орган Управления Военных Воздушных Сил СССР.
Журнал издавался с 1918 по 1962 год под редакцией А.Н. Лапчинского;

¹⁰ Д.Заславский, "Красная звезда", СССР (№301 [5056]). Статья опубликована 23 декабря 1941 года. - <http://ognev.livejournal.com/108633.html>

кроме того, каждые два месяца выходило научно-техническое приложение, посвященное новостям науки, техники и производства в области воздушного дела. В 1962 году журнал стал выходить под новым названием «Авиация и космонавтика».

Авторами этого авторитетнейшего издания в области авиации в разное время были ведущие специалисты в области авиации Союза ССР, летчики и авиаторы, ученые и руководители ВВС РККА: Инж. К.В. Акашев, Н.Д. Анощенко, инж. В.А. Александров, П.И. Баранов, т. Березин, инж. Безсонов, проф. В.П. Ветчинкин, инж. А.Н. Вегенер, инж. Ворогушин, инж. А. Воробьев, И.Н. Виноградов, В.А. Виноград, А. Вологодцев, П.В. Вяткин, проф. В. Виткевич, П.С. Дубенский, инж. Н.И. Иванов, т. Иллюкевич, К. Капустин, А. Кожевников, П. О. Корецкий, П. Клепиков, Н.М. Лебедев, А.Н. Лапчинский, Г.К. Линно, инж. Лапшин, Н. Лесникова, С.А. Меженинов, С.А. Мельников, д-р Минц, инж. Мокшеев, инж. Мирочников, инж. Мозолевский, проф. М. А. Петров, И. С. Перетерский, проф. Н.А. Рынин, А.В. Сергеев, М.М. Сергеев, М.П. Строев, инж. Субботин, инж. Савков, Е.И. Татарченко, К.И. Трунов, Л.Г. Устьянцев, инж. К.А. Ушаков, В.С. Цвет-Колядинский, инж. Черемухин, А. Чехутов, Г.А. Шмелев, Н.И. Шабашев, т. Фаусек, инж. Н.В. Фомин, Г. С. Френкель, инж. Б.Н. Юрьев, Н.А. Яцук и другие.

На страницах проекта RetroPressa.ru мы, по возможности, опубликуем все номера «Вестника Воздушного Флота». Следите за обновлениями, новые материалы добавляются регулярно.

Добьем фашистского зверя в его берлоге!

Истекший двадцать седьмой год советской власти в нашей стране войдет в историю как год решающих побед социалистической державы над лютым ее врагом — гитлеровской Германией. Военно-политические итоги этого года, гениально обобщенные в юбилейном докладе Председателя Государственного Комитета Оборона товарища Сталина 6 ноября 1944 г., открывают перед Родиной величественную перспективу нашей борьбы, вдохновляя народы СССР и Красную Армию на последнюю битву за полную и окончательную победу.

Достаточно лишь перечислить боевые операции, проведенные Красной Армией в этом году, чтобы вырисовалась грандиозная картина битвы и великое значение наших побед. Под Ленинградом и на Буге, в Крыму и под Витебском, в Карелии, Западной Украине и Прибалтике, под Кишиневом и на Тиссе, на Немане и Висле — везде воины Красной Армии одержали славные победы во имя свободы Родины. В этих невиданных сражениях наши войска разбили и вывели из строя около 120 дивизий врага, уничтожили огромное количество его боевой техники, захватили колоссальные трофеи.

В ходе этих операций враг по всему фронту отброшен далеко на запад, местами более чем на 900 км. От Кишинева до Белграда, от Жлобина до Варшавы, от Витебска до Тильзита пронесла Красная Армия свои боевые знамена. Год назад, в канун двадцать шестой годовщины Октября, был освобожден Киев. Сейчас наши войска бьют фашистскую нечисть под Будапештом. За этот год Красная Армия полностью очистила от противника территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии и Карело-Финской ССР, вернув свободу миллионам советских людей.

Могучими наступательными ударами наши наземные войска при поддержке авиации и Военно-Морского Флота вышибли немецко-фашистских захватчиков из пределов нашей Родины. Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря. Окончательно ликвидирована угроза порабощения народов СССР фашистскими извергами. Гнусным попыткам гитлеровцев завладеть нашими богатствами, поживиться нашим добром навсегда положен конец. Отныне и навсегда советская земля свободна от гитлеровской погани.

Очистив советскую землю, Красная Армия сейчас бьет врага на территории Норвегии, Польши, Чехословакии и Югославии, помогая народам этих стран разорвать цепи фашистского рабства и восстановить их свободу и независимость. Она развернула наступление между Тиссой и Дунаем, имеющее своей целью вывести из строя последнюю гитлеровскую союзницу в Европе — Венгрию.

Наряду с этим части Красной Армии, могучим наступательным ударом взломав долговременную оборону немцев в Восточной Пруссии, ворвались в фашистское логово. Боевые действия, таким образом, перенесены на германскую территорию. Отныне немцы на собственной шкуре испытывают, что такое война.

Летние операции Красной Армии, приковав к себе до 200 немецких дивизий, создали возможность нашим союзникам вторгнуться во Францию и развернуть мощное наступление, которое завершилось изгнанием врага из Средней Италии, Франции, Бельгии. Войска союзников также ворвались на немецкую территорию.

Таким образом, Германия, понесшая под ударами Красной Армии и войск наших союзников жестокое поражение, очутилась теперь в тисках между двумя фронтами.

Таковы итоги наших побед в истекшем году на фронтах Отечественной войны.

Эти победы Красной Армии стали возможными потому, что се самоотверженно поддерживали все народы Советского Союза в тылу страны. Нескончаемый поток вооружения, боевой техники, снаряжения и продовольствия, направляющийся на фронт, свидетельствует о том, что советские рабочие, колхозники, интеллигенция, наши славные женщины и молодежь — все советские люди в тылу страны работают под лозунгом «Все для фронта!» Благодаря этому на четвертом году войны наши заводы производят самолетов в 4 раза, танков в 6—7 раз, артиллерийского и минометного вооружения в 7—8 раз больше, чем в начале войны. В результате Красная Армия имеет теперь танков, орудий, самолетов не меньше, а больше, чем немецкая армия. К этому надо добавить, что советская боевая техника по качеству значительно лучше немецкой.

Попутно с ростом производства быстрыми темпами развертывалось строительство новых военно-промышленных предприятий на востоке страны. За годы войны в Магнитогорске пущены две доменные печи — самые крупные печи в Европе. В Челябинске построен крупнейший в Европе завод качественных сталей, пущен в ход уральский автозавод имени Сталина. На Алтае построен большой тракторный завод.

Усиленным темпом восстанавливается разрушенное немецкими варварами народное хозяйство.

Рабочие СССР совершили великий трудовой подвиг в Отечественной войне.

Наша советская интеллигенция, в том числе конструкторы, смело идя по пути новаторства в деле создания новой боевой техники, творчески применяют достижения современной науки в производстве вооружения для Красной Армии, в частности для Военно-Воздушных Сил.

«Советская интеллигенция своим созидательным трудом внесла неоценимый вклад в дело разгрома врага» (Сталин).

Не менее яркими победами ознаменовали истекший год рабочие железнодорожного транспорта и колхозное крестьянство.

Все это свидетельствует о том, что наряду с военными победами Красной Армии на фронте труженики советского тыла в единоборстве с фашистской Германией и ее сообщниками одержали над врагом экономическую победу.

В свете этих побед становится очевидной историческая роль нашей страны в войне против Германии. Советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских каннибалов.

Сейчас наша страна вместе со своими союзниками стоит перед победоносным завершением войны. Дни гитлеровского кровавого режима сочтены. Завершается полное окружение фашистской Германии. Красная Армия и союзные войска заняли исходные позиции для решающего штурма главного оплота реакции и мракобесия в Европе.

Уничтожить гитлеровское государство и его армию необходимо для того, чтобы обезопасить будущее свободлюбивых народов от повторения агрессии. Мы должны покарать фашистских извергов за пролитую ими кровь, за страдания и муки нашего народа, за разрушенные советские города и села. Мы должны разрушить каторжную тюрьму — гитлеровскую «3-ю империю», — чтобы вызволить из фашистского рабства уведенных туда советских людей.

Мы знаем: фашистский зверь будет жестоко и злобно огрызаться. Враг будет цепляться за выгодные рубежи обороны. Он попытается маневрировать остатками своих «резервов» внутри все более сжимающегося кольца фронтов союзников.

Но никакие ухищрения врага не спасут его от полного разгрома. Перед натиском Красной Армии не раз разлетались вдребезги так называемые «неприступные» фашистские валы. Не помогут врагу и «фольксштурмы».

Достаточно напомнить, что уже в результате описанных выше операций враг после всех «тотальных» и «сверх» тотальных» мобилизаций имеет против нашего фронта всего 204 дивизии вместо 257 дивизий, противостоявших нам в прошлом году. В нынешней войне на службе у Германии были производительные силы почти всей Европы. Ей помогали значительные армии вассальных государств. Несмотря на это, она стоит сейчас перед неизбежной катастрофой. Это значит, что Советский Союз оказался сильнее фашистской Германии. Теперь же она навсегда лишилась помощи большинства своих «союзников», равно как безвозвратно ею потеряна также и большая часть экономических ресурсов, которыми она располагала в прошлом.

Мы можем и должны сделать немецкую берлогу могилой для фашистской армии. «Красная Армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага... Теперь за Красной Армией остается ее последняя заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы» (Сталин).

Мы располагаем для этого всеми условиями: за нами правда, за нами и сила.

В зимних и летних сражениях истекшего года Красная Армия показала возросшее воинское мастерство. Советские воины закалились в сражениях, научились громить и побеждать врага. Красная Армия выросла в грозную силу и превосходит противника своим воинским умением и боевой техникой.

Яркие страницы в историю наших побед вписала в этом году также советская авиация. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин в своем приказе № 220 от 7 ноября 1944 г. потребовал от нас мобилизации всех сил, чтобы стремительным натиском объединенных наций в кратчайший срок сокрушить гитлеровскую Германию. Священный долг авиаторов — выполнить этот приказ с честью и доблестью.

В предстоящей заключительной битве ВВС должны еще четче и теснее взаимодействовать с наземными войсками и между видами авиации. Помнить: взаимодействие — закон современного боя. Авиационные командиры и начальники должны применить весь свой опыт боев в прошлом для организации массированных ударов по врагу. Во всех штабах до мельчайших деталей должны быть отработаны вопросы управления авиацией в бою.

Особое внимание должно быть уделено обеспечению аэродромного маневра в условиях осени и зимы, чтобы поддержка наступающих наземных войск авиацией была абсолютно непрерывной и неослабевающей. В этих целях заблаговременно должна быть развернута работа по изучению условий предстоящего базирования на территории противника. При подготовке операции необходимо тщательно учитывать время года, создающее специфическую обстановку для действий авиации. Материальная часть самолетов, вся боевая техника авиации должны быть подготовлены к действиям при низких температурах. На различные случаи метеорологической обстановки должны разрабатываться соответствующие варианты использования авиации.

В ходе операций должен быть применен весь богатый арсенал оперативно-тактического искусства авиации. Мы имеем возможность и обязаны использовать наше грозное оружие с максимальной эффективностью. Каждая бомба, каждый снаряд и пулеметная очередь, выпущенные с самолета, должны достигать врага и вносить опустошение в его ряды. Каждый новый боевой вылет авиации должен быть шагом вперед на пути к достижению полной и окончательной победы.

Сделаем наше авиационное наступление всеокрушающим!

Добьем фашистского зверя в его берлоге!¹¹

Борьба истребительного соединения за господство в воздухе

Полковник А. Сидоров

В планах подготовки и проведения боевых операций летом 1944 г. видное место уделялось задаче прикрытия наших наземных войск от ударов вражеской авиации, с одной стороны, и обеспечения беспрепятственной работы в наступлении наших штурмовиков и бомбардировщиков — с другой. Эта задача могла быть успешно решена лишь при условии полного господства нашей авиации в воздухе над всем районом боев и особенно на главных направлениях предполагаемого наступления.

Вот почему организации боевых действий наших истребителей в этих операциях авиационное командование уделяло особое внимание. Результаты этого теперь уже всем известны: благодаря продуманным и своевременно принимавшимся мерам наша авиация, как правило, была безраздельным хозяином неба, а вражеская авиация либо вовсе изгонялась из районов боев, либо действиями наших истребителей оказывалась связанной и неспособной сколько-нибудь эффективно противодействовать нашему наступлению.

В этих операциях многие истребительные соединения наших ВВС накопили богатый опыт борьбы за господство в воздухе. Об этом, в частности, свидетельствует практика решения этой задачи в Бобруйской операции. Не вдаваясь в оценку и детальный разбор действий истребителей в указанной операции, мы хотели бы осветить здесь некоторые вопросы подготовки и организации борьбы за господство в воздухе, представляющие интерес с точки зрения опыта, могущего быть использованным в будущем.

Воздушная обстановка перед началом Бобруйской операции на участке предполагавшегося прорыва характеризовалась тем, что противник систематически наблюдал за нашими тылами, упорно пытаясь зафиксировать малейшее движение, маневр войск или базирование авиации. Самолеты «Хе-111», «Ме-109» и «ФВ-190» вели непрерывную разведку, порою даже с боем.

Отсюда, естественно, вытекало требование особо строгого соблюдения скрытности в деле сосредоточения сил для операции и в подготовке аэродромной сети. К этому надо прибавить также и диктовавшиеся моментом очень жесткие сроки подготовки к операции. Несмотря на это, сосредоточение истребительных частей, предназначенных к участию в операции, на новые передовые аэродромы было выполнено в назначенное время и в таких размерах, которые обеспечивали нам на участке прорыва вражеской обороны численное превосходство над авиацией противника. Летчики истребительных частей соединения к этому времени уже имели боевой опыт. Многие из них еще ранее участвовали в крупных воздушных боях.

Организация управления истребительной авиацией

Получив аэродромную сеть базирования, оперативная группа авиационного командования выехала на новое место дислокации частей, где, внимательно изучив аэродромный узел,

¹¹ Вестник Воздушного Флота № 19-20, октябрь 1944 г.

сделала необходимые указания о доделке аэродромов, расширении их, об улучшении капониров и обваловок. Аэродромная сеть была совершенно точно нанесена на карту крупного масштаба, что для летчиков имело важное практическое значение. После того как вопросы, связанные с новым местом базирования, становились ясными, сюда высылались передовые команды. Прибывающие вслед за тем штабы немедленно приступали к организации работы по подготовке к приему частей.

Схема 1

В то время как предназначенные для нового дислоцирования аэродромы готовились к приему частей, в штабе истребительного авиасоединения разрабатывалась система мероприятий по борьбе с разведчиками противника, которая была введена в действие еще до прибытия основных сил истребительной авиации, обеспечивавших господство в ходе операции. На подготавливаемые передовые аэродромы (в большинстве 2—3 аэродрома на авиасоединение) подсаживались звенья истребителей, которые и несли здесь боевое дежурство от восхода до заката солнца. Командир каждого такого звена, находясь в самолете, имел прямую связь со станцией обнаружения, работавшей на главном аэродроме. Для этой цели использовались провода существующих линий связи аэроузла истребителей с подключением к ним концов для дежурного звена. Чтобы не разряжать самолетный аккумулятор, пока командир дежурного звена, сидя в самолете, слушал станцию, подключался бортовой аккумулятор.*

Для лучшей ориентировки истребителей, вылетающих на перехват, на полетной карте летчиков масштаба 500000 нумеровались квадраты соответственно с такой же картой ПВО.

На станции наведения в течение всего светлого времени суток дежурил командир, имевший право самостоятельно разрешать все вопросы борьбы с разведчиками противника. Таким образом, станция превращалась в своеобразный КП по борьбе с разведчиками противника: к ней подводился шлейф проводов от армейских средств ВНОС и от других аэродромов, на которых дежурили истребительные звенья.

Преимущество такой совместной работы станции обнаружения и летчиков-истребителей можно проследить на примере соединения истребителей гвардии генерал-майора авиации Дзусова, умело организовавшего борьбу с разведчиками противника в Бобруйской операции.

Истребители этого соединения были снабжены картой масштаба 500 000, на которую была нанесена заранее разработанная схема оцифрованной квадратной сетки. Суть сетки такова: первому ряду квадратов были присвоены цифры 10, 11, 12, второму — 20, 21, 22, третьему — 30, 31, 32 и т.д. Таких рядов практически требовалось для перекрытия района перехвата не более 5—7. Сетка квадратов (каждый из которых имел площадь 20 X 18 км) довольно быстро усваивалась летчиком и позволяла как ему, так и находящемуся на станции обнаружения командиру быстро производить расчет на встречу с противником и осуществлять грубую (в пределах 10—15 км. т. е. в пределах квадрата) наводку. Точная наводка истребителя на вражеский самолет (особенно в плохую погоду) производилась дополнительным указанием станции в момент выхода летчика в заданный квадрат.

Преимущество такой системы состоит в том, что летчик должен знать всего восемь румбов. Курс в воздухе и время ему не передаются. Передаются лишь высота, число самолетов, квадрат нахождения самолета и квадрат направления его полета. Например: «Группа бомбардировщиков до 20, Н = 4 000, квадрат 10—21». Эту фразу надо понимать так: «Время приема фактическое, высота 4 000 м, до 20 бомбардировщиков противника курсом 135, место — по карте квадрата» (схема 1).

Используя этот прием борьбы с разведчиками противника, наши летчики не раз наносили им чувствительные удары. Так, например, 8 июня на перехват двух вражеских истребителей-разведчиков, шедших на высоте 1 500—2 000 м курсом от Быхова на Пропойск, вылетела пара во главе с гвардии подполковником Пановым. Станцией она

была сведена с противником и в районе м. Бохонь, нагнала два «ФВ-190». Завязался бой. Сбросив подвесные бачки, гвардии подполковник Панов с первой же атаки на догоне сбил один «ФВ-190»: второй «ФВ-190» был поврежден.

После ряда подобных встреч и боев активность разведчиков противника резко сократилась.

Надо, однако, оговориться, что опыт подобных действий со всей силой подчеркивает необходимость иметь специально для этого натренированные звенья истребителей, хотя бы по одному звену на эскадрилью. Опыт показал также, что в попытках уйти от обнаружения противник ищет спасения в полете на низких высотах. Это необходимо учитывать при организации борьбы за господство в воздухе.

Управление истребителями с передового КП было организовано следующим образом. Части нашей наземной армии занимали оборону и сосредоточивались по восточному берегу р. Друть в густом лесном массиве. Поэтому для передового КП были оборудованы наблюдательные вышки в лесу. Наземные радиостанции наведения решено было поставить на передовых НП армейских войск, силами которых и были построены для авиации указанные наблюдательные вышки, возвышавшиеся над лесом. Была также предоставлена в распоряжение авиация оперативная связь штаба наземной армии с корпусами.

Для радиостанций здесь были заранее вырыты ниши в земле, и в ночь за сутки до операции станции были выведены на боевые позиции и подготовлены к работе.

Передовой НП командира авиасоединения был организован вместе с передовым КП командующего наземной армией. Пункт имел специальную наблюдательную вышку и мог располагать вспомогательными средствами связи наземной армии.

На передовой КП был вынесен и передовой НП командира зенитных частей, прикрывавших наши войска и взаимодействовавших с истребителями. Сюда же, на передовой НП командира истребительного соединения, был подведен шлейф начальника службы ВНОС наземной армии.

Таким образом, было достигнуто полное взаимодействие ЗА, ИА и ВНОС, вполне оправдавшее себя на практике.

Одновременно была обеспечена прямая связь проводом передового КП авиационного командира со штабом наземной армии. Телефонным проводом были также связаны штабы авиационного и наземного командования. Система связи позволяла авиационному командиру отдавать станциям наведения распоряжения, а также получать от них сведения не только по радио, но и по проводам. Он имел также возможность, будучи на передовом КП, вызывать как по радио, так и по проводам самолеты из резерва и таким образом наращивать силы в ходе боя. В резерв авиационного командования были выделены специальные части, в которых всегда имелись группы истребителей в готовности № 1. Система наведения на противника над полем боя и над вражеской территорией была организована по тому же принципу, что и в борьбе с разведчиками, т.е. по системе квадратов. Наведение же на артиллерийских корректировщиков врага облегчалось еще и наземными войсками, которые стрельбой ракетами в направлении летящего вражеского корректировщика показывали его местонахождение.

* - вероятно здесь речь идет о внешнем аккумуляторе, или аэродромной тележке с аккумуляторами, подключаемых на борт (прим. админ.)

Подготовка к операции

Штаб истребительного авиасоединения возложил на станцию наведения, помимо ее прямых обязанностей, так- же задачу информирования о метеоусловиях и помощь летчикам в восстановлении ориентировки. Им были розданы кодированные карты, а также закодированные фразы, наиболее часто употребляющиеся в метеорологической службе.

Кроме этого, штаб предусмотрел вопросы передвижения радиостанций. Каждой из них заранее указывалась ось движения. С этой целью на двухкилометровой карте, находившейся в штабе и на станции наведения, специальным кодом кодировались пункты или квадраты. Данные о продвижении станции передавались на передовой КП, благодаря чему потери связи со станциями наведения не было. Штаб всегда точно знал, где находится данная станция.

Все эти вопросы были основательно проработаны, сведены в специальные инструкции для станций наведения, после чего с персоналом станций и личным составом, назначенным для работы на них, были проведены занятия с практическим проигрышем предстоящей работы. Соответствующие инструкции были разосланы также в полки, где они были изучены всем летным и руководящим составом.

Штабные командиры, доводя задачу до летного состава, провели в каждом полку занятие на тему «Как мы будем действовать и что нужно знать каждому летчику в данных конкретных условиях боевых действий».

Перед началом операции под руководством высшего авиационного командования в течение полутора суток была проиграна вся предстоящая операция в соответствии с ее планом.

После этого командир авиасоединения, на которое возлагалась задача борьбы за господство в воздухе, созвал расширенное совещание руководящего состава подчиненных штабов. На этом совещании по схемам, составленным начальниками служб, командирам частей были разъяснены идея и замысел операции, вручен боевой приказ и поставлены конкретные задачи.

После того как летный состав ознакомили в беседах, проведенных на месте прежнего базирования, с новыми аэродромами, их размерами, подходами к ним и особенностями предстоящего перелета, был организован полет руководящего летного состава по маршруту с целью его изучения, а также для ознакомления с аэродромным узлом предстоящего базирования.

Перед перебазированием для более уверенного перелета командиры групп предварительно производили сами полет по маршруту. На промежуточных аэродромах средствами воздушной армии выставлялись радиопеленгаторы, которые позволяли в случае ухудшения погоды приводить экипажи к заданному аэродрому посадки. Это способствовало тому, что ни один из экипажей не потерял ориентировку.

С аэродромов подскока на боевые аэродромы также был организован предварительный полет командиров групп, причем в разное время. В целях скрытности от радиолокационных средств противника приход на боевой аэродром и узел выполнялся на низких высотах (100—300 м). Сосредоточение производилось мелкими группами, в большинстве случаев вечером. К этому времени, на главном аэродроме аэроузла соединения работал радиопеленгатор, применялись цветные дымы. Здесь же дежурило звено истребителей, вылетавшее по данным станции наведения я сигналам постов ВНОС. При штурманской подготовке района исходили из его особенностей. Там, где местность района патрулирования была слишком пестрой и не имела особо характерных ориентиров, на земле выкладывали большие стрелы в направлении противника. Районы патрулирования обозначали кострами или дымами разных цветов. В районах, богатых водными и шоссейными рубежами, выкладывали опознавательные знаки: буквы размером 20—30 м или цифры.

Каждый аэродром имел свои дымы (сочетание цветов дымов). Особенно сложной была ориентировка в районах с большим количеством однотипных полос пахоты, напоминавших с воздуха большой разноцветный ковер и сильно затруднявших сличение карты с местностью. В этих условиях основным средством привода на свой аэродром был радиопеленгатор.

Организация боевого вылета и методы прикрытия поля боя

В связи с недостаточной приспособленностью аэродромов (плохая укатка, малоразмерность взлетно-посадочных полос и т. д.) требовалось точно разработать и строго выполнять режим руления. Выруливание на старт и взлет производились конвейером.

Сбор после взлета происходил на кругу, потом по направлению к линии фронта занимался установленный боевой порядок, после чего набиралась заданная высота полета.

Возвращались на свой аэродром в боевом порядке, установленном при вылете, причем посадка производилась парами, конвейером, с последующим снижением высоты.

Оставшиеся в воздухе прикрывали садившихся. На земле все время в готовности № 1 находилось дежурное звено, которое в случае нападения противника вылетало под прикрытием верхнего эшелона пришедших с задания и, таким образом, обеспечивало посадку всей группы.

Для посадки самолетов, которые могли вернуться с задания подбитыми, отводился отдельный аэродром или подготавливались полосы и места для приземления на «живот». В целях быстрой уборки самолетов, потерпевших аварию при посадке, на каждом аэродроме была организована аварийная команда из состава БАО. Команда имела трактор с салазками (листом железа на тросах), воздушные мешки для подъема самолетов и бригаду техсостава для быстрого отбуксирования самолета с посадочной полосы.

Основной боевых порядков истребителей были пара и звено. Группы-патрули, как правило, строились из 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24 самолетов, в большинстве случаев эшелонирование по высоте. В одном ярусе меньше четверки самолетов (слетанное звено) не назначалось.

Боевые порядки эшелонировались обыкновенно в двух ярусах, опять-таки по звеньям.

Иногда это делалось в три яруса (патруль 12 самолетов).

Лучшим маневренным патрулем оказалась четверка (звено), прикрытая второй четверкой, действующей в зрительной связи и обязательно эшелонированной по высоте.

При патрулировании над линией фронта оправдал себя боевой порядок восьмерка фронтом, обратным пеленгом с превышением по высоте от солнца. Разворот в этом случае выполнялся по методу «все вдруг» без изменения пеленга. Патрулирование производилось под 90° к линии фронта с незначительным снижением на территории противника и с последующим набором высоты над своей территорией. За линией фронта, вне сферы огня ЗА противника, патрулирование производилось вдоль самой линии фронта методом заслона или воздушной засады на территории противника. Именно в этой зоне происходила основная часть патрулирования, чтобы в первую очередь бить бомбардировщиков противника, встречая их еще на вражеской территории и не допуская до боевых порядков наших наземных войск.

Так, когда линия фронта шла на траверсе Бол. Крушиновка, Фолеричи, город Рогачев, наши истребители залетали в район Бобруйска, т. е. на 40—50 км в тыл противника.

Описанные тактические приемы истребителей и мероприятия по организации борьбы за господство в воздухе обеспечили уверенность и свободу действия наших наступающих войск на земле, а штурмовиков и бомбардировщиков — в воздухе. - Авиация обеспечивала наступление танков и пехоты, подавляла и уничтожала противника перед фронтом наших наступающих войск, воздействовала огнем на ближайшие узлы коммуникаций немцев и их резервы. Наши летчики в бою проявляли максимум упорства и героизма. Поддерживая связь с наземными войсками, они непрерывно пикировали на расположение противника, сбрасывая бомбы и обстреливая врага из пушек и пулеметов.

27 июня в 16 часов наша авиация обнаружила в лесах юго-восточнее Бобруйска большое скопление немецкой пехоты, до 150 танков, свыше 1000 орудий, до 6000 автомашин.

Противник в этот день пятнадцать раз переходил в контратаки против наших танков у Титовки, пытаясь пробиться на север. Все это ясно свидетельствовало о том, что немцы готовились в ночь на 28 июня вывести свои войска из окружения.

Чтобы не дать немцам осуществить свой план, командующий фронтом приказал авиации немедленно нанести сильный удар по группировке противника, изготовившейся к прорыву. Вечером 27 июня свыше 500 наших штурмовиков и бомбардировщиков в течение часа непрерывно сбрасывали на противника большое количество бомб и обстреливали его с пикирования из пушек и пулеметов. После удара авиации наши пехота и танки атаковали противника. Сознавая безвыходность своего положения, немцы стали сдаваться в плен. 28 июня в 13 часов эта группировка немцев была полностью ликвидирована.

Благодаря описанной системе управления и связи авиационное командование быстро и в полном соответствии с воздушной обстановкой поднимало, в воздух истребители прикрытия, организовывало сопровождение своей авиации, перехват, поиск и уничтожение воздушного врага.

Опыт Бобруйской операции по организации борьбы за господство в воздухе позволяет сделать некоторые выводы:

1. Истребительную авиацию, назначаемую для борьбы за господство в воздухе, необходимо базировать как можно ближе к наступающим передовым частям (10—50 км). Это мероприятие, однако, оправдывает себя лишь при условии обязательной организации истребительных засад, в которые, как показал опыт, лучше всего назначать модернизированные самолеты Яковлева.
2. В наиболее ответственные периоды операции (атака, ввод подвижных войск в прорыв, момент переправы через водные преграды) господство в воздухе должно и может быть обеспечено лишь непосредственным прикрытием наземных войск силами 8—12 периодически сменяемых самолетов, и сочетании с одновременной работой усиленных патрулей-охотников, причем на земле в это время обязательно должен быть резерв истребителей в готовности №1.
3. В менее ответственное время можно и должно максимально экономить силы: вместо постоянного патрулирования организовывать вылеты истребителей только по сигналам станций обнаружения и наведения. Обязательными условиями при этом должны быть: строгая координация действий с зенитной артиллерией, хорошо налаженная служба ВНОС, наконец, абсолютно надежная, безотказно действующая проводная и радиосвязь между передовым КП, станцией наведения и резервом истребителей.

Покараем немецко-фашистских извергов за разграбление и разрушение наших городов и сел, за насилия над женщинами и детьми, за убийства и увод в немецкое рабство советских людей! Мщение и смерть фашистским злодеям!¹²

Британский союзник

«Британский союзник»¹³ - еженедельная газета на русском языке (издание министерства информации Великобритании), выходившая и распространявшаяся в Советском Союзе по воскресеньям с 1942 года на протяжении войны и в первые послевоенные годы. В газете публиковались сводки с фронтов, репортажи о героизме английских солдат, статьи об англо-русском военном и культурном сотрудничестве, заметки о награждении британцев советскими правительственными наградами, дайджесты свежих номеров английской прессы.

Нередко известные английские писатели, например Джон Бойнтон Пристли, писали статьи специально для «Британского Союзника». Редактировал издание пресс-атташе посольства Великобритании сэр Джон Лоуренс, будущий председатель ассоциации «Великобритания – СССР».

¹² Вестник Воздушного Флота № 19-20, октябрь 1944 г.

¹³ <http://elib.tomsk.ru/tsearch/?tids=13>

Газета «Британский союзник» продолжила выпускаться и после Великой Отечественной войны вплоть до конца 40-х годов. В послевоенное время «БС» публиковал статьи, посвященные советско-британским отношениям, рассказывал о визитах представителей английских властей в СССР. Важно отметить, что в газете отсутствовали статьи, восхваляющие Сталина. Таким образом, «БС» был чуть ли не единственной газетой в СССР, не зараженной культом личности. Также «Британский союзник» был одной из самых свободных газет в Советском Союзе, почти не подверженной цензуре. Немало места в издании уделялось внутренним политическим событиям в Великобритании и ее отношениям с другими государствами. В «Британском союзнике» можно было прочитать стенограммы выступлений английских политиков. Много статей было посвящено послевоенному восстановлению Европы, экономической помощи Советскому Союзу. Были в «Британском союзнике» разделы науки, культуры и спорта. Газета печатала познавательные материалы об английской культуре, о повседневной жизни англичан, публиковала произведения британских писателей в оригинале, например, Чарльза Диккенса.

В конце 40-х годов в связи с ухудшением отношений между СССР и Соединенным Королевством во время холодной войны Иосиф Сталин распорядился прекратить издание «Британского союзника». Так престала существовать уникальная газета, из которой советские граждане могли получить много интересной информации о жизни в капиталистической стране.

Всего вышло 35 номеров: 1944 - 18 номеров, 1947 - 16 номеров, 1949 - 1 номер.

Издается с мая 1942 года министерством информации Великобритании по договоренности с советскими властями. Выходит еженедельно по воскресеньям. В 1949 году советское правительство решает закрыть газету из-за углубляющихся политических противоречий между СССР и Великобританией.

После закрытия газеты в 1949 году, один из её редакторов - Арчибальд Джонстон остался в СССР, сменил британское гражданство на советское и жил в Москве до своей смерти в 1969 году

400 километров за 3 недели

На прошлой неделе были опубликованы некоторые подробности наступления британских войск, прошедших за три недели 400 километров от Нормандии к голландской границе. Наступление началось ударом британских бронетанковых сил, опиравшихся на плацдарм в Нормандии.

Выйдя к Сене, британские войска сосредоточились у Вернона и здесь переправились через реку. В ночь на 27 августа на восточном берегу Сены был создан прочный плацдарм.

Танки вязли в грязи на полях и были вынуждены двигаться только по дорогам. Однако 31 августа наши танковые части прошли уже 70 километров. После взятия Амьена наступавшие бронетанковые войска делали в течение шести дней в среднем по 60 километров ежедневно. При занятии Брюсселя немцы фактически не оказали сопротивления.

Подразделения 11-й британской бронетанковой дивизии в последнем броске Брюсселю прошли за 13 часов 120 километров.

8 сентября колонна канадских танков повернула налево, захватила Остенде и затем приступила к созданию плацдарма за Гентским каналом.

Другая колонна овладела Антверпеном и перерезала сухопутные линии отхода немецких войск, расположенные к западу от реки Шельды.

Авиация союзников атаковала баржи и буксиры, с помощью которых противник пытался пересечь Шельду близ ее устья. Эффект атак «Тайфунов», снабженных ракетными установками, был настолько велик, что его можно сравнить лишь с разгромом остатков 7-й немецкой армии при переправе их через Сену.

К востоку от Антверпена британские войска создали за каналом Альберта два плацдарма — у Галя и Берингена. Здесь впервые после форсирования Сены немцы оказали действительно серьезное сопротивление. Они ставили себе целью задержать британские войска на рубеже канала на то время, пока производилась концентрация немецких войск в Голландии.

Американские плацдармы за Мозелем

Части Первой американской армии, вступившие в Бельгию из района Хирсона, 2 сентября заняли Льеж и достигли пункта, расположенного в нескольких километрах от оборонительной позиции линии «Зигфрида». На Аахенском участке фронта сопротивление противника начало усиливаться.

Далее к югу войска Третьей американской армии закрепились на восточном берегу реки Мозель в районе Меца и Нанси. Противник, используя гористую местность, оказывает здесь сильное сопротивление. На одном из плацдармов к югу от Меца временно создавалась тяжелая обстановка. Американские войска попали здесь под сильный огонь замаскированных немецких фортов, которыми усеян восточный берег реки. Противнику удалось нанести тяжелый урон подразделениям, переправлявшимся на восточный берег, однако американцы удержали свой узкий плацдарм.

Тем временем Седьмая американская армия, которая по альпийским дорогам прошла за три недели 550 километров, двигалась с юга, приближаясь к важнейшему Бельфорскому проходу.

Этот проход известен в истории как один из наиболее удобных путей, ведущих в Германию. Колонна французских войск, двигаясь параллельно американцам, освободила город и важный центр коммуникаций Дижон. Передовые части армии южного фронта сомкнулись с патрулями армии северного фронта к югу от Тройе.

Количество пленных, взятых союзниками со времени высадки во Франции, к концу прошлой недели достигло 350 000 человек.

Лондонская газета «Таймс» писала:

«Бои за каналом Альберта, сражение на реке Мозель, сопротивление в районе между Безансоном и Бельфором, — все это говорит о том, что немцы пытаются задержать преследователей, выиграть время для насыщения войсками оборонительных рубежей Германии и для заполнения тех брешей в людских ресурсах и снаряжении, какие можно заполнить за тот короткий срок, который остался у немцев до возобновления наступления союзников во всей его мощи.

В настоящий момент передвижение союзных войск остается под покровом тайны. Это необходимо для того, чтобы немцы не могли догадаться о направлении нашего главного удара.

Народы союзных стран легко поймут необходимость этой меры предосторожности».

Он сражался в России

Полковник Военно-воздушных сил Антони Гарфард Миллер назначен командиром базы ночных бомбардировщиков Воздушной обороны в Южной Англии.

Он имеет крест «За летные боевые заслуги» и другие британские, а также и русские ордена за командование эскадрильей самолетов «Харрикейн» на советском фронте в 1941 году.

Полковник Миллер был награжден орденом Ленина за свою работу в СССР. Ни один советский бомбардировщик из тех, которые шли под прикрытием его эскадрильи, не погиб.

Родившись в Калькутте в 1912 году, полковник Миллер в 1935 году находился в резерве Воздушных сил и в начале войны был назначен командиром эскадрильи ночных

истребителей. По возвращении из СССР он командовал лондонской городской эскадрильей истребительной авиации.

Он также ведал учебными войсковыми частями и выполнял штабные обязанности в истребительной бригаде.

Битва за Сене

Победа на Сене будет считаться одним из решающих исторических сражений. Крупная роль американцев в изменении всей стратегической обстановки во Франции заслужила полного признания, но эта битва на Сене была выиграна главным образом британскими и канадскими войсками.

Она свирепствовала в течение сорока дней. Сначала за овладение Каном, потом за переправы через Ори, наконец за Фалез, который был так существенно необходим для немцев. Но сражение имело еще одну цель, не такую очевидную, но не менее важную, чем любое территориальное завоевание в Нормандии.

Обе армии маршала Монгомери сражались для того, чтобы обеспечить американцам свободу действий. Для этого нужно было вовлечь в сражение подвижную часть армии Клюге и этим сковать ее.

Это было сделано, и прорыв был осуществлен. Мы не задаемся целью повторять события, может быть, уже устаревшие в быстро меняющейся военной обстановке.

То, что произошло на Сене, можно назвать ключом к победе не только на этой реке, но также и на Рейне. Потому что конечная цель — это Рейн и Германия.

По крайней мере две союзные армии на западе движутся к границам германского государства.

Третья армия под командой Паттона, находившаяся в пути 26 дней, в тот момент, когда писались эти слова, прошла 800 километров с момента своего прорыва.

Другая союзная армия, спешно продвигающаяся от Ривьеры, прошла 480 километров за 11 дней.

Ни та, ни другая не замедлили своих темпов, несмотря на трудные проблемы снабжения и оборудования, в особенности танков, — проблемы, решенные благодаря поразительно четкой работе Службы снабжения, которая не отставала от наступающих войск и удовлетворяла все их нужды без задержки и замешательства.

Быстроте продвижения союзных войск много способствовала помощь Французских сил внутреннего сопротивления, которые не давали немцам возможности производить разрушения.

Но всего важнее для быстрого наступления войск генералов Паттона и Пэтча в сторону Германии была уверенность, что они встретят на своем пути только незначительное количество немецких войск. Это и было достигнуто сражением на Сене.

Что же дальше? Во Франции нет больше сплошного фронта. В районе Па де Кале имеется еще армия из 10—15 дивизий. Но эти дивизии не похожи на те, с которыми союзники встретились в Нормандии. Может быть, среди них есть одна или две бронетанковые, но остальные не были предназначены действовать самостоятельно, без моторизованных и бронетанковых дивизий, которые фактически были уничтожены в Нормандии.

Немцы еще имеют отряды морской пехоты и береговой обороны и дивизии, годные для позиционной войны без соответствующего моторизованного транспорта.

Все эти части лишены подвижности и находятся под угрозой с тыла.

Немецкая оборона отчасти предвидела эти обстоятельства, но не ждала ничего, кроме легко вооруженных воздушных сил в тылу.

Вскоре появились бронетанковые части генерала О'Коннор, массивная артиллерия Монгомери, и немецкие войска были отрезаны.

Какими войсками располагают немцы на своей государственной границе? Они надеются на «линию Зигфрида», ведь «линия Мажино» демонтирована. Однако союзники имеют возможность ударить по Германии во многих местах между Арденнами и Швейцарской границей на фронте в 320 километров.

Немцы располагают некоторым количеством сборных дивизий, составленных из гарнизонных частей. Некоторым частям 19-й армии на Ривьере удалось вырваться. Но и здесь очень мало вероятно, чтобы немцы смогли собрать большое количество подвижных воинских частей.

Сейчас опять наступили лунные ночи. Немцы с беспокойством ждут продолжения налетов на базы своих ночных истребителей.

Хотя немцы теоретически имеют достаточно войск, чтобы отвести нависшую над ними угрозу, их верховное командование уже не сможет вовремя их сконцентрировать в нужном месте.

Стратегическая картина военного положения не будет полна, если не упомянуть о спокойствии и выдержке жителей Лондона и Южной Англии, на которые было сброшено 7000 тонн «летающих бомб».

Мероприятия, связанные с пуском этих снарядов, отвлекли значительное количество немецкой живой силы и перевозочных средств, которые могли бы быть использованы в Нормандии. Нужно было защищать стартовые станции, и это, вероятно, была главная причина того, что немцы держали значительные силы на берегах Ла Манша вместо того, чтобы укреплять другие районы.

Лондон также способствовал приостановке движения 15-й немецкой армии, что сделало возможным быстрое продвижение во Франции армий Паттона и Пэтча. 30 000 жертв в результате налетов «летающих бомб» в одном только Лондоне могут сравниться с потерями самого жестокого сражения.

Вот в каких условиях шло преследование немцев войсками союзников. Трудно предсказать, где и когда оно кончится.

Но одно важное обстоятельство уже выясняется. Победа союзников заставляет фашистское командование отказываться от своих целей. Их надежда создать внутреннюю армию, чтобы продолжать сопротивление даже после окончательного поражения, становится все более сомнительной.

Потери эсэсовских дивизий во Франции, по всей вероятности, навсегда закрыли перед ними эту возможность. Им приходится мобилизовать все свои ресурсы для защиты своей границы.

Вооружение для партизан

Подполковник Л.В. Фрэзер

Во всех департаментах Франции действуют хорошо подготовленные батальоны французских сил внутреннего сопротивления.

Патриоты завладели Парижем, захватили города и деревни. Каким образом добились они своих блестящих побед? Полностью рассказать об этом пока еще невозможно.

Вторжение и сенсационные события, которые последовали за ним, были обдуманы много лет назад. Специальная секция Королевского Воздушного Флота давно занималась подготовкой восстания внутри страны, которое теперь так блестяще осуществилось.

Работа началась скромно. Отдельные самолеты летали на континент, сбрасывали боеприпасы, людей и возвращались на свои базы.

Бывали случаи, что во Францию переправляли на самолетах женщин и оставляли их там для выполнения каких-либо специальных заданий вместе с участниками движения сопротивления.

По мере того, как продолжалась война, работа расширялась. Вооружение и всякого рода припасы доставлялись этой «подпольной воздушной организацией» под покровом ночи и всякий раз с величайшим риском.

Самолеты британской Бомбардировочной авиации работали в тесном контакте с организацией особого назначения. Позднее к ним присоединились американские самолеты, летавшие с британских баз. Вскоре американские бомбардировщики стали играть большую роль в этих операциях.

Все сотрудники Королевского Воздушного Флота, конечно, понимали необходимость иметь хорошо организованный и опытный наземный штат, который был бы ответственен за подготовку специальных комиссий для приемки грузов, хотя доставку основных грузов пришлось отложить до того, как британские и американские летчики очистят французское небо от вражеской авиации.

С момента организации подпольного движения, в январе 1941 года до 6 июня 1944 года, в одной только Европе сброшено около 30 000 единиц груза. По мере того как день вторжения приближался, темпы работы все увеличивались. За три месяца было сброшено 30 000 единиц груза.

Были сброшены десятки тысяч винтовок, противотанковых пушек, ручных гранат, пистолетов, пулеметов и другого легкого оружия.

Общий вес продовольственных припасов и вооружения, сброшенных в течение одного месяца, доходил до 1 000 тонн.

Кроме продовольствия и оружия сбрасывались также медикаменты. Они принесли огромную пользу людям, раненым при столкновении с немецкими войсками и гестапо. Снабжение обувью было другой серьезной проблемой для партизанских отрядов.

Кроме всякого рода предметов снабжения летчики продолжали перевозить и людей, которые постоянно информировали стороны, действующие по обеим берегам пролива, о взаимных успехах и нуждах.

Эта повседневная связь дала возможность французским партизанам вовремя и эффективно проводить свою подпольную работу в часы, предшествовавшие вторжению и в значительной мере помешать неприятелю осуществить свои оборонные мероприятия.

Кадры пилотов для подпольной воздушной организации готовились на специальных учебных пунктах. Направляясь к месту назначения, они не имели ни малейшего представления о работе, которая им предстоит, и потому строго хранили тайну.

Пилоты хорошо понимали, что от этого зависит жизнь тысяч отважных мужчин и женщин.

Обычно грузы сбрасывались ночью при лунном свете, но по мере того как спрос на различного рода припасы возрастал, пришлось изменить тактику. Во-первых, приближался день вторжения и нужно было во что бы то ни стало перевезти как можно больше оружия; во-вторых, агенты и патрули гестапо становились все более и более активными. Поэтому пришлось летать и в темные ночи. Это требовало тщательной подготовки. Над Британией происходили частые тренировочные полеты.

Партии, получавшие груз, были всегда наготове. От пилотов требовалось, чтобы они сразу узнавали площадки авиасигнальных постов и сбрасывали груз точно в определенное место.

В районах, где неприятель мог появиться каждую минуту после прибытия самолетов, быстрота действия решала все. Получалось как бы состязание в быстроте и смелости между пилотами и партизанами, с одной стороны, гестапо и неприятельскими патрулями — с другой.

Как бы искусно не сбрасывались грузы, всегда приходилось считаться с погодой.

Меняющийся ветер, сильный туман иногда решали вопрос о судьбе груза, но партизаны всегда энергично боролись за свой груз.

Часто их отвага, терпение и выносливость побеждали. Раз они проработали 72 часа в глубоком снегу, чтобы не упустить драгоценный груз. В другой раз они достали груз, упавший на крышу завода.

5,4-тонные бомбы

Капитан Е. Уоткинс

Бомба весом в 5400 килограммов, которая состоит на вооружении в Королевском Воздушном Флоте,— крупнейший из метательных снарядов, применяемых всеми воздушными силами мира. Сила взрыва этой бомбы огромна.

По размерам самая большая из существующих бомб, которая при нынешних условиях может быть использована с максимальным эффектом, она с успехом применяется для специальных заданий, на которые рассчитана.

Основное назначение бомбы—разрушение районов, плотно застроенных фабриками и заводами. С ее помощью были превращены в развалины многие военные предприятия в самой Германии и в других частях оккупированной фашистами Европы.

Бомба сносит до основания все здания, расположенные в радиусе 400 метров от места взрыва, и может полностью разрушить даже самый крупный завод.

Разрушение производится исключительно взрывной волной. Оболочка бомбы сделана из тонкой стали и не рассчитана на поражение цели осколками. Бомба не рассчитана также на пробивание брони. Это просто большой тонкостенный металлический баллон, наполненный сильнодействующим взрывчатым веществом и рассчитанный на точное поражение цели.

Задача конструктора авиабомбы сравнительно ясна.

Главная цель, к которой стремятся при конструировании бомб любой величины, это мгновенная детонация всего содержимого бомбы. Процесс этот напоминает разжигание костра. В бомбе имеется взрыватель, соответствующий спичке, и отличающийся исключительной чувствительностью. Поэтому взрыватели вставляются в бомбу в самую последнюю минуту — на аэродроме, перед погрузкой бомбы в самолет. Затем идет детонатор, который соответствует бумаге, подложенной в костер. Детонатор менее чувствителен, чем взрыватель, но чувствительней, чем взрывчатое вещество, заполняющее оболочку бомбы.

Обычно детонатор в форме цепочки из таблеток или патронов размещается в канале, оставленном в центре взрывчатого вещества бомбы. Один конец детонатора соприкасается с взрывателем. Вспышка от взрывателя мгновенно переходит на детонатор и охватывает главный заряд, который, фигурально выражаясь, соответствует веткам костра и занимает более 95 процентов объема бомбы.

Таким образом главная задача конструктора — обеспечить вспышку взрывателя точно в необходимое время и устранить все препятствия для мгновенного распространения взрыва по всему корпусу бомбы.

Если взрыв задержится даже на долю секунды, то бомба потеряет значительную часть своей эффективности.

Таким образом, при заполнении бомбы возникают две главные задачи. Во-первых, смесь, образующая главный заряд, должна всегда быть правильно составлена, иметь правильную консистенцию и быть однородной.

Во-вторых, бомба должна быть тщательно заполнена, с таким расчетом, чтобы после охлаждения взрывчатой смеси не образовалось пустот. В противном случае воздух, содержащийся в них, будет действовать в качестве изолятора и помешает распространению взрыва по всей массе главного заряда. Взорвется только часть

содержимого, остальная масса просто сгорит. Отсюда ясно, что смесь должна обязательно заполнить целиком всю внутренность оболочки.

Трудность заключается в том, что одна из составных частей взрывчатой смеси — тол — является плохим проводником тепла. Внешние слои смеси отдают свое тепло в воздух через стальные стенки и затвердевают.

Внутренние части содержимого сохраняют тепло гораздо дольше и сжимаются при охлаждении, часто образуя при этом пустоты. Для предотвращения этого в жидкую смесь добавляют куски уже застывшей массы этого же материала, называемые «бисквитами». Поглощая много тепла, они ускоряют процесс охлаждения и тем самым предотвращают образование пустот.

Все снаряжательные заводы в Британии находятся в ведении Министерства военного снабжения и работают по одной основной схеме, которая обеспечивает максимальную безопасность рабочим и инженерно-техническому персоналу.

С этой целью заводские постройки возводятся подале друг от друга, между всеми цехами оставлены свободные проходы, все здания одноэтажные. Каждый цех, угрожаемый в отношении взрыва, окружен высокой земляной дамбой, которая должна ограничивать действие взрывной волны в случае несчастья.

Широкое размещение заводских построек порождает ряд неудобств и трудностей.

Осложняется транспортировка продукции, но в целом такая система, повышающая уверенность рабочих в своей безопасности, устраняющая риск разрушения завода считается правильной и выгодной.

Типичное для Британии предприятие такого рода занимает около двух с половиной квадратных километров, занято на нем свыше 5000 рабочих, причем 90 процентов из них женщины. Здесь кроме всего прочего снаряжаются 1800-килограммовые и 5400-килограммовые бомбы, состоящие на вооружении британской авиации. Заполнение бомб взрывчатым веществом производится в одной из трех секций, на которые разделен завод.

Вещества, входящие в состав заряда, поступают с химических заводов уже и готовом для составления взрывчатой смеси виде, однако установлен порядок обязательной проверки образцов, взятых из каждой вновь прибывшей партии заводскими химиками.

Одна из составных частей имеет вид белого порошка, который легко впитывает воду и «спекается». Этот порошок пропускают через мельницу, нагревают в котлах для выпаривания воды и затем просеивают.

Тол представляет собой желтое кристаллическое вещество, которое при нагревании превращается в густую жидкость, напоминающую мед. Эта жидкость идет в нагреватели, которыми управляют девушки-работницы. Особенное внимание уделяется при этом вентиляции, так как испарения нагретого тола ядовиты.

Третья составная часть имеет вид порошка.

Снаряжательный цех напоминает пекарню. Девушки одеты в белые халаты с повязками на голове различной окраски в зависимости от специальности работницы. Работать приходится с покрытой головой, так как пыль от смеси может вызвать кожные заболевания.

Все инструменты сделаны из дерева или алюминия, чтобы исключить возможность искрения при работе. Вдоль одной стены расположена целая батарея мешалок, куда засыпаются составные части. По истечении установленного времени оттуда выливают в банки жидкость, напоминающую серый крем, которым потом заполняют оболочка бомб, стоящие в центре цеха.

Работа производится в три смены, круглые сутки.

Здесь, как и на всяком производстве, не исключена возможность несчастных случаев, однако на снаряжательных заводах опасность эта носит несколько иной характер. Прежде всего здесь меньше механизмов.

Механических процессов при заполнении бомб любой величины немного. Имеются лишь дробилки для одной из составных частей и мешалки. Из мешалок содержимое в жидком состоянии заливается в оболочку бомбы, твердые куски «бисквита» засыпаются ручным способом, а затем смесь утрамбовывается деревянными ступами, опять же ручным способом.

В течение 22 часов происходит процесс охлаждения, после чего оставляются детонаторы. На описываемом нами заводе содержимое взрывателей производится в другой группе цехов. Это самая опасная работа, так как вещество взрывателей отличается наибольшей чувствительностью.

Этот завод расположен в гуще промышленных городов, и большинство женщин ранее работало на производстве. Из них около 60 процентов замужние. В большинстве это молодежь, но имеется и незначительная часть пожилых женщин, занятых окраской и проверкой патронов.

Те, кто работает в начиночных цехах, считают, что их работа лучше, чем в цехах, где производятся патроны, так как в начиночных цехах больше разнообразных операций и работа не носит такого механического характера. Весь процесс перемешивания материала и содержимого оболочки занимает гораздо больше времени.

Рабочие и администрация работают в тесном взаимодействии. Этому способствуют многочисленные заводские объединенные комитеты из представителей рабочих в администрации. По характеру своей деятельности эти комитеты варьируют от производственных до социально бытовых.

Все выборы цеховых старост и рабочих представителей в цехах производятся тайным голосованием. После избрания цеховые старосты, продолжая получать зарплату, в течение недели проходят курс ознакомления с организацией завода. Представителя администрации утверждают, что это способствует экономии времени на производственные совещания. Цеховые старосты пользуются уважением и рабочих и администрации. Быть избранным считается высокой честью. Администрация стремится к тому, чтобы все на заводе чувствовали, что работают не на администрацию, а вместе с нею в интересах государства. Много полезной работы проведено также по общему улучшению организации труда. Так, например, мы уже писали, что рабочие снаряжательных заводов подвержены кожным заболеваниям. Строгое соблюдение правил гигиены и чистоты может устранить эту опасность. Каждая работница перед выходом на смену получает специальный крем для лица и мазь для губ. В конце смены она стирает мазь и крем вместе с опасной пылью.

В целях популяризации этих мер предосторожности организованы «кабинеты красоты», где предохранительные крем и мазь накладываются в виде крема для лица и обычной губной помады.

В столовых административно-технический персонал и рабочие получают за одну и ту же цену одинаковую пищу.

Имеется одна центральная столовая с небольшой эстрадой для еженедельных концертов, организуемых в обеденный перерыв, и столовые меньших размеров, обслуживающие определенные группы цехов. Обслуживаются все столовые общей центральной кухней. Отдельные рабочие этого завода уже в третий раз работают на войну. Одна из работниц, 70-летняя женщина, в 1899 году во время англо-бурской войны делала бандажи. В прошлую войну она начинала снаряды, сейчас она делает взрыватели.

У всех рабочих кто-нибудь из родных на фронте. Наступление на западе вызвало общий подъем. Они знают, что их продукция помогает приблизить день победы.¹⁴

Советская Сибирь

Наиболее авторитетный и информированный орган печати Сибири. Ежедневная. С 1 октября 1919 выходила как орган Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП(б), первоначально в Челябинске. С 26 ноября. 1919 по 12 июня 1921 «Советская Сибирь» издавалась в Омске, затем вместе с другими общесибирскими изданиями редакция «Советской Сибири» переехала в Новониколаевск, где 23 июня 1921 вышел ее 1-й новониколаевский номер. В 1925—30 газета была органом Сибкрайкома ВКП(б), Сибкрайисполкома, Новосибирского окружкома ВКП(б) и окрисполкома; в 1930—37 — органом Запсиб крайкома ВКП(б) и Запсибкрайисполкома; с 16 октября 1937 по 4 декабря 1958 «Советская Сибирь» — орган Новосибирских обкома и горкома ВКП(б)—КПСС, областного и городского советов; с 5 декабря 1958 по 23 августа 1991 — орган только Новосибирского обкома КПСС и облсовета.

У истоков «Советской Сибири» стояли видные большевистские руководители, журналисты и пропагандисты Е.М. Ярославский, В.Д. Виленский-Сибиряков, В.Д. Вегман, СИ. Канатчиков, И.Н. Стуков, М.И. Фрумкин, П.И. Винокуров и другие, входившие в состав первых редколлегий. В 1920—22 с редакцией сотрудничали будущий академик и дипломат И.М. Майский, писатель Вс. Иванов и многие другие. Первым редактором «Советской Сибири» был В.И. Хотимский (сентябрь 1919 — июнь 1920), марксист, математик и экономист. После ее переезда в Новониколаевск первым редактором газеты был Д.Г. Тумаркин (с июня 1921 по 1925). В дальнейшем наиболее известные редакторы, возглавлявшие «Советскую Сибирь», И.И. Щацкий (октябрь 1925 — март 1929), А.Л. Курс (до декабря 1929), И.И. Ляшенко (август 1930 — март 1935), Г.Т. Тимофеев (март 1935 — август 1937), Я.М. Альперович (август 1937 — февраль 1938). Все перечисленные редакторы в 1935—39 репрессированы и расстреляны.

В годы Великой Отечественной войны редакторами «Советской Сибири» были А.А. Бабаянц (апрель 1940 — март 1943), А.А. Кондаков (апрель 1943 — август 1949). Позже редакцию возглавлял Н.А. Трубицын (сентябрь 1949 — январь 1961). С мая 1961 по март 1987, самый длительный срок в истории «Советской Сибири», редактором газеты работал Н.В. Безрядин. С марта 1987 по январь 1999 газету возглавлял Г.И. Аверьянов, с января 1999 — А.Г. Жаринов.

До 1931 газета выходила на 8 полосах большого формата, имела в годы новой экономической политики собственного корреспондента за рубежом — в Европе и Китае (в Харбине). В июле 1929 газета приняла шефство над Кузнецкстроем, в декабре 1929 — над стройкой Новосибирского завода комбайнов (ныне — «Сибсельмаш»). В конце 1929 редакция «Советской Сибири» инициировала так называемую Урало-сибирскую переключку, т. е. гласное сопоставление показателей создания угольно-металлургической базы на востоке страны.

В годы войны основной темой газеты становится пропаганда героизма сибиряков на фронте и в тылу. В первые дни войны из редакции ушли на фронт 17 сотрудников, из них 5 заведующих отделами. В ходе боевых действий погибли Г.В. Косицкий, Б. Новиков, А. Вишняк, Г. Доронин и другие репортеры и литературные сотрудники газеты, всего 13 человек. В 1944 газета объявила сбор средств на строительство авиазвена имени 25-летия «Советской Сибири», журналисты Новосибирской области и читатели газеты собрали 262 тыс. руб., на них было построено авиазвено истребителей, переданное части, которой командовал А. И. Покрышкин.

В послевоенный период содержание «Советской Сибири» соответствовало нормативному облику провинциальных изданий: половину объема занимали официальные материалы и перепечатки из центральных газет.

Международный обзор

Я. Виктор

Истекшая неделя ознаменовалась важнейшими военными и политическими событиями, резко ухудшившими положение фашистской Германии.

Будущее страшит гитлеровских заправил. Один из них руководитель так называемого «трудового фронта», Лей пишет в газете «Ангрифф»: «Наше время полно такого драматизма в такой динамике, что можно только оглядываться на прошлое, но почти невозможно заглядывать вперед. Только что в моей прошлой статье в газете «Ангрифф» я писал, что положение на Восточном фронте стабилизировалось, как в результате румынских событий это оказалось ложью». Лей вынужден признать, что дела плохи не только на южном, но и на других участках фронта. Он пишет: «Мы отошли на новые позиции. Судьба заставила нас это сделать. Теперь начинается третья фаза. Мы ждем врага».

Лей не говорит, где он ждет врага. Это увертка. Он не хочет сказать, что немцы ждут противника уже на собственной земле. Война подошла вплотную к границам Германии не только на Востоке, где Красная Армия нависла грозной силой над Восточной Пруссией, но и на Западе, где союзные войска, прорвавшиеся в Бельгию и Люксембург, уже ведут бои на подступах к фашистскому логову. В результате новых побед Красной Армии резко сократилось предполье германской обороны. Румыния сама стала плацдармом для наступления на гитлеровскую Германию и её союзника Венгрию. Советские войска, взяв Турпу—Северин, вышли к румыно-югославской границе. Кольцо вокруг гитлеровской Германии замыкается и с каждым днём становится все уже. Сейчас, как правильно отмечает один иностранный обозреватель, речь идет не о штурме «европейской крепости» Гитлера, а уже о штурме «гитлеровской крепости» в Европе. Иначе говоря, речь идет о полном разгроме самой фашистской Германии.

В результате поражений, понесенных немцами в первую очередь на советско-германском фронте, распался фашистский блок. В самой деле, что осталось сейчас от преступного гитлеровского блока? Италии давно уже нет в системе «оси». От Германии отпали Румыния и Финляндия. Рушится весь гитлеровский новый порядок в Европе. Красная Армия освобождает от немецких захватчиков Польшу. Не за горами освобождение Чехословакии, в одной части которой — в Словакии — уже вспыхнуло вооруженное восстание против фашистских оккупантов. Германия потеряла Францию и Бельгию. В свете этих фактов понятно, почему фашистский заправила Лей боится заглянуть в будущее. Оно не сулит ничего хорошего гитлеровцам. Немецко-фашистский радиокомментатор Земмлер отмечает, что Германия в нынешнем ее положении напоминает путешественника, которому надо пересечь бурную реку при отсутствии мало-мальски надежного парома. «Перед нами, — заявляет он, — стоит выбор между жизнью и смертью». Фашистский писака ошибается: выбора уже нет — в перспективе только смерть.

Финляндия порвала отношения с Германией. Правительство Финляндии приняло пред'явленное Советским правительством предварительное условие переговоров о перемирии и мире. Военные действия на участке расположения финских войск прекращены. В Москву прибыла финская правительственная делегация для ведения мирных переговоров. Так закончилось финско-германское «сотрудничество», возникшее на почве захватнических устремлений.

Тот факт, что Финляндия решила на выход из войны, несмотря на настойчивые уговоры немцев воздержаться от этого шага, является красноречивым доказательством катастрофического положения Германии. Известно, что весной этого года уже велись мирные переговоры между Советским Союзом и Финляндией. Но они были прерваны финскими правящими кругами, несмотря на то, что условия, выдвинутые Советском правительством, были признаны мировым общественным мнением не только

справедливыми, но и чрезвычайно великодушными. Руководящие круги Финляндии тогда ещё питали надежду получить от немцев военную помощь.

Немного времени понадобилось для того, чтобы финны убедились в несбыточности своих надежд. Поражения, понесенные финской армией в германскими войсками на Карельском перешейке, победы Красной Армии на всех других участках фронта раскрыли истинное положение вещей. Финляндия приняла решение о выходе из войны. У Гитлера не оказалось сил помешать ей в осуществлении этого намерения.

По-иному сложились дела в Болгарии. Правители ее под прикрытием фальшивой политики «нейтралитета» все время активно помогали гитлеровской Германии в войне против СССР.

Советское правительство проявило образец долготерпения. Оно считалось с обстановкой, сложившейся в первый период войны, когда маленькая Болгария не могла противостоять военной мощи Германии. Но когда положение изменялось, когда уже всем стало ясно, что война проиграна Германией окончательно, у Болгарии появилась полная возможность присоединиться к союзу демократических стран, ведущих борьбу против фашизма.

Однако болгарские правящие круги не желали сделать этого.

Опубликованная в нашей печати дипломатическая переписка между правительством СССР и Болгарии неопровержимо свидетельствует о том, как злоупотребляла болгарская правящая клика долготерпением Советского Союза. Болгария скрывала на своей территории отступающие немецкие войска от преследования Красной Армии. Болгарские правители предоставили гитлеровским разбойникам возможность создавать новый очаг сопротивления вооруженным силам СССР и наших союзников.

Советское правительство не могло расценивать эту политику Болгарии иначе, как прямое участие в войне против СССР в лагере Германии и потому заявило в своей ноте от 6 сентября, что «не считает дальше возможным сохранять отношения с Болгарией, рвет всякие отношения с Болгарией и заявляет, что не только Болгария находится в состоящий войны с СССР, поскольку на деле она и ранее находилась в состоянии войны с СССР, но и Советский Союз отныне будет находиться в состоянии войны с Болгарией».

Но даже и после этого болгарское правительство повело двойственную политику. В ночь на 6 сентября оно уведомило Советское правительство о разрыве с Германией и просило о перемирии с СССР. Но 6 сентября опубликовало сообщение только о том, что просит Советское правительство о перемирии правительство ничего не заявило о разрыве отношений с Германией. Понятно, что это вызвало недоверие в позиции Болгарии.

Поэтому Советское правительство не могло рассмотреть просьбу правительства Болгарии о перемирии. Только 7 сентября болгарское правительство объявило о разрыве отношений с Германией. 8 сентября Болгария объявила войну Германии.

В настоящее время Советское правительство нашло возможным принять к рассмотрению просьбу правительства Болгарии относительно переговоров о перемирии.

По официальному сообщению венгерского правительства Венгрия начала военные действия против Румынии, войска которой вступили в Трансильванию. Известно, что Трансильванию Гитлер отторгнул от Румынии и передал Венгрии за ее услуги. Положение Венгрии, и без того достаточно неприглядное, осложняется.

«Сотрудничество» с Германией дорого обошлось Венгрии. Ее лучшие войска нашли себе могилу на советско-германском фронте. Ее экономика подорвана. Богатая страна стала нищей провинцией третьей империи. В Венгрии, которая всегда слыла житницей Европы, норма выдачи хлеба урезана до 150 граммов в день.

Правящие круги усиленно маневрируют, пытаясь обмануть как свое население, так и мировое общественное мнение. Свою преступную политику венгерская правящая клика оправдывает тем, что будто бы географическое положение Венгрии поставило ее в необходимость идти с Германией.

Действительно, «география» сыграла очень большую роль в политике венгерских приспешников Гитлера, но отнюдь не ту, о которой они говорят. Их соблазнила перспектива безнаказанного захвата чужих земель. Они рассчитывали расширить границы своего государства за счет Югославии и Румынии. Они зарились на наши земли. Но с этой «географией» получилась неприятная «история». Война подошла вплотную к границам Венгрии. Ее преступным правителям скоро придется держать ответ за свои грабительские замыслы, за участие в гитлеровской авантюре и за чудовищные злодеяния, совершенные на советской земле. От этой ответственности Венгрии не уйти.

От Советского Информбюро

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 СЕНТЯБРЯ

В течение 9 сентября на территории северо-восточной части Румынии наши войска с боями продвигались вперед и заняли более 100 населенных пунктов, в том числе ЧОМУРНА, ФРУМОАСА, ГУРА-ГУМОРА, СЛАТИОАРА. ОСТРА, КОТЫРГАШИ, САБАСА, ЛАРГУЛУИ. БИСТРИЧИОАРА, ЖЕДАНТЕ-ЛЕК, железнодорожные станции ГУРА-ГУМОРА, ФРАСИН, МОЛИД и совместно с румынскими войсками с боями овладели крупным населенным пунктом ТЫРГУЛ-САКУЕСК.

В центральной части Румынии наши войска заняли город АЛЬБА-ИЮЛИЯ, крупные населенные пункты ТЕИУШ, МИХАЛЦ, ВАЛЯ-ЛУНГО, МИНЕСХАЗА, КИШ-КАПУШ и железнодорожные станции КОПША-МИНА, МИКЕСХАЗА. ТЕЙУШ, ПОДУЛ-МУРЕЙ.

В Болгарии войска 3-го Украинского фронта, продвигаясь вперед, заняли город и железнодорожный узел ШУМЕН (ШУМЛА), город РАЗГРАД и во взаимодействии с ЧЕРНОМОРСКИМ флотом овладели городом и крупным портом на Черном море БУРГАС.

За 2 дня операций наши войска взяли в плен более 21.000 болгарских солдат и офицеров.

В районе РАЗГРАД наши войска взяли в плен более 4.000 немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои местного значения.

За 8 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 35 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 8 самолетов противника.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 10 СЕНТЯБРЯ

В течение 10 сентября на территории северо-восточной части Румынии наши войска, преодолевая сопротивление противника, овладели городом и железнодорожной станцией ВАМА, а также с боями заняли населенные пункты РУССКАЯ-МОЛДАВИКА, ВАТРА-МОЛДАВИКА, КРУЧА, ХОЛЬДА, БРОШТЭНИ, ДЬЕРДЬО-БЭКАШ.

В центральной части Румынии наши войска, совместно с румынскими войсками, овладели городом и железнодорожным узлом СФЫНТУЛ ГЕОРГЕ, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты КАТАЛИНА, КАРАТНЫ, БЮКСАД, МАЛЬНАШ, АЙТА, МИЖЛОКИ и железнодорожные станции СЫНКАТОЛНА, САКУЕСК, СЫНЗЕНИ, БЮКСАД, БОДОК.

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои местного значения.

За 9 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 8 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии обито 10 самолетов противника.

В северо-восточной части Румынии наши войска продолжали наступление. Ожесточенные бои произошли за город Вама, превращенный немцами в опорный пункт обороны. Этот город прикрыт с севера, востока и юга высотами и горными реками Молдавика и Молдава. Противник упорно защищал эти очень выгодные позиции и много раз переходил в контратаки. В результате боев, длившиеся не переставая почти сутки. Советские части овладели городом Вама. Захвачено много трофеев и свыше 200 пленных. На других участках наши войска, продолжая продвигаться вперед, заняли ряд населенных пунктов.

В центральной части Румынии наши войска, совместно с румынскими войсками, вышли к Северной Трансильвании. Здесь венгры соорудили долговременную полосу обороны с бетонированными дотами. Сильный огонь противника, широкие минные поля и проволочные заграждения крайне затрудняли действия наших частей. Сегодня советские и румынские войска штурмом овладели мощным опорным пунктом обороны противника городом Сфынтул Георге. На поле боя осталось много убитых немецких и венгерских солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

Юго-западнее города Йелгава противник пытался вести разведку боем. Огнем нашей пехоты и артиллерии атаки немцев были успешно отбиты. Уничтожено до 200 немецких солдат и офицеров. На другом участке противник пустил по направлению к советским позициям 12 танкеток-торпед. На подступах к переднему краю нашей обороны 9 танкеток подорвались на минах и 2 танкетки подбиты артиллерийским огнем. Одна немецкая танкетка захвачена и обезврежена нашими войсками.

Восточнее города Рига группа наших летчиков-истребителей под командованием майора Соболева встретила 14 немецких истребителей. В завязавшемся воздушном бою майор Соболев сбил два вражеских самолета, а лейтенанты Завацкий и Мельник — по одному самолету. За последние дни Н-ская истребительная эскадрилья уничтожила 15 немецких истребителей. Из них 7 самолетов сбил майор Константин Соболев.

Северо-западнее города Мариамполь наши войска вели разведку и огневой бой с противником. Советские разведывательные отряды истребили более роты гитлеровцев и захватили пленных. Снайперы одного нашего подразделения гг. Абросов, Чистяков и Морозова в течение дня истребили 19 немцев.

Юго-западнее города Ломжа наши войска вели бои местного значения. Части Н-ского соединения очистили от немцев один лесной массив. В другом районе несколько наших танков под командованием старшего лейтенанта Затонайченко прорвались в тыл противнику и устроили засаду у переправы через реку. Когда к переправе приблизилась вражеская колонна танкисты открыли огонь. Среди немцев началась паника. Советские танки вышли из засады и стали в упор расстреливать гитлеровцев. Уничтожено более 250 немецких солдат и офицеров, 55 орудий, 5 автомашин с грузами. Вскоре к переправе с противоположной стороны подошли немецкие танки. Они пытались переправиться через реку вброд и застряли на заболоченном берегу. Советские танкисты открыли огонь и сожгли 5 немецких танков.

Пленный обер-ефрейтор 240 полка 106 немецкой пехотной дивизии Генрих Маебах сообщил: «Наша дивизия занимала оборону севернее города Кишинев. 22 августа дивизии было приказано немедленно отходить. Командир роты объявил нам, что русские прорвались в районе Яссы и южнее Тирасполя и угрожают выйти в тыл дивизии. Это известие удручающе подействовало на солдат. Все они очень боялись окружения, Вначале мы двигались организованно, не имея соприкосновения с русскими. Но когда дивизия приблизилась к реке Прут, произошло нечто ужасное. На нас напали советские танки. Поднялась невероятная паника. Солдаты толпой бросались из стороны в сторону и погибали под гусеницами танков. Мне в числе небольшой кучки солдат удалось проскочить по мосту на западный берег реки. Мы скрылись в лесу и решили пробираться на запад. По пути нам встречались такие же, как и наша, разрозненные группы немецких солдат, которые шли куда глаза глядят. Что происходит на фронте и где находится фронт, никто не имел ни малейшего сопротивления. На третий день мы наткнулись на русскую пехоту. Все попытки выскочить из нового окружения ни к чему не привели. Все мы были

обезоружены и пленены. Теперь мы знаем, что к русским попасть в котел легко, но выбраться из него невозможно.¹⁵

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 18 СЕНТЯБРЯ От Советского Информбюро

В течение 18 сентября западнее города ИЕЛГАВА (МИТАВА) наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков противника.

Южнее и юго-восточнее города САНОК наши войска с боями продвигались вперед и овладели районным центром Дрогобычской области городом и железнодорожной станцией УСТРИКИ ДОЛЬНЫЕ, а также заняли более 30 других населенных пунктов и среди них НАДОЛЯНЫ, НОВОТАНЕЦ, БУКОВСКО, КАРЛИКУВ, КУЛАШНЕ, МЫЧКОВЦЫ, БУБРКА, ЛОБОЗЕВ, УСТЯНОВА.

На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.

За 17 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 134 немецких танка.

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 62 самолета противника.

МАССОВЫЕ НАЛЕТЫ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ГОРОДА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗЛЫ ДЕБРЕЦЕН И САТУМАРЕ

В ночь на 18 сентября наша авиация дальнего действия произвела массовые налеты на город и железнодорожный узел Дебрецен (в Венгрии), город и железнодорожный узел Сату-Маре (в Северной Трансильвании). Советские самолеты бомбардировали воинские эшелоны и военные склады немцев и венгров.

В результате бомбардировки на железнодорожном узле Дебрецен возникло много, пожаров, из них 5 пожаров больших размеров. Горели железнодорожные вагоны и платформы, а также крупный склад горючего. Прямым попаданием бомб взорван склад боеприпасов.

На железнодорожном узле Сату-Маре бомбардировкой создано свыше 30 пожаров. Среди огня наблюдением отмечено большое число взрывов. Взорваны емкости с горючим и военные склады.

НАЛЕТ НАШЕЙ МОРСКОЙ АВИАЦИИ НА ПОРТ ЛЕПАЯ (ЛИБАВА)

Днем 16 сентября авиация Краснознаменного Балтийского флота произвела налет на порт Лепая (Либавя) и подвергла бомбардировке находившиеся в порту суда противника. В результате бомбардировки потоплены три транспорта противника общим водоизмещением до 12 тысяч тонн и три немецких подводных лодки. Кроме того, повреждены два крупных транспорта и плавучий док. В порту возникли большие пожары. Горели склады с военным имуществом противника.

В воздушных боях в районе порта советские летчики сбили 19 немецких самолетов.

Западнее города Иелгава (Митава) крупные силы пехоты, танков и самоходных орудий противника несколько раз атаковали наши позиции. Немцы пытались любой ценой прорвать советскую оборону и выйти к городу Иелгава. Все вражеские атаки потерпели неудачу. Советские пехотинцы и артиллеристы отбросили противника и прочно удерживают свои позиции. Истреблено более 600 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 43 вражеских танка. Кроме того, 11 танков противника подорвались на наших минных полях.

Наша авиация бомбо-штурмовыми ударами нанесла тяжелые потери противнику в живой силе и технике. В воздушных боях за день советские летчики сбили 23 немецких самолета.

Немецкое агентство «Трансоцеан» 17 сентября передало следующее сообщение: «В целях высвобождения молодежи для работы на фабриках, на железных дорогах и на других

предприятиях в Советском Союзе закрываются все университеты, высшие школы и научно-исследовательские институты».

Распространяя несусветную ложь о закрытии высших учебных заведений в СССР, гитлеровцы оскандалились самым позорным образом. Даже в наиболее трудные периоды войны университеты и научно-исследовательские учреждения Советского Союза продолжали бесперебойно работать. За последнее время в городах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, вновь восстановлено 120 высших учебных заведений. Возобновили работу Ростовский университет, Новочеркасский индустриальный институт. Киевский политехнический институт, Харьковский университет и много других. С 1 октября в высших учебных заведениях СССР начнутся учебные занятия. Советский народ смело смотрит в будущее и готовит себе кадры специалистов для всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, культуры и науки. А в фашистской Германии в связи с новой свертотальной мобилизацией действительно все высшие школы закрыты и науки упразднены за ненадобностью. Именно поэтому гитлеровские мошенники и распространяют всякие небылицы. Они думают, что найдутся чудачки, которые поверят, что не только в Германии, но и в Советском Союзе закрыты высшие учебные заведения. Жалкий трюк! До чего же оскудели гитлеровские брехуны. С каждым днем они врут все нелепее и глупее.

Гитлеровские преступники укрываются в Испании и Аргентине

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Дипломатический обозреватель газеты «Санди диспетч» пишет, что через каждые четыре - шесть часов в Барселону (Испания) прибывают из Штутгарта немецкие самолеты.

Каждый раз на них прибывают по 24 гитлеровца, спасающихся из Германии, пока имеется возможность. Из Испании они направляются в Аргентину. Вслед за этими пассажирскими самолетами прибывают транспортные самолеты, на которых доставляются вещи и имущество гитлеровцев и принадлежащие им ценности.

Газета «Санди экспресс» в своей передовой отмечает, что Гитлер может найти себе убежище и хороший прием в Аргентине.

«Наступило время, — пишет газета, — открыто объясниться с этой страной. Мы, англичане, в согласии с нашими союзниками, не желаем, чтобы Гитлер воспользовался, где бы то ни было священным правом убежища. Мы полны решимости захватить его и его главных помощников живыми или мертвыми, лучше живыми, чем мертвыми. Если Аргентина окажет ему покровительство, нужно, чтобы к этой стране немедленно были применены экономические санкции. Аргентина поставляет нам большое количество требующегося нам мяса. Если захват Гитлера будет стоить всего нашего мясного довольствия, мы заплатим эту цену».

Злодеяния немцев в лагере уничтожения на Майданеке

В августе 1944 года была создана польско-советская Чрезвычайная Комиссия по расследованию злодеяния немцев, совершенных в лагере уничтожения на Майданеке в городе Люблин. На днях Комиссия закончила свою работу и опубликовала Коммюнике о результатах расследования.

«Все то, с чем встретила Комиссия по расследованию немецких злодеяний и гор. Люблине, — говорится в Коммюнике, — по своему зверству и варварству оставляет далеко позади уже известные международному общественному мнению факты чудовищных злодеяний немецко-фашистских захватчиков».

В Люблине на Майданеке гитлеровцы создали огромный комбинат смерти. Захваченные в плен служившие в лагере немцы показали, что сами они называли его «фернихтунгслагер», т. е. лагерь уничтожения.

Лагерь «Майданек» расположен в двух километрах от польского города Люблин. Он занимает площадь в 270 гектаров. Строительство его началось в конце 1940 года. К началу 1943 года было закончено сооружение 6 полей лагеря. На каждом поле было 24 барака, а всего 144 барака (не считая служебных построек), вмещавшие каждый до 300 человек и

более. Весь лагерь, а внутри его каждое поле в отдельности были обнесены проволочными заграждениями, через которые проходил электрический ток высокого напряжения. Лагерь одновременно мог вместить от 25 до 40 тыс. заключенных. В отдельные периоды в нем содержалось до 45 тыс. человек. По обнаруженному в лагере большому количеству паспортов и иных документов, по книге записей умерших в «лазарете лагеря» и показаниям свидетелей, а также захваченных в плен немцев установлено, что здесь содержались военнопленные бывшей польской армии, советские военнопленные, граждане Польши, Франции, Бельгии, Италии, Голландии, Чехословакии, Греции, Югославии, Дании, Норвегии и других стран.

Состав заключенных лагеря не был постоянным и устойчивым. Содержавшиеся в нем люди систематически уничтожались, а на их место пригонялись гитлеровцами новые партии заключенных из оккупированных стран и районов Европы. В числе их было много женщин и детей. Таким образом, лагерь для подавляющего большинства лиц, направленных туда, был лишь временным этапом на пути к смерти.

В лагере применялась целая система уничтожения людей. Одним из существенных средств этой системы являлся жестокий режим: голод непосильный труд, издевательства. Заключенные влачили голодное существование. За малейшую провинность они и вовсе лишались пищи на несколько дней. Их заставляли выполнять непосильную работу, начиная с 4 часов утра и до позднего вечера. Немецкие охранники всячески истязали свои жертвы: топили в грязной воде, подвешивали за связанные назад руки, вешали и т. д. Расследованием установлено, что немцы систематически проводили массовые расстрелы как в самом лагере, так и невдалеке от него в Кремпецком лесу, например, в ноябре—декабре 1941 года было расстреляно около 2.000, а зимой 1942 года — около 5.000 советских военнопленных. Около 4.000 военнопленных бывшей польской армии были расстреляны осенью 1942 года. Летом 1943 года расстреляно 300 советских офицеров. 3 ноября 1943 года было расстреляно 18.400 человек. По этому поводу администрация лагеря направила в Берлин доклад под названием «зондерсбеандлунг» (специальное мероприятие), в котором говорилось: «разница между количеством содержащихся в лагере заключенных утром и вечером возникла в результате специального уничтожения 18.000 человек».

Одним из самых распространенных методов массового истребления людей было удушение газом СО (окись углерода) и химически-ядовитым веществом «циклон» (синильная кислота). На территории лагеря обнаружено 6 газовых камер. Заключенные умерщвлялись также в специально приспособленной автомашине — «душегубке». Служивший в лагере немец обершарфюрер «СС» Тернес показал, что 16 октября 1943 г. в газовых камерах было умерщвлено 500 человек, среди которых было много женщин и детей. По далеко не полным данным в этих камерах было задушено: в октябре 1942 г. — большая группа больных женщин и детей, в марте 1943 г. — 250 женщин и детей, 300 поляков, 300 человек различных национальностей, 20 июня 1943 г. — 350 человек, 14 октября 1943 г. — 270 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, немцы сжигали трупы умерщвленных ими людей. Для этого уже в начале 1942 г. на территории лагеря были построены две печи. К осени 1943 г. было закончено строительство нового мощного крематория на 5 печей. С тех пор они горели непрерывно. Наряду с этим немцы сжигали трупы на кострах. Комиссия установила, что в печах крематория, на кострах и Кремпецком лесу и в самом лагере было сожжено свыше одного миллиона 380 тысяч трупов. Гитлеровцы зарывали пепел в ямы и рвы, рассыпали его на территории лагерных огородов, употребляли для удобрения полей. В «лагере уничтожения» обнаружено свыше 1.350 кубометров компоста, состоящего из навоза, пепла от сожженных трупов и мелких человеческих костей.

Все эти факты подтвердил бывший военный комендант, гор. Люблин генерал-лейтенант германской армии Гильмар Мозер.

Немцы грабили заключенных, а отнятые у них вещи и имущество тщательно сортировали и направляли в Германию. На огромном складе в лагере обнаружено свыше 820 тыс. пар мужской, женской и детской обуви замученных и погибших людей, а на складе гестапо (улица Шопена, г. Люблин) — огромное количество белья и всевозможных предметов личного обихода. Все это награбленное добро составляло статью дохода гитлеровского разбойничьего государства и ею преступных руководящих деятелей.

Люблинский лагерь уничтожения являлся орудием фашистской Германии в целях массового истребления гражданского населения стран Европы, в том числе Польши и оккупированных областей СССР, истребления передовой и активной части славянских народов. Польско-советская Чрезвычайная Комиссия установила, что за четырехлетнее существование лагеря уничтожения «Майданек» гитлеровские палачи по приказу своего преступного правительства истребили около полутора миллиона человек — советских военнопленных, военнопленных бывшей польской армии, граждан различных национальностей Европы.

Основными виновниками этих чудовищных злодеяний является гитлеровское правительство Германии, обер палач Гиммлер и их ставленники на территории Люблинского воеводства. Путем массового истребления гражданского населения немецко-фашистские захватчики стремились сломить сопротивление народов оккупированных стран и поработить их.

Польско-советская Чрезвычайная Комиссия выявила и исполнителей зверств, совершенных в лагере «Майданек» по приказу гитлеровского правительства Германии. Вместе со своими «фюрерами» они понесут заслуженную кару. Фашистские душегубы не уйдут от ответственности. Свободолюбивые народы во главе с СССР, Англией и США разгромят логово фашистского зверя и накажут немецко-фашистских мерзавцев за все их злодеяния.¹⁶
(ТАСС).

В бой за Родину!

Ежедневная газета Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны. Первый номер — июль 1941. В редакции служили известные советские писатели и поэты Илья Авраменко, Борис Лихарев, Владимир Харьюзов, Геннадий Фиш и др. Редакторы: И. Бочкарев, А. Яковлев; 2) газета Иокангской военно-морской базы СФ в годы Великой Отечественной войны. Редакторы: М. Носов, П. Коробов.

Пулеметчики большевики

Политбоец И. Пелевин.

После директивы тов. Мехлис об улучшении устной пропаганды и агитации, я изменил методы своей работы, как низовой агитатор. Больше времени я стал уделять устным беседам. Индивидуальные беседы помогли мне сблизиться с бойцами.

Беседуя с лучшими пулеметчиками т.т. Мининым... (часть текста утеряна! - S.N.Mogozoff) ...еевым,.. (часть текста утеряна! - S.N.Mogozoff) ... и мужеством в боях доказавших свою преданность родине, я узнал их благородное стремление - вступить в

¹⁶ газета "Советская Сибирь" 18 сентября 1944 г.

ряды большевистской партии. Но они не знали программы и устава ВКП(б) и не было у них рекомендаций. Я рассказал товарищам о программе и уставе партии, раз'яснил, что высший долг коммуниста-фронтовика - направить все свои силы на разгром и истребление фашистов.

Тов. Минин, Березин и Малафеев подали заявления в партию. Я помог им подыскать рекомендации. Пулеметчики стали коммунистами.

Живое большевистское слово в индивидуальной беседе наиболее доходчиво. Оно сплачивает все подразделение в единый боевой коллектив, помогает лучшим людям быть в партии Ленина-Сталина.

Парторганизация выросла в боях

Ф. Мазур.

В подразделении, где военком тов. Горев, парторганизации растут с каждым днем. Поставленная задача - в каждой роте создать полнокровные парторганизации - осуществляется успешно.

В подразделении командира т. Маляр был недавно всего один коммунист. Военком выдвинул члена партии т. Пелевина политруком и послал в это подразделение.

Коммунисты Пелевин и Хромов развернули большую работу с боевым активом и парторганизация выросла до восьми человек. Она становится полнокровной крепкой организацией.

Заветная мечта

Гр. Гис.

- Шевченко давно хотел стать коммунистом, ...(часть текста утеряна! - S.N.Morozoff) ... товарищу... (часть текста утеряна! - S.N.Morozoff)... смелый, хороший разведчик. Я знаю твои боевые дела. Ты предан родине, партии. Партия воодушевляет нас, бойцов Красной Армии, на подвиги. Она благословила нас на борьбу с фашистскими захватчиками, руководит этой борьбой. Истребляя фашистов, ты исполняешь волю партии, волю советского народа. Так ведь?

- Да!

- А если так, значит ты одними мыслями живешь с партией. ...(часть текста утеряна! - S.N.Morozoff)...

Вопрос, заданный Звездиным немного смутил славного разведчика. Он помолчал, потом ответил:

- Знаешь, Звездин, я давно задумываюсь над этим. И мне все кажется, что мало сделано, мало у меня боевых заслуг, чтобы партия приняла меня в свои ряды. А это, друг, моя заветная мечта... коммунистом быть.

Далеко за полночь затянулась беседа товарищей. Сокровинные мысли свои, мечты затаенные поведал в тот вечер другу-коммунисту разведчик Шевченко.

...Прошли недели фронтовой жизни. Шевченко подал заявление в партию, стал кандидатом в члены ВКП(б). И часто по вечерам встречаются теперь Шевченко и Звездин. Они обсуждают итоги боевого дня, итоги совместной партийной работы.

Молодые коммунисты

Политрук А. Ганзиков.

Наши комсомольцы возмужали в боях и закалились. Они накопили большой опыт и выросли политически. Ротные партийные организации непрерывно принимают в свои ряды отважных комсомольцев.

Принят в партию ловкий разведчик и замечательный агитатор т. Тушенко. В трудные минуты он ободряет бойцов живым большевистским словом и личным примером воодушевляет в бою на подвиги.

Комсомолец-автоматчик Вахрушин В. показал себя смелым бойцом при ночном налете в тылу врага. Комсомольцы Марченко, Паньков, Ворсин, Скорняков прошли суровый - шестимесячный путь войны. Все они показали себя бесстрашными воинами, беззаветно преданными своей родине.

Можно о каждом из 20 комсомольцев, переданных в партию, рассказать волнующую историю его роста и героических подвигов.¹⁷

Письма из тыла

Крепко бейте фашистов

Здравствуйтесь дорогие бойцы - защитники нашей славной Родины!

Сердечный привет вам и пожелание скорейшего разгрома банд гитлеровских разбойников. Дорогие наши воины, мстите немецким фашистам за нашу поруганную землю, за убийство тысяч невинных советских людей, за сожженные города и села. Бейте фашистов так, чтобы от этой погани и следа не осталось.

Мы в тылу будем продолжать с утроенной энергией работать для фронта, для победы. С нетерпением ждем вашего возвращения домой как победителей.

Привет

Анна ШВЕДОВА.

Прошу ответ писать по адресу: Московская область, г. Дмитров, совхоз "Буденновец".

Сколько вы убили гитлеровцев?

ПИСЬМО БОЙЦАМ-УЗБЕКАМ

Дорогие!

Мы рады и горды тем, что вы вместе со своими братьями - русскими, украинцами, белоруссами и другими громите ненавистных фашистов, грабительскую армию людоеда Гитлера.

Бейте беспощадно этих извергов! Бейте до полного их уничтожения! А мы в тылу отдаем и будем отдавать все силы, чтобы обеспечить героическую Красную Армию всем необходимым, чтобы помочь вам быстрее добиться полного разгрома и уничтожения немецких захватчиков.

Пишите нам, как вы воюете, сколько каждый из вас уничтожил гитлеровских мерзавцев.

Бригадиры хлопкового совхоза "Хазарбаг":

Джураев Карши, Джумаев Ядгар, Джумаев Чоршамби, Рассулов.

Трактористы:

Хатамов Шадьяр, Сидоренко Григорий, Шаймарданов Чары, Айматов Абдула и др.

ЖДЕМ ВАС С ПОБЕДОЙ

Добрый день, товарищи!

Шлю вам пламенный привет и горячее пожелание победы над немецко-фашистскими извергами.

Сообщаю, что послала бойцам скромный подарок - небольшую посылку. Мы в советском тылу обещаем сделать все для нашей победы.

Привет, ждем вас домой с победой.

Мария ВИЛЬХОВСКАЯ.

Ответ пишите по адресу: Актюбинская область, станция Тамды, Тамдынская МТС.¹⁸

Военныя периодическия издания (По даннымъ 1911 г.)

Русския. Официальныя издания: "Приказы по воен. ведомству" и "Циркуляры гл. штаба"; "Сб. прик. и цирк. о личн. составе чиновъ мор. ведомства" (изд. гл. морск. шт.) съ прилож. списка личн. состава судовъ флота, строев. и админ. учр-ний морск. ведомства, ежен., Спб. (то же въ Кронштадте, т-во "Кронштадт. Вестн."); "Сб. распоряжений и разъяснений по воен. вед-ву", т-во "Кронштадт. Вестн."; "Приказы по воен. округамъ"; "Вестн. воен. и мор. духовенства" (раньше "Вестн. воен. духовенства"), ежем., годъ 22-й. Журналы в.-науч. содержания, общия: "Военный Сборникъ", изд. воен. мин-ства, ежем., г. 54-й, Спб.; "Журналь общ-ва ревнителй воен. знаний", 4 №№ въ г., г. 5-й, Спб.; "Известия Имп. Ник. воен. ак-мии", ежем., г. 2-й, Спб.; "Военный Миръ", илл. воен.-общ. журн., ежем., Москва; "Офицерская Жизнь", в.-общ., науч. и лит. журн., ежен., г. 6-й, Варш.; "Разведчикъ", журн. воен. и лит., ежен., г. 24-й, Спб.; "Военная Жизнь", Варш., съ 1911 г., ежен. По специальностямъ: "Артиллерийский Журналь", изд. гл. арт. упр-ния, ежем., г. 77-й, Спб.; "Вестникъ рус. конницы", 2 №№ въ мес., г. 6-й, Спб.; "Записки в.-топографич. упр-ния", 1—3 №№ въ г., Спб.; "Топографический и Геодезический Журналь", 2 №№ въ мес., г. 2-й, Спб.; "Инженерный Журналь", изд. гл. инж. упр-ния, ежем., г. 55-й, Спб.; "Интендантский Журналь", ежем., г. 13-й, Спб.; "Интендантское Дело", журналъ по вопросамъ воен. и подряд. хозяйства, 2 №№ въ мес., г. 2-й, Спб.; "Военное дело за границей", бывш. "Сведения изъ области воен. дела за границей", в.-науч. илл. журналъ, 5—6 №№ въ г., г. 6-й, Варш.; "Сборникъ гл. упр-ния ген. шт.", ежем. (сведения объ иностр. армияхъ, библиография), Спб. (не подлежитъ оглашению); "Вестникъ офицерской стрелк. школы" (съ прилож. сб. прик. и циркул.), ежем., г. 12-й, Ораниенб.; "Военно-исторический Вестникъ", изд. Киев. отд. Имп. рус. в.-истор. общ-ва, 6 №№ въ г., Киевъ; "Военно-Исторический Сборникъ", 4 №№ въ г. (прилож. къ "Воен. Сб."), г. 1-й, Спб.; "Журналь Имп. рус. в.-истор. общ-ва", 4—6 №№ въ г., г. 2-й, Спб. Военныя газеты: "Русский Инвалидъ", изд. воен. мин-ства, ежедн., г. 28-й, Спб.; "Строевой Офицеръ", ежен., г. 4-й, Варш.; "Туркестанская Воен. Газета", изд. шт. окр., 2 №№ въ нед., г. 6-й, Ташкентъ; "Уральския Войск. Ведомости", 2 №№ въ нед., г. 45-й, Уральскъ; "Войсковой Справочникъ", 24 №№ въ г., г. 5-й, Спб.; "Вестовой", ежем., г. 23-й; "Голось Казачества"; "Кавказский Военный Переводчикъ", г. 1-й, еженед. газ., Тифлисъ. Листки воен. обществъ, гл. обр., осведом. характера: "Вестникъ общ-ва ревнит. воен. знаний", 1—2 №№ въ мес., г. 3-й, Спб.; "Листокъ гв. эконом. общ-ва", ежем., г. 16-й, Спб.; "Листокъ Вил. офиц. эконом. общ-ва", 12—52 №№ въ г., г. 12-й, Вильна; "Листокъ Кавказ. офиц. эконом. общ-ва", 12—52 №№ въ г., Тифлисъ; "Сбережение", изд. эконом. общ-ва оф-ровъ Моск. воен. окр., 12—52 №№ въ г., Москва; "Справочный листокъ общ-ва взаимопомощи класс. чиновъ, служащихъ въ арт. вед-ве", 12 №№ въ г., г. 9-й, Спб. Воен.-учебн. заведения: "Педагогический Сборникъ", журн., изд. при гл. упр-нии в.-учебн. зав-ний, ежем., г. 47-й, Спб.; "Донецъ", журн. Донск. кад. к-са, Новочеркасскъ; "Кадеть", лит.-науч. журн. 3-го Моск. кад. к-са, по мере накопления материаловъ, г. 3-й, Москва; "Кадеть-

Михайловець", лит. и попул.-науч. журн. 2-го кад. к-са, 2—3 №№ въ г., г. 4-й, Спб.; "Кадетский Досугъ", лит. и попул.-науч. журн. 1-го кад. к-са, срокъ выхода неопред., г. 6-й, Спб.; "Юнкерские Досуги", ежен., г. 1-й, Одесса. Журналы для ниж. чиновъ: "Варшавский Военный Вестникъ", ежен., г. 6-й, Варшава; "Виленский Военный Листокъ", газ. для войскъ и народа, 2 №№ въ нед., г. 6-й, Вильна; "Витязь", илл. журн. для войскъ и народа, ежен., г. 5-й, Спб.; "Воинъ", солдат. национ.-патриот. газ., 2 №№ въ нед., г. 3-й, Харьковъ; "Воинъ и Пахарь", в.-нар. газ., ежен., г. 3-й, Москва; "Верность", в.-нар. и патр. журн., ежен., г. 3-й, Москва; "Русский Воинъ", ежен., г. 6-й, Одесса; "Досуги Заамурца", ежен., г. 7-й, Харбинъ; "Досугъ и Дело", изд. для войскъ и народа, ежен., Спб.; "Стражъ", журн. для н. чиновъ отд. к-са погран. стражи, г. 4-й, ежен., Спб.; "Чтение для солдатъ", журн., изд. съ Выс. соизв., ежен., г. 64-й, Спб.; "Вестникъ общ-ва повсемест. помощи пострадавшимъ на войне солдатамъ и ихъ семьямъ", г. 4-й, ежен., Спб. Воен. музыка: "Партитурный Сборникъ", нотн. журн. для воен. музыкантовъ, ежен., г. 5-й, Симферополь. Пограничная стража: "Пограничникъ", изд. шт. отд. к-са погр. стражи, ежен., г. 6-й, Спб. Военная медицина: "Военно-Медицинский Журналь", изд. гл. в.-санит. упр-ния, ежен., г. 89-й, Спб.; "Вестникъ Краснаго Креста", изд. гл. упр-ния Росс. общ-ва Кр. Кр., ежен., г. 13-й, Спб.; "Известия Имп. в.-медиц. ак-мии", ежен., Спб.; "Медицинския прибавления къ Морскому Сборнику" и "Морской врачъ", изд. гл. медиц. инсп-ра флота, ежен., г. 50-й, Спб. Флотъ: "Морской Сборникъ", изд. подъ наблюд. гл. мор. шт., ежен., Спб.; "Известия общ-ва офицеровъ флота", Кронштадтъ; "Известия Мин. Класса"; "Записки по гидрографии", изд. гл. гидрогр. упр-ния, ок. 3 №№ въ г., г. 24-й, Спб.; "Русское Судоходство", изд. Имп. общ-ва судоходства, ежен., г. 26-й, Спб.; "Море", изд. лиги обновл. флота, г. 10-й, Спб.; "Спасание на водахъ", журн. Имп. общества спасания на водахъ, ежен., Спб.; "Яхта", журналъ воднаго спорта и мореходства, 2 №№ въ мес., г. 5-й, Спб.; "Вестникъ общества морскихъ инж-ровъ", въ неопределенные сроки, г. 13-й, Кронштадтъ; "Владивостокъ", мор. газ., ежен., г. 21-й; "Котлинъ", мор. общ. лит. газ., ежен., г. 16-й, Кронштадтъ; "Кронштадтский Вестникъ", мор. и город. газ., ежен., г. 51-й, Кронштадтъ; "Крымский Вестн.", Севастополь; "Либавский Вестн.", Либава; "Черноморский Портовый Вестникъ", ежен., г. 4-й, Одесса; "Iuhgrees" (Морякъ) на латыш. языке, ежен., Рига. Вспомогательными журналами по разл. специальностямъ воен. дела м. служить: по автомобильному: "Автомобиль", илл. журн. механич. передвижения, 2 №№ въ мес., г. 10-й, Спб.; "Автомобильное Дело", илл. техн. журн., 2 №№ въ мес., г. 18-й, Спб.; "Автомобилистъ", орг. Моск. клуба автомобилистовъ, 2 №№ въ мес., г. 4-й, Москва; по воздухоплаванию: "Аэро-и Автомобильная Жизнь", илл. журн. воздухопл-ния, 2 №№ въ мес., г. 3-й, Спб.; "Воздухоплаватель", науч.-попул. илл. журн. (орг. Всеросс. аэро-клуба), ежен., г. 8-й, Спб.; "Вестникъ Воздухоплавания", науч.-попул. илл. журн., 2 №№ въ мес., г. 2-й, Спб.; "Летание", журн. передвижения по воздуху, съ прил. (съ доплатой); "Научная и техн. библиотека по летанию и воздухоплаванию"; "Вестникъ Воздухоплавания и Спорта", 2 №№ въ мес., г. 2-й, Киевъ; по коннозаводству и конн. спорту: "Журналь Коннозаводства", изд. гл. упр-ния госуд. коннозаводства, ежен., г. 70-й, Спб.; "Коннозаводство и Коневодство", илл. журн.; "Рысакъ и Скакунъ", ежен., г. 5-й, Москва; "Спортъ", илл. ежен., г. 1-й, Москва; "Jezdziej i Myslowy", 3 №№ въ нед., г. 21-й, Варш.; "Sport", Pismo Sportowe Ilustrow., 2 №№ въ мес., г. 2-й, Варш.; "Wysciogowy Przegląd Sportowy" ежен., Варш.; специально для скачекъ: "Конский Спортъ", Спб.; "Спортъ и Фавориты", Спб.; "Бега и Скачки", Москва; "Коннозаводство и Спортъ", Москва; "Русский Спортъ", Москва; "Kula", Варш.; "Kurjer Sportowy", Варш.; "Бега и Скачки", Ростовъ-на-Д.; технич. журналы: "Всемирное техн. обозрение", ежен., Спб.; "Вестникъ общ-ва технологовъ", ежен., Спб.; "Двигатель", 2 №№ въ мес., Спб.; "Железнодорожное Дело", ежен., Спб.; "Журналь мин-ства путей сообщения", ежен., Спб.; "Пути Сообщения", ежен., Спб.; "Технический Вестникъ", ежен., Спб.

Военная публицистика

Война и слово в Древней Руси

Слово о погибели Русской земли после смерти великого князя Ярослава

Это отрывок из не дошедшего до нас произведения о судьбах Руси. Начальный фрагмент сохранился благодаря тому, что псковский книжник в середине XV в. использовал часть "Слова" как предисловие к одному из списков "Жития Александра Невского". В последних строках памятника звучит скорбь по поводу "беда христианам" после смерти Ярослава Мудрого. Вероятно, не дошедшая до нас заключительная часть "Слова" рассказывала о "погибели" Северо-Восточной Руси от татаро-монгольского нашествия. "Погибель" представлялась автору следствием княжеских раздоров и усобиц от Ярослава Мудрого (ум. в 1054 г.) до Ярослава Всеволодовича (ум. в 1246 г.). "Слово", видимо было написано во Владимире между 1238 и 1246 гг. Отдельные образы и стилистические приемы "Слова", напоминающие "плачи" и "славы" народной поэзии, близки "Слову о полку Игореве".

О светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами ливий ты: озерами многими, дивишь ты реками и источниками местнотимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, городами великими, селами дивными, боярами честными, вельможами многими, — всего ты исполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!

Отсюда до венгров, и до поляков, и до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев и до немцев, от немцев до корелы, от корелы до Устюга, где живут тоймичи поганые, и за Дышащим морем, от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы — то все покорил бог народу христианскому поганые страны: великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, и деду его Владимиру Мономаху, которым половцы детей своих пугали в колыбели. А литва из болота на свет не показывалась. А венгры каменные города укрепляли железными воротами, чтобы на них великий Владимир не ходил войной. А немцы радовались, что они далеко за синим морем. Буртасы, черемисы, веда и мордва бортничали на князя великого Владимира. И сам господин Мануил Цареградский, страх имея, затем и великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьграда его не взял.

А в те годы — беда христианам от великого Ярослава и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя Владимирского.¹⁹

Сказание о Житии Александра Невского

Повесть о Житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра

Александр Ярославич, прозванный после битвы со шведами на Неве в 1240 году Невским, был одним из наиболее прославленных князей XIII века: он вел успешные войны на западных и северо-западных границах Руси против захватнических походов шведов и Ливонского ордена рыцарей-крестоносцев, проводил политику укрепления единства княжеств северо-восточной Руси, сумел добиться в Орде освобождения русских от участия в военных действиях ордынских полчищ. Жизнеописание Александра, соединившее в себе элементы агиографического (житийного) жанра и княжеской воинской биографии, было написано не позднее 80-х годов XIII века в монастыре Рождества Богородицы во Владимире, где был погребен князь, умерший по дороге из Орды во

¹⁹ Текст "Слова..." и комментарий приводится по изданию: Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Сост. и общ. ред. Л.А.Дмитриева и Д.С.Лихачева. - М.: Худож.лит., 1969. - С.326-327, 738-739.

Владимир. Автором “Жития” был книжник из окружения владимирского митрополита Кирилла, пришедшего из Галицко-Волынской Руси в 1246 году. (Исследователи предполагают, что он был одним из составителей Галицко-Волынской летописи.) Поэтому в “Житии Александра Невского” отразились книжно-литературные традиции юго-западной и северо-восточной Руси. Автор, как говорит он об этом сам, лично знал Александра Невского и был свидетелем его деяний, видимо, поэтому повествование отличается особой лирической тональностью. Сочетание в едином рассказе лиризма, особой стилистики воинских повестей, строгих традиций агиографического жанра и эпико-героических элементов придают “Сказанию о Житии Александра Невского” как литературному произведению своеобразный неповторимый характер.

Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия.

Я, жалкий и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь описать житие святого князя Александра, сына Ярославова, внука Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать о святой, и честной, и славной жизни его. Но как сказал Приточник²⁰: “В лукавую душу не войдет премудрость: ибо на возвышенных местах пребывает она, посреди дорог стоит, при вратах людей знатных останавливается”. Хотя и прост я умом, но все же начну, помолившись Святой Богородице и уповая на помощь святого князя Александра.

Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего - кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: “Так говорит Господь: “Князей Я ставлю, священны ибо они, и Я их веду”. И воистину — не без Божьего повеления было княжение его.

И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа²¹, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона²², и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана²³, который покорил всю землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Веспасиан, и повернул выступивших против него к городу, к городским воротам, и посмеялся над дружиною своею, и укорил ее, сказав: “Оставили меня одного”. Так же и князь Александр — побеждал, но был непобедим.

Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, что называют себя слугами Божьими²⁴, пришел, желая видеть зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, желая послушать мудрых речей его. Так и этот, по имени Андреаш²⁵, повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: “Прошел я страны, народы и не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей”.

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли подумал про себя: “Пойду и завоюю землю Александрову”. И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих,

20 Имеется в виду Соломон – царь Израильско-Иудейского царства в 965-928 гг. до н.э., который, согласно библейской традиции, славился необыкновенным умом и по преданию считается автором книги “Притчей Соломоновых”

21 По библейскому преданию Иосиф отличался необычайной красотой – “Иосиф Прекрасный”

22 В библейской мифологии богатырь, наделенный необычайной силой

23 Веспасиан Тит Флавий (9-79 гг.). Далее имеется в виду осада им крепости Иотапаты во время Иудейской войны (66-73 гг.)

24 Речь идет о крестоносцах

25 Магистр Ливонского ордена крестоносцев в 1240-1241 гг. Андрей фон Фельвен

возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: “Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разорю землю твою”.

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в церковь святой Софии²⁶, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: “Боже славный, праведный, Боже великий, сильный, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, Ты повелел жить, не преступая чужих границ”. И, припомнив слова пророка, сказал: “Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне”.

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: “Не в силе Бог, но в правде. Вспомним Песнотворца²⁷, который сказал: “Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо”. Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав не знал о нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда было послать весть отцу своему, ибо уже приближались враги. Потому и многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. И выступил против них в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую к святым мученикам Борису и Глебу.

И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем Пелугий, ему поручена была ночная стража на море. Был он крещен и жил среди рода своего, язычников, наречено же имя ему в святом крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его Бог видеть видение чудное в тот день. Расскажем вкратце. Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы рассказать ему о станах врагов. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: “Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру”. Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял трепетен, пока насад не скрылся с глаз его.

Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий радостно встретив князя Александра, поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: “Не рассказывай этого никому”.

После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего.

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра.

Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек²⁸ и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по Божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска.

26 Софийский собор в Новгородском кремле построен в 1045-1050 гг.

27 Имеется в виду Давид – царь Израильско-Иудейского царства (конец II тыс. - ок. 950 г. до н.э.), считается автором библейской книги “Псалтырь”, пользовавшейся большой популярностью в Древней Руси

28 Вид судна

Второй, но имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его.

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь.

Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля.

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра, возрадовались.

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался.

Все это слышал я от господина своего великого князя Александра и от иных, участвовавших в то время в этой битве.

Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при Езекии-царе²⁹. Когда пришел Сенахирим, царь ассирийский, на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился Ангел Господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ассирийского, и, встав утром, нашли только мертвые трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры³⁰, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых Ангелом Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца.

На второй же год после возвращения с победою князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой³¹. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих - одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив.

После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: “Покорим себе славянский народ”.

А был ими уже взят город Псков³² и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали: “Пойдем, и победим Александра, и захватим его”.

Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: “О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя”. Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: “Суди меня, Боже, рассуди распрю

²⁹ Имеется в виду иудейский царь Езекия (721-693 гг. до н.э.), по Библии, истребил медного змея, которого сделал Моисей. В его правлении царь Ассирии в 705-630 гг. до н.э. Синахериб осадил Иерусалим в 700 г. до н.э.; во время осады произошло чудо, о котором и говорится в тексте

³⁰ Река, впадающая в Неву

³¹ Крепость Копорье, недалеко от Финского залива, построенная ливонцами на новгородской земле

³² Псков был взят в 1240 г. из-за предательства местных бояр. Александр Невский освободил город в 1242 г.

мою с народом неправедным и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика³³ и прадеду нашему Ярославу окаянному Святополка”.

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая³⁴, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона³⁵. А того, кто сказал: “Захватим Александра”, - отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя “Божьими рыцарями”.

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, воздавая хвалу Богу и прославляя господина князя Александра, поюще ему песнь: “Ты, Господи, помог кроткому Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему оружием веры освободить город Псков от иноязычников рукою Александровою”.

И сказал Александр: “О невежественные псковичи! Если забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, которых питал Господь в пустыне манною небесною и перепелами печеными, но забыли все это они и Бога своего, избавившего их от плена египетского”.

И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского³⁶ и до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима.

В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один выезд и многих князей их перебил, а иных взял в плен, слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих. И начали они с того времени бояться имени его.

В то же время был в восточной стране сильный царь³⁷, которому покорил Бог народы многие от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: “Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие народы. Что же — один ты не хочешь мне поклониться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приди скорее ко мне и увидишь славу царства моего”.

После смерти отца своего пришел князь Александр во Владимир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть о нем до устья Волги. И жены моавитские³⁸ начали страшать детей своих, говоря: “Вот идет Александр!”

33 Библейская легенда, согласно которой только благодаря божественной помощи Моисей (библейский пророк, выведший, согласно легенде, израильтян из Египта) смог одержать победу над вождем амалекитян – народа, занимавшего земли между Египтом и Палестиной

34 То есть битва на Чудском озере (Ледовое побоище), состоявшаяся 5 апреля 1242 г.

35 Согласно Ветхому Завету, крепостные стены Иерихона обрушились от криков и звуков труб войска Иисуса Навина, преемника Моисея в качестве вождя израильтян, осаждавшего город

36 То есть Каспийского моря

37 Батый (Бату) (1208-1255) – хан Золотой орды, внук Чингисхана (Тэмуджин, Темучин, ок. 1155-1227). Возглавлял нашествие монголо-татар на Восточную Европу в 1236-1243 гг. При нем началось монголо-татарское владычество над Русью

38 Здесь: подразумеваются жены татар

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: “Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему”. Почтив же его достойно, он отпустил Александра.

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея и послал воеводу своего Неврюя³⁹ разорить землю Суздальскую. После разорения Неврюем земли Суздальской князь великий Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: “Князь хороший в странах — тих, приветлив, кроток, смиренен — и тем подобен Богу”. Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов, по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих стран. Таким и Бог помогает, ибо Бог не ангелов любит, но людей, в щедрости Своей щедро одаривает и являет в мире милосердие Свое.

Наполнил же Бог землю Александра богатством и славою и продлил Бог дни его.

Однажды пришли к нему послы от папы⁴⁰ из великого Рима с такими словами: “Папа наш так говорит: “Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших — Агалдада и Гемонта, чтобы послушал ты речи их о законе Божьем”.

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему такой ответ: “От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения народов до начала Авраама⁴¹, от Авраама до прохождения израильтян сквозь море, от исхода сынов Израилевых до смерти Давида-царя, от начала царствования Соломона до Августа⁴² и до Христова Рождества, от Рождества Христова и до распятия Его и Воскресения, от Воскресения же Его и Вознесения на небеса и до царствования Константинова, от начала царствования Константинова до Первого Собора и Седьмого⁴³ — обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не примем”. Они же возвратились восвояси.

И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил священников, и монахов, и нищих, митрополитов же и епископов почитал и внимал им, как Самому Христу.

Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: “Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей”. И пошел князь Дмитрий в силу великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев⁴⁴, возвратился в Новгород со множеством пленных и с большою добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошел с ним.

39 Имеется в виду Неврюево нашествие 1252 г., когда ханом в Орде стал уже сын Батые Сартак

40 По-видимому, речь идет об одной из попыток папы Иннокентия IV (ок. 1195-1254) подчинить Ватикану Русь, за что он обещал ей помощь в борьбе с Ордой

41 По библейскому преданию Авраам родоначальник еврейского народа

42 Римский император Октавиан Август (63 до н.э. – 14 г. н.э.)

43 Первый Собор – Никейский Собор – Первый Вселенский Собор христианской Церкви, происходивший в городе Никее, в 325 году, Седьмой Собор – в 787 году

44 Юрьев – современный Тарту, взят сыном Александра Невского в 1262 году

Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и большой чин принять - схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: “Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!” Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые и все люди восклицали: “Уже погибаем!”

Свитое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его⁴⁵ в церкви Рождества Святой Богородицы, в великой архимандритье, месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и принял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и едва отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его было мертво и везли его из дальних краев в зимнее время.

И так прославил Бог угодника Своего.⁴⁶

Сказание о Довмонте

Сказание о благоверном князе Довмонте и о храбрости его

Сказание о благоверном князе Довмонте - севернорусское княжеское житие, близкое по жанру Житию Александра Невского, но более светское по характеру. Его герой князь Довмонт (Тимофей) (?—1299), литовец по происхождению, княжил в Пскове в 1266—1299 годах. Под его предводительством русские войска одерживали блестящие победы над Ливонским орденом и Литвой. Сказание пользовалось огромной популярностью в Пскове и Новгороде, вошло в летописи этих земель.

В 6773 (1266) году из-за какой-то распри побились литовцы друг с другом, блаженный же князь Довмонт с дружиною своею и со всем родом своим покинул отечество свое, землю Литовскую, и прибежал во Псков. Был этот князь Довмонт из рода литовского, сначала поклонялся он идолам по заветам отцов, а когда Бог восхотел обратить в христианство людей новых, то снизошла на Довмонта благодать Святого Духа, и, пробудившись, как от сна, от служения идолам, задумал он со своими боярами креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. И крещен был в соборной церкви, в Святой Троице, и наречено было ему имя во святом крещении Тимофей. И была радость великая во Пскове, и посадили его мужи псковичи на княжение в своем городе Пскове.

Несколько дней спустя задумал Довмонт отправиться в поход с мужами-псковичами, с тремя девяносто, и покорил землю Литовскую, и отечество свое завоевал, и полонил княгиню Гердена и детей их, и все княжество его разорил, и направился со множеством пленных к городу Пскову. Перейдя вброд через Двину, отошел на пять верст и поставил шатры в бору чистом, а на реке Двине оставил двух стражей — Давыда Якуновича, внука Жаврова, с Лувою Литовником. Два же девяносто воинов он отправил с добычей, а с одним девяносто остался, ожидая погони.

45 При Петре I (1672-1725) останки Александра Невского были перенесены из Владимира в Петербург

46 Текст приводится по изданию: Сказание о Житии Александра Невского // Изборник: Повести Древней Руси. М., 1987. С. 174-182. Перевод В. И. Охотниковой

В то время Гердень и князя его были в отъезде, когда же приехали они домой, то увидели, что дома их и земля разорены. Ополчились тогда Гердень, и Гойторт, и Люмби, и Югайло, и другие князья, семьсот воинов погналось вслед за Довмонтом, желая схватить его и лютой смерти предать, а мужей-псковичей мечами посечь; и перейдя вброд реку Двину, встали они на берегу. Стражи, увидев войско великое, прискакали и сообщили Довмонту, что рать литовская перешла Двину. Довмонт же сказал Давыду и Луве: “Помоги вам Бог и Святая Троица за то, что устерегли войско великое, ступайте отсюда”.

И ответили Давыд и Лува: “Не уйдем отсюда, хотим умереть со славой и кровь свою пролить с мужами-псковичами за Святую Троицу и за все церкви святые. А ты, господин и князь, выступай быстрее с мужами-псковичами против поганых литовцев”. Довмонт же сказал псковичам: “Братья мужи-псковичи! Кто стар - тот отец мне, а кто млад—тот брат. Слышал я о мужестве вашем во всех странах, сейчас же, братья, нам предстоит жизнь или смерть. Братья мужи-псковичи, постоим за Святую Троицу и за святые церкви, за свое отечество!”

Это был день великого и славного воеводы, мученика Христова Леонтия, и произнес князь Тимофей: “Святая Троица, и святой великий воевода Леонтий, и благоверный князь Всеволод, помогите нам в час сей одолеть ненавистных врагов”. Выехал князь Довмонт с мужами-псковичами и Божиею силою и помощью святого Христова мученика Леонтия с одним девяносто семьсот врагов победил. В этой битве был убит великий литовский князь Гойторт, а иных князей многих убили, многие литовцы в Двине утонули, а семьдесят из них выбросила река на остров Гоидов, а иные на другие острова были выброшены, некоторые же вниз по Двине поплыли. Из псковичей же тогда был убит один Онтон, Лочков сын, брат Смолигов, а другие остались невредимыми, благодаря молитве святого Христова мученика Леонтия. И возвратились они с радостью великой к Пскову-городу и с многой добычей, и были радость и веселье всеобщее в городе Пскове о заступничестве Святой Троицы, и славного великого Христова мученика Леонтия, и благоверного князя Всеволода, ибо их молитвами были побеждены супостаты.

И снова, спустя некоторое время, в год 6775 (1268), великий князь Дмитрий Александрович с зятем своим Довмонтом и с мужами-новгородцами и псковичами пошли к Раковору, и было побоище великое с безбожными немцами на поле чистом и с помощью Святой Софии Премудрости Божьей и Святой Троицы победили они полки немецкие 18 февраля в субботу сыропустную. Довмонт, пройдя земли непроходимые, пошел на вируян, и завоевал землю их до моря, и Поморье разорил, и возвратился обратно, и пополнил землю свою множеством пленных. И прославилась земля наша во всех странах, и страшились все грозы храбрости великого князя Дмитрия Александровича, и зятя его Довмонта, и мужей их - новгородцев и псковичей.

Через несколько дней собрались поганые латиняне, те, кто остались живы, и пришли тайно, и взяли несколько псковских сел по окраинам, и быстро возвратились вспять. Боголюбивый же князь Довмонт не потерпел обиды Псковской земле и церкви Святой Троицы от нападения поганых немцев, выехав в погоню с малою дружиною в пяти насадах с шестью—десятью воинами-псковичами, Божьею силою восемьсот немцев победил на реке Мироповне, а два их насада скрылись на островах. Боголюбивый князь Довмонт, подъехав, зажег остров и пожег их в траве,—одни побежали, и волосы горели, а других Довмонт посек, а третьи потонули в воде помощью Святой Троицы, и славного великого воина Георгия, и молитвою благоверного князя Всеволода месяца апреля в двадцать третий день на память святого славного мученика Христова Георгия. И возвратились они с радостью великою в город Псков, и были радость и веселие в городе Пскове о заступничестве Святой Троицы и святого воина великого Христова мученика Георгия.

Прослышал магистр земли Рижской о мужестве Довмонта, ополчился в силе страшной, безбожной и пришел ко Пскову в кораблях, и в ладьях, и на конях, и с орудиями стенобитными, намереваясь пленить дом Святой Троицы и князя Довмонта схватить, а

мужей-псковичей мечами посечь. Услышав о том, что ополчилось на него множество сильных врагов без ума и без Бога, Довмонт вошел в церковь Святой Троицы и, положив меч свой пред алтарем Господним, пал на колени, молясь со слезами, говоря так: “Господи Боже сил, мы, люди Твои и овцы пажити Твоей, имя Твое призываем, смилуйся над кроткими, и смиренных возвысь, и надменные мысли гордых смири, да не опустеет пажить овец Твоих”. И взял игумен Сидор и все священники меч, и, препоясав Довмонта мечом и благословив его, отпустили. Довмонт в ярости мужества своего, не дождавшись полков новгородских, с малою дружиною мужей-псковичей выехав, Божьею силою победил и побил полки врагов, самого же магистра ранил в лицо. Те же, положив трупы убитых во многие учаны, повезли их в землю свою, а оставшиеся в живых обратились в бегство месяца июня в восьмой день, на память перенесения мощей святого мученика Федора Стратилата.

И снова во времена княжения Довмонта начали поганые латиняне угрожать псковичам набегами и неволей. Боголюбивый же князь Тимофей не потерпел обиды, выехал с мужами-псковичами и разорил землю их и города сжег.

Вскоре после этого, в сентябре месяце, было лунное затмение. В ту же зиму за грехи наши ворвались немцы легкими отрядами в предместья Пскова в год 6807 (1299) 4 марта, на память святого мученика Павла и Ульяны, и перебили игуменов; тогда был убит Василий, игумен Святого Спаса, пресвитер Иосиф, Иоасаф, игумен церкви Святой Богородицы на Снетной горе, и с ними семнадцать монахов, много чернецов, и черниц, и убогих, и женщин, и малых детей, а мужчин Бог сохранил. Наутро поганые немцы обступили город Псков, собираясь его захватить. Боголюбивый же князь Тимофей в нетерпении не дождался своего основного войска и выехал с малою дружиною мужей-псковичей и с Иваном Дорогомилевичем и его дружиною и приготовился к битве. С помощью Святой Троицы ударил по ним Довмонт у церкви святого Петра и Павла на берегу, и была сеча жестокая, какой никогда не бывало у Пскова, и самого кумендера ранили в голову, а вельневичан, взяв в плен, послали к великому князю Андрею, а остальные вскоре бросили оружие и побежали, страшась грозы храбрости Довмонта и его мужей-псковичей. Тогда же был мор.

Сей князь не только одной храбростью отмечен был от Бога, но отличался боголюбием, был приветлив в мире, и украшал церкви, и любил священников, и все праздники достойно соблюдал, наделял необходимым священников и чернецов, был милостив к сиротам и вдовицам. Как сказал Исайя-пророк: “Хороший князь в стране - приветлив, боголюбив, любит странников, кроток и смиренен по образу Божию, ибо Бог в мире не к ангелам питает любовь, но к людям, наделяя их щедро, благодетельствует им и на земле проявляет милосердие Свое”.

И прославилось имя князей наших во всех странах и было имя их грозою во время ратное, и были они князья князьям и воеводы воеводам, и был голос их грозен перед полками, как звенящая труба, и побеждали они, но были непобедимыми, подобно Акриту, одному побеждающему полки мужеством силы своей. Так и великий князь Александр, и Дмитрий, сын его, со своими боярами, и с новгородцами, и с зятем своим Довмонтом, и с его мужами-псковичами побеждали народы иноверные - немцев, литовцев, чудь и корелу. Не ради ли одного Иезекии был сохранен Иерусалим от разорения Сенахиримом, царем ассирийским? Так и великим князем Александром, и сыном его Дмитрием, и зятем его Довмонтом спасены были Новгород и Псков от нашествия поганых немцев.

После этого занемог благоверный князь Тимофей и в болезни отошел к Богу в жизнь вечную месяца мая в двадцатый день, на память святого мученика Фалалея. И провожали его всем Собором, игумены и чернецы, и многие люди оплакивали его, и положили его в Святой Троице с похвалами и песнопеньями духовными. И скорбели в Пскове мужи, и

жены, и малые дети о добром господине, благоверном князе Тимофее, ибо много он потрудился, защищая дом Святой Троицы и мужей-псковичей.⁴⁷

Повесть о разорении Рязани Батыем

В год 6745 (1237). В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа Николина из Корсуня. Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, во всяких людях и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за братьями своими: за князем Давыдом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за другими князьями. И стали совет держать — как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтобы не воевал Рязанской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не ходить войной на Рязанскую землю, но только похвалялся и грозился повоевать всю Русскую землю. И стал у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе просить. И некто из вельмож рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что имеет князь Федор Юрьевич Рязанский княгиню из царского рода и что всех прекраснее она телом своим. Царь Батый лукав был и немилостив, в неверии своем распалился в похоти своей и сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Безбожный царь Батый оскорбился и разъярился и тотчас повелел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велел бросить на растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших поубивал.

И один из пестунов князя Федора Юрьевича, по имени Апоница, укрылся и горько плакал, смотря на славное тело честного своего господина. И увидев, что никто его не охраняет, взял возлюбленного своего государя и тайно схоронил его. И поспешил к благоверной княгине Евпраксии и рассказал ей, как нечестивый царь Батый убил благоверного князя Федора Юрьевича.

Благоверная же княгиня Евпраксия стояла в то время в превысоком тереме своем и держала любимое чадо свое — князя Ивана Федоровича, и как услышала она смертоносные слова, исполненные горести, бросилась она из превысокого терема своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и разбилась до смерти. И услышал великий князь Юрий Ингваревич об убиении безбожным царем возлюбленного сына своего, князя Федора, и многих князей, и лучших людей и стал плакать о них с великой княгиней и с другими княгинями и с братией своей. И плакал город весь много времени. И едва отдохнул князь от великого того плача и рыдания, стал собирать воинство свое и расставлять полки. И увидел князь великий Юрий Ингваревич братию свою, и бояр своих,

47 Текст приводится по изданию: Сказание о Довмонте // Сердца из крепкого булата: Сборник. М., 1990. С. 254-258. // Перевод В. И. Охотниковой - <http://halkidon2006.orthodoxy.ru/saints/088.htm>

и воевод, храбро и бестрепетно скачущих, воздел руки к небу и сказал со слезами: «Избавь нас, боже, от врагов наших, и от поднимающихся на нас освободи нас, и сокрой нас от соборища нечестивых и от множества творящих беззаконие. Да будет путь им темен и скользок». И сказал братии своей: «О государи мои и братия! Если из рук господних благое приняли, то и злое не потерпим ли? Лучше нам смертью славу вечную добыть, нежели во власти поганых быть. Пусть я, брат ваш, раньше вас выпью чашу смертную за святые божии церкви, и за веру христианскую, и за отчину отца нашего великого князя Ингваря Святославича». И пошел в церковь Успения пресвятой владычицы богородицы, и плакал много перед образом пречистой, и молился великому чудотворцу Николе и сродникам своим Борису и Глебу. И дал последнее целование великой княгине Агриппине Ростиславовне и принял благословение от епископа и всех священнослужителей. И пошел против нечестивого царя Батыя, и встретили его около границ рязанских, и напали на него, и стали биться с ним крепко и мужественно, и была сеча зла и ужасна. Много сильных полков Батыевых пало. И увидел царь Батый, что сила рязанская бьется крепко и мужественно, и испугался. Но против гнева божия кто постоит! Батыевы же силы велики были и непреборимы; один рязанец бился с тысячей, а два — с десятью тысячами. И увидел князь великий убиение брата своего, князя Давыда Ингваревича, и воскликнул в горести души своей: «О братия моя милая! Князь Давыд, брат наш, наперед нас чашу испил, а мы ли сей чаши не изопьем!» И пересели с коня на конь и начали биться упорно; через многие сильные полки Батыевы проезжали насквозь, храбро и мужественно биясь, так что всем полкам татарским подивиться крепости и мужеству рязанского воинства. И едва одолели их сильные полки татарские. Убит был благоверный великий князь Юрий Ингваревич, брат его князь Давыд Ингваревич Муромский, брат его князь Глеб Ингваревич Коломенский, брат их Всеволод Пронский и многие князья местные и воеводы крепкие и воинство: удалцы и резвцы рязанские. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Ни один из них не повернул назад, но все вместе полегли мертвые. Сие все навел бог грех ради наших.

А князя Олега Ингваревича захватили еле живого. Царь же, увидев многие свои полки побитыми, стал сильно скорбеть и ужасаться, видя множество убитых из своих войск татарских. И стал воевать Рязанскую землю, веля убивать, рубить и жечь без милости. И град Пронск, и град Бел, и Ижеславец разорил до основания и всех людей побил без милосердия. И текла кровь христианская, как река сильная, грех ради наших.

И увидел царь Батый Олега Ингваревича, столь красивого и храброго, изнемогающего от тяжких ран, и хотел уврачевать его от тех ран и к своей вере склонить. Но князь Олег Ингваревич укорил царя Батыя и назвал его безбожным и врагом христианства. Окаянный же Батый дохнул огнем от мерзкого сердца своего и тотчас повелел Олега ножами рассечь на части. И был он второй страстотерпец Стефан, принял венец страдания от всемилостивого бога и испил чашу смертную вместе со всею своею братьею.

И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю и пошел ко граду Рязани. И осадил град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов и ран изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли поганые на город — одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань месяца декабря в 21 день. И пришли в церковь соборную пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину, мать великого князя, со снохами, и прочими княгинями посекали мечами, а епископа и священников огню предали — во святой церкви пожгли, а иные многие от оружия пали. И во граде многих людей, и жен, и детей мечами посекали, а других в реке потопили, а священников и иноков без остатка посекали, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и богатство рязанское, и сродников рязанских князей — князей киевских и черниговских — захватили. А храмы божий разорили и во святых алтарях много крови пролили. И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и

матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые. И было все то за грехи наши.

И увидел безбожный царь Батый страшное пролитие крови христианской, и еще больше разъярился и ожесточился, и пошел на Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю пленить, и веру христианскую искоренить, и церкви божии до основания разорить.

И некий из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове с князем Ингварем Ингваревичем, и услышал о нашествии зловерного царя Батя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и помчался быстро. И приехал в землю Рязанскую и увидел ее опустевшую, города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался во град Рязань и увидел город разорен, государей убитых и множество народа polegшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены. И воскричал Евпатий в горести души своей, распаяся в сердце своем. И собрал небольшую дружину — тысячу семьсот человек, которых бог соблюл вне города. И погнались вослед безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешались все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сек ими. Почудилось татарам, что мертвые восстали. Евпатий же, насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их нещадно. И ездил среди полков татарских так храбро и мужественно, что и сам царь утратился.

И едва поймали татары из полка Евпатья пять человек воинских, изнемогших от великих ран. И привели их к царю Батю, а царь Батый стал их спрашивать: «Какой вы веры, и какой земли, и зачем мне много зла творите?» Они же отвечали: «Веры мы христианской, рабы великого князя Юрия Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от князя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать, и с честью проводить, и честь тебе воздать. Да не дивись, царь, что не успеваем наливать чаш на великую силу — рать татарскую». Царь же подивился ответу их мудрому. И послал шурича своего Хостоврула на Евпатия, а с ним сильные полки татарские. Хостоврул же похвалился перед царем, обещал привести к царю Евпатия живого. И обступили Евпатия сильные полки татарские, стремясь его взять живым. И съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою и рассек Хостоврула на-попы до седла. И стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил, одних пополам отсекал, а других до седла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него множество орудий для метания камней, и стали бить по нему из бесчисленных камнеметов, и едва убили его. И принесли тело его к царю Батю. Царь же Батый послал за мурзами, и князьями, и санчакбеями, — и стали все дивиться храбрости, и крепости, и мужеству воинства рязанского. И сказали царю приближенные: «Мы со многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвцов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и мужественно на конях бьются — один с тысячею, а два — с десятью тысячами. Ни один из них не съедет живым с побоища». И сказал Батый, глядя на тело Евпатья: «О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попочевал с малою своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, — держал бы его у самого сердца своего». И отдал тело Евпатия оставшимся людям из его дружины, которых похватили на побоище. И велел царь Батый отпустить их и ничем не вредить им.

Князь Ингварь Ингваревич был в то время в Чернигове у брата своего князя Михаила Всеволодовича Черниговского, сохранен богом от злого того отступника и врага христианского. И пришел из Чернигова в землю Рязанскую, в свою отчину, и увидел ее пуста, и услышал, что братья его все убиты нечестивым, законопреступным царем Батием, и пришел во град Рязань, и увидел город разорен, а мать свою, и снох своих, и сродников своих, и многое множество людей лежащих мертвыми, и церкви пожжены, и все узорочье из казны черниговской и рязанской взято. Увидел князь Ингварь Ингваревич великую

последнюю погибель за грехи наши и жалостно воскричал, как труба, созывающая на рать, как орган звучащий. И от великого того кричания и вопля страшного пал на землю, как мертвый. И едва отлили его и отходили на ветру, И с трудом ожила душа его в нем. Кто не восплачется о такой погибели? Кто не возрыдает о стольких, людях народа православного? Кто не пожалеет стольких убитых государей? Кто не застонет от такого пленения?

И разбирал трупы князь Ингварь Ингваревич, и нашел тело матери своей великой княгини Агриппины Ростиславовны, и узнал снох своих, и призвал попов из сел, которых бог сохранил, и похоронил мать свою и снох своих с плачем великим вместо псалмов и песнопений церковных, И сильно кричал и рыдал. И похоронил остальные тела мертвых, и очистил город, и освятил. И собралось малое число людей, и утешил их. И плакал беспрестанно, поминая мать свою, и братию свою, и род свой, и все узорочье рязанское, без времени погибшее. Все то случилось по грехам нашим. Был город Рязань, и земля была Рязанская, и исчезло богатство ее, и отошла слава ее, и нельзя было увидеть в ней никаких благ ее — только дым, земля и пепел. А церкви все погорели, и великая церковь внутри изгорела и почернела. И нетолько этот град пленен был, но и иные многие. Не стало во граде ни пения, ни звона; вместо радости — плач непрерывный.

И пошел князь Ингварь Ингваревич туда, где побиты были от нечестивого царя Батыя братия его: великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, брат его князь Давыд Ингваревич, брат его Всеволод Ингваревич, и многие князья местные, и бояре, и воеводы, и все воинство, и удальцы, и резвцы, узорочье рязанское. Лежали они все на земле опустошенной, на траве ковыле, снегом и льдом померзнувшие, никем не блюдомые. Звери тела их поели, и множество птиц их потерзало. Все лежали, все вместе умерли, единую чашу испили смертную. И увидел князь Ингварь Ингваревич великое множество тел лежащих, и воскричал горько громким голосом, как труба звучащая, и бил себя в грудь руками и падал на землю. Слезы его из очей как поток текли, и говорил он жалостно: «О милая моя братия и воинство! Как уснули вы, жизни мои драгоценные, и меня одного оставили в такой погибели? Почему не умер я раньше вас? И как закатились вы из очей моих? И куда ушли вы, сокровища жизни моей? Почему ничего не промолвите мне, брату вашему, цветы прекрасные, сады мои несозревшие? Уже не подарите сладость душе моей! Почему не посмотрите вы на меня, брата вашего, и не поговорите со мною? Ужели забыли меня, брата вашего, от единого отца рожденного и от единой утробы матери нашей — великой княгини Агриппины Ростиславовны, и единою грудью многоплодного сада вскормленного? На кого оставили вы меня, брата своего? Солнце мое дорогое, рано заходящее! Месяц мой красный! Скоро погибли вы, звезды восточные; зачем же закатились вы так рано? Лежите вы на земле пустой, никем не охраняемые; чести-славы ни от кого не получаете вы! Помрачилась слава ваша. Где власть ваша? Над многими землями государями были вы, а ныне лежите на земле пустой, лица ваши потемнели от тления. О милая моя братия и дружина ласковая, уже не повеселюся с вами! Светочи мои ясные, зачем потускнели вы? Не много порадовался с вами! Если услышит бог молитву вашу, то помолитесь обо мне, брате вашем, чтобы умер я вместе с вами. Уже ведь за веселием плач и слезы пришли ко мне, а за утехой и радостью сетование и скорбь явились мне! Почему не прежде вас умер, чтобы не видеть смерти вашей, а своей погибели? Слышите ли вы горестные слова мои, жалостно звучащие? О земля, о земля! О дубравы! Поплачьте со мною! Как назову день тот и как опишу его, в который погибло столько государей и многое узорочье рязанское — удальцы храбрые? Ни один из них не вернулся, но все рано умерли, единую чашу смертную испили. От горести души моей язык мой не слушается, уста закрываются, взор темнеет, сила изнемогает».

Было тогда много тоски, и скорби, и слез, и вздохов, и страха, и трепета от всех тех злых, которые напали на нас. И воздел руки к небу великий князь Ингварь Ингваревич и воззвал со слезами: «Господи боже мой, на тебя уповаю, спаси меня и от всех гонящих избавь меня. Пречистая мать Христа, бога нашего, не оставь меня в печали моей. Великие

страстотерпцы и сродники наши Борис и Глеб, будьте мне, грешному, помощниками в битвах. О братья мои и воинство, помогайте мне во святых ваших молитвах на врагов наших — на агарян и род Измаила».

И стал разбирать князь Ингварь Ингваревич тела мертвых, и взял тела братьев своих — великого князя Юрия Ингваревича, и князя Давида Ингваревича Муромского, и князя Глеба Ингваревича Коломенского, и других князей местных — своих сродников, и многих бояр, и воевод, и ближних, знаемых ему, и принес их во град Рязань, и похоронил их с честью, а тела других тут же на пустой земле собрал и надгробное отпевание совершил. И, похоронив так, пошел князь Ингварь Ингваревич ко граду Пронску, и собрал рассеченные части тела брата своего благоверного и христоролюбивого князя Олега Ингваревича, и повелел нести их во град Рязань. А честную главу его сам князь великий Ингварь Ингваревич до града понес, и целовал ее любезно, и положил его с великим князем Юрием Ингваревичем в одном гробу. А братьев своих, князя Давида Ингваревича да князя Глеба Ингваревича, положил в одном гробу близ могилы их. Потом пошел князь Ингварь Ингваревич на реку на Воронеж, где убит был князь Федор Юрьевич Рязанский, и взял тело честное его, и плакал над ним долгое время. И принес в область его к иконе великого чудотворца Николы Корсунского. И похоронил его вместе с благоверной княгиней Евпраксией и сыном их князем Иваном Федоровичем Постником во едином месте. И поставил над ними кресты каменные. И по той причине зовется великого чудотворца Николы икона Заразской, что благоверная княгиня Евпраксия с сыном своим князем Иваном сама себя на том месте «заразила» (разбила).

Задонщина

Слово о великом князе Дмитрие Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамаю

Об источнике: 8 сентября 1380 г. объединенное русское войско под предводительством московского князя Дмитрия Ивановича разбило на поле Куликовом моноголо-татарские полчища Мамаю. «Задонщина» («Слово Софония Рязанца о великом князе Дмитрие Ивановиче и брате его Владимире Андреевиче»), созданная в конце 14 в. или начале 15 в., — одно из крупнейших произведений, повествующих об этом событии. Автором «Задонщины», как удалось установить, был Софоний, брянский боярин, ставший позднее священником в Рязани.

Для создания этого произведения Софоний использовал следующие источники: летописную повесть, устные народные предания о Куликовской битве и «Слово о полку Игореве», особенно сильно повлиявшее на художественный строй «Задонщины». В этом многим исследователям видится своеобразная художественная ценность «Задонщины», хотя те, кто сомневается в подлинности «Слова о полку Игореве», склонны усматривать влияние «Задонщины» на «Слово». Однако, в целом зависимость «Задонщины» от «Слова» — очевидна.

Произведение написано в старинном стиле, в форме былины или сказания. Сам текст не содержит рифмы, но, тем не менее, построен в лирическом стиле. «Задонщина» не содержит много информации о Куликовской битве, но проникнута радостным чувством освобождения, любви к Родине, пафосом победы.

В произведении присутствует нечто похожее на плач Ярославны, но в редуцированном виде, разделенный на несколько коротких плачей жен воевод. Заметно, что писал христианский писатель, так как говорится о Боге, о том, что Он помиловал землю Русскую, даровав победу. Сама битва почти совсем не описывается, но дается количество погибших русских воинов — 250 тыс. Заканчивается произведение возвращением князей, молитвенным обращением к убитым воинам и славословием Божиим.

Князь великий Дмитрий Иванович со своим братом, князем Владимиром Андреевичем, и со своими воеводами был на пиру у Микулы Васильевича, и сказал он:

"Пришла к нам весть, братья, что царь Мамай стоит у быстрого Дона, пришел он на Русь и хочет идти на нас в Залесскую землю".

Пойдем, братья, в северную сторону - удел сына Ноева Афета, от которого берет свое начало православный русский народ. Взойдем на горы Киевские, взглянем на славный Днепр, а потом и на всю землю Русскую. И после того посмотрим на земли восточные - удел сына Ноева Сима, от которого пошли хинове - поганые татары, басурманы. Вот они-то на реке на Каяле и одолели род Афетов. С той поры земля Русская невесела; от Калкской битвы до Мамаева побоища тоской и печалью охвачена, плачет, сыновей своих поминая - князей, и бояр, и удалых людей, которые оставили дома свои, жен и детей, и все достояние свое, и, заслужив честь и славу мира этого, головы свои положили за землю за Русскую и за веру христианскую.

Стародавние дела и жалость Русской земли описал я по книжным сказаниям, а далее опишу жалость и похвалу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу. Братья и друзья, сыновья земли Русской!

Соберемся вместе, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим печаль в восточные страны - в удел Симов, и восхвалим юбеду над поганым Мамаем, а великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, прославим! И скажем так:

лучше ведь, братья, возвышенными словами вести нам этот рассказ про поход великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого великого князя Владимира Киевского. Начнем рассказывать о их деяниях по делам и по былям... Вспомним давние времена, восхвалим вещего Бояна, искусного гуслира в Киеве. Тот ведь вещий Боян, перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским князьям славы: первую славу великому князю киевскому Игорю Рюриковичу, вторую - великому князю Владимиру Святославичу Киевскому, третью - великому князю Ярославу Владимировичу.

Я же помяну рязанца Софония и восхваляю песнями, под звонкий наигрыш гуслей, нашего великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого великого князя Владимира Киевского. Воспоем деяния князей русских, постоявших за веру христианскую!

А от Калкской битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лет.

И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, помолвившись богу и пречистой его матери, укрепив ум свой силой, закалив сердца свои мужеством, преисполнившись ратного духа, урядили свои храбрые полки в Русской земле и помянули прадеда своего, великого князя Владимира Киевского.

О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим небесам, взгляни на могучий город Москву, воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу! Словно бурей занесло соколов из земли Залесской в поле Половецкое! Звонит слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона великого на берегу. Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи новгородские у храма святой Софии и говорят так: "Неужто нам, братья, не поспеть на подмогу к великому князю Дмитрию Ивановичу?" И как только слова эти промолвили, уже как орлы слетелись. Нет, то не орлы слетелись - выехали посадники из Великого Новгорода и с ними семь тысяч войска к великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу, на помощь.

К славному городу Москве съехались все князья русские и говорили таково слово:

"У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки Мечи, между Чуровым и Михайловым, хотят реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во славу".

И сказал князь великий Дмитрий Иванович:

"Брат, князь Владимир Андреевич, пойдем туда, прославим жизнь свою, удивим земли, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили! Испытаем храбрецов своих и реку Дон кровью наполним за землю Русскую и за веру христианскую!"

И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: "Братья и князья русские, гнездо мы великого князя Владимира Киевского! Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!"

О соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, пеньем своим прославить великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича, и из земли Литовской двух братьев Ольгердовичей, Андрея и брата его Дмитрия, да Дмитрия Волынского! Те ведь - сыновья Литвы храбрые, кречеты в ратное время и полководцы прославленные, под звуки труб их пеленали, под шлемами лелеяли, - с конца копья они вскормлены, с острого меча вспоены в Литовской земле.

Молвит Андрей Ольгердович своему брату:

"Брат Дмитрий, два брата мы с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы Гедиминовы, а правнуки мы Сколомендовы. Соберем, брат, любимых панов удалой Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем на своих борзых коней и поглядим на быстрый Дон, напьемся из него шлемом воды, испытаем мечи свои литовские о шлемы татарские, а сулицы немецкие о кольчуги басурманские!"

И сказал ему Дмитрий: "Брат Андрей, не пощадим жизни своей за землю за Русскую, и за веру христианскую, и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича! Уже ведь, брат, стук стучит и гром гремит в белокаменной Москве. То ведь, брат, не стук стучит, не гром гремит, то стучит могучая рать великого князя Дмитрия Ивановича, гремят удальцы русские золочеными доспехами и червлеными щитами. Седлай, брат Андрей, своих борзых коней, а мои уже готовы - раньше твоих оседланы. Выедем, брат, в чистое поле и сделаем смотр своим полкам, - сколько, брат, с нами храбрых литовцев. А храбрых литовцев с нами семьдесят тысяч латников".

Вот уже, братья, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и Днепра, принесли грозные тучи на Русскую землю, из них выступают кровавые зарницы, и в них трепещут синие молнии. Быть стуку и грому великому на речке Непрядве, меж Доном и Днепром, покрыться трупами человеческими полю Куликову, потечь кровью Непрядве-реке!

Вот уже заскрипели телеги меж Доном и Днепром, идут хинове на Русскую землю!

Набежали серые волки с устьев Дона и Днепра, воют, притаившись на реке Мече, хотят ринуться на Русскую землю. То не серые волки были - пришли поганые татары, хотят пройти войной всю Русскую землю.

Тогда гуси заготовали и лебеди крыльями заплескали. Нет, то не гуси заготовали и не лебеди крыльями заплескали: то поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих привел. А уже гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны неумолчно грают, а галки по-своему говорят, орлы клекочут, волки грозно воют, а лисицы брешут, кости чуя.

Русская земля, ты теперь как за царем за Соломоном побывала.

А уже соколы, и кречеты, и белозерские ястребы рвутся с золотых колодок из каменного города Москвы, обрывают шелковые путы, взвиваясь под синие небеса, звоня золочеными колокольчиками на быстром Дону, хотят ударить на несчетные стада гусиные и лебединые, - то богатыри и удальцы русские хотят ударить на великие силы поганого царя Мамай.

Тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое свое стремя, сел на своего борзого коня, и взял свой меч в правую руку, и помолился богу и пречистой его матери. Солнце ему ясно на востоке сияет и путь указывает, а Борис и Глеб молитву возносят за сродников своих.

Что шумит, что гремит рано пред рассветом? То князь Владимир Андреевич полки устанавливает и ведет их к великому Дону. И молвил он брату своему, великому князю

Дмитрию Ивановичу: "Не поддавайся, брат, поганым татарам - ведь поганые уже поля русские топчут и вотчину нашу отнимают!"

И сказал ему князь великий Дмитрий Иванович: "Брат Владимир Андреевич! Два брата мы с тобой, а внуки мы великого князя Владимира Киевского. Воеводы у нас уже поставлены - семьдесят бояр, и отважны князя белозерские Федор Семенович и Семен Михайлович, да Микула Васильевич, да оба брата Ольгердовичи, да Дмитрий Волынский, да Тимофей Волуевич, да Андрей Серкизович, да Михаиле Иванович, а воинов с нами - триста тысяч латников. А воеводы у нас надежные, а дружина в боях испытанная, а кони под нами борзые, а доспехи на нас золоченые, а шлемы черкасские, а щиты московские, а сулицы немецкие, а кинжалы фряжские, а мечи булатные; а пути им известны, а переправы для них наведены, и все как один готовы головы свои положить за землю за Русскую и за веру христианскую. Словно живые трепещут стяги, жаждут воины себе чести добыть и имя свое прославить".

Уже ведь те соколы и кречеты и белозерские ястребы за Дон скоро перелетели и ударили по несметным стадам гусиным и лебединым. То ведь были не соколы и не кречеты,- то обрушились русские князья на силу татарскую. И ударили копыта каленые о доспехи татарские, загремели мечи булатные о шлемы хиновские на поле Куликовом на речке Непрядве.

Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и растоптали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились. Кликнул Див в Русской земле, велит послушать грозным землям. Понеслась слава к Железным Воротам, и к Орначу, к Риму, и к Кафе по морю, и к Тырнову, а оттуда к Царьграду на похвалу русским князьям: Русь великая одолела рать татарскую на поле Куликовом, на речке Непрядве.

На том поле грозные тучи сошлись, а из них беспрерывно молнии сверкали и гремели грома великие. То ведь сошлись русские сыновья с погаными татарами за свою великую обиду. Это сверкали доспехи золоченые, а гремели князья русские мечами булатными о шлемы хиновские.

А бились с утра до полудня в субботу на Рождество святой богородицы.

Не туры возревели у Дона великого на поле Куликовом. То ведь не туры побиты у Дона великого, а посечены князья русские, и бояре, и воеводы великого князя Дмитрия Ивановича. Полегли побитые погаными татарами князья белозерские, Федор Семенович и Семен Михайлович, да Тимофей Волуевич, да Микула Васильевич, да Андрей Серкизович, да Михаиле Иванович и много иных из дружин.

Пересвета-чернеца, брянского боярина, на место суда привели. И сказал Пересвет-чернец великому князю Дмитрию Ивановичу: "Лучше нам убитыми быть, нежели в плен попасть к поганым татарам!" Поскакивает Пересвет на своем борзом коне, золочеными доспехами сверкая, а уже многие лежат посечены у Дона великого на берегу.

В такое время старому человеку следует юность вспомнить, а удалым людям мужество свое испытать. И говорит Ослябя-чернец своему брату старцу Пересвету: "Брат Пересвет, вижу на теле твоём раны тяжкие, уже, брат, лететь голове твоей на траву ковыль, а сыну моему Якову лежать на зеленой ковыль-траве на поле Куликовом, на речке Непрядве, за веру христианскую, и за землю Русскую, и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича".

И в ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастухи в поле не кличут, лишь вороны не переставая каркают над трупами человеческими, страшно и жалостно было это слышать тогда; и трава кровью залита была, а деревья от печали к земле склонились.

Запели птицы жалостные песни - запричитали все княгини и боярыни и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы Васильевича Марья рано поутру плакала на забралах стен московских, так причитая: "О Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы и течешь в землю Половецкую. Принеси на своих волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне!" И жена Тимофея Волуевича Федосья тоже плакала, так причитая: "Вот уже веселие мое поникло в славном городе Москве, и уже не увижу я своего государя

Тимофея Волуевича живым!" А Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксиныя на рассвете причитали: "Вот уже для нас обеих солнце померкло в славном городе Москве, домчались к нам с быстрого Дона горестные вести, неся великую печаль: повержены наши удалцы с борзых коней на суженом месте на поле Куликовом, на речке Непрядве!" А уже Див кличет под саблями татарскими, а русским богатырям быть израненными. Щуры запели жалостные песни в Коломне на забралах городских стен, на рассвете в воскресенье, в день Акима и Анны. То ведь не щуры рано запели жалостные песни - запричитали жены коломенские, приговаривая так: "Москва, Москва, быстрая река, зачем унесла на своих волнах ты мужей наших от нас в землю Половецкую?" Так говорили они: "Можешь ли ты, господин князь великий, веслами Дон загородить, а Дон шлемами вычерпать, а Мечу-реку трупами татарскими запрудить? Замкни, государь, князь великий, у Оки-реки ворота, чтобы больше поганые татары к нам не ходили. Уже ведь мужья наши побиты на ратях".

В тот же день, в субботу, на Рождество святой богородицы, разгромили христиане полки поганых на поле Куликовом, на речке Непрядве.

И, кликнув клич, ринулся князь Владимир Андреевич со своей ратью на полки поганых татар, золоченым шлемом посвечивая. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. И восхвалил он брата своего, великого князя Дмитрия Ивановича: "Брат Дмитрий Иванович, в злое время горькое ты нам крепкий щит. Не уступай, князь великий, со своими великими полками, не потакай крамольникам! Уже ведь поганые татары поля наши топчут и храброй дружины нашей много побили - столько трупов человеческих, что борзые кони не могут скакать: в крови по колено бродят. Жалостно ведь, брат, видеть столько крови христианской,

Не медли, князь великий, со своими боярами".

И сказал князь великий Дмитрий Иванович своим боярам: "Братья, бояре и воеводы, и дети боярские, здесь ваши московские сладкие меды и великие места! Тут-то и добудьте себе места и женам своим. Тут, братья, старый должен помолодеть, а молодой честь добыть".

И воскликнул князь великий Дмитрий Иванович: "Господи боже мой, на тебя уповаю, да не будет на мне позора никогда, да не посмеются надо мной враги мои!" И помолился он богу, и пречистой его матери, и всем святым, и прослезился горько, и утер слезы.

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. То ведь не соколы полетели: поскакал князь великий Дмитрий Иванович со своими полками за Дон, а за ним и все русское войско. И сказал: "Брат, князь Владимир Андреевич, - тут, брат, изопьем медовые чары круговые, нападём, брат, своими полками сильными на рать татар поганых".

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. Уже встал тур на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя. И князья их попадали с коней, а трупами татарскими поля усеяны и кровью их реки потекли. Тут рассыпались поганые в смятении и побежали непроторенными дорогами в лукоморье, скрежеща зубами и раздирая лица свои, так приговаривая:

"Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей своих не видать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, а целовать нам зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у русских князей не прашивать". Вот уже застонала земля татарская, бедами и горем наполнившись; пропала охота у царей и князей их на Русскую землю ходить. Уже веселье их поникло.

Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и дорогие убранства, тонкие ткани и шелка везут женам своим. И вот уже русские жены забряцали татарским золотом.

Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье. Преодолела слава русская хулу поганых. Уже низвергнут Див на землю, а гроза и слава великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, по всем землям пронеслись.

Стреляй, князь великий, по всем землям рази, князь великий, со своей храброй дружиной поганого Мамай-хиновина за землю Русскую, за веру христианскую. Уже поганые оружие свое побросали, а головы свои склонили под мечи русские. И трубы их не трубят, и приуныли голоса их.

И метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком и прибежал к Кафе-городу. И молвили ему фряги: "Что же это ты, поганый Мамай, заришься на Русскую землю? Ведь побила теперь тебя орда Залесская. Далеко тебе до Батые-царя: у Батые-царя было четыреста тысяч латников, и полонил он всю Русскую землю от востока и до запада. Наказал тогда бог Русскую землю за ее согрешения. И ты пришел на Русскую землю, царь Мамай, с большими силами, с девятью ордами и семьюдесятью князьями. А ныне ты, поганый, бежишь сам-девят в лукоморье, не с кем тебе зиму зимовать в поле. Видно, тебя князья русские крепко попотчевали:

нет с тобой ни князей, ни воевод! Видно, сильно упились у быстрого Дона на поле Куликовом, на траве-ковыле! Беги-ка ты, поганый Мамай, от нас за темные леса!"

Как милый младенец у матери своей земля Русская: его мать ласкает, а за баловство розгой сечет, а за добрые дела хвалит. Так и господь бог помиловал князей русских, великого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, меж Дона и Днепра, на поле Куликовом, и на речке Непрядве.

И стал великий князь Дмитрий Иванович со своим братом, с князем Владимиром Андреевичем, и с остальными своими воеводами на костях на поле Куликовом, на речке Непрядве. Страшно и горестно, братья, было в то время смотреть: лежат трупы христианские словно сенные стога у Дона великого на берегу, а Дон-река три дня кровью текла. И сказал князь великий Дмитрий Иванович: "Сосчитайтесь, братья, сколько у нас воевод нет и скольких молодых людей недостает?"

Тогда отвечает Михаиле Александрович, московский боярин, князю Дмитрию Ивановичу: "Господин князь великий Дмитрий Иванович! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати князей белозерских, тридцати новгородских посадников, двадцати бояр коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов литовских, двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, сорока бояр муромских, семидесяти бояр рязанских, тридцати четырех бояр ростовских, двадцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр можайских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцать бояр угличских. А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят три тысячи. И помиловал бог Русскую землю, а татар пало бесчисленное множество".

И сказал князь великий Дмитрий Иванович:

"Братья, бояре и князья и дети боярские, суждено вам то место меж Дона и Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои за святые церкви, за землю за Русскую и за веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в этом веке и в будущем. Пойдем, брат, князь Владимир Андреевич, во свою Залесскую землю к славному городу Москве и сядем, брат, на своем княжении, а чести мы, брат, добыли и славного имени!" Богу нашему слава.

Краткая летописная повесть 1408 г. «О великом побоище на Дону»

Краткая летописная повесть 1408 года — наиболее раннее и достоверное известие о Куликовской битве. По-видимому, повесть была составлена в Москве анонимным

писателем из окружения митрополита Киприана. Возможно, к этой работе был причастен ученик Сергия Радонежского, монах Троице-Сергиева монастыря Епифаний Премудрый. Дата 1408 год — условна: в этом году был завершён московский митрополичий свод, включающий повесть, но рассказ о событиях 1380 года мог быть составлен и раньше, в конце XIV — начале XV века. Повторы летописного текста (князь Дмитрий по воле летописца дважды возвращается после боя в Москву, а Мамай дважды убегает от русских дружин) свидетельствуют о том, что краткой повести предшествовали какие-то иные записи о Куликовской битве, не сохранившиеся в первоначальном виде, но сведённые в повествование 1408 года. Имена убитых князей и воевод были внесены в краткую повесть из специального списка павших, обычно составлявшегося для церковного поминания — синодика.

О великом побоище на Дону

В том же году безбожный нечестивый ордынский князь, Мамай поганый, собрав многочисленные войска и всю землю половецкую и татарскую, нанял войска фрязов, черкасов и ясов — и со всеми этими войсками пошел на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую. В августе из Орды пришли вести к великому князю Дмитрию Ивановичу о том, что поднимается рать татарская на христиан, поганый род измаилтян. И Мамай нечестивый, люто гневаясь на великого князя Дмитрия о своих друзьях и любимцах и князьях, что были побиты на реке Воже, выступил с огромным войском, желая пленить землю Русскую.

Узнал об этом великий князь Дмитрий Иванович, собрал множество воинов и пошел против татар, чтобы защитить свои вотчины, за святые церкви и за правую веру христианскую и за всю землю Русскую. Когда князь переправился через Оку, пришли к нему другие вести, что Мамай собрал свои войска за Доном, стоит в поле и ждет к себе на помощь Ягайла, литовские рати.

Великий князь переправился через Дон, туда, где чистое и просторное поле. Там и собрались поганые половцы, татарские полки, на чистом поле возле устья Непрядвы. И тут выстроились оба войска и бросились в бой, противники сошлись — и была долгая битва и злая сеча. Целый день бились, и пало бесчисленное множество мертвых с обеих сторон. И бог помог великому князю Дмитрию Ивановичу, а Мамаевы поганые полки побежали, а наши — за ними, и били и секли поганых без пощады. Это бог чудесною силою устрасил сынов агарянских, и они побежали, подставив спины свои под удары, и многие были биты, а иные утонули в реке. И русские отряды гнали татар до речки Мечи и там множество их убили, а иные татары бросились в воду и утонули, гонимые божьим гневом и охваченные страхом. И убежал Мамай с малой дружиной в свою землю татарскую.

Это побоище было 8 сентября, на Рождество святой богородицы, в субботу, до обеда. И в схватке были убиты: князь Федор Романович Белозерский, сын его князь Иван Федорович, Семен Михайлович, Микула Васильевич, Михаила Иванович Окинфович, Андрей Серкизов, Тимофей Валуй, Михаила Бренков, Лев Морозов, Семен Мелик, Александр Пересвет и многие другие.

А князь великий Дмитрий Иванович с другими князьями русскими и с воеводами, и с боярами, и с вельможами, и с уцелевшими русскими полками занял поле боя и возблагодарил бога и поклонился воинам своим, что крепко бились с иноплемениками и твердо за него сражались, и в мужественном бою отстояли веру христианскую. И возвратился князь в Москву, в свои владения с великой победой, выиграв сражение и победив своих врагов. И многие воины его обрадовались, захватив богатую добычу: пригнали за собою многочисленные стада коней, верблюдов, волов, которым нет числа, и доспехи и одежды, и товары.

Тогда рассказали великому князю, что князь Олег Рязанский послал на помощь Мамаю свое войско, а сам приказал разрушить мосты через реки. Князь великий за это собрался

послать на Олега свое войско. Но неожиданно в то самое время приехали к нему рязанские бояре и рассказали, что князь Олег бросил свою землю, а сам бежал со своею княгиней, с детьми, с боярами и с советниками своими. И бояре просили великого князя, чтобы не посылал на них войска, а сами били ему челом и покорились княжеской власти. Великий князь, выслушав их, принял их челобитье, выполнил их просьбу — войска на Рязань не послал, а сам пошел в свою землю, а на Рязанское княжение посадил своих наместников. Тогда же Мамай убежал с Донского побоища и прибежал в свою землю с малым отрядом. Видя себя разбитым и бежавшим и посрамленным и поруганным, еще сильнее разгневался Мамай, впал в неистовство и в ярость, собрал оставшиеся свои войска, вновь захотел совершить набег на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю Русскую землю. Только он это задумал, пришла к нему весть, что идет на него некий царь с востока, именем Токтамыш, из Синей Орды, Мамай же, собравший войско для набега на Русь, с этим войском выступил против него, и они встретились на Калках. А Мамаевы князя, сойдя с коней своих, били челом царю Токтамышу и дали ему клятву по своей вере, и писали клятвенную запись, и признали его власть, а Мамаю изменили, ибо он был опозорен поражением.

А Мамай, увидев это, быстро бежал со своими советниками и единомышленниками. Но царь Токтамыш послал за ним в погоню своих воинов, и они убили Мамаю. А сам Токтамыш пошел и захватил Орду Мамаеву и цариц его, и казну, и улус весь взял, и богатство Мамаево разделил между своими воинами. И послал оттуда послов на Русскую землю к великому князю Дмитрию Ивановичу и ко всем князьям русским, сообщая им о своем появлении и о том, как он захватил власть в Орде, и как победил своего противника и их врага Мамаю, и сам сел на царстве Волжском. А князя русские послов его отпустили с честью и с дарами, а сами той же зимой и весной послали каждый своих послов с богатыми дарами к царю Токтамышу.⁴⁸

"Задонщина" подробнее и в более ярких красках говорит о трофеях русских дружин (узорожья, вино, сахар), чем летописные повести (порты, товар). Трудно предположить, чтобы летописец, обрабатывая текст "Задонщины", поменял восточные экзотические "узорожья" на прозаические "порты". Вероятнее влияние летописных повестей на "Задонщину", а не наоборот. Если привлечь другие примеры, которыми М.А. Салмина доказывает зависимость "Задонщины" от Пространной летописной повести, можно с некоторой долей вероятности предполагать, что на "Задонщину" повлияла именно Пространная летописная повесть 1425 года.

Летописная повесть 1421 г. о Донской битве, включенная в Новгородскую I летопись младшего извода

48 Перевод А.И. Плигузова, выполнен по изданию: Полное собрание русских летописей. Пг., 1922, т. 15, вып. 1, стб. 139—141. С.К. Шамбинаго считал краткую повесть позднейшим сокращением пространной, однако М.А. Салмина доказала первоначальный характер краткой повести. Л.А. Дмитриев, используя наблюдения М.А. Салминой, высказал мысль о зависимости краткой летописной повести от "Задонщины". Три списка "Задонщины", Краткая и Пространная летописные повести действительно содержат текстуально близкие описания добычи русских воинов (названы кони, верблюды, волю, доспехи). В соответствующем месте текст Краткой повести без изменений перенесен в Пространную повесть. Л.А. Дмитриев, сопоставляя описание добычи 1380 года с другими подобными описаниями в Рогожском летописце под 1377, 1378 и 1385 годами, приходит к выводу об отступлении летописца от скупого клише в рассказе о Куликовской битве, следовательно, думает Л.А. Дмитриев, летописец воспользовался развернутым описанием добычи, данным в "Задонщине". Однако перечисление трофеев 1380 года не может не отличаться от аналогичных известий 1377, 1378 и 1385 годов, так как там речь идет об иных по масштабу и оценкам событиях — о поражении русских на Пьяне, о гораздо меньшей победе на Воже и о набеге Олега Рязанского на Коломну. В описании добычи 1380 года правильнее видеть не развернутое литературное клише заимствованного характера, а близкий к реальности перечень захваченного имущества.

Дата повести — 1421 год — условна: А.А. Шахматов считал, что примерно в это время в Новгороде был создан летописный свод, впоследствии легший в основу Новгородской I летописи младшего извода. Особенностью повести 1421 года является проновгородская и антимосковская тенденциозность составителя. Новгородский летописец с видимой неохотой передает сведения о победе московского войска, но зато повествует о неопытных московских воинах, бежавших с поля боя.

Вместе с тем повесть, составленная в Новгороде, ни словом не упоминает о новгородцах, которые, согласно пространной "Задонщине", отдельным спискам Основной редакции "Сказания о Мамаевом побоище", дополнениям к списку Дубровского Новгородской IV летописи, будто бы участвовали в Куликовской битве. Умолчание повести 1421 года вполне красноречиво свидетельствует против мнения отдельных историков, которые на основании перечисленных позднейших источников и неясного известия синодика новгородской церкви Бориса и Глеба включают новгородцев в состав объединенной дружины Дмитрия Ивановича Московского.

В то же лето месяца августа из Орды пришли вести к великому князю Дмитрию и брату его князю Владимиру о том, что поднимается на христиан поганый измаилтянский род. Правил ими некий слабый царек, а власть держал в руках князь Мамай, он люто гневался на великого князя и на всю Русскую землю. Узнал великий князь Дмитрий Иванович, что идет на него великое войско татарское, и собрал множество воинов и пошел против безбожных татар, уповая на милосердие бога и пречистой его матери богородицы, приснодевы Марии, призывая на помощь честный крест.

И ступил великий князь на их землю за Доном, и было тут чистое поле возле устья реки Непрядвы. И здесь выстроились поганые измаилтяне против христиан. А москвичи многие, что впервые вышли на поле битвы, увидев огромное войско татарское, устрашились и не надеялись уже остаться в живых, а иные обратились в бегство, забыв сказанное пророком, как один пожнет тысячу, а два сокрушат сто тысяч, если бог не оставит их. И князь великий Дмитрий с братом своим Владимиром, выстроив полки против поганых половцев и подняв взор к небу, глубоко вздохнул и сказал слово псаломское: "Братья, бог наш — прибежище и сила". И вот сошлись оба войска и была долгая битва. И бог чудесной силой устрашил сынов агарянских, и они побежали, подставив спины свои под удары, и христиане гнали их, и агаряне падали под ударами, а иные утонули в реке, бесчисленное множество.

И тогда в схватке были убиты князь Федор Белозерский и его сын князь Иван. А иные князья и воеводы погнались за иноплеменниками. И безбожные татары падали, пораженные страхом божьим и оружием христианским. И вознес бог десницу великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича на победу над иноплеменниками.

Все это случилось за наши грехи. Иноплеменники вооружаются на нас, дабы мы отказались от неправедной жизни, ненависти между братьями, от сребролюбия и от неправедного суда и от насилия. Но милосерден бог человеколюбец, не до последнего часа гневается на нас, не вечно наказывает.

И победа великого князя была в сентябре, в 8-й день, на Рождество святой богородицы, в субботу. И великий князь Дмитрий с братом своим князем Владимиром захватили поле боя и встали на татарских костях. И многие русские князья и воеводы восхвалили и восславили пречистую божью мать богородицу, крепко сразившись с иноплеменниками за святые божие церкви и за православную веру, за всю Русскую землю. А сам великий князь со своим братом Владимиром, хранимый богом, приехал в стольный и великий город Москву, в свою вотчину.⁴⁹

49 Перевод А.И. Плигузова, выполнен по публикации: Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л., 1950, с. 376—377. А.А. Шахматов считал, что около 1421 года в Новгороде был составлен обширный летописный свод, так называемый "Софийский временник", который впоследствии лег в основу Новгородской I летописи младшего извода, Новгородской IV и Софийской I летописей. Наиболее вероятно

Пространная летописная повесть 1425 г. "О побоище на Дону"

Эта повесть была составлена большим знатоком божественного писания и тонким стилистом, включившим в свой рассказ придуманные монологи Дмитрия Ивановича и Мамаю, расцветившим многочисленными, подробностями лапидарные свидетельства повестей 1425, 1408 и 1421 годов, так что не всегда ясно, каким из дополнений повести 1425 года можно безусловно доверять. Так, автор называет число войск Дмитрия Ивановича, неизвестное ранним памятникам, — 150 тысяч, "опрочно рати князей и воевод местных". Передана новая, более распространенная и менее достоверная версия об убийстве Мамаю жителями крымского города Кафы (нынешняя Феодосия). Пространная повесть дополняет список павших на Куликовом поле именами Дмитрия Минича (он был убит гораздо раньше сражения с Мамаем — в 1368 году), Дмитрия Монастырева (убит в 1378 году) и Федора Тарусского (о каком-то Федоре Тарусском известно, что он был убит в 1437 году). И тут же — более достоверный рассказ о "великой туге", "горьком плаче" и "рыдании", начавшемся в Москве после известия о том, что "пошел за Оку князь великий", — действительно, переправа Дмитрия Московского через Оку означала окончательный выбор, свидетельствовала о желании русской дружины драться насмерть.

О побоище на Дону и о том, как великий князь бился с Ордою

Той же осенью пришел ордынский князь Мамай с единомышленниками своими и со всеми прочими князьями ордынскими, и со всеми войсками татарскими и половецкими, и еще нанял отряды бусурманов и армян, и фрягов, черкасов, ясов и буртасов. И вместе с Мамаем, в полном согласии с ним, и литовский Ягайла со всеми войсками литовскими и польскими, с ними же заодно и Олег Иванович, князь рязанский, со своими советниками, пошли на великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича. Но человеколюбивый бог захотел спасти и освободить род христианский за молитвы пречистой его матери от плена измаильского, от поганого Мамаю и от его союзников — нечестивого Ягайла и многоречивого и дурного Олега Рязанского, забывшего о своей христианской вере. Ждет его в великий судный день дно адово и пасть ехидны. А окаянный Мамай возгордился и вообразил себя царем и собрал злой совет, куда позвал темных своих поганых князей. И сказал им: "Пойдем на русского князя и на всю силу русскую, как при Батые было — христианство погубим, церкви божий спалим, прольем христианскую кровь и веру их уничтожим". Нечестивый Мамай говорил так, потому что люто гневался из-за смерти своих друзей и любимцев, князей, посеченных на реке Воже. И начал свирепо и поспешно собирать свои войска, с яростью выступил с огромным войском, желая пленить христиан. И тогда выступили все племена татарские. И начал посылать гонцов в Литву, к поганому Ягайле и к лживому слуге дьявола, советнику дьявола, отлученному от сына божия, обезумевшему во тьме грехов и не желающему познать истинную веру Олегу Рязанскому, пособнику бусурманскому, лукавому сыну. Как сказал Христос: "Они вышли из наших рядов и против нас встали". И составил старый злодей Мамай нечестивый совет с поганой Литвой и с предателем Олегом: собраться им у реки Оки на Семен день, чтобы идти на благоверного князя. А предатель Олег вскоре новое злое замыслил: посылал к Мамаю и к Ягайле своего доверенного боярина, антихристову предтечу, Епифана Кореева, созывая их в условленный срок встать у Оки с трехглавыми зверями сыродцами, чтобы пролить кровь.

считать этот свод результатом труда дьяков новгородской архиепископской кафедры. Обычно в научной литературе повесть о Донской битве по тексту свода 1421 года считают позднейшим сокращением пространной повести 1425 года. Однако недавно В.А. Кучкин высказал предположение, что повесть 1421 года использовала повесть 1408 года и, в свою очередь, повлияла на повесть 1425 года. Текстологический анализ подтверждает гипотезу В.А. Кучкина.

Враг, изменник Олег! Гонишься за своей выгодой, а не знаешь, что меч божий занесен над тобой. Как сказал пророк: "Нечестивые обнажают мечи и натягивают луки, чтобы пронзить праведников, но мечи их вонзятся в их же сердца, и луки их переломятся". Наступил август, и из Орды пришли вести к христоролюбивому князю, что поднимается на христиан племя измаильское. Олег же, в глазах у бога утративший уже свой княжеский титул за то, что вступил в союз с нечестивыми, послал к князю Дмитрию лживую весть: "Мамай со всем своим царством идет в мою Рязанскую землю на меня и на тебя войной. И да будет тебе известно — и литовский князь Ягайла идет на тебя со всем войском своим". И Дмитрий князь услышал в невеселую пору, что идут на него все царства, творящие беззаконие, и говорят: "Еще наша сила велика". Пошел Дмитрий к соборной церкви матери божьей Богородицы, заплакал и сказал: "О, господи, ты — всемогущий и всеильный, крепкий в битвах, ты воистинну царь славы, сотворивший небо и землю, помилуй нас за молитвы пресвятой твоей матери, не оставь нас в унынии. Ты — бог наш, а мы — люди твои, пошли помощь твою свыше и помилуй нас и посрами врагов наших и оружие их затупи. Ты всемогущ, господи, кто воспротивится тебе? Вспомни, господи, милость твою, что от века имеешь к роду христианскому. О, многоименитая дева, госпожа, царица небесных чинов, вечная госпожа всего мира и жизни человеческой кормилица, подними, госпожа, руки свои пречистые, на которых носила воплощенного бога, не оставь милостью христиан и избави нас от варваров-сыроядцев и меня помилуй!" Поднялся с колен князь Дмитрий, вышел из церкви и послал за братом своим Владимиром и за всеми князьями русскими и великими воеводами. И сказал князь Дмитрий брату своему Владимиру и всем князьям русским и воеводам: "Пойдем против этого окаянного и безбожного, нечестивого и мрачного сыроядца Мамаю за правую веру христианскую, за святые церкви и за всех младенцев и старцев, и за всех христиан нынешних и будущих, возьмем с собою скипетр царя небесного, одоление на врагов, и вооружимся доблестью Авраама". И воззвал к богу и сказал: "Господи, помоги мне. Поспеши, господи, на помощь ко мне! Да постыдятся и посрамятся и узнают, что имя тебе — господь, что ты один господин всей земли".

И собравшись со всеми князьями русскими и со всем войском, немедленно выступил из Москвы против своих врагов, чтобы защитить свою вотчину, и пришел в Коломну, и собрал воинов своих сто тысяч и пятьдесят тысяч, не считая княжеской рати и отрядов местных воевод. От начала мира не собиралось такого войска русских князей и местных воевод, как при этом князе. Было же всего войска и всех ратей полтораста тысяч или двести. Тогда же издали подошли великие князья Ольгердовичи — поклониться великому князю и сослужить службу: князь Андрей Полоцкий с псковичами, брат его князь Дмитрий Брянский, со всеми своими воинами.

В то время Мамай встал за Доном со всем своим царством, объятый яростью, гордыней и гневом, и стоял три недели. Иные вести пришли князю Дмитрию. Гонимые сообщали, что Мамай стоит за Доном, в поле, и ждет к себе на помощь Ягайлу с литовским войском, и когда соберутся вместе, хотят одержать общую победу.

И начал Мамай посылать послов к князю Дмитрию, просить дани, какую платили при царе Джанибеке, а не по своему договору. А христоролюбивый князь, чтобы избегнуть кровопролития, хотел платить ему такую дань, какую христиане смогут, и по своему договору, что заключил с Мамаем. Но Мамай не захотел, охваченный гордостью, ожидая своего нечестивого союзника литовского. А Олег, предатель наш, перебежавший к зловерному и поганому Мамаю и нечестивому Ягайле, начал ему дань платить и войско свое отправлять к нему на князя Дмитрия.

А князь Дмитрий, узнав о лжи лукавого Олега, кровопийцы христианского, нового Иуды предателя, что на своего господина зло замышляет, князь Дмитрий глубоко вздохнул и сказал: "Господи, союзы неправедных разрушь, а начинающих войны погуби. Не я начал проливать христианскую кровь, но он — новый Святополк. И воздай ему, господи, семью семь раз, ибо он ходит во тьме и забыл слово твое. Наточу, как молнию, меч мой, и

исполнит твой суд моя рука: отомщу врагам и ненавидящим меня отомщу, и погружу свою стрелу в их кровь, чтобы не спрашивали неверные: Где их бог? Отверни свое лицо от них, господи, и покажи им, господи, свое милосердие в их последний час, ибо их племя развращено и не верит в тебя, господи, и опрокинь на них гнев свой, господи, на народы, не знающие тебя, господи, и не призывающие твоего святого имени. Кто так же велик, как бог наш? Ты — наш бог, творящий чудеса, один ты".

И закончив молитву, князь Дмитрий пошел к храму Пречистой Богородицы и к епископу Герасиму и сказал ему: "Благослови меня, отче, пойти против окаянного сыроядца Мамаю и нечестивого Ягайлы, и отступника нашего Олега, отступившего из света во тьму". И святитель Герасим благословил князя и всех его воинов пойти против нечестивых агарян. И пошел князь из Коломны с большим войском против безбожных татар, месяца августа в 20 день, уповая на милосердие божие и на пречистую его мать богородицу, приснодеву Марию, призывая на помощь честный крест. И прошел свою вотчину и свое великое княжение, встал у Оки возле устья Лопастни, перехватывая гонцов поганых татар. Тут подошел и Владимир, брат его, и великий его воевода Тимофей Васильевич и все воины, что были оставлены в Москве. И начали переправляться за Оку, за неделю до Семена дня, в воскресенье. Переправившись за реку, вошли в землю Рязанскую. А сам князь в понедельник по броду перешел реку со своим двором, а в Москве оставил воевод своих у великой княгини Евдокии, и у детей своих — Василия, Юрия и Ивана — Федора Андреевича.

Узнали в городе Москве и в Переславле, и в Костроме, и во Владимире и во всех городах великого князя и всех князей русских, что князь великий пошел за Оку, и была в городе Москве великая печаль и во всех городских церквях горький плач и вопли и рыдания, словно Рахиль горько плачет — оплакивали сыновей своих громкими причитаниями, не зная утешения, ибо пошли они с великим князем за всю землю Русскую на острые копья. И кто не заплачет, глядя на этих жен, слыша горькие их причитания? Каждая жена сама себе говорила: "Увы мне, несчастные наши дети! Лучше бы мы вас на свет не рожали, тогда бы нам не пришлось оплакивать вашу смерть. За что мы повинны в гибели вашей?" А великий князь подошел к Дону за два дня до Рождества святой богородицы. И тогда подоспела грамота от преподобного игумена Сергия — от святого старца благословение. В ней же написано такое благословение, призывающее великого князя биться с татарами: "Пойди, господин, на татар, и поможет тебе бог и святая богородица". И князь сказал: "Иные колесницами, а иные конями, мы же гордимся именем господя бога нашего. Даруй мне победу, господи, над врагами, и помоги мне, оружием креста опрокинь врагов наших, ибо на тебя уповаю, побеждаем, молясь прилежно пречистой твоей матери". И произнеся эти слова, начал великий князь расставлять полки и велел всем надеть праздничные одежды, как и следует воинам перед великой битвой, и воеводы вооружили свои полки. Подошли к Дону и встали тут и долго совещались. Одни говорили: "Иди, князь, за Дон", а другие возражали: "Не ходи, ибо прибавилось врагов наших — не только татары, но и литовцы, и рязанцы".

А Мамай, узнав о том, что князь подошел к Дону, и увидев своих побитых воинов, грозно смотрел по сторонам, ум его помутился, лютая ярость охватила его, будто змей, дышущий гневом, вселился в него. И приказал Мамай: "Выступайте, силы мои темные, и военачальники, и князья. Пойдем и встанем у Дона напротив князя Дмитрия, пока не подоспеет к нам союзник наш Ягайла со своим войском".

А князь услышал похвальбу Мамаеву и сказал: "Господи, ты не повелел вступать на чужую землю, и я, господи, не вступил. А они, господи, подползают, как змеи к гнезду. Окаянный Мамай, нечестивый сыроядец, на христианство покусился, кровь мою хочет пролить и всю землю осквернить и святые божие церкви разорить". И сказал: "На что похожа ярость Мамаева? Будто шипящая ехидна, приполз из далекой пустыни и хочет нас пожрать. Не отдай меня, господи, во власть сыроядца этого Мамаю. Покажи мне свою силу, владыка. Где лики ангельские? Где стоящие перед тобой херувимы? Где служащие тебе

шестикрылые серафимы? Перед тобой трепещет все живое, тебе поклоняются небесные силы, ты сотворил солнце и луну, и землю украсил всеми красотами. Покажи мне, господи, славу свою и ныне, господи, обрати печаль мою в радость и помилуй меня, как помиловал слугу своего Моисея, в печали душевной воззавшего к тебе, и столпу огненному повелел идти перед ним и морские глубины превратил в сушу, как владыка всего господь страшную бурю превратил в тишь". И, произнеся эти слова, князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам: "Настало, братья, время нашей битвы и пришел праздник царицы Марии, матери божьей, богородицы и всех небесных чинов госпожи и всей вселенной, и честного ее Рождества. Если будем живы — мы в господней воле, и если умрем за этот мир — мы в господней воле".

И приказал мостить мосты через Дон и искать броды в ту ночь, в канун Рождества пречистой матери божьей богородицы. В субботу ранним утром, месяца сентября в 8 день, в самый праздник — Госпожин день, на восходе солнца была великая тьма по всей земле: тьма стояла от восхода до третьего часа. И повелел бог тьме отступить и даровал свет. А князь выстроил свои многочисленные полки, и все его князья русские свои полки выстроили, и великие его воеводы облачились в праздничные одежды. И разверзлись подземные глубины, земля страшно задрожала, ужас объял сынов, пришедших издалека — с востока и с запада. Застонала земля у Дона и в дальних концах земли, и по ту сторону Дона прошел подземный гул, грозный и беспощадный, будто само основание земли заколебалось от множества вступивших на нее войск.

А князь переправился через Дон и вышел в чистое поле, в Мамаеву землю, к устью Непрядвы. Господь бог указывал ему дорогу, не оставлял его. О, крепкая и твердая дерзость мужества! Как он не испугался, не поддастся сомнениям перед таким многочисленным воинством? Ибо встали на него три земли, три рати: первая — татарская, вторая — литовская, третья — рязанская. Но он не испугался их всех, не покорился страху, а вооружился верой к богу и укрепился силой честного креста и оградился молитвами пресвятой богородицы и помолился богу, говоря: "Помоги мне, господи боже мой, и спаси, ибо ты милостив, видишь, как увеличилось число моих врагов. Господи, за что увеличилось число поднявшихся на меня? Многие поднялись на меня, многие, борющиеся со мной, многие, преследующие меня, притесняющие меня, все народы окружили меня. И я именем господним встал против них".

И в шестом часу дня начали выходить поганые измаилтяне в поле, а поле было чисто и просторно. И тут выстроились татарские полки против христиан. И тут сошлись полки. И, увидев огромные войска, двинулись с места, и земля загудела, горы и холмы задрожали от бесчисленного числа воинов, державших в руках обоюдоострые мечи и сабли. И орлы слетались, ибо сказано: "Где мертвые тела, там и орлы". Первыми понеслись друг на друга русские и татарские сторожевые полки. И сам великий князь в первом ряду сторожевых полков напал на поганого царя Тюляка и дьявола во плоти — Мамаю. А потом, некоторое время спустя, отъехал князь в большой полк. И вот двинулась великая рать Мамаева и все войско татарское, а навстречу ему великий князь Дмитрий Иванович со всеми князьями русскими, выстроив полки, выступил против поганых половцев со всеми своими ратями. И князь, подняв взор к небу, глубоко вздохнул и сказал слово псаломское: "Братья, бог наш — прибежище и сила".

И вот сошлись оба войска великих на долгий час, и полки заняли все поле, на десять верст вокруг, так много было воинов. И беспощадно рубились и была страшная битва, а земля дрожала под ногами воинов, и от начала мира не было таких битв у великих князей русских, как у этого великого князя всея Руси.

И бились они от шестого часа дня до девятого и пролили кровь, как туча проливается дождем, обоих противников — русских сынов и поганых. Бесчисленное множество мертвых тел пало с обеих сторон, и много русских было побито татарами, и много татар побито русскими, трупы громоздились один на другом, и падали тела татарские на христианские тела. Вдруг показывался где-нибудь русский, преследующий татарина, или

татарин, настигающий русского воина. Все смешалось и спуталось, в каждый искал себе противника, чтобы победить его.

И сказал себе Мамай: "Волосы наши выпадают, иссякли огненные слезы из наших очей, языки паши замолкают, а у меня пересыхает в горле и сердце останавливается, ноги меня не держат, колени подгибаются и руки цепенеют".

Как нам описать вид смертного боя? Одних рассекают мечами, других поднимают на копьях. Увидев это, застонали московские воины, что впервые вышли на поле битвы, устрашились и не надеялись уже остаться в живых, и обратились в бегство, побежали, а забыли, как древние мученики говорили друг другу: "Братья, запасемся терпением: зима сурова, но рай сладок, и ужасен меч, но желанен венец". И некоторые воины агаряне обратились в бегство, слыша громкие крики и видя смертный бой.

После этого, в девятый час дня, обратил господь милостивые очи на всех князей русских и на крепких воевод и на всех христиан, вставших за христианство и не поддавшихся страху, как великие воины. И видели христиане, как в девятом часу ангелы сражались в русском войске и полк святых мучеников, воина Георгия и славного Дмитрия и великих тезоименитых князей Бориса и Глеба, а воеводой полка небесных воинов был архистратиг Михаил. Двое татарских воевод увидели небесный полк и огненные стрелы небесного воинства, выступившего против них. И безбожные татары падали, пораженные страхом божьим и оружием христианским. И возвысил бог нашего князя и даровал ему победу над иноплеменниками.

А Мамай затрепетал от страха и громко застонал и сказал: "Велик бог христианский и велика сила его. Братья измаилтяне, нечестивые агаряне, бегите нехоженными дорогами". А сам, обратившись назад, быстро побежал к Орде. И, узнав об этом, все его темники и князья обратились в бегство. А увидев, что они бегут, все другие иноплеменники, преследуемые божьим гневом и охваченные божьим страхом, от мала и до велика обратились в бегство. Увидели христиане, что татары с Мамаем побежали, и погнались за ними, и били и секли поганых без пощады. Это бог невидимым войском устрашил полки татарские, и они повернули и подставили спины свои под удары. И в той погоне христиане побили немало татар, а другие бросились в реку и утонули. И гнали их до реки Мечи, и там погибло бесчисленное множество бежавших. И полки великого князя с боем гнали содомлян до их стана и захватили много богатств и все их содомское имущество.

А в том побоище были убиты в схватке: князь Федор Романович Белозерский, сын его Иван, князь Федор Торусский и браг его Мстислав, князь Дмитрий Монастырев, Семен Михайлович, Микула, сын Василия Тысяцкого, Михайло Иванов, сын Акинфович, Иван Александрович, Андрей Серкизов, Тимофей Васильевич Акатьевич, по прозванию Валуи, Михайло Бренков, Лев Мозырев, Семен Меликов, Дмитрий Мининич, Александр Пересвет, бывший прежде брянским боярином, и много иных, чьи имена не записаны в этих книгах. Здесь же записаны лишь имена князей и воевод, и знатных и старейших бояр. А имена прочих бояр и слуг я опустил и не переписывал их, ибо их множество, ибо многие убиты в той битве.

И увидел князь великий, что доспехи его разбиты и разрублены, но на теле его нет ни одной раны, хотя он бился с татарами в первом ряду, встав во главе войска в первой схватке. Об этом многие бояре и воеводы не раз говорили ему: "Князь, господин, не становись биться впереди, но лучше сзади или с краю, или где-нибудь в другом месте". А он отвечал им: "Да как же я стану говорить: Братья мои, бросимся на врага все как один, а сам буду прятать свое лицо и скрываться в тылу? Не могу так поступить, но хочу и словом и делом быть впереди всех и у всех на виду сложить свою голову за своих братьев и за всех христиан, чтобы и другие, видев это, запасались мужеством в бою". И как сказал, так и сделал: бился с татарами, встав впереди всех. А когда справа и слева убивали его воинов, а самого его окружали татары, как реки с обеих сторон, и удары сыпались на его голову, плечи и живот, бог защитил его крепким щитом и осенил его главу оружием любви, вступился за него и крепкою рукой и высокой силой уберег его, умножил его силы, и так

между многими воинами князь остался невредим. "Не на лук мой уповаю, и оружие мое не спасет меня, — как сказал пророк Давид, — всевышнего избрал ты убежищем своим, не подпустит к тебе зло и тело твое убережет от ран, ибо ангелам своим заповедает о тебе — хранить тебя на всех путях твоих, и без страха будешь следить за полетом пущенной в тебя стрелы".

Все это случилось за наши грехи. Иноплеменники вооружаются на нас, дабы мы отказались от неправедной жизни, ненависти между братьями, от сребролюбия и от неправедного суда и от насилия. Но милосерден бог человеколюбец: не до последнего часа гневается на нас, не вечно наказывает.

А оттуда, из литовской страны пришел князь литовский Ягайла со всем литовским войском на помощь Мамаю, татарам поганым помочь, а христианам повредить. Но и от них бог избавил: немного опоздали они — на один дневной переход или того меньше. И только услышали Ягайла Ольгердович и все его войско, что была битва великого князя с Мамаем, и князь великий победил, а разбитый Мамай побежал, литовцы с Ягайлом без всякого промедления быстро побежали назад, хотя никто за ними не гнался. И хотя не видели они великого князя, ни войска его, ни оружия его — одного имени его испугались литовцы и задрожали. Все было не так, как в нынешнее время, когда литовцы над нами издеваются и смеются. Но мы этот рассказ оставим и возвратимся к прежнему.

Князь Дмитрий с братом своим Владимиром и с русскими князьями и воеводами и с другими боярами, и со всеми уцелевшими воинами встали на ночлег вокруг татарских костров, на татарских костях. И князь Дмитрий стер пот со лба и, отдохнув от трудов своих, произнес благодарение богу, даровавшему такую победу на поганых, спасшему раба своего от грозного оружия: "Вспомнил ты, господи, свою милость, избавил нас, господи, от этих сыродядцев, от поганого Мамаю и от нечестивых измаилтян, и от безбожных агарян, оказал нам честь, как сын оказывает честь своей матери. Ты укрепил мое стремление к подвигу, как прежде благословил на подвиг слугу своего Моисея и древнего Давида, и нового Константина, и Ярослава, сродника великих князей, выступившего против окаянного и проклятого братоубийцы, безглавого зверя Святополка. И ты, богородица, милостью своей помиловала всех нас, грешных рабов твоих, и весь род христианский, просила за нас бессмертного сына своего". И многие князья русские и воеводы высокими похвалами прославили пречистую мать божию богородицу. И христолюбивый князь поклонился воинам своим, что крепко бились с иноплеменниками и твердо стояли и мужественно шли на подвиг, и с божьей помощью отстояли веру христианскую.

И возвратился князь с поля боя в богохранимый град Москву, в свою вотчину, с великой победой, одолев в битве и победив врагов своих. И многие воины его обрадовались, захватив богатую добычу: они пригнали за собой многочисленные стада коней и верблюдов и волов, которым нет числа, и доспехи, и одежды, и товары.

Тогда рассказали великому князю, что князь Олег Рязанский посылал Мамаю на помощь свое войско, а сам приказал разрушить мест через реку. А кто поехал с Донского побоища домой через его вотчину, Рязанскую землю, бояре и слуги, тех велел захватывать и грабить и нагих отпускать. А князь Дмитрий собрался послать за это на Олега свое войско. Но неожиданно приехали к нему бояре рязанские и рассказали, что князь Олег бросил свою землю, а сам бежал со своей княгиней, с детьми и с боярами. И рязанские бояре долго умоляли великого князя, чтобы на них войско не посылал, а сами били ему челом и покорились княжеской власти. А князь выслушал их и принял их челобитие, войска на них не послал, а на Рязанское княжение посадил своих наместников.

Тогда же Мамай бежал в свою землю с малым отрядом. Видя себя разбитым и бежавшим и посрамленным и поруганным, еще сильнее разгневался Мамай, впал в неистовство и в ярость, собрал оставшиеся свои войска, вновь захотел совершить набег на Русь. Только он это задумал, пришла к нему весть, что идет на него некий царь с востока, Токтамыш, из Синей Орды. Мамай же, собравший войско для набега на Русь, с этим войском выступил

против него, и они встретились на Калках. И была между ними схватка, и царь Токтамыш победил Мамаю и прогнал его. А Мамаевы князья, сойдя с коней своих, били челом царю Токтамышу и дали ему клятву по своей вере и признали его власть, а обесславленному Мамаю изменили.

И Мамай, увидев это, быстро бежал со своими единомышленниками. Но царь Токтамыш послал за ними в погоню своих воинов. А преследуемый Мамай бежал впереди воинов Токтамыша и оказался недалеко от города Кафы и послал послов в Кафу, где прежде обещали ему защиту, чтобы его приняли и укрыли, пока не прекратится за ним погоня. И ему разрешили укрыться в городе. И прибежал Мамай в Кафу со многими богатствами, золотом и серебром. А жители Кафы подговорились обмануть его, и тут он был ими убит. Так и пришел конец Мамаю.

А Токтамыш пошел и захватил Мамаеву Орду и цариц его и казну его, и улус весь взял, а богатство Мамаево разделил между своими воинами. И тогда отправил своих послов к князю Дмитрию и ко всем князьям русским, сообщая им о своем появлении и о том, как он захватил власть в Орде и как победил своего противника и их врага Мамаю, а сам сел на царствии Волжском. А князья русские послов его отпустили в Орду с честью и с богатыми дарами, а сами той же зимой и весной послали каждый своих послов в Орду с богатыми дарами.⁵⁰

Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция. 80-90-е гг. XV в.

"Сказание о Мамаевом побоище" — наиболее обстоятельное повествование о битве на Дону. Неизвестный автор "Сказания" приводит множество подробностей, мелких фактов и наблюдений, причем однажды даже ссылается на сведения, полученные им от участника битвы: "се же слышахом от вернаго самовидца, иже бе от полку Владимира Андреевича". Эта открытая для читателя документальность, предельная достоверность повествования, порой перемежающаяся цитатами из дипломатической переписки рязанского князя Олега с Мамаем и литовским князем Ольгердом — лишь литературный прием. "Сказание" по первому впечатлению вполне исторично, однако под видом истории оно предлагает читателю развитую, разработанную в деталях легенду.

Письма Олега, Мамаю и Ольгерда сочинил сам автор "Сказания", причем по воле автора Ольгерд ведет переписку в 1380 году, то есть через три года после постигшей его смерти

50 Перевод А.И. Плигузова, выполнен по изданию: Полное собрание русских летописей. Пг., 1915, т. 4, ч. 1, вып. 1, с. 311—320; Л., 1925, вып. 2, с. 321—325.

Автор Пространной повести соединил три предшествующих свидетельства о Донской битве — московскую повесть 1408 года, новгородскую повесть 1421 года и фрагмент первоначальной редакции жития Сергия 1418 года. Прежде в науке господствовало мнение С.К. Шамбинаго, датировавшего Пространную повесть концом XIV века. М.А. Салмина по-иному смотрит на проблему датировки Пространной повести. Повесть упоминает князя Федора Тарусского, который был убит ордынцами под Белевом в 1437 году. Пространная повесть сохранилась в составе Новгородской IV и Софийской I летописей, а они, по мнению А.А. Шахматова, восходят к так называемому "своду 1448 года", следовательно, считает М.А. Салмина, Пространная повесть была создана в 1437—1448 годах.

Аргументы М.А. Салминой спорны. Если составитель Пространной повести работал в 1437—1448 годах, маловероятно, чтобы он поставил своего современника — князя Федора Тарусского в один ряд с Дмитрием Миничем и Дмитрием Монастыревым, жившими в 40—70-х годах XIV века и ошибочно включенными в перелень погибших на Куликовом поле. Ошибка с именами давно умерших людей вполне объяснима для книжника XV века, но он вряд ли мог ошибиться в описании судьбы князя 30-х годов XV века. Предполагаем, что Пространная повесть говорит о другом Федоре Тарусском, жившем в XIV веке или придуманном автором повести. За последние годы работы историков летописания оставляют все меньше доводов в пользу действительного существования "свода 1448 года"; как кажется, правильнее говорить о московском митрополичьем своде конца 10-х — начала 20-х годов XV века (А.А. Шахматов предполагал создание такого свода — "Полихрона Фотия 1421 года"). Вопрос требует дальнейшего исследования. Учитывая наблюдение Я.С. Лурье о том, что Софийская I летопись и Карамзинский список Новгородской IV летописи сохраняют сходство вплоть до известия под 1425 годом, условно датировем этот московский свод 1425 годом.

(1377 год). Идеино-художественные задачи для автора важнее формальной достоверности, поэтому в центр антиордынского союза 1380 года "Сказание" помещает митрополита Киприана, изгнанного из Москвы в 1378 году и вернувшегося в столицу лишь весной 1381 года, да и то затем, чтобы через полтора года вновь с позором покинуть кафедру вплоть до 1390 года. Вряд ли достоверен и весь эпизод с поездкой Дмитрия Ивановича в Троице-Сергиев монастырь 18 августа 1380 года, накануне выступления его войск из Москвы — известие почерпнуто из легендарного жития Сергия 1418 года. В тексте "Сказания" немало ошибок и другого свойства: автор, стремясь дополнить рассказ подробностями, нередко выдает свою слабую информированность: так, он полагает, что Мамаева орда в походе на Русь переправлялась с левого на правый берег Волги, хотя Мамай определенно кочевал на правом берегу, а на левом берегу в Сарае сидел уже хан Токтамыш.

В спорах о времени создания "Сказания" наиболее аргументированной представляется точка зрения, впервые высказанная А.А. Зиминим и поддержанная В.А. Кучкиным: "Сказание" было написано в 80—90-х годах XV века в церковных кругах. Возможно, местом написания этого памятника являлся Троице-Сергиев монастырь. Связываем "Сказание" с циклом произведений, возникших вокруг "стояния" на Угре 1480 года и окончательного свержения ордынского ига.

Начало повести о том, как даровал бог победу государю великому князю Дмитрию Ивановичу за Доном над поганым Мамаем и как молитвами пречистой богородицы и русских чудотворцев православное христианство — Русскую землю бог возвысил, а безбожных язычников посрамил.

Хочу вам, братья, рассказать о битве недавней войны, как случилась битва на Дону великого князя Дмитрия Ивановича и всех православных христиан с поганым Мамаем и с безбожными язычниками. И возвысил бог род христианский, а поганых унизил и посрамил их дикость, как и в старые времена помог Гедону победить мадиамлян и преславному Моисею погубить войска фараона. Надлежит нам поведать о величии и милости божьей, как исполнил господь желание верных ему, как помог господь великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю Владимиру Андреевичу, над безбожными половцами и язычниками.

Попущением божьим, за грехи наши, по наваждению дьявола поднялся князь восточной страны, по имени Мамай, язычник верой, идолопоклонник и иконоборец, злой преследователь христиан. И начал подстрекать его дьявол, и вошло в сердце его искушение против мира христианского, и подучил его, как разорить христианскую веру и осквернить святые церкви, ибо всех христиан захотел покорить себе, чтобы не славилось господне имя верными господу. Господь же наш бог, царь и творец всего сущего, что пожелает, то и вершит.

Тот же безбожный Мамай стал похваляться и, позавидовав второму Юлиану Отступнику, царю Батыю, и начал расспрашивать старых татар, как царь Батый покорил Русскую землю. И стали ему сказывать старые татары, как покорил Русскую землю царь Батый, как взял Киев и Владимир, и всю Русь, славянскую землю, и великого князя Юрия Дмитриевича убил, и многих православных князей перебил, а святые церкви осквернил, и многие монастыри и села пожег, а во Владимире соборную церковь златоверхую разграбил. И так как он был в помутнении ума, то того не постиг, что как господу угодно, так и будет: так же и в давние дни Иерусалим был пленен Титом римлянином и Навуходоносором, царем вавилонским, за прегрешения и маловерие иудеев — но не бесконечно гневается господь и не вечно он ненавидит.

Узнав все от своих старых татар, начал безбожный Мамай поспешать, дьяволом распляемый непрестанно, ополчаясь на христиан. И, забывшись, стал говорить своим алпаутам, и есаулам, и князьям, и воеводам, и всем татарам: "Я не хочу так поступить, как Батый, но когда приду на Русь и убью князя их, то какие города наилучшие понравятся нам — тут и осядем, и Русью завладеем, тихо и беззаботно заживем", а не знал того проклятый, что господня рука высока.

И через несколько дней перешел он великую реку Волгу со всеми войсками и другие многие орды к своему великому воинству присоединил и сказал им: "Пойдем на Русскую землю и обогатимся русским золотом!" Пошел же безбожный на Русь, будто лев ревущий ярься, будто неуголимая ехидна злобой дыша. И дошел уже устья реки Воронежа, и распустил все войско свое, и наказал всем татарам своим так: "Пусть не сеет ни один из вас хлеба, будьте готовы на русские хлеба!"

Познал же о том князь Олег Рязанский, что Мамай кочует на Воронеже и хочет идти на Русь, на великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Скюдость ума была в голове его, послал сына своего к безбожному Мамаю с великою честью и с многими дарами и писал грамоты свои к нему так: "Восточному великому и свободному, царям царю Мамаю — радоваться! Твой ставленник, тебе присягавший Олег, князь рязанский, много тебя молит. Слышал я, господин, что хочешь идти на Русскую землю, на своего слугу князя Дмитрия Ивановича Московского, утратить его хочешь. Теперь же, господин и пресветлый царь, настало твое время: золотом и серебром и богатством многим переполнилась земля Московская и всякими драгоценностями, твоему владению на потребу. Меня же, раба твоего, Олега Рязанского, власть твоя пощадит, о царь: я ведь для тебя сильно утрашаю Русь и князя Дмитрия. И еще просим тебя, о царь, оба раба твоих, Олег Рязанский и Ольгерд Литовский, обиду приняли мы великую от этого великого князя Дмитрия Ивановича, и как бы мы в своей обиде твоим именем царским ни грозили ему, а он и в том не тревожится. И еще, господии наш царь, город мой Коломну себе он захватил — и о том о всем, о царь, жалобу приносим тебе".

И другого тоже послал скоро своего вестника князь Олег Рязанский со своим письмом, написано же в грамоте так: "К великому князь Ольгерду Литовскому — радоваться великою радостью! Известно ведь, что издавна ты замышлял на великого князя Дмитрия Ивановича Московского, чтобы изгнать его из Москвы и самому завладеть Москвою. Ныне же, княже, настало наше время, ибо великий царь Мамай грядет на него и на землю его. Теперь же, княже, мы оба присоединимся к царю Мамаю, ибо знаю я, что царь даст тебе город Москву, да и другие города, что поближе к твоему княжеству, а мне даст город Коломну, да Владимир, да Муром, которые к моему княжеству поближе стоят. Я же послал своего гонца к царю Мамаю с великою честью и со многими дарами, так же и ты пошли своего гонца и, что у тебя есть из даров, то пошли ты к нему, грамоты свои написав, а как — сам знаешь, ибо больше меня понимаешь в том".

Князь же Ольгерд Литовский, прознав про все это, очень рад был высокой похвале друга своего князя Олега Рязанского. И отправляет он быстро посла к царю Мамаю с великими дарами и подарками для царских забав. А пишет свои грамоты так: "Восточному великому царю Мамаю! Князь Ольгерд Литовский, присягавший тебе, умоляет тебя! Слышал я, господин, что хочешь наказать свой удел, своего слугу, московского князя Дмитрия. Потому и молит тебя, свободный царь, раб твой, что великую обиду наносит князь Дмитрий Московский улуснику твоему князю Олегу Рязанскому, да и мне также большой вред причиняет. Господин царь свободный Мамай! Пусть придет власть твоего правления теперь и в наши места, пусть обратится, о царь, твой взор на притеснения наши от московского князя Дмитрия Ивановича".

Помышляли же про себя, говорят так, Олег Рязанский и Ольгерд Литовский: "Когда услышит князь Дмитрий о приходе царя, и ярости его, и о нашем союзе с ним, то убежит из Москвы в Великий Новгород, или на Белоозеро, или на Двину, а мы сядем в Москве и в Коломне. Когда же царь придет, мы его с большими дарами встретим и с великою честью и умолим его, и возвратится царь в свои владения, а мы княжество Московское по царскому велению разделим меж собою — то к Вильне, а то к Рязани, и даст нам царь Мамай ярлыки свои и потомкам нашим после нас". Не ведали ведь, что замышляют и что говорят, как несмышленные малые дети, не ведающие божьей силы и господнего предначертания. Ибо воистину сказано: "Если кто к богу веру с добрыми делами и правду

в сердце держит и на бога упование возлагает, то того человека господь не отдаст врагам в поношение и на осмеяние".

Государь же князь великий Дмитрий Иванович, мирный человек, образцом был смиренномудрия, небесной жизни желал, ожидая от бога грядущих вечных благ, не ведая того, что на него замышляют злой заговор ближние его друзья. О таких ведь пророк и сказал: "Не сотвори ближнему своему зла и не рой, не копай врагу своему ямы, но на бога творца надейся. Господь бог может оживить и умертвить".

Пришли же послы к царю Мамаю от Ольгерда Литовского и от Олега Рязанского и принесли ему большие дары и письменные послания. Царь же принял дары благосклонно и письма и, заслушав грамоты и послов почтя, отпустил и написал ответ такой: "Ольгерду Литовскому и Олегу Рязанскому. За дары ваши и за восхваление ваше, ко мне обращенное, каких захотите от меня владений русских, теми и отдарю вас. А вы мне клятву дайте и скорее идите ко мне, и одолейте своего недруга. Мне ведь ваша помощь не очень нужна: если бы я теперь пожелал, то своею силою великою я бы и древний Иерусалим покорил, как прежде халдеи. Теперь же почести от вас хочу: моим именем царским и угрожаньем, а вашею клятвой и рукою вашею разбит будет князь Дмитрий Московский, и грозным станет имя ваше в странах ваших моею угрозой. Ведь если мне, царю, предстоит победить царя, подобного себе, то мне подобает и надлежит и царскую честь получить. Вы же теперь идите от меня и передайте князьям своим слова мои".

Послы же, возвратясь от царя к своим князьям, сказали им так: "Царь Мамай желает вам здоровья и очень за восхваление ваше великое к вам благорасположен". Те же, скудные умом, порадовались суетному привету безбожного царя, не ведая того, что бог дает власть, кому пожелает. Теперь же — одной веры, одного крещения, а с безбожным соединились, чтобы вместе преследовать православную веру Христову. О таких ведь пророк сказал: "Воистину сами себя отсекли от доброго масличного древа и привились к дикой маслине". Князь же Олег Рязанский стал торопиться, отправлять к Мамаю послов, говоря: "Выступай, царь, скорее на Русь". Ибо говорит великая мудрость: "Путь несчастливых погибнет, ибо собирают на себя досаду и поношение". Ныне же этого Олега окаянного новым Святополком назову.

И прослышал князь великий Дмитрий Иванович, что надвигается на него безбожный царь Мамай со многими ордами и со всеми силами, неустанно ярясь на христиан и на Христову веру и завидуя безумному Батыю, князь великий Дмитрий Иванович сильно опечалился от нашествия безбожных. И, став перед святою иконою господня образа, что в изголовье его стояла, и упав на колени свои, начал молиться и сказал: "Господи! Я, грешный, смею ли молиться тебе, смиренный раб твой? Но к кому обращу печаль мою? Лишь на тебя надеюсь, господи, и вознесу печаль мою. Ты же, господи, царь, владыка, светодатель, не сотвори нам, господи, того, что отцам нашим, наведя на них и на их города злого Батыя, ибо еще и сейчас, господи, тот страх и трепет великий в нас живет. И ныне, господи, царь, владыка, не до конца прогневайся на нас, знаю ведь, господи, что из-за меня, грешного, хочешь всю землю нашу погубить; ибо я согрешил пред тобою больше всех людей.

Сотвори мне, господи, за слезы мои, как Иезекии, и укроти, господи, сердце свирепому этому хищнику!" Поклонился и сказал: "На господя уповал — и не погибну". И послал за братом своим, за князем Владимиром Андреевичем, в Боровск, и за всеми князьями русскими скорых гонцов разослал, и за всеми воеводами наместными, и за детьми боярскими, и за всеми служилыми людьми. И повелел им быстро быть у себя в Москве. Князь же Владимир Андреевич прибыл скоро в Москву, и все князья и воеводы. А князь Дмитрий Иванович, взяв брата своего, князя Владимира Андреевича, пришел к преосвященному митрополиту Киприану и сказал ему: "Знаешь ли, отче наш, предстоящее нам испытание это великое, — ведь безбожный царь Мамай движется на нас, неумолимую ярость в себе распаляя?" И митрополит отвечал великому князю: "Поведай мне, господин мой, чем ты пред ним провинился?" Князь же великий сказал: "Проведал я, отче, все верно, что все по заветам наших отцов, и даже еще больше, выплатил дани ему".

Митрополит же сказал: "Видишь ли, господин мой, попущением божьим из-за наших грехов идет он полонить землю нашу, но вам надлежит, князьям православным, тех нечестивых дарами насытить хотя бы и вчетверо. Если же и после того не смирится, то господь его усмирит, потому что господь гордым противится, а смиренным благодать дает. Так же случилось когда-то с Великим Василием в Кесарии: когда злой отступник Юлиан, идя на персов, захотел разорить город его Кесарию, Василий Великий помолился со всеми христианами господу богу и собрал много золота и послал к нему, чтобы утолить жадность этого преступника. А тот, окаянный, сильнее разъярился, и господь послал на него воина своего Меркурия уничтожить его. И невидимо пронзен был в сердце нечестивый, жизнь свою жестоко окончил. Ты же, господин мой, возьми золота, сколько есть у тебя, и пошли навстречу ему и еще оправдайся пред ним".

Князь же великий Дмитрий Иванович послал к нечестивому царю Мамаю избранного юношу своего, по имени Захарий Тютчев, испытанного по уму и нраву, дав ему много злата и двух переводчиков, знающих татарский язык. Захарий же, дойдя до земли Рязанской и узнав, что Олег Рязанский и Ольгерд Литовский присоединились к поганому царю Мамаю, послал быстро вестника тайно к великому князю.

Князь же великий Дмитрий Иванович, услышав ту весть, восскорбел сердцем, и исполнился ярости и печали, и начал молиться: "Господи боже мой, на тебя надеюсь, правду любящего. Если мне враг вред наносит, то следует мне терпеть, ибо искони он — ненавистник и враг роду христианскому; но вот же эти мои друзья близкие так замыслили против меня. Рассуди же, господи, нас, я ведь им никакого зла не причинил, разве дары и почести от них принимал, но и им в ответ я также дарил. Суди же, господи, по правде моей, пусть прекратится злоба грешных".

И, взяв брата своего, князя Владимира Андреевича, пошел во второй раз к преосвященному митрополиту и поведал ему, как Ольгерд Литовский и Олег Рязанский соединились с Мамаем на нас. Преосвященный же митрополит сказал: "А сам ты, господин, не нанес ли какой обиды им обоим?" Князь же великий прослезился и сказал: "Если я перед богом грешен или перед людьми, то перед ними ни единой черты не преступил по закону отцов своих. Ибо знаешь и сам, отче, что доволен я своими переделами, и им никакой обиды не нанес и не знаю, отчего преумножились против меня вредящие мне". Преосвященный же митрополит сказал: "Сын мой, господин князь великий, да осветятся веселием очи твоей души: закон божий почитаешь и творишь правду, так как праведен господь, и ты возлюбил правду, ныне же окружили тебя как псы многие, суетны и тщетны их попытки, ты же именем господним обороняйся от них. Господь справедлив и будет тебе верным помощником. А от всевидящего ока господня где можно скрыться от твердой руки его?"

А князь великий Дмитрий Иванович с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, и со всеми русскими князьями и воеводами задумали, как сторожевую заставу крепкую устроить в поле, и послали в заставу лучших своих и твердых воинов: Родиона Ржевского, Андрея Волосатого, Василия Тупика, Якова Ослябятева и других с ними твердых воинов. И повелел им на Тихой Сосне сторожевую службу нести со всяким усердием и ехать к Орде и языка добыть, чтобы узнать истинные намерения царя.

А сам князь великий по всей Русской земле быстрых гонцов разослал со своими грамотами по всем городам: "Будьте же все готовы идти на мою службу, на битву с безбожными половцами, агарянами. Соединимся все в Коломне на Успение святой богородицы".

И так как сторожевые отряды задержались в степи, князь великий вторую заставу послал: Климентия Полянина, Ивана Святославича Свесланина, Григория Судакова и других с ними, приказав им скорее возвращаться. Те же встретили Василия Тупика: ведет языка к великому князю, язык же из людей царского двора, из сановных мужей. И сообщает он великому князю, что неотвратимо Мамай надвигается на Русь и что сослались друг с

другом и соединились с ним Олег Рязанский и Ольгерд Литовский. А не спешит царь оттого идти — осени ожидает.

Услышав же от языка такое известие об этом нашествии безбожного царя, великий князь стал утешаться в бже и призывал к твердости брата своего, князя Владимира, и всех князей русских, говоря: "Братья князя русские, из рода мы все князя Владимира Святославича Киевского, которому открыл господь познать православную веру, как и Евстафию Плакиде; просветил он всю землю Русскую святым крещением, извел нас от мучений языческих и заповедал нам ту же веру святую твердо держать, и хранить, и биться за нее. Если кто за нее пострадает, тот в будущей жизни ко святым первомученикам за веру Христову причислен будет. Я же, братья, за веру Христову хочу пострадать даже и до смерти". Они же ему ответили все согласно, будто одними устами: "Воистину ты, государь, исполнил закон божий и последовал евангельской заповеди, ибо сказал господь: "Если кто пострадает имени моего ради, то после воскресения сторицей получит жизнь вечную". И мы, государь, сегодня готовы умереть с тобою и головы свои положить за святую веру христианскую и за твою великую обиду".

Князь же великий Дмитрий Иванович, услышав это от брата своего, князя Владимира Андреевича, и от всех князей русских, что решаются за веру сразиться, повелел всему войску своему быть у Коломны на Успение святой богородицы: "Тогда пересмотрю полки и каждому полку воеводу назначу". И все множество людей будто одними устами сказало: "Дай же нам, господи, решение это исполнить имени твоего ради святого".

И пришли к нему князя белозерские, готовы они к бою и крепко снаряжено войско их: князь Федор Семенович, князь Семен Михайлович, князь Андрей Кемский, князь Глеб Каргопольский и апдомские князья; пришли и ярославские князья со своими полками: князь Андрей Ярославский, князь Роман Прозоровский, князь Лев Курбский, князь Дмитрий Ростовский и прочие многие князья.

Тут же, братья, стук стучит и будто гром гремит в славном городе Москве, а то идет сильная рать великого князя Дмитрия Ивановича, и гремят русские сыны своими золочеными доспехами.

Князь же великий Дмитрий Иванович, взяв с собою брата своего, князя Владимира Андреевича, и всех князей русских, поехал к Живоначальной Троице на поклон к отцу своему духовному, преподобному старцу Сергию, благословение получить от святой той обители. И упросил его преподобный игумен Сергей, чтобы прослушал он святую литургию, потому что был тогда день воскресный и чтилась память святых мучеников Флора и Лавра. По окончании же литургии просил его святой Сергей со всею братею, великого князя, чтобы вкусил он хлеба в доме Живоначальной Троицы, в обители его. Великий же князь был в тягости, ибо пришли к нему вестники, что уже приближаются поганые половцы, и просил он преподобного, чтобы его отпустил. И ответил ему преподобный старец: "Это твое промедление двойным для тебя поспешением обернется. Ибо не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, но через несколько лет, а для многих других теперь уж венцы плетутся". Князь же великий вкусил у них хлеба, а игумен Сергей в то время велел воду освящать с мощей святых мучеников Флора и Лавра. Князь же великий быстро от трапезы встал, и преподобный Сергей окропил его священной водою и все христоролюбивое его войско, и осенил великого князя крестом Христовым — знаменем на челе. И сказал: "Пойди, господин, на поганых половцев, призывая бога, и господь бог будет тебе помощником и заступником". И добавил ему тихо: "Победишь, господин, супостатов своих, как и подобает тебе, государь наш". Князь же великий сказал: "Дай мне, отче, двух воинов из своей братии — Пересвета Александра и брата его Андрея Ослябю, тем ты и сам нам поможешь". Старец же преподобный велел тем обоим быстро сготовиться, идти с великим князем, ибо были они известными в сражениях ратниками, не одно нападение встретили. Они же тотчас послушались преподобного старца и не отказались от его повеления. И дал он им вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов

золоченых возлагать их на себя. И передал их в руки великого князя и сказал: "Вот тебе мои воины, а твои избранники". И сказал им: "Мир вам, братья мои, твердо сражайтесь, как славные воины за веру Христову и за все православное христианство с погаными половцами!" И осенил Христовым знаменем все войско великого князя — мир и благословение.

Князь же великий возвеселился сердцем, но никому не поведал, что сказал ему преподобный Сергей. И пошел он к славному своему городу Москве, радуясь, словно сокровище непохищаемое получил, благословиению святого старца. И, вернувшись в Москву, пошел с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, к преосвященному митрополиту Киприану, и говорит одному митрополиту все, что сказал ему старец святой Сергей тайком, и какое благословение дал ему и всему его православному войску. Архиепископ же повелел эти слова сохранить в тайне, не говорить никому.

Когда же наступил четверг августа 27, день памяти святого отца Пимена Отшельника, в тот день решил князь великий выйти навстречу безбожным татарам. И, взяв с собою брата своего, князя Владимира Андреевича, стал в церкви святой Богородицы пред образом господним, приложив руки к груди, потоки слез проливая, молясь, и сказал: "Господи боже наш, владыко, великий, твердый, воистину ты — царь славы, помилуй нас, грешных, когда унываем, к тебе единому прибегаем, нашему спасителю и благодетелю, ибо твоею рукою созданы мы. Но знаю я, господи, что согрешения мои уже покрывают главу мою; и теперь не оставь нас, грешных, не отступи от нас. Суди, господи, притесняющих меня и оборони от борющихся со мною; примп, господи, оружие и щит и стань на помощь мне. Дай же мне, господи, победу над моими врагами, пусть и они познают славу твою". И затем приступил к чудотворному образу госпожи богородицы, который Лука-евангелист, будучи жив, написал, и сказал: "О чудотворная госпожа богородица, всему роду человеческому заступница, ибо благодаря тебе познали мы истинного бога нашего, воплотившегося и рожденного тобою. Не отдай же, госпожа, в разорение городов наших поганым половцам, да не осквернят святых твоих церквей и веры христианской. Умоли, госпожа богородица, сына своего Христа, бога нашего, чтобы смирил он сердце врагам нашим, да не будет рука их над нами. И ты, госпожа пресвятая богородица, пошли нам свою помощь и нетленную свою ризую покрой нас, чтобы не страшились мы ран, на тебя ведь надеемся, ибо твои мы рабы, Знаю же я, госпожа, если захочешь, — поможешь нам против злобных врагов, этих поганых половцев, которые не призывают твоего имени; мы же, госпожа пречистая богородица, на тебя надеемся и на твою помощь. Ныне выступаем против безбожных язычников, поганых татар, умоли же ты сына своего, бога нашего". И потом пришел к гробу блаженного чудотворца Петра митрополита, сердечно к нему припадая, сказал: "О чудотворный святитель Петр, по милости божьей непрестанно творишь чудеса. И теперь настало время тебе за нас молиться общему владыке всех, царю и милостивому спасителю. Ибо теперь на меня ополчились супостаты поганые и на город твой Москву готовят оружие. Тебя ведь господь показал последующим поколениям нашим и возжег тебя нам, светлую свечу, и поставил на подсвечнике высоком светить всей земле Русской. И тебе ныне подобает о нас, грешных, молиться, чтобы не нашла на нас рука смерти и рука грешника не погубила нас. Ты ведь — страж наш твердый от вражеских нападений, ибо твоя мы паства". И, окончив молитву, поклонился преосвященному митрополиту Киприану, архиепископ же благословил его, и отпустил идти против поганых татар, и осенил его Христовым знаменем — крестом на челе, и послал богосвященный клир свой с крестами и со святыми иконами и со священной водою во Фроловские ворота и в Никольские, и в Константиноеленские, чтобы каждый воин вышел благословенным и святою водою окропленным.

Князь же великий Дмитрий Иванович с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, пошел в церковь небесного воеводы архистратига Михаила и бил челом святому образу его, а потом приступил к гробам православных князей, прародителей своих, так слезно говоря: "Истинные охранители, русские князья, православной веры

христианской поборники, родители наши! Если имеете дерзновение предстать пред Христом, то помолитесь теперь о нашей горе, ибо великое нашествие грозит нам, детям вашим, так теперь помогите нам". И, это сказав, он вышел из церкви.

Княгиня же великая Евдокия, и княгиня Владимира Мария, и других православных князей княгини, и многие жены воевод, и боярыни московские, и жены слуг тут стояли, провожая, от слез и кликов сердечных не могли и слова сказать, свершая прощальное целование. И остальные княгини и боярыни и жены слуг так же отдали своим мужьям последнее целование и вернулись вместе с великой княгиней. Князь же великий, сам едва удержась от слез, не стал плакать при народе, а в сердце своем очень плакал, утешая свою княгиню, и сказал: "Жено, если бог за нас, то кто против нас!"

И сел на лучшего своего коня, и все князья и воеводы сели на коней своих.

Солнце ему на востоке ясно сияет, путь ему показывает. Тогда ведь как соколы сорвались с золотых колодок из каменного града Москвы, и взлетели под синие небеса, и возгремели своими золотыми колокольцами, и захотели ударить на большие стада лебединые и гусиные; то братья, не соколы вылетели из каменного града Москвы, то выехали русские удалыцы со своим государем, с великим князем Дмитрием Ивановичем, а наехать захотели на великую силу татарскую.

Князья же белозерские отдельно со своим войском выехали; изготовленным выглядит войско их.

Князь же великий отпустил брата своего, князя Владимира, дорогою на Брашево, а белозерских князей — Болвановскою дорогою, сам же великий князь пошел дорогою на Котел. Впереди ему солнце ярко сверкает, а вслед ему тихий ветерок веет. А потому разлучился князь великий с братом своим, что не поместиться им было на одной дороге. Княгиня же великая Евдокия со своею невесткою, княгинею Владимира Марией, и с воеводскими женами и с боярынями вошла в златоверхий свой терем в набережный и села на рундуке под стекольчатými окнами. Ибо уже в последний раз видит великого князя, слезы, проливая, как речной поток. С великою печалью, сложив руки свои у груди своей, говорит: "Господи боже мой, вышний творец, взгляни на мое смирение, удостой меня, господи, увидеть вновь моего государя, славнейшего среди людей великого князя Дмитрия Ивановича. Дай же ему, господи, помощь от своей твердой руки, чтобы победил вышедших на него поганых половцев. И не допусти, господи, того, что за много лет до этого было, когда страшная битва была на Калке меж русскими князьями и погаными половцами, агарянами; и теперь избавь, господи, от подобной беды и спаси, и помилуй! Не дай же, господи, погибнуть сохранившемуся христианству, да славится имя твое святое в Русской земле! Со времени той калкской беды и страшного побоища татарского и ныне еще Русская земля в печали, и нет уже у нее надежды ни на кого, только на тебя, всемилостивого бога, ибо ты можешь оживить и умертвить. Я же, грешная, имею теперь двух наследников, еще молоденьких очень, князя Василия и князя Юрия: когда припечет их ясное солнце с юга или ветер повеет к западу — ни того, ни другого не смогут еще вынести. Что же тогда я, грешная, поделаю? Так возврати им, господи, отца их, великого князя, здоровым, тогда и земля их спасется, и они всегда будут царствовать".

Князь же великий отправился, захватив с собой мужей знатных, московских купцов сурожан, десять человек как свидетелей: что бы бог ни устроил, а они расскажут в дальних странах как купцы знатные, и были: первый Василий Капица, второй Сидор Алферьев, третий Константин Петунов, четвертый Кузьма Ковря, пятый Семен Антонов, шестой Михаил Саларев, седьмой Тимофей Весяков, восьмой Дмитрий Черный, девятый Дементий Саларев, десятый Иван Шиха.

И двигался князь великий Дмитрий Иванович по большой широкой дороге, а за ним выступают русские сыны спешно, будто идут медвяные чаши пить и гроздья виноградные есть, хотят себе чести добыть и славного имени: уже ведь, братья, стук стучит и гром гремит на ранней заре, князь Владимир Андреевич Москву-реку переходит на добром перевозе под Боровском.

Князь же великий пришел к Коломну в субботу, в день памяти святого отца Моисея Эфиопа. Тут уже были многие воеводы и воины и встретили его на речке на Северке. Архиепископ же коломенский Геронтий встретил великого князя в воротах городских с живоносными крестами и со святыми иконами со всем своим клиром и осенил его живоносным крестом и молитву сотворил "Спаси, боже, люди твоя".

Наутро же князь великий повелел выехать всем воинам на поле к Девичью монастырю. В святое же воскресение после заутрени начали многих труб боевых голоса звучать, и литавры многие бить, и знамена шумят расшитые — у сада Панфилова.

Сыновья же русские вступили в обширные поля коломенские, так что нельзя и вместиться огромному войску, и невозможно было никому взором окинуть рати великого князя. Князь же великий, выехав на возвышенное место с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, видя великое множество людей снаряженных, возрадовался и назначил каждому полку воеводу. Себе же князь великий взял в войско белозерских князей, а на правую руку назначил брата своего, князя Владимира, и дал ему в полк ярославских князей, а на левую руку от себя назначил князя Глеба Брянского. Передовой же полк Дмитрия Всеволодовича да брата его Владимира Всеволодовича с коломенцами — воевода Николай Васильевич, владимирский же воевода и юрьевский — Тимофей Волуевич, а костромской воевода — Иван Квашня Родионович, переяславский же воевода — Андрей Серкизович. А у князя Владимира Андреевича воеводы: Данило Белеут, Константин Кононов, князь Федор Елецкий, князь Юрий Мещерский, князь Андрей Муромский.

Князь же великий, разделив полки, повелел им Оку-реку переходить и приказал каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдет по Рязанской земле, то не коснитесь ни единого волоса!" И, взяв благословение от архиепископа коломенского, князь великий перешел реку Оку со всеми силами и отправил в поле третью заставу, лучших своих витязей, чтобы они сошлись с заставами татарскими в степи: Семена Мелика, Игнатия Крена, Фому Тынина, Петра Горского, Карпа Олексина, Петрушку Чурикова и других многих с ними удалых наездников.

Сказал же князь великий брату своему князю Владимиру: "Поспешим, брате, навстречу безбожным язычникам, поганым татарам и не отвернем лица своего от бесстыдства их, а если, брате, и смерть нам суждена, то не без пользы, не без смысла для нас эта смерть, но для жизни вечной". А сам государь князь великий, путем едучи, призывал родственников своих на помощь — святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

Прослышал же то князь Олег Рязанский, что князь великий соединился со многими силами и следует навстречу безбожному царю Мамаю, да к тому же вооружен твердо своею верою, которую на бога вседержителя, высшего творца, со всею надеждой возлагает. И начал остерегаться Олег Рязанский и с места на место переходить с единомышленниками своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было послать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, что не следует русским князьям на восточного царя подниматься, а теперь — как все это понять? И откуда князю помощь такая пришла, что смог против нас трех подняться?"

Отвечали ему бояре его: "Нам, княже, сообщили из Москвы за 15 дней до сего, но мы побоялись тебе передать о том, что в вотчине его, близ Москвы, живет монах, Сергием зовут, весьма прозорлив он. Тот больше вооружил его и из своих монахов дал ему "помощников". Услышав же то, князь Олег Рязанский испугался и на бояр своих осердился и разъярился: "Почему мне не поведали до сих пор? Тогда бы я послал к нечестивому царю и умолил его, и никакое бы зло не приключилось! Горе мне, потерял я разум свой, но не я один ослабел умом, но и больше, чем я, разумный Ольгерд Литовский; но, однако, он почитает веру латинскую Петра Гугнивого, я же, окаянный, познал истинный закон божий! И на чем я ошибся? И сбудется со мною сказанное господом: "Если раб, зная закон господина своего, нарушит его, бит будет сильно". Ибо ныне что натворил? Зная закон

бога, сотворившего небо и землю и всю тварь, присоединился ныне к нечестивому царю, решившему попать закон божий! И теперь какому своему неразумному помыслу вверил себя? Если бы теперь великому князю помощь я предложил, то никак он не примет меня — ибо узнал об измене моей. Если же присоединюсь к нечестивому царю, то воистину стану как древний гонитель Христовой веры, и тогда поглотит меня земля живьем, как Святополка: не только княжения лишен буду, но и жизни лишусь и брошен буду в геенну огненную мучиться. Если же господь за них, то никто против них. Да еще и молитва всегда за него прозорливого того монаха! Если же никому из них помощи не окажу, то впредь как смогу устоять от обоих? А теперь я так думаю: кому из них господь поможет, к тому и я присоединюсь!"

Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, собрал литовцев много, и варягов, и жмуди и пошел на помощь Мамаю. И пришел к городу Одоеву, но, прослышав, что князь великий собрал великое множество воинов, всю русь и словен, и пошел к Дону против царя Мамаю, прослышав также, что Олег испугался, — и стал тут с тех пор неподвижно, и начал понимать тщетность своих помыслов, о союзе своем с Олегом Рязанским теперь сожалел, стал метаться и негодовать, говоря: "Если человеку не хватает своего ума, то напрасно чужого ума ищет: никогда ведь не бывало, чтобы Литву поучала Рязань! Ныне же свел меня с ума Олег, а сам и пуще погиб. Так что теперь побуду я здесь, пока не услышу о московской победе".

В то же время прослышали князь Андрей Полоцкий и князь Дмитрий Брянский, Ольгердовичи, что великая беда и забота налегла на великого князя Дмитрия Ивановича Московского и все православное христианство от безбожного Мамаю. Были же те князья отцом своим, князем Ольгердом, нелюбимы из-за мачехи их, но ныне богом возлюблены были и святое крещение приняли. Были они, будто какие колосья плодовиые, сорняком подавляемые: живя среди нечестия, не могли плода достойного породить. И посылает князь Андрей к брату своему, князю Дмитрию, тайно письмо небольшое, в нем же написано так: "Знаешь, брат мой возлюбленный, что отец наш отверг нас от себя, но господь бог, отец наш небесный, сильней возлюбил нас и просветил нас святым крещением, дав нам закон свой — чтобы жить по нему, и отрешил нас от пустой суеты и от нечистой пищи; мы же теперь чем за то богу воздадим? Так устремимся, брате, на подвиг благой для подвижника Христа, источника христианства, пойдем, брате, на помощь великому князю Дмитрию Московскому и всем православным христианам, ибо большая беда наступила для них от поганных измаильтян, да еще и отец наш с Олегом Рязанским присоединились к безбожным и преследуют православную веру христианскую. Нам, брате, следует святое писание исполнить, говорящее: "Братья, в бедах отзывчивы будьте!" Не сомневайся же, брате, будто отцу мы противиться будем, ведь вот как евангелист Лука сказал устами господя нашего Иисуса Христа: "Преданы будете родителями и братьями и умрете за имя мое; претерпевший же до конца — тот спасется!" Выберемся, брате из давящего этого сорняка и привьемся к истинному плодовиитому Христову винограду, возделанному рукою Христовой. Теперь ведь, брате, устремляемся не земной ради жизни, но почести в небесах желая, которую господь дает творящим волю его".

Князь же Дмитрий Ольгердович, прочтя письмо брата своего старшего, возрадовался и заплакал от радости, говоря: "Владыко господи человеколюбец, дай же рабам твоим желание совершить таким путем подвиг этот благой, что открыл ты брату моему старшему!" И велел послу: "Скажи брату моему, князю Андрею: готов я сейчас же по твоему приказу, брате и господине. Сколько есть войска моего, то все вместе со мною, потому что по божьему промыслу собрались мы для предстоящей войны с дунайскими татарами. И еще скажи брату моему: слышал я также от пришедших ко мне сборщиков меда из Северной земли, говорят, что уже великий князь Дмитрий на Дону, ибо там дожидаться хочет злых сыроядцев. И нам следует идти к Северу и там соединиться: надо держать нам путь на Северу и таким путем утаимся от отца своего, чтобы не помешал нам постыдно".

Через несколько дней сошлись оба брата, как решили, со всеми силами в Северской земле и, свидясь, порадовались, как некогда Иосиф с Вениамином, видя у себя множество людей: бодры и снаряжены умелые ратники. И достигли быстро Дона, и догнали великого князя Дмитрия Ивановича Московского еще на этой стороне Дона, на месте, называемом Березуй, и тут соединились.

Князь же великий Дмитрий с братом своим Владимиром возрадовались радостью великою такой милости божьей: ведь невозможно столь просто такому быть, чтобы дети отца оставляли и перехитрили его, как некогда волхвы Ирода, и пришли нам на помощь. И, многими дарами почтив их, поехали своей дорогой, радуясь и славя святого духа, оставив все земные помыслы, ожидая себе бессмертного иного искупления. Сказал же им князь великий: "Братья мои милые, по какой нужде пришли вы сюда?" Они же ответили: "Господь бог послал нас к тебе на помощь". Князь же великий сказал: "Воистину ревнители вы праотца нашего Авраама, который быстро Лоту помог, и еще вы ревнители доблестного великого князя Ярослава, который отомстил за кровь братьев своих". И тотчас послал весть князь великий в Москву преосвященному митрополиту Киприану: "Ольгердовичи князя пришли ко мне со многими силами, а отца своего оставили". И вестник быстро добрался до преосвященного митрополита. Архиепископ же, прослышав о том, встал на молитву, говоря со слезами: "Господи владыко человеколюбец, ибо противные нам ветры в тихие превращаешь!" И писал во все соборные церкви и монастыри, повелел усердно молитвы творить день и ночь к вседержителю богу. И послал в монастырь к преподобному игумену Сергию, чтобы внял их молитвам бог. Княгиня же великая Евдокия, прослышав о том великом божьем милосердии, начала удвоенные милостыни творить и непрестанно пребывала в святой церкви, молясь день и ночь. Это же снова оставим и к прежнему возвратимся.

Когда князь великий был на месте, называемом Березуй, за двадцать три поприща от Дона, настал уже 5 день месяца сентября — день памяти святого пророка Захарии (в тот же день и убиение предка Дмитрия — князя Глеба Владимировича), и прибыли двое из его сторожевой заставы, Петр Горский да Карп Олексин, привели знатного языка из сановников царского двора. Тот язык сказывает: "Уже царь на Кузьмине гати стоит, но не спешит, поджидает Ольгерда Литовского и Олега Рязанского, о твоих же сборах царь не ведает и встречи с тобою не ожидает, по письмам от Олега, и через три дня должен быть на Дону". Князь же великий спросил его о силе царской, и тот ответил: "Несчетное множество войск его сила, никто их не сможет перечесть".

Князь же великий стал совещаться с братом своим и со вновь обретенною братьею, с литовскими князьями: "Здесь ли дальше останемся или Дон перейдем?" Сказали ему Ольгердовичи: "Если хочешь твердого войска, то прикажи за Дон перейти, чтобы не было ни у одного мысли об отступлении; о великой же силе не раздумывай, ибо не в силе бог, но в правде: Ярослав, перейдя реку, Святополка победил, прадед твой князь великий Александр, Неву-реку перейдя, короля победил, и тебе, призывая бога, следует то же сделать. И если разобьем врага, то все спасемся, если же погибнем, то все общую смерть примем — от князей до простых людей. Тебе же теперь, государю великому князю, нужно забыть о смерти, смелыми словами речь говорить, чтобы теми речами укрепилось войско твое: мы ведь видим, какое великое множество избранных витязей в войске твоём".

И князь великий приказал войску всему Дон переходить.

А в это время вестники поторапливают, ибо поганые приближаются татары. И многие сыны русские возрадовались радостью великою, чая желанного своего подвига, о котором они еще на Руси мечтали.

А за многие дни множество волков стекло на место то, воя страшно, непрерывно все ночи, предчувствуя грозу страшную. У храбрых людей в войсках сердца укрепляются, другие же люди в войсках, ту прослышав грозу, совсем приуныли: ведь небывалые рати собрались, безумолчно перекликаются, и галки своим языком говорят, и орлы, во множестве с устья Дона слетевшись, по воздуху летая, клекочут, и многие звери свирепо

воют, ожидая того дня грозного, богом predetermined, в который должны пасть тела человеческие: такое будет кровопролитие, будто вода морская. От того-то ведь страха и ужаса великие деревья преклоняются и трава пригибается.

Многие люди из обеих войск печалятся, предвидя свою смерть.

Начали же поганые половцы в великом унынии сокрушаться о конце своей жизни, потому что если умрет нечестивый, то исчезнет и память о нем с шумом. Правверные же люди еще и больше воссияют в радости, ожидая уготованного им чаяния, прекрасных венцов, о которых поведал великому князю преподобный игумен Сергей.

Вестники же поторапливают, ибо уже близко поганые подступают. А в шестом часу дня примчался Семен Мелик с дружиной своею, а за ними гналось множество татар. Так открыто гнались почти до нашего войска, что, лишь только русских увидев, возвратились быстро к царю и ему сообщили, что князья русские изготовились к бою у Дона. Ибо Божиим промыслом увидели великое множество людей снаряженных и сообщили царю:

"Князей русских войско вчетверо больше нашего скопища". Тот же нечестивый царь, распаленный дьяволом себе на пагубу, вскричав вдруг, заговорил: "Таковы мои силы, и если не одолею русских князей, то как возвращусь восвояси? Позора своего не перенесу".

И повелел поганым своим половцам готовиться к бою.

Семен же Мелик поведал князю великому: "Уже Мамай царь на Гусин брод пришел, и одна только ночь между нами, ибо к утру он дойдет до Непрядвы. Тебе же, государю великому князю, следует сейчас изготовиться, чтоб не застали врасплох поганые".

Тогда стал князь великий Дмитрий Иванович с братом своим, князем Владимиром Андреевичем, и с литовскими князьями Андреем и Дмитрием Ольгердовичами вплоть до шестого часа полки расставлять. Некий воевода пришел с литовскими князьями, именем Дмитрий Боброк, родом из Волынской земли, который знатным был полководцем; хорошо он расставил полки по достоинству, как и где кому подобает стоять.

Князь же великий, взяв с собою брата своего князя Владимира и литовских князей и всех князей русских и воевод и въехав на высокое место, увидел образа святых, шитые на христианских знаменах, что будто какие светильники солнечные, светящиеся в ясную погоду; и стяги их золоченые шумят, расстилаясь как облаки, тихо трепеща, словно хотят промолвить, богатыри же русские и их хоругви точно живые колышутся, доспехи же русских сынов будто вода, что при ветре струится, шлемы золоченые на головах их, словно заря утренняя в ясную погоду, светятся, яловцы же шлемов их, как пламя огненное, колышутся.

Горестно же видеть и жалостно зреть на подобное русских собрание и устройство их, ибо все единодушны, один за одного, друг за друга хотят умереть, и все единогласно говорят: "Боже, с высоты взгляни на нас и даруй православному князю нашему, как Константину, победу, брось под ноги ему врагов амаликитян, как некогда кроткому Давиду". Всеми этому дивились литовские князья, говоря себе: "Не было ни до нас, ни при нас, ни после нас не будет такого войска устроенного. Подобно оно Александра, царя македонского, войску, мужеством подобны Гедеоновым всадникам, ибо господь своей силою вооружил их!"

Князь же великий, увидев свои полки достойно устроенными, сошел с коня своего и пал на колени свои прямо перед большого полка багряным знаменем, на котором вышит образ владыки господа нашего Иисуса Христа, из глубины души стал взывать громогласно: "О владыко вседержитель! Взгляни проницательным оком на этих людей, что твою десницею созданы и твою кровью искуплены от служения дьяволу. Вслушайся, господи, в звучанье молитв наших, обрати лицо на нечестивых, которые творят зло рабам твоим, И ныне, господи Иисусе Христе, молюсь и поклоняюсь образу твоему святому и пречистой твоей матери и всем святым, угодившим тебе, и крепкому и неборимому заступнику нашему и молебнику за нас, к тебе, русский святитель, новый чудотворец Петр! На милость твою надеюсь, господи, дерзаем призывать и славить святое и прекрасное имя твое, отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков! Аминь".

Окончив молитву и сев на коня своего, стал он по полкам ездить с князьями и воеводами и каждому полку говорил: "Братья мои милые, сыны русские, все от мала и до велика! Уже, братья, ночь наступила, и день грозный приблизился — в эту ночь бодрствуйте и молитесь, мужайтесь и крепитесь, господь с нами, сильный в битвах. Здесь оставайтесь, братья, на местах своих, без смятения. Каждый из вас пусть теперь изготавится, утром ведь уже невозможно будет так приготавиться: ибо гости наши уже приближаются, стоят на реке Непрядве, у поля Куликова изготавились к бою, и утром нам с ними пить общую чашу, друг другу передаваемую, ее ведь, друзья мои, мы еще на Руси возжелали. Ныне, братья, уповайте на бога живого, мир вам со Христом, так как утром не замедлят на нас пойти поганые сыродцы".

Ибо уже ночь наступила светоносного праздника Рождества святой богородицы. Потому что осень тогда задержалась и днями светлыми еще радовала, то была и в ту ночь теплынь большая и очень тихо, и туманы от росы встали. Ибо истинно сказал пророк "Ночь не светла для неверных, а для верных она просветленная".

И сказал Дмитрий Волынец великому князю: "Хочу, государь, в ночь эту приметку свою проверить", — а уже заря померкла. Когда наступила глубокая ночь, Дмитрий Волынец, взяв с собою великого только князя, выехал на поле Куликово и, став между двумя войсками и поворотясь на татарскую сторону, услышал стук громкий, и клик, и вопль, будто торжища сходятся, будто город строится, будто гром великий гремит; с тылу же войска татарского волки воют грозно весьма, по правой стороне войска татарского вороны кличут и гомон птичий, громкий очень, а по левой стороне будто горы шатаются — гром страшный сильно; по реке же Непрядве гуси и лебеди крыльями плещут, небывалую грозу предвещаая. И сказал князь великий Дмитрий Волынцу: "Слышим, брате, гроза страшная очень". И ответил Волынец: "Призывай, княже, бога на помощь!"

И повернулся он к войску русскому — и была тишина великая. Спросил тогда Волынец: "Видишь ли что-нибудь, княже?" Тот же ответил: "Вижу: много огненных зорь поднимается..." И сказал Волынец: "Радуйся, государь, добрые это знаменья, только бога призывай и не оскудевай верою!"

И снова сказал: "И еще у меня есть приметка, чтобы проверить". И сошел с коня и приник к земле правым ухом на долгое время. Поднявшись, поник и вздохнул тяжело. И спросил князь великий: "Что там, брат Дмитрий?" Тот же молчал и не хотел говорить ему, а князь великий долго понуждал его. Тогда он сказал: "Ибо одна тебе на пользу, другая же — к скорби. Услышал я землю, рыдающую двояко: одна же эта сторона, точно какая-то женщина, страшно рыдает о детях своих на чужом языке, другая же сторона, будто какая-то дева, вдруг вскрикнет громко печальным голосом, точно в свирель какую, так что горестно слышать очень. Я ведь до этого много теми приметками битв проверил, оттого теперь и рассчитываю на милость божию — молитвою святых страсотерпцев Бориса и Глеба, родичей ваших, и прочих чудотворцев, русских хранителей, я жду поражения поганых татар. А твоего христоролюбивого войска много падет, но, однако, твой верх, твоя слава будет".

Услышав же это, князь великий прослезился и сказал: "Господу богу все возможно: всех нас дыхание в его руках!" И сказал Волынец: "Не следует тебе, государю, этого войску рассказывать, но только каждому воину прикажи богу молиться и святых его угодников призывать на помощь. И рано утром прикажи им сесть на коней своих, каждому воину, и вооружиться крепко и крестом осенить себя: это ведь и есть оружие на противников, которые утром свидятся с нами".

В ту же ночь некий муж, по имени Фома Кацибей, разбойник, поставлен был в охранение великим князем на реке на Чурове: за мужество его доверили охрану от поганых. Его исправляя, бог удостоил его в ночь эту видеть видение дивное. На высоком месте стоя, увидел он облако, с востока идущее, большое очень, будто какие войска к западу шествуют. С южной же стороны пришли двое юношей, одетые в светлые багряницы, лица их сияли, будто солнце, в обеих руках у них острые мечи, и сказали предводителям

татарским: "Кто вам велел истребить отечество наше, которое нам господь даровал?" И начали их рубить и всех порубили, ни один от них не спасся. Тот же Фома с тех пор целомудрен и разумен, уверовав, а о том видении рассказал наутро одному великому князю. Князь же великий сказал ему: "Не говори того, друже, никому, — и, воздев руки к небу, стал плакать, говоря: — Владыко господи человеколюбец! Молитв ради святых мучеников Бориса и Глеба помоги мне, как Моисею на амаликитян, и старому Ярославу на Святополка, а прадеду моему великому князю Александру на похваляющегося короля римского, захотевшего разорить отечество его. Не по грехам моим воздай же мне, но излей на нас милость свою, простри на нас милосердие свое, не дай нас в посмех врагам нашим, чтобы не издевались над нами враги наши, не говорили страны неверных: "Где же бог, на которого они так надеялись?" Но помоги, господи, христианам, ими ведь славится имя твое святое!"

И отослал князь великий брата своего, князя Владимира Андреевича, вверх по Дону в дубраву, чтобы там затаился полк его, дав ему лучших знатоков своего двора, удалых витязей, твердых воинов. А еще с ним отправил знаменитого своего воеводу Дмитрия Волынского и многих других.

Когда же настал, месяца сентября на 8 день, великий праздник Рождества святой богородицы, на рассвете в пятницу, когда всходило солнце и туманное утро было, начали христианские стяги развиваться и трубы боевые во множестве звучать. И вот уже русские кони взбодрились от звука трубного, и каждый воин идет под своим знаменем. И радостно было видеть полки, выстроенные по совету твердого воеводы Дмитрия Боброка Волынца. Когда же наступил второй час дня, начали звуки труб у обоих войск возноситься, но татарские трубы словно онемели, а русские трубы громче загремели. Полки же еще не видят друг друга, ибо утро туманное. А в это время, братья, земля стонет страшно, грозу великую предрекая на восток вплоть до моря, а на запад до самого Дуная, огромное же то поле Куликово прогибается, а реки выступали из берегов своих, потому что никогда не было столько людей на месте том.

Когда же князь великий пересел на лучшего коня, поехал по полкам и говорил в великой печали сердца своего, то слезы потоками текли из очей его: "Отцы и братья мои, господа ради сражайтесь и святых ради церквей и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная, и ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим ведь, и тогда венцами победными увенчает Христос бог, спаситель душ наших".

Укрепив полки, снова вернулся под свое знамя багряное и сошел с коня и на другого коня сел, и сбросил с себя одежду царскую и в другую оделся. Прежнего же коня своего отдал Михаилу Андреевичу Бренку и ту одежду на него воздел, потому что любил его сверх меры, и то знамя багряное повелел оруженосцу своему над Бренком возить. Под тем знаменем и убит был вместо великого князя.

Князь же великий стал на месте своем и, вынув с груди своей живоносный крест, на котором были изображены страсти Христовы и в котором находился кусочек живоносного древа, восплакал горько и сказал: "Лишь на тебя надеемся, живоносный господень крест, тем же образом явившийся греческому царю Константину, когда он вышел на бой с нечестивыми и чудесным твоим видом победил их. Ибо не могут поганые нечестивые половцы твоему образу противостоять, так, господи, и покажи милость свою на рабе твоём!"

В это же время пришел к нему посланный с грамотами от преподобного старца игумена Сергия, а в посланье написано: "Великому князю и всем русским князьям, и всему православному войску мир и благословение!" Князь же великий, выслушав писание преподобного старца и расцеловав посланного с любовью, тем письмом укрепился, будто какими твердыми бронями. А еще дал посланный старец от игумена Сергия хлебец пречистой богородицы, князь же великий съел хлебец святой и простер руки свои, вскричав громогласно: "О великое имя всесвятой троицы, о пресвятая госпожа

богородица, помоги нам молитвами той обители и преподобного игумена Сергия; Христе боже, помилуй и спаси души наши!"

И сел на лучшего своего коня и, взяв копьё свое и палицу железную, выехал из рядов, хотел раньше всех сам сразиться с погаными от великой печали души своей, за свою великую обиду и за святые церкви и веру христианскую. Многие же русские богатыри, удержав его, помешали ему, говоря: "Не следует тебе, великому князю, прежде всех самому в бою биться, тебе следует в стороне стоять и на нас смотреть, а нам нужно биться и мужество свое и храбрость перед тобой показать: если тебя господь спасет милостью своею, то ты будешь знать, кого чем наградить. Мы же готовы все в этот день головы свои положить за тебя, государь, и за святые церкви, а за православное христианство. Ты же должен, великий князь, рабам своим, насколько кто заслужит своей головой, поминанье устроить, как Леонтий царь Федору Тирону, в книги соборные записать наши имена, чтобы помнили русские сыны, которые после нас будут. Если же тебя одного погубим, то от кого нам и ждать, что по нам поминание устроит? Если все спасемся, а тебя одного оставим, то какой нам успех? И будем как стадо овечьё, не имеющее пастыря, влечься по пустыне, а набежавшие дикие волки рассеют их, и разбегутся овцы кто куда. Тебе, государь, следует себя спасти, да и нас".

Князь же великий прослезился и сказал: "Братья мои милые, русские сыны, доброй вашей речи я не могу ответить, а только благодарю вас, ибо вы воистину благие рабы божьи. Ведь хорошо вы знаете о мучении Христова страстотерпца Арефы. Когда его мучили, и приказал царь вести его на люди и мечом зарубить, доблестные его друзья, один перед другим торопясь, каждый из них свою голову палачу под меч преклоняет вместо Арефы, вождя своего, понимая славу поступка своего. Арефа же вождь сказал воинам своим: "Так знайте, братья мои, у земного царя не я ли больше вас почтен был, земную славу и дары приняв! Так и ныне впереди идти подобает мне также к небесному царю, и голове моей первую быть отсеченной, а точнее — увенчанной". И, подступив, палач отрубил голову его, а потом и воинам его отрубил головы. Так же и я, братья. Кто больше меня из русских сынов почтен был и благое беспрестанно принимал от господя? А ныне злое пришло на меня, неужели не смогу я претерпеть: ведь из-за меня одного все это воздвиглось. Не смогу я видеть вас, побеждаемых, и все, что потом, не смогу снести, потому и хочу с вами ту же общую чашу испить и тою же смертью умереть за святую веру христианскую! Если умру — с вами, если спасусь — с вами!"

И вот уже, братья, в то время полки ведут: передовой полк ведет князь Дмитрий Всеволодович да брат его, князь Владимир Всеволодович, а с правой руки полк ведет Николай Васильевич с коломенцами, а с левой руки полк ведет Тимофей Волуевич с костромичами. Многие же полки поганных бредут со всех сторон: от множества войска нет им места, где соступиться. Безбожный же царь Мамай, выехав на высокое место с тремя князьями, наблюдает людское кровопролитие.

Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег из большого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трех сажен ширина его. И увидел его Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: "Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!" И был на голове его куколь, вооружен он схимою по повелению игумена Сергия. И сказал: "Отцы и братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли бога за меня! Чаду моему Якову — мир и благословение!" Бросился на печенег и добавил: "Игумен Сергий, помоги мне молитвою!" Печенег же устремился навстречу ему, и христиане все воскликнули: "Боже, помоги рабу своему!" И ударились крепко коньями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались.

Когда же настал третий час дня, увидев его, князь великий произнес: "Вот уже гости наши приблизились и передают друг другу круговую чашу, первые уже испили ее, и возвеселились, и уснули, ибо уже время пришло и час настал храбрость свою каждому

показать". И стегнул каждый воин своего коня и воскликнули все единогласно: "С нами бог!" — и еще: "Боже христианский, помоги нам!", а поганые татары своих богов стали призывать.

И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга уничтожая, не только от оружия, но и от большой тесноты под конскими копытами испускали дух, ибо невозможно было вместиться на том поле Куликове: было поле то тесное, между Доном и Мечею. На том ведь поле сильные войска сошлись, из них выступали кровавые зори, а в них трепетали сверкающие молнии от блеска мечей. И был шум и гром великий от треска копий и от ударов мечей, так что нельзя было в этот горестный час оглядеть никак это свирепое побоище. Ибо в один только час, в мгновение ока, о сколько тысяч погибло душ человеческих, созданий божьих! Воля господня свершается: час, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой твердо бьются неослабно христиане с погаными половцами.

Когда же настал седьмой час дня, по божьему попущению и за наши грехи начали поганые одолевать. Вот уже из знатных мужей многие перебиты, богатыри же русские и воеводы, и удалые люди, будто деревья дубравные, клонятся к земле под конские копыта: многие сыны русские сокрушены. И самого великого князя ранили сильно и с коня его сбросили, он с трудом выбрался с поля, ибо не мог уже биться, и укрылся в чаще и божьею силою сохранен был. Много раз стяги великого князя подсекали, но не истребили их: божьею милостью они еще больше укрепились.

Это мы слышали от верного очевидца, который находился в полку Владимира Андреевича, он поведал великому князю, говоря: "В шестой час этого дня видел я, как над вами разверзлось небо, из которого вышло облако, будто багряная заря над войском великого князя, скользя низко. Облако же то было наполнено руками человеческими, и те руки распростерлись над великим полком как бы проповеднически или пророчески. В седьмой час дня облако то много венцов держало и опустило их на войско, на головы христиан". Поганые же стали одолевать, а христианские полки поредели — уже мало христиан, а все поганые. Увидев же такую гибель русских сынов, князь Владимир Андреевич не смог сдержаться и сказал Дмитрию Волынец: "Так какая же польза в стоянии нашем? Какой успех у нас будет? Кому нам пособлять? Уже наши князья и бояре, все русские сыны жестоко погибают от поганых будто трава клонится!" И ответил Дмитрий: "Беда, княже, велика, но еще не пришел наш час: начинающий раньше времени вред себе принесет; ибо колосья пшеничные подавляются, а сорняки растут и буйствуют над благорожденными. Так что немного потерпим до времени удобного и в тот час воздадим по заслугам противникам нашим. Ныне только повели каждому воину богу молиться прилежно и призывать святых на помощь, и с этих пор снизойдет благодать божья и помощь христианам". И князь Владимир Андреевич, воздев руки к небу, прослезился горько и сказал: "Боже, отец наш, сотворивший небо и землю, помоги народу христианскому! Не допусти, господи, порадоваться врагам нашим победе, мало накажи и много помилуй, ибо милосердие твое бесконечно". Сыны же русские в его полку горько плакали, видя друзей своих, поражаемых погаными, непрестанно порывались в бой, словно званные на свадьбу сладкого вина испить. Но Волынец запрещал им это, говоря: "Подождите немного, буйные сыны русские, наступит ваше время, когда вы утешитесь, ибо есть вам с кем повеселиться!"

И вот наступил восьмой час дня, когда ветер южный потянул из-за спины нам, и воскликнул Волынец голосом громким: "Княже Владимир, наше время настало, и час удобный пришел! — и прибавил: — Братья мои, друзья, смелее: сила святого духа помогает нам!"

Соратники же друзья выскочили из дубравы зеленой, словно соколы испытанные сорвались с золотых колодок, бросились на бескрайние стада откормленные, на ту великую силу татарскую; а стяги их направлены твердым воеводою Дмитрием Волынцем; и были они, словно Давидовы отроки, у которых сердца будто львиные, точно лютые волки на овечьи стада напали и стали поганых татар сечь немилосердно.

Поганые же половцы увидели свою погибель, закричали на своем языке, говоря: "Увы нам, русь снова перехитрила, младшие с нами бились, а лучшие все сохранились!" И повернули поганые, и показали спины, и побежали. Сыны же русские, силою святого духа и помощью святых мучеников Бориса и Глеба, разгоняя, посекали их, точно лес вырубали, будто трава под косою подстиляется за русскими сынами под конские копыта. Поганые же на бегу кричали, говоря: "Увы нам, чтимый нами царь Мамай! Вознесся ты высоко — и в ад сошел ты!" И многие раненые наши и те помогали, посекая поганых без милости: один русский сто поганых гонит.

Безбожный же царь Мамай, увидев свою погибель, стал призывать богов своих: Перуна и Салавата, и Ракля и Хорса, и великого своего пособника Мохаммеда. И не было ему помощи от них, ибо сила святого духа, точно огонь, пожигает их.

И Мамай, увидев новых воинов, что точно лютые звери скакали и разрывали будто овечье стадо, сказал своим: "Бежим, ибо ничего доброго нам не дожидаться, так хотя бы головы свои унесем!" И тотчас побежал поганый Мамай с четырьмя мужами в излучину моря, скрежеща зубами своими, плача горько, говоря: "Уже нам, братья, в земле своей не бывать, а жен своих не ласкать, а детей своих не видеть, ласкать нам сырую землю, целовать нам зеленую мураву, и с дружиной своей уже нам не видеться, ни с князьями, ни с боярами!" И многие погнались за ними и не догнали их, потому что кони их утомились, а у Мамаи свежи кони его, и ушел от погони.

И это все случилось милостью бога всемогущего и пречистой матери божьей и молением и помощью святых страстотерпцев Бориса и Глеба, которых видел Фома Кацибей разбойник, когда в охраненье стоял, как уже написано выше. Некоторые же гнались за татарами и, когда всех добились, возвращались, каждый под свое знамя.

Князь же Владимир Андреевич стал на костях под багряным знаменем. Страшно, братья, зреть тогда и жалостно видеть и горько взглянуть на человеческое кровопролитье — как морская вода, а трупов человеческих — как сенные стога: быстрый конь не может скакать, и в крови по колено брели, а реки три дня кровью текли.

Князь же Владимир Андреевич не нашел брата своего, великого князя, на поле, но только литовских князей Ольгердовичей, и приказал трубить в сборные трубы. Подождал час и не нашел великого князя, начал плакать и кричать, и по полкам ездить сам стал и не сыскал, и говорил всем: "Братья мои, русские сыны, кто видел или кто слышал пастыря нашего и начальника?" И добавил: "Если пастух погиб — и овцы разбегутся. Для кого эта честь будет, кто победителем сейчас предстанет?"

И сказали литовские князья: "Мы думаем, что жив он, но ранен тяжело; что, если среди мертвых трупов лежит?" Другой же воин сказал: "Я видел его в седьмом часу твердо бьющимся с погаными палицею своею". И еще один сказал: "Я видел его позже того: четыре татарина напали на него, он же твердо бился с ними". Некий князь, именем Стефан Новосильский, тот сказал: "Я видел его перед самым твоим приходом, пешим шел он с побоища, израненный весь. Оттого не мог я ему помочь — преследовали меня три татарина, и милостью божьей едва от них спасся, а много зла от них принял и очень измучился".

Князь же Владимир сказал: "Братья и други, русские сыны, если кто в живых брата моего сыщет, тот воистину первым будет среди нас!" И рассыпались все по великому, могучему и грозному полю боя, ищучи победы победителя. И некоторые нашли убитого Михаила Андреевича Бренка: лежит в одежде и в шлеме, что ему дал князь великий; другие же нашли убитого князя Федора Семеновича Белозерского, сочтя за великого князя, потому что похож был на него.

Два же каких-то воина отклонились на правую сторону в дубраву, один именем Федор Сабур, а другой Григорий Холопищев, оба родом костромичи. Чуть отъехали от места битвы и нашли великого князя, избитого и израненного и утомленного, когда лежал он в тени срубленного дерева березового. И увидели его и, слезши с коней, поклонились ему;

Сабур же тотчас вернулся поведать о том князю Владимиру и сказал: "Князь великий Дмитрий Иванович жив — и царствует в веки!"

Все же князья и воеводы, прослышав об этом, быстро устремились и пали в ноги ему, говоря: "Радуйся, князь наш, подобный прежнему Ярославу, новый Александр, победитель врагов: этой же победы честь тебе принадлежит". Князь же великий едва проговорил: "Что там, поведайте мне". И сказал князь Владимир: "Милостью божией и пречистой его матери, помощью и молитвами сродников наших, святых мучеников Бориса и Глеба, и молитвами русского святителя Петра и пособника нашего и помощника игумена Сергия, — и тех всех святых молитвами враги наши побеждены, мы же спаслися".

Князь же великий, услышав это, встал и сказал: "Сей день сотворил господь, возрадуемся и возвеселимся, люди!" И еще сказал: "В сей день господень веселитесь, люди!" Велик ты, господи, и дивны дела твои все: вечером вселится плач, а наутро — радость!" И опять сказал: "Благодарю тебя, господи боже мой, и почитаю имя твое святое за то, что не отдал нас врагам нашим и не дал похвалиться тем, кто замыслил на меня злое: так суди их, господи, по делам их, я же, господи, надеюсь на тебя!"

И привели ему коня и, сев на коня и выехав на великое, страшное и грозное место битвы и увидев в войске своем убитых очень много, а поганых татар вчетверо больше того убитых, и, обратись к Волынцу, сказал: "Воистину, Дмитрий, не лжива примета твоя, подобает тебе всегда воеводою быть".

И стал с братом своим и с оставшимися князьями и воеводами ездить по месту битвы, восклицая от боли сердца своего и слезами обливаясь, и сказал: "Братья, русские сыны, князья и бояре, и воеводы, и слуги боярские! Судил вам господь бог такую смертью умереть. Положили вы головы свои за святые церкви и за православное христианство". И немного погодя доехал до места, на котором лежат убитые вместе князья белозерские: настолько твердо бились, что один за одного погибли. Тут же поблизости лежит убитый Михаил Васильевич; став же над ними, над любезными воеводами, князь великий начал плакать и говорить: "Братья мои князья, сыны русские, если имеете смелость пред богом, помолитесь за нас, ибо знаю, что послушает вас бог, чтобы вместе с вами у господа бога быть!"

И дальше поехал на другое место и нашел своего наперсника Михаила Андреевича Бренка, а около него лежит стойкий страж Семен Мелик, поблизости от них Тимофей Волуевич убит. Став же над ними, князь великий прослезился и сказал: "Брате мой возлюбленный, из-за сходства со мною убит ты. Какой же раб так может господину сослужить, как не тот, кто ради меня сам на смерть добровольно идет? Воистину древнему Авису подобен, который был в войске Дария Персидского и так же, как ты, поступил". Так как лежал тут и Мелик, сказал князь над ним: "Стойкий мой страж, крепко охраняем я твоею стражею". Приехал же и на другое место, увидел Пересвета монаха, а перед ним лежит поганый печенег, злой татарин, будто гора, и тут же вблизи лежит знаменитый богатырь Григорий Капустин. Повернулся князь великий к своим и сказал: "Видите, братья, зачинателя своего, ибо этот Александр Пересвет, помощник наш, благословленный игуменом Сергием, и победил великого, сильного, злого татарина, от которого испили бы многие люди смертную чашу".

И, отъехав на новое место, повелел он трубить в сборные трубы, созывать людей. Храбрые же витязи, достаточно испытав оружие свое над погаными половцами, со всех сторон бредут под трубный звук. Шли весело, ликуя, песни пели: те пели богородичные, другие — мученические, иные же — псалмы, — все христианские песни. Каждый воин едет, радуясь, на звук трубы.

Когда же собрались все люди, князь великий стал посреди них, плача и радуясь: об убитых плачет, а о здоровых радуется. Говорил же: "Братья мои, князья русские и бояре поместные, и служилые люди всей земли! Подобает вам так послужить, а мне — по достоинству восхвалить вас. Если же сбережет меня господь и буду на своем престоле, на великом

княжении, в граде Москве, тогда по достоинству одарю вас. Теперь же вот что сделаем: каждый ближнего своего похороним, да не будут зверям на съедение тела христианские". Стоял князь великий за Доном на костях восемь дней, пока не отделили христиан от нечестивых. Тела христиан в землю погребли, а нечестивых тела брошены зверям и птицам на растерзание.

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: "Сосчитайте, братья, скольких воевод нет, скольких служилых людей". Говорит боярин московский, именем Михаил Александрович, а был он в полку у Николая у Васильевича, счетчик был гораздый: "Нет у нас, государь, 40 бояр московских, да 12 князей белозерских, да 13 бояр посадников новгородских, да 50 бояр Новгорода Нижнего, да 40 бояр серпуховских, да 20 бояр переславских, да 25 бояр костромских, да 35 бояр владимирских, да 50 бояр суздальских, да 40 бояр муромских, да 33 бояр ростовских, да 20 бояр дмитровских, да 70 бояр можайских, да 60 бояр звенигородских, да 15 бояр угличских, да 20 бояр галичских, а младшим дружинникам и счета нет; но только знаем: погубило у нас дружины всей двести пятьдесят тысяч и три тысячи, а осталось у нас дружины пятьдесят тысяч".

И сказал князь великий: "Слава тебе, высший творец, царь небесный, милостивый Спас, что помиловал нас, грешных, не отдал нас в руки врагам нашим, поганым сыроядцам. А вам, братья, князья и бояре, и воеводы, и младшая дружина, русские сыны, суждено место гибели: между Доном и Днепром, на поле Куликове, на речке Непрядве. Положили вы головы свои за землю Русскую, за веру христианскую. Простите меня, братья и благословите в сей жизни и в будущей!" И плакал долгое время, и сказал князьям и воеводам своим: "Поедем, братья, в свою землю Залесскую, к славному граду Москве, вернемся в свои вотчины и дедины: чести мы себе добыли и славного имени!"

Поганый же Мамай тогда сбежал с поля боя, достиг города Кафы и, утаив свое имя, вернулся в свою землю, не желая стерпеть, видя себя побежденным, и посрамленным, и поруганным. И снова гневался, сильно ярься и еще зло замышляя на Русскую землю, словно лев рыкая и будто неуголимая гадюка. И, собрав оставшиеся силы свои, снова хотел набегом идти па Русскую землю. И когда он так замыслил, внезапно пришла к нему весть, что царь по имени Токтамыш с востока, из самой Синей Орды, идет на него. И Мамай, который изготовил войско для похода на Русскую землю, с тем войском пошел против царя Токтамыша. И встретились на Калке, и был между ними бой большой. И царь Токтамыш, победив царя Мамаю, прогнал его. Мамаевы же князья и союзники, и есаулы, и бояре били челом царю Токтамышу. И принял тот их, и захватил Орду, и сел на царстве. Мамай же убежал снова в Кафу один; утаив свое имя, скрывался здесь, и опознан был каким-то купцом, и тут убит был итальянцами, и так зло потерял свою жизнь. Об этом же кончим здесь.

Ольгерд же Литовский, прослышав, что князь великий Дмитрий Иванович победил Мамаю, возвратился восвояси со стыдом великим. Олег же Рязанский, узнав, что хочет князь великий послать на него войско, испугался и убежал из своей вотчины с княгиней и с боярами; рязанцы же били челом великому князю, и князь великий посадил в Рязани своих наместников.⁵¹

51 Текст публикуется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 149—173 (перевод В.В. Колесова). Ученые спорят об обстоятельствах и времени создания "Сказания". А.А. Шахматов полагал, что вскоре после Куликовской битвы в окружении удельного серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича возникло так называемое "Слово о Мамаевом побоище", которое не сохранилось, но повлияло на "Сказание о Мамаевом побоище" и "Задонщину". Л.А. Дмитриев датировал первоначальный вид "Сказания" первой четвертью XV века. М.Н. Тихомиров считал, что этот памятник возник в кругах, близких к князю Владимиру Андреевичу, вскоре после 1382 года и, возможно, был составлен самим митрополитом Киприаном. И.Б. Греков принял точку зрения М.Н. Тихомирова и уточнил, что "Сказание" относится к 90-м годам XIV века. А.А. Зимин отнес время создания произведения к гораздо более позднему времени — к концу XV века. Это мнение разделяет В.А. Кучкин, сумевший найти дополнительные аргументы, подтверждающие датировку "Сказания" 1476—1490-ми годами. Р.Г. Скрынников, используя доводы А.А. Шахматова и Л.А. Дмитриева, связал возникновение "Сказания" с уделом Владимира Андреевича, куда входил и Троице-Сергиев монастырь, и предположил, что именно там в 20—30-х годах XV века был

Отечественная война 1812 года

В. Ф. Малиновский. Рассуждение о мире и войне

I. Привычка к войне и мнение о необходимости оной

Довольно кратка наша жизнь и исполнена премногих неизбежных зол. Должны ль мы сами оную сокращать и ко многим бедам, неразлучным с нами по человечеству, присовокупить еще войну, которая есть зло самопроизвольное и соединение всех зол в свете. Привычка нас делает ко всему равнодушными. Ослеплены оною, мы не чувствуем всей лютости войны. Если же бы можно было, освободившись от сего ослепления и равнодушия, рассмотреть войну в настоящем виде, мы бы поражены были ужасом и прискорбием о несчастиях, ею причиняемых. Война заключает в себе все бедствия, коим человек по природе может подвергнуться, соединяя всю свирепость зверей с искусством человеческого разума, устремленного на пагубу людей. Она есть адское чудовище, которого следы повсюду означаются кровию, которому везде последует отчаяние, ужас, скорбь, болезни, бедность и смерть. Лишая народы спокойствия, безопасности, благоденствия, она рано или поздно причиняет их совершенное падение. Свидетели тому Египет, знаменитый своею мудростию, Греция -- мать наук, Рим -- отечество многих великих людей, соперница его -- богатая Карфагена, и многия государства и народы, которые истреблены войною.

составлен первоначальный вид "Сказания", отредактированный в 1476—1490 гг., поэтому наблюдения В.А. Кучкина, считает Р.Г. Скрынников, характеризуют не время создания памятника в целом, а лишь время его литературного редактирования. И все же более обоснованной представляется точка зрения А.А. Зимина и В.А. Кучкина. Ссылка автора "Сказания" на свидетельства "самовидца... от полку Владимира Андреевича" недостоверна: "самовидец" рассказал автору "Сказания" не о подробностях битвы, а то, что написано в житии Александра Невского: "небо разверзлось", и оттуда на головы воинов-христиан опустились венцы славы. Все прочие доводы в пользу датировки "Сказания" концом XIV — первой четвертью XV века строятся на том допущении, будто прославление Владимира Андреевича, братьев Ольгердовичей, Боброка, бояр Всеволожских, митрополита Киприана могло быть необходимо лишь при их жизни или вскоре после их смерти. Однако средневековые книжники далеко не всегда руководствовались подобными прагматическими соображениями, чему пример — неумеренное прославление митрополита Киприана в так называемой Киприановской редакции "Сказания", возникшей в 1526—1530 гг., через 150 лет после Куликовской битвы. Автор "Сказания" воссоздавал события 1380 года, дополнял их всеми доступными ему подробностями, писал о славных деяниях героев Куликова поля не затем, чтобы противопоставить их другим победителям Мамаю, а, опираясь на историю русско-ордынских отношений, искал обоснование их нового этапа — свержения ордынского ига. У нас нет оснований расслаивать единую ткань "Сказания" на ранний и позднейший пласты, как это делает Р.Г. Скрынников, поэтому считаем, что все позднейшие реалии "Сказания" присутствовали в его первоначальном тексте. Ошибка автора в имени жены Владимира Андреевича (он назвал ее Марией, а нужно: Елена) делает невозможным предположение, будто в окружении Владимира создавалось "Сказание": там, как нигде, должны были знать членов семьи удельного князя. В "Сказании" упоминаются "дети боярские" — мелкие и средние феодалы; этот термин вошел в употребление не ранее 30-х годов XV века. В.А. Кучкин обратил внимание на то, что упоминаемые в "Сказании" Константино-Еленинские ворота Кремля получили это имя после 1476 года, а прежде назывались Тимофеевскими. А.Л. Хорошкевич обнаружила позднейшие элементы лексики "Сказания", например, слова "служебник", "оток" (владение, земля), известные не ранее 80—90-х годов XV века. "Сказание" было составлено в 80—90-х годах XV века в церковных кругах, возможно, в Троице-Сергиевом монастыре. Автор почерпнул сведения о событиях столетней давности из Пространной летописной повести 1425 года, жития Сергия Радонежского, синодика павших на Куликовом поле и из краткой редакции "Задонщины".

Первоначальный вид "Сказания" представлен основной редакцией. На основании одного из вариантов этой редакции в 1499—1502 годах возникла так называемая летописная редакция "Сказания", составленная, возможно, дьяками пермского епископа Филофея в городке Усть-Выми или в Вологде. В 1526—1530 годах (дата определена Б.М. Клоссом) на материале другого варианта основной редакции митрополитом Даниилом или его сотрудниками была создана Киприановская редакция "Сказания". В конце XVI — начале XVII века возникла распространенная редакция "Сказания". Текст этой последней редакции был использован С.П. Бородиным в романе "Дмитрий Донской".

Время нам оставить сие заблуждение и истребить зло, подкрепляемое наиболее всего невежеством. Европа, ныне достигшая просвещения, человеколюбия, которые дают ей неоспоримые преимущества перед прочими частями света, должна показать опыт оных чрез восстановление и утверждение общего и неразрывного мира между собою. Войны, которыми она непрестанно разоряется, не соответствуют ни человеколюбию, ни просвещению. Они могли быть извинительны для наших предков, когда они погружены были в варварстве и не знали другой славы, кроме той, чтобы разорять и убивать. Мы думаем соединить просвещение и тихость наших нравов с варварством войны, сохраняя в оной человеколюбие и умеренность, несвойственные грубым народам, но сие человеколюбие и сия умеренность не более помогают лютостям войны, как и человеколюбие и мягкосердие палача, которые, заставляя его облегчить несколько страдания наказуемых, не препятствуют ему мучить и умерщвлять оных. Стыдно нам обманываться таковыми рассуждениями. Мы должны совсем оставить войну, чтобы показать, что мы действительно не варварские обычаи имеем.

Исключая привычку, мнение о необходимости войны есть причина нашей беспечности о истреблении оной и терпения нашего в рассуждении се бедствий. Многие люди довольно уверены, что война есть великое зло, но в то же время думают, она необходима. Сие мнение о необходимости, успокаивающее человека во всех его несчастиях, заставляет нас терпеливо сносить и бедствия войны и почитать все старания о истреблении оной тщетными. Сие мнение о необходимости войны делает ее наиболее необходимою.

Сохранение общего и неразрывного мира в Европе почитается невозможным, и потому не помышляют об оном. Люди думают, что без войны не могут жить оттого, что войны всегда издавна были; но продолжительность зла не доказывает необходимость оногo...

...Европейцы еще не сделали для истребления войны никакой попытки. Мир, какой они между собою делают толь же часто, как и войну, не достоин сего наименования, он есть токмо отдых от войны и может справедливее назваться перемирием, заключенным без означения срока. Ибо государства и народы между тем не только что политически и тайно воюют между собою, но и явно готовятся и умножают свои силы, чтобы начать войну с большею жестокостию.

Впрочем, когда было помышлять о истреблении войны, недавно еще европейцы ослеплены были до крайности славою завоеваний и не имели понятия о истинном благосостоянии государств. Странное дело! Они старались узнать, как управляется весь мир, не зная, как управляется наша малая планета. Когда варварство и беспорядок царствовали еще в Европе, тогда уж были Тихобраг и Коперник. Европейцы считали звезды, составляли созвездия животных и думали, что они мудрые народы. Дух их парил в превыспренности; чтобы прожить счастливо в своей планете прежде переселения в любимыя их звезды, они почитали за необходимо нужное заниматься глубокомысленными рассуждениями о бесполезных метафизических тонкостях.

Праздные толпы монахов, которых благоденствие зависело от невежества народов, питали оное, и большая часть людей воздавали нелепое почтение тем роскошнейшим и богатейшим монахам, которые сделали бога мира богом войны и обратили священный его закон в орудие своих страстей. Жестокие их повеления заставляли почитать войну и разорение народов средствами к спасению.

Вся Европа стонала под игом постыднейшего суеверия; самые государи страдали от него и со всюю своею властию не могли пособить сему злу.

Мы теперь только удивляемся или смеемся ослеплению и жестокости своих предков, но кто тогда смел восстать против суеверия? Оно почиталось неразлучно соединенным с истинною верою. Все, которые разнились в мнении о господствующей вере, почитались проклятыми, заблужденными и несчастными, которых убивать вменялось за угождение богу. Подобно сему теперь война кажется непременно соединенною с благосостоянием народов, каждый соседственный народ почитается естественным врагом другого, и убийством и разорением оногo приобретает слава.

Находя себя ныне просвещеннейшими, мы думаем, что не имеем никаких недостатков, и те, кои, будучи слишком велики, не могут избежать нашего примечания, мы называем необходимыми. Так свойственно всем векам ошибаться в своем заблуждении!

Просвещение не осталось без действия в гражданском управлении народов. Но в общем управлении между собою европейцы остались при своем варварстве. Решение споров между народами в нынешние времена подобно решению частных споров в прежние варварские времена, когда законы были недостаточны и частные споры решались мечом и огнем.

Не лучше сего народы, заспорив между собою, причиняют взаимно друг другу всевозможные несчастья до тех пор, покуда и правый, не в состоянии будучи оные сносить, принужден бывает уступить свои права. Война есть величайший недостаток нашего просвещения, тем более достойный внимания, что более несчастий причиняет, нежели сколько оных могли причинить домашние и гражданские неурядицы в те варварские времена.

Просвещение должно распространить наши виды и показать нам, что благоденствие каждого государства неразлучно с общим благоденствием Европы. Когда честные люди захотят разделить свои особенные выгоды, от пользы общественных, тогда и сами не будут счастливы, и общество, в котором они живут, не будет благоденственно. Покуда европейцы не ограничат общенародным постановлением все частные свои выгоды, они всегда так, как теперь, будут делать себя и других несчастными.

Войны их между собою столь же непозволительны и вредны им всем вообще, как междуусобные вражды баронов в прежние века, которые причиняли самим себе и всему отечеству вред для кратких и ненадужных польз или для удовлетворения страстей.

Европа довольно уже приготовлена к миру. Закон, нравы, науки и торговля соединяют ее жителей и составляют уже из нее некоторый род особенного общества. Даже и языки, отделяющие один народ от другого, не делают важного препятствия в обхождении ее жителей; оные большею частию сходственны между собою, и некоторые из них могут служить всеобщими для европейцев.

Многие европейцы одного происхождения, и все почти перемешаны. Они б должны стыдиться почитать друг друга неприятелями. Они все имеют многие добродетели, достойные почтения и подражания. Имя европейца долженствовало б быть общее всем народам просвещеннейшей в свете страны и почтенно во всех народах прочих частей света.

Можно надеяться, что наступит сие блаженное время, когда Европа подобно одному отечеству всех ее жителей не будет более терзаема войнами. Но для чего мы будем отсрочивать сие блаженство? для чего не остановим мы тотчас бедствия войны? или мы не довольно еще оных испытали? или еще есть люди, которые думают, что война полезна? Рассмотрим их мнения.

II. Мнимые пользы войны

Некоторые говорят, что если б не было войны, то люди столько б умножились, что бы земля не могла их уместить и содержать. Сие мнение доказывает, что война есть весьма действительное средство предупредить размножение людей, но, впрочем, оно не достойно возражения, ибо вследствие оного должно бы радоваться всякому бедствию, истребляющему род человеческой. Посему и морская язва не есть зло, и не токмо не должно стараться о средствах к пресечению оного, но и должно почитать за благополучие распространение оной. По сему мнению, также напрасно в нынешние времена ввели в употребление прививание оспы, ибо оными спасаются многие тысячи людей, которые бы без того могли погибнуть в младенчестве, не имея времени умножить род человеческой. Короче сказать, мы были б слишком снисходительны к нашему потомству, если б не перестали убивать друг друга из опасения, что им не будет места, где жить. Оставим это

на их благоразумие, они, конечно, найдут еще довольно места, где жить, и средство содержать себя.

Против общего мира в Европе, может, иначе скажут, что оный будет для нее пагубен в рассуждении других частей света, потому что, привыкнув к миру, она потеряет свою силу и сделается добычею своих соседей. Но с наблюдением мира в Европе не разумеется пренебрежение военного искусства, которое нам всегда доставит преимущество над другими народами...

Итак, вся Европа вообще не имеет никакой пользы в войнах, но составляющие оную разные державы думают находить пользу в оных для того, что ими могут увеличиться и удовлетворить свое честолюбие.

Увеличение государства почитается выгодою войны; но мы видим по опыту, что многие государства, увеличившись войнами, опять оными же упали. Посему и не должны ль прочие, старающиеся по примеру их увеличиться, ожидать себе подобной участи? Могут ли они думать, что одинаковые причины не будут всегда производить одинаковые действия? Оное увеличение государства чрез войны весьма часто есть первый шаг к его падению.

Сила и могущество государства и твердость оно не зависят ни от пространства его владений, ни от множества людей, которые оно может приобрести войнами. Сие увеличение токмо по-видимому и на короткое время делает государства могущественнее, но в самом деле споспешествует их падению. Они сильны иль слабы по сравнению. Будучи средственны, они бывают сильны в рассуждении средственных или слабых; сделавшись велики, они не сделаются сильнее прежнего, ибо тогда должны сравниться с большими и сильнейшими. Притом они в сем состоянии величества начинают иметь более честолюбия, более неприятелей и более случаев к истощению своей силы. Между тем, как бы оставаясь в природном своем положении и не вступая в сравнение с великими, они могли б беспрестанно получать приращение внутренних сил, которые истощаются чрез потерю людей, чрез издержки, употребляемые на приобретение завоеваний и на удержание оных.

Сию истину доказывают многие европейские державы, которые из малых сделались велики, потом из великих сделались весьма слабы и возвратились из несвойственного им величества в природное свое состояние, истощенное, однако ж, непомерным напряжением их сил...

Дания владела некогда Швециею, Но сие величество ее кончилось разорением и упадком, Швеция не столь давно была одна из сильнейших держав и некогда была причиною страха для всей Европы; но величество сие, основанное на завоеваниях, оными же и упало. Оно служило к уменьшению ее внутренней силы и могущества. Когда завоевания увеличили сие государство, оно начало мешаться в европейские дела и иметь войны с сильнейшими державами. Покоренные города и провинции, умножив собою число соседей и неприятелей Швеции, не могли подавать помощь, соразмерную умножившимся от того нуждам в людях и деньгах. Напротив того, сие государство без сего увеличения не претерпело бы столько, но беспрестанно приращалось бы в народе и было б сильно само собою. То же можно сказать и об Испании, которая, истощив внутреннюю свою настоящую силу, потеряла, однако ж, приобретенные завоеваниями Нидерланды, Португалию и знатную часть Италии, Приобретения через войны подобны высоким пристройкам, несоразмерным основанию здания. Они отваливаются сами и подвергают все здание опасности разрушения.

Надежнейшая сила государства есть сила народа, собственно оное составляющего. Народ составляют не токмо единоначалие, но одна окружность земли, одна вера, один язык, одни выгоды, одни иль сходные обычаи и нравы. Привязанность, которую люди, соединенные природными отношениями, имеют между собою предпочтительно перед прочими, составляет узел народов. Завоевания могут присовокупить к государству целый народ или часть оно, тогда будут они соподданные; обращение к вере или случайная оной

одинаковость может споспешествовать соединению завоеванных народов, но различие языка, нравов и обычаев будет всегда препятствовать тесному их соединению и оставлять некоторую холодность и неприязнь, умножаемые противоположением выгод или неравенством оных. Склонность к независимости или желание присоединиться к прежней власти навсегда останется и будет иметь со временем свое действие.

В заключение сего надлежит припомнить, что в нынешние времена завоевания трудны и невозможны почти. Если же удастся кому немногие маловажные приобретения сделать, то оные производят ревность во всех других державах и непрестанные покушения в неприятеле возвратить оные. Часто государства, получив приобретения через одну войну, теряют оные через другую. Часто для соблюдения одной провинции разоряется целое государство.

Впрочем, увеличение хотя бы и не сопряжено было с толь опасными следствиями, однако ж не долженствует быть важным предметом государственного правления; оно не делает народ благоденственнее. Вся польза, какую оно имеет, есть только в удовлетворении честолюбия.

Некоторые народы имеют тщеславие почитать себя первыми в Европе своею силою; сие тщеславие заражает и дворы их, они присваивают себе первенство и поверхность в делах. Таковые дворы наиболее неприятностей должны бывать сносить, ибо, когда гордость бывает с одной стороны, тогда с другой бывает желание унижить.

Таковое тщеславие какого-либо двора бывает иногда не следствие его силы, но следствие свойств государя и тем опаснее, когда преемники его, почитая за долг поддерживать оное и не имея при том тех же свойств, довершают разорение, которому положены бывают начала несоразмерным честолюбием.

Народы превозносятся и веселятся величием и важностию своего государства, но оные сами по себе не приобретают им никакого почтения и притом весьма дорого им стоят. Век Людовика XIV, бесспорно, был славнейший век французского двора, но оный в то же время может назваться железным веком Франции; среди веселия и торжества народ стонал от податей и помирал от голода, будучи сам несчастен, притом еще проклинаям был теми, которых он побеждал. Народы не могут точно знать о преимуществе и влиянии своего двора в европейских делах; оные закрыты политикою. Оттого многие из них думают, что двор их есть первый в Европе. В самом же деле ни один двор в Европе не может почитаться первым, сильнейшие из них шесть или семь имеют свои преимущества и недостатки. Разные случайные обстоятельства дают им иногда поверхность друг над другом, но она недолго продолжается: война или внутренние замешательства приводят государства в слабость, лишаящую оные прежнего веса в европейских делах; с тем оканчивается поверхность оных дворов, и горе им, ежели они употребляли оную во зло! Хотя война есть средство для народа узнать силу его двора, но он и тут не знает точно ни о выигрышах, ни о потерях своих, притом счастье войны весьма ненадежно. Часто знаменитейшим победам последуют поражения. Итак, ни слава войны, ни величество двора не составляют славы и величества народа. Хорошее правление, просвещение и личные свойства народов суть надежнейшие средства к приобретению славы и почтения. Англичане пользуются всеобщим в Европе уважением, сему они должны своим великим людям в добродетелях, благоустройству своего правления и личным своим свойствам. Французы прежде сего умели давать свой тон целой Европе и заставляли ее подражать себе, тому причиною прежние их личные свойства, особлива им свойственная острота разума, обходительность, живость и ловкость.

Народы наиболее всего обязаны бывают своею славою наукам и просвещению. Тщетно они будут превозноситься могуществом и победами своих дворов; оные ненадежны, непродолжительны и могут их сделать только известными, но никогда не сделают их почтенными. Просвещение, добродетели и достоинства, напротив того, удостоверяют истинное почтение каждому народу, сколь бы он малосилен ни был. Старание народов превосходить друг друга силою и могуществом сохраняет между ними ненависть и

предубеждение, способствующие к продолжению войны. Старание превосходить друг друга добродетелию и дарованиями споспешествует их истинному благоденствию и славе.

III. Предубеждение народов

Всякий думает, что грех, постыдное, незаконное и жестокое дело есть убить человека. Хотя одно и то же не может быть вместе незаконным и справедливым, однако ж бесчисленные тысячи людей убиваются во время войны без всякой совести. Привычка, невежество и суеверие причиною тому, что народы убивают друг друга с таким же равнодушием, как скотину. Ужасное ослепление века, почитаемого просвещенным, а и того еще более человеколюбивым! Тщетно мы будем превозноситься своим просвещением и человеколюбием, если оные не имеют довольно силы вывести нас из того заблуждения, что различие народов делает различие людей. Сожаление, благодарность, дружба и любовь не ограничиваются в своих действиях к одному или другому народу, но суть всеобщие чувствования одного человека к другому. Они часто превозмогают предубеждение народов и заставляют нас против воли верить, что и неприятели наши -- люди. Вид несчастного трогает нас, хотя бы он не был одного народа с нами. Благоденствия заставляют любить человека, какого бы народа он ни был. Сходство нравов утверждает дружбу, несмотря на различие народов. Сильнее еще всех любовь, убеждает, что различие между народами не делает различия между человеками. Она заглушает глас народной ненависти и, истребляя предрассуждения, возвращает человека к природе.

Суеверие, невежество и ненависть преодолевают чувствования человечества одного народа к другому; они заставляют народы, воюющие между собою, не почитать более друг друга людьми.

Суеверие -- обыкновенная зараза большей части Людей -- в каждом народе ослепляет их и заставляет думать, что те, кои с ними разнятся в исповедывании, суть худшие люди. Они забывают, что христианский закон состоит в любви к ближнему и что, если они почитают себя лучшими христианами, то должны быть человеколюбивее и сим преимуществом доказать, что их закон лучше других. Чем более, напротив того, позволяют они себе ненавидеть других, тем более они показывают, что закон их не имеет такого главного достоинства христианского учения, которое заставляет людей любить друг друга.

Невежество потом, которое не меньшею частию людей обладает, производит самые глупые и вредные понятия между народами друг о друге. Оно приписывает им странные и нелепые обычаи и есть источник великого множества предрассуждений, которые сколь пи смешны иногда, однако ж тем не менее производят презрение и другие предрассудки, чувствования и страсти, служащие пищею вражде народов. Чтобы более уважать себя взаимно, народы должны только более знать друг друга.

Ненависть есть всех обильнейший источник предубеждения народов. Она есть следствие войны, которой бедствия, причиненные в разные времена одним народом другому, остаются навсегда в памяти. Сия ненависть питается всегда из роду в род, и младенцы ее со млеком сосут. Она приписывает неприятелям ужасные пороки, каких они не имеют, и не хочет им дать никаких добродетелей, оспаривая даже те, которые им принадлежат предпочтительно пред прочими народами. Сия ненависть никак несправедлива, бедствия войны, может, были взаимны, и при том не сам народ был оным причиною, но правители его, которые уж много раз после того переменялись и которых давно уже сокрыла в себе земля.

Предубеждения народные заражают не токмо простолюдинов, но и тех, кои могут похвалиться пред ними лучшим воспитанием. Таковые должны стыдиться презирать или ненавидеть народы, сие простительно несколько грубым невеждам; но те, кои имеют лучшие понятия о вещах, должны знать, что всякой народ имеет равно пороки и добродетели. Хотя народы имеют отличные свойства, однако ж всякое свойство имеет свою добрую и худую сторону. Кроме того, свойства, приписываемые какому-либо народу, слишком общи и подвержены по состоянию людей и по другим случайностям многим

исключениям и переменам. Между разными народами толь же легко можно сыскать людей, во многом сходных, как и между одинаковым народом различных. Впрочем, сие самое различие свойств между народами, сие разделение недостатков и преимуществ должны соединить людей теснейшими узами, дабы они могли быть полезными через свои взаимные совершенства и помогали друг другу во взаимных недостатках.

Не должно также умолчать об ненависти народной и того, что она неприлична народам благородных чувствований. Она есть сестра зависти и показывает бессилие отмщения или прав грубый и склонный к злопамятству.

IV. Почтение и войне, геройство и великость духа

Когда предубеждение народов заставляет их думать, что им убивать друг друга позволительно, война кажется нам менее ужасною потому еще, что оставляет всякому средство защищаться и взаимно убивать. От сего она имеет вид справедливости, к которому, присоединяясь, победы, возбуждающие к себе удивление, и деяния мужества и храбрости и, будучи почтенны, присовокупляют и к войне понятие почтения. Величественный вид армии и флотов пленяет собою и, вселяя доверенность, возбуждает рвение отличиться. Сие самое состояние духа между страхом и надеждою, сколь ни беспокойное, но приятное для человека, показывает ему в войне некоторые прелести. Молодость, веселость, беспечность и награждения, коими наслаждаются обыкновенно военные люди во время войны, делают им оную приятною и заставляют ее любить. Оттого многие состарившиеся уже люди, вспоминая веселые дни, проведенные во время войны, любят и самую войну. Наконец, всеобщее уважение военных добродетелей, славные примеры храбрости и геройства в древние и новейшие времена воспламеняют к войне людей отменных достоинств и великого духа.

Они почитают войну непременною путем к славе и думают, что не могут быть велики иначе как через войну, потому что оною прославились великие люди. Итак, надлежит нам рассмотреть, в чем состоит истинная великость и что значили великие люди войною.

Всякий народ считает у себя великих людей, но не все они таковы, ибо они могут быть пожалованы великими от стихотворцев или историков или они казались только велики в сравнении своих земляков или современников. Но были люди, которые почитаются великими от всех народов и всех веков. Число их весьма мало и убавляется иль прибавляется со временем, смотря по тому, как люди думают и в чем полагают славу и великость.

...Польза человечества, правосудие, жалость и человеколюбие могут отличить завоевателя от разбойника, но они толь же мало известны одному, как и другому. Если б они имели хотя одну искру оных добродетелей, то они б увидели, что не имеют права разорять людей; жалость и человеколюбие оставили б их, представив им, сколь многих несчастными они делают. Если завоеватели бывают способны к великодушным делам, если они покровительствуют иногда невинность и спасают иному жизнь, можно ли их за то почитать? Могут ли многая великодушные дела наградить тысячи жестоких? Спасая одному жизнь, они погубляют миллионы. Некоторые разбойники также известны многими великодушными делами, они щадят несчастных и награждают иногда добродетель. Часто одинаковый конец имеют они и умирают среди бою, защищая свою жизнь и честь мнимую, иногда же разная кончина их постигает. Разбойник умирает на эшафоте с именем великого злодея, завоеватель умирает природною смертию с именем великого героя. Любовь славы располагает отменными дарованиями великого человека, он стремится достигнуть оной и избирает тот путь, какой открыт к ней мнением его современников; внимание его обращается к тем людям, которых почитают великими, он хочет с ними сравняться или превзойти их. Юлий Цесарь, почитаемый великим, был завоеватель для того, что римляне, его соотечественники, не имели уже в его времена прежней добродетели своих предков и полагали всю славу свою в войнах. Александр Македонский, который сам был невольник, подражатель Ахиллеса, обратил на себя внимание его.

Никогда не тронуло Юлия Цесаря то, что он один был причиною смерти целого миллиона людей; но он плакал некогда как дитя о том, что примерный его герой, будучи еще моложе его, более народов и земель успел завоевать. Из новейших государей мы имеем Людовика XIV, который иными называется великий и который во всю жизнь свою смущал спокойствие Европы и разорил свое отечество для получения славы. Позднейший -- Фридерик II, король Прусский, подлинно имел многие свойства и дарования великих людей, но для достижения славы войнами и завоеваниями поступал несправедливо с соседями и разорял их.

Таким образом мнение людское управляет поступками великих людей. Они делают человек несчастными для того, чтоб заслужить от них похвалу. Слабые смертные всегда были и будут сами причиною своих несчастий! Они продают славу ценою крови. Великий человек, разумея сие слово как должно, не так, как ласкательство оное употребляет, есть лучший дар небес и красота природы человеческой. Превосходные дарования и отличные свойства делают его способным составить блаженство многих людей; и самые трудности, которые другим кажутся невозможностями, возбуждают наиболее его деятельность, ибо преодоление трудностей соответственно силе и твердости его духа. Но тем опаснее он, когда устремится ко злу. Представим сего Магомета, которого учение содержит чрез толь многие веки в рабстве и суеверии почти всю Азию и знатную часть Африки и даже в Европе царствует. Представим сих великих завоевателей, как Александр, Цесарь, Тамерлан и Чингис-хан, которые в свою краткую жизнь причинили более напастей человечеству, нежели зараза, землетрясения, наводнения и все бедствия, какие в разные времена человеческой род претерпевает. Мы должны молить бога, чтоб избавил нас от сих великих людей, или мы должны истребить ложные понятия о славе; оные побуждают великих людей к вредным делам. Мы должны гнушаться тем, кои велики без пользы, и ужасаться тех, кои велики со вредом...
Одному легкомыслию или невежеству свойственно превозносить все дела, которые имеют в себе нечто удивительное и блестящее. Удивление и блеск исчезают как случайные токмо действия славы. Истинная слава, которая одна долженствует трогать великого человека, есть та, которая признается мудростию и остается навеки.

V. Бедствия войны

Мы видели, что предубеждение народов и ложные понятия о славе споспешествуют продолжению войны. К сим причинам надлежит еще присовокупить нынешний образ ее произведения. Мы не воюем так, как варвары, и потому думаем, что война и столько зла между нами не причиняет. В прежние времена неприятели или покоряли земли, или разоряли оныя, грабили, убивали жителей и пожигали селения: тогда чувствительна была война и казалась ужасною; ныне она не менее зла производит, хотя сие зло не столь приметно. Нас не поражает вид разоренной провинции, хотя государство лишится ста или двухсот тысяч человек в одну войну; однако ж это не поражает так, как и бедность народа: убитые люди все собраны из разных мест и бедность не соединяется в одной части государства. Провинции так разделены, что жители их не имеют случая соображать свои претерпения. Столицы, которые наиболее заключают в себе людей одного государства, собранных вместе, благоденствуют часто во время войны и, будучи весьма уважаемы, заставляют судить о благоденствии всего государства во время войны. Жители оных, находясь в совершенной безопасности, ведут обыкновенную свою жизнь, наслаждались всеми веселиями мира, и притом еще имеют удовольствие торжествовать победы и питать свое любопытство новостями {Господин Лингет приметил в одном из своих политических изданий, что публика для удовольствия получения новостей часто негодует, что армии остаются в недействии и что тысячи людей не погибают. Люди, радующиеся победам и поражениям, не лучше той лондонской женщины, которая прыгала от радости о том, что два приятные для нее зрелища в одно утро имели случиться, а именно: один человек у столба должен стоять, а другой будет повешен.}. Можно полагать, что запрещение всяких

публичных собраний и веселий во время войны оживило бы сострадание роскошных жителей столиц.

Но не все жители столицы избавлены от неудобств войны. Цена поднимается на многие вещи и часто остается и после войны столь же высока. От сего бедные, не имея соразмерного прибавлению цене прибытка, с отягощением должны сносить дороговизну. Сверх того, часто печальная весть кровопролитного сражения распространяет уныние и печаль во многих семействах.

Пограничные города обыкновенно бывают предметом неприятельских действий. Они осаждаются, и первое старание неприятеля -- пресечь привоз съестных припасов, произвести недостаток и голод, ежели удастся. Сверх того, жители находятся в беспрестанном страхе, и самая ночь вместо успокоения бывает для них причиною тревоги. Ужасная артиллерия разоряет их дома, причиняет пожары и подвергает самую жизнь опасности.

Вред, причиняемый взаимно неприятелями друг другу, не ограничивается одними сражениями и осадами. Те земли, в коих производится война, обыкновенно сохраняют долгое время остатки разорений, причиненных неприятелями. Жители оных принуждены с крайним отягощением для себя снабжать своих неприятелей нужными припасами, претерпевая притом утеснения и обиды. Случается также, что для причинения вреда неприятелю или для пресечения ему средств к пропитанию целыя селения выжигаются. Между тем воюющие государства сами себе причиняют вред не меньший того, какой неприятелем может быть нанесен. Наборы разоряют селения, необходимость в деньгах принуждает к строжайшему взысканию податей с бедных поселян, которые уже и без того не имеют чем жить и после совсем делаются нищими, в тягость самому государству, которое для маловременной или совсем мечтательной пользы лишается навсегда от них помощи.

С другой стороны, война, занимая все внимание правительства, причиняет вред другим государственным делам, они от нее чувствительным образом претерпевают, беспорядок повсюду вкрадывается, и злоупотребления день от дня умножаются.

Торговля и рукоделия, ободряемые с толиким рачением, приходят от войны в упадок. Но что еще хуже, люди, нужные для земледелия, употреблены в армии. От сего оно приходит в худшее состояние, и от сего происходит крайний недостаток и нередко голод.

Короче сказать, война, разрушает первые основания общества, безопасность жизни и собственности. Законы наказывают смертью немногих несчастных убийц и воров, но хранители сих законов, правители народов, не умея предупредить войну, подвергают целое государство убийству и грабительству. Тогда уж не один человек бывает убит, не один бывает ограблен, но многие тысячи теряют свою жизнь, и целые селения и города делаются добычею неприятелей.

Самое расположение народов после продолжения войны довольно доказывает вред и бедствия ее. Некоторые народы с радостью встречают войну, но нет ни одного, которой бы не вознегодовал наконец против оной. Чем долее она продолжается, тем сильнее бывает желание мира, надежда оного становится напоследок единою и общею всех отрадою. Мир оканчивает убийства и разорения на некоторое время, но зло войны не окончится до тех пор, покуда останется опасность возобновления оной.

Содержание больших армий есть одно из сих продолжительных зол войны. Сии армии опустошают государства. Солдаты, оставаясь земледельцами, из коих они наиболее выбираются, могли б жить спокойно и с пользою для общества, вместо того они становятся в тягость самим себе и другим.

Когда до 200.000 сих здоровых и совершенного возраста людей принуждены вести по большей части холостую жизнь, то сколько государство вреда претерпевает! Сделав подробное исследование, государи нашли бы, что издержки на армии и происходящее от оных уменьшение народа превосходят все приобретения, какия можно сделать войнами. Ныне истребляют бедных монахов, между прочим, для того, что они не женаты; то не

подлежит ли также убавить число солдат, которые не токмо не способствуют умножению людей, но и нарочно содержатся для истребления оных.

Долгие и ужасные подати суть также продолжительные бедствия войны, она есть главная причина оных. Сколь тягостны многие налоги и сколь препятствуют благоденствию народов, в том не может никто усумниться, зная состояние хотя некоторых токмо европейских держав. Каждая новая война умножает долги и подати; народ, обремененный оными, претерпевает бедность и должен отдавать последнее на средства к разорению и убийству соседей его. Покуда не истребится война, нет надежды, чтобы народы могли жить в изобилии и благоденствии...

VI. Выгоды мира

Война есть главное употребление всех налогов и податей: произведение оной, содержание армий и флотов требуют несравненно более издержек, нежели все прочие государственные нужды вместе. Как скоро не будет оной, государственные расходы убавятся, следственно подати и бедность могут быть уменьшены. Политики занимаются изобретением легчайших способов собирать подати, но они не могут не быть тягостны, покуда будут велики нужды государственные. Все человеколюбивые изобретения останутся тщетны, бедный поселянин принужден всегда будет претерпевать недостаток для zapлаты податей, самые пороки будут всегда ободряться для получения дохода, ибо все то свято почитается, что к умножению оного служит. Многие из доходов государственных вредят благоденствию; правление, наказывающее преступников, само оных производит; так, например, во многих землях позволяются лотерейные игры, который бывают причиною разорения и злодейства. Пьянство -- источник преступлений, также сделавшись не последнею отраслью государственных доходов, так сказать, самим правительством одобряется.

Тщетно будет кто стараться о облегчении сего зла, лучше пресечь оное в самом источнике. Один мир может облегчить Европу от вредных и несносных ее податей, уменьшить в ней бедность и даже совсем истребить оную. Мир доставит Европе богатство несравненно большее того, которое она получила из Перу и Мексики. Сие богатство не некоторым токмо державам, но всем легко можно получить.

Чрез восстановление мира государства, освобождаясь [от] главных своих расходов, увидят себя довольно богатыми для уплаты своих долгов и для облегчения обремененного народа; они будут еще иметь довольно денег для тех похвальных предприятий, которые, будучи признаны неоспоримо полезными, остаются без исполнения за недостатком доходов: для училищ, для награждения полезных изобретений и достоинств, для вспоможения всякого рода несчастным и бедным поселянам в случае неурожаев, пожаров, наводнений, падежа скотского и тому подобных происшествий, которые, разорив однажды человека, делают навсегда его бедным. Таково, конечно, должно быть употребление государственных доходов: будучи собраны от народа, они должны быть употреблены не иначе как для собственной его пользы, а не для разорения чужих земель и увеличения государства, которое от того не делается благоденственнее.

Правительства ныне ничем не занимаются столько, как политическими делами и государственными доходами; чрез восстановление мира освобождаясь [от] сей главной заботы о других народах и о недостатке своих доходов, они не будут иметь чем заниматься, кроме внутреннего благоденствия своих земель. Если теперь многие несчастия, неустройства и злоупотребления происходят от невнимания правительств, то обращение оного единственно к благоденствию народа долженствует произвести важную перемену в его участи.

Если не вся Европа, то по крайней мере большая часть оной не имеет хороших законов и управляется теми, которые остались от варварских времен ее невежества; оные или жестоки и несправедливы, или так темны и запутанны, что предадут судьбину тяжущихся на волю законоискусников; имея более досугу и ограничивая все свои попечения внутренним благоденствием, европейские государства могут поправить свои законы,

стараться столько ж о предупреждении преступлений, сколько и о наказании оных, обеспечить права собственности и сделать законы так, как они должны быть: просты и вняты для каждого.

Образ правления, составляющий блаженство или несчастье народов, никогда не может быть толь совершен, как при утверждении мира; тогда только может разрешиться загадка совершенного правления; поелику безопасность составляет главное старание каждого общества, то оной уступают все другие уважения общественного благоденствия. Война вводит и поддерживает злоупотребления во всех родах правления.

Управляющая монархами любовь славы тогда не может ничем быть удовлетворена, как мудростию, правосудием и человеколюбием в управлении народов. Теперь государи прославляются войнами, победами и храбростию, но тогда слава должна их вести на истинный свой путь, ибо все другие будут пресечены, честолюбие их превосходить друг друга не может быть ничем иным удовлетворено, как преимуществом в том, чтоб сделать народ счастливее; высокие их достоинства ни на чем ином не могут быть показаны, как на искусстве делать людей блаженными.

Иной скажет, государи будут стараться только превосходить друг друга в роскоши и великолепии, и, избавившись опасения войны, они предадутся любви, покою и забавам. Многие и теперь столько преданы великолепию, роскошам, забавам и покою, что не могут более оным предаться среди самого глубокого мира; но имеющие честолюбие не ограничиваются сим и стараются иметь влияние в политических делах и производить искусно войны; по истреблению же оной они не ограничатся одними пышностями и забавами, но вместо славных политиков и воинов сделаются отцами народа и славными законодателями.

То же, что сказано о государях, должно разуметь и об министрах их. Все время, все труды, вся слава их должны будут обратиться к внутреннему благоденствию.

Мир распространит в Европе изобилие и правосудие, составляющее благоденствие народов, он сохранит ее в настоящем состоянии независимости и целости и доведет распространяющееся в ней просвещение до высочайшей степени человеческой мудрости; вид народов и земель переменится так, что трудно будет их узнать, и европейцы будут только сожалеть и дивиться, что могли толь долго заблуждаться и отсрочивать блаженство мира, которым наслаждаться зависит только от их общего желания. Они будут почитать теперешние времена толь же несчастными, как времена своих грубых и суеверных предков. Теперь, когда мир редко продолжается более десяти лет сряду, непрерывное оно продолжение кажется странно и невозможно так, как казалось прежде открытие Нового Света; но после, когда оное исполнилось, стали думать, что в том нет ничего чрезвычайного.

VII. Причины войны и политика

В варварском состоянии народов, когда они находились в беспрестанном страхе друг от друга, храбрость и все военные достоинства почитались превыше всех прочих. Слово "герой", толь давно начавшееся и приписываемое сначала людям, оказавшим важные услуги своему отечеству, долго заключало в себе понятие великих добродетелей и великих людей. И подлинно, герои заслуживали почтение и любовь, спасая отечество; но для достижения оных люди честолюбивые старались быть героями, где не нужно.

Народы, с другой стороны, избавившись от опасности, старались увеличиться. Самолюбие и корысть возбуждали их к завоеваниям. Они с гордостью веселились оными, приготавливая себе верную погибель. Достоинства геройские, которые были прежде почитаемы по справедливости, будучи необходимы для защищения общества, не менее стали почтительны и по честолюбию народов. Когда война имела предметом своим защищение собственной земли и не распространялась до отдаленных стран, народ бежал с оружием к

знаменам своего предводителя; но когда войны стали иметь предметом одно честолюбие и производиться в отдаленных странах, тогда понадобились и нашлись люди, согласившиеся для платы жертвовать своею жизнью и похищать оную у других. Войны сделались тогда легче и продолжительнее, Народы не заботились много о том, чтобы решиться на войну, ибо они не подвергали опасности свою жизнь, да и не решали они уже тогда войны.

Предводители войск нашли средства покорить свой народ столь же легко, как и чужой, и из защитителен своего отечества и ревнителей его славы сделались его утеснителями, тиранами. И так произошли сии сильные завоеватели, которые, почитая народ орудием своих страстей и не довольствуясь слепую его покорностию, с прискорбием видели другие народы независимыми; они помышляли только о приобретениях, которые им ничего не стоили, как потери многих сот тысяч народа, о благоденствии которого они не заботились и который сам в ослеплении своем думал быть награжден завоеваниями за все бедствия, им претерпеваемые. Составленные таким образом древние империи, умножившись без меры, пали под собственную свою тягостию.

Предки европейцев были орудием разорения последней из сих империй и основались на ее развалинах. Как варварские народы, долго они нападали друг на друга, возбуждаемы будучи беспокойным духом завоеваний; когда варварство уступило место просвещению, когда завоевания сделались трудны, взаимная их ненависть, произведенная многими прежними войнами, и честолюбие государей продолжали войну.

Государи завели непременные армии; дворянство, почитая за низкость всякое другое состояние, кроме военного, спешило соединиться под их знаменами; народ принужден был последовать дворянству от недостатка других средств к пропитанию или поневоле.

Государи, находя себя начальниками страшных сил, готовых всегда к исполнению их повелению, восчувствовали в себе гордость, свойственную людям сильным и не привыкшим к противоречию. Политика, запутывая дела тонкою своею хитростию, подает им частый случай к решению оных силою. Находя в своих подданных соответствие их страстям, они тем легче побуждаются к войне, что думают чрез оную исполнить долг любви отечества. С таковыми расположениями малейшая причина к спору производит войны, и присовокупление малейшей частицы земли к пространным их владениям, кажется им, оправдывает подвержение целого государства лютостям войны.

По многим прошедшим войнам, по ненависти и недоверчивости, от оных происшедшим, европейские державы имеют привычку почитать своих соседей непримиримыми и естественными врагами; для сего они стараются беспрестанно усилиться и препятствовать в том другим, и всякий случай к решению сих стараний есть случай к войне. Будучи в сем состоянии неизвестности, они находятся всегда в готовности к нападению на неприятеля или к отражению его нападений подобно людям, живущим в состоянии дикости, неудерживающимся никакими обязанностями, никакими законами и полагающим всю надежду на свою силу. Единые правила, которые европейские державы между собою наблюдают, суть правила политики.

Сия политика располагает участию Европы, она имеет важный и сокровенный вид, никто не дерзает к ней приблизиться, и редкий может совсем рассмотреть ее.

Подобно древним таинствам египтян она скрывается от простолюдинов, жрецы ее удаляют их от внутренности ее храма и имеют к тому причину.

Италианцы, которых теперь толь многие народы превосходят, были прежде учителями Европы. Они иль те, кои между ими искали своего просвещения, ввели в европейские кабинеты сию политику, которая и по сие время там сохраняется. Монахи споспешествовали утверждению оной; взошед в кабинеты государственные, посеяли там правила притворства, неправосудия и тайны, которая довольно свидетельствует против политики, ибо там наиболее нужна, где есть худые умыслы, и может быть полезна и пристойна в поступках бесчестных людей, старающихся друг друга обманывать, но не в поведении народов. Никогда бы сохранение оной не почиталось толь важным, если бы политика не имела чего скрывать. Управление политики придворными людьми также не

могло сделать ее совершеннее; привыкши к неправде и хитрости и принуждены будучи оными сохранять милости своего двора, они сохраняли свои пороки в поступках с иностранными дворами.

Французские министры, кардиналы Ришелье и Мазарин, почитаются славнейшими министрами, но известно, каковы они были. Насилие, притворство, высокомерие, подлость и вероломство означали их поступки. Кардинал Флери, не имея их достоинств, имел, однако ж, их пороки притворства. Новейший граф Вержен из всех европейских министров наиболее имел монашеской хитрости, он навыв в раболепном Стамбуле подлой и вероломной греческой политике.

Многие еще поныне подражают и за совершенство почитают быть подобными кардиналу Ришелье или Мазарину, Альберони, который, может, также подражал им, показал кратким своим министерством, к чему способна политика в руках честолюбивого и предприимчивого человека; он составил заговор во Франции, намеревался поднять бунт в Англии и всю Европу хотел наполнить замешательством.

Французский двор, знаменитый своими министрами, наиболее нам представил примеров политики. Он не щадил никаких средств к увеличению себя и к причинению вреда другим.

Англия испытывала неоднократно несправедливость и коварство его. Низверженные с престола Стюарты находили прибежище во Франции, употребляемы были орудиями бунта и постыдным образом были оставляемы на волю их судьбины. Против германских императоров, французский двор содержал на пенсии большую часть немецких владетелей и не стыдился унижаться пред турками, раздавал им деньги, делал своими интригами перемены в министерстве и возбуждал сих неверных к войне против императоров. Для управления делами на Севере издавна платил ежегодную сумму шведским королям и часто подкупал самые сеймы, дабы оные, не уважая благоденствие своего отечества, ссорились и воевали по воле его с соседями. Испанских королей управлял он нередко духовниками и, подобно хамелеону везде принаравливался обычаям, не стыдился мешаться в любовные дела государей и министров, низвергал их любовниц и фаворитов и возводил своих. Таким образом, политика французского двора исполняла всю Европу войнами, несправедливостями, обманами и всеми постыднейшими делами: посеяние междуусобных раздоров, развращение министров и государственных служителей, склонение к измене, шпионства и подобные преступления, достойные виселицы, ободряемы были сим двором. Уверения, сделанные с намерением обмана, нарушенные с бесчестьем, презрение доброй веры, нарушение мира без причины к войне -- все сие почиталось совершенством его политики. Доходы его многими миллионами рассыпались по Европе, когда народ стонал от податей и когда большая часть оного не имела дневного пропитания; издержки напоследок умножились без меры. Политика и войны -- причиною его разорения; обратив внимание к сей одной державе, кто может сказать, что война не разоряет государств и что политика его не была заблуждением?

Однако ж люди не умеют научиться чужими несчастиями. Европейские дворы, переняв от французского роскошь и великолепие, заразились и политикою его. Она подражается почти везде с некоторыми отменами по свойству государей, министров и народов. Иные заменили хитрость политики насилем. Славный Фридрих, который имел великие дарования сделать людей счастливыми, но помышлял много о увеличении своего государства, полагал свою политику в силе оружия и, чтоб показать свое остроумие, назвал пушки причинами государей. Горе тем народам, кон не могут противополжить сим смертоносным причинам ничего, кроме доброй веры, справедливости, истины и права народов, которые не имеют великого влияния в политических делах, ибо многие начали последовать примеру сего государя. Священные имена человеколюбия, умеренности и ужаса к кровопролитию беспрестанно упоминаются, между тем как делаются очевиднейшие несправедливости, и реки крови человеческой без всякого сожаления проливаются.

Говоря о политике дворов, не должно умолчать и о тех писателях, которые в политическом составе Европы суть то же, что черви, зарождающиеся в ранах человеческого тела, растрavляющие оные и препятствующие их излечению. Они питают ненависть народов, умножают их взаимные жалобы, описывают их самыми черными красками и не щадят самой клеветы, они защищают софизмы политики, утверждают самые нелепые ее правила и оправдывают ее в том, что она сама признать стыдится.

Извинительнейшие из сих писателей суть те, коих производит ослепленная любовь отечества; они, помышляя только об оном и возбуждаясь ненавистию неприятелей, думают, что отечество их должно быть право во всех своих требованиях и имеет более других земель права быть счастливым даже на счет счастья других. Детское ослепление! Если все народы дадут волю своему самолюбию, то некоторому из них не будет житья; пристрастие легко обладает сердцем, исполненным любви отечества. Часто мы по незнанию обвиняем неприятеля в том, чему само наше отечество бывает причиною.

Опаснейшие всех политические писатели суть те, кои пишут по должности или в угождение двору, которые, имея дарования писать, бывают подкуплены и имеют средство знать о делах; их сочинения предпочитают всем прочим, хотя они наименее заслуживают предпочтение; истина, и права народов уступают в них место несправедливости и лжи. Таковые писатели, чтоб оправдать какой двор, не щадят ничего и ничем не останавливаются, ибо законно или незаконно они должны оной оправдывать, скрывать то, что справедливо, и доказывать то, что только вероятно. Сии сочинения приводят публику в заблуждение и дают ей странное и ложное понятие о политических делах. Сии писатели часто сами себя опровергают; смотря по обстоятельству дел, они утверждают системы и правила, совсем между собой противные. Короче сказать, они сами не верят тому, что пишут.

Третьего рода обыкновеннейшие политические писатели суть газетчики; они пишут для того, чтобы писать. Горестная должность -- непременно новостями наполнять каждый почтовый день, исписывать положенное количество бумаги! Новости не растут как грибы; они не виноваты и принуждены изыскивать средство пособить сему злу, они добавляют недостаток слухами, догадками, предсказаниями, примечаниями и рассуждениями, они суть море политики, они вмещают в себе все, что производит ослепленный патриотизм и смешное тщеславие судить о политических делах, и часто бывают орудием второго рода политических сочинителей, которые пишут по должности и распространяют чрез газеты ложь, клевету и софизмы своего двора. Часто газетчики бывают подкуплены думать одним или другими образом. Во многих землях, или почти во всей Европе, выключая Англию, они не смеют и думать, что истина не есть пасквиль. Короче сказать, если история, почерпнутая из газет, дочитается худшею в свете историей, то может ли публика сказать, что она имеет хорошее сведение о текущих делах?

Итак, политические писатели, управляющие мнением европейцев в их делах между собою, пристрастны, ложны и незнающы, а политика, располагающая их участью, коварна, насильственна и несправедлива; истощив свою обманчивую логику, основанную на учении неправды, она прибегает к причинам государей и погублением тысяч людей доказывает, что побуждения ее суть сохранение равновесия, умеренность и правосудие. Тщетно она покрывается маскою просвещения и человеколюбия; заблуждение и жестокости ее толь поразительны, что не могут не быть примечены. История нам открывает непроницаемую ее завесу тайны. Главные войны нынешнего столетия доказывают, что настоящая политика бедственна для благоденствия народов, что европейские державы не имеют ничего верного в своем поведении, кроме желания усилиться и вредить, кроме пристрастия народов и управляющих ими, что трактаты нарушаются без всякой совести, что политические союзы ускоряют только начатие войны и распространяют оную на большее число народов.

Часть вторая

I. Общеправные законы

Всякая держава есть независима, но смежна с другою подобною.

С сей черты прикосновения распространяются внутренние обязательства правосудия на внешние. Разные соседние народы равно многим подвластным одной державы имеют необходимость в учреждении своих поступков по непререкаемым правилам, которые, не нарушая независимости, токмо удерживают оную в пределах общей пользы.

Всякая держава властна управлять внутренними делами по собственному благоусмотрению, и всякое вмешивание в оные, посредственное или непосредственное, есть нарушение ее независимости. Чрез тесное соединение европейских держав одна на другую имеют непререкаемое влияние и, нарушая безопасность и независимость одной, и другую также опасности подвергают: ненаблюдение одного правила Европе по сие время многих бед стоило.

Установление общеправных правил или законов и наблюдение оных не есть вмешивание во внутренние дела, ниже нарушение независимости, ибо не иначе может утвердиться как по согласию; но только с тем, что, дав оное по здравому рассуждению, невозможно возвратить по пристрастию...

Народы заключают мирные договоры, трактаты, союзные и оборонительные, и сии служат правилом и законом их между собою поведения, которое столь же часто переменяется, как главные побуждения интереса, ими управляющие, сами обязывающиеся -- свои судьи и судимые, сами -- обижающие и обиженные.

Где один без наказания может нарушить свои обязательства, другой сам должен искать себе удовлетворения, там нет никакой безопасности, ни суда, ни правды, ни равенства.

Хотя и желательно по врожденному чувству правосудия отмщение обиженному, но и оное может быть безмерно и неправосудно, как скоро предоставлено на волю страстей.

Побежденный прибегает к посредничеству других народов, но когда победитель оные отвергает из гордости или недоверчивости к примирителям, тогда силою его принудить хотят к миру и начинают вооруженную медиацию, которая показывает, каким образом и ныне воздерживаются пристрастия и независимость народа нарушается для пользы общей; но поелику сии посредники иногда пристрастны и часто имеют в виду свои особенные выгоды, то и сей обычай, имеющий тень всеобщего правосудия {Европейские державы мешаются в взаимные ссоры и наблюдают, дабы одна не усилилась чрез меру; но они не полагают сему вмешиванию никакого правила и закона и поступают несогласно и пристрастно; уловляя и поджигая страсти управляющих, они подвергают дела случайности личного расположения правителей.}, обращается в утеснение и только удовлетворяет зависть и недоброжелательство. Покорившись необходимости, раздраженный победитель удержит на время свое честолюбие и чрез выгодный союз сих самых посредников употребит против своего врага. Сому бывали примеры, и в том состоит искусство и достоинство политики, чтоб со временем довершить то хитростию, чего силою невозможно вдруг сделать. И оттого-то сии политические и кабинетные беспрерывно продолжающиеся переписки и переговоры, которые как тучи собираются и предвещают грозную войну от новых союзов. Самый секрет сих обязательств вместо мнимой важности показывает бедность нынешней политики, она ищет сокрытия тьмы и, будучи сама неискренна, видит в других врагов себе, и прежде нападения ищет обороны, и ободряет своих сообщников корыстию будущей добычи, которую уже заранее делит.

II. Общий союз и совет

Всякий союз заключается для частной выгоды двух или нескольких народов. Но общий союз Европы может заменить все выгоды сих частных с таким преимуществом, что оные не будут вредить взаимной всех пользе.

И сем намерении вместо трактатов должны быть законы для утверждения независимости и собственности земель и народов и для учреждения поступков всех народов между собою.

Для наблюдения сих законов должен учредиться общий совет, составленный из полномочных союзных народов. Сей совет {Назначив особенную страну для пребывания сего совета, надлежит оную признать священной и независимую для всегдшнего и безопасного пребывания полномочных совета. Выбор их как в первый раз, так и впредь навсегда должен быть с общим одобрением и большинством голосов может отмениться: как дело сие есть важное и первое всей Европы, так и люди сие должны были бы быть первые по дарованиям и добродетелям. Особа их священна во всех землях.} должен сохранить общую безопасность и собственность и заранее предупреждать всякое нарушение тишины, решить предложенные споры народов по установленному порядку, и решения его должны быть всеми союзными единодушно приведены в действие; а дабы какую дружбою не склонялись народы к пристрастному решению, то не должно между ими быть никакого особенного условия: трактаты разграничения имеют быть единые частные постановления, но народы должны отказаться [от] права без общего совета делать какие-либо постановления между собою и оказывать выгоды так же, как и управляться собою в отвращении вреда. В случае неисполнения решений общего совета непокоряющаяся держава исключается от всех общих выгод и всякого сношения, и в случае упорства общая спла употребляется для соблюдения закона {Помощь деньгами, морскими или сухопутными силами -- по предварительному условию в рассуждении особенного местоположения союзных держав.}. И никогда никакой самовольный и незаконный поступок одной державы в рассуждении другой не должен быть оставлен без наказания, так что ниже примирение обиженного не может тому помочь, ибо никто не властен уменьшить святость и неперменность законов, единожды принятых для установления тишины и безопасности. Иначе в надежде примирения могут быть насильства или под видом оных сокрываться тайные соглашения.

Поелику все переговоры должны производиться чрез взаимных полномочных в совете и они должны иметь бдение о точном наблюдении всех постановлений, то обыкновение содержать посланников остается бесполезным. И в самом деле, сие обыкновение питает только враждебную политику, по сие время что пользы они сделали? Но сколько вреда своими ложными увеличенными донесениями по пристрастию, своими вмешиваниями во внутренние дела и незаконными средствами узнавать тайны! Можно считать учащение войны от содержания посланников столько ж, как и от содержания неперменных армий. С уничтожением сего обычая политика обратится в свою пристойную простоту, чтобы судить о расположении соседей не по догадкам, но по делам их и чувствовать действие одной державы над другою только на границах, природою отделяющих народы и земли их. Чрез посланников же державы сближаются в самих особах управляющих и пограничны становятся в самих столицах их, в палатах управляющих. Посланники делают смежными страсти, пороки и слабости владеющих министров их и любимцев, и как сии между собою не согласны, потому и участь народов решится, и обыкновенно движению войск предшествуют движения страстей чрез слова, внушения и донесения посланников. Гораздо лучше, если народы знать будут друг друга только по природному отделению: где кончится его и начинается мое, там начинается и связь, и отношение взаимное. И потому первые законы должны быть о границах с общими положениями по возможности ума человеческого на всякие возможные непредвидимые случаи между соседями. Потом торговля смешивает самые отдаленнейшие народы, и так принадлежит она до управления общенародного и должна иметь точные положения, как особенно по соседству народов, так и вообще всех оных: для избежания несогласий торгующие иностранные должны подлежать одинаковым законам с природными без всякого исключения. Как определяется ныне в обыкновенных союзных трактатах случай союза, так должно определить оный еще точнейшим образом в общем союзе.

Таковой случай союза бывает нападение, и потому надлежит точно означить случай нападения на сухом пути и на море.

Нападение само себя по слову своему определяет; оно есть вступление чужого войска в границы, и тщетно политики нынешние в таковых случаях манифестами оправдываются и скрывают свои намерения под разными дружественными или общепользными видами. Вступление иностранного войска в границы всегда есть нарушение независимости и присвоение чужой власти. От ненаблюдения сего правила постепенно сделались иные державы добычею соседей.

Как на сухом пути, так и на море должно определить число нападающих: не один ли корабль, не малая ли партия, которые самовольно, без повеления правительства сделают наглость, и в таком случае достаточно наказание предводительствовавших; от ненаблюдения сего различия начинались кровавые войны.

Кроме нападения, вряд может быть какой случай законной войны. Впрочем, все случаи принадлежат к общему союзу и могут быть посредством договорившихся миролюбно окончены {Совет не разрывается никакою войною: никакие неприятельские действия, нарушающие его безопасность, не могут быть дозволены, отлучение полномочных воюющих держав незаконно.}. Например, оскорбление народной чести; определив законами, в чем оно состоит, должно определить и наказание оскорбивших, а если правительство их защищает, то оно само на себя принимает вину и тогда оно наказывается выговором.

Все державы обязаны взаимным уважением не по мере силы и могущества, но важности вверенного им священного Залога, которой есть наблюдение правды. Сие взаимное уважение есть предохранение мира, элемент согласия и служит к утверждению дружбы и любви; нет нужды, хотя уважение будет и принужденное, оно есть обязанность между державами, несвободное токмо изъявление искренних расположений, как между частными людьми.

В прибавление к сему средству для удержания войны должно отнять побуждение к оной чрез лишение всякой надежды приобретения и пользы; и потому все европейские державы, означив точно свои границы, признают их взаимно неперемными и гарантируют их целость; так что никакою войною, ни завоеваниями оные не могут быть нарушены; равно и выгоды торговли должны быть неперемны, разве что по обстоятельствам в продолжение времени общий совет может учинить чрез взаимное и добровольное согласие.

III. Облегчение зол войны

Если война есть неизбежное зло, то по крайней мере должно ограничить ее свирепости; например, зачем переносить ее во все части света? Если ссорится Европа, должна ли Америка, Азия и Африка участвовать в кровопролитии, и потому:

Селения европейские в трех частях света должны оставаться нейтральными во всякой войне их державы. Ниже сами между собою, как подвластные, не могут воевать, и европейские державы должны содержать в селениях токмо необходимое число войска для обороны от природных жителей.

Принятие сего правила много уменьшит распространение войны; к тому еще прибавить: нераспространимость настоящих владений, точное признание случая войны в нападении и удовлетворение народной чести чрез наказание виновных выговором, награждение убытков по общему приговору чрез уплату их вдвое или втрое и установление точной формы негоциации или производства дел между народами.

IV. Вооружения

Вообще всякие вооружения и движения войск предшествуют войне, и потому для предупреждения оной вначале должны они быть ограничены законами на случай необходимой нужды и предстоящей опасности от нападения. Обыкновение сопровождать

переговоры вооружением показывает бессилие драг между народами и надобность таких верных положений и законов, по которым бы наперед можно было судить, как в гражданском быту, кто прав и кто виноват из спорящихся.

О всяком вооружении и движении войск совет должен иметь заблаговременное сведение чрез герольдов своих и удерживать оные, как скоро не наступит случая нужды, определенного законом.

Самое противуположение может служить к утверждению общего покоя, и разделение партий будет поддерживать усердие и осторожность.

Толь многие народы разных интересов, соединив свои выгоды, не могут согласиться на неправосудие; один или два согласные найдут противных и равнодушных, которые не вступят в их меры.

Европейские державы, заключив общий союз, будут почитать свои выгоды нераздельными, не допуская, чтоб одна другой вредила нарушением общих постановлений.

V. Возражения, самовластия и независимости

Никто не возможет ограничить волю самовластных и независимых народов и соединить их интересы, всегда противные между собою; сами токмо они по общему соглашению могут предписать себе законы правосудия и пожертвовать своими маловременными, частными интересами для общей важной и продолжительной пользы. Трудно привести народы к сему соглашению, но возможно; которые скажут: "Мы бы желали, но другие не согласятся", -- те пускай как добродетельнейшие и правосуднейшие прежде окажут свои добрые расположения и пригласят европейские державы собраться чрез полномочных своих для изыскания и утверждения надежных правил к предупреждению войны и соблюдению всеобщего и непрерывного мира.

Вначале против зверей, а после люди против людей соединились, и так по мере просвещения народы против народов должны соединиться.

Доброе желание вечного мира и несчастная политика необходимостей войны суть две крайности, между коими должно избрать разумную средину. Один бог возможет утвердить на земле общий вечный мир, но между тем помазанники его, властители народов, имеют долг и средства по возможности упреждать раздоры и войны решительным постановлением законов всенародных и твердым оных наблюдением...

Всякое правительство удерживает стремление страстей и сохраняет мир в своем народе, и поелику верховная власть составлена из воли многих покорившихся для сохранения взаимного мира, тишины и безопасности чрез наблюдение святых законов правосудия, то может ли она употребить свою силу орудием неправды? Удерживая других от пристрастия и несправедливости, должна ли сама следовать оным беспрекословно в своих ссорах с посторонним народом? Сие мнимое право верховной власти самовольно начинать войну без всякого суждения других противоречит самому ее существу, которое состоит в наблюдении правосудия и по которому единственно и признается она происходящею от бога исполнительницею небесной его власти, и потому противящийся оной противится самому богу: или сей меч, который ей дан для мщенья злым, может она употреблять без разбору и разить для удовлетворения своей злобы?

Всякая держава старается доказывать справедливость своей войны, но кто решит справедливость без законов? Где законы, где власть для суждения справедливости?

Сколько осторожности и труда для исследования частного преступления прежде осуждения одного виновника па смерть, а война, причиняющая тысячи смертей, разве может решиться по одному пристрастию?

Главное достоинство политики -- уметь дать вид справедливости и честности всяческим своим делам и начинаниям.

Манифесты о войнах доказывают, что нет ничего верного для решения их справедливости: или обе воюющие державы правы или обе виноваты, или иногда можно подумать, что политики признают две справедливости: одну истинную, а другую ложную.

VI. Право естественное и право гражданское*

* Права народные нераздельны с правами гражданскими; разделение правды с властью есть противоречие.

Первое свое право, которое всякой человек естественно имеет, -- сохранять и защищать себя, -- соединясь в общество, уступил он верховной власти, и каждый из них, чтобы не действовать слепому пристрастию, отнял у себя естественную силу и составил гражданскую, долженствующую действовать по неперменным уставам правосудия. Таким образом, соединенная воля управляет частного, и иной, желая быть злым, принужден остаться добрым, не имея силы делать зло. Гражданин, презирающий глас совести, поневоле покоряется закону, установленному в его обществе.

Общества, взаимно не допускающие своих сочленов самовольно действовать и доставляя им за то покровительство законов, не обязаны ли сами поступать по оным, или в важности своей имеют право следовать единому пристрастию?..

Поелику война одного общества с другим есть не что иное, как продолжение в большем тех насилий, от которых люди думали укрыться в гражданском сожителстве, то и средства к предупреждению оной должны по соразмерности различия быть подобны тем, которые составили гражданское общежитие. Как отец, сохраняя в семействе полную свою власть, обязан наблюдать в рассуждении постороннего установленные обществом правила, так и целое общество, исполняя свою власть во внутренности, должно оную соразмерять в рассуждении другим правилам правосудия {Всенародные законы ограничивают верховную власть токмо в рассуждении другой подобной.}. Как всякий сочлен покорил свою волю в поступках с другими управлению своей верховной власти, так сия, сохраняя всю силу свою внутри общества, должна оную покорить законам правосудия в отношении себе подобных {Возможность сего соединения всеобщей воли следует из доказательства о незаконности употребления оной пристрастно.}.

Сие взаимное согласие народов покориться всеобщим законам должно было быть современно установлению обществ, тогда бы оно было совершеннее. Напротив того, война предшествовала учреждению обществ и составила их случайно, как мороз холодных стран внезапно, останавливая быструю воду, превращает ее в безобразные кучи разных кусков неподвижного льду.

Люди прежде всего повинуются природным нуждам и страстям; внушения разума начинаются гораздо позже, имея нужду в опытности. И так скорее и легче было довести людей побуждением страха повиноваться присутствующей власти, присвоившей себе наблюдение правосудия. Человек, увлекаем силою страстей своих, держится токмо настоящего, отдаленное благо и зло показывает единый разум, и единая мудрость доведет к достижению оного...

VII. Соединение по согласию

Правители народов, будучи доверенные божий, исполнители его всевышней воли, содержа подвластных своих в повиновении, должны знать крайнюю необходимость оного для обуздания страстей и для соблюдения правосудия. По сие время не видели они возможности независимые народы привести к наблюдению правды, не приводя в подданство, поелику не усмотрели, что можно повиноваться не только для страха, но для совести; не распространяли видов своих до общей пользы, довольствуясь своею частного, и не приметили в своем пристрастии, что чрез согласие, так же как и чрез принуждение, можно получить власть и привести к повиновению с тою токмо разностию, что первое может быть только для общей пользы и с оною оканчивается.

Согласие единое потребно для соединения Европы в одно общество держав, равно пекущихся о благоденствии народа, поелику не имеют возможности в разделении своем доставить взаимным подвластным истинное благоденствие.

Достоинство и независимость европейских держав нимало не пострадает, когда, сами предписав себе законы, наблюдать будут исполнение оных, каждая держава останется при своих правах и притом выиграет преимущество других и себя избавляет от вреда не токмо оружием, но и силою законов.

По недоверенности своей европейские державы могут опасаться, что суд иногда будет несправедлив, а всеобщим силам сопротивляться трудно иль невозможно. Но поелику сие опасение может быть всем общее, то оно самое и удержит от покушения сделать неправду, чтобы не испытать оную на себе. Впрочем, и без всеобщего соединения бывает, что европейцы составляют сильные союзы и без всякой правды и сопротивления располагают участию своих соседей. Но, соединившись узами правосудия, и самая слабая держава под всеобщим покровительством не имеет ничего опасаться от насилия, ибо невозможно, чтоб вся Европа имела в оном пользу; напротив того, малейшее нарушение всеобщих законов всем равно опасно и вредно.

Но если блюстители правосудия сами не возмогут одного между собою сохранить, то для успокоения всеобщей недоверенности пускай правители обязываются клятвою, чтоб не возвращать по пристрастию данное слово и так верно хранить свое обещание, как сами требуют от своих подвластных. И поелику от сохранения общенародного правосудия зависит правосудие в частном правительстве народов и с нарушением одного нарушается и другое, то в большом нарушивший веру и в малом не достоин оной. Нарушивший присягу к обществу правителей народа подвергает свой народ опасности отмщения и делается пред ним виновен.

В Англии бывают представления от народа королю о войне и мире. В сей счастливой земле позволяется народу судить свое правительство в ссорах с другими державами, полагая, что оно по пристрастию само себя судить не может {Нужно было бы под смотрением совета издавать ведомость, верную и справедливую о всех политических происшествиях, так, чтобы каждый народ, имея совершенное понятие о политических делах, мог справедливые делать заключения.} и что народ страдает от войны, а правительство ничего от оной не претерпевает.

VIII. Последствия предыдущего

Надежный и общий мир в Европе может утвердиться токмо чрез наблюдение правды, она есть единая необманчивая черта всеобщего равновесия. Как никакой народ не может существовать без законов правосудия, так и целые народы без наблюдения оных между собою не могут жить, не истребляя взаимно друг друга; единая разность в том, что один скорее многих погибнет.

Каждый народ отделяется от другого своими границами, происхождение всякой вражды -- нарушение оных, и первый закон -- соблюдение их чрез удерживание власти каждого народа в собственных его границах и нераспространение оной далее, ибо с нарушением соседней собственности и безопасности нарушается и внутренняя собственность.

Наблюдение общего правосудия между правительствами утверждается на тех самых основаниях, которые сохраняют их внутреннее спокойствие и тишину.

Благо частное, покуда противно благу общему, в последствии своем само себя разрушает. Частные люди и целые народы, отделяющие свою пользу от общей, самим себе делают вред.

Никакой народ не может другому причинить вреда, не подвергаясь сам оному. И единое намерение вреда и взаимное ожидание одного разрушает безопасность и доверенность общежития. Беспрестанная готовность к нападению или обороне не сходственна с достоинством благоучрежденных правительств.

Любовь к себе, свойственная всякому человеку, всякому семейству и каждому народу, производит противные между собою желания, единым правосудием соединяемые в общую пользу.

Предел власти составляет особенность владения, но правосудие есть общественно, нераздельно и неисключительно по различию владений.

Наблюдение правосудия между целыми народами столь же необходимо, как и между частными людьми; ненаблюдение оно же между народами причиняет более бед, нежели между частными людьми, -- по мере больших средств ко вреду.

Ненаблюдение правосудия между целыми народами нарушает оное и в частном отделении каждого из них, подвергая невинных разорению и смерти.

Война нарушает спокойствие и безопасность, правосудием утверждаемые в благоустроенном обществе, и продолжает те насилия, бедствия и неурядицы, для избежания которых люди соединились в общества и покорились законам.

Война не может быть законна, покуда нет законов между народами.

Сии законы народов суть должности и обязанности их между собою, основанные на собственном их благоденствии.

Намерение и предмет правительства сохранить в безопасности жизнь и имение своих подвластных не могут исполниться без наблюдения всеобщего правосудия между народами...

Правительства по долгу своему беспрестанно занимаются сохранением внутреннего мира, воздержанием и наказанием нарушителей оного, границы полагают предел их власти, но обязанность правосудия не имеет никакого предела, она должна повсюду сопровождать все их поступки.

Когда бы все правительства имели единой предмет -- благоденствие повинующихся, то бы они имели между собою естественный союз.

Когда части несовершенны, то и целое.

Совершенство каждого общества есть согласие.

Когда бы все правительства согласны были в единстве своего намерения, то и между собою они бы все согласны были.

Правительство во внутренних делах -- как судья, а в посторонних -- действитель.

Правительство не должно иметь другой воли, кроме общей; ибо и сила его токмо из оной состоит.

Политика должна быть наука прав и законов между целыми народами, как юриспруденция между частными.

Она выше сей и нужнее, поелику от участи целого народа зависит и участь его нераздельных.

Война законна, когда она есть казнь народа; буде же она начинается самопроизвольно, без суда и решения беспристрастных, она есть убийство.

Насилие дает право обороны, но и самое справедливое мщение может обратиться в насилие, будучи оставлено на волю обиженного.

Правительства весами правосудия соразмеряют наказание обид и не дают воли мщению.

Равно и народы должны предоставить свои жалобы на суд беспристрастных, довольно им и тогда употребить свою собственную силу, когда она единая может их оборонить.

Не один токмо страх удерживает граждан в повиновении правосудию, но и общее их согласие и уверенность в пользе оного.

Законы, будучи изъявление общей воли, заключают в себе общую силу.

Воля с силою должна быть неразлучна.

Народы и правительства их могут соединиться под защиту законов, не имея общего единого начальства, кроме управляющего вселенною, которого воля состоит в соединении частного блаженства с общим.

Правосудие есть изъявление сей вышней и совершенной воли.

Оно есть оборона слабого противу сильного, обнадеживание жизни и всех благ, для ее сохранения ниспосланных.

Во всяком отношении людей между собою должно быть правосудие.

Первая степень общества человеческого есть семейственное родство, там закон -- родительская любовь и опытность.

Когда семейства умножаются, противные пользы пристрастия и несогласия потребуют соединения разных властен во единую, и так целый народ составляет -- вторая степень общества управляемого законами правосудия.

Третья степень общества должна быть между разными независимыми народами для утверждения гражданского благоденствия, без коего оно не может быть совершенно.

Как гражданское общество соединяет семейственные, так сие всенародное совокуплять должно гражданские всеобщим правосудием.

От состояния и свойства разных семейств происходят гражданские, а от сих зависит всенародное состояние. Семейства частные благонаравием своим составляют общественное, и целые особенные общества своим добрым управлением и правосудием утверждают всенародное общество.

Как благо временное, так и благо частное есть несовершенно. Как юноша, ослепленный страстями, заблуждается наслаждением настоящего и готовит себе будущие страдания, так и целые семейства и общества, частно пользующиеся со вредом других, сами себе готовят зло.

Всевышний создатель мира, как отец всех человеков, так сотворил их, что они токмо в всеобщем благоденствии могут быть счастливы. Закон его есть любовь и правосудие.

Устроив вселенную по неперменным уставам естества, оставил людям волю избирать лучшее, дабы они не подобно другим творениям имели достоинство или заслугу мудрости и добродетели.

В.М.

В.И. Бакунина. Двенадцатый год в записках Варвары Ивановны Бакуниной

Варвара Ивановна Бакунина, жена Михаила Михайловича Бакунина, сопровождала своего мужа в 1796 году в персидском походе, а в 1812 году была свидетельницей достопамятных событий эпохи отечественной войны. Об обоих этих моментах в ее жизни Варвара Ивановна оставила два рукописных рассказа, Муж ея, впоследствии начальник одной из губерний, и она — ныне давно умерли. Рукописи ее весьма обязательно доставлены нам Е. М. Бакуниной. Печатаем второй из помянутых рассказов. Рукопись подлинная неразборчиво написана, несколько слов нами не разобраны, некоторые и недописаны у автора. Рассказ этот имеет значение только как заметки современницы, заносившей в свой дневник все слухи, ходившие в то время в обществе.

I.

Напоминания.

Живучи в столице и в коротком знакомстве с людьми, нам по связям и должностям многое известно не всем известное и многому даже скрытныя причины, — пришло мне на мысль писать виденное мною, чего довольно, и слышанное верное — чего еще более.

Через несколько лет трудно будет себе привести на память обстоятельно разнообразные случаи и происшествия, коими изобилует век наш; еще труднее будет припомнить новыя постановления, замененныя другими; неоднократно изобретения бесполезны, но некоторое время важными почитаемыя перемены в образе мыслей, суждениях и превратности счастья людей, попеременно возвышающихся и ниспадающих, все это мало-по-малу совершенно изгладится из памяти. Приятно мне будет самой найдти здесь любопытныя и достопримечательныя приключения, всеми давно забытыя; ежели бы более имела досужнаго времени, могла бы описать напоминания лет юности моей, времени высшей степени славы России. Солнце ея было тогда на самой высоте неба, плавно стало

склоняться к западу, но вдруг быстро покатилося, скрылось под горизонтом, — сумрак, потом глубокая тьма покрыли землю нашу. Вдруг яркая багряная заря предвозвестила нам восход солнечный; но едва стало оно освещать и согревать нас, как пары зараженные, поднявшись из земли ненавистной, собрались в густой туман, сокрыли и притупили благотворные лучи его. О, когда Бог русских, возставши на сопротивных и развея мглу, просветит отечество наше блеском полуденным, облекши в прежнюю славу!

Январь. Ожиданное преобразование сената не вышло к приятному всех удивлению, вообще мало перемен особливо в сравнении прошлогодняго.

С нетерпением ожидали желаннаго мира с турками. Надежда на оный казалась основательною по благоразумным распоряжениям М. Л. Голенищева-Кутузова и неожиданном успехе во всех его предприятиях противу неприятеля, который, в ужас приведенный, более нас еще желал мира.

6-го числа не было парада Крещенскаго, но войска не распущены; новый повод к предположению, что ожидают повседневно известия о мире и войска удержаны для торжества.

13-го числа большой парад, день рождения Имп. Елисаветы Алексеевны; каждого пешаго полка гвардии третьяго баталиона арестованы все офицеры, худо маршировали, от того, может быть, что озябли, мороз был пресильный. На другой день войска отпущены и приятная надежда наша стала ослабевать. М. Л. грустные письма, скоро потом полученные, заставили нас оную считать тщетною.

Февраль. Слухи о налогах, разнообразные толки, неудовольствие от того, что исчезла надежда к миру. Начали поговаривать о войне с французами и пророчить близкий поход гвардии. Глас Божий — глас народа. Манифест о налогах вышел, много недовольных; но ропот уменьшился, когда сказан поход полкам; не стали жалеть о собственности, в надежде, что употреблено будет в пользу на военные издержки против врага ненавидимаго.

Армейские два полка вышли перед масляницей, во время которой также пошли два полка гвардии, егерский и литовский. Вместо веселия и сумазбродства масляных, везде тихо и уныло; беспокойныя лица отъезжающих и печальныя остающихся вселяют грусть и в тех, кои не участвуют в разставаниях и не провожают близких сердцу; уныние усугубилось и негодование возродилось от повеления вести офицеров пешком; изъявление единогласное неудовольствия; к счастью, причина онаго скоро доведена до Государя, чрез его камердинера Крылова. Справедливо и милостиво сказал:

— „В мыслях не было; когда бы имел возможность, всех бы повез в самых покойных каретах“.

Посланы с сим в полки ушедшие фельдъегеря. Удовольствие там и здесь и благодарность Государю.

Март. Приметно было только по колокольному звону, что пришел пост, потому что на маслянице никому веселье не шло на ум; выходят через день полки; около половины месяца вся гвардия будет уже вне Петербурга. Вел. князь выехал 18-го.

Велик день для отечества и нас всех — 17-й день марта! Бог ознаменовал милость свою на нас, паки к нам обратился и враги наши пали. Открыто преступление в России необычайное, измена и предательство. Неизвестны еще всем ни как открылось злоумышление, ни какия точно были намерения и каким образом должны были приведены быть в действие. Должно просто полагать, что Сперанский намерен был предать отечество и Государя врагу нашему. Уверяют, что в то же время хотел возжечь бунт вдруг во всех пределах России и, дав вольность крестьянам, вручить им оружие на истребление дворян. Изверг, не по доблести возвышенный, хотел доверенность Государя обратить ему на погибель. Магницкий, наперсник его и сотрудник, в тот же день сослан. Уверяют, что Ф. А. Воейков соучастник в преступлении, но он еще не наказан, удален только от министра и дана ему бригада в Москве. Видно он еще не уличен, а подозреваем. Время откроет

истину; слухи, также противоречащие друг другу, и разногласие в том, кто открыл преступление и каким образом.

17-го ввечеру Сперанский был призван к Государю, который, как уверяют, долго его увещевал, надеясь и ожидая признания, но тщетно: ожесточенный изменник твердо уверял о своей невинности, наконец, уличенный доказательствами, кои были в руках Государя, бросился к ногам его и рыдал горько, от страху ли то было или досады, что открылось, или от раскаяния — Богу одному известно. После сего разговора был он отправлен с полицейским чиновником, как говорят, в Нижний, Магницкий — в Вологду. Бумаги их теперь разбирают Вязмит., Гол. и Молч. (?). Умудри их Господи обнаружить все, открыть преступников и сообщников их и оправдать невинных.

18-го числа потихоньку, за великую тайну, на ухо друг другу шептали о ссылке недостойного вельможи, но 19-го сделалось то совершенно гласно и принята восторгом; посещали друг друга для поздравления, воздали славу и благодарение Спасителю Господу и хвалу сыну отечества, открывшему измену, но нам неизвестному. Никакое происшествие на моей памяти не возбудило всеобщаго внимания до такой степени, как это; все забыто, — одно занятие, одна мысль, один у всех разговор.

Любопытство у всех безмерное — знать обстоятельно причины падения и будущую участь преступника; никого, однако же, измена не удивила; давно ее угадывали, из всех новых постановлений, клонящихся к разрушению порядка повсеместно и потрясения в самом основании здания правления. Исчислять начали все вымышленные положения для удаления от дворянства и для возрождения взаимнаго негодования.

Например, указ об экзаменах. Какой способ имеют бедные дворяне, желающие служить в гражданской службе, учиться языкам, римским правам, философии, физике и проч. По этим экзаменам все места должны быть заняты семинаристами, подобными Сперанскому. Постановление, что придворное звание не дает чина, пресекает лестную дорогу дворянам, лишило права награждать детей за службу отцов и приближать их к себе; унизило и достоинство двора. Придворный мундир сделался театральным платьем, никакой цены не имеющим за порогом дворца. Что же было сделано для возбуждения недоверчивости к царю — еще важнее. Коммисия погашения долгов, которая походила на объявление банкротства и вновь положение не делать подрядов, иначе как на серебро. Повседневно наслушавшись разнообразных повествований, особливо об открытии измены, иные говорят, что открыла в. к. Е. П., другие Арм., сии уверяют, что Балашев, а те — что Багратион, но все согласуются в желании примернаго наказания преступнику и обнаружения преступления и наказания.

О, Боже, наставь и просвети в трудныя времена сии императора, коему благоволил вверить счастье стольких миллионов людей; да укреплен и умудрен твоею силою и премудростию победить врагов внутренних и внешних. Посреди всеобщаго одобрения несколько робких и слабых голосов произносят немногия (?) невероятныя оправдания, сетуют на клевету, злобу и ухищрения министров против невинности, превозносят ум, потому что о душе уже говорить нельзя, и уверяют, что доказано уже, сколько Сперанский мог бы быть полезен, ежели бы не заблуждался! Но как судить о способностях того, который все разрушал, как ручаться, что мог бы соорудить или поддерживать; неужели тот, кто имея силы и способ опрокинуть прекраснейшее здание, докажет нам тем, что мог бы и соорудить оное, ежели бы не на разрушение себя употребил.

24-го числа после обеда собран был сенат для чтения манифеста о рекрутах. С 500 — два. Манифест писал Шишков; слог его важен, красноречив и силен, но дик для многих: не привыкли к изречениям и оборотам речи совершенно русским; одна речь взята из Феофанова слова на Полтавскую победу; большая часть читателей не выразумела. После обнаружения манифеста начали говорить, что Шишков будет на месте Сперанскаго, но потом замолчали; он устранился от двора, а Оленин начал изгибаться и вероятно всем показалось, что последний будет государственным секретарем, а не первый; тем паче, что имел случай видеть часто Государя, докладывая по делам

Сперанского. Продолжали говорить о падении Сперанского и все благомыслящие сожалели, что не гласно преступление и не строго наказание. Не радовались милосердию, называя оное попущением; единомысленники и потокатели Сперанского стали громче проповедывать о мнимой невиинности его. О турецком мире не говорили, но о союзе с шведами.

Апрель. Пришло неприятное, но ожидаемое известие об оборонительном и наступательном союзе австрийцев с французами; не удивило никого, кроме тех, коим бы надобно было сие давно предвидеть; огорчились как вещи неожиданной, удивились как не (?); стали говорить о скором отъезде Государя, который назначил себе спутниками, кроме неразлучного гр. Толстаго, канцлера, Кочубея, Чичагова и Армфельда, Аракчеева и Балашева. Барклай уже наперед уехал. Здесь остался Вязмитинов главнокомандующим, коему поручена и часть дел министра полиции. Н. И. Салтыков назначен председателем в совет и в комитете министерском.

9-го сего месяца Государь, простясь с царскою фамилиею, приехал в сопровождении только великих князей в Казанский собор в час пополудни; митрополит служил молебен в путь шествующим с коленопреклонением. Государь плакал и все с ним; по окончании молебствия митрополит благословил Государя, который простился с братьями, поклонился всем и сел в коляску. Несколько десятков тысяч народу, собравшагося на тротуарах перед церковью, закричало «ура»; стоящие на крыльце чиновники и все бывшие в церкви повторили те же восклицания со слезами; Государь скоро ускакал из вида, но народ бежал долго за ним вслед.

Благослови, Господь, путь его и наставь его устроить все ко благу любезнаго отечества нашего. Перед отъездом Государь призвал Шишкова и предложил ему место государственнаго секретаря; сей с сокрушенным сердцем принял предложение сие, говоря, что все силы и способности готов посвятить на службу Государю и пользу отечества. Назначение сие удивило всех по не исканию, а удалению Александра Семеновича от двора и вельможей; обрадовались все честные и благомыслящие люди таковому выбору и почли оной новым знаком милости Господней. Один Бог мог сие внушить Государю, котораго отводят и отдаляют от Александра Семеновича, как и от всех честных и прямодушных людей. Со стыдом остался искавший всеми способами места сего и разсчитывавший уже, что оное получит.

Государь пробыл в Царском Селе до 3 часов утра 10-го числа и продолжал путь свой, хотя с трудностью, по причине переправ и испортившейся дороги, но благополучно, и прибыл в Вильно 14-го сего месяца, в Вербное Воскресение. Унылее и пустее стоял город по отъезде Государя; все слухи на несколько дней замолкли. На Вербной и Страстной неделе все назначенные в путь за Государем выехали.

Чичагов, уверяют, что поехал в Царьград, чтобы заключить за один раз мир с турками и англичанами; говорят, что он заедет в Вильно для объяснения с Государем, потому что наставление, данное ему от канцлера, противно тому, которое он получил от Государя; сказывают, что он поедет только до Бухареста, а Грейг отправлен будет в Царьград для переговоров с англичанами; доброжелательствующие М. Л. Голенищеву-Кутузову уверяют, что он мир сделает прежде приезда Чичагова; желательно, чтобы это сбылось. Праздники не шумны и не много веселых лиц; при таком случае всякий вспоминает отсутствующих, с коими обыкновенно праздновал, и горсть возобновляется. Утверждают наверное, что австрийцы или Франц не утвердили трактата оборонительнаго и наступательнаго, заключеннаго с французами послом их Шварценбергом. Говорят от того, что венгерцы отказали наотрез помощь людьми и деньгами в случае войны с Россиею.

Испанцы взяли Бадаиос и Мадрит. Корпус испанский перешел Пиринеи и взял денежную контрибуцию с южных провинций Франции. В Светлый праздник перед вечерней приехал курьер от Государя; он пишет, что крайне доволен изъявлением усердия жителей и порядком, найденным в войсках по всем частям.

Н.В. Не забыть о Финляндии.

Посол французский уверял всех, что у нас войны с Франциею не будет; переговоры с Наполеоном продолжались.

Май. 1-е мая гулянье было по обыкновенному, карет было не менее, как в прошлый год, щеголяли лошадьми, каретами и упряжками. Многолюдство удивило по великому числу выехавших из Петербурга военных, которые составляли, как казалось, большую часть гуляющих. Мост также был еще не наведен, то и островных не было. Императрицы обе были на гулянье.

Известия получались частыя; от Государя ничего решительнаго нам не обещали; слухи беспрестанные ходили один другому противоречащие: то мир, то война. Государь объезжал войска и новыя крепости; везде все в наилучшем порядке и готовности; лестныя надежды наши возрастали. Все письма из армии наполнены желаньями войны и бодрости духа; уверяют, что и солдаты нетерпеливо хотят приблизиться к неприятелю, чтобы отмстить прошедшия неудачи.

Общее желание всех, чтобы шли вперед и предупредили бы Наполеона в Пруссии, но кажется ближние и доверенные советники Государя противнаго сему мнению; в глубокой своей премудрости решили они вести войну оборонительную и впустить неприятеля в границы наши; те, кои не знают немецкой тактики и судят по здравому разуму, весьма сим огорчаются, считая это злом наивеличайшим, тем паче, что пограничныя наши губернии — польския и немецкия и что Наполеон может в них получить и продовольствие, и встречать консперанцию; боятся также, что когда он приблизится к русским губерниям и объявит крестьян вольными, то может легко сделаться возмущение, но что до этого Фулю, Армфельду и прочим! Здесь кстати дать точное понятие о сих двух приближенных советниках императора русскаго.

Весь май месяц не знали наверное, мир ли продолжится или будет разрыв; столь же боялись перваго, как желали последняго. Цесарцы обнаружили свои намерения, объявили союз свой с французами оборонительный и наступательный; теперь казалось бы никакая политика и никакия основательныя причины не должны нам препятствовать и идти на встречу врага нашего и не подвергать опустошению наши пограничныя губернии; но, увы, велено сжечь построенные на Немане мосты, по крайней мере войска наши на границе.

Государь близко оттуда, наш берег Немана выше противнаго города и удобно, как сказывают, его защищать; много французов погибнет, не поправши родимой земли нашей. Июнь. Все еще в спокойствии, но глубокая тишина сия не есть ли предтеча жестокой бури; пишут из Вильны, что занимаются разводами, праздниками и волокитством, от старших до младших, по пословице — игуменья за чарку, сестры за ковши; молодые офицеры пьют, играют и прочее... вседневные orgies (не знаю русскаго слова сего значения, по чистоте нравов наших, не давно искаженных; не имели мы доселе нужды обогащать такими изречениями язык наш; новые наши сочинители, конечно, оказали оному сию услугу, научились по русски в старых). Все в бездействии; которое можно почти назвать столбняком, когда подумаешь, что неприятель, самый хитрый, самый счастливый, искуснейший полководец в свете, исполинскими шагами приближается к пределам нашим, 300,000 воинов под его предводительством; уверяют, что войска у нас не менее, но неизвестный, неопытный, не заслуживший доверенности войск Барклай ими начальствует. Барклай, главнокомандующий, служил в штаб-офицерских чинах с честью, потом командовал егерским полком и наконец бригадою; о разуме его, о свойствах, о благородных чувствах, о возвышении духа никто не слыхивал, а ему вверен жребий России. О, бедное мое отечество, какими трудами, подвигами, невероятным мужеством возводятся тебе на степень величия и славы мужи и жены превосходнаго ума и редкой доблести; низвергнуть же тебе с оной, посрамить стыдом одного Барклая, когда ему дана власть царская.

Государь сам с ним — пословица: один ум хорошо, а два лучше; но одна неопытность и одно неискусство гораздо лучше двух. Советники же царския и наперсники не удобны подать не только совета, ниже мысли доброй; о двух уже говорено, скажем о прочих:

Аракчеев, злобный и мстительный человек, служил только в Гатчине, учил военному искусству на Марсовом поле и на площадях Исакиевской и Дворцовой и, как уверяют, рассуждает о вещах совсем противно здравому разсудку. Балашев отнюдь не военный, да и не государственный человек. Кочубей был весьма дурной министр внутренних дел, он первый наложил руку на гражданскую часть и начал разстройство и путаницу, которые доведены до совершенства его преемниками. Канцлер Румянцев по своим способностям мог бы управлять департаментом иностранных дел в Сент-Маринской республике, подлый льстец в добавок, душою предан был всегда Наполеону, ненавидим и презрен всеми до такой степени, что радовались, когда ему сделался удар, от которого рот и глаза покривились, жалели все, что он оправился.

Государь купил у Бенигсена дачу близъ Вильны, за 12,000 червонных; нажаловал фрейлин, камер-юнкеров из тамошних; это кажется означает, что мы польския губернии считаем крепкими и верными.

10-го, в Духов день, все военные чины, находящиеся при особе императора, давали бал в Запрете (даче, купленной у Бенигсена); присутствующие на сем празднике писали, что был образчик Петергофскаго; вечер был прекрасный, собрание многочисленное, хозяева ласковые, гости приветливые, музыка огромная, иллюминация прекрасная. Веселие было ли тут, — не знаю, да и не думаю, разве у ослепленных и ничего не предвидящих.

Вдовствующая императрица известила рескриптом Вязмитинова, что мир с турками заключен, о чем и уведомлен Государь; но по неполучении от султана ратификации, нельзя еще оный торжествовать. Известие сие обрадовало, но привыкшие к недоверчивости не торжествовали, а ждали подтверждения. Между тем как веселились в Вильне, войска наши отодвигали от границ, кои совершенно оставлены без обороны.

12-го числа французы перешли Неман с четырьмя колоннами, в Ковне, в и Юрбурге, — во всех сих местах были только казачьи посты, которые сорваны; первое известие о вторжении неприятеля в наши пределы пришло в Вильну ночью с 12-го на 13-е июня.

13-го числа Государь, со всем войском, оставил Вильну; из жителей кто хотел и мог выехал, но большая часть осталась ждать французов, которые заняли Вильну 14-го числа.

17-го получено здесь известие, что ворвались или, справедливее сказать, что вошли французы в Россию; не умею изъяснить чувств, возбужденных сею вестью; все, что досада, стыд и горесть имеют тягчайшаго, слилось для удручения сердец истинно русских; не облегчало их чтение рескрипта на имя Н. И. Салтыкова, коего выражения оказывали недоверчивость к себе и боязнь.....

Напрасно стали нам доказывать, что оборонительная война гораздо выгоднее наступательной, вообще уверяли нас, что план постановленный премудр и Наполеона заведут и обманут; в пустыне проповедывали оптимисты сии, никого не убеждая; горесть, негодование были во всех устах и на всех лицах. Через день печатались известия из армии, кои назывались bulletins.

В них говорили об успехах наших, о медленности Наполеоновой, о недоверчивости к силам своим, самое же дело нам показывало совершенно противное; успевали мы точно в отступлении, неприятель же не завоевывал, но забирал целыя губернии. Горесть и страх час от часу умножались, однако же старались нас обмануть (?), уверяя, что необычайный сей поступок происходит от того, отступают только до назначеннаго места, что все это делается по премудрому плану ..., что, придя в крепкую позицию, останются и отразят неприятеля, что нужно сие, чтобы намерное его разбить и заставить раскаться в дерзости. Сии и подобныя предположения несколько времени нас тешили, сперва оным верили, надеялись, потом начали сомневаться и, наконец, изверились совершенно.

24-го июня Барклай отдал престранный приказ, превитиеватый, хотя не совсем складно написанный, в котором призывает их храбро поражать врага, а сам от него велит бежать. Еще оставалась некоторая надежда, что войска наши останются в укрепленном лагере, на время, при Дриссе; вступили в оный 28-го числа. Июня 27-го, незабвенный вечно для России день Полтавской победы, не пропущен также без приказа, хотя в нем, напоминая

победы праотцев наших, заставляют потомков следовать по стезям их, но между тем велят идти назад, что, однако же, надобно сказать к чести наших воинов, весьма не охотно исполняют.

Лагерь при Дриссе, — говорят и мало делают, во многоглаголании несть спасения, — укрепленный долго с великими трудами и издержками, скоро был оставлен и погас последний слабый луч надежды нашей. В последних числах сего месяца прибыл сюда граф Голенищев-Кутузов, котораго, по заключении турецкаго мира, рескриптом вызвал Государь для получения должной им награды, сдав армию адмиралу Чичагову; можно было подумать, что Кутузову поручено будет начальство флотом, но нет, он, прибыв сюда, не нашел не только наград, но и самого награждающего с обычною кротостью и спокойствием духа. Огорченный только общим несчастьем и по опытности и дальновидности более еще других предвидел бедствия.

Июль. Час от часу унылее и мрачнее становились частыя и ложныя обещания Барклая остановиться и отразить неприятеля; они вывели из терпения. Получено от 6-го известие, что после описанных успехов армия быстро следует к Полоцку, соображая свои движения с неприятельскими, то есть отступает по мере его приближения. Горесть, страх и отчаяние овладели всеми; со всех сторон получаемы были страх наносящия известия; Эссен в чрезмерной робости пишет из Риги, что не может отвечать за целость оной и преградить неприятелю путь к Петербургу; сотни рижских выходцев, вседневно сюда прибывающих, подтверждают слова его и умножают всеобщий страх; всем присутственным местам велено собраться и сделан чрезвычайный совет; призван граф Голенищев-Кутузов; сие обстоятельство усугубило ужас. Председатель Совета, гр. Салтыков, человек без твердости и старый царедворец, решился призвать в Совет оставленного, гонимаго двором, — знать уже все погибло! Кутузов подал совет вызвать войска из Финляндии, сделать укрепления со стороны Нарвы и Псковской дороги, в выгодных местах; назначил Чичагова. Разнесшиеся повсеместно о сем слухи привели всех в недоумение и робость, стали думать о побеге из Петербурга, многие стали выезжать, другие собраться и укладываться. Всеобщее уныние и страх усугубились по получении здесь 10-го числа манифеста, коим призывал Государь всех сынов России на защиту отечества; с сокрушенным сердцем оный читали, но, дыша злобою и мщением на врага, охотно приняли предлагаемый способ, коим надеялись ему отмстить за стыд и горесть. Получено известие, что Государь 7-го числа оставил армию в Полоцке и едет чрез Смоленск в Москву; весть сия несколько ободрила, начали надеяться, что может быть план войны переменился; доброжелатели Барклая стали проповедывать, что он был стеснен и не мог следовать своим планам, что Фуль и Армфельд, сбивая Государя, ему мешали; в то-же почти время Витгенштейн отразил неприятеля и взял генерала St; луч надежды опять проглянул, но увы, не долго приятная мечта нас утешала.

13-го (июля) получено известие, что ратификация мира подписана султаном. 14-го было благодарственное молебствие; утешил мир унылыя души наши и, что называется, хоть дух перевели; замедление получения ратификации приводило уже в сомнение, боялись, чтоб французам не удалось коварствами преклонить султана на свою сторону. 17-го числа, во исполнение манифеста, открылось собрание дворянства с.-петербургской губ. для устройства ополчения. Начальником избрали гр. Голенищева-Кутузова, который благосклонно принял просьбу дворянства и со слезами их благодарил, прибыв в собрание, где его встретили с восторгом и восклицаниями; полки, названы дружинами, составляющие оные — воинами, коих назначено с 25 душ один. Гр. Голенищев-Кутузов занялся с деятельностью и усердием образованием с.-петербургскаго ополчения; по доблестям и заслугам его маловажно для всех казалось занятие сие, но великие люди не унижаются, занимаясь малым, но оное возвышают, не имея на то время инаго способа быть полезным отечеству; не возгнушался и сим постом, ему предлагаемым, подобно Эпаминонду, не отрекшемся после предводительства армиями, служить простым воином под начальством неопытных полководцев, возведенных пронырством и коварством на

высшую степень. Прежде собрания дворянского был молебен в Казанском соборе, перед коим прочтено воззвание Св. Синода, превосходящее все, что прежде было писано и обнародовано; по мыслям и по приличности и красоте слога вдохновенно оно кажется верою и любовью к церкви и отечеству. В сей же день получено известие от 9-го, что армия идет форсированным маршем к Витебску, но единственно для соединения с армией кн. Багратиона, коей авангард уже в окрестностях Могилева. Последнее несколько усладило первое и стали мечтать, что, по соединении, военные действия совершенно переменятся.

9-го числа (июля) Государь прибыл в Смоленск, где был принят с восклицаниями; дворянство предложило на защиту отечества ополчение, числом, как уверяют, до 20,000 воинов.

В Москве получен манифест от 6-го из Полоцка, в коем призывается первопрестольный град и губерния Московская на защиту отечества и извещает государь Москву о скором своем прибытии. С 11-го на 12-е в полночь государь прибыл в Кремлевский дворец; 12-го было благодарственное молебствие о заключении мира с Портою. При шествии государя в собор и при возвращении, безчисленное множество народа сопровождало его с восклицаниями. 15-го открыто собрание дворянства, в коем положено отдать с 10 душ одного воина. С 21-го на 22-е в ночь прибыл государь сюда. Сердца наши, стесненные горестью, озлобленные, неудобны были чувствовать радости, ни чувствовать восторгов. Обычное унылое молчание везде царствовало и день сей был для всех мрачен, подобно и предъидущим; по повелению город был иллюминирован. Получаемые известия отнюдь не утешительны, хотя войска наши везде оказывают храбрость и генералы искусство. Граф Остерман в Островне, Раевский в Дашковке пожали лавры, да бесполезные для России. 24-го числа читали мы от 18-го непонятную реляцию: Коновницын заменил графа Остермана, оказал то же искусство, — войска — ту же храбрость, отразил неприятеля и ночью отступил к месту, назначенному для генеральной баталии. Но известие, что Багратион переменял весь план, вместо того, чтоб идти на Могилев и Оршу, пошел на Мстислав и Смоленск, и Барклай решился идти к Смоленску. Он называет это движение смелым; доселе никому не приходило в голову отступление и старание избегать неприятеля называть смелостию, которая в иных случаях может называться только благоразумием и во всех — осторожностью. Барклай хвалится тем, что маневрировал пред лицом неприятеля, а успехом сего, незабвенной памяти, достойного предприятия обязан он искусным распоряжениям гр. Палена, который тут показал все, что прозорливость и воинское имеют наиболее блистающего; он умел извлекать пользу из малейшей дефилеи, и проч. Простили бы мы, что это не по русски сказано, но больно, что не по русски сделано и потому (?) показал нам блеск сей; не постигли мы премудрости немецкаго плана и тщетная храбрость, нас не защищающая, не получала похвал наших. Приближение к Смоленску неприятеля, идущаго по следам нашей армии, исполнило всех страха и горести. Один гр. Витгейнштейн отражал неприятеля, неподвижно стоя подобно скале, о кою свирепыя волны, ударяясь, разбиваются, не потрясая оной. Как удивительно кажется, что армия стотысячная бежит без оглядки, оставляя на разграбление врагам целыя области, в то самое время, когда корпус 13-тысячный для виду только защиты Петербурга, но в самом деле оставленный на жертву, противостоит двум армиям, из коих каждая вдвое сильнее онаго, не допускает их напасть совокупными силами и так их разделяет, что никогда уже им соединение не удастся.

25-го числа от гр. Витгейнштейна получены утешительныя и ободряющия известия, что он 18-го числа, не дав соединиться Удино с Магдональдом, атаковал перваго и разбил близъ Клястиц. Командующий и два генерала ранены, 3,000 ряд. с 25 офицерами взяты в плен, с двумя пушками и ящиками, казенные и партикулярные обозы захвачены. Граф Витгейнштейн легко ранен, гусарский генерал-майор Кульнев, к общему сожалению, убит. Размышляя, что сим ясно видишь руку Божию; призирающий на Россию Господь показывает очевидно Свой (всеблагий) промысел, но не губит ея, оставляет в напастях луч

надежды, да не отчаемся и стыдно прибегнем к всеильной помощи Его, благо нам и наступим....

..... Гр. Витгейншейн уверяет, что неприятель отступит от Риги: мы ему верим, не быв им обмануты; он первый облегчил горечь нашу и уменьшил ужас наш. Он защитил Псков и Петербург, неизгладим подвиг его в памяти потомства; отселе всякий русский произносить будет имя его с благодарностию и почтением.

25-го (июля) о сей победе было благодарственное молебствие в Таврическом дворце.

27-го получено от Торماسова из Кобрин от 16-го донесение к государю, что при овладении сим городом 15-го разбит саксонский отряд и взят в плен командующий оным с тремя полковниками и 63 штаб и обер-офицерами, сверх того восемь пушек, 4 знамени и множество оружия разнаго.

28-го было о сей победе молебствие в Таврическом дворце.

Во изъявление благоволения к службе графа Голенищева-Кутузова, окончившаго войну и заключившаго полезный мир с Портою, государь возвел его на княжеское всероссийской империи достоинство, с титулом светлости. Странным для многих показалось таковое награждение: Михаилу Илларионовичу 67 лет, мужескаго поколения не имеет, — на что ему такая прибавления к имени, которое его подвигами знаменитыми останется незабвенным во веки? Между тем в один голос все кричали, что место его не здесь, что начальствовать он должен не мужиками С.-Петербургской губернии, но армиею, которую берегая, Барклай отдает России; имя его сделалось ненавистным, никто из прямо русских не произносил его хладнокровно, иные называли его изменником, другие сумасшедшим или дураком, но все соглашались в том, что он губит нас и предает Россию. Некоторые еще из немецкой партии слабым голосом его защищали, но заглушаемы были громкими криками негодования; не совсем отчаявшиеся уверяли, что в Смоленске остановится армия, что в древнюю Россию не впустят неприятеля, что удобное к защищению местоположение Смоленска и укрепления его удержат неприятеля, и что он не осмелится дерзкую ногу поставить на Святую Русь. Изверившись совершенно Барклаю, полагали единственную надежду на князя Голен.-Кутузова; одна у всех мысль, один разговор; возмущены женщины, старые, молодые, одним словом все состояния, все возрасты нарекали его единодушно спасителем отечества; единогласно призывали его, громко везде раздавалось, что погибель наша неизбежна, когда не будет предводительствовать армиею князь Гол.-Кутузов. Таковое движение армии, которая, уже соединясь с Багратионом, все продолжала отступать, ясно нам показало, что ежели хотят еще что защищать, то конечно не Петербург, а Москву; безпокойство, уныние, страх дошли до высочайшей степени, хотя русская храбрость и военное искусство гр. Витгенштейна нас могли несколько успокоивать, но с другой стороны робость и неблагоразумие Эссена нас пугали; он без нужды сжег форштаты Риги, многих раззорил, при пожаре были беспорядки, грабеж и даже смертоубийство, и бедные жители Риги, не видя неприятеля, испытали все бедствия войны.

Август. Устроен комитет для сосредоточения дел внутренняго ополчения; посажены в оный гр. Аракчеев, министр полиции Балашев и государственный секретарь Шишков. Неизвестно, способны ли они были сосредоточить дела, даже сего и не понимаю, но известно всем, что ни один из них в военном деле не искусен.

II.

Слова и случаи.

Л. назначен генерал-интендантом, не годился быть Моск. губ.; какое же доказательство, что удобен занять такое важное место? Он достал или сам сделал модель печи для печения сухарей на армию.

..... сказал „ты имеешь все прелести, мила, любезна, словом совершенно мне по сердцу; одно только в тебе мне не нравится: ты родилась княжною и теперь носишь знатную древнюю дворянскую фамилию“.

Государь позвал Шишкова для какого-то препоручения и сказал ему: „я не много читал русского, а иностранного довольно, но ничего не читал такого прекрасного, как ваша речь о любви к отечеству”

Растопчин сказал про Козодавлева будто ко многим приступал, прося посмотреть портрет (Сперанского?), потому что не удалось его хорошенько видеть и не помнит совсем в лице. Удачно, остро и справедливо сказано по известным всем свойствам.

Губерн. Вол. Камбурле жене дали бант (?), что всех удивило: была она урожденная Конд., а он из еврейского рода, но говорят, что в проезд М. А. через Житомир были встречи торжества, праздники, шалева кровать (?) и проч.; удивление превратилось в негодование во многих.

Вензель дали Витовтовой дочери, конечно дабы возобновить и усугубить удивление о вышеописанном. Витовтов служил в филантропическом комитете; не знаю, какую пользу сделал роду человеческому вообще; своим согражданам и отечеству никаких услуг не оказал, но себе умел выпросить 180 тысяч и разныя привилегии на фабриках.

Государь, призвав Шишкова, сказал ему: „неужели откажешься от моей доверенности и места государственного секретаря?” Видно, внушено было государю, что он не примет предложения; но коварные в стыде остались: Шишков со слезами отвечал, что „готов служить везде всеми силами и способностями государю и отечеству”.

Все свидетели отъезда государева, чиновники и простолюдины, плакали навзрыд, от души за него молились и с сердечным чувством любви и горести восклицали „ура” ему вслед.

Проводя государя, возвратившиеся в дом рассказывали ими виденное, слезы их вновь текли и слушавшие их с ними вместе плакали. Добрый народ русский, врожденное в тебе чувство любви к вере, царю и отечеству течет с кровью в жилах твоих; не изменяется в несчастьи и угнетении. Да сохранит чувства сии в роды родов и благословение Божие пребудет нерушимо над ним. Нельзя не напомнить здесь приличных двух стихов из наших славных лириков:

О, сколь монарх благополучен,
Что знает Россами владеть;
Он будет в свете славой звучен
И всех сердца в руке иметь.

и стих:

О, российский бодрственный народ,
Отечески хранящий нравы,
Когда разслаб весь смертный род,
Какой ты не причастен славы?

Оленин, добивавшийся смены Госуд. Секретаря всякими исканиями и разгласивший, что оный получит, написал к Шишкову, что обиделся бы всяким иным выбором, но его признает достойнейшим себя и прибавил: „не примите сие за лобзание Иуды”.

Армфельд за столом у государя на речь, что Бонапарт любил трагедии и дал содержание на шесть трагедий, сказал: „забыли седьмую, на плоту по Неману в Тильзите”.

Он же сказал, и также к слову, о дороговизне фуража в Вильне: „я бы там Гурьева не стал кормить”.

Генерал-провиантмейстер Лобанов в отчаянии, когда у него требуют несколько сот тысяч, то выдают ему пять или шесть (?) он (?) что будет несчастлив; хотя обо всем безпрестанно представлял и поправить этого ему невозможно.

В Духов день в Вильне назначен был праздник в Запрете, даче, купленной у Бенигсена; для помещения многочисленной беседы построили обширную галлерею, но за несколько часов до бала крыша оной упала. Архитектор скрылся; неизвестно, по незнанию ли своего художества или по злему умыслу он так построил галлерею; ежели последнее правда, то весьма счастливо, что не верно разочтено было время падения.

Барклай, подъехав к солдатам, когда они или кашу, спросил: „ребята, хороша ли каша?”
— Хороша, отвечали они ему, да не за что нас кормить”.

Какой справедливый и жестокий упрек для него, который был причиною, что они себя считали недостойными есть русский хлеб.

Военные чины при особе государя давали праздник в Вильне. Звали всех французскими билетами, на коих было написано: *la maison militaire de sa M. l'Empereur* и проч.; прежним руссакам могло бы показаться, что этот *Empereur* не русский царь, да и о доме военном на Руси и слухом не слыхали.

Близь Сычевки, уездный город Смоленской губ., вели пленных французоз; по неосторожности и пьянству, конвой наш (?) у них ружья; они ушли и начали стрелять по мужикам; сии, вооружась дубинами и дрекольями, на них ударили, половину перебили до смерти, иных до полусмерти, прочих перевязали. Слух о нападении французоз пронесся по деревням; не знали, что пленные взбунтовались, но подумали, что то войска французския. Через несколько часов 9,000 тыс. вооруженных крестьян с своими помещиками пришли на помощь своих соседей.

Дохтуров, получа двукратное повеление оставить Смоленск с угрозою от Барклая, что откажет ему от команды и напоминанием, что имеет власть его разстрелять, пошел в собор, отпел молебен, поднял чудотворный образ Смоленския Богоматери и увез с собою. Все плакали, выходя из Смоленска. Вдали, посреди рыдающих воинов наших, слышны были восклицания французоз: *vive l'Empereur*. О милосердый Боже, сжался над горестной Россией; некто сказал: справедливее бы им кричать: *vive Barclai*.

Бертье писал к (?) чтобы предложил Государю оставить местных начальников в губерниях, занятых французами, дабы облегчить поселян и обывателей и сохранить порядок; он прибавляет в письме своем, что хотя и далеко зашло между Францию и Россию, но имп. французоз не удален от возобновления согласия, что он видел письмо его и одобрил и что свидетельствует почтение императору русскому.

А. С. Шишков говорил Барклаю о беспорядках и обидах, причиненных войсками обывателям, на коих и управы нельзя найти. Барклай отвечал очень хладнокровно, что имеет один токмо предмет — сбережение армии, не думая более ни о чем. Он положил себе в голову, что Россия для армии, а не армия для России. Превосходная логика. Когда пришло известие от Эссена, будто 40,000 французоз переправились через Двину и идут к Петербургу, то мин. внутр. дел Козодавлев уклал все свои пожитки в 18 сундуков и отправил в Тихвин, в монастырь, прося архимандрита поставить в самое безопасное место; сей не нашел вернее и безопаснее места, как в ризнице за алтарем; сундуки большие не входят в северныя и южныя двери, надо нести через царския мимо престола, в царския двери не входят, тяжело, и простые монахи и иеромонахи в облачении тащили сундуки, от тягости коих пол треснул.

Мамонов кроме ополчения сформировал полк из своих людей, отдал в пожертвование все бриллианты, золото и серебро и из нескольких сот тыс. доходу оставил себе ежегодно только по 15 тыс. на все продолжение войны. Такая любовь к отечеству, таковой подвиг в 22 года — свыше всех похвал.

Константин Павлович говорил Барклаю, что пора бы остановиться и должно бы удерживать Смоленск; с безпримерным хладнокровием Барклай отвечал, что поступает по предназначенному плану и отчетом ему не обязан; в другом случае похвальна бы была таковая твердость.

Вообще Барклай (считали) неудобовозможным, к тому же горд до крайности, ни разу не сделал совета военнаго. Иногда посылает корпуснаго генерала с отрядом, не объясняет ему ни своих намерений, ни его цели, а просто дает приказание, как бы капралу.

Вел. Князь, отправясь из армии, встретился в Бронницах с Кутузовым; он ему сказал, будто бы поехал единственно для того, чтобы просить государя назначить князя главнокомандующим; однако же он не воротился в армию, хотя желание его было уже удовлетворено. Князь ему советывал ожидать в Петербурге государя, который был тогда в Або, для свидания с Бернадотом. Говорил, что приезд его (т. е. вел. князя в Або) может подать повод к заключениям о больших еще несчастиях и воспрепятствовать переговорам.

Вел. Кн. отвечал, что на это не посмотрит и непременно поедет в Або; тогда (как уверяют) кн. Мих. Лар. весьма учтиво напомнил его высочеству, что он у него в команде, и что, имея право запретить ему ехать в Або, он принужденным находится оное употребить. Константин Павлович дождался государя в Петербурге.

Фельдмаршал гр. Ник. Ив. Салтыков, воспитатель государя и великаго князя, оставленный в отсутствии Государя председателем комитета министров и госуд. совета, словом главою над всем, лишась супруги своей, просит помощи царской на погребение и, получа 50,000 руб., употребил, по словам одних, 32 т., а других — 27 т., а остальными деньгами воспользовался.

Государь, прибыв сюда в июле, считается в походе еще поныне, перваго октября; не принимает министров: кроме военного и морского нет докладных дней для прочих; по сей самой причине Балашев ничего не делает, хотя называется мин. полиции и здешним военным губернатором. Вязмитинов правит обеими должностями. В ознаменование же, что государь в походе, обер-гофмаршал гр. Ник. Александр. Толстой ходит в шпорах. Кон. Павл. представил в Екатеринославский казачий полк 126 лошадей, полагая за каждую 225 руб. Экономический комитет ополчения сомневался — отпустить ли деньги, находя, что лошади оных не стоят. Государь приказал, говоря, что пожертвование уже сделано, следственно может оным располагать по произволу; 28,350 р. заплочены, лошади приняты, 45 сапатов застреляны немедленно, чтобы не заразить других, 55 негодных велено продать за что бы то ни было, а 26 причислены в полк.

Лишнее бы было разсуждать о сих трех случаях; мне кажется только, что язык недостаточен и названия истинно выразительнаго для каждого из оных нельзя приискать. Надобно изобрести новья.

Спектакли французские были запрещены. Государь, возвратясь, приказал оные возобновить; никто почти не ездил. В первом ярусе одна Марья Ант. (Нарышкина), которая всем рассказывает, что ставят спектакли для нея и она оными забавляется; на нее за это весьма негодуют, сказывают даже, что на улице ей сделана какая-то грубость. После взятия Смоленска играли Дмитрия Донскаго, все плакали, не как в театре, а как бы в церкви, особливо во время молитвы Дмитрия, которою трагедия и кончается; непосредственно за оной, когда все чувства растревожены, воспламенены, когда всякий чувствует живо любовь к отечеству и горесть от его несчастья, выходит актер для объявления, что на другой день будут играть французскую комедию. При сем ненавистном имени начали шикать, актер хотел продолжать, закричали: „не надо!“ и не дали ему кончить. В тот вечер и на другой день пошли об этом толки; покровители фр. театра кричали, как бы это было преступление, заслуживающее казнь не менее самаго богохуления, или важное оскорбление величества. О, бедный и терпеливый русский народ, подстрекают тебя всячески, внушают ненависть против французов, возбуждают отмщение за обиды и несчастья, а потом требуют, чтобы с приятностию о них слушал, чтобы глядя на них утешался; хотят слепаго повиновения не токмо в должности, но и по прихотям даже в забавах твоих.

На другой день играли французскую комедию; на дверях театра прилепили листочек, будто бы от имени Ал. Льв. Нарышкина, в коем называли подлецами всех, кто в театре будет. В следующий спектакль найдены стихи бранные на Александра Льв., в третий спектакль не произошло ничего и с тех пор через день без помехи французы играют, но после русскаго спектакля о франц. не объявляют и безпримерно кроткие сограждане мои успокоились.

Москва взята; враги лютые, неистовые, в сердце России, а сограждане их такие же точно изверги, как и те, готовые им содействовать здесь во множестве; деятельныя и крутыя распоряжения для удаления их кончились ничем; несколько беззащитных, бедных, не имеющих никаких знакомств и связей, следственно по сему самому и неопасных, выслано, прочие все остались и за них ругаются; Марья Антоновна за иных отвечала, а за весьма многих просила.

Спектакли французские продолжают; неужели есть русские, которые могут смотреть на французов без отвращения и содрагания? Неужели могут забавляться, когда враги в Москве?⁵²

В. И. Бакунина.

1812 г.

А. Б. Камаев. Эпизод из жизни сибиряков в 1812 году

Дядя мой, Александр Васильевич Камаев, родной брат моей матери, родился 14-го августа 1797 года, воспитывался в доме отца своего; имея от роду около 12-ти лет, по обычаю того времени, записан был в военную службу и зачислен в квартировавший тогда в Омской крепости Селенгинский пахотный полк, — но жил у отца.

По случаю военных действий в 1811 г., Селенгинскому полку назначен был поход в Россию. Покойный мой дедушка, несмотря на предложение начальства перечислить сына в сибирские линейные батальоны, так как, по его молодости, походная жизнь будет трудна, как истинный патриот, не пожалел отдать единственного сына на защиту отечества, и отпуская, поручил его шефу этого полка, полковнику Демиду Ивановичу Мещерякову, с которым с давних лет был в самых дружеских отношениях.

6-го августа 1812 года, в сражении под Смоленском, Селенгинский полк был разбит полчищами Наполеона. Полковник Мещеряков и дядя мой были ранены и потеряли друг друга из виду. После сражения, когда убирали раненых и хоронили убитых, дядя лежал под кустами, истекая кровью из ран. Одна нога его была прострелена пулею на вылет, а в другой пуля остановилась. Проезжавший мимо гусар, вероятно, отыскивая кого-нибудь из близких к нему, заметил дядю, плавающего в крови, но еще живого, прицеливаясь из пистолета, спросил: «русский или француз?» Собравши последние силы, дядя мог только сказать: «русский»; услышав этот отклик, гусар подъехал ближе, и увидев в этом защитнике отечества мальчика, не более 15-ти лет, в солдатской форме, плавающего в крови, сошел с лошади, обмыл и перевязал его раны, снявши с себя рубашку; взял его на руки и посадил на свою лошадь, а сам шел пешком подле, держа лошадь под уздцы, и таким образом доставил его на перевязочный пункт. Отсюда дядю отправили с обозом раненых в Москву, и там поместили в лазарет. Когда же Наполеон с войском подступил к Москве, и когда решено было, для спасения отечества, принести в жертву первопрестольную столицу, и Москва была в огне от пожаров, все, кто мог и был в силах, уезжали. Французы вступили с одной стороны, а москвичи выезжали с другой, преимущественно по Владимирскому тракту, как наиболее безопасному от неприятеля. В это время полковой адъютант разбитого Селенгинского полка, наняв тройку лошадей, с просторной телегой, приехал в лазарет, чтобы вывезти из Москвы своего начальника. Полковник Мещеряков также был в том же лазарете, где лежал и дядя, но в офицерских палатах, и потому-то они и не знали, что так близко были друг от друга. Когда адъютант выводил своего командира, они проходили ту палату, в которой лежал дядя. Когда только дядя увидал их — крикнул: «Демид Иванович!», раненый и больной полковник остановился, и, узнав своего питомца, сказал адъютанту: «спасайте его, я дал слово отцу его беречь его, и должен спасти», с этими словами отдал ему свою теплую шинель, в которую завернули дядю, и адъютант на своих руках вынес его в телегу, посадил полковника и сам сел с ними, — поскакали в Владимир. Сколько времени дядя жил во Владимире вместе с полковником Мещеряковым, я не знаю, но только в это время, по ходатайству его, дядя был произведен в прапорщики и когда раны его начали закрываться и он мог ходить, ему дан был отпуск в Сибирь до совершенного излечения. Мещеряков,

52 Бакунина В.И. Двенадцатый год в записках Варвары Ивановны Бакуниной // Русская старина, 1885. – Т. 47. - № 9. – С. 391-410. - http://memoirs.ru/texts/bacunina_1.htm

отправляя его, обмундировал его, и сделал ему все необходимое на дорогу, а сам остался при армии, впредь до окончания кампании.

Наступила осень, сырая и холодная. Молодой воин, изнуренный походами, болезнью и ранами, в одной только форменной одежде, имея весьма скудные средства, один одинехонек, отправился на родину, слишком за 2000 верст, надеясь на Бога. Путешествие его не могло быть скоро: на почтовых он ехать не мог, за неимением для этого средств, на вольных с попутчиками путешествие было крайне медленно и изнурительно, так как приходилось несколько раз останавливаться для восстановления сил и для совета с докторами, но, благодаря Бога и добрых людей, которых на святой Руси и теперь немало, а тогда был еще непочатый край, он кое-как добрался до Екатеринбурга; там уже все средства его истощились, ехать дальше было не на-что. Между тем в Сибири наступила зима, а до Омска оставалось еще около 700 верст. Остановившись в Екатеринбурге на постоялом дворе, он рассказал хозяину свое положение и просил указать ему когонибудь, кто бы дал ему средства добраться до дому. Ему указали на одного зажиточного купца, к которому он и обратился с просьбой помочь ему, обещая по приезде к отцу возратить деньги. Этот добрый русский человек, узнавши, что он раненый, не только не отказал ему помочь, но взял его к себе в дом, сделал ему всю теплую зимнюю одежду, так как в Сибири, в конце сентября и начале октября, наступают такие сильные холода и морозы, о которых кто не бывал в Сибири не имеет и понятия; устроил ему небольшую кибитку, и давши денег на дорогу, без всякой росписки, отправил его в Омск, а семейство его, по сибирскому обычаю, приготовило «подорожников»⁵³, которых с избытком хватило ему до дому.

Со дня получения раны и во все время лечения, он ничего не писал отцу, равно как и от отца не получил ни одного письма. Почта тогда в Сибирь ходила только один раз в неделю, а по случаю войны, известия из России в Сибири получались еще реже. Вследствие этого, ни он о родных ничего не знал, ни они о нем, поэтому приезд его домой был нечаянностью, которой никто из домашних не мог ожидать. Как ни молод был дядя, но побоялся приехать прямо в дом родителей, чтобы не испугать их, а приехавши в Омск поздно вечером 9-го октября 1812 года, проехал на квартиру жениха своей старшей сестры Елизаветы Васильевны, казачей конной артиллерии поручика Вас. Ив. Кузминского⁵⁴, квартировавшего в Омской крепости, недалеко от квартиры дедушки, и оттуда послал письмо к родителям, что он остановился на последней станции, чтобы не испугать их нечаянностью; посылает это письмо, дедушки не было дома, он уехал к знакомым на бостон. Бабушка, получивши письмо, тотчас отправила его с нарочным к нему, с приказанием отдать его самому лично в руки. Посланный застал дедушку за картами. Прочитавши письмо, у него от внезапной радости отнялся язык, он выскочил из-за стола, пробормотавши несколько несвязных слов, которых никто не мог понять, схватил шляпу и уехал домой. Партнеры его остались в полном недоумении и думали, что случилось чтонибудь неприятное у него в доме, и остались ожидать его возвращения. Едучи домой, дедушка всю дорогу делал распоряжения, чтобы сейчас бы были готовы лошади, потому что он сам едет на последнюю станцию встречать сына. Приехавши домой, он вошел в прихожую, где его встретила прежде всего бабушка, которая всегда умела владеть собою лучше, чем дедушка, и на его несвязные слова сказала ему, чтобы он успокоился, и ехать встречать Сашу не зачем, потому что он уже здесь; не успел дедушка опомниться от этих слов, как сын уже бросился к нему и повис у него на шее. По возвращении посланного от

53 Зимой в Сибири, когда едут в дорогу, готовят на дорогу подорожники, т. е. разные варенья, щи, печенья и непременно пельмени, и все это замораживают и складывают в мешки; так как до 1840-х годов, в Сибири, не знаю как теперь, по дороге, на станциях и постоялых дворах, ничего нельзя было достать, кроме самовара, а гостиниц и трактиров не было.

54 Впоследствии генерал-майора, бригадного командира казачей конной артиллерии в Оренбурге. Умер 3-го февраля 1845 г. в Москве, где был проездом в Петербург. (Н. К.)

бабушки, узнавши, что дедушки нет дома, и зная, что бабушка гораздо лучше владеет собою, дядя вместе с Кузминским отправился к ней, чтобы она устроила встречу и приготовила дедушку. Радость была неопишанная: дедушка не выпускал из объятий сына, целовал его раны и ноги. Когда первый порыв восторгов прошел и нервы немного успокоились, в столовой приготовили чай, куда отправилась вся семья, которая у дедушки была не маленькая. Мать моя была ребенком, лет 12-ти, и была в это время в детской, ей тоже хотелось видеть брата, но она боялась его, потому что он приехал с войны и раненый, и потому должен быть страшен; но страстно желая его видеть, она еще до прихода всех в столовую, забралась туда и подлезла под стоящий там диван, и оттуда производила свои наблюдения. Во время питья чая, в эту столовую собралась вся прислуга дедушки, чтобы посмотреть молодого барина и поздороваться с ним. Дедушка был в восторге, язык его возвратился, он всем показывал раны сына и вместе с дворнею не переставал целовать их. Между тем партнеры дедушки (полковник Григорович, гвардии полковник Броневский⁵⁵ 1) и др.), видя, что он не возвращается, решились все ехать к нему, узнать, что такое случилось у него, так как все они очень его любили и были с ним дружны. Приехавши, они ни в прихожей, ни в зале не нашли никого, в гостиной они услышали говор из столовой, в которую дверь была заперта. Походивши по комнатам с четверть часа, они решились отворить не много дверь и посмотреть, что там делается; глазам их представилась следующая картина: за чайным столом сидели дедушка и бабушка, посреди их дядя, а кругом их стояли дети, сестры, тетки и бабушки, за ними дворня в несколько рядов, так что они ничего не могли понять около чего стоять все и что такое смотрят; к счастью, отворяя дверь, она скрипнула, на это обратила внимание бабушка, и увидела гостей. Лишь только она успела сказать об этом мужу, как он вскочил с места, поднял сына, и, поставив его на стол, сказал: «вот вам, господа, воин, проливший кровь за отечество и первый выходец с поля битвы в Сибирь!!» Гости, зная дядю с детства, и видя его теперь офицером, были в восторге, и он переходил из одних объятий в другие. По получении облегчения, когда раны его зажили, он был назначен адъютантом к бригадному командиру, потом был плац-адъютантом в Омской крепости, и впоследствии командовал, в бывшей Петропавловской крепости, ныне упраздненной, сибирским линейным батальоном, где и скончался в чине майора, в декабре месяце 1834 года. Женат был Камаев на дочери бывшего своего командира, Д. И. Мещерякова, — Елизавете Демидовне.

Н. Н. Каргопольцев.
23-го декабря 1882 г.
Г. Бобруйск⁵⁶

И.С. Тургенев. Письма о франко-прусской войне

Баден-Баден, 27-го июля (8-го августа).

В прошлый четверг я писал вам под отдаленный гул канонады, на другой день, в пятницу, телеграмма известила нас, что это немцы брали штурмом Виссамбур -- и началось исполнение плана Мольтке, который (в то время, как император французов показывал своему сыну, между завтраком и обедом, как действуют митральезы, и с чрезвычайным эффектом брал город Саарбрюкен, защищаемый одним батальоном) ринул всю громадную армию кронпринца прусского в Эльзас и разрубил французскую армию надвое. В субботу, то есть третьего дня, мой садовник пришел сказать мне, что с утра слышится чрезвычайно сильная пальба; я вышел на крыльцо, и действительно: глухие удары, раскаты, сотрясения

⁵⁵ Впоследствии генерал-губернатор Восточной Сибири, потом сенатор. (Н. К).

⁵⁶ Каргопольцев Н. Н. Майор А. Б. Камаев. Эпизод из жизни сибиряков в 1812 г. / РС, 1883, т.38, № 6, с.664-668. - <http://memoirs.ru/texts/KargopRS83T38N6.htm>

доносились явственно; но раздавались они уже несколько более к югу, чем в четверг; я насчитывал их от тридцати до сорока в минуту. Я взял карету и поехал в Ибург -- замок, находящийся на одной из самых крайних к Рейну вершин Шварцвальда: оттуда видна вся долина Эльзаса до Страсбурга. Погода была ясная, и отчетливо рисовалась линия Вогезских гор на небосклоне. Канонада прекратилась за несколько минут до моего прибытия в Ибург; но прямо против горы, по ту сторону Рейна, из-за длинного сплошного леса поднимались громадные клубы черного, белого, сизого, красного дыма: то горел целый город. Дальше, к Вогезам, слышались еще пушечные выстрелы, но всё слабее... Явно было, что французы разбиты и отступают. Страшно и горестно было видеть в этой тихой прекрасной равнине, под кротким сиянием полузакрытого солнца, этот безобразный след войны, и нельзя было не проклясть ее и безумно-преступных ее виновников. Я возвратился в Баден, и на другой день, то есть вчера, рано поутру, уже всюду в городе появилась телеграмма, возвещавшая о новой решительной победе кронпринца над Мак-Магоном, а к вечеру мы узнали, что французы потеряли 4000 пленных, 30 пушек, 6 митральез, 2 знамени и что Мак-Магон ранен! Изумлению самих немцев нет границ: все роли изменены. Они нападают, они бьют французов на собственной их земле, -- бьют их не хуже австрийцев! План Мольтке развивается с поражающею быстротой и блеском: правое крыло французской армии уничтожено, она находится между двух огней, и -- как при Кенигсгреце -- быть может, уже сегодня король прусский и кронпринц сойдутся на поле битвы, решившей участь войны! Немцы до того изумлены, что даже патриотическая их радость как будто смущена. Этого никто не ожидал! Я с самого начала, вы знаете, был за них всей душою, ибо в одном бесповоротном падении наполеоновской системы вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе: оно было немислимо, пока это безобразие не получило достойной кары. Но я предвидел долгую, упорную борьбу -- и вдруг! Все мысли теперь направлены к Парижу: что он скажет? Разбиты -- Бонапарт n'a plus raison d'etre {больше не нужен (франц.)}; но в теперешнее время можно ожидать даже такое невероятное событие, как спокойствие Парижа при известии о поражениях французской армии. Я всё это время, как вы легко можете себе представить, весьма прилежно читал и французские и немецкие газеты -- и, положа руку на сердце, должен сказать, что между ними нет никакого сравнения. Такого фанфаронства, таких клевет, такого крайнего незнания противника, такого невежества, наконец, как во французских газетах, я и вообразить себе не мог. Не говоря уже о журналах вроде "Фигаро" или презреннойшей "Liberte", вполне достойной своего основателя, Э. де Жирардена, но даже в таких дельных газетах, как, например, "Temps", попадаются известия вроде того, что прусские унтер-офицеры идут за шеренгами солдат с железными прутьями в руках, чтобы подгонять их в бой, и т. п. Невежество доходит до того, что "Journal officiel", орган правительства (!), пресерьезно рассказывает, что между Францией и Пфальцем (Palatinat) протекает Рейн, и одним лишь совершенным незнанием противника можно объяснить уверенность французов, что Южная Германия останется нейтральной, несмотря на явно высказанное желание присвоить Рейнскую провинцию с историческими городами Кёльном, Аахеном, Триром, то есть едва ли не самый дорогой для немецкого сердца край немецкой земли! Тот же "Journal officiel" уверял на днях, что цель войны со стороны Франции -- возвращение немцам их свободы!! И это говорится в то время, когда вся Германия из конца в конец поднялась на исконного врага! Об уверенности в несомненности победы, в превосходстве митральез, шасспо и толковать нечего; все французские журналы убеждены, что стоит только французам сойтись с пруссаками -- и "tutttan!" всё будет покончено мигом. Но не могу удержаться, чтоб не цитировать вам одну из прелестнейших фанфаронад: в одном журнале (чуть ли не в "Soir") один корреспондент, описывая настроение французских солдат, восклицает: "Ils sont si assures de vaincre, qu'ils ont comme une peur modeste de leur triomphe inevitable!" (то есть они так уверены в победе, что ими овладевает как бы некий скромный страх перед собственным неизбежным триумфом!). Фраза эта, хотя не может сравниться с классической шекспировской фразой

принца Петра Бонапарта насчет парижан, сопутствовавших гроб убитого им Нуара: "C'est une curiosite malsaine, que je blame" (это -- болезненное, неуместное любопытство, которое я осуждаю), однако, имеет свое достоинство. И какие изречения, какие "mots" приводят эти журналы, приписывая их разным высокопоставленным лицам -- императору Наполеону, между прочим! "Gaulois", например, сообщает, что" когда беззащитный Саарбрюкен был зажжен со всех четырех концов, император обратился к своему сыну с вопросом: "Es-tu fatigue, mon enfant?" {"Ты не устал, мой мальчик?" (франц.)} Ведь это значит, наконец, потерять даже чувство стыдливости!

Хорош тоже анекдот о дипломатическом attache, который, в присутствии императрицы Евгении, объявил, что не желает победы над Пруссией. Как так?-- Да так же; представьте, как будет неприятно жить на бульваре Унтер-Мунтер-Биршукрут или велеть кучеру ехать в улицу Нихкапут-клопс-мопсфурт! А ведь это будет неизбежно, так как мы даем нашим улицам названия наших побед! На основании донесений, быть может, этого самого attache, Франция рассчитывала на нейтралитет Южной Германии.

Говоря без шуток: я искренно люблю и уважаю французский народ, признаю его великую и славную роль в прошедшем, не сомневаюсь в его будущем значении; многие из моих лучших друзей, самые мне близкие люди -- французы; и потому подозревать меня в преднамеренной и несправедливой враждебности к их родине вы, конечно, не станете. Но едва ли не настал и их черед получить такой же урок, какой получили пруссаки под Иеной, австрийцы под Садовой и -- зачем таить правду -- и мы под Севастополем. Дай-то бог, чтоб они так же умели воспользоваться им, извлечь сладкий плод из горького корня! Пора, давно пора им оглянуться на самих себя, внутрь страны, увидеть свои язвы и стараться уврачевать их; пора положить конец той безнравственной системе, которая царит у них вот уже скоро двадцать лет! Без сильного внешнего потрясения такие "оглядки" невозможны; без глубокой скорби и боли они не бывают. Но настоящий патриотизм не имеет ничего общего с заносчивой, чванливой гордыней, которая ведет только к самообольщению, к невежеству, к ошибкам непоправимым. Французам нужен урок... потому что они еще многому должны научиться. Русские солдаты, умиравшие тысячами в развалинах Севастополя, не погибли даром; пускай же не погибнут даром и те бесчисленные жертвы, которых потребует настоящая война: иначе она была бы точно бессмысленна и безобразна. Что касается собственно до нашего положения в Бадене, то опасность неприятельского вторжения теперь устранена; жизненные припасы даже подешевели против прежнего, несмотря на уверения французских газет, что мы здесь умираем с голоду.

9 августа.

Удар за ударом. Вчера только я вам писал о победе кронпринца над Мак-Магоном, а сегодня пришло известие, что и центр главной французской армии разбит, что она отступает к Мецу, Париж объявлен в осадном положении, Палата созвана к 11-му числу -- и французы всюду бегут, бросают оружие! Неужели их Иена точно наступила? Не во гнев будь сказано графу Л. Н. Толстому, который уверяет, что во время войны адъютант что-то лепечет генералу, генерал что-то мямлит солдатам -- и сражение как-то и где-то проигрывается или выигрывается,--а план генерала Мольтке приводится в исполнение с истинно математической точностью, как план какого-нибудь отличного шахматного игрока, например, Андерсена (тоже пруссака), который, замечу кстати, выиграл здесь матч против самых сильных шахматных игроков в самый день первой прусской борьбы под Виссамбуром. А в это время император Наполеон тешил, "a la Louis Quatorze" {"подобно Людовику XIV" (франц.)}, и себя и сынка своего -- представлением военного зрелища. Но Наполеон -- не Людовик XIV: тот в течение многих лет сносил неудачи, и преданность к нему его подданных не поколебалась; Наполеон не переживет двух недель решительного поражения. Отсутствие талантов со стороны французских генералов выказывается всё более и более; и кто такие эти Лебеф, Фроссар, Базен, Фальи, окружающие императора французов? Придворные генералы -- des generaux de cour -- тоже a la Louis Quatorze.

Единственный дельный между ними, Мак-Магон, словно был пожертвован. Я очень рад, что во время проезда моего через Берлин, в самый день объявления Францией войны (15 июля) я имел случай обедать за table d'hote'ом прямо напротив генерала Мольтке. Лицо его врезалось в память. Он сидел молча и не спеша поглядывал кругом. С своим белокурым париком, с гладко выбритой бородой (он усом не носит) он казался профессором; но что за спокойствие, и сила, и ум в каждой черте, какой пронизательный взгляд голубых и светлых глаз! Да, ум и знание, с присоединением твердой воли -- цари на сей земле! "Звезда" Наполеона ему изменяет: против него не бездарный идиот, Гиулай, как в Италии в 1859 году.

Что происходит в Париже? Журналы вам уже, вероятно, сообщили сведения о начавшихся там волнениях... Но что будет дальше, когда истина всё более и более будет разоблачаться перед глазами французов? Безнравственное правительство кончило тем, что привело чужестранцев в пределы родины; разоривши страну, разорило армию и, нанеся глубокие раны благосостоянию, свободе, достоинству Франции, наносит теперь чуть не смертельный удар ее самолюбию! Неужели это правительство может еще уцелеть? Неужели оно не будет сметено бурей?

А все эти низкие люди -- эти Оливье, "au coeur leger" {"бездушные" (франц.)}, эти Жирандены, Кассаньяки, эти сенаторы -- в какой прах будут они обращены? Но стоит ли на них останавливаться!

Немцы не бахвалы и не фанфароны, но и у них голова пошла кругом от всей этой небывальщины. Здесь сегодня распространился слух, что -- Страсбург сдался!!

Разумеется, это вздор; но ведь время чудес настало, и почему же и этому не поверить? Взял же третьего дня вечером баденский отряд целых тысячу французов в плен -- без выстрела. Деморализация научалась между ними, а ведь это та же холера.

И. Т.

Баден-Баден, 14-го августа.

В конце прошлой недели, ночью, без особенно сильного ветра, повалился самый старый, самый громадный дуб известной Лихтенталевской аллеи. Оказалось, что вся сердцевина его сгнила, и он держался только корою. Когда я поутру пошел посмотреть его, перед ним стояло двое немецких работников. Вот, сказал один из них, смеясь, другому, -- вот оно, французское государство: "Da ist es, das Franzosische Reich!" И действительно, судя по тому, что доходит до нас из Парижа и из Франции, можно подумать, что колосс этот держался одной наружностью и готов завалиться. Плоды двадцатилетнего царствования оказались наконец. Вам известно, что в мгновение, когда я пишу, наступило нечто вроде роздыха, то есть не происходит сражения, зато немецкая армия быстро двигается вперед (по последним сведениям, она заняла Нанси), а французская столь же быстро отступает. Но сражение страшное, решительное сражение неизбежно; обе стороны одинаково его желают, жаждут, и, быть может, уже завтра выпадет роковой жребий. Особенно Франция, взбешенная, возмущенная, оскорбленная до последних нервов своего народного самолюбия, настоятельно требует схватки с пруссаками -- требует "une revanche", и едва ли не этому яростному желанию "отыграться" следует приписать тот факт, что правительство еще держится и что ожидаемая многими революция не вспыхнула в Париже. "Некогда заниматься политикой -- нужно спасать отечество" -- вот общая всем мысль. Но что французы опьянели жаждой мести, крови, что каждый из них словно голову потерял, -- это несомненно. Не говорю уже о сценах в Палате депутатов, на парижских улицах; но сегодня пришла весть, что все немцы изгоняются (за исключением, конечно, австрийцев) из пределов Франции! Подобного варварского нарушения международного права Европа не видала со времени первого Наполеона, велевшего арестовать всех англичан, находившихся на материке. Но та мера коснулась в сущности только нескольких отдельных личностей; на этот раз разорение грозит тысячам трудолюбивых и честных семейств, поселившихся во Франции в убеждении, что их приняло в свои недра государство цивилизованное. Что, если Германии вздумается отплатить тем же:

французов, поселившихся в Германии, не меньше, чем немцев, живущих во Франции, и обладают они чуть ли не более значительными капиталами. Куда это нас поведет наконец? Уж и без того справедливое негодование немцев возбуждается призывом звероподобных тюркосов на европейскую войну, их жестоким обращением с пленными, ранеными, с врачами, наконец, с сестрами милосердия; а тут еще г-н Поль де Кассаньяк, достойное исчадие своего отца, объявляет, что не хочет давать денег женевскому международному комитету, потому-де что он будет также заботиться о прусских раненых и что это "карикатурное сентиментальничание" -- "une sentimentalite grotesque"; хорошо еще, что немцы, имеющие теперь на руках несколько тысяч французских раненых, не придерживаются принципов этого любимца тюильрийского двора, личного друга императора Наполеона, который называет его своим сыном и говорит ему "ты". До чего дошла прыть французов, вы можете судить по следующему. Вчера "Liberte" приводила с похвалою статью некоторого Марка Фурнье в "Paris-Journal". Он требует истребления всех пруссаков и восклицает: "Nous allons donc connaître enfin les voluptes du massacre! Que le sang des Prussiens coule en torrents, en cataractes, avec la divine furie du deluge! Que l'infame qui ose seulement prononcer le mot de paix, soit aussitôt fusillé comme un chien et jete a l'égout!" {"Наконец-то познаем мы сладострастие избиения. Пусть кровь пруссаков льется потоками, водопадами, с божественной яростью потопа! Пусть подлец, который только посмеет произнести слово "мир", будет тотчас же расстрелян как собака и брошен в сточную канаву!" (франц.).} И рядом с этими неслыханными безобразиями и неистовствами -- полнейшая неурядица, растерянность, отсутствие всякого административного таланта, не говоря уже о других! Военный министр (маршал Лебеф), уверявший, что всё готово, дававший в том свое честное слово, оказался просто младенцем. Эмиль Оливье исчез, выметенный бон, как негодный сор, вместе с своим министерством, той самой Палатой, которая ползала перед ним; и кем же он заменен? Графом Паликао, человеком до того запятнанной репутации, что другая Палата, еще более преданная правительству, чем нынешняя, отказала ему в дотации, находя, что он уже и так достаточно нагрел руки в Китае! (Он, как известно, командовал французской экспедицией 1860 года.) Нельзя сомневаться в том, что при громадных средствах французского народа, при патриотическом энтузиазме, им овладевшем, при мужестве французской армии, конец борьбы еще не близок -- да и предсказать с совершенной достоверностью нельзя, каков будет исход этого колоссального столкновения двух рас; но шансы пока на стороне немцев. Они выказали такое обилие разнородных талантов, такую строгую правильность и ясность замысла, такую силу и точность исполнения; численное превосходство их так велико, превосходство материальных средств так очевидно, что вопрос кажется решенным заранее. Но "le dieu de batailles" {"бог сражений" (франц.).} как выражаются французы, изменчив, и недаром же они сыны и внуки победителей при Иене, Аустерлице, Ваграме! Поживем -- увидим. Но уже теперь нельзя не сознаться, что, например, прокламация короля Вильгельма при вступлении во Францию резко отличается благородной гуманностью, простотой и достоинством тона от всех документов, достигающих до нас из противного лагеря; то же можно сказать о прусских бюллетенях, о сообщениях немецких корреспондентов: здесь -- трезвая и честная правда; там -- какая-то то яростная, то плаксивая фальшь. Этого во всяком случае история не забудет. Однако довольно. Как только что произойдет замечательное -- напишу вам. Здесь всё тихо: первые раненые и больные появились сегодня в нашем госпитале.

И. Т.

Баден-Баден, 28-го августа.

Не буду вам говорить на сей раз о сражениях под Мецом, о движении кронпринца на Париж и т. д. Газеты вам и без меня натолковали об этом довольно... Я намерен обратить ваше внимание на психологический факт, который, на моей по крайней мере памяти, в таких размерах еще не представлялся, а именно о жажде самообольщения, о каком-то

опьянении сознательной лжи, о решительном нежелании правды, которые овладели Парижем и Францией в последнее время. Одним раздражением глубоко уязвленного самолюбия объяснить этого нельзя: подобная "трусость" -- другого слова нет -- трусость взглянуть, как говорится, чёрту в глаза, -- указывает в одно и то же время и на Ахиллесову пятку в самом характере народа и служит одним из многочисленных симптомов того нравственного уровня, до которого унизило Францию двадцатилетнее правление второй империи.

"Вот уже две недели, как вы лжете и обманываете народ!" -- воскликнул с трибуны честный Гамбетта, и голос его тотчас был заглушён воплями большинства, и Гранье де Кассаньяк заставил малодушного президента прекратить заседание. Французы не хотят знать правду: кстати ж, им под руку подвернулся человек (граф Паликао), который в деле лганья, спокойного, немногословного и невозмутимого, заткнул за пояс всех Мюнхгаузенов и Хлестаковых. Шекспир заставляет принца Генриха сказать Фальстафу, что ничего не может быть противнее старца-шута; но старец-лгун едва ли еще не хуже; а этот старец -- Паликао -- не может рта разинуть без того, чтоб не солгать. Базэн с главной французской армией заперт в Меце; ему грозят голод, плен, чума...-- "Помилуйте, наша армия в превосходнейшем положении, и Базэн вот-вот соединится с Мак-Магоном".-- "Но у вас известий от него нет?" -- "Тсс! молчите! нам нужно совершенное безмолвие, чтоб исполнить удивительнейший военный план, и если б я сказал, что я знаю, Париж бы тотчас сделал иллюминацию!" -- "Да скажите, что вы знаете!" -- "Ничего я не скажу, а весь кирасирский корпус Бисмарка истреблен!" -- "Но бисмаркских кирасиров нет вовсе, и кирасиров вообще не было в сражении!" -- "О! я вижу, вы дурной патриот", и т. д. и т. д. И французское общество притворяется, что верит всем этим сказкам. Неужели так должен поступать великий народ, так встречать удары рока? Без самохвальства мы можем сказать: во время Крымской кампании русское общество поступало иначе. Энтузиазм, готовность всем жертвовать -- конечно, прекрасные качества; но уметь спокойно сознать беду и сознаться в ней -- качество едва ли не высшее. В нем большее ручательство успеха. Неужели достойны "великого народа" -- de la grande nation -- эти безобразные преследования отдельных, ничем неповинных, но заподозренных личностей? В одном департаменте дошли до того, что убили француза и сожгли его труп потому только, что толпе показалось, что он заступает за Пруссию. "А! мы не можем сладить с немецкими солдатами, так давай бить немецких портных, кучеров, рабочих! Давай клеветать, лгать, что попало, как попало, лишь бы горячо выходило!" Но вот уж поневоле приходится спросить вместе с Фигаро: "Qui trompe-t-on ici?" {"Кого здесь обманывают?" (франц.).} Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет. Французы закрывают глаза, зажимают уши, кричат как дети, а пруссаки уже в Эпернэ, и генерал-губернатор Трошю, единственный дельный, честный и трезвый человек во всей администрации, готовит Париж к выдержанию осады, которая не нынче -- завтра начнется...

Я и прежде замечал, что французы менее всего интересуются истиной -- c'est le cadet de leurs soucis {это меньшая из их забот (франц.).}. В литературе, например, в искусстве они очень ценят остроумие, воображение, вкус, изобретательность -- особенно остроумие. Но есть ли во всем этом правда? Ба! было бы занятно. Ни один из их писателей не решился сказать им в лицо полной, беззаветной правды, как, например, у нас Гоголь, у англичан Теккерея; именно им как французам, а не как людям вообще. Те редкие сочинения, в которых авторы пытались указать своим согражданам на их коренные недостатки, игнорируются публикой, как, например, "Революция" Э. Кине, и в более скромной сфере -- последний роман Флобера. С этим нежеланием знать правду у себя дома соединяется еще большее нежелание, лень узнать, что происходит у других, у соседей. Это неинтересно для француза, да и что может быть интересного у чужих? И притом кому же неизвестно, что французы -- "самый ученый, самый передовой народ в свете, представитель цивилизации и сражается за идеи"? В обыкновенное мирное время всё это сходило с рук; но при теперешних грозных обстоятельствах это самомнение, это незнание, этот страх перед

истиной, это отвращение к ней -- страшными ударами обрушились на самих французов... Но что они еще не отрезвились -- доказывают все выше приведенные мною факты. Не отделались они от лжи, и хотя уже не поют Марсельезы (!) под знаменами императора Наполеона (можно ли вообразить большее кощунство), но до выздоровления им далеко... Они еще только начинают сознавать свою болезнь -- и через какие еще опыты, тяжелые и горькие, должны они будут пройти!

Кстати: "СПб. ведомости" (в 214-м No) приводят письмо корреспондента "Биржевых ведомостей", в котором рассказывается о том, будто в Бадене кричат: смерть французам -- и что вследствие этого наши барыни заговорили по-русски. Г-н корреспондент достоин быть французским хроникером: в его заявлении нет ни слова правды. Здесь живущие французские семейства пользуются совершенным уважением со стороны властей и народонаселения: их свобода ничем не стеснена; и в большой общей зале, где сходятся все здешние дамы для заготовления всевозможных бандажей, бинтов, фуфаек и т. д., назначаемых раненым и больным, гораздо больше в ходу французский язык, чем немецкий. Быть может, г. корреспондент имел в виду сделать искусный намек здесь живущим русским дамам; но, увы! могу его заверить, что они продолжают пренебрегать русским языком -- и патриотический его порыв остался втуне.

На днях я ездил в Раштатт с целью посетить тамошних французских раненых и пленных. Уход за ними очень хорош -- и все они жалуются на своих генералов. Между ними был старый араб (тюркос), настоящий горилла; сморщенный, черный, худой, он сидел на своей постели и поглядывал кругом тупо и дико, как зверь; по словам его товарищей, он и по-французски не понимает. Нужно было очень "стране, идущей во главе прогресса", притащить в Раштатт этого сына африканских степей!

Бомбардирование Страсбурга всё продолжается; даже при закрытых окнах проникают до меня мерные глухие сотрясения... Ежечасно ожидается здесь известие о битве между кронпринцем и Мак-Магоном. Если французы и ее проиграют, то диктатура Трошю почти неизбежна. Повторяю опять: поживем -- увидим!

И. Т.

Баден-Баден, 18-го (6-го) сентября.

Вы желаете, чтоб я сообщил вам впечатления, произведенные на немецкое общество громадными событиями, совершившимися в начале этого памятного месяца, -- насколько эти впечатления подпали моему наблюдению. Не стану говорить о взрывах национальной гордости, патриотической радости, празднествах и т. п. Вы уже знаете это всё из газет. Постараюсь вкратце и с должным беспристрастием изложить вам воззрения немцев -- во-первых, на перемену правительства во Франции, а во-вторых, на вопрос о "войне и мире". Начну с того, что возобновление республики во Франции, появление этой, для многих еще столь обаятельной, правительственной формы не возбудило в Германии и тени того сочувствия, которым некогда была встречена республика 1848 года. Немцы весьма скоро поняли, что после седанской катастрофы империя стала, на первых порах, невозможна, и что, кроме республики, ее пока нечем было заменить. Они не верят (может быть, они ошибаются), чтобы республика имела глубокие корни во французском народонаселении, и не рассчитывают на долгое ее существование; вообще они вовсе не рассматривают ее безотносительно -- *an und für sich*, -- а только с точки зрения ее влияния на заключение мира, мира выгодного и продолжительного -- "*dauerhaft, nicht faul*", который составляет теперь их *idée fixe*. Именно с этой точки зрения появление республики их даже смутило: она заменила определенную правительственную единицу, с которой можно было вести переговоры, чем-то безличным и шатким, не могущим представить надлежащих гарантий. Это самое и заставляет их желать энергического продолжения войны и скорейшего взятия Парижа, с падением которого, по их понятию, немедленно и положительно окажется, чего именно нужно Франции. При замечательном, можно сказать небывалом, единодушии, которое овладело всеми ими, -- надеяться остановить эти растущие, набегающие волны,

ожидать, что победитель остановится или даже вернется назад,-- есть, говоря без обиняков, ребячество; один Виктор Гюго мог возыметь эту мысль -- да и то, я полагаю, он только ухватился за предлог произвести обычное словоизвержение. Сам король Вильгельм не властен иначе повернуть это дело: те волны несут и его. Но, решившись довести расчет с Францией (Abrechnung mit Frankreich) до конца, немцы готовы объяснить вам причины, почему они должны это сделать.

Всему на свете есть двойкие причины, явные и тайные, справедливые и несправедливые (явные большей частью несправедливы), и двойкие оправдания: добросовестные и недобросовестные. Я слишком давно живу с немцами и слишком с ними сблизился, чтоб они, в беседах со мною, прибегали к оправданиям недобросовестным -- по крайней мере они не настаивают на них. Требуя от Франции Эльзас и немецкую Лотарингию (Эльзас во всяком случае), они скоро покидают аргумент расы, происхождения этих провинций, так как этот аргумент побивается другим, сильнее, а именно -- явным и несомненным нежеланием этих самых провинций присоединиться к прежней родине. Но они утверждают, что им нужно непременно и навсегда обеспечить себя от возможности нападений и вторжений со стороны Франции и что другого обеспечения они не видят, как только присоединение левого берега Рейна до Вогезских гор. Предложение разрушить все крепости, находящиеся в Эльзасе и Лотарингии, обезоружение Франции, низведенной на двухсоттысячную армию, им кажется недостаточным; угроза вечной вражды, вечной жажды мести, которую они возбудят в сердцах своих соседей, на них не действует. "Всё равно,-- говорят они,-- французы и так никогда не простят нам своих поражений; лучше же мы предупредим их и, как это представил рисунок "Кладдератча", обрежем когти врагу, которого все-таки примирить с собой не можем". Действительно, бесправное, дерзко-легкомысленное объявление войны Францией в июле месяце как бы служит подтверждением доводов, приводимых немцами. Впрочем, они не скрывают от самих себя великих затруднений, сопряженных с аннексированием двух враждебных провинций, но надеются, что время, терпение и умение помогут им и тут, как помогли в Великом герцогстве Познанском, в прирейнских и саксонских областях, в самом Ганновере и даже во Франкфурте.

У нас принято с пеной у рта кричать против этого немецкого захвата; но, как справедливо замечает газета "Таймс", неужели можно одну секунду сомневаться в том, что какой-либо народ на месте немцев, в теперешнем их положении, поступил бы иначе? Притом не надо воображать, что мысль вернуть Эльзас явилась у них только вследствие их изумительно неожиданных побед; эта мысль засела в голову каждого немца немедленно по объявлении войны: они возымили ее даже тогда, когда ожидали долгой, упорной защитительной борьбы в собственных границах. 15-го июля, в Берлине, я своими ушами слышал их говорящих в этом смысле. "Мы ничего не пожалеем,-- объявляли они,-- отдадим всю свою кровь, всё свое золото, но Эльзас будет наш".-- "А если вас разобьют?" -- спросил я. "Если нас убьют французы,-- отвечали мне,-- пусть они с нашего трупа возьмут рейнские провинции". Игра завязалась отчаянная; ставка была несомненно определена с каждой стороны вспомните объявление Жирардена, которому рукоплескала вся Франция, что нужно прикладами отбросить немцев за Рейн... Игра проиграна одним игроком; что удивительного, что другой игрок берет его ставку?

Так, скажете вы, это логика; но где справедливость?

Я полагаю, что немцы поступают необдуманно и что расчет их неверен. Во всяком случае, они уже сделали большую ошибку тем, что наполовину разрушили Страсбург и тем окончательно восстановили против себя всё народонаселение Эльзаса. Я полагаю, что можно найти такую форму мира, которая, надолго обеспечив спокойствие Германии, не поведет к унижению Франции и не будет заключать в себе зародыша новых, еще более ужасных войн. И можно ли предполагать, что после страшного опыта, которому она подверглась, Франция снова захочет испытать свои силы? Кто из французов, в глубине души своей, не отказался теперь навек от Бельгии, от рейнских провинций? Было бы

достойно немцев -- немцев-победителей -- также отказаться от Лотарингии и Эльзаса. Кроме вещественных гарантий, на которые они имеют полное право, они могли бы удовлетвориться гордым сознанием, что, по выражению Гарибальди, их рукою было низвергнуто в прах безнравственное безобразие бонапартизма.

Но отказывается в эту минуту в Германии от Эльзаса и Лотарингии только крайняя демократическая партия; прочтите речь, произнесенную ее главным представителем, И. Якоби, из Кенигсберга, этим непоколебимым, грандиозным доктринером, которого не напрасно сравнивают с Катонем Утическим. Партия эта числительно слаба -- и едва начинает распространяться между работниками, без которых никакая демократия немыслима. Притом не туда направлены теперь все стремления Германии: объединение немецкой расы и упрочение этого объединения -- вот ее лозунг. Она исполняет теперь сознательно то, что у других народов совершилось гораздо ранее и почти бессознательно; кто может ее обвинять в этом? И не лучше ли принять и внести в наличную книгу истории этот факт -- столь же непреложный и неотвратимый, как всякое физиологическое, геологическое явление?

А бедная, растерзанная, растерянная Франция, что с нею будет? Ни одна страна не находилась в более отчаянном положении. Нет никакого сомнения, что она напрягает все силы свои для смертельной борьбы, и письма, полученные мною из Парижа, свидетельствуют о непреклонной решимости защищаться до конца, как Страсбург. Будущее Франции зависит теперь от парижан. "Нам надо будет перевоспитать себя,-- пишет нам один из них,-- мы заражены империей до мозга костей; мы отстали, мы упали, мы погрязли в невежестве и самомнении... но это перевоспитание впереди: теперь мы должны спасти себя, мы должны действительно окреститься в той кровавой купели, о которой только болтал Наполеон; и мы это сделаем". Скажу не обинуясь, что мои симпатии к немцам не мешают мне желать их неудачи под Парижем; и это желание не есть измена тем симпатиям: для них же самих лучше, если они Парижа не возьмут. Не взяв Парижа, они не подвергнутся соблазну сделать ту попытку реставрации императорского режима, о которой уже толкуют некоторые ультраусердные и патриотические газеты; они не испортят лучшего дела своих рук, они не нанесут Франции самой кровавой обиды, которую когда-либо претерпевал побежденный народ... Это будет еще хуже отнятия провинций! "Ватерлоо можно еще простить,-- справедливо заметил кто-то,-- но Седан никогда!" Проклятый -- *le maudit* -- в устах французского солдата нет другого имени Наполеону; и могло ли оно быть иначе? Не говорю уже о том, что народу, так глубоко, так безжалостно пораженному, необходимо, по законам психологии, выбрать "козлице очищения"; а что на этот раз "козлице" не невинное существо, в том, я полагаю, не сомневаются даже "Московские ведомости".

Но, повторяю, роль меча еще не кончена... он один разрубит гордые узел.

А я все-таки скажу: хоть и нельзя желать полной победы немцев, но самая эта победа нам должна служить уроком; она является торжеством большего знания, большего искусства, сильнейшей цивилизации: наглядно, с несомненной, поразительной ясностью показано нам, что доставляет победу.

И. Т.

Баден-Баден, 18-го (30-го) сентября.

Сегодня мне невольно приходили в голову начальные стихи гётевской поэмы "Герман и Доротея". Так же, как и в том городе, народонаселение Бадена отправилось на большую дорогу смотреть "печальное шествие злополучных, из родины изгнанных людей" -- то есть семнадцатитысячного страсбургского гарнизона, которому пока назначено местопребывание в Раштатте. (Замечу кстати, что "героическая" защита Страсбурга далеко не оправдала эпитета, заранее данного ей французами; не говоря уже о Севастополе, она не может идти в сравнение даже с защитой Антверпена в 1832 году, которая продолжалась

тоже около месяца, но где генерал Шассе сдался только после взятия штурмом форта св. Лаврентия, командовавшего всем городом; впрочем, ни один друг человечества не будет жалеть о том, что генерал Урих избег ненужного кровопролития, не дождавшись штурма. Говорят, у него не было больше пороха.) Длинная колонна пленных, которых пешком привели из Страсбурга, сегодня только в пять часов приблизилась к Раштатту, хотя ожидали ее к двенадцати часам; она являла самую разнообразную и живописную смесь мундиров: тут были и пехотинцы двадцати различных полков, и кирасиры, и артиллеристы, и жандармы, и зуавы, и тюркосы -- остатки мак-магоновской армии. Солдаты шли бодро и даже весело -- и не казались изнуренными, хотя многие были босы; почти каждый из них держал в руке шомпол или палку с нанизанными овощами и плодами, картофелем, яблоками, морковью, кочанами капусты, тюркосы скалили зубы и озирались, как дети; офицеры шли молча, отдельными кучками, с опущенными глазами, со скрещенными на груди руками: они одни, казалось, чувствовали всю горечь своего положения. Комендант Раштатта выехал со всеми своими адъютантами на встречу пленных и шел впереди колонны; несколько французских штаб-офицеров также ехало верхом -- все сохранили свои шпаги. Десятитысячная публика, стоявшая по обеим сторонам дороги, вела себя очень прилично -- с полным уважением к несчастью побежденных; не было слышно ни одного клика, ни одного слова, оскорбительного для их самолюбия. Одна старая крестьянка засмеялась было при виде одного действительно карикатурного тюркоса; но ее тотчас осадил работник в блузе, промолвив: "Ailes zu seiner Zeit; heute lacht man nicht". (Всё в свое время; сегодня не смеются.) Это не мешает всем немцам чувствовать великую радость при мысли о бесповоротном (как они полагают) возвращении древнегерманского города в лоно объединенной родины; притом они хорошо знают, что падение Страсбурга ускорит падение Парижа, давая им возможность отправить всю осадную артиллерию по железной дороге, ставшей совершенно свободною после сдачи Туля.

Удары не перестают падать, один за одним, на несчастную Францию. Я на днях имел продолжительные разговоры с одним французом, только что возвратившимся из Дижона, куда он ездил с целью попытаться попасть в будущее Учредительное собрание. Выборы в это собрание были отсрочены, как известно, на неопределенное время, под влиянием телеграммы Фавра, отправленной после его разговора с Бисиарком, и последовавшей затем прокламации Кремьё. Вот что говорил мне француз, вернувшийся из Дижона: "У нас теперь нет собрания, нет правительства, нет армии -- а есть только ярость и решимость отчаянно драться до конца. Умеренные люди молчат -- и должны молчать; действовать могут только одни крайние, беззаветные, безумно-страстные; и, прибавил он, *ce sont peut-etre les plus fous qui sont maintenant les plus sages: ils nous sauveront peut-etre* (самые безумные -- быть может, самые рассудительные: они спасут нас). Если Париж в состоянии продержаться три, четыре месяца; если французы выкажут только часть того несокрушимого темперамента, который в конце концов доставил испанцам победу над Наполеоном; если во всех департаментах учредятся гверильясы, если самое падение Парижа нас не смутит -- дело может быть еще выиграно. Надо заставить пруссаков бороться с призраком, с пустотою, с совершенным отсутствием всякого правительства -- *il faut faire le vide devant eux...* {Надо создать перед ними пустоту (франц.).} С кем они заключат мир, когда уже теперь они не видят перед собою ни одного ответственного, гарантированного лица? Не за Наполеона же взяться в самом деле? А между тем их громадная армия будет таять, как воск; да они же не могут оставаться так долго вне Германии, вдали от своих жилищ, семейств... Вооруженная нация способна только на короткие походы, а наши средства неистощимы".

Вот какими речами старался мой знакомый хотя несколько заглушить свою патриотическую скорбь... Нельзя не согласиться, что в них есть значительная доля истины. А между тем тот же самый француз нисколько не скрывал от себя всех темных сторон того самого положения, которое возбуждало его надежды; особенно сокрушало его

совершенное исчезновение дисциплины во французской армии, на которое намекал уже Трошю в известной своей брошюре... Империя превратила солдат в преторианцев, а преторианская дисциплина нам известна из истории.

Всё зависит, без сомнения, от того, как поведет себя Париж; лучше Страсбурга, должно надеяться.

И. Т.

Е.П. Ковалевский. Эпизод из войны черногорцев с австрийцами (Из воспоминаний очевидца о войнах за независимость Черногории и Италии)

Это было давно, очень давно, в далекой и всегда мне милой Черногории, куда внезапно бросила меня судьба из более далекой, но менее милой Сибири, от занятий мне близких, к делу совершенно чуждому, которого не принимала душа.

Правда, открытою целью моего пребывания в Черногории были все-таки ученые исследования, но, в сущности, дело было иного рода: австрийское правительство жаловалось на владыку черногорского; оно обвиняло его и как владыку духовного (тогда еще не было раздвоения власти) за его домашнюю, не соответствующую монашескому сану жизнь, и как властителя страны, за его недружелюбие к Австрии и сношение с врагами ее. Это было во время силы и власти Меттерниха при двух дворах, во время разгара нашей дружбы к венскому кабинету, а потому легко судить какого рода инструкции я получил. Владыка встретил меня подозрительно, но отношения наши вскоре выяснились, и мудро ли? Ему был 21 год, мне - с небольшим 23. В эти годы и чувствуешь и действуешь так открыто, так честно, что всякое сомнение отпадает само собою.

Прошло месяца три с тех пор, что я приехал в Цетин; со всею восприимчивостью молодости я вживался глубже в жизнь черногорцев. Их интересы были мне близки; их бедствия сокрушали меня. С владыкой я был связан тесной дружбой, которая сохранилась до смерти его. Изредка еще европейский мир соблазнял меня, и тогда я спускался с гор в Катаро, хотя, что это за европейский город -- Катаро!

В ту пору, в которую я переносу моего читателя, я был именно в Катаро. Я спал крепким и сладким сном, каким спят в 20 лет, на заре, после томительного знойного дня и ночи, проведенной под роскошным небом, в атмосфере полной неги и электричества приморского берега. Сильный стук в дверь и шум на улице разбудил, однако, меня. Я долго не мог придти в себя и машинально, инстинктивно побрел к двери, которую, казалось, грозились выломать. Едва щелкнул ключ в замке, как Мариана стояла уже в комнате и, не обращая внимания на легкость моего ночного костюма, разрывалась в воплях, мольбах, проклятиях и слезах.

Надо знать, что Мариана была девушка гордая и непреклонная; это была дочь хозяйки трактира *locanda grande*, -- единственного трактира в городе; и как она была хороша в то время, с распущенными волосами, в одежде почти такой же легкой, как и я. Видно было, что и ее тревога застала врасплох. Мудрено ли, что я ее слушал и вовсе ничего не понимал, кроме того что она была очень хороша.

-- Да посмотрите хоть сюда, если не верите, -- произнесла она, в отчаянии отворяя ставни окон.

Я увидел солдат полка, расположенного в окрестных и дальних деревнях, почти бегом удаляющихся за город.

-- Это что-то серьезное! Что же это такое, в самом деле?

-- Да говорят вам, что черногорцы спустились с гор, всех режут и всех жгут, -- вопила Мариана; вот-вот придут сюда и зарежут нас, а мы такие верные рыщане (христиане, православные)... И пошла, и пошла!

-- Это ты что ли, Видо? -- спросил я, увидевши, в растворенную дверь, в сенях черногорскую шапочку и длинное ружье.

-- Это я, -- ответил флегматически Видо, -- да и все мы здесь.

-- Как все вы здесь? -- Спросил я, приходя в большее недоумение.

-- Да вот видите, мы случились здесь на базаре, ничего и не знали, что там у них делается; нас это невзначай захватило в городе; австрияки и говорят нам: вы всему причиной, отдавайте оружие и сдавайтесь в плен. Мы говорим: что мы за дураки, чтобы живьем сдаться. Они говорят: будем стрелять, видите, нас сколько! -- И мы будем стрелять, хоть нас и немного. Толковали, толковали да на том и решили, чтобы нас пропустили к вам, а уж вы отвечайте, как знаете!

-- Черт бы вас забрал совсем! Теперь будет целая история. Знаю я, как с австрияками возиться.

-- Бо а-ми, недобро, -- ответил, отплевываясь Видо.

-- То-то же, что недобро; зачем же наклеили историю? Расскажи, по крайней мере, что там у них и где там? У кого?

-- Знаете Пастровичеву гору, и крест на полугоре, что положил Иван Бегов-Черноевич?

-- Как не знать!

-- Каждый вам скажет, что тут и есть граница Черногории с австрийской землей.

-- Что же дальше?

-- А немцы взяли да и поставили казарму по нашу сторону, на самой вершине горы, так что оттуда из окна любого стреляй на земле цермничан.

-- Что же цермничане?

-- Они взяли да и сбросили казарму под гору, к австриякам -- и с солдатами совсем, -- прибавил Видо, самодовольно оскорбляясь.

-- Ну, этого недоставало! Есть убитые?

-- Да только двое солдат убито, а то так, -- перецарапано с десяток.

Быть беде, -- думал я, забывши уже о Мариане и наскоро одеваясь, чтобы идти к начальнику округа. Я сам не знал, что ему скажу, в качестве чего предстану, и на каком основании стану ходатайствовать за черногорцев, толпившихся у меня в сенях. В глазах его я был молодой естествоиспытатель, с которым был он знаком, но на которого глядел вообще неодобрительно и не без некоторого подозрения, хотя сам себе не мог отдать отчета, в чем именно он подозревал меня, в том ли, что я подстрекал против него черногорцев и даже православных бокезцев, или в том, что я ухаживаю за его женой, которая, скажу мимоходом, была и молода и хороша, а Ив-ч был стар и невзрачен. Площадь перед домом начальника округа была загромождена вьюками, боевыми снарядами, ракетными станками, мулами, ослами, даже было несколько лошадей, столь редких в то время в Катаро, что показывало присутствие важных посетителей. Пароходов тогда еще не было на Адриатическом море, только думали еще образовать в том году пароходное сообщение между Триестом и Катаро; следовательно все перевозилось из Рагузы в Катаро, и из Катаро в Будву и Кастельласту -- место военного сбора, на вьюках. На площади было несколько офицеров итальянского полка, расположенного в окрестности. Я был всегда в хороших отношениях с австрийскими офицерами и тогда, когда политические обстоятельства заставили меня действовать с ними заодно, и даже тогда, когда местные власти изображали меня каким-то политическим чудовищем. Мы обменялись несколькими насмешками над начальником округа, который, не имея никакого понятия о военной части, отдавал самые нелепые приказания. Но далее, чем более приближался я к Ив-чу, тем встречали меня холоднее. Я нашел его с бригадным генералом, французом по имени и характеру, честным и открытым стариком, но совершенно чуждым знания той местности, на которой собирался действовать. Он толковал что-то И-чу о развернутом фронте, между тем как среди груд и обломков камней на Пастровичевой горе и одному человеку было трудно повернуться. Начальник округа принял меня с торжественностью, хотя дурно сдерживаемое волнение пробивалось беспрестанно наружу.

-- Вы видите, что мы собираемся дать хороший урок черногорцам, так чтобы они долго не могли от него оправиться.

-- Давно надо было показать им зубы, -- прибавил генерал.

-- Чтоб они не показали прежде своих когтей, -- пробормотал я, едва сдерживаясь.

-- Дело может кончиться так, как они не ожидают. Пожалуй, затронут вопрос о их самостоятельности: в наш век нельзя терпеть у входа Европы шайку разбойников.

Мне становится жутко. Но я решился воздерживаться, сколько мог.

-- Я зашел проститься с вами, -- сказал я, прерывая его.

Лицо И-а просветлело.

-- Прекрасно! Превосходно! -- воскликнул он. -- Надо показать этим... -- он посмотрел на меня и воздержался от эпитета, -- надо им показать, что Россия порицает их поведение. Своим отъездом, особенно если вы к нему прибавите еще энергическое письмо к владыке, вы вполне покажете, что отступаете от возмутителей и отдаете их на расправу нам, а мы уже сумеем расправиться! К вечеру и кроатский полк будет на месте. -- Он вопросительно посмотрел на генерала.

-- Непременно, -- отвечал тот.

-- Вы ошибаетесь, -- заметил я. -- Я еду в Цетин.

И-ч злобно на меня поглядел.

-- Иначе я и поступить не могу; мне дела нет до ваших международных отношений. Я не могу оставить Черногорию и владыку без особого приказания посланника; и временные отлучки в Катаро непозволительны; вот почему я спешу туда, откуда не должен бы был и уходить.

Он попробовал было уговорить меня -- напрасно! Хорош бы я был, в самом деле, если бы оставил теперь, в беде, Черногорию и владыку, хотя, собственно говоря, я и не отдавал себе отчета, мог ли я быть им чем-нибудь полезным.

-- Так что же, -- сказал я, утомленный изворотливыми убеждениями и частыми угрозами, -- прикажите отпереть крепостные ворота и выпустить меня, да кстати уже и всех черногорцев со мною. Они ведь не военнопленные; пришли как мирные соседи, ничего не зная, пускай же так и выйдут. Хуже будет, если поднимут резню в городе; с ними нелегко справиться, тем более что ведь и из ваших бокезцев многие к ним пристанут.

Окружной начальник вышел с генералом в другую комнату, и после продолжительного совещания объявил, что отдал приказание выпустить меня и черногорцев -- всех вдруг; затем уже никто из иностранцев ни войти, ни выйти из города не может, пока будут продолжаться военные действия. Я хорошо понял, кого должно разуместь под словом иностранцы.

-- Надеюсь, по крайней мере, -- прибавил он холодно, прощаясь со мной, что вы убедите владыку подчиниться безусловно решению венского кабинета в деле, где он кругом виноват; я писал уже к нему, требуя немедленно объяснения поступка его черногорцев. Я вышел, как угорелый от И. Тяжело мне было; я чувствовал, однако, что злость моя была немощна, и усиливался подавить ее. На площади я невольно остановился. Меня поразил громкий, почти детский смех одного юнкера, который тешился, как его товарищ выбивался из сил, чтобы сесть на осла; упрямое животное бодалось и кусалось, и никак ему не поддавалось; толпа уличных ребятишек потешалась. Казалось бы, что тут особенного! Но в это время проходила старуха: ее все знали, католики называли почему-то монашенкой, православные -- ведьмой; но те и другие боялись ее: если она кому-нибудь что предскажет, то непременно сбудется; а предсказывала она всегда не к добру.

-- Погоди, погоди любезный! -- сказала она, со злобой обращаясь к юноше по-сербски, чтоб тот не понял, -- скоро перестанешь тешиться; уймут тебя на всю жизнь. Да и тебе, голубчик, даром не пройдет это, -- продолжала она, обращаясь ко мне уже по-итальянски, вероятно полагая, что я не пойму ее.

-- Типун бы тебе на язык, баба! -- Сказал я вслух по-сербски, чтоб, по крайней мере, наши поняли, и стараясь смеяться, хотя на сердце у меня и поскребло от ее слов.

Через час Катаро уже виднелся у ног, как ласточкино гнездо, прилепленное к скале, а Ловчин грозно стоял надо мной, сверкая своею снежной вершиной. Тогда еще не было дороги, проложенной австрийцами до половины горного кряжа, до своей границы; тогда нечего было и думать подняться верхом по гудам камней и стремнин; только от Негуша конный путь был возможен; каждому нечерногорцу приходилось карабкаться в гору с ужасными усилиями и даже, без привычки, с посторонней подмогой. Тем не менее, я уверен, каждый, кому случалось достигать вершины горы, оглянувшись назад, забывал и страшную усталость и нередко ушибы, и оставался оцепенелый, восторженный перед величием зрелища, которое предоставлялось ему. Сколько раз случалось мне видеть эту картину в разное время года и дня и в различном настроении своего духа; никогда не мог я оставаться равнодушным к ней, и находил все более и более красот, чем более вглядывался в нее; у ног -- залив Бокко-ди-Катаро, обставленный игрушечными городками, обвитый яркою зеленью лимонных рощ, или загроможденный дикими скалами, далее ровная, ясная лазурная гладь Адриатического моря и, наконец, вдали -- легкое, едва заметное алое очертание итальянского берега; все это мягко, нежно, изящно.

-- Бога-ми лепо! -- Повторяли черногорцы, как бы отвечая на мое безмолвное созерцание, и вслед затем раздалась страшная трескотня ружейной пальбы, которая как-то сухо, перерывисто отдавалась между скал. Пожалейте хоть пуль, -- сказал я, оглушаемый свистом их, -- они вам еще завтра понадобятся.

Как ни рано подняла меня с постели Мариана, однако я только в семь часов утра вышел из Катаро. Где пешком, где верхом на лошади, высланной мне навстречу, я в два часа добрался до Цетина. Все поле было усеяно черногорцами. Владыка с нетерпением ждал меня. Мы заперлись одни в келье монастыря, в котором жили.

Положение Черногории было действительно в высшей степени затруднительно и требовало для обсуждения может быть более зрелых умов. Австрийцы в самых сильных, чтоб не сказать дерзких выражениях требовали удовлетворения, т. е. выдачи черногорцев, участвовавших в смерти солдат и казни их на границе. В случае невыполнения условия в двадцать четыре часа, они грозили вторгнуться в Черногорию и огнем и мечом добыть себе удовлетворение, не ограничиваясь уже одними виновными. О том, что владыка протестовал против постройки роковой казармы, что он просил предварительного рассмотрения обоюдных границ и документов, о том, что первые выстрелы были сделаны австрийскими солдатами, о том, наконец, что дало бы возможность взаимного разбирательства и соглашения, хотя бы и в ущерб достоинства и даже интересов Черногории, не было и помину. Это были условия *sine qua non*. Вы видите, что владыке не было исхода из этого тяжелого положения, ему не давали даже возможности честного примирения. Налагать условия, которых ни за что не допустил бы народ до последнего своего истребления, условия, которых не принял бы сам владыка даже и тогда, если бы приставили нож к его горлу, -- налагать подобные условия значило -- объявить войну. Черногорцы в свою очередь желали этой войны: обычная в них жажда битвы, жажда военной поживы, наконец, ненависть к австрийцам, которые, как бы издеваясь над их терпением, тысячью мелких оскорблений и притеснений постоянно раздражали их против себя, -- все это распаляло страсти черногорцев и заставляло молчать рассудок. Владыка хорошо понимал, что вступить в борьбу с Австрийской империей, особенно в то время, когда стычки на турецкой границе не умолкали, было делом отчаянным для Черногории. Уже одно то, что она, не имея исхода со стороны Турции и герметически закрытая на границах Австрии, могла добывать себе хлеб и боевые припасы только с боя и подвергалась опасности задохнуться в своих горах, -- это одно заставляло призадуматься всякого, кроме черногорца, который ни о чем не думает, когда речь идет о битве. Притом же, владыке памятно было его недавнее продолжительное и невольное пребывание под надзором в Пскове по жалобе австрийцев и он, конечно, не хотел подвергаться гневу русского государя. Австрия хорошо понимала положение владыки, предложив ему такие тяжкие условия.

Я с намерением распространился, чтобы показать, как несправедливо обвиняли владыку, основываясь на австрийских сведениях, в том, что он был виновником этой войны. Еще утром владыка приказал всем способным носить оружие в Цермничской нахии собраться на Пастровичевой горе. Он послал для начальствования над ними Егора Савича Негоша, своего двоюродного брата. После совещания со мной, он решил послать также негушан, собравшихся в Цетине и с восторгом узнавших об этом распоряжении. Хотя негушане были ближайшими к Катару соседями, но путь до них был решительно недостижим для регулярного войска и одни старики и женщины могли защищать его. Только к стороне Грахова двинута была часть черногорцев из Цуцо, на случай одновременного нападения австрийцев из Кастель-Ново или Ризано.

Решено было не трогаться с границ и ожидать нападения австрийцев. Чтобы сохранить насколько возможно характер местной стычки, а не общей войны, владыка оставался в Цетине, но я отправлялся на место военных действий. Иначе я не мог поступить, хотя и предвидел те обвинения, которые потом на меня обрушились. Черногорцы ликовали, что между ними будет русский; со времен войн святопочившего Петра с французами этого не случалось.

Я устал страшно, а между тем надо было торопиться. Не было сомнения, что австрийцы нападут с рассветом следующего дня. Владыка убедил меня, однако, дожидаться, пока спадет солнечный жар. Притом же я с двумя или тремя черногорцами мог ночью пробраться по окраинам австрийской границы через монастырь Станевич и тем значительно сократить путь, между тем как негушане должны были идти в обход Цермничскую нахию. Конечно, мне было не до отдыха. Положение Черногории, да и собственное свое волновало меня может быть более чем следовало в ту минуту, требовавшую полного спокойствия мысли и действий. Владыку тревожила также моя участь, но он был видимо тронут тем, что в эту решительную для него и для края минуту Россия в лице моем, единственном ее представителе, не отвернулась от него.

Часов в шесть вечера я отправился. Что за чудная, полная поэзии, жизни, света и теней картина! Черногорцы шли врассыпную; для них ненужно было дороги; по горам, где группами, где вразброд, в своих живописных костюмах с развевающейся назади стружкой, ярко отражались они на горизонте, пламенеющем от заходящего солнца; где пестрой змейкой вились они в гору или быстро, лавиной неслись вниз; а там одинокий черногорец стоял на выдавшейся скале, облокотившись на ружье своими мускулистыми, сильными руками, с которых скатилась косуля, задумчивый и гордый тем, что это она, Черногория, его милая родина, свободная и неприступная, которую он будет защищать, хотя бы весь свет ринулся на нее. В этом положении черногорец всего живописнее. Я хорошо изучил его; точно пальма, которая всего живописнее, если стоит одиноко, среди знойной пустыни. Сколько мыслей невольно привязывается, когда любишь ее, когда смотришь на него. Песни и выстрелы сначала раздавались всюду; но вскоре наступившие сумерки и быстро за ними слетевшая ночь подернула всю окрестность тишиной, тайной. Мало-помалу отделялись мы от черногорцев вправо и вскоре потеряли их из виду.

Мы шли вдоль австрийской границы и, приближаясь к монастырю Майны, слышали звуки оружия и даже различали немецкие командные слова. В Станевиче мы передали свои наблюдения священнику Зийцу, который принял нас со всем радушием истого черногорца, хотя не без некоторого опасения за нашу участь; и действительно, здесь мы едва не сделались жертвою измены Ильи Поликрушки, католика, который был при мне в качестве переводчика для сербского и итальянского языков, пока я не мог еще владеть ими; но находчивость Зийцы сумела отклонить от нас австрийский патруль. Не надо забывать, что мы с двумя черногорцами подвергались всем случайностям военного положения на неприятельской земле.

Уже рассветало, когда мы пришли на Пастровичеву гору. Кучки черногорцев в пять и шесть человек, рассеянные по-видимому в беспорядке, но собственно так, что одна другую могли обстреливать и поддерживать, прикрытые камнями со стороны неприятеля,

попадались нам довольно часто. Было тихо. Все ожидало боя. Мы направились к знамени племени негушан, где окруженный сотнями двумя черногорцев находился начальник отряда. Егор Негуш-Петрович, двоюродный брат владыки, был десятью годами старше его. Он имел родовые права на владычье достоинство; но владыки назначаются обыкновенно волею предшественника и подтверждаются избранием народа; соблюдается строго только то, чтобы они были из племени негушей и роду Петровичей. Во время смерти Св. Петра, Егор Савич Негуш находился в русской службе, в одном из кавалерийских полков, и, как говорят, не имел никакой склонности к монашеству; может быть по этому, а может быть и потому, что Петр Негуш, как ни молод был, уже участвовал в кровавых сечах и пользовался славою одного из первых сербских поэтов, он был провозглашен, помимо Егора Савича и старшего родного брата, который был женат, владыкой, и, как последствия показали, блестящим образом оправдал этот выбор. Как бы то ни было, но отношения Егора Негуша к владыке были не то чтобы неприязненные, но довольно холодны, натянуты; я же был хорош и с Егором Савичем, и он искренно обрадовался моему приходу.

Австрийцы, предпринявшие наступательное движение до рассвета, уже приближались к полугоре. Не видя перед собой неприятеля, они, хотя с усилием, однако подвигались вперед.

Черногорцы только ждали условного знака к нападению.

Я вовсе не намерен подробно описывать это кровавое дело; я хочу рассказать только один эпизод его, но невольно увлекаемый воспоминаниями, часто сбиваюсь с своего рассказа в сторону. Меня, впрочем, несколько успокаивает то, что о деле этом долго не говорили у нас, и русским оно известно только по немецким источникам, следовательно -- в искаженном виде. Австрийцы, как мы уже сказали, не придавали или не хотели придавать большого значения "нестройным, по их выражению, толпам бродяг, способных к грабежу, а не к битве с регулярным войском". Черногорцы, привыкшие к войнам турецким, в свою очередь не слишком высоко ценили регулярное войско; для них какое-нибудь племя Готти было гораздо опаснее слабодушного и слаботелого низама. Заметьте еще, что австрийская армия в то время страдала тою же язвою, от которой и наша излечилась только после Крымской войны; это -- недостатком одиночного развития солдата: в массе он хорош; он составляет часть правильной машины, действующей посторонней волею и мыслью; но, оставшись один или в группе подобных себе, предоставленный собственным средствам -- он погиб. В описываемом нами деле этот недостаток оказал самые пагубные последствия для австрийцев. Конечно, повод был затеян бессмысленно: каким образом послать в горы, изрытые обрывами, усеянные острыми камнями, стройные ряды солдат, в их тяжелом вооружении и, наконец, в сапогах, в которых нельзя сделать несколько шагов по утесам. Мы сами принуждены были бросить сапоги и надеть черногорские опанки, как ни жестки они для непривыкшей ноги.

С невольным замиранием глядели мы на эти ряды отличного войска, которые по мере вторжения в горы все расстраивались более и более, карабкались на камни, скользили, падали. Они были уже под выстрелами неприятеля, не заметив его. Вдруг, по данному знаку, со всех сторон, из-за каждого камня, из каждой рытвины взвился дымок; раздались перекатные выстрелы, и офицеров, шедших смело впереди рядов, почти не стало.

Черногорцы редко делают промахи, а тут они могли бить по выбору.

Солдаты, однако, продолжали свое дело: машинально, бессознательно, смело карабкались вперед, стреляя -- не видя в кого, идя -- не зная, куда и зачем. Только пастровичане, католическое славянское племя, которые отстаивали свою землю, и потому шли с австрийским отрядом, далеко опередив солдат, уже наносили нам вред во фланг: но тут, при виде расстройств австрийцев, и они дрогнули, и остановились. Еще несколько выстрелов -- и по движению негушского знамени вперед, черногорцы как бы чудодейственной силой выскочили из-за камней и кинулись в кинжалы. Ошеломленные этим внезапным появлением, истомленные трудным и непривычным переходом,

очутившись без своих офицеров, солдаты гибли почти без сопротивления. Нужны были все усилия, чтобы остановить движение черногорцев на границе и не допускать их нарушить неприкосновенность австрийской территории. Среди самого торжества победы мы думали о средствах к примирению.

Резня была страшная, поражение совершенное. Повсюду разметанные изуродованные тела, легкий пар свежей крови, стоны умирающих, крики победителей, казалось, приводили в какое-то опьянение черногорцев. Незнающие утомления, они гикали, стреляли, ликовали, ради потехи перебегали друг к другу, прыгали как козы с камня на камень, для того только, чтобы поднять какую-нибудь ничтожную вещь, оставленную неприятелем.

Все это поле смерти с такою страшною, дикою обстановкою конечно могло бы навести на многие печальные мысли; но нам было не до них. Приведя в порядок отряд, мы дали знать австрийским властям, чтобы поспешили убрать своих мертвых и раненых, тем более что солнце начинало жечь невыносимо. Переговоров о перемирии мы ждали от неприятеля; не нам же было просить их. Между тем известили владыку о победе. Мы решились: если австрийцы будут трактовать с Черногорией по-прежнему, -- свысока, идти напропалую, воспользоваться победой и паническим страхом войска и грянуть с двух сторон на Бокку. Черногория подымалась и в трепетном нетерпении ожидала этой минуты. Между тем раненых сносили к нашему стану, под тень утеса и кое-какого намета, из черногорских струк. В числе первых принесенных поразил меня тот самый юноша, которого накануне я еще видел таким веселым, таким смеющимся. Прекрасное лицо его было бледно как полотно, глаза полураскрыты, смерть царила над ним. Я наскоро расстегнул сюртук; кровь сочилась из небольшой ранки в груди; пуля пробила ее и засела в спинной кости.

Черногорец, служивший у нас за доктора, махнул рукой, и, не стесняясь тем, что раненый мог понять его, сказал вслух, что тут ничего не поделаешь. Я почувствовал легкое пожатие руки умирающего. "Пить!" -- произнес он. Когда дали ему напиток и освежили его лицо водой, он как бы очнулся, хотел приподняться, кровь хлынула из раны; мы изорвали рубаху, чтобы унять ее. "Ненужно... -- произнес он, -- смерть близка... Не откажите в одной просьбе... Ведь мы не враги с вами"... О, сколько в это время в лице его выражалось доброты, детского чистосердечия, любви; как хорош он был, и как весело ему жилось, если бы дикая воля немца не заставила его жертвовать своею жизнью за тех, кого он в душе своей ненавидел, если бы детская душа его была доступна ненависти.

Я с жаром обещал ему сделать все, что он пожелает. Вероятно, выражение моего лица доказывало ему, что я не изменю обещанию: он дружеским взором поблагодарил меня. -- Снимите этот медальон с шеи... Вы спасли его от святотатственных рук черногорцев, спасите его от оскорбительных взглядов и еще более оскорбительных толков австрийцев... Покажите...

На одной стороне его был портрет молоденькой, прелестной девушки, с русыми волосами и темноглубыми глазами. Трудно было бы признать ее итальянское происхождение, если бы тонкие черты лица, черные брови и гордый, повелительный вид, который странно согласовался с ее ребяческою молодостью, не изобличал его. Умирающий глядел с нежной любовью на портрет; глаза его блистали тем внутренним огнем, который сжигал его; они впились в портрет, и только обессиленная рука опустила его.

-- Скажите ей... -- произнес он прерывистым голосом, -- что я разрешаю ее... Пусть забудет... Пусть будет счастлива... С другим... Я хочу этого. Возвратите ей обручальное кольцо и письма. А ей... -- продолжал он, приподнимаясь медленно и глядя на обратную сторону медальона, где портрет женщины, уже пожилой, глядел на него так приветливо, глазами до того исполненными любви, что казалось в эту минуту они прозрели. -- Ей скажите... все... -- Он не мог продолжать. Слезы теснили его; он хотел скрыть их, и судорожно упал ниц; кровь вновь хлынула из его раны. Он вскоре лишился чувств и уже не возвращался к жизни.

Пришедшие за ранеными и убитыми австрийские солдаты и доктора положили его в числе мертвых. Медальон, обручальное кольцо и бумажник убитого с письмами я оставил у себя, для возвращения этих вещей, кому они следуют.

Австрийцы на этот раз были гораздо сговорчивее, и, несмотря на всю неловкость своего положения, обратились косвенным путем к моему посредничеству. Егор Савич был в личной ссоре с австрийскими властями и не поехал со мною в Будву, назначенную для переговоров. Я взял с собою одного из сенаторов, конечно неграмотного, который и поставил свой крестик рядом с подписью генерала С. и И-ча под заключенным нами мирным договором, в силу которого австрийцы уступали спорные на Пастровичевой горе земли Черногории, с оговоркой, если не последует согласия высшей власти.

Затем покончим с войной и перейдем к мирной части нашего рассказа. Австрийцы никогда не могли простить нам ни своего поражения, ни того, что должны были заключить договор с правительством, законность которого не признавали, и с людьми, которых считают не более как за грабителей. Им нужно было кого-нибудь обвинить в этом для собственного оправдания, по крайней мере, перед светом, и они обрушились всею тяжестью своего обвинения на меня. Следствием этого было сначала мое продолжительное добровольное, чтобы не сказать самовольное пребывание в Черногории, а потом мое невольное пребывание в Рагузе, где я был остановлен.

Прошло около осьми месяцев. Тем временем успели завести пароходы на Адриатическом море. Можно вообразить, с какою радостью оставил я Рагузу, как скоро получил дозволение. Не останавливаясь в Триесте, я поспешил в Венецию, чтоб исполнить данный мною умирающему молодому человеку обет. В Венеции также заживаться было нельзя: там подозрительно смотрели на каждого новоприбывшего, а на меня и подавно: это было памятное для венецианцев время, когда знаменитая инструкция 1826 года тайной австрийской полиции, сделавшаяся известною, когда восстание итальянцев захватило правительственные бумаги, -- получила полное применение и развитие, когда главные деятели тайной полиции Стрифольдо, Торрезини и глава их Брамбилла наводили ужас на итальянцев; когда мирные жители не шутя утверждали, что шпион Рачаици знает кто что думает и сообщает о том правительству.

Из переписки покойного я узнал, что он принадлежал к итальянскому семейству графов А-ни; фамильный палацо их нетрудно было отыскать; но увы, тут я узнал, что мать убитого, вследствие неприятных столкновений с австрийским правительством, уехала в Лондон, где сестра ее была замужем за каким-то лордом; палацо был предан запустению. Труднее было отыскать Монти, семейство невесты гр. А-ни, которое помещалось в наемном доме, хотя эта фамилия тоже пользовалась некоторою известностью. Винченцо Монти, писатель, певец на разные торжественные случаи, знаменит тем, что был сначала ярим республиканцем -- из трусости, как он сам сознавался, потом продал себя довольно дорого Наполеону I-му, в чем, однако, никогда не сознавался; в заключение весь передался австрийскому правительству, когда оно заняло Ломбардию. Он приходился двоюродным братом отцу невесты, который был очень ничтожен, чтоб об нем упоминать.

Газеты австрийские так часто и усердно бранили меня, что я сделался каким-то страшилищем между немцами и предметом любопытства, а часто и живого сочувствия между итальянцами. Зная, что мать невесты принадлежит к немецкой аристократической фамилии, я просил доложить о себе как об иностранце, которого она не знает, и потому нет надобности говорить мое имя, но которому необходимо нужно видеть ее. Меня впустили. Как теперь помню эту сцену. Роскошное убранство комнат, цветы, вазы, бюсты, портреты; на диване полулежала женщина лет 40; у окна, за пальцами, сидела девушка, которая живо напоминала мне знакомые черты портрета; она была очень хороша; руки, волосы и темные брови над темноглубыми глазами свидетельствовали ее итальянско-немецкое происхождение; разогревшееся лицо дышало жизнью. Она от души смеялась тому, что ей говорил молодой человек, фамильярно склонившийся к ней через пальцы; веселость, счастье не только выражались в их лицах, но, казалось, стояло в воздухе,

окужавшем их, и достигало важного лица полулежавшей женщины, которая по временам улыбалась, слушая их, или, правильнее, глядя на них, потому что слушать было нечего; говорились вещи слишком обыкновенные, только они говорились иначе, другим тоном, с другими взглядами и выражением лица, чем обыкновенно говорятся. Молодой человек был в военном австрийском мундире. Не знаю почему, но я сразу угадал значение всей этой сцены; горькое, колючее чувство щемило мое сердце. Я хотел бы громом разразиться над счастливой четой; мне хотелось быть злым и колким, но полагаю, я казался им только смешным своим трагическим тоном и выражением, по крайней мере, в начале разговора. Переступая порог этого дома, я думал утешить скорбь живущих в нем, воспоминанием о том, кто погиб, и как погиб он, любящий страстно, с ее именем на устах; я думал вызвать на глаза те слезы, которые камнем лежат на сердце, и облегчить страдания осиротевшей невесты, и что нашел я?.. "Не прошло еще 8 месяцев!" -- слова Гамлета к матери невольно пришли мне на память. Грозным, карательным привидением желал бы я предстать среди этой радостной сцены.

-- Я опоздал, -- сказал я, обращаясь к матери, -- но, верьте мне, не по своей вине.

Позвольте мне исполнить последнюю волю гр. А-ни, он умер на моих руках.

-- Да! -- Сказала она также равнодушно, как будто я говорил о том, что вечером не будет музыки на площади св. Марка. -- В чем же состоит последняя воля этого бедного мальчика?

-- Он дрался как зрелый человек, как герой, и умер верный своему долгу, своему слову. Я взглянул на молодую чету: ни признака чувства!

-- Вы тоже были в этом несчастном деле (я ей сказал свое имя) и, верно, убили нескольких из наших?

-- В деле никто не знает, кого убил, и никто не обвиняет неприятеля в убийстве; всякая сторона исполняет свою обязанность.

-- Но ваше поручение? -- сказала с нетерпением Монти.

-- Оно относится к вашей дочери. Покойный А-ни, умирая, просил меня передать ей некоторые вещи... Вы позволите?

-- Луиза... Это моя дочь. -- Потом она назвала мое имя.

-- Поручение касается вас одних, -- сказал я, посматривая на австрийского офицера.

-- Мой жених, барон Дитерейхс, -- произнесла она, -- у меня от него нет секретов. Вы можете говорить при нем.

-- Вы этого хотите?

-- Я этого требую.

Она произнесла эти немногие слова таким тоном, который ясно показывал, что горе тому, кто не исполнит ее требований. Это меня несколько утешило: австрияк проведет с ней не один горький час. Я отдал ей письма к гр. А-ни; на письмах еще не совсем изгладились следы крови.

-- Детская шалость! -- Произнесла она, глядя с улыбкой на молодого человека и с небрежностью положила письма на пальцы.

Детская шалость! И это говорила девушка лет семнадцати или восемнадцати, о письмах, в которых сказались первая любовь ее, сказались вся душа!

Злость брала меня, глядя на нее.

Возвращая кольцо, может быть и необручальное, я сказал ей, что гр. А-ни разрешил ее от данного обета, хотя это разрешение теперь уже и неуместно, прибавил я, желая хотя сколько-нибудь уязвить ее. Действительно, краска выступила на щеках девушки, но была ли то краска стыда или досады -- Господь ее знает!

-- Смерть разрешила меня от обета! -- если можно назвать этим торжественным именем несколько мимолетных слов, сказанных между вальсом и кадрилем.

-- Луиза, -- сказала мать, видимо желая покончить разговор, который начинал смущать ее дочь, а может быть и будущего зятя; -- Луиза, ты забыла, что тебя ожидают примерять венчальное платье.

-- Я готова, -- отвечала она, вставая; но, продолжая исполнять волю покойного с точностью и аккуратностью нотариуса, я хотел передать медальон; меня, однако, остановил портрет матери гр. А-ни; теперь взоры его, казалось, укоризненно были обращены ко мне.

-- Этому портрету здесь не место, -- сказал я; -- вы конечно позволите мне вынуть его и вернуть по принадлежности. Я стал отделять кольцо, прикреплявшее портрет, но медальон скользнул из рук моих и стекло разбилось вдребезги о каменный пол. Это считается дурным знамением в Италии, как и у нас. Лица матери и дочери вытянулись, нахмурились и невольное "ах!" сорвалось с уст первой. Один австрийский офицер оставался невозмутимым, хладнокровным и безмолвным во время всей сцены, сохраняя вполне свое баронское достоинство. Думал ли он, что ему нечего бояться соперничества мальчика, да еще покойника, в таком случае, он не знал женского сердца или слишком верил в свою собственную особу; женщина часто, чтобы убежать от пошлого или грустного настоящего, кидается в таинственное будущее или невозможное прошедшее и там отыскивает идеал своей привязанности; она готова прибегнуть к тени покойника, чтобы избавиться от немилого ей живого. Как бы то ни было, но австрийский офицер ни разу не изменил чувствам, волновавшим его, и держал себя так, как будто все происходящее нисколько до него не касалось. С тою же важностью, как и при входе моем, встал он, когда я откланивался, между тем как дамы видимо показывали, что они рады были бы, чтобы я провалился сквозь землю, только бы избавиться от меня. Признаюсь, и я вздохнул легче, когда оставил этот дом, пропитанный предательством и изменой, как полагал я в то время, хотя теперь я вижу во всем, что так сильно поразило меня тогда, обычный ход жизни, нормальное движение человеческого сердца. "Живи живой, тлей мертвый".

Уходя, я никак не мог себе вообразить, что судьба сведет меня опять с одним из главных лиц этой небольшой драмы, -- и, Боже мой! Как различны были встреча наша и это расставанье.

Прошло десять с небольшим лет. 1848 год застал меня во внутренней Африке.

Отчужденный от Европы, от всякого сообщения с нею, я более года не знал, что в ней совершалось. Каково же было мое удивление, когда я впервые, в Каире, взял газеты в руки. Я долго не мог придти в себя; я думал, что попал в другой неведомый мне мир, или все это газетная дребедень; нужно было живое лицо, чтобы убедить меня в истине, и это живое лицо явилось. Наш тогдашний консул в Египте, Ф., человек к которому я питал полную веру и уважение, подтвердил мне вполне истину журнальных известий. Он сделал для меня более: он добыл мне паспорт в Италию, куда манили меня и воспоминания прошедшего, всегда милые, и судьба тогдашнего переворота Италии. Исхода событий никто предвидеть не мог, и чем неопределительнее был он, тем заманчивей казались для молодого воображения, тем рельефнее выдавались на политическом горизонте фигуры главных деятелей Италии.

Нелегко было пробраться по Адриатическому морю между крейсерами различных флагов, не легко было и узнать Венецию, очутившись, наконец, в ней: стены, здания остались те же; но что совершалось в тесных улицах, на широких каналах и площадях, совсем не походило на то, что я видел в прежний свой приезд в Венецию. Народ как будто преобразился, возмужал, вырос; уважая себя, он стал уважать других; порядок и безопасность лица и имущества соблюдались точнее и строже, чем в каком либо давно устроенном государстве. Я попал на площадь св. Марка в то время, когда президент республики, Манин, напутствовал словом отряд волонтеров, отправлявшийся против австрийцев. Как волны двигался народ, затоплявший площадь. Манин говорил его именем, и всеобщий восторженный крик одобрения доказывал ясно, что это был его голос: тут становится понятным значение слов "vox populi -- vox Dei". Меня не шутя уверяли в Венеции, что когда однажды ночью по какому-то случаю взволнованный народ собрался на площадь св. Марка и Манин заклинал его небом и св. Марком повиноваться закону и безусловно отдать себя служению республике, одной ей, а не увлекаться частными

интересами, -- то на небе, до того покрытом черными тучами, выглянул месяц, а гранитный лев св. Марка зашевелился... И многие готовы верить этому, так поразительно было слово Манина, особенно при тогдашней обстановке лиц и обстоятельств. В этой густой, неопределимой, вечно подвижной и неуловимой массе дел, начинавшихся часто простыми случаями или увлечением горсти молодых людей и окончившихся страшными катастрофами разрушения целых государств, в этом хаосе самых разнородных идей, в этой среде людей, действовавших с редким самоотвержением, всегда мужественных, но часто увлекающихся, колеблющихся в своих основных началах, иногда доводимых до того ослепления террора, до которого нередко доводит революция и антагонизм страстей, среди этой сумрачной эпохи встает личность величественная, ясная, светлая, на которой с любовью остановится человечество и история, -- это личность Манина.

Как прирожденный вождь народа и войск, он умел совладать с ними в минуты всеобщего возмущения и ожесточения и внушить им, что истинная свобода требует порядка и безусловного повиновения закону. Когда народ, в минуту всеобщего увлечения, по освобождении Манина и Томазео из темницы, в торжестве, на руках принес их на площадь св. Марка и восторженный требовал, чтобы Манин принял начальство над ним и вел его против австрийских войск, Манин остановил его, потому что не был уверен в успехе предприятия и всячески избегал напрасной резни и потери драгоценной для отечества крови; но когда через несколько дней потом рабочие в арсенале взбунтовались, зарезали одного из ненавидимых им австрийских начальников, Мариновича, который делал приготовления к бомбардированию города, он кинулся в арсенал один, принял начальство над рабочими и мигом устроил из них войско -- благо оружие было под рукой! Арсенал важнейший пункт Венеции; овладение им доставляло господство над Венецией. Манин, зная это и видя нерешительность Мартини, главного начальника флота, силою энергии принуждает его сдать и овладевает арсеналом. Капитуляция гражданского и военного начальника, графа Пальфи и Зичи, была последствием этого смелого и внезапного дела. Таким образом, когда освобождение других итальянских городов сопровождалось страшным кровопролитием, как, например, в Милане, в Венеции оно совершилось спокойно, благодаря благоразумию Манина. Но настали тяжелые дни для Венеции. Она изнемогала в неровной борьбе с австрийцами. Одними собственными средствами поддерживала она ее; народ роптал от тяжести налогов и работ, хотя республика все делала для его облегчения; начались интриги партии короля Карла Альберта; его именем обещали вспомогательный корпус, деньги и флот; народ увлекся и в буйном сборище кричал: "Долой Манина! Долой республику! Да здравствует король Альберт!". Манин явился в это сборище и своим могучим голосом заставил его стихнуть и повиноваться; он объявил, что не здесь, под влиянием всеувлекающей страсти, должен решаться подобный вопрос, но в собрании депутатов от всех городов, оставшихся еще во власти Венеции, и по хладнокровном и здравом обсуждении. Народ повиновался. В общем собрании депутатов Манин потребовал именем отечества единодушия, и ради этого единства принес себя в жертву и сам предложил присоединение Венеции к Пиемонту, только бы получить от него помощь. Восторженные его речью депутаты кинулись к нему, убеждая его остаться в главе нового правительства короля Альберта; но он ответил, что может жертвовать лично собою, но не своими началами, -- и его, изнеможенного под влиянием стольких ощущений, его, привыкшего господствовать над всей площадью св. Марка, залитою народом, почти на руках вынесли из собрания. Господство короля Альберта в Венеции продолжалось два дня. Его поражение и несчастный договор с Австрией разорвали узы, связывавшие его с другими провинциями. Венеция оставалась одна, окруженная отовсюду австрийскими войсками; народ опять потребовал Манина -- и Манин явился в главе Венецианской республики. Тут начинается геройская, почти беспримерная борьба одного города с целой империей, которая, окончив войну в других местах, устремилась на Венецию.

Но я увлекся этой в высшей степени привлекательной личностью, спешу обратиться к своему предмету.

Палацо гр. А-ни я нашел на этот раз не только обитаемым, но чрезвычайно оживленным. Он служил местом соединения людям всех партий, всех оттенков восставшей Италии. Графиня А-ни, уже старуха, изнеможенная бедствиями семейной жизни и государственными событиями, жестоко задевшими ее, успела своим умом, силою характера и непреклонною волею соединить эти разрозненные члены, не боясь их частых столкновений у себя в доме; она противопоставила всем их утопиям одну общую цель, которой должно было достигнуть прежде всего и помимо всего; полная благоговения к духовной поэзии Манцони, некогда связанная с ним тесною дружбой, эта необыкновенная женщина пользовалась с тем вместе уважением людей крайней партии, которые при ней не позволяли себе никаких выходов социализма или материализма. Так точно в 1814 г. жилище г-жи Траверси служило убежищем партии так называемых "чистых итальянцев", мечтавших тогда уже об освобождении Италии от чужеземного ига; но чтоб привлечь к себе и соединить в едино эту партию, скрепя ее своим именем и влиянием, Траверси должна была прибегнуть к другим средствам, к оружию другого рода -- это к своей красоте и кокетству. Что делать! Иные времена, иные нравы! То было, так сказать, накануне венского конгресса.

В комнаты входили и из них выходили люди всех званий, всех возрастов, мужчины и женщины; никто о них не справлялся, никто не докладывал; время было критическое, не до церемоний. Я последовал за другими. Первые комнаты завалены были разными принадлежностями госпиталей; тут шили белье, готовили корпию и разные аптекарские снадобья. Надо сказать, что графиня А-ни пожертвовала большую часть своего состояния и сделала значительные сборы во всех краях Европы для освобождения Италии, и потому к ней обращались отовсюду, и на ее счет заказывались даже военные снаряды. Я спросил какого-то приветливого господина, где хозяйка? Тот указал мне старушку лет под шестьдесят высокого роста, худую, с большими черными глазами, чрезвычайно подвижными, оживлявшими бледное, изрытое морщинами лицо; как будто в одних глазах сосредоточивалась вся жизнь этого полуотжившего существа. Я подошел к ней и просил позволения сказать ей несколько слов наедине. "Это все дети одной семьи, деятели одного великого дела, можете говорить смело при них", -- отвечала она.

Я назвал имя и хотел прибавить несколько слов, чтобы припомнить ей соединенные с ним события, она не дала мне договорить. Глаза ее загорелись. Рана не зажила в течении десяти лет. Достаточно было одного намека, легчайшего прикосновения к ране, чтобы она отозвалась в душе жгучею болью.

-- Пойдем, -- произнесла она прерывисто, опираясь на мою руку. Окружавшие нас тревожно переглянулись.

-- Ничего, произнесла она, подавив свое волнение и быстро оправившись, -- это мои домашние дела. Видите ли, я не совсем отрешилась от них, не вся еще отдалась нашему великому делу и подаю вам дурной пример собою; но будьте покойны, я не много минут посвящу для них и, верьте, это последние минуты, что я отняла от своего служения родине.

Вошедши в кабинет, она чуть не упала от усилий, которые делала над собой; я поспешил усадить ее в кресла; несколько минут она молчала, закрыв платком глаза; наконец глубоко вздохнув, она обратила ко мне свое грустное лицо. "Дочь моя часто повторяла о нем; ваши немногие слова глубоко сохранила она в памяти; это было единственное сокровище, которое она сберегла для меня".

-- Я писал вам несколько раз, я спрашивал, куда доставить ваш портрет, который я не хотел предоставить на произвол случая.

-- И хорошо сделали: я не получила бы его, как не получила и ваших писем; ведь они шли через Австрию!

Я подал ей портрет.

-- Кровь! Его кровь! -- Произнесла она трепещущим голосом и судорожно прижала к устам своим портрет; она на минуту замерла над ним.

Да, что бы ни говорила эта исполненная героизма женщина, но в это время я видел ясно, что она любила своего сына не менее родины, если не более: она, прежде всего, была мать!

Я рассказал ей все подробности смерти молодого А-ни. Его последние слова, последние желания. "Последние слезы были о вас", -- прибавил я.

-- Он не умел любить свою родину более меня: в этом виновата я, его воспитание и его страсть... Но да простит нам Бог!.. Мы горько искупили вины свои. У вас есть мать? -- спросила она, поспешно вставая и желая кончить разговор, который сама длила с видимым грустным удовольствием.

-- Нет, она умерла.

-- Тогда я благословлю вас... Как благословила бы его.

Она ушла в общие комнаты. Я остался там также несколько минут. Меня поразило и занимало слово дочь. Я знал, что у графини А-ни не оставалось более детей, и попросил того же приветливого господина, который указал мне хозяйку палато, разъяснить это обстоятельство.

-- А, вы еще не знаете, -- отвечал словоохотливый итальянец, -- наше правительство дозволило баронессе Дитерейхс принять фамилию графини А-ни и пользоваться всеми правами, какие бы она ни имела, если бы была действительно замужем за покойным А-ни. Этого очень желала старуха графиня.

-- Разве барон Дитерейхс помер?

-- Нет, жена развелась с ним на второй год после брака: -- где огню с водой ужиться! Как скоро мать ее умерла, она пристала к нашему делу, переселилась в дом графини А-ни и сделалась самою ревностной ее помощницей.

-- Вот что! Как же это понять? Она, Монти, невеста, так равнодушно услышала весть о смерти своего жениха, и потом жена, баронесса Дитерейхс, по прошествии нескольких лет, страстно влюбилась в память покойного и счастлива тем, что носит его имя...

-- Есть, почтеннейший, в горных лесах Италии один вид дикого жасмина *Asperula odorata*: вы пройдете мимо и не заметите его, -- так неказист и недушист он на ветке, но когда вы его сорвете и принесете в комнату, когда он совсем завянет, то наполняет ароматом всю комнату, -- так бывает с памятью милого человека. Итальянец мой был поэт.

-- Не здесь ли молодая графиня А-ни? -- спросил я.

-- Да вот, посмотрите, в углу на диване, ее узнаешь между тысячью красавиц.

Действительно нельзя было не узнать ее, если хоть раз ее видел. Она была так же хороша, она даже была лучше, чем прежде; только черты лица сделались еще строже, еще отчетливей -- это была античная статуя. Я подошел к ней. Она приветно протянула мне руку. "Теперь эта рука омыта, как и моя совесть. А помните, как вы разразились, словно бомба, перед нами? Как вы были тогда злы!.. И было за что!"

В это время вновь явившиеся лица и принесенные ими с поля важные вести заняли общее внимание и прервали наше свидание.

Выписка из письма г-ни А-ни 1862 г.

"Сегодня пробил первый год жизни Италии и 71-й -- моей. Я дряхла, руки дрожат, едва в силах держать перо; ноги отказываются служить; но Провидение сохранило мне память, чтобы я не забывала, чем была некогда дорогая Италия, что выстрадала, милая, она! Бог сохранил мне разум и сердце, чтобы я благодарила Милосердного, за то что Он воскресил ее из мертвых, что дал мне видеть единство народа и перейти туда, в жизнь другую, счастливою, успокоенной, туда, где ждет меня давно мое бедное, мое сиротеющее дитя, которое не раз забывала я в молитве, отдавшись безусловно и безгранично одной святой мысли, одной великой заботе. С верою в Провидение ожидаю последнего часа!"

Москва, 1-го июня.

Въ старину былъ обычай: отправляясь на войну или предъ вступлениемъ въ бой, Русские воины приносили Богу, съ сокрушеннымъ сердцемъ, покаяние во всехъ своихъ грѣхахъ и неправдахъ, вольныхъ и невольныхъ, -- и только очистившись исповедью и возстановивъ союзъ съ Христомъ въ таинствѣ Причащения, шли на встречу врагамъ, на "сретенье смерти".-- Россия накануне войны, -- войны кровопролитной и долгой. Пусть строится рать, собирается казна и куется оружие, -- ей нужно еще другое оружие, другое богатство -- подъемъ очищеннаго духа, ведение и видение всехъ своихъ общественныхъ грѣховъ и пороковъ, твердая решимость возродиться къ правде и истине. Напрасно бы стали малодушные "патриоты" заглушать ея слухъ, ублажать совесть и возбуждать ее въ бодрости духа -- хвалебными песнями, возгласами, тщательною утайкой ея язвинъ и пятенъ! Напрасно бы стали они налагать молчание на уста обличителей, правыхъ и неправыхъ, съ тѣмъ, чтобъ оградить ея мысль отъ сомнѣния и сердце отъ смуты!... Такое малодушие должно быть чуждо России. Ей прилично мужество исповеди. Ей данъ отъ Бога великій даръ, который не подь силу слабымъ: беспощадно-чуткая совесть, неумолимая правдивость сознанія, пытливость и строгость нравственнаго внутренняго суда. Этотъ даръ не долженъ оставаться бездейственъ, какъ бы ни нарушала такая деятельность обличения и суда -- самодовольный покой близорукаго "патриотизма"! И именно теперъ потребна такая исповедь для России. Въ виду войны, готовясь стать на судъ Божий, на судъ истории, она должна прислушаться къ внутреннему суду своей общественной совести, -- откинуть силы гнилыя и опереться на новыя крепкия силы, которыя обрести можно только тогда, Когда всемъ сердцемъ и всеми способностями своими пожелаешь и поищешь истины.

А всемъ ли сердцемъ, всеми ли способностями своими домогается истины Россия?! Не пропадаетъ ли у нея и до сихъ поръ даромъ, бесполезно для правительства и для нея самой, ухъ миллионновъ? Вполне ли разверсть ея слухъ для правды, вполне ли свободны ея уста для вещанія правды? Воздаеть ли она должное уважение Божиимъ дарамъ -- уму и слову, ценить ли, какъ бы следовало, святую независимость мысли? Уразумела ли важность общаго совета? Оградила ли слабыхъ -- меньшихъ своихъ -- отъ произвола и насилия сильныхъ? Очистилась ли отъ страшнаго разъедающаго недуга лести и лжи? Отказалась ли отъ попытокъ подчинить свободу жизни -- формализму внешняго закона, и органическия ея отправления заменить механизмомъ Немецкой администрации? Создала ли, воспитала ли въ себе силы общественныя, кроме силы правительственной? Вполне ли, наконецъ, отреклась отъ административныхъ преданій Петербургскаго периода нашей истории: вполне ли признала права Русской народности, вполне ли Русью стала Россия?... Пусть каждый изъ насъ строго допроситъ себя и по совести дастъ ответъ. Пусть каждый въ общемъ грѣхе, въ общемъ недуге признаеть и за собой свою долю вины; пора перестать, какъ это делалось прежде, сваливать всю вину на одно правительство, возлагать ответственность за все дурное на одно правительство и отъ одного правительства чаять спасенія! Правительство набираеть своихъ деятелей изъ насъ же самыхъ, изъ нашей общественной среды, и если эта общественная среда не въ состояннн сама выработать уваженне въ свободѣ мненія, къ достоинству и правамъ личности человеческой, и сознательно проникнуться началами Русской народности, -- если эта общественная среда

57 Текст воспроизведен по изданию: Эпизод из войны черногорцев с австрийцами. (Из воспоминаний очевидца о войнах за независимость Черногории и Италии) // Эпоха, No 5. 1864

58 Сочиненія И. С. Аксакова. Славянофильство и западничество (1860-1886) Статьи изъ "Дня", "Москвы", "Москвича" и "Руси". Томъ второй. Изданіе второе С.-Петербургъ. Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13. 1891

сама ленится умомъ и душою, жмурится отъ света истины и затыкаетъ уши, чтобы не слышать горькаго слова правды, то она не воспитаетъ, не дастъ ни стране, ни правительству способныхъ и доблестныхъ гражданъ. Мы не должны забывать, что настоящая пора для насъ несравненно труднее, чемъ леть 10 тому назадъ, передъ началомъ Восточной войны. Въ то время мы еще могли предаваться различнымъ самообольщениямъ и пробавляться однимъ патриотическимъ возбуждениемъ духа, оставляя зарытыми Богомъ данные намъ таланты. Въ то время еще позволительно было думать, что внешняя вооруженная сила государства и правительственная деятельность -- заменяють вполне силу и деятельность общественную, земскую, свободную и самобытную. Но теперь, после урока, заданнаго намъ Восточною войною, мы должны, наконецъ, сознать лежащую на насъ историческую повинность и нести ее съ полною гражданскою добросовестностью. Эта повинность заключается не въ одномъ "принесении на алтарь отечества жизни и достояния" -- такая жертвы никогда не пугали и не испугаютъ Русскаго человека, -- а въ принесении еще другихъ, безкровныхъ и безкорыстныхъ даровъ на алтарь родной земли, -- даровъ мыслящаго и непрестанно трудящагося духа. Да, мы уже не можемъ въ 1863 году довольствоваться простодушнымъ "патриотизмомъ" 1853 года, и какъ ни драгоцененъ даръ жизни и достояния, который, какъ тогда, такъ и теперь, готова принести Россия, мы можемъ сказать ей словами поэта:

...Твой скуденъ даръ.-- Есть даръ безценный,
Даръ нужный Богу твоему:
Ты съ нимъ явись, и, примиренный,
Я все дары твои приму:
Мне нужно сердце чище злата
И вода крепкая въ труде,
Мне нуженъ братъ любящий брата,
Нужна мне правда на суде...

Нужно уважение къ мысли и слову, нужна деятельность мысли и слова, нужно знать и разуметь свои исторические грехи и неправды, допытываться настоящей причины золь и бедствий, нужно верить въ силу истины, любить и уважать свободу жизни и человеческого духа!...

Конечно, сравнивая Россию 1863 года съ Россией 1863-го, мы не можемъ не придти ко многимъ утешительнымъ выводамъ. Мы положительно считаемъ Россию нынешнюю могущественнее России тогдашней; въ эти 10 леть совершился одинъ изъ громаднейшихъ бытовыхъ переворотовъ, какие когда-либо переживала Россия. Уничтожено крепостное право, уничтожены откупа, уничтожены телесныя истязания, данъ пятилетний отдыхъ России отъ рекрутскихъ наборовъ, преобразована армия, обещаны: новый судъ, "расширение общественныхъ правъ", некоторыя другия реформы. Во всехъ этихъ отношенияхъ целая бездна отделяетъ Россию 1863 отъ России 1853 года, и мы не можемъ не чувствовать самой горячей признательности -- виновнику всехъ этихъ облегчений, снявшему многий гнетъ съ Русской земли! При всемъ томъ -- эти 10 леть не устранили однакоже некоторыхъ существенныхъ хроническихъ недуговъ, на которые явно указалъ намъ вещий голосъ истории, громко раздававшийся въ событияхъ Восточной войны. Мы видимъ и теперь преимущественно деятельность правительственную, а не общественную; мы видимъ достойныя всякой похвалы усилия администрации и въ то же время тщету этихъ усилий тамъ, где призвана действовать и -- бездействуетъ, отъ внешнихъ причинъ, нравственная сила самого общества. Мы видимъ либерально-распоряжающуюся власть, облагороженное и благодетельное начальство, -- и то, что такъ характеристично называлось прежде "казенщиной", теперь является проводникомъ и орудиемъ самой благонамеренной административной заботы, -- но при всемъ томъ общество еще не отучено ходить подъ опекой и на помочахъ, а потому и не проявляетъ деятельности и силъ,

нужных правительству и народу. Еще по-прежнему господствует правительственная инициатива (иначе -- вчинание), столь тягостная для самого правительства. Самыя начала -- не внешняя, а внутренняя, духовная, такь-сказать начала и основы нашего государственного и общественного строя -- остаются пока те же, -- та же ненародность административной системы и общественного развития, то же неверие наше въ жизнь, въ народъ, въ свободу!... Мы еще по-прежнему не любимъ правды и наклонны ко лжи, еще сохраняемъ старую способность самообольщаться -- какъ прежде внешнимъ могуществомъ России, такъ теперь нашимъ "либерализмомъ", "справедливостью" и "гуманностью"... Разумеется, и въ этомъ отношении мы сделали значительные успехи. Цензура стала гораздо снисходительнее, сравнительно съ 1853 годамъ, и этому свидетельству, данному "Днемъ", у котораго двадцать две статьи въ нынешнемъ году остались ненапечатанными, можно верить; наконецъ и Русской истории возвращено право правды до 1724 года, на основании У пункта временныхъ правилъ, тогда какъ летъ 10 тому назадъ официальное исправление историческихъ фактовъ согласно официальнымъ потребностямъ доходило иногда до X века. Благодаря событию последней войны и нынешней правительственной системе -- подобныя явления, пережитыя нами, представляются теперь какъ страшный тяжелый сонъ, которому съ трудомъ веришь. Но нельзя не заметить въ оправдание прежняго времени, что тогда многое извинялось ослеплениемъ, происшедшимъ отъ преувеличеннаго понятия о нашемъ могуществе и какою-то всеобщей тупостью сознания. Теперь же, когда светъ бьетъ намъ ярко въ глаза, когда вновь приходится России быть въ ответе передъ спросомъ истории и вооружиться всеми состоящими въ ея распоряжении внешними и духовными силами, -- требования России отъ самой себя должны быть несравненно взыскательнее и строже: было бы непростительно выжидать, чтобъ новые уроки истории вновь вразумили насъ -- въ чемъ мы по старому грешны и слабы, и въ чемъ должны исправиться...

Мы накануне войны. Миръ Латино-Германский грозитъ рушиться на миръ Православно-Славянский, олицетворяемый для него Россией. Готовы ли мы? Войска наши въ сборе, оружие запасено, народъ одушевленъ решимостью не уступать дерзкому врагу ни пяди земли и не позволить ему вмешательства въ нашъ внутренний распорядокъ, -- но готовы ли мы тою духовною силою, которую даетъ только сознание своей лжи и твердая решимость стать на стезю правды?-- За Русскимъ народомъ дело не станеть; дело за обществомъ и за администрацией: пусть только верять они въ Русский народъ и пребудутъ верны Русской народности, оставивъ всякие поиски за добрымъ мнениемъ о насъ Запада!...

Въ этомъ отношении, не можемъ мы скрыть того неприятнаго, тяжелаго впечатления, которое произвела на насъ статья, напечатанная по-французски въ "Journal de St.-Pétersbourg" и потомъ, въ переводе, въ "Северной Почте" (No 111), статья, служащая ответомъ двумъ иностраннымъ газетамъ, разразившимся самыми грубыми клеветами на Русское правительство и Русскихъ солдатъ по поводу крестьянской расправы съ Поляками -- русскими помещиками Витебской губернии, графомъ Платеромъ, Модемъ и другими. Намъ было обидно читать, какъ старается Русская официальная газета оправдать наше правительство въ глупыхъ и безобразныхъ обвиненияхъ, возводимыхъ на него какимъ нибудь "Morning Post, -- обвиненияхъ въ томъ, что оно переделало Русскихъ солдатъ въ крестьянъ-старообрядцевъ и заставило ихъ грабить помещичьи усадьбы и оскорблять "благородныхъ давъ". "Были ли свидетели этого отвратительнаго переодеванья?" спрашиваетъ Русская газета. "Видель ли кто Русскихъ солдатъ бритыхъ, превращенныхъ въ крестьянъ съ бородами?" Въ опровержение этого "Journal de St.-Pétersbourg" приводитъ даже свидетелей съ нашей стороны, графовъ Борха, Шадурскаго, г. Жабо, и старается успокоить Европу уверениемъ, что графъ Шуваловъ, посланный на место для исследования, "освободилъ всехъ пленныхъ (Поляковъ), виновность которыхъ фактически не доказана", заставилъ крестьянъ (уничтожившихъ замыслы Витебскихъ помещиковъ изъ Поляковъ) "выдать изъ среды своей техъ, которые участвовали въ грабеже" (и которые не

избегнуть заслуженного наказания, прибавляет Русско-Французский журналъ), "испросилъ новыхъ распоряжений въ пользу арестованныхъ" и принялъ меры, чтобы обезпечить безопасность личную и имущественную" помещиковъ въ роде Моля и К°. Мы ничего не говоримъ противъ принятыхъ меръ, но мы сочли не лишнимъ распространиться несколько о статьѣ "Journal de St-Pétersbourg", потому что въ ней, какъ въ зеркале, отражается наше духовное и гражданское подобострастие передъ авторитетомъ Европы. Если эта газета взяла уже на себя обязанность опровергать клеветы на Россию, то пусть лучше отвечаетъ она не на газетные толки, а на речи Английскихъ ораторовъ въ палатахъ парламента. Обвинения, высказываемыя этими речами, получаютъ несравненно более важности отъ места, въ которомъ оне произносятся. Такъ, напримеръ, нельзя равнодушно читать те строки изъ речи г. Грегори, которыя напечатаны въ 112 No Московскихъ Ведомостей. Стараясь доказать, что сочувствие Южныхъ Славянскихъ племенъ къ России слабо, Грегори позволяеть себѣ утверждать, что всякий Сербъ на вопросъ: хочетъ ли онъ сделаться Русскимъ подданнымъ, "горячо ответитъ, что предпочитаетъ свою независимость и свободу и не желаетъ подчиниться мановению Русскаго губернатора" и "быть сосланнымъ въ Сибирь на выражение какихъ-либо мнений". Никто изъ Русскихъ никогда и не мечталъ о приведении Сербовъ въ подданство России, но причины, почему Сербъ предпочитаетъ свою независимость.-- вотъ что требовало бы энергическаго опровержения со стороны "Journal de St.-Pétersbourg", вотъ что бы мы желали видеть заклеяннымъ названіемъ клеветы!..

Ноты иностранныхъ державъ, сколько намъ известно, еще не получены, но заграничная журналистка уже заранее ознакомила публику съ ихъ главными основаніями. Если эти сведения верны, то Западныя державы дошли до послѣднихъ пределовъ дерзости не столько въ формѣ, сколько въ содержаніи, и дипломатическій разговоръ отныне становится почти невозможенъ. -- Мы не говоримъ уже о перемирии, переименованномъ въ более скромное названіе "амнистии", -- мы поражены посягательствомъ на политическое государственное устройство самой России. Австрія, вместе съ Франціей и Англійей, предлагаетъ намъ ввести у себя нечто въ роде организации, данной знаменитымъ патентомъ 2-го октября, т. е. учрежденіе провинціального Польскаго сейма на основаніяхъ Австрійской конституціи, т. е. съ рейхсратомъ или государственнымъ сеймомъ; однимъ словомъ поставить Польшу въ те же отношенія, въ какихъ находится Галиція въ Австріи. Не входя въ подробную оценку этой меры, мы не можемъ не выразить искренняго негодованія на то, что Австрія смеетъ кичиться предъ нами какимъ-либо преимуществомъ въ деле свободы и уваженія чужихъ національностей, и напоминать намъ некоторымъ образомъ то, что мы хранимъ въ нашихъ преданіяхъ, о чемъ красноречиво говоритъ наша Русская исторія какъ о средстве для разрешенія вопроса. Мы разумеемъ здѣсь, конечно, не Австрійскую конституцію, которой никто изъ Русскихъ никогда и не пожелаетъ, которая еще вовсе не увенчалась полнымъ блистательнымъ успехомъ и въ самой Австрійской имперіи, -- а сеймы, несколько напоминающіе наши совѣщательныя собранія: Земскіе соборы и Думы. Конечно, Русское правительство отвергнетъ все эти наглые непрошенныя совѣты и соблюдетъ вполне честь и достоинство Русской державы и Русскаго народа, -- но темъ не менее наше народное самолюбіе возмущается мыслью, что Европейскія государства принимаютъ на себя роль нашихъ опекуновъ и благодетелей, и ревнуютъ о нашей политической свободѣ у насъ дома! Они будутъ возглашать въ своихъ лживыхъ прокламаціяхъ, что несутъ намъ даръ либеральныхъ политическихъ учрежденій, и въ энергическомъ отказѣ Русскаго правительства захотятъ видѣть не решеніе всей Русской земли, а выраженіе одной правящей власти. Мы веримъ, что дружный единодушный отпоръ всего Русскаго народа развеетъ наконецъ дерзостное самообольщеніе нашихъ враговъ, -- но если бы найдено

было средство услышать голос Русской земли не в одних только адресах, этот голос еще убедительнее показал бы Европе, как тесна связь Русского государства с народом и как излишне для нас Австрийское напоминание о наших земских соборах.

В. Г. Короленко. Честь мундира и нравы военной среды

(Полное собрание сочинений В. Г. Короленко. Том четвертый. Издание т-ва А. Ф. Маркс в С.-Петербурге. 1914)

I.

Два убийства.

Нам приходится отметить два печальных случая, жертвами которых сделались почти одновременно два провинциальных писателя.

В истекшем месяце, в болгарском поселке Катаржине (Херс. губ.) убит сотрудник одесских газет г. Сосновский. Он работал в "Новоросс. Телеграфе" и, как сообщают газеты, в ряде статей уличал местных переселенцев-болгар в недостатке русского патриотизма и в сепаратистских стремлениях, выражавшихся, между прочим, в том, что болгаре женятся только на болгарках, избегая браков с русскими и т. д. "К несчастью,-- говорит одна из газет,-- с появлением этих статей совпали некоторые репрессии по отношению к жителям села, и они приписали это влиянию корреспонденций Сосновского". Повидимому, из своей родины катаржинские болгаре вынесли чисто турецкие нравы, которые еще не успели исчезнуть на новом месте. Корреспондент найден убитым в своей квартире. Впрочем, следствие откроет виновных в этом диком зверстве, и во всяком случае огульные обвинения по адресу катаржинских жителей вообще пока преждевременны.

К сожалению, никаким сомнениям и смягчениям не подлежит другое событие такого же рода. Уже и теперь оно освещено многочисленными корреспонденциями столичных и провинциальных газет с самой трагической полнотой и ясностью. Дело состоит в следующем.

В Ташкенте проживал сотник 5-го оренбург. казачьего полка Колокольников, имевший жену и 2 детей. На квартире у него, в качестве постояльцев, жили сотник Мальханов и дворянин Джорджикиа, грузин, бывший чиновник, а в данное время служащий в частном обществе транспортирования кладей. Г. Джорджикиа, по отзывам знавших его, был человек порядочный, скромный и уживчивый. К сожалению, жильцам пришлось вскоре стать свидетелями таких проявлений "домашней жизни" в семье сотника Колокольцова, которые не могут оставить равнодушным самого черствого человека. По словам обвинительного акта, составленного впоследствии против Джорджикиа,-- сотник Колокольников... "пьянствовал, унижал жену, бранил ее площадной бранью, не стесняясь ни родных, ни знакомых, и бил ее" ("по большей части по голове" -- прибавляет официальный документ для точности). Джорджикиа старался удержать Колокольцова и имел на него некоторое влияние,-- Колокольников иногда его слушался, порой обнимал, но возмутительные безобразия продолжались. После встречи нового года сотник Колокольников, вернувшись домой пьяный, стал опять истязать жену, сжег на террасе ее платье, стрелял в комнатах из револьвера, "подносил спичку к голове жены" и жег волосы. Джорджикиа отнял у него револьвер, которым, между прочим, истязатель (повидимому душевнобольной) грозил застрелиться. Нужно заметить при этом, что у Джорджикиа была невеста, и о каких бы то ни было романтических отношениях между ним и г-жей Колокольцовой не могло быть и речи. 2-го января эти безобразия продолжались, и несчастная жертва вынуждена была сначала скрыться в комнату сотника Мальханова, а затем, с двумя детьми -- в гостиницу Александра. Джорджикиа же кинулся к товарищам и начальству Колокольцова, прося принять какие-нибудь меры... Командир, полковник

Бояльский, послалъ къ Колокольцову адъютанта Сычева. Последний сообщилъ Джорджикиа, что Колокольцовъ "далъ ему слово" больше не безобразничать. Понятно, что слово изступленнаго и совершенно невменяемаго человека никакого значения не имело. При встрече съ Джорджикиа Колокольцовъ сообщилъ, что онъ сейчасъ едетъ въ гостиницу Александра, где (какъ онъ будто бы узналъ отъ своего начальства) скрывается его жена, и притащить ее за волосы. При этомъ онъ опять сталъ требовать отнятый револьверъ, который Джорджикиа спряталъ къ себе въ карманъ. Испуганный угрозами Колокольцова, Джорджикиа бросился въ гостиницу, чтобы препроводить поскорее несчастную женщину съ детьми хотя бы въ полицию,-- но было уже поздно: въ корридоръ уже входилъ Колокольцовъ. Тогда, не помня себя, со словами "Николай Павловичъ, Николай Павловичъ"... онъ выхватилъ спрятанный въ кармане револьверъ и произвелъ въ Колокольцова 5 выстреловъ, причинившихъ, впрочемъ, лишь легкия раны (Колокольцовъ находился въ госпитале съ 3-го по 7-е января). Вследствие этого дворянинъ М. И. Джорджикиа былъ преданъ суду по обвинению въ томъ, что "3 января 1899 года, въ городе Ташкенте, въ номерахъ Александра, въ запальчивости и раздражении, вызванномъ внезапнымъ появлениемъ сотника 5-го оренбургскаго казачьяго полка Ник. Павлова Колокольцова въ то время, когда онъ хотель спасти жену последняго отъ его преследований, съ целью лишить жизни Колокольцова, сделалъ въ него почти въ упоръ 5 выстреловъ изъ револьвера, но, по независящимъ отъ Джорджикиа обстоятельствамъ, смерти не последовало" {"Русский Туркестанъ", NoNo 88 и 89, авг. 1899 года, обвинительн. актъ по делу Джорджикиа.}...

Защитникомъ Джорджикиа выступилъ въ суде частный поверенный и редакторъ "Русскаго Туркестана" Сморгунеръ. По долгу совести, онъ сказалъ въ пользу обвиняемаго все, что былъ обязанъ сказать, въ томъ числе, конечно, указалъ на безуспешныя усилія Джорджикиа оградить женщину отъ дикихъ истязаний... Судъ, признавъ Джорджикиа виновнымъ, постановилъ, въ виду выяснившихся обстоятельствъ дела, ходатайствовать о полномъ помиловании обвиненнаго. Сморгунеръ, въ качестве редактора местнаго органа, началъ печатать сухой судебный отчетъ въ "Русскомъ Туркестане".

Между темъ по городу распространился слухъ, будто въ своей защитительной речи Сморгунеръ сказалъ: "гг. казаки днемъ бьютъ нагайками лошадей, а ночью своихъ женъ". Теперь уже совершенно известно, что фразы этой Сморгунеръ не говорилъ. Вся речь его была вполне корректна, и ни разу онъ не былъ остановленъ председателемъ. Темъ не менее, командиръ пятаго оренбургскаго казачьяго полка, полковникъ Сташевский, считая эти (не сказанныя) слова оскорбительными для чести полка, явился 2-го сентября въ квартиру Сморгунера и сталъ бить его нагайкой, говоря, что казаки умеютъ бить не однихъ женъ. Сморгунеръ схватилъ стулъ, а г. Сташевский выхватилъ револьверъ, который, къ счастью, далъ осечку.

Тогда, недовольный, очевидно, сомнительнымъ исходомъ столкновения и раздраженный попыткой Сморгунера предать гласности его покушение {"Костр. Листокъ", No 109.}, полковникъ Сташевский решилъ довести дело до конца. Это было нетрудно, такъ какъ Сморгунеръ, повидимому, человекъ мужественный, по прежнему являлся въ судъ и всюду, где этого требовало исполнение его обязанностей. 4-го сентября, полковникъ Сташевский пришелъ въ канцелярию суда; вооруженный револьверомъ, и здесь убилъ наповаль безоружнаго адвоката-писателя.

Еще и до настоящаго времени вся русская печать, столичная и провинциальная, полна отголосками этой трагедии. Местный официальный органъ ("Туркестанския Ведомости") посвятилъ памяти Сморгунера теплую статью, кончающуюся словами: "Миръ праху твоему, честный ратоборецъ печатнаго слова". Изъ другихъ (очень многочисленныхъ) отзывовъ мы приведемъ здесь письмо Джорджикиа, папечатанное первоначально въ "Астраханскомъ Листке" и обошедшее все газеты.

"За что погибъ человекъ? -- спрашиваетъ Джорджикиа...-- Зачемъ убийца ворвался въ храмъ правосудия, где раздается голосъ Александра ИИ, сразилъ безмезднаго защитника

угнетенных и чистою кровью его обрызгалъ храмъ правосудия, представители котораго, наравне съ обществомъ, убиты горемъ? На этотъ вопросъ,-- клянусь свежешю могилою Сморгунера, я отвѣчу безъ всякой злобы одною правдой".

"День 14-го мая,-- продолжаетъ Джорджикиа,-- былъ счастливѣйшимъ днемъ для русской Средней Азии. Старое судопроизводство уступило место окружнымъ судамъ. Въ составъ судей были назначены новыя лица изъ центра Россіи, девизомъ которыхъ было и есть: "Защита правды и справедливости". Съ какою желчью и нежеланиемъ старыя помещики разставались со своими правами въ 1861 г.,-- съ такою злобою и ненавистью встретили некоторыя лица въ Средней Азии судебную реформу. Вчерашніе всемогущіе миниатюрныя Тамерланы -- сегодня, благодаря судебной реформе, становились ничемъ... Въ этотъ именно моментъ неравной борьбы устарѣлыхъ традицій со свежешю образованною силою, ратующей за правду и истину, было назначено къ слушанію и мое дело".

Переходя затемъ къ самому важному моменту процесса,-- Джорджикиа передаетъ содержаніе своего показанія передъ судомъ:

"Господа судьи,-- сказалъ онъ,-- можетъ быть, у васъ возникнетъ вопросъ -- почему сотникъ Колокольцовъ во время пьянства придирался къ женѣ, а не къ другимъ лицамъ? на это отвѣчу: потому, что въ подчиненіи сотника Колокольцова находились два существа -- жена и лошадь; когда онъ пьянъ, что бывало каждый день, то днемъ загонялъ и билъ плетью лошадь, а по ночамъ колотилъ жену; къ стороннему лицу онъ не могъ придираться, ибо могъ получить взаимное оскорбленіе! "

"Этого выраженія Сморгунеръ не цитировалъ и вообще на эти слова никемъ не было обращено вниманія. Да, наконецъ, оно не могло относиться, помимо самого Колокольцова, къ его сослуживцамъ и къ целому полку".

Справедливо указавъ на то, что полковникъ Сташевскій имѣлъ полную возможность обратиться къ председателю суда или прокурору, которые не преминули бы разъяснить "недоразуменіе" и убедить его, что изъ устъ Сморгунера не исходили оскорбительныя слова ни по чьему адресу,-- г-мъ Джорджикиа утверждаетъ, что убійце и не нужно было выясненіе истины. "Просто онъ остался недоволенъ приговоромъ, вообразивъ виновникомъ его моего защитника, кровожадно расправился съ нимъ, кстатѣ избравъ местомъ мщенія канцелярію суда... Сморгунеръ убитъ за то, что онъ стоялъ за правду, за то, что около него сгруппировалась вся местная интеллигенція, чуждая интригъ, низкопоклонничества и заискиваній". Своею крошечной газетою, "Русскій Туркестанъ", Сморгунеръ язвилъ окраинныя порядки... {Заемствуемъ изъ "Россіи", 29 сентября, No 154.}

Хотелось бы думать что хоть этотъ яркій примеръ послужить къ просветленію извращенныхъ понятій о чести, жертвою которыхъ сделался покойный. Застрѣлить опытной рукой человека въ черномъ сюртуке, не умеющаго защищаться, застрѣлить съ вероятностью несоразмерно легкаго наказанія,-- нѣтъ, въ этомъ не можетъ быть ни мужества, ни истиннаго достоинства, ни чести. А вотъ, стоять на своемъ посту, въ сознаніи гражданскаго долга, презирая гоненія и опасность, какъ устоялъ до конца Сморгунеръ, въ этомъ есть и честь, и мужество, и та истинная красота, которую одну только должно ценить, передъ которой одной должны преклоняться все мы, безъ различія профессій и состояній.

Газеты сообщаютъ, что семья Сморгунера осталась безъ всякихъ средствъ къ существованію.

1899.

II.

"Тень Сморгунера".

(Къ деламъ ген. Ковалева и Е. Голицынскаго).

Читателям "Р. Бог." памятно еще, вероятно, громкое дело казачьяго полковника Сташевскаго, застрелившаго из револьвера беззащитнаго редактора газеты "Русский Туркестанъ", Сморгунера. Въ свое время въ нашемъ журнале были напечатаны подробности этого возмутительнаго убийства. Полковникъ Сташевскій былъ судимъ и понесъ наказание. Не касаясь размеровъ этой кары и вопроса объ ея соответствии съ преступлениемъ военнаго, напавшаго съ оружіемъ въ рукахъ на мирнаго гражданина,-- мы должны сказать, что, повидимому, уголокъ российской имперіи за Каспиемъ особенно изобилуетъ "героями въ мирное время", для которыхъ личность и даже жизнь ихъ мирныхъ согражданъ представляется чѣмъ-то совершенно ничтожнымъ и ни въ какой мере не ограждаемымъ существующими законами. Такъ, по крайвей мере, заставляютъ думать новыя дела, громкіе отголоски которыхъ вновь доносятся до насъ изъ-за Каспия...

Въ мартѣ настоящаго года все газеты облетело известіе о томъ, что "одинъ изъ врачей, въ одномъ изъ городовъ подвергся тяжкому насилию со стороны одногоизъ лицъ, занимающихъ видное положеніе"... Известіе было перепечатано во всехъ русскихъ, столичныхъ и провинціальныхъ газетахъ, и общественное мнѣніе чутко насторожилось. "Мы ждемъ, что судъ прольетъ свѣтъ на это мрачное дело" -- писали въ "Русскихъ Ведомостяхъ", и другіе органы печати выражали надежду, что уже прошли времена, когда насилия, совершаемыя "лицами, занимающими видное положеніе", проходили безнаказанно, и дела объ нихъ "заминались". Еще черезъ некоторое время таинственность, окружавшая это происшествіе, постепенно разсѣялась, и имена участниковъ стали достояніемъ гласности, какъ и подробности факта. Главнымъ его героемъ оказался генералъ Ковалевъ, бывший тогда начальникомъ Закаспійской казачьей бригады. У этого генерала явились какіе-то счеты съ старшимъ врачомъ Средне-Азиатской дороги, г. Забусовымъ. Что это были за счеты и въ чѣмъ они заключались,-- совершенно неизвестно; дело, очевидно, партикулярное. Фактъ состоитъ въ томъ, что 14 марта настоящаго года генералъ Ковалевъ пригласилъ къ себѣ г-на Забусова, какъ врача къ больному, приказавъ предварительно казенной прислугѣ (т. е. денщикамъ) нарезать розогъ и позвать четырехъ военныхъ писарей, т. е. нижнихъ чиновъ, состоящихъ на службѣ подъ его начальствомъ. Не подозревая предательства, докторъ, позванный къ больному, явился въ квартиру генерала. Г. Ковалевъ предложилъ ему угощеніе, а затемъ, по данному знаку, вошли 7 казаковъ... Такимъ образомъ противъ одного врача, предательски вызваннаго для исполненія обязанностей его профессіи и, конечно, безоружнаго, въ квартирѣ позвавшаго его притворно-больнаго оказался целый отрядъ казаковъ. По приказанію генерала Ковалева, принявшаго команду надъ отрядомъ, "казаки растянули доктора,-- такъ лаконически говорится въ обвинительномъ актѣ,-- и подвергли его жестокому истязанію розгами"... Повидимому, генералъ, устроившій эту засаду, рассчитывалъ на то, что подвергшійся насилию г. Забусовъ изъ чувства стыда умолчитъ объ этомъ происшествіи... Тогда, конечно, въ "обществѣ" начались бы перешептываніе и те подлые, злорадные толки, которые всегда къ услугамъ торжествующаго насилия. Но г. Забусовъ обманулъ ожиданія генерала Ковалева. Онъ решилъ, что невозможность защититься отъ нападенія одному противъ семи не составляетъ позора и что, наоборотъ, позоръ на сторонѣ устроившихъ засаду. И поэтому докторъ Забусовъ огласилъ фактъ и призвалъ генерала Ковалева на судъ официальный и на судъ общественнаго мнѣнія.

Общественное мнѣніе высказалось вполне определенно. "Многоуважаемый товарищъ, Николай Петровичъ,-- говорить, напримеръ, одинъ изъ адресовъ, посланныхъ пострадавшему:-- Общество русскихъ врачей въ Петербургѣ, ознакомившись въ засѣданіи своемъ 13 мая съ исторіей возмутительнаго оскорбленія и предательскаго насилия, которому вы подверглись со стороны генерала Ковалева при исполненіи вами врачебнаго долга, преисполненное чувствомъ глубокаго негодованія, постановило выразить вамъ, почтенный товарищъ, свое искреннее и горячее сочувствіе" {Подписали: председатель, академикъ Х. Поповъ, тов. предс. проф. И. Паввовъ, секрет. прив.-доцентъ Ф. Чистовичъ.}.

Въ томъ же тоне глубокаго негодования составлены были другие адреса и статьи газетъ, единодушно откликнувшихся на дикий поступокъ закаспийскаго генерала.

Дело слушалось недавно въ особомъ присутствии кавказскаго военно-окружнаго суда.

"Ковалевъ, признавая себя виновнымъ въ превышении власти, отрицалъ желание подвергнуть Забусова физическому истязанию, оправдывался невменяемостью (!?) въ моментъ совершения преступления, о мотивахъ коего умолчалъ, и отказался отъ вызова свидетелей" {"Русския Вед.", 11 ноября, No 314.}. После четырехчасоваго совещания судъ, признавъ ген. Ковалева виновнымъ въ превышении власти и истязании, постановилъ (за применениемъ манифеста) исключить его со службы безъ лишения чиновъ. Какъ на интересную черту этого процесса, "Нов. Время" указываетъ на оглашенные въ суде "телеграммы генераловъ Куропаткина и Субботича, давшихъ подсудимому прекрасную аттестацию", и особенно на телеграмму генерала Уссаковскаго (начальника Закаспийской области), который "проситъ принять участие и облегчить судьбу подсудимаго". Газета не безъ основания видитъ въ этомъ последнемъ обращении "противозаконное давление на судъ" {Заметку "Нов. Вр." цитируемъ по "Нижег. Листку", No 313.}.

Мотивы преступления остались совершенно невыясненными. Выяснить ихъ, если они хоть сколько-нибудь смягчали безобразный характеръ происшествия,-- было въ интересахъ генерала Ковалева. Но онъ отъ этого воздержался, ссылаясь только на свою "невменяемость", которая, однако, не помешала ему отдать храброму отряду все распоряжения, точно передъ боемъ. Въ одномъ изъ первоначальныхъ газетныхъ известий указывалось на "романическую подкладку" происшествия. Генераль Ковалевъ отомстилъ будто бы своему счастливому сопернику. Но никакихъ подтверждений этого объяснения разбирательство дела не представило. Съ другой стороны, г. А. Ст -- нъ, фельетонистъ "Новаго Времени", счелъ возможнымъ огласить часть письма, полученнаго имъ отъ какого-то изъ своихъ корреспондентовъ "въ связи съ деломъ Ковалева". "Имейте мужество,-- писать этотъ неизвестный,-- ответить печатно: 1) какъ бы вы поступили не на окраине (повидимому, на окраине корреспондентъ допускаетъ другие законы поведения), а въ центре столицы, если бы на вашихъ глазахъ хулиганъ оскорбилъ вашу родную мать, дочь или жену? 2) какой бы-вы заплатили гонораръ врачу, который повелъ бы лечение вашей матери, жены или дочери "на зоологической подкладке?" {"Новое Вр.", 14 ноября, No 10312}.

Нужно сознаться, что г. Ст -- ну пишутъ иной разъ странныя письма и, быть можетъ, еще более странно печатать ихъ "въ связи съ деломъ Ковалева", когда самъ г. Ст -- нъ удостоверяетъ тутъ же, что никакого отношения къ делу Ковалева вопросы корреспондента не имеютъ, "потому что, сколько известно, въ этомъ деле не замешаны родственники". Какъ бы то ни было, противъ одного бездоказательнаго намека не въ пользу генерала Ковалева выдвигается другой, не менее бездоказательный, противъ потерпевшаго. И разумеется, нетъ ни малейшихъ оснований отдавать предпочтение второй инсинуации только потому, что ея объектъ является потерпевшимъ отъ трудно объяснимаго насилия. Если бы вопросы, оглашенные г-мъ А. Ст -- мъ, были обращены ко мне, я ответилъ бы, что не знаю еще, какъ бы я поступилъ въ перечисленныхъ случаяхъ. Но знаю твердо, что, во-первыхъ, не заманивалъ бы врача въ ловушку, прикинувшись больнымъ, потому что роль всякаго врача, призываемаго къ больному, должна служить ему полной гарантией; во-вторыхъ, не позорилъ бы полка, въ которомъ бы служилъ, приказаниемъ его солдатамъ играть роль бессмысленныхъ палачей надъ безоружнымъ человекомъ.

А именно это сделалъ генераль Ковалевъ. И, сделавъ это, онъ оскорбилъ не г-на Забусова, которому причинилъ лишь физическую боль, и не "корпорацию" русскихъ врачей, которая стоитъ выше мундирныхъ представлений о чести. Онъ оскорбилъ все русское общество, которое не можетъ безъ тревоги видеть, какъ легко состоящие на службе солдаты исполняютъ приказы даже "невменяемыхъ" начальниковъ по отношению къ безоружнымъ обывателямъ...

Въ техъ же Закаспийскихъ странахъ приобрелъ въ последние дни знаменитость и г. Е. В. Голицынскій. Г-нъ Е. В. Голицынскій не совсемъ военный, а только "почти военный человекъ" (гражданскій чиновникъ военнаго ведомства). Онъ не Сташевскій и не генераль Ковалевъ, а нечто въ роде маленькой карикатуры на обоихъ. Его оружие -- не револьверъ, а перо, и не насилие, а только прославление насилия и угроза... И намъ кажется, что зрелище, представляемое г-мъ Голицынскимъ, довольно поучительно и, пожалуй, можетъ иметь до известной степени "отрезвляющее влияние"...

Господинъ Голицынскій поэтъ, повидимому, довольно плохой. Онъ прислалъ свои стихотворения въ редакцию газеты "Самаркандъ", которая признала ихъ для печати негодными. Спустя короткое время после этого приговора, въ редакцию поступило анонимное произведение, написанное темъ же почеркомъ и теми же чернилами, въ которомъ содержался рядъ оскорбительныхъ выражений, заканчивавшихся недвусмысленной угрозой: "Мы русскіе,-- писалъ анонимный авторъ,-- умеемъ вызывать тени Сморгунеровъ, но умеемъ и пронять ихъ сначала нагайками, а потомъ и чемъ-нибудь посильнее". Въ дальнейшемъ этотъ храбрый "русскій человекъ", считающій атрибутами патриотизма "нагайку и что-нибудь еще посильнее",-- сетуетъ на подборъ перепечатокъ, "которыя разстраиваютъ ему нервы, какъ русскому человеку и воину", такъ какъ "подбираются въ угоду армяно-жидовскимъ симпатіямъ продажными русскими людьми" {"Спб. Вед." 16 окт., No 284.}.

Редакция газеты представила это поэтическое упражненіе въ судъ, который, по сличеніи почерковъ письма и стихотвореній за подписью Е. В. Голицынскаго, пришелъ къ заключенію объ ихъ тождественности... При этомъ г. Голицынскій подалъ заявленіе, въ которомъ доказывалъ свою неподсудность мировому судье, въ качествѣ "гражданскаго чина военнаго ведомства". Явившись въ камеру во время самого разбирательства и узнавъ, что судья призналъ отводъ неосновательнымъ, г. Голицынскій тотчасъ удалился со словами: "Пусть ихъ разбираетъ. Мне все равно". После речей обвинителей (издателя Болотина и заведывающаго редакціей Морозова), выяснявшихъ тяжелое положеніе провинціальной печати, мировой судья призналъ Голицынскаго виновнымъ въ оскорбленіи и угрозе и приговорилъ къ 10 днямъ ареста. Въ угрозе убійствомъ воинственнѣйшій поэтъ признанъ оправданнымъ.

Решеніе намъ кажется совершенно правильнымъ. Угрозы человека, который посылаетъ ихъ, прикрывшись анонимомъ, конечно, только комичны. Но есть въ этомъ маленькомъ эпизодѣ и очень серьезныя стороны...

Это, во-первыхъ, самое содержаніе анонимнаго письма, съ его якобы патриотическими фиоритурами, которыя, въ другой формѣ, не разъ тяжело отзывались на провинціальной печати. Во-вторыхъ, это великолепное пренебреженіе "гражданскаго чина военнаго ведомства" къ суду, не облаченному въ военныя мундиры. И въ-третьихъ, это тень Сморгунера, которую съ такимъ кощунственнымъ легкомыслиемъ вызываетъ этотъ "русскій человекъ и воинъ". Очевидно, поступокъ полковника Сташевскаго имеетъ въ известной средѣ своихъ идеологовъ... Но намъ, людямъ въ черныхъ сюртукахъ, которыхъ оружие только мысль, слово, перо,-- нѣтъ надобности напоминать о скорбной тени Сморгунера... Она укоризненно стоитъ и передъ нами, и передъ русскимъ обществомъ, и будетъ стоять до техъ поръ, пока будутъ гг. Сташевскіе, генералы Ковалевы, Е. В. Голицынскіе... Къ сожаленію, этотъ перечень можно бы продолжить еще многими именами, приобрѣвшими печальную известность на той же мало почетной аренѣ.

1904 г.

Ш.

Продолженіе дела ген. Ковалева и д-ра Забусова.

Те из наших читателей, которые обратили внимание на заметку об этом деле в предыдущей книжке "Русск. Богатства", помнить, вероятно, и великолепный совет ген. Уссаковского, начальника Закаспийской области: знакомиться с "положением края" по газетам, издающимся в этой благословенной области. Совет превосходный! Если бы следовать ему с надлежащею строгостью, то русская печать и русское общество даже не подозревали бы о "случае" с ген. Ковалевым и доктором Забусовым: обе газеты, издаваемые в подведомственной ген. Уссаковскому области (надо думать, случайно и без всяких воздействий?), даже не заикнулись о диком поступке ген. Ковалева и о происшедшем в Тифлисе суде над этим генералом!

Очень может быть, что и сам генерал Ковалев, приступая к своей знаменитой отныне кампании против безоружного доктора, находился под влиянием той же aberrации: ему могло казаться, что и вся Россия есть безгласная пустыня, в которой его команда, а за ней свист розог и вопли беззащитной жертвы прозвучат без всякого отголоска. Если это так, -- то, но крайней мере, на сей раз расчет оказался ошибочен: имя генерала Ковалева приобрело широкую известность не только за пределами благодатной "подведомственной ген. Уссаковскому области", но и за пределами России. Отныне это имя навеки внесено в бытовую историю нашего отечества.

А пока можно сказать без преувеличений, что все русское образованное общество следит за ковалевским делом с неостывающим интересом. В газ. "Русь" появилась, между прочим, горячая статья С. Елпатьевского ("Мы требуем суда"), резюмирующая общее настроение не одних врачей, но всех, кому дороги интересы человеческого достоинства и правосудия... В последние дни стало известно, что судь все-таки будет. По жалобе потерпевшего и его поверенного д-ра Забусова восстановлен срок для подачи жалобы, и дело будет вновь рассмотрено в главном военном суде. Когда это произойдет, мы, разумеется, вернемся еще к этому делу, с его прямо загадочной дикостью. А пока -- всех интересует вопрос: как могло случиться, что потерпевший не был вызван в тифлисский суд ни как истец, ни свидетель?

На это отчасти отвечает главный прокурор военного суда ген.-лейт. Н. Н. Маслов. В разговоре с сотрудником газ. "Русь" он объяснил обстоятельство, вызвавшее такое волнение во всем русском обществе, -- простой ошибкой мелкого чиновника главного военного суда ("и, как на грех, чиновника. самого аккуратного и добросовестного"), который, получив искомое прошение поверенного д-ра Забусова, -- завел об нем отдельное делопроизводство (!), вместо того, чтобы ввести его в производившееся уже дело. По поводу этой роковой "ошибки" газеты вспомнили традиционного стрелочника, единственного виновника всяких "крушений" (в данном случае настоящего "крушения правосудия"). Во всяком случае, это объяснение оставляет место для некоторых вопросов: как же могли не заметить судьи и военный прокурор, во время самого производства, этого отсутствия потерпевшего, который ведь является и важнейшим из свидетелей? Как они не заметили того обстоятельства, что в деле остались только г. Ковалев и его подчиненные, сами в значительной степени виновные в происшедшем? Этот вопрос сотрудник "Руси" предложил тоже генералу Маслову.

-- Видите ли, -- ответил последний, -- г. Забусов, рассказав подробно об обстоятельствах дела, ничего не мог выяснить о причинах и мотивах преступления. Генерал же Ковалев не только не отрицал факта своего преступления, но и в изложении подробностей его совершенно совпадал с показанием потерпевшего. Следовательно, вызов последнего на суд явился бы, как я понимаю мотивы местной военно-судебной администрации, только лишним мучением для него, заставляя его еще раз переносить публично испытанные терзания, не принося никакой пользы процессу {"Русь", 19 дек. 1904 г., No 348.}...

Ген. Маслов оговорился в начале своей беседы с сотрудником "Руси", что он еще недостаточно осведомлен относительно всех подробностей тифлисского суда, и нам кажется, что в его объяснении "мотивов военно-судебной администрации" есть

действительно место для значительных недоумений. Во-первых, далеко нельзя сказать, чтобы "признания" ген. Ковалева вполне или хоть во всех существенных чертах совпали с показаниями потерпевшего: последний, например, решительно настаивал на жестоком истязании, что генераль Ковалев и его подчиненные столь же решительно отвергали. Судь согласился с показаниями виновных. Но ведь еще вопрос, -- получился ли бы тот же результат, если бы на суде показывали не одни обвиняемые в истязании, но и жертва истязания, и сторонние свидетели...

Напрасны также были опасения суда -- причинить вызовом д-ра Забусова излишние мучения потерпевшему. Как известно, явка в качестве свидетеля из другого судебного округа необязательна, и доктор Забусов мог сам уклониться от "излишнего мучения", если бы нашел это нужным. Теперь же является несомненным, что доктор Забусов в своих столкновениях с военной средой -- пострадал сугубо: один раз от безпримерной расправы генерала Ковалева, в другой от столь же безпримерной "деликатности" военного суда...

Нужно ли прибавлять, что истинному, а не кастовому правосудию не нужно ни того, ни другого, а нужно "нелицеприятие", и что все русское общество с понятным нетерпением ждет разрешения вопроса: возможно ли "возстановление силы закона" в сословно-военном суде хотя бы в таких воистину вопиющих случаях?

Янв. 1905 г.

IV.

Новая "Ковалевщина" в Костроме.

Понятное возбуждение, вызванное в русском обществе. „делом" закаспийского генерала, далеко еще не улеглось, как уже несутся новые известия о подвиге того же характера, пожалуй, еще более ярком. На этот раз местом действия являются уже не "чуждые уголки" подведомственной генералу Уссаковскому окраинной области, а центр России, гор. Кострома. Вот что пишут по этому поводу в местной подцензурной газете "Костромской Листок" {Заимствуем из "Южного Обозрения" от 15 дек.}:

"Жизнь нашего города в последние дни преподносит неожиданные сюрпризы, которые и без того уже запуганного и загнанного обывателя в конец ошеломляют и вызывают вполне справедливые нарекания и сетования. "Сюрпризы", прежде не выходившие из стень ресторанов и гостиниц, завоевывают себе место в общественных собраниях и местных учреждениях, как, напр., театр, почта и т. п. Мы сообщали уже о происшествии в "Московской гостинице". Вслед за этим мы получили письмо о подобном же случае в местном почтовом отделении и, наконец, к крайнему нашему сожалению, должны отметить возмутительный факт, имевший место 5 декабря в городском театре, глубоко взволновавший все общество. Суть дела в следующем. В одном из антрактов в городском театре по адресу прогуливавшейся с юношей молодой девушки одним из присутствовавших была допущена какая-то пошлость. Вспыхнувший от нанесенного девушке оскорбления, юноша потребовал от оскорбителя извинений, но, встретив вместо этого издевательство, глумление и попытку быть выданным за уши, дал нахалу пощечину. После этого разыгралась безобразная сцена, когда через фойе и на лестнице театра бежал за юношей с обнаженным оружием получивший пощечину; последнему, однако, не удалось догнать юношу, скрывшегося домой. Факт этот вызвал глубокое волнение среди присутствующих в театре, при чем некоторые решительно заявляли, что без оружия в кармане теперь нельзя никуда показаться".

Таким образом, здесь речь идет уже не о единичном насилии: тут уже терроризирован целый город. Продолжение этой изумительной истории, однако, еще

поразительнее. В той же газете напечатано известие о томъ, что, после происшествия въ театре, къ одному изъ представителей местнаго общества, подъ предлогомъ деловыхъ объяснений, явились въ квартиру четыре офицера и нанесли ему грубое оскорбление. "Случай этотъ,-- прибавляетъ газета,-- стоящий въ связи съ целымъ рядомъ прямыхъ безчинствъ, имевшихъ место за последнее время, какъ въ отношении беззащитныхъ стариковъ, такъ и девушекъ изъ почтенныхъ семействъ, глубоко взволноваль и возмутилъ местное общество". Другия газеты даютъ более точныя указания и комментарии. Оказывается, что "четыре героя", такъ храбро расправляющиеся со стариками, явились къ отцу того самаго юноши, который заступился за девушку въ театре, съ чудовищнымъ требованиемъ: "прислать сына въ офицерское собрание для порки (!) или -- драться на дуэли".

Итакъ, здесь мы имеемъ дело не съ однимъ закаспийскимъ генераломъ, а съ целой группой военныхъ, съ целымъ "офицерскимъ собраниемъ" (неужели это правда?). Если вскрыть взгляды, которые сказались въ этомъ почти невероятномъ инциденте, то получится следующий своеобразный кодексъ поведения:

- 1) Всякий офицеръ имеетъ невозбранное право отпущать по адресу любой девушки разныя "пошлости" и оскорбительныя замечанья, при чемъ никто изъ близкихъ не въ правѣ заступиться за оскорбленную.
- 2) Если же кто-нибудь за нее заступится, то г. костромской офицеръ имеетъ право надрать ему уши, а заступникъ не въ правѣ прибегнуть къ самообороне физическими средствами.
- 3) Если онъ все-таки прибегнетъ къ самообороне, и отпущающій пошлости офицеръ потерпитъ при этомъ уронъ, то последний долженъ обнажить оружие и убить противника.
- 4) Если и это не удалось, то уже офицерское собрание (!) беретъ дело въ свои руки, и его посланцы избиваютъ беззащитныхъ стариковъ родственниковъ...

Этотъ силлогизмъ кажется намъ до того поразительнымъ, что мы ждали опровержения; мы ждали, что въ газетахъ появится разъяснение въ томъ смысле, что хоть офицерское собрание тутъ ни при чемъ. Ведь единственно разумный и единственно достойный выходъ для людей, понимающихъ, что значить словочесть,-- состоялъ лишь въ немедленномъ очищении своей среды отъ проявлений хулиганства. Все последующее въ этомъ безобразномъ происшествии явилось естественнымъ последствиемъ непристойнаго поведения офицера, оскорбившаго девушку. Въ этомъ и только въ этомъ, на взглядъ всякаго не ослепленнаго человека, могло состоять истинное оскорбление "корпорации". Честь корпорации не въ кулаке и не въ полосе железа. Эта честь въ томъ, чтобы никто не могъ обвинить члена корпорации въ безчестномъ поведении, роняющемъ достоинство всякаго порядочнаго человека. Разъ это можно сказать о данномъ члене корпорации,-- она уже оскорблена именно своимъ товарищемъ. И неужели общество офицеровъ въ Костроме держится иного взгляда? Неужели оно полагаетъ, что позоръ непристойнаго поведения искупается успешной дракой, а возстановление чести корпорации достигается темъ, что вся она выражаетъ солидарность съ виновникомъ пошлаго скандала и требуетъ у отца выдачи сына на позоръ и истязанье въ своемъ "собрании".

Недавно въ "Руси" было напечатано письмо генерала Киреева по поводу Ковалевского дела. "Онъ -- не нашъ,-- пишетъ ген. Киреевъ въ этомъ лисьме,-- разъ навсегда -- не нашъ!" {"Русь". Запмствусмъ изъ "Ниж. Листка" отъ 21 дек. 1904 г.}. Хотелось бы думать, что этотъ голосъ не останется одинокимъ, что и въ военной среде есть умы, не ослепленные столь чудовищно извращенными понятиями о сословной чести, и есть сердца, способныя биться негодованьемъ на подвиги Ковалевыхъ закаспийскихъ и Ковалевыхъ костромскихъ...

У насъ теперь много говорить, много пишутъ, много надеются и много благодарятъ за обещанье возстановления "полной силы закона", для всехъ доступнаго и для всехъ равнаго... Мы ждемъ съ величайшимъ интересомъ, въ какой формѣ и скоро ли почувствуютъ на себѣ эту "силу закона" те господа, которые полагаютъ, что оружие дано имъ для того, чтобы безнаказанно оскорблять русскихъ девушекъ и избивать въ

"отечестве" беззащитных стариков. Ведь иначе -- это уже полное разложение элементарных гражданских понятий, своего рода -- "военная анархия".

Янв. 1905 г.

V.

Еще о деле генерала Ковалева.

Въ ноябрьской книжке "Р. Б." мы говорили уже о деле генерала Ковалева, заманившего врача (подъ предлогомъ болезни) къ себе на квартиру и здесь подвергшаго его сечению при помощи семи казаковъ. Мы уноминали также о томъ, что начальство генерала Ковалева (генераль Куропаткинъ и генераль Уссаковский) дали ему наилучшия рекомендации, а последний присоединилъ къ этому ходатайство о смягчении участи подсудимаго. "Новое Время", въ заметкахъ г-на Ст -- на, а также и другие органы печати увидели въ этомъ "противозаконное давление на судъ". Г. А. Ст -- нь, кроме того, далъ легкую характеристику края, въ которомъ произошло событие. Воспоминания г-на А. Ст -- на объ этомъ крае имеютъ, по его словамъ, чисто кошмарный характеръ.

Теперь генераль Уссаковский прислалъ въ "Новое Время" длинное письмо, въ которомъ возражаетъ по пунктамъ на заметки г-на А. Ст -- на. Вторая часть этого письма касается "кошмарности" впечатлений. Какъ начальникъ края, генераль Уссаковский считаетъ себя обязаннымъ заступиться за "природу и жизнь" вверенной ему области и рекомендуетъ г-ну А. Ст -- ну познакомиться съ содержаниемъ издающихся въ Асхабаде газетъ ("Закаспийское Обозрение" и "Асхабадъ").

Можно бы много возразить генералу Уссаковскому по поводу рекомендуемаго имъ метода ознакомления съ "жизнью края", такъ какъ известно, что, по разнымъ причинамъ, съ некоторыми сторонами местной жизни гораздо удобнее иногда знакомиться по газетамъ, более свободнымъ отъ "местныхъ воздействий"... Г. Ст -- нь могъ бы, въ благодарность за советъ,-- отплатить такимъ же советомъ генералу Уссаковскому: почерпать сведения о некоторыхъ сторонахъ местной жизни изъ газетъ, издающихся вне подведомственной ему области. Во всякомъ случае, однако, споръ решается уже наличностью и условиями "дела генерала Ковалева". Какъ для кого, а для людей, не имеющихъ чести носить военный мундиръ,-- достаточно и одного этого факта: одинъ изъ "высокопоставленныхъ" военныхъ, имеющий, по свидетельству своего начальства, наилучшую репутацию, по неизвестнымъ побуждениямъ заманиваетъ врача въ свою квартиру и употребляетъ казаковъ своего полка въ качестве палачей надъ беззащитнымъ человекомъ...

Невольно при этомъ приходитъ въ голову: если такъ могутъ поступать наилучшие, то чего же можно ожидать въ этомъ удивительномъ крае отъ среднихъ и худшихъ? Мы можемъ, конечно, согласиться съ генераломъ Уссаковскимъ, что въ природе Закаспийской области "есть и чудные уголки"... Но, по вопросу о томъ, что въ этихъ чудныхъ уголкахъ происходитъ,-- мы склонны скорее принять мнение г-на А. Ст -- на, которому вспоминаются разные "кошмары".

Генераль Уссаковский касается затемъ вопроса о "противозаконномъ давлении на судъ", котораго онъ въ своемъ поступке решительно не усматриваетъ. Мы недостаточно знакомы съ процедурой и обычаями суда военного, несомненно отличающагося многими особенностями отъ обычнаго представления о суде и гарантияхъ "обеихъ сторонъ" въ процессе; Но мы съ трудомъ представляемъ себе судъ "гражданский", на которомъ председатель огласилъ бы, напримеръ, "ходатайство" какого-нибудь высокопоставленнаго лица о смягчении участи подсудимаго чиновника...

"По какому праву,-- спрашиваетъ далее генераль Уссаковский,-- авторъ "заметокъ" въ своей защите независимости суда идетъ далее самого суда". На этотъ вопросъ ответить очень не трудно: по праву писателя и гражданина, по праву члена общества... А судъ,

всякий судъ, есть явление общественное, и его зависимость или независимость въ правѣ интересоваться настолько данный составъ самого суда, но и все граждане тосударства. Въ самые даже тяжелые для печати периоды русской жизни за ней признавалось право обсуждать эти вопросы... Ведь если бы аргументация генерала Уссаковского была правильна, то, даже относительно дореформеннаго суда, даже русскому писателю Гоголю можно было предложить тотъ же вопросъ: съ какой стати онъ заботится о достоинствѣ суда больше, чѣмъ, напр., поветовый судья гор. Миргорода?.. И такъ, и по этому вопросу не мы одни, но, полагаю, и все русские писатели, даже те, кто, подобно г-ну А. Ст -- ну, "очень чтятъ военныхъ",-- не могутъ стать на точку зрѣнія ген. Уссаковского. Къ сожалѣнию, мы должны пойти еще несколько дальше этой общей постановки вопроса, такъ какъ то, что сообщаютъ газеты объ условіяхъ именно даннаго суда, вызываетъ самую тревожную недоумѣнія. Такъ въ газетѣ "Русь" (отъ 25 ноября, No 345) одинъ асхабадецъ, "занимающій положеніе, которое вызываетъ на полное доверіе", сообщаетъ очень интересныя и серьезныя указанія условій и обстоятельствъ, при которыхъ прошелъ процессъ Ковалева, "бывшаго командира Закаспійской казачьей бригады и заместителя начальника области". По словамъ этого асхабадца, опирающагося на приговоръ суда, помещенный въ официальной газетѣ "Кавказъ" отъ 9 ноября -- разборъ этого дела представляетъ небывалыя особенности:

Во 1-хъ, дело слушалось въ Тифлисе, хотя преступленіе совершено въ Асхабадѣ, где находится и потерпевшій, и свидетели.

Во 2-хъ, не только не были вызваны въ засѣданіе суда потерпевшій, свидетели и заявившій для участія въ дѣлѣ гражданскій искъ, но никого не сочли даже нужнымъ уведомить о слушаніи дѣла въ Тифлисе, вместо Асхабада.

и въ 3-хъ, не смотря на двукратную официальную экспертизу (въ первый разъ следственную), установившую наличность тяжкаго изстязанія (до 52 ударовъ нагайками и палками по задней части тела, животу и паховой области) -- наличность истязанія была судомъ отвергнута.

"Приговоръ, постановленный съ такими особыми условіями, являющійся приговоромъ вновь, особо ad hoc введеннаго келейнаго судилища, достоинъ стать достояніемъ общества",-- замечаетъ г. асхабадецъ {"Русь", No 345.}.

Сведения, сообщаемыя въ этой заметкѣ, до такой степени изумительны, что, вероятно, въ следующей книжкѣ журнала намъ придется еще вернуться къ громкому дѣлу генерала Ковалева, чтобы сообщить " (хотелось бы, по крайней мерѣ, такъ думать) официальное разъясненіе тревожныхъ вопросовъ, поставленныхъ "заслуживающимъ доверія" асхабадцемъ въ распространенной русской газетѣ. А пока, полагаемъ, читатель согласится, что передъ мотивами, выдвигаемыми этимъ дѣломъ и его обстановкой, совершенно уже бледнеетъ волрсь объ его "подкладкѣ"... Подкладка эта -- есть вопросъ индивидуальной оценки личностей и ихъ досудебныхъ отношеній. А гарантии сторонъ на суде и огражденіе судомъ личнаго достоинства и неприкосновенности русскихъ гражданъ, носящихъ и не носящихъ мундиры,-- есть насущный, близкій, неотложный интересъ всего русскаго общества.

P. S. Наша заметка была уже набрана, когда въ газетахъ появилось письмо потерпевшаго г-на Забусова. Приводимъ его целикомъ и думаемъ, что это долженъ сделать каждый органъ печати, которому дороги правда, человеческое достоинство и правосудіе.

Вотъ это письмо {См. "Новое Время", 8 дек. 1904, No 10336.}:

"До сихъ поръ я не могъ писать ничего, такъ какъ надеялся, что судъ такъ или иначе выяснитъ обстоятельства и причины зверскаго насилия, произведеннаго надо мной генераломъ Ковалевымъ. Въ то же время я былъ такъ глубоко потрясенъ происшедшимъ, что всякое воспоминаніе о нелепой и безцельной гнусности приводило меня въ болезненное состояніе. Энергія пала, духъ сломленъ. Но теперь мне хочется не только писать, но кричать на площадяхъ и улицахъ, чтобы найти себе хоть тень защиты у общества. Какъ можно сделать насиліе надъ личностью и остаться весьма мало

наказанным -- показывает гнуснейшее в летописях России "дело генерала Ковалева". Вот оно в чем. "В марте 1904 года, в городе Асхабаде, вечером, по телефону, я был приглашен к тяжело заболевшему Ковалеву; приглашение было весьма настойчивое и повторено дважды. Я тотчас же бросил свои дела и поехал через 2--3 минуты, как только мог найти извозчика. Ковалева я знал очень мало, не больше, чем обыкновенное шапочное знакомство, никогда его не лечил и тут естественно подумал, что с ним случилось что-то экстренное, так как я по специальности хирург. Голос из телефона уверял меня, что генерал очень болен.

"Приехав быстро к нему на квартиру, я тотчас спросил, что у него болит; он ответил, что еще успеет об этом поговорить. В это время у него сидел какой-то неизвестный мне молодой человек, как выяснилось потом, служащий в службе сборов Средне-Азиатской железной дороги, Самохненко. Ковалев приказал подать стул, предложил садиться, предлагал сигары и вино.

"Все время я сидел спиной к соседней комнате и мельком заметил там несколько человек нижних чинов-казаков, которых принял за песенников.

"Ковалев о своей болезни ничего не говорил, но настойчиво предложил вина. Я отказывался, говоря, что не пью.-- "Отчего?" -- Потому что от вина у меня делается сердцебиение,-- ответил я.-- "Это не от вина, а от того, что вы любите не того, кого следует". Удивленный этими словами, я попросил их объяснения, которого не получил.-- "Ваше здоровье",-- говорит Ковалев, чокаясь со мной стаканом; так же поступил и его собеседник. Не успев я поставить стакан на стол, как сзади был неожиданно схвачен несколькими людьми, грубо раздет и началось беспощадное истязание. Как ни был я потрясен, но все-таки и тут требовал объяснения; в ответ же со стороны Ковалева раздавалось только неистовое: "Бей его, мерзавца". Зверское истязание продолжалось и по животу: я тут уже понял, что меня хотят убить. Я был лишен малейшей возможности к какой бы то ни было самозащите и, как врач, понимал ясно, к чему могут повести удары по животу. Далее я был одет и выведен под руки на извозчика. Какого-либо протеста со стороны присутствующего г. Самохненки не было.

"В эту же ночь все дело мною было обнародовано и даны официальные сообщения. Это все произошло 14 марта. Глубоко потрясенный, я напрасно искал и ищу до этой минуты какого-либо объяснения всего происшедшего. Но вот что из этого произошло. Насилию я подвергся 14 марта, дело разбиралось будто бы в Тифлисе в начале ноября. Таким образом, преступное деяние Ковалева подпало под силу высочайшего манифеста. Далее, ни я, как пострадавший, ни мой поверенный, юрисконсульт Средне-Азиатской жел. дор. А. А. Хонин, не получали ни повестки, ни вообще какого-либо уведомления от суда, и потому на суде были лишены возможности быть ("пострадавший не явился", как сказано было в суде). Что было вообще на суде -- нам неизвестно по тем же причинам. Ковалев, будто бы, не был признан виновным в истязании, но я, как врач, протестую против этого и настаиваю, что здесь именно было преднамеренное истязание. Ковалев судился и был осужден, будто бы, только за превышение власти, но моя личность гражданина оставлена без внимания. Но ведь я не военный, и мне нет дела до дисциплинарных отношений Ковалева к его подчиненным. С ужасом прочитал я в № 10333 "Нового Времени" письмо генерала Уссаковского, который смело возводит на мою честь самое тяжелое обвинение; тяжело оно главным образом потому, что тайное. Генерал Уссаковский, прося не залезать в его душу, настолько признает душу у меня, что вот что говорить:

"Иной вопрос, почему я считал себя обязанным ходатайствовать за генерала Ковалева: это, конечно, дело моей совести, и надеюсь, автор "Заметок" не станет забираться ко мне в душу, но могу указать одно: я знаю генерала Ковалева и, что главное, знаю совершенно точно подкладку дела, которую автор только угадывает и, конечно, неудачно. Бывает так в жизни, что расправа зверская, а побуждения к ней самые

благородныя; последнее, разумеется, не может оправдать расправы, но до некоторой степени ее извиняет".

"Итакъ, Ковалевъ, въ лице своего защитника генерала Уссаковского, находитъ извинение: очевидно, что обвиняюся я, врачъ Н. П. Забусовъ, въ совершении чего-то столь гнуснаго, столь постыднаго, что даже подлейшее насилие изъ-за угла является мною лишь только заслуженнымъ, потому что "побуждения къ нему самыя благородныя", и съ точки зрения генерала Уссаковского можетъ быть извиняемо. Генераль Уссаковский отрицаетъ, что своимъ ходатайствомъ на суде за Ковалева онъ произвелъ давление на судъ; можетъ быть, это такъ, я не юристъ, но давление на общественное мнение онъ своимъ письмомъ въ No 10333 отъ 5 декабря пытается сделать, и давление опять-таки въ пользу Ковалева.

Генераль Уссаковский ясно намекаетъ, что за мной имеется величайшая гадость и что наказание я заслужилъ (благородныя побуждения). Я безсиленъ опровергнуть эту вопиющую неправду, если мне не будетъ дана возможность давать объяснения въ гражданскомъ суде, если не будутъ допрошены некоторыя личности, если не будетъ выяснена роль г. Самохненки во всемъ этомъ постыдномъ деле и если обвинение въ какой-то сделанной гнусности, которое высказывается теперь тайно, не будетъ высказано публично. Всего этого я былъ лишень до сихъ поръ и по желанию кого-то превратился изъ потерпевшаго въ обвиняемаго во вкусе метаморфозъ Овидия. Я заявляю въ окончательной форме вотъ что. Съ Ковалевымъ я имелъ только самое мимолетное шапочное знакомство, не сталкивался съ нимъ ни на почве служебныхъ, ни на почве частныхъ отношений даже самымъ малейшимъ образомъ; ни въ одной общечеловеческой слабости никогда въ жизни не имелъ съ нимъ ни малейшаго соприкосновения, никогда о Ковалеве не говорилъ ни хорошаго, ни дурнаго, такъ какъ имъ совершенно не интересовался. Со всеми знакомыми Ковалева былъ почти незнакомъ, исключая шапочнаго знакомства; Ковалева никогда не лечилъ,-- словомъ, къ Ковалеву я имелъ вообще такое же отношение, какъ и къ каждому жителю Марса. Я такъ усталъ душевно отъ беспощадной травли, что у меня едва хватаетъ силы жить. За что же это? Во имя какого принципа?

"Неужели 63-летний старецъ Ковалевъ продолжаетъ думать, что онъ сделалъ хорошее и достойное дело, неужели его поддерживаютъ только потому, что этого требуетъ солидарность касты?

"Неужели мой голось останется голосомъ вопиющаго въ пустыне, и никто не придетъ на помощь невинно погибающему нравственно человеку?

"Я могу только сказать, что деятельность врачебная требуетъ отъ врача, чтобы онъ былъ и честнымъ человекомъ; какъ только этого нѣтъ, онъ не можетъ быть врачомъ, сама корпорация должна его изгнать изъ своей среды. Такъ и я долженъ быть отвергнутъ врачебной корпорацией, какъ недостойный ея членъ, какъ позорящий ее. А это должно быть, если верить генералу Уссаковскому.

"Итакъ, вотъ моя ставка на общественномъ суде; но что поставятъ въ ответъ на это Ковалевъ и другие? По адресу г. А. Ст -- на скажу, что мне удивительно, почему для него и для всехъ безпристрастныхъ людей особенно ценно авторитетное (?) свидетельство начальника области, что у подсудимаго были обстоятельства, извиняющия его поступокъ. Нѣтъ, г. А. Ст -- нѣ, не авторитетно это свидетельство, а въ особенности для всехъ безпристрастныхъ людей, потому что это авторитетное свидетельство есть обвинение, а для безпристрастия "audiatur et altera pars", если ужъ меня ставятъ въ роль обвиняемаго. Въ достаточной ли мере отражаютъ местную жизнь газеты "Асхабадъ" и "Закаспийское Обозрение", ясно изъ того, что почему-то (?) ни въ одной изъ этихъ газетъ не появилось ни слова о насилии надо мной. Можетъ быть, это и достаточно, но для кого? "Старший врачъ Ср.-Аз. ж. д. Н. Забусовъ".

1904 г.

Трагедия Ковалева и взгляды военной среды.

I.

Въ истекшемъ мае месяце все газеты облетела краткая телеграмма (отъ 16-го мая): "На станции Гулькевичи Владикавказской жел. дороги въ гостинице застрелился генераль Ковалевъ, обвиняемый по делу объ истязании доктора Забусова". Дополнительные известия сообщали, что генераль Ковалевъ, желая уклониться отъ новаго судебного разбирательства, предстоявшаго въ июле или августе,-- отправился въ Читу, откуда послалъ просьбу о зачислении его въ действующую армию. Генераль Церпицкий выразилъ готовность принять его въ свой отрядъ; очень вероятно, что и другие генералы такъ же охотно дали бы гонимому общественнымъ мнениемъ товарищу возможность почетно уклониться отъ суда, что, несомненно, было бы новымъ оскорблениемъ русскому обществу и самой идее даже и военнаго правосудия. Нетъ также сомнения, что еще годъ или два назадъ предприятие это могло блестяще осуществиться. Теперь изъ Петербурга последовалъ отказъ, а Ковалевъ получилъ приказание вернуться. Но генераль Ковалевъ -- натура цельная: онъ "готовъ былъ предстать передъ судомъ равныхъ себе людей", т. е. передъ кастовымъ судомъ военныхъ, разъ уже сделавшимъ въ его пользу ничемъ не объяснимыя правонарушения. Общественное мнение онъ презираетъ, въ своемъ "поступке" не раскаивается. Но мысль, что даже въ кастовомъ суде на этотъ разъ будутъ предоставлены какия-то права людямъ въ сюртукахъ, а не въ военныхъ мундирахъ, какимъ-то гражданскимъ истцамъ и частнымъ обвинителямъ,-- совершенно не укладывалась въ его голове. Онъ считалъ возможнымъ бить "не военныхъ" людей и сечь ихъ розгами,-- но судиться съ ними, отвечать на ихъ вопросы, выслушивать ихъ мнения о своемъ поступке... Нетъ,-- лучше смерть! И вотъ, на маленькой станции вблизи Армавира посредствомъ короткаго револьвернаго выстрела онъ ликвидируетъ все свои счета и съ судомъ, и съ общественнымъ мнениемъ, и съ газетами, и съ частными обвинителями... Но онъ не захотелъ уйти молча; передъ своей вольной смертью онъ излилъ свои чувства въ длинномъ, проникнутомъ горечью письме, которое появилось въ "Новомъ Времени". Самая идея о "нелицеприятии суда", повидимому, совершенно чужда автору этого письма: свою печальную судьбу онъ приписываетъ чьей-то несправедливой оценке его личности, сравнительно съ другими. Онъ -- "подачка, жертва, отданная властямъ и судамъ". А между темъ,-- спрашиваетъ онъ съ горечью,-- разве я "государственный преступникъ, анархистъ, неужели мой поступокъ расшаталъ государственные устои и тронъ? Неужели я хуже гласныхъ воровъ и мошенниковъ, спокойно живущихъ и занимающихъ высокие посты? Неужели хуже техъ жалкихъ трусовъ, техъ бездарностей, которые, сохраняя свою шкуру, ради реляций жертвуютъ десятками тысячъ или сдаютъ въ позорный пленъ истинныхъ, верныхъ царскихъ слугъ; техъ, кто позорно и униженно кладетъ ключи вверенной ему крениости въ ноги врага-язычника, а самъ даже съ гордымъ сознаниемъ свято исполненнаго долга спешить къ домашнему очагу, къ спокойствию и комфорту? Нетъ, это все -- герои, увенчанные и увенчиваемые славой и победными лаврами. Больно, обидно до слезь!"

Стоить лишь немного вдуматься въ это письмо, и передъ вами встанетъ мировоззрение цельнаго военнаго человека, пропитаннаго насквозь взглядами нашего российскаго милитаризма послѣднихъ десятилетий. Посмотрите тотъ перечень преступлений, которыя генераль Ковалевъ признаетъ заслуживающими наказания,-- и вы увидите, что это -- преступления исключительно профессиональныя: военный человекъ не долженъ быть ни политическимъ преступникомъ, ни анархистомъ; онъ не долженъ расшатывать тронъ, не долженъ расхищать предметы довольствия и снаряжения вверенныхъ ему командъ, не имеетъ права сдавать крениости врагу и жертвовать десятками тысячъ жизней для реляции. Если онъ не сделалъ ничего подобнаго,-- онъ правъ, что бы ни натворилъ по отношению къ другимъ, не-военнымъ областямъ жизни... Самая мысль, что военный есть также

гражданинъ даннаго общества, что для него обязательны законы его страны, что онъ долженъ уважать личность, имущество, честь своихъ соотечественниковъ, хотя бы и не носящихъ военного мундира, что гражданское общество въ праве требовать возстановления нарушеннаго права,-- все эти соображения решительно чужды генералу Ковалеву. Ему, очевидно, не приходится даже въ голову, что янычарския насилия военныхъ надъ народомъ могутъ по-своему "расшатывать тронъ" и превосходить даже въ этомъ отношении инья "государственныя преступления"... Онъ просто указываетъ на военныхъ людей, совершившихъ, по его мнению, профессиональные грехи, и спрашиваетъ съ наивнымъ и горькимъ недоумениемъ: почему онъ "отданъ въ жертву властямъ и судамъ", а они -- увенчаны победными лаврами?

II.

Правда, ослепленный горечью, генераль Ковалевъ сильно преувеличилъ "победные лавры", якобы выпавшие на чью-то долю. Лавровъ пока вообще очень мало въ этой безславной войне, и принадлежать они по большей части погибшимъ. Что же касается до лицъ, на которыхъ, очевидно, намекаетъ предсмертное письмо генерала Ковалева,-- то пока они пользуются слишкомъ щедро установленнымъ содержаниемъ, но безъ прибавки, въ виде славы или лавровъ. Военачальники, "жертвовавшие десятками тысячъ жизней для реляций", заведомые воры, подъ шумокъ патриотическихъ возгласовъ торговавшие "защитой отечества",-- тоже едва ли чувствуютъ себя теперь особенно спокойно, такъ какъ если русской жизни, действительно, предстоитъ очищение отъ заповоливающей ея низости и корыстнаго предательства, то ихъ ждетъ такой общественный судъ, передъ которымъ должно поблѣднеть самое "дело Ковалева"...

Есть, однако, одинъ аргументъ, который могъ бы привести генераль Ковалевъ и на который было бы гораздо труднее ответить темъ, кому онъ адресуетъ свои предсмертные укоры. Вместо того, чтобы указывать на лицъ, провинившихся противъ военного кодекса, онъ могъ бы поименовать десятки, даже сотни военныхъ, которые делали какъ разъ то же самое, что сделалъ онъ, такъ же дико ругались надъ честью, чужой неприкосновенностью, достоинствомъ безоружныхъ русскихъ гражданъ. И онъ могъ бы сказать: разве я хуже ихъ? И почему же я умираю, а они остаются безнаказанными или отделяются пустяками и продолжаютъ мирное течение своей карьеры?..

Вотъ на это было бы очень трудно ответить правосудию нашей страны.

Действительно, то, что сделалъ генер. Ковалевъ надъ Забусовымъ, далеко не представляется небывалымъ. У генер. Ковалева есть предшественники, сотоварищи, последователи. Такъ, еще въ 1896 году газеты глухо сообщали объ исторіи офицеровъ Белгородскаго полка, "дозволившихъ себе, вопреки существующихъ правилъ (sic!), взять команду нижнихъ чиновъ, которыхъ заставили чинить противузаконную расправу надъ некоторыми обывателями местечка Межибожа Подольской губ." {"Русск. Инвал.", цит. изъ "Нов. Вр.", 29-го авг. 1896 г.}. Говорили тогда объ этой исторіи много; но газетамъ было запрещено сообщать возмутительныя подробности многочисленныхъ насилій, произведенныхъ нижними чинами по команде офицеровъ. Въ томъ же 1896 году въ тифлисскомъ военно-окружномъ суде разбиралось дело ротмистра пограничной стражи Копыткина, который приказалъ подчиненнымъ ему солдатамъ высечь дворянина Сумбатова. 22-го марта 1899 года корнетъ В. (въ Варшаве), пригласивъ къ себе на квартиру надсмотрщика почтово-телеграфной конторы, приказалъ тремъ рядовымъ своего полка снять съ него пальто и тужурку, связать руки назадъ и нанести ему 25 ударовъ хлыстомъ, что и было исполнено {"Сев. Курьеръ", 21-го сент. 1900 г.}. Въ 1901 году заявилъ о себе корнетъ фонъ-Викъ (въ гор. Холме). Онъ не платилъ денегъ портному Гапину и вдобавокъ заподозрелъ послѣдняго въ подаче на него судебного иска. По этимъ необыкновенно основательнымъ и возвышеннымъ причинамъ онъ счелъ свою военную честь оскорбленной и требующей реабилитации. Зазвавъ портного въ свою квартиру,

онъ высекъ его нагайкой при помощи денщика и рядового Вакарчука {"Южн. Обозр.", 24-го июня 1901 г. -- Въ первомъ изъ описанныхъ случаевъ несколько офицеровъ Белгородскаго полка были разжалованы въ рядовые, вероятно въ виду небывалыхъ размеровъ скандала, о которомъ писали заграничныя газеты. Последующая история уже не знаетъ столь суровыхъ приговоровъ. Въ случаяхъ Копыткина и корнета В. главному военному суду пришлось несколько увеличить меру наказания, назначенную военно-окружными судами съ поразительной снисходительностью. Такъ, корнетъ В. былъ первоначально приговоренъ къ 3 неделямъ гауптвахты, а корнетъ фонъ-Викъ, уже при благосклонномъ участии самого главнаго военного суда, отделался 3-мя месяцами гауптвахты, вероятно потому, что потерпевший -- только портной!}.

Таковы "прецеденты". Далее, въ то самое время, когда о деле Ковалева писали въ газетахъ и говорили въ общественныхъ собранияхъ, въ Костроме разыгрался возмутительный эпизодъ: офицеръ Васичъ сначала оскорбилъ девушку, а потомъ гнался за ея юнымъ защитникомъ въ фоне и по лестницамъ театра съ обнаженной шашкой. Теперь газеты сообщаютъ, что "подъ влияниемъ общественнаго мнения" (!) подпоручикъ Васичъ былъ удаленъ изъ Костромы и дело было передано его начальствомъ военно-окружному суду. Судъ призналъ поступокъ "несоответствующимъ офицерскому званию" и приговорилъ Васича... къ трехмесячному аресту на гауптвахте съ некоторымъ ограничениемъ въ правахъ и преимуществахъ по службе {"Русское Слово", цит. изъ "Волыни", 5-го июля, No 100.}.

И это все! Если и это нужно считать данью "общественному мнению", то должно признаться, что военный судъ ограничилъ эту дань самыми минимальными размерами... Человекъ, совершивший поступокъ, "не соответствующий офицерскому званию", возвращается къ этому званию после краткаго отдохновения на гауптвахте.

Но наиболее интересной чертой этого дела являются некоторыя предшествовавшая и сопровождавшая его обстоятельства: уже ранее одинъ офицеръ напалъ съ обнаженною шашкой на статистика. Безобразия и насилия происходили на улицахъ, на бульварахъ, въ общественныхъ местахъ. Въ местной подцензурной печати писали, что въ Костроме опасно выходить изъ дома безъ оружия. Казалось бы, все это должно обратить внимание и вызвать противодействие въ самой военной среде. Вместо этого, мы узнали, что общество офицеровъ выступило на защиту Васича и потребовало у старика-отца, чтобы онъ выдалъ сына (защитника оскорбленной офицеромъ девушки) для сечения въ офицерскомъ собрании. Когда отецъ отказалъ въ этомъ чудовищномъ требовании, то четыре офицера избили старика въ его собственной квартире!

Это изумительное сообщение газетъ не было никемъ опровергнуто, а ведь это значить, что все общество офицеровъ въ Костроме заявило свое право на "ковалевщину"... И это обстоятельство, повидимому, даже не затронуто судомъ. Что же значить единичный поступокъ Ковалева передъ такимъ чудовищнымъ извращениемъ понятий о законности, о достоинстве и чести, захватывающимъ уже целое собрание и принимающимъ характеръ бытового явления среды...

Совсемъ также недавно и даже почти въ то самое время, когда генераль Ковалевъ производилъ свою расправу надъ Забусовымъ, въ Александрополе произошла точно такая же, пожалуй еще более дикая, еще более преступная расправа, о которой сообщаетъ корреспондентъ "Руси". Герой ея -- корнетъ (всего только!) 45-го драгунскаго полка Посажной; жертва -- помещикъ Драмповъ. Въ начале прошлаго 1904 года {Истязание Забусова произошло, какъ известно, 14 марта того же года.} въ крепостномъ александропольскомъ артиллерийскомъ складе была обнаружена кража патроновъ. Предполагая возможность вывоза последнихъ изъ Александрополя, начальство распорядилось разставить кругомъ города пикеты. Драмповъ съ знакомой дамой выехалъ кататься за городъ и при возвращении былъ подвергнутъ обыску (господа военные въ этомъ отношении не стесняются лишними формальностями). На ироническое замечание Дрампова, что целесообразнее было бы обыскивать не въезжающихъ въ городъ, а

выезжающих, пикет ответил задержанием. Впрочем, когда г. Драмнов был "представлен по начальству", то личность его была удостоверена, и он был отпущен. Но в тот же день к Дрампову в гостиницу "Италия" явился корнет Посажной, который вызвал его и предложил ехать к командиру полка "для допроса по делу о краже патронов". Удивленный Дрампов заявил, что ему по этому делу ничего неизвестно, но, как русский человек, привыкший повиноваться всякому, хотя бы и самому наглому произволу,-- поехал. Посажной вместо командира повез Дрампова за город и здесь, совершенно как Ковалев, произвел над беззащитным Драмповым возмутительнейшие истязания. "Тут было,-- пишет корреспондент "Руси" {Цитирую из "Киевских Откликов", 4-го мая 1905 г.},-- все, начиная с раздевания (в ту ночь мороз доходил до 20°) и кончая примерно смертною казнью (!). По приказанию корнета солдаты привязали несчастного Дрампова к дереву, при чем туго обвязали все тело и шею, и начали бить его плетью. Потом, приказав солдатам взять ружья "на изготовку", Посажной заявил, что если после двукратной команды Дрампов не укажет места нахождения спрятанных патронов, то за третьей командой будет казнь. Не получив (весьма естественно) желаемого ответа, корнет развязал его, велел повалить на землю и бить; при этом пришел в такое разъяренное состояние, что начал и сам бить его ногами и шпорами. Закончив эту возмутительную процедуру, он приказал влить Дрампову в рот водки и потащил свою жертву в трактир, где продолжал свое глумление. Перед тем, как отправить измученного Дрампова домой, он взял с него расписку, что никакого насилия над ним не производилось".

С этих пор прошел год... Прошел тот самый год, в течение которого шло дело Ковалева, поглотившее, по видимому, все внимание военной юстиции. Ковалев погиб с сознанием, что его на этот раз никто не защитит от громкого требования правосудия, заявленного негодующим обществом... А о корнете Посажном мы не слышим даже, чтобы он предстал пред судом. По словам корреспондента, он "преблагополучно продолжает службу в полку" и товарищи вероятно подают ему руку, а начальство... Когда, после долгой предварительной процедуры, дело стало приближаться к судебной развязке, то командир полка благосклонно разрешил свирепому корнету отпуск, и дело опять затянулось. "Чем оно кончится, неизвестно. -- заключает корреспондент свое повествование,-- как неизвестно и то, откуда вытекает непонятная благосклонность командира".

Итак,-- чем же, в самом деле, генерал Ковалев хуже корнета Посажного?.. Посажной, как и Ковалев, вызывает свою жертву обманом (который, вдобавок, у Посажного носит служебный характер: вызов к командиру полка). Как и Ковалев, корнет Посажной употребляет для истязания подчиненных ему нижних чинов, которые бессознательно играют роль палачей, только вдобавок корнет еще и лично становится палачом, принимая участие в самых изысканных мучительствах... Но в то время, как Ковалев не предпринимает ничего для скрытия своей расправы,-- корнет Посажной прибегает к чисто приказной,-- правда, очень наивной -- уловке, рисуемой сразу и нравственный, и умственный уровень корнета по сравнению с суровым изуверством закаспийского генерала: он требует у своей жертвы оправдательную расписку в том, что его не истязали!..

И однако Ковалева успели судить, и, как бы то ни было, даже осудили, не смотря на заступничество генералов Куропаткина и Уссаковского. Под давлением общественного мнения решено пересмотреть заново всего процесса, Ковалев успеет уехать в Читу и получает приказ вернуться, наконец он трагически кончает все эти счета выстрелом и смертью... А корнет Посажной "благополучно продолжает службу в полку"... Какой "несчастной случайностью" может военная Семидесятилетняя объяснить эту странность, и что она может ответить на горькие вопросы предсмертной апелляции застрелившегося генерала?.. Отвечать перед законом, поставленным так высоко, что на его решение не может повлиять никто, ниже генералиссимусы действующих

армий,-- это одно. Но генералу являться случайной жертвой якобы правосудия, которое в то же время и за более тяжкий проступок не в состоянии настигнуть александропольского корнета,-- это, ведь, действительно "горько, обидно до слез", потому что это -- произволь, усмотрение, жертва общественному негодованию, уступка... Все, что угодно, но только не правосудие, которое равно для всех и должно считаться лишь с законом.

III.

Со времени дела Сташевского, убившего журналиста Сморгунера за исполнение последним своих гражданских обязанностей (и отделавшагося, сказать кстати, совершенными пустяками) -- я привык обращать внимание на дела этого рода, далеко не полно оглашаемые в газетах, и теперь в моем распоряжении находится ужасающий мартиролог, отмеченный все тою же исключительностью военных взглядов на значение профессиональной чести, тем же презрением к личности и жизни русского невоенного человека и так же обгаренный кровью... Перечислить полностью весь этот длинный ряд насилий в небольшой заметке нет никакой возможности, и потому, чтобы не быть голословным, я приведу лишь случаи, относящиеся к двум месяцам, располагая их в простой хронологической последовательности.

Апрель. Из Красноярска пишут "Праву": "На вокзале, в комнатах И и ИИ класса, публика, являющаяся будто бы "интеллигентной", держит себя непозволительно.

Преимущественно это железнодорожные саврасы, проезжие и местные субъекты, бряцающие оружием. Помимо шума, громких окриков, насмешек, неприличных выражений по адресу дам и вообще лиц, почему-либо не нравящихся этим оболтусам (я цитирую точно), последние злоупотребляют еще оружием: вынимают револьверы, делают вид, что хотят стрелять, потрясают саблями. На днях такой еще юный пижон, упившись до белых слонов, вообразил, что находится на передовых позициях в Манчжурии и пустился шашкой рубить цветы и посуду, находившиеся на общем столе" {Цит. из "Нижегор. Листка", 9 апреля 1905 г., No 94.}.

12 апреля в 4 часа дня, в Томске, в Кривом переулке, два офицера публично избивали извозчика, а с ним, кстати, и седока. Последний кричал: "естли тут студенты, заступитесь!" На помощь избиваемым явилась публика, а к офицерам присоединился третий товарищ, который, во время составления протокола, в обращении избиваемого к студентам усматривал призыв к бунту... {"Сибирский Вестн." Цит. из "Нижегор. Листка", No 115.}.

22 апреля в Твери был произведен ускоренный выпуск юнкеров тверского юнкерского кавалерийского училища. По обычаю, окончившие военное воспитание молодые люди отправились "вспрыснуть" новые мундиры в общественный сад, в ресторан, называемый "Кукушкой". Начались эти "вспрыски" с того, что из верхнего зала этого публичного места были изгнаны "штатские"... "Ты зачем, шпак? Убирайся по добру, по здорову!" -- так обращались эти "воспитанные" молодые люди к совершенно им незнакомым лицам гражданского состояния. Затем, с отвоёванного таким образом верхнего этажа посыпались вызовы, обращенные уже ко всей находившейся внизу публике, при чем храбрая молодежь требовала "подать им на расправу хоть одного (!) студента". Наконец, разгоряченные вином, юноши сошли в сад и очень скоро, "обнажив шаники, бросились на публику", очевидно, вынеся из своего учебного заведения огульное представление обо всем невоенном обществе и народе, как о врагах, подлежащих искоренению. "На меня (писал корреспонденту "Новостей" один из очевидцев, присяжный поверенный Ч.) наскочили двое с обнаженными шашками, но я отбил палкой. Слышал 4--5 револьверных выстрелов". Один из "почетных жителей" гор. Твери рассказывал тому же корреспонденту: "Около 11 час. вечера я встретил близ почты большую толпу народа, которая бежала от офицеров... В конце Миллионной улицы вскоре показалась толпа офицеров, и вся публика, скрываясь от

нихъ, бросилась въ почтовую контору, откуда долго никто не решался выходить" ... Такимъ образомъ, военныя действия были перенесены на улицу. Между темъ, "изъ сада двое были отправлены въ больницу (съ разсеченными ранами). Получившие менее значительныя раны разъехались по домамъ". На другой день въ юнкерскомъ училище выплачивали контрибуцию пострадавшимъ за испорченное платье, а инымъ и за раны (такъ, одинъ изъ писцовъ получилъ 62 рубля за разсеченную руку и пальто). "Делу данъ законный ходъ" {"Новости". Цит. по "Киевскимъ Откл.", 9 мая, No 127.}. Но какое разбирательство (если оно и состоится, что, однако, сомнительно) покроетъ тотъ фактъ, что военная молодежь, только что сошедшая со школьной скамьи, первый пылъ своихъ "юныхъ увлечений" направляетъ, безъ всякаго даже разбора, на истребление своихъ безоружныхъ согражданъ? И такъ они начинаютъ свою карьеру!.. Каково же будетъ продолжение?.. При правильномъ взгляде на дела этого рода, у этихъ юношей следовало отнять оружие немедленно и навсегда, такъ какъ они обнаружили сразу, что изъ своего учебнаго заведения не вынесли самыхъ элементарныхъ понятий о томъ, что такое оружие, для чего народъ снабжаетъ имъ свою армию, и въ какихъ случаяхъ обнажение сабли должно считаться однимъ изъ тяжчайшихъ преступлений даже съ профессиональной точки зрения...

24 апреля опять въ Томске офицеръ Червяковский, подзававъ извозчика, сталъ грозить, что "разобьетъ ему морду", если, подъезжая, онъ брызнетъ на него грязью. Испуганный извозчикъ предпочелъ вовсе не подавать лошадей такому грозному седоку. Тогда Червяковский кинулся въ пролетку, сталъ бить извозчика по голове и затемъ обнажилъ шашку. Къ счастью, извозчикъ успелъ соскочить съ пролетки. Возмущенная публика обезоружила буяна и потребовала составления протокола въ участке. Часа черезъ 2 или 3 тотъ же Червяковский появился на Нечаевской улице (у извозничьей биржи) съ целымъ взводомъ солдатъ. Извозчики въ панике бросились въ разпыя стороны, а Червяковский, "давъ команду стрелять" (которую солдаты, очевидно, не исполнили?), послалъ взводъ въ погоню за беглецами. Когда же на шумъ изъ соседняго двора выбежали маленькiе гимназисты, то озверевшiй офицеръ приказалъ: "бей ихъ прикладами!" Къ счастью, вскоре подоспели другiе военныя, и Червяковский, который взялъ изъ казармы солдатъ безъ разрешения коменданта (и солдаты последовали за безумцемъ!), былъ арестованъ. "Будетъ ли делу данъ законный ходъ" -- корреспонденту неизвестно... {"Сибирский Вестн.". Цит. изъ "Нижсгор. Листка", No 115.}

24-го же апреля въ другомъ конце Россiи, а именно въ г. Новороссiйске, казачий хорунжий Еглевский произвелъ целый погромъ, едва не кончившiйся кровавымъ столкновениемъ толпы съ войсками. Напившись пьянымъ, этотъ вояка вышелъ вооруженный на улицу, съ двумя казаками, и сталъ избивать людей, попадавшихъ на-встречу. Сначала онъ ни за что ни про что ударилъ школьнаго сторожа Шпаковского, потомъ "съездилъ по уху" проходящаго армянина, затемъ далъ пощечину рабочему Медведеву. Когда товарищи послѣдняго сделали попытку заступиться, то Еглевский scomандовалъ сопровождавшимъ его казакамъ: "шашки вонъ!" И те, какъ безмысленныя машины, безъ проблеска сознания, безъ признаковъ пониманiя того, что такое служба, и что преступление -- исполнили дикую команду, а самъ Еглевский выхватилъ револьверъ и сталъ стрелять, при чемъ ранилъ въ плечо девочку Татьяну Сухорукову. После этого его видели въ другихъ местахъ, и всюду онъ производилъ буйства, и всюду, какъ автоматъ, за нимъ следовалъ казакъ, безмысленно, по приказу размахивавшiй шашкой (другой, повидимому, скрылся). На шумъ и выстрелы сбежалась толпа, и дело стало принимать серьезный оборотъ. Тогда Еглевский скрылся въ постояломъ дворе Шумахера, а толпа, все возростающая и страшно возбужденная, запрудила всю улицу. Ждали, очевидно, нападенiя на постоялый дворъ и самосуда: была вызвана полиция, жандармы и, наконецъ, войска. Къ счастью, до кровавыхъ столкновений дело не дошло. Приставу и жандармскому офицеру удалось проникнуть въ постоялый дворъ и увести Еглевскаго заднимъ ходомъ. При этомъ оказалось, однако, что, даже находясь въ осаде, хорунжий Еглевский успелъ избить даващаго ему приютъ Шумахера. Волнение въ обществе и народе было такъ сильно, что

для успокоения города начальство сочло нужным расклеить по улицам объявление: "По делу о произведенных хорунжим Еглевским на Цемесской улице выстрелах, исправляющий должность губернатора лично производить дознание" {"Русское Слово" (цит. изъ "Южнаго Об." 29 апр.), "Черном. Побережье" 29 апр.. No 667, "Нижегор. Лист.", No 115.}.

Вообще 24 апреля (1905 г.) является каким-то роковым: в тот же день, в Петербурге штабс-капитанъ Сквиро (на этотъ разъ отставной), заметивъ на вокзале Московско-виндавобрыбинской железной дороги еврея Винника съ Георгиевскимъ крестомъ, подошелъ къ нему и спросилъ, за что онъ получилъ этотъ крестъ? Винникъ ответилъ, что получилъ его за отличие при взятии крепости Таку. Тогда Сквиро внезапно схватилъ съ груди Винника крестъ и бросилъ его на платформу, а самъ скрылся столь поспешной что возмущенная презренной выходкой публика не успела задержать трусливаго наглеца. На глазах у Винника были слезы. Публика наперерывъ выражала ему сочувствие {"Южн. Обозрение", 15 мая, No 2833.}.

Въ самомъ конце апреля или въ начале мая компания частныхъ лицъ, прохаживаясь въ Николаеве по Соборной улице, вела оживленную беседу, при чемъ одинъ, жестикулируя, нечаянно заделъ одного изъ двухъ проходивших мимо офицеровъ. Задевший, на замечание офицера, снялъ шляпу и извинился. Офицеръ (Яковлевъ) не удовлетворился даже вторичнымъ извинениемъ и сталъ гаворить грубости по адресу всей компании, а затемъ даже наступать съ хлыстомъ, грозя что-то "показать жидамъ", которыхъ, впрочемъ, по словамъ корреспондента, въ собравшейся на шумъ толпе было очень мало. Яковлевъ толкнулъ г-на Р. такъ, что тотъ едва устоялъ на ногахъ, а его товарищъ Потаповъ ударилъ г-на Р. сзади по голове. Затемъ были опять пущены въ ходъ обнаженные шашки, при чемъ г-нъ Р., схватившись за лезвие, поранилъ себе руки. Офицеры приказывали городовому арестовать г-на Р., но толпа свидетелей происшествия настояла на препровождении въ участокъ для составления протокола и самихъ развоевавшихся офицеровъ {"Од. Новости". (Цит. изъ "Нижег. Листка", No 118, отъ 6 мая).}.

5 мая въ городе Екатеринославе на пароходе между пьянымъ офицеромъ Петровымъ и помещикомъ Грековымъ произошла ссора, по рассказамъ очевидцевъ, изъ-за того, что Петровъ приставалъ къ даме, сидевшей вместе съ Грековымъ. Последний попросилъ офицера вести себя приличнее, а офицеръ, увидевъ въ этомъ нападении оскорбление мундира, ударилъ Грекова и затемъ обнажилъ шашку. Тогда Грековъ выхватилъ револьверъ и... убилъ Петрова почти наповаль. Суду предстоитъ решить, въ какой степени это вызывалось необходимостью самообороны, но, при описанныхъ обстоятельствахъ, въ решении суда сомневаться трудно {"Вестникъ Юга". Цит. изъ "Нижегор. Листка", No 124, 12 мая.}.

15 мая въ селе Лоцманской Каменке (Екатериносл. губ.), офицеръ лейбъ-гвардии гренадерскаго Екатеринославскаго полка, въ нетрезвомъ виде, ворвался въ неуказанное время въ пивную и потребовалъ пива. Когда хозяинъ, Драганъ, ответилъ, что въ такой ранний часъ онъ по закону не въ праве отпустить пива, то офицеръ, обнаживъ шашку, приставилъ ее къ носу Драгана, а затемъ нанесъ ударъ по плечу. День былъ базарный, и къ месту происшествия быстро собралась толпа, состоявшая преимущественно изъ крестьянъ. Одного изъ нихъ (Омельченко) храбрый воинъ укололъ шашкой въ плечо. Тогда, очевидно мало обращая вниманія на неприкосновенность мундира, въ который былъ облеченъ пьяный буянь, крестьяне быстро его обезоружили, сделавъ, такимъ образомъ, безопаснымъ {"Нижег. Листокъ", 23 мая 1905, No 135.}.

21 мая, въ 2 часа пополудни, по главной улице города Ченстохова ("Аллеямъ"), служащей местомъ гулянья, проезжалъ верхомъ по п

23;шеходной части улицыофицеръ 42-го. драгунскаго Митавскаго полка, Познякъ. На замечание одного изъ публики,-- что эта часть "Аллеи" назначена только для пешеходовъ,-- офицеръ ответилъ ударомъ кулака въ лицо. Полицейский побоялся составить протоколъ и

стать энергично приглашать возмущенную публику расходиться {"Отеч.", 28 мая 1905, No 87.}.

IV.

Все изложенное представляет, без сомнения, лишь слабое отражение того, что совершается в действительности. Я взял лишь факты, оглашенные за два последних месяца {Статья писалась в начале июня 1905 г. и назначалась для "Русск. Богатства".}, но я, конечно, не исчерпал всего, что появилось за это время в газетах, а газеты не печатали всего, что имело место в жизни. При этом я нарочно устранил все случаи, где гг. военные выступают в роли усмирителей всевозможных замешательств, так как в этих случаях явление усложняется наличием страстей и увлечений другого порядка. Легко понять, в какой мере злоупотребление оружием в этих случаях превосходить обычные приемы "мирного времени". Я вероятно еще вернусь к этому предмету, а пока в приведенных примерах мы имеем дело с обычными, будничными отношениями военной среды к обывателям. Военные люди являются здесь в роли таких же обывателей, нанимающих извозчиков, проходящих по улицам, заходящих на почты, в увеселительные сады или рестораны. И вот как легко все эти мирные действия заканчиваются обнажением оружия и ранами, а иногда и смертью...

Нигде уже в Европе (за исключением, может быть, Турции) нет таких нравов и такой их безнаказанности. Когда происходит что-нибудь подобное в парламентских странах, то это подает повод к огромному общественному движению. Два случая такой расправы с гражданами из-за мундирной чести в Германии доставили много неприятных минут министрам, которым пришлось оправдываться и выслушивать очень суровые речи Бебелей и Рихтеров. Если бы хоть что-нибудь подобное произошло в Англии, -- это могло бы поколебать министерство, вызвало бы парламентское следствие и пересмотр всего военного быта. У нас десять оглашенных случаев {А сколько не оглашенных! Ведь дело Посажного оглашено только через год!} в два только месяца не обращают особенного внимания тех, на чьей обязанности лежало бы прекращение систематических правонарушений, и военное правосудие довольно спокойно взирает на подвиги всех этих Васичей и Посажных, Червяковских, Еглевских, Яковлевых, Потаповых и им подобных, прилагая лишь старания по возможности оттянуть суд, ограничить пределы его рассмотрения и смягчить приговоры {Въ 1896 ГОду на зап.-сибирской ж. д. корнетъ Карповъ выстреломъ изъ револьвера въ спину убилъ наповаль инженера Курмана, который шелъ къ начальнику железнодорожной станции заявить о скандальномъ поведении Карпова въ вагоне (Карповъ оскорблялъ пассажировъ)}. Общество было страшно возмущено этим наглым убийством, при котором не было ни одного смягчающего обстоятельства. Приговоръ военного суда, уже и сам по себе мягкий (ссылка въ Иркутскую губ. на несколько летъ съ исключениемъ со службы), замененъ заключениемъ въ крепости, после чего Карповъ "благополучно" вернулся къ продолжению столь достойно начатой служебной карьеры...}. И никому, как будто, не приходитъ въ голову, что это все растущее на почве безнаказанности явление деморализуетъ армию, понижаетъ ея нравственный уровень и принимаетъ, наконецъ, размеры грознаго общественнаго явления. Искать правосудия?.. Но ведь жалобы приходится адресовать прежде всего такимъ же военнымъ, которые сами "были молоды" и съ доброй улыбкой снисходительныхъ дядюшекъ вспоминаютъ собственныя милыя проделки надъ безоружными "шпаками", т. е. надъ людьми изъ русскаго общества и народа, который своимъ трудомъ содержитъ самую армию.

Вотъ наудачу классический примеръ, какъ иной разъ встречаются эти законныя жалобы. Въ 1900 году г. Тулушевъ, житель города Кирсанова (Тамбовской губ.), проходя въ цирке къ своему месту, нечаянно тронулъ палкой трость офицера Тихонова. Последний осыпалъ его за это грубыми оскорблениями, при чемъ размахивалъ тростью надъ головой

Тулушева. Тулушевъ принесъ на это жалобу начальнику 5 кадра кавалерийскаго запаса, г-ну Туганову. Фактъ былъ на лицо, отрицать его было невозможно. И вотъ -- официальный ответъ Туганова (№ 1642):

"По подробномъ разслѣдованіи дела по вашей жалобѣ на шт.-ротмистра ввереннаго мнѣ кадра, Тихонова, препровожденной мнѣ городскимъ судьей города Кирсанова при отношеніи отъ 12 августа сего 1900 года, за № 1083, выяснена обоюдная обида: со стороны вашей темъ, что вы толкнули своей палкой кончикъ трости (sic) шт.-ротмистра Тихонова, а со стороны шт.-ротмистра Тихонова темъ, что онъ при разговорѣ съ вами махалъ палкой и употреблялъ бранныя слова,--почему дело оставлено мною безъ послѣдствій..." ("Русскія Вед." 12 сентября 1900 года, № 254). Признаюсь, я сильно затруднился бы ответить на вопросъ генерала Ковалева: хуже ли его поступокъ съ Забусовымъ этого официального ответа, беззастенчиво приравнивающаго личность штатскаго русскаго гражданина къ... кончику трости военнаго!

И при такихъ-то условіяхъ, когда чуть не каждая недѣля приноситъ русскому обществу несколько известій объ оскорбленіяхъ, насиліяхъ, иной разъ убійствахъ беззащитныхъ гражданъ -- каждый отдельный случай безпричиннаго оскорбленія офицера вызываетъ целую бурю. За несколько летъ мы знаемъ лишь четыре такихъ случая. Въ одномъ изъ нихъ полу-невменяемый субъектъ ударилъ молодого офицера (Кублицкаго-Шотуха). Тотъ не убилъ его, и потому самъ покончилъ съ собой, отдавъ молодую жизнь въ жертву Молоху "мундирной чести..." И по этому поводу М. И. Драгомировъ, авторитетный писатель по вопросамъ военнаго быта, не нашелъ ничего другаго сказать своимъ младшимъ товарищамъ, кроме изумительнаго совета,-- чтобы "малѣйшее (sic!) посягательство на оскорбленіе действиемъ вызывало мгновенное возмездіе оружіемъ, рефлекторное"... Въ подтвержденіе этого положенія кастовой этики М. И. Драгомировъ привлекаетъ соображенія о "несоответствіи законовъ съ требованіями жизни", и даже вспоминаетъ о скрижаляхъ завета, которыя разбилъ Моисей въ своемъ гнѣвѣ на израильскій народъ!.. Престарелый генералъ и авторитетный военный писатель представляетъ себѣ, очевидно, всехъ военныхъ Моисеями въ праведномъ гнѣвѣ, а насъ, обыкновенныхъ гражданъ, безусловными грѣшниками. Въ виду этого онъ рекомендуетъ своимъ коллегамъ разбивать похода и те небольшія скрижалы отечественныхъ законовъ, которыя еще ограждаютъ хоть отчасти права невоенныхъ гражданъ на неприкосновенность личности и на гарантіи суда. Советъ М. И. Драгомирова есть советъ презирать законы отечества, упраздняющіе дикій принципъ кастоваго самосуда, и ставить личный судъ въ своемъ дѣлѣ выше этихъ законовъ... М. И. Драгомировъ при этихъ подстрекательствахъ забываетъ только, что привычка къ некоторымъ рефлекторнымъ движеніямъ, съ одной стороны, расслабляетъ задерживательныя и даже мыслительныя центры, а съ другой -- порождаетъ часто такіе же, нежелательныя и несдержанныя ответныя рефлексы...

V.

И это въ последнее время сказывается все заметнѣе. Такъ какъ мы ограничили свою заметку матеріаломъ за два мѣсяца, то не станемъ перечислять все случаи, когда толпа избивала прибежавшихъ къ оружію офицеровъ, рвала на нихъ погоны, отнимала и изламывала сабли (таковы парадоксальныя послѣдствія излишняго огражденія неприкосновенности "мундира"). Но и въ приведенныхъ нами выше эпизодахъ этотъ мотивъ постоянно сопровождаетъ происходящія столкновенія... "Возмущенная публика", "сбежавшійся на шумъ народъ", "прибежавшая съ базара толпа мужиковъ" -- всюду принимаетъ сторону безоружныхъ гражданъ. Въ Костромѣ печатно провозглашается необходимость запасаться оружіемъ въ виду систематическихъ насилій со стороны офицеровъ; въ Екатеринославѣ Грековъ убиваетъ наповаль оскорбившаго женщину и обнажившаго саблю офицера Петрова; наконецъ, въ случаѣ съ Еглевскимъ настроеніе

толпы принимает такой угрожающий характер, что требует экстренных мер, и против негодующего народа выдвигаются войска. И это, конечно, потому, что за пьяными и изступленными Еглевскими и общество, и народ чувствуют не случайные выходки отдельных буйных, а признаки настроения военной среды, привычку многих ее представителей безнаказанно топтать чужое достоинство и чужую честь... Самое объявление губернатора, извещавшего население о том, что он производит дознание лично, -- указывает очень красноречиво на недоверие к беспристрастию военного правосудия, на которое с такой горечью указывает (с противоположной точки зрения) и предсмертная апелляция несчастного Ковалева...

Генерал Ковалев, несомненно, является жертвой своей среды и ее нравов. По многим прежде бывшим примерам, он тоже имел полное основание считать себя Моисеем, безнаказанно разбивающим скрижали. Эта уверенность на сей раз его обманула: обычные приемы кастового суда встретились с возрастающим не по дням, а по часам правосознанием русского общества. И в ответ на приговор первой инстанции раздался такой гром единодушного негодования и протеста, что... генерал Ковалев остался одиноким...

В своем предсмертном письме он говорит, что не раскаивается в своем поступке. Но не всегда он говорил таким образом. Еще недавно, после тифлисского разбирательства, он поместил в "Новом Времени" письмо, в котором звучит явная попытка смягчить подавляющее общественное негодование. Там он говорил, между прочим: "Оспаривать справедливость нравственной оценки моего преступления я не могу, потому что сам себя осуждаю и наверное гораздо строже, чем кто бы то ни было" {"Нов. Время". Цит. из "Южн. Обозр.", 19 января 1905 г., No 2724.}. Но если так, -- то и последствия очевидны: за виной и при том виной тяжкой, должна следовать ответственность, условия которой заранее и безлично установлены законами. Только этого и добивалось и общество, и печать в деле ген. Ковалева.

Он не захотел или просто не имел мужества принять эту ответственность в условиях, гарантирующих также и потерпевшую сторону. Он предпочел этому смерть...

Это его дело... Ни обществу, ни печати не в чем упрекнуть себя. Могила ген. Ковалева говорит не об излишней суровости общественного суда, а лишь о том, что на смену русской безсудности идет возрастающее гражданское самосознание.

VI.

Моя статья была уже закончена, когда газеты принесли новое потрясающее известие. 18 июня офицер проходившего через Курск эшелона артиллеристов на неповиновение и грубость солдата ответил смертельным ударом шашки. А возмущенная этим толпа напала на вагон, в котором заперся отстреливавшийся офицер, вывела оттуда сопровождавшую последнего семью и зажгла вагон. Офицер погиб.

Таковы первоначальные известия об этой потрясающей трагедии. Каковы бы ни были дальнейшие подробности, она не в состоянии изменить ее глубокого основного значения. "Рефлексии", так беззаботно рекомендуемая генералом Драгомировым, -- двусторонни, обоюдоостры и опасны...

Наконец, для отдыха от мрачных впечатлений, мне приятно привести известие другого порядка. Газеты сообщают, что "от имени многих офицеров гвардейских и артиллерийских полков послано ходатайство о разрешении собрания офицеров для обсуждения некоторых вопросов, касающихся положения офицеров в обществе". В ходатайстве указывается, что офицеры сознают свою оторванность и отчужденность...

"Мы чувствуем себя словно в завоеванной стране, -- говорится в ходатайстве, -- и такое

положение становится невыносимым" ("Р. Вед.", цит. изъ "Черном. Побер.", 22 июня 1905 г.).

Исходъ ясенъ. Онъ въ признаннн, что военныя должны стать гражданами своей страны, что законъ долженъ быть одинъ для всехъ, что профессиональная нравственность не можетъ стоять въ противоречии съ началами, которыя признаны всемъ обществомъ... Только тогда исчезнетъ и отчужденность, и оторванность, и ковалевскія трагедии, и курскія ужасы, и многое, многое другое.
1905 г.

VII.

Кто виновать?

(Несколько словъ "Русскому Инвалиду" *).

*) Въ "Русскомъ Богатствѣ" (мартъ 1912) была помещена статья г-на Θ . Кр. о книгѣ военнаго педагога В. Н. Кульчицкаго. "Русскій Инвалидъ" взялъ подъ свою защиту взгляды г-на Кульчицкаго и счелъ возыожнымъ коснуться также "прискорбныхъ столкновений" между военными и штатскими, которыя въ послѣднне годы повторяются все чаще и наконецъ (уже въ 1914 г.) стали обращать тревожное вниманне даже въ военныхъ сферахъ. "Русскій инвалидъ" обвинялъ во всемъ этомъ печать. Настоящая статья служить ответомъ офицнзу военнаго ведомства и подводнт итоги явлению, служившему темой предыдущихъ статей по этому предмету. (Позднейшее примечанне В. К).

I.

-- Обратили ли вы вниманне на два номера "Русскаго Инвалида", въ которыхъ военный офицнзъ говорить о статьяхъ "Русскаго Богатства"?

Этотъ вопросъ мне предложилъ одинъ изъ нашихъ читателей, бывший военный, продолжающнй интересоваться военными делами и военной литературой.

Мне пришлось ответить, что, къ сожаленню, на эти номера мы какъ-то вниманна не обратили. Столько теперь "полемизуютъ", и часто полемизуютъ въ такомъ тоне, что далеко не за всемъ уследишь, и далеко не за всемъ стоитъ слѣдить. Къ сожаленню, и въ военной прессѣ, которой подобала бы, повидимому, особая сдержанность выражений, нередко встретишь "статьи", ничемъ не отличающнся отъ расхожей черносотенной печати. Есть, напримеръ, журналъ "Военный Миръ"; въ этомъ журналѣ въ мартѣ месяце была напечатана заметка "Ритуальное убийство", которая по решительности заключеннй, по литературности и по общему тому могла бы украсить страницы "Двуглаваго Орла", издаваемого въ Кнѣвѣ известнымъ "студентомъ" Голубевымъ. "Возмущенные горожане едва не произвели резни евреевъ. И только благодаря стараннямъ бургомистра эта справедливая месть (курсивъ мой) не была приведена въ исполненне" {"Военный Миръ", 1912, No 3.}. Это говорится по поводу одного изъ "историческихъ" эпизодовъ съ ритуальными убийствами, и напечатано это не въ уличномъ черносотенномъ листкѣ, а въ "Военномъ Мирѣ". Такимъ образомъ, для этого военнаго органа ничего не разбирающнй погромъ не есть грубое проявленне дикаго самосуда; а убийство озверелой толпой женщинъ, стариковъ, детей является осуществленнемъ "справедливой мести". Понятно, какими полемическими перлами украшаютъ такие авторы свои статьи по адресу инакомыслящихъ, и какъ мало поучительнаго можно найти въ такихъ "выступленняхъ"... Нашъ собеседникъ находилъ, однако, что "Русскій Инвалидъ" -- не "Военный Миръ", и что со статьями его по нашему адресу и обвиненнями, которыя онъ противъ насъ выдвигаетъ, ознакомиться не мешаетъ.

Мы ознакомились, и отсюда -- эта несколько запоздалая заметка.

Речь въ "Р. Инвалиде" {См. NoNo 72 и 73.} идетъ о статьяхъ нашихъ сотрудниковъ: г-на Мстиславскаго ("Помпонная идеология" и "Безъ евреевъ") и г-на Θ . Кр. ("Армейская

дидактика"). Статей г-на Мстиславского мы пока касаться не будем. Читателям известно, что по этому поводу мне, как официальному редактору "Русского Богатства", придется в более или менее близком будущем вести "полемику" в судебных инстанциях. Еще недавно в русской печати всех направлений было принято в таких случаях приостанавливать полемику до судебного разбирательства. Но... не по одному только этому вопросу литературного поведения мы, вероятно, разошлись бы с нашими оппонентами из "Русского Инвалида". Да и вопрос по нынешним временам слишком уж "тонкий".

Есть кое-что и поглубже, в чем, повидимому, договориться было бы легче. Касаясь "Помпонной идеологии", автор полемики говорит, между прочим, что г. Мстиславский "понадергалъ особеннымъ остроумнымъ, но не серьезнымъ образомъ подлинныя {Курсивъ мой. В. К.} цитаты изъ статей "Русск. Инвалида", "Разведчика", "Вестника русской конницы", изъ коихъ "совершенно искусственно создаетъ картину ничтожества военной среды". Мы были бы очень огорчены, если бы кто-нибудь доказалъ, что нашъ сотрудникъ неправильно распорядился съ цитатами. Къ счастью, никто еще не попытался этого доказывать (и нашъ оппонентъ признаетъ цитаты "подлинными"). Но насъ радуетъ, что, повидимому, у насъ съ авторомъ изъ "Русского Инвалида" есть хоть одна общая отправная точка: очевидно, и военный органъ признаетъ, что съ цитатами надо обращаться добросовестно, и что "жонглирование фразой" есть вещь предосудительная...

Очень жаль только, что официозная газета не считаетъ это правило обязательнымъ на своей собственной территории. Вотъ, напримеръ, какъ ее авторъ передаетъ своимъ читателямъ мысли противника: онъ (г. О. Кр., авторъ статьи "Армейская дидактика" в мартовской книжке "Р. Богатства") "становится въ позу, извергаетъ изъ себя фонтанъ фразъ на тему о зависимости русскаго обывателя отъ "опричника-армейца" и т. д. Намъ кажется, что если, вместо того, чтобы привести точно слова противника, говорить объ его позе и о фонтане, то это и есть "жонглирование фразой", въ которой "Р. Инвалидъ" обвиняетъ другихъ. Еще хуже, когда чужия якобы слова неправильно ставятся въ ковычки. Ковычки всегда подчеркиваютъ "дословность" цитируемаго, и читатели "Инвалида", вероятно, удивятся, когда узнаютъ, что во всей статье г. О. Кр. слова "опричники-армейцы" не встречаются ни разу, и никакихъ "фразъ о зависимости обывателя" вообще нетъ. Авторъ идетъ еще далее: онъ приписываетъ г-ну О. Кр. "возмутительную картину, на подобие той, которая представилась глазамъ кн. Серебрянаго, увидевшаго опричниковъ съ песьими головами" и т. д. Итакъ, нашъ военный полемистъ сначала незаметнымъ образомъ втискиваетъ свое собственное выражение въ чужия ковычки, а потомъ приписываетъ противнику картину, которой въ разбираемой статье тоже нетъ. Есть даже какъ разъ обратное: "Я имею основание думать, говорить г-нъ О. Кр., что далеко не вся армия проникнута такими представлениями о порядочности и чести, какія рекомендуетъ г. Кульчицкий и некоторые военные воспитатели". И дальше онъ приводитъ мнения другихъ военныхъ, что "армия есть только часть целаго, плоть отъ плоти, кость отъ костей своей нации" {То же подчеркивается и въ статьяхъ г-на Мстиславскаго.}... и т. п.

Какъ видите, авторъ не только не изображаетъ всю данную среду опричиной съ песьими головами, но, наоборотъ, старается защитить ее отъ огульнаго обвинения въ техъ взглядахъ, на которые нападаетъ. Полагаю, мы въ праве поэтому вернуть "Русскому Инвалиду" упрекъ въ жонглировании фразами, съ неприятнымъ прибавлениемъ, что даже и самыя фразы, которыми "жонглируютъ" на его страницахъ, не подлинныя.

Есть, увы! -- и другия, не более изящныя черты этой официозно-военной полемики, на которыхъ мы не станемъ останавливаться подробно. Вотъ, напримеръ, взятыя наудачу фразы: "Съ ловкостью, какой позавидовалъ бы и всякий другой (!) еврей"... Удивительно "тонкий" и убийственный намекъ, что г. Мстиславский -- еврей. Не значить ли это, однако, слишкомъ развязно утверждать более того, чемъ знаешь? Правда, вопросъ для насъ довольно безразличенъ: участие евреевъ мы ни мало не считаемъ предосудительнымъ, хотя бы это были и не Гурлянды, оказывающия такая ценныя услуги официозной

"России". Къ сожалению, однако, "Русский Инвалидъ" позволяетъ себе говорить больше (и даже безконечно больше) того, что знаетъ, и нб въ столь безобидной области. Онъ говорить и говорить дважды (по поводу статей г-на Мсткславскаго) о какихъ-то таинственныхъ "заказахъ" ("хорошо исполненный заказъ", "по тому же, вероятно, заказу"). Намекъ ясенъ: речь, очевидно, идетъ о "еврейскихъ заказахъ", иначе говоря -- о литературной подкупности. Писать по такимъ побуждениямъ есть величайшая гнусность. Кто, действительно, способенъ этимъ возмущаться, тотъ прежде всего обращается съ такими обвинениями осторожно и не позволяетъ себе кидать грязные намеки вскользь, мимоходомъ, безъ оснований и доказательствъ... Кто делаетъ это съ такимъ легкимъ сердцемъ, тотъ, очевидно, не способенъ чувствовать всю силу такого обвинения. Сдержанность, пропорциональная серьезности обвинения, обязательна для всякаго, кто хочетъ оставаться джентльмэномъ въ печати. Легкость, съ которой перекидывается такими полемическими аргументами уличная пресса,-- едва ли приличествуетъ тону официоза, и при томъ еще военнаго... Таково наше гражданское мнение по этому вопросу литературной этики. "Рус. Инвалидъ", повидимому, думаетъ иначе....

II.

Все это (вплоть до неподлинныхъ ковычекъ) довольно, какъ видитъ читатель, неопратно. И если, все-таки, мы решаемся вернуться къ статье "Русскаго Инвалида", то лишь потому, что нападение военнаго официоза ставить по существу некоторые вопросы изъ такой области, въ которой "гражданская точка зрения" сильно расходится съ точкой зрения военной (впрочемъ, только даннаго момента и при данныхъ условияхъ).

Речь идетъ о книжке г-на В. М. Кульчицкаго.

В. М. Кульчицкий,-- человекъ, очевидно, военный, книга называется "Советы молодому офицеру". Въ предисловии ея сказано, что цель ея издания -- избавить молодыхъ офицеровъ отъ промаховъ и ошибокъ, какъ въ частной жизни, такъ и на службе, что тутъ собраны старыя, но вечно новыя истины и т. д. Дальнейшую ея характеристику читатель можетъ возобновить въ памяти по статье г-на Э. Кр. "Армейская дидактика" ("Русское Богатство", мартъ 1912 г.).

Книжка отчасти смешная. Съ этимъ какъ будто готовъ согласиться и защитникъ изъ "Русскаго Инвалида". Онъ допускаетъ, что, "какъ всякие советы, сводящияся иногда къ несколько смешнымъ "правиламъ хорошаго тона",-- брошюрка эта представила богатое поле для изошрения остроумия"... Допускаетъ даже, "что "Советы молодому офицеру", действительно, заслужили, чтобы надъ ними посмеялись"... Но затемъ авторъ спохватывается и заявляетъ, что это онъ допускаетъ лишь на секунду (всякие советы этого рода несколько смешны... на секунду?). Есть въ ней и сторона очень серьезная. "Наряду со смешными советами въ роде указания, что въ обществе не совсемъ прилично закладывать ногу на ногу, авторъ обличения армейской дидактики выуживаетъ и "страшные" советы, какъ поступать въ случаяхъ, когда офицеру приходится пускать въ ходъ оружие.

Необходимость оговорить и такой случай изъ жизни непредубежденному сознанию должна быть понятной. Стоитъ вспомнить гибель несчастнаго Пиотухъ-Кублицкаго, заплатившаго жизнью именно за неумение решить этотъ вопросъ, въ результате чего драма оскорбленнаго, но не отомщеннаго въ глазахъ современнаго общества (!) человека и самоубийство". "Сознанию автора разбираемой статьи (говорится далее въ статье "Русскаго Инвалида") такая простая логика вещей, повидимому, не подь силу".

Никогда не следуетъ выставлять своихъ противниковъ слишкомъ глупыми. Откуда авторъ взялъ, что г. Э. Кр. возражаетъ противъ "необходимости говорить" о техъ случаяхъ, когда "офицеру приходится пускать въ ходъ оружие" не противъ нападающаго врага и даже не въ случае открытаго возстанія,-- а противъ безоружныхъ соотечественниковъ, въ личныхъ столкновенияхъ, где офицеръ является и спорящей стороной, и судьей въ собственномъ деле, и исполнителемъ смертной казни. Нетъ, говорить объ этомъ надо, и мы теперь не

возвращались бы к книжке г. Кульчицкого, если бы военный официоз именно этого пункта не взял под свою "авторитетную" защиту".

Да, говорить нужно. Но -- как и что говорить, в этом именно заключается узел вопроса. Нашему сотруднику, г-ну Э. Кр. показалось интересным, что об этом можно говорить печатно так, как говорит г. Кульчицкий, и что эта точка зрения рекомендуется некоторыми "педагогами" военной молодежи чуть ли не как катехизис. А мне теперь интересно, что официоз военного ведомства тоже приобщается к этим далеко не забавным советам "армейского дидакта".

Да, на многое теперь точки зрения официально-военная и гражданская (порой тоже официальная) радикально расходятся. Упомянув, например, о драме Пиотуха-Кублицкого, "Р. Инвалид" совершенно напрасно упоминает о взглядах "современного общества". Случай этот еще памятен многим. Пьяный хулиган оскорбил офицера. Офицер не убил его на месте и потом застрелился сам именно оттого, что не убил. Такова эта драма Пиотуха-Кублицкого, по словам "Русского Инвалида" -- "оскорбленного, но не отомщенного в глазах современного общества" (курсив мой). Нет, что касается "современного общества", то все оно, целиком, с его культурой, с его взглядами на законность и право, наконец с его положительным законодательством -- основано на отрицании самоуправной личной мести, особенно мести кровавой. Общество борется со всяким самоуправством. Все личные счеты между своими членами, служившие в седьмя времена предметом самосудов, оно взяло в свои руки, отдав их суду, действующему во имя верховной власти в той или другой ее форме. Это аксиома, начертанная на первых страницах всякой современно-общественной организации. Загляните в наш "свод законов", и вы найдете там статьи, строго карающие те же самые поступки, которые г. Кульчицкий с таким легким сердцем рекомендует "молодым военным" среди правил хорошего тона.

Я помню из времени своего детства офицера, который, в царствование императора Николая II-го, был разжалован в солдаты лишь за то, что, разгорячившись в споре с обывателем, позволил себе до половины вынуть шашку из ножен. Вот как смотрела на эти дела военная юрисдикция сурового Николаевского времени. С тех пор в военной среде произошли большие перемены во взглядах на этот вопрос, но все остальное современное общество с его гражданским законодательством только развивало дальше основную аксиому права. И если несчастный, повидимому глубоко-симпатичный юноша Пиотух-Кублицкий погиб трогательной жертвой, то эта жертва принесена не "взглядам современного общества", а только взглядам современной военной среды, вернее некоторой ее части. Взгляды эти, чисто специфические, для нас, остальных членов общества, необязательны. Наоборот: и основные начала всякого общественного устройства, и даже прямые статьи обязательных для нас законов предписывают нам взгляд прямо противоположный: кровавый самосуд в личном деле есть деяние, караемое и мнимо "современного общества", и его законами... Было бы интересно увидеть юриста, -- военного или штатского безразлично, -- который взялся бы оспаривать это положение.

III.

Но... пусть. Мы знаем, что взгляды официально-военной этики давно отделились в этом вопросе от взглядов обще-гражданских. И, конечно, не нашим слабым перьям остановить это разделение. Нам кажется, однако, что и в этом должны же быть известные пределы, и что даже многие из тех военных, которые не разделяют нашей гражданской точки зрения на вооруженный самосуд, отвернутся, может быть, даже с негодованием, от той постановки, какая придана вопросу нашим армейским дидактом г-м Кульчицким.

Бывают случаи, когда даже присяжные оправдывают прямое убийство. Это тогда, когда оно совершено под влиянием аффекта: человек не мог стерпеть внезапного оскорбления своей личной чести, или чести семейной... Он забывает все: святость человеческой жизни и собственную судьбу.

Этот последний момент (самозабвение, жертва своим будущим) облагораживал в прежние времена поединки. Они карались строго, иной раз вплоть до разжалования. Но люди не считались с этими последствиями из соображений правильно или неправильно понятой чести. Человек рискует жизнью, -- естественно, что он не думает об испорченной карьере. В порыве гнева он убивает обидчика, но при этом он забывает и о своей разбитой жизни. Честь мундира! Предполагалось, что это -- мотив, всегда вызывающий в военном аффекте самозабвения. При оскорблении личной чести он еще может сдерживаться и регулировать свои поступки дуэльными правилами. Но при оскорблении мундира он испытывает такой внезапный прилив бурного гнева, что забывает все: и ответственность, и то, что перед ним, вооруженным, стоит человек безоружный, не могущий защищаться. А ведь такая победа всегда безславна...

Таковы были презумпции. Теперь... Уже поединок по предписанию, по обязанности, с разрешения начальства сильно изменяет психологическую картину дуэлей... Но все же там остается (хотя и весьма незначительный) риск собственной жизнью. В случае же убийства безоружного, убийства, требуемого новейшим "кодексом военной чести" и фактически почти безнаказанного, нет и этого мотива. Тут уже всякая фикция неудержимого аффекта исчезает... Но вот является еще г. Кульчицкий и печатно доводит эту фикцию до такого крайнего логического и нравственного абсурда, что защита его официальным органом военного ведомства является прямо чем-то совершенно уже изумительным и непонятным.

Припомним, в самом деле, соответствующий "совет молодому офицеру".

"Если, -- говорит армейский дидакт, -- обстоятельствами принужден прибегнуть к силе оружия -- полумер не должно быть. Бей наповал (курсив мой) и непременно с одного раза. Даже за одно обнажение оружия ответишь по суду. Бойся живого, а мертвый безвреден и на суде. Раненый и калека -- ярмо. Он обвинит тебя на суде. Спасая себя от ответственности (!), оклеветает, а ты, не доказав его лжи, хотя и прав, погиб или принужден содержать его всю жизнь (не убитого тобой), вследствие решения экспертов и суда, как неспособного к труду после увечья"...

Можно ли более ополить предмет, чем это сделал автор "дидактики"!.. Вместо доводящего до самозабвения неудержимого душевного порыва, заставляющего забывать о святости чужой жизни, о нарушении законов божеских и человеческих, вместо "самоотверженной" защиты чести мундира (допустим, что так), -- одним словом, вместо правильно или неправильно понимаемых традиций старого рыцарства, г. Кульчицкий вводит низменно-мещанский, холодный, прозаический расчет. Расчет сутяжнический и торгашеский. Бей своего штатского соотечественника непременно на смерть. Это тебе выгодно. Выгодно юридически: ты устраняешь опасного свидетеля на суде... Убив безоружного, постарайся еще обезоружить и его память... И кроме того... есть тут еще и прямо денежный расчет: не придется тратиться на содержание изувеченного тобой калеки!..

Вот к каким побуждениям сводит г. Кульчицкий вопросы рыцарства и чести! Вот какую мораль рекомендуют некоторые педагоги военной молодежи, вступающей в жизнь... И вот, наконец, что находить поддержку в официальном органе военного ведомства!..

Мне хотелось бы думать, вместе с г-м Э. Кр., что далеко не вся армия проникнута такими взглядами, и что во многих сердцах под военными мундирами шевельнется чувство возмущения и брезгливости от этих меркантильно практических расчетов "армейского дидакта".

Может быть, даже в недрах самого "Русского Инвалида" отыщутся люди, которые найдут, что защита таких "советов" на страницах военного органа должна быть названа по самой меньшей мере прискорбным недоразумением?

Или это надежда слишком смелая?

IV.

А пока "Инвалид", не довольствуясь защитой, переходит в нападение. И тотчас же опять маленькое "недоразумение". Автор уверяет, будто наш сотрудник г-н Θ Кр. "доказывает благосклонному читателю "Русского Богатства", что все (курсив мой) многочисленные столкновения офицера с толпой -- результат вычитанных им дурных советов"...

Но ведь это, в самом деле, удивительно,-- эта безпечная неряшливость, с какой на страницах официоза передаются чужия слова и мнения. Никогда подобной глупости о "всех столкновениях" наш сотрудник не говорил. Так позволяет себе наш оппонент передавать его фразу: "Неизвестно, читал ли поручик Кугатов Советы молодому офицеру"... Значит, во-первых, речь идет не о всех случаях, а об одном, и в этом одном случае... "неизвестно"... Передача, можно сказать, более чем вольная, и даже не передача, а прямо переделка и извращение! И вслед за этим полемическим приемом наш оппонент продолжает с той же безпечностью:

"Но если бы сознание автора (т. е. г-на Θ Кр.) прояснилось хоть на минуту (sic!), он немедленно понял бы, что, наоборот, именно в распространении статей, подобных "Армейской дидактике" или "Помпонной идеологии", лежит огромный заряд отрицательной энергии, которою авторы старательно заряжают своих читателей. Неискренним после этого кажется удивление этих господ, когда внушенное им {Курсив мой. В. К.} разрядится в первом же уличном столкновении, где заранее все шансы на мирный исход убиты их же рассеивающей пропагандой отрицательного отношения к армии".

Обвинение тяжеловесное, и еще в недавние годы такого (хотя бы и столь же неосновательного) утверждения на страницах официоза было бы достаточно, чтобы немедленно вызвать торопливую административную репрессию. Теперь мы, кажется, имеем возможность со всей, подобающей вежливостью спросить:

-- Вы это утверждаете, господа? Хорошо. Готовы ли вы и доказать это?

Чтобы облегчить задачу, мы вам предлагаем следующий прием: мы процитируем наудачу оглашенные печатью случаи "прискорбных столкновений", а вы будете любезны указать: в чем именно тут усматривается влияние статей "Русского Богатства"?

Вот эпизоды, приводимые г-м Φ . Кр. Инцидент поручика Кугатова. Вы его помните: поручик Кугатов поселился несколько неосторожно в таком месте, куда прежде городская молодежь ходила довольно безцеремонно. Его жена сидела на скамейке. Молодой приказчик Поляков подошел к ней с грязным предложением. Его арестовали.

Казалось бы -- конец у мирового. Никакой чести мундира Поляков не оскорблял и даже не знал, к кому подходить. И однако поручик Кугатов явился в участок, приказал привести к себе арестованного, изрубил его шашкой и изрешетил пулями на глазах у полицейского караула...

Случай достаточно "прискорбный" даже с чисто военной точки зрения (стоит припомнить устав о караульной службе, не говоря о прочем). Но... мы спросим авторов "Русского Инвалида", кто собственно здесь начитался статей "Русского Богатства" до такой степени, что "все шансы на мирный исход оказались заранее убитыми"?

Изрубленный Поляков?

Или изрубивший Кугатов?

Или городовые, почтительно созерцавшие незаконную расправу?..

Другой эпизодъ изъ той же области: въ Тифлисе идетъ вагонъ трамвая. Въ вагоне между другими пассажирами -- почтенный штатский старикъ, убеленный сединами, и два офицера. Офицеры курятъ. Штатский напоминаетъ о правиле, воспрещающемъ курить въ трамваяхъ. Молодые люди зовутъ городского и.... почтеннаго старца по ихъ (совершенно незаконному) приказу тащить въ участокъ "для выяснения личности". Въ участке оказывается, что неизвестный -- членъ судебной палаты. Полиция получаетъ выговоръ, "молодые люди" вынуждены на сей разъ извиниться..

Не думаетъ ли "Русский Инвалидъ", что этотъ, финаль последоваль благодаря тому, что въ Тифлисе не читають "Русскаго Богатства", а не потому, что неизвестный оказался "особой"?

Далее: вотъ факты, оглашенные въ последнее время газетной хроникой въ различныхъ местахъ нашего отечества.

Киевъ. Ночью на 1 мая въ кафе-шантанъ "Аполло" явились две компании офицеровъ въ сопровождении дамъ. Тутъ была не одна зеленая военная молодежь. Газеты называютъ фамилию одного генерала, одного полковника генеральнаго штаба, и самъ герой столкновения -- подполковникъ (по другимъ известиямъ полковникъ) по фамилии Лилие. Въ отдельный кабинетъ былъ вызванъ хоръ и пианистъ Штрейнбергъ. Кутили до утра. Въ 4 часа полковникъ Лилие потребоваль у пианиста, чтобы тотъ сыграль "Саратовский маршь". Къ несчастю, пианистъ не умель играть Саратовскаго марша безъ нотъ. "Ответъ этотъ,-- эпически повествуетъ газетная хроника,-- почему-то возмутилъ полковника Лилие, и онъ, выхвативъ отточенную шашку, воткнулъ ее остриемъ въ голову пианиста, ниже праваго уха. Клинокъ вышелъ черезъ ротъ наружу, задевъ сонную артерию. Штрейнбергъ тутъ же скончался. После него осталась большая семья, безъ всякихъ средствъ существования" {"Киевская Мысль". "Р. Слово", "Речь" (8 мая), "Полт. Речь" и др.}. Это -- въ Киеве, въ блестящемъ ресторане. Теперь -- глухой Аткарскъ, убогая пивная мещанина Сидорова. Въ ней -- казачий офицеръ въ компании съ казакомъ. За прилавкомъ -- жена Сидорова. Захмелевъ, казакъ и офицеръ потребовали, чтобы имъ привели женщину. Сидорова отказалась, пояснивъ, что она сводничествомъ не занимается. Офицеръ, при уплате денегъ, безъ всякаго другого повода ударилъ ее по лицу. Поднялся крикъ. Прибежала невестка Сидоровой. Оба воина набросились на пришедшую и стали наносить ей побои кулаками и ногами. Сбежалась толпа пароду, но никто не рискнулъ заступиться за избиваемую. Казаки спокойно ушли въ свои части, избитую увезли въ больницу {"Речь", No 128., 12 мая 1912 г.}.

Оба случая -- въ мае. А вотъ въ Сретенске (Забайкальской области) 15 апреля,-- случай еще более яркий. "Одинъ изъ офицеровъ 16-го Восточнаго Сибирскаго стрелковаго полка съ компаниею отправился въ публичные дома. Обойдя четыре "заведения", компания зашла въ пятое, где офицеръ... обнажилъ шашку и замахнулся на одного изъ служащихъ, но былъ во время обезоружень. Тогда офицеръ вызваль дежурную роту солдатъ и, отдавъ приказъ заряжать ружья, приступилъ къ осаде заведения... Далее корреспондентъ описываетъ картину осады и взятия своеобразной крепости, которую мы повторять не станемъ. Корреспондентъ уверяетъ (и до сихъ поръ это не опровергнуто), что "солдаты гонялись за проститутками, ловили ихъ и насиловали... съ разрешения начальства... угрожая штыками" {"Речь", No 125, 4 мая 1912 г.}...

Я не стану продолжать. "Русский Инвалидъ" поверить мне, что, подвигаясь вглубь недавняго прошлаго, я могу чуть не каждый месяцъ отметить двумя-тремя "хроническими" заметками такого же рода изъ разныхъ местъ: отъ столичныхъ улицъ, ресторано въ и площадей до дальнихъ городовъ и пивныхъ Сибири. Воздерживаюсь также отъ толкований. Мы въ данномъ случае не нападающая сторона, а только защищающаяся. Мы ждемъ, что "Русский Инвалидъ" укажетъ связь между статьями "Русскаго Богатства" и участю несчастнаго Штрейнберга или избитой Сидоровой.

Нелепость обвинения, сь которымъ выступилъ противъ насъ "Русский Инвалидъ", надеюсь, очевидна.

Теперь мы позволимъ себе остановить внимание оффициоза на одномъ очень громкомъ эпизоде недавняго времени. Дело происходитъ въ Уральске. На полицмейстера Ливкина поступаетъ жалоба двухъ жителей, евреевъ,-- полицмейстера Ливкина обвиняють во взяточничестве и вымогательстве. Положение, конечно, неприятное. Полицмейстеръ Ливкинъ служилъ до полиции на военной службе. Вымогательство, несомненно, мараеть мундиръ, но... служить ли мундиръ гарантией, что вымогательство не было? Иначе: можно ли сказать, что обвинение человека, носившаго военный мундиръ, безпримерно и само по себе невероятно?

Конечно нетъ. Достаточно вспомнить многихъ интендантовъ, въ томъ числе изъ настоящихъ военныхъ. Почти параллельно сь "деломъ" Ливкина шло несколько дель, где военные обвинялись въ хищенияхъ: командиръ 34-го казачьяго полка С. приговоренъ за растрату къ трехгодичному заключению въ арестантския отделения сь лишениемъ правъ {"Речь", 26 янв. 1912 г.}; командиръ миноносца капитанъ Гол -- инъ растратилъ 3,155 рублей и приговоренъ военно-окружнымъ судомъ въ Севастополе къ исключению со службы и заключению въ крепости на 16 месяцевъ. Тамъ же -- поручикъ Ляшковъ; въ Вильно поручикъ Носовъ; въ Новочеркасске ген.-майоръ Тевяшевъ (присвоение казенныхъ денегъ и подлоги); шт.-кап. Янченко въ Харьковѣ, казначей Усть-Двинской крепостной артиллерии г. Иванковичъ,-- все они доказали печальнымъ опытомъ, что военной среде свойственны те же слабости, какъ и всякой другой. Не далее 7 марта нынешняго года особое присутствие Спб. судебной палаты признало капитана Задарновскаго, помощника прцстава, виновнымъ въ деянияхъ, въ какихъ пытались жалобщики обвинить уральскаго Ливкина.

Предстояло следствие, судъ, можетъ быть, арестантския роты. Былъ ли виновенъ капитанъ Ливкинъ въ томъ, въ чемъ его обвиняли? Теперь можно говорить лишь о вероятностяхъ. Мы полагаемъ, что, если бы онъ не былъ виновенъ, то принялъ бы все меры, чтобы довести дело до суда, где постарался бы опровергнуть позорное обвинение. Онъ счель, однако, более выгоднымъ поставить дело иначе. Онъ -- военный. Значить -- обвинение его задеваетъ честь мундира. Онъ становится подъ защиту своего мундира, отправляется къ одному изъ жалобщиковъ и... убиваетъ его наповаль. Потомъ едетъ къ другому и тоже, "безъ полумерь", кладетъ его на месте... Такимъ образомъ, обвинение въ лихоимстве и вымогательстве онъ подменяетъ другимъ: убийствомъ въ запальчивости и раздражении, для... "защиты чести мундира"... Разсчетъ оказался, повидимому, правильнымъ, и теперь довольно трудно категорическое решение вопроса: г-нъ ли Ливкинъ защищаль честь мундира или фикция мундирной чести прикрыла вымогателя и лихоимца?

Чрезвычайно интересно, что когда одному свидетелю, военному, представитель гражданскаго иска задалъ вопросъ: какъ следуетъ военному человеку "реагировать" на такая оффиціальныя, подаваемая въ законномъ порядке жалобы, то этотъ свидетель ответилъ, повидимому, сь глубочайшимъ убеждет ниемъ:

-- Реагировать надо оружиемъ...

Это -- последовательно: вымогательство -- деяние безчестное, позорящее и человека и, допустимъ, мундиръ. На оскорбление мундира надо "реагировать оружиемъ". Вотъ два жалобщика и убиты...

Еще шагъ на пути этой последовательности: показание свидетеля тоже можетъ быть оскорбительно: убить надо и свидетеля. Но больше всего, конечно, позорить приговоръ суда. Значить... При дальнейшемъ развитии этихъ началъ гг. Ливкинымъ приходится убивать и судей?.. И все это будетъ считаться. защитой военной чести? А не защитой преступлений?

Берегитесь, господа... Посмотрите, кто еще за гг. Ливкиными тянется къ этой очень "выгодной" аргументации.

Въ Каменецъ-Подольске въ марте текущаго года разбирался процессъ полковника Мордвинова. Это -- фигура почти фантастически уголовная, что-то въ роде Рокамболя въ военномъ мундире. Онъ увлекъ молодую женщину и женился на ней, предварительно потребовавъ, чтобы она сделала завещание въ его пользу. Ослепленная любовью женщина исполнила это, но, когда у нея родилась дочь, а мужъ предсталъ въ настоящемъ его виде, -- она стала подумывать о перемене завещания. Тогда полковникъ Мордвиновъ решилъ убить ее, и шель къ этой цели до такой степени откровенно, что местныя власти сочли необходимымъ приставить къ несчастной Мордвиновой особаго полицейскаго пристава для охраны. Но приставъ, по словамъ газетъ, "оказался трусомъ": Мордвиновъ застрелилъ жену на его глазахъ, а онъ убежалъ при первомъ выстреле.

Не торопитесь, господа. Не говорите, что я ставлю этого корыстнаго убийцу на счетъ всей русской армии. Нетъ, наоборотъ: Мордвинова презирали и въ военной среде. За некоторыя безчестныя проделки офицеры его полка не подавали ему руки. Начальникъ штаба 12-й дивизии характеризовалъ его нахаломъ, лживымъ хвастуномъ и скандалистомъ. Но... было и другое къ нему отношение изъ той же военной среды. На суде сторону Мордвинова держалъ, между прочимъ, отставной полковникъ Марковъ, одесский "союзникъ", сподвижникъ знаменитаго ген. Каульбарса. Онъ рассказываетъ, что ген. Каульбарсъ считалъ Мордвинова истиннымъ патриотомъ, подарилъ ему карточку съ собственноручной надписью, а отрицательное къ нему отношение офицерства объяснялъ "революционнымъ настроениемъ"!!!

Генералъ Каульбарсъ, конечно, -- не армия, и я привожу эти сведения, чтобы показать, какъ трудно охватить однимъ словомъ ея настроение. Интересенъ въ этомъ эпизоде не ген. Каульбарсъ, а то обстоятельство, что и полк. Мордвиновъ, после совершения убийства жены съ явно-корыстною целью, счелъ возможнымъ, подобно Ливкину, потянуться подъ защиту "чести мундира". На суде, -- писали въ газетахъ, -- онъ держится съ бахвальствомъ, кичится мундиромъ, говоритъ объ оскорблении чести... Землевладелецъ Павликовский показалъ, что "все свои скандалы Мордвиновъ объяснялъ защитой чести носимаго имъ мундира". Надежда на этотъ аргументъ и при убийстве жены была въ немъ такъ сильна, что, по показанию полицейскаго стражника, уже арестованный, онъ обратился къ народу со словами: "Не поминайте лихомъ. Я скоро возвращусь и всехъ вознагражу" {"Совр. Слово" (4 марта). "Речь" (6 марта 1912 г.), No 64.}.

Мордвинову не удалось: каменецъ-подольские присяжные, разбиравшие это дело, осудили его безъ всякихъ смягчений, и его шумная карьера по заслугамъ закончится на каторге. Но не страшно ли думать, что даже въ такомъ деле, направляя револьверъ на беззащитную женщину, онъ могъ надеяться, что его защититъ "честь мундира"?

Вы скажете: надежда безумная? Почему же? Силу этого аргумента онъ уже отчасти испыталъ на безнаказанности прежней своей "наглости и скандаловъ", которые засвидетельствованы и начальникомъ штаба 12-й дивизии, и землевладельцемъ Павликовскимъ. Это -- во-первыхъ, а во-вторыхъ -- полицмейстеру Ливкину удалось же заменить неприятное дело о вымогательстве (гражданский судъ) гораздо более "выгодной" ответственностью передъ судомъ кастовымъ за убийство двухъ человекъ во имя якобы чести мундира?..

Ливкинъ открыто стремился къ этому и достигъ. На суде жена его говорила прямо: мужъ объяснялъ ей убийство двухъ человекъ темъ, что онъ предпочитетъ лучше судиться за убийство, чемъ за вымогательство.

Чрезвычайно приятное, въ высшей степени удобное право выбора самимъ преступникомъ предмета для судебного изслѣдованія!..

V.

Я хорошо понимаю, что всякому человеку, носящему военный мундиръ, очень неприятно читать то и дело о такихъ "прискорбныхъ явленияхъ", порой съ комментариями, хотя бы и самыми корректными, но уже не съ военной, а съ гражданской точки зрѣния. Однако, -- не

можем же мы, "штатские", рукоплескать, когда обязательное для нас обращение к суду заменяется для господ военных неписанным правом и даже "обязанностью" стрелять или рубить нас без всякого суда, и когда гг. Кульчицкие в руководствах хорошего военного тогда советуют бить нас наповаль, так как это гораздо "выгоднее". с разных точек зрения...

Ожидать этого было бы наивно. Но так же наивно объяснять возникающие отсюда чувства не самими фактами, а их оглашением в печати, как это делают авторы "Русского Инвалида". Неужели семья человека, убитого при обстоятельствах, при каких убить городской офицером Вачнадзе, или семьи тех, кого переранили в инциденте братьев Коваленских... или их родственники, знакомые, соседи, сторонние свидетели, сбегавшиеся на выстрелы и крики,-- будь это в столице или в отдаленном Аткарске,-- неужели все они могут сочувствовать такой несомненно незаконной расправе, и русского обывателя приходится отучать от этого сочувствия какими бы то ни было статьями газет и журналов...

Наконец, ведь эта все растущая волна "прискорбных столкновений" насчитывает уже не одну "земскую давность"... Началась она и все крепнет еще со времени министра Ванновского; ее развитие шло в те годы, когда подцензурная печать не имела возможности не только комментировать, но часто и оглашать такие факты. И, однако, при этом безмолвии то и дело вспыхивали столкновения, обнажались шашки, гремели выстрелы, лилась кровь, и... собиралась толпа, которая не всегда вела себя так смиренно, как в Аткарске... Порой на незаконный самосуд гг. офицеров она действительно отвечала своим столь же незаконным самосудом. Но собирали ее -- тогда-то уж во всяком случае -- не статьи газет и журналов, а стоны, крики и выстрелы...

Конечно, причина этих явлений лежит глубоко, и объяснять их все "правилами" г-на Кульчицкого было бы так же наивно, как наивно винить в этом гражданскую прессу. Для меня несомненно, однако, что одним из условий, способствовавших развитию зла -- является русская безгласность, то обстоятельство, что военная среда слишком уж долго оберегается от непрофессиональной критики, от очищающего и укрепляющего смеха русской сатиры.

Такое ограждение вредно для нравов оберегаемой среды, для ее самосознания и для ее внутренней силы...

"Россия -- такая чудная земля,-- сказал когда-то Гоголь,-- что если скажешь что-нибудь об одном коллежском асессоре. то все коллежские асессора от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах". Когда гениальный сатирик еще в сороковых годах поставил своего "Ревизора",-- среди бюрократии поднялось великое негодование и тревога. "Посягательство на основы общества"... И, однако, "Ревизор" был поставлен в присутствии императора Николая, несмотря на то, что этот государь чувствовал глубину и силу сатирического удара. Известна его историческая фраза при выходе с первого представления Гоголевской комедии: "Досталось всем, а больше всех мне".

Еще в те времена (правда, с колебаниями и возвратом репрессий) с бюрократического мира снято волшебное "табу". Чиновник стал доступен и критике, и сатире. Даже порой чиновник крупный, не только "коллежский асессор", но и "действительный статский советник".

Среда военная до сих пор остается неприкосновенной: военный мундир не допускается на сцену, как священническая ряса. Это достигается соединенными усилиями драматической цензуры, администрации с ее чрезвычайными полномочиями и нередко -- прямыми выступлениями самих военных. Доходит это порой до курьеза. Совсем недавно, в гор. Гродно, на вечере в пользу Красного Креста, один из артистов показывал, как танцуют: "гимназист, студент, чиновник, старый штатский генерал... Все смеялись. Но вот, дошла очередь до старого генерала военного звания. Может ли старый военный танцевать несколько смешно? Задевает это честь

мундировъ техъ полковъ, где онъ могъ служить въ своей молодости, когда, вероятно, танцевалъ гораздо лучше?.. Повидимому, нѣтъ. Но вотъ одинъ изъ присутствующихъ генераловъ въ негодовании вскакиваетъ съ места и командуетъ: "занавесь!", прибавляя разныя ходячія словечки о жидакъ и о прочемъ. Возмущенная публика (все читатели "Русскаго Богатства"?) покидаетъ залъ, вечеръ испорченъ, а на другой день корпусный командиръ выражаетъ генералу Ю -- чу благодарность за то, что онъ "не далъ опорочить честь мундира" {"Речь", 5 февраля 1912 г.}! "Честь мундира" требуетъ, значить, чтобы отставные генералы въ 80 лѣтъ танцевали съ резвостью и граціей молодыхъ подпоручиковъ?

Въ данномъ случае речъ идетъ о легкомъ шарже на любительскихъ подмосткахъ. Но и серьезной современной комедии и драме приходится съ чувствомъ зависти вспоминать о техъ старыхъ временахъ, когда Александру Сергеевичу Грибоедову было дозволено вывести на сцену своего браваго полковника, Сергея Сергеевича Скалозуба. Можно ли отрицать, что это была злая сатира на некоторыя стороны тогдашней армейской психологии. "Хрипунъ, давленникъ, фаготъ, созвездіе маневровъ и мазурки!"

Невольно приходитъ къ голову: можно ли было бы въ наши дважды пореформенные дни вывести эту фигуру, служившую, какъ известно, "въ тридцатомъ егерскомъ, а после въ сорокъ-пятомъ". А если бы гению Грибоедова и удалось преодолеть цензурныя рогатки,-- то... не пришлось ли бы автору имѣть дело съ генераломъ Ю. или другими защитниками чести военнаго мундира? И еще,-- какъ поступила бы съ нимъ военная молодежь, носящая мундиры 30-го егерскаго и 45-го полковъ?..

Наконецъ: какъ отнесся бы къ Грибоедову современный судъ, передъ которымъ то и дело приходится ответственность намъ, русскимъ писателямъ, дерзающимъ порой касаться въ той или иной формѣ типовъ и нравовъ современной военной среды?

Но исторія литературы не говоритъ намъ ни о чемъ подобномъ по поводу Скалозуба. Тогдашняя армія не боялась сатиры. Военные рукоплескали въ партере актеру, произносившему комическія реченія Скалозуба, а ранее сами списывали его характерныя монологи... И это была александровская армія... Армія, недавно вернувшаяся изъ Парижа, покрытая всею славой... Она не требовала неприкосновенности, она не боялась признать, что въ ея средѣ есть Скалозубы, что, какъ среда, она доступна человѣческимъ слабостямъ и смешному, хотя бы даже связанному съ военной профессіей. И это всего лучше защищало ее отъ отождествленія всей арміи съ Сергеемъ Сергеевичемъ Скалозубомъ...

Теперь современная намъ армія, имеющая за собой рядъ тяжкихъ несчастій и поражений, требующихъ глубочайшей вдумчивости и всесторонней критики,-- остается все такъ же забронированной и неприкосновенной. И, къ сожаленію, те элементы ея, которые особенно кидаются въ глаза, быть можетъ, закрывая своими шумными выступленіями и манифестациями болѣе глубокия и серьезныя теченія, о которыхъ говорить и г. Ѳ. Кр., и г-нъ Мстиславскій,-- успешно отстаиваютъ эту забронированность. И имъ не только удается проникать со своими притязаніями и взглядами на страницы смешныхъ "правильнаго хорошаго тона", но они находятъ защиту и на столбцахъ оффиціозовъ;

Это печально... И это зловеще... Стоитъ въ самомъ деле припомнить, что эта неприкосновенность нашей арміи длится много лѣтъ; начавшись задолго до нашихъ временъ, она сопровождала ее вплоть до мрачной трагедіи Ляо-Яна и Цусимы. И что же? прибавила ли она крепости стенамъ нашихъ фортовъ, непроницаемости броне нашихъ судовъ, дальности полету нашихъ ядеръ, стойкости нашимъ батальонамъ, талантовъ и находчивости нашимъ полководцамъ?

И теперь печатныя военныя органы, которые должны бы призывать къ критикѣ и обновленію, вновь заводятъ ту же старую песню, поддерживаютъ кастовыя привилегіи и предрасудки, защищаютъ нарушение законовъ и права, легкомысленно обвиняя гражданскую печать въ послѣдствіяхъ. Это, конечно, легче, чемъ бороться съ

предразсудками и очищать нравы. Но не значить ли это бить в сторону наименьшего сопротивления, отводя таким образом внимание от настоящих источников зла...

1912.

М. Н. Катков. О конгрессе, предложенном императором Наполеоном III

<1>

Речь императора французов достигла наконец и нас в Москве, через двое суток после того, как телеграф передал ее в другие столицы Европы. Хотя, к счастью, прошли те времена, когда от нескольких слов, сказанных в Тюльери, зависело, быть или не быть войне в Европе, но тем не менее нельзя было ожидать речи Наполеона III без нетерпеливого любопытства. Французская журналистика исчерпала все, что может быть сказано во славу Франции по поводу ее колоссальной неудачи в польском вопросе. Но злая судьба хотела, чтобы все было невпопад. Парижские полуофициальные журналы впали в воинственный тон именно когда Англия и Австрия собирались признать в совершенном миролюбии. Чтобы поправить свои фонды, парижские журналы ухватились за несколько слов, брошенных лордом Росселем в Блергоури, и принялись раздумать тему об отмене Венских трактатов по отношению к Польше. Они ратовали уже не за Польшу, не против России, а за идею новой Европы и против ненавистных Венских трактатов. Но только что они успели приписать сверхъестественное значение предстоящей победе Франции над Венскими трактатами, как оказалось, что лорд Россель порешил, что на этот раз Венские трактаты могут быть оставлены в покое. Конфуз был большой. Надобно было либо проглотить пилюлю, уже не позолоченную, либо решиться на колоссальный риск войны. Но воевать нет никакой возможности. Положение для французского тщеславия было безвыходное, и среди этого-то безвыходного положения Наполеону III пришлось готовить свою тронную речь. Можно ли было не ожидать ее с любопытством? Как вывернется ловкий человек из затруднений, об этом ломала себе голову вся Европа.

Но вывернуться из затруднений еще было мало. Тронная речь императора французов должна непременно произвести сильный эффект: таков один из основных законов Французской империи, и едва ли не самый главный. Спрашивалось, какой эффект извлечет опытный мастер из польского дела, вступившего в такую неблагоприятную для Франции фазу. Будет ли император Наполеон говорить от полноты самоуверенности, тоном угрожающим и воинственным, слепо полагаясь на наполеоновскую звезду и ставя на карту свое положение в Европе? Или он разыграет роль монарха конституционного, предоставляющего своему новому парламенту разобрать и решить все дело? И то и другое было бы эффектно, последнее, может быть, не менее эффектно, чем первое. И в том и в другом случае французские газеты могли бы прославлять великодушие императора и приходить в восторг от того, что Франция подает блестящий пример всему миру. Но и в том и в другом случае эффект был бы куплен дорого, а не в этом, конечно, состоит мастерство на эффекты.

Мы знаем теперь, чему будет удивляться, чем будет гордиться Франция по поводу кровопролития, которое она поощряла в Польше. Обе ее союзницы в дипломатическом походе против нас оказались зараженными низким страхом войны, который не позволил Франции сделать хоть что-нибудь сообща с ними для европейского мира, при всех ее усилиях вызвать европейскую войну. Поэтому Франция совершенно отказывается от мысли о войне с Россией, и из речи Наполеона III строго изгнана всякая тень воинственности. Он уже не угрожает нам, а только жалуется на нас, что мы видели устрашение там, где были бескорыстные советы; он освобождает нас от своих советов и, напротив, сам для себя извлекает совет из наших сношений с Францией. Выходит так, что Россия как бы сама присоветовала ему тот шаг, который он теперь намерен сделать. Большой любезности мы не могли ожидать от нашего недавнего ожесточенного дипломатического противника. Даже о поляках он говорит с очевидным вниманием к

нашей чувствительности. Он упоминает, правда, о правах польских мятежников, которые занесены в летописи истории и трактаты, но сколько ему представлялось случаев сказать что-нибудь посильнее этого, а он воздержался, не постояв даже за эффектами, которые давались ему сами собой! Итак, большей любезности нельзя было ожидать нам от главы коалиции, нам угрожавшей. Мы можем теперь поздравить себя, что эта коалиция окончательно расстроилась. На это уже указывал образ действий Англии и Австрии. Речь 5 ноября ставит это вне всякого сомнения.

Она возбуждает даже воспоминания о том золотом времени, когда Франция и Россия жили душа в душу и когда Франция ничем не успела услужить России, а Россия оказала Франции важные услуги, за которые теперь, после неудачного дипломатического похода, император Наполеон оплачивает нам словами благодарности. Он решается не обинуясь высказать эту благодарность и, вероятно, надеется, что мы оценим его смелость и воздадим должное человеку, который не смел не только на враждебные дела, но и на слова признательности. Словом, после недавней форсированной атаки нельзя было обойтись с нами очаровательнее, как обошелся император Наполеон в своей тронной речи. Пользуясь советом, извлеченным из своих сношений с Россией, император Наполеон III находит, однако же, возможным не оставлять нас совсем в покое. Когда он собирал союзников для войны с нами, он руководился, собственно, только бескорыстным и доброжелательным намерением подействовать на нас всею тяжестью общественного мнения Европы; единственной целью его было умиротворение Польши. Теперь, подчиняясь нашему совету, он расширяет круг своей деятельности. Он заботится об умиротворении уже не одной Польши, а всей Европы, в которой так много оказалось элементов разложения. Не на одних нас, грешных, хочет он подействовать всею тяжестью общественного мнения Европы, а вместе с нами и на многих других. С этою целью предлагаются конференции для пересмотра Венских трактатов и для замены их новыми конвенциями, которые должны упрочить мир Европы. Вот в этих-то конференциях, которые должны окончательно порешить с Венскими трактатами, заключается тот эффектный сюрприз, который был припасен для тронной речи. Что значит мелкая неудача вмешательства в польское дело, когда оно послужит поводом к мирному преобразованию Европы и вместе к восстановлению французской национальной чести, считающей пятном для себя Венские трактаты? Тронная речь предсказывает, что эти конференции будут новою эрой для Европы, и чуть не обещает начать с них новое летосчисление. Немалое удобство этого великого замысла заключается еще в том, что тут как раз может опять возродиться, словно феникс, и польский вопрос, так интересующий наполеоновскую Францию, и притом возродиться в такой обстановке, что нам не будет обидно сделать кой-какие уступочки и принять на себя кой-какие обязательства даже сверх того, что постановлено Венскими трактатами. На этих конференциях мы были бы, правда, подсудимыми, - ведь созваны они были бы по поводу польского дела, - но нам было бы лестно видеть, что мы только главные, а не единственные подсудимые: по временам мы меняли бы роль подсудимого на роль судьи и в эти светлые для нас минуты присоединяли бы тяжесть своего мнения к тяжести общественного мнения Европы, оказывающего давление на другие подсудимые государства. Это могло бы утешить нас, а в результате Франция, благодетельница Польши, получила бы ту важную выгоду, что у нас в государстве завелось бы государство, преданное и послушное ей.

Осуществится ли этот план? Нельзя сомневаться, что император Наполеон III не заговорил бы в тронной речи о конгрессоподобных конференциях, если бы не имел основания надеяться, что они состоятся. Однако же теперешние взаимные отношения европейских держав так ненадежны, а вопросы, подлежащие решению будущего, так серьезны и сложны, что ошибка очень возможна даже для такого опытного и такими громадными средствами располагающего политика, как Наполеон III. Но если бы и состоялись эти конференции, то кроме польского и разве еще шлезвиг-гольштейнского вопросов они могли бы заняться только формальною отменой нескольких параграфов венского

заключительного акта. Существенных международных вопросов они не могли бы коснуться. К умиротворению Европы они послужили бы настолько же, насколько шесть пунктов могли послужить к умиротворению Польши.

О дипломатических сношениях трудно судить прежде их окончания, но, по-видимому, никак нельзя ожидать, чтобы Россия могла в настоящее время извлечь из общеевропейских конференций хоть какую-нибудь пользу для себя. Россия вышла счастливо из дипломатических затруднений, вызванных польским мятежом. Но эти затруднения были не что иное, как мистификация. За польское дело никто в Европе не мог сражаться, а потому, как только был серьезно поставлен вопрос о войне или мире, все затруднения мгновенно исчезли. Но в Европе теперь много вопросов, за которые можно сражаться, а России, конечно, выгоднее отсрочивать, нежели ускорять решение этих вопросов. Наше положение в Европе бесспорно поправилось сравнительно с тем, что было нынешнею весной. Но этого еще очень мало, чтоб ожидать каких-нибудь выгод для России от европейского конгресса. Мы можем существенно выиграть в международных делах не дипломатическими сношениями, как бы ловко ведены они ни были, а одним из двух: внутренним преобразованием или счастливою войной.

<2>

Телеграф извещает, что лондонские газеты, как и следовало ожидать, высказались неблагоприятно о плане созвать конгресс для обсуждения разных европейских вопросов. В тоже время из Парижа приходит весть, подающая повод к заключению, что Франция будет торопить Европу ответом; этого тоже надобно было ожидать, потому что, придумав сюрприз, естественно извлекать выгоду из впечатления, которое должно быть им произведено. Но, к счастью, тех, на кого рассчитан сюрприз, теперь гораздо труднее захватить врасплох, чем было прежде; теперь уже один телеграф стоит многого в этом отношении, и если тронная речь императора Наполеона произведет на кого-нибудь обаятельное действие, то разве только на французов. В этом, по-видимому, и состоит главная цель тронной речи: она обращена не к Европе, а к Франции, и как нельзя лучше выполнит свое назначение, если убедит Францию, что недавняя неудача французской дипломатии поставит эту державу на недостижимую высоту величия, могущества и славы. Однако же, оставив не касающиеся до нас счета императора Наполеона с Францией, посмотрим, насколько есть вероятия, что тюльерийский сюрприз подействует и на Европу. Конгресса по общеевропейским вопросам может желать теперь в Европе только тот, кто хочет войны. Нет ни одного важного европейского вопроса, по которому конгресс не увеличил бы существующих затруднений. Поэтому те державы, которым дорог мир, не только не могут желать конгресса, но не могут и согласиться на конгресс. Даже в том случае, если бы коалиция, составлявшаяся против России, продолжала существовать, и если бы решение ее начать войну с нами будущей весной было твердо, даже и в этом случае конгресс не был бы в видах держав, соединившихся против России, при желании их избежать общеевропейского пожара. Император французов, оставаясь верным коалиции, не предложил бы тогда конгресса; он продолжал бы предлагать конференцию подписавших Венский трактат восьми держав исключительно по польскому делу. Его союзники согласились бы на созвание общеевропейского конгресса только в том случае, если бы условились не поднимать на нем никакого серьезного вопроса, кроме польского. Это была бы ловушка для России; это были бы возвращающиеся в костюме конгресса, отвергнутые Россией конференции держав, подписавших Венские трактаты. Если же переход от конференций по польскому делу к конференциям, имеющим характер конгресса по всем спорным европейским вопросам, не есть маскарад, то он свидетельствует только о том, что коалиции уже не существует более и что надобно прибегать к самым отдаленным и неверным средствам, чтобы увеличить число поводов к войне в Европе. Но в таком случае невозможно, чтоб эти конгрессоподобные конференции состоялись.

В дипломатии многое покрыто тайной. Все видимые признаки ведут к заключению, что коалиция трех держав окончательно расстроилась. Если так, то ни Англия, ни Австрия не могут пойти ни на конгресс, ни на конференции, равносильные конгрессу. Если же они пойдут на французское предложение, значит, есть еще надежды на возобновление коалиции и на то, что предполагаемые конференции будут, в сущности, не что иное, как отвергнутые Россией конференции восьми держав по польскому вопросу. Политика Франции, замыслившей созвание конгресса, должна, стало быть, состоять в том, чтоб Англия и Австрия были убеждены, что на конференциях будет единственно обсуждаться польский вопрос, а в России чтоб была возбуждена уверенность, что Франция будет стараться всячески перехитрить Англию и Австрию и что конференции будут иметь значение общеевропейского конгресса. Для такой уверенности есть действительно немало оснований; не может быть ни малейшего сомнения, что Франция была бы рада перехитрить и Англию, и Австрию; на них она очень сердита. Но, во-первых, еще вопрос, удастся ли Франции то, что ей хочется, а, во-вторых, если бы Франция имела самый полный успех на конгрессе, то это было бы невыгодно для России уже по одному тому, что Россия не может сходить с Францией в желании мутить Европу. России нужен мир, нужно поддержание status quo. Ее интересы в настоящую минуту гораздо более согласны с интересами Англии и Австрии, чем с интересами Франции, считающей своим призванием поднимать в Европе вопрос за вопросом.

Нам кажется поэтому совершенно невероятным делом, чтобы конференции, похожие на конгресс, состоялись. Но как же объяснить себе, что император Наполеон III завел о конференциях громкую речь в торжественную минуту перед лицом Франции и Европы? Неужели он не запасся предварительными обещаниями хоть нескольких держав? Неужели можно думать, чтобы не заручилась ему та или другая держава еще до произнесения тронной речи? Надобно полагать, что у императора Наполеона есть какие-нибудь основания ожидать, что задуманный им конгресс может состояться, что в особенности Австрия, которая всегда была против конгресса, теперь может быть склонена к участию в конференциях для пересмотра Венских трактатов. По-видимому, он всего более рассчитывал на затруднительность положения Австрии, которая вследствие польского вопроса действительно окружена опасностями со всех сторон.

Повинуясь преданию, идущему еще от времен Венского конгресса, а также в качестве новичка между конституционными государствами, Австрия сочла нужным полиберальничать перед Россией по польскому вопросу. К этому побуждению присоединились не совсем хорошие отношения, в которых она находилась к России с 1854 г., надежда затруднить Пруссию, опасения серьезных замешательств в Галиции, которыми легко могла воспользоваться Венгрия, и более всего опасность от Франции для итальянских владений Австрии. Франция рассчитывала на все эти затруднения и опасения Австрии и предложила ей свою поддержку и гарантию на случай войны с Россией. Франция надеялась, что Австрия совсем подчинится ей, но опасение войны с Россией превозмогло, и Австрия отклонила от себя французские любезности. Чтобы вывернуться из затруднений, она тотчас же схватилась за вопрос о реформе Германского Союза. Реформа Германии сама по себе служит вовсе не целью, а только средством для Австрии. Ближайшею ее целью при созвании Франкфуртского конгресса государей Германии было на всякий случай приобрести возможно большую популярность в Германии, парализовать влияние Пруссии и в случае успеха, захватив в свое распоряжение военные силы Германского Союза, оградить себя ими от страха как Франции, так и России, и выйти таким образом из того, в сущности, жалкого положения, в какое поставлена Австрия с самого начала польского вопроса. Как показала недавняя Нюрнбергская конференция, попытка Австрии не увенчалась успехом, а между тем она в высшей степени раздражила Пруссию, и в сентябре месяце, уже после третьего ряда ответов князя Горчакова, с особенною силою заговорили о сближении Франции с Пруссией.

Франция для достижения своих целей нисколько не стесняется союзами. Австрия возбудила германский вопрос, чтобы по возможности выйти из затруднений, в которые может повергнуть ее вопрос польский. Франция тотчас же воспользовалась этим, чтоб обратить германский вопрос против Австрии и сблизиться с Пруссией. Австрия старается вывернуться из объятий Франции, с тем чтоб она одна как знает разведывалась с Россией по польскому вопросу; Франция тотчас же обращается с своими искушениями к Пруссии. К слову упомянем здесь о планах нового политического распределения Европы, недавно выставленных в "Opinion Nationale". По-видимому, эти планы немного более чем порождение фантазии редакторов этой газеты. От Австрии и Пруссии ожидается уступка доставшихся им частей старой Польши. Кроме этой уступки, от Пруссии требуются еще ее рейнские провинции. Зато ей предоставляются все мелкие государства северной Германии с присоединением Ганноверского королевства; к Австрии же должны отойти Бавария, Виртемберг и часть Силезии. Третьего германскою державой должен стать Баден, переименовываемый в королевство, с присоединением к нему Гессен-Дармштадта и земель по левому берегу Майна. Этот фантастический план, рассчитанный на то, чтобы разом уловить и Пруссию, и Австрию, может быть по воле изобретателей видоизменяем согласно с обстоятельствами или в пользу одной Пруссии, или в пользу одной Австрии. Так, во время серьезной попытки к сближению с Пруссией могла идти речь о том, чтоб она завладела большею частью Германии.

Подобными планами можно пугать то Австрию, то Пруссию, и, пожалуй, напугать их до того, что они согласятся идти на конференции. Оне обе питают к Франции чувство панического страха и легко могут предпочесть тайным искушениям и запугиваниям участие в конференциях, которые будут, правда, созваны для пересмотра Венского трактата, но в которых вместе с представителем Франции будет заседать и представитель Англии, то есть державы, в которой и Пруссия и Австрия видят свою обязательную союзницу. Пруссия, несмотря на все нападки, которым она подвергается в английском парламенте и в английских газетах, может вполне полагаться на свои династические связи с Англией, которые будут уважены, по крайней мере при жизни королевы Виктории, всяким английским министерством. Что же касается до Австрии, то для Англии нет более важного интереса на материке Европы, как поддержка этой державы. Зная это, и Пруссия, и Австрия могут пойти на конференции, чтоб избавиться от давления французской политики. Как ни заинтересована Пруссия в добрых отношениях к России, но, по-видимому, не подлежит сомнению, что нынешний глава прусского министерства, г. фон Бисмарк, ввиду внутренних затруднений и из ненависти к Австрии не прочь серьезно потолковать и о сближении с Францией. Поэтому со стороны германских держав Франция имеет шансы успеха по вопросу о конференциях: серьезного вреда для себя от конференций ни Пруссия, ни Австрия ожидать не могут. Они очень хорошо знают, что ни Россия не может допустить ни одного серьезного шага к восстановлению старой Польши, а Англия, сверх того, не может предоставить Франции левый берег Рейна. Австрия понимает, далее, что Англия не допустила бы и чрезмерного усиления Пруссии в ущерб Австрии, так как могущество последней необходимо для английской политики на юго-востоке Европы. Наконец, подобные территориальные перемены могут быть скорее производимы сепаратными трактатами, нежели актом общеевропейских конференций. Вот эта-то уверенность, что серьезная опасность ни в каком случае не угрожает ни Пруссии, ни Австрии, если они пойдут на конференции, может побудить эти державы к уступке французским настояниям. Франция не преминет, конечно, подействовать на них всею тяжестью своего давления; она не постоит ни за какими заверениями и пустит в ход все возможные хитрости. Она будет, с одной стороны, грозить им своим гневом и разными своими планами, которые могут осуществиться и без конгресса; с другой стороны, она будет им обещать, что конференции, в сущности, ограничатся польским вопросом, а в удостоверение укажет им на Англию, которая никак не допустит обсуждения других

европейских вопросов. Недаром и в тронной речи конгресс назван не конгрессом, а конференциями.

Из всего этого следует, что если конгресс по всем европейским вопросам - дело теперь несбыточное, то конференции, созванные с тайною целью обсуждать лишь польский вопрос, с устранением всего другого, очень могут состояться. Поэтому нельзя отрицать, что предложение императора Наполеона России грозит серьезною опасностью.

<3>

Ниже, под рубрикой "Франция", мы помещаем вполне тронную речь императора Наполеона. Даже и в той части этого замечательного произведения политического красноречия, которая сообщена была нами прежде, телеграф скрыл от нас одни выражения и значительно ослабил другие. Общее впечатление, впрочем, остается то же: царственный оратор Франции имел в виду произвести поразительный эффект на своих подданных и подавит заранее все возгласы как против системы внутреннего управления, так особенно против внешней политики, которая в польском вопросе увенчалась таким чувствительным дипломатическим поражением.

Присутствие многих знаменитостей прежнего времени в новом законодательном сословии, несмотря на все противодействие их избранию со стороны администрации, не могло быть обойдено молчанием в тронной речи. В свое время император был, говорят, сильно смущен этими выборами. Теперь он только радуется общему их результату, и тем не мене дважды напоминает этим знаменитостям, что и они присягали ему на верность, что и они клялись поддерживать императорскую конституцию. Чтобы задобрить этих старых приверженцев парламентской системы правления, император Наполеон отдает должную справедливость одной из существенных ее принадлежностей, именно ежегодно возвращающемуся собранию народных представителей. Он знает ему настоящую цену: оно сближает между собою людей, преданных общему благу, и позволяет стране узнать полную истину. Искренность отношений между народным представительством и государем устраняет беспокойства и придает силу решениям последнего.

В числе мер, предположенных для развития внутреннего благосостояния страны, император особенно указал на проект, изменяющий прежние постановления, против которых в конце прошлого года так сильно высказывалась либеральная часть французского общества, и на закон, расширяющий круг занятий генеральных (департаментских) и общинных советов и противодействующий излишества административной централизации. В предстоящую сессию, таким образом, не будет недостатка в либеральных проектах.

Но вся сила тронной речи заключается в той ее части, которая посвящена внешней политике. Императору Наполеону приписывались по поводу отдаленных экспедиций, и особенно экспедиции мексиканской, самые обширные и едва ли исполнимые замыслы: обратить Францию в первоклассную морскую державу и сделать ее если не полную властительницею морей, то, по крайней мере, достойною соперницей Англии. Император скромно и добродушно отказывается от таких заранее будто бы задуманных планов; но вместе с тем приглашает верить в эти отдаленные заморские экспедиции. "Начатые для отомщения за честь Франции, - говорит он, - они окончатся торжеством для наших интересов", и так как для Франции нет интереса выше военной славы, то он именно указывает, что благодаря этим экспедициям Франция стяжала себе славу на двух противоположных оконечностях мира: в Пекине и в Мексике.

Но как бы ни была велика эта слава, приобретенная на двух противоположных оконечностях мира, император Наполеон не довольствуется ею; ему нужно для упрочения его династии более близкое и более осязательное торжество, и кто бы мог подумать? - по поводу так неудачно возбужденного им польского вопроса; он уже торжествует в своей тронной речи над ненавистными Франции трактатами 1815 года! Как некогда Наполеон I провозглашал на всю Европу из Шенбрунского дворца: "Династия неаполитанских

Бурбонов перестала существовать", - так теперь его племянник теми же самыми словами провозглашает с высоты своего престола: "Трактаты 1815 года перестали существовать!" И приведенная в восторг аудитория вторит его словам продолжительными рукоплесканиями, но зато чуткая парижская биржа тотчас же отвечает на них падением трехпроцентной ренты на 50 сантимов против курса в начале дня и на 20 сантимов против курса накануне.

"Трактаты 1815 г. перестали существовать!" Царственный оратор высказал в этих словах не простой совершивший факт, законное признание которого могло бы принадлежать только всей Европе; он заявил ими свои надежды и стремления и сослался прежде всего на силу вещей, стремящуюся сокрушить эти трактаты повсюду. Приводя факты в подтверждение своих надежд и желаний, он сопоставил, между прочим, великодушную отмену трактатов 1815 г. со стороны Англии, которая добровольно уступает (?) Ионические острова, с образом действий России, которая, по словам оратора, "ногами попирает эти трактаты в Царстве Польском", где, как сказал он прежде в другом месте своей речи, с обеих сторон совершаются излишества, о которых следует равно скорбеть во имя человечества.

Впрочем, объявляя, что трактаты 1815 г. перестали существовать, император Наполеон не хочет взять на себя одного весь труд их упразднения, даже и в применении к одной Польше. В этом отношении он высказывает ту же теорию, с которою уже познакомила нас газета "La France". Эта теория заключается в том, что Франция может действовать одна, только когда или нанесено оскорбление ее чести, или угрожает опасность ее границам. А там, где дело идет об общих интересах Европы, она наперед вступает в соглашение с другими державами. Так, на этот раз право провозгласить трактаты 1815 г. несуществующими Франция присвоила исключительно себе одной; но к созданию затем новой политической системы в Европе она благосклонно приглашает и все другие державы. Ко всем им она обращает с этою целью речь в высшей степени вкрадчивую и рисует им привлекательную картину общего благоденствия, которое наступит за отменю Венских трактатов. Согласитесь только заменить Венские трактаты таким порядком вещей, которой был бы вполне угоден Франции, и между европейскими державами исчезнут предрассудки и злопамятство, теперь их разделяющие, исчезнет и завистливое соперничество великих держав между собою, которое еще так недавно помешало успехам цивилизации, задуманным относительно Польши и России, окажутся ненужными все эти чрезмерные вооружения и вся эта суетная выставка сил, на которые идут драгоценнейшие средства народов; внешний мир упрочится, и разрушительный дух крайних партий потеряет всю силу, которую искусственно придает ему теперь противодействие законным желаниям народов; словом, на земле водворится полное царство благодати: вот смысл той тирады в тронной речи, которая, между прочим, также не была нам сообщена по телеграфу.

Для водворения такого прочного благополучия на земле император Наполеон приглашает европейские державы на конгресс. Цель этого конгресса двоякая: признание того, что уже совершилось, и довершение с общего согласия того, чего требует спокойствие вселенной. (Уже не требует ли оно, с одной стороны, восстановления старой Польши, а с другой - присоединения всего левого берега Рейна к Франции?) Власть этого конгресса должна быть такова, чтобы перед его верховными третейскими приговорами исчезли и всякое самолюбие, и всякое сопротивление. Местом для конгресса, в котором должны принять участие лично сами государи, назначен не какой-либо второстепенный город, как бывало прежде, а с изумительной бесцеремонностью, ни более ни менее, как Париж, озаряемый блеском величия нового представителя фамилии Бонапартов. Между предметами, которыми должен заняться конгресс, в тронной речи Наполеона указаны очень неопределенно важные интересы и Севера, и Юга, требующие, по его словам, решения. Какие же это интересы?

Но Наполеон III не просто приглашает на конгресс, а и указывает с тем вместе, что отказ какой-либо державы участвовать в этом конгрессе заставит заподозрить ее в каких-нибудь тайных замыслах, которые боятся дневного света. Он почти прямо говорит: "Идите на конгресс, и тогда все дела могут порешены мирным путем; иначе же рано или поздно, но неизбежно возникнет война вследствие упорного желания поддержать рушащееся прошедшее". Выбор, таким образом, предоставляется только между конгрессом, долженствующим перевернуть вверх дном всю Европу, или войною, которая рано или поздно неминуемо должна возникнуть.

Нам неизвестно в точности, происходили ли уже какие-либо переговоры об этом конгрессе между тремя державами и к каким привели они результатам. Судя по некоторым прежним отзывам двух влиятельных органов журналистики: "Times" в Англии и "Ostdeutsche Post" в Австрии, мысль о конгрессе и об отмене трактатов 1815 г. не является сюрпризом для обеих этих держав, и они как бы приготовлялись усвоить ее себе. Если это действительно так, то не может быть никакого сомнения, что весь этот конгресс затеян исключительно против России и, может быть, еще Пруссии. Не на одну парижскую биржу тронная речь произвела неблагоприятное впечатление: король Прусский в своей тронной речи предчувствует также приближение еще более смутной эпохи, чем нынешняя, и очень знаменательно, что во Франкфурт, к германскому сейму, препровождено одно из первых приглашений на парижский конгресс. Бедный германский сейм! Как-то он выпутается из такого затруднительного положения?

Но что бы ни принесли нам грядущие события, мир или войну, России нечего страшиться ни мирных козней своих недругов, ни еще менее их воинственных ударов, до тех пор пока бодрствует народный дух ее, пока не ослабели ее народные силы, пока она не утратила веры в свою великую будущность и в тот путь, которым она идет к своему обновлению.

<4>

Подобно гласу трубному, как выразилась газета "Daily News", с высоты императорского престола Франции раздалось объявление, что трактаты 1815 г. перестали существовать. Этот факт уже сам по себе имеет огромную важность, особенно если припомнить, как велики были опасения на этот счет всей Европы в 1848 г., когда революция положила конец орлеанской династии и как даже слабое временное правительство тогдашней Французской республики старалось противостать внушениям крайних партий и соблазну популярности, объявив твердое решение уважать трактаты 1815 г. С того времени, правда, произошли важные перемены. Россия и Англия, единодушии и энергии которых Европа наиболее обязана была спасением от наполеоновского военного деспотизма и установлением порядка вещей, созданного трактатами 1815 г., Россия и Англия успели перессориться между собою; тройственный союз, известный под именем "священного", окончательно распался; в Италии возник новый порядок вещей в отмену трактата 1815 г.; к Франции присоединены Ницца и Савойя, и, наконец, в довершение всего Англия и Австрия, вопреки собственным своим интересам, опасаясь России и не доверяя ее намерениям, вздумали действовать против нее заодно с Францией даже в польском вопросе, и из уст британского министра вылетело неосторожное слово в пользу отмены статей Венского трактата о Польше.

Таким образом, то, что прежде было бы неслыханною дерзостью и вызовом, брошенным в лицо целой Европе, теперь становится не более как смелым и кстати сказанным словом. Как бы то ни было, однако же, цель политики Наполеона III высказана ясно и решительно во всеуслышание Европы. Мы знаем теперь от него самого, что существующий в Европе порядок вещей, главнейшим образом основанный на Венских трактатах, подлежит, по его мнению, совершенной отмене, и что если эта отмена не состоится путем общеевропейского конгресса, то рано или поздно она будет достигнута путем кровавых войн.

Как бы ни был неудовлетворителен порядок вещей, установленный Венскими трактатами, сколько бы ни было уже сделано изъятий из него, однако же, как оказывается теперь, Европа все еще дорожит его сохранением и из страха неизвестности и еще больших, чем теперь, замешательств не решается ниспровергнуть то, что еще уцелело из него, и даже подтвердить своим формальным и торжественным согласием то, что уже совершилось вопреки ему. Англия не решается одобрить присоединение Ниццы и Савойи к Франции; Австрия отнюдь не желает признать законность всех перемен, происшедших в Италии со времени Виллафранского перемирия и Цюрихского мира; Германия тяготеет своим положением, истекающим также из Венских трактатов, но тем не менее она готова всячески противиться передаче своего домашнего дела на решение конгресса, на котором будет первенствовать Франция. Для России постановления Венского конгресса относительно Польши, при всей их неопределенности, все-таки более или менее стеснительны и тягостны, так как собственно ее спокойствие, а равно и благо самой Польши вовсе не допускают существования последней на правах особого царства. Тем не менее, однако же, большинство держав не желает искусственного изменения существующих в Европе отношений; те перемены, которые могут быть для них желательны, они охотно предоставляют естественному ходу событий, не стараясь искусственно ускорить время их наступления. За исключением Италии, интерес которой в этом отношении очень понятен, Франция только одна стремится к возможно скорейшему ниспровержению трактатов 1815 г. и таким образом становится решительно на революционную почву. Произнося свою знаменитую речь 5 ноября, Наполеон III, без сомнения, твердо был уверен, что Европа не намерена ни утверждать своим согласием некоторых перемен, происшедших вопреки Венским трактатам, ни переделывать своих государственных территорий. В этом смысле, как известно нашим читателям, высказались все английские, австрийские, прусские и даже русские газеты.

Но если объявленная цель конгресса сама по себе и заведомо для самого императора Наполеона III неисполнима, то не мог ли бы конгресс послужить средством для достижения каких-либо посторонних целей? Можно быть против какой-либо цели и не иметь ничего против средства, которое предположено для ее достижения, но которое, очевидно, не может к ней привести. Предложение конгресса должно прежде всего послужить средством к тому, чтоб изгладить в самой Франции дурное впечатление, произведенное поражением, которое потерпело правительство Наполеона III в дипломатическом походе против России и, если возможно, возвысить его в глазах народа. Это предложение должно, во-вторых, стать средством к тому, чтобы выйти из крайне тягостного и стеснительного положения относительно других держав, в которое была поставлена Франция своею неудачей. Франция вследствие этой неудачи очутилась в изолированном положении, в которое ей хотелось поставить Россию. С Россией, а также с Пруссией, она сама, добровольно разорвала свои прежние хорошие отношения, а Англия и Австрия, которые намеренно помогли ей втянуться в польские дразги, отвратились от нее, как только дело дошло до необходимости не депеши писать, а действовать. Поддерживать еще более свое так называемое соглашение с ними значило бы для Франции осудить себя на бессилие и бездействие. Франции оставалось или решиться одной на войну, в которой она могла иметь против себя не только Россию, но и обеих недавних союзниц своих; или, чтобы выйти из положения бессилия и бездействия, на которое ее осудила политика Англии, вновь протянуть руку России. Франция решила на последнее, и, как это ни странно, таков, в сущности, смысл тронной речи и предложение о конгрессе; таково было, между прочим, и впечатление, произведенное ими во многих политических кругах главных столиц Европы: после тронной речи тотчас же заговорили все о возможности нового сближения Франции с Россией.

Правда, Наполеон III дозволил себе сказать, будто бы Россия попирает ногами трактаты 1815 г. в Варшаве; но, с его точки зрения, в этом нет еще беды, и это несправедливое обвинение приводит он только в подтверждение того, что он желал бы доказать и

осуществить, а именно что трактаты 1815 г. на деле уже не существуют. Далее, он признает за польскими мятежниками какие-то наследственные права, вписанные в историю и в трактаты (какие же это трактаты, если Венские утратили всю силу и значение?), и, таким образом, как бы готовится объявить их воюющей стороной. Но с тем вместе он признает союз с Россией одним из лучших союзов своих на континенте Европы. Не без умысла, с одной стороны, запугать Англию и Австрию, а с другой - компрометировать в их глазах Россию и привлечь ее на свою сторону, он торжественно объявляет, как он дорожит союзом с нею и что он нашел в ней искреннюю и дружественную поддержку как во время итальянской кампании 1859 г., так и в пору присоединения Ниццы и Савойи, и, что всего важнее, он как бы в угоду России предлагает конгресс для решения всех европейских вопросов, ссылаясь на то, что Россия заявила однажды, и лишь мимоходом, что подобный конгресс, сравнительно с конференциями по одному польскому делу, не был бы оскорбителен для ее достоинства. Предложение о конгрессе, по мысли Наполеона III, должно стать, таким образом, первым шагом к сближению с Россией.

Очевидно, что от решения России главнейшим образом зависит как участь этого предложения, так и дальнейшие комбинации в общей европейской политике. Для России не может быть желательно ни подвергать польского вопроса обсуждению на конгрессе без каких-либо особых, вполне обеспечивающих ее условий, ни сближаться с Францией для каких бы то ни было переворотов и преобразовательных попыток в какой бы то ни было части Европы, - если, разумеется, Россия не будет вынуждена к тому двусмысленными и неприязненными отношениями к ней со стороны консервативных держав. Если Франция выказала к нам наибольшую враждебность по поводу польского мятежа, то вместе с нею враждебные против нас виды имели и другие державы, Австрия и Англия, и никак нельзя утверждать, чтоб они окончательно оставили их. Решительный отказ России на приглашение Наполеона III, делая заранее конгресс невозможным и успокаивая в этом отношении Австрию и Англию, мог бы побудить их высказаться в пользу конгресса, и тогда против России могла бы составиться более серьезная и более опасная коалиция. Недаром же все австрийские газеты без исключения, хотя и с видимым неудовольствием и тревогою, склоняются в пользу участия Австрии на конгрессе, причем полуофициальные газеты "Wien Abendpost" и "Всеобщая корреспонденция" стараются только о том, чтобы выгородить то, что еще уцелело от Венских трактатов. "Morning Post" точно так же допускает мысль о конгрессе, хотя и считает ее утопическою. "Times", в свою очередь, колеблется и тем обличает колебания в самой английской публике. "Saturday Review" в статье, помещенной ниже, указывает, правда, на то, что конгресс был бы особенно выгоден для Франции и что она благодаря ему может достигнуть такого положения, какого не могли бы ей доставить и несколько счастливых войн, - тем не менее клонит речь свою к тому, что Англия не должна препятствовать осуществлению мысли о конгрессе.

Если так, то скажем и мы с своей стороны: пусть же общеевропейские конференции (хотя и конгресс государей), предложенные Наполеоном III, состоятся...

От нас еще так недавно требовали согласия на конференции по польскому делу. К нам снова обращаются теперь с вопросом, хотим ли мы принять участие в конференциях, долженствующих иметь не какой-либо частный, а общеевропейский характер. Нам нет надобности отвергать, в принципе, предлагаемые конференции. К нам обращаются с вопросом: не боимся ли мы принять участие в конгрессе, который должен изменить положение Европы и решить все носящиеся над нею вопросы? Мы отнюдь не хотим переделывать Европу, мы не имеем надобности поднимать вопросы; но мы не имеем также ни малейшей причины препятствовать Европе принять иной вид, буде она сама того хочет. Россия всегда была за statu quo Европы; она и теперь готова охранять и поддерживать statu quo; но если бы Европа убедилась в необходимости существенных перемен в своей системе, то России чуждо всякое намерение препятствовать делу европейского прогресса.

Ей остается только показать, в чем, с ее точки зрения, должен состоять этот прогресс и на какие перемены, при каких условиях может она изъявить свое согласие...

<5>

Во вчерашнем номере "Journal de St.-Petersbourg" напечатан французский текст письма, посланного Его Величеством Государем Императором к Императору Наполеону III в ответ на его приглашение принять участие в конгрессе. Оно дано в Царском Селе 6 ноября, то есть через неделю по возвращении Государя Императора из Крыма и через две недели по отправлении приглашения из Парижа.

Появление этого важного документа окончательно разъясняет для русской публики вопрос о конгрессе в самом существенном для России пункте. Мы видим, что Россия не протестовала против конгресса в его общей идее. Предполагаемая цель конгресса должна состоять в том, чтобы повести к миролюбивому соглашению международных интересов в Европе и устранить по возможности все поводы к раздорам и вооружениям. Возможно ли протестовать против такой доброй цели? Возможно ли не сочувствовать изъявляемому желанию "достигнуть без потрясений умиротворения Европы"? В искренности подобного расположения России сомневаться невозможно. "Все дела моего царствования, - говорит Государь Император, - свидетельствуют о желании моем заменить вооруженный мир, так тяжело обременяющий ныне народы, отношениями, основанными на взаимном доверии и согласии. Как только стало возможным, я приступил к значительному сокращению моих военных сил; в продолжение шести лет империя моя была свободна от рекрутской повинности, и я предпринял важные реформы, служащие залогом прогрессивного развития внутри и мирной политики во внешних делах".

Россия не возмущала спокойствия Европы; не возбуждала вопросов, не нарушала существующих трактатов; она не развивала, а уменьшала свои военные силы; своими реформами она вносит в свою государственную жизнь новые гражданские начала, возвышающие ее народные силы и с тем вместе обеспечивающие более чем когда-либо мирный характер ее политики. В качестве великой державы она не отказывалась от участия в европейских делах; но она не искала преобладания, она не держала Европы в постоянном опасении потрясений и переворотов, она не препятствовала ходу событий там, где их вызывала сила вещей и где интересы России не подвергались ущербу.

Следовательно, мысль о миролюбивом соглашении европейских интересов и об устранении поводов к замешательствам и вооружениям отнюдь не может противоречить видам русской политики; с другой стороны, не политика России могла внушить другим державам столь серьезные заботы о принятии мер для сохранения спокойствия Европы, - не политика России могла вынудить что-либо похожее на мысль, предложенную Императором Наполеоном III. Если Россия должна была в последнее время склониться от принятого ею пути; если она теперь усиливает свои вооружения и принимает меры против случайностей, которые могли бы угрожать безопасности и целостности ее государственной области, то она в этом случае действовала не по своей охоте. Другие державы хотели, чтобы Россия вооружалась, и она исполняет их желание. Если же, как теперь оказывается, те же самые державы заботятся о сохранении мира, то они только исполняют желания России.

Но от общей мысли о том, как было бы желательно полюбовное соглашение международных интересов Европы, до конгресса, предложенного в Париже, - еще далеко. Можно вполне сочувствовать желанию, заявленному в предложении о конгрессе, и сомневаться в возможности его практического осуществления. Письмо Государя Императора ограничивается общою стороною вопроса и указывает на необходимость предварительной программы, которая могла бы убедить Европу в пользе предлагаемого конгресса и склонить к участию в нем другие державы. О трактатах 1815 г. не упоминается ни слова, а только приводится на память то великое правило практической мудрости, которое требует уважения к существующим правам, предостерегает от перемен,

внушаемых случайными побуждениями и интересами минуты, и предписывает в деле изменений держаться исторической почвы.

Россия, как мы видим, сохраняет то исполненное достоинства положение, которое было принято ею и которое служит лучшим обеспечением ее интересов и спокойствия. Она не отвергает и не принимает европейского конгресса точно так же, как она не вызывает опасностей, угрожающих спокойствию Европы, но и не думает предотвращать их малодушными уступками, из которых всего вернее рождаются серьезные опасности. Россия не имела никакого повода оспаривать отвлеченную мысль о конгрессе; но она отнюдь не считала возможным ручаться за осуществление этой мысли. Россия предоставила эту мысль собственной судьбе ее и мысль о конгрессе не продержалась и трех недель на политическом горизонте Европы: Император Наполеон III не успел убедить другие державы в практической состоятельности и пользе предложенного им плана. Конгресс не состоялся, но толки, возбужденные им, еще не замолкли. Пишут даже, что французское правительство будто бы еще не совсем отказалось от надежды убедить Англию и отправило для этой цели в Лондон г. де Латур-д'Оверня. Но нельзя ожидать, чтоб эта мысль, умершая при самом рождении своем, могла возродиться к жизни. Из царства теней не бывает возврата.

В каком же положении находятся теперь европейские дела? Один за другим являлись на горизонте два метеора: коалиция и конгресс. Оба метеора исчезли, - что же остается? Посреди всеобщей неопределенности отношений остается возможность разных новых сближений между европейскими державами. Франции трудно оставаться в изолированном положении, в которое привели ее события. Вмешательство в польское дело порвало союзные отношения, в которых она еще так недавно находилась к России. Приглашение на конгресс испортило ее отношения к Англии. Очень естественно возникает теперь мысль, не будет ли для Франции выгодно вновь сблизиться с Россией и возвратиться к той политической комбинации, которая была расторгнута политикой Англии, воспользовавшейся на этот предмет польским вопросом? Для Франции, конечно, это было бы выгодно, - но выгодно ли для России? Во французских газетах появляются разные толки о возможности союза между Россией и Францией. Толки эти возникают естественно, но едва ли можно ожидать какого-либо успешного результата в этом направлении. Россия не имеет ни малейшей надобности в предпочтительном сближении с тою или другою державой. Сила великой державы в настоящее время состоит не в глухом узле какого-либо союза, а в полной свободе действий. Предпочтительный союз с одною державою разобщает с другими и неизбежно готовит в будущем всякого рода затруднения и опасности. Россия занимает теперь самое выгодное положение, и всякое теснейшее сближение с тою или другою державой может только ухудшить, а не улучшить его. Нам нечего тяготиться тем, что мы в настоящее время свободны от каких-либо обязательств относительно той или другой державы: в этом наша выгода, в этом наша сила. Так как Россия не замышляет никаких насильственных переворотов в Европе, то для нее не требуется никаких исключительных союзов, которые только могут разобщить ее и привести в ложное положение. Чем свободнее от всяких исключительных соглашений будет ее политика, тем она будет сильнее в Европе и тем менее может быть опасности для всеобщего спокойствия.

Впервые опубликовано: "Московские ведомости". 1863. 27 октября. No 233; 29 октября. No 234; 30 октября. No 235; 3 ноября. No 239; 27 ноября. No 259.

Д. В. Давыдов. Встреча с великим Суворовым

(1793)

Ma vie est combat...

Voltaire

Моя жизнь - сражение..

Вольтер

Посвящается князю Александру Аркадьевичу

Италийскому, графу Суворову-Рымникскому

С семилетнего возраста моего я жил под солдатскою палаткой, при отце моем, командовавшем тогда Полтавским легкоконным полком, - об этом где-то было уже сказано. Забавы детства моего состояли в метании ружьем и в маршировке, а верх блаженства - в езде на казачьей лошади с покойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска.

Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря?

А тип всего военного, русского, родного военного, не был ли тогда Суворов? Не

Суворовым ли занимались и лагерные сборища, и гражданские общества того времени?

Не он ли был предметом восхищений и благословений, заочно и лично, всех и каждого?

Его таинственность в постоянно употребляемых им странностях наперекор условным странностям света; его предприятия, казавшиеся исполняемыми как будто очертя голову; его молниелетные переходы, его громовые победы на неожиданных ни нами, ни неприятелем точках театра военных действий - вся эта поэзия событий, подвигов, побед, славы, продолжавшихся несколько десятков лет сряду, все отзывалось в свежей, в молодой России полной поэзией, как все, что свежо и молодо.

Он был сын генерал-аншефа, человека весьма умного и образованного в свое время; оценив просвещение, он неослабно наблюдал за воспитанием сына и дочери (княгини Горчаковой). Александр Васильевич изучил основательно языки французский, немецкий, турецкий и отчасти италийский; до поступления своего на службу он не обнаруживал никаких странностей. Совершив славные партизанские подвиги во время Семилетней войны, он узнал, что такое люди; убедившись в невозможности достигнуть высших степеней наперекор могущественным завистникам, он стал отличаться причудами и странностями. Завистники его, видя эти странности и не подозревая истинной причины его успехов, вполне оцененных великой Екатериной, относили все его победы лишь слепому счастью.

Суворов вполне олицетворял собою героя трагедии Шекспира, поражающего в одно время комическим буфонством и смелыми порывами гения. Гордый от природы, он постоянно боролся с волею всемогущих вельмож времен Екатерины. Он в глаза насмехался над могущественным Потемкиным, хотя часто писал ему весьма почтительные письма, и ссорился с всемогущим австрийским министром бароном Тугутом. Он называл часто Потемкина и графа Разумовского своими благодетелями; отправляясь в Италию, Суворов пал к ногам Павла^[1].

Было ли это следствием расчета, к которому он прибегал для того, чтобы вводить в заблуждение наблюдателей, которых он любил ставить в недоумение, или, действуя на массы своими странностями, преступавшими за черту обыкновения, он хотел приковать к себе всеобщее внимание?

Если вся жизнь этого изумительного человека, одаренного нежным сердцем^[2], возвышенным умом и высокою душой, была лишь театральным представлением и все его поступки заблаговременно обдуманы, - весьма любопытно знать: когда он был в естественном положении? Балагурия и напуская на себя разного рода причуды, он в то же время отдавал приказания армиям, обнаруживавшие могучий гений. Беседуя с глазу на глаз с Екатериной о высших военных и политических предметах, он удивлял эту необычайную женщину своим оригинальным, превосходным умом и обширными разносторонними сведениями^[3]; поражая вельмож своими высокими подвигами, он язвил их насмешками, достойными Аристофана и Пирона. Во время боя, следя внимательно за всеми обстоятельствами, он вполне обнимал и проникал их своим орлиным взглядом. В минуты, где беседа его с государственными людьми становилась наиболее любопытною, когда он, с свойственной ему ясностью и красноречием, излагал ход дел, он внезапно

вскакивал на стул и пел петухом либо казался усыпленным вследствие подобного разговора; таким образом поступил он с графом Разумовским и эрцгерцогом Карлом. Лишь только они начинали говорить о военных действиях, Суворов, по-видимому, засыпал, что вынуждало их изменять разговор, или, увлекая их своим красноречием, он внезапно прерывал свой рассказ криками петуха. Эрцгерцог, оскорбившись этим, сказал ему: "Вы, вероятно, граф, не почитаете меня достаточно умным и образованным, чтобы слушать ваши поучительные и красноречивые речи?" На это Суворов возразил ему: "Проживете с моих лет и испытаете то, что я испытал, и вы тогда запоете не петухом, а курицей". Набожный до суеверия, он своими причудами в храмах вызывал улыбку самих священнослужителей.

Многие указывают на Суворова как на человека сумасбродного, невежду, злодея, не уступавшего в жестокости Атилле и Тамерлану, и отказывают ему даже в военном гении. Хотя я вполне сознаю свое бессилие и неспособность, чтобы вполне опровергнуть все возводимые на этого великого человека клеветы, но я дерзаю, хотя слабо, возражать порицателям его.

Предводительствуя российскими армиями пятьдесят пять лет сряду, он не сделал несчастным ни одного чиновника и рядового; он, не ударив ни разу солдата, карал виновных лишь насмешками, прозвищами в народном духе, которые врезывались в них, как клейма. Он иногда приказывал людей, не заслуживших его расположения, выкуривать жаровнями. Кровопролитие при взятии Измаила и Праги было лишь прямым последствием всякого штурма после продолжительной и упорной обороны. Во всех войнах в Азии, где каждый житель есть вместе с тем воин, и в Европе во время народной войны, когда гарнизоны, вспомоществуемые жителями, отражают неприятеля, всякий приступ неминуемо сопровождается кровопролитием. Вспомним кровопролитные штурмы Сарагосы и Тарагоны; последнюю овладел человеколюбивый и благородный Сюшет. Вспомним, наконец, варварские поступки англичан в Индии; эти народы, кичащиеся своим просвещением, упоминая о кровопролитии при взятии Измаила и Праги, умалчивают о совершенных ими злодеяниях, не оправдываемых даже обстоятельствами. Нет сомнения, что если б французы овладели приступом городами Сен-Жан-д'Акр и Смоленском, они поступили бы таким же образом, потому что ожесточение осаждающих возрастает по мере сопротивления гарнизона. Штурмующие, ворвавшись в улицы и дома, еще обороняемые защитниками, приходят в остервенение; начальники не в состоянии обуздать порыв войск до полного низложения гарнизона.

Таким образом были взяты Измаил и Прага. Легко осуждать это в кабинете, вне круга ожесточенного боя, но христианская вера, совесть и человеколюбивый голос начальников не в состоянии остановить ожесточенных и упоенных победою солдат. Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших мстостью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы с Игельстромом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в пользу человеколюбия Суворова^[4].

В это время здравствовал еще знаменитый Румянцев, некогда начальник Суворова, и некоторые другие вожди, украшавшие век чудес - век Екатерины; но блеск имен их тонул уже в ослепительных лучах этого самобытного, неразгаываемого метеора, увлекавшего за собою весь мир чувств, умов, вниманий и доверенности своих соотечичей, и увлекавшего тем, что в нем не было ни малейшего противозвучия общей гармонии мыслей, поверий, предрассудков, страстей, исключительно им принадлежащих. Сверх того, когда и по сию пору войско наше многими еще почитается сборищем истуканов и кукол,двигающихся по средству одной пружины, называемой страхом начальства, - он, более полустолетия тому назад, положил руку на сердце русского солдата и изучил его бытие. Он уверился, вопреки мнения и того и нашего времени мнимых наблюдателей, что русский солдат, если

не более, то, конечно, не менее всякого иностранного солдата причастен воспламенению и познанию своего достоинства, и на этой уверенности основал образ своих с ним сношений. Найдя повиновение начальству - сей необходимый, сей единственный склей всей армии, - доведенным в нашей армии до совершенства, но посредством коего полководец может достигнуть до некоторых только известных пределов, - он тем не довольствовался. Он удесятирил пользу, приносимую повиновением, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире, - чувством, которого следствию нет пределов.

Прежние полководцы, вступая в командование войсками, обращались к войскам с пышными, непонятными для них речами. Суворов предпочел жить среди войска и вполне его изучил; его добродушие, доходившее до простодушия, его причуды в народном духе привлекали к нему сердца солдат. Он говорил с ними в походах и в лагере их наречием. Вместо огромных штабов он окружал себя людьми простыми, так, например, Тищенкою, Ставраковым.

Но к чему послужило бы, - я скажу более, - долго ли продолжалось бы на своей высоте это подъятие духа в войсках, вверенных его начальству, если б воинские его дарования, - я не говорю уже о неколебимой стойкости его характера и неограниченной его предприимчивости, - если б воинские его дарования хотя немного уступали неустрашимости и самоотвержению, которые он посеял в воинах, исполнявших его предначертания? Если б, подобно всем полководцам своего времени, он продолжал идти тесною стезею искусства, проложенною посредственностью, и не шагнул исполински и махом на пространство широкое, разгульное, им одним угаданное, и которое до сей поры никто не посещал после него, кроме Наполеона?

Случай, который я хочу рассказывать, требует несколько предварительных замечаний об этом предмете, чтобы сделаться понятным во всех своих подробностях. Они не будут длинны.

Суворов застал военное искусство основанным на самых жалких началах. Наступательное действие состояло в движении войск, растянутых и рассеянных по чрезмерному пространству, чтобы, как говорили тогда, охватить оба крыла противника и поставить его между двух огней. Оборонительное действие не уступало в нелепости наступательному. Вместо того, чтобы, пользуясь сим рассеянием войск противника, ударить совокупно на средину, разреженную и слабую от чрезмерного протяжения линии, и, разорвав ее на две части, поражать каждую порознь, - полководцы, действовавшие оборонительно, растягивали силы свои наравне с наступательною армиею, занимая и защищая каждый путь, каждую тропинку, каждое отверстие, которым она могла к ним приблизиться. Некоторые, - и те почитались уже превосходнейшими вождями, - некоторые решались изменять оборонительное действие в наступательное, растягивая силы свои еще более растянутых сил неприятельской армии, чтобы, с своей стороны, охватить оба ее крыла и поставить ее между двух огней обоих крыл своих. К этому надобно прибавить так называемые демонстрации отряженными для сего частями армии на далекое расстояние, отчего только уменьшалась числительная сила главной массы, определенной для боя. К демонстрациям можно присоединить фальшивые атаки, которые никого не обманывают; размеренные переходы войск, которые только способствовали неприятелю рассчитывать время их прибытия к мете, им назначенной, следственно и предупреждать намерения их начальника; и, наконец, большую заботливость о механическом устройстве подвозов с пищею в определенные сроки, чем о предметах, касающихся собственно до битв, и тем самым полное подданство военных соображений и действия соображению и действию чиновников, управляющих способами пропитания армии. Такова была стратегия того времени! Тактика представляла не менее нелепостей; когда дело доходило до сражения, важнейшие условия для принятия битвы состояли в избрании местоположения более или менее возвышенного, в примкнутии обоих крыл армии к искусственным или природным препятствиям и в отражении оттуда неприятельских усилий, не двигаясь с места. При

нападении на неприятеля - употребление фальшивых атак, которые никого не обманывали, и действие более огнем, чем холодным оружием; нигде решительности, везде ощупь и колебание воли.

Можно представить себе, как поступил с таковыми преградами гений беспокойный, своенравный, независимый.

Еще полковником Астраханского гренадерского полка, на маневрах у Красного Села, где одна сторона предводительствуема была графом Паниным, а другая самой Екатериною, Суворов, который давно уже негодовал на методические движения, в то время почитаемые во всей Европе совершенством военного искусства, и на долговременную стрельбу во время боя, - по мнению его ничего не решавшую, - осмелился показать великой монархине и своим начальникам образ действия, приличнейший для духа русского солдата, и испортил маневр порывом своевольным и неожиданным. Среди одного из самых педантических движений, сопряженного с залпами плутонгами и полуплутонгами, он вдруг прекратил стрельбу своего полка, двинулся с ним вон из линии, ворвался в средину противной стороны, замешал часть ее и все предначертания и распоряжения обоих начальников перепутал и обратил все в хаос. Спустя несколько месяцев, когда ему предписано было идти с полком из Петербурга в Ригу, он не пропустил и этого случая, чтобы не открыть глаз и не обратить внимания на пользу, какую могут принести переходы войск, выступающие из расчета, укоренившегося навыком и употребляемого тогда всеми без исключения. Посадив один взвод на подводки и взяв с ним полную казну и знамя, он прибыл в восемь дней в Ригу и оттуда донес нарочным о дне прибытия полка на определенное ему место рапортом в Военную коллегию, изумленную таковой поспешностью. Вскоре прибыла и остальная часть полка, но не в тридцать суток, как предписано было по маршруту, а не более как в четырнадцать суток. Одна Екатерина, во всей России, поняла и молодого полковника и оба данные им наставления, и тогда же она сказала о нем: "Это мой собственный, будущий генерал!"

После такого слова легко было и не Суворову идти к цели свободно и без опасения препятствий; что же должен был сделать Суворов с своею предприимчивостью, с своею железною волею? И как он этим воспользовался!

Он предал анафеме всякое оборонительное, еще более отступательное действие в российской армии и сорок лет сряду, то есть от первого боевого выстрела до последнего дня своей службы, действовал не иначе, как наступательно.

Он совокуплял все силы и всегда воевал одною массою [5], что давало ему решительное превосходство над рассеянным того времени образом действий, принятым во всей Европе, - образ действия, и поныне употребляемый посредством, следовательно, неослабно и беспрестанно: ибо везде дорывается она до власти преимущественно пред дарованием, по существу своему гордо-скромным.

Что касается до чистого боевого действия, Суворов или стоял на месте, вникая в движения противника, или, проникнув их, стремглав бросался на него усиленными переходами, которые доньше именуются суворовскими, и падал, как снег на голову.

Следствием таких летучих переходов, предпринимаемых единственно для изумления неприятеля внезапным для него нападением во время его расплоха и неготовности к бою, было предпочтение Суворовым холодного оружия огнестрельному. И нельзя быть иначе: не вытягивать же линии и не завязывать дело канонадою и застрельщиками, чтобы, встревожив противника нечаянным появлением, дать ему время прийти в себя, оглядеться, устроиться и привести положение атакованного в равновесие с положением атакующего! И весь этот образ действия, им созданный, приспособлялся к местностям и обстоятельствам его чудесным, неизъяснимым даром мгновенной сметливости при избрании выгоднейшего стратегического пути между путями, рассекающими область, по которой надлежало ему двигаться, и тактической точки поля сражения, на коем надлежало ему сражаться. По этому пути и на эту точку устремлял он все свои силы, не отвлекая их никакими посторонними происшествиями, случаями и предметами, - как не отвлекал он

до конца жизни мыслей и чувств своих от единственной господствовавшей над ним страсти - страсти к битвам и славе военной.

Из кратких выписок его приказов или так называемых заметок мы видим лишь похвалы штыку и презрение к ружейной пальбе; это значило, что надо было, избегая грома, часто мало вредящего и отсрочивающего развязку битв, сблизиться с неприятелем грудь с грудью в рукопашной схватке. Везде видна решительность и быстрота, а не действие ошупью. Он любил решительность в действиях и лаконизм в речах; длинные донесения и рассказы приводили его в негодование. Он требовал "да" или "нет", или лаконическую фразу, выражающую мысль двумя-тремя словами. Он был непримиримым врагом немогузнаек, о которых говорил: "От проклятых немогузнаек много беды". Однажды Суворов спросил гренадера: "Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды?" - "Три суворовских перехода", - отвечал гренадер. Презирая действия, носящие отпечаток робости, вялости, излишней расчетливости и предусмотрительности, он старался возбудить в войсках решительность и смелость, которые соответствовали бы его залетным движениям.

Суворов в конце своего знаменитого поприща предводительствовал австрийцами против французов [6]; он покорил Италию, в которой много буйных голов обнаруживали явную непокорность законным властям. Пусть австрийцы, французы, итальянцы скажут: где и в каком случае Суворов обнаружил жестокость и бесчеловечие? К концу кампании половина армии Моро с генералами Груши, Периньон, Виктор, Гардан и другими были взяты в плен. Обращение Суворова с пленными и вышеупомянутыми лицами могло ли сравниться с поведением австрийцев и англичан, которые томили своих пленных в смрадных, сырых казематах крепостей и понтонах?

Все немало изумлялись постоянству, с которым Суворов с юных лет стремился к достижению однажды избранной им цели, и выказанной им твердости душевной, необходимой для всякого гения, сколько бы он ни был глубок и обширен. Я полагаю, что еще в юности Суворов, взвесив свои физические и душевные силы, сказал себе: "Я избираю военное поприще и укажу русским войскам путь к победам; я приучу их к перенесению лишений всякого рода и научу их совершать усиленные и быстрые переходы". С этой целью он укрепил свое слабое тело упражнениями разного рода, так что, достигнув семидесятилетнего возраста, он ежедневно ходил по десяти верст; употребляя пищу простую и умеренную, он один раз в сутки спал на свежем сене и каждое утро обливался несколькими ушатами воды со льдом.

Избрав военное поприще, он неминуемо должен был встретить на нем много препятствий со стороны многочисленных завистников и вынести немало оскорблений.

Первым он противопоставил Диогеновскую бочку, и пока они занимались осуждением его причуд и странностей, он ускользал от их гонения; пренебрегая вторыми, он терпеливо следовал по единожды избранному пути. Он стремился к одной главной цели - достижению высшего звания, для употребления с пользой необычайных дарований своих, которые он сознавал в себе. Он мечтал лишь о славе, но о славе чистой и возвышенной; эта страсть поглотила все прочие, так что в эпоху возмужалости, когда природа влечет нас более к существенному, нежели к идеальному, Суворов казался воинственным схимником. Избегая общества женщин, развлечений, свойственных его летам, он был нечувствителен ко всему тому, что обольщает сердце. Ненавистники России и, к сожалению, некоторые русские не признают в нем военного гения; пятидесятитрехлетнее служение его не было ознаменовано ни одной неудачей; им были одержаны блестящие победы над знаменитейшими полководцами его времени, и имя его до сих пор неразлучно в понятиях каждого русского с высшею степенью военного искусства; все это говорит красноречивее всякого панегирика.

Предвидя, что алчность к приращению имени может увеличиваться с годами, он заблаговременно отстранил себя от хозяйственных забот и постоянно избегал прикосновения с металлом, питающим это недостойное чувство. Владея девятью

тысячами душами, он никогда не знал количества получаемых доходов; будучи еще тридцати лет от роду, он поручил управление имениями своим родственникам, которые доставляли его адъютантам, избираемым всегда из низшего класса военной иерархии, ту часть доходов, которая была необходима для его умеренного рода жизни[7].

Познание слабостей человечества и неослабное наблюдение за самим собою составляли отличительную черту его философии; когда старость и думы покрыли чело его сединами и морщинами, достойными наблюдения Лафатера, он возненавидел зеркала, которые надлежало выносить из занимаемых им покоев или закрывать полотном, и часы, которые также выносили из занимаемых им комнат. Многим эти оригинальные причуды казались весьма странными; они относили их к своенравию Суворова. Обладая в высшей степени духом предприятия, он, подобно свежему юноше, избегал всего того, что напоминало ему о времени, и изгонял мысль, что жизнь его уже приближается к концу. Он не любил зеркал, вероятно, потому, что мысль увидеть себя в них стариком могла невольно охладить в нем юношеский пыл, убить в нем дух предприятия, который требовал всей мощи душевной, всей любви к случайностям, которые были свойственны лишь молодости. Фридрих Великий, имея, вероятно, в виду ту же самую цель, стал румяниться за несколько лет до своей кончины.

Таким образом, укрепив свое тело физическими упражнениями, введя в заблуждение зависть своими причудами, терпеливо перенося разного рода оскорбления, наблюдая постоянно за собою и, наконец, предавшись душою лишь страсти к славе, Суворов, с полной уверенностью в силе своего гения, ринулся в военное поприще. Он достиг генерал-майорского чина лишь на сорок первом году жизни, то есть в такие лета, когда ныне многие, удостоившись получить это звание, спешат уже оставить службу. Кто из нас не видал тридцатилетних генерал-майоров, ропщущих на судьбу, препятствующую им достигнуть следующего чина через несколько месяцев? Суворов при производстве своем в генерал-майоры был почти вовсе неизвестен, но зато какой быстрый и изумительный переход от этой малой известности к великой и неоспоримой славе! Генерал Фуа сказал о Наполеоне:

"Подобно богам Гомера, он, сделав три шага, был уже на краю света". Слова этого известного генерала могут быть вполне применены к нашему великому и незабвенному Суворову.

И этого-то человека судьба позволила мне видеть и, что еще для меня лестнее, разменяться с ним несколькими словами в один из счастливейших дней моей жизни!

Вот как это было.

За несколько месяцев до восстания Польши Суворов командовал корпусом войск, расположенных в губерниях Екатеринославской и Херсонской. Корпусная квартира его была в Херсоне. Четыре кавалерийские полка, входившие в состав корпуса:

Переяславский конно-егерский, Стародубский и Черниговский карабинерные и Полтавский легкоконный - стояли лагерем близ Днепра, в разных пунктах, но близких один к другому. Полтавский находился у села Грушевки, принадлежавшего тогда княгине Елене Никитишне Вяземской, после того, как уверяли меня, какому-то Стиглицу, а нынче - не знаю кому. Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время путешествия ее в Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не далее ста шагов. Я и брат мой жили в лагере.

В одну ночь я услышал в нем шум и сумятицу. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку неснятою. Я бросился узнать причину этого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке[8] и остановился в десяти верстах от нас, в лагере одного из полков, куда приказал прибыть всем прочим полкам на смотр и маневры. Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости! Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что

покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился Суворов, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы его над самою природою на Альпах, этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека.

Вскоре мать моя и мы отправились вслед за полком и за любопытными и остановились в пустом лагере, потому что войска были уже на маневрах. Суворов приказал из каждого полка оставить по малочисленной команде для разбития палаток, а с прочими войсками начал действовать, и действовать по-своему: маневр кипел, подвигался и кончился в семнадцати верстах от лагерного места. К полудню войска возвратились. Отец мой, запыленный, усталый и окруженный своими офицерами, вошел к нам в палатку. Рассказы не умолкали. Анекдоты о Суворове, самые пролетные его слова, самые странности его передавались с восторгом из уст в уста. Противна была только требуемая им от конницы лишняя (как говорили тогда офицеры) быстрота в движениях и продолжительное преследование мнимого неприятеля, изнурявшее людей и лошадей.

Но всего более не нравился многим следующий маневр: Суворов разумел войско оружием, а не игрушкой, и потому требовал, чтобы каждый род войска подчинял все второстепенно касающееся до боевого дела, - как, например, свою красоту и стройность, - той цели, для которой он создан. Существенная обязанность конницы состоит в том, чтобы врезываться в неприятельские войска, какого бы они рода ни были; следственно, действие ее не ограничивается одной быстротою скака и равенством линий во время скака. Ей должно сверх того вторгаться в средину неприятельской колонны или фронта и рубить в них все, что ни попадется под руку, а не, проскакав некоторое расстояние, быстро и стройно обращаться вспять под предлогом испуга лошадей от выстрелов, не коснувшись ни лезвием, ни копытом до стреляющих. Для прекращения подобной отговорки Суворов приучал лошадей им командуемой конницы к скаку во всю прыть, вместе с тем приучал и к проницанию в средину стреляющего фронта, на который производится нападение. Но чтобы вернее достигнуть этой цели, он не прежде приступал к последнему маневру, как при окончании смотра или ученья, уверенный в памяти лошадей о том построении и даже о том командном слове, которым прекращается зависимость их от седоков.

Для этого он спешил половинное число конных войск и становил их с ружьями, заряженными холостыми патронами, так, чтобы каждый стрелок находился от другого в таком расстоянии, сколько нужно одной лошади для проскока между ними; другую же половину оставлял он на конях и, расставя каждого всадника против промежутка, назначенного предварительно для проскока в пехотном фронте, приказывал идти в атаку. Пешие стреляли в самое то время, как всадники проскакивали во всю прыть сквозь стреляющий фронт; проскочив, они тотчас слезали с лошадей, и этим заключался каждый смотр, маневр или ученье. Посредством выбора времени для такого маневра лошади так приучились к выстрелам, пускаемым, можно сказать, в их морду, что вместо страха они, при одном взгляде на построение против них спешивающихся всадников с ружьями, предчувствуя конец трудам своим, начинали ржать и рваться вперед, чтобы, проскакав сквозь выстрелы, возвратиться на покой в свои коновязи или конюшни. Но эти проскоки всадников сквозь ряды спешившихся солдат часто дорого стоили последним. Случалось, что от дыма ружейных выстрелов, от излишней торопливости всадников или от заноса некоторых своенравными лошадьми не по одному, а по несколько вдруг, они попадали в промежуток, назначенный для одного: это причиняло увечье и даже смертоубийство в пехотном фронте. Вот отчего маневр был так неприятен тем, кому выпадал жребий играть роль пехоты. Но эти несчастные случаи не сильны были отвратить Суворова от средства, признанного им за лучшее для приучения конницы к поражению пехоты: когда доносили ему о числе жертв, затоптанных первою, он обыкновенно отвечал: "Бог с ними! Четыре, пять, десять человек убую; четыре, пять, десять тысяч выручу", - и тем оканчивались все

попытки доносящих, чтобы отвлечь его от этого единственного способа довести конницу до предмета, для которого она создана.

За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят генерал-марш, и войско станет седлать лошадей, ожидая сбора, чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слышали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда, ни прежде, ни после, сего не делывал, и что все это была одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали.

До рассвета войска выступили из лагеря, и мы, спустя час по их выступлении, поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницу, ведомую Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами, в облаках пыли, показывался кто-то скачущий в белой рубашке, и в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: "Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!" Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием хотя однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне.

И подлинно, около десяти часов утра все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: "Скачет, скачет!" Мы выбежали и увидели Суворова во ста саженьях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки.

Я помню, что сердце мое упало, - как после упало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу толпу, составленную из четырех полковников, из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова - на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой, маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов, - это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафатера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки; все это, невзирая на детские лета, напечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот почему не нравится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, с которого вернейшая копия находится у меня, да бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти: портрет, искусно выгравированный Уткиным, не похож: он без оригинального выражения его физиономии, спящ и безжизнен.

Когда он несся мимо нас, то любимый адъютант его, Тищенко, - человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, - закричал ему: "Граф! что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича". "Где они? где они?" - спросил он и, увидя нас, повернул в нашу сторону, подскочил к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе.

Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подзав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: "Любишь ли ты солдат, друг мой?" Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: "Я люблю графа Суворова; в нем все - и солдаты, и победа, и слава". - "О, Бог помилуй, какой удалой! - сказал он. - Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдет по гражданской службе". И с этим словом вдруг повернул лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке.

Суворов в сем случае не был пророком: брат мой весь свой век служил в военной службе и служил с честью, что доказывают восемь полученных ран, - все, кроме двух, от холодного оружия, - ран, издали не получаемых; а я не командовал ни армиями, ни даже отдельными корпусами; следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений. При всем том слова великого человека имели что-то магическое: когда, спустя семь лет, подошло для обоих нас время службы и отцу моему предложили записать нас в Иностранную коллегию, то я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного; брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступил в военное звание, около году служил в Московском архиве иностранных дел юнкером.

В этот день все полковники и несколько штаб-офицеров обедали у Суворова. Отец мой, возвратясь домой, рассказывал, что пред обедом он толковал о маневре того дня и делал некоторые замечания. Как в этом маневре отец мой командовал второю линиею, то Суворов, обратясь к нему, спросил: "Отчего вы так тихо вели вторую линию во время третьей атаки первой линии? Я посылал к вам приказание прибавить скоку, а вы все продолжали тихо подвигаться!" Такой вопрос из уст всякого начальника не забавен, а из уст Суворова был, можно сказать, поразителен. Отец мой известен был в обществе необыкновенным остроумием и присутствием духа в ответах; он, не запутавшись, отвечал ему: "Оттого, что я не видел в том нужды, ваше сиятельство!" - "А почему так?" - "Потому, что успех первой линии этого не требовал: она не переставала гнать неприятеля. Вторая линия нужна была только для смены первой, когда та устанет от погони. Вот почему я берег силу лошадей, которым надлежало впоследствии заменить выбившихся уже из сил". - "А если бы неприятель ободрился и опрокинул бы первую линию?" - "Этого быть не могло: ваше сиятельство были с нею!" Суворов улыбнулся и замолчал. Известно, что он морщился и мигом обращался спиною в ответ на самые утонченные лести и похвалу, исключая тех только, посредством которых разглашалась и укоренялась в общем мнении его непобедимость; эту лесть и похвалу он любил и любил страстно, вероятно, не из тщеславия, а как нравственную подмогу и, так сказать, заблаговременную подготовку непобедимости.

Вечером мы с матерью нашей и со всеми домашними поспешили обратно в Грушевку. Важное происшествие приготовлялось для нашего дома. Суворов, по особенной благосклонности к моему отцу, сам назвался к нему на обед. Не помню точно, но, кажется, это было во время Петровского поста, или день обеда был в среду или пятницу; только мне весьма памятна хлопота и суматоха в доме для приискания поболее и получше рыбы и для приготовления других любимых им блюд.

Не менее забот было и при устройстве приема и угощения знаменитого гостя, - так, чтобы ход обыкновенного его образа жизни и привычных странностей и прихотей не получил ни малейшего изменения.

К восьми часам утра все было устроено. В гостиной поставлен был большой круглый стол с разными постными закусками, с благородного размера рюмкою и с графином водки. В столовой накрыт был стол на двадцать два прибора, без малейшего украшения посреди, без ваз с фруктами и с вареньем, или без плато, как тогда водилось, и без фарфоровых кукол на нем. Ничего этого не было; Суворов этих прихотей ненавидел. Поставлен был длинный стол, на нем скатерть, а на скатерти двадцать два прибора, и все тут. Не было даже суповых чаш на столе, потому что кушанья должны были подаваться одно за другим, с самого пыла кухонного огня, прямо к сидящим за трапезою; так обыкновенно делывалось у Суворова. В одной из отдельных горниц за столовой приготовлены были: ванна, несколько ушатов с холодною водою, несколько чистых простынь и переменное его белье и одежда, привезенные из лагеря.

Маневры того дня кончились в семь часов утра, то есть в семь часов утра войска были уже на марше к лагерю. Отец мой, оставив свой полк на походе, поскакал в лагерь во всю прыть своего черкесского коня, на котором был на маневрах, чтобы там переменить его,

скорее приехать к нам и до прибытия Суворова исправить то, что требовало исправления для его принятия. Уже он был на половине пути от лагеря к Грушевке, как вдруг с одного возвышения увидел около двух верст впереди себя, но несколько в боку - всадника с другим всадником, отставшим довольно далеко; оба они скакали во все поводья по направлению к Грушевке; это был Суворов с одним из своих ординарцев, скачущий туда прямо с маневров. Отец мой усилил прыть своей лошади, но не успел приехать к нашему дому прежде сего шестидесятитрехлетнего старца-юноши. Он нашел уже его, всего опыленного, на крыльце, трепавшего коня своего и выхвалявшего качества его толпе любопытных, которою был окружен. "Помилуй Бог, славная лошадь! Я на такой никогда не ездил. Это не-двужильная, а трехжильная!" [9] Тут отец мой пригласил и провел его в приготовленную ему комнату, а сам занялся туалетом: подобно Суворову, он весь покрыт был пылью, так что нельзя было угадать черт лица его.

Начали наезжать приглашенные на этот же обед другие гости: я помню тогда дежурного генерала при Суворове - Федора Ивановича Левашова, майора Чорбу, Тищенко, о котором сказал прежде. Тут были также полковники полков, собранных на маневры, все чиновники корпусного штаба Суворова, с ним прибывшие, и несколько штаб-офицеров Полтавского полка. Из полковников памятливы мне только Юрий Игнатьевич Поливанов (кажется, тогда уже в бригадирском чине) и подполковник Карл Федорович Гейльфрейх. Все сии гости были в полном параде, в шарфах, и все находились в гостиной, где был отец мой, одетый подобно другим, во всю форму, мать моя, мы и одна пожилая госпожа, знакомая моей матери, приехавшая из Москвы вместе с нами. Она с первого взгляду не понравилась Суворову и была предметом насмешливых взглядов и шуток во все время пребывания его у нас.

Мы все ожидали выхода Суворова в гостиную. Это продолжалось около часу времени. Вдруг растворились двери из комнат, отделенных столовою от гостиной, и Суворов вышел оттуда чист и опрятен, как младенец после святого крещения. Волосы у него были, как представляются на его портретах. Мундир на нем был генерал-аншефский того времени, легкоконный, то есть темно-синий с красным воротником и отворотами, богато шитый серебром, нараспашку, с тремя звездами. По белому летнему жилету лежала лента Георгия первого класса; более орденов не было. Летнее белое, довольно узкое исподнее платье и сапоги, доходившие до половины колена, вроде легких ботфорт; шпага на бедре. В руках ничего не было, - ни шляпы, ни каски. Так я в другой раз увидел Суворова.

Отец мой вышел к нему навстречу, провел его в гостиную и представил ему мать мою и нас. Он подошел к ней, поцеловал ее в обе щеки, сказал ей несколько слов о покойном отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем за несколько лет пред тем наместником Харьковской, Курской и Воронежской губерний. Каждого из нас благословил снова, дал нам поцеловать свою руку и сказал: "Это мои знакомые", - потом, обратясь ко мне, повторил: "О, этот будет военным человеком! Я не умру, а он выиграет три сражения". Тут отец мой представил ему родную сестру мою, трехлетнего ребенка. Он спросил ее: "Что с тобою, моя голубушка? Что ты так худа и бледна?" Ему отвечали, что у нее лихорадка. "Помилуй Бог, это нехорошо! Надо эту лихорадку хорошенько высечь розгами, чтоб она ушла и не возвращалась к тебе". Сестра подумала, что сечение предлагается ей самой, а не лихорадке, и едва не заплакала. Тогда, обратясь к пожилой госпоже, Суворов сказал: "А об этой и спрашивать нечего; это, верно, какая-нибудь мадамка". Слова сии сказаны были без малейшей улыбки и весьма хладнокровно, что возбудило в нас смех, от которого едва мы воздержались. Но он, не изменяя физиономии, с тем же хладнокровием подошел к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил ее одним глотком и принялся так плотно завтракать, что любо.

Спустя несколько времени отец мой пригласил его за обеденный стол. Все разместились. Подали щи кипячие, как Суворов обыкновенно кушивал: он часто любил их хлебать из самого горшка, стоявшего на огне. Я помню, что почти до половины обеда он не занимался ничем, кроме утоления голода и жажды, среди глубокого молчания; и что он обе

эти операции производил, можно сказать, ревностно и прилежно. Около половины обеда пришла черед и разговорам. Но более всего остались у меня в памяти частые насмешки его над пожилою госпожой, что нас, детей, чрезвычайно забавляло, да и старших едва не увлекало к смеху. В течение всего обеда он, при самых интересных разговорах, не забыл ловить каждый взгляд ее, как скоро она обращалась в противную от него сторону, и мгновенно бросал какую-нибудь шутку на ее счет. Когда она, услышав его голос, оборачивалась на его сторону, он, подобно школьнику-повесе, потуплял глаза в тарелку, не то обращал их к бутылке или стакану, показывая, будто занимается питьем или едою, а не ею. Так, например, взглянув однажды на нее тогда, как она всматривалась в гостей, он сказал вполголоса, но довольно явственно: "Какая тетеха!" И едва успела она обратиться на его сторону, как глаза его опущены уже были на рыбу, которую он кушал весьма внимательно. В другой раз, заметив, что она продолжает слушать разговоры тех же гостей, он сказал: "Как вытаращила глаза!" В третий раз, увидев то же, он произнес: "Они там говорят, а она сидит да глядит!"

Тищенко сказывал после, что из одного только уважения к матери моей Суворов ограничил подобными выходками нападки свои на госпожу, которая ему не понравилась, но что обыкновенно он, дабы избавиться от присутствия противной ему особы, при первой встрече с нею восклицал: "Воняет, воняет! Курите, курите!" И тогда привычные к нему чиновники, зная уже, до кого речь касается, тайно подходили к той особе и просили ее выйти из комнаты. Тогда только прекращались его восклицания.

После обеда он завел речь о лошади, на которой ездил на маневрах и приехал к нам на обед. Хвалил ее прыткость и силу и уверял, что никогда не ездил на подобной, кроме одного раза в сражении под Кослуджи. "В сем сражении, - сказал он, - я отхвачен и преследуем был турками очень долго. Зная турецкий язык, я сам слышал уговор их между собою, чтобы не стрелять по мне и не рубить меня, а стараться взять живого: они узнали, что это был я. С этим намерением они несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватились за куртку; но при каждом их наскоке лошадь моя, как стрела, бросалась вперед, и гнавшиеся за мною турки отставали вдруг на несколько сажений. Так я спасся!"

Пробыв у нас около часа после обеда весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей, он отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ:

"Первый полк отличный; второй полк хорош; про третий ничего не скажу; четвертый никуда не годится".

В приказе полки означались собственным именем каждого; я назвал их номерами. Не могу умолчать, однако, что первый номер принадлежит Полтавскому легкоконному полку.

По отдании этого приказа Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал обратно в Херсон.

Спустя несколько месяцев после мирных маневров конницы и насмешек над пожилою госпожой на берегах Днепра, Польское королевство стояло уже вверх дном, и Прага, залитая кровью, курилась [\[10\]](#).

Все представлявшиеся были приглашены к обеденному столу Суворова, который имел обыкновение садиться за стол в девять часов утра. Приглашенные заняли места по старшинству за столом, на котором была поставлена простая фаянсовая посуда. Перед обедом Суворов, не поморщившись, выпил большой стакан водки. Подали сперва весьма горячий и отвратительный суп, который надлежало каждому весь съесть; после того был принесен затхлый балык на конопляном масле; так как было строго запрещено брать соль ножом из солоницы, то каждому следовало заблаговременно отсыпать по кучке соли возле себя. Суворов не любил, чтобы за столом катали шарики из хлеба; замеченному в подобной вине тотчас приносили рукомойник с водой; А. М. Каховский, замечательный по своему необыкновенному уму, избавился от подобного наказания лишь острым словом. Опасаясь после штурма Праги быть застигнутым неприятелем врасплох, Суворов приказал артиллерии сжечь большой мост, ведущий в Варшаву, где в то время находилось еще десять тысяч хорошего войска под начальством Вавжецкого. В нашем лагере все

ликовало после удачного штурма и пило по случаю победы; солдаты Фанагорийского полка, не будучи в состоянии чистить свое оружие, наняли для этого других солдат. Погода стояла хорошая, но весьма холодная; из поднятых палаток поднимался пар от красных лиц солдат, что доставляло немало удовольствия Суворову, говорившему: "Помилуй Бог, после победы день пропить ничего, лишь бы начальник позаботился принять меры противу внезапного нападения". Он приказал построить узкий мост для пешеходов, по которому было дозволено жителям приходиться в Прагу для отыскания тел своих ближних. Суворов справедливо рассчитал, что это ужасное зрелище должно неминуемо поколебать мужество поляков; в самом деле, Варшава вскоре сдалась. Суворов торжественно отправился в карете в королевский дворец; в карете сидел против него дежурный генерал Потемкин, человек замечательного ума (он служил впоследствии на Кавказе и сделал на воротах Екатеринограда, обращенных к стороне Тифлиса, надпись: "Дорога в Грузию"). Король встретил его у подъезда. Простившись с его величеством, Суворов не допустил его сойти с лестницы. Во время выступления польских войск в числе десяти тысяч человек из Варшавы казачьему майору Андрею Карповичу Денисову удалось захватить всех польских начальников, беспечно завтракавших в гостинице; подъехав после того к польским войскам, Денисов, с хлыстиком в руках, приказал им положить оружие, что и было тотчас исполнено. (Это было мне сообщено А. П. Ермоловым.)

В 1820 году этот самый Денисов, уже в чине генерал-лейтенанта, был отдан под суд, за превышение власти, генералом А. И. Чернышевым. А. П. Ермолов, будучи вызван около этого времени в Лайбах для начальствования армиею в Италии и захвав дорогой в Новочеркасск, узнал о том от Болгарского, правителя канцелярии Чернышева. Убедившись в невинности храброго генерала Денисова, он решился его спасти. Прибыв в Лайбах, Алексей Петрович увидел Чернышева, который сказал ему: "Я слышал, что вы находите мой поступок несправедливым; но я не мог не подвергнуть суду Денисова, превысившего власть свою". На это Ермолов возразил: "Во-первых, я знаю положительно и докажу вам, что ваше обвинение несправедливо и совершенно неосновательно; во-вторых, я спрошу вас: дерзнули ли вы бы сделать малейшее замечание Матвею Ивановичу Платову, который несравненно более Денисова и весьма часто превышал свою власть, и в-третьих, я обращаю ваше внимание на следующее: я был еще ничтожным офицером, а вы - ребенком, когда этот храбрый Денисов, отличаемый Суворовым, заставил в 1794 году десяти тысячный польский корпус положить оружие и спас с двумя полками пруссаков после отражения их от Варшавы". Зная благосклонность императора Александра к Ермолову, который не преминул бы довести это до сведения его величества, Чернышев нашелся вынужденным освободить Денисова из-под суда. Возвращаясь в Грузию, Ермолов проехал через Аксай, куда выехали к нему навстречу многие донцы, которые весьма любили и уважали его. В числе прибывших находился и Денисов, который приехал благодарить за ходатайство его об нем. (Мне рассказал это сам Болгарский и дополнил А. К. Денисов.)

Примечания

[1] Известно, что он упал к ногам императора Павла, говоря: "Боже, спаси царей!" "Вам, - сказал император, - предстоит спасать их". Видя, что Суворов с трудом подымается, государь сказал своим придворным: "Помогите встать графу". При этих словах Суворов сам быстро встал, воскликнул: "О, помилуй Бог, Суворов сам подымается, никто в том ему не помогает".

[2] Суворов просился однажды в Москву в отпуск с Моздокской линии, устройство которой ему было поручено. Так как императрица не изъявила своего согласия на продолжительный отпуск, он получил лишь пятнадцатидневный. Прибыв в Москву ночью, он благословил спящих детей и тотчас предпринял возвратный путь на линию.

[3] Однажды Военная коллегия жаловалась императрице на Суворова, в полках которого было слишком много музыкантов, что вынуждало его уменьшать число фронтовых солдат. Собран был военный совет, на котором присутствовал и Суворов, который, выслушав все

мнения, сказал: "Хороший и полный хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг; это ведет к победе, а победа к славе". Императрица вполне предоставила это дело на его благоусмотрение. (Многие сведения о великом Суворове были мне сообщены князем Андреем Ивановичем Горчаковым.)

[4] Взятие Варшавы в 1831 году без грабежа нисколько не опровергает всего мною сказанного, ибо гарнизон города имел свободный выход, которым и воспользовался. Если б гарнизон нашелся вынужденным сражаться на улицах, в домах и костелах, город подвергся бы страшным бедствиям.

[5] Рассеяние части армии на осады некоторых крепостей в Италии принадлежит единственно венскому Военному совету. Суворов неоднократно восставал на такой распорядок и два раза просил себе отзывать из армии. Не вмешивайся этот совет в его распоряжения, нет сомнения, что по превосходству числительной силы Суворова над силою французской армии и гения его над дарованиями Моро, союзные войска еще в июне месяце были бы на границах Франции, Макдональд, занимавший Неаполь, увидел бы себя без сообщения с Франциею, и Массена принужден был бы оставить Швейцарию.

[6] Маршал Макдональд сказал однажды в Париже нашему послу графу П. А. Толстому: "Хотя император Наполеон не дозволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не любит говорить о ней. Я был очень молод во время сражения при Требии; эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру; меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов".

[7] В 1794 году Суворов, выступив из Бреста-Литовского, оставил здесь несколько гренадер для охранения имущества отставного польского полковника Детерко, опасавшегося быть разоренным русскими войсками, которые должны были следовать чрез этот город в Варшаву после выступления Суворова. После взятия Варшавы императрица наградила Суворова фельдмаршалским жезлом и местечком Кобриным, где он провел несколько суток во время проезда своего в свою главную квартиру, находившуюся в Тульчине. Явившись в Кобрин, Детерко со слезами обратился к Суворову и объявил ему, что, невзирая на присутствие оставленных гренадер, он был совершенно ограблен нашими войсками. Суворов спросил у управляющего Кобриным: "Сколько у нас денег?" На ответ управляющего: "До десяти мешков и в каждом не менее тысячи рублей", Суворов приказал все отдать Детерко, который был крайне удивлен этой щедростью. (Это мне сообщено А. П. Ермоловым.)

[8] Тележка эта хранилась у покойного отца моего как драгоценность и сожжена в Бородине, во время сражения, в 1812 году, вместе с селом, домом и всем имуществом, оставленным в доме.

[9] В народе существует предрассудок, что будто в шеях некоторых сильных и прытких лошадей находятся две особые жилы.

[10] Суворов, соединившись в Кобылках с корпусом Дерфельдена, входившим до этого времени в состав армии князя Репнина, двинулся к Праге. Авангардом этого корпуса командовал граф Валериан Александрович Зубов, которому оторвало ногу при переправе через Нарев близ деревни Поповки; ему пожаловали за то андреевский орден, что давало право на генерал-лейтенантский чин. Все офицеры корпуса Дерфельдена должны были представляться Суворову; в комнатах, где был назначен прием, невзирая на холодное время года, были заблаговременно отворены все окна и двери для выкуривания немогузнаек. Так как Суворов не любил черного цвета, то было строго запрещено представляться в нижнем платье этого цвета. В числе представляющихся находился Дерфельден, высокоуважаемый Суворовым, князь Лобанов-Ростовский (племянник князя Репнина и впоследствии министр), украшенный Георгием 3-го класса за Мачинское сражение, Ливен (впоследствии князь), капитан А. П. Ермолов, много иностранных волонтеров, в числе которых находились подполковник граф Кенсона и граф Сен-При. Суворов, обратясь к Лобанову, сказал с усмешкой: "Помилуй Бог, ведь Мачинское сражение было кровопролитно". Смотри на Ливена, он сказал: "Какой высокий, должно

быть, весьма храбрый офицер. Отчего это я на вас не вижу ни одного ордена?" Сказав графу Сен-При: "Вы счастливо служите; в ваши лета я был только поручиком", он вдруг бросился его целовать, говоря: "Ваш дядя был моим благодетелем, я ему многим обязан". Эти слова не были понятны в то время, но впоследствии узнали, что дядя Сен-При, будучи французским министром, возбудил первую турецкую войну. Обратясь к графу Кенсона, Суворов спросил его: "За какое сражение получили вы носимый вами орден и как зовут орден?" Кенсона отвечал, что орден называется Мальтийским и им награждаются лишь члены знатных фамилий. "Какой почтенный орден! - возразил Суворов. - Позвольте посмотреть его". Сняв его с Кенсона, он его показывал всем, повторяя: "Какой почтенный орден!" Обратясь потом к прочим присутствовавшим офицерам, он стал их поодиночке спрашивать: "За что получили вы этот орден?" "За взятие Измаила, Очакова и прочее", - было ответом их. "Ваши ордена ниже этого, - сказал Суворов. - Они даны вам за храбрость, а этот почтенный орден дан за знатный род".

Д.В. Давыдов. Три письма на 1812 года компанию, написанные русским офицером, убитым в сражении при Монмартре 1814-го года

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Ты любопытен знать, почтеннейший друг мой, общий ход событий достопамятного 1812 года. Удаленным от круга действий, он представляется как волшебная опера, в которой гром, молния, морские волны, мгновенная перемена декораций, все восхищает зрителей! Но находящийся на сцене часто видит: и жестяные лучи, и полотняные волны, и хрупкие колеса, и ржавые блоки, коими движется сия (в некотором расстоянии) очаровательная механика.

Не оставляя от первого выстрела до занятия Москвы, а потом до берегов Рейна сцену сей кровопролитной драмы, наблюдая бдением критика от начала до конца все ее действие, я более, может быть, другого в состоянии удовлетворить твое любопытство. Не ожидай красноречия, я солдат и пишу по-солдатски, но как солдат люблю истину, и потому многие из деяний, описанных в журналах и реляциях, представятся в другом виде в рассказе моем, посвященном дружеству и чуждом раболепству.

Прежде, нежели войдем в подробности, обыдем целое. Мы увидим с одной стороны государство, хотя обширное, но малолюдное в сравнении с своею обширностью, с истощенною казною после нескольких браней, противных ее выгодам, и пятилетнего препядствия в торговле; занятое войнами с двумя сильными восточными державами, угрожаемое на севере завистливым соседом, не готовое к бою на западных границах своих, где армии им собираемые, едва достаточны противоборствовать авангарду армий, на него посягающих. А с другой - все вооруженные силы Европы, предводительствуемые опытнейшими начальниками и величайшим полководцем в летописях вселенной; силы, движимые непоколебимым уверением в победе, неизменно украшавшей шестнадцать лет сряду знамена их предводителя.

Вот какое взаимное было положение государств, одних восставших с духом алчности и насилия, другого предпочитавшего гибель постыдному покою! (...)

13-го июля Мюрат, подкрепленный 4-м корпусом, атаковал Остермана и Палена; корпус Докторова и дивизия Коновницина подошла на подпору. Битва сия продолжалась два дни! Наши отступали к Витебску, где все ожидали генерального сражения; по оправдательному письму ген[ерала] Барклая видно, что и он склонен был на сие пагубное предприятие, ибо он говорит: "мое намерение было сражаться при Витебске, потому что я чрез сражение сие достигнул бы важной цели, обращая на сию точку внимание неприятеля, останавливая его, и доставляя тем к[нязю] Багратиону способы приблизиться к 1-й армии". Но он, кажется, не принял в уважение, что неприятель, занимая его при Витебске, одним или двумя

корпусами, мог обратить все силы свои к Смоленску, и что по овладению им сим городом, все способы к соединению обеих армий пресекутся.(...)

К счастью, на 15-е число ге[нерал] Барклаи проник опасности и вследствие сего армия предприняла того дня отступление. Оставя без опоры вступивший уже тогда в дело арьергард гр[афа] Палена, она следовала тремя колоннами к Смоленску: 1-я чрез Рудню, а 2-я и 3-я чрез Поречье. (...)

26-го числа с вечера, обе армии поднялись с места и направились 1-я в Ведро, а 2-я в Катань, оставя отряд на дороге к Поречью для наблюдения над вице-королем италийским. Намерение наше было воспользоваться развлеченным положением неприятельской армии, и чрез поражение Нея и Мюрата разорвать ее линию. Мысль похвальная! Но, к несчастию, нерешительность и тут председательствовала в совете! Страх наш простирался до того, что при стремлении нашем к Рудни, мы опасались действия вице-короля от Поречья на наш правый фланг, тогда как всякое неприятельское движение, сколько было опасно от юга, столько благоприятствовало от севера, ибо обращало нас (хотя и против воли нашей) к выгоднейшему положению - к заслонению изобильнейшаго края отечества. Грусно и смешно сказать, что в совете положено было ни под каким предлогом не отходить более трех переходов от Смоленска, хотя бы случилось совершенно истребить корпус Мюрата и Нея и тем разрезать надвое неприятельскую армию! Зачем же было двигаться с места? Зато исполнение соответствовало соображению! 27-го атаман Платов и ген[ерал]-лейтенант граф Пален соединенно разбили при дер. Инкове несколько полков неприятельской кавалерии, под командою генерала Сабостияни и Монбрюна находившихся.

Тем началось и кончилось великое предприятие! Остальное время армии вместо наступления ходили с места на место, выбирая позиции к сражению и даже (неизвестно по каким причинам) два раза возвращались к Смоленску и обратно приходили к Рудни. Между тем французская армия 29-го июля предприняла движение к Росасне, и 5-й корпус подвинулся из Могилева в Романове. Мюрат и Ней заняли позиции на правом берегу Днепра против дер. Холиной. ...Тот же день вся кавалерия Мюрата, подкрепленная 3-м корпусом (Нея), подошла к Красному и атаковала ген. Неверовского, который геройскою неустрашимостию изгладил проступок без пользы защищать пустой город и без надежды на подкрепление отступить 45-ть верст, окруженным всею кавалериею. Отряд сей ночевал в 5-ти верстах от Смоленска.

Что же предпринимал Барклай при быстром стремлении неприятеля к сему городу, угроженному занятием прежде возвращения обеих армий?

Проходя, так сказать, ощупью девять дней вдоль правого берега Днепра, он 4-го числа в разстройстве бежал с армиями к Смоленску, приказав ген. Раевскому, находившемуся ближе других к городу, подкрепить ген. Неверовскаго и защищать Смоленск до прибытия армии. (...)

В сей день был жестокой приступ; Бонапарте, пользуясь несоразмерностию сил с своей стороны, употреблял всю мощь свою дабы занять город прежде прибытия наших армий, но неколебимость духа и искусная защита Раевского заменила малочисленность войск его, и поправила сколько-нибудь нелепую нашу прогулку к Рудни. Обе армии прибыли ночью на высоты против города, где остановились на несколько часов. (...)

Вечером старшие генералы ездили к главнокомандующему умолять его, чтобы хотя день замедлить здачею города, взяв в уважение несметную потерю неприятеля, котораго даже резервы состояли в огне два дни сряду. Все прозьбы и предложения были тщетны; Барклай приказал оставить Смоленск и решился отступить к Дорогобужу.

Я не против сего отступления. Но должно было еще 4-го числа взвесить выгоду и невыгоду удержания Смоленска. Если оно представляло первое, то надлежало не уступать города и погрестись под стенами онаго. Если представляло второе, то следовало отступить к Соловьеву еще в ночь на 5-е число и не терять даром несколько тысяч храбрых, которыя сразились бы в другом месте с большею пользою! (...)

ПИСЬМО ВТОРОЕ

(...) 17-го августа прибыл в Царево-Займище новой главнокомандующий к[нязь] Кутузов и приездом своим возвысил дух в армии, видимо у падший от непрерывных и бесполезных пожертвований жизни и покоя в течение двухмесячного действия. Все чины явно оскорблялись хотя неизбежному, но столь продолжительному отступлению без генерального сражения, все его требовали... и может быть светлейший неосторожно пожертвовал пользою общею для угождения великодушному желанию гордых воинов! Он бросил взор на Бородинские равнины и определил их театром наижесточайшей и кровопролитнейшей битвы в летописях вселенной. (...)

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

(...) Итак покамест Наполеон находился в Москве, армия наша в укрепленном лагере при Тарутине, усиливаясь многочисленною милицию, прибывающими из резервов и депо свежими войсками и с Дону доброконными полками, в избытке всех жизненных и военных потребностей, коих транспорты покрывали Тульскую и Калужскую дорогу до глубины Малороссии, готовилась к великим предприятиям. (...)

6-го числа октября Мюрат был атакован при реке Чернишне. Атака ведена была на левой фланг и тыл неприятеля десятью казацкими полками и 20-м егерским полком под командою ген[ерала] г[рафа] Орлова-Денисова, с подкреплением трех легких кавалерийских гвардейских полков и одного драгунского под начальством генерала барона Меллера-Закомельского. 2-й, 3-й и 4-й пехотные корпуса боковым движением вправо усиливали натиск Орлова и Меллера. План атаки был превосходен! Если бы в последующих повелениях было более точности, тогда Мюрат и авангард его погибли бы несомненно! При всем том, он отступил не без урона, оставя 1000 человек пленными, 38 орудий, большой парк, весь обоз авангарда и свой собственной.

Успех сей пробудил Наполеона, представя ему меру силы и духа русской армии. (...)

Генерал Дорохов, занимавший Боровск, 9-го числа уведомил о усилении неприятельского 4-го корпуса в Фоминском, но полагал в рапорте своем, что корпус сей ни к чему более не назначен как для сделания связи авангарда французской армии с Большою Смоленскою дорогою?! Вследствие чего 6-й корпус (Докторова) определен был согласно с отрядом Дорохова нечаянно напасть на французской корпус и принудить его к отступлению. Неутомимый Сеславин открыл как силы, так и настоящее направление неприятеля, и немедленно уведомил о сем Докторова, находившагося в селении Аристове на марше к Боровску, но покамест дошло о сем донесение до главной квартиры, Наполеон занял Боровск. Положение наше было критическое! Малейшая медленность отверзала бездны нещастия! Оставался один пункт - Малой Ярославец; судьба России, французской армии и, может быть, Европы решалась его обладанием. Ген[ерал] Ермолов, находившийся в качестве начальника Главного штаба 1-й армии при Докторове, предложил ему пути к Малому Ярославцу. Докторов колебался. Ермолов взял на себя ответственность и повел корпус форсированно к сему городу, но, прибывши к нему в ночь на 12-е число, нашел его хотя слабо, но уже занятым неприятелем. В 5 часов завязалось дело, которое с приближением обеих воюющих армий сделалось весьма значительным. Бонапарте подвинул в огонь весь 4-й корпус (вице-короля), поддерживая его 5-ю и 3-ю дивизиею 1-го корпуса. С нашей стороны подкрепили Докторова 7-м и 8-м корпусом. Битва усилилась: город был занимаем и уступаем семь раз сряду, до самой полночи, и, наконец, остался в руках неприятеля. (...)

По всем расчетам пункт Мало-Ярославца совершал приговор одной из двух армий, не смотря на то, по общему удивлению, 14-го числа оба великие предводители перенесли назад главные свои квартиры! Наполеон, оставя вовсе Мало-Ярославец, отошел в Боровск, а светлейший в с[сло] Гончарове, повелев двум казацким отрядам не терять из виду неприятеля, и поспешнее доносить о его движении. (...)

Неприятель после Мало-Ярославца нигде уже не воспрещал нашему движению, а поспешно следовал по опустошенному им пути к Смоленску. Окруженный партизанами и легкими отрядами, ни денно, ни ночью не имея спокойствия, лишаясь в следовании своем парков, орудий и обозов, и теряя великое число пленными, усталыми, бродягами и убитыми, он таким образом прибыл к с[слу] Федоровскому, что перед Вязьмою, где 22-го числа был атакован всеми преследующими его отрядами, подкрепленными авангардом армии. (...)

Прибывши 28-го числа в Смоленск, он оставил город сей 1-го ноября, и 3-го занял гвардиею г[ород] Красный, неотступно тревоженный на пути своем партизанами, действовавшими в промежутках колонн и отбивавшими обозы, орудии и целыя взводы пехоты. 4-го числа армия наша расположилась на ночлег не доходя 5-ти верст до Краснова, близ большой дороги. 5-го числа она двинулась на поражение неприятеля. (...)

Авангард г[енерала] Милорадовича, состоявший из 2-го и 7-го корпусов и 2-го кавалерийского, находясь при большой дороге у селения Мерлина, допустил приближение корпуса Давуста к Красному, куда в то время двинулся 3-й корпус и 2-я кирасирская дивизия. Неприятель остановился и приготовился к бою, но стремление войск наших столько было дружно и решительно, что Давуст принужденным нашелся предпринять отступление, которое потом обратилось в бегство. (...) Еще корпус ф[ельдмаршала] Нея оставался в Смоленске и только 5-го числа утром долженствовал оставить город сей, вследствие чего г[енерал] Милорадович получил в подкрепление 8-й корпус и повеление, занявши селение Чернышню и Сырокоренье, ожидать неприятеля; прочие же войска обратились в преследование за главными силами Наполеона, следующими поспешно в Оршу. 6-го числа около трех часов пополудни казаки открыли неприятеля, приближавшегося к нашей позиции с твердым намерением пробиться сквозь оную. Отпор был жестокой и соразмерен нападению. Два раза маршал Ней возобновлял атаку и два раза в расстройстве оставлял поле сражения! Но, наконец, общий натиск кавалерии и пехоты нашей довершил поражение французов, большая часть их положила оружие, но маршал с остальными войсками перешел Днепр при Сырокореньи и успел чрез несколько дней соединиться с Бонапартом! Число пленнх простиралось до 100 офицеров, 12000 рядовых и 27 орудий. Естли б атаман Платов, следующий чрез Катань, успел в тот день прибыть против Сырокоренья, или село сие было бы занято Милорадовича войсками вследствие предписания, то, без изменения, и сам маршал не избегнул бы участи своего корпуса. Однако атаман, отбивши у вице-короля еще 112 орудий под Смоленском и занявши город сей 5-го числа утром, оставил в нем 20-й егерский полк с сотнею казаков, и, отправя вслед за маршалом Неем генерала Денисова с двумя казачьими полками и 6-ю эскадронами драгун при двух орудиях, сам с 15-ю полками казаков. конною донскою артиллериею и с 1-м егерским полком взял направление на Катань к Орше правым берегом Днепра. Польза движения сего была ощутительна, но время уже было упущено! (...)

15-го числа вся Белостокская губерния освободилась от неприятеля, 1-го января главная квартира ИМПЕРАТОРА и светлейшего перешла в Мерич. Войска же продолжали преследование, стараясь направлением своим отделить австрийския и саксонския войска от 20-ти тысячной французской армии, следовавшей почти без артиллерии и в совершенном расстройстве, частью на Торунь, и частью на Данциг.

Вот тебе, почтеннейший мой друг, естли не красноречивое, то по крайней мере точное обозрение 1812 года кампанию!

Ф. Глинка. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

В 1817 году, когда мне довелось быть Председателем известного в то время Литературного общества и, в чине полковника гвардии, членом Общества военных людей и редактором Военного журнала, посетили меня в один вечер (в квартире моей в доме Гвардейского

штаба) Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич (Жуковский) первый завел разговор о моих Письмах русского офицера, заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества.

"Ваших писем, - говорил Жуковский, - нет возможности достать в лавках: все-де разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным".

Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, а наконец заговорил: "Нет! - сказал он, - не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не позволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро ее ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написано у вас где случилось, как пришлось... Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтальной офицер, не могли ни знать, ни ведать! И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный XII-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умиленным самоотвержением готова была на всякое пожертвование". <...>
Ф. Глинка

[1] Печатается с сокращениями по тексту: Глинка Ф. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год. М., 1870 (Здесь и далее примечания составителя, примечания Ф. Н. Глинки отмечены *).

-----00, Интернет-проект "1812 год".

Текст подготовлен Эдуардом Фрелихом.

I

ОПИСАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА ДО ИЗГНАНИЯ НЕПРИЯТЕЛЯ ИЗ РОССИИ И ПЕРЕХОД ЗА ГРАНИЦУ В 1813 ГОДУ

Мая 10, 1812. Село Сутоки

Природа в полном цвете!.. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильною грозой, сжимает его.

Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает... Но, может быть, это мечты!..

"Недаром, - говорят простолюдины, прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала: не к добру это все! Быть великой войне!" Эти добрые люди имеют свои замечания. В самом деле, мы живем в чудесном веке: природа и люди испытывают превратности необычайные. Теперь в "Ведомостях" только и пишут о страшных наводнениях, о трясении земли в разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы читаем в Степенных книгах[1], что перед великим нашествием татар на Россию солнце и луна изменяли вид свой, и небо, чудесными знаменами, как бы предуведомляло землю о грядущем горе... Нельзя не согласиться с знаменитым Махиавелем[2], что мыслящие умы так же легко предузнают различные приключения в судьбе царств и народов по известным обстоятельствам, как мореплаватели затмение светил и прочее по своим исчислениям.

Известно, до какой степени маркиз Куева де Бедмар[3], описанный Сент-Реалем, силен был в науке предузнавать!.. К чему, в самом деле, такое притечение войск к границам? К чему сам государь, оставя удовольствия столицы, поспешил туда разделять труды

воинской жизни? - К чему, как не к войне!.. Но война эта должна быть необыкновенна, ужасна!.. Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников; грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, - прорвется - и наводнение будет неслыханно! - О, друг мой! Ужели бедствия нашествий повторятся в дни наши?.. Ужели покорение? Нет! Русские не выдадут земли своей! Если не останется воинов, то всяк из нас будет одной рукой водить соху, а другой сражаться за Отечество!

Кого не мучит теперь любопытство, чтоб разгадать загадку будущего? - Я читаю славную Гедеонову[4] проповедь на разрушение Лиссабона - и живо представляется воображению моему, как величавый муж сей в священных сумерках пространныго храма, где голос его в таинственных отзывах повторяется, перед лицом императрицы Елисаветы, описывая бедствия колеблющейся природы и страшную гибель Лиссабона, смело укоряет блестящий сонм вельмож в отставлении праотеческих нравов, в неге и роскоши, которым предаются, и вдруг, устами боговдохновенного пророка, гласит им в последнее наставление сии священные слова: и когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Прощай! Я иду в свой садик поливать цветы и слушать громкого соловья - пока это еще можно! "Жить невидимкой - значит быть счастливу!" - говорит славный философ Декарт. Еще раз: прощай!..

16 июля 1812 – Смоленск

Сейчас приехал я в Смоленск. Какое смятение распространилось в народе!.. Получили известие, что неприятель уже близ Орши. В самом деле, все корпуса, армию нашу составляющие, проходя различными путями к одной цели, соединились в чрезвычайно укрепленном лагере близ Дриссея [5] и ожидали неприятеля. Полагали, что он непременно пойдет на то место, чтоб купить себе вход в древние пределы России ценой сражения с нашими войсками; ибо как отважиться завоевывать государство, не разбив его войск? Но дерзкий Наполеон, надеясь на неисчислимо войнство свое, ломится прямо в грудь Отечества нашего. Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы; всякий разведывает, где безопаснее. Никто не хочет достаться в руки неприятелю. Кажется, в России, равно как и в Испании, будет он покорять только землю, а не людей...

17 июля. Смоленск

Мой друг! настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный, после двухсотлетнего сна, пробуждается, чуя угрозу военную. Губернский предводитель наш, майор Лесли, от лица всего дворянства испрашивал у государя позволения вооружить 20000 ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию. Находящиеся здесь войска и многочисленная артиллерия были обозреваемы самим государем. К ним, по высочайшему повелению, должны немедленно присоединиться идущие из Дорогобужа и других депо рекрутские батальоны. Уже передовой отряд, под начальством храброго генерала Оленина, выступил к Красному. Старый генерал Лесли, поспешно вооружив четырех сынов своих и несколько десятков ратников, послал их присоединиться к атому же отряду, чтоб быть впереди. Вчера принят Е. И. В. из отставки в службу Г.-М. Пассек и получил начальство над частью здешних войск. - Земское ополчение усердием дворян и содействием здешнего гражданского губернатора барона Аша со всевозможной скоростью образуется. Смоленск принимает вид военного города. Беспреданно звенят колокольчики; скачут курьеры; провозят пленных, или шпионов. Несколько польских губерний подняли знамя бунта. Недаром они твердили пословицу: "Слышит птичка весну". О заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения!.. Обстоятельства становятся бурны. Не знаю, буду ли с тобой видеться, но письменное сношение заменяет половину свидания - так говорит персиянин Бек-али; я верю ему - и буду стараться к тебе писать. Прощай!..

18 июля, 1812. Село Сутоки

Наконец поля наши, покрытые обильнейшей жатвой, должны будут вскоре сделаться полями сражений. Но счастливы они, что послужат местом соединения обеих армий и приобретут, может быть, в потомстве славу Полтавских: ибо Первая Западная армия, под начальством Барклая-де-Толли, а вторая - князя Багратиона, после неисчислимых препятствий со стороны неприятеля, соединились па-конец у Смоленска. Г. Платов прибыл сюда же с 15000 Донского войска. Армия наша немногочисленна; но войска никогда не бывали в таком устройстве, и полки никогда не имели таких прекрасных людей. - Войска получают наилучшее продовольствие; дворяне жертвуют всем. Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться у стен смоленских. Некоторые из них изъявляют желание это самым простым, но, конечно, из глубины сердца исходящим выражением: мы уже видим седые бороды отцов наших, говорят они: отдадим ли их на поругание? Время сражаться!

19 июля. Там же

Я имел удовольствие обнять брата моего Григория, служащего в Либавском пехотном полку. Общество офицеров в этом полку прекрасное, солдаты отменно хороши. Объехав несколько полков, я везде находил офицеров, которые принимали меня как истинные друзья, как ближайшие родные. Кто же такие эти прекрасные люди? спросишь ты. - Общие наши товарищи: кадеты! - О! Как полезно общественное воспитание! Никакие уставы, никакие условия обществ не могут произвести таких твердых связей между людьми, как свычка ранних лет. Совоспитанники по сердцу и душе встречаются везде с непритворным, сердечным удовольствием... Многие из товарищей наших уже полковниками и в крестах; но обхождение их со мной точно то же, какое было за 10 перед этим лет, несмотря на то, что я только бедный поручик! Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы; когда пища, науки и резвости были общими; когда, не имея понятия о жизни и свете, мы так сладостно мечтали о том и другом!.. Помнишь, как, повторяя бессмертные слова Екатерины, что корпус кадетский есть рассадник великих людей, мы любили воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству. Но сколько из юных растений этого рассадника, поверженные в бури случаев, утратили способности свои от бездействия, сделались бесполезными от несправедливости людей и увяли от бедности - или в тени неизвестности, лишенные спасительных лучей - ободрения!..

Вчера армии двинулись от Смоленска, вниз по течению Днепра, к окрестностям озера Катани. Авангард пошел к Рудне; оттуда ожидают неприятеля, который теперь толпится на пространстве между Двиной и Днепром. Это наступательное движение войск наших много обрадовало народ. Всякий стал дышать свободнее!..

Дай бог нашим вперед! Помоги бог оттолкнуть дерзких от древних рубежей наших!..

Однако ж, идя вперед, кажется, не забывают о способах, обеспечивающих и отступление...

На этих днях военное начальство требовало у гражданского губернатора надежного и деятельного дворянина для особенных важных препоручений. Зная из многих опытов усердие и деятельность брата моего Ивана, губернатор представил начальству его. Тотчас поручено было ему, со всевозможной скоростью, без лишней огласки, устроить сколько можно более переправ на Днепре у Соловьева, что на большой Московской дороге. Мосты спеют с удивительной поспешностью. Работают день и ночь. Великие толпы народа, бегущие из разных занятых неприятелем губерний, переправляются беспрестанно. "Но неужели и войска пойдут через них?" "Ужели и Смоленск сдадут?.." Солдаты будут драться ужасно! Поселяне готовы сделать то же. Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. "Повели, государь! Все до одного идем!" Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтоб не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей собраться, вооружаться и действовать, где, как и кому можно. "Дозволят - и

мы, поселяне, готовы в подкрепу воинам. Знаем места, можем вредить, засядем в лесах, будем держаться - и удерживать; станем сражаться - и отражать!.."

Августа 4 дня. Село Сутоки, в 2 часа, за полдень

В сии минуты, как я пишу к тебе дрожащей рукой, решается судьба Смоленска.

Неприятель, сосредоточив где-то великие силы, ворвался вчера в Красное; и между тем как наши смотрели на Рудню, он полетел к Смоленску, чтоб овладеть им внезапно.

Дивизия Неверовского принесла сегодня французов на плечах; а храбрый генерал Раевский встретил их с горстью войск и не впустил в город. Сегодня все обыватели высланы; батареи расставлены. Неприятель с двумястами тысяч наступает на Смоленск, защищаемый 150000 наших. Покровская гора еще в наших руках. Теперь сражение горит под самыми стенами. Когда получишь эти строки, то знай, что чей-нибудь жребий уже решился: или отбит Наполеон, или - дверь в Россию отперта!..

Я сейчас иду помолиться в последний раз на гробах родителей и еду к старшему брату Василию: от него видно сражение. Прощай!

Августа 8. Село Цуриково

Я видел ужаснейшую картину - я был свидетелем гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. 4 числа неприятель устремился к Смоленску и встречен, под стенами его, горстью неустрашимых Россиян. 5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг места; дрались как львы. Французы, или, лучше сказать, поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломались в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, утомленный противоборствием наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем - и все, что может гореть, - запылало!.. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками: вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными...

В глубокие сумерки вынесли из города икону смоленской божьей матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение людей было так велико, что многие выбегали полунагими и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад. Наполеон отдал приказ, чтоб Смоленск взят был непременно 5 числа; однако ж русские отстояли его грудью, и 5 числа город не был взят. Но 6 рано - о превратность судьбы! - то, что удерживали с таким усилием, отдали добровольно!.. Главнокомандующий имел на то причины. Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его - суть окрестности Везувия после извержения. Наши поспешно отступают к Дорогобужу, но сейчас, т. е. 8 числа к вечеру, приостановились недалеко от Бредихи. Третьего дня дрались, вчера дрались, сегодня дерутся и завтра будут драться! Злодеи берут одним многолюдством. Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, гласит, наконец, главнокомандующий в последней прокламации своей. Итак народная война!

Его императорское высочество Константин Павлович, усердно разделяющий с войском труды и опасности, был свидетелем кровопролитного боя и страшного пожара смоленского. С душевным прискорбием взирал он на разрушение одного из древнейших городов своего отечества. Жители Смоленска неутешны. Несчастья их неописанны. О, друг мой! Сердце твое облилось бы кровью, если бы ты увидел злополучие моей родины.

Но судьбы высшего неиспытанны. Пусть разрушаются грады, пылают села, истребляются дома, исчезает спокойствие мирных дней, но пусть эта жертва крови и слез, эти стоны, народа, текущие в облако вместе с курением пожаров, умилюют, наконец, разгневанные небеса! Пусть пострадают области, но спасется Отечество! Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец!

Я и старший брат с нетерпением ожидали, пока выйдет брат наш Григорий из огня. Он был 12 часов в стрелках и дрался так храбро, как только может драться смолянин за свой отечественный город. В этом уверили нас все офицеры его полка. Бригадой их командовал генерал-майор Оленин и водил ее в самый жаркий огонь. Все жалеют о смерти отличного по долговременной службе, необычайной храбрости и доброте душевной генерала Баллы, который убит 5 числа в передней цепи стрелков. Кровопролитные битвы еще продолжаются. Мы ложимся и встаем под блеском зарев и громом перестрелок. Мне уже нельзя захватить домой; путь отрезан! Итак, иду туда, куда двигает всех буря войны!..

Сколько раненых! Сколько бегущих! Бесконечные обозы тянутся по полям; толпы народа спешат, сами не зная куда!.. Мы теперь нищие, с благородным духом, бродим уныло по развалинам своего отечества. Бедный С...! В то время как брат его сражается и отечественный город в глазах его горит, узнает он, что отец впал в жестокую горячку, а мать, испуганная приближением врага, умерла!.. Вот пример ужаснейшего положения, в котором находятся теперь многие! Повсюду стон и разрушение!.. Мы живем в дни ужаса! Прощай!.. Может быть, в атом мире уже навсегда!..

13 августа

Итак, я теперь Наследия отцов и родины лишен, Как птицы без гнезда стал, бурей унесен!..

Странствую по сгорающей земле, под небом, не внемлющим жалобам смертных. Всякий день вижу уменьшение отечества нашего и расширение власти врагов. Каждая ночь освещается заревами пожарищ.

Полнеба рдеет, как раскаленное железо. Я веду совершенно кочующую жизнь, переезжая из шалаша в шалаш, от огня к огню. В окрестностях Дорогобужа ехали мы некоторое время с конницей генерала Корфа. Старший брат мой, знающий там все тропинки, служил ей лучшим путеводителем. Теперь пристаем чаще всего в дежурстве генерала Дохтурова. Нередко хожу я и с гренадерами, которых ведет граф Строганов. Смотри на сего вождя, не подумал ли какой-либо себялюбец: имея неисчислимые способы к жизни, имея чины, заслуги, почести и дома у себя имея рай, зачем ему бросаться в бури, которыми дышит сам ад в дни наши; зачем наряду с простым солдатом, терпя потому труд и голод, стремиться в опасности, на раны в смерть? Но вот что значит любовь к Отечеству!.. Потомки не уступают предкам. О, чувство благородное, чувство священное! Обладай вечно сердцами россиян!..

Помнишь, как мы вместе читали Шиллерову трагедию "Разбойники"? Помнишь, как пугала нас страшная картина сновидения Франца Мора, картина, которую Шиллер с искусством Микеланджело начертал пламенным пером своим? Там, среди ужасного пожара вселенной, леса, села и города тают как воск, и бури огненные превращают землю в обнаженную пустыню! Такие-то картины видим мы всякий раз, ложась спать! Каковы же должны быть сновидения? - спросишь ты. Их нет: усталость лишает способности мечтать. Уже и Дорогобуж и Вязьма в руках неприятеля: Смоленская губерния исчезает! Прощай!

Августа 16

Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на этого необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли села, города и округи в руки неприятеля; вопиет ли народ, наполняющий леса или великими толпами идущий в далекие края России: его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю волнуем невольными сомнениями: куда идут войска? для чего уступают области? и чем, наконец, все это решится? Но лишь только взглядываю на лицо это-то вождя сил российских и

вижу его спокойным, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений. Нет! думаю я, человек, не имеющий обдуманного плана и верной цели, не может иметь такого присутствия, такой твердости духа! Он, конечно, уже сделал заранее смелое предназначение свое; и цель, для нас непостижимая, для него очень ясна! Он действует как провидение, не внемлющее пустым воплям смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу. Когда Колумб, посредством глубоких соображений, впервые предузнал о существовании нового мира и поплыл к нему через неизмеримые пространства вод, то спутники его, видя новые звезды, незнакомое небо и неизвестные моря, предались было малодушному отчаянию и громко возроптали. Но великий духом, не колеблясь, ни грозным волнением стихии, ни бурею страстей человеческих, видел ясно перед собой отдаленную цель свою и вел к ней вверенный ему провидением корабль. Так, главнокомандующий армиями, генерал Барклай-де-Толли, проведенный с такой осторожностью войска паши от Немана и доселе, что не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потеряв почти ни одного орудия и ни одного обоза, этот благоразумный вождь, конечно, увенчает предназначения свои желанным успехом. Потерянное может возвратиться; обращенное в пепел возродиться в лучшей красоте. Щедроты Александра обновят края, опустошенные Наполеоном... Всего удивительнее для меня необычайная твердость ведущего армии наши. Смотри на него, я воображаю Катона и прекрасное место из Лукановой поэмы [6], где автор представляет этого великого мужа под пламенным небом Африки, среди раскаленных песков Ливии <...> Тут же и прекрасный Горациев стих сам собой приходит на ум:

"И на развалинах попранная вселенной, Катон, под бурями, неколебим, стоит!.."

17 августа

С какой грустью оставляют они дома, в которых родились, выросли и были счастливы! Бедные жители злополучных стран!

В одном прекрасном доме, близ дороги, написаны на стене женскою рукою простые, но для всякого трогательные слова:

Прости, моя милая Родина!

Друг мой! Настают времена, когда и богатые, оставляя великолепные чертоги, равняются с бедными и умножают толпы бегущих... Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оборонительные оружия, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!.. Сегодня крестьяне Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытесненные из одних засек, переходили в другие, соседние леса через то селение, где была главная квартира. Тут перевязывали многих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Перевязку вытерпел он с большим мужеством. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь к деду своему, другая убила древесным суком француза, поранившего ее мать. Многие имели простреленные шапки, полы и лапти. Вот почтенные поселяне войны! Они горько жаловались, что бывший управитель-поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян - полякам и прочим пришельцам?..

Того же числа

Теперь начальствует арьергардом и почти ежедневно сражается генерал-лейтенант Коновницын, воин, почтенный летами, заслугами и подвигами. У него адъютантом и правителем канцелярии общий совоспитанник и друг наш Ахшарумов, с которым я иногда выдаюсь. Быть бою кровавому, быть великому сражению! Всякий раз, когда, идя с солдатами во время ночных переходов, завожу с ними разговор или слушаю их, разговаривающих, то во всех поступках их замечаю ревностное и пламенное желание стать и сражаться! Горящие окрестности, разоряемые церкви, поруганная святыня и стон жителей с неизъяснимой силой действуют на души их. О! Как добры и благочестивы

солдаты русские! Чего нельзя с ними сделать? Никто не умеет так оценить и помнить храбрости офицера, как они. Один усатый гренадер, когда я с ним вчера разговаривал и объявил свое имя, сказал мне: "Да не родня ли вам Глинка, в Либавском полку что был под Смоленском в стрелках?" "Это брат мой", - отвечал я. "Он прехрабрый, сударь, человек! - говорил гренадер, - с ним весело ходить вперед!" Вот нечаянное приветствие - и самое лестное! От часу более распространяется слух о скором прибытии к армии Светлейшего Князя Голенищева-Кутузова. Говорят, что народ встречает его повсюду с неизъяснимым восторгом. Все жители городов выходят навстречу, отпрягают лошадей, везут на себе карету; древние старцы заставляют внуков лобызать стопы его, матери выносят грудных младенцев, падают на колени и подымают их к небу! Весь народ называет его спасителем. Государь сказал ему: "Иди спасать Россию!" Россия, указывая на раны свои, вопиет: "Спаси меня!" Бессмертные уже готовят место на скрижалях своих, чтоб передать имя его в бесконечность времен. Помнишь, как мы восхищались неподражаемым местом в Мармонтелевом Велисарии [7], где он представляет сего великого мужа проходящим через те самые области, которые спас от гибели, и повсюду собирающим бесценные дани нелестного усердия народа. О, как различна слава бичей и спасителей народов!

18 августа

Наконец прибыл сей лаврами и сединами увенчанный вождь! Некоторые из почтенных гжатских купцов привезли его сами па прекрасных своих лошадях в село Царево-Займище. Я сейчас видел Светлейшего Голенищева-Кутузова, сидящего на простой скамье подле одной избы, множество генералов окружили его. Радость войск неописанна. У всех лица сделались светлее, и военные беседы вокруг огня радостнее. Дымные поля биваков начинают оглашаться песнями.

20 августа

Как нетрудно понравиться солдату! Должно показать только ему, что заботишься о судьбе его, что вникаешь в его состояние, что требуешь от него необходимо нужного и ничего излишнего. Когда Светлейший Князь объезжал в первый раз полки, солдаты засуетились было, начали чиститься, тянуться и строиться. "Не надо! Ничего этого не надо! - говорил князь. - Я приехал только посмотреть, здоровы ли вы, дети мои! Солдату в походе не о щегольстве думать: ему надобно отдыхать после трудов и готовиться к победе". В другой раз, увидев, что обоз какого-то генерала мешает идти полкам, он тотчас велел освободить дорогу и громко говорил: "Солдату в походе каждый шаг дорог, скорей придет - больше отдыхать будет!" Такие слова главнокомандующего все войско наполнили к нему доверенностью и любовью. "Вот то-то приехал наш "батюшка"! - говорили солдаты, - он все наши нужды знает: как не подражаться с ним"; в глазах его "все до одного рады головы положить". Быть великому сражению!

Все обстоятельства предвещают сражение, долженствующее решить судьбу отечества.

Говорят, что в последний раз, когда Светлейший осматривал полки, орел явился в воздухе и парил над ним. Князь обнажил сединами украшенную голову; все войско закричало "ура!". В сей же день главнокомандующий приказал служить во всех полках молебны смоленской божьей матери и для иконы ее, находившейся при армии, сделать новый приличный кивот. Все это восхищает солдат и всякого!

На этих днях смоленский помещик Ряд привез двух сынов, прекрасных молодых людей, и просил определить их в службу[8*]. Другой смолянин, ротмистр Ключков, оставя прекрасную жену и пятерых детей, приехал служить и определился к почтенному генералу Лихачеву, который, от тяжелой боли едва передвигая ноги и почти совсем не владея руками, ездит на дрожках при своей дивизии и бывает в сражениях.

Вот что значит война отечественная!..

21 августа

Мне кажется, я переселился совсем в другой свет! Куда ни взглянешь, все пылает и курится. Мы живем под тучами дыма и в области огня. Смерть все ходит между и около нас! Она так и трется промеж рядов. Нет человека, который бы не видел ее каждый день, и

каждый день целые тысячи достаются ей на жертву! Здесь люди исчезают как тени. Сегодня на земле, а завтра под землей!.. Сегодня смеемся с другом; завтра плачем над его могилой!.. Тут целыми обществами переходят из этого на тот свет так легко, как будто из дома в дом! Удивительно, как привыкли здесь к смерти, в каких бы видах ни являлась: свистит ли в пулях, сеется ль в граде картечи или шумит в полете ядер и вылетает из лопающихся бомб ее никто не пугается. Всякий делает свое дело и ложится в могилу, как в постель. Так умирают сии благородные защитники отечества! Сии достойные офицеры русские. Солдаты видят их всегда впереди. Опасность окружает всех, и пуля редкого минует!..

22 августа

Поутру полки расположились около Колоцкого монастыря[9]. Там еще оставались два или три поседелых монаха. Я был у вечерни. Унылый стон колокола, тихое пение, синеватый сумрак, слегка просветляемый темной лампадою.

Вид пылающего отечества, бегущего народа и неизвестность о собственной судьбе сильно стеснили сердце. Я вышел и смотрел на заходящее солнце, которое усиливалось сохранить блеск свой в мутных облаках, гонимых холодным ветром. Ужели, думал я, и древняя слава России угаснет в бурях, как оно!.. Нет! Восстал дух русской земли! Он спал богатырским сном и пробудился в величественном могуществе своем. Уже повсюду наносит он удары злодеям. Нигде не сдается, не хочет быть рабом. Он заседает в лесах, сражается на пепле сел и просит поля у врага, готовясь стать и биться с ним целые дни.

Все признаки великого сражения час от часу более становятся видимы. Неприятель, совокупляя силы свои, каждый день с большею дерзостью надвигает. Силы его несметны!.. Они ширятся вправо и влево и темнеют, как дремучие леса, или ходят, как тучи, из которых, по временам, стреляет гром!..

23 августа

"Тут остановимся мы и будем сражаться!" - думал каждый, завидя высоты Бородинские, на которых устроили батареи. Войска перешли Колочу, впадавшую, здесь же, в селе Богородице, в Москву-реку, и установились на протяжении холмов, омываемых слиянием этих двух речек. Стало войско - и не стало ни жатв, ни деревень: первые притоптаны, другие снесены. "Война идет и метет!" Так говорится издавна в народе. Может ли быть бедствие лютейшее войны?..

Наступает вечер. Наши окапываются неумолимо. Засеками гордят леса. Пальбы нигде не слышать. Там, вдали, неприятель разводит огни; ветер раздувает пожары, и зарево выше и выше восходит на небеса! По последнему расположению войск у нас на правой руке Милорадович; на левой князь Багратион; в середине Дохтуров. Глава всех войск Князь Кутузов, под ним Барклай-де-Толли. Ожидает ют неприятеля и сражения. Прощай!

24 августа

Отдаленный гром пушек приветствовал восходящее солнце. Генерал Коновницын, с передовыми полками, схватился с неприятелем под стенами Колоцкого монастыря. Вот идут они: один искусно уклоняется, другой нагло влечет гремящие тысячи свои прямо на нас. Толпы его, тянувшиеся по дороге, вдруг распахнулись вправо и влево. Смотрите, какая необозримость их движущихся стен!.. Поля дрожат, кажется, гнутся под множеством конных; леса насыпаны стрелками, пушки вытягиваются из долин и кустарников и, в разных местах, разными тропами пробираясь, на холмы и пригорки въезжают.

Многочисленное неприятельское войско колеблется: кажется, в нерешимости. Вот пошатнулось было влево и вдруг повалило направо. Огромные полчища двинутся на левое наше крыло. Русские спокойно смотрят на все с укрепляемых своих высот. Пыль, взвившаяся до небес, уседается. Даль яснее. Неприятель к чему-то готовится. Посмотрим к чему...

24 августа. Поздно ввечеру

Неприятель, как туча, засипел, сгустившись, против левого нашего крыла и с быстротой молнии ударил на него, желая все сбить и уничтожить. Но князь Багратион, генерал

Тучков, храбрый граф Воронцов и прочие, призвав на помощь бога, укрепясь своим мужеством и оградясь русскими штыками, отбросили далеко пехоту, дерзко приступавшую к батареям. Пушки наши действовали чудесно. Кирасиры врубались с неимоверной отважностью. Раздраженный неприятель несколько раз повторял свои нападения и каждый раз был отражен. Поле покрылось горами тел. Во все время как мелкий огонь гремел неумолчно и небо дымилось на левом крыле. Князь Михаила Ларионович сидел на своей деревянной скамеечке, которую за ним всегда возили, у огня, на середине линий. Он казался очень спокоен. Все смотрели на него и, так сказать, черпали от него в сердца свои спокойствие. В руках его была нагайка, которую он то помахивал, то чертил что-то на песке. Казалось, что весь он превратился в слух и зрение, то вслушиваясь в гремящие переходы сражения, то внимательно обозревая положение мест. Часто пересылался с ним Багратион. Ночь прекратила бой и засветила новые пожары. Прощай до завтра!

25. Утро

Все тихо, неприятель отдыхает; перевязывает вчерашние раны и окапывает левое крыло свое. И наши не дремлют - готовятся.

25. Сумерки

Я почти целый день просидел на колокольне в селе Бородине. Оттуда в зрительную трубку - все как на ладони! Они роются, как кроты, в земле; строят преогромные редуты, а пушек, пушек, и сказать страшно! На одном только окопе насчитал я - сто! Но не один я задержан был любопытством на колокольне: многие генералы всходили туда же. Общее мнение было, что неприятель для того огораживает левое крыло свое, чтобы свести все войска на правое и с сугубым усилением ударить на левое наше. На середину также ожидали нападения. Но вот уже сумерки! Ветер поднимается с воем и гудит по шалашам. Французы оговорились и засветили огни. Я забыл сказать, что почти целый день шайки их стрелялись с нашими егерями: наши не давали им пить из Колочи. Прощай - темно! Иду доставать свечи.

С 25 на 26. Глубокая ночь

Все безмолвствует!.. Русские, с чистой, безупречной совестью, тихо дремлют, облегли дымящиеся огни. Сторожевые цепи пересылают одна другой протяжные отголоски. Эхо чуть вторит им. На облачном небе изредка искрятся звезды. Так все спокойно на нашей стороне.

Напротив того: ярко блещут устроенные огни в таборах [10*] неприятельских; музыка, пение, трубные голоса в крики по всему их стану разносятся. Вот слышны восклицания! Вот еще другие!.. Они, верно, приветствуют разъезжающего по строям Наполеона. Точно так было перед Аустерлицким сражением. Что будет завтра? Ветер гасит свечу, а сон смыкает глаза. Прощай!

29 августа. Окрестности Москвы

Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца спокойны были. Так началось беспримерное Бородинское сражение 26 августа. Туча ядер, с визгом пролетавших над нашим шалашом, пробудила меня и товарищей. Вскакиваем, смотрим - густой туман лежит между нами и ими. Заря только что начинала зажигаться. Неприятель подвез несколько сот орудий и открыл целый ад. Бомбы и ядра сыплются градом. Треск и взрывы повсеместны. Одни шалаша валяются, другие пылают! Войска бегут к ружью в огонь. Все это происходило в середине, а на левом нашем крыле давно уже свирепела гроза в непрерывных перекатах грома пушек и мелкого оружия. Мы простились с братом. Он побежал со стрелками защищать мост. Большую часть этого ужасного дня проводил я то на главной батарее, где находился Светлейший, то на дороге, где перевязывали раненых. Мой друг! Я видел это неимоверно жестокое сражение и ничего подобного в жизнь мою не видал, ни о чем подобном не слыхал и едва ли читывал.

Я был под Аустерлицом, но то сражение в сравнении с этим сшибка! Те, которые были под Прейсиш-Эйлау, делают почти такое же сравнение. Надобно иметь кисть Микеланджело,

изобразившую страшный суд, чтоб осмелиться представить это ужасное побоище. Подумай только, что до 400 тысяч лучших воинов, на самом тесном, по их многочисленности, пространстве, почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслыханным отчаянием: 2000 пушек гремели беспрерывно. Тяжко вздыхали окрестности - и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы метались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загрести сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице России; другие помнили, что заслоняют собой эту самую столицу сердце России и мать городов. Оскорбленная вера, разоренные области, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко вопияли о мщении и мужестве.

Сердца русские внимали священному воплю сему, и мужество наших войск было неописанно. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине и в разных местах, с огнем и громом, на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым нашим крылом и заслоняли середину, между тем как на правом сияло полное солнце. И самое светило мало видало таких браней на земле с тех пор, как освещает ее. Сколько потоков крови! Сколько тысяч тел! "Не заглядывайте в этот лесок, - сказал мне один из лекарей, перевязывавший раны, - там целые костры отпиленных рук и ног!" В самом деле, в редком из сражений прошлого века бывало вместе столько убитых, раненых и в плен взятых, сколько под Бородином оторванных ног и рук. На месте, где перевязывали раны, лужи крови не пересыхали. Нигде не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и разможенные руки до плеч были обыкновенны. Те, которые несли раненых, облиты были с головы до ног кровью и мозгом своих товарищей...

Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался беглый огонь из пушек. Бомбы, ядра и картечи летали здесь так густо, как обыкновенно летают пули; а сколько здесь пролетало пуль!.. Но это сражение неописанно: я сделал только абрис его. По счастью, на то самое место, где случился я с братом, привели уже около вечера нашего брата Григория. Он был ранен пулей в голову. Рана опасна, но не смертельна. Искусный лекарь перевязал ее. Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские устояли! Мы благословляли небо и поспешили проводить раненого в Можайск.

30 августа

"Так восходило оно в день Аустерлицкого сражения!" - сказал Наполеон перед строем войск, указывая на восходящее солнце. Надменный вождь хотел заранее читать победу в Небесах? Но предвещения его не сбылись. О, мой друг! Какое ужасное сражение было под Бородином! Сами французы говорят, что они сделали 60 000 выстрелов из пушек и потеряли 40 генералов! Наша потеря также очень велика. Князь Багратион тяжело ранен. "Оценка людей, говорит Екатерина, - не может сравняться ни с какими денежными убытками!" Но в отечественной войне и люди - ничто! Кровь льется как вода: никто не щадит и не жалеет ее! Нет, друг мой! Ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы Германии давно, а может быть никогда еще, не видали столь жаркого, столь кровопролитного и столь ужасным громом пушек сопровождаемого сражения! Одни только русские могли устоять: они сражались под отечественным небом и стояли на родной земле.

Однако ж Наполеон не остановился в Бородине: он влечет пронзенные толпы свои прямо к Москве. Там Милорадович, командуя передовыми войсками, принимает все удары на свой щит. Здесь составляется совещание об участи Москвы.

Что будет? Богу знать!

P. S. Я бы писал к тебе более и пространнее, но от нестерпимой головной боли едва могу мыслить. В течение всего этого времени, имев всегда постелью сырую землю, я сильно

простудил голову. Лучшее описание Бородинского сражения получишь разве со временем.
Прощай!

2 сентября

Мы привезли раненого брата в Москву. Вот уже другой день, как я в столице, которую так часто видал в блестящем ее великолепии, среди торжеств и пирований, и которую теперь едва-едва могу узнать в глубокой ее печали. О, друг мой! Что значит блеск городов, очаровывающий наши чувства? Это самая тленная полуца на меди, позолота на пилюле! Отняли у Москвы многолюдство, движение народа, суету страстей, стук карет, богатство украшений - и Москва, осиротелая, пустая, ничем не отличается от простого уездного города! Все уехало или уезжает. Вчера брат мой, Сергей Николаевич, выпроводил жену и своих детей. Сегодня жег и рвал он все французские книги из прекрасной своей библиотеки, в богатых переплетах, истребляя у себя все предметы роскоши и моды. Тому, кто семь лет пишет в пользу отечества против заразы французского воспитания, простительно доходить до такой степени огорчения в те минуты, когда злодеи уже приближаются к самому сердцу России. Я забыл сказать тебе, что государь, в последний свой приезд в Москву, пожаловал ему Владимирский крест при следующих словах: "За любовь вашу к отечеству, доказанную сочинениями и делами вашими". Мы было все пять братьев съехались в Москву, но пробыли вместе не более дня. Брат мой Иван уехал к князю Лобанову-Ростовскому, который взял его к себе в адъютанты... Уже враг в Москве! Уже французы в священных стенах Древнего Кремля!.. А мы, вслед за русскими войсками, пробираемся на Рязанскую дорогу. Древняя столица Севера, после двухсотлетней свободы, должна опять почувствовать тяготу оков иноплеменных!

4 сентября. Боровской перевоз

Москва в слезах; Москва уныла, Как темная в пустыне ночь!

Так говорил я, вместе с одним из превосходнейших наших поэтов, стоя на высоком Мячковском кургане у Боровского перевоза на Москве-реке. Я видел сгорающую Москву. Она, казалось, погружена была в огненное море. Огромная черно-багровая туча дыма висела над ней. Картина ужасная!.. Войска наши предпринимают какое-то очень искусное движение влево. Потеря Москвы не есть еще потеря Отечества. Так скажет история, и так говорит главнокомандующий: таков есть голос всего войска, готового сражаться до последней капли крови! Ты знаешь, что в 1571 году, при царе Иване Васильевиче, вся Москва разорена и была предана пламени набежавшим с ордой крымских татар ханом Дивлет-Гиреем в день 24 мая. "Все улицы наполнены были кровью и трупами, и Москва-река "мертвых не пронесла!" - так повествует летописец. В 1612 году она терпела почти такую же участь и славно избавлена Пожарским!

Один знаменитый писатель [11*] говаривал часто, что время настоящее беременно будущим. А посему-то, видя в настоящем всеобщее вооружение, воскресший народный дух, твердость войск и мудрость вождей, я предчувствую, что будущее, рожденное счастливыми обстоятельствами настоящего, должно быть некоторым образом повторением прошедшего; оно должно возратить нам свободу, за которую теперь, как и прежде, все ополчается. Друг мой! Будем молиться - и надеяться!

Сентября 10. Рязань

С какими трудами, неприятностями и препятствиями сопряжено всеобщее бегство!.. По Рязанской губернии в нескольких местах переправляются через одну только Оку, и ни в одном месте нет порядочной переправы! Ни к чему не годные паромы на ветхих канатах едва могут поднять десять лошадей и несколько человек, тогда как сотни проезжающих ожидают на берегу. Раненые офицеры больше всего при этом страждут. Целые семейства живут здесь на пустом берегу в ожидании очереди переправиться. Жена одного знакомого нам московского жителя, который простоял на переправе трое суток, разрешилась от бремени. Положение отца было самое печальное, ибо негде было взять никаких средств для вспоможения болящей и младенцу. Я еще в первый раз в здешних местах и в первый раз вижу, что Россия здесь так мало населена. Какие обширные поля и как мало жилищ!

Кажется, что вся населенность в России сдвинулась к ее границам. Если б можно было сделать противное, чтоб народ стеснился ближе вокруг сердца своего Отечества, а степи отделили бы от чуждых стран, чтоб разврат и оружие иноплеменников не так легко проникали в него!

Что сказать тебе более о нашем странствовании? Мы проехали Коломну, очень порядочный город, пониже которого сливается Москва-река с Окою. Я едва успел взглянуть там на древние развалины очень красивых башен; вихрь всеобщего смятения умчал и нас с собою далее. Мне очень хотелось найти здесь подполковника артиллерии, двоюродного брата моего и друга Владимира Глинку, который, помнишь, был с нами вместе в Корпусе[12]; но он уже ушел с ротою куда-то за Оку. Мы проезжали Зарайск, прелестный городок на берегу светлой реки Осетра, впадающей в Оку. Там осмотрел я старинную крепость, называемую Кремлем.

Говорят, что предки наши были непросвещенны; однако ж они умели выбирать самые выгодные места для своих Кремлей. Зарайский Кремль служит доказательством. Стоя на возвышенном месте, он преграждает переправу на реке и может действовать орудиями далеко по дороге, извинаящейся по чистым и гладким полям, по которой прихаживали туда татары. Почти вся Рязанская губерния полиста и безгорна: кое-где холмится. В каждой ложине хутор или деревенька. Ручей и рошица - суть сокровища в сей стороне. Земля отменно хлебородна. Женщины здешние ходят в шушунах а на голове носят остроугольные кички, которые придают им необыкновенный рост. Они говорят проезжим: "Добрый господин, касатик", одна другой говорят: "Подруга ластушка". Мужчины великорослы, свежи, белотелы; в обращении несколько суровы. Об Рязани, по причине краткого в ней пребывания, не скажу тебе ни слова. Я заметил только, что лучший и огромный из всех домов в ней есть дом откупщика. Как разживаются у нас откупщики и французы-учители!.. Мы полагали, что в таком городе, как Рязань, будет приют для раненых, но им велят убраться в Касимов; мы едем с братом туда. И здесь все волнуется. Бог знает от чего? Народ суетлив!

Сентября 11

Не припомнишь ли ты в прошлогоднем "Вестнике Европы" одной очень остроумной статьи? - Это было какое-то сновиденье, которое теперь можно назвать пророческим. Человек, писавший этот отрывок, сквозь целый год будущего видал сбывающееся ныне. Он видел, - говорит он, - во сне, что будто на Россию сделалось нашествие и Москва окружена татарами! Стон и вопли повсеместны. Но победоносный хан Узлу-к-узлу смягчается слезами нежного пола. Он позволяет каждой женщине вынести на себе то, что ей всего дороже. Зритель во сне с нетерпением ожидает, что или кого станут выносить?.. Наконец открылись заставы и повалили толпы женщин. У большей части из них ноши были легки: они несли шляпки, шали, ленты, кружева и прочие освященные модою безделки. Иные тащили кипы романов, другие уносили любимых постельных собачек, попугаев, кучи сладких записочек и раззолоченных альбомов. Вдруг мелькает знакомое лицо - жена любопытного зрителя.

С помощью нескольких дюжин горничных девушек тащит она на себе преогромный короб. Вот тут-то, верно, спрятаны дети мои, думает чадолюбивый отец и бежит вслед за женою. Молодая супруга останавливается, бережно опускает короб, с нетерпением открывает его, и - оттуда выскакивает... француз-учитель! Бедный муж ахнул и проснулся. А теперь не проснешься, видя подобные случаи: ибо видишь их наяву!.. С каким старанием сии скачущие за Волгу увозят с собою французов и француженок! Берегут их, как родных детей! Какое французолобие! Несчастные! Выезжая из чумы, везут с собою вещи, напоенные ядом ее!.. Не совсем-то хорошо и то, что по той же самой дороге, где раненые солдаты падают от усталости, везут на телегах предметы моды и роскоши. Увозят вазы, зеркала, диваны, спасают Купидонов, Венер, а презирают стоны бедных и не смотрят на раны храбрых!!

Гремит гром, но не всякий еще крестится!..

21 сентября. Село Льгово - недалеко от Рязани

Мы уже были в Касимове, но не более двух дней. Три перевязки, сделанные искусным лекарем, встретившимся нам на дороге, облегчили рану брата. Он не захотел тесниться в городе, наполненном великим множеством раненых, и, почувствовав себя в состоянии лечиться при полку, решил ехать в армию. В Касимове любопытно видеть древнее кладбище татарских ханов и читать надписи на обломках великолепных надгробников; но я не успел ничего видеть. Я только видел большие барки, на которых благородные семейства со всем домом, с каретами, лошадьми и прочим, тянулись вниз по реке. Все уплывает, уходит или уезжает! Вот времена! Дай бог, чтобы они скорее кончились и никогда не возобновились!

Как странна упряжь уезжающих! Часто подле прекрасной английской верховой лошади видим мы запряженную водовозную клячу; видим людей богато одетых в крестьянских телегах! Теперь люди испытывают то, о чем прежде едва ли слышали. Очень редко видим едущих к Рязани; везде оглобли и дышла повозок и головы лошадей обращены в противоположную сторону.

Сейчас гулял я по берегу Оки и смотрел, как буря играла синими волнами ее и гнала их в далекое пространство открытых степей. В разных местах приметны на берегах Оки огромные горы сыпучего песка: кто насыпал их? веки или наводнения? Песчаные берега, осененные темно-зелеными елями, под туманным небом представляют унылые Оссияновские картины.

Здесь, в Ольгове, есть монастырь на превысокой скале над Окою. Отшельник, живущий в нем, может смотреть в одно окно на Европу, в другое - на реку и степи, идущие к пределам Азии. С одной стороны слышит он шум страстен и стон просвещенных народов, с другой представляется ему молчаливая природа, в величественной важности своей. Полудикие племена, кочующие в дальних степях, не имеют великолепных городов и пышных палат, но зато незнакомы с заботами и горестями, гнездящимися в них!

26 сентября. Город Таруса

В Рязани простились мы с братом Сергеем: он поехал отыскивать жену свою и семейство, которое составляло все утешение, все счастье трудами и бурями исполненной жизни его. Кажется, Плутарх сказал, что брат есть друг, данный нам природою; мы испытали это, особенно в теперешнем странствии.

От Рязани проехали опять Зарайск, потом Каширу и Серпухов.

Какие прелестные места!.. Здесь берега Оки унизаны селениями, расположенными на прекрасных холмах, между зелеными рощицами. Почти на всякой версте видим красивые господские дома, каменные церкви, больницы и сады. Какое приятное соседство! Как счастливы должны быть здесь люди, если только они так хороши, как их природа! Женщины здешние имеют живой, алый румянец на белом лице, белокуры и вообще очень хороши собою. Здесь, верно, проводят приятные летние месяцы в хозяйственных занятиях, во взаимных друг другу посещениях, в прогулках по светло-голубой Оке и живописным берегам ее. Зимой здесь, верно, пользуются таким близким соседством: катаются на легких санях или бегают на коньках по светлому льду из дому в дом. Занимаются приятными разговорами, музыкою, полезным чтением и, важность бесед услаждая невинными забавами, живут в дружбе, любви и простоте, вовсе не заботясь о шумных городах и большом свете. Так думаешь, но совсем не то находишь. К сожалению, с того времени, как французские моды вскружили головы французских питомцев, на Руси изредка стали заглядывать в поместья свои. Собрав сельские доходы, тотчас спешат приносить их на алтарь моде во храмах, воздвигнутых ею в Москве. Французские торговки и рассеянная жизнь все поглощают!.. Питомцы французов, не заботясь о наследии отцов, входят в долги, читают французские романы и не могут поверить, что в стране своей родной с счастьем можно в селах знаться!

Опустелые каменные дома и различные заведения свидетельствуют, что здесь некогда люди пользовались выгодами и приятностями сельской жизни. Может быть, теперь,

вразумленные пожаром Москвы, сожженной их любимцами, дети возвратятся к благим обычаям отцов своих.

Друг мой! Французы-учители не менее опасны и вредны французов-завоевателей: последние разрушают царства, первые добрые нравы, которые, неоспоримо, суть первейшим основанием всех обществ и царств. Рассказывают, что одна несчастная, не россиянка по воспитанию, слюбившись с французом, воспитателем ее детей, выгнала из дому доброго, честного и генеральский чин уже имевшего мужа своего. Она могла это сделать, ибо, к несчастью, все имение принадлежит ей. Нежный отец украдкою только выдается с детьми своими. Когда велено было всех французов высылать за границу, то этот назвался прежде итальянцем, а потом жидом! Каковы французы! Нет брани, которой бы стоил этот превратный и развратный народ!

Теперь здесь побережье Оки совершенно пусто; все господа уехали в степи от французов, так как прежде, заражаясь иноземною дурью, ездили в Москву и в Париж к французам. Признаюсь тебе, что сколько я ни люблю прежних французских, а особливо драматических, писателей, однако желал бы, чтоб язык их менее употребителен был у нас. Он такой же вред делает нашему, как ничтожный червь прекрасному величественному дереву, которого корни подтачивает.

Крайне прискорбно видеть и в армии язык сей в излишнем употреблении. Часто думаешь, что идешь мимо французских биваков! Я видел многих нынешнего воспитания молодых людей, которые прекрасно говорят и пишут по-французски, не умея написать правильно нескольких строк на своем природном языке. Я заметил, что люди эти умны только по-французски. Послушай их, говорящих по-русски, - и вся ловкость, все обороты, вся замысловатость исчезают! Это очень легко объяснить. Ты знаешь, что у французов почти все умники суть фразеры (fraseurs), которые умны чужим умом. Память их испещряется выражениями разных писателей, и они беспрестанно повторяют то в разговорах, что затвердили в книгах. Множество каламбуров, пословиц и памятных стихов (des vers a retenir) придают разговорам их какую-то пестроту и приятность... на первый только раз! Однажды спросили у Дидерота, каких он мыслей о том человеке, с которым недавно проговорил целый час? "Он умен", - отвечал. Дидерот. Но те, которые знали его коротко, начали смеяться и доказали, что он дурак. "Ну, так я не виноват, - возразил Дидерот, - что он на один только час запасся умом!" Стало, у французов можно запастись умом? По-русски совсем иначе: надобно сочинять свой разговор, изобретать выражения, а для этого нужен незаемный ум. Суворов знал прекрасно французский язык, а говорил всегда по-русски. Он был русский полководец!

27 сентября

Я сделал бы великое преступление, если б в то время, как загружаю некоторые письма мои к тебе разными подробностями, не упомянул о деяниях одного из знаменитых соотечественников наших. Эти деяния, весьма полезные теперь, почтенные во всякое время и драгоценные для истории, пролагают сами себе верный путь чрез благородные сердца современников в память и сердца потомков. Я говорю о подвигах доброго, человеколюбивого генерала графа Воронцова. В самых молодых годах, получа одно из величайших наследств в России, он не уснул на розах. Напротив, по стезе трудов и терний пошел за лавровыми венцами. Не стану распространяться о его храбрости - она известна. Но не могу не разделить с тобою удивления моего тому, что ни богатство, в котором так легко черствеют сердца, ни блеск воинской славы не могли отвлечь его внимания от страданий ближних.

Никто больше его не вникал в нужды бедных офицеров, в никто не был ближе к принесению им помощи. Он привлекал к себе любовь подчиненных и славился ею еще в то время, как водил отряд свой по вертепам Балканских гор. Отгремев на берегах Дуная, явился он в войсках Второй Западной армии. В день ужаснейшей Бородинской битвы долго отстаивал с преданными ему гренадерами место свое на левом крыле. Наконец, покрытый ранами и славою, с потерюю крови и памяти унесен с поля. Теперь, остановясь в

одном из своих поместий, лежащем на одной из больших дорог, ведущих из Москвы в глубь России, он открыл весь дом свой к помещению, а сердце к просьбам несчастных. Все раненые офицеры, солдаты и бесприютные странники русские заходят к нему, как в собственный дом. Весьма приличное содержание, пища и покров. Многих благотворительность его оделяет втайне и деньгами. Слухи о сем, доходя до сих мест, восхищают всех истинно русских. А я сердечно рад, когда могу золотить письма мои немерцающим блеском отечественных добродетелей. "Где девал ты свое имение?" - спросил некогда царь Иван Васильевичу боярина Своего Шереметева. "Чрез руки бедных отправил к богу!" - отвечал он царю. Вот лучшее употребление богатств, употребление, достойное русских вельмож! В царствование Елисаветы, когда проповеди начинали уже становиться необходимыми к умягчению дебелевших в роскоши сердец, Гедеон в одной из проповедей, произнесенной им в день сошествия св. духа, жарко вступает за бедных. Он сильно и красноречиво доказывает, что богачи суть люди, которых бог удостоил быть блюстителями сокровищ земных, не для чего иного, как для вернейшего подела оных бедным собратиям своим. Ударит последний час, те и другие явятся с отчетом: первые в раздаче, последние в получении. Молитвы бедных отворят врата райские богачам. Богачи нашего времени! Какой ответ дадите вы, если глас царя небесного или голос Отечества спросит у вас: "Где деваете вы свои имения?" Горе тем, которые, указав на лиющееся море роскоши, скажут: "Там утопают они!" Не думаете ли вы, питомцы неги, пресыщаться спокойно отрадами жизни, когда придут грозы и вы по-прежнему в домах расставите ломкие сокровища - зеркала и фарфоры свои? Нет! Тогда громкие Стоны бедных, которые роями притекут к пеплу пожарищ своих, заглушат все песни вашей радости!..

29 сентября

Наконец, среди опустошенных селений, по лесистой проселочной дороге, соединяющей большую Тульскую с Калужской, прибыли мы к Тарутину. Небольшие отряды, рассеянные для фуражирования, служили нам проводниками. Обширное зарево, пылавшее на горизонте, еще издалека указало место, где стояла армия на биваках. Выезжаем из леса - и видим пространное поле, ряды высоких укреплений; вправо крутые берега Нары, далее представляется множество огней, ярко светящихся в вечерних сумерках, и многочисленное воинство, стройно расположенное в соломенных шалашах по обеим сторонам большой дороги. Веселые клики, повсеместное пение и музыка, в разных местах игравшая, ясно доказывали, что дух войск не был еще удручен печалью. Здесь-то остановились наконец храбрые тысячи русских, безмолвно следовавшие за своими вождами, беспрестанно сражавшиеся и при всегдашней победе уступавшие села, города, целые области хищному неприятелю. Здесь остановились они для того, чтобы всем до одного умереть или нанести смертельный удар нашествию.

Около ста тысяч войск чудесно укрепленное местоположение и большое число пушек составляют в сем месте последний оплот России. Но войско наше кипит мужеством; на любовь к отечеству овладела сердцами всего парода; но бог и Кутузов с нами - будем надеяться!

Сентября 30

На месте, где было село Тарутино Анны Никитишны Нарышкиной, и в окрестностях онога явился новый город, которого граждане солдаты, а дома - шалаша и землянки. В этом городе есть улицы, площади и рынки. На сих последних изобилие русских краев выставляет все дары свои. Здесь, сверх необходимых жизненных припасов, можно покупать арбузы, виноград и даже ананасы!.. тогда как французы едят одну пареную рожь и, как говорят, даже конское мясо! На площадях и рынках тарутинских солдаты продают отнятые у французов вещи: серебро, платье, часы, перстни и проч. Казаки водят лошадей. Маркитанты торгуют винами, водкой. Здесь между покупателями, между продающими и меняющимися, в шумной толпе отдохнувших от трудов воинов, среди их песен и музыки, забываешь на минуту и военное время, и обстоятельства, и то, что Россия уже за Нарю...

Отдых, некоторая свобода и небольшое довольство - вот все, что тешит и счастливит военных людей!

1 октября

Брат мой, у которого рана еще не зажила, являясь на службу, был очень благосклонно принят генерал-майором Талызиным и дивизионным начальником своим почтенным генерал-лейтенантом Капцевичем. Я приехал сюда также с тем, чтоб непременно определиться в полк. Но мне надо было найти генерала, который, зная прежнюю мою службу, принял бы бедного поручика хотя тем же чином, несмотря на то что все свидетельства и все аттестаты его остались в руках неприятеля и что на нем ничего более не было, кроме синей куртки, сделанной из бывшего синего фрака, у которого от кочевой жизни при полевых огнях полы обгорели. Я пошел к генералу от инфантерии Милорадовичу, живущему в авангарде впереди Тарутинской позиции. Он узнал меня, пригласил в службу; и я уже в службе - тем же чином, каким служил перед отставкой и каким отставлен, то есть поручиком, имею честь находиться в авангарде, о котором теперь гремит слава по всей армии.

4 октября. Село Тарутино

Сегодня генерал Милорадович взял меня с собой обедать к генералу Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву, который имел свои биваки за правым крылом армии. Обед был самый великолепный и вкусный. Казалось, что какая-нибудь волшебница лила и сыпала из неистощимого рога изобилия лучшие вина, кушанья и самые редкие плоды. Хозяин был очень ласков со всеми и прекраснейший стол свой украшал еще более искусством угощать. Гвардейская музыка гремела. Итак, твой друг, в корень разоренный смоленский помещик, бедный поручик в синей куртке, с пустыми карманами, имел честь обедать вместе с тридцатью лучшими из русских генералов...

К большому моему удовольствию я познакомился здесь с любезным молодым человеком графом Апраксиным, адъютантом генерала Уварова.

7 октября. Тарутино

Еще звенит в ушах от вчерашнего грома. После шести мирных лет я опять был в сражении, опять слышал шум ядер и свист пуль. Вчерашнее дело во всех отношениях удачно. Третьего дня к вечеру генерал Беннигсен заезжал к генералу Милорадовичу с планами. Они долго наедине советовались. Ночью знатная часть армии сделала, так сказать, вылазку из крепкой Тарутинской позиции. Славный генерал Беннигсен имел главное начальство в этом деле. Генерал Милорадович командовал частью пехоты, почти всей кавалерией) и гвардией. Нападение на великий авангард французской армии, под начальством короля Неаполитанского, сделано удачно и неожиданно. Неприятель тотчас начал отступать и вскоре предался совершенному бегству. 20 пушек, немалое число пленных и великое множество разного обоза были трофеями и плодами этого весьма искусно обдуманного и счастливо исполненного предприятия. Движениями войск в сем сражении управлял известный полковник Толь, прославившийся личной храбростью и великими познаниями в военном деле. Предупреждаю тебя, что все мои описания с этой поры будут очень кратки: в авангарде нет ни места, ни времени к пространным письменным занятиям. Подожди! Когда-нибудь при удобнейшем случае я сообщу тебе подробнейшее описание действий войск под начальством генерала Милорадовича. Не знаю, почему большая часть знаменитых подвигов этого генерала не означена в ведомостях; но он, как я заметил, нимало этим не огорчается. Это значит, что он не герой "Ведомостей", а герой Истории и потомства.

Скажу тебе, что этот генерал, принявший, по просьбе Князя Светлейшего, начальство над арьергардом после страшного Бородинского сражения, дрался с превосходным в числе неприятелем с 29 августа по 23 сентября, т. е. 26 дней непрерывно. Некоторые из этих дней, как-то: 29 августа, 17 сентября и 20 и 22 того же месяца, ознаменованы большими сражениями, по десяти и более часов продолжавшимися. Известно ли все это у вас?

9 октября. Дача Кусковникова близ Тарутина

Как живуч может быть человек!.. Сегодня поехал генерал Милорадович, и мы все за ним, осматривать передовые посты, оставшиеся на том самом месте, где было сражение. В разных местах валялись разбросанные трупы, и между ними один, весь окровавленный, казалось, еще дышал. Все остановились над ним. Этот несчастный за три дня пред сим оставшийся здесь в числе мертвых, несмотря на холодные ночи, сохранял еще в себе искру жизни. Сильный картечный удар раздробил ему половину головы: оба глаза были выбиты, одно ухо, вместе с кожей и частью черепа, сорвано; половина оставшейся головы облита кровью, которая густо на ней запеклась, и за всем тем он еще жил!.. Влили ему в рот несколько водки, игра нерв сделалась живее... "Кто ты?" спрашивали у него на разных языках. Он только мычал. Но когда спросили наконец: "Не поляк ли ты?", он отвечал польски: "Да!" "Когда ранен?" - "В последнем деле, то есть третьего дня". "Чувствуешь ли ты?" "Бывают минуты, когда чувствую - и мучусь!" отвечал он с тяжким вздохом и просил убедительно, чтоб его закололи. Но генерал приказал дать ему опять водки и отвезти в ближайшую деревню. - Нет, друг мой! Славный Гуфланд еще не все изъяснил нам в красноречивейших умствованиях своих о жизни. Надобно было ему увидеть этого несчастного, чтоб понять, сколь долго сей тончайший духовный спирт[13*] может держаться в полураздробленном скудельном сосуде своем.

Вчера приехал к нам из Пажеского корпуса сын Г. П. М...ча, о котором я тебе столько раз писал и которого благорасположение ко мне поставляю в великой цене. Сын его, племянник генерала нашего, - прекрасный, благовоспитанный молодой человек. Я душевно рад, что он остается у нас. Теперь он был вместе с нами и в первый раз отроду видел поле сражения, где хотя замолкли громы, но еще не обсохла кровь. Генерал приказывал ему смотреть на все внимательнее, чтобы привыкать к ужасам войны. В самом деле, посинелые трупы, кровью и мозгом обрызганные тела, оторванные руки и ноги, в разных местах разметанные, должны возмущать мирные чувства кроткого юноши, пока не привыкнет он к таковым плачевным, но необходимым позорищам[14]!

Мы теперь переместились со всем дежурством в один огромный каменный дом, который, по-видимому, был некогда убран богатою рукою. Теперь все изломано и разорено. На биваках у казаков сгорают диваны, вольтеровы кресла, шифоньерки, бомбоньерки, кушетки, козетки и проч. Что сказала бы всевластная мода и роскошные баловни ее, увидя это в другое время?

23 октября. Город Вязьма

Среди дымящихся развалин города, под громом беспрерывно лопающихся бомб и гранат, повсюду злодеями разбросанных, в тесной комнате полусожженного дома, пишу к тебе, друг мой!.. Торжествуйте великое празднество освобождения Отечества!.. Враги бегут и гибнут; их трупами и трофеями устилают себе путь русские к бессмертию. До сих пор я не имел ни одной свободной минуты. В течение 12 суток мы или шли, или сражались. Ночи, проведенные без сна, а дни в сражениях, погрузили мой ум в какое-то затмение - и счастливейшие происшествия: освобождение Москвы, отражение неприятеля от Малого Ярославца, его бегство - мелькали в моих глазах, как светлые воздушные явления в темной ночи. Печатные известия из армии, рассылаемые по губерниям, конечно, уже известили тебя подробно обо всем. Итак, я скажу несколько слов только о том, что при свободном досуге надобно бы описать на не-, скольких страницах. Еще повторяю, что о делах генерала Милорадовича (который почти всякий раз доносит главнокомандующему в двух или трех строках, не более того, что он отразил или побил неприятеля там и тогда-то) я постараюсь представить тебе подробнейшее описание, если останусь жив и записная книжка моя уцелеет.

Вскоре после Тарутинского дела, 6 октября, Князь Светлейший получил известие, что Наполеон, оставляя Москву, намерен прорваться в Малороссию. Генерал Дохтуров, с корпусом своим, отряжен был к Боровску. Вслед за ним и вся армия фланговым маршем передвинулась на старую Калужскую дорогу, заслонила собой ворота Малороссии и была

свидетельницей жаркого боя между нашим 6-м и 4-м французским корпусами при Малом Ярославне.

Генерал Милорадович, сделав в этот день с кавалерией 50 верст, не дал отрезать себя неприятелю и поспешил к самому тому времени, когда сражение пылало и присутствие его с войсками было необходимо. Фельдмаршал, удивленный такой быстротой, обнимал его и называл крылатым. В наших глазах сгорел и разрушился Малый Ярославец. На рассвете генерал Дохтуров, с храбрыми войсками своего корпуса, присоединился к армии, которая двинулась еще левее и стала твердой ногой на выгоднейших высотах.

Генерал Милорадович оставлен был с войсками своими на том самом месте, где ночь прекратила сражение. Весь следующий день проведен в небольшой только пушечной и ружейной перестрелке. В сей день жизнь генерала была в явной опасности, и провидение явно оказало ему покровительство свое. Отличаясь от всех шляпой с длинным султаном и сопровождаемый своими офицерами, заехал он очень далеко вперед и тотчас обратил на себя внимание неприятеля. Множество стрелков, засев в кустах, начали метить в него. Едва успел выговорить адъютант его Паскевич: "В вас целят, ваше превосходительство!" - и пули засвистали у нас мимо ушей. Подивись, что ни одна никого не зацепила. Генерал, хладнокровно простояв там еще несколько времени, спокойно поворотил лошадь и тихо поехал к своим колоннам, сопровождаемый пулями. После этого генерал Ермолов, прославившийся и сам необычайной храбростью, очень справедливо сказал в письме Милорадовичу: "Надобно иметь запасную жизнь, чтоб быть везде с вашим превосходительством!" Через два дня бегство неприятеля стало очевидно, и наш арьергард, сделавшись уже авангардом, устремился преследовать его. Темные, дремучие ночи, скользкие проселочные дороги, бессонье, голод и труды - вот что преодолели мы во время искуснейшего флангового марша, предпринятого генералом Милорадовичем от Егорьевска прямо к Вязьме. Главное достоинство этого марша было то, что он совершенно угаен от неприятеля, который тогда только узнал, что сильное войско у него во фланге, когда мы вступили с ним в бой, ибо до того времени один генерал Платов теснил его летучими своими отрядами. Вчера началось сражение, с первым лучом дня, в 12 верстах от Вязьмы. У нас было 30000, а вице-король италийский и маршалы Даву и Ней наставили против нас более 50000. Неприятель занимал попеременно шесть выгоднейших позиций, но всякий раз с великим уроном сбиваем был с каждой победоносными нашими войсками. Превосходство в силах и отчаянное сопротивление неприятеля продлили сражение через целый день. Он хотел было непременно, дабы дать время уйти обозам, держаться еще целую ночь в Вязьме и весь город превратить в пепел. Так уверяли пленные; и слова их подтвердились тем, что все почти печи в домах наполнены были порохом и горючими веществами. Но генерал Милорадович, послав Паскевича и Чоглокова с пехотой, которые тотчас и ворвались с штыками в улицы, сам с бывшими при нем генералами, устроив всю кавалерию, повел в объятый пламенем и неприятелем наполненный еще город. Рота конной артиллерии, идя впереди, очищала улицы выстрелами; кругом горели и с сильным треском распадались дома; бомбы и гранаты, до которых достигало пламя, с громом разряжались; неприятель стрелял из развалин и садов; пули свистели по улицам. Но, видя необоримую решимость наших войск и свою гибель, оставил он город и бежал, бросая повсюду за собой зажигательные вещества. На дымящемся горизонте угасало солнце. Помедли оно еще час - и поражение было бы совершеннее; но мрачная осенняя ночь приняла бегущие толпы неприятеля под свой покров. До пяти тысяч пленных, в числе которых известный генерал Пелетье, знамена и пушки были трофеями этого дня. Неприятель потерял, конечно, до 10000. Путь на 12 верстах устлан его трупами. Генерал Милорадович остановился в том самом доме, где стоял Наполеон, и велел тушить горящий город. Сегодня назначен комендант, устроена военная полиция, ведено очищать улицы от мертвых тел, разослано по уезду объявление, сзывающее жителей к восстановлению по возможности домов и храмов божьих в отечественном их городе, исторгнутом ныне из кровавых рук нечестивых врагов.

Со временем благородное дворянство и граждане Вязьмы, конечно, почувствуют цену этого великого подвига и воздадут должную благодарность освободителю их города. Пусть поставят они на том самом поле, где было сражение, хотя не многоценный, но только могущий противиться временам памятник, и украсят его, по примеру древних, простой, но всеобъясняющей надписью: "От признательности благородного дворян сословия и граждан Вязьмы начальствовавшему российским авангардом генералу от инфантерии Милорадовичу за то, что он, с 30000 россиян, разбив 50-тысячное войско неприятельское, исторгнул из рук его горящий город их, потушил пожары и возвратил его обрадованному Отечеству и утешенным гражданам в достопамятный день, 23 октября 1812 года". В одержании победы участвовали: известный генерал граф Остерман; князь Сергей Николаевич Долгорукий, который, отличаясь прежде на дипломатическом поприще, горел желанием служить в Отечественной войне и променял перо на шпагу. Но, служа в поле, он не перестает украшать бесед своих той же неподражаемой остротой ума, которой блистал некогда при дворах государей. Русские ко всему способны!.. Генералы: Ермолов, Паскевич, Олсуфьев и Чоглоков храбростью и благоразумием своим содействовали к совершенному поражению врага. Полковник Потемкин, со свойственным ему мужеством, как начальник штаба по авангарду, наблюдал за движениями наших войск в опаснейших местах. Перновский и Белозерский полки и батарейная рота Гулевича отличились.

P.S. В это самое время, как я пишу к тебе, генерал Вильсон, бывший личным свидетелем вчерашнего сражения, описывает также это своим соотечественникам. Из Петербурга нарочный отправится с известием об этой победе в Лондон.

26, в два часа пополудни. Дорогобуж

Вот сейчас только кончился штурм крепостного замка в Дорогобуже. Мы вырвали его из рук французов, захватили город, который они уже начали жечь, и провожали их ядрами, покуда не скрылись из наших глаз; а теперь сильная буря, веющая к западу, и генерал Юрковский с легкой конницей гонят их далее. Стужа увеличилась, метель потемнила воздух. Мы забрались в дом к протопопу, в котором уцелели окна и немного тепло. Я нашел старую чернильницу, отмочил засохшие чернила и пишу к тебе как могу.

Позамедлив несколько в Вязьме, я должен был скакать 30 верст, чтоб догнать наши войска, неослабно преследовавшие неприятеля. Я ехал вместе с генералом Вильсоном, который не отстает от авангарда и по доброй воле бывает в огнях. В каком печальном виде представлялись нам завоеватели России!.. На той дороге, по которой шли они так гордо в Москву и которую сами потом опустошили, они валялись в великом множестве мертвыми, умирающими или в беднейших рубищах, окровавленные и запачканные в саже и грязи, ползали, как ничтожные насекомые, по грудам конских и человеческих трупов. Голод, стужа и страх помрачили их рассудок и наложили немоту на уста: они ни на что не отвечают; смотрят мутными глазами на того, кто их спрашивает, и продолжают глотать конские кости. - Так караются враги, дерзающие наступать на святую Русь! Подобная казнь постигла татар, дерзко набежавших на Россию в дни малолетства паря Ивана Васильевича. "Великие снега и морозы познобили татар; а остальных "казаки добивали", - так говорит Царственная книга. Во все эти дни неприятель беспрестанно забавлял нас потешными огнями: он подрывал много своих пороховых ящиков. Бог знает каких только неистовств не делает этот неприятель! Он отряжает нарочные толпы для сжигания деревень, прикалывает наших пленных и расстреливает крестьян. Зато и крестьяне не спускают им! Большими ватагами разъезжают они с оружием по лесам и дорогам, нападают на обозы и сражаются с толпами мародеров, которых они по-своему называют миродерами. По их толкам, это люди, обдирающие мир!

Генерал Вильсон говорит, что война эта подвинула Россию на целое столетие вперед на пути опытов и славы народной. Мой друг! Молнии и зарницы электрической своей силой способствуют зрелости жатв; молнии войны пробуждают дух народов и также ускоряют зрелость их. Таков порядок вещей под солнцем!..

Я не сказал тебе еще о сегодняшних трофеях наших. Они состоят в 600 пленных и двух пушках. Все это досталось нам после довольно жаркого боя. Укрепленные высоты Дорогобужа должны мы были взять открытым штурмом, а из города выйти неприятеля заставил генерал Милорадович искусным направлением дивизии принца Виртембергского в обход слева. Пожар начал было распространяться и здесь, но густым снегом и усердием наших солдат был потушен. Тут также оставляется комендант, которому поручено сзывать жителей на прежние их жилища. Надо видеть наших солдат, без ропота сносящих голод и стужу, с пылким рвением идущих на бой и мгновенно взлетающих на высоты окопов, чтоб иметь понятие о том, как принято освобождать города своего Отечества! 4-го Егерьского полка майор Русинов, получа рану в руку при начале штурма, велел поддерживать себя солдатам и продолжал лезть навал; через несколько минут ему прострелили ногу, и солдаты вынуждены были снести его в ров. Но этот храбрый офицер до тех пор не приказывал уносить себя далее и не переставал ободрять солдат, пока не увидел их уже на высоте победителями. Это тот самый, который вышел одним выпуском прежде нас из корпуса.

Представь себе, друг мой, что я теперь только в 60 верстах от моей родины и не могу заглянуть в нее!.. Правда, там нечего и смотреть: все разорено и опустело! Я нашел бы только пепел и развалины; но как сладко еще раз в жизни помолиться на гробах отцов своих! Теперь сходен я с кометой, которая не успеет приблизиться к солнцу, как вдруг косвенным путем удаляется опять от него на неизмеримые пространства. Завтра мы едем отсюда, но не в Смоленск, а боковыми, неизвестными путями и дорогами, через леса и болота... После узнаешь ты об этом искусном и, конечно, гибельном для французов движении наших войск.

7 ноября. На поле близ Красного

Видишь ли, какой мы сделали шаг! От Дорогобужа прямо к Красному. Смоленск и Днепр остались у нас справа. Тихо подкрались мы к большой дороге, из Смоленска в Красное. Неприятель полагал нас за тридевять земель; а мы, как будто из-под земли, очутились вдруг перед ним! Это впрямь по-суворовски! Теперь называют это фланговым, или боковым, маршем, 3-го числа ноября показались мы из лесов против деревни Ржавки. Неприятель шел по большой дороге спокойно и весело: наступившая оттепель отогрела жизненные силы этих питомцев благодетельного климата их отечества. Великие обозы с северными гостинцами тянулись между колонн. Генерал Милорадович приказал тотчас нападать. Неприятель остановился, сыпнул в овраги и паростники множество стрелков, выставил, между берез, по высотам дороги, легкие орудия; а тяжелой артиллерии и обозам, в сопровождении своей конницы, велел спасаться вперед. Наши наступили с обыкновенным мужеством - и дело загорелось! Но, несмотря на великое превосходство в силах неприятеля перед нами, он был мгновенно сбит с большой дороги, поражаем в полях и одолжен спасением одной только темноте ночной и ближним лесам, в которых скрылся. Знамена, пушки, пленные и множество обоза наградили победителей, на первый раз, за трудный фланговый марш. Впереди нас видна была деревня; генерал Милорадович хотел в ней провести ночь, ему говорят, что там еще французы. Он посылает казаков истребить их - и мы там ночевали. После этого 4, 5 и 6-го числа, три дня сряду, проводили в непрерывных сражениях. Всякий вечер отбивали у французов ночлег в нескольких верстах от большой дороги. С каждой утренней зарей, коль скоро с передовых постов приходило известие, что колонны показались на большой дороге, мы садились на лошадей и выезжали на бой. Наполеону очень не нравилось, что генерал Милорадович стоит под дорогой и разбивает в пух корпуса его; но делать нечего!.. Последняя рана, нанесенная ему вчера, чувствительнее всех прочих. Вчера. - О! Восхищайся, друг мой, столь знаменитой победой: вчера генерал Милорадович разбил совершенно тридцатитысячный корпус под предводительством искуснейшего из маршалов Наполеона - Нея, недавно прозванного им князем Москворецким. Неприятельский урон чрезвычайно велик. Все четыре начальствовавших генерала убиты. Места сражений покрыты горами неприятельских тел.

В эти четыре для нас победоносные дня потеря неприятеля, наверно, полагается убитыми до 20000, в плен взято войсками генерала Милорадовича: генералов 2, штаб- и обер-офицеров 285, рядовых, сколько ты думаешь? - 22000; пушек 60!.. Поля города Красного в самом деле покраснели от крови. В одержании этих четверодневных побед много участвовали генералы Раевский и Паскевич. Храбрые их войска многие неприятельские толпы подняли на штыки. Отважными нападениями конницы предводительствовал генерал Уваров. Артиллерия оказала громадные услуги. Полковник Мерлин командовал ею в авангарде. Его рота и рота отважного капитана Башмакова покрыли себя славой. Действия пушек искусного и храброго Нилуса под Смоленском и Гулевича под Вязьмой останутся навсегда памятны французам. Остальные 600 из разбитого Неева корпуса, укрепившиеся с пушками в лесах, прислали уже поздно к вечеру переговорщика сказать, что они сдадутся одному, только генералу Милорадовичу, а иначе готовы биться до последнего. Французы называют Милорадовича русским Баярдом; пленные везде кричат ему: "Да здравствует храбрый генерал Милорадович!" Его и самые неприятели любят, вероятно, за то, что он, сострадав об них по человечеству, дает последний свой запас и деньги пленным. После всего этого ты видишь, что трофеев у нас много; лавров девать некуда; а хлеба - ни куска... Ты не поверишь, как мы голодны! По причине крайне дурных дорог и скорого хода войск наши обозы с сухарями отстали; все окрестности сожжены неприятелем, и достать нигде ничего нельзя. У нас теперь дивятся, как можно есть! и не верят тому, кто скажет, что он ел. Разбитые французские обозы доставили казакам возможность завести такого рода продажу, о которой ты, верно, не слыхивал. Здесь, во рву, подле большой дороги, среди разбитых фур, изломанных карет и мертвых тел, кроме шуб, бархатов и парчей, можно купить серебряные деньги мешками!! За сто рублен бумажками покупают обыкновенно мешок серебра, в котором бывает по сто и более пятифранковых монет. Отчего ж, спросишь ты, сбывают здесь так дешево серебро? - Оттого, что негде и тяжело возить его. Однако ж куплею этой пользуются очень немногие: маркитанты и прочие нестроевые. Но там, где меряют мешками деньги, - нет ни крохи хлеба! Хлеб почитается у нас единственной драгоценностью! Все почти избы в деревнях сожжены, и мы живем под углами в шалашах. Как жалко смотреть на пленных женщин! Их у нас много. Наполеон вел в Россию целый вооруженный народ! Третьего дня видели мы прекрасную женщину, распростертую подле молодого мужчины. Однако ядро лишило их жизни, может быть, в минуту последнего прощания. Тогда же, в пылу самого жаркого боя, под сильным картечным огнем, двое маленьких детей, брат и сестра, как Павел и Виргиния[15], взявшись за руки, бежали по мертвым телам, сами не зная куда. Генерал Милорадович приказал их тотчас взять и отвести на свою квартиру. С того времени их возят в его коляске. Пьер в Лизавета, один 7, а другой 5 лет, очень милые и, по-видимому, благовоспитанные дети. Всякий вечер они, сами собой, молятся богу, поминают своих родителей и потом подходят к генералу целовать его руку.

Теперь эти бедняжки все вовсе сироты. Вчера между несколькими тысячами пленных увидели они как-то одного и вдруг вместе закричали: "Вот наш батюшка!" В самом деле это был отец их, полковой слесарь. Генерал тотчас взял его к себе, и он плачет от радости, глядя на детей. Мать их - немка - убита. Рассказать ли тебе об ужасном состоянии людей, которые давно ль были нам так страшны?.. Но меня зовут к генералу. Прости до первой свободной минуты!..

Оттуда же и того же дня

Мой друг! В самых диких лесах Америки, в области каннибалов, едва ли можно видеть такие ужасы, какие представляются здесь ежедневно глазам нашим. До какой степени достигает остервенение человека! Нет! Голод, как бы он ни был велик, не может оправдать такого зверства. Один из наших проповедников недавно назвал французов обезчеловечившимся народом; нет ничего справедливее этого изречения. Положим, что голод принуждает их искать пищи в навозных кучах, есть кошек, собак и лошадей; но может ли он принудить пожирать подобных себе. Они нимало не содрогаясь и с великим

хладнокровием рассуждают о вкусе конского и человеческого мяса! Зато как они гибнут: как мухи в самую позднюю осень!.. У мертвых лица ужасно обезображены. Злость, отчаяние, бешенство и прочие дикие страсти глубоко запечатлелись на них. Видно, что сии люди погибли в минуты исступления, со скрежетом зубов и пеною на устах. На сих лицах не успело водвориться и спокойствие смерти [16*]. Те, которые не совсем еще обезумели, беспрестанно просят есть; а накорми их досыта теплым кушаньем - умирают! Но большая часть из них совсем обезумели; бродят, как слепые. Вчера я видел одного, который, в самом пылу сраженья, с величайшим хладнокровием мотал клубок нитки и сам с собой разговаривал, воображая, что он сидит дома у своей матери. Но вчерашняя ночь была для меня самая ужасная! Желая немного обсушиться, мы оправили кое-как одну избу, законопатили стены, пробитые ядрами, и истопили печь. Сотни стонящих привидений, как Шекспировы тени, бродили около нас. Но едва почувляли они теплый дух, как с страшным воплем и ревом присыпали к дверям. Один по одному втеснилось их несколько десятков. Одни валялись под лавками и на полу, другие на верхних полатах, под печью и на печи. Мы принуждены были помостить себе несколько досок с лавки на лавку. Отягченные усталостью, уснули на них. Перед светом страшный вой и стоны разбудили меня. Под нами и над нами множество голосов, на всех почти европейских языках, вопили, жаловались или изрыгали проклятие на Наполеона! Тут были раненые, полузамерзшие и сумасшедшие. Иной кричал: "Помогите! Помогите! Кровь льется из всех моих ран! Меня стеснили!.. У меня оторвали руку!" "Постойте! Удержитесь! Я еще не умер, а вы меня едите!" - кричал другой. В самом деле, они с голоду кусали друг друга. Третий дрожащим голосом жаловался, что он весь хладеет, мерзнет; что уже не чувствует ни рук, ни ног! И вдруг среди стоны, вздохов, визга и скрежета зубов раздавался ужасный хохот... Какой-нибудь безумный, воображая, что он выздоровел, смеялся, сзывая товарищей: бить русских! А вслед за этим слышен был в другом углу самый горестный, сердце раздирающий плач. Я слышал, как один молодой поляк, увидев, конечно, во сне, родину свою, говорил громко, всхлипывая: "Я опять здесь, о мать моя!.. Но посмотри, посмотри, как я весь изранен! Ах! Для чего ты родила на свет несчастного?"

Когда рассвело, мы нашли несколько умерших над нами и под нами и решились лучше быть на стуже в шалаше. Между сими злополучными жертвами честолюбия случился один заслуженный французский капитан, кавалер Почетного легиона. Он лежал без ноги под лавкой. Невозможно описать, как благодарил он за то, что ему перевязали рану и дали несколько ложек супу. Генерал Милорадович, не могший равнодушно сидеть сиих беспримерных страдальцев, велел все, что можно было, сделать в их пользу. В Красном оправили дом для лазарета; все полковые лекари явились их перевязывать; больных обделили последними сухарями и водкою, а те, которые были поздоровее, выпросили себе несколько лошадей и тотчас их съели! [17*] Кстати, не надобно ль в вашу губернию учителей? Намедни один француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища, говорил мне: "Возьми меня: я могу быть полезен России - могу воспитывать детей!" Кто знает, может быть, эти. выморозки пооправятся, и наши расхватают их по рукам - в учителя, не дав им даже и очеловечиться...

10 ноября. Местечко Баево

Вчера перенесли мы знамена свои за древние рубежи нашего Отечества. Перейдя речку Мерейку, мы вступили уже в Могилевскую губернию. Теперь главная квартира авангарда в местечке Баево, что на одной высоте с м. Лядами, на большой дороге. И так ныне уже ясно и никакому сомнению не подвержено, что одно постоянное продолжение сей войны увенчивает ее столь блистательными успехами. Если б заключили мир при Тарутине, как бы ни был он выгоден, Россия не имела б ни лавров, ни трофеев, ни драгоценнейшего для всякого уверения, что Наполеон уже никогда не возвратится разорять пределы ее. Теперь можем мы вздохнуть спокойно!.. Меч, висевший над головами нашими, исчез. Тучи, ходившие по русскому небу, быстро несутся назад. Мы видим над собой ясную лазурь

безмятежного свода, отколе всевышний благословляет оружие правых на славном поприще его побед.

Известно, однако ж, что Наполеон, прежде нежели: решился оставить Москву, истощал все усилия для заключения мира. Мудрый Кутузов заводил в сети ослепленного страстями и гордостью этого нового Навуходносора. Он старался выиграть время, доколе подоспеет к нам вернейшая союзница - зима!

Но твердость государя в этих смутных обстоятельствах достойна хвалы и удивления современников и потомства. Исполненный духом предвидения, он пребывал непоколебим, как гранитный утес среди мятежных морей!

"Я прежде соглашусь перенести столицу мою на берега Иртыша и ходить в смуром кафтане, чем заключу теперь мир с разорителем Отечества!"

Так отвечал монарх на предложение о мире. Слух об сем дошел к нам в армию. Такие изречения государей подслушивает История и с благоговением передает отдаленнейшим родам.

Мой друг! Настоящее повторяется в будущем так, как прошедшее - в настоящем! Пройдут времена; лета обратятся в столетия, и настанет опять для некоего из царств земных период решительный, подобный тому, который ныне покрыл Россию пеплом, кровью и славою...

14 ноября. Город Борисов

Ушла лисица, только хвост в западне остался!.. [18] Никакой человеческий ум не может сделать соображений лучше тех, какие сделаны были князем Кутузовым, и принять лучших мер, какие принял он для поимки Наполеона у реки Березины в городе Борисове. Одна непостижимая судьба могла спасти его, может быть для того, чтобы карать им еще человечество! Адмирал Чичагов с армией своей слева вниз, а граф Витгенштейн справа вверх по течению реки, сближались один против другого, дабы сомкнуть войска свои, как две стены, в том месте, где мог переправиться неприятель, за которым шла армия Кутузова и которого неослабно преследовали граф Платов с казаками, генерал Милорадович с авангардом, генералы Ермолов и Бороздин с летучими отрядами.

Все эти дни погода была самая бурная и ненастная. Морозы достигали до 20 градусов. Мы шли проселочными дорогами. Артиллерия наша прорезывала пути по глубоким снегам; пехота и конница пробирались дремучими лесами, и при всем этом несколько переходов сделано по 40 верст в день. Не забудь, что в зимний день!

Дух великого Суворова, конечно, веселился, взирая с высот на столь быстрое шествие победоносных россиян. Сбылся стих великого поэта:

Где только ветры могут дуть, Проступят там полки орлины!

Жаль, однако ж, что все наши труды были напрасны!.. Наполеон уже за Березиной!.. Граф Витгенштейн тем же самым громом, который бросал на Клястицких полях [19], отбил у переправлявшегося неприятеля один из задних его корпусов, и 12 тысяч, увидев себя окруженными, положили оружие. Мы остановились в разоренном и еще дымящемся от пожара Борисове. Несчастные наполеонцы ползают по тлеющим развалинам и не чувствуют, что тело их горит!.. Те, которые поздоровее, втесняются в избы, живут под лавками, под печью и заползают в камины. Они страшно воют, когда начнут их выгонять. Недавно вошли мы в одну избу и просили старую хозяйку протопить печь. "Нельзя топить, - отвечала она, - там сидят французы!" Мы закричали им по-французски, чтоб они выходили скорее есть хлеба. Это подействовало. Тотчас трое, черные как арапы, выпрыгнули из печи и явились перед нами.

Каждый предлагал свои услуги. Один просился в повара; другой - в лекаря; третий - в учителя! Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь.

В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то вместо того чтоб выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба - и целую колонну сманишь! Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря, особливо для госпож, которые наизусть перескажут им всего Монто; в друзья дома и - в учителя! И за недостатком русских мужчин,

сражающихся за отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху! И как ручаться, что эти же запечные французы, доплзая до России, приходясь и приосанясь, не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам француженок!.. Некогда случилось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтоб не сыграли такой штуки и прелестные людоеды с героями русскими!..

16 декабря. Вильна

В начале октября был я несколько сот верст за Москвою, в Рязани, в Касимове, на берегах Оки. В ноябре дрались мы уже на границах Белоруссии, а 16 декабря пишу к тебе из Вильны. Так мыкается друг твой по свету! Такими исполинскими шагами шло войско наше к победам и славе!.. Но сколько неслыханных, невообразимых трудов перенесло войско! Сколько вытерпел друг твой! Однако ж я здоров! Через шесть дней буду в Гродне. Армия остается еще здесь, чтоб взять хоть малейший роздых. Авангард идет в Гродню, которая, со всеми магазинами своими, сдалась партизану Денису Давыдову. Наполеон бежит к Неману.

На сих днях изволил прибыть сюда государь император. Победоносное воинство и отягченный лаврами князь Смоленский встретили его. Вскоре прибыл и цесаревич. Радость сделалась общей. Все окрестное дворянство стеклось в город - и город заблистал разноцветными огнями освещений. Различные прозрачные картины представляли Россию торжествующей, Александра - милующим преступных, Наполеона - бегущим. Известно стало, что эти картины рисовал тот самый живописец, который за несколько перед этим месяцев изображал те же лица, только в обратном смысле, для освещения и в честь Наполеону. Так же профессор, который протрубил теперь негромкую оду в честь русским, славил прежде французов. Таковы люди!

Трудно достигнуть человеку до степени славы, какую озарен Князь Светлейший! Но еще труднее быть, как он, столько ж славу, как и любиму. Он позволил офицерам тепло одеваться в морозы и веселиться, где можно, - и очаровал души! Недавно докладывали ему: не прикажет ли запретить офицерам забираться в трактир, находившийся против самых его окон, где они привыкли играть, шутить и веселиться? "Оставьте их в покое, - отвечал Князь, пусть забавляются, мне приятно слышать, как они веселятся! Люди, освободившие Отечество, заслуживают уважение. Я не люблю, чтоб главная квартира моя походила на монастырь. Веселость в войске доказывает готовность его идти вперед!" О! Он знает сердце человеческое! Он знает, что одной ложкой меда больше можно сманить мух, нежели целой бочкой уксуса.

18 декабря

Я два раза навещал одного из любезнейших поэтов наших, почтенного В. А. Жуковского. Он здесь, в Вильне, был болен жестокой горячкой; теперь немного обмогается. Отечественная война переродила людей. Благородный порыв сердца, любящего Отечество, вместе с другими увлек и его из круга тихомирных занятий, от прелестных бесед с музами в шумные поля брани. Как грустно видеть страдание того, кто был таким прелестным певцом во стане русских и кто дарил нас такими прекрасными балладами! Мой друг! Эта война ознаменована какой-то священной важностью, всеобщим стремлением к одной цели. Поселяне превращали серп и косу в оружие оборонительное; отцы вырывались из объятий семейств, писатели из объятий независимости и муз, чтоб стать грудью за родной предел. Последние, подобно трубадурам рыцарских времен или бардам Оссияна, пели и под шумом военных бурь.

21 декабря. На пути в Гродно

Не правда ли, что очень приятно найти прекрасный куст розы в дикой степи? Точно так же радуется нас хороший дом в разоренной стороне. Мы испытали приятность такой находки, проезжая из Вильны в Гродню. Гродня есть прекрасный сельский дом сестры покойного короля, графини Тишкевичевой. Везде и во всем виден изящный вкус: в выборе места для дома, в расположении комнат и в уборке их; но более всего понравились нам картины.

Захочешь насладиться приятным утром - взглянешь на стену - и видишь в картине все прелести его. Как синь и прозрачен этот воздух! Как легки эти дымчатые облака! Как хороши первые лучи солнца! Кажется, видишь, как эти лучи яснее, как воздух становится светлее; туман редет, цветки просыпаются, птички стрясают с крылышек жемчужную росу, и все в улыбке! В дополнение видишь невинность. В виде прелестной пастушки, с свежим, утренним румянцем на щеках и с пестрым стадом. Тут же вечер: как хорош! Не волшебник ли какой-нибудь собрал сизые тени вечерних сумерок и бросил их на холст? Они так живо изображены! Вот подлинник лучшего из польских живописцев. Вижу сражение, конный бой или, лучше сказать, жаркую схватку, в которой отличается один человек на дикой лошади, которая скачет через груды тел, бесится и, кажется, стремится опрокинуть и стоптать все, что ни встречает. Кто же этот человек, у которого епанча свалилась с плеч; который в бешенстве ратном растерзал на себе одежду и обнажил до половины тело свое? С длинным ножом в руке, которым бьет лошадь и неприятелей, скачет он, как безумный, сквозь пули и картечи, пена клубится у рта. Ясно видно, что судьба его зависит от выигрыша сражения. Он стремится во что бы то ни стало одержать победу. Герой покоен в бою: победа сама находит и венчает его лаврами; а это, верно, не герой, ибо силится сорвать венец награды; верно, не полководец, ибо, забывая себя, хочет победить одной неистовой храбростью. Кто ж это такой? Картуш! Кисть живописца прекрасна и смела; но краски, кажется, слишком блестящи, и вообще видна какая-то щеголеватость в картине. Нет простоты, свойственной великим художникам.

На стенах других комнат видны римские развалины, прекрасные виды, водопады, которые, кажется, брызжут на того, кто на них смотрит. В этом прелестном доме вижу я живописную Италию - и теряюсь в сладких мечтах о ней. Я вижу страшную Этну, в черной ночи, в красных заревах, с желтыми оттенками; вижу, как блещут изломчатые молнии, как кипит свирепая лава; как огненное жерло стреляет вверх буграми, как трескают на воздухе громады и сыплется камедный дождь! Вижу - и пугаюсь: так это все живо!..

Как прелестны искусства! Они обворажают смертных; они очаровали и нас, странников!
26 декабря. Гродно

На этих днях графиня Орлова-Чесменская прислала генералу Милорадовичу меч и саблю, подаренную великой Екатериной покойному родителю ее, графу Алексею Григорьевичу, за истребление флота при Чесме. В то время когда неприятель опустошал окрестности Москвы, генерал Милорадович, узнав, что вблизи находится имение графини Орловой, заслонил его своими войсками и, отразив врага, не допустил расхитить сел ее и поправить гроб знаменитого Орлова. Он сделал это, следуя первому порыву чувства уважения к заслугам Чесменского, убежден будучи, что могила храброго отечеству священна! Но дочь, благоговейшая к праху родителя, приняла в полной цене этот подвиг и, при лестном письме, прислала драгоценный меч герою, которому за несколько перед этим лет благодарный народ Валахский [20] поднес меч "за спасение Букареста". Действительный статский советник Фукс, с свойственным ему красноречием, описал случай этот в нескольких строках, которые тебе и посылаю.

"Двора их императорских величеств фрейлина, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, прислала к генералу от инфантерии Михаилу Андреевичу Милорадовичу саблю, всемиловитейше пожалованную в бозе почивающей императрицею Екатериной Алексаидровною покойному родителю ее, графу Алексею Григорьевичу, за истребление при Чесме турецкого флота, при письме, лестных для него выражений исполненном, за спасение им в нынешнюю войну деревень ее, а особливо той, где погребен родитель ее. Меч сей дарован великою Екатериною герою Чесменскому за истребление оттоманского страшного морского ополчения на водах Азии, в виду берегов древние Эллады и Ионии. Там в первый раз возвевял флаг Российский: гром с севера ударил, флот исчез, и луна померкла. Сей меч, украшенный драгоценнейшими камнями, щедротами бессмертные монархини, есть бесценное знамение величия тогдашней славы России и неистлеваемый

памятник в роде родов Орловых. Но дочь, благоговейшая к памяти родителя своего, к священному для нее праху его, подносит блистательный залог сей знаменитому воину, не допустившему нечестивого врага коснуться сей гробницы. Милорадович приемлет оный с глубочайшею, живейшею признательностью; но обещает ей извлечь оный токмо за пределами Отечества на поражение возмутителей спокойствия народов, буде провидению паки угодно будет избирать его орудием, и не прежде возложить на себя, доколе не соделается достойным подарка, полученного из рук россиянки, пламенеющей любовью к Отечеству и отцу".

28 декабря

"Выступил, ушел, вырвался, убежал!" из отечества нашего новый Катилина. Наполеон за Неманом! Уже нет ни одного врага на земле русской! Александр Первый готов положить меч свой; но Европа, упавая перед ним на колени и с воздетыми к небу руками, молит его быть ее спасителем и, подобно древнему Александру, рассечь мечом новый Гордиянский узел тяжелых вериг ее плена. Некогда монарх сказал Кутузову: "Иди спасать Россию". Теперь, кажется, слышен в небесах голос самого бога, вещающий Александру Первому: "Гряди освобождать Европу!" Итак, зачем приходил Наполеон в Россию? Вот вопрос, для разрешения которого будут писать целые книги. "Удача в мире сем священнее всех прав!" - думал вождь галлов. - Так думал и вождь татар! Батый и Наполеон по кровавому морю хотели приплыть к храму славы. Но кровь пролита; а храм славы заперт для них. Их мавзолеей - проклятие народов!

Сам Цицерон, если б он воскрес теперь, не мог бы, кажется, лучше изобразить насильственного вторжения врагов в землю русскую, твердости государя, народа и ужасного гнева раздраженного бога, постигшего эти разноплеменные орды среди торжеств и злодеяний их, как все это изображено в манифесте, обнародованном в Вильне. Он начинался такими словами: "Бог и весь свет тому свидетель и проч., и проч., и проч.". P. S. Новый порядок устанавливается в дежурстве нашем: всякий будет иметь свою определенную часть.

Храбрый полковник Потемкин, исправлявший должность начальника штаба, произведен в генералы и назначен командиром лейб-гвардии Семеновского полка; а начальником штаба по авангарду определен, по высочайшей воле, флигель-адъютант его величества полковник Сипягин, который еще в капитанском чине отличил себя во всех четырех сражениях при Красном.

1 января. 1813 г. Город Гродно

Наконец минул сей 1812 год. Каким шумом, блеском и волнением ознаменовалось шествие его в мире! Ежели говорить языком стихотворцев, придавая всему лицо и существенность, то я воображаю, что сей год, обремененный славой и преступлениями, важно вступает в ворота вечности и гордо вопрошает неисчислимые сонмы протекших годов: кто более его обогрел кровью и покрыт лаврами; кто был свидетелем больших превратностей в судьбах народов, царств и вселенной? Встают века Древнего Рима, пробуждаются времена великих браней, славных полководцев, века всеобщего переселения народов... Напрасно! Древняя история, кажется, не найдет в себе года, который во всех многообразных отношениях мог бы сравняться с протекшим. Начало его наполнено мрачными предвестиями, томительным ожиданием. Гневные тучи сгустились на Западе. Вслед за пламенной кометой многие дивные знамения на небе явились. Люди ожидали будущего, как страшного суда. Глубокая, однако ж, тишина и тайна господствовали на земле. Но эта обманчивая тишина была предвестницей страшной бури. Взволновались народы, и все силы, все оружие Европы обратилось на Россию. Бог предал ее на раны, но защитил от гибели. Россия отступила до Оки и с упругостью, свойственной силе и огромности, раздвинулась опять до Немана. Области ее сделались пространством гробом неисчислимым врагам. Русский, спаситель земли своей, пожал лавры на снегах ее и развернул знамена свои на чужих пределах. Изумленная Европа, слезами и трауром покрытая, взирая на небо, невольно восклицает: "Велик бог земли

русской, государь и народ ее!" "Велик Кутузов, полководец мудрый", - говорит история и вместе с именем его пишет на золотых скрижалях своих 1812 год.

2 января. Гродно

Вчера ввечеру было здесь, так называемое, Казино, собрание по билетам. Дом собрания был освещен. Прекрасные патриотки, мнимые любительницы отечества, сначала очень неласково смотрели на пригожих победителей своих - русских офицеров. Они хотели казаться страстными любительницами свободы, огорченными, томными вздыхательницами о потере ее; хотели плакать... но заиграли мазурку - и все пустились кружиться. Кажется, польским женщинам менее всего должно бояться покорения: их ловкость, ум и прекрасные глаза издавна доставляли им победы над сердцами мужчин. Жаль, однако, очень жаль, что и польки поработились парижским дурачеством!

Января 4. Местечко Гонендз

Гонендз, пограничное местечко в области Белостокской над рекою Боброю, имеет около 200 домов. Оно окружено обширными болотами и необозримыми понизовыми местами. Теперь, зимою, здесь вид прекрасный; а летом все должно плавать в воде, кроме местечка, стоящего на огромном каменисто-песчаном возвышении. Большую часть жителей составляют евреи. Здесь-то назначено сборное место всему авангарду генерала Милорадовича. Он состоит из 6-го и 7-го пехотных, двух кавалерийских корпусов и летучего графа Палена отряда. Отряд генерал-майора Васильчикова также к нему принадлежит.

6 января. Гонендз

Завтрашний день переходим мы за границу; завтра ступим на землю, никогда еще России не принадлежавшую. Вся армия выступает в герцогство Варшавское тремя большими колоннами. Сим колоннам дано столь искусное, верное и для нас выгодное направление, что движением их по разным путям в одно время займется вдруг все пространство от Данцига до Варшавы. Самая столица сия, в случае сопротивления ее, будет обойдена и мгновенно стеснена со всех сторон. Кто же есть тайною пружиною этого стройного, искусного движения войск? - Тот же, кто был причиною столь быстрого и для нас счастливого оборота в великих происшествиях протекшего года старец Кутузов. Сам государь неразлучен с ним, с войсками и славою.

Гонендз. 7 января поутру

При выступлении за границу генерал Милорадович отдал приказ, чтобы во всех полках служили молебны в воз-благодарение богу, управляющему судьбою браней за счастливое окончание Отечественной войны, моля: да осенит и прославит он и впредь оружие российское, подъемлемое на освобождение царств и народов!

7 января, М. Радзвилово

Мы уже за границей. Порядочные дороги через болота, каменные заборы в полях, изрядные крестьянские дома с прекрасными садиками и прочие заведения уподобляют сторону эту немецким краям. Здешние места вообще наполнены болотами и лесами. Почва земли камениста. От Гонендза до Радзвилова 25 верст. Это также очень небольшое местечко, на высоте, среди болот.

Взгляни на хорошую топографическую карту и увидишь, что большая часть герцогства занята болотами. Летом, по удобопроездимости мест, сторона сия весьма способна к оборонительной войне. Надобно быть русским и воевать в самую лютую зиму, чтоб проходить везде. - Вся здешняя сторона населена мазурами. Люди сии подобны лесистой природе своей. Мужчины великорослы, сильны пасмурны и бледнолики; женщины же вообще очень стройны и пригожи. Любимый цвет Мазуров - синий. Они синеют с ног до головы. - Не думаешь ли ты, что мы идем по неприятельской земле, как грозные завоеватели; что ужас предшествует нам, а опустошение нас сопровождает. - Нет! Нас, по всей справедливости, можно назвать рыцарями. Их мужество и добродетели стали теперь нашими. Мы угрожаем сильным и защищаем слабых. Вера, законы и собственность народа для нас священны. Государю угодно было распространить благость свою даже на

неприятелей. Изданы приказы и объявления, в которых Главнокомандующий ручается за безопасность народа и приглашает светские и духовные начальства не оставлять ни домов, ни обязанностей своих, обещая всем и каждому помощь и защиту. Солдаты наши в полной мере исполняют волю государя. Львы в боях, они кротки как агнцы в хижинах безоружных поселян.

P. S. Сейчас получено известие об успехах оружия российского на Висле и далее.

Кенигсберг и Мариенвердер взяты графом Платовым и генералом Шепелевым.

8 января. Деревня Малый Плотен

Зимняя стужа и здесь весьма ощутительна. Надобно быть детьми Севера, чтоб переносить суровость сего времени года с таким терпением, как ваши войска. Завтрашний день авангард имеет здесь роздых.

9. Оттуда же

Признайся, любезный друг, что до сих пор ты не имеешь еще ясного понятия о нашем движении. Куда мы идем? Как? С каким намерением? - Судя по кроткому обхождению нашему с жителями, кажется, что мы в самое мирное время переходим с квартир на другие. Но судя до тому, что вошли в неприятельскую землю, должно думать, что мы пришли воевать. Мы берем все должные предосторожности: имеем свой авангард, составленный большею частью из кавалерии, под командою барона Корфа; имеем арьергард и летучий отряд под начальством храброго графа Палена, надежно прикрывающий наше боковое движение. Я скажу тебе еще более: мы имеем перед собою неприятеля. Нередко сталкиваемся с ним, вступаем в переговоры, спорим, шумим, ссоримся - но не деремся! Часто уже и ружья заряжены, и штыки наострены - а сражения нет. Так воюем мы с австрийцами: и это-то называется бескровная или политическая война. Но так могут воевать только два народа, сотворенные быть вечными друзьями одною необходимостью вовлеченные в бурю всеобщего раздора. Однако ж сей род войны требует великой осторожности, терпения и большой способности к переговорам и переписке. Надобно прежде предлагать, потом убеждать, а наконец уже грозить, но чтоб это было все к стати, у места. Получа известие, что австрийцы заступают нам дорогу, тотчас посылают объявить им, что авангард российский идет в больших силах, хотя в самом деле он очень невелик; что вся армия готова подкрепить его; что сопротивление их будет совершенно бесполезно и кровь пролита напрасно и проч. Слова подкрепляются действием: обходят фланг австрийцев, и они, имея через то достаточную тактическую причину к отступлению, совершают оное, несмотря на упорство надзирателей своих - французов.

P. S. От Радзвилова до деревни Плотска места довольно открытые и холмистые.

Остроленко остается у нас слева за Нарвою. Около сего городка дремучие леса, известные под названием Остроленской пуши. Извещательные посты наши по сею сторону реки; неприятельские по ту.

Те, которые видели генерала Мидорадовича в огне сражений пылким, неустрашимым, ужасным истребителем неприятельских полков, дивились его хладнокровию, искусству, прозорливости и великому благоразумию в сей новой для него и для России войне. Это подтверждает истину аббата Сабатье[21], что здравый ум может быть способен ко всему.

13. Деревня Худек

10, 11, 12 и 13-го прошли мы чрез деревни: Хлудни, Станиславово, Дрозжево и Худек. Вся сия дорога вообще гориста и покрыта лесом. Здесь генерал Корф имел переговоры с австрийским генералом Фрелихом. Генерал Милорадович посылал также к ним с особыми тайными поручениями начальника авангардного штаба полковника Сипягина. Вследствие сих переговоров австрийцы уступили нам всю дорогу до самого местечка Прасниц; и даже большой магазин в сем местечке, сдав оный во всей целости занимавшемуся на то время заготовлением впереди продовольствия для авангарда Московского Ополчения майору Павлову.

14 января, местечко Прасниц

Авангард вступил в Прасниц. Это местечко только в 80 верстах от Варшавы. Все здешние евреи с распущенными хоругвями, хлебом и солью встретили генерала Милорадовича. Их радость неопишана. Бедные! Пленение французское не легче было для них, как для предков их Вавилонское!.. Теперь, по причине их повсеместности в Европе, они оказывают нам большие услуги, доставляя отовсюду весьма важные и верные известия. Прасниц - довольно изрядное местечко на одной из больших дорог из Пруссии в Варшаву. Но что сказать вообще о герцогстве Варшавском? - В короткое время пребывания своего под властью Прусского правительства получило оно самое выгодное для себя образование. Повсюду встречаете вы плоды благотворительности этого умного и попечительного правительства. Везде видите по плану выстроенные деревни. У крестьян прекрасные светлицы с большими каминами, которые их освещают и греют. - Отчего ж они здесь лучше, нежели во всей Польше? Кто строил их? - Король! Хотите знать средства его? Вот одно из главнейших: каждый поселянин платит в казну от 3 до 5 злотых с избы, что составляет страховую пожарную сумму. В частности это почти ничего, в сложности - много. Из сей-то суммы каждый погоревший крестьянин получает 500 злотых и строит себе прекрасный дом. Таким образом многие уже деревни и города в лучшем и прекраснейшем виде возродились из пепла после пожаров.

Герцогство Варшавское разделено на префектуры и департаменты. В каждом городе, если он не главный в префектуре, находится подпрефект, по-нашему, исправник. Герцогство имеет свои деньги.

Прасниц, 15 января

Сегодня генерал Милорадович осматривал проходившие войска 4-го и 7-го корпусов. Веселый вид солдат, их бодрость и свежесть лиц не показывали, чтоб они перенесли столь много неслыханных трудов, пройдя великое, необъятное пространство от Оки до Вислы в непрерывных сражениях и победах, среди лютейшей зимы. Седьмой корпус обратил на себя особое внимание. Генерал Паскевич, при громком барабанном бое и веющих знаменах, провел его быстрым и смелым шагом. В остатке этого корпуса виден был тот же жар и дух, с каким истреблял он колонны Нея под Красным. - Артиллерия наша тянулась через местечко бесконечным гужом.

Сегодня получено известие, что Данциг, в котором заперся генерал Рапп, обложен нашими войсками. Кенигсберг, Мариенбург и Мариенвердер взяты; 15 тысяч пруссаков отклонились от французов к нам. Кажется, что Пруссия вся с нами. Раньше, с 20-ю тысячами, составленными из французов, поляков и саксонцев, бродит около Варшавы; может быть, вздумает защищать ее. Но колонны нашей главной армии, ни па что несмотря, обходят Варшаву и спешат занять все герцогство.

16. Прасниц

В авангарде нашем последует некоторая перемена. За два перехода отсюда отделится от него часть издавна в нем находившихся войск; а присоединятся идущие из Венгрова корпуса генерал-лейтенанта Сакена и князя Болконского, Все это вместе составит до 30000 войск, которые генерал Милорадович, переправя в разных местах через Вислу, введет в Варшаву со стороны, противоположащей Праге. Модлин, эта вновь сооруженная Наполеоном на выгоднейшем месте, при слиянии Вкры с Бугом и Буга (принявшего у Серотска реку Цареву) с Вислою, крепость будет обложена. Часть польского народного ополчения, называемого коссионерами, находившаяся в Плоцке, поспешно ушла за Вислу Калишской префектуры в городе Пиотрков.

17 января. Прасниц

"Теперь или никогда, в глазах целого света, должны вы показать привязанность вашу к родной стране, любовь к свободе и то, что вы достойны имени поляков: имени, которое предки ваши с такою честью и славою носить умели". - Так восклицает к народу Игнаций Ежевский, генерал и маршал от народного ополчения в департаменте Плоцком. Надобно знать, что в это время поляки, у которых и зимние бури не могли еще остудить голов, задумали сделать во всем герцогстве древнее Посполитов рушенье, то есть поголовное

народное вооружение. Он продолжает: "Слышите ли, благородные поляки! Звук трубы, зовущий нас под отечественные знамена для защиты родной земли!.. Друзья и братья! Настала минута, в которую должно всем жертвовать, на все отважиться - минута кровавых боев... Стыд и горе тому поляку, который предпочтет спокойствие и цепи рабской жизни трудам и смерти за спасение растерзанного отечества! Я в третий уже раз приемлю начальство над ополчением народным, и всегда в такое время, когда бури потрясают отечество. Последуйте за мною! И проч., проч." - Но поздно!.. Это все равно, когда бы кто-нибудь сзывал народ спасать, дом, в котором цела одна только половница, на которой он стоит, а все прочее поглощено пламенем. Теперь уже не время играть рыцарские драмы. Полякам не на кого пенять в утрате государства своего, кроме самих себя. Тем ли думать о свободе, которые, раздвинув прежде на столь обширное пространство пределы земли своей, лежащей по несчастью в самой середине Европы, и огорчив через то большую часть держав, вдруг предались праздному бездействию извне и раздорам внутри? Роскошь, пороки и нововведения нахлынули к ним со всех сторон. Древние нравы истлели. Твердость духа развеялась вихрями нового образа жизни. Народ оцепенел. Вельможи уснули. Но государство, засыпающее на цветах, пробуждается обыкновенно бурями. Нет! Не это земля свободы! Свобода хранится и цветет в области уединенной, немногочисленной, за хребтами высоких гор, среди дремучих лесов. Мы любим слушать Галгака или Арминия[22]. Первый на диком острове, под бурями Северных морей, не колеблется даже и в то время, когда варвары гонят его к морю, а море отвергает к варварам; когда приходится ему умереть или от воды или от железа. Другой, в древних лесах Германии, дик, грозен, но тверд и величественен, стоит по колени в болоте, под мрачным склоном вековых деревьев, и скликает полудикие племена на расторжение неволи. В горах Краковских, в болотистых лесах герцогства Варшавского могли бы еще поляки сбересть свободу свою, но это не теперь, а в давно прошедшем времени.

18 января

Случалось ли тебе видеть, как знатные господа, промотавшие все свое имение, по старой привычке роскошничать заказывают еще обеды, пиры и праздники, не имея уже копейки в кармане? Так точно поступает Наполеон. Растеряв всю свою армию, насылая он из Парижа с нарочными курьерами повеления, куда идти корпусам, где зимовать большой армии и проч. Он велит вооружать те области, которые давно уже нами заняты; защищать те города, которые в ваших руках. Все большие дороги наполнены нашими войсками. Везде хватают парижских гонцов и громко смеются над гордыми повелениями великого вождя невидимых сил. Известно, что Наполеон, доехав в Париж под почетным именем Коленкура, объявил Сенату большую часть своей потери, уверяя при том, что вся русская армия побита им наголову, а ему повредил один только суровый климат. Пусть он говорит, а мы будем делать. История и потомство рассудят.

Пусть он обманывает французов: но надолго ль? Скоро, скоро нежные матери, отцы и друзья, не получая так долго вестей о милых сердцу своему, домыслятся и восстенают о погибели их. Напрасно юные жены, под прелестным небом Южной Франции, томятся желанием увидеть супругов своих и часто в приятных мечтаниях утренних снов простирают к ним объятия; напрасно отцы наряжают великолепные дома для приезда сынов своих - уже не придут они: мертвые не воскресают. Они пали на кровавых полях от Оки до Вислы, и груды костей их тлеют в чуждой земле. Франция! Наполненная шумом забав и песнями радостей, готовься ныне к ударам смертной горести! Недостанет траура и слез для столь многих потерь. А ты, о Россия, о мое Отечество! Торжествуй великое празднество твоего освобождения, покоясь на лаврах и трофеях спасителей своих! Долго не изгладится из памяти народов ужасная погибель дерзающих на тебя!..

Описание Военных действий в Заилийском крае в 1860 году и журнал осады Хокандской крепости Пишпек⁵⁹

Журналь осады.

Первая ночь, на 31-е августа.

Съ наступлениемъ темноты, расположивъ прикрытiе цепью се резервами, заложили несколько впереди сада за оврагомъ, ночки въ равномъ разстоянии одна отъ другой, три углубленныя батареи: правую на четыре орудия (на два батарейные и на два легкие единорога), среднюю на семь мортирь и левую на два легкие орудия (шести-фунтовую пушку и ¼ пудовой единорогъ). Между первую и второю батареями, и правее первой на 30 саж., заложили шесть ложементовъ для стрелковъ, каждый на 6 человекъ. Въ часъ ночи начальникъ отряда, осмотревъ работы, приказалъ вооружить ихъ къ разсвету. Батареи строились безъ внутренней обшивки, съ одеждою амбразуръ мешками; сообщенiе же устроено по оврагу. Согласно [20] приказанию, къ разсвету батареи были окончены и вооружены. Доставка орудий изъ лагеря черезъ места, затопленныя отъ распущенныхъ арыковъ, представляла немало затруднений. Орудия чрезъ топи перетащены людьми на рукахъ. Въ продолжение работъ съ крепости несколько разъ открывали сильный огонь изъ пушекъ и турокъ (крепостныхъ ружей), со всехъ четырехъ фасовъ, но безъ вреда для насъ. Большая часть снарядовъ перелетала черезъ рабочихъ. По всему было заметно, что неприятель не догадывался о нашихъ работахъ.

На работахъ въ эту ночь находились: 5-го Сапернаго Баталиона поручикъ Титовъ, военный инженеръ поручикъ Криштановский, Гренадерскаго Сапернаго Баталиона подпоручикъ Гаккель и военный инженеръ-подпоручикъ Каменоградский. Саперъ было 3 чел., военно-рабочихъ 1 и изъ линейныхъ баталионовъ, на две смены, 360 чел. Прикрытiе составляли 100 чел. стрелковъ № 8 баталиона, подъ начальствомъ подпоручика Шанявскаго и прапорщика Снессарева.

Днемъ 31-го августа. Въ 5 час. утра батареи № 1 и 3 открыли по крепости сначала навесный, потомъ прицельный огонь. Съ мортирной же батареи огонь открытъ несколько позже. Батареи эта состояли: № 1-го подъ командою артиллерии подпоручика Курковскаго, № 2-го — подпоручика Логинова, № 3-го — адъютанта корпуснаго командира, поручика Блюменталя, и все батареи подъ главнымъ начальствомъ артиллерии штабсъ-капитана Обуха. На меткий огонь нашихъ батарей неприятель отвечалъ такъ же сильно, и ядра его часто попадали въ амбразуры. Въ этотъ день на батарею Курковскаго убитъ ядромъ фейерверкеръ батарейнаго взвода и сбитъ мушка на 1/4-пудовомъ единороге; на батарее Блюменталя убито две лошади. Рабочихъ было назначено 100 человекъ 8-го баталиона, на [21] две смены; они занимались утолщениемъ эполементовъ батарей и починкою внутреннихъ отверстий амбразуръ, часто переменяя мешки. Траншейный караулъ состоялъ изъ 50 чел. № 9-го баталиона.

Вторая ночь, на 1-е сентября.

Отъ праваго фланга батареи № 1-го, по направлению къ крепости, мимо юго-западнаго угла, заложили траншею на 100 саж., на конце которой устроили углубленную мортирную батарею на 7 мортирь.

Къ разсвету работы были окончены, и батарея вооружена мортирами съ батареи № 2-го. Впереди устроили 4 ложементовъ для стрелковъ. Съ начала ночи изъ крепости огня не производили, но съ открытиемъ работъ на мортирной батарее, часть которой вырыта въ каменистомъ грунте, неприятель открылъ довольно живой огонь по рабочимъ, однако безъ вреда для нихъ. Съ нашей стороны огня не открывали, исключая несколькихъ выстреловъ

59 Описание Военных действий в Заилийском крае в 1860 году и журнал осады Хокандской крепости Пишпек. — Санкт-Петербург, в типографии В. Спиридонова и К°, 1861. — 35 с. ≡ Книга дана в орфографии принятой до 1918 г. - <http://militera.lib.ru/h/pishpek/index.html>

съ батареи Блюменталя, посланныхъ въ ответъ на неприятельский огонь, который после того сталъ слабее.

Въ эту ночь на работе находились: 5-го Сапернаго баталиона поручикъ Титовъ и Гренадерскаго Сапернаго Баталиона подпоручикъ Гаккель; саперъ 2 чел. и отъ баталионовъ №№ 8 и 9-го, на две смены, 360 чел. Прикрытие составляли 100 человекъ № 8-го баталиона, подъ командою штабсъ-капитана Фриде. Все рабоче, вместе съ прикрытиемъ, состояли подъ командою командира Линейнаго № 8 Баталиона майора Экеблада.

Днемъ 1-го сентября. Съ разсветомъ съ крепости открыли довольно сильный огонь; съ нашей стороны отвечали, но не частымъ огнемъ. По батареямъ отдано командующимъ войсками приказание стрелять какъ можно реже, [22] и беречь снаряды для действия ими съ ближайшаго разстояния. Рабочихъ было назначено: 100 человекъ казаковъ, на две смены, которые уширили траншею, и между батареями № 1 и 3-го улучшили сообщение, ушивъ оврагъ и устроивъ траншею отъ батареи № 1-го до оврага. Кроме того, 50 человекъ 8-го Баталиона плели туры и вязали фашины. Траншейный карауль составляли 50 человекъ № 9-го баталиона. Въ этотъ день, приказомъ по войскамъ назначены: траншей-майоромъ — артиллерии поручикъ Вроченский, опытный въ боевомъ деле офицеръ, георгиевский кавалеръ за Севастополь; траншей-адъютантомъ — 8-го Линейнаго баталиона прапорщикъ Снессоревъ; траншей-офицерами: того же баталиона подпоручикъ Поповъ, прапорщики Ивановъ 8-й, Ивановъ 9-й, Корсиковъ и Вечесловъ, и траншей-юнкеромъ — юнкеръ Никольский; сформирована команда охотниковъ въ 250 человекъ, для прикрытия ночныхъ работъ и траншейной службы, по севастопольскому порядку. Въ этотъ же день, отведена вода Киргизами изъ арыковъ, протекающихъ къ крепости, и хотя гарнизонъ не чувствовалъ недостатка въ воде, но этимъ осушена местность впереди крепости, чемъ значительно облегчено ведение дальнейшихъ подступовъ, а также осушенъ ровъ передъ южнымъ и западнымъ фасадами.

Третья ночь, на 2-е сентября.

Заложили траншею, длиною 84 саж., по прежнему направлению, обойдя батарею № 4-го съ левой стороны, и при оконечности новой траншеи, параллельно атакованному фронту, заложили въ 84-хъ саженьяхъ отъ крепости брешь-батарею на 4 орудия съ эполементами для стрелковъ; къ утру батарея эта была окончена, но вооружена въ продолжение дня. Работы въ эту ночь производились частью въ [23] песчаномъ, частью въ каменистомъ грунте; внутренняя крутость батареи и амбразуры одеты турами, и на эполементяхъ устроены бойницы изъ мешковъ. Изъ крепости стреляли всю ночь, и по временамъ освещали местность, зажигая на стенахъ какой-то составъ, но освещение было весьма слабо. Потери въ эту ночь у насъ не было.

На работахъ находились: военные инженеры: поручикъ Криштановский и подпоручикъ Каменоградский; саперъ 2 чел. и отъ 8-го баталиона, на две смены, 360 чел. Употреблено: туровъ 50 и фашинъ 20. Прикрытие работъ составляли охотники, подъ командою траншей-майора, поручика Вроченскаго.

Днемъ 2-го сентября. Ушивъ выведенную ночью траншею, вооружили брешь-батарею двумя батарейными и двумя легкими орудиями. Батарея эта поступила подъ начальство артиллерии штабсъ-капитана Обуха. Съ полудня батарея открыла огонь, действиемъ котораго обрушена часть грудной обороны атакованнаго фронта, и значительно повреждена юго-западная башня; съ крепости отвечали усиленнымъ пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ, продолжавшимся съ часъ времени. Этотъ огонь сильно вредилъ амбразурамъ, такъ что несколько разъ приходилось ихъ прочищать и закрыть внутреннее отверстие щитами изъ канатовъ. Въ продолжение всего дня неприятель не прекращалъ пальбы, но действовалъ гораздо слабее чемъ утромъ. У насъ неприятельскимъ ядромъ сбило часть оковки на лафете 1/2-пудоваго единорога. Замечено, что все повреждения, сделанныя въ предъидущие дни въ атакованномъ фронте, заделаны въ прошлую ночь земляными мешками.

Рабочихъ было назначено 50 чел. казаковъ, въ траншеи, и 50 чел. пехотныхъ для плетения туровъ и вязания фашинь.

Траншейный карауль составляли 50 чел. охотниковъ [24] и 20 человекъ стрелковъ 9-го баталиона, размещенныхъ на эполементахъ за бойницами, и поддерживавшихъ весь день штуцерной огонь.

Четвертая ночь, на 3-е сентября.

Правее брешь-батареи, почти параллельно прежнему направлению траншей, выведена новая траншея, длиною въ 80 саж.; она закончилась большимъ заворотомъ, приспособленнымъ къ ружейной обороне, съ бойницами изъ мешковъ. Въ ту же ночь исправили брешь-батарею, амбразуры которой сильно пострадали отъ неприятельскаго огня. Вся траншея и заворотъ выведены местами съ туровой одеждой въ весьма каменистомъ грунте. Около 9 часовъ неприятель открылъ сильный огонь по рабочимъ, продолжавшийся всю ночь, приче́мъ у насъ ранено только три человека; на стенахъ крепости опять зажигали освещающий составъ. Съ нашей стороны было брошено въ крепость несколько бомбъ съ батареи № 4-го, ослабившихъ огонь крепости.

На работахъ находились: 5-го Сапернаго Баталиона поручикъ Титовъ и Гренадерскаго Сапернаго Баталиона подпоручикъ Гаккель; саперъ 2 человекъ и отъ линейнаго № 8-го баталиона, на две смены, 360 чел. Употреблено: туровъ 70 и фашинь. 20. Прикрытие состояло изъ охотниковъ, подъ команду поручика Вроченскаго, и 50 человекъ линейнаго № 9-го баталиона, подъ команду поручика Соболева. Секреты изъ охотниковъ лежали всю ночь почти у самаго рва и, осматривая окружающую местность, нашли въ одномъ изъ кургановъ 4 человекъ (3-хъ Хокандцевъ и 1-го Индейца), пробиравшихся къ крепости.

Днемъ 3-го сентября. Съ разсветомъ съ нашихъ батарей открыли прицельный и навесный огонь и штуцерный [25] изъ заворота; съ крепости отвечали на наши выстрелы, но слабее предыдущихъ дней. Начальникъ отряда, обходивший работы ежедневно по несколько разъ, приказалъ на батарее Обуха прорезать еще две амбразуры, и заворотъ, отстоявший на 30 саж. отъ крепости, обратить въ батарею на 3 кегорновы и одну 1/2-пудовую мортиры; командиромъ этой батареи назначенъ подпоручикъ Логиновъ. На батарее же № 4-го оставить 3 1/2 — пудовыя мортиры. Работы эти окончены къ 4 часамъ пополудни, и по прибытии въ траншею начальника отряда, открыта усиленная канонада съ брешь-батареи; съ мортирныхъ батарей открылся также огонь. Брешь-батарея, подъ начальствомъ штабсъ-капитана Обуха, действовала по крепостной стене ограды, влево отъ югозападнаго угла и по югозападной башне во второй ограде, и успела сбить неприятельския орудия, приче́мъ одно наше ядро попало въ самый каналъ 5-ти-фунтоваго хокандскаго орудия, стоявшаго на башне, и такъ плотно засело, что и до сихъ поръ тамъ остается. Брешь-батарея разрушила не только мерлоны на башне, но и всю ея сторону, обращенную къ атакованному фасу; сбила зубцы и всю грудную оборону на первой крепостной стене, такъ что неприятельский артиллерийский огонь, сначала довольно сильный, вскоре совершенно прекратился. Навесный же огонь мортирныхъ батарей очень беспокоилъ осажденных; гранаты падали въ разныхъ местахъ крепости и по преимуществу въ югозападный уголъ. Въ этотъ день у насъ контуженъ одинъ человекъ (въ батарейномъ взводе.)

Рабочихъ было назначено 100 человекъ 8-го баталиона, въ траншеи, и 100 казаковъ для плетения туровъ и вязания фашинь. Траншейный карауль состоялъ изъ 50 человекъ охотниковъ и 50 стрелковъ 8-го баталиона; стрелки весь день производили штуцерной огонь. [26]

Пятая ночь, на 4-е сентября.

Изъ оконечности новой мортирной батареи вышли летучею сапой, несколько подъ угломъ къ прежнему направлению траншей, и, пройдя 20 саж. отъ батареи, повернули на уголъ рва для венчания гласиса. Неприятель при начале работы открылъ ружейный огонь, и сталъ кидать въ рабочихъ камнями, приче́мъ ранены пулями военный инженеръ подпоручикъ Каменоградский и двое нижнихъ чиновъ, а также контуженъ камне́мъ въ ногу военный инженеръ-поручикъ Криштановский. Съ нашей стороны производился

огоць со всехъ батарей, а также и штуцерной огонь. Бомбы и гранаты летели одна за другою въ Пишпекъ, какъ въ 10-мъ часу изъ крепостныхъ воротъ вышли два человека, кричавшие: аманъ! аманъ, эльчи! [4](#); ихъ сейчасъ; взяли охотники, лежавшие въ секрете противъ воротъ, и привели, къ начальнику отряда на мортирную № 4-го батарею. Люди эти объявили, что начальствующие въ Пишпекѣ, Атабекъ Датха и Алаширь Датха, просятъ пощады, и готовы сдать крепость, въ удостоверение чего и прислали письмо за печатью обоихъ (переводъ этого письма см. въ приложенияхъ). Пославъ за переводчикомъ въ лагерь, полковникъ Циммерманъ приказалъ прекратить огонь, но работы продолжать деятельно. По прочтении письма обоихъ датхъ, послано сказать имъ, что требуется безусловная сдача со всемъ гарнизономъ, которому обещано сохранение жизни и имущества. Въ 1-мъ часу полученъ ответъ, что съ разсвѣтомъ оба датхи явятся въ траншеи, въ удостоверение чего старшій изъ нихъ, Атабекъ, прислалъ свою саблю и трехъ почетныхъ людей въ заложники. Тотчасъ же сделано распоряжение о ближайшемъ [27](#) оцеплении крепости казаками съ восточной и северной стороны, дабы никто изъ гарнизона не успѣлъ уйти; между темъ работы быстро подвигались впередъ, и къ утру было окончено венчание гласиса противъ исходящаго угла.

На работахъ въ эту ночь находились: военные инженеры: поручикъ Криштановский и подпоручикъ Каменоградский; саперъ 2 чел. и линейныхъ № 8 и 9 бат., на две смены, 300 чел. Употреблено туровъ 180. Прикрытие составляли охотники, подъ командою поручика Вроченскаго, и 100 челов. № 9 баталиона, подъ командою подпоручика Сяркоvsкаго. Днемъ 4-го сентября. Съ разсвѣтомъ вышли изъ крепости и явились къ начальнику отряда на брешь-батарею оба датхи, Атабекъ и Алиширь, и объявили, что сдаются безусловно и передаютъ себя и весь гарнизонъ милосердию Русскаго Царя. Начальникъ отряда отвечалъ, что гарнизонъ долженъ сейчасъ очистить Пишпекъ, оставивъ тамъ все оружие, порохъ и прочія военныя принадлежности, и обещалъ, что имущество всехъ людей въ крепости останется неприкосновеннымъ, и что они могутъ взять съ собою все до последней нитки. Немедленно нашими саперами перекинуть черезъ крепостной ровъ мостъ, и гарнизонъ сталъ выходить.

Всего вышло изъ Пишпека и сдалось военно-пленными 627 челов. [5](#) (изъ которыхъ торговцевъ съ ихъ работниками 84), и кроме того 63 женщины и 38 малолетнихъ детей. „Они все помещены въ саду, вблизи крепости, и оцеплены казаками. Все имущество взято ими съ собою.

По очищении Хокандцами крепости, немедленно были [28](#) туда введены наши войска. Комендантомъ Пишпека назначенъ саперный поручикъ Титовъ.

Въ крепости взято: секира Атабека Датхи — знакъ его власти и права казнить смертью своихъ подвластныхъ, — которая выносилась за Атабекомъ во всехъ церемониальныхъ случаяхъ; три знамени, изъ нихъ красное съ бунчукомъ Атабека, белое знамя Алишира; пять медныхъ орудий, изъ которыхъ одна гаубица 10-фунтоваго калибра, 3 пушки 5-фунтоваго калибра, все 4 на лафетахъ, и одна 2-фунтоваго калибра, безъ лафета; 11 небольшихъ чугунныхъ пушекъ фунтоваго и полуфунтоваго калибра, безъ лафетовъ; 49 крепостныхъ ружей, изъ которыхъ инья весьма значительной длины и большаго калибра, въ роде старинныхъ пищалей (между ними есть и китайскія ружья); 367 кремневыхъ и фитильныхъ ружей и мушкетеновъ самыхъ разнообразныхъ калибровъ, между ними много английскихъ и голландскихъ; 6 пистолетовъ, 366 сабель и шашекъ, 206 пикъ, 16 щитовъ съ серебряными украшениями, а одинъ съ позолоченными, 7 кольчугъ, шлемъ съ железной сеткой, 5 барабановъ, 5 небольшихъ литавръ, которыя хокандскіе начальники возятъ при своемъ седле, 4 трубы, пороху 114 пудовъ, много ядеръ, гранатъ (неснаряженныхъ), чучунныхъ пуль, свинцу и проч.

Въ гарнизоне было 20 убитыхъ и до 50-ти раненыхъ; более тяжело раненымъ оказано нашими медиками пособие. Неприятель продолжалъ бы защищаться, но важныя разрушения въ юго-западномъ углу крепости и приближение нашихъ работъ, не смотря на сильный огонь, къ самому рву, заставили его сдаться. Хотя при сдаче хокандскіе

начальники жаловались на недостатокъ снарядовъ въ Пишпеке, но въ послѣдствіи было найдено тамъ до 3 т. ядеръ, а также довольно гранатъ и трубокъ къ нимъ; какъ видно, Хокандцы неумели снарядить гранатъ. [29] Хокандцы знали изъ примера Акъ-мечети, что за приближеніемъ работъ ко рву немедленно последуетъ взрывъ и штурмъ. Въ послѣдствіи мы узнали, что 3-го сентября утромъ, на бывшемъ у неприятеля совѣщаніи, положено было не сдаваться. Хокандские начальники пошли въ мечеть, вынесли оттуда коранъ, и заставили людей гарнизона присягать на немъ, что они скорее умрутъ, чѣмъ сдадутся; но ввечеру, когда усиленнымъ дѣйствіемъ съ брешь-батареи и навеснымъ огнемъ произведены были большія поврежденія, неприятель, понеся и въ людяхъ большую потерю, увидѣлъ, что онъ не можетъ удержаться въ крепости; мужество его поколебалось, и онъ рѣшился на сдачу въ ту же ночь. Наши снаряды произвели достаточно разрушенія въ крепости, въ особенности въ юго-западномъ ея углу, который наполненъ былъ смрадомъ отъ убитыхъ лошадей. Съ нашей стороны выпущено снарядовъ по нижеследующей таблицѣ:

ВЕДОМОСТЬ

о числѣ выстреловъ, произведенныхъ при осадѣ Пишпека.

Названіе Число выстреловъ:

е орудій и мортиръ.	31-го	1-го	2-го	3-го	Всего
	август	сент.	сент.	сент.	
Изъ мортиръ 1/3-пудовыхъ	40	57	54	72	223
— 6-фунтовыхъ	10	36	30	57	133
— единороговъ ½-пудовыхъ	39	26	41	16	172
— - ¼ —	90	71	35	112	308
— пушки 6-фунтовой	60	20	13	32	125
Всего	239	210	173	339	961
Боевыхъ 2-дюймовыхъ ракетъ	»	»	»	8	8
Патроновъ	»	»	»	»	12869

[30]

Неприятелемъ выпущено снарядовъ гораздо более, но въ огнѣ его было мало меткости, что объясняется отчасти темъ, что ядра его имеютъ большой зазоръ. Во всю осаду наша потеря состояла изъ одного раненаго офицера, и одного убитаго, пяти раненыхъ и одного контуженнаго нижнихъ чиновъ.

Отрядомъ въ пять рабочихъ ночей построено шесть батарей и вырыто траншей до 330 саж., въ томъ числѣ около 60 саж. летучей сапой.

Два дня спустя по занятіи Пишпека приступлено, согласно приказанію корпуснаго командира, къ разрушенію крепости, что и окончено къ 10 числу сентября при помощи 117 взрывовъ, на которые употреблено 217 пудовъ пороху, въ томъ числѣ хокандскаго 128 пудовъ; взрывы производились саперными офицерами: поручикомъ Титовымъ и подпоручикомъ Гаккелемъ. При одномъ изъ взрывовъ контужень одинъ изъ саперъ обломкомъ дерева въ голову, а другой легко опалилъ себе руку. Срытие же стѣнь производилось подъ наблюдениемъ военныхъ инженеровъ: поручика Криштановскаго и подпоручика Каменоградскаго; рабочихъ для разрушенія стѣнь выходило ежедневно 600 человекъ.

Вечеромъ 10 числа строенія въ крепости наполнены удобосгораемыми веществами, и преданы пламени; вскоре на мѣстѣ Пишпека осталась лишь груда земли и пепла.

Пишпекъ считался изъ числа сильнейшихъ пограничныхъ крепостей въ Хокандскомъ Ханствѣ, былъ вчетверо более Акъ-Мечети (Акъ-Мечетское укрепленіе составляло четыреугольникъ, въ боку котораго съ небольшимъ 50 саж., а крепость Пишпекъ имела въ

боку 105–110 саж.) и имелъ две ограды изъ весьма толстыхъ и высокихъ стень, тогда какъ въ Акъ — Мечети была только одна ограда; въ Акъ-Мечетскомъ гарнизоне было 300 человекъ съ тремя [31] медными орудиями малаго калибра; въ Пишпекѣ было более 600 человекъ съ пятью медными орудиями, не считая уже 11 небольшихъ чугунныхъ пушекъ безъ лафетовъ.

Конечно, сопротивление гарнизона въ Акъ-Мечети было упорнее, чемъ въ Пишпекѣ; но нельзя умолчать, что въ Пишпекѣ взято гораздо более трофеевъ, и что падение его для Хокандскаго Ханства будетъ чувствительнее, чемъ падение Акъ — Мечети, ибо съ Пишпекомъ утратили они все влияние свое на дико-каменныхъ и Большой Орды Киргизовъ, которыхъ кочевья весьма многолюдны въ Причуйской стороне; и наконецъ взятие Пишпека стоило очень небольшой потери и весьма незначительныхъ издержекъ. Осада Пишпека имеетъ сходство съ осадами персидскихъ крепостей въ 1827 году: Эривани и Сардаръ-Абада, весьма походившихъ на Пишпекъ характеромъ своихъ построекъ. Эривань была четырехугольникъ, въ боку котораго съ небольшимъ 200 саж. и окружена точно такими же глиняными стенами съ башнями какъ и въ Пишпекѣ; осада ея продолжалась 7 дней, и стоила Русскимъ 52 человека убитыхъ и раненыхъ. Сардаръ — Абада немного менее Эривани. Траншейныя работы, произведенныя передъ нимъ, совершенно походятъ на работы предъ Пишпекомъ; осада Сардаръ-Абада продолжалась 5 дней и стоила намъ только 22 человека убитыхъ и раненыхъ.

11-го сентября отрядъ двинулся обратно въ укрепление Верное. Пройдя р. Чу вбродъ, близъ мыса Чумичъ, отрядъ пошелъ на Курдай путемъ, не представляющимъ такихъ трудностей какъ Бишъ — Майнакский переваль, и 16-го сентября благополучно возвратился къ укреплению на р. Кастекъ. Цифра больныхъ во все время похода не превышала 12-ти.

Во все продолжение экспедиции, отрядъ не былъ тревожимъ дико — каменными Киргизами, и только разъ подъ [32] Пишпекомъ, 2-го сентября, показалась изъ ущелья р. Ала-мединъ толпа дикокаменныхъ (до 400 человекъ). Посланные противъ нихъ наши Киргизы съ султаномъ Тезекомъ и две сотни казаковъ, подъ командою есаула Бутакова и адъютанта корпуснаго командира поручика Врангеля, прогнали ихъ въ горы, причемъ съ нашей стороны убитъ одинъ киргизъ, за котораго въ-последствии взысканъ съ дикокаменныхъ кунъ въ 200 лошадей и 6 девятковъ.

После этого многие киргизские роды и племена присылали депутатовъ съ изъявлениемъ покорности. Такимъ образомъ настоящая экспедиция за р. Чу окончательно утвердила господство наше въ обширномъ и плодородномъ Заилийскомъ Крае, присоединенномъ къ России во время управления Западной Сибирью генерала отъ инфантерии Гасфорда. [33]

Русско-японская война

В. Шуфа (Борея). Корреспонденции о русско-японской войне⁶⁰

(из газеты "Новое время" (С-Пб))

Дневник корреспондента

Харбин, Сунгари-тож, мне надолго останется в памяти. Я едва не увяз в харбинской грязи, в манчжурской грязи, в грязи невообразимой, которую часа четыре месил ногами, путешествуя по окружным штабам, чтобы добыть пропуск в действующую армию.

В Харбин мы приехали в 3 часа утра, на станции нет ни кофе, ни извозчиков. Китайские носильщики с криком и гамом перетащили наши чемоданы версты за две с воинской платформы на вокзал. Комендант ответил, что нам дадут вагон...

Шуф.

60 Оригинал здесь -- <http://v-shuf.narod.ru/public2.htm>

Репортажи (телеграммы):

Баржа - плавающий госпиталь петербургского биржевого общества 9 июня с больными и ранеными отбыл караваном из Харбина по Сунгари...

Южная Манчжурия, 24 мая.

От Харбина дорога круто поворачивает на юг. 500 верст до Мукдена и 75 верст от Мукдена до Лаояна мы проедем в 2 суток. Завтра на заре будем в действующей армии. Таким образом, берет почти три недели дорога от Петербурга до Лаояна, где гремит гроза, зарницы которой уже видны на горизонте. Яркие вспышки далеких молний бороздят вечернее небо.

Но как хороша южная Манчжурия в жаркий солнечный день. На небосклоне виднеются вереницы синих остроконечных гор. Широкая зеленеющая степь почти везде хорошо обработана. Полуголые китайцы в синих шароварах, белых шапочках абажурами, с мускулистыми коричневыми руками и обожженной солнцем грудью работают на полях гаоляна. Манчжурские деревни, издали похожие на наши, тонут в зеленых рощах. Земляные фанзы, окруженные земляными стенами, точно крепости, чередуются с высокими скирдами соломы, похожими на дома с покатой кровлей. Богатый прекрасный край. За деревнями иногда попадаются китайские могилы и кладбища - совсем кучи муравейника. Воздух теплый, мягкий и приятный. На станциях китайцы продают нам большие пучки длинной розовой редиски, какой у нас нет и в помине.

На станции Гунжулинь мы встретили остатки поезда, который обстреливали японцы. На одном вагоне до 200 пуль оставили следы, а в двух местах обшивка была пробита насквозь. На нем везли пассажиров и раненых из Порт-Артура...

Шуф.

Телеграммы: 21 июня Лаоян

Видимо, японцы сбиты с толку тактикой генерала Куропаткина. Все их движения неуверенны, то переходят в наступление в восточном отряде, то отступают. Их тыл в печальном положении...

Поднялся сильный ветер. На солнце - 30 градусов. Дождя нет. Дороги грязны. Но японцы приближаются к Лаояну. С этапов отходят отряды Красного Креста.

(Соб. корр.), Мукден, 21 июня

Раненые, находящиеся в госпиталях Мукдена, рассказывают о возмутительных насилиях, производимых японцами над нашими ранеными, что вполне подтверждается при осмотре четырех трупов 1-го стрелкового полка, доставленных с поля битвы после ночного боя с 29 на 30 мая между деревнями Людягоу и Лидятун: оказалось на одном 26 и на другом 18 штыковых посмертных ран в разных частях тел, на третьем трупе, кроме огнестрельной, 2 штыковых прижизненных раны. Об осмотре составлен акт....

Дашичао, 28 июня

...При наступлении японцев в направлении севернее Гайджоу 26 июня вновь на вершинах сопек задержаны были китайцы-сигнальщики, пользовавшиеся ручными зеркалами и условными знаками. Они указывали японцам перелеты и недолеты артиллерийских снарядов, давая этим японцам возможность скоро пристреливаться по нашим войскам... Злоупотребление японцами флагами Красного Креста снова имело место 26 июня. Когда на передовой линии был ими поднят флаг, наши войска немедленно прекратили огонь по этому месту и перестали стрелять.

Как оказалось, японцы устанавливали артиллерию на позиции в самой непосредственной близости от флага и затем открывали оттуда огонь.

1 июля, Лаоян

Под Дашичао и Хайченом ожидается сражение. Японцы стоят в окопах в 8 верстах от Дашичао. Было несколько стычек. Погода благоприятна для передвижения войск. 50 градусов по С, дождей нет целую неделю.

По дороге на Мукден появился японский передовой отряд. Несколько раненых японцев привезены в Лаоян. Беседовал с пленным кавалеристом. Японские офицеры убеждают своих солдат не сдаваться, так как русские будто бы жестоко убивают пленных японцев. Пленные улыбаются, делают под козырек, благодарят за уход в лазарете и боятся только того, что их отправят в Москву, где местность красивая, но очень холодно. Они видели Москву на карте, но насчет холода не ошибаются.

В Лаоян ежедневно прибывают свежие войска.

Лаоян, 7 июля, 6 ч. 20 м. пополудни

Восточный отряд перешел в наступление за долиной реки Ланхе. Граф Келлер после упорного сражения заставил японцев отступить с большими потерями. У генерала Гершельмана 6 июля был удачный бой, заставивший японцев поспешно отойти к своим главным силам. Наши потери - 200 убитых и раненых.

Подрос гаолян и в окрестностях гор появились шайки хунхузов, нападающих на наши внешние караулы. Было несколько перестрелок.

Говорят, Куроки болен малярией и следует за своей армией на носилках. На юге, по слухам, японцы перешли в наступление от Гайчжоу. Ожидаем сражения...

8 июля

Раненый поручик Олтаржевский рассказал мне подробности боя 4 июля в отряде графа Келлера.

Бой начался ночью. Пере долиной реки Ланхе отряд охотников, где был Олтаржевский, заняли вершину сопки. Артиллерия японская ночью бездействовала и наши успели захватить 10 японских орудий. Утром Олтаржевский увидел над сопкой отряд, одетый в русскую форму. Оттуда окликнули: "Вы охотники?". "Не стреляй, это наши" - ответили у нас. Но едва отряд охотников спустился с сопки, по ним стали стрелять залпами. Под горой оказались японцы, переодетые в нашу форму. Наши отошли за сопку и стали отстреливаться. Отряд Келлера перешел в наступление. Граф Келлер все время был под огнем. Японцы были отеснены перед рассветом. Одна батарея японцев была сразу сбита и наши бросились в штыки. Поручик Яковлев зарубил офицера, отнял шапку и фуражку, на которой было написано по-русски "Никола Яковлевич".

Бой продолжался до 6 часов дня. Наши вернулись на свои позиции у Корейской башни. Японцы потерпели такие ужасные потери, что не дали ни одного выстрела при нашем отступлении. Все окрестные высоты завалены трупами японцев.

... Замечательно действовал Курляндский санитарный отряд барона Мантейфеля: под огнем перевязывал раненых, которым давали кофе, коньяк. Под сопкой, как дома, сестры и доктора работали методически.

19.07.04, No 10194, с.2

Дневник корреспондента

Четверг, 24 июня

Оклеенные бумагой решетчатые окна нашей фанзы закрыли от меня ночную темноту и старый китайский город Лаоян. Мрачный по воспоминаниям город. Ночные звуки гонга, в который бьют сторожа-китайцы, невольно пробуждают печальные тени. Здесь у западных ворот, где теперь стоят наши часовые, долго висела в клетке отрубленная голова несчастного инженера Верховского, казненного по приказу местного дифангуаня. Здесь же в Лаоянской тюрьме были замучены китайцами десятки русских. Мерно звучат протяжные удары гонга в тишине ночи, похожие на тревожный набат. Ворота и двери нашей фанзы накрепко заперты засовами... Как относятся к нам китайцы? Пока мы сильны и платим им деньги, они приниженно льстивы и предупредительны. Ноя заметил не один косой взгляд, который китайцы бросали на русских солдат. Вчера опять привели под стражей несколько китайских шпионов, служивших японцам. Ловят здесь и хунхузов, если у них на ружьях нет русского штемпеля и они не принадлежат к отряду Тайпэна, который служит разведчиком в наших передовых войсках. Пойманных хунхузов сдают лаоянскому дифангуаню, и он их казнит. Но хунхузов много в окрестностях и в ближайших горах. Мы заботимся об отношении к нам мирного китайского населения. Я видел сегодня на базаре конного офицера, который раздавал толпе китайскую газету, издающуюся у нас в Харбине. Китайцы брали ее нарасхват, но не совсем верят в известия, печатаемые газетой. У них свое мнение о военных действиях японцев, хотя китайцы все преувеличивают и не могут отличить небольшие стычки от большого сражения. Говорят, в одной из старых кумирен Лаояна собирается партия китайских заговорщиков. Быть может, здесь встречаются просто китайцы из шайки известного хунхуза Тули-Санга, который служит японцам. Дружественное отношение к нам китайского населения, конечно, очень важно для нас. Но могут ли китайцы симпатизировать русским, занявшим Маньчжурию? Все-таки мы для них - чужие, пришли с оружием в руках, захватили их страну. Китайцы преклоняются только перед силой... Стоит выйти на улицы, на шумный базар Лаояна, чтобы невольно обратить внимание на бесчисленную китайскую толпу. Желтолицая, полуголая, в синих балахонах и соломенных шляпах, эта толпа снует повсюду... нельзя выпить стакан чаю, чтобы в него не попала дюжина назойливых мух, нельзя отворить двери, чтобы в них не заглянул десяток еще более назойливых и любопытных китайский голов с косами... Я видел однажды, как китаец намеренно толкнул часового и получил за это, разумеется, изрядный удар прикладом. Вообще же наши добрые солдаты умеют ладить с китайцами и объясняются с ними по-своему. - Капитан, мала-мала денег! - вечно пристают рикши к офицеру, хотя он по российской щедрости дает им рубль вместо двугривенного. В лавках китайцы всегда пытаются надуть и обсчитать нашего солдата. Я стараюсь пристально наблюдать китайцев и не нахожу даже религиозности в этом народе... Кумирни в Лаояне заброшены, медные боги башни Бетали в полном пренебрежении. Если наша армия отступит, я боюсь, что китайское население сразу переменит свое отношение к русским... Я невольно думаю об этом, прислушиваясь к таинственным ударам гонга в тишине душевной ночи. Итальянец и англичанин, живущие со мною в фанзе, кладут под подушку револьверы. Шуф.

24.07.04 № 10199, с.2

Дневник корреспондента
24 июня, четверг
НА ЭТАПЕ

День был жаркий. Мы выехали из Лаояна только под вечер. Наши манчжурские лошадки в синих и красных китайских седлах с высокой лукой и широким стремяном весело бежали по пыльной дороге. Местами эта дорога с засохшими колеями недавней грязи была невозможна и приходилось сворачивать на боковые тропинки, вившиеся среди зеленого гаоляна...

Мы решили держаться линии телеграфа, хотя его столбы часто уходили в сторону и терялись среди зеленых сопок... Дорога поднималась к перевалу. Скоро весь путь загроздил бесконечный обоз. Неуклюжие телеги китайцев с тяжелыми колесами еле поднимались в гору...

В воздухе стояла перекрестная брань, щелкали бичи, ревели ослы.

Голос офицера обрывался от крика, усталости, набившейся в рот пыли. Одна телега с фуражом опрокинулась, в стороне валялась павшая лошадь.

Страшная крутизна Ванбатайского перевала, где дорога вилась зигзагами, часто была не под силу людям, лошадям и мулам, а этот перевал был одним из меньших в Маньчжурии...

Уже было совсем темно, когда, проехав верст двадцать, мы добрались до этапа Сян-линдзы. Кругом виднелись огни биваков, слышалось ржание лошадей... комендант этапа прочитал наши бумаги, выдал овес и сено лошадям, и мы отправились в столовую маркиганта Шуры, где был недурной буфет, можно было достать самовар и ужин... было весело и шумно. Одна за другой передавались в кружке офицеров истории последних стычек, то грустные, то полные солдатского простого юмора.

Поужинав, мы пошли спать. Комната для приезжих была обвешана чистыми китайскими циновками из гаоляна. Пол устлан пахучими сосновыми ветками. Мы расположились на канне - род нашей лежанки, и закурили папиросы...

На заре мы поднялись... и снова - в путь.

Шуф.

30.07.04 № 10205, с.3

Дневник корреспондента ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ

Как мы живем в Манчжурии. В письмах с родины постоянно повторяется этот вопрос, милый, заботливый, полный опасений...

В фанзе тот походный беспорядок, который водворяется при мужской холостой жизни. Офицеры с папиросами в зубах вытянулись на канне. Шашки, нагайки, резиновые плащи висят на стене. В углу свалено седло и рядом стоят сапоги со шпорами. Деревянный стол вроде кухонного завален всякой всячиной: тут табак на листе газеты, туалетное зеркало и бутылка шанхайского коньяку, револьвер, недоконченное письмо, развернутая карта Манчжурии. Неуютная обстановка, которая, впрочем, многим по сердцу. Косая голова опять показывается в двери и слышится неизменное: "Шанго!".

На Лаоянском вокзале, где теперь выставлены столики буфета на платформу, как в парижском кафе, сидят группы офицеров с белых и серых кителей, в рубашках с погонами, в разноцветных фуражках. Пьют ликер и пиво со льдом в стаканах. Жара нестерпимая. Шалеешь, утрачиваешь способность мыслить и соображать. Многие говорят, что можно одичать в Манчжурии, опуститься... это отчасти справедливо. Связь с западной Россией почти утрачивается, письма идут долго. Местные новости крайне скудны и время медленно тянется до первой битвы, которая всех сразу поднимает, встряхивает, доводя нервы до крайнего напряжения...

Когда один корреспондент составил телеграмму своей жене: "Милая Маня, целую тебя крепко", военный цензор подписал: "Разрешаю, полковник N." Без разрешения мы не можем посылать ни деловых, ни частных корреспонденций.

... Из сада Гамартели доносятся звуки музыки. Кое-где мелькают фонари рикш и слышен тяжелый шаг городского патруля...

Шуф.

03.08.04 № 10209, с.2

12 июля, понедельник

Дневник корреспондента
МИР И ВОЙНА

Капитан Анчасов ходил по Лаояну счастливый и довольный. Магазин С.-Петербургского экономического общества офицеров, которым он заведовал, наконец получил транспорт товаров. В одной из каменных построек штаба, где помещен магазин, стояла непроходимая толпа. Кругом были навалены горы бурок, одеял, жестянок с консервами и закутанных в солому бутылок. Десятки рук протягивались к прилавкам.

- Пойдите, я сейчас наволочку куплю и в нее ссыплю сахар! - изобретает находчивый поручик.

Недурное вино, хорошие консервы, скверные папиросы, сахар и чай складываются в одну наволочку, и с крыльца магазина денщик прилаживает оригинальный вьюк на седло лошади.

Натерпевшись всяких лишений в передовых позициях, когда в палатках и грязных фанзах зачастую по неделе не меняли белья, офицеры могли купить здесь все свежее: платье, рубашки, консервы из мяса, овощей и ананасов. Товар дешевый и недурной.

Кстати сказать, походное снаряжение, которое мы привезли из России, оказалось здесь никуда не годным. Климат и местность Манчжурии требовали совсем иных приспособлений. Требовались серые рубахи, серые фуражки с назатыльниками, непромокаемые высокие сапоги, голенища которых могли бы отворачиваться в жару, походные вьюки для лошадей, непромокаемые грубые плащи, хорошие электрические фонари, револьверы-карабины и прочее.

Купив себе кое-что из вещей, я возвращался по Штабной улице и встретил... г-жу Лухманову, которую едва узнал в костюме сестры милосердия. Она изнывала от жары в своем белом капоте с красным крестом. От нее в Лаояне мы узнали печальную новость.

- Вы слышали, умер Антон Павлович Чехов, сказала г-жа Лухманова.

... мы долго говорили о покойном Антоне Павловиче, о его сочинениях. Кто-то видел недавно в Харбине "Вишневый сад". Потом снова речь перешла на стычки и сражения...

Шуф.

05.08.04 № 10211, с.2

13 июля, вторник

Дневник корреспондента
БОЙ У ТАШИЧАО

... Уехав в Харбин, я вспоминаю теперь длинный ряд стычек, битв, фланговых движений, наших и неприятельских отрядов. Сражение у Ташичао началось на рассвете 10 июля, продолжалось 11-го и 12-го. Самый бой не есть что-то решительное, а входит в состав громадного плана генерала Куропаткина - заставить японцев брать ряд наших позиций от Вафангоу до Лаояна, где собственно и произойдет генеральное сражение, решающее судьбы кампании, по крайней мере в первой ее части.

Дело началось в 6 часов утра. Раскаты армейской стрельбы уже грохотали в воздухе, когда я выехал верхом со станции Дашичао, которая заранее была очищена от обозов и лазаретов, посланных назад...

Проскакав несколько верст, я поднялся на сопку. Она буквально дрожала от выстрелов нашей батареи, прикрывавшей отступление конницы. Верховые и спешившиеся казаки рассыпались по всем близким холмам. Бригада японской пехоты, разбившиеся на колонны, медленно наступала с высот.

Она была почти тотчас сметена залпами нашей батареи. Казаки рассыпались по холмам. Следующая колонна остановилась и дала залп, нервный и неровный, разбившийся на пачки. Пули засвистали кругом, но прицел был неверен, взято выше голов. Одна японская граната упала на соседнюю сопку, окутала ее белым дымом, и я видел, как два офицера, смотревшие в бинокль, быстро сбежали по склону... вдруг заиграла труба и наши стрелки, оставив впереди цепь, стали поспешно отходить в долину. Мне показалось, что солдаты неохотно покидали позицию...

Шуф.

14.08.04 No 10220, с.2

19 июля

... Японцы коварны, как большинство народов Востока. Они, однако, очень ценят русское благородство и добросердечие. Мне удалось видеть письмо пленного японского офицера. Он с восторгом отзывался о русских и говорит о нас японской пословицей: "С ружьем - враг, а без ружья - приятель". Увы, о самих японцах нельзя этого повторить...

Шуф.

16.08.04, No 10222, с.2

Дневник корреспондента
В ТЫЛУ АРМИИ

С наших передовых позиций, где я побывал в сражениях под Вафангоу, Дашичао, на Даменском перевале и на левом фланге восточного отряда, я отправился в Харбин, в тыл манчжурской армии. Офицеры приезжают сюда отдохнуть. Приятно растянуться на пружинном матрасе в номере харбинской гостиницы, хорошо пообедать за табльдотом и побывать в театре...

В госпитале хирург Делятицкий, приехавший добровольцем, показал шрапнельную пулю, извлеченную из головы раненого - "волчья пуля", большая и круглая. В шрапнели град таких кусочков свинца. Примечательно, что под Вафангоу большинство солдат было ранено в голову...

Я зашел в офицерский барак, где в хорошо устроенной столовой сестры милосердия напоили нас чаем - жара была страшная. Раненые офицеры в синих халатах вышли к нам и присели за стол. Большинство легко раненых снова стремились в бой. Только получившие тяжелые раны утешаются тем, что скоро увидят родную Полтаву, Москву, Петербург...

Шуф.

СВАДЬБА ВО ВРЕМЯ БОМБАРДИРОВКИ

(Эта "Маленькая заметка", кроме публикации в "Новом времени", подписанной Бореем (до его отъезда на фронт), была издана в виде листовки, которая и представлена в качестве самостоятельного произведения в Нац. б-ке России).

Любопытный эпизод - в Порт-Артуре во время первой бомбардировки благополучно состоялась одна обывательская свадьба. Только молодым пришлось ехать в церковь без фонарей, так как было приказано гасить огни в городе. Вот бесхитростное повествование об этой свадьбе, изложенное в письмах петербургским родственникам.

"9 марта, Порт-Артур...

У нас в семье как будто совсем незаметно, что война.

Началась она неожиданно. У нас готовились к свадьбе. Невеста приехала со своими родными со станции Инампо, в ресторане был заказан бал, ждали мы до ста человек гостей. Я поехала к портнихе и с нею отправилась в магазин Чурина, чтобы сделать покупки для невесты. Мы преспокойно занялись выбором вещей и вдруг слышим пальбу, но не обратили сначала на нее внимания. Видели только, что приказчик магазина сильно побледнел и говорит: "Извините, не могу продавать". Кучер наш прислал сказать, чтобы мы скорее ехали. Тут только мы поняли, в чем дело.

Выходим мы на улицу, а там страшный грохот, крик, шум, люди бегут, дамы плачут. Едва мы уселись в экипаж, лошадь рванулась и понесла, испугавшись снаряда, который разорвался невдалеке, слава Богу, благополучно. Я не знаю, что со мной было, но я как будто даже не испугалась. Приехали домой в новый китайский город, а там все наши гости напуганы и хотят уехать на поезде. Пришлось нам устроить свадьбу совсем домашнюю, и молодые ездили венчаться, даже не зажигая фонарей в экипажах. Гости разъехались на другой день...

Теперь мы пережили, кажется, пять бомбардировок, но первая меня встревожила более всего. Мы здоровы, молодые наши очень счастливы, и Коля вам кланяется. Но грянул гром и в нашем хозяйстве все изменилось. Китайская прислуга разбежалась, русских забрали в солдаты, т.к. все у нас были запасные. Пять лошадей наших взяты в обоз нестроевой роты. Но теперь все понемногу приходит в порядок. Мастерские и лавки открылись, жизнь вошла в свою обычную колею. Только город значительно опустел. Дам совсем не видно. Во время пальбы иногда бывает очень жутко, ну да на все Святая Божья воля".

На конверте письма красивый почтовый штемпель Порт-Артура, теперь многим знакомый, заставляющий тревожно биться наше сердце. Как видите, семейная жизнь в осажденном городе на далекой окраине России течет по-прежнему. Неприятельские бомбы не остановили даже свадебного поезда, и любовь сильнее войны. В церкви совершался обряд венчанья, а японский флот снова заряжал свои орудия, чтобы убивать, разрушать, вносить смерть и ужас в городские дома. Перепугались только гости на свадьбе, но молодые не покинули Порт-Артура.

Цветы флер д'оранжа странно и трогательно переплелись с кровавыми лаврами войны. Так повествует сама жизнь. Романиста, который вздумал бы ввести любовный эпизод в историческую картину осады Порт-Артура, мы, пожалуй, упрекнули бы в неестественности и сентиментальности. Но еще Л.Н. Толстой в "Войне и мире" указал нам, что семейная жизнь идет своим чередом в военное время, и ее маленькие события совершаются наряду с историческими. Многие жители Порт-Артура не покинули города, - им жаль было оставлять свой дом, свое хозяйство, с таким трудом устроенное на новом месте, где иные из них явились первыми русскими пионерами.

Приведенный мною отрывок из частного письма рисует чувства, тревоги и заботы оставшихся в Порт-Артуре. Семьи живут там по-прежнему. "На все Святая Божья воля", от смерти не уйдешь. Может быть, именно перед лицом смерти жених и невеста поспешили к алтарю, чтобы быть вместе до конца. Завтрашний день мог разбить любовь и личное счастье.

Я передал вам простой рассказ, составлявший трогательную страничку в истории Порт-Артура. Война похитит у кого жениха, у кого мужа, сына и брата, но она не сильнее любви в человеческом сердце.

Борей.

Склад издания. Москва, Драчевка, д. Лебедева, No 11

Дозволено цензурой С.-Петербурга

22 апреля 1904

Типография Максимова, Литейный проезд, д.40.

25.12.04 No 10353, с.4

Рождественский выпуск

КУМИРНЯ

Рассказ офицера

Наш Уссурийский казачий полк, куда я перевелся, стоял близ деревни Нютхиай, где в это время находился штаб восточного отряда действующей армии. Я только что приехал в Манчжурию, еще не освоился со своим новым положением, да и вы не узнали бы во мне бывшего гатчинского кирасира: загорел, запылится в дороге, на голове манчжурская папаха, ногой на ремне через плечо, рубашка с газырями и ножны шашки, обмотанные бечевкой, чтобы не бились по лошади. Вид боевой, но далеко не щеголеватый. Я был зачислен хорунжим в 3-ю сотню и ехал представиться командиру. К счастью мой новый денщик из бурят хорошо говорил по-русски и по-китайски, знал местность, и мы с ним благополучно добрались до "головного этапа" в Ляндяняне.

Уже смеркалось, надо было заночевать и покормить лошадей на этапе; но кроме чумизы и самовара здесь ничего нельзя было достать, а этапная фанза была битком набита проезжими офицерами. Духота, мухи, даже прилечь негде. Мой денщик - его звали каким-то странным бурятским именем "Хутухта", - меня и тут выручил.

- Так что, ваше благородие, здесь есть кумирня, в ней переночевать можно, - доложил мне Хутухта.

Я слышал, что манчжурские кумирни - в своем роде гостиницы, странноприимные дома, где останавливаются проезжие, и согласился, хотя ехать надо было еще верст шесть. Ночевка на этапе мне совсем не улыбалась. А Хутухта к тому же обещал достать хорошего корма для моей лошади, не привыкшей к чумизе. Впрочем, я не раскаивался в том, что послушался своего денщика, так как кумирня Лао оказалась очень живописным местечком. Стояла она на высокой сопке, вся в завитках причудливых кровель, с крутой лестницей от дороги, а кругом открывался широкий вид на поля гаоляна, быстрые речки и островерхие горы Манчжурии. Красивый край! В лунную ночь он казался мне фантастическим, как те сказки, где говорится о волшебных странах, драконах и черных духах.

Мы поднялись в кумирню, но и тут увидели целый бивуак. Оказалось, что тут расположились три наших казачьих офицера моего полка: сотник Астафьев, хорунжий Харченко и есаул Далибеков. Среди неуклюжих, пестро раскрашенных идолов стояли походные кровати, на свирепом божестве грома висела казачья шашка, всюду были расположены фуражки, винтовки, седла, корзинки с провизией, плащи и бурки. Денщик Астафьева только что принес самовар и меня пригласили к чаю.

- Ага, вот и еще гость пожаловал! Милости просим! - весело встретил меня Астафьев.

- я вас не стесню? - сказал я, снимая шашку.

- помилуйте, места сколько угодно. Целая кумирня к вашим услугам. Тут божниц, капищ, переходов не оберешься. Заблудиться можно - совсем лабиринт китайский. Вы куда ехать изволите?

- да, кажется, к вам, в Уссурийский полк, - улыбнулся я.

- в самом деле, вы ведь наш, уссуриец! - расхохотался Харченко, - только видно, что еще не обстреляны. Из столицы, вероятно? Тут много ваших, скоро обжтветесь. Позвольте вам налить мадеры шанхайского производства? Господа, за нового боевого товарища!

Мы чокнулись и разговорились о войне.

Я несколько устал с дороги и скоро простился с компанией моих будущих однополчан, которые, видимо, не были расположены к отдыху.

Хутухта устроил мою постель на другом конце кумирни, через двор. Это была отдельная божница, с вызолоченным кумиром, сидящим под балдахином, с живописью на стенах и двумя каменными изображениями каких-то зверей у входа. Посреди двора стояло священное дерево, древнее, дуплистое, с изогнутыми ветвями, похожими на ползущих драконов. Странно, вся природа в Китае - облака на небе, очертания деревьев и гор - напоминает эти мифические изображения, которыми наполнены кумирни, легенды, и кажется, самое воображение китайцев. В закоулке, рядом с моей божницей, был колодезь. Надпись на нем гласила, как мне перевел мой бурят, нечто совсем детское: "В этом колодце живет царь воды и повелитель драконов".

- Боюсь, чтобы они не приснились мне сегодня ночью, - улыбнулся я, собираясь раздеться. Но, несмотря на утомление, я долго не мог уснуть. Ночь была такая светлая, лунная, так тянуло вон из божницы, где пахло какой-то тысячелетней затхлостью. Кумирня Лао была древняя, построенная, вероятно, еще при минской династии богдыханов.

- Хутухта! - окликнул я денщика.

- Есть! - отозвался голос.

- Ты дал корму лошадям?

- Так точно, ваше благородие, - появился мой казак из соседнего дворика.

- Скажи, куда ведет эта лестница наверх?

- в главную кумирню бога Лао.

- Где ты выучился по-китайски?

- Я из Урги, ваше благородие!

- Ты буддист, в Будду веришь?

- Так точно!

Мне показалось, что косые глаза моего буряты как-то странно вспыхнули, и на всем темном скуластом лице его появилось новое выражение.

- Какая это надпись на каменной доске, рядом с черепахой у лестницы?

- Ганьджура, учение Будды по-нашему.

Я поднялся вверх по ступенькам кумирни и невольно залюбовался открывшимся видом на долины и горы, залитые сиянием полной луны. Где-то на низу, как золотой змей, сверкала извилистая речка. Острые вершины сопков, похожие на монгольский шапки, одна за другой уходили вдаль, а там вставали голубоватые, иззубренные, как неровная пила, утесы горного хребта.

- Какая ночь! - произнес я.

- Великая ночь чой-чжонов, - сказал голос около меня, - там на облаках проносятся на своих изюбрах могучие чой-чжоны, духи-хранители Алтая, Хингана и Бурихана. Я вижу барсовых кожи на их плечах. Их кони подобны ветру, их глаза - молнии в туче. Услышь меня, Сакьямуни, услышь Ундру-гагэна, своего хублигана! Будды и бодисаттвы проходят в эту ночь над землей. Они видят свое отражение в мельчайшем ручье, слышат свое имя от каждой былинки. Ом-мани!

Я невольно обернулся назад

Это молился мой Хутухта, но я не узнал его голоса, вида, который казался иным, незнакомым, непонятным мне.

- Хутухта! - окликнул я.

- есть, ваше благородие!

Передо мной снова стоял мой денщик.

"что за странное перерождение", - подумал я, глядя на него и вспоминая буддийское сказание.

Мы поднялись выше по лестнице.

Направо, в боковой кумирне, перед идолом богини Дара-эхэ лежал жертвенный пепел на алтаре, красные восковые свечи и какие-то священные принадлежности культа, которые мой бурят назвал "вачиром и чаршаном". Что-то вроде колокольчика и чаши.

Прямо передо мной, на вершине лестницы, открылась главная кумирня Лао, бога войны, у престола которого стояли два безобразных духа-гиганта с мечами и секирами. Лица их казались раскрашенными масками с оскаленными зубами и злобным выражением глаз. Отчего китайцы так любят все чудовищное, страшное, темное?

Какие-то спящие фигуры лежали ничком, навзничь, в разных положениях у подножия идолов. Полуголые, в лохмотьях, грязные.

- Что это за люди? - спросил я Хутухту.

- Китайцы, ваше благородие. Плохой народ. Нищие, больные, калеки. Они всегда ночуют по кумирням. Есть и хунхузы.

- В самом деле? - сказал я, всматриваясь в кучу разбросанных и разметавшихся тел.

Одна голова с косою поднялась, взглянула на нас и опять словно упала на плиты кумирни.

На меня пахло неприятным запахом бобового масла, запахом, так присущим китайцам.

Я пошел дальше в боковой двор, где в глухой траве валялся большой заржавленный колокол с изображением дракона.

- Ладогин! - тихо окликнул меня кто-то.

Я быстро обернулся.

- Что, испугались? Вам тоже, видно, не спится, - подошел ко мне хорунжий Харченко. -

Вот и я тоже не сплю, караулю...

- Кого?

- Тут при кумирне есть сторож.

- Так вы сторожа караулите?

- Нет, его дочку. Прехорошенькая, знаете ли, китаяночка. Хезайцу зовут. Чайная роза Китая. Только ничего по-нашему не понимает. "Ю-мию, тунда, бутунда..." - ну, как с нею объяснишься? Но этакая сегодня лунная ночь, что поневоле я в рекогносцировку отправился.

- Желаю успеха.

- А вы не пойдете?

- Нет, зачем же вам мешать? - рассмеялся я.

- Что же вы тут делаете?

- Так, осматриваю кумирню.

- Ну, как хотите.

Харченко подмигнул, щелкнул ногой и пропал в переходах кумирни. Я хотел позвать денщика, но его уже не было.

Повернув назад, я снова очутился под колонками божницы Лао. Лучи месяца падали в темноту храма и неверным светом озаряли чудовищные лица идолов. Я невольно остановился. Боги старины, полузабытые у своих алтарей, похожие на духов тьмы и злобы, словно шевелились в лунном сумраке, словно оживали древние суеверия, мрачные силы язычества, у которых еще были поклонники на земле. Мне вспомнились религиозные секты Китая, избиение христиан-миссионеров, смерть Верховского... Да эти боги еще живы, и им приносятся безобразные, кровавые жертвы. Как-то жутко становилось в темноте кумирни, рядом с безобразными истуканами, белки глаз которых придавали им вид чего-то живого, не совсем умершего, еще существующего.

Глухой удар гонга заставил меня вздрогнуть. Медный набатный звук понесся по всем переходам кумирни, отдался на дворе.

"Что это? Сторож бьет или зовут к молитве?" - подумал я.

Звук повторился и замер в воздухе.

Какая-то тень мелькнула мимо меня в углу божницы и скрылась за колоннами.

- Хутухта, ты? - окликнул я.

Ответа не было. Я хотел сойти по лестнице, но вдруг почувствовал удар в грудь и острую режущую боль в области сердца.

Я вскрикнул и зашатался, но чьи-то руки подхватили меня, подняли, понесли.... Мысли спутались в моей голове, и в глазах стоял какой-то пурпурный красный цветок, который все рос, тянулся куда-то в темноту, высоко, без конца...

Как сквозь сон, я увидел себя в божнице, где была моя постель. Надо мной склонился и что-то бормотал Хутухта, но не такой, каким я знал его всегда, - тот, которого я видел во время молитвы. Желтое, скуластое лицо его теперь казалось светлым, неподвижным, похожим на каменное изваяние бурханов в степях Монголии.

- Услышь, Сакьямуни, хубилана! - слышались мне слова заклинания.

Хутухта схватил горсть жертвенного пепла с алтаря божницы и бросил мне его на грудь. Кровь, бежавшая из раны, остановилась, какая-то теплота проникла в сердце...

Я очнулся.

Солнце ярко светило в дверь кумирни. Кто-то осторожно трогал меня за плечо. Я открыл глаза и поднялся с постели.

- Ваше благородие, так что лошади оседланы, - говорил мне Хутухта.

Я невольно схватился за грудь.

Ворот моей рубашки был отстегнут. Ни шрама, ни раны, ни царапины. Грудь дышала ровно и глубоко, как всегда после крепкого сна.

Я взглянул на Хутухту.

Мой бурят как-то странно улыбался и делал вид, что собирает мои вещи.

- А где другие офицеры? - спросил я его.

- Так что уехали в полк. Приказали вашему благородию поспешать. Казаки нынче выступают в Хаяну, за перевал.

Я молча стал одеваться. Наконец не выдержал и спросил, пристально глядя на бурята:

- Что было сегодня ночью?

- Не могу знать, ваше благородие, - ответил Хутухта.

Лицо его было совершенно равнодушно.

- Ты где был?

- Ночевал во дворе. Лошадей караулил.

- Ничего не видел?

- Никак нет.

- Гм... странные бывают сны!

- Так точно!

Ничего другого в этот день от него нельзя было добиться. Но я решил во что бы то ни стало узнать правду. Я твердо верил, что все случившееся со мною в кумирне в эту ночь не было сном, да и не бывают сны такими живыми, подробными до мельчайшего ощущения, оставшегося в памяти. Кто меня ранил - хунхуз или кто другой - я не знаю, но удара в грудь не забудешь. Самое имя моего денщика мне смутно напоминало что-то читанное давно о Монголии, о святынях. Халхи... Хутухта! Да, я это раз узнаю. Но теперь наш полк выступал за реку Лянхэ, свистели японские пули, и мне было не до воспоминаний о ночи, проведенной в кумирне Лао. Мы сели на лошадей и выехали к отряду.

В. Шуф.

**П. Ларенко. Из книги «Страдные дни Портъ-Артура»
Хроника военных событий и жизни в осажденной крепости**

съ 26-го января 1904 г. по 9-е января 1905 г.
По дневнику мирнаго жителя и рассказамъ защитниковъ крепости

I. Одиннадцатидюймовыя бомбы.

18 сентября (1 октября). Пока мы еще сидели въ Красномъ Кресте, пришедший съ боевыхъ позиций прапорщикъ разсказалъ ужасную новость: японцы начали обстреливать форты 11-дюймовыми бомбами. На форту II такая бомба прошибла бетонный казематъ и ранила смертельно несколько человекъ; на батарее литера Б было не поверили этому,-- говорятъ, не можетъ быть!-- хотели было послать имъ, для доказательства, доньшко снаряда, какъ оттуда дали знать по телефону, чтобы не посылали -- и къ нимъ уже прилетела такая же бомба... Сообщаютъ, что и фортъ III обстреливается 11-дюймовыми снарядами. Это что-то ужасное! Японцы грозятъ искрошить этими чудовищами (11-дюймовая бомба имеетъ въ длину около аршина, весомъ она около 16 пудовъ) все наши форты и поведутъ тогда на нихъ новыя штурмовыя колонны; бетонъ не выдерживаетъ этого удара -- значить, скоро негде будетъ укрываться нашимъ стрелкамъ и тогда надломится вся ихъ стойкость. Говорятъ, что местоположение этихъ орудий уже определено и отмечено на картахъ для стрельбы по квадратамъ. Но что-то не начали еще ихъ обстреливать; должно быть все еще экономить снаряды. Какъ-бы не переэкономили.

Только что мы вернулись домой, какъ японцы начали вновь усиленно обстреливать внутренний портъ (восточный бассейнъ), западную гавань, а также, разумеется, и городъ. Пообедаль, уснулъ, всталъ -- уже скоро 5 часовъ надо-бы итти на занятие, а японцы стреляютъ и стреляютъ; видно, сегодня ихъ не переждешь. Иду. Надъ головой такъ и шипятъ и воютъ снаряды; то ударится въ выступъ Военной горы, то пролетитъ въ портъ, а то пробиваетъ крышу или стены домовъ, облепившихъ Военную гору со стороны порта. Путь не изъ приятныхъ. Встречаю минера П. Р.; мчится куда-то, удобно развалившись, на извозчике. Увидаль меня, соскакиваетъ -- и торопится весело поделиться последней новостью: два господина въ очень почтенныхъ чинахъ, но имеющие много свободнаго времени, состязались въ ухаживании за одной изъ красавицъ, бывшихъ шансонетокъ, ныне добровольной сестрой милосердия. Певица оказалась практичной и, не оценивъ старческую любовь, назначила сразу за счастье владеть ею кругленькую сумму -- 6 тысячъ рублей. Одинъ изъ старыхъ Донъ-Жуановъ взмолился: -- Помилосердуйте, я человекъ семейный!.. И предложилъ ей только 3 тысячи. Другой -- несемейный -- далъ все шесть {Слухъ этотъ держался довольно долго, но потомъ говорили, что это все не такъ было,-- что во всемъ этомъ много фантазии.}... -- Но,-- говорю,-- послушайте, все это хорошо и забавно, но здесь, въ данную минуту, не безопасно ни разсказывать, ни слушать такая пикантная вещички. -- А не все ли равно! -- возражаетъ мне съ веселымъ смехомъ уже изрядно обстрелянный молодой офицеръ. И на самомъ деле -- не все ли равно? Иду дальше. Еще издалека видно, какъ въ гавани поднимаются огромные белые столбы воды отъ попадающихъ туда снарядовъ. Вотъ такой столбъ поднялся какъ разъ у горе-крейсера "Джигитъ"; казалось, что онъ уже погибъ, что вода эта вырвалась прямо изъ его середины. Но нетъ -- столбъ воды исчезъ, а "Джигитъ" стоитъ себе, какъ ни въ чемъ не бывало; хотелось бы сказать "на страхъ врагамъ"...

Въ 6 часовъ вечера японцы перестали стрелять.

Н. Н. высказываетъ опасения, какъ бы маршалъ Ояма не отделилъ изъ северной своей армии тысячъ 50 и не ринулся-бы съ ними на Артуръ; тогда намъ не устоять. Онъ относится съ большимъ скептицизмомъ къ действиямъ, планамъ и успехамъ Куропаткина; мы же более веримъ въ его таланты и удачу. Не можетъ быть, чтобы онъ допустилъ падение Артура -- падение опорной точки нашего престижа здесь, на крайнемъ востоке.

19 сентября (2 окт.). Еще въ седьмомъ часу утра была слышна ружейная перестрелка. Должно быть всю ночь были мелкия схватки, частичныя наступления. 9 часовъ утра. Немного левее Ручьевской (Волчьей) батареи виденъ японский воздушный шаръ {Будто одинъ изъ техъ, которые попали въ руки японцевъ съ пароходомъ "Манджурия" 27-го января. Интересно бы знать -- разследовано ли, почему этотъ пароходъ шель такъ медленно къ Артуру? Какъ фамилия шкипера и где онъ?} -- белый, формы тупой сигары, съ придаткомъ въ роде руля. Одна шрапнель съ нашихъ батарей разорвалось на воздухе, по направлению къ нему, казалось, будто совсемъ близко отъ шара, но можетъ быть и огромный недолетъ. Сомневаюсь, чтобы у насъ было, наконецъ, организовано правильное наблюдение за разрывами снарядовъ; если бы оно было, то можно было бы разстрелять этотъ шаръ. Но по нему уже больше не стреляютъ; должно быть нетъ надежды попасть въ него, Наши суда и, должно быть, Золотая гора и Электрический утесъ стреляютъ по квадратамъ въ перекидную. Но вотъ, какъ будто опять одинъ снарядъ съ Золотой горы сорвался и полетель въ городъ; особенный сильный звукъ, будто близко промчался паровозъ... Приблизительно черезъ полчаса раздался снова тотъ же подозрительный звукъ. Вотъ наказание! Золотая гора взялась разстреливать городъ!.. Отъ нея никуда не укроешься.

Кто-то острить, будто у насъ были сшиты три воздушные шара, но такъ какъ не знаютъ, что делать съ ними дальше, будто решили шелкъ этотъ пожертвовать дамамъ на кофточки...

10 час. 20 мин. Сейчасъ видель, Какъ по эту сторону Залитерной батареи, въ лощине, где раньше были резервы, разорвался какой-то необычайно крупный снарядъ -- целое облако дыма и пыли; это должно быть и есть 11-дюймовый мортирный снарядъ. По взрыву видно, что это что-то ужасное по сравнению съ обыкновенными бомбами.

11 час. 5 мин. Приблизительно черезъ каждые полчаса пролетаютъ къ Золотой горе или къ проходу въ гавань какие-то снаряды съ необычайнымъ шумомъ и шипениемъ, подавляющимъ обычный шумъ города.

Значить, мы сегодня напрасно обвиняли Золотую гору.

Но неужели японцы стреляютъ и сюда 11-дюймовыми мортирами?-- Похоже на то.

Наши батареи и суда замолчали.

Надо бы во что бы то ни стало постараться сбить эти ужасные орудия, а то они наделают намь много бедь!

Японцы убрали свой воздушный шарь; должно быть все-таки побаиваются разстрела. Стреляють по гавани и городу обычными снарядами, а черезь большие промежутки слышится опять это новое, зловещее шипение -- будто снарядь летить съ особенной стремительностью; но взрыва не слышно -- должно быть попадають въ воду. Стою на горке и прислушиваюсь. Это несомненно мортирные снаряды, полеть которыхь дугообразный, снарядь подымается довольно круто въ высь, а потомь опускается также, почти отвесно внизь -- оттого получается такая стремительность; къ силе заряда присоединяется еще инерция падающей съ высоты 16-пудовой тяжести. Ударь должень быть ужасный.

Вспомнилось, что какь-то за обедомь на батаряхь, въ то время, когда японцы были еще за Зелеными горами, одинь почтенный полковникь высказался, что по теории нельзя установить орудия крупнее 6-дюймбваго калибра, безь бетоннаго основания.

Однако же японцы установили.

Ныне доказано уже не разь, что не всегда теория уживается съ практикой -- что многое невозможное по теории возможно при энергии и сильномь желании.

А все, неть-неть, среди свиста обычныхь японскихь снарядовь черезь наши головы раздается это необычайное шипение.

По Торговой улице, со стороны Отрядной церкви, показались два извозчика -- по нынешнимь временамь это целый поездь.-- На первомь извозчике два унтерь-офицера и одна женщина; на второмь -- унтерь-офицерь и женщина -- съ младенцемь. Это крестины. Новый гражданинь Портъ-Артура получиль свое имя и крещение подь непрерывнымь свистомь и зловещимь шипениемь неприятельскихь снарядовь; первое путешествие новокрещеннаго совершается при столь необычайной обстановке.

Это будеть воинь -- безстрашный воинь!.. Если онь уцелееть, переживеть осаду.

Жизнь идеть своимь обычнымь ходомь -- тамь умирають, здесь рождаются -- рождаются подь ежеминутнымь страхомь смерти; здесь радуются новой жизни среди уничтожения и разрушения; но радуются съ невольною болью въ душе.

Божья воля -- судьба -- рядь случайностей, какь хотите, то оберегаеть, то уничтожаеть беспощадно. И это чувствуется сильнее, рельефнее здесь, где беспомощность человека въ борьбе съ обстоятельствами достигаеть высшей степени.

Солнышко светить и грееть -- чудный осенний праздничный день. А тамь, въ ясномь воздухе все слышатся своеобразные звуки: дзиннь... дзжжиу -- крахь!.. сшшш!.. сильнее и сильнее, Будто пчелки, шмели и шершни разыгрались пригретые лучами солнца.

Поездь съ новокрещеннымь скрылся съ глазь.

Ребенка привезли вероятно уже къ матери, которая целуеть его со слезами умиления и затаеннаго страха за будущее.

Японцы стреляли до 6 часовь вечера. Весь вечерь полное затишье.

Оказывается, что и крупные снаряды ложились въ гавань по направлению эскадры, но попаданий не было. Зато много мелкихь снарядовь попадало въ суда.

Передают, будто адмиралъ Виренъ собирается выводить суда на рейдъ; но вопросъ въ томъ, какъ охранять тамъ суда отъ минныхъ атакъ. На судахъ остались лишь одни крупныя орудия; мелкия все взяты на сухопутный фронтъ.

Сообщаютъ, что 6 японскихъ миноносцевъ держались сегодня на горизонте; видимо наблюдали за результатами стрельбы по гавани и поджидали возможнаго выхода нашихъ судовъ на внешний рейдъ.

Невольно бросается всемъ въ глаза, что после отъезда загадочныхъ корреспондентовъ японцы во 1-хъ, усилили бомбардировку и во 2-хъ, она стала точнее {Въ книге графа Ревентлова находимъ, что эти господа сообщали, между прочимъ, о томъ, что наша эскадра стоитъ въ гавани въ полной боевой готовности... что стрельба по ней до сихъ поръ была безуспешна, особаго вреда не причинила.}. Все сознаютъ, что не следовало выпускать этихъ господъ; темъ паче после того, какъ они разгуливали по крепости съ открытыми глазами. У генерала Стесселя, конечно, былъ свой расчетъ -- чтобы затрубили все газеты объ его геройстве; ему нужна реклама.

Случаи заболевания среди войскъ и жителей города дизентерией были уже въ поле и августе. Въ последнее время заболевания повторяются чаще и сильнее. Въ некоторыхъ полкахъ заболело больше 30 % состава, но въ некоторыхъ процентъ заболеваний ничтоженъ. Надо полагать, что въ этомъ сказывается и ведение полкового хозяйства; въ томъ полку, въ которомъ больше заботятся о пище солдатъ, меньше заболеваний, и наоборотъ. Думается, что при кишечныхъ заболеванияхъ играетъ немалую роль снабжение войскъ питьевой водой, особенно после закрытия водопровода.

Въ этомъ отношении бесплатныя чайныя оказываютъ гарнизону большия услуги.

Вчера вечеромъ опубликованъ приказъ генерала Стесселя за No 666:

"Газете "Новый Край" разрешается продолжать издание, но безъ права какого бы то ни было участия корреспондента Ножина".

Новая узурпация власти -- захватъ внутренней жизни газеты. До сей поры никто никогда не вмешивался въ эту область газетнаго мира -- никому не было никакого дела, кто бы не сотрудничалъ въ газете -- на то существуютъ ответственные редактора. Газету могутъ карать, но ея внутренний миръ долженъ оставаться неприкосновеннымъ. Ни управлениемъ по деламъ печати, ни какимъ бы то ни было министерствомъ, даже именемъ Государя, никогда не запрещалось какому-либо, Иванову или Петрову, сотрудничать въ газетахъ; нетъ такого закона, въ силу котораго можно запретить писать писателю, а газете печатать написанное этимъ писателемъ. На что-же цензура?!

Но -- то, что другие не находятъ возможнымъ, то оказывается возможнымъ для генерала Стесселя и его начальника штаба полковника Рейса -- или для техъ, кто тамъ еще орудуешь за кулисами.

Причина этого, небывалаго запрещенія ясна: г. Ножинъ въ последнее время нередко сопровождалъ по позициямъ генерала Смирнова и его немногочисленный штабъ и затемъ писалъ объ этихъ поездкахъ и деятельности генерала Смирнова; это не нравилось генералу Стесселю потому, что деятельность коменданта умаляла значение начальника укрепленнаго района, который ничего не делалъ.

Такъ какъ газета не стала упоминать имени генерала Стесселя, то онъ напоминалъ о себе приказами, печатаемыми въ газете по особому требованию. Но этого казалось ему

недостаточнымъ для делания истории защиты Артура, благоприятной для него. Онъ желаетъ искоренить всякое другое мнение.

Желание, впрочемъ, наивное: ведь г. Ножинъ не одинъ знаетъ положение, весь составъ редакции и вся прочая "пишущая братия" давно уяснили себе, что центромъ, руководящимъ обороной крепости, ни въ коемъ случае нельзя считать генерала Стесселя {Говорили, что генераль Стессель былъ бы не прочь расформировать всю редакцию, но этому мешалъ приказъ главнокомандующаго -- наместника о томъ, что весь составъ редакции откомандированъ къ исполнению своихъ прямыхъ обязанностей. Смеялись, что генераль Стессель собирается послать всю пишущую братию на Водопроводный редуть...}.

Портовой чиновникъ Д., привлеченный къ суду за пропажу 30 тысячъ футовъ проводовъ, будто начинаетъ обличать агента Кит.-Вост. ж. дор. К. и прочихъ, за кемъ имеются грешки.

Мнения о томъ, изъ какихъ орудий стреляютъ японцы крупными снарядами, разделяются: одни уверяютъ, что это мортиры, а другие что это морския орудия, снятыя съ канонерокъ,-- следовательно они могутъ стоять и очень далеко; мортиры же не могутъ стрелять на такое далекое разстояние и должны быть установлены довольно близко къ крепости {Впоследствии выяснилось, что японцы привезли подъ Артуръ 11-дюймовыя мортиры, снятыя съ береговыхъ укреплений Японии; это доказывается темъ, что снаряды къ нимъ имелись только бронебойные, употребляемые противъ неприятельской эскадры. Эти снаряды пригодились вполне и въ данномъ случае, какъ для потопления въ гавани остатковъ нашей эскадры, такъ и для разрушения бетонныхъ укреплений. Изъ морскихъ орудий были у нихъ въ числе осадной артиллерии лишь 6 дюймовыя пушки, установленныя на колеса (какъ и у насъ). Многие сперва отрицали возможность доставить подъ Артуръ и установить 11-дюймовыя крепостныя орудия; уверяли, что это пушки особаго образца, что дуло этой пушки разборное и свинчиваемое при установке. Мы забывали, что стоившия много русскихъ миллионъ портовыя сооружения Дальняго: прекрасныя молы, подъемныя краны и т. д. и железная дорога достались японцамъ мало поврежденными. Нельзя же было все то, что сооружалось годами, разрушить въ течение 2--3 часовъ, данныхъ генераломъ Стесселемъ или Фокомъ на эвакуацию Дальняго -- на эвакуацию далеко не подготовленную. Продержись Киньчжоуския позиции еще, хотя бы неделю, то, конечно, японцы не имели-бы столь удобной базы для выгрузки такихъ тяжелыхъ орудий. Но если бы Киньчжоуския позиции удержали натискъ японцевъ месяц-другой (что было возможно, если бы были укреплены Тафашинския и Нангалинския высоты), то и Дальний могъ быть окончательно разрушенъ и очищенъ, и, пожалуй, японцамъ пришлось бы выгружать осадныя мортиры далеко севернее Киньчжоу, доставлять ихъ по гористымъ дорогамъ, что потребовало бы много времени и труда. Да и выгружать такая орудия немислимо безъ приспособлений, которыя пришлось бы японцамъ сперва построить на местахъ выгрузки.

Чемъ глубже всмотришься во все печальныя последствия несвоевременнаго падения Киньчжоускихъ позиций,-- последствия полной неспособности генераловъ Стесселя и Фока,-- темъ рельефнее, темъ ярче выступаютъ все дальнейшия причины падения Артура,-- темъ обиднее за геройски пролитую кровь, за опозоренную въ последнюю войну родину.

Но более того обидно то, что наши военные бюрократы упорно не желаютъ считаться съ уроками, данными этой несчастной войною,-- не могутъ, не хотятъ разстаться со своими выработанными въ кабинетахъ боевыми теориями, съ теориями, плоды которыхъ налицо.

Яркимъ доказательствомъ этому служить Г. И. Тимченко-Рубанъ. "Нечто о Портъ-Артуре" и ныне статья некоего Г. въ "Военномъ Голосе" (№ 22, 28-го января 1906 г.) "По поводу передовыхъ позиций въ крепостяхъ". Какъ въ названной книжке, такъ и въ статье утверждаютъ одно и то же, если сказать общепонятной формулой то следующее: опыты осады Артура намъ не указка!.. Авторъ статьи забывается до того, что уверяетъ, будто въ Артуре было больше гарнизона, чѣмъ вообще полагается, следовательно -- и чѣмъ нужно было.

Японцы пренебрегали всякими теорiями, если оне оказывались непригодными. Такъ они, напримеръ, установили первоначально свою артиллерию по батарейно (см. прил. III, планъ крепости); но какъ только выяснилась невыгодность такой установки, т. е. какъ только наша артиллерия начала наносить имъ вредъ, они разставили свои орудия на такомъ разстоянии другъ отъ друга, что попадание въ одно изъ нихъ нашего снаряда не могло причинить другому никакого вреда и они даже переставляли свои орудия все на новыя места. Изволь-ка пристреляться къ каждому отдельному орудию! Этимъ объясняется безуспешность борьбы нашей артиллерии съ японской. Этимъ же объясняются многократно возникавшiе въ Артуре слухи о томъ, что, наконецъ-то, обнаружены орудия, стрелявшiя по городу и что теперь они сбиты... а японцы стреляли по городу все снова и все больше и больше. }

20 сентября (3 октября). До 11 часовъ вечера была полная тишина; вечеръ темный -- луна всходитъ поздно. Думали, ночь пройдетъ спокойно. Но не успели еще уснуть, какъ раздалось зловещее шипение японскаго снаряда; ночью оно кажется страшнее, чѣмъ днемъ. Такъ и кажется, что какая-то исполинская змея кидается прямо на тебя и только тогда, когда снарядъ грохнется на землю и все кругомъ вздрогнетъ отъ этого удара, только тогда чувствуешь, что онъ пролетѣлъ мимо. Но онъ упалъ где-то очень близко, такъ какъ ясно было слышно его падение; взрыва не последовало.

Все бывшiе въ казематѣ вскочили моментально; лица у всехъ мертвенно блѣдны. Женщинъ обуялъ неописуемый страхъ -- оне трясутся, дрожатъ; слышно, какъ у нихъ зубы стучать... Приходится прибегать къ валериановымъ каплямъ. И на мужчинъ действуетъ это состояние удручающе -- страхъ -- чувство заразительное; въ теле чувствуется холодъ. Все сознають, что блиндажъ, прекрасно оберегающiй отъ 6-дюймовыхъ снарядовъ, не устоитъ подъ ударомъ этого чудовища, могущаго превратить его въ могилу всехъ искавшихъ въ немъ спасения.

Казематъ наполняется народомъ изъ соседнихъ домовъ, рискнувшимъ было переночевать у себя дома.

Все теснятся молча поглубже въ подземное помещенiе, подалеже отъ входа; слышны вздохи.

Снова начинается въ воздухе зловещее шипение (выстрела никто не слышалъ), все усиливающееся, идущее прямо на насъ... Сердца замирають; слышенъ шопотъ: Господи! спаси и помилуй!..

Бухъ! -- упалъ снова безъ взрыва, но точно еще ближе перваго.

...Пронеси Ты, Боже,
Тучу грозовую!..

Приблизительно черезъ полчаса тоже самое.

Еще одинъ. Но больше не слышать.

Долго не расходился народъ; но сонъ беретъ свое; ложимся снова спать. Не хочется даже раздеваться. Куда же бежать и где скрыться?-- Попадетъ, такъ уже не будете бегать! -- успокаиваетъ внутренний голосъ.

Въ эту ночь спалось очень плохо; это былъ снова какой то кошмаръ. То и дело вздрагиваешь; ухо чутко прислушивается -- не шипитъ ли что въ воздухе.

Странно, но это факт, что все эти ужасы действуют на людей гораздо сильнее ночью, чем днем -- точно дневной свет уменьшает впечатлительность; а ночью, в темноте человек чувствует себя более беспомощным, более незащищенным.

Утро солнечное. И на душе становится легче, веселее -- пережитое кажется уже не таким страшным.

Узнал, что снаряды легли недалеко, у Пушкинского училища и на горе около ограды дворца наместника. Прежде, чем пойти на занятие пошел посмотреть на эти чудовища. Около Пушкинского училища снаряд ушел в землю -- виднеется только большое отверстие; другой зарылся в землю под оградой дома наместника; образовалась большая яма, засыпанная щебнем, мусором разбитой ограды. Один разбил будку торговца-китайца в щепы, и остался тут же на поверхности не разорвавшись. Вокруг него собрался народ и стал спорить, из какого он орудия.

Но все убедились окончательно, что японцы начали бомбардировать не только форты и укрепления, но и гавань, и город 11-дюймовыми снарядами.

Наступают времена все ужаснее и ужаснее.

Узнаю, что вчера же, ночью, где-то впереди Орлиных батарей японцами вырезаны наши часовые. Случилось это или от того, что непосредственная близость неприятеля стала чем-то привычным, не столь ужасным, как это казалось в начале, или же вследствие непреодолимой усталости, перенапряжения нервов, перешедшего в апатию ко всему совершающемуся кругом. Явление во всяком случае печальное, весьма тревожное и может стать, в нужную минуту, роковым для крепости и для нас всех.

Положим -- это же прodelывается, и очень нередко, и нашими солдатами. Все эти частичные ночные вылазки, внезапное нападение подкрававшихся к передовым цепям и окопам, не что иное как безсердечное убийство измученных людей.

Да сама война -- это сплошное убийство, кажущаяся только со стороны нападающего и победителя геройством.

А между тем это тот же бой гладиаторов: победитель герой, его чествуют, им восторгаются, его награждают. А побежденный, и побежденный только потому, что в нужную минуту дрогнул у него один мускул, или поскользнулась нога -- такой же человек, как и победитель -- вдруг становится никому ненужной вещью, не стоящей никакого внимания; его вытаскивают, волокут по земле с арены -- с глаз долой; про него все забыли.

У нас сейчас, как у израильтян во время голода в Синайской пустыне -- появились перепела и в большом изобилии. Китайцы приносят их огромными корзинами и продают даже по 20 копеек за сотню.

Как не как, а все же большое подспорье в нашем скудном до нельзя меню. И мирные жители города начали уже поедать конину. Но все как-то трудно к ней привыкнуть; бьют коней изувеченных и большей частью старых. А солдаты питаются ею уже давно. Сначала получали они консервированное мясо и солонину. Теперь, говорят, уже все это на исходе.

Только у моряков есть еще большие запасы солонины.

С 12 час. 30 мин. дня началась буря с севера, поднявшая массу пыли с песком; его несет прямо в глаза нашим солдатам. Надо опасаться, чтобы японцы не

воспользовались этимъ и не начали где-нибудь наступления. Японцы стреляють, но нельзя разобрать, куда ложатся снаряды.

Передаютъ, что вчера было, по однимъ сведениямъ 13, по другимъ -- 18 попаданий съ "Пересветъ"; двумъ матросамъ оторвало ноги; есть и более легкия поранения, повреждено и судно; одна пробоина подь ватерлинией.

На дняхъ наши вышибли японцевъ изъ ближайшаго окопа или сапы и, заложивъ тамъ мину, отступили -- ждутъ сегодня наступления на этотъ пунктъ, чтобы взорвать.

Не отметилъ, что вчера после обеда,-- когда все еще продолжалась японская стрельба по гавани и снаряды падали только туда,-- на Перепелочную гору, где была пожарная каланча, взобралась группа сестеръ милосердия изъ Своднаго госпиталя. Оне тамъ, кто сидя, кто стоя подь зонтиками, наблюдали за падениемъ снарядовъ въ гавань, любовались давно невиденными окрестностями и поглядывали въ сторону расположения японцевъ. Съ Перепелочной горы хорошо видны Волчьи горы и часть долины, занятой неприятелемъ. Вдругъ -- бухъ!., и снарядъ разорвался тутъ же, на вершине горы; казалось чуть ли не среди нихъ. Въ моментъ все присели, пригнулись, затемъ вскочили и побежали въ рассыпную, бегуть подь гору; немного придя въ себя, собрались снова въ группу и спустились уже спокойно къ госпиталю.

Японцы заметили ихъ и пугнули, конечно, не подозревая, что привело ихъ на гору одно безобидное любопытство.

Дружинники рассказываютъ, что утромъ приехалъ на место работъ, где они копають укрытый ходъ сообщения -- углубленную дорогу черезъ дамбу въ новый городъ -- генераль Стессель и разнесъ ихъ на чемъ светъ стоитъ за то, что во время не заметили его и не такъ отдали честь; вместо спасибо за уже законченный участокъ онъ кричалъ и ругался:

-- Я васъ буду пороть безъ устали! А если еще разъ замечу кого изъ дружинниковъ пьянымъ -- разстреляю!..

Это за чьи-то прежния прегрешения.

Вечеръ сегодня очень темный; буря свирепствуетъ. Настоящий тайфунъ. На позицияхъ, то и дело, блеснетъ огонь или матовая вспышка, другая, оттуда несется съ бурей какой, то гуль, но нельзя разобрать, что тамъ творится.

Северная буря принесла съ собой холодъ; онъ такъ и пронизываетъ тебя. Бедные солдаты! Особенно трудно темъ, кто на часахъ и въ патруляхъ,-- песокъ засыпаетъ глаза, ветеръ сшибаетъ съ ногъ, темно, опасно и холодно.

Одно утешение въ томъ, что японцы более чувствительны къ холоду; а то, чего добраго, подвезли бы за ночь орудия и устроили бы грандиозный штурмъ.

Въ такую ночь у насъ одна надежда на Бога; на людей надеяться невозможно.

21 сентября (4 октября). Утромъ только 7 градусовъ тепла: Вчера въ обедъ было +19°. Следовательно, разницы 12 градусовъ. Она можетъ легко вызвать простуду.

Ночь на позициях прошла спокойно. За то в городе буря завывала ужасно. На дворе она рвала и метала, свистела и выла, а в вентиляционных трубах блиндажа гудела густым басом. Спалось под эту музыку очень недурно.

Наступающий холод грозит отягчить жизнь осажденных недостатком теплой одежды. Сегодня встречаю извозчика-китайца, нарядившагося в пеструю стяженную женскую кофту; не успев я еще пройти улицу, как встречаю другого китайца-боя или повара, нарядившагося, сверх обычной одежды, в старый серый с красными атласными опушками шлафрок (халат) европейского покроя; красные большие кисти на таком же шнуре развеваются по ветру. Смешно. Но ведь если осада не будет снята до зимы, то мы увидим и не то еще; будем одеваться во что попало, лишь бы не замерзнуть.

Сегодня вышел снова "Новый Край"; его берут на расхват.

Вчера вышел приказ генерала Стесселя No 678.

"Военного корреспондента Ножина я лишаю права быть военным корреспондентом.-- Свидетельство на право быть военным корреспондентом сдать в штаб крепости, а сему штабу представить в штаб укрепленного района. Вместе с сим -- лишается права посещать батареи, форты и позиции".

Неизвестно, кто надоумил генерала Стесселя, что по законам он может лишить г. Ножина звания военного корреспондента (конечно, если имеются на то основания), но не запретить ему писать или газете печатать написанное им.

Этим произволь как-бы оформлен, но и только; куда он не имеет неоспоримых причин -- таких причин, которые можно бы было высказать открыто, гонения Стесселя остаются тем же произволом, личными расчетами -- грязной историей.

В редакции узнал, что с одной из последних джонок получено несколько газет, конечно, старых; но газеты эти, вместо того, чтобы отдать для использования в "Новый Край", чтобы газета могла оповестить всех и каждого о ходе событий внешнего мира таскаются по рукам штабных укрепленного района, зачитываются до клочков, а в редакцию попадают редко и то после очень долгих поисков.

Чувства общности нет; "мне" удалось прочесть и довольно... Что такое для таких господ гарнизон, товарищи и все прочее? -- Какие-то нули, которые созданы лишь для того, чтобы устилать своими трупами путь штабных к наградам, к бессмертной славе!..

Сегодня японцы бомбардировали гавань в течение 5 часов, замечательно удачно для нас -- попал всего 1 снаряд, но он попал в плавучий лазарет Красного креста "Монголию".

Около 11 час. вечера началась ружейная перестрелка и канонада на крайнем правом фланге. Это первая там стрельба после взятия Дагушаня и Сяогушаня.

Потом началась перестрелка и по направлению редутов, занятых японцами. Затем зататакали за Малой Орлиной батареей японские пулеметы {Мы стали уже различать по силе звука -- чей это пулемет; у японцев более короткая патронная лента, больше перерывов.}; им отвечали наши.

На крайнемъ правомъ флангѣ стрельба прекратилась; раздаются лишь редкие раскаты орудейныхъ выстреловъ.

22 сентября (5 октября). Въ 7 ч. утра только бо тепла.

Сообщаютъ, что вечеромъ японцы обстреливали крайний нашъ правый флангъ съ моря и въ это время высадившійся тамъ отрядъ японцевъ успелъ занять Сигнальную горку; говорятъ мало кто изъ нашего небольшого отряда уцелелъ.

Пошелъ на занятие и увидалъ редкую картину -- большая стая орловъ кружилась высоко надъ Перепелочной горой. Насчиталъ 23 орла.

Въ старину истолковали бы это явление предзнаменованиемъ чего-то великаго -- гибели однихъ или возвеличения другихъ.

Положимъ, сейчасъ не нужно быть пророкомъ, чтобы сказать, что эти орлы предвещаютъ намъ еще много кровавыхъ побоищъ.

Но, попросту -- массы гниющихъ и еще не убранныхъ труповъ, запахъ крови и разложения привлекли сюда эту птицу -- этихъ санитаровъ.

Сообщаютъ, что вчера была захвачена джонка, на которой были 4 струсившихъ японца. У нихъ нашли 4 пуда рыбы и съ пудъ риса.

Списались со штабомъ коменданта и решили: рыбу отобрать и передать въ госпитали, а японцевъ -- цуба! Ступай себе! -- Рисъ оставить имъ на дорогу.

Зашелъ И. С. Л. и рассказывалъ испуганно, что Куропаткинъ отступаетъ уже къ Тъелину. -- Вздоръ.

По сообщению китайцевъ наоборотъ Ляоянь окруженъ Куропаткинскими войсками, а казаки окружаютъ японскую армию съ тылу.

По этому поводу откуда-то появился каламбуръ:

-- Изъ "Куропаткина" всегда выходитъ и "Куроки" и "Оку"; но изъ нихъ обоихъ не выйдетъ никогда "Куропаткина"...

По китайскимъ же сведениямъ, после морского боя 28-го июля японцы еле дотащили до Дальняго (?) кузовъ броненосца "Миказа", весь изрешетенный русскими снарядами; все снесено съ палубы, все сбито.

Съ 11-го часа японцы усиленно обстреливали Старый городъ -- районъ церковной площади и северо-западный склонъ Военной горы, а потомъ перенесли огонь на гавань; временами слышатся особенные взрывы, потомъ какъ-бы барабанная дробь... Поняли, что это падаютъ шрапнельныя пули на суда или на железныя крыши. Несколько шрапнелей упало въ гавань и на набережную; но не слышать, чтобы нанесли поранения людямъ.

Зашелъ знакомый и говорилъ мне, что наши миноносцы не бездействуютъ, а предпринимаютъ еженощно довольно рискованные рейсы.

Онъ же подтверждаетъ, что по разнымъ наблюдениямъ становится несомненнымъ, что корреспонденты, высланные 16 числа отсюда, были взяты японскимъ крейсеромъ и отвезены въ бухту Луизы къ японцамъ. Китайцы лазутчики уверяютъ, что они видели этихъ корреспондентовъ въ Дальнемъ, у японцевъ.

Бомбардировка продолжалась до 5 часовъ; временами она усиливалась до жестокости. Стреляли и 11-дюймовыми снарядами, но попаданий не было -- падали все въ воду. За то обыкновенными снарядами (6-дюймовыми и 120-миллиметровыми) убиты 1 солдатъ и 1 матросъ; раненъ 1 унтеръ-офицеръ.

Не подлежить сомнению, что свистъ и вой неприятельскихъ снарядовъ действуетъ скверно на сердце -- оно сжимается и какъ-бы перестаетъ биться; это должно сильно отозваться на немъ и впоследствии. Думаю, что все пережитое и пережитое нами въ Артуре должно иметь пагубное влияние даже на совершенно здоровыя сердца -- ослабить ихъ деятельность -- и долго, если не всю жизнь, наши сердца не будутъ въ состоянии спокойно переносить малейшій шумъ, похожий на полетъ или разрывъ орудийнаго снаряда. Иначе и быть не можетъ.

Благодаря протекции знакомыхъ китайцевъ мне удалось сегодня купить у китайца-селянина 160 морковокъ за 2 р. 65 коп. По базарнымъ ценамъ это удовольствие стоило бы отъ 10 до 15 рублей.

Жена собирается состряпать пирожки съ морковью -- царское блюдо въ нашемъ положении.

Наконецъ и мне удалось увидеть два номера иностранныхъ газетъ. Не нашель въ нихъ ничего утешительнаго -- все пишутъ въ мрачныхъ для насъ краскахъ.

Видимо иностранцы уже начинаютъ делить шкуру России, а также и Артурцевъ...

23 сентября (6 окт.). Въ 7 час. утра 12° тепла.

Около 4 час. утра на северномъ небосклоне прошла грозная туча, настолько близкая, что громовыя раскаты ея смешиваются съ редкимъ орудийнымъ огнемъ на позицияхъ; также смешиваются орудийныя вспышки съ молнией. Спавшій где-то на дворе мальчуганъ нашихъ соседей стучался къ матери въ дверь.

-- Мама, буди папу -- Куропаткинъ идетъ!..

Потомъ грянулъ дождь съ градомъ и грозой; шелъ более часа. Температура понижается.

Узналъ, что японцы сброшены съ Сигнальной горки на крайнемъ правомъ фланге, которую они заняли въ прошлую ночь. Говорятъ -- уничтожены.

Въ 8 час. вечера. Термометръ показываетъ всего 9° тепла.

Японцы начали сегодня бомбардировку довольно рано и усилили огонь к обеду; среди обычного свиста через наши головы слышалось очень часто шипение 11-дюймовых бомб.

Только-что мы собрались обедать, как один из 6-дюймовых снарядов упал совсем близко, в меблированные комнаты Посхалиса и очень тяжело ранил старика -- портового чиновника; ему оторвало руку и ногу. Он только вчера переехал сюда; говорят, боялся смерти и безпрестанно менял квартиры, ища более безопасную. Здесь, в самом центре обстреливаемой части города он нашел совершенно уцелевший до сего времени дом и считал его местом вполне безопасным.

Сообщают, что сегодня вблизи дома генерала Стесселя легло 8 снарядов; 2 из них попало в верхний этаж и ранило кого-то из прислуги.

Над этим смеются:

-- Это корреспонденты благодарят его за хороший обед!..

Генерал Стессель собирается -- если еще будут его обстреливать -- переехать в дом генерала Волкова, находящийся на склоне Перепелки; в этом доме имеется прекрасный подвал-блиндаж. Один из адъютантов генерала осматривал уже эту квартиру. Ее считают совсем безопасной, так как гора прикрывает дом со стороны японцев. Один из 11-дюймовых снарядов попал сегодня в броненосец "Победу" или же "Полтаву".

Б., бывший у командира порта по делу, передает, что адмирал "шибко ругался" по телефону с начальником штаба Стесселя -- полковником Р. и грозил жаловаться в Петербург. О чем "ругались" не знает. Неприятно слышать про эти раздоры в такое время.

Заходили Т -- вы; они уже перестали ходить в блиндаж "трех статских советников" во время бомбардировок и на ночевку. Говорят, что собирающаяся там публика раздражает их своими разговорами по вечерам не дают уснуть, играют в карты, хохочут, спорят.

24 сентября (7 окт.) Температура 12° тепла.

Сегодня началась бомбардировка гавани 11-дюймовыми снарядами в 9 час. 50 мин. утра; снаряды ложились около "Ретвизана", который стоит вблизи прохода в гавань, и также около "Полтавы". Потом наши суда, Перепелочная батарея, Тигровка и, кажется, Электрический утес или Плоский мыс начали отвечать японцам. На это японцы открыли огонь по городу залпами из 120 миллиметровых орудий. Много попаданий, но про человеческие жертвы не слышно.

Опять приходится отмечать, что со времени отъезда корреспондентов-иностранцев японцы бомбардируют город, мельницу и гавань более усиленно.

Зашел в редакцию как раз в то время, когда в бухте Таучинь, под окнами редакции разорвался снаряд, обдал весь дом осколками, грязью и водой; массу воды перебросило через крышу дома на Пушкинскую улицу.

Мне говорят, что это не новость -- что тоже случается чуть ли не каждый день.

-- Приходит кто-нибудь из служащих и сообщает, что японцы начали обстреливать Сводный госпиталь и что снаряды падают все ближе и ближе к нам. В это время уже нет сил работать. Стоишь у окна и ждешь. Вот выстрел, вой... прячешься на момент за простенок, чтобы при взрыве не хватило осколком через окно; взрыв -- еще момент, и снова глядишь в окно, смотришь куда попало; место падения видно по расходящемуся дыму. Еще далеко -- сажень за 100--150. Но каждый следующий снаряд

ложится все ближе и ближе; японцы идут обстрелом, как бы ошупью, к гавани; быть может они желают по пути разбить и здания "Новаго Края", расположение которых им прекрасно известно. До войны японцы не редко поставляли бумагу для типографии; да и так они знали газету, так как постоянно помещали в ней свои торговые объявления.

-- Вот один снаряд лег в бухту, совсем близко, обдал дом грязью, закидал осколками. Нервы напряжены в высшей степени -- следующий снаряд должен попасть прямо в дом, или же перелететь через него... Выстрел -- сердце замирает -- сейчас будет либо что-то ужасное, или же опасность минует.

-- Как только снаряд пролетит через крышу, садимся и работаем спокойно, как ни в чем не бывало -- пристрел прошел мимо нас благополучно.

-- Вначале эти моменты были ужасны -- настоящая пытка. Пожалуй, те правы, кто говорит, что сама смерть не так страшна, как ожидание ее...

-- Но теперь начинаем понемногу привыкать и к этому обстрелу, потому, что он повторяется чуть ли не каждый день.

Зашел М Л. и говорит, что в "Белом доме", т. е. у командира порта, все хорошо настроены -- надеются быть освобожденными недели через две -- три.

Ах, как все бы обрадовались этому; вздохнули бы наконец свободно, пообмылись бы и легли бы спокойно спать дома, раздевшись!..

Разве не скромны наши желания!

Дело улучшилось бы и на счет "чифана" {По китайски -- кушанье.}.

Бомбардировка длилась сегодня до 5 часов. Были попадания в "Ретвизан" и в "Полтаву", где начинался даже пожар; есть и человеческие жертвы.

Сегодня пробило снарядами Отрядную церковь.

В. и Т. попали чуть-чуть что не под снаряды и отделались замечательно легко. Так как бомбардировка длилась целый день (а это продолжается уж сколько времени) и перерыва ждать долго, они пошли к цырульнику. Вдруг, что называется, перед самым их носом рвутся два снаряда и сшибают их с ног. Т. говорит, что когда он очнулся, то начал соображать -- жив ли он? Затем попытался встать.

Гляжу,-- говорит, В. отбросило к высокому тротуару и он, полусидя-полулежа, изображает из себя живой вопросительный знак... В это время нам навстречу бежит Ц. с окровавленным лицом; вскакиваем и бежим под гору, в блиндаж. Некогда размышлять.

Их, оказывается, оглушило; Т., кроме того, получил небольшой осколочек в бедро, который ушел в тело с кусками платья, но рана не опасна -- ему сделали перевязку и он ходит. Ц. тоже ранен легко -- царапина осколком.

Но, пройди В. и Т. на шаг, на два дальше, поторопись Ц. им навстречу и -- трудно надеяться, чтобы они остались живыми.

Бог, судьба, счастливый случай -- целый ряд таких случаев -- назовите, как вам угодно, но одни уцелевают при величайшей опасности, тогда как другие погибают в то время, когда, казалось бы, никакой опасности и не было.

Прибыла джонка съ почтой. 15 писемъ сдано въ почтовую контору для разсылки адресатамъ. Пришла, конечно, и официальная почта и газеты. Скорее бы узнать, что творится на свете!

25 сентября (8 октября). Въ 7 час. утра всего 5° тепла.

Съ половины восьмого утра японцы открыли по гавани огонь залпами изъ мелкихъ и крупныхъ орудий; стреляютъ очень жестоко. Они, должно быть, заметили, что суда наши перемещаются въ гавани и что "Ретвизанъ" вышелъ на рейдъ. "Полтава" подтянулась еще ближе къ берегу.

Японцы стреляютъ то залпами, то изъ 3 -- 4-хъ орудий подрядъ, какъ бы въ разсыпную. Электрический утесъ, Перепелочная и др. батареи отвечаютъ имъ, но далеко не такимъ сильнымъ огнемъ; намъ нужно экономить снаряды {Узналъ изъ очень достовернаго источника, что въ сентябре 1905 года получали въ Петербурге снаряды для...

Киньжоуской позиции и Артура. Следовательно, если бы японцы, начавъ войну, не высаживались бы на материкъ года полтора или два, то мы бы пожалуй, и успели вооружиться!..}.

Снаряды попали въ машинное отделение миноносца "Бойкий" и въ корму другого миноносца, но особаго вреда не причинили. Несколько попаданий было въ такъ называемый артиллерийскій городокъ, где произвели некоторыя разрушения; человеческихъ жертвъ нетъ

Несколько 11-дюймовыхъ снарядовъ задевали вершину Перепелочной горы и падали рикошетомъ въ гавань.

Къ обеду японцы принялись обстреливать 11-дюймовыми бомбами Перепелочную батарею; выпустили по ней около 20 снарядовъ, но ни одинъ не попалъ. Были близкие недолеты и перелеты, то въ одну сторону, то въ другую.

Видно, что эта батарея для нихъ, что бельмо въ глазу; сильно донимаетъ она ихъ своими морскими 6-дюймовыми орудиями. Командуетъ ею лейтенантъ Сухомлинъ; говорятъ, очень дельный офицеръ.

После обеда японскія батареи молчали; но вечеромъ, после того, какъ "Ретвизанъ" отбилъ первую атаку японскихъ миноносцевъ, батареи съ праваго фланга начали обстреливать редкимъ огнемъ Старый городъ.

Официальную почту получилъ только Стессель. Говорятъ будто Куропаткинъ имель еще два боя и подвинулся немного на югъ; но никто не можетъ сказать, где находится онъ теперь.

По китайскимъ сведениямъ японцы оттягиваются за Волчьи горы и направляются на северъ; по другимъ сведениямъ они стягиваются къ нашему правому флангу.

Уходу японскихъ войскъ не верится. Жестокия бомбардировки гавани и города объясняютъ темъ, что будто генераль Ноги раненъ или убитъ и его заменилъ более энергичный генераль... который все же тратитъ попусту массу снарядовъ и воюетъ съ мирными горожанами...

Сообщаютъ, что японцы сегодня здорово обстреляли батарею Крестовой горы и подбили на ней одно орудие. Туда потребовали портовыхъ мастеровыхъ для его исправления.

Быль въ Красномъ Кресте, навестиль друзей и знакомыхъ. Выздоровевший подпоручикъ Кальнинъ назначень временно на фортъ III -- въ самый центръ огня; на его Заредутной батарее уцелело только одно орудие и имъ командуеть фейерверкеръ Пломодяло.

В. А. В. получилъ несколько писемъ:-- одно отъ жены, а два на имя покойнаго брата. Переломъ руки сростаетъ плохо; душевное состояние не завидно; должно быть послѣдствія контузии головы.

Н. В. В. поправляется; уверяеть, что по его мнению у насъ все же слабая точка -- нашъ левый флангъ, именно Высокая гора и что на ней следовало бы сильно укрепиться.

Замечательно, что гг. офицеры неохотно даютъ сведения о своихъ убитыхъ товарищахъ. Газета уже сколько времени приглашаетъ всехъ сообщать ей данныя для некрологовъ, а все еще не отмечены все павшия въ бою и, хотя бы вкратце, ихъ деятельность. Говорять, неоткуда взять материаловъ -- офицеры-товарищи сваливають эту работу другъ на друга -- одному неохота писать, другому некогда. А следовало бы отметить въ газете всехъ павшихъ здесь за русское дело, помянуть добрымъ словомъ героевъ. Это было бы единственной наградой для многихъ, а также некоторымъ удовлетворениемъ для родныхъ и близкихъ павшаго.

Такъ называемая "великая русская лень" сказывается и тутъ. На позицияхъ, конечно, не до того; но находящиеся въ госпиталяхъ могли бы помочь редакции въ этомъ деле.

11 час. 30 мин. ночи. Японцы все еще изредка стреляють по гавани.

II. Перелеть японскихъ пуль.

26 сентября (9 октября). Въ 7 час. утра +11,50 по Реомюру.

Вотъ примеръ тому, какъ трудно добыть верныя сведения о томъ, что творится въ какомъ нибудь отдаленномъ пункте нашихъ позиций: ночью слышалъ какъ бы далекие взрывы; казалось, что это на крайнемъ правомъ фланге. Утромъ выхожу и спрашиваю, первымъ долгомъ, постового городского, не слышалъ ли онъ, что это были за взрывы? Онъ говоритъ, что это были не взрывы, а стрельба Ляотешанской батареи, т. е. въ совершенно противоположной стороне -- на крайнемъ левомъ фланге.

Иду дальше, спрашиваю того, другого -- не знаютъ, или говорятъ, что это тамъ, въ центре, были перестрелки, или же -- стреляла Перепелка.

Одинъ изъ знакомыхъ уверяеть, будто наши миноносцы и канонерки ходили ночью къ Дальнему, чтобы топить неприятельские транспорты. Поэтому будто "Ретвизанъ" не вошелъ вечеромъ обратно въ гавань, а лишь показалъ входные огни и, потушивъ все свои, остался на страже. Вошелъ же, "Ретвизанъ" въ гавань только утромъ. Наши суда шли къ Дальнему вдоль берега и стреляли порой въ море, для отвода глазъ...

Что-то похоже на сказку. Спрашиваю, какие же результаты?

-- Этого еще не знаемъ.

Иду дальше -- "Ретвизанъ", действительно, вернулся въ гавань и ошвартовался у подножья Перепелки, противъ управления морского пароходства -- въ местности, где еще никогда не стояли броненосцы. Сомнительно, чтобы японские снаряды не нашли его и здесь; а если онъ останется тутъ, то все прибрежное население Перепелки рискуеть подвергаться ежедневной бомбардировке, такъ какъ будутъ и недолеты и постепенная пристрелка.

Наконецъ, къ обеду узнаю, будто ночью, на правомъ фланге, колонны японской пехоты и кавалерии нарвались на наши фугасы и уничтожены. Это более правдоподобное объяснение.

Ночью въ нашей окрестности 11-дюймовымъ снарядомъ разбита одна фанза по Стрелковой улице и пробито здание полицейскаго правления. Въ первой находился одинъ изъ ночевавшихъ въ ней; комната, въ которой онъ спалъ, уцелела и онъ остался живымъ въ то время, какъ весь домъ былъ превращенъ въ груды обломковъ; остальные же двое жильцовъ спаслись отъ верной гибели только потому, что засиделись въ гостяхъ. Въ полицейскомъ управлении пробило крышу и стену навывлетъ; снарядъ не разорвался. Бывшие тамъ чины и полицеймейстеръ Тауцъ отделались однимъ испугомъ.

До 12 часовъ дня было тихо и мы радовались праздничному отдыху. Вдругъ залпъ -- 3 снаряда -- по городу, по району Военной горы... и такъ целые полчаса. Потомъ также вдругъ и прекратилась бомбардировка. У насъ однимъ снарядомъ пробило стену и полъ конюшни; снарядъ разорвался въ земле, уже за второй стеной. Лошадь получила царапину въ шею должно быть щепкой.

Вскоре забежалъ З. и сообщилъ, что въ бывший морской штабъ -- ныне строевой отделъ -- попалъ снарядъ и оторвалъ делопроизводителю штаба и следовательной комиссии Михаилу Львовичу Де-Лакуръ обе ноги ниже коленъ... Это ужасно! -- мы только-что съ нимъ ходили по городу и разстались за несколько минутъ до перваго залпа. Жаль симпатичнаго, скромнаго, трудолюбиваго человека; у него семья, рискующая теперь потерять своего друга, отца, кормильца; средствъ никакихъ. Это ужасно! Къ чему эта жертва молоху войны? Онъ, кажется, и муху не былъ способенъ обидеть -- и вдругъ сталъ жертвой войны. Перенесетъ ли онъ ампутацию при его вообще незавидномъ здоровье -- это еще вопросъ. Жаль добраго коллеги -- чуткаго, честнаго и беднаго человека. Его отнесли въ обморочномъ состоянии въ хирургическое отделение морскаго госпиталя. Подвергли операции.

Съ 2 часовъ дня началась ожесточенная бомбардировка нашихъ укреплений -- района форта III. Перепелочная и береговая наши батареи помогаютъ отбиваться.

Въ 3 часа бомбардировка позиций прекратилась. Сообщаютъ, что въ этой бомбардировке участвовали и японскія канонерки изъ бухты Луизы, но наши дальнобойныя орудия заставили ихъ отойти.

Новость! -- сегодняшній номеръ "Новаго Края" конфискованъ по приказанию генерала Стесселя. Въ немъ былъ напечатанъ приказъ генерала Кондратенко безъ разрешающей подписи генерала Стесселя. По уверению генерала Кондратенко Стессель далъ ему на это свое согласие, но лишь словесное. Вотъ этотъ приказъ:

"Приказъ по войскамъ сухопутной обороны крепости. 25 сентября 1904 г. No 36.

Прошу начальниковъ участковъ обратить внимание разныхъ командировъ и разъяснить нижнимъ чинамъ, что упорная оборона крепости, не щадя своей жизни, вызывается не только долгомъ присяги, но весьма важнымъ государственнымъ значениемъ Портъ-Артура.

Упорная оборона до последней капли крови, безъ всякой даже мысли о возможности сдачи въ пленъ, вызывается, сверхъ того еще и темъ, что японцы, предпочитая сами смерть сдаче въ пленъ, вне всякаго сомнения, произведутъ, въ случае успеха, общее истребление, не обращая ни малейшаго внимания ни на красный крестъ, ни на раны, ни на полъ, ни на возрастъ, какъ это и было ими сделано въ 1895 году при взятии Артура.

Подтверждениемъ изложеннаго можетъ служить постоянная стрельба ихъ по нашимъ санитарамъ и добивание нашихъ раненыхъ, случай котораго имелъ даже место 22 сего сентября, при временномъ занятии Сигнальной горы.

Вследствие весьма важнаго значения Портъ-Артура не только Государь и вся наша родина съ напряженнымъ вниманиемъ следятъ за ходомъ обороны, но и весь миръ заинтересованъ ею, а потому положимъ все наши силы и нашу жизнь, чтобы оправдать доверие нашего Государя и достойно поддержать славу русскаго оружия на Дальнемъ Востоке".

Что въ этомъ приказе преступнаго, отказываемся понимать. Темъ не менее, говорятъ, что редакторъ газеты имелъ бурное объяснение съ начальникомъ штаба -- чуть ли не грозили новымъ закрытиемъ газеты за напечатание приказа. Дело кончилось конфискацией нерозданныхъ номеровъ; номеръ печатается вновь, но безъ приказа.

Вся беда въ томъ, что смели напечатать приказъ безъ подписи генерала Стесселя -- нарушили его монополию...

У жены большое горе -- во время бомбардировки, когда ей пришлось спастись въ блиндаже, въ печи обгорели морковники... Такое, говорить, было чудное тесто и пироги вышли бы на славу -- немного не допеклись, пришлось оставить въ печи. Все же съели за обедомъ... Одно утешение, что моркови у насъ еще целое богатство -- десятка три -- четыре.

Съ 4 часовъ японцы бомбардируютъ редкимъ огнемъ изъ 11-дюймовыхъ орудий гавань -- посылаютъ черезъ 5 или 10 минутъ по снаряду. Имъ отвечаетъ одна изъ береговыхъ батарей -- Плоский мысъ, Стрелковая или Лагерная.

Разъ, среди грохота телегъ, двуколокъ и экипажей показалось мне, что въ направлении форта III идетъ залповая ружейная стрельба; но городской шумъ мешалъ слышать съ точностью. Очень возможно, что японцы пытаются, после артиллерийской подготовки фронта, штурмовать какое либо изъ укреплений.

6 ч. 15 мин. Сидель на горе, наблюдалъ и слушалъ, но не слышать, чтобы японцы шли на штурмъ.

Небо застлалось сегодня съ утра серой пеленой. После заката солнца тучи казались особенно тяжелыми, мрачными надъ центромъ и правымъ флангомъ; казалось что оне прямо легли на зубчатая вершины нашего сухопутнаго фронта, а туманъ все сгущался и производилъ давящий полумракъ. Изредка въ этомъ полумраке сверкнетъ огонекъ, потомъ слышенъ рокотъ; но сегодня совсемъ нельзя понять -- стреляютъ ли наши орудия или это прилетаютъ неприятельския бомбы или же, наконецъ, это шрапнель.

Картина мрачная, угнетающая.

Неприятным диссонансом в это время является лихое выпиликивание гармошкой трепака во дворе дома, занятого полицейской командой; слышно, как городские подхватывают этот народный танец с прикрикиванием, с пристукиванием каблучков...

Должно быть опять нашлась даровая выпивка. Рассказывают, что полицейские чины прекрасно знают, в какой из заколоченных китайских и др. лавок имеются напитки и другие более ценные товары -- и, как их добыть оттуда.

На смену этим неприятным впечатлениям является совсем мирная жанровая картина: откуда-то взялись три маленькие собаченки и бегут, что есть мочи, с кручи Военной горы вниз; впереди их выбегает из густого бурьяна большая черная кошка, шмыгнула через улицу и скрылась в маленьком отверстии забора. Собаченки за ней; подлетают стремительно, одна за другой -- к лазейке, поглядывают, одна за другой, как бы не доверяя товарищу, -- в дырку, куда улизнула кошка; понюхали и, вильнув хвостом-дескать, дальнейшее преследование бесполезно, ничего не поделаешь -- возвращаются обратно сконфуженные. В это время кошка уже взобралась с другой стороны на забор и, подняв горб и держа хвост торчком -- глядит козырем, как бы говоря: что, много взяли!..

Сидевшая недалеко от меня компания таких же наблюдателей-любителей расхохоталась; на минуту все забыли про осаду, про мрачный горизонт, про пляшущих трепака городских.

-- А кто из них японец, кто русский? -- спрашивает молодой человек.

-- А никто!-- отвечает ему старик, закуривая папиросу-вертушку,-- это, просто, дипломатия...

7 ч. 30 мин. Только что затихла штурмовая стрельба по направлению форта III, но не надолго и вновь разгорается лихорадочная перестрелка. Между нею видны орудийные вспышки и слышен рокот; то и дело взлетают боевые ракеты.

Сейчас сообщают, что еще днем отбить один штурм на форт III; значить, слух не обманул меня,

Другое известие -- будто японцами занят капонирь No 3. Не верится.

9 ч. 10 мин. За это время несколько раз разгорался штурмовой ружейный огонь; сейчас только слышен редкий орудийный и отдельные ружейные щелчки. Японский прожектор направлен на форт III и его окрестности.

Японцы начали опять посылать в гавань свои 11-дюймовые снаряды; некоторые как будто не долетают и рвутся на берегу; другие, слышно, как грохаются на землю, но не рвутся. Стреляют через промежутки от 10 до 16 минут; должно быть из одного орудия.

Сейчас мне передавали, что на-днях дружинников заставили готовить для генерала Стесселя квартиру в доме генерала Волкова; заставляли мыть полы, окна, натирать паркет воском и даже очищать и мыть ретиреды. Некоторые из дружинников отказались наотрез от этой работы:

"Копать окопы, траншеи и тому подобное не отказываемся, всегда готовы; знаем, что все это необходимо. Но эти работы мы находим не необходимыми, ни даже пристойными для

дружины. Пусть насъ повесяють, но не хотимъ быть ни поломойками, ни... ассинизаторами для генерала Стесселя! -- не видимъ въ этомъ государственной необходимости!"
Все же безответныхъ заставили окончить эту работу.

Сейчасъ сообщили, что во время штурмовъ на фортъ III местами по городу летали японския пули; и несовсемъ безобидныя -- около интендантскихъ складовъ ранило солдата въ руку; пробита кость. Новыя прелести новая опасность для мирнаго населения, новое стеснение движения.

27 сентября (10 октября). Въ 7 час. утра + 12° по Р.

Японцы стреляли по гавани ночью до 12-го часа.

Одинъ изъ снарядовъ попалъ въ домъ подполковника Артемьева, редактора "Новаго Края"; попалъ, видимо, рикошетомъ, задевъ сперва Перепелочную гору. Проломилъ крышу, надломилъ своею тяжестью балку, но остался на ней лежать. Попади онъ прямо, подъ развалинами дома были-бы похоронены все обитатели дома: редакторъ, его помощникъ, артельщикъ и вестовой. Все вчетверомъ отправились ночевать въ здание редакции; оставаться въ квартире было опасно. Только что они успели отойти шаговъ на 20--30, поровняться съ квартирой подполковника Вершинина и доктора Ястребова, какъ туда попадаетъ снарядъ. Взрывъ -- все сбиты съ ногъ, обсыпаны камнями и штукатуркою. Но все же отделались счастливо

Оказывается, что на населенный склонъ Перепелки, къ которому подтянулись наши суда, попадало за ночь много снарядовъ. Японцамъ шпионы-китайцы вероятно сообщили место нахождения нашихъ судовъ и они теперь подбираются къ нимъ со своими 11-дюймовыми снарядами. Впрочемъ и съ моря видны некоторыя наши суда подъ Перепелкой.

Сведения о штурмахъ форта III подтверждаются; все попытки японцевъ отбиты; ихъ уронъ огромный. Наши потери за вчерашний день -- вечеръ и ночь -- 18 убитыхъ и около 60 чел. раненыхъ. Ночью, говорятъ наши наступали, желая отвлечь вниманіе японцевъ на то время, какъ охотники наши прокрадывались къ японскимъ батареямъ, чтобы взорвать ихъ орудія. Удалось ли имъ это, вопросъ; но мы можемъ гордиться темъ, что у насъ всегда находятся охотники на такія безумно-отважныя предприятия.

Ночью японцы высадились на крайнемъ правомъ фланге и полезли было на Крестовую гору. Конечно, все -- более полутораэта человекъ -- легли костью. Стараются нащупать слабое место, чтобы забраться въ тылъ передовыхъ позиций и конечно взорвать орудія на батареяхъ; а то и пробраться въ городъ. Маленькая удача на Сигнальной горе ободрила ихъ.

У М. Л. Де-Лакура ампутированы обе ноги. Не смотря на органический порокъ сердца онъ прекрасно выдержалъ операцию подъ хлороформомъ. Онъ ослабъ, но бодръ духомъ. Врачи надеются на его выздоровление.

Только-что пришелъ домой, къ обеду, какъ японцы послали залпъ по городу; одинъ снарядъ упалъ за нашими воротами, вырылъ огромную яму.

Хотя бомбардировали городъ до 4 часовъ, но не слышать, чтобы были человеческия жертвы.

Все же хорошо, что люди в это время прячутся; иначе были бы всегда пострадавшие от осколков -- совершенно бесполезные жертвы.

Нашу жизнь характеризует в некоторой степени приказ генерала Стесселя от 25 сент. No 698:

"Ввиду неоднократно поступающих заявлений, что содержатели торговых магазинов и лавок непомерно повысили цены на все предметы потребления, как-то: на белье, обувь и материалы на шитье их, а также на оставшиеся нераспроданными {Вот, уже когда мы жили остатками нераспроданных товаров. И это верно. Было-бы несправедливо сказать -- "истощающиеся запасы", так как огромная масса этих запасов была продана в северную армию. До войны Артурь обладал громадными запасами всяких товаров.} жизненные припасы,-- в последний раз вновь объявляю содержателям магазинов, лавок и друг. торговых заведений, что все предметы потребления обязательно должны продаваться по нормальным ценам, какия существовали до осады крепости.

Я решительно не вижу никаких причин к повышению их, так как торговцы распродают большую часть завал, оставшуюся от многих лет и которая покупается потребителями лишь по нужде, за неимением ничего лучшего; пользоваться же безвыходностию положения жителей и гарнизона осажденной крепости, по меньшей мере, недобросовестно.

Лиц, уличенных в неисполнении настоящего приказа, я буду подвергать штрафу в высшей мере, а затем закрою торговлю.

Коммиссару по гражданской части и полиции наблюдать, чтобы приказ этот исполнялся в точности, и в случае неисполнения его, составлять акты и представлять их мне."

И этот приказ появился поздно; теперь уже мало осталось что продавать и торговцы ловко применились к этим приказам и таксам, давно издаваемым городским советом. Желаете купить по таксе -- нет такого товару; только немного оставили для себя... По "вольной" цене -- изволь, уважу...

А в этом их не может изловить никакая власть, никакой надзор. Получивший товар не пойдет жаловаться, чтобы ему и впредь не отказывали.

Торговцы, в свою очередь, жалуются на большие убытки.

Впрочем, со времен Козьмы Минина не слыхать, чтобы наши купцы когда-либо, при каком бы то ни было большом бедствии, оказывались большими патриотами. Уже начало войны дало тому отвратительные примеры их пользования случаем {Были, конечно, и случаи весьма отрядные, где купцы жертвовали на общее дело большие суммы или много товару; например Савва Морозов.}.

У нас же торговый люд преимущественно иноплеменный: греки, турки, армяне, евреи и иностранцы; русских совсем немного.

Солдатам нашим становится все тяжелее и тяжелее относительно питания. С июня месяца начали с уменьшения мясной дачи; с 17-го июля давалось им по 1/4 ф. конины на человека 4 раза в неделю; с 8-го сентября они получают ту же дачу только по 2 раза в неделю; с 16-го сентября они получают, сверх того, только по 1/3 банки консервированного мяса по 2 раза в неделю. Голодно в отсутствие корнеплодов и прочей растительной пищи.

Сегодня снова пронесся слух о купленных нашим правительством аргентинских крейсерах, которые, вероятно, прошли во Владивосток прямо, Тихим океаном. Этому слуху нет оснований не верить. Наше правительство имеет достаточно средств; а продавцы всегда найдутся. И здравый смысл говорит за эту покупку. Гибелью "Рюрика" и аварией "Богатыря" Владивостокская эскадра ослаблена на половину -- осталось всего 2 крейсера -- и усилить ее необходимо. Если правда, что куплены 4 крейсера, да если они не уступают "Ниссину" и "Касуге", то это представляет уже внушительную силу. Если Балтийский флот прошел во Владивосток, то, вероятно, для того, чтобы там немного пооправиться после дальнего перехода, затем дать сражение японскому флоту и идти на выручку Артура.

Эти надежды оживляют нас снова.

Японцы стреляли по городу до 4 часов дня.

Вечером, с 7 ч. 33 мин., они начали снова посылать в гавань и на береговую полосу свои 11-дюймовые бомбы -- "тележки", "паровозы", "чемоданы" -- как мы их прозвали. Ну, и вечерок!

Через каждые 2--3 минуты по снаряду; или же минут через 5 по два, один за другим. Земля вздрагивает от удара 16-пудовой глыбы, если даже она и не взрывается; письменный стол трясется, окна дребезжат, лампы, подсвечники бренчат. Большинство снарядов не рвется, но тем не менее они превращают своей тяжестью и инерцией дома в развалины.

Падают они где-то близко.

Прежде все интересовались, старались узнать, где упал последний снаряд; теперь же никто. Стреляют неопределенно, в разброс. Попадет в дом, даже в блиндаж -- погибнем, а если мимо, то уцелеем. И к страшному шипению снарядов мы успели уже привыкнуть; оно уже не так сильно действует на нервы.

Когда я шел домой после дежурства, то снаряды уже не ложились на набережную, а падали в воду; прицель перенесен дальше. Пока добрался до дому, прошипели три снаряда. Старался уловить глазом, при помощи слуха, полет снаряда; раз показало мне, что полет этот обозначается в темноте искорками, -- казалось, что я его уловил. На позициях редкая перестрелка.

Сообщают, что генерал Стессель решил не переезжать на Перепелку, в дом генерала Волкова, так как вблизи падают японские снаряды. Перевезенные туда комнатные цветы увезли обратно.

28 сентября (11 октября). В 7 час. утра всего 7 градусов тепла; все еще пасмурно.

В 5 часов утра слышал перестрелку, временами оживляющуюся -- вот, вот, начнется штурм, начнется лихорадочная непрерывная трескотня -- залпы, пачки... но нет; все стихает. На дворе сыро, холодно.

В 8 ч. 15 мин. Перепелочная и еще какая-то батарея ближайшей части левого фланга открыли частый огонь, но не надолго. Должно быть заметили передвижение неприятельских частей или обоза.

К нам до обеда зашел Б -- в, весь сияющий, и говорить, что прибыли три китайца -- два солдата и один чиновник; привезли хорошие вести -- война должна скоро закончиться. Но почему, не знает, не слышал подробностей. Китайцы ушли в штаб и туда созваны переводчики.

Около 2 час. дня на Золотой горе собралось много народу; чего-то смотрять на море. Говорять, на море происходит стрельба, идет бой между нашими и японскими миноносцами. Все встревожены этим известием.

Наши миноносцы вскоре вернулись в гавань; говорят их было по 9 штукъ съ каждой стороны.

Значить -- наши не устояли, утекли.

Обидно, что наши моряки все пасуютъ. Японцы сильнее техникой, и, главное, духомъ. Ихъ миноносцы быстроходнее и лучше вооружены; офицеры управляютъ ими, точно на маневрахъ, уклоняются отъ опасности, когда это нужно, и стремительно кидаются въ атаку, когда это возможно. Не верится, чтобы наши миноносцы не могли принять бой съ равнымъ по числу врагомъ вблизи своей гавани и подъ защитой береговыхъ батарей; если они решили и тутъ отступить, то нечего, конечно, рассчитывать на успехъ въ открытомъ море. Обидно.

Эскадра наша въ самомъ жалкомъ положении -- сколько времени ее обстреливаютъ и надо ожидать, что, наконецъ, пристреляются къ ней и она погибнетъ, такъ какъ деваться ей положительно некуда. Выйти на рейдъ?.. но ей не устоять противъ минныхъ атакъ; уйти же въ море безъ орудий и боевыхъ припасовъ на неисправленныхъ судахъ -- безумие.

Остается одно -- дожидаться выручки Балтийской эскадры съ Владивостокскимъ отрядомъ, усиленнымъ аргентинскими броненосными крейсерами. Владивостокъ можетъ остаться подъ охраной миноносцевъ и подводныхъ лодокъ {Все, что мы считали возможнымъ и необходимымъ -- напримеръ, покупку аргентинскихъ крейсеровъ и выручку Артура Балтийской эскадры,-- для Петербурга оказалось ненужнымъ и невозможнымъ...}, которыя, по слухамъ, перевезены туда по железной дороге.

За день такъ и не удалось узнать, въ чемъ именно заключаются приятныя новости.

Разсказываютъ, будто японской армии въ Ляояне грозитъ пленъ. Значить -- предстоитъ заключение мира. Но -- почему штабы не опубликуютъ этихъ известий? -- Разве что нибудь другое -- быть можетъ идетъ нашъ Балтийский флотъ съ десантомъ?

Вечеръ точно такой же, какъ вчера; бомбы грохочутъ где-то на набережной, потрясая землю, заставляя вздрагивать людей.

Дождикъ пересталъ, но тучи все-же нависли такъ низко, что вспышки японскихъ орудий отсвечиваютъ, какъ бы за облаками.

Широкий яркий лучъ японскаго прожектора лежитъ неподвижно, какъ бы застывший, поперекъ нашего фронта по направлению форта III; дымки отъ японской шрапнели, отъ нашихъ орудий и взрывовъ бомбъ плывутъ красивыми облачками, порою снежно-белыми комочками попадаютъ въ лучи света этихъ прожекторовъ и расплываются очень медленно. Своеобразная красота.

Порою раздается ружейная трескотня, вроде небольшого боя и видны какия-то вспышки, вроде взрывовъ -- должно быть разрываются ручныя бомбочки...

Сколько ужасовъ! -- И вотъ -- уже девятый мѣсяць войны! -- къ чему только не успели мы привыкнуть за это время -- а въ начале, ведь, все это казалось намъ невыносимымъ. Чего, чего только мы не переиспытали, не перечувствовали!

Иногда негодуемъ и ужасаемся, что столько времени приходится ночевать въ блиндажахъ, тамъ-же отдыхать въ обедъ, когда обыкновенно идетъ бомбардировка города.

Но, если подумаешь, сколько людей томилось и сколько ихъ томится по сей часъ волею судьбы, вернее обстоятельствъ изъ-за стремления къ свободе, этому естественному праву каждаго человека -- томятся въ ужаснейшихъ подземельяхъ, где и сырости больше, и воздуху никакого, да еще на пище, еле поддерживающей жизнь,-- то все то, что намъ приходится переносить, кажется намъ не самымъ ужаснымъ на свете. Тяжело, но терпеть

все еще возможно. При томъ знаемъ, что не вечно продлится эта осада; когда нибудь да освободятъ насъ изъ этого заключения. И это утешаетъ, ободряетъ.

Сегодня командиръ порта переехалъ на дачныя места; вчера вблизи его блиндажа попалъ 11-дюймовый снарядъ и разворотилъ чью-то квартиру. На дачныхъ местахъ будто устраиваютъ ему очень прочный блиндажъ.

День прошелъ безъ бомбардировки города мелкими снарядами; за то 6 дней подрядъ жарили, по несколько часовъ, немилосердно. Вечеромъ одинъ изъ 11-дюймовыхъ снарядовъ попалъ въ городскую дешевую столовую, пробилъ стены, пролетелъ черезъ комнаты и остался лежать подъ столомъ. Въ первой комнате еще ужиналъ персоналъ столовой и было несколько запоздавшихъ посетителей. Снарядъ пролетелъ черезъ ихъ головы, но не заделъ и не контузилъ никого; следовательно -- снарядъ попалъ только рикошетомъ. 29 сентября (12 октября). Въ 7 ч. утра +11°; день облачный; сыро. Сообщаютъ, что въ прошлую ночь наши охотники выбили японцевъ изъ ближайшихъ къ форту III окоповъ. Наши потери около 10 человекъ; японския -- многимъ больше. Въ 10 ч. 15 мин. прошипелъ первый 11-дюймовый снарядъ къ гавани.

Чудный ясный и довольно теплый вечеръ. Новолуние. Луна уже закатилась; за то звезды сияютъ ярко. Изъ порта доносится стукъ молотковъ и слышно, какъ тамъ работаетъ паровой двигатель. Подкрадываются опасения, какъ бы японцы не услышали этотъ стукъ и не начали опять стрелять по порту. Они обстреливали сегодня гавань 11-дюймовыми, 6-дюймовыми и 120-миллиметровыми до 7 час. 30 мин. вечера. После обеда имъ усиленно отвечалъ "Ретвизанъ" изъ своихъ большихъ орудий. Земля дрожала, окна дребезжали и двери растворялись отъ этихъ выстреловъ. Но это уже не пугаетъ насъ, а, наоборотъ, какъ бы удовлетворяетъ насъ за японския бомбардировки: -- Такъ нате же и вамъ! Передъ обедомъ японцы обстреливали преимущественно Золотую гору; были попадания и на батарею. Но не слышать, чтобы они причинили серьезный вредъ или, чтобы были потери въ людяхъ. Въ "Пересветъ" попало 10 снарядовъ. Сегодня снова появились утешительныя слухи, положимъ, довольно жиденькие, не совсемъ уверенныя. Будто къ намъ идетъ на выручку генералъ Сахаровъ съ значительнымъ отрядомъ и долженъ прибыть на Киньчжоу 30-го числа, т. е. завтра. У Куропаткина было несколько боевъ и все удачныя. Японцы пытались атаковать даже Мукденъ, но отбиты съ огромнымъ урономъ. Куропаткинъ оттеснилъ ихъ къ Ляояну и продолжаетъ наступать.

Вчера японцы заняли одинъ железнодорожный мостъ противъ форта III. 30 сентября (13 октября). Утромъ + 12,6° по Реомюру. Погода хорошая. Съ 9 часовъ японцы обстреливаютъ гавань. Сегодня однимъ изъ 11-ти дюймовыхъ снарядовъ отшибло уголь у дома морского пароходства, а следующий упалъ на дорогу тутъ же, въ то время, какъ тамъ проходило

много народу. Къ счастью никого не убило и не ранило; будто только одному ушибло ногу камнемъ {Оказывается, что подпор. Никольский везъ со своей командой исправленную имъ пушку; его ранило въ шею осколкомъ или камнемъ легко, другихъ сильнее; всехъ сбросило взрывомъ съ ногъ.}

Скверная вещь -- японцы пристреливаются къ судамъ, которыя стоятъ вблизи берега и этимъ же затрудняютъ движение по набережной, въ Новый городъ и обратно, что крайне неудобно, такъ какъ эта дорога более другихъ оживленна и необходима. Если такъ будетъ и впредь, то дело не обойдется безъ жертвъ; это место -- уголь вокругъ подножья Перепелки, никакъ не минуешь; другой дороги нѣтъ.

Японцы обстреливали гавань до половины пятого вечера.

Сообщаютъ, что на-дняхъ неприятельскимъ снарядомъ разбитъ одинъ изъ нашихъ прожекторовъ на сухопутномъ фронте.

Лучъ японскаго прожектора лежитъ уже которую ночь неподвижно поперекъ района форта III; бледный лучъ нашего прожектора съ леваго фланга какъ бы старается его лизнуть, перехватить.

Досадно, что все у японцевъ лучше нашего. Прожектора ихъ много сильнее нашихъ; на убитыхъ японскихъ офицерахъ найдены чудные бинокли. А у насъ съ биноклями одно горе.

1/14 октября. Въ 7 час. утра 14 градусомъ тепла; день обещаетъ быть солнечнымъ.

Съ 9 ч. 35 мин. до 10 ч. 30 мин. японцы сильно обстреляли городъ изъ мелкихъ орудий; 11-дюймовыми обстреливаютъ изредка гавань.

Одинъ изъ снарядовъ попалъ въ редакцию "Новаго Края". Пробита газетная кладовая, разрушена часть типографии; пострадалъ и кабинетъ секретаря. Одинъ осколокъ пробилъ еще и наружную стену и вылетѣлъ на Пушкинскую улицу. Къ счастью, въ моментъ попадания въ этихъ помещенияхъ не было никого. Затлевшую было бумагу затоптали прибежавшие служащие; иначе возникъ-бы пожаръ.

Часть газетъ разорвана взрывомъ на мелкие клочки.

Вследъ за этимъ снарядомъ попалъ другой въ квартиру военнаго врача, противъ редакции.

Остальные падали уже дальше къ гавани. Одинъ изъ нихъ пробилъ въ ресторане "Саратовъ" бильярдную комнату.

Человеческихъ жертвъ нѣтъ.

Въ 1 ч. 20 мин. японцы дали новый залпъ изъ 3 орудий по городу и начали стрелять въ одиночку. Наши батареи стали отвечать довольно сильнымъ огнемъ. Особенно усердствуетъ Перепелочная.

Стрельба продолжалась полтора часа.

Вечеромъ пошелъ въ Красный Крестъ навестить друзей. Въ саду, между новымъ зданиемъ и общиной сестеръ милосердия, попалъ въ сферу японскихъ перелетныхъ пуль, но прошелъ благополучно. Довольно неприятное ощущение, когда мимо тебя все -- пшикъ, да пшикъ...

Сообщаютъ, что около театра Тифонтя убитъ такой пулей наповаль, въ голову, матросъ; было несколько новыхъ поранений въ городе пулями.

Врачи жалуются, что стало меньше солнечныхъ дней, а то солнце быстро залечивало раны. Какъ только возможно, выносили раненаго на солнце и онъ поправлялся неизмерно скоро. Теперь процессъ залечиванья идетъ уже медленнее.

2/15 октября. Въ 7 час. утра только 10 град. тепла. Ветеръ; прохладно.

Въ прошлую ночь японцы наступали на наши окопы (контръ-апроши) впереди форта III, но отбиты. Тамъ будто сейчасъ еще видны трупы 2-хъ японскихъ офицеровъ и около десятка солдатъ. На месте схватки собрано 85 японскихъ ружей. Вчера нашей артиллерии удалось подбить несколько японскихъ орудий.

Артиллеристы разсуждаютъ, что артиллерия въ нашей армии, сравнительно съ японской, очень слаба. У насъ "полагается" на дивизию пехоты одна бригада артиллерии, т. е. всего 4 батареи. Ныне выяснилось, что этого недостаточно,-- что следовало-бы увеличить артиллерию вдвое противъ прежняго т. е., чтобы на дивизию пехоты приходилось по две бригады артиллерии, а было-бы еще лучше, если-бы на каждый батальонъ пехоты приходилось по одной батарее. Ныне главная сила въ артиллерии.

Зашель инженеръ Г. и говорить, что только что встретилъ Я -- ва, который узналъ въ порту, будто японская армия разбита и передовые отряды северной армии около Кайджоу или даже Киньчжоу.

Все, конечно, обрадовались.

А. поехалъ въ штабъ района узнать, правда ли это. Р. сказалъ ему, что сведения этого еще нетъ, но онъ допускаетъ его достоверность; кроме того онъ сообщилъ, что сейчасъ нужно ожидать штурма, такъ какъ замечено некоторое передвижение японскихъ войскъ.

Значитъ, мы обрадовались рановато {Въ то время мы еще не понимали, что каждый разъ, какъ только предстоитъ штурмъ, который грозитъ снова потерей какой нибудь изъ позиций, то изъ штаба района вылетали "голуби съ оливковою веткою" -- приятные слухи о близкой вырубке. Штабъ, вероятно, считалъ это своей главной задачей. Сначала это средство действовало; но солдаты вскоре изверились въ эти сообщения, смеялись надъ ними и сердились, что ихъ поддерживаютъ къ стойкости обманомъ. -- Мы и такъ стоимъ за себя,-- говорили они,-- лишь-бы начальство не прозевало чего-нибудь,-- лишь-бы оно не испортило кашу...}.

Позднее собралось насъ целое общество и началось обсуждение всевозможныхъ злободневныхъ вопросовъ.

Одни уверяютъ, что между адмираломъ Алексеевымъ и генераломъ Куропаткинымъ возникли недоразумения, главнымъ образомъ, изъ-за того, что наместникъ все время настаиваетъ на необходимости наступления, и выручки Артура, а Куропаткинъ не решается. Другие говорятъ, что Куропаткинъ знаетъ лучше, что онъ делаетъ,-- что адмиралу не следовало-бы вмешиваться въ дела сухопутной армии.

Передаютъ, что Куропаткинъ отдалъ генерала Засулича подъ судъ за Тюренченский бой и что после неудачнаго боя подъ Вафангоу, онъ сказалъ генералу Штакельбергу:

-- Извольте немедленно отправиться въ Петербургъ и лично доложить Государю Императору о вашихъ боевыхъ успехахъ!..

Это выставляется доказательствомъ энергии Куропаткина. К. слышалъ, будто Куропаткинъ самъ виноватъ въ этихъ неудачахъ; даже больше, чемъ генералы Засуличъ и Штакельбергъ. Право, не знаешь чему верить, чему нетъ.

Все это можетъ потомъ оказаться плодомъ фантазии осажденныхъ, какъ прочие всевозможные слухи.

Большинство артиллерцевъ верить въ Куропаткина и приписываетъ все недочеты наместнику. Это, пожалуй, не совсемъ справедливо: Куропаткинъ былъ самъ въ Артуре, видалъ все

недочеты крепости, могъ позаботиться объ обезпечении Артура провиантомъ и боевыми припасами, а также увеличить его гарнизонъ.

Говорять, что Куропаткинъ, а не наместникъ, приказаль отправить коренной артурский гарнизонъ, знавший окрестность крепости, на Ялу.

Все это, конечно, выяснится въ будущемъ.

Странно -- въ который уже разъ какие-то китайцы приносятъ къ намъ известие о готовящемся отступлении японцевъ; на самомъ деле японцы после этого штурмуютъ крепость. Что-же это -- желание усыпить нашу бдительность въ пользу японцевъ, или же наши разведчики ничего не знаютъ; или же, наконецъ, эти заведомо ложныя сведения распространяются самимъ штабомъ въ целяхъ поднятия духа гарнизона? -- какъ не стараешься узнать, откуда взялись эти сведения, не добьешься ничего. Все сведения, какъ бы сходятся въ штабе генерала Стесселя и появляются оттуда же.

Получилъ целую серию характерныхъ приказовъ генерала Стесселя, которые привожу здесь дословно.

Первый изъ нихъ доказываетъ, что генераль Стессель не придумаль въ разгаре августовскихъ штурмовъ -- 8-го числа -- ничего лучшаго, какъ издать приказъ о последнихъ (!) японскихъ резервахъ, желая этой заведомой неправдою помочь отстоять крепость; это въ то время, когда сражающимся было совсемъ не до чтения его приказовъ и когда нельзя было даже подумать о доставлении этого приказа на боевыя позиции. Второй показываетъ, какъ составлялись у насъ комиссии для изследования дефектовъ инженернаго дела; но въ актахъ находимъ все-таки много интересныхъ данныхъ. (Некоторые не совсемъ доверяють этимъ даннымъ).

Впрочемъ, читатель найдетъ въ каждомъ приказе интересныя сведения въ томъ, или иномъ отношении.

"Экстренно.

Приказъ по войскамъ Квантунскаго Укрепленнаго района Августа 8 дня 1904 г. Кр. Портъ-Артуръ, No 514.

Отъ пленнаго раненаго японца узнано, что изъ Дальняго сюда прибыль ихъ последний резервъ до 10 тысячъ. Вы, славные защитники, держитесь уже давно противъ въ пятеро сильнейшаго врага, потери японцевъ громадны, несоизмеримо больше нашего, надо напречь все усилия, чтобы и последние ихъ резервы растрепать такъ же, какъ Вы упразднили ихъ Дивизии. Надеюсь на помощь Бога и на Вашу беззаветную храбрость.

Августа 29 дня 1904 г. Кр. Портъ-Артуръ No 592.

При семь объявляются акты комиссии за NoNo 382 и 383 состоявшейся 12-го сего Августа относительно повреждений въ бетонныхъ сооруженияхъ отъ неприятельскихъ снарядовъ на форте No 1 и на батарее Лит. Б.

Актъ No 383.

Во исполнение приказа по Войскамъ Квантунскаго Укрепленнаго района отъ 10-го Августа за No 515, комиссия подъ председательствомъ генераль-майора Никитина, при членахъ полковнике Григоренко, Подполковникахъ: Крестинскомъ и Рашевскомъ и

Штабсь-капитане Сахарове, 12-го сего Августа 1904 года, осматривали на месте повреждения въ бетонныхъ сооруженияхъ отъ неприятельскихъ снарядовъ на форте I и на батарее Лит. Б.

Осмотръ показаль следующее: на форту 1-мъ 15-сантиметровая фугасная бомба, попавшая въ нижний край щеки свода отбила уголь, сделавъ выбоину длиною и шириною тридцать сотокъ сажени при наибольшей глубине въ десять сотокъ сажени; въ другомъ такомъ-же месте 16 с. м. фугасный снарядъ сделалъ выбоину съ наибольшей шириною въ пятьдесятъ сотокъ сажени, длиною въ четыре фута и наибольшей глубиной семнадцать сотокъ сажени у нижняго угла. Надъ сводомъ леваго пороховаго погреба такой-же снарядъ сделалъ на верху воронку длиною сорокъ сотокъ сажени, шириною тридцать сотокъ и наибольшей глубиною десять сотокъ сажени. Трещинъ въ сводахъ нигде нетъ. На батарее Лит. Б: Въ батарею съ 6 до 12 Августа попало несколько тысячъ неприятельскихъ 12ти и 15-ти с. м. снарядовъ, изъ которыхъ несколько сотенъ и никакъ не менее 300 штукъ, а по заявлению артиллерийскихъ офицеровъ около 500, разорвались на бетонныхъ сооруженияхъ и произвели следующия повреждения: Большая часть верхней поверхности бетона изрыта выбоинами, имеются некоторыя воронки, глубиною отъ одного до двухъ футовъ; надъ однимъ изъ казематовъ где въ одно и то же место легло несколько снарядовъ въ своде воронка глубиною на половину толщины свода и внутри имеется трещина по направляющей линии свода. Въ другихъ местахъ трещинъ нетъ, и не одинъ казематъ не пробить. Особенно пострадали углы. Фотография съ наиболее поврежденнаго угла при семь прилагается. Точнаго обмера воронокъ нельзя было произвести, такъ какъ батарея находится все время подъ непрерывнымъ обстреливаниемъ.

Актъ No 382.

12-го сего Августа 1904 года комиссия осматривая повреждения въ бетоне, одновременно выяснила о действияхъ фугасовъ следующее: все фугасы между фортами взрываются гальваническимъ токомъ. Затруднения въ уничтожении на форту I неразорвавагося неприятельскаго снаряда 9-го Августа пироксилиновымъ патрономъ съ бикфордовымъ шнуромъ произошло отъ того, что патронъ, полученный еще на передовыхъ позицияхъ два съ лишнимъ месяца тому назадъ перевозился въ чемодане и передъ зажиганиемъ конецъ шнура съ фитилемъ долженъ былъ быть оправленъ. И капсуль и бикфордовъ шнуръ и фитиль действовали, а соединения этихъ частей отъ перевозокъ были потревожены. Что касается фугасовъ, то съ 7 до 10 Августа взорвано отъ батареи Лит. Б. до форта III не менее восемнадцати камнеметовъ и минъ. Кроме того въ деревне Шуйшинъ взорвано два большихъ заряда, а также по заявлению артиллерийскихъ офицеровъ удачно действовали фугасы влево отъ Угловой горы. По донесению Поручика Дебогорий-Мокриевича, обошедшаго въ ночь съ 9 на 10 Августа места взрывовъ, около нихъ много труповъ и оружия, между которыми на одномъ изъ фугасовъ найдено 2 офицерскихъ сабли и рожокъ. Экстренно.

Сентября 10 дня 1904 г. Кр. Портъ-Артуръ No 637.

6, 7, 8 и 9 числа шли ожесточенные штурмы съ переменнымъ счастьемъ. Важный для насъ пунктъ, Высокая гора, былъ облепленъ японцами; они лезли дни и ночи, много тамъ храбрыхъ легло. Сегодня въ 4 час. 45 м. утра отъ храбраго изъ храбрѣйшихъ Полковника Ирмана я получилъ следующее донесение:

"Съ вечера шель сильный бой на Высокой горе съ наступающими японцами. Около 1 часу ночи нашимъ охотникамъ, высланнымъ впередъ съ пироксилиновыми зарядами, удалось разрушить блиндажъ въ нашемъ окопе, который занимали японцы и где стояль ихъ пулеметь; воспользовавшись паникой, вызванной у неприятеля взрывами 18-ти фунтовыхъ зарядовъ пироксилина. Комендантъ горы Штабсь-капитанъ Сычевъ приказаль атаковать и

занять окопы. Потери у неприятеля громадныя; у нашихъ сильный подъемъ духа. Отличились все; а особенно Лейтенантъ Подгурский, руководивший бросаниемъ пероксилиновыхъ зарядовъ и даже самъ бросавший ихъ. Его энергии и храбрости мы обязаны тому, что блиндажъ былъ разрушенъ. Полковникъ Ирманъ".
Слава и благодарение Богу, Слава, Войскамъ-героямъ Слава Ирману, Сычеву, Подгурскому, Слава всемъ героямъ Начальникамъ и Офицерамъ, Слава и благодарность героямъ охотникамъ, взорвавшимъ блиндажъ. Богъ далъ намъ возможность отбить врага, молитесь ему. П. П. Начальникъ Квантунскаго Укрепленаго района Генераль-адъютантъ Стессель.

Не подлежитъ оглашению.
Экстренно.

Сентября 18 дня 1904 г. Кр. Портъ-Артуръ. No 672.

Сего числа японцы примерно изъ за Сахарной Головы {Остроконечная сопка впереди Волчьихъ горъ.} открыли огонь изъ 11" мортирь по фортамъ NoNo 2 и 3 и произвели кое-какия повреждения. Положение неприятеля, въ силу полного господства на море и близости сухопутной базы Дальний -- съ железной дорогой исключительно благоприятное, и хотя местные Инженеры могли, можетъ быть, не предусмотреть, что съ суши будутъ бить снарядами 11-го калибра, такъ какъ въ осадныхъ паркахъ подобныхъ калибровъ нетъ, но местные Инженеры должны были настоятельно указывать, что въ виду близости моря по фортамъ нашимъ можетъ бить и Артиллерия съ эскадры противника, а потому и своды, хотя и на сухопутныхъ фортахъ, должны быть отъ орудий 10--12" калибра. Ну, да! теперь объ этомъ говорить нечего! Предписываю Полковнику Григоренко лично руководить работами по усилению сопротивления бетона на NoNo 2 и 3, употребивъ все средства къ выполнению сего въ кратчайший срокъ {Инженеры уже принимали все меры къ усилению устойчивости бетона, где это было возможно. Дело въ томъ, что теперь уже не все возможно было сделать. Неприятель не давалъ работать и въ некоторыхъ местахъ не откуда было взять песку. На форту III бетонъ удалось покрыть слоемъ земли; это ослабляло силу удара и взрыва бомбы. Благодаря этой мере бетонъ устоялъ до послѣдняго.}.

No 681.

За смелую вылазку въ ночь на 19е Сентября объявляю мою благодарность Начальнику команды 15-го В. С. Стрелковаго полка Штабсъ-капитану Фонъ Бурзи.-- Молодцамъ стрелкамъ объявляю "спасибо" {Только-то! Казалось бы, что на это существуютъ награды!}.

2 Октября 1904 г.-- No 729.

Тифъ увеличился, причина известная и постоянная -- вода, а я прибавлю и свинство, грязь; загаживание местности, отправление естественныхъ надобностей повсеместно; какая-то особая халатность ко всему; посмотрите что делается возле некоторыхъ колодцевъ, ведь стоитъ зеленая грязь. Особенную клоаку представляютъ: оврагъ, ведущий отъ завода Нюкса, казармы 10-го полка, где теперь моряки; морския казармы въ Новомъ Городе, здесь у самихъ воротъ все выбрасываютъ. Где наша Санитарная коммисия {На самомъ деле указанныя въ приказе местности, какъ подлежащие военно-санитарному ведомству были изъяты изъ ведения городского санитарнаго надзора; средства города и гражданскаго управления для этой цели были очень ограничены, такъ какъ не откуда было взять людей,

лошадей и упряжь для увеличения ассимилированного обоза Имевшиеся люди и лошади отбирались генераломъ Стесселемъ на нужды позиций: возили туда воду и пр. Это требование возмущало всехъ своей незаконностью и не смотря на то, что со стороны города и гражданского ведомства делалось все необходимое и возможное безъ всякаго понукания, генераль Стессель всегда находилъ нужнымъ приказывать, грозить судомъ и разстреломъ... Конечно, дело отъ этого не могло выиграть.}), которая въ мирное время исписала целые стопы бумаги, а сама теперъ ни за чемъ не смотритъ; где Городской голова, первый ответчикъ за санитарное состояние города, где полиция: все и вся отсутствуют; отсутствуют по понятнымъ для всехъ причинамъ Но не делая ничего, кроме разумеется марания бумаги, содержание продолжаютъ получать полностью. Мне важно здоровье офицеровъ и солдатъ, а между темъ они-то и болеютъ. Приказываю строго и, въ последний разъ, Городской Администрации немедля все привести въ порядокъ, иначе предамъ Военному суду, какъ за неисполнение своихъ обязанностей и неоднократныхъ моихъ приказаний. Возле местъ биваковъ следить за санитарнымъ состояниемъ войсковому Начальству, а особливо полковымъ и прочимъ войсковымъ Врачамъ, донося объ антисанитарномъ состоянии Корпусному Врачу 3-го Сибирскаго Армейскаго Корпуса для доклада мне.

Городскому Голове Подполковнику Вершинину ежедневно подробно осматривать городъ, считая это главнымъ, а не писание бумагъ. Прошу Коменданта Крепости лично и черезъ Начальника своего Штаба проверять исполнение сего важнаго требования; всякий бывший въ походахъ и въ войнахъ отлично помнить, что за бичъ эпидемическая болезнь, съ которой не справились въ самомъ начале. Инспектору Госпиталей осматривать чаще госпиталя и около ихъ; свинство и грязь везде; ведь посмотрите что делается у Дальнинскаго госпиталя.-- П. п. Начальникъ Квантунскаго Укрепленнаго района, Генераль-адъютантъ Стессель.
В. Нужное.

Приказание по Войскамъ Квантунскаго Укрепленнаго района.

Сентября 28 дня 1904 г. Кр. Портъ-Артуръ No 58.

Начальникъ Квантунскаго Укрепленнаго района приказаль:

Въ виду того, что въ Штабъ района почти весь наличный запасъ японской восковой бумаги и литографской переводной краски для печатания приказовъ по Войскамъ Квантунскаго укрепленнаго района истощился, предлагаю всемъ частямъ войскъ получившимъ приказы и приказания и желающимъ продолжать получать таковые то прислать, по мере возможности, означенныхъ выше материаловъ въ Штабъ района, такъ какъ таковыхъ въ настоящее время не представляется возможнымъ достать за неимениемъ въ магазинахъ Портъ-Артура.-- Подписаль: Начальникъ Штаба, Полковникъ Рейсь".

Какъ примеры храбрости, стойкости и самоотверженности гарнизона привожу сведения о некоторыхъ нижнихъ чинахъ, награжденныхъ знакомъ отличия военнаго ордена (солдатскимъ Георгиевскимъ крестомъ):

Батареи литера Б фельдфебель Иванъ Колесниковъ, будучи 11 августа сильно ранень осколкомъ гранаты въ голову, только 16 августа отправленъ въ госпиталь, а остальное время находился въ строю и командоваль батареей.

Форта V младший фейерверкеръ Дмитрий Поповъ, бомбардиръ-лаборантъ Алексей Дикий и канониръ Федоръ Устиновъ 9-го августа,-- когда на форту отъ попавшаго неприятельскаго снаряда загорелся батарейный пороховой погребъ съ порохомъ и снаряженными гильзами,-- бросились тушить пожаръ, рискуя каждую минуту взлететь на

воздухъ отъ взрыва и быть убитыми отъ неприятельскихъ снарядовъ, сыпавшихся на батарею во время пожара и отъ своихъ рвавшихся гильзъ; они подавали примеръ другимъ и ободряли товарищей, благодаря чему пожаръ былъ скоро прекращенъ.

5-го Вост.-Сиб. стрелковаго полка младшій унтеръ-офицеръ Михаилъ Носковъ и стрелокъ Андрей Волковъ въ ночь съ 10 на 11-е сентября вызвались охотниками на вылазку, осмотреть Длинную гору, занятую неприятелемъ; когда высмотрели расположение неприятеля, подкрались къ окопамъ, собрали 8 винтовокъ и одну пулеметную ленту съ патронами, оставленную нашими войсками, и возвратились благополучно, сдали все въ штабъ полка.

Того-же полка мл. унтеръ-офицеръ Михаилъ Черновъ отличился въ бояхъ на Высокой горе 6, 7 и 8-го сентября. Въ начале боя получилъ рану въ голову; перевязавшись онъ возвратился въ строй; черезъ некоторое время онъ опять былъ раненъ, въ шею, и опять, после перевязки, вернулся въ строй; потомъ онъ еще два раза былъ раненъ, въ левую руку навзлетъ, и снова возвратился въ строй, где оставался до конца боя; примеромъ личной храбрости ободрялъ измученныхъ трехдневнымъ боемъ людей своей роты.

5-й роты Квантунскаго флотскаго экипажа матросъ 1-й статьи Илья Сотниковъ награжденъ за то, что во время атаки японцами вершины между Длинной и Дивизионной горами вынесъ подъ сильнымъ артиллерийскимъ огнемъ раненаго своего командира, капитана 2-го ранга Циммермана.

Факты эти говорятъ за себя. Повторяю, что это лишь незначительные, попавшиеся мне подъ руку примеры.

Вечеромъ на позицияхъ редкая перестрелка.

Л. Тихомиров. О смысле войны⁶¹

На берегахъ Тихого океана кипитъ кровавая борьба, и, вдумываясь въ причины ея, нельзя не опасаться, что она окажется споромъ не на месяцы и годы, а на очень долгий период. Чувствуется, что на Дальнемъ Востоке поднялся вопросъ всемирно-исторический, при решении котораго намъ понадобятся все наши способности бороться, устраивать и управлять.

А между темъ въ обширныхъ слояхъ нашего общества стелятся полосы самого опаснаго тумана социально-политическаго "декаданса", развивающагося уже много десятковъ летъ. Размягченное состоянiе умовъ, дряблость чувства, отвращенiе отъ всякаго напряженiя энергии вообще, какое-то "обабленное" настроенiе, создали почву для принципиальнаго отрицанiя всякаго действiя "силой", и, въ частности, отрицанiе войны, въ резкой дисгармонiи съ запросомъ исторiи на мужскую доблесть.

Хуже всего то, что эта рыхлая псевдогуманность, отрицанiе силы и активности, стали уже достоянiемъ многочисленныхъ слоевъ среднеобразованной толпы. Пока антисоциальная идея остается личнымъ парадоксомъ взбалмошнаго, или даже гениальнаго, ума, -- беда не велика, и изъ парадокса можетъ даже сверкнуть какая-нибудь искорка действительной истинны. Но когда антисоциальная идея становится верованiемъ толпы, -- она делается опасной. Толпа не знаетъ многогранности истинны. Если среднее общество упрется лбомъ въ какую-нибудь фальшь, то ужъ потомъ разве какiе-либо страшные бедствiя способны снова вразумить его. Это внутреннее опустошенiе ума и чувства опаснее всякихъ внешнихъ вражескихъ нашествiй.

61 <http://www.patriotica.ru/authors/tikhomirov.html>

Чернышевский когда-то острил, говоря, что хотя многие ученые занимались исследованием влияния умственного развития на ход истории, но ни один, к сожалению не вздумал исследовать влияние глупости, которое гораздо важнее... Это, конечно, только игра слов, потому что глупость тоже в своем роде "ум", только плохого качества. Но за этим "умом плохого качества" нужно очень зорко следить, потому что его влияние огромно. Толпа, какая бы она ни была, -- сила, она носит "общественное мнение", с которым иной раз не сладят никакие умники. Непростительно, поэтому, допускать, чтобы в "среднем" уме исчезали правильные социальные понятия.

Влияние "глупости" на историю довольно тяжело и тогда, когда оно "консервативно", то есть основано на не рассуждающем поддержании традиционной истины. Но это еще полбеды, потому что в традиции всегда есть большая доля опытом доказанной правды. Гораздо страшнее влияние глупости, когда она начинает "умничать", строить идола из "новых" идей, в которых среднее общество наименее способно различить ложь и истину... Этим-то умничаньем создано ходкое распространение идей, отрицающих силу, причем, в частности, отрицание особенно распространяется на войну как наиболее яркое применение силы, "насилия"... Вера в то, будто бы война есть "'зло" и "варварство", распространилась в среднем образованном обществе до того, что доросла до несокрушимой пошлости. Со всегдашней нетерпимостью опошленного верования, это отрицание войны стало уже воинствующим и готово забрасывать камнями всякий проблеск сознания всей важности "войны"...

Русскому обществу, всем несколько живым элементам его, пора обратить внимание на необходимость освежить и исправить ходячие понятия. Ведь в действительности война вовсе не "бессмысленное" явление. Русское общество должно вспомнить, что на важное и полезное значение войны "имели смелость" обращать его внимание крупнейшие представители русского гения нашего времени.

Довольно вспомнить Достоевского и Владимира Соловьева.

II

С до-Толстовской "толстовщиной" приходилось, действительно, бороться уже Достоевскому. И, конечно, трудно найти большую смелость, как в его "Парадоксалисте", которого он бросил в лицо представителям социального размягчения мозгов, которое уже действовало во время Турецкой войны. Тогда проявлялся героизм, был великодушный порыв чувства, но не молчал и зарождавшийся прогрессивный паралич, впоследствии доведенный "до чертиков" графом Л. Н. Толстым. И вот Парадоксалист Достоевского (см. 10 том, стр. 147) выступает с доказательствами, что война есть величайшее благо, а мир -- "язва" человечества.

Неправда, -- говорит он, -- чтобы война была проявлением грубости или жестокости. Тут важно психологическое состояние борющихся. На войну никто не идет для того, чтоб убивать, а каждый идет с мыслью пожертвовать своей жизнью. Война несет с собой великодушную идею, и поэтому человечество любит войну. Это одно притворство, когда все говорят: "Ах какое несчастье: война"... На деле все сияют и очень рады. В мирное время -- скука, апатия, уныние. Во время войны -- все бодры, крепки, и потом, даже в случае поражения, -- долго любят хоть вспомнить о пережитом времени подъема духа. Повышение духа, вызванное войной, потом отзывается и на подъеме науки, искусства; война внутри народа создает чувство человеческого равенства, подчиняет социальные различия личной доблести... Война, наконец, сближает между собой воюющие народы, научает их видеть и ценить взаимно друг друга... Короче, война во всех отношениях -- состояние более высокое, нежели мир.

Собеседник Парадоксалиста, понятно, недоумеает пред такими нечестивыми суждениями. Но Парадоксалист неумолим: он подвергает жесточайшему разгрому "язву

мира", как он выражается. Это место стоит привести целиком, потому что в нем есть нечто, почти пророчески указывающее те последствия долгого мира, которые мы увидели воочию.

"Великодушные, -- говорит он, -- гибнет в периоды долгого мира, а вместо него являются цинизм, равнодушие, скука и много-много что злобная насмешка, да и то почти для праздной забавы, а не для дела. Положительно можно сказать, что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, главное же к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, ценятся, стоят высоко сейчас после войны. Но чем дольше продолжается мир, -- все эти прекрасные, великодушные качества бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство и стяжание захватывают все. Под конец останется лишь одно лицемерие -- лицемерие чести, лицемерие самопожертвования и долга". Все это будет уважаться лишь для формы, на словах. ^Настоящей чести не будет, а будет только формула чести, а -- это есть смерть чести. Долгий мир производит апатию и низменность мысли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений, более близких к делу, то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Сластолюбие вызывает сладострастие, а сладострастие -- всегда жестокость. Вы никак не можете всего этого отрицать, потому что нельзя отрицать главного факта, что во время долгого мира социальный перевес всегда переходит к грубому богатству"...

Со своей стороны я только спрошу наших современников: неужели они не узнают в картине, нарисованной Достоевским, настоящего портрета нашего теперешнего общества? Если бы Достоевский был жив, он не мог бы и с натуры более точно списать характеристику общества, каким оно явилось ныне, после 25 лет "мирного развития".

Даже литературные его представители, самоновейшие носители новых слов и путей, замечательно хорошо выразили в себе, в своем декадентском художестве и философии разнузданной плоти, ту именно сластолюбивую деморализацию, которую 25 лет назад предсказывал Парадоксалист...

III

После речей "Парадоксалиста" Достоевского прошло 25 лет так называемого "мирного развития". Не касаясь более ранних времен, за одни только последние годы его мы увидели ряд "мирных" явлений -- в Казанском соборе в Петербурге, на московских бульварах, в Уфе, в Баку, в Полтаве и т. д., и т. д. Развитие -- тоже доросло вплоть до господ Розанова с К... А между тем на Дальнем Востоке уже загоралась гроза кары, и дай Бог, чтобы гроза вразумления... В эти "последние" дни Владимир Соловьев, одинокий идеалист разлагающейся эпохи, допевал свою лебединую песню.

Фактически движение монгольского язычества еще не начиналось, но прозрение Соловьева на год опередило события, когда он писал свои "Три разговора".

Ни один, кажется, мыслитель русский не давал такой мужественной и красноречивой защиты войны. С какой злой отчетливостью Владимир Соловьев увековечил здесь пошленький образ, князька-толстовца. Какой симпатичный тип рисует он в генерале, защищающем высоту своего звания... Немногое покойный философ говорил России так вдохновенно, как это свое завещание, которое ему пришлось скоро дополнить еще "гимном" императору Вильгельму, поднявшему стяг в новом крестовом походе:

Наследник крестоносной рати,

Ты стал под знаменем Креста, Святой огонь в твоём булате, И речь грозящая свята...

В "Трёх разговорах" Соловьев, между прочим, сделал превосходную постановку общего вопроса о должном отношении к войне: "Как? -- восклицает у него глуповатый князь-толстовец, -- как, вы сомневаетесь в том, что война и военщина -- безусловное и крайнее зло, от которого человечество должно непременно и сейчас избавиться? Вы сомневаетесь,

что полное и немедленное уничтожение этого людоедства было бы во всяком случае торжеством разума и добра? -- Да, я совершенно уверен в противном, -- отвечает г. Z. -То есть в чем же?

- Да в том, что война не есть безусловное зло и что мир не есть безусловное добро. Или, проще говоря, - что возможна и бывает хорошая война, возможен и бывает дурной мир". Вот и это и есть настоящая, правильная, постановка вопроса. С ней, конечно, согласился бы и Парадоксалист Достоевского, который, в сущности, обличает не мир вообще, а именно дурной мир, такой мир, который бывает обыкновенно и по большей части... Именно потому что мир, по большей части, бывает дурной, фальшивый, бессмысленный, война, по большей части, производит, сравнительно с развращающим действием такого мира, очень благодетельное, повышающее и оздоравливающее действие на общество.

IV

Может быть война "хорошая", может быть и мир "дурной", -- говорит Соловьев. Может быть, стало быть, и война ""дурная", которая составляет явление безнравственное и вредное. И, однако же, ставя такую формулу, Владимир Соловьев, подобно Парадоксалисту Достоевского, как будто все-таки сочувственнее относится к войне, чем к миру.

Почему же? Это зависит, конечно, прежде всего от обстановки разговора, от того отвращения, которое в человеке, не утратившем живого чувства, возбуждает нынешнее слащавое, беспринципное "миролюбие", смешивающее "мир" с простым апатичным бездействием. Когда вокруг располагается такое "миролюбие", то в противовес ему невольно начинаешь "любить войну", как Парадоксалист Достоевского. Однако, помимо этого случайного условия, в войне -- самой даже вредной и безнравственной -- есть всегда один такой элемент, который сам по себе хорош и которого нет во вредном и безнравственном мире. Это именно элемент силы, активности, способности к борьбе. Между тем вся жизнь человека есть борьба. Способность к ней, это -- самое необходимое условие жизни. Конечно, силу и активность можно направить не только на добро, но и на зло. Но если у какого-либо существа нет самой способности к борьбе, нет силы -- то это существо ровно никуда не годится, ни на добро, ни на зло. Это нечто мертвенное. А для человека нет ничего противнее смерти, отсутствия жизни. Зло -- безнравственно; но пока человек имеет силу, жизнь, то как бы вредно она ни была направлена, все-таки имеется возможность и надежда пересоздать злое направление и направить данную силу на добро. Если же у человека нет самой жизненной силы, то это уже почти не человеческое существо. Никаких надежд на него возлагать нельзя. Если же он, своей мертвенностью, заражает, сверх того, и окружающих, то не может быть на свете ничего более вредного и противного. В дурном мире -- именно это и происходит, а в самой плохой войне никак не может быть. Когда идет война, мы видим пред собой все-таки живых людей, и, если это даже разбойники, то, по крайней мере, не трупы. Из двух зол -- все же лучше первое. И в этом некоторая "красота" войны, которой она тоже никогда не лишается. В этом же некоторая поучительность войны, которой она тоже никогда не лишается, как может лишиться "дурной мир".

Дело в том, что в войне всегда выражаются законы жизни, которые в "дурном мире" могут быть до такой степени закопаны в грязь и мразь, что их становится трудно и заметить. Война уясняет смысл жизни, как и сама понятна лишь тому, кто разумом или инстинктом понимает смысл жизни.

V

Жизнь -- в идеале -- есть мир, но жизнь в факте есть борьба. Тот мир, который составляет цель и идеал жизни, вовсе не есть пассивное бездействие. Нирвана. Нет, мир состоит в гармоническом содействии всех сил жизни. Мир не есть гнилое болото, не есть безжизненность или бессилие, а -- только гармония оживленных и содействующих одна другой сил.

Это идеальное состояние жизни, по идеалу христианство, наступит вполне только с окончанием здешнего, земного мира. Но и для незнающих или не разделяющих философии христианства, а только несколько разумных и сведущих людей, -- совершенно не подлежит сомнению, что в условиях нашей органической природы -- указанный идеальный мир находится в вечно неустойчивом состоянии и достигается только вечным напряжением борьбы.

В законах нашей органической природы состояния мира можно достигать только постоянной борьбой, так что цель жизни есть мир, а средство для этого -- борьба. Это относится решительно ко всем проявлениям жизни: выработка личности, создание условий, ей необходимых, жизнь и задачи семьи, жизнь социальная и политическая, даже дело развития ума, знаний, просвещения, -- все это совершает созидание не иначе, как вечной борьбой против бесчисленных помех, разрушающих гармонию жизни (в которой состоит мир). При этом все силы созидающие -- гармонизирующие -- суть те, которые борются во имя идеала, долга, любви, а силы, разрушающие мир, борются во имя свое, за свой эгоистический интерес.

Строительница мира есть, таким образом, не слабая, не дряблая, не пассивная личность, а напротив -- способная к борьбе, обладающая силой и активностью, но только не эгоистическая, а самоотверженная. Слабость и размягченность личности ведут вовсе не к миру, а лишь к представлению свободного поля действия злу. Потому-то человеческое общество никак не должно допускать извращения своего вкуса в отношении того, какие качества личности прекрасны, идеальны, требуют прославления.

Добродетель и нравственная красота состоит не в бессилии, не в слабонервном(tm), не в апатичности, а в том, чтобы человек, имея силу и нервы все разрушить, -- в то же время, по любви к добру, не разрушал, а сохранял и созидал жизнь. Такими сильными и самоотверженными людьми живет мир и держится добро. Такую личность должно уважать, ставить примером для себя и для других как идеальную и героическую.

Этому идеалу, если не глубже всех, то нагляднее всех удовлетворяет воинское звание. ' Против этого не следует возражать, что дело воина -- война -- есть применение физической силы, принуждения и насилия... Та борьба, которая наполняет собой жизнь, та борьба, которая создает гармонический мир, может иметь различные формы, но в числе их непременно проявляется также в форме насилия, принуждения. Слабонервные декламации против этого не заключают в себе никакой правды.

Человек -- существо телесное. Нравственное "воздействие" неотделимо от нравственного принуждения, а в известных случаях и от физического насилия. Говорит: "Действуйте нравственным воздействием, но не осмеливайтесь прибегать к насилию физическому", -- это или бессмыслица или лицемерие. Всякое убеждение рано или поздно непременно проявляется в формах физического действия, по той простой причине, что человек не дух и живет в телесном виде. Все наши поступки представляют соединение актов духовных и физических. Уж если человек что-нибудь делает, то непременно в сопровождении и физических актов. Это относится к злу и к добру. Противодействовать злу можно иногда нравственными воздействиями, но иногда невозможно иначе, как физически, и тогда "сопротивление" и "насилие" -- нравственно обязательны.

Поэтому-то человек, для того, чтобы быть деятелем правды в обществе, -- непременно должен понимать сложный характер борьбы, на нем лежащей. Общество со своей стороны должно понимать, что именно такие люди ему и нужны: люди крепкие, способные и готовые постоять за правду всеми силами, какие им дал Бог: головой, где нужно, сердцем,

где его место, но также и руками, если это неизбежно, и отдать за правду не одни нервы свои, но и кровь. Когда такое понимание исчезает в народе, -- правда в нем теряет защиту.

VI

Итак, то обстоятельство, что война есть насилие, ни мало не говорит против нее. Конечно, в войне насилие проявляется в самых ярких, заметных формах... Тут льется человеческая кровь. Можно ли "радоваться" кровавой схватке сотен тысяч людей, истребляющих друг друга? Само собой, что слово "радоваться" тут в высшей степени не уместно и бессмысленно. Одно дело -- радоваться страданию и пролитию крови, и другое дело -- с твердой решимостью и энтузиазмом поддерживать войну.

Можно ли радоваться трате денег, собираемых с народа? На вопрос в такой форме всякий скажет -- "нет". Но можно ли радоваться ассигнованию на хорошие школы стольких-то миллионов "кровных народных денежек"? Всякий, конечно, порадуетя.

Можно ли радоваться долговременному "мирному развитию"? Может быть, люди, не имеющие смысла жизни, и скажут "да". Но, полагаю, ни один человек, горячо служащий какому-либо идеалу, не ответит так просто. Он скажет: все зависит от того, что кроет в своем содержании это "мирное развитие". Во-первых, есть ли это -- развитие, а не просто мирное, неподвижное гниение? Во-вторых, если нечто действительно развивалось, то что именно? Если развивалось нечто хорошее, всякий порадуетя. А если мирно развивалось нечто злое, то да погибнет такой "мир"!

Итак, все сводится к содержанию факта, и в отношении войны -- мы радуемся не потасовке самой по себе, а тому доброму, что война создает. Если же она не защитила добра, не создала ничего хорошего, а послужила на какое-либо зло, то да погибнет такая война! Но как же война может не создать зла, если при ней уж непременно льется кровь, десятки тысяч людей теряют жизнь, и сотни тысяч выходят временными или вечными калеками?

Это такой аргумент, который даже и повторять стыдно, хотя именно он чаще всего и приводится "размягченно-мыслящими". Само собой, эта сторона войны очень печальна и составляет не зло, а несчастье. Но ведь созидание войны не в этом. Если бы дело войны было только в истреблении друг друга, то кто же бы воевал? Зачем? Но цель войны не убийство, а защита какой-либо идеи, какого-либо интереса, и наше отношение к войне определяется тем, насколько велик интерес, ее вызывающий, и насколько он ею достигнут. Что же касается крови, страдания, убитых, калек и пр., то всем этим наполнена всякая борьба. В так называемом "мирном развитии", собственно крови, то есть красной жидкости артерий, проливается, конечно, меньше. Но соков тела человеческого проливается и растрачивается безжалостно больше. Жизнь человеческая, то есть то, из-за чего только и кровь важна, истребляется при мире бесконечно больше, и притом не из чего-либо великого, а по всяким пустякам, из-за набивания карманов, из-за сооружения своего эгоистического благополучия и, наконец, прямо по социальной неразвитости, без малейшей пользы для кого бы то ни было. И что же: из-за этого можно ли печалиться, что мы живем в состоянии "мирного развития"? Но зачем же считать усердно жертвы только войны и так небрежно забывать а жертвах мира?

Сверх того, нужно немножко подумать вот о чем:

Я спрашиваю каждого порядочного человека, то есть всякого человека, в минуту, когда он чувствует в своем сердце, что он не "скот", а человек... Зачем ему нужна его кровь, эти соки его организма, эта жизнь его? Желает ли он их тратить на что-нибудь? Или он желает их просто бесцельно накапливать и сохранять, как "скупой рыцарь" бесполезные деньги? Разумеется, всякий скажет, что жизнь ему нужна только для затраты на нечто ему дорогое. Иногда это объективно очень маленькое дело -- забота о каком-нибудь человеке, о семье и т.п., но -- оно каждому дорого субъективно, как состояние самоотвержения. И если жизнь

ни на что путное не тратится, то она и самому человеку гнусна, скучна и тяжела. При сознании бессмысленности своей жизни, человек даже сам прекращает ее. Она ему тогда не нужна, и смерть кажется лучше, чем жизнь, лишенная содержания, жизнь, которую не на что жертвовать. Итак, нужно оставить пустые декламации о проливающейся, на войне или в мире, крови.

Дело не в том, что она проливается, а в том -- за что проливается? Страшно страдание на войне и в мире, как страшна и смерть на поле битвы или в "мирной" постели. Мы стараемся сохранить и возможно продолжить жизнь, стараемся возможно уменьшить страдания. Но, в мире или на войне, смерть стоит перед нами неизбежным призраком, а страдание -- неразделимо с жизнью, и вся наша борьба против зла и бедствия, за добро и счастье, чем выше она, тем быстрее сокращает нашу жизнь ускоренной тратой силы. А между тем только в этой трате силы и жизни за нечто великое состоит все наше счастье, и жизнь становится тяжкой бессмыслицей, если лишает нас этой борьбы, этого страдания, этой траты себя на нечто высшее, чем свой личный интерес.

Отсюда истекает повышающее влияние войны. Подвиг самоотвержения у воина особенно чист и нагляден. Тут совершенно исчезает все личное. Война есть борьба двух обществ за их общественные интересы. Солдат даже не определяет, что за интерес его общества. Он просто отдает за него жизнь. Он борется за Отечество, за то добро, которое в нем, ' за то, чем живет Отечество.

Это "добро" есть всегда во всякой нации. Всякая страна жива только тем высоким гармонизирующим элементом, который в ней есть. И если бы его не было, то не было бы общества. И вот, не за частный какой-либо интерес отдает свою жизнь солдат, а за самую суть Отечества. Дело воина -- всегда чисто, если бы даже Отечество начало несправедливую войну. Даже английский солдат дрался с бурами не за то, чтобы Чемберлен наполнял свои карманы алмазами. Солдат дрался за Англию, за то великое внутренне содержание, которое создало английскую нацию. Этот солдат, как гражданин, может обсуждать и даже осуждать войну, начатую Отечеством, но как солдат -- он живет не рассуждением, а самоотвержением, он отдает силы и жизнь Отечеству и за Отечество. Этот образ чистейшего самоотвержения, ясный, наглядный, легко понятный, имеет огромное воспитательное значение для всей страны, и в этом отношении воин -- великий учитель чести, долга и нравственности. Плохо положение народа, когда его затуманенные ложью глаза закрываются на поучение воинского звания. Где же воин перестает быть уважаем, там, значит, общество уже начинает "оподляться", терять нравственную высоту.

VII

Все это прекрасно, могут сказать, но это не решает вопроса о войне. Дон-Кихот тоже высок и благороден, но его подвиг бессмыслен. Пусть нужно самоотвержение, пусть неизбежна в мире борьба, но нужна ли собственно война! Избежима ли война или неизбежна? Разве общества человеческие, нации, государства, непременно должны решать свои споры дракой? Разве только сила решает правду? Мы имеем идею международного соглашения, третейского суда и т. п. Кровь, страдания, насилие хотя и неизбежны вообще, но, представляя во всяком случае несчастье, должны быть избегаемы всегда и везде, где только возможно.

Это бесспорно верно, и везде, где война может быть избегнута, без пожертвования правдой, без пожертвования великой идеей, она, конечно, должна быть избегаема. В этом отношении всякие международные соглашения, третейские суды и т. п. представляют полезное средство. Но действие этого средства очень ограничено. Идея вечного мира, поддерживаемого соглашением государств, это -- невозможнейшая мечта, и я даже не вижу, чтоб это была мечта высокая. Она не высока потому, что исходит из предположения,

будто у государств, как выразителей национальных стремлений, нет ничего, кроме мелких материальных "интересов", нет нравственных интересов, нет своей идеи существования. Конечно, если бы нации жили только материальными интересами, то легко было бы, хорошо устроенными третейскими судами, предотвратить войну навеки.

Тут расчеты были бы ясны. Одна нация требует миллион, другая не хочет его давать, или даже сама желает взыскать два миллиона: легко вникнуть, кому с кого получать и сколько. Легко рассчитать, что война будет стоить дороже, и, на основании всего этого, примирить враждующих, указать им благоразумное и справедливое соглашение. Для всех подобных случаев развитие третейских судов -- идея разумная и полезная.

Но дело в том, что такие интересы исчерпывают международные отношения только тех наций, которые уже выходят в тираж истории. Во всех живых коллективностях столкновения несравненно сложнее. Это указывают даже столкновения обществ, в виде гражданских войн. Китай объединил все народы на пространстве своего мира. Он додумался до того, чтобы опозорить самое понятие войны, покрыл бесчестием военное звание и укоренил в населении убеждение, что мало-мальски порядочная личность не может унижить себя до такого звания. Однако, и Китай не избавился от гражданских войн. Да и как быть иначе? Ведь люди имеют свои идеи, свои идеалы. Эти идеалы развиваются по различным направлениям, объединяют около себя различные группы людей и, в конце концов, нарастают во враждебные коллективности, из которых каждая стремится к господству. Это логично и неизбежно, потому что только при господстве идея может осуществить себя вполне. И вот -- является война.

Соглашение... Но разве оно мыслимо для убеждения? О соглашениях очень охотно говорят те, которым все безразлично, у которых нет горячего чувства ни к чему. Но такие люди не способны ничего и создать. Созидают только те, которые горячо и сильно верят и безусловно преданы своей идее. Такие же люди -- при значительной разнице идей -- не могут принимать соглашения: оно для них не имеет смысла, оно для них равносильно отречению от себя.

Идея соглашения, третейского суда, упускает таким образом из виду нечто очень важное в человеческой жизни.

VIII

Это важное состоит в том, что нации, заслуживающие такого названия, нации великие, нации, которые и являются причиной войн, -- имеют свою идею. Ее нации не способны уступать, иначе как пред непреодолимой силой. Можно сказать, что у всех них эта идея состоит во всемирном господстве своего типа, своей правды. А этот тип у всех представляет тонкие оттенки, связанные с характером нации и делающие для них тяжким подчинение чужому типу. Легко взвесить и рассудить материальные интересы, но этого нравственного интереса, который состоит в сохранении и распространении своего типа, -- некому примирять. Где же судьи, которым нация отдала бы на суд самое себя, самое интимное свое содержание?

Таким судьей может быть Бог -- но и только. Никакая другая нация, и хотя бы собор представителей всех их, -- не имеет авторитета для судимого народа. Если суд скажет: "Покоритесь общему решению или мы все пойдем на вас войной", -- этот аргумент может подействовать, но и то лишь в случае, если у подсудимого меньше войска, нежели у судей. Но нравственного авторитета такое решение ни в каком случае не имеет.

Все великие нации считают свою идею наивысшей. Нация может прекрасно сознавать, что она в данном отдельном столкновении не права, и в то же время может чувствовать себя исторически правой. Англичане покорили буров силой и лишили их независимости, -- и в этом частном случае добросовестный англичанин может признать свою неправоту. Но он скажет: это было неизбежно для господства Англии в мире, а господство это необходимо не только для Англии, но даже для самих покоренных. Англичане несут цивилизацию,

порядок, уничтожают бессмысленные стены, разгораживающие народы и т. д. Великая идея требовала жертвы, это жаль, но зато впоследствии самим же бурам будет лучше. Совершенно то же самое уже говорят американцы. Но совершенно то же самое скажет каждый русский, сознающий идею своего великого Отечества, носящий ее в своем уме или сердце. Казанские стены взлетели на воздух при чтении евангельских слов: "И будет едино стадо и един Пастырь"⁶², и то чувство, которое заставило летописца отметить это знаменательное совпадение, живет в сердце русского, -- и когда перестанет жить, это будет только значить, что Россия умерла для человечества!

Теперь спрашивается: как же примирить эти различные идеи, одинаково всемирные, одинаково не желающие и неспособные уступить свое место другому, иначе как с жизнью? Это невозможнейшая мечта, чуждая сознания того, чем живут народы. Понятно, в мелочах, в несущественном, -- все охотно подчинится идее примирения, тем более, что в этих мелочах легко найти справедливое решение.

Но ни в чем, затрагивающем саму идею существования их, великие нации не могут быть примирены. Если столкновение происходит на таком пункте, который затрагивает всемирную роль великой нации, она уступит только силе, да и то явной, доказанной, убедившись в невозможности борьбы в данный момент, и с затаенной решимостью непременно взять свой реванш.

И потому-то война неизбежна до тех самых пор, пока одна из великих наций не окажется, в этом историческом соревновании, самой великой, настолько сильной, чтобы подчинить своей гегемонии весь земной шар, создав некоторое, справедливое, конечно, и до известной степени федеративное, -- государство, но во всяком случае такое, в котором будет некоторый господин, высотой и силой своей идеи поддерживающий всеобщий мир. К такому будущему миру более всего ведет война, и реже всего -- соглашение.

Таков закон человеческой и социальной природы, который всегда действовал в истории, и навсегда в ней останется.

Война, таким образом, имеет смысл очень глубокий, который делает обязательным уважение не к убийству, не к истреблению, но к исторической роли силы.

Этой исторической роли силы не должен забывать ни один народ, который имеет историческую роль, миссию, как говорится. Мелкие, внеисторические, народы могут жить, забывая значение войны: все равно не они будут устраивать человечество, а их самих кто-нибудь будет устраивать. Но всякая нация, которой дано всемирное содержание, должна быть сильна, крепка и не должна ни на минуту забывать, что заключающаяся в ней идея правды постоянно требует существования защищающей ее силы.

Война, как вооруженная защита этой национальной идеи, как орудие ее распространения и утверждения, -- есть и будет явлением необходимым, явлением, без которого, при известных условиях, невозможны ни жизнь нации, ни окончательное торжество той общечеловеческой идеи, которая в результате окажется величайшей, наиболее объединительной, наиболее способной дать мир народам.

В. В. Корсаков. Из книги «Скорбные дни. Дневник-хроника русской жизни в Китае за время Русско-японской войны»⁶²

Об авторе: Дневник-хронику "Скорбные дни" Владимир Викторович Корсаков (р. 1854) вел во время Русско-японской войны 1904--1905 гг. Он жил тогда в Пекине, где к тому времени сформировалась довольно многочисленная русская колония: гражданское население и военные -- офицеры и солдаты. Будучи талантливым журналистом и доктором медицинских наук, прожив более десяти лет в Китае, он стал одним из лучших

⁶² Корсаков В. В. Скорбные дни: дневник-хроника русской жизни в Китае за время Русско-японской войны / В. В. Корсаков; Гос. публ. ист. б-ка России. -- М., 2012.

Печатается по изданию: Корсаков В. В. Скорбные дни: дневник-хроника русской жизни в Китае за время Русско-японской войны / В. В. Корсаков. -- М.: Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1912.

исследователей этой страны. В. В. Корсаков -- автор многочисленных статей и книг, освещающих самые разные стороны жизни Китая: от распространения эпидемий до политических событий. Его научные наблюдения нашли отражение в статьях, посвященных климату, эпидемиям, употреблению наркотиков в Китае, и публиковались в медицинских периодических изданиях. Корсаков хорошо изучил менталитет не только местного населения, но и корейцев, японцев, их обычаи, культуру, а также политические настроения и отношение к русским. В своем дневнике он подробно рассказывает, какие праздники они отмечают, как обучают детей, продают и покупают товары. По поводу влияния Запада на Восток автор дальновидно замечает: "...Всматриваясь в новую жизнь, которая повсюду в народе мощно прорастает, заглушая обессиленный дряхлый Китай прошитых веков, я прихожу к убеждению, что Китай переработает и усвоит по-своему все то, что возьмет от Европы, оставаясь, однако, все тем же вековым самобытным Китаем. Он не отдаст себя ни под иго Японии, ни под гнет Европы". {Корсаков В. В. Скорбные дни: дневник-хроника русской жизни в Китае за время Русско-японской войны. М., 2012. С. 12.} Отношение к войне русских, живших в Китае во время трагических для нашей страны событий, уровень их боевой подготовки и морально-этические принципы красочно описаны автором. Не для всех эти дни оказались "скорбными". Были те, кто прожигал жизнь вдали от родины и от полей сражений и использовал служебное положение отнюдь не на пользу отечеству. Но большинство русских жадно следили за любыми новостями из Порт-Артура, переживали гибель наших кораблей, талантливых флотоводцев и моряков. Многие рвались к месту боевых действий, желая поддержать своих товарищей. В дни войны Корсаков помогал русским солдатам и офицерам, попавшим в плен (по данным автора в плену оказалось около тысячи офицеров и 60 тыс. солдат). В изоляции от родных и близких, в чужой непонятной стране люди ждали вестей из России и жадно читали любые газеты, где могла быть хоть какая-то информация. Вот что писал один из пленных офицеров: "...В плену только себя и утешаешь, что по приезде найдешь Россию обновленную и свободную. Под влиянием иностранных газет даже невинным агнцам открылись глаза на политический режим в России..." {Корсаков В. В. Скорбные дни: дневник-хроника русской жизни в Китае за время Русско-японской войны. М., 2012. С. 145.} Поражение в войне с Японией вскрыло многие проблемы Российской империи, в том числе социальные. Знакомясь с рассказом очевидца тех событий, сложно усомниться в позиции большинства историков по поводу роли Русско-японской войны в судьбе России -- поражение в этой войне приблизило революцию. Современное издание книги полностью сохраняет стиль автора, дополнено портретом В. В. Корсакова и указателем имен.

От автора

Снова проходят перед глазами скорбные дни из Русско-японской войны... Снова в душе та же боль, то же сознание, что русская жизнь течет прежним мутным потоком по болотистой почве, что и семь лет тому назад... Пронеслась над страной кровавая буря, но не освежила, не оплодородила родной земли... Еще тоще стали народные нивы, еще горячее льются народные слезы и умолкли начатые песни... Из кровавой грозы, разразившейся над Россией в далекой Маньчжурии и захватившей Китай, только он, этот желтоликий, ветхий деньми {Ветхий деньми -- под образом Ветхого деньми следует понимать Бога, существующего от вечности в вечность, (словосочетание из Библии). Ветхий деньми (ветхий днями) упоминается в Книге пророка Даниила 7:13--14: "Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его -- владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится..."}, сфинкс, ожил и заговорил... Боевая гроза пробудила Китай, и услышали все народы из его старческих уст жизненные молодые речи... Китай проснулся от тяжелого векового сна и пошел бодро и смело вперед... Над Русской землей словно тяготее испытание, ниспосланное за грехи отцов... Но будем

верить и ждать, что свет разгонит тьму, горячее солнце согреет землю, тучи принесут плодоносный дождь... Поля покроются тучными пажитями, и заслышится снова веселая русская песня...

Москва, 2 декабря 1911 г.

7 января 1904 г.

Встреча Нового года удалась вполне {См.: Корсаков В. В. В проснувшемся Китае. Дневник-хроника русской жизни перед Русско-японской войной. М., 1911. С. 400.}. К десяти часам вечера вся русская колония собралась в старом помещении Русско-китайского банка и, разместившись за большим чайным столом, на котором приветливо пыхтел самовар, вела оживленную беседу о далекой родине. Вспоминали Святки, гадание, катанье на тройках, вспоминали чудные зимние вечера и негодовали на бесснежную пекинскую зиму с ветрами и пылью. Вдруг послышались звуки вальса. Все изумленно переглянулись... В эту минуту появился, блаженно улыбаясь, Артуруч и объявил, что пришел немецкий военный оркестр. Это Артуруч устроил сюрприз... Чайный стол быстро опустел, и веселые пары носились по зале.

К 12 часам все уже сидели за накрытым столом, выжидая новогоднего боя часов, чтобы обменяться добрыми пожеланиями счастья. Ужин прошел непринужденно, весело, и, хотя по окончании ужина оркестр ушел, веселье было в полном разгаре... В одной стороне залы танцевали под пианино, и тут же среди танцующих прогуливался Сладчайший, нося на своих плечах долговязого Артуруча, беспомощно размахивавшего руками, чтобы сохранить равновесие, тут же Хитрецов отплясывал лихо трепака, а Тупиков прыгал около него, отбивая свечой из подсвечника такт на голове плясуна, пока тот не упал. На другом конце залы сидел одиноко за пианино Пегласов и, усиленно барабанил по клавишам, вопил романс: "В шапке золота литого".

Встреча Нового года длилась вплоть до утра, а затем, после отдыха дома, молодежь направилась на коньках и санях по каналу на "Могилу принцессы"... В эти праздничные дни и пекинская зима нас порадовала... Выпал снежок, мороз поднялся до 6° R. Лед по каналу был чистый и гладкий... Мы были счастливы, а китайцы ежились, хотя и были на них надеты по две-три ватных курмы и шапки с наушниками. Китайские сани для езды по каналу имеют своеобразное устройство. Это на грубо отесанных полозьях высокая платформа, на которую садятся восемь седоков. Возчик китаец надевает на себя постромки, которые привязаны к верхней доске саней и бежит по льду вперед. Разогнав санки, он садится на передок и отдыхает, пока санки катятся. Как только санки начнут замедляться, так он соскакивает и снова бежит, разгоняя санки. За перегон около версты китаец берет по 2 к. с человека. Таков первобытный способ зимнего передвижения у китайцев.

Зимние месяцы, особенно январь и февраль, проходят в Пекине шумно благодаря праздникам Нового года, который, вследствие трех различных счислений, празднуется сперва по новому стилю европейцами, затем -- русскими по старому стилю и китайцами по лунному счислению.

Самым симпатичным праздником является китайский Новый год уже по одному тому, что задолго до его наступления видна повсюду хозяйственная заботливость населения, старающегося подготовить встречу Нового года как великий праздник. Улицы наполняются множеством новогодних игрушек, картин, искусственных цветов, фонарей и фонариков. Движение по улицам становится громадным, и на лицах населения видна предпраздничная озабоченность, невольная наводящая на воспоминания и о своей семье, о временах далекого детства, о своих ушедших уже навсегда праздниках...

Празднества китайского Нового года длятся 15 дней и знаменуются, во-первых, ярмаркой в Люличане и, во-вторых, праздником фонарей.

Ярмарка в Люличане длится все 15 дней, а "праздник фонарей" -- последние три вечера, после чего жизнь входит в свою обычную рабочую норму. Местность Люличан находится

в китайском Пекине. Это -- целый квартал, в котором сосредоточена китайская книжная торговля, а также и торговля старинными, часто очень ценными вещами из китайской фалани (клуазонэ), из бронзы, из фарфора, из яшмы (нефрита). Здесь продаются также и драгоценные камни, и жемчуг.

Громадная площадь от 12 часов дня и до 5 часов вечера кишмя кишит народом. Здесь идет бойкая продажа детских игрушек, искусственных цветов, золотых рыбок, фонарей, искусственно сделанных красивых бабочек, разнообразных и разнофигурных раскрашенных змей, волчков, изделий из дерева, картин.

Празднично одетая толпа, среди которой много разодетых женщин-маньчжурок с детьми, чинно движется по всем направлениям. И среди этой многочисленной толпы царят благопристойность и порядок. Не только не слышно брани, не только не встречается ни одного пьяного, но не слышно даже "крупного разговора...".

В текущем году ярмарка в Люличане представляла уже многие особенности: в каретах проезжали китайские дамы, жены сановников и дамы полусвета, каталась золотая пекинская молодежь обоего пола, был открыт даже по-европейски ресторан. Среди женщин, главным образом маньчжурок, встречались нередко красивые лица. Жаль только, что мода на раскрашивание лица не уступает времени и по-прежнему портит впечатление, показывая вместо женских лиц размалеванные маски.

Китайская жизнь, выставляя на вид свои симпатичные стороны, в то же время выставляет на показ и свою гнусность. Вот на видном месте, выделяясь от толпы, стоит полный пожилой китаец и рядом с ним -- нарядно разодетый мальчик, по наружному виду лет восьми.

На мальчике надет шелковый китайский кафтанчик и шелковая поверх безрукавка; подпоясан он красным шелковым кушаком, на голове меховая шапка, в руках меховая муфточка. Личико мальчика поддурмянено, глаза как-то особенно блестят, он старается быть веселым, часто улыбается. Пожилой китаец осматривает проходящую мимо толпу тоже каким-то особенным заговаривающим взглядом, как бы предлагая что-то. На некоторых молодых и богато одетых китайцах он как-то особенно останавливает свой взгляд, по лицам же других он только скользит, пропуская мимо. Мальчик, как бы отвечая своему спутнику, тоже в известные моменты играет глазами, как бы говоря что-то. Этот китаец -- хозяин мальчика. Он вывел его на ярмарку, надеясь найти богатого покупателя. Этот китаец -- представитель очень распространенного в Пекине ремесла -- торговли мальчиками. Восток вообще, а Китай в частности, не видит позора в пользовании мальчиками, но удовольствие это в Пекине стоит дорого и обставлено особыми обычаями и традициями. Получить чистенького, воспитанного и обученного мальчика стоит в Пекине больших денег. В Пекине есть особые рестораны, посещаемые богатой золотой молодежью и богатыми китайцами, которым предлагаются мальчики, но близкое знакомство совершается не сразу.

Приглашенные мальчики обычно принимают участие в обеде, поют перед гостями песни, развлекают гостей остроумной беседой, зная массу острых словечек, поговорок, прибауток, обладая природной находчивостью, а также и специальной к собеседованию подготовкой. Обед с мальчиками обходится на каждого участника рублей в 50--60. После первого ознакомления за общим обедом в ресторане должно последовать интимное угощение мальчика обедом для более близкого с ним знакомства, а затем должны быть сделаны мальчику ценные подарки. Только после этого обязательного подготовительного периода знакомства желающий иметь мальчика может рассчитывать на взаимность с его стороны. Мальчиками промышляют особые специалисты по этой части, и мальчик в Пекине ценится втрое-вчетверо дороже девочки. Мальчики или берутся на содержание, или богатые люди покупают мальчика у его хозяина и платят часто громадные деньги. Указывали мне на одного богатого китайца в Пекине, который откупил для себя мальчика за 40 тыс. лан (лан = 1 р. 40 к.) и дал обязательство купить мальчику дом и женить его по достижении известного возраста.

Богачи-китайцы пользуются мальчиками не только ради разврата, но и из тщеславия -- иметь мальчика на содержании -- это особый шик...

Ярмарка в Люличане в текущем году дала много интересного и поучительного.

Начать с того, что вся прилегающая к Люличану местность стала неузнаваемой. Исчезли зловонные и грязные углы и улочки, замененные новопроложенными и замощенными чистыми пространствами. Видимо, что благоустройство Пекина строго обдуманно и проводится по твердо составленному плану. С главных улиц почти исчезли назойливые, ужасные китайские нищие в их отвратительных лохмотьях, с воспаленными глазами, изъязвленные, покрытые коростой. Еще год тому назад грязь и зловоние были повсюду. Ужасные нищие бежали за европейцем, окружая его толпой. Одни нищие бежали сзади, другие по бокам, третьи забегали вперед, падали на колени, бились головой о землю, протягивали свои изъязвленные руки, хватались за платье, дышали в лицо отвратительным зловонным дыханием и кричали жалобным голосом: "лао-е, мейо-ши-ма фань" ("господин, нечего есть").

Каждая группа нищих имела свой определенный участок пути и, дойдя до своей границы, сдавала европейца поджидавшей новой группе таких же отвратительных, ужасных нищих. И горе было тому европейцу, который, не выдержав характера, давал нищим серебряную монету. Назойливости тогда не было конца, и нередко нищие доходили до такого возбуждения в своих требованиях, что европейцу приходилось уже отбиваться от них палкой, если таковая была в руках, или спастись в ближайшую лавку, или прямо-таки бежать без оглядки.

Осматривая ярмарочную торговлю, дивишься еще более той легкости, той приспособленности к европейским новшествам, из которых многие уже сами собой усвоены китайским народом и вошли спокойно в обиход его жизни.

На ярмарке идет, например, бойкая торговля детскими фуражками и шапочками европейского образца. Большинство подростков-детей уже щеголяют в европейского покроя картузиках, но этот европейский покррой переработан китайским вкусом.

Картузики и шапочки все яркоцветные с различными украшениями и вышивкой стеклярусом. Немало дают для размышления также и лавки с детскими игрушками, из которых добрая половина представляет подражание европейским образцам со стороны пекинских кустарей.

Продажа европейских игрушек идет бойко: их охотно покупают и молодая мать для своего сынишки, и старая бабушка для своего внука. Большинство европейских игрушек носит технический характер. Это -- заводные из жести пароходы, лодки, вагоны, паровозы, велосипеды с ездоками, кареты и коляски с разодетыми европейскими дамами. Видны также в лавках европейские игрушечные ружья, барабаны, сабли.

Рассматривая в одной лавочке эти игрушки, я почувствовал, что кто-то меня трогает за рукав. Смотрю -- китаец-продавец. Подводит он меня к особому стеклянному шкафику, и я вижу за стеклом железнодорожный поезд с паровозом впереди, из трубы которого клубами валит дым.

-- Хао бу хао? -- "хорошо, не хорошо?" -- слышу вопрос торговца.

-- Хао! -- отвечаю я.

Надо было видеть довольную улыбку, которая покрыла лицо торговца, быть может, самого кустика, сделавшего этот поезд.

-- Хао! -- повторил он, довольный.

-- Хао! -- ответила окружившая нас толпа китайцев, столь же общительная и довольная.

Всматриваясь в новую жизнь, которая повсюду в народе мощно прорастает, заглушая обессиленный дряхлый Китай прошитых веков, я прихожу к убеждению, что Китай переработает и усвоит по-своему все то, что возьмет от Европы, оставаясь, однако, все тем же вековым самобытным Китаем. Он не отдаст себя ни под иго Японии, ни под гнет Европы.

Повинуясь неизбежному закону новой жизни, Китай создал для себя свой вооруженный кулак, столь ему необходимый в данное время, чтобы отстоять свою самостоятельность в жизни бок о бок с Европой, но души народной он не вложил в этот кулак, -- он сохранил ее для мирного развития своих духовных сил.

Наблюдая днями многотысячную толпу в Люличане, я видел, что главным интересом, как взрослых, так и детей, было не приобретение европейского оружия-игрушек, а покупка пароходов, лодок, экипажей, вагонов.

В игрушке, которая явилась выразителем той или другой духовной склонности, китаец оценил идею, созидательную жизнь, а не разрушающее ее насилие. И думается мне, что европейская мирная игрушка не только понятнее говорит уму и чувству китайца, нежели европейская модель ружья, сабли и пушки, но что эта мирная игрушка вносит в мышление и в чувство китайца облагораживающее влияние, -- что эта игрушка вносит в ум китайца сознание, что интересы всего человечества объединяются мирным развитием труда, а разъединяются интересы всего человечества вторжениями народов с ружьями и пушками, разрушающими жизнь и труд, -- все равно откуда бы ни шло это вторжение, с Востока или с Запада.

Новогодние праздники китайского народа, кроме уличного шумного веселья, сохраняют еще и тот домашний, симпатичный уклад жизни, который проявляется во многих символических преданиях и обычаях. Новогодние кушанья, приготавливаемые в каждой семье, новогодние гадания, новогодние предания и верования, новогодние картины -- какой интересный, своеобразный и богатый материал для понимания и изучения народной жизни и народной мысли!

К Новому году специально готовится выгон цветущих карликовых деревьев, персика и граната, имеющих значение как символы благополучия и плодородия. Цветущим этим деревцам придается форма или дракона, или мифической птицы феникса.

И в политической жизни Китай быстро идет вперед. Идея политического возрождения Китая покрывает страну сетью многочисленных антидинастических движений, которые, хотя и подавляются силой обученного по-европейски войска, но вызывают во влиятельных либеральных газетах следующие строки: "Подавить мятеж -- дело нехитрое, но следует принять при этом в соображение действия правительства, которое в своей собственной стране избивает собственных подданных, как врага на войне. Главная суть должна состоять в том, чтобы у народа был отнят всякий повод к восстанию. Бедному народу, который от нищеты хватается за оружие, должно помочь. Нет необходимости также поднимать оружие и против революционной партии. Если только будет правильное прочное государственное правление и сохранен для народа порядок, то никто не будет желать революции. В пинсянское восстание народ толкнула нужда. Вместо того чтобы прийти народу на помощь, его стали умерщвлять при помощи солдат. Народ держится в настоящее время спокойно, но затаенная злоба остается несомненною. Причина восстания в Хунани и Цзянси заключается в наводнениях последнего года. Более слабые люди изнемогают под бременем голода, более сильные берутся за оружие. Чиновники никакого внимания не обращают на взимание податей. Это вызвало ненависть народа. Малое восстание подавлено в Пинсяне, но за ним последуют большие".

Борьба политических партий, борьба антидинастическая, несомненно, долго еще будет вызывать кровавые смуты, но жизнь повернуть вспять нельзя, проснувшаяся мысль будет расти и охватит весь китайский народ. Для развития народа в Китае делается много.

В народ вносится широко новое просвещение в устраиваемых повсюду школах с учителями, получившими подготовку или в Японии, или в высших китайских школах и университетах. Открытием этих новых школ нанесен смертельный удар старому ветхозаветному строю, когда всякий мог открывать школы, где хотел, и учить грамоте по старым образцам. Ныне от учителя на право обучения требуется диплом, и старозаветные учителя остаются только в глухих деревнях. Школы открываются не только для мальчиков, но и для девочек. Новый строй Китая, затрагивая существенные интересы

многочисленного чиновничества, вызывает и долго еще будет вызывать множество недоразумений, недоброжелательств, препятствий, будет и сам в лице своих прогрессистов-представителей делать крупные, но неизбежные ошибки, и за всем тем -- новый строй, несмотря на все противодействия, будет крепнуть и развиваться. Как бы велики ни были смуты в Китае, особенно при стоящем на очереди династическом вопросе, как бы ни были даже кровавы политические перевороты, -- обратить вспять двинувшиеся вперед мысль и жизнь Китая никто не в состоянии.

Смуты и антидинастическое движение особенно сильны в южных провинциях, где и народ культурнее, где и патриотизм сильнее, нежели в Северном Китае.

Среди нас, русских, только и разговоров, что о неизбежности войны с Японией. О войне, и притом близкой, говорят и все иностранцы. Особенно уверенно говорят англичане, американцы и немцы... Англичане убежденно говорят, что успех войны заранее обеспечен за японцами, превосходящими русских и вооружением, и численностью, и подвижностью. Немцы говорят нерешительно. Им, видимо, хочется верить в могущество русских, но... слишком им известны язвы русского строя... Мы сами не в розовом свете представляем наше положение, но все же верим, что японцы будут побеждены. Мы разделяем взгляд капитана А.С. Лесненко {См.: Корсаков В. В. В проснувшемся Китае. Дневник-хроника русской жизни перед Русско-японской войной. М., 1911.}. "В войне с японцами будет все то же, что бывало у нас во всякой войне, -- говорил капитан Лесненко. -- "Шеснадцать" раз нас поколотят японцы, а в семнадцатый мы соберемся, наконец, с силами и раздавим япошек. В первое время, и это всегда так бывало, нас будут бить потому, что, не зная дорог и не зная неприятеля, мы пойдем не по тому пути, по которому следовало бы идти... Потом мы натолкнемся на неприятеля, сильнеешего по численности, потом опоздаем послать вовремя подкрепление, потом перепутаем приказания... Ведь наш Генеральный штаб изучил основательно пути только к получению чинов, орденов, золотого оружия, денежных окладов, но не пути, по которым надо водить войска к победам... Будут нас бить первое время макаки и потому, что у них вооружение всенепременно окажется лучше нашего; окажется лучше нашей и японская артиллерия. Ведь нашим военным агентам, пропускающим сотни тысяч казенных денег на разведки, не усмотреть же из-за гейш за всем, что делается в японских войсках...

У япошек окажется заранее все обдуманым и точно определенным, а у нас генералы будут переругиваться и спорить друг с другом, а потом из зависти друг к другу один из них не пойдет, когда надо, на подмогу, или умышленно опоздает... Вот почему макаки будут нас бить первые "шеснадцать" раз...

Только что за дело нашим штабным, что будет плакать вся Россия... Они свои крестики получают... Ничего не могу сказать, какие будут российские войска, как покажут себя в бою старые полки из России, -- не знаю я русских полков, но могу с уверенностью сказать, что наши сибирские стрелки за себя постоят".

П. М. Лессар озабочен и как-то осунулся. Он за последние дни замкнулся в себе и даже браниться перестал... На все происходящее в миссии, на постройку зданий он махнул, что называется, рукой и заведовать стройкой посланнического дома поручил назначенной им особой строительной комиссии, в которой Моноклев и Лисаки изошряют свое остроумие. Да и по правде сказать, серьезного отношения эта комиссия и не заслуживает, так как на ее обязанность возложено: 1) выбрать цвет, рисунок и цену обоев для оклейки 20 комнат дома посланника; 2) выбрать рисунок и цвет метлахских плиток для замощения полов в вестибюле дома, в ваннных комнатах, зимнем саду и уборных; 3) выбрать заграничные фирмы, от которых выписать необходимые материалы для внутренней отделки дома, и т. д. Должно отдать справедливость остроумию Лисаки и Моноклева, занявших все первое заседание комиссии игривыми рассказами "о золоте" и "двуглавом орле".

Общий уровень русской жизни настолько понизился, что Моноклев поднял голову и со справедливой брезгливостью говорил: "Сегодня можно плюнуть в лицо, а завтра поманить этого человека пальцем, и он прибежит на зов, польщенный приглашением". Моноклев так

и сделал: он пригласил к себе обедать оклеветанных им полгода тому назад Ивиных, и они пришли... {См.: Корсаков В. В. В проснувшемся Китае. Дневник-хроника русской жизни перед Русско-японской войной. М., 1911.}

Среди смутного настроения, в котором живет русское общество, Рудановские заставили снова заговорить о себе: они объявили аукцион своих вещей и домашней обстановки, что указывало на принятое ими намерение покинуть Пекин, в котором сильно-таки русская колония поредела и посерела: из отряда уехали отчисленные в полки симпатичный поручик Крагельский, радушная семья капитана Стемпневского, общительный и образованный полковник Довбор-Мусницкий, на смену которому прибыл игрушечный Федя Солдатик, привезший, впрочем, с собою заранее сшитую генеральскую форму. Федя Солдатик топорщится и бестолково суетится. Он набрал к себе на службу проходимцев шпионов чуть ли не всех национальностей, которые дурачат его на каждом шагу, то сообщая о готовящейся высадке японцев с контрабандой в Шанхай-Гуане, то указывая на присутствие японцев-разведчиков в Монголии. Федя Солдатик всему верит и организует разведки... В Шанхай-Гуань он посылает следить за японцами К., приказывая ему переодеться в штатское, а в Монголию посылается на разведки Бр.

Поручик К. -- это искренний и убежденный строевой офицер, признающий лишь открытого неприятеля, а не шпионство. Отказаться от командировки, однако, нельзя, и спустя две недели К. мне пишет: "Вы представить себе не можете, в какое я поставлен глупое положение. Здесь меня многие знали прежде военным, и теперь узнали меня в штатском одеянии. Японцы следят за мной, как за шпионом. Штатское платье меня ужасно тяготит, я чувствую себя в нем скрывающимся преступником... Французы, у которых я остановился, бывшие очень милыми и радушными в первые дни, видимо стали тяготиться моим столь продолжительным злоупотреблением их гостеприимством. Неудобно же гостить целый месяц, хотя бы и у приятелей... Мое ряженье в штатское платье, не принося никакой пользы, может принести только вред... Все указывают на меня пальцем..."

Вглядываясь в современное положение Китая и взаимоотношения европейцев и китайцев, резко бросается в глаза, как выдвинулись в Китае интересы Америки, Германии, Японии и России. Об Англии я не говорю, она давно и прочно осела и закрепила свои рынки, которых никто у нее не отнимет. Америка и Япония, только что вошедшие в открытые двери Китая, неизбежно являются соперницами в торговле, а Россия и Япония -- политическими врагами. Для американцев, как только что вошедших в открытые двери Китая, необходимо закрепить за собою рынки, на которые можно было бы сбывать свои произведения, имеющие уже громадный спрос. Такими рынками для американцев особенно богат нетронутый еще Северный Китай, и будь Маньчжурия открыта для всех народов, то нет никакого сомнения, что всего более утвердятся экономически здесь американцы, немцы и японцы, причем японцы успешно проведут свой план колонизации, как это они сделали в Корее, и захватят в свои руки всю Маньчжурию.

Америка особенно заинтересована в открытых дверях в Маньчжурию, и пройдет немного лет, как американские капиталы, сопутствуемые энергией и трудом американцев, войдут в Китай самостоятельными и влиятельными членами международной конкуренции, твердо оснуют свои торговые фирмы и синдикаты, покроют Китай сетью своих торгово-промышленных учреждений, и голос Америки будет одним из самых влиятельных голосов в международном европейском концерте при решении вопросов Дальнего Востока.

Открытые двери служат угрозой Японии, для которой Америка грозный враг. Что касается до повседневных отношений китайского населения в Пекине к европейцам вообще, а к русским в частности, то замечается общее явление, что китайское городское население стало гораздо развязнее и даже нахальнее держать себя с европейцами, а в отношении русских проявляет нередко грубость. Это замечается не на сельском населении, которое не читает японо-китайских газет и не интересуется политикой, а на торговцах, на прислуге, на ремесленниках -- на всем том люде, который уже знает европейцев и, читая газеты, интересуется современным положением Китая, проявляет свои симпатии или антипатии. В

сношениях с китайцами самым неприятным было для европейца в Пекине путешествие в китайский магазин. Неприятность эта слагалась из нескольких особенностей, присущих только китайской торговле и китайцам-купцам. Китайские магазины мало похожи на европейские, как по внешности, так и по внутреннему порядку. Богатые новые китайские магазины построены уже в два этажа, тогда как старые все в один этаж. Наружный вид магазинов отличается красивой отделкой; повсюду деревянная резьба, часто очень мелкая и изящного рисунка, покрытая позолотой или ярко разрисованная. Длинные вывески в виде черных досок с золотыми названиями лавки спускаются сверху донизу в нескольких местах. На улицу лавки или совершенно открыты, или имеют обычный китайский вход, закрытый циновкой. Внутри пекинские лавки разделяются на две или на три комнаты, убранные довольно чисто. В лавках старых построек темно, а в новых принято во внимание и освещение. Вдоль лавки находится прилавок, за которым стоят многочисленные приказчики. По стенке за прилавком устроены полки, на которых разложен обычный расхожий товар, а также наиболее расхожие сорта шелковой и бумажной материй. В боковые помещения приглашаются более почетные посетители; здесь хозяин лавки предлагает им чай. Простые же покупатели остаются в общей лавке и покупают вещи у приказчиков. В помещении для почетных посетителей на стенах всегда висят вышивки по шелку, картины или похвальные надписи и изречения, на столиках стоят под стеклянными колпаками часы и искусственные цветы, сделанные из коралла и перламутра. Посещение китайского магазина всегда составляет для европейца целое событие, так как необходим сопровождающий, кто бы знал основательно по-китайски сорта материи и названия цветов и оттенков, и лучше, если спутником будет мужчина, так как китайцы-приказчики далеко не воспитаны в уважении женского пола. Даже китайки, и те всегда ходят в магазины целыми компаниями или сопровождаемые слугами. Выбор материй чрезвычайно затруднителен: лучшие сорта находятся в складе завернутыми и заклеенными в бумагу, нужно поэтому сказать определенно сорт и цвет. Вот тут-то и начинается мука. Сорт приказчик принесет верно, но цвет для европейца объяснить китайцу чрезвычайно трудно, потому что каждый оттенок имеет свое наименование. Чтобы выбрать приятный голубой цвет, приходится пересмотреть десятки кусков, начиная от фиолетового и густого синего до бледного и зеленоватого. Каждый кусок надо развернуть и унести, а затем принести другой, третий и т. д. На эту доставку, развертывание и отправку уходят утомительные часы времени. В прежние годы китайцы-торговцы были с русскими вежливы, внимательны, предупредительны, а в последнее время в тех же самых лавках приказчики не только не выказывают вежливости, но относятся к русским грубо, не желая даже показывать товар, а хозяин лавки делает вид, что не знает русских покупателей, и оставляет их на руках приказчиков. Все это -- мелочи, но они знамение времени и тех недружелюбных отношений, которые имеют в настоящее время место среди китайцев к русским.

16 января 1904 г.

Полученные сегодня известия уничтожили последнюю надежду на мирное улаживание недоразумений между Японией и Россией, а среди иностранного общества Пекина уже распространились сведения о разрыве дипломатических сношений, о закрытии в Японии отделений Русско-китайского банка и передаче его капиталов в другие дружественные банки, о выходе японских судов с десантом к берегам Кореи, об отозвании посланников. Отношение в Пекине к совершающимся событиям различное. В то время как европейское общество сильно волнуется, китайское -- в лице городского населения, с которым приходится сталкиваться, и в лице чиновничества -- хранит глубокое молчание, как будто ничего не случилось. Проявляет себя только китайская пресса, состоящая в большинстве из японцев-издателей, разжигающих ненависть к русским, возбуждающих китайцев постоянными сообщениями о Маньчжурии, особенно о Мукдене, прежней столице

маньчжурской династии, передающих о самых возмутительных происшествиях, которых на самом деле быть не могло. Мало того, что постоянным напоминанием о гробницах предков династии, находящихся в русских руках, поддерживается постоянно скрытое недовольство, -- еще более возбуждается явная ненависть указаниями на "варварское обращение русских с населением". На русских взводятся обвинения в насилиях, совершаемых над беззащитными женщинами и девицами, в грабежах в домах и на улицах, в захвате китайских казенных учреждений, в устранении китайцев-чиновников и даже в оскорблении могил предков императора тем, что русские будто бы вырубili на кладбище все старинные деревья. Китайское правительство, так же как и китайский народ, хранит глубокое молчание, не высказывая своих сокровенных желаний и обещая наружно строгий нейтралитет. Можно ли верить этому строгому нейтралитету?

Думаю, что можно. Китай стал осторожен. Он испытал неудачу войны с Японией и знает, что войск у него мало. В настоящее время Китай нельзя назвать сильным противником, хотя нельзя им и пренебрегать. Его хорошо вооруженная и порядочно по-европейски обученная армия пока еще не представляет большой ценности, но считаться с нею должно. Это уже не тот сброд в разноцветных куртках, который я встречал восемь лет тому назад на улицах Пекина, ходивший врассыпную, вдвоем носивший свои старозаветные пищали; это не тот сброд, который набирался из уличных подонков и беспризорной нищеты за горсть риса для ежедневного пропитания и для представления оправдательных документов по начальству. Это и не те солдаты, что были четыре года тому назад, с европейскими ружьями, но не умевшие правильно держать в руках эти ружья, с унылым выражением лиц, плохо одетые и полуголодные. Китайские солдаты теперешнего времени, юаншикаевского периода, это, в большинстве, -- молодцеватые, хорошо одетые, бодро идущие с ружьем люди. Если в строгом смысле слова юаншикаевских солдат нельзя назвать войском, то во всяком случае их должно признать молодыми солдатами. Только еще сегодня я встретил на пекинской стене три небольших отряда таких молодых солдат, которые хорошим, правильным строем шли, весело отбивая такт. Не знаю, каковы теперь китайцы-офицеры и шагнули ли они так же вперед, как шагнули китайцы-солдаты, но что солдаты-китайцы в настоящее время есть -- это не подлежит сомнению.

Каково будет положение европейцев в Пекине во время японо-русской войны? Как будет держать себя китайское правительство?

Китайцы перестают уже бояться европейцев и часто бывают готовы дать сдачи. На днях на одной людной улице, почти в черте европейского Пекина, произошел следующий характерный случай. На офицера-немца в воротах в тесноте движения наехал верхом китаец. Офицер ударил китайца хлыстом, а китаец ответил ему ударом кнута. Офицер, обнажив саблю, погнался за китайцем, ударил его по голове так, что китаец свалился. Обступившая толпа китайцев настолько была ошеломлена этим событием, что и не подумала вступить за своего собрата. Офицер подозвал к себе на помощь случайно проходившего русского солдата, и они вдвоем приволокли китайца в европейскую часть, откуда уже отправили в участок.

Японское влияние в Китае продолжает быть по-прежнему прочным. Образование китайского юношества окончательно укрепилось в японских руках. Даже учебные пособия печатаются в Японии, а с будущего учебного года уже утверждено открытие в Пекине первоначальной китайской школы, в которую будут приниматься дети младшего возраста; преподавателями будут японцы.

Из Японии распространяются среди китайского населения даже фотографии китайского и японского императоров, вместе снятых. Японцы поступают на китайскую государственную службу в различные китайские учреждения, японцы остаются по-прежнему и военными инструкторами. В японском посольстве в Пекине китайские сановники -- постоянные гости, тогда как в других посольствах они только редкие посетители. И за всем тем японцы держат себя в обращении очень просто, проявляя даже чувство расположения к русским, насколько можно судить по следующему факту: когда в

немецком охранном отряде была устроена елка и были приглашены гостями по несколько человек солдат от остальных всех отрядов, стоящих в Пекине, то отправлявшимся русским было сделано внушение избегать, по возможности, всякого столкновения с японцами, не заводить с ними ссор. Вечер на елке прошел благополучно, а на другой день, когда русских солдат спрашивали, как держали себя с ними японцы, то получили следующий ответ: "Так что, ваше скаброд, лезли целоваться".

С того времени, когда эти люди при светлой, мирной, праздничной и братской обстановке христианского праздника "лезли целоваться", прошел месяц, -- и какая поразительная перемена. Эти же люди полезут не целовать, а уничтожить друг друга...

28 января 1904 г.

Как громом поразила нас сегодня весть о ночном нападении японцев в Порт-Артуре на наши суда, стоявшие на рейде беспечно, беззаботно... Чаша переполнилась... Война начата, и сразу русские потерпели поражение...

Какой ужас! Какой позор, если окажется хоть капля правды в том, что рассказывают о преступном поведении порт-артурских адмиралов и генералов... Душа болит и негодует, до слез обидно, что так постыдно -- позорно клеймят русский народ...

Японцы первые оповестили сегодня о своем нападении в Порт-Артуре на русскую эскадру, расклеив по улицам Пекина и раздавая народу у Ходамыньских ворот листки, напечатанные по-китайски на красной бумаге, -- праздничный цвет китайцев. Объявления эти, в буквальном переводе с китайского языка на русский, гласили следующее: "Дунь-Тянь Ши бао (японская газета, издаваемая в Пекине), No 587. Очень важное прибавление. Правления Гуан Сюй 29-й год 12-й луны, 25-го дня. Правления императора Мин Чжи 37-й год 2 месяца 10-е число (Гуан Сюй -- имя китайского императора, а Мин Чжи -- японского). Великая победа: два русских корабля и один стационар потоплены у Порт-Артура японскими торпедными лодками" (по-китайски -- водяным громом).

Другое объявление -- был манифест японского правительства о войне. В этом манифесте говорилось, что император японский объявил войну русскому императору, русскому государству и русскому народу.

Китайский народный муравейник разбирает объявления и, не читая, молча уносит их с собою, оставаясь своеобразно молчаливым. Пройдет немало времени, пока китайское население переработает и усвоит русско-японское столкновение и выскажется о нем в пользу той или другой воюющей стороны. Неблагоприятно для нас, живущих в Пекине, лишь то, что все китайские власти следуют политике правительства и стоят всецело на стороне японцев...

Отношение европейцев к открытию военных действий выразилось сильным возбуждением и подъемом духа. Как только японская телеграмма и телеграммы о том же из Тянь-цзиня стали известны в Пекине, европейцы повалили в пекинский международный клуб. Здесь сошлись и друзья России, и враги ее, и люди безразличные. Составлялись группы, то злорадно-веселые, то опечаленные, то сомневающиеся и старающиеся друг друга ободрить. По всем направлениям пересекались восклицания, вопросы, смех, шутки. К каждому входящему обращались все, думая от него услышать еще какую-нибудь последнюю новость. С разных сторон разносилось: "Слышали? Японцы нанесли русским поражение, потоплено пять судов! -- Этого и следовало ожидать. Японцы серьезно готовились к войне. Японцы держат теперь экзамен перед Европой и сдают блестяще." -- "Не рано ли поете хвалебную песнь Японии? Обождите конца." -- "Надо обождать дальнейших известий -- японские источники не все чисты." -- "Не Японии тягаться с Россией. Сочувствую русским, представителям белой расы." -- "Сомневаюсь, чтобы сразу погибло пять судов." -- "Хотите пари?" -- "У Японии тоже есть друзья, которые горячо желают ей победы". В течение трех часов судили и рядили значение и важность совершающегося события, угадывали имена погибших русских судов и обстоятельства, при которых произошла катастрофа.

Весь день и вечер 28 января мы, русские, находились в самом удрученном настроении духа, так как совершенно не знали, что делается на таком близком от нас расстоянии, и, видя злорадство друзей японцев, переживали тяжелое время. В течение дня 28 января вполне искренно, дружески выражали нам сочувствие и ободряли нас наши знакомые немцы, австрийцы, голландцы. Австрийский командир охранного отряда несколько раз заходил ко мне и сообщал все, что слышал от других, и что, по его мнению, могло быть вымыслом, преувеличением, а что можно было считать правдой. Злорадствовали же и выражали свое сочувствие японцам исключительно англичане-военные и отчасти американцы; сочувствие большинства остальных европейцев было всецело на стороне русских. Многие англичане-невоенные тоже высказывались открыто, что, следуя политике, они, конечно, -- на стороне японцев, но сердце и сочувствие их безусловно на стороне русских, равно как и желание победы. Так прошел для нас первый день -- день официального объявления войны.

Китайское правительство сильно волнуется и серьезно озабочено совершающимися событиями. Военное ведомство проявляет деятельность, полную энергии. Лучшие из обученных по-европейски войск уже почти все стянулись к Пекину и отправлены частью в Шанхай-Гуань, частью за Великую стену, на границу Маньчжурии.

В настоящее время японцы сильно раздувают сообщения о своих победах, и весьма многие из европейцев склонны думать, что в Пекине могут возникнуть беспорядки, особенно если императрица оставит столицу. Императрица, однако, постаралась успокоить общественное мнение и в изданном манифесте объявляет, что не имеет намерения оставлять Пекин и что Китай в войне между Россией и Японией будет соблюдать строжайший нейтралитет. Всякий, кто будет распространять слухи о выезде императора из столицы и принятии Китаем участия в войне, должен считаться преступником, смутьяном, подвергаться аресту и смертной казни. За точным и строгим исполнением этого декрета предписывается следить всем губернаторам провинций и вице-губернаторам (наместникам) областей.

Среди европейцев в Пекине господствует убеждение, что Китай не выдержит объявленного им нейтралитета и ввяжется в Русско-японскую войну. Убеждение это основывается на том, что Юан Шикай -- верный друг японцев и властолюбивый человек, чтобы оставаться без участия в политических интригах, а также и на том, что японская партия слишком прочна и сильна в Пекине. Влияние Юан Шикая и японской партии может заставить подчиниться ее враждебным стремлениям и сочувствующих России приверженцев императрицы.

4 февраля 1904 г.

Томит и гнетет неизвестность о кровавых событиях, которые так нам близки. Подробности боя "Варяга" у Чемульпо мы узнали от иностранцев, которые охотно делятся с нами всеми известиями, получаемыми ими с театра войны, но не хотят верить тому, что мы сами буквально ничего не знаем, что делается у нас...

Все злободневные политические интересы сосредоточены в настоящее время на России и Японии. Маньчжурия и Корея остаются затененными событиями и играют совершенно пассивную роль.

Вообще Корея, ее государственный строй, ее общественная жизнь, ее народ слишком малоизвестны не только в России, но и в Европе. Объясняется это прежде всего тем, что Корея долгое время была слишком удалена и слишком для Европы труднодоступна, а также и тем, что Корея ничего не внесла в жизнь Европы, чтобы заинтересовать ее своим существованием. Тем не менее по впечатлениям, которые я вынес из путешествий по ее городам-портам, страна эта представляет большой интерес. Все, сколько-нибудь близко знакомые с нею, также подтверждают, что корейцы несравненно отзывчивее и по характеру своему симпатичнее японцев и китайцев, что корейский народ, несомненно, принял бы охотно все необходимые реформы, если бы пришло к нему на помощь корейское правительство. Но корейское правительство вместе с корейским

чиновничеством невежественно до мозга костей, да еще к тому же последнее развращено взяточничеством и сплочено родовыми связями.

За последние годы явилось в Корею иноземное влияние, которое навязало корейскому правительству ряд реформ и внесло в корейский народ ряд разоряющих страну предприятий, но реформы и предприятия имели в виду не развитие Кореи, не благо народа, а его порабощение. Результатом такого влияния явились для правительства полнейшая расшатанность государственного строя, а для народа -- полнейшее обнищание и отчаяние. Хотя в Корее есть правительство и даже есть войско, обученное европейскими инструкторами и носящее европейский мундир, но ни правительство, ни войско не в состоянии дать отпора посягательству со стороны Японии. О корейцах-солдатах сведущие люди хорошо отзываются: корейцы могли бы быть хорошими солдатами, если бы военная служба была организована на новых началах, если бы солдаты набирались из всего народа, а не из многочисленной придворной челяди, мелкого чиновничества и материально обеспеченного городского населения. Попасты в солдаты всегда много охотников, которые и смотрят на военную службу как на выгодное для себя и почетное занятие.

Обученные вначале русскими, а в последние годы японскими инструкторами, корейские солдаты всеми признаются способными к военной службе.

Что ожидает Корею в ближайшем будущем? Корея может стать или русской, или японской, или же останется самостоятельным государством-буфером между Россией и Японией.

Вопрос о принадлежности Кореи России или Японии в смысле полного влияния той или другой державы на политическую жизнь страны и полного ее подчинения может быть решен, конечно, только оружием. Если проследим историю Японии в Корее, то увидим, что за свое многовековое пребывание в Корее Япония сумела воспитать к себе и укрепить в корейском народе самую прочную ненависть. Для Японии тем не менее Корея представляет столь же жизненную потребность, как воздух, которым дышит японское население, и добровольно от Кореи Япония никогда не откажется.

Мало того, Япония, предвидя, быть может, борьбу народов Запада с народами Востока и желая отстоять Восток от посягательств Запада, решила начать объединение народов Востока. В Японии образовалось уже несколько лет тому назад общество, которое не только проводит идею союза с Китаем, но направляет эмиграцию во все ближайшие страны, заселяя их колонистами, ремесленниками, торговцами, учителями.

Существующий в Японии "Восточноазиатский культурный союз" имеет многих убежденных последователей и среди китайцев.

Может ли Корея остаться самостоятельной, независимой, став государством-буфером между Россией и Японией? Это было бы возможно, если бы в Корее были проведены действительно необходимые, насущные реформы, для которых необходима до основания ломка старого, сгнившего фундамента и расчистка места для возведения нового здания. Ломка эта должна быть произведена не пришлыми европейцами, навязывающими силой народу и правительству то, что им не нужно, а самим народом при участии своих государственных людей, как сознательных строителей, а не услужливых продажных рабов иностранного влияния. Если среди государственных людей и есть корейцы-патриоты, то в настоящее время вся их заслуга перед страной заключается в той ловкой политической игре и интригах, которыми они натравливают европейских дипломатов одного против другого, ошибочно думая, что этой дипломатией Востока они могут обойти дипломатов Запада, изучивших до тонкости все ходы их дипломатической игры.

В общем в Пекине тихо, но некоторое волнение проявляется среди живущих в Русской православной миссии, расположенной на окраине Пекина. Здесь тревога вызвана усиленной охраной полицейских, которые расставлены вокруг миссии. Эти полицейские посты заставляют китайцев предполагать существующую какую-то опасность. Опасность эта, по мнению китайцев, лежит в японцах, которые во множестве живут в Пекине повсюду и, по убеждению китайцев, могут не только сделать сами нападение на русских, но могут подкупить разбойников-китайцев убивать русских.

Вокруг Пекина расположено до 22 тыс. китайских войск, по-европейски обучаемых японскими офицерами-инструкторами. Тем не менее мнение европейцев в Пекине таково, что Китай вмешается в войну, и мнение это основано не только на силе японской партии и таких деятелей, как На-тун, назначенный министром иностранных дел, но и на отставке принца Су, градоначальника Пекина. Смещение принца Су есть прямое следствие придворных интриг и личной ненависти к принцу, как до некоторой степени усвоившему европейское образование, самостоятельно действующему человеку, заявившему себя добросовестным чиновником и врагом взяточничества.

В Пекине находящиеся охранные отряды, русский и японский, по взаимному соглашению начальников отрядов совершенно разобщены от возможных встреч и возможных уличных столкновений. Солдат того и другого отрядов отпускают в город по очереди в назначенные для каждого отряда дни, а в дни воскресные чередуются. Китайское правительство, исходя, вероятно, из понятия о своем нейтралитете, также приняло в отношении русских и японцев офицеров следующую меру. Предписанием, данным казенной железной дороге от Пекина до Тяньцзиня, оно запретило принимать в поезд едущих в русской и японской военной форме.

Вообще же порядок европейской жизни нисколько не нарушен. Японцы, как и прежде, нигде в европейском обществе не показываются, а русские, как всегда, встречают к себе радушное отношение. Война в общем нисколько не коснулась нашей повседневной жизни, если не считать падения и без того низкого курса нашего рубля. Война для японского населения более ощутительна, так как в Пекин и особенно в Тяньцзинь нахлынуло множество беглецов из Порт-Артура, Инкоу, Харбина и с Маньчжурской железной дороги. Громадное большинство беглецов -- люди бедные, жившие на ежедневный заработок и оставшиеся благодаря войне без всяких средств. На помощь к ним в Тяньцзине пришло тотчас же образовавшееся международное женское благотворительное общество, организовавшее выдачу нуждающимся беглецам пособий на отъезд на родину, одежды и пропитания.

20 февраля 1904 г.

Среди русской колонии вдруг упорно заговорили, что Китай склоняется на сторону Японии и нарушит свой нейтралитет. Слухи о скором объявлении войны охватили всех, и многие стали даже укладывать ценные вещи и делать опись своему имуществу, которое придется оставить за выездом в Пекине. Трудно сказать, кто был творцом этих слухов, но П. М. Лессар в высшей степени раздражен этими слухами о замыслах китайцев, равно как и бестолковщиной Феде Солдатика совместно с действиями других военных.

"Представляю себе, -- говорил П. М. Лессар, -- как шумно военные праздновали в Петербурге объявление войны Японии... Какое было оживление в ресторанах и усиленное пренебрежение к штатским... Ведь у нас господа военные свое привилегированное положение высказывают прежде всего нападениями на штатских... Вот и теперь воинственность свою хотят направить на Китай. Очень хотят втянуть его в войну с нами... Распространяют слухи о намерениях Англии вмешаться в войну, о желании Китая нарушить нейтралитет. Я решительно этому ничему не верю. Я получил верные сведения из Лондона о том, что все слухи о вооружении Англии страшно раздуты. Я не боюсь этих вооружений, так как прежде всего сама Англия и Франция страшно боятся, чтобы не быть вовлеченными в войну. Я боюсь не войны, а дипломатического вмешательства, посредством которого Англия и Америка потребуют себе преимущественных прав в Китае, а Россия будет так ослаблена войной, что отказать в их требованиях будет не в состоянии.

В Китае я тоже уверен. Могу сказать определенно, что не будет ни боксерского движения, ни вмешательства Китая в войну. Все эти слухи раздувают только любители темных дел. Мне крайне неприятно, что слухам этим верят в Петербурге. Я получаю оттуда постоянно

телеграммы с запросами относительно настроения китайского правительства. Из Петербурга даже распространился слух, что тамошнее китайское посольство собирается уезжать из Петербурга. Все это пустяки. Для меня ясно одно: вся серьезная китайская пресса, все вице-короли и сам Чжан Чжидун единодушно высказываются: в войне России с Японией Китай должен сдерживать свой нейтралитет. Что же касается вообще до союза Китая с Японией, то все китайские министры считают союз своевременным и необходимым. Так думают и все европейцы. Китай и Япония заключат между собою союз".

Этот союз двух желтолицых народов действительно напрашивается сам собою. Это неизбежное будущее.

28 февраля 1904 г.

Два события взволновали и русскую колонию в Пекине, и всю европейскую. Застрелился японский офицер. Мотивы этого самоубийства шли вразрез со взглядами европейцев. Японец-офицер просил разрешения отправить его в действующую армию. Он не хотел оставаться в бездействии в Пекине, когда товарищи идут в бой. Просьба его не была удовлетворена, так как японский охранный отряд, находясь в нейтральном китайском государстве, должен оставаться нейтральным. Отправка же из Китая японских офицеров на войну с Россией была бы нарушением нейтралитета. Японский офицер не признал отказа и застрелился.

Второе событие задевало все европейские отряды, хотя и было прежде всего направлено на русский охранный отряд. Несколько китайцев обратились с жалобой к своим властям на то, что русские солдаты, упражняясь в стрельбе, убили одного ребенка, а нескольких ранили. Жалобу китайцев китайское Министерство иностранных дел препроводило к русским, прося произвести расследование и наказать виновных, а также принять меры, чтобы впредь ни в чем неповинных детей, которые никому не сделали зла, не убивали. Возможность ранения и даже застрела китайских ребятишек была вполне возможна, так как стрельбище, отведенное для практической стрельбы китайским правительством за Пекином, было вблизи китайских селений. Стрельбищное поле было обнесено валом и было общее для всех европейских отрядов, которые имели каждый свои очередные дни для практической стрельбы. Для расследования жалобы была назначена комиссия из офицеров отряда и китайцев-чиновников. Сделав опрос всех потерпевших и посетив те дома, в которых были потерпевшие, члены комиссии убедились, что дать доказательства смерти чьего-либо ребенка за указанный период времени китайцы не могли, а из представленных на осмотр потерпевших детей только у одного был найден весьма сомнительный рубец на ноге. Самое же главное обстоятельство, удостоверенное расследованием, было то, что в указанный в жалобе день русские стрелки не производили практической стрельбы, а имели занятия у себя дома, практическую же стрельбу производили в этот день американцы и немцы... Таким образом, обвинение русских стрелков было отвергнуто и жалоба признана неосновательной. Залетной пулей, конечно, была возможность ранения любопытных ребятишек, но что обвинение было предъявлено русским, в этом усматривали влияние японцев, пользующихся всеми средствами, чтобы возбудить в китайском населении враждебность к русским.

И в нашем поредевшем отряде некоторые офицеры рвутся из Пекина в действующую армию. Особенно рвется "Конфунций". Он несколько раз уже подавал рапорты о возвращении его в полк, но получал отказы с указанием на невозможность заменить его другим офицером, а когда подал рапорт о разрешении отправиться в действующую армию, то и от посланника П. М. Лессара получил отказ с указанием на те же самые причины, которые были объявлены и японскому офицеру: русский отряд находится в нейтральном государстве и не может участвовать в войне... Каждый день приходил ко мне "Конфунций" делиться своим горем и беседовать о том, что предпринять ему, чтобы уйти из Пекина в

действующую армию. Наконец, "Конфунций" как будто успокоился и несколько дней не приходил, а затем пришел и сразу же заговорил:

-- Знаете, ведь я три ночи не спал и все обдумывал всесторонне вопрос о том, что мне делать. Я просил отпуск, чтобы отправиться негласно отсюда в свой полк и оттуда отправиться в действующую армию. Мне отказали.

Я ничего не возражаю против причины, которой объяснили мне отказ... Может быть, эта причина основательна. Но для меня лично возможно еще другое толкование. Обо мне могут теперь сказать мои же товарищи так: "Конфунций" просился настоятельно на войну, зная вперед, что ему откажут в его просьбе... В сущности он рад, что ему отказали, но он достиг своего: он всем показал, что искал опасности, что он не мирится, как остальные офицеры, с мирной жизнью, что он не прятался от смерти, он вызывался идти, а другие нет... Вот я и стал обдумывать эту вторую возможность. Я пришел к убеждению, что хотя мне и отказали в разрешении идти на войну, но я все-таки обязан показать всем, что я не трус, что я не фанфарон. Но как этого достигнуть?

Первое, что мне подсказывал внутренний голос, это застрелиться, как сделал японский офицер. Я бы тогда доказал наглядно своей смертью, что я не трус.

Когда я решал, что надо застрелиться, заговорил во мне другой голос. "Стреляться -- глупо, -- говорил этот другой голос. -- Это самоубийство будет доказательством не личного мужества, а слабости воли и неустойчивости характера перед первой же неудачей. Все скажут, что я застрелился, подражая японскому офицеру...

Надо бороться с препятствиями, надо искать другие пути, чтобы миновать препятствия, а не падать духом", -- говорил второй голос. -- Я признал его правым и нашел выход из своего, казалось, безвыходного положения: я тотчас же ночью написал письмо к генералу Фоку, который меня знает лично. Я откровенно все ему изложил и просил вызвать меня к себе из Пекина. На случай, если бы генерал Фок оставил мою просьбу без ответа, я решил дезертировать. Явлюсь к главнокомандующему армией, все ему расскажу, и не сомневаюсь, что меня отправят в действующую армию...

Хоть изредка отдыхаешь душою, видя искренность "Конфунция". Но зато как нудно посещать строительную комиссию...

8 марта 1904 г.

Слезы и смех чередуются в жизни человека, как ненастье и солнце в жизни природы. То получаем доводящие до ужаса и душевной боли известия с войны, то является светлый проблеск надежды или какой-либо неожиданный трагикомический эпизод.

В числе офицеров, находившихся в Инкоу, был милейший фон Х., большой балагур и большой любитель поесть. Всегда он имел из Тяньцзиня всевозможные яства и пития. Когда началась Русско-японская война и Китай объявил нейтралитет, то по железной дороге от Шанхай-Гуаня и до Инкоу был организован досмотр перевозимых вещей с целью преследования военной контрабанды, могущей быть доставляемой русским или японцам. Главный досмотр вещей производился на станции Шанхай-Гуань. Китайское правительство поручило производить этот досмотр англичанам, находящимся на китайской железнодорожной службе. Выбор англичанина оказался, однако, очень неудачным вследствие или его враждебного чувства к русским, или вследствие его тупоумия... Этот страж контрабанды придирался ко всему, что провозили русские из Китая в Маньчжурию. Придрался он к одному банковскому служащему, который был переведен из Пекина в Инкоу на службу и, не желая продавать свою верховую лошадь, взял ее с собой. Англичанин признал лошадь военной контрабандой и не хотел ее пропустить. Ничего не оставалось делать, как вывести лошадь из вагона, оседлать ее и верхом проехать до следующей станции, где опять поставить в вагон следующего поезда и доставить до места. Придрался англичанин к одной семье с детьми, совершавшей переезд в Маньчжурию из Пекина, потребовав, чтобы они удалили из вагона две корзинки со

съестными дорожными припасами, так как в поезде есть вагон-буфет, из которого можно в пути получать необходимую пищу и для взрослых, и для детей. С этим-то англичанином вышло и у фон Х. столкновение из-за провоза пасхальных запасов. Барон фон Х. закупил в Тяньцзине для себя и по поручению своих знакомых несколько ящиков всевозможных яств и напитков. В Шанхай-Гуане на вопрос англичанина о содержимом в ящиках фон Х. подробно все рассказал, но англичанин молча выслушал перечисление вкусного содержимого и попросил вскрыть ящики.

Вскипел фон Х., негодуя, что ему, русскому офицеру, англичанин не верит... Зачем же спрашивал... Пусть бы смотрел все... Вскрыть свои ящики фон Х. отказался, а англичанин задерживал поезд. Кончилось тем, что фон Х. пригласил почтового русского чиновника, жившего в Шанхай-Гуане, и подарил ему все пасхальные запасы, а сам уехал.

Среди нашей хмурой жизни вдруг выдался праздничный день. Все повеселели и поздравляли друг друга. Получили известие о назначении начальником эскадры адмирала Макарова. Встречаясь, все говорили друг другу: "Теперь наши дела улучшатся. Теперь не будет места растерянности наших порт-артурских властей. Адмирал Макаров лично храбр, умен, сам входит во всякую мелочь и сам все хочет знать. Он возьмет себе на помощь людей, а не кукол, умеющих гнуть спину. Адмирал Макаров не станет интриговать на получение звания наместника. Наместнику он предоставит право посылать телеграммы и сохранять свой престиж вплоть до наступления своевременной болезни. Себе адмирал Макаров возьмет только труд и борьбу с врагом".

17 марта 1904 г.

Прибежал сегодня ко мне рано утром перепуганный слуга Лисаки {См.: Корсаков В. В. В проснувшемся Китае. Дневник-хроника русской жизни перед Русско-японской войной. М., 1911.} и звал скорее идти. Когда я вошел в спальню, то нашел Лисаки лежащим на кровати со свесившейся головой и залитым кровью лицом. Лисаки стрелялся, но подавал признаки жизни. Я обмыл ему лицо, очистил сгустки крови и определил, что Лисаки направил выстрел себе в ухо, но рука дрожала, и пуля пошла по направлению от уха сверху вниз внутрь и застряла в верхней челюсти. Стрелял Лисаки из карманного револьвера Франкота, который тут же валялся на полу у кровати.

Какой ужасный вид представлял Лисаки... Полупьяный, с мутными бесцветными выпуклыми глазами, затрудненной, гнусавой речью, окровавленный. Когда он пришел в себя, то первое, что он сказал:

-- Господи, Боже мой, какую я глупость сделал!

-- Что за фантазия вам пришла стреляться? -- спросил я, радуясь, что Лисаки заговорил.

-- Вчера я вернулся домой часа в три, -- страшно гнусавил Лисаки. Начинало светать, и по небу разливались розовые волны света. Вот я и вспомнил, что надо посмотреть сперва, как появится на своей колеснице Феб златокудрый, а затем с первым ярким лучом надо устранился от "отца лжи". С этим намерением я положил около себя на столике револьвер, закурил сигару да и заснул.

Было уже совсем светло, когда я проснулся. Стало мне страшно досадно, что я проспал колесницу златокудрого Феба. Я хотел непременно поспешить за ним и сделать так, как хотел сделать...

-- Кто? -- переспросил я, не расслышав произнесенного Лисаки слова.

-- Кто? Вы не помните! -- Дмитрий Карамазов, который всю ночь прокутил со своей красавицей Грушенькой, а затем с приходом златокудрого Феба хотел себя уничтожить... Так хотел сделать и я...

Лисаки поместили во французский международный госпиталь. К попытке на самоубийство русское общество отнеслось с обидным равнодушием... Весь интерес был только в событии, всколыхнувшем русскую жизнь. Интересовались только знать, как отнесется к этому событию П. М. Лессар, выразивший сильное недовольство за последнее

время поведением Лисаки. По счастью, ранение Лисаки оказалось для жизни неопасным, так что приятель Лисаки, Лукин, остался даже недоволен.

-- Барин, и застрелиться-то не сумел, -- сказал он презрительно, когда узнал о безопасности ранения.

Первые дни пребывания в госпитале Лисаки сильно беспокоили галлюцинации. То казалось ему, что зеркало и картины, висевшие на стене, спускались со стены и гуляли по комнате, то видел он в углу комнаты своей голову Иоанна Крестителя, то видел, как в дверь входили в комнату слоны в серых пиджаках, садились на диване против кровати и любовались им...

Более, чем судьбой Лисаки, русская колония интересовалась торжеством освящения новопостроенного русского консульства в Тяньцзине. Н. В. Лаптев приурочил это торжество к первому дню Пасхи и пригласил к себе на розговенье своих знакомых из Пекина. П. М. Лессар высказал свое недовольство предполагаемым торжеством, находя, что не время праздновать новоселье при несчастных событиях Русско-японской войны. Многие из приглашенных вследствие такого отзыва П. М. Лессара не только не поехали на новоселье к Н. В. Лаптеву, но даже назвали и самое торжество открытия консульства в своем собственном здании торжеством открытия ресторана "Звездочка".

В эти же дни посетил Пекин проездом из Сеула в Шанхай наш посланник в Корею А. И. Павлов. Он имел озабоченно-таинственный вид, так как направлялся в Шанхай организовать военную контрабанду. Было интересно слышать мнение о японцах этого дипломата. "Японцы -- это дети-азиаты, способные, легко все перенимающие у взрослых, т. е. у европейцев, но сами что-нибудь создать самостоятельное, без указки учителя-европейца, не могущие". Ох, так ли это... Не быть бы японцам в учителях наших русских дипломатов...

3 апреля 1904 г.

Какой ужас! Да, это правда: погиб адмирал Макаров и "Петропавловск". Сегодня третий день, как мы знаем об этом несчастье, и все еще не хотим верить... В первый же день никто из русских и не верил, все считали эту весть злой выдумкой англичан и американцев, а выдумок уже было немало. В местной английской газете англичане уже два раза выгнали русских из Порт-Артура и сдали крепость японцам, два раза сожгли Порт-Артур, взяли Инкоу и железную дорогу. Отчего им не взорвать "Петропавловска", среди бела дня наскочившего на свою же мину. Пришлось, однако, убедиться, что действительно судьба послала на испытание России скорбные дни. Многие из русских пытались объяснить это несчастье особо изобретенными японцами плавучими минами, которые несло течением по направлению в порт. Наше горе вызвало радость и ликование у японцев в Пекине. Они устроили военную прогулку с музыкой по улицам, расклеили объявления на стенах о гибели "Петропавловска" и адмирала Макарова. На китайцев наша потеря произвела гнетущее впечатление.

Да, должно существовать возмездие, и оно существует... Русско-японская война -- это и есть возмездие, ниспосланное на русский народ... Чаша терпения переполнилась. Зло и беззаконие, кровь и слезы, стоны истязуемых детей и вопли матерей и отцов, попрание законов божеских и человеческих -- все вопияло к источнику справедливости... Мне отмщение и аз воздам...

5 апреля 1904 г.

Посетил П. М. Лессара. Он подавлен, угнетен. "Да, несчастливо идет война для нас, -- заговорил он. -- Погиб Макаров... Говорят, что Макарова можно заменить адмиралом Скрыдловым. Вот такого человека, как Макаров, такого спокойного, энергичного, знающего, обо всем думающего, во все сам входящего, Скрыдловым заменить нельзя...

Об адмирале Скрыдлове я могу сказать много хорошего: он сумеет ободрить моряков, дух которых подавлен теперь до последней степени, он сумеет поддержать их мужество в борьбе -- это правда. В настоящее время этого немало, это большая заслуга, но заменить адмирала Макарова Скрыдлов не может...

О несчастье, постигшем "Петропавловск", говорят, что это была японская мина, на которую наскочил броненосец. Говорят, что японцам удалось ночью пробраться и поставить мину на фарватер, после чего они и стали вызывать Макарова, стали завлекать его, а когда он пошел вперед, то по данному сигналу вся японская эскадра, следовавшая за ними, направилась ему навстречу. Макаров не хотел принять бой, вернулся назад и наскочил на мину.

Другие думают, что это была русская мина, которую после трех бурных дней сорвало с места и течением нанесло на "Петропавловск".

Та ли, другая ли мина, не это важно, а важно то, что у нас везде недосмотр... Фарватер необходимо постоянно проверять, надо постоянно следить за минами, мины нельзя оставлять без надзора, зная, что мины подвижны.

Жалеют, что вместе с Макаровым погибло 800 человек. Все эти плачи и сожаления о погибших людях -- все это одно лицемерие... Людей нечего жалеть... Люди должны умирать и умирают каждую секунду...

Должно жалеть не 800 человек, что погибли, а должно жалеть, что погиб один Макаров...

Смерть только Макарова одного ободрит и обрадует японцев, а не гибель тысячи солдат.

Война -- дело жестокое. Наша ли мина, японская ли мина погубила Макарова -- не это важно, а важна удача японцев, важен тот духовный вред, который нанесли японцы русским, важно, что они выбили из строя такого человека, как Макаров... Война началась для нас сразу несчастливо... С первого же нападения японцы выбили у нас треть эскадры. В России все кричат, что это нечестно, что японцы напали на русскую эскадру, не объявив войны, что японцы нанесли русским предательский удар... Все эти крики, по моему мнению, одно сплошное лицемерие, а правда заключается в том, что русские в Порт-Артуре проспали японцев, не заметили японцев... Я не могу обвинять японцев за ночное нападение... Японцы прервали с русскими дипломатические сношения... Японцы предупредили русскую дипломатию, что примут меры, какие признают для себя нужными. Чего еще?

В Петербурге, быть может, ожидали, что японцы пришлют раздетых герольдов, чтобы обменяться, как обмениваются дама и кавалер в котильоне, бумажными мечами?..

Времена герольдов давно прошли. Ныне послы совершенно не нужны. Я не виню японцев за ночное нападение на Артур, а в криках о их варварстве вижу только лицемерие. Ведь если бы сделали такое нападение на японцев русские, то мы бы все восхищались и сказали: "вот молодцы". А сделали это японцы, мы обвиняем их.

Со стороны японцев я считаю два нечестных поступка против России. Первый -- это их министр в письме графу Ламздорфу сообщил, что перерыв дипломатических сношений будет краткий. Этим указанием японский министр давал повод думать, что Япония хочет избежать войны, тогда как война у Японии была решена. Это обман со стороны японцев. Второй нечестный их поступок -- это захват коммерческих судов до начала войны. Коммерческие суда у всех наций до формального объявления войны считаются неприкосновенными. Японцы нарушили это правило, захватив суда до нападения на Артур. Я уверен, что по окончании войны, при расчете, стоимость захваченных коммерческих судов будет вычтена с японцев. Во всем остальном японцы поступали правильно и обдуманно.

С таким же правом, как за ночное нападение на Порт-Артур, можно обвинять японцев и теперь, что они пробрались ночью на рейд и вероломно поставили мины, на которые нарвался адмирал Макаров... Не японцев надо винить, а русских: зачем проспали, зачем не заметили!..

Не кричать в настоящее время об японцах надо -- это кричат лживые патриоты, -- а надо каждому русскому работать, трудиться, проявлять всю свою энергию. Я презираю тех русских, которые теперь танцуют и пьянствуют в ресторане "Звездочка". Не время теперь гулять, танцевать, развлекаться. Надо себя теперь держать строго, держать с особенным достоинством. Надо показать японцам и всем иностранцам, что русские сознательно относятся к испытанию, постигнутому их родиной. Не время теперь развлекаться... Я всегда был в очень хороших отношениях с японским посланником Ушида, но я ему теперь руки не подам. Я не могу заставить себя подать руку". Я спросил мнения П. М. Лессара о возможном ходе военных действий на суше, на что он ответил, что на суше в настоящее время не может быть скоро серьезного дела, так как придется ожидать, чтобы японцы подошли к нам ближе...

-- Какая гнусная вереница патриотов "шапками закиданских" припоминается мне,-- заговорил после некоторого молчания П. М. Лессар. -- Все это герои двойных и тройных прогонов, подъемных, фуражных, суточных, двойных и тройных окладов жалованья, -- все это искатели возможности пристроиться в штабе главнокомандующего и в разных штабах вообще, чтобы нахватать крестиков -- отличий... Как ненавидал этих патриотов покойный Скобелев!

Помню, в бытность мою в Бухаре, я имел с ним разговор об этих патриотах, и вот его подлинные слова: "При назначении меня главнокомандующим многие завидовали мне, называли меня счастливецом. Я по простоте душевной думал, что они завидуют моему возвышению, моим военным успехам, наконец, завидуют тому славному делу, совершить которое выпало на мою долю... Но каково же было мое разочарование, когда вслед за возгласами удивления и зависти я услышал: "Ведь у вас теперь пуд овса стоит 35 рублей!" Вот такие точно патриоты и теперь губят Россию, губят то значение и положение, которое она приобрела в Китае и на Дальнем Востоке с такою трудностью.

Правда, одна горькая правда лежит в словах П. М. Лессара. Все "шапками-закиданские" патриоты, как ядовитые гады, воззрились на свою безответную добычу, на "серую скотинку", на солдатское брюхо, на солдатские ноги, на солдатское тело... на все исполинское тело русского народа...

Прав П. М. Лессар, который своим умом, своим трезвым и честным отношением к делу, несомненно, служит России, но какой же результат его службы? Где то благо для России, которое вытекало бы из его умной и честной службы? Где плоды его труда, его ума, его служебного опыта?

25 апреля 1904 г.

"Конфунций" пришел ко мне сияющий. Его письмо к генералу Фоку имело успех: получено предписание отправить "Конфунция" в полк, а самому "Конфунцию" прислано извещение о прикомандировании его к отряду генерала Мищенко. Сегодня же "Конфунций" уезжает... Что бы ни ждало его на кровавом поле, "Конфунций" счастлив... Из Маньчжурии приходят вести все мрачней и мрачней... Шайки хунхузов, организованные японскими офицерами, пытаются взрывать мосты, производят крушения поездов...

В отношениях к нам европейцев в Пекине хотя и соблюдается полнейшая корректность, но так и сквозит в этой предупредительной любезности и скрытое сожаление, и явное злорадство... Самочувствие наше отравлено, и стараешься избегать общения с иностранцами, -- так на душе и больно, и стыдно, и бессильная кипит злоба... Боишься, чтобы перед чуждыми, равнодушными к нашему русскому горю людьми не раскрыть тех язв, которыми, как проказой, покрыта русская жизнь... Один только ставший полуиностранцем из духовного звания Моноклев живет в иностранном обществе... Даже китайцы перестали верить в наше не только морское могущество, но и в силу наших сухопутных войск...

Большинство русской колонии стало совершенно безразлично и, махнув на все рукой, погрузилось в карты и пьянство... Иностранцы же все более и более волнуются при получаемых известиях с войны...

27 апреля 1904 г.

Тяжелая, кошмарная русская жизнь... Японцы нас повсюду бьют, мы везде перед ними отступаем... Повсюду обнаруживается гниль и разложение. Прибывший в отряд новый офицер рассказал, что Порт-Артур совершенно не подготовлен для продолжительной осады, а гарнизон уже и теперь переутомляется постоянными командировками в ночные дозоры и одиночные посты по берегу Голубиной бухты. К этому присоединяется еще усиленное фронтовое учение, длительные маневры, ложные тревоги... Все это изводит и солдат, и офицеров... Между тем на умственное развитие солдат, на ознакомление их с характером и тактикой японцев не обращается никакого внимания... Во всем проявляется крайнее невежество. Бывший, например, дозор из 14 стрелков в Голубиной бухте набрел на выброшенную морем на берег мину. Подняли стрелки мину и понесли к начальству, не зная, как с нею обращаться... Устав, решили отдохнуть, и так бросили мину на землю, что последовал взрыв, и все 14 стрелков были найдены убитыми...

В темных красках обрисовал прибывший офицер и чиновничий Порт-Артур, представляющий собою невозможную клоаку. Вражда, зависть, клевета, произвол сплели такое гнездо ос, которые жалят друг друга... В Артуре образовалось пять главных партий: наместника адмирала Алексеева, генерала Стесселя, генерала Смирнова, адмирала Старка и инженера Сахарова.

Враждует между собою и военный, и гражданский Порт-Артур, а японцы торжествуют... Впрочем, везде все одно и то же... и в пекинском чиновничьем болоте та же гниль...

Прикомандированные из Токио к миссии два секретаря, имея каждый "связи" в Петербурге, добились уже перевода. Все это страшно раздражало П. М. Лессара, единственного постоянного работника, не имеющего помощников, а прибывшие кн. ** и *** только и глядели, как бы удрать. Присланный же из Петербурга барон Пьедестал был вполне невменяемое, дипломатическое дитя...

"Теперь такая масса работы, -- жаловался П. М. Лессар, -- а князь оставляет Пекин...

Впрочем, по-видимому, он и сам устыдился своих действий. Он пришел ко мне сегодня и сообщил, что может остаться еще шесть недель. "Нет, -- сказал я ему, -- Вы мне не нужны, и если немедленно не уедете, а останетесь, то я вынужден буду написать о Вас в Петербург, что Вы здесь остались не потому, что хотите работать, а потому, что Вам нравится Пекин"... Ведь князь мне прямо заявил, что он нужен здесь для иностранцев, так как он находит, что нам неловко порвать в настоящее время с иностранцами сношения...

Ведь князь на другой день гибели Макарова танцевал на балу у англичан... Я один, совершенно один... Работать некому... И кого мне присылают из Петербурга? -- помолчав немного, снова заговорил П. М. -- Прислали князя, но ведь он мне не для дела, а для развлечений иностранцев. Прислали ***, но он повертел только хвостом и благодаря протекции своей бабушки в Петербурге через две недели отсюда уехал...

Прислали фон барона, но ведь это во всех делах круглый невежда...

Я отлично понимаю интригу, которую ведет князь. Он снюхался с Р-м и Моноклевым.

Р-кий вдруг, ни с того ни с сего, прислал мне сегодня утром письмо, в котором пишет, что узнал о моей болезни, желает меня видеть и будет рад помочь мне, обещая быть вообще мне полезным. В заключении письма спрашивает, когда может меня посетить.

Я очень вежливо ему ответил, что здоровье мое, как всегда, и даже в настоящее время я себя чувствую значительно лучше. Буду рад видеть Р-го в часы, назначенные для посещений.

На этот ответ получаю от Р-го второе письмо, в котором он пишет, что, узнав из моего письма об улучшении моего здоровья, он может меня не навещать... Ведь вот эти

замечательные письма лежат у меня на столе, -- показал П. М. Лессар рукой на пресс-папье, под которым лежали два конверта... -- Ведь вся эта распушенность, все эти дрызги, вся эта мерзость поддерживается здесь такими негодяями, как Моноклев...

Их планы для меня ясны: князь уедет и в отправление обязанностей секретаря вступит Р-ий, который по своей болезни, однако, будет не в состоянии работать; следовательно, не будет другого исхода, как призвать Моноклева. Я все это отлично понимаю..."

Боже, какая ядовитая паутина опутала всю русскую жизнь!..

28 апреля 1904 г.

Сегодня принесли телеграмму, которая гласила: "17 апр. С 9 час. утра до 5 час. дня японцы бомбардировали Тюренченскую позицию из 24 полевых 12" и ста 20" орудий против восьми орудий второй батареи шестой бригады и выпустили до двух тысяч снарядов. Наши орудия целы, поврежден один ящик..." С каким нетерпением искали мы в некоторых газетах подробностей описания боя под Ялу и на Тюренченских позициях, и что же? Несмотря на геройство нашего 12-го Сибирского стрелкового полка, наши войска были сломлены численным превосходством японцев и оставили неприятелю орудия и весь обоз... Первое время мы верили русской телеграмме и считали ложью сообщения английских газет... Верили настолько, что наш военный агент, полковник Огородников, поместил даже опровержение в тех же газетах известий о нашем поражении, говоря, что никакого боя не было, а была с нашей стороны лишь рекогносцировка аванпостов... "Как могли русские оставить 28 орудий, -- спрашивал полковник Огородников, -- когда у нас орудий всего было восемь?" Газета "The China Times", поместившая подробное описание перехода японских войск через Ялу и описание боя под Тюренченом, поместила опровержение полковника Огородникова и жестоко высмеяла его в своем ответе. "Полковник Огородников, как храбрый офицер, владеет, конечно, лучше мечом, нежели пером, -- так отвечала "The China Times". -- Известный историк Sir Edw Creasy говорит, что не числом убитых и раненых в битве создается решительное историческое значение боя, а влиянием исхода боя на дух противника..."

Русский военный агент заявляет, что японцы безусловно вели стрельбу от 10 до 5 часов и что они перешли реку с большими силами, нежели то было нужно. Не лучше ли, во всяком случае, сделать переход с большими силами, нежели сделать его с маленькими?

Артиллерийский огонь японцев не был столь бесцелен, как порицающая его критика. Факт большого значения этого боя остается: японцы перешли реку, и притом перешли победоносно. На вопрос полковника Огородникова относительно взятия 28 орудий "The China Times" отвечает: это -- не дело газеты находить причину, почему японцы овладели 28 орудиями русских. Несомненно, объяснить это событие публике лежит на обязанности самого полковника Огородникова или же на обязанности его коллег..."

Какая жгучая краска стыда покрывала лицо, когда читали мы в газете и письмо полковника О., и ответ ему английской газеты!..

После боя на Ялу усиленно стали распускаться слухи, что в Порт-Артуре появились у нас подводные лодки, что эскадра наша начнет теперь смелее действовать против японцев... Ничему мы не верили, все считали ложью... Жутко, тяжело жилось среди иностранного общества не одним нам, все же имеющим возможность отдыхать и на культурной жизни европейского общества, и на литературе, и на возможности хотя временно уйти из гнетущего обихода, но жизнь шла еще тяжелее для людей низшего положения. Куда уйдет служащий в конторе почтальон, низший служащий в банке, куда уйдет, наконец, заброшенный в чуждую ему страну солдат?... Чувство тоски одинаково сильно проявляется и у интеллигента, и у простеца... Даже среди интеллигентных людей это чувство тоски становится иногда настолько сильным, что заставляет по начальству телеграмму, прося "немедленно дать отпуск во избежание дурного конца", и даже наиболее слабых людей заставляет прибегать к самоубийству. Мне приходилось наблюдать среди

невольных поселенцев в Китае много разнообразных нервных расстройств, причина которых лежала именно в чуждых духу русского человека местных бытовых условиях, в местных климатических особенностях; особенно тяжела духовная жизнь людей малокультурных, предоставленных самим себе в своих думах и чувствах; правда, они и помогают сами себе в своей тоске... У русского солдата есть русская песня; у каждого почти солдата сундучок оклеен известными ему уже давно картинками. Но замкнутость казарменной жизни создает много тяжелого, нежелательного вообще, а в частности замкнутость военного сословия создает такую своеобразную рознь, которая действительно требует подробного освещения, изучения и исправления.

Русский человек при своем, несомненно, от природы добром сердце страшно невежествен и несамодостаточен; отсюда -- пьянство, карты и разврат; отсюда большинство русских в совершенстве изучило и знает все публичные дома с китайками, американками, еврейками и японками, но это же большинство не прочитало ни одной серьезной книжки о Дальнем Востоке, -- ни о Китае, ни о Японии, ни о Корее. С глубокой благодарностью относишься поэтому к каждому из тех русских, кто хоть на время объединяет нас, внося искорку света в темное наше прозябание в Китае...

Получил сегодня первое письмо с пути от "Конфуция", а также получены очень запоздавшие письма из Порт-Артура. "Конфуций" пишет: "Состояние духа хорошее не только среди офицеров, но и среди нижних чинов. Всюду и везде видишь веселые лица, которым жить или умереть -- безразлично. В Ташичао на вокзале собралось в буфете человек 70 офицеров. -- О войне никто не говорит, как будто ее нет. Встречаясь друг с другом, только вспоминают былые времена, живут одними воспоминаниями. Живут, правда, тесно, но дружно. Терпят лишения, но делятся по-братски. В Инкоу встретили меня товарищи и повели к себе. Их жило восемь человек в маленькой комнатке. Вся мебель состояла из чемоданов и ящиков, но нашлось место уложить и меня.

Не стану говорить про старых офицеров, которые прошли огонь и воду, и медные трубы, а скажу про молодых, только что выпущенных из училищ: такое хладнокровие и такое спокойствие видно на их лицах, когда они говорят о смерти... Сейчас идем к Фыньюанчену. Дух стрелков удивительный, идут себе беззаботно, песни поют, а вчера был сильный бой, который длился с утра до вечера. Говорят, что один полк сильно пострадал. Сегодня по дороге встретили транспорты раненых. При встрече стало тихо. В одной из повозок жалобно стонали. Некоторые стрелки снимали фуражки. Но только прошли транспорты, -- и всякое уныние или думы о смерти как рукой сняло. Идем по местности, которой нельзя не восхищаться, но нет времени описывать, да и неудобно, сидя на земле, писать на чурбашке. Лишений много уже и теперь приходится испытывать. Приехав в Ляо-ян, стал искать себе лошадь, но нигде не нашел; купил клячу за 250 руб., которая по дороге издохла. Иду пока пешком с батальоном. Вчера (18 апреля) была такая пурга, промерзли так, что зуб на зуб не попадал.

Дня через два буду в Фыньюанчене. Путешествую по чудной местности и каждую минуту вспоминаю вас, закуривая трубочку, -- папирос нет. Водки не пью, да ее и не достать.

Рассказывают, что в буфете последняя бутылка водки продавалась с аукциона и пошла за 80 руб. Есть нечего; сижу на рисе и на чаечке. Консервов нет, доставка очень трудная".

Человек предполагает, а Бог располагает. "Конфуций" не дошел до Фыньюанчена, так как после боя при Тюренчене было решено всем войскам отступить к Ляояну, а Фыньюанчен отдать японцам без боя.

Письмо из Порт-Артура было доставлено сперва в Чифу, а из Чифу уже шло почтой. Из письма видно, что Порт-Артур имеет возможность сношений. В письме говорится, что "в Порт-Артуре пока все благополучно. Голодать не приходится. Мясо пока есть, хлеб и рис тоже. Японцы не беспокоят, но готовятся к нападению на Артур. Рабочие в Цзиньжоу получают в день по доллару, и, кроме того, делают для них еще японцы угощение: дают свинину. Китайцы очень довольны. Слышал еще, что японцы усердно истребляют

хунхузов и каждого китайца, одетого в черное, отправляют на тот свет, подозревая в нем хунхуза.

"Хун-ху-цзы" -- понятие сложное. В его состав входят в настоящее время массы, достигающие десятков тысяч грабителей, которые со всего Китая в ожидании поживы и грабежа собрались в Маньчжурию и располагаются шайками у городов и селений. Эти грабители -- всякий сброд и подонки китайского населения, составлявшие главную массу боксеров в 1900 г. и беспощадно истребляемые, как русскими, так и китайцами и, вероятно, японцами. В состав хунхузов входят и постоянные китайские разбойники, издавна "залегавшие" все торговые пути, грабившие караваны или бравшие выкуп и облагавшие данью все китайские селения. Эти разбойники всегда были распространены в Китае и всегда были хорошо вооружены. Возможно, что разбойники, составляющие отдельные шайки, также истребляются японцами. Но в настоящее время существуют, несомненно, летучие конные отряды, которые служат японцам, постоянно беспокоя русские сторожевые посты и угрожая железной дороге; это -- организованные японцами летучие отряды, среди которых, несомненно, есть китайские солдаты и японские унтер-офицеры и даже офицеры. Мы называем эти летучие отряды тоже "хунхузами", но это -- не хунхузы, а легкие японо-китайские летучие отряды на службе японцев. Насколько верен слух, ручаться не могу, но в настоящее время японцы будто бы организуют в Маньчжурии против русских более серьезного врага из тех же хунхузов, которые поступят под начальство прибывших четырех авантюристов-американцев.

С пленными нашими японцы обращаются хорошо. Капитан Г., раненный в бою у Цзиньчжоу, находится в плену у японцев и дал знать, что к ним относятся хорошо". Из Мукдена писали от 26 апреля об открытии госпиталя на 70 человек, хотя госпиталь рассчитан на 250, да нет помещений. "Сестры кое-как поместились в двух "цзянях" (комнатах) по 10 и 5 сестер. Докторам и студентам пока еще нет помещения, почему живут все еще в Русско-китайском банке. Просили еще соседнюю часть храма; цзян-цзюнь, кажется, устроит. Слухи в Мукдене тревожные. Русско-китайский банк укладывает свои вещи и бумаги, чтобы быть готовым к выезду в Харбин. В городе китайское население боится хунхузов, а их здесь много. Было несколько грабежей. Часто бывает слышна продолжительная перестрелка. Раз наши сестры были перепуганы ночью, оделись и ждали японцев, а это стреляли хунхузы. У цзян-цзюня в распоряжении для охраны города всего 600 солдат. В Мукдене издается русско-китайская газета, имеющая своим назначением давать китайскому населению действительную картину положения вещей и предостерегать их от принятия на веру самых нелепых слухов, обильно распространяемых. Все сведения о войне переводятся на китайский язык для помещения в газете двумя студентами Восточного института из Владивостока. Неделю тому назад путь от Харбина до Мукдена два раза пробовали взрывать, подкладывали пироксилиновые шашки, но мало причиняли вреда. 27 апреля привезли 258 раненых. Из них поместили 125 в Евгеньевскую общину, часть -- в Фушуньскую больницу, часть -- во Владимирскую общину, которая расположилась в палатках на станции".

В письме из Тюренчена, написанном еще до несчастного для нас боя, автор письма, военный врач, дает интересное описание последних дней в Порт-Артуре перед началом войны.

"Война как с неба свалилась, -- пишет он.-- В Артуре не допускали мысли о войне, были все убеждены, что конфликт уладится дипломатическим путем... Приготовлений собственно никаких не было. Волновались, разговаривали о войне так же, как и каждую весну волновались. К таким разговорам привыкли и к воинственным порывам "япошек" относились с усмешкой. Даже когда японцы стали усиленно распродавать свои товары и закрывать лавки, то и тут отнеслись очень легко: "Ну, что ж? Вот случай закупить по дешевой цене японских вещей". Автор письма вместе с полком вышел из Артура за несколько дней до бомбардировки и 23 января был с 11-м полком в Хайчене, а 2 февраля полк выступил на Ялу. "Наш полк шел первым, -- говорит автор письма, -- по

убийственным дорогам, по горам с громадными перевалами; шел днем; бывало, шел и ночью, в скверную погоду. Полк шел, когда еще ничего не было устроено, -- ни этапов, ни продовольствия. У нас в полку главный недостаток в сахаре и табаке. Был в Шахедзы маркитант, драл за все невероятно, до 80 к. фунт сахара; вместо коньяка давал какой-то китайский ханшиш, за 8 рублей бутылка; но теперь маркитанта нет; полк довольствуется своими средствами... Особенно тяжелы стоянки на одном месте. Тюренчен, деревня на Ялу; в 12 верстах вверх от Шахедзы, против корейского Ычжу. Мы охраняем переправу. Между нами и Ычжу -- пять верст; отделяемся рекой Ялу и Эйхо. Ычжу, как весь тот берег, занят японцами. Наши передовые посты находятся в 400 шагах от неприятельской заставы. Наша дивизия и наш 12-й полк, в частности, находится в передовой линии. Ычжу занят японцами с 21 марта, и с этого дня почти ежедневно идут у нас перестрелки; в одной из них погиб Демидович, начальник пешей команды охотников. Он был на острове между Эйхо и Ялу в самом тесном соприкосновении с неприятелем. 25 марта, ночью, он уничтожил отряд японцев в сто человек, хотевших устроить ему засаду и переправившихся через рукав Ялу на остров. 30 марта на заре сам погиб. Более всего досадно то, что и тело его досталось в руки японцев вместе с телами двух охотников: не успели унести. Несшие Демидовича были убиты и тотчас подобраны переправившимися через рукав японцами. Наша команда была всего 16 человек, из которых четверо убито, двое ранено. Это были первые убитые и раненые в нашем полку. В настоящее время переживаем очень напряженное состояние. На том берегу заметна усиленная деятельность японцев и, по-видимому, заготовка мостов. Только что получено известие, без всяких пока подробностей, что вчера (8 апреля) на Ялу, ниже Шахедзы, где стоит охотничья команда 11-го полка, было сражение, в котором тяжело ранен командир Змеицын, помощник его, 15 охотников и трое убито. У японцев -- тоже большие потери. До сего времени японцы проявили страшную медлительность, но зато укрепили в Корее чуть ли не каждый пройденный шаг. В Тюренчене претерпеваем массу лишений самых насущных. Сидишь в грязи, валяешься на канах {Кан -- система отопления жилищ у народов Востока и Средней Азии, пристенные глиняные нары, под которыми проходит теплый воздух по трубам, соединенным с кухонной печью. (Прим. ред.)}."

1 мая 1904 г.

Пасмурно, душно... Один из тех дней, когда тянет бежать из Пекина без оглядки... Приносили для прочтения официальное предложение принять участие в пожертвовании на Красный Крест, а также и на сооружение нового флота... В беседе относительно обязательности жертвовать выяснилось, что можно жертвовать по желанию на что-нибудь одно. П. М. Лессар пожертвовал единовременно тысячу рублей на Красный Крест и сказал при этом, что, жертвуя на Красный Крест, он убежден, что хоть одна рюмка портвейна дойдет до раненого или больного солдата...

В последнее время стали опять усиленно распространяться слухи, что наши военные деятели во что бы то ни стало хотят втянуть Китай в войну с Россией. Встретил я Федю Солдатика и спрашиваю его, желательна ли теперь для России еще война с Китаем.

-- Это было бы счастье для нас. Надо делать все, чтобы Китай нарушил нейтралитет, чтобы втянуть его в войну...

-- Зачем же надо втягивать Китай в войну?

-- Китайцев мы быстро разобьем, -- отвечал самоуверенно Федя Солдатик... -- С Китая ведь мы можем что-нибудь взять... Отхватим у Китая Монголию, а возможно, что и Маньчжурия останется за нами... С японцев же нам взять будет нечего...

О, простота, только не святая!..

П. М. Лессар возмущен стремлениями военных вызывать действовать на Китай. "Я получил от генерала Ф. из Маньчжурии сообщение, в котором генерал Ф. пишет, что китайцы готовят восстание против русских в области Ляоян -- Инкоу, -- говорил мне П. М.

Лессар. -- Я лично ездил вследствие этого к князю Нину, и он самым решительным образом опроверг все сообщения генерала Ф. и заверил, что Китай не намерен ввязываться в Русско-японскую войну. После свидания с князем Ци-ном ко мне приехал министр иностранных дел Лиэн Фан, который заявил, что имеет приказание от имени императрицы объявить, что Китай будет и впредь соблюдать нейтралитет. Я твердо теперь убежден, что Китай сохранит свой нейтралитет. Все, что пишет Ф., это вымысел и глупости... Утверждение генерала, что китайское население готовит восстание, имеет особенную подкладку, которую я отлично понимаю... Разные мерзавцы из армии все берут, все отнимают от китайского населения и ничего не платят... Вполне понятно, что население не может быть довольным, когда у него все берут даром. Пусть платят за все, что берут, и неприятности тогда не будет... Еще за большие поставки эти господа кое-что платят, а разные мелочи, я положительно это знаю, забирают силой и ничего не платят... Китаец и сам сыт горстью риса, и семья его сыта, а если у него отнимут и эту горсть риса, то, конечно, он будет недоволен, он не может относиться иначе, как с ненавистью, к грабителям... Нет, я убежден, что Китай теперь сдержит свое слово, хотя положение наше отвратительное. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что мы проиграем войну и что вся вина в этом должна пасть на адмирала Алексеева, Линевича и Куропаткина за их постоянную рознь и вражду... Японцы пользуются этой враждой и бьют нас".

3 мая 1904 г.

В пекинской жизни настало оживление: приехал прусский принц Адальберт, китайская императрица прислала приглашение осмотреть ее портрет и приглашение на посещение в Летнем дворце, а иностранное общество готовится к весенним скачкам.

Принц Адальберт, третий сын императора Вильгельма, имеет от роду 20 лет, состоит лейтенантом в 1-м гвардейском пехотном полку и сублейтенантом в германском флоте. Принц производит самое хорошее впечатление, как своей наружностью -- рослый, цветущего здоровья, -- так и простотой обращения. В ожидании прибытия принца на станции выстроились части от всех охранных европейских отрядов. Немецкий отряд был полностью при знамени и оркестре музыки. Прибытие на платформу принца было встречено немецким оркестром, игравшим "встречу". Обходя фронт отрядов и поравнявшись с русскими, принц отчетливо произнес: "Здорово, ребята!", на что последовал ответ: "Здравия желаем, Ваше Королевское Высочество!" При обходе китайского отряда китайские трубачи играли "встречу". Принца Адальберта сопровождали германский посланник и члены посольства. По отбытии принца отряды построились к выходу, и тут русские и японцы очутились рядом и пошли вместе, сперва русские, а за ними японцы...

За время пребывания принца Адальберта в Пекине был дан в немецком посольстве обед для дипломатов и завтрак для начальников охранных отрядов. На завтраке обращало внимание, что принц разговаривал только с немецкими офицерами и русским военным агентом.

Китайская императрица продолжает по-прежнему выказывать внимание к европейцам в Пекине. Портрет императрицы, который писала с натуры американка miss Carls, окончен, и сперва получили приглашение европейские дамы осмотреть портрет во дворце, а затем и все состоящие при посольствах и охранных отрядах чиновники получили приглашение осмотреть портрет в помещении, нарочно для него приготовленном, в Вай-у-бу (Министерстве иностранных дел). Для зрительной залы один из дворов министерства был забран стеклянными рамами сверху, а снизу закрыт синего цвета китайскою материей. Портрет императрицы представляет холст до 2 1/2 аршин длины и около 2 ширины, вставленный в роскошную резную широкую раму из драгоценного китайского красного дерева, доставленную с юга Китая. Императрица сидит в кресле, на ней -- желтое шелковое одеяние; вся грудь увешана нитями крупного жемчуга. Прическа маньчжурская,

с цветами. Все детали, цветы, одежда вырисованы безукоризненно, но императрице на портрете нельзя дать более 35--40 лет, а ей исполняется в ноябре этого года 70!.. Лицу императрицы художница придала выражение по указаниям китайской школы, т. е. в портрете есть все, кроме правды и жизни.

Весенние скачки прошли, как всегда, оживленно. На этот раз, как дополнение к скачкам, было много японских офицеров, которые вызвали своим появлением чуть ли не первый раз среди европейского общества большой интерес. Японских офицеров-кавалеристов было пятеро. Одеты в черного сукна венгерки, черные шаровары с красными лампасами и высокие сапоги, японцы очень напоминали наших казаков-бурят, и, будь у них монгольские низкорослые лошади, а не высокие австралийские, -- молодцеватый и смелый вид японцев только бы выиграл.

На приеме в Летнем императорском дворце японское посольство явилось самым многочисленным, сопровождаемое своими офицерами, из которых некоторые имели на себе китайские ордена. Прием в Летнем дворце был обычным приглашением со стороны императрицы, в котором она выразила желание, чтобы представители различных европейских государств провели несколько часов на даче, "погуляли и отдохнули".

Некоторая особенность приема со стороны императрицы для дам выразилась на этот раз в необычайной сдержанности. Императрица очень мало беседовала с дамами, мало была с ними и даже не вышла во время завтрака, чтобы посидеть за столом вместе с супругами посланников. Императрица выглядела очень утомленной и значительно осунувшейся.

Что касается до отношений китайцев к русским, то по-прежнему отношения остаются вполне корректными, и китайское правительство продолжает утверждать, что нейтралитет не будет им нарушен, несмотря на успехи японцев. Войска же китайские продолжают деятельно по-прежнему обучаться японцами и по-прежнему также есть многие из убежденных в том, что русским придется в непродолжительном времени оставить Китай, так как Китаю хотя и невыгодно вмешаться открыто в войну, но ему безусловно теперь будет выгодно предъявить к России свои требования, которые в случае отказа он будет в состоянии отстоять силой оружия. Другими словами, не Китай объявит войну, но его заставят воевать. Существует и еще одно предположение, гласящее, что императрица и правительство искренно желают сохранения нейтралитета, но Юан Шикай, генерал Ма Юкун, командующий Маньчжурской армией, стоящей в тылу русских, и многие другие приверженцы военной партии самолично начнут войну, не обращая внимания на личные желания императрицы и министров, которые совершенно бессильны что-либо предпринять против Юан Шикая, Ма Юкуна и Ко. Все предположения основываются на фактах, и каждое имеет за себя много вероятия, почему и должно быть готовым на возможность вмешательства Китая. Подготовкой к войне объясняют и корректное, доходящее во всем до уступок русским, отношение Китая, но, дескать, все уступки делаются с ведома Японии, вместе с уступками идет и спешное, лихорадочное усиление, обучение и вооружение китайских армий, постройка новых арсеналов и значительно усилившееся движение хунхузов в Маньчжурии против русских, ибо хунхузы подкрепляются отрядами генерала Ма Юкуна. Сторонниками войны считают и влиятельных вице-королей Чжан Чжидуна и Вей Хуандао. Последний еще недавно вошел с ходатайством о необходимости постройки нового арсенала в провинции Хунань. Вице-король Вей Хуандао, несомненно, энергичный военный деятель. Он в последнее время оборудовал три горные батареи, которые имеют быть отправлены в северную (Маньчжурскую) армию.

Хотя военная деятельность в Китае в настоящее время поглощает все заботы правительства, но все же мы имеем в общественной китайской жизни проявления и умственного движения вперед. К таковым проявлениям должно быть отнесено только что обнародованное во всеобщее сведение постановление тяньцзинского магистрата относительно бинтования ног китайками. В этом постановлении дословно говорится следующее: "Со времени обнародования в 1901 г. эдикта императрицы все высшие

сановники постоянно обращались к народу всех классов, указывая на вредный обычай бинтования ног. На эти оповещения приходится между тем слышать, что есть заранее помолвленные девушки, которые сами, по совету старших своих членов семьи, и желали бы перестать бинтовать свои ноги, но этому противятся их будущие мужья и члены мужниной семьи. Если такая малая льгота не может быть насильственно предписана и столь жестокий обычай сохраняется теми, которые им дорожат, то как могут реформы и цивилизация распространяться по стране? Женщина должна следовать советам своего отца и брата, пока она не замужем, а после замужества она обязана повиноваться своему мужу. Если эти люди не допускают свободы женщины в ее собственных ногах, то как могут они рассчитывать на то, чтобы их считали просвещенными людьми? Слабость Китая порождается медлительностью, и с забинтованными ногами ни одна женщина не может работать надлежащим образом, делаясь в конце концов в короткое время ленивой. Многие женщины с забинтованными ногами служат этому доказательством. Один из древних мудрецов сказал, что благополучие семьи в широкой степени находится в зависимости от силы ее хозяйки, но хозяйка с забинтованными ногами не может быть так энергична и крепка, как имеющая ноги, данные ей природой. Таким образом, мы настоятельно просим всех мужчин дать свободу ногам их женщин. Мы вместе с этим оповещаем, что если бы которая из обрученных девушек пожелала освободить свои ноги от бинтования, то не должно ей в этом препятствовать. Кроме того, во всей истории Китая нет ни одного случая, чтобы женщина, получившая известность, имела забинтованные ноги. Все да повинуются этому оповещению".

Почин правительственных учреждений и старания христианских миссионеров, несомненно, окажут действие на значительное уменьшение уродования ног китайок и со временем повлекут уничтожение этого дикого обычая.

15 мая 1904 г.

Наконец и в Пекине нашелся патриот россиянин, который возревновал о русских интересах на Дальнем Востоке и задумал вступить в борьбу с японским влиянием, начав издавать русскую газету на китайском языке... Как японские газеты подрывают в китайцах доверие к России, так русская газета должна разрушить обаяние японцев и послужить противовесом японскому влиянию на Китай... На издание русской газеты потребовалась субсидия. Никто из русских в Пекине не верил ни в жизненность этой газеты, ни в то, что эта газета будет иметь благоприятное влияние на общественное китайское мнение... Ведь, чтобы проводить русское влияние в Китае, для этого прежде всего нужны большие деньги и серьезно образованные русские люди, да еще свободно владеющие литературным китайским языком. У издателя не было ни первого, ни второго. Он задумал сделать покушение с негодными средствами, и, очевидно, его патриотическая афера не могла иметь успеха. Издатель *** завербовал в сотрудники учителей русско-китайской школы, которые переводили русские статьи на китайский язык, а китайцы-учителя исправляли слог и отделявали стиль. В итоге получались ученические работы, исправленные учителем, но неинтересные и часто непонятные для читателя-китайца... Китайцам-учителям платилось жалованье, а учителям русско-китайской школы выхлопотали -- одному причисление к министерству со званием чиновника особых поручений VII класса, а другому -- орден Св. Станислава... Издание газеты было обставлено таинственностью, и только за несколько дней до выхода первого номера на пекинских улицах появились расклеенные объявления, гласившие о появлении в Пекине в скором времени новой газеты на китайском языке, под названием "Яньдубао", что означает "Пекинская газета", по древнему названию Пекина "Яньду". Объявление гласило так: "Сим сообщается для сведения публики, что основанная нами редакция будет издавать газету, выходящую ежедневно. Вид и формат ее обыкновенный. Кроме высочайших указов и придворных сведений, известные литераторы будут помещать свои рассуждения в прозе и поэзии для

вящего услаждения публики. Что касается настоящего положения дел на Дальнем Востоке, то ввиду того, что почтенные читатели очень заинтересованы этим, мы уже просили русских военных властей и заручились их согласием о доставке по телеграфу своевременно всех сведений о ходе военных действий. Все более или менее важные заграничные телеграммы будут сообщаться вполне верные. В Маньчжурии, различных провинциях Китая, в столицах иностранных государств имеются специальные надежные корреспонденты. Все сведения будут просматриваться редакцией и печататься по ее выбору. Основная идея газеты -- служение политико-экономическим интересам..."

Приехал из Мукдена капитан, барон фон Х., состоящий при Главном штабе, исполняющий обязанности переводчика с китайского и иностранных языков, а также и обязанности военного цензора всех сообщений, идущих с театра военных действий. С каким жаром набросились мы на него, желая узнать о нашем положении в Маньчжурии и обо всем, что делается в армии и в Главной квартире!

"Вы спрашиваете, что делается в армии и в нашем Главном штабе? Делается одна дрянь, -- отвечал он. -- Среди начальства царит страшная неурядица. Никто никого не слушает, каждый критикует друг друга и делает по-своему. Во всем ужасный беспорядок..."

Истинного начальника нет... Куропаткин не признает Алексеева, Линевиц не признает Куропаткина... Одним словом, совершается что-то ужасное...

Возьмите, например, бой при Цзиньчжоу. Ведь какую отдали японцам чудную позицию! Ведь это ключ к Порт-Артуру с суши! А почему отдали?

Полковник Третьяков защищал позицию с одним полком и просил дать ему на Цзиньчжоу еще три полка, так как с одним полком он не в силах отстоять эту важную позицию.

Третьякову отказали, и после упорного боя Цзиньчжоу взят... От 5-го полка стрелков, как известил штаб, осталось всего 300 человек стрелков и пятеро офицеров".

Пятый полк был нам знаком по боксерскому году и был близок, так как русский охранный отряд в Пекине состоял из роты этого полка. Мы знали большинство офицеров, которые или жили в Пекине, или бывали здесь, временно приезжая в Пекин.

Цзиньчжоуский бой, в котором 5-й полк один принял жестокий удар врага, больно отозвался в нашем сердце. Вскоре мы получили и письмо от одного из участников боя, которое сообщало о понесенных полком утратах.

"Цзиньчжоускую позицию защищал с одним 5-м Восточно-Сибирским полком и 2-й ротой 14-го полка полковник Третьяков. Сражение началось с четырех часов утра и продолжалось до семи часов вечера. Неприятель состоял из двух дивизий пехоты с 120 орудиями. Позицию приказано было очистить, почему полк и отступил. Убиты в полку подполковник Радецкий, капитан Солярский, штабс-капитан Маккавеев, поручик Крагельский, подпоручики Басов и Станкевич. Ранен подполковник Сейфулин, ранены и взяты в плен подполковник Белозор и капитан Гамзяков, умерший от ран, как выяснилось впоследствии.

С цзиньчжоуской позиции полк отступил в Артур, где героев встретил генерал Стессель и расцеловал полковника Третьякова. Полку дан был лишь восьмидневный отдых в Артуре, после чего полк послан вновь занять позиции около Порт-Артура на Волчьих горах".

Получив это краткое извещение, пекинский охранный отряд в посольской церкви отслужил по павшим своим товарищам братскую панихиду. Чуткие к славе своего полка, офицеры и солдаты охранного отряда всеми силами души рвутся с самого начала войны на соединение со своим родным полком, гордятся его геройской выдержкой, и для них, вынужденных обстоятельствами оставаться в мирной обстановке бездействия, тяжело быть в Пекине, когда товарищи гибнут в бою, добывая себе славу.

В бою пали подполковник Радецкий и штабс-капитан Маккавеев, только перед войной переведенные в 5-й полк.

Капитан Солярский -- старый офицер, хороший служака, любимый своими товарищами.

На Востоке он был лет 13, участвовал в Русско-турецкой войне и в китайской войне 1900 г.

Поручик Иосиф Викентьевич Крагельский, молодой человек 26--27 лет. Образованный, скромный, в высшей степени сдержанный при первом знакомстве, по мере сближения покойный Крагельский все более и более проявлял добрые качества своего ума и сердца. Среди близких ему людей это был общительный, веселый и остроумный собеседник. Товарищи и солдаты любили покойного. Для солдат он всегда устраивал солдатские спектакли.

Происхождением из царства Польского, И. В. Крагельский проявлял лучшие черты польской народности, почему пользовался одинаково любовью со стороны русской колонии и своих полковых товарищей. Из Пекина И. В. был отозван в полк в 1903 г., где принял начальство над конной охотничьей командой.

В конце 1903 г. он поехал в отпуск, имея намерение жениться, но вследствие мобилизации пробыл недолго в отпуску и должен был вернуться в полк. По привычкам своим покойный был также очень скромный человек: он не только ничего не пил, но даже не курил.

Поручик Борис Павлович Басов, 24 лет, уроженец Петербурга, окончил курс в одном из московских корпусов и московское Александровское училище в 1898 г. Выпущенный из училища прямо в 5-й стрелковый полк, он застал полк еще в Ново-Киевском. В 1900 г. вместе с полком принимал участие в китайской войне, по окончании которой и оставался с полком в Цзиньчжоу.

Покойный Басов был общим любимцем в полку. Образованный, развитой, жизнерадостный, он был беззаботен и добродушен, как ребенок. В отношении себя до крайности беспечный, он жил всегда только для других. Всегда и везде он был душой общества, любил солдат и обращался с ними прекрасно. Энергичный, деятельный, общительный, покойный нес обязанности полкового адъютанта, был хозяином военного собрания и отдавался всей душой заботам о доставлении товарищам всех жизненных удобств.

Хозяйственную часть он довел до совершенства; это особенно ценилось во время маневров, когда офицерам приходится обычно переносить много лишений. Кто знает, что такое пересохшее горло, истомленное тело, измотавшиеся руки, ноги, тот поймет, что значит во время стоянки получить и стакан горячего чая, и рюмку водки, и горячую, хорошо приготовленную пищу...

Покойный был талантливый художник и замечательный танцор. Он прекрасно рисовал, имел несколько альбомов собственных рисунков, увлекался собиранием "открыток", из которых также имел альбом. "Русская пляска" Басова была неизменным украшением каждого танцевального вечера в собрании. Своей "Русской" Басов приводил всех в восторг.

Покойный оставил старуху-мать, которая живет, как говорят, в Петербурге. Для родных дорого всякое воспоминание о близком человеке, особенно дорога каждая память о сыне для матери.

Хотя всем офицерам было предложено вещи свои заранее свезти для хранения в Порт-Артур, но Басов, который, кроме альбомов, других ценных вещей не имел, не пожелал их отвезти в Артур, а оставил при себе на позиции. Вещи эти попали в руки японцев, равно как и другое имущество, которое осталось в Цзиньчжоу в офицерских помещениях. Японское правительство заявляло, что будут вестись списки всем вещам, которые попадут в руки японцев, и вещи эти будут возвращаться по требованию родных. Быть может, и вещи покойного Басова остались целы...

Подпоручик Болеслав Петрович Станкевич -- тоже совсем еще юный офицер, только три года тому назад был выпущен прямо в 5-й стрелковый полк. По окончании одного из московских корпусов и московского Александровского училища -- Станкевич прибыл в Тяньцзинь, где застал уже оккупацию Китая. Сперва он был с отрядом в Шанхай-Гуане, а затем с полком в Цзиньчжоу.

Станкевич был тоже, как Басов, любим в полку; это был такой же прекрасный, веселый, жизнерадостный товарищ и хороший офицер, талантливый художник и любил рисовать. И

после него, вероятно, остались вещи, которые дороги, как воспоминание, родителям покойного.

Первые дни все мы считали и подполковника Белозора в числе убитых в бою при Цзиньчжоу, и только впоследствии выяснилось, что он был ранен в ногу и взят в плен. Ю. Ю. Белозор -- один из любимых старших офицеров полка, оставивший по себе в Пекине прекрасные воспоминания. В 5-м полку Ю. Ю. пробыл более шести лет, причем сперва командовал первой ротой. В 1900 г. он принимал участие в китайской войне, за которую получил ордена: Анны, Станислава 2-й ст., Владимира -- все с мечами и бантами. По уходе 5-го полка в Цзиньчжоу Ю. Ю. был оставлен в Пекине с ротой, а в 1901 г. произведен в подполковники. С повышением в чине он должен был оставить Пекин и назначен был в 24-й стрелковый полк, но при первой же возможности снова перешел в свой 5-й полк. Командование ротой он передал в Пекине капитану Лесненко.

Ю. Ю. был принят в пекинском обществе с большим радушием, чему много способствовали не только его прекрасный характер, но и знание нескольких иностранных языков.

Горе оставшихся в живых, товарищей погибших, было искренно... "Редкостный был товарищ Басов, -- говорили в пекинском отряде о погибшем... -- Приходишь, бывало, во время маневров на стоянку, измученный; валишься в изнеможении, куда попало, не разбирая: лужа -- так лужа, грязь -- так грязь; а он, вместо отдыха, сейчас же в двуколку и марш в Артур за продовольствием для офицерского собрания. До Артура -- 47 верст. Без отдыха всю ночь проездит, а наутро он уже вернулся в лагерь, и все офицеры имеют в собрании свежую провизию и ни в чем не терпят недостатка. Последнюю рубашку готов был снять с себя и отдать другим.

Отныне Цзиньчжоу неразрывно связан с именем 5-го Восточно-Сибирского полка, который и жил здесь, и умирал, оставив по себе добрую славу.

Местность Цзиньчжоу вообще живописная, но очень холмистая и гористая, с крутыми обрывами, перерезанная многочисленными долинами, по которым повсюду разбросаны китайские фанзы земледельческого населения. Город Цзиньчжоу в шести верстах от позиций имел мало значения для жизни полка, тяготевшего к Порт-Артуру, в котором находили удовлетворение все хозяйственные потребности полкового населения. Больше имела значения в жизни 5-го полка станция Цзиньчжоу, на которую часто приезжали офицеры встречать или провожать своих знакомых. На станции часто устраивались пикники.

Позиции Цзиньчжоу, на которых располагался 5-й полк, занимали небольшой ряд холмов, с построенными на них восемью временными бараками, служившими для помещения стрелков, офицерского собрания, жилища офицеров, цейхгаузов и проч. На возвышенных местах находились укрепления, форты, посты, караулы, заставы, спускавшиеся вплоть до бухты Керр и захватывавшие город Цзиньчжоу. Много офицеров было семейных. Жилось хотя тесно, но дружно. Все полковое общество собиралось вместе два раза в неделю в собрание, где играла музыка. Молодежь танцевала, другие играли в карты или проводили время в буфете. Семейная тесная жизнь была прервана неожиданно вслед за нападением японцев на Артур 26 января. Всем офицерским семьям было предложено оставить Цзиньчжоу и отправиться в Россию. Жизнь сразу изменилась и перешла на холостую ногу. Началась усиленная работа по возведению фортов и укреплений. Офицерам пришлось стесниться и жить втроем-вчетвером в одной маленькой комнате...

15 мая 1904 г.

Получил письмо "Конфунция" с позиций. "Вы спрашиваете, почему мы голодаем, -- да причина очень простая: сегодня мы здесь, а завтра уже нас не найти, поэтому продовольствие не доставляется. Живем, чем Бог послал, но живем хорошо, ничто не смущает, по крайней мере, мой дух. Сейчас сижу, а перед моими глазами целые тысячи

казаков, которые завтра, может, падут под пулями, -- завтра мы ждем боя... Японцы наступают, и уже в 8 верстах. Все ждем с нетерпением. Теперь каждый день идут перестрелки, но это пустяки. В общем я даже доволен ими. Охотников на опасные предприятия очень много, так что приходится соблюдать черед. Живем мы жизнью настоящего, не заботясь о будущем и только вспоминая прошедшее, да и то только, что было хорошо. Меня радует эта жизнь; сегодня -- здесь, завтра -- там. Сегодня ловят тебя японцы, а ты с разездом покажешь им хвост, -- и тягу. Убьешь одного, другого, приедешь голодный, холодный; товарищи все радуются, что вернулся жив, и, чем Бог послал, накормят и лучшее место, чистое, дадут спать... Вот сейчас принесли раненых из разезда. Стонут... Ходил с ними К-в. Ходили с ним семь человек, возвратился с четырьмя, да и то один умирает. Попал в засаду... У меня есть Софронов, лихой казак, который всюду и везде следует за мною. Как только останавливаемся, так сейчас, расседлавши коня, начинает готовить еду: смешает муку с водой в жарит лепешки или рис варит".

Да, раскололась надвое наша жизнь: всеми помыслами ума и сердца уносишься последовательно сперва на ближайшую кровавую ниву, на которой уже обильно льется теперь русская кровь, а затем -- на далекие родные поля, которые поливаются также обильно теперь горькими слезами. Помыслами живешь весь там, а здесь все стало особенно чуждо и тягостно...

В Пекине начинают собираться в достаточном количестве и определенном значении сведения о положении дел в Маньчжурии. Сведения эти получаются и от проезжающих через Пекин лично, и через письма. И те, и другие определенно говорят одно и то же: "Мы не готовы к войне", но и ныне, как бывало прежде, крепка вера, что все тягости войны вынесет на своих широких плечах русский народ.

Представители европейских колоний в Пекине относятся к русским вообще дружески. Общее убеждение европейцев то, что Япония не в силах будет выдержать тягости войны дольше шести месяцев. В английских колониях, особенно в Австралии, по сообщению беспристрастных немецких газет, сочувствие англичан также лежит на стороне русских. Относительно китайцев сказать что-либо определенное трудно. Эти непонятные люди более чем когда-либо молчаливы, но и более чем когда-либо любезны с русскими. Китайское правительство питает по-прежнему симпатии к японцам, но стало выражать их более осторожно. Оно, по-видимому, имеет представление о плане японцев, по крайней мере надеется, что японцы придут в Маньчжурию и займут Мукден. Эта надежда подтверждается сообщением китайского посланника в Токио, который, как передают газеты, просил японское Военное министерство охранить императорские дворцы и гробницы в Мукдене от разорения японских солдат. Союз с Японией остается по-прежнему среди китайцев популярным, и китайцы-эмигранты из Америки прислали в Вай-у-бу (Министерство иностранных дел) значительную сумму денег, которая должна идти на усиление китайского флота и армии. Китайские войска по-прежнему все стягиваются к границам Маньчжурии. Прибыл недавно отряд в 2000 из Вучана. Немецкая газета сообщает, что отряд хорошо обмундирован, имеет бодрый вид. Китайское правительство, более чем вероятно, останется действительно нейтральным, и если Юан Шикай и генерал Ма оказывают негласную помощь японцам, то только тем, что китайские войска не преследуют хунхузов, которые собрались значительными шайками в Маньчжурии.

В настоящее время очень тревожное настроение господствует в Инкоу, около которого собрались значительные силы хунхузов. Грабители ожидали только того момента, когда русские войска оставят этот город, чтобы предать разграблению имущество европейцев. Из событий чисто китайской жизни выдающимися были: болезнь принца Цина и отправка портрета императрицы на выставку в Сент-Луис. Болезнь принца Цина рассматривали в Пекине как характерное явление китайской жизни. Болезни предшествовало следующее событие. Один из цензоров подал доклад императрице, что принц Цин отстаивает интересы мира и нейтралитет Китая в Русско-японской войне не потому, чтобы в этом

были интересы государства, а потому, что он получил громадную сумму денег, которую и положил на хранение в английский Гонконг-Шанхайский банк в Пекине. Доклад цензора вызвал следствие, по которому, однако, против князя Цина никаких улик не было найдено, а правление Гонконг-Шанхайского банка на запрос китайского правительства о денежных вкладах принца Цина отказалось дать какие-то ни было сведения, ссылаясь на свои правила. Таким образом, цензор не только ничего не достиг, но был обвинен сам в легкомысленном отношении и подвергнут смещению на низшую чиновничью должность. Принц Цин от огорчения заболел, но в настоящее время уже вступил в отправление своих обязанностей.

История с портретом императрицы наделала большой переполох в китайском чиновничьем мире. Портрет, который был написан американской художницей miss Caries, перед тем как быть отправленным в Америку на выставку в Сент-Луис, был выставлен в Министерстве иностранных дел для осмотра членами посольств. Портрет из дворца был доставлен в американское посольство и отсюда в ящике на плечах кули (чернорабочих) был перенесен в министерство, где постановкой его заведовала сама художница. Вот переноска ящика с портретом на плечах кули и вызвала в императрице страшное негодование. Императрица увидела в этом больше, чем невнимание, и, как ходили рассказы, выразилась своим приближенным в таком смысле, что она еще не умерла, а ее несли в ящике, словно умершую в гробу. Вследствие этого императрица приказала главному директору железных дорог построить такой ящик, который бы мог быть помещен в вагон железной дороги, а до станции от министерства проложить по улицам рельсы, что и было исполнено. В Тяньцзине портрет был встречен со всеми почестями вице-королем и мандаринами. Из Тяньцзиня портрет отправлен в Шанхай, где также была официальная встреча, и здесь окончательно установлен на пароход для отправки в Америку.

Художница miss Caries вознаграждена за писание портрета по-царски: императрица, как говорят, уплатила за работу 20 тыс. лан и, кроме того, постановила выдавать художнице ежемесячно пожизненную пенсию в 200 долларов. Портрет очень понравился императрице. По примеру принца Цина императрица пожелала также снять с себя фотографию, для чего был приглашен во дворец японец-фотограф, который и снял с императрицы первую фотографию, но под условием, что ни один снимок не будет выдан в публику и негатив будет отдан императрице.

Весна текущего года в Пекине отличается обилием дождей и свежестью. Первый жаркий день в Пекине был 21 мая, когда R° показывал в тени утром 18° , днем 23° , и вечером 23° , а на солнце в полдень доходил до 35° . Благодаря дождям имеются надежды на прекрасный урожай. Дожди перепадают равномерно и два раза сопровождались грозами. Ввиду такой свежей весны надо думать, что и в Маньчжурии нашим войскам не так тяжело, как было бы во время жаров. До сих пор нет ни комаров, ни москитов, которые всегда являются ужасными мучителями европейцев.

18 мая 1904 г.

Русская жизнь вообще полна пустяками, но те пустяки, которые вносит под видом серьезного дела бросающийся во все стороны Федя Солдатик, указывают уже на полное отсутствие даже всякого смысла. К поискам доказательств желаний китайского правительства нарушить нейтралитет был привлечен и Н. И. Хомбоев... Пользуясь его знакомством в китайских "сферах", ему было поручено узнать о настроении при китайском дворе в отношении русских... Н. И. Хомбоеву удалось пригласить нескольких китайцев и одного молодого китайца-князя, гуна, прикосновенного ко двору, на завтрак в китайский ресторан. Завтрак был роскошен и объемлющ яствами и питьями. Молодой князь был в высшей степени сдержан вначале, но по мере наполнения желудка питьями китайская воспитанность исчезала, а когда из ресторана перешли в отдельные кабинеты,

то молодой князь обратился в необузданного дикаря. Он стал прыгать, бегать по комнате, показывать приемы китайской борьбы, стрельб из лука, хватать гостей и вступать с ними в борьбу. Показав все свое образование китайского воина, князь утомился, разделся донага и улегся на стол. Так и не удалось поймать настроения в китайских придворных сферах: переусердствовали...

На почве поисков японцев в восточной Монголии произошел тоже курьез... Возвратился с поисков японцев командированный в Монголию Бр. и вместе с ним Р. Оба они случайно встретились у монгольского князя, к которому Р. приехал из Харбина, а Бр. из Пекина, причем съехались они одновременно. Монгольский князь, чтобы не быть в неловком положении, под благовидным предлогом не принял ни того, ни другого, но приказал отвести им обоим одно помещение. Р. и Бр. раньше не знали друг друга и, очутившись вместе в одном помещении, прежде всего заподозрили друг друга в шпионстве для японцев. С первого же знакомства, представившись один -- шведом-инженером, производящим разведки на золото во владениях князя, а другой -- англичанином-комиссионером, закупающим монгольскую шерсть для английской фирмы, Р. и Бр. начали нащупывать друг друга, заговаривая по-английски, по-немецки, по-французски. Бр. прекрасно владел всеми этими языками, тогда как Р. -- швед -- владел очень плохо. Убедившись, что оба они дурачат друг друга, Бр. заговорил по-русски... Объяснилось тогда, что оба они -- гончие по одному следу. Нигде японцев в восточной Монголии они не встречали.

Газета с русским направлением, или "квасная лавочка", как ее прозвали, работает слабо. Никто из людей способных не желает принимать участия в газете. Китайцы также ее не читают.

22 мая 1904 г.

Сегодня с поездом неожиданно для всех уехали из Пекина Рудановские. Ни к кому не зашли они проститься, никто их не провожал. Жутко было видеть, как одиноко, бледный, сгорбившись, проходил к выходу из ворот миссии Р-ий... Невольно чудилось, что следом за ним по пятам движется что-то зловещее.

Заехал в Пекин на несколько дней проездом из Порт-Артура в Шанхай П-ий. И он положение в Артуре обрисовал мрачными красками. Артур не выдержит осады и должен будет сдать. От самого начала осады все официальные донесения были ложны, ложны эти донесения и теперь... Придуманная новая авантюра -- втянуть китайцев в войну с Россией, тоже не из удачных... Напрасно сам полковник Б. ездит из Гирина по Маньчжурии с этой целью. Ничего нельзя ожидать хорошего от его поездок, да и самому ему несдобровать среди враждебно настроенного населения.

Получено официальное извещение, что, оставивши службу в Русско-китайском банке в Пекине, Д. М. П-ев назначен директором Восточного института во Владивостоке. Заранее можно сказать, что это переодевание и перелицовка с банковского деятеля под педагога принесет только вред и институту, и самому Д. М. П-ву, который лучшие годы своей жизни отдал работе в банке, совершенно отстал от преподавательской деятельности и порвал всякую связь с учащейся молодежью. Нельзя обращаться так легкомысленно с высшими учебными заведениями, отдавая их во власть людям, как отдавались в былые времена воеводства в кормление.

28 мая 1904 г.

Китайское правительство в настоящее время делает все, чтобы заставить верить в искренность своего нейтралитета. В только что обнародованном императорском декрете снова предписывается всем наместникам (вице-королям) и губернаторам неустанно следить за их подчиненными. "Мы особенно приказываем еще раз иметь самое

неослабное наблюдение за границами провинций и особенно за теми местностями, где есть иностранные концессии, открытые порты, частная европейская собственность и церкви. Если появятся какие-либо шайки разбойников, власти должны казнить их без замедления. Что касается столицы, то она требует особого внимания. Мы приказываем начальникам войск, главным их помощникам, всем властям Пекина и всем цензорам столицы иметь особую заботу о городе и его населении, чтобы население и купечество были спокойны. Власти должны охранять посольства и церкви". Внутри Китая по-прежнему далеко не все благополучно, и правительство применяет строгие меры против своих недобросовестных чиновников. В императорском декрете, изданном в ответ на доклад нанкинского вице-короля Гуй Хуантао, говорится следующее: "Мы знаем, что командующий войсками в Юннани обязан заниматься военным обучением, но он мало обращает на это внимания. Все его солдаты ленивы, слабы и бесполезны. Вице-король Гуй Хуантао посылал своих офицеров инспектировать войска и узнал от них, что командующий войсками Чао Чуэнфо -- большой лжец, так как солдат не доставало в большом количестве. Что касается до их обучения, то они были несведущи и недисциплинированы. Этот командующий войсками столь небрежен, столь неблагодарен, что достоин нашего гнева. Если мы уволим его в отставку, то это не будет достаточным наказанием. Немедленно отрешаем его от должности и предписываем отправить его в ссылку на работы, чтобы он искупил свои вины. Утверждаем также доклад вице-короля о капитане Чан Каосань и полковнике Цан Кинэн, которые воруют деньги, назначенные для прокормления солдат. Удаляем их в отставку без права поступления на службу". Характерная картина для бытовой государственной китайской жизни, трудно поддающейся новым веяниям и твердо себя отстаивающей!

Из провинции Шаньси, соседней с Пекином, доходят слухи о продолжающемся антидинастическом и антиевропейском движении, а монголы, прибывающие из восточной Монголии, продолжают указывать на японцев, которые в значительном количестве находятся в разных местностях на разведках, входя в сношения с монголами и стараясь привлечь их на свою сторону. Если внутренние дела Китая не блестящи, то финансовое его положение еще более тяжело, а усиленная военная деятельность потребовала значительного увеличения средств на военные нужды и продовольствие солдат. Декрет, обнародованный императором 25 января, с характерной для китайского правительства откровенностью признает тяжелое положение. "В настоящее время, -- говорится в декрете, -- империя слаба. Воры и мятежники разоряют провинции: мы полагаем, что необходимо обучать солдат защищать народ и государство. Мы уже обнародовали декрет по сему предмету, предписав распустить в провинциях старых солдат и набрать новых, которых должно обучать по-европейски. Мы уже поручили принцу Цину, равно как и другим высшим сановникам, основать в Пекине военное министерство. Несмотря на важность этой реформы, трудно найти необходимые средства на содержание войск. Мы знаем очень хорошо, что все средства, идущие на содержание солдат, взяты силой с народа, но народ беден, и мы должны заняться улучшением его судьбы. Мы приказали увеличить пошлины только на табак и вино, употребляемые единственно богатыми. Пошлины эти предназначены на содержание солдат. Мы предписали также президенту Министерства финансов уменьшить содержание двора. Это уже сделано. Трон постоянно думает о несчастном народе, не будучи в состоянии ни есть, ни спать, и мы, следуя примеру императрицы, показываем сами народу пример экономии. Издержки двора теперь стали гораздо меньше, нежели прежде. Будет отдано новое предписание еще уменьшить издержки, чтобы иметь большую возможность отдавать деньги солдатам. Мы предписали Министерству общественных работ прекратить работы, которые не представляют насущной потребности, и деньги обратить на содержание солдат. Чиновники и купцы, которые внесут нам денежные вклады, получают отличия. Что касается до пошлин, которые направлены на обложение богатых, то чиновники, взимающие их, должны показать себя достойными доверия императора. Если встретятся дурные чиновники или влиятельные

люди, которые теснят народ, то высшие сановники должны их наказать. Одним словом, мы хотим отменить все лишние расходы и защищать народ; высшие мандарины должны нам помогать в этом. Быть по сему".

Китайское правительство прилагает все свои старания бороться с вековым злом своего государственного строя и достигает некоторых успехов в тех провинциях, в которых состоят наместниками энергичные, добросовестные правители. Стремление к образованию и просвещению продолжает развиваться, и доклады высших сановников о необходимости посылать молодых китайцев для образования в Европу подаются постоянно. Как знамение времени, заслуживает внимания доклад начальника городского правления в Пекине, в котором этот сановник просит императрицу послать сыновей высших сановников для образования в Европу и указывает не на Японию, как это было в моде до сих пор, а на Англию и Германию. В Англии молодые люди должны изучить морское дело, а в Германии -- военное. Срок заграничного пребывания он предлагает назначить пятилетний, после чего посланные в Европу должны вернуться в Китай. Предлагает также пекинский сановник и другую полезную меру: "сыновья знатных людей должны входить в общение да народом, чтобы узнавать его нужды". Но одного пожелания, как говорит жизнь, еще недостаточно: сыновья "знатных людей" не особенно охочи бывают изучать народные нужды...

Доходят также через прибывающих в Пекин монголов известия, что японцы стараются сблизиться с монгольским населением, выбирая для этого прежде всего монголов, охотников и делая им подарки в виде хороших ружей и амуниции. Делается это под видом ознакомления с монгольскими старыми самодельными ружьями, которые и вымениваются на новые.

Для европейцев жизнь в Пекине становится затруднительна вследствие дороговизны; цены на многие предметы не только удвоились, но даже утроились. На дороговизну; жалуются и китайцы, так как и им приходится теперь уплачивать налоги на все припасы, которые вносятся в Пекин; через ворота, а так как чиновники, взимающие налоги, не отличаются особой честностью, то и взимают налоги со всего, не исключая даже сельских произведений и пищевых продуктов, которые обложению не подлежат.

Китайское правительство готовится к чествованию 70-летия дня рождения императрицы. В правительственной газете обнародован декрет императора, в котором говорится следующее:

"Мы знаем, что Ее Величество, вдовствующая императрица, вполне добродетельна и вполне благоразумна; она святее всех правительниц других династий. Императрица находится в добрых отношениях со всеми чужеземными государствами, и она очень сведуща в делах правления. В течение 40 лет она царствовала и выказала большую деятельность. Она достойна жить долгое время. Народ радуется, что имеет возможность поздравить императрицу с ее праздником. Но наша святейшая императрица исполнена скромности; она говорит, что не заслуживает стольких похвал. Императрица приказала президентам Министерства церемоний разыскать, как в старину благодетельствовали народ по случаю юбилея. По этому поводу мы приказываем: 1) гробницы императоров всех династий, село Конфуция, пять священных гор и четыре великие реки должны послужить местом принесения жертвоприношений особыми чиновниками; 2) если между гробницами императоров, все равно какой династии, найдется разрушенная, то провинциальные чиновники должны об этом нам донести, а гробницу исправить; 3) местные жандармы должны исправить пагоды и храмы в горах, на морях или на реках; они должны донести нам о дурном состоянии поврежденных зданий, чтобы мы могли засвидетельствовать уважение духам, которым эти здания посвящены; 4) местные мандарины должны восстановить дороги и колодцы, которые заброшены или находятся в неисправности; 5) все принцы и принцессы крови, равно как княжны и жены великих монгольских вождей, пользуются правом нашей благосклонности; 6) да получают от нас дары и жены мандаринов, имеющие возраст свыше 60 лет". Затем следует несколько

пунктов в императорском декрете, в которых говорится, что дары должны быть оказаны всем чиновникам (производство в следующую степень, награждения, льготы по образованию их сыновей в придворном училище и льготы по службе). Затем пункт 13-й декрета говорит: "Мы прощаем всех гражданских и военных чиновников, наказанных разжалованием, лишением почестей или другим наказанием, разрешая им явиться поздравить императрицу... Для ученых мы прибавляем число вакансий, увеличивая для больших провинций на 30, для средних -- на 20 и для малых -- на 10. 17) Принадлежащие к восьми знаменам, а также монголы и китайцы, имеющие возраст 70, 80 и 90 лет, получают особые привилегии в силу своего возраста. Если среди них найдется в возрасте 100 лет, то таковые получают деньги, и мы соорудим им триумфальную арку. 18) Имеющие 80 лет и более получают два куска шелка, два куска материи, мерку риса и 10 ф. мяса. Имеющие 90 лет получают вдвое, а имеющие 100 лет получают деньги и разрешение воздвигнуть себе триумфальную арку. 20) Мы подадим милостыню бедным женщинам и вдовам солдат восьми знамен. 21) Местные мандарины должны озаботиться хорошим помещением и питанием для больных, вдовцов, вдов, сирот и бедных. 22) Мы прощаем всех обвиняемых, находящихся в тюрьмах, кроме мятежников против династии, кроме поднявших руку на своих родителей, на своего мужа или покровителя и кроме обвиненных в военной измене. Это поистине дурные люди и непрощаемые. Вот доказательство доброты нашей матери императрицы. Мы, император Китая, обнаруживаем этот декрет, да знает об этом весь мир".

30 мая 1904 г.

Доходят ужасные вести о наших раненых в Маньчжурии. Русско-японская война только началась, но конца ее предвидеть нельзя. Можно сказать только одно, что война эта будет жестока и длительна, если не положат ей конца какие-либо особые силы. Наши войска действуют во враждебной нам стране, ибо, -- не будем себя обманывать, -- китайцы не проявят к нам дружественных чувств. В Маньчжурии устройство и обзаведение госпиталей будет делом страшно трудным; больным и раненым предстоит много невзгод и потому еще, что Маньчжурия -- страна некультурная, малонаселенная, удаленная от России, сообщения с которой будут очень затруднительны. Многим и многим раненым и больным предстоит оставаться долгое время в госпиталях именно в Маньчжурии. Вот им-то и должно прийти на помощь эвакуирование (выселение) раненых и больных в ближайшие культурные пункты, где больным мог бы быть дан уход и сердечная забота. В Пекине и его окрестностях возможно было бы устроить добровольную общину, которая взяла бы на себя уход за больными и ранеными.

В Пекине есть не только европейская культурная колония, есть больницы, но есть и многочисленное русское общество, которое выделит из себя сестер и братьев для ухода за своими больными и ранеными. Из Маньчжурии можно было бы часть больных эвакуировать в Пекин. Сообщение до Тяньцзиня под флагом Красного Креста морем, а от Тяньцзиня до Пекина 3 часа по железной дороге. Средства будут... Люди, которые отдадут свою живую душу живому делу любви и сострадания, уходу за больными и ранеными, явятся. Препятствием к осуществлению этого дела любви могут послужить только дипломатические формальности, из-за которых, увы, много гибло и гибнет у нас добрых, истинно хороших людей и хороших начинаний.

Неужели призыв открыть лечебницу-приют в Пекине и его окрестностях для больных и раненых русских, которые могут быть выселены из госпиталей Маньчжурии, не нашел бы себе сочувствия и отзвука в России? Затрат на помещения для больных делать не придется. В Пекине, в северном его углу, ограниченная городской стеной, расположилась Православная духовная миссия, владеющая громадным участком земли и имеющая большое количество свободных, вновь построенных, никем не занятых помещений, которые так и просятся сами оказать помощь больным и раненым, приняв их в свои

чистые, новые стены. Местность, где расположена духовная миссия, не только обширная, не застроенная, но чистая, с прекрасным воздухом, совершенно дачная. Не может быть сомнения в том, чтобы духовная русская миссия отказала дать больным и раненым свои свободные помещения. Может послужить препятствием разве то неопределенное положение, в котором держится Китай. Он ведь может быть втянут в войну, и тогда все русские, возможно, должны будут выехать из Пекина. Но если бы это и случилось, то останутся другие, дружески расположенные европейцы, а забота о больных и раненых -- это международная обязанность.

В. В. Вересаев. Из книги «На японской войне»⁶³

I. Дома

Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целою эскадрою, погибли одинокие "Варяг" и "Кореец"... Война началась.

Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозой. Наши правители с дразнящею медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны.

Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали "ура", пели "Боже, царя храни!". В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования.

Война была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своею ненужностью, -- что до того? Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется; кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары, -- это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия: война была ей ненужна, непонятна, но весь ее огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема.

Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши успехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно-вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, "патриотов" возмущало до дна души, они говорили о "гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции". Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: "ты не права, а прав твой враг"; это не было также органическим отвращением к кровавому

63 Вересаев В. В. Записки врача. На японской войне. -- М.: Правда, 1986.

способу решения международных споров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенною яркостью бросалось в глаза, -- это та невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.

Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был, -- бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченной жаром загоревшегося борьбою организма. Но подъем был поверхностный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки.

В то время я жил в Москве. На масленице мне пришлось быть в Большом театре на "Риголетто". Перед увертюрою сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел гимн, раздалось "bis" -- спели во второй раз и в третий. Приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса: "Гимн! Гимн!". Моментально взвился занавес. На сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах, и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что: в последнем действии "Риголетто" хор, как известно, не участвует; почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики, почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? Назавтра газеты писали: "В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом".

В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городских. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане "Эрмитаж" толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городские нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги.

Генерал-губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям.

Одновременно подобные же возвания были выпущены начальниками других городов, -- и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства... Скоро, скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, -- и против этого подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули.

В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огромный казак с свирепо ухмыляющеюся рожею сек нагайкою маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, "как русский матрос разбил японцу нос", -- по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие "макаки" извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадною рожею, и это чудовище олицетворяло Россию. Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоконародном и глубоко-христианском характере войны, о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом... А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы, в Корее японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собою горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое: "терпение, терпение и терпение"... В конце марта погиб с "Петропавловском" слепо-храбрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Того. Японцы перешли через

реку Ялу. Как гром, прокатилось известие об их высадке в Бицзыво. Порт-Артур был отрезан.

Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных "макаков", -- на нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника Х. или поручика У., молодецки переколовших японскую заставу в десять человек. Но впечатление не уравновешивалось. Доверие падало.

Идет по улице мальчуган-газетчик, у ворот сидят мастеровые.

-- Последние телеграммы с театра войны! Наши побили японца!

-- Ладно, проходи! Нашли где в канаве пьяного японца и побили! Знаем!

Бои становились чаще, кровопролитнее; кровавый туман окутывал далекую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди из снарядов, волчьи ямы и провололочные заграждения, трупы, трупы, трупы, -- за тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса, призрак какой-то огромной, еще невиданной в мире бойни.

* * *

В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили:

-- Теперь еще больше пойдут податей брать!

В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии, в деревнях людей брали прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухою ночью звонилась в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке, -- полиция взломала его стол, достала паспорта призванных и всех их увела.

Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия.

Наутро мне пришлось быть в воинском присутствии, -- нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва меня из запаса. На большом дворе присутствия, у заборов, стояли телеги с лошадьми, на телегах и на земле сидели бабы, ребята, старики. Вокруг крыльца присутствия теснилась большая толпа мужиков. Солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь. Он сердито кричал:

-- Сказано вам, в понедельник приходи!.. Ступай, расходишь!

-- Да как же это так в понедельник?.. Забрали нас, гнали, гнали: "Скорей! Чтоб сейчас же явиться!"

-- Ну, вот, в понедельник и являйся!

-- В понедельник! -- Мужики отходили, разводя руками. -- Подняли ночью, забрали без разговоров. Ничего справить не успели, гнали сюда за тридцать верст, а тут -- "приходи в понедельник". А нынче суббота.

-- Нам к понедельнику и самим было бы способнее... А теперь где ж нам тут до понедельника ждать?

По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с женою от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в присутствии:

-- А с ребятами что мне делать? Научите, покажите!.. Ведь они тут без меня с голоду передохнут!

Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился.

-- Ну, теперь берите! Свои дела я справил.

Его арестовали.

Телеграммы с театра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках хорунжего Иванова или корнета Петрова. Газеты писали, что победы японцев на море неудивительны, -- японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье призваны шестнадцатилетние мальчишки и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио.

* * *

В начале июня я получил в деревне телеграмму с требованием немедленно явиться в воинское присутствие.

Там мне объявили, что я призван на действительную службу и должен явиться в Тамбов, в штаб 72 пехотной дивизии. По закону полагалось два дня на устройство домашних дел и три дня на обмундирование. Началась спешка, -- шилась форма, закупались вещи. Что именно шить из формы, что покупать, сколько вещей можно с собою взять, -- никто не знал. Сшить полное обмундирование в пять дней было трудно; пришлось торопить портных, платить втридорога за работу днем и ночью. Все-таки форма на день запоздала, и я поспешно, с первым же поездом, выехал в Тамбов.

Приехал я туда ночью. Все гостиницы были битком набиты призванными офицерами и врачами, я долго ездил по городу, пока в грязных меблированных комнатах на окраине города нашел свободный номер, дорогой и скверный.

Утром я пошел в штаб дивизии. Необычно было чувствовать себя в военной форме, необычно было, что встречные солдаты и городовые делают тебе под козырек. Ноги путались в болтавшейся на боку шашке.

Длинные, низкие комнаты штаба были уставлены столами, везде сидели и писали офицеры, врачи, солдаты-писаря. Меня направили к помощнику дивизионного врача.

-- Как ваша фамилия?

Я сказал.

-- Вы у нас в мобилизационном плане не значитесь, -- удивленно возразил он.

-- Я уж не знаю. Я вызван сюда, в Тамбов, с предписанием явиться в штаб 72 пехотной дивизии. Вот бумага.

Помощник дивизионного врача посмотрел мою бумагу, пожал плечами. Пошел куда-то, поговорил с каким-то другим врачом, оба долго копались в списках.

-- Нет, нигде решительно вы у нас не значитесь! -- объявил он мне.

-- Значит, я могу ехать обратно? -- с улыбкой спросил я.

-- Подождите тут немного, я еще посмотрю.

Я стал ждать. Были здесь и другие врачи, призванные из запаса, -- одни еще в статском платье, другие, как я, в новеньких сюртуках с блестящими погонами. Перезнакомились.

Они рассказывали мне о невообразимой путанице, которая здесь царствует, -- никто ничего не знает, ни от кого ничего не добьешься.

-- Вста-ать!!! -- вдруг повелительно прокатился по комнате звонкий голос.

Все встали, поспешно оправляясь. Молодцевато вошел старик-генерал в очках и шутиливо гаркнул:

-- Здравия желаю!

В ответ раздался приветственный гул. Генерал прошел в следующую комнату.

Ко мне подошел помощник дивизионного врача.

-- Ну, наконец, нашли! В 38 полевом подвижном госпитале не хватает одного младшего ординатора, присутствие признало его больным. Вы вызваны на его место... Вот как раз ваш главный врач, представьтесь ему.

В канцелярию торопливо входил невысокий, худощавый старик в заношенном сюртуке, с почерневшими погонями коллежского советника. Я подошел, представился. Спрашиваю, куда мне нужно ходить, что делать.

-- Что делать?.. Да делать нечего. Дайте в канцелярию свой адрес, больше ничего.

* * *

День за днем шел без дела. Наш корпус выступал на Дальний Восток только через два месяца. Мы, врачи, подновляли свои знания по хирургии, ходили в местную городскую больницу, присутствовали при операциях, работали на трупах.

Среди призванных из запаса товарищей-врачей были специалисты по самым разнообразным отраслям, -- были психиатры, гигиенисты, детские врачи, акушеры. Нас распределили по госпиталям, по лазаретам, по полкам, руководясь мобилизационными списками и совершенно не интересуясь нашими специальностями. Были врачи, давно уже бросившие практику; один из них лет восемь назад, тотчас же по окончании университета, поступил в акциз и за всю свою жизнь самостоятельно не прописал ни одного рецепта. Я был назначен в полевой подвижной госпиталь. К каждой дивизии в военное время придается по два таких госпиталя. В госпитале -- главный врач, один старший ординатор и три младших. Низшие должности были замещены врачами, призванными из запаса, высшие -- военными врачами.

Нашего главного врача, д-ра Давыдова, я видел редко: он был занят формированием госпиталя, кроме того, имел в городе обширную практику и постоянно куда-нибудь торопился. В штабе я познакомился с главным врачом другого госпиталя нашей дивизии, д-ром Мутиным. До мобилизации он был младшим врачом местного полка. Жил он еще в лагере полка, вместе с женою. Я провел у него вечер, встретил там младших ординаторов его госпиталя. Все они уже перезнакомились и сошлись друг с другом, отношения с Мутиным установились чисто товарищеские. Было весело, семейно и уютно. Я жалел и завидовал, что не попал в их госпиталь.

Через несколько дней в штаб дивизии неожиданно пришла из Москвы телеграмма: д-ру Мутину предписывалось сдать свой госпиталь какому-то д-ру Султанову, а самому немедленно ехать в Харбин и приступить там к формированию запасного госпиталя. Назначение было неожиданное и непонятное: Мутин уж сформировал здесь свой госпиталь, все устроил, -- и вдруг это перемещение. Но, конечно, приходилось покориться. Еще через несколько дней пришла новая телеграмма: в Харбин Мутину не ехать, он снова назначается младшим врачом своего полка, какой и должен сопровождать на Дальний Восток; по приезде же с эшелоном в Харбин ему предписывалось приступить к формированию запасного госпиталя.

Обида была жестокая и незаслуженная. Мутин возмущался и волновался, осунулся, говорил, что после такого служебного оскорбления ему остается только пустить себе пулю в лоб. Он взял отпуск и поехал в Москву искать правды. У него были кое-какие связи, но добиться ему ничего не удалось: в Москве Мутину дали понять, что в дело замешана большая рука, против которой ничего нельзя поделать.

Мутин воротился к своему разбитому корыту -- полковому околотку, а через несколько дней из Москвы приехал его преемник по госпиталю, д-р Султанов. Был это стройный господин лет за сорок, с бородкою клинышком и седеющими волосами, с умным, насмешливым лицом. Он умел легко заговаривать и разговаривать, везде сразу становился центром внимания и ленивым, серьезным голосом ронял остроты, от которых все смеялись. Султанов побыл в городе несколько дней и уехал назад в Москву. Все заботы по дальнейшему устройству госпиталя он предоставил старшему ординатору.

Вскоре стало известно, что из четырех сестер милосердия, приглашенных в госпиталь из местной общины Красного Креста, оставлена в госпитале только одна. Д-р Султанов заявил, что остальных трех он заместит сам. Шли слухи, что Султанов -- большой приятель нашего корпусного командира, что в его госпитале, в качестве сестер милосердия, едут на театр военных действий московские дамы, хорошие знакомые корпусного командира.

Город был полон войсками. Повсюду мелькали красные генеральские отвороты, золотые и серебряные приборы офицеров, желто-коричневые рубашки нижних чинов. Все козыряли, вытягивались друг перед другом. Все казалось странным и чуждым.

На моей одежде были серебряные пуговицы, на плечах -- мишурные серебряные полосы. На этом основании всякий солдат был обязан почтительно вытягиваться передо мною и говорить какие-то особенные, нигде больше не принятые слова: "так точно!", "никак нет!", "рад стараться!" На этом же основании сам я был обязан проявлять глубокое почтение ко всякому старику, если его шинель была с красною подкладкою и вдоль штанов тянулись красные лампасы.

Я узнал, что в присутствии генерала я не имею права курить, без его разрешения не имею права сесть. Я узнал, что мой главный врач имеет право посадить меня на неделю под арест. И это без всякого права апелляции, даже без права потребовать объяснения по поводу ареста. Сам я имел подобную же власть над подчиненными мне нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было, как люди пьянели от власти над людьми, как их души настраивались на необычный, вызывавший улыбку лад.

Любопытно, как эта одурманивающая атмосфера подействовала на слабую голову одного товарища-врача, призванного из запаса. Это был д-р Васильев, тот самый старший ординатор, которому предоставил устраивать свой госпиталь уехавший в Москву д-р Султанов. Психически неуравновешенный, с болезненно-вздутым самолюбием, Васильев прямо ошалел от власти и почета, которыми вдруг оказался окруженным.

Однажды входит он в канцелярию своего госпиталя. Когда главный врач (пользующийся правами командира части) входил в канцелярию, офицер-смотритель обыкновенно командовал сидящим писарям: "встать!" Когда вошел Васильев, смотритель этого не сделал.

Васильев нахмурился, отозвал смотрителя в сторону и грозно спросил, почему он не скомандовал писарям встать. Смотритель пожал плечами.

-- Это -- только проявление известной вежливости, которую я волен вам оказывать, волен нет!

-- Извините-с! Раз я исправляю должность главного врача, вы это по закону обязаны делать!

-- Я такого закона не знаю!

-- Ну, постарайтесь узнать, а пока отправляйтесь на двое суток под арест.

Офицер обратился к начальнику дивизии и рассказал ему, как было дело. Пригласили д-ра Васильева. Генерал, начальник его штаба и два штаб-офицера разобрали дело и порешили: смотритель был обязан крикнуть: "встать!" От ареста его освободили, но перевели из госпиталя в строй.

Когда смотритель ушел, начальник дивизии сказал д-ру Васильеву:

-- Вы видите, я генерал. Я служу уж почти сорок лет, поседел на службе, -- и до сих пор ни разу еще не посадил офицера под арест. Вы только что попали на военную службу, временно, на несколько дней получили власть, -- и уж поспешили использовать эту власть в полнейшем ее объеме.

В мирное время нашего корпуса не существовало. При мобилизации он был развернут из одной бригады и почти целиком состоял из запасных. Солдаты были отвыкшие от дисциплины, удрученные думами о своих семьях, многие даже не знали обращения с винтовками нового образца. Они шли на войну, а в России оставались войска молодые, свежие, состоявшие из кадровых солдат. Рассказывали, что военный министр Сахаров

сильно враждует с Куропаткиным и нарочно, чтобы вредить ему, посылает на Дальний Восток самые плохие войска. Слухи были очень настойчивы, и Сахарову в беседах с корреспондентами приходилось усиленно оправдываться в своем непонятном образе действий.

Я познакомился в штабе с местным дивизионным врачом; он по болезни уходил в отставку и дослуживал свои последние дни. Был это очень милый и добродушный старичок, -- жалкий какой-то, жестоко поклеванный жизнью. Я из любопытства поехал с ним в местный военный лазарет на заседание комиссии, которая осматривала солдат, заявившихся больными. Мобилизованы были и запасные самых ранних призывов; перед глазами бесконечною вереницею проходили ревматики, эмфизематики, беззубые, с растяжением ножных вен. Председатель комиссии, бравый кавалерийский полковник, морщился и жаловался, что очень много "протестованных". Меня, напротив, удивляло, скольких явно больных заседавшие здесь военные врачи не "протестуют". По окончании заседания к моему знакомцу обратился один из врачей комиссии:

-- Мы тут без вас признали одного негодным к службе. Посмотрите, -- можно его освободить? Сильнейшее varicose.

Ввели солдата.

-- Спусти штаны! -- резко, каким-то особенным, подозревающим голосом сказал дивизионный врач. -- Эге! Это-то? Пу-устяки! Нет, нет, освободить нельзя!

-- Ваше высокородие, я совсем ходить не могу, -- угрюмо заявил солдат.

Старичок вдруг вскипел.

-- Врешь! Притворяешься! Великолепно можешь ходить!.. У меня, брат, у самого еще больше, а вот хожу!.. Да это пустяки, помилуйте! -- обратился он к врачу. -- Это у большинства так... Мерзавец какой! Сукин сын!

Солдат одевался, с ненавистью глядя исподлобья на дивизионного врача. Оделся и медленно пошел к двери, расставляя ноги.

-- Иди как следует! -- заорал старик, бешено затопав ногами. -- Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня, брат, не надуешь!

Они обменялись взглядами, полными ненависти. Солдат вышел.

В полках старшие врачи, военные, твердили младшим, призванным из запаса:

-- Вы незнакомы с условиями военной службы. Относитесь к солдатам построже, имейте в виду, что это не обычный пациент. Все они удивительные лодыри и симулянты.

Один солдат обратился к старшему врачу полка с жалобой на боли в ногах, мешающие ходить. Наружных признаков не было, врач раскричался на солдата и прогнал его.

Младший полковой врач пошел следом за солдатом, тщательно осмотрел его и нашел типическую, резко выраженную плоскую стопу. Солдат был освобожден. Через несколько дней этот же младший врач присутствовал в качестве дежурного на стрельбе. Солдаты возвращаются, один сильно отстал, как-то странно припадает на ноги. Врач спросил, что с ним.

-- Ноги болят. Только болезнь нутряная, снаружи не видно, -- сдержанно и угрюмо ответил солдат.

Врач исследовал, -- оказалось полное отсутствие коленных рефлексов. Разумеется, освободили и этого солдата.

Вот они, лодыри! И освобождены они были только потому, что молодой врач "не был знаком с условиями военной службы".

Нечего говорить, как жестоко было отправлять на войну всю эту немощную, стариковскую силу. Но прежде всего это было даже прямо нерасчетливо. Проехав семь тысяч верст на Дальний Восток, эти солдаты после первого же перехода сваливались. Они заполняли госпитали, этапы, слабосильные команды, через один-два месяца -- сами никуда уж не годные, не принесшие никакой пользы и дорого обошедшиеся казне, -- эвакуировались обратно в Россию.

* * *

Город все время жил в страхе и трепете. Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки. Они говорили: "Пускай под суд отдадут, -- все равно помирать!" Вечером за лагерями солдаты напали на пятьдесят возвращавшихся с кирпичного завода баб и изнасиловали их. На базаре шли глухие слухи, что готовится большой бунт запасных.

С востока приходили все новые известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках русских сотников и поручиков. Газеты писали, что победы японцев в горах неувидительны, -- они природные горные жители; но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, и дело теперь пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев совсем уже нет ни денег, ни людей, что убыль в солдатах пополняется четырнадцатилетними мальчишками и дряхлыми стариками. Куропаткин, исполняя свой никому неведомый план, отступал к грозно укрепленному Ляояну. Военные обозреватели писали: "Лук согнулся, тетива напряглась до крайности, -- и скоро смертоносная стрела с страшною силою полетит в самое сердце врага".

Наши офицеры смотрели на будущее радостно. Они говорили, что в войне наступает перелом, победа русских несомненна, и нашему корпусу навряд ли даже придется быть в деле: мы там нужны только, как сорок тысяч лишних штыков при заключении мира. В начале августа пошли на Дальний Восток эшелоны нашего корпуса. Один офицер, перед самым отходом своего эшелона, застрелился в гостинице. На Старом Базаре в булочную зашел солдат, купил фунт ситного хлеба, попросил дать ему нож нарезать хлеб и этим ножом полоснул себя по горлу. Другой солдат застрелился за лагерем из винтовки. Однажды зашел я на вокзал, когда уходил эшелон. Было много публики, были представители от города. Начальник дивизии напутствовал уходящих речью; он говорил, что прежде всего нужно почитать бога, что мы с богом начали войну, с богом ее и кончим. Раздался звонок, пошло прощание. В воздухе стояли плач и вой женщин. Пьяные солдаты размещались в вагонах, публика совала отъезжающим деньги, мыло, папиросы. Около вагона младший унтер-офицер прощался с женою и плакал, как маленький мальчик; усатое загорелое лицо было залито слезами, губы кривились и распускались от плача. Жена была тоже загорелая, скуластая и ужасно безобразная. На ее руке сидел грудной ребенок в шапочке из разноцветных лоскутков, баба качалась от рыданий, и ребенок на ее руке качался, как листок под ветром. Муж рыдал и целовал безобразное лицо бабы, целовал в губы, в глаза, ребенок на ее руке качался. Странно было, что можно так рыдать от любви к этой уродливой женщине, и к горлу подступали слезы от несшихся отовсюду рыданий и всхлипывающих вздохов. И глаза жадно останавливались на набитых в вагоны людях: сколько из них воротится? сколько ляжет трупами на далеких залитых кровью полях?

-- Ну, садись, полезай в вагон! -- торопили унтер-офицера. Его подхватили под руки и подняли в вагон. Он, рыдая, рвался наружу к рыдающей бабе с качающимся на руке ребенком.

-- Разве солдат может плакать? -- строго и упрекающе говорил фельдфебель.

-- Ма-атушка ты моя ро-оденькая!.. -- тоскливо выли бабьи голоса.

-- Отходи, отходи! -- повторяли жандармы и оттесняли толпу от вагонов. Но толпа сейчас же опять приливали назад, и жандармы опять теснили ее.

-- Чего стараетесь, продажные души? Аль не жалко вам? -- с негодованием говорили из толпы.

-- Не жалко? Нешто не жалко? -- поучающе возражал жандарм. -- А только так-то вот люди и режутся, и режут. И под колеса бросаются. Нужно смотреть.

Поезд двинулся. Вой баб стал громче. Жандармы оттесняли толпу. Из нее выскочил солдат, быстро перебежал платформу и протянул уезжавшим бутылку водки. Вдруг, как из земли, перед солдатом вырос комендант. Он вырвал у солдата бутылку и ударил ее о

плиты. Бутылка разлетелась вдребезги. В публике и в двигавшихся вагонах раздался угрожающий ропот. Солдат вспыхнул и злобно закусил губу.

-- Не имеешь права бутылку разбивать! -- крикнул он на офицера.

-- Что-о?

Комендант размахнулся и изо всей силы ударил солдата по лицу. Неизвестно откуда, вдруг появилась стража с ружьями и окружила солдата.

Вагоны двигались все скорее, пьяные солдаты и публика кричали "ура!". Безобразная жена унтер-офицера покачнулась и, роняя ребенка, без чувств повалилась наземь. Соседка подхватила ребенка.

Поезд исчезал вдаль. По перрону к арестованному солдату шел начальник дивизии.

-- Ты что это, голубчик, с офицерами вздумал ругаться, а? -- сказал он.

Солдат стоял бледный, сдерживая бушевавшую в нем ярость.

-- Ваше превосходительство! Лучше бы он у меня столько крови пролил, сколько водки...

Ведь нам в водке только и жизнь, ваше превосходительство!

Публика теснилась вокруг.

-- Его самого офицер по лицу ударил. Позвольте, генерал, узнать, -- есть такой закон?

Начальник дивизии как будто не слышал. Он сквозь очки взглянул на солдата и отдельно произнес:

-- Под суд, в разряд штрафованных -- и порка!.. Увести его.

Генерал пошел прочь, повторив еще раз медленно и отдельно:

-- Под суд, в разряд штрафованных -- и порка!

II. В пути

Отходил наш эшелон.

Поезд стоял далеко от платформы, на запасном пути. Вокруг вагонов толпились солдаты, мужики, мастеровые и бабы. Монопольки уже две недели не торговали, но почти все солдаты были пьяны. Сквозь тягуче-скорбный вой женщин прорезывались бойкие переборы гармоники, шутки и смех. У электрического фонаря, прислонившись спиной к его подножью, сидел мужик с провалившимся носом, в рваном зипуне, и жевал хлеб.

Наш смотритель, -- поручик, призванный из запаса, -- в новом кителе и блестящих погонах, слегка взволнованный, расхаживал вдоль поезда.

-- По ваго-онам! -- раздался его надменно-повелительный голос.

Толпа спешно всколыхнулась. Стали прощаться. Шатающийся, пьяный солдат впился губами в губы старухи в черном платочке, приник к ним долго, крепко; больно было смотреть, казалось, он выдавит ей зубы; наконец, оторвался, ринулся целоваться с блаженно улыбающимся, широкобородым мужиком. В воздухе, как завывание вьюги, тоскливо переливался вой женщин, он обрывался всхлипывающими передышками, ослабевал и снова усиливался.

-- Бабы! Прочь от вагонов! -- грозно крикнул поручик, идя вдоль поезда.

Из вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика смотрел солдат с русою бородкой.

-- Баб наших, ваше благородие, вы гнать не смеете! -- резко сказал он. -- Вам над нами власть дадена, на нас и кричите. А баб наших не трогайте.

-- Верно! Над бабами вам власти нету! -- зароптали другие голоса.

Смотритель покраснел, но притворился, что не слышит, и более мягким голосом сказал:

-- Запирай двери, поезд сейчас пойдет!

Раздался кондукторский свисток, поезд дрогнул и начал двигаться.

-- Ура! -- загремело в вагонах и в толпе.

Среди рыдающих, бессильно склонившихся жен, поддерживаемых мужчинами, мелькнуло безносое лицо мужика в рваном зипуне; из красных глаз мимо дыры носа текли слезы, и губы дергались.

-- Ур-ра-а!!! -- гремело в воздухе под учащавшийся грохот колес. В переднем вагоне хор солдат нестройно запел "Отче наш". Вдоль пути, отставая от поезда, быстро шел широкобородый мужик с блаженным красным лицом; он размахивал руками и, широко открывая темный рот, кричал "ура".

Навстречу кучками шли из мастерских железнодорожные рабочие в синих блузах.

-- Вертайтесь, братцы, здоровы! -- крикнул один.

Другой взбросил фуражку высоко в воздух.

-- Ура! -- раздалось в ответ из вагонов.

Поезд грохотал и мчался вдаль. Пьяный солдат, высунувшись по пояс из высоко поставленного, маленького оконца товарного вагона, непрерывно все кричал "ура", его профиль с раскрытым ртом темнел на фоне синего неба. Люди и здания остались позади, он махал фуражкой телеграфным столбам и продолжал кричать "ура".

В наше купе вошел смотритель. Он был смущен и взволнован.

-- Вы слышали? Мне сейчас рассказывали на вокзале офицеры: говорят, вчера солдаты убили в дороге полковника Лукашева. Они пьяные стали стрелять из вагонов в проходившее стадо, он начал их останавливать, они его застрелили.

-- Я это иначе слышал, -- возразил я. -- Он очень грубо и жестоко обращался с солдатами, они еще тут говорили, что убьют его в дороге.

-- Да-а... -- Смотритель помолчал, широко открытыми глазами глядя перед собою. -- Однако нужно быть с ними поосторожнее...

* * *

В солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но водки у них было сколько угодно. Днем и ночью из вагонов неслись песни, пьяный говор, смех. При отходе поезда от станции солдаты нестройно и пьяно, с вялым надсадом, кричали "ура", а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них.

Тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье. Хотелось веселиться вовсю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно, и все-таки скучно. Ефрейтор Сучков, бывший сапожник, упорно и деловито плясал на каждой остановке. Как будто службу какую-то исполнял. Солдаты толпились вокруг.

Длинный и вихрастый, в ситцевой рубашке, заправленной в брюки, Сучков станет, хлопнет в ладоши и, присев, пойдет под гармонику. Движения медленные и раздражающе-вялые, тело мягко извивается, как будто оно без костей, ноги, болтаясь, вылетают вперед. Потом он захватит руками носок сапога и продолжает плясать на одной ноге, тело все так же извивается, и странно, -- как он, насквозь пьяный, удерживается на одной ноге? А Сучков вдруг подпрыгнет, затопает ногами, -- и опять вылетают вперед болтающиеся ноги, и надоедливо-вяло извивается словно бескостное тело.

Кругом посмеиваются.

-- Ты бы, дядя, повеселее!

-- Слышь, земляк! Ступай за ворота! Наплачься раньше, а потом пляши!

-- Есть одно колено, его только и показывает! -- махнув рукою, говорит ротный фельдшер и отходит прочь.

Как будто и самого Сучкова начинает выводить из себя вялость его движений, бессильных разразиться лихую пляскою. Он вдруг остановится, топнет ногою и яростно заколотит себя кулаками в грудь.

-- Ну-ка, еще по грудям стукни, что у тебя там звенело? -- смеется фельдфебель.

-- Буде плясать, оставь на завтра, -- сурово говорят солдаты и лезут обратно в вагоны.

Но иногда, -- нечаянно, сама собою, -- вдруг на каком-нибудь полустанке вспыхивала бешеная пляска. Помост трещал под каблуками, сильные тела изгибались, приседали,

подпрыгивали, как мячики, и в выжженную солнцем степь неслись безумно-веселые уханья и присвисты.

На Самаро-Златоустовской дороге нас нагнал командир нашего корпуса; он ехал в отдельном вагоне со скорым поездом. Поднялась суета, бледный смотритель взволнованно выстраивал перед вагонами команду, "кто в чем есть", -- так приказал корпусный. Самых пьяных убрали в дальние вагоны.

Генерал перешел через рельсы на четвертый путь, где стоял наш эшелон, и пошел вдоль выстроившихся солдат. К некоторым он обращался с вопросами, те отвечали связно, но старались не дышать на генерала. Он молча пошел назад.

Увы! На перроне, недалеко от вагона корпусного командира, среди толпы зрителей плясал Сучков! Он плясал и вызывал плясать с собою кокетливую, полногрудую горничную.

-- Ты что ж, вареной колбасы хочешь? Что не пляшешь?

Горничная, посмеиваясь, ушла в толпу, Сучков бросился за нею.

-- Ну, чертовка, ты у меня смотри! Я тебя заметил!..

Смотритель обомлел.

-- Убрать его, -- грозно прошипел он другим солдатам.

Солдаты подхватили Сучкова и потащили прочь. Сучков ругался, кричал и упирался.

Корпусный и начальник штаба молча смотрели со стороны.

Через минуту главный врач стоял перед корпусным командиром, вытянувшись и приложив руку к козырьку. Генерал сурово сказал ему что-то и вместе с начальником штаба ушел в свой вагон.

Начальник штаба вышел обратно. Похлопывая изящным стеком по лакированному сапогу, он направился к главному врачу и смотрителю.

-- Его высокопревосходительство объявляет вам строгий выговор. Мы обогнали много эшелонов, все представлялись в полном порядке! Только у вас вся команда пьяна.

-- Г. полковник, ничего нельзя с ними поделать.

-- Вы бы им давали книжки религиозно-нравственного содержания.

-- Не помогает. Читают и все-таки пьют.

-- Ну, а тогда... -- Полковник выразительно махнул по воздуху стеком. -- Попробуйте... Это великолепно помогает.

Был этот разговор не позже, как через две недели после высочайшего манифеста о полной отмене телесных наказаний.

* * *

Мы "перевалили через Урал". Кругом пошли степи. Эшелоны медленно ползли один за другим, стоянки на станциях были бесконечны. За сутки мы проезжали всего полтораста -- двести верст.

Во всех эшелонах шло такое же пьянство, как и в нашем. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она целиком опиралась на устрашение, -- но люди знали, что едут умирать, чем же их было утешить? Смерть -- так ведь и без того смерть; другое наказание, -- какое ни будь, все-таки же оно лучше смерти. И происходили такие сцены.

Начальник эшелона подходит к выстроившимся у поезда солдатам. На фланге стоит унтер-офицер и... курит папироску.

-- Это что такое? Ты -- унтер-офицер! -- не знаешь, что в строю нельзя курить?..

-- Отчего же... пфф! пфф!.. отчего же это мне не курить? -- спокойно спрашивает унтер-офицер, попыхивая папироскою. И ясно, он именно добивается, чтоб его отдали под суд. У нас в вагоне шла своя однообразная и размеренная жизнь. Мы, четверо "младших" врачей, ехали в двух соседних купе: старший ординатор Гречихин, младшие ординаторы Селюков, Шанцер и я. Люди все были славные, мы хорошо сошлись. Читали, спорили, играли в шахматы.

Иногда к нам заходил из своего отдельного купе наш главный врач Давыдов. Он много и охотно рассказывал нам об условиях службы военного врача, о царящих в военном ведомстве непорядках; рассказывал о своих столкновениях с начальством и о том, как благородно и независимо он держался в этих столкновениях. В рассказах его чувствовалась хвастливость и желание подладиться под наши взгляды. Интеллигентного в нем было мало, шутки его были циничны, мнения пошлы и банальны.

За Давыдовым по пятам всюду следовал смотритель, офицер-поручик, взятый из запаса. До призыва он служил земским начальником. Рассказывали, что, благодаря большой протекции, ему удалось избежать строя и попасть в смотрители госпиталя. Был это полный, красивый мужчина лет под тридцать, -- туповатый, заносчивый и самовлюбленный, на редкость ленивый и нераспорядительный. Отношения с главным врачом у него были великолепные. На будущее он смотрел мрачно и грустно.

-- Я знаю, с войны я не ворочусь. Я страшно много пью воды, а вода там плохая, непременно заражусь тифом или дизентерией. А то под хунхузскую пулю попаду. Вообще, воротиться домой я не рассчитываю.

Ехали с нами еще аптекарь, священник, два зауряд-чиновника и четыре сестры милосердия. Сестры были простые, мало интеллигентные девушки. Они говорили "колидор", "милосливый государь", обиженно дулись на наши невинные шутки и сконфуженно смеялись на двусмысленные шутки главного врача и смотрителя.

На больших остановках нас нагонял эшелон, в котором ехал другой госпиталь нашей дивизии. Из вагона своею красивою, лениво-развалистою походкой выходил стройный д-р Султанов, ведя под руку изящно одетую, высокую барышню. Это, как рассказывали, -- его племянница. И другие сестры были одеты очень изящно, говорили по-французски, вокруг них увивались штабные офицеры.

До своего госпиталя Султанову было мало дела. Люди его голодали, лошади тоже. Однажды, рано утром, во время стоянки, наш главный врач съездил в город, купил сена, овса. Фураж привезли и сложили на платформе между нашим эшелоном и эшелоном Султанова. Из окна выглянул только что проснувшийся Султанов. По платформе суетливо шел Давыдов. Султанов торжествующе указал ему на фураж.

-- А у меня вот уж есть овес! -- сказал он.

-- Та-ак! -- иронически отозвался Давыдов.

-- Видите? И сено.

-- И сено? Великолепно!.. Только я все это прикажу сейчас грузить в мои вагоны.

-- Как это так?

-- Так. Потому что это я купил.

-- А-а... А я думал, мой смотритель. -- Султанов лениво зевнул и обратился к стоявшей рядом племяннице: -- Ну, что ж, пойдём на вокзал кофе пить!

* * *

Сотни верст за сотнями. Местность ровная, как стол, мелкие перелески, кустарник. Пашен почти не видно, одни луга. Зеленеют выкошенные поляны, темнеют копны и небольшие стожки. Но больше лугов нескошенных; рыжая, высохшая на корню трава клонится под ветром и шуршит семенами в сухих семенных коробочках. Один перегон в нашем эшелоне ехал местный крестьянский начальник, он рассказывал: рабочих рук нет, всех взрослых мужчин, включая ополченцев, угнали на войну; луга гибнут, пашни не обработаны. Однажды под вечер, где-то под Каинском, наш поезд вдруг стал давать тревожные свистки и круто остановился среди поля. Вбежал денщик и оживленно сообщил, что сейчас мы чуть-чуть не столкнулись с встречным поездом. Подобные тревоги случались то и дело: дорожные служащие были переутомлены сверх всякой меры, уходить им не позволялось под страхом военного суда, вагоны были старые, изношенные; то загоралась ось, то отрывались вагоны, то поезд проскакивал мимо стрелки.

Мы вышли наружу. Впереди перед нашим поездом виднелся другой поезд. Паровозы стояли, выпучив друг на друга свои круглые фонари, как два врага, встретившиеся на узкой тропинке. В сторону тянулась кочковатая, заросшая осокою поляна; вдали, меж кустов, темнели копны сена.

Встречный поезд задним ходом двинулся обратно. Дал свисток и наш поезд. Вдруг вижу, -- от кустов бежит через поляну к вагонам несколько наших солдат, и у каждого в руках огромная охапка сена.

-- Эй! Бросьте сено! -- крикнул я.

Они продолжали бежать к поезду. Из солдатских вагонов слышались поощрительные замечания.

-- Нет уж! Добежали, -- теперь сено наше!

Из окна вагона с любопытством смотрели главный врач и смотритель.

-- Сейчас же бросить сено, слышите?! -- грозно заорал я.

Солдаты побросали охапки на откос и с недовольным ворчанием полезли в двинувшийся поезд. Я, возмущенный, вошел в вагон.

-- Черт знает, что такое! Здесь уж, у своих, начинается мародерство! И как бесцеремонно, -- у всех на глазах!

-- Да ведь тут сену цена грош, оно все равно сгниет в копнах, -- неохотно возразил главный врач.

Я удивился:

-- То есть, как это? Позвольте! Вы же вчера только слышали, что рассказывал крестьянский начальник: сено, напротив, очень дорого, косить его некому; интендантство платит по сорок копеек за пуд. А главное, ведь это же мародерство, этого в принципе нельзя допускать.

-- Ну, да! Ну, да, конечно! Кто ж об этом спорит? -- поспешно согласился главный врач. Разговор оставил во мне странное впечатление. Я ждал, что главный врач и смотритель возмутятся, что они соберут команду, строго и решительно запретят ей мародерствовать. Но они отнеслись к происшедшему с глубочайшим равнодушием. Денщик, слышавший наш разговор, со сдержанною усмешкой заметил мне:

-- Для кого солдат тащит? Для лошадей. Начальству же лучше, -- за сено не платить.

Тогда мне вдруг стало понятно и то, что меня немножко удивило три дня назад: главный врач на одной маленькой станции купил тысячу пудов овса по очень дешевой цене; он воротился в вагон довольный и сияющий.

-- Купил сейчас овес по сорок пять копеек! -- с торжеством сообщил он.

Меня удивило, -- неужели он так радуется, что сберег для казны несколько сот рублей? Теперь его восторг становился мне более понятным.

На каждой станции солдаты тащили все, что попадалось под руку. Часто нельзя было даже понять, для чего это им. Попадается собака, -- они подхватывают ее и водворяют на вагоне-платформе между фурами; через день-другой собака убегает, солдаты ловят новую. Как-то заглянул я на одну из платформ: в сене были сложены красная деревянная миска, небольшой чугунный котел, два топора, табуретка, шайки. Это все была добыча. На одном разъезде вышел я походить. У откоса стоит ржавая чугунная печка; вокруг нее подозрительно толкуются наши солдаты, поглядывают на меня и посмеиваются. Я поднялся в свой вагон, они встрепенулись. Через несколько минут я вышел опять. Печки на откосе нет, солдаты ныряют под вагоны, в одном из вагонов с грохотом передвигается что-то тяжелое.

-- Живого человека стащат и спрячут! -- весело говорит мне сидящий на откосе солдат.

Как-то вечером, на станции Хилок, я вышел из поезда, спрашиваю мальчика, нельзя ли где купить здесь хлеба.

-- Там на горе еврей торгует, да он заперся.

-- Отчего?

-- Боится.

-- Чего же боится?

Мальчик промолчал. Мимо шел солдат с чайником кипятку.

-- Если днем тащим все, то ночью лавку вместе с жидом самим стащим! -- на ходу объяснил он мне.

На больших остановках солдаты разводили костры и то варили суп из кур, взявшихся неизвестно откуда, то палили свинью, будто бы задавленную нашим поездом.

Часто они разыгрывали свои реквизиции по очень тонким и хитрым планам. Однажды мы долго стояли у небольшой станции. Худой, высокий и испитой хохол Кучеренко, остряк нашей команды, дурачился на полянке у поезда. Он напялил на себя какую-то рогожу, шатался, изображая пьяного. Солдат, смеясь, толкнул его в канаву. Кучеренко повозился там и полез назад; за собою он сосредоточенно тащил погнутый и ржавый железный цилиндр из-под печки.

-- Каспада, сичас путит мусика!.. Пашалста, нэ мэшайт! -- объявил он, изображая из себя иностранца.

Вокруг толпились солдаты и обитатели станционного поселка. Кучеренко, с рогожею на плечах, возился над своим цилиндром, как медведь над чурбаном. С величественно-серьезным видом он задвигал около цилиндра рукою, как будто вертел воображаемую ручку шарманки, и хрипло запел:

Зачем ты, безумная... Трр... Трр... Уу-о!

Того, кто... уээ! Трр... Трр... завлекся... Трррр...

Кучеренко изображал испорченную шарманку до того великолепно, что все кругом хохотали: станционные жители, солдаты, мы. Сняв фуражку, он стал обходить публику.

-- Каспада, пошалуйтэ пэдному тальянскому мусиканту за труды.

Унтер-офицер Сметанников сунул ему в руку камень. Кучеренко в недоумении покрутил над камнем головою и швырнул его в спину убежавшему Сметанникову.

-- По вагонам! -- раздалась команда. Поезд свистнул, солдаты стремглав бросились к вагонам.

На следующей остановке они варили на костре суп: в котле густо плавали куры и утки. Подошли две наших сестры.

-- Не желаете ли, сестрицы, курятинки? -- предложили солдаты.

-- Откуда она у вас?

Солдаты лукаво посмеивались.

-- Музыканту нашему за труды подали!

Оказалось, пока Кучеренко отвлекал на себя внимание жителей поселка, другие солдаты очищали их дворы от птичьей живности. Сестры начали стыдить солдат, говорили, что воровать нехорошо.

-- Ничего нехорошего! Мы на царской службе, что ж нам есть? Вон, три дня уж горячей пищи не дают, на станциях ничего не купишь, хлеб невыпеченный. С голоду, что ли, издыхать?

-- Мы что! -- заметил другой. -- А вон кирсановцы, так те целых две коровы стащили!

-- Ну, вот представь себе: у тебя, скажем, дома одна корова; и вдруг свои же, православные, возьмут ее и сведут! Разве бы не обидно было тебе? То же вот и здесь: может быть, последнюю корову свели у мужика, он теперь убивается с горя, плачет.

-- Э!.. -- Солдат махнул рукой. -- А у нас нешто мало плачут? Везде плачут.

* * *

Когда мы были под Красноярском, стали приходиться вести о Ляоянском бое. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали о близкой победе, об отступающих японцах, о захваченных орудиях. Потом пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками, и наконец --

обычное сообщение об отступлении "в полном порядке". Жадно все хватались за газеты, вчитывались в телеграммы, -- дело было ясно: мы разбиты и в этом бою, неприступный Ляоян взят, "смертоносная стрела" с "туго натянутой тетивы" бессильно упала на землю, и мы опять бежим.

Настроение в эшелонах было мрачное и подавленное.

Вечером мы сидели в маленьком зале небольшой станции, ели скверные, десяток раз подогретые щи. Скопилось несколько эшелонов, зал был полон офицерами. Против нас сидел высокий, с впалыми щеками штабс-капитан, рядом с ним молчаливый подполковник.

Штабс-капитан громко, на всю залу, говорил:

-- Японские офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паек. Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. Жизнь свою никто не дорожит, каждый готов все отдать за родину. Почему? Потому что у них есть идея. Потому что они знают, за что сражаются. И все они образованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый дает себе отчет в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового, все думают только о победе над врагом. И интендантство думает об этом же.

Штабс-капитан говорил то, что все знали из газет, но говорил так, как будто он все это специально изучил, а никто кругом этого не знает. У буфета шумел и о чем-то препирался с буфетчиком необъятно-толстый, пьяный капитан.

-- А у нас что? -- продолжал штабс-капитан. -- Кто из нас знает, зачем война? Кто из нас воодушевлен? Только и разговоров, что о прогонах да о подъемных. Гонят нас всех, как баранов. Генералы наши то и знают, что ссорятся меж собою. Интендантство ворует.

Посмотрите на сапоги наших солдат, -- в два месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги двадцать пять комиссий!

-- И забраковать нельзя, -- поддержал его наш главный врач. -- Товар не перегорелый, не гнилой.

-- Да. А в первый же дождь подошва под ногою разъезжается... Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, -- может такой солдат победить или нет?

Он громко говорил на всю залу, и все сочувственно слушали. Наш зритель опасливо поглядывал по сторонам. Он почувствовал себя неловко от этих громких, небоящихся речей и стал возражать: вся суть в том, как сшит сапог, а товар интендантства прекрасный, он сам его видел и может засвидетельствовать.

-- И как хотите, господа, -- своим полным, самоуверенным голосом заявил зритель. -- Дело вовсе не в сапогах, а в духе армии. Хорош дух, -- и во всяких сапогах разобьешь врага.

-- Босой, с ногами в язвах, не разобьешь, -- возразил штабс-капитан.

-- А дух хорош? -- с любопытством спросил подполковник.

-- Мы сами виноваты, что нехорош! -- горячо заговорил зритель. -- Мы не сумели воспитать солдата. Видите ли, ему идея нужна! Идея, -- скажите, пожалуйста! И нас, и солдат должен вести воинский долг, а не идея. Не дело военного говорить об идеях, его дело без разговора идти и умирать.

Подошел шумевший у буфета толстый капитан. Он молча стоял, качался на ногах и пучил глаза на говоривших.

-- Нет, господа, вы мне вот что скажите, -- вдруг вмешался он. -- Ну, как, -- как я буду брать сопку?!

Он разводил руками и с недоумением оглядывал свой огромный живот.

* * *

Назади остались степи, местность становилась гористой. Вместо маленьких, корявых березок кругом высились могучие, сплошные леса. Таежные сосны сурово и сухо шумели

под ветром, и осина, красавица осени, сверкала среди темной хвои нежным золотом, пурпуром и багрянцем. У железнодорожных мостиков и на каждой версте стояли охранники-часовые, в сумерках их одинокие фигуры темнели среди глухой чащи тайги. Проехали мы Красноярск, Иркутск, поздно ночью прибыли на станцию Байкал. Нас встретил помощник коменданта, приказано было немедленно вывести из вагонов людей и лошадей; платформы с повозками должны были идти на ледоколе неразгруженными. До трех часов ночи мы сидели в маленьком, тесном зальце станции. В буфете нельзя было ничего получить, кроме чаю и водки, потому что в кухне шел ремонт. На платформе и в багажном зальце вповалку спали наши солдаты. Пришел еще эшелон; он должен был переправляться на ледоколе вместе с нами. Эшелон был громадный, в тысячу двести человек; в нем шли на пополнение частей запасные из Уфимской, Казанской и Самарской губерний; были здесь русские, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди.

Уже в пути мы заметили этот злосчастный эшелон. У солдат были малиновые погоны без всяких цифр и знаков, и мы прозвали их "малиновой командой". Команду вел один поручик. Чтобы не заботиться о довольствии солдат, он выдавал им на руки казенные 21 копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам, раздобывая себе пищи.

Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, -- не хватало кипятку. Поезд останавливался, из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска: "кипяток бесплатно".

-- Давай кипятку!

-- Кипятку нет. Греют. Эшелоны весь разобрали.

Одни вяло возвращались обратно, другие, с сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали.

Иногда дождутся, чаще нет и с пустыми чайниками бегут к отходящим вагонам. Пели они на остановках и песни, пели скрипучими, жидкими тенорами, и странно: песни все были арестантские, однообразно-тягучие, тупо-равнодушные, и это удивительно подходило ко всему впечатлению от них.

Напрасно, напрасно в тюрьме я сижу,

Напрасно на волю святую гляжу.

Погиб я, мальчишка, погиб навсегда!

Годы за годами проходят лета...

В третьем часу ночи в черной мгле озера загудел протяжный свисток, ледокол "Байкал" подошел к берегу. По бесконечной платформе мы пошли вдоль рельсов к пристани. Было холодно. Возле шпал тянулась выстроенная попарно "малиновая команда". Обвешанные мешками, с винтовками к ноге, солдаты неподвижно стояли с угрюмыми, сосредоточенными лицами; слышался незнакомый, гортанный говор.

Мы поднялись по сходням на какие-то мостки, повернули вправо, потом влево и незаметно вдруг очутились на верхней палубе парохода; было непонятно, где же она началась. На пристани ярко сияли электрические фонари, вдаль мрачно чернела сырая темь озера. По сходням солдаты взводили волнующихся, нервно-вздрагивающих лошадей, внизу, отрывисто посвистывая, паровозы вкатывали в пароход вагоны и платформы. Потом двинулись солдаты.

Они шли бесконечною вереницею, в серых, неуклюжих шинелях, обвешанные мешками, держа в руках винтовки прикладами к земле.

В узком входе на палубу солдаты сбивались в кучу и останавливались. Сбоку на возвышении стоял какой-то инженер и, выходя из себя, кричал:

-- Да не задерживай! Чего толчетесь?.. Ах, с-сукины дети! Иди вперед, чего стоишь?!

И солдаты, с понуренными головами, напирали. И следом шли, шли все новые, -- однообразные, серые, угрюмые, как будто стадо овец.

Все было погружено, прогудел третий свисток. Пароход дрогнул и стал медленно подаваться назад. В громадном, неясном сооружении с высокими помостами образовался ровный овальный вырез, -- и сразу стало понятно, где кончались помосты и начиналось тело парохода. Плавно подрагивая, мы понеслись в темноту.

В пароходном зале первого класса было ярко, тепло и просторно. Пахло паровым отоплением; и каюты были уютные, теплые. Пришел поручик в фуражке с белым околышем, ведущий "малиновую команду". Познакомились. Он оказался очень милым господином.

Мы вместе поужинали. Легли спать, кто в каютах, кто в столовой. На заре меня разбудил товарищ Шанцер.

-- Викентий Викентьевич, вставайте! Не пожалеете! Давно вас хотел разбудить. Теперь, все равно, через двадцать минут приходим.

Я вскочил, умылся. В столовой было тепло. В окно виднелся лежащий на палубе солдат; он спал, привалившись головою к мешку, скорчившись под шинелью, с посиневшим от стужи лицом.

Мы вышли на палубу. Светало. Тусклые, серые волны мрачно и медленно вздымались, водная гладь казалась выпуклою. По ту сторону озера нежно голубели далекие горы. На пристани, к которой мы подплывали, еще горели огни, а кругом к берегу теснились заросшие лесом горы, мрачные, как тоска. В отрогах и на вершинах белел снег. Черные горы эти казались густо закопченными, и боры на них -- шершавою, взлохмаченною саженою, какая бывает в долго не чищенных печных трубах. Было удивительно, как черны эти горы и боры.

Поручик громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя у пароходной трубы, кутались в шинели и угрюмо слушали. И везде, по всей палубе, лежали, скорчившись под шинелями, солдаты, тесно прижимаясь друг к другу. Было очень холодно, ветер пронизывал, как сквозняк. Всю ночь солдаты мерзли под ветром, жались к трубам и выступам, бегали по палубе, чтобы согреться.

Ледокол медленно подплыл к пристани, вошел в высокое сооружение с овальным вырезом и опять слился с запутанными помостами и сходнями, и опять нельзя было понять, где кончается пароход и начинаются мостки. Явился помощник коменданта и обратился к начальникам эшелонов с обычными вопросами.

Конюхи сводили по сходням фыркающих лошадей, внизу подходили паровозы и брали с нижней палубы вагоны. Двинулись команды. Опять, выходя из себя, свирепо кричали на солдат помощник коменданта и любезный, милый поручик с белым околышем. Опять солдаты толклись угрюмо и сосредоточенно, держа прикладами к земле винтовки с привинченными острием вниз штыками.

-- Ах, подлецы! Чего они толкутся?.. Да идите вы, сукины дети (так-то вас и так-то)! Чего стали?.. Эй, ты! Куда ящик с патронами несешь? Сюда с патронами!

Медленною бесконечною вереницею мимо двигались солдаты. Прошел, внимательно глядя вперед, пожилой татарин с слегка отвисшею губою и опущенными вниз углами губ; прошел скуластый, бородатый пермяк с изрытым оспою лицом. Все выглядели совсем как мужики, и странно было видеть в их руках винтовки. И они шли, шли, лица сменялись, и на всех была та же ушедшая в себя, как будто застывшая под холодным ветром, дума.

Никто не оглядывался на крики и ругательства офицеров, словно это было чем-то таким же стихийным, как рвавшийся с озера ледяной ветер.

Совсем рассвело. Над тусклым озером бежали тяжелые, свинцовые тучи. От пристани мы перешли на станцию. По путям, угрожающе посвистывая, маневрировали паровозы. Было ужасно холодно. Ноги стыли. Обогреться было негде. Солдаты стояли и сидели, прижавшись друг к другу, с теми же угрюмыми, ушедшими в себя, готовыми на муку лицами.

Я ходил по платформе с нашим аптекарем. В огромной косматой папахе, с орлиным носом на худощавом лице, он выглядел не как смиренный провизор, а совсем как лихой казак.

-- Вы откуда, ребята? -- спросил он солдат, сидевших кучкою у фундамента станции.

-- Казанские... Есть Уфимские, Самарские... -- неохотно ответил маленький белобрысый солдат. На его груди, из-под повязанного через плечо полотнища палатки, торчал огромный ситный хлеб.

-- Из Тимохинской волости есть, Казанской губернии?

Солдат просиял.

-- Да мы тимохинские!

-- Да ну?

-- Ей-богу!.. Вот тоже он тимохинский!

-- Каменку знаете?

-- Н-нет... Никак нет! -- поправился солдат.

-- А Левашово?

-- А как же! Мы туда на базар ездим! -- с радостным удивлением отозвался солдат.

И с любовным, связывающим друг друга чувством они заговорили о родных местах, перебирали окрестные деревни. И здесь, в далекой стороне, на пороге кроваво-смертного царства, они радовались именам знакомых деревень и тому, что и другой произносил эти имена, как знакомые.

В зале третьего класса стояли шум и споры. Иззябшие солдаты требовали от сторожа, чтобы он затопил печку. Сторож отказывался, -- не имеет права взять дров. Его корили и ругали.

-- Ну, и Сибирь ваша проклятая! -- в негодовании говорили солдаты. -- Глаза мне завяжи, я с завязанными глазами пешком домой бы пошел!

-- Какая это моя Сибирь, я сам из России, -- огрызнулся заруганный сторож.

-- Что на него смотреть? Вон сколько дров наложено. Возьмем, да и затопим!

Но они не решились. Мы пошли к коменданту попросить дров, чтобы вытопить станцию: солдатам предстояло ждать здесь еще часов пять. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, никак невозможно: топить полагается только с 1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругом лежали горами.

Подали наш поезд. В вагоне было морозно, зуб не попадал на зуб, руки и ноги обратились в настоящие ледяшки. К коменданту пошел сам главный врач требовать, чтобы протопили вагон. Это тоже оказалось никак невозможно: и вагоны полагается топить только с 1-го октября.

-- Скажите мне, пожалуйста, от кого же это зависит разрешить протопить вагон теперь? -- в негодовании спросил главный врач.

-- Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если он разрешит, я прикажу истопить.

-- Виноват, вы, кажется, обмолвились! Не министру ли путей сообщения нужно послать телеграмму? А может быть, телеграмму нужно послать на высочайшее имя?

-- Что ж, пошлите на высочайшее имя! -- любезно усмехнулся комендант и повернул спину.

Наш поезд двинулся. В студеных солдатских вагонах не слышно было обычных песен, все жались друг к другу в своих холодных шинелях, с мрачными, посинелыми лицами. А мимо двигавшегося поезда мелькали огромные кубы дров; на запасных путях стояли ряды вагонов-теплушек; но их теперь по закону тоже не полагалось давать.

* * *

До Байкала мы ехали медленно, с долгими остановками. Теперь, по Забайкальской дороге, мы почти все время стояли. Стояли по пяти, по шести часов на каждом разъезде; проедем десять верст, -- и опять стоим часами. Так привыкли стоять, что, когда вагон начинал колыхаться и грохотать колесами, являлось ощущение чего-то необычного; спохватишься,

-- уж опять стоим. Впереди, около станции Карымской, произошло три обвала пути, и дорога оказалась загражденною.

Было по-прежнему студено, солдаты мерзли в холодных вагонах. На станциях ничего нельзя было достать, -- ни мяса, ни яиц, ни молока. От одного продовольственного пункта до другого ехали в течение трех-четырех суток. Эшелоны по два, по три дня оставались совсем без пищи. Солдаты из своих денег платили на станциях за фунт черного хлеба по девять, по десять копеек.

Но хлеба не хватало даже на больших станциях. Пекарни, распродав товар, закрывались одна за другою. Солдаты рыскали по местечку и Христа-ради просили жителей продать им хлеба.

На одной станции мы нагнали шедший перед нами эшелон с строевыми солдатами. В проходе между их и нашим поездом толпа солдат окружила подполковника, начальника эшелона. Подполковник был слегка бледен, видимо, подбадривал себя изнутри, говорил громким, командующим голосом. Перед ним стоял молодой солдат, тоже бледный.

-- Как тебя звать? -- угрожающе спросил подполковник.

-- Лебедев.

-- Второй роты?

-- Так точно!

-- Хорошо, ты у меня узнаешь. На каждой остановке галдеж! Я вам вчера говорил, берегите хлеб, а вы, что не доели, в окошко кидали... Где ж я вам возьму?

-- Это мы понимаем, что тут хлеба нельзя достать, -- возразил солдат. -- А мы вчера ваше высокоблагородие просили, можно было на два дня взять... Ведь знали, сколько на каждом разъезде стоим.

-- Молчать! -- гаркнул подполковник. -- Еще слово скажешь, велю тебя арестовать!.. По вагонам! Марш!

И он ушел. Солдаты угрюмо полезли в вагоны.

-- Издыхай, значит, с голоду! -- весело сказал один.

Их поезд тронулся. Замелькали лица солдат, -- бледные, озлобленно-задумчивые.

Чаще стали встречные санитарные поезда. На остановках все жадно обступали раненых, расспрашивали их. В окна виднелись лежавшие на койках тяжелораненые, -- с восковыми лицами, покрытые повязками. Ощущалось веяние того ужасного и грозного, что творилось там.

Спросил я одного раненого офицера, -- правда ли, что японцы добивают наших раненых? Офицер удивленно вскинул на меня глаза и пожал плечами.

-- А наши не добивают? Сколько угодно! Особенно казаки. Попадись им японец, -- по волоску всю голову выщиплют.

На приступочке солдатского вагона сидел сибирский казак с отрезанною ногою, с Георгием на халате. У него было широкое добродушное мужицкое лицо. Он участвовал в знаменитой стычке у Юдзятуня, под Вафангоу, когда две сотни сибирских казаков обрушились лавою на японский эскадрон и весь его перекололи пиками.

-- Кони у них добрые, -- рассказывал казак. -- А вооружение плохое, никуда не то же, одни пашки да револьверы. Как налетели мы с пиками, -- они все равно, что безоружные, ничего с нами не могли поделать.

-- Ты скольких заколол?

-- Трех.

Он, с его славным, добродушным лицом, -- он был участником этой чудовищной битвы кентавров!.. Я спросил:

-- Ну, а как, когда колол, -- ничего в душе не чувствовал?

-- Первого неловко как-то было. Боязно было в живого человека колоть. А как проколол его, он свалился, -- распалилась душа, еще бы рад десятков заколоть.

-- А небось жалеешь, что ранен? Рад бы еще с япошкою подраться, а? -- спросил наш письмоводитель, зауряд-чиновник.

-- Нет, теперь о том думать, как ребятишек прокормить...

И мужицкое лицо казака омрачилось, глаза покраснели и налились слезами.

На одной из следующих станций, когда отходил шедший перед нами эшелон, солдаты, на команду "по вагонам!", остались стоять.

-- По вагонам, слышите?! -- грозно крикнул дежурный по эшелону.

Солдаты стояли. Некоторые полезли было в вагон, но товарищи стащили их назад.

-- Не поедem дальше. Будет!

Явился начальник эшелона, комендант. Сначала они стали кричать, потом начали расспрашивать, в чем дело, почему солдаты не хотят ехать. Солдаты никаких претензий не предъявили, а твердили одно:

-- Не желаем дальше ехать! -- Их увещевали, говорили о послушании, о начальстве.

Солдаты отвечали: -- С начальством нашим, дай срок, мы еще разделаемся!

Восьмерых арестовали. Остальные сели в вагоны и поехали дальше.

Поезд шел мимо диких, угрюмых гор, пробираясь вдоль русла реки. Над поездом нависали огромные глыбы, тянулись вверх зыбкие откосы из мелкого щебня. Казалось, кашляни, -- и все это рухнет на поезд. Лунною ночью мы проехали за станцией Карымскою мимо обвала. Поезд шел по наскоро сделанному новому пути. Он шел тихо-тихо, словно крадучись, словно боясь задеть за нависшие сверху глыбы, почти касавшиеся поезда.

Ветхие вагоны поскрипывали, паровоз пыхтел редко, как будто задерживая дыхание. По правую сторону из холодной, быстрой реки торчали свалившиеся каменные глыбы и кучи щебня.

Здесь подряд произошло три обвала. Почему три, почему не десять, не двадцать? Смотрел я на этот наскоро, кое-как пробитый в горах путь, сравнивал его с железными дорогами в Швейцарии, Тироле, Италии, и становилось понятным, что будет и десять, и двадцать обвалов. И вспоминались колоссальные цифры стоимости этой первобытно-убогой, как будто дикарями проложенной дороги.

Вечером на небольшой станции опять скопилось много эшелонов. Я ходил по платформе.

В голове стояли рассказы встречных раненых, оживали и одевались плотью кровавые ужасы, творившиеся там. Было темно, по небу шли высокие тучи, порывами дул сильный, сухой ветер. Огромные сосны на откосе глухо шумели под ветром, их стволы поскрипывали.

Меж сосен горел костер, и пламя металось в черной тьме.

Вытянувшись друг возле друга, стояли эшелоны. Под тусклым светом фонарей на нарах двигались и копошились стриженные головы солдат. В вагонах пели. С разных сторон неслись разные песни, голоса сливались, в воздухе дрожало что-то могучее и широкое.

Вы спите, милые герои,
Друзья, под бурю ревущей,
Вас завтра глас разбудит мой,
На славу и на смерть зовущий...

Я ходил по платформе. Протяжные, мужественные звуки "Ермака" слабели, их покрыла однообразная, тягуче-унылая арестантская песня из другого вагона.

Взгляну, взгляну в эту миску,
Две капустинки плывут,
А за ними поочередно
Плывет стадо черваков...

Из оставшегося назади вагона протяжно и грустно донеслось:

За Русь святую погибая...

А тягучая арестантская песенка рубила свое:

Брошу ложку, сам заплачу,
Стану хлеба хоть глотать.
Арестант ведь не собака,
Он такой же человек.

Через два вагона вперед вдруг как будто кто-то крикнул от сильного удара в спину, и с удалым вскриком в тьму рванулись буйно-веселящие "Сени". Звуки крутились, свивались с уханьями и присвистами; в могучих мужских голосах, как быстрая змейка, бился частый, дробный, серебристо-стеклянный звон, -- кто-то аккомпанировал на стакане. Притоптывали ноги, и песня бешено-веселым вихрем неслась навстречу суровому ветру. Шел я назад, -- и опять, как медленные волны, вздымались протяжные, мрачно-величественные звуки "Ермака". Пришел встречный товарный поезд, остановился. Эшелон с певцами двинулся. Гулко отдаваясь в промежутке между поездами, песня звучала могуче и сильно как гимн.

И мы не даром в свете жили...
Сибирь царю покорена.

Поезда остались назади, -- и вдруг словно что-то надломилось в могучем гимне, песня зазвучала тускло и развеялась в холодной, ветряной тьме.

* * *

Утром просыпаюсь, -- слышу за окном вагона детски-радостный голос солдата:
-- Тепло!

Небо ясно, солнце печет. Во все стороны тускнеет просторная степь, под теплым ветерком колышется сухая, порыжелая трава. Вдали отлогие холмы, по степи маячат одинокие всадники-буряты, виднеются стада овец и двугорбых верблюдов. Денщик смотрителя, башкир Мохамедка, жадно смотрит в окно с улыбкою, расплывшеюся по плоскому лицу с приплюснутым носом.

-- Мохамед, чего это ты?

-- Вэрблуд! -- радостно и конфузливо отвечает он, охваченный родными воспоминаниями. И тепло, тепло. Не верится, что все эти дни было так тяжело, и холодно, и мрачно. Везде слышны веселые голоса. Везде звучат песни...

Все обвалы мы миновали, но ехали так же медленно, с такими же долгими остановками. По маршруту мы давно должны были быть в Харбине, но все еще ехали по Забайкалью. Китайская граница была уже недалеко. И в памяти оживало то, что мы читали в газетах о хунхузах, об их зверино-холодной жестокости, о невероятных муках, которым они подвергают захваченных русских. Вообще, с самого моего призыва, наиболее страшное, что мне представлялось впереди, были эти хунхузы. При мысли о них по душе проводил холодный ужас.

На одном разъезде наш поезд стоял очень долго. Невдалеке виднелось бурятское кочевье. Мы пошли его посмотреть. Нас с любопытством обступили косоглазые люди с плоскими, коричневыми лицами. По земле ползали голые, бронзовые ребята, женщины в хитрых прическах курили длинные чубуки. У юрт была привязана к колышку грязно-белая овца с небольшим курдюком. Главный врач сторговал эту овцу у бурятов и велел им сейчас же ее резать.

Овцу отвязали, повалили на спину, на живот ей сел молодой бурят с одутловатым лицом и большим ртом. Кругом стояли другие буряты, но все мялись и застенчиво поглядывали на нас.

-- Чего они ждут? Скажи, чтобы поскорее резали, а то наш поезд уйдет! -- обратился главный врач к станционному сторожу, понимавшему по-бурятски.

-- Они, ваше благородие, конфузятся. По-русски, говорят, не умеем резать, а по-бурятски конфузятся.

-- Не все ли нам равно! Пусть режут, как хотят, только поскорее.

Буряты встрепенулись. Они прижали к земле ноги и голову овцы, молодой бурят разрезал ножом живой овце верхнюю часть брюха и запустил руку в разрез. Овца забилась, ее ясные, глупые глаза заворочались, мимо руки бурята ползли из живота вздутые белые внутренности. Бурят копался рукою под ребрами, пузыри внутренностей хлюпали от порывистого дыхания овцы, она задергалась сильнее и хрипло заблеяла. Старый бурят с бесстрастным лицом, сидевший на корточках, покосился на нас и сжал рукою узкую, мягкую морду овцы. Молодой бурят сдавил сквозь грудобрюшную преграду сердце овцы, овца в последний раз дернулась, ее ворочавшиеся светлые глаза остановились. Буряты поспешно стали снимать шкуру.

Чуждые, плоские лица были глубоко бесстрастны и равнодушны, женщины смотрели и сосали чубуки, сплевывая наземь. И у меня мелькнула мысль: вот совсем так хунхузы будут вспарывать животы и нам, равнодушно попыхивая трубочками, даже не замечая наших страданий. Я, улыбаясь, сказал это товарищам. Все нервно повели плечами, у всех как будто тоже уж мелькнула эта мысль.

Всего ужаснее казалось именно это глубокое безразличие. В свирепом сладострастии баши-бузука, упивающемся муками, все-таки есть что-то человеческое и понятное. Но эти маленькие, полусонные глаза, равнодушно смотрящие из косых расщелин на твои безмерные муки, -- смотрящие и не видящие... Брр!..

Наконец мы прибыли на станцию Маньчжурия. Здесь была пересадка. Наш госпиталь соединили в один эшелон с султановским госпиталем, и дальше мы поехали вместе. В приказе по госпиталю было объявлено, что мы "перешли границу Российской империи и вступили в пределы империи Китайской".

Тянулись все те же сухие степи, то ровные, то холмистые, поросшие рыжею травой. Но на каждой станции высилась серая кирпичная башня с бойницами, рядом с нею длинный сигнальный шест, обвитый соломой; на пригорке -- сторожевая вышка на высоких столбах. Эшелоны предупреждались относительно хунхузов. Команде были розданы боевые патроны, на паровозе и на платформах дежурили часовые.

В Маньчжурии нам дали новый маршрут, и теперь мы ехали точно по этому маршруту; поезд стоял на станциях положенное число минут и шел дальше. Мы уже совсем отвыкли от такой аккуратной езды.

Ехали мы теперь вместе с султановским госпиталем.

Один классный вагон занимали мы, врачи и сестры, другой -- хозяйственный персонал. Врачи султановского госпиталя рассказывали нам про своего шефа, доктора Султанова. Он всех очаровывал своим остроумием и любезностью, а временами поражал наивно-циничною откровенностью. Сообщил он своим врачам, что на военную службу поступил совсем недавно, по предложению нашего корпусного командира; служба была удобная; он числился младшим врачом полка, -- но то и дело получал продолжительные и очень выгодные командировки; исполнить поручение можно было в неделю, командировка же давалась на шесть недель; он получит прогоны, суточные, и живет себе на месте, не ходя на службу; а потом в неделю исполнит поручение. Воротится, несколько дней походит на службу, -- и новая командировка. А другие врачи полка, значит, все время работали за него!

Султанов больше сидел в своем купе с племянницей Новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она окружала Султанова восторженным обожанием и уходом,

весь госпиталь в ее глазах как будто существовал только для того, чтобы заботиться об удобствах Алексея Леонидовича, чтобы ему вовремя поспело кофе и чтоб ему были к бульону пирожки. Когда Султанов выходил из купе, он сейчас же завладевал разговором, говорил ленивым, серьезным голосом, насмешливые глаза смеялись, и все вокруг смеялись от его острот и рассказав.

Две другие сестры султановского госпиталя сразу стали центрами, вокруг которых группировались мужчины. Одна из них, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная барышня лет тридцати, приятельница султановской племянницы. Красиво-тягучим голосом она говорила о Баттиетини, Собинове, о знакомых графах и баронах. Было совершенно непонятно, что понесло ее на войну. Про другую сестру, Веру Николаевну, говорили, что она невеста одного из офицеров нашей дивизии. От султановской компании она держалась в стороне. Была очень хороша, с глазами русалки, с двумя толстыми, близко друг к другу заплетенными косами. Видимо, она привыкла к постоянным ухаживаниям и привыкла смеяться над ухаживателями; в ней чувствовался бесенок. Солдаты ее очень любили, она всех их знала и в дороге ухаживала за заболевшими. Наши сестры совсем стушевались перед блестящими султановскими сестрами и поглядывали на них с скрытою враждою.

На станциях появились китайцы. В синих куртках и штанах, они сидели на корточках перед корзинами и продавали семечки, орехи, китайские печения и лепешки.

-- Э, нада, капытан? Съемячка нада?

-- Липьёска, пьят копэк десьятка! Шибко салатка! -- свирепо вопил бронзовый, голый по пояс китаец, выкатывая разбойничьи глаза.

Перед офицерскими вагонами плясали маленькие китайчата, потом прикладывали руку к виску, подражая нашему отданию "чести", кланялись и ждали подачки. Кучка китайцев, оскалив сверкающие зубы, неподвижно и пристально смотрела на румяную Веру Николаевну.

-- Шанго (хорошо)? -- с гордостью спрашивали мы, указывая на сестру.

-- Эге! Шибко шанго!.. Карсиво! -- поспешно отвечали китайцы, кивая головами.

Подходила Зинаида Аркадьевна. Своим кокетливым, красиво-тягучим голосом она, смеясь, начинала объяснять китайцу, что хотела бы выйти замуж за их дзянь-дзюня. Китаец вслушивался, долго не мог понять, только вежливо кивал головою и улыбался. Наконец понял.

-- Дзянь-дзюнь?.. Дзянь-дзюнь?.. Твоя хочу мадама дзянь-дзюнь?! Не-е, это дело не брыкается!

* * *

На одной станции я был свидетелем короткой, но очень изящной сцены. К вагону с строевыми солдатами ленивою походкою подошел офицер и крикнул:

-- Эй, вы, черти! Пошлите ко мне взводного.

-- Не черти, а люди! -- сурово раздался из глубины вагона спокойный голос.

Стало тихо. Офицер остолбенел.

-- Кто это сказал? -- грозно крикнул он.

Из сумрака вагона выдвинулся молодой солдат. Приложив руку к околышу, глядя на офицера небоящимися глазами, он ответил медленно и спокойно:

-- Виноват, ваше благородие! Я думал, что это солдат ругается, а не ваше благородие!

Офицер слегка покраснел; для поддержания престижа выругался и ушел, притворяясь, что не сконфужен.

* * *

Однажды вечером в наш поезд вошел подполковник пограничной стражи и попросил разрешения проехать в нашем вагоне несколько перегонов. Разумеется, разрешили. В узком купе с поднятыми верхними сиденьями, за маленьким столиком, играли в винт. Кругом стояли и смотрели.

Подполковник подсел и тоже стал смотреть.

-- Скажите, пожалуйста, -- в Харбин мы приедем вовремя, по маршруту? -- спросил его д-р Шанцер.

Подполковник удивленно поднял брови.

-- Вовремя?.. Нет! Дня на три, по крайней мере, запоздаете.

-- Почему? Со станции Маньчжурия мы едем очень аккуратно.

-- Ну, вот скоро сами увидите! Под Харбином и в Харбине стоит тридцать семь эшелонов и не могут ехать дальше. Два пути заняты поездами заместника Алексева, да еще один -- поездом Флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, заместнику мешают спать свистки и грохот поездов, и их запрещено пропускать мимо. Все и стоит... Что там только делается! Лучше уж не говорить.

Он резко оборвал себя и стал крутить папиросу.

-- Что же делается?

Подполковник помолчал и глубоко вздохнул.

-- Видел на днях сам, собственными глазами: в маленьком, тесном зале, как сельди в бочке, толкуются офицеры, врачи; истомленные сестры спят на своих чемоданах. А в большой, великолепный зал нового вокзала никого не пускают, потому что генерал-квартирмейстер Флуг совершает там свой послеобеденный моцион! Извольте видеть, заместнику понравился новый вокзал, и он поселил в нем свой штаб, и все приезжие жмутся в маленьком, грязном и вонючем старом вокзале!

Подполковник стал рассказывать. Видимо, у него много накопилось в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальства к делу, о царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все, желающее работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба.

-- Есть у меня приятель, корнет приморского драгунского полка. Дельный, храбрый офицер, имеет Георгия за действительно лихое дело. Больше месяца пробыл он на разведках, приезжает в Ляоян, обращается в интендантство за ячменем для лошадей. "Без требовательной ведомости мы не можем выдать!" А требовательная ведомость должна быть за подписью командира полка! Он говорит: "Помилуйте, да я уж почти два месяца и полка своего не видел, у меня ни гроша нет, чтоб заплатить вам!" Так и не дали. А через неделю очищают Ляоян, и этот же корнет с своими драгунами жжет громадные запасы ячменя!..

Или под Дашичао: солдаты три дня голодали, от интендантства на все запросы был один ответ: "Нет ничего!" А при отступлении раскрывают магазины и каждому солдату дают нести по ящику с консервами, сахаром, чаем! Озлобление у солдат страшное, ропот непрерывный. Ходят голодные, оборванные... Один мой приятель, ротный командир, глядя на свою роту, заплакал!.. Японцы прямо кричат: "Эй, вы, босяки! Удирайте!.." Что из всего этого выйдет, прямо подумать страшно. У Куропаткина одна только надежда, -- чтоб восстал Китай.

-- Китай? Что же это поможет?

-- Как что? Идея будет!.. Господа, ведь идеи у нас никакой нет в этой войне, вот в чем главный ужас! За что мы деремся, за что льем кровь? Ни я не понимаю, ни вы, ни тем более солдат. Как же при этом можно переносить все то, что солдат переносит?.. А восстанет Китай, -- тогда все сразу станет понятно. Объявите, что армия обращается в казачество маньчжурской области, что каждый получит здесь надел, -- и солдаты обратятся в львов. Идея появится!.. А теперь что? Полная душевная вялость, целые полки бегут... А мы -- мы заранее торжественно объявили, что Маньчжурии мы не домогаемся, что делать нам в ней нечего!.. Влезли в чужую страну, неизвестно для чего, да еще

миндальничаем. Раз уж начали подлость, то нужно делать ее всю, тогда в подлости будет хоть поэзия. Вот, как англичане: возьмутся за что, -- все под ними запищит. В узком купе одиноко горела свечка на карточном столике и освещала внимательные лица. Взлохмаченные усы подполковника, с торчащими сверху кончиками, сердито топорщились и шевелились. Наш зритель опять корбился от этих громких небоящихся речей и опасливо косился по сторонам.

-- Кто побеждает в бою? -- продолжал подполковник. -- Господа, ведь это азбука: побеждают сплоченные между собою люди, зажженные идеей. Идеи у нас нет и не может быть. А правительство с своей стороны сделало все, чтоб уничтожить и сплоченность. Как у нас составлены полки? Выхвачено из разных полков по пяти-шести офицеров, по сотне-другой солдат, и готово, -- получилась "боевая единица". Мы, видите ли, хотели перед Европою яичницу сварить в цилиндре: вот, дескать, все корпуса на месте, а здесь сама собой выросла целая армия... А как у нас раздаются здесь ордена! Все направлено к тому, чтоб убить всякое уважение к подвигу, чтоб вызвать к русским орденам полное презрение. Лежат в госпитале раненые офицеры, они прошли страду целого ряда боев. Среди них ходит ординарец заместника (их у него девять всего восемь человек!) и раздает белье. А в петлице у него -- Владимир с мечами. Его спрашивают: "Вы за что это Владимира получили, за раздачу белья?"

Когда подполковник ушел, все долго молчали.

-- Во всяком случае, характерно! -- заметил Шанцер.

-- И врал же он, боже ты мой! -- с ленивою усмешкою сказал Султанов. -- Всего вероятнее, заместитель обошел его самого каким-нибудь орденом.

-- Что много врал, это несомненно, -- согласился Шанцер. -- Хотя бы даже уж в этом: если в Харбине задерживаются десятки поездов, как бы мы могли ехать так аккуратно? Назавтра проснулись мы, -- наш поезд стоит. Давно стоит? Уж часа четыре. Стало смешно: неужели так быстро начинает сбываться предсказание пограничника?

Оно сбылось. Опять на каждой станции, на каждом разъезде пошли бесконечные остановки. Не хватало ни кипятку для людей, ни холодной воды для лошадей, негде было купить хлеба. Люди голодали, лошади стояли в душных вагонах не поенные... Когда по маршруту мы должны были быть уже в Харбине, мы еще не доехали до Цицикара. Говорил я с машинистом нашего поезда. Он объяснил наше запоздание так же, как пограничник: поезда заместника загораживают в Харбине пути, заместитель запретил свистеть по ночам паровозам, потому что свистки мешают ему спать. Машинист говорил о заместнике Алексееве тоже со злобою и насмешкою.

-- Живет он в новом вокзале, поближе к своему поезду. Поезд его всегда наготове, чтоб в случае чего первым удрать.

Дни тянулись, мы медленно ползли вперед. Вечером поезд остановился на разъезде верст за шестьдесят от Харбина. Но машинист утверждал, что приедем мы в Харбин только послезавтра. Было тихо. Неподвижно покоилась ровная степь, почти пустыня. В небе стоял слегка мутный месяц, воздух сухо серебрился. Над Харбином громоздились темные тучи, поблескивали зарницы.

И тишина, тишина кругом... В поезде спят. Кажется, и сам поезд спит в этом тусклом сумраке, и все, все спит спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать: как можно спать, когда там тебя ждут так жадно и страстно!

Ночью я несколько раз просыпался. Изредка слышалось сквозь сон напряженное колыхание вагона, и опять все затихало. Как будто поезд судорожно корчился, старался прорваться вперед и не мог.

Назавтра в полдень мы были еще за сорок верст от Харбина.

* * *

Наконец приехали в Харбин. Наш главный врач справился у коменданта, сколько времени мы простои́м.

-- Не больше двух часов! Вы без пересадки едете прямо в Мукден.

А мы собирались кое-что закупить в Харбине, справиться о письмах и телеграммах, съездить в баню... Через два часа нам сказали, что мы поедем около двенадцати часов ночи, потом, -- что не раньше шести часов утра. Встретили мы адъютанта из штаба нашего корпуса. Он сообщил, что все пути сильно загромождены эшелонами, и мы выедем не раньше, как послезавтра.

И почти везде в дороге коменданты поступали точно так же, как в Харбине.

Решительнейшим и точнейшим образом они определяли самый короткий срок до отхода поезда, а мы после этого срока стояли на месте десятками часов и сутками. Как будто, за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядок на деле, им нравилось ослеплять проезжих строгою, несомневающейся в себе сказкою о том, что все идет, как нужно.

Просторный новый вокзал бледно-зеленого цвета, в стиле модерн, был, действительно, занят наместником и его штабом. В маленьком, грязном, старом вокзале стояла толчея. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офицеров, врачей, инженеров, подрядчиков. Цены на все были бешеные, стол отвратительный. Мы хотели отдать выстирать белье, сходить в баню, -- обратиться за справками было не к кому. При любом научном съезде, где собираются всего одна-две тысячи людей, обязательно устраивается справочное бюро, дающее приезжему какие угодно указания и справки. Здесь же, в тыловом центре полумиллионной армии, приезжим предоставлялось наводить справки у станционных сторожей, жандармов и извозчиков.

Поражало отсутствие элементарной заботливости власти об этой массе людей, заброшенных сюда этою же властью. Если не ошибаюсь, даже "офицерские этапы", лишенные самых простых удобств, всегда переполненные, были учреждены уже много позднее. В гостиницах за жалкий чулан платили в сутки по 4--5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номер; по рублю, по два платили за право переночевать в коридоре. В Телине находилось главное полевое военно-медицинское управление. Приезжало много врачей, вызванных из запаса "в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора". Врачи являлись, подавали рапорт о прибытии, -- и девайся, куда знаешь. Приходилось ночевать на полу в госпиталях, между койками больных. В Харбине мне пришлось беседовать со многими офицерами разного рода оружия. О Куропаткине отзывались хорошо. Он импонировал. Говорили только, что он связан по рукам и по ногам, что у него нет свободы действий. Было непонятно, как сколько-нибудь самостоятельный и сильный человек может позволить связать себя и продолжать руководить делом. О наместнике все отзывались с удивительно единодушным негодованием. Ни от кого я не слышал доброго слова о нем. Среди неслыханно-тяжкой страды русской армии он заботился лишь об одном, -- о собственных удобствах. К Куропаткину, по общим отзывам, он питал сильнейшую вражду, во всем ставил ему препятствия, во всем действовал наперекор. Эта вражда сказывалась даже в самых ничтожных мелочах. Куропаткин ввел для лета рубашки и кители цвета хаки, -- наместник преследовал их и требовал, чтоб в Харбине офицеры ходили в белых кителях. Особенно же все возмущались Штакельбергом. Рассказывали о его знаменитой корове и спарже, о том, как в бою под Вафангоу массу раненых пришлось бросить на поле сражения, потому что Штакельберг загородил своим поездом дорогу санитарным поездом; две роты солдат заняты были в бою тем, что непрерывно поливали брезент, натянутый над генеральским поездом, -- в поезде находилась супруга барона Штакельберга, и ей было жарко.

-- В конце концов, какие же у нас тут есть талантливые вожди? -- спрашивал я офицеров.

-- Какие... Вот, Мищенко разве... Да нет, что он! Кавалерист по недоразумению... А вот, вот: Стессель! Говорят, львом держится в Артуре.

Шли слухи, что готовится новый бой. В Харбине стоял тяжелый, чадный разгул; шампанское лилось реками, кокотки делали великолепные дела. Процент выбывавших в бою офицеров был так велик, что каждый ждал почти верной смерти. И в дикопиришественном размахе они прощались с жизнью.

* * *

Через двое суток мы двинулись дальше на юг.

Кругом тянулись тщательно обработанные поля с каоляном и чумизою. Шла жатва. Везде виднелись синие фигуры работающих китайцев. У деревень на перекрестках дорог серели кумирни-часовенки, издали похожие на улы.

Была вероятность, что нас прямо из вагонов двинут в бой. Офицеры и солдаты становились серьезнее. Все как будто подтянулось, проводить дисциплину стало легче. То грозное и зловещее, что издали охватывало душу трепетом ужаса, теперь сделалось близким, поэтому менее ужасным, несущим строгое, торжественное настроение.

III. В Мукдене

Приехали. Конец пути!.. По маршруту мы должны были прибыть в десять утра, но приехали во втором часу дня. Поезд наш поставили на запасный путь, станционное начальство стало торопить с разгрузкой.

Застоявшиеся, исхудалые лошади выходили из вагонов, боязливо ступая на шаткие сходни. Команда копошилась на платформах, скатывая на руках фуры и двуколки. Разгружались часа три. Мы тем временем пообедали на станции, в тесном, людном и грязном буфетном зале. Невиданно-густые тучи мух шумели в воздухе, мухи сыпались в щи, попадали в рот. На них с веселым щебетаньем охотились ласточки, носившиеся вдоль стен зала.

За оградой перрона наши солдаты складывали на землю мешки с овсом; главный врач стоял около и считал мешки. К нему быстро подошел офицер, ординарец штаба нашей дивизии.

-- Здравствуйте, доктор!.. Приехали?

-- Приехали. Где нам прикажете стать?

-- А вот я вас поведу. Для этого и выехал.

Часам к пяти все было выгружено, налажено, лошади впряжены в повозки, и мы двинулись в путь. Объехали вокзал и повернули вправо. Повсюду проходили пехотные колонны, тяжело громыхала артиллерия. Вдали синел город, кругом на биваках курились дымки.

Мы проехали версты три.

Навстречу, в сопровождении вестового, скакал смотритель султановского госпиталя.

-- Господа, назад!

-- Как назад? Что за пустяки! Нам ординарец из штаба сказал, -- сюда.

Подъехали наш смотритель и ординарец.

-- В чем дело?.. Сюда, сюда, господа, -- успокоительно произнес ординарец.

-- Мне в штабе старший адъютант сказал, -- назад, к вокзалу, -- возразил смотритель султановского госпиталя.

-- Что за черт! Не может быть!

Ординарец с нашим смотрителем поскакали вперед, в штаб. Наши обозы остановились. Солдаты, не евшие со вчерашнего вечера, угрюмо сидели на краю дороги и курили. Дул сильный, холодный ветер.

Смотритель воротился один.

-- Да, говорит: назад, в Мукден, -- сообщил он. -- Там полевой медицинский инспектор укажет, где стать.

-- Может быть, опять придется возвращаться. Подождем тут, -- решил главный врач. -- А вы съездите к медицинскому инспектору, спросите, -- обратился он к помощнику смотрителя.

Тот помчался в город.

-- Начинается бестолочь... Что? Я вам не говорил? -- зловеще произнес товарищ Селюков, и он как будто даже был рад, что его предсказание сбывается.

Длинный, тощий и близорукий, он сидел на вислоухом коне, сгорбившись и держа в воздухе поводья обеими руками. Смирная животина завидела на повозке охапку сена и потянулась к ней. Селюков испуганно и неумело натянул поводья.

-- Тпру-у-у!! -- угрожающе протянул он, тараща чрез очки близорукие глаза. Но лошадь все-таки подошла к повозке, отдернула поводья и стала есть.

Шанцер, вечно веселый и оживленный, рассмеялся.

-- Смотрю я на вас, Алексей Иванович... Что вы будете делать, когда нам придется удирать от японцев? -- спросил он Селюкова.

-- Черт ее, не слушается почему-то лошадь, -- в недоумении сказал Селюков. Потом его губы, обнажая десны, изогнулись в сконфуженную улыбку. -- Что буду делать! Как увижу, что близко японцы, -- слезу с лошади и побегу, больше ничего.

Солнце садилось, мы всё стояли. Вдали, на железнодорожной ветке, темнел роскошный поезд Куропаткина, по платформе у вагонов расхаживали часовые. Наши солдаты, злые и иззябшие, сидели у дороги и, у кого был, жевали хлеб.

Наконец, помощник смотрителя приехал.

-- Медицинский инспектор говорит, что ничего не знает.

-- А черти бы их всех взяли! -- сердито выругался главный врач. -- Пойдем назад к вокзалу и станем там биваком. Что нам, всю ночь здесь в поле мерзнуть?

Обозы двинулись назад. Навстречу нам в широкой коляске ехал с адъютантом начальник нашей дивизии. Прищуриив старческие глаза, генерал сквозь очки оглядел команду.

-- Здорово, детки! -- весело крикнул он.

-- Здра... жла... ваш... сди...ство!!! -- гаркнула команда.

Коляска, мягко качаясь на рессорах, покатила дальше. Селюков вздохнул.

-- "Детки"... Лучше бы позаботился, чтобы деткам не мотаться без толку целый день.

Вдоль прямой дороги, шедшей от вокзала к городу, тянулись серые каменные здания казенного вида. Перед ними, по эту сторону дороги, было большое поле. На утоптаных бороздах валялись сухие стебли кооляна, под развесистыми ветлами чернела вокруг колодца мокрая, развороченная копытами земля. Наш обоз остановился близ колодца.

Отпрягали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили в котелках воду. Главный врач поехал раз узнавать сам, куда нам двигаться или что делать.

Темнело, было холодно и неприятно. Солдаты разбивали палатки. Селюков, иззябший, с красным носом и щеками, неподвижно стоял, засунув руки в рукава шинели.

-- Эх, хорошо бы теперь в Москве быть, -- вздохнул он. -- Напиться бы чайку, поехать на "Евгения Онегина".

Главный врач воротился.

-- Завтра мы развертываемся, -- объявил он. -- Вот за дорогою два каменных барака.

Сейчас там стоят госпитали 56 дивизии, завтра они снимаются, а мы становимся на их место.

И он пошел к обозу.

-- Что нам здесь делать? Пойдемте, господа, туда, познакомимся с врачами, -- предложил Шанцер.

Мы пошли к баракам. В небольшом каменном флигельке сидело за чаем человек восемь врачей. Познакомились. Сообщили им, между прочим, что завтра сменяем их.

У них вытянулись лица.

-- Вот так-так!.. А мы только что начали устраиваться, думали, останемся надолго.

-- А вы давно здесь?

-- Как давно! Всего четыре дня назад приняли бараки. Высокий и плотный врач, в кожаной куртке с погонами, разочарованно свистнул.

-- Нет, господа, позвольте, а мы-то теперь как же? -- спросил он. -- Вы понимаете, при нас это будет уж пятая смена за месяц!

-- Вы, товарищ, разве не этого госпиталя?

Он поднял ладонь и пожал плечами.

-- Какое там! Это бы счастье было! Мы, -- я и вот трое товарищей, -- мы занимаем идеальнейше собачью должность. "Командированные в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора". Вот нами и распоряжаются. Работал я в сводном госпитале в Харбине, заведывал палатою в девяносто коек. Вдруг, с месяц назад, получаю от полевого медицинского инспектора Горбацевича предписание, -- немедленно ехать в Янтай. Говорит мне: "Возьмите с собою всего одну смену белья, вы едете только на четыре, на пять дней". Поехал, приезжаю в Мукден, -- оказывается, Янтай уж отдан японцам. Оставили здесь, в Мукдене, при этом здании, тоже вот и трех товарищей, -- и делаем мы ввосемьмером работу, для которой довольно трех-четырех врачей. Госпитали каждую неделю сменяются, а мы остаемся; так что, можно сказать, прикомандированы к этому зданию, -- засмеялся он.

-- Но что же вы, заявляли о вашем положении?

-- Конечно, заявляли. И инспектору госпиталей, и Горбацевичу. "Вы здесь нужны, подождите!" А у меня одна смена белья; вот кожаная куртка, и даже шинели нет: месяц назад какие жары стояли! А теперь по ночам мороз! Просился у Горбацевича хоть съездить в Харбин за своими вещами, напоминал ему, что из-за него же сижу здесь раздетый. "Нет, нет, нельзя! Вы здесь нужны!" Заставил бы я его самого пощеголять в одной куртке!

-- * *

--

Ночь мы промерзли в палатках. Дул сильный ветер, из-под полотнищ несло холодом и пылью. Утром напились чаю и пошли к баракам.

Возле барачных расхаживали, в сопровождении главных врачей, два генерала; один, военный, был начальник санитарной части Ф. Ф. Трепов, другой генерал, врач, -- полевой военно-медицинский инспектор Горбацевич.

-- Чтоб сегодня же оба госпиталя были сданы, слышите? -- властно и настойчиво сказал военный генерал.

-- Слушаю-с, ваше превосходительство!

Я вошел в барак. В нем все стояло вверх дном. Госпитальные солдаты увязывали вещи в тюки и выносили их к повозкам, от бивака подъезжал наш обоз.

-- А вы теперь куда? -- спросил я врачей, которых мы сменяли.

-- Где-то за городом, в трех верстах, приказано стать в фанзах.

Огромный каменный барак с большими окнами был густо уставлен деревянными койками, и на всех лежали больные солдаты. И вот при таком-то положении дела происходила смена. И какая смена! Смена всего, кроме стен, коек и... больных! С больных снимали белье, из-под них вытаскивали матрацы; сняли со стен рукомойки, забрали полотенца, всю посуду, ложки. Мы одновременно доставали свои мешки для матрацев, но набить их было нечем. Послали помощника смотрителя купить чумизной соломы, а больные остались пока лежать на голых досках. Обед для больных варился, -- этот обед мы купили у уходящего госпиталя.

Вошел один из врачей, "прикомандированных к зданию", и озабоченно сказал:

-- Господа, вы торопите с обедом, к часу эвакуируемые больные должны быть на вокзале.

-- Скажите, в чем тут вообще будет заключаться наше дело?

-- Видите, с позиций и из окрестных частей сюда направляют больных и раненых, вы их осматриваете. Очень легких, которые выздоровеют в один-два дня, оставляете, а остальных эвакуируете на санитарные поезда вот с такими билетиками. Тут имя, звание

больного, диагноз... Да, господа, самое важное! -- спохватился он, и его глаза юмористически засмеялись. -- Предупреждаю вас, начальство терпеть не может, когда врачи ставят диагноз "легкомысленно". По своему легкомыслию вы, наверно, большинству больных будете ставить диагнозы "дизентерия" и "брюшной тиф". Имейте в виду, что "санитарное состояние армии великолепно", что дизентерии у нас совсем нет, а есть "энтероколит", брюшной тиф возможен, как исключение, а вообще все -- "инфлуэнца".

-- Хорошая эта болезнь -- инфлуэнца, -- весело засмеялся Шанцер. -- Памятник бы нужно поставить тому, кто ее изобрел!

-- Спасительная болезнь... Вначале совестно было перед врачами санитарных поездов; ну, потом мы им объяснили, чтобы они всерьез наших диагнозов не принимали, что брюшной тиф мы распознать умеем, а только...

Пришли другие прикомандированные врачи. Было половина первого.

-- Что же вы, господа, не собираете больных для эвакуации? К часу они обязательно должны быть на вокзале.

-- Запоздали с обедом. Когда поезд уходит?

-- Уходит-то он в шесть вечера, а только Трепов сердится, если опоздают хоть на четверть часа... Скорей, скорей, ребята, кончай обед! Кто пешком на вокзал назначен, собирайся к выходу!

Больные жадно доедали обед, а врач усиленно торопил их. Наши солдаты выносили на носилках слабых больных.

Наконец, эвакуируемая партия была отправлена. Привезли солому, начали набивать матрацы. В двери постоянно ходили, окна плохо закрывались; по огромной палате носился холодный сквозняк. На койках без матрацев лежали худые, изможденные солдаты и кутались в шинели.

Из угла с злобною, сосредоточенною ненавистью на меня смотрели из-под шинели черные, блестящие глаза. Я подошел. На койке у стены лежал солдат с черною бородою и глубоко ввалившимися щеками.

-- Тебе нужно что-нибудь? -- спросил я.

-- Час целый прошу воды попить! -- ожесточенно ответил он.

Я сказал проходившей сестре милосердия. Она развела руками.

-- Он уже давно просит. Я и главному врачу говорила, и смотрителю. Сырой воды нельзя давать, -- кругом дизентерия, а кипяченой нету. В кухне были вмазаны котлы, но они принадлежали тому госпиталю, он их вынул и увез. А у нас еще не купили.

В приемную прибывали все новые партии больных. Солдаты были изможденные, оборванные, во вшах; некоторые заявляли, что не ели несколько дней. Шла непрерывная толчея, некогда и негде было присесть.

Пообедал я на вокзале. Воротился, прохожу через приемную мимо перевязочной. Там лежит на носилках охающий солдат-артиллерист. Одна нога в сапоге, другая -- в шерстяном чулке, напитанном черной кровью; разрезанный сапог лежит рядом.

-- Ваше благородие, явите милость, перевяжите!.. Полчаса здесь лежу.

-- А что с тобой?

-- Ногу переехало зарядным ящиком, как раз на камне.

Вошел наш старший ординатор Гречихин с сестрою милосердия, которая несла перевязочные материалы. Он был невысокий и полный, с медленною, добродушною улыбкою, и военная тужурка странно сидела на его сутулой фигуре земского врача.

-- Вот, придется пока хоть так перевязать, -- вполголоса обратился он ко мне, беспомощно пожав плечами. -- Обмыть нечем: аптекарь не может приготовить раствора сулемы, -- воды нет кипяченой... Черт знает, что такое!..

Я вышел. Навстречу мне шли два прикомандированных врача.

-- Сегодня вы дежурите? -- спросил меня один.

-- Я.

Он, подняв брови, с улыбкою оглядел меня и покачал головою.

-- Ну, смотрите! Налетите на Трепова, может выйти неприятность. Как же это вы без шашки?

Что такое? Без шашки? Ребяческим шутовством пахнуло от вопроса о какой-то шашке среди всей этой бестолочи и неурядицы.

-- А как же! Вы находитесь при исполнении обязанностей, должны быть при шашке.

-- Ну, нет, он теперь этого уж не требует, -- примирительно заметил другой. -- Понял, что врачу шашка мешает при перевязках.

-- Не знаю... Меня он пригрозил посадить под арест за то, что я был без шашки.

А кругом шло все то же. Приходили сестры, заявляли, что нет мыла, нет подкладных суден для слабых больных.

-- Так скажите же смотрителю.

-- Говорили несколько раз. Но ведь вы знаете, какой он. "Спросите у аптекаря, а если у него нет, -- у каптенармуса". Аптекарь говорит, -- у него нет, каптенармус -- тоже.

Отыскал я смотрителя. Он стоял у входа в барак с главным врачом. Главный врач только что воротился откуда-то и с оживленным, довольным лицом говорил смотрителю:

-- Сейчас узнал, -- справочная цена на овес -- 1 р. 85 к.

Увидев меня, главный врач замолчал. Но мы все давно уже знали его историю с овсом. По дороге, в Сибири, он купил около тысячи пудов овса по сорок пять копеек, привез их в своем эшелоне сюда и теперь собирается пометить этот овес купленным для госпиталя здесь, в Мукдене. Таким образом он сразу наживал больше тысячи рублей.

Я сказал смотрителю о мыле и об остальном.

-- Я не знаю, спросите у аптекаря, -- ответил он равнодушно и даже как будто удивляясь.

-- У аптекаря нету, это должно быть у вас.

-- Нет, у меня нету.

-- Слушайте, Аркадий Николаевич, я не раз убеждался, -- аптекарь прекрасно знает все, что у него есть, а вы о своем ничего не знаете.

Смотритель вспыхнул и заволновался.

-- Может быть!.. Но, господа, я не могу. Откровенно сознаюсь, -- не могу и не знаю!

-- Как же это узнать?

-- Нужно пересмотреть все укладочные книжки, найти, в какой повозке что лежит... Идите, посмотрите, если угодно!

Я взглянул на главного врача. Он притворялся, что не слышит нашего разговора.

-- Григорий Яковлевич! Скажите, пожалуйста, чье это дело? -- обратился я к нему.

Главный врач забегал глазами.

-- В чем дело?.. Конечно, у врача своей работы много. Вы, Аркадий Николаевич, пойдите там, распорядитесь.

Вечерело. Сестры, в белых фартуках с красными крестами, раздавали больным чай. Они заботливо подкладывали им хлеба, мягко и любовно поили слабых. И казалось, эти славные девушки -- совсем не те скучные, неинтересные сестры, какими они были в дороге.

-- Викентий Викентьевич, вы одного сейчас черкеса приняли? -- спросила меня сестра.

-- Одного.

-- А с ним лег его товарищ и не уходит.

На койке лежали рядом два дагестанца. Один из них, втянув голову в плечи, черными, горящими глазами смотрел на меня.

-- Ты болен? -- спросил я его.

-- Нэ болэн! -- вызывающе ответил он, сверкнув белками.

-- Тогда тебе нельзя тут лежать, уходи.

-- Нэ пайду!

Я пожал плечами.

-- Чего это он? Ну, пускай пока полежит... Ложись на эту койку, пока она не занята, а тут ты мешаешь своему товарищу.

Сестра подала ему кружку с чаем и большой ломоть белого хлеба. Дагестанец совершенно растерялся и неуверенно протянул руку. Он жадно выпил чай, до последней крошки съел хлеб. Потом вдруг встал и низко поклонился сестре.

-- Спасибо тебе, сестрыца! Два дня ничево нэ ел!

Накинул на плечи свой алый башлык и ушел. Кончился день. В огромном темном бараке тускло светило несколько фонарей, от плохо запиравшихся огромных окон тянуло холодным сквозняком. Больные солдаты спали, закутавшись в шинели. В углу барака, где лежали больные офицеры, горели у изголовья свечи; одни офицеры лежа читали, другие разговаривали и играли в карты.

В боковой комнате наши пили чай. Я сказал главному врачу, что необходимо исправить в бараке незакрывающиеся окна. Он засмеялся.

-- А вы думаете, это так легко сделать? Эх, не военный вы человек! У нас нет сумм на ремонт помещений, нам полагаются шатры. Можно было бы взять из экономических сумм, но их у нас нет, госпиталь только что сформирован. Надо подавать рапорт по начальству о разрешении ассигновки...

И он стал рассказывать о волоките, с какою связано всякое требование денег, о постоянно висящей грозе "начетов", сообщал прямо невероятные по своей нелепости случаи, но здесь всему приходилось верить...

В одиннадцатом часу ночи в барак зашел командир нашего корпуса. Весь вечер он просидел в султановском госпитале, который развернулся в соседнем бараке. Видимо, корпусный счел нужным для приличия заглянуть кстати и в наш барак.

Генерал прошелся по бараку, останавливался перед неспящими больными и равнодушно спрашивал: "Чем болен?" Главный врач и смотритель почтительно следовали за ним.

Уходя, генерал сказал:

-- Очень холодно в бараке и сквозняк.

-- Ни двери, ни окна плотно не закрываются, ваше высокопревосходительство! -- ответил главный врач.

-- Велите исправить.

-- Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

Когда генерал ушел, главный врач рассмеялся.

-- А если начет сделают, он, что ли, будет за меня платить?

* * *

Следующие дни была все та же неурядица. Дизентерики ходили под себя, пачкали матрацы, а приспособлений для стирки не было. Шагов за пятьдесят от барака стояло четыре отхожих места, они обслуживали все окрестные здания, в том числе и наше. (До Лаоянского боя оно служило, кажется, казармою для пограничников.) Внутри отхожих мест была грязь, стульчаки сплошь были загажены кровавою слизью дизентериков, а сюда ходили и больные, и здоровые. Никто этих отхожих мест не чистил: они обслуживали все окружающие здания, и заведующие никак не могли столковаться, кто их обязан чистить. Прибывали новые больные, прежних мы эвакуировали на санитарные поезда. Много являлось офицеров; жалобы большинства их были странны и неопределенны, объективных симптомов установить не удавалось. В бараке они держались весело, и никто бы не подумал, что это больные. И все настойчиво просили эвакуировать их в Харбин. Ходили слухи, что на днях предстоит новый бой, и становилось понятным, чем именно больны эти воины. И еще более это становилось понятным, когда они много и скромно начинали рассказывать нам и друг другу о своих подвигах в минувших боях.

А рядом -- совсем противоположное. Пришел один сотник уссуриец молодой, загорелый красавец с черными усиками. У него была сильная дизентерия, нужно было его эвакуировать.

-- Ни за что!.. Нет, доктор, вы уж, пожалуйста, как-нибудь подправьте меня здесь.

-- Здесь неудобно, -- ни диеты нельзя провести подходящей, и помещение неважное.

-- Ну, уж я как-нибудь. А то скоро бой, товарищи идут в дело, а я вдруг уеду... Нет, лучше я уж здесь.

Был вечер. В барак быстро вошел сухощавый генерал с рыжею бородкою. Дежурил доктор Селюков. Пуча близорукие глаза в очках, он медленно расхаживал по бараку своими журавлиными ногами.

-- Сколько у вас больных? -- сухо и резко спросил его генерал.

-- Сейчас около девяноста.

-- Скажите, вы не знаете, что раз я здесь без фуражки, то вы не смеее быть в ней?

-- Не знал... Я из запаса.

-- Ах, вы из запаса! Вот я засажу вас на неделю под арест, тогда не будете из запаса! Вы знаете, кто я?

-- Нет.

-- Я инспектор госпиталей. Где ваш главный врач?

-- Он уехал в город.

-- Ну, так старший ординатор, что ли... Кто тут его заменяет?

Сестры побежали за Гречихиным и шепнули ему, чтоб он снял фуражку. К генералу подлетел один из прикомандированных и, вытянувшись в струнку, отрапортовал:

-- Ваше превосходительство! В 38 полевом подвижном госпитале состоит 98 больных, из них 14 офицеров, 84 нижних чина!..

Генерал удовлетворенно кивнул головою и обратился к подходящему Гречихину:

-- Что у вас тут за безобразие! Больные лежат в шапках, сами врачи в шапках разгуливают... Не видите, что тут иконы?

Гречихин огляделся и кротко возразил:

-- Икон нет.

-- Как нет? -- возмутился генерал. -- Почему нет? Что это за беспорядок!.. И вы тоже, подполковник! -- обратился он к одному из больных офицеров. -- Вы должны бы показывать пример солдатам, а сами тоже лежите в фуражке!.. Почему ружья и мешки солдат при них? -- снова накинулся он на Гречихина.

-- Нет цейхгауза.

-- Это беспорядок!.. Вещи везде навалены, винтовки, -- не госпиталь, а толкучка какая-то! Генерал шел дальше, сопровождаемый врачами, и гневные, бестолково-распекающие речи сыпались непрерывно.

При выходе он встретился с входившим к нам корпусным командиром.

-- Завтра я беру у вас оба мои госпиталя, -- сообщил корпусный, здороваясь с ним.

-- Как же, ваше высокопревосходительство, мы здесь останемся без них? -- совсем новым, скромным и мягким голосом возразил инспектор: он был только генерал-майор, а корпусный -- полный генерал.

-- Я уж не знаю. Но полевые госпитали должны быть с нами, а мы завтра уходим на позиции.

После долгих переговоров корпусный согласился дать инспектору подвижные госпитали другой своей дивизии, которые должны были приехать в Мукден завтра.

Генералы ушли. Мы стояли возмущенные: как все было бестолково и нелепо, как все направлялось не туда, куда нужно! В важном, серьезном деле помощи больным как будто намеренно отбрасывалась суть дела, и все внимание обращалось на выдержанность и стильность бутафорской обстановки... Прикомандированные, глядя на нас, посмеивались.

-- Странные вы люди! Ведь на то и начальство, чтоб кричать. Что же ему без этого делать, в чем другом проявлять свою деятельность?

-- В чем? Чтоб больные не мерзли под сквозняками, чтобы не было того, что позавчера творилось здесь целый день.

-- Вы слышали? Завтра будет то же самое! -- вздохнул прикомандированный.

Пришли два врача из султановского госпиталя. Один был оконфужен и зол, другой посмеивался. Оказывается, и там инспектор распек всех, и там пригрозил дежурному врачу арестом. Дежурный стал ему рапортовать: "Имею честь сообщить вашему превосходительству..." -- Что?! Какое вы мне имеете право сообщать? Вы мне должны рапортовать, а не "сообщать"! Я вас на неделю под арест!

Налетевший на наши госпитали инспектор госпиталей был генерал-майор Езерский. До войны он служил при московском интендантстве, а раньше был... иркутским полицмейстером! В той мрачной, трагической юмористике, которою насквозь была пропитана минувшая война, черным бриллиантом сиял состав высшего медицинского управления армии. Мне много еще придется говорить о нем, теперь же отмечу только: главное руководство всем санитарным делом в нашей огромной армии принадлежало бывшему губернатору, -- человеку, совершенно невежественному в медицине и на редкость нераспорядительному; инспектором госпиталей был бывший полицмейстер, -- и что удивительного, если врачебные учреждения он инспектировал так же, как, вероятно, раньше "инспектировал" улицы и трактиры города Иркутска?

Назавтра утром сижу у себя, слышу снаружи высокомерный голос:

-- Послушайте, вы! Передайте вашему зрителю, чтобы перед госпиталем были вывешены флаги. Сегодня приезжает наместник.

Мимо окон суетливо промелькнуло генеральское пальто с красными отворотами. Я высунулся из окна: к соседнему бараку взволнованно шел медицинский инспектор Горбачевич. Селюков стоял у крыльца и растерянно оглядывался.

-- Это он к вам так обращался? -- удивился я.

-- Ко мне... Черт ее, так был поражен, даже не нашелся, что ответить.

Селюков хмуро пошел к приемной.

Вокруг барака закипела работа. Солдаты мели улицу перед зданием, посыпали ее песком, у подъезда водружали шест с флагами красного креста и национальным. Зритель находился здесь, он был теперь деятелен, энергичен и отлично знал, где что достать.

В комнату вошел Селюков и сел на свою кровать.

-- Ну, и начальства же тут, -- как нерезанных собак! Чуть выйдешь, сейчас налетишь на кого-нибудь... И не различишь их. Вхожу в приемную, вижу, какой-то ферт стоит в красных лампасах, я было хотел к нему с рапортом, смотрю, он передо мной вытягивается, честь отдает... Казак, что ли, какой-то...

Он тяжело вздохнул.

-- Нет, я лучше уж согласен мерзнуть в палатках. А тут, видно, начальства больше, чем нас.

Вошел Шанцер, немножко сконфуженный, задумчивый. Он был сегодня дежурным.

-- Не знаю, как поступить... Я велел убрать с коек два матраца, совсем загажены, на них лежали дизентерики. Пришел главный врач: "Оставить, не сменять! Других матрацев нет". Я ему говорю: все равно, пусть новый больной уж лучше ляжет на доски; придет, может быть, просто истомленный голодом и усталостью, а у нас заразится дизентерией. Главный врач отвернулся от меня, обращается к палатным служителям: "Не смей матрацев сменять, поняли?" -- и ушел... Боится, -- придет наместник, вдруг увидит, что двое больных лежат без матрацев.

А вокруг барака и в бараке все шла усиленная чистка. Мерзко было в душе. Вышел я наружу, пошел в поле. Вдали серел наш барак, -- чистенький, принарядившийся, с развевающимися флагами; а внутри -- дрожащие под сквозняком больные, загаженные, пропитанные заразой матрацы... Скверная, нарумяненная мешанка в нарядном платье и в грязном, вонючем белье.

Второй день у нас не было эвакуации, так как санитарные поезда не ходили. Наместник ехал из Харбина, как царь, больше, чем как царь; все движение на железной дороге было для него остановлено; стояли санитарные поезда с больными, стояли поезда с войсками и снарядами, спешившие на юг к предстоявшему бою. Больные прибывали к нам без конца; заняты были все койки, все носилки, не хватало и носилок; больных стали класть на пол. Вечером привезли с позиции 15 раненых дагестанцев. Это были первые раненые, которых мы принимали. В бурках и алых башлыках, они сидели и лежали с смотрящими исподлобья, горящими черными глазами. И среди наполнявших приемную больных солдат, -- серых, скучных и унылых, -- ярким, тянущим к себе пятном выделялась эта кучка окровавленных людей, обвеванных воздухом боя и опасности.

Привезли и их офицера, сотника, раненного в руку. Оживленный, с нервно блестящими глазами сотник рассказывал, как они приняли японцев за своих, подъехали близко и попали под пулеметы, потеряли семнадцать людей и тридцать лошадей. "Но мы им за это тоже лихо отплатили!" -- прибавил он с гордою усмешкой.

Все толпились вокруг и расспрашивали, -- врачи, сестры, больные офицеры. Расспрашивали любовно, с жадным интересом, и опять все кругом, все эти больные казались такими тусклыми рядом с ним, окруженным ореолом борьбы и опасности. И вдруг мне стал понятен красавец уссуриец, так упорно не хотевший уезжать с дизентерией.

Пришел от наместника адъютант справиться о здоровье раненого. Пришли из госпиталя Красного Креста и усиленно стали предлагать офицеру перейти к ним. Офицер согласился, и его унесли от нас в Красный Крест, который все время брезгливо отказывал нам в приеме больных.

Больные... В армии больные -- это парии. Так же они несли тяжелую службу, так же пострадали, -- может быть, гораздо тяжелее и непоправимее, чем иной раненый. Но все относятся к ним пренебрежительно и даже как будто свысока: они такие неинтересные, закулисные, так мало подходят к ярким декорациям войны. Когда госпиталь полон ранеными, высшее начальство очень усердно посещает его; когда в госпитале больные, оно почти совсем не заглядывает. Санитарные поезда, принадлежащие не военному ведомству, всеми силами отбояриваются от больных; нередко бывали случаи, стоит такой поезд неделю, другую и все ждет раненых; раненых нет, и он стоит, занимая путь; а принять больных, хотя бы даже и незаразных, упорно отказывается.

* * *

Рядом с нами, в соседнем бараке, работал султановский госпиталь. Старшею сестрою Султанов назначил свою племянницу, Новицкую. Врачам он сказал:

-- Вы, господа, Аглаю Алексеевну не назначайте на дежурство. Пусть дежурят три младшие сестры.

Работы сестрам было очень много; с утра до вечера они возились с больными. Новицкая лишь изредка появлялась в бараке: изящная, хрупкая, она безучастно проходила по палатам и возвращалась назад в свою комнату.

Зинаида Аркадьевна сначала очень рьяно взялась за дело. Щеголяя красным крестом и белизною своего фартука, она обходила больных, поила их чаем, оправляла подушки. Но скоро остыла. Как-то вечером зашел я к ним в барак. Зинаида Аркадьевна сидела на табуретке у стола, уронив руки на колени, и красиво-усталым голосом говорила: -- Измаялась я!.. Весь-то день на ногах!.. А температура у меня повышенная, сейчас мерила -- тридцать восемь. Боюсь, не тиф ли начинается. А я сегодня дежурная. Старший ординатор решительно запретил мне дежурить, такой строгий! Придется за меня подежурить бедненькой Настасье Петровне.

Настасья Петровна была четвертая сестра их госпиталя, смиренная и простая девушка, взятая из общины Красного Креста. Она осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна поехала с Султановым и Новицкою на ужин к корпусному командиру. Красавица-русалка Вера Николаевна работала молодцом. Вся работа по госпиталю легла на нее и смиренную Настасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему в этом госпитале всего две сестры. Вскоре Вера Николаевна захворала, несколько дней перемогалась, но, наконец, слегла с температурою в 40. Осталась работать одна Настасья Петровна. Она было запротестовала и заявила старшему ординатору, что не в силах одна справиться. Старший ординатор был тот самый д-р Васильев, который еще в России чуть не засадил под арест офицера-смотрителя и который на днях так "строго" запретил дежурить Зинаиде Аркадьевне. На Настасью Петровну он раскричался, как на горничную, и сказал ей, что, если она хочет бить баклуши, то незачем было сюда ехать. В нашем госпитале к четырем штатным сестрам прибавилось еще две сверхштатных. Одна была жена офицера нашей дивизии. Она села в наш эшелон в Харбине, все время плакала, была полна горем и думала о своем муже. Другая работала в одном из тыловых госпиталей и перевелась к нам, узнав, что мы идем на передовые позиции. Ее тянуло побывать под огнем, для этого она отказалась от жалованья, перешла в сверхштатные сестры, хлопотала долго и настойчиво, пока не добилась своего. Была она широкоплечая девушка лет двадцати пяти, стриженная, с низким голосом, с большим мужским шагом. Когда она шла, серая юбка некрасиво и чуждо трепалась вокруг ее сильных, широко шагающих ног.

* * *

Из штаба нашего корпуса пришел приказ: обоим госпиталям немедленно свернуться и завтра утром идти в деревню Сахотазы, где ждать дальнейших приказаний. А как же быть с больными, на кого их бросить? На смену нам должны были прийти госпитали другой дивизии нашего корпуса, но поезд наместника остановил на железной дороге все движение, и было неизвестно, когда они придут. А нам приказано завтра уходить! Опять все в бараке стало вверх дном. Снимали умывальники, упаковывали аптеку, собирались выламывать в кухне котлы.

-- Позвольте, как же это? -- удивился Гречихин. -- Мы не можем бросить больных на произвол судьбы.

-- Я должен исполнить приказание своего непосредственного начальства, -- возразил главный врач, глядя в сторону.

-- Обязательно! Какой тут даже может быть разговор! -- пылко вмешался смотритель. -- Мы приданы к дивизии, все учреждения дивизии уже ушли. Как мы смеем не исполнить приказания корпусного командира? Он наш главный начальник.

-- А больных так прямо и бросить?

-- Мы за это не отвечаем. Это дело здешнего начальства. У нас вот приказ, и в нем ясно сказано, что завтра утром мы должны выступить.

-- Ну, как бы там ни было, а мы больных здесь не бросим, -- заявили мы.

Главный врач долго колебался, но, наконец, решил остаться и ждать прихода госпиталей; к тому же Езерский решительно заявил, что не выпустит нас, пока нас кто-нибудь не сменит. Возникал вопрос: для чего опять пойдет вся эта ломка, выламывание котлов, вытаскивание матрацев из-под больных? Раз наш корпус может обойтись двумя госпиталями вместо четырех, то разве не проще нам остаться здесь, а прибывающим госпиталям прямо идти с корпусом на юг? Но все понимали, что этого сделать невозможно: в соседнем госпитале был доктор Султанов, была сестра Новицкая; с ними наш корпусный командир вовсе не желал расставаться; пусть уж лучше больная "святая скотинка" поваляется сутки на голых досках, не пивши, без врачебной помощи.

Но вот чего совершенно было невозможно понять: уже в течение месяца Мукден был центром всей нашей армии; госпиталями и врачами армия была снабжена даже в чрезмерном изобилии; и тем не менее санитарное начальство никак не умело или не хотело устроить в Мукдене постоянного госпиталя; оно довольствовалось тем, что хватало за полы проезжие госпитали и водворяло их в свои бараки впрямь до случайного появления в его кругозоре новых госпиталей. Неужели все это нельзя было устроить иначе?

Через двое суток пришли в Мукден ожидаемые госпитали, мы сдали им бараки, а сами двинулись на юг. На душе было странно и смутно. Перед нами работала огромная, сложная машина; в ней открылась щелочка; мы заглянули в нее и увидели: колесики, валики, шестерни, все деятельно и сердито суетится, но друг за друга не цепляется, а вертится без толку и без цели. Что это -- случайная порча механизма в том месте, где мы в него заглянули, или... или и вся эта громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу неспособна?

На юге тяжелыми раскатами непрерывно грохотали пушки. Начинаясь бой на Шахе.

IV. Бой на Шахе

Из Мукдена мы выступили рано утром походным порядком. Вечером шел дождь, дороги блестели легкою, скользкою грязью, солнце светило сквозь прозрачно-мутное небо. Была теплынь и тишина. Далеко на юге глухо и непрерывно перекачивался гром пушек. Мы ехали верхом, команда шла пешком. Скрипели зеленые фуры и двуколки. В неуклюжей четырехконной лазаретной фуре белели апостольники и фартуки сестер. Стриженная сверхштатная сестра ехала не с сестрами, а также верхом. Она была одета по-мужски, в серых брюках и высоких сапогах, в барашковой шапке. В юбке она производила отвратительное впечатление, -- в мужском костюме выглядела прелестным мальчиком; теперь были хороши и ее широкие плечи, и большой мужской шаг. Верхом она ездила прекрасно. Солдаты прозвали ее "сестра-мальчик".

Главный врач спросил встречного казака, как проехать в деревню Сахотаза, тот показал. Мы добрались до реки Хуньхе, перешли через мост, пошли влево. Было странно: по плану наша деревня лежала на юго-запад от Мукдена, а мы шли на юго-восток. Сказали мы это главному врачу, стали убеждать его взять китайца-проводника. Упрямый, самоуверенный и скупой, Давыдов ответил, что доведет нас сам лучше всякого китайца. Прошли мы три версты по берегу реки на восток; наконец Давыдов и сам сообразил, что идет не туда, и по другому мосту перешел через реку обратно.

Всем уж стало ясно, что заехали мы черт знает куда. Главный врач величественно и угрюмо сидел на своем коне, отрывисто отдавал приказания и ни с кем не разговаривал. Солдаты вяло тащили ноги по грязи и враждебно посмеивались. Вдали снова показался мост, по которому мы два часа назад перешли на ту сторону.

-- Теперь как, ваше благородие, опять на этот мост своротим? -- иронически спрашивали нас солдаты.

Главный врач подумал над планом и решительно повел нас на запад.

То и дело происходили остановки. Несъезженные лошади рвались в стороны, опрокидывали повозки; в одной фуре переломилось дышло, в другой сломался валец. Останавливались, чинили.

А на юге непрерывно все грохотали пушки, как будто вдали вяло и лениво перекачивался глухой гром; странно было думать, что там теперь ад и смерть. На душе щемило, было одиноко и стыдно; там кипит бой; валяются раненые, там такая в нас нужда, а мы вяло и без толку кружимся здесь по полям.

Посмотрел я на свой браслет-компас, -- мы шли на северо-запад. Все знали, что идут не туда, куда нужно, и все-таки должны были идти, потому что упрямый старик не хотел показать, что видит свою неправоту.

К вечеру вдаль показались очертания китайского города, изогнутые крыши башен и кумирен. Влево виднелся ряд казенных зданий, белели дымки поездов. Среди солдат раздался сдержанный враждебный смех: это был Мукден!.. После целого дня пути мы воротились опять к нашим каменным баракам.

Главный врач обогнул их и остановился на ночевку в подгородной китайской деревне. Солдаты разбивали палатки, жгли костры из каоляна и кипятили в котелках воду. Мы поместились в просторной и чистой каменной фанзе. Вежливо улыбающийся хозяин-китаец в шелковой юбке водил нас по своей усадьбе, показывал хозяйство. Усадьба была обнесена высоким глиняным забором и обсажена развесистыми тополями; желтели скирды каоляна, чумизы и риса, на гладком току шла молотьба. Хозяин рассказывал, что в Мукдене у него есть лавка, что свою семью -- жену и дочерей -- он увез туда: здесь они в постоянной опасности от проходящих солдат и казаков...

На створках дверей пестрели две ярко раскрашенные фигуры в фантастических одеждах, с косыми глазами. Тянулась длинная вертикальная полоска с китайскими иероглифами. Я спросил, что на ней написано. Хозяин ответил:

-- "Хорошо говорить".

"Хорошо говорить"... Надпись на входных дверях с дверными богами. Было странно, и, глядя на тихо-вежливого хозяина, становилось понятно.

Мы поднялись с зарею. На востоке тянулись мутно-красные полосы, деревья туманились. Вдали уж грохотали пушки. Солдаты с озябшими лицами угрюмо запрягали лошадей: был мороз, они под холодными шинелями ночевали в палатках и всю ночь бегали, чтобы согреться.

* * *

Главный врач встретил знакомого офицера, расспросил его насчет пути и опять повел нас сам, не беря проводника. Опять мы сбивались с дороги, ехали бог весть куда. Опять ломались дышла, и несъезженные лошади опрокидывали возы. Подходя к Сахотазе, мы нагнали наш дивизионный обоз. Начальник обоза показал нам новый приказ, по которому мы должны были идти на станцию Суятунь.

Двинулись разыскивать станцию. Переехали по понтонному мосту реку, проезжали деревни, переходили вброд вздувшиеся от дождя речки. Солдаты, по пояс в воде, помогали лошадям вытаскивать увязшие возы.

Потянулись поля. На жнивьях по обе стороны темнели густые копны каоляна и чумизы. Я ехал верхом позади обоза. И видно было, как от повозок отбегали в поле солдаты, хватали снопы и бежали назад к повозкам. И еще бежали, и еще, на глазах у всех. Меня нагнал главный врач. Я угрюмо спросил его:

-- Скажите, пожалуйста, это делается с вашего разрешения?

Он как будто не понял.

-- То есть, что именно?

-- Вот это таскание снопов с китайских полей.

-- Ишь, подлецы! -- равнодушно возмутился Давыдов и лениво сказал фельдфебелю: -- Нежданов, скажи им, чтоб перестали!.. Вы, пожалуйста, Викентий Викентьевич, следите, чтоб этого мародерства не было, -- обратился он ко мне тоном плохого актера.

Впереди все выбегали в поле солдаты и хватали снопы. Главный врач тихою рысцою поехал прочь.

Воротился посланный вперед фельдфебель.

-- Что раньше забрали, то был комплект, а это уж сверх комплекта! -- улыбаясь, объяснил он запрещение главного врача. На вершине каждого воза светлело по кучке золотистых снопов чумизы...

К вечеру мы пришли к станции Суятунь и стали биваком по восточную сторону от полотна. Пушки гремели теперь близко, слышен был свист снарядов. На север проходили

санитарные поезда. В сумерках на юге замелькали вдали огоньки рваных шрапнелей. С жутким, поднимающим чувством мы вглядывались в вспыхивавшие огоньки и думали: вот, теперь начинается настоящее...

Назавтра нам приказано было перейти на другую сторону железной дороги и стать в деревне Сяо-Кии-Шинпу, за полверсты от станции...

Наш обоз стал на большом квадратном огороде, обсаженном высокими ветлами. Разбили палатки. Госпиталь д-ра Султанова находился в той же деревне; они пришли еще вчера и стали биваком недалеко от того места, где устраивались мы.

При выезде из Мукдена у доктора Султанова произошло жестокое столкновение с его врачами. Для вещей четырех младших врачей и смотрителя с его помощником полагается отдельная казенная повозка; главному же врачу выдаются деньги на приобретение собственной повозки и двух упряжных лошадей. Повозки и лошадей Султанов себе не купил, деньги положил в карман, а вещи свои велел уложить на повозку врачей. Врачи запротестовали и заставили смотрителя снять с повозки вещи главного врача. Доложили Султанову. Он вышел из себя, кричал на врачей и смотрителя, как на денщиков, топал ногами, грозил посадить всех под арест и велел сейчас же положить свои вещи обратно на повозку. Врачи были страшно возмущены, собирались писать на главного врача рапорт. Но к кому он пойдет, этот рапорт? Сначала -- к начальнику дивизии, покладистому старику, не желающему ссориться с сильными, а дальше -- к командиру корпуса, покровителю Султанова. И -- русские люди -- врачи удовольствовались тем, что поворчали и повозмущались "промеж себя".

Вообще Султанов резко изменился. В вагоне он был неизменно мил, остроумен и весел; теперь, в походе, был зол и свиреп. Он ехал на своем коне, сердито глядя по сторонам, и никто не смел с ним заговаривать. Так тянулось до вечера. Приходили на стоянку. Первым делом отыскивалась удобная, чистая фанза для главного врача и сестер, ставился самовар, готовился обед. Султанов обедал, пил чай и опять становился милым, изящным и остроумным.

Наш главный врач и смотритель как-никак заботились о команде. Правда, солдаты ночевали на морозе под летними шинелями, но полушубков нигде еще в армии не было. Солдаты наши, по крайней мере, были сыты, и для этого делалось все. В султановском же госпитале о команде никто не заботился. Весь состав как будто существовал только для того, чтобы холить и лелеять д-ра Султанова с сестрами. Команда зябла, голодала; ей предоставлялось жить как угодно. Она роптала, но Султанов относился к этому с наивно-циничным добродушием. Однажды старший ординатор Васильев обратился к нему с жалобой на одного солдата команды; он, Васильев, отдал какое-то распоряжение, а солдат в лицо ему ответил:

-- Только распоряжаться умеют! Кормить не кормят, ночь дрожи на морозе, а распоряжение исполняй!

Султанов брезгливо поморщился. Дело случилось вечером, когда он пообедал и был в хорошем расположении духа.

-- Э, оставьте вы их, бог с ними!.. Ведь, в сущности, они совершенно правы. Мы едем верхом, они идут пешком. Приедем, -- первым делом отыщем себе фанзу, закажем себе обед и самовар. А они устали и голодны. Вот послал им мяса искать, -- не нашли ничего, а нам на бифштексы удалось достать... Если бы мы вместе с ними шли пешком, голодали и зябли, тогда бы они и приказания наши исполняли...

* * *

Прошел день, другой, третий. Мы были в полном недоумении. По всему фронту бешено грохотали пушки, мимо нас проходили транспорты с ранеными. А приказа развернуться наши госпитали не получали; шатры, инструменты и перевязочные материалы мирно лежали, упакованные в повозках. На железнодорожных разъездах стояли другие

госпитали, большею частью тоже неразвернутые. Что все это значит? Шли слухи, что из строя выбыло уж двадцать тысяч человек, что речка Шахе алеет от крови, а мы кругом, десятки врачей, сидели сложа руки, без всякого дела.

Бой был в разгаре и шел очень недалеко от нас. То и дело доносилась спешная ружейная трескотня. По дорогам двигались пехотные части и артиллерийские парки, сновали запыленные казаки. Делалось какое-то огромное, общее, близкое всем дело, все были заняты, торопились, только мы одни были бездеятельны и чужды всему. Мы ездили на позиции, наблюдали вблизи бой, испытывали острое ощущение пребывания под огнем; но и это ощущение несло с собой оскотинный, противный привкус, потому что глупо было лезть в опасность из-за ничего.

Наша команда недоумевала. Как и мы, она испытывала то же сиротливое ощущение вынужденного бездельничества. Солдаты ходили за околицу смотреть на бой, жадно расспрашивали проезжих казаков, оживленно и взволнованно сообщали нам слухи о ходе боя.

Однажды к смотрителю пришли три солдата из нашей команды и заявили, что желают перейти в строй. Главный врач и смотритель изумились: они нередко грозили в дороге провинившимся солдатам переводом в строй, они видели в этом ужаснейшую угрозу, -- и вдруг солдаты просят сами!..

Все трое были молодые, brave молодцы. Как я писал, в полках нашего корпуса находилось очень много пожилых людей, удрученных старческими немощами и думами о своих многочисленных семьях. Наши же госпитальные команды больше, чем наполовину, состояли из молодых, крепких и бодрых солдат, исполнявших сравнительно далеко не тяжкие обязанности конюхов, палатных надзирателей и денщиков. Распределение шло на бумаге, а на бумаге все эти Ивановы, Петровы и Антоновы были совсем одинаковы. Смотритель пробовал отговорить солдат, потом сказал, что передаст их просьбу в штаб. Особенно изумлялся их желанию наш письмоводитель, военный зауряд-чиновник Брук, хорошенький и поразительно-трусливый мальчик.

-- Ведь тут же гораздо спокойнее! -- доказывал он. -- А там что? Убьют тебя, семья останется.

-- Чего там! У меня всего жена только. Убьют -- за другого выйдет.

Говорил стройный парень с сильным, застуженным голосом, бывший гренадер. Лицо у него было строгое и ушедшее в себя, как будто он вглядывался во что-то в своей душе, -- во что-то большое и важное.

-- А если ранят тебя? Оторвет тебе обе ноги, останешься на всю жизнь калекою?

-- Ну, что ж!.. -- Он помолчал и медленно прибавил: -- Может быть, я желаю пострадать.

Брук с недоумением взглянул на него.

-- Строй -- святое дело! -- заметил другой солдат.

-- А наше дело еще святее! -- фальшивым голосом возразил Брук. -- Помогать раненым братьям, облегчать уходом и ласкою их ужасные страдания...

-- Нет, тут что! Одна канитель! Вон, там стрельба, другие дерутся, а мы что? Никому на нас и смотреть неохота. Даже на смотрах, -- генерал какой, али и сам царь: "ну, это нестроещина!" -- и едут мимо.

* * *

29 сентября пальба особенно усилилась. Пушки гремели непрерывно, вдоль позиций как будто с грохотом валились друг на друга огромные шкапы. Снаряды со свистом уносились вдаль, свисты сливались и выли, как вьюга... Непрерывно трещал ружейный огонь. Шли слухи, что японцы обошли наше правое крыло и готовы прорвать центр. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы, спрашивали, не знаем ли мы, где такой-то штаб. Мы не знали. Солдат в унылой задумчивости пожимал плечами.

-- Как же быть теперь? С спешным донесением послан от командира, с утра ездю, и никто не может сказать.

И он вяло ехал дальше, не зная куда.

Под вечер мы получили из штаба корпуса приказ: обоим госпиталям немедленно двинуться на юг, стать и развернуться у станции Шахе. Спешно увязывались фуры, запрягались лошади. Солнце садилось; на юге, всего за версту от нас, роями вспыхивали в воздухе огоньки японских шрапнелей, перекатывалась ружейная трескотня. Нам предстояло идти прямо туда.

Султанов, сердитый и растерянный, сидел у себя в фанзе и искал на карте станцию Шахе; это была следующая станция по линии железной дороги, но от волнения Султанов не мог ее найти. Он злобно ругался на начальство.

-- Это черт знает, что такое. По закону полевые подвижные госпитали должны стоять за восемь верст от позиций, а нас посылают в самый огонь!

Было, действительно, непонятно, что могут делать наши госпитали в том аду, который сверкал и грохотал вдаль. Мы, врачи, дали друг другу свои домашние адреса, чтобы, в случае смерти, известить близких.

Рвались снаряды, трещала ружейная перестрелка. На душе было жутко и радостно, как будто вырастали крылья, и вдруг стали близко понятны солдаты, просившиеся в строй. "Сестра-мальчик" сидела верхом на лошади, с одеялом вместо седла, и жадными, хищными глазами вглядывалась в меркнувшую даль, где все ярче вспыхивали шрапнели.

-- Неужели мы опять будем плутать и не попадем, куда нужно? -- волновалась она. --

Господа, убедите главного врача, чтобы он нанял проводника.

-- Днем плутали, -- то ли еще будет ночью! -- зловеще произнес Селюков и вздохнул. -- А лошади несъезженные, пугливые. Первый снаряд упадет, они весь обоз разнесут вдребезги.

Мы двинулись к железной дороге и пошли вдоль пути на юг. Валялись разбитые в щепы телеграфные столбы, по земле тянулась исковерканная проволока. Нас нагнал казак и вручил обоим главным врачам по пакету. Это был приказ из корпуса. В нем госпиталям предписывалось немедленно свернуться, уйти со станции Шахе (предполагалось, что мы уж там) и воротиться на прежнее место стоянки к станции Суятунь.

Оживленно и весело все поворотили назад. Только сестра-мальчик была огорчена и готова плакать от досады; она все обертывалась назад и горящими, жалеющими глазами поглядывала в шумевшую боем даль.

Мы разбили палатки, поужинали. Вечер был теплый и тихий-тихий. Темная дымка окутывала небосклон, звезды мутно светились. Бой не замолкал. Ночью разразилась гроза. Яростно гремел гром, воздух резали молнии. А снаряды по-прежнему со свистом неслись в темную даль; грохотали пушки, перебиваясь с грохотом грома; лихорадочно трещал ружейный огонь пачками. Небо и земля свились и крутились в грохочущем, сверкающем безумии. Под проливным дождем по дороге шли вперед темные колонны солдат, и штыки струистыми огнями вспыхивали под молниями.

* * *

И опять прошел день, и другой, и третий. Бой продолжался, а мы все стояли неразвернутыми. Что же это, наконец, забыли о нас, что ли? Но нет. На станции Угольной, на разъездах, -- везде стояли полевые госпитали и тоже не развертывались. Врачи зевали, изнывали от скуки, играли в винт...

Пошли дожди, мы перебрались из палаток в китайскую фанзу. Жили тесно и неудобно. Здесь же в уголке помещались сестры; на ночь они завешивались от нас платками. Заходили из султановского госпиталя врачи и сестры, кроме племянницы Султанова Новицкой; она безвыходно сидела в своей фанзе. Зато очень часто забегала Зинаида Аркадьевна. Изящно одетая, кокетничая своим белоснежным фартуком с красным

крестом, она рассказывала, что тогда-то у них обедал начальник такой-то дивизии, тогда-то заезжал "наш милый Леонид Николаевич (корпусный командир)". Зинаида Аркадьевна вспоминала о Москве и глубоко вздыхала.

-- Господи, с каким бы я сейчас удовольствием поела паштета из кур! -- говорила она своим изученно-красивым, протяжным голосом. -- Так безумно хочется есть!

Селюков мрачно возражал:

-- Ну, это пока не так страшно. Вот когда вам безумно захочется черного хлеба, это так.

-- Да, паштета. Паштета и шампанского, -- мечтательно говорила Зинаида Аркадьевна. Заходил разговор, что, по слухам, госпитальных врачей и сестер собираются командировать на перевязочные пункты.

-- Ну, вы меня не испугаете: я фаталистка! -- замечала Зинаида Аркадьевна. Но еще вчера наши сестры со смехом рассказывали, как разволновались при этих слухах Зинаида Аркадьевна и Новицкая, как заявили, что пусть не воображают, -- с какой стати они поедут под снаряды?

Зинаида Аркадьевна прощается и уходит. В уголке, в полумраке, сидит наша старшая сестра.

-- Ах, я с вами и не здоровалась, здравствуйте! -- любезно восклицает Зинаида Аркадьевна.

-- Мы люди маленькие, нас можно не заметить, -- сдержанно отвечает сестра.

-- Напротив! Вы так всегда одеты по форме, в апостольниках, в форменных платьях, вас сразу можно заметить. Не то, что мы, революционерки, -- мило возражает Зинаида Аркадьевна...

Однажды утром, проснувшись, я услышал за окнами русские и китайские крики, главный врач торопливо кричал:

-- Держи, держи их!

Я выскочил наружу. Смотритель стоял у ворот и возмущенно повторял:

-- Черт знает, черт знает, что такое!

Наискосок, по грядам каоляна, бежали куда-то главный врач, несколько наших солдат, китайцы и старая китайка, хозяйка нашей фанзы. Я пошел за ними.

От китайских могил скакали прочь два казака, вкладывая на скаку шашки в ножны. Наши солдаты держали за руки бледного артиллериста, перед ним стоял главный врач. У конической могилы тяжело хрипела худая, черная свинья; из-под левой лопатки текла чернеющая кровь.

-- Ах-х, ты, с-сукин сын! -- возмущенно говорил главный врач. -- Арестовать его!

Двинулись назад. Китайцы понесли издыхающую свинью. Подошел смотритель, столпилась наша команда.

-- Ты какой части? -- строго спросил главный врач.

-- 12 артиллерийской бригады, -- ответил арестованный. На испуганном, побледневшем лице рыжели усики и обильные веснушки, пола шинели была в крови. -- Ваше высокоблагородие, позвольте вам доложить: это не я, я только мимо шел... Вот, извольте посмотреть! -- Он вынул из ножен и показал свою шашку. -- Извольте видеть, крови нету.

-- А откуда на ней глина? -- Ты зачем шашку вынимал?

-- Они просили подсобить.

-- Кто они такие?

-- Не могу знать.

-- Ну, один под суд и пойдешь... Арестовать его! Аркадий Николаевич, напишите о нем бумагу, -- обратился Давыдов к смотрителю.

-- Ваше высокоблагородие, прикажите идти, меня их благородие капитан Веревкин ждут.

-- Подождет. Это он, что ли, воровать тебя посылал?.. Подлецы этакие! Хуже разбойников! Не знаете, что китайцы мирное население, что их запрещено грабить?

Зарезанная свинья лежала у ворот, вокруг толпились наши солдаты.

-- Э, сухая какая. Стоило возиться! -- протянул Кучеренко. -- Кабы сытая была!

Все с сочувствием поглядывали на арестованного. Его увели. Солдаты расходились. -- Великолепно, так и надо! -- нарочно громко говорил я. -- Другим наука будет! -- "Наука"... А как нам не воровать? -- угрюмо возразил солдат-конюх. -- Все бы лошади с голоду подошли, костра бы не из чего было развести. Ведь вон лошади рисовую солому едят, -- все это ворованное. Лошадям по два гарнца овса выдают, разве лошадь с этого будет сыта? Все передохнут.

-- И пускай передохнут! -- сказал я. -- Вам-то что? Это -- дело начальства. Ваше дело только кормить лошадей, а не добывать фураж.

Солдат усмехнулся.

-- Да-а!.. А вон, когда в походе возы в реке застряли, нас всех в воду погнали лошадям подсоблять. Сколько народу лихорадку получили! Почему? Силы у лошадей не было!.. Нет, ваше благородие, это вы все неправильно. Не побреешь, -- не поешь.

-- Вон, старший врач антилериству грозитя, под суд отдам, -- заметил другой. -- А нам что говорил? Тащите, говорит, ребята, что хотите, только чтобы я не видел. Почему же он нас не грозитя под суд отдать?

-- Ему прямой расчет, чтоб мы воровали... А попадись-ка я, например, вон тому капитану, который антилериста послал. Тоже сейчас скажет: ах ты, разбойник, сукин сын! Не знаешь, что это мирные жители?.. Под суд!

Солдаты засмеялись, а я молчал, потому что они были правы.

Наш хозяин, молодой китаец с красивым, загорелым лицом, горячо благодарил главного врача за заступничество, принес ему в подарок пару роскошно вышитых китайских туфель. Давыдов смеялся, хлопал китайца по плечу, говорил: "шанго" (хорошо), а вечером, как нам рассказал письмоводитель, попросил хозяина подписать свою фамилию под одною бумажкою; в бумажке было написано, что нижеподписавшийся продал нашему госпиталю столько-то пудов каолянового зерна и рисовой соломы, деньги, такую-то сумму, получил сполна. Китаец побоялся и стал отказываться.

-- Ну, ты не свою фамилию напиши, а какую-нибудь другую, это все равно, -- сказал главный врач.

На это китаец согласился и получил в награду рубль, а канцелярия наша обогатилась "оправдательным документом" на 617 р. 35 коп. (круглых цифр фальшивые документы не любят)...

* * *

Первого октября мы получили приказ спешно развернуться и приготовиться к приему раненых. Весь день шла работа. Устанавливались три огромных шатра, набивались соломою матрацы, устраивалась операционная, аптека.

Назавтра под вечер, под проливным дождем, привезли первый транспорт раненых.

Промокших, дрожащих и окровавленных, их вынимали из тряских двуколок и переносили в шатры. Наши солдаты, истомившиеся бездельем, работали горячо и радостно. Они любовно поднимали раненых, укладывали в носилки и переносили в шатры.

Внесли солдата, раненного шимозою; его лицо было, как маска из кровавого мяса, были раздроблены обе руки, обожжено все тело. Стоняли раненные в живот. Лежал на соломе молодой солдатик с детским лицом, с перебитою голенью; когда его трогали, он начинал жалобно и капризно плакать, как маленький ребенок. В углу сидел пробитый тремя пулями унтер-офицер; он три дня провалялся в поле, и его только сегодня подобрали. Блестя глазами, унтер-офицер оживленно рассказывал, как их полк шел в атаку на японскую деревню.

-- Из деревни стрельбы не слышать. Командир полка говорит: "Ну, ребята, струсил япошка, удрал из деревни! Идем ее занимать". Пошли цепями, командиры матюкаются, -- "Равняйся, подлецы! Не забегай вперед!" Ученье устроили; крик, шум, на нас холоду нагнали. А он подпустил на постоянный прицел да как пошел жарить... Пыль кругом

забила, народ валится. Полковник поднял голову, этак водит очками, а оттуда сыплют! "Ну, ребята, в атаку!", а сам повернул коня и ускакал...

Наши солдаты жадно слушали и ахали.

-- Бегут все кругом, я упал... Рядом земляк лежит. Попробует подняться, -- опять падает... "Брат, -- говорит, -- подними меня!" -- "Что же мне делать? Я и сам валяюсь"...

В шатрах стоял полумрак, тускло горели фонари. Отовсюду шли стоны и оханья. Сестры поили раненых чаем. Мы подбинтовывали промокшие кровью повязки; где было нужно, накладывали новые. Бинты вышли. Я послал за бинтами в аптеку палатного надзирателя; он воротился и доложил, что аптекарь без требования не отпускает. Я попросил сходить в аптеку сестру и сказать, что требование я напишу потом, а чтоб сейчас поскорее отпустили бинтов. Сестра сходила и, удивленно пожав плечами, сообщила, что без требования аптекарь отказывается выдать.

Что такое?.. Наш аптекарь был человек редко-неинтеллигентный, пьянчужка, но производил впечатление очень милого и добродушного парня. Что с ним такое случилось?.. Впоследствии мы узнали его ближе: аптека была для него как будто центральным механизмом мира, в ее священном ходе ничего нельзя было изменить ни на волос. Обыкновенно смирный и угодливый, в аптеке Михаил Михайлович пьянел от высоты своего положения; а когда он был пьяный -- все равно, от водки или от сознания важности своей аптеки -- он становился заносчив и величествен. Я пошел к нему сам. -- Михаил Михайлович, голубчик, что это вы тут бунтуете? Пожалуйста, отпустите скорей бинтов, там раненые истекают кровью.

-- Потрудитесь написать требование, -- сухо ответил он, поджав губы.

-- Да что вам, не все равно, когда требование будет написано, сейчас или потом? Третий раз к вам приходится обращаться за одним и тем же!

-- Я ничего не знаю. Я могу что-либо отпускать из аптеки только по требованию. -- И в его голосе звучало холодное злорадство русского чиновника, чувствующего за собой право сделать пакость.

-- Тьфу ты, черт! Ну, дайте поскорее бумаги, я сейчас напишу.

-- Лишней бумаги у меня нет, возьмите у старшего ординатора. Я сам получаю бумагу по требованию, я обязан давать в ней отчет... Да-с, теперь шутки кончены!..

Пришлось прибегнуть к помощи главного врача, чтоб умерить его слишком серьезное отношение к делу.

До поздней ночи мы возились с ранеными. Сделали две ампутации. У одного артиллериста извлекли из крестца дистанционную трубку шрапнели -- широкий медный конус, разбивший крестец и разорвавший прямую кишку. Ночью подошел новый транспорт раненых. Вдали грохотали пушки, темное небо, как зарницами, вспыхивало отсветами от выстрелов. Везде кругом стонали окровавленные, иззябшие люди. Солдат, которому пуля пробил щеки и челюсти, сидел с черною от крови бородой и отхаркивал тянущуюся кровавую слюну. Над головой наклонившегося врача равномерно тряслись скрюченные пальцы дрожащих от боли рук, слышались протяжные всхлипывания.

-- Ой, кормильцы мои!..

А вдали все блистали отсветы грохочущих выстрелов, и странно было вспомнить, как тянулась душа к грозной красоте того, что творилось там. Не было там красоты, все было мерзко, кроваво-грязно и преступно.

Утром пришло распоряжение, -- всех раненых немедленно эвакуировать на санитарные поезда. Для чего это? Мы недоумевали. Немало было раненных в живот, в голову, для них самое важное, самое необходимое -- покой. Пришлось их поднимать, нагружать на тряские двуколки, везти полторы версты до станции, там опять разгружать, переносить на санитарный поезд...

* * *

Наши госпитали начали работать. И была наша работа еще бессмысленнее, чем прежде безделье.

С перевязочных пунктов привозили раненых. Мы клали их в шатры, подбинтовывали тех, у кого повязки промокли; смотря по времени дня, кормили обедом или поили чаем, к вечеру нагружали всех на двуколки и отвозили на станцию. Для чего была нужна эта остановка у нас за полверсты от станции для раненых, уже проехавших пять-шесть верст? Часто бывало, что мы только осматривали привезенных раненых в их двуколках и своею властью в тех же двуколках отправляли дальше на станцию. Главный врач не возражал против этого, только усиленно требовал, чтоб провозимые раненые записывались у нас в книги и отправлялись дальше с нашими билетиками.

На станции мы грузили раненых в санитарные поезда.

Подходил поезд, сверкавший царским великолепием. Длинные белые вагоны, зеркальные стекла; внутри весело, чисто и уютно; раненые, в белоснежном белье, лежат на мягких пружинных матрацах; везде сестры, врачи; в отдельных вагонах -- операционная, кухня, прачечная... Отходил этот поезд, бесшумно качаясь на мягких рессорах, -- и ему на смену с неуклюжим грохотом становился другой, сплошь состоявший из простых товарных вагонов. Откатывались двери, раненых с трудом втаскивали в высокие, без всяких лестничек, вагоны и клали на пол, только что очищенный от навоза. Не было печей, не было отхожих мест; в вагонах стояли холод и вонь. Тяжелые больные ходили под себя; те, кто мог, вылезал из вагона и ковылял к отхожему месту станции. Поезд давал свисток и, дернув изо всей силы вагоны, начинал двигаться. Раненые тряслись на полу, корчились, стонали и проклинали. Сообщения между вагонами не было; если открывалось кровотечение, раненый истекал кровью, раньше чем на остановке к нему мог попасть врач поезда{2}.

Вот что рассказывает в "Русском Враче" (1905, No 5) д-р Б. Козловский об эвакуации раненых во время боя на Шахе:

Эвакуируемые жестоко страдали от холода, тем более, что они также не были еще снабжены никакой теплой одеждой, и только некоторые из них могли получить в Мукдене теплые китайские одеяла и халаты, далеко, впрочем, недостаточные. Чтобы согреться, эвакуируемые в некоторых вагонах раскладывали костры (подложив кирпичи и т. п.); но это, разумеется, было исключением. Поезда большей частью отправлялись совершенно необорудованные, без кухонь, без свечей, без всякой сортировки больных и почти без медицинского персонала. Так, один поезд пришел в Харбин только с комендантом (офицером) и одной сестрой. Были поезда, шедшие все ночи во мраке вследствие недостатка свечей и следовавшие несколько станций без всякого медицинского персонала, который назначен был только в Телине. Не лучше было и с питанием больных.

Приходилось кормить эвакуируемых в пути на военно-продовольственных пунктах, но здесь происходил целый ряд недоразумений: то неопытный комендант не отправлял вовремя телеграммы, то поезд опаздывал на много часов, а в результате больные нередко по двое суток не получали горячей пищи и голодали в холодных, нетопленных вагонах. Чем ближе к Харбину, тем больше усиливалась закупорка пути и тем больше мерзли и голодали эвакуируемые.

В том же "Русском Враче" (No 14) приведен рассказ одного врача, относящийся ко времени Ляоянского боя:

Ночью он услышал раздавшиеся из одного закрытого наглухо вагона стоны. Открыв вагон, он увидел там раненного в голову (в бессознательном состоянии), сорвавшего с себя повязку; раненый стоял у форточки товарного вагона, доставал из раны пальцами кусочки размозженного мозга и рассматривал их при свете луны, а на полу в темноте лежали раненные в живот с начавшимся уже воспалением брюшины и на каждый толчок вагона

отвечали громкими стонами и проклятиями. От испражнений, делаемых под себя, в вагоне стояла вонь; духота и жажда усиливали страдания несчастных. По-видимому, стоны эвакуируемых донесли и до Петербурга: в двадцатых числах августа проехали лица, собиравшие материал об эвакуации, и в результате явились доклад и попытки улучшить эвакуацию.

Ко времени боя на Шахе, как мы видели, "попытки" эти еще не увенчались успехом, все шло по-прежнему. А вот что происходило в заседании Телинского медицинского общества уже в январе 1905 года, незадолго до Мукденского боя.

Было выслушано сообщение Н. В. Рено о перевозке раненых и больных в теплушечных поездах. Докладчица в ярких красках описала мытарства, испытываемые перевозимыми в этих поездах больными, и указала на угнетающее положение сопровождающего эти поезда медицинского персонала, почти бессильного в борьбе с той массой неудобств, которые представляют эти поезда в настоящем своем виде. -- При обмене мнений, в котором приняли участие и инженеры, выяснилось, что, несмотря на год войны, для улучшения этих поездов почти ничего не сделано, хотя улучшения эти возможны при не особенно больших затратах и местными средствами железнодорожных мастерских. Для всестороннего обсуждения мероприятий, необходимых в целях удовлетворительного оборудования приспособлений теплушечных санитарных поездов, общество избрало комиссию, в работах которой любезно согласились принять участие и инженеры. Собранный комиссией фактический материал, а также составленный инж. Савкевичем проект переделки вагона были, по постановлению общества, пересланы главному начальнику санитарной части армии. На неожиданных результатах этого представления, -- добавляет референт, -- я нахожу неудобным здесь останавливаться ("Русский Врач", 1905 г. No 25).

Результат же был очень простой. От начальника санитарной части, генерала Ф. Ф. Трепова, в ответ пришел запрос: на каком основании существует Телинское медицинское общество? Ответили, что на основании устава, утвержденного начальником тыла, генералом Надаровым, для Харбинского медицинского общества, Телинское же представляет собою его филиальное отделение. (Замечу, что о существовании Телинского общества Трепову было известно давно: Общество уже раньше писало ему о необходимости устроить в Телине изоляционное помещение для заразных больных, но ответа не удостоилось.) Последовала вторая бумага от начальника санитарной части: власть генерала Надарова на Телин не распространяется. Этим дело и закончилось.

* * *

Вокруг нас, -- у станций, у разъездов, -- везде стояли полевые госпитали. Одни из них все еще не получали приказа развернуться. Другие, как и наши, были развернуты. Издалека белелись огромные парусиновые шатры с светло-зелеными гребнями, флаги с красным крестом призывно трепыхались под ветром.

-- Вы что, собственно, делаете? -- спрашивал я врачей этих госпиталей.

-- Что делаем? Записываем проезжающих раненых, -- с усмешкою отвечали врачи. -- То и дело телеграммы: "Немедленно всех эвакуировать"... Записанные ставятся на довольствие. А на довольствие каждого нижнего чина полагается шестьдесят копеек в сутки, на довольствие офицера -- рубль двадцать копеек. Смотрители ходят и потирают руки. Так работали госпитали в нашей местности. А в мукденских каменных бараках, которые мы сдали госпиталю другой дивизии нашего корпуса, в это время происходило вот что. В бараки непрерывно прибывали раненые. Как будто прорвало какую-то плотину. Везли. Шли пешком. Приходили пешком раненные в живот. Во все двери валили люди в

окровавленных повязках. В одном из барачков было триста мест, в другом -- сто восемьдесят. Теперь в каждый из них набилось больше тысячи раненых. Не хватало не только коек, -- давно уж не хватало соломы и циновок, не хватало места под кровлею. Раненые лежали на полу между коек, лежали в проходах и сенях барачков, наполняли разбитые около барачков госпитальные шатры, И все-таки места всем не хватало. Они лежали под открытым небом, под дождем и холодным ветром, окровавленные, трясущиеся и промокшие, и в воздухе стоял какой-то дрожащий, сплошной стон от холода.

"Прикомандированные" врачи, которые при нас без дела толклись в барачках, теперь все были разосланы Горбачевичем по полкам; они уехали в одних шведских куртках, без шинелей: Горбачевич так и не позволил им съездить в Харбин за их вещами. Всю громадную работу в обоих мукденских барачках делали теперь восемь штатных ординаторов. Они беспрерывно работали день и ночь, еле стоя на ногах. А раненых все подносили и подвозили.

На кухнях не хватало котлов. Сколько их было, во всех наварили супу, рассчитывая, что проголодавшиеся раненые будут хотеть есть. Но большинство прибывших просило пить, а не есть; они отворачивались от теплого, соленого супа и просили воды. Воды не было: кипяченой негде было приготовить, а сырой не решались давать, потому что кругом свирепствовала дизентерия и брюшной тиф.

Что же делали эти мукденские бараки?

Они -- они тоже "эвакуировали", и только. И было это еще курьезнее, чем у нас.

Эвакуировали они не только раненых, привезенных непосредственно с позиций. Шедшие с юга санитарные теплушечные поезда останавливались в Мукдене, раненых выгружали, переносили в бараки, а на завтра снова тащили на вокзал, грузили в теплушки и отправляли дальше на север. Можно было думать, что какой-то злобный дьявол нарочно устраивает все это, чтобы повеселиться на безмерные людские муки. Но нет, дьявол был не злобный и не имел охоты веселиться; был он с сухой, бесстрастной бумажной душой, с деловито-суетливым взглядом и полагал, что делает самое настоящее дело.

То и дело в бараки приходили телеграммы от военно-медицинского начальства: немедленно эвакуировать четыреста человек, немедленно эвакуировать семьсот человек. Охваченное каким-то непонятным, безумным бредом, начальство думало только об одном: поскорее забросить раненых как можно дальше от позиций. Бой на Шахе не кончился отступлением армий, -- все равно! Он мог кончиться отступлением, -- и вот тяжело раненных, которым нужнее всего был покой, целыми днями нагружали, выгружали, таскали с места на место, трясли и перетряхивали в двуколках и теплушках.

По окончании боя Куропаткин с чувством большого удовлетворения телеграфировал военному министру для доклада царю:

Во время боев с 25 сентября по 8 октября из района боевых действий маньчжурской армии вывезено в Мукден, а отсюда эвакуировано в тыл: раненых и больных офицеров -- 945, нижних чинов -- 31111. Эвакуация столь значительного числа раненых исполнена в такой короткий срок, благодаря энергии, распорядительности и совместной дружной работе чинов санитарного и медицинского ведомства.

Все раненые в один голос заявляли, что ужасны не столько раны, сколько перевозка в этих адских двуколках и теплушках. Больные с полостными ранами гибли от них, как мухи.

Счастлив был тот раненый в живот, который дня три-четыре провалялся на поле сражения неподобным: он лежал там беспомощный и одинокий, жаждал и мерзнул, его каждую минуту могли загрызть стаи голодных собак, -- но у него был столь нужный для него покой; когда его подобрали, брюшные раны до известной степени уже склеились, и он был вне опасности.

Нарушая прямые приказы начальства, врачи мукденских барачков на свой риск отделили часть барака под полостных раненых и не эвакуировали их. Результат получился поразительный: все они, двадцать четыре человека, выздоровели, только один получил ограниченный перитонит, один -- гнойный плеврит, и оба поправились.

* * *

Под конец боя бараки посетил наместник и раздавал раненым солдатам Георгиев. По уходе наместника все хохотали, а его адъютанты сконфуженно разводили руками и признавались, что, собственно говоря, всех этих Георгиев следовало бы отобрать обратно. Идет наместник, за ним свита. На койке лежит бледный солдат, над его животом огромный обруч, на животе лед.

-- Ты как ранен?

-- Значит, иду я, ваше высокопревосходительство, вдруг ка-ак она меня саданет, прямо в живот! Не помню, как, не помню, что...

Наместник вешает ему Георгия. Но кто же была эта она? Шимоза? О, нет: обозная фура. Она опрокинулась на косогоре и придавила солдата-конюха. Порохового дыма он и не нюхал.

Получили Георгия солдаты, раненные в спину и в зад во время бегства. Получили больше те, которые лежали на виду, у прохода. Лежавшие дальше к стенам остались ненагражденными. Впрочем, один из них нашелся; он уже поправлялся, и ему сказали, что на днях его выпишут в часть. Солдат пробрался меж раненых к проходу, вытянулся перед наместником и заявил:

-- Ваше высокопревосходительство! Прикажите выписать меня в строй. Желая еще послужить царю и отечеству.

Наместник благосклонно оглядел его.

-- Это пусть доктора решают, когда тебя выписать. А пока -- вот тебе.

И повесил ему на халат, георгин.

Теперь пришлось поверить и слышанным мною раньше рассказам о том, как раздавал наместник Георгиев; получил Георгия солдат, который в пьяном виде упал под поезд и потерял обе ноги; получил солдат, которому его товарищ разбил в драке голову бутылкою. И многие в таком роде.

В течение боя, как я уж говорил, в каждом из барачных работало всего по четыре штатных ординатора. Кончился бой, схлынула волна раненых, -- и из Харбина на помощь врачам прибыло пятнадцать врачей из резерва. Делать теперь им было решительно нечего. Начальство за время боя в бараки не заглядывало, -- теперь снова оно зачастило. Снова пошли распекания, угрозы арестом и бестолковые, противоречащие друг другу приказания.

Является Горбацевич.

-- Что это такое?! Шинели больных валяются на кроватях!

-- Нет цейхгауза, ваше превосходительство.

-- Так вбейте гвоздики над каждой кроватью, пусть висят на гвоздиках.

Вбили. Является Трепов.

-- Что это тут за цейхгауз? Чего вы этих шинелей понавешали? Загородили весь свет, набиваете пыль и заразу!

-- Так приказал г. полевой медицинский инспектор.

-- Сейчас же убрать!

Инспектор госпиталей Езерский -- у этого было свое дело. Дежурит только что призванный из запаса молодой врач. Он сидит в приемной за столом и читает газету. Вошел Езерский, прошелся по палатам раз, другой. Врач посмотрел на него и продолжает читать. Езерский подходит и спрашивает:

-- Сколько у вас больных?

-- Больных?.. Можно сейчас посмотреть, -- благодушно заявляет врач и тянется к книге, куда записывают больных.

-- Скажите, пожалуйста: вы вот видите, по палатам ходит совсем чужой человек. А вы на это даже не обращаете внимания и продолжаете читать газету. Может быть, я сумасшедший?

Врач поднял брови, оглядел генерала и чуть пожал плечом: дескать, на вид как будто незаметно.

Генерал рассвирепел, стал кричать. Врач сообразил, что перед ним какое-то начальство, встал и вытянулся.

-- Под арест на семь суток!

Вошел ординатор; с рукою к козырьку, говорит генералу:

-- Простите, ваше превосходительство, в этом виноваты мы. Товарищ только что прибыл из запаса, военных правил не знает, а мы его не обучили.

-- Что? Заступаться? Под арест на трое суток!

* * *

В Мукдене шла описанная толчая. А мы в своей деревне не спеша принимали и отправляли транспорты с ранеными. К счастью раненых, транспорты заезжали к нам все реже. Опять все бездельничали и изнывали от скуки. На юге по-прежнему гремели пушки, часто доносилась ружейная трескотня. Несколько раз японские снаряды начинали ложиться и рваться близ самой нашей деревни.

У нас расхворалась одна из штатных сестер, за нею следом -- сверхштатная, жена офицера. В султановском госпитале заболела красавица Вера Николаевна. У всех трех оказался брюшной тиф; они захватили его в Мукдене, ухаживая за больными. Заболевших сестер эвакуировали на санитарном поезде в Харбин...

Наша деревня с каждым днем разрушалась. Фанзы стояли без дверей и оконных рам, со многих уже сняты были крыши; глиняные стены поднимались среди опустошенных дворов, усеянных осколками битой посуды. Китайцев в деревне уже не было. Собаки уходили со дворов, где жили теперь чужие люди, и -- голодные, одичалые -- большими стаями бегали по полям.

В соседней деревушке, в убогой глиняной лачуге, лежала больная старуха-китаянка; при ней остался ее сын. Увезти ее он не мог: казаки угнали мулов. Окна были выломаны на костры, двери сняты, мебель пожжена, все запасы отобраны. Голодные, они мерзли в разрушенной фанзе. И вдруг до нас дошла страшная весть: сын своими руками зарезал больную мать и ушел из деревни.

Воротился из Мукдена наш хозяин. Увидел свою разграбленную фанзу, ахнул, покачал головою. С своею ужасною, любезно-вежливую улыбкою подошел к вывороченной двери погреба, спустился, посмотрел и вылез обратно. Неподвижное лицо не выражало ничего. Под вечер китаец сидел с фельдшером на стволе дерева, срубленного нами на его огороде. Любопытствующим голосом он спрашивал фельдшера:

-- Ходя (приятель), твоя мадама ю (у тебя жена есть)?

-- Ю (есть), -- отвечает фельдшер.

-- Маленька ю? -- спрашивал китаец и показывал рукою на пол-аршина от земли.

-- И ребята есть.

Фельдшер вздохнул и задумался. А китаец тихим, бесстрастным голосом рассказывал, что у него тоже есть "мадама" и трое ребят, что все они живут в Мукдене. А Мукден, как мухами, набит китайцами, бежавшими и выселенными из занятых русскими деревень. Все очень вздорожало, за угол фанзы требуют по десять рублей в месяц, "палка" луку стоит копейку, пуд каоляна -- полтора рубля. А денег взять негде.

Он сидел понурившись, исхудалый, с ровно-смуглым, молодым цветом кожи на красивом лице. Фельдшер дал ему кусок черного хлеба. Китаец жадно закусил хлеб своими кривыми зубами.

От колодца прошел наш кашевар с четырехугольным черным ведром в руках.

-- А, ходя! Здравствуй! -- весело крикнул он китайцу.

Китаец приветливо кивнул в ответ.

-- Длиаст! -- И с вежливо-любезною улыбкою указал рукою на ведро.

-- Что? Твое ведро?

-- Моя! -- улыбнулся китаец.

-- Как это ты, ходя, сюда в деревню пробрался? -- спросил фельдшер. -- У нас тут всех китаев выселили. Пойдешь назад, попадешься казакам, -- кантрами тебе сделают.

-- Моя не боиса! -- равнодушно ответил китаец.

На вечерней заре он ушел из деревни, и больше мы его уж не видели.

За ужином главный врач, вздыхая, ораторствовал: -- Да! Если мы на том свете будем гореть, то мне придется попасть на очень горячую сковородку. Вот приходил сегодня наш хозяин. Должно быть, он хотел взять три мешка рису, которые зарыл в погребе; а их уж раньше откопала наша команда. Он, может быть, только на них и рассчитывал, чтобы не помереть с голоду, а поели рис наши солдаты.

-- Позвольте! Вы это знали, как же вы это могли допустить? -- спросили мы.

Главный врач забегал глазами.

-- Я это только что сам узнал.

-- Только вы один во всем этом и виноваты, -- резко сказал Селюков. -- Вот, недалеко от нас дивизионный лазарет: смотритель собрал команду и объявил, что первого же, кто попадется в мародерстве, он отдаст под суд. И мародерства нет. Но, конечно, он при этом покупает солдатам и припасы и дрова.

Воцарилось "неловкое молчание". Денщики с неподвижными лицами стояли у дверей, но глаза их смеялись.

-- Вообще нет ничего более позорного и безобразного, чем война! -- вздохнул главный врач.

Все молчали.

-- Я верю, что со временем Европа получит от Востока жестокое возмездие, -- продолжал главный врач.

Деликатный Шанцер не выдержал и заговорил о желтой опасности, об известной картине германского императора.

После ужина денщики, посмеиваясь, сообщили нам, что про мешки с рисом главный врач знал с самого начала; солдатам, откопавшим рис, он дал по двугривенному, а рисом этим кормит теперь команду.

Тот дивизионный лазарет, о котором упомянул Селюков, представлял собою какой-то удивительный, светлый оазис среди бездушно черной пустыни нашего хозяйничанья в Маньчжурии. И причиной этого чрезвычайного явления было только то, что начальник лазарета и смотритель были элементарно честными людьми и не хотели наживаться на счет китайцев. Мне пришлось быть в деревне, где стоял этот лазарет. Деревня имела необычайный, невероятный вид: фанзы и дворы стояли нетронутые, с цельными дверями и окнами, со скирдами хлеба на гумнах; по улицам резвились китайские ребятишки, без страха ходили женщины, у мужчин были веселые лица. Кумирня охранялась часовым. По улицам днем и ночью расхаживали патрули и, к великому изумлению забирававшихся в деревню чужих солдат и казаков, беспощадно арестовывали мародеров.

И какое же зато было там у китайцев отношение к русским! Мы часто целыми днями сидели без самого необходимого, -- там был полный избыток во всем: китайцы, как из-под земли, доставали русским решительно все, что они спрашивали. Никто там не боялся хунхузов, глухою ночью все ходили по деревне безоружные.

О, эти хунхузы, шпионы, сигнальщики! Как бы их было ничтожно мало, как бы легко было с ними справляться, если бы русская армия хоть в отдаленной мере была тою внешне и морально дисциплинированной армией, какую ее изображали в газетах лживые корреспонденты-патриоты.

* * *

Бой постепенно, незаметно затихал. Две огромные волны раскатились, сшиблись и теперь медленно оттекали обратно. Обе армии за небольшими изменениями остались на своих местах. Реже и глуше грохотали пушки, все меньше шло раненых. Русские и японцы сидели друг против друга в залитых дождями окопах, шагах в трехстах расстояния, и стыли по колено в воде, скорчившись за брустверами. Кто неосторожно выглядывал, сейчас же получал в голову пулю. В госпитали теперь повалили больные с бронхитами, ревматизмами и лихорадками.

К нам забежала оживленная Зинаида Аркадьевна и сообщила, что отобрание у японцев шестнадцати орудий и взятие "сопки с деревом" решено раздуть в грандиозную победу и приступить к переговорам о мире. Слух этот стал распространяться. Некоторые офицеры сдержанно замечали:

-- Самый благоприятный момент для мира. Позиции мы удержали, к переговорам приступим не как побежденные...

Другие возмущались.

-- Как? Вполне ясно, в войне наступает перелом. До сих пор мы всё отступали, теперь удержались на месте. В следующий бой разобьем япошек. А их только раз разбить, -- тогда так и побегут до самого моря. Главная работа будет уж казакам... Войск у них больше нет, а к нам подходят все новые... Наступает зима, а японцы привыкли к жаркому климату. Вот увидите, как они у нас тут зимою запищат!

Большинство офицеров насчет зимы соглашалось, но в общем молчало и не высказывалось.

От бывших на войне с самого ее начала я не раз впоследствии слышал, что наибольшей высоты всеобщее настроение достигло во время Ляоянского боя. Тогда у всех была вера в победу, и все верили, не обманывая себя; тогда "рвались в бой" даже те офицеры, которые через несколько месяцев толпами устремлялись в госпитали при первых слухах о бое. Я этого подъема уже не застал. При мне все время, из месяца в месяц, настроение медленно и непрерывно падало. Люди хватались за первый намек, чтобы удержать остаток веры. Раньше говорили, что японцы -- природные моряки, что мы их будем бить на суше; потом стали говорить, что японцы привыкли к горам, что мы их будем бить на равнине. Теперь говорили, что японцы привыкли к лету и мы будем их бить зимою. И все старались верить в зиму.

А.И. Куприн. События в Севастополе ⁶⁴

Ночь 15 ноября

Не буду говорить о подробностях, предшествовавших тому костру из человеческого мяса, которым адмирал Чухнин увековечил свое имя во всемирной истории. Они известны из газет; вкратце: матросский митинг, выстрелы в Писаревского и одного пехотного офицера, отложение экипажей от армии, присяга и измена брестцев, Шмидт подымает на "Очакове" сигнал: "Командую Черноморским флотом", великолепно-безукоризненное поведение матросов по отношению к жителям Севастополя и, наконец, первые предательские выстрелы с батареей в баржу, подходившую к "Очакову" с провиантом. Но должен оговориться. Длинная, по-жандармски бессмысленная провокаторская статья о финале этой беспримерной трагедии, помещенная в "Крымском вестнике", набиралась и

⁶⁴ Текст сверен с изданием: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. Том 3. М.: Худ. литература, 1971. С. 438- 442.

печаталась под взведенными курками ружей. Я не смею судить редактора г. Спиро за то, что в нем не хватило мужества предпочесть смерть насилию над словом. Для героизма есть тоже свои ступени. Но лучше бы он попросил авторов, адъютантов из штаба Чухнина, подписаться под этой статьею. Путь верный: подпись льстит авторскому самолюбию... Мы в Балаклаве услышали первые звуки канонады часа в три-четыре пополудни. Сначала думали, что это -- салюты в честь монарха или кого-то из его августейшей семьи. Но выстрелов было слишком много, более сорока. К тому же вскоре показались первые извозчики из Севастополя с колясками, наполненными людьми, одуревшими от ужаса. Говорили смутно и бестолково, что на "Очакове" пожар, что несколько судов потоплено, что из морских казарм стреляют из пулеметов. Мы вдвоем поехали в Севастополь на обратном извозчике. Это был единственный извозчик, согласившийся вернуться в город, объятый пламенем революции. Надо прибавить, однако, что там у него осталась семья. Вскоре стемнело. Нам навстречу беспрерывно ехали коляски, дроги, телеги.

Чувствовалась уже за пятнадцать верст паника. На экипажах навалена всяческая рухлядь, собранная кое-как, впопыхах. В этом было много жуткого. Точно кошмарный обрывок из картины переселения народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись колеса с колесами, люди ругались с озлоблением, со стучащими зубами. Ни у кого не было огней. Наступила ночь. Справа от нас, над горизонтом, по черному небу двигались беспрерывно прямые белые лучи прожекторов, точно световые щупальцы.

Мы окликали, спрашивали. Ни один из беглецов не отозвался. Извозчики отвечали бессмысленно и неопределенно:

-- А там пальба идет.

Или:

-- Там все друг друга постреляли.

А один сказал с зловещей насмешкой:

-- Поезжайте, поезжайте. Сами увидите.

Дорога к Севастополю идет в гору. Когда мы поднялись на нее, то увидели дым от огромного пожара. Весь город был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом, голубоватом свете трубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно вымер. Встречались только отряды солдат.

Когда при въезде, против казарм, поили лошадей, то узнали, что действительно горит "Очаков". Отправились на Приморский бульвар, расположенный вдоль бухты. Против ожидания, туда пускали свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке.

С Приморского бульвара -- вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера -- сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов "Ростислав", "Три святителя", "XII апостолов". Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно.

Я должен говорить о себе. Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти, не забуду я этой черной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека. Нет, пусть никто не подумает, что адмирал Чухнин рисуется здесь в кровавом свете этого пожара, как демонический образ. Он просто чувствовал себя безнаказанным.

Великое спасибо Горькому за его статьи о мещанстве. Такие вещи помогают сразу определяться в событиях. Вдоль каменных парапетов Приморского бульвара густо стояли жадные до зрелищ мещане.

И это сказалось с беспощадной ясностью в тот момент, когда среди них раздался тревожный, взволнованный шепот:

-- Да тише, вы! Там кричат!..

И стало тихо, до ужаса тихо. Тогда мы услышали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий крик:

-- Бра-а-тцы!..

И еще, и еще раз. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видели четкие черные фигуры людей. Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками. Это было похоже на ряд частых выстрелов. Каждый раз при этом любопытные мещане бросались бежать. Но, успокоившись, возвращались снова.

Пришли солдаты, маленькие, серенькие, жалкие -- литовский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдатику:

-- Ведь это, голубчик, люди горят!..

Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

-- Господи, боже мой, господи, боже мой.

И было в них во всех заметно темное, животное, испуганное влечение прижаться к кому-нибудь сильному, знающему, кто помог бы им разобраться в этом ужасе и крови.

И вот и к ним и к нам подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. В его тоне молодцеватость, но и что-то заискивающее. Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умирающего корабля.

-- Это еще что-о, братцы! А вот когда дойдет до носа -- там у них круйт-камера, это где порох сложен,-- вот тогда здорово бабахнет!..

Но в ответ -- ни обычной шутки, ни подобострастного слова. Солдаты повернулись к нему спиной.

А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный, далекий крик:

-- Бра-а-тцы!..

И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. Это все оттуда. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую пристань к лодкам. И вот теперь-то я перехожу к героической жестокости адмирала Чухнина.

На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточены несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с "Ростислава", "Трех святителей", "XII апостолов" -- надежный сброд. На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами; начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков. Что бы ни писал потом адмирал Чухнин, падкий на литературу,-- эта бессмысленная жестокость остается фактом, подтвердить который не откажутся, вероятно, сотни свидетелей.

А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне. Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали "Очакову" шлюпки, а что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от "Очакова", стреляли картечью. Что бросавшихся впласть расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость. Опять лопается броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра.

По официальным сведениям -- две или три жертвы. Хорошо пишет литературный адмирал Чухнин.

О травле против жидов, социал-демократов, которая поднялась назавтра и которая -- это надо сказать без обиняков -- исходит от победоносного блестящего русского офицерства, исходит вплоть до призыва к погрому,-- скажу в следующем письме...

Настроение солдат подавленное. Хотелось бы думать -- покаянное.

1905

Е. К. Ножин. Из книги «Правда о Портъ-Артуре»

Вамъ, забытые, но истинные герои -- защитники Портъ-Артура, посвящаю трудъ свой.

Портъ-Артуръ сдался...

Печальный исторический фактъ -- уже достояние военной летописи России.

Теперь, наконецъ, настало время подвести итоги всему, что происходило въ Артуре въ периодъ все крепнувшей морской и сухопутной его блокады.

Я, какъ бывший военный корреспондентъ на театре военныхъ действий печальной памяти квантунскаго укрепленнаго района и крепости "Портъ-Артуръ", ближайший свидетель всего, происходившаго здесь, добровольно переживший наравне съ другими все тяжести осады, считаю своимъ неперемнымъ нравственнымъ долгомъ поведать России одну только правду и рассказать, чего эта оборона стоила гарнизону и жителямъ.

Переживая тяжелые дни осажденнаго "Портъ-Артура", все мыслящее въ немъ постепенно привыкало и, наконецъ, примирилось съ мыслью, что коменданту крепости, генераль-лейтенанту Смирнову, приходится бороться съ двумя врагами, внешнимъ и внутреннимъ. Внутренний врагъ одолелъ.

Вся титаническая работа генерала Смирнова, его ближайшихъ помощниковъ, покойнаго генерала Кондратенко, адмираловъ Григоровича, Лощинскаго, Вирена, генераловъ Белаго, Горбатовскаго -- пропала даромъ.

Почему?

На эти вопросы даетъ ответъ моя повесть, при чемъ долженъ предупредить, что въ своихъ очеркахъ я буду освещать только те факты, которые документально достоверны или которые мне пришлось наблюдать непосредственно.

I.

Когда 26 января 1904 г., въ 11 час. ночи, заговорили стальными жерлами суда эскадры и загрохотали орудия съ батарей берегового фронта Артура, население, слегка лишь тревожимое всевозможными слухами о близкой войне, о разрыве дипломатическихъ сношений, далеко было отъ мысли, что орудийный гулъ былъ прологомъ войны.

Все прислушивались къ усиливающейся канонаде, но убаюкивали себя надеждой, что происходятъ внезапные морские маневры совместно съ батареями берегового фронта.

Когда же надъ Золотой горой взвились три ракеты, а Электрический утесъ и смежные съ нимъ батареи открыли залповый огонь, сомнения для техъ, кто зналъ, что значать эти три ракеты, -- исчезли.

Наша бездарная, ленивая и близорукая дипломатия, долго и бессмысленно испытывавшая терпение правительства микадо, могла, наконецъ, опочить на последнемъ своемъ позоре. Рухнули все надежды на мирный исходъ переговоровъ съ Японией.

Часть неумолимаго, холоднаго и безпристрастнаго суда истории пробилъ.

На востоке занялось кровавое, грозное зарево войны.

Это была ужасная неожиданность, увеличивающаяся нашей полной неподготовленностью. Полки, поднятые по боевой тревоге, строились. Офицеры, застигнутые врасплох, кто у себя на постели, кто на балу, в театре, в ресторанах, спешили к своим частям, чтобы развести их на позиции. К несчастью, раньше никто не позаботился ознакомить их с крепостью, и поэтому офицеры, в большинстве случаев, получив приказания, долго бродили по неведомым дорогам и горным тропам, тщетно разыскивая указанные им места. Произошла невероятная суматоха, которая в конце концов кончилась, как кончил свое существование и русский Портъ-Артуръ.

Войска разошлись на указанные позиции, но, к удивлению солдат и офицеров, у них или не было вовсе ружейных патронов или последние находились в "караульном" комплекте. Солдаты шли на позиции и шутили.

-- Это, значить, мы маневру делаем. Где японцу доплыть сюда, а на фронте стреляют, чтоб нас испугать, как будто и вправду война. Ничего, завтра отоспимся.

Только к утру были посланы на позиции патроны. На более отдаленные позиции патроны были доставлены лишь к вечеру следующего дня, равно как и походные кухни.

День же был холодный, ледяной NO со снегом дуль немилосердно.

Люди тренировались, сидели в холоде и голоде.

Счастье наше, что японцы в эту роковую ночь не вздумали высадить десантъ.

Пока в крепости шла невообразимая сумятица, на море уже кончался пролог войны, гремел лишь, скрывшись за горизонтом, "Новикъ", преследуя японские миноносцы.

По городу с быстротою молнии разнеслась печальная вестъ: японцы подорвали несколько наших судовъ. Этому не хотели, боялись верить.

27 января, день первой морской бомбардировки, рассеял все сомнения: война началась.

II.

27 января Артуръ проснулся ранее обыкновеннаго. Каждый хотелъ знать, проверить, что случилось ночью. Слухи о нападении японскихъ миноносцевъ оправдались: "Цесаревичъ", "Паллада" и "Ретвизанъ" выведены изъ строя.

Несмотря на совершившийся фактъ ночного нападения, знаменующаго, что сомнения не должно быть, что война началась, население, не получая официального сообщения коменданта крепости, еще на что-то надеялось. Только более впечатлительные спешили покинуть крепость.

Положимъ, давно уже упорно держался слухъ, что на многихъ батареяхъ нетъ орудий, а где есть орудия -- нетъ снарядовъ, но злые языки есть везде. Комендантъ жестоко каралъ такихъ "язычниковъ".

Все текло обычнымъ путемъ, какъ и въ предшествовавшие дни, когда японцы по приглашению прибывшаго изъ Чифу консула сразу, почти до единаго оставили Артуръ. Только у набережной гавани толпилось много народа. Смотрели на стоявший въ проходе "Ретвизанъ". Смотрели и не верили, что онъ поврежденъ. Многие спорили, доказывая, что все это вранье.

У редакции газеты "Новый Край" также толпа. Получаютъ газету и ищутъ сообщений о событияхъ минувшей ночи, но въ газете объ этомъ ни полслова.

Уже 9 часовъ утра. Жизнь Артура стала входить въ обыденную колею.

Только спавшие шесть летъ до вчерашней ночи штабы проявляли небывалую, кипучую деятельность. Въ штабе крепости шла невероятная суматоха. Единственные два телефона немолчно дребезжали. Прибегали офицеры. Отдавались, получались приказания.

Все это не производило впечатления организованнаго учреждения, какимъ должна являться крепость въ серьезные минуты.

Чувствовалось, что эти люди ежесекундно ожидаютъ смертельнаго громового удара и не знаютъ, что предпринять, чтобы его предотвратить. Правда, начальникъ штаба крепости,

полковникъ Хвостовъ, какъ и ближайшiе его помощники, держали себя съ полнымъ достоинствомъ.

Начальникъ штаба понималъ, что наступаетъ моментъ, когда все увидятъ, въ какомъ состоянiи крепость, сколь несокрушима ея твердыня. Онъ и его предшественникъ, генералъ Флугъ, все сделали, что было въ ихъ силахъ, но плетью обуха не перешибешь. Въ другихъ штабахъ кипела такая же горячка. Все понимали, что наступило время показать коменданту, въ какомъ состоянiи у него крепость, что сделано имъ для активной обороны.

Въ штабе наместника печатали приказъ.

Наместникъ Государя заканчивая приказъ словами:

"...Да сохранить каждый изъ васъ спокойствие духа, чтобы наилучшимъ образомъ исполнить свой долгъ и, надеясь на помощь Всевышняго, каждый делайте свое дело, помня, что за Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадаетъ!" -- надеялся, что генералъ Стессель, которому Государь доверилъ крепость, и который недавно еще ему доносилъ, что крепость готова, -- съ спокойнымъ духомъ и действительно наилучшимъ образомъ исполнить свой долгъ.

Те, кто видели генерала Стесселя въ историческое утро, не уловили въ его чертахъ спокойствия духа.

Приближалось 10 часовъ.

Крейсеръ "Бояринъ", вернувшись на рейдъ, сигналилъ о приближенiи японскаго флота въ значительныхъ силахъ.

Золотая гора подняла сигналы.

На внешнемъ рейде, въ полной боевой готовности (но безъ телескопическихъ аппаратовъ: такъ ихъ эскадра и не дождалась въ Артуре) стояла подъ парами тихоокеанская эскадра, ожидая приказа ринуться въ бой.

Наместникъ и генералъ Стессель, конвоируемые казаками, окруженные огромной свитой, поднимались на Золотую гору.

Что долженъ былъ чувствовать Стессель? Вероятно, онъ былъ далекъ въ это утро отъ грезъ о титуле народнаго героя.

III.

Стрелка часовъ Артура показала 11 ч. 7 м. На Золотой горе подняли сигналъ о появленiи на горизонте всего японскаго флота.

Оживление на улицахъ Стараго города, прилегающихъ къ порту, увеличилось. Многие бежали на Перепелиную гору. Огромное большинство не знало ничего. Въ Артуре было тихо.

Вдругъ сразу словно земля вздрогнула. Покатился ударъ за ударомъ, заревели орудия двухъ эскадръ и берегового фронта. Население замерло отъ ужаса. Бой начался. Обе стороны боролись, полныя жизненныхъ силъ и надежды на успехъ.

Эскадра юной Японии, лишь 32 года тому назадъ начавшей брать уроки западной культуры, и эскадра России, которой Великий Петръ двести летъ назадъ, прорубая основаниемъ Петербурга окно въ Европу, другой рукой указывалъ на востокъ говоря, что естественный, исторический путь России (но отнюдь не искусственно вызванный) долженъ завершиться у водъ Тихаго океана,-- начали жестокий споръ.

Береговой фронтъ крепости силится также принять участие въ бою, донельзя увеличивая орудийный гулъ.

Шума отъ береговыхъ батарей было много, но толку почти никакого, благодаря недалёкобойности орудий и, главное, отсутствию на некоторыхъ батареяхъ снарядовъ и орудий.

Напрасно неприятельския суда, -- какъ выражается "Новый Край", -- устилали Электрический утесъ и Золотую гору снарядами. Гора и утесъ были почти безвредны.

Но Россия тогда не знала, что много орудий стреляло холостыми зарядами, а некоторые батареи торжественно молчали.

Объ этомъ отлично знали японцы, но дальновидно молчали. Знали объ этомъ и англичане, но въ интересахъ общаго съ Японией дела тоже молчали и вышучивали насъ.

Черезъ 20 минутъ съ моря полетели въ городъ 12-дюймовыя бомбы, разрываясь на улицахъ съ страшнымъ грохотомъ. Население объяла паника: все бросились въ Новый Китайский городъ и горы, ища тамъ спасения. Бой шель съ возрастающей силой. Громада Ляотешаня и Перепелиная гора тоже торжественно молчали. Несмотря на то, что ихъ вершины командуютъ надъ всеми окружающими Артуръ высотами, на нихъ вместо батарей были водружены: на первомъ -- маякъ, на второй... пожарная каланча.

Въ 11 часовъ 55 минутъ канонада почти сразу стихла. Японская эскадра по сигналу своего флагманскаго корабля прекратила огонь и стала отходить. Жители долго прислушивались, долго не верили воцарившейся тишине. Первые впечатления испуга прошли. Все устремились на вокзалъ. Маленькая станция была заполнена народомъ. По распоряжению железнодорожной администрации билеты выдавались только женщинамъ. Переполненные поезда непрерывно отходили на северъ, увозя семейства военно-служащихъ и горожанъ. Много было тутъ на дебаркадере станции глубоко-трагическихъ сценъ разставания. Все уезжали, хотя съ искрой надежды увидеться вновь.

Генераль Стессель не выдержаль экзамена на коменданта крепости. Что ему вешаль въ этотъ день наместникъ, покрыто мракомъ неизвестности, но что его, какъ крайне ненадежнаго генерала, решили убрать, не подлежить никакому сомнению.

Военный министръ искаль лишь выдающагося по своимъ способностямъ стратега, которому можно было въ эти острокритическия минуты доверить Портъ-Артуръ.

Выборъ палъ на генераль-лейтенанта Константина Николаевича Смирнова, который и выехалъ изъ Варшавы 12-го февраля съ экстреннымъ поездомъ прямо въ Портъ-Артуръ.

IV.

Съ 27 января Артуръ съ наступлениемъ сумерекъ погружался въ полную темень, окна домовъ плотно завешаны, полное отсутствие движения, -- все это производило впечатление необитаемаго города и носило зловещий характеръ. Въ несколько дней городъ заметно опустель, хотя много еще осталось семействъ, желавшихъ разделить участь своихъ отцовъ и мужей.

Несмотря на строжайший приказъ наместника за No 49 о выселении семействъ изъ осажденной крепости, генераль Стессель не выселиль ихъ, вопреки настоятельнымъ советамъ многихъ начальствующихъ лицъ, которыми указывалось, что женский и детский элементы въ осажденной крепости крайне нежелательны, за исключениемъ техъ женщинъ, которыя готовы дать подписки ухаживать за ранеными. Масса матерей, обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, остались въ Артуре. Одне -- по собственному желанию, другия -- не имея возможности выехать, получая лишь 10 рублей пособия и даровой проездъ до Иркутска.

Мне самому приходилось слышать следующие по этому поводу заявления:

-- Вотъ предлагаютъ намъ выезжать. А съ чемъ поедешь? Последнее должны бросить, а вспомоществования дають гроши. Нетъ! Ужь что будетъ, то будетъ. Останемся лучше здесь. Умирать, такъ ужъ лучше вместе, если Богъ приведетъ. И такъ тяжела жизнь, а убьютъ мужа, отца -- по миру придется итти.

И оставались, давая какія угодно подписки.

Положимъ, тутъ было не до населения, шли спешныя крепостныя работы.

4 февраля утромъ я встретиль (теперь уже покойнаго, убить вместе съ Кондратенко) выдающагося по своей энергии инженера, истиннаго героя обороны Артура подполковника Рашевского.

Он руководил работами по возведению центральной ограды. Стессель, совершенно потеряв голову, вместо того, чтобы все рабочие силы сосредоточить на укреплении Киньжоуской позиции, возводил так называемую центральную ограду, т. е. обносил ровом и валом Старый городь.

Я думаю, что юнкер 1-го курса назвал бы эту работу дикой, исходя из того, что центральная ограда проводилась по котловине, в которой лежит городь, и поэтому, в случае прорыва и занятия японцами находящихся в тылу фортов и верков крепости горь, последние, открыв с них прицельный ружейный и орудийный огонь, в несколько часов уничтожили бы весь гарнизон, находящийся в неблиндрованных помещениях. Тратя совершенно непродуктивно время, деньги и рабочие силы над возведением никому ненужной ограды, генерал Стессель тормозил работы по возведению фортов и укреплений, бывших в это время в зачаточном состоянии, а об энергичном укреплении Киньжоуской позиции, важного стратегического пункта, совершенно не заботился.

Нужно при этом заметить, что выработанный крайне неудачно плань полигона крепости был утверждён и прислан из Петербурга для исполнения за два года до объявления войны.

Насколько дико был составлен этот проект, служить доказательством то, что вновь прибывший комендант, при первом же знакомстве с крепостью, должен был во многом от него отступить, выбрать и укрепить массу новых позиций, которые отдалили падение Артура, по крайней мере, вдвое.

Нужно заметить, что офицерам строго возбранялось знакомиться с крепостью, и за все время владения нами Артуром были только один раз маневры на фортах и батареях крепости, тогда лишь только распланированных.

3-я сибирская стрелковая дивизия, участвовавшая в этих маневрах, была отправлена на Ялу; это была единственная дивизия, знавшая Квантунский полуостров. Оставшиеся дивизии были вновь сформированы и мобилизованы чинами запаса, и во сне не выдавшими горь Квантуна. Они прибыли из сибирских губерний. Запрет офицерам появляться на батареях дошел до таких свирепых пределов, что егермейстер Высочайшего двора, тайный советник Балашов, случайно забредя на дорогу, ведущую на батарею, и не разслышав оклика часового (г. Балашов плохо слышит), был арестован и, несмотря на отчаянные протесты и видимые знаки отличия, отведен на гауптвахту.

Офицерам не разрешали знакомиться с крепостью, но за то по всем батареям спокойно разгуливали в качестве прачек, портных, землекопов переодетые офицеры японского генерального штаба, которых в Артуре было больше, чем следовало. За ними никто не следил. Они имели не только полную возможность досконально изучить крепость, нанеся ее на плань, но с математической точностью определить все углы возвышений для перекидной стрельбы из осадных орудий, которыми они блестяще пользовались, все увеличивая их численность и удивляя нас меткостью своей стрельбы. С начала войны среди работавших на оборонительной линии и в городе китайцев было много японских шпионов, свободно общавшихся с своими, доказательством чему служила прекрасная осведомленность японцев обо всем, что происходило в Артуре до прибытия нового коменданта генерал-лейтенанта Смирнова, организовавшего при содействии начальника крепостной жандармской команды, ротмистра князя Микеладзе, правильный и строжайший надзор за китайцами.

V.

В Артуре и Квантунской области продолжалась реквизиция убойного скота, которая, благодаря ужасающей халатности, в итоге дала половину того, чего можно было достигнуть при правильной постановке этого дела. Несмотря на все протесты, жалобы,

советы, указания комиссара по гражданской части подполковника Вершинина -- генераль Стессель поступалъ по своему и оставилъ крепость съ минимумомъ запаса скота.

Такъ шли дни за днями.

Съ отъездомъ наместника въ Мукденъ, полновластнымъ хозяиномъ крепости сталъ генераль Стессель, сдерживаемый еще телеграфомъ.

Население и купцы уже въ середине февраля начали роптать на бессмысленно жестокий режимъ Стесселя.

Съ постепеннымъ сосредоточениемъ боевыхъ силъ на севере, въ Артуръ стала прибывать масса офицеровъ для закупки всевозможныхъ продовольственныхъ запасовъ.

Изъ крепости, отделенной отъ России несколькими тысячами верстъ, блокируемой уже съ моря, ожидавшей по естественному ходу событий появления противника на суше, вывозились целыми вагонами сахаръ, мука, соль, консервированное молоко, зелень, рыбные и мясные консервы и т. д.

Генераль Стессель, объявляя приказъ 14-го февраля за No 126, въ которомъ говорилось, что отступления не будетъ, что съ трехъ сторонъ море, съ четвертой неприятель, -- позволялъ, даже скажу больше, фактически поощрять вывозъ предметовъ первой необходимости, въ которыхъ въ октябре, ноябре и декабря месяцахъ ощущался сильный недостатокъ, вызвавший цынготныя заболевания.

Когда генералу Стесселю указывалось, что вывозъ продуктовъ изъ Артура можетъ его поставить, въ случае тесной блокады, въ крайне тяжелое положение въ отношении питания гарнизона, то онъ отвечалъ, что Куропаткинъ не допуститъ изоляции Артура, а если Артуръ и будетъ отрезанъ, то на самое непродолжительное, время.

Когда же протесты повторялись, онъ предложилъ, какъ комендантъ осажденной крепости, не вмешиваться въ его распоряжения.

Подчиненнымъ ему гражданскимъ властямъ оставалось умолкнуть и безучастно следить, какъ таяли запасы Артура.

Некоторые купцы, понявъ, что въ сосредоточивающейся армии сильный недостатокъ въ продуктахъ, сами уже стали отправлять ихъ вагонами на северъ.

Въ крепости творилось что-то невероятное. Она производила впечатление не крепости, готовящейся защищаться до послѣдняго, а какой-то ярмарки, главнаго продовольственнаго склада для концентрирующей на севере армии, въ который приезжали и дельцо обделать, и въ карты поиграть, и покутить.

Несмотря на то, что генераль Стессель оставилъ для общаго пользования только три ресторана и запретилъ даже дома играть въ карты -- разгуль былъ широкий, и деньги лились рекой.

Такой разгуль, какой я наблюдалъ въ Артуре въ течение всего февраля месяца, до прибытия генерала Смирнова, врядъ-ли мне придется когда-нибудь увидеть.

VI.

Шель февраль месяц. На пути въ Портъ-Артуръ, по всей железнодорожной линии отъ Дашичао, стальной путь охранялся ротами пограничной стражи. У большихъ мостовъ стояли даже орудия. Кругомъ бродили шайки хунхузовъ. Население станций всегда находилось подъ страхомъ внезапнаго нападения и располагала самыми ничтожными средствами самообороны. Поезда подвозили въ Артуръ солдатъ, изъ которыхъ комплектовались запасные батальоны. Мне иногда приходилось бывать на станциях, и я всегда удивлялся той безконечной безалаберности, которая царила въ деле приема и отправления по местамъ назначения прибывшихъ чиновъ запаса.

Все старались показать, что заняты деломъ. Однако, все это дело сводилось къ писанию приказовъ, рапортовъ и отношений. Остальное же делалось само собой. Грянувший громъ войны не разбудилъ въ генерале давно уснувшей совести. Подчиненные старшие начальники, находясь подъ обаяниемъ "генеральскаго ничего-неделания" -- на него

главами кивали, но и пальцем не думали двинуть, чтобы установить хотя маломальский порядок. Офицер-бюрократ показал себя во всей красе.

Но за то все, начиная с генерала Стесселя и кончая последним солдатом, знавшие японцев только по тем лицам, которые проживали в Артуре, глумились над ними. -- Что японец? Мошка! Смех! На штыке засушу и в письме домой пошлю, -- серьезно говорили солдаты.

Генерал Фок, начальник 4-й стрелковой дивизии, к мнению которого Стессель прислушивался, который поэтому творил все, что ему вздумается, -- генерал Фок твердил всем и каждому, что японец "дурак".

-- Японец дурак, потому что по японскому полевому уставу его стрелковые цепи при наступлении разсыпаются густо.

Генерал приезжал в вверенные ему полки и объяснял солдатам о глупости японцев таким образом: построится рота; выходит Фок.

-- Ребята! Японец дурак и т. д. Первая шеренга, отвечай! Почему японец дурак? Рота хором отвечает:

-- Потому, что при наступлении рассыпает густо цепи.

Удивительно-ли, что после таких популярно-вразумительных приемов, наши солдаты до первых серьезных столкновений считали японца "дураком"? После же, систематично перед ним отступая и неся жестокие потери, они уже потеряли веру в слова своего начальства.

Вообще, вся система нравственного воспитания вверенных генералу Фоку полков была более, чем оригинальна. Мне глубоко врезался в память следующий инцидент в одной из рот дивизии генерала Фока (в каком полку, точно теперь не помню). Приезжает генерал Фок. Рота строится. Является перед фронтом генерал. Начинается популярное изложение недостатков строевого устава японцев. Затем генерал обращается к роте.

-- Унтер-офицер N -- дурак! Почему? Потому что украл и попался.

-- Первая шеренга, отвечай! Почему унтер-офицер N дурак?

Рота хором отвечает.

-- Потому что и т. д.

Побалагурив с солдатами, генерал шел к офицерам, чтобы путем дружеской беседы, за стаканом чая сблизиться с ними. Рассказывая как-то о турецкой кампании, он спросил присутствовавших:

-- А знаете, как я получил Георгиевский крест? Нет? Ну, так вот как. Бывало, я присмотрюсь, куда турецкая артиллерия больше направляет огонь -- туда и не иду, а хожу до противоположной стороне, но далеко впереди. Вот начальство и решило, что Фок храбрый. Я не говорю; нужно быть храбрым, но с умом. Из всего нужно извлекать пользу. В особенности теперь. Зря умереть можно, а офицер дорог на войне. Солдаты без офицера -- стадо баранов.

Так шли дни за днями; генерал Фок писал генералу Стесселю пространные докладные записки; Стессель их читал и поучался.

А работы на Киньжоуской позиции, так называемого стратегического ключа к Артуру, почти не производились.

Как-то я спросил генерала Фока:

-- Скажите, ваше превосходительство, насколько сильна Киньжоуская позиция, и в состоянии ли мы будем на ней долго продержаться?

-- Что? Что вы говорите? Да я на этой позиции буду волчком ходить, и японцу не видать Артура, как своих ушей.

А инженеры мне говорили еще ранее и впоследствии, когда я сам приехал в Киньжоу, что Киньжоу, с их точки зрения, в том виде, в котором она находится в данный момент, не что иное, как никуда негодная, временного характера, горно-полевая позиция.

Таковой она оставалась, за сравнительно ничтожными изменениями, вплоть до 13 мая. Но об этом после.

Генераль Фокъ долженъ понести вполне заслуженное жестокое возмездие.

Я уверенъ, что следствие обнаружитъ, что онъ, вместе съ Рейсомъ, не менее виноваты въ печальномъ конце Портъ-Артурской эпопеи, чемъ самъ генераль Стессель.

Смотрелъ я на все, что происходило въ крепости, и не разъ мне приходило въ голову:

"Неужели такъ нужно готовиться къ приему врага?" или "можетъ быть японецъ, действительно, "дуракъ", съ которымъ не нужно церемониться?"

Проживъ въ Японии свыше года, я зналъ обь энергичныхъ приготовленияхъ ея къ войне.

Положимъ, "Новый Край" въ ряде серьезныхъ статей подчеркивалъ, что Япония очень серьезный и прекрасно подготовленный къ войне противникъ, но этому не верили, не хотели верить. Не верили и серьезнымъ, честнымъ офицерамъ, участникамъ китайской кампании, свидетельствовавшимъ о прекрасной боевой подготовке японцевъ.

Большинство офицеровъ склонно было верить фокской оценке японцевъ; въ особенности, офицеры, недавно прибывшие изъ Европейской России.

Благодаря инертности нашей военной литературы, -- армия не имела ни малейшаго представления о томъ, что представляетъ изъ себя современная Япония вообще, и, въ частности, ея боевыя силы.

Обидно было и жалко смотреть на эту неразумную, инертную массу. А кто виноватъ?!

VII.

Прошли первые дни февраля, а о скрывшейся за горизонтомъ японской эскадре не было и слуху.

Жизнь въ городе мало напоминала обь осажденной крепости.

Несмотря на строжайшие приказы и порки въ арестномъ доме за злоупотребление крепкими напитками, пьянство доходило до гомерическихъ размеровъ.

29 января появился (№ 36) приказъ генерала Стесселя, который въ скоромъ времени сталъ общимъ достояниемъ. Привожу его дословно:

"Со дня первой бомбардировки крепости появились разные слухи, ни на чемъ не основанные и часто совершенно нелепые. Часть ихъ совершенно невинные, какъ напримеръ: одна солдатка сообщила, что у арсенала была высадка, и 250 японцевъ убито; тотъ, который рассказалъ, не стесняется въ потеряхъ японцевъ.

Другие слухи, о потоплении некоторыхъ судовъ, тоже вымышлены, но производятъ совершенно другое впечатление.

Я объявляю, что пока все спокойно и все идетъ хорошо. Жителей и торговцевъ прошу заниматься своими делами и не верить глупостямъ".

Жители и, въ особенности, гарнизонъ поверили, что все спокойно, все идетъ хорошо, и вместе съ своими начальниками безпечно проводили время, мало заботясь о будущемъ.

Где мне ни приходилось бывать -- все съ полной уверенностью говорили, что отрезать Артуръ отъ маньчжурской армии немыслимо.

-- Помилуйте, да если бы Артуръ могъ быть отрезанъ, разве Стессель позволилъ бы вывозить продукты?! -- возражали мне.

-- Разве можно допустить, что японцы поведутъ войну на два фронта? Они сосредоточатся на Ялу и двинутся на наши главные силы. Стессель говорить, что пусть японцы высаживаются на Квантуне, чемъ больше, темъ лучше. Онъ ихъ всехъ передавить. Говорили явную чушь. Но говорили это все, за малымъ лишь исключениемъ. На берегахъ Ляодуна не принималось пока никакихъ меръ противъ возможной высадки, кроме минирования береговъ адмираломъ Лоцинскимъ.

Въ самой крепости проявлялась некоторая деятельность. Согласно новому приказу по крепости (отъ 30 января, за № 42), вновь формируемый крепостной телеграфъ было

приказано обратить на обслуживание станций и линий, построенных телеграфною ротою 2-го восточно-сибирскаго сапернаго батальона.

Начали спешно проводить крепостной телеграфъ, но за недостаткомъ материала, рабочихъ рукъ, и отчасти времени -- форты, укрепления и батареи связывались не подземнымъ, а надземнымъ кабелемъ. Благодаря неумению или какимъ-нибудь другимъ причинамъ, телефоны и телеграфы работали очень плохо, въ особенности съ момента тесной блокады, когда снаряды портили воздушные провода. Постоянная ихъ починка была чисто Сизифовой работой. Кроме того, -- линии такъ перепутались, что, бывало, съ батареей легче было послать донесение съ ординарцемъ, чѣмъ добиться у центральной станции соединения съ темъ нумеромъ, который просишь.

До начала войны о правильной постановке и устройстве телефоновъ очень мало думали. Говорять, что кредитовъ не было.

-- Кредитовъ не было?!

-- Это вздоръ-съ!

Мне доподлинно известно, что задолго до войны артиллерии капитаномъ Мошинскимъ (во время осады блестящий командиръ стрелковой батареи, наносившей огромный вредъ осаждающему противнику) былъ разработанъ планъ крепостного телеграфа и составлена смета. Деньги были ассигнованы. Куда они делись? Почему капитанъ Мошинский вместо спешнаго производства работъ былъ командированъ на северъ?

Это все благодарный материалъ для энергичнаго следователя.

Это крупная черта для иллюстрации деятельности Стесселя, какъ коменданта крепости. Огромной стратегической важности крепость безъ крепостного телефона (секретная прокладка проводовъ, неуязвимость, хорошая изоляция), это жесточайший абсурдъ, это государственное преступление, граничащее съ изменой!

Читатель долженъ помнить, что въ Артуре воздушные, какъ военные, такъ и частные провода подвешивались вместе.

Благодаря сильной индукции, при желаньи можно было преспокойно слушать переговоры начальствующихъ лицъ и отдаваемыя ими секретныя приказанья.

VIII.

31-го января генераль Стессель въ приказе No 45 -- писалъ: "Продолжаю встречать команды 7-й бригады (бригада генерала Кондратенко), особенно 28-го полка въ безобразномъ виде по одежде (не въ смысле старости, а въ смысле того, какъ она одета), такъ и по тому невоинскому виду, въ которомъ они бродятъ; еще разъ предлагаю начальнику 7-й бригады принять самыя строжайшия меры для поддержания строевой дисциплины въ частяхъ, памятуя, что дисциплинированныя и хорошо выученныя части -- стоять четырехъ невыученныхъ.

"Организовать въ свободное время, т. е. если нетъ боя, обучения, особенно приговорительныя къ стрельбе упражненья -- это ничего, что неудобно, можно целиться по местнымъ предметамъ; производить и строевыя занятя для поддержания бодрого вида. Непременно, чтобы пели песни и играла музыка. Помните, г.г., что люди будутъ драться, они-то и должны быть отличны, мы на это мало обращаемъ вниманья. Командирамъ полковъ на фортахъ указать местопребыванья, обозначать его флажкомъ, а ночью фонаремъ, разумеется, обращеннымъ внутрь, съ надписью No полка".

Когда принесли этотъ приказъ въ редакцию "Новаго Края", его не решились печатать, какъ впоследствии часто и делалось. На этой почве начались разногласья со Стесселемъ.

Генераль требовалъ, чтобы все его приказы печатались, редакция же помещала только удобные для печати, давая понять, что газета -- не юмористический журналъ.

Генераль Стессель, указывая на невоинский видъ ввереннаго ему гарнизона, былъ совершенно правъ. Но что же делалось, что предпринимали по этому поводу раньше?

Генераль Кондратенко недавно прибыль въ Артуръ и не могъ въ короткое время дисциплинировать въ полномъ смысле разнузданный гарнизонъ.

Помимо деятельности, выражавшейся въ писании обширныхъ приказовъ, у коменданта крепости генерала Стесселя развилась мания сигнализации. Ему везде по горамъ чудилось, что кто-то непрерывно сигналить. Быль отданъ строжайший приказъ следить днемъ и ночью за сигнализирующими. По горамъ разгуливали патрули. Ловля сигнальщиковъ превратилась въ какой-то спортъ. Даже жители имъ заразились. Кто же серьезнее смотрель на дело, тотъ отлично понималъ, что тутъ что-то не то. Зачемъ японцамъ сигнализация, когда они прекрасно изучили крепость, и она уже кишела шпионами?!

Много невинныхъ китайцевъ, благодаря этой мании генерала, переселились въ лучший миръ, после приказа отъ 13-го февраля за No 120.

"Несмотря на то, что вчера поймали 20 человекъ, замеченныхъ въ производстве какой-то сигнализации, сего числа ночью, около 3-хъ часовъ, на площадке между моимъ домомъ и интендантскими складами, кто то сигнализировалъ фонарями; поймать его не могли, убежалъ онъ къ Новому Китайскому городу. Постами, которые для сего учреждены, вменить въ обязанность стрелять по убегающимъ сигнальщикамъ".

После этого приказа начали подстреливать китайцевъ, какъ куропатокъ.

Военно-прокурорский надзоръ въ большинстве случаевъ, однако, за недостаткомъ уликъ не находилъ состава преступления въ действияхъ арестованныхъ китайцевъ.

Вначале я тоже былъ склоненъ думать, что это -- умышленная сигнализация. Но после первой ночи, проведенной въ поискахъ съ патрулемъ съ крейсера "Баянь" за мнимыми сигнальщиками, я вылечился отъ своего психоза. Лазая въ темную ночь по горамъ, я упалъ съ крутого обрыва на крышу бамбуковой фанзы, чуть не проломивъ себе черепа.

.....

IX.

Съ 27-го января былъ полный застой въ военныхъ действияхъ. О неприятеле не было ни слуху, ни духу; офицерство, подъ впечатлениемъ минувшихъ событий, невольно начало разбирать причины внезапно для нихъ вспыхнувшей войны. Всемъ бросилась въ глаза полная неподготовленность крепости и тотъ хаосъ, который въ ней царилъ. Подъ влияниемъ лишне выпитаго везде горячились, браня начальство. Менее сдержанные страшно волновались и не стеснялись постороннихъ; въ ресторанахъ, клубахъ позволяли себе поносить въ очень резкихъ выраженияхъ самого генерала Стесселя, результатомъ чего, 5-го февраля 1904 г. за No 73, появился следующий приказъ:

-- "До сведения моего дошло, что въ гарнизонномъ собрании г. г. офицеры занимаются совершенно не своимъ деломъ, вкривь и вкосъ обсуждаютъ ходъ военныхъ действий, сообщаютъ разные нелепые слухи, Богъ знаетъ, откуда ими набранные. Дело офицера хорошенько обдумать и обсудить, какъ бы лучше выполнить данное приказание, а не обсуждать действия высшихъ начальниковъ; такие господа крайне вредны, и я, разумеется, буду ихъ карать по силе предоставленной мне власти".

После этого приказа все прикусили языки, понявъ, что у коменданта крепости очень чувствительный слухъ.

Въ крепости не было жандармовъ, необходимыхъ для наблюдения за подозрительнымъ элементомъ, но за то было прекрасно организовано охранное отделение личности ген. Стесселя. Деятелими здесь были: капитанъ В., поручикъ М. и К. Второй, какъ оказалось впоследствии, писалъ въ иностранныя газеты на английскомъ языке хвалебные гимны деятельности генерала Стесселя.

Для того, чтобы занять чьемъ-нибудь совершенно праздное 1 офицерство, комендантъ крепости отдалъ 5-го февраля за No 75 приказъ:

-- "Предлагаю начальнику 70-й восточносибирской стрелковой бригады (генералу Контратенко) подробно указать обязанности комендантовъ фортовъ, изъ коихъ главныя -- никогда не сдавать фортовъ".

Мне не удалось спросить покойнаго Романа Исидоровича Кондратенко, почему онъ не указаль подробно комендантамъ фортовъ ихъ обязанностей. Но знаю отлично, что надъ этимъ приказомъ хохотали не только фельдфебеля, но и полуграмотные ефрейторы и солдаты.

Сидя какъ-то въ ресторане, я громко обратился къ одному знакомому офицеру:

-- "Ну что, теперъ вы знаете, что главная ваша обязанность никогда не сдавать фортовъ?"

Офицеръ побледнелъ и, нагнувшись ко мне, шепотомъ сказалъ:

-- "Я васъ прошу, оставьте этотъ разговоръ. Онъ мне можетъ стоить карьеры. Завтра же могутъ Стесселю передать, что я надъ нимъ смеюсь".

Вообще, я заметилъ, что офицеры стали крайне осторожны. Даже чуждались другъ друга: Богъ его знаетъ, вдругъ донесеть.

Генераль Стессель продолжалъ энергично проявлять свою деятельность.

"Предписываю, -- писалъ онъ въ приказе отъ 5-го февраля за No 78,-- чтобы въ госпиталяхъ Артура и Талиенвана принимались больные только частей, здесь расположенныхъ, а отнюдь не принимались бы изъ Маньчжурии. Крепость нельзя заваливать больными".

Крепость нельзя заваливать больными -- это верно. Но крепость такъ же не следовало ослаблять предметами первой необходимости, которые продолжали вывозиться на северъ.

X.

Я познакомился со многими офицерами, прибывшими изъ северной армии, которые, заручившись разрешениемъ генерала Стесселя, вывозили вагоны всевозможныхъ продуктовъ.

Реквизиция скота шла крайне вяло. Главная причина была, что гражданскимъ властямъ было отказано въ прикомандировании достаточнаго количества нижнихъ чиновъ для производства самой реквизиции. Китайцы успели уже угнать массу скота въ Маньчжурию. Мало того, 8-го февраля генераль Стессель приказомъ своимъ за No 93 сообщилъ, что: "Реквизиция въ области безъ моего разрешения отнюдь не допускается, особенно скота и съестныхъ припасовъ".

Все такъ и ахнули, когда прочли этотъ приказъ. Гражданский комиссаръ протестовалъ, но безрезультатно. Скотъ преспокойно угонялся изъ пределовъ Квантунской области.

Китайцы прекрасно поняли, что здесь возьмутъ по низкой реквизиционной цене, а впоследствии они получаютъ отъ крупныхъ купцовъ большія деньги, что фактически и оправдалось.

Съ оставлениемъ многими Артура освободилась масса квартиръ. Небольшія изъ нихъ были заняты неимущими семействами. Генераль Стессель, приказомъ своимъ отъ 8-го февраля, основаннымъ на личномъ капризе, предписаль:

"Все городскія квартиры, принадлежащая военному ведомству и состоящая по описи въ штабе крепости, никто не имеетъ права занимать безъ отвода штабомъ; если кто-либо такую квартиру занялъ, то немедленно выселить, чтобы въ день выхода сего приказа квартира была освобождена безъ всякихъ отговорокъ".

Беднота не протестовала. Полиция ее выселяла. Квартиры вначале пустовали, а потомъ постепенно вновь занимались, съ разрешения генерала Стесселя, но уже не беднотой, а людьми, которымъ хотелось жить просторней.

XI.

Мне часто приходилось проезжать мимо пожарного двора. Если это бывало утром, то волей или неволей приходилось слышать свисть розог и душу раздирающие вопли. Там шла очередная порка арестованных за пьянство. Генераль Стессель разрешил полицеймейстеру "исправлять" домашними мерами алкоголиков. Пороли жестоко и нещадно. Процедура эта проделывалась следующим образом.

Во дворе арестного дома выстраивались "исправляемые": рабочие, извозчики, китайцы. Являлся полицеймейстер. Смотритель подавал скорбный лист. Полицеймейстер, поздоровавшись обходил фронт, останавливаясь перед каждым.

-- За что?

-- Вашскородие, вчера...

-- Сто на ж..., две недели арестный дом!

-- Далее. За что?

-- Вчера Вашескородие...

-- Сто на ж... сегодня и завтра. И так до последняго.

Затем рабов Божьих, будущих героев, умиравших за честь и достоинство России, укладывали и стегали.

Долго терпеть Порт-Артурский брандмейстер В. И. Вейканень, наконец, возмутился и категорически заявил полицеймейстеру, что он считает позорным для достоинства пожарного солдата быть палачем и что, вообще, пожарный двор не место для экзекуций, тем более, что вопли истязуемых привлекают всегда массу любителей сильных ощущений.

Впоследствии порки производились в самом арестном доме; там они были еще сильнее.

Я всегда с тяжелым чувством вспоминал далекую Россию. Я знал, что там тоже дерут, но знал, что если и дерут, то только по суду. У нас же в Артуре все было проще, патриархальнее. Законы для Артура не были писаны.

Однажды гражданский комиссар, подполковник Вершинин, позволил себе заметить по поводу одного распоряжения, что оно незаконно. В штабе генерала Стесселя ему ответили:

-- Какие могут быть в военное время законы? Теперь закон -- приказ генерала Стесселя.

Приказ Стесселя -- закон!

Так это и было вплоть до самой капитуляции Артура, в особенности, после назначения его генераль-адъютантом.

После того, как Стессель, оставив на произвол судьбы гарнизон, раненых, поспешил уехать в Россию, -- в Артуре стали функционировать не Стессельские, а военные японские законы. Они были строги, но о произволе не было и помину.

Что можно было против этого возражать?! Мы подчинились и терпели. А кто не подчинился этому, тот жестоко страдал. Но об этом после.

9-го февраля мы со страхом и трепетом прочли следующий приказ коменданта крепости за No 106.

-- "Предписываю подполковнику Петруша объезжать как новый, так и старый город, и новый китайский город, арестовывать пьяных и безчинствующих и всех, кого признает необходимым".

Это была грозная новость: подполковник Петруша будет арестовывать, "кого признает необходимым".

Некоторые отправились к военному прокурору, полковнику Тыртову, узнать, что же это теперь будет. Опасно выходить на улицу! Признает полковник Петруша необходимым и арестует, а на завтра придется предстать перед ясными очами полицеймейстера.

Последний, по представленному ему праву, спросит: за что? А затем тоже "признает необходимым", в видах пресечения и предупреждения, -- слегка постегать.

Полковникъ Тыртовъ не могъ дать намъ вполне определеннаго совета, но между прочимъ указаль, что необходимо быть осторожней и не показываться на глаза.

Действительно, это былъ единственный способъ.

Я думаю, не у одного Портъ-Артурскаго гражданина душа уходила въ пятки при встрече съ подполковникомъ Петруша.

"Всеми торговымъ фирмамъ, въ которыхъ служатъ дружинники вольно-пожарнаго общества, отнюдь не запрещать имъ дежурить на постахъ. О дружинникахъ, ушедшихъ съ поста или не заступившихъ своевременно свой постъ, докладывать мне для поступления по закону" -- писалъ генераль Стессель въ своемъ приказе отъ 10 февраля за No 109. Героевъ-дружинниковъ не спрашивали, почему они не пришли на постъ, а прямо поступали "по закону" и... пороли.

По общегосударственнымъ законамъ ихъ пороть было нельзя. Почему? Потому что они добровольцы, многие не состояли даже въ ополчении и, следовательно, не могли быть даже подвергнуты дисциплинарному взысканию. Будь они призваны, какъ ополченцы, но этого не было сделано. И все-таки ихъ пороли, поступая по "артурскому закону".

XII.

Въ 1 часъ ночи на 12-е февраля Артуръ былъ внезапно разбужень выстрелами. Гремели всеми бортомъ и 12-дюймовыми "Ретвизанъ" и батарея на "Плоскомъ мысе". Я побежалъ на Перепелиную гору, откуда открывалась картина ночного боя. До четырехъ часовъ утра гремела, постепенно смолкая, орудийная стрельба. Рядомъ съ "Ретвизаномъ" занялся огромный пожаръ. Оказалось, что несколько японскихъ миноносцевъ атаковали "Ретвизанъ", прикрывая шедший за ними въ проходъ брандеръ. Меткий, убийственный огонь "Ретвизана" потопилъ миноносець, а изрешетенный и зажженный имъ брандеръ вылетель почти рядомъ съ нимъ на камни Тигроваго хвоста.

Пылающий, какъ огромный костеръ, брандеръ угрожалъ "Ретвизану" темъ более, что было основание предполагать, что на немъ могъ ежеминутно произойти взрывъ. Вызванная по телефону Портъ-Артурская пожарная команда подъ начальствомъ брандмейстера Вейканена приступила къ геройской работе -- тушению все усиливающегося пожара. Благодаря геройской, самоотверженной работе, мужеству и храбрости брандмейстера Вейканена пожаръ былъ локализованъ, и ожидаемаго взрыва не последовало. Вообще я долженъ свидетельствовать, что Портъ-Артурский брандмейстеръ -- инструкторъ В. И. Вейканень, за все время осады заставляль всехъ удивляться своей энергичной, плодотворной, геройски самоотверженной работе въ огне и подъ градомъ снарядовъ. 12-го февраля утромъ на горизонте показалась эскадра.

Находившиеся на внешнемъ рейде "Баянь", "Новикъ", "Аскольдъ" немедленно двинулись на встречу и вступили въ бой.

Я смотрель на редкостную картину морского боя съ высоты Перепелиной горы. Бой быстро разгорался, но наши должны были отступить подъ защиту берегового фронта передъ вчетверо сильнейшимъ противникомъ.

Береговой фронтъ -- за дальностью разстояния -- молчалъ. Тамъ не все еще было въ порядке.

Подъ конецъ боя изъ Голубиной бухты показались два нашихъ миноносца, возвращавшиеся съ ночной рекогносцировки. Лишь только ихъ заметили на неприятельской эскадре, немедленно отъ нея отделились четыре крейсера и пошли на нихъ режущимъ курсомъ, открывъ изъ всехъ судовыхъ батарей огонь.

Одинъ изъ миноносцевъ успель проскочить сквозь дождь снарядовъ въ Артуръ. Другой не успель и повернулъ обратно. Японцы погнались и, загнавъ его за Ляотешань, который не былъ ни укрепленъ, ни вооруженъ, начали спокойно, безбоязненно, на глазахъ у всей крепости, разстреливать нашъ миноносець.

Миноносець выбросился на берегъ.

Будь Ляотешань укрепленъ, крейсера не могли бы подойти такъ близко, и миноносець, обогнувъ мысь Ляотешань, былъ бы въ безопасности.

Просто глазамъ не верилось, что противникъ могъ безнаказанно, въ виду всей крепости, разстреливать нашъ миноносець и безъ выстрела съ нашей стороны скрыться за горизонтомъ. Во время боя нашихъ крейсеровъ два неприятельскихъ снаряда упали въ пределахъ Ново-Китайскаго города.

Пострадалъ китаецъ: ему вырвало животь.

Вообще нужно заметить, что въ первые месяцы войны больше всего было жертвъ среди китайцевъ.

Объясняется это, конечно, темъ, что наибольшую часть гражданскаго населения Артура составляли китайцы.

ХІІІ.

На следующий день, 13-го февраля, генераль Стессель, приказомъ своимъ за No 119, бросилъ гарнизону, гражданскимъ властямъ и жителямъ жестокое обвинение.

-- "Замечается такое явление, какъ только начинается бомбардировка, многія учреждения закрываютъ присутствія, и служащие расходятся, куда -- неизвестно; на батареяхъ въ это время я ихъ не виделъ, следовательно, уходятъ въ места, более безопасныя. Чувство самосохранения присуще каждому человеку, но злоупотреблять имъ во вредъ интересамъ другихъ не следуетъ.

Предписываю впредь отнюдь не сметь закрывать ранее узаконеннаго времени, такъ какъ, при повторении подобнаго, я на виновныхъ въ нарушении сего приказа буду налагать взысканія, съ объявленіемъ въ приказе по крепости".

Имель-ли право комендантъ крепости говорить такимъ образомъ съ гарнизономъ и гражданами Портъ-Артура? Нетъ, безусловно нетъ! Съ самаго начала осады я былъ свидетелемъ того удивительнаго самоотверженія, которое проявлялось всеми -- въ самыя страшныя минуты, переживаемыя крепостью. До самаго послѣдняго дня, -- дня позорнейшей капитуляціи, все гражданскія и военно-судебныя учреждения функционировали. Мы считали себя незаслуженно оскорбленными и этого оскорбленія не могли простить генералу Стесселю. Въ то время, какъ люди умирали или калечились на всю жизнь при исполненіи своего долга, генераль Стессель самъ постоянно уезжалъ изъ сферы огня то на фортъ 1-й, то на 6-й, где было совершенно безопасно.

Генераль Стессель нещадно поролъ портовыхъ рабочихъ,-- а сколько ихъ полегло костями при починке судовъ!!

Генераль Стессель издевался надъ чиновниками, въ особенности морскими. А старшему делопроизводителю штаба намѣстника де-Лакуру оторвало обе ноги въ его рабочемъ кабинетѣ, въ зданіи штаба.

Генераль Стессель поносилъ и глумился надъ редакціей "Новаго Края", работавшей непрерывно въ сфере по всемъ направленимъ рвавшихся снарядовъ, такъ какъ зданіе ея находилось на створѣ огня всехъ осадныхъ батарей, громившихъ портъ и эскадру, стоявшую на внутреннемъ рейде.

Въ глаза и за глаза онъ называлъ трусами чиновъ военно-судебнаго ведомства, почти ежедневно заседавшихъ въ зданіи гарнизоннаго собранія, вокругъ котораго непрерывно рвались снаряды.

Нетъ! генераль Стессель былъ неправъ, объявляя свой приказъ о мнимой трусости защитниковъ Портъ-Артура.

Все мы привыкли къ мысли, что мы живемъ въ осажденной крепости, все считали, что вопросъ о томъ, осаждена наша крепость или нетъ, решилъ самъ собой съ момента внезапнаго нападенія на нашъ флотъ японскихъ миноносцевъ и дальнейшими разыгравшимися на море событиями. Каждый, оставаясь въ крепости, зналъ, на что онъ идетъ.

Каждый, даже прослуживший всю свою жизнь в канцелярии, понимал безъ пояснений, что мы живемъ въ осажденной крепости.

На деле же оказалось, что это не такъ просто. Для того, чтобы мы знали, что крепость осаждена, долженъ былъ состояться приказъ Стесселя. О своихъ правахъ онъ много говорилъ. Но о долге, который на немъ лежитъ -- совершенно забылъ. Съ своей точки зрения онъ былъ правъ.

Вся история России намъ подтверждаетъ, что правящий классъ строго охраняетъ свои права, а о долге, которымъ собственно и приобретаются права -- никто не думалъ, -- считая это блажью "идейныхъ" людей.

14-го февраля мы читали следующее за No 125.

"Согласно телеграмме Наместника Его Императорскаго Величества на Дальнемъ Востоке отъ 13-го февраля, за No 355, вверенная мне крепость Портъ-Артуръ объявляется въ осадномъ положеніи, съ применениемъ по всей строгости предоставленныхъ мне, какъ коменданту крепости, правъ и обязанностей, въ особенности по отношению къ гражданскому и туземному населенію".

Прочли этотъ приказъ и призадумались, что же ожидаетъ насъ, гражданское населеніе? Какія могутъ применяться къ намъ строгости после приказа подполковнику Петруша арестовывать всехъ, "кого признаетъ необходимымъ"? Впоследствии мы убедились, что и надъ строгостями есть строгости.

Началась форменная травля всехъ, кто темъ или инымъ путемъ не заслужилъ расположения генерала Стесселя.

XIV.

15-го февраля на страницахъ "Новаго Края" появился облетевший весь миръ, знаменитый приказъ, где, между прочимъ, говорилось:

-- "...Войска твердо знаютъ, а населенію объявляю, что отступленія ни куда не будетъ, потому, во-первыхъ, что крепость должна драться до послѣдняго, и я, какъ комендантъ, никогда не отдамъ приказа объ отступленіи, а во-вторыхъ, что отступать решительно некуда. Обращаю на это вниманіе болѣе робкихъ, призываю всехъ къ тому, чтобы прониклись твердымъ убежденіемъ въ необходимости каждому драться до смерти. Человекъ, который решилъ на это, страшень, и онъ дорого продастъ свою жизнь..." Действительно, генераль Стессель, какъ и. д. коменданта крепости, не отдалъ приказа объ отступленіи, потому что отступать было некуда. Но, какъ начальникъ квантунскаго укрепленнаго района, который онъ очистилъ въ теченіе 2-хъ месяцевъ, сдать крепость, вопреки протесту настоящаго коменданта, генераль-лейтенанта Смирнова, и всего совета обороны.

Приведенный приказъ, переданный услужливымъ телеграфомъ во все концы света, сделалъ имя генерала Стесселя популярнымъ.

Изъ приведенныхъ приказовъ читатель видитъ, что литература эта была обширная и поучительная. Но насъ всехъ удивило, что въ этой литературе отводится очень мало места фактической обороне крепости. Форты, батареи и укрепления были въ зачаточномъ состояніи, и работы на нихъ производились крайне вяло. На Киньчжоуской позиціи работъ почти не производилось.

Все были подъ гнетомъ полной неурядицы, творившейся въ крепости. Населеніе съ болью смотрело на будущее, темъ болѣе, что въ самомъ городе уже начали разбойничать китайцы.

15-го февраля генераль Стессель въ приказе за No 128 объявилъ, что 13 февраля, въ 10 1/2 час. вечера, шесть китайцевъ напали на фанзу китайца Вантойдея и учинили разбой. Черезъ несколько дней китайцы напали на другой домъ, где произошло настоящее сраженіе. Сведенія объ этомъ грандиознейшемъ скандале имеются въ делахъ военнаго прокурора, полковника Тыртова.

Генераль же Стессель увлекся и продолжалъ писать приказы въ юмористическомъ тоне, совершенно забывая, что Артуру было не до смеха. Привожу приказъ, скопированный отъ 16-го февраля за No 132.

-- "Встретилъ верхового, въ кавалерийской фуражке съ краснымъ околышемъ, кокарда на околыше, погоны синие, съ No 27, на погонахъ две золотыхъ нашивки, какъ у младшаго унтеръ-офицера, и золотая долевая нашивка; толстякъ, совершенно московский купецъ; спрашиваю, кто?-- Ответилъ, что разведчикъ лейбъ-гвардии гродненскаго гусарскаго полка, а теперъ въ охотничьей команде 26-го полка. Гораздо надежнее охотничьи команды пополнять запасными.

Далее встретилъ конюховъ 28-го полка; было 5 человекъ, изъ нихъ два еврея; не годится обозныхъ, которымъ вверяется имущество, а главное лошадей, комплектовать евреями". Прочитавъ этотъ приказъ, я встретилъ покойнаго генерала Кондратенко.

-- Скажите, ваше превосходительство, почему генераль Стессель пишетъ подобные приказы, неужели нетъ чего-нибудь более серьезнаго? Ведь все страшно возмущаются. Это не приказъ коменданта осажденной крепости, а какая-то балаганщина.

-- Вотъ, вы возмущаетесь со стороны. А я, непосредственно подчиненный; мне нужно работать. Но, кажется, всему скоро будетъ конецъ. Едетъ новый комендантъ, вы верно слышали?

Покойный Романъ Исидоровичъ посмотрелъ на меня, слегка прищурившись, и ждалъ ответа.

-- Я, ваше превосходительство (впоследствии онъ мне заметилъ, что, его зовутъ Романъ Исидоровичъ) слышалъ, что едетъ новый комендантъ. Но пока онъ приедетъ, -- сколько всемъ генераль Стессель крови испортитъ и делу напортитъ?

-- "Будемъ терпеливы, господинъ военный корреспондентъ -- сказалъ покойный герой, пожавъ мне руку.

Да, долго и много пришлось терпеть.

Но терпение это не дало благихъ результатовъ.

Терпение, Боже мой, какое томительное терпение, съ ежедневнымъ свистомъ снарядовъ, громомъ выстреловъ и взрывовъ, мученичествомъ тысячъ людей, отъ котораго сердце разрывалось на части -- и чѣмъ это кончилось?

Позоромъ -- безславной, безусловной капитуляции началомъ кровавой распри несчастнаго народа съ правительствомъ.

XV.

Не знаю, дошли-ли до генерала Стесселя отголоски глухого, но общаго недовольства, или онъ самъ догадался, что пора деломъ заняться, только 23-го февраля за No 162, мы прочли следующий приказъ:

"Объехавъ сего числа внутреннюю крепостную ограду, я нахожу, что она все-таки требуетъ еще много работы, такъ какъ пройти во многихъ местахъ можно. Для точнаго выяснения, какая недоделка, где и сколько, предлагаю начальнику 7-й восточносибирской стрелковой бригады генераль-майору Кондратенко, совместно съ начальникомъ своего штаба, начальникомъ крепостнаго инженернаго управления, инженерами всехъ техъ участковъ, на которыхъ ими производятся работы и командиромъ 26-го полка, объехать всю ограду и на кроки показать, где недоделки".

Это былъ первый его приказъ, относящийся къ работамъ въ крепости, которая по всемъ даннымъ могла быть изолирована.

Относительно достоинствъ этой внутренней крепостной ограды я уже говорилъ. Скажу теперъ еще, что возведение ея стоило свыше 200,000 рублей, а пользы за все время осады не принесла ровно никакой. Инженеры возились съ этой оградой, а на линии действительной, сухопутной обороны работы производились вяло.

Большинство въ Артуре объ этомъ не знало, но тотъ, кто зналъ, въ особенности генераль Кондратенко и все высше честные начальники, свободно вздохнули, когда узнали, что скоро прибудеть новый комендантъ, генераль Смирновъ.

XVI.

Съ 12-го по 26-го февраля неприятель не подходилъ къ крепости и не проявлялъ въ отношении ея никакихъ активныхъ действий.

Жизнь въ Артуре почти ничемъ не напоминала о войне.

Около 20-го февраля генераль Стессель получилъ отъ известнаго генерала Богдановича телеграмму, въ которой тотъ поздравлялъ коменданта съ победами и желалъ, чтобы Артуръ далъ новыхъ Нахимовыхъ, Корниловыхъ и Истоминовыхъ.

Телеграмма эта стала общимъ достояниемъ. Говорили и гадали, кто въ Артуре будутъ героями осады. Генерала Смирнова и Кондратенко никто еще не зналъ. Очевидно, пожелания Богдановича относились къ гремевшему уже имени генерала Стесселя и его перваго и усерднаго помощника, генерала Фока. Оба были известны еще по китайской кампании.

Поручикъ 25-го полка князь Карселадзе, прекрасно осведомленный обо всемъ, что творилось и творится въ крепости, послалъ генералу Богдановичу ответную телеграмму приблизительно следующаго содержания:

"Ваше превосходительство. У насъ нетъ Нахимовыхъ, а одне лишь жалкия бездарности" и т. д.

Результатомъ этой телеграммы былъ отданный генераломъ Стесселемъ 23 февраля за No 162, приказъ:

"Командиромъ 25-го восточносибирскаго стрелковаго полка было разрешено выдавать гг. офицерамъ изъ штаба полка чистые бланки для телеграммъ, съ приложениемъ къ этимъ бланкамъ полковой казенной печати, при чемъ телеграммы, написанныя на этихъ бланкахъ, не представлялись въ полкъ для прочтения. Результатомъ такого преступнаго разрешения была посылка, прикомандированнымъ къ 25 полку, поручикомъ Карселадзе, несколькихъ телеграммъ, недозволительнаго содержания, которыя благодаря только догадливости телеграфиста не были отправлены по назначению".

Приказомъ за No 198 поручикъ Карселадзе былъ преданъ временному военному суду въ Портъ-Артуре.

Военный судъ, разобравъ это дело, приговорилъ поручика Карселадзе къ несколькимъ суткамъ ареста.

Полковникъ Селлиненъ, и. д. командира 25 полка, былъ собственною властью Стесселя отрешенъ отъ командования полкомъ за то, что далъ поручику Карселадзе на запросъ суда блестящую аттестацію.

Полковникъ Селлиненъ немедленно выбылъ въ Россию.

Смею полагать, что приведенный, характерный для личности генерала Стесселя случай не требуетъ комментариевъ. Съ своей же стороны позволю сказать, что у коменданта крепости была такая уйма неотложной работы въ совершенно неготовой къ обороне крепости, что ему, если бы онъ былъ действительно на высоте своего призванія, не следовало заниматься мелкими личными счетами, а всецело отдаться продуктивной работе.

XVII.

На следующее утро, въ 7 часовъ, я первый разъ былъ подъ кровомъ коменданта крепости. Генераль встретилъ меня очень любезно, но далъ понять, не скажу -- грубо, но довольно резко, что онъ генераль Стессель, а я только Ножинъ.

На мой довольно нескромный вопрос, насколько подготовлена крепость к обороне, а в частности, ее сухопутный фронт, кстати сказать, растянувшийся на 20 верст, генерал мне ответил (передаю дословно):

-- Я должен вам сказать, что я боевой стрелковый генерал и в крепости и в ее оборудовании ровно ничего не понимаю, Я здесь только временно. Вы знаете, я назначен командиром 3-го сибирского армейского корпуса, который уйдет на Ялу. Я жду только прибытия нового коменданта. Он уже начнет здесь распоряжаться и строить вам всякую штуку.

-- А в чем ведении будет Киньчжоу? спросил я.

-- Все его, все его. Новый ваш комендант ученый человек. Порт-Артурская газетка пишет, что он чуть ли не 10 академий окончил. Ну, ему и книги в руки.

-- Мое дело воевать, а не крепости строить. Да и на кой черт деньги на нее тратить! Где японцу, этому желторожему чорту, до Артура добраться.

Я на это осмелился возразить его превосходительству, что японец вынослив, и армия противника получила прекрасную боевую подготовку, о чем свидетельствует "Новый Край" и бывшие в китайской кампании офицеры.

На это я получил следующую отповедь:

-- "Новый Край" все врет о японцах и вместе с пьяницами распространяет всякие небылицы, мутит мне только гарнизон. Если бы я здесь остался комендантом, я непременно закрыл бы эту вредную газетку. Все газеты врут, а эта особенно много. Вы не верьте ей. Вы в ней начали писать, берегитесь, -- возвысив голос, сказал генерал.

-- Ваше превосходительство...

-- Хорошо. А вы вот что скажите! Почему вы до сих пор не явились? Приглашать мне вас нужно? Без приглашения ко мне дороги не знаете? Все пишете. Телеграммы посылаете. Сплетнями занимаетесь. Врат сюда приехали. Да знаете-ли вы, господа статские, что по законам военного времени и предоставленной мне власти я могу не только не медля выслать из крепости, но даже не медля повесить?

Признаюсь, -- опешил. А ну, как кликнет казаков, да повесить не повесить, а для науки прикажет легонько постегать. Собравшись с духом, извинившись за проволочку, я самым покорным тоном осмелился доложить разволновавшемуся генералу, что я являлся Наместнику и долго беседовал с начальником его штаба, генералом Флугомь,

-- Ну, хорошо, хорошо. А коменданта все-таки не следует забывать, -- уже смягчившись, говорил комендант. -- В осажденной крепости он царь и Бог!

Простившись с генералом, я ушел с тяжелым чувством. Одно меня утешало: это то, что он не будет далее комендантом нашей крепости, которой по всем данным суждено сыграть выдающуюся роль в наступившей кампании.

XVIII.

Пока в самой крепости шло спешное сооружение совершенно ни к чему непригодной центральной ограды, прибывший 29 января в Порт-Артур контр-адмирал Лощинский организовывал минную оборону Ляодунского полуострова.

Все внимание адмирала было обращено на возможно сильное минирование города Дальняго, где возможно была высадка десанта неприятельского флота.

Затем им было проектировано широкое применение минных заграждений для обороны Артура и всех мест, удобных для высадки десанта.

Но к несчастью, вновь назначенный командующий флотом вначале очень скептически относился к минным заграждениям, на основании печальных случаев с "Енисеем" и "Боярином", и в предположении, что он через три месяца в состоянии будет овладеть морем.

24 февраля прибыл в Артур вновь назначенный командир тихоокеанского флота вице-адмирал Макаров.

Съ прибытиемъ адмирала въ жизни эскадры началась оживленная деятельность. Насколько эта деятельность была продуктивна, судить не берусь, ее оценить критическая военно-морская литература. Съ своей стороны позволю сказать только одно, что съ прибытиемъ адмирала на эскадре началось оживление, сменившее ее прежнюю бездеятельность.

Въ порту кипела работа: "Паллада" чинилась въ единственномъ, еще китайской постройки, сухомъ доке. "Цесаревичъ" стоялъ въ восточномъ бассейне, где въ подведенномъ кессоне шла заделка пробоинъ.

Въ рукахъ инженеровъ, такихъ выдающихся по своимъ дарованиямъ и энергии, какъ инженеръ-механикъ Свирский и Шиловъ, работы по заделке пробоинъ быстро подвигались впередъ.

Подполковникъ Меллеръ работалъ по разыскиванію и исправленію старыхъ и установке новыхъ орудій.

Въ день прибытія Макарова после долгихъ усилий удалось, наконецъ, снять "Ретвизанъ" съ отмели Тигроваго Хвоста и отвести въ западный бассейнъ.

Совпадение снятия "Ретвизана" съ днемъ прибытія Макарова произвело сильное впечатление.

Огромный, мощный броненосецъ, при звукахъ оркестровъ на всехъ судахъ эскадры, громовомъ "ура" экипажей, величественно сталъ во внутренней гавани, съ подведеннымъ къ пробоине временнымъ кессономъ.

Въ первый же день своего приезда адмиралъ Макаровъ отдалъ визитъ генераль-лейтенанту Стесселю, -- результатомъ котораго было высказанное адмираломъ мнение, что крайне необходимо скорейшее прибытіе вновь назначеннаго коменданта крепости генераль-лейтенанта Смирнова.

Вместе съ адмираломъ Макаровымъ прибылъ въ крепость заведующій воздухоплавательнымъ паркомъ лейтенантъ Лавровъ. Въ крепости ни парка, ни материаловъ для оборудованія воздухоплавательной разведочной службы не было.

Шаръ и все материалы, шедшіе на пароходе "Манджурия", въ самомъ начале войны попали въ руки японцевъ вместе съ огромнымъ запасомъ предназначенныхъ для Артура снарядовъ. Впоследствии мы усердно наблюдали, какъ этотъ шаръ поднимался изъ-за Волчьихъ горъ; долго и, конечно, не ради любопытства осаждающихъ, высоко парилъ онъ надъ этими высотами, а осадная артиллерія бомбардировала насъ снарядами, взятыми на "Монголии". Мы узнавали объ этомъ по клеймамъ заводовъ. Досадно и до боли обидно было это. Но верили заветамъ предковъ, терпели.

Въ ночь на 26-е февраля вышелъ на разведки отрядъ нашихъ миноносцевъ. На разсвете миноносцамъ пришлось выдержать серьезный бой съ противникомъ. Около 7 ч. утра на горизонте показался японский флотъ въ составе 13 большихъ судовъ и 12 миноносцевъ. Два нашихъ миноносца оказались отрезанными и вступили съ атаковавшей ихъ эскадрой въ бой.

Бой шелъ 2 часа. "Решительному" удалось прорваться, а "Стерегущий", окруженный 12 миноносцами и 5 крейсерами, былъ разстрелянъ и пошелъ ко дну.

Въ 8 ч. 18 м. неприятельская эскадра появилась на юге отъ Ляотешаня.

XIX.

Артурцы, уже приученные, обстрелянные двумя предшествовавшими бомбардировками и громами минныхъ атакъ, слегка лишь встревожились гуломъ отдаленной морской канонады, не подозревая, что имъ придется пережить новые ужасы жесточайшей бомбардировки.

Въ 8 час. 30 мин. отъ неприятельской эскадры отделились 3 броненосца и 2 легкихъ крейсера, стали на разстояніи одной мили отъ Ляотешаня, массивъ котораго диаметрально противоположенъ всей линии берегового фронта. Ни одна изъ батарей не могла открыть

по нимъ огонь. Весь береговой фронтъ молчалъ. На Ляотешане вместо батарей... высился маякъ.

Что же касается до перекидной стрельбы, проектируемой съ высшей точки Ляотешаня, то таковой производить было нельзя. Орудия берегового фронта не имели достаточнаго угла возвышения, круговаго обстрела и не были непосредственно связаны съ наблюдательнымъ постомъ. Телефоны только теперь проводились.

Самый простой маневръ японской эскадры, ставшей подъ прикрытиемъ Ляотешаня, поставилъ крепость въ безвыходное положение.

Ее сейчасъ начать разстреливать, а она должна молчать.

Гарнизонъ и жители не знали, что ихъ ожидаетъ.

Никто не могъ предположить, что крепость можно бомбардировать съ ближайшаго разстояния, а она -- будетъ вынуждена молчать.

Но такъ именно было.

Въ 8 ч. 45 м. со стороны Ляотешаня понесся непрерывный гулъ, а за нимъ громовые раскаты взрывовъ 12-дюймовыхъ бомбъ, сначала на площади Новаго города.

Я спалъ, когда началась бомбардировка. Меня разбудилъ управляющий конторой и типографией "Новаго Края" Андрей Мартыновичъ Пилецкий. Предупредивъ меня, что здесь оставаться опасно, такъ какъ домъ редактора П. А. Артемьева, въ которомъ я жилъ, расположенъ на берегу бухты и противъ входа,-- Пилецкий поспешилъ въ типографию, чтобы ободрить наборщиковъ. Выйдя на улицу, я былъ пораженъ, что весь береговой фронтъ молчитъ, а съ моря несется пока еще неясный, непрерывный гулъ, и въ стороне Новаго города слышатся взрывы. Положительно не могъ понять, что творится.

Это добивали "Стерегущаго".

Зашелъ въ редакцию "Новаго Края". На высказанное мне предположение, что идетъ бомбардировка, я сталъ наивно доказывать, что разъ крепость молчитъ, то это не бомбардировка, а отдаленный морской бой.

-- А взрывы слышите? Вотъ! Еще!

Въ это время у станции железной дороги раздался, какъ громовой ударъ, оглушительный взрывъ. Все притаились. Минуты черезъ две -- другой. Вбегаетъ ученикъ-наборщикъ и, дую себе въ руки, несетъ совсемъ еще горячий осколокъ.

Сомнения не было: крепость бомбардируется.

Штабъ крепости, ежеминутно получая донесения о страшныхъ взрывахъ по всей площади Новаго города, ничего не могъ предпринять, чтобы отогнать подошедшия чуть не вплотную неприятельския суда.

Противникъ расположился противъ Ляотешаня въ следующемъ порядке:

Въ первой линии, на разстоянии одной мили, 3 броненосца; во второй, на разстоянии трехъ миль, 3 броненосца, 1 крейсеръ и 4 миноносца, а въ третьей линии сталъ весь остальной флотъ.

Огонь поддерживали суда, стоявшия въ первой линии боевой диспозиции.

Огонь противниковъ былъ размеренный, выдержанный и точный.

Неприятель систематично посылалъ снарядъ за снарядомъ въ городъ, все время поднимая прицель.

Очевидно, целью бомбардировки была стоявшая во внутренней гавани наша эскадра и портъ.

Противникъ пристрелялся, снаряды непрерывно начали падать въ Западный бассейнъ, Восточный и въ портовые мастерския.

Ровно въ 11 часовъ бомбардировка внезапно прекратилась. Наблюдательный постъ донесъ, что броненосцы первой линии отходятъ и на ихъ место вступаютъ броненосцы второй линии. Первая часть экзекуции крепости кончалась.

Наступило тяжелое, зловещее затишье.

День былъ сумрачный. Солнце скрылось за густой пеленой облаковъ.

На извозчикахъ и рикшахъ везли окровавленные жертвы бомбардировки.

Въ 11 ч. 25 м. канонада возобновилась. Снова завывали снаряды. Во второй части бомбардировки все снаряды ложились во внутреннюю гавань. Было несколько попаданий въ суда и портъ.

Несмотря на явную смертельную опасность, работы въ порту ни на минуту не прекращались.

Выпустивъ въ часъ дня последнюю бомбу, неприятельский флотъ, въ виду наступившаго прилива и возможности выхода на внешний рейдъ нашей эскадры, сталъ отходить на SO и скоро скрылся за горизонтомъ.

Съ половины девятаго утра до часу пополудни японцы выпустили въ Артуръ 208 двенадцатидюймовыхъ бомбъ.

Пройдутъ десятки летъ, а въ памяти участниковъ и свидетелей обороны Портъ-Артура будетъ живо жгучее воспоминание о пережитыхъ 26 февраля часахъ бомбардировки; будетъ долго жить горькое чувство обиды, что крепость разстреливалась подошедшимъ къ ней вплотную противникомъ и не могла отвечать.

XX.

Я никогда не забуду словъ одного артиллерийскаго полковника, на обращенный къ нему во время бомбардировки вопросъ:

-- Правда-ли, что Ляотешань неукрепленъ?

-- Да, онъ не укрепленъ. Японцы надъ нами издеваются. Учатъ насъ, где нужно пушки ставить. Я прослужилъ безъ малаго 35 летъ, и до какого позора дожилъ! Насъ разстреливаютъ, а мы притаились и молчимъ. Посмотрите, что творится въ Западномъ бассейне?

Въ окно ресторана, расположеннаго на берегу, въ несколькихъ отъ него саженьяхъ, видны были взрывы бомбъ, вздымавшие огромные столбы воды. Каждый следующий снарядъ могъ попасть въ набережную.

Полковникъ всталъ и, уходя изъ ресторана, съ гневомъ сказалъ:

-- Шесть летъ владеть крепостью и не вооружить Ляотешань -- это преступление.

Жертвами этой бомбардировки была баронесса Франкъ и другие, смерть которыхъ произвела на всехъ тяжелое впечатление.

Во время бомбардировки покойная баронесса Франкъ сидела въ угловой комнате, въ квартире присяжнаго повереннаго Сидорскаго. Здесь-же, противъ супруги, отдыхавшей после только что оконченнаго завтрака, сидель баронъ Франкъ (полковникъ, военный следователь) съ двумя дочками.

Отъ взрыва снаряда, разорвавшагося въ восьми саженьяхъ отъ окна, у котораго сидело общество, все упали.

Первымъ поднялся баронъ и инстинктивно бросился къ жене. Она лежала ничкомъ на полу, безъ головы. Другой собеседникъ, самъ Сидорский -- былъ тоже мертвый. Дети съ душоу раздирающимъ плачемъ бегутъ къ двери, за ними рванулась въ корридоръ m-lle Валичъ и въ жестокихъ страданияхъ, какъ подкошенная, падаетъ съ предсмертной, последней мольбой:

-- Помогите! Спасите! Я не хочу умирать!! Баронъ, скорей, скорей,-- въ груди жжетъ. Дайте хоть каплю воды.

Все было напрасно. Юное, полное жизненныхъ силъ, прелестное создание черезъ два часа превратилось въ тленъ.

Полуторадюймовый осколокъ пробилъ грудь и застрялъ въ животе.

А что представляла изъ себя комната, где произошло убийство трехъ ни въ чемъ неповинныхъ людей!? Стены, полъ, потолокъ забрызганы кровью и кусками мозговъ съ прилипшими къ нимъ прядями черныхъ волосъ баронессы. Рамы вынесены. Все завалено мусоромъ и камнями. Воздухъ пропитанъ удушливымъ газомъ лиддита и запахомъ крови.

Во время бомбардировки, когда, как раскаты грома, ежеминутно съ ужасающим громом лопались повсюду снаряды, посылая отъ себя на 200 сажень вокруг смерть и разрушение, на улицахъ было много любопытныхъ, собиравшихъ еще совсемъ горячие осколки.

Когда одно за другимъ стали получаться известия объ ужасахъ, производимыхъ японскими снарядами, когда канонада приняла зловещий характеръ при свете пасмурнаго дня, когда въ городе стоялъ непрерывный гулъ отъ взрывовъ и воя летевшихъ осколковъ, когда то здесь, то тамъ встречались носилки, я несколько разъ встречалъ одну даму и несколькихъ братьевъ милосердия, готовыхъ подать первую помощь возможнымъ каждое мгновение новымъ жертвамъ бомбардировки.

XXI.

День 26-го февраля былъ днемъ тяжелаго испытанія для артурцевъ. Они воочию убедились, въ какомъ положении была крепость, и въ неприступная ея твердыни никто уже не верилъ. Многие спешили ее оставить. Все съ тревогой смотрели на будущее. Въ это тревожное, тяжелое время, когда все съ боязнью ожидали новыхъ грозныхъ неожиданностей, когда многие начали падать духомъ, когда самые оптимистически настроенные люди не ожидали впереди ничего утешительнаго, -- издававшаяся во все время осады газета "Новый Край" своимъ бодрящимъ тономъ вселяла въ защитникахъ Артура надежду на лучшее будущее.

Я думаю, что нигде съ такой жадностью не читались печатныя строки, какъ читались оне гарнизономъ Артура. Редакции подъ гнетомъ двухъ предварительныхъ цензуръ трудно было работать. Но несмотря на это, она делала все, что было въ ея силахъ.

Съ 26-го февраля въ работахъ по вооружению крепости былъ застой. Тащили лишь орудия на Ляотешань. Только эскадра и портъ проявляли кипучую деятельность. Изъ Петербурга начали прибывать рабочие Балтийскаго завода.

Прибывшие рабочие, подъ непосредственнымъ наблюдениемъ и руководствомъ энергичнейшаго и способнейшаго инженера Кутейникова, приступили къ исправлению судовъ. Работа въ буквальномъ смысле слова закипела. Любо было глядеть, какъ сотни балтийцевъ заработали у пробоинъ "Паллады", "Цесаревича" и "Ретвизана".

Среди славныхъ именъ защитниковъ Портъ-Артура имя инженера Кутейникова должно занять одно изъ почетнейшихъ местъ, наряду съ именами Свирскаго и Меллера, этихъ незаметныхъ тружениковъ порта "Артуръ", но которымъ мы были обязаны темъ, что эскадра была въ полной боевой готовности уже въ начале июня месяца. Какія пришлось преодолеть имъ трудности, это знаютъ только те сотни рабочихъ, которые трудились подъ ихъ руководствомъ, те десятки ихъ товарищей, которые съ молоткомъ въ рукахъ умирали у чинимыхъ ими судовъ, растерзанные неприятельскими снарядами.

Въ то время, когда въ порту шла лихорадочная работа, гарнизонъ, изнывая отъ ничегонеделанія, распускался. Дело дошло до того, что солдаты начали грабить на улице.

Примеръ бражничавшихъ офицеровъ, отъ старшаго до младшаго, действовалъ растлевающе на подчиненныхъ. Средства же для разгула не было, они начали грабить. Генераль-лейтенантъ Стессель приказомъ отъ 2-го марта? за № 198, объявилъ гарнизону, что стрелки 26 полка X. и У. подлежатъ обвинению въ томъ, что, встретивъ въ новомъ китайскомъ городе Луи Геринга, остановили его, насильно отняли бывший при немъ портфель, изъ котораго вынули съ целью присвоения три пяти рублевыхъ бумажки, при чемъ У. держалъ въ это время винтовку "на руку", что предусмотрено ст. 1630 улож. о наказ. уголовныхъ. (Все приказы привожу дословно съ сохранениемъ орфографии и грамматики).

Сначала грабили китайцы, теперь начали безобразничать нижние чины гарнизона.

Возмутительный случай скоро сталъ достояниемъ всего города. По вечерамъ опасались выходить на улицу. Разговорами о распушенности гарнизона не было конца. Постоянная

безобразия, творившиеся в мирное время, не прекращались и теперь, когда крепость была объявлена в осадном положении. Все винили генерала Стесселя в том, что он, воюя с мирными жителями, в конце концов распустил гарнизон.

XXII.

4-го марта, в 12 часов ночи, наконец, прибыл в Артур нетерпеливо ожидаемый новый комендант, генерал-лейтенант К. Н. Смирнов.

Для встречи коменданта собрались все старшие начальники крепости.

Нужно было присутствовать при этой встрече, чтобы понять, какое прекрасное впечатление произвел на всех вновь прибывший.

На площадке вагона, освещенного тусклым станционным фонарем, показался полный жизненных сил, с горящими как у юноши глазами, но совершенно уже седой генерал в форме офицера генерального штаба. Окинув всех присутствовавших пронизательным, выражающим ум, энергию и непреклонную волю взглядом, генерал Смирнов, приветливо поздоровавшись, немедленно отбыл с начальником своего штаба, подполковником Хвостовым, к себе на квартиру.

На следующее утро нового коменданта приветствовали представители гражданского населения, с гражданским комиссаром подполковником А. И. Вершининым во главе, который сказал следующее:

"...Приветствуя вас, мы встречаем в вашем лице в тяжелую минуту не только коменданта крепости, но и своего просвещенного гражданина и изъявляем полную готовность представить в ваше распоряжение все средства, которыми город располагает для борьбы с врагом. Да хранит же вас Бог и дарует вам мудрость, силу и крепость на славу Царя и России и страх дерзкому врагу".

С первого же дня своего прибытия, вновь назначенный комендант г.-л. Смирнов начал знакомиться с крепостью и вместе с своим верным и неутомимым помощником, г.-м. Кондратенко, приступил к ее укреплению и вооружению. Целые дни проводили эти два генерала на линии сухопутной обороны.

4 марта, в приказе за № 223, генерал-лейтенант Стессель говорит:

"Вновь назначенный комендант крепости, генерал-лейтенант Смирнов, прибыл и вступил в исполнение своих обязанностей.

Я на-днях должен уехать из крепости, для командования вверенным мне 3 Сибирским армейским корпусом.

Начиная с 1899 г., я был свидетелем роста крепости, был свидетелем всех тяжелых работ, которые легли на начальников и солдат по устройству и вооружению; я, как первый комендант Артура, имел счастье видеть и крещение ее первым огнем неприятеля, причем славные защитники крепости имели счастье порадовать Батюшку Царя отбитием всех трех бомбардировок. Благодаря необыкновенной энергии всех чинов, от старшего до младшего, Артур теперь представляет твердыню неодолимую для врага. Разставаясь скоро с вами, славные боевые товарищи, я по долгу службы и от глубины моего солдатского сердца приношу мою искреннюю благодарность и т. д."

Приказ этот был редакцией "Новаго Края" признан неудобным для печати, так как в нем была явная ложь. По поводу того, что "Артур теперь представляет твердыню неодолимую", можно было говорить кому угодно, но только не нам, пережившим все три бомбардировки и в особенности день 26-го февраля.

О твердынях Артура можно было доносить в Петербург, потому что он далеко, но не следовало, ради простой порядочности офицера, ставить себя в положение лгуна перед лицом всего гарнизона, который на своей шкуре испытал уже "неодолимые твердыни".

Наконец, следовало постесняться вновь прибывшего коменданта, который, объезжая фронт крепости, пришел в ужас от того, что увидел.

Слова приказа: "славные защитники крепости имели счастье порадовать Батюшку Царя отбитием всех трех бомбардировок" говорились после того, когда славные защитники Артура, сидя в крепости и разстреливаемые 25-пудовыми стальными глыбами, не могли ответить ни единым выстрелом.

Все мало-мальски порядочное в гарнизоне возмутилось этой безстыдной ложью.

Мне, как военному корреспонденту, поставленному в условия драконовски-строгой военной цензуры, нельзя было и думать сообщить в Россию о том, что представляет из себя Стессель. Примерь с князем Карселадзе ясно досказал, что ни почта, ни телеграф не передадут в Россию истинного положения вещей.-- Нужно было безучастно смотреть на все происходившее и терпеливо ждать.

XXIII.

Я был свидетелем, как люди клялись, что они доведут до сведения Царя о том страшном обмане, которым Его окружают.

Мыслимо-ли было протелеграфировать что-нибудь в Петербург, предупредить о том, что представляла в начале марта крепость, когда князь Карселадзе был предан военному суду за посланную им совершенно невинную телеграмму.

Военная цензура сковала все. Читались даже письма лиц, которые подозревались в неблагонадежности.

В Артуре, в этой России в миниатюре, я понял, почему мы дожили до Артура.

Единственным, чем мы себя успокаивали, это -- сознанием, что ген.-лейт. Стессель оставляет Артур. Но злой рок, тяготеющий надь Россиею, сулил иное.

Объезжая бесконечную линию фортов, батарей и укреплений сухопутного и частью морского фронта, генерал Смирнов пришел в ужас от того, что ему пришлось увидеть.

Представления о незаконченности сухопутной обороны были далеки от ужасающей действительности.

Масса работ по предполагаемым к сооружению фортам и долговременным укреплениям, нанесенным на Высочайше утвержденный полигон крепости, были или совсем не начаты, или в зачаточном состоянии.

То же самое было с кладкой бетона для казематированных помещений. На верках крепости работ почти никаких не производилось. Там, где выросли в течение 5 месяцев грозные верки крепости, шла цепь голых скал. Проведены были лишь военные дороги -- многия еще китайской работы. Малое и Большое Орлиныя Гнезда, Заредутная, Залитерная, Курганная, Кладбищенская батареи, Обелискова гора, форт 5 (угловой на западном фронте, против Высокой горы) представляли из себя голыя скалы без признаков каких бы то ни было работ. Работы по возведению форта No 6 были еще не начаты. На большинстве возведенных, но не оконченных еще укреплений орудия или совсем не были поставлены, или настолько нелепо установлены, что работы в основании пришлось переделывать, а орудия переустанавливать. О возведении третьей линии обороны никто и не думал. То же самое было с Высокой горой, Дивизионной, Длинной, Плоской, Угловой, Дагушанем, Сягушанем и т. д.

Одним словом, передь вновь прибывшим комендантом развернулась картина полной, абсолютной неподготовленности крепости к активной обороне. Неподготовленность эта тревожно увеличивалась еще тем обстоятельством, что распланировка фортов, укреплений, капониров, батарей, редутов впереди верков крепости совершенно не

отвечала условиям гористой местности, впереди лежащая высота которой командовали надь ними.

XXIV.

Приглядевшись к обстановке, комендант крепости генераль-лейтенант Смирнов решил отступить в некоторых чертах от утвержденного полигона, нашел необходимым вынести некоторые укрепления вперед и укрепить вышеупомянутые горы, прекрасно сознавая, что в случае овладения японцами киньжоуской позицией и тесной блокады с суши, крепость не в состоянии будет долго защищаться в том виде, в каком он ее застал.

Съ прибытием новаго коменданта у людей честных, во главе которых был покойный Кондратенко, развязались руки. В крепости закипела работа.

Масса китайцев день и ночь вели земляные работы. Однако сразу почувствовался недостаток в вольнонаемных рабочих. Китайцы, не соблазняясь довольно высокой поденной платой, постепенно начали эвакуировать в Чифу. Отъезд их с каждым днем усиливался. Японцы путем своих агентов распространяли среди китайского населения тайные прокламации.

Прокламации гласили: "Портъ-Артуръ будет скоро отрезанъ, затемъ взятъ, а все китайцы, которые темъ или инымъ путемъ помогали русскимъ защищаться, будутъ безпощадно истреблены".

Весь трудъ по укреплению и вооружению создаваемой крепости легъ на 7-ю восточносибирскую стрелковую дивизию генерала Кондратенко и запасные батальоны. Это была работа титановъ в образе простых, серых русских людей. Оценить эту работу можетъ только лишь тотъ, кто виделъ этихъ маленьких, худосочныхъ людей, целыми месяцами по крутымъ горамъ Артура таскавшихъ тяжести и рывшихъ ихъ каменистый грунтъ.

День-деньской генераль Смирновъ проводилъ вместе съ Кондратенко на линии возводимой сухопутной обороны.

Работы быстро подвигались впередъ. Всякая попытка военныхъ инженеровъ допускать злоупотребления во-время парализовывалась комендантомъ крепости генераломъ Смирновымъ и его ближайшимъ помощникомъ, генераломъ Кондратенко.

XXV.

Генераль Стессель, находясь между небомъ и землей, ежедневно ожидая приказа отправиться къ вверенному его командованию корпусу, совершенно ступеался. Все, кому дорогъ былъ Артуръ, честь, слава и достоинство России, -- торжествовали. Все воочию убеждались, что Артуръ въ рукахъ Смирнова и Кондратенко действительно превратится въ неприступную твердыню.

Постоянные и долгия совещания коменданта съ командующимъ флотомъ, въ которыхъ разрабатывался способъ совместныхъ действий эскадры и гарнизона крепости, въ случае появления противника на территории Квантунскаго полуострова, вселяли въ гарнизоне бодрость духа и уверенность въ благополучномъ исходе вполне вероятной осады крепости.

Ляотешань быстро и энергично укреплялся. На немъ устанавливали орудия "Канэ".

Проводились новыя телефонныя линии.

Крепостная минная рота закончила постановку миннаго заграждения, замыкающагося на ночь.

Организована была перекидная стрельба по квадратамъ черезъ Ляотешань, на случай подхода японской эскадры по примеру 26-го февраля.

Меллерь производилъ переустановку орудий на батареяхъ берегового фронта, давая имъ круговой обстрелъ и большой уголъ возвышения.

Въ проходе стали неусыпнымъ дозоромъ канонерскія лодки "Отважный" и "Гилякъ". На внешний рейдъ выходили на ночь для несения сторожевой службы поочередно крейсера. Решень былъ принципиально вопросъ о потоплении впереди прохода несколькихъ судовъ, съ целью воспрепятствовать японцамъ заградить брандерами входъ въ гавань.

Работы на эскадре, въ порту и крепости кипели. Чувствовалось, понималось, что здесь есть люди, которые руководятъ ходомъ этихъ сложныхъ машинъ.

Уверенность росла и на душе становилось покойнее.

XXVI.

Раннимъ утромъ 9-го марта три неприятельскихъ отряда, состоявшие изъ 6 броненосцевъ, 6 бронированныхъ крейсеровъ, 6 крейсеровъ 2-го и 3-го ранга, стали медленно приближаться съ разныхъ сторонъ къ Артуру.

Въ 7 часовъ утра наша крейсерская эскадра вышла на внешний рейдъ, имея впереди крейсеръ "Аскольдъ", подъ флагомъ командующаго флотомъ. За крейсерами тронулись броненосцы.

Неприятель подходилъ къ Ляотешаню.

Съ вершины Перепелиной горы развернулась картина всей крепости, моря, нашихъ и вражескихъ судовъ.

Ровно въ 9 1/2 часовъ неприятель открылъ огонь изъ 12-дюймовыхъ орудий.

Размеренно, ударъ за ударомъ, гремели громовыми раскатами 12-дюймовыя орудия.

Видишь сначала ярко-желтый, съ красноватымъ отблескомъ огонекъ, легкое облако дыма, затемъ ударъ выстрела, наконецъ, страшный вой стремительно несущейся бомбы и -- взрывъ.

Въ этотъ день противникъ выпустилъ опять 208 снарядовъ. Большинство ихъ падало въ проходъ, западный бассейнъ, Ляотешань и его окрестности.

Но стрельба на этотъ разъ была не та: снаряды давали недолеты. На огонь отвечали наши батареи берегового фронта и "Ретвизанъ", стоявший съ подведеннымъ кессономъ въ западномъ бассейне, вокругъ котораго по всемъ направлениямъ ложились снаряды.

Стрельба нашихъ батарей и "Ретвизана" производилась перекидная, по невидимой цели.

Все батареи и "Ретвизанъ" были связаны телефономъ съ наблюдательнымъ пунктомъ, где производилась корректировка стрельбы.

Кроме того, вышедшая на внешний рейдъ наша эскадра стала теснить противника, открывъ по немъ фланговый огонь.

Въ 11 час. съ нашей стороны было несколько попаданий, после чего противникъ сталъ отходить и, несмотря на свое численное превосходство, уклонился отъ дальнейшего боя.

Прекрасной иллюстрацией отношения нашихъ офицеровъ и солдатъ къ морскимъ бомбардировкамъ служитъ следующий эпизодъ.

Когда бомбардировка подходила къ концу, со стороны Голубиной бухты послышалась частая ружейная стрельба. Когда комендантъ крепости приказалъ запросить по телефону, что это значитъ, то оказалось, что одинъ изъ ротныхъ командировъ, поручикъ Мюльбергъ, не обращая никакого вниманія на бомбардировку, производилъ назначенную на этотъ день "учебную стрельбу".

Весь остатокъ дня и вечеромъ въ городе заметно было особенное оживление. Повсюду говорили о Смирнове и Макарове. О Стесселе все забыли.

XXVII.

Вечеромъ въ одномъ изъ ресторановъ мне пришлось быть свидетелемъ спора молодеж и офицеровъ.

Несколько молоденьких стрелковых поручиков начали доказывать, что для Артура будет большим несчастьем, если уберут на север генерала Стесселя, говоря, что Смирновъ больно ученый генераль и для войны не годится. На войне нужна храбрость, уменье владеть массой и т. д.

Присутствовавшие молодые артиллеристы, народъ несравненно более развитой и образованный, доказывали, что въ современной войне, при нынешней технике ружейнаго и артиллерийскаго огня, а въ особенности въ крепостной войне и военныхъ операцияхъ, производимыхъ въ гористой местности, главный начальникъ долженъ быть прежде всего умный, опознающийся во всякой обстановке генераль и, во вторыхъ, безусловно широко и всесторонне военнообразованный. Что, молъ, храбрость теперь безъ знания равняется нулю.

Споръ разгорался и, благодаря выпитому вину, принималъ резкий характеръ.

Сидель тутъ пожилой артиллерийский подполковникъ, участникъ китайской кампании.

Слушалъ, слушалъ, да и говорить.

-- Господа, можно мне васъ помирить?

Все разомъ ответили:

-- Пожалуйста, пожалуйста, г-нъ полковникъ.

-- Ну, такъ извольте. Что генераль Стессель крайне ограниченъ, -- въ этомъ никто никогда не сомневался. Что онъ не образованъ, -- это тоже все знаютъ. Что онъ умеетъ быть недобросовестнымъ, -- это доказала история съ поручикомъ Х, который въ него стрелялъ. А насколько онъ храбръ, такъ вотъ вамъ неоспоримый фактъ.

Когда мы подъ начальствомъ полковника Анисимова брали въ Тяньзине арсеналь, генераль Стессель отъ места боя былъ по крайней мере въ 5 верстахъ.

Въ моментъ взрыва лошадь загорячилась, и генераль полетель въ грязь. Вытащили его оттуда проходившие стрелки. Генераль, взобравшись на коня, поспешилъ къ своей ставке менять мундиръ и вернулся въ Тяньзинъ лишь тогда, когда онъ былъ уже въ нашихъ рукахъ. Брали арсеналь мы подъ начальствомъ Анисимова, а славу и Георгия получилъ генераль Стессель,

Нетъ, господа! Чемъ дальше будетъ онъ отъ Портъ-Артура, темъ лучше будетъ и для насъ и для крепости.

Генераль Смирновъ, ознакомившись съ положениемъ кинжоуской позиции, решилъ, что эта позиция имеетъ огромное стратегическое значение, и приказалъ экстренно приступить къ работамъ по ея укреплению, для чего приказомъ отъ юго марта за No 228, разрешилъ выдать начальнику крепостнаго инженернаго управления изъ кредита обороны 10.000 рублей.

Какъ я уже говорилъ, кинжоуская позиция была въ ведении начальника 4-й стрелковой дивизии генераль-майора Фока. Что имъ было сделано съ самаго начала войны вплоть до боя 13-го мая, -- читатель увидить изъ следующихъ главъ.

XXVIII.

Угасаль день 12-го марта. Наша эскадра, предпринявъ днемъ боевую рекогносцировку, увенчавшуюся захватомъ японскаго парохода "Ханъ-иень-мару", стала на внутреннемъ рейде, принявъ все меры охранения.

После полуночи небо очистилось и месяцъ осветилъ спящий Артуръ.

На внутреннемъ рейде, въ прозрачной синеве тихой ночи чернела громада нашей эскадры и сплошная масса миноносцевъ.

На рейде ни звука. Ужъ месяцъ бледнеетъ. Воздухъ пересталъ быть прозрачнымъ. Опять темень. Прожекторы усиленно светять.

Вдругъ, въ стороне прохода выстрель, другой -- подхватили батареи берегового фронта. Началась канонада. Это были опять брандеры.

По дороге, мимо Пресного озера, проскакаль на береговой фронт комендантъ крепости генераль-лейтенантъ Смирновъ.

Брандеры, несмотря на градъ сыпавшихся на нихъ снарядовъ, шли полнымъ ходомъ на бонь.

Три изъ нихъ совсемъ близко были ко входу. Неожиданно положили "право на бортъ", и все, на полномъ ходу, выскочили на камни гиодъ Золотой горой.

Четвертый брандеръ взяль влево и, разстрелянный меткимъ огнемъ береговыхъ батарей и сторожевыхъ судовъ, затонуль въ стороне отъ фарватера.

Комендантъ крепости, генераль-лейтенантъ Смирновъ, весь ушелъ въ дело укрепления и вооружения вверенной ему крепости. Ежедневно, после объезда оборонительной линии, къ нему собирались начальникъ крепостной дивизии генераль-майоръ Кондратенко. начальникъ крепостной артиллерии генераль-майоръ Белый начальникъ крепостного инженернаго управления полковникъ Григоренко и начальникъ штаба крепости подполковникъ Хвостовъ. Здесь, на основании личныхъ наблюдений по производству работъ и знакомства съ характеромъ местности, окружающей Артуръ, решались серьезнейшие вопросы о дальнейшихъ работахъ.

Тотъ, кто будетъ интересоваться детальными подробностями деятельности генерала Смирнова и его сподвижниковъ, не прочтетъ толстыхъ кипъ приказовъ и дель.

Вся канцелярщина, насколько это было въ интересахъ дела, была изгнана. Нужно было торопиться, и времени для писания приказовъ и безконечныхъ отношений не было.

На месте решались вопросы. Здесь же совещающиеся получали приказанія отъ коменданта и немедленно проводили ихъ въ дело. Работы, въ буквальномъ смысле слова, кипели.

Все, отъ генерала до младшаго субалтернъ-офицера, увидели, что прошла пора безтолковщины. Все пришли къ убеждению, что нужно служить, а не "подслуживаться". Поняли, что никакия "забеганія съ задняго крыльца" не помогутъ. Поняли это и, какъ ни тяжело было, подтянулись. Подтянулись, но не все. Многие не могли помириться съ суровымъ режимомъ генерала Смирнова, требовавшего исполнения возложенныхъ обязанностей, а не подслуживанія.

Они притаились и выжидали. Они надеялись, что ихъ начальникъ, при которомъ такъ легко было имъ жить, останется. А если уедетъ на Ялу, то и они, конечно, съ нимъ.

Мы сначала каждый день ожидали отъезда генерала Стесселя къ вверенному ему корпусу, но затемъ изъ целаго ряда его приказовъ по 3 армейскому корпусу поняли, что отъездъ этотъ врядъ-ли осуществится. Стали прибывать начальствующие лица для занятия отдельныхъ должностей. Прибыли въ Артуръ начальникъ штаба корпуса генераль-майоръ Рознатовский, корпусный врачъ Рябининъ, корпусный интендантъ Павловский, корпусный хирургъ Гюббенетъ, офицеры генеральнаго штаба Иолшинъ, Степановъ, Головань.

Началь упорно распространяться слухъ, что генераль Стессель будетъ оперировать со своимъ корпусомъ въ пределахъ Ляодунскаго полуострова, а на Ялу не поедетъ.

Въ составъ 3-го армейскаго корпуса вошли следующие части: 3, 4 и 5 восточно-сибирския стрелковыя бригады, отдельная забайкальская казачья бригада, вновь формируемый 3-й восточно-сибирский саперный батальонъ и 4-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада.

Изъ числа всехъ этихъ войскъ въ пределахъ Ляодунскаго полуострова была расположена только 4-ая восточно-сибирская стрелковая бригада генерала Фока и 4-я восточно-сибирская артиллерийская стрелковая бригада, остальные же были въ Манчжурии.

Для насъ, не посвященныхъ въ сокровенныя тайны распоряжений Наместника на Дальнемъ Востоке, казалось все это непонятнымъ и страннымъ.

Мы боялись думать, что Стессель останется здесь, и каждый, кому дорогъ былъ Артуръ, какъ оплотъ России на Дальнемъ Востоке, надеялись, что минуетъ насъ это испытаніе.

Съ приездомъ въ крепость 4-го марта новаго коменданта, генераль Стессель совершенно стусевался, писалъ лишь приказы по войскамъ 3-го армейскаго корпуса и въ дела крепости совершенно не вмешивался.

Но гроза собиралась, и какъ ударомъ грома поразилъ всехъ приказъ ген.-лейт. Стесселя отъ 14-го марта 1904 г., за № 40.

Вотъ онъ:

"Приказъ по 3-му сибирскому армейскому корпусу, по войскамъ крепости Портъ-Артуръ и укрепленному району.

"Сего числа мною получена телеграмма Наместника Его Величества следующего содержания:

"По Высочайшему повелению, на ваше превосходительство возлагается временное руководство сухопутной обороной Квантунскаго укрепленнаго района, съ подчинениемъ вамъ коменданта крепости Артуръ".

Въ силу Высочайше дарованной мне власти, предоставляю вамъ права командира отдельнаго корпуса съ непосредственнымъ подчинениемъ командующему манчжурской армией. Коменданту крепости предоставляю право командира неотдельнаго корпуса.

Сообщая объ этомъ, предлагаю при обороне ввереннаго вамъ района сообразоваться съ распоряжениями командующаго флотомъ".

Объявляю о семъ для сведения.

Начальнику штаба 3-го сибирскаго армейскаго корпуса генералу Рознатовскому, предлагаю исполнять и обязанности начальника штаба всего укрепленнаго района. Штабу крепости и управлению 4-й стрелковой бригады, все сведения присылать въ штабъ 3-го сибирскаго армейскаго корпуса.

Генераль-лейтенантъ Стессель".

Итакъ, чего боялись -- свершилось. Это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ, которые намъ пришлось пережить въ Артуре.

Назначение это было началомъ конца Артура.

Японцы и англичане были по деятельности ген. Стесселя прекрасно осведомлены, какую цену для нихъ представляетъ вновь назначенный начальникъ укрепленнаго района, и поэтому они, въ особенности последние, начали его рекламировать, не останавливаясь ни передъ какимъ вымысломъ.

Безусловно каждому понятно, что это неожиданное назначение тяжелей всего отозвалось на плодотворной деятельности генерала Смирнова и его ближайшаго помощника Романа Исидоровича Кондратенко.

Покойный военный инженеръ, подполковникъ Рашевский, прекрасно знавший Стесселя и успевший оценить генерала Смирнова, такъ выразился по поводу этого приказа:

"Если у Смирнова не хватить умения и энергии обезвреживать генерала Стесселя, то верьте мне, что мы будемъ свидетелями величайшихъ, съ военной точки зрения, безобразий".

Его слова до известной степени оказались пророческими.

Я говорю до "известной степени".

Весь периодъ осады генераль Смирновъ, умело и энергично защищая крепость, успевалъ обезвреживать Стесселя.

Но Стессель перехитрилъ.

Для виду лишь согласившись защищать крепость до конца, обманувъ Смирнова,-- послалъ парламентаря съ переговорами о сдаче.

Впоследствии я остановлюсь очень подробно на этомъ позорномъ, возмутительномъ факте нашей военной истории.

Теперь же скажу, что всего могъ генераль Смирновъ ожидать отъ Стесселя, но только не такой низости. Если бы Смирновъ могъ его въ этомъ заподозрить, онъ арестоваль бы его до посылки парламентаря.

XXX.

О назначении генерала Стесселя начальникомъ крепостного района комендантъ узналь при довольно оригинальной обстановке.

Случилось такъ, что генераль Смирновъ и начальникъ района почти одновременно прибыли на одну изъ батарей.

Генераль Смирновъ, какъ комендантъ крепости, приняль отъ дежурнаго офицера рапортъ и поздоровался съ людьми.

Когда формальности были окончены, къ коменданту подходитъ генераль Стессель и, подавая ему бумагу, говорить:

-- А про эту бумажку вамъ, ваше превосходительство, разве ничего неизвестно?

Генераль Смирновъ беретъ -- читаетъ. Что происходило въ душе генерала, когда онъ прочель содержание телеграммы, судить трудно. Онъ возвратилъ депешу и, взявъ подъ козырекъ, сказалъ:

-- Виноватъ, ваше превосходительство, эта телеграмма для меня неожиданный сюрпризъ. (Передаю это какъ слухъ).

Отношения между Смирновымъ и Стесселемъ во время всей осады впоследствии, конечно, дадутъ огромный материалъ какъ общей, такъ и специально-военной критической литературе. Я-же, какъ очевидецъ всехъ разыгравшихся событий, лично знавший и не разъ беседовавший со всеми главными начальниками крепости, въ томъ числе и съ генераломъ Стесселемъ,-- могу только сказать, что если бы Смирновъ не обладалъ железной силой воли, не являль бы собой примера офицера, ставившаго преданность долгу выше всего, несмотря на глубоко потрясающия жизненныя положения, на непрерывную нравственную пытку, которую ему создаваль "монголизмъ" Стесселя, -- крепость пала бы много, много раньше.

Стоило Смирнову отказаться отъ активной деятельности коменданта крепости, чего такъ добивался начальникъ района, постоянно повторяя ему фразу: "Права, принадлежащая младшему, всецело принадлежать старшему начальнику",-- крепость бы пала после августовскихъ штурмовъ. (Я это говорю не голословно а подтверждаю фактами, какъ случайный свидетель военнаго совета 8-го августа).

На это и надеялись японцы, никакъ не ожидая, что за полгода крепость успеетъ такъ сильно укрепиться.

Въ августе японцы повели открытые штурмы и понесли самыя значительныя потери.

XXXI.

Считаю уместнымъ посвятить читателя, при какихъ обстоятельствахъ состоялось назначение генерала Смирнова комендантомъ крепости "Портъ-Артуръ".

Во время начавшейся кампании генераль Смирновъ командоваль въ Ченстохове стрелковой бригадой.

Въ начале февраля неожиданно получается запросъ изъ Петербурга о томъ, не желаетъ-ли онъ войти въ число кандидатовъ на должность коменданта крепости "Артуръ". Въ этотъ же день была получена вторая депеша, которой генераль Смирновъ поставлялся въ известность, что Государь Императоръ назначилъ его комендантомъ осажденной крепости, что онъ немедленно долженъ сдать бригаду и безъ заезда въ Петербургъ экстренно проследовать въ Портъ-Артуръ. 12-го февраля генераль выехалъ изъ Варшавы, а 4-го марта былъ уже въ Портъ-Артуре. По дороге въ крепость генераль Смирновъ былъ

произведенъ въ генераль-лейтенанты, обойдя въ порядке производства 110 генераловъ съ высшимъ образованиемъ и 300 по общей линии.

Нужно полагать, что такое неожиданно-экстренное назначение свидетельствуетъ о томъ, что въ критические моменты, переживаемые Россией на Дальнемъ Востоке, въ Петербургѣ верили генералу Смирнову и надеялись на него.

Генераль Смирновъ окончилъ две академии: генеральнаго штаба и артиллерийскую.

Съ неожиданнымъ созданиемъ новой должности начальника укрепленнаго района начали появляться все признаки наступившей впоследствии "вакханалии" власти.

Благодаря кому состоялось это назначение? Кто велъ эту интригу, стоившую намъ Артура и дальнейшихъ горькихъ испытаний, выпавшихъ на долю России и Государя, я не знаю.

Судь истории произнесетъ свой безпристрастный приговоръ и тогда эти черные люди понесутъ достойное возмездие. Артурская сотня интриговала, самымъ безсовестнымъ образомъ обманывая Государя, ради своихъ узкихъ интересовъ и потребностей. А Россия -- Россия въ позоре стонетъ отъ стыда и страданий.

Начальникъ района въ приказе своемъ отъ 16-го марта 1904 г., за № 49, пишетъ:

"Государь Императоръ повелелъ, чтобы комендантъ Портъ-Артура и самостоятельные начальники крупныхъ отрядовъ, независимо установленныхъ донесений по команде безотлагательно представляли Его Императорскому Величеству или военному министру донесения о происшедшихъ боевыхъ столкновенияхъ,

Наместникъ Его Императорскаго Величества на Дальнемъ Востоке, генераль-адъютантъ Алексеевъ, приказалъ также чтобы о боевыхъ столкновенияхъ съ противникомъ, начальники авангардовъ армий и т. д., доносили по телеграфу непосредственно его превосходительству. Въ донесенияхъ, поступающихъ Наместнику Его Императорскаго Величества по команде -- указывать обязательно: "когда именно о томъ же донесено на Высочайшее Имя".

Съ отданиемъ этого приказа каждому стало ясно, что коменданта крепости всеми силами старались сковать по рукамъ, чтобы онъ и не подумалъ проявлять свою самостоятельность. А ему, какъ вновь прибывшему, во всей красе развернулась картина длившейся шесть летъ въ Артуре оргии произвола, беззаконности и самоупоения властью. За все время осады генералу Смирнову удалось послать на Высочайшее Имя всего только две или три телеграммы.

Обо всемъ доносилъ начальникъ района, освещая все события въ выгодномъ для себя свете.

Начальникъ района всеми силами старался на каждомъ шагу подчеркивать, что хотя генераль Смирновъ и комендантъ крепости, но что хозяинъ въ ней -- онъ, Стессель. Приказы его были направлены исключительно къ тому, чтобы подорвать авторитетъ генерала Смирнова, какъ начальника. Все это впоследствии принесло свои горьчайшие плоды.

Только благодаря этому систематичному, энергичному подчеркиванію во всехъ своихъ приказахъ, въ особенности, съ назначениемъ генераль-адъютантомъ, среди старшихъ начальниковъ произошелъ расколъ.

Недостойные офицеры стали на сторону Стесселя, достойные этого звания -- на сторону Смирнова. Въ крепости образовались два враждебныхъ лагеря почти съ самаго начала осады.

Стессель всеми силами старался привлечь къ себе Кондратенко, подкупая его сообщениями о его деятельности въ телеграммахъ на Высочайшее Имя.

Но Романъ Исидоровичъ оставался веренъ долгу, а не лицу.

16-го марта исполнилась шестилетняя годовщина занятия Россией Артура.

"Новый Край" въ передовой статьѣ сказалъ:

"...Шесть летъ Россия съ лихорадочнымъ вниманиемъ следила, что делается у ней на Крайнемъ Востоке. Шесть летъ заботилась о судьбе новаго края..."

А я скажу: шесть летъ прошло, какъ надъ высотами угрюмага Портъ-Артура взвился русский флагъ.

А что представляла крепость?!

Шесть летъ Россия тратила миллионы на укрепление крепости, устройство Дальняго, проведение железной дороги за счетъ оскудевающаго центра России.

А въ какомъ виде застала ее вспыхнувшая война?

Новому коменданту крепости генералу Смирнову предстояла задача создать крепость въ теченіи несколькихъ месяцевъ и уже во время начавшейся кампании.

Знаеть-ли Россия, какую гигантскую работу выполнилъ генераль Смирновъ съ ввереннымъ ему гарнизономъ?

Неть! Она этого еще не знаетъ. Она узнаеть только тогда всю правду, когда Государь России предасть генерала Стесселя суду. Пусть судъ будетъ не скорый, не милостивый, но только правый.

Только после суда Россия узнаеть, какую трудную задачу выполнилъ Смирновъ, сколько ему приходилось бороться, чтобы неуклонно итти по пути офицера, честно исполняющаго долгъ передъ Государемъ и родиной.

22-го марта за No 55, отдается следующий приказъ:

"Предлагаю, коменданту крепости Портъ-Артуръ принять самыя строжайшія меры, чтобы казарменныя помещения и древесныя около нихъ насаждения не портились вновь занявшими ихъ частями."

Приказъ этотъ даже самому неразвитому фельдфебелю ясно говорилъ, что начальникъ района его отдалъ безъ всякой видимой надобности, а исключительно для того, чтобы показать свою власть, подорвать авторитетъ коменданта крепости. Каждый мало-мальски знакомый съ военной дисциплиной прекрасно понималъ, что не комендантъ осажденной крепости долженъ слѣдить за неприкосновенностью "древесныхъ насаждений".

Какъ я уже сказалъ, съ самаго назначенія генерала Стесселя начальникомъ района, все темныя силы гарнизона зашевелились, сгруппировались около своего стараго начальника и составили явную оппозицію генераламъ Смирнову и Кондратенко.

Комендантъ крепости, конечно, не обращалъ на это вниманія, работая надъ созданиемъ крепости. Но работать было трудно, въ каждомъ пустяке ему старались ставить препоны.

25-го марта начальникъ района, въ приказе своемъ за No 61, пишетъ:

--" 19, 20, 21 марта Наместникъ изволилъ произвести объездъ и осмотръ батарей и фортовъ крепости Портъ-Артура и укрепленной Киньчжоуской позиціи.

Въ приказе Его Превосходительства выражена благодарность начальникамъ за трудъ и работу, которые выполнены въ крепости Портъ-Артуръ.

Генераль-адъютантъ Алексеевъ изволилъ выразить благодарность и удовольствіе по поводу обороны Киньчжоуской позиціи. "Я считаю себя счастливымъ, что командую такими отличными войсками, которыя подъ руководствомъ своихъ начальниковъ и инженеровъ делаютъ весело и скоро въ 1 1/2 месяца то, что потребовало бы въ обыкновенное время, вероятно, не менее 1/2 года".

Я положительно знаю, съ какой целью писался этотъ приказъ. Одно могу предположить, что съ единственной целью -- целью надувательства. Но кого хотели надуть? Самихъ себя -- для этого не стоило труда. Гарнизонъ? Его можно было надуть, но это было безцельно.

Испытавъ на своихъ плечахъ дальнѣйшія тяжести крепостныхъ работъ, онъ понялъ, что напрасно Наместникъ писалъ: "...считаю своимъ приятнымъ долгомъ выразить мою искреннюю признательность бывшему коменданту крепости, а нынѣ начальнику сухопутной обороны укрепленнаго района генераль-лейтенанту Стесселю..." за блестящій успехъ работъ, (приказъ начальника укрепленнаго района 23-го марта No 5б), которыя ему, гарнизону, пришлось неустанно вести въ теченіе всей осады".

Въ Артуре прекрасно знали, что энергичныя работы повелись лишь съ приездомъ новаго коменданта. Съ приездомъ генерала Смирнова въ теченіе 15 дней на огромной линіи

обороны Артура и Цзиньжоуской позиции не могло быть сделано столько, сколько можно было произвести работ в течение полугода.

Очевидно, этим хотели кого-то надуть. Возможно, что этот приказ писался для устрашения японцев, которые через газету могли прочесть о блестящем состоянии работ в Артуре и позиции. Как оптимистически ни были настроены наши полководцы в отношении высадки японцев, тем не менее всегда были под страхом ея.

Наместник благодарил и считал своим приятным долгом выразить генералу Стесселю свою искреннюю признательность за блестящий успех работ; генераль Стессель печатно признавался, что он счастлив командовать такими славными войсками и т. д.

Читали мы все это, но отлично понимали, что приказ писался не для нас и решили, что отдан он для устрашения японцев. Прочтут японцы, что у нас обстоит все блестяще, и не высадутся.

Когда генералу Смирнову доложили о том, что из крепости вывозится масса продуктов первой необходимости, он отдал приказ, как комендант крепости, коим вывоз продуктов был воспрещен. Посыпались отовсюду протесты, жалобы сначала к самому коменданту. Генераль Смирнов, в ответ на все жалобы строжайше подтвердил, что вывоз продуктов окончательно и безусловно воспрещен. Недовольные обратились с жалобой на коменданта к начальнику района; в числе их был и мой товарищ по корпусу капитан Радецкий, прибывший из северной армии для закупки провизии в должности интендантского офицера. Капитан Радецкий вывез также несколько вагонов.

Генераль Стессель, вопреки строжайшему приказу о невывозе, пишет Смирнову, что он находит возможным разрешить и разрешил уже просившим вывоз припасов и предлагает ему отменить отданное распоряжение.

Генераль Смирнов немедленно отдал приказание начальнику жандармов строго следить за исполнением его распоряжения, добавив, что за малейшее ослушание он будет предавать суду и судить по законам военного времени.

Начальнику района он очень любезно разъяснил что не вправе разрешать вывоз припасов из вверенной ему крепости, которая может быть подвергнута тесной блокаде. Началась невообразимая путаница. Не знали, кого слушать. Крепость разделилась на два лагеря.

Все честное, правдивое было на стороне Смирнова; большинство старших и более дальновидных на стороне начальника района; на севере как будто ничего не знали.

Но комендант крепости, обладая железной волей, имея такого преданного помощника, как генераль Кондратенко, без шума, неуклонно обходил все затруднения, шел к намеченной цели, употреблял все свое "я" на создание крепости, прекрасно понимая, что рано или поздно она будет отрезана.

День сменял день.

Наступила Пасха.

Работы в крепости, несмотря на великий праздник, прекратились лишь на один день. 29-го марта работы возобновились. По улицам города замечалось особенное оживление. Матросы тащили на батареи снятые с судов орудия большого калибра. Я вглядывался в выражение лиц трудившихся и читал в них полную уверенность, что люди надеялись на лучшее будущее.

Ввиду сильного недостатка орудий для батарей сухопутного фронта комендант крепости вошел в соглашение с адмиралом Макаровым и получил с судов много орудий, главным образом "Канэ" и противуштурмовых.

Всякая попытка начальника района в серьезном вредить общему делу парализовалась.

XXXII.

30-го марта, въ 7 часовъ вечера, отрядъ миноносцевъ въ составе 8 судовъ, подъ брейдъ-вымпелами капитановъ 2-го ранга Бубнова и Елисеева, при тихой погоде вышелъ изъ Артура на дальняя разведки.

Къ ю часамъ погода резко изменилась. Небо быстро заволакивалось, сгущался туманъ, заморосилъ дождь. Въ такую ночь противникъ могъ открыться въ разстоянии не более полукабельтова.

Команда, несмотря на полное отсутствие практики въ мирное время, теперь, въ боевой обстановке, была совершенно покойна. Безсовестно лгутъ те, которые говорятъ, что нашъ народъ не можетъ дать хорошихъ моряковъ.

Я видель ихъ въ морскомъ бою и удивлялся безстрашию моряковъ, ихъ находчивости, безграничному покою и сметливости.

Лишь бы были хорошие руководители, а остальное будетъ.

Нашъ солдатъ и матросъ герои въ квадрате, потому что ихъ выпустили на войну неподготовленными, и совершенно не умели ими руководить.

Къ полуночи отрядъ вошелъ въ группу острововъ. Мгла настолько сгустилась, а непрерывно ливший дождь образовалъ столь плотную завесу, что миноносцы не различали другъ друга. Кругомъ непроницаемая темень; мертвая тишина глубокой ночи нарушалась лишь ритмическимъ стукомъ машины. Благодаря тьме, близости острововъ, массе на пути лежавшихъ подводныхъ камней, отрядъ шелъ самымъ малымъ ходомъ, ориентируясь въ своемъ пути лишь крикомъ чаекъ, ночевавшихъ на берегахъ встречныхъ острововъ.

Приблизительно около 12-ти часовъ миноносецъ "Страшный" потерялъ отрядъ и заблудился въ островахъ.

Въ 2 часа въ море заметилъ огни. Принявъ ихъ за свой отрядъ, "Страшный" сталъ ихъ держаться.

Лишь только забрезжилъ рассветъ, командиръ приказалъ поднять "позывные". Въ тотъ же моментъ съ судовъ, обрисовавшихся въ редющемъ тумане, въ ответъ на "позывные" грянулъ залпъ. Туманъ всколыхнулся -- и что же? У берега идутъ шесть неприятельскихъ миноносцевъ и два двухъ-трубныхъ крейсера, которые залпами начали осыпать "Страшнаго".

Открывъ огонь изъ своей слабой артиллерии, командиръ далъ самый полный ходъ впередъ, взявъ курсъ на Артуръ. Но было уже поздно. Все было на стороне противника: и численность, и сила, и больший ходъ.

Неприятель наступалъ, засыпая снарядами.

Попавшимъ снарядомъ разорванъ командиръ капитанъ 2-го ранга Юрасовский и перебита вся прислуга у носовой артиллерии. Снаряды быстро разрушаютъ миноносецъ, заполняя палубу ранеными и убитыми.

Но машина продолжала работать, миноносецъ не потерялъ еще своей жизненной силы, -- онъ уходилъ. Въ сердце cadaго еще теплилась надежда на спасение. Прислуга поддерживала орудийный огонь.

Лейтенантъ Малеевъ, принявший командование миноносцемъ, энергично распоряжается, даетъ указания, весело подбадриваетъ. Онъ всюду: то на корме, то на носу. Въ немъ бьетъ ключемъ жизнь, и жажда жизни, и призрачная надежда на помощь и спасение заставляютъ его забыть, не ощущать, что кругомъ и вокругъ смерть, что огонь противника все усиливается, что море кипитъ, какъ въ котле, отъ падающихъ и рвущихся снарядовъ.

Мичманъ Акинфиевъ падаетъ пораженный въ бокъ. Команда тонетъ. Вой, трескъ, свистъ снарядовъ. Стоны, крикъ, мольбы и проклятия раненыхъ и умирающихъ.

Лейтенантъ Малеевъ, уловивъ удобный моментъ, посылаетъ изъ кормового миннаго аппарата мину въ наступающий миноносецъ крейсеръ. Цель достигнута.

Крейсеръ накренился и тотчасъ же отсталъ. Къ нему подошелъ другой крейсеръ и два миноносца. Положение значительно изменилось. Только четыре миноносца громить "Страшный". Окрыленный надеждой и напутствуемый своимъ командиромъ минеръ Черепановъ бросается ко второму аппарату, но лишь только взялся за спускную ручку, какъ мину попавшимъ въ нее снарядомъ разорвало. Результаты ужасны! Инженеръ-механикъ Дмитриевъ разорванъ пополамъ, всехъ вблизи стоявшихъ разметало,-- машина остановилась. Японцы тоже остановились и на разстоянии 35 сажень разстреливали миноносецъ. Новый снарядъ добиваетъ мичмана Акинфиева, продолжавшаго еще распоряжаться, и даетъ подводную пробоину. Последняя 47 мм. пушка подбита. Миноносецъ гибнетъ. Лейтенантъ Малеевъ, убедившись, что спасения нетъ, что минуты "Страшнаго" сочтены, поднявъ голову своего соратника, механика Дмитриева, простился и, поцеловавъ его со словами: "Прощай, дорогой товарищ!" бодро обратился къ оставшейся команде: "Лучше погибнемъ, но не сдадимся".-- Подбежавъ къ пятиствольной митральезе, снятой имъ самимъ съ японскаго брандера, онъ открылъ беглый огонь по неприятелю. Дорого отдавалъ свою жизнь Малеевъ!!!

XXXIII.

Огнемъ митральезы разбило мостикъ одного миноносца, разворотило трубу другого. Противникъ, ожесточенный такимъ упорствомъ, залпами добивалъ героевъ. Спасшиеся видели, какъ Малееву сбило фуражку,-- ранило въ високъ. Видели, какъ онъ упалъ... "Страшный" съ горами труповъ и корчившихся въ мученияхъ, залитый кровью, быстро погружался.

Вдругъ японцы прекратили огонь и стали отходить.

Со стороны Ляотешаня шелъ на помощь "Смелый".

Было поздно: "Страшнаго" заливала волна, раненые боролись съ океаномъ и -- тонули.

-- "Братцы", крикнулъ Малеевъ,-- "спасайтесь!"

Это были его послѣднія слова, больше его не видели.

Изъ 48 человекъ команды и 4 офицеровъ -- спаслось 5 матросовъ, которыхъ подобралъ, подъ огнемъ неприятеля, летевший на помощь "Баянъ".

Опасность для "Баяна" во время спасения погибавшихъ съ "Страшнаго" съ каждой минутой увеличивалась. Огонь подошедшихъ шести большихъ судовъ и отряда миноносцевъ сосредоточился на немъ.

Эскадра наша спешила на помощь. "Петропавловскъ", а за нимъ въ кильватеръ вытянувшися суда летели къ месту боя.

Выстроившись въ боевой порядокъ и принявъ въ строй "Баянъ", эскадра погнала противника, открывъ по немъ огонь. Скрывшись за видимостью горизонта Артура, на "Петропавловске" заметили на С.-В. неприятельскую эскадру въ количестве 18 вымпеловъ. Обе эскадры противника шли на соединение по направлению Ляотешаня. Повернувъ обратно и ставъ подъ защиту береговыхъ батарей, наша эскадра начала менять строй фронта.

Вдругъ у носа "Петропавловска" показывается огромный столбъ воды, слышится мягкий звукъ взрыва мины, непосредственно за нимъ второй взрывъ, более интенсивный, -- вся средняя часть огромнаго броненосца объята пламенемъ и тучей желтовато-бураго дыма. Корма поднялась къ верху, винты, вертятся, блестятъ на солнце. Черезъ 1 1/2 минуты броненосца не стало. На его месте лишь плескались мутныя холодныя волны.

Многие видели взрывъ "Петропавловска".

Золотая гора сообщила объ этомъ въ портъ. Въ городе мгновенно узнали объ ужасномъ несчастии. Но никто не зналъ ничего положительнаго, никто не хотель верить, что Макаровъ погибъ.

Я никогда не забуду того оживления и растерянности, которая царила в порту. Все напряженно ждали вестей с эскадры.

Наконец, входит миноносец. Командир отчетливо в рупор говорит:

-- "Петропавловск" погиб. Макаров был на нем. Его ищут.

Каждый последовательно входивший миноносец подтверждал эту ужасную весть.

Тот, кто был в эти дни в крепости, знает, что это были за тяжелые дни.

Все словно остолбенели.

Мы мало еще знали Макарова, но его энергия и светлый ум заставляли верить в него и надеяться.

Что же погубило "Петропавловск" и Макарова?

В ночь, предшествовавшую катастрофе, адмирал был на "Диане", стоявшей в дежурстве на внешнем рейде. С крейсера заметили за Плоским мысом небольшие суда. Адмирал Макаров принял их за свои миноносцы и, несмотря на убедительные доводы, что это не наши, не разрешил открыть огонь. Это были действительно японские заградители, на минах которых погиб "Петропавловск" и подорвалась "Победа".

XXXVI.

1-го апреля в Артур прибыл Наместник и принял командование над флотом.

Во внутренней гавани, на судах эскадры царило какое-то затишье. Не было той оживленной деятельности, которая с раннего утра занималась в восточном и западном бассейнах. Прибытие Наместника хотя и внесло некоторое оживление, но оно далеко было от того, что было при покойном адмирале. Чувствовалось, что все, от матроса до адмирала, находится под тяжелым впечатлением неожиданной катастрофы.

Но малодушествовать было не время.

Генерал Смирнов еще энергичнее работал над возведением укреплений. Он и генерал Кондратенко день-деньской проводили на линии сухопутной обороны Артура.

В порту работы по заделыванию пробоин "Цесаревича", "Ретвизана", "Победы" и "Паллады", в буквальном смысле слова, -- кипели. Инженеры Кутейников и Свирский не знали отдыха.

Если мы, как бывшие граждане Артура, должны свидетельствовать потомству о героизме гарнизона Артура, то не в меньшей степени должны удивляться самоотверженной работе тружеников Невского и Балтийского заводов. Им мы обязаны, что 10-го июня эскадра была уже в полной боевой готовности.

XXXVII.

2-го апреля, в начале 9 ч. утра, на горизонте вновь показался японский флот. Он словно хотел проверить, какое впечатление произвели смерть Макарова и гибель "Петропавловска".

Приближение японского флота заставило всех встрепенуться. Деятельность нервов приподнялась. Все с мужеством решили перенести испытание четвертой бомбардировки.

Подойдя к Ляотешаню, японский флот открыл огонь по укреплениям береговой обороны, сосредоточивая его, главным образом, на батареях Тигроваго полуострова и проходе.

Наши батареи, эскадра, расположенная на внутреннем рейде, энергично, непрерывно и весьма удачно отвечали перекидным огнем.

Продолжавшаяся с перерывами до часу дня бомбардировка для японцев была почти безрезультатной.

Взрывами случайно легших у подножия Перепелиной горы снарядовъ тяжело были ранены два санитаръ и убито 7 китайцевъ. Кроме того, одинъ снарядъ разорвался въ одной изъ казармъ Тигроваго полуострова. Тамъ тоже было несколько раненыхъ и убитыхъ.

XXXVIII.

Меня всегда поражало, что во время бомбардировокъ население города мало обращало внимания на громъ выстреловъ и смертельную опасность отъ рвущихся снарядовъ. Жизнь текла обычнымъ путемъ. Со дня гибели "Петропавловска", после ошеломляющаго впечатления, произведеннаго этимъ несчастиемъ, и въ особенности, после бомбардировки 2-го апреля -- энергия какъ бы удвоилась. Работы повсюду шли ускореннымъ темпомъ. После последней бомбардировки наместникъ приказалъ спешно минировать море у Ляотешаня.

Еще ранее адмиралъ Лощинский докладывалъ покойному адмиралу Макарову о необходимости широкаго применения минной обороны Артура и Бицзыво, где предполагалась высадка десанта. Адмиралъ Макаровъ скептически относился къ миннымъ заграждениямъ, категорически отклонивъ пользование ими по темъ соображениямъ, что они "срываются" и опасны для самихъ себя, и, главное, что онъ надеется черезъ 2--3 месяца самъ овладеть моремъ.

Только после бомбардировки 2-го февраля и 9-го марта адмиралу Лощинскому было приказано поставить мины у южнаго берега Ляотешаня.

При разстановке въ первыхъ числахъ апреля минъ съ плотиковъ произошло несчастье. Мины не были тщательно осмотрены и одна изъ нихъ, получивъ ударъ колпакомъ о шлюпку, вероятно, вследствие бокового сообщения въ соляномъ контакте, попавъ въ воду,-- взорвалась. Убитъ лейтенантъ Поль и несколько человекъ матросовъ.

XXXIX.

Съ севера доносились тревожныя вѣсти о неудачномъ сражении на Ялу; утверждалось мнѣние, что Артуръ будетъ отрезанъ, что японцы готовятъ транспортныя суда для десанта. Носились упорныя слухи о готовящейся новой грандиозной попытке заградить входъ въ гавань.

Работы по вооружению и укреплению крепости быстро подвигались впередъ, суда чинились. Только на кинжоуской позиціи оне велись крайне вяло за недостаткомъ людей, строительныхъ материаловъ и какой-то совершенно непонятной инертности начальника района и генерала Фока.

Генералъ Стессель сидѣлъ въ Артурѣ, писалъ приказы, вмѣшиваясь въ деятельность Смирнова, донимая его придирками, а кинжоускую позицію всецело предоставилъ генералу Фоку.

7-го апреля начальникъ района въ приказѣ за No 110 пишетъ:--"При ѣздѣ сего числа я видѣлъ следующее...

"Въ первой батарее 7-го восточно-сибирскаго стрелковаго дивизиона вывесили белье на деревья. Много разъ было говорено, чтобы этого не было. Фельдфебель зналъ о запрещеніи вѣшать белье на деревья, видѣлъ неисполненіе и ничего не сказалъ подчиненнымъ. Грязь у казармъ большая.

"Предлагаю коменданту крепости "Портъ-Артуръ" и командующему 7-й восточно-сибирской стрелковой дивизіей принять самыя энергичныя меры, чтобы мои приказанія и распоряженія, которыя отдаются, принимались для исполненія, а не къ сведенію. Если будетъ личная, постоянная поверка, то подобнаго явленія не произойдетъ".

"Этотъ приказъ писался по адресу двухъ лицъ, которыя всю энергию, способности вносили на созданіе крепости, обороной которой впоследствии удивили весь миръ.

Генераль Стессель предлагает лично проверять его распоряжения генералу Смирнову и Кондратенко, которым дня не хватало, чтобы проверить, указать и поправить необходимые работы по вооружению фортов, батарей и укреплений. Только тот может понять, как тяжела была эта трагедия, кто жил в Артуре, кто видел, каких нечеловеческих трудов стоила гарнизону работа на оборонительной линии, и тот, кто впоследствии, защищая крепость, поливал ее своей кровью.

LX.

На кинжоуской позиции творилось нечто невероятное: генераль Фокь назначил комендантом последней командира 5-го восточно-сибирского стрелкового полка полковника Третьякова, но власти ему не дали и творил свою волю. Генераль Фокь приезжал на позицию, бранил офицеров и... уезжал.

Когда же полковник Третьяков настойчиво просил орудий, снарядов для слабо-вооруженной позиции, просил инженеров, рабочих для исправления никуда негодных батарей, указывал на необходимость постройки блиндажей, умолял дать строительные материалы, требовал укрепления новых горных позиций,-- генераль Фокь выходил из себя и кричал:

-- Изменники, все изменники, кто допускает, что Кинжоу плохо укреплен! Японцы никогда не возьмут. Кинжоу. Я всю японскую армию уничтожу здесь. Пусть они только осмелятся высадиться. Да, хоть японец и дурак, он никогда не двинет сюда своих сил, ослабив этим главную армию.

Полковнику Третьякову приходилось выслушивать подобные тирады от генерала, с горечью сознавая, что толку ему не добиться, так как начальник района думает головой генерала Фока.

Убедившись в бесплодности разговоров с генералом Фоком, полковник Третьяков, будучи сам саперным офицером по образованию, личными средствами командуемого им полка вместе с инженером Ф. Шварцем работал над приведением кинжоуской позиции в мало-мальски сносный вид.

Несмотря на то, что полковником Третьяковым постоянно, при каждом удобном случае, указывалось на более, чем неудовлетворительное состояние кинжоуской позиции, на которую, в силу простой логики, должен обрушиться первый удар осадной армии, ему не давали ни людей, ни материалов, ни инженеров, ни саперов.

Мало того, что не давали новых,-- отняли одного из двух, бывших уже на позиции. Как отняли?! Этого быть не может!-- скажет читатель.-- Если бы я не знал нижеприведенного приказа, я тоже бы не поверил. Но приказ состоялся и офицера на время убрали.

Начальник района, не поинтересовавшись познакомиться с важным стратегическим пунктом, каковым была кинжоуская позиция, на слово поверил генералу Фоку и отдал 8-го апреля за № 119 следующий приказ:

"Прапорщик запаса Цветков, находящийся ныне в распоряжении военного инженера капитана фонь-Шварца на кинжоуской позиции в виду окончания саперных работ, откомандировывается от войск, подчиненных командующему 4-й восточно-стрелковой дивизией..."

Я думаю, что сказать по поводу этого приказа ничего не приходится. Факт говорить сам за себя.

XLI.

Комендант крепости генераль Смирнов, в виду массы ненадежного элемента среди китайского населения, принимавшего участие в спешно производимых крепостных работах, озабочиваясь тем, чтобы результаты работ и планы вновь возводимых

укреплений не стали бы достоянием японцев, приказав полковнику Уранову (приказ от 7-го апреля № 288) организовать жандармско-полицейскую службу, которому и подчинил всю железнодорожную, городскую и жандармскую полицию. Полковник Уранов 22-го апреля уехал на север и все перешло под начальство ротмистра князя Микеладзе. Дело быстро наладилось. За китайцами был учрежден строжайший надзор. Японцы ничего не знали, что делалось в крепости. Так дела шли до 28-го мая.

Но к несчастью 28-го мая князь Микеладзе со всеми своими жандармами был ген. Стесселем выслан за Ляотешань без права въезда в Артурь. Крепость осталась без жандармов. Шпионам открылось широкое поле деятельности.

Как и почему это все произошло, я подробно опишу в одной из следующих глав.

9-го апреля прибыл с утренним поездом из Москвы редактор-издатель газеты "Новый край" подполковник Петр Александрович Артемьев.

Подполковник Артемьев в начале января совершенно больной, по настойчивым советам врачей, уехал на юг России с тем, чтобы предпринять серьезнейший курс лечения.

Весть о войне застала его на пути из Сингапура в Коломбо. Несмотря на необходимость лечения, Артемьев бросил все и примчался назад в Артурь. Я познакомился с ним в первый день его приезда. Он произвел на меня впечатление человека совершенно больного. Только глаза его говорили о той силе воли, которая заставила его забывать физические страдания и вернуться к исполнению своего долга. Газета на время отъезда была им поручена военному прокурору полковнику Тыртову. Но Артемьев, этот идейный борец за Дальний Восток России, не мог оставаться вдали от центра разыгравшихся событий; больной еще телом, но бодрый духом, он вернулся, чтобы лично руководить газетой, которую и довел до самой капитуляции Артура.

Вместе с Артемьевым прибыл его новый помощник Н. Н. Веревкин.

Каких трудов стоило издание газеты, знают только те, кто работал в ней. День в день, ночь в ночь кругом нея рвались снаряды, окончательно разрушив здание одним 11-дюймовым снарядом в ночь на 13-е октября. А сколько неприятностей и преследования ей пришлось выдержать от высшего начальства!

Я думаю, что никто из мало-мальски порядочных людей не мог допустить, что деятели печати в осажденном Артуре преследовали какие бы то ни было своекорыстные, личные цели. Работали они во имя идеи, идеи защиты крепости от врага. Они всеми силами старались поддерживать бодрость духа в гарнизоне и населении. Они воспитывали их в сознании, что лучше доблестная смерть, чем позор сдачи и плена.

Единственным здоровым развлечением за 11 месяцев был "Новый Край".

А сколько стоил труда выпуск каждого номера!

Весь Артурь кипел негодованием на ген. Стесселя и его приспешников, но газета не могла явиться выразителем общественного мнения.

Только язвительные статьи Веревкина "Странички из дневника", как в зеркале, отражали состояние всего мыслящего и чувствующего Артура. Но они писались так умно, их юмор был так легок, что ген. Стессель, не понимая всей соли, не мог наложить своей длани на газету.

XLII.

Со времени гибели "Петропавловска", японцы почти каждую ночь появлялись на внешнем рейде Артура и разбрасывали мины. Батареи берегового фронта зорко следили за рейдом. Редкая ночь обходилась без происшествий. Появлялись то миноносцы, то минные транспорты. Прожекторы открывали храбрецов,-- весь фронт осыпал их снарядами. Впоследствии они пускались на хитрости: впереди миноносца шла шаланда. Батареи открывали по ней огонь; на ней сосредоточивалась все внимание. Снарядами шаланда зажигалась, а миноносец безнаказанно разбрасывал мины.

Приблизительно с этого же времени для наших моряков наступила трудная задача: вылавливать неприятельские мины. Ежедневно несколько судов занимались этой в высшей степени опасной работой.

Постоянные ночные появления миноносцев на внешнем рейде заставляли наших артиллеристов быть постоянно на чеку, что крайне утомляло прислугу и офицеров. В городе начали упорно говорить, что японцы готовят нечто грандиозное.

Предположениям, самым нелепым, не было конца. Официально слух этот через наших военных агентов и консулов подтверждался. Но что готовили японцы, никто ничего положительно не знал.

Консул в Чифу, несмотря на обращенные к нему запросы, торжественно молчал или сообщал уже старья "новости".

В виду такого напряженного состояния, начальник района, чтобы воздействовать успокоительно, отдал 11-го апреля, за No 126, следующий приказ:

"Во время бомбардировок и начиная с того момента, как эскадра противника показала перед крепостью или во время могущих быть высадок противника, предписываю всем нижним чинам различных канцелярий и управлений, вооруженным винтовками, строить перед штабом крепости и поступать под команду офицера по назначению начальника штаба корпуса и ожидать приказаний.

Обыватели-европейцы, имеющие оружие, являются к командиру дружины, а невооруженные прибывают к воинскому начальнику и распределяются им.

1) 100 человек к пожарной команде для качания воды и для спасания вещей, если бы случился пожар.

2) 100 человек для помощи полиции отправлять в распоряжение полицеймейстера.

3) Всех остальных отправлять поровну в полки для выноски раненых и других работ.

Тех обывателей-европейцев, которые будут болтаться по городу без всякого дела, задерживать и сдавать воинскому начальнику для назначения на работу, а затем с таких будет взыскано".

Приказ этот не был опубликован в газете, но зато ходил по рукам. Большинство хохотало и возмущалось, более робкие решили уехать.

Я поинтересовался узнать, как этот приказ будет применяться на деле. Исполнить его было немисливо, и он фактически не был исполнен. Но зато дал возможность населению и гарнизону вдоволь нахохотаться. Хохотать -- мы хохотали, но тем, которым нужно было готовить крепость к защите, было не до смеха. Генерал Стессель, в своем глубоком неразумии, наивно полагал, открыто заявляя своим приближенным, что высадка японцев может произойти на береговой фронт крепости.-- "Подойдет броненосец, бросит якорь, спустит шлюпки и начнет высадку осадной армии".

Начальник района, ровно ничего не понимая в создании и защите крепости, как он и сам об этом говорил, все-таки хотел проявлять свою деятельность и показать всем и каждому, что он здесь главный, что все от него зависит.

XLIII.

Начальнику района генералу Стесселю хотелось славы. Но он в то же время знал, что слава создания крепости должна пасть не на него, а на генералов Смирнова и Кондратенко, как людей с широким военным образованием, и с этим не мог помириться.

Вместо того, чтобы, сознавшись в своей полной несостоятельности, итти им на встречу, помогать во всем, как старший, -- он тормазил их работы, придирался к мелочам и подрывал их авторитет, как начальников.

Нижеприводимый его приказ от 14 апреля, за No 136, иллюстрирует, до чего может прийти старший начальник по отношению к младшему, если он хочет на каждом шагу делать последнему неприятности:

"Проезжая сего числа, около 7 часов утра, близ театра Тифонтия, новых бань, я заметил военный пост из 5--6 человек 25-го восточно-сибирского стрелкового полка, который валялся на земле возле одного из домов терпимости; винтовки были составлены тут-же. Унтер-офицер доложил мне, что он с нижними чинами составляет патруль -- в помощь полиции, чтобы забирать буйствующих мастеровых порта, которые живут в этих домах..."

"Согласно устава гарнизонной службы, эти нижние чины подчиняются коменданту крепости, а потому со стороны комендантского управления должен быть надзор за указанными местами и помещениями для постов; если такового удобного нет, то надо ставить палатки", и т. д.

Прочитывая этот приказ, становишься втупик. Неужели в такое серьезное время, которое мы переживали в Артуре, можно было тратить драгоценное время на такие, чтобы не сказать больше, пустяки?

Не говоря уже о том, что вместо приказа можно было прямо наказать начальника караулов, в ведении которого находятся патрули, а вовсе не в ведении такого важного лица, как комендант осажденной крепости, -- в приказе этом искажена действительность.

До начала войны в Артуре была масса публичных домов, преимущественно японских. С отъездом японок и проституток других национальностей дома освободились. Если они и были частью заняты портовыми рабочими то, само собой разумеется, они перестали быть домами терпимости.

Это уж какое-то глумление над рабочими, которые в буквальном смысле слова работали, не щадя своей жизни.

Сколько было убито портовых рабочих во время бомбардировок при починке ими судов, знает командир порта "Артур" адмирал Григорович.

Если назначались патрули в помощь полиции, то вовсе не с специальной целью забирать буйствующих рабочих.

Рабочие пили, как пьют все русские, но до буйств доходили лишь единичные личности.

Спешная, тяжелая работа в порту, а затем строевые занятия настолько утомляли этих каторжных тружеников, что они рады были, когда добирались до постели. Да и напиться они не могли при всем добром желании, так как продажа водки им была воспрещена. Они покупали ее по очень дорогой цене, и то из 5-х и 6-х рук. Говоря о постановке для патрулей палаток, начальник района показал свое незнание устава о гарнизонной службе, по ясному смыслу которого патрули должны быть в постоянном движении.

XLVI.

Слухи о готовящейся высадке усиливались.

Полная отрезанность Артура становилась вопросом ближайшего времени.

А что делалось начальником района по вопросу о снабжении крепости необходимым запасом боевых снарядов, продовольствия и перевязочными средствами? Насколько успешно шла реквизиция убойного скота и лошадей?

Исходя из того, что начальник района не допускал полной изоляции крепости, а если и соглашался с ней, то в уверенности, что она будет продолжаться самое непродолжительное время, дело обеспечения крепости необходимым продовольствием велось преступно.

Несмотря на то, что комендантом крепости указывалось на недостаток, помимо продовольствия, фуража, перевязочных средств и на отсутствие достаточного количества войск и снарядов, начальник района не принимал никаких мер. На запрос командующего армией он ответил, что ему ничего не нужно, -- ни войск, ни снарядов. Несмотря на то, что для успешной защиты крепости необходимо было по меньшей мере 50,000 полевых сухопутных войск, коего числа в крепости далеко не было, из нея еще отправлялись войска на север.

Приказ коменданта крепости от 21-го апреля № 328 свидетельствует об этом: "Отправленных при одном обер-офицере в город Ляоянь 134 нижних чина от 3 запасного батальона и 250 нижних чинов от 7 запасного батальона исключить из состава гарнизона крепости".

Люди эти случайно вернулись назад и благодаря прекращению сообщения остались в крепости.

Случайное возвращение этих нижних чинов произошло довольно оригинально, а произойти оно могло только там, где люди потеряли способность здравого мышления. После боя на Ялу, в котором сильно пострадала 3 дивизия, входящая в состав 3 армейского корпуса, номинальным командиром которого был наш начальник района -- послали из крепости на укомплектование ее убыли запасных,

Комендант крепости обязан был, как командир неотдельного корпуса, исполнить приказание и отправить требуемое количество людей в хороших, но не первосрочных мундирах.

Все это требовалось немедленно и было исполнено менее, чем через сутки. Неожиданно получается телеграмма: "Почему чины запаса снабжены не первосрочным обмундированием. Означенные чины отправлены назад".

Прибывают воинским поездом назад за 300 верст свыше 300 человек. Зачем? За мундирами!

Комендант требует крепостного интенданта. Оказывается, что, по местным военным законоположениям, запасные первосрочной одеждой не удовлетворяются и последней для них не имеется. Было приказано взять из интендантских складов крепостной артиллерии, перешить, обмундировать и отправить мундиры с людьми назад.

Итак, отправлялись за 300 верст, свыше 300 человек за мундирами, накануне перерыва сообщения, когда комендант крепости молил о высылке снарядов, орудий, лазаретного имущества, перевязочных средств, медикаментов и т. д.

"Мундиры с людьми" были погружены на поезд, но отправить их назад не удалось. Сообщение было прервано.

Нет худа без добра -- в крепости осталось несколько сот лишних защитников. В то время, когда комендант крепости, на основании ежедневных тревожных докладов санитарного инспектора крепости д. с. с. Субботина, настоятельно просил присылки лазаретного имущества, перевязочных средств, медикаментов, -- происходит такой эпизод.

Едет начальник района незадолго до перерыва сообщения, по железной дороге вверенного ему укрепленного района.

На одной из станций видит на запасном пути готовый к отправлению поезд. -- Чем нагружен?

Ему докладывают, что, ожидая ежедневно перерыва сообщения, гражданский комиссар полковник Вершинин, в виду крайнего недостатка в крепости госпитального инвентаря и перевязочных материалов, приказал собрать весь материал, предназначенный для карантинных барачков, находящихся в его непосредственном ведении и отправить таковой в Артурь.

Генерал неожиданно для всех, пришел в бешенство и начал кричать:

"Немедленно разгрузить поезд! Этот комиссар вечно мешает не в свое дело. Мне нужны вагоны войска возить, неприятель может высадиться, а он тут тряпки целыми

вагонами вздумалъ вывозить. Все выбросить и вагоны очистить". Приказание было немедленно исполнено.

Действительно, на станции "Нангалинь" стояли готовыми для отправления поезда, на которыхъ долженъ былъ передвигаться къ месту высадки такъ наз. резервъ подъ командой командира 3 батареи 4 восточно-сибирской стрелковой бригады, одного изъ выдающихся защитниковъ Артура полковника Лаперова. Но войска къ месту высадки не трогались: высадке не препятствовали; а выгруженный и брошенный столь ценный для Артура материалъ полностью достался японцамъ.

Кто былъ въ Артуре, кто виделъ, въ какихъ невозможныхъ условияхъ находились некоторые госпитали и околотки, кто съ ужасомъ смотрелъ, на чемъ и какъ лежатъ раненые, кто уходилъ скорей изъ этихъ морилокъ, чтобы не разстраивать себя при виде той грязи, въ которой валялись завшивевшие страдальцы,-- тотъ пойметъ меня, почему я пишу эти, какъ ихъ называютъ, "сплетни".

XLV.

Комендантомъ крепости указывалось, что въ крепости, въ случае долговременной блокады Артура, въ виду незначительнаго запаса убойнаго скота, будутъ выдаваться мясные консервы (консервы эти еще до начала войны расходовались для освежения запаса).

Запасъ расходовался, но пополнения его не производились. Напротивъ, масса консервовъ, имевшихся въ огромномъ количестве у крупныхъ фирмъ: "Кунтстъ-Альберсъ", "Чуринъ", "Соловей" и другихъ, вывозилась прибывавшими офицерами на северъ.

Въ крепости было два интенданта: корпусный и крепостной. Крепостной делалъ одно, корпусный, по праву старшаго, другое,-- въ общемъ все делалось отвратительно.

Комиссаромъ по гражданской части указывалось, что реквизицию скота нужно было начать съ отдаленнейшихъ отъ Артура участковъ Квантунской области, граничащихъ съ Манчжурией, чтобы не дать возможности китайцамъ угонять туда скотъ.

Начальникъ района ген. Стессель приказалъ начать реквизицию съ ближайшихъ къ Артуру участковъ. Само собою разумеется, что китайцы, какъ народъ коммерческий, немедленно начали угонять скотъ изъ участковъ, свободныхъ еще отъ реквизиции.

Что можно было поделать съ такимъ непонятнымъ упорствомъ?

Начальники участковъ, не имея достаточнаго количества людей, могли лишь въ слабой степени препятствовать населению угонять лошадей, быковъ, коровъ и мелкий скотъ.

Помимо угона население полуострова грузило скотъ на шаланды и увозило въ Чифу.

Была уже середина апреля, а приказа о начале производства общей реквизиции въ Квантунской области не исходило. Приказомъ же 8 февраля, за No 92, реквизиция въ области отнюдь не допускалась, особенно скота и състныхъ припасовъ.

Китайцы, осведомленные о томъ, что реквизиция рано или поздно будетъ, тайкомъ увозили и угоняли скотъ.

Приказомъ наместника отъ 30 марта, за No 42, начальствующие лица были поставлены въ известность, что едетъ г. Герцикъ, специалистъ по устройству въ Манчжурии огородовъ для потребностей войскъ, и чтобы они, т. е. начальствующие лица, оказали бы Герцику возможное содействие къ исполнению возложеннаго на него поручения указаниемъ удобныхъ для этого местъ, помощью въ найме рабочихъ и т. д.

Начальникъ района, въ приказе отъ 16 апреля за No 146, пишетъ.

Вы заметьте, что все пишутъ.

Пишутъ другъ другу приказы, делаютъ выговоры, предусматриваютъ, строжайше предлагаютъ, а японцы уже грузятъ транспорты войсками осадной армии.

Мы пишемъ, а они плывутъ.

Мы читаемъ приказъ не ранее сутокъ после того, какъ начальникъ района отдалъ его начальнику штаба для напечатания, а японцы уже сутки въ пути.

И такъ, мы 17 апреля читали:

-- "Комиссару по гражданской части въ недельный срокъ представить сведения о продовольственныхъ запасахъ всехъ наименований и фуража, имеющихся въ районахъ ведения начальниковъ участковъ, а также и о томъ, какія площади засеяны уже въ настоящее время подъ огородныя овощи и зелень въ каждомъ участке, и возможно-ли по размерамъ ихъ разсчитывать, что овощами и зеленью будетъ обеспечено не только местное китайское население, но и войска укрепленнаго района, хотя-бы на первое время..."
Затемъ, дальше говорится, чтобы китайское население поощрялось бы всеми мерами къ разведению огородовъ и т. д.

Эта трогательная заботливость о китайскомъ населении, можетъ быть, и привела его въ умиление, но гарнизонъ крепости отъ этого не выигралъ ни на иоту.

Японцы и китайцы впоследствии кушали огородные овощи, а гарнизонъ крепости болель и умиралъ именно отъ недостатка ихъ.

XLVI.

Пока писались приказы, рапорты, отношения и предложения -- наступилъ вечеръ 19-го апреля.

Разнесся слухъ, что къ ночи ожидаютъ японцевъ.

Разсказывали другъ другу, что ночью должно произойти что то ужасное, все были въ довольно приподнятомъ настроении. День угасалъ, солнце незаметно уходило на западъ, готовясь скрыться за гребнемъ Перепелинной горы. Косые лучи, его бросали прощальный привѣтъ морю, горамъ и осажденному Артуру.

Жизнь въ городе, на фортахъ и батареяхъ замирала. Давно уже сумракъ ночи палъ на далекий Ляотешань и Новый городъ. Сгустившійся туманъ застилаетъ гряды холмовъ, группы высотъ, постепенно окутывая бухту, проходъ, где стали неусыпнымъ дозоромъ "Гилякъ", и "Отважный". Едва различаешь давящія громады броненосцевъ, чуть чернеетъ неподвижная масса крейсеровъ и миноносцевъ.

Правее прохода -- Тигровый полуостровъ, за нимъ целой семьей выступаютъ укрепленныя горы. Едва виденъ въ легкихъ контурахъ Ляотешань. Далее тьма, -- ничего не видно.

Рядомъ съ массивомъ Золотой горы притаился Плоский мысъ, впереди нея грозная батарея Электрическаго утеса.

Кругомъ, назади массивы горъ, все объято покоемъ ночи, все, казалось, спать.

Но нетъ! На этотъ разъ крепость не спала, она лишь притаилась. Прожекторы, словно волшебные глаза чудовища, свѣтящія изъ неподвижной, грозной массы крепости, бросали въ море гигантскія лучи.

Но глазъ этихъ мало.

На весь береговой фронтъ ихъ всего 4, да еще маленький на батарее No 9.

Горизонтъ, казалось, былъ чистъ.

Въ исходе одиннадцатаго начало свѣтать.

Луна всходила. Постепенно поднимаясь надъ грядами скалистыхъ, угрюмыхъ горъ, проясняясь и уменьшаясь, она, наконецъ, осветила всю площадь крепости.

Тени редели, свѣтъ прожекторовъ тускнелъ.

Море окуталось белесоватой мглой, безъ отблеска.

Наступила полночь.

-- Нетъ, одна фантазия! Разве въ такую ночь придутъ японцы, -- сказалъ любовавшийся со мною на чудную панораму спящей крепости, г. Пилецкий, -- вздоръ, идемте спать.

Вдругъ сразу, словно по команде, заревели береговыя батареи.

Минута, другая, третья -- и все опять тихо.

Совсемъ тихо.

Только городъ проснулся.

На улицахъ началось легкое движение.

Съ рейда доносилось ритмическое та-та-такание пулемета по спасавшимся на шлюпкахъ людямъ.

Это тонуль первый заградитель.

Отъ "Севастополя" отвалиль катеръ. На немъ отбыль главнокомандующий, наместникъ Государя вице-адмиралъ Алексеевъ на канонерскую лодку "Отважный", на которомъ безсменно держалъ свой флагъ контръ-адмиралъ Лощинский, начальникъ минной обороны Квантуна.

"Отважный" стояль въ самомъ проходе у Тигроваго хвоста. Далее впереди, у бона, на самомъ рейде -- "Гилякъ".

Страшный вихрь чугуна и стали грохоталъ, выль и ревелъ, круша и разметывая все, что было на пути къ проходу.

Наместникъ, прибывъ на "Отважный", приняль на себя главное руководство въ отражении несущихся полнымъ ходомъ брандеровъ и приказалъ контръ-адмиралу Лощинскому переехать на "Гилякъ", откуда, отражая мчащуюся флотилию заградителей, быть готовымъ принять меры противъ ихъ самовзрывания на фарватере. Въ случае самовзрывания, которое грозило заграждениемъ фарватера, необходимо было, не теряя ни секунды, посылать, несмотря ни на какой огонь, минные катера съ подрывными патронами для разрыва якорныхъ канатовъ и отбуксирования утопающаго брандера на должную глубину. Въ проходе творилось что-то невероятное, не поддающееся описанию. Море, въ буквальномъ смысле слова, кипело отъ падающихъ снарядовъ.

Въ самомъ центре прохода, на переднемъ мостике "Отважнаго" стояль наместникъ Государя, лично руководя обороной прохода, импонируя всемъ своимъ хладнокровиемъ, несмотря на дождь снарядовъ малокалиберной артиллерии брандеровъ и миноносцевъ.

Справа, въ самомъ аду, "Гилякъ" открыль боевое освещение и, схвативъ лучами прожектора, какъ клещами, надвигающиеся брандеры, решетиль ихъ въ упоръ.-- Справа, слева свистъ, вой снарядовъ береговыхъ батарей.

Контръ-адмиралъ Лощинский, съ высоты боевой рубки, методично, не обращая ни малейшаго внимания на смертельную опасность, непосредственно руководить отражениемъ небывалой еще въ мире по своей героической смелости атаки слабовооруженными пароходами целаго фронта сильной морской крепости.

Городъ, портъ моментально ожили.

По всемъ направлениямъ внутренней бухты, погруженной въ тьму, снують катера, вытягиваются одинъ за другимъ миноносцы. Слышатся боцманские свистки, окрики, команда. У пристани много любопытныхъ. Прилетель зачемъ то взводъ казаковъ и спешился у воротъ въ порте.

-- "Кого это казаковъ прислали караулить? Нетъ, шалишь! Отъ эдакой бомбищи никто не окараулить",-- слышатся шутки.

Не успели посмеяться, какъ всехъ такъ и отбросило въ сторону. Рядомъ, почти у самой пристани стоявший "Аскольдъ" хватиль въ проходъ изъ носового орудия.

Началось непрерывное сверканье, грохотъ выстреловъ, взрывы снарядовъ.

Канонада росла и усиливалась.

Временами не слышно было отдельныхъ выстреловъ, все сливалось въ непрерывный, усиливающийся грохочущимъ эхо -- гуль.

Съ "Гиляка" взвились две ракеты, и опять все смолкло.

Минуть 20 продолжалось это затишье.

Затемъ канонада возобновилась и продолжалась почти безостановочно въ продолжении 2-хъ часовъ.

Все кругомъ какъ-то злобно, сатанински клокотало, выло, ревело.

Тигровый, Золотая, Электрический, вся береговая оборона, вдали, съ бухты, въ проходе -- всюду громыхали, вздыхали какія то чудовища, посылая смерть храбрецамъ.

Это было нечто невероятное, какой-то хаосъ, буря звуковъ.

Были мгновения, когда зрение и слухъ переставали реагировать.

Все силы неба не могли бы, кажется, бросить на землю столько оглушающей, сокрушительной силы, сколько человек земли, защищаясь, бросал в лицо врагу. Во всем этом непрерывном, в течение почти 2-х часов грохоте орудий, которым аккомпанировала резкая дробь пулеметов, рокот ружейных залпов, треск малокалиберной артиллерии, было что-то внушительно-страшное, неотразимое, -- стихийное.

Не милосердное небо, а, кажется, все силы ада ринулись с суши, из недр гор в море. Сам адмирал Макаров, с блестящей плеядой своих товарищей-соратников, сотни русских людей, нашедших безвременную могилу в холодных глубинах океана, -- были немymi свидетелями, какую тризну правил Артур по "Петропавловску" и по нему, теперь уже легендарном витязе земли русской.

Вдруг, среди этого ада, взвились под Золотой горой последовательно три ракеты и, разорвавшись в вышине на массу ярких звезд, осветили проход и прилегающую к нему часть внешнего рейда.

Батареи притихли. Только эхо катилось туда, вдаль, в горы.

При ослепительном свете ракет развернулась грозная картина.

На темном фоне морского прибоя, у самого почти прохода, -- тонущие брандеры.

На них в ужасе мечущиеся люди, карабкающиеся на мачты, трубы...

Вдали, на S.O., надвигались новые брандеры...

Все, все стихло.

Не у одного замерло сердце.

Это было затишье отверстой могилы.

Ужасное затишье.

Вся крепость, притаившись на несколько мгновений, сразу ожила.

Вся сила, вся гроза обрушилась опять на проход, куда полным ходом неслись брандеры, ярко освещенные лучами прожекторов.

Снаряды огненным дождем лились в море.

Герои долга, надеявшиеся, что мы все еще спим, погружались в холодную могилу.

Неприятельский флот как бы застыл, словно в испуге, держится там вдали, на темном горизонте, тревожно поводя лучами боевых фонарей, силясь разобрать, что творится у твердынь Артура.

Напрасно! Проход свободен и чист.

Из 12 брандеров -- 10 не существует. Погибли безвозвратно, а с ними два миноносца.

Усиливающаяся на внешнем рейде зыбь оmyвает их трубы и мачты.

Заходил по морю утренний туман. В нем зарыскали японские миноносцы.

Напрасны надежды: проход свободен и чист! Свыше полмиллиона иень и сотни жизней погибли бесследно, укрепив нас в сознании, что и мы, при желании и умении, можем быть грозны и опасны.

Луна бледнеет. Загорелась денница. Заалел восток, а люди еще не устали, они продолжали свой кровавый спор.

Но, наконец, и они утомились.

Бой заметно стихает.

Выстрелы все реже и реже.

Разсвет.

Шумят лишь кинжальные батареи, та-та-такуют пулеметы и трещит частая дробь ружейных выстрелов по уходящим шлюпкам.

По внешнему рейду, гонимые волной плывут трупы, одетые, обнаженные, нетронутые и изувеченные, шапки, обломки, снасти, карты...

На рейде сильная зыбь. По всем направлениям борются с волной катера -- спешат на помощь к затонувшим брандерам, к искалеченным и уцелевшим врагам.

На мачтах и трубах различаются группы японцев...

Прошла страшная ночь, кончился бой -- утро сменил день.

Съ "Отважного" отчалил катеръ съ главнокомандующимъ. Команда, награжденная георгиевскими крестами, не чувствуя усталости, провожаетъ его раскатистымъ "ура". Быстро несется катеръ къ "Гиляку". Несмотря на сильное волнение, катеръ, управляемой умелой рукой кормчаго, лихо присталъ къ трапу. Генераль-адъютантъ Алексеевъ, быстро поднявшись на палубу, загроможденную гильзами унитарныхъ патроновъ скорострельной артиллерии, горячо благодаритъ контръ-адмирала Лощинскаго, командира Стронскаго, гг. офицеровъ и награждаетъ молодцовъ-матросовъ за блестящее дело.

Тотъ же катеръ, при крикахъ восторженнаго "ура", подхваченнаго всеми судами эскадры обойдя все затонувшие брандеры летитъ на "Севастополь", тамъ ждутъ Наместника дела и возможность порадовать Царя радостной депешей.

Итакъ, невероятная по своей смелости и грандиозности задуманнаго плана попытка открыто, передъ лицомъ всего берегового фронта, заградить входъ въ гавань не удалась исключительно благодаря бдительности сторожевыхъ судовъ и разумно организованной минной обороны.

Я беру на себя смелость открыто утверждать, что вся честь удачнаго отбития брандеровъ, а, следовательно, освобождение всей нашей эскадры отъ позорной участи полной бездеятельности, когда японцы готовили высадку на Ляодунъ, ложится всецело на отрядъ судовъ минной обороны Артура, съ контръ-адмираломъ Лощинскимъ во главе.

Читатель вообще, а артурецъ въ особенности, настойчиво потребуесть доказательствъ.

Безпристрастные очевидцы должны помнить, что:

1) Когда показался первый брандеръ, месяцъ былъ полный и почти въ зените. Это условие сильно препятствовало продуктивности огня береговыхъ батарей.

2) Первый брандеръ былъ замеченъ показавшимся на SO отъ Золотой торы. Остальные въ разныхъ пунктахъ указаннаго направления открывались постепенно, стремительно несясь въ проходъ.

3) Первыми замечившими брандеръ были сторожевые суда, которыя немедленно и открыли по нимъ беглый огонь, преимущественно изъ орудий 75 м/м калибра. Снарядовъ въ течение 3-хъ часовъ было выпущено свыше 2,000.

4) Брандеры, головокружительно стремясь прямо въ проходъ, для большинства батарей были неуязвимы, такъ какъ очутились въ мертвомъ пространстве. Утренний осмотръ свидетельствовалъ, что брандеры пострадали, главнымъ образомъ, отъ орудий мелкаго калибра. "Отважный", имея одну 10-дюймовую пушку устарелаго типа, хотя и стрелялъ, но стрелялъ редко, такъ какъ на зарядание этого орудия требовалось отъ 5 до 6 минутъ.

5) Сильный огонь береговыхъ батарей, сопряженный съ огромной непродуктивной тратой ограниченнаго количества снарядовъ крепостнаго калибра, имелъ, главнымъ образомъ, устрашающий для командъ брандеровъ значение, но и только.

Затемъ:

6) Незначительное количество скорострельныхъ орудий на береговомъ фронте, да и те, въ большинстве случаевъ, не могли поражать неожиданно очутившиеся у самаго берега брандеры.

7) Неподготовленность крепостной артиллерии въ стрельбе по движущимся целямъ.

Ни для кого не секретъ, что продуктивная стрельба береговыхъ батарей по быстро движущимся целямъ, да еще ночью, требуетъ серьезной подготовки и морского глаза.

Кроме того, въ Артуре, какъ на батареяхъ сухопутнаго, такъ и берегового фронта не было ночныхъ, точныхъ прицеловъ (электрическия лампочки). Объ этомъ мне неоднократно говорили и сетовали командиры посещаемыхъ мною ночью батарей берегового фронта. Особенно этотъ крупный недочетъ давалъ себя чувствовать на батареяхъ "Электрическаго утеса" и "Двурогаго холма" (Стрелковая), и, наконецъ:

8) Ограниченное количество прожекторовъ: на весь огромный береговой фронтъ ихъ было всего четыре, изъ которыхъ только на "Электрическомъ утесе" прожекторъ былъ сильнаго отражения. Остальные были очень слабые. Ограниченное количество прожекторовъ лишало крепость возможности устраивать световую преграду, т. е. держать въ свете весь

горизонты и этим предупреждать еще с дальних дистанций прорыв на рейд неприятельских минных катеров, миноносцев и минных транспортов. Что погубило "Петропавловск"? Отсутствие рациональной световой преграды. Во все время осады японцы, пользуясь темными ночами, подкрадывались к самой крепости и разбрасывали мины.

Сколько труда, сопряженного с опасностью, стоило их вылавливание, об этом знают только те, кто принимал участие в этих непрерывных героических подвигах.

Контр-адмирал Лощинский и Вирень (тогда еще капитан I ранга) принимали самое деятельное участие в организации этого нешумного, незаметного, но кропотливого и смертельно-опасного дела.

Предпослав в своих доводах о доминирующем значении сторожевых судов в деле отбития брандеров в ночь на 20 Апреля схему атаки и ее отражения, в заключение приведу выдержку из свидетельских показаний о состоянии затопленных брандеров и причинах их потопления.

"...Из 12 брандеров, два взорвались на минах инженерного ведомства; два взорваны паровыми катерами, один -- миной Уайтхеда с минной батареей, устроенной на брандере, затонувшем при атаке 14 марта, -- три, имея перебитую прислугу не попали в проход, а стали на якорь вне его и самовзорвались, и один выбросился целым правее батареи "Электрический утес..."

21 Апреля вечером я сидел в кают-кампании канонерской лодки "Отважный" в обществе его офицеров. Послеобеденная беседа была посвящена событиям минувшей ночи. Многие из офицеров, увлекаясь, передавали свои впечатления.

Сколько решимости, отваги, надежд читал я в глазах волновавшейся, честной, искренней молодежи.

На меня всегда удивительно бодряще действовала их энергия, желание работать и побеждать врага, победить во что бы то ни стало.

Сколько видел я в их взорах полного самоотвержения в минуты жесточайшей опасности, столько иногда, в мирной беседе, в боевом досуге, замечал нескрываемой ненависти ко всему тому, что довело наш флот до его печального состояния.

Молодежь, склонная всегда увлекаться, здесь временами была удивительно уравновешенна, зло, но верно указывая на первоисточники всех наших бед.

Незаметно для беседовавших речь зашла о делах в северной армии и упорно циркулировавших слухах о связи последних брандеров с вероятной высадкой оккупационной армии.

Часов около 8.-- В кают-кампанию входит подвахтенный и докладывает капитану II ранга Пекарскому:

-- "Ваше Благородие, Золотая гора спрашивает. ("Отважный" был соединен телефоном с Золотой горой и "Севастополем").

Через несколько минут возвращается г. Пекарский.

-- Господа, только что получена депеша. Японцы начали высадку у Бицзыво.

Наместник, согласно Высочайшему повелению, завтра уезжает в Мукдень.

Все сразу замолчали -- словно не ожидали, что неизбежное должно было наступить.

-- "Значит мы будем отрезаны"?-- наивно задает вопрос один из присутствовавших.

-- Да, да, да, будем отрезаны, осажены, уничтожены и взяты в плен,-- не то шутя, не то злобно-пророчески бросил нам один из собеседников и скрылся в каюту. Кто это был, не помню.

Несмотря на то, что это было давно уже ожидаемое известие, все как то ушли в самих себя. Присутствовавшие стали расходиться. Поговорив еще немного с старшим офицером, капитаном II ранга Ивановым VIII, я стал прощаться. Нужно было спешить в редакцию. Подали паровой катер. На рейде, бухте и кругом ни звука. Ночь

темная. Через несколько минут уже у адмиральской пристани. Миновалъ ворота. Впереди идутъ моряки.

-- "И такъ на дняхъ мы будемъ безповоротно изолированы.

-- "И навсегда,-- слышу опять пророческий голосъ.

-- "Но кто будетъ командующимъ?"

-- "?!?"

-- "Ну какъ вы думаете? Неужели старикъ штабной Витгефтъ?"

-- "?!?"

-- "Ну кого бы вы назначили ?

-- "Эссена.

-- "Это почему?"

-- "Упрямый головорезъ: будетъ по примеру 27 Января лихо болтаться до техъ поръ, пока не уничтожить весь флотъ, и этимъ быстро подготовить эпилогъ артурской трагикомедии.

-- Нетъ, вы шутите. Положимъ Эссенъ вель себя съ "Новикомъ" 27 Января геройски, но -- легкомысленно. Безъ сомнения, онъ ни къ чему серьезному не способенъ. Онъ -- собственно и не морякъ, а скорей лихой морской наездникъ.

-- "Вотъ, видите, сами согласны, а говорите, что я шучу.

-- "Да нетъ. Если говорить о молодыхъ кандидатахъ и при томъ дельныхъ, то я безусловно назвалъ бы Вирена. Покойный нашъ Макаровъ, говорятъ, успелъ его оценить. Виренъ -- это звезда среди нашихъ командировъ.

-- "Те, те, те. Звезды лишь на небе долго и ярко светятъ. А у насъ на земле звездъ по военно-морскому уставу не полагается: ихъ быстро потушатъ либо судьба, либо исполнительные начальники. Да бросимъ-те эту скучную матерю и зайдемъ въ Саратовъ, выпьемъ по доброй чарке водки и решимъ вопросъ о кандидатуре.

.....

22-го апреля Наместникъ выехалъ въ Мукденъ, передавъ начальство надъ флотомъ контръ-адмиралу Витгефту.

Более неудачнаго выбора, какъ назначение Витгефта командующимъ эскадрой, конечно, нельзя было и придумать.

Но адмиралъ Витгефтъ искупилъ все свои ошибки, какъ флотоводецъ, геройской смертью при исполнении своего долга, и поэтому память его для насъ священна.

Нельзя было назначать сухопутнаго адмирала командующимъ эскадрой, которой предстояло разрешить огромную задачу. Первая часть, которой заключалась въ томъ, чтобы въ начале оберегать берега Ляодуна и совместно съ войсками укрепленнаго района не допустить высадки противника, или, во всякомъ случае, отдалить ее и не дать возможности такъ быстро прервать сообщения и этимъ способствовать дальнейшему питанию крепости всемъ необходимымъ для долговременной обороны.

Все это прекрасно понимали Смирновъ и Макаровъ. Въ совместной работе они решили многие вопросы о дальнейшихъ действияхъ. (По всему вероятно, где-нибудь хранятся эти интересные документы).

Но судьба сулила иное.

Смирнова подчинила она Стесселю, а Макарова вычеркнула изъ списка живыхъ.

XLVI.

23-го апреля противникъ, безпрепятственно произведя высадку у Бицзыво, атаковалъ наши слабые охранные посты пограничной стражи и заставилъ ихъ отступить, прервавъ сообщения у станции Пуландянь.

Начальникъ станции "Киньжоу" началъ тревожно доносить въ штабъ района о высадке японцевъ.

Телеграмма посылалась за телеграммой.
Нужно было принимать энергичные меры.
Но нет. Генераль Стессель взглянул иначе на дело.
Он выругал начальника станции и приказал перестать доносить глупости.
Сопrotивление наседавшему противнику оказывали только 50 человек охотников пограничной стражи под командой поручика Сиротко, которые, несмотря на довольно упорное сопротивление, должны были отступить перед разведочным отрядом, чуть не в 20 раз превосходившим их числом. Хотя на станции Нангалин и стояли готовые к отправлению поезда с резервом, которым командовал подполковник Лаперов, но они, по "независящим обстоятельствам", не тронулись с места, и поддержки горсти пограничников оказано не было.
День первого перерыва сообщения совпал с днем тезоименитства Государыни Императрицы. После церковного богослужения генераль-лейтенант Стессель вышел к построенным к параду войскам.
Парад, по обыкновению, длился очень долго.
После этого генераль, по своему обыкновению, держал длинные речи, из которых всеми отчетливо понимались лишь заключительные, громко произносимые "ура".
Все остальное носило характер набора слов; непрерывно пересыпаемого "умрем", "умрем". В заключение войска прошли церемониальным маршем, держа винтовки "на руку".
24-го апреля были приняты меры к восстановлению прерванного сообщения. Интересно, что в крепости не могли найти достаточного количества телеграфных проводов.
Гражданскому комиссару начальник района отдал за No 170 следующий приказ:
... "Предписываю принять все меры к тому, чтобы различные чины гражданского ведомства отнюдь не смели оставлять свои места без моего, всякий раз особого, разрешения.
"В Бицзыво самовольно ушли начальник участка и весь служебный персонал, сняты были и телеграфные аппараты значительно ранее того, чем начал наседать противник. Все служащие будут привлечены к законной ответственности.
"Гражданский комиссар ответственен за своих подчиненных.
"Самовольно оставивших свой пост я тотчас предаю полемому суду".
Спрашивается, что оставалось делать начальнику бицзывоского участка, имевшему в своем распоряжении 20--30 стражников? Под носом высаживается целая армия, а кругом начинали уже бродить шайки хунхузов. Неужели он должен был ожидать приказания начальника района? Японцы не стали ожидать его приказа: они высадившись немедленно начали наступление и, если бы начальник участка во-время не отступил, то попал бы сам в плен, вместе с телеграфными аппаратами, которые так беспокоили, начальника района.
Далее, за No 168 отдается следующий приказ:
"Градоначальнику города Дальняго, инженеру Сахарову, мною даны необходимые приказания по приведению в надлежащий вид всего того, что необходимо по военным обстоятельствам.
"Мирному населению городов Дальняго и Талиенвана спокойно оставаться на местах жить, так как им не угрожает никакой опасности от неприятеля".
Читателя прошу обратить особенное внимание на этот приказ, в виду разыгравшихся впоследствии событий.

Первая мировая война

**И. Горбунов-Посадов. Война войне!
Наброски в дни войны.**

„ПОСРЕДНИК". № 1177.

Великий победитель

Во время обстрела германцами одного французского селения, лежащего недалеко от границы, германской пулей была убита жена мэра (старосты) этого селения. Обстреливавшая селение команда германцев была схвачена и должна была быть расстреляна.

Мэр селения с величайшими усилиями вымолил для них пощаду. Он спас меж ними убийц своей жены.

Что должен был пережить этот человек, чтобы победить в себе раздирающее чувство скорби, ожесточения, все, ослепляющей мести?! Какая гигантская победа добра совершилась в его душе!

Память о нем должна сохраниться в веках, и у будущей могилы его склонятся с благоговением все, кому дорог Бог, разум, любовь, братство в человеке, в то время, когда с отвращением и тоскою будут обходить могилы венчаемых теперь лаврами вождей и героев братоубийства, коронованных и некоронованных убийц и разбойников.

Разрезанный ребенок

Вчера, когда я подходил к станции, я услышал в толпе пассажиров, прибывших с прошедшего из Тулы поезда, разговоры о несчастье, случившемся только-что на станции с 14-ти летним мальчиком.

На скамейке у одной из ближайших к станции дач истерически плакала девушка, которая видела, как произошло только-что это несчастье.

Когда я вошел во двор станции, я увидел на подъезде бившуюся в безумных, судорожных рыданиях женщину, мать мальчика, которую поддерживали две женщины и юноша. Станционный сторож бежал к ней с водою.

Двери пассажирской комнаты 2-го класса были заперты и около них стоял не впускавший туда никого стражник. Там два, живущие на даче близ станции, врача, кончали перевязку несчастного ребенка.

Несчастье произошло на глазах у матери, в нескольких шагах от нее. Проходил тяжело нагруженный товарный поезд, который невозможно было быстро остановить. Публике велено было очистить полотно дороги. Но мальчики ее, 16 и 14-летний, хотели непременно все же перебежать на другую сторону. Мать схватила младшего за руку, но он все же вырвался и побежал за старшим. Старший успел перебежать, но младший попал под поезд. Ему перерезало правую ногу выше голени, у левой ноги -- ступню, повредило грудь и голову.

Воя станция была охвачена потрясением случившегося.

Начальник станции пробежал мимо меня с побелевшим от волнения лицом, не ответив на мое приветствие.

Сторож, вышедший из комнаты, где лежал мальчик, сказал, что он не выживет.

-- Я недавно вернулся с войны, -- сказал он -- Там как-то привыкаешь. А сейчас всю душу захолоноло.

И сторож-солдат и все присутствовавшие при этом полны ужаса, и весь дачный поселок долго будет полон этим потрясением.

А там, на позициях, и сейчас, сию вот минуту, не слепая механическая сила тяжело нагруженных вагонов, а миллионы человеческих рук режут таких же материнских детей,

очень часто совсем мальчиков -- года на четыре всего старше этого, -- прокалывают им внутренности, отрывают им бомбами руки, ноги, головы...

И все мы в том или другом виде -- участники этого.

Все мы привычно уже читаем теперь каждый день, не потрясаясь ужасом, совершенно спокойно принимаясь после этого за завтрак, за занятие, что там-то столько "перекололи", "перебили", "500 перекололи", "5000 убитых", "окопы были завалены трупами". А ведь все они -- ведь это все дети, дети таких же сошедших, быть-может, с ума матерей. Каждый из них такой же зарезанный ребенок своей матери.

"Но там как-то привыкаешь", -- как говорить сторож. И в том, что мы ко всему привыкаем -- к самому ужасному, в этом -- самый ужасный из ужасов.

Рабы

На окраинах парка идет непрерывное ученье недавно взятых в солдаты. Перемешаны молодые и пожилые, почти старые люди. Вот проделывает разные штуки с ружьем человек с унылым лицом, с огромной бородою, -- крестьянин, которого так и видишь дома среди его огромной семьи, руководящего целым своим племенем. А здесь этот величественный глава семьи, патриарх, богатырь земледелия и семейности, по крику мальчишки-учителя то бросается на землю, то вскакивает, то бежит, то прыгает, выворачивает тело то направо, то налево, выворачивает голову, пялит по приказу глаза. Какое, бездарное, унижение человеческое!

Отдельно от цепи, у дерева, почти на самой аллее, стоит молодой человек с прижатым к плечу рукой ружьем и застывшим, завороченным по команде направо, лицом. Наши взгляды встречаются. Милое, бледное, умное, юное лицо, на котором проступает тоска, глубокая тоска и стыд, -- что-то непередаваемо-грустное, давящее душу. Это лицо человека, привязанного к столбу для унижительной пытки.

На одной ноге

К остановке трамвая подходят, ковыляя на костылях, два молодые человека, оба без, оторванной на войне, ноги. Молодые-молодые, с юным пушком на щеках, они стоят на костылях в ожидании трамвая на одной ноге. У обоих оторвана одинаково правая нога и вместо нее на правой стороне груди одинаково у обоих болтается медаль на ленточке. Медалька за оторванную ногу! Крест на гроб за оторванную голову. И звезда с бриллиантами тому, кто оторвет ноги и головы у сотни тысяч таких юношей!

Раз! Два! Три!

Раз! Два! Три!" Несколько огромных народов теперь живут по этим окрикам. Чуть не двумя третями человечества правят сейчас эти: "Раз! Два! Три!" Под этот крик движется сейчас человечество, напрягая все силы для того, чтобы как можно послушнее, тщательнее выделывать определенные движения телом под эти окрики-приказы. Там, где этого еще нет в человечестве, там это тоже везде хотят завести, чтобы, как земной шар движется вокруг солнца, так все человечество вертелось бы вокруг этих криков: "Раз! Два! Три!" Когда народы прыгают как механические куклы под эти приказы, тогда с ними можно делать все, все, что только угодно!

Расстрел

Весна. Бегут ручьи. Яркое весеннее солнце слепит глаза. Воздух пьянит своей радостной свежестью.

Я иду с моим сыночком, держащимся крепко за мою руку. В переулке учатся солдаты. Длинный ряд их стоит вдоль тротуара, лицом к нам, с прицеленными ружьями. Когда мы начинаем проходить мимо них, раздается команда, и начинают щелкать курки без патронов. И меня с моим мальчиком постепенно расстреливает ряд этих молодых солдат. Это щёлканье пронизывает все мое существо. Не могу сказать, какое рвущее душу состояние испытываю я при чувстве того, что так же, но уже по-настоящему, эти молодые люди будут потом расстреливать таких же людей, как я, таких же сыновей матерей, как мой сынок...

Мы идем с моим мальчиком дальше. Но уже солнце не радует. От ручьев несет гнилью. Ветер давить пьяною тяжестью... А за нами все звучит это ужасное щелканье.

Народы-машины

Механизировать мир, обездушить его, превратить народы в покорные машины для исполнения воли их капралов, превратить людей в -- мясорубки для превращения их братьев -- других людей -- в кровавые котлеты, если это нужно их капралам, это достигнуто. И первый капельмейстер в этом деле -- кайзер Вильгельм -- может быть доволен. Он достиг уже того, что хотел. И за ним все другие капралы человечества, с королевскими, царскими или президентскими выпушками на погонах, все наперерыв напрягают все силы, чтобы достичь того же. И ученые, просвещенные люди всех стран кричат: "Все для войны!" "Все для победы!" Не с порицанием, а с глубоким уже уважением враги встречают распоряжения Вильгельма о превращении всего народа от 16 до 50 лет в военнообязанные. В этом превращении всего народа в военно-государственную машину и враги Вильгельма видят великую, гениальную идею, и враги его подхватывают ее, едва удерживаясь, чтобы не кричать ура великому гогенцоллернскому убийце, ее задумавшему и исполняющему.

Ведь это даже социалистично, наконец, утверждают многие. Все как один, один как все! Все -- винтики одного изумительно действующего механизма. Ходят, прыгают, кричат, двигаются, убивают, печатают, мыслят все одно и то же. Все у всех общее -- все в одном: "Бей! Убивай! Вперед!" Чем же это не социализм? Осанна царству социализма! Оно уже началось. Несколько миллионов зарезавших друг друга пролетариев, -- ну, что ж, это не беда, когда достигнута великая цель равення всех под одно. Без навоза не бывает урожая. До чего же ты рабствуешь, несчастное человечество?

Говорить о мире преступно

Призывать режущие сейчас друг друга христианские народы к миру преступно! Да, да, если кто из нас, долженствующих вечно помнить слова Сына Божия: "Мир на земле", если кто из нас будет взывать о том, чтобы люди-братья перестали резать друг друга, тот должен быть наказан за это, как за тяжкое преступление.

Все мы должны вечно помнить слова Христа: "Блаженны миротворцы!", но если кто из нас сейчас хочет исполнить завет Христа и стать миротворцем сейчас, когда сотни миллионов христиан распалются ненавистью друг к другу и влекутся без пощады уничтожать друг друга, такой человек должен быть наказан за это, как за тяжкое преступление!

И есть еще безумные или подлые люди, которые уверяют, что война возвысила религию в душе народов.

Два поляка

Вот что рассказывал моему другу раненый в В-ском госпитале. Однажды съехались из своих цепей два дозорные: из русской армии русский поляк и из германской армии -- познанский поляк. Слезли с лошадей, присели. Беседа завязалась самая оживленная. Покурили. Германский поляк рассказывал о доме, о жене, о детях. Накурившись, наговорившись, они встали. Германский поляк стал взлезать на лошадь. И в это время русский поляк выхватил шашку и раскроил ею ему голову.

Потом он взвалил германского поляка себе на лошадь и поскакал к своей линии, вероятно, желая доложить, что он молодецки убил и приволок германского часового.

Германцы заметили его. Затрещали ружья и вслед затем пролетело ядро, которое оторвало ему ногу. Лошадь домчала его до линии, истекающего кровью, с трупом убитого им германского поляка, с которым он за несколько минут братски беседовал.

Передававший это моему другу солдат, лежавший потом с этим поляком в полевом лазарете, рассказывал, что поляк очнулся там душою, и перед ним все вставал зарезанный им после дружеской беседы познанский поляк и его жена и дети.

Христос, Германия и Англия

После проповеди на горе Христос сказал слушавшим Его, чтобы они собрали вместе все, что у них есть. И они собрали вместе все, что было у них, и братски разделили все, и все насытились, и всё были счастливы радостью своего братства. И эту братскую жизнь Он навеки заповедал народам. А сейчас два огромные, называющие себя христианскими, нации стараются заглушить, извести голодом одна другую, замучив миллионы жизней, и меж ними жизни миллионов бедных детей, которым всего тяжелее муки истощения. Какое дьявольское попрание всякого братства в мире, какое сатанинское надругательство над истиною Христовой! И все из выгоды, выгоды и выгоды человеческих поработителей и эксплуататоров!

Дитя

По середине улицы идет бедно одетый, худой, с испитым лицом мальчуган, лет 6-ти. Он кричит сам себе: "раз! два! три!" -- и вскидывает по солдатски ногами под эти свои окрики. Он идет нарочно по середине улицы, как солдаты. Он весь погружен в это, весь ушел в это, священнодействует.

Бедное дитя! В нем весь ужас, вся тьма переживаемого. В нем сейчас вся Европа, ушедшая сейчас вся в это. В нем Европа ближайшего будущего. С тротуаров на него улыбаются, проходящие, а я стою с сдавленным сердцем и долго-долго с бесконечной тоской смотрю

вслед за этой удаляющейся по середине улицы фигуркой, вскидывающей ногами и выкрикивающей:
"Раз! Два! Три!"

Оправдания войны

Война ужасна, но самое ужасное и ужаснейшее -- это оправдания ее, доходящие до возведения ее в орудие прогресса и культуры, доходящее даже до освящения ее, и заражение этими мыслями масс человеческих. Вот что ужасно. "Война -- это очищающая силаамская купель", провозгласила на днях с кафедры одна образованная женщина. "Все простится вам, но хула на Духа Святого не простится". Эти оправдания и освящения войны указывают на то, что это величайшее преступление после окончания этой войны опять и опять может возобновиться, и с большею еще силою. Оправдание и освящение братоубийства в уме человеческом -- вот в чем ужас. И никогда еще в мире это не было так ужасно, так огромно и безумно, как сейчас.

Роза Люксембург

Да здравствует великое, прекрасное, женское сердце! Да здравствует гражданка всего мира Роза Люксембург!

В то время, когда вожди Германии натаскивали миллионы своих, обезумлеваемых жестокостями военщины и лжами кайзеризма, патриотизма, пангерманизма солдат, натаскивали их, как натаскивают псов, на приближавшуюся кровавую мировую охоту за братьями-людьми, -- в то время, когда миллионы сильных мужчин, повинувшись свистку своего коронованного атамана, готовились к мировому разбою и прыгали, как механические куклы, под крики на них их дядек, учась колоть и пристреливать людей-братьев, -- в это время она, женщина, выступила всенародно перед массами народа с протестующим протестом против военщины, против казарменного кнута, против солдатских цепей, сковывающих миллионы юношей Германии для того, чтобы вырвать из них разум, волю, сердце, все божеское и человеческое, и заменить их двумя идолами: "Родина и император".

-- В то время, когда совершаются ужасные приготовления, -- зывала она, -- я призываю вас, немецкие и французские товарищи, не стрелять друг в друга, когда вас призовут к этому!

Ее страстные слова грозили зажечь пламя в народных сердцах.

И ее схватили и осудили на долгое заключение.

Но властные насильники все же еще боялись тогда чего-то и чрез некоторое время выпустили ее, чтобы держать ее под постоянной угрозой.

И в середине войны, когда вся сила была в их руках, в руках вождей убийства и разбоя, они бросили ее снова в тюрьму, потому что кому вступить за человеческую свободу, когда все кричат: "Наша родина выше всего?!"

Но она успела с немногими друзьями, не потерявшими в себе человека среди общего безумия, обратиться ко всем товарищам рабочим воюющих стран с призывом о мире. Эту женщину не раздавит пята венчанного убийцы. За решетками тюрьмы она останется свободна душою, она останется (а если будет нужно -- и умрет) героинею свободы и братства.

Да здравствует великое, прекрасное женское сердце! Да здравствует гражданка всего мира Роза Люксембург!

Война войне до полного ее конца

Война войне до полного конца, -- до исчезновения из мира последних следов, последних возможностей военного человекоубийства, братоубийства.

Мужчины, женщины, в ком бьется живое сердце, в ком есть капля любви к человечеству, собирайте, соединяйте все усилия, чтобы поднять человечество из грязи и крови, в которой оно тонет три года.

Вставайте все на войну с войною. Словом, делом, призывом, выяснением, действуйте, просвещайте, зовите всех на борьбу с войною, с этим проклятием, ужасом, постыднейшим преступлением человечества.

Три года как несутся над человечеством эти ужасные крики: "Убивай! Убивай! Убивай!" И люди режут друг друга. И стремящимся остановить их, кричат: "Не смейте! Изменники! Вы предаете родину!"

"Убивай! Убивай! Убивай!" И массовое взаимоубийство продолжается, продолжается, продолжается!..

Братья-люди! Да очнитесь же, да крикните же, наконец: "нет, мы не убийцы, мы люди"! Кричите все мужчины, женщины, дети, -- кричите, чтобы крик ваш несся по всему свету, зажигая все сердца, чтобы пламя вашей души, вашей любви, вашей муки за человечество пылало бы среди тьмы гигантским побеждающим огнем, который ясно озарил бы, наконец, человечеству весь ужас его падения, его преступления.

Братья-люди! Ведь от вас зависит прекратить бойню, которая сгубила миллионы жизней, изувечила человечество, изуродовала человеческую душу.

Соединитесь все сердцем, -- вы, братья, русские, немецкие, английские, австрийские, французские, -- вы все, частицы единой общей души человеческой, -- и свергните с себя кровавые лапы безумного зверя войны, который впился кровавыми зубами в ваше окровавленное тело, в ваши искалеченные души. Свергните ваше рабство человекоубийству, ваше рабство дьяволу!

Не может быть никакой настоящей свободы, не может быть никакого настоящего братства, пока люди-братья всаживают друг другу в живот штыки и пушками превращают в кровавые комья друг друга.

Война войне! Всю душу в эту войну, всю любовь, все чувства, все силы, все усилия, которые потом, когда уничтожите войну, вы отдадите созданию царства великого братства, равенства и свободы, которая не может быть построена на пролитой крови братской.

Руки, обгаряемые в братской человеческой крови, не могут укрепить ни одного камня в здании свободы и братства. Пока не уничтожена война, пока льется человеческая кровь, нельзя говорить без стыда о братстве и свободе.

Люди-братья! Соединяйте всю вашу любовь, все силы вашей души, все, все, чтобы разжечь во всех странах святую борьбу с войною!

Долой войну! Долой ужас, безумие, позор человечества! Долой узаконенное, освящаемое братоубийство!

Да здравствует царство света, царство братства! Да погибнет дьяволово царство войны!

В.Г. Короленко. Война, отечество и человечество ⁶⁵

I

65 Короленко В.Г. "Была бы жива Россия!": Неизвестная публицистика. 1917-1921 гг./ Сост. и коммент. С. Н. Дмитриева. - М.: Аграф, 2002.

Вместо вступления

Есть древняя греческая басня. По дороге в большой город залегло некогда загадочное чудовище с туловищем льва и лицом человека. Каждому путнику, шедшему в город из пустыни, оно задавало загадки. Кто не находил ответа, того этот сфинкс пожирал. Такой сфинкс глядит теперь в глаза русскому народу на дороге к его близкому будущему. Глядит и задает вопросы, и говорит: "Разгадывайте сообща, селянин и горожанин, богач и бедняк, ученый и малограмотный. А не найдете общей разгадки -- погибнете".

В этих очерках я хочу по мере моих сил содействовать общей разгадке, хочу еще раз продумать с пером в руке то, что волнует всю Россию, и хочу высказать свои мысли по возможности просто и понятно. И не только понятно, но и общепонятно. Я хочу говорить сразу с различными русскими людьми: с рабочим, с пахарем, с образованным человеком и студентом, так, как будто они слушают меня все вместе и вместе будут искать общих решений.

Прежде всего, я хочу говорить об отечестве.

Кто-нибудь скажет: нужно ли это?

Кто не знает, что такое отечество? Ведь это преподают в школах, заставляют списывать из прописей. Это ненужно и скучно.

Но уверяю вас, мои читатели, что я тоже не склонен без надобности повторять азбучные истины. Дело, однако, в том, что в наше время есть люди, которые говорят, что отечество не нужно, что любовь к нему есть чувство вредное, от которого нужно избавиться, как от предрассудка, что нужно действовать так, как будто никакого отечества не существует. И это теперь говорят не одни выродки или изменники, подкупленные врагами. Можно сказать, что мысль эта носится в воздухе и неприметно западает во многие умы, как зараза. В самом деле: Европа охвачена огнем и кровью. Люди разных народов кидаются друг на друга, как звери. Каждый стоит за свое отечество и старается уничтожить чужое. Значит, -- говорят иные, -- причина в том, что есть у народов отечество. Уничтожим это понятие, вытравим в себе любовь к родине, и первая причина вражды исчезнет. Войны прекратятся.

И многие теперь действуют сообразно с этой гибельной мыслью. Выходит, что общепризнанное прежде и бесспорное становится спорным и готово исчезнуть.

И вот почему я не считаю праздным вопросом: что такое отечество? Имеем ли мы право и обязанность с любовью отстаивать нашу русскую родину, которая в свалке народов выступает в виде русского государства? И отечество ли виновато в этой звериной свалке?

II

Война всех против всех. Семья, род, область, отечество

Кто читал гоголевского "Тараса Бульбу", тот припомнит, как Бульба пробирался с сыновьями через Днепровские степи в Сечь. Зеленая пустыня раскинулась от края до края. Но вот зоркие глаза Тараса увидели вдали татарина. И первые его слова по этому поводу таковы:

-- Посмотрите, детки! Вон, скачет татарин. Попробуйте догнать его!

И если бы этого чужого человека догнали, его бы убили. За что? За то, что он татарин. И сам он убил бы, если бы смог, Тараса и его сыновей, несмотря на то, что степь широка и всем в ней хватило бы места. Так уж повелось исстари, от отцов, дедов и прадедов, от седой древности. "Жалкий человек", -- говорит поэт Лермонтов,

... Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем.
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он... Зачем?

Лермонтов ошибался. Человек воюет не один. Вся живая природа переполнена вечной войной, и человек вынес эту войну всех против всех из своего звериного прошлого. Прежде говорили, что войну выдумали воины, как религию выдумали жрецы. Теперь принято говорить, что войну затевают всегда капиталисты и промышленники. При этом забывают, что чем дальше в глубь прошлого, чем ближе к жизни зверей, у которых не было ни воинов, ни капиталистов, тем больше было взаимной борьбы. Когда-то всякая встреча незнакомых людей была враждебна. Завидев друг друга, люди сходились с опасением и мыслью: что лучше -- напасть первому или ждать нападения? Казалось, в мире царит один закон взаимной вражды: убей или будешь убит... Съешь или тебя съедят... Все враги всем...

Но наряду с чувством вражды во всем живущем теплится и другой закон: закон взаимного сочувствия и любви. Борьба этих двух начал, вражды и любви, которые люди называют злом и добром, Белбогом и Чернобогом, Ормуздом и Ариманом, духом света и духом тьмы, составляет содержание всей человеческой истории, всех религий, всякой человеческой нравственности. Сознание противоположности зла и добра, любви и вражды, отличает человека от зверя. С тех пор, как люди стали сходить в общества, -- во мраке "войны всех против всех" затеплились огоньками семья, род, племя, члены которых, враждуя со всем остальным миром, в своей среде признают законом взаимную помощь и любовь. Древние греки так выражали понятие о наилучшем, наиболее совершенном человеке: "Мил своим, страшен чужим".

Кто же считался своим?

Сначала только ближайшие кровные родные, затем члены рода, происшедшего из семьи, -- и только. Были такие темные времена, что стоило, например, члену другого рода переступить границу какой-нибудь семьи, без предупреждения и особых обрядов, -- и его приносили в жертву родовому идолу. Потом роды устанавливали все шире свою близость: возникали области; в центрах областей строились укрепленные города, куда все сбегались при нападении чужеземцев. Потом образовались союзы городов, малые государства, которые соединялись в большие.

Так постепенно сознание братства людей становилось шире, и с ростом человеческих объединений росло чувство человеческой дружбы, согласия, любви, на счет звериной вражды. Лучшие люди всех народов несли свои душевные силы на создание все больших объединений. В прошлом веке, уже на памяти ныне живущих людей, объединилась, например, Италия, и имена Гарибальди и Мадзини, работавших для этого, чтут до сих пор не одни итальянцы, а все, кто любит свободу: объединение не только прекратило на пространстве всей Италии междоусобия, но и помогло итальянцам свергнуть несправедливое иго австрийцев. Значит, единое отечество принесло итальянцам и освобождение.

Поэтому люди истари приучались поколениями любить свои отечества, подчиняя им все остальное. Существует такой исторический рассказ. Когда-то австрийцы покорили швейцарцев и держали в стране войско рыцарей, закованных в железо. Швейцарцы же были мужики-пастухи и дрались попросту без панцирей. Но все-таки они не захотели быть рабами и восстали. Произошла большая битва при Земпахе. Стальные рыцари стояли как стена, выдвинув вперед лес копий; стрелы и палицы пастухов не могли нанести им никакого вреда. Тогда один швейцарец, Арнольд Винкельрид, сказал своим: "Позаботьтесь о моей семье". А сам кинулся на копья рыцарей, захватил их, сколько мог, руками и воткнул себе в грудь. На минуту образовался прорыв; швейцарцы кинулись туда, и железный строй был прорван. Решительная битва была выиграна, швейцарцы освободили

родину. И все народы знают имя этого пастуха, потому что своим поступком он показал, как широкая любовь к отечеству подчиняет любовь к семье. Винкельрид был хороший семьянин, но не задумался отнять у семьи мужа и отца для отечества, которому он передает заботу о семье.

Объединение областей России в одно отечество совершалось веками на великой восточно-европейской равнине. Началось оно около Киева, потом перешло к Москве. Нельзя сказать, чтобы московские князья, хитрые скопидомы и лукавцы, были лучше других удельных князей, которые с ними воевали. Наоборот, многие из этих последних были простодушные вояки, убежденные в своей правоте. Но народ поддерживал московских князей потому, что они выводили на Руси удельные междуусобицы, в которых русские шли войной на русских. Земля на великой равнине собиралась, вражда изгонялась за ее пределы. Воевать без того приходилось много. Кругом были враги, особенно азиатские орды, совершавшие набеги, угонявшие тысячи людей в плен, продававшие их в рабство. Там, за "дикими полями" и горными кряжами, были сплошные враги. И когда оттуда какому-нибудь полоннику удавалось убежать через степи, горы и реки, когда после опасного пути он достигал наконец России, когда перед его глазами появлялись такие же избы, как в его деревне, такие же макушки церквей, в каких он сам молился в детстве, то он падал на землю, обнимал ее, "родную", и плакал сладкими слезами. Для него эта земля была "святая" Русь, а остальные земли он считал "погаными". Там, как зверь от зверей, он должен скрываться в норах и оврагах. Здесь, куда бы он ни пришел -- в мужицкую избу или боярские хоромы, -- его встречали "свои" с приветом и лаской, с сожалением и радостью. Боярин часто притеснял мужика, мужик порой ненавидел боярина. Но около полонника, вырвавшегося из враждебной земли, все сходилось в одном ощущении. Все чувствовали себя сынами одной родины...

И когда над степями зажигались сторожевые огни, то все подымались на защиту. Мужики защищали боярские хоромы, бояре защищали деревенские избы, и считалось священным долгом стоять за общее отечество до смерти.

III

Любовь к Родине

Особенно живо было всегда это непосредственное чувство родины в окраинных странах, которые чаще других подвергались нападениям и испытывали чужеземный плен. На Украине старые кобзари до сих пор поют трогательные старинные думы, как томилась пленники, как смотрели с Савур могилы на дальние родные степи, и как умирали, не отрекаясь от родины и веры братьев.

На реке Урал это окраинное положение сохранилось дольше, чем где бы то ни было, и мне лично старый уральский казак рассказывал о том, как в его юности не раз над степью загорались по ночам маячные огни -- знак, что где-нибудь киргизская, бухарская, хивинская орда "перелезла через Урал" и пробирается в Россию. "Поверите, -- говорил он, -- до сих пор, как увижу над степью огонь, -- сердце колотится, рука сама ищет копьё. Так и кажется, что надо скакать на сборный пункт для защиты родной земли".

Этого казака любви к родине учила сама жизнь. Этому же чувству учат детей в школах. Иностранное слово оно называется "патриотизм". К сожалению, этот казенно-школьный патриотизм бывает не настоящий. Детям внушают, что наша родина -- величайшая страна, что мы должны гордиться перед всеми другими народами тем, что мы подданные такого могучего государства, что наша история полна подвигами царей и покорного им народа и т. д. Это развивало в нашем народе национальное тщеславие, которое выражается известными словами песни: "Наша матушка Рассея всему свету голова", а все другие державы нам будто бы должны быть подвластны.

Нет худшей услуги истинной любви к родине, чем этот заносчивый и самохвальный патриотизм, который иностранным словом называется "шовинизмом". Он подменяет понятие о родине -- понятием о начальстве, преданность отечеству -- преданностью к царям и их слугам. Недаром один из великих наших поэтов, строптивый Лермонтов, писал:

Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
В душе не шевелят отрадного мечтанья.

То есть в своей "странной", как он говорит, любви к родине он не признает как раз того, что внушалось казенным патриотизмом. Но далее и он объясняет, что именно он любит в родине: "Не зная сам за что", -- он любит холодное дыхание русских полей, колыханье дремучих лесов, разливы рек, подобные морям, всю природу родной страны, ее людей. С любовью смотрит он темным вечером, проезжая по дорогам, на дрожащие огни печальных деревень, на обоз, кочующий в степи, и "в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужиков". Другой поэт, Жуковский, стараясь определить это чувство, говорит, что для него родина, это --

Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки...

Жуковский был сын рабыни, но рос и воспитывался в дворянской семье, и детские годы протекали для него радостно. Жизнь Лермонтова была довольно бурная, и о родине он вспоминал в ссылке на Кавказе. Однако и для него родина не была мачехой. Но вот что говорит об этом чувстве третий русский поэт, значительную часть жизни проведший на каторге: "За что любить тебя", -- спрашивает П.Ф. Якубович У родины:

...Какая ты нам мать,
Когда и мачеха, бесчеловечно злая,
Не станет пасынка так беспощадно гнать,
Как ты детей своих казнишь не уставая.

Жизнь его и его поколения сложилась тяжело и печально. Совсем юношей попал он на каторгу за то, что рано полюбил свободу в стране рабства. И он горько упрекает родину, которая гнала своих детей "на край земли, в снега безлюдных стран, убивала в цвете сил".

Мечты великие безжалостно губя,
Ты, как преступников, позором нас клеймила,
Ты злобой души нам, как ядом, напоила,
Какая ты нам мать, за что любить тебя?

Говорил он это из глубины каторги не только от себя, но и от сотен таких же страдальцев. И вообще много в каждой стране людей, которые могли бы бросить своей родине такие же

горькие упреки про свою нерадостную жизнь, за царящую неправду, от которой они страдают.

Но и этот поэт признает все-таки родину -- мать. Он говорит далее, как Лермонтов:

За что не знаю я... Но каждое дыханье,
Мой каждый помысел, все силы бытия
Тебе посвящены, тебе до издыханья,
Любовь моя и жизнь тебе, о мать моя!

И не один Якубович, но и многие его сверстники и товарищи говорили его устами, что для того, чтобы увидеть родину свободными и свободной, они готовы были бы принять тягчайший из ее бесчисленных крестов.

В палящий зной, в песке сыпучем по колени,
С котомкой нищего брести глухим путем,
Последним сном заснуть под сломанным плетнем
В жалчайшем из твоих заброшенных селений...

И он всей жизнью доказал, что такая любовь не выдумана, что она существует в действительности, что так любили родину многие из того недавнего поколения. Не знаю, как на кого, а на меня этот крик сыновней любви, вырвавшийся из груди каторжника Якубовича, производит впечатление более неотразимое и глубокое, чем превосходные картины Лермонтова и светлые воспоминания Жуковского. Якубовича судил суд самодержавного насилия. Но это насилие поддерживалось рабской покорностью и темнотой всего народа. Его заковали в кандалы, гнали этапом и сторожили на каторге те же сыны народа... И все-таки он что-то любит в этой рабской стране, погубившей его молодую жизнь... Он считает ее матерью.

Таково это странное чувство. Счастливый соединяет его со своей радостью, несчастные -- со своим горем. Точно в самом деле с первой струей родного воздуха, с первым сиянием родного неба, с первыми звуками материнской песни вливается в душу и загорается в ней что-то готовое, извечное, сильное, что потом растет и крепнет вместе с организмом человека. Точно оживают в отдельной душе вековая борьба и страдания родного народа и с ними вековые стремления человечества к единению и братству.

Иностранном, но давно уже вошедшим в наш язык словом, такие чувства называются инстинктами. И значит у нас всех, в той или иной степени, есть инстинкт родины, отечества. Это -- огромное, сильное чувство, потому что оно (сознательно или несознательно) лежит в каждом человеке, и когда приходит время, когда сразу оно просыпается в миллионах сердец, то это -- стихия, буря, океан, против которого устоять трудно. В таком подъеме "патриотизма" народ способен творить чудеса, часто уже совсем задавленный и покоренный чужеземцами, он поднимается, рвет как паутину свои цепи и вновь завоевывает свободу.

До сих пор из всех общественных чувств это чувство было бесспорно самое широкое и самое сильное. И это потому, что закон общественной жизни -- все возрастающее объединение, а самые широкие объединения, каких до сих пор реально, т. е. не в мысли только, а на деле, достигало человечество, были отечества... И, значит, отечества много сделали для расширения области любви, для уменьшения взаимной борьбы и зверства, для победы света над тьмой, Белбога над Чернобогом.

IV

Война всех против всех между народами

Но закон человеческой жизни -- вечное движение вперед. Позади у нас остались война всех против всех, семейный и родовой быт, область... Не пришла ли пора, когда и отечество должно отойти в прошлое?

И вот мысль человеческая начинает исследовать этот вопрос. Она пытливо присматривается к отечеству. Нет ли грехов и на нем?

И грехи оказываются.

Существует такой правдивый рассказ. У одного дикаря христианский священник спросил: -- Знаешь ли ты разницу между добром и злом?

Дикарь подумал и ответил:

-- Добро, когда я украду жену у соседа. Зло -- когда сосед украдет у меня.

Это -- нравственное учение, вынесенное из времен полуживотной, дообщественной жизни, из войны всех против всех. Теперь нам этот ответ смешон, и о человеке, который стал бы серьезно повторять его, мы бы сказали: этот человек запоздал родиться на тысячи лет или ему следовало родиться в диких странах. У нас ему место в сумасшедшем доме или тюрьме. В современном обществе приняты другие правила общежития, охраняемые законами всех отечеств.

Действительно, отечества уничтожили среди нас войну всех против всех. Но это только до тех пор, пока речь идет об отношениях между отдельными людьми. Но как только речь заходит о государствах, -- дело меняется. Граница каждого государства -- это черта, у которой кончается взаимное доверие между людьми. Здесь стоят вооруженные люди, не пропускающие за черту ни своих, ни чужих, а на некоторых расстояниях построены крепости, и с них пушки постоянно грозят соседям. И как некогда человека, неосторожно переступившего границу родового поля, приносили в жертву родовым богам, так теперь чужестранца, без разрешения переступающего границу государства, приносят в жертву законам и сажают в тюрьму. Среди отдельных государств мораль дикарей царит в полной силе.

Что есть добро и что есть зло в международных отношениях?

Всякий дипломат, т. е. человек, делающий международную политику, если он захочет быть искренним, ответит, как дикарь отвечал священнику:

-- Добро, когда моему отечеству удастся отхватить у соседа кусок принадлежащей ему земли, область, крепость или морскую пристань. Зло, когда такое же несчастье случится с моим отечеством.

Прочитайте любой курс истории, и вы непременно встретите подтверждение этого. Такой-то был великий государственный человек. Он воспользовался оплошностью соседнего государства, отвоевав у него такие-то города, и соотечественники поставили ему за это памятник. А другой, наоборот, сам сплоскал и допустил соседей захватить земли своего отечества... И его имя покрыто в глазах потомства презрением и позором...

Такова до сих пор основа международной морали. Все народы живут в вечном опасении чужого нашествия и в вечной готовности к нападению. Французский мыслитель Прудон уверял даже, что война всех против всех в среде народов есть явление вечное: в сущности, народы воюют друг с другом всегда, и только по временам у них наступают случайные передышки, которые мы и называем миром. И это очень похоже на правду. Народы, действительно, подобны тем диким охотникам, которые даже у общего огня сидят с оружием в руках, готовые броситься на соседа при первом подозрительном движении. Все державы даже во время мира подсылают к соседям военных шпионов, политических лазутчиков, лукавых дипломатов, которые нащупывают слабое место соседа, стараются вызвать у него замешательство и возмущение. Всякое государство старается повредить соседу, ослабить его, потому что боится нападения и само не прочь напасть при случае. Таким образом, если и устанавливается на время мир между народами, то этот мир особенный, так называемый "вооруженный мир". Стоит одному государству построить военный корабль, -- сосед строит два. Одна держава заводит у себя полк пехоты, -- и такие

же полки вырастают сами собой у соседа. Сколько труда, изобретательности, сколько времени и природных богатств каждой страны уходит на изготовление орудий смерти. Растет бремя налогов, бедность; людям приходится отказываться от необходимого и полезного для жизни, чтобы создавать вредное, нужное только для убийства. И это соперничество растет неудержимо, как ком снега, скатывающийся с горы. И всем приходит в голову: уж лучше короткая война, чем долгий вооруженный мир. Но война становится все страшнее. Во времена родового быта люди дрались стрелами, копьями, палицами. Война имела характер местный; семья нападала на семьи, род на род. Жгли, убивали, уводили в плен, оставляя на месте пожарища и трупы. Пожарища заливали дожди, над трупами вырастали степные травы или лесные поросли, скрывавшие тлеющие кости... Другие роды порой и не знали об этом, а если и знали, то никому до этого не было дела. Но чем больше становились объединения людей, тем и войны делались хотя реже, но крупнее. Под покровом отечества развивались науки и промышленность, которые наряду с орудиями, полезными для жизни, доставили также страшные орудия разрушения. Человек стал могущественнее прежнего дикаря-предка. Он поднялся на воздух. Он опустился на дно моря. И всюду внес возможность войны, и притом войны не местной, а общей... Уже давно предсказывали, что если война вспыхнет в XX веке, то она будет ужаснее всех прежних войн. Невольно у лучших людей является мысль: как прекратить этот ужас, как сделать войны невозможными?

V

Мечта о вечном мире и социализм

Мысль о всеобщем братстве всех людей давно светит, как путеводная звезда, перед человечеством. Еще ветхозаветный пророк вдохновенно предсказывал, что люди перекуют когда-нибудь мечи на плуги и введут общий мир. Христианство звало людей собраться во едино стадо с единым пастырем. Ученые, мыслители и поэты, эти пророки нашего времени, поддерживают мечту о тех будущих временах,

Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Люди, работающие для осуществления этой мысли, называются пасифистами (миролюбцами).

В последние десятилетия об этом заговорили уже и государственные люди и политики всех стран. Между прочим, созывались по этому предмету международные совещания. Особенно важное состоялось в голландском городе Гааге. Здесь политики всех народов говорили о том, чтобы если не устранить вовсе, то хоть затруднить и ограничить войну, выработав для нее общеобязательные законы и прежде всего -- третейский суд для мирного решения международных споров.

Но этот путь оказался малонадежным. Русский царь Николай II, по почину которого созвана Гаагская конференция, сам же вскоре начал ненужную и кровопролитную войну с Японией, и никто не мог помешать этому. Право, выражаемое законами, -- важное дело, но нужна еще какая-нибудь высшая власть, которая бы его поддерживала и заставила уважать. Каждое отдельное отечество, создавая у себя законы, худо ли, хорошо ли, создает также и власть для их поддержки. Только таким образом устраняется война всех против всех между отдельными людьми. Только так устранится она когда-нибудь и между народами.

Но где же взять такую власть для международного права, особенно когда вспыхнет война, сразу обращающая международные договоры в "клячки бумаги".

Есть, например, в Европе несколько маленьких государств, как Бельгия, Швейцария, Люксембург. Большие государства условились их не трогать. Им обеспечен нейтралитет, т. е. полная неприкосновенность их границ. А за то они обязаны сами не вмешиваться в войну великих держав и не давать их армиям свободного прохода, чтобы кинуться друг на друга. Европа хотела из них создать как бы перегородки, мешающие войне. Все, в том числе германские императоры, торжественно подписали эти договоры о нейтралитете. Но как только началась война, -- немцы без церемонии потребовали пропуска, чтобы кинуться на Францию. Бельгия, верная обязательствам, отказала. А когда немецкие социалисты упрекнули своего государственного канцлера в этой международной подлости, то Бетман-Гольвег цинично (с откровенным бесстыдством) заявил, что во время войны нельзя стесняться "какими-то клочками бумаги".

Война вся основана на силе. Чтобы обуздать ее, нужна, значит, какая-то еще большая сила, чем сила отдельных государств, которая стала бы выше международной войны всех против всех.

Эту великую задачу берет на себя социализм. Социализм -- это еще одно иностранное слово, давно известное просвещенным людям, но с которым еще только приходится знакомиться широким массам русского народа.

Кроме извечного разделения людей по отдельным народностям, вере, языку, месту жительства, исстари существует также великое разделение по общественному (социальному) положению. Немец, француз, русский, англичанин говорят на разных языках, но работают одинаковым образом в полях, в рудниках, на фабриках. И у всех существует, с одной стороны, подавляющая бедность, с другой -- излишнее богатство. Это вещь такая же старая, как война, и так же давно кипит у всех народов глухая борьба бедных с богатыми.

Социалисты говорят: до сих пор братство людей не достигнуто потому, что люди понимали его неправильно; братьями считались только люди одного отечества, говорящие на одном языке и одинаково верующие. Но истинные братья не те, кто одинаково говорит и верует, а те, кто одинаково трудится и одинаково терпит от социальной (общественной) несправедливости. Немецкий рабочий должен скорее признать братом французского рабочего, чем своего же немецкого фабриканта. Все рабочие всего мира должны соединиться, чтобы вместе устроить справедливые отношения между трудящимися и предпринимателями (трудом и капиталом). Отсюда тот призыв, который теперь слышен так часто, который развевается на красных знаменах: "Рабочие всех стран, соединяйтесь!" Это -- призыв международного социализма. Давно уже сделаны попытки объединить рабочих в международное Общество, которое и называется "Интернационалом".

Интернационал сразу же по своем возникновении объявил: не нужно борьбы разных народов за политическое преобладание: нужна борьба классов за установление справедливости во всех государствах одинаково. Когда объединение всех трудящихся совершится, то в нем потонет международное соперничество. Войны прекратятся, потому что не будет отдельных отечеств. Но отечества рабочим не нужны. Они нужны только богатым. "У социалиста не должно быть отечества", -- резко и смело заявили основатели Интернационала в так называемом "Коммунистическом манифесте" 1848 года.

Вот откуда отрицание отечества. Но мы увидим дальше, что теперешний социализм, проверив эту мысль долгой борьбой мнений, отверг ее подавляющим большинством на всех своих международных съездах.

VI

Интернационал и отечество

Постепенно учение социалистов ширилось во всех странах, а вместе с тем росло и их влияние. Правительствам, сначала преследовавшим интернационалистов, пришлось мириться с тем, что рабочие посылают своих представителей на международные съезды. Таких съездов было много. Уже в нынешнем столетии они проходили между прочим: в Париже -- 1900 г., в Амстердаме -- 1904 г., в Штутгарте -- в 1907 г., в Копенгагене -- в 1910 г. и почти накануне войны, в 1912 г., в Базеле. На всех этих съездах много говорилось о том, что рабочие, которые всего более страдают от войны, должны предотвратить ее, что только их международный союз может дать силу, которая станет выше международных споров и столкновений.

Как же это сделать? Сначала это казалось просто: без рабочего народа невозможна никакая работа. Значит, стоит рабочим согласиться между собой не помогать и даже мешать войне, и войны не будет. А если опять какое-нибудь государство затеет войну, надо всем рабочим восстать и объявить войну всем капиталистам. Начнется классовая война вместо войны международной.

Эту мысль особенно горячо отстаивал француз Эрве. Он стоял за первоначальную формулу коммунистического манифеста: у социалиста нет отечества. "Мне все равно, -- говорит он, -- французы ли победят немцев, или Вильгельм возьмет Париж. А я все-таки буду бороться только с капиталистами моей страны".

Однако после ряда международных съездов обнаружилось с полной ясностью, что современный социализм не отказывается от отечества.

Однажды вождь немецкого социализма Бебель произнес в германском рейхстаге замечательную речь в этом смысле. Бебель был один из самых уважаемых людей в Европе, которым невольно любовались даже противники. В своей речи он горько упрекал германские правящие классы за их захватные стремления, за усиленные вооружения, за угрозы общему миру. Когда наконец он сказал, что немецкие рабочие должны помешать немецким правительствам напасть на Россию или на Францию, то ему крикнули со скамей:

-- Это измена отечеству!

Бебель ответил:

-- Нет, мы -- не изменники! Мы не хотим только, чтобы наше отечество начало войну, как грабитель и разбойник. Но, -- прибавил он, -- если какой-нибудь другой народ нападет на Германию, то я первый возьму свою старую рушницу (meine alte Flinte) и пойду защищать ее.

Чем Бебель был для Германии, тем социалист Жорес был для Франции: совестью не только своей партии, но и совестью своего народа. Он тоже много воевал с шовинистами и захватчиками в своей стране. Но и он говорил, как Бебель:

-- Если бы случилось, что какой-нибудь другой народ напал бы на Францию, то мы, социалисты, умрем в первых рядах ее защитников.

И оба эти вождя социалистов часто повторяли это на многих съездах, в том числе (за четыре года до войны) в Штутгарте. Оба они доказывали, что у социалистов не может не быть отечества.

-- Эрве говорит, -- сказал Бебель, -- что отечество есть лишь отечество господствующих классов, что рабочему пролетариату до него нет дела... Но еще вопрос, кому принадлежит отечество... Почему же всякий народ, терпящий иноземное владычество, -- если даже в некоторых случаях оно благотельно, -- восстает всей массой для борьбы за свободу и отодвигает для этой цели все остальное на задний план? Мысль Эрве, что рабочему пролетариату все равно, -- принадлежит ли Франция Германии, или Германия -- Франции, -- есть нелепость.

В зале проносятся оживленные восклицания, кто-то кричит: "это даже не мысль!", а Бебель продолжает:

-- Если бы вы, Эрве, захотели провести эту мысль на практике, то ваши соотечественники затоптали бы вас ногами. (Восклицания: "Совершенно верно!")

Оказалось, таким образом, что инстинкт родины жив и у социалистов. И лучшие вожди, и огромное большинство рассуждали не так, как Эрве, а так, как Якубович. Да, мы знаем, что на совести наших отечеств много несправедливости; что родина бывает для многих мачехой; мы боремся с ее грехами, но мы любим ее и не дадим в обиду в случае нужды. Противники отечеств говорили, что эта любовь к родине есть чувство не разумное, а только зоологическое (т. е. животное). "Нет, -- отвечали им, -- любовь к отечеству не только слепой инстинкт. Любить родину -- разумно и полезно".

В самом деле: есть ли уже единое человечество? Его еще нет. А отечество есть. Для единого человечества нужно еще много работать. Где? В отечествах. Только добившись преобладания в своих отечествах, сделав их свободными и справедливыми, мы подготовим союз народов, отечество отечеств, единое человечество.

Эти мысли развивались и крепили среди Интернационала с каждым новым съездом.

-- Неправда, -- говорил Фольмар в Штутгарте, -- будто интернационализм враждебен национальным отечествам... Любовь к человечеству не мешает немцу быть добрым немцем. Нельзя прекратить существование наций и обратить их в безразличную народную кашу.

Бебель и немецкие социалисты предостерегали против классовых восстаний и общих забастовок в случае объявления войны. Свои народы не простили бы этого социалистам.

-- Мы не хотим ослаблять свои силы для чего-то еще несуществующего, чего мы, быть может, в нужный момент не в силах будем выполнить.

-- В самом деле, -- говорили и другие, -- Интернационал еще не настолько силен, чтобы обеспечить единство действий всего пролетариата. В одних странах, более культурных, рабочие организованы более.

Допустим, что они, повинувшись Интернационалу, обезоружат своих соотечественников. А в это время другим это не удастся, и наиболее сознательный народ будет поработен и задавлен менее сознательными. Не скажет ли тогда побежденный народ, что свои же братья, социалисты, связали ему руки и сделали беззащитным в общей международной свалке? И это сделано во имя призрачного еще Интернационала, который оказался бессильным защитить его.

Жорес от имени французов предложил даже внести в постановление штутгартского съезда, что "защита независимости всякой родины, которой угрожает иноземное нашествие, составляет настоящий долг социалистов угрожаемой нации".

-- Отечество -- это сокровищница человеческого гения, -- сказал Вальян при общем одобрении, -- и не подобает пролетариату разбивать эти драгоценные сосуды человеческой культуры!

А швед Брантинг обобщил все эти мнения и сказал:

-- Мы должны быть благодарны Эрве: он дал нам возможность обнаружить полное единодушие в том, что интернационализм и национальность не только не противны друг другу, а, наоборот, взаимно друг друга дополняют.

Наконец, докладчик съезда, бельгиец Вандервельде повторил слова Бебеля:

-- Существование свободных наций является ступенью для самой интернациональности, так как только из союза свободных народов возникнет будущее единое человечество!

VII

Предвестники великой войны. Базельский съезд

Между тем на Балканском полуострове уже поднималась туча.

В этом уголке Европы -- тесно, и в давней вражде между собой жило много мелких народов, когда-то покоренных и задавленных нашествием турок, но всегда мечтавших об освобождении. Постепенно удалось освободиться Греции, Сербии, Болгарии и Румынии; но под турецким владычеством оставались еще христианские земли, в том числе Македония. Эта страна населена болгарами, греками, сербами и румынами, и все эти народности, ненавидя турок, также ненавидели друг друга. Это был узел национальных вопросов, запутанный стихийной (бездумной) историей народов, с их войной всех против всех. Греки на Балканах мечтали о Великой Греции, сербы -- о Великой Сербии, болгарам снилась Великая Болгария, а румынам -- Великая Румыния. И каждый из этих народов мечтал стать господствующим на полуострове вместо Турции. Поэтому, когда македонцы восстали против турок, то сначала Греция, Сербия и Болгария соединились против Турции, а потом, одолев турок, кинулись друг на друга. Великие державы Европы -- Россия, Италия, Австрия и Германия, тоже высматривали, чем бы поживиться из турецкого наследия, поэтому все чувствовали, что война перекинется и на Европу, которая давно уже болела "вооруженным миром". Немцы боялись усиления России и славянства. Русские имели основания бояться германства. Франция не могла забыть, что Германия отняла у нее в 1870 году Эльзас и Лотарингию, и боялась, что немцы опять могут кинуться на нее.

И всего хуже было то, что все эти опасения были основательны: каждый народ стремился схватить, что можно, у развалившейся Турции, чтобы не досталось другому...

Европа разделилась на враждебные лагеря. Россия и Франция, с одной стороны, Германия и Австрия -- с другой. Остальные державы рассчитывали, куда им выгоднее примкнуть в случае свалки. Дипломаты шептались, государственные люди собирались на тайные совещания, заключались и расстраивались союзы. Европа беспокоилась и металась как перед бурей...

При таких обстоятельствах социалисты решили созвать внеочередной международный съезд, чтобы обсудить грозное положение. Старый швейцарский город Базель предложил им свое гостеприимство, и съезд состоялся в этом городе в 1912 году. Вся Европа устремила туда свои взгляды с тоской и надеждой: может быть, в самом деле удастся социалистам отклонить войну. Базельское кантональное правительство, во главе со своим президентом, приветствовало вождей рабочего Интернационала на вокзале. Церковный совет представил для съезда здание старинного собора и встретил членов съезда торжественным колокольным звоном. Все показывало, какие ожидания возлагались на этот съезд. Это не был как будто только съезд рабочего класса. Его задачи выходили из узких классовых рамок, его цели были одинаково близки лучшим людям всех классов, всех времен и всех народов. Они совпадали с вечными стремлениями человеческого объединения. Социализм становился между мрачным прошлым, полным войны всех против всех, и призывом к светлому будущему единого человечества.

Впечатлительный и красноречивый Жорес проникся настроением минуты и в своей приветственной речи, указывая на старинные колокола собора, припомнил латинский стих Шиллера: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango". Значит, колокол сзывает живых, оплакивает мертвых, рассеивает звоном грозные тучи. Так и съезд международных социалистов собрался здесь, чтобы оплакать уже погибших на Балканах в кровавой войне, призвать живых к миру и рассеять надвигающуюся на Европу угрозу.

Но что же для этого нужно сделать? Уже предыдущие съезды выяснили, что социалисты могут призывать к миру своих соотечественников, но настоящей международной силы у них еще нет. Поэтому и Базельский съезд высказал много превосходных мыслей, но затем повторил, как штутгартский, резолюцию копенгагенского съезда: социалисты должны помешать начатую войну. А если она все-таки начнется, то они должны постараться поскорее прекратить ее и воспользоваться кризисом для того, чтобы ускорить падение капиталистического строя.

Но какими средствами этого достигнуть, Интернационал не говорил. Средства он предоставлял "на усмотрение отдельных национальностей". Более того: он не мог поручиться, что если социалистам какого-нибудь народа удастся обезоружить свое отечество, то то же самое сделают и другие. А если другие не сделают, то -- для чего же стараться? Только для того, чтобы помочь захватчикам одного народа раздавить чужие отечества? Какая же польза от этого единому человечеству?

Чувства, возбужденные базельским съездом, были смутны и неопределенны. Единое человечество -- по-прежнему еще только мечта. Базельские колокола могли оплакивать мертвых и звать живых к миру. Но рассеять грозные тучи одни колокольные звуки и слова оказались бессильны.

Отечества вооружались, а у человечества не было силы, чтобы предписать всем единый закон. Социалисты возвращались в свои отечества не с определенным решением, а с общим настроением: следует мешать нападению...

Но как определить при войне всех против всех, кто нападает и кто защищается? В запрошлом столетии происходила знаменитая Семилетняя война (с 1756 по 1763 гг.). И до сих пор историки спорят о том, кто ее задумал первый. Правда, Фридрих прусский первый вторгнулся в Австрию. Но он сделал это после того, как узнал наверное, что Австрия уже заключила союз с Россией, чтобы напасть на Пруссию. А Австрия хотела напасть, чтобы вернуть отнятую у нее Силезию. И такие счеты у всех государств уходят далеко в прошлое. Каждый народ может насчитать много таких обид от соседа, как и тот от него. В этом -- глубокая неисходная трагедия человечества, наследие прошлых веков.

VIII

Война -- трагедия

Я должен объяснить, почему я поставил в заголовок этой главы далеко не всем понятное слово "трагедия". Я не мог избежать этого иностранного слова потому, что оно одно выражает основную мысль всей моей статьи.

Трагедией греки называли такое стечение грозных и печальных обстоятельств, когда есть налицо страшная вина, влекущая наказание, но нет прямых виновников. Убить отца... жениться после этого на родной матери... Может ли быть более страшное нарушение божеских и человеческих законов и может ли это сделать человек невинный?

Да, может, -- говорили древние греки. Всем в этом мире правит Рок, против которого бессильны даже боги. В книге судеб от века было, написано, что у фиванского царя Лая родится сын, который убьет отца и после этого женится на родной матери. Когда родился Эдип, то отец, чтобы избежать Рока, отправил его в дальние страны, где он вырос в неизвестности. Но когда он пришел в возраст, то отправился путешествовать по свету и пришел в Фиванскую землю, не зная, что приближается к родине. В те времена, близкие еще к войне всех против всех, на него, чужестранца, напали на дороге с целью убить его. Защищаясь, он убил предводителя, не зная, что это его отец. Потом пришел в Фивы, обратил на себя внимание своей мудростью и, по общему желанию жителей, стал царем и женился на вдове-царице, не зная, что это его мать.

Ни в каком отдельном действии тут нет умышленного греха. Но вместе с тем есть страшное нарушение божеских законов, требующих возмездия. Люди любят и уважают Эдипа, боги его жалеют, но наказание он все-таки несет.

Трагические положения часто встречаются в жизни, и мы порой слишком поспешно находим ближайших виновников. Кто, например, виновен в том, что такой-то человек сошел с ума? Он сам? Его образ жизни? Или образ жизни и какие-нибудь излишества его родителей? Часто ни то ни другое: на человеке отражается сумасшествие его отдаленного предка.

Не то же ли с войной, этим сумасшествием человечества? Так ли уж легко найти ее ближайших виновников? Кто они?

Военные? Ведь это они убивают своих близких! Но ведь они и умирают первыми, и им, конечно, было бы приятней получать жалованье и красоваться в живописных мундирах, не рискуя каждую минуту попасть на штык или под пулю.

Правительства?.. Да, бывали случаи, что правительства, особенно монархические, затевали войны, чтобы отвлечь внимание народов от внутренних вопросов. Но теперь правительства в большей части стран демократические, т. е. ставятся самими народами. Вообще нынешняя война есть война народов, а не одних правительств. В Германии социализм всего сильнее. И, однако, она оказалась наиболее готовой к войне, и социалисты в ней -- лучшие солдаты.

Капиталисты и имущие классы?.. На них теперь указывают все левые партии как на единственных виновников войны. Стало теперь общей фразой, что войну всегда вызывает буржуазия. При этом указывают на огромные военные прибыли предпринимателей. Но объяснять войну жадностью к военным прибылям -- совершенные пустяки. Много ли тех, кто прямо наживается на войне? А вся промышленность и торговля от нее страдают. Кроме того, при общей воинской повинности сыновья имущих классов тоже гибнут на полях сражений. Какими деньгами вознаградишь такие потери?

Конечно, при нынешнем строе, который весь основан на неравенстве, и война на долю одних несет больше тягостей, на долю других больше выгоды. Но это уже следствие общего порядка, а не причина войны. Можно еще сказать: да, война страшна и неудобна всем, но завоевания и захваты выгодны одним капиталистам, а не рабочим. Только им и нужны новые земли для эксплуатации.

Но если пристально вдуматься в этот вопрос, то это окажется неверно. Когда страна приобретает новую землю, новый рынок для сбыта своих товаров, то выигрывает часто и весь народ. Расширяется спрос на труд, поднимается рабочая плата, получают более дешевые колониальные товары, -- вообще выигрывают все классы.

Да, слишком легкие объяснения по большей части бывают неверны. Народы были бы уж слишком глупы, если бы так легко шли на бойню из-за барышей одних капиталистов. Войны были задолго до того, как явились капиталисты. Война -- явление старое и глубокое, действительно еще зоологическое.

Есть на Средиземном море большой остров -- Корсика. О нем говорили еще недавно, что там редкий мужчина умирает своею смертью. На этом острове существует обычай родовой мести. За убийство или обиду платят убийством же. Мальчик осиротелой семьи, подрастая, знает, что на нем лежит "священная обязанность" убить такого-то. Иван убивает Петра, потому что Петр убил его отца. А Петр убил отца Ивана потому, что тот убил его брата. А если у убитого нет брата или сына, то должен отомстить дядя или племянник. И если начать розыски, -- кто начал эту непрерывную цепь убийств, -- то можно, пожалуй, дойти до Каина. Нет в отдельности ни правых, ни виновных, а виновны все, что до сих пор не сумели найти другого способа установить справедливость, кроме взаимного убийства, которое поэтому и тянется из бесконечного прошлого в будущее. Европа, если посмотреть на ее международные отношения, представляется такой же Корсикой. Нет в ней ни одного народа, который когда бы то ни было не воевал с другими народами. Нет ни одного, который бы в прошлом или настоящем не обидел другого народа и сам не потерпел бы обиды. Каждый народ при случае вспоминает, что его отечество вытерпело от других. И это правда. А другие вспоминают, что вытерпели от него. И это тоже правда. Все отечества складывались не по законам любви и правды, а зачаты в первородном грехе войны всех против всех. И оттого вышло, что одним народам просторно на белом свете, другим тесно. У одних есть хорошие земли, природные богатства. Другие оттерты и затеснены, им навязаны невыгодные договоры, и они вынуждены работать для других.

Если мы посмотрим на Балканский полуостров, с которого начался великий пожар, то увидим, что он похож на большую кладовую, в которую плохой хозяин -- история прошлых времен -- свалила кучи народов друг на друга без всякого соображения об их удобствах. Понятно, что они толкаются, теснят друг друга и грызутся.

То, что было на Балканах, было и во всей Европе, и вот почему, когда Австрия предъявила Сербии свой ультиматум (срочное требование), которого ни одно государство не могло бы принять, не теряя самостоятельности, то это и послужило сигналом общеевропейской свалки... Сначала у австрийских и германских социалистов хватило мужества признать, что австрийские требования невозможны.

-- Это вы первые нападаете, -- говорили они своим отечествам, -- вы совершаете преступление.

Но когда Россия, поняв это именно как объявление войны, стала мобилизовать войска, то правительства Германии и Австрии крикнули своим народам:

-- Россия собирается напасть на нас!

И все народы сразу почувствовали, что великая трагедия надвинулась, что некогда уже разбираться, кто, действительно, нападает первым, потому что все и всегда готовы напасть на всех... Под влиянием внешней опасности стихали распри, классовая борьба внутри прекращалась. Социалисты входили в состав общеклассовых правительств, чтобы показать, что теперь считают самым важным делом -- защиту отечества по заветам Бебеля и Жореса...

Бebelь в это время уже умер... Жореса почти накануне войны сразила пуля националиста-фанатика, не понимавшего, какой удар он наносит своему же отечеству...

Война разразилась.

IX

Тоска о мире и русский мирный призыв

Вскоре после Базельского съезда английский министр Венстон Черчилль сказал: "Никто не может предвидеть последствий общеевропейской войны. Она внесет такое разрушение в экономическую и национальную жизнь, что человечество вернется к варварству Средних веков. Когда-нибудь история напишет о нас: это поколение людей вдруг сделалось безумным и в порыве бешенства само истребило себя".

Это предсказание исполняется. Несчастливая Бельгия уже раздавлена, Сербия тоже, Румыния -- при последнем издыхании. Великие государства еще продолжают борьбу, но они истекают кровью.

Все чувствуют, что этому ужасу пора положить конец, и если теперь с какой-нибудь планеты можно было вслушаться в те стоны и вопли, которые несутся с преступной и несчастной земли, то во всех этих звуках слышался бы один общий вздох: мир! мир!.. Но старая Европа привыкла, что мир добывается только войной, чьим-нибудь окончательным поражением. Поэтому обе стороны, задыхаясь в свалке, говорят: "Мир настанет, когда мы победим!"

Середина Европы стоит против ее окраин. Германия и Австрия с помощью Болгарии и Турции надеются победить Россию на востоке, Англию и Францию на западе, Италию на юге. Выдающийся немецкий писатель-публицист Максимилиан Гарден писал в начале войны: "Мы дадим вам новое право, и вы вынуждены будете ему подчиниться". Так думали многие выдающиеся немцы. Германия уже смотрела на Европу как на свое имение, где строгий хозяин водворит выгодный ему порядок среди подчиненных.

Державы Согласия говорят, в свою очередь: для мира нужно, чтобы Германия -- самое заносчивое и воинственное из отечеств -- была побеждена. Нужно не только победить ее, но и обессилить, обескровить, обезденежить, как можно больше, чтобы она походила на

человека при последнем издыхании. Пока она отдышится, остальные народы вздохнут свободно, и она не сможет более грозить остальной Европе...

Так рассуждают политики. Но среди измученных и страдающих народов все чаще и чаще находят отголоски и другие мысли; можно ли решать такие вопросы без мысли о человечестве? Мир через войну, -- как новое убийство из родовой мести на Корсике, -- только удлинит вековую цепь общих преступлений, прибавит новое раскаленное звено в войне всех против всех. Балканский полуостров -- превосходный пример; кто поручится, что между союзными ныне великими державами не поднимется такая же свалка из-за добычи, какая поднялась между балканскими народами? Ведь война всегда рождает войну. В разгар Франко-прусской войны 1870 года, еще до окончательной победы немцев, немецкий профессор Бидерман говорил на студенческом празднике в Лейпциге: "Мы нанесем французской нации такое поражение, что она в течение целого человеческого поколения не сможет думать о войне. Мы достигнем этого, если позаботимся, чтобы и тело Франции стало несколько меньше" {Бибель. "Моя жизнь". Ч. II, вып. 1, с. 166.}. И это исполнилось. Немцы победили, наложили на Францию тяжелую контрибуцию и отхватили у нее две провинции.

Стоило это очень дорого. Уже тогда война была ужаснее всех предыдущих.

Усовершенствованные ружья косили сплошь целые батальоны. Прусский король писал своей жене: "Потери так огромны, что это отравляет радость победы". А в берлинской газете "Будущее" писали по этому поводу: "Перед бледным лицом смерти склоняются рожденные в пурпуре. Слишком далеко захватил ее серп, слишком обильна жатва" {Там же, с. 199.}.

Немецкие социалисты предупреждали свой народ против захватов. Но их не слушали. И вот те самые юноши-студенты, которые тогда рукоплескали Бидерману, стали отцами и дедами, и теперь их дети, внуки поят своей кровью те же поля Франции в войне, перед которой даже война 1870 года представляется уже игрушечной. И опять обе стороны говорят о контрибуции, о захватах, которые "должны ослабить тело противника". Какой же вырастет посев из этого нового семени и как глубоко захватит серп смерти в следующей войне, если Европа и теперь не сумеет прекратить международную войну всех против всех?

Этому вечному преступлению человечества нужно положить конец, нужно затоптать семя войны, и, быть может, именно теперь пришло для этого время. Неужели этого страшного урока не достаточно, чтобы отказаться от войны всех против всех и от старых способов решения международных вопросов? Ведь если и нынешние мирные договоры посеют только ненависть и жажду мести, то жатва созреет в виде новой войны, перед которой побледнеют и ужасы нынешней... И тогда уже наверное европейская культура погибнет в развалинах...

И вот наше отечество пытается сказать слово, которое должно заклясть демонов истребления, четвертый год бушующих над Европой...

Наше отечество вступило в войну рабом самодержавия. К концу ее оно подходит обескровленным, как все, может быть, более других обессиленным, но свободным. Оно пережило революцию, а во время таких переворотов народы приобретают иногда способность ясновидения. Они -- плохие дипломаты, но порой являются пророками. Россия предлагает мир без аннексий и контрибуций, т. е. без земельных захватов и карательных штрафов с чьей бы то ни было стороны.

Когда-нибудь этот кровавый сон минует. Люди оглянутся на эту войну, как на прошлое. Я не знаю, что тогда придется сказать о России... Дойдет ли наше отечество до конца свалки народов с сознанием правды, свободы и чести, или наши ошибки отдадут нас во власть внутренней анархии и внешнего завоевания, покрыв Россию позором? Это будет зависеть от наших собственных действий. Пока одно для меня несомненно: Россия сказала о мире важное слово, к которому Европе раньше или позже все равно придется вернуться.

Если бы, пример, на Корсике кто-нибудь раненный в свалке родовой мести крикнул своим друзьям и врагам: "Не надо мести! Все мы виновны в том, что терпим зверский обычай самоистребления", то это было бы то же, что русский народ говорит теперь всему миру. Хотелось бы верить, что когда-нибудь наши потомки будут гордиться: это наше отечество первое сказало среди звериной свалки истинно человеческое слово: "война -- трагедия", в которой виновны все народы перед высшим судом человечества. Поэтому не надо захватов и контрибуций. За общую вину не может быть ни казни, ни награды.

Я знаю: против этого восстанет много честных людей, любящих родину. Как? -- скажут они. -- Но разве Австрия не предъявила Сербии требования (ультиматума), которое социалисты ее и Германии единодушно признали первым вызовом? Разве не Германия напала на несчастную нейтральную Бельгию за верность международному договору? Как же после этого не сказать, что войну начала Австро-Германия, а остальные народы только обороняются?

Да, я тоже думаю, что на Германии лежит большая доля ответственности за самое начало войны. Ее внезапные успехи в войне на два фронта показывают ясно, что она готовилась долго и предумышленно. "У человека, который первый зажжет мировой пожар, -- сказал, если не ошибаюсь, англичанин Чемберлен, -- должно быть железное сердце". Да, железное сердце и безжалостный взгляд!.. В Германии, руководимой прусской военщиной, в этом недостатка не оказалось, и это она твердой рукой поднесла огонь к готовому костру мировой войны всех фронтов.

Но скажем правду: самый костер приготовлен не одними германцами. Одни больше, другие меньше, но все государства готовили десятилетиями горючий материал, и нет ни одного самого малого народа, который не притащил бы свою вязанку, как известная вдовица на костер мученика Гуса. И когда это опасное сооружение было готово, то политики всех государств ходили вокруг него, зорко высматривая, когда именно следует поджечь костер, чтобы это было наиболее выгодно их отечествам. Все они сочли бы преступлением, каждый для себя, пропустить удобный момент. У Германии расчет оказался вернее, рука тверже. Но это-то и нужно в войне всех против всех, пока она существует. И германцы подожгли костер в нужное для них время, чтобы другие не сделали этого тогда, когда им это будет неудобно.

В 1874 году, три года спустя после Франко-прусской войны, знаменитый прусский полководец Мольтке говорил в рейхстаге, защищая необходимость новых вооружений: -- То, чего с оружием в руках мы добились в полгода войны (Эльзас и Лотарингия), мы должны защищать оружием в течение полувека, чтобы оно снова не было у нас отнято! Полвека на исходе, а задача не выполнена. И после этого Европа думает опять о новых захватах, т. е. принимается за сооружение нового костра, чтобы опять кто-нибудь поджиг его в удобное для себя время!

Вот против чего предупреждает теперь голос России, пережившей переворот и одержимой припадком ясновидения: не надо захватов. Это сказала сначала русская демократия народам, потом подтвердило наше государство другим государствам как первую основу для мира.

За себя Россия отказывается от Константинополя и проливов, которые уже были обещаны нам нашими союзниками в случае победы и за которые пролилось немало союзнической крови... Правда, мы слышим то и дело, что Константинополь и проливы вовсе не нужны нашему народу, а нужны только капиталистам, торговцам и промышленникам. Но это совершенно неверно. Они нужны для нашей торговли и промышленности и для нашей государственной безопасности: владея проливами, мы стали бы хозяевами на Черном море и могли бы уничтожить постоянные траты на дорогой черноморский флот.

Поэтому совершенно ясно, что когда П.Н. Милюков, будучи министром, так упорно отстаивал эту обещанную нам долю будущей военной добычи, то он отстаивал ее не для одних капиталистов, но и для всего государства.

Да, но какой ценой досталась бы нам эта добыча? Захват рождает потребность, часто даже необходимость новых захватов. Не пришлось бы нам, как Германии, в течение десятилетий отстаивать его с оружием в руках? Пришлось бы, вероятно, думать о сухопутной связи Константинополя с нашей границей. В какие отношения это поставило бы нас с "малыми народами Балканского полуострова"? В нашем захвате лежали бы, наверное, зародыши новых приключений, нового соперничества, новых войн, как в Эльзасе и Лотарингии тлела нынешняя война, вспыхнувшая мировым пожаром.

Русскому призыву делают справедливые упреки в неясности и неопределенности: что считать аннексией и контрибуцией? Как быть с теми контрибуциями, которым Германия уже содрала по праву силы с занятых ею местностей? Как быть с разоренной вконец Сербией? Кто восстановит Бельгию, пострадавшую за верность договорам?..

Да, восставший народ плохой дипломат, и все эти упреки верны, если смотреть на русское обращение, как на дипломатическую ноту или проект международного закона. Но это ни то, ни другое. Это только бесповоротное осуждение международной войны всех против всех; рука примирения, протягиваемая во имя будущего.

Она осталась висеть в воздухе... Ее не приняли. Это, говорят, постыдно для нашего отечества.

Нет, это не постыдно. Напоминание о высших истинах человечности само по себе не приносит стыда. Принять протягиваемую нами руку или отвергнуть -- дело других, а мы отвечаем только за свои поступки и слова. И только от нашего собственного поведения зависит, во что обратится наш призыв. В великое дело или в ничтожные слова без значения и веса.

Кем сделан призыв? Какой-нибудь политической партией? Советом рабочих и солдатских депутатов? Частью армии, находящейся в Петрограде?

Тогда он стоит немного, во всяком случае, не более, а может быть, и менее, чем смелый протест немецких социалистов в 1870 году. Верная мысль, честное мнение, но оно не могло остановить войны ни тогда, ни впоследствии.

Лишь после того, как этот призыв повторен нашим правительством в международных нотах, он стал голосом России, который русское государство берет на себя поддержать на мирном совещании.

Но отсюда возникает новый вопрос огромного рокового для нас значения:

Много ли стоит теперь голос нашего отечества в совещании народов?

Х

Отечество и человечество. Урок русской революции

Да, это так. Своим призывом Россия взяла на себя заступничество за дело всего человечества. Не сепаратный мир с изменой союзникам, не мир во что бы то ни стало для себя, а основа прочного мира для всей Европы -- такова цель, выдвинутая русским призывом. Эта цель -- прекращение международной войны всех против всех, завершение великой работы человеческих объединений, которая в течение веков совершалась отечествами.

И вот когда русским социалистам приходится вспоминать заветы лучших вождей Интернационала: "думая о едином человечестве, не разрывайте с отечествами". Только через сильное отечество и мы можем теперь выполнить великую задачу. России нужна была сила для самозащиты в великой свалке народов. Она должна быть вдвое сильнее теперь, когда взяла на себя дело человечества.

В деле войны наше положение просто. Против нас наши враги, их штыки и пули. С нами -- наши союзники. Успехи последних в войне являются и нашими успехами. Их поражение

есть и наше поражение. Тут наши задачи общие. Содействовать им -- дело нашей чести, пока длится война, пока враги являются на деле торжествующими захватчиками. В конце войны стоит вопрос общего соглашения о мире.

Каковы будут его начала? Тут уже положение наше не так просто. Тут у нас есть сторонники даже среди врагов и есть несогласные даже среди союзников. Наши сторонники все те, кто верит в великую мечту о братстве народов, в близость и возможность ее осуществления. Против нас в этом деле все те, для кого мечта остается мечтой, неосуществимой и далекой, кто ищет мира только в окончательном поражении противника.

И вот голос России обращается и к врагам, и к союзникам в войне, к сторонникам и противникам в деле мира. Врагам она говорит:

-- Вы слышите: мы предлагаем мир без захватов, мы вперед отказываемся от возможной добычи и ищем новой основы для мирного сожительства народов после этой ужасной войны. Откажитесь и вы от захватов, и мир станет возможен.

И тоже мы говорим союзникам:

-- Мы сохранили и сохраним верность союзу в войне. Но революционная Россия на пороге свободной жизни услышала голос будущего единого человечества, и мы предлагаем новые основы для мира, который не породит новых войн. Протянем же друг другу руки и для этого святого дела. Только в нем истинное служение человечеству, достойное свободных народов.

В первый раз такие слова раздались под грохот войны от имени целого народа. Но ответ врагов пока слышен только в торжествующем громе немецких пушек. Смысл его ясен:

-- Вы отказываетесь от того, что еще не ваше. А вот Польша уже в наших руках. Мы прорвали ваш фронт и ведем свой народ к окончательной победе над вами. Мы отнимем у вас Прибалтийские провинции, запрем вас в Финском заливе, юго-западные ваши земли отдадим Австрии, Закавказье -- Турции. Мы вас покорим, унижим, свяжем, ослабим надолго и тогда посмотрим, что скажет наш народ, среди которого есть такие же смешные мечтатели о братстве народов, как и вы. Они замолчат надолго, как замолчали в 1870 году. Горе побежденным -- вот единственная мораль войны.

Таков суровый и ясный ответ воинствующей Германии. Воюющие с нею наши союзники, думающие тоже, что "горе побежденным" есть единственная мораль войны, -- могут ответить нам с горечью:

-- Кто это требует от нас отречения в случае победы? Это вы, русские республиканцы вчерашнего дня! Это голос вашей революции. Но не рано ли говорить о мире без захватов, пока торжествуют захваты общего врага? Его пушки гремят на вашей земле, как и на нашей. Что же сделала ваша революция для того, чтобы вырвать из вражеских рук Сербию и Бельгию, чтобы защитить хотя бы собственную землю? А без этого, что такое ваш призыв во имя человечества? Митинговое постановление, красивое газетное воззвание! На такие словесные упражнения отвечают тоже статьями. Их не обсуждают серьезно на советах народов, где силу речам придает сила отечеств.

А голоса единого человечества пока не слышно. Его еще нет. Его сторонники еще не в силах повлиять на решение своих отечеств и прежде всего Германии. Они только следят с бессильным сочувствием за тем, что сделает Россия для исполнения своей задачи. А это зависит от того, -- сумеем ли мы сделать Россию независимой, свободной и сильной прежде всего в войне, потом в мире? Поражение нашего отечества явится и их поражением, поражением еще раз прекрасной человеческой мечты.

Путь к миру долог и труден, путь к нашему миру еще труднее. Он пролегает по крутой и стремистой тропе между двумя безднами. На одной стороне национальное себялюбие и захваты, грозящие новой международной враждой. На другой -- поражение нашего отечества, гибель свободы, бессилие...

И вот, все сторонники нашего призыва следят с затаенным дыханием, дойдет ли Россия твердой поступью до конца, или она оступится и свалится в бездну, зияющую у ее ног...

На глазах у всего мира Россия уже дрогнула... "Граждане, -- обращается к нам наше революционное временное правительство. -- Настал грозный час. Войска германского императора прорвали фронт русской революционной армии. И это страшное дело было для них облегчено легкомыслием одних и предательством других".

И все мы уже знаем, что это страшная правда. После революции Россия не стала сильнее в защите родины. Она терпит поражение за поражением.

Отчего?

Я знаю, есть много людей, склонных к простым и легким объяснениям: вредят защите предатели, подкупленные немецким золотом.

Ах, если бы дело было только в этом! Тогда и борьба была бы проще. Стоило бы проследить, по какому руслу течет немецкое золото, и наша слабость прекратилась бы. Но это не так: беда не в одних немецких деньгах, и, может быть, в них менее всего. Главная причина болезни нашего государственного организма не в одном коварстве врагов, но и в наших собственных всенародных ошибках. Скажем прямо: в том, что, заглядевшись в сторону будущего единого человечества, мы забыли об отечестве.

Мы не поняли урока собственной революции. Почему, в самом деле, еще в 1906 году нельзя было заикнуться о республике, а московское восстание армия с такой жестокостью потопила в крови?.. И почему 27 февраля 1917 года те же полки пришли с красными знаменами приветствовать революцию?

Значит ли это, что с тех пор Россия успела из монархической превратиться в республиканскую, что монархию победила республика?

Незачем обольщаться. В десять лет не создаются в народе ни республиканские убеждения, ни республиканские нравы. Народ так же мало знает о республике теперь, как и в 1905 году. У нас республика не потому, что мы стали республиканцами, а лишь потому, что сразу перестали быть монархистами.

В минуту страшной опасности для отечества Николай II не захотел и не сумел объединить народ для борьбы и защиты. Этим он поднял против себя народное чувство, великое, как море, сильное, как буря... То самое чувство, о котором говорили поэты -- счастливы Жуковский и Лермонтов и несчастливец Якубович, которое заставляет старого казака при виде огня над степью бессознательно искать копые и коня, чтобы скакать на защиту.

Любовь к отечеству в опасности -- вот что объединило против царя весь русский народ и вот почему армия от генерала до новобранца без колебаний перешла на сторону революции... Чувство отечества сделало тогда Россию единой, сильной и непобедимой в борьбе с царской властью...

Вот в чем великий и ясный урок нашей революции: ее сила была в единстве.

Что же дальше? Царь пал. Россия осталась. Опасность для отечества так же велика, задачи его защиты перешли к революции... И мы видим; страна ослабела... Как будто в рабстве была сила, как будто свобода принесла слабость.

Не ясно ли, что есть какой-то внутренний источник слабости, какое-то глубокое расстройство в нашем настроении и мысли, грозящие гибелью нашей свободе, прежде всего свободе от внешнего порабощения.

Война -- дело тяжелое, трудное и страшное. В каждой думе, в русской, быть может, особенно, она родит невольное содрогание и ужас. Но, раз сознав ее трагическую неизбежность, мы, русские, умели умирать и побеждать, защищая родину. Неужели не умеем теперь, когда защищать приходится не царскую, а свободную Россию?

Защита родины в войне -- требует всенародного подвига. Подвиг требует единой мысли, единого чувства, общего порыва.

"На миру смерть красна", -- говорит меткая русская пословица, рожденная, наверное, во время войны. Но в этом великом и страшном деле нужно чувствовать себя частицей единого мира, нужно сознавать, что он с тобою. Ты заменяешь павшего, а на смену тебе идут другие в неудержимом порыве. Только тогда из рядов обыкновенных людей

выдвигаются герои, как Арнольд Винкельрид, готовые умереть первыми за общее дело, а за ними идут другие, закрепляющие их подвиги.

Теперь у нас нет этой цельности и этого порыва. В самую роковую минуту своего существования Россия охвачена нерешительностью и безволием. "К призыву, казалось, несомненному и непререкаемому, -- говорила недавно одна из самых левых газет, -- значительные слои нашей демократии относятся одни стыдливо и несмело, другие прямо враждебно".

Можно ли сделать более ужасное, более грозное признание?

"Стыдливо, несмело, прямо враждебно" относимся мы к призыву защиты родины в минуту смертельной опасности.

Чувство отечества умалилось, оно почти умирает в революционной России... Но чувство часто зависит от мысли, а в нашу революционную мысль закралась роковая ошибка, которая вносит нерешительность и колебание в наши действия, ослабляет нас, обессиливает, делает то, что по трудной тропе к будущему миру Россия идет над двумя безднами нетвердой, шатающейся походкой...

Ни один народ никогда еще не сказал такого решительного слова в пользу единого человечества, как это теперь сказала Россия. Но и ни один народ еще не совершал такого греха против собственной родины... Если для нас есть еще возможность спасения, то оно в глубоком сознании этой великой ошибки, этого преступления-неблагодарности.

Правда, тут мы опять расплачиваемся за грехи нашего долгого рабства. Наш народ слишком долго был отделен от интеллигенции, слишком долго жил без общественной мысли. В свою очередь, демократическая интеллигенция слишком долго жила со своей уединенной мыслью, без ее применения вместе со своим народом. Теперь, когда стена насилия рухнула, революционная интеллигенция волею судьбы поставлена во главе всенародного движения. Со всеми заслугами долгой борьбы, со всеми недостатками уединенной мысли, она сразу стала мозгом своего народа, его мыслью, определяющей волю.

И вот, вместе со многим нужным и полезным для новой жизни народа часть ее принесла с собой также предрассудок против отечества...

Этот предрассудок состоит в том, что между отечеством и человечеством есть непримиримое противоречие, что можно служить человечеству помимо отечества, что для этого нужно даже отказаться от него.

И вот то, что вначале придало нашей революции такое единство, такую неодолимую силу, зашаталось и исчезло... Центр всенародного чувства, отечество, перестало служить объединению. Сказав важное слово в пользу человечества, многие из нас решили, что этим сделано все, что слово уже стало плотью, что единое человечество уже стало действующей силой и что оно освобождает нас от трудной работы для собственной родины и свободы. Мы вообразили, что слова достаточно и что нам остается только войти в храм будущего человечества, где нас ждет счастливое будущее без труда и усилий.

И народ поверил благой вести, тем более, что она освобождала его от трудного подвига и интересы отечества заменила непосредственными классовыми интересами.

Страшная, роковая ошибка, та самая, в которую так часто впадало прежнее патриотическое самохвальство. Мы вообразили, что стали уже во главе движения всего передового человечества одним тем, что отрешились от собственного отечества.

Но простым отрицанием ничто не создается... Мы видели, что до сих пор отечества остаются еще вершиной человеческих объединений. Не отказываться от отечества, не разрушать эти ковчеги будущего единства, а сделать их независимыми и сильными, справедливыми и свободными, готовыми к новым объединениям, -- такова задача, ясно определившаяся на всех интернациональных съездах.

Но мы пошли обратным путем, и в конце этого пути гибель... Отрекаясь от достигнутых уже человечеством великих объединений, мы идем не вперед, а назад, от единства к

распаду... На этом пути нас ждет еще одно чудовище, обозначаемое еще одним иностранным словом, с которым России тоже придется, на свое несчастье, познакомиться. Это слово -- анархия.

В прямом смысле это -- безвластие. Это потеря страной того руководящего центра объединяющей всенародной воли, который придает стройность и живое единство всем отдельным стремлениям. Стоит ему исчезнуть окончательно, стоит утвердиться гибельной мысли, что родина не нужна, что она не дело всего народа, а только дело каких-нибудь классов, -- жизнь всей страны повернет назад. Вместо трудной и великой работы творчества новой жизни начинается простой распад. Сначала на области, потом на сословия и классы по отдельным, ничем не согласуемым интересам... За этим следует междоусобие, а за ним простая разнузданность худших инстинктов, открытый взаимный грабеж и разбой.

В конце этого страшного разложения, этой болезни, может быть, умирания живого отечественного организма, -- возвращение к седому мрачному прошлому... Анархия -- это война всех против всех в среде самого отечества...

Я не знаю, удалось ли мне выполнить задачу, которую я поставил себе в начале своих очерков, -- говорить о важнейших вопросах нашего времени общепонятно сразу для образованных и малопросвещенных людей. Но, если я успел хоть отчасти выяснить главную мысль этих очерков, если они способны зародить сомнение в правильности слишком узких мыслей, если они обратят некоторые умы к сознанию важности отечества, пробудят в некоторых сердцах старое, святое, законное чувство ответной любви к родине, то я буду считать, что я не даром думал над этими мучительными вопросами нашего страшного времени.

Август 1917 года

КОММЕНТАРИИ

52. Судьба распорядилась таким образом, что начало первой мировой войны застало Короленко и его семью в Ларденнах, местечке под французской Тулузой, неподалеку от испанской границы. Более 10 тревожных военных месяцев пришлось провести писателю вдали от родины. "...Я прислушиваюсь к отголоскам европейской катастрофы, -- писал о себе в те месяцы Короленко, -- наблюдаю ее отражение на юге Франции и мучительно думаю о величайшей трагедии, мучительно, страдательно и преступно переживаемой европейским человечеством XX века..." (Короленко С.В. Книга об отце, с. 256).

Происходившее в отдаленном уголке Франции Короленко прекрасно отобразил в своем очерке "Пленные" (см.: "Русские записки", 1917, No 2--3 или "Подвиг". Вып. 38. М., 1991, с. 187-192). В очерке Короленко звучат те характерные ноты, которые свойственны всем его публицистическим выступлениям на тему войны -- восприятие ее как "огромного несчастья, налетавшего на людей без их желания и ведома", как "печальной, ужасной и преступной необходимости", оценка феномена войны с точки зрения общечеловеческих критериев и патриотизма, утверждение непреложности и в военную пору нравственных ценностей сострадания и милосердия. В марте 1915 года Короленко приступил к написанию серии статей "Перед пожаром", в которой хотел выразить свои мысли и впечатления о мировой войне. Но на обратном пути в Россию на одной из железнодорожных станций у него украли чемодан, в котором находились скрупулезно собранные материалы, дневниковые записи, наброски, предназначавшиеся для написания цикла статей. Писатель пробовал искать чемодан, задержавшись для этого в Бухаресте, но все было тщетно. В итоге возвращение в родную Полтаву 12 июня 1915 года было омрачено невозполнимой утратой, вся тяжесть которой выяснилась только со временем: лишь через 8 месяцев после возвращения в Россию в печати стали появляться статьи и

заметки писателя на военные темы. В этих статьях Короленко вновь призывал следовать заветам терпимости и возвысил голос против проявлений в стране "торжествующего национализма".

Центральным же звеном публицистики Короленко на тему мировой войны, безусловно, является его статья "Война, отечество и человечество", написанная им в июле-августе 1917 г. В этой статье, названной вначале автором "Трагедия войны и отечества", писатель выразил в общедоступной доходчивой форме те мысли и тревоги, которые занимали его еще во Франции и обострились после возвращения в Россию. Основную направленность своего замысла Короленко изложил следующим образом при посылке статьи члену редакции "Русских ведомостей" В.А. Розенбергу: "Как видите, я до известной степени интернационалист и сочувствую обращению с предложением мира без аннексий и контрибуций. Но мысль моя такова: нам предстоит или слава великого почина в пользу мира для всего человечества (приблизительно так), или бесславие и позор. И это зависит от дальнейшего отношения к отечеству. Человечества единого еще нет. Для него приходится работать через отечество. Если мы изменим отечеству, не сумеем защитить его, то погибнем и надолго затормозим дело самого человечества" (Негретов П.И. Указ. соч., с. 25). Статья была впервые напечатана в газете "Русские ведомости" (1917, № 186, 188, 191, 194, 196, 15-27 августа). Она вызвала широкий общественный резонанс (переписку по этому поводу см.: ОР РГБ, ф.135/II, к. 38, д. 117-132) и вскоре была издана огромным для того времени тиражом. Как и в случае с "Падением царской власти", Короленко разрешил льготные условия издания своего произведения. 19 сентября 1917 г. он сообщал П.С. Ивановской: "...Приходилось отвечать на предложения об издании новой брошюры, и нужно было обсудить этот вопрос. Теперь мы порешили: разрешаем опять многим, хотя и не неограниченно. Этот раз я от гонорара не отказываюсь и установил для всех одинаковые условия: авторский гонорар 10%" (Короленко В.Г. Письма к П.С. Ивановской, с. 265). В итоге статью перепечатали газеты "Право народа" и "Голос народа", выдержала она и 11 изданий отдельной брошюрой, причем сделано это было трижды в Москве, а кроме того, в Киеве, Иркутске, Самаре, Саратове, Ставрополе, Харькове и дважды за границей -- в Берне и Лозанне. Последние из выпусков брошюры увидели свет в Ставрополе в 1918-м и в Харькове в 1919 году. В настоящем издании публикуется по: Короленко В.Г. Война, отечество и человечество (Письма о вопросах нашего времени). Издание, дополненное автором. М., "Совет Всероссийских Кооперативных съездов", 1917, с. 1--48.

Судьба данной статьи Короленко, как и многих других его публицистических произведений 1917--1921 гг., сложилась несчастливо. Получив широкое общественное признание в 1917 году, она стала вскоре крамольной, была предана забвению и пришла к российскому читателю с небольшими сокращениями лишь в 1991 г. (см.: Подвиг. Вып. 38, с. 192--209). Истоки такого забвения проясняет отношение к статье В.И. Ленина, обратившего на нее внимание в июне 1919 года. Просматривая "Книжную летопись" изданий 1917--1919 гг., он попросил В.Д. Бонч-Бруевича доставить ему брошюру со статьей Короленко в ряду других книг, и вскоре это поручение было выполнено. Свою оценку статьи Ленин дал в письме к А.М. Горькому 15 сентября 1919 года: "Интеллектуальные силы" народа смешивать с "силами" буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 1917 г., брошюру "Война, отечество и человечество". Короленко ведь лучший из "околокадетских", почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистской войне -- дело, заслуживающее поддержки (делами, при слащавых фразах "против войны"), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики.

Нет. Таким "talантам" не грех посидеть недельки в тюрьме... Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г..." (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 48). В письме Ленина, содержащем довольно оскорбительные отзывы личности Короленко, поражает явный перехлест в обвинениях писателя в "мерзкой" защите "империалистской войны", очевидное упрощение его взглядов. Здесь сказалось неприятие Лениным критики писателем "большевистского пораженчества" и его выступлений в защиту патриотизма в ходе войны.

53. Белбог и Чернобог -- в балтийско-славянской мифологии боги, приносящие соответственно счастье, добро и несчастье, зло.

54. Ормузд (реже Ормазд) -- употребительное в европейской литературе имя высшего божества древних иранцев, творца неба, земли и людей. Древние греки воспринимали Ормузда как источник всего доброго, возникшей из чистейшего света. Противоположное Ормузду злое начало воплощено в образе злого духа Аримана, главы злых божеств. В древней иранской религии Ариман стоит всегда ниже Ормузда и всегда побеждается последним.

55. Винкельрид Арнольд -- крестьянин из Станса, благодаря которому швейцарцами была достигнута победа в битве при Земпахе (1386 г.) над герцогом Леопольдом Австрийским. Некоторые историки, правда, считают, что Винкельрида не существовало и что его героическая смерть лишь красивая легенда.

56. Якубович Петр Филиппович (псевдоним Л. Мельшин) (1860--1911) -- участник революционного народнического движения, приговоренный на "процессе 21-го" к смертной казни, замененной 18 годами каторги, поэт, беллетрист, переводчик. Как прозаик стал известен под псевдонимом Л. Мельшин своими очерками "В мире отверженных". С 1895 г. -- сотрудник журнала "Русское богатство", с 1904 г. -- член редакции этого журнала. Короленко был очень близок с Якубовичем, назвав его однажды "петербургский мой друг" (Короленко В.Г. Собр. соч. В 10-ти т., т. 10, с. 318). В архивах сохранилась переписка Короленко с Якубовичем и членами его семьи.

57. Прудон Пьер Жозеф (1809--1865) -- французский социалист, теоретик анархизма.

58. Бетман-Гольвег Теобальд (1856--1921) -- германский государственный деятель, в 1909--1917 гг. рейхсканцлер Германии. Сыграл активную роль в подготовке и развязывании первой мировой войны.

59. Конгрессы II Интернационала, основанного в 1889 г., на которых обсуждались, в частности, проблемы войны и мира, проходили соответственно: пятый (Париж, 23--27 сентября 1900 г.), шестой (Амстердам, 14--20 августа 1904 г.), седьмой (Штутгарт, 18--24 августа 1907 г.), восьмой (Копенгаген, 28 августа -- 3 сентября 1910 г.), девятый (Базель, 24--25 ноября 1912 г.). С началом первой мировой войны II Интернационал фактически прекратил свое существование. Подробное освещение Короленко решений II Интернационала прекрасно иллюстрирует тот постоянный интерес, который он долгие годы проявлял к проблемам социалистического движения и вопросам теории социализма.

60. Эрве Гюстав (1871--1944) -- французский политический деятель, с 1905 г. возглавлял ультралевое антимилиитаристское направление во французской социалистической партии. На Штутгартском конгрессе II Интернационала пропагандировал идеи отказа от мобилизации и восстания в ответ на любую войну. В 1914 г. перешел на позиции буржуазного шовинизма. В 1930-е гг. сторонник национал-социализма.

61. Бебель Август (1840--1913) -- один из основателей и руководителей германской социал-демократии и II Интернационала. На Штутгартском конгрессе II Интернационала в своей позиции по отношению к войнам исходил из их деления на наступательные и оборонительные.

62. Жорес Жан (1859-1914) -- один из наиболее видных деятелей французского и международного социалистического движения, постоянно выступал против милитаризма и угрозы войны. Убит 31 июля 1914 г. французским шовинистом Р. Вилленом.

63. Здесь Короленко допущена ошибка: за четыре года до войны конгресс II Интернационала проходил в Копенгагене, а не в Штутгарте.
64. Статья Короленко не может не поражать своей созвучностью с нынешним временем. Представляя собой яркий публицистический гимн патриотизму, любви к Родине, обязательности защиты ее интересов, она как бы отвечает на вновь распространившиеся сегодня ошибочные и опасные представления, что общечеловеческие ценности должны стоять выше национально-государственных интересов той или иной страны, что служить человечеству можно помимо Отечества и даже отказавшись от него, что патриотические чувства можно считать устаревшими и низменными, что всякий "интеллигентный человек" должен быть прежде всего "гражданином мира", а не своей Родины, что можно с легкостью перечеркивать целые периоды своей отечественной истории, неустраивающие кого-либо по различным причинам, и т.д. Вслед за писателем мы можем и сегодня повторить его слова, как будто они написаны о происходящем на наших глазах: "По-видимому, теперь много ошибок уже создано, и из них главная: непризнание важности "отечества". Загипнотизированные пошлостью расхожего "патриотизма", мы отвергли и всякий патриотизм во имя будущего единого человечества. За это приходится всей России платить" (Былое, 1922, No 20, с. 8.). И 85 лет спустя после написания "Войны, отечества и человечества" почти тот же загадочный "сфинкс глядит теперь в глаза русскому народу на дороге к его близкому будущему", "глядит и задает вопросы и говорит: "разгадывайте сообща... а не найдете общей разгадки, -- погибнете". А вопросы эти все те же: об удивительной одухотворяющей силе патриотизма, в условиях "подъема" которого "народ способен творить чудеса", о значимости общечеловеческих ценностей, которые не должны, однако, затмевать собою интересы Отечества и наносить ему урон, о необходимости всегда быть наготове к защите Родины, о недопустимости развала армии и заражения ее бациллой "демократии раздора", об исключительной опасности анархии, которая надвигается на нас сегодня почти так же, как она надвигалась на Россию в 1917 году.
65. Фольмар Георг (1850--1922) -- один из лидеров оппортунистического реформистского крыла в Социал-демократической партии Германии, долгие годы был депутатом рейхстага. Сторонник идей "государственного социализма", союза либералов и социал-демократов.
66. Вальян Мари Эдуард (1871--?) -- член Парижской коммуны 1871 г., заочно приговоренный к смертной казни, руководитель бланкистской фракции французских социалистов в 80-е гг. XIX в., затем умеренный социалист.
67. Брантинг Карл Яльмар (1860--1925) -- шведский политический и государственный деятель, один из основателей и лидеров Социал-демократической партии Швеции и II Интернационала. В 1920, 1921-1923, 1924-1925 гг. -- премьер-министр Швеции.
68. Вандервельде Эмиль (1866--1938) -- бельгийский политический деятель, правый социалист. С 1900 г. -- председатель Международного социалистического бюро II Интернационала. 4 августа 1914 г. вошел в буржуазное правительство, впоследствии неоднократно занимал посты министра иностранных дел и министра юстиции Бельгии. После Февральской революции приезжал в Россию для агитации за продолжение войны.
69. Во время проведения Базельского конгресса II Интернационала на Балканах разгоралась так называемая первая Балканская война (9 октября 1912--30 мая 1913 г.), в которой против Турции воевали Болгария, Греция, Сербия и Черногория. После ее окончания вспыхнула вторая Балканская война (29 июня -- 10 августа 1913 г.), на этот раз между Болгарией, с одной стороны, Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией, с другой. Балканские войны привели к обострению ситуации в Европе, ускорив развязывание первой мировой войны.
70. Семилетняя война проходила с 17 августа 1756 г. по 4 февраля 1763 г. В ее ходе против Пруссии, Великобритании и нескольких германских государств выступали Австрия, Франция, Россия, Швеция, Саксония и большинство германских государств. В результате войны особых результатов добились Великобритания и Пруссия.

71. Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874--1965) -- английский государственный деятель, с 1911 по 1915 г. морской министр Великобритании, в 1917--1918-м -- министр военного снабжения, в 1918--1921 -- военный министр и министр авиации. Премьер-министр Великобритании в 1940--1945, 1951--1955 гг. Автор целого ряда книг историко-мемуарного жанра.

72. В данном месте статьи Короленко выразил свое тяжелое предчувствие тех колоссальных жертв и потрясений, которые может дать Европе и миру "следующая война", вырастающая из семени захватов и контрибуций, шаткости системы мирных договоров. Перед второй мировой войной действительно "побледнели" ужасы первой, только, к счастью, европейская культура все же уцелела, не "погибнув в развалинах".

73. К величайшему прискорбию, буквально через несколько месяцев после написания Короленко статьи начало сбываться и его предвидение ошибок, которые могут "отдать" нас "во власть внутренней анархии и внешнего завоевания, покрыв Россию позором", -- прогремел очередной разрушительный революционный взрыв, одним из последствий которого стала оккупация огромной территории России немецкими войсками.

74. Короленко мог иметь здесь в виду одного из братьев Чемберлен -- Невилла (1869--1940), ставшего впоследствии (1937--1940 гг.) премьер-министром Великобритании, или Остина (1863--1937), занимавшего посты ряда министров Великобритании в 1902--1929 гг.

75. Туе Ян (1371--1415) -- национальный герой чешского народа, проповедник, идеолог Чешской реформации. Сожжен как еретик на костре.

76. Мольтке Хельмут Карл Бернхард (1800--1891) -- прусский и германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1871), военный теоретик. Был фактическим главнокомандующим Пруссии в войнах с Данией (1864), Австрией (1866) и Францией (1870-1871).

Великая Отечественная война

А. Фадеев. Об авторе

Александр Александрович Фадеев - руководитель Союза писателей СССР родился 24 декабря 1901 года.

Александр Фадеев родился в небольшом уездном городке Кимры Тверской губернии. Его отец - Александр Иванович, - в молодости увлекшийся революционными идеями, был родом из бедной крестьянской семьи. С 1885 года он попадает на заметку властям и начинает новую жизнь, полную скитаний, невзгод и постоянных преследований. В 1892 году он приезжает в Петербург и становится одним из активных участников Санкт-Петербургской группы народолюбцев. Спустя два года полиция арестовывает его и помещает в Петербургскую тюрьму. Там в один из дней 1896 года по просьбе Политического Красного Креста его навещает 23-летняя слушательница Петербургских фельдшерских курсов Антонина Владимировна Кунц (из обрусевших немцев). Молодые понравились друг другу, и когда Фадееву объявили приговор - пять лет ссылки в отдаленном северном городке Шенкурске, - Антонина Кунц отправилась туда вместе с ним. В июне следующего года они обвенчались.

Александр Фадеев с самого детства рос одаренным ребенком. Ему было около четырех лет, когда он самостоятельно овладел грамотой - наблюдал со стороны, как учили сестру Таню, и выучил всю азбуку. С четырех лет он начал читать книжки, поражая взрослых неумемной фантазией, сочиняя самые необычайные истории и сказки. Его любимыми писателями с детства были Джек Лондон, Майн Рид, Фенимор Купер.

Родители Саши воспитывали своих детей в любви и уважении к труду. Вот как напишет позднее сам Александр Фадеев: «Мы сами пришивали себе оторванные пуговицы, клали заплатки и заделывали прорехи в одежде, мыли посуду и полы в доме, сами стелили

постели, а кроме того - косили, жали, вязали снопы, пололи, ухаживали за овощами в огороде. У меня были столярные инструменты, и я, а особенно мой брат Володя, всегда что-нибудь мастерил. Мы всегда сами пилили и кололи дрова и топили печи. Я с детства умел сам запрячь лошадь, оседлать ее и ездить верхом...»

Однако семья Фадеевых жила в большой нужде, и когда встал вопрос о том, чтобы старший сын Александр продолжил свое образование (сельская школа этого не позволяла), было решено отправить его во Владивосток, к тетке, которая была начальницей мужской прогимназии. Так осенью 1910 года Фадеев стал учеником Владивостокского коммерческого училища. Довольно скоро Александр Фадеев выбился в лучшие ученики (даже заработал похвальную грамоту от дирекции), стал посещать литературный кружок при училище (за свои короткие рассказы и стихи он получил несколько премий). Жил он у тетки; однако, чтобы не стеснять ее в средствах, вынужден был в 1914 году (в 13 лет!) зарабатывать себе на жизнь самостоятельно - он устроился репетитором и стал давать частные уроки отстающим ученикам, совмещая эту работу с занятиями в училище.

В романе «Разгром» (1927), отразившем личные впечатления Фадеева, участника партизанского движения на Дальнем Востоке, — попытка показать «изнутри» превращение стихийных бунтарей в сознательных борцов за революционное дело. Гражданской войне посвящен также роман «Последний из удэге» (ч. 1-4, 1929-40; не окончен). Роман о комсомольцах-подпольщиках в годы Великой Отечественной войны «Молодая гвардия» (1945; новая редакция 1951, переработан в соответствии с идеологическими установками ЦК КПСС) создан на документальном материале, претерпевшем в интерпретации Фадеева искажения. Статьи о литературе. Один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП, 1926-32). Генеральный секретарь Союза писателей СССР (1946-54). Член ЦК КПСС с 1939. Покончил жизнь самоубийством.

В своем предсмертном письме Александр Фадеев обвинил ЦК КПСС в уничтожении лучших кадров литературы, «физически истребленных благодаря преступному руководству», высказал полное недоверие партийному руководству не только литературным процессом, но и страной в целом. Содержание письма Фадеева долгие годы скрывалось и стало известно только в конце 1980-х годов в связи с начавшейся эпохой гласности. (Энциклопедия Кирилл и Мефодий)

17 марта 1921 года Александр Фадеев получил тяжелое ранение во время штурма мятежного Кронштадта

«Съезд открылся 8 марта, а накануне его открытия вспыхнул мятеж в Кронштадте. На его подавление была брошена 7-я армия под командованием М. Тухачевского, а вскоре к ней присоединилась и часть делегатов съезда. Во время этих боев Александр Фадеев едва не погиб. Он получил тяжелое ранение и долго пролежал без всякой помощи на льду Финского залива, потеряв много крови. Но врачам в госпитале, куда его затем доставили, удалось спасти ему жизнь. (Стоит отметить, что участие Фадеева в этой военной операции будет отмечено орденом боевого Красного Знамени.)

В госпитале Александр Фадеев пролежал несколько месяцев. Но времени даром не терял - прочитал гору всяких книг, начиная от произведений утопических социалистов и заканчивая Лениным и Блоком. Там же Фадеев влюбился в одну из медсестер, и хотя его чувство так и осталось неразделенным, в сердце будущего писателя оно оставило след на всю жизнь. Время, проведенное в госпитале, он всегда будет вспоминать как один из самых прекрасных периодов своей жизни».

3 декабря 1947 года вышла редакционная статья в газете "Правда" с критикой романа Александра Фадеева "Молодая гвардия".

«На самом деле многие события, описанные Фадеевым в «Молодой гвардии», оказались далекими от правды. Сам Фадеев, создававший свое произведение по горячим следам

событий, естественно, этого предугадать не мог. Как правоверный коммунист он находился в плену царившей в те годы в стране идеологии и отступить от нее не имел права. Да и не для того он садился за этот роман, чтобы на его основе выносить суд истории. В чем же он был не прав? Каждый из критиков предъявлял ему свой счет. К примеру, Иосиф Сталин, который рукописный вариант романа принял с восторгом, после его экранизации вспылал совсем иными чувствами. Он разглядел страшный изъян - полное отсутствие и в книге, и в фильме руководящей роли партии. Получалось, что молодогвардейцы совершали подвиги исключительно по своей инициативе. Сталина это возмутило. Как гласит одна из легенд, однажды он вызвал к себе на дачу Александра Фадеева. Когда тот вошел в кабинет генсека, Сталин сидел за столом и что-то читал. Наконец он поднял глаза на гостя и, смерив его своим колючим взглядом, неожиданно спросил:

- Вы, товарищ Фадеев, кто?

Александр Фадеев похолодел. Он явственно почувствовал в этом вопросе какой-то подвох, но какой именно, никак не мог сообразить. Между тем пауза затягивалась, и Фадеев понимал, что его молчание только усугубляет ситуацию. Наконец он ответил:

- Я писатель, товарищ Сталин.

Как оказалось, тот ждал именно такого ответа. Потому что он смерил гостя презрительным взглядом и произнес:

- Вы говно, товарищ Фадеев, а не писатель. Писатель - это Чехов Антон Павлович, - и Сталин похлопал ладонью по раскрытой книге, которая лежала перед ним на столе. - Мало того, что вы написали беспомощную книгу, вы написали еще идеологически вредную книгу. Вы изобразили молодогвардейцев чуть ли не махновцами. Но разве могла существовать и эффективно бороться с врагом на оккупированной территории организация без партийного руководства? Судя по вашей книге - могла.

Сталин выдержал паузу, видимо, надеясь, что Александр Фадеев сделает попытку защищаться. Но тот молчал, стиснув зубы и сжав кулаки. И тогда Сталин раздраженно махнул рукой и произнес:

- Идите и думайте, товарищ Фадеев.

После этой аудиенции многочисленные критики, как по команде (а такая команда действительно была дана из Кремля), обрушились на роман. Кульминацией этих событий явилась редакционная статья в «Правде» от 3 декабря 1947 года. После этого Александр Фадеев вынужден был сесть за переработку первого издания». Федор Ибатович Раззаков. Александр Фадеев покончил жизнь самоубийством 13 мая 1956 года после разоблачений, сделанных на XXII съезде КПСС, он тогда был секретарем Союза писателей.

А. Фадеев. Залог победы

В отличие от гитлеровской Германии Советский Союз и его союзники ведут войну освободительную, справедливую, рассчитанную на освобождение поработанных народов Европы и СССР от гитлеровской тирании". (Сталин)

Советский народ ведет тяжелую, кровопролитную войну, какую только знало человечество.

Эту войну навязал нашему народу и всему миру кровожадный германский фашизм. В интересах обогащения кучки империалистических разбойников Гитлер поработил более десятка народов Европы, обрек на горе и голод германский народ, погубил миллионы жизней людей разных наций, уничтожил многовековые культурные ценности человечества.

Теперь стало ясно всем мыслящим людям, что победа гитлеризма в этой войне несет с собой смерть, рабство, всеобщее обнищание и низведение человека — творца жизни — до уровня двуногого скота.

За 24 революционных года люди в нашей стране — в прошлом одной из самых отсталых, задавленных — обрели общественное и личное достоинство, показали, что десятки народов могут жить в духе уважения друг к другу, в духе национального братства. Враг, коварный и злобный, угрожает народам нашей страны.

Все люди нашей страны от мала до велика — русские, белорусы, татары, армяне, евреи, азербайджанцы, — все должны ясно видеть, что надо напрячь все силы на фронте, в тылу, если не хотим погибнуть.

Сколько бедноты и нищеты было в старой России! Какое количество рабочих ютилось в сырых и мрачных подвалах, страдало от безработицы, не имело завтрашнего дня!

Крестьяне мучились от безземелья. В неурожайные годы физически вымирали сотни тысяч крестьян, особенно детей. Интеллигенцию подкупали, развращали ее квалифицированные кадры, к ее демократическим слоям — учителю, фельдшеру и служащему относились с презрением. Личность человека была унижена. Урядник и пристав безнаказанно могли бить рабочего человека по лицу. Миллионы детей не имели доступа к образованию и просвещению.

Всякий гнет тяжек, но особенно тяжек гнет помещика и капиталиста, когда он сочетается с гнетом национальным. Двойной гнет хорошо испытали на своей спине старшие поколения татар, казахов, башкир, чувашей, мордвинцев в условиях старой России.

Но двойной гнет старой России меркнет перед тем гнетом, который несет фашистская Германия. Она ведет с собой самых бездушных, страшных эксплуататоров — немецкую чиновничью бюрократию немецких князей и баронов, фашистских мракобесов.

Что такое немецкий чиновник, немецкий империалист, немецкий помещик? В России это тоже знают старшие поколения наших рабочих, крестьян, интеллигентов.

Русские цари были в родстве с германской аристократией. В течение многих лет в правящем чиновничестве России, связанном с помещиками, представлявшем их интересы, немалую роль играли немцы. Немецкие помещики владели десятками тысяч десятин земли во всей России. На шее латышских, эстонских крестьян сидели остзейские бароны. Не было силы более бездушной, методической к высасыванию соков народных, более угнетающей, презирающей нашу страну, наши народы, чем эта кучка немецких разбойников! Такие гении русской литературы, как Лермонтов, Герцен, Лев Толстой, посвятили этим господам немало своих самых гневных, изобличительных строк.

Эту страшную силу, еще более страшную теперь, когда она пришла, к своему полному вырождению, к человеконенавистничеству, хочет посадить на шею русских, украинцев, белорусов, эстонцев, латышей кровавый изверг Гитлер. Истребить значительную часть наших народов, обезглавить их, посадить им на спину немецко-фашистских чиновников, князей и баронов — таков кровавый хищный план Гитлера.

Этого мы не хотим, не потерпим! Так пусть же каждый из нас, каждый рабочий, колхозник, интеллигент мужественно и смело переносит суровые тяготы войны. Эти тяготы ничто в сравнении с тем, что несет Гитлер всем нам.

Залог нашей победы в том, чтобы весь наш тыл, колхозы, промышленные предприятия, все рабочие, крестьяне, интеллигенция, мужчины, женщины работали, поставив интересы общего дела, интересы родины, интересы судьбы народной выше интересов ведомственных, частных, узко личных.

Наша Красная Армия проявляет на фронте отечественной войны героизм, невиданный за всю военную историю народов. Такой отваги, такой жертвенности, которую проявляют сотни тысяч и миллионы наших бойцов на полях сражений, на море, в воздухе, мир еще не видел. Сколько безымянных героев труда отдают все свои силы, всего себя делу обороны страны, работают беззаветно, преданно на своем участке в тылу. Хочется отметить работу колхозов, колхозников, потому что от их труда зависит — будут ли наша Красная Армия и весь народ в течение этой суровой военной зимы сыты, одеты и обуты.

От того, как завершим все полевые работы, обмолотим хлеб, выполним все обязательства по поставкам сельскохозяйственных продуктов государству, подыдем зябь, подготовим

сытую и теплую зимовку для скота, отремонтируем к весне тракторы, создадим семенные фонды, — от этого во многом зависит судьба нашего фронта и всей нашей жизни.

Среди колхозников есть еще люди отсталые (за их спиной прячутся и враги, они еще не перевелись), люди, которые думают, что они как-нибудь проживут, если обеспечат себя, — о государстве такие люди не думают. Но они глубоко заблуждаются. Если придет Гитлер, он заберет у них последнее, заставит работать до изнеможения, обречет детей на вечное рабство, нищету, невежество.

Сила нашей страны в том, что ведущую роль в нашей жизни играют не эти отсталые люди, а люди передовые, у которых интересы родины и государства выше интересов частных, личных. Ведь это знаменательный факт, когда в Татарской АССР, в колхозе имени Ленина, Шереметьевского района, для того, чтобы своевременно убрать хлеб, выполнить государственные поставки, колхозники буквально не считались ни с чем: не было мешков для зерна — принесли десятки собственных пологов, мешков, нужен был лес — разгораживали собственные усадьбы, дожди задерживали сушку зерна — сушили зерно в печах в своих избах. Колхозницы Мухамадеева и Салихова запрягли своих собственных коров, подвозили колхозные снопы.

В областной газете мы недавно читали: "Весь день колхозницы звена, Хуснутдимовой косили пшеницу. Каждая обработала 35 соток с гектара. Домой они пришли затемно, подоили коров, накормили, уложили спать детей, сами вздремнули часок и опять пришли в поле".

Это — советские патриоты. Это — залог нашей победы.

В колхозе имени Ленина, Шереметьевского района, в прошлом году каждый трудоспособный выработал в среднем 198 трудодней, женщины — по 136 трудодней. В этом году за девять месяцев на каждого трудоспособного приходится 249 трудодней, на каждую женщину — 204. В прошлом году 64 человека не имели минимума трудодней. В этом году лишь двум колхозницам начислено менее 80 трудодней. Из 180 трудоспособных 139 получили за время уборки право на дополнительную оплату труда.

Вот это есть истинное проявление советского патриотизма, прежде всего патриотизма женщин-колхозниц, заменяющих мужчин, ушедших на фронт. Мы обязаны добиться, чтобы все люди, все колхозы, предприятия и учреждения нашей страны работали так, как работают передовые.

В этом — залог нашей победы.

Нас не могут и не должны страшить временные успехи гитлеровских армий. Здравый ум подсказывает нам, что гитлеровские армии, которые воюют уже два года против всей Европы и против Америки, которые понесли в битвах с нами миллионные потери людьми, оружием, снаряжением, которые лишены резервов, нуждаются в горячем для машин, имеют позади себя голодный, мятежный тыл, — эти гитлеровские армии не могут победить такую необъятную, богатую, сильную духом и сплоченную страну, как наша. Будем равняться по передовым! Все во имя фронта! Огонь свободы и справедливости, зажженный нашей страной над всем миром, не может погаснуть. Все силы для победы! ⁶⁶

К. Симонов. Страшные факты

Женщина в белом платке, сидящая в следующем ряду справа от меня, плачет, вытирает слезы концами платка и снова безудержно плачет. А между тем свидетель, стоящий сейчас у микрофона, врач Головкин говорит внешне спокойно, не повышая и не понижая голоса, не делая никакого ударения даже на самых страшных по смыслу словах. Тот, кому во время войны приходилось слышать много горьких рассказов, конечно, замечал, что люди, в первый раз увидевшие что-то страшное, рассказывают об этом горячо и возбужденно, но

66 Александр Фадеев, "Правда", СССР (№313 [8721]). Статья опубликована 11 ноября 1941 года. - <http://ognev.livejournal.com/67266.html>

люди, которые видали слишком много страшного и слишком много раз, говорят об этом вдруг с каким-то неожиданным, ужасающим спокойствием. И это не потому, что они равнодушны. Нет, просто они уже выплакали все слезы, их душа пережила уже самые страшные муки, их сердце уже тысячу раз сжималось от отчаяния. И от этого, от того, что страдание было бесконечным и привычным, их голос уже не передает кровавых мук их сердца. Врач Головка спокойным голосом рассказывает вещи, которые не только страшны, они просто бы не могли уместиться до этой войны в человеческом сознании. В его больнице немцы расстреляли 437 человек. Это ужасная цифра. Мы знаем о количестве людей, замученных немцами. Здесь ужасно другое — методическое, канцелярское спокойствие, с которым немцы убивали в больнице. Они аккуратно отсчитывали людей партиями. Они уводили их от больницы на аккуратно отсчитанное количество шагов. Они расстреливали их в упор, скупно отсчитывая пули. Обвиняемый Рейнгард Рецлав не присутствовал при этом расстреле, иначе он наверное бы отщелкал всё это на счетах... Тяжело больные, лежавшие без сознания, приходили в сознание от страшных криков и от вида крови и кричали немцам: «Что вы делаете?». Кто-то один, вырвавшись из рук солдат, подбежал к врачу Головке и бросился ему в ноги, хватая его за ноги и за руки. Он долго лежал в больнице, он привык к тому, что врач — спаситель, что он может спасти от смерти.

— Михаил Иванович, спасите, — кричал он. (Collapse)

Но врач впервые в жизни не мог спасти своего больного, потому что немцы уже отрывали этого больного от него и, бросив на землю, стреляли в упор из автоматов. Они убивали весь день, но даже среди этой крови, вид которой, казалось бы, должен волновать даже убийц, они сохраняли привычку к методичности. Они расстреливали ровно до того часа, когда им пора было идти пить свой вечерний кофе. А когда им пора было идти пить свой вечерний кофе, они ушли, оставив тех, кого они не расстреляли, под охраной до завтра. Они знали, что здесь они хозяева, что от них никто не уйдет здесь, особенно больные. Они не хотели задерживаться с вечерним кофе ради того, чтобы расстрелять еще двадцать человек — они расстреляют их завтра, после утреннего кофе.

На скамье подсудимых сегодня весь день сидят и слушают показания свидетелей трое немцев в серо-зеленых мундирах. Мне странно, что эти трое похожи на обыкновенных людей. Мне странно подумать, что они спят, едят, передвигаются так же, как все люди. Это непонятно. Они не имеют права ничем быть похожими на остальных людей. Ни лицом, ни голосом, ни руками, ни ногами, ничем. Кончится война, и мы, пережившие ее, всё еще не сможем привыкнуть ко многому. Нам еще долго будет отвратителен звук немецкой речи, потому что на этом языке последние годы говорили главным образом убийцы, мы не сможем спокойно видеть этого специфически серо-зеленого цвета, потому что это цвет той skóry, которую все последние годы носили убийцы.

Когда сегодня один за другим проходят свидетели и, повинувшись правилам ведения процесса, переводчик слово за словом переводит их речи на немецкий язык для того, чтобы три сидящих на скамье подсудимых убийцы поняли эти слова, мне каждый раз кажется, что вот сейчас какой-то из свидетелей остановится, посмотрит на переводчика и невольно крикнет ему: «Не переводите, я не хочу больше слышать этих немецких слов, я наслушался их здесь за два года. Довольно, я больше не желаю». Этого, конечно, не происходит. Свидетели говорят, переводчики переводят. А трое немецких убийц молча сидят и слушают. О чем они думают? Может быть, они жалеют, что им тогда, когда всё было в их руках, не удалось, кроме всех убитых, убить еще и вот этих людей, которые сейчас показывают против них? Может быть, они сентиментально вспоминают свои семейства, которым они уже больше никогда не пошлют ни одной посылки с наспех отстиранной от крови одеждой убитых? Одно я знаю и чувствую совершенно точно — им неинтересно, что говорят сейчас свидетели. Им это неинтересно, совсем неинтересно. Они всё это знают, они это видели, они это делали своими руками. И они знают еще гораздо больше страшного и чудовищного, чем то, о чем говорят один за другим свидетели. Им

неинтересно слушать. И мне кажется, что вот здесь, в этом зале, с рук подсудимых стекает кровь их жертв и капает на пол...⁶⁷

И. Эренбург. Фриц-мистик

С каждым днем все ширится всенародное движение за помощь фронту. Трудящиеся внесли уже сотни миллионов рублей на строительство танков, самолетов, пушек для Красной Армии. Советские воины! На заботу Родины ответим новыми боевыми делами! Солдат 401 пехотного полка 253-й дивизии Ганс Гейниг в бытовых вопросах был реалистом. Он оставил после своей смерти небольшой дневник, в котором записаны различные эпизоды «русского похода», предпочтительно «организация» кур, яиц и молока. Дневник начат 13 января 1942 года. Последняя запись относится к 24 ноябрю. 25 ноября Ганс Гейниг был убит в районе, который обычно определяется «на запад от Ржева»

Реалистом Ганс Гейниг остается и в уничтожении русских городов, поселков, деревень. Так, например, 13 января он деловито записал: «Начало отступления... Мы получили приказ все сжечь. В указанное время мы оставляем наши позиции, за которые пролито столько немецкой крови. Мы поджигаем деревни. Проезжаем через Селижарово. Город пылает: его подожгли части, опередившие нас».

Ганс Гейниг хорошо понимает, что именно он делает. Когда он сжигает деревню, он не думает, что этим радуется русских крестьян. Когда он отбирает у колхозницы курицу, он не прикидывается благодетелем. Он иронически относится к предложению высшего начальства установить порядок.

Осенью Ганса Гейнига, как храброго солдата, назначили начальником гарнизона. Ганс Гейниг стал есть каждый день пышную глазунью, запивая ее сливками. 14 октября он записал: «Сегодня я был на совещании начальников гарнизона. Это была настоящая комедия. Предмет обсуждения: питание гражданского населения! Но если мы не будем получать продукты из Германии, русские все равно погибнут. Они попросту умрут с голоду. Уже теперь каждый день многие умирают». Нельзя отказать Гансу Гейнигу в здравом смысле. Разговоры о пропитании русского населения он справедливо называет «комедией». Он трезво рассуждает: так как фрицы пасутся на подножном корму, русское население обречено на голодную смерть.

Что же нарушило душевное равновесие этого олимпийски спокойного фрица? Может быть видение? Старая книга? Вещий сон? Нет, наша артиллерия. Сначала Ганс Гейниг просто считал потери. Потом он перестал считать. Он коротко проставлял в дневнике: «Ужасно!» Наконец, наступил трагический день. Русский снаряд закончил труды солдата Ганса Фришке. Это был соучастник всех походов за курами. И Ганс Гейниг взял у погибшего Ганса Фришке котелок, как нежное воспоминание и как полезный в солдатском обиходе предмет.

Русские артиллеристы продолжали работать. Тогда-то Ганс Гейниг стал мистиком. Он забыл про глазунью. Он забыл про свою карьеру. Он записал 15 октября: «Вместе с котелком я взял путевку в смерть. Эта мысль меня неустанно преследует. Я почти с уверенностью могу сказать, что живым не уйду из России».

Конечно, мысль о том, что Ганс Гейниг не уйдет живым из России, была трезвой мыслью: мы знаем, что фрицы живыми от нас не уйдут. Но связь между котелком Ганса Фришке и неизбежной кончиной Ганса Гейнига следует отнести за счет мистицизма.

Записи в дневнике становятся однородными:

«23 октября. Многие убиты.

67 Константин Симонов, "Красная звезда", СССР (№299 [5670]). Статья опубликована 19 декабря 1943 года.
- <http://0gnev.livejournal.com/>

25 октября. Последние дни мы снова понесли тяжелые потери.

31 октября. Убиты Франц и Бредель. Я не могу избавиться от сознания, что скоро мой конец.

1 ноября. Опять понесли большие потери.

4 ноября. Сильно беспокоит русская артиллерия.

18 ноября. Ужасно! Зачем я взял котелок?

24 ноября. В 17 часов я получил приказ принять командование взводом. Я иду на передний край со странным чувством. Что произойдет этой ночью?..»

Что произошло той ночью? Началось русское наступление. Дело было не в котелке Ганса Фришке, а в меткости советской артиллерии. Но фриц-мистик думал об одном: зачем он взял котелок? Он так и не подумал о том, зачем он пришел в Россию, зачем жег русские села, зачем обрек на голодную смерть русских крестьян. Эти мысли были слишком сложными для Ганса Гейнига: он, будучи мистиком, оставался самым обыкновенным фрицем.

И. Эренбург. Изысканный фриц

Гренадер Гейнц Герлоф из 336-го батальона ландвера на первой странице дневника так определяет себя: «25 ноября мне исполнится 32 года. Я — скорпион. Добро и зло одновременно уживаются в моем сердце. Я — человек, идущий напролом, но мне присущ также трезвый взгляд». Засим гренадер рисует свою жизнь накануне войны: «Год разнузданной жизни в поисках наслаждений остался позади. 1 января я провел с Ингой. В мои дни вмешались женщины. Когда я должен был жениться, я видимо еще не был зрелым мужчиной. Притом Грета в вопросах эротики была недостаточно опытна. В эти вопросы меня посвятила Кошка. Я оказался понятливым учеником, слишком понятливым. Я перерос на голову учительницу. Затем последовали менее значительные эпизоды, и, наконец, Инга. Она принесла мне ребенка. Между тем я вел лихорадочно беспокойную жизнь. Алкоголь, танцы, женщины заполняли мои дни и ночи. Любовь к Инге не остывала. Затем снова переживание: Рита! Я метался туда и сюда. Выбрал Ингу. Но Риту я не мог забыть. От нее у меня тоже ребенок. Это стопроцентная женщина... Вот мой последний день в Берлине. Танец на вулкане закончен».

В СТАЛИНГРАДЕ. Один из бойцов рабочего отряда ополченцев — сверловщик Сталинградского тракторного завода К. Гришин защищает свой родной город. Слов нет, Гейнц Герлоф блудлив, как кот. Недаром одну из своих жен он прозвал кошкой. Жен у него много: Инга («принесла ребенка»), Рита («тоже ребенок»), Кошка (бездетная), Мук, Грета. Ариана. Это — фриц-многоженец. Кроме женщин он любит поэзию, вино, философию и карты. Воистину изысканный фриц. До января 1942 года он блаженствовал в Берлине, ходит от Инги к Рите и от Риты к Кошке, «танцевал на вулкане». Но с берлинским сибаритом приключилась неприятность: его отправили под Великие Луки. Краснофлотцы-разведчики в горах Кавказа. Краснофлотец Есечкин в разведке. Представитель высшей нордической расы, утешитель Инги и гордость Кошки, гренадер Гейнц Герлоф оказался в стране «недочеловеков». Вот записи «сверхчеловека»: Краснофлотцы-разведчики в горах Кавказа. Засада у переправы через горную реку «29 мая. Дикая стрельба — боевое крещение. Мы находимся в монастыре. Если бы не война, можно было бы назвать это идиллией. Читаю, пишу стихи. Что подельвает Инга с сыном? Как поживает Мук?

31 мая. Много комаров. Играл в карты и проиграл много денег.

4 июня. Русские женщины и дети должны строить для нас блиндажи.

8 июня. Утром искал вшей. Потом — спорт.

9 июня. Выкурил папиросу, выпил стакан чая, лег спать. Кругом — партизаны. Я чувствую себя, как в санатории, в подвалах которого динамит.

14 июня. Я люблю Мук, даже очень, но... Инга, милая жена, мать моего сына, Дитриха. Боже, сохрани меня! Сегодня мы хорошо покушали.

22 июня. Куда делся мой оптимизм? Хочу в Германию!

23 июня. Мои товарищи слишком недружелюбны. Никаких товарищеских чувств. Все они отвратительны. Мы слишком истерзаны.

26 июня. Играл в карты. Нежные письма от Инги, от Кошки, от Мук.

28 июня. Хорошо кушали и пили. Почта. Инга снова стала ревнивой. Мук чрезвычайно мила.

3 июля. Боже, пошли победу! Получил очаровательное письмо от Мук.

4 июля. Бутерброды. Салат со сметаной. Очень вкусно. Случайностей не бывает. Бог управляет нашей судьбой.

15 июля. Большущая неприятность: ввиду обстреле мы должны ютиться в блиндаже. Сыро, темно, неуютно.

18 июля. Год тому назад мы праздновали день рождения Риты. Нежная, темпераментная женщина, могу ли я тебя забыть?

19 июля. Мой сын от Риты назван Лютц-Петер. Получил ревнивое письмо от Инги. Необходимо ее наказать, не буду ей больше писать. Мук я люблю больше, чем когда-либо. Очень нежные письма от Кошки и от Арианы.

23 июля. Сегодня восемь недель, как я на фронте. Я снова в крестьянском доме. Сухо, тепло, уютно. Но опасно. Боже, я прошу тебя на коленях — прекрати войну!

26 июля. Кофе больше нет. Водки нет. Пудинга нет. Боже, дай мне немного оптимизма! Настоящее русское село. В домах книги: политика, технические вопросы. Удивительные у этих людей интересы!

2 августа. Не дурное ли это предзнаменование — сегодня утром я напустил в штаны?

17 августа. «Организуем». Огурцы, морковка, малина. Живем, как в санатории.

20 августа. Я стал министром продовольствия.

23 августа. Как хорошо было бы сейчас оказаться где-нибудь в Италии! А Мук меня разочаровала.

26 августа. Американцы и томми пытались высадиться во Франции. Неужели война еще продлится годы? Тогда мне придется все заводить заново. А денег у меня недостаточно. Тоскую об Инне. Питание все еще хорошее. Творог с сахаром. Очень вкусно. Но часто страдаю поносом...»

На этом дневник обрывается. Увидев разведчиков, изысканный фриц завизжал, и, забыв про свою миссию сверхчеловека, послушно поднял руки. Хорош скорпион! Ведь скорпион, окруженный врагами, убивает себя, а фриц теперь с восторгом жрет щи в плену. Хорош «сверхчеловек»! Что его занимает? Шесть жен, карты, еда и деньги. Когда кончится война — для него это связано не с тревогой за судьбу родины, не с гибелью людей, но с его убытками. Товарищей он не любит, как и они не любят его: вместе грабят, но врозь ищут спасения.

Изысканный фриц на самом деле грубое и глупое животное. Он искренно удивлен, увидев книги в русских крестьянских домах. Он думал, что читает только он. В дневнике мы не находим никаких указаний на книги, которые читает Гейнц Герлоф. Но легко догадаться о вкусах этого фрица: он должен обожать романы из жизни берлинского света, где на каждую кошку пять котов, а на каждого кота десять кошек.

Чистокровный ариец труслив. Конечно, перед Ритой или Мук он — «идет напролом». Но, услышав несколько выстрелов, он сразу «трезвеет» и вопит «хочу в Германию». Он и молится со страха. Наконец, вот оно высшее проявление мощного германского духа — тридцатидвухлетний детина напустил в штаны. Причем он впадает в мистицизм, он спрашивает себя, что значит это предзнаменование? Наверно, увидав русского разведчика, он в ужасе подумал: вот что означали мокрые штаны! Хорош сверхчеловек!

Гейнц Герлоф отметил, что русские женщины и дети строили для него блиндаж. Перед русскими детьми он был храбрым. Перед русскими девушками он был величественным. Негодяй в мокрых штанах, блудливый фриценок, он пришел к нам, чтобы править нами. Он сгонял наших жен, дочерей, детей, чтобы они строили для него блиндаж. Он был «министром продовольствия» — изысканный фриц, забыв про стихи, «организовывал» и жрал, так, что его прохватывало («часто страдаю поносом»). Грязная тварь! Боец, в трехстах шагах от тебя немцы. Они мучают наших жен и детей. Велика твоя ненависть. Велико и твое презрение. В трехстах шагах от тебя сидит вот такой Гейнц Герлоф — не простой куроед, нет, изысканный фриц. Плюнь, убей и снова плюнь! Да, у них танки. Танки и мокрые штаны.⁶⁸

И. Эренбург. Фриц-философ

Общевойсковым командирам — изучить в совершенстве дело взаимодействия родов войск, стать мастерами дела вождения войск, показать всему миру, что Красная Армия способна выполнить свою великую освободительную миссию! (ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ И.СТАЛИНА).

Немецкий курсант Вольфганг Френтцель увлекался философией. На фронте он продолжал читать сочинения Платона, Шопенгауера и Ницше. Он вел дневник, который написан в форме писем к некоей Генхен.

Записная книжка в переплете из коричневого дерматина — исповедь. Помимо философских книг Вольфганг Френтцель любит войну, причем ему все равно, за что воевать и где. Он пишет 27-го января, отправляясь на фронт: «Генхен, завтра выезжаем! Наконец! Наконец! Наконец! Все прекрасно». Месяц спустя он записывает: «Мне хотелось воевать давно — во время абиссинской кампании, во время испанской войны, когда наши войска ворвались в Австрию и в Чехословакию. Знаешь, я часто жалел о том, что мне не суждено было участвовать в мировой войне 1914—1918 гг. О, какое возвышенное чувство охватывало меня, когда я читал немецкие книги о войне!»

Попав в окоп возле Гжатска, фриц-философ отмечает: «О такой первобытной романтике войны я не смел мечтать даже в самых дерзких мечтах».

Ценитель Платона любит рассуждать о морали: «Высовываясь в окно вагона, видишь людей в лохмотьях. Женщины и дети хотят хлеба. Обычно в ответ им показывают дуло пистолета. В прифронтовой полосе разговор еще проще: пуля между ребрами. Между прочим, русские заслужили этого, все без исключения — мужчины, женщины и дети... Я уже познакомился с моралью фронта, она сурова, но хороша». Вот для чего Вольфгангу Френтцелю нужно было изучать Шопенгауера: он называет убийство детей «суровой моралью».

Фриц-философ свободен от всех человеческих чувств. Он сам об этом пишет своей Генхен: «Я не хочу любить ни одно человеческое существо... Любовь для меня самый большой враг... Говорит же Ницше по этому поводу: «Сильные и повелители это те, которые не любят». Поэтому я и не хочу любить по-человечески... Но ты должна быть мне верной...»

Фриц-философ хотел быть «повелителем». Для начала он повелевал своей дурой Генхен: он ее не любит, но она обязана быть ему верной. На восток этот захудалый ницшеанец отбыл, мечтая стать повелителем мира. Однако в Гжатске его ждало некоторое разочарование. Фриц-философ увидел обыкновенных фрицев, переживших зиму и хорошо знакомых с точностью русской артиллерии. Вольфганг Френтцель жалел о том, что он родился на двадцать лет позже, чем следовало, и опоздал на Верден. Фрицы жалели

68 Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№242 [5306]). Статья опубликована 14 октября 1942 года. - <http://0gnev.livejournal.com/tag>

совсем о другом: они говорили, что родились на двадцать лет раньше, чем следовало, и попали в Гжатск. Фриц-философ негодовал: «У немецких солдат не осталось больше ничего святого, они все смешивают с грязью своими мерзкими замечаниями». Ницшеанец страдает — он говорит: «Я хочу быть повелителем мира», а фрицы тоскливо почесываются, он жаждет убивать русских детей, а рассеянные фрицы гоняются за курами, он предвидит тридцатилетнюю войну и описывает, как Гитлер возьмет Южный полюс, а фрицы вздыхают: «Пора бы по домам...» Фрица-философа убили. Ну, кто такого пожалеет? Наверно даже дура Генхен облегченно вздохнет, узнав, что ее «повелитель» не может больше повелевать. Но, перелистывая коричневую книжку, изумляешься убожеству этих ученых людоедов. Для пыток им нужны философские цитаты. Возле виселиц они занимаются психоанализом. И хочется дважды убить фрица-философа: одну пулю за то, что он терзал русских детей, вторую — за то, что, прикончив ребенка, он читал Платона.⁶⁹

И. Эренбург. Фриц-литератор

Прочно закрепляться на каждом достигнутом рубеже и в ближайшем тылу. Сделать отбитую местность неприступной для контратак врага.

Ефрейтор 59 пехотного полка Штекинг явно завидовал Геббельсу: ефрейтору хотелось литературной славы. Он думал: почему колченогий пишет, а я нет? И ефрейтор завел тетрадку. Наверху он поставил в виде эпиграфа изречение Гитлера: «Немцы снова стали сильными!» Засим Штекинг начал записывать свои впечатления.

Начал ефрейтор с трогательных размышлений: «24 декабря. Сегодня сочельник. Знаете ли вы, что это значит? О, конечно! Вспоминаешь об увлажненных детских глазках, о доброй матери и сразу становится тепло...

Мы едем где-то между Белостоком и Минском. Сидим в купе и соскребаем лед со стекла — хотим поглядеть на места, где летом шли бои. Нас четверо: Рудди, Вернер, Гайнц и я. Снаружи вагона мы нарисовали голую девушку и написали: «Наша Эриха».

Порхают мысли ефрейтора: только-только он думал о детских глазках, о доброй матери и сразу — голая девушка.

На следующий день в Орше ефрейтор наблюдает назидательное зрелище: голодные дети в отрепьях. Ефрейтор пишет: «Боже, подумать только, что нечто подобное могло бы случиться с нами...

Завтра канун нового года. Мы решили вчетвером напиться до потери сознания с женщинами.

Позавчера все было безразлично. Вдруг тревога. Мы не подготовились. Пулеметы были разобраны. Я снова налился...»

Военные труды ефрейтора довольно однообразны: «Из водки сделали грог, завели «пуццифон», пели и тискали девчонок».

Наш ефрейтор вдруг вспоминает, что он пишет не для себя, но для миллионов читателей: «Дорогой читатель, я бесконечно жалею, что ты не был на моем месте». Но через несколько строк он добавляет: «40 градусов. Несколько человек скапустились.

Фантастическое зрелище! Где наши роты пропаганды? Не хотите ли вы посмотреть, как наши солдаты лопатами рубят хлеб?.. О, нет, для этого зрелища вы слишком деликатны...»

Все это однако только пролог. Несколько дней спустя литературный ефрейтор садится в самолет «Ю-52» и летит к линии фронта. Он еще не забывает об ужимках и жалуется: «Мимоходом мы получили первое приветствие от советского бомбардировщика, который обстрелял нас, усталых людей, из пулемета». Действительно, разве это вежливо —

69 Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№135 [5199]). Статья опубликована 11 июня 1942 года. - <http://0gnev.livejournal.com/tag>

ефрейтора, бесконечно усталого от грога, от «пуццифона», от девочек, да и от литературных потуг, взяли да обстреляли, как обыкновенного фрица!

Прошла еще неделя. 18 января ефрейтор пишет: «Парень, дело дрянь! Всем капут». Из этого романа не сделаешь. Пожалуй, чересчур лаконично. Зато выразительно. Но ефрейтор больше не мечтает о литературе. Он мерзнет, мрачно записывает имена убитых товарищей и думает об одном: как бы вернуться домой. 21 января он впадает в транс: ему хочется есть и он описывает все, что он с'ел бы за один день. Программа обширная — шесть трапез. К обеду ефрейтор выбрал следующее: «а) картофельное пюре с мармеладом, б) макароны с соусом, в) кислая капуста, г) рыбные котлеты, д) гуляш, е) рис с сахаром, ж) жареный картофель». После этого перечня ефрейтор ставит: «аминь».

Всего месяц прошел с того дня, как ефрейтор Штекинг вслед за ефрейтором Гитлером кричал: «Я сильный», и вот 24 января силач хнычет: «Мне надоело записывать — сегодня опять спали, стоя, сегодня вконец измотались и пр. Когда же это кончится?..»

Это кончилось довольно скоро: смертью ефрейтора Штекинга. Геббельс может спать спокойно: покойный ефрейтор ему не конкурент. Высокой литературы не вышло. Победы тоже не вышло.⁷⁰

И. Эренбург. Фриц-нарцис

Наступление немцев в районе Сталинграда и на Северном Кавказе составляет большую угрозу для нашей страны. Долг воинов Красной Армии — железной стойкостью и упорством преградить путь врагу, отвести угрозу, нависшую над нашей родиной.

Некто Иоганн написал с фронта письмо своему приятелю обер-ефрейтору Генриху Рике. Иоганн пишет: «Милый Генрих. Ты тоже находишься в этой проклятой стране. Я имею несчастье с самого начала воевать здесь. Ты сообщаешь, что твой брат Герхард погиб. Увы, эта же участь постигла нашего общего друга Фрица Клейна. Мне ужасно жаль его, но, впрочем, ничего не поделаешь. Мой брат Гилерт тоже в России, под Ленинградом. Я здесь недалеко — на центральном фронте».

Прием товарищем И.В. Сталиным г-на Уэнделла Уилки. Тов. И.В.Сталин и г-н Уэнделл Уилки

После элегического перечисления потерь Иоганн вспоминает, что он — ариец, потомок древних германцев и наперсник людоеда. Он пишет: «Я скальпировал русских. Я отнес скальпы, как трофеи воина, к себе. Хо-хо, нож убивающего заговорил! Надеюсь, милый Генрих, тебе это понравится».

Прием товарищем И.В. Сталиным г-на Уэнделла Уилки. Тов. В.М.Молотов, г-н Барнес, тов. И.В.Сталин, и г-н Уэнделл Уилки, тов. В.Н.Павлов, г-н Уэнделл Уилки, г-н Коутс

Им надоело вешать и вырезывать на груди звезды. Они решили поиграть в индейцев: они срезают верх головы. Иоганн кокетливо спрашивает, нравится ли Генриху такое времяпрепровождение Иоганна. Ответить Генрих не может по той простой причине, что он убит нашей пулей под Ржевом, убит и зарыт. Но я не сомневаюсь, что Генриху понравилась идея Иоганна: все они одним миром мазаны.

НА ДОНУ. Орудийный расчет старшего сержанта С.Смирнова ведет огонь по колонне немецкой пехоты

А Иоганн продолжает письмо: «Мое прежнее, покрытое мускулами и татуировкой спортивное тело находится уже совсем в другом состоянии. Когда я остаюсь один, я начинаю рассматривать мое нагое тело. Я вижу тонкие ноги, как у аиста, гусиная кожа покрыта тысячами пупырышек. Я продолжаю мои наблюдения, и я вынужден

70 Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№70 [5134]). Статья опубликована 31 марта 1942 года. - <http://0gnev.livejournal.com/tag>

констатировать, что от моей когда-то пышной, мускулистой груди осталась одна татуировка».

Был в Греции такой юноша Нарцисс, который все время любовался собой. Боги его превратили в цветок — нарцисс. Надо надеяться, что не боги, а люди — наши бойцы вскоре превратят самовлюбленного

Иоганна с его гусиной кожей и скальпами в хороший чертополох.⁷¹

И. Эренбург. Фриц-биолог

Битва за Сталинград не ослабевает. Немцы невзирая на огромные потери, продолжают свои атаки. Защитники Сталинграда! Железной стойкостью и упорством преградите путь врагу, отбросьте его от стен волжской твердыни!

В немецком журнале «Фельхаген унд Клазингс Монатсхефт» за июнь месяц 1942 года напечатана статья доктора Гепке из Гейдельберга под многообещающим заглавием: «Произошла ли обезьяна от человека?»

В СТАЛИНГРАДЕ. Уличный бой на одной из окраин города

Как известно, теория Дарвина не нравится невежественным богомолкам: им обидно, что их далекие предки лазили по деревьям. Теперь против Дарвина выступает ариец Гепке: он обижен за оранг-утанга; по мнению арийца, оранг-утанг куда совершенней человека.

В СТАЛИНГРАДЕ. Краснофлотцы идут в атаку

Доктор Германн Гепке говорит об анатомии, ссылаясь на биологов и прикидывается человеком науки. На самом деле доктор — обыкновенная немецкая обезьяна. Гепке пишет, что «человек значительно консервативнее обезьяны. Обезьяна продолжает развиваться, у нее делается выдающийся подбородок и срезанный лоб». Доктор перечисляет другие преимущества обезьян: «они ходят не только на задних лапах... у них цепкий хвост».

Последнее, по мнению ученого гитлеровца, является еще одним доказательством «прогрессивности обезьян». Правда, Гепке отмечает, что у человека «более развитый мозг», зато у обезьян хорошая шерсть. Вопросу о волосатости доктор Гепке придает большое значение. Оказывается, обилие шерсти тоже знак прогресса. По сравнению с хорошей макакой человек, к тому же плешивый, «неполноценное явление». Бедный Муссолини, ведь он так старался попасть в «полноценные» фрицы! Подбородок у него подходящий, но кто не знает, что дуче лыс, как колено.

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. Автоматчики ведут огонь из засады

Очевидно, Гитлеру нравится теория регресса. Обезьяна произошла от человека. Реки текут вспять. После двадцатого века наступает десятый. Были немцы, а стали скоты, которые почему-то ходят только на задних лапах.

Прославление обезьян бесспорно привело в восторг первого павиана Германии доктора Геббельса. Но что скажет о теории доктора Гепке доктор Розенберг? Ведь остзейский немчик всю жизнь клянется, что немец — это сверхчеловек. А считаешь труд доктора Гепке, и станет ясным, что любая мартышка выше сверхчеловека.

На меня статья Гепке произвела сильное, и скажу прямо, отрадное впечатление. Сколько раз я спрашивал себя, как могли немцы, когда-то насчитывавшие в своих рядах поэтов, философов, композиторов, ученых, стать породистыми фрицами? А доктор Гепке все объяснил: фрицы — это обезьяны, которые произошли от людей.

Гепке указывает, что развитие одного органа идет за счет другого. Одно из самых глупых млекопитающихся — это броненосец. Его мозг примитивен. Зато его шкуре позавидует любой строитель танков. Очевидно, броненосец потерял на голове то, что приобрел на

71 Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№225 [5289]). Статья опубликована 24 сентября 1942 года. - <http://0gnev.livejournal.com/tag>

шкуре. Вот таким двуногим броненосцем и является фриц. Германия создала мощную армию и тупых, диких солдат.

Гитлеровцы мечтают о скошенном лбе, о выдающемся подбородке. Им хочется ходить на четырех лапах, обрасти густой шерстью и заслужить нечто более ценное, чем «рыцарский крест с дубовыми листьями». А именно «пятую конечность — развитой, подвижный и цепкий хвост».

Однако до хвоста фрицы не дотянут: эту породу мы уничтожим. А последнего фрица можно будет посадить в зоопарк с надписью: «фриц вульгарис, согласно трудам доктора Гепке происшедший от человека».⁷²

И. Эренбург. Осенние фрицы

Командиры Красной Армии! Приложим все силы, волю и воинское умение, чтобы отбить натиск врага, уничтожить его!

(От специального корреспондента «Красной звезды»)

ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ В ГОРАХ КАВКАЗА. Погрузка на самолеты касок для отправки частям, сражающимся в горах

О Бурбонах говорили: «Они ничему не научились и ничего не забыли». Мне хочется сказать это об осенних фрицах. Вот передо мной хороший густопсовый ариец лейтенант Хорст Краусгрелль. Он сначала орал «Гитлер капут», но сейчас он отдышался, успокоился и преспокойно говорит: «Нам, немцам, тесно, а у вас много земли». В немецкой газетке он прочитал, будто американцы решили оскопить всех немцев, и поэтому он с опаской спрашивает: «А здесь нет американского доктора?» Он хочет остаться арийским производителем. Его схватили у Ржева, он тупо повторяет: «Покончив с Россией, мы возьмемся за англичан...» Когда я ему говорю, что у него слишком длинные руки, он отвечает: «Нет, мы хотим для себя только Европу. Африку мы отдадим итальянцам...». Я забыл его спросить, кому он намерен отдать Патагонию — румынам или венграм?

ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ В ГОРАХ КАВКАЗА. Самолет сбрасывает боеприпасы и продовольствие в труднопроходимых районах

Иозеф Винтерхаллен был семинаристом. Он изучал труды Фомы Аквинского. Однако он предпочитает им «Майн кампф» тирольского шпики. Этот неудавшийся священник говорит: «По свойствам нашей расы мы должны управлять миром». Я пробую ему напомнить: «А как же «Несть эллина и иудея?» Он пожимает плечами: «Это было сказано в другую эпоху. Наши ученые установили, что германская раса обладает исключительными качествами». Я гляжу на него: плюгавый, даже не фриц — фриценок, дурак, трус, который, когда его привели, визжал, как поросенок. Теперь он поел щей, понял, что его никто не собирается убивать, и обнаглел. Я перехожу от философии к курам: «Организовывали? Он сразу притихает и скромно шепчет: «Нет». Он уверяет, что в России он ни разу не попробовал курятины. «Может быть, вы предпочитаете гуся?» Фриц отвечает: «Я в России ел только диких гусей». Он подчеркивает слово «диких» — он, дескать, не вор, а охотник. Вероятно, вскоре фрицы начнут рассказывать, что они едят в наших деревнях диких кур.

НА ГОРНЫХ ПЕРЕВАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. Проводники указывают обходную тропу в тыл немцам

Курт Штельбрехт рассказывает: «Нам обещали в России землю. У нас земля плохая, приходится тратить уйму на удобрения».

Эрвин Круг уверяет, что он непричем, воюет будто бы один Гитлер, а девушек насилует непосредственно Геббельс, что касается его, ефрейтора Эрвина Круга, он даже ни разу не

⁷² Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№252 [5316]). Статья опубликована 25 октября 1942 года. - <http://0gnev.livejournal.com/tag>

выстрелил. Но в сумке у Эрвина Клуга женская кофта, а в кармане фотография красноармейца с надписью «братишке Пете». Я спрашиваю: «Откуда?» Он говорит: «Не помню. У меня вообще слабая память...».

Осенние мухи бывают злыми и скучными. Осенние фрицы, как прежде, жестоки, но они стали воистину скучными. Ржев их не развеселил. Ефрейтор Клаус Мюллерин рассказывает: «Прибыло пополнение пятьдесят душ, а в роте всего восемь человек. Мы спрашиваем: «Где же солдаты?» Фельдфебель отвечает: «У русских есть такая пушка. Понятно?... Несмотря на прирожденную тупость, фрицы поняли. Холодно теперь под Ржевом, по ночам заморозки, но вот осенний фриц Ганс Лупнелль пишет жене: «Нам никогда еще не было так жарко. Русские на нас нажимают, некуда укрыться. Не знаю, удастся ли мне сохранить голову...».

За осенью следует зима. Фрицы это понимают. Я спрашиваю Германа Крамера: «Бойтесь морозов?». Фриц качает головой: «Нет. Русских». Лейтенант Краусгрелль уточняет: «Зимой выходят из строя авиация и танки, значит зимой русские будут сильнее нас». Вот почему осенние фрицы выглядят такими скучными. В январе Гитлер их утешал: «Скоро весна». Прошла весна, прошло лето. Холодный ветер воеет: «Скоро зима».

Среди скучных осенних фрицев я нашел одного бодрячка. Это Карл Шрек, гроза колхозных коров, обер-ефрейтор и обер-куроед. Карл Шрек восторженно говорит: «С продовольствием у нас улучшилось... Питание, можно прямо сказать, исключительное. Дело в том, что получали мы на роту в таком составе, как до последних боев. А потери большие. Вот и выходило, что каждый ел за пятерых...». Вспоминая об этом, Карл Шрек даже облизывается. Он наверно жалеет об одном: его слишком рано взяли в плен, он не узнал высшего блаженства — жрать за всю роту. Таков фриц-оптимист.

Не следует думать, что осенние фрицы более человекоподобны, нежели зимние или летние. Фриц остается фрицем — об этом не следует забывать. Можно снять с себя шинель или гимнастерку, нельзя снять с себя кожу, а фашизм фрица — это не одежда, это его шкура. Никто фрица не гнал вперед — ни Гитлер, ни эсэсовцы. Фриц сам прилез, чтобы грабить. Я нашел в планшете одного немца серию любительских фотографий. Вот перечень: фриц, невеста фрица, голая девица неизвестной национальности, человек, привязанный к столбу, горящая изба, виселица с повешенными, два фрица в беседке, фрицы развлекаются — один в шутку вешает другого, убитая девушка в платочке, с обнаженной грудью. Разве такой способен стать человеком? Мы их научились ненавидеть. Мы должны научиться их презирать. Мы должны их убивать не как людей, а как гадов, как противных ядовитых насекомых. Серо-зеленая вошь — вот что такое фриц, зловредная муха, которая прикидывается человеком.

Ночи все длиннее, все холоднее. Осенью мухи сонные, их легче бить. Осенью легче бить и фрицев: дело идет к зиме.⁷³

И. Эренбург. Жалобы фрица

«Не за страх, а за совесть исполнять все законы о Красной Армии, все приказы, поддерживать дисциплину в ней всячески, помогать Красной Армии всем, чем только может помогать каждый,— таков первый, основной и главнейший долг всякого сознательного рабочего и крестьянина». (ЛЕНИН)

Генерал фон Манштейн, командующий 11-й германской армией, в минуту просветления написал глубоко философический приказ:

«Секретно. Часть 1. 2503/41. О влиянии писем с фронта и солдатских разговоров.

73 Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№239 [5303]). Статья опубликована 10 октября 1942 года. - <http://0gnev.livejournal.com/tag>

Для того, чтобы внести успокоение в стране, необходимо предсказывать победное окончание войны.

Между тем, письма с фронта и рассказы солдат, содержащие данные о вооружении русских и их силе, приводят к тому, что в широких кругах населения возникает неуверенность в счастливом завершении войны».

Против этого не возразишь. Непонятно только, как такая здравая мысль помечена номером 2603/41? Можно подумать, что у генерала фон Манштейна было свыше двух тысяч здравых мыслей. Это, конечно, не так — генерал, как и всякий фриц, дошел до правды не сразу — для того, чтобы немец задумался, приходится потратить на него очень много снарядов.

Но теперь фон Манштейн кое-что понял.

Теперь кое-что поняли и фрицы. Гитлер может говорить о весеннем наступлении. Фрицы слушают и не верят. Миллионы немецких солдат каждый день строчат опровержения. Не мы опровергаем — фрицы.

Они, наконец-то, догадались, что мы вооружены не вилами и не граблями. Они поняли, что мы их закидываем не теплыми шапками. Вначале они надеялись, что мы выступим против них с голыми руками. Они заготовили план войны: у них танки — у нас телеги, у них пушки — у нас охотничьи ружья, у них самолеты — у нас воробьи. Оказалось, что война разворачивается по несколько другому плану.

Вот и пишут фрицы домой невеселые письма. Один жалуется, что у него от нашей артиллерийской музыки голова разболелась. Они нашу артиллерию называют «органом» — звучный инструмент. Другой сообщает своей гретхен, что его загонит в гроб «Катюша», и прямо пишет: «Это не женщина, это похуже...» Третьему не нравится, что наши танки проходят там, где немецкие спотыкаются. Четвертому не по вкусу наши штурмовые самолеты, он признается: «От них фельдфебель сошел с ума, его отвезли в лазарет». Нежданно-негаданно фриц догадался, что у нас великая сила. Это открытие его лишило даже аппетита. Он пишет: «Их не одолеешь...» Гретхен читает и плачет: конечно, гретхен знает, что надо верить Гитлеру, но у гретхен нежное сердце, и верит она все-таки своему фрицу.

Генерал фон Манштейн пишет: «Необходимо предсказывать победное окончание войны». Предсказывать может всякий. Предсказывают гадалки на ярмарке. Лучше всего для этого кофейная гуща. Но без кофе гущи не сделаешь... Что же, можно предсказывать и на воде. Только за одним остановка: не все немцы уже верят гадалкам...

Мы не предсказываем. Мы заняты делом: мы воюем. Никто из нас не знает, в каком именно месяце мы уложим последнего фрица. Но все мы знаем, что мы его обязательно уложим. Об этом говорят наши пушки. Об этом наши бойцы пишут своим женам.⁷⁴

И. Эренбург. Киргизы

Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов против немецко-фашистских захватчиков! (Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 25-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции)

Он был колхозником. Теперь он повар. Как всегда, он нес котелок с супом. Предстояла неожиданная встреча: путь преградили немцы. Повар рассердился: так и щи простынут! Он осторожно поставил в сторонку котелок и начал работать: из автомата уложил девять фрицев-солдат и одного фрица-офицера. Потом взял котелок и понес его бойцам. Когда повара стали поздравлять, он ответил: «Мы, киргизы, такие...» Отважного кашевара зовут Миралкан Сейтекинов.

⁷⁴ Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№57 [5121]). Статья опубликована 10 марта 1942 года. - <http://ognev.livejournal.com/tag/>

В РАЙОНЕ НОВОРОССИЙСКИХ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ. Бойцы занимают дом, очищенный от немцев

О Калмурзе Джусубалиеве говорят: «Он дерется как лев». Калмурза пошел с одиннадцатью бойцами в бой. Они уничтожили свыше сотни фрицев. В другой раз приказано было занять вражескую позицию. Калмурза четырежды в день с семью товарищами атаковал немцев. Своей рукой он уложил восемь немцев. Ночью шли наши на немецкие дзоты. Калмурза по дороге убил несколько немцев. Бросил в первый дзот гранату. Раздался вой. Калмурза рассказывает: «Ух, и противно воюют, поганцы! Стали фрицы выбегать из других дзотов. Кричат — слушать противно. Ну, я их успокоил...» Калмурза молодой и веселый юноша. Его лицо обожжено солнцем киргизской степи. Его сердце закалено в боях. Он пришел на войну из далекого киргизского колхоза. Там его отец — старик Джусубах. Там девушки поют песню о том, как храбрый батыр Алым узнал, что «Тигр-злодей обижает в лесу людей. (Collapse)

Никого не позвал Алым, ничего не сказал Алым». Батыр пошел в лес и нашел тигра-злодея, «а потом повалил его, а потом победил его». Тигра победил киргиз, что ему карлушка-колбасник?

Среди героев-панфиловцев все знают киргиза Абдрашида Батырбекова. Меткий минометчик, он на славу потрошит немцев. Он говорит: «Лес рубят — фрицы летят». Услышав голос миномета, бойцы говорят: «Абдрашид фрицев учит».

Сержант Аширбай Куянкузов считает, что немцев чересчур много, и он серьезно занят исправлением этой ошибки природы. Впрочем, когда нужно, Аширбай берет фрицев живьем. Он доставил уже пятнадцать «языков». Родом он из далекого Пржевальска. Он освободил от немцев русскую деревню. Он — джигит, и он знает, что у джигита две добродетели: храбрость и верность.

Метко бьет врага наводчик Орумбай Умаров. Он без промаха уничтожает дзоты и блиндажи врага. Все знали, что киргизы хорошие наездники и меткие стрелки. Но вот Орумбай стоит у орудия. Это — настоящий артиллерист, горячий и спокойный, с неистовым сердцем и с ясной головой.

Чудную эпопею создал некогда киргизский народ: она величественна, как дворец, а создана она всадниками в степи из слов и звуков. Богатырь Манас пошел в великий поход с сорока вятзями (так в тексте газеты). Жил ли Манас? Или в его образе изображен киргизский народ? Может быть скромный кашевар Миралкан, вступивший в единоборство с десятью немцами, — батыр Манас, сын народа, бессмертный герой?..

Мы знали песни киргизов. Теперь мы узнали их ратные труды. Много русских жизней спасли киргизы. А в далеких степях Киргизии знают, что киргизских девушек спас от немецких захватчиков русский народ. Говорят, что друг познается в беде. Мы жили далеко друг от друга, и непохожи леса Смоленщины на степи Киргизии, как непохожи песня о березыньке на песни Токтогула. Но вот стряслась беда, и на помощь русским пришли киргизские джигиты. Москва знает. Москва не забудет о верном друге-киргизе.⁷⁵

И. Эренбург. Евреи

Трудящиеся Советского Союза! За 25 лет советской власти вы создали могучую социалистическую индустриальную и колхозную державу. Всеми силами защищайте плоды своего многолетнего труда! (Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 25-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции).

Немцы пытали еврейских девушек, закапывали в землю старых евреев.
В РАЙОНЕ НОВОРОССИЙСКА. Тяжелый пулемет на огневой позиции

⁷⁵ Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№259 [5323]). Статья опубликована 3 ноября 1942 года. - <http://0gnev.livejournal.com/tag>

Гитлер думал сделать из евреев мишень. Евреи России показали ему, что мишень стреляет. Евреи были учеными и рабочими, музыкантами и грузчиками, врачами и колхозниками. Евреи стали солдатами. Они никому не передоверят своего права на месть.

В РАЙОНЕ НОВОРОССИЙСКА. Бойцы занимают новую позицию. Фальковичу шел пятый десяток. Он был филологом, провел жизнь у письменного стола. На таких фрицы облизываются: поймать и повесить. Не тут-то было. Фалькович пошел добровольцем на фронт. Отрезанный от своей части, он набрал восемнадцать бойцов. Они встретили роту немцев. Фалькович скомандовал: «В бой!» Восемнадцать смельчаков взяли в плен тридцать пять фрицев. Филолог своими руками убил восемь немцев.

Год тому назад немцы шли на Москву. Хаим Дыскин — сын крымских колхозников. Он учился в литературном институте. Когда началась война, Дыскину было семнадцать лет. Он пошел на фронт добровольцем. У Можайска он увидел немецкие танки. Артиллерист Дыскин прямой наводкой разбил головной танк. Немцы выбежали из машины. Дыскин сам себе скомандовал: «Огонь по фашистам!» Раненый, он остался у орудия. Он был вторично ранен. Истекая кровью, он продолжал один отбивать атаку. Четырнадцать ран на теле, золотая звезда героя на груди, пять подбитых немецких танков — вот история семнадцатилетнего Хаима.

Может быть немцы думали, что евреи не ходят на лыжах? Лейзер Паперник зимой в селе Хлуднево истребил несколько десятков немцев. Тяжело раненый, он упал на снег. Немцы подбежали. Тогда Паперник приподнялся, и в немцев полетели гранаты. Полумертвый, он еще сражался против сотни немцев. Последней гранатой он взорвал себя.

Может быть немцы думали, что евреи не моряки? Герой Советского Союза капитан подводной лодки «Малютка» Израиль Фисанович показал фрицам, как еврей топит арийских бандитов. Немцы скинули на подводную лодку триста двадцать девять бомб, но лодка вернулась на свою базу. Она потопила четыре немецких транспорта. Рыбы радовались. Но вряд ли радовались породистые немецкие адмиралы.

Кто в Ленинграде не знает о подвиге радиста Рувима Спринцона? Он передал в эфир: «Огонь по мне!» Три дня держались четыре радиста, отрезанные от наших: еврей, русские, украинец. Рувим Спринцон совершал вылазки, из автомата бил фрицев. Немцы узнали: одно дело терзать в Гомеле беззащитных старух, другое — столкнуться в поле с Рувимом Спринцоном.

Под Ленинградом Лев Шпайер сжег немецкий танк, уничтожил десяток автоматчиков. Немцы думали, что их священное право вспарывать животы безоружных еврейских женщин. Лев Шпайер проткнул русским штыком ненасытное брюхо трех грабителей. Шпайер погиб в бою. Бойцы написали письмо его родителям: «Дорогие и любимые родители Льва Шпайера! Ваш сын был героем нашего фронта. Он знал, что за его спиной гордость русского народа — Ленинград. Мы вспомним немцам Леву, нашего командира-героя. Мы за него отомстим».

У Сталинграда немецкие танки пошли в атаку. В окопе сидел Давид Кац. Он бросил в головной танк бутылку с горючим. Танк вспыхнул. Второй танк хотел повернуть. Но Кац крикнул: «Бросьте эти шутки!» И кинул гранату под гусеницы. Танк остановился, но пулемет еще строчил по нашим. Тогда Кац заткнул дуло пулемета штыком. Раненым, он продолжал сражаться — ведь он защищал Сталинград. Только после вторичного ранения Давид Кац позволил отвести его на медпункт. Как здесь не вспомнить старую легенду о великане Голиафе и о маленьком Давиде с пращей?

Когда-то поэты мечтали об обетованной земле. Теперь для еврея есть обетованная земля: передний край, там он может отомстить немцам за женщин, за стариков, за детей.

Евреи сражаются бок-о-бок с русскими, с украинцами, с белоруссами. Велика любовь евреев к России: это любовь в духу и к плоти, к высоким идеям и к родным городам, к стране, которая стала мессией, и к земле, в которой похоронены деды. «За родину!» —

кричал московский рабочий Лейзер Паперник, бросая в немцев гранаты. С этими словами он умер, верный сын России.⁷⁶

Г. Александров. Товарищ Эренбург упрощает

В газете "Красная звезда" от 11 апреля с. г. опубликована статья. И Эренбурга- "Хватит!". В этой статье т. Эренбург затрагивает вопрос о современном положении в Германии и причинах сосредоточения немецких войск на советско-германском фронте при одновременном ослаблении вооруженных сил немцев на Западе.

Каждый, кто внимательно прочтет статьи т. Эренбурга, не может не заметить, что ее основные положения непродуманны и явно ошибочны. Читатель не может согласиться ни с его изображением Германии, как единой "колоссальной шайки", ни с его объяснением причин отхода немецко-фашистских войск с Западного фронта и сосредоточения всех сил германской армии на Востоке.

Тов. Эренбург уверяет читателей, что все немцы одинаковы и что все они в одинаковой мере будут отвечать за преступления гитлеровцев. В статье "Хватит!" говорится, будто бы "Германии нет: есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности". В статье говорится также, что в Германии "все бегут, все мечутся, все топчут друг друга, пытаясь пробраться к швейцарской границе".

Не составляет труда показать, что это уверение т. Эренбурга не отвечает фактам. Ныне каждый убедился, и это особенно ясно видно на опыте последних месяцев, что разные немцы по-разному воюют и по-разному ведут себя. Одни из них с тупым упорством всеми средствами отстаивают фашизм, фашистскую партию, фашистское государство, гитлеровскую клику. Другие предпочитают воздержаться от активной борьбы за гитлеризм, выждать или же сдаться в плен. Одни немцы всемерно поддерживают фашизм, гитлеровский строй, другие, разочаровавшись в войне, потеряв надежду на победу, охладели к диким, сумасбродным планам "фюрера". И это можно сказать не только о гражданском населении, но и о немецкой армии. Разъедающая кислота проникла в тело немецко-фашистской армии. Не удивительно, что если одни немецкие офицеры бьются за людоедский строй, то другие из них бросают бомбы в Гитлера и его клику или же убеждают немцев сложить оружие.

То, что происходит ныне в немецкой армии и среди немецкого населения, задолго до этого предвидел товарищ Сталин. Еще в мае 1942 года товарищ Сталин писал: "Война принесла германскому народу большие разочарования, миллионы человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца, а людские резервы на исходе, нефть на исходе, сырье на исходе. В германском народе все более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. Для германского народа все яснее становится, что единственным выходом из создавшегося положения является освобождение Германии от авантюристической клики Гитлера-Геринга". (И. Сталин. "О великой отечественной войне Советского Союза", стр. 49).

Времена фашистского угара в Германии на исходе. В Германии остается все меньше дураков, готовых безмолвно сложить голову за Гитлера и его преступные цели. Немецкие газеты вынуждены ежедневно сообщать факты, говорящие о быстром распаде тыла немецко-фашистских войск. Так, солдатская фашистская газета "Фронт унд хеймат" писала на днях, что в Германии появилось большое количество "принципиальных противников". И хотя гестаповцы призвали всех "настоящих немцев" к "свободной охоте" на всех таких "принципиальных противников", однако эта задача становится все более не под силу даже разветвленному аппарату гестапо.

Отсюда видно, что в жизни нет единой Германии, что не все немцы одинаково ведут себя.

⁷⁶ Илья Эренбург, "Красная звезда", СССР (№258 [5322]). Статья опубликована 1 ноября 1942 года. - <http://ognev.livejournal.com/208393.html>

Как известно, гитлеровцы, стремясь подольше сохранить свою шкуру, свой преступный строй, навязчиво тужатся доказать, вопреки фактам, будто вокруг них объединился весь германский народ. Цели этой неуклюжей демагогии вполне ясны. Фашистское государство современной Германии исчерпало все реальные возможности сохранить себя в развязанной им мировой войне. Гитлеровцы судорожно цепляются за малейшую возможность продлить существование кровавого людоедского фашистского строя.

Поэтому они без устали долбят в одну точку - будто бы противники Германии, армии Объединенных наций, намерены истребить германский народ, а потому, мол, все немцы должны подняться на битву за сохранение Германии. Один из главарей разбойничьей гитлеровской шайки - Геббельс писал недавно: "Участие в войне в той или в другой форме обязательно для всех без исключения жителей Германии. Участие в войне на сегодняшний день является категорическим императивом, и нет ни одного немца, который не был бы в какой-то мере ответственным за исход войны..."

Четыре дня назад германское радио передало статью того же Геббельса, напечатанную в фашистской газете "Дас Райх", в которой говорится: "Мы должны выдержать эту битву с полным национальным единением, и мы должны ей противостоять, сомкнув свои ряды. Не бросаться за борт при любой буре. Это является заповедью данного часа".

Основной темой всей свистопляски фашистской печати и радио является призыв немцев к единству в эти критические для фашистской Германии времена.

Спрашивается, почему на шестом году войны гитлеровцы так неистово завопили о необходимости единства германского народа перед грозящей фашистскому государству опасностью? Это объясняется весьма просто. Стремясь связать судьбу всего немецкого населения и всей германской армии с судьбой фашистской клики, гитлеровцы рассчитывают почерпнуть некоторые дополнительные силы для продолжения преступной войны, затянуть неизбежную развязку, получить время для военно-политических и дипломатических маневров, отсрочить час справедливого суда свободолюбивых народов над кровавыми гитлеровскими преступниками.

Однако, как об этом красноречиво говорят факты, истощенные призывы фашистской прессы, видимо, мало помогают делу. Гитлеровское государство слабеет с каждым днем, ряды гитлеровской партии редеют, и, конечно, ни о каком единстве всего населения Германии с правящей фашистской кликой не может быть и речи. Вполне понятно, что гитлеровцам не было бы нужды призывать немцев к единству, беспокоиться за судьбу этого единства, если бы так сильно не трещал по швам фашистский порядок, а в Германии не оказалось бы так много желающих "бросаться за борт", т. е. выскочить из фашистской колесницы.

Таковы факты.

Понятно отсюда, почему ошибочна точка зрения т. Эренбурга, который изображает в своих статьях население Германии как некое единое целое.

Тов. Эренбург пишет в своих статьях, что Германии нет, есть лишь "колоссальная шайка".

Если признать точку зрения т. Эренбурга правильной, то следует считать, что все население Германии должно разделить судьбу гитлеровской клики.

Незачем говорить, что т. Эренбург не отражает в данном случае советского общественного мнения. Красная Армия, выполняя свою великую освободительную миссию, ведет бои за ликвидацию гитлеровской армии, гитлеровского государства, гитлеровского правительства, но никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий народ. Это было бы глупо и бессмысленно. Когда гитлеровцы фальсифицируют позицию наших войск, нашего государства и вопят, будто бы Красная Армия истребляет всех немцев поголовно, - это понятно. Правящая фашистская клика пытается использовать этот лживый довод для поднятия всего немецкого населения на борьбу против союзных войск, против Красной Армии и тем самым продлить существование преступного и прогнившего фашистского строя. Когда же с подобными взглядами выступают настоящие антифашисты, активные участники борьбы против гитлеровской Германии, это является странным и непонятным. Советский народ никогда не отождествлял население Германии и правящую

в Германии преступную фашистскую клику. Товарищ Сталин говорил: "Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское - остается" (И. Сталин "О великой отечественной войне Советского Союза", стр. 43).

В полном соответствии с этой советской точкой зрения находятся и решения Крымской конференции, в которых говорится: "В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций". Отсюда ясно, что жизни немцев, которые поведут борьбу с Гитлером или будут лояльно относиться к союзным войскам, не угрожает опасность. Конечно, тем из них, кои ведут и будут вести борьбу против Красной Армии и войск союзников за сохранение фашистских порядков, не будет никакой пощады.

* * *

В своей статье "Хватит!" т. Эренбург правдиво и сильно описал кровавые злодеяния немцев на нашей священной земле. Но, к сожалению, из бесспорных фактов т. Эренбург вывел ошибочные заключения. Отметив, что "нахальные немцы держатся с американцами как некая нейтральная держава", т. Эренбург объясняет ожесточенное сопротивление немцев на советско-германском фронте страхом, боязнью их ввиду предстоящей расплаты за совершенные злодеяния на советской земле.

Нет слов, - немцы, повинные в преступлениях на нашей земле, страшатся ответственности, тем более что час расплаты близок. Несомненно, также, что это обстоятельство усиливает сопротивление тех из них, кои повинны в преступлениях против советских людей. Известно, что гитлеровцы нигде так не палачествовали, нигде не проявляли так разнузданно свою людоедскую сущность, как в оккупированных районах СССР. Народ наш ожесточен. Может быть, большей ненависти, чем ненависть советских людей к фашистским поработителям, еще не видел мир. Но вместе с тем было бы упрощением и наивностью объяснять современную расстановку германских вооруженных сил между Западным и Восточным фронтами только лишь страхом, боязнью гитлеровских преступников. Причины оголения немцами своего Западного фронта и продолжающегося сосредоточения войск на советско-германском фронте лежат глубже, нежели чувствительность гитлеровцев к страху.

В свое время Ленин, изучая политику различных правительств во время войны, а также характер и причины изменения этой политики, сделал на этот счет весьма важные указания. Он отмечал, что "всякая война нераздельно связана с тем политическим строем, из которого она вытекает" (Соч. т. XXX, стр. 333). Каков политический строй гитлеровской Германии, такова война и политика во время ее, проводимая кликой Гитлера.

Опыт всей более чем 12-летней политики гитлеровцев в Германии и за ее пределами указывает, что провокация, демагогия, политическое шулерство были всегда основным содержанием политики гитлеровцев как в военное, так и в мирное время. Вот что писал, например, Гитлер об основной черте своей политики: "Политика - это такая игра, в которой допустимы все хитрости и правила которой меняются в зависимости от искусства игроков".

Нельзя отказать в известной последовательности клике Гитлера: на протяжении более десятка лет народы всех стран наблюдали, как одно вероломство фашистской Германии следовало за другим, одна провокация сменяла другую.

За последнее время, судя по всему, гитлеровцы предприняли новую провокацию. Пленный командир 10 немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант Краппе сообщил в феврале с. г. о наличии у германского командования широкого плана переброски вооруженных сил на советско-германский фронт. Действительно, за последние два с половиной месяца немецкое командование перебросило на советско-германский фронт с Западного фронта,

из центральных районов Германии, из Норвегии и Северной Италии 44 дивизии. Осуществив большие переброски войск на советско-германский фронт, командование германской армии оставило фактически без серьезной защиты свой Западный фронт. Какую цель преследует командование германской армии таким распределением своих вооруженных сил между Западом и Востоком? Можно ли объяснить подобные действия боязнью, страхом немецкого командования перед ответственностью за кровавые преступления, совершенные германскими войсками на советской территории? Более верным будет предположить, что на нынешней стадии войны гитлеровцы следуют своей издавна выношенной и внутренне присущей им провокаторской политике. Гитлеровцы стремятся породить своими действиями недоверие в лагере Объединенных наций, вызвать раздор между союзниками, отвести хотя бы на время от себя последний смертельный удар союзных армий и сохранить при помощи провокаторского военно-политического трюка то, что не удалось достигнуть при помощи вооруженной силы. Что же касается чувства страха гитлеровцев за их былые и нынешние преступления, то это чувство, конечно, играет свою роль. Однако, как видно из сказанного, дело не только и не столько в страхе и боязни гитлеровцев. Для каждого очевидно, что, если бы немцами руководило чувство боязни в их нынешней преступной политике, они, вероятно, не продолжала бы усиленно топить своими подводными лодками англо-американские суда, не обстреливали бы Англию до последнего времени самолетами-снарядами и не продолжали бы умерщвлять военнопленных солдат и офицеров союзных армий. Из этого следует, что факту ослабления германского фронта на Западе и упорного сопротивления немцев на Востоке или, говоря словами т. Эренбурга, тому факту, что "Кенигсберг был взят не по телефону" и "Вену мы берем не фотоаппаратами", нужно дать совсем другое объяснение, чем то, которое дано т. Эренбургом на страницах "Красной звезды". Это тем более необходимо, что необоснованность заключений и выводов т. Эренбурга может запутать вопрос и, конечно, не будет содействовать разоблачению провокаторской политики гитлеровцев, направленной на порождение раздоров между союзниками.⁷⁷

А.Гайдар. Ракеты и гранаты

Фронтной очерк

Десять разведчиков под командой молодого сержанта Ляпунова крутой тропкой спускаются к речному броду. Бойцы торопятся. Темнеет, и надо успеть в последний раз на ночь перекурить в покинутом пастушьем шалаше, близ которого расположился и окопался полевой караул сторожевой заставы.

Дальше - где-то на том берегу - враг. Его надо разыскать.

Пока десять человек в лежку - голова к голове - жадно затягиваются крепким махорочным дымом, начальник разведки молодой сержант Ляпунов такого же молодого начальника караула сержанта Бурыкина предупреждает:

- Пойдем назад, так я тебе, дорогой, с того берега пропуск орать не буду. И ты по этому поводу огонь по мне открывать не вздумай. Я вышлю бойца вперед. Ты его окрикну с берега на воду тихо. Он подойдет, тогда скажет.

- Знаю, - важно отвечает Бурыкин. - Наука нехитрая.

- То-то, нехитрая! А вчера часовой так громко крикнул, что противник мог бы услышать. Что на том берегу? Тихо?

- Две ракеты вот так в направлении. Потом два выстрела, - объясняет Бурыкин. - Иногда ветер дунет - тарыхтит что-то. Да! Потом самолет прилетал, разведчик. Покрутился, покрутился да вон туда, сволочь, скрылся.

⁷⁷ "Правда"

- Самолет - хищник неба, - солидно говорит сержант Ляпунов, - а наше дело - шарь по земле, по траве и по лесу. Ну! - сурово поворачивается он. - Как, перекурили? И какая у меня мечта - это некурящая разведка, а они без табачной соски жить не могут.

Подвесив на шею патронташи, держа над водой винтовки и гранаты, темная цепочка переходит реку.

Голубоватым огоньком мерцает над волнами яркий циферблат компаса на руке сержанта. Выбравшись на лесную опушку, сержант отстегивает светящийся компас, прячет его в карман, и безмолвная разведка исчезает в лесной чаще. Ядро разведки движется по лесной дорожке. Два человека впереди, по два слева и справа. Через каждые десять минут без часов, без команды, по чутью разведка останавливается. Упершись прикладами в землю, опустившись на колени, затаив дыхание люди напряженно вслушиваются в ночные звуки и шорохи.

Чу! Прокричал где-то еще не сожранный немцами петух.

Потом что-то вдалеке загудело, звякнуло, как будто бы стукнулись буферами два пустых вагона.

А вот что-то затарахтело. Это мотор. Здесь где-то бродят мотоциклисты. Их надо разыскать во что бы то ни стало.

Из темноты возникает красноармеец Мельчаков и, запыхавшись, докладывает:

- Товарищ сержант, на пригорке, через дорогу, под ногами - провод.

Сержант идет вперед Он ощупывает провод рукою и раздумывает: идти по проводу влево или вправо? Но оказывается, что слева провод уходит в топкое болото. Нога вязнет, и сапог с трудом выдирается из липкой грязи. Вправо то же самое.

К сержанту подходит Мельчаков, вынимает нож и предлагает:

- Разрешите, товарищ сержант, я провод перережу.

Сержант Мельчакова останавливает. Он хмурится, потом хватается за провод, наматывает его на ножны штыка и с силой тянет. Провод подается. В болоте что-то чавкает. И вот на дорогу выползает тяжелый камень.

Сержант торжествует. Ага, значит, провод фальшивый. Так и есть, на другом конце провода привязан и заброшен в осоку кусок железной рессоры.

- "Перережу, перережу"! - передразнивает сержант Мельчакова. - "Товарищ сержант, доношу, что телефонную связь между двумя батальонами болотных лягушек уничтожил". Очень ты, Мельчаков, на все тороплив. Иди вперед. Ищи. Где-нибудь неподалеку тут есть настоящий провод.

Опять слышится впереди фырчанье мотора. Разведка движется ползком по песчаной опушке. Отсюда виден за кустарником силуэт хаты. У хаты - плетень. За плетнем - неясный шум.

Сержант шепотом приказывает:

- Приготовить гранаты. Подползти к плетню. Я с тремя иду вперед справа. Гранаты бросать точно по тому направлению, куда я дам пологий удар красной ракетой.

Приготовить гранаты - это значит: щелк - взвод, щелк - предохранитель, щелк - и капсуль на место.

И вот он, скрытый, готовый взорваться огонь, лежит возле груди, у самого сердца.

Проходит минута, другая, пять, десять. Ракеты нет. Наконец появляется сержант Ляпунов и приказывает:

- Разрядить гранаты. Дом брошен. Это бьется во дворе, у сарая, раненая лошадь. Быстро поднимайся. Берем влево. Слышите? Немцы где-то здесь, за горкой.

К сержанту подходит Мельчаков. Он мнется и правую руку, сжатую кулаком, держит как-то странно наотлет.

- Товарищ сержант, - сконфуженно говорит он, - у меня граната - не "бутылка", а "Ф-1", "лимонка". И вот - результат печальный.

- Какой результат? Что ты бормочешь?

- Она, товарищ сержант, стоит на боевом взводе.

Мгновенно, инстинктивно от Мельчакова все шарахаются.

- Химик! - отчаянным шепотом восклицает озадаченный сержант. - Так ты что... уже чеку выдернул?

- Да, товарищ командир. Я думал: сейчас будет ракета, и я ее тут же брошу.

- "Брошу, брошу"! - огрызается сержант. - Ну, теперь держи ее в кулаке и не разжимай руки хоть до рассвета.

Положение у Мельчакова незавидное. Он поторопился, и боек гранаты теперь держится только зажатой в ладони скобой. Вставить предохранитель, не зажигая огня, нельзя.

Бросить гранату в лес, в болото нельзя тоже - будет сорвана вся разведка. Бойцы на ходу шепотом Мельчакова ругают:

- Ты куда, парень, к людям жмешься? Ты иди стороной или боком.

- Куда ему боком? Пусть идет дорогой, где глаже, а то о корень зацепится да как брякнет.

- Не махай рукой, не на параде. Ты ее держи, гранату, двумя руками.

В конце концов у обиженного Мельчакова забирают винтовку и его с гранатой посылают вперед, головным дозорным.

Через несколько минут ядро разведки застаёт его сидящим на краю дороги.

- Ты что?

- У меня тут под ногой провод, - хмуро сообщает Мельчаков.

Разведка идет по проводу. Вдруг треск моторов раздаётся совсем рядом. Блеснул и потух огонь. Впереди, у колхозных сараев, шум, движение. Сержант, за ним вся разведка плашмя падают на землю и ползут прочь от дороги, на которой вот-вот, вероятно неподалеку, стоит сторожевое охранение. Двести метров разведка ползет минут сорок. Потом долго лежит недвижно, прислушиваясь к шуму, треску и звукам незнакомого языка. Сержант дергает Мельчакова за пятку и показывает ему на заряженную ракетницу. Мельчаков молча и понимающе кивает головой. Сержант отползает.

Опять одна, другая, долгие минуты. Вдруг красной змейкой, показывая направление, вспыхивает брошенная сержантом ракета.

Мельчаков вскакивает и что есть силы бросает свою гранату через крышу сарая.

Раздается гром, потом вой, затем оглушительный треск моторов сливается с треском немецких автоматов. Разведчики открывают огонь.

Загорается соломенная крыша сарая. Светло. Видны враги. Так и есть - это мотоциклетная рота.

Но вот в бестолковый треск автоматов ввязываются тяжелые пулеметы.

Перерезав в нескольких местах провод, разведка отходит.

Пальба сзади не прекращается. Теперь она будет продолжаться до рассвета.

Темно. Далеко на том берегу проснулся, конечно, командир роты. Он слышит этот огонь и думает сейчас о своей разведке.

А его разведчики шагают по лесу дружно и быстро. Не сердито ругают они теперь длинноногого Мельчакова. Нетерпеливо ощупывают карманы с махоркой.

И, чтобы хоть за рекой, в шалаше, он дал им вдоволь накуриться, дружно и громко хвалят они своего молодого сержанта.⁷⁸

А.Гайдар. У переправы

Фронтвой очерк

Наш батальон вступал в село.

78 Действующая армия. "Комсомольская правда", 1941, 4 октября.

Пыль походных колонн, песок, разметанный взрывами снарядов, пепел сожженных немцами хат густым налетом покрывали шершавые листья кукурузы и спелые несобранные вишни.

Застигнутая врасплох немецкая батарея второпях ударила с пригорка по головной заставе зажигательными снарядами.

Огненные змеи с шипением пронеслись мимо. И тотчас же бледным, прозрачным на солнце пламенем вспыхнула соломенная кровля пустого колхозного сарая.

Прежде чем броситься на землю, секретарь полкового комсомола Цолак Купальян на одно-другое мгновение оглянулся: все ли перед боем идет своим установленным чередом и где сейчас находится комбат?

Командир батальона старший лейтенант Прудников был рядом, за углом хаты. Соскочив с коня и бросив поводья ординарцу, он уже приказывал четвертой роте броском занять боевой рубеж, пятой - поддержать огнем четвертую, а шестой - усилить свой фланг и держаться к локтю пятой.

Дальше следовали приказы разведчикам, пулеметчикам, минометчикам, взводам связи, связным от артиллерии...

И вот пошла четвертая, пошла пятая.

Все пошло - вернее, поползло по пшенице, по гречихе, головой в песок, лицом по траве, по земле, по сырому торфяному болоту.

Грохот усиливается.

Бьют вражеские минометы. Горят хаты. Людей не видно. И поэтому сначала кажется, что среди этого разноголосого визга и грома никакого осмысленного порядка нет и быть не может.

Но вскоре оказывается, что свой незримый железный порядок у этого боя есть.

Вот в ложине спешно складывают свой тяжелый груз и открывают огонь минометчики.

С холма по картофельному полю кубарем, перекатываясь с боку на бок, тянет телефонный провод комсомолец Сергиенко. Радист ставит под густым орешником маленькую, похожую на ежа, станцию.

Вдруг - ба-бах! - не туда поставил. Обжегся, поежился, перетащил ящик в канаву, нацепил наушники и что-то там накручивает, настраивает.

Четвертая рота врывается на рубеж. Вот крайняя хата Три минуты назад здесь был враг.

Он убежал. В панике, в спешке. Еще и сейчас внизу, меж кустами, перебегают вражеские солдаты. Один, два, три... пятнадцать... сорок! Стоп! Уже не сорок...

Взмокший пулеметчик с ходу рванул пулемет, нажал на спуск "максима", и счет разом изменился.

Хата. Сброшены на пол подушки, перины. Здесь они спали

Стол. На столе тарелки, ложки, опрокинутая крышка молока. Здесь они жрали.

Настежь открытый сундук, скомканное белье. Вышитое петушками полотенце. Детский валенок. Здесь они грабили. Над сундуком в полстены жирным углем начерчен паучий фашистский знак.

Стены мирной хаты дрожат от взрывов, от горя и гнева.

Бой продолжается. По пшенице быстро шагает чем-то взволнованный начальник штаба батальона Шульгин.

Вдруг он приседает. Потом поднимается, недоуменно смотрит на свою ногу. Нога цела, но голенище сапога срезано осколком. Он спрашивает:

- Где комбат? Прудникова не видали? Он сейчас был там.

"Там", за пригорком, где только что был командный пункт, миною взорван сарай, он раскидан и горит, поджигая вокруг колосья густой пшеницы.

На лице начальника штаба тревога за своего комбата. Это самый лучший и смелый комбат самого лучшего полка всей дивизии.

Это он, когда, надрывая душу, надсадно, угрожающе, запугивающе запели, заняли немецкие трубы, пугая атаками, на вопрос командира полка по телефону: "Что это такое?" - сжав чуть оттопыренные губы, с усмешкой ответил:

- Все в порядке, товарищ командир. Начинается музыка. Сейчас и я впишу пулеметами свою гамму.

С биноклем через шею, с простым пистолетом "ТТ" в кобуре, внезапно возникает из-за дыма целый и невредимый комбат.

Ему рады. На вопросы о себе он не отвечает и приказывает:

- Переходим на оборону. Здесь у врага большие силы. Дайте мне связь с артиллерией.

Всем командирам рот прочно окопаться.

По торфяному полю опять тянет провод Сергиенко. Вот он упал, но он не ранен. Он устал. Он уткнулся лицом в мокрый торф и тяжело дышит. Вот он поворачивает голову и видит, что совсем рядом перед ним, перед его губами - воронка от взрыва мины и, как на дне блюдечка, скопилось в ней немного воды. Он наклоняет голову, пьет жадно, потом поднимает покрытое бурым торфом лицо и ползет с катушкой дальше.

Через несколько минут связь с полком налажена. Поступает приказание:

"Немедленно переходите..."

И вдруг приказ обрывается. Комбат сурово смотрит на Купаляна: куда переходить?

На этом фронте, слева и впереди нас, ведется бой. Идет сражение большого масштаба, борьба за узловую город. Может быть, приказ означает: "Немедленно переходите в атаку на превосходящие силы противника"?

Тогда командиров бросить вперед. Коммунистов и комсомольцев тоже вперед. Собрать всю волю в кулак и наступать.

Комбат отдает последние распоряжения...

Вдруг связь опять заработала. Оказывается, что приказ гласит:

"Немедленно выходите из боя. Перейти вброд реку и занять высоту 165".

Красноармеец-связист опять хочет пить. Он забегает в крайнюю хату.

Он видит развал, погром.

Он видит паучий крест на стене.

Он плюет на него.

Зачеркивает углем. И быстро чертит свою красноармейскую звезду.

Батальон собирается у брода.

На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открывает глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает:

- Товарищи, а вы меня перенесете?

- Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле, полуоглохшие минометчики.

- Слышишь? Это, обеспечивая тебе переправу, за девять километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи. Из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет! Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты будешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу.⁷⁹

Г. Боровик. Пылающий остров

От автора

То, что вы прочтете в этой книжке, далеко не полная картина кубинской революции. Мне хочется рассказать молодому читателю лишь о некоторых эпизодах революционной борьбы кубинского народа, о которых я узнал во время своих поездок на Кубу.

⁷⁹ Действующая армия. "Комсомольская правда". 1941, 8 августа.

Мне выпало в жизни большое счастье — дважды побывать на этом маленьком острове, ставшем в последнее время таким большим и значительным. Я слушал и тщательно записывал рассказы участников революционной борьбы, читал дневники, на которых иногда были видны ржавые следы крови, рассматривал пожелтевшие фотоснимки, сделанные неумелой рукой во время боя.

На Кубе свято хранят реликвии революции. Но собирать реликвии очень трудно. Ведь во время революционных боев о них мало думали, а в подполье их уничтожали, чтобы не оставлять следов полиции.

Но все же реликвии есть. А главное — есть люди, веселые, мужественные, серьезные, увлекающиеся, темпераментные кубинцы, участвовавшие в революции. Настоящая революция всегда молода. Поэтому молоды мои друзья, которые помогли мне написать то, что вы сейчас собираетесь прочесть.

Первые выстрелы

Хиральдо вернулся домой поздно. В голове немного шумело от трех рюмок бакарди. Перед глазами мелькали разноцветные маски, воздушные шары, стройные женские ножки, яркие костюмы танцовщиц, он еще слышал смех, пение, ритмичное пришепетывание маракас⁸⁰. Хиральдо постоял немного перед зеркалом над умывальником, внимательно рассматривая свою круглую улыбающуюся физиономию. Нахмурил брови. Но серьезного вида не получилось. Он крикнул и подставил голову под кран с водой. Загорочалась на постели мать.

Хиральдо быстро закрыл кран и, сняв штiblеты, босиком вышел на улицу.

Спать не хотелось. Он присел на не остывшую за ночь каменную ступеньку, уперся локтями в колени и, улыбаясь, смотрел вдоль улицы, туда, вверх, откуда, затихая, все еще доносились звуки карнавала — красочного, сумасшедшего и изящного карнавала, который ежегодно устраивался в двадцатых числах июля в Сантьяго-де-Куба.

По другой стороне улицы медленно прошел полицейский, внимательно проверяя замки на магазинах.

— Кого сегодня отправлять будешь? — спросил полицейский, кивнув Хиральдо.

— Воскресенье же... — зевнул тот.

— Господь бог на это не смотрит, — нравоучительно сказал полицейский.

Хиральдо хоть и работал в магазине похоронных принадлежностей, но разговоров о смерти не любил. Поэтому он ничего не ответил мрачному стражу порядка, и тот пошел дальше, что-то недовольно бурча себе под нос.

Сверху, с площади Парке Сентраль, ручейками стекали в нижнюю часть города остатки карнавала. Торопливо прошел торговец шляпами. Разноцветные, причудливых фасонов, они висели на большой деревянной раме, которую хозяин нес на плече. Видно, торговля шла не очень хорошо — на раме не было ни одного пустого места.

Протарахтел своей тачкой продавец соков. Хиральдо хотел остановить его и выпить из бумажного стаканчика апельсинового джуса, но продавец даже не откликнулся на его окрик.

«Черт их знает, людей... Карнавал, а они злые, угрюмые...» — подумал Хиральдо.

Он проводил глазами высокую, статную негритянку, которая шла босиком по противоположному тротуару, держа в руках легкие красные туфельки; мальчишку-чистильщика с деревянным ящичком в руках; старого тапера, который жил в соседнем доме и имел целый выводок всегда оборванных, голодных и отчаянных ребятишек. На них с утра до вечера кричала их мать — женщина болезненная, со слезящимися глазами и

80 Кубинский народный музыкальный инструмент.

впалой грудью. Хиральдо был еще мальчишкой, когда она поселилась в доме тапера молодой, пышной красавицей. С тех пор минуло всего десять лет, и Альма превратилась в сварливую худую старуху с дряблой, серой кожей на лице.

Прошло еще несколько человек — знакомых и незнакомых. Потом улица совсем опустела. Карнавал, длившийся три дня и три ночи, кончился.

Завтра, вернее — сегодня, невыспавшиеся горожане сходят в церковь, и снова начнется обычная жизнь. И он, Хиральдо, снова сядет за руль «джипа» и поедет развозить похоронные принадлежности по адресам, которые ему назовет хозяин невеселого предприятия.

Хиральдо встал со ступеньки, отряхнул, брюки и, потянувшись, направился к двери. В это время раздался отчетливый ритмичный звук — стреляли из пулемета или автомата. Хиральдо прислушался. Звук повторился. Снова две короткие очереди, пауза, потом одиночные выстрелы. Они слышны были со стороны форта Монкада, в верхней части города, где стоял военный гарнизон Сантьяго-де-Куба.

«Нечего им делать, — со злостью подумал Хиральдо. — В такую ночь устраивать учения... — он снова взялся за ручку двери. Мимо крыльца, тяжело стуча коваными башмаками по асфальту, пробежал мрачный полицейский. — Нет, не учения, — подумал Хиральдо, снова прислушиваясь к беспорядочной стрельбе. — Что же это может быть?»

Куриная ферма Абеля Сантамария

В середине марта 1953 года в маленьком местечке Сибоней — километрах в трех от Сантьяго — появился молодой, по всем признакам преуспевающий бизнесмен. В местном полицейском участке, куда бизнесмен зашел самым вежливым образом засвидетельствовать свое почтение, он назвал себя Абелем Сантамария.

— Я понимаю, что мое появление в этом маленьком, но прекрасном городке вызовет ваш естественный интерес, сеньор начальник, — улыбаясь, говорил он одному из местных полицейских чинов. — А я не привык доставлять людям хлопоты. Ходить в жару за мной, выяснять, кто я, — зачем это все? Поэтому я здесь. Зовут меня Абель Сантамария. Бывший студент. Занимаюсь маленьким бизнесом. Хочу открыть птицеферму. Буду всегда рад видеть вас у себя, сеньор.

Чину явно понравилась предупредительность молодого бизнесмена. Кроме того, полицейское начальство обожало жареных цыплят с рисом и бобами. Вот почему Абель не встретил в маленьком, уютном городке каких-либо препятствий на пути к безобидному куриному бизнесу. Он купил небольшой земельный участок, поросший высокой сочной травой, и обнес его деревянным забором. Забор был высокий, доски стояли одна к другой плотно, и при всем старании трудно было рассмотреть, что делается в загоне. Да никого это особенно и не интересовало.

Абель Сантамария часто ездил на своей машине в Сантьяго, часто к нему приезжали друзья. В этом тоже не было ничего предосудительного и ничего подозрительного с точки зрения полицейского надзора. Абель рассказывал всем и всякому, что хочет поставить птицеферму на широкую ногу, с учетом всех последних достижений науки и поэтому ему придется нанять несколько специалистов, не говоря уж о рабочих и обслуживающем персонале...

Поэтому никто из полицейских чиновников в Сибонее не встревожился, когда в двадцатых числах июля на птицеферму начали съезжаться люди. Они приходили и приезжали поодиночке или группами в два-три человека. Одних Абель отправлялся встречать в Сантьяго, другие приезжали сами. Но никто из сибонейцев не подозревал, что у Абеля Сантамария за несколько дней собралось почти полтора человека.

22 июля из Гаваны приехала небольшого роста, хрупкая, светловолосая девушка — сестра Абеля. Брат встретил ее на вокзале в Сантьяго.

Спутники по купе, сгибаясь под тяжестью нош, помогли ей вынести два вместительных чемодана. Айдее была студенткой и объяснила новым знакомым, что везет в чемоданах книги, чтобы летом не терять времени даром и заниматься у брата на ферме.

Этот вечер обитатели куриного загона провели... за чисткой и сборкой оружия, привезенного Айдее в ее объемистых чемоданах.

Абель был одним из руководителей группы. Но только «одним из». Люди ждали «главного». Он приехал 25 июля вечерним поездом. Это был высокий человек, почти двухметрового роста, плотный, с покатыми могучими плечами, с лицом, на котором линия высокого чистого лба, почти не изменяясь, без переносицы переходила в линию прямого носа, прямые брови, широко расставленные, темно-карие глаза. Он вылез из машины вслед за Абелем и большими шагами прошел в домик за оградой. Его сразу обступили. Это был двадцатилетний адвокат из Гаваны Фидель Кастро Рус.

Абель рассказал Фиделю о последних приготовлениях. Все пока что шло по плану, разработанному самым подробным образом.

— Еще не на всех форма? — спросил Фидель, оглядывая юношей, окружавших его.

— Еще нет... Ночью кончим гладить... — ответил Абель. — Нельзя на такое дело идти в невыглаженной форме.

Вопрос о форме был решен давно. Хотя приобретение ее было делом тяжелым и дорогим, решили все-таки обязательно идти в первый бой в одинаковой одежде армейского образца. В дальнейшем, после победы, форма должна была оказать большое психологическое воздействие. На победителей не смотрели бы как на группу налетчиков.

План нападения на крепость Монкада разработали Фидель Кастро и Абель Сантамария с друзьями. Никто из них не имел военного образования. Да и вряд ли профессиональные военные взялись бы всерьез за разработку плана нападения 165 человек на военные казармы, обнесенные высокой каменной стеной, за которой находилось несколько тысяч солдат и офицеров регулярной армии кубинского диктатора Батисты. Тем более что на весь отряд Фиделя было лишь три винтовки американского армейского образца, десяток «винчестеров», несколько десятков разнокалиберных пистолетов и один пулемет, настолько изношенный, что его приходилось ремонтировать после каждой очереди. Но, может, именно потому, что ни у кого из авторов плана не было военного опыта, план был дерзок и необычен. В основе его лежала внезапность нападения. Дисциплина в батистовских казармах была далеко не блестящая, моральный дух солдат низок, а бурный и шумный карнавал в Сантьяго, который заканчивался в эту ночь, должен был помочь нападающим.

Собственно, патриоты не собирались давать серьезного боя солдатам. Весь расчет строился на том, что солдаты и офицеры, застигнутые врасплох, не окажут сопротивления и сдадутся, прежде чем поймут, какие крохотные силы решились атаковать один из оплотов батистовской диктатуры.

Возле казарм находились здания гражданского госпиталя и Дворца правосудия. Госпиталь предстояло взять отряду в 21 человек под командованием Абеля Сантамария. В этом отряде были и Айдее Сантамария и доктор Марио Муньос. Они обеспечивали уход за ранеными.

Другой маленький отряд, в десять человек, под командованием младшего брата Фиделя Кастро — Рауля готовился захватить Дворец правосудия и поддерживать оттуда огнем атаку на крепость.

Перед отрядом в девяносто пять человек, которым командовал Фидель, стояла задача прорваться сквозь ворота крепости, захватить бараки с солдатами и арсенал.

Подробная карта форта — его барак, выкрашенных в ядовито-желтый цвет, огневых точек, укреплений, постов — была составлена давно благодаря находчивости одного из бойцов, студента гаванской инженерной школы. Несколько раз он ходил к командиру

крепости под предлогом переговоров о возможности сбывать сюда всю годовую цыплячью продукцию с фермы Абея Сантамария.

Кто-то предлагал план: вначале послать маленькие группы людей в дома, где были расквартированы офицеры, чтобы захватить их. Но Фидель отверг это предложение — он не хотел кровопролития в домах, где жили женщины и дети, да и опасно было с самого начала распылять силы.

Выдвигался еще один план: прежде всего захватить радиостанцию, обратиться к народу за поддержкой, а уж затем атаковать крепость.

Но и это предложение было отвергнуто: объявить по радио о начале вооруженной борьбы значило лишиться главного козыря — внезапности.

Нет, действовать решено иначе: атаковать казармы, взять там оружие и раздать его народу. А потом захватить радиостанцию.

Революционеры заранее заготовили и взяли с собой магнитофонную пленку с записью маршей и стихов известных кубинских поэтов. Они понимали, что атака на казармы Монкада, к которой они с такой тщательностью готовились больше чем полгода, будет лишь маленьким начальным эпизодом в борьбе против ненавистного режима диктатора Батисты. После взятия Монкада эту борьбу поведет уже не отряд храбрецов, а весь кубинский народ.

Люди, собравшиеся в курином загоне городка Сибоней, трезво оценивали все «за» и «против». Они понимали: шансов на победу не так уж много. Но все-таки эти шансы есть. И поэтому надо выступать, ибо даже поражение принесет свои плоды революции — самый факт атаки на крепость всколыхнет народ, волеет в него уверенность в возможность борьбы...

Фидель последний раз внимательно приглядывался к бойцам, с которыми через несколько часов он пойдет в бой, неравный бой. Это была молодежь, большей частью студенты или бывшие студенты, связанные друг с другом дружбой, едиными взглядами на жизнь, едиными мечтами о будущем Кубы. Кто из них станет свидетелем этого будущего? Кто доживет до осуществления мечты, которая ведет их, почти безоружных, в бой против великолепно оснащенных новейшим американским оружием, обученных американскими военными инструкторами солдат и офицеров армии кубинского диктатора и лакея американских миллионеров Батисты?

Он знал здесь каждого.

Вон та девушка, миниатюрная, худенькая, что старательно и быстро разглаживает форменные рубашки и брюки солдатам — Айдее Сантамария, сестра Абея. Брат и сестра — из состоятельной семьи, живущей в Санта-Кларе. Но последние восемь месяцев, что заняла подготовка к атаке, они лишили себя всего, жили впроголодь, обносились. Среди студентов Гаванского университета даже пошел слух, что Абель играет в казино и проигрывает деньги, которые присылают родители ему и сестре. Абель и Айдее не опровергали слухов, ведь это помогало скрывать истинную причину безденежья — брат и сестра отдавали все средства повстанцам.

Фидель долго не соглашался включать Айдее в число атакующих Монкада. Но она так просила, так убедительно доказывала, что принесет пользу в госпитале... Ему пришлось согласиться. Он не мог отказать еще и потому, что здесь был не только ее брат, но и ее жених — Абор... Она не хотела, не могла оставить их в опасности, она должна быть рядом с ними.

Тот юноша, который, наверное, уж в десятый раз чистит свой старенький пистолет, — Эскильо Перейра. Фидель не знал его по университету. Однажды Эскильо явился к ним, молча выложил на стол триста песо и отошел. «Для чего эти деньги?» — спросил Фидель. «Для нашего дела», — ответил Эскильо. Потом друзья узнали, что Эскильо продал свою должность безработному, чтобы на вырученные деньги можно было купить оружие...

Сколько здесь таких! Вон Фернандо Маркес. Он продал всю аппаратуру своей фотостудии. А ведь он зарабатывал ею на жизнь.

Педро Гонсалес, как выяснилось, все эти месяцы отдавал на подготовку восстания почти все свое скромное жалованье. Трудно даже представить, на что он жил.

...Одни, наиболее спокойные или усталые, спали, другие чистили оружие, третьи вполголоса переговаривались.

Фидель посмотрел на часы. Четыре тридцать. Наступало утро 26 июля 1953 года.

Выступление отряда из Сибонья было назначено на пять, чтобы в пять тридцать начать атаку на крепость... Пора поднимать людей. Фидель еще раз оглядел всех и негромко сказал:

— Ну что ж, время... Можно начинать...

Монкада

Первая машина прошла сквозь ворота благополучно. Часовые кинулись к ней, но шофер высунулся из кабины и громко, уверенно произнес ничего не значащую фразу:

— Почетная охрана генерала.

Что за генерал, что за почетная охрана — не знали ни те, кто был в машине, ни часовые. Но на этом и строился расчет. Солдаты неуверенно взяли под козырек, мотор взревел, и машина въехала на территорию казармы.

План был прост: машины прорываются сквозь ворота. Восемь машин становятся позади линии восьми барачков, и повстанцы врываются в здания, стреляя в воздух и производя как можно больше шума. Если это будет сделано достаточно неожиданно, то уставшие после пьяного карнавала, только что уснувшие солдаты скорее всего растеряются и тогда их огневой отпор будет минимальным. Главное — ошеломить солдат неожиданностью и не дать зажечь свет, чтобы они не разглядели численность и вооружение нападавших.

Бойцы на остальных машинах должны заняться офицерскими квартирами, территорией и арсеналом — главной целью всей операции!

Таков был план.

Но ворота благополучно миновала только первая машина.

Фидель Кастро сидел во второй машине — самое опасное место, потому что первая могла пройти ворота без выстрела, но по второй часовые, вероятнее всего, открыли бы огонь.

Как только к воротам подошел второй «джип», встревоженный часовой побежал к пультам сигнализации и нажал красную кнопку с надписью «Тревога». Во всех углах огромного форта пронзительно зазвенели звонки.

Из машины выскочили два человека, настигли часового, и один из них сильным ударом в лицо опрокинул солдата наземь. Но минута, которая потребовалась на это, задержала машины и позволила трем автоматчикам выбежать из сторожевой будки и открыть огонь. Эти-то выстрелы и слышал Хиральдо, сидевший на теплых каменных ступеньках своего дома.

Повстанцы начали выскакивать из машин. А к воротам отовсюду бежали солдаты гарнизона, стреляя на ходу из автоматов.

Нападавшие могли противопоставить лавине огни лишь стрельбу из винтовок и пистолетов. В темноте эта стрельба не давала никаких результатов. Пулемет был в первые же минуты боя выведен из строя гранатой.

Видимо, весь отряд Фиделя погиб бы на месте, если бы солдаты, не разобравшись, в чем дело, не открыли огонь прежде всего по машинам, застрявшим в воротах и уже оставленным повстанцами. И будь в этот момент у людей Фиделя хотя бы десятая часть огневой силы противника, кто знает, как повернулся бы бой.

Первая машина, прорвавшаяся на территорию форта, великолепно справилась со своей задачей. Ее три пассажира с криками, шумом и стрельбой ворвались в один из барачков, разбили плафон на потолке и заставили сдаться пятьдесят растерянных, обалделых от шума и страха солдат.

Но барачков было восемь. А остальные машины застряли у въезда в форт...

Допрос

Фидель приказал отходить...

Это распоряжение удалось передать всем группам бойцов, кроме группы Абеля Сантамария, занявшей госпиталь. Взять госпиталь оказалось довольно легко — там было всего шесть или семь больных батистовских офицеров и несколько медсестер. Бойцы Абеля вели из окон огонь по солдатам, бегущим из барачков к воротам, где стояли машины Фиделя, до тех пор, пока не кончились патроны. Когда Абель и его друзья поняли, что сражение проиграно, было уже поздно уходить — госпиталь был окружен солдатами Батисты.

— Сдаваться нам нельзя, — сказал Абель. — Это смерть. Я предоставляю право каждому искать средство спасения...

Айдее предложила бойцам лечь на койки, накрыться простынями, изображая больных, и ждать удобного момента.

Абель с сомнением покачал головой. Такая маскировка слишком наивна. Но остальные поддержали мысль Айдее — ведь это был единственный путь к спасению. Айдее поддержали и медсестры госпиталя. Делом одной минуты было сбросить с себя военное обмундирование и лечь на койки в разных палатах.

В следующую же минуту в госпиталь ворвались солдаты. Они обшарили все здание снизу доверху и, обескураженные, уже собирались уходить, как вдруг один из больных закричал: — Они здесь! Они на койках!..

... Их вывели на улицу. Впереди вели доктора Марио-Муньосу — единственного человека, кроме Айдее, в гражданской одежде. Айдее шла рядом с Абелем.

Их провели во двор крепости через ворота, где только что шел бой. Тут стояли искореженные машины, лежали трупы батистовских солдат и бойцов в новенькой, аккуратно отглаженной форме отряда Фиделя. Айдее напряженно всматривалась в лица трупов, боясь увидеть среди них Фиделя или Абора — своего жениха...

— Стойте! — произнес вдруг сержант, который вел их. — Отойди к стене! — приказал он доктору Муньосу.

Тот повиновался, еще не понимая, что хотят от него, и направился к стене. Он сделал всего несколько шагов, как снова раздалась команда сержанта:

— Стреляйте в бандита! — заорал он и первый дал автоматную очередь.

Тело Муньосу будто переломилось надвое. Он упал лицом вниз. Солдаты били из автоматов по упавшему.

Абель рванулся к Муньосу. Но Айдее повисла у него на руке...

... Их ввели в один из барачков. Айдее поместили в маленькой темной комнате с земляным полом и с забранным частой решеткой оконцем. Брата и остальных разместили в том же барачке.

Первый допрос был короткий. Имя? Фамилия? Кто руководитель восстания? Где он? Где взяли оружие? Боеприпасы? Обмундирование?

Айдее стояла перед сержантом молча, не отвечая ни на один вопрос.

Сержант ушел, не выразив ни раздражения, ни досады. Дверь захлопнулась.

Через несколько минут она услышала первые глухие удары и первые крики. Она не сразу поняла, что били ее друзей. Когда поняла — закричала. И сразу оборвала крик — ведь Абель и другие могут подумать, что и ее пытаются, — это доставит им страданий больше, чем физическая боль.

Она молча сжимала пальцы рук, и пальцы стали белыми, потом синими.

Прошло некоторое время, и снова появился сержант. С бесстрастным видом он повторил те же вопросы: имя, фамилия, кто руководитель, где он, откуда оружие, где сообщники? Айдее молчала.

Сержант закурил сигару, выпустил струю дыма ей в лицо и, не говоря ни слова, приложил дымящийся конец сигары к ее плечу.

Айдее вскрикнула. Тут же двое солдат схватили ее за руки.

— Извините, — произнес сержант. — Неосторожность... Итак, мы остановились на вопросе о том, кто же руководитель этого налета?

...Айдее смутно помнит, сколько раз ее допрашивали в тот день. Допрашивали разные люди — солдаты, сержанты, офицеры. Ее не били. Только несколько раз прижигали тело сигарами... Она молчала... А за стеной слышались удары и крики, удары и крики. Она все старалась узнать эти голоса... Фидель? Рауль? Абор? Один раз ей показалось, что кричит Абель. Ее Абель!

Во второй половине дня ее вытащили из камеры и привели в другой барак. В большой комнате за столом сидел офицер. Айдее не помнит, кто он был по званию.

— Вас зовут?.. — задал он вопрос и после короткой паузы сам ответил: — Айдее Сантамария. Кто руководитель восстания? — и, помолчав, снова ответил сам: — Фидель Кастро Рус...

«Они узнали! — пронеслось в голове. — Как? Откуда? Он взят в плен? Убит?»

Офицер наслаждался произведенным впечатлением.

— Да, мы многое знаем, сеньорита. По существу, мы знаем все. Известно, например, что среди пленных бандитов находится ваш брат Абель — один из руководителей восстания... И ваш жених Абор... Так?..

— Они еще живы, — продолжал офицер. — И останутся живы. Даже, может быть, получают свободу... Если вы, сеньорита, поможете выяснить небольшой вопрос: где Фидель Кастро?

«Значит, его не нашли! Значит, он не убит!» — подумала Айдее, и эта мысль придала ей бодрости.

— Я жду ответа, — сказал, помолчав, офицер. — Имейте в виду, ваш брат и жених в соседней комнате.

«Здесь! Они здесь! Мои родные! Живы! Абель! Абор!»

Ей захотелось крикнуть им что-нибудь, помочь, сказать, что она молчала и будет молчать...

— Я даю вам минуту на размышление, сеньорита, — произнес офицер и взглянул на часы. — Через минуту ваш брат лишится зрения...

«Не может быть! Он не способен на это! Он же человек!» — мысли неслись с лихорадочной быстротой.

Через минуту офицер встал и надел белые лайковые перчатки.

— Прекрасно, — сказал он. — Я предупреждал вас.

Он вышел в соседнюю комнату, плотно затворив за собой дверь.

Она услышала стон. Слабый и страшный стон человека. Это был голос Абея... Его голос...

Отворилась дверь. Вошел офицер. На вытянутой ладони он держал что-то маленькое и окровавленное...

— Это его левый глаз, — сказал офицер. — Еще минута, и я принесу вам второй.

Он бросил глаз в плевательницу, снял окровавленную перчатку и бросил ее туда же.

— Где Фидель Кастро? Я спрашиваю вас снова. Вы наверняка знаете место, где назначен сбор в случае поражения... Осталось полминуты... Ваш брат еще видит... Не лишайте его второго глаза...

Айдее упала. Ее облили водой и заставили подняться.

Офицер ушел и снова вернулся.

— Ваш брат слеп... Но он еще жив. И может быть свободным. Мы разрешим вам уехать за границу... Мы выпустим вашего жениха...

Айдее слышала этот голос издалека. Он не имел к ней отношения. Он только мешал ей разговаривать с братом, с ее Абелем. Абель держал в руках ее голову, как в те времена, когда она была совсем девочкой и бегала к нему искать защиты от всех маленьких бед и несчастий. Он ничего не сказал. И она не скажет...

.... — Ну что ж, остался ваш жених.

«Абор... мой любимый Абор! Но ведь и ты молчишь. Значит, и ты ничего не ответил на их вопросы... И я должна молчать. Еще не потеряна надежда... Ведь не могло же вот так просто кончиться все, к чему мы готовились... Нет, наверное, Фидель уже собирает новые силы... Он придет нам на помощь...»

— Я думаю, он так и останется вашим женихом, — продолжал далекий голос, — и никогда не сможет стать чьим-либо мужем, потому что он перестанет быть мужчиной... Айдее услышала крик. Страшный, пронзительный, оглушающий...

У нее запылало перед глазами пламя. Бешеное, жаркое пламя. Оно поглотило комнату, стол, офицера и этот страшный крик...

Когда офицер вернулся, Айдее снова лежала без памяти. Солдаты лили на нее воду из ведер.

— А ну ее к черту, — сказал офицер, тяжело дыша. — Бесплезно...

...Контора, в которой работал Хиральдо, регулярно поставляла гробы и прочие похоронные принадлежности не только жителям города, но и гарнизону в Сантьяго. В казармах Монкада люди раньше умирали нечасто, но все же умирали — от болезней, от несчастных случаев во время учений, умирали и по неизвестным причинам. После того как 10 марта 1952 года к власти пришел диктатор Батиста, командование форта Монкада стало заказывать больше гробов, чем раньше. Кого хоронили в них, Хиральдо не знал. В городе же поговаривали, что за стеной форта часто слышатся крики.

Во всяком случае, Хиральдо нередко навещался сюда, привозя в черном потрепанном хозяйском «джипе» гробы.

Поэтому, когда днем, развозя очередной заказ, он подъехал к воротам форта, охрана пропустила его, как старого знакомого.

— Ну, вашей конторе повезло сегодня, — мрачно пошутил один из солдат.

Профессия давно уже приучила Хиральдо спокойно относиться к смерти людей. Но то, что увидел он сегодня, поразило даже его.

На желтом песке, которым аккуратно были посыпаны дорожки и плац внутри крепости, лежали трупы. Их было несколько десятков — может быть, три или четыре. Это были убитые, не умершие, потому что почти у каждого форменная, защитного цвета одежда была испачкана кровью. Только один из них был в гражданской одежде. Голубые брюки, белый халат, изодранный в клочья, были залиты кровью...

Почти все трупы лежали лицом вниз. Охраны не было. Хиральдо, улучив момент, повернул одно из тел лицом вверх. И отшатнулся. Он увидел кровавое месиво. Это не был след пули или гранаты. Лицо было раскромсано прикладом ружья или рукояткой пистолета. Зубы вырваны, глаза — тоже.

Значит, этот человек не был убит во время боя. Это пленный, которого пытали, а потом прикончили...

Только у нескольких мертвецов Хиральдо заметил на одежде или на теле следы пуль. Веселый толстый Хиральдо, балагур и насмешник, давно научившийся с юмором относиться к самому страшному таинству на земле — смерти, растерялся вконец. Он не мог больше оставаться здесь, но не мог и уйти. Ноги его ослабли, а в груди вдруг стало пусто и жарко.

— Что ты здесь делаешь?! — раздался голос. — Вон отсюда! — Это кричал офицер, увидевший Хиральдо. — Кто смел пропустить его? Воронье проклятое! Слетаются! Можешь не надеяться. Для этих, — он кивнул в сторону трупов, — гробов не потребуется. А ну, быстро!

Через минуту Хиральдо уже сидел в своем «джипе». Но улицы, по которым он ездил тысячи раз, вдруг стали слишком узки, а верный «джип» совсем не слушался. Хиральдо вышел из машины и побрел пешком, натываясь на прохожих.

Он подошел к стеклянной витрине кинотеатра. На него глянуло его отражение — серое, осунувшееся лицо.

— Эх, гробовщик, гробовщик, наклюкался спозаранку, — осуждающе заметил кто-то.

Ночь над Сантьяго

Сантьяго ложится спать рано, гораздо раньше, чем Гавана. Впрочем, Гавана вовсе не спит. Нет такого часа в сутках, когда на ее улицах не увидишь людей или не сможешь зайти в кафе выпить рюмку бакарди и закусить жареной свиной с рисом.

Часа в два ночи улицы Сантьяго уже пусты, и все кафе, за исключением портовых кабачков и бар-клубов в нижней части города, закрыты.

Ночь с 29 на 30 ноября 1956 года ничем не отличалась от других. Уже после двенадцати люди разбрелись по домам, покинули Парке Сентраль мальчишки-чистильщики, унося измазанные гуталином деревянные ящики, закрылся под старинным католическим собором на центральной площади сверкающий стеклом магазинчик «Кодак», опустели кресла на веранде отеля «Каса Гранда». И только около «Мужского клуба» сидели на тротуаре в плетеных креслах одетые в черные вечерние костюмы старики, страдающие бессонницей, и сплетничали. Месяц висел в небе удобным гамаком.

Но спокойствие ночного города было внешнее. В доме, где жила студентка Вильма Эспин, группа молодых людей окружила маленький диктофон «Грундиг» и прослушивала только что записанные на пленку слова. Голос из диктофона утверждал, что режим Батисты в Сантьяго-де-Куба рухнул и город безраздельно находится в руках революционных повстанцев, возглавляемых здесь Франком Паисом; что в минуты, когда идет эта радиопередача, Фидель Кастро во главе вооруженной колонны, высадившейся сегодня рано утром в Ориенте, уже напал на гарнизон города Никеро. Таким образом, продолжал голос с ленты, два крупных опорных пункта кровавого диктатора Батисты в провинции Ориенте пали, и она фактически находится под контролем революционных повстанцев. Успешные восстания против режима Батисты произошли также в Гаване, Санта-Кларе, Матансасе, Камагуэе и других городах. О дальнейшем ходе событий голос с ленты обещал сообщить позже...

Юноша, одетый в спортивную замшевую куртку, выключил диктофон и осторожно закрыл его.

— Франк, — обратилась к нему Вильма, — а не изменить ли текст насчет восстания в других городах? Ведь это еще неизвестно.

— Нет, Вильма, пусть так, — ответил он и обратился к парню, который осторожно надевал на кассету с пленкой чехол. — Ты передашь текст с пленки часов в одиннадцать утра, — сказал Франк, — когда перестрелка уже стихнет и все будет в наших руках. А теперь иди... И еще: тебе по пути, зайди, пожалуйста, к моей матери, — скажи, чтобы не волновалась, я сегодня не приду...

Паис посмотрел на часы.

— Уже четыре. Фидель, наверное, высаживается. Ну, кажется, все... Пора расходиться. Все встали. Франк улыбнулся.

— Полной удачи! — сказал он. — И чтобы тебе, Вильма, с твоими медсестрами как можно меньше было сегодня работы...

...Вильма быстро шла по пустынным улицам ночного города; до пяти надо было успеть в тот дом, где ждет ее медицинская группа — двадцать девушек-революционерок. В шесть начнется восстание.

Вильма Эспин знала Франка Паиса еще с 1953 года, когда он был руководителем студенческого союза в Сантьяго-де-Куба. У Франка тогда не было никакой четкой

программы действия. Но чутьем прирожденного революционера и настоящего патриота он понимал, что предстоит борьба. Когда начнется она и как будет проходить, Франк не знал. Он просто принялся создавать молодежные «группы действия» и запастись кое-какое оружие.

Вильма по просьбе Франка организовала тогда несколько вечерних школ для неграмотных. Но борьба началась раньше, чем они предполагали. Нападение на военные казармы Монкада произвело на Франка Паиса и его друзей огромное впечатление. Значит, помимо их группы есть еще революционные отряды решительных борцов за свободу. Франк старался познакомиться с Фиделем. Но связаться с руководителем атаки на Монкада ему удалось лишь после суда над повстанцами, когда Фидель уже находился в тюрьме на Пиносе.

В 1954 году во время «свободных, открытых, честных выборов» президента Кубы тысячи и тысячи кубинцев написали на избирательных бюллетенях имя Фиделя Кастро. Но по кубинским законам эти голоса не принимались в расчет.

В ночь перед выборами на стене казармы Монкада в Сантьяго появились полуметровой высоты слова: «Свободу Фиделю Кастро!» Это была работа Франка Паиса. Но такие же слова были написаны в ту ночь и на широкой, изогнутой дугой набережной Гаваны, в Санта-Кларе и Сьенфуэгосе. Здесь Паис был ни при чем. Значит, Фиделя поддерживали по всей стране.

Президентом был снова «избран» Фульхенсио Батиста.

Его главный советник Гонзало Гуэлл подал Батисте мысль — амнистировать политических заключенных, ибо Фидель в тюрьме, как мученик, как символ борьбы, говорил он, опаснее, чем Фидель на свободе, просто как преступник, помилованный президентом.

Кроме того, на свободе, убеждал советник президента, его легче уничтожить физически — несчастный случай, бандиты-грабители или что-то в этом роде...

2 мая 1955 года конгресс Кубы принял закон об амнистии, а одиннадцатью днями позже его подписал диктатор. 15 мая, через два года после атаки на Монкада, Фидель Кастро, его младший брат Рауль и другие участники восстания вышли из тюрьмы на острове Пинос.

Когда поезд, в котором находился Фидель, шел в Гавану, на станциях собирались сотни людей. В столице Кубы студенты устроили тысячную приветственную демонстрацию.

Фульхенсио Батиста, наблюдая из президентского дворца за праздничной Гаваной, мучился мыслью: не поспешил ли он послушаться рекомендации своего главного советника?..

Понимая, что на Кубе им оставаться невозможно, Фидель и Рауль Кастро уехали в Мексику...

...В конце 1955 года Вильма Эспин поехала в США, в Массачусетс, продолжать образование. Перед ее отъездом Франк туманно намекнул девушке, что в Мексике готовится «кое-что важное для Кубы».

В Массачусетсе до Вильмы доходили слухи, что Фидель ведет переговоры с кубинцами, эмигрировавшими в разное время из своей страны и живущими в США и Мексике.

Среди латиноамериканских студентов в Массачусетсе с восторгом передавалась история о том, как в Майами, в здании театра Флеглера, что в нижнем городе, Фидель произнес великолепную речь перед собравшимися в зале кубинцами. Фидель был там вместе с сыном, девятилетним Фиделито. После речи начался сбор денег для покупки оружия.

Скоро соломенные шляпы, полные ассигнаций, были положены на стол, за которым сидели Фидель и его сын. Мальчик протянул руку и взял из одной шляпы десятидолларовую бумажку. Фидель покачал головой, положил бумажку обратно и сказал: «Нет, сынок, эти деньги принадлежат кубинскому народу». Притихший зал, следивший за Фиделем, разразился восторженными рукоплесканиями. И снова шляпы пошли по кругу...

В июле 1956 года, перед самым возвращением на Кубу, Вильма получила из Мексики письмо с просьбой остановиться на два дня в столице страны — Мехико.

На аэродроме ее встретили два человека. Один — плотный, высокий. Другой — небольшого роста, щуплый, со спокойным и внимательным, чуть насмешливым взглядом. Братья Кастро — Фидель и Рауль были совершенно не похожи друг на друга. Вильму повезли в дом на окраине города. Там она оставила свои вещи. Затем Фидель и Рауль снова посадили Вильму в машину. Они заехали в несколько домов. Там братья показали ей тщательно спрятанное оружие. Она не ожидала увидеть так много. — Это произойдет в нынешнем году, — горячо сказал Фидель, — обязательно в нынешнем году.

Он увлеченно рассказывал Вильме о людях, которые собрались здесь, в Мексике, о верных людях, решивших освободить Кубу или умереть. Со дня на день они начнут военную тренировку. А на Кубе их ждут замечательные бойцы, такие, как Франк Паис и его друзья — члены «Движения 26 июля»⁸¹.

Вильма не могла не заразиться энтузиазмом Фиделя. Но ее тревожила мысль, не рано ли собирается предпринять Фидель свой поход. Созрели ли условия для начала революции? Действительно ли так сильно и организовано «Движение 26 июля», как об этом сообщали с Кубы Фиделю Кастро?

Но Фидель объяснял ей, что дело не только в организации. Пусть в день высадки восстания вспыхнут не в ста пунктах, как предполагается, а в пятидесяти, даже в десяти. Пусть половина этих выступлений потерпит неудачу. Но это будет та спичка, от которой сразу вспыхнет пламя. Условия для революции созрели. Ненависть народа к Батисте и помещикам-латифундистам давно уже лишилась слез. Она суха, как порох. Достаточно искры, чтобы произошел взрыв. Он сметет режим диктатуры. Отряд в несколько десятков человек, который высадится на Кубе, уже через несколько месяцев обрстет сотнями и тысячами крестьян, рабочих, интеллигентов...

Фидель вручил Вильме несколько запечатанных конвертов для передачи разным людям на Кубе, в том числе и Франку Паису...

Ее провожали оба Кастро. В окошко она видела, как братья смотрели на самолет, разговаривали между собой. Фидель стоял, по привычке склонив набок большую голову, будто прислушивался к чему-то. Взревели моторы. Фидель помахал рукой. Рауль взглянул на брата и тоже помахал — чуть сдержаннее...

С тех пор прошло пять месяцев. И вот два дня назад Франк Паис получил известие, что Фидель со своим отрядом вышел на маленькой шхуне из Мексики и сегодня, 30 ноября 1956 года, на рассвете высадится около Никеро.

Кто предатель?

Выход шхуны был назначен на ночь с 24 на 25 ноября. Эту дату руководители повстанцев выбрали не случайно. 24 ноября была суббота. Именно это и устраивало повстанцев больше всего. Дело в том, что многие кубинцы-эмигранты, за которыми по просьбе Батисты следила мексиканская полиция, обязаны были каждый день являться в полицейский участок и регистрироваться. Исключением было лишь воскресенье. Таким образом, если отряд уйдет в субботу, отсутствие кубинцев в воскресенье замечено не будет. И еще один день — понедельник может пройти благополучно, потому что уже давно, начав подготовку к походу, эмигранты иногда под тем или иным предлогом не являлись в понедельник в полицию. Иногда не ходили все вместе, чтобы «приучить» и к такому варианту. Итак, вероятнее всего, их хватятся только во вторник. А за два дня шхуна будет уже далеко от берегов Мексики.

⁸¹ Революционная организация, получившая свое название в честь дня нападения отряда Фиделя на крепость Монкада.

Шхуна была куплена одним мексиканским другом Фиделя в рассрочку. Продавалась она довольно своеобразно — вместе с ней надо было обязательно купить и дом хозяина. Но так как и дом тоже продавался в рассрочку, то Фиделя и его друзей не особенно волновали финансовые затруднения. Впрочем, и дом им впоследствии пригодился — повстанцы устроили в нем один из складов оружия.

Мексиканский друг время от времени днем или ночью выходил на «Гранме» — так называлась шхуна — в море «на рыбную ловлю», чтобы портовые власти привыкли к частым выходам шхуны.

Причал, где она обычно стояла, находился в устье реки. Поблизости не было охраны, и именно здесь повстанцы собирались погрузить на шхуну оружие. Но за несколько дней до выхода в восьмидесяти метрах от причала начали строить баржу, и там постоянно торчал на часах солдат.

Это затрудняло положение, тем более что дел еще предстояло немало. Требовалось, например, произвести кое-какой ремонт — барахлил двигатель. Подходящего механика для такого щепетильного дела подыскать было трудно. Его нашли лишь 15 ноября. Несколько дней механик возился с мотором, и все безрезультатно. Фидель уже решил было идти в поход с испорченным двигателем, но все-таки накануне выхода повстанцы получили радостное известие — двигатель в порядке.

Последние дни Фидель постоянно находился между Тукспаном, где стояла шхуна, и Мехико. Так легче было поддерживать постоянную связь с городом и портом.

Шла погрузка оружия на шхуну. И вот тут-то случилось то, что поставило весь тщательно подготовленный план под угрозу срыва.

Один из повстанцев, занимавшихся перевозкой оружия с тайных складов на шхуну, прибежал к Фиделю взволнованный.

— Я вернулся в дом, — сказал он, — откуда вывозил оружие, и увидел, что там ничего не осталось. Пропало двадцать пять пистолетов-пулеметов.

Он протянул Фиделю записку, оставленную в доме полицией. Там говорилось: «Владельцу оружия надлежит явиться в полицию и объяснить, зачем ему такое большое количество пистолетов-пулеметов».

Итак, среди них есть предатель! Предполагать, что мексиканская полиция случайно наткнулась на склад с оружием, было невозможно.

Значит, кто-то выстрелил в спину повстанцев. И, может быть, будет стрелять еще.

Знает ли предатель о других складах? Знает ли о дате выхода? Кто он? Может быть, один из немногих, кто предал кубинских патриотов, покинув тренировочный лагерь, дезертировав из отряда... Такие случаи бывали. Редко, но бывали. Фидель и его друзья старались отобрать для предстоящей борьбы верных людей. Но это было очень сложно в тех условиях. Среди них оказались, как потом выяснилось, и слабовольные, и тщеславные, и люди без твердых убеждений.

Нужно срочно принимать какие-то меры. Откладывать поход? Нет. Народу Кубы было дано обещание, что вооруженная борьба против Батисты начнется в 1956 году. Отсрочка подорвет веру в революцию, в победу, продлит дни батистовского режима.

Значит, надо продолжать погрузку оружия, ускорить ее.

Ну, а если предатель не из дезертиров?

Фидель решил на крайнюю меру. Приказом штаба все бойцы будущей повстанческой армии были разделены на двойки, и никто не мог в одиночку ни выходить из дома, ни встречаться с какими бы то ни было людьми, ни разговаривать по телефону. Следить друг за другом — это была тяжкая мера, но необходимая в той ситуации.

Прогулочная шхуна «Гранма» согласно техническому паспорту предназначалась для четырех человек команды, считая капитана, и десяти-двенадцати пассажиров. Штаб повстанцев рассчитал, что «Гранма», груженная оружием, боеприпасами, минимальным количеством продовольствия, питьевой воды и запасом горючего, может взять восемьдесят два человека.

В последние дни очень трудно было отбирать людей на шхуну. Все знали, что восемьдесят два — максимальное число. Но список достойных идти в бой за освобождение Кубы включал по крайней мере сто двадцать человек.

Их разделили на подгруппы, учитывая боевую выучку, дисциплину, качества характера. Таким образом, отобрали семьдесят восемь человек. Оставалось четыре места. На них в первую очередь претендовали восемь повстанцев — все замечательные люди, прекрасные бойцы, настоящие патриоты. Кому отдать предпочтение?

Путь для решения проблемы был найден несколько неожиданный, но правильный: взять тех, кто легче. Шхуна и так перегружена до отказа.

От Мехико до Тукспана дорога длинная. Но все же повстанцам удалось добраться до шхуны без всяких происшествий.

Двигались попарно: имя предателя все еще оставалось неизвестным.

Кубинцы-эмигранты в свое время завели много друзей среди мексиканцев. Нашелся друг и в полиции. Он сообщил им, что предатель продал свою информацию за 25 тысяч долларов — одновременно мексиканской полиции и секретной полиции Батисты. Эту сумму батистовские агенты должны были выплачивать ему постепенно, по мере того как предатель будет показывать им склады с оружием. Он успел выдать три склада.

Полицейские захватили самое ценное оружие — автоматы. Теперь у повстанцев осталось лишь несколько ручных пулеметов, винтовки и пистолеты.

К сожалению, свой человек из полиции не видел предателя и не мог назвать его имени. Вот почему чрезвычайная мера — разделение отряда на двойки — была сохранена до момента выхода шхуны.

К часу ночи все собрались на причале. Стараясь не шуметь, они перебрались по мокрым доскам с причала на палубу шхуны. Не переставая лил дождь. Несколько человек, поскользнувшись, упало в воду.

Механик спустился вниз — заводить мотор. На палубе притихли. У каждого мелькнула тревожная мысль: а вдруг не заведется?

Но вот за кормой глухо заурчала вода, и все почувствовали, как мелко дрожит шхуна. Завелся! Суденышко незаметно отвалило от причала...

Восемьдесят два — в океане

Мексиканский пограничник, стоявший на часах в порту Тукспан в ночь с 24 на 25 ноября 1956 года, имел предосудительную привычку ругаться вслух. Поеживаясь от скользких капелек, затекавших за ворот черного клеенчатого плаща, он бормотал проклятья дождю, собственному начальнику, который потягивает сейчас текилью⁸² в баре «Три семерки», клял пограничную службу, тяжелый карабин, сырые башмаки, снова дождь и снова начальника. Может быть, именно это обстоятельство помешало ему услышать, как всего метрах в двухстах от него медленно прошла небольшая моторная шхуна с потушенными огнями. Она взяла курс в открытое море, хотя по причине сильного шторма портовые власти запретили в эту ночь движение всех судов такого класса.

Перед выходом в море шхуну подстерегала еще не одна опасность. И прежде всего предстояло пройти мимо контрольных постов. Пришлось заглушить мотор. Его остановили на минуту или две и снова волновались — заведется ли опять. На всякий случай Фидель начал раздавать людям оружие. Те, кто получил винтовки, встали по бортам, чтобы оказать сопротивление, если их попытаются остановить силой...

... Чуть видные в тумане, проплыли маяки порта. Шхуна вышла в Мексиканский залив, сразу же подставив свои борта могучим ударам теплых волн Гольфстрима.

82 Мексиканская водка.

Фидель посмотрел на часы: стрелки показывали два часа тридцать минут утра. Это было 25 ноября 1956 года. Шхуна взяла курс на Кубу.

Повстанцев охватила радость. Начало было благополучным. Они запели хором «Гимн 26 июля».

Сильный ветер дул над заливом. Шхуну начало швырять, как игрушечный кораблик. Трудно было определить, какая качка бросает ее из стороны в сторону: бортовая или килевая.

Прежде чем выйти в море, люди на «Гранме» прошли долгое серьезное обучение. Они неплохо стреляли из любого положения, знали, как бесшумно подползти к вражескому пулеметному гнезду, умели кидать гранаты и взрывать мосты, они изучили законы партизанской войны и могли совершать с полной выкладкой многокилометровые переходы в горах. Их молодой командир Фидель Кастро подготовил людей к серьезной борьбе. Но отвратительному бессилию, которое вызывает качка, они не могли противостоять. Это, правда, была не просто качка. Шхуна, рассчитанная на путешествия только в тихую солнечную погоду, попала в настоящий шторм.

В отряде был врач — высокий плечистый аргентинец Эрнесто Гевара, прозванный своими товарищами «Че» — по-аргентински что-то вроде «эй, симпатяга». Он пытался разыскать запасенные им таблетки драмамина. Но обнаружить эти таблетки ночью, после беспорядочной посадки, под дождем, в темноте, когда вещевые мешки сваливались вдоль борта и в рубке, было нелегким делом.

Наконец таблетки нашлись. Но даже обойти всех, чтобы раздать лекарство, было очень трудно. В любую минуту можно сорваться и упасть за борт, а в такой шторм это означало бы немедленную гибель.

Наступило утро. А шторм не утихал. Шхуну бросало из стороны в сторону так же, как ночью. Но все-таки днем все почувствовали себя легче. Можно увидеть друзей, ободряющую улыбку на лице соседа, а улыбка в этот момент дорогого стоила.

Было часов десять-одиннадцать утра, когда пассажиры «Гранмы» вдруг заметили, что их маленький корабль дал течь. Вода прибывала с каждой минутой, поднималась все выше и выше. Машинное отделение было герметически закрытым отсеком, и поэтому моторы не затопило. Но почти все остальное пространство под палубой заполнилось водой. Насос не работал, люди начали выливать воду за борт ведрами, но она все прибывала. Через несколько часов вода достигла уровня палубных люков.

Положение стало критическим.

Никто не ждал удара с этой стороны. Было бы глупо после стольких приготовлений, после стольких мучений погибнуть в открытом море, так и не начав борьбы.

Несколько человек полезли вниз и, ныряя, старались найти место, где образовалась течь. Безрезультатно... Обнаружить щель не удалось. И снова выплескивали воду чем кто мог — ведрами, чашками, кружками, просто ладонями.

Через несколько часов упорной работы все заметили, что вода перестала прибывать.

Наступил вечер. Вода благодаря усилиям людей оставалась на прежнем уровне. Откачка же не прекращалась ни на минуту. Лишь к утру следующего дня уровень воды опустился на один дюйм. Значит, судно протекает уже не так сильно, как раньше. В чем же дело? С каждым часом воды становилось все меньше и меньше. Наконец можно было приостановить откачку. Люди передохнули час или полтора, и воды за это время не прибавилось. И только тут они поняли, в чем дело. Шхуна погрузилась в воду ниже обычного уровня. Обшивка, которая не находилась до этого в воде, разохлась и стала протекать. Но за двое суток доски разбухли и щели закрылись.

«Гранма» продолжала двигаться в сторону Кубы.

Океан стих. И половина людей на судне — усталых, голодных, промокших, измученных — погрузилась в сон. Половина — потому, что на шхуне могли с грехом пополам прилечь только сорок человек. Остальные должны были стоять.

Солнце поднималось все выше, небо постепенно выцветало, как огромный кусок мокрой голубой ткани, вывешенной для просушки. Сорок спали вповалку, и с борта безжизненно свисали ноги и руки. Сорок чистили и смазывали оружие, покрывшееся после шторма пятнами ржавчины и белым налетом соли.

Как только на горизонте показывалась подозрительная точка, подавалась команда «Очистить палубу!», и восемьдесят два человека «очищали» ее, чудом втискиваясь в рулевую будку и каюту.

На третий день они увидели вдаль корабль. Он шел навстречу. Как видно, это было мексиканское сторожевое судно. Люди приготовились к бою. Нетрудно сказать, чем бы кончился бой людей, вооруженных винтовками, против корабельных орудий. Но в плен они бы не сдались.

Между кораблями оставалось расстояние не более трех километров. И вдруг мексиканский корабль круто свернул и взял курс на север.

Пока все шло благополучно. Никто, кажется, не заметил «Гранму». Даже через Юкатанский пролив, совсем близко от западных берегов Кубы, они прошли, не встретив никого. Так, во всяком случае, думали на шхуне...

Настал четвертый день плавания. По расчетам капитана шхуны, судно находилось в одних сутках хода от берегов провинции Ориенте, на востоке Кубы. Там, недалеко от городка Никеро, на рассвете 30 ноября шхуну будет ждать несколько грузовиков под командой крестьянина Крессенсио Переса, чтобы перебросить отряд к городку, где они вступят в первый бой с солдатами Батисты.

В то же утро 30 ноября должно начаться восстание в городе Сантьяго-де-Куба под руководством Франка Паиса.

С рассвета повстанцы стали готовиться к высадке. Шхуна приобрела весьма колоритный вид. Ее пассажиры сбрасывали гражданскую одежду, распаковывали тюки и надевали сшитую в Мексике форму защитного цвета с красно-черными эмблемами «Движения 26 июля» на рукаве.

За кормой еще долгое время тянулась дорожка из цветастых рубашек, брюк, галстуков, шляп и прочей гражданской амуниции.

Фидель Кастро лично выдавал каждому боеприпасы, аккуратно пересчитывая патроны и обоймы.

Отряд был организован с расчетом на значительное пополнение в будущем. Поэтому руководил отрядом штаб из 13 человек. Остальные были разбиты на три роты: штурмовая рота, которая должна была идти в авангарде под командованием капитана Хосе Смита Комаса; центральная рота во главе с негром Хуаном Альмейда; и рота арьергарда, которой командовал Рауль Кастро, младший брат Фиделя.

Каждая рота состояла из трех взводов под командованием лейтенантов.

Взводы не делились на отделения: трудно было разделить семь человек...

В отряде были предусмотрены интендантство — три человека — и здравоохранение — Эрнесто Че Гевара.

...Днем 29 ноября раздался радостный и немного удивленный голос капитана шхуны Роке: — Берег! Куба!

Вдали виднелись еле уловимые очертания берега. Было странно, что тихоходная яхта добралась до цели на полсутки раньше, чем предполагалось. Может быть, ошибка? Может быть, это не Куба?

Люди всполошились. Все бросились к левому борту.

Да, это была Куба! Но не восточная, а западная часть острова — оконечность мыса Гуанакабибе. Яхта только еще проходила Юкатанский пролив... Двухдневный шторм, видно, сыграл с экспедицией скверную шутку.

Это означало, что до берега Ориенте еще двое с половиной суток пути. Это значило, что высадка, назначенная на 30 ноября, не состоится, грузовики будут ждать повстанцев зря, а выступление Франка Паиса в Сантьяго будет бесполезным. Это означало, наконец, что

тщательно разработанный план восстания срывается из-за проклятого океана, который сейчас так ласково стелется за бортом. Еще не начав боя, революционеры потерпели первое поражение.

Когда на берегу в Мексике встал вопрос — взять ли на шхуну достаточное количество провизии или как можно больше вооружения, — он был решен в пользу оружия и боеприпасов. Поэтому заранее установили очень жесткий суточный рацион: несколько ломтиков ветчины, два апельсина, витаминные таблетки и на троих одна банка сгущенного молока.

Два дня шторма уничтожили половину и этих скудных запасов пищи. Пресная вода в бачках смешалась с соленой и с машинным маслом.

На предстоящие двое с половиной суток пути не оставалось ни продовольствия, ни пресной воды. Конечно, двое суток голода не так уж страшны, однако не перед боем и не после изнурительного шторма.

Каждый из восьмидесяти двух со страхом думал о том, что произойдет завтра, когда Франк Паис и его друзья узнают, что отряд Фиделя Кастро не высадился на Кубе в назначенный срок!

* * *

... Восстание в Сантьяго-де-Куба началось ровно в шесть. К одиннадцати утра группа Франка Паиса захватила здание полиции, военно-морские казармы, телеграф, радиостанцию... Все шло по плану, правда не удалось взять казармы Монкада. Но не это беспокоило Франка Паиса. Он ждал подтверждения о высадке Фиделя. Подтверждения не было. Радио Мансанильо передавало фокстроты...

Прошел еще час, еще час и снова час. Вестей о Фиделе не было.

К вечеру на Сантьяго были брошены войска Батисты... Если высадка десанта не состоялась, удерживать городские учреждения в руках повстанцев бесполезно. Франк отдал приказ, не принимая боя, рассредоточиться, спрятаться и постараться всеми силами сохранить оружие и медикаменты... Теперь он был рад, что дежурный по радиостанции, услышав выстрелы на улице, испугался и, не передав запись по радио, сжег пленку с сообщением о высадке Фиделя...

Высадка

Только на седьмую ночь «Гранма» подошла к берегам Ориенте.

Море было беспокойное, но теперь это радовало повстанцев: меньше было шансов, что их услышат при высадке. Шхуна шла с потушенными огнями.

Планы отряда изменились. Вряд ли грузовики все еще ожидали революционеров, и штаб решил: избегая встреч с противником, двигаться в горы Сьерра-Маэстра, чтобы обосноваться там и связаться с подпольным движением. Но для этого сразу после высадки надо совершить быстрый бросок, чтобы уйти до рассвета от побережья.

Судно шло на северо-восток. Капитан Роке стоял на крыше рулевой рубки, опираясь на короткую радиомачту, и, подавшись вперед, внимательно всматривался в темноту.

Неожиданно большая волна накренила шхуну, — и Роке, оступившись, упал в воду.

Останавливать шхуну? Спасать Роке? Но это значило потерять драгоценное время, поставить под угрозу экспедицию. Ведь скоро начнет светать, и тогда пристать к берегу будет почти невозможно.

Фидель раздумывал одно мгновение. В следующую минуту он приказал остановить мотор.

Шхуна прекратила движение. Все бросились к борту. Но в кромешной тьме ничего не было видно. Шум волн и ветер, возможно, заглушал голос Роке, да и с момента его падения до полной остановки шхуны прошло все-таки несколько минут, шхуна отделилась от Роке на несколько десятков метров, а волны могли отнести человека в сторону.

На крики со шхуны никто не отзывался. Фидель приказал зажечь прожектор. Это было рискованно. Но иного выхода не было. Прожектор светил всего несколько мгновений и погас: кончился бензин в движке. К счастью, за эти несколько мгновений они увидели, наконец, далеко в волнах голову Роке.

Шхуна двинулась в его сторону. Стали слышны крики:

— Скорее!.. Скорее!.. Я здесь...

Голос прерывался. Каждая минута промедления могла стоить Роке жизни.

Наконец Роке подняли на борт. Но революционеры потеряли пятьдесят минут!

Драгоценные пятьдесят минут!

Все еще не появлялся огонь маяка, их главного ориентира, и опасно было идти дальше, не зная, куда попадет шхуна.

В половине четвертого утра они, наконец, увидели маяк, и тогда шхуна пошла к берегу.

Но все-таки у них еще не было уверенности — к тому ли маяку плывет «Гранма», вся беда была в том, что штурман у повстанцев оказался неопытным. Пришлось повернуть шхуну назад. Потом снова вернулись — и опять повернули назад. И еще раз была дана команда идти вперед.

Уже начинало светать. А штурман снова сомневался, и снова два или три раза шхуна меняла курс. Наконец, видя, что небо на востоке уже совсем поглубело и вот-вот покажется диск солнца, Фидель приказал идти к берегу.

Сейчас все решала скорость.

Шхуна шла вперед. Фидель, Рауль, Хуан Альмейда, Камило Сьенфуэгос стояли на носу и всматривались в очертания берега. Единственное, что в этот момент волновало их: Куба ли это? Может быть, побережье какого-нибудь маленького островка?

С остановленным мотором шхуна двигалась к черной полосе берега. Ни огонька, ни малейшего знака, по которому можно определить, где происходит высадка. Что это за место? Как встретит их земля? Не сбились ли они снова с курса? Не ждет ли их засада? Не заметили ли со сторожевого катера луч прожектора, когда разыскивали Роке? Десятки вопросов, тысячи беспокойных мыслей...

Наконец шхуна задела килем о дно и остановилась.

Стояла тишина, только бились о берег волны. Они решили высаживаться. До берега было метров тридцать. Стоявший на носу шхуны боец спрыгнул в воду.

— Ого, здесь глубоко!

Вода скрыла его почти с головой. Метров десять он плыл, отфыркиваясь, затем пошел. Фидель спустился в воду с винтовкой, пистолетом и вещевым мешком. У него вещевого мешок был тяжелее, чем у других, — пятьсот винтовочных патронов и триста пистолетных весили немало.

Держа винтовку высоко над головой, гуськом, как индейцы на военной тропе, восемьдесят два человека перебрались на берег.

Берег густо порос кустарником. Над водой висели в причудливом переплетении голые, мертвые ветви деревьев...

Первый, кто вышел на берег, крикнул тревожным голосом: «Здесь болото!»

Но на поиски более удобного места для высадки времени не оставалось.

Надо идти через болото.

Они оставили на побережье мортиру, пулеметы, лишнюю одежду, одеяла, вещевые мешки... Взяли с собой только пистолеты, винтовки, ящики с боеприпасами и канаты. Измученные семидневным голодным морским походом восемьдесят два человека начали медленный, изнурительный путь по болоту. Цепляясь за ветки, ползком, раздирая ладони в кровь, протягивая канаты от дерева к дереву, ежеминутно проваливаясь и ежеминутно останавливаясь, чтобы вытащить товарищей из трясины, пахнущей серой; отошавшие, израненные и оборванные, они, как привидения, трагически медленно двигались на восток, где показался краешек желтого диска, возвещавшего о рождении нового дня и новой опасности для них.

Фидель проваливался почти на каждом шагу. Чем тяжелее и крупнее был человек, тем труднее ему было двигаться, тем глубже его ноги уходили в болотистый грунт. Они помогали друг другу, брались за руки, протягивали винтовки и снова шли, очень медленно шли. Солнце поднималось все выше и выше.

Вперед они послали разведчиков из тех, кто был поменьше ростом и меньше весил.

Позади, у берега, осталась шхуна — их друг, перенесшая революционеров через морское пространство, от Тукспана в Мексике до Ориенте на Кубе. Теперь она превратилась во врага, немного доносчика. Ее нельзя было взорвать или сжечь — это значило бы привлечь внимание врага; нельзя потопить, так как место было недостаточно глубокое; нельзя было отогнать в море — кончился бензин. И она стояла у берега, как ориентир, указывающий Батисте, где скрывались его враги.

Они не знали твердо, куда идут. Они не могли сказать точно, где находятся. Один раз вдруг попало несколько метров твердого грунта. Повстанцы обрадовались — наконец-то вышли на землю! Но твердый грунт снова сменился грязью. Из грязи росли кусты. Они переплетались между собой так густо, что приходилось рубить ветви.

Прошел час. Еще час. Три часа. Солнце уже поднялось довольно высоко. По твердой земле за это время они могли бы сделать километров двадцать. По болоту они прошли триста метров. Это значило — сто метров в час, немногим больше одного метра в минуту.

Но кончится же когда-нибудь это проклятое болото!

Они черпали ладонями болотную жижу и пили, процеживая ее сквозь губы.

Фидель разделил людей на несколько групп, чтобы проверить, не окажется ли справа или слева твердая земля. Но твердой земли не было. С трех сторон — болото, а позади — море.

Еще через двести или триста метров открылось маленькое заболоченное озерко. Идти по нему было немножко легче, и вода здесь показалась не такой грязной. Люди вдоволь напились.

Потом снова потянулось болото.

Росло беспокойство — на Кубе ли они? А может быть, это Пинос?

Наконец грунт стал немного тверже...

И тут они услышали выстрелы позади себя. Один... другой, третий... Потом залп, автоматная очередь, снова залп. Стало ясно, что шхуну заметили.

Но одновременно с выстрелами пришла и радость — шедший впереди крикнул: — Земля!

Не веря себе, все еще с опаской ставя ноги, люди ощупывали землю. Твердую землю! Землю, покрытую настоящей, хорошей, не предательской травой.

Это был самый радостный момент за семь дней, что они шли из Мексики. Они добрались до земли. Они невредимы. Целы. Измучены, но готовы драться.

Стрельба усиливалась...

«Гранма» сделала свое дело. Ее заметили с маленького каботажного суденышка. Среди его пассажиров оказался шпик. Как только судно дошло до Никеро, он обо всем сообщил властям.

К месту высадки подошел военный катер.

Осторожно приблизившись к безмолвной шхуне, солдаты Батисты открыли по ней огонь.

Видя, что ответа нет, они поднялись на борт «Гранмы». Среди прочих вещей на палубе был найден небольшой водонепроницаемый пакет, в котором обычно носят детские вещи.

На нем они увидели вышитую надпись: «Фиделито Кастро» — имя сына Фиделя.

По радио с катера немедленно доложили о случившемся начальству... От начальства поступил приказ — догнать и уничтожить! Солдаты сошли на берег...

Трагедия в «Радости святого»

...Нельзя было терять ни минуты. Быстро пересчитали людей. И только сейчас обратили внимание, что не хватает девяти человек.

Но ждать отставших или сбившихся с пути было нельзя. Отряд, теперь уже из семидесяти трех человек, продолжал путь. Скоро они услышали стрельбу и со стороны деревушки Белик. Стреляли долго. Минут тридцать. Революционеры решили, что группа отставших наткнулась на регулярные войска.

Еще через полчаса изнурительного марша они услышали шум авиационного мотора. Над деревьями пронесся самолет, время от времени выпуская короткие пулеметные очереди и сбрасывая гранаты.

Но, как видно, летчик не заметил их.

Диктор Гаваны, прервав программу, сообщил: «Сегодня утром на побережье провинции Ориенте, в районе деревни Белик, высадилась группа бандитов во главе с государственным преступником Фиделем Кастро. Доблестные войска президента Фульхенсио Батисты достойно встретили иноземных пришельцев. В жестоком бою на побережье Кастро и его сорок два приспешника убиты. Остальные взяты в плен или разбежались в панике...»

А революционеры тем временем шли дальше в глубь острова, оглядываясь по сторонам в надежде увидеть банановую или кокосовую пальму, найти колодец с пресной водой или повстречать крестьянское жилище.

Куба — равнинная страна. Можно изездить и исходить весь остров, и перед глазами будет лежать ровная земля. И только на крайнем юго-востоке, в провинции Ориенте, поверхность вздыблена горами, будто кто-то огромной рукой сгреб все горы острова к берегу, собираясь сбросить их в море, да так и не сбросил. Горы не очень высокие — полторы-две тысячи метров, но причудливо изрезанные глубокими ущельями, крутые склоны заросли лесами — даже на вездеходном муле не поднимешься. Только пешком. Горы эти носят название Сьерра-Маэстра. У диктатора Батисты в этих горах не было военных гарнизонов, и никакой танк не смог бы осилить почти отвесные склоны.

К этим горам и шли измученные, голодные люди Фиделя.

Прошел день. Стемнело, а они все шли и шли, не зная точно направления, жуя листья деревьев и остатки витаминных таблеток, которые чудом уцелели у «начальника здравоохранения» — Эрнесто Гевары.

Впереди шел негр, который сражался с Фиделем еще во время знаменитой атаки на казармы Монкада. Он шел голый до пояса — темная кожа не демаскировала его. На плече он нес винтовку.

Выйдя на одну из полянок, он неожиданно увидел прямо перед собой небольшой костер, жаровню над ним и несколько крестьян, мирно сидевших у тлеющих углей в ожидании ужина. Крестьяне вскочили, увидев полуголого черного человека с винтовкой на плече, вышедшего из тьмы леса, и пустились наутек, полные суеверного ужаса.

— Что случилось, кабальерос? — закричал им вдогонку кто-то из революционеров. — Чего вы испугались? Мы настоящие! Вернитесь!

Но звать было бесполезно.

Семьдесят три человека выстроились в очередь к жаровне и «поужинали» вареным рисом с бобами, предназначавшимися для шестерых крестьян. Это было первое горячее блюдо за много дней. Уходя, они оставили у костра немного денег...

Прошло четыре долгих дня и ночи — тревожных, голодных. Над отрядом часто пролетали самолеты, постреливая из пулеметов. Но люди под деревьями оставались невредимыми. Утром 5 декабря они остановились в маленькой ложбинке, со всех сторон окруженной густыми зарослями сахарного тростника высотой в два человеческих роста.

Тростник еще не созрел, но они жевали пористые, прессующиеся во рту стебли и высасывали сладкую, прохладную влагу.

Было решено сделать здесь первый большой привал: выспаться, почистить оружие, хоть немного привести в порядок изорванную грязную одежду.

Настроение людей поднялось. Послышались шутки, смех. Несколько раз Фидель призывал к тишине. Люди на минуту умолкали, потом снова начинался шум. Особенно громки были голоса со стороны роты арьергарда.

— Кто разговаривал?! — Фидель неожиданно вырос перед ними.

Нет ответа.

— Кто разговаривал, я спрашиваю, назовите имя!

Пауза.

— Командир роты?

— Я, — это ответил Рауль Кастро.

— Вы отстранены. Пусть примет командование ротой второй офицер.

Этот диалог, услышанный всем отрядом, сразу возымел действие. Установилась тишина.

Через некоторое время к Фиделю пришел Хуан Альмейда. Он просил не смещать Рауля, так как это он, Альмейда, разговаривал в тот момент в роте. О Рауле просили и другие солдаты. Фидель изменил решение, ограничившись выговором.

Люди удобно расположились в ложбинке. Они спали, чистили оружие, грызли тростник, курили, писали, просто лежали на земле.

В конце концов еще далеко не все потеряно. Главное, что все живы. Отставшие девять товарищей нашлись — они нагнали отряд на второй день после выхода из болота. Все, кто погрузился на шхуну в Тукспане, снова вместе.

Они доберутся до гор... И оттуда начнут борьбу... А что до оружия и боеприпасов, брошенных при высадке, так они добудут их в первом же бою.

И никто из них не знал, что бой начнется очень скоро.

Первые выстрелы раздались в четыре часа дня. Через минуту тростниковое поле, по иронии судьбы носившее название «Алегриа де Пио» — «Радость святого», — превратилось в ад. Первый регулярный полк батистовской армии в полном составе наступал на окруженных, попавших в ловушку революционеров. Кто-то донес, выдал властям место привала повстанцев.

Первым погиб от пули врага Умберто Ламот. Выстрел, раздавшийся из зарослей тростника, ранил в грудь аргентинского врача Эрнесто Че Гевару. Рубашка его стала красной от крови. Вывалилась винтовка из рук гаванского студента Рауля Суареса — пуля раздробила ему кисть.

Разделившись на маленькие группы, повстанцы начали отходить в разные стороны.

Принять бой — значило обречь себя на гибель. Надо было скрыться в тростнике и дожждаться ночи. Но тут началось самое страшное. Послышался сухой треск, и в воздухе запахло дымом. Горел тростник. Огромная багрово-желтая стена огня, гонимая ветром, двигалась на повстанцев.

...Всего несколько человек из восьмидесяти двух были убиты в тот трагический день на сахарных полях Алегриа де Пио. Но девятнадцать человек сгорели заживо. Несколько групп, наткнувшись позднее на засады, попали в плен и были расстреляны. Батистовцы убили всех раненых, найденных на поле боя.

Батиста в Гаване праздновал победу.

А в сторону гор упрямо двигались двенадцать человек...

Из дневника Че Гевары

«...Каждый старался укрыться, как мог; приказания командира были напрасны, так как у него не было контакта с подчиненными офицерами. Я вспоминаю, что майор Альмейда потащил меня за собой, видя, что я почти не способен продвигаться вперед. И, повинаясь его властному голосу, я поднялся и продолжал идти, думая, что настали последние мгновения моей жизни.

...С Альмейдой во главе мы сдерживали натиск и отходили, пока не скрылись в густом лесу; шли до тех пор, пока абсолютная тьма не остановила нас. Спали вповалку. Потеряно было все снаряжение, кроме оружия и двух фляжек, которые несли Альмейда и я. Мы шли девять дней, безмерно страдая от голода. Приходилось есть траву и сырую кукурузу. До нас доходили слухи — и плохие и воодушевляющие в одно и то же время. К сообщениям о творящихся вокруг нас преступлениях добавилось обнадеживающее: Фидель был жив. По совету крестьян мы хорошо спрятали винтовки и попытались пересечь тщательно охраняемую дорогу с одними только пистолетами. Спрятанное нами оружие потом было безвозвратно потеряно, но зато мы приближались к тому месту Сьерра-Маэстры, где находился Фидель.

Приблизительно через 15 дней после катастрофы объединились все оставшиеся в живых... Подсчет жертв был долгий и скорбный... Длинный список все пополнялся новыми именами тех, кто самоотверженно выполнил клятву Фиделя: „В 1956 году мы будем свободными или умрем как мученики“. Теперь на немногих оставшихся под командованием Фиделя Кастро легла ответственность поднять знамя восстания и воплотить в жизнь первую часть этой клятвы: „Будем свободными...“ Мы должны были добиться этого ради тех, которые погибли здесь, и ради погибавших изо дня в день в кровавых застенках по всей Кубе. Это казалось фантастичным, но тем не менее в нашем маленьком отряде говорили о победе, о наступлении...»

Теперь я ненадолго прерву свой рассказ, чтобы перенести вас на несколько лет вперед, в Кубу начала 1960 года, в Кубу, какой я ее увидел во время своей первой поездки туда. Журналистам приходится много путешествовать. И, естественно, приходится много писать. Писать трудно, мучительно трудно. Но во сто крат сложнее из огромного запаса впечатлений, встреч, записей в блокноте найти то главное, о чем писать необходимо. Ведь бывает и так — встреч, разговоров, впечатлений много, а писать не о чем. Значит, или виделся с людьми неинтересными, или поговорить как следует не удалось.

По собственному опыту я знаю, как тяжело, особенно в чужой стране, отыскать людей, которые могут тебе рассказать о самом важном, о самом главном в жизни, а отыскав, как трудно бывает вызвать человека на откровенный разговор.

Я приехал на Кубу в начале 1960 года со счастливой задачей — рассказать о людях, участвовавших в революции. Я тщательно готовился к трудным розыскам. Ведь в момент высадки у Фиделя на шхуне было всего семьдесят два человека, а после трагедии в «Радости святого» осталась горстка людей. Правда, силы Фиделя в горах накапливались из месяца в месяц — вначале у него было двенадцать человек, потом двадцать, тридцать, сто, двести... Но где они сейчас, эти люди? Найду ли я их?

Начав свои поиски, я решил пройти весь путь, который совершили Фидель и его друзья. Сопровождал меня в этом интереснейшем путешествии мой друг — Хиральдо Мартинес. ...В один из прохладных дней февраля 1960 года мы наняли маленький рабочий ботик в приморской деревушке в заливе Гуаканаябо и попросили двух рыбаков отвезти меня к месту высадки отряда Фиделя со шхуны «Гранма». Море было спокойно, и через час пути ботик подошел к низкой береговой полосе, густо покрытой невысоким кустарником и причудливой формы изломанными деревьями. Растения подходили к самой воде, и это означало, что дно здесь глубоко. Я спрыгнул в воду и, схватившись руками за ветки, выбрался на берег. Парни в боте с интересом наблюдали за мной.

— Осторожней, — сказал один из них. — Провалитесь.

За каемкой густого кустарника виднелась серая, будто обтянутая старым, потрескавшимся куском кожи земля. Я ступил на нее ногой, и нога ушла в теплую вязкую грязь по колено. Я оперся другой ногой на кочку — и снова провалился. Теперь я был в грязи по пояс и медленно погружался глубже.

Один из парней поспешил на помощь. Он бросил мне конец каната. Я обвязал себя под мышками и цепляясь руками за скользкие ветки кустов, с трудом выбрался на твердую землю.

— Говорил же, осторожней! — пробурчал парень, выбирая канат.

Я осмотрелся вокруг. Серая предательская корка, покрытая, будто колючей проволокой, густо переплетенными ветвями кустарника, насколько хватал глаз, тянулась в глубь острова и вдоль побережья. Местами среди кустов торчали пни без коры, будто голые.

— Как же они шли? — спросил я.

Парень присвистнул.

— Они не шли... Ползли... Если ползешь, меньше затягивает... Потом тут кое-где стояли деревья... Они — на руках. С ветки на ветку... Сейчас крестьяне деревья повырубили. Будут осушать болото...

Зеленой ящерицей раскинулся остров Куба в Карибском море. На тысячи километров тянется его извилистая береговая линия, украшенная причудливым коралловым ожерельем. Но, пожалуй, нигде на всем кубинском побережье нет места более дикого и неприступного.

...Я снова сел в бот, и мы вернулись в рыбачью) деревушку Белик. Толстый Хиральдо спал в «джипе», не выпуская изо рта сигары. Я растолкал его.

— Куда? — спросил он, сразу включая стартер.

— В то место, где они вышли из болота.

— Ага! Я говорил, вы не пройдете, — торжествующе засмеялся Хиральдо. — Пустая затея.

— Там вырублены деревья, — объяснил я.

— Верно, вырублены. Теперь это совсем невозможно. Только Фидель мог пройти.

Ему доставляла не злое, хорошее удовольствие мысль, что вот иностранец не смог пройти, а кубинцы с Фиделем прошли. Чтобы не расстраивать меня, он примирительно произнес:

— Конечно, там вырублены все деревья. Без них, может быть, и Фидель не прошел бы...

Через полчаса мы подъехали к поляне, где стояли редкие белой коры деревья увийя, валялись сучья, торчали невыкорчеванные пни. Из земли поднимались два шеста, соединенные наверху дощатой аркой. На ней белыми буквами было выведено: «Дорога освобождения. 2 декабря 1956 года». Арку поставили совсем недавно.

Сюда ступили измученные переходом через болото, окровавленные, в изодранной одежде революционеры, сжимая в руках грязные, вымазанные в тине винтовки.

«Джип» снова затрясло по ухабам. Чтобы не терять времени, я старательно объяснял Хиральдо свою журналистскую задачу.

— Понимаете, дорогой мой Хиральдо, мне нужно найти тех, кто участвовал в революции.

На всех ее этапах, начиная с того момента, как начали стекаться к Фиделю в горы крестьяне, рабочие из городов — все те, кто хотел помочь революции.

— Понятно, — согласно кивал Хиральдо.

— В крайнем случае — очевидцев, свидетелей этой борьбы, — продолжал объяснять я.

— Понятно, — немногословно отвечал, внимательно посматривая на дорогу, Хиральдо. И вдруг сказал отрывисто: — Сюда!

— Что случилось? — спросил я. — Что-нибудь с машиной?

— Нет, — ответил Хиральдо. — Вот люди, которые вам нужны.

— Это ваши знакомые?

— Нет.

— Откуда же вы знаете, что они участники революции? — удивился я.

— Здесь не было неучастников, — сказал Хиральдо.

На обочине стояла маленькая дощатая хибарка, в которой, кроме разной снеди и продуктов, мог поместиться только один человек — хозяин. Посетителям был отведен снаружи под соломенным навесом стол, сделанный из ящиков для апельсинов.

За столом сидели четверо крестьян и играли в карты. Лошади стояли тут же, привязанные к столбикам навеса.

Играли горячо: изо всей силы били потрепанными картами о стол, спорили и кидали на пол соломенные шляпы. Огромные крестьянские ножи — мачете — в металлических ножнах воинственно бились о ящики, служившие сиденьями.

Перед каждым стояла белая фаянсовая чашка с кофе и стопка с водой. Сделав особенно удачный ход, игрок с удовольствием отхлебывал из толстенной чашки, чмокал восхищенно и запивал глотком холодной воды из стаканчика.

Игроки вежливо, но равнодушно приподняли шляпы при нашем появлении. Однако после того, как Хиральдо сделал несколько замечаний, обнаруживших в нем незаурядного знатока карточных баталий, нас приняли в компанию.

Скоро игра была оставлена, и за столом потек дружеский спокойный разговор о житье-бытье. Вместе с разговором тек кофе, в основном направляясь в желудок веселого Хиральдо.

Все четверо оказались членами одного из близлежащих кооперативов. Этот кооператив был организован на землях помещика-латифундиста, конфискованных государством после революции.

Все четверо раньше работали у помещика батраками — своей земли у них тогда не было.

Передо мной сидели люди, удивительно знакомые своей неторопливостью и основательностью в разговоре, юмором в глазах, обветренной потрескавшейся кожей на лице и на руках, манерой почесывать затылок и сдвигать шляпу на лоб... Совсем как наши русские колхозники откуда-нибудь с Кубани, только лица посмуглей, глаза почерней, поля соломенных шляп пошире и загнуты пофасонистей, и вместо папиросы — здоровенная коричневая сигара во рту, одна затяжка которой сбивает с ног непривычного человека... С помощью Хиральдо я полегоньку начал переводить разговор на события трехлетней давности... Ведь именно через эти места прошли двенадцать бойцов Фиделя, ведь именно в тех горах, которые так ясно видны отсюда, укрылись они от преследований и организовали базу революционной борьбы.

Высокий плечистый крестьянин, которого остальные звали Педро, все время держал левую руку в кармане и, даже в карты играл одной правой, ловко перебирая их большими, сильными пальцами. Поперек лба, как раз над переносицей, у него белел широкий шрам. Педро немного стеснялся своего несчастья и, видимо, поэтому время от времени поправлял шляпу, надвигая ее низко на лоб. Один из друзей хлопнул товарища по плечу: — Расскажи, Педро, русскому журналисту о шраме и руке.

Педро вначале отказывался, но потом, уступая общим просьбам, положил на стол хлыст с витым кожаным кнутовищем и начал.

Мешок рису

— Был у нашей семьи когда-то кусочек земли. Маленький, но все-таки кусочек. Но году в пятьдесят третьем мы его лишились. Просто пришла полиция, согнала с земли, дом наш тростниковый сожгла, а нас пустила на все четыре стороны.

Стали мы нашу же землю теперь арендовать у помещика... Но не выдержали, разорились вконец. И пошел я к нему, к помещику, батраком.

Когда Фидель высадился в декабре пятьдесят шестого — прошел у нас об этом слух. В политике мы, простые крестьяне, не очень-то разбирались, но знали, что жить, как мы живем, невозможно, и каждый, кто против этих порядков борется, борется за нас. Как по-настоящему помочь Фиделю, не знали, где он и его отряд и сколько у него людей, тоже не было известно. Только шел слух, что они в горах. Войска Батисты окружили горы, чтобы ни один человек туда и ни один — оттуда.

Вот в те времена и начали мы между собой собирать деньги, продовольствие и тайно направлять посыльных в горы, чтобы передать повстанцам. Собирали по крохам: кто немного рису даст, кто бобов, кто помидоры пожертвует. Денег, конечно, совсем мало собрали, их просто не было.

Однажды вызвался и я идти в горы с мешком риса для людей Фиделя. К тому времени нам было известно, что лагерь Фиделя находится на пике Туркино — самой высокой горе в Сьерра-Маэстре. От нас это много километров. Как я найду повстанцев, понятия не имел. Но только очень хотелось передать рис, а главное — передать, что все мы с ними душой и, если что нужно будет, всегда поможем. Возьмем наши мачете и пойдем с ними хоть против танков...

Но не дошел я до Фиделя.

Недалеко от этих мест, близ городка Эстрада-Пальма, меня задержал патруль.

— Что несешь? — спрашивает офицер.

— Рис, — отвечаю.

— Кому?

— Брату.

— Какому такому брату?

— Родному брату, он недалеко живет.

А у меня действительно в этих местах брат жил — Аугусто.

Офицер молчит и медленно ко мне подходит. Я мешок на землю поставил, жду, что будет дальше.

— Ну-ка, развяжи, — приказывает офицер и кивает на мешок.

Только я нагнулся — и вдруг в глазах темно. И боль в затылке...

Очнулся я в полной темноте. Лежу на земле в каком-то помещении. Голова как чугунная.

Начал себя ощупывать. Дотронулся до лица — и сразу рука липкая. Видно, он мне кованым башмаком в переносицу ударил. Почему затылок болел, не знаю. Через час пришли солдаты и отвели к тому же офицеру.

— Ну, подумал ты своей разбитой башкой? — сказал и смеется. — А теперь отвечай: кому нес рис? Где Фидель? Кто дал тебе мешок?

Я повторил все сначала: рис, мол, нес брату.

— Хорошо, — сказал спокойно офицер. — Придется сделать тебе маникюр, а то у тебя пальцы некрасивые.

Я не понял, что он сказал, и ждал.

Пришли два солдата. Привязали меня крепко к стулу, а палец руки вставили в железное кольцо, укрепленное на столе. Кольцо сжали винтом так, что пальцем не двинешь, и офицер специальными щипчиками начал отдирать ноготь...

Я еще слабый был от удара в лицо и надеялся, что потеряю сознание, мучиться буду меньше. Но сознание не уходило...

Так продолжалось несколько дней. Я все-таки молчал.

Однажды офицер повел меня за город. «На расстрел», — решил я. Остановились мы на пустыре. Посредине пустыря — столб. К нему привязан человек. В десяти шагах от столба солдаты стоят с винтовками. Подвели меня ближе. Смотрю, у столба Аугусто стоит — брат.

— Если ты сейчас не скажешь правду, — говорит офицер, — твой брат увидит святую мадонну.

У меня все внутри оборвалось. Лихорадочно соображаю, что делать.

— Ну? — спрашивает офицер. — Считаю до десяти.

На счете «восемь», когда солдаты уже поднимали ружья, я сказал:

— Отвяжите его и с меня наручники снимите, я скажу.

Офицер поверил. Брата освободили, подвели ко мне. Мы обнялись.

— Пусть солдаты отойдут, — говорю офицеру, — чтобы только вы знали.

То ли он от радости всякую осторожность потерял, то ли на мою слабость надеялся. Не знаю. Только отдал приказ солдатам. Те отошли, покуривают сигары.

Что есть силы я ударил офицера ногой в живот. Отлетел он метра на три и упал — видно, удачно я попал. Мы с братом бросились бежать. Солдаты вначале растерялись и стрелять начали через несколько секунд, когда мы уже были рядом с сахарным тростником,

который окружал пустырь. И все-таки они успели. Брат упал. Я обернулся, увидел — в затылке у него рана. Бросился дальше. Уже когда был в тростнике, какая-то шальная пуля попала мне в левую руку. Рана пустяковая, но вот видите... Не двигается. Нервы, что ли, перебиты, не знаю. До повстанцев я все-таки кое-как добрался. Две недели шел. Питался одним сахарным тростником. Пришел к ним, да так и остался в горах. До победы. А мешок с рисом не донес. Жалко, им тогда провизия очень была нужна...

Педро улыбнулся виновато, будто ждал, что мы все сейчас начнем корить его за мешок рису, который он не донес...

Это была моя первая, как я думал, встреча с участником кубинской революции. После нее я понял, что мой опыт в розыске людей, о которых надо писать, на Кубе не нужен.

Сейчас я листаю записную книжку, и мне среди сотен записей трудно отобрать наиболее интересный рассказ. Все интересно, все важно. Хотя, впрочем, вот этот, пожалуй, будет полнее других.

Итак, мы остановились на том, как первые крестьяне, прослышав о высадке революционеров в провинции Ориенте, пытались оказать помощь людям, поднявшим знамя борьбы за свободу Кубы.

Франк Паис, возглавлявший большую подпольную группу сторонников Кастро в Сантьяго-де-Куба, тайно направлял к Фиделю верных людей, доставлял оружие, боеприпасы и продовольствие.

О том, как это происходило, мне рассказал капитан повстанческой армии Артуро Перейра, с которым меня познакомил мой друг Хиральдо.

Бензобак и пулемет

— Я из Мансанильо, — рассказывал капитан. — Работал там шофером на грузовике. Перевозил продукты, вещи, в общем по найму — что придется, от магазина к магазину до Сьерры.

Второго декабря по радио передали: высадился Фидель. Вся его группа убита или взята в плен.

А через месяц по поручению Франка Паиса я уже возил продукты, оружие и амуницию для Фиделя.

Снабжением Сьерры из Мансанильо командовала Селья Санчес. Вы ее когда-нибудь видели? Она сейчас секретарь Фиделя.

Первое, что Батиста сделал, окружил всю Сьерра-Маэстру наглухо. Чтобы ни одна мышь ни туда, ни оттуда. Расставил контрольные посты на всех дорогах и запретил всякое снабжение Сьерры продуктами. Он хотел заморить повстанцев голодом. Вместе с ними погибли бы и крестьяне, живущие в горах. Но это его не беспокоило.

Так вот, начал я возить. Мой маршрут был от Мансанильо до Провиденс, каждые два-три дня. Там я передавал груз нашим людям, а они на мулах и пешком доставляли его в горы. Проверка была при выезде из Мансанильо, в Джаре и в Эстрада-Пальме. Солдаты проверяли бумаги и потом — нет ли в машине консервов, фруктов, галет и другого в этом роде. Я возил рис и бобы. Первое время рис и бобы разрешалось возить в горы, так как Батиста думал: повстанцы не смогут готовить пищу на огне, боясь демаскироваться. Но пищу революционерам готовили крестьяне в своих хижинах.

Вот так и лежали у меня в кузове мешки с рисом и бобами, салатом, помидорами. А на дне, под вторым полом, — винтовки, пистолеты, патроны, одежда, консервы. Доставали тогда оружие сложными путями: по ночам ловили в городе одиночных батистовских солдат, раздевали и отбирали оружие.

Те бежали в нижнем белье в комендатуру. Иногда таких голоштанников собиралось за ночь два-три человека.

Была у нас, подпольщиков, своя агентура среди кубинцев, работавших на американской военной базе в Гуантанамо. Иногда там оружие похищали, а иногда просто покупали у

американских солдат за ром бакарди — как они потом отчитывались перед начальством, не знаю.

Ездил я на машине один. Иногда перевозил не только продукты и оружие, но и нужных людей. Тогда объяснял солдатам — это, мол, мой помощник...

Прошло несколько месяцев. Батиста понял, что все его меры — ерунда. Не действуют его меры. Число повстанцев увеличивается, оружие к ним помалу, но течет, с голоду они тоже не умирают... И тогда Батиста издал приказ, по которому солдаты теперь обязаны были проверять каждый мешок, каждый кулечек в отдельности.

А был как раз сезон дождей. Я ездил обязательно в дождь и мешки ничем не прикрывал. Возиться с мокрыми мешками — дело хлопотное, и самим под дождем мокнуть солдатам тоже не очень хотелось. Так мне все сходило с рук месяца полтора.

Я познакомился со многими солдатами на контрольных постах. Угощал их сигарами, дарил разные безделушки. Они мне верили и почти не проверяли. Часто просили подвезти. Я не отказывался. Так и ездил: на мешках батистовский солдат, в мешках рис, а под рисом оружие для Фиделя. Я настолько к этому привык, что когда вез особенно опасный груз, специально напрашивался: не надо ли сеньоров солдат и офицеров подвезти куда-нибудь? И очень радовался, если попутчик находился: меньше было опасности — с ним почти не проверяли.

Так прошло еще месяца полтора. И вдруг по приказу Батисты сменили все посты. На место знакомых мне солдат пришли новые. Говорят, им за каждого пойманного «контрабандиста» полагался крупный куш, а за каждого пропущенного — арест. Они работали как звери и в жару и в дождь: проверяли каждый мешок.

Мы тогда в подполье вместе с Франком Паисом долго обсуждали: что же делать дальше, как переправлять необходимые вещи? Таких связных на машинах, как я, было несколько. Франк Паис придумал перевозить грузы в бензобаках. Да, в обыкновенном бензобаке, который есть в каждой машине.

Предложение было принято. Бензобаки мы перегородили железными переборками, так что бензина там оставалось всего литров десять-пятнадцать, а все остальное пространство заполнялось нужными вещами. Конечно, много тут не перевезешь, но все-таки.

Так вот и сделали мы. Приходилось брать в кузов канистры и пополнять бак чуть ли не каждые сто километров. Важно было, чтобы это не бросалось в глаза.

Винтовки мы перевозили в разобранном виде. Но однажды наши друзья в Сантьяго раздобыли где-то ручной пулемет. Ручной пулемет в горах — на вес золота, нужно было доставить его быстро. А ствол его не помещался в бензобаке никак. Долго думали, как выйти из положения. Наконец придумали. Взялась за это дело Флавия. Та самая, что перевезла облигации революционного займа в коробке из-под торта. Не слышали? Вы здесь у любого спросите — вам расскажут. Так вот, она села со мной в кабину, на краешек сиденья, поставила пулемет перед собой так, что ручки стояли на полу, а конец ствола подходил к самому ее подбородку. Обложила ствол подушками. А сверху надела широченное платье и стала похожа на беременную. Так на краешке сиденья и на краю смерти проехала она со мной в Мансанильо. На первом контрольном пункте ее попросили выйти, она схватилась за «живот», заохала, побледнела — действительно побледнела, было с чего, — закатила глаза, а я объяснил, что ей очень плохо, ее везут к знакомому врачу и, если она сдвинется с места, ей может быть хуже. Солдаты засмеялись, но, видно, боялись, если действительно случится с ней что-нибудь — потом хлопот с сеньорой не оберешься, — и пропустили. Так на трех постах. Только один раз, уже около самого Мансанильо, вдруг встретился, как назло, какой-то знакомый Флавии. При всех солдатах он, болван, закричал:

— Что с тобой? Опухла-то как! Ведь месяц назад ничего не было.

Солдаты насторожились. Но Флавия заохала и обозвала его дураком, который ничего не понимает в болезнях. Это почему-то подействовало... Так и довезли ручной пулемет прямехонько до Фиделя.

Ну, а я все-таки провалился в конце концов. Это случилось месяца через три после истории с пулеметом. Была облава, и меня арестовали с машиной. Это уже случалось не первый раз и всегда сходило благополучно. Но тут какому-то непоседливому офицеру понадобилось съездить за сотню километров от места, где я был под арестом. Он взял мою машину и поехал. Я понял, что песенка моя спета. Бензин был на исходе. Через каких-нибудь десять километров машина станет, он проверит бак, и все раскроется.

Это было в Эстрада-Пальме. В двухстах метрах от сарая, где я находился, начиналось поле сахарного тростника и тянулось, я знал, на много километров. Часовой был далеко, один, и я решил подождать на всякий случай, вдруг все обойдется. Но не обошлось. Через полчаса прикатила моя машина. Я видел, как из нее вылез офицер и принялся орать на солдат, указывая на бензобак. Солдаты начали сбивать бак прикладами. Я бросился бежать в тростник. Найти человека в поле тростника — все равно что иголку в стоге сена. Они стреляли часа два, даже самолет вызвали, он покружился над полем и улетел. Места эти я знал с детства и через несколько суток был уже в горах — у Фиделя.

С тех пор я остался в Сьерре. Целый год шли бои, мелкие стычки. Мы применяли партизанскую тактику: не шли на крупные сражения, но изматывали противника неожиданными быстрыми ударами. Силы наши росли...

Наконец взбешенный диктатор предпринял «решающее наступление» и раззвонил об этом по всему миру. Это было в мае 1958 года. Сражения шли два с половиной месяца. Батиста бросил против нас четырнадцать пехотных батальонов, семь отдельных рот, танки и самолеты с напалмовыми бомбами. Вначале батистовцы теснили нас, но в июле мы одержали первую крупную победу при Эль Хигуэ. С тех пор все пошло иначе. Я расскажу вам, как это было.

11 июля восемнадцатый батальон Батисты стал лагерем в Эль Хигуэ, в десяти километрах от пика Туркино. Фидель в это время сконцентрировал здесь все свои группы и занял позиции вокруг противника.

Ночью мы выкрали нескольких пленных. Продержали их до утра, а утром собрали хорошо одетых бойцов, вооружили их как следует и сделали так, чтобы пленные их видели. Потом пленных накормили и ночью снова доставили в батальон Батисты, чтобы те рассказали, во-первых, о нашей силе, во-вторых, о том, как мы обращаемся с пленными. Кроме того, один из пленных передал своему командиру письмо от Фиделя.

Дело в том, что батальоном командовал капитан Хосе Кеведо — один из немногих офицеров Батисты, который не потерял человеческого облика и не опустился до издевательств над населением и солдатами. Фидель знал капитана Кеведо лично. Когда-то они вместе учились в университете на юридическом факультете.

(Копию этого письма я получил потом у секретаря Фиделя Кастро, поэтому привожу его здесь текстуально, лишь с незначительными сокращениями. — Г. Б.)

«Сьерра-Маэстра

Командир Хосе Кеведо!

С глубокой грустью узнал я от первых пленных, что вы командир осажденного войска... Вы знаете, что дело, за которое жертвуют собой и умирают эти солдаты и вы сами, — несправедливое дело. Вы — военный, сохранивший свою честь и знаток законов, вы знаете, что диктатура — это насилие над всеми конституционными и человеческими правами нашего народа. Вы знаете, что диктатура не имеет права жертвовать солдатами республики для защиты режима, который угнетает страну, попирает свободу и держится лишь террором и преступлением. Она не имеет права посылать солдат республики биться против своих собственных братьев, которые требуют только того, чтобы жить свободными... Мы не воюем против армии. Мы горько оплакиваем каждого солдата, который умирает, защищая подлое и несправедливое дело.

Министры, сенаторы и генералы находятся в Гаване. Они не подвергаются риску и не выполняют тяжелой работы, в то время как их солдаты, окруженные стальными кольцами, терпят голод и находятся на краю гибели.

Ваше войско осаждено, у вас нет ни малейшей надежды на спасение. Все пути — сушей и водой — отрезаны, они перерывы траншеями и заминированы...

Вы погибнете от голода или от пуль, если битва будет продолжаться. Жертвовать этими людьми в безнадежной битве ради позорного дела — это преступление, которое человек чувств, человек сердца не может совершить.

В этом положении я предлагаю вам сдаться с почетом и достоинством. Со всеми людьми мы будем обращаться с уважением. Офицеры смогут оставить при себе оружие.

Примите эти предложения.

Вы сдадитесь не врагу родины, а искреннему революционеру, бойцу, который борется за счастье всех кубинцев, даже тех солдат, которые с нами сражаются.

Фидель Кастро».

— Мы передали текст письма и через громкоговорители, — продолжал капитан. — В перерывах, в моменты затишья по радио мы передавали кубинскую музыку, чтобы напомнить солдатам о доме.

Хосе Кеведо держался еще несколько дней. Солдаты его уважали. И поэтому слушались приказов. Ну, а главное — они все-таки очень боялись нас. Батиста запугал их тем, будто мы пытаем пленных. Над нашими пленными батистовские офицеры действительно издевались, и потому солдаты не верили, что мы можем относиться к ним иначе.

Шли дни, солдаты противника падали в своих окопах от голода и жажды. Мы передавали музыку и уговаривали сдаться, чтобы не проливать зря кровь... Однажды мы предложили перемирие и прекратили огонь на несколько часов.

Их солдаты вышли из траншей. Осторожно, боясь обмана. Наши тоже вышли.

Опустив винтовки, мы медленно шли друг другу навстречу по «ничьей земле». Пройдя несколько десятков метров, начали бросать винтовки на землю. Они не выдержали и кинулись к нам бегом, принялись обнимать нас, целовать. Мы дали им воды, немного пищи и сигар. Солдаты плакали...

После этого стрелять уже было невозможно. Прошел день, начался вечер, и в час ночи 21 июля остатки батальона № 18 сдались повстанцам.

О, это была действительно крупная победа! Во-первых, это означало, что «решающее наступление» Батисты провалилось, а во-вторых... Я до сих пор помню точные цифры, так как подсчитывал трофеи: около ста винтовок системы «спрингфильд», полсотни автоматов «кристобл», два десятка системы «гаранд», четыре строенных автоматических ружья, одна базука с шестьюдесятью снарядами к ней, одна 81-миллиметровая и одна 60-миллиметровая мортиры, полтора снаряда к ним, около сорока тысяч патронов, больше сотни гранат...

После этой нашей победы наступление Батисты захлебнулось, и мы сами пошли вниз, с гор в контрнаступление...

Меня очень заинтересовало в рассказе капитана Артуро Перейра его упоминание о какой-то Флавии и о том, как она перевезла в горы к Фиделю ручной пулемет, как доставила из Гаваны в Сантьяго облигации тайного революционного займа. Я пытался разыскать ее, но все было безуспешно.

Только в самом конце моего пребывания в Сантьяго мне удалось, наконец, узнать все подробности той истории с облигациями. Как это произошло, я расскажу вам чуть позже, а вначале познакомлю вас с самой историей.

Коробка из-под шоколадного торта

Шофер взял в руки чемоданчик. Она держала коробку. Коробка была большая. Черная, с белыми и красными узорами. Сверху она была покрыта целлофаном, скрепленным прозрачной клейкой шотландской тесьмой. Картонное сооружение было замысловато перевязано голубой шелковой лентой с красивым четырехлепестковым бантом. И все это, в свою очередь, помещалось в прозрачном нейлоновом пакете с надписью: «Педро Гонсалес. Лучшие рубашки. Не требуют утюга. Стирайте и носите. Цены доступны». Они подошли к конторке авиакомпании «Кубана Авиасион».

— Один билет до Сантьяго, — сказала Флавия, ставя на прилавок цветастую коробку. — На ближайший самолет.

— Сожалею, сеньора, но на ближайший мест нет.

Чиновник склонил густо набриолиненную голову.

— Тогда на вечерний...

— И на вечерний нет. Все переполнено.

— Когда же можно улететь? — Флавия начала волноваться. «Торт» нужно было доставить как можно скорее. Лишний день мог испортить все планы и сорвать закупку оружия.

Чиновник порылся в книге, потом позвонил куда-то.

— Должен вас огорчить, сеньора, — сказал он, — но раньше чем через пять дней вы из Гаваны вылететь не сможете.

Видимо, на ее лице было написано такое огорчение, что чиновник снова стал рыться в книге.

— Моментико... Если вам действительно нужно срочно в Сантьяго... — он листал страницы, не забывая изредка поглядывать на Флавию, — моментико... моментико... Вот, пожалуйста! Я справлялся недавно на автобусной станции, у них еще есть свободные места. Автобус уходит через час... Шестнадцать часов — и вы в Сантьяго... Утром вас уже поцелует любимый...

Флавия кокетливо улыбнулась — чиновник был симпатичный. И тут же подумала: «Дура легкомысленная! Легкомысленная дура! Такое поручение, а ты... Автобус? Но это значит по меньшей мере четыре проверки багажа и документов...»

— Я кончаю работу через пятнадцать минут, — сказал любезно служащий авиакомпании. — Мог бы вас подвезти.

— Спасибо, у меня машина...

«Автобус... автобус, — думала она. — А что, если действительно... Утром уже там... От наших только влетит...»

— Разрешите, я помогу вам, — чиновник, не дожидаясь ее согласия, взял со стойки коробку. — Ого, какой тяжелый! Просто не верится, что торт...

Флавия обмерла.

— Это он... весь шоколадный... Знаете, целиком...

— Наверное, очень вкусно.

— Да, конечно... Ведь шоколад... Вы любите шоколад?

Она достала из сумочки плитку.

— О, из ваших рук!

Он поставил коробку на сиденье автомобиля. Звякнула пружина.

Флавия помахала ему рукой из окна.

— Счастливого пути, сеньора, — чиновник приставил два пальца к фуражке. —

Возвращайтесь на самолете. Мое имя Орацио.

Флавия послала ему воздушный поцелуй. Не заподозрил ли он? Нет, кажется, обошлось...

— На автобусную станцию, — сказала она.

— Ты поедешь на автобусе? — насторожился шофер. — А как же наши?

— Не твое дело, — Хосе. Поскорее. Автобус уходит через час, надо взять билеты.

— Смотри, Флавия, ведь там проверка.

— Через пять дней облигации никому не будут нужны.

— Может быть, все-таки заедем к нашим, посоветуемся?

— На автобусную станцию! — сказала Флавия с ударением.

Больше Хосе не переспрашивал.

Они приехали за пятнадцать минут до отправления. Хосе взял билет. Ее чемоданчик положили в багажное отделение — под пол. Коробку она взяла с собой.

Все пассажиры были уже на месте. Флавии досталось кресло рядом с пожилым субъектом в белой панаме. От ушей у него шли провода, соединявшиеся в боковом кармане пиджака. Впереди сидели молодая женщина с грудным ребенком и тощая старуха, вся увешанная фальшивыми драгоценностями.

«Что это так вырядилась?» — подумала Флавия, ставя коробку на сетку, которая шла вдоль всего автобуса над сиденьями. Нейлоновые клеточки глубоко продавились под тяжестью «торта».

— Какой тяжелый! — сказал кондуктор в белой рубашке с погончиками и темно-синим форменным галстуком. — Может быть, вам лучше поставить его под кресло?

«Что они все прицепились? Как назло!» — подумала Флавия и вслух сказала:

— Шоколадный. Целиком шоколадный... Подруга выходит замуж. Может быть, действительно под креслом лучше...

Автобус тронулся. Они миновали фруктовый рынок. Он уже не был таким многолюдным, как днем. Уборщики подметали апельсиновые и банановые корки. Продавцы увозили ручные тележки с нераспроданными фруктами. Бродил нищий, накалывая иглой, вставленной в трость, окурки. Уже появилось несколько горящих неоновых вывесок бар-клубов и трехцентовых кафе.

Как только выехали из города, старичок, сосед Флавии, вынул из ушей провода и, надвинув панаму на глаза, заснул.

Флавия смотрела в окно на проплывавшие слева от автобуса огни гаванского порта.

Машина вышла на широкое серое шоссе, разделенное желтыми пунктирными полосами на шесть дорожек — три туда, три обратно, посередине каменный барьерчик, — и, мягко покачиваясь, понеслась к провинции Ориенте, где Флавию ждали друзья, где до зарезу нужны были эти маленькие зеленые листочки с изображением двух рук, рвущих кандалы, и цифры «26», аккуратно сложенные в коробку из-под шоколадного торта.

Листочки эти, представлявшие собой подпольные облигации, печатались в тайной типографии в Гаване, о которой Флавии не полагалось знать. Облигации надо было срочно распространить в Ориенте, чтобы на вырученные деньги купить оружие, продовольствие, медикаменты, одежду — как раз представилась такая возможность.

Флавия задремала, дотрагиваясь ногой до коробки с бесценным грузом.

Очнулась она от громкого крика:

— Мужчины без вещей — вон! Женщины могут оставаться на своих местах.

Крик раздался над головой. Она открыла глаза и увидела прямо перед собой короткоствольный тупоносый «смит-вессон». «Смит» был никелированный, блестящий, а ручка инкрустирована перламутром и серебром. Револьвер покоился в ремешковой открытой кобуре на животе у высокого офицера, который продолжал кричать над ее головой:

— Сколько я буду повторять: мужчины, вон!

— Он глухой, господин офицер, — сказала Флавия, поправляя прическу, — и вынул провода из ушей.

Офицер щелкнул пальцем по панаме. Старичок проснулся. Он испуганно смотрел на красного от натуги офицера, который тарашил на него гневные глаза и беззвучно открывал рот... Старичок поспешно подключился к внешнему миру, вставив в уши провода.

— А, — недовольно произнес он, наконец поняв, что от него хотят. — Так бы и сказали. Зачем же бить по панаме...

Мужчины вышли. Их обыскивали рядом с автобусом.

Офицер крикнул:

— Начинайте!

Два солдата, медленно двигаясь посреди прохода, раскрывали чемоданы, шляпные коробки, дамские сумки, баулы и вываливали содержимое на кресла. Офицер шел за ними и, брезгливо морщась, расшвыривал вещи стеком, рассматривая документы, письма, фотографии.

Флавия сидела, откинувшись к спинке кресла, и чувствовала, как бледнеет ее лицо. Она ощущала это физически и понимала — достаточно одного взгляда этого офицера, и ее заподозрят. Она нагнулась, притворяясь, что поправляет туфлю, чтобы кровь снова прилила к лицу. Коробка стояла на месте. «Поднять на кресло? Или, может быть, не заметят? Если заметят, будет хуже. Нет, лучше подождать». Мысли прыгали.

— Выньте ребенка из конверта, — приказал офицер женщине, сидящей впереди.

— Он только что успокоился, сейчас ночь, — она умоляюще посмотрела на военного.

— Выньте ребенка, сеньора, — нетерпеливо повторил офицер. — Время идет.

— Но я вас очень прошу...

— Сеньора, как вам не стыдно, выньте ребенка, — вдруг неестественно громко, сама не узнав своего голоса, сказала Флавия. — Господин офицер выполняет свой долг. Мы, кубинские женщины, должны ему помочь. Мало ли что вы можете везти в конверте! А вдруг бомбы для террористов?!

— Спасибо, сеньора, — улыбнулся офицер. — Вы настоящая патриотка.

Женщина обернулась и смерила Флавию ненавидящим взглядом. Ребенок расплакался...

Флавия с готовностью протянула офицеру раскрытую сумочку. Офицер посмотрел содержимое. Из его рук выпала губная помада.

— Извините!

Он немедленно нагнулся, чтобы поднять желтый блестящий тюбик... У Флавии замерло сердце.

— Что это? — вдруг громко спросил офицер, вытаскивая из-под кресла коробку. —

Почему вы не положили ее на кресло — ведь была команда.

— Ах, это? Я совсем забыла... Это подарок, господин офицер. Подруга выходит замуж.

— Сейчас проверим. — Офицер кивнул солдату.

— Да, да, проверяйте, конечно, проверяйте! — в полном отчаянии воскликнула Флавия. — Это ваш долг, служба.

Солдат приблизился к коробке и раздумывал, с какой стороны начать ее распаковывать. Он вынул ее из пакета с рекламой лучших рубашек. Флавия вдруг почувствовала пустоту в горле, стали влажными руки.

— Я говорила этим болванам в магазине: не запаковывайте так красиво и сложно, — сказала она. — Ведь будет проверка, обязательно будет проверка. Все равно все изменится, и торт разрушится. Надо было оставить коробку открытой. Болваны! Но они запаковали... Открывайте, не стесняйтесь, я сама даже вам открою. Правда, подруга будет очень жалеть, ведь свадьба бывает в жизни не так часто... Открывайте!

Офицер мрачно смотрел на коробку, солдат грубыми пальцами нерешительно взялся за голубую ленту.

— Ну, ладно, — сказал офицер, — раз свадьба... Поставь на место, — приказал он солдату.

— Нет, нет, не беспокойтесь, проверяйте, — Флавия самозабвенно защищала права батистовского офицера. — Все равно, если не вы, так другие... Проверять, наверное, будут часто.

— Сходи за бланком, — все так же мрачно приказал офицер.

Солдат принес маленький зеленый бланк с напечатанным словом «Проверено». Офицер лизнул его языком и приклеил к коробке.

— Сожалею, что не голубой, — улыбнулся он. — А то бы как раз в тон к банту. Но зато теперь уже ваш торт будет цел. Его не будут разворачивать...

Флавия готова была расцеловать длинного офицера, но вместо этого сказала:

— Ах, если бы я могла, я бы своими руками задушила этого Фиделя! Из-за него вам приходится ночью совершать эту утомительную работу в автобусах.

Он поднял два пальца под козырек:

— Служба, сеньорита. Честь имею.

Счастливая и обессиленная, она повалилась на кресло. С негодованием на нее смотрели обе соседки спереди.

До самого Сантьяго коробка из-под шоколадного торта лежала на сетке — на виду у всех. И, нисколько не гармонируя с голубым бантом, на ней выделялся зеленый ярлычок с надписью «Проверено».

Ну, а теперь я выполняю обещание — расскажу, как я узнал об этой истории с коробкой из-под шоколадного торта.

Однажды Хиральдо сообщил мне, что срочные дела заставляют его покинуть меня на две или три недели. Это была грустная весть.

Днем меня познакомили с моей новой переводчицей. Ее звали Клара Гонсалес. Клара была толста, как Хиральдо, весела и смешлива, как два Хиральдо, легкомысленна и несерьезна, во всяком случае с виду, как десять Хиральдо. И еще она любила петь. Пела Клара все время — в машине, за обедом, в компании и когда бывала одна; но самое трагическое для меня состояло в том, что она напевала и тогда, когда нужно было переводить...

Несколько дней я придумывал вежливый способ избавиться от нее. Но ничего не получилось.

Мне предстояла одна очень серьезная беседа — с матерью Франка Паиса. И я со страхом думал, что Клара может все испортить. Матери замечательного кубинского революционера, женщине, как я слышал, сильной, волевой и молчаливой, наверняка не понравится моя легкомысленная спутница, которая, видать, и не нюхала опасностей революционной борьбы...

Но делать было нечего, и когда стемнело, мы отправились с ней на улицу Сан Карлоса, где жила славная кубинская женщина, воспитавшая трех сыновей и отдавшая революции жизни двух из них.

Поднявшись по четырем каменным ступенькам на крыльцо, мы постучали в дверь. Она открылась, и на пороге появилась седая полная женщина лет шестидесяти.

Прищурившись, она старалась разглядеть нас.

Клара сказала:

— Знакомьтесь, Росарио, это журналист, о котором вам говорили.

Женщина всплеснула руками:

— Боже мой, Флавия! Это ты! Как хорошо, что ты пришла! Я так долго тебя не видела.

Потом она протянула руку мне.

Когда хозяйка пошла сварить кофе, я повернулся к Кларе.

— Почему она зовет вас Флавией?

«Легкомысленная хохотушка» улыбнулась:

— Это было мое имя в подполье.

— Вы были в подполье?!

— Да. Меня еще и сейчас многие зовут по привычке Флавией.

— Постойте, так, значит, коробка с «тортом»... И потом этот пулемет в «джипе»... Это все вы?!

Вот так я и познакомился с легендарной Флавией, так узнал историю с «тортом». О беседе с матерью Франка Паиса не буду вам рассказывать, а просто приведу здесь письмо, которое Росарио Гарсиа де Паис написала в тот вечер и дала мне для передачи матери наших советских героев — Зои и Шуры Космодемьянских.

Мать героев

Письмо для матери

Зои и Шуры Космодемьянских

«Дорогая сеньора.

У меня в гостях журналист из России. Он рассказал мне о Зое и Шуре. И мне захотелось сказать Вам несколько слов.

У нас с мужем восемь лет не было детей. У мужа была дочь от первого брака, но он хотел мальчика: ведь мужчина продолжает имя отца... Я очень любила мужа. И мне очень хотелось ребенка. Я молилась и просила помощи у бога. Через восемь лет он дал нам дитя. Когда моя падчерица побежала к отцу и сказала: «Папа, мальчик!», он заплакал. Мы назвали его Франком. Франк Паис. Он весил восемь фунтов — это не очень много. Отец взял маленького на руки и сказал:

— Я не знаю, мальчонка, что станет с тобой, но я очень хотел тебя. Бог знает, что тебя ждет, сынок. Но ты есть, и это все...

Через два года у нас родился Аугусто, еще через год Хосуэ.

Муж тяжело болел. Когда Франку исполнилось пять лет, отец моих детишек умер.

Вы мать, и вы понимаете, что такое вырастить троих детей без мужа.

Нет любви большей, чем любовь матери к детям. Я любила всех троих. Но все-таки Франка чуть больше. Ведь мы его так ждали с мужем.

Они росли хорошими мальчиками. Франк, видимо, рано понял, что он старший мужчина в доме, что со временем ему предстоит содержать мать и братьев...

Я не знала, что он стал участником «Движения 26 июля». Он не говорил мне: боялся тревожить... Но я замечала, что в доме нашем часто собирается молодежь, много спорит, говорит о родине, о народе, о Фиделе Кастро. Я не особенно прислушивалась. Я просто любовалась сыном. Говорил он замечательно. И остальные слушали его всегда со вниманием...

Потом его арестовали в первый раз. Но скоро выпустили. У них не было улик. Я стала догадываться о многом. Но только догадываться...

Я решила поговорить с ним.

Я сказала ему все, что в таких случаях может сказать просто мать. О том, что он старший в семье, о его ответственности, об опасности... Он выслушал меня внимательно, потом обнял, и я поняла, что ничего уже не смогу изменить. И больше никогда не пыталась. А только молила бога, чтобы ничего не случилось... Старалась удержать хоть младших. Но и они пошли за Франком.

Он вел революционную работу. Только после его гибели я узнала, что мой сын руководил всем снабжением Фиделя: оружием, боеприпасами, продовольствием.

Однажды его снова арестовали. Это было в пятьдесят седьмом, весной. Он не вернулся домой, а меня вызвали в полицию и сказали... Сказали, что и до меня доберутся...

Потом был суд... Я и не думала, что моего Франка так знают в городе. Зал был переполнен, и на улицах стояли сотни, а может быть, и тысячи людей. И все кричали: «Свободу Франку Паису! Свободу Франку Паису!» А он выступал на суде. Я не помню, о чем он говорил. Только знаю, что люди сидели не шелохнувшись, а я смотрела на него, слов его не понимала и плакала...

Его не могли посадить, потому что весь город бушевал. Его освободили...

Потом снова несколько раз арестовывали. Один раз возили всю ночь по полицейским участкам — от одного к другому, и никто не соглашался взять моего сына к себе — боялись, что наутро, когда люди узнают, разнесут участок...

Он почти перестал ночевать дома... Каждую ночь — в разных местах. Только иногда прибежит вдруг, под утро, принесет чего-нибудь поесть или денег, обнимет, поцелует, и снова нет его...

Несколько раз батистовские солдаты устраивали засады в нашем доме, чтобы поймать его.

Я спрашивала офицера:

— В чем вы его обвиняете?

Он отвечал:

— Ваш сын — идейный руководитель коммунистов в Сантьяго...

Что за глупость! Мой муж был священнослужитель. Франк тоже добрый протестант. Он просто хотел, чтобы люди, наконец, вздохнули свободно и не голодали...

Тридцатого июня пятьдесят седьмого года убили моего Хосуэ. На него и его друзей напали солдаты Батисты. У мальчиков было оружие. Они защищались. Это было на улице. Я узнала о его гибели через час после того, как все было кончено...

В то время уже существовал твердый приказ — покончить с Франком. Я не знала тогда об этом. Франк скрывался.

Я хотела спасти своих детей. Пошла и попросила испанского консула, чтобы он принял меня и моих двух оставшихся в живых сыновей в испанское подданство. Консул направился со мной в полицейский участок. Это было 30 июля — ровно через месяц после гибели Хосуэ. В полицейский участок, где мы находились, вдруг вбежал солдат и закричал.

— Убили Франка Паиса! Убили Франка Паиса!

Я подумала, может быть, это провокация...

Я только сказала:

— Покажите, где лежит убитый, возможно, я знаю его...

Меня отвели... Это был он, мой Франк...

Его выследили, и солдаты нагрянули в дом, куда он зашел на минутку к товарищу. Франк хотел выхватить пистолет... Но в комнате были дети. Он положил пистолет на стол и молча пошел к двери. Как только он вышел на улицу, офицер приказал:

— Это Франк Паис! Стреляйте!

Солдат выстрелил из автомата...

Дорогая сеньора, я знаю, что в Вашей стране многие-многие матери потеряли и больше чем двоих детей на войне. И на Кубе таких матерей достаточно. Я пишу Вам, потому что сеньор журналист рассказал мне о Ваших детях и Ваша судьба показалась мне очень похожей на мою... У Вас погибли дочь и сын, у меня — тоже двое. Шура погиб с оружием в руках, как Хосуэ, Зоя — безоружной, как Франк. Зоя, как и Франк, была партизанкой... У меня остался один сын — Аугусто. Он для меня все, в нем — его братья и мой муж... Но если революции понадобится жизнь и третьего моего сына, я скажу Аугусто: иди и отдай свою жизнь...

Дорогая сеньора, я не знаю Вас, но мне кажется, Вы думаете так же, как я... Потому что, если знаешь, что дети отдали жизнь не зря, мать может только гордиться их смертью. Мне очень хотелось бы с Вами встретиться... Может быть, это случится когда-нибудь. Мы бы поговорили о многом и, может быть, поплакали бы вместе.

Я впервые так подробно рассказываю о своих сыновьях, о своей семье... Мне хотелось бы получить от Вас ответ...

Обнимаю Вас, мать Зои и Шуры.

Росарио Гарсиа де Паис,

28, Сан Карлос, Сантьяго-де-Куба,

Февраль 1960 года. Ориенте, Куба»

Теперь мы покинем Сантьяго с его подпольем и снова вернемся в горы Сьерра-Маэстра, где находились отряды Фиделя Кастро и где к тому времени произошли немаловажные события.

Снова 821

Это был обыкновенный рассвет с обычным туманом, который поднимался вверх вдоль склонов Сьерра-Маэстры, оставляя за собой мокрую траву и покрытые капельками влаги кусты кофейных деревьев.

На рассвете 1 марта 1958 года из лагеря, расположенного в горном массиве Сьерра-Маэстры, двинулись три колонны повстанцев. Первой руководил Фидель Кастро, другой командовал Хуан Альмейда и третьей — майор Рауль Кастро. Он только недавно получил звезду коменданте — майора, хотя был достоин ее давно, начиная с атаки на крепость Монкада, с тюрьмы на острове Пинос и похода на шхуне «Гранма».

Братья еще никогда не расставались — только на несколько дней после трагической битвы 5 декабря 1956 года около «Радости святого». И вот теперь им предстояло расстаться, и расстаться надолго.

Три колонны вместе дошли до Ла Пата де Ля Меса. Там был сделан привал. Оттуда все три колонны двинулись уже в разных направлениях. Фидель направился в зону Эстрада-Пальмы, Хуан Альмейда — в Пальму-Сориано, а колонна Рауля должна была двинуться на север провинции Ориенте и достичь гор Сан-Кристобаль.

Вечером 1 марта Рауль записал в своем дневнике, который аккуратно вел, начав его за несколько дней до посадки на шхуну «Гранма»:

«Самое тяжелое для меня было расставаться с Фиделем и Альмейдой, видеть, как они удаляются, и думать: „Может быть, я никогда их больше не увижу“.

Я видел, что Фиделю тоже тяжело. Во время всего похода он ничего не говорил, а только изредка бормотал: „Ну, и что особенного? Ничего в этом особенного нет, что мы расстанемся“... Потом он крепко обнял меня...»

Рауль закрыл тетрадку дневника и положил ее в маленький нейлоновый мешочек, где хранились документы. Там же лежала в конверте записка — приказ, написанный рукой Фиделя Кастро. Это единственное, что будет напоминать ему о брате.

Он вынул из конверта приказ и прочитал его снова. Твердым размашистым почерком Фиделя там было написано:

«Сьерра-Маэстра. 27.11.1958 г.

Сим объявляется, что капитан Рауль Кастро Рус возводится в чин майора и назначается начальником Шестой колонны, которой надлежит двигаться в горные массивы на севере провинции Ориенте, в районы от муниципии Маяри до Баракоа. Под его командованием будут находиться повстанческие патрули, действующие в этой зоне.

Майор Рауль Кастро уполномочен присваивать офицерские звания вплоть до капитана и назначать начальников колонн в чине майора, если этого потребуют обстоятельства кампании.

Но в этом последнем случае назначение должно быть утверждено Генеральным командованием.

Майору Раулю Кастро Рус дается также право принимать любые меры, которые он считает необходимыми для успешного хода операции и для поддержания самого строгого порядка в соответствии с Правилами нашего Уголовного Военного Повстанческого Кодекса.

Он также уполномочивается принимать и оформлять добровольцев, вступающих в нашу армию, и использовать их по своему усмотрению.

Фидель Кастро Рус,
Главнокомандующий».

Приказ был написан простым карандашом, чтобы буквы не размыло дождем или утренним туманом.

Впервые повстанцы Фиделя Кастро спустились с гор в долину. Впервые покинули они надежное убежище, в котором всегда можно было в случае отступления найти такие участки, такие горы или такие ущелья, куда не могли проникнуть батистовские солдаты, а если бы и проникли, то оказались бы в ловушке. Впервые они ушли с массива, каждый квадратный метр которого был им знаком, где они чувствовали себя как дома, где провели почти полтора года в непрерывных боях и подготовках к новым сражениям.

Это значило, что начинается новый этап в борьбе маленькой повстанческой армии против армии Батисты.

Колонна Рауля Кастро состояла из 82 бойцов. Из них только 53 вооружены винтовками. У остальных в лучшем случае висели ножи на поясе.

Но все это были бойцы, не меньше года сражавшиеся в Сьерра-Маэстре.

Почему число бойцов Рауля составляло 82 человека — ровно столько, сколько высадилось со шхуны «Гранма», — трудно сказать. Может быть, случайно, а возможно, Рауль хотел придать действиям своей колонны значение высадки со шхуны «Гранма». Такое сравнение было бы правомерным, потому что в задачу Рауля Кастро входило освобождение северной части провинции Ориенте и образование там Второго фронта имени Франка Паиса для того, чтобы войска Батисты оказались зажатыми в клещи между южной и северной группировками Повстанческой армии.

Но все это дело будущего, а пока что 82 бойца, вооруженные только наполовину, только наполовину сытые и наполовину обмундированные, осторожно двигались на север, каждую минуту ожидая встречи с патрулями батистовских войск.

Они старались идти полями сахарного тростника, чтобы скрыться в его зарослях. Но в марте месяце сахарный тростник невысок, и поэтому укрытие было весьма ненадежное. Путь предстоял долгий и трудный.

К вечеру десятого дня колонна Рауля Кастро, именовавшаяся «колонной № 6», дошла до местечка Сан Лоренсо, и повстанцы сделали там первый большой привал.

Впереди остался, пожалуй, самый опасный участок перехода — им предстояло пересечь шоссе, связывающую город Сантьяго с Гаваной. Для этого нужно было преодолеть расстояние метров в 300 открытой дороги, по которой постоянно ходили военные грузовики и патрульные машины батистовской армии. Не только пройти через шоссе, но пройти ценой наименьших потерь и, если возможно, без единого выстрела, чтобы батистовцы ничего не знали о переходе шестой колонны на север провинции Ориенте.

Вот почему пересечение шоссе Рауль назначил на 10 марта. В этот день Батиста праздновал годовщину совершенного им государственного переворота, и пьяное веселье батистовских солдат очень, помогло бы Раулю и его бойцам.

На рассвете 10 марта повстанцы подошли к шоссе и укрылись в маленьком леске. Люди стояли тихо, неподвижно. Лишь кое-кто нервно крутил сигару в руках — курить не разрешалось...

Рауль попросил бойцов придвинуться поближе. Он обвел глазами стоящих рядом с ним людей, каждого из которых он знал, каждый из которых был проверен в бою и каждому из которых предстояла борьба, и сказал негромко:

— Мы на равнине. Нас больше не скрывают горы. Очень легко мы можем стать мишенью для подстерегающего нас врага. Никогда прежде мы здесь не были. Мы вынуждены пользоваться проводниками, так как не знаем дороги. И пока нас ведет неизвестный нам человек, мы все — в его власти. Но иного выхода нет.

Поэтому у кого сейчас не хватает смелости идти с нами или нет уверенности, что ее хватит в будущем, тот должен повернуть назад и сделать это теперь. Мы не знаем, где и что будем есть в следующий раз, и будем ли мы спать в ближайшие сутки, и хватит ли нам боеприпасов, ибо их у нас очень мало.

Рауль остановился и снова посмотрел на каждого. Никто не шелохнулся.

— Наш лозунг: «Свобода или смерть!» Вперед, друзья!

Они двигались весь день и затем всю ночь, не останавливаясь, чтобы как можно скорее уйти от шоссе, потому что никто из них не был уверен, что их не заметили.

На рассвете они достигли местечка Мангос Барагуа, где полстолетия тому назад поднял восстание легендарный Антонио Масео.

Люди устали, они почти ничего не ели уже сутки и не спали ни минуты, но надо было снова двигаться. Единственный перерыв в марше они сделали для того, чтобы послушать «праздничную» речь Батисты, которая в этот день транслировалась по всей Кубе. Ночью при свете маленького карманного фонаря, затененного синим стеклом, Рауль записал в дневнике:

«У него нет ни малейшей возможности на спасение. Нам сказали, что Батиста собирается пойти на уступки и, может быть, заговорит об отречении, но речь его была гордой и заносчивой. Может быть, это его последняя возможность. Во мне окрепла уверенность, что война скоро станет всеобщей. Фидель никогда не верил пению сирен, и я также не верил. Если у нас не будет оружия, мы отнимем его у солдат».

В ту ночь повстанцы дважды встретились с патрулями Батисты. Оружие батистовских солдат перешло к повстанцам.

Марш продолжался еще 48 часов — без сна, почти без еды, с короткими перерывами на отдых.

В конце четвертого дня пути над ними показался самолет. Он прошел низко, вдоль их пути, и скрылся за холмом. К вечеру показался еще один самолет.

Слухи о движении людей Рауля, вероятно, все-таки достигли батистовского командования, и оно послало один самолет за другим к северу от шоссе, чтобы обнаружить след повстанцев. Колонне из 82 человек трудно было остаться незамеченной, и второй самолет обнаружил их. В тот же вечер повстанцев обстрелял боевой самолет. Он дал несколько пулеметных очередей и сбросил гранаты.

Проводник, который вел их в тот день, отказался продолжать путь, сославшись на то, что он не знает дороги. Но они не могли отпустить его, опасаясь предательства. Пришлось вести его с собой.

На пятый день после первой бомбежки на перекрестке двух дорог повстанцы неожиданно увидели маленькую харчевню. Она стояла на обочине, покрытая пылью и банановыми листьями. Сквозь щели в стене просматривалась часть хижины. За прилавком стоял грустный хозяин, а к столбу была привязана лошадь. Она лениво отмахивалась хвостом от мух, а голову просунула в дверь хижины, спасаясь от солнечного зноя. Рядом росла высокая пальма, и харчевня казалась большим кокосовым орехом, сорвавшимся с макушки пальмы.

Очень трудно было пройти мимо этого домика, где наверняка были и хлеб и чистая вода.

Повстанцы долго наблюдали за хижинкой и, когда убедились, что, кроме хозяина и двух молодых ребят, по-видимому крестьян, в ней никого нет, они оставили вокруг харчевни часовых и целой группой вошли в маленький домик.

У хозяина оказалось всего несколько батонов хлеба, десяток банок сардин, галеты и сигары. Но и это скромное угощение показалось бойцам обильным пиршеством.

Хозяин, небольшого роста кряжистый старик с давно небритым лицом, в залатанной, но чистой холщовой рубахе, молча выставил все это на прилавок и аккуратно пересчитал деньги. Когда повстанцы, завернув провизию в большие листы бумаги, собрались уходить, старик, не проронивший до этого ни слова, сказал с горечью;

— Убьют теперь меня и моих сыновей. Убьют, когда вы уйдете.

Рауль остановился.

— Успокойтесь, — сказал он ласково, — знаете — кто мы?

— Нет.

— Я — Рауль Кастро, брат Фиделя. Мы заплатили за все. Если придут батистовцы, так и скажите им, что был Рауль Кастро со своими людьми, что купил у вас все продукты, что отказать вы не могли, потому что тогда взяли бы силой — за деньги, конечно. Что ушли мы в горы Сьерра-Кристалль и будем ждать там солдат Батисты. Говорите правду, только правду, иначе они все равно узнают, и тогда вам будет хуже.

Хозяин немного успокоился. Рауль и его бойцы ушли. А через 15–20 минут отряд догнали оба сына хозяина. Тяжело дыша и перебивая друг друга, парни принялись доказывать Раулю:

— Послушайте, командир, ведь рано или поздно мы тоже должны идти к вам, чтобы драться с Батистой. Это лучший случай, так разрешите нам идти с вами. Честное слово, мы пригодимся, от нас будет польза!

Рауль крепко пожал обоим парням руки, и они тут же были зачислены в маленький отряд. Колонна продолжала двигаться вперед, то избегая встреч с батистовскими патрулями, то смело вступая в бой с ними, прячась от налетов вражеской авиации, неся с собой раненых в брезентовых гамаках, привязанных к длинным палкам.

Целью Рауля было не только достичь лесов Сьерра-Кристалль, но и создать по пути движения базу для будущих революционных действий в этом районе и даже для образования будущего революционного государства. Вот почему повстанцы везде, где это было возможно, проводили политические беседы с крестьянами, рассказывали о целях революции, наводили порядок в местах, где орудовали банды грабителей, многие из которых выдавали себя за повстанцев.

Прошло еще несколько дней, прежде чем равнина кончилась, и повстанцы начали медленно подниматься по склонам гор Сьерра-Норте.

Эти горы похожи на Сьерра-Маэстру. И людям показалось, будто они вернулись домой. Домой... Мог ли кто-нибудь из них лет пять назад подумать о том, что будет называть домом причудливые склоны гор, где постелью им служила сырая, не успевшая высохнуть за день земля, а недоваренный рис с бобами считался изысканнейшим деликатесом! Так или иначе, именно горы стали их домом, и вместе с подъемом на Сьерра-Норте невольно приходило ощущение безопасности и некоторого спокойствия.

Но Рауль был мрачен. Во время привалов он подолгу сидел над небольшим листком карты, выпущенной компанией «Эссо», чертил какие-то линии карандашом, вымерял их линейкой и потом вынимал из своего нейлонового мешочка дневник и что-то тщательно писал, держа тетрадь на коленях и пощипывая редкие усы.

До него дошли слухи о некоторых военных успехах Фиделя и о том, что отдельные батистовские части отошли к северу, ближе к тем районам, где должна действовать колонна Рауля Кастро.

Худощавый, стройный, очень подвижный и выносливый, Рауль обычно шел одним из первых в колонне. Часто останавливался, чтобы пропустить весь отряд вперед, и внимательно смотрел на каждого бойца, проходившего перед ним. Потом ускорял шаг и снова оказывался впереди колонны.

Рауль видел, как утомлены бойцы нелегким переходом, видел изодранную в клочья одежду, развалившуюся обувь, видел тощие вещмешки и далеко не полные патронташи.

Но не только это тревожило его. Чем дальше в горы уходил отряд, выполняя задание, данное Фиделем Кастро, тем мрачнее становился Рауль.

Наконец, многое взвесив, несколько раз посоветовавшись с ближайшими помощниками, он собрал весь отряд и очень коротко сообщил о решении:

— Надо спускаться в долину, — сказал он. — Иначе мы рискуем разжиреть здесь.

Посмотрите на эти горы — разве рискнут батистовские солдаты забраться сюда? Они побоялись драться в Сьерра-Маэстре. Сюда они и подавно не пойдут. Поэтому я принял решение спуститься в долину. Там мы сможем встретиться с противником, у него мы сможем раздобыть себе оружие, боеприпасы и даже приличное обмундирование. А главное — мы будем драться, нападать и одерживать победы. Только тогда мы действительно станем вторым фронтом, а не вторым тылом.

Месяц прошел с того памятного дня, когда колонна Рауля отделилась от бойцов Фиделя Кастро. За это время пищей для отряда служили лишь хлеб да сахарный тростник. Только в самые холодные мартовские ночи Рауль разрешал бойцам по глотку рома и по маленькой порции жестких, как подошва, галет.

Решение, принятое Раулем, не было нарушением приказа Фиделя Кастро, который хранился в заветном нейлоновом мешочке. Ведь одна из фраз, написанная рукой Фиделя, гласила, что Рауль имеет право предпринимать любые меры, необходимые для успешного хода операции.

И отряд направился в северо-восточную часть гор Сьерра-Кристалль до подступов к городу Сагуа де Танамо, чтобы затем по прямой линии двинуться на юг к Гуантанамо.

Карта, выпущенная нефтяной компанией «Эссо», — очень неудобная карта. Возможно, она хороша для туристов, но она совсем не годится для составления на ней плана военных действий. Здесь нанесены крупнейшие шоссе и указаны самые «верные» места для рыбной ловли. По совсем не упомянуты узкие дороги и тропки, по которым движутся караваны мулов, груженых кофе, и которые так удобны для передвижения колонны Рауля. В плане города Сантьяго указаны все, даже второсортные, казино и самые мелкие ночные клубы в портовой части, но ничего не сказано о радиостанции, о телеграфе и прочих важных вещах.

И, кляня в душе газолиновых королей за неумение составлять нужные ему карты, Рауль при свете маленького карманного фонарика в десятый раз перепроверял у случайно встретившегося крестьянина, правильно ли нанесена проселочная дорога на карте, точно ли указана высота ближайшего холма.

Это были первые дни апреля 1958 года — дни рождения второго фронта «Франк Паис». А через некоторое время Рауль докладывал Фиделю:

«Как я вам уже сообщал в предыдущих записках, у нас не хватает времени для частых сообщений, поэтому я делаю итоговый доклад о последних стычках с врагом и об общей картине нашего положения.

Я не могу поступить иначе, потому что даже здесь слышны звуки битвы, которая продолжается вот уже шестой день в окрестностях Баяте.

Май месяц начался двумя боями в зоне Маяри (в Санха и Кореа). Наши бойцы были вооружены охотничьими ружьями-однстволками и ручными бомбами. Винтовка военного образца была только у лейтенанта Игнасио Леаль, командовавшего этим отрядом. Отряд вступил в неравный бой с армией в двух указанных пунктах.

12 мая. Части роты „Е“ (Баракоа и восточная часть Гуантанамо) ведут стычки в Хагуэйес с армией. У противника 8 убитых. Позиции этой роты под командованием капитана Феликса Пена в течение месяца ежедневно утром и после полудня подвергались интенсивным воздушным налетам, особенно позиции и траншеи у стратегически важных подходов к Абра, столь похожего на Фермопилы, — в долине Куахэри. Сбрасывались даже напалмовые бомбы.

Атаки с воздуха принесли много жертв. У Педро Эрнандеса осколком оторвало ногу, и он в отчаянии застрелился.

Одновременно с разных пунктов вели наступление пятьсот солдат диктатора. Рота выдержала несколько атак, но из-за численного превосходства врага, из-за непрекращавшихся действий авиации в зоне, где простираются лишь кукурузные поля, рота вынуждена была оставить свои позиции. Таким образом, линия фронта в этой зоне нарушилась и вскрытым оказался один фланг в зоне Ятерас.

Во время короткой встречи с Пена мы решили начать в тылу вражеских линий партизанскую войну. Это решение приведено в исполнение.

23 мая. Атака 300 солдат отбита в местечке Ситио патрулем эскопетерос⁸³ под командованием лейтенанта Педрино Сотто Алаба.

Эскопетерос отступали по мере того, как у них истощались боеприпасы. На позициях остались лишь Сотто и два его товарища. В этот момент лейтенант Сотто с полным сознанием революционной ответственности и чести передал автомат „гаранд“ одному из

83 Так называли бойцов Рауля Кастро.

своих товарищей для того, чтобы тот ушел и спас это дневное оружие для повстанцев, а сам Сотто остался отбиваться от врагов, вооруженный только пистолетом, так как потерял надежду на спасение — у него были перебиты ноги, и он не мог ни двигаться, ни встать. В этот момент пришел на помощь майор Анибал со своими силами и помог отбить атаку врага.

Затем патруль перешел в наступление и преследовал вражеских солдат до темноты, отогнав их до самого Сагуа де Танамо.

Армия укрепилась в этом районе, заняв заранее отрытые траншеи. Во время отступления солдаты Батисты поджигали дома крестьян, а крестьяне им кричали: „Дерьмо! Повоюйте теперь! Куча дерьма!“

29 мая. Часть под командованием капитана Антонио Эрнике Лусон и Ориенте Фернандес в 3.30 дня взяла штурмом казарму в рудниках Окухаль около Маяри.

Батистовские солдаты грабят магазины и сжигают их. Ходят пьяные.

30 мая. Налеты авиации очень активны. „Б-26“, истребители „каталина“. Когда прилетают самолеты — наши прячутся в зарослях. Когда налет кончается, снова продолжают атаки на противника. Не хватает боеприпасов».

Почти все, что я узнал о втором фронте, мне рассказали Вильма Эспин, которая была связной у Рауля, и подробные дневники самого Рауля.

Но я не могу не передать вам рассказа моего друга Хиральдо, который в славных делах Второго фронта занимал не последнее место. Да, да, того самого чуть флегматичного и чуть легкомысленного Хиральдо, который работал когда-то служащим магазина похоронных принадлежностей, который, сидя на ступенях своего дома в Сантьяго-де-Куба, слышал первые выстрелы кубинской революции и который целый месяц помогал мне разыскивать участников революционных боев. Он оказался одним из активнейших бойцов Второго фронта имени Франка Паиса. И в этом нет ничего удивительного. Удивительно то, что за все время, пока мы ездили вместе с ним, у него ни разу не возникла мысль рассказать мне о себе, о своих собственных боевых делах.

Только случайно, благодаря той же Флавии — Кларе Гонсалес я узнал, что мой Хиральдо сослужил хорошую службу революции. А узнав, уж не отставал от Хиральдо до тех пор, пока он не рассказал мне свою историю, которую я и привожу ниже.

Из рассказов Хиральдо

— Собственно, я на войне был не только солдатом. Был и механиком. Пожалуй, еще и инженером. Ну, а если все вспомнить, то я был и солдатом, и конструктором, и инженером, и механиком, и разнорабочим, и изобретателем, и всем, чем хотите. Еще и химиком. Одним словом, я занимался изготовлением взрывчатых веществ, взрывающихся механизмов и всего прочего, что могло давать осколки, разить противника или хотя бы производить шум. Шум нам тоже был нужен. Даже очень нужен.

Я никогда раньше этим не занимался до Сьерры.

До пятьдесят шестого года просто служил в магазине похоронных принадлежностей и никогда не думал, что стану вдруг «изобретателем».

Начинал подпольную работу в Гуантанамо — там был филиал фирмы, где я служил. А подчинялись мы центральному руководству подпольным движением в Ориенте, во главе которого стоял Франк Паис. Все мы рвались в горы, к Фиделю, но приказ Франка был твердым — оставаться в городе, пока не «засветишься». Без подпольной организации в городах людям Фиделя было бы очень трудно в горах и с оружием, и с медикаментами, и с продовольствием. Только уж в крайнем случае, когда на твой след напали жандармы и ты не мог с пользой для дела оставаться в городе, Франк приказывал уходить в горы. Наша группа специализировалась на доставке оружия и боеприпасов в Сьерру, особенно легкого оружия и патронов.

В то время была очень удобная для нашего дела мода — женщины носили широкие юбки. А под широкой юбкой в специальном поясе можно было перенести целый склад боеприпасов. У нас были просто мастерицы своего дела, честное слово!

Ну и у меня была хорошая возможность — гробы. В них тоже удобно перевозить оружие. Полиция никак не могла догадаться.

Мы изучили распорядок работы полицейских, научились узнавать их машины по гудку и чуть ли не каждого полицейского — по свистку.

Каждый из нас был актером в то время. Научились гримироваться, у каждого было по несколько париков.

Как мы доставали оружие? По-разному. Очень нам помогали рабочие, служившие на американской базе. Иногда они просто обворовывали американских солдат. Это было особенно удобно делать в выходные дни, когда солдаты напиваются как... ну, как американские солдаты в выходные дни.

Иногда оружие покупали. Американские солдаты шли на это, особенно если им платили не деньгами, а ромом бакарди. Так мы приобрели несколько винтовок и пистолетов. Один раз даже вели переговоры о ручном пулемете.

В конце концов несколько человек из нашей группы попало в поле зрения полиции. В том числе и я. Пришлось уйти из города.

По приказу нашего руководства мы организовали три небольшие партизанские группы и пошли на соединение с колонной Рауля Кастро. Это было в марте пятьдесят восьмого года, то есть как раз в то время, когда отряд Рауля отделился от основных сил, находившихся в Сьерре, и двинулся на север провинции Ориенте для создания Второго фронта.

Вначале я командовал одной из партизанских групп в колонне Рауля. Ну, а потом я стал заниматься производством взрывчатых веществ. Почему я? Трудно сказать. Должен же был кто-нибудь работать по этой части. Вот среди других и назначили меня. А со временем я даже стал руководителем целой мастерской по производству ВВ.

Учителем у нас был один из наших товарищей, по прозвищу Малютка. Он-то и создал первую такую мастерскую в горах. О, тот парень был действительно экспертом по вопросам производства взрывчатых веществ из ничего. И научил пятерых-шестерых из нас этому удивительному искусству.

У меня до сих пор сохранились записанные его рукой несколько способов изготовления самодельных бомб из веществ, продававшихся в любой аптеке.

Но я относился к формулам Малютки творчески и всегда носил в специальном мешочке запас разных порошков, жидкостей, кислот — все искал новое взрывчатое вещество, которое бы взрывалось сильнее, чем те, что были в нашем распоряжении.

Собственно, слово «искал» означало вот что. Вечером, если выдавалось свободное время, я садился в укромном уголке и начинал колдовать — смешивал в консервных банках разные порошки и жидкости. В специальном мешочке у меня было отделение даже для пшеничной муки. А из жидкостей я перепробовал все, начиная с бензина и кончая йодом. Смешивал и ждал, когда смесь взорвется. Один раз она действительно взорвалась, но, к моему глубокому огорчению, гораздо слабее, чем мне хотелось бы. Поэтому я ослеп всего на несколько дней.

В мастерской мы изготавливали мины, ручные гранаты, бомбы, винтовки и даже пушки. Вы спросите: из чего? Мне трудно вам ответить. Все зависело от обстоятельств. Иногда корпусом для бомбы служила кастрюля, иногда — кусок водопроводной трубы. Вообще водопроводные и канализационные трубы в нашем производстве и даже в военных действиях играли существенную роль. Но об этом я расскажу позже.

Одним из первых наших созданий был огромный пистолет — раза в полтора больше маузера, — большой было сделать легче. Мы именовали его официально «орудие номер четыре». Почему так громко и торжественно — не могу сказать точно. Но готов поклясться, что тогда мы не вкладывали в это название ни малейшей доли юмора. При испытаниях у «орудия № 4» обнаруживалась невероятная сила отдачи. Оно отбрасывало

человека, стрелявшего из него, на два-три шага назад! Мы пришли к выводу, что вред от него противнику, видимо, будет значительно меньше тех опустошений, которые оно произведет позади себя. Поэтому пришлось от «орудия № 4» отказаться.

Самое трудное ждало нас вначале. Ведь нужны были какие-то механизмы, ну хотя бы простейший токарный станок. Мы получили кое-что из оборудования одного сахарного завода, расположенного на территории Второго фронта, но это была капля в море. Мы страдали, видя, что не можем обеспечить и сотой доли потребностей Второго фронта в боеприпасах. И тогда мы становились изобретателями идей, стараясь компенсировать ими нехватку нашей продукции. А хорошие идеи никогда не пропадали даром.

Как-то наши ребята держали оборону на одной из дорог. Сил было мало. А мы знали, что батистовцы пойдут тут с танками. Прибежали бойцы к нам в мастерскую — просить мин. Мин, как назло, ни одной не было.

Мы долго думали, что делать. Требовалось несколько дней, чтобы достать материал и изготовить мины. Как выиграть время? И вот пришла идея. Не помню уж точно, кто ее предложил, кажется, тот же Малютка. Ночью мы пробрались на шоссе и выкопали десятка два ям, а потом засыпали их свежей землей. Утром это выглядело так, будто шоссе заминировано.

Батистовцы не решились идти в наступление в тот день. На другое утро они послали саперов, которые мин, естественно, не обнаружили. Но это, видимо, вызвало у них жесточайшие подозрения: они боялись неожиданностей. Может быть, они подозревали, что мины какого-то нового устройства. Так они выжидали три или четыре дня.

А когда все-таки раскусили нашу хитрость и рискнули бросить на нас танки — на шоссе, в ямах, были заложены уже настоящие мины. Наступление сорвалось.

Таких мистификаций мы устраивали много.

Я обещал вам рассказать о канализационных трубах... Была такая история.

На одной из рек в Баракоа ходили каботажные суда. Они перевозили продовольствие, иногда боеприпасы для батистовских войск. Охрана на этих судах была маленькая — три-четыре солдата. Батистовцы знали, что у нас нет ни одного мало-мальски стоящего суденышка, ни одного вооруженного катера, поэтому безбоязненно, под нашим носом, перевозили боеприпасы и продукты, — как раз то, что нам было нужно до смерти.

Мы долго думали, как захватить хотя бы одно из этих судов. Наконец нашли выход. Приобрели большой рыбачий баркас. На носу его установили большую треногу вроде штатива для киноаппарата, а на ней укрепили кусок широченной канализационной трубы. Когда наступали сумерки, мы выходили на баркасе, взяв с собой два охотничьих ружья-двустволки. Подкрадывались под покровом ночи к кораблю и начинали передавать в рупор приказ пристать к берегу. Если корабль не подчинялся, то наш баркас нахально ходил вокруг судна, а в рупор мы продолжали отдавать приказания. Если и на этот раз корабль отказывался выполнять нашу волю, мы вводили в бой канализационную трубу. В нее вставлялось охотничье ружье и спускались сразу два курка. Гром раздавался нешуточный... Из трубы вырывалось пламя. И сразу же вставлялось другое ружье — и снова спускались оба курка.

— Это предупредительные выстрелы, — кричали мы в рупор. — Третий выстрел отправит вас к рыбам...

Видимо, мы производили впечатление хорошо вооруженного сторожевого катера. Так мы захватили три или четыре судна, пока батистовцы не прекратили плавание по реке.

Но венцом нашей деятельности, конечно, был «дон Пепе». Вы не знаете, что это такое? О-о! Это славный друг, наш «дон Пепе». Огромная, неказистая и симпатичная пушка.

Представьте себе охотничье ружье, увеличенное в длину раза в четыре, а в диаметре раз в сорок или в пятьдесят. Вот это и будет «дон Пепе». Ствол для «дона Пепе» служила опять канализационная труба. Заряжался он так же, как и охотничье ружье. Стаканы для снарядов мы изготовляли из огромных банок, в которых компания «Эссо» выпускает масло для автомашин. Ну, а снаряды делали разные.

Шум он производил ни с чем не сравнимый. Я никогда не слышал, как стреляют орудия большого линкора, но думаю, что они все вместе не вызывают и десятой доли тех повреждений барабанной перепонки, которые мы претерпели от «дона Пепе». Снаряды его летели и рвались с каким-то особым воем и грохотом. Правда, в двух метрах от места взрыва такого снаряда можно было остаться невредимым, но шум все-таки производился такой, что противник иногда повергался в панику...

По конструкции пиратские чугунные пушки, которые вы можете увидеть в Сантьяго-де-Куба или в Тринидаде, изготовленные пять-шесть веков тому назад, были верхом технической мысли по сравнению с «дном Пепе». Но тем не менее «дон Пепе», появившийся на свет в середине XX века, существовал, принес очень много пользы, а главное — положил начало существованию целого выводка «дон Пепе-малышей», которые мы распределяли среди колонн Второго фронта Франка Паиса.

Если быть честными и говорить всю правду до конца, то самый первый «дон Пепе» выстрелил не так уж много раз — скоро в трубе появилась трещина. Но зато на его горьком опыте мы уразумели, как надо делать пушки. И вот, как старый заслуженный производитель, он стоял в яслях, оберегаемый нежными взглядами работников наших мастерских. А его потомки самоотверженно ухали на передовых позициях Повстанческой армии, наводя суеверный ужас на врагов.

«Дон Пепе» был, конечно, коллективным созданием, но все-таки главным его конструктором был тот самый замечательный парень — Малютка. Он погиб в конце пятьдесят восьмого. Перед самой победой. Погиб глупо — чистил пистолет, у него был «кольт-38», и пуля вошла в живот...

Малютка был неистощим на выдумки. Это он придумал «радиострельбу». Ночью перед боем мы устанавливали репродукторы и начинали передавать музыку для солдат противника, а потом объявляли: «Сейчас вы услышите, как стреляют наши пушки» — и подготовленный к этому торжественному моменту «дон Пепе» извергал максимальное количество пламени и шума.

— А теперь, — передавали репродукторы, — послушайте, как бьют наши пулеметы, установленные справа.

Перед микрофоном мы давали очередь из автоматов и вертели трещотку. Через репродукторы этот треск превращался в пулеметную очередь.

— А теперь слушайте наши пулеметы слева, — повторялась та же история.

— Теперь вы убедились, что окружены? — спокойно спрашивал диктор и снова включал магнитофон с музыкой.

И бывало, что солдаты отходили «на заранее подготовленные рубежи». Нам только это и нужно было.

Если трезво мыслить, то — честное слово — из того, что у нас было, ничего нельзя было сделать, а мы все-таки сделали. Наверное, объясняется это просто верой, верой и необходимостью.

Каждую гранату, даже изготовленную из простой кастрюли, мы рассматривали не только как боевое оружие, но и как произведение искусства. И, честное слово, было даже немножко жалко, когда ее пускали в ход и наши труды взрывались и разлетались на мелкие осколки.

К концу боев в Сьерра-Маэстре у нас на Втором фронте была целая система мастерских, где мы могли не только ремонтировать оружие, но и делать довольно сложные, а главное — необходимые нам механизмы. Первые мины, выпущенные нами, имели только механические детонаторы, а последние были снабжены уже электрическими.

Мы долго страдали от отсутствия горючего. Американский нефтеперерабатывающий завод «Тексако» в Сантьяго-де-Куба, естественно, не собирался снабжать нас бензином. Мы пробовали в мастерских делать бензин из нефти и спирта. Кое-что получалось, наши «джипы» с грехом пополам двигались, но дымили при этом, как паровозы. За каждым

стелился многокилометровый дымовой шлейф. По этим шлейфам батистовцам очень легко было следить за передвижением наших по многочисленным автомобилям. Надо было выходить из положения.

И вот однажды мы похитили администратора завода «Тексако». Привезли его на территорию Второго фронта и продержали у себя несколько дней. Мы его хорошо кормили, вежливо беседовали с ним, разъясняли наши дела, нашу политику. И еще объяснили, что если компания «Тексако» не продаст нам бензина, то такие похищения станут правилом, а обращение будет несколько иное. Администратор проникся уважением к нашим словам. Он, видимо, убедился, что мы люди серьезные. После этого компания предоставила нам несколько бочек бензина...

Сейчас я, честно говоря, редко вспоминаю о тех днях... Потому что дел много, очень много дел, тоже нелегких. Иногда даже кажется, что воевать было куда проще и спокойнее, чем проводить аграрную реформу, пришлось научиться и этому... Но когда вот так встанет перед тобой вдруг все то, что мы смогли сделать тогда... поражаешься сам и сам себе не веришь... Неужели все это было? Неужели во всем этом участвовал?..

Приказ № 30

Весь июнь 1958 года, жаркий, с покрытыми пылью пальмовыми листьями и солнцем, накалявшим стволы охотничьих ружей так, что до них трудно было дотронуться, прошел в боях. Люди Рауля предпочли бы, чтобы стволы раскалялись от частых выстрелов, чем от солнца, но каждый патрон был на счету, и после каждого выстрела боец ставил в записной книжечке галочку карандашом. Боеприпасов оставалось все меньше и меньше. А бомбардировки повторялись все чаще и чаще.

И все же решающее и окончательное наступление на земле и воздухе, начатое Батистой в мае и очень широко разрекламированное, срывалось.

Собственно, что касается воздуха, то наступления там и не было. Там с самого начала было полное, безраздельное и безнаказанное господство батистовских самолетов. Но на земле, несмотря ни на какие усилия, батистовская армия не развила сколько-нибудь существенного успеха.

14 июня Батиста принял решение прекратить наступление и уйти на прежние позиции. Это была победа армии повстанцев. Но победа далеко не окончательная. Ибо враг мог довольно скоро оправиться и начать новое наступление. Двигаться вперед, гнать противника повстанцы тоже не могли, так как были измотаны физически и почти лишены боеприпасов.

Всякое продвижение повстанческих отрядов по равнине контролировалось вражеской авиацией.

Американские самолеты, заправленные американским горючим на американской военной базе, пилотируемые летчиками, обученными американскими инструкторами, самолеты с американскими бомбами под фюзеляжем, по-прежнему были хозяевами в воздухе, еще активнее продолжали бомбардировать территории, занятые войсками Второго фронта, нимало не заботясь о том, падают ли их бомбы на эскопетерос или на беззащитные дома крестьян. И против этих зверских бесчеловечных убийств и разрушений повстанцы были бессильны. Никакие хитрости, никакие «дон Пепе», репродукторы или канализационные трубы, укрепленные на треногах, не могли в этом случае помочь повстанцам.

Вот почему мрачный и задумчивый ходил Рауль, несмотря на провалившееся наступление сухопутных сил Батисты.

Однажды, отправившись со своим штабом в одну из рот, Рауль встретил группу крестьян. На двух мулах были навьючены скромные домашние пожитки, видимо весь скарб этих людей. Склонив голову, мрачно шли они по пыльной дороге..

Рауль поздоровался. Ему ответили не приветливо.

— Что случилось у вас? — спросил Рауль.

— Ничего особенного, — хмуро ответил один из крестьян. — Обычное дело, — он горько усмехнулся. — Прилетела птичка, сбросила гостинцы — половины деревушки как не бывало...

— В каком это месте? — помрачнев, спросил Рауль.

Крестьянин ответил.

Рауль в сердцах стукнул прикладом автомата по крылу «джипа»:

— Что за варварство! Ведь там ни одного повстанца. И место никакого военного значения не имеет... Подлецы!..

— Там одна бомба не взорвалась, — продолжал крестьянин. — Мы ее с собой прихватили, чтобы повстанцам отдать — им пригодится, снаряды делать...

Крестьянин снял со спины мула тяжелый мешок и, открыв его, вынул небольшую, килограммов на 25, зажигательную бомбу.

Рауль повертел ее в руках. Желтой краской на ней было выведено название одной из американских фирм.

— Прямо с завода... Свеженькая, — сказал Рауль, передавая бомбу кому-то из своих помощников. — А клянутся, что не помогают...

Весь остальной путь Рауль ехал молча, погруженный в невеселые мысли.

Надо было предпринимать какие-то меры. Необходимы были совершенно новые методы борьбы. Но какие?..

22 июня вечером при свете электрического фонаря в маленькой крестьянской хижине, где размещалось в тот день командование Вторым фронтом, Рауль написал приказ № 30. Этот приказ, ставший впоследствии знаменитым и содержащий ряд секретных инструкций повстанческим частям, гласил:

«Установлено :

За три первых месяца кампании на II фронте до конца мая авиация диктатуры провела около ста воздушных налетов.

Офицеры нашего разведывательного управления сообщают, что в течение мая воздушные силы врага снабжались бомбами всех типов на военно-морской североамериканской базе в Кайманере.

С начала июня месяца самолеты диктатуры осуществляли ежедневно от трех до пяти налетов на нашу территорию, значительно увеличивая тем самым производимые ими разрушения.

В течение всего мая месяца зона долины Куахэри подвергалась систематическим бомбардировкам, которые предшествовали провалившейся попытке наступления вражеской пехоты. Для поддержки наступления применялись даже реактивные самолеты.

После налета наши бойцы подбирают убитых детей, осиротевших, голодных и обессиленных.

Сотни семей жили и продолжают жить в земляных щелях и других убежищах и проводят там целые дни. На дорогах можно видеть целые семьи, передвигающиеся с одного места на другое в любой час ночи, ибо сотни бедных жилищ, построенные ценой многих жертв и труда, были сметены с лица земли.

Наше военное командование,

руководствуясь желанием вернуть покой детям, женщинам, мирным семьям, которые погибают в результате варварских налетов батистовской авиации, сознавая, что эти налеты осуществляются при помощи, с согласия и одобрения правительства Соединенных Штатов, вынуждено принять соответствующие меры, чтобы прекратить воздушный бандитизм.

Мы терпеливо ожидали, что правительство США прекратит, наконец, оказывать военную помощь тирании.

Но в течение последних месяцев мы с разочарованием убедились, что помощь США диктатору возрастает.

В силу полномочий, которыми я облечен, и принимая во внимание вышеуказанные основания, решаю:

- I. Всем воинским частям, подчиненным главному командованию II фронта „Франк Паис“, приступить начиная с пятницы 27 июня текущего года к аресту всех американских граждан, которые проживают в пунктах, указанных в прилагаемых к приказу секретных инструкциях, и передать арестованных в распоряжение командования II фронта;
- II. Довести до сведения тех, кому поручено выполнение этого военного приказа, что: а) как и принято у нас, они должны обращаться с арестованными со всем подобающим вниманием; б) все сказанное в этом приказе НЕ КАСАЕТСЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ — граждан США;
- III. Ввиду того, что гражданское население Кубы неоднократно проявляло свое возмущение действиями правительства США, которое снабжает авиацию диктатуры бомбами и снарядами, задержанных содержать в секретных местах во избежание того, чтобы народный гнев не проявился против них;
- IV. Данный приказ преследует цель предоставить возможность самим североамериканским гражданам, против которых мы ничего не имеем, на фактах убедиться в подлом преступлении, совершаемом их правительством против беззащитного кубинского народа. Единственная опасность, которая угрожает этим гражданам — тот же риск, которому подвергаемся и мы, страдая от бомбардировок».

Неразговорчивый консул

Выполнение приказа № 30 началось 27 июня. Первыми были арестованы два американца, работавшие на никелевых рудниках в Никаро, — управляющий и производитель работ. Затем повстанцы Второго фронта захватили автобус, который вез из Гуантанамо в Кайманеру 32 моряка с военно-морской американской базы.

Через 48 часов после вступления в силу приказа № 30 в руках повстанцев Второго фронта находились 50 американцев — гражданских и военных.

Весть об арестах граждан США, проживающих или находящихся на территории фронта «Франка Паиса», немедленно разносилась далеко за пределами территории фронта.

Всполошились американские власти на кубинском острове.

Уже во второй половине дня 27 июня Раулю Кастро сообщили, что консул США в Сантьяго-де-Куба мистер Уоллэм желает с ним лично свидеться для обсуждения создавшегося положения.

Рауль назначил консулу встречу на вечер 28 июня, около Калабасас, где находилась и часть задержанных американцев...

... Уоллэм остервенело крутил баранку «джи́па», внимательно всматриваясь в дорогу.

Рядом с ним сидела Вильма Эспин — Дебора. «Движение 26 июля» именно ей поручило сопровождать консула. Решено было, что после этой поездки Дебора уже не вернется в Сантьяго, а останется на территории, занятой войсками фронта, вот почему саморазоблачение перед американцами, которые, конечно, обо всем сообщат батистовцам, не очень ее тревожило.

Уоллэм был мрачен. Вильма изредка поглядывала в его сторону. Консул не особенно ладил с испанским языком, поэтому Вильме предстояло выполнять в этой поездке не только роль проводника, но и переводчика.

— Когда они собираются освободить американцев? — спросил консул.

— Бомбардировки все еще продолжаются, — ответила Вильма.

— Правительство США не несет за это ответственности.

— Но вы даете Батисте самолеты, и бомбы, и пулеметы, и все прочее, что нужно для убийства.

— С марта месяца сего года это прекращено.

— К сожалению, жизнь опровергает ваше утверждение.

Уоллэм пожал плечами.

Некоторое время они ехали молча.

Вдруг Уоллэм сбавил скорость, склонил голову набок и начал тревожно прислушиваться к работе мотора. К его урчанию прибавился какой-то посторонний и все усиливающийся звук.

Вильма тронула консула за рукав и показала на небо. Она-то сразу распознала этот звук — мерное гудение приближающегося издалека самолета. Здесь в горах самолет слышен не так, как на равнине. К шуму мотора примешиваются звуковые отражения, и потому кажется, что звук идет не сверху, а снизу или иногда даже со всех сторон.

Уоллэм недоверчиво покосился на нее, потом стал искать глазами самолет. Не нашел и снова стал вслушиваться в урчание мотора «джипа»...

Но уже через несколько мгновений явственный шум самолета заставил его вздрогнуть и снова посмотреть вверх. Рев мотора приближался. Низко вдоль дороги, по которой двигался «джип», шел двухмоторный самолет. Это была американская машина, но с опознавательными знаками батистовских военно-воздушных сил.

— Вот такие точно самолеты и бомбят мирное население, — сказала Вильма.

— Это нас не касается...

Но Уоллэм не успел закончить фразу. Вильма видела, как расширились его глаза, — в нескольких метрах от «джипа» дорогу простегала пулеметная очередь. Раздался взрыв — позади справа взорвалась небольшая фугасная бомба.

Уоллэм резко остановил машину и, забыв поставить ее на ручной тормоз, выскочил на дорогу. Через мгновение он лежал в глубокой канаве, прорытой дождями.

«Джип» начал медленно скатываться назад под уклон. Вильма вытянула на себя ручку тормоза, выскочила из машины и тоже побежала к обочине, подальше от автомобиля. Консул, красный от смущения, поднялся, неловко стряхивая пыль с тщательно отглаженных брюк.

— Вы зря поднимаетесь, — участливо сказала Вильма, — он сейчас повторит...

Действительно, через минуту-полторы летчик снова пронесся над дорогой, прошел ее пулеметной очередью и сбросил две фугаски. К счастью, «джип» и его пассажиры остались невредимы. Вильма и Уоллэм подождали еще несколько минут и, видя, что летчик кончил атаку, снова сели в автомашину.

Уоллэм сидел мрачнее прежнего. Одутловатое лицо его налилось краской.

— Он не знал, что вы — американец, — сказала Вильма. — А то бы он, конечно, нас не потревожил. В этих местах такие налеты бывают до десяти раз в день. Бомбы, между прочим, тоже ваши.

Уоллэм ничего не ответил. Только плотнее уселся на сиденье. Остальную часть пути они проехали молча.

...Встреча американского консула с Раулем продолжалась весь вечер и всю ночь с 28 на 29 июня.

Рауль вручил своему собеседнику копию приказа № 30, который Вильма прочла ему по-английски.

Консул молча слушал, иногда только поскрипывая стулом.

— Наше единственное и справедливое условие, — сказал Рауль после того, как Вильма кончила читать, — состоит в следующем: прежде чем мы вернем вам задержанных американцев, мы должны получить официальное обещание правительства США —

окончательно прекратить какую бы то ни было, прямую или косвенную, военную помощь диктатору Батисте.

Консул выслушал со вниманием. Затем встал и, походив некоторое время по комнате, снова сел.

— Об условии, которое вы выдвигаете, — сказал он, глядя на ухо Рауля, — я, конечно, доведу до сведения государственного департамента и, конечно же, сообщу вам, как только будет получен тот или иной ответ.

Консул сделал паузу и, сменив официальный тон на подчеркнуто дружеский, продолжал:

— Но, со своей стороны, я лично хотел бы заверить уважаемого майора Рауля Кастро, что никакой помощи батистовской армии Соединенные Штаты не оказывают вот уже с марта этого года, то есть с того самого момента, как мы официально объявили эмбарго на вывоз оружия для президента Фульхенсио Батисты.

Рауль приказал принести фотографии, сделанные кубинскими патриотами на территории военно-морской базы США в Кайманере в моменты, когда там заправлялись горючим и снабжались бомбами самолеты Батисты.

Уоллэм внимательно осмотрел фотографии, пожал плечами и сказал, что это фотомонтаж. Раулю принесли негативы. Он протянул их Уоллэму. Консул натянуто улыбнулся:

— О нет, сеньор Кастро, я не специалист по фотоплёнке.

Рауль и не пытался доказывать. Это было бы бесполезно. Консул, конечно, ни за что не признает ни одного факта, связанного с преступной деятельностью его стороны.

Продолжая разговор, Рауль преследовал лишь одну цель: дать понять консулу, что в руках повстанцев есть все доказательства тайной и явной помощи США Батисте. Консул обязательно доложит об этом своему начальству, то начальство — своему. И в конце концов доклад дойдет до тех, кто полагает, что Батиста сможет без риска для престижа Соединенных Штатов продолжать получать оружие, горючее, боеприпасы и все прочее, необходимое для ведения борьбы против повстанцев. И, может быть, доклад этот заставит тех, от кого многое зависит, призадуматься...

Рауль продолжал разговор. Он рассказал консулу о данных, которые имелись в руках повстанческой разведки и которые говорили, что не далее как несколько недель назад, в мае, то есть через два месяца после официально провозглашенного эмбарго, американцы поставили батистовской армии девять тонн боеголовок для ракет типа «воздух — земля». Консул картинно развел руками.

— Уверяю вас, сеньор Рауль, это ошибка. Ошибка вашего разведывательного управления. Вас ввели в заблуждение. Никаких поставок армии президента Батисты, а тем более поставок ракетных боеголовок после марта не проводилось. Подумать только — девять тонн! Нет, вы шутите, сеньор Кастро.

— Я не шучу, мистер Уоллэм, — ответил Рауль, — и вы отлично это знаете.

— Поверьте, не знаю. Никогда не слышал о боеголовках. И не мог слышать.

— Ну что ж, — усмехнулся Рауль, — могу лишь посочувствовать, что консул Соединенных Штатов узнает о таких вещах позже нас. Одно из двух. Либо вы не пользуетесь доверием своего правительства, либо обманываете... — Консул сделал протестующее движение рукой... — свое правительство я имею в виду, — продолжал Рауль.

— Не понимаю! — консул выжидающе смотрел на Рауля.

— Видимо, вы убедили свое правительство, что о поставках боеголовок никогда не станет известно нашей разведке.

— Мне нечего сказать вам, — зло произнес Уоллэм.

— Вполне сочувствую. Ведь госдепартаменту придется прибегнуть к той версии, которая была заготовлена про запас.

— Какой версии? — Уоллэм с опаской смотрел на Рауля.

— Версии того заявления, с которым должны выступить совместно госдепартамент США и американское посольство в Гаване через несколько дней.

— Да, но...

— Да, но об этом никому не известно! — хотите вы сказать. Не совсем так, — продолжал командующий Вторым фронтом, — текст его у нас есть.

Раулю принесли пакет. Он вынул оттуда аккуратно сложенный лист бумаги и стал читать: «Проект заявления американского посольства в Гаване и государственного департамента в Вашингтоне в случае огласки операции с боеголовками.

2 марта 1956 года правительство Кубы через официальные каналы сделало правительству Соединенных Штатов Америки запрос, касающийся поставок 300 пятидюймовых ракет типа „воздух — земля“ для использования их кубинскими военно-воздушными силами. Соответствующий заказ на поставки ракет был сделан правительством Кубы 4 декабря 1956 года. 2 мая 1957 года была установлена окончательная цена и окончательный контракт был подписан. Поставки ракет были произведены 11 января 1958 года. После получения заказа правительство Кубы обнаружило, что ракеты были снабжены инертными (невзрывающимися) боеголовками. Правительство Кубы желало получить взрывающиеся боеголовки и считало, что условия заказа предусматривают именно их. Поэтому правительство Кубы перезаключило контракт с Соединенными Штатами.

Это перезаключение имело место 26 февраля 1958 года, и окончательная поставка боеголовок была произведена 19 мая 1958 года.

В связи с тем, что на территории военно-морской базы США Гуантанамо, на Кубе, размещен склад с нужными боеголовками, а также в связи с тем, что эти боеголовки находились в состоянии наибольшей готовности для использования их правительством Кубы, — соответствующие американские власти приказали военно-морской базе в Гуантанамо произвести обмен боеголовок.

Это было простым исправлением ошибки, возникшей после инициативы, проявленной правительством Кубы 2 марта 1956 года. Был произведен обмен боеголовок, но не самих ракет.

Кубинские военно-воздушные силы доставили на военно-морскую базу Гуантанамо инертные боеголовки и взяли там взрывающиеся боеголовки, которые были погружены на два кубинских транспортных самолета».

Рауль кончил читать и посмотрел на консула.

— С текстом, который знаете вы, расхождений нет? Неточности, ошибки?

Уоллэм молчал.

— Значит, все правильно. Очень хорошо. Плохо только, что эта «ошибка» стоила жизни сотням и сотням людей, — сдерживая гнев, продолжал Рауль. — Я думаю, что никаких доказательств вам больше не требуется?

Уоллэм молчал. Нет, американский консул явно был неразговорчив в тот вечер.

Ночь Уоллэм провел на территории Второго фронта. Утром его разбудили рано, и Рауль, как всегда свежий, подтянутый, очень вежливо пригласил консула посмотреть близлежащие зоны, разрушенные авиацией Батисты, а также крестьянские жилища, подвергшиеся бомбардировкам.

К их услугам был «джип», но Рауль предпочитал ходить пешком, и консулу пришлось проделать довольно большой путь, пока Рауль, показав все, что хотел показать, не произнес:

— Ну, вот, господин консул, это очень маленькая, даже микроскопическая, часть тех разрушений, которые с помощью вашего правительства произвела и производит авиация Батисты. Вы убедились во всем своими глазами. Вы видели разрушенные жилища и видели неразорвавшиеся бомбы с очень знакомой вам маркой. Я думаю, что вы понимаете, я мог бы показать вам значительно больше, но и того, что вы увидели, я полагаю, достаточно.

Консул, не говоря ни слова, мрачно смотрел в сторону. Рауль закурил сигару и продолжал:

— Я прошу вас, господин консул, довести до сведения своего правительства, что командование повстанцев, выражая волю всех этих страдающих людей, — и он показал

рукой в сторону разрушенных крестьянских хижин, — настоятельно просит прекратить, наконец, оказание преступной помощи кровавой тирании диктатора Батисты. Консул молча кивнул. Через некоторое время «джип», в котором сидел господин Уоллэм, укатил в сторону Сантьяго-де-Куба.

Через несколько часов желтый «джип» снова показался в поле зрения передовых постов повстанцев, и еще более раздраженный, чем утром, господин Уоллэм выщелдил сквозь зубы, что его правительство согласно на условия, выдвинутые повстанцами.

Последние дни

Прошли лето и осень 1958 года. «Решающее» наступление диктатора Батисты на Сьерра-Маэстру провалилось. Ему не помогло американское вооружение — танки, артиллерия, самолеты, ракеты.

К декабрю 1958 года фронты, организованные в Ориенте, соединились, и вся провинция фактически оказалась в руках повстанцев. Город Сантьяго-де-Куба был окружен, и батистовский гарнизон, расположившийся в казармах Монкада, уже понимал всю безвыходность своего положения.

Колонна под командованием бывшего аргентинского врача майора Че Гевары успешно действовала в центре Кубы — в провинции Лас Вильяс и вела бои за освобождение от диктатуры города Санта-Клара.

Колонна, руководимая легендарным героем кубинской революции майором Камило Сьенфуэгосом, развивала свой успех на севере центральных районов острова.

Не было места на Кубе, где бы армия диктатуры считала себя в безопасности. И даже в воздухе! В воздухе появились самолеты повстанцев.

Основой военно-воздушных сил Повстанческой армии послужил маленький самолетик «кингфишер», захваченный бойцами Рауля Кастро у войск Батисты летом 1958 года. А к декабрю ВВС Второго фронта насчитывали уже 12 машин, которые в редкие часы, когда они не нуждались в ремонте, запчастях или горючем, все-таки могли подниматься в воздух и сеять настоящую панику среди солдат Батисты. Дело было здесь не столько в боевой силе этих самолетов, сколько в самом факте существования авиации у повстанцев.

Впервые Фидель узнал о военно-воздушных силах Второго фронта от Вильмы Эспин. Она принесла ему очередной доклад Рауля, где было сказано, что авиация Второго фронта стала небольшой, но реальной силой. Фидель недоверчиво покачал головой, услышав рассказ Вильмы. Ему было трудно представить, что Повстанческая армия, которая всего два года назад состояла из двенадцати человек, теперь уже имеет свои самолеты и даже свои аэродромы.

Он улыбнулся, откусил кончик сигары, пожевал его, выплюнул и, захватив рукой всю свою бороду, вдруг засмеялся громко и весело.

— Этот план Рауля необыкновенен, — сказал он уже серьезно. — И поэтому мне трудно свыкнуться с мыслью, что он осуществлен...

Фидель чиркнул зажигалкой, закурил и, глянув хитровато на Вильму, добавил:

— Но если это правда, пусть он мне пришлет один самолет... Мне тут надо вывезти одного летчика. Он потерял свой самолет и сейчас находится здесь, в Сьерре... Пусть пришлет...

Как только Рауль получил, это распоряжение Фиделя, он немедленно направил в Сьерру самолет. Горючего в баках было очень мало, и Рауль боялся, что машина не сможет возвратиться. Но все обошлось благополучно. Самолет выполнил задание, а Фидель получил вещественное доказательство того, что Повстанческая армия завоевывает теперь позиции и в воздухе.

Диктатура доживала свои последние дни.

27 декабря 1958 года колонна имени Хосе Марти, возглавляемая Фиделем Кастро, расположилась лагерем недалеко от Пальма-Сориано, на территории сахарного завода

«Америка», захваченного у Батисты. Колонна, в которую влились сотни крестьян, уже давно спустилась с боями из Сьерры, одержала ряд крупных побед и теперь отдыхала перед маршем на Сантьяго-де-Куба, где она должна была соединиться с колоннами Рауля Кастро. Братья уже встретились несколько дней назад в Хигуани. 9 месяцев, прошедших с тех пор, как Рауль с колонной в 82 человека двинулся на север Ориенте, изменили их обоих. Оба похудели и оба возмужали, оба накопили огромный опыт борьбы.

...Новогодним утром, первого января 1959 года Фидель встал, как всегда свежий, но на этот раз сердитый и озабоченный. Штаб его стоял в Пальма-Сориано, захваченной три дня назад у Батисты, и сегодня ночью повстанцы на радостях подняли стрельбу, салютуют наступлению нового года. Радость естественная, но зачем палить?

Фидель Кастро выпил кофе и вышел из домика, где ночевал.

— Соберите всех, кто стрелял этой ночью в звезды! — распорядился он. — Транжиры! Я у каждого, кто палил, отберу по пятьдесят патронов — будут знать! Еще один такой праздник, и мы останемся без боеприпасов...

Прошло уже два года с того дня, как Фидель Кастро со своими единомышленниками высадился на берегу Кубы. Но до сих пор Фидель чрезвычайно бережно и экономно, помня первые месяцы борьбы, относился к боеприпасам. До сих пор раздача их находилась в его ведении, и он лично отсчитывал патроны каждому бойцу. Вот почему ночная пальба не выходила все утро у него из головы.

Однако Фиделю не удалось исполнить свою угрозу в то новогоднее утро. В 8 часов гаванская радиостанция «Прогресс» сообщила о государственном перевороте в Гаване. Батиста бежал с острова. «Через несколько минут, — говорил взволнованный диктор, — мы предоставим нашим слушателям полную информацию о хаотическом положении на Кубе. В эти минуты в Кампо-Колумбия проходит важное совещание, на которое вызваны журналисты...»

Что же в действительности случилось?

В новогодний вечер высшие политические и военные деятели Кубы собрались на ужин в одном из домов Кампо-Колумбия. Среди них присутствовал диктатор Фульхенсио Батиста. Это была невеселая трапеза. В два часа пополудни генерал Родригес Авила звонил в Санта Клару полковнику Касилласу, чтобы передать приказ Батисты: «Произвести полное разрушение Санта Клары. Не оставить от города камня на камне. Только в таком виде можно отдать город врагу». Но гарнизон Санта Клары отказался повиноваться ставленнику американцев. Он сдался безоговорочно повстанцам Че Гевары. Сантьяго тоже был накануне падения.

За столом стоял генерал Кантильо. Лицо его было бледно.

— Во имя республики, — сказал Кантильо, откашлялся и оглянулся назад, — вооруженные силы решили, что генералу Батисте необходимо подать в отставку...

Иначе, — добавил он после паузы, — к власти придет Фидель...

Батиста знал об этом, он еще днем подготовил текст «отречения». Бывший диктатор встал и, с ненавистью оглядев сидевших за столом людей, принялся диктовать «Послание народу». Там было все, что полагается для классического послания отрекающегося диктатора. Сказано было и «принимая во внимание трагическое кровопролитие»... и «молю господу бога о счастье и мире для дорогого сердцу моему кубинского народа...» и все остальное. Батиста поставил условием своего ухода: «чтобы все было в должной форме».

Этому предновогоднему невеселому собранию предшествовали совещания, на которых присутствовали не только кубинские политики. В середине декабря на Кубу вернулся из США американский посол Эрл Смит, а за два дня до нового года в Гавану негласно прибыл представитель государственного департамента США, директор управления по делам Карибского моря и Мексики Уильям Уилленд.

В то время «Нью-Йорк таймс» писала: «Деловые круги США не хотят падения Батисты, опасаясь, что это скажется на полученных ими уступках». Перед самым новым годом эта

же газета, поняв, что дело не в Батисте, в конце концов поставила вопрос откровеннее: «Необходимо сохранить проамериканскую диктатуру на Кубе!»

Именно эту цель преследовал посол США Эрл Смит, созвавший перед новым годом секретное совещание и предложивший разыграть комедию с отречением, а Батисту заменить на посту президента неким Карлосом Пьедра.

...Продиктовав отречение, Батиста вышел из особняка, сел в черный длинный «кадиллак» и укатил на аэродром, расположенный здесь же, в Кампо-Колумбия. Самолет взмыл вверх, навсегда увозя с острова Кубы его бывшего диктатора...

Батиста почти не взял с собой вещей. За несколько недель до нового года крупная сумма в 200 миллионов долларов была переведена за границу и положена в надежные банки на имя «путешественника» Фульхенсио Батиста.

Утром первого января 1959 года было объявлено, что военная хунта во главе с генералом Кантильо назначила президентом Кубы Карлоса Пьедра.

...А через час после этого объявления вся Куба, сидя у радиоприемников, слушала голос Фиделя Кастро, звучавший из Ориенте на волнах повстанческой радиостанции.

«...Какими бы ни были известия, приходящие из столицы, — неслось из репродукторов, — наши войска ни на минуту не должны прекращать огонь. Диктатура пала вследствие поражений, которые она терпела в последние недели. Но это не значит, что революция уже победила.

Военные операции будут продолжаться непрерывно до получения соответствующего приказа командования повстанцев. Такой приказ может быть отдан только в том случае, если военные элементы, восставшие в столице, станут беспрекословно подчиняться революционному командованию:

Революция — ДА!

Военный переворот за спиной народа и революции — НЕТ!

Украсть у народа победу — НЕТ!

Трудящиеся всей республики должны внимательно следить за передачами радио повстанцев и готовиться ко всеобщей стачке...»

И стачка вспыхнула. Остановились поезда, такси, в городах закрылись магазины, крестьяне ушли с полей, рабочие бросили станки, замолк шум на сахарных заводах, не ходили автобусы, закрылись кинотеатры. По приказу повстанческого центра действовали лишь радио, телевидение и газеты, чтобы информировать страну о событиях.

Колонны Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса быстрым маршем шли на Гавану. Остатки батистовских войск не могли оказать им сопротивления.

К вечеру первого января гарнизон Сантьяго-де-Куба сдался колоннам Фиделя и Рауля Кастро.

Стачка, парализовавшая остатки батистовского режима, сыграла свою роль.

Война окончилась.

Революция, которая началась шесть с половиной лет назад и которая должна была создать новую Кубу — страну свободную, процветающую, победила, чтобы продолжаться...

Пришло к концу мое путешествие по Кубе. Пришел к концу мой рассказ, который я мог поведать вам только благодаря десяткам, сотням кубинцев, помогавшим мне воссоздать эти незабываемые страницы истории далекого от нашей земли и близкого нашему сердцу острова.

Куба... маленький, благословенный кусочек земли в Карибском море. Остров солнца, пляжей и сахара — таким знали тебя колонизаторы. Остров слез, нищеты, горя и кипящего гнева — таким знал тебя твой народ. Остров-боец, поднявший в западном полушарии пылающий факел социалистической революции, остров борьбы за свободу, счастье. Таким сделал тебя твой замечательный народ.

Мы полюбили тебя, народ Кубы, наш молодой товарищ по борьбе. В нашем сердце твои улыбки и песни. Советские люди видели тебя в дни всенародных торжеств и в дни горя,

мы видели страну, готовую к бою, и улицы твоей прекрасной столицы в тревожную весну 1961 года, когда бойцы твоей революционной армии за 72 часа наголову разгромили агрессоров, высадившихся на Плайя-Хирон.

У каждой революции — свои священные реликвии, свои воспоминания. И разве при взгляде на маленькую шхуну «Гранма», которая высадила на кубинский берег бойцов Фиделя, не приходит на память наш крейсер «Аврора», выстрелом одного из своих орудий возвестивший о начале эры социализма. Вот почему кубинцы любовно называют свою «Гранму» «нашей маленькой „Авророй“». А разве те, кто сражался в Сьерра-Маэстре, не напоминают бойцов, шедших на штурм Зимнего, на штурм капитализма? И разве те, кто отстаивал свою землю на Плайя-Хирон, не сродни защитникам Волгограда, Ленинграда, Севастополя? Мы дрались далеко друг от друга, но мы воевали в одном строю, стреляли в одну сторону, защищали одно дело и нас вдохновляли одни и те же идеи великого Ленина.

Военная журналистика СССР и России

Великая Отечественная война

В. Некрасов. В окопах Сталинграда

Часть первая

1

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастеровыми плотиками для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет — лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно выносить и пулеметы таскать.

Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему брустверы низки: надо ноль сорок, а у вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их срыть — демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я

каждый раз заново начинай и выслушивай — руки по швам — нотации командира полка: «Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?..» Лазаренко перепрыгивает через забор.

— Ну? В чем дело?

— Начальник штаба до себя кличуть, — сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

— Кого? Меня?

— І вас, і начхіма. Щоб чрез пять минут були, сказав. Нет, значит, не поверяющий.

— А в чем дело, не знаешь?

— А біс його знае. — Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. — Хіба зрозуміеш... Всіх связних розігнали. Капітан як раз спати лягли, а тут офіцер звязі...

Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.

Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.

— Штадив грузится. Вот и все...

Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит:

— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся, к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови. Никак не выведешь...

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР⁸⁴ презрительно улыбается:

— Что дезокамера... У меня половина людей с такими вот спинами лежит. После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...

Сергиенко вздыхает:

— А может, на переформировку, а?

— Ага... — криво улыбается Гоглидзе, разведчик. — Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не дождутся.

Никто ничего не отвечает. На севере все грохочет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.

— На Валуйки прут, сволочи. — Самусев в сердцах сплевывает. — Шестнадцать штук...

— Накрылись, говорят, уже Валуйки, — заявляет Гоглидзе: он всегда все знает.

— Кто это — «говорят».

— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

— Много они знают...

— Много или мало, а говорят...

Самусев вздыхает и переворачивается на спину.

— А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Гоглидзе смеется.

— Верная примета. Точно. Как вырью, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе не хватает одного кубика.

Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи — вызвали еще вчера в штадив.

Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, — копошатся в планшетах, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два, и лихой, с золотым чубом и в залихватски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют: Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном — разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.

Максимов встает. Мы тоже.

— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает машинально посасывать. — Попрошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

— Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт Ново-Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.

— Ясна картина?

Никто не отвечает.

— По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Слова у Максимова отточены. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.

— Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.

— У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два «максима». «Дегтярева» — три. Минометов восьмидесяти двух — три.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника

выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

— Та-ак... — Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку. Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.

— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Все...

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется Каппель, прерывисто вздыхает.

— Я сказал все! — круто поворачивается в его сторону Максимов. — По местам!

— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбатри.

Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.

— Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов голову иметь на плечах...

Все встают, отряхивая песок и траву.

— А вы ко мне зайдите. — Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съезживается, шевелится, чернеет.

— Немец к Воронежу подошел, — говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел. — Вчера вечером.

Мы молчим.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьет из этой кружки. Самогон крепкий градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

— Отступал. От самой границы.

— От самой границы... А ты, Керженцев?

— Я — нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

— Дело дрянь, в общем... «Колечка» нам не миновать. — Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. — Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где-нибудь да мы будем. Не в Ново-Беленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев, — он строго глядит на меня, — до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась. Майор так и сказал: «Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай». Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается.

— Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...

— Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть — везти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало, — там нет ничего нужного.

— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай! Писарь уходит.

— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов почему-то на «вы», хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на «ты». Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. — А вы женаты?

— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да ничего... Знакомая у меня была Керженцева... Когда-то, до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы — маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.

— Да-да... Идите, — скороговоркой говорит он, — идите, времени мало.

Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.

Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади, — батальонные, по-видимому. Ширяев ухмыляется:

— Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как нет там.

Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.

— Ну, идите, — говорит Максимов, протягивая руку. — Смотрите же...

Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки.

— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.

— Есть, товарищ капитан!

— Смотри же... — И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода.

С Ширяевым мы уславливаемся — я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу.

Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления.

Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до

тех пор, пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город — два дня только. Пришел приказ: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах.

Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим. А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась «рама» — двухфюзеляжный рекогносцировщик «Фокке-Вульф», и мы усиленно, и всегда безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки «юнкерсов».

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно. Даже «Правда» стала до нас добираться. Потерь не было никаких. И вдруг как снег на голову-приказ...

На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался. Вот и сейчас так. Разнежился на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыкает там на севере, — ну и пусть громыкает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...

И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покинуть насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить...

— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем? Новоиспеченный командир взвода, молодой, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.

— Мины будем грузить? — спрашивает.

— Машины не дали из штадива?

— Не дали.

— Закапывай тогда. На берегу остались еще?

— Остались. Штук сто.

— Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай.

— Ясно.

— Лопаты все?

— В третьем батальоне тридцать штук.

— Топай за ними. Живо!

Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган — старательный, только слишком старшины боится.

Да... Надо еще карту поменять. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...

В двенадцать, тихо погромыхая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.

Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли урвцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать, сейчас осталось только пять: два «максима» и три «Дегтярева». Особенно не разгуляешься. Ставим «максимы» на флангах, ручные между ними. Бойцов тоже приходится расставлять по-новому: фронт батальона увеличился

больше чем в три раза. На километр выходит по десять — двенадцать бойцов, один от другого на восемьдесят — сто метров. Не густо, что и говорить!.. Следующий день проходит спокойно. Противник не догадывается, по-прежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки — редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе — ширяевский КП⁸⁵ находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома, по-видимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятками у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяучит, смотрит на всех желтыми, испуганными глазами, забирается в ящик с котятками. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.

3

Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины.

Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев.

Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты — одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Приятно пахнет ночной влагой и сырой землей.

Ни Валеги, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем. Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет.

Вспоминается наша улица — бульвар с могучими каштанами; деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромождали ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван — мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или «Анну Каренину». Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника...

Бог ты мой, как все это давно было!.. А может, никогда и не было, только кажется...

Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами двадцать четвертого октября.

За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать.

Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов.

Дальше идет ночной столик... Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. Он набит мягкими клетчатými туфлями, а в его ящике коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерьянки — чтоб кот не нашел...

И все это сейчас там... у них.

Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и мюзикомедия. А в общем: «Пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени, — хоть три слова...»

С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть... На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста: какие-то ноги в высоких ботиках. А справка — марка: станция метро «Маяковская».

В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве... Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой — зеленой и красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...

Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве — эту бородавку.

Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем... Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: «Ты что-то плохо выглядишь сегодня. Юрок. Может, спать раньше ляжешь?» Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...

Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить летом на пляж, на Труханов остров...

Милый, милый Киев!.. Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих в подворотне сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...

Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера — это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой-то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере!.. «Индийская гробница», «Багдадский вор», «Знак Зерро»... Бог ты мой, даже дух захватывает!.. А чуть подальше, около Прорезной, в тесном, с нумерованными местами «Корсо» шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками... А в «Экспрессе» — потом он почему-то стал прозаическим «Вторым Госкино» — шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в «Экспрессе» был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.

Сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Слепительные «Линкольны» у «Континенталя». А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасуныко с Маской смерти.

А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка с не то готическими, не то романскими башенками по углам... Тихие сонные Липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами... Столетние вязы дворцового сада... Шуршащие под ногами листья... И — стоп! — обрыв. Дальше —

Днепр, и синие дали, и громадное небо, и плоский, ошестинившийся трубами Подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависшей над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки дарницкого трамвая...

Милый, милый Киев...

Как все это сейчас далеко! Как давно все это было, боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл...

Нас было шестеро неразлучных друзей — Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все «Чижиком» звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили. Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт — в одну мастерскую Пошли. Только-только принялись за работу, новые рейшины, готовальни купили, и...

Чижик под Киевом погиб — в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзал. Анатолий связистом будто стал — кто-то говорил, не помню уже кто.

А Люся?.. Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая больная мать, я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. Два года тому назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутригер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко маленький, затерявшийся среди камышей и ракич очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу... Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели в дворцовом парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие, красные, декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...

— Третий ряд будем делать? — спрашивает кто-то над самым моим ухом.

Я вздрагиваю.

Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами.

— Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок, у пристани.

Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.

4

Утром над нашим расположением долго кружится «мессершмитт». Мы огня не открываем — экономим боеприпасы. Две большие партии «Хейнкелей» и одна «юнкерсов-88» на большой высоте проплывают на северо-восток.

Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенантик, в новенькой фуражке с красным околышем, от нашего правого соседа — третьего батальона 852-го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пулеметов пять. Зато нет минометов. Мы кормим его обедом и отправляем обратно.

С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки, третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами — старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Ворча и ругая и немцев, и войну, и спокойно отмахивающегося от мух вороного мерина Сиреньку, он

пристраивает свои мешки со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует козью ножку, а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами.

— Такие ботинки бросать! Бога побоялся бы. Впереди еще столько колесить. — И он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.

Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они поодиночке приходят и молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.

Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Прямо отсюда, со двора, и уходим.

Некоторое время белеет еще сквозь сосны силуэт дома, потом исчезает.

Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, оцетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками, — все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной, вонючей водой, обвалится, весной покроется зеленой, свежей травкой. И только детишки, по колено в воде, будут бродить по тем местам, где стояли когда-то фланкирующего и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные патроны. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...

Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно, должно быть, посаженным.

Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части.

Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежеструганные сосенки. На плечах таскали мы их из соседней рощицы для перекрытия.

Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне.

Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.

Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают. Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.

И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь, прямо на восток по азимуту сорок пять.

Рядом шагает Валега. Он тащит на себе рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Я перед отходом хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

— Я лучше знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритвы — все забыли. Пришлось к химикам ходить.

Мне нечего было возразить. У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немислимо. А вообще это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками — с молоком и водкой. Где он это достает, мне неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он штопает почти как женщина. Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на него рассердиться.

Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю будет привал, и он расстелет плащ-палатку на сухом месте, и в руках у меня окажется кусок хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке — молоко. А он будет лежать рядом, маленький, круглоголовый, молча смотреть на звезды и попыхивать крохотной уродливой трубочкой, делающей его похожим на старика, хотя ему всего восемнадцать лет.

О себе он ничего не говорит. Я знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужня сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то он судился, за что — не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его по-настоящему Волегов, с ударением на первом «о». Но зовут его все Валега. Вот и все, что я о нем знаю.

Мы редко с ним разговариваем — он молчалив и замкнут. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три тому назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки, он в консервной банке варил пшеничный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.

Кругом было темно и холодно. Промокшая плащ-палатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.

С трубкой во рту, освещенный красноватым пламенем костра, он был похож на гнома, готовящего волшебное варево.

— Когда кончится война, — сказал он, — я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...

Я улыбнулся:

— Почему именно три недели?

— А сколько же? — Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. Он все так же попыхивал трубочкой и равнодушно мешал кашу. — Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и щуки по пятнадцать фунтов весом. У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. — Он вынул и облизал ложку. — И пельменями я вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему.

На этом разговор и кончился.

Сейчас я смотрю на него и спрашиваю:

— Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем?

Он даже не улыбнулся.

— Мяса такого нет. И приготовить его здесь по-настоящему нельзя.

— Значит, до конца войны ждать будем?

Он ничего не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала: торчит на самой макушке. Я знаю, что в нее воткнуты три иголки с белой, черной и защитного цвета нитками.

Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах.

Значит, прошли мы около тридцати. Это неплохо, дорога трудная.

Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги.

Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах.

Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Нельзя обижать Валегу.

Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь, совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Прямо хоть проволокой обматывай.

Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках были бы отремонтированы сапоги. А теперь кто его знает, когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят-восемьдесят. Если они эти два дня шли, то никак не меньше. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что «ранком в неділю проходили солдати. А у вечері пушки йшли». Должно быть, наши дивизионки. «Тільки годину постояли і далі подались. Такі замороєні, невеселі солдати».

А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают жирной красной линией; противника — синей. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?

Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три-четыре начали переправлять пехоту. Даже позже: сборы, приказы и тому подобное — часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра, на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.

Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли. Почему не слышно стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.

Солдаты толкуются у котла с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит и чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.

— Будем трогаться, что ли?

Сощутив глаза, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.

— Вот хлопцы покушают, и двинем. Минут двадцать, не больше.

— Сколько до Ново-Беленькой осталось?

— Километров шестьдесят — семьдесят. Вон карта лежит.

Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.

— Два перехода еще.

— Если поднажмем — завтра к обеду будем.

— Быть-то будем, но застанем ли мы там кого. Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина...

Подходит адъютант старший, весь красный от веснушек, лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается, закуривает.

— Двух человек уже не хватает.

Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову.

— Как не хватает?

— А черт его знает как... Сидоренко из первой роты и Кваст из второй. Вечером еще были...

— Куда же они делись?

Саврасов пожимает плечами.

— Может, ноги потерли? А?

— Не думаю.

— Давай сюда командиров рот.

Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот. Оказывается, что Сидоренко и Кваст односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.

Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:

— Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот пистолета. — Он хлопает себя по кобуре. — Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают, стоят и смотрят в землю. У одного дергается веко.

— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались... — Он ругается и встает. — Подымайте людей.

Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видал его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота, — все это резкими, короткими движениями, — ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.

Бойцы выходят на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стояли женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми, грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.

Только одна бабушка в самом конце села подбегает маленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь.

Мы идем дальше.

5

С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко — связной штаба, оба верхами, вырастают перед нами точно из-под земли. Кони взмыленные, храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина.

— Воды!

Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем.

— Перевяжи кобылу, Лазаренко...

Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла — по-моему, Комиссарова — хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.

Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину.

— Дела дерьмовые, — коротко говорит он, — полк накрылся...

Мы молчим.

— Майор убит... комиссар тоже...

Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.

— Второй батальон сейчас неизвестно где... От третьего — рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна сорокапятимиллиметровка осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить... Портсигар потерял.

Закуриваем все трое. Газеты нет, рвем листочки из блокнота.

— Максимов сейчас за командира полка. Также ранен. В левую руку... в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.

— Куда?

— А кто его знает теперь куда... Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять.

— А Афонька что, убит?

— Ранен... Может, и умер уже... В живот попало... Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги...

— И медсанбат?

— И медсанбат. И рота связи дивизионная, и тылы все... Дай еще воды...

Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились. Цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.

— Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми — с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен... У тебя горит?

Он прикуривает, придерживая пальцами мою сигарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.

— В общем, Максимов сказал — разыскать вас и на соединение с ним идти.

Ширяев вытаскивает карту.

— На соединение с ним? В каком месте?

— Со штадивом связь потеряли. — Игорь скребет затылок мундштуком. Максимов сам принял решение. По-видимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново-Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.

— А где сейчас немцы?

— Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти — двенадцати отсюда. И шнапсом запивают...

— Много их?

— Хватит! Машин сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек — уже шестьсот пятьдесят.

— И куда движутся?

— Мне не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая — вроде грейдера — на юг...

— Максимов куда приказал?

— Максимов? — Игорь тычет пальцем в карту. — На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск. Мы поднимаем бойцов.

С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают колосья, растирают ладонями и жуют спелые, золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках — в гимнастерках жарко.

Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое-то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко — километрах в сорока, сдержали как будто.

И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился, — танки. Штук десять — двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку — десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли, ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает, он ничего не чувствовал. Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая, — видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, не успела еще высохнуть.

Все это остается позади — громадное, ненужное, никем не использованное.

Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять поднимаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевает пыль. Проведешь рукой по лбу — рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики. В каком-то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы. Машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И все туда, за лес.

Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь. Ночью идет дождь, мелкий, противный.

На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи — каменные, без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма: кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя, сараи просматриваются издалека.

Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.

— Занимай оборону, инженер... Фрицы.

Из-под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.

— Какие фрицы?

— Посмотри — увидишь.

Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного — человек двадцать. Без пулеметов, — должно быть, разведка.

Ширяев кутается в плащ-палатку.

— И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям...

Подходит Игорь.

— Будем жесткую оборону занимать? А? Комбат?

Он тоже, по-видимому, спал, — одна щека красная и вся в полосках. Ширяев не поворачивает головы, смотрит в бинокль.

— Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.

Беру бинокль. Смотрю. Немцы о чем-то совещаются, стекла бинокля мокры от дождя, видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно, потом фигуры появляются. Уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю.

— Огня не открывать, пока не скажу, — вполголоса говорит Ширяев. — Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо...

Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинута плащ-палатке взгромоздился на стропила.

Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры.

Автоматы у всех за плечами, — немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках, — должно быть, командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет; у немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе, — видно, устал. Рядом — маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за ляжки, он курит коротенькую трубку и в такт походке кивает головой, точно клянет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.

Игорь толкает меня в бок.

— Смотри... видишь?

В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать что — мешает дождь.

И вдруг над самым ухом:

— Огонь!

Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом.

— Прекратить!

Ширяев опускает автомат; щелкают затворы. Один немец пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.

Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.

— Дай закурить.

Игорь ищет в кармане табак.

— Сейчас опять полезут.

Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.

— Ничего, перекурить успеем. С сигаркой все-таки веселее. — Ширяев скручивает толстенную, как палец, сигарку. — Интересно, есть ли у них минометы? Если есть, тогда...

Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной, третья прямо в сарае.

Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук. Потом перерыв в несколько секунд, и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет, высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина.

Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас. — Слушай мою команду!..

Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета.

Три короткие очереди. Потом одна подлиннее.

Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета, — этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.

Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.

После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.

— Сейчас окружать начнут... Я их уже знаю.

В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.

— В том сарае почти всех перебило... — Он с трудом переводит дыхание. Осколком повредило пулемет... По-моему... — Он растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.

— Что — «по-моему»? — резко спрашивает Ширяев.

— Надо что-то... этого самого... решать...

— Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать... Сколько человек вышло из строя?

— Я еще... не... не считал.

— Не считал...

Ширяев встает, подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого кустика.

— Ну что ж? Двигаться будем, а? Здесь не даст житья...

Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.

— Который час? У меня часы стали. Игорь смотрит на часы.

— Двадцать минут двенадцатого.

— Давайте тогда... — Ширяев жует губами. — Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.

Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, Севастьянов ранен.

Ширяев обводит глазами сарай.

— А Седых. Где Седых?

— Вон на стропилах сидит.

— Давай сюда!

Парень в майке, ловко повиснув на руках, легко спрыгивает на землю.

— Пулемет знаешь?

— Знаю, — тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.

Он смотрит прямо на Ширяева не мигая.

Лицо у него совсем розовое, с золотистым пушком на щеках. И глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким

лицом голубей еще гонять и с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним — точно спутал кто-то крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая, вылинявшая майка трещит под напором молодых мускулов.

— А где гимнастерка? — Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски грозно.

— Вшей бил, товарищ комбат... А тут как раз эти... фрицы... Вон она, за пулеметом... — И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.

— Ладно, а немецкий знаешь?

— Что? Пулемет?

— Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим.

— Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь... — и запинается.

— Ничего, я знаю, — говорит Игорь. — Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.

Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.

— А я думал, Саврасова. Впрочем, ладно... — Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых: — Ясно, орел? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется, — ребята боевые, положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?

— Понятно, — тихо отвечает Седых.

— Что понятно?

— Прикрывать останусь со старшим лейтенантом.

— Тогда по местам. — Ширяев застегивает воротник гимнастерки становится совсем холодно. — Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где «максим», лучше. Готовь людей, Саврасов.

Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью.

— Долго не засиживайтесь, — говорит Ширяев Игорю. — Час — не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.

Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.

— Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.

Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь, Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Из них четверо раненых, один тяжело. Его тащат на палатке. Дождь перестал. Немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета. Валега попыхивает трубочкой. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.

— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спрашивает Седых и смотрит на меня ясными, детскими глазами.

— Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть.

— А Филатов, пулеметчик, говорил, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...

Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так.

Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом.

— Його газами ще в ту війну отруїли. І взагалі, він не німець, він австріяк, і фамілія в нього не Гітлер, а складна якась — на букву «ш». Правильно, товарищ лейтенант?

— Правильно. Шикльгрубер — его фамилия. Он тиролец...

— Тиролец... — задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку. — А его немцы любят?

Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко — с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.

— А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.
— Правда.
— Как же это так?.. Самый главный — и ефрейтор. — Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается.
— Ты давно уже воюешь, Седых?
— Давно-о... С сорок первого... с сентября...
— А сколько же тебе лет?
Он задумывается и морщит лоб.
— Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.
Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку.
— Ну и что же, нравится тебе воевать?
Он смущенно улыбается, пожимает плечами.
— Пока ничего... Драпать вот только неинтересно.
Даже Валега и тот улыбается.
— А домой не хочешь? Не соскучился?
— Чего? Хочу... Только не сейчас.
— А когда ж?
— А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарем, как вы.
Валега вдруг приподнимается и смотрит в окно.
— Что такое?
— Фрицы, по-моему... Во-он, за бугорком...
Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками, по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.
— Сейчас из минометов начнет шпарить, — вполголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету.
Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет поднимает только небольшую полоску пыли, и дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза. Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно — Седых, Игорь, Валега, потом я, за мной Лазаренко.
Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы.
— Капут, кажется... — Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.
— Я... товарищ лейт... — Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрывает от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается. Хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать. Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке комсомольский билет и письмо — треугольник с кривыми буквами.
Мы кладем Лазаренко в щель, засыпаем руками, прикрыв плащ-палаткой. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях. Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому — побольше. Немцы все обстреливают сарай. Некоторое время виднеются еще стропила, потом и они скрываются.

Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма крошечная, дождь, грязь. Какие-то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов.

— Н-но, холера!.. Н-но-н-но... Щоб тебе, паразита!.. Но... Холера...

И эти «холера» и «паразит», однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтоб набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!

Какой-то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки — кожа да кости, бока окровавлены, шеи вытянуты — скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар — мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.

— Холера паразитова... Н-но... Щоб тебе!

Кто-то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.

— Да ты не за эту держи... А за ту... вот так...

— Вот тебе и вот так... Не видишь — прогнила.

— А ты за ось.

— За ось... Смотри, сколько ящиков навалено!.. За ось...

Кто-то в капюшоне задевает меня плечом.

— Сбросить ее к чертовой матери!

— Я те сброшу, — поворачивается здоровенный детина.

— Вот и сброшу... Из-за тебя, что ли, машины стоять будут?

— Ну и постоят.

— Серега, заводи машину. — Человек в капюшоне машет рукой.

Здоровенный детина хватается за плечо. Из-под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый, однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырко. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырко не узнает.

— Чего вам еще надо?

— Не узнаешь? Керженцев — инженер.

— Елки-палки! Откуда?.. Один?

И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают застрявшее колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.

— Садись на машину, — говорит Копырко, подходя, — подвезу.

— А ты куда путь держишь?

— Как куда?

— Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.

— На фрицев посмотреть, что ли? — Копырко устало улыбается. — Я еле-еле оттуда машину выгнал.

— А сейчас куда?

— Куда все. На юг. Миллерово, что ли... Ну, давай на машину!

— Я не один. Нас четверо.

Он колеблется, машет рукой.

— Ладно. Садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой?

— Свидаерский и двое бойцов — связные.

— Залезайте в кузов. Вон в тот «форд». Впрочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом, выдержит ли...

Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.

— Ширяева не встречал? — спрашиваю я.

— Нет. А где он?

— Со мной был, а сейчас не знаю где.

— Слышал, что майора и комиссара убило?

— Слышал. А Максимова?

— Не знаю, я с тылами был.

Копырko круто тормозит. Впереди затор.

— Вот так все время... Три шага проедем — час стоим... И дождь еще этот.

Спрашиваю, кто еще из полка есть.

— Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда-то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса...

— А немцы?

— А черт их знает, где они сейчас... Два часа назад в Кантемировке были... Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос. — Он проводит рукой по глазам. — Две ночи не спали... Шофер и оружейный мастер куда-то провалились во время бомбежки... Два бачка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь...

Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю и начинаю клевать носом, не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.

К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.

Забираемся в какую-то хату и валимся на пол — на храпящие тела, семечную шелуху.

За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена «Форды», «Газики», «Зисы», крытые громадные «Студебеккеры». Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Двое обозников на коровах. Прикрутили обмотки к рогам и едут.

И все это с криком, гиком, щелканьем бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо роши, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырko куда-то исчез со своей машиной, — раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним... Хорошо, что хоть ночью подвез.

Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды.

Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.

— Ну... — говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.

— Что — «ну»?

— Дальше что?

— Идти, по-видимому.

— Куда?

Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю:

— Своих искать.

— Кого своих — Ширяева, Максимова?

— Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...

Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни — нос лупится, кокетливые когда-то — в линеечку — усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал?

Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки-чарли... Дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и

с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами...

А на другой карточке славенькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись не окрепшим еще почерком.

Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли.

У колодца огромная толпа, какие-то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекачивается к дороге.

...А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке.

Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его солдат с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхимом в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.

Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.

Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушечками. У машин необычайно добротный вид и на дверцах толстые, аккуратные цифры: Д-3-54-27, Д-3-54-26. Это не наши. У нас-Д-1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядят загорелые, обросшие лица.

— Какой армии, ребята?

— А вам какую нужно?

— Тридцать восьмую.

— Не туда попали. В справочном спросите, — и смеются.

А машины идут — одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые.

Конца и края им нет.

— Ну что, пошли?

Игорь встает и каблуком вдавливая в землю окурок.

— Пошли.

Мы вливаемся в общий поток.

8

— Эй вы, орлы!

Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский — помощник по тылу. Сидит на повозке и машет рукой.

— Давайте, давайте сюда!

Подходим. Так и есть — Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.

— Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь. — Он протягивает нам руку, чтобы помочь влезть. — Водки хотите? Могу угостить.

Мы отказываемся, не хочется что-то.

— Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные. — Он весело подмигивает и хлопает дружески по плечу. — А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевого едет, пять подвод.

— А вы куда путь держите? — спрашиваю я.

— Наивняк. Кто такие вопросы теперь задает? Едем, и все. А тебе куда надо?

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.

— До Сталинграда?

— А тебя что, не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату?

И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, не ущипнешь...

— Наших не встречал? — спрашивает Игорь.

— Нет. Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все-таки...

— А где твои кубики? — перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.

— Отвалились. Знаешь, как их теперь делают? — Калужский прищуривает глаз. — Наденешь, а через три дня уже нет. Эрзац...

— И пояс у тебя как будто со звездой был.

— Был. Хороший, с портупеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его — хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто грамм налить?

Мы отказываемся.

— Жаль. Хорошая, «московская». — И он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба. — Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне наш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.

— А он где, не знаешь?

— Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак, куда не надо — не лезет. Калужский опять подмигивает.

И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла пальцы. Иногда он прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это мимоходом, хотя и не без увлечения и определенного даже мастерства.

А вообще на вещи он смотрит так. Дело, по-видимому, приближается к концу. Весь фронт отступает, — он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все кончить. Это очень грустно, но это почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились «дай бог как»... У них авиация, а авиация сейчас это все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное через Дон прорваться. Вешенская, говорят, уже занята, — вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цимлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже.

Между прочим, — но это под большим секретом, — он выменял вчера в селе три гражданских костюма, рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам — мне и Игорю. Чем черт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить — мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...

Но ему так и не удастся рассказать нам свой план. Сидящий рядом со мной и молча ковыряющий ножом подошву своего сапога Игорь подымает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.

— Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?

— Вареников со сметаной, что ли? — смеется Калужский.

— Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так вот размахнуться и дать по твоей самодовольной роже... Понял теперь?

Калужский несколько секунд не знает, как реагировать — рассердиться или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену.

— Нервы все, нервы... Бомбежки боком вылезают...

— Иди ты знаешь куда со своими бомбежками и нервами! — Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман. — Командир тоже называется... Я вот места себе найти не могу от всего этого. А ты — «мы еще можем пригодиться родине». Да на кой ляд такое дерьмо, как ты, нужно родине! Ездогого хоть постыдился бы — такие вещи говорить!

Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером. На его счастье, здоровенный "Додж" преградил нам дорогу. Мы с Игорем перебираемся на другую подводку.

9

Общий поток несколько редееет. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные — и их большинство — на Цимлянскую.

Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие, выжженные овраги. Однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой.

Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь, только чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает «рама», сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и полдня мы его чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.

Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так, какая-то нудная тоска.

Какой-то майор-связист — мы ему помогаем «Виллис» из канавы вытащить говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово — бои — на какой-то промежуток времени утешает нас: значит, дерутся армии.

— А вообще добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете... — И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли.

Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводки, будь они трижды прокляты!

Опять степь, пыль, раскаленное бесцветное небо.

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное, из погреба, молоко и машем рукой на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему тряусь на этой скрипучей подводке и на все вопросы только машу рукой?

Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...

Что я на это отвечу? Что война — это война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон. А мы хотя и вынуждены отступить, но отступление — еще не поражение, отступили же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы... Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: «До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся...»

И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть, — вера.

* * *

Минуем Морозовскую — пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов.

Потом Дон. Маленький желтенький, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздувшиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.

Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног...

В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил Валегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только — ведь там такой роскошный бритвенный прибор...

За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые степи. Сегодня, как вчера; завтра, как сегодня. Солнце и пыль — больше ничего. Одурающая, разжижающая мозги жара.

Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками.

Командиры в желтых, скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки.

В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречных. Два лейтенанта-грузина, в свеженьких пехотинских фуражках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.

— На фронт топаете?

— На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой. — И оба улыбаются.

— Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.

— А где фрицы? — осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.

— А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.

— А газеты что... Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили.

— А Ростов?

— Ростов нет. Не писали еще.

— Не писали?

— Нет, не писали.

Лейтенанты мнутя. Один из них спрашивает, небрежно, как бы мимоходом:

— Ну, а как там, на фронте... здорово драпают?

— Кто драпает? — Игорь делает удивленное лицо.

— Ну, наши...

— Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои. Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозки с вихляющимися колесами.

— А вы?

— Что мы?

— Не драпали?

— Зачем? На формировку едем.

Лейтенанты смеются, как будто услышав удачную шутку, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.

— Возьмите нас с собой, а, хлопцы? — говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре. —

Пистолеты у нас есть, что еще надо...

Лейтенанты переглядываются.

— Ей-богу, ребята... До точки уже дошли.

— Да что мы... — мнутя лейтенанты, — мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет. А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами.

Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем, на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.

— По всем правилам подходите, — кричат вдогонку лейтенанты, — он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте.

Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.

— Ну, чего вам? — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.

Объясняем, вытянув руки по швам, — так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколушленным кусочком спичечной коробки.

— Что же я вам скажу, друзья? — говорит он низким, каким-то рокочущим басом. — Ничего хорошего не скажу. Вы, думаете, у меня первые? Черта с два. Человек десять, да какое там десять, человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?

Мы молчим.

— Так что, как видите... И рад бы, как говорится, да... — он опять берется за ложку.

— Ну, а все-таки, товарищ майор...

— Что все-таки? — Он повышает голос. — Что это значит — все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом шагом марш! — И уже более мягким голосом добавляет: — В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии?

— Тридцать восьмой, товарищ майор.

— Тридцать восьмой... Тридцать восьмой... — Он чешет мизинцем переносицу. — Кто-то мне говорил, не помню уже кто, но кто-то, ей-богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите...

Мы козыряем и уходим.

В Котельникове нам говорят, что штаб в Абганерове. В Абганерове его не оказывается. Направляют в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слышал, будто наша армия в Котлубани. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из Тридцать восьмой и поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем трех лейтенантов из Дубовки. Тридцать восьмой там нет. Все едут в Клетско-Почтовскую. Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные. С питанием дрянь. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. Валега и Седых раздобыли где-то мешок овса...

А в общем... Едем в Сталинград...

10

Сталинград встречает вылезавшим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями.

Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых «Студебеккеров». На них длинные, похожие на гробы ящики, «Катюшины» снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах — задранные к небу, настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутылки с золотистым топленным молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы.

Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намывает чей-то подбородок. В кино идет «Антон Иванович сердится». Сеансы в двенадцать, два, четыре и шесть. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под рождество пишущем своему дедушке на деревню.

А над всем этим — голубое небо. И пыль... И тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и «Не входить — злые собаки». А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. Контора «Нижеволгокоопромсбыта», «Заливка калош», «Починка примусов», «Прокурор Ленинского района».

Улица сворачивает вправо, вниз к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги — пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и поднимаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. «Золото она, а не женщина, — сами увидите».

Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.

Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется — веселый, без пилотки и в одной майке.

— Давай сюда, Седых, заводи! — И мне на ухо: — Все в порядке. Как раз к завтраку попали.

Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зовет. Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминичны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой. После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду, он работает на автоскладе, что гуся прислал ей брат, — он все еще в запасном полку. Что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня стирает, ей это ничего не стоит.

Мы выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье. К обеду приходит Николай Николаевич — маленький, лысый, в чесучовом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами.

Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта, «ведь это просто безобразие, сами посудите», — и как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять. Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет «трепаться», как теперь говорят. После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линейкой меряет расстояние от Калача, Котельниково до Сталинграда, и вздыхает, и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты, — получает не только сталинградскую, но и московскую «Правду». Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье

Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям, — эти газеты неприкосновенны.

Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух.

Вечером мы собираемся в оперетту на «Подвязку Борджиа». Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.

На противоположном крыльчке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем: нам Марья Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платьице-сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения.

— Совсем неплохие ножки, а. Юрка? Да и вообще...

Неистово плюет на щетку.

Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.

— Это хороший крем — эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна, — и протягивает баночку.

Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые, заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что, в театр собираемся? Да, в театр, на «Подвязку Борджиа». Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да, особенно «Евгения Онегина», «Травиату» и «Пиковую даму». Игорь в восторге.

Оказывается, Люся училась в музтехникуме, — это еще до института было, — и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.

— Зайдите к нам, мама чай приготовит.

— С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.

Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрепчат под нами — такие они хрупкие и изящные и такие грубые и неловкие мы. На стене беклиновский «Остров мертвых». Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет «Кампанеллу» Листа.

Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатою спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги.

У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам; вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Беклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.

Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах: вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из Оскола, — нет, позже, после сараев, — у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение у меня такое, как будто я и то, и другое, и третье.

Несколько дней назад, где-то около Карповки кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые, веселые бойцы, с красными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то просто боец на сытой буланой лошадке, весело крикнул звонким, как у запевалы, голосом:

— Здорово окопались, господа военные. Ни пуля, ни мина не достанет...

И все заржали вокруг него, а он, батарейный заводила, еще подкинул:

— Самоварчик бы еще да вареньица...

И все опять засмеялись.

Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но, что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того: «Посмотрим, что вы недельки через две запоете...»

Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, попадет или не попадет.

Люся встает из-за рояля.

— Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.

Стол покрыт белой, хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек — мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть.

Люсина мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенье и все вздыхает, и все вздыхает.

— Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют, плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал, — и опять вздыхает. — Несчастное поколение, несчастное поколение...

От третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся.

— Заходите, заходите, голубчики. Всегда вам рады. Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается с боку на бок.

— Ты не спишь, Юрка?

— Нет.

— О чем ты думаешь?

— Да так... Ни о чем...

Игорь ищет в темноте табак.

— У тебя есть курево?

— В сапоге посмотри, в мешочке.

Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает сигарку.

— Надоело все это, Юрка.

— Что все?

— Да болтание это. Как цветок в проруби...

— Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра прямо, до завтрака.

— Тоже счастье — отдел кадров. Запрут куда-нибудь в резерв, шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасный полк — еще лучше.

— Не пойду в запасный полк.

— Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают.

— Ну и пускай посылают. Все равно не поеду. Несколько минут мы молчим. Игорь мигает сигаркой.

— А с ребятами что делать будем?

— С какими? С Валегой и Седых?

— Их ведь надо на пересыльный отправлять.

— Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю. И до конца войны будем вместе, пока не убьет кого-нибудь.

Игорь смеется.

— Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились. Как картошку готовить. Седых хотел просто так, в мундирах варить, а Валега ни в какую. Лейтенант, мол, — это ты — не любят шелуху чистить, любят чистую. Минут десять препирались.

— Ну, что ж, настоящий, значит, ординарец, — говорю я и переворачиваюсь на другой бок. — Спи, завтра вставать рано.

Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит сигарку о землю.

Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.

Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. Три дня пришлось уламывать.

Стоял потупясь и мычал что-то невнятное не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею, хуже других?

Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени.

Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях... Но достаточно ли всего этого?

Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?

Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя? Меня раньше это и не интересовало. А сейчас интересуется. А Валега вытащит. Это я знаю... Или Сергей Веледницкий. Пошел бы я с ним в разведку? Не знаю. А с Валегой — хоть на край света.

На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае — он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны кулаками, зубами... вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится, было б время и желание...

Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку.

Спи, спи, лопоухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь.

11

Утром в отделе кадров сталкиваемся нос к носу с Калужским, свежим, выбритым, как будто даже поправившимся.

— Деточки... Живы, здоровы? Куда топаете? — Он сует свою теплую, влажную руку.

— Туда, откуда ты.

— Одну минуточку. Не торопитесь. У вас табак есть?

— Есть.

— Необходимо перекурить. И мозгой заодно шевельнуть. Вот скамеечка симпатичная. Он тащит нас к трехногой скамейке в пыльном скверике.

— Незачем прыгать очертя голову. Понимаете? Здесь дело простое. Или резерв, или передовая. Чик-чик — и ваших нет.

— Ну?

— Вас это устраивает? — подбривые брови его удивленно приподымаются. На передовой знаете что творится сейчас? И не спрашивайте... С бору по сосенке. Я с раненым лейтенантом говорил сегодня. Вчера только из Калача. Комсостав почти весь вышел. Тыкают на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж — держи. Понимаете? «Мессера» по головам ходят. Одним словом...

Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест.

— А резерв? Пшенная каша, хлеб как глина. Ну, может быть, селедка. И занятия с утра до вечера, уставы, БУПы⁸⁶, ручной пулемет... Семечек хотите?

Не дожидаясь ответа, сыплет нам в ладони мелкие, пережаренные семечки.

— Теперь дальше... — Он слегка наклоняется и говорит загадочным полусшепотом: — Встретился я здесь с одним капитаном, я вас с ним познакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одной дивизии. Разговорились. Оказались общие знакомые. Короче, дней через пять-шесть, максимум десять, будет здесь подполковник Шуранский. Вы его знаете? Золото, а не человек. Я с ним на «ты». Вместе выпивали. Так он, этот самый Шуранский, устроит. Сейчас он в Москве, в командировке. Через неделю будет здесь. В общем, мой совет, поворачивайте-ка вы пока оглобли. У вас есть где жить? А я вас буду держать в курсе событий.

Он вдруг вскакивает и сует семечки в карман.

— Одну минуточку. Вы подождите. Вон с тем майором пару слов только...

И, поправив фуражку, он скрывается за углом. Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант, в начищенных сапогах, сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице и там берутся на учет все саперы. А прочие специальности — стрелки, минометчики, артиллеристы — в пятой комнате, с одиннадцати до пяти.

Едем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапера.

— К черту эти противогазы. Надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь. На Туркестанской опять лейтенант, только уже черный и в брезентовых сапогах. Потом майор. Потом пять анкет — и «приходите завтра к десяти».

На другой день в десять заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой «Майору Забавникову, зачислить в резерв»-шагаем на Узбекскую, 16.

Там человек двадцать командиров-саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит маленький, желчный, зеленый, со слезящимися глазами. Опять — кто, что да откуда. Распорядок: с девяти до часу занятия, потом обед, с трех до восьми опять занятия. Записываемся в список для питания в какой-то гидророте. Уходим домой.

* * *

Вечером мы бродим с Люсей по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, точно густой, черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца. Обмотанные зеленью, точно сегодня троица, буксиры. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе.

Мы идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облакачиваемся на него и смотрим вдаль. И Люся что-то говорит, — кажется, о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что-то, и я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине.

Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко...
Архитектура, живопись, литература... Я за время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.

Все это потом, потом...

А завтра опять этот резерв, по двадцать раз разбирай и собирай пулемет Дегтярева. И послезавтра, и послепослезавтра. И опять этот желчный, со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что надо ждать, что, когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают, и пойдет, пойдет, пойдет...

Мы проходим мимо памятника Хользунову, Герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно и ни на кого не смотрит. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале.

Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккуратными крестами и средневековым львом на геральдическом щите стоит подбитый «Хейнкель». Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в кабину, ковыряются в приборах. Взрослые угрюмо и внимательно рассматривают из-за натянутой веревки разбитые моторы и торчащие пулеметы.

— Весь бронированный, сволочь...

— Да, металла не жалеют.

— Вот и суйся к ним с фанерой.

— А сколько у него пулеметов?

— Два. И две пушки.

— И бомбы?

— И бомб две тонны.

— Две тонны?

Люся тянет меня за рукав.

— Идемте. Мне надоело на него смотреть. Поедем на Мамаев курган.

— Куда?

— На Мамаев курган. Оттуда весь Сталинград как на ладони. И Волга. И за Волгу далеко-далеко видно. Там хорошо. Честное слово.

Мы едем на Мамаев курган.

Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что малопривлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник.

Но вид отсюда действительно замечательный.

Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон.

Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками.

«Красный Октябрь», «Баррикады» и совсем далеко на горизонте корпуса Тракторного. Там свои поселки — белые, симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами коттеджи.

И за всем этим Волга — спокойная, гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые совсем уже дали, и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем.

Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд вниз. Он страшно длинный, на платформах у него что-то покрытое брезентом, — должно быть, танки. Короткотрубый, точно надувшийся паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести битюга.

— О чем вы думаете? — спрашивает Люся.

— О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.
— Юра... Как вы можете?
— А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.
— Неужели вам не надоело все это?
— Что «это»?
— Война, пулеметы...
— Смертельно надоело.
— Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же...
— Просто привычка. Я теперь и на луну смотрю с точки зрения ее выгоды и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что, когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.
— А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культах, трепанациях и прочих ужасах.
— Вы недавно работаете в госпитале — вот и все.
— Второй уж месяц.
— А я второй уж год. А военный год — это добрых три мирных. А то и пять.
Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза и ресницы такие, как у Седых, — длинные и загибающиеся кверху.
— А какой вы до войны были, Юра?
Ну что ей ответить? Такой же, как теперь, только немножко иной. Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и в третьем ряду партера сидеть, и сирень, и выпить с ребятами.
Некоторое время мы сидим и молча смотрим на противоположный берег.
— Красиво, правда? — говорит Люся.
— Красиво, — говорю я.
— Вы любите так сидеть и смотреть?
— Люблю.
— Вы в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?
— Сидели и смотрели.
— У вас там жена, в Киеве?
— Нет. Я не женат.
— А с кем же вы сидели?
— С Люсей сидел.
— С Люсей? Смотрите, как смешно, — тоже Люся.
— Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.
— А где она сейчас?
— Не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.
— А у вас есть ее карточка?
— Есть.
— Можно посмотреть?
Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохонькая любительская карточка на дневной бумаге, почти совсем выцветшая. Люся берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым, свежим мылом.
— А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?
— Нет, не замечал.
— А вы любите ее? Или только так?
— Мне кажется, что да. Во всяком случае — скучаю.
— Очень?
— Пожалуй, очень.
— Почему пожалуй?

— Ну, просто — очень.

Люся опускает глаза.

И вдруг вся краснеет. Даже уши, маленькие, с дырочками от серег уши ее, становятся красными.

Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пыхтящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки — бледные и робкие.

Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку — на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славненькая, Люся, и мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны и так же, может быть, буду с ними сидеть, а потом и они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена, и сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого.

И я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, по которому она, когда кончится война, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно, обязательно напишет.

Через час мы уходим. Люся молчит и крепко, двумя руками, держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая-то уютная и трогательная.

12

Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник — майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы — угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко — тоже из резерва.

Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. И это все.

На мою долю выпадает мясокомбинат, холодильник, четвертая мельница и хлебозавод. Игорю — пивзавод, другая мельница и завод «Метиз».

Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятильник.

Мы с Игорем захватываем две койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией Пенгаунис, должно быть латыш. Четвертый — Шапиро, располагается на стульях. Валега и Седых — в соседней комнате, на полу. Угрюмый капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит.

На заводах мнутя директора, разводят руками, говорят, что не из кого команды составлять — одни женщины остались. Рабочие косятся: чего это военные зачастили.

Разыгрываю пожарного специалиста — щупаю огнетушители.

На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках. На мясокомбинате — колбасой и охотничьими сосисками.

Дни стоят ясные, жаркие, ночи — душные.

Марья Кузьминична жалуется, что на базаре все дорожает и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки малоутешительны. Майкоп и Краснодар оставлены.

В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. Обросшие, бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют

документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие, глубокие ямы, — говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают «юнкеры», роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много.

В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное.

Где бои, тоже точно не знаем. В сводках расплывчатое «северо-восточнее Котельникова», «излучина Дона»... Говорят, Абганерово уже у немцев. Это шестьдесят пять километров отсюда. На базаре, основном центре распространения слухов, Марья Кузьминична слышала, что наши оставили Калач и отошли к Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками — «танки... авиация... что поделаешь...».

Приказа об эвакуации еще нет, но Люсины соседи, зубной врач с женой и двумя детьми, вчера выехали в Ленинск — «погостить к сестре».

А в оперетте — «Сильва», «Марица», «Роз-Мари». В буфетах, кроме волжской воды — пять копеек стакан, — пустота. На сцене цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры.

В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый ленивый удав дремлет в углу своего террария, на старой соломе.

В городской библиотеке, с балконом прямо на Волгу, симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воют в «фашистов» и в «наших». Девочки играют в классы, прыгая на одной ножке.

У Дома Красной Армии регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются «Известия» и «Сталинградская правда».

Так ползет август — душный, безоблачный, пыльный.

Как-то встречаю Калужского, в новенькой гимнастерке и в фуражке с малиновым околышем. Он устроился в одном из эвакогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей-богу, на фронте лучше... Кстати, если мне нужен сахар, он может мне уступить с десятка кило — все равно всего вывезти не удастся, придется сдавать фронту. Я знаю, что Валега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает на груженном доверху бараньими тушами «газике» куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту, авось есть что-нибудь «до востребования».

13

В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи, и я никак не могу больше заснуть. Игорь и те двое еще спят.

Встаю и иду на кухню. Седых готовит на примусе оладьи. Валега ковыряется в репродукторе, он давно мечтает о радио.

Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба.

На заводы сегодня не пойду, — схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается, до сих пор не составлены еще группы подрывников.

Сдергиваю с Игоря шинель.

— Вставай! Идем на Волгу купаться.

Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает. Моргает сонными глазами.

Седых вносит шипящие на сковородке оладьи.

— Сегодня утром сбили одного. — Он ставит сковородку на кирпич. — Сам видел. Сначала задымился, длинный такой черный хвост пустил, потом стал крениться — больше, больше и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали.

— В городе много зениток, — говорит Шапиро и слезает со своих стульев, батарей двадцать пять будет. Он очень любит цифры и всякие подсчеты.

— Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере семьсот пятьдесят снарядов.

— А сколько у немцев самолетов? — спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания.

— К началу войны было около десяти тысяч. Сейчас, вероятно, больше.

— Почему?

— Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает, по одному самолету в день — я беру невероятный минимум, — то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит...

— Ты купаться пойдешь? — перебивает Игорь.

— Нет. У меня чирей выскочил. Шестой чирей за этот месяц. И на самом неудобном месте.

Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая.

Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми, черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо-ажурные водные станции. И бесконечное количество лодок — байдарок, шлюпок, полутригеров, стройных гоночных скифов, дубков и плоскодонок, белоснежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце. Здесь не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, закопченные, озабоченные катера, простужено гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны здесь тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не бывал. А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными, скучными сараями обилие воды напоминает цех какого-то особенного, непохожего на другие, завода. Но все же это Волга. Можно часами лежать вот так, на животе, и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. И я лежу и смотрю, а Игорь что-то говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапиро со своими чирьями, Пенгаунис, каждый день стирающий и развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита.

Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт и на месте, где мы сейчас лежим, будут немцы, а там, в кудрявой зелени, на том берегу, — мы, и бомбы будут вздывать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспийскому морю.

Игорь с размаху хлопает меня между лопаток.

— Полезли в воду... Вон пароход плывет.

С разгону, оттолкнувшись ногами от толстого, скользкого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными, короткими взмахами — почти вся спина наружу — плывет он наперерез пароходу. Голова в воде. Только иногда из-под руки появляется, чтоб набрать воздуха. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо. Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать, быстро и ровно, как ножницы.

Пароход проходит — приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается, запыхавшись.

— Сердце что-то сдает. Старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то. — Он весь блестит и переливается от нефти. — Идем-ка лучше в библиотеку.

Я не возражаю. От лежания на бревнах болит спина. В библиотеке Игорь наслаждается «Аполлоном» за 1911 год. Я — какими-то новеллами перуанского происхождения в «Интернациональной литературе». Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то с усами и булавкой в галстуке. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Доре к Мюнхгаузену. У меня тоже когда-то была эта книга в красном с золотом переплете и такими же рисунками. Я мог ее раз по двадцать на день рассматривать. Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. И другая картинка — ворота разрезали коня пополам, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад.

Мы сидим до тех пор, пока библиотекарьша не намекает нам, что в шесть часов библиотека закрывается. У них теперь только одна смена, и они от двенадцати до шести работают.

— Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А «Аполлон» еще есть за тысяча девятьсот двенадцатый и тысяча девятьсот семнадцатый годы.

Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — все остыло.

У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простужено хрипит:

— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена...

Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой. Валега встречает нас насупленным взглядом исподлобья.

— Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем... — Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель.

Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки.

Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.

— Совсем как в ресторане, — смеется Игорь, — еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.

И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор...

Что за черт!

Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток.

Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться. Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять... двенадцать... пятнадцать... восемнадцать штук... Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло колесами вверх. Входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна... две... три... четыре... десять... двенадцать... Последняя белая и большая. Я закрываю глаза, вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как «певун» выходит из пике. Потом ничего нельзя уже разобрать.

Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза.

Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила. Кто-то сжимает мне руку, точно

тисками, выше локтя. Лицо Валеги остановившееся, точно при вспышке молнии. Белое, с круглыми глазами и открытым ртом. Исчезает.

Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего.

Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет.

Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то — скорей бы, скорей, что угодно, только скорей. Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил.

Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу.

У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться.

Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся, точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью.

— Кушать будете? — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.

Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю — буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу ядовито-фиолетовый.

— Ну ее... — машет рукой, — не лезет в глотку... — и выходит на балкон.

Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился.

Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.

Игорь возвращается с балкона:

— А где наш капитан живет?

Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет. Лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.

На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится.

Останавливаются, переключиваются, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам.

Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.

— Господи боже... Пресвятая богородица...

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.

На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздражающего уши вопля пожарных машин.

Люди бегут, бегут, бегут...

Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле.

Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома.

Пожарные разматывают шланги.

В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света.

— Идите домой... ждите.

Мы идем домой. Люди все бегут, бегут, бегут... Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф.

Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.

14

Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедем на Тракторный.

— На Тракторный? Зачем?

— Не знаю. Приказано.

— Кто приказал?

— Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.

— А что там делать?

— Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.

— И больше ничего?

— Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел.

— А так что слышно?

Капитан пожимает плечами — разве поймешь?..

Седых отзывает меня в сторону.

— Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?

— Я те схожу!

— Водка, говорят, есть.

— Ты слышал, что я тебе сказал?

— Слышал.

— Иди складывай свои манатки.

Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.

— Опять летят...

Тишина. Валег с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много.

— Надо в подвал идти, — дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным.

— Вы Самойленко? — Голос хриплый, задыхающийся.

— Я...

— Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей. Гудят уже.

Валег с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня.

— Давай на машину;.. Слыхал?

Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.

Я снимаю пилотку, чтоб ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расплзающийся кверху, как гриб, столб густого, черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.

Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город, полуголые, в шубах, закопченные.

Гольдштаб сидит в подвале. Народу — не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит, прищурившись, смотрит на нас, не узнает.

— Вы к кому?

— К вам. Саперы.

— Ага... Саперы. Чудесно! Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда.

Он говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами, сухонькие ручки.

— Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага, — он что-то ищет в карманах, не находит, машет рукой. — Метров пятьдесят — не больше. Стреляют по Тракторному из минометов. Десант. По-видимому, небольшой. наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие. — Смотрит на маленькие, изящные золотые часики-браслет. — Сейчас шесть пятнадцать. К восьми ноль-ноль завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть, армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсули — все есть. Нужно помочь. Свяжитесь с лейтенантом Большовым, — вы его там найдете, — в синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. В восемь ноль-ноль я буду там.

Он задумывается, прикусив губу.

— Ну ладно.

Вынимает из бокового кармана крохотный сафьяновый блокнотик с подоткнутым карандашиком. Записывает.

— Керженцев — ТЭЦ⁸⁷. Свидерский — литейный. Самойленко — сборочный цех и т. д. — кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. — Больше не задерживаю. вещи и шинели можете оставить пока здесь.

Едем дальше.

Большова находим довольно быстро — по синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка навывкате, иронические и умные. В углу рта окурочка. Руки в карманах.

— Помощники, да? — улыбается углом рта.

— Да. Помощники.

— Ну что ж, в добрый час. Часика б на два раньше — было б лучше. А сейчас... — он зевает и сплевывает окурочку, — основное уже сделано. Омметра нет?

— Нет. А что?

— Капсули не калиброваны. Вообще, если скажут сегодня, — навряд ли выйдет. Что, бомбит город?

— Бомбит. А почему не выйдет?

— Почему? — Большов лениво улыбается. — Взрывчатка дерьмовая. Тола кот заплакал. Остальное аммонит. Отсыревший, в грудках. Ну и капсули не калиброваны. Цепь проверять нечем. Омметра нет...

— А детонирующего шнура? — спрашивает Игорь.

— Обещают завтра дать. И омметр завтра. Все завтра. А взрывать сегодня.

— Сегодня?

— Говорят. Если не отгонят, то сегодня. Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек.

— Махорка есть?

Закуриваем. Мимо по широкой, обсаженной деревьями асфальтированной аллее проходят отряды рабочих. Несут пулеметы — танковые, снятые с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча.

Я спрашиваю:

— Где немцы?

— А вон за цехами. Там овраг. Мечетка или Нечетка, черт его знает. Шпарят из минометов. Штук десять танков. Даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно.

— А где наши объекты?

— А у вас что?

— ТЭЦ, — отвечаю я.

— ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там в конторе. Всю ночь работал.

Советую и вам вздремнуть.

Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги по полу.

Видно, бросился на диван и сразу заснул.

— Эй, друг!

Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться.

— Вас что, лейтенант прислал?

— Да. Большов.

— Принимать будете?

— Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано.

— Опять ознакомить? Тут один уже ознакомился. Капитан какой-то, Львович, кажется...

— А теперь я.

Сержант, потянувшись, встает.

— Ну что ж, пошли... — Ищет в кармане махорку. — Всю ночь мешки таскали, будь оно неладно. Спины не чувствуешь. Бумажные, сволочи, все рвутся.

— И много?

— Да с сотню будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется.

— Сеть готова?

— Готова. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали чертову гибель, а омметра нет. Электрик тут один мне помогал, говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только совывай и рубильник нажимай.

— А где подрывная станция?

Сержант машет в сторону окна.

— Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство. И капитан там. И электрик, вероятно. Мы обходим станцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов, под каждым заряд — три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной — метров триста от самой станции. Цепь длинная, километра два. Сделано аккуратно — концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой, по два капсуля на заряд. За ночь действительно сделано много.

Где-то, по ту сторону электростанции, слышно, как разрываются мины.

— По окраине бьет, — говорит сержант. — Из ротных все бьет. Чепуха. В щель пойдете?

— А где телефон?

— В щели. Все там. Вроде КП устроили.

15

В щели набито битком. Игорь, Седых, высокий курчавый брюнет в военной форме, с маленькими бачками, какие-то рабочие в спецовках, щуплый, чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой — инженер-электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович.

Все сидят и курят при свете «летучей мыши». Щель неплохая, обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы Н, с двумя входами.

— Что без омметра делать будем? — спрашиваю я. Георгий Акимович искоса поглядывает на меня.

— У нас мостик Уитстона есть.
— Что же вы молчите?
— Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова — главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе.
— Надо послать, значит.
— Посылали уже. Они, видите ли, на «Красный Октябрь» уехали. Три часа тому назад еще звонили, что едут. И вот все едут.
У Георгия Акимовича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст его трудно определить, — по-видимому, ему лет тридцать.
— Две ночи кряду не спишь, и толку никакого.
Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком.
— Вот позвонят сейчас по телефону — действуйте... А дальше что?
— Действовать, — отвечаю я.
— Рубильник включать? Да? Так, по-вашему? Большие, с темными веками глаза его сердито сверлят меня.
— По-моему, так.
— А рабочие на станции? Вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы вот по сих пор будет, — он рукой быстро проводит по горлу. — Вообще ни плана, ни организации.
— Георгий Акимович, — перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, и сгибает и разгибает какую-то проволочку.
— Что — Георгий Акимович? Нужно все-таки мало-мальски мозгами шевелить. На ТЭЦ сейчас шестьдесят человек работает. Куда им деваться, если это... если придется все-таки тар-рарах устроить. Куда? Врассыпную? Куда глаза глядят? Потом... Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот... Вообще... — Он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет папиросу. — Вот немец лупит сейчас из минометов, попал осколок в провод — и точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил — идиотство держать Уитстона в сейфе. Нет. Воров боятся. Единственный, видите ли, аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди у моря погоды.
Он делает несколько коротких, быстрых затяжек, тушит папиросу о стенку и встает.
— Может, приехал уже... По телефону никак не дозвонишься. Не коммутатор, а горе. Игорь тоже встает.
— Ко мне в литейный не ходим? А? Посмотришь.
Мы идем в литейный.
— Как тебе этот тип? — спрашивает Игорь.
— Как сказать, не завидую его жене. Чахотка плюс несварение желудка, должно быть. Впрочем, все, что он говорит, сущая правда.
— А меня раздражает.
— Ты неврастеником стал, ей-богу, — все раздражает. Шапиро раздражает, Пенгаунис подворотнички стирает — раздражает, этот тоже не угодил. Какого же тебе рожна надо?
— Не люблю ворчунов, что поделаешь. А этот уж такая экспансивность, что, того и гляди, полные штаны будут.
— Поживем — увидим. Надо вот Седых и Валегу на капсулях натренировать. Чтоб как часы втыкали и не боялись.
Седых улыбается.
— А чего там бояться. Я таких вот сазанов толком глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы знаете сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу — двумя руками не подымете. Я уже видал, тут челнок за забором лежит.

У входа в литейный группа рабочих окружила здорового парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, на повязке красные пятна.

— До института, сволочи, добрались. Тр-р, тр-р из автоматов... А у нас — винтовки.

Только ко входу подходим, а они из окон тр-р-р, тр-р-р... Хорошо КВ⁸⁸ подошел, ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне Мечетки.

Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа.

— Только один выстрел КВ дал. Во второй этаж угодил. Так и полетели камни. А фрицы с заднего хода — от дерева к дереву.

— А много их, фрицев-то? — спрашивает кто-то из толпы.

— На нас с тобой хватит. Дивизии две будет, а то и больше.

— А ты что, считал?

— Считал... — Парень презрительно плюет и встает, придерживая правой рукой левую. —

Пойди и посчитай. Там только арифметикой и заниматься, — машет он здоровой рукой. —

Где медпункт, хлопцы? С вами наговоришься.

На обратном пути опять встречаем раненых — старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из минометов. В атаку не идут.

Наши тоже. Паршиво, что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые

части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к оврагу, немного

постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют, боеприпасов, вероятно, нет. А в общем,

ничего — жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И, совсем по-

молодому подмигнув глазом, старик вместе с мальчиком идет искать медпункт. Прибитая к

фонарному столбу дощечка с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону

Волги. Когда мы шли в цех, ее не было.

В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый,

весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть

исправна.

— Видите, как стрелка роскошно прыгает? Не мостик, а сказка. Другого нет такого в

Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный

как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные?

— Хоть пруд пруди, — отвечает Ведерников, — сотни две или три.

Только-только заканчиваем калибровку — подбор капсулей с одинаковым

сопротивлением — и заменяем капсули на зарядах, как начинается обстрел. Длится около

часу. Через каждые две-три минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции.

Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не

мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале зияют дыры в потолке.

Стрелка прибора беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой.

— Закопать надо провод, от осколков житья не будет.

И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у

нас последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При

параллельном соединении порыв найти легче — цепь разбивается на участки, и каждый

участок можно проверять в отдельности.

Мы проходим по всему проводу, шупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках.

Георгий Акимович все время на него кричит, чтоб он был осторожней, — другого такого

теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро, с третьим возимся довольно долго, но и

его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой

раненое место.

До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаза с Уитстона, но все проходит благополучно порывов нет. Часов в восемь приезжает Гольдштаб. Привозит омметр. Это нам значительно облегчает поверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки со взрывчаткой надо будет перетащить из машинного зала в подвальные камеры, под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтоб обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем — быть готовым к ночи. Гольдштаб отводит меня и Львовича в сторону. Потирает руки.

— Помните, что после предварительной команды — более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович. Керженцев — за взрыв.

— Ясно. А очередность?

— Никакой очередности. И первая и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Львович, где. Будет моторка.

— Ясно.

— Все ясно?

— Все.

Гольдштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка пулеметы.

Рядом с дверью прямо к стенке прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него: один к аккумуляторам — их восемь, черных ящиков, закопанных в яму; другой к зарядам — восьмидесяти мешкам с аммонитом по три пуда каждый. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязана веревочкой, на всякий случай. А через час или два, а может, и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда... Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, метлахскими плитками. Ничего...

Сидим и курим. Валега штопает брюки. Седых с сержантом на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок.

В двенадцать звонит Гольдштаб — проверить сеть и не спать.

В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов — нет ли десятков двух лишних капсулей калиброванных. Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно.

— Ну, а вообще как, спокойно?

— Спокойно. А у вас?

— Как будто. За оврагом постреливают, а так ничего.

Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ. Возвращаемся. Садимся. Курим. Включаем мостик. Выключаем. Молчим.

В пять снова звонок. Можно ложиться спать. Говорит Гольдштаб.

Слава тебе Господи...

Ложимся прямо на голые нары, сдвинув пистолеты на живот.

Напрасно мы свои шинели у Гольдштаба оставили.

То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурства, ожидание звонка — и в пять часов можно спать. Атмосфера разряжается.

Дни проходят один за другим, ясные, голубые, с летающими паутинами.

Приказа все нет.

От города, по-видимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним непроходящее облако дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный, как копоть, дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть не щурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения.

Бои идут в южной части города, у элеватора, и в северной — на Мамаевом кургане.

В нашем овраге без перемен. Как-то ночью прошли две дивизии. Шли долго, беспрерывно, всю ночь напролет, батальон за батальоном. С артиллерией, обозами. Раза два немцы пытались перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная трескотня — обычно ночью, и Гольдштаб звонит: «Будьте готовы», — а утром все успокаивается, и мы ложимся спать.

Начинаем обживаться в своей щели. Проводим электричество, готовим еду на плитке, стены завешиваем великолепным ватманом из заводского техотдела. У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки: Одесский оперный театр и репродукция репинских «Запорожцев».

Седых привлекает откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова, «Ниву» за двенадцатый год.

По вечерам, усиленно слюнявя палец, читает. Морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит «тезоименитство», или «генерал от инфантерии», или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая детская физиономия, его чуть раскосые, смеющиеся глаза, брызжущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.

Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что, глядя на него, самому хочется мыться, отчаянно фыркая, брызгаясь на версту и шумно шлепая себя по плечам и животу. Скажешь ему — принеси немного дров, он притащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем он затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шеи. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур-де-бра и тур-де-тетты.

Любознателен Седых до смешного. Подсядет, обхватит руками колени и слушает, слегка приоткрыв рот, как дети сказку. Вопросы его неожиданны и по-детски наивны. Почему немцы не могут разгадать секрет «катюши», и почему компасная стрелка на север показывает, и правда ли, что у Рузвельта ноги не работают.

Вечером однажды идет разговор о героях и наградах... Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колено, — его любимая поза.

— А что нужно сделать, чтоб орден Ленина получить? — спрашивает он. Все смеются.

— Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше. Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе прилипший окурочок.

— Тогда все, — тихо говорит он.

— Что «все»?

— Будет у меня орден.

И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем-то уже совершившемся.

Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, каждый винтик, каждую щелочку, и я верю тому, что он сказал.

Валега ревнует меня к нему. Это видно по всему.

— У старшего лейтенанта Свидерского нет ординарца — иди к нему, — угрюмо говорит Валега и забирает у него из рук кружку, из которой он мне поливает.

Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега щупает, морщится: «Лейтенант не будут на такой дряни спать», — и приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку.

Но, в общем, живут дружно, варят вместе обед. Валега немного покрикивает, критикует недоваренную кашу. Седых весело смеется, передразнивает Валегу и называет его почему-то «шнапсом».

По вечерам Валега и Седых вяжут заряды. У нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими в ведрах осетрами и стерлядями.

Сержанта Ведерникова переводят куда-то в другой цех, и мы его больше не видим.

Шапиро и Пенгауниса тоже редко встречаем. Иногда заходит к нам Большов, и мы, подложив толстую «Ниву», режемся в «козла» или «двадцать одно». Георгий Акимович не выносит этого, хватает письма Чехова и демонстративно уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами.

Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он, не покладая рук и не жалея себя. Цепь проверяет и поправляет всегда сам, а рвется она у нас по три-четыре раза на день. Ворчит, ругается, кипит, обвиняет всех в безделье, но ТЭЦ свою и каждую машину, каждый винтик в ней обожает, как живое существо. Вообще в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью.

— Куда нам с немцами воевать, — говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины. — Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года. Игорь вспыхивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимовичем.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что воевать не умеем.

— А что такое уметь, Георгий Акимович?

— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь.

— Отойти от границы до Волги тоже надо уметь. — Георгий Акимович смеется мелким, сухим смешком. Игорь начинает злиться.

— Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали — и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни как перст.

— Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и двести миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены, давали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем. Это факт.

— Вот-вот-вот... — горячится Игорь. — Петены и давали. Именно петены и давали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?

Георгий Акимович улыбается уголком рта:

— Никакой.

— Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.

— Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие страны менее, чем мы, способны к сопротивлению, — разве от этого легче? Это называется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками.

— Наши танки не хуже немецких. Они лучше немецких. Один танкист мне говорил...

— Не спорю, не спорю. Возможно, что и лучше, я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожить десять посредственных. Как по-вашему?

— Подождите... будет и у нас много танков.

— Когда? Когда мы с вами на Урале уже будем? Игорь вскакивает как ужаленный.

— Кто будет на Урале? Я, вы, он? Да? Черта с два! И вы это сами прекрасно знаете. Вы это все так, из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить.

Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками.

— Чего вы злитесь? Сядьте. Ну, сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно. —

Игорь подсаживается. — Вот вы говорите, что и отступить надо уметь. Верно. Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас — это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, находящихся под сапогом у фашистов, мы недосчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?

— В силах... В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли, и все-таки отогнали...

— А я вот не уверен, что хуже. Донбасс, Ростов, Кубань, Майкоп, были наши. Сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать бакинская нефть? Вы скажете — Кузбасс, Урал весь. Верно. Это мощные промышленные узлы. Но до начала войны, кроме них, были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. И все-таки не сдержали. Часть заводов мы эвакуировали, но эвакуировать еще не значит пустить в ход. А тем временем, видите, что делается...

Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия «Ю-88». Медленно заворачивает и идет на другой заход.

— Они даже без истребителей ходят... Безнаказанно, сволочи, как у себя дома...

Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными, противными, такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий Акимович курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже с десятков окурков. Смотрит в одну точку, туда, где скрылись самолеты.

Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из-под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие.

И вдруг встает.

— Нет, не может этого быть. Не пойдут они дальше. Я знаю, что не пойдут. И уходит.

* * *

Не может быть... Это все, что пока мы можем сказать. Не может быть...

Был же когда-то семнадцатый год. И восемнадцатый и девятнадцатый. Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. «Максим» и трехдюймовка — это все. И выкрутились все-таки. И Днепрогэс потом построили. И Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать.

Георгий Акимович на это только улыбнется, я знаю. Снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавший не только нас, но и всех, что французские, английские и немецкие солдаты не хотели уже воевать. И еще что-нибудь в этом роде.

Он как-то сказал:

— Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками.

Чудо?..

Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днипро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве, под акациями. Мигали огоньки сигарок. И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев.

— Нет, Вась... Ты уж не говори... Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло, земля — жирная, настоящая. — Он даже причмокнул как-то по-особенному. — А хлеб взойдет-с головой закроет...

А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди неизвестность и почти неминуемая смерть.

Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул:

«Приготовиться к движению!» Все зашевелились, загремели котелками. И пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, красным крестиком.

Я долго стоял еще и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам солдат.

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, начинают прорасти, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.

Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть.

А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.

Я смотрю сейчас на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся пиджаке, он, скрючившись, сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него тонкие, бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. У него дома, вероятно, страшный беспорядок, дети его раздражают, и с женой он ругается. Он и до войны, вероятно, многое находил плохим, и все его раздражало.

А вот вчера на моих глазах около него разорвался снаряд. Шагах в двадцати, не больше, разорвался. Он только слегка наклонился и продолжал искать порыв. Обмотал поврежденное место и потом еще проверил весь провод на участке, вокруг места разрыва.

— Вы понимаете, — говорил он мне потом, — с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди с теодолитом. На моих глазах выросла ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть, вы его знаете, второй от окна. Я их знаю как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные, вам просто жалко завод — и все. А для меня...

Он не договорил и ушел к своему мостику.

Полтора месяца тому назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было. Были дороги, по которым ехали куда-то машины. И люди шли. Тоже куда-то...

Это было полтора месяца тому назад — в июле. Сейчас сентябрь. Мы уже десятый день на этом заводе. Десятый день немцы бомбят город. Бомбят, значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт. Значит, лучше сейчас, чем в июле.

Около ТЭЦ разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел. С трех до половины четвертого, с точностью хронометра. Через полчаса надо идти чинить сеть. Валега и Седых с котелками бегут за обедом.

17

Дня через два, рано утром, является в нашу щель Гольдштаб. С ним не менее десятка командиров.

Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлулоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающаяся в больших, аптекарского вида, бутылках грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед. — Ну, что ж, будем прощаться, — говорит Гольдштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышечкой. — Пришла ваша смена. Саперы двести семнадцатого АИБ⁸⁹.

— А нам куда?

— На ту сторону. В штаб фронта — инженерный отдел.

Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров.

С Георгием Акимовичем мы почему-то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба:

— Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: «Ну, кто был прав?» И я скажу: «Вы».

Он провожает нас до тропинки, сбегаящей по рыжим обрывам до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой.

Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой, запоминающийся след и скрылся, по-видимому, навсегда.

Потом мы сидим на левом берегу на опрокинутой разохшейся лодке и смотрим на дымящиеся трубы Тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И Шапиро рассказывает нам, что в июле завод выпускал по тридцать танков в сутки, а в августе даже до пятидесяти, сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин, и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то.

Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника — ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта.

Штабов и тылов так много, в каждой рощице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем не просто. Везде часовые, колючая проволока, таблички: «Прохода нет».

К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте — черный прямоугольничек с косою веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них, — она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее, — сидит майор в страшно толстых очках без оправы и целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживает.

— Замечательно! Просто замечательно! А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья...

Или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться.

89 Армейский инженерный батальон

Оказывается, только что перед нами — «вы не встретились?» — был капитан из инженерного отдела 62-й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться 184-я дивизия, а утром, во время бомбежки, вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор — сержанты вместо полковых инженеров. В резерве — ни души. Сколько уже с этим Тракторным возятся, два раза запрос делали.

— Короче говоря... вы, вероятно, голодны? Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне.

Поев рисовой каши с повидлом, заходим к майору. Он мелким, женским почерком, с изящно завивающимися хвостиками у «д», надписывает конверты.

— Кто из вас Керженцев?

— Я.

— Вам отдельно. В Сто восемьдесят четвертую. Советую поймать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете. — Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты.

— Постарайтесь увидеть дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее.

Остальные получают общее направление в штаб инженерных войск 62-й армии.

— Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда-то, кажется, перебрался. Но где-то в том же районе. Поищите.

— А в Сто восемьдесят четвертую больше не нужно саперов? — спрашивает Игорь. — Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя.

Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы.

— Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего, — и, почесав карандашом переносицу, добавляет: — Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в Сто восемьдесят четвертую направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из Шестьдесят второй представитель приедет за лопатами, вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками.

Мы уходим под осинки.

— Ты пешком пойдешь? — спрашивает Игорь.

— Дойду до регулировщика, а там посмотрю.

— Я тебя провожу.

Я прощаюсь с Шапиро, Пенгаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку.

— Мы еще встретимся, товарищ лейтенант.

— Обязательно, — нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод.

Через несколько минут он догоняет нас.

— Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить. А у меня хороший — двойной.

Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар, таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман, — в него добрых полфунта табаку войдет. Опять жмет руку. Потом Валеге, потом опять мне.

Мы молча доходим до регулировщика.

— Сто восемьдесят четвертая еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел, а так все машины, — говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими жидкими усами и большими торчащими запыленными ушами.

Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это — от

заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные, как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную, длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она такая — спокойная и неподвижная над горящим городом.

А кругом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины. Останавливаются, спрашивают, как проехать на 62-ю переправу или хутор Рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград — 6 км» указывает прямо в небо.

— Дорога в рай, — мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал. Подходит регулировщик:

— Во-он журавли полетели, — и тычет грязным, корявым пальцем в небо. Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры?

Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым, в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли.

— Совсем как «юнkersы», — говорит регулировщик и сплевывает, — даже смотреть противно.

Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеемся.

— Что, туда или оттуда? — спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить.

— Туда.

Он качает головой и делает несколько затяжек:

— Да... Невесело там, что и говорить... — и отходит. Проходят раненные. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает — нет ли выпить. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь, и сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди.

— Ну, а как там, на передовой?

— Паршиво, — равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его, серых, как и весь он, кроме страшной, смертельной усталости, ничего нет.

— Здорово жмет?

— Куда там, головы не подымешь.

Он хочет встать, но закашливается, и на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то хлюпает.

— Народу мало... Вот что погано...

— А в городе кто? Они или мы?

— А кто его знает, где там город... Горит все... Бомбит с утра вот до сих пор... Дай-ка еще глотнуть, сынок.

Он вяло, будто нехотя, прижимается губами к горлышку фляжки, и из углов рта его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку.

К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю Валегу узнать — не из нужной ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод.

Возвращается.

— Говорят, Сто восемьдесят четвертая напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов. Всадники скачут дальше, поднимая облако пыли.

— Ну, что ж, я пойду, — говорит Игорь.

— Ну, что ж, иди, — отвечаю я и протягиваю руку. Кажется, надо еще что-то сказать, но у нас не получается.

— Я не прощаюсь, — говорит Игорь.

— Я тоже.

Мы трясем друг другу руки.

— Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько.

— Обязательно... Как же.

— Ну, я пошел.

— Всего, Игорек.

— Да... У меня твой нож перочинный, кажется, остался.

— Разве?

— Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали. — Он шарит по карманам. — Вот он, за подкладку завалился.

Игорь протягивает нож — Валегин трофей, золингеневский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов.

— Ну, теперь все. Будь здоров.

— Будь здоров.

И он уходит своей обычной, непринужденно-ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы.

Неужели я и с ним уже никогда не увижусь?

18

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. Людей больше всего ругающихся, сталкивающихся, отнимающих друг у друга что-то. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут катера. Ругают его. Уже давно должен быть, и все нет.

Грузятся сразу две дивизии-184-я и еще какая-то, 29-я, кажется.

И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера, или командира дивизии, или начальника штаба, вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет: и пушки все надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще какого черта вы сейчас лезете, когда видите, что делается.

Я нахожу инженера, но не того, командира полка, но тоже не того.

Кто-то дергает меня за рукав.

— Слушай, друг, фонарика нет?

— Есть.

— Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте увидишь...

Я различаю только массивную фигуру в телогрейке с болтающимся на груди автоматом.

— Давай под лодку залезем. Две минуты только... Ей-богу.

Под лодкой тесно и пахнет гнилым деревом. Я зажигаю фонарик. Горит он тускло — батарея кончается. У человека, оказывается, крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке шпала. С трудом вытягивает из лопающейся от бумаг перетянутой резинкой планшетки карту.

— Вот иди разбери, — тычет он грязным ногтем в красный неровный треугольник на карте. — Карта называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь! — и он длинно и заковыристо ругается. — Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее — дивизионное. Ни ориентира тебе, ничего.

Я спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147-го полка 184-й дивизии.

— Не у вас сегодня инженера убило?

— У нас. Цыгейка. А что?

— Я на его место прислан.

— Ну!.. — крупнолицый капитан даже удивился. — Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит. Мы вылезаем из-под лодки.

— Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин.

Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.

Город горит. Даже не город, а весь берег на всем охватываемом глазом расстоянии. Трудно даже сказать — пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», — мелькает в голове.

Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя — могучие протуберанцы отрываются и теряются в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.

В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, зато были изумительные картинки — большие, на целую страницу: английские томми в окопах, атаки, морские сражения с пенящимися волнами и таранящими друг друга миноносцами, смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.

Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Одним словом, это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, маленькими мелками и развешивал потом эти картинки по стенам.

Мне казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.

Сейчас мне вспоминается эта картинка. Она не плохо была исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма, и мне вдруг становится совершенно ясно, как бессильно, беспомощно искусство. Никакими клубами дыма, никакими лижущими небо языками пламени и зловещими отсветами не передашь того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом. На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.

Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Мы видели машины — восемь штук, — когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.

Кто-то рядом со мной плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.

— Ты мерина успел подковать? — спрашивает кто-то.

— Успел. А ты?

— Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается. Приходит комбат. Тяжело дышит

— Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. — Он громко сморкается. — Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом Двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.

Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.

— Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там...

Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль-ноль закончить переправу; а к четырем ноль-ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе «Метиз» — Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию — сорока пяти и семидесяти шести, приданную батальону, — к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.

— Хорошо, — говорю я, — дашь мне две роты и петезровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по сколько человек в роте?

— Человек по сто.

— Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.

— Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.

И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.

Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтобы его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем. Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин. Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания, все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно.

Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше, чего-то неопределенного за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.

— Большой он все-таки, — говорит кто-то за моей спиной, — как Москва.

— Не большой, а длинный, — поправляет чей-то мальчишеский голос, пятьдесят километров в длину. Я был до войны.

— Пятьдесят?

— Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного. Ого!

— Что «ого»?

— Войск много надо, чтоб удержать. Дивизий десять. А то и пятнадцать.

— А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают.

Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу. Где-то над нами пролетают со свистом мины. Ударяются позади в воду.

— Не нравится фрицу, что едем, в Волгу спихнуть хочет.

Мальчишеский голос смеется:

— А чего же ему хотеть? Конечно, спихнуть. Рус бульбуль, — и опять смеется.

— Фрицу многое чего хочется, — вступает кто-то третий, по-видимому, пожилой, судя по голосу, — а нам никак уже дальше нельзя... До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше...

Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели.

— Правильно, папаша. Вот это по-нашему, по-моряцки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная... Правда?

И все смеются.

Я стараюсь повернуть голову. Это очень трудно, — я сжат со всех сторон. Скошенным глазом вижу только белесые пятна лиц и чье-то ухо. Мы подъезжаем к берегу.

19

Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную.

На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые — молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу.

Берег у реки плоский, песчаный. Дальше — высокий, почти вертикальный обрыв. И над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель.

Комбат — оказывается, его фамилия Клишенцов — кричит на кого-то, не так повернувшего пушку:

— Ну, чего ты ее лафетом вперед тычешь. Мозги, что ли, не варят, телячья голова...

Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клишенцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип.

— Бери четвертую и пятую и двигай! А я пушки сгружу. И сразу за вами... Свяznego только пришлешь, чтоб зря не шататься. Сидорко такой у меня есть. Все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты. — И, притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо: — Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти. Они где-то там... В бой без меня не впутывайся, — сует мне в руку фляжку. — На, подкрепись на дорогу.

Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри.

Командиры собирают людей. Один долговязый, сутулый, в короткой по колено шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов «видите ли», «собственно говоря», «я склонен думать». Другой, Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует.

Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Иногда приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, придерживая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около сорока километров.

Навстречу — вереницы раненых, по двое, по трое или в одиночку, опираясь на винтовки. Спрашивают, где переправа.

Пули свистят над самой головой. Шлепают в воду. Трассирующие высоко подпрыгивают и гаснут, в воздухе.

— Где немцы? — спрашивают бойцы у встречных. Те неопределенно машут в ту сторону, куда мы идем.

— Недалеко... Ближе, чем до дому...

Проходим мимо белой постройки, должно быть водокачки; от нее тянутся трубы. Потом дорога подымается вверх. По ней на руках тащат вниз пушку.

— Куда? — спрашиваю. Никто не отвечает.

— Куда пушку тащите?

— А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять.

Я вынимаю пистолет.

— Поворачивай назад...

— Куда?

Кто-то в расстегнутой шинели, в съехавшей на затылок пилотке толкает меня в грудь.

— Видали мы таких... Герой! Не обращай внимания, Кацура! Тащи!

Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха и что-то сжимает горло.

Пули ударяют уже по самому берегу.

Наверху дороги, — отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки, — появляются несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз.

Кто-то задевает меня плечом и чертыхается.

Я поворачиваюсь и ударяю с размаху в белое, прыгающее передо мной лицо.

— Назад!.. — кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит, и бегу вверх по дороге.

Немцы оказываются сразу же за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего. Строчит наш пулемет откуда-то справа, из-под колес.

Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу — он приятный и холодный, — стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям — улица. Мощеная, страшно прямая. Налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов с рваными краями. Точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой.

Немцы, по-видимому, сидят в баках — красные, белые, зеленые точки несутся отсюда.

Цокают по цистернам.

Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по-видимому, два, и, по-моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева прямо в баки. Мне — по дороге — в обход баков справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки.

Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону.

Несколько пуль щелкает в цистерну, над самой головой. Тонкая, изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета. Освещает баки, сараи, каменную стенку. Неестественно пляшут тени, укорачиваясь и удлиняясь. Ракета падает где-то за нами, слышно, как шипит.

Пора... Я закладываю пальцы в рот, — свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом.

Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат. Трещат автоматы. Бьют по колену засунутые в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развевающимися ленточками бескозырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и я вижу только ленточки. Они страшно длинные, — вероятно, до пояса.

Я тоже что-то кричу. Кажется, просто «а-а-а». Бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе — от автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок.

Опять появляются баки, но другие — поменьше, с трубами, извивающимися как змеи.

Труб много, и через них надо прыгать.

За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают.

Вместо них серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать, и почему-то болят челюсти.

Немцев больше не видно.

Впереди белые с железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше...

Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса.

Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся.

В пазу что-то застряло.

— Перебило автомат... Возьмите этот...

Это, кажется, Валега, но у меня нет времени оборачиваться.

Сквозь сетку — я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой — опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам, и это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями. Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться.

— Селедку, что ли, ели, товарищ лейтенант? — говорит кто-то, придерживающий фляжку, чубатый, в тельняшке и матросской бескозырке, маленькой и мятой.

Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же, набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затылка за затылком, докуривает бычок. Плюет на него и вдавливая в землю.

Впереди двор — асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ними свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блокпоста с балкончиком. Сзади тоже двор — пустой и большой.

Место дрянное: ни окопаться, ни укрыться — один низенький каменный заборчик.

Надо захватить будку и железо, это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсюли в круглые с крупными насечками гранаты.

— Во... правильно, — подмигивает он черным сощуренным глазом. — Я эту будку знаю. Мировая будка. И подвальчик что надо!

— Ты был там?

— Всю ночь просидели. Пока фриц не выгнал.

С вечера еще пришли. Разведка. КП искали.

Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс. Фарбер подает знак, что у него все готово.

Несколько позже — Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева.

Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали.

Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте, — одна нога отставлена, другая согнута, — уголком глаза, напряженного, немигающего, смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото, кажется, имя.

Я даю сигнал.

Что-то мелькает — темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка.

Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, и двор абсолютно гладкий.

И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки. Исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют. Потом перестают. Видно, как они бегут за будкой. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям.

Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Валега. И чья-то пилотка на сером асфальте.

Перелезаем через сетку. Согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно.

Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца.

— Ты что делаешь?

Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом, смуглом лице удивленно смотрят на меня.

— Как что?.. Трофеи беру...

Он засовывает что-то в карман, торопливо, путаясь в цепочке. По-видимому, часы.

— Шагом марш отсюда, чтоб духу твоего не было! Кто-то толкает меня в плечо.

— Да это же мой разведчик, лейтенант. Потихонечко.

Я оборачиваюсь. С сигарой во рту, парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из-под челки.

— А ты кто?

— Я? — Глаза его еще больше суживаются, и на шершавых загорелых щеках прыгают желвачки. — Командир пешей разведки — Чумак.

Каким-то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта.

— Сейчас же прекрати этот кабак. Понятно? Я говорю медленно и неестественно спокойно.

— Собери своих людей, расставь посты. Через пятнадцать минут придешь и доложишь. Ясно?

— А вы кто такой, что приказываете?

— Ты слышал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу.

Он ничего не отвечает. Смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь взад и вперед.

Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет.

«Цвик-цвик...» Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног. Ударилась о что-то твердое.

Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его чуть вздрагивают, и в глазах светится насмешка.

— Не понравилось, лейтенант, а?

И ленивым, привычным движением сдвинул крохотную бескозырку свою с затылка на самые глаза, он медленно, не торопясь поворачивается и уходит, слегка покачиваясь. Зад у него плотно обтянут и слегка оттопырен.

Двое бойцов тащат по траншее пулемет. Траншея узкая, и пулемет с трудом продвигается.

— Какого черта вы здесь возитесь, дорогу только загромождаете! — кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только глазами моргают.

Чтобы меня пропустить, они встают и жмутся к стенке.

— Ну чего стали? Тащите дальше.

Они оба сразу хватаются за станину и стараются протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него и иду по траншее.

— Точно с цепи сорвался... — доносится до меня голос одного из них.

Я сворачиваю вправо. Бойцы уже копаются в земле. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет, — он почему-то скатывается.

Петров еще очень молод. Недавно, по-видимому, из училища. Тоненькая шейка.

Широченные, болтающиеся на ногах сапоги.

— Ну как, по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант? — спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик. Смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами.

— Ладно, сойдет.

— А второй у меня там, за тем заворотом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно. Мы идем туда. Оттуда действительно хорошо видно. Немцы сидят за насыпью. Иногда мелькают каски.

Присев на корточки, я пишу донесение. Четвертая и пятая роты и взвод пеших разведчиков заняли оборону по западной окраине завода «Метиз». Людей столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преуменьшаю, хотя так или иначе рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудно.

Сидорко, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцов, юркий, раскосый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку.

Откуда-то появляются танки. Шесть штук. Ползут справа. Из-за насыпи. Там, кажется, мост есть — от нас не видно. А у нас только четыре противотанковых ружья и десятка два

гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять удрали... Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки...

Рядом со мной загорелый бронбойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усиками. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой, гладкой спиной. В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленями, чертыхаются. Танки идут прямо на нас...

Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается.

Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади. Вероятно, болванки, разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака, резкий и гортанный. Кричит какому-то Ванюшке, чтоб гранат ему дали противотанковых. — В подвале, в углу, где чайник стоит...

Один танк перебирается все-таки через железо. Лязгает гусеницами. Переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный, противный крест. Полуголый бронбойщик целится, расставив ноги и упершись задом в стенку траншеи. Пилотка свалилась, и на бритой голове белый, как спина его, незагоревший кружок.

Подобьет или не подобьет?

Крест все приближается...

Кто-то кричит мне в самое ухо. Ничего не могу разобрать.

— Что такое?

— Немцы обходят слева. Пехота их левой паровоза пошла...

Почему же пулеметы молчат? Ведь там два пулемета.

Я бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента.

— Почему второй пулемет молчит? Голубые детские глаза готовы заплакать.

— Ей-богу, не знаю. Пять минут тому назад...

— Гранаты! Давай гранаты!

Пули свистят над самой головой.

Я бросаю гранаты одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. Дергаю за шнурок и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов. Кричат...

Почему пулемет не работает?

— А-а-а-а-а...

Что-то валится на меня... Я отскакиваю, с размаху ударяю гранатой... Больше у меня ничего нет в руках. Что-то грузно оседает на дно траншеи. Я бросаю еще четыре гранаты. Это последние — больше нет. Где автомат, черт возьми?

Хочу выдернуть из кобуры пистолет, ремешок зацепился. Никак не вылезает... Черт!

И вдруг... тишина...

У ног моих кто-то в серой шинели, уткнувшись лицом в угол траншеи. Перед окопами никого. Пусто. Неужели отбили?

Я бегу по траншее назад. Бойцы щелкают затворами. Все как было. Петров у пулемета.

— Все в порядке, товарищ лейтенант. Работает. Голубые глаза смеются весело, по-детски.

— Видали, как отсекли? Сразу побежали. Повернувшись к пулемету, он дает очередь. Худенькая шейка его трясется. Какая она тоненькая и жалкая! И глубокая впадина сзади. И воротник широк. Шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот, вероятно, еще недавно стоял он у доски и моргал добрыми, голубыми глазами, не зная, что ответить учителю.

— А почему тот не работал? Он, по-моему, к вам тоже имеет кое-какое отношение.

Голубые глаза смущенно опускаются вниз.

— Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант.

Он подымается, опираясь на ствол пулемета. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками.

— Мне кажется...

Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел что-то необычайно интересное, и весь он медленно, как-то боком, садится на дно.

Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями. Его оттаскивают. Беспомощно подпрыгивают по земле ноги — тоненькие, в больших болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. И шея у него толстая и красная. Командиром роты назначаю политрука. Иду к белой будке. Немцы молчат. По-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншее волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. Двое бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки с загорелыми, точно в перчатках, кистями волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается. На макушке белый, как тубетейка, кружок от пилотки. Бронебойщик — тот самый. Тоже кладут в щель на кого-то в замазанных кровью штанах и с выглядывающей из-за обмотки алюминиевой ложкой. Я не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем. Потом снова... Так длится до обеда. Двадцать — тридцать минут отдыха — перекур, набивка патронов, кусок хлеба за щеку — и опять. Опять серые фигуры, крик, трескотня, неразбериха. Один раз «Хейнкели» высоко, из поднебесья, — мы даже их не замечаем, бомбят нас. Но бомбы падают на немцев. Бойцы смеются. Сидорко все еще нет. И двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. С вышки хорошо видно, как стелется белое облако над берегом. После обеда откуда-то начинает стрелять наша артиллерия. Бьет по насыпи. Несколько шальных снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются. Танков не пускают. Тот, с крестом, так и застрял на железе подбили. Одолевают минометы. У нас много убитых и раненых. Легких отправляем на берег. Тяжелых переносим в подвал будки, просторный, с железобетонным перекрытием. Часам к девяти немцы выдыхаются. В десять все успокаивается. Изредка только пулеметы пофыркивают.

20

В подвале невыносимо накурено. Дым стелется пластами. Коптит фитиль в тарелочке. Раненые — ими забит весь подвал — просят воды. А воды нет. Приходится с Волги носить, а по дороге все распивают. Валега дает кусок хлеба и сала. Ем без всякого аппетита. Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный. Садится на стол. На меня не смотрит. Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости. Ниже локтя маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, по-видимому, цела, кисть работает. Маруся — санинструктор, румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками — перевязывает рану. Разведчики сегодня подбили два танка. Один — Чумак, другой — тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас стычка произошла. Я спрашиваю Чумака, почему он ни о чем не докладывает. — А о чем докладывать? — О сегодняшнем дне. О потерях. Существует в армии такой порядок докладывать после боя. Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника, спина. — День, сами видали, солнечный, а потери — ну какие же потери? Бескозырку потерял, вот и все. Будут еще вопросы? — Будут. Только не здесь. Выйдем на минутку. — А там пули. Убить может. Я проглатываю пилюлю и направляюсь к выходу. Он тоже. Прислонившись плечом к косяку двери, жует папиросу.

— Знаете что, товарищ лейтенант? Давайте по-мирному. Не трогайте разведчиков. Ей-богу, лучше будет.

— Лучше или хуже, другой вопрос. Сколько у вас людей?

— Двадцать четыре. Как было, так и осталось. А разведчиков, советую...

— Танк кто подбил?

— А кто бы ни подбил, не все ли равно?

— Вы подбили?

— Ну, я... Не вы же...

— Расскажите, как вы его подбили.

— Ей-богу, спать охота. После войны о танках поговорим.

— Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата.

— А я откуда знаю?

— Вот я вам и говорю.

— Комбат — Клишенцов. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки.

— Их сейчас нет, поэтому вы подчиняться должны мне. Я заместитель командира полка по инженерной части.

Чумак искоса смотрит на меня своим острым глазом.

— Вместо Цыгейкина, что ли?

— Да, вместо Цыгейкина.

Пауза. Плевков через губу.

— Что ж... Мы с саперами обычно душа в душу.

— Надеюсь, что и впредь так будет.

— Надеюсь.

— А теперь расскажите о танках. Как фамилия того второго, который подбил?

— Корф.

— Рядовой?

— Рядовой.

— Это его первый танк?

— Нет, четвертый. Первые три у Касторной.

— Награжден?

— Нет.

— Почему?

— А хрен его знает почему. Материал подавали...

— Через час дадите мне новый материал. О нем. И о других тоже. Ясно?

На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах.

— Разрешите идти, товарищ заместитель командира полка по инженерной части?

Я ничего не отвечаю и спускаюсь вниз. Все тело ломит. Режет глаза. Вероятно, от дыма — страшно все-таки накурено.

Составляю донесение. Рядом, положив голову на руки, спит Фарбер. Он забежал на минутку за табаком и доложить о потерях. И так и заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной сигаркой в руке. В углу кто-то тихо разговаривает, попыхивая папиросой. Доносятся только отдельные фразы.

— А у меня как раз заело. Каблуком пришлось отбивать. Потом у Павленко прошу патронов. А он лежит, уткнувшись лицом в землю, и серое что-то течет...

Потом вдруг появляется Игорь. Стоит передо мной и смеется. И усики его не маленькие, черненькие, а, как у того бронейщика, залихватски закрученные у углов рта. Я спрашиваю, как он сюда попал. Он ничего не отвечает и только смеется. И на груди у него синий орел с женщиной в когтях. Прямо на гимнастерке. И у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастерки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет.

— Лейтенант... А лейтенант...

Я открываю глаза.

Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой, костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное, усталое лицо. Немного слишком холодные глаза.

— Проснись, лейтенант, волосы сожжешь. Тарелка с фитилем у самой моей головы невыносимо коптит.

— Что вам надо?

Человек с серыми глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол.

— Моя фамилия Абросимов. Я начальник штаба полка.

Я встаю.

— Сидите, — переходит он вдруг на «вы». — Вы лейтенант Керженцев? Новый инженер вместо Цыгейкина, так я понял из вашего донесения?

— Да.

Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время, не мигая, смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он так же, как и мы, смертельно устал.

Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно, не перебивая, ковыряя ногтем доску стола.

— Петрова, говорите, значит, убило?

— Да. Снайпер, должно быть. Прямо в лоб.

— Так-с... — Нижними зубами он покусывает верхнюю губу.

— Потери вообще довольно значительные. Убитых двадцать пять. Раненых около полусотни. Один пулемет вышел из строя. Осколком ствол перебило.

— А соседи кто?

— Слева второй батальон нашего же полка. Справа же...

Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти.

— Справа сорок пятый, товарищ капитан, — вставляет Чумак. Он стоит тут же рядом, засунув руки в карманы. — От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли.

— Сорок пятый... — задумчиво говорит Абросимов и встает. Застегивает телогрейку.

— Ну что ж, Керженцев. Пройдемся по обороне, а потом, потом придется тебе батальон принимать.

Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня. Застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли.

— Клищенцова — комбата — убило. Бомбой. Прямое попадание. Придется временно покомандовать батальоном. Ничего не поделаешь...

И, повернувшись в сторону Чумака:

— Химику ногу оторвало. На ту сторону повезли. Ну, пошли, инженер. Или комбат, вернее.

Только когда мы выходим, я замечаю, что в углу копошатся связисты, двое, с желтенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках.

Подымаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Хороший стрелок. На моих глазах четверых убил. Он из-под Костромы, и дома у него жена ожидает ребенка.

На дворе прохладно. Я вдыхаю полной грудью свежий ночной воздух. Небо чистое и звездное. Большая Медведица над Мамаевым курганом — косая и яркая. Где-то над головой однообразно, как мотоцикл, тарахтит «кукурузник». Точно на месте топчется.

Присмотревшись, различаю силуэт. Он летит к Мамаеву кургану. Справа, вероятно над «Красным Октябрем», висят ракеты, около десятка, осыпающиеся золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина.

Идем по траншее. Закутанные в шинели фигуры. Винтовки на брустверах. «Кукурузник» бомбит уже где-то за Мамаевым курганом, — видны вспышки. Щупают небо немецкие прожекторы. Подбитые танки — три штуки все-таки подожгли за день — все еще горят, и противный, едкий дым стелется над нашими окопами. Ветер в нашу сторону.

Я прощаюсь с капитаном на самом нашем левом фланге, у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон.

— Ну, смотри, комбат, не подкачай. Завтра опять «сабантуй»... А патронов пришлем. И к утру уже пушки будут. С ними все-таки веселей.

И уходит вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там, кажется, КП соседа.

Некоторое время видно еще, как они перепрыгивают через железо. Потом скрываются. Прислонившись к брустверу, смотрю в сторону немцев. Там тихо и темно. В одном только месте что-то вроде огонька. Вспыхивает и гаснет. Неосторожный наблюдатель, должно быть. Курит. А может, так, тлеет что-нибудь.

До чего тихо.

А завтра опять «сабантуй». Самолеты, крик, трескотня.

Сегодня сдержали все-таки. Только в одном месте потеснили нас немцы. У Фарбера. На самом правом фланге. Метров на сорок. Придется перекинуть туда горбоносого лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли, его фамилия. Боевой как будто парень. Мне он сегодня понравился. А часика в три — контратакуем...

Я иду в подвал.

У будки уже другой часовой — маленький, в волочащейся по земле плащ-палатке. Его я не знаю.

Бранятся в телефон связисты:

— Мрамор! Я — Гранит. Как слышишь? Мрамор, Мрамор! Сукин сын, опять прикуривать пошел. Мрамор, Мрамор, ядри твою бабушку...

Желтеет солома в углу. Валега, конечно, позаботился. Завалюсь сейчас. Два часа, целых два часа буду спать. Как убитый.

— В два разбудишь, Валега. В четверть третьего.

Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнущий потом живот, я уже сплю.

Часть вторая

1

За всю свою жизнь не припомню я такой осени. Прошел сентябрь-ясно-голубой, по-майскому теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе, курлыча, пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов артиллерии, затянутый предрассветным прозрачным туманом, беззаботно спокойный и широкий, с еле-еле прорисовывающимися только полосками дальних лесов, он нежен, как акварель.

Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время держится еще застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе.

И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая, и, наконец, все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады.

Так начинается день. А с ним...

Ровно в семь, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется «рама».

Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго, старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором и медленно, точно фантастическая двуххвостая рыба, уплывает к себе на запад.

Это вступление.

За ним — «певуны». «Певуны», или «музыканты» — по-нашему, «штукас» по-немецки, красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. Бочком как-то, косою цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе среди ватных разрывов зенитных снарядов.

Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезает мы из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определит весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня земля будет дрожать, как студень, где солнца не будет видно из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут хоронить убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки взамен исчезнувших, стертых с лица земли.

Когда цепочка проплывает над нашей головой, мы облегченно вздыхаем, скидываем рубашки и поливаем друг другу воду на руки из котелков.

Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы — Господи боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов! — и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из «певунов» тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один, а может, даже и не сбросит, а только кулаком помашет.

И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Или нас, или соседей. Если не соседей, так нас. Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят.

Время от времени прилетают тяжелые «юнкерсы» и «Хейнкели». Их отличают по крыльям и моторам. У «Хейнкелей» крылья закругляющиеся, у «юнкерсов» обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок.

Плывут высоко, углом вперед, и бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, вразной, не снисходя до пикировки. Поэтому мы их не любим — эти тяжелые «юнкерсы»: никогда не знаешь, куда уронят бомбы. И залетают всегда со стороны солнца, чтоб глаза слепить.

Целый день звенят в воздухе «Мессеры», парочками рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки, по две из-под каждого крыла, или длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками, противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувырдается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье — две половинки, совсем как корыто.

По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши «Илюши» — штурмовики, и почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. «Мессеры» долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета.

Задравши до боли в позвоночнике головы, мы следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы — маленькие черненькие самолеты вертятся как сумасшедшие высоко в поднебесье — иди разбери. Один Валега никогда не ошибается, глаз у него острый, охотничий — на любой высоте «миг» от «Мессера» отличит.

А дни стоят один другого лучше, голубые, безоблачные, самые что ни на есть летные. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные, ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоти, тучах, дожде, об осеннем хмуром небе. Но за весь сентябрь и октябрь мы только один раз видали тучу. О ней много говорили, подняв кверху обслоненный палец, гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной, и следующий день по-прежнему был ясный, солнечный, жужжащий самолетами.

Один только раз, в начале октября, немцы дали нам отдых — два дня: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме «Мессеров», самолетов не было. В эти два дня купали в корытах бойцов и меняли белье. Потом опять началось.

Немцы рвутся к Волге. Пьяные, осатанелые, в пилотках набекрень, с засученными рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы — не то «Викинг», не то «Мертвая голова», не то что-то еще более страшное. Кричат как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут.

Дважды они чуть не выгоняют нас из «Метиза», но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода, и это нас спасает.

Так длится... кто его знает сколько... пять, шесть, семь, а может быть, и восемь дней.

И вдруг — стоп... Тишина. Перекинулись правее — на «Красный Октябрь». Долбят его с воздуха и с земли. А мы смотрим, высунув головы из щелей. Только щепки летят. А щепки — это десятитонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Третий день не проходит оранжево-золотистое облако пыли над заводом. Когда дует северный ветер, все это облако наваливается на нас, и тогда мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины сыны, могут ударить под шумок.

Но в общем спокойно, только минометы работают да наша артиллерия с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем немцев, войну, авиацию и тех, кто ее придумал. «Посадил бы я этих изобретателей Райтов в соседнюю щель — интересно, что бы запели». Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на «Красном Октябре». Позавчера их было шесть, вчера три, сегодня осталась одна — продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе и не падает назло всем...

Так проходит сентябрь.

Идет октябрь.

2

Меня вызывают из «Мрамора» по телефону к «тридцать первому» — командиру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал.

Я знаю только, что у него густой, низкий голос и немцев он почему-то называет турками. «Держись, Керженцев, держись, — гудит он в телефон, — не давай туркам завод, понатужься, но не давай». И я тужусь изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь, — с каждым днем людей становится все меньше и меньше.

Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем. Даже сапоги снимаем на ночь. Надолго ли только?

Впрочем, чего гадать! Захватив Валегу, иду на берег.

Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно-отеческого вида. В одном сапоге и калоше на другой ноге, пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях.

Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает большую мягкую руку.

— Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой; косая сажень. — Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. — Чаю хочешь?

Я соглашаюсь, давно не пил настоящего чая.

Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом:

— Видишь, как живем. Не то что вы на передовой. Лимончиком встречаем.

Некоторое время мы молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный оставшийся кусочек сахара и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола крошки.

— Ну, так как же у тебя там? А, комбат?

— Да ничего, товарищ майор, держимся пока.

— Пока?

— Пока.

— И долго, ты думаешь, это «пока» протянется?

В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая.

— Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться.

— Думаю, пока... Это нехорошие слова. Не военные. Про птицу знаешь, которая думала много?

— Про индюка, что ли?

— Вот именно, про индюка. — Он смеется уголком глаза. — Куришь? Кури. Хороший. «Гвардейский», что ли, называется.

Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головой красные самолеты.

— Так, что ли, в атаку ходите? А?

— А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор. Майор улыбается, потом лицо его становится вдруг серьезным и мягкие, немного вялые губы жесткими и резкими.

— Штыков сколько у тебя?

— Тридцать шесть.

— Это активных?

— Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хоззвод на берегу, человек шесть на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики. Человек семьдесят всего будет.

— Тридцать шесть и семьдесят. Ловко получается. Половинка на половинку. Нехорошо.

— Нехорошо, — соглашаюсь. — Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей медсанбату подкинуть, да ваш помощник не разрешил — за сеном, говорит, ехать должны. Майор грызет кончик трубки. Трубка у него большая, изогнутая, вся изгрызенная.

— Инженер по образованию? Да?

— Архитектор.

— Архитектор... Дворцы, значит, разные, музеи, театры... Так, что ли?

— Так.

— Вот и мне дворец построишь... Сапер наш — Лисагор... Ты его еще не знаешь?

Познакомлю. Один дворец построил уже было, да Чуйков, командующий, занял. Вот и живу в этой дыре, после каждой бомбы землю из-за шиворота выколупываю. — Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз. — Ну, — а мины и тому подобные спирали Бруно знаешь, конечно?

— Знаю.

— Этим и будем сейчас заниматься. Придут комбаты, поговорим. А пока кури. — Он щелчком подталкивает мне пачку. — Комбата на твое место уже запросил, да вот не шлют, сукины сыны. А без инженера как без рук. Лисагор — парень ничего, да в чертежах и схемах — ни бе ни ме... Бывает такое.

Где-то рвутся бомбы. Звуча не слышно, только в ушах что-то неприятное давит, и пламя в лампе тревожно мигает.

Потом приходят комбаты и другие командиры.

Совещание длится недолго, минут двадцать, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту.

Оказывается, участок нашей дивизии самый глубокий — километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега — 13-я гвардейская, Родимцевская.

Тянется почти до самого города, до пристаней, тоненькой, не шире двухсот метров, извилистой ленточкой. Правее, на «Красном Октябре», 39-я гвардейская и 45-я. Это им, значит, сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще две-три дивизии, и конец. Это все. Все, что осталось на этом берегу. Пять или шесть километров на полтора. И полтора — это еще в самом широком месте. В центре города — немцы. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась. Гороховская, кажется.

Ночью сегодня должна переправиться 92-я бригада.

Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо.

Но с «Метизом» мне придется распрощаться. Там будет 3-й батальон. Мне попадается участок между «Метизом» и восточным концом извилистого, как буква З, оврага, на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь.

Да, повезло Кандиди, командиру 1-го батальона. На готовенькое садится. А мне... Кто его знает, где и КП себе выбрать. Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет.

Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо. Не выпускает трубки изо рта. Водит большим пальцем с коротко обстриженным ногтем по карте.

— Задача простая — врыться, спутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три, пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах. Но то, что есть, отдавать нельзя.

Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие, глубоко запавшие глаза. — У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа в твоих руках. Другая сторона — у сорок пятого полка. В этих двух местах немцы и будут рваться отрезать наш первый батальон. И два батальона сорок пятого заодно. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение — только заплаты. Да и что это за пополнение — мальчишки.

Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол.

— У тебя стариков сколько осталось, Керженцев?

— Человек пятнадцать, не больше. Из них человек десять матросов.

— Неплохо еще. У Синицына и Кандиди и того нет. А это ваш костяк. Учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть?

С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерное имущество. А то, что по пути в селах взяли, ржавое, негодное, в первые же два дня поломалось. Кирко-мотыг совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку-склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин старьем. — Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор, — подымается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке. — Я вчера с начальником армейского склада говорил. С тысячу противопехотных нам дадут. А противотанковые не раньше чем через неделю.

Майор машет на него рукой, — знаю, мол, садись.

— Нажимайте на окопы сейчас. Пока нет саперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими, ничего не поделаешь. У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, я помню, и участок полегче. Отдашь половину Керженцеву. Все. Да, Лисагор. Лейтенант в телогрейке вытягивается. — Сегодня к вечеру план оборонительных работ чтоб у меня был. А ты, Керженцев, поможешь. Через пару деньков с тебя требовать буду.

И он встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем — и так накурили, не продохнешь.

На берегу Лисагор подходит ко мне.

— Разрешите представиться, — лейтенант Лисагор, командир саперного взвода Тысяча сто сорок седьмого стрелкового полка Сто восемьдесят четвертой стрелковой дивизии. Голос звучный, привычный к рапортам. Приветствие по всем правилам пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз. Лицо несколько потрепанное, небритое. Глаза умные, с хитрецей. Сам коренастый, крепкий. На вид — лет тридцать. — Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий. Пятый день долбаем. И берет меня за локоть.

Шагах в двадцати от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве — длинный, метров в десять, никак не меньше. В виде буквы Г.

— Справа для майора, слева для начштаба, — объясняет Лисагор. — Три на четыре, представляете? А там, левее, еще один — для опергруппы и комиссара. А людей всего восемнадцать. Вместе с сержантами. И чтоб к послезавтрашнему дню готово было. Ловко? Бойцы долбят кирками твердый, как камень, грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, потом и сырой землей.

Лисагор садится на корточки, прислоняется спиной к деревянному креплению. Закуривает. — Одну такую же выкопали. Досками обшили. Пол, потолок. Фанерой стенки. Печурку в углу поставили. Вот этот вот усач, помкомвзвода мой, все своими руками сделал — печь, трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал где ставить. А Чуйков пришел, сел на стул, спросил, сколько земли над головой, а ее метров двенадцать, и пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой, а саперщикам все сначала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей — кот наплакал.

— А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человек этак пять.

Лисагор настораживается.

— Зачем?

— Слышал, что майор говорил давеча насчет мин?

— Это пускай дивизионные делают. На что они и существуют. А наше дело КП, НП. Их сто, а нас восемнадцать. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти, знаешь, когда будут...

— Ты сам говорил, что тысячу предлагали.

— Говорил, говорил... Чего только не наговоришь. На то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь, что ли, их.

— Ладно. Не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь пять человек, хоть своих, хоть чужих, остальное меня не интересует.

Лисагор сопит, ковыряет финкой землю между ног.

— Вот всегда так — организуй, сделай, завтра к утру, сегодня к вечеру... А кем и как — никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь, спины какие у людей, хоть выжимай.

Я встаю.

— Ну, что ж, придется майору доложить — саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять нечем.

Лисагор тоже встает.

— Вот упорный какой... Ладно, не ходи. Пришлю людей. Да делать-то им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать.

— Траншеи — траншеями, а мины — минами. Завтра вечером пришлю людей.

— За чем? За минами?

— Ну, а то за чем.

Лисагор ничего не отвечает. Согнувшись, вылезает из туннеля.

— Пошли на воздух, пока тихо.

Солнце слепит глаза. На берегу точно муравейник. Что-то копают, тащат, строят. Дымят прилепившиеся к обрыву кухни. Сохнет белье — рубашки какие-то, кальсоны. Сияют медные горы снарядов — маленьких, средних, больших, с красными, синими, желтыми головками. Ящики с патронами. Мешки. Опять ящики. Исковерканная пушка без ствола. Распухшая лошадиная туша, облепленная мухами. Задние ноги уже отрезаны.

Левее — полузатонувшая баржа. Одни ребра торчат. Обшивка на костры пошла. И на них, на этих ребрах, как куры на насесте, четверо бойцов рубахи стирают. Весело смеются, брызгаются, сверкая спинами.

А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает из золотеющего осинника на том берегу. Там тоже много людей. Копашатся и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются. Переждав несколько минут, опять сползаются, опять копаются. Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Течение сильное, и ее сносит вправо. Быстро, быстро мелькают весла.

— Сейчас стрелять начнут, — говорит Лисагор и вынимает из кармана коробку из-под зубного порошка. Скручивает сигарку.

Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый, точно гейзер, фонтан воды.

— Вот чудачки, напрямик прут, — говорит Лисагор, аккуратно зализывая сигарку и всыпая в нее рассыпавшуюся на ладони махорку. — Только вымотаются и немцам работу облегчат. Плыли б по течению, прицел пришлось бы все время менять.

— По течению плыть — к фрицам попадешь, — говорит кто-то за моей спиной. Саперы, облокотившись на лопаты, тоже следят за лодкой.

Фонтанов становится все больше и больше. Лодка неистово машет веслами.

— Плохой минометчик, — авторитетно заявляет тощий узкогрудый боец, стоящий рядом. — Вчера с третьего раза в щепки разнес.

— Вчера и лодка в пять раз больше была, — отвечает кто-то другой хриплым, медленным басом, — и грузу гора, еле двигалась.

Одна мина разрывается почти у самой лодки. Лодка только прыгает на волнах, и на несколько секунд прекращается махание весел. Гребцы пригнулись, должно быть.

— А это не наша? А? Не коробковская? Часа два назад поехали.

— Может, и наша, разве разберешь. В ней тоже четыре весла.

— Коробковская давно уже на берегу сохнет. И у Коробкова не шлюпка, а плоскодонка. Моряки из вас.

— Сейчас пулемет начнет, — спокойно говорит Лисагор, затягиваясь сигаркой и пуская кольца. — Как пить дать застрочит.

И почти сразу же вокруг лодки появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков.

Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами.

— Вот сволочи... — вырывается у кого-то за моей спиной, доконают-таки...

На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. Но не четыре, а два. По-видимому, одного ранило или убило.

Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет.

— Метров пятьдесят осталось, а там уже не видно с Мамаева будет.

— Ну, нажимай, нажимай, хлопцы!

Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела.

Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают.

Кто-то на самом берегу орет во все горло:

— Давай, давай, давай!..

И машет пилоткой над головой.

И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся, добродушно и довольно ругаясь.

Лисагор швыряет окурок.

— Вот так вот и доставляют нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там на передовой — давай, давай патроны...

На весь правый берег, оказывается, работает только одна переправа, 62-я — два катера с баржами. За ночь успевают максимум по шесть ходок сделать, от силы — семь, а что это для восьми или десяти дивизий, сидящих на этом берегу, — капля в море. Приходится собственными средствами доставлять.

— В нашем полку целая флотилия есть, — говорит Лисагор, — пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя. Старье. Текут. И осколками сечет. Понтон совсем как решето. Трое моих все время сидят, конопатят. — Он искоса поглядывает на меня. — А ты говоришь, мины ставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх! И надоело же все это... Пойдем, что ли, ко мне...

Мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, Лисагорову землянку.

— Видишь, как живем. Сапожник — без сапог. Сам рыл.

Косой луч солнца узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и приклепленную к стенке фотографию полной девицы в берете.

Откуда-то из-под прибитого к стенке столика, вроде вагонного, появляется четвертушка водки.

— Что ж, чокнемся по случаю знакомства, — подмигивает Лисагор.

Мы чокаемся кружкой о бутылку. Лисагор прямо из горлышка хлещет.

— А мы на передовой только один раз водку получали, — говорю я.

Лисагор ухмыляется и ладонью трет небритый подбородок.

— До передовой полтора километра, у меня склад под боком. Да и бойцов у меня человек пять непьющих. Вообще рассчитывайся ты скорей со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я как облупленного знаю. С полслова понимаю. Мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через полчаса отходит. Землянки только хорошие любит — есть такой грех. Чуть ли не ковры ему кладут. А так — жить можно. Еще будешь?

Он достает еще одну четвертушку.

— Вот закончу эти два туннеля и собственный начну делать. Куда это годится. Люди прямо на берегу спят, а через месяц — зима. К твоему приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь..

Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо гири.

— Правильные?

— Правильные. Да ты не торопись, товарищ лейтенант. Успеешь еще насладиться передовой. — Он похлопывает меня по колену. — Ты не обижаешься, что я с тобой на «ты»? Фронтная привычка. Я даже с Абросимовым на «ты», а он капитан. Между прочим, — Лисагор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо, — опасный парень. Людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле — кипяток. Совсем голову теряет. Бурлит и сплеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя.

Откинувшись назад, он вытягивает ноги. Хрустит пальцами. По очереди каждым. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки. Смеется. Два передних зуба у него выщерблены.

— Проверяешь? Да? Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Халхин-Гол, Финляндия... Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня. Ей-богу, переходи скорей на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть... Все, что хочешь, есть.

Я перебиваю его:

— Сколько, ты говоришь, у тебя человек во взводе?
— У меня? Восемнадцать, я девятнадцатый. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники. Даже портной и парикмахер. А сапожник — в Москве такого не сыщешь. Вот сапоги на мне, что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик... загляденье. И часовщик есть. Вот тот, с усами, сержант. И краснодеревщик.
— А с минным делом как они?
— И с минным, конечно, как ты думаешь! Но вообще это не наше дело. НП, КП — наше, а мины хай батальон ставит. А взвод — дай бог. Не жалуясь. Поработаешь, увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь. Честное слово...
Я встаю.
— Людей твоих, значит, завтра жду.
Лисагор тоже встает, слегка покачиваясь.
— Ну и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля. Свои только подрываться будут. Ну, да ладно уж, пришлю.
— Неплохо было бы, если бы и сам заглянул.
— Это не обещаю. Не обещаю. Сам видишь, сколько работы. Туннели, лодки... Мины вот еще сегодня получать надо. Я помкомвзвода пошлю, Гаркушу мировой парень. С закрытыми глазами мины тебе натычет.
— Мне-то не надо, а вот первый и третий батальоны совсем без саперов...
Придерживаясь рукой за столик, Лисагор несколько секунд смотрит на меня уже слегка осоловевшими глазами.
— Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант, головы у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело маленькое — приказания выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону — сапер минируй! В наступление — сапер разминируй! В разведку — сапер вперед, мины ищи! А ну их к черту...
— Как знаешь. Ты пока инженер. Сам решай, как лучше. Будь здоров.
— Бувай... Возьми на дорогу пару витаминчиков.
Он сует мне в карман телогрейки два холодных, шершавых, ослепительно ярких апельсина.
— Жду, значит, на днях.
И смеется мелким, рассыпчатым смехом.

4

Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до двенадцати, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая — весь мой участок освещен, как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом, он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка. А отвечать мне нечем, патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У восьмидесяти двух нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но и у них с боеприпасами туго — раза три только за ночь стреляют.
Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной насыпью. Она извивается вдоль подножья кургана. Заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого, только верхняя часть оврага. Окопов, траншей — никаких. Уступающие нам место бойцы 1-го батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-какое подобие окопов все-таки есть, правда без малейших признаков соединительных ходов.
Да, это не «Метиз». Там с одного конца до другого почти не согнувшись пройти можно. Участок сам по себе не велик для нормального батальона, каких-нибудь шестьсот метров, но у меня всего тридцать шесть человек. Было четыреста, а стало тридцать шесть. И насыпь эта, проклятая, разрезает участок на две неравные части — правый фланг на

кургане раза в два длиннее левого. А у меня две роты по восемнадцать человек, фактически два отделения. Плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики и минометчики не в счет. Вот и управляй ими всеми без ходов сообщения. Днем каждый боец превращается в отдельную, отрезанную от всех огневую точку. Участок вдоль и поперек простреливается немцами.

Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит трубу под насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то артиллеристы. Долговязый лейтенант, с маленькой, торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой, встречает меня в штыки.

— Не пуцу — и все. Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб тащишь.

Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ставить телефон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, начальнику артиллерии.

— Ну и жалуйся! Располагайся, хлопцы, и все... Ни с места, пока не скажу.

Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои «незабудки» и «тюльпаны».

Харламов, адъютант старший, близорукий, потерял, конечно, самую нужную папку и всем мешает, роясь под ногами.

— Должно быть, там забыл, на старом КП, — бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам.

Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уж нечего.

Часам к пяти приходят командиры рот.

— Ну как? — спрашиваю.

Карнаухов, командир четвертой роты вместо убитого Петрова, пожимает своими широченными плечами.

— Растыкал пока. Пулеметы еще ничего, а бойцы... Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься.

У Карнаухова низкий, слегка глуховатый голос. Говорит, немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирая. А в общем, мне он нравится.

Пришел он к нам дней десять тому назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, сероглазый, с мешком за плечами. Согнувшись, протиснулся в узенькую, низкую дверь.

Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпил с аппетитом большую, чуть ли не с ведро, кружку, вытер губы, улыбнулся.

— Весь ваш запас, должно быть, выдул.

И спросил, где его рота находится.

— Да вы посидите, очухайтесь сперва.

Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намокший, с красной полоской от фуражки лоб.

— Целый месяц в госпитале очухивался. Три кило даже прибавил. Табаку вот на дорогу не дали. А без табаку, сами знаете, как...

Харламов дал ему закурить. Он скрутил сигарку совершенно невероятных размеров и стал молча курить.

Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно ответил, присев в углу на собственный мешок. Потом встал, поискал глазами, куда бросить окуроч, и, так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил его за дверь.

— Ну? Кто меня поведет?

Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемой расположения огневых средств противника.

На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншей, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по-фронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то на положенной на колени тетрадке.

— Письмо на родину, что ли?

— Нет. Так... Чепуха... — смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман.

«Должно быть, стихи», — подумал я и больше не спрашивал.

В эту же ночь его рота выкрала у немцев пулемет и шесть ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил, но когда я его спросил, он только улыбнулся и, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого и что вообще командир роты за пулеметами не ходит.

Сейчас он стоит передо мной, слегка ссутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет, высунув кончик языка, рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли старшины ужин.

Фарбер, комроты пять, сидит на кончике ящика из-под патронов — усталый, как всегда рассеянно-безразличный. Смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились.

Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый, правое плечо выше левого, болезненно бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий, он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты, сам он никогда не говорил.

Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем, старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся, я даже не знаю, какие у него зубы.

Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него просто атрофировано. Как-то, на «Метизе» еще, я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой, до колен, солдатской шинели спиной к противнику и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули цвякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю.

— Вы что здесь делаете, Фарбер?

Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками вопросительно остановились на мне.

— Так просто... Ничего...

— Ведь вас тут немцы в два счета ухлопают.

— Пожалуй... — спокойно согласился он и присел на корточки.

Трудно его назвать неаккуратным, он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий, но это, по-видимому, привычка или воспитание, внешности же своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше, хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет.

Я сказал ему как-то:

— Вы бы пришили себе кубики, Фарбер.

Он, как всегда, удивленно посмотрел на меня.

— Для большего авторитета, что ли?

— Просто положено в армии носить знаки различия. Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых вкривь и вкось белыми нитками.

— Плохой у вас связной, Фарбер. С кубиками определенно не справился.

— У меня нет связного. Я сам пришивал.

— А почему нет связного?

— В роте восемнадцать человек, а не сто пятьдесят.

— Ну вот, один пускай и будет по совместительству вашим связным.

— Излишняя роскошь, пожалуй.

— Не излишняя и не роскошь. Вы — командир роты.

Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет.

Странный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянуто, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание и будь здоров выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постараюсь» и уйдет. Сейчас он сидит, безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными, костистыми руками, барабанит пальцами по столу.

— Помните, Фарбер, — говорю я ему, — участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни, никакого толку.

Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу непрерывно, монотонно.

На дворе, сквозь щели видно, совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена и приемо-сдаточные документы посылаю со связным. Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивают на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. По-видимому, скоро заговорят наши пушки.

5

Утром мы все ожидаем атаки, немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий, день оказывается настолько тихим, что даже обед удается притащить с берега днем.

После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха. Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда, «рама». Вереницы «певунов» над «Красным Октябрем»...

Валега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает их на примусе, потом скребет мне спину рогожей. Вода с меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется.

— Я вам сейчас немецкое белье дам. Шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит — не держится.

Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны и рубаху, бреюсь и иду к Карнаухову. Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стенке, он скребет подбородок.

— Ну, как жизнь?

Карнаухов улыбается сквозь пену, встает.

— Так и до конца войны жить можно... Забастовал что-то фриц.

Я присаживаюсь рядом.

Кругом одни трубы. Домов нет. Черные, дымящиеся еще кое-где балки и трубы, трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты, небе. Почему-то трубы всегда сохраняются. Будто нарочно их кто-то оставляет, чтобы напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город, а сейчас вот что осталось.

Я сижу на столбе. По-видимому, это когда-то были ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь и надпись — «2 Косой пер., № 24. Дом принадлежит Агарковой И. Н.». На куске стены, неизвестно почему сохранившейся,

вывеска: «Мужский и дамский портной Авербух. Прием заказов». Розовощекий субъект в глаженных брюках и котелке сосредоточенно-равнодушно смотрит с высоты на меня, точно гипнотизирует. У них всегда такой взгляд, у этих вывесочных красавцев, куда бы вы ни шли, они все время на вас смотрят.

— А у вас тут спокойно, — говорю я.

— Это сейчас только. А вообще не очень. Я побриться только выскочил, в норе повернуться негде, весь изрежешься.

Мучительно сморщившись, Карнаухов добривает верхнюю губу. Я подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привязанной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит лампа, сплюснутая из артиллерийской гильзы. На стенке — календарь с зачеркнутыми днями, список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина и еще кого-то молодого, кудрявого, с открытым, симпатичным лицом.

— Это кто?

Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится:

— Джек Лондон.

— Джек Лондон?

Карнаухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел.

— Почему вдруг Джек Лондон?

— Да так... Уважаю его... Вот и... Молока хотите?

— Молока? Здесь? Откуда?

— Сгущенного... Американского. Ребята достали. Я с удовольствием облизываю ложку густого, приторно-сладкого, похожего на липовый мед молока.

— А все-таки откуда у вас этот портрет?

— Откуда? — смеется Карнаухов. — Из госпиталя, конечно. Я там всю библиотеку перечитал. А «Мартина Идена» не успел. Ну, и... взял с собой на время.

— Вы любите Джека Лондона?

— Да. Я его несколько раз перечитывал.

— Я тоже люблю.

— А его все любят. Его нельзя не любить.

— Почему?

— Настоящий он какой-то... Его даже Ленин любил. Крупская ему читала.

— Дадите мне потом почитать?

— Ладно.

— А кого вы еще любите из писателей?

Он опять смущается.

— Я мало читал. У учительницы нашей только Лондон был, не знаю, откуда она его взяла, знаете, в коричневых обложках, приложение. И еще какая-то чепуха — Мельников-Печерский и еще кто-то, не помню уже, иностранный.

— Ну, это в школе. А потом?

— Потом? Потом времени не было. Я на шахте работал. В Сучане. Знаете? Около Владивостока.

— Знаю.

— Я, пацаном когда был, в Америку совсем уже бежать собрался, золото в Клондайке искать. Стащил двустволку у отца, сухарей набрал. Даже на норвежскую шхуну забрался. Мы во Владивостоке тогда жили. Отец грузчиком в порту работал.

— Ну?

Карнаухов улыбается, разглядывая ногти.

— Как видите. За шиворот домой приволокли. Как щенка. Дней пять потом отлеживался. Ручка у бати, сами понимаете.

И он опять смеется.

Потом появляется откуда-то патефон, старенький, дребезжащий, и мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Козловским, Давыдовой и дуэтом из «Запорожца за Дунаем». Иголка только одна, и мы попеременно точим ее о разбитую тарелку. — Ну, вот и все, что у меня есть, — почесывая затылок, говорит Карнаухов. — Разве что передовую вам еще показать... Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин.

Мы устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была квартира.

Скрученная огнем железная кровать, швейная машина, мясорубка.

Впереди овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине кургана. Против нас подбитая пушка. Ствол разорван, и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завились локонами. Это придает пушке какой-то удивленный, недоумевающий вид. Рядом разбитый в щепки передок.

На противоположной стороне оврага — немецкие окопы. Совсем рядом, рукой подать.

— А наших не видно, — шепчет Карнаухов, — склон мешает. Метров семьдесят от противника по прямой. Видите, сволочи, — даже днем копают.

В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата.

— Эх, снарядов нет. Показал бы я им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром покопаться, сразу из минометов шпарить стали. И откуда у них столько боеприпасов?

Мы лежим долго, наблюдая за немцами. Пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы, и мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожей на горб верблюда, как раз против нас. Еще один прилепился повыше, в овраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас.

Да... Не такой представлял я себе до войны передовую. Зигзаги колючей проволоки в три-четыре ряда, бесконечная паутина траншей, маскировочные сети, амбразуры для стрельбы. А тут? Под самым носом нарыто что-то неопределенное, пушка подбитая и что-то вроде бочки из-под горячего, насквозь изрешеченной пулями.

Была у меня когда-то книга — «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно.

Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, апроши. Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма. Почти девяносто лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороной это называем.

Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни три на первых порах разбросаю.

Противотанковые здесь не нужны, танк не пролезет, а вот там, за насыпью, у Фарбера...

Карнаухов лежит, насупив черные, сросшиеся, как будто случайно попавшие на сероглазое добродушное лицо его, брови.

— А все-таки хорошая у них система огня, черт возьми. Вы посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон наш простреливают. Из-под моста — нам в спину. А сверху оврага — вдоль всей передовой...

И, точно иллюстрируя его слова, как будто сговорившись, начинают стрелять все три пулемета.

— Ох, и насолили бы мы им, забрав тот горбок. Но что сделаешь с восемнадцатью человеками.

Карнаухов прав. Будь та высотка в наших руках, мы б и третьему батальону жизнь облегчили, и мост парализовали, и имели бы фланкирующие первый батальон огневые точки.

Но как это сделать?

Вечером я отправляю всех не занятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть повозка. В темноте на ней все-таки можно мины подвезти почти к самой насыпи. Риска, конечно, но все-таки можно. А оттуда на руках не так уж трудно.

Часам к десяти у меня уже около трехсот штук. Свалены возле трубы. К этому же времени приходят и саперы — четыре бойца и сержант, тот самый, с усами — Гаркуша.

Сидят в углу, грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый.

— Целый день кайлили в туннеле, а утром придем, опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь.

Гаркуша протягивает руку, жесткую, заскорузлую, точно рогом покрытую сплошной мозолью.

Бойцы молча грызут семечки, сосредоточенно и серьезно, глядя немигающими глазами в одну точку.

Когда из четвертой роты сообщают, что уже штук сто мин перетащено, Гаркуша встает.

Страхивает с колен шелуху.

— Ну, что ж? Пойдем, пока луны нет. Кто нам покажет?

Цепляясь руками за кустарник и колючую, сухую траву, мы спускаемся к самой передовой. Окопы отдельными щелями по два-три метра тянутся как раз посередине ската.

Какой дурак это мог придумать? Почему не расположить их метров на двадцать позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и немцам труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты.

— Какого лешего вы здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони...

Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забываю даже, что здесь разговаривать можно только шепотом.

Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Сендецкий — «Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись».

Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов как охранение оставить.

Бойцы, кряхтя и матерясь вполголоса, ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели...

— Начальнички называется...

Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы — доброй половины недосчитался бы...

Спускаемся еще ниже. Скат крутой, и твердая, начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет, тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные.

Угодили в грязь. По-видимому, ручей — дождей давно не было. Чавкает под ногами.

Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую, холодную жижу.

Уголком глаза, из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой.

— Ну, где будем?

Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно. Даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание.

— Как вспыхнет ракета, смотри налево... — От напряжения голос у меня слегка дрожит. — Увидишь бочку железную. Начнешь от нее... И вправо метров на пятьдесят... В три ряда... В шахматном... Как говорили.

Слова вылезают с трудом, и каждое из них приходится чуть ли не силой выталкивать.

Гаркуша ничего не отвечает. Отползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание.

— Товарищ лейтенант...

— Что?

— Я немножко выше возьму. А то замерзнет вода, и тогда...

Опять ракета. Гаркуша наваливается прямо на меня. Вдавливаюсь лицом в землю. Стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я подымаю голову и говорю:

— Хорошо.

За минное поле я уже спокоен.

Вытираю рукавом лицо.

Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в тридцати шагах немцы, а свои где-то там, наверху...

И каждой мине надо выкопать ямку, вложить МУВ⁹⁰ — трубочка такая с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсулем, — проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать. И все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь бултыхайся, и не шевелись при каждой ракете.

Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков.

За час они, по-моему, управятся.

А мне сейчас же на свежую память за формуляры и отчетные карточки на минные поля браться надо. Будет у меня этой писанины каждую ночь. В трех экземплярах, да еще схему с азимутами и привязками, и бланков вдобавок нет все сам, от руки.

Взбираюсь на гору. Два или три раза чуть не обрываюсь. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Все руки об кустарник колючий какой-то, в шипах, исколол.

Бойцы молча копают. Слышно только, как лопатой о землю ударяют. Кто-то совсем рядом со мной — в темноте ничего не видно — хрипло, вполголоса, точно упрямую лошадь, ругает твердую, как камень, землю.

— Хоть бы пару кирок на батальон дали. А то лопаты называется. Масло ими резать.

Кирки... Кирки... Где же их достать? Чего бы только я не дал за два десятка кирок!

Кажется, никогда в жизни ни о чем я так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской на станции валялось. Горы целые. И никто на них смотреть не хотел. Все водки и масла искали.

Так и за месяц не окопаемся.

В начале первого появляется луна. Косощекая, оранжевая, выползает откуда-то со стороны Волги. Заглядывает в овраг. Через полчаса там нельзя уже будет работать. А их всего четверо и сто мин...

А луна ползет, ползет, становится желтой, затем белой. На все ей плевать. По-моему, она даже быстрее обычного сегодня подымается, точно спешит куда-то или с выходом опоздала. И как назло, немецкая сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее, светлее. Последние остатки тени медленно, точно нехотя, отступая, сползают вниз, один за другим оставляя кусты, прижимаясь ко дну.

Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский срывающийся голос. Связной Карнаухова, кажется.

— Лейтенанта, комбата, не видали?

— Це якого? Що з биноклем ходить? — отвечает чей-то голос откуда-то снизу, верно из щели.

— Да нет. Не с биноклем. Комбата. Командира батальона. В пилотке синей.

— А-а. В пілотці синій... Ну, так би і сказав, що в пілотці. А то комбат... Хіба всіх їх за день начальників запам'ятаєш...

— Ну так где он?

— А я не бачив, — добродушно отвечает голос. — Не було його, їй-богу, не бачив.

— Фу ты, дура какая.

— Може, Фесенко бачив... Фесенко, а Фесенко...

Я направляюсь в сторону разговора. Фесенко из другой щели так же добродушно и неторопливо отвечает, что «якийсь тут був з начальників, на командира роти ще и кричав, що не так копаємо, але куди він подався — біс його знає...».

— Кто меня ищет?

— Это вы, товарищ лейтенант? — вытягивается передо мной маленькая, тоненькая фигурка.

— Я... И не вытягивайся, ложись. Садитесь на корточки.

— Ну, в чем дело?

— С КП вашего звонили, чтоб шли туда срочно.

— Меня? Срочно? Кто звонил?

— Я не знаю... Полковник, что ли, какой-то. Какой полковник, откуда он взялся? Ничего не понимаю.

— И срочно, сказали, в три минуты чтобы... Не доходя карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит сломя голову. Запыхался.

— Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли... С орденом... И еще какие-то с ним... Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там. А они ругаются.

Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Адъютант старший называется, — начальник штаба... На кухне ему, а не в штабе работать.

Немцы вдруг поднимают стрельбу, и мы добрых пятнадцать минут лежим, уткнувшись в землю носами.

7

Полковник, невысокого роста, щупленький, точно мальчик, с ввалившимися, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными, напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом — наш майор. Между колен — палочка. Еще двое каких-то.

Харламов — навтыжку, застегнутый и подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами.

Прикладываю руку к козырьку. Докладываю — батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза не мигая смотрят на меня с худого лица. Сухие, тонкие пальцы слегка постукивают по столу.

Все молчат.

Я опускаю руку.

Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной.

Черные глаза становятся вдруг меньше, суживаются, и бескровные, в ниточку, губы как будто улыбаются.

— Вы что? Дрались с кем-нибудь? А?

Молчу.

— Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется. Кто-то подает толстый, облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.

— Ну, ладно, — смеется полковник, и смех у него неожиданно веселый и молодой. — Все случается... Я однажды командующему округом в трусах докладывал, и ничего, сошло.

Десять суток только получил — к пустой башке руку поднес.

Улыбка исчезает, точно ее кто-то стер с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками.

— Ну, что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки? Если на передовой то же самое, что в бумагах творится, — не завидую тебе.

— Мало сделано, товарищ полковник.

— Мало? Почему? — Глаза не мигают.

— Людей жидковато, и с инструментом плохо.

— Сколько у тебя людей?
— Активных тридцать шесть.
— А бездельников, связных и тому подобное?
— Всего около семидесяти.
— А знаешь, сколько в сорок третьем полку? По пятнадцать — двадцать человек, и ничего — воюют.
— Я тоже воюю, товарищ полковник.
— Он «Метиз» держал, товарищ полковник, — вставляет майор. — Простой ночью мы его передвинули вправо.
— А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на «Метизе» сидит, и немцы его не с «Метиза» выгонять будут... — и опять ко мне: — Окопы есть?
— Копают, товарищ полковник.
— А ну, покажи.
Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми, нервными движениями застегивает пуговицы.
Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему.
— А ты не учи. Сам знаю.
Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподымается.
— Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать.
Пошли, комбат.
Мы — я, Валега и адъютант комдива, молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом, — еле поспеваем за ним. Мелким, совсем не военным шагом, слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно, будто не раз уже ходил здесь.
У карнауховского подвала я останавливаюсь. Полковник нетерпеливо оборачивается:
— Чего стал?
— КП ротное здесь.
— Ну и пускай здесь... Где окопы?
— Дальше. Вот за теми трубами.
— Веди!
Окопы сейчас хорошо видны — и наши и немецкие. Луна светит вовсю.
— Ложись.
Ложимся. Полковник рядом. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Он ничего не говорит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю. Молчит, изредка сдержанно, стараясь подавить, покашливает.
— А где мины ставишь?
— Вот там, левее, в овраге.
— Прекрати. Людей назад.
Я ничего не понимаю.
— Ты слышал, что я сказал? Назад людей...
Посылаю Валегу вниз. Пускай отметят колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно, на брюхе, сползает вниз.
Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет «ишак» — шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не подымает. Покашливает.
— Видишь его пулеметы? На сопке.
— Вижу.
— Нравятся они тебе?
— Нет.
— И мне тоже.
Пауза. Не понимаю, к чему он клонит.

— Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся. Но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?

— Так вот... Завтра чтоб ты был там.

— Где там?

— Там, где эти пулеметы. Ясно?

— Ясно, — отвечаю, но мне совершенно неясно, как я могу там оказаться.
Полковник легко, по-мальчишески, вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли.

— Пошли.

Так же легко, быстро, ни за что не зацепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу. «Нашу марку», по-моему, перелистывает лежащего на столе «Мартина Идена». Заглядывает в конец. Неудовольно морщит брови.

— Дурак. Ей-богу, дурак. И, подняв глаза на меня:

— Твоя?

— Командира четвертой роты.

— Прочел?

— Времени нет, товарищ полковник.

— Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?

Бородин смущенно улыбается мясистыми, тяжелыми губами.

— Не помню... Давно читал, товарищ полковник.

— Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу. Многому нам у этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости.

Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.

— Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего ребята, — слегка поворачивает голову в сторону майора.

— Боевые, товарищ полковник.

— Ну, так вот. Пустите разведку, как только стемнеет. Затем... Луна когда встает?

— В начале первого.

— Хорошо. Часов в пол-одиннадцатого пустим «кукурузников». Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку. Понятно?

— Понятно. — Тон у меня не очень уверенный.

— Никаких «ура». Без единого шороха. На брюхе все. Как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Матросы есть еще?

— Есть. Человек десять.

— Ну, тогда возьмешь.

И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются.

Я совсем не могу понять, как я с тридцатью шестью, нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с двадцатью человеками смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных пулеметами и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела, надо и закрепить.

Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам, и молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем...

— Человек с десятков подкинешь ему с берега, Бородин, — всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом заберешь.

Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу. Смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой, сухой руке. На них четверть третьего... Встает резким, коротким движением.

— Ну, комбат... — и протягивает руку. — Керженцев, кажется, твоя фамилия?

— Керженцев.

Рука у него горячая и сухая.

В дверях он поворачивается:

— А этого... как его... что утопился под конец... Мартина Идена... никому не давай...

Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.

Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу.

— Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын... — и сам улыбается не совсем удачному своему выражению. — Зайдешь утром ко мне, помозгуем.

* * *

Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь — тяжелое и неуклюжее. Гаркуша вытирает лоб, тяжело дышит.

— Бояджиева ранило, — грузно опускается на койку. — Челюсть оторвало.

Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив, на другой койке. Он, как неживой, валится на нее, обмякший, с бессильно упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным. Гимнастерка в крови.

— Назад возвращались... Увидел... из минометов начал. Кольцова убило... Следов даже не нашли. А ему вот — челюсть.

Раненый мычит. Мотает головой. У ног его уже небольшая, круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мелькающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос. А внизу ничего, черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку. И мычит, мычит, мычит...

— Лучший боец был, — устало говорит Гаркуша.

Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу. — Пятьдесят штук сегодня поставил. И слова не сказал...

И, немного помолчав:

— Зря, значит, все ставили?

Я ничего не отвечаю.

Раненого уводят.

Саперы, выкурив по папиресе, тоже уходят.

Я долго не могу заснуть.

8

С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги, должно быть, встал. Блоха ползает в портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял: стоит передо мной, моргает черными, армянского типа глазами, разводит руками: «Положил в ящик, а теперь нету...» И тухлый пшеничный суп надоел — каждый день, утром и вечером. И табак сырой, не тянется. И газет уже три дня московских нет. И людей с берега всего восемь калек дали. Все злит.

У Фарбера двух бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему — перекрыть землянки рельсами, на «Метизе» их целый штабель лежит, а он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него и, когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание.

Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны.

Просто чтоб не болтался перед глазами.

Валюсь на койку. Чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую истрепанную книгу.

— А ну, давай сюда! Нечего чтением заниматься.

Беру у него книгу. «Севастопольская страда», III том. Без начала и конца. На курево, должно быть, пошла. Раскрываю наудачу.

«... Убыль в полках была велика, пополнения же если и были, то ничтожны, так что и самые эти названия — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение. В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи; во всех полках одиннадцатой дивизии: Камчатском, Охотском, Селингинском, Якутском, так же как и в полках 16-й — Владимирском, Суздальском, Углицком, Казанском, — не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом...»

Полторы тысячи. Тысяча. А у нас? Если у меня в батальоне восемьдесят человек, а в полку три батальона — двести сорок. Плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики, еще человек сто. Всего триста пятьдесят. Ну, четыреста. Ну, пятьсот. А комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше трети. Что, если немцам надоест «Красный Октябрь» долбать? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти, там, где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? Шестнадцать человек сидят по ямочкам. Мин никаких. Бородин говорит — через три дня будут, где-то разгружают их... Допустим, не надуют. Еще две или даже три ночи ставить их надо. А пять дней этих жди и моли бога, чтоб немцы паиньками сидели.

Перелистываю дальше.

«Бойчей же всех шли дела рестораторов, которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь, после штурма, офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города, с бастиона... В гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остротами, весело хохотали...»
Скрытая за буфетом кухня. Дюжина столиков для посетителей...

Я откладываю книгу в сторону. Натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть.

Возится и кричит в углу связист. Тикают с перебоем ходики, — Валега уже где-то достал, — маленькие, синенькие, с самодельными стрелками из консервной банки. Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел... я даже не помню когда. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии. Хотя нет, то не свиная была, а так просто поджаренное мясо.

Я переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа.

В половине одиннадцатого прилетит «кукурузник». В одиннадцать я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет час пятнадцать минут. За эти час пятнадцать минут я должен спуститься в овраг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншей и закрепиться. А если «кукурузник» опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал «кукурузники», а не «кукурузник». Вот дурак я, не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбился, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтоб узнал точно у комдива. Какие у него черные и пронизывающие насквозь глаза, у комдива. В них трудно долго смотреть.

Говорят, летом, где-то под Касторной, он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах.

Смелый, дьявол!

А по передовой как ходит... Ни пуль, ни мин, ничего для него не существует. Что это — показное, пусть молодежь учится? Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты... Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у Тарле я вычитал.

И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют. А другие — нет. Максимов, помню, говорил как-то: «Людей, ничего не боящихся, нет. Все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, все мобилизуется в такую минуту и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди».

Вот таким именно и сам Максимов был. Был... Сейчас его, вероятно, уже в живых нет. С ним в самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть побледнеет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово.

Даже во время бомбежек, — а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово, — он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет.

Где Игорь? Ширяев? Седых? Может, тоже уже в живых нет...

Жили, учились, о чем-то мечтали — тр-рах! — все полетело — дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны.

Парфенон... как сейчас помню-454-438 гг. до н. э. Замкнутая колоннада периптер, 8 колонн спереди, 17 по бокам. А у Тезейона — 6 и 13... Дорический, ионический, коринфский стили. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее.

Ордер состоит из стилобата, колонны и антаблемента. Колонна из фуста, эхина и абака. Нет, не забыл еще. А антаблемент — архитрав, фриз, карниз. Или, наоборот, карниз и фриз. А как эти штуки называются, что по краям? Акро... Акро... тьфу ты пропась, забыл-таки... Да. Акротеры.

А кто собор св. Петра строил в Риме? Первый — Браманте. Потом, кажется, Сангалло или Рафаэль. Потом еще кто-то, еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал. А колоннаду? Бернини, что ли.

Что за чепуха в голову лезет. Кому это нужно. Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе.

Прилетит тонная бомба — и нету купола...

Что делать с Фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежут мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово.

А странно... Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу. И о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет.

Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я Блока, в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой. Чтоб меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал...

Кто-то тянет за шинель.

— Товарищ лейтенант... Товарищ лейтенант... Из политотдела пришли, вас спрашивают.

Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках, с набитыми бумагами полевыми сумками.

Поверяющие, должно быть, или представители штаба к ночной атаке.

Надо вставать.

Ходики показывают два часа. Впереди еще девять.

9

Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки — все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами.

Чумак козыряет — прибыли в ваше распоряжение. Глаза блестят из-под челки. С тех пор, со дня нашей стычки, мы не встречались — его отозвали на берег.

Разговор у нас строго официальный — задача, срок, пункт отправки. Все это он и без меня знает, и говорим мы об этом только потому, что надо об этом говорить. И вообще больше

нам не о чем с ним говорить. Он нисколько не старается это скрыть. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие и чуть-чуть насмешливые. Ребята его — их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы, — стоят в стороне, поглядывают на нас, на губах окурки.

— Маскхалаты возьмете?

— Нет.

— Почему? У меня как раз четыре есть.

— Не надо.

— Водки дать?

— Мы свою пьем. Чужой не любим.

— Ну, как знаете.

— Можете за наше здоровье выпить.

— Спасибо.

— Не стоит.

И они уходят к Карнаухову. Когда я туда прихожу, их уже нет.

В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела. Один из штадива.

Начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти непрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш.

— Вы продумали ход операции? — спрашивает он, подымая бесцветные глаза. У него длинные, выдающиеся вперед зубы, налезавшие на нижнюю губу.

— Да, продумал.

— Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?

— Знаю.

— А как у вас с флангами?

— С какими флангами?

— Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?

— Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей. Мы идем на риск.

— Это плохо.

— Конечно, плохо.

Он записывает что-то в блокнот.

— А какими ресурсами вы располагаете?

— Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет четырнадцать человек.

— Четырнадцать?

— Да. Четырнадцать. А четырнадцать на месте. Всего двадцать восемь.

— Я бы на вашем месте не так сделал... Он заглядывает в свой блокнот. Я не свожу глаз с его зубов. Интересно, скрываются ли они когда-нибудь или всегда так торчат.

Я медленно вынимаю из кармана портсигар.

— Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится, а пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению.

Он поджимает губы, насколько зубы позволяют ему это. Политотдельщики, наклонив головы, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они, славные ребята, понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом.

Больше никто ничего не говорит.

Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан переключается на Карнаухова. Тот спокойно, изредка улыбаясь и перекидываясь со мной взглядами, обстоятельно на все отвечает — чем вооружены бойцы, и сколько у них гранат, и по сколько патронов у каждого. Адское терпение у этого человека. А капитан все записывает.

Сейчас я, кажется, попрошу их всех уйти отсюда. Могут и на батальонном КП посидеть. В конце концов, здесь им совершенно нечего делать. Узнали, что надо, проверили, а за ходом боя могут и оттуда следить.

Часы показывают четверть десятого. Я начинаю нервничать. Разведчики могли бы уже вернуться. Пришедший с передовой боец говорит, что они уже давно уползли и сейчас ничего не слышно. Немцы бросают ракеты, стреляют, как всегда. Не похоже, чтобы их поймали или заметили.

Я выхожу на двор.

Ночь темная-темная. Где-то далеко, за «Красным Октябрем», что-то горит. Чернеют тонкие, точно тушью прорисованные, силуэты исковерканных ферм. На том берегу одиноко ухаает пушка — выстрелит и помолчит, выстрелит и помолчит, точно прислушивается. Постреливают пулеметы. Взлетают ракеты. Сегодня почему-то желтые. Белые, вероятно, кончились у немцев. Пахнет горелым деревом и керосином. В двух шагах от нас состав с горючим, днем его хорошо видно отсюда. Все время тонкими струйками из пулевых пробоин в цистерне сочится керосин. Бойцы бегают туда по ночам наполнять лампы.

По старой, с детства еще, привычке ищу в небе знакомые созвездия. Орион — четыре яркие звезды и поясик из трех поменьше. И еще одна — совсем маленькая, почти незаметная. Какая-то из них называется Бетельгейзе, не помню уже какая. Где-то должен быть Альдебаран, но я уже забыл, где он находится.

Кто-то кладет мне руку на плечо. Я вздрагиваю.

— О чем задумался, комбат?

С трудом различаю в темноте массивную фигуру Карнаухова.

— Да так... Ни о чем. На звезды смотрю. Он ничего не отвечает. Мы стоим и смотрим, как мигают звезды. Выползают откуда-то затерянные обычно в подвалах сознания мысли о бесконечности, космосе, о каких-то мирах, существовавших и погибших, но до сих пор подмигивающих нам из черного, беспредельного пространства. Звезды гаснут, зажигаются. А мы ничего не знаем. И никто никогда не узнает, что в эту темную октябрьскую ночь умерла звезда, прожившая миллионы лет, или родилась новая, о которой тоже через миллионы лет узнают.

— А в Сибири уже снег, — говорит Карнаухов.

— Должно быть, — отвечаю я.

— И морозы.

— И молоко льдинами продают. Кусками. Правда?

— А во Владивостоке еще купаются.

— Там, говорят, море холодное.

— Холодное. Но все-таки купаются.

Где-то далеко-далеко, за Волгой, еле уловимо трещит «кукурузник». Не наш ли? А разведчиков все еще нет. Прислушиваемся к приближающемуся звуку. Он идет где-то правее. Приближается, потом удаляется. Не наш. Глухие разрывы далеко на Тракторном. Тревожно мечутся по небу немецкие прожекторы. Расширяются, суживаются, потухают, опять вспыхивают.

И мы стоим и смотрим на прожекторы, на извивающиеся в воздухе красно-желто-зеленые цепочки немецких зениток, на медленно гаснущие в овраге ракеты. И так уж привыкли мы к этому зрелищу, что, прекратись оно вдруг, нам стало бы как-то не по себе, чего-то не хватало бы.

— Ну, как, возьмем сопку, комбат? — совсем тихо спрашивает Карнаухов.

— Возьмем, — отвечаю я.

— И по-моему, возьмем. — И он слегка сжимает мне плечо рукой.

— Вас как зовут? — спрашиваю я.

— Николаем.

— А меня Юрием.

— Юрий. У меня брат Юрий — моряк.

— Жив?

— Не знаю. В Севастополе был. На подводной лодке.

— Вероятно, жив, — почему-то говорю я.

— Вероятно, — несколько помедлив, отвечает Карнаухов, и больше мы уже не говорим.

Высоко в небе срывается звезда. Душа в другой мир ушла, говорили в старину. Мы спускаемся вниз. В клубах табачного дыма трудно разобрать лица. Политотдельщики, сидя на корточках, едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стенке и свесив набок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке. Увидев нас, он подымает голову.

— Без четверти десять.

— Без четверти десять...

— А разведчиков нет?

— Нет.

— Это плохо.

— Возможно.

Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает.

— Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.

Глаза у капитана становятся круглыми, он откладывает газету.

— Почему?

— Потому...

— Я попрошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.

— Я ничего не забываю, я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.

— Я вам мешаю?

— Да. Мешаете.

— Чем же?

— Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.

Я чувствую, что начинаю говорить глупости.

— Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.

— Значит, вы собираетесь все время при мне находиться?

— Да. Намерен.

— И сопку со мной атаковать будете? Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, засовывает ее в планшетку и, повернувшись ко мне, медленно, старательно выговаривая каждое слово, произносит:

— Ладно. В другом месте поговорим.

И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может ее отцепить. Политотдельщики смеются. Доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они понимающе смеются и, пожелав успеха, тоже уходят.

В подвале сразу становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть все время на корточках.

Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде» — «Место командира в бою». В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. В первых рядах он ничего не увидит. Это, пожалуй, верно.

Но вот сейчас, в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто его знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, — без глаз, без ушей.

Стрелки часов соединяются и застывают около десяти.

Опять звонят из штаба, вернулись ли разведчики. Спрашивает помощник по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя нет: «Доложите обстановочку, хватает ли семечек, не нужны ли огурчики?» Семечки это патроны (черные — винтовочные, белые — автоматные), огурчики — мины...

Голова Чумака появляется в щели, как раз когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные. Грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами. Сразу заполняют все помещение.

Я ничего не спрашиваю. Жду.

Чумак молча, вразвалку, подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.

— Закуривайте.

Всовывает в прозрачный из плексигласа мундштук сигарету с золотым обрезом.

— Можете начинать. Семафор открыт, — и, кивнув своим разведчикам: — Шабашьте. До утра не трону. Я спрашиваю:

— Мины есть?

— В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше.

— Много?

— Не считал. Штук пять мы выкинули. С усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные.

В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины с тремя торчащими сверху проволочками. Саперы их называют усиками. Тело мины закапывается в землю, и только усики на поверхности земли остаются. Наступишь, боек ударит в капсюль, капсюль воспламенит порох, порох — вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные шарики во все стороны. Паршивая мина.

— Так что левее пушки не идите. А правее — метров двести прощупали ничего нет.

— А немцев много?

— Черт его знает... Как будто не очень... В блиндажах сидят. Патефон крутят. «Катюшу» нашу...

Чумак шарит что-то по карманам.

— Стихов не пишете?

Черный глаз с золотистым ободком насмешливо смотрит на меня из-под челки.

— Нет. А что?

— Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные, в пузырьке.

— Нет. Не пишу.

— Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой, поэтический.

И, повертев в руках красивую, с малахитовыми разводами ручку, сует ее в карман.

— Немца там одного кокнули, в охранении сидел. Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Валега предлагает водки. Мне не очень хочется, но я все-таки граммов сто выпиваю. Чумак иронически улыбается.

— Чтоб солдатам веселее было?

Я ничего не отвечаю. Ищу автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.

— Далеко?

— Нет. Не очень.

— Если на сопку, не рекомендую. Тут уютнее. Бужу начальника связи. Он так и не ушел.

Моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами.

— Покомандуй здесь вместо меня, а я пошел.

— Куда?

— Туда.

— Ага...

По глазам его вижу, что ничего не понимает.

— Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь. Он встает и торопливо кулаками протирает глаза.

— Хорошо... Хорошо...

Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорит, что парень толковый. Старший лейтенант. Какие-то курсы при Академии кончил.

Валега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже похрамывает.

— Как же это так... — недоумевающе смотрит он на меня маленькими, недовольными глазками из-под круглого, выпуклого лба.

Я вставляю магазин в автомат.

— Может, покушаете на дорогу? Консервы есть. Тушенка. Вы ж и обедать-то не обеды как следует. Я открою.

Нет. Мне есть не хочется. Когда вернусь, поем. Он все-таки всовывает мне в карман краюху хлеба и кусок сала, завернутый в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу мне завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом.

10

«Кукурузник» опаздывает. Минут на десять. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могут устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки на впалых небритых щеках.

Карнаухов на правом фланге. Здесь же командует командир взвода Сендецкий — не очень умный, но смелый паренек. На «Метизе» он неплохо отражал немцев. Был даже ранен, легко, правда, но в санчасть не пошел.

Сосед мой перестает хрустеть.

— Слышите?

— Что?

— Не «кукурузник» ли?

Со стороны Волги тарахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да. Это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров семьдесят — не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины — обыкновенные минометные мины.

Звук приближается. Назойливый, какой-то домашний, совсем не военный... «Кукурузник», «русс-фанер»... В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Точно жук большущий гудит. Есть такие монотонные ночные жуки — гудят, гудят, и никак их не увидишь.

«Кукурузник» уже над самой головой. Делает круг, уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет, прожектором его не поймаешь, слишком низко.

Сейчас сбросит...

— Ну!

Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение.

Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут пять — десять покружится, чтобы дать нам возможность подползти.

«Кукурузник» делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. До тошноты хочется курить. Будь я один, я сел бы на корточки и закурил.

«Кукурузник» сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопущки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы.

Еще один круг... Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают голы.

«Кукурузник» опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на бруствер, между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине.

«Кукурузник» строчит из пулемета беглыми, короткими очередями, точно отплевываясь. Пора...

Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины.

Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза комдива, когда он сказал: «Ну, тогда возьми».

Снимаю с шеи автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне — метрах в двадцати. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу, слышу только, как ползут.

«Кукурузник» все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза... Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтоб противнику веселее было...

Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Подымаюсь по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки — кустарник сухой. Неосторожный все-таки народ.

Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем — не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда, большая, яркая, немигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее.

И вдруг-«трах-тах-тах-тах...» над самым ухом. Я вдавливаюсь в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся?

Приподымаю голову: Ничего не разберешь... Что-то темнеет... Кругом тишина. Ни хруста, ни шороха. «Кукурузник» уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать.

Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще пять, еще десять метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки фокстрота — саксофон, рояль и еще что-то, не пойму что.

«Трах-тах-тах-тах...»

Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось.

Я бросаю гранату наугад вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры. Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое... Что-то вырастает перед тобой. Исчезает...

Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его неограниченна. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость — вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, все закрывающего, возбуждающего «ура». Нет зеленых шинелей.

Нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора. И пути назад нет. Неизвестно, где перед, где зад.

Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея... заворот... кто-то... удар... выстрел... гашетка под пальцем, приклад... шаг назад, опять удар. Потом тишина.

Кто это? Свой... Где наши? Пошли. Стой!.. Наш, наш, чего орешь...

Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов?

— Карнаухов! Карнаухов!

— А они там — впереди.

— Где?

— Там, у пулемета.

Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет.

11

Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.

— Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Жаль.

— Утром найдешь. Никто не заберет.

Он смеется:

— Ну что, товарищ комбат? Взяли все-таки сопку?

— Взяли, Карнаухов. Взяли! — И я тоже смеюсь, и мне хочется обнять и расцеловать его.

На востоке желтеет. Через час будет совсем уже светло.

— Пошлите кого-нибудь на КП, пускай связь тянут.

— Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.

— Людей не проверяли?

— Проверял. Налицо пока десять. Четырех еще нет. Пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый — вот здесь, по-моему, не плохо. Второй же...

— Второй — туда, правее. Видите? — говорю я.

— Может, сходим посмотрим?

— Сходим.

Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по всему видно, круговая. Самих немцев не видно и не слышно.

Стреляют где-то правее и левее — на участке первого и третьего батальонов. Глаза привыкли уже к темноте. Кое-что можно уже разобрать. Раза два наталкиваемся на трупы убитых немцев. За «Красным Октябрем» все еще что-то горит.

— А где Сендецкий?

— Я здесь, — неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура.

— Мотай живо на КП. Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так, что ли, Карнаухов?

— Да, дальше никого уже нет.

— Понятно, Сендецкий? Давай! Одна нога здесь, другая — там.

Сендецкий исчезает. Мы находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натываемся на кого-то.

— Комбат?

— Комбат. А что?

— Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.

Голос Чумака.

— Ты что здесь делаешь?

— То же, что и вы.

— А ты ж шабашить собирался.
— Мало ли что собирался...
Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него.
— Ну... Чего стал?
— Слушайте, комбат... Ведь вы же, оказывается...
— Что?
— Я думал, вы поэт, стишки пишете... А выходит...
— Ну, ладно, веди.

Он ничего не отвечает. Мы идем дальше. Подымается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы, забирается через воротник под гимнастерку, к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, идешь куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух.

Взяли все-таки сопку. И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень-то густо было. Оставили заслон, а сами за «Красный Октябрь» взялись. Но я их знаю, так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только сорокапятимиллиметровки сюда перетащить и овраг оседлать. Начнет сейчас Харламов возиться — искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Двоим осилит, не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня, до утра бойцы окопаются, а завтра ночью начну мины ставить.

Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, немигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь — и никуда больше.

Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был?

* * *

Потом мы сидим в блиндаже. Глубокий, в четыре наката и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки веером — еловая веточка с оплывшей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще.

На столе лампа с зеленым абажуром. Штук пять бутылок. Шпроты. Лайковые перчатки, брошенные на койку.

Чумак чувствует себя хозяином, наливает коньяк в тонконогие с монограммами бокалы.

— Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке... Спасибо ему.

Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух. Карнаухов выпивает и сейчас же уходит.

Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках.

— А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал.

— Какая рука? — Золотистые глаза смеются.

— Да вот эта, в которой папироса у вас. Ничего не понимаю.

— А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.

— Какое левое плечо?

— А вы не помните? — И он весело хохочет, запрокинув голову. — Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху. По левой лопатке.

— Постой... Постой... Когда же это?

— Когда? Да с полчаса тому назад. В окопе. За немца приняли. И как ахнули!.. Круги только и пошли. Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему...

Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал — кого.

— За такой удар и часики не жалко, — говорит Чумак, роясь в кармане. Хорошие. На камнях. Таван-Вач.

Мы оба смеемся.

В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы.

— Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали.

— Как так?

Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат.

— Да они там по оврагу, как тараканы, ползают.

— По какому оврагу?

— По тому самому... где передовая у нас шла. Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.

— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.

— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас... Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях.

Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод.

— Это точно, что немцы в овраге?

— Куда уж точнее, — отвечает белесый, — нос к носу столкнулись. Человек пять ползло.

Мы еще по ним огонь открыли.

— Может, то наши новую оборону занимали?

— Какое там наши. Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника штаба искал.

— А ну давай, соедини с батальоном. Белесый навешивает на голову трубку.

— Юпитер... Юпитер... Алло... Юпитер...

По бесцветным, с белыми ресницами, глазам его вижу, что никто не отвечает.

— Юпитер... Юпитер... Это я — Марс...

Пауза.

— Все. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь...

Лешка, красноносый, лопоухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, но идет...

— Перерезали. Факт... — спокойно говорит белесый и вынимает из-за уха загодя, должно быть, еще на месте скрученную сигарку.

Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы.

Потом появляется Чумак.

— Так и есть, комбат, — колечко.

— Угодили, значит?

— Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы.

— И много?

— Разве разберешь? Отовсюду стреляют.

— А где Карнаухов?

— Пулемет переставляет. Придет сейчас.

Чумак вынимает зеленую пачку сигарет.

— Закуривайте. Трофейные.

Закуриваем.

— Да, Чумак, влопались. Что и говорить!

— Влопались, — смеется Чумак. — Но ничего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй, они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо?

Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую оборону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков десять нетронутых. И, кроме того, в каждой ячейке, в нишах лежат.

— Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно.

— А сколько людей всего у нас?

— Пехоты — двенадцать. Двоих так и не нашел. Два пулемета станковых. Два ручных. Немецких еще два. Шесть, значит.

— Моих ребят еще трое, — вставляет Чумак, — да нас трое. Да двое связистов. Жить можно.

— Двадцать шесть, выходит, — говорю я. Карнаухов подсчитывает в уме.

— Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет, они в числе тех двенадцати.

Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспыхивает, то замирает. Стреляют, по-видимому, наши — с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень-то зажаты с двух сторон.

Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются. Обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают; трудно определить точно, где теперь их передний край проходит. Мы идем проверять огневые точки.

12

Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлял. Положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным: как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтоб дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан, точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злитесь сейчас, должно быть. Или торжествует. Он, по-моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам: «Говорил я, предупреждал... а он даже слушать не хотел. Прогнал. Вот и довоевался...»

Можно, конечно, прорваться сейчас к своим. Но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединиться с нами.

Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны экономили. Гранаты тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пяточке. От мин немецких отбоя не будет.

В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристреляны, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли.

В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен. Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах.

Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепкие, стальные, с хорошо обтесанными рукоятками.

Только мы приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей.

Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз.

Перевязываем индивидуальными пакетами, другого у нас ничего нет.

После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья симоновских. Может, наши догадаются установить сорокапятимиллиметровки на той стороне оврага.

Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко — осколки через нас перелетают.

Часа два немцы нас не тревожат.

Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет — и все. Воцаряется тишина.

Появляются первые ракеты.

13

Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной Мусе. Мы с Карнауховым чистим пистолеты.

Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура.

— Порядки знаешь какие там? — говорит Чумак. — В Куйбышеве. Ворота на запор.

Часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик — как пятачок. Со всех сторон стены, а посередине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего боевые. Только начальства боятся. Посидят рядом на лавочке или к койке подсядут, но чтоб чего-нибудь — ни в какую... Нельзя — и все...

Пока лежачим был — ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу — оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. «Нельзя, товарищ больной. Не разрешается. Отдыхать вам надо. Поправляться...» Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке да в кино по вечерам ходи. А картины все старые — «Александр Невский», «Пожарский», «Девушка с характером». И рвутся, как тряпки. И гипсом воняет. Бррр-р...

Карнаухов улыбается уголком рта.

— Ты ближе к делу, о Мусе какой-то начал.

— И о Мусе будет. Не перебивай. А не нравится — не слушай. Иди пулеметы свои проверь. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо. Тянется за другой сигаретой.

— Слабые, сволочи. Не накуришься... — и, демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает: — Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробило левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Торчит крючок — и все. Хорошо еще, ниже локтя разбило. А у тех, что выше или ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале «самолетами» называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда — на ведро сходить, и то событие. И Муси стесняюсь... А бабец — что надо!

Косици — во какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку — я еще не ходил, — яичницей порошковой кормит с ложечки, а я как на иголках... Потом стали мы в окна вылазить... Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал.

Инженер — как ты. Культурный парень, с образованием, до войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним, в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом, пикировали. А за углом дом был знакомый. Там переодевались — и в город.

Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигнали. А когда забили окно, заведующая пропускником увидела, — наловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали!.. Один безногий у нас там был. Нацепит костыли на одну руку, и — как мартышка, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зарой, и то спикирует.

Карнаухов смеется.

— У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежачие на койках.

— Что кино... — не поворачиваясь, перебивает его Чумак, — мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали, и сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку. На следующий день из седьмой палаты запикировали...

Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.

Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.

В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на двадцать человек.

За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.

Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.

— Что — спать, лейтенант? — спрашивает Чумак.

— Нет, просто так, полежу.

— Слушать надоело?

— Нет, нет, рассказывай. Я слушаю.

И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтоб не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным, узким траншеям, что сидим на пяточке, отрезанные от всех.

— А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? — спрашиваю я.

— Хорошо.

— Лучше, чем здесь?

— Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри, спи да на процедуры ходи.

— А по своим не скучал?

— По каким своим?

— По полку, ребятам.

— Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался.

— А говорил, в госпитале хорошо, — смеется Карнаухов, — жри и спи...

— Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь — в госпиталь тянет, дурака там повалить, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь — не знаешь, куда деться, на передовую тянет, к ребятам.

Карнаухов собирает пистолет, — у него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный «вальтер», — впихивает его в кобуру.

— Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?

— Три. А ты?

— Два.

— А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом.

Карнаухов смеется:

— А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.

— Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых... Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточки.

Оба смеются, и Чумак и Карнаухов.

— Удивительная вот штука, товарищ лейтенант, — говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны, — когда сидишь в окопах, так кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное совсем уже тыл. А полковое или дивизионное... Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками.

— А таких ты не видал, — перебивает Чумак; он вообще не может молча сидеть, — что за сто километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют — фронтовики, мол? У нас вот в госпитале был один...

Он вдруг останавливается, и глаза его застывают на двери.

— Ты откуда это?

Карнаухов тоже смотрит на дверь.

Валега... Самый настоящий Валега — головастый, крутолобый, в невероятных башмаках своих с загнутыми носками. Стоит в дверях. В шинели, кажется моей, до самых пят.

Мнется.

— Ты откуда взялся, Валега?

— Оттуда... От нас...

Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок...

— Тушенку принес, шинель...

— Ты с ума спятил?

— Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам.

— От кого?

— Харламов дали, начальник штаба.

— Это он тебя и послал?

— Вовсе не он. Я сам пришел... — Валега вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба. — Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка, чего-то толковали, с вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали.

Он достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную вчетверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано:

«5.10.42.12.15. КП Ураган

Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказа 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтожения ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим.

Л-т Харламов (Харламов)».

Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно барочным «X» и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы, порхающие вокруг нее.

Разрываю записку. Ключки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он, в сущности, и старательный даже парень, только больно уж...

Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю, чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.

— Шинель только мешала, не по росту. А так ничего. Там, левее чуть разрыв у них. Между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Может, подогреть, товарищ лейтенант?

— Нет, не надо. Да и подогреть не на чем.

— Примуса ты не догадался притащить? — смеется Чумак.

Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.

— Не стоит, Валега. И так слопаем. И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушенка!

14

Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого... Пять... Тишина... Шесть, семь... Светает. Мы перестаем ждать.

Еще один день, значит.

Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек нас остается двенадцать. Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах — не молодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.

— Як же це так — без руки? — говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колено. — Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.

Он вопросительно поглядывал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную напряженную улыбку. Судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть.

— Это столбняк, — сказал Карнаухов, — у нас в медсанбате умер один от этого.

Через два часа раненый умер.

Его фамилия Фесенко. Я узнаю это из красноармейской книжки. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина — двадцатимиллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из двадцатипятисантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя, перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.

Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет.

Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше пяти — семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.

Последнюю сигарку, собранную из всех карманов, — наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, — выкуриваем втроем — я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.

Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла: я наклонился, чтоб поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит: «Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой...» — и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить.

После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел.

Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники.

Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит...

Вечером мы подводим итог.

Людей — одиннадцать. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика — по два на пулемет, и один рядовой боец, тот самый сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший — к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых.

Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно, у отечественных — от силы на полдня хватит.

Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что, если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться.

Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую, измятую сигарету. Мы курим ее поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем так же думать о воде. В термосе не больше двух литров — пулеметный НЗ⁹¹.

Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных, жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад.

Раненые утихли. Дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, — и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась.

Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы. — Надо будет побаниться, — устало говорит он, почесываясь. — Соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит.

— Пока война не кончится, все равно не избавишься, — успокаивает Карнаухов. — Белье не прожаривают. Постирают в Волге — и все. А что толку от такой стирки?

Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики, бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать.

91 Неприкосновенный запас

— Вот кончится война, посадим Гитлера в бочку со вшами и руки свяжем, чтоб чесать не мог, — говорит он, не отрываясь от своей работы.

Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте.

Чумак натягивает на себя тельняшку. Встает.

— Эх, закурить бы..

— Да, неплохо бы. Хотя бы «Мотор» за тридцать пять копеек. Одну на троих.

— «Мотор»... Что «Мотор»? Мечтать так уж мечтать...

— Вы что до войны курили, товарищ лейтенант?

— «Беломор» и «Труд». В Киеве такие были, тоже два рубля.

— И я «Беломор»... Толстые, хорошие. Ленинградские особенно.

— Что вы после этого в папиросах понимаете, — говорит Чумак. — О «Беломоре» мечтают. «Казбек» — вот это папиросы. Я по две пачки выкуривал в день. Было времечко. Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два шага сюда. Потягивается, закинув руки за голову.

— Наденешь чарли — тридцать сантиметров, кепку на брови, бабу под руки, — пошел по Примбулю.

— Ты кем до войны был?

— Я? Шофером «ЗИС» водил. Потом на «Червонной Украине» служил. По Примбулю в Севастополе хоба ж так гулял, в беленьких брючках и с лентами до пояса. Надраишь мелом бляху, гюйс выгладишь, чистенький — «форма раз», только черноморская, белые брюки с клинушками, и па-ашел в город.

— Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб? А, Чумак?

Чумак останавливается. Как будто даже задумывается.

— О водке еще думал. О чем же еще. Денег — завались. Научным работником становиться не собирался. — Пауза. — А вот сейчас...

— Неужели простыл?..

Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова.

— Не то чтоб простыл... Но вот на войне... — Опять пауза. — Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана. Вместе выпивали, вместе морды били таким вот... — он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне, — таким вот субчикам. Но, в общем, не в этом дело.

Он садится на край стола. Раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может.

— В Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что ли, или в конце ноября? Не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а просто вместе на «Червонной» служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Бабу одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего — складный. У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков...

В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку — все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола.

— В общем, не любил я его. Да и он меня...

Карнаухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой.

— Выбил я ему таки парочку. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в этом дело... Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в пятнадцати от их окопов. Я думал, что совсем конец уже.

Пузыри стал пускать. И, хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну... А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок.

Несколько секунд мы сидим молча. Чумаков ковыряет ногтем край стола. Карнаухов как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Дрожит язычок пламени в лампе. Один кончик у него длинный и тонкий, черной струйкой лижет стекло.

— Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гаграх, в госпитале, узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью... В общем — нету Терентьева, что говорить...

Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу взад и вперед. Карнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами.

— Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну, как бы это сказать, ну, чтобы пить не скучно одному было. А сейчас... Вот есть у меня разведчик один. Да ты его знаешь, комбат, тот самый, из-за которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него, знаешь, зубами горло перегрызу. Или Гельман — еврей. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью, в местечке где-то, всю целиком фашисты вырезали...

Он прерывает себя на полуслове и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Карнаухов опять принимается за свой рисунок.

— Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант? — деликатно спрашивает он, не поднимая головы.

— Да. Что-то в этом роде, — отвечаю я. Карнаухов улыбается.

— Рассказывал мне давеча. Из-за какого-то убитого. Так, что ли?

— Да. С немца началось.

— Не понравились вы ему тогда, говорит.

— Что ж делать, на всех не угодишь.

— А теперь как? Наладилось?

— Что наладилось?

— Помирились?

— А разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. Я люблю таких. То есть не тех, которые приказаний не выполняют, а таких, как Чумаков, задиристых.

— В этом ему не откажешь.

— Не только в этом.

— А мне казалось, не такие вам нравиться должны.

— Не такие? А какие же?

— Ну, как вам сказать... Не одного поля вы ягоды, так сказать.

— А может...

Но на этом разговор кончается. Входит Чумаков.

— А где бачок пустой? Из-под воды.

— Какой бачок?

— Ну термос. Не все ли равно. Он у входа стоял.

— А что — нет?

— Нет.

— Куда ж он делся?

— Вот я и спрашиваю.

— Я выходил, он у входа стоял, — говорит Карнаухов, — споткнулся еще.

— А теперь нет. Я все обшарил.

— Валега, вероятно, взял. Штопать дырку от осколка.

— А где Валега?

— Тут был. Недавно. Автомат чистил. А тебе зачем?

— Да надо ж с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.

— Что ж ты сообразишь? — не понимаю я.

— Чего-нибудь... Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит — журчит. Может, ключ какой.

— Какой там ключ. Керосин из цистерны течет. Ночью знаешь как слышно? До путей метров двести, не больше.

— А почему не проверить?

— Проверь, если охота.

Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через пять объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.

— Ты где пропадал?

— Я не пропадал, — отвечает он, выковыривая грязь щепочкой из автомата.

— Бачок брал? Термос?

— Брал.

— Какого дьявола! Мы тут с ног сбились. Валега смотрит на меня с укоризной.

— Вы же сами говорили, что воды нет.

— Ну?

— Вот я и пошел за ней.

— За водой?

— Ну да — за водой.

— На Волгу, что ли?

— Нет. До Волги не дошел.

— Да ты говори толком. Принес, что ли, воды?

— Воды не принес. Вина принес. — И он опять углубляется в затыльник своего автомата. Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил себе путь движения. Какую-то тропинку правее моста, в сторону третьего батальона.

— Отчего ж ты ничего не сказал?

— А вы б не пустили. Чего ж говорить. Короче говоря, до третьего батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую.

— Там, около насыпи. Ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие, битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помои выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И вполголоса что-то по своему — хау, хау, хау... Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. Шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. А они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут десять прождал. Все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял один термос. А тот, наш, оставил. Пустой... Ругаться будут. И Валега улыбается чуть-чуть, уголком рта. Это с ним редко случается.

— Вино — дрянь, кислятина... Как раз для пулемета. Мы выпиваем каждый по полстакану. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать.

Мне снится Черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы — большие и маленькие, точно зонтики.

15

Атака наших не удастся. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыпят из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут десять еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает.

В семь прилетает «рама». Урчит, урчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом без всякой подготовки немцы переходят в атаку.

Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух — пулеметчики, на двух Чумак с Карнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги.

Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо.

Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей.

Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас.

— Сволочи! — говорит Валега.

— Сволочи! — повторяю я.

Обстрел длится минут двадцать. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем.

Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку.

— Двоих левых накрыло, — кричит он.

Мы остаемся с тремя пулеметами.

Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку.

Он бежит по траншее. Хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита.

— Угробило тех двоих, — говорит он, вынимая затвор. — Одни тряпки остались.

Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно.

Дает очередь. Все в порядке.

— Патронов хватит, комбат?

— Пока хватит.

— Там еще один ящик лежит, у землянки. Последний, кажется...

— В него мина попала.

Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.

— Не уйдем, лейтенант? — Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.

— Нет! — говорю я.

Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму.

Потом убивает старика сибиряка.

Опять стреляем. Пулемет трясется как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками...

Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подагрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает — срезает пулемет.

Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, десять, двенадцать. В голове гудит. А может, то самолеты над головой? Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде.

Давай еще! Еще... Еще... Валега! Он тащит ящик.

У него смешно дрыгает зад — вправо, влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий.

Давай!.. Давай!..

Потом какое-то лицо — красное, без пилотки, лоснящееся.

— Разрешите, товарищ лейтенант.

— Уйди...

— Да вы ж ранены...

— Уйди...

Лицо исчезает, вместо него что-то белое, или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое: расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее. Дрожат. Потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Вместо них лицо. Золотой чуб, расстегнутый ворот, глаза, смеющиеся голубые

глаза. Ширяевские глаза. И чуб ширяевский. И лампа с зеленым абажуром. И нашатырем воняет так, что плакать хочется.

— Узнаешь, инженер?

И голос ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот — шершавый и колючий.

Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега. И Харламов. И Ширяев. Настоящий, живой, осязаемый, золоточубый Ширяев.

— Ну, узнаешь?

— Господи боже мой, конечно же!

— Ну, слава богу.

— Слава богу.

Мы трясем друг другу руки и смеемся и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются.

— Вы осторожнее, товарищ старший лейтенант, они же ранены. Совсем растрясете.

Это, конечно, Валега. Ширяев отмахивается.

— Какое там раненый. Сорвало кожу, и все. Завтра заживет.

Я чувствую слабость. Голова кружится. Особенно при поворотах.

— Пить хочешь?

Я не успеваю ответить, в зубах моих кисловатая жестянка, и что-то холодное, приятное разливается по всему телу.

— Откуда взялся, Ширяев?

— С луны свалился.

— Нет. Серьезно.

— Как — откуда? Получил назначение, и все. Комбатом в твой батальон. Недоволен?

Он ничуть не изменился. Даже не похудел. Такой же крепкий, ширококостый, подтянутый, в пилотке на одну бровь.

— А тебя малость того... подвело, — говорит он, и широкая белозубая улыбка никак не может сойти с его лица. — Не очень-то отдыхаете.

— Да, насчет отдыха слабовато... Но погоди, погоди. Сейчас-то вы откуда взялись?

— Не все ли равно откуда. Взялись, и все.

— А фрицы?

— Фрицы — фрицами. Из оврага убежали. Двух пленных даже оставили.

— А вас много?

— Как сказать. Два батальона. Твой и третий. Человек пятьдесят.

— Пятьдесят?

— Пятьдесят.

— Врешь!

Он опять смеется. И все окружающие смеются.

— Чего же врать. По-твоему, много?

— А по-твоему?

— Как сказать...

— Стой... А мост? Мост как?

— Сидят еще там человек пять, — вставляет Харламов, — но не долго уж им.

— Здорово. Просто здорово. А Чумак, Карнаухов?

— Живы, живы...

— Ну, слава богу. Дай-ка еще водицы.

Я выпиваю еще полторы кружки, Ширяев встает.

— Приводи себя в порядок, а я того, посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем —

Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? — Он протягивает руку. — Да, Филатова помнишь? Пулеметчика. Пожилой такой, ворчун.

— Помню.

— Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе.

— Жаль старика.
— Жаль. Мировой старик был.
— Мировой.

Несколько секунд мы молчим.

— Ну, я пошел.

— Валяй. Вечером, значит.

И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь.

Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне.

* * *

Вечером мы сидим с Ширяевым на батальонном КП — в трубе под насыпью.

Рана у меня чепуховая — сорвало кожу на лбу и дорожку в волосах сделало. Я могу даже пить. Правда, немного. И мы пьем какой-то страшно вонючий не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой. Это та самая, которую я выкинул на сопке. Валега, конечно, не мог перенести этого.

— Разве можно выбрасывать. Прошлый раз выпивали, сами говорили: «Вот селедочки бы, Валега...» — и раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на выкраденной из харламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры.

Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев почти весь батальон потерял. Немцы их около Кантемировки окружили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вешенскую. Там опять чуть к немцам не попали. Выкрутились. Перебрались через Дон. За Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых. Воевал под Калачом. Был легко ранен. Попал в Сталинград — в резерв фронта. Там около месяца проторчал и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатом. Лежа на деревянной, сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева. Стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же — даже голубой треугольник майки выглядывает из-за расстегнутого ворота.

— О Максимове ничего не слыхал? — спрашиваю я.

— Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона. Но маловероятно. Я всю эту сторону исколесил — ни разу не встретил.

— А из наших с кем встречался?

— Из наших? — Ширяев морщит нос. — Из наших... кое-кого из командиров рот.

Начальника разведки — Гоглидзе. На машине проехал. Рукой махал. Ну, кого еще? Из медсанбата девчат. Парторга Быстрицкого... Да! — Он хлопает ладонью по столу. — Как же! Друга твоего, химика, как его?

— Игоря? Где? — Я даже приподымаюсь.

— На этой уже стороне. Дней пять тому назад.

— Врешь.

— Опять врешь. На «Красном Октябре» он. В Тридцать девятой.

— В Тридцать девятой?

— И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то минные поля, фугасы, тому подобная хреновина.

— А ты что в Тридцать девятой делал?

— Да ничего. Случайно совсем вышло. Штаб армии искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в Банном овраге. Я и двинул туда. А там знаешь что делается? За три шага ничего не видно. Дым, пыль, — черт-те что... «Певуны» как раз налетели. Я — в щель. Даже не в щель, а так что-то. Потом вижу дверь деревянную. Давай туда, хоть от осколков спасет. Влезаю внутрь. Потом, когда они уже улетели, хочу уходить, а меня кто-то за руку. Смотрю — Игорь твой. Не узнал даже сначала. Усики сбрил. Черный весь, закопченный. По глазам только и узнал.

— Ну живой, здоровый?

— Живой, здоровый. О тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю — и все. Пожалели мы, пожалели, а потом он и говорит, будто в Сто восемьдесят четвертой ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии знаешь сколько. В штабе армии и попросился в Сто восемьдесят четвертую. Они с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал, в каком ты полку.

— Молодчина, ей-богу!

— Вот так-то оно и вышло...

— А Седых не видал?

— Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали.

— Его портсигар до сих пор у меня хранится. На прощанье мне подарил. Я вынимаю из кармана целлулоидовый портсигар.

— Хороший, — говорит Ширяев.

— Хороший. Сами делали. На Тракторном когда сидели. Там этого целлулоида знаешь сколько было?

— Здорово сделано. Неужели сами делали?

— Сами.

— А выцарапал на крышке кто?

— Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал.

— Здорово. У тебя только один?

— Один. Свой я подарил. А это от Седых — на память. Славный паренек был.

— Славный.

— Никак только поверить не мог, что земля вокруг солнца вертится, а не наоборот. Ширяев еще наливает.

— Мне больше не надо, — говорю я, — у меня уже голова кружится.

Потом приходит Абросимов — начальник штаба полка. Бледный. Вид недовольный. Говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделать, — полк опять собирались передислоцировать. Затем отменили.

Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона.

Часов в двенадцать Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Валегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой, я с ними так и не попрощался.

Харламов протягивает руку.

— Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам, — и смотрит на меня добрыми глазами.

Мне немножко грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа, фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь, даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую.

— Уходите от нас, товарищ комбат?

— Ухожу.

Он покашливает и опять козыряет, на этот раз уже прощаясь.

— Заходите, не забывайте.

— Обязательно, обязательно, — говорю я и, опершись на плечо Валеги, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.

конец направо комната. Именно комната. Только окон нет. Все аккуратненько обшито досками: тоненькими, подогнанными, ножа не воткнешь. Пол, потолок, две коечки, столик между ними. Над столиком овальное, ампирное зеркало с толстощекимым амуром. В углу примус, печка-колонка. Тюфяки, подушки, одеяла. Что еще надо? Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят. Уже для себя.

— Как боги заживем, — говорит Лисагор. — Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? Четырнадцать метров! И все глина. Твердая, как гранит. В общем, всерьез и надолго.

Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте если не половина, то, во всяком случае, четверть успеха. И я три дня наслаждаюсь этой четвертушкой.

Утром Валега кормит меня макаронным супом, жирным и густым — ложку не повернешь, потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу. Подложив подушку под спину, я решаю кроссворды из старых «Красноармейцев» и наслаждаюсь чтением московских газет.

На земном шаре спокойно.

В Новой Зеландии объявлен новый призыв в армию. На Египетском фронте активность английских патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с Кубой и Люксембургом. Авиация союзников совершила небольшие налеты на Лаэ, Саламауа, Буа на Новой Гвинее и на остров Тимор. Бои с японцами в секторе Оуэн-Стэнли стали несколько более интенсивными.

В Монровию, столицу Либерии, прибыли американские войска.

На Мадагаскаре английские войска тоже куда-то движутся, что-то занимают, с кем-то — трудно понять с кем — воюют и даже пленных захватывают.

В Большом театре идет «Дубровский». В Малом «Фронт» Корнейчука. У Немировича-Данченко — «Прекрасная Елена»...

А здесь, на глубине четырнадцати метров, в полутора километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно, так спокойно, так по-тыловому.

Неужели же есть еще более спокойные места? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых, повернешь вентиль, и вода потечет? Странно...

И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — эта вот землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была, а до войны мне какие-то костюмы были нужны и галстуки в полоску, и в булочной я ругался, если недостаточно поджаренный калач за два семьдесят давали. И неужели же после войны, после всех этих бомбежек, мы опять... и так далее, в том же духе.

Потом мне надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь наружу.

По-прежнему летают на «Красный Октябрь» самолеты, по-прежнему рвутся мины на Волге, на том, а иногда и на этом берегу, снуют лодки по реке, и немцы их обстреливают.

Но мало уже кто обращает на это внимание. Даже когда парочка шальных «Мессеров» обстреливает берег и «юнкеры» для разнообразия сбрасывают бомбы не на «Красный Октябрь», а на нас, никто особенно не волнуется. Заберутся куда-нибудь под бревна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают и, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб. Раненых ведут в санчасть. И все это спокойно, с перекурами, шуточками.

Примостившись на какой-то тянущейся вдоль берега, неизвестного для меня происхождения толстой трубе, я болтаю ногами. Курю сногшибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу, и думаю... нет — пожалуй, ни о чем не думаю. Курю и болтаю ногами.

Подходит Гаркуша, усатый помкомвзвода. Я ему показываю часы, останавливаться что-то стали. Он их рассматривает, встряхивает, говорит, что дрянь цилиндр, и тут же у моих ног,

положив на колени дощечку, начинает чинить их. Движения у него поразительно точные, хотя, казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ.

Профессии его довоенной я так и не могу уловить. Ему двадцать шесть лет, а он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом в ЭПРОНе, и даже акробатом в цирке побывать, и три раза жениться, и со всеми тремя регулярно переписываться, хотя у двух из них уже новые мужья.

В разговоре он сдержан, но на вопросы отвечает охотно. От нечего делать я задаю их много. Он отвечает обстоятельно, будто анкету заполняет. От часов не отрывается ни на минуту. Один только раз уходит в туннель проверить саперов.

Потом появляется Астафьев, помощник начальника штаба по оперативной части, — ПНШ-1, по-нашему. Молодой, изящный, с онегинскими бачками и оловянным взглядом. Он чуть-чуть картавит на французский манер. По-видимому, думает, что ему идет. Мы с ним знакомы только два дня, но он уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем-то неуловимым напоминает он толстовского Ипполита Курагина. Так же недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой.

Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории.

— Вы понимаете, как это интересно, Жорж? — говорит он, изящно прислонившись к трубе и предварительно сдунув с нее пыль. — Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. Именно нам, участникам этих событий, людям культурным и образованным. Пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу. Не правда ли? Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцами. — И вы мне поможете, Жорж. Правда? Рассчитывать на Абросимова или других, ему подобных, не приходится, вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничего не интересует.

И он слегка улыбается с видом человека, ни минуты не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя.

Как сказать, может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и «Жорж», и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом.

Над обрывом появляется вереница желтокрылых «юнкеров». Скосив на них глаз, Астафьев делает грациозный жест рукой:

— Ну, я пошел... Формы совсем заели. По двадцать штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж, — и скрывается в своем убежище.

«Юнкеры» выстраиваются в очередь и пикируют на «Красный Октябрь».

Высунув кончик языка, Гаркуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы.

На командирской кухне стучат ножи. На обед, должно быть, котлеты будут.

К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Я получаю тысячу штук мин. Пятьсот противотанковых ЯМ-5 здоровенные шестикилограммовые ящики из необструганных досок, и столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с семидесятипятиграммовыми толовыми шашками. Сорок мотков американской проволоки. Лопат — двести, кирок — тридцать. И те и другие дрянные. Особенно лопаты. Железные, гнутся, рукоятки неотесанные. Все это богатство раскладывается на берегу против входа в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит — на честность соседей трудно положиться.

Утром двадцати лопат и десяти кирок-мотыг мы недосчитываемся. Часовой Тугиев, круглолицый, здоровенный боец, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения.

— Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант... Ей-богу... А так никуда...

— Оправиться или не оправиться, нас не касается, — говорит Лисагор, и голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы Тугиева начинают еще больше дрожать. — А чтобы к вечеру все было налицо...

Вечером, при проверке, лопат оказывается двести десять, кирок тридцать пять. Тугиев сияет.

— Вот это воспитание! — весело говорит Лисагор и, собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата — та же винтовка и если только, упаси бог, кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезают на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы.

Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру.

Он живет метрах в трехстах — четырехстах от нас, тоже на берегу, в саперном батальоне.

Фамилия его Устинов. Капитан. Немолодой уже — под пятьдесят. Очкастый. Вежливый.

По всему видно — на фронте впервые. Разговаривая, вертит в пальцах желтый, роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком — во-первых, во-вторых, в-третьих.

На столе в землянке гряда книг: Ушакова «Фортификация», «Укрепление местности»

Гербановского, наставления, справочники, уставы, какие-то выпуски Военно-инженерной академии в цветных обложках и даже толстенный синий «Hutte».

Устиновские планы укрепления передовой феноменальны по масштабам, по разнообразию применяемых средств и детальности проработки всего этого разнообразия.

Он вынимает карту, сплошь усеянную разноцветными скобочками, дужками, крестиками, ромбиками, зигзагами. Это даже не карта, а ковер какой-то. Аккуратно развертывает ее на столе.

— Я не стану вам объяснять, насколько это все важно. Вы, я думаю, и сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны, а именно к такой войне мы сейчас и стремимся, количество, качество и продуманность инженерных сооружений играют выдающуюся, я бы сказал, даже первостепенную роль.

Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с нависшей над веками кожей глазами.

— Восемьдесят семь лет назад именно поэтому и стоял Севастополь, что братья наши — саперы — и тот же Тотлебен сумели создать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане и даже сардинцы тоже уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом...

Он подробно, с целой кучей цифр, рассказывает о севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую войну, на Верден, на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой.

— Как видите, — он аккуратно прячет схемы расположения севастопольских ретраншементов и апрошей в папку с надписью «Исторические примеры», — работы у нас непочатый край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше.

Он пишет на листочке бумаги цифру «I» и обводит ее кружком.

— Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к семи ноль-ноль доставлять мне донесения о проделанных за ночь работах: А — вашими саперами, В — дивизионными саперами, С — армейскими, если будут, а я надеюсь, что будут, саперами, D — стрелковыми подразделениями. Кроме того...

Бумажка опять испещряется цифрами — римскими, арабскими, в кружочках, дужках, квадратах или совсем без оных.

Прощаясь, он протягивает узкую руку с подагрическими вздутиями в суставах.

— Особенно прошу вас не забывать каждого четырнадцатого и двадцать девятого присылать формы — 1, 1–6, 13 и 14. И месячный отчет — к тридцатому. Даже лучше тоже к двадцать девятому. И еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ. Это очень важно...

Ночью за банкой рыбных консервов Лисагор весело и громко хохочет.

— Ну, лейтенант, пропал ты совсем. Целую проектную контору открывать надо. Тут за три дня и прочесть-то не успеешь, что он написал. А с этими лопатами и шестнадцатью саперами за три года не сделаешь. Ты не спрашивал он не из Фрунзе? Не из Инженерной академии приехал?

18

Дни идут.

Стреляют пушки. Маленькие, короткоствольные, полковые — прямо в лоб, в упор с передовой. Чуть побольше — дивизионные — с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие — с длинными, задранными из-под сетей хоботами — с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые — двухсоттрехмиллиметровые. Их возят на тракторах: ствол — отдельно, лафет — отдельно. Приехавший с той стороны платить жалованье начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь, — его все в полку так и называют, — говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка.

Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из «ишаков» по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы.

Гудят самолеты — немецкие днем, наши «кукурузники» — ночью. Правда, у немцев тоже появились «ночники», и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. «За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то, за это время разрушено то-то и то-то...»

На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера, из хворых, крутят деревянный барабан, изготавливают спирали Бруно — нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые «лодыри» — портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнемечки. Минированием занимается, конечно, Гаркуша и командир второго отделения Агнивцев, энергичный, исполнительный, но не любимый бойцами за грубость.

Лисагор по-прежнему деятелен и руглив. У него всегда какое-то неотложное задание командира полка: то склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него несет, как из бочки, но держится, в общем, хорошо.

Днем мы отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лодки и кирки и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало. Дорогу освещают ракеты.

После работы, покуривая махорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым, — во втором батальоне я чаще всего бываю, — в тесном, жарко натопленном блиндаже, ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически обыгрывает меня. Я плохой шахматист.

Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утра уже холодные. Часов до десяти не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка.

На языке сводок все это, вместе взятое, называется:

«Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова «ожесточенный» и «тяжелый» дней десять уже не попадают в сводке, хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера, и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдать и бросить надежды на идущего с севера Жукова.

Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и с зимнего обмундирования, которое нам теперь выдают. Ушанки, телогрейки, стеганные брюки, суконные портянки, меховые рукавицы — мохнатые, кроличьи. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок — не ходим уже мыться на Волгу и начинаем считать, сколько до весны осталось.

Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные, с обязательными «Сов. секретно» и «Только Керженцеву» наверху в правом углу, они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины.

Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым, звонким голосом:

— Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя. С Валегой они дружны и, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.

— Мой все пишут, все пишут, — сквозь дверь доносится голос связного. Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся.

Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.

— А мой нет, писать не любят, — басит Валега. — Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки. Все прочтут. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.

— Ну, уж не больше моего, — обижается связной. — Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одной, я сам смотрел, пятьсот страниц. И все мелко, мелко, без очков и не разберешь.

— А на передовой твой бывает? — спрашивает вдруг Валега.

— Куда уж им. Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.

Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

Иногда приходит к нам Чумаков, он живет рядом, в десяти шагах, приносит с собой карты, и мы дуемся в «очко». Иногда мы с Лисагором к нему ходим слушать патефон.

Время от времени приезжает с того берега Лазарь, начфин. Живет у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости — нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но мы делаем вид, что верим, верить куда приятнее, чем не верить, и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или Томске.

Один раз в расположение нашего полка падает «мессершмитт». Кто его подбил — неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: «Метким ружейно-пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника». Он падает недалеко от мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквальное паломничество. Через полчаса после падения Чумаков приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласа. Через

неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками гаркушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный, с металлическим ободком мундштук.

19

Шестого вечером Карнаухов звонит мне по телефону:

— Фрицы не лезут. Скучаю. А у меня котлеты сегодня. И праздник завтра. Приходи. Я не заставляю себя ждать. Приходим. Я, Ширяев, потом Фарбер.

— Помнишь, — говорит Ширяев, — как мы с тобой под Купянском тогда пили? В последнюю ночь... У меня в подвале. И картошечкой жареной закусывали. Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа? Потерял я его. Под Кантемировкой. Неплохой парнишка был... — Он вертит кружку в руках.

— О чем ты думал тогда? А? Юрка? Когда мы на берегу сидели? Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал?

— Да как тебе сказать...

— Можешь и не говорить. Знаю. Обидно было. Ужасно обидно. Правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил? Воевать, говорил, не хотите. Здоровые, а не хотите. И мы не знали, что ответить. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого. Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежали.

— А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже...

Рассыпалось... Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже, — его батальон переправу там налаживал, — порядки стали наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки.

Машины в одиночку, по брюхо в воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут вдруг — на «Виллисе» майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на «Виллисе» своем добрался, а там стал во весь рост и заорал на меня: «Какого черта не пускаешь! Танки немецкие в трех километрах! А тут порядки наводишь!» Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. Ну, думаю, раз уж майоры такое говорят — значит, плохо. А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего, вижу, с ног сшибли. И черт его знает, помутнение у меня какое-то случилось. Вскочил на «Виллиса» и — хрясь! — раз, другой, третий, прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все восемь штук всадил... А танков, оказывается, и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, провокаторы? А?

— Может, — отвечаю я.

Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонной трубке кто-то ругается.

— А все-таки воля у него какая... — говорит Ширяев, не подымая глаз. Ей-богу...

— У кого? — не понимаю я.

— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержат. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь. Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ничего не могут сделать со всеми своими «юнкерсами» и «Хейнкелями». И это после прорыва, такого прорыва!.. После июльских дней. Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. Мы вот каких-нибудь пятьсот — шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А главнокомандующему за весь фронт думать надо. Газету и то, вероятно, прочесть не успеваешь. Ты как думаешь, Керженцев, успеваешь или нет?

— Не знаю. Думаю, все-таки успеваешь.

— Успеваешь, думаешь? Ой, думаю, не успеваешь. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезешь, матюком покроешь, ну иногда там пистолетом пригрозить... Да и всех наперечет знаешь, — и каждый бугорок, каждую кочку сам лично облазишь. А у него что? Карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи — где наступают, где стоят, где отступают. «Нет, не завидую я ему. Нисколечко не завидую...» — Ширяев встает. — Сыграй-ка чего-нибудь, Карнаухов. Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов.

— Что-нибудь такое... знаешь... чтоб за душу... Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги.

— Как там на передовой, Лешка? Спокойно?

— Все спокойно, товарищ старший лейтенант, — нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает Лешка. — В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий.

— Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью — разбудишь меня. Ну, давай, Карнаухов.

Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает глаза. Песни все русские, задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее, какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови. Голубые глаза. Неглупые, спокойные. И всегда такие. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались.

Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, детях, интегралах, бесконечно малых величинах? Или вообще ничего на свете его не интересует? Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает, — с таким отсутствующим, скучающим видом покуривает он под бомбежкой.

Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь. Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время мы сидим молча. Ширяев приподымается на одном локте.

— Фарбер... Ты и до войны таким был?

Фарбер подымает голову.

— Каким таким?

— Да вот таким, какой ты сейчас.

— А какой я сейчас?

— Да черт его знает какой... Не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь... Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь с высшим образованием.

Фарбер чуть-чуть улыбается:

— Я не совсем понимаю связь между вином, и женщинами, и высшим образованием.

— Дело не в связи. — Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги. Карнаухов тихий, скромный парень — ты не слушай, Карнаухов, — а и то как загнет, так только держись.

— Да, в этой области я не силен, — отвечает Фарбер. Ширяев смеется:

— Ты не подумай, что я хочу тебя испортить. Или ругаться научить. Упаси бог. Просто я не понимаю, как это могло получиться... А плавать ты умеешь?

— Плавать? Нет, не умею плавать.

— А на велосипеде?

— И на велосипеде не умею.

— Ну, а в морду давал кому-нибудь?

— Да что ты пристал к человеку, — вступается Карнаухов. — Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он-то уж тебе порасскажет.

— В морду давал, — спокойно говорит Фарбер и встает.

— Давал? Кому?

— Я пойду, — не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель.

— Нет, кому ты давал?
— Неинтересно... Разрешите идти.
И уходит.
— Странный парень, — говорит Ширяев и встает. Карнаухов улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках.
— Вчера я заходил к нему. С берега шел. Сидит и пишет. Письмо, должно быть. Четвертую страницу тетрадную кончал, мелким-мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть. Ширяев еле заметно подмигивает мне.
— А может, то не письмо?
— А что же?
— Может, стихи.
Карнаухов краснеет.
— Ты чего краснеешь?
— Я не краснею, — и краснеет еще больше. Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Карнаухова.
— Ну, а твои как?
— Что — мои?
— Стихи, конечно.
— Какие стихи?
— Думаешь, не знаем? В тетрадке которые. В клеенчатой. Как там у него, Керженцев, не помнишь? Карнаухов приперт к стенке.
— Да это так... От нечего делать.
— От нечего делать... Все вы так — от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать.
Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстанемся — он направо, я налево.
— А стихи все-таки прочитаешь, — говорю я ему, прощаясь.
— Когда-нибудь... — неопределенно как-то отвечает он и скрывается в темноте.

20

Ночь темная. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливают на бугре.
Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.
— Кой черт курит?
— А отсюда все равно не видно, — отвечает из темноты глуховатый голос.
Голос Фарбера.
— Вы что здесь делаете?
— Ничего... Воздухом дышу.
Я подхожу ближе.
— Воздухом дышите?
— Воздухом дышу.
Я зачем-то сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. Я не знаю, о чем можно с ним говорить.
— Сейчас концерт будет, — говорит вдруг Фарбер.
— Не думаю, — отвечаю я. — «Ишаки» у них уже два дня почему-то молчат.
— Нет, я не о таком, а о настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.
— Из Москвы, что ли?
— Должно быть, из Москвы.

Проходят бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего по четыре батальонные мины зараз нести. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег.

— Как дела в роте? — спрашиваю я.

— Ничего, — равнодушно отвечает Фарбер. — Без особых перемен.

— Сколько человек у вас теперь?

— Да все столько же. Больше восемнадцати — двадцати никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.

— А пополнение?

— Да что пополнение...

— Юнцы желторотые?

— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.

— М-да... — говорю я. — Невеселая штука война... Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает сигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.

— Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? — спрашивает Фарбер. Он никак не может прикурить — бычок маленький, высыпается.

— Жизнь или война? — спрашиваю я.

— Именно жизнь.

— Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем... собственно говоря, вы...

— Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.

— Не рано ли?

— Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить.

Он медленно вдавливая окурок каблуком в землю. Огонек долго еще тлеет у его ног.

— Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?

— Ну?

— Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?

— Страусовский?

— Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высывали головы из-под крыла.

— Расшифруйте.

— Я говорю о войне. О нас и о войне. Под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче вы знали, что будет война?

— Пожалуй, знал.

— Не пожалуй, а знали. Более того — знали, что и сами будете в ней участвовать.

Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым.

— До войны вы были командиром запаса. Так ведь? ВУС-34... Высшая вневойсковая подготовка или что-нибудь в этом роде.

— ВУС-34... ВВП... Командир взвода запаса. Ни разу я еще не слышал, чтоб Фарбер так много говорил.

— Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом — лагеря, муштра. Направо, налево, кругом, шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, спрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы, сколько до обеда осталось. Думаю, что я мало ошибаюсь.

— Откровенно говоря, мало.

— Вот тут-то собака и зарыта... На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючки, и смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов в шеренгах... Ах, как здорово, ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда? А о том, что и нам когда-то придется шагать, и не по асфальту, а по пыльной дороге, с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь — ну, не сотен, а хотя бы десятков людей... Разве думали мы тогда об этом?

Фарбер говорит медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен. Но по частым затяжкам, по неравномерным паузам, по освещаемым сигаркой сдвинутым бровям чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить, но то ли не было собеседника, то ли случая подходящего, то ли времени, то ли не знаю чего. И мне ясно, что он волнуется, но, как у многих людей его типа, замкнутых и молчаливых, волнение это почти не выражается внешне, а, наоборот, делает его еще более сдержанным.

Я молчу. Слушаю. Курю. Фарбер продолжает:

— На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги тридцать молодых — плотников, слесарей, кузнецов, трактористов — и говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.

— В саперном, что ли?

— В саперном.

— А вы разве сапер?

— Сапер. Вернее, был сапером.

— А почему же вдруг стрелком стали?

— Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.

— А я и не знал. Коллега, значит.

— Коллега, — улыбается Фарбер и продолжает: — Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании: подрывное дело — четыре часа, фортификация — четыре часа, дороги и мосты — четыре часа. А они стоят. Переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои «сидора», сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру...

Он делает паузу. Ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит — одну за другой.

— А кто во всем этом виноват? Кто виноват? Дядя — как говорит мой старшина? Нет, не дядя... Я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел как на необходимую — так уже заведено, ничего не поделаешь, — но крайне неприятную повинность. Именно повинность. Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное. Наука... Фарбер шарит по карманам.

— Чем прикуривать будем? — говорит он. — У меня спички кончились.

— И бычок погас?

— Погас.

— Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.

— Придется.

И мы ждем. Помолчав, Фарбер продолжает все тем же спокойным усталым голосом:

— Четыре месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал. А утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. Бр-р... От одного воспоминания в дрожь бросает.

Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего «кресала». Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры. Фарбер поворачивает голову.

— Нытик? Да? — говорит он совсем тихо. До сих пор он говорил, не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз.

— Кто нытик? — спрашиваю я.

— Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит чего-то, жалуется. Правда? Я не сразу нахожу, что ответить. Он во многом прав. Но стоит ли вообще говорить о том, что прошло. Анализировать прошлое, вернее — дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее.

— По-моему, трудно жить, если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю, вы уже знаете и научить бойца с нею обращаться тоже сможете.

Фарбер смеется:

— Пожалуй, вы правы. — Пауза. — Но вы знаете...

Если б я, например, встретился до войны, ну, хотя бы с Ширяевым, я никогда бы не поверил, что буду ему завидовать.

— А вы завидуете?

— Завидую. — Опять пауза. — Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. Восемь лет все-таки проучился. Но такая вот элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, для меня почти непреодолимое препятствие.

— Вы склонны к самокритике, — говорю я.

— Возможно. Думаю, что и вы этим занимаетесь, только не говорите.

— Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву?

— Почему?..

Он встает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то только очень далеко, за «Красным Октябрем», изредка, без всякого увлечения, пофыркивает пулемет.

— Потому что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным. Но это так. Он человек простой, цельный, ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует, что этими вопросами попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал в физиономию кому-то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот...

Он вдруг умолкает. Посапывает носом. Это, очевидно, у него нервное. Постепенно я начинаю его понимать. Понимать эту сдержанность, замкнутость, молчаливость.

— Ничего, — говорю я, стараясь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был еще комбатом. — Всем тяжело на войне.

— Господи боже мой! Неужели вы так меня поняли? — Голос его даже вздрагивает и срывается от волнения. — Ведь мне предлагали совсем не плохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите — всем тяжело на войне.

Я чувствую, что действительно сказал неудачно.

— У вас жена есть? — спрашиваю я.

— Есть. А что?

— Да ничего. Просто интересуюсь.

— Есть.

— И дети есть?

— Детей нет.
— А сколько вам лет?
— Двадцать восемь.
— Двадцать восемь. Мне тоже двадцать восемь. А друзья у вас были?
— Были, но... — Он останавливается.
— Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета. Просто... Одиноки вы как-то, по-моему, очень.
— Ах, вы об этом...
— Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы. А впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили.
— Да, сегодня.
— Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
— Возможно... — И опять помолчав: — Я вообще туго схожусь с людьми. Или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, мало интересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею, командир, в общем, неважный.
— Напрасно вы так думаете.
— Вы у Ширяева спросите.
— Ширяев вовсе не плохо к вам относится.
— Дело не в отношении. Впрочем, все это мало интересно.
— А по-моему, интересно. Скажу вам откровенно, когда я в первый раз вас увидел, — помните, там, на берегу, ночью, после высадки?
Фарбер останавливает меня движением руки.
— Стойте! — и касается рукой колена. — Слышите? Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром, медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут над рекой, над разбитым, молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.
— Узнаете?
— Что-то знакомое... Страшно знакомое, но... Не Чайковский?
— Чайковский. *Andante cantabile* из Пятой симфонии. Вторая часть.
Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.
— Вот это место... — говорит Фарбер, опять прикасаясь рукой к моему колену. — Точно вскрик. Правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите Пятую?
— Люблю.
— Я тоже... Даже больше, чем Шестую. Хотя Шестая считается самой, так сказать... Сейчас вальс будет. Давайте помолчим.
И мы молчим. До конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев, Царский сад, каштаны, липы, Люсю, красные, яркие цветы, дирижера с чем-то белым в петлице... Потом прилетает бомбардировщик, тяжелый, ночной, трехмоторный. Его у нас почему-то называют «туберкулез».
— Странно, правда? — говорит Фарбер, подымаясь.
— Что странно?
— Все это... Чайковский, шинель эта, «туберкулез». Мы встаем и идем по направлению фарберовской землянки. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальца прожектора.
Я на берег не иду. Остаюсь ночевать у Фарбера.

Седьмого вечером приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удастся — трещит эфир. Только — «и на нашей улице будет праздник» — разобрали.

Фразу эту обсуждают во всех землянках и траншеях.

— Будет наступление, — авторитетно заявляет Лисагор; он обо всем очень авторитетно говорит. — Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил прошлый раз, помнишь? — что какие-то дивизии по ночам идут. Ты их видишь? Нет. И я не вижу. Вот и понимай...

Сталин выступал шестого ноября.

Седьмого союзники высаживаются в Алжире и Оране. Десятого вступают в Тунис и Касабланку.

Одиннадцатого ноября в семь часов утра военные действия в Северной Африке прекращаются. Подписывается соглашение между Дарланом и Эйзенхауэром. В тот же день и тот же час германские войска по приказу Гитлера пересекают демаркационную линию у Шалонсюр Саон и продвигаются к Лиону. В пятнадцать часов итальянские войска вступают в Ниццу. Двенадцатого ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе.

Тринадцатого же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. Сорок два «Ю-87» в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на левом берегу Волги. И улетают.

В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина.

После восьмидесяти двух дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной, с семи утра до семи вечера, бомбежки наступает что-то непонятное. Исчезает облако над «Красным Октябрем». Не надо поминутно задира́ть голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только «рама» с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, да «Мессеры» иногда пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются.

— Ясно — немцы выдохлись. И в окопах идут оживленные дискуссии отчего, почему, и можно ли считать африканские события вторым фронтом. Политработники нарасхват. Полковой агитатор наш, веселый, подвижной, всегда возбужденный Сенечка Лозовой, прямо с ног сбивается. Почти не появляется на берегу, только забежит на минутку в штаб радио послушать и опять назад. А там, на передовой, только и слышно: «Сенечка, сюда!», «Сенечка, к нам!» Его там все и называют — «Сенечка». И бойцы и командиры. Комиссар даже отчитал его как-то:

— Что же это такое, Лозовой? Ты лейтенант, а тебя все — «Сенечка». Не годится так. А он только улыбается смущенно.

— Ну, что я могу поделать. Привыкли. Я уж сколько раз говорил. А они забывают... И я забываю.

Так и осталось за ним — Сенечка. Комиссар рукой махнул.

— Работает как дьявол... Ну как на него рассердишься?

Работает Сенечка действительно как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что не поймешь, где она у него, такого маленького и щупленького, помещается. Одно время все с трубой возился. Сделали ему мои саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор, вместе с переводчиком, немцев агитировал. Немцы злились, стреляли по ним, а они трубу под мышку — и в другое место. Потом листовками увлекся и карикатурами на Гитлера. Совсем не плохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками, специальный какой-то самострел из резины делал. Но из этой затеи ничего не вышло, банки до немцев не долетали. Принялся он тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку: «Стреляйте в меня!» — и вместе с разведчиками как-то ночью поставил его на «ничейной» земле, между нами и немцами. Те

рассвирепели, целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. Украсть-то украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши животы надрывали. «Ай да Сенечка!» Очень любили его бойцы.

К сожалению, вскоре его у нас забрали. Как лучшего в дивизии агитатора послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда она наконец пришло, целый день на КП первого батальона — он там чаще всего бывал строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек, и то больше вопросов («а у нас все по-прежнему, воюем понемножку»), а подписи еле-еле на четырех страницах уместились: что-то около ста подписей получилось. Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы. — И когда же эта учеба его кончится? — спрашивали они и все мечтали, что Сенечка обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся, на Северный фронт, кажется, попал.

22

Девятнадцатого ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже — вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко.

На этот раз Валега и Лисагор тоже что-то затевают. Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся, без крыши хибарку на берегу Волги, выдает чистое, даже глаженое белье, потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту — озабоченный, с таинственными свертками под мышкой, кого-то ищет. Лисагор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь.

Под вечер я ухожу к Устинову. Он уж третий день вызывает меня к себе. Сначала просто «предлагает», потом «приказывает» и, наконец, «в последний раз приказываю во избежание неприятностей». Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает длинная и нудная нотация, пересыпанная историческими примерами, верденами, порт-артурами, тотлебенами и клаузевицами. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю.

Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних гнетет и мучает армейская муштра, на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же, наоборот, вся эта внешняя сторона военной жизни очень нравится — они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом козыряют, поминутно вставляют в разговор «товарищ лейтенант», «товарищ капитан», щеголяют знанием устава и марок немецких и наших самолетов, прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят — «полковая летит» или «из ста пятидесяти двух начали». О себе иначе не говорят, как «мы — фронтовики, у нас на фронте».

Устинов относится ко второй категории. Чувствуется, что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем не плохо, несмотря на преклонный возраст, очки и любовь к писанию. С кем бы он ни здоровался, он обязательно встанет, разговаривая со старшим по званию, держит руки по швам.

Сейчас он встречает меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержанно: замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку, — все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами.

Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он подымает глаза и взглядывает на меня поверх очков.

— Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?

— Каких событий?

— Как? Вы ничего не знаете? — Брови его недоумевающе поднимаются. — КСП вам ничего не сказал? — «КСП» на его излюбленном языке донесений — это «командир стрелкового полка», в данном случае майор Бородин.

— Нет, не говорил.

Брови медленно, точно колеблясь, опускаются и занимают свое обычное положение.

Пальцы крутят длинный, аккуратнo отточенный карандаш с наконечником.

— Сегодня в шесть ноль-ноль мы переходим в наступление.

Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посредине точку.

— Какое наступление?

— Наступление по всему фронту, — медленно, смакуя каждое слово, произносит он. — И наше в том числе. Вы понимаете, что это значит?

Пока что мне понятно только одно: до начала наступления осталось десять часов, и обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам, первый за последние две недели, безнадежно срывается.

— Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна, — продолжает он, — овладеть баками.

Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В четыре тридцать начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В вашем распоряжении — сейчас семь минут девятого — весьма ограниченный срок, каких-нибудь десять часов. Полку вашему придана рота саперного батальона. Вам надлежит каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роты с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях.

Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками.

— Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена, каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному, — вы понимаете меня? — не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному.

Донесения о проделанной работе присылайте каждые три часа специальным посыльным.

Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию, чистят инструмент, вяжут снаряды, мастертят зажигательные трубки.

Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В девять ухожу. С командиром приданной мне второй роты — это та самая рота, которая у меня постоянно работает, — договариваюсь, что придут они ко мне в два часа ночи.

Лисагор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.

— Как тебе это нравится? А? Лейтенант? От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте, вскакивает, начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед.

— Окопались мы, мин наставили видимо-невидимо, сам черт ногу сломит. Все устроили.

Нет — мало этого! Делай проходы, убирай Бруно... Все, вся работа псу под хвост летит.

Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?

Меня начинает раздражать Лисагор.

— Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое.

Лисагор не унимается. В голосе у него появляется даже жалобная нотка.

— Но обидно же, Господи, обидно же! Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать, и все теперь в тартарары летит!

Стол действительно неузнаваем. Посредине четыре уже раскупоренные поллитровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения — дымящееся в котелке, заливающее всю землянку ароматом мяса.

— Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца Валега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое... Ну, что теперь делать? На Новый год оставлять? Так, что ли?

Что и говорить — куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь — оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления, почти полтора года, шестнадцать месяцев ждали... Вот и пришел он наконец, этот день...

Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это в конце концов не важно. Важно, что заяц. Настроение несколько улучшается. Лисагор даже подмигивает.

— Торопись, лейтенант, пока не вызвали. Два раза уже за тобой присылали.

Через минуту является связной штаба. Зовут Абросимов.

Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Чумак в неизменной своей бескозырке, расстегнутый, сияющий тельняшкой.

— Ну что, инженер, сорвалось?

— Сорвалось...

— Ладно. В буфет спрячь. Вернемся — поможем, — и весело хохочет, сверкая глазами. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое КП командиру полка сделать. Старое не годится — баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты.

— Смотри, инженер, не подкачай, — попыхивает трубкой Бородин, — картошек своих вы там на передовой понасажали, кроме вас, никто и не разберет. Поподрываются еще наши. А каждый человек на счету, сам понимаешь...

Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются — коробки никуда не годятся.

— А НП рельсами покрой. И печка чтоб была. Опять ревматизмы мои заговорили. В пять ноль-ноль — минута в минуту буду. Если не кончишь, ноги повырываю. Понял? Давай нажимай.

Я ухожу.

Лисагор сидит и меняет портянку.

— Ну?

— Бери отделение, и к пяти ноль-ноль чтоб новое НП было готово.

— Новое? К пяти? Обалдели они...

— Обалдели не обалдели, а в твоём распоряжении семь часов.

Лисагор в сердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывается ушко.

— На охоту ехать — собак кормить! Говорил я, что из того НП не будет баков видно.

Ничего, говорят, баки не нам, а сорок пятому дадут. А нам левее. Вот тебе и левее.

— Ладно. Ворчать завтра будешь, а сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?

— Все понятно. Чего же непонятно. И рельсы, конечно, велел положить? Да?

— И рельсы положишь, и печку поставишь. Трубу только в нашу сторонупустишь.

Амбразуру уменьши, а левую совсем можешь заделать.

— А дощечками тесаными не приказал обшивать?

— Твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь. Возьмешь с собой Новохатько с отделением.

— У него куриная слепота.

— Для НП сойдет. Гаркуша с Агнивцевым пойдут проходы делать.

— Пускай дома тогда сидит, лопаты стережет.

— Как знаешь. К пяти чтоб НП был готов.

Лисагор натягивает второй сапог. Кряхтит.

— И кто войну эту придумал. Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Эх, жизнь солдатская...

И, запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, он уходит.

Я остаюсь ждать дивизионных саперов.

23

К четырем часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти непрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край.

Обхожу батальоны. Агнивцев и Гаркуша кончили с проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу шепот Лисагора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади.

Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох, маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку.

Минут через десять вваливается Лисагор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины.

— Смотри на часы, инженер.

— Двадцать минут пятого.

— Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?

Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.

— Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо, и хоть бы хны. Знаешь, откуда таскали? Почти от самого мясокомбината. Порвали их толком на части — и на собственных плечиках. На, пощупай, как подушка стало. Курортник что надо — Сочи, Мацеста...

— Накатов сколько положил?

— Рельсов два, да старый еще, деревянный был.

— Бугор получился?

— Да тут их знаешь сколько, бугров? Что ни шаг, то землянка, а что ни землянка, то бугор.

— Раненых нет?

— Тугиевская шинель. Три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой!.. Началось, что ли?

Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. Четыре тридцать.

— Па-а-а щелям! — кричит Лисагор. — Прицел ноль-пять, по своим опять. Крикни там, связист, саперам, чтоб сюда залазили.

Саперы втискиваются в блиндаж. Закуривают, цепляются друг за друга винтовками и лопатами.

— А где Тугиев?

— Там еще. Наверху.

— Видал? Песочком сыпает. Красоту наводит. Давай его сюда. Седельников. Снарядом голову еще сорвет.

Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля.

Лисагор толкает меня в бок.

— Ну что? Людей домой пошлем? Пока не поздно. А то придет Абросимов, тогда точка.

Всех в атаку погонит.

Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем.

Только они уходят, как являются майор, Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит: сердце, вероятно, не в порядке.

— Ну как, инженер, не угробят нас здесь? — добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой.

— Думаю, нет, товарищ майор.

— Опять — думаю... Штрафовать буду. По пятерке за каждое «думаю». Рельсы положил?

— Положил. В два ряда.

Подходит Абросимов. Губы сжаты. Глаза сощурены.

— А где Лисагор твой?

— Отдыхать пошел. С людьми.

— Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать...

Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил.

— А остальные где?

— По батальонам.

— Что делают?

— Проходы.

— Проверял?

— Проверял.

— А дивизионные что делают?

— В разведке.

— Почему вчера не разведали?

— Потому что сегодня приказ получили. Абросимов жуёт губами. Глаза его, холодные и острые, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается.

— Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет. Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечаются колышками и комбаты поставлены в известность. Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон.

Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Привязывают проволокой.

— Хорошо работают, — говорит майор. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет.

— Что и говорить, хорошо... — принужденно улыбается начальник разведки. Вчера один ста двадцати двух чуть к самому Пожарскому, начальнику артиллерии, в блиндаж не залетел.

Майор улыбается. Я тоже. Но ощущение вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас, для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный.

Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить.

Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли восемнадцать мин-эсок. Вывинтили взрыватели. Мины оставили на месте. Уходит.

Абросимов не отрывается от трубки.

Неужели немцы удержатся после такой подготовки.

Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь.

— Брось подкидывать, — говорит связисту майор. — Рассветает, по дыму стрелять будут.

Связист отползает в свой угол.

К шести канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти. Без десяти. Без пяти.

Абросимов прилип к трубке.

— Приготовиться!

Последние разрозненные выстрелы. Затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали.

— Пошли! — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны.

— Пошли, ядри вашу бабушку! — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается.

Левее меня майор. Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения, должно быть. Отсутствие дела страшнее всего.

Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут... Ура-а-а-а! Прямо на баки... А-а-а-а... Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее.

Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут. Другие лежат. Бегущих больше нет.

Майор сопит трубкой. Покашливает.

— Ни черта не подавили... Ни черта... Абросимов звонит во второй, в третий батальоны. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять.

Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекшее, усталое.

— Полтора часа громыхали, и не взять... Живучие, дьяволы.

Абросимов так и стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными, сухими пальцами провод.

— Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?

Смотрю. Человек двенадцать лежит. Должно быть, убитые. Руки, ноги раскинуты.

Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь.

— Керженцев, — совсем тихо говорит майор.

— Я вас слушаю.

— Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. К Ширяеву. Помоги... — и посопев трубкой: — Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.

Я поворачиваюсь.

— Вы что, к Ширяеву его посылаете? — спрашивает Абросимов, не отходя от телефона.

— Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.

— Возьмем! — неестественно как-то взвизгивает Абросимов и бросает трубку. Связист ловко хватает ее на лету и пристраивает к голове. — И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон, организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает.

Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглы и налиты кровью. Губа все дрожит.

— Подыми их, подыми! Залегались!

— Да ты не кипятись, Абросимов, — спокойно говорит майор и машет мне рукой — иди, мол.

Я ухожу. До ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет. На передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку — ту самую, где тогда сидели в окружении.

— Как дела? Ширяев машет рукой.

— Дела... Половины батальона уже нет.

— Перебили?

— А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь!

— А что?

У Ширяева на шее надуваются жилы.

— А то, что майор свое, а Абросимов свое... Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь честью. Так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие...

— Знаю. Ну?

— Ну и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Те самые, что ты еще заделал— Расставил саперов. И — бац! Звонит Абросимов никаких проходов, в атаку веди. Объясняю, что там пулеметы... «Плевать, артиллерия подавит, а немцы штыка боятся».

— А у тебя сколько народу?

— Стрелков — шестьдесят с чем-то. Тридцать в атаку, тридцать оставил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси... Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони.

— А майор в курсе дела?

— Не знаю.

Ширяев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит и готова рассыпаться.

— Ну, что теперь делать? Половина перебита, половина до вечера проваливается, — не даст им враг подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон...

Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскакивает, хватается за плечи и трясет меня.

— Мирово! Ты тут посиди, а я сейчас за Карнауховым и Фарбером... Эх, как бы людей из воронок выковырять! Хватает шапку.

— Если звонить будет — молчи! Пускай связист отвечает. Лешка, скажешь на передовой. Понял? Это — если Абросимов позвонит.

Лешка понимающе кивает головой.

Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лешка лукаво подмигивает.

— Ушли, товарищ капитан. Только что ушли. Да, да, оба. Пришли и ушли.

Прикрыв рукой микрофон, смеется.

— Ругаются... Почему не позвонили ему, когда пришли.

Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наши траншеи соединяются с немецкими — на сопке в двух и в овраге. В каждой из них по два заминированных завала. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены, снято около десятка мин.

Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке.

— Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем! Пускай отдыхают пока, стерегут.

Остальных по десять человек на проход пустим. Не так уж плохо. А?

Глаза его блестят. Шапка, мохнатая, белая, на одно ухо, волосы прилипли ко лбу.

— Карнаухова и Фарбера по сопке пушу, а сам по оврагу.

— А управлять кто будет?

— Ты.

— Отставить! Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба.

— Ну так что из того, что представитель? Вот и командуй.

— А ты Сендецкого в овраг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь.

— Сендецкого? Молод все-таки. Впрочем...

Мы стоим в траншее у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, нос морщится. Хватает меня за руку.

— Елки-палки... Лезет уже.

— Кто?

По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.

— Ну, теперь все...

Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь.

Абросимов еще издали кричит:

— Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?

Запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
— Звоню, звоню... Хоть бы кто подошел. Думаете вы воевать или нет?
Он тяжело дышит. Облизывает языком запекшиеся губы.
— Я вас спрашиваю — думаете вы воевать или нет, мать вашу...
— Думаем, — спокойно отвечает Ширяев.
— Тогда воюйте, черт вас заберит... Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще. А я, как мальчик, бегай...
— Разрешите объяснить, — все так же спокойно, сдержанно, только ноздри дрожат, говорит Ширяев. Абросимов багровеет:
— Я те объясню... — Хватается за кобуру. — Шагом марш в атаку!
Я чувствую, как во мне что-то закипает. Ширяев тяжело дышит, наклонив голову. Кулаки сжаты.
— Шагом марш в атаку! Слыхал? Больше повторять не буду!
В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
— Ни в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете, — стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев.
Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким.
— Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним...
— В армии не договариваются, а выполняют приказания, — перебивает Абросимов. — Что я вам утром приказал?
— Керженцев только что подтвердил мне...
— Что я вам утром приказал?
— Атаковать.
— Где ваша атака?
— Захлебнулась, потому что...
— Я не спрашиваю почему... — И, вдруг опять расшвирипев, машет в воздухе пистолетом. — Шагом марш в атаку! Пристрелю, как трусов! Приказание не выполнять!.. Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях.
— Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать... Траншеи какие-то придумали себе. Три часа как приказание отдано... Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.

24

Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает. Обсыпает землей. Тоже падает. Быстро-быстро перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины. Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пистолет. Он весь в песке. Вечером Валега его густо смазал маслом. Утром я забыл его обтереть.

Никто уже не кричит «ура».

Где Ширяев? Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что-то железное, торчавшее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней большое желтое пятно, она сразу бросается в глаза.

Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет — веером — справа налево, слева направо.

Прижимаюсь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая, но левое плечо, по-моему, все-таки выглядывает. Руками копаю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно

легко. Но это только верхний слой, дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю.

Тр-рах! Мина. Меня всего обсыпает землей.

Тр-рах! Вторая. Потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю.

Лежу, затаив дыхание... Рядом кто-то стонет: «А-а-а-а...» Больше ничего, только «а-а-а-а...». Равномерно, без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени так лежу. Боюсь шелохнуться. Во рту полно земли. Скрипит на зубах. И кругом земля. Кроме земли, я ничего не вижу. Сверху серая, мелкая, как пудра, а ниже глина — красновато-бурая, потрескавшаяся, отдельными грудками. Ни травы, ни сучка, ничего, только пыль и глина. Хоть бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег, у меня мерзнут пальцы на ногах.

Пулемет начинает стрелять с перерывами, но все еще низко, над самой землей.

Совершенно не могу понять, почему я цел — не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть на пулемет — верная смерть. Первыми выскочили Ширяев, Карнаухов, Сендецкий и я. И еще один, командир взвода, из новеньких. Я запомнил только, что у него из-под шапки выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел.

Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Никак не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустело кругом. Было много — и вдруг никого. Должно быть, инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем, не помню, было ли мне страшно. Даже не помню, как и почему я оказался в этой воронке.

От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинное сухожилие, идущее из-под колена вдоль бедра вверх. Переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь вытянуть ногу.

Но ее куда вытянуть, из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. Икра никак не проходит, мешает голенище.

Раненый все еще стонет. Без всякого перерыва, но уже тише.

Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Я высовываю слегка шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. Опершись на руки, выглядываю одним глазом. До немцев рукой подать. Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз против меня — черная полоска амбразуры.

Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом и назад посмотреть, меня не увидят.

До наших окопов дальше, чем до немецких. Метров тридцать, а то и больше. Кто-то пробегает по ним согнувшись, видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так и лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне. Глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него — другой. Видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках.

Всего я насчитываю четырнадцать трупов. Некоторые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок — больших и маленьких. В одной что-то чернеет. Потом исчезает.

Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне. Шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не подымая головы. На одних локтях ползет. Ноги беспомощно волочатся. И все время стонет. Совсем уже тихо.

Не отрываю от него глаз. Не знаю, как ему помочь. У меня даже пакета индивидуального нет с собой.

Он совсем уж рядом. Рукой можно дотянуться.

— Давай, давай сюда, — шепчу я и протягиваю руку.

Голова приподымается. Черные, большие, затянутые уже предсмертной мутой глаза. Харламов... Мой бывший начальник штаба... Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то отупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые. — Давай, давай сюда...

Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке. Утыкается лицом в землю. Просунув руки ему под мышки, вволакиваю его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизненны.

С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Я расстегиваю ему пояс. Подымаю рубаху. Две маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет.

Он поворачивает голову в мою сторону. Губы его шевелятся, что-то говорят. Я могу разобрать только: «Товарищ лейтенант... товарищ лейтенант...» Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и больше уже не подымает. Умирает он совершенно спокойно. Просто перестает дышать.

Я закрываю ему глаза. Строгое, вытянувшееся сразу лицо его прикрываю шапкой.

Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег, не то крупа, потом большие мохнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым — земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть. Уши тоже. Я подымаю воротник.

Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой.

Так мы лежим — я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с нетающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать? Тридцать метров — пять секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится. Выбежали же утром тринадцать человек.

В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро, быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.

Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь — десять метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет...

Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель, должно быть, скинул, чтоб легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере. Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.

Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях. Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.

Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок, чтобы не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю — так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнбойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить бы... Хоть три затяжки, Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в кармане. Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет. Это — чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона. Запасной обоймы тоже нет.

Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов — целая вечность.

Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет.

Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов за моей спиной шевелится. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко, они у него в заднем брючном кармане. Я помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы, из заднего кармана. Я вожусь долго. Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле. Но все-таки достаю. В маленькую клееночку аккуратно завернуты и зашпилены английской булавкой кандидатская карточка, два письма, какая-то почти совсем истлевшая справка с расплывшимися чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно.

Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал.

Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные выющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена. На руках ребенок, такие же черные большие глаза, как у отца. На другой — та же женщина, только одна и в берете. На третьей — компания на берегу реки. Смеются. Один парень с гитарой. Харламов в трусах, лежит на животе. Вдали поле и стога сена. На обороте написано: «Черкизово, июнь 1939 г. Вторая слева Мура».

Я заворачиваю все опять в клеенку, закалываю булавкой и кладу в карман.

Маленький комочек глины ударяет меня в ухо. Я вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает в меня. Я приподымаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое, небритое лицо.

— Браток... Спички есть?

— Есть.

— Кинь, бога ради...

— «Сорок» оставишь?

— Ладно.

Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты черт! Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет ее. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок.

— Поосторожней... — шепчу я, но, по-моему, он меня не слышит.

Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом спичечная коробка возвращается ко мне с крохотным, обслюненным окурком внутри. Я его сосу, сосу что есть мочи. Все губы обжигаю.

— Боец! Часов нет у тебя? — спрашиваю я шепотом.

— Без четверти двенадцать, — доносится из воронки. Я ушам не верю. Думал, что уже два или три, а тут еще двенадцати нет. В довершение всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут десять или пятнадцать. Потом перерыв. Потом опять налет.

Надо бежать. Ждать еще шесть часов! Не выдержу. Убьют так убьют — от смерти не спасешься.

Из воронки опять хрипит:

— Друг... э-э-э... друг...

— Что тебе?

— Давай побежим. Тоже не выдержал.

— Давай, — отвечаю я.

Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо, не добегая до наших окопов, упасть. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может, повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов.

Лишь бы опять судорога не схватила. Местность впереди ровная, только одна воронка небольшая и убитый рядом.

— Ну, готов?

— Готов.

Упираюсь левой ногой, правая согнута в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени. Рука на животе. Ему уже ничего не нужно.

— Пошел!

— Пошел.

Снег... Воронка... Убитый... Опять снег... Валюсь на землю. И почти сразу же: «Та-та-та-та-та-та...»

— Жив?

— Жив.

Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До окопов пять шагов или шесть. Уголком глаза пожираю этот клочок земли.

Надо выждать минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет, мы слишком низко.

Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно.

— Ну — пора.

— Приготовьсь, — не подымая головы, в снег говорю я.

— Есть, — отвечает слева.

Я весь напрягаюсь. В висках стучит.

— Давай!

Отталкиваюсь. Три прыжка и — в окопе.

Мы долго потом еще сидим прямо в грязи, на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурочек.

Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти — девять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть.

Утром мы хороним товарищей — Харламова, Сендецкого и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, и погиб.

Ширяев приполз сам, залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз, еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса тому назад его отвезли в медсанбат на ту сторону.

Всего батальон потерял двадцать шесть человек, почти половину, не считая раненых.

Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе.

Мы хороним товарищей над самой Волгой.

Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый, противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге — осеннее сало.

Темнеют три ямы.

Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера — сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится.

Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки. Три колышка. Салют — сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо гудят дальнбойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы.

И это все. Мы уходим.

Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову двадцать пять. Даже похоронить его не удалось: его тело там — у немцев.

Так и не прочел он мне стихи свои. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые — такие, каким он сам был.

...Ты от этой землянки низкой
Так далеко, как мир иной,
Мне ж такую видишься близкой,
Будто вот — держусь рукой.

Вижу, как шевелятся ветви,
Молодой шумит березняк,
Как твоими косами ветер
Оплетает, вяжет меня.

Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи — Лондон и Карнаухов.

В последний раз я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил у него — не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки, глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.

Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку.

Приходит Лисагор. Садится на свою койку, подобрал ноги. Сопит. Не ругается. Молча курит, опершись подбородком о колени.

— Судить, говорят, Абросимова будут, — мрачно говорит он.

— Кто сказал?

— Писарь Ладыгин слышал.

— Брехун...

— Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства.

— Ты что, в штабе был?

— В штабе.

— Что там?

— Ничего. Как всегда. Астафьев схемы разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек.

Я соврал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо остро держать. Чернильная душа.

— Майора не видел?

— Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый, список потерь у Ладыгина взял.

Эх... напиться бы сейчас... До чертиков...

Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня.

— Подготовься к завтраму, инженер.

Я не понимаю.

— К чему?

Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел.

— К чему? — повторяю я.

Он медленно поднимает голову.

— Расскажешь того... как это все было... там, на сопке, — и уходит, опираясь на палку.

Он до сих пор еще прихрамывает.

Я ничего больше не спрашиваю. Все ясно.

Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом Абросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал.

— Связной его на продкладе чего-то околачивался. Потом рысью в блиндаж его — все карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили.

И он подмигивает наглым зеленым глазом.

На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона — это самое просторное помещение на нашем участке — накурено так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие. Глаза — в стенку.

Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила на уголке. Рядом с ним еще двое — начальник разведки и командир роты ПТР. Майор стоит у стола. За эти сутки постарел лет на десять. Время от времени подносит к губам стакан с чаем и пьет маленькими нервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из конца трубы не слышно. Я пробираюсь вперед.

— Нельзя на войне без доверия, — говорит он, — мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя... Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки.

— С Абросимовым мы прошли большой путь... Большой боевой путь. Орел, Касторная, Воронеж... Здесь вот уже сколько сидим. И я верил ему. Знал, что он молод, неопытен, может быть, на войне только учиться, знал, что может ошибки делать, — кто из нас не ошибался, — но верить — я ему верил. Нельзя не верить своему начальнику штаба. Повернув голову, он долгим, тяжелым взглядом смотрит на Абросимова.

— Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав. — Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом. — Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, — это уже не война. Это истребление. Абросимов превысил свою власть. Он отменил мой приказ. И отменил дважды. Утром — по телефону, и потом сам, погнав людей в атаку.

— Приказано было атаковать баки... — сухим, деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки. — А люди в атаку не шли...

— Врешь! — Майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает чай из стакана. — Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло... Противник оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Ширяев — парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтоб захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты... А Абросимов что сделал?

У Абросимова начинает подергиваться губа. Обычно добродушное, мягкое лицо Бородина становится красным, щеки трясутся.

— Я знаю, как ты кричал там... Как пистолетом размахивал.

Он отпивает еще глоток чаю из стакана.

— Приказ на войне свят. Невыполнение приказа — преступление. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили и лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть. А люди погибли. Все. По-моему, достаточно.

Майор тяжело опускается на табуретку. Абросимов как сидел, так и сидит, — руки на коленях, глаза в стенку. Астафьев, наклонив голову, что-то старательно и быстро пишет. Говорят еще несколько человек. Потом я. За мной — Абросимов. Он краток. Он считает, что баки можно было взять только массовой атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки

можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили.

— Струсили?.. — раздается откуда-то из глубины трубы.

Все оборачиваются. Неуклюжий, на голову выше всех окружающих, в короткой, смешной шинелишке своей, протискивается к столу Фарбер.

— Струсили, говорите вы? Ширяев струсил? Карнаухов струсил? Это вы о них говорите? Фарбер задыхается, моргает близорукими глазами — очки он вчера разбил, щурится.

— Я все видел... Собственными глазами видел... Как Ширяев шел... И Карнаухов, и... все как шли... Я не умею говорить... Я их недавно знаю... Карнаухова и других... Как у вас только язык поворачивается. Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть.

Абросимов... капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки. Не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, не трусость. Это прием.

Правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтоб они могли воевать. Сейчас их нет. И я считаю... — Голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой. Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать...

Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает:

— Вы сами трус! Вы не пошли в атаку! И меня еще при себе держали. Я все видел... — И, дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад.

Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе.

— Хорошо говорили, Фарбер. Он вздрагивает:

— Какое там хорошо. Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так, знаете... И сидит себе спокойно, огрызается еще. Нет... Нет. Не то все это.

Он тяжело дышит.

— Последних моих двух стариков убило. Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их. Фокусник один из них был.

— А тот молоденький командир взвода, забыл его фамилию, с седой прядью, ваш был?

— Калабин? Командир пульроты. Мальчик совсем еще. И недели у нас не пробыл. Из госпиталя прибыл — все рассказывал, как манной кашей их там закармливали.

— Новых командиров не прислали еще?

— Командиров роты из первого и третьего батальона прислали. А на взводы сержантов пока поставил. Адьютанта старшего пока нет.

— Без адьютанта трудновато, — соглашаюсь я. Почему-то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить, в общем тоне появились какие-то новые, твердые нотки.

Их раньше не было.

— А что с Ширяевым? Так и не узнали точно?

— Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой не знаю что. Крови мало было, но болталась, как тряпка.

— Правая?

— Нет, левая...

— И то хорошо...

— Не хотел уходить. Ругался. Все равно, говорит, вернись. Хотите или не хотите, а вернись. А с Абросимовым хоть на краю света, а встречусь.

— Не завидую Абросимову, кулачок у Ширяева — дай бог...

Мы еще некоторое время разговариваем, потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд.

Валега жарит хлеб на сковородке. В углу шумит самовар.

Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке.

— Вы чай или кофе будете? — спрашивает Валега.

— А кофе с чем?

— С молоком сгущенным.

— Тогда кофе.

Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Карнаухова.

Потом приходит Лисагор. Хлопает дверью. Заглядывает в сковородку. Останавливается около меня.

— Ну? — спрашиваю я.

— Разжаловали и — в штрафную.

Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами.

Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слышал.

26

Ночью приходят танки. Шесть стареньких, латаных и перелатаных «тридцатьчетверок». Долго фырчат, лязгают гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как-то веселей становится.

Мы их давно уже ждем. Дней десять носятся слухи. Говорили, целая дивизия танковая идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка, до батальона. Приходит же всего шесть выдавших виды старушек, и не из тыла, а с «Красного Октября», где они чуть ли не с первого дня обороны воюют. Но все это чепуха. Все же танки, техника... И вид у них довольно грозный...

К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне просмотреть и подготовить дорогу для них. Придется подорвать две железнодорожные платформы, загораживающие дорогу у шлагбаума. Посылаю туда Лисагора и Агнивцева.

Трое танкистов заходят ко мне погреться — два лейтенанта и сержант, черные, грязные, промасленные с головы до ног.

— Поесть ничего нет? — спрашивает старший из них с испещренным шрамами лицом — обгорел, должно быть. — С утра во рту ничего не было...

Валега подает на стол остатки именинного зайца. Лейтенанты с аппетитом уплетают его за обе щеки.

— Ну как? Воюете? — спрашивают.

— Воюем понемножку, — отвечаю я.

— Баков до сих пор не взяли?

— Баков не взяли. Голыми руками не очень-то...

Танкисты пересмеиваются.

— На нас надеетесь?

— А на кого ж? Без техники все-таки...

Лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой смеется.

— А знаешь, где эта техника только не перебивалась?

— По машинам видно, что поработали основательно. На Юго-Западном были?

— Ты спроси, где мы не были.

— Под Харьковом были?

— Под Харьковом? А ты что, был там?

— Был.

— Непокрытую, Терновую знаешь?

— Еще бы. Мы там в наступление шли.

— Тоже мне — шли... Из-за вас, пехотуры, и Харьков прозевали. Мы на Тракторном уже были... Зайца нет больше?

— Весь. Шкура только осталась.

— Жаль. А то спирт у нас есть...

— А мы сообразим чего-нибудь.

Я посылаю Валегу к Чумаку.

— Скажи, чтоб приходил. И закуску тасил с собой. У вас сколько спирту?

— Хватит. Не беспокойся.
Валега уходит. Сержант тоже.
— А вы как боги живете, — говорит лейтенант с шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале. — Как паны...
— Да, на жилплощадь пожаловаться не можем.
— И книжечки почитываете.
— Бывает.
Он перелистывает «Мартина Идена».
— Я уже и не помню, когда читал. В Перемышле, что ли? В субботу перед войной. Читать, вероятно, уже разучился, — и смеется. — После войны придется заново учиться.
Потом приходит Чумак. Заспанный, почесывается, в волосах пух.
— Инженер называется... Посреди ночи водку пить... Придет же в голову. На, бери.
Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба.
— Валега твой пошел за старшиной моим. Тушенки пару банок притащит.
Смотрит на танкистов.
— Ваши коробки на берегу?
— А чьи же?
— Я б и сесть на них постыдился. До передовой не доберутся рассыплются.
Бородатый обижается.
— А это уж наше дело.
— Конечно ж, не мое. Мое дело водку пить и танкистов ругать, что воюют плохо.
— А ты кто?
— Я? А ты инженера спроси. Он тебе скажет.
— Разведчик, должно быть. По морде видать.
— По какой морде? — Чумак сжимает кулаки.
— Поосторожнее, малый. Спирт-то чей будешь пить?
— А что? Ваш?
— Наш.
— Тогда все. Молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. На таких машинах и не взять...
Танкисты смеются. Чумак потягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы.
— Куда же это Приходько запропастился?
— Бачки отвязывает, должно быть. Или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий, девяносто шесть.
— За водой остановки не будет. Волга под боком.
— Вы что — завтра в атаку? — спрашивает Чумак.
— Бог его знает. Велено стать на исходные, а там посмотрим.
— Навряд ли завтра. Нам ничего еще не говорили.
— Скажут еще.
— Если не завтра, — задумчиво ковыряя ножом стол, говорит Чумак, — немцы вас за день прямой наводочкой, знаешь, как разделают...
— Там, говорят, склон, не видно будто.
— Говорят, говорят... А «Мессеры» зачем?
— А противотанковой артиллерии много у них? — настораживается бородатый.
— На вас хватит.
В коридоре что-то с грохотом летит. Кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками.
— Какой дурак у вас там лопаты раскидал. Чуть все фляжки не пококал.
Он кладет фляжки на койку. Поворачивается, сияющий, веселый.
— Что мне за новость будет?
— Какую новость?
— Мирovou. Скажите, что будет, — расскажу.

— Сто грамм лишних, — морщится Чумак, пробуя спирт на язык. — Силен, черт...
— Мало.
— Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер.
Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает. Льет воду из чайника.
— Ну — что за новость? — спрашивает лейтенант со шрамами.
— Сказал, что мировая. В шестнадцатой машине передачу только что слушал.
— Гитлер сдох, что ли?
— Почтище...
— Война кончилась?
— Наоборот. Началась только... — и, выдержав паузу: — Наши Калач заняли. Потом эту, как ее. Кривую... Кривую...
— Кривую Музгу?
— Музгу... Музгу. И еще что-то на Г...
— Неужто Абганерово?
— Вот, вот... Абганерово...
— А ты не врешь?
— Зачем вру? Тринадцать тысяч пленных... Четырнадцать тысяч убитых!
— Елки-палки!..
— Когда же это?
— Да вот за эти три дня. Калач, Абганерово и еще что-то. Целая куча названий.
— Ну, все. Фашистам капут!
Чумак так ударяет меня ладонью промеж лопаток, что я чуть не проглатываю язык.
— За капут, хлопцы!
И мы пьем все сразу из кружек и фляжек, запивая водой прямо из носика чайника.
— Вот дела! Вино хлещут...
В дверях Лисагор. Даже рот раскрыл от удивления.
— Я там вагоны рву, а они водку дуют.
Я протягиваю ему кружку. Он залпом выпивает. Закрывает глаза. Крякает. Ощупью берет корку хлеба. Нюхает.
— Разлагаетесь здесь, а в пять наступление. Знаете? Батальонам уже завтрак повезли.
— Врешь...
— Посмотрите, что на берегу делается.
Танкисты срываются, не дожидая колбасы.
— Ширяев ругается, что с проходами задерживаем.
— Какой Ширяев?
— Как — какой? Начальник штаба. Старший лейтенант.
— Господи... Откуда ж он взялся?
— Всю войну так прозеваете... — смеется Лисагор. — Из медсанбата прибежал.
Разоряется уже там на берегу.
Я натягиваю сапоги. Ищу пистолет. Смотрю на часы. Без четверти три.
— Проходы сделал?
— Сделал.
— На всю ширину?
— На всю. Как миленькие проедете.
Танкисты уже заводят моторы, суется. Весь берег белый. Опять снег пошел. Откуда-то слева доносится голос Ширяева. Кричит на кого-то:
— Чтoб через пять минут пришел и доложил... Понятно? Раз-два...
Пробегаёт Чумак, застегивая на ходу бушлат.
— Дает дрозда новый начальник штаба. Держись только, инженер...

Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована, в косынке. Белеет бинт из-под ушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой.

— Галопом на передовую, Юрка! Танкистам помогать... Никто не знает, где там проходы ваши...

— Как рука? — спрашиваю.

— Потом, потом... Топай... Два часа осталось.

— Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти?

— Топай... А Лисагора ко мне...

Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прищелкивая каблуком, руку от козырька отрываю с первым шагом.

— Отставить! Два часа строевой...

Холодный крепкий снежок вlepяется мне прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот.

Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там, прицепляет фляжку к поясу.

Один за другим вытягиваются танки вдоль берега. Минуют шлагбаум, взорванные платформы. Выезжают на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют танки неистово громышают.

Медленно кружась в воздухе, падают снежинки.

Громадной тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган.

До наступления осталось час сорок минут.

27

Атака назначена на пять. Без двадцати пять прибегает запыхавшийся Гаркуша.

— Товарищ лейтенант...

— Ну, чего еще?

Он тяжело дышит, вытирает взмокший лоб ладонью.

— Разведчики вернулись.

— Ну?

— На мины напоролись.

— Какие мины?

— Немецкие. Как раз против левого прохода. Метров за пятьдесят. Какие-то незнакомые.

— Тьфу ты, черт! Чего же они вчера смотрели?

— Говорят, не было вчера.

— Не было?.. Где этот... Бухвостов?

— В петезровской землянке сидит.

— Ширяев, позвони в штаб, чтоб сигнал задержали. Я сейчас.

Бухвостов, рябой, щупленький командир разведвзвода саперного батальона, разводит руками:

— Сегодня ночью, очевидно, поставили. Ей-богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил — ничего не было. Ей-богу...

— Ей-богу, ей-богу! Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там?

— Да штук десять будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов, но не совсем. Взрыватель где-то сбоку.

— Гаркуша, тащи маскхалаты. А ты... поведешь.

На наше счастье, луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Рябой сержант, Гаркуша, я. Мелькают перед носом подбитые подковами гаркушинские каблуки.

Проползаем за линию немецких траншей. Сержант останавливается. Молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу. Помза! Самая обыкновенная помза — насеченная болванка, взрыватель и шнурок. А сбоку добавочный колышек, чтобы крепче стояла. А он его за взрыватель принял. Шляпа, а не разведчик.

Гаркуша, лежа на животе, ловко один за другим выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит.

«Пш-ш-ш-ш...» Ракета...

Замираем. Моментально пересыхает во рту. Сердце начинает биться как бешеное. Увидят, сволочи.

«Пш-ш-ш-ш...» Вторая... Уголкем глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров за десять. Ну, что за человек! Сейчас увидят немцы.

Короткая очередь из пулемета.

Увидели.

Опять очередь.

Что-то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зарываю голову в снег. Он холодный, приятный, забивается в рот, нос, уши. Как приятно... Хрустит на зубах...

Как мороженое... А он говорит, что не помзы...

Самые обыкновенные помзы... Только колышек сбоку. Чудак сержант. Все... Больше ничего... Только снег на зубах...

28

«Ну и сукин же ты сын, Юрка. После записки из медсанбата два месяца ни слова. Просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была б отговорка, а то ведь в левую. Нехорошо, ей-богу, нехорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю — разжирел, мол, на госпитальных харчах, с санитарками романы разводит, куда уж о боевых друзьях вспоминать. А они, настоящая ты душа, не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой-то коньяк трофейный бережет (шесть звездочек!), никому пробовать не дает. Я уж подбирался, подбирался — ни в какую. А вообще надоело. Сидение надоело. До чертиков надоело. Другие наступают, вперед на запад, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Враг, правда, не тот, что раньше. Но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. Людей почти всех повыводило из строя, а рассчитывать на пополнение, сам знаешь... После того как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку, но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили. Один немцы подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. Комдив велел под ним огневую точку сделать, и немецкий комдив, вероятно, то же самое решил, вот и дрались из-за этого танка как скаженные. В лоб не выходило — в батальонах по пять — семь активных штыков. Пришлось подкопаться. А грунт как камень, и взрывчатки нет. Волга недели две никак стать не могла. Сухари в концентрат „кукурузники“ сбрасывали. В конце концов взяли все-таки танк. Вырыли туннель в двадцать два метра длиной, заложили толу килограммов сто и ахнули. В атаку через воронку полезли. Вот какие мы! Я Тугиева, Агнивцева (он сейчас в медсанбате — ранен) и твоего Валегу к звездочке представил — молодцы хлопцы, а остальных — к отваге. Сейчас под танком фарберовский пулемет, — сечет немцев напропалую. Баки пока еще у них. Врылись в землю, как кроты, ни с какой стороны не подлезешь. Бойцов не хватает, вот в чем заковыка. Артиллерией в основном воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки батарею дивизионок поставили, спать не дает. Родимцева и 92-ю правее нас перекинули, в район Трамвайной улицы. А 39-я молодцом. „Красный Октябрь“ почти полностью очистила. Во взводе нас сейчас трое — я, Гаркуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу вместо Кулешова. Проворовался Кулешов с овсом и угодил в штрафной. Чепурного, Тимошку и того маленького, что все время жевал, забыл его фамилию, потеряли на Мамаевом. Мы недели две держали там оборону с химиками и разведчиками. Двоих похоронили, а от Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И баян его без дела валяется. Уразов подорвался на mine, оторвало ступню. И троих еще отправил в

медсанбат, из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. „Любимцу“ твоему с бакенбардами, Астафьеву, немцы вlepили осколок прямо в задницу (как он его поймал, никак не пойму, — из землянки он не вылез), лежит теперь на животе и архив свой перебирает.

А мы сейчас все НП строим. Каждый день новый. Штук пять уже сделали все не нравится майору. Ты ведь знаешь его. Один в трубе фабричной сделали около химзавода, где синьки много. Другой — на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит — холодно, сквозит, велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз „ФД“ стоит. А артиллеристы 270-го приперли туда свои пушки и огонь противника на себя притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом — куда ж майора туда тянуть.

А в общем, приезжай скорей, вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь (ха-ха!), а то у меня такие уже волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. Устинов твой, дивинженер, плотно поселился в моих печенках — все схемы да схемы требует, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передает поклон, рука у него совсем прошла.

Да... Во втором батальоне новый военфельдшер. Вместо Бурлюка, он на курсы поехал. Приедешь — увидишь. Чумак целыми днями там околачивается, пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем — приезжай скорей. Ждем.

Твой Л. Лисагор.

P. S. Нашел наконец взрыватель „LZZ“ обрывнонатяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная коллекция — мины „S“ и „ГМІ-43“, есть совсем новенькие, пять типов взрывателей в мировых коробочках (на портгачницы пойдут) и замечательная немецкая зажигательная трубка с терочным взрывателем.

А. Л.»

На оборотной стороне приписка большими, кривыми, ползущими вниз буквами:

«Добрый день или вечер, товарищ лейтинант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лейтинант, книги ваши в порядке, я их в чимодан положил. Товарищ командир взвода достали два окумулятыря, и у нас в землянке теперь свет. Старший лейтинант Ширяев хотят отобрать для штаба. Товарищ лейтинант, приезжайте скорей. Все вам низко кланяются, и я тоже.

Ваш ординарец Л. Волегов».

Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к начмеду: он малый хороший, договориться всегда можно. И к завскладом, чтобы новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодран.

Наутро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели, с кучей писем в карманах — в Сталинград, прощаюсь с ребятами.

Они провожают меня до ворот.

— Паулюсу там кланяйся!

— Обязательно.

— Мое поручение не забудь, слышишь?

— Слышу, слышу.

— Это совсем рядом. Второй овраг от вашего. Где «катюша» подбитая стоит.

— Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя.

— Ладно... Всего... «Следопыты» в шестую палату отдайте. И физкультурнице привет.
— Есть — привет.
— Ну, бувайте.
— Пиши... Не забывай...
Шофер уже машет рукой:
— Кончай там, лейтенант.
Я жму руки и бегу к машине.

29

До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском тылы дивизии и Лазарь — начфин. У него и ночью в маленькой, населенной старухами, детьми и какими-то писарями хибарке.

— Ну, как там, в тылу? — спрашивают.
— Обыкновенно...
— Ты в Ленинске лежал?
— В Ленинске. Незавидный госпиталишко. С моей землянкой на берегу не сравнишь. Лазарь смеется.
— Ты и не узнаешь теперь свою землянку — электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены трофейными одеялами завешаны. Красота!
— А ты давно оттуда?
— Вчера только вернулся. Жалованье платил.
— Сидят еще немцы?
— Какое там! С Мамаева уже драпанули, за Долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут, в общем...

Ночью я долго не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок.

Рано утром на штабном «газике» еду дальше.

К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу. Широценная, белая, ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП, должно быть. Красный флажок на белом фоне... Фу ты черт, как время летит! Совсем недавно, ну вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, черно-красной от дыма и пожарищ, всклокоченной от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда, грузовики, «Виллисы», пестренькие, камуфлированные «Эмочки». Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе — выдохлись.

Проезжаем КПП.

— Ваши документики.

— А без них нельзя, что ли?

— Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен. Вот это да. Вокруг чуйковского штаба проволочный забор, у калиток часовые по стойке «смирно», дорожки посыпаны песком, над каждой землянкой номер — добротный, черный, на специальной дощечке.

Указатель на полосатом столбике: «Хоз-во Бородина — 300 метров», и красным карандашом приписано:

«Первый переулочек налево». Переехали, значит. Переулочек налево, по-видимому, овраг, где штадив был.

Волнуюсь. Ей-богу, волнуясь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу, каждую мелочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на 26-м номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь.

Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, залатали, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель, мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли, — никакого следа. А тут кто-то лестницу построил, не надо уже по откосам лазить. Совсем культура, даже перила тесаные.

Над головой проплывает партия наших «Петляковых». Спокойно, уверенно. Как когда-то «Хейнкели». Торжественно, один за другим, пикируют...

— Вот это да — черт возьми!

В овраге пусто. Куча немецких мин в снегу. Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок, узнаю, Гаркуша делал. Около уборной человек двадцать немцев — грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. Увидев меня, встают.

— Вы кого ищете, товарищ лейтенант? — раздается откуда-то сверху.

Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня и чуть с ног не сбивает.

— Живы, здоровы, товарищ лейтенант?

Веселая, румяная морда. Смеющиеся, совсем детские глаза.

Седых!.. Провалиться мне на этом месте!.. Седых!..

— Откуда ты взялся... черт полосатый?!

Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет, с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немножко пьян.

— Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немца гоним — пух летит. Наше КП тут же в овраге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Пленных стеречь.

— А Игорь?

— Жив-здоров.

— Слава богу!

— Приходите сегодня к нам. Ох, и рады же будут!.. А вы из госпиталя? Да? Ребята мне говорили.

— Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя.

Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет — возмужал все-таки. Колючие волосики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде, и глаза прежние — веселые, озорные, с длинными закручивающимися, как у девушки, ресницами.

— Стой, стой!.. А что это у тебя там под телогрейкой блестит?

Седых смущается. Начинает ковырять мозоль на ладони — старая привычка.

— Ну и негодяй!.. И молчит. Дай лапу. За что получил?

Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони.

— Не стыдно теперь в колхоз возвращаться?

— Да чего ж стыдиться-то... — И все ковыряет, ковыряет ладонь. — А вы этот самый... портсигарчик мой сохранили или...

— Как же, как же. Вот он, закуривай.

И мы закуриваем.

— Огонь есть?

— Ганс, огня лейтенанту! Живо! Фейер, фейер... Или как там, по-вашему...

Щупленький немец в роговых очках, — должно быть, из офицеров, моментально подскакивает и шелкает зажигалкой-пистолетиком.

— Битте, камрад.

Седых перехватывает зажигалку.

— Ладно, битый, сами справимся, — и подносит огонь. — Ох, и барахольщики! Все карманы барахлом забиты. В плен сдаются и сейчас же — зажигалку. У меня уже штук двадцать их. Дать парочку?

— Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше... Как-никак — четыре месяца, кусочек порядочный.

— Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же... — И все-таки рассказывает обычную, всем нам давно знакомую, но всегда с одинаковым интересом выслушиваемую историю солдатскую... Тогда-то минировали, и почти всех накрыло, а тогда-то сутки в овраге пролежал, снайпер ходу не давал, в трех местах пилотку прострелил, а потом в окружении сидел две недели в литейном цехе, и немцы бомбили, и есть было нечего и, главное, пить, и он четыре раза на Волгу за водой ходил, а потом... потом опять минировали, разминировали. Бруно ставили...

— В общем, сами знаете... — и улыбается своей ясной, славной улыбкой.

— Не подкачал, значит. Я так и знал, что не подкачаешь. Давай-ка еще по одной закурим, и пойду наших искать. Где они, не знаешь?

— Да там все... На передовой. За Долгим оврагом, должно быть. Один я остался — хромой.

— И никого больше?

— Штабной командир ваш еще какой-то. Вот в той землянке. Раненый.

— Астафьев, что ли?

— Ей-богу, не знаю. Старший лейтенант.

— В той землянке, говоришь? — И я направляюсь к землянке.

— Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант, — кричит вдогонку Седых. —

Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж. Налево. Три ступеньки и синяя ручка на дверях.

Астафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке телефон.

— Жорж! Голубчик!! Вернулись! — Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную, пухлую руку. — Здоровы, как бык?

— Как видите.

— А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком, донесения пишу.

— Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать.

— Как сказать... Да вы садитесь, телефон на пол поставьте, рассказывайте. — Он пытается повернуться, но морщится и ругается. — Седалищный нерв задет, боль адская.

— Война, ничего не поделаешь. А где наши?

— В городе, Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается.

Фарбер только что звонил — гостиницу блокируют около мельницы. С полсотни эсэсовцев засели там, не сдаются. Да вы садитесь.

— Спасибо. А Ширяев, Лисагор где?

— Там. Все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные... — Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами.

— Не люблю. В горле першит от них. А это что — тоже трофей? — На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон.

— Трофей. Ширяеву Чумак подарил. Там их, знаете, сколько!

— Ну, ладно, я пойду.

— Да вы посидите, расскажите, как там в тылу.

— В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен. Астафьев улыбается.

— Трофеи боитесь прозевать?

— Вот именно.

Астафьев приподымается на локте.

— Жоржик, голубчик... Если попадется фотоаппарат, возьмите на мою долю.

— Ладно.

— «Лейку» лучше всего. Вы понимаете в фотографии? Это вроде нашего «Фэда».

— Ладно.

— И бумаги... И пленку... Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше...

30

К вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости. И от коньяка. Хороший коньяк! Тот самый, чумаковский, шесть звездочек.

Чумак наливает стакан за стаканом.

— Пей, инженер, пей! Отучился небось за четыре месяца. Манные каши все там жевали, бульончики. Пей, не жалей... Заслужили!

Мы лежим в каком-то разрушенном доме, — не помню уже, как сюда попали. Чумак, Лисагор, Валега, конечно. Лежим на соломе, Валега в углу курит свою трубочку, сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что ж это такое в конце концов — шинель командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами, в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую, по колено, принес. Куда ж это годится! И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые.

— Я вам хромовые там достал, — мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. — В блиндаже... Подъем только низкий...

Я оправдывался, как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил.

— Пей, пей, инженер, — подливает все Чумак, — не стесняйся...

Лисагор перехватывает кружку.

— Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в Тридцать девятую приглашены. Налегай, Юрка, на масло. Налегай.

И я налегаю.

Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба «Красного Октября», единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые... Целое море ракет. И стрельба. Целый день сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что под руку попадет. «Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та...» Ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая, четыре зеленые подряд.

Чумак что-то говорит. Я не слушаю его.

— Отстань.

— Ну, что тебе стоит... Просят же тебя люди. Не будь свиньей.

— Отстань, говорят тебе, чего пристал.

— Ну, прочти... Ну, что тебе стоит. Хоть десять строчек...

— Каких десять строчек?

— Да вот. Речугу его. Интересно же... Ей-богу, интересно.

Он сует мне прямо в лицо грязный обрывок немецкой газеты.

— Что за мура?

— Да ты прочти.

Буквы прыгают перед глазами, непривычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера — поджатые губы, тяжелые веки, громадный идиотский козырек.

«Фелькишер беобахтер». Речь фюрера В.Мюнхене 9 ноября 1942 года.

Почти три месяца тому назад...

«Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну, и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места.

Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории

человечества войну. Я знаю, вы верите мне, и вы можете быть уверены, я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей, — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики...»

Чумак весь трясется от смеха.

— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по писаному вышло.

Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.

— А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот.

— Что «почему»?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

У меня кружится голова, после госпиталя я все-таки слаб.

— Лисагор, объясни ему почему. А я немножко того, прогуляюсь.

Я встаю и, шатаясь, выхожу в отверстие, бывшее, должно быть, когда-то дверью.

Какое высокое, прозрачное небо — чистое-чистое, ни облачка, ни самолета. Только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга — широкая, спокойная, гладкая, в одном только месте, против водокачки, не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает.

Величайшая русская артерия... Парализована, говорит... Ну и дурак! Ну и дурак! В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят. Это их личное дело...

Вот они — эти несколько домов. Вот он — Мамаев, плоский, некрасивый. И, точно прыщи, два прыща на макушке — баки... Ох, и измучили они нас. Даже сейчас противно смотреть. А за теми вот красными развалинами, — только стены как решето остались, — начинались позиции Родимцева — полоска в двести метров шириной. Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!

А Чумак спрашивает почему. Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня — почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его — бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня — почему? Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал, его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смысленный такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.

Эх, Чумак, Чумак, матросская твоя душа, ну и глупые же вопросы ты задаешь, и ни черта, ни черта ты не понимаешь. Иди сюда. Иди, иди... Давай обнимемся. Мы оба с тобой выпили немножко. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог. И Валегу давай. Давай, давай... Пей, оруженосец!.. Пей за победу! Видишь, что фашисты с городом сделали...

Кирпич, и больше ничего... А мы вот живы. А город... Новый выстроим. Правда, Валега? А немцам капут. Вот идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла. О Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Валега? Я хочу. Ужасно как хочу. И побываем мы там с тобой — увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку, на стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня, старики, ей-богу... Давай выпьем за них, — есть там еще чего, Чумак?

И мы опять пьем. За стариков пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то, не помню уж за что. А кругом все стреляют и стреляют, и небо совсем уж фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то совсем рядом наяривает кто-то на балалайке «Барыню».

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.

— Чего там еще?
— Начальник штаба вызывает.
— А ты кто такой?
— Связной штаба.
— Ну?
— Велено всех к восемнадцати ноль-ноль собрать. На КП в овраге...
— С ума спятил!.. Какого лешего. Сегодня выходной, праздник.
— Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, и я передал.
— Да ты толком объясни. А то — приказал, передал... На банкет, что ли, вызывают? По случаю победы?
Связной смеется:
— Северную группировку, слышал, завтра будут доканчивать на «Баррикадах». Нашу и Тридцать девятую бросают туда.
Вот те на!..
Чумак ищет в темноте бушлат, пояс. Шарит по земле. Лисагор отряхивает солому с шинели.
— Валега, собирай манатки и живо за Гаркушей. Во втором дворе отсюда, в подвале. Раз-два...
Валега срывается.
— Лопаты чтоб не забыл, смотри, — и повернувшись ко мне: — Ну, что ж, инженер, пошли НП копать. С места в карьер — мозоли наращивать.
— Лопат хватит?
— Хватит. Каждому по лопате. Мне, тебе, Гаркуше, Валеге. За ночь сделаем — факт. А может, и в доме где-нибудь пристроимся из окна... Пошли.
На улице слышен зычный чумаковский голос:
— В колонне по четыре... Стр-р-роевым. С места песню... Ша-а-агом марш!
А во взводе у него всего три человека.
Лисагор хлопает меня по плечу.
— Не вышло нам к Игорю твоему сходить. Всегда у нас с тобой так... Завтра придется. Даст бог, живы останемся.
Где-то высоко-высоко в небе тарахтит «кукурузник» — ночной дозор. Над «Баррикадами» зажигаются «фонари». Наши «фонари», не немецкие.
Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик — молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает нам на ходу:
— Экскурсантов веду... Волгу посмотреть хотят. И весело, заразительно смеется.

1946

Чертова семерка

Предлагаемые читателю главы из повести «В окопах Сталинграда» написаны были больше 25 лет назад, летом 1945 года, но в книгу не вошли. И не вошли по следующей причине. Закончив две части повести (кончались они тогда подготовкой к танковой атаке на водонапорные баки Мамаева кургана — глава 26-я), я отпечатал их на машинке и приступил к третьей части — к танковой атаке и последовавшим за ней событиям. Но тут подвернулась возможность, хотя я уже демобилизовался, побывать в Польше, Австрии, Чехословакии. Работа была прервана. Перед отъездом я успел только дать своему другу-москвичу отпечатанный текст — пусть отвезет в Москву, покажет кому-нибудь, авось...

За время моего отсутствия рукопись побывала во многих руках и редакциях и в конце концов попала в «Знамя». Всеволоду Вишневному она понравилась, и решено было немедленно сдать ее в набор. Но с условием: не канителиться с 3-й частью, а тут же, в Москве (я приехал из Киева), срочно написать концовку и сразу же — в типографию. Так родились последние четыре главы.

Публикуемое ниже — начало несостоявшейся третьей части.

Автор

1

Все начинается с танка — одного из тех шести, которые с вечера прибыли в наше расположение, — вымазанного в белую краску танка с черной корявой цифрой «7» на боку.

Рассчитали как будто правильно. На участке первого батальона в минных полях сделали три десятиметровых прохода, габариты отметили колышками. Расположение немецких минных полей, вернее отдельных заминированных участков, перенесли на соответствующие карты и лично каждому командиру танка показали путь следования... По плану наступление начинает второй батальон. Задача его — привлечь к себе внимание противника. Одновременно через три прохода двинутся танки с десантами по четыре человека на машине. Задача — смять огневые точки противника и выехать в тыл водонапорным бакам. За танками — пехота — первый батальон. Артподготовки никакой. Все на неожиданности.

Как будто неплохо.

Ровно в 5.00 второй батальон начинает свою демонстрацию. Немцы сосредоточивают на нем огонь. Ширяев дает сигнал танкам. Они благополучно переползают через маскировавший их вал и въезжают в проходы.

Тут-то и подрывается первый, левифланговый танк с цифрой «7». И черт его знает на какой мине. В самом неожиданном месте — метрах в двадцати от наших минных полей. Подрывается и останавливается как вкопанный. Следующий за ним второй танк делает крутой поворот вправо и прямо въезжает в наше собственное минное поле № 11-бис — самое дьявольское из всех, смешанное из противотанковых и противопехотных мин. И тоже подрывается. Растерявшиеся десантники соскакивают на землю, на «мышеловки» — ПМД. Двое взлетают на воздух...

Этого достаточно. Десантники первого танка бегут назад. Танки второго прохода, заметив суматоху, останавливаются, открывают беспорядочный огонь, тоже пятятся назад. Только два танка третьего прохода едут прямо на баки и скрываются за ними.

Немцы открывают бешеный огонь.

В итоге — баки остаются у немцев, мы не продвигаемся ни на метр, два танка подбиты, три вернулись, один пропадает без вести где-то за баками. Убитых — восемь, в том числе экипаж первого танка, раненых — двенадцать. Второй батальон откатывается назад...

Полный провал...

Танкисты матерятся...

— Всегда так с пехотой... Натыкают своих мин где только влезет и кричат «танки вперед!». Инженеры тоже называются...

Ширяев бледен, повязка сползает на брови, на меня не смотрит.

И откуда там мина взялась, черт бы ее подрал? Сам Гаркуша, парень, на которого во всех отношениях можно положиться, делал первый проход... То, что это не немецкая и не моя, я ни минуты не сомневаюсь. Значит, дикая, оставшаяся от дивизий, сражавшихся здесь до нас еще. Но ведь все дикие мины сняты и обезврежены. Неужели прозевали? И нужно же было именно этой остаться и как раз на линии первого прохода...

Бородин, командир полка, сух, даже садиться не предлагает.

— Спасибо, Керженцев, помог... На старости лет самому по передовой на брюхе ползать придется, мины твои проверять... Пойдешь к комдиву. Вызывает тебя...

Входя в блиндаж к комдиву, я чувствую, как начинает сильнее биться сердце. Полковник сидит спиной, подперев голову руками. Читает что-то при свете лампы. Блиндаж жарко натоплен. В углу на кровати адъютант в голубой майке подшивает подворотничок.

— Полковой инженер тысяча сто сорок седьмого полка лейтенант Керженцев прибыл по вашему приказанию.

Полковник медленно поворачивается, отодвигает рукой лежащую перед ним пачку бумаг. Смотрит на меня долго, не мигая. С тех пор как он был у меня в батальоне, я его ни разу не видел. За это время он еще больше похудел, и при боковом свете лампы особенно остро выделяются кости его лица.

— Полковой инженер, говоришь? — тихо спрашивает он, не отрывая глаз от меня.

— Полковой инженер, товарищ полковник.

— Тысяча сто сорок седьмого?

— Тысяча сто сорок седьмого...

— Работы у вас там, вероятно, много, в тысяча сто сорок седьмом полку?

— Много, товарищ полковник.

— Минные поля, что ли?

— И минные поля тоже, товарищ полковник.

— И хорошие минные поля?

Я чувствую, что начинаю краснеть. Полковник не сводит с меня глаз.

— Я тебя спрашиваю, хорошие минные поля у вас?

— Обыкновенные...

— Обыкновенные? А вот по-моему, не совсем обыкновенные... Много на них немецких танков подорвалось?

— Нет.

— Сколько же?

— Ни одного. Они не пускали танков.

— Не пускали, говоришь... А мы пускали?

Мне хочется провалиться сквозь землю.

— Пускали.

— И что ж?

— Два подорвались, товарищ полковник... Полковник встает, подходит ко мне.

— А знаешь ли ты, что эти шесть танков — все, что есть сейчас на этом берегу? Знаешь ли ты, что Чуйков их специально снял с «Красного Октября», чтоб помочь нам овладеть баками, и что послезавтра они должны быть опять там, в тридцать девятой дивизии? Знаешь ли ты все это?..

Я молчу.

— Знаешь ли ты, что баки для нас сейчас все? Что это ключ ко всему городу? Что каждый день пребывания немцев в них — это лишние жертвы, лишние снаряды, лишние...

— Я все это знаю, но ведь по моей вине подорвался только один танк, и только за это я несу ответственность, а не за провал всего наступления... Черт его знает для чего, но я все это говорю полковнику.

— Только один? — перебивает он меня, и бледное, худое лицо его становится вдруг красным. — Только один? А этого мало? Один танк. Нет, не один... а шестая часть всех действующих танков на этом берегу... И весь экипаж... Только один...

Он вынимает из кармана папиросу, разминает ее пальцами, она рвется, он выкидывает ее, вынимает другую и прикуривает от лампы. Делает несколько быстрых, коротких затяжек. Опять смотрит на меня.

— Так вот, я тебе приказываю вернуть эти танки. Понятно? Те два, что подорвались.

— У переднего моторная группа повреждена, товарищ полковник. Собственным ходом не выйдет.

Полковник останавливается, до сих пор он ходил из угла в угол.
— Эх, инженер, инженер... — Он укоризненно смотрит на меня. — А у второго как с моторами?
— Когда я уходил, благополучно было.
— Так вот... За ночь поможешь танкистам выбраться из мин. А тот, застрявший, в ДОТ преврати. Любыми средствами. Ясно? Под твою личную ответственность.
Я козыряю.
— Можешь идти.
Я ухожу.
Превратить танк в огневую точку, в дот. Но для этого его надо сначала захватить. А как? Рыть траншею? От наших окопов до него метров... Пять от окопов до минного поля, десять само минное поле, да за ним еще метров двадцать. Всего, значит, тридцать пять. А до немцев шестьдесят, от силы семьдесят. Как раз посередине. Как бы немцам не пришла в голову та же самая мысль — сделать из танка дот. Из-под него они смогут и в лоб и вдоль всей нашей передовой стрелять... Рыть траншею — единственный выход, открыто, в лоб, не возьмешь. Тридцать пять метров... При наших лопатах и замерзшем уже грунте не меньше тридцати пяти часов. Три ночи... Паршиво...
Ширяев сидит в блиндаже — надуленный, расстегнутый, перевязанная рука на столе.
— Можешь поздравить.
— С чем?
— Фрицы в танк забрались.
— В какой?
— В семерку.
— Успели, черт...
— Час тому назад. Перешли в контратаку и забрались.
— А мы?
— Что мы? Ни одного броневой и зажигательного. Как горох отскакивают.
— Фу-ты, черт... А комдив приказал захватить его. В дот превратить... И тот вытащить...
— В том три трака перебито...
— До ночи ни черта не сделаем...
— Ни черта... Танкисты ругаются на чем свет стоит.
— Ну и пусть ругаются... А ночью мы с Гаркушей расчистим поле одиннадцать-бис, пусть меняют траки и вытягивают свой танк.
— А дальше что? Как эту чертову семерку захватишь?
— Рыть ход. Другого выхода нет.
— М-да... — Ширяев почесал нос. — Ладно, посмотрим. Сначала надо этот вытащить. Ни один день в моей жизни не тянется так долго, как этот. Не знаю, куда себя приткнуть. Слоняюсь по передовой. Искурил трехдневную норму табака.
Немцы сидят в танке, пытаются повернуть пушки в нашу сторону, но башню заело, и у них ничего не получается. К вечеру устанавливают под ним пулемет и без усталости начинают сечь по нашему танку.
Наконец наступает долгожданная ночь. Лихорадочно с Гаркушей снимаем мины с 11-бис, танкисты меняют траки — повезло еще, что повреждены они с нашей стороны, — и до восхода луны танк своим ходом возвращается в наше расположение. Это уже успех. Большой успех... Теперь надо приниматься за другой, за эту чертову семерку.

2

В прошлую империалистическую войну, — я где-то об этом читал, — в сводках воюющих держав долгое время фигурировал «домик паромщика» — жалкое строение где-то на берегу Марны или Соммы, ставшее объектом ожесточенной борьбы. В сводках Информбюро наш танк не упоминается, в сообщениях главной квартиры фюрера, по-

видимому, тоже нет. Но у нас в полку в течение добрых двух недель он спрягается и склоняется на все лады, фигурирует во всех донесениях, в виде черного, жирного ромба красуется на всех схемах и планах, торчит болезненной занозой на стыке первого и второго батальонов, многим, в том числе и мне, не дает спать и черт его знает сколько раз снится, хотя вообще сны на фронте — явление редкое.

Трудно сказать, скольких человеческих жизней он нам стоил, сколько снарядов и мин всех калибров и сортов было выпущено по нему с нашей стороны. В радиусе двадцати метров вокруг него земля буквально вспахана. Как-то ночью немцы выкрашивают его в белый цвет, чтобы черные, закопченные бока его не так выделялись на снежном фоне окружающей местности. Раза два мы его поджигаем, и он долго, отвратительно коптит небо... Иногда мы подбиваем один из пулеметов — теперь у них там два, но через час там появляется новый. Немцы подтягивают к танку ход сообщения. Мы тоже копаем к нему траншею, но немцы обгоняют нас, танк в их руках, и копать они могут с двух сторон. А людей нет. В батальонах всего по девять-десять активных штыков. Бывает и меньше. Бойцы с десятидневным стажем считаются уже стариками. Во втором батальоне однажды в течение суток оборону держали два пулемета и 45-миллиметровая пушка. Стрелки все вышли из строя.

Раз в три ночи приходит пополнение — озябшие, дующие в ладони юнцы, топчутся как раз у нашей землянки, получают обмундирование — валенки, тулупы, меховые рукавицы. — Это что, дяденька, Сталинград?

— Сталинград.

— А где же дома?

— Домов нет. Были дома. Юнцы переглядываются.

— А хлеба по сколько дают?

— По восемьсот!

— И приварок?

— И приварок.

— А строевой занимают здесь?

— Нет. Не занимают.

— Слава богу...

И красноносые, покрытые пушком физиономии улыбаются. Потом их выстраивают, выкрикивают фамилии и уводят на передовую. Иногда только половина доходит до окопов — они пугаются мин, бросаются врассыпную...

Немцы бешено, остервенело сопротивляются. Ежедневно трехмоторные «юнкерсы» сбрасывают им боеприпасы. Где-то там, западнее, кольцо сжимается, стягивается, но здесь, на берегу Волги, передовая не сдвигается ни на метр.

Вторую неделю по Волге идет сало, или шуга, как ее здесь называют. Сообщение с левым берегом осложняется. Боеприпасов не хватает. Батареи на этом берегу — артиллерийские и минометные — получают строгие лимиты на снаряды, а ночной тревожащий огонь из винтовок вообще запрещается. Артиллеристы воруют друг у друга снаряды.

С продуктами тоже неважно. Снабжают нас «кукурузники». Сбрасывают по ночам завернутые в рогожу тюки с сухарями и концентратами. Адресатом считает себя всякий находящийся по эту сторону Волги. Кто увидел, тот и забрал, кому свалилось на голову — тот и хозяин. «Чумаковцы» — разведчики — проявляют бешеную активность. Раза два Чумака вызывают к самому комдиву. Оттуда он приходит злой и красный.

— Отдай этим соплякам из сорок пятого два мешка сухарей, — бросает на ходу старшине, — и скажи, что в следующий раз морду им наклепаю, если так вести себя будут. И старшина ворча вытягивает мешки с сухарями, — в углу у него целый склад.

Так идет жизнь.

Громыхает артиллерия, строчат пулеметы, разведчики ходят за «языком», Устинов — дивинженер — одолевает меня бумажками, но я их не читаю. «Чертов танк», «проклятая семерка» — как прозвали его бойцы, не дает мне житья.

Траншея почти не подвигается, грунт как камень, лопаты ломаются, кирки не берут, тол весь вышел, аммонит дрянной, а главное, немцы! Буквально поливают место работы свинцовым дождем, стреляют из минометов, бросают гранаты.

К концу недели мы прокапываем еле-еле десять метров — меньше полутора метров за ночь. Теряю половину своего взвода — троих убитыми, остальных ранеными. Ко всему еще Агнивцев заболевает чем-то похожим на тиф, и его отправляют в медсанбат. За ним отправляется Валега. Стерегающий на той стороне лошадей ездовой Кухарь попадает на краже овса и угождает в штрафной батальон. Кроме Валеги, его нечем заменить. Остается нас четверо я, Лисагор, Гаркуша и Тугиев...

Траншею прекращаю копать.

3

Как-то вечером приходит с левого берега Лазарь — начфин. Весь белый и дымящийся от мороза вваливается ко мне в землянку. Замерзшими, негнущимися пальцами вытягивает водку из кармана.

— По случаю взятия танка. Вспрыснуть надо...

Лисагор смеется. Я ничего не отвечаю. Мне уже надоели эти розыгрыши. Нет человека в полку, который не шутил бы по поводу моего танка. Даже тихий, скромный Лазарь — и тот вот острит.

— Иди ты знаешь куда?

Лазарь удивленно пожимает плечами.

— А у нас, на той стороне, слух распространился — будто красный флаг уже на танке...

— Вот приходите с той стороны и берите его, а потом уже слухи распространяйте.

Лазарь улыбается, скидывает шинель, сапоги, забирается на койку.

— Мороз такой, что голова трещит. К утру, наверное, Волга станет.

— Давно пора. Может, тол тогда подвезут. Лисагор раскупоривает бутылку.

— Взрывать, что ли, танк собрались? — спрашивает Лазарь.

— Какой там танк. Землю, а не танк. Земля знаешь какая?

— Вы что, подкапываетесь под него?

Лисагор так и застывает с бутылкой в руке. Меня тоже точно током ударяет. Вот дураки! Неделю мучаемся под немецким огнем, а такая простая мысль до сих пор не пришла в голову...

— Лазарище, будь ты проклят, золотая голова! Где ты только учился?

Подкопаться! Просто, как колумбово яйцо! Ближе всего к танку от крайней правой фарберовской землянки. Метров тридцать, не больше. Вал около нее высокий — метра полтора. Немцы даже не увидят, как мы землю выкидывать будем. А грунт на глубине не такой мерзлый.

— Здорово, черт возьми! — Лисагор хватает карандаш. — И людей много не надо. Копать сможет один человек — только часто менять. Один копает, другой землю вытягивает, двое разравнивают и маскируют. Восемь — десять человек с гаком хватит. Если дивизионных саперов человек пять подкинут — дня за три-четыре сделаем. Правда, инженер?

Лисагор подводит черту и пишет под ней цифру «4» — четверо суток.

— Устинов твой в восторге будет. Совсем как в Севастополе. Заложим толу килограмм сто — и как ахнем!.. Представляешь воронку? Бойцы из нее прямо шеренгой пойдут. Мы выпиваем поллитровку, хлопаем от радости Лазаря по спине так, что он кашлять начинает. Натянув валенки, я бегу к Ширяеву, потом к майору.

Звонок по телефону полковнику, трехминутный разговор, и с завтрашнего вечера я получаю в свое распоряжение взвод дивизионных саперов, сто пятьдесят килограммов аммонита и пятьдесят килограммов тола из неприкосновенного запаса. Срок — четыре дня.

Ночью я никак не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок, мешаю свернувшемуся около меня клубочком Лазарю спать, курю одну папиросу за другой.

Следующие четыре дня я, кажется, совсем не сплю. Где-то урывками, скорчившись, вздремну на полчаса, и все. В рот ничего не лезет.

Лисагор тоже в лихорадке. Матерится за десятерых, сам землю таскает, раздобывает где-то три аккумулятора и десятиметровый шнур с лампочкой, кормит бойцов шоколадом, чтоб азартнее были.

В первые сутки проходим десять метров. Во вторые — восемь с половиной. Задерживает земля. В ведрах и котелках, на карачках приходится вытягивать ее наружу. С каждым новым метром работа усложняется. Грунт все-таки мерзлый, хотя мы только на глубине двух метров.

К утру первого декабря пройдено восемнадцать с половиной метров. Осталось одиннадцать с половиной. Меняем бойцов через каждые пятнадцать минут. Включаемся сами. В общей сложности нас работает пятнадцать человек. Этого более чем достаточно. Еще один день. К вечеру остается пройти три метра. Бойцы копают, как звери. Вылезают из туннеля потные и грязные как черти. Совершенно неумоим Тугиев — работает не по четверти, а по полчаса и в четыре раза превышает норму. Я выхожу из строя — со второго раза натираю себе мозоли на ладонях. Четыре дня — ни я, ни Лисагор не ходим на берег. Второго декабря часов в девять вечера звонит из штаба Ширяев.

— В пять ноль-ноль «сабантуй». Успеешь?

— Успею.

— Я приду часа в четыре. Разведчики тебе нужны?

— Для чего?

— Живая сила. Вместо третьего батальона.

— А не жалко?

— У меня Чумак был. Предлагал свои услуги.

— Что это с ним случилось?

— Хочет первым в танк попасть. Полковник говорил, что к ордену представит.

— Ну что ж, пускай приходит. Я ему всегда рад.

— Человек пять хватит?

— Хватит.

— Жди, значит.

— Жду.

Я кладу трубку.

Итого, значит, одиннадцать бойцов — по три от двух батальонов и пять разведчиков.

Мощная операция. Надо только ребят подходящих подобрать. Звоню Сеницыну и Фарберу. Сеницын обещает дать хорошие «березовые колышки». На нашем телефонно-кодовом жаргоне «березовыми» (в противовес «горелым») колышками называются опытные бойцы, преимущественно из сибиряков.

Фарбер сам приходит ко мне — в блиндаж первой роты, мой временный КП.

У него желтуха. Лимонно-желтый, в круглых очках своих, он похож сейчас не то на китайца, не то на японца. Желтухой сейчас почти все болеют — от однообразной пищи.

Противная болезнь — нападает инертность, сонливость, пропадает аппетит. То тут, то там на снегу видны красно-бурые следы мочи.

— Кончать, значит, сегодня собираетесь? — говорит Фарбер, снимая и протирая запотевшие очки.

— Как будто...

— Волнуетесь?

— Волнуюсь.

Я чувствую, что мне страшно хочется спать — режет глаза, точно в них песок, — а сон не идет. Бывает такое!

— От вашего батальона трое пойдут, знаете? — говорю я.

— От моего три и от Сеницына три. Так, что ли?
— Так. Всего шесть.
— Шесть... Почти целый батальон.
Он улыбается своей тихой некрасивой улыбкой.
— Сколько у вас людей теперь, Фарбер?
— Каких? Которые хлеб получают или воюют?
— Воюют.
— Без минометчиков и пулеметчиков — девять. Это с командирами рот, взводов, отделений.
— А их сколько?
— Один.
— Здорово.
— Вчера было двое, сегодня один.
— Убит?
— Убит. Уразов. Вряд ли вы его знаете. Из новеньких. Татарин, кажется, или казах. Хорошенький такой, черноглазый...
— Снайпер, должно быть?
— Снайпер. Расплодилось их сейчас у фрицев — уйма. За последнюю неделю пятерых вывели у меня из строя.
— Мне сегодня тоже попало, — сидящий в углу связист показывает потрепанную ушанку — в ней маленькая аккуратная дырочка в наушнике, — когда цепь проверял.
— А Уразову в каску, — говорит Фарбер. — Прямо в лоб. Никогда раньше не носил. А тут надел. Точно предчувствовал. Утром все письма писал.
— А вы верите в предчувствие, Фарбер?
— Как сказать...
— А все-таки...
Фарбер опять снимает и протирает очки. Надевает их, поправляет за ушами, на переносице. Не мигая смотрит в огонь, на весело потрескивающие щепки.
— Как вам сказать... — совсем тихо говорит он, — и верю, и не верю. Умом не верю, а вот где-то внутри, вопреки разуму... — Он старательно впихивает в печку смолистую, сверкающую янтарными капельками щепку, пламя с жадностью охватывает ее со всех сторон. — В детстве я боялся покойников, ни за что бы не пошел ночью на кладбище. Даже сейчас, когда я вижу убитого, мне трудно представить себе, что это уже все, абсолютный конец... Какой-то душевный атавизм?.. — Он подбрасывает еще несколько щепок в огонь. — Был у меня друг. Собственно говоря, даже не друг — друзей у меня давно уже нет, — а человек, к которому я очень хорошо относился. И он ко мне как будто неплохо. Веселый такой мальчик, командир конной разведки. Шутник, весельчак, кровь так и играла. На любое самое сложное задание, как на прогулку, отправлялся. Заломит набекрень кубанку, папиросу в зубы — и пошел... И вот когда он на последнее свое задание отправлялся — было это весной этого года, на Донце, пришел он ко мне и попрощался... «Будь здоров, говорит, Фарбер, больше не увидимся». Я сразу даже не понял. Решил, что в другую часть переводят или в какое-нибудь училище посылают. «Нет, говорит, за „языком“ иду». — «Почему же не увидимся?» — «Не вернусь. Убьют». И в одну точку все смотрит. «Я уж точно знаю». Даже карточку мне на прощанье подарил. Фарбер расстегивает шинель и откуда-то из глубины достает старенький, потрепанный бумажник. Мы оба долго рассматриваем веселое, мальчишеское, почти без бровей лицо, смотрящее на нас с потрескавшегося и потертого глянцевого квадрата.
— Сережа Кондрашев. Лучший разведчик, которого я когда-либо встречал. Фарбер прячет бумажник и застегивает шинель. — Ему оторвало голову снарядом, когда он уже вернулся с задания и устраивался на ночлег...

Больше мы ничего не говорим. Сидим и смотрим на огонь, на вываливающиеся из печки и тихо гаснущие на земле угольки. Откуда-то издалека чуть слышно доносятся редкие, равномерные пулеметные очереди... На передовой тишина.

А часиков через пять-шесть... Проверим пистолеты, гранаты, натянем рукавицы и... Я закрываю глаза и стараюсь себе представить, как развернутся события.

Будем лежать у входа в туннель на животах и смотреть на часы. Потом или я, или Ширяев скажем: «Пора». Кто-то приложит к наискось срезанному бикфордову шнуру спичку и с силой проведет по ней теркой. Спичка не зажжется. Зажигающий вполголоса выматерится, полезет в карман за другой спичкой. Кто-нибудь присветит фонариком, заслонив его ладонью. Опять движение теркой. Вспышка. Пошло. Бикфордов шнур выплевывает пламя, тихо шипит, укорачивается. Пятнадцать секунд — столько секунд, сколько в нем сантиметров. Медленно подбирается к капсулю, капсуль соединен с детонирующим шнуром. Детонирующий шнур длиной в тридцать пять метров, но сгорит он в 1/8 секунды. Он горит со скоростью 270 метров в секунду... Мы все сожмемся, подберемся, еще раз проверим, где гранаты.

А потом... Потом тридцать метров под землей, натываясь на чьи-то пятки, сжимая в руке оружие, задыхаясь от напряжения...

А может, недостаточно тола положили и воронка получится слишком маленькая, тесная?

Нет. Сто пятьдесят килограммов тола и сто пятьдесят аммонита — это не игрушки...

Ну, а потом, потом... Неужели будем сидеть под танком? Повернем пулемет и будем жарить по немцам? Ход завалим, заминируем. А завтра вечером, сидя в моей землянке за шипящим самоваром, будем говорить обо всем, как уже о прошедшем...

А может?.. Нет, не может быть. Ни в коем случае не может быть... Никогда больше не скажет полковник: «Эх, инженер, инженер...»

— Товарищ лейтенант, вас!

Телефонист протягивает мне трубку. Беру.

— Шестьдесят первый слушает. В ухо шипит голос Коробкова — зам по тылу, — он сегодня дежурный по штабу.

— Большой хозяин интересуется, как дела. Сколько осталось?

— Метра три...

— К пяти будет готово?

— Будет.

— Так и передать?

— Так и передать.

— Это точно?

Я отдаю трубку телефонисту. Коробков может замучить своими вопросами. Фарбер встает, опускает наушники на шапку — мороз сегодня еще крепче.

— Поеживаются фрицы, — улыбается он, завязывая тесемки под подбородком. Видали наш трофей сегодняшний?

— Какой трофей?

— Неужели не знаете? Фриц к нам перебежал...

— Ну?

— Самый настоящий, кукрыниксовский. В пилотке. Обмотанный полотенцем.

— Что ж вы не рассказываете?

— Я думал, вы знаете. Раненько утром еще прибежал. Надоело, говорит, воевать — холодно. Штрафник. Не захотел отдать офицеру теплый свитер. С убитого товарища снял. Ну и угодил в штрафники — под танк.

— Под танк?

— Под танк. Он у них «toteninsel» называется — «остров смерти». Туда только штрафников посылают. Кто сутки просидит — оправдывается, кто двое получает железный крест, кто трое — с дубовыми листьями. Но таких еще не было...

— Ага... Значит, и у них он в печенках сидит. Хорошо.

— Говорят, в день по пять-шесть убитых вытягивают из-под него.
— Хорошо...
— Отправили его в штаб. Что-то важное хочет сообщить, только не ниже как полковнику... Смешной такой, замерзший и с рюкзаком не меньше, чем он сам. Пожалел расстаться... Ну ладно. Я пошел...
Фарбер протягивает руку.
— Так, значит, в пять?
— В пять.
Он уходит. В землянку врывается облако свежего морозного воздуха, и коптилка чуть не гаснет.

4

Слегка морозит. Недавно прошел снег, и кругом все бело и чисто. Небо затянуто. Редко, лениво взлетают ракеты, искрится сухой рассыпчатый снег. Невдалеке белеют баки, покосившийся, точно упершийся лбом в землю танк... Так близко он, в двух шагах... Смутно виден извилистый зигзаг траншеи, теряется где-то около баков.

Тихо...

Даже пулеметы из-под танка не стреляют. Ждут. Лисагор сидит на корточках у норы, в валенках, в ватнике, курит в кулак. Двое бойцов, согнувшись, разравнивают вываленную землю, присыпают сверху снегом.

— Принесли взрывчатку? — спрашиваю.
— Последнюю ходку делают.
— Где свалили?
— В разбитой землянке, около НП.
— Аммонит подсушил?
— Подсушил... Но вообще дрянной. Один мешок совсем как камень. Пришлось отложить.
Присветив сигаркой, смотрю на циферблат
— Без двадцати три уже...
— Два часа осталось.
— Два часа.
— Ничего. Успеем.

Из норы вылезает боец с ведром. Высыпает землю.

— Что-то мягче грунт стал. Пошло дело... — И опять уползает под землю.
Через час приходит Чумак с четырьмя разведчиками. Точно на парад собрались — подтянуты, бляхи поясов сверкают, тельняшки выстираны.

— Будем ордена зарабатывать, а, инженер? — улыбается Чумак, разваливаясь у печки.
— Давай, дело хорошее.
— Первымпустишь меня?
— Полезай, коли охота есть...
— Пехоты сколько будет?
— Шесть.
— Тоже по ходу?
— Нет, вторым эшелоном — из недорытой траншеи.
— Закурим по этому случаю.

Закуриваем.

— Что на берегу слышно? — спрашиваю.
— Ничего. Пусто — хоть шаром покати. Одна Рита почтальонша.
— Газету не догадался принести?
— Ничего интересного. Фрицы там, западнее, пачками сдаются, а здесь вот сидят, сволочи.
— А в Африке?

— Ни хрена. Французы где-то, не помню уже где, флот свой подорвали. Линкоры, крейсера...

— Зачем?

— Откуда я знаю. Взорвали, и все. Немцы, что ли, захватить хотели...

Вваливается Лисагор. Отряхивает снег.

— Принимай, инженер.

— Кончил?

— Кончил.

— Отправляй тогда людей. Тугиева только оставь. И мин противопехотных с полдесятка. Дивизионному саперу скажи, чтоб завтра приходил водку пить, если живы останемся.

Шнур проложил?

— Гаркуша тянет.

— Ладно. Когда кончит, скажешь.

Лисагор уходит. Вскоре приходит Ширяев, за ним Фарбер и Сеницын. Опять закуриваем, поглядываем на часы. Остается полчаса. Двадцать минут... Пятнадцать...

Без десяти выходим. Опять снег пошел — густой, за десять шагов ничего не видно. Батальонные бойцы в белых масках топчутся около туннеля толстые, неуклюжие, точно медведи. Подходит Лисагор:

— Можно поджигать?

Я поворачиваюсь к Чумаку.

— Твои готовы?

— Готовы.

— Твои, Сеницын?

— Готовы.

— Фарбер?

— Готовы.

Все отвечают почему-то шепотом. Я докладываю Ширяеву.

— Начинай, — тоже шепотом говорит он.

Лисагор, поскрипывая валенками, подходит к туннелю, садится на корточки. Долго что-то возится. Зажигает. Чумак протягивает мне финку: «Возьми, пригодится» — и подходит к туннелю. Я за ним. Как долго тянутся эти пятнадцать секунд. Я успеваю снять рукавицы, засунуть их за пояс, вынуть пистолет, взвести, осмотреться по сторонам: все точно вкопанные — белые солдаты, черные в своих бушлатах разведчики...

Считаю — раз-два-три-четыре-пять...

Страшный взрыв сотрясает землю и воздух. На какую-то неуловимую долю секунды все озаряется ослепительным, режущим глаза светом. Плоское, с зажмуренными глазами лицо Лисагора... Сыплется земля сверху...

— Пошли!

Чумак скрывается в черной дыре. Я за ним. Быстро-быстро перебираю руками и ногами. Ход тесный. За шиворотом полно земли. Кто-то, вероятно Тугиев, сопит за моей спиной. Лезем, лезем, лезем... Конца нет этому ходу... Жарко и воняет толом... Стоп... Чумак стал. Разгребает землю... Пошел... Видно небо... Морозный воздух... Конец... Чумак выскакивает... Воронка как от 200-килограммовой бомбы... Справа сверху танк — покосившийся, белый на черном небе... Вот он, сукин сын, шагов пять-шесть всего. Чумак бросает гранату... вторую... Бежит по ходу сообщения... Исчезает. Я проваливаюсь куда-то... Хватаюсь за холодное, липкое от мороза железо танка... Чей-то крик... Кто-то наваливается на меня, хватая за горло... Ударяю финкой-раз-два... Свалилось... Лезу дальше... Крик... Сип... Выстрелы... Что-то с силой ударяет меня по ноге... Ни черта не пойму...

— Юрка, ты?

— Я...

— Спички есть?

— Фонарик.

— Зажигай.

Никак не могу вытащить фонарик. Запутался в кармане. Сзади кто-то наседает.

— Это вы, товарищ лейтенант?

— Стой... не лезь.

Зажигаю фонарик. Лицо Чумака. Из носу у него течет кровь. Убитый немец с открытыми глазами. Пулемет. Все кругом забито отстрелянными гильзами.

— Здесь все... Полезли назад. — Чумак отпихивает меня и лезет назад. Поворачиваюсь и чувствую вдруг, что правая нога прилипла к земле... Что за черт... Неужели... Освещаю фонариком ногу. Ниже колена в сапоге крохотная дырка... Хочу поднять ногу... В глазах круги...

— Чумак!

Никого. Мертвый фриц, пулемет и гильзы. Это все. Ползу на локтях и левом колене к выходу... Опять круги... Снаружи стрельба, взрывы гранат... Стиснув зубы, ползу дальше. Еще один фриц. Блестят шипы на подошвах сапог. С трудом перелезаю через него. Он лежит ничком, поджав руки под живот. Еще теплый...

Вверху небо. Транссирующие очереди. Чувствую, что дальше ничего не выйдет.

Вытягиваюсь. Жду.

Хлоп... Кто-то прыгает прямо на меня. Ч-черт!

— Кто это?

В ответ только ругаюсь.

— Товарищ инженер, вы?

— А кто же...

— Ранены? — Кто-то наклоняется надо мной.

— Вроде...

— Федька, давай скорей пулемет и прыгай... Кто-то еще прыгает в траншею. Это последнее, что я помню. Все кругом застилает что-то черное и тяжелое... Мне удобно и уютно. Никуда не хочется. Заснуть бы только... Крепко-крепко.

5

Все позади... Танк, Лисагор, Ширяев, землянка с шипящим самоваром...

Надо мной мутное, затянутое тучами небо. Где-то луна. Под низом мягко. Ушанка налезла на самые брови, и почему-то опущены уши. В рот лезет что-то шершавое вроде шинели.

Прямо передо мной спина — широкая, в тулупе... Куда-то везут... Скрипят полозья.

Приятно укачивает... Засыпаю... Просыпаюсь... Все та же спина... Чья же это спина?

Мне лень спрашивать, и я опять засыпаю...

Потом кто-то осторожно берет меня под мышки и под зад, и вместо широкой спины — крупы двух лошадей, помахивают хвостами. Чьи-то незнакомые лица.

— Поосторожней там, хлопцы... Видите, нога переломана...

Как будто голос Гаркуши — грудной, низкий. Несут куда-то. Палатка большая, светлая, на боковых стенах длинные черные тени.

— Передовая карточка есть? — спрашивает кто-то.

— Есть, есть... — опять голос Гаркуши.

Но я его не вижу — только голос слышу. Что он здесь делает?

— Кладите сюда.

Опять поднимают. Я оказываюсь на столе, совсем голый. Знобит. Под спиной холодная, противная клеенка.

Теперь я вижу уже Гаркушу. Черноусый, в расстегнутом тулупе, в сдвинутой на затылок ушанке, он улыбается во весь рот.

— Ты чего здесь? — спрашиваю я, и голос мой как будто доносится из другой комнаты.

— Вас привез, товарищ лейтенант... — И все улыбается. — В дом отдыха привез.

— Медсанбат, что ли?
— Так точно. Медсанбат.
— Танк взяли или нет? — пытаюсь припомнить я последние события.
— Как же. При мне майор Бородин комдиву звонил.
— А мне что — ногу перебило?
Я приподымаю голову. Правая нога ниже колена распухла и замазана кровью. Раны на таком расстоянии не видно.
Маленькая, с туго закрученными вокруг головы черными косами девушка, должно быть, докторша, — наклонилась надо мной. Натирает живот чем-то холодным. Пахнет эфиром. Почему живот? Ага, от столбняка — с этого всегда начинают. В ее руках шприц — большой и блестящий. Я вижу, как медленно тает в нем мутная, неприятная жидкость. Ее вгоняют мне в живот, но это совсем не больно.
Докторша щупает ногу — зачем-то тянет ее. Фу-ты черт... Вырвать, что ли, хочет?
— Осторожней, черт вас возьми!
— Новокаин, — не подымая головы, говорит кому-то докторша и быстро-быстро маленькой ваткой смывает кровь с ноги.
— Запишите, Шура: средняя треть правой голени. Перелом. Огнестрельная, сквозная. Раны чистые. Потеря крови незначительная. Первичная обработка... Круто поворачивается ко мне: — Санрота?
— Санрота, — вставляет Гаркуша — он все тут же, не уходит.
— Пишите — санрота.
Она опять берет в руки шприц и четыре или пять раз подряд втыкает его в ногу ниже колена, деликатно оттягивая кожу. После этого я уже ничего не чувствую в ноге — даже когда маленьким, сверкающим ланцетом аккуратные пулевые дырочки превращаются в длинные, кровоточащие разрезы.
— Противостолбнячная сыворотка введена. Рассечение входного и выходного. Риванол. Иммобилизация — шиной Крамера.
Все это она говорит быстро и отрывисто, как заученный урок, и на меня не на ногу, а на меня — обращает внимание, только когда прямая, как палка, нога обмотана бинтами от пятки до таза.
— В госпитале гипс наложат. Страшного ничего. Месяца полтора-два отдохнете, а там опять... — И на лице ее — только сейчас я замечаю, какое оно утомленное, — появляется улыбка. — Следующий...
Меня снимают со стола.
В палатке — другой уже, поменьше — Гаркуша взбивает солому, раскладывает одеяла — оказывается, он их штук пять с собой привез.
— Спасибо, Гаркуша. Иди. Мне хорошо.
— Там под подушкой я фляжку положил. Чтоб не скучали.
— Спасибо, Гаркуша. Не беспокойся.
— Это командир взвода Лисагор передали. Чтоб нас вспоминал, сказал.
— Спасибо. Поблагодари его. Не забудь.
— Обязательно. — И потоптавшись еще вокруг меня: — Не холодно?
— Нисколько. Все хорошо. Иди, иди. Он просовывает свою шершавую руку мне под одеяло и пожимает пальцы.
— А жар у вас все-таки есть. — И немного еще помявшись: — Ну, поправляйтесь... А кончится, еще привезем. Чтоб не скучно было.
И, весело подмигнув мне, уходит

Госпиталь, в который я попадаю после медсанбата, — незavidный госпиталь. Маленький, тесный, бывшая школа. Лежат в коридорах прямо на соломе. Одеял не хватает, простынь

тоже, халатов и тапочек нет. Мы долго лежим в приемной, ждем, когда натопят баню. Ругаемся на чем свет стоит. В машине намерзлись, повязки сбились — сто километров по ухабистой дороге, держась за борта, стиснув зубы — удовольствие ниже среднего. Потом баня. В ней холодно, санитарок, чтоб обмыть нас, не хватает, в перевязочную очередь. Ходячие захватили лучшее белье, а мы, лежачие, лежим в рваных рубахах, засунув истории болезни под повязки. Опять ругаемся и ждем своей очереди на стол. Сквозь поминутно хлопающую дверь видно, как суетятся врачи в соседней комнате. Раненых много, большинство из 64-й и 57-й армий, с той стороны кольца, с юга, с севера. — Пять суток везли... Всю душу вытрясли... — ворчит кто-то в углу. — Шоферов бы всех этих на передовую. Разжирили... Торопятся куда-то... Это откуда-то уже из другого угла.

— И без курева все время... Там, говорят, получите. Дождешься...

— Повязка вся промокла к чертовой матери...

— Сестра, а, сестра... Двое суток не оправлялся... Дала бы утку...

Сестры сбились с ног, проходы завалены ранеными, коптилки от сквозняков поминутно гаснут.

В палату попадаю уже утром к завтраку. Маленькая, на пять человек, командирская.

Санитары ставят носилки посреди комнаты.

— Где свободная койка?

— Вон туда, на место Варламова. Посмотри только, переменили ли простыни.

Раненые, завернувшись в одеяла, сидят на койках — хлебают что-то из глиняных мисочек. Один спит.

— Из какой армии?

— Шестьдесят второй.

— Не из тринадцатой гвардейской?

— Нет, сто восемьдесят четвертая.

Долговязый с раскосыми глазами парень, в коротких, чуть ниже колен кальсонах, подсаживается на мою койку

— Ну-ну, рассказывай, сосед... Как там? Взяли вы уже баки?

— Черта с два...

— А наших не передвинули, не знаешь? Говорили, что правее вас поставят.

— Пока нет. Правее — девяносто вторая...

Еще двое подсаживаются, держа миски в руках между колен. Один безногий, на костыле, с гвардейским значком на рубахе, остроглазый и вертлявый, другой угреватый, но красивый. Черноглазый и курчавый.

— Нога, что ли? — спросил безногий.

— Нога.

— Осколком, пулей?

— Пулей. Из пистолета...

— Из пистолета?..

— Из пистолета.

— Где же это ты умудрился?

— Чего ж тут умудряться? Выстрелил фриц, и все. На то им и оружие дают.

— Кость цела?

— Голень ниже колена перебита.

— Полтора месяца как из пушки, — говорит раскосый и ставит миску на окно. — Это если остеомиелита не будет

— Чего не будет?

— Остеомиелита. Это когда осколки в свищ лезут Костяные. Тогда, пока все не вылезут, лежать будешь.

— А нерв задет? — спрашивает другой, похожий на грека.

— Черт его знает.

— Пальцы чувствуешь?
— Чувствую.
— А двигать можешь?
— Не пробовал.
— Попробуй.
— Как будто шевелятся.
— Твое счастье... У нас тут лежал один. Рана чепуховая — на десятый день зажила, а нерв повредило — радиальный на правой руке. Дали год отпуска — пока не восстановится.
— А он что — сам восстанавливается?
— Сам. Только медленно очень. По миллиметру в день. От места повреждения до кончиков пальцев. А если порван, тогда сшивать надо канитель дай боже.
— А вот у нас случай был, — перебивает раскосый и начинает рассказывать бесконечную историю о том, как одному лейтенанту отбило член и как хирург восстанавливал ему. Рассказывает он долго и подробно, со всеми деталями, но слушают все его с удовольствием. В госпиталях вообще охотно говорят о различного рода увечьях и ранениях и с особым удовольствием о своем собственном. И где его ранило, и при каких обстоятельствах, и как на плащ-палатке тащили, и как наркоз давали, а он не брался («выпил я перед тем малость»), и как осколок «вот такой величины» вытащили, и как в машинах потом трясли...
— Тебя тоже трясли? — смеется курчавый.
— Дай бог. Все внутренности наизнанку.
— А через Волгу как? На лодке?
— Нет. На лошадях. Стала уже Волга.
— Ну?..
— Неделю как стала. В одном месте только не замерзла — полынья осталась — против водокачки.
— Слава богу... Наладилось, значит, снабжение.
— Понемножку...
— И шамовка лучше?
— Не лучше, но больше. И хлеб вместо сухарей.
— Ну, а фрицы как? — перебивает безногий.
— Сидят. Огрызаются.
— Вот сволочи. И неужто бомбят еще?
— Бомбить не бомбят. Боеприпасы только сбрасывают.
— А наши?
— Тоже не очень. Раза три в день «Илюши» летают за бугор, по ночам «кукурузники».
— А «Ванюша»?
— «Ванюши» нет. Умолк.
— Не жизнь, а малина! — хлопает он рукой по колену и смеется: — Надо на передовую, а то зажиреешь здесь на булочках да манной каше... У вас там небось манкой не кормят...
— Надоела, что ли?
— Поживешь — увидишь. Утром манка, в обед манка, на ужин манка. Ни одна баба на тебя смотреть не станет.
— У Ларьки все бабы на уме, — смеется черномазый, сверкая зубами. — Ноги нет, а все о бабах...
— А о ком же! Полтора года баб не видал, а тут их пруд пруди. И врачи, и сестры, и кухарки-все бабы...
— А лечат как? — спрашиваю.
— Кто? Кухарки? На обед увидишь...
— Лечат ничего, хоть и молоденькие, — говорит раскосый, — с ног только сбиваются — раненых уж больно много.
— А сестры?

— Сестры ничего, жить можно. Наша — палатная, совсем хорошая. Варя. Вот хозяйка — та похуже. Белья хорошего не добьешься, БУ все, с завязками, ржавое...

— Ты ей скажи, чтобы тапочки дала, сама никогда не додумает. Ты кто лейтенант?

— Лейтенант.

— Тогда хуже. Она у нас капитанов и майоров только признает. В двенадцатую вот палату — там три капитана — дала халаты, а нам один на пятерых...

— А газеты есть?

— Газеты есть. Фронтная на палату. А в красном уголке и «Правда», и «Известия», и «Красноармеец» есть. Ты ходил уже за ними, Ларька?

Ларька хватается костыль и исчезает в коридоре. Все это у него получается очень ловко.

— Староста палаты, — говорит долговязый. — Мировой парнишка. Лыжником был, а сейчас вот на костыле... Как выпьет — все здоровую ногу свою показывает, заставляет мускулы щупать. Первую премию где-то за танцы получил.

К вечеру я знаю уже всех. Знаю, что Ларька до войны был слесарем на заводе, что он представлен к двум орденам, что есть у него где-то в Саратове Вера, но что-то давно уже не пишет (много развелось там, видно, тыловики в ремешках и хромоных сапогах), что командир их дивизии мировой парень восемь орденов уже имеет, что во втором отделении мировая сестра Дора, блондиночка такая, и он с ней того самого...

Долговязый с раскосыми глазами оказывается моим коллегой — полковым инженером.

Зовут его Серапион, фамилия Будочка, и вообще все в нем неожиданно, не так как у других. Он самый высокий в палате, но кальсоны на нем самые короткие. Борода у него растет очень бурно, но только под подбородком и на шее, а усов никаких. На ногах у него по шесть пальцев, и это является предметом бесконечных и не очень разнообразных острот. Родился он где-то в Баренцевом море на ледоколе, во время шторма, отец у него был капитан. В детстве был на Аляске, на Курильских островах, даже в Японии. По профессии техник-строитель, в армию пошел добровольцем, хотя и имел броню. Ранило его тоже по-глупому. Бомба попала в двух шагах от него в походную кухню, но не разорвалась. Перебило оглоблю, она отлетела и впиалась в землю, а по пути перебила ему руку. Сейчас она уже зажила, он комиссовался и со дня на день ждет получения документов.

Третий — мой сосед по койке. Когда меня принесли, он спал, завернувшись с головой в одеяло. Проснулся только к обеду. Маленький, кругленький, розовый — абсолютно лысый, он приветливо улыбается:

— Капитан Сумароков. Никодим Петрович. С кем имею честь?

Представляюсь.

— Разрешите узнать, куда ранены?

— В ногу.

— С переломом?

— Да.

— И гипс наложили?

— Нет еще.

— Завтра наложат. Здесь хорошо накладывают. Надо только, чтоб сама Вера это делала, а то старшая из первого отделения кости не умеет направлять.

Он все время улыбается и поглаживает лысину.

— А мне, голубчик, в живот угодило. Но как угодило! Вы только послушайте...

И начинается традиционный рассказ о пуле, брюшной полости, наркозе и прочих прелестях. А вообще он симпатичный. Ему шестьдесят лет, в прошлом он был счетоводом в Наркомлеспроме, сейчас служит в политотделе армии и ждет писем от жены, которая эвакуировалась в Сибирь.

Осколок, который ему попал в живот, — маленький, величиной с горошину, он держит под подушкой, в спичечной коробке, завернутым в ватку, и с охотой его всем показывает, с улыбкой приговаривая: «Вот такая вот мелочь — грамма в ней нет, а может на тот свет

отправить». Вообще говорит он много, с увлечением, и круг его познаний безграничен. Он знает чуть ли не всех генералов Красной Армии по имени и отчеству, самым подробнейшим образом может рассказать ход Бородинского сражения, с указанием всех действующих частей и их командиров, наизусть знает боевые данные и фамилии капитанов, участвовавших в Цусимском сражении, без запинки скажет, сколько километров от Саратова до Москвы или от Киева до Конотопа.

Главный его слушатель — Бояджиев, младший лейтенант. Черноглазый, курчавый, похожий на Пушкина в детстве, он по утрам часами выдавливает угри на лице, зажав зеркальце между колен, а вечером, завернувшись в одеяло, как в тогу, читает нам монологи Чацкого, Незнамова, Фердинанда или Карла Моора до войны он был любовником в каком-то театре.

— Не так, не так... — ворчит Никодим Петрович, сидя на своей койке, тоже завернутый в одеяло — в палате прохладно, а халатов нет. — Больше души... Души больше... А ты все на голос... Смотри, какой красный стал... Вот Орленев, например...

И начинаются воспоминания об Орленеве.

Иногда Бояджиев поет — у него довольно приятный, комнатный тенор, а Ларька аккомпанирует на мандолине, и тогда наша палата набивается до отказа ранеными из соседних палат, а сестры вздыхают и не сводят глаз с такого красивого, такого душики младшего лейтенанта...

В общем, ребята славные...

На ногу мне накладывают гипс — холодный, тяжелый, захватывающий колено.

Химическим карандашом пишут на нем дату и фамилию. Для чего фамилию, никак не могу понять, но так уж заведено. Начальница отделения, очень хорошенькая, но строгая и малообщительная Вера Афанасьевна, говорит, что только через месяц снимут, а может, и больше.

— Дней через десять начнете ходить, а пока лежите. И вот я лежу. Смотрю в окно на кусочек крыши с водосточной трубой и то синее, то серое небо, слушаю хрипящее над головой радио и бесконечные рассказы

Никодима Петровича, глотаю стрептоцид и читаю «Гиперболоид инженера Гарина» — единственную на все отделение книгу, истрепанную до такой степени, что о содержании приходится больше догадываться, чем узнавать из самой книги.

В палате теперь тепло, клопов нет, желтое с красной полоской одеяло мягко и уютно, кормят белым, как вата, хлебом, снаряды вокруг не рвутся, на задание никто не посылает — что еще надо... Лежи и поправляйся, деньги все равно идут, даже с полевыми, и девать их все равно некуда...

По утрам нам ставят термометры, и каждый раз кто-нибудь нашелкивает градусник до 39 или 40 градусов и сует дежурной сестре. И хотя это повторяется каждое утро, сестра обязательно пугается (по-моему, специально, чтоб доставить нам удовольствие), а мы хохочем, как дети.

Вообще раненые мало чем отличаются от детей. Шутки, приводившие меня в восторг в третьем или четвертом классе, доставляют мне сейчас такое же удовольствие, как и пятнадцать лет назад. Спрятать чей-нибудь хлеб и слушать с наслаждением, как ругается обиженный с буфетчицей; приколоть записку сестре на спину; спрятать одеяло или подушку во время смены дежурных... Бог ты мой, как это весело... Мы грохочем на целое отделение, даже лысый, имеющий трех детей, и одного из них майора, Никодим Петрович. Там, на передовой, времени не было заглянуть хоть одним глазом в «Фортификации» Ушакова: чуть свободная минута — сразу спать заваливаешься. А здесь времени хоть отбавляй, а немецкий словарь и какой-то журнал — будем же мы когда-нибудь в Германии! — без дела пылятся на тумбочке. Не хочется заниматься. Не хочется читать серьезных книг. Скорей бы вот в соседней палате «Таинственный остров» прочли... А пока что проигрываю Будочке одну за другой по десять партий в шахматы в день, выслушиваю бесконечные рассказы о любовных похождениях Ларьки или спорю с

Никодимом Петровичем о вариантах открытия второго фронта или значении в нынешних условиях войны долговременной обороны.

— Вот я старый человек, — говорит он, поглаживая свою гладкую, как бильярдный шар, лысину, — в военном искусстве мало понимаю, но, по-моему, простите меня за смелость суждения, все эти линии Мажино и Зигфрида со всеми своими дотами, бетонированными казематами и подземными туннелями — все это чепуха, ничего кроме вреда они не приносят. Это мое глубокое убеждение... Вот вы — полковой инженер. Вы создатель той самой бетонной стены, которой немцы оправдывают сейчас свою неудачу в Сталинграде... А простите меня, человека неопытного, можете вы мне сказать, из чего она состоит? Много ли в ней бетона и всяких там драконовых зубов?

— Пожалуй, не очень, — уклончиво отвечаю я.

— Не очень? Вы говорите — не очень, — он весело смеется, и лысина его становится красной и блестящей, как спелый помидор. — Я у вас там не был, сооружений ваших не видал, но не поставлю и ломаного цента против десятидолларовой бумажки за тот десяток дзотов и тыщонку мин, которые вы там расставили...

Я молчу. На участке моего полка всего шесть, с позволения сказать, дзотов — два наката рельсов и полусгнившие шпалы сверху — и 560 мин. Но я молчу — пускай себе думает... — Разве мины ваши удержали немцев? Разве дзоты? Черта с два, дорогой мой друг, черта с два... Вон тот Ванька и Петька, которые лежат сейчас в соседней палате и дуются в домино, вот этот самый наш Ларька — покоритель дамских сердец, оставивший свою ногу где-то у Тракторного завода. Вот этот бетон, который сдержал немцев. А вы говорите — «линия Мажино»... Да плевать я на нее хотел со всеми ее лифтами и электрическими поездами. Она превращает бойца в бабу, в автоматический пулемет... Стойте, стойте, не перебивайте меня! Вы читали корреспонденции Белякова — кажется, Белякова или Байдукова, не помню уже, — об американских лагерях в Аляске? Теплая и холодная водичка, электрические печки... Не читали? Прочтите... Обязательно прочтите. Очень поучительно... Или вот в ту войну. Брат мой был во Франции с экспедиционным корпусом. Прапорщиком. Два «Георгия» заслужил. Сейчас инженером где-то в Новосибирске. Вы бы поговорили с ним. Он бы уж вам понарасказывал, как там англичане воевали. Нация спортсменов... Каждое утро душ, какао и прочие деликатесы... А как в окопы попали, коснулись матушки-земли, так сразу половина в лазаретах оказалась... Нет, все чепуха... Косолапый наш Иван, сморкающийся в пальцы и бреющий раз в неделю, войну делает... Он, голубчик мой, только он...

Никодим Петрович торжествующе смотрит на меня своими маленькими веселыми глазами.

— И не только он. А и вы тоже, и Будочка, и любовник наш, который чинил на передовой пулеметы, сменив свои, как они у вас называются, Бояджиев, штаны эти в обтяжку — лосины, что ли? — на штаны с наколенниками, и даже покорный ваш слуга... Вот где она, собака, зарыта, уважаемый мой, вот где...

А я подливаю масла в огонь, подзадориваю его, доказываю, что нельзя же в конце концов отрицать роль техники в войне, а он ерепенится, входит в раж, размахивает руками... Так и тянутся дни. Тоскливо, однообразно, но уютно, тепло и, главное, беззаботно. На десятый день встаю. Два раза прохожу из угла в угол. Голова с непривычки кружится. Костыли скользят. Нога тяжела, как свинец, неудобная. Запыхавшись, опять ложусь. На следующий день еще. Потом выбираюсь в коридор, в перевязочную, а потом с помощью Будочки добираюсь до красного уголка.

Горизонты расширяются. День укорачивается. Появляются процедуры. Веселая, пухленькая хохотушка Зина массирует мне ногу. Не больную, а здоровую — говорят, помогает больной. Допустим. Все равно делать нечего, а массаж — вещь довольно приятная, особенно когда делают его не с вазелином, а с тальком.

От нечего делать торчу в перевязочной. Это вроде клуба или парикмахерской — там всегда узнаешь последние новости, и время как-то незаметнее проходит. Сядешь в углу, вытянув

правую ногу, и перематываешь целые километры бинтов под уютную воркотню Клавдии Михайловны — перевязочной сестры. Раны все знаешь уже наизусть.

— Эге, Романов, смотри, как загранулировала у тебя. Дней через десять уже комиссоваться можно.

— Это все кварц, товарищ лейтенант. На глазах зарастает.

Клавдия Михайловна улыбается тихой, старушечьей улыбкой.

— А помнишь, с какой сюда пришел? Одни тряпки висели.

Романов смеется:

— Как не помнить. Вы их тогда прямо ножницами и в ведро. Новая, мол, нарастет... Не жалеете вы нас, больных.

Клавдия Михайловна даже краснеет от обиды.

— Что ты, сынок... Как это язык у тебя только поворачивается. У меня вот такой же, как ты, может, тоже сейчас в госпитале мучается. А ты говоришь... Постыдился бы...

— Ну, ну, тетя Клава, я же просто так. К слову пришлось.

— К слову... Сегодня вот привели одного. Ну совсем как мой. Такой же крепенький, румяный... Пуля в плече, до кости добралась. Ни поднять руки, ни опустить... Я увидела, так и обмерла — совсем Сенька...

У нее даже слезы наворачиваются на глаза.

— Сел на столе операционном и ногой стал мотать вперед-назад. Ну, совсем как Сенька мой. И улыбка даже такая. Рука как веревка болтается, а он улыбается — «режьте, говорит, скорей»... А тут как на грех весь новокаин вышел. Завтра только обещают привезти. Нет, говорит, не хочу до завтра ждать, мешает уж больно пуля, режьте так. А пуля глубоко, до кости дошла. Вера Афанасьевна говорит: хорошо, сделаем под общим наркозом. Тоже, говорит, не хочу. Меня от него потом два дня тошнит. Режьте так. Уговаривали, уговаривали — ни в какую. Не боюсь я боли, режьте, и все. Упорный такой... Так и не уговорили.

— А когда резать будут?

— Минут через двадцать. Вера Афанасьевна обход только кончит.

— А посмотреть можно? — интересуюсь я — все-таки развлечение.

— Мешать не будешь?

— Что вы, Клавдия Михайловна, разве можно. Сяду в углу и бинты, мол, перематываю.

— Бог с тобой — приходи. За шкаф сядешь.

— Вера Афанасьевна не прогонит?

— А ты, когда она уже начнет, приходи. Скажу, что вместо Лиды мне помогаешь. Лида не вышла сегодня — заболела.

Вера Афанасьевна самая молоденькая и хорошенькая из всех наших докторш. Держится она независимо, на воротнике носит шпалу, в лишние разговоры не вступает и ко всем больным относится одинаково внимательно. Никаких ухаживаний не принимает. Говорят, муж ее погиб в первый день войны. У нее вьющиеся каштановые волосы, чуть заметные золотистые усики и сильные, длинные, с матовыми, коротко остриженными ногтями пальцы. По-моему, она должна обязательно хорошо играть на рояле. Говорит она со всеми резко, отрывисто, с замечательным чисто московским акцентом.

Когда я прихожу в перевязочную, Вера Афанасьевна и еще две сестры кажется, студентки — уже там. Клавдия Михайловна завязывает им халаты. Все трое стоят, широко расставив стерильные руки. На подоконнике булькает кипятильник с инструментами.

Больной — молодой паренек — лежит ничком, положив руки под голову, на обыкновенном школьном столе, покрытом белой клеенкой. Рубашка висит рядом на стуле. На ней Красная Звезда и гвардейский значок.

Парень лежит ногами ко входу, сверкая голыми серыми пятками. Лица не видно. Видны только коротко стриженный затылок, широкая мускулистая спина с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника и большое зеленое пятно на правом плече. Не шевелится — похоже, что спит.

Я сажусь между окном и шкафом, так что меня не видно, и принимаюсь за бинты. Клавдия Михайловна подходит к кипяtilьнику. Одна из сестер натирает раненому плечо кусочком марли. Вера Афанасьевна протягивает руку в темной резиновой перчатке и говорит: «Скальпель» — тихо и отрывисто...

Вся операция длится не больше семи-восьми минут. Скальпель рассекает кожу, мышцы, маленькая струйка крови стекает в поставленный на полу таз, блестящие щипчики, ухватившись за края кожи, раздирают рану, и Вера Афанасьевна прямо пальцем влезает в нее — красную, большую теперь и кровоточащую. Серые пятки вздрагивают, одна нога быстро сгибается и сразу же выпрямляется, слегка дрожа, на спине напрягаются мускулы, но ни единого движения, ни единого звука больной не издает. Лоб Веры Афанасьевны — кроме него и глаз ничего не видно, закрыто марлей — бледнее обычного. Брови сдвинуты. Она ищет пулю, медленно вращая пальцем в ране. Напряженная тишина. Слышно только, как прерывисто дышит раненый.

— Сухо! — в руках у Веры Афанасьевны что-то маленькое и красное.

Клавдия Михайловна беззвучно подает длинными щипцами клубящуюся паром марлю.

— Бинт! — Щипчики, придерживающие кожу, исчезают. Белая, длинная змея плотно обвивает плечо и спину раненого, проскальзывает под мышкой, вокруг шеи, опять на спину. Красное, потом розовое пятно на плече постепенно исчезает. Клавдия Михайловна торжествующе смотрит на меня: «Видали, как...»

Вера Афанасьевна подходит к рукомойнику, стягивая с рук тонкие, желтоватые перчатки. На щеках ее легкий румянец.

— Вы что здесь делаете, Керженцев? — недовольно говорит она, заметив меня за шкафом.

— Клавдии Михайловне помогаю, товарищ капитан, — кротко отвечаю я, — бинты вот перематываю...

Она ничего не отвечает, моет руки и с полотенцем в руках подходит к раненому.

— Молодец. Придешь теперь через четыре дня. Посмотрим, — и щупает, хорошо ли лежат бинты. — А пулю на память заberi. Дома покажешь.

Боец приподымается, тянется здоровой рукой за рубашкой и... Бог ты мой... Седых...

Круглое с белесыми бровями, по-прежнему розовое даже после операции лицо его расплывается в такую очаровательную, сияющую улыбку, что я, забыв о костыле, на одной ноге подскакиваю к столу.

— Ну и молодчина. Седых...

Целуемся, радуясь друг другу, куда-то в уши.

— Керженцев, Керженцев, осторожнее все-таки, — слышу голос Веры Афанасьевны за спиной. — После операции все-таки...

— Хорош после операции... Чуть позвоночник мне не сломал от радости...

Потом мы сидим на моей койке и курим табак. Он мало изменился — такой же свеженький, ясный, только вместо пушка на щеках появились маленькие, реденькие еще, жесткие волосики. По-прежнему ковыряет ладонь. И в то же время появилось что-то новое, неуловимое, появляющееся после нескольких месяцев пребывания на фронте, какая-то внутренняя уверенность, спокойствие, может быть даже развязность. Возможно, это и есть обстрелянность — период возмужалости, юность всякого военного человека. Седых рассказывает о своей жизни с момента нашего расставания обычную, всем нам хорошо знакомую, мало чем отличающуюся одна от другой, но всегда с интересом слушающуюся историю окопного человека. Тогда-то минировали и почти всех накрыло, а тогда-то, когда устанавливали «бруно», Игорю Николаевичу (так он стал называть Игоря) пулей отбило каблук, а ему, Седых, в трех местах планшетку продырявило. А потом они три недели сидели в окружении в литейном цехе «Красного Октября», и немцы их бомбили — спасу не было, и жрать было нечего, а главное — пить, и он четыре раза ходил на Волгу за водой, а потом... Потом опять минировали, опять «бруно» ставили...

— Заправским минером стал, а, Седых?

— Да ничего, — улыбается он. — Игорь Николаевич не ругаются... Как-то раз с ним вдвоем за ночь 150 ЯМ-5 поставили. Во взводе только я и он остались... — И он ухмыляется, потирая здоровой рукой подбородок. — Часто вас вспоминали... Первые дни особенно... Игорь Николаевич плавали еще тогда в саперном деле, да и я-то не очень... Все говорил тогда: «Эх, Юрки моего нет — это про вас — посоветоваться не с кем...» Командира взвода на второй день убило. Толковый был парнишка, все знал по саперству. Так мы с Игорем Николаевичем запремся в землянке и начинаем колушаться во взрывателях...

— Ну, а теперь как?

— Теперь? Ого как теперь! Командир полка знаете как их уважают? К звездочке представили... — Он уголком глаза взглядывает на мою лишенную всяких знаков отличия рубашку и смущенно умолкает.

— А ты вот, я вижу, уже получил... Я знал, что ты получишь — помнишь, у костра тогда спрашивал все, за что ордена дают?

— Помню... — Седых принимается за ладонь. — Вы тогда еще говорили, не так просто, мол, получить...

— Ну, и как же на самом деле оказалось — просто или не просто?

Седых перебирает завязки на кальсонах, наматывает на палец.

— Бог его знает...

— Как так — бог его знает... Ведь не зазря же дали...

— Должно быть, не зазря, — еле слышно говорит он и все наматывает и разматывает завязку вокруг пальца. — Сказали как-то вечером Игорь Николаевич — я как раз с задания пришел — иди, мол, Седых, к майору, командиру полка, вызывают тебя. Я и пошел. Ну и дали мне майор коробочку такую картонную, а в коробочке орден... Все смеются.

— Выходит, значит, совсем просто... — подмигивает одноногий Ларька. Пошел и получил. А мы вот, грешные, думали, что для этого что-то особенное надо сделать.

Седых вконец смущается и не знает, что ответить. Старательно стряхивает пепел прямо на пол, между ног...

— Ну, а Валега как, живой? — не подымая головы, спрашивает он.

— Живой, как же. Лошадей пасет на этой стороне. И Ширяев — комбат живой.

— Старший лейтенант? Командир батальона?

— Начальником штаба у меня в полку.

— Вот бы повидать... Какой командир батальона был... Ой-ой-ой. Держись только.

И мы начинаем вспоминать Оскол, июльские дни...

— А помните, товарищ лейтенант, как тогда в сарайчике лежали и из пулемета строчили? Там, где Лазаренко убили?

— Как же... Ты тогда еще на стропилах сидел и вшей бил...

— Теперь уже нет, товарищ лейтенант. Всех вывел. А тогда в Сталинграде, в первый день, помните, как вы с Игорем Николаевичем до стирки все из-за стола выбегали — почесаться? А потом мы с Валегой часа три белье выветривали.

— Не вспоминай. Седых. Вспомнишь — так и сейчас чесаться начинает.

— Что же вы хотите, товарищ лейтенант, три недели по-настоящему не мылись. Конец не малый сделали — километров с тысячу.

— Тысячу не тысячу, а штук шестьсот отмахали. Седых вздыхает и поправляет больную руку.

— А ты молодец все-таки, — говорю я. — В плече ковыряются всей пятерней, а ты — ни звука. Он ничего не отвечает, потом встает.

— Ну, я пойду, товарищ лейтенант.

— Куда?

— Да там в коридоре у меня место.

— Завтра сюда перейдешь. Будочка вот выписывается — займешь его место.

— Так это ж командирская.

— Командирская не командирская, а перейдешь сюда. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант.

Седых переходит к нам. И сразу все хозяйство переходит в его руки. Ругается с сестрой-хозяйкой из-за чистого белья, разносит хлеб, ремонтирует репродуктор — где-то и этому научился, растапливает печку, достает где-то роскошную 12-линейную лампу. Ни минуты спокойно не сидит.

— Я вам там белье чистое достал. Под подушку положил. С пуговицами.

Или:

— В тумбочку я сметаны баночку поставил. Густая, хорошая.

По субботам мы ходим с ним в баню, и там он мылит мне левой рукой спину, добираясь чуть ли не до самых ребер, а я скребу ему голову и помогаю натягивать рубаху.

И все это получается у него как-то весело, бодро, без всякой навязчивости.

По вечерам после ночной сводки, когда постепенно все засыпают и только в коридоре шушукаются парочки, Седых забирается с ногами ко мне на койку и начинаются бесконечные разговоры обо всем, что за день приходит ему в голову. Включается, конечно, и Никодим Петрович — он страдает бессонницей и никак не может заснуть. Удивительно много он все-таки знает, этот старый счетовод. Когда по радио передают Указ об учреждении специальных медалей за оборону Сталинграда, Одессы и Ленинграда, он нам читает целую лекцию об орденах, из которой мы узнаем, что полному георгиевскому кавалеру (четыре креста, четыре медали) даже генерал первым козырять должен был, что кавалеров английского ордена Бани не может быть больше восьмидесяти шести, и что единственный русский, получивший этот орден, был Барклай-де-Толли, и что орден Подвязки носится под левой коленкой и только по большим праздникам, и еще целую уйму вещей, которых мы бы никогда и не узнали, если б не лежали с ним в одной палате. Так проходит декабрь — тихий, снежный, с бесконечными вечерами и мохнатыми, точно плющом обросшими, белоснежными окнами.

Незаметно и Новый год подобрался. Новый год... Где я его встречал в последний раз? В Пичуге, что ли? В занесенной снегом Пичуге, на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону. Дремал над телефоном. Караульный начальник позвонил и поздравил и счастья пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в ореоле, и ноги мерзли...

А еще год назад где? В Киеве. У Люси. Народу совсем немного было. Человек пять или шесть. Я, Люся, Толька Янсон, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили «Абрау-Дюрсо», ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с Нестеровской горки, пока у санок не отскочили полозья...

...Где они сейчас? На фронте, у немцев, в тылу? Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то... Что там в Киеве сейчас? Живы ли мои старики? С чего они живут? И как живут? И можно ли это назвать жизнью? Продают понемногу вещи... Стоит где-нибудь мама на базаре с моим старым пальто или ботинками и ждет, когда какая-нибудь сволочь сунет ей пару червонцев. А ведь ей шестьдесят пять лет. Сорок пять из них лечила людей, а сейчас вот не знает, вероятно, на что дров купить или пшена. И самой нарубить дрова надо, и воды принести, на пятый этаж тащить ведра, и за бабушкой ухаживать. Она, правда, всегда молодцом была и до последнего времени сама на базар ходила, но восемьдесят семь лет все-таки восемьдесят семь. Две женщины, две старые женщины совсем одни... А кругом чужие, наглые лица... А может... Нет... Зачем им старики, зачем им женщины? Не может быть... Не должно быть...

А мы, черт, здесь, за тысячу километров, жрем булку с маслом и Седых раздобыл где-то самогонку и возится чего-то за столом, чего-то нарезает, сервирует...

— Чего загрустил, Керженцев, а?

Никодим Петрович подсаживается и обнимает за плечи.

— Да так, капитан, взгрустнулось что-то. О доме вспомнил.

— О доме... — Он качает головой и привычным жестом поглаживает лысину. О доме... А где ваш дом?

— В Киеве.

— Да-да-да, вы говорили. Мать, кажется, у вас там?

— Мать, бабушка. Старушки. Совсем одни.

— М-да, — он опять поглаживает лысину. — А у меня вот и дома даже нет. Все немцы уничтожили. И дом, и жену, и двух детей. Один сын только остался танкист, майор... Впервые я вижу Никодима Петровича не улыбающимся.

— Как же они погибли?

— Да что рассказывать... Погибли, и все... Одна бомба, и... все. Ни жены, ни детей... никого.

Он порывисто встает и выходит в коридор.

Ларька лежит на койке и брэнчит чего-то на мандолине. Бояджиев тоже лежит, насвистывает. Один Седых возится. Из Москвы передают эстрадный концерт. В печке уютно потрескивают дрова.

— Ну что, будем начинать, товарищ лейтенант?

Седых звенит стаканами и смотрит на меня вопросительно.

— Да, да... Будем начинать... Ларька, Бояджиев! Отставить концерт! Скоро двенадцать...

Никодим Петрович... Товарищ капитан! Сбегай, Седых, он в коридоре, должно быть...

Потом мы пьем крепкий до обалдения самогон и закусываем разогретой свиной тушенкой и холодными, как лед, хрустящими солеными огурчиками.

— На передовой салют, вероятно, по фрицам дают... — мечтательно говорит Ларька, разливает самогон и прячет бутылочку под стол. — С Новым годом поздравляют...

— С Новым годом поздравляют... — как эхо повторяет Никодим Петрович и встает. Лицо его серьезно, глаза не смеются, и стакан в руке чуть-чуть дрожит. — Разрешите мне, друзья, тост провозгласить... Так уж завелось...

— Просим, Никодим Петрович...

— Давай, давай, капитан... Чего-нибудь такое, заковыристое.

Ларька, по-моему, уже пьян — глаза блестят...

— Нет, не заковыристое, — Никодим Петрович держит стакан высоко над головой и смотрит куда-то — не то в окно, не то еще дальше куда-то... — Мне хочется выпить, друзья, за то... — Голос его чуть вздрагивает. — Вот мы с вами лежим в этой палате... Я, Керженцев, Бояджиев, Ларька, Седых... Разные все люди. Я вот старик, а Ларька и Седых совсем еще дети... И жили мы как-то, каждый по-своему... У каждого были свои интересы... Один дома строил, другой на сцене выступал — глаголом, так сказать, сердца зажигал, третий — не знаю что там на заводе — напильником работал... А я вот считал...

Сорок лет считал... А по вечерам в шахматы с сыном играл, в театр ходил, двух инженеров вырастил... Каждый по-своему жил. А вот случилось, и собрались мы все в этой палате, чужие, незнакомые люди... И дома наши где-то далеко... И в них, может быть, даже немцы... — Он проводит рукой по лысине. — Отвык пить. Голова немного кружится... Простите... Но я хочу сказать, что мы вот скоро месяц как живем в этой палате... И мы никогда не говорили о том, что у нас там, в самой глубине... На сердце...

Мы смеемся, шутим, ворчим, кричим иногда друг на друга, ругаем часто начальство, всяких там старшин и интендантов. Но все это где-то сверху, на поверхности... А внутри одно, одно и то же, одно и то же... Сверлит, сверлит... Одна мысль... только одна... Прогнать их к черту. Всех до единого... До единого... Правда?

Голос его опять вздрагивает. Он останавливается, обводит всех нас глазами...

Ларька, раскрыв рот, не сводит с него глаз...

— Нескладно что-то у меня выходит... По-газетному как-то... Но вы понимаете меня, правда? Так вот... Странный мой тост будет... Обычно говорят — дай бог нам встретиться следующий раз в этой же компании. А я вот наоборот... Я хочу выпить за то, чтоб первый

Новый год после войны каждый встречал у себя дома, со своей семьей, со своими друзьями и чтоб... Ну, вот и все... Давайте выпьем... И чтоб скорей этот год пришел... Ларька ловко перескакивает на своей единственной ноге через кровать и крепко, прямо в губы целует Никодима Петровича.

— Мировой старик... Ей-богу, ми-ировой!

Мы чокаемся и выпиваем. Минута молчания. Все жуют... И вдруг над самым ухом раздается такой знакомый, такой приятный голос:

«...В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24 немецкие танковые дивизии, 71, 76, 79, 94, 108, 113, 295, 297, 305, 371, 384 немецкие и 20 румынская пехотная дивизии, 1 румынский кавалерийский дивизион и остатки 44, 376, 384...»

— А ну подкрути, подкрути, Седых...

«...Три дивизии Равенна, 3-я дивизия Челлера, 5-я дивизия Кассерия, 2-я дивизия Сфорцеска, 9-я дивизия Пасуби, 52-я дивизия Торино, 1-я бригада чернорубашечников...»

— Здорово, черт возьми!

А Левитан свое:

«...А всего по всем трем этапам, за шесть недель, с 19 ноября по 31 декабря освобождено 1 589 населенных пунктов, убито 175 000 солдат и офицеров противника, взято в плен 137 650... самолетов 4 451... автомашин 15 049...»

Ларька прыгает на одной ноге и размахивает костылем:

— Пятнадцать тысяч автомашин! Подумать только... Пятнадцать тысяч...

Опять наливаем. Опять чокаемся. Опять наливаем...

— Вы что, с ума сошли? — В дверях Варя. Взгляд испуганный.

— На, пей... — подскакивает Ларька. — Ты представляешь, что это значит, Варечка? Пятнадцать тысяч машин... сто тридцать семь тысяч пленных.

— И еще шестьсот пятьдесят, — Никодим Петрович наливает себе еще один стакан и залпом выпивает. — Пить так пить... Давай поцелуемся, Варечка...

И они целуются — крепко, в обе щеки, по-русски — раз, два, три...

М. Соловьев. Записки советского военного корреспондента

Предисловие

История Советского Союза, освещающая жизнь страны во всех ее проявлениях, еще не написана. Причины этого ясны. В СССР нет свободной печати, следовательно, отсутствует та информация, первоисточником которой такая печать является. История там постоянно переписывается наново, а лживая философия режима, подменяющего истину марксизмом пропускающая факты через пропагандный фильтр искажает решительно всё. Западный мир не в состоянии написать эту историю, так как для всех беспристрастных иностранных наблюдателей доступ в Советский Союз закрыт, за границей же постоянно

делались большие усилия внести в анализ и оценку Советского Союза извращения, которые советский режим считал необходимыми, чтобы удержаться у власти. Каждый, кто долго жил под советской властью может сделать свой вклад в ту или иную главу пока еще не написанной истории СССР, но честно говорить может лишь тот, кто порвал с советским режимом ушел в свободный мир. Все сведения, способствующие пониманию истории и жизни в советских условиях, чрезвычайно ценны, потому что они проливают свет на темные области малоизвестного и таинственного советского мира. Каждый отдельный человек мог пережить лишь часть общего горького опыта, поэтому каждый может кое-что сообщить своим товарищам по несчастью. Одна из особенностей советской системы заключается в том, что советские граждане имеют очень скудные сведения о многих ее проявлениях. Там, как говорит Соловьев, камень, брошенный в воду, не вызывает кругов на ее поверхности.

Книга Михаила Соловьева скорее воспоминания, чем история; но автор дает кусочки мозаики, которые будущий историк сможет когда-нибудь сложить и использовать для до сих пор не написанной истории СССР. Качество света, возможно, важнее силы освещения — книга Соловьева бросает не только сильный, но и необычайно яркий свет на запутанные и сложные области трудного советского мира. Просто, понятно и скромно он пишет о том, что пережил, будучи военным корреспондентом в Советском Союзе с 1932 г. до начала Великой войны, предоставляя фактам говорить самим за себя. Это делает его книгу особенно убедительной. Выводы, которые вдумчивый читатель сделает из нее, будут тверже и определеннее заключений, навязываемых читателю в виде готовых обобщений. Соловьев происходит из семьи, похожей на ту, которую он описал в своей предыдущей книге «Когда боги молчат». Среда и некоторые события, изображенные в этом волнующем романе, в значительной степени автобиографичны. Соловьев был назначен в 1932 г. военным корреспондентом «Известий», главным образом, благодаря революционному прошлому своей семьи. В этой книге он рассказывает о своих многочисленных обязанностях, начавшихся с того, что он был назначен преподавателем истории в генеральской группе при Академии им. Фрунзе и продолжавшихся на маневрах и на работе в разных частях Советского Союза от Украины и Кубани до Узбекистана: в перерывах автор бывал в Москве. В 1937-м году ему пришлось переехать в Калинин (бывшая Тверь), потому что, в результате сотрудничества с Бухариным в редакции «Известий», его право на жительство было ограничено и он получил так называемые «минус шесть». Соловьев был затем восстановлен в должности корреспондента и принял участие в Малой войне в Финляндии; Большая война застала его в Москве. В группе генерала Рыбалко он был послан на Запад собирать остатки советских армий, разбитых неожиданной германской атакой; в Белоруссии он, по приказу Рыбалко, предпринял поиски генерала Ракитина. В критический момент во время обороны Москвы воинская часть, в которой находился Соловьев, оказалась отрезанной, настигнутой пулеметной очередью немцев. В лесах Белоруссии Соловьев пустил свою последнюю пулю не в себя, а в своего раненого коня. В конце концов, он был захвачен в плен немцами.

На ярком фоне этих событий автор изображает много чрезвычайно интересных эпизодов, рассказанных живо и с глубокой человечностью. Повествование проникнуто юмором, острие которого обычно направлено против самого автора, — примером может служить рассказ о радио-репортаже под огнем, во время маневров в Ферганской долине. В книге нет ни напыщенности, ни претенциозности; всюду чувствуется симпатия автора к людям и его сочувствие их горю. Соловьев освещает события с русской точки зрения; однако, он говорит о других народностях Советского Союза с симпатией и без всякого высокомерия. Если он порой и видит кое-какие недостатки у некоторых калмыков или узбеков, то он отмечает недостатки также и у русских, (например, в забавном описании паники, охватившей Пермский полк в Финляндии). Описывая человеческие слабости, Соловьев никогда не злобствует. Как автор сам говорит, он изображает странную, противоречивую, несоветскую душу, так называемой советской армии, являющейся народной армией и во

многих отношениях воплощающей народную душу. Чувства ужаса и жалости, испытываемые бойцами во время голода на Украине, и их сочувствие украинцам и казакам во время разгрома Кубани изображены так же убедительно, как и растерянность, охватившая москвичей, когда разразилась Великая война.

Легкой, но уверенной рукой Соловьев рисует изображения встреченных им людей. Он набрасывает эскизы Жукова, Власова и Ворошилова, и дает более детальные портреты Буденного, Апанасенко, Гамарника, Ракитина, Рыбалко, Мехлиса, Тимошенко и Городовикова — калмыцкого генерала, руководившего массовой высылкой калмыков; в книге есть много портретов и менее значительных лиц. Одно из чарующих достоинств книги Соловьева заключается в том, что наиболее яркие черты даваемых им характеристик вскрываются в действии, развитием самых событий: так оценка личности генерала Городовикова возникает у читателя в результате встречи Соловьева с женой генерала. Читатель видит людей в их московском окружении, в горах Ферганы, на степных просторах или в скованных морозом финских лесах.

Соловьев лишь постепенно пришел к заключению, что советский режим не служит народному благу, причем это заключение также не преподнесено в виде готового вывода, а возникает по мере развития описанных в книге событий, завершающихся превосходным изображением настроений штрафного батальона и отношения к нему со стороны начальства во время обороны Москвы.

Книга Соловьева представляет особенный интерес для военных, потому что она проливает свет не только на советские методы и приемы и на боевой дух и настроения советских войск в различных условиях, но и дает представление о двух разных военных теориях: о теории, которой придерживается Тимошенко и его последователи, и о теории Ворошилова и его школы. Соловьев приводит обоснования, даваемые каждой из этих теорий. Его книга содержит также много сведений о длительном антагонизме между комиссарами и командирами. Поскольку этот антагонизм затрагивает основной вопрос о партийном контроле вообще, эта тема представляет большой интерес и для не военных. Соловьев облекает плотью голый остов имеющихся у нас информации об этих напряженных взаимоотношениях и сообщает конкретные подробности, показывающие, как существующий порядок приводит к многочисленным недоразумениям, несправедливостям, и обвинениям; к сведению личных счетов и общей неуверенности. С проникновенным пониманием он показывает, почему чекисты приходят к точке зрения, находящейся в коренном противоречии с точкой зрения военных. Контраст между судьбой Стогова и Симоненко, — судьбой преступника, который не понес наказания, и героя, который был расстрелян, с большой убедительностью вскрывает всю сложность жизни в советских условиях. При этом политические мотивы не играли ни в одном из этих случаев никакой роли.

Одним из больших и редко встречающихся достоинств этой книги является то, что в ней нет пропаганды: быть может, именно поэтому эта книга — такое убедительное обличение советской системы. Впрочем, лучше прочесть эту книгу, чем читать о ней. Прочтите ее и убедитесь сами.

Вице-адмирал (в отставке) Флота США Лесли С. Стивенс

Как я стал военным корреспондентом

Чистая случайность сделала меня в 1932 году военным корреспондентом одной из двух самых больших советских газет — «Известий».

Незадолго до этого введено было новое правило, по которому военные корреспонденты могли быть, кроме «Красной звезды», армейского офицера, — только в ТАСС'е — Телеграфном Агентстве Советского Союза, в газете «Правда» и в нашей. Все другие газеты и журналы страны лишались права иметь специальных корреспондентов по армии и флоту к должны были черпать военную информацию из сообщений ТАСС'а. Новая инструкция гласила, что военные корреспонденты должны получить утверждение

Народного Комиссариата по Военным и Морским Делах. Как часто это случается в СССР, мой предшественник, много лет проработавший в роли военного корреспондента, член компартии, в прошлом преподаватель Высшего Кавалерийского училища, следовательно, человек в военных делах весьма сведущий, был по каким-то причинам забракован. Был предложен другой кандидат, но и его отвергли. Отказали в утверждении еще двум. И тогда кто-то надоумил редактора предложить этот пост мне.

В то время я играл в редакции скромную роль спортивного репортера, хотя и именовался весьма торжественно: «Зав. сектором физической культуры и культурных развлечений». Находился я в ожесточенном соревновании с моими коллегами из других московских газет, увлекался спортивной жизнью, что для моих тогдашних двадцати четырех лет не должно почитаться зазорным, вел жестокую борьбу с другими «секторами» за газетные строки. Если не ошибаюсь, был я самым молодым сотрудником в редакции, политически себя ничем не проявил, в компартии и комсомоле не состоял и, казалось бы, это должно было гарантировать от выдвижения меня на политическую роль в газете, а роль военно! о корреспондента, конечно, политическая.

Все эти доводы я привел редактору, когда узнал о его коварном замысле превратить меня из спортивного репортера в военного корреспондента.

— Да меня и не утвердят, — развивал я последний аргумент. — С какой стати наркомат будет соглашаться на назначение беспартийного?

Но говоря это, я был почти уверен, что меня наркомат утвердит. И чтобы эта моя мысль была понятной, должен я несколько слов сказать о себе. Вернее не о себе, а о той крестьянской династии, из которой я вышел. Наша семья сыграла заметную роль в гражданской войне на юго-западе России. В борьбе за советскую власть погиб мой отец и несколько братьев. Революционные заслуги семьи не были забыты. Учился я в университете на государственный счет, получая стипендию имени Фрунзе, установленную правительством для детей героев гражданской войны. В то время, к какому относится мой рассказ, два моих старших брата находились не на очень значительных, но всё-таки заметных командных постах в армии.

Всё это могло повести к тому, что моя кандидатура окажется подходящей. Наркомат мог меня, в некотором роде, рассматривать, как своего питомца.

Редактор на это и рассчитывал, убеждая меня принять предложение.

Недели через две было сообщено, что политуправление Красной армии дало свое благословение, а вскоре получил я подписанный Ворошиловым и Гамарником мандат, который открывал новоиспеченному военному корреспонденту доступ в военные учреждения и воинские части.

Четыре года провел я в военных сферах. Не так уж много, но для меня достаточно. Я встречался со всеми или почти со всеми военными деятелями страны. Для некоторых из них я писал статьи и конспекты речей. Исправлял стенограммы их выступлений, а когда стенограммы не поддавались исправлению, писал речи заново. На моих глазах рождалась литературная слава некоторых советских полководцев. Я бывал на маневрах и в походах. Запах человеческого пота стал мне привычным. Я видел много смешного, грустного, нелепого и героического. Видел я людей, молниеносно делавших карьеру и столь же молниеносно исчезающих. Вероятно, был я не очень плохим военным корреспондентом, о чем свидетельствует то, что когда меня однажды арестовали по поводу... впрочем, вообще без всякого повода, вожди Красной армии оказали мне защиту и я отделался простой ссылкой.

Вы хотите знать, что такое военный корреспондент в СССР? Об этом можно было бы написать большой том, но можно обойтись и несколькими фразами.

Вы видели охотничью собаку на стойке? Ее тонкий нюх впитывает миллионы запахов, заполняющих мир, но среди них находит лишь тот, который исходит от дичи. Военный корреспондент подобен этому полезному животному (да простят мне все военные

корреспонденты мира это сравнение). Он ощущает несущийся мимо поток событий, но в этом потоке должен найти только то, что ему следует и что он может знать.

Вы присутствовали когда-нибудь на процессе по поводу литературного плагиата? Каждая сторона доказывает, что написанное принадлежит именно ей. Это совсем не похоже на советского военного корреспондента. Он всегда доказывает, что написанное принадлежит не ему, а кому-нибудь другому. Он пишет корреспонденции с маневров, но написавши ищет генерала, полковника или, в крайнем случае, майора, чтобы получить их подпись. Он переплывает на подводной лодке Черное море, но свой дневник публикует от имени капитана подводной лодки. Он совершает полет на новом советском аэроплане, но отчет об этом полете появляется в газете за подписью прославленного летчика-испытателя. Он мчится вслед за юной авиаторшей Катей, стремительно улетающей на крошечном спортивном аэроплане, чтобы поставить рекорд скорости, но отчет о рекорде публикует от имени Кати, в которую немножко влюблен. Человек, проживший всего лишь четверть века, способен влюбиться даже в авиаторшу.

И, наконец, вы видели людей, пишущих книги? Это похоже на советского военного корреспондента, но только отчасти. Он пишет книги, но очень часто не издает их за своей подписью. В военных писателях ходит генерал армии Ока Городовиков, питающий врожденный страх к письменности вообще и весьма слабый в ней; маршал Буденный — кто угодно, но только не военный корреспондент. Он добывает славу другим и, сам оставаясь в тени, утешается тем, что «мысль, выраженная словами, называется гонораром», как утверждал когда-то Карл Радек.

Скромность? Ничуть. Так заведено в советской прессе и изменить этого никто не может. Теперь читатель приблизительно знает, что такое советский военный корреспондент и поймет автора, если тот скажет, что роль военного корреспондента в СССР как будто специально создана для того, чтобы человек, вынужденный ее играть, всё время чувствовал себя несчастным.

Но, всё-таки, если быть справедливым, эта нелюбимая мною роль должна вызывать во мне чувство благодарности. Исполняя ее на советской военной сцене, я лишил себя права быть только спортсменом. В общении с армией и с ее людьми я, быть может, впервые, почувствовал, как сложна жизнь. Она настойчиво ставит перед человеком вопросы и требует ответа на них даже тогда, когда человек не находит ответа. Счастливая пора моей отрешенности от больших проблем кончилась для меня, оказался я схваченным за шиворот и брошенным на изрытое ухабами поле большой жизни. В общении с солдатами и офицерами, в походах, на биваках, в дружеских попойках познавал я жизнь такой, как она есть, учился самостоятельному мышлению, становился более взрослым и более скучным.

Я назвал эту работу записками военного корреспондента, а между тем мое общение с армией было значительно более разносторонним. Я был солдатом и офицером. Очень часто лист бумаги, оставшийся у меня, я использовал не для записей, а для махорочных самокруток. Последний мой карандаш — между прочим, необычайной прочности, — был мною употреблен на то, чтобы затянуть жгут на ноге раненого, истекавшего кровью. Но всё-таки мое отношение к армии сформировалось тогда, когда был я корреспондентом и потому было выбрано не вполне точное, но внутренне оправданное название.

Эта книга не претендует на роль фундаментального труда о Красной армии. Для такого труда автор не располагает сведениями нужного диапазона. В «Записках» я старался просто и бесхитростно рассказать о виденном, дать фрагменты не созданной еще картины. Мне хотелось бы верить, что, как в капле воды отражен океан, так в моих «Записках» отражена странная, полная противоречий не советская душа так называемой Советской армии.

Генеральский инкубатор

В инкубаторах выводятся цыплята. В других содержатся дети, появившиеся на свет раньше положенного срока. Но в Советском союзе до Второй мировой войны существовал, а может быть, существует и поныне, инкубатор для генералов.

Принято думать, что военный, прежде чем стать генералом, должен проделать определенный жизненный путь. Военная школа подготовит из него лейтенанта, военная академия даст ему знания, но оставит в скромном чине капитана, и только после многих лет, а то и десятилетий армейской службы, когда знания дополнены опытом и голова покрывается сединой, становится человек генералом.

Этот обычный ход вещей в Советском союзе давно нарушен. Были когда-то в России блестящие генералы, наделенные знаниями и опытом, но революционные солдаты и матросы многих из них перестреляли. Другие пытались применить свои знания и опыт, чтобы подавить революционную чернь, но их тоже перестреляли. И только немногие избежали этой участи, укрывшись за пределами России.

Революция нуждалась в своих генералах и она, с присущей революциям смелостью, создала их. В гражданской войне вчерашние солдаты и матросы становились полководцами и вели в бой полки, дивизии, корпуса и армии. У них было много энтузиазма, им и восполнялся недостаток знаний и опыта.

Вот имена из длинного перечня прославленных советских полководцев, родословная которых типична для большинства советских военных вождей первого поколения:

1. Буденный. Маршал СССР. Казак. 1917 — унтер-офицер. 1919-командующий армией.
2. Пархоменко. Погиб в 1920 г. Рабочий 1917-слесарь на заводе 1918 — командир дивизии.
3. Чапаев. Погиб в гражданской войне. Крестьянин 1917 — унтер-офицер 1919 — командир дивизии.
4. Блюхер. Маршал. Убит по приказу Сталина. Рабочий 1917 — унтер-офицер 1918-командир дивизии.
5. Думенко. Расстрелян по приказу Троцкого. Неизвестного происхождения 1917 — полковой писарь 1918-командир корпуса.
6. Дыбенко. Расстрелян по приказу Сталина. Крестьянин 1917- матрос 1919-командующий армией.
7. Апанасенко. Генерал армии. Погиб во Второй мировой войне. Крестьянин 1917 — унтер-офицер 1919 — командир дивизии.
8. Тимошенко. Маршал СССР. Крестьянин 1917 — унтер-офицер 1918-командир дивизии.
9. Ворошилов. Маршал СССР. Рабочий 1917 — профессиональный революционер 1918 — командующий фронтом.
10. Городовиков. Генерал армии. Степной житель (калмык) 1917-солдат 1919-командир дивизии

Можно продолжать этот перечень до сотни имен, но характер сведений от этого не изменится. Изредка в таком перечне мелькнут имена людей, получивших в старой армии необходимую подготовку для занятия высоких военных постов, как Тухачевский, Егоров, Шапошников, но подавляющее большинство прославленных советских военачальников пришло из низов, из народа. Революционная случайность вознесла их на высоту.

Если бы для того, чтобы стать генералом, достаточно было сменить солдатскую одежду на генеральский мундир, тогда всё было бы просто. Но человека встречают по мундиру, а провожают по уму. Генералу многое надо знать. А знаний-то как раз и не хватало, да и поныне не хватает советским военачальникам, выдвинутым революцией. Энтузиазма много, знаний мало. Это относится не только к военным и специальным знаниям, но и к общим. Культурный уровень советских генералов первой формации, которая и поныне еще является в советской армии решающей, чрезвычайно низок.

Мы можем быть очень снисходительными в установлении обязательного минимума знаний для генералов, но всё же решать уравнение с одним неизвестным они должны уметь. Между тем, для маршала Буденного, например, окончившего военную академию,

пишущего книги на военные темы, такое уравнение лежит выше границы его математических познаний.

После всех этих предварительных замечаний мы можем перейти к рассказу о генеральском инкубаторе, обещанному самим названием этой главы.

Вскоре после того, как стал я военным корреспондентом, последовал вызов меня в политическое управление красной армии, при котором я был аккредитован. Пожилой человек с непомерно большим лбом, заставляющим вспомнить, что человечество вырождается, принял меня в тесном кабинете. Это был начальник одного из многочисленных отделов «сердца армии», как именовалось политическое управление. Перед ним лежала папка с моим личным делом. Скучным, бесцветным голосом, большелобый обратился ко мне:

— Мы установили, что вы историк.

Термин «установили» должен был обозначать, что велось какое-то длительное следствие, во время которого следователь установил виновность преступника. В данном случае, я в этом был уверен, следствия не велось, а просто была взята папка с моим личным делом, из которого видно, что я окончил университет по историческому факультету. Это и послужило основанием возвести меня в ранг «историка».

— Что вы, товарищ комиссар, какой же я историк? Я учился на историческом, но к научной работе у меня склонности нет, — ответил я.

— Дело не в научных занятиях, они нас не интересуют. — Большелобый говорил всё тем же скучным голосом, но его глаза пытливо ощупывали меня. — Нам срочно требуется преподаватель истории.

В этом уже сквозила откровенная опасность. Из всех профессий мира педагогическую я выбрал бы последней. Я и в прессу ушел, стремясь избежать отправки меня в какую-нибудь школу, учить детей истории. Имело, конечно, значение и то, что я тянулся к литературным занятиям, но непосредственной причиной, побудившей меня пойти в прессу, был всё же страх перед педагогической профессией, которая мне угрожала.

Большелобый продолжал говорить:

— Вам легко будет совместить вашу работу в газете с преподаванием истории. Всего два часа в неделю.

— Но помилуйте, товарищ комиссар, — взмолился я. — Какой же я педагог? Да я вам, при моей неопытности и нелюбви к этому делу, столько напорчу, что и исправить потом нельзя будет.

Комиссар ждал, пока я выскажу возражения, но в мои слова не вслушивался. Для него вопрос был решен.

Когда я остановился, чтобы перевести дыхание, он вялым своим голосом проговорил, словно продолжал начатую им раньше фразу:

— Всего два часа в неделю. Видите ли, там, куда мы намерены вас послать, остались без учителя истории. Пригласить нового трудно, на оформление и проверку уйдет не меньше двух месяцев, а до конца занятий осталось всего месяцев пять. Вы же проверены и можете приступить к занятиям немедленно. Вам надо отправиться к начальнику КУВС, в академию имени Фрунзе...

И он стал давать мне указания, словно я уже согласился на посылку меня к начальнику какого-то странного КУВСа, или словно мое мнение ничего не значило. Впрочем, мое мнение действительно ничего не значило. В тот же день я входил в старое здание академии имени Фрунзе на улице Кропоткина.

В узкой неуютной комнате меня встретил полный, выхолонный генерал-майор Жимайтис, к которому меня направил большелобый. В то время он именовался комбригом, но мы, для простоты, будем и в дальнейшем пользоваться общепринятыми титулами, тем более, что через некоторое время они были введены и в Красной армии. Жимайтису, балтийцу по происхождению, предстояло в будущем проделать черновую работу по присоединению балтийских государств к СССР. Он был «рекомендован» Кремлем правительству

демократической Литвы и назначен там главнокомандующим армией, после чего население Литвы стало проявлять энтузиазм и требовать «воссоединения» с СССР. До Второй мировой войны Жимайтис проделал с Литвой, Латвией и Эстонией то, что предстоит проделать маршалу Рокоссовскому с Польшей. Как известно, Рокоссовский «рекомендован» советским правительством правительству Польши и ныне является главнокомандующим Польской армии. Но в то время, к которому относится наш рассказ, Жимайтис еще ничем не прославился и его имя мне ничего сказать не могло.

Я повторил всё, что сказал до этого большелобому в наркомате, но Жимайтис обратил на мои слова так же мало внимания, как и тот. Усадив меня у стола, он подробно рассказал о моих обязанностях. Самое главное, по его мнению, заключалось не в педагогическом таланте, а в умении справиться с аудиторией.

— Вам, молодой человек, придется иметь дело со старшими войсковыми начальниками, — поучал он меня. — КУВС — это, если расшифровать, своего рода генеральский инкубатор или, обычными словами, — Курсы Усовершенствования Высшего Командного Состава Красной Армии... Да, да, усовершенствования... И, по совести вам скажу, совершенствоваться надо, очень надо. Впрочем, вы сами это увидите.

Начальник генеральского инкубатора пылливо посмотрел на меня. Закурил и, нахмурившись, став сухо официальным, закончил беседу со мной:

— До вас у нас сменилось три учителя истории. Слушатели прогнали их... Характерами не сошлись. { Я не } уверен, что вы удержитесь, весьма не уверен. Но попробуйте.

Я и пробовать не хотел бы, но что можно было поделаться против всемогущего политуправления красной армии?

Жимайтис привел меня в аудиторию, представил слушателям и ушел, а я остался в созвездии орденов, украшавших сидящих передо мной людей в мундирах: комбригов, комдивов, комкоров. Три десятка мундиров и три десятка насмешливых лиц с усами и без усов.

Генералы располагались у двух больших столов, соревнуясь в небрежности поз.

Маленький черноусый комбриг (генерал-майор) с совершенно круглым лицом сидел ближе других ко мне. У него была седая голова, заставлявшая думать, что чернота усов получена им у парикмахера. Перекинув короткие ноги, затянутые в синие брюки и блестящие сапоги, через ручку кресла и тихонько позванивая шпорами, он озирает меня насмешливыми глазами. Рядом с ним был толстяк с покатыми плечами. У него лицо, словно навечно, обветренно и похоже на внутренность бурака, а глаза, когда он поднял их на меня — маленькие и заплывшие жиром. Он старательно вырезывал на столе свои инициалы, пользуясь для этого остро отточенным перочинным ножом. В дальнем конце стола худощавый генерал, отвалившись к спинке кресла, насвистывал военный марш и при этом сонными глазами рассматривал меня.

Большинство представших передо мной лиц было мне знакомо по фотографиям, мелькавшим в прессе. Тут собрался цвет генералитета, представители той его группы, которая именовалась конармейской [1], и пользовалась наибольшим расположением Сталина. Не трудно было растеряться среди этих генералов, усеянных ромбами и орденами, но еще в комнате Жимайтиса я твердо решил не теряться. Эти люди прогнали троих моих предшественников, учителей истории. Последнего, бывшего здесь передо мной, они вынесли на руках и выбросили через заднюю дверь во двор. Вероятно, прогонят и меня. Уйду я сам или они вынесут меня, как моего предшественника? Сознание неизбежности скандала с генералами, избалованными безнаказанностью, придало мне уверенности. Я попытался начать урок. Но как только произнес первую фразу, генерал Еременко, которого я встречал на фотографиях, перестал резать стол, поднял свое бурачное лицо и, словно увидев меня впервые, неожиданным в его тучном теле тонким голосом проговорил:

— Товарищи, не знаете ли вы, что это за дитё тут стоит и чего оно хочет?

На издевательский вопрос Еременко немедленно откликнулся круглолицый, черноусый и седоголовый Книга. Судьба словно решила подшутить над ним, наградив его этим именем. Вряд ли, при столь литературном имени, генерал Книга часто держал книгу в руках. По его лицу с мелкими чертами и хитроватым выражением глаз можно было определить, что перед нами крестьянин, расчетливый, умный прирожденным умом. В ответ на реплику Еременко, он шумно вздохнул и проговорил, вплетая в речь украинские слова:

— Да то, товарищи командиры, не дитё, а сам товарищ прохвессор по науке, которая о том, что було и чего не було, по истории, значит. Товарищ прохвессор будет нас, старых дураков, уму-разуму учить.

Еременко отложил в сторону перочинный нож и высоким своим голосом проговорил:

— Ну что ж, учи!

В его голосе было столько наигранного { смирения, } что в аудитории послышался смех. Жимайтис настойчиво советовал мне не обращать внимания на шутки генералов. Ожидая пока стихнет смех, я думал про себя: «Генерал, одетый в одежду солдата, остается генералом. Ну, а солдат, надевший генеральский мундир, перестает ли он быть солдатом и становится ли генералом?»

Когда в аудитории немного стихло, я снова попытался приступить к уроку, но на первой же фразе Книга оборвал меня:

— Постой? — тоном приказа произнес он. — Ты нам прежде скажи, чему учить будешь?

Всё еще стараясь быть спокойным, но уже чувствуя приступ злости, я ответил:

— Я не знаю, могу ли я чему-нибудь научить вас, но первый урок мы посвятим отмене крепостного права в России.

— А когда это было? — раздался бас Апанасенко, которого легко было узнать по грубому, квадратному лицу и обилию орденов на груди.

Не подозревая западни, я ответил:

— В 1861 году.

— Как же ты можешь нас учить о крепостном праве, когда тебя тогда и на свете еще не было?

Опять раздался смех. Решив, что лучше на первом же уроке оборвать нелепое назначение меня на роль педагога среди генералов, изо всех сил стараясь быть спокойным, я сказал:

— Мне никакого удовольствия не доставляет быть для вас объектом шуток. Я был бы рад не учить вас, каждый из вас несравненно умнее меня. Пришел я к вам не по своей воле. И не примите за обиду, если я скажу, что один человек (я хотел было сказать «генерал», но удержался) может задать столько вопросов, что десять самых умных педагогов на них не ответят...

Апанасенко, внимательно прислушивавшийся, уловил мою мысль.

— Ты говори точнее, — прокричал он с места. — Ведь, ты хотел сказать, что один дурак может задать столько вопросов, что десять умных на них не ответят.

— Конечно, при отмене крепостного права я не присутствовал, — говорил я, — но значит ли это, что я не могу знать о том, что тогда произошло и почему произошло? История — наука о прошлом и она хранит сведения о прошлом и делает их доступными всем, мне и вам в том числе. Неужели эпоху Тамерлана нельзя изучать только потому, что это было задолго до нас? Ведь этак мы можем низвести себя на роль однодневных мух, не имеющих прошлого.

Я замолк, раздумывая, не уйти ли мне из аудитории, пока еще не поздно. Но снова раздался голос Апанасенко:

— Ты не обижайся. Это ведь мы, чтоб пошутить только, а обидеть нет у нас желания.

Начинай урок! Вскоре среди блестящих генералов я уже чувствовал себя вполне на месте. Во мне жило тогда, сохранилось и поныне уважение к этим людям большого подвига. Не их вина, что не получили они нужного образования. Дети бедняков, они и сами прожили бы бедняками, не случись революции, вынесшей их на поверхность.

Многие из тех генералов, которые были тогда в описываемом инкубаторе, отмечены военной историей Советского Союза, некоторые сыграли заметную роль во Второй мировой войне, другим выпала печальная судьба и они погибли в боях в Финляндии, в Монголии, а еще больше их погибло в застенках ГПУ-НКВД. Поэтому, рассказывая об этих людях, мне хотелось бы просеять слова через густое сито, чтобы остались самые точные, самые правдивые, точно рисующие облик этих странных, никогда до этого невиданных полководцев.

КУВС имели обширный и фантастический учебный план. В причудливом сочетании переплеталась в нем история военного искусства с грамматикой русского языка, стратегия и тактика с начальной арифметикой, марксистско-ленинское учение о государстве с географией, учение о взаимодействии войск с основами физики. При мне как раз ввели немецкий язык, но дальше "Das ist die Schule, das ist der Tiseh" дело не пошло и уроки немецкого языка вскоре были прекращены. История тоже не пользовалась признанием и ей отводилось всего два часа в неделю. Зато русский язык преподавался настойчиво, хотя и без достаточного успеха.

Мои педагогические достижения в генеральской аудитории были более чем скромными. Правда, генералы как-то всё-таки запомнили, что война с Ливонским орденом при Александре Невском была раньше, а Куликовская битва Дмитрия Донского позже и что, во всяком случае, татарское нашествие на Русь было раньше, чем произошла Великая Французская Революция и позже, чем Дарий вел войну с царством скифов. Мне не хотелось бы вызывать у читателя улыбку и представление о каких-то варварах, затянутых в генеральские мундиры. Можно ли назвать варваром ребенка, не знающего, что земля, на которой он роет ямки, вращается вместе с ним? Разница между ребенком и нашими генералами чисто условная, возрастная.

Чтобы покончить совсем с моим тогдашним педагогическим опытом, скажу, что мне посчастливилось найти способ заинтересовать моих слушателей. Через некоторое время наши уроки перестали быть скучными. Завидев меня входящим в аудиторию, генералы оживлялись. Развернув учебный план, я громко читал тему урока, но немедленно с мест раздавались выкрики.

— Ты нам промышленным переворотом в Англии мозги не засоряй. Давай что-нибудь горько-соленое.

Я начинал урок по теме и видел: генералы равнодушны к моим словам и пропускают их мимо ушей. Тогда я прибегал к историческому анекдоту, не обязательно приличного свойства. Аудитория немедленно оживала. Обычно пользовался я старыми, затасканными анекдотами (где я мог взять новые?), но не помню ни одного случая, когда бы хоть один из принесенных мною анекдотов «с бородой», был бы известен генералам. Генералы умели очень хорошо, от души, смеяться. Но всё-таки, между анекдотами, я сообщал и серьезные исторические сведения. Не моя вина, если анекдоты запоминались, а исторические сведения — нет.

Жимайтис при встрече со мной восклицал:

— Это просто удивительно — говорил он. — Слушатели в восторге от ваших уроков. До вас мы приглашали лучших педагогов-историков и неизменно получались скандалы, а у вас-то и опыта никакого нет, а — успех полный.

Знай Жимайтис секрет моего успеха, не радовался бы.

С общими науками в генеральском инкубаторе дело обстояло более или менее скверно, но изучение чисто военных проблем было поставлено более строго и, насколько я могу судить, более успешно. История военного искусства мало привлекала внимание слушателей — какое им дело до того, как воевал Александр Македонский, но проблемы современной войны, стратегия, взаимодействие войск, искусство маневрирования, облик иностранных армий — всё это занимало их умы и вызывало живой интерес.

Часто в аудиториях КУВСа появлялись топографические планы. Начиналась военная игра по картам. Прорабатывались маневры или изучались сражения прошлого.

В моем лице совмещался штатский преподаватель и военный корреспондент. Преподавателю истории не было нужды присутствовать на военных играх генералов, но для военного корреспондента они представляли не малый интерес. Изредка я являлся в аудиторию, чтобы послушать и посмотреть.

Руководили военными играми профессора военной академии. Чаще других комбриг Евсеев, при котором занятия проходили особенно оживленно. Пожилой Евсеев, с коротко подстриженными усами, внешним своим обликом, манерой вести себя, чистой и точной речью, был образцом блестяще воспитанного офицера. Он начал службу давно, еще в императорской армии. Целое десятилетие он состоял профессором военной академии Красной армии. Ни одним словом и ни одним жестом Евсеев не подчеркивал своего превосходства перед генералами революционной формации и всё-таки чувствовался в нем барин, глубоко затаивший презрение к простым людям, носящим такой же мундир, какой носил он сам. Вероятно, не только я чувствовал в нем глубинное, может быть, им самим неосознанное, пренебрежение к мужикам в генеральских мундирах, но чувствовали это и слушатели КУВС, люто невзлюбившие комбрига Евсеева.

И тем не менее, занятия, которые он проводил, были самыми интересными и, вероятно, весьма полезными для слушателей курсов.

Мне запомнилось одно из евсеевских занятий. К приходу Евсеева служитель принес целый ворох топографических материалов и свалил всё это грудой на столе. Появился Евсеев, тщательно, по форме одетый. Остановившись у стола, он поздоровался и проговорил:

— Польская военная литература называет противодействие Пилсудского наступлению Красной армии чудом на Висле. Перед вами лежат карты района развития этой операции... Евсеев бесстрастным голосом дал указания о расстановке сил сторон. Когда это было нанесено цветными карандашами на карты, он разделил группу на две части. Одна должна была играть роль польской армии, другая — Красной. Роль Пилсудского выпала на этот раз Книге, а во главе Красной армии был поставлен Еременко. Остальные должны были быть помощниками и советниками. Стороны разошлись по разным комнатам и «игра» началась.

— Я ставлю задачу: двумя дивизиями прорвать фронт у высоты 74,4 и выйти в тыл польской кавалерийской дивизии, — сообщил Еременко, появляясь из своей комнаты.

— А я плевал на это, — немедленно откликнулся Книга-Пилсудский. — Ты прорываешься, а я тебе у фольварка Крыж хвост рублю, потом сковываю твои две дивизии, бросив в бой свой стратегический резерв, а потом перестраиваю кавдивизию и бью во фланг прорвавшегося противника.

— Постой, постой, товарищ Пилсудский, — начинал визгливо кричать Еременко. — Как это ты перестроишь кавдивизию, когда прорыв был неожиданным и времени у тебя не осталось?

— Ну, это ты, брат, шалишь. Я предвидел прорыв красных и расположил кавдивизию в эшелонах, а фронт прикрыл заслонами.

И Книга положил перед Евсеевым карту, на которой кавдивизия, действительно, была показана в таком положении, что могла атаковать прорывающиеся войска красных.

После этого Еременко ушел в свою комнату, чтобы обсудить создавшееся положение и наметить новые меры.

Проработав операцию на картах, Евсеев дал короткий и точный обзор действий обеих сторон. Обзор был суровым и тщательно обоснованным. Евсеев утверждал, что польская сторона совершенно не использовала преимуществ, даваемых ей хорошо подготовленным районом обороны. В то же время красная сторона предприняла бессмысленный прорыв, поставив две свои дивизии в очень тяжелое положение, из которого они могут быть выведены только переброской новых подкреплений и оттягиванием с боями на исходные позиции. Красная сторона, таким образом, создала рискованную для себя ситуацию, при которой может выронить из рук инициативу наступления.

Я был совершенно согласен с анализом, даваемым Евсеевым. При всей моей неосведомленности в военных делах, мне было ясно, что обе стороны допустили ошибки, на которые указывал Евсеев. Вероятно, большинство слушателей соглашались с ним, но главные действующие лица — Еременко и Книга, — готовы были оспаривать каждое критическое замечание.

Не было никаких причин, которые помешали бы моему сближению с питомцами КУВС. В отношениях с военными они очень ревниво блюли субординацию, но я был человеком штатским. К тому же они могли сказать обо мне, что я «из своих». Крестьянское происхождение и революционная слава семьи, к которой я принадлежал, были, по их мнению, убедительным аттестатом моей добропорядочности. Вскоре стал я получать приглашения от моих генералов. Жили они все в большом сером доме на Девичьем Поле. Длинные-предлинные коридоры, а из них двери в квартиры. Москва, испытывавшая жилищный кризис, не могла предоставить им хороших жилищ. Генеральская квартира обычно состояла из двух-трех комнат и крошечной кухни. Не во всех квартирах имелись ванны.

Относительная скромность жилищ никого из генералов не удручала. Они смотрели на свое пребывание в Москве, как на кратковременное. Жили они с семьями, часто многолюдными. В то время советские генералы еще терпели около себя своих первых жен, женщин простых, иногда даже малограмотных. Стремление избавляться от старых жен пришло позже, когда генералы почувствовали вкус к хорошей жизни и променяли скромных, но преданных им подруг, на артисток театров, балерин, певиц и просто женщин «культурных», любящих хорошо пожить и понимающих в этом толк.

Чаще всего, приехав по приглашению к тому или другому генералу на семейное торжество, я заставал у него всё те же лица: генералы КУВС с семьями. Редко можно было увидеть в этой среде профессоров академии, — это был другой мир, к которому мои генералы относились со скрытым недоверием. Еще реже офицеров из наркомата; к тем генералы относились принципиально враждебно.

Частные визиты дали мне больше для познания душевного мира советских полководцев, чем многочисленные встречи в официальной обстановке. Дома генералы расстегивали пуговицы своих кителей и как будто расстегивали при этом пуговицы своих душ. За праздничным столом я видел перед собой грубоватых крестьян, совершенно чуждых аристократизму. Они предпочитали простые блюда, приготовленные их женами, деликатесам, привезенным из правительственного магазина. Жена Василия Ивановича Книги, грузная рыхлая женщина с добродушным лицом, славилась искусством делать пироги; у Еременко худощавая робкая жена, которая, кажется, никак не могла привыкнуть к тому, что ее муж такой значительный человек, готовила борщи, каких, по утверждению Апанасенко, «сам царь не едал».

На генеральские пиршества меня привлекало не кулинарное искусство генеральских жен, а возможность послушать генералов, которые сбрасывали в домашней обстановке настороженность и недоверие и представляли в своем натуральном облике. Как генералы, они были мало интересны для меня, но дома они становились очень колоритными. В их рассказах, воспоминаниях, спорах проходила эпоха великих потрясений и великих противоречий. В это время фальсификация истории уже шла полным ходом, коснулась она и истории гражданской войны, в которой эти люди принимали деятельное участие. Основная линия фальсификации пролегла в плоскости усиления до гиперболических размеров роли Сталина в вооруженной борьбе за советскую власть. Это вызывало раздражение и обиду.

— Нет, вы подумайте только, — кричал однажды генерал в большом ранге, имени которого я не назову, так как он жив и занимает крупный командный пост в Советской армии, — подумайте только, что мы тогда, под Царицыным, были дураками и не понимали, что нами руководит товарищ Сталин. Я в то время там был, казалось, должен

был бы знать, а вот ведь, простофиля, проворонил руководящую роль Иосифа Виссарионовича.

Часто в этой полупьяной компании разгорались споры, которым я тогда не придавал значения, хотя и понимал, что они являются отражением большого столкновения, идущего в среде высшего командного состава. Спорили о военной доктрине, искали основной принцип боевой деятельности. Маневр? Фронтальное наступление? Прорыв?

В этом генералы не были единодушны. Насколько я мог заметить, они и не были последовательными. Сегодня Апанасенко, Книга и Еременко могли отстаивать одну концепцию, но завтра они высказывали совершенно противоположный взгляд. У советских военачальников не было еще установленной точки зрения на методiku войны, потому и колебались они в своих суждениях.

Но сказанное не относилось к Тимошенко, изредка появлявшемуся в среде своих друзей с КУВС. Сам Тимошенко, нынешний маршал, прошел через КУВС годом раньше, а в то время, о котором идет речь, он командовал войсками на Украине. Высокий, широкоплечий, со всегда бритой головой и с грубыми, топорными чертами лица, он говорил громким, не допускающим возражений тоном. Его недолюбливали, но он был «из своих», и это примиряло с ним. О Семене Константиновиче Тимошенко очень трудно рассказывать. Он несомненно, был растущим в умственном отношении человеком и стоял на голову выше своих друзей по гражданской войне, хотя предварительная подготовка была у него столь же ничтожной, как и у большинства из них.

Но была в нем одна неприятная особенность. Он не говорил, а изрекал истины. Давно замечено, что люди ограниченного кругозора очень охотно впадают в пророческий тон. Даже простейшая истина в их изложении звучит заповедью — с таким апломбом они ее изрекают. Происходит это, вероятно, от того, что люди недоразвитые или развитые односторонне чужды сомнений. Они путают знание, которое всегда сопровождается сомнением, с верой, сомнений не терпящей. Вот к таким людям принадлежал Тимошенко. Он верил в свою военную доктрину, которая привела его к столкновению с наркомом Ворошиловым.

Господствующей доктриной Красной армии того времени, «ворошиловской доктриной», было признание маневра источником и основой всех побед. Взаимодействие войск, боеснабжение, подготовка личного состава — всё это происходило под знаком маневренной войны. Теория «дробления» сил противника маневром своих войск находила отражение в военной литературе, ее придерживались штабы. Казалось, что «ворошиловская» доктрина так и останется господствующей.

В это время Тимошенко выдвинул идею прямого, «лобового» удара, как основного начала методики войны.

Однажды, когда Апанасенко праздновал день своего рождения, а я был в числе гостей, приехал Тимошенко. Это было в разгаре его спора с Ворошиловым, за которым пристально следил Сталин, не становясь пока ни на ту, ни на другую сторону. В этот вечер мне удалось от самого Тимошенко выслушать обоснование его доктрины. Невозможно требовать от меня, чтобы я, через столь длинный срок, был в состоянии точно воспроизвести сказанное тогда Тимошенко, но если бы я попытался восстановить в моей памяти его слова и манеру говорить, то его речь прозвучала бы так:

«Маневр должен быть основным средством борьбы для слабой стороны, не могущей выставить достаточно войск для фронтального удара. Он требует особо тщательной организации, слаженной техники, доведенного до точности часового механизма взаимодействия войск. Для слабой в войне стороны прямой удар слишком большая и рискованная роскошь, чтобы применить его, как основной принцип. Но положение Красной армии таково, что в смысле человеческих ресурсов она всегда будет в выгодном положении. В то же время сомнительно, чтобы мы в короткий срок обогнали в техническом отношении наших противников. Мы будем в смысле техники подтягиваться к ним, но обогнать скоро не сможем. Правильно ли ставить задачу поднятия точности

действия наших войск до такого уровня, когда маневренная война станет для нас возможной? Правильно, но при этом мы должны знать, что времени ее разрешить, даже если война будет через десять или пятнадцать лет, всё равно у нас не хватит. Поэтому, признание маневренной войны наилучшей является для нас очень опасным. В маневренной войне мы всегда будем слабее противника, снабженного лучшей техникой, имеющего солдата и офицера более высокого технического уровня.

Но если в маневренной войне мы, несомненно, будем слабее, то в войне фронтальной противник, или коалиция противников, справиться с нами не могут. Мы заставим их серией прямых ударов истекать кровью, т. е. терять то, чего у них меньше, чем у нас. Конечно, потери и у нас будут велики, но в войне надо считать не свои потери, а потери противника. Если мы даже будем терять больше людей, чем противник, на это надо смотреть спокойно. Такими потерями мы уравниваем техническое неравенство и они нам не являются опасными. Я не вижу в Европе армии, которая могла бы выдержать наше массированное наступление. А такое наше наступление, помимо всего прочего, закрывает для противника возможность маневра в стратегическом масштабе и вынуждает его к фронтальной войне, выгодной для нас и не выгодной для него.

Климентий Ефремович (Ворошилов) говорит, что я отрицаю вообще маневренную войну. Это не так. Я признаю маневр, но не выходящий за рамки тактической задачи, маневр же стратегического масштаба я отрицаю, так как в нем все преимущества перейдут на сторону противника. Мой принцип: массированное наступление в лоб, давление на фланги и целый ряд маневров тактического значения...

Если представить себе в грубых чертах существо нашего спора, то оно состоит в следующем: приняв идею маневренной войны, мы будем стремиться множеством связанных между собой действий дробить массив противника. Но ведь противник тоже применит маневр. Рядом второстепенных по значению мер он обрежет силовые линии наших войск. — Тимошенко резко взмахнул рукой, обрывая невидимые нити. — Таким образом возникнет ряд местных боевых участков, каждый из которых не имеет решающего значения. Мы теряем способность управлять событиями, боепитание нарушается и наши войска, даже более сильные по численности, оказываются скованными. Так как противник не будет ограничивать свою задачу сковыванием наших войск и постарается воспользоваться выгодной для него ситуацией, то он введет в действие все свои силы для того, чтобы подавить по частям наши войска, т. е. применит стратегический маневр, которому мы ничего противопоставить не можем, имея скованную армию, нарушенное управление, разрушенные коммуникации.

Моя идея (он очень подчеркивал слово „моя“) всё ставит по-иному. Имея преимущество в живой силе, мы собираем нашу армию в огромный кулак. Наличие такого кулака не позволяет противнику рассредоточить его войска для маневра, не дает ему возможности нарушить тесное „сцепление“ его армии, а, наоборот, заставляет сжиматься, переходить в оборону на возможно более ограниченной территории. Иными словами, мы получаем условия фронтальной войны, мы навязываем характер войны противнику, подготовленному для маневренной войны, но вынужденному нами к войне позиционной, в которой все преимущества на нашей стороне. Вынудив к этому противника и ставя задачу разгромить его, мы наносим дробящий удар не сочетанием частных маневров в надежде, что сумма частных успехов перерастет в общий успех, а фронтальным действием, по возможности стараясь разорвать фронт противника. В то же время мы давим на его фланги. Для нас сражение фронтальное и давление на фланги является единым сражением, для противника это три разных задачи. В моем приеме остается много места для тактического маневра, но он определяется в конкретной обстановке и носит подчиненный характер, основой же основ остается фронтальное наступление, поддерживаемое массированным огнем артиллерии и авиацией».

Еременко пытался было что-то сказать, но Тимошенко отмахнулся от него:

«Я знаю всё, что вы скажете, — проговорил он. — Многие возражения могут быть приведены против моей схемы, но ее преимущество в том, что она учитывает уровень военной культуры нашей армии, мало подготовленной для маневренной войны, зато непобедимой в массивном лобовом ударе. Я уверен, что доктрина Тимошенко станет господствующей в армии».

Это было сказано так внушительно, что никто не посмел дальше возражать. Беседа перешла на другие темы.

Генералы, несомненно, были дружны между собой, спаянные круговой порукой. Но это не избавляло их от раздоров, споров, зависти. Они завидовали получающему более высокое назначение, тому, у кого больше ромбов в петлицах и больше орденов на груди. Особенно отличался этим Книга. В маленьком комбриге жило непомерное честолюбие. Ему казалось, что его обходят. В то время, как его друзья носили по два и по три ромба, в его петлицах был лишь один. Это было для него источником бесконечных терзаний. Он считал, что в отделе командных кадров кто-то нарочно подставляет ему ножку и писал жалобы наркомму. Зависть и недоверие — эти два чувства постоянно разъедали души питомцев КУВС.

Не доверяли новым командным кадрам, получающим лучшую подготовку в школах. Не доверяли своим товарищам, выдвинувшимся на генеральский пост уже после гражданской войны. Считали не заслуживающими доверия генералов технических войск. «Это не генералы, а чертежники» — уверял Апанасенко. О новых командирах любили злословить и если верить тому, что говорилось, то военные школы выпускали никуда негодных офицеров.

«Грамотные то они грамотные, — говаривали генералы меж собой, — да какovy-то в бою будут. Мы не очень грамотными были, а всех грамотных генералов раскокали».

Впрочем, генералы понимали значение образования. Было в них, тщательно скрываемое, ощущение неполноценности. Для того, чтобы собственное невежество не выглядело совсем уж трагическим, надо было постоянно принижать значение «учености» и утверждать, что она не столь уж и нужна, доказательством чего являлось, по мнению моих генералов, то, что они, неучи, «раскокали» многих ученых генералов.

Отрицая значение образования для полководца, они, в глубине души, понимали его ценность. Иногда сознание собственной невежественности прорывалось наружу, как было это однажды осенью, в Нескучном саду за Москва-рекой (излюбленном месте для прогулок слушателей КУВС). Повстречавшийся мне генерал Апанасенко увлек меня в боковую аллею оголенного осенью и всё-таки прекрасного парка. Крепко держа под руку, словно боясь, что я убегу, Апанасенко медленно говорил:

— Чертовски всё-таки обидно. Посылают меня округом командовать, а ты знаешь, что это такое? В округе восемнадцать дивизий, три танковых, авиация. Требуется палата ума, чтобы управлять всей этой машиной, а где же его взять, если на медные пятаки в детстве учился, а теперь, на шестом десятке лет, учиться трудновато. Нас недолюбливают в армии, говорят буденновцы все главные посты захватили. А почему это происходит? Каждый из нас на деле доказал, что воевать он умеет. В нашей группе на тридцать шесть слушателей 59 боевых орденов, это тебе, брат, не шутка! Раньше просто было воевать, а теперь? Надо командовать комбинированным войском, а я никак не могу запомнить расчетов скоростей танковых соединений и не доверяю авиации. Всё мне кажется, что летчики сверху не разберут, где свои, где чужие и разгонят свои войска так, что их потом и не собрать... Ерунда, конечно, да ведь в военных условиях часто такая ерунда, как сомнение, большую силу имеет... Кажется, дали бы мне командовать полком и ничего больше не надо, а тут на округ посылают.

Впрочем, сетование Апанасенко не помешало ему командовать округом, потом занять место маршала Блюхера, убитого по приказу Сталина, и пребывать в должности главнокомандующего дальневосточными армиями. Во время Второй мировой войны привел он эти армии на запад, со славой сражался и мужественно погиб в бою. На

центральной площади Белгорода воздвигнут памятник этому генералу с квадратным, грубым лицом крестьянина.

Ворошилов, стоявший тогда во главе вооруженных сил СССР, часто появлялся в генеральском инкубаторе. После его визита то тот, то другой из генералов исчезал. Через некоторое время становилось известно, что исчезнувший назначен на командный пост. Назначения были у всех на уме. Питомцы генеральского инкубатора мечтали о том времени, когда они избавятся от КУВС. На свое пребывание в Москве они смотрели, как на неизбежное, но к счастью, кратковременное зло, которое кончится в тот день, когда им вручат приказ о назначении на командный пост. Они твердо усвоили две истины:

1) Научиться они всё равно ничему не научатся.

2) Независимо от успехов в учении, им предоставят крупные военные посты.

Их расчет строился на знании Сталина и на уверенности, что без них он обойтись не может. Они встречали Сталина в годы гражданской войны, когда он был маловажным винтиком в партийной машине Ленина. Бывали в Кремле тогда, когда Сталин уже установил свою самодержавную власть. Знали, что Сталин не доверит армию никому другому, а лишь им. Более умных, образованных и молодых генералов он пошлет к ним в помощники, но решающие посты в армии всё-таки отдаст им, генералам революции. Боясь Сталина, мои генералы, тем не менее, ясно отдавали себе отчет в своей полной зависимости от него и знали: будут служить ему верой и правдой. Эти люди были навечно впряжены в колесницу коммунизма, из которой они не могли, да и не хотели вырваться. Смерть Сталина несомненно повлияет на положение тех из буденновских генералов, которые умудрились уцелеть поныне. Они всё еще играют заметную роль в армии, но вряд ли можно рассчитывать на возрастание этой роли: мавр сделал свое дело. К водительству в армии поднимаются новые люди — более образованные, лучше разбирающиеся в политических вопросах и, может быть, более отравленные ядом властолюбия. Будут ли «новые» лучше «старых» — не знаю. Покажет время.

Незаметно подошло время выпуска КУВС. Еще до окончания занятий генералы были расписаны по должностям.

Потом были экзамены, в общем, совершенно ненужные, так как назначения давались вне зависимости от их исхода. На экзамене был раскрыт секрет моего педагогического успеха. Когда стали задавать вопросы моим генералам, я постарался скрыться в самом дальнем углу экзаменационного зала. Я не мог себя считать виновным в том, что генералы запоминали только анекдотические случаи из истории, а места для серьезных знаний в их головах не находилось. И всё-таки мне было немного не по себе, когда мои ученики перевирали события, путали имена и выдавали анекдоты за историческую правду. Экзаменаторам стоило не малого труда сохранять серьезность на лицах, когда генерал начинал рассказывать один из анекдотов, которыми я начинил моих слушателей. Но их выдержки оказалось недостаточно, когда подошла очередь В. И. Книги. Его попросили рассказать о Великой французской революции. И по тому, как он мялся, я видел, что он всё сказанное мною позабыл. Помявшись немного, он изрек:

— А это, товарищи, было тогда, когда одна дура-аристократка сказала, что она не понимает бедноты, которая требует хлеба. Она сама хлеба не имеет, а ест пирожные. В этой неуклюжей передаче известного анекдота Книга излил свои познания касательно великой революции во Франции. Не лучший получился ответ на вопрос о роли Александра Македонского. Книга долго думал и припомнил только то, что великий полководец пришел за поучением к бочке Диогена.

Я был бы удручен, если бы подобную осведомленность генералы проявили только в истории. Но и по другим предметам дело обстояло не лучше. Даже в чисто военных, где у них были всё-таки заметны успехи, обнаруживались зияющие провалы. Так генерал Апанасенко не мог ответить на вопрос Евсеева о сражении на Марне.

— Да знаете ли вы где находится Марна? — настаивал Евсеев, и этой своей настойчивостью вывел из себя Апанасенко, имеющего значительно более высокий военный ранг, чем Евсеев.

— Я-то знаю, где Марна, а вот знаете ли вы где находится Калаус? — ответил вопросом на вопрос Апанасенко (Калаус — крошечная степная речушка, не отмеченная даже на картах).

— Зачем мне знать, где находится Калаус! — раздраженно сказал Евсеев. — Нам надо знать, где происходили великие сражения.

— Так вот, как раз на Калаусе и было великое сражение, — не сдавался Апанасенко. — Я там кавалерию генерала Покровского в 1918 году разбил.

Так и не получив от Апанасенко ответа о битве на Марне, отпустили его от экзаменационного стола.

Жимайтис был очень холоден со мной в этот день. Он что-то проговорил о том, что я четыре месяца занимался анекдотами, а не выполнением учебного плана. Но он был не прав. Если бы я не ввел в преподавание истории Диогена с бочкой, то Книга вообще позабыл бы, что ему говорили об Александре Македонском, а без глупой и наивной парижской аристократки для него не существовало бы и Великой французской революции. В дальнейшем я уже не приглашался для преподавания истории в генеральском инкубаторе и никогда об этом не жалел. С моими же генералами я потом встречался на протяжении многих лет, находя их во всех уголках страны. Впрочем, прежде чем расстаться с ними в Москве, я провел среди них еще один вечер, заслуживающий того, чтобы о нем рассказать.

Перед тем как отпустить генералов из Москвы, пригласили их на ужин к Сталину. Мне нечего было и думать попасть туда. Но в 12 ночи позвонили в редакцию и незнакомый голос сказал, что я могу приехать в Кремль, пропуск для меня уже заказан. На мой вопрос, обязателен ли мой приезд, человек на другом конце провода подумал и ответил:

— Нет, не обязателен, но если хотите, то можете приехать.

Спрошенный мною редактор распорядился, чтобы я ехал. Всех моих генералов я застал в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Это по их просьбе были вызваны в Кремль преподаватели КУВС, в их числе и я. Сталин к этому времени уже покинул зал. Лакеи в однообразных серых костюмах обслуживали гостей. Мои генералы были навеселе, хотя я слышал, как они перед поездкой в Кремль договаривались не напиваться и «знать меру».

Не стоит рассказывать, как выглядит генеральское веселье в нашей стране, не обходящееся без обильной выпивки. Оно трудно поддается описанию. Одни спорят о былых походах и пьют. Другие поют песни и пьют. Третьи молчат и пьют. Но народ тренированный и опьянению не так-то легко поддающийся. Если иногда случается такой грех, то приписывается он не водке, а плохому настроению. Много раз мне доводилось слышать, как один генерал жаловался другому:

— Знаешь, вчера у меня было отвратительное настроение. Выпил и с колес свалился.

Часа в два ночи я собрался уезжать. Вместе со мною покидали Кремль Книга, Еременко и еще несколько генералов, пребывавших в достаточно откровенном опьянении. Когда мы спускались по широкой, устланной ковром лестнице, к нам подошли чины кремлевской охраны. Они предложили генералам свою помощь, чтобы доставить их домой. Это вызвало возмущение Еременко.

— Они думают, что мы пьяные — твердил Еременко. — Нет, шалишь, нас пьяными не увидишь.

При этом он пошатывался и его надо было поддерживать под локоть.

— Верно, — кричал Книга. — Мы не пьяные. Мы гордыми соколами из Кремля выйдем. На противоположной Кремлю стороне Красной площади меня поджидал редакционный автомобиль. Я погрузил в него гордых соколов и, отправив их домой, поплелся в

редакцию, думая по пути о том, что теперь я избавился от генеральского инкубатора, который будет загружен новой партией птенцов-генералов.

Вознесенский полк бывалый...

Скомпрометировав себя на ниве просвещения советских полководцев и избавившись от генеральского инкубатора, я надеялся, что меня оставят в покое, и пришвартуюсь я в гавани нашей редакции. Но не тут-то было! Через несколько месяцев, более или менее спокойных, получил я повестку из военкомата. Мне предписывалось явиться на командирские сборы, «имея при себе ложку, полотенце и запасную пару белья». Еще в университетские мои годы введен был обязательный курс военных знаний. Мы возились с макетами местности, изучали оружие, производили топографические съемки и делали множество других мало привлекательных дел, которые все вместе именовались курсом высшей допризывной подготовки. Заведовал военной кафедрой добрейший Павел Илларионович, носивший на своем стареньком щуплом геле мундир комбрига (генерал-майора, как мы условились именовать чины). Он искренне старался изгнать из нас военное невежество, но был близорук и потому не замечал, что на его лекциях мы дружно дремали. Павел Илларионович был из дореволюционных офицеров, давно пора бы быть ему в отставке, но подвернулась военная кафедра и он пошел на это тяжкое испытание. За то, что в зимние месяцы мы отсыпались на лекциях Павла Илларионовича, приходилось нам расплачиваться летом, когда на три месяца нас увозили в военные лагеря и превращали в солдат и младших командиров. До этого я дважды испил эту чашу. Надеялся, что после университета обо мне забудут, но вот прошло два года — и меня снова требуют.

Если бы я придерживался истины, завоевывавшей тогда всё большее признание и гласившей, что «блат в период социалистического строительства решает всё», то от сборов я мог бы уклониться. Достаточно было попросить кого-нибудь из высокопоставленных чинов армии и приказ о моем вызове на командирские сборы был бы аннулирован. Но руководствовался я тогда другими нормами поведения и потому в назначенный день и час был на сборном пункте, откуда происходила отправка в воинские части. Я в точности знал, что меня ждет и куда отправят. Предстояло мне в течение трех месяцев носить на себе военную одежду, маршировать, петь в строю, спать в палатке и делать множество других дел, без которых я вполне бы мог прожить. Не привлекало меня и то, что в армии делал я заметную карьеру. В первые сборы был рядовым, во вторые отделенным командиром и командиром взвода. На этом основании военкомат причислил меня к комсоставу, что никакого военного пыла во мне не пробудило. Несомненным было и то, что попаду я опять, как и раньше, в Иваново-Вознесенский Пролетарский полк, выходящий в летний лагерь под гор. Ковровым.

Одним словом, всё было заранее известным и непривлекательным.

Однако, в 1932 году, когда всё это происходило, наш эшелон двинулся не в сторону Коврова, а в противоположном направлении. Состоял эшелон всего лишь из двенадцати теплушек, в которых размещались человек триста пятьдесят призванных на летние сборы. Начальник эшелона на каком-то полустанке заглянул в наш «студенческий» вагон (в нем было три десятка студентов и я, недавний студент, назначенный старшим в этой веселой команде) и сообщил, что эшелон направляется под Кривой Рог, куда вышел наш полк, всё тот же Иваново-Вознесенский Пролетарский.

Это уже было интересно. Ковровский лагерь, где нам пришлось до этого бывать, скучнейшее место на земле. Расположен он в изолированном лесу и видишь в нем только солдатские и командирские лица. А тут Украина, Кривой Рог.

Как мы узнали от начальника эшелона, предстояли на Украине грандиозные маневры, для которых стягивались войска из всех военных округов. По этой причине наш полк оказался не в Ковровских лагерях, а под Кривым Рогом, где его причислили к корпусу С. К.

Тимошенко.

Оживление, вызванное известием, что направляемся мы к Кривому Рогу, потухло, как только наш маленький эшелон дошел на следующий день до голодающих районов. Перед нами развернулась картина умирающей Украины и ее предсмертные судороги потрясли нас. Молчаливые мертвые села лежали в стороне от железной дороги и редко-редко в них можно было видеть дымок, вьющийся из трубы. Земля лежала невспаханной и мне казалось, что от нее исходит жгучий укор людям.

А люди — страшные и одичавшие — заполняли железнодорожные станции. Когда поезд останавливался, в вагоны врывался разноголосый вопль:

— Хлеба! Хлеба

Бледные до прозрачности, одетые в рваную ветошь, дети подходили к теплушкам и тянули жалкими, рвущими сердце голосами:

— Подайте, ради Христа, товарищи-граждане. На Украине при станциях имеются небольшие садики с запыленными деревьями. Из них в вагоны доносился смрад. Железнодорожники, сами шатающиеся от голода, сносили туда трупы умерших. Нам были видны эти трупы, беспорядочно брошенные под деревьями. Мужские, женские, детские. Одним словом, мы доехали и прямо с поезда проследовали на гауптвахту. Начальник нашего эшелона еще с дороги сообщил по начальству, что студенты не подчиняются его приказу и отдают свои паек голодающим, а их примеру последовал весь эшелон. Военный харч отдавался гражданскому населению, что, по понятиям начальника эшелона, было деянием наказуемым. Дело дошло до командира корпуса Тимошенко. Тот не наказал весь эшелон, а ограничился тем, что приказал «проветрить» студентов на гауптвахте. Всем дали по три дня ареста, а мне, как старшему, восемь дней.

Отбыв наказание, явился я во вторую роту, в которой оказались и все мои спутники по вагону. Начиналась для меня армейская жизнь, если только не считать ее началом гауптвахты. В первый же день, осматриваясь вокруг, я явственно ощутил, что в полку происходит что-то неладное. Раньше, в Ковровских лагерях, полк наш славился певучестью. Роты уходили на полевые учения с песнями и с песнями возвращались. А тут, под Кривым Рогом, песни замерли. Идет рота в строю, командир приказывает:

— Запевай!

Запевала, он в первом ряду первого взвода, послушно затянет полковую песню: Город спит привычкой барской А горнист, горнист трубит подъем. Гимн несется пролетарский, Все палатки ходуном.

Дальше должен следовать припев. Командир роты, высокий, не молодой уже человек, наверное из неудачников, иначе почему бы он был в таком возрасте всего лишь комроты? — поведет покатыми плечами и начнет:

Вознесенский полк бывалый Удалых бойцов стране кует, Всегда готовых в бой кровавый За трудящийся народ.

Командир роты поет, а мы молчим. Оглянется командир и безнадежно рукой махнет: — Отставить!

Точно такая же хмурица была заметна в облике всех рот. Песен не слышно, громких разговоров не ведется, споры не вспыхивают. Тимошенко, инспектировавший полк, кричал на командира полка:

— У вас не полк, а похоронная процессия.

Голодающая Украина наплывала на воинские лагеря и на Кривой Рог толпами изможденных людей. К дороге, ведущей в лагерь, подходили мужчины, женщины, девушки, дети. Они молча стояли. Стояли и смотрели. Их прогоняли, но они появлялись в другом месте. И опять — стояли и смотрели.

Политруки из сил выбивались, чтобы вывести бойцов из состояния мрачной, не прорывающейся наружу озлобленности. В нашей роте политруком был Остап Пилипенко, из крестьян Полтавщины. Мы между собой говорили, что в военно-политической школе ему дали добрую понюшку политической премудрости и он никак не мог от нее отчихаться. Большеголовый, лохматый и откровенно глуповатый, он появлялся перед нами

и начинал ежедневную политбеседу, или, как он говорил, «политзарядку». В это время газеты, словно в насмешку, заполняли свои страницы сообщениями о расцветающей колхозной жизни. На фоне того, что мы видели собственными глазами, находясь в центре умирающей от голода Украины, газетные сообщения наводили жуть своим циничным враньем. Однако же Пилипенко с превеликим усердием пересказывал нам сказки о колхозном «рае». Запустив пятерню в свою буйную шевелюру, он бегал перед нами, сидящими на земле кружком и, полузакрыв глаза, говорил без умолку. Начинал он с передовицы «Правды», но очень скоро доходил до колхозных тем. Только что начали коллективизацию, а уже какие результаты! — восклицал он, потрясая газетой.

Голодающие крестьяне и крестьянки стояли в стороне и молча смотрели на нас.

Наговорившись досыта о радостях, которые сулит коллективизация, Пилипенко вытирал пот с лица и тыкал грязноватым пальцем в сторону кого-нибудь из студентов. Разговор дальше развивался, приблизительно, так:

— Скажите, товарищ студент, раз вы ученый товарищ, об чем гениальном сказал нам товарищ Ленин в статье о кооперативном плане? Там, значит, вся коллективизация как на ладошке объяснена.

Если выбор падал на моего друга, Леонида Г., студента горного института, человека, как тогда казалось, органически чуждого военному делу, но во время Второй мировой войны вдруг вынырнувшего из неизвестности, получившего генеральское звание и занимающего теперь крупный пост в советской армии, то ответ на вопрос Пилипенко бывал таким:

— Товарищ Ленин об гениальном в своем кооперативном плане много говорит. Ленин учит, что если, допустим, индивидуальное крестьянское хозяйство общими силами и с энтузиазмом развалить, то тогда чересполосицы не будет, хат тоже не будет, а построятся общежития или там казармы для всех, колодец на всех один, бабы обед не будут готовить, а получают еду из полевой кухни, у крестьян скота не будет. И вообще ни черта нб будет. Политрук долго крутил головой, словно стараясь вобрать летающие в воздухе слова Леонида, а потом, с присущей ему хитрецей, говорил, что товарищ студент хоть и по-ученому, но правильно всё разъяснил. А бойцы повторяли между собою: «Одним словом, ни черта не будет».

Однажды в четвертой роте случилось «ЧП» — чрезвычайное происшествие. Обварился кашевар Полуектов, здоровенный детина из подмосковных огородников. Особый отдел заимел какое-то подозрение и нагрянул в роту, но псе, в том числе и пострадавший, в один голос заявили, что несчастье произошло по нечаянности и никто, кроме самого Полуектова, в нем не повинен.

Следствие прекратили. Не докопались на этот раз до правды армейские чекисты.

А всё произошло так: к полевой кухне, у которой орудовал Полуектов, рано утром подошла группа бойцов. После короткого, но ожесточенного спора, один из пришедших схватил черпак, зачерпнул в котле бурлящего супа и плеснул им на Полуектова, целясь в нижнюю часть живота. Кашевар взвыл дурным голосом и так его, воющего и изрыгающего проклятия, отвели к полковому врачу.

Нападение на кашевара произошло не без причины, Среди приходящих к лагерю голодающих крестьян и крестьянок было много девушек. А солдаты всякие бывают и не у каждого вид голодающих вызывал лишь скорбь. Люди бездумные среди россиян всегда найдутся, часто и неплохие это люди, но соблазну они поддаются с необычайной легкостью. Присутствие вокруг военного лагеря девушек, обезволенных голодом, не оставляло их равнодушными. Вот к таким любвеобильным сердцам принадлежал и кашевар Полуектов.

За пределами лагеря находилось обширное здание полковой бани и рядом — вещевой склад. Здесь по ночам стояли часовые. Однажды ночью Полуектов завлек в пустую баню девушку из табора голодающих крестьян, раскинувшегося в степи. Когда он покидал баню, постовые заметили, но задержать не смогли: вырвался из их рук кашевар. Отпустив девушку и сменившись из караула, часовые, распаленные злобой, явились к Полуектову.

Кашевар ответил на брань бранью и тогда пошел в ход черпак с раскаленным солдатским супом.

Дыхание голодающей Украины замораживало жизнь полка. В большинстве своем роты состояли из крестьян. Все мысли бойцов были прикованы к дому. С тоской и смятением присматривались крестьянские сыны к тому, что дала коллективизация украинским селам. Началось роение Солдатская дружба повсюду одинакова, верная это дружба Даже страх перед доносом не мог ее убить. Сексоты в ротах, надо думать, обязанности свои выполняли, но вряд ли при этом горели энтузиазмом. Тоже ведь люди Чаще по несчастному стечению обстоятельств и реже по подлости натуры или слабоволию в сексоты попадали Тех, что по подлости, распознавали сразу — подлая натура себя на каждом шагу проявит, а солдат, как известно, великий психолог и моментально определяет, каким миром мазан его сосед по взводу или по месту на нарах. Так что доносом не могло помешать солдатской дружбе, на крепкий узелок завязываемой В свободные часы бойцы разбредались по лагерю, собирались в группы под деревьями, уходили на стрелковый полигон Беседы между ними были значительными, хоть и немногословными:

— Видел? — спросит один другого.

— Не слепой И оба понимают, что речь идет о таборе голодающих, мимо которого рота проходила.

— Наделали делов, — скажет первый И опять оба понимают, что укор обращен к тем, кто крушит крестьянское хозяйство и вызвал этот страшный голод

— Политрук говорит, что партия и правительство помогут, — подумав скажет другой Оба с сомнением покачают головами.

— Мертвому компресс к заднице приложат, — скажет первый. И столько в этом невинном замечании обиды, что оба надолго замолкнут.

— А что делать? — спросит второй.

Первый сорвет былинку и долго мнет ее в зубах. Потом выплюнет и скажет-

— А я откуда знаю?

Поднимутся они и уйдут — сумрачные, полные сомнений — воины Красной армии.

Начало маневров откладывалось и было предписано проводить полевые учения.

Неожиданно вспыхнул интерес к этим учениям С утра отправлялись роты в леса, степи, на берега рек. Вслед за ними тянулись полевые кухни, дымящие на ходу трубами. А за кухнями валили толпы голодающих детей, женщин, мужчин Доползет кухня до назначенного ей места, а там рота уже поджидает. Подходят голодающие. Командиры и политруки стараются подальше отойти Человеческое и им не чуждо Кашевар разливает суп по котелкам, но котелки сразу же из солдатских рук переходят в детские грязные и жадные лапки. Солдатскими ложками орудуют бородатые и голодные мужики, торопятся за ними женщины. Какой-нибудь из бородачей скажет. «Армия-то народная и должна она народ кормить, раз беда такая». Кашевар доходит черпаком до дна. Конец. Быстро расплзается толпа в стороны Возвращаются командиры и политруки.

— Как обед — спросит командир роты и печальная усмешка скользнет по его лицу.

— На ять, товарищ комроты.

— На все сто

На разные лады дружно хвалят обед, а у большинства-то и пыль с губ супом не смыта Кашевар, тоже довольный, гонит свою четвероногую тягловую силу к дороге и пустая кухня грохочет черпаками, ложками и пустой посудинной

Вечером роты возвращаются Бойцы от усталости и голода еле переступают ногами по пыли Командир полка встречает роты и подзывает к себе командиров.

— Задание выполнено... За время учения, никаких происшествий не случилось, — рапортуют те

— Почему бойцы так утомлены? — спрашивает комполка. Но это только ритуал, так как он ведь знает, почему утомлены. И так же по ритуалу ответят командиры рот и взводов.

— Жарко было... Переход большой. Надо бы усиленный ужин бойцам.

Комполка в крик ударится:

— Что вы, хотите меня под суд загнать? И так во всем перерасход.

Но вызовет своего помощника по хозяйству:

— Надо было бы ужин покрепче устроить. Утомлены очень бойцы, — скажет он.

Хозяйственник с тоской станет возражать, но командир полка понизит голос:

— Павел Ильич, ведь ты понимаешь!

И Павел Ильич направится в каптерку и кашевары по его приказу разожгут дополнительные кухни, бросят в котлы куски мяса, засыпят крупу.

Однажды был объявлен приказ: дивизия, к которой принадлежал Иваново-Вознесенский полк, отправляется в Ковровский лагерь. Маневры отменены.

К железной дороге, на погрузку, прибыли вечером. Грузились на маленькой станции.

Забравшись в теплушки, растягивались на полу и быстро засыпали. Солдату бессонница уставом не предписана.

Ночью наш эшелон затарахтел колесами и тронулся в путь. Через полчаса вдруг резко затормозил. Разбуженный толчком и в душе кляня машиниста, я выглянул в дверь.

Невдалеке занимались огнем воинские склады, с которых снабжалась наша дивизия и еще две других. Вдоль эшелона забегали люди. Приказ: «Второй роте построиться».

Мы ускоренным шагом приближались к горящим складам. Еще не доходя до них, слышали крики и вопль людей. Звучали редкие пистолетные выстрелы.

Мимо нас в ночной тьме люди волокли за собой тележки, нагруженные ящиками, мешками, бочками. При нашем приближении они останавливались, но видя, что мы проходим, трогались дальше.

У складов бушевала толпа. Крестьяне окружающих сел и обитатели голодных таборов.

Подбегали всё новые люди. Они рвались в склады. Через окна летели мешки с сахаром, мукой, катились бочки с рыбой и маслом. Маленький взлохмаченный военный бегал вдоль сараев и стрелял вверх из пистолета. Несколько бойцов, охранявших склад, пытались удержать толпу, но пока они заграждали один вход, люди вливались в другой.

Завидев роту, маленький и лохматый, с пистолетом в руке, подбежал к нам с криком:

— Спасайте военное имущество. Роту привел Пилипенко. Он послушно приложил руку к своей вихрастой голове и почему-то с радостью крикнул:

— Есть, спасти имущество.

По его приказу, мы составили винтовки в козлы и ринулись в склад, еще только загорающийся. Вместе с бородатыми мужиками и истерически кричащими женщинами, мы выбрасывали через окна мешки, ящики, бочки. Только когда стало в складе нетерпимо жарко и языки пламени прорвались через потолок, мы покинули его.

Ничего спасенного нами от огня уже не было. Люди уволокли в свои села. По дорогам, ведущим от склада, двигались толпы. Уносили на плечах, в подолах платьев, увозили на телегах, санках и в колясках продовольствие.

Я с удивлением оглянулся вокруг. Тут оказался весь наш полк, да и из других полков много бойцов. Кое-как соорудив носилки, мы положили на них обгорелые останки двух наших товарищей и, походной колонной, двинулись к железной дороге. Вид у нас был довольно страшный. Какая-то старуха, отставшая от своих, при нашем приближении торопливо закрестилась и с неожиданной прытью скрылась в кустах. У бойцов в глазах появилось какое-то новое выражение — радостное и смелое, даже дерзкое. Словно впервые мы почувствовали нашу слитность и с радостью подчинились приказам общей для нас {всех,} неразделимой солдатской души.

— Запевай! — крикнул Пилипенко, потерявший в огне свой чуб и брови.

— Только веселее, — откликнулся командир роты, оказавшийся здесь же и теперь несущий забинтованную руку на перевязи. Каким-то образом прибил к нам кашевар Полуектов, тот самый, которому бойцы невидные места кипящим супом ошпарили. Славился он на весь полк своим веселым голосом, и лучшего запевалы, по общему

убеждению, в мире не могло быть. Его круглое, покрытое сажей и потом лицо было веселым и беззаботным.

Когда раздалась команда запевать, Полуектов крикнул:

— Я буду запевать!

Послышался смех и чей-то голос прогудел из задних рядов:

— Да куда тебе? Ошпарили тебя, как того борова.

— Об чем разговор? — изумился Полуектов. — Они же мне не горло ошпарили, а много ниже. Звонким своим голосом кашевар затынул:

Город спит привычкой барской, А горнист, горнист трубит подъем...

В положенном месте полторы сотни солдатских голосов дружно подхватили:

Вознесенский полк бывалый, Удалых бойцов стране кует. Всегда готовых в бой кровавый
За трудящийся народ!

На этот раз песня звучала в полный голос, подтверждая, что правы были те, которые называли Иваново-Вознесенский Пролетарский полком завязых горлопанов.

Через две недели, когда были мы уже в Ковровском лагере, пришел приказ: меня требовали в Москву. Командир полка был смущен: он не знал, что в его полку один из солдат второй роты — военный корреспондент, которого телеграммой вызывает в Москву «сам» Гамарник. Я понимал комполка. Видел ведь я не только то, что мне показали бы, явись я сюда в роли военного корреспондента, но и многое другое, что обыкновенно не показывается и о чем стараются не говорить.

Впрочем, командир полка напрасно беспокоился. Я ничего не мог написать, а если бы рискнул писать, то восторженно рассказал бы о солдатской душе, которую я и в себе тогда явственно ощутил.

Джунгли

На Кубани это было, в 1933-м под осень.

Если люди об этом смутном времени позабудут, то сама земля о нем напомнит. Не может быть такое предано забвению.

Через много лет, будучи уже за пределами России, рассказывал я о виденном мною тогда. Мои соотечественники, покинувшие родину на четверть века раньше меня, сокрушенно качали головами, но по их глазам я видел: сомневаются.

Потом я долго сидел в американской тюрьме в чудесном австрийском городе. Шел спор о моей голове.

— Отдайте! — требовали советские представители.

— Нет! — упорствовали американцы. — Представьте обвинительные материалы.

А по вечерам в мою тюремную камеру приходили американские офицеры и солдаты, всё больше из студентов. Владующие русским языком или думающие, что они владеют.

Хотели послушать странного русского, предпочитающего находиться в тюрьме, но не возвращаться на родину. Я рассказывал американцам о стране их советского союзника. Из-за этих вечерних собраний комендант тюрьмы, пожилой американский офицер, перевел меня в просторную камеру и прислал с солдатом стопку бумаги и пишущую машинку с русским шрифтом, чтобы я мог записывать рассказываемое.

По вечерам приходило в мою камеру человек пять-шесть. Последним появлялся комендант. Он ни слова не говорил по-русски, но старательно высиживал до конца.

Однажды я рассказал моим слушателям о виденном мною на Кубани в 1933 году. Слушали внимательно и видно было — заинтересованы чрезвычайно. А когда я кончил, один из слушателей — он сейчас здесь в Америке свои силы на литературном поприще пробует — воскликнул:

— Да ведь то, что вы рассказали, чудесный сюжет для фильма!

Все начали тогда обсуждать, как из всего этого можно было бы сделать фильм, а я сидел подавленный. Я рассказал им правду, а для них она показалась занимательным фильмовым сюжетом. В их умы эта правда не вмещалась.

Потом я стоял перед столом, покрытым зеленым сукном. На правом конце стола бесновался советский представитель — полковник Ш. Вдоль стола сидели американские офицеры. Среди зеленых мундиров выделялся китель морского офицера и скромный серый костюм молчаливого человека в штатском, американского дипломатического агента. Я молчал. За меня говорил американский военный следователь. Шаг за шагом он отбивал нападения советского представителя. Под ударами документированных утверждений рассыпались карточные домики советских построений о якобы совершенных мною смертных грехах. Когда из рук полковника Ш. были выбиты все его карты и он начал попросту ругаться и грозить свернуть мне и моим «покровителям» шею, председательствующий полковник с утомленным немолодым лицом, обратился ко мне: — Наше следствие опровергло советские обвинения, направленные против вас. Но нам не ясно, почему вы не хотите добровольно вернуться на родину?

Я начал отвечать. Рядом со мною очутились переводчики из тех, что навещали меня в тюрьме. Через пять минут после того, как я начал говорить, полковник Ш. кричал, что я веду здесь «лживую пропаганду». Через десять минут он требовал «прекратить оскорбление союзной державы». Через пятнадцать — кинулся на меня с кулаками, но наткнулся на несокрушимую стену, образованную широченной грудью гиганта МП (американского военного полицейского). Не пробив этой стены, советский представитель, откровенно сквернословя, запихнул в портфель свои бумаги и ринулся к выходу. Стоявший у двери американский солдат услужливо протянул ему плащ.

Я продолжал говорить. Прошел час — я говорил. Переводчики менялись.

Председательствующий подвинул мне стакан с водой, но я им не воспользовался. В каком-то месте я остановился. Надо было бы, по порядку, рассказать о том, что я видел на Кубани, но в то же время обожгла мысль: «Не поверят. Сюжет для кино». И я сделал скачок к войне, не рассказав о той правде, о которой, если люди о ней забудут, земля напомнит.

Почти через два часа я замолчал, удивленный тем, что меня ни разу не прервали. А еще через полчаса я слушал решение:

«В насильственной выдаче Советскому Союзу отказать».

Но прошел еще не один месяц, прежде чем я покинул тюрьму. Спор о моем черепе велся в каких-то других сферах.

Уже будучи на свободе, стал я встречать в эмигрантской прессе короткие и в большинстве своем случайные упоминания о событиях тех лет в тех именно местах, в которых берет начало правда, кажущаяся кинематографическим сюжетом.

Кусочки правды принесли с собой люди за пределы отчизны. Мой кусочек, быть может, немного крупнее других и я присоединю его к тем, что уже представлены на всеобщее суждение.

Однажды редактор позвал меня к себе в кабинет. Сказанное им не было для меня новостью. Лазарь Каганович уже много месяцев находился на Северном Кавказе в качестве чрезвычайного уполномоченного ЦК партии. Происходило что-то такое, о чем редакции следовало бы знать и потому надлежало мне испросить разрешение в Политуправлении Красной Армии и отправиться в войсковые части, расквартированные на Северном Кавказе.

Разрешение было дано, а на сборы много времени не требовалось: фотоаппарат через плечо, блокнот в карман, портфель с парой книг, полотенцем, мылом и бритвой — вот и все сборы.

Мой коллега из ТАСС'а предупредил меня, чтоб в Ростов я не ехал. При явке на регистрацию меня отправят назад в Москву, как незадолго до этого отправили его. Таков приказ Кагановича.

В связи с этим, предпринял я глубокий обходной маневр и вскоре оказался в районе Армавира. К моему удивлению, я не застал на месте кавалерийскую дивизию, которой командовал тогда Белов (во Второй мировой войне он с блеском водил рейдовый

кавалерийский корпус и долго держал под угрозой Смоленск, занятый немцами).

Интендантство, склады, мастерские на месте, а полков нет: ушли.

Выяснив, что полки взяли курс на Брюховецкую, помчался я вслед. Пользуясь моим мандатом, употребив всю силу убеждения, на какую только был способен, получил я из дивизионного гаража «ГАЗик», нагрузил его канистрами с бензином, и с солдатом-шофером по фамилии Козликов запылел по дорогам.

Бывают люди, у которых каждая черта мелка и незначительна. К таким принадлежал мой шофер. Интерес представляло лишь то, что он, как это редко бывает, сам сознавал свою неприметность.

— Я своих предков не одобряю из-за их мелочности, — сказал он мне по дороге. — Рост у всего нашего рода никудышный, а тут еще имя подобрали мелкое и прямо-таки унижительное. Ну, что стоило моим прародителям назваться Быковыми, Быкадоровыми, Бугаевыми или еще как, по-серьезному. Хоть бы. Козлов, а то ведь, черти, что придумали: Козликов. От такого имени мычать хочется.

Козликов смачно сплюнул в сторону и нажал на газ. Автомобиль завизжал, заскрежетал, зачихал и понесся по дороге, ежеминутно грозя развалиться.

К станции Брюховецкой мы подъехали перед вечером. Солнце опускалось в стороне и, как часто бывает в степях, казалось оно огромным, на кузнечном горне раскаленным шаром, грозящим упасть вниз. От такого пыльно-красного, не режущего глаз солнца людям становится не по себе и заползает в них тревога.

Сунулся было Козликов в одну улицу и остановился: заросла улица бурьяном и не проехать по ней. Повернул он направо и, пересекши кочковатое поле, на котором «ГАЗик» уподобился скачущей блохе, вкатил в другую улицу. Тот же результат: не проехать.

Козликов похлопал по рулю своими маленькими испачканными ручками и повернулся ко мне.

— Что будем делать?

К центру станции, где высилась церковь с голубыми куполами, можно было пробраться только объехав станицу вокруг. Предоставив Козликову вести автомобиль в объезд станицы, сам я отправился пешком.

Я знал, что на Дону и Кубани произошел разгром казачества, пытавшегося было сопротивляться коллективизации, а теперь мне предстояло видеть вблизи казачью станицу, на которую обрушилась карающая рука советской власти. Улица, по которой я шел, представляла собою ничто иное, как джунгли, никогда до этого мною невиданные. Бурьян рос выше человеческого роста. Из-за него не видно было домов. К ним надо было пробираться сквозь эти заросли. Казачьи жилища были безлюдными и мертвыми. Они смотрели на то, что когда-то было улицей, провалами выбитых окон. В домах пыль и запустение, брошенные тряпки, битая посуда. В одном доме была прикреплена к потолку детская «колыска» (люлька). В другом валялась кошка, превратившаяся в комок шерсти и даже смрада уже не издающая.

В третьем, четвертом, шестом доме — всё та же картина. Я завернул еще в один дом, но, войдя в него, быстро вышел наружу, изгнанный зловонием. В те полминуты, что я провел в нем, увидел я два человеческих трупа. На полу сидела старуха, опустив на грудь седую, взлохмаченную голову. Она привалилась спиной к лежанке, широко раскинула ноги.

Мертвые ее руки были скрещены на груди. Знать так она, не расцепив рук, отдала Богу душу. С лежанки свешивалась желтая старческая рука, опустившаяся на седую голову женщины. На лежанке виднелось тело старика в холстинной рубахе и в холстинных же штанах. Босые ступни ног высывались за край лежанки и видно было, что много походили по земле эти старые ноги. Лица старика я не мог рассмотреть, повернуто оно было к стенке.

К стыду своему, я должен признаться, что не на шутку напугался. Почему-то меня особенно потрясла рука, лежащая на мертвой голове старухи. Может быть последним усилием, опустил старик руку на голову мертвой подруги и так они оба застыли. Когда они

умерли — неделю, две недели назад? С тех пор, как карательные отряды подавили в станице попытку восстания, прошло три четверти года. Оставшиеся в живых — женщины, дети, инвалиды, — были погружены в эшелоны и увезены в дальние края. А эти старики как-то остались. Умерли они в родной хате, захлестнутой бурьянными джунглями по самую крышу.

Решив не заходить больше в дома, а поскорее добраться до живых людей, я углубился в джунгли, сквозь которые была протоптана тропинка. Я шел по ней, а с обеих сторон вздымались стены из буйной поросли сорняка. Изредка, где бурьян рос реже, можно было видеть дома, стоящие по сторонам улицы — пустые и безмолвные. Потом бурьянные стены скрывали всё и начинало казаться, что во всем мире есть только этот бурьян, разросшийся с силой невиданной.

Иллюзия, что нахожусь я в джунглях, настолько завладела мною, что когда в стороне послышались крадущиеся легкие шаги и бурьян заколыхался, я остановился с замершим сердцем. Не тигр ли?

На тропинку выскочила кошка. Самая обыкновенная серая кошка из тех, что в городах именуются Мурками, а в селах Кисами. Я обрадовался, что хоть какое-то живое существо повстречалось. Извлекши из кармана бутерброд, я предложил его кошке. Она не подходила. Я отступил на несколько шагов назад, оставив бутерброд на месте. В один прыжок кошка достигла его и молниеносно пожрала. Считая, что основа для знакомства создана, я направился к кошке, ласково зовя ее. Кошка грозно шипела, но с места не трогалась. Когда я протянул руку, чтобы погладить ее, она вдруг вздыбила шерсть на спине. Яростно куснула меня в ладонь и прыгнула в заросли.

Ладонь оказалась прокушенной довольно основательно. Кое-как перевязав руку носовым платком, двинулся я дальше. Но не успел сделать и двух десятков шагов, как со стороны донесся разъяренный крик, шипенье, удары. Крик определенно принадлежал человеческому существу. И в то же время он был страшным, замораживающим кровь. Я стал ломиться через заросли. Шум раздавался совсем рядом, но я еще ничего не видел. Наконец, я раздвинул последний вал бурьяна и застыл в оцепенении.

Увиденное мною было чудовищно и неправдоподобно; словно какая-то неведомая сила отбросила меня в доисторическую эпоху. Среди бурьянных джунглей росло здесь одинокое дерево: акация. Вокруг дерева бегал совершенно голый человек. Взлохмаченная копна грязных волос шевелилась при каждом его движении. Длинная растрепанная борода падала на волосатую грудь.

Передо мной был пещерный человек в том виде, в каком мы привыкли видеть его на рисунках в школьных учебниках.

Он делал то, что и положено делать пещерному человеку: гнался за хищниками. С десятка разномастных кошек металась вокруг дерева, под которым валялся мертвый голубь.

Человек отбивал для себя пищу. В правой руке он держал увесистую дубину. Валялись две кошки с разбитыми головами.

Человек кричал, но, слов было не разобрать.

Потрясенный виденным, бежал я через бурьянные джунгли, пока не столкнулся лицом к лицу с Козликовым. Обеспокоенный моим долгим отсутствием, он отправился на поиски. С десятка красноармейцев сопровождало его, все широкоскулые и косоглазые. Татары. Мы вернулись назад к акации, но там уже было пусто. Голый человек и яростно нападавшие на него кошки исчезли в бурьянных джунглях. Татарин, командир взвода, отбросил ногой мертвых кошек.

— Это Ерема их убила, — сказал он, с трудом справляясь с русской речью. — Такая безумная человека тут живет. Казака была, женка, детка имела. Женка, детка теперь на Сибирь пошла, а Ерема безумная стал, бурьян живет.

Другая часть станицы была заселена людьми. Бурьянных зарослей там не было. По приказу Кагановича, переведен в Брюховецкую колхоз из соседней области, однако же огромная казачья станица оказалась слишком просторной для небольшого колхоза, потому

и стоят нетронутыми бурьянные джунгли на одной ее половине. Один только живой человек обитает там — безумный Ерема. Последний обитатель станицы, имевшей до коллективизации двадцать тысяч жителей.

На постое в Брюховецкой стояли два эскадрона из беловской дивизии и отряд внутренних войск ГПУ — полусотня человек. В то время чисто национальных формирований уже не было. Гамарник, колдующий над созданием межнациональной войсковой смеси, добился их разжижения инородным элементом, — поэтому эскадроны из четырех взводов каждый, имели по три татарских взвода и по одному, укомплектованному русскими. Командовал кавдивизионом (тогда еще существовали кое-где кавдивизионы, соответствующие пехотным батальонам) молодецкато вида командир, если не ошибаюсь, его фамилия была Тетерин. Хотя, может быть, Глухарев или еще что-нибудь в этом птичьем роде. Мне всегда было трудно запомнить имена и даты.

Тетерин (условимся его так называть) встретил меня укоризненным покачиванием головы. Из его слов я понял, что совершил почти недопустимую вольность, пройдя через бурьянные джунгли. Он боялся ответственности за меня, случись со мной беда. Я успокоил его, сказав, что ответственность за малозначительного корреспондента не была бы слишком тяжелой.

Отрядом ГПУ командовал какой-то Перепетуй, как сообщил мне Тетерин. Он предупредил меня, что Перепетуй обязательно пожелает меня видеть. Действительно, не прошло и получаса, а за мной уже явился белобрысый молодец в фуражке с зеленым околышем. Часто шмыгая носом, он сообщил, что Перепетуй приказывает товарищу, прибывшему в станицу, немедленно явиться к нему.

За те полчаса, что разговаривал я с Тетериным, узнал я от него о лютой вражде между ним и Перепету-ем. Хоть жили они в одной станице, но друг друга старались не замечать. Не сговариваясь, они провели через жилую часть станицы незримую демаркационную линию и ни тот, ни другой за линию — ни ногой.

Тетерин посоветовал мне идти к этому... Он так перефасонил фамилию Перепетуя, что совершенно невозможно привести ее в новом звучании.

Пошли. Когда отделились шагов на двадцать от дома, в котором помещался Тетерин, белобрысый мой спутник вдруг выронил из рук винтовку, присел на корточки и залился визгливым хохотом. Удивленный, я остановился и мне довольно долго пришлось ждать, пока этот весельчак придет в себя. Он хохотал над тем, как ловко Тетерин перекрутил фамилию его командира. Смачная острота Тетерина дошла до его сознания с запозданием. Нахохотавшись, белобрысый поднял с земли винтовку и мы пошли дальше. Теперь он необыкновенно часто шмыгал носом, словно хохот нарушил какой-то обязательный ритм и он ускоренным темпом наверстывал упущенное.

Перепетуй встретил меня, чинно восседая в просторной хате у стола, с разложенными на нем бумагами. Это был ражий детина. При моем входе он слегка приподнял со скамьи свое необозримое туловище, но с подозрительной поспешностью опустил его назад. Грозный чекист был явно пьян и не верил в силу своих ног. Я с удивлением рассматривал это странное сооружение природы: не часто увидишь такое! Маленький, приплюснутый сверху череп переходил в узкий лоб, а ниже вздымались бугры налитых бурачным соком щек, между которыми лиловой грушей торчал нос.

«И чем тебя такого чертолома, вскормили?» — хотелось спросить.

Рядом с Перепетуем сидел молодой человек с тонкими чертами порочного лица. Я знал уже эту новую разновидность чекистов. Чекист — энтузиаст. Не совсем лишен интеллигентности, может быть даже в ВУЗ-е учился, а потом на работу «в органы» напросился и теперь изучает опыт старого чекиста Перепетуя, который в человеке видит, прежде всего, затылок, куда можно всадить пулю.

Предстояла процедура мне уже известная. Не ожидая вопросов, я протянул Перепету* мой мандат. Он уперся в него свинцовыми глазами и долго рассматривал. Потом приказал денщику (наглый парнишка лет двадцати, поступь вороватой кошки) подать очки.

Водрузив на сизую дулю носа огромные роговые очки, опять присосался Перепетуй глазами к мандату. И опять, вероятно, ничего не понял в нем, не могли очки помочь его пьяным глазам! Однако, вид держал Перепетуй строго и, протягивая мандат помощнику, буркнул: «Кажется в порядке». Потом закричал на меня хриплым басом:

— Ты что ж это, растакую твою мать, приехал в станицу, а на регистрацию не являешься? Я «взыграл», как часто это со мной случалось, и ответил Перепетуя парой фраз из лексикона одесских портовых грузчиков. По тогдашним моим понятиям, этот лексикон весьма полезен при встречах с такими, как Перепетуй, которыми Русь никогда не оскудевала. Результат получился неожиданный. Перепетуй вдруг преисполнился уважением ко мне и протянул свою пудовую лапищу:

— Здорово, браток, — прогудел он.

В это время помощник Перепетуя сообщил ему новость, состоящую в том, что мой мандат подписан самим Ворошиловым, а вторая подпись Гамарника. Перепетуй, до этого рассматривавший мандат в течение десяти минут, удивился и опять потянул его к себе. Очки он позабыл водрузить на нос. С большим трудом он узрел внизу подпись Ворошилова, но это и всё, на что хватило его зрительной силы.

— Так ты, значит, фураж для армии приехал собирать? — спросил он меня.

Затуманенный мозг Перепетуя рождал фантастические предположения. Помощник пояснил ему, что я не фуражир, а корреспондент. Это окончательно привело его в умиление и он, одним движением отодвинув в сторону бумаги, крикнул:

— Гришка, подавай на стол. Там у меня под кроватью литра очищенной, волоки ее!

От ужина я отказался и имел неосторожность сказать, что обещал ужинать с Тетериным. Перепетуй, недовольно сопя, строго сказал мне.

— Являться каждый день на регистрацию к моему помощнику. Понятно?

И добавил, обращаясь к тому:

— Запроси-ка Ростов, может у него поддельный мандат...

Я ушел. До незримой демаркационной линии меня провожал помощник Перепетуя, не проронивший ни одного слова и всё же вызвавший во мне жгучую ненависть, которую даже Перепетуй не вызвал.

Надо было бы мне ехать дальше, вдогонку за дивизией Белова, но со мной всю мою жизнь бывало так, что приковывался я к месту, где что-то поражало мое воображение. В Брюховецкой я всё время ощущал близость Еремы, доисторического человека, занесенного в XX век. Станица была полна рассказами о нем. Ерема до коллективизации состоял председателем стансовета, был коммунистом, а когда началась коллективизация, порвал он партийный билет на виду у станичников и примкнул к тем, что решили оружием свои дома от советской власти защитить. Большинство их погибло в стычке с отрядом Перепетуя и с войсками, обложившими восставшую станицу, но Ереме удалось скрыться в малярийных трущобах, откуда каждый год налетают на Кубань тучи комаров. Как он перезимовал — никто не знал. В середине лета появился он среди бурьянных зарослей. К дому тянуло его. Но в доме уже никого из близких Ереме не было, а поселились переселенцы. Однажды ночью поджег Ерема бывший свой дом и пока люди спасали из огня имущество, он прыгал невдалеке и издавал радостный вопль. При приближении Перепетуя с его людьми Ерема исчез в бурьянных джунглях и сколько его не искали там — не нашли.

С тех пор переселенцы, особенно же солдаты из эскадронов Тетерина, с великим любопытством следили за единоборством Еремы с Перепетуем. Судьбе было угодно, чтоб это единоборство завершилось при мне.

Отряд Перепетуя и солдаты Тетерина регулярно «прочесывали» бурьянные джунгли. Пробовали было косить их, да только земля снова с силой страшной рожала сорняки и гнала их к небу. Выкосят одну улицу, переходят в другую, и пока косят эту, первая опять заросла. Надо было бы огнем сжечь, но тогда сгорят все пустующие дома. Да и другую часть станицы, где люди живут, не легко было бы от огня спасти.

Потому-то и ограничивались «прочесыванием» джунглей.

Однако, так как вражда существовала не только между командирами, но и между бойцами, то операция «прочесывания» производилась не соединенными силами, а по отдельности.

Тетеринские красноармейцы при одном виде Перепетуевских молодцов приходили в ярость. И было отчего. Отряд Перепетуя состоял из бывших уголовников, а вы знаете, что значит, когда уголовнику дают оружие и приказывают: действуй!? До самого Ростова доходили слухи о недоброй лихости Перепетуевского отряда. Целым взводом нападали перепетуевцы на редкие дома уцелевших казаков, грабили, насиловали женщин. Люди бежали к Тетерину, посылал тот своих татар и русских, чтоб утихомирить разбушевавшихся урок, но те во-время смывались. Писал Тетерин рапорты, а Перепетуя отписывал по начальству: «Клевета и вылазка классового врага».

Тетеринский дивизион и Перепетуевский отряд представляли два разных и непримиримых мира. В эскадронах были крестьянские сыны, хоть и не одной крови, но одинаковыми нитями к земле привязанные и потому болезненно пережившие насильственную коллективизацию. Картина разоренной Кубани не могла оставить их равнодушными. Их поставили в опустошенной станице, так как власти боялись нового восстания, и они послушно несли охрану. Вероятно, если бы, не дай Бог, случилось восстание, они выполнили бы приказ и подавили его. Сделали бы это не в силу долга, а по чувству необходимости, от которой некуда уйти.

Другое дело Перепетуевский отряд. В него были подобраны парни бывалые, с «мокрым делом» хорошо знакомые. Эти с необычайной легкостью переступали грань необходимого, чужая жизнь, да и своя, для них — «копейка». Им совершенно наплевать, какой общественный смысл имеет их жестокая деятельность, важно, что у них в руках оружие. Для них эта жизнь — сплошная «лафа». Весь мир этой уголовной шпане представляется враждебным и потому она, спаянная профессиональной круговой порукой, с наслаждением пользовалась данным ей оружием.

Как могли примириться эти два мира, один, вырастающий из глубинных народных корней, и другой — ржавчина, разъедающая металл?

В один из дней моего пребывания в станице Перепетуя предпринял очередное «прочесывание» джунглей. Он прислал к Тетерину своего помощника с требованием пройти через заросли второй линией. Это не имело большого смысла, но, всё равно, люди томились бездельем и Тетерин дал согласие, отрядив один эскадрон в пешем строю. Перепетуевский отряд рассыпался цепью и двинулся в заросли. Нельзя сказать, что при этом специальной целью ставилась поимка Еремы, главным был страх, что по этим бурьянным джунглям подойдут повстанцы, их много в степи бродило тогда. Но и поимка Еремы входила в круг задач, особенно с тел пор, когда перепившийся Перепетуя поклялся «бородой Маркса и бородавкой Энгельса» (была ли у Энгельса бородавка?), что он Ерему поймает и в землю гвоздем вгонит.

Вслед за Перепетуевским отрядом двинулись бойцы Тетерина, с которыми отправился и я. Впереди, в паре сотен метров, раздавались крики и частые выстрелы. Это перепетуевцы забавлялись, стреляя по одичавшим кошкам, расплодившимся здесь во множестве.

Продираться через джунгли было трудно. Грязно-зеленые, толщиной в перепетуевскую руку, стебли бурьяна росли густо, к тому же между ними ползучий сорняк как бы сетку сплел из крепких своих стеблей. Солдаты взмахивали саперными лопаточками, подрубая бурьян, плечом рвали сетку ползуна. Каждый шаг требовал усилия. Непривычный к передвижению в этом зеленом чертополохе, я отстал. Слышал совсем близко от себя голоса бойцов — татар, но угнаться уже не мог.

И вдруг голоса смолкли, что-то случилось. Вместо них послышался впереди хрип, словно стадо запаленных бегом буйволов с шумом переводило дыхание. Донесся приглушенный вскрик, скорее звериный, чем человеческий. Я изо всей силы заработал локтями, ногами, плечами, чтобы протиснуться вперед и рвался я с таким самозабвением, что, не заметив, споткнулся о растянувшегося в траве молодого татарина.

— Ш-ш-ш, — зашикал он, призывая меня к тишине.

Я опустился на землю рядом с ним. Внизу, у корней, бурьян не так сплелся и стало видно, что вправо и влево от нас лежат бойцы из Тетеринского эскадрона. Их взгляды были прикованы к тому, что происходило впереди. Там из земли торчал большой серый камень. По какому-то странному капризу бурьянная поросль обежала камень и образовала маленькую полянку, шагов тридцать с одного края до другого. Камень оказался в центре полянки, а под ним темнело отверстие ямы. У самой ямы лежал человек в форме ГПУ. По тому, как он лежал, было видно — мертв: так только мертвые к земле прижимаются. В десяти шагах от камня, с тяжелым урчанием, катались голый Ерема и Перепетуй. Ерема обхватил Перепетуя своими коричневыми руками. Это объятие было не из легких. Перепетуй хрипел, не в силах закричать. В то же время он душил Ерему за горло, погрузив пальцы в дикую поросль, венчающую низ Ереминого лица. Я потерял представление о времени. Думая после о случившемся, я понимал, что вся эта сцена могла занять одну-две, может быть пять минут. Но тогда я был вне времени и мне казалось, что борьба между Еремой и Перепетуем началась бесконечно давно. Ерема издавал не хрип, а какие-то странные звуки. Может быть, такие звуки издавали наши далекие предки после того, как слезли они с дерева, и с четверенок поднялись на две конечности. Во мне пробудилось какое-то странное ощущение, которое я не могу передать словами. Не то, что я почувствовал себя обросшим шерстью, но нечто похожее на это. Оно поднималось откуда-то с неведомых глубин моего существа и порождало во мне не страх, а какую-то радость и желание издать победный крик. При этом мне почему-то казалось, что голый Ерема из моего человеческого рода, а хрипящий Перепетуй из рода враждебных нам с Еремой четвероногих.

Перепетуй изловчился и изо всей силы ударил коленкой Ерему. Взвыв от боли, Ерема расцепил руки и схватился на ноги. Торопливо расстегивая кобуру пистолета, вслед поднимался Перепетуй. Но извлечь оружия он не успел, так как Ерема опять набросился на него и с бешеной яростью стал бить в лицо. Они тяжело переступали, рычали. Я не знал, не знаю и поныне, был ли безумным Ерема, но поступал он разумно. Медленно, шаг за шагом, оттеснял он Перепетуя к камню. Там валялась огромная дубина Еремы и он хотел получить ее в руки. Вероятно, этой дубиной был сражен и тот, что лежал мертвым у ямы.

Перепетуй понял замысел Еремы и отчаянно сопротивлялся. И всё-таки они медленно приближались к дубине, которая могла одним ударом решить их спор. Когда до камня оставалось два-три шага, Ерема, издав торжествующий вопль, освободил Перепетуя, схватил с земли дубину и занес ее над головой, как, вероятно, заносил ее над головой доисторический человек. Но Перепетуй успел извлечь пистолет и дважды выстрелил. Ерема закачался, но дубину всё же на голову Перепетуя обрушил. Тот грохнулся на землю, а рядом с ним медленно осел Ерема, судорожным движением подтянул голые колени к подбородку, потом распрямил их и затих.

Перепетуй был жив. Он повернулся на бок и стал медленно подниматься.

Дубина Еремы не сразила его на смерть. Ослабили силу удара пули, а может быть череп Перепетуя был повышенной прочности и выдержал удар. Для чекиста нет ничего невозможного.

Перепетуй стоял на четвереньках и собирался с силами, чтобы стать на ноги. Он не видел сотен глаз, устремленных к нему из зарослей. Это были чужие, недобрые глаза. Вероятно и мои глаза были наполнены этим недобрым. Бойцов из перепетуевского отряда не было видно. Они ушли далеко вперед и пистолетные выстрелы Перепетуя их не могли привлечь. Еще миг и Перепетуй поднялся бы на ноги, но в это время из зарослей выбежало человек пять бойцов. Я не успел рассмотреть их лиц, но были там татарские лица и русские. И потом среди них был... Или мне это только показалось? Бойцы приближались к Перепетую с занесенными над головами прикладами винтовок. Чекист стоял на четвереньках и разъяренно хрипел навстречу. Я на миг закрыл глаза. Донеслись глухие

удары. Когда я снова посмотрел, Перепетуй лежал, корчась в агонии, а в заросли бурьяна убегали бойцы.

Командир взвода, тот самый татарин, что вышел ко мне навстречу с Козликовым, привалился к самому моему плечу:

— Убила Ерема Перепетуя, убила! — шептал он мне в ухо. Я посмотрел в его коричневые, напряженные глаза, увидел в них ожидание, вопрос — и сказал, почему-то тоже шопотом: — Ерема безумным был, вот и убил Перепетуя.

На другой день хоронили Перепетуя и солдата из его отряда, убитых Еремой. Самолет доставил из Ростова краевое начальство, а другой — оркестр. В центре станицы была вырыта могила. Перепетуй лежал в красном гробу, лиловая груша носа была печально поднята к небу. Говорились речи, играл оркестр. Я сфотографировал на память мертвого Перепетуя.

Затесавшись в толпу, я стоял, не вслушиваясь в речи ораторов. Мало говорилось о заслугах Перепетуя, зато угрозы расправиться с классовым врагом сыпались беспрерывно. Это было привычно и не об этом думал я. Рядом со мной оказался Козликов. Его маленькое, с мелкими чертами лицо было на этот раз бледнее обычного. Неужели я не ошибся и Козликов был среди тех, что выбежали на поляну с поднятыми над головами прикладами? Впрочем, об этом не надо думать. Перепетуй убит Еремой, это все, что нужно твердо знать.

В два ряда в конном строю стояли эскадроны Тетерина. Я окинул взглядом сосредоточенные лица бойцов. Ближе ко мне был тот эскадрон, который был послан Тетериным на «прочесывание» джунглей. На высоком, поджаром коне комвзвода, смотревший на меня там, в бурьяне, коричневыми, наполненными ожиданием глазами. За ним — ряд солдатских лиц. И ни в одном лице я не вижу волнения. Ерема убил Перепетуя, что можно тут поделывать и о чем думать?

И всё-таки я не могу совсем уверовать в то, что Перепетуя убил Ерема. Я видел это. И я почувствовал в тот миг биение во мне самой коллективной души, приемлющей убийство Перепетуя. Кем оно совершено? Теми пятью, что бежали с поднятыми над головами прикладами, или нами всеми, смотревшими из зарослей и не сделавшими ни одного движения, чтобы остановить убийство?

Но не это главное. Главным является: почему убит Перепетуй? Есть ли это политическое убийство? И я твердо ответил: нет! Такие люди, как Перепетуй, страшны, а когда они имеют оружие и власть, то они страшны вдвойне. От Перепетуев великое зло на свете происходит. Тетеринские кавалеристы видели это зло. Но могли ли они провести прямую линию от Перепетуя к власти? Вряд ли. Перепетуй оставался для них сам собой, и, ненавидя его всей душой, люди не задумывались над тем, что он — лишь отраженный облик власти. Нет, нет! Об этом не задумывались, как не задумывался тогда и я.

В эскадроне было с десяток коммунистов. Вероятно, были и секретные осведомители. Но они, вольно или невольно, стали участниками убийства Перепетуя. Только упрощенное представление о душе человеческой могло бы сделать обязательным привычную картину: после убийства Перепетуя коммунисты сообщают о нем в свои парторганизации, сексоты пишут доносы, начинают аресты, гибнет Тетерин, который, ничего и не знал о случившемся, за одного Перепетуя, похожего на бурьян, расстреливают половину эскадрона и — пролетарская справедливость торжествует.

Не спорю, бывает и так, часто бывает. Но только в данном случае этого не было. Люди угрюмо молчали. Секретные осведомители, если они были среди бойцов, молчали. Коммунисты молчали. С ними молчал и военный корреспондент, точно запомнивший, что Перепетуя убил безумный Ерема.

Вот и воздвиг я маленький, скромный памятник Ереме, о котором часто и подолгу думал. Знаю, многие отнесутся к рассказанному скептически. Ведь так, в действительности, трудно сочетать XX век с его автомобилями, атомными бомбами, холодильниками, автоматическими зажигалками — и голого, страшного Ерему, бредущего по голой

страшной земле. Мне и самому теперь кажется, что Ерема — лишь плод моей фантазии и требуется сделать над собой усилие, чтобы вернуть себя на двадцать лет назад и увидеть в страшной реальности тех дней вполне реального Ерему.

Два портрета

С. М. Буденный

Во Второй мировой войне сильно изменился облик офицерского состава Красной армии. Пошел в гору молодняк. Безвестные майоры и капитаны стали генералами. Полковников Рокоссовского и Малиновского война сделала маршалами.

Новые цепки и напористы. Они лучше обучены, чем старые. Кое-что почерпнули в школах-девятилетках. Прошли военные училища и военные академии. Лучше вышколены, больше уверены в себе и тоньше ощущают вкус властвования над людьми.

Но в то же время в новых живет дух старых революционных полководцев. Да и сами эти полководцы — поседевшие, обрюзгшие, истомленные жизнью — со сцены не уходят. В молодом армейском офицерстве сочетается бездумность и внутренняя опустошенность старшего поколения с жадной и неразбирающейся в средствах приспособляемостью, привитой новому поколению эпохой вырождающегося коммунизма. «Новые» продолжили традиции «старых» и окончательно низвели военное искусство до немудреного правила: «Бей». Маршал Жуков из «старых», но его тактика приемлется всей армией. Когда, во время Второй мировой войны, надо было преодолеть минные поля, Жуков посылал вперед пехоту. Бойцы взрывались на минах. Человеческими телами расчищали путь через минные поля для танков. Танков было мало и ими дорожили, а людьми на Руси, особенно на советской, дорожить никогда не умели и не хотели.

Дух рационализированной чингисхановщины. В советской армии он не умрет, покуда существует эта армия. Поэтому из плеяды современных полководцев мы выберем двух, в облике которых дух чингисхановщины проявляется в наиболее открытой и выразительной форме.

И первым из них будет Семен Михайлович Буденный, маршал Советского Союза, кавалер множества орденов, лихой рубака в прошлом и лихой гуляка в настоящем, бывший любимец Сталина и, вероятно, покровительствуемый теперь Маленковым.

Представьте себе человека среднего роста с объемистым брюшком, явно обозначившимся под дорогим тонкошерстным кителем. В сочетании с брюшком грудь кажется впалой. По груди — россыпь орденов и медалей. В обычное время эта россыпь исчезает и заменяется колодками орденских ленточек в три ряда. У человека непомерно низкий и узкий лоб, кустистые брови. Глаза коричневатые, почти черные. Длинноватый нос. Рот прикрывается усами, порядком поредевшими к старости. Усы, брови, волосы — иссиня черные. Иногда они приобретают фиолетовый оттенок: это когда парикмахер перестарается.

Таков маршал Буденный.

Живет этот маршал остатками былой своей славы, выпавшей ему в годы гражданской войны и ничем с тех пор не приумноженной. Напоминает он будяк. Возвышается такой будяк над скромной степной травой, царственно покачивает лиловую своей головой, а никому-то он, будяк этот, не нужен. Набредет овечья отара на то место, где растет будяк, объест траву вокруг, но на будяк овцы только с презрением покосятся: живи, бесполезный, красуйся.

Вот так точно и Буденный. Фуражка с золотым шитьем, воротник кителя накладным золотом изукрашен, на шее бриллиантовая маршальская звезда, на груди ордена, а посмотришь на всё это великолепие и невольно о степном будяке вспомнишь. Голова у будяка алая и пушистая, ствол сочный и толстый, земными соками перекормленный.

Из всех маршалов Буденного мне довелось узнать ближе и лучше других. Маршалы народ величественный и малозначительному журналисту до них не добраться. Но Буденный был иным. Его «будячная» натура делала его бесполезным в любом ведомстве, куда его посылали, и потому он занимался чем угодно, но только не делами.

Буденный — человек войны. Не современной войны, когда всё решается машинами и страшными смертоносными снарядами, перебрасываемыми на огромные расстояния, а той войны, которая канула в вечность и олицетворялась в людях, в их личной доблести и бесстрашии. Еще в императорской армии, будучи вахмистром, Буденный обратил на себя внимание своею лихостью. Это качество осталось при нем и тогда, когда революция вытолкнула его на поверхность и сделала командиром красной конницы. К концу гражданской войны стал Буденный одним из самых популярных революционных полководцев, кумиром молодежи, жившей тогда взволнованным предчувствием наступающего царства коммунизма с его великими социальными свершениями. Крепко возлюбил Буденный славу и вряд ли мог бы жить в неизвестности.

После гражданской войны немногим удалось сохранить приобретенную ими славу, но Буденный сохранил и хоть потускнела она, но всё-таки старому маршалу не придется закончить свой жизненный путь в неизвестности. Поистине, Буденный — баловень судьбы, иначе как бы мог он удержаться на верху военной иерархии! После гражданской войны на одних лишь прошлых заслугах жить было не легко. Для высоких постов требовалась хоть элементарная образованность, Буденный же знаниями никогда перегружен не был.

И всё-таки он устоял.

Может быть, его бездумность способствовала этому даже больше, чем мог бы способствовать подлинный талант, имей он его. Блестящая военная карьера Буденного зиждется не на талантах, не на успехах, не на труде, а на простой удачливости. И самой большой, пожалуй, удачей Буденного было то, что Сталин увидел в Буденном законченный образец бездумного служения, нерассуждающей покорности. Таким Сталин неизменно покровительствовал.

После гражданской войны стал Буденный чем-то вроде свадебного генерала, так как никто, даже Сталин, не мог определить, где действительное его место. Усамого полководца можно было видеть на самых различных постах в военных управлениях. Однажды почему-то решили, что Буденный, поскольку он командовал конной армией, должен уметь управлять коневодством и послали его на пост начальника коневодческого управления Наркомата земледелия. Но вскоре и оттуда его пришлось убрать. Об этом эпизоде Буденный рассказывал журналистам в московском доме печати.

На новом посту Буденному опять не повезло. Кони, словно на зло, сталидохнуть в непомерном числе. Это было время становления колхозов, страшное не только для людей, но и для сельскохозяйственного скота.

«Коней в колхозах ни черта не кормили, с чего бы они жили» — рассказывал Буденный.

Однажды Сталин вызвал его к себе. Ну, думаю, держись, готовь чуб, — повествовал он. — Прихожу и вводят раба божьего Семена к Сталину. А у меня в ногах сплошная неуверенность. Иосиф Виссарионович этак с подвохом меня спрашивает:

«Так ты, Семен, в конях толк понимаешь?» — Понимаю — говорю. — С детства к этому приучен. — «А лошади-тодохнут» — тихо говорит Сталин.

— А чорт их знает, — говорю, — чего онидохнут.

Самые подробные инструкции ка места спустили, всё в них расписали — сколько сена и овса давать, как поить и прочее.

«А лошади всё-такидохнут, — опять говорит Сталин. — Ты им напрасно инструкции шлешь. Они в письменности не разбираются, им корм требуется. Сколько у тебя Заготсено корма для скота имеет? Сколько на севере? На юге? На западе?»

Вижу, гневается Иосиф Виссарионович, и взмолился я тут: отпустите, — говорю, — меня назад в армию. Сил моих нет. В управлении больше двух сотен сотрудников и все пишут-пишут-пишут. Целый день только и делаю, что подписываю. Сам понимаю, что коней инструкциями не накормишь, да только где же я сена возьму, если на местах не заготовляют!

Послушал меня Сталин и говорит: «Да, надо тебя пожалеть. И коней пожалеть». Позвонил Ворошилову и вернулся я в армию.

Из всех советских полководцев, если не считать Ворошилова, Буденный был наиболее заметным. Хитроватый казак весьма ревниво берег свою популярность. От природы он не речист, но вряд ли кто-нибудь другой может сравниться с ним по количеству произнесенных речей. Он выступал перед студентами московских высших учебных заведений и перед детьми во дворце пионеров. Его усатое лицо появлялось во вновь открытом родильном доме для фабричных работниц и на московском ипподроме перед началом скачек. Он неизменный оратор на съездах в Кремле.

Меня косноязычная словоохотливость Буденного волновала лишь потому, что она в некоторой мере отравляла мне жизнь. Перед каждым выступлением своего шефа адъютант Буденного разыскивал меня и предупреждал:

— Приказано вам быть к семи ноль-ноль. Приходилось тащиться куда-нибудь на окраину города, где Буденный произносил очередную свою речь.

Выждав ее окончание, я возвращался в редакцию. Поздно ночью раздавался телефонный звонок. Я ждал его. Знал, что Буденный не успокоится, пока не узнает, будет ли написано в газете о его выступлении. Происходил приблизительно такой разговор:

— Ну, как понравилась тебе моя речь? — спрашивал Буденный.

— Хорошая речь.

— Ты ее всю записал?

— Всю (обычно я ничего не записывал).

— На какой странице завтра будет напечатано?

— Не будет печататься. Редактор говорит, что вам не стоило бы выступать на таком маловажном собрании.

— Слушай, скажи твоему редактору, что это не его дело указывать мне. Если завтра речь напечатана не будет, я перенесу этот вопрос в ЦК партии. Понятно?

Буденный с грохотом бросал трубку на рычаг, а я плелся к редактору и после слезных просьб тот соглашался переверстать четвертую полосу, чтобы выгадать тридцать строк для сообщения о речи Буденного.

В публичных своих выступлениях Буденный почти всегда разыгрывал роль старого рубаки. На всю жизнь разучил он эту роль и уже от нее не отступал. Долго и привычно говорил о лошадях. Это было частью заученной роли. Выступая однажды на совещании по вопросам физиологии при Академии Наук СССР, поучал академиков, как надо чистить, кормить и поить коней и требовал «придумать» такую конюшню, чтобы коням в ней было «светло, тепло и весело».

В печати очень часто появлялись речи Буденного, вполне грамотные и даже не лишенные блеска. Косноязычие Буденного этому не могло помешать, так как в советской пропаганде необычайно разработана технология «причесывания» речей. Вот как, например, родилась речь Буденного о развитии животноводства, которая, вероятно, войдет в посмертное издание произведений маршала.

Во время съездов в Кремле создается специальная группа сотрудников, целью которой является обработка стенограмм. В 1934 году в такую группу был привлечен и я. Как новичку в такого рода делах, мои товарищи подсовывали мне самые тяжелые стенограммы. Однажды положили на стол запись речи Буденного. Она занимала с десяток страниц. Прочитал я стенограмму один раз, прочитал второй, но ничего не понял. Что-то невнятное говорилось о лошадях и о том, что врага будем бить по-сталински. Дальше Буденный делал экскурс в прошлое, но так путано, что разобраться в этом не было никакой возможности.

В перерыве между заседаниями я обходил знакомых делегатов съезда, но не нашел ни одного, который мог бы связно передать содержание речи Буденного. Ничего не оставалось, как написать эту речь заново. Вызванный из Наркомзема специалист по

животноводству и я засели за работу. Через два часа дело было сделано. Но чтобы завершить его, надо было получить подпись на «стенограмме».

Вечером я отправился к Буденному и был введен в его обширный кабинет. Тяжелая кожаная мебель. Огромный письменный стол. Образцовый порядок на его блестящей поверхности наводил на мысль, что этим столом для работы не пользуются.

Большой шкаф, заполненный книгами с неизменным полным собранием сочинений Ленина в черном тисненном переплете. Из соседней комнаты доносились громкие голоса. Свободные вечера Буденный заполнял шумными пирушками с друзьями.

Буденный вошел в расстегнутом кителе и с некоторым трудом уразумел причину моего появления. Он погрузился в глубокое кресло, скрестил руки на груди и тоном грустного смирения приказал читать. После нашей обработки речь Буденного занимала четыре страницы и на чтение ушло четверть часа. Кончив, я перевел глаза на Буденного. Он мирно дремал, опустив голову на грудь. Обойдя вокруг стола, я потряс его за плечо. Он очнулся и растерянно уставился на меня. Потом припомнил и потянулся за «стенограммой».

— Ты, я вижу, ничего не исправил, — проговорил он хрипловатым голосом. — Хорошую речугу я загнул?

Я заверил Буденного, что речь вполне хорошая и, дописав по его желанию слова: «Великому Сталину ура!», получил размашистую его подпись.

Буденный всегда развивает кипучую деятельность, но это деятельность особого рода, от которой никто ничего не ждет. Деловой потенциал маршала равен нулю, Долгие годы он занимал пост генерал-инспектора кавалерии Красной армии. Мирное и тихое сидение его в инспекции кавалерии, в которой всеми делами вершил молодой и талантливый С. Ветроградский, впоследствии погибший по делу Тухачевского, разнообразилось частым произнесением речей и еще более частыми буйными пирушками с друзьями.

Буденный всегда был ясен, понятен и скучен. Но однажды он поразил меня необыкновенно. В продолжение недели я ежедневно заходил в инспекцию кавалерии и каждый раз глуповатый адъютант Буденного сообщал мне, почему-то шопотом, что Буденный «всё еще читает». При этом молодой офицер округлял глаза и начинал походить на испуганную сову. Поведение Буденного было столь необычным, столь потрясающим, что весть об этом облетела всю газетную братию в Москве. Буденный читал Шекспира. Среди нас это занятие вызвало полное смятение умов. Почему это вдруг Семена Михайловича «повело на Шекспира»? Так и осталось бы это тайной, не помоги сам Буденный решить головоломную задачу. Однажды, когда я зашел в инспекцию кавалерии, Буденный поманил меня к себе в кабинет. На его письменном столе лежал том Шекспира, открытый на последней странице «Гамлета».

Буденный положил свою небольшую руку на раскрытую книгу.

— Вот, Гамлета довелось на старости лет читать, — проговорил он. — Здорово написал, бродяга.

— Кто написал? — спросил я.

— Гамлет. Он датским принцем был и всякую чертовщину там развел.

Но я понимал, что Буденный позвал меня не затем, чтобы похвалить «писателя Гамлета», одобрительно названного им бродягой.

— Послушай, как ты понимаешь выражение «гамлетизированный поросенок»? — спросил вдруг Буденный.

— Я всю книгу прочитал, а о поросятах в ней ничего не нашел.

Оказалось, что Буденный читал шекспировского «Гамлета» лишь потому, что кто-то из высокопоставленных вождей назвал его «гамлетизированным поросенком». Он хотел знать, не в обиду ли это было сказано. Откровенно говоря, более удачного определения Буденного подобрать трудно. Любил Буденный пожить во всю силу, совершенно не задумываясь над тем, что в море нищеты и обездоленности, затопившем страну, его широкая жизнь содержит в себе нечто поросячье. Но в то же время, подвыпив, Буденный

впадал в мировую скорбь весьма определенного оттенка. Однажды в Кремле, на каком-то очередном банкете, он, размазывая по лицу пьяные слезы, сокрушался о судьбе мирового пролетариата. В другой раз его сочувствие вызвали жертвы землетрясения и он кричал, что все должны отправляться на помощь японским трудящимся, под которыми «земля трясется».

«Гамлетизированный поросенок» — очень подходило для Буденного.

Московский дом печати, находящийся в особняке Саввы Морозова невдалеке от Арбатской площади, был многими облюбован для времяпрепровождения. Имелись в этом доме уютные комнаты для интимных встреч, прекрасный ресторан, услужливые лакеи. Частенько появлялся в нем и Буденный, любивший побывать в компании газетного люда.

Насколько я могу припомнить, такие встречи с Буденным в доме печати всегда заканчивались хоровым пением. Где-нибудь в дальней комнате вдруг взвизвался тенор Буденного и вслед за ним тянулся нескладный хор мужских голосов. Неизменно после пения Буденный говорил журналистам: «Ну, и погано же вы поете, товарищи, не то, что у нас в армии». И почти с той же неизменностью добавлял: «Я, например, с самим Шаляпиным пел». И дальше следовал рассказ о том, как Шаляпин, в голодные времена в Москве, был приглашен в вагон Буденного и как они втроем — Буденный, Ворошилов и сам Шаляпин — пели волжские песни. «А когда Федор Иванович уходил, мы ему окорок запеченный в тесте преподнесли». В то голодное время это была не малая награда и, кажется, Ф. И. Шаляпин не раз вспоминал о ней.

Особенно же любит Буденный распевать песни о самом себе. Из его дома часто неслась залихватская песня, исполняемая многими мужскими голосами:

Никто пути пройденного у нас не отберет, Мы конная Буденного дивизия вперед.

А когда эта песня в народном переложении отобразила перманентный полуголод в стране, то Буденный и новый ее вариант принял:

Товарищ Ворошилов, война ведь на носу, А конная Буденного пошла на колбасу.

Распевал Буденный эту песню и восторженно вскрикивал: «Буденновская-то армия на колбасу. Вот ведь гады!» Слово «гады» в его лексиконе звучало похвалой.

Буденный долго представлялся мне явлением комическим и никаких особых чувств во мне не вызывал — ни любви, ни ненависти. Для моего тогдашнего умонастроения была характерной внутренняя обособленность от того мира, в котором протекала моя работа. Это еще не было отрицанием этого мира, а лишь подсознательным ощущением его случайности и ненужности. Я удерживался на какой-то грани, по одну сторону которой начиналось слияние с этим ненужным и опасным миром, а по другую — отрицание его. Может быть и в партию я не вступал, так как не знал, по какую сторону грани должен я быть. В прессе я занимал пост, который мог бы принадлежать только коммунисту, да при том еще правоверному. Каким-то образом революционный героизм старшего поколения моей семьи восполнил отсутствие у меня партийного билета. Я ясно понимал, что без этого героизма пост военного корреспондента был бы для меня под строжайшим табу. Беспартийность была источником множества самых разнообразных — смешных и печальных — происшествий. Только люди из Советского союза, да и то не все, поймут, в каком нелепом положении я тогда находился.

Странное это положение могло бы быть ликвидировано, вступи я в партию. Не раз высокопоставленные коммунисты предлагали мне свои рекомендации, которые должны были открыть для меня дверь партии. Но я не воспользовался этой возможностью. Модно было бы сказать, что я уже тогда был антикоммунистом, но это было бы модной неправдой. Для меня это был период нарастания сомнений, и если быть правдивым, то надо сказать, что искал я тогда средств сомнения эти рассеять и обрести безмятежную веру в то, что всё идет хорошо и так, как и следует ему идти. В том, что сомнения эти я не убил в себе, а привели они меня позже к крайнему, безграничному отрицанию коммунизма — очень мало моей заслуги. Просто жизнь обнажила язвы коммунистического бытия и заставила прозреть даже тех, кто прозрения не искал.

В какой-то мере этому моему прозрению способствовал и Буденный. Пока я видел его шумную жизнь, я мог воспринимать его в комическом плане. Но после выстрела... Впрочем, об этом стоит рассказать более подробно, так как эпизод, завершившийся выстрелом в беззащитную женщину — чингисхановщина в самой откровенной форме. Буденный был женат. Его жена, простая казачка, боготворила своего Семена. Она прошла вместе с ним через гражданскую войну и много ран на телах бойцов и командиров было перевязано ею в госпитале. После гражданской войны Буденный проявил жадную потребность к иной, более привлекательной жизни. Кутежи и женщины стали его потребностью. Жена со многим мирилась, надеясь, что ее Семен «перебродит». Потихоньку бегала в церковь в Брюсовском переулке молиться о муже. Иногда смирение сменялось в ней буйным протестом и тогда разыгрывались некрасивые скандалы. Однажды сердце Буденного было пленено кассиршей с Курского вокзала в Москве. Эта женщина впоследствии стала его женой. Увлечение оказалось серьезнее и длительнее всех бывших раньше. Жена Буденного стоически переносила и это очередное горе, пока сам Буденный не вызвал ее на открытый бунт. В зимний вечер, когда собралась очередная компания для кутежа, Буденный воспылил желанием показать друзьям свою возлюбленную и приказал адъютанту привезти ее в дом. Жена Буденного не смогла снести такого унижения. С бранью и плачем выбежала она из комнаты, а вслед за нею вышел бледный от ярости Буденный. До гостей донесся выстрел.

Убийство Буденным жены обнажило передо мною подлинное лицо Буденного. А когда после недельного домашнего ареста он снова появился, прощенный Сталиным, я уже видел в нем не столько комическое, сколько трагическое явление в нашей жизни. Ведь, в действительности, страшно жить в стране, где все это может происходить и где в маршалах ходит Буденный, а в вождях Сталин и Маленков.

На этом можно и покончить наш рассказ о Буденном. Черные усы — это подделка. Они уже давно поседели и выкрашены парикмахером. Сурово нахмуренный взгляд — обман, так как за суровостью проглядывает жалкий страх лишиться на старости лет высокого места. Золотое шитье маршальского мундира, золото и бриллианты орденов, — всё исходящее от него сияние, не может скрыть жалкого облика маршала-раба, впряженного в колесницу коммунистической диктатуры и состарившегося в этой упряжи.

О. И. Городовиков

У него крошечный нос, кверху вздернутый, уродливой кочкой над выкрашенными усами возвышающийся. Лицо круглое, скуластое, на печеное яблоко похожее. Голова кажется квадратной, так как волосы на ней в «ежик» подстрижены и, на взгляд, такие жесткие, что прикоснись к ним — и, кажется, уколешься до крови. Квадрат головы на коричневой шейке покачивается — морщинистой и тонкой. Чтобы шея тяжесть головы выдержала, туго стянута она плотным воротником с золотом звездочек и кантов. А ниже воротника мундир тощее птичье тело обтягивает, орденами на груди обвисает, плечами, из ваты сделанными, пошевеливает. Подправленное ватой туловище на тоненьких ножках укреплено; форменные брюки в крошечные сапоги втиснуты. За невозможностью подправить ватой ноги, врожденная кривизна их ясно видна, и эти кривые, в кожу и дорогое сукно затянутые ноги — последнее, что можно сказать о странном человеческом сооружении, именуемом генералом армии Окой Ивановичем Городовиковым.

Давно это было.

В огромных степях, напирających на Волгу в том месте, где она, утомленная длинным пробегом по необъятной Руси, заканчивает свой путь и впадает в Каспий, степные косоглазые люди гоняли табуны коней и гурты скота. Люди эти зовутся калмыками, а степь Калмыцкой, и раскинулась она огромным травяным царством с курганами древними и ветрами жгучими, песчаную пыль из пустыни несущими.

Ветрам в степи свободно гулять, ничто не сдерживает их лета, потому и стрел^ятятся они сюда, в приволжское травяное царство, сталкиваются между собою, и на том месте, где

ветры, прилетевшие с разных сторон, встретятся, пыльный смерч закручивается причудливым веером, столбом к самому небу поднимается.

Время отсчитывает года, десятилетия, века, а степь остается всё такой же пасмурной и всё так же по ней кочуют табуны коней и гурты скота, а за ними вслед кибитки на скрипучих кслесах с места на место переползают. По вечерам притихает степь. В зимний вечер она под снегом на ночевку укладывается, в летний — от солнечного зноя отдыхает, заполняя мир оглушающими травяными запахами.

На каком-то месте становище раскинулось. Белые кибитки издали видны. У кибиток костры горят. В огромных казанах мясо варится и в таких же — чай. Тяжелый «кирпичный» чай, состоящий из смеси каких-то трав, чайных листьев и веточек вишневого дерева в молоке кипит, овечьим жиром заправляется, а особенные гурманы еще и соли в него сыпят. Соленый жирный напиток обжигает горло, пахнет дымом костра и овечьим жиром, но нет в мире лучшего напитка для калмыка, весь день скакавшего в седле вслед за конским табуном.

Меж юрт грязные, косоглазые дети бегают и среди них крошечный Ока. Калмычата ведут жизнь беспечную, в школу им не ходить, умываться их не принуждают и разве какой-нибудь особенно приверженный к гигиене умоется раз в пять дней. Зато привычка к коню впитывается в калмычат с молоком матери. И еще до того, как ребенок ходить научится, взбросит его отец на коня и скажет:

— Скачи!

Настоящий калмык, прежде чем научиться на собственных ногах ходить, должен овладеть искусством езды на коне. Так заведено и так должно быть.

Вечером к какой-нибудь юрте потянутся кочевники. Раньше взрослых у этой юрты стая детей появится. Они окружают старого калмыка, слепого и немощного. Подойдут взрослые и образуется кружок, — в первом ряду мужчины и дети, позади женщины. Когда все затихнет, поднимет старик к звездам сухое, скуластое лицо с пустыми впадинами глаз и скажет голосом, излучающим торжество и радость: «Бумба».

В стране Бумба люди не знают смерти, старости, болезней; доживают до двадцати пяти лет и больше не старятся. Вечное довольство для всех, вечная радость, о которых в плавных стихах повествует старик:

Счастья и мира вкусила страна,
Где неизвестна зима, где всегда весна.
Благоуханная, сильных людей страна,
Обетованная богатырей земля...

В этом рассказе-былине всё прошлое. Далеко в темноту веков уходит оно. Ощущение былого могущества монгольского народа воплотилось в торжественном сказании о стране Бумбе. Медленно падало могущество и от великой империи остался Дербен-Ойрат — союз четырех монгольских племен. В 15-м веке последний взлет монгольской славы: калмыцкий вождь Эген взял в плен китайского императора. Потом всё ускоряющееся падение. Дербен-Ойрат остался только в песнях, да в названии, которое сохранило одно из племен распавшегося союза: Ойроты.

Но чем глубже было падение, тем ярче разгоралась мечта о Бумбе, созданной воображением кочующих и воюющих монголов и тем взволнованнее преклонение перед Джангаром, чудодейственным богатырем, бьющимся против «обитателей седьмой преисподней» шуимусов за страну Бумбу и ее обитателей. Перед восхищенными глазами слушателей возникает образ в золото закованного богатыря, скачущего на сказочном коне Аронзале:

Аронзал в крестце собрал
Всю грозную красоту свою.

Аронзал в глазах собрал
Всю зоркую остроту свою.
Аронзал в ногах собрал
Всю резвую быстроту свою...

Так и рос Ока меж коней, детских игр и чарующих представлений о стране Бумбе. Потом началась для него жизнь, обычная для степных людей. В шестнадцать лет отец женил его на девушке, которой он никогда до этого не видел. В спящей душе Оки это не пробудило протеста. Так было, так должно быть. Потом отец, на скупке и перепродаже коней для армии, разбогател, перестал кочевать и поселился на казачьих землях. Оттуда и отправился Ока в армию, царю служить.

Революция вернула его в родные степи. Круг политических представлений калмыка был весьма ограниченным и единственным, что он твердо усвоил к тому времени, было то, что человек вооруженный всегда сильнее безоружного. Собрал Городовиков небольшой отряд, в большинстве из родичей состоявший, и, после нескольких месяцев дикого разгула в степи и набегов на русские села, примкнул к красногвардейским отрядам.

Позже был Городовиков командиром дивизии в буденновской коннице. Кормилась дивизия сама по себе, отнимая продовольствие у населения, о лошади и об оружии каждый заботился сам, а командиру дивизии оставалось водить в атаку свою дикую, землю криком потрясающую конницу. Тем и прославился Ока Иванович Городовиков.

Он и до сего дня плохо владеет русским языком. Маленький калмык, дошедший до высоких генеральских чинов, не глуп, но ум его какого-то особого склада, проявляющийся только в делах практических. В Городовикове даже теперь сохранилось многое от примитивного строя жизни, когда человек действует только в пределах видимого пространства.

Ощущение собственной неполноценности очень характерно для Городовикова, но этот маленький калмык из всего умеет извлечь практическую выгоду. Он уже давно убедился, что его неполноценность — бедность знаниями, отсутствие воспитания, недоразвитость — всё это явление не изолированное, и если умело им пользоваться, то оно может стать даже источником некоторого преуспеяния в жизни. Дело ведь в том, что комплекс неполноценности ярко выражен в людях Кремля и классическим его образцом был сам Сталин, поочередно выступавший то гениальным полководцем, то не менее гениальным отцом наук и покровителем искусств. Это самовозвеличение Сталина, несомненно, выражает комплекс неполноценности, помноженный на азиатчину.

Для Городовикова в обожествлении Сталина не было ничего неожиданного. Его народ лишь три века принадлежит к обитателям Европы, а до этого неведомое число веков кочевал в Азии. Для Городовикова Сталин был «найоном» — князем, которому следовало повиноваться и воздавать лесть. Сталин отметил голос Оки в хоре голосов, воздававших ему хвалу, и вскоре Городовиков оказался в Москве, на посту заместителя генерал-инспектора кавалерии Красной армии. Позже он заменил Буденного и стал генерал-инспектором.

Взобравшись на эту вершину, Городовиков надолго затих. Может быть, в это время он впервые убедился, что у него слишком мало данных для высокого военного поста. По выражению генерала Тюленева, военное образование Оки Ивановича равно величине его носа, а нос у него, как мы сказали, крошечный.

Ставши инспектором кавалерии, Городовиков должен был растеряться. Ему предстояло решать проблемы, о которых у него было очень смутное представление. От него требовали ответов на вопросы, которых он решить не мог. Но хитрый и изворотливый ум вскоре подсказал ему, что опасности эти мнимые, на самом же деле всё обстоит превосходно. Предшественник Городовикова на этом посту, Буденный, приучил штаб не искать решений генерал-инспектора и действовать по своему усмотрению. Городовикову достаточно было сохранить этот порядок — и всё придет в норму. Придя к этому, Городовиков стремлению

своего штаба требовать от него решений, противопоставил искусство решений не принимать. С тех пор в инспекции кавалерии сохранился незыблемый порядок, при котором штаб принимал решения а генерал-инспектор лишь санкционировал их или отвергал.

К этому времени относится мое знакомство с Городовиковым. Он долго избегал встречи с военными корреспондентами, но когда это стало совсем уже невозможно, пригласил всех нас троих к себе домой. Ему казалось, что в домашней обстановке ему будет легче разговаривать с нами. Об этой первой встрече почти нечего сказать. Ока Иванович принял нас в полупустой просторной комнате и предложил чай. Это, конечно, не был калмыцкий чай. Беседа как-то не завязалась и, отсидев у него полчаса, мы уехали. Хозяин явно был доволен краткостью нашего визита.

С тех пор встречи были короткими и мало заметными. Ока Иванович появлялся в своем уютном кабинете в здании наркомата на два-три часа в день. К его приходу на стол ставилась ваза с апельсинами, до которых он был большой охотник. Обдирая кожу с апельсинов своими желтыми морщинистыми ручками, он выслушивал доклады чинов штаба, подписывал бумаги и к тому времени, когда ваза бывала опорожненной, дела кончались.

Не знаю, по какой уж причине, но Городовиков стал изредка приглашать меня к себе домой. Может быть, такое благоволение было вызвано тем, что я, будучи в Ростове-на-Дону, принял участие в конно-спортивных состязаниях, а так как родиной моей являются те же калмыцкие степи, то к лошадям я был привычен и на состязаниях достиг заметных успехов, отмеченных в журнале «Красная Конница». Бывая у Городовикова, я мог легко убедиться, что и в Москве он остается степняком, в крови которого клубится дым костров. На людях он тщательно скрывал свои привычки, но дома давал им волю. Жил он в том же доме, где и Буденный, на тихой улице, берущей свое начало от Тверской. В его обширной квартире всегда стоял крепкий запах кирпичного чая и вареной баранины. Верил Городовиков, что чай, сваренный с бараньим жиром, продлевает человеческую жизнь. Маленький калмык-генерал поедал непомерно много мяса. И не того мяса, которое продавалось в московских магазинах, а специально привезенного для него из родных степей. Ежедневно отправлялся для Городовикова баран из Калмыкии и привозили его в роскошный генеральский дом живым. Рано утром начиналось священнодействие. Баран, запертый в ванной комнате, оглашал квартиру жалобным блеянием. Городовиков облачался в широкие калмыцкие штаны и просторную шелковую рубаху. Захватив остро отточенный нож, он уходил в ванную комнату — и вскоре блеяние барана затихало. Подвесив тушу на крюк, Городовиков медленно, с явным наслаждением свеживал ее, стараясь не порезать шкуру. Шкуру он отправлял назад, в родные степи, где земляки тщательно осматривали ее, стараясь найти порезы, которые доказали бы, что Ока разучился свеживать барана.

Московская квартира Городовикова походила на степную юрту кочевника. Та большая комната, в которой принимал нас Городовиков в первый раз, была данью времени. В ней был обязательный шкаф с книгами, письменный стол и несколько мягких кресел. Но в других комнатах на полу лежали белые полости из овечьей шерсти и дорогие тяжелые ковры. В одной из комнат стена была затянута войлоком и по нему были размещены плети самого разнообразного вида. Городовиков собирал их со страстью завязанного коллекционера. Одни плети оканчивались пучком ремешков, другие, сплетенные в толстый квадратный жгут, имели шарик из тяжелого металла. Были плети, сплетенные из женских волос. В одной была заплетена косичка врага — это из времен битв с китайцами. На рукоятках вилась арабская, индусская вязь и китайские иероглифы.

Так и жил Городовиков, перенеся в московскую свою квартиру атмосферу степного кочевья. Молчаливая его жена, старая и запуганная калмычка, постоянно молчала, молчал и Ока, отдохнувший на белой полости после работы.

В середине тридцатых годов семенная жизнь Городовикова вдруг коренным образом изменилась. Молчаливый, сумрачный Ока видел, что его товарищи обзавелись молодыми красивыми женами и в его темной душе проснулось желание последовать их примеру и от старой своей жены избавиться. Вскоре и случай для этого представился. Адьютант Городовикова был женат на очень молодой и очень красивой женщине. По какому-то поводу и, вероятно, не без участия Городовикова, молодой офицер был арестован. Женщина бросилась к Городовикову за помощью и защитой для мужа. Тот принял ее ласково, обещал хлопотать и всё уладить. Женщину, по заведенному тогда порядку, выселили из дома, в котором она жила с мужем. Городовиков помог и на этот раз. Он приютил молодую женщину у себя. Вскоре Городовиков сообщил ей, что мужа расстреляли, так как оказался он виновным в большом государственном преступлении. Упорно поговаривали, что его смерти способствовал сам Городовиков. Своей старой жене Городовиков приказал собираться и уезжать в Элисту, столицу Калмыцкой автономной области. Та безропотно покорилась. Попробуй она протестовать, и Ока равнодушно убил бы ее. Вскоре стало известно, что Городовиков женился на молодой женщине. Вряд ли надо было доискиваться, как могло случиться, что эта женщина связала свою жизнь с кривоногим шестидесятилетним генералом. Зная, в какой тьме обретается душа Городовикова, не трудно понять, как это произошло.

Только однажды видел я молодую жену Городовикова, и если до нее когда-нибудь дойдут эти строки, то, может быть, припомнит она человека, пришедшего без предупреждения. Городовикова не было дома и меня встретила высокая черноволосая женщина с бледным печальным лицом. Это была она. При взгляде на эту жертву времени до боли сжалось сердце и я тихо спросил ее тогда: «Как это могло быть?». Женщина бессильно опустила на стул и на ее глазах закипели слезы, а я уже сбегал по лестнице, чтобы никогда больше не вернуться сюда.

Городовиков и поныне играет крупную военную роль в стране. Еще один шаг и он будет маршалом. Идут слухи, что войска берлинского гарнизона поставлены под его командование. Этот не дрогнет и с бездумной легкостью зальет немецкую землю потоками немецкой и русской крови. Ведь не остановился же он перед тем, чтобы умертвить свою собственную родину.

Это было во время войны с немцами. Германская армия, в ее наступлении на Волгу, вошла в Калмыцкие степи. Калмыки имели давние счеты с советской властью и решили, что пора для расплаты наступила. Этот маленький, но мужественный и благородный народ, в семье которого Ока Городовиков был отвратительным порождением времени, не сопротивлялся немцам, распустил колхозы, поделил между собою скот. Потом германская армия покинула степи, уходя на запад. Вернулась советская власть. На бедных калмыков обрушился страшный удар. Вместе с некоторыми другими народами северного Кавказа, отказавшимися защищать дело Сталина, калмыки были отданы на поток и разграбление. Разыгралась кровавая драма. Тысячи калмыков были убиты без суда и следствия. На север, в страну концлагерей, потянулись эшелоны с калмыцкими детьми, стариками и женщинами.

Карательными отрядами руководил Ока Городовиков.

Калмыцкая Автономная Область перестала существовать.

Ока Городовиков существует...

Сиамские близнецы

Однажды комдив Л. Г. Петровский, командовавший в начале тридцатых годов кавалерийской дивизией в гор. Новоград-Волыньском на Украине, бросил несколько горьких замечаний.

— Что там, — говорил он, — сиамские близнецы. У нас вся армия управляется такими близнецами. Поручают командовать полком и тут же намертво пригвоздят тебя к комиссару. Тот к тебе прирастает и без него уже шагу ступить нельзя. Приказ отдаешь, комиссар должен знать, с женой поссорился, он и тут нос свой сунет, в гости пойдешь, а

он уже там сидит, тебя поджидает, а когда к рюмке с водкой руку протягиваешь, то он в уме подсчитывает, сколько тобой выпито.

Для советских офицеров комиссары всегда были олицетворением всех зол.

Бородатый Ян Гамарник, долголетний шеф политуправления Красной армии, выводил родословную комиссарского сословия от... Козьмы Минина. Князь Пожарский, по его словам, был военспецом, которому народ не доверял и потому поставил его под контроль Минина, первого комиссара на Руси.

Комиссарский корпус в те годы взбухал, словно на дрожжах. В 1936 году в армии и во флоте насчитывалось около 80.000 комиссаров и политработников. На каждых двух командиров — комиссар.

Вряд ли после Второй мировой войны это соотношение существенно изменилось.

Комиссары всё так же вершат дела в армии. Под блестящим мундиром советского маршала бьется комиссарское сердце Н. А. Булганина. В генералах оккупационных войск в Германии и Австрии без труда узнаются питомцы ведомства Яна Гамарника. Они постарели, облик их изменился, но остались они всё теми же армейскими комиссарами, бдительным оком коммунистической партии в армии. В молниеносной расправе над Берией, в июле 1953 года, явственно обозначилась рука спянного партийностью, решительного в действиях комиссарства советской армии.

Сиамские близнецы продолжают жить и довольно усиленно производят потомство.

Комиссарство в Красной армии было цитаделью, подвергающейся постоянным нападениям со стороны высшего командного состава армии, не желавшего делить с комиссарами власти. Всё громче и настойчивее раздавались требования ввести единоначалие, но все эти требования разбивались о несокрушимую стойкость комиссаров и о партийную линию тотального недоверия к людям и многостепенного контроля их.

Комиссарский корпус не только не терял своего значения, но всё больше расширял сферу своего влияния, а Ян Гамарник лишь презрительно улыбался, когда при нем заговаривали о единоначалии.

Но в 1936 году комиссарская твердыня как будто дала трещину. Чуткий и наблюдательный Ян Гамарник почувствовал вдруг, что почва под ним колеблется. Генералитет повел наступление на комиссарство. В этом ничего нового для Гамарника не было и не это волновало его. Новым было то, что Сталин на этот раз не оборвал наступления на комиссарство, как делал он раньше, а дал ему развиваться. Не порешил ли Сталин пойти навстречу требованиям командования и не примет ли он концепции единоначалия?

Опасность привела Гамарника в состояние, в которое он не раз впадал и до этого, когда начинало казаться, что он, того и гляди, станет кусаться. В этом больном человеке (он страдал сахарной болезнью в острой форме) сидел бес непомерной злобы. Ярость Гамарника была «затяжного действия», она не утихала днями и неделями. В такое время желтое, худое лицо Гамарника, с горящими недобрыми глазами, — нечто среднее между Цезарем Борджиа и бродячим цыганом, — покрывалось лиловыми пятнами, а высокий узкий лоб превращался в гармошку мельчайших морщинок.

Вот в такое состояние и впал Гамарник в самом начале 1936 года. По обязанностям моей службы, я должен был каждый день являться в политуправление и каждый день, в числе прочих новостей, узнавал, что Гамарник всё еще «пылит», то есть, находится в состоянии крайнего раздражения.

Так и не дождавшись возвращения Гамарника к свойственной ему уравновешенности, уехал я ранней весной в Нижний-Новгород, а оттуда занесло меня в древнее село Теплый Стан, замечательное лишь тем, что упоминание о нем имеется в исторических рукописях. Там была расквартирована стрелковая дивизия.

С обозами, подвозившими продовольствие, добрался я до Теплого Стана. Подводы вязли в грязи, бойцы надрывались в крике, лошади храпели от натуги. Было неизвестно, выбираются ли из грязи подводы благодаря напряжению лошадиных сил или накалу

матерщины, висевшей над нами. От железной дороги до Теплого Стана пробирались двое суток, хотя расстояние было километров тридцать или что-то в этом роде.

В Теплом Стане и в деревнях вокруг этого районного села был военный бивак. Штаб дивизии занимал помещение райкома партии, воинские части размещались, как могли, в крестьянских домах, в зданиях школ. Места всем не хватало, и было поставлено много палаток, в которых горели костры. Ранняя весна в тех краях холодная.

В штабе я застал комиссара дивизии, к которому, по правилу, должен был являться прежде всех других. Это был человек лет тридцати пяти, с лицом, которое можно было бы назвать красивым, не будь оно таким замкнутым и холодным. Проверив мои документы, он сухо-официальным тоном спросил меня о цели приезда.

Командир дивизии был моим старым знакомым с КУВС. Человек лет пятидесяти, широкоплечий и весь как будто квадратный, крепыш, с грубым солдатским лицом. Он принял меня радушно, повел в дом, в котором еще сохранился запах кислого хлеба — очевидно крестьяне были выселены, чтобы очистить место для командира дивизии; послал на солдатскую кухню за супом. Пока я управлялся с супом из «шрапнели» (перловой крупы), на редкость вкусным, Крылов — это была фамилия дивизионного генерала — молча курил и ждал.

— Послушай, — обратился он ко мне, когда я отодвинул котелок, — ты не знаешь, на кой черт мою дивизию загнали сюда?

Не получив от меня ответа, Крылов продолжал:

— Стояли мы в казармах, вдруг приказали сняться, грузиться в эшелоны и сгруппироваться в этом гиблом районе. Обещали все инструкции на месте дать, но вот уже две недели прошло, а инструкций нет. Люди и кони мерзнут, солдаты бездельем томятся.

Одним словом, наверху кто-то разинтеллигентился и загнал нас сюда.

В лексиконе Крылова «разинтеллигентиться» означало то же, что «надурить».

Я припомнил замкнутое лицо комиссара и подумал, что ему должно быть известно о причинах отправки дивизии в это, действительно гиблое, место, совершенно не приспособленное для стоянки крупной войсковой части.

— Мне кажется, что комиссар должен был бы знать, — сказал я.

— Это не комиссар, а горе мое, — махнул рукой Крылов и его лицо изобразило негодование. — Он месяца три со мной, а толком мы с ним еще и не поговорили. До этого он где-то лекции по марксизму-ленинизму читал, из умных, а больше ничего о нем не знаю. У нас в армии так уж повелось, что комиссар о тебе всё должен знать, а ты о нем — ничего... Этот комиссар с поганой фамилией в печёнки мне вьелся.

Фамилия комиссара Плеханов, и почему она казалась Крылову «поганой», я так и не понял. Однако было ясно, что старый-престарый армейский спор докатился и до глухого Теплого Стана. Отзвуки спора между командирами и комиссарами становились слышными повсюду и было сомнительно, чтобы Гамарнику удалось найти средство прекратить борьбу. Еще при Ленине началась она. Красная армия была созданием стихии, но хотя Ленин и чувствовал себя буревестником, когда провозглашал, что «революция — вихрь, сметающий со своего пути всех ему сопротивляющихся», но в действительности он весьма откровенно побаивался этой стихии. Чтобы вогнать разбушевавшийся революционный потоп в русло коммунизма, красная армия, по плану Ленина, была «прошита» корсетными шнурами комиссарского контроля.

Я понимал Крылова. Быть под постоянным комиссарским надзором — дело пренеприятное, а Плеханов, к тому же, принадлежал к наихудшей комиссарской разновидности. За три месяца его пребывания в дивизии Крылова четыре раза чистили на партийных собраниях «в порядке самокритики». Авторитет командира дивизии был подорван, положение стало нестерпимым. Командир дивизии наказывал штабных писарей или командиров за леность и нерадение по службе. Наказанные имели возможность отомстить. Являясь на собрания, они кричали, что у командира дивизии диктаторские

замашки. Один уверял, что видел Крылова в нетрезвом виде, другой — что комдив питает слабость к женскому полу, третий критиковал приказы, отдаваемые им.

— Ведь ты знаешь мою Марью Сидоровну, — сетовал Крылов. Я знал его Марию Сидоровну, пожилую женщину с остатками былой красоты на лице.

— Марья Сидоровна женщина добрая, но есть у нее один недостаток, другим не приметный. Ревнива она, как сто чертей. И вот, после того, как какой-нибудь барбос меня бабником назовет, хоть это и полная неправда, начинается у меня дома спектакль. Сколько раз просил я комиссара: не позволяй, мол, клевету на меня взводить, да он свою цель преследует. Критика, говорит, партией, предписана и служит исправлению недостатков... Пока Крылов рассказывал, я думал о другом. В самом деле, зачем сюда послали его дивизию? Учений не предвиделось, снабжаться тут трудно, это я видел на дорогах, где обозы вязли в грязи. Ответ на это мог быть только один. Я не сомневался, что Крылов знает его, и наивно хитрит, спрашивая об этом меня. Через минуту он и подтвердил это.

— Я уверен, — сказал он, — что посылка сюда дивизии — очередная комиссарская штучка. Решат почему-то, что в этом районе произойдет восстание, — и шлют войска. Кругом все тихо, постоят войска и уйдут, а у комиссаров опять готово объяснение: бунт, мол, был задуман, но не осуществлен, в связи с переброской в этот район дивизии. Сюда с нами целая шайка уполномоченных особого отдела явилась, три дома арестованными заполнены. Плеханов там днюет и ночует. Доберусь я, однако, до них, ох, доберусь! Прошло два дня. Мне нечего было делать в дивизии, но я остался еще на один день. Была у меня слабость к солдатскому обществу. На этот раз я, как часто до этого, обходил роты, сидел в палатках у костров, слушая едкие, как дым, солдатские шутки, а так как у меня запас шуток был в то время обширным, то время проходило не скучно. Со мной по ротам путешествовал политрук Гаврилюк, молодой человек, двумя годами младше меня. Он искренно был уверен, что мы с ним ведем «политико-просветительную работу». Входя в палач ку или дом, заполненный солдатами, пропахший потом портянок, сушившихся у огня, он неизменно говорил, представляя меня:

— Товарищи, к нам приехал корреспондент из Москвы, он нам расскажет о международном положении.

Почему Гаврилюк решил, что я должен обязательно рассказывать о «международном положении», в котором всегда плохо разбирался? Из «международного положения» ничего не получалось. Веселые, до нашего прихода, лица солдат становились скучными и безразличными, им политическими беседами старательно портили солдатскую жизнь. Я начинал говорить совсем о другом. Всегда во мне жило, и поныне живет, преклонение перед русскими путешественниками. Россия, по духу своему, сухопутная страна, а сколько она сделала открытий не только на суше, но и на море. Я выбирал кого-нибудь из русских путешественников и начинал рассказывать о нем. Не буду утверждать, что при этом придерживался точных фактов, но они и не были нужны. Если я говорил о Миклухе-Маклае, то рисовал экзотику далеких стран. Пржевальский у меня получался похожим на коренного степняка и был наделен всеми чертами американского ковбоя. Арсеньев выступал не иначе, как неутомимый охотник на тигров. Врангеля я заставлял влюбиться в чукчанку и потом отправлял их обоих в свадебное путешествие через Ледовитый океан. Гаврилюк слушал с неменьшим интересом и доверием, чем солдаты. После моего рассказа начинался общий разговор, и чем дальше, тем свободнее все себя чувствовали и, наконец, беседа становилась столь красочной, что для печати совершенно не годилась бы. Гаврилюк, как политработник низшего ранга, вел точный учет своей «работы». Его смущали эти солдатские вечера, которые нельзя было подогнать ни под один из установленных видов политработы в армии.

— Я ведь должен отчет давать в политотдел, а что я напишу? — жаловался он.

— Пишите, что провели беседу по общеполитическим вопросам, — посоветовал я.

— Невозможно! — уверял Гаврилюк. — Требуется указать тему беседы и как реагировали бойцы.

— Тогда пишете так: «Провели беседу на культурную тему о том, как открывалась советская земля», — старался я помочь политруку.

— Вот это здорово, — радовался он. — У нас по плану есть такая тема.

Гаврилюк из полевой сумки извлекал какую-то бумагу.

— «Великий Советский Союз — одна шестая часть мира» — так называется тема. Значит, запишем, что докладывали о великом Советском Союзе. Только вот после этого всякий разговор был, его-то куда деть?

— Да чего вы мучаетесь. Запишите, что после доклада было свободное обсуждение.

— Политрукам запрещено свободные обсуждения допускать, — говорил Гаврилюк, и было видно, что он никогда не рискнет нарушить запрет.

Гаврилюк — на нижней ступеньке комиссарской иерархии, а каждая ступенька имеет свои отличительные особенности. Нижняя заполнена людьми, превращенными в говорильную машину. Уровень знаний у этих людей не велик и очень своеобразен. В политшколе, куда набираются комсомольцы и коммунисты, в них вливают лошадиную дозу политических сведений. Но так как эта доза больше вместимости мозга или памяти, то она не удерживается в будущих политруках и оставляет не само знание, а штампованное понятие о предмете. Политрук способен ответить буквально на все вопросы. Скажет ему солдат: «Семья дома голодает, помочь бы чем надо», — и политрук автоматически произнес: «Это, товарищ боец, болезни роста. Вот разовьем промышленность, укрепим колхозы и всё придет в порядок». После этого солдат не станет уже говорить о том, что пока разовьется промышленность или окрепнут колхозы, его семья с голоду умрет, а если осмелится это сказать, то получит ответ, что в социалистическом обществе смертность самая низкая и в дальнейшем еще больше понизится. Солдат уйдет от политрука злой и разочарованный, а тот в надлежащую графу запишет, что вел «индивидуальную беседу» о колхозном строительстве и падении смертности в СССР.

Так и живут тысячи гаврилюков, начиненных цитатами, поверхностными сведениями, инструкциями, так и творят дело партии. Без этих людей-автоматов — а они есть повсюду: на фабриках, в колхозах, в селах и городах — пожалуй, и коммунизма нельзя было бы строить, так как для коммунизма нужно иррациональное построение ума, а оно достигается чудовищными прививками политических знаний неокрепшим мозгам.

Я, быть может, и еще пробыл бы несколько дней в дивизии Крылова, благо других дел у меня тогда не было, если бы не случилось то, что в армии помечается двумя буквами — ЧП — «чрезвычайное происшествие». Крылова я не видел с первого моего визита к нему, так как мы с Гаврилюком ночевали там, где заставала нас ночь. До небольшого села, где мы спали на ворохе соломы в избе, занятой командиром батальона, весть о ЧП дошла с запозданием. Командир батальона, веселый сероглазый человек с смешным круглым лицом, вернулся в полдень из штаба дивизии.

— Вчера вечером комдив побил комиссара, — сказал он, пожимая мне руку. — В штабе дивизии переполох и «орт знает, что из всего этого выйдет».

Я заторопился в Теплый Стан и перед вечером слез с седла у домика, занятого Крыловым. На этот раз дивизионный командир встретил меня сухо, было видно, что находится он в угнетенном состоянии духа. Вслед за мной в дом вошел дежурный по штабу дивизии с телеграммой. Быстро пробежав глазами телеграмму, Крылов отпустил дежурного и крикнул вестового.

— В Нижний-Новгород еду, — сказал Крылов не то мне, не то вестовому. — Вещи надо собрать. Выедем рано утром.

Я спросил, может ли Крылов взять меня с собой на станцию. Кивком головы он выразил согласие.

По дороге к станции мы молчали. Крепко держались за деревянные борта тачанки, ныряющей то одним, то другим колесом в рытвины, заполненные вязкой грязью. Утреннее небо было серым, безрадостным, отяжелевшим от влаги и потому будто опадающим к земле. Стал падать дождь. Крылов молча натянул на плечи тяжелую черную бурку.

Ездовой завозился на передке тачанки, извлек из-под себя тяжелый брезентовый дождевик и молча протянул мне. — У нас еще один есть, — проговорил он, извлекая другой такой же.

Поездка была долгой и утомительной. Гнедые лошади с подвязанными хвостами словно поддались общему настроению и еле переступали ногами. Кучер сидел сгорбившись, похожий в дождевике на мокрую копну соломы. Крылов, пытавшийся закурить на дожде, с раздражением отшвырнул размокшую папиросу.

Штабные офицеры, в избе которых я провел ночь, со всеми подробностями поведали мне о происшедшем. Командир дивизии потребовал от командиров частей докладов о настроениях населения. Потом он явился в дома, превращенные в тюрьмы, и лично опросил арестованных. Их оказалось около ста человек. Никто из них не знал, за что они арестованы. Плакали и просили дивизионного командира «ослобонить». Вызвав к себе представителей особого отдела, Крылов потребовал обвинительные материалы. Те отказались выполнить требование дивизионного командира, не имеющего власти над армейской тайной службой. Тогда Крылов написал доклад, в котором подчеркивал, что никакой опасности в настроениях населения он не обнаружил. В докладе давалась оценка деятельности особого отдела и излагалась просьба расследовать причины, по которым сотня людей заключена в тюрьму, а дивизия поставлена в тяжелые условия.

По существовавшему в армии порядку, командир не имел права обращаться в высшие инстанции без согласия комиссара. Всякое официальное обращение получало силу только тогда, когда оно исходило от командира и комиссара. По такому сугубо политическому вопросу, как арест неповинных людей, Крылов не имел права писать. Он грубо вторгся в чужую область. Понимая это, он послал свой доклад на подпись комиссару. Плеханов отказался дать подпись и между ним и командиром дивизии произошло бурное объяснение.

— Это не ваше дело оценивать политические настроения и вмешиваться в дела арестованных, — зло говорил Плеханов.

— Я не желаю обсуждать, что является моим и что не моим делом. Всё, что происходит на территории моей дивизии, является моим делом, — кричал вышедший из себя Крылов. Плеханов мог, конечно, не дать своей подписи под докладом Крылова, пошумел бы дивизионный командир и на том успокоился. Но допустил комиссар ошибку, которая и повлекла за собой всё последующее. Он сказал, что Крылов часто употребляет слова «моя дивизия».

— Словно это хутор или пивная. Даже пивные теперь государственные, а вы дивизию считаете своей, как будто нельзя сделать так, что останетесь вы без дивизии!

В армии Крылов считался одним из лучших дивизионных командиров, прошел большой боевой путь, имел много наград за храбрость. Если он говорил «моя дивизия», то совсем не в том смысле, что она принадлежит лично ему. Он был искренне предан своему делу, любил его той особой офицерской любовью, которая еще не нашла своего певца.

Сказанное Плехановым было несправедливо, а угроза отнять дивизию смертельно обидела Крылова. Не помня себя, Крылов бросился на обидчика и нанес ему звонкую пощечину. Комиссар не схватился за оружие, не вызвал особый отдел, чтобы арестовать Крылова, а молча повернулся и вышел из штаба. Через четверть часа с поля, превращенного в примитивный аэродром, поднялся в воздух маленький самолет «У-2», унесший Плеханова в Нижний Новгород. Оттуда и пришло распоряжение Крылову прибыть в штаб военного округа.

Поздним вечером добрались мы до станции и заняли места в полупустом холодном вагоне поезда, идущем в Нижний.

В поезде Крылов стал разговорчивее. Всю дорогу, а ехать надо было часа четыре, наша беседа вращалась вокруг двойного управления в армии. Комиссары и командиры формально были наделены равными правами, но фактически в руках комиссаров

оказалось больше силовых линий, и командир находился под постоянным давлением и контролем.

К тому времени я уже уразумел сложную механику двойного управления и знал, что не только в армии применена она. Система дублированного управления пронизала весь советский строй, в армии же она получила наиболее откровенную и законченную форму. Нижняя ступенька комиссарской лестницы заполнена гаврилюками, делающими свое маленькое дело с точностью выверенных автоматов. Но высшие комиссарские ступени заняты людьми хорошо подготовленными, интеллектуально стоящими несравненно выше командиров. В командирской иерархии верхние ступени были заняты людьми больших заслуг, но малой культуры, тогда как на средних и нижних ступеньках формировался более подготовленный молодой командный кадр. Взаимоотношения командиров и комиссаров на нижних ступеньках лестницы не являлись проблемой, но верхние звенья находились в состоянии постоянной вражды. А так как именно на верхних ступенях была сконцентрирована сила комиссаров и слабость командиров, то борьбу выигрывала политическая иерархия.

С Крыловым мы расстались в Нижнем. На прощанье он поручил мне повидать в Москве Еременко и Апанасенко и рассказать им о случившемся. Но когда я приехал в Москву, нужды в моем рассказе уже не было. Случай в Теплом Стане получил известность и привлек к себе внимание на верхах. Апанасенко, разыскавший меня поздней ночью в редакции, не нуждался в моей информации, но ему нужна была помощь в обработке документа, составленного им и рядом других генералов. Это был доклад, адресованный Ворошилову, но явно рассчитанный на Сталина. Написан он был в спокойных, деловых тонах и, основываясь на случае Крылова и ряде других подобных случаев, предлагал пересмотреть систему двойного управления в армии, подрывающего командирский престиж. Документ не нуждался в большой обработке и после легких исправлений был увезен Апанасенко, взявшим с меня слово никому о нем не говорить.

В том, что Гамарник не был посвящен в содержание доклада, я был уверен, так как дней через пять после его подачи, ко мне в редакцию, уже под утро, неожиданно явился адъютант Гамарника, сумрачный человек по фамилии Карелов.

— Я к вам на минутку, по совсем пустяшному поводу, — проговорил он, опускаясь на стул.

Я молчал. Незначительный повод не заставил бы его ехать под утро в редакцию.

— Товарищ Гамарник приказал спросить, не осталось ли у вас копии доклада, который вас просили отредактировать? Сейчас, понимаете ли, ночь и не хотелось бы беспокоить людей, у которых хранится документ.

Глупо было бы отрицать мою причастность к этому делу, раз Гамарнику известно о ней.

— Копии у меня нет и быть не может, — ответил я. — Моя роль была очень скромной — исправил несколько фраз и только.

— Если нет у вас копии, тогда изложите по памяти содержание, — попросил Карелов и потянулся за блокнотом.

— Как я могу это сделать, когда в докладе трактовались вопросы, мне совершенно неизвестные и мало меня интересующие... Я думаю, что вы можете получить более подробную информацию...

Я снял трубку телефона. Апанасенко долго не откликался, но, наконец, настойчивый звонок пробудил его и я услышал заспанный, хриплый голос. Позабывши в этот момент, что уже утро брезжит за окном, я не очень удачно спросил:

— Вы еще не спите, Иосиф Родионович? Апанасенко узнал мой голос и ответил в духе грубой шутки, всегда ему свойственной:

— В четыре часа утра не спят только проститутки и журналисты.

Выслушав от меня сообщение о приезде Карелова, Апанасенко долго думал, прежде чем ответить:

— Ишь ты, как их пробрало, — почти прокричал он вдруг. Потом, уже спокойно, продолжал: — Будь с ним вежливым, а то они тебя съедят с потрохами. Я этих живоглотов знаю. Скажи, зная, мол, не знаю и ведать не ведаю. А если Карелову требуется наш рапорт, то пусть он приедет ко мне. Уверен, что не приедет, потому и приглашаю.

— Товарищ Апанасенко может вас познакомить с документом, если вы приедете к нему, — сообщил я Карелову, кладя трубку.

Карелов не поехал к Апанасенко.

События развивались. Доносились глухие отзвуки идущей борьбы, но я с удивлением замечал, что даже в армии о ней не знают, не ощущают ее, не говорят о ней. Это одно из поразительных свойств советской системы:

бросать камни в воду и не вызывать при этом кругов на поверхности.

В Москву приехал Крылов. Его не арестовали, но откомандировали в резерв главного командования. Тоска по живой работе бурлила в нем. Иногда он появлялся в моей редакционной комнате, часами просиживал на диване, если я был занят, или рассказывал о своем деле, когда я мог слушать.

Шел жестокий бой. Генералитет наступал. Бородатый Ян понимал, что нестерпимое положение для командиров в армии создано не только его инструкциями, но и господством принципа двоевластия. Торжество этого принципа Гамарник видел повсюду. Являясь членом ЦК партии, он мог вблизи рассмотреть хитроумную механику управления централизованной империей. Когда Постышев был назначен в помощники Коссиору, секретарю партии на Украине, и Гамарника спросили о причинах этого назначения, он отделался коротким ответом:

— Математическое правило: плюс и минус взаимно уничтожаются.

Казалось бы, Гамарнику нечего было особенно волноваться по поводу того, что группа генералов подала доклад, но косвенные признаки показывали ему, что на этот раз дело обстоит серьезно. Ворошилов занял колеблющуюся позицию. Приказ Гамарника об аресте и предании суду дивизионного командира Крылова был им отменен. Гамарник приказал перевести комиссара Плеханова в другую дивизию, но и этот приказ задержали по желанию наркома. Гамарник чувствовал недружелюбие, скоплавшееся вокруг него. Командующие округами, армиями и дивизиями старательно обходили политическое управление. Фридман, начальник управления командных кадров, перемещал командиров, не советуясь с Гамарником. Этого раньше не было. В этих сложных условиях Гамарник допустил роковую ошибку. Он решил, что на этот раз судьба комиссарского корпуса поставлена под вопрос. Если до встречи с Апанасенко он мог еще сомневаться в этом, то после нее места для сомнений не оставалось. Апанасенко принадлежал к числу комиссароненавистников и во всех столкновениях, бывших до этого, играл видную роль. Гамарник уже давно бы разделался с грубоватым мужиком, затянутым в генеральский мундир, но на стороне Апанасенко была поддержка Сталина, с Ворошиловым же он был в личной дружбе. На этот раз Апанасенко точно рассчитал удар. Он приехал в Москву, чтобы требовать снятия с постов трех комиссаров дивизий, входивших в его военный округ. Он так и сказал Гамарнику, появившись в его кабинете:

— Вы, товарищ Гамарник, должны убрать своих молодцов. Они слишком вольничают и мешают командирам.

— Гамарник даже передернулся весь, — рассказывал в тот день Апанасенко. Его жена, робкая женщина, всегда живущая в страхе за своего Иосифа, пригласила меня на ужин и в обширной квартире Апанасенко, в правительственном жилом доме за Москва-рекой, мы были втроем.

— Сидит Гамарник и кусает бороду, — продолжал Апанасенко, — а я ему о делах комиссаров докладываю. Схватился он с кресла и по кабинету забегал. «Вы, говорит, преувеличиваете проступки комиссаров, и я понимаю, зачем вы именно теперь приехали в Москву с вашим требованием. — Комиссаров я не сниму и все ваши материалы прикажу

проверить». А я ему: «Нет уж, товарищ Гамарник, вы сначала снимите, а потом проверяйте». Вижу, не соглашается, пятнами красными весь пошел.

В тот же день Гамарник получил приказ отозвать в Москву комиссаров, названных Апанасенко. Это окончательно убедило его в том, что Сталин замышляет изменения в структуре управления армией. А так как Гамарник, кроме всех прочих качеств, был еще наделен не малой долей хитрости, то порешил он пойти навстречу событиям. В политическом управлении было созвано совещание. Гамарник выдвинул совсем новое положение: комиссар — помощник командира. Его обязанность состоит в том, чтобы помогать командиру, укреплять его авторитет, не вмешиваясь в чисто военную сферу. После совещания политработников, на котором было не менее пятисот участников, я шел, направляясь в сторону редакции. У Арбатской площади меня догнал Плеханов. Среди участников совещания я его не заметил, хотя он там, несомненно, был. При взгляде на этого красивого, но холодного человека мне стало жалко его. Он побледнел, осунулся, но взгляд его был всё так же спокоен. Сравнительно молодой Плеханов поднялся до высокой ступени комиссарской иерархии, чтобы быть сбитым с нее одной пощечиной дивизионного командира.

— Как вам понравилось? — спросил Плеханов, идя рядом.

— Что понравилось?

— Крен, который обозначился в речи товарища Гамарника.

— Я мало в этом смысле, товарищ Плеханов, — попытался я увильнуть от ответа.

Но Плеханову нужен был слушатель. Мы шли с ним по бульварам, соединяющим Арбатскую площадь с Пушкинской. Говорил Плеханов, а я молчал. Он начал с того, что дело не в нем, Плеханове, и не в Крылове, а в принципе, на каком строится армия, в цели, какая перед армией ставится. Ему не хотелось критиковать Гамарника, но он был убежден, что сказанное там на совещании — большая ошибка. Красная армия не может жить без комиссарского корпуса. Устранение комиссара означало бы, по мнению Плеханова, изъятие из тела армии политического стержня.

— Но разве командиры не могут осуществить политического руководства? — задал я вопрос.

— Что мне вам говорить о том, что красный генералитет — это унтер-офицерский сброд, — воскликнул Плеханов. — Немного подучились, немного отшлифовались, но, в основном, остались всё теми же недумающими службистами. Я не хочу оспаривать храбрости этих людей и их заслуг перед революцией, но им нельзя доверять в силу их примитивности и политической неполноценности. Комиссары именно и нужны потому, что наш генералитет стоит на уровне военных кадров абиссинского негуса. А задача у нас не абиссинская, а мировая. Надо было бы очистить армию от всех этих людей, кичащихся своими прошлыми заслугами.

— Но есть много причин, почему ими надо дорожить, — прервал я его.

— Да, ими дорожат. — Плеханов снял фуражку и провел ладонью по гладко зачесанным волосам. — В этом я убедился еще раз сегодня... Ворошилов восстановил Крылова в командовании дивизией, а меня приказано отчислить в запас... Но это ничего не значит. Идея комиссарства, т. е. политического насыщения армии, останется, и Гамарник ошибается, думая, что партия откажется от нее.

В тот момент я не поверил Плеханову. Выступление Гамарника казалось мне достаточной гарантией, что корпус военных комиссаров будет устранен. Дальнейшее показало, что я тогда еще мало понимал в хитросплетениях советской военной машины. Через некоторое время стало известно, что Гамарник отменил инструкции, данные им об изменении взаимоотношений комиссаров с командирами. Это было странно, и я не удержался, чтобы не спросить об этом Карелова:

— Ведь, казалось, линия поведения комиссаров будет изменена и они потеряют свое руководящее положение в армии. Или я ничего не понял тогда в сказанном Гамарником? — спросил я.

Адъютант Гамарника пристально посмотрел на меня и помедлил с ответом. Он раздумывал, стоит ли отвечать на мой вопрос и заслуживаю ли я ответа.

— Не будьте комиком, — проговорил он после короткого молчания. И дальше он дал ответ, который сделал всё ясным. Он предполагал, что я не понял Гамарника, и советовал «раз и навсегда» запомнить, что партия никогда не ослабит своего контроля над армией. Наступит время, когда наша армия двинется по Европе и по всему миру. Во имя чего? Что она принесет миру? Второй марш русских через Европу, по словам Карелова, будет выглядеть иначе, чем первый, во время войны с Наполеоном. Тогда русская армия вошла в Париж, но у нее не было знамени, которое она могла бы водрузить в Европе. Что могла предложить полуфеодалская, отсталая Россия Франции, после великой французской революции? Теперь всё обстоит иначе. Нам нужна такая победа, которая установила бы коммунизм везде, куда ступил сапог советского солдата.

Напуганный перспективой выслушать длинную лекцию Карелова, я оборвал его:

— Но как всё-таки с речью товарища Гамарника? Ведь в ней определенно говорилось о новых взаимоотношениях с командным составом.

— Забудьте о ней. Это единственно, что я могу вам посоветовать. Можете быть уверены, что товарищ Гамарник уже забыл.

Гамарник, конечно, не забыл, но его речь была ошибкой, чуть ли не стоившей ему его положения. Он неправильно оценил обстановку, решив, что Сталин поддержит на этот раз генералитет. Гамарник поступил так, как ему казалось в тот момент правильным, чтобы сохранить свое личное положение и не допустить слишком сокрушительного разгрома комиссарского корпуса. Между тем, в это время Сталин готовил не снижение роли комиссаров, а дальнейшее ее усиление. В этом и состояла ошибка Гамарника, подорвавшая его престиж. Может быть, она обусловила и тот одинокий выстрел, которым Гамарник, двумя годами позже, покончил счеты с жизнью.

Атака генералитета на комиссарский корпус в 1935-36 годах закончилась ничем. По приказу Сталина, Ворошилов убрал из войск комиссаров, вызвавших наиболее острую неприязнь у командиров, но, в то же время, отдел партийных кадров мобилизовал около пятнадцати тысяч коммунистов для замещения комиссарских постов в армии. Комиссары появились даже там, где их до этого не было — в штабах, в интендантствах, в пограничных отрядах.

С тех пор облик армейского комиссарства изменялся по форме. Перед войной с Германией в армии было известное количество «единоначальников», при которых не было комиссаров, а были заместители по политической части, но с первым выстрелом войны Сталин восстановил комиссарский корпус в полной его силе. Вновь поднялась неприязнь генералов к комиссарам, а так как во время войны это было опасно, то в 1943 году Сталин опять устранил военное комиссарство, вернее, видоизменил его. Комиссары, переодетые в офицерские и генеральские мундиры, остались при войсках всё с той же целью: быть оком партии. Этих комиссаров можно теперь видеть на высоких постах в оккупационных зонах Германии и Австрии, в странах-сателлитах. Они водружают знамя коммунизма в восточной Европе.

В будущих битвах мир еще познает силу организованного и непримиримого комиссарства Красной армии, воспитанного на идее насильственного установления коммунизма.

Огненный вал

Тридцатые годы в Красной армии проходили под знаком суворовского завета: «Тяжело в учении, легко в бою». Штабы изоцрялись в постановке труднейших военно-учебных задач. Шло непрерывное чередование летних, осенних, зимних, весенних маневров. Солдатская служба стала еще более тяжелой и изнурительной. Еще более неприятными стали обязанности военного корреспондента.

Летом 1936 года неожиданное распоряжение погнало меня в Туркестан.

Для далекого путешествия предназначена была «корова», редакционный аэроплан весьма почтенного возраста и угрожающей внешности. По утверждению Карла Радека, ведавшего

иностранным отделом нашей редакции, «корова» совершала полеты в нарушение всех законов аэродинамики, так как ее конструкция якобы была весьма остроумно приспособлена не для взлетов, а для падений. Тем не менее «корова» исправно летала и пользовалась нашей общей любовью, которую мы переносили и на Сергея Тарасовича, единственного пилота на этом воздушном корабле. На своем устарелом ТБ (не смейтесь, «корова» была тяжелым бомбардировщиком доисторической авиационной эпохи), Сергей Тарасович ковылял по всем воздушным бездорожьям страны. Однажды он даже приземлился на мысе Уэллен у Берингова пролива, откуда арктические летчики вылетали на спасение потерпевших кораблекрушение путешественников. Хотел было Сергей Тарасович и свою «корову» в спасательных операциях в Арктике испробовать, да начальник гражданской авиации приказал пилота арестовать, а «корову» пришвартовать к радиомачте, чтобы ее ветром в море не сдуло. С тех пор Сергей Тарасович весьма скептически относился к арктической авиации.

В июне, когда мы вылетали в путь, бывает ранний рассвет. Сергей Тарасович заехал за мною часов в пять утра.

— А ты, того-этого, заправился уже? — было его первым вопросом. Окинув взглядом стол с остатками завтрака, приготовленного матерью (в каждый полет старуха отправляла меня, словно на тот свет), Сергей Тарасович углубил вопрос:

— Горючим-то заправился, спрашиваю? Я посмотрел на пилота и обнаружил, что на этот раз он непростительно трезв. А так как по предсказаниям всё того же Радека, «корова» погибнет со всем сущим на ней в тот день и час, когда окажется Сергей Тарасович трезвым, то поспешил я к буфету и, стараясь не замечать предупреждающих взглядов матери, поставил на стол графин с водкой. Летчик налил чайный стакан. Выпил. — У меня предварительная норма триста, а исполнительная пятьсот граммов, — пояснил он, наливая стакан до половины. Потом подумал и долил до края. — Пусть сегодня будет четыреста. Выпил. Обтер ладонью рот и повеселевшими глазами посмотрел на меня.

— Понимаешь, чертовщина какая получилась, — проговорил воздушный волк. — Жена совсем рехнулась. Запрещает предварительную, предполетную. Исполнительную, после полета, значит, приемлет, а эту никак. Прикрикнул на нее, да и сам не рад был. Загудела пропеллером, юбка на ширину размаха плоскостей раздувается. Одним словом, отступил я, не получив чарки, каждому доброму казаку перед походом положенной.

Полетели мы с полной коровьей скоростью, немногим больше двухсот километров в час. Раз пять садились на аэродромах. Механики поили «корову». С видом заправских докторов, они прислушивались к ее реву и с сомнением качали головами. «Корова» уже тогда на всех аэродромах знаменита была и по всему Советскому Союзу шел спор. Одни давали ей три месяца жизни, другие полгода. А она всё летала и летала, приводя в смятение авиационный персонал аэродромов.

Порядком потрепало нас над Кара-Кумами, над этой песчаной могилой с редкими островками поселений. Однако же, хоть и сильно трепало ревущую «корову», тревога в душу не закрадывалась. Достаточно было взглянуть на Сергея Тарасовича, лихо сдвинувшего летный шлем набекрень, чтобы сохранить спокойствие. Такая была в этом веселом человеке уверенность, что стыдно было бы тревожиться.

Перед вечером следующего дня мы благополучно сели на большом военном аэродроме. Сергей Тарасович поспешил в столовую за исполнительной нормой, а я стал вызывать по телефону город. Получив от штаба нужные сведения, я отправился к железнодорожной станции, лежащей между городом и аэродромом, и через полчаса, пройдя предварительную проверку у молодца в форме внутренних войск, вышел на станционный перрон. Перрон был заполнен командирами частей, расположенных в Средней Азии. Некоторые проехали сотни верст, но все чисто одеты, выбриты, тщательно причесаны. К этому времени из армии уже был изгнан стиль небрежности в одежде и презрения к ежедневной бритью, который господствовал в ней со времени гражданской войны. Цвет офицерства далекого военного округа встречал правительственный экспресс, идущий из

Москвы. Мне удалось опередить его на нашей героической «корове», хотя он покинул Москву за три дня до нашего вылета из столицы.

Раскаленный добела воздух струился над перроном, над невысоким зданием вокзала, струйками уплывал в сторону города. Казалось, что воздух вот-вот вспыхнет синеватым пламенем.

С перрона видны были улицы, берущие начало от вокзала. Доносилось легкое урчание арыков, затененных буйно разросшимися деревьями. Огромные цветы, в поисках прохлады, склоняли к воде пышные тюльпаны. Низенькие дома городского предместья переходили дальше в высокие здания центральной части. Мне не был виден весь город, но я знал, что в другом его конце раскинулся старый город, в котором всё — дома, минареты, крикливые уличные торговцы — напоминает, что здесь — Азия.

Ташкент, столица Узбекистана.

На перроне возникло волнение. Донесся далекий звук паровозного гудка. У края платформы выстраивалась рота красноармейцев. Винтовки с примкнутыми штыками. Руки солдат затянута в белые перчатки. Почетный караул. В центре платформы сгрудился военный оркестр.

Мимо перрона поплыла черная громада паровоза, а за нею — голубые вагоны правительственного экспресса. Поезд остановился. Из среднего вагона вышел невысокий плотный человек в военном мундире. Ворошилов. Команда почетному караулу утонула в реве оркестра. Следом за Ворошиловым показался Буденный, потом Тухачевский. Это для меня было новостью. В Москве мне сказали, что на маневры в Средней Азии выезжает нарком, но, оказалось, он прибыл со всеми своими помощниками. Из последнего вагона вышел Тимошенко, которого издали легко было узнать по бритой голове, отражающей на своей гладкой поверхности солнце. Рядом с ним на перроне стоял Жуков — приземистый и угрюмый.

Развивалась обычная церемония встречи наркома. Ворошилов торопливо пожал руки командармам, комкорам и комдивам, кивнул головой остальным и покинул перрон. В сторону города понеслась вереница черных автомобилей.

Здесь такая земля, что воткнешь в нее сухую палку, а она розами зацветает.

Это сказал мой спутник, Васюков, офицер из артиллерийского управления штаба округа. Мы с ним выехали из Ташкента утром, чтобы переночевать в пути, а утром начать подъем к горному перевалу, за которым лежит благословенная Фергана. Заключительный этап маневров должен был произойти в ферганской долине, куда уже стянуты войска. Туда отправился и правительственный экспресс. До Ферганы можно было бы добраться поездом, но меня привлекала перспектива пересечь горный кряж. А тут как раз и оказия подвернулась: Васюков получил приказ совершить путь через горы, чтобы нанести на карту какие-то рубежи.

До подножия гор нас вез военный грузовик, в который были погружены две наших лошади под присмотром конюха. К вечеру мы были в узкой долине. Дорога вилась по берегу небольшой, шумной речушки. Далеко ввысь уходили каменные отроги гор и казалось, что небо покоится на их заснеженных вершинах. На склонах — ни деревьев, ни жилищ, ни пастбищ — бесконечный каменный хаос. Васюков был прав: земля в долинах взбухает соком плодородия. Хлопковые поля, рисовые посевы здесь такие, что диву даешься. И всё-таки мы в стране нищих. На нашем пути мы проезжали много кишлаков и повсюду одна и та же картина. Днем, в жару, на полях работают женщины, а мужчины коротают дни в прохладных чай-ханах, пьют зеленый кок-чай и о колхозных делах ведут мудрые, бесконечные разговоры. В этих местах восточная лень всегда давала о себе знать, а при колхозах она стала еще более откровенной.

На вечерней заре доехали мы до кишлака Кара-су, что в переводе на русский язык значит Черная вода. В Ташкенте толстый узбек, член правительства республики, советовал мне обязательно побывать в этом кишлаке:

— Первый кишлак в республике, где все женщины чадру сняли, — с гордостью говорил он.

Решили заночевать в камышовых зарослях на берегу реки. Васюков даже слышать не хотел о ночевке в кишлаке.

— В домах узбеков блохи от нас только шпоры оставляют. Блох-то там больше, чем волос в бороде Магомета, — говорил он.

Пока Васюков с шофером и конюхом устраивали бивак, я вышел на берег реки. С небольшого пригорка кишлак был хорошо виден. Маленькие глинобитные домики с плоской, из глины же слепленной, крышей, удивительно хорошо гармонируют с окружающей природой. Они и сами кажутся частичкой этой величественной, молчащей природы. На противоположном берегу реки стояли узбеки, повернувшись в нашу сторону. К воде подходили женщины с открытыми лицами. Унося от реки кувшины, наполненные водой, они часто оглядывались на меня и на их смуглых лицах обозначалась белая полоска зубов. Женщины улыбались.

Пужинав кашей, заправленной салом, мы с наслаждением растянулись на земле, подослав под себя конские попоны. Несколько мгновений я распутывал нить какой-то родившейся во мне мысли, но, так и не распутав до конца, почувствовал, что на меня накатывается теплая волна расслабляющего сна. Всё поплыло перед глазами. Пробудился я от неслыханного мною дотоле шума. Долина всё еще тонула в полутьме, но отроги гор уже были освещены. Явственно обозначилась на них линия, разделяющая тьму долины от света, идущего сверху. Пели петухи. Не один, не два, а тысячи горластых петухов. Их то крик и разбудил меня. Васюков недовольно завозился под шинелью, приподнял взлохмаченную голову и сердито произнес, ни к кому не обращаясь:

— В этом курятнике не поспишь, чорт бы их побрал!

Мы были в царстве фазанов. Вслушиваясь в петушиный концерт, я явственно различал кукареканье совсем рядом с нами. Проснувшийся конюх толкнул меня под локоть и кивнул подбородком в сторону реки. В пяти шагах от нас крупный фазан, раскинув веером свой роскошный хвост, самозабвенно кукарекал, а рядом с ним, присев сероватым брюшком на кочку, спокойно сидела скромно оперенная самка, похожая на домашнюю курицу-пеструшку. Она ждала пока ее царственный супруг насытится утренним криком. Конюх пошарил вокруг себя и нащупал тяжелый ключ, оставленный шофером. Выждав, пока фазан затянет свой голосистый крик, он метнул ключом в фазанью пару. С характерным урчаньем фазан взмыл вверх, на миг застыл в воздухе (вот тут-то и должен охотник не зевать!) и потянул по горизонтали, а подраненная самка билась на земли, не в силах взлететь.

Фазаний шум разбудил кишлак. Донеслось тягучее мычание ослов, словно они хотели присоединиться к петушину крику, да только не могли сразу подобрать нужный тон. К реке потянулись женщины с кувшинами. Мы с Васюковым умывались в реке, накаленной горным холодом, а женщины с другого берега смеялись, вероятно над нами. Васюков бросал в их сторону сердитые взгляды и, поеживаясь от холода, ворчал:

— Вишь, без чадры ходят. В других кишлаках за такое дело убили бы женщину, а тут узбеки смирились. В прошлом году выбрали этот кишлак для опыта. Агитировали, чтобы женщины чадру снимали, да не помогло. Тогда прислали сюда отряд внутренних войск и чадру с женщин насильно сняли. Муллы объявили этот кишлак заразным и все теперь объезжают его стороной.

Уже затягивая ремень на гимнастерке, Васюков добавил:

— Но, между прочим, дело тут не только в чадре. Вы это скоро увидите.

Позавтракав, мы отправили грузовик в обратный путь. Уехал и конюх. Мы остались с Васюковым вдвоем, а с нами две подседланные лошади. Можно было отправляться в

дорогу, но Васюков медлил, что то выжидая. По тропинке, ведущей от кишлака к реке, теперь двигалось много женщин с кувшинами.

— Смотрите! — толкнул меня в бок Васюков, показывая рукой в сторону. Невдалеке вброд через реку переправлялось человек с десять красноармейцев.

— В десяти километрах гарнизон стоит, так эти оттуда притопали, — пояснил Васюков.

Не видя нас, солдаты углублялись в камышовые заросли и вскоре их круглые лица показались у самой тропинки, по которой к реке и от реки двигались женщины.

Пришедшие показывали проходящим куски мыла, яркую ткань и еще какую-то мелочь.

Одни узбечки со смехом проходили мимо, другие же сворачивали на зов в заросли. Потом они опять появлялись на тропинке и показывали подругам полученные за любовь (коротка солдатская любовь!) подарки. Как видно, они не стыдились этой любовной утехы с незнакомыми русскими солдатами. И страха у них не было — знали, что мужья спят на утренней заре крепким сном.

Качаясь в седле и направляясь вслед за Васюковым, я думал о виденном. Женщины, идущие к солдатам с бездумной легкостью. И это на Востоке, где женское целомудрие охранялось всем строем жизни. Не потому ли они с такой легкостью идут в камыши, что с них сняли чадру? Насильно вторглись в привычный для этих людей строй жизни, грубо разрушили его, но ничего взамен не дали. А природа не терпит пустоты и там, где было целомудрие, защищенное чадрой, теперь любовные приключения на окраине кишлака. Этот день мы провели на горных тропах. Долина, покинутая нами утром, опускалась всё ниже, река стала походить на тонкую серебристую нить. Кишлак перестал быть виден, он слился с окружающим ландшафтом. Кони, привычные к горным дорогам, бойко шли над пропастями, осторожно переходили мостики, перекинутые через щели. Иногда мы шли за конями вслед, но на большой высоте силы быстро иссякали и мы снова взбирались в седла.

На исходе дня мы подошли к самому тяжелому участку пути. Под нами зияла пропасть. Через нее можно было пройти по дороге, похожей на качель. К отвесной скале льнула узенькая полоска переплетенного хвороста. Она удерживалась на сваях, вбитых в скалу. Это подозрительное сооружение качалось при каждом шаге, земля, которой прикрыт хворост осыпалась под ногами, в настиле зияли дыры, через которые была видна скала, отвесно падающая вниз.

Лошадиная мудрость еще не нашла настоящего признания среди людей. Тогда, на качающейся дороге, я припомнил и понял изречение древних, говоривших:

«Если Бог желает помочь человеку, он дает ему хорошего коня». Наш караван по плетеной дороге вел старый конь Васюкова. Он шел, широко ставя копыта и низко опустив голову, словно рассчитывая каждый свой шаг. Когда дорога начинала слишком уж колебаться под нами, он останавливался и выжидал. Мы плелись за конями, целиком положившись на их мудрость и осторожность. Некоторое беспокойство причиняла нам моя кобыла Золушка, молодая и вздорная. Избалованную Золушку, предоставленную мне для поездки с конюшни командующего округом, как будто оскорбляло, что она вынуждена идти вслед за беспородным старым конем Васюкова. Из-за этого она часто покусывала коня в круп и даже пыталась протиснуться между ним и каменной стеной. В такие мгновения мы с Васюковым поднимали дружный крик. Другого способа воздействовать на наглую кобылицу у нас не было, ударить ее мы не смели.

Когда мы ступили на твердый камень, оставив плетеную тропу позади, первым нашим желанием было проучить Золушку. Сняв ремни, мы пребольно отхлестали ее и, как мне показалось, рыжий конь Васюкова понимал и одобрял наш поступок.

Заночевали мы на площадке меж гигантских валунов, пристывших на горном склоне.

Поужинали консервами, напились теплой неприятной воды из фляжек. Васюков привалился к большому камню, укутал голову шинелью и вскоре стал похрапывать, а я отошел в сторону и присел на камень. Болели натруженные ноги, всё тело как бы звоном

было заполнено, но спать не хотелось. Лошади, не получившие воды, лениво жевали овес из торб.

Внизу всё было затянуто мраком. Небо, до которого, казалось, рукой можно дотянуться, с каждой минутой становилось глубже и темнее. Как-то неожиданно на нем вспыхнули звезды. Только что их не было, а при следующем взгляде они уже были видны и на глазах наливались световой силой. Ясно обозначились вершины гор и мне казалось, что они вытягиваются всё выше, словно гигантский магнит звездного неба притягивал их к себе. Я ощутил себя жалким и беспомощным перед лицом царственной вечности и почувствовал нестерпимую обиду от сознания, что я человек, беспомощная, бессильная букашка. Удивленный, я увидел, что всё вокруг заполнилось толпами людей. Я видел эти толпы, чувствовал идущий от них запах немых тел. Воины великого Тимура. Мне нестерпимо захотелось присоединиться к ним и вот я уже в толпе. Мы идем дорогой завоеваний. Наши кони и верблюды до дна осушают колодцы оазисов. Мы разрушаем города, уводим невольниц, связывая их косами одну с другой. Кровь и пепел пожарищ отмечают наш путь. Тамерлан ведет нас всё дальше. Всё во мне дрожит от ненависти и негодования, но я вместе с другими иду за ним и знаю, что другого пути для меня нет. Голодные, оборванные, но сильные своей яростью и безжалостностью, подходим мы под стены Самарканда, прекрасного города, похожего на восточную сказку.

Навстречу нам город выслал своих старшин со связками ключей от домов.

— Великий, мы отдадим тебе всё, что имеем, но пощади город, — молят они Тамерлана.

Жадный и надменный Тимур цедит слова сквозь зубы:

— Вы ничего мне не дадите, так как я всё возьму у вас.

На песок падают отрубленные головы старшин. Это видят жители города и решают сражаться. Долго осаждаем мы упрямый город, потом врываемся в него, предавая всё огню и мечу. Уцелевшие горожане ползут на коленях к шатру Тамерлана:

— Пощади! — вопят они, валяясь в пыли. Молча уходит в шатер великий хромой, чтобы под стоны убиваемых думать о новых походах.

Испуганный, я крикнул в сторону шатра владыки:

— Я не хочу.

И в тот же миг до меня дошел голос Васюкова:

— Вы чего кричали?

Я оглянулся кругом. Видение было сном. Холодные струйки пота сбегали по моему лицу. Васюков, не дождавшись ответа, снова привалился к камню и затих, а я, обессиленный и раздавленный, сидел в неподвижности и казалось, что ни малейшей частицы силы во мне не осталось и попробуй я подняться с камня, мне это не удастся.

Короткая ночь подходила к концу. Небо начинало светлеть, на нем всё ярвственнее проступали золотые блики, словно кто-то гигантской губкой смывал бледные отсветы луны и чем больше смывал, тем сильнее начинали играть золотые оттенки. Всё вокруг менялось, принимало то голубоватый, то лиловый оттенок. Неведомый художник наносил на полотно мира невероятные, неповторимые сочетания красок и тут же с безумной расточительностью уничтожал их.

В полдень мы спустились в чудесную, взбухающую плодородием долину Ферганы.

Предстоял заключительный этап маневров, в котором главная командная роль должна была принадлежать С. К. Тимошенко.

Тимошенко к этому времени разработал новый тактический прием боя, никогда дотоле в войнах не применявшийся и получивший известность под названием «огненный вал». На средне-азиатских маневрах он должен был продемонстрировать этот прием, к которому многие относились скептически. Существо приема состояло в том, что массированное наступление войск осуществляется не в сочетании с устарелой, как утверждал Тимошенко, артиллерийской подготовкой, а непосредственно за артиллерийским валом, расчищающим путь для наступающих войск. Иными словами, войска должны были идти вслед за артиллерийским валом и на таком расстоянии от него, чтобы только не быть поражаемыми

осколками. Нечего и говорить, что такое наступление требовало полной слаженности и безупречной «работы» артиллерии. Насколько я понял, Тимошенко и не рассчитывал с первого раза научить войска наступать таким оригинальным способом. Предвидел он и неудачи, допускал даже гибель некоторого числа бойцов и командиров от огня своей артиллерии, но это его мало смущало или не смущало вовсе. Он верил в свой прием и в его чудодейственную силу, а так как его ум был чужд сомнений, то о возможных неудачах и жертвах он не думал.

Тимошенко устроил свой командный пункт в одиноком домике на берегу канала, совершенно не заботясь о том, как разместятся другие. Сюда я и добрался на Золушке. Вокруг домика раскинулся целый городок палаток. Командиры всех рангов, штабы с многочисленными отделами, столовые, парикмахерские — всё это размещалось в палатках. Одна из палаток была отведена для бильярдного стола и оттуда несся стук шаров. Сдав Золушку и скормив ей на прощанье, в знак примирения, пачку печенья, оставшуюся в моих запасах, отправился я к палатке, предназначенной для военных корреспондентов. Там уже были мои коллеги, отчаянно скучавшие. Всем нам было строгойше запрещено писать что-либо о маневрах и мы не знали, зачем мы тут нужны. Необычайное скопление людей на командном пункте было вызвано тем, что из Китая прибыла большая группа советских военных советников. Среди этих последних был и старый мой знакомый, комбриг Рыбалко. До поездки в Китай Рыбалко командовал кавалерийским полком, с которым я, в 1934 году, проделал марш через Голодную Степь в Казахстане.

Присутствие Рыбалко помогало коротать время, а его рассказы о Китае и о том, что там делали наши военные советники, рождали во мне изумление и я несколько раз спрашивал Рыбалко:

— Неужели за такие дела вас китайцы в ямы не сажают?

Рыбалко в ответ на мой наивный вопрос только усмехнулся.

Однажды Рыбалко прислал за мною вестового. В палатке, кроме самого Рыбалко, я застал трех человек в штатской одежде. Из слов Рыбалко я понял, что произошла очередная неувязка. Кто-то из власть имущих в Москве пожелал, чтобы самый ответственный этап маневров был записан в звуках. Всесоюзное радио командировало в район маневров бригаду из трех техников и одного радио-репортера, которые и должны были осуществить передачу радио-репортажа на фабрику звукозаписи. Техников на маневры пропустили, а радио-репортера, или, как в Москве их называют, «ведущего» — нет. Трое в штатском и были техники, не знавшие, что им делать.

Рыбалко сказал, что «сам» Тимошенко заинтересован в том, чтобы звукозапись была проведена. То, что особая служба не пропустила радио-репортера в район маневров, могло сорвать весь план. Тимошенко поручил Рыбалко найти выход, а тот решил, что я вполне могу заменить радио-репортера. Мои утверждения, что я в радио ничего не понимаю, были решительно отвергнуты. Рыбалко был уверен, что человек, проехавший с ним верхом через Голодную Степь, всё может сделать. Пришлось согласиться.

План мой был прост и основан на вопросе, который я сам себе поставил, и на ответе, который я сам же дал на этот вопрос. «Что от нас хотят?» — спросил я себя. И ответил: «От нас хотят получить картину маневров в звуках. Человеческие голоса в этой картине — подчиненные детали, самое же главное заставить тех, кто будет слушать звукозапись, ощутить себя в центре событий».

Из этого уже рождался замысел. Его надо было облечь плотью использования в звуках предстоящих событий. В штабе Тимошенко мне сказали, что будет применен «подвижной огневой вал». Шесть дивизий пехоты и две бронетанковых будут наступать на узком фронте, стремясь захватить предгорья. На флангах будет действовать кавалерия. Условно считается, что противник оказывает жестокое сопротивление и его главной силой является пехота, занимающая укрепленные позиции. Наша артиллерия приблизительно равной силы с артиллерией противника. Центр тяжести маневра лежит в прорыве нашей пехоты

через линии противника. Она должна дорваться до рукопашного боя. Нашей артиллерии ставится задача расчистить путь пехоте. Танки предназначены для головного эшелона наступающих войск. Артиллерия «пробивает» своим огнем позиции врага. Расстояние между огненным валом и нашими наступающими войсками 300 метров. Стрельба боевыми снарядами. Плотность огня максимальная.

Выслушав всё это, я понял, почему стянуты огромные артиллерийские части. Когда я представил себе, как в действительности всё это будет выглядеть, тревога мохнатым зверьком шевельнулась в моей душе.

Рота связи, посланная в распоряжение радио-техников, тянула провода в ту сторону, куда будет вестись наступление. Саперы врыли в землю стальной колпак, под которым будет скрыт первый микрофон и я при нем. Колпак этот будет находиться всего в сотне метров от линии, на которой взорвутся снаряды первых залпов. Дальше, в глубине, куда артиллерия постепенно будет переносить огонь, установлено еще два микрофона в простых окопах.

Тимошенко, действительно, был заинтересован в том, чтобы звуки маневров были записаны. Он лично проверил нашу готовность. Я показывал ему места, где установлены микрофоны. Стальной колпак он одобрил, но приказал покрыть его несколькими слоями толстой резины. Высаживая меня из своего автомобиля после осмотра наших приготовлений, Тимошенко спросил:

— Страшно?

Я признался, что страшно.

— Это хорошо, что страх в тебе есть, — проговорил Тимошенко, трогая шофера за плечо. Машина унеслась, а я и до сих пор не знаю, что хорошего было в том, что одолевал меня жестокий страх. Не думал ли Тимошенко, что перед его замыслом, как и перед Господом Богом, надо страх и смирение иметь?

На рассвете следующего дня я был на месте. Как я и предполагал, бункер не получил резинового покрытия, — командир саперного батальона приказа Тимошенко не выполнил. Легкий ветерок наносил на бункер запах степных трав, смешанный с запахом махорки. Войска остались позади. Предутренняя тьма делала их невидимыми.

В стальном бункере было довольно просторно. Связисты даже соломы подстелили. Почему-то захотелось пощупать сталь над головой. Ее холодное прикосновение успокаивало. Мне не во что было больше верить, кроме этой стали. Она прикроет меня от осколков. А если прямое попадание? Но об этом лучше не думать.

Послышались шаги. Я нажал динамку ручного фонаря. В отверстие заглянул молодой белобрысый боец, совсем по-детски зажмуривший глаза, когда я осветил его лицо.

— Товарищ командир, — обратился он ко мне, когда фонарик погас. — Чи можно снимать те два поста, що у других матюфонов стоят.

Красноармеец вплетал в русскую речь украинские слова. Вероятно он был откуда-нибудь из-под Воронежа. Но не над этим я засмеялся тогда, а над новым словом. Бойцы уже переименовали микрофоны и по всей армии пошел слух, что установлены матюфоны для того, чтоб Сталин, сидя в Москве, мог через них слышать, как бойцы на маневрах меж собой разговаривают. В прошлый вечер я проходил мимо группы бойцов, залегших в траве и дымящих махоркой. Какой-то паренек пояснял товарищам, что через эти самые матюфоны Сталин завтра всё услышит и если красноармейцы очень густо будут высказываться, то прикажет он запретить в армии словесность, не предусмотренную уставом.

— До третьего этажа можно, а выше запрещается, — уверял он.

— Это ты врешь, пожалуй, — рассудительно отвечал басок другого бойца. — Как же можно запретить крепкие слова произносить? Армия не может без такой словесности воевать, это понимать надо.

Действительно, пора было снимать постовых от микрофонов, расположенных дальше, по линии наступления. Я крутнул ручку полевого телефона и сразу откликнулись два голоса: телефоны были поставлены на одной линии.

— Чего же нас не снимают отседова? — донесся до меня взволнованный голос постового. Часовые, наверное, обрадовались, что могут уйти от таинственных матюфонов, так как с подозрительной поспешностью они оборвали разговор со мной и, как оказалось впоследствии, оба дружно, не сговариваясь (они в трех километрах один от другого находились) позабыли унести телефонные аппараты с собой, а оставили их погибать под осколками.

Начинался рассвет. Молодой связист сидел на корточках у бункера. Техники телефонируют, что связь с Москвой установлена. Я представил себе, как в невысоком здании фабрики звукозаписи в Москве склонились над аппаратами рабочие. Между мною и этой фабрикой расстояние в пять тысяч километров. Звук будет приходить по эфиру — ташкентская радиостанция пошлет направленную волну на Москву. Одновременно звук пойдет по проводам. Повсюду у аппаратов дежурят люди, чтобы бережно донести до Москвы звуки предстоящего боя, в котором условным является лишь противник, а всё остальное вполне реально и очень опасно.

Через пятнадцать минут это начнется. Зеленая ракета прикажет всем приготовиться. Красная откроет боевые действия.

— А мне с вами оставаться, или как? — спрашивал красноармеец. — Другие стороной к роте потопали.

Я не имел права задерживать бойца, он мог уходить, но лучше, если бы остался. Не так будет одиноко. Я молчал.

— Останусь, пожалуй, — проговорил он. — Не было приказа уходить. Страшно, а дюже интересно, што тут за спектакля произойдет.

Боец влез в бункер и улегся рядом со мною. Места как раз хватило на двоих. Я высунул голову в отверстие. Войск не видно, знать залегли в траву. За невысокой возвышенностью нудно гудел мотор, проверяли танк.

— Вы, товарищ, голову сховайте в бункер, — предупредил мой сосед. — А то артиллеристы, сукины сыны, завсегда стрельбу не во время зачинают.

— Не могут они раньше срока начать, — успокаивал я.

— Вот и видно, шо вы тех артиллерийских гадов не знаете.

Вдали взлетела пачка зеленых ракет. До срока осталось пять минут. Я приложил телефонную трубку к уху. Техник сообщал, что всё готово. Прошла минута и я услышал слова, которые относились теперь не только ко мне, но и ко всем тем, кто расположен между мною и звукозаписывающими аппаратами в Москве: «Внимание... Включаю микрофон». И через несколько секунд:

«Микрофон включен».

Теперь передо мною не мертвый ящик микрофона, а нечто живое, к чему надо относиться с великим бережением. Я освещаю фонариком лист бумаги и читаю вступление к радиопередаче. Мой сосед застыл в благоговейной тишине и напряженно смотрит в микрофон. Стараясь быть спокойным, я говорю:

— Внимание, внимание! Говорит район маневров Красной армии. Через радиостанции Советского Союза говорит район маневров Красной Армии. Товарищи радиослушатели! Наша могучая, непобедимая Красная Армия готовится к грядущим боям за родину, за великое дело Ленина-Сталина. День и ночь куется грозное оружие мировой пролетарской революции. Этим оружием является наша славная Красная Армия. Она — оплот мирного труда советского народа, радость и надежда всего трудового человечества.

Я погасил фонарь и замолк, испытывая знакомое чувство досады. Постоянно надо заниматься этой обязательной и никому не нужной лозунговой словесностью. Но без нее нельзя. В политотделе хотели было навязать мне более пространное политическое вступление, но я, с помощью Рыбалко, отбил. Покончив с обязательным политическим

минимумом, я стал импровизировать. Обстановка, в какой я находился, создавала приподнятость. Я рассказал о степи, кажущейся мертвой и безжизненной, но потрясаемой глухим шумом моторов, об артиллерии, приготовившейся к залпам, и о полках и дивизиях, замерших на исходных позициях. Всё, что мне было известно об артиллерийском вале, я сообщил невидимым машинам, записывающим мои слова в пяти тысячах километров. Я употребил всю силу воображения, чтобы воспроизвести в словах картину залегших в траве войск, замерших у пушек артиллеристов. Чтобы сделать мои слова еще более убедительными, я решил вовлечь в передачу находящегося рядом со мною бойца, не спускавшего глаз с моего лица, словно он был удивлен тем, что я веду такой гладкий рассказ.

— Первый огневой вал будет воздвигнут нашей артиллерией в сотне метров от того места, где я сейчас нахожусь. Мой микрофон и я прикрыты стальным колпаком бункера. Его соорудили саперы. Со мною здесь находится боец из роты связи... Как ваша фамилия, товарищ?

Связист при моем неожиданном вопросе растерялся, но так как деваться ему было некуда, то он, зачем-то снявши с головы пилотку, приблизил лицо к самому микрофону и не очень уверенно ответил:

— Сопляков. Иван Терентьевич Сопляков моё фамилие будет.

Знал бы я, что такое неблагозвучное имя у моего соседа, не стал бы спрашивать, но теперь этот ответ уже унесся в Москву и его не вернешь. Я продолжал рассказывать о снарядах, которые обрушатся впереди нас.

— Я не знаю, как это будет выглядеть, но будем надеяться, что наш бункер уцелеет, — говорил я. — За артиллерийским валом пойдут в наступление войска... Великое искусство требуется от артиллеристов, чтобы не накрыть их своими снарядами. — Я поднял к глазам часы и сообщил, что осталась еще одна минута. — Постарайтесь, товарищи радиослушатели представить себе чувства бойцов, которые пойдут в наступление вслед за огненным валом. Снаряды будут рваться, разбрасывая снопы осколков. Ошибись артиллеристы, и множество бед произойдет на этом поле, а наш бункер взлетит на воздух...

Говоря это, я видел, что мой сосед начал выползать из бункера. Схватив его за ногу и крепко держа, я продолжал:

— Но мы уверены, что наши славные артиллеристы не ошибутся.

Ивану было страшно, это было видно по тому, как он старался вырваться из моих рук.

Может быть, только теперь, прислушиваясь к моим словам, он уяснил опасность нашего с ним положения.

— Пусти, товарищ. К своим пойду. А то из нас тут блин сделают.

— Поздно, — говорю я в микрофон. — Поздно теперь думать о том, что произойдет.

Машина маневров запущена и будет идти положенным ей путем.

Ворвались красные отсветы. Через плечо мне были видны гирлянды красных ракет, медленно опадающие вниз. Донесся разъяренный рев — первый артиллерийский залп.

Пространство над нами наполнилось тяжелым, угрожающим шелестом, словно сказочная птица прошумела крыльями. Небо над бункером, воздух над бункером, вся вселенная с треском и грохотом разорвались на части. Визжащие звереныши-осколки с пронзительным воем впились в крышу бункера.

Я был оглушен. Лежа на дне бункера, я цеплялся за соседа, который, тоже оглушенный, пытался вырваться из моих объятий и при этом невнятно матерился. Мы оба были на тонкой грани, за которой начинается полная потеря сознания. Всю силу надо было собрать, чтобы оторвать голову от земли и вернуть мысль к маленькой, но полной силовой жизни коробочке микрофона.

— Вы слышите грохот залпов и разрывы снарядов, — говорил я, стараясь прогнать из голоса предательскую дрожь... — Снаряды рвутся очень близко... Опять залп. Это тяжелая артиллерия. Ее снаряды посылаются на двести метров дальше.

Смутно я сознавал, что говорю не только я, но и мой сосед. Вой осколков замер над нами — артиллерия перенесла огонь вглубь. Донесся грохот танков, крики людей. Я продолжал говорить и в то же время через отверстие бункера наблюдал плывшую на меня волну людей в зеленых гимнастерках.

Массовое наступление лишает человека индивидуальности. Лавина людей перекатывалась через бункер, у всех были одинаково раскрытые в крике рты, одинаково расширенные глаза, одинаково потные лица.

Это не была настоящая война — и всё-таки было страшно. Издавая грозное рычание пушек, веером двигались танки. В центре веера тяжелые бронированные машины с короткими рылами пушек. Вокруг них резвились крошечные и какие-то несерьезные танкетки, бросающиеся то вперед, словно желая кого-то напугать, то назад, как будто сами чего-то испугавшись.

Однако, не артиллерия, не танки представились мне в тот момент страшными, а люди, бегущие мимо в каком-то неудержимом порыве. В этом ревущем хаосе люди должны были бы выглядеть жалкими и беспомощными, но по какой-то странной ассоциации мыслей и чувств они-то как раз казались самым главным и самым могучим на этом поле. Каждый из них в отдельности не мог бы вызвать этой ассоциации чувств, но в массе они были не людьми, а одухотворенной машиной войны.

Лавина наступающих перекатилась через бункер. Я сидел на стальном колпаке держа перед собой микрофон и продолжая рассказ. У моих ног валялись еще не остывшие осколки. Крошечная танкетка наехала на бронированный провод, идущий от моего микрофона. К счастью, Иван во время заметил это и разъяренным ведром ринулся на спасение провода. Танкист приоткрыл люк и высунул веселое и потное лицо.

— Бери свой провод, паучья твоя душа, — прокричал он.

Не в силах снести оскорбления («пауками» именовали в армии связистов), Иван полез на танкетку с кулаками, но танкист опустил колпак и через смотровую щель совершил оскорбление, назвав Ивана «интеллигенцией косопузой». Не имея возможности добраться до бронированного обидчика, Иван изо всей силы грохнул кулаком по стальному колпаку:

— Попадись только мне, крокодила шарикоподшипниковая, я с тобою поговорю, — крикнул он, выдергивая провод из-под гусениц танкетки.

Подскочившая «блоха» подхватила меня, чтобы доставить ко второму микрофону, где наступление должно смениться атакой. Блохами назывались маленькие автомобили ГАЗики, приспособленные для военных нужд. Так как им, в большинстве случаев, приходилось передвигаться по бездорожью, они имели несколько приподнятый кузов и действительно чем-то походили на скачущих блох. Отчаянно подпрыгивая на неровностях почвы, делая крутые виражи у воронок, оставленных снарядами, блоха неслась вперед.

Несколько минут в одном с нами направлении двигался автомобиль с Тухачевским.

Сзади донесся отчаянный крик. Крошечная танкетка догоняла нас, а на ней восседал Иван. Когда танкетка поравнялось с нами, боец ловко перепрыгнул в автомобиль. Он, кажется, чувствовал себя ответственным не то за звукозапись, не то за мою жизнь.

Наступление войск приостановилось, как это обычно бывает перед атакой. Складки местности заполнились зелеными гимнастерками бойцов. На пригорке собрались командиры, наблюдавшие в бинокли разрывы снарядов. Пришла весть, что на правом фланге два снаряда сделали недолет и взорвались среди своих войск.

В небе опять вспыхнул фейерверк — на этот раз красные и зеленые ракеты. Теперь войска перешли в атаку. До условных укреплений противника оставалось метров триста.

Артиллерия, ведущая беглый огонь, создавала впереди чудовищную пляску смерти, и люди должны были не уходить от этой пляски, а бежать к ней. Снаряды рвались в каменной гряде. Лава атакующих неудержимо катилась вперед.

Я бежал вместе с другими, направляясь к еле заметной седловине, в которой был спрятан третий микрофон. Лавина атакующих затопила гребень каменной гряды и вдруг испуганно

заметалась. Справа и слева она скатилась на другую сторону, но там, где я был, бойцы торопливо залегли, а некоторые стали отступать. Случилось непредвиденное: снаряды, рвущиеся в точно намеченной дистанции от пехоты, попадая на камни, вырывали их и разящими осколками бросали назад, навстречу атакующим. Микрофон был поврежден не то осколком, не то камнем. Уверенный, что он бездействует и не видя, что погнутая его коробка от проводов не оторвана, я не защитил микрофон от проникновения в него «нежелательных звуков». У самого микрофона отчаянно матерился командир полка. Камнем ему разбило голову и он полз, оставляя кровавый след. Кругом раздавались проклятия.

Атака была завершена. Смолкла артиллерия, стало странно тихо. Потянулись назад войска. Навстречу им двигались дымящие полевые кухни, разыскивающие свои роты. А через два дня в Ташкенте, в большом зале театра, подводились итоги маневров. Общий обзор делал Тухачевский. Он говорил холодно и равнодушно. Оживился лишь заговоривши о последнем этапе маневров, когда войска были отданы под командование Тимошенко. Военное новаторство, сказал он, великое дело, но к успеху оно ведет через множество неудач. По мнению Тухачевского, опыт Тимошенко был одной из таких неудач. Ворошилов сидел молча и ничем не выражал своего отношения к словам Тухачевского. Тухачевскому возражал Жуков. С первого же слова он стал оспаривать выводы Тухачевского. По его словам, атака за артиллерийским валом вполне себя оправдала. Как и большинство старших командиров, Жуков не блещет красноречием, но его доводы были вескими и убедительными.

Мне не удалось присутствовать до конца на этом собрании. Вестовой разыскал меня и передал распоряжение сейчас же явиться в штаб. Из Москвы пришел приказ: немедленно вернуться в столицу. Теряясь в догадках, что может означать этот приказ, я явился на аэродром, погрузился в военный самолет и через день вышел из него на Московском аэродроме. Шофер повез меня не в редакцию, а на фабрику звукозаписи. Вскоре туда же приехал Б. М. Таль, бывший в то время заведующим отделом печати ЦК партии. Это был невысокий, худощавый человек. Лицо его освещалось большими черными, всегда болезненно блестящими, глазами. Ходили слухи, что Таль наркоман.

В кабинете директора фабрики звукозаписи Таль объявил причину моего спешного вызова в Москву.

— Во-первых, там вам больше нечего делать. А, во-вторых, у вас чорт знает что происходило. Если верить всей этой звукозаписи, то там на каждом шагу красноармейцев убивали, — сказал он с непонятным раздражением.

— Об этом ведь я ни слова не говорил, — осторожно произнес я.

— Знаю... Однако вы умудрились так подать материал, что получилась не повесть о героической Красной армии, а сплошное издевательство над нею.

Таль впадал всё в большее раздражение.

Не было смысла оправдываться. Суждения высокопоставленных партийных чиновников неоспоримы, эту истину я к тому времени уже довольно хорошо усвоил.

Моя задача была простой. Под присмотром Таля должен был быть смонтирован радиофильм о маневрах Красной армии. Его хотели продемонстрировать каким то иностранным делегациям, прибывшим в Москву. Прежде чем приступить к работе, надо было прослушать всю запись целиком. Слушая звуки, родившиеся в далекой Средней Азии и попавшие на пленку, я снова переживал всё происшедшее несколько дней назад. Я опять лежал в бункере, слышал над собою свист осколков, гром артиллерийских залпов.

Пока мы слушали, Таль укоризненно смотрел на меня, а мне, признаться, совсем не было стыдно и я мысленно хлопал себя по плечу. Мой рассказ о степи, о войсках, приготовившихся к наступлению, об артиллерии, притаившейся в складках местности, был прост, ясен и, как мне казалось, выразителен. Некоторый диссонанс внесла речь Ивана, когда я его держал за ногу и не давал выскользнуть из бункера, но ведь Иван солдат — и было бы странно, чтобы он заговорил изысканным языком. Когда раздался залп, а за

ним грохот взрыва, в глазах Талья мелькнуло что-то, похожее на одобрение. Взрыв он готов был одобрить. Артиллерийские залпы следовали один за другим, от грохота взрывов, казалось, обрушится штукатурка в комнате, в которой мы были, но в грохоте, вое, визге, явственно звучал голос Ивана. Как помнит читатель, я при первом же залпе потерял на некоторое время способность управлять собой и всем телом вжимался в землю. Иван был в таком же, как и я, состоянии, но в то время, как я молчал, он бросал слово за словом и эти ненужные слова впитывались микрофоном. Его речь не была от сознания, у обоих нас оно было тогда подавлено, а от рефлекса, следовательно и речь эта была как бы рефлекторной. Насколько эта бессознательная речь была выразительной, читатель поймет сам. Каждый раз, когда раздавались особенно крепкие слова, Талья делал рукой жест, приглашая прислушаться.

Когда вся пленка была прокручена, Талья нравоучительным тоном заметил, что Чехов писал о мужиках, но ни разу не употребил бранного слова.

— Помните рассказ «Правонарушитель»? — спросил он.

Я, конечно, помнил этот рассказ, но мужик мужику рознь. Чеховский стоял на самой низкой ступени развития, всего боялся, ничего не понимал, задавленный не столько нищетой, хотя и ею, сколько полным и законченным бескультурьем. Иван это не чеховский мужик. Современные мужики многое познали, многому научились и защищают себя иначе, чем чеховский мужик. А что речь солдатская груба, так ведь это от жизни.

Солдатская жизнь не менее груба. Я не встречал солдат, которых жизнь не научила бы единственному для них языку: солдатскому. Это относится к немецкому, русскому или китайскому солдату. Разница между их словесностью чисто внешняя, существо же общее. Из вороха пленки, на которой были записаны звуки маневров, мы смонтировали пятнадцатиминутный радиofilm, который, быть может, припомнят те, кто в те годы жил в СССР. Он несколько раз передавался по радиостанции Коминтерна.

Мне же этот эпизод будет постоянно памятен, так как тогда, на маневрах в Средней Азии, я явственно ощутил машинное начало в советской армии, превращающее людей в частицы того, что мы именуем машиной войны.

Малая война

Ухабы бытия

Стреляющая, ревущая, гудящая военная техника — это лишь частица огромной машины войны. В моем представлении советская армия, олицетворена не в технике, а в худом, одетом в тряпье, обутом в кирзу советском воине. Серые солдатские пылинки, сведенные в полки, роты, дивизии обретают в соединении качества автомата.

В ту зиму, когда советская армия нескончаемым потоком устремила на север, к Финляндии, чувство автоматичности армии, жившее во мне давно, окончательно оформилось.

Заканчивались тридцатые и начинались сороковые годы. Безжалостно подстегиваемая страна, с великим трудом преодолевая перманентный всесоюзный кавардак, втащила на гору воз индустриализации, дав Кремлю новый козырь — военную индустрию, способную перевооружить Красную армию.

Каждый год происходило много такого, что накладывало суровый отпечаток на истерзанный лик страны. После Тухачевского отвратительная чистка унесла тысячи командиров Красной армии. Не мало героев гражданской войны исчезло в застенках Ежова. Назревали столкновения с японцами, прорвавшиеся потом событиями Хасана и Халхын-Голла. Поэт Демьян Бедный, пребывавший в опале, попытался заслужить отпущение грехов. В «Правде» появились его стихи:

Не трепитесь Сигемицу,
Мелко плаваете вы.

Сигемицу, тогдашнего мининдела Японии, не утрашили не только угрозы Кремля, но даже стихи Бедного. Пришлось пробовать оружие — испытание, из которого Красная армия вышла хоть и без особой чести, но и без особых жертв.

Под грохот пушек на востоке торопливо заканчивалась расправа власти над народом. До предела распухли концлагери, если только можно говорить о пределе, когда речь заходит о концлагерях. В долгом стоянии за килограммом хлеба «в одни руки» люди могли размышлять о преимуществах победившего социализма. Моя дальняя родственница, женщина простая и бесхитростная, в одной такой очереди высказала то, что думала: «В старое время я была прачкой и трем моим детям дала высшее образование, — сказала она. — А теперь два моих сына инженеры, а дочь музыкантша, я же стою ночами, чтобы получить кусок хлеба для них». Ее на три года отправили в Караганду.

Одним словом, всё шло так, как и положено идти при советской системе.

Зима 1939 года застала меня в Калинин (быв. Тверь), где я отбывал наказание за несовершеннолетние мною, или, во всяком случае, неведомые мне грехи. В мире преследуемых мера наказания, отмеренная мне, почиталась чем-то вроде легкого насморка и всерьез не принималась. Люди, получившие «минус шесть», то есть запрещение на известный срок жить в шести крупнейших городах страны, попадали в какое-то промежуточное положение: не свободны, но и не лишены свободы. Я в эту категорию людей попал тогда, когда Сталин решил, что наступило время Бухарину положить голову на плаху. Бухарина повлекли на казнь, а нас всех, сотрудничавших с ним в «Известиях», где он был редактором, разместили по тюрьмам, чтобы посмотреть, не вложил ли в нас Бухарин своих антисталинских настроений и в соответствии с этим определить наше место под солнцем. В беду после Бухарина попали мы все, начиная от редакционных уборщиц и кончая заместителями Бухарина.

После кратковременного пребывания в Лубянской тюрьме, нас разместили по тем местам, где нам, по мнению власти предержавшей, быть надлежало. Несколько человек исчезли в концлагерях, кое-кого отпустили на свободу, а большинству, к которому принадлежал и я, было назначено быть людьми, помеченными «минусом шесть». Так попал я в Калинин. Облюбовал я этот город по нескольким причинам. Во-первых, по причине упрямства. Во мне жила тогда глубокая, не затухающая обида на несправедливость, учиненную нам. Я искренне считал, что подвергать меня наказанию никто не смеет, раз я не совершил ничего такого, что заслуживало бы наказания. Когда мне определили «минус шесть» и сказали, что я не имею права селиться ближе, чем в ста километрах от таких-то шести городов, я сразу же выбрал Калинин, в ста одном километре от Москвы. Мне казалось, что выбирая этот город, я каким-то образом заявляю свой протест. Мне запрещают жить ближе чем в ста километрах, хорошо, я буду жить в ста одном. Другой причиной была моя привязанность к Москве. Все мои интересы, и не только общественные, были связаны с нею. Я надеялся, что, несмотря на запрещение, смогу бывать в столице — и действительно бывал.

Вся тогдашняя жизнь моя была какой-то незаконной. Мне запретили работать в прессе, но я был неразлучен с пером, и именно в Калинин моя работа была наиболее плодотворной. Я благодарен нескольким советским писателям — два из них теперь сталинские лауреаты — за то, что они печатали мои тогдашние произведения и аккуратно присылали гонорар. Редко кто может похвастаться таким обилием псевдонимов, каким пользовался я. В самом Калинин для меня находилась работа, которой я не пренебрегал. Года полтора учил я молодежь на курсах репортеров при местной газете «Пролетарская Правда». Этот мой второй педагогический опыт был более удачным, доказательством чего является тот факт, что курсы были ликвидированы. Когда питомцы курсов стали работать в прессе, то обнаружилось, что у них совершенно нет вкуса к политической публицистике, зато яркие проявления жизни они умели описывать увлекательно. Партийное начальство, смотревшее до этого сквозь пальцы на педагогическую деятельность сосланного журналиста, спохватилось и курсы были бесшумно уничтожены, а курсанты отправлены в московский

КИЖ — коммунистический институт журналистики, где в них старательно убили любовь к газетному делу.

Осенью 1939 года моя судьба сделала еще один крен. В промозглый день, когда с неба косыми лучами падал дождь, а дым из труб фабрик «Пролетарка» и «Вагжановка» стелился по улицам фабричного пригорода, где мне пришлось жить, плелся я к центру города, невольно замедляя шаги и упорно решая неразрешимую задачу. Она состояла в том, что на этот день меня вызывали в областное НКВД, а это не могло предвещать ничего доброго. Что меня ждет? — спрашивал я снова и снова. Расстроенное воображение рисовало новые кары, которые обрушатся на меня. Подавленный мыслями о собственном моем бессилии, дошел я до высокой каменной стены, через которую деревья тянули свои полуголенные ветви. Такие стены на старинных гравюрах окружают барские усадьбы. Когда-то за ними и была такая усадьба местного богача и известнейшего кутилы, но в то время, к которому относится наш рассказ, в барской усадьбе помещалось НКВД. Чекисты почему-то очень любят старину и во многих городах управления НКВД занимают старинные дома, окруженные садами.

У ворот с будкой меня задержали. Собралось нас человек пятнадцать: все явились по вызову. Часовой стоял в будке, а мы мокли на дожде и тщетно пытались укрыться под деревьями. Наконец, за нами явился дежурный и, проверив по списку наши имена, повел нас гуртом в барский дом с колоннами. В каком-то темном закоулке дома нам приказали ждать. Сидеть было не на чем и мы стояли, боясь прислониться к стенам, так как они были недавно побелены. Разговаривать между собою мы не решались: в таком учреждении познаешь действительную ценность молчания. Одного за другим нас вызывали из темного закоулка, но вызванные больше не возвращались. Их могли отводить в тюрьму, помещавшуюся тут же, в саду, но могли и домой отпускать. Кто мог это знать?

Дошла очередь и до меня. Дежурный выкрикнул мое имя и, даже не взглянув мне в лицо, повел в конец коридора и молча указал на дверь. В небольшой комнате, за грубым письменным столом, сидел костлявый человек с равнодушными, почти сонными глазами. Мундир был слишком широк и топорщился на его плечах, Сухое лицо со склеротической краснотой на скулах было повернуто в мою сторону, но человек, как мне казалось, не видел меня. Я остановился у стола и ждал.

Чекист был в невысоких чинах, это было уже хорошим признаком. Такие мелкие сотрудники значительных решений не принимают и, может быть, меня вызвали по какому-нибудь пустяшному поводу.

Наконец, чекист заметил меня и его взгляд приобрел осмысленное выражение. «Кокаина ты нанюхался, что ли?» — хотелось мне спросить. Но надо было молчать. Сидящий протянул свою немощную руку к кипе желтых папок, порылся в ней и извлек папку с моим именем. Он быстро просмотрел бумаги и, не поднимая на меня глаз, равнодушно произнес несколько слов. Эти слова привели меня в удивление и я неожиданно для самого себя свистнул. Откровенно говоря, сказанное чекистом заслуживало свиста. Своим деревянным голосом он сообщил, что срок моего «минус шесть» кончается сегодня, так как решение по моему делу пересмотрено. Мой свист вывел чекиста из состояния сонного равнодушия. Он стал кричать, грозно ударяя кулаком по столу. Но потух так же быстро, как загорелся. Опять равнодушно, он подsunул мне подписку о неразглашении каких-то тайн и вялым своим голосом сказал:

— Мы вами больше заниматься не будем. До поры до времени. Вам надо немедленно отправиться в военный комиссариат. Через час вы должны там быть, я проверю.

Путь на север

Ничего не понимая, отправился я в военкомат. На военном учете до высылки из Москвы я состоял в одном из районов столицы. Скромность моего военного чина в сочетании с тем обстоятельством, что я хожу в ссыльных, казалось бы, должна была надежно гарантировать меня от общения с военно-мобилизационными учреждениями. Но в данном

случае моя особа зачем-то потребовалась военкомату, и я покорно плелся на другой конец города, где это учреждение помещалось.

В военкомате меня принял человек, сохранивший в своем облике классические черты писарей дореволюционного времени. Он был курносый, гладко причесанный, сурово нахмуренный и раздраженно рыкающий на каждое мое замечание. От него получил я повестку о явке в полк, стоящий в казармах невдалеке от города. Мне давалось два часа срока.

А на другой день я уже сидел в теплушке воинского эшелона, направлявшегося на север в сторону Ленинграда. Командир полка, развеселый человек лет тридцати пяти, объяснил мне ситуацию:

— Финны, понимаете, шебуршить начинают. Наше правительство им добром говорит: «Потеснитесь!», а они вопят. «Некуда, вода кругом». А сигать в воду не хочется. Так вот, мы и двинулись поближе к ним. Как завидят, что мы на них прем, так, не раздумывая, в воду сиганут и «Правда» напишет, что ультиматум они приняли и энтузиазму при этом было предостаточно.

В это время особого движения к границам Финляндии еще не замечалось. Стягивались, главным образом, войска Ленинградского военного округа, в состав которого входила и та дивизия, куда я попал. У всех была уверенность, что предстоит лишь военная демонстрация, до стрельбы дело не дойдет. Странно было представить себе, что Советский союз начнет вести войну с Финляндией. Слон против мухи! Боец Воронов, здоровенный детина откуда-то из-под Курска, весельчак и заводила, так разглагольствовал, сидя в теплушке:

— Нам, мужчинам, значит, совсем не к чему воевать с этой Хвинляндией. Мы вполне можем препоручить это бабам. В Хвинляндии всего-то три миллиона людей. Прикажем мы нашим бабам: «Рожай». В единый тебе год они столько народят, сколько усех хвинов на свете есть.

Однако, еще по пути к Финляндии узнали мы, что пушки уже стреляют и ведутся бои. Поезд шел всё так же медленно и тот же Воронов уверял товарищей, что пока доедем «наши уже хвинской сметаны поедят и хвинских девок пошшупают».

Дивизия наша была введена в состав войск, предназначенных для движения на Выборг. Полк расположился в небольшой деревне. По ночам в той стороне, где была Финляндия, горизонт озарялся вспышками. С каждой ночью этих вспышек становилось больше. Шли бои.

Военная прогулка не удавалась. Все мы, более или менее, страдали самоуверенностью, переданной нам отцами. Нам казалось, что Финляндия не может выдержать и одного дня войны с нами. Однако, проходил день за днем, а сопротивление маленькой страны не только не прекращалось, но требовало с нашей стороны всё больше войск. В газетах, правда, избегали говорить о том, что Советский Союз воюет с Финляндией, но мы-то знали, что воюет. По официальной версии ленинградский военный округ проводил что-то, похожее на полицейскую акцию по усмирению непокорного соседа, а между тем в боях уже принимали участие войска не только ленинградского, но и многих других округов. В декабре нашу дивизию выдвинули на линию фронта. Стояли лютые морозы. Нужно было маршировать по снежному бездорожью через леса, на место, обозначенное на карте ничего не значащей цифрой «68.1» — высота, долженствующая стать центром боевого порядка нашей дивизии. Колонна нашего полка двинулась в пешем строю по еле заметной проселочной дороге.

С полуротой бойцов меня откомандировали в помощь полковым артиллеристам и пулеметчикам, которым предстояло добраться до ж. д. станции, погрузить в эшелон пушки, пулеметы, лошадей, и доставить всё это по железной дороге до полустанка, невдалеке от того места, куда направлялась наша дивизия.

Путь к железной дороге был не легким. Пушки вязли в снегу и приходилось вытаскивать их соединенными человеческими и лошадиными силами. Тяжелая работа согревала,

бойцы расстегивали полушубки, откидывали концы треухов. Кое-как до станции добрались. На этом, однако, наши испытания не кончились. Станция, имеющая четыре рельсовых пути, была забита воинскими эшелонами. Дымили паровозы, переругивались машинисты и составители поездов. Пронзительно скрипел снег под ногами, когда мы направлялись к вокзалу, разыскивая коменданта. Гул людских голосов доносился из вагонов, плотно закрытых и похожих на ульи с укладывающимися на зимовку пчелами. Коменданта мы нашли у водонапорной башни. Под его наблюдением несколько железнодорожников укутывали в тряпье трубы, по которым подается вода в паровозы. Был это человек в летах и явно из запасных. Новая шинель с петлицами капитана плохо грела коменданта, он всё время пританцовывал, что в сопоставлении с его мрачным лицом и испуганными глазами выглядело довольно забавно. Выслушав нас, комендант снова запрыгал от холода, разводя при этом руками. Ему сообщили по селекторной связи, что порожняк для нас прибывает, но когда?.. И потом, если прибывает, то куда его можно поставить, — все пути забиты эшелонами, а следующая станция отказывается принимать их.

Договорившись с комендантом, что в случае прибытия порожняка, он даст нам знать, мы отправились в пристанционный поселок и «оккупировали» его для стоянки. Стали прибывать батареи и пулеметные роты из других полков нашей дивизии и нам пришлось потесниться. Маленькие домики железнодорожных служащих заполнились бойцами и командирами. Хозяйки приносили солому, закрывали ее ветхими покрывалами, устраивая постели для измученных бойцов. У печей сушились солдатские портянки и валенки. Тем временем я опять отправился на станцию. Надо было следить за тем, чтобы порожняк, когда он придет, не был кем-нибудь перехвачен. На путях стояло с дюжину эшелонов, все вагоны были заполнены людьми, а станция казалась безлюдной. Цепкий холод держал людей в теплушках. Худощавый, несколько дней не брившийся комбат с острым решительным взглядом, остановился рядом со мною, когда я стоял на краю перрона.

— Какой части? — спросил он зычным голосом. Ответив на его вопрос, я продолжал: — Вот стою и не понимаю. В вагонах тысячи бойцов, а на станции совсем не видно людей. Неужели мороз такую панику навел?

— Не столько мороз, сколько интендантство, — ответил комбат и злая гримаса исказила его лицо. Одет комбат был не по сезону и поживался от холода в своей длиннополой шинели и хромовых сапогах в обтяжку.

— Хотите посмотреть? — спросил он.

Мы подошли к ближайшей теплушке и комбат постучал кулаком в ее широкую дверь. Гудение человеческих голосов пошло на убыль, дверь чуть-чуть отодвинулась в сторону, образовав узкую щель в вагон, и в эту щель выглянула круглая солдатская голова в лихо сдвинутой на затылок шапке. Увидев нас, голова исчезла из щели и из вагона донесся свистящий шопот: «Ребята, комбат тут!». В вагоне стало тихо, заскрипела дверь, отодвигаемая в сторону несколькими парами рук.

В центре теплушки дышала жаром раскаленная чугунная печь, а вокруг нее, плотным кольцом, размещались бойцы. Лица были красные, распаренные, гимнастерки расстегнуты. На ногах у всех были одинаковые грязно-белые носки. В то время, как в центре теплушки было жарко, по углам скоплялись снежные хлопья. Вагон был старый, много перевидавший на своем веку, и тепло в нем не удерживалось.

— Опять сожгли нары! — произнес комбат, окидывая вагон взглядом. Ни строгости, ни осуждения в его голосе не было. Действительно, в вагоне, заполненном полусотней бойцов, совсем не было нары, хотя прибитые по бокам планки свидетельствовали, что нары тут недавно были. Солдаты молчали. Потом чей-то притворно-жалобный голос от печки произнес:

— Да, как же, товарищ командир, морозище такой, что селезенка екает, а топки не выдают. Комбат повернулся ко мне.

— Вот, полюбуйтесь. В пятый раз снабжается эшелон досками для нар и в пятый раз их жгут.

— Да вы не о нарах, а об угле позаботились бы, товарищ командир, — раздался тот же голос. — Немыслимо же в такой холод без топлива выдержать.

— Нет угля, — проговорил комбат. — На каждой станции заказываю и не могу получить. И дров нет. Одни только доски для нар. Товарищ отделенный командир Сергеев...

— Есть! — приподнялся с места молодой, гигантского сложения солдат.

— Пройдите к начальнику штаба и передайте приказание во всех вагонах проверить наличие нар и заказать недостающие для них доски. И топливо пусть опять закажет. Топлива, впрочем, не дадут, поэтому пусть закажет двойной комплект досок.

Отделенный Сергеев подошел к двери пожевываясь. Он был похож на купальщика, подходящего к краю трамплина для прыжка в холодную воду. Распахнув дверь, Сергеев выпрыгнул из теплушки и помчался куда-то в сторону. Я в это время рассматривал длинный ряд резиновых сапог. Бойцы поставили их вдоль стен и они поблескивали оттуда своей глянцевиной поверхностью. При одном лишь взгляде на эту резиновую обувь становилось холодно, но другой в вагоне не было. В эти холода солдаты имели только резиновые сапоги да грязно-белые «шерстяные чулки», о которых в интендантствах шутили, что они изготовлены из бумаги с шерстью — вагон бумаги и моток шерсти, оставшийся от бабушки.

Мы шли с комбатом, направляясь к поселку железнодорожников, воодушевленные перспективой выпить чаю из настоящего самовара. По дороге встречались наши бойцы и комбат с откровенной завистью рассматривал их зимнее обмундирование. Я в ту минуту был преисполнен чувством благодарности к нашему командиру дивизии, задержавшему отправку полков, пока интендантство не доставило полный комплект зимнего обмундирования.

— У вас, видно, позаботились, а наша дивизия мается. Обещали по пути снабдить валенками и полушубками, да обещанного надо три года ждать. Нет, определенно всех интендантов надо к стенке поставить. Комбат ускорил шаги, подгоняемый холодом. Поздно ночью от станции донеслись звуки сигнала.

Горнисты трубили боевую тревогу. Издали доносились редкие винтовочные выстрелы. Тьма была кромешная, и я дважды наткнулся на телеграфные столбы, пока добрался до станции. На время боевой тревоги, мы все должны были поступить в распоряжение старшего начальника, имеющегося в пределах досягаемости. Поиски старшего начальника, предусмотренного уставом, и были причиной, по которой я пробирался во тьме к станции.

В комнате военного коменданта было шумно. Тут бушевал маленького роста, почти квадратный комбриг с свирепыми серыми глазами. Это был командир той самой дивизии, что растянулась в эшелонах по станциям в ожидании зимнего обмундирования.

Я стоял позади других командиров, стараясь понять, что же произошло и почему горнисты проиграли боевую тревогу.

— Где же ваше боевое охранение, я спрашиваю, — кричал комбриг в лицо командиру полка, стоявшему перед ним навтыжку. — Финны вас могут, как мокрых кур перерезать, а вы даже не успеете глазом моргнуть. Каждую минуту нужно ждать нападения...

Было мало вероятно, чтобы финны оказались поблизости от станции, но комбриг почему-то уверовал в нападение и занят был организацией круговой обороны станции. Всё это делалось с руганью, похожей на стон. Мороз ночью еще усилился и выводить людей из теплушек в резиновых сапогах и шинелях второго срока походило на преднамеренное убийство. От вагонов неслись крики и брань. По перрону торопливо проходили роты, направляясь на отведенные им участки круговой обороны.

Комбриг долго не понимал, кто я, и что хочу от него, но, наконец, уразумел, что со мною до двух сотен бойцов и я явился, чтобы стать под его команду на время боевой тревоги. Быстро окинув меня глазами, комбриг спросил:

- Две сотни, говорите?
- Так точно.
- И все в зимнем обмундировании?
- Да.
- Да вы из какой дивизии?

Выслушав мой ответ, комбриг возмущенно всхрипнул и в его глазах почему-то появилось недружелюбие.

— Командир вашей дивизии, Варфоломеев, всегда пронырой был. Чорт его знает, как он умудрился получить комплект зимнего обмундирования. Послушайте, вы правду говорите, что вся дивизия имеет полушубки и валенки?

Я подтвердил, что это правда, не понимая, что вызывает ярость комбрига. Он вдруг распахнул дверь и громовым голосом стал кричать:

— Послать ко мне дивизионного интенданта. Немедленно пусть явится, я с ним поговорю. Повернувшись ко мне:

— Ваша команда должна выйти на северо-западную сторону поселка и на расстоянии шести километров, на опушке роши, занять боевой порядок. С левой стороны от вас будет третий батальон... Впрочем, и справа, и слева никого не ищите. Все другие части будут расположены ближе к станции, так как они не обмундированы в зимнее, а ваша команда, поскольку Варфоломеев приодел вас всех, может и дальше от станции прогуляться.

Комбриг еще не закончил давать мне указаний, как в дверь поспешно вошел офицер с интендантскими нашивками. Одет он был, как и другие офицеры дивизии, в шинель и хромовые негреющие сапоги. При виде интенданта комбриг снова впал в ярость.

— Нет, ты видишь? Видишь, я спрашиваю? Говоря это, он тыкал меня пальцем в грудь. Вопросы относились не ко мне, а к интенданту. Комбриг даже присел на корточки и похлопал ладонью по моему валенку.

— И валенки видишь? Смотри хорошенько, как настоящие интенданты о своих частях заботятся. Комбриг забегал по комнате.

— Нет, ты скажи мне, когда обмундирование будет? Ты мне шарики не закручивай, а говори прямо, когда и где будет обмундирование для дивизии? Не можешь сказать? Не можешь?..

Голос комбрига упал до шопота.

— Расстреляю! Расстреляю и всё тут. Вон в тридцать шестой дивизии расстреляли интенданта, так обмундирование немедленно появилось.

Интендант стоял бледный. Он, конечно, ни в чем виноват не был. Базы снабжения оказались полупустыми и зимнего обмундирования нехватало. Его везли из других военных округов. Но комбригу в тот момент казалось, что во всем виноват его интендант, и я не был уверен, что он не расстреляет его. Заметив, что я всё еще стою и, вероятно, находя неуместным разговор с интендантом в моем присутствии, комбриг сухо бросил в мою сторону.

— Исполняйте приказ.

Я вышел на перрон, а за моей спиной снова поднялся крик комбрига. На минуту я остановился на заснеженной платформе. Свет, падавший из окна комендантской комнаты, пересекал перрон и, изогнувшись острым углом, падал на рельсы. Через полосу света проходила рота. Резиновые сапоги вспыхивали холодным блеском. Солдаты сгибались от холода, прятали руки в рукавах шинелей. Когда рота прошла, на перроне остался соломенный след. Чтобы защититься от обжигающей холодом резины, бойцы всовывали в сапоги солому и теперь она высыпалась на ходу из широких голенищ.

Неся на руках пулеметы, наш отряд отправился в указанном ему направлении и добрался до опушки роши.

Не было никакого смысла развернуться в боевой порядок, никто из нас всерьез не верил, что поблизости есть финские войска. Солдаты пустили в ход саперные топоры и лопаты и вскоре в темноте выросли шалаши, а в них загорелись костры.

Как-то незаметно, ночь перешла в серое, окутанное морозным туманом утро. Проходили час за часом, а никаких известий мы не получали. Подняв воротники полушубков, солдаты сидели в шалашах, протянув к огню руки.

Командир пулеметного эскадрона Тихонов отправился к поселку. Вернулся он лишь под вечер, сопровождаемый бойцами, несущими мешки с хлебом и мясными консервами. Не в силах скрыть раздражения, Тихонов сообщил, что командир дивизии, маленький комбриг, от которого я ночью получил приказ, попросту позабыл о нашем отряде. Тревога оказалась ложной и он снял свои части еще ночью, а нас оставили на опушке роши.

Может быть, Тихонов ошибался. На обратном пути мы подобрали четырех замерзших солдат, обутых в резиновые сапоги. Не были ли они посланы на поиски нашего отряда? Мы принесли их с собою в поселок и долго ковыряли землю, чтобы вырыть для них могилу.

Комендант лично явился в поселок, чтобы сообщить, что эшелон для нас пришел.

У линии Маннергейма

Оставайся я в той части, куда меня направил военный комиссариат, и вся финская кампания сузилась бы для меня до пределов боевого участка моего полка. А так как дивизия очень долго находилась в резерве главного командования и приняла участие лишь в последних боях советско-финской войны, то мне и рассказать бы было нечего о тех днях. Но обстоятельства сложились иначе и в полку я пробыл совсем недолго.

Располагался наш полк в лесу. В семи километрах лежало село, населенное угрюмыми лесорубами, постоянно носящими топоры за поясами. Все мы были в те дни заняты поисками спасения от морозов. Изю всех сил зарывались в землю. Замерзшая земля сопротивлялась нам. Она звенела при ударе, словно мороз превратил лесную почву в металл. Надо было оттаивать землю дюйм за дюймом. Даже кухни постепенно исчезали с поверхности и их трубы грозно дымили из-под земли. Шла обычная прифронтовая жизнь. По утрам политруки разносили по землянкам газеты, созывали короткие беседы. Люди привыкли к ровному гулу стрельбы, не умолкавшему ни днем, ни ночью. Наши наступавшие части уперлись в финские укрепления. Среди нас циркулировали фантастические рассказы о линии Маннергейма, о ДОТах (долговременные огневые точки) несокрушимой прочности, о подземных городах под ними.

Приходящие к нам московские и ленинградские газеты укрепляли нас в мысли, что линия Маннергейма трудно проходима и только это в наших глазах могло служить каким-то объяснением того неожиданного факта, что наша армия не может сломить маленькую Финляндию.

В полк пришел обо мне запрос. Политотдел дивизии требовал от командира и комиссара полка сведения обо мне. Не думает ли политотдел, что я сбегу к финнам? Полковое начальство отписалось на запрос обычным манером: командир взвода имя рек проявил себя дисциплинированным волевым командиром, пользуется авторитетом у подчиненных и ни в чем предосудительном замечен не был. Я надеялся, что на этом интерес политотдела ко мне угаснет, но не тут-то было. Вскоре пришел приказ откомандировать меня в политуправление штаба округа.

Снабженный документами и тронутый ласковыми проводами, устроенными мне бойцами моего взвода, отправился я на полковом грузовике к железной дороге и втиснулся в первый попавшийся поезд, идущий в тыл. В это время могло показаться, что вся страна двинулась к северным границам. Вдоль железнодорожного полотна тянулись колонны войск. Лошади с трудом волокли пушки. Крестьянские телеги везли к фронту боеприпасы и продовольствие. На станциях торопливо и неряшливо кормили проезжавших перловым супом. К фронту двигались эшелоны со снаряжением и боеприпасами, а в обратном направлении — санитарные поезда, переполненные обмороженными. То и дело в нашем поезде разыгрывалась ставшая уже обычной картина. Эпилептики бились на полу, а мы наваливались на них, держали их головы, руки, ноги, не давая им покалечить самих себя. Почему-то их отправляли в тыл без сопровождения. Мне вторично приходилось видеть

массовую эпилепсию. Первый раз это было на вокзалах во время гражданской войны. Тогда это были в большинстве матросы, теперь — пехотинцы.

Кое-как добрался до Сестрорецка, где было размещено политуправление Округа, но там мне дали новый маршрут и опять я стал колесить в поисках высокого начальства, к которому мне надо было явиться. Наконец, оказался я на небольшой захламленной станции, заполненной людьми. Больше всего тут было людей с интендантскими петлицами. На этой станции временно размещалось интендантское управление. В небольшом деревянном доме меня встретил старый наш знакомый, Карелов. Он за эти годы изрядно постарел и потускнел, стал еще сумрачнее и напряженнее. На этот раз он сделал для меня исключение и на его лице появилось что-то, отдаленно напоминающее улыбку. После самоубийства Гамарника Карелов некоторое время был не у дел и его судьба висела на волоске. Но каким-то образом он избежал грозы и даже вернул утерянный было пост главного сотрудника в политическом управлении. Спас его Мехлис, ставший после Гамарника фактическим главой комиссарского корпуса советской армии.

— Я доложил Льву Захаровичу, что вы где-то тут обретаетесь, и он сказал, что вам надо дать возможность исправить ошибки вашей биографии, — говорил Карелов.

Почему вдруг Мехлис воспылал желанием помочь мне выйти из положения опального, для меня до сих пор непонятно. Впрочем, даже у людей очень злых бывают иногда добрые побуждения и желание покровительствовать малым мира сего. В глазах таких людей маленькое добро способно прикрыть большое зло. А в данном случае и добра-то никакого не надо было творить. Я охотнее остался бы в полку и предпочел бы с Мехлисом вовсе не встречаться. К этому времени сложилось у меня весьма тяжкое представление о таких, как он.

Но приказ есть приказ.

— Лев Захарович приказал причислить вас к числу своих порученцев, — продолжал Карелов. — Он всегда хорошо к вам относился и считает, что вы сблизились с Бухариным больше по молодости и неразумию, чем по внутреннему убеждению.

Не было смысла говорить Карелову, что никакого особого сближения с Бухариным у меня не было. Невозможно было работать в редакции и не иметь отношений с главным редактором. Бухарин, живший под страхом расправы, был очень заботлив и со своими сотрудниками не вступал в политические беседы. Он хотел их предохранить от опасности слишком близкого общения с опальным членом политбюро. Но говорить о том, что Мехлис, например, имел несравненно больше встреч с Бухариным, чем я, не стоило. Такое напоминание содержало бы в себе что-то оскорбительное для казненного Бухарина, а у многих из нас, работавших с ним, выработалась привычка о Бухарине думать, но не говорить.

Итак, стал я порученцем при Мехлисе, выполнявшем на финском фронте роль специального уполномоченного Сталина и наводившего страх на командование. В то время, когда я прибыл на маленькую замусоренную станцию, Мехлис был занят «наведением порядка» в интендантской службе, хотя вряд ли это помогало снабжению войск. Принял меня Мехлис в станционном помещении. Несмотря на то, что в комнате было жарко натоплено, он был в длинной, до пят шинели и в меховой офицерской шапке. На боку у него висел маузер в деревянном футляре. Таким оружием в годы гражданской войны вооружались старшие командиры, особенно же любили их комиссары. Ношением этого устарелого оружия Мехлис словно хотел напомнить о своей роли в гражданской войне, которую он всегда непомерно преувеличивал, вызывая злые насмешки.

Кивнув мне головой, Мехлис продолжал разговаривать с полковником интендантской службы, разложившим перед ним карту фронтового района. Я ждал и с каким-то самому мне непонятным недружелюбием прислушивался к строгим начальственным замечаниям Мехлиса, которого я несколько раз встречал в Москве и, признаться, побаивался. Было известно, что он близок к Сталину. Мне трудно сказать, почему, но Мехлис, сам еврей, был

люто нелюбим евреями-журналистами. Несколько моих товарищей, евреев, иначе не называли Мехлиса, как Левушка Прохвостов.

В газетном мире Мехлис был полновластным хозяином. Единственным человеком, которого сам Мехлис побаивался, был Артем Халатов, соревновавшийся с Карлом Радеком в изобретении острых шуток и почему-то избравший Мехлиса объектом насмешек. Побаваясь Артема Халатова, Мехлис предпочитал не показываться в Московском Доме Печати, где бородатый и буйный Артем, тоже имеющий свой вход к Сталину, был долголетним председателем правления.

Особенно злые шутки пускал Халатов по поводу воинственности Мехлиса и его роли в гражданской войне. Однажды Мехлис, состоявший редактором «Правды», имел неосторожность пропустить в газете несколько строк, посвященных ему лично. Отмечалась годовщина каких-то боев на Волге и в исторической справке было сказано, что в самый критический момент боев прибыл Лев Мехлис и лично повел в атаку кавалерийские отряды. Это еще было ничего, может быть, и правде соответствовало, но составитель справки, в неудержимом стремлении услужить Мехлису, написал, что Мехлис прибыл на белом коне. Этот-то белый конь и стал источником многих несчастий для Мехлиса. По рукам ходила злая сатира, несомненно, принадлежавшая Халатову и называвшаяся «Исследование о белом коне и всаднике под ним». Среди газетных художников было устроено негласное соревнование на изображение описанного в «Правде» эпизода. Особенным успехом пользовалась серия из четырех маленьких рисунков, сделанная по идее самого Халатова. На первом рисунке дебелая женщина усаживает на белого коня плачущего Мехлиса. На втором конь брыкается и Мехлис еле удерживается на нём, вцепившись в гриву. На третьем — конь скачет, а Мехлис постепенно сползает к хвосту и с ужасом смотрит назад, словно желая видеть, как длинен конь. На четвертом Мехлис повис на самом хвосте скачущего коня и кричит: «Этот конь уже кончился, давай другого».

Говорили, что Мехлис обращался к Сталину с жалобой на Артема Халатова, но тот опередил и повеселил «хозяина» рисунками.

Но то, что было позволено Артему Халатову, не было позволено всем другим. Мехлиса боялись и старались не вызвать его гнева, зная, что одного его слова достаточно, чтобы судьба каждого из нас стала сомнительной.

Полковник свернул карту и ушел, а Мехлис утомленно закрыл глаза. Это была его особенность, подчеркнута демонстрировать свою усталость. Но на этот раз Мехлис был и вправду утомлен. Покрасневшие веки, мутный взгляд, серый цвет лица — всё подтверждало это. Вероятно, Мехлис мало спал в эти дни, тревожные и напряженные. Молчал Мехлис, молчал и я, думая о том, что этот курчавый человек с хищным носом снова идет вверх. Перед войной с финнами его положение очень пошатнулось. Ему нехватало выдержки и расчетливой сноровки Гамарника, и поэтому в баталиях с генералитетом он подорвал свой личный престиж. Гамарник, при всех его выдающихся качествах, вынужден был пустить себе пулю в лоб. А как справится с задачей Гамарника Мехлис? И восстановит ли он свое пошатнувшееся положение? Назначение его на роль чрезвычайного уполномоченного Сталина как будто дает ему эту возможность.

Мехлис вздохнул, провел ладонью по глазам и, поднявшись со стула, стал ходить по комнате. Маузер в деревянном футляре неуклюже болтался на боку.

— Карелов сообщил вам причину вызова вас ко мне? — спросил Мехлис. Не дожидаясь ответа, продолжал: — мне нужна группа культурных и исполнительных командиров для выполнения поручений. Я думаю, что вы подойдете для этой роли. Самая главная ваша задача будет состоять в том, чтобы донести до надлежащих лиц точный смысл моих приказаний. Повсюду происходит чудовищная путаница и приходится принимать экстренные меры. Вы должны наблюдать за тем, чтобы смысл приказов воспринимался точно... Для начала вы отправитесь в штаб...

Мехлис назвал штаб корпуса, куда я должен был отправиться. Мне предстояло побывать в полках этого корпуса и потом доложить Мехлису, как обстоит дело с продовольственным и вещевым снабжением.

— Начальник контрольного отдела интендантства, которого вы только что здесь видели, утверждает, что в этот корпус доставлен полный комплект зимнего обмундирования, а я в этом сомневаюсь. Несколько дней назад я имел донесение, которое совершенно иначе рисует картину. Я хочу знать, кто прав и как снабжен корпус обмундированием и продовольствием.

Так попал я на участок фронта, где в это время происходили бои за овладение линией Маннергейма.

В замороженном мире

В бесплодных попытках потеснить финнов прошел декабрь и наступил январь. Ожидаемая военная прогулка превратилась в затяжную позиционную войну. Финская армия мужественно защищала свою маленькую страну. Громада советской армии уперлась в непроходимую линию финских позиций и неуклюже топталась на месте.

Вскоре был я в полках 45-й горно-кавалерийской дивизии, привезенной сюда из горячих полупустынь Туркестана, где она имела постоянную стоянку. Хотя дивизия и продолжала именоваться горно-кавалерийской, но ничего горного и ничего кавалерийского в ней уже не было, кроме шпор на сапогах некоторых командиров. Она была переброшена из Туркестана без своего конского состава, что было лучше для людей, и, особенно, для лошадей. Ее «с ходу» выдвинули на передовые позиции, штурмовала она финские укрепления, понесла существенные потери и, отойдя на исходные позиции, пристыла на них. Единственным ее занятием стал обстрел финских позиций из горных пушек. Их способность бросать снаряды по сильно изогнутой траектории причиняла финнам сильное беспокойство.

В ту пору суток, когда нельзя определить, наступил уже день или всё еще продолжается ночь, мы отправились на боевой участок одного полка горно-кавалерийской дивизии.

Командир полка прислал за мной троих бойцов. Днем мы говорили с ним по телефону и хоть разделяло нас расстояние всего километров в пять, но пройти к полку не было никакой возможности. Ближайший тыл кишел финскими снайперами, а дорожки, протоптанные в снегу, были засечены на картах финнов и методически обстреливались их артиллерией. Связь с полком поддерживалась только ночью, да в ранние утренние часы, когда морозный туман делает всё вокруг невидимым.

Мы шли по лесной тропинке, находя ее скорее не зрением, а чувством. Впереди меня еле мерещилась широченная спина солдата и надо было держаться ему в затылок, чтобы не сбиться с протоптанной тропинки и не влезть в сугроб. Иногда это не удавалось и тогда идущий впереди и двое других сзади приостанавливались и молча ждали, пока я выберусь из сугроба. Один из идущих сзади при таких остановках смачно отплевывался и высоким женским голосом говорил: «Ну, и природа, растакую твою». Было непонятно, говорит он об окружающей нас природе или обо мне, не умеющем ходить в темноте по лесной тропе и попадающем в сугробы. «Сейчас светать будет», — откликнулся тот, что был впереди. Опять было непонятно, почему он это говорил. То ли затем, чтобы подбодрить меня, так как при свете мне легче будет пробираться лесной дорогой, то ли торопил, так как с наступлением дня всё движение по этой дороге замрет.

Изредка, то впереди, то сзади нас, рвались снаряды, но мои провожатые никакого интереса к ним не проявляли. Только в одном случае тот, что шел впереди, проговорил:

— Это они, чтобы по дороге не ходили. Да ведь ночью им не видно и стреляют наугад. А днем у них колбаса поднимается и с нее всё видно. Днем тут не погуляешь.

Ночная муть становилась прозрачнее и солдаты заторопились. Стала видна спина идущего впереди, обозначилась узенькая ленточка тропы. По сторонам высились деревья, но это были деревья-мертвецы. Тропа вилась через огромное лесное кладбище. Снаряды превратили лес в частокол обрубленных осколками, расщепленных до самого корня

обезображенных стволов. В рассветной полутьме всё это выглядело чем-то фантастическим, перенесенным из страшных сказок.

В истерзанном лесу располагался полк. Командир полка, Нестеров, которого я встречал в Средней Азии, когда он еще командовал эскадронам, ждал меня в закопченной землянке, вырытой в небольшом лесном овраге.

— А я уже думал, что вам на хвост сели финские кукушки, — весело проговорил он, пожимая руку. Кукушками прозвали финских снайперов, пробиравшихся в советский тыл. До полудня я сопровождал Нестерова по эскадронам. В траншеях, отрытых на опушке леса, оставались только дозоры, а основная часть полка отсиживалась по землянкам, где горели костры и было хоть и дымно, но тепло.

После обхода полка Нестеров отправился в штаб, находившийся тут же, в землянке, а я пошел вслед за бойцами, пробиравшимися с котелками куда-то вглубь расстрелянного леса. Меня мучил голод и я знал: куда солдат с котелком пошел, ищи там полевую кухню. Так оно и было. На небольшой полянке в лесу дымили несколько полевых кухонь.

Получив от кашевара котелок супа и ложку, я стал оглядываться, ища место, где бы можно было присесть.

По краям полянки сидели бойцы и я направился к ним. Какой-то молодой солдат с лицом, укутанным полотенцем так, что оставался видным только кончик носа и рот, услужливо приподнялся и предложил мне свое место. Я опустился на короткое бревно, но в тот же миг понял, что подо мной не бревно, а что то другое.

— Да вы садитесь, товарищ командир, — раздался голоса, когда я вскочил. — Они этого не чувствуют и им всё равно.

То, на что я опустился, было трупом, смерзшимся и присыпанным снегом. Бойцы сидели и ели суп на трупах своих товарищей, замерзших или убитых. Голод сразу пропал, и я отдал котелок с супом бойцу, уступившему мне место. Он снова опустился на смерзшийся труп и погрузил ложку в котелок, а я стал обходить опушку. Трупы образовали круг и ими были отмечены границы полянки. Они лежали, устремив замороженные лица в небо, или уткнувшись ими в землю. Я перчаткой стряхивал снег с мертвых лиц. Смерть всех делает одинаковыми, но тут было много мертвых, сохранивших черты восточных людей. В горно-кавалерийской дивизии отбывало службу много жителей средней Азии Узбеки, таджики, туркмены. Жители теплых стран, они должны были пасть первыми жертвами суровой северной природы.

У трупов, к которым я направился, пересекая полянку, копошился какой-то боец. На нем был огромный полушубок, носивший следы ожогов у костра. Из дыр высовывался мех, грязный и обгорелый. Боец запускал руку в карманы мертвых и что-то искал в них. Я остановился около него. Он поднял ко мне свое маленькое, обтянутое коричневой кожей лицо с птичьим носом и ждал. На мой вопрос, что он делает, он ответил вопросом же: — Что ж и покурить уже нельзя, что ли?

В его словах сквозила откровенная враждебность. Боец, видно заядлый курильщик, обшаривал карманы мертвых в поисках махорки. Я хотел было сказать ему, как это в самом деле нехорошо, так бесцеремонно обращаться с мертвыми, но боец вскочил на ноги и вытянулся. К нам подходил Нестеров.

— Опять мертвых потрошишь? — сердито спросил он. — Ведь третий раз застаю тебя за этим занятием, приказывал мертвых не обшаривать, а ты всё-таки тревожишь их.

Боец стоял навтыжку и видно было, что слова командира полка на него никакого влияния не оказывают. Да и сам Нестеров не придавал им значения, так как, сказав это, пошел в сторону дымящихся кухонь. У меня в кармане была пачка махорки и я извлек ее. Руки бойца, сложенные ковшиком, словно он принимал благословение, дрожали, когда я отсыпал ему махорки и он скороговоркой старался оправдать свое поведение:

— Я мертвяков боюсь, будь они неладные, да что ж делать, когда курить совсем не выдают? А так бы я с полным почтением к ним, мне что? Однако же пустое это занятие,

табаку не найдешь даже у мертвых. Наши всё по карманам у них шарят. А попадаюсь командиру полка я один. Всю жизнь не везет...

— Человек с сотню перемерзло, — рассказывал мне Нестеров. Я ждал пока он покончит с котелком супа. Ему, как командиру полка, кашевар оказал особую честь и подставил пенек, на котором рубилось мясо. Не будь этого пенька и я не поручился бы, что Нестеров, по примеру других, не уселся бы на мертвое тело. Говорил он о замерзших равнодушно.

— Помните, в нашем полку было два эскадрона, укомплектованные узбеками, таджиками и туркменами. Народ к зиме никак не приспособленный. Когда нас привезли сюда, стали они нестерпимо страдать от холодов. Мы их старались получше одеть, выдавали по две и по три пары теплого белья, не посылали в дозоры. Однако же, замерзали. Только когда человек с сотню перемерзло, разрешили нам отправить туркестанские эскадроны в тыл. Собственно, и отправлять-то к тому времени было почти некого, многих в госпиталь увезли обмороженными, других на эту поляну.

Пермский полк

Трагикомический эпизод, связанный с именем пермского полка, был широко известен на финском фронте.

В состав войск, сражавшихся на Карельском перешейке, находилась стрелковая дивизия из Перми, а к этой кадровой дивизии был приписан 111-й стрелковый полк, весь состоящий из колхозников, призванных из запаса. Я попал в этот полк лишь по той причине, что поступало из него необычайно много жалоб и просьб. Мехлис приказал «изучить» обстановку в полку, а тут и изучать-то было нечего. Достаточно было взглянуть на бородатых пермяков, чтобы сразу решить, что у этих людей множество дел, которые зовут их домой. Всё это были люди в летах, по-армейским, конечно понятиям. Завидят бойцы из других частей тридцати-тридцатипятилетних пермяков и обращаются к ним не иначе, как «эй, деды!». Другие части молодежью регулярного призыва были укомплектованы, а этих зачем-то из запаса извлекли, да на фронт послали. У иного из них в деревне куча детей осталась. В колхозах трудно было крестьянским семьям. Без главного кормильца дети голодали.

Вот и писали пермяки жалобные прошения об отпуске из армии, слали их «по инстанции», попадали они в штаб дивизии и дальше не шли, а в штабе их рассматривать было некому и некогда.

В 111-й Пермский я приехал как раз тогда, когда новая забота стала одолевать полк — снайперы. Они пробирались в тыл полка и такого страха нагнали, что днем всякое движение по тылу прекращалось, питание не подвозили, почта не приходила. Полк был расположен на спокойном участке фронта и особой боевой активности не проявлял. Командир полка, пожилой офицер из подпоручиков царской армии, не скрывал, что вверенный его командованию полк мало приспособлен для боевых операций. Показывая мне видимую вдали темную лощинку, он рассказывал, что дальше этой лощинки полк не смог наступать. Наступали четыре раза и всё только до этой лощинки.

— Как дойдут до нее, так и поворачивают назад. Никакими приказами не остановишь, — сетовал командир полка.

Оказалось, что пермяки и сюда, на финский фронт принесли свое особое отношение к явлениям. Когда их в первый раз повели в наступление, они пошли. Но когда приблизились к лощинке, финны ударили по ним из пулеметов и минометов и заставили торопливо отступить к лесу.

— Отступать-то, собственно, незачем было, но как их удержишь? Бежит такой боец, борода от ветра по груди стелется, из-под валенок, как из-под конских копыт, снег летит — останови его, попробуй!.. После каждого наступления посылаю младших командиров брошенные винтовки собирать, — говорил командир полка.

За первым наступлением было второе и третье. Но дальше лощинки — ни ногой. В последнем наступлении, бывшем за три дня до моего приезда в полк, финны шутку над пермяками сыграли. Полк наступает, а финны молчат. Дошли до лощинки и пермяки стали

назад поворачивать. Командиры пистолетами грозят, а пермяки вперед не желают идти. Дальше путь для них незнакомый. А в это время страшный вой вокруг поднялся и так этот вой бойцов напугал, что они в двадцать пять минут на свои исходные позиции вернулись. — До лощины наступали три часа, а обратный путь покрыли меньше, чем в полчаса, — иронически говорил командир полка. — Да еще при этом отчаянно кричали, что противник «новую оружие» применил.

Посланные командиром полка разведчики из числа младших командиров доставили «новую оружие» финнов. Это были обычные ручные сирены, если крутить их ручку, они издают пронзительный вой. Десятком таких сирен финны отбили наступление пермского полка. Надо думать, что веселились они при этом немало.

И вот этот полк был облюбован финскими снайперами. В этом тоже ничего особенного не было — по всему фронту снайперы проникали в наш тыл и приносили беспокойство. Но расстроенное воображение пермяков наделило снайперов какими-то особенными, почти нечеловеческими качествами.

Что меня поразило, так это деловитость, с какой полк устроил свою стоянку. Окопы были укреплены бревнами, землянки имели два входа, а внутри довольно удобные нары из бревен, покрытые толстым слоем веток и кусками брезента. Повсюду были шалаши, землянки, высились пирамидки аккуратно напиленных и наколотых дров. Дальше, в глубине леса, пермяки даже баньку в яме устроили.

Одним словом, вполне можно было бы жить, не появившись в тылу полка снайперы-финны, которые отравляли жизнь пермяков. Прежде всего они перестреляли все кухни, не в чем стало не то, что суп, даже чай согреть. Передвигаться в расположении полка стало опасно. Боец портянки снегом отстирает, на дерево проморозить повесит, а подойти потом не может. Как сунется за портянками, снайпер начинает пули в дерево всаживать. По лесу команда охотников за снайперами бродила, да найти никого не могла. Снайперы бездымным порошком стреляли и в ветвях деревьев прятались. Одетые в белые халаты, они становились неприметными.

Напуганные снайперами, пермяки как-то не замечали, что хоть и стреляют те, а убитых нет, только несколько легко раненых. Обыкновенно, снайпер, заметив кого-нибудь на тыловой дороге, начинал класть пули под ноги идущему, и тому приходилось с большой скоростью искать укрытия. При этом иногда и ранили бойцов, но в количестве, которое должно было бы почитаться небольшим, так как соседним полкам снайперы причиняли значительно большие потери. Однако же, в пермском полку заговорили о том, что, почитай, половина полка снайперами уже перестреляна.

В первый день моего пребывания в полку совершилось нечто из ряда вон выходящее. Рано утром, еще до рассвета, трое бородатых пермяков отправились в баню, вырытую в лесу. Они рассчитывали до наступления дня попариться и вернуться. Натопили баню.

Раздеваться надо было снаружи, а потом голым в яму лезть и там из ковшика горячей водой поливаться. Одеваться опять наружу вылезай и, надо сказать, одевание на морозе всегда было молниеносным.

Не рассчитали бойцы времени и, когда закончили париться, уже было довольно светло. Полезли они было наружу, да не тут-то было. Как кто голову из ямы высунет, так пуля рядом снег фонтаном поднимает. Приметил снайпер любителей бани. Держал он их в яме часа два. Бойцы орали дикими голосами, да банька далеко в лесу вырыта была и голоса до расположения полка не доносились. А тем временем вышли все дрова и яма стала остывать. Мороз был трескучий и предстояла бойцам лютая смерть в могиле-бане. Тогда бросили жребий, кому вылезать и пытаться вызвать помощь. Тот, кому ради товарищей приходилось жизнью рисковать, выпрыгнул из ямы, но в это время пули стали у его ног ложиться. Не до одевания тут было и ударился боец нагишом в сторону расположения полка. Он бежал, а снайпер пулю за пулей ему под ноги клал и каждая пуля повышала резвость голого бегуна.

С диким ревом промчался голый бородатый человек по расположению полка и со всего разбега прыгнул в землянку, до смерти напугав ее обитателей. Сотни бойцов видели бегущего и это им показалось признаком надвигающейся на всех беды. Побежали бойцы в тыл, а те, которые ничего не видели, увидев бегущих, помчались вслед. Началась паника. Бородатые бойцы скакали на конях, принадлежавших пулеметной роте. Дико хлестали бока коней кашевары, бросившие свое хозяйство.

Я находился в штабной землянке, когда всё это произошло. Мы слышали крики и топот многих ног. Командир полка, а за ним и мы все, выбежали наружу. Перед нами предстала совершенно новая картина. За четверть часа до этого, когда я шел в штабную землянку, вокруг было безлюдно. Люди прятались от мороза и от снайперов, которые могли оказаться поблизости. Теперь же я видел толпы убегающих бойцов. Все направлялись в тыл. На меня набежал бородатый пермяк с налитыми безумием глазами.

— Всех под чистую-та вбивают, — прокричал он. Командир полка и командиры рот пытались задержать бегущих, но паника охватила бойцов и они, услышав крики командиров, только подбавляли скорость.

Километров пять мы бежали вслед за полком и, наконец, настигли его на большой лесной поляне. Бойцы стояли сгрудившись, а вокруг них цепью расположились автоматчики из отряда войск НКВД. За день до этого я ночевал в расположении отряда, который, как мне говорили, находится в резерве корпусного командования. Теперь ясно стало для чего стоял тут этот отряд.

Полк был разоружен. Винтовки были свалены горой в стороне. Командир отряда НКВД по-видимому серьезно считал, что в данном случае имеет место бунт полка и по его приказу на сгрудившийся полк были направлены пулеметы.

Появилось напуганное дивизионное начальство. Выслушав доклад командира полка, оно повеселело. Не бунт, а паника, это уже не было так страшно для начальства, которому, случись настоящий бунт, было бы несдобровать.

Комиссар дивизии устроил митинг.

— Как же это, товарищи, родина в опасности, а вы покинули боевой пост! — кричал он с пенька. А бойцы в это время орали ему в ответ:

— Половину полка у нас, чай, перебили.

— Мы-то воюем-воюем, а другие в тылу стоят. Какой-то бородатый боец взобрался на пенек и загудел басом в сторону комиссара дивизии:

— Как же, товарищ, Рассея вон она какая большая-то, а воюют одни пермские.

Пермякам и на самом деле казалось, что вся война сконцентрировалась на участке их полка, а так как их участок был изолированным, то откуда же пермякам было знать, что не одни пермские воюют?

Полк вернули на позицию и случай постарались предать забвению, но с тех пор на всём фронте можно было услышать шутливое утверждение, что воюют одни пермские.

Пока разыгрывался весь этот эпизод, два бойца, оставшиеся в бане, замерзли насмерть.

Но снайпер был пойман в тот же день. Комиссар дивизии приказал послать несколько отрядов на его поимку и перед вечером его всё-таки нашли. Он пристроился на дереве и выдал себя неосторожным движением, при котором с дерева посыпался сухой снег. Сдался он без сопротивления и его привели в пермский полк.

Оказался он совершенным юнцом, лет восемнадцати. В Выборге остались его мать и сестра. Готовился к мирной профессии дантиста, а когда началась война, напросился в снайперы и после трехнедельной подготовки был послан в тыл красной армии. Я увидел его, когда он стоял у полевой кухни и с аппетитом поедал разогретые мясные консервы. Молодое, худое лицо с резко выделяющимися скулами, поросло рыжеватой порослью. Оно было настолько обычным, что многим бойцам становилось не по себе от мысли, что этот мальчишка наводил страх на весь полк. Пленный уверял, что ни одного другого снайпера в тылу этого полка нет, а всё делал он один. Юнец довольно хорошо говорил по-русски, во всяком случае много лучше, чем пермяки. Извлекая из банки консервы, он дружелюбно

озирался вокруг и в его глазах светилось любопытство. Бойцы окружали его тесной толпой.

— Да невжели же этот шпингалет?

Этот и другие возгласы раздавались вокруг, а «шпингалет» с явным удовольствием ел консервы и вежливо говорил ближайшим к нему бойцам:

— Вы знаете, господа, я две недели не имел горячего.

— Ишь ты, господами именует нас, — с каким-то удивлением прокричал высокий костлявый солдат.

— А чего же, он вполне нас господами может называть, раз он. из капиталистического окружения. Он этим господам, можно сказать две недели скипидарил под хвостом, так что господам небо в овчинку казалось. Контра разнесчастная.

Это проговорил тот солдат, которому пришлось утром бежать голым от бани. Но в ответ сразу раздалось несколько голосов.

— Ты его не трожь!

— Он-та салдат и его дело-та сопливое. Куда послали, туда-знать и идет.

Когда снайпер покончил с консервами и вытер грязные пальцы о свой белый маскхалат, к нему протянулось несколько солдатских рук с кисетами. Это уже было знаком особого уважения, так как табак был в то время самым дефицитным товаром.

Снайпер отрицательно покачал головой, давая понять, что он не курит.

Через неделю я видел в наших газетах портрет юноши-снайпера. Сообщалось, что он обратился к финским солдатам с призывом прекратить сопротивление. Я не поверил, что этот юноша предал своих. Я помнил, как он ответил политруку, подошедшему к нему в Пермском полку и сказавшему:

— Страна наша передовая, социалистическая. Мы растем, а ты против нас сражаешься.

— Ну, и росли бы куда вам угодно, а нас оставили в покое, — ответил тогда юноша и в глазах его я увидел холодность и решительность. Нет, такой легко не мог быть сломлен. В этом я был убежден.

Жизнь и смерть Сергея Стогова

Воина и связанные с ней лишения, беды, усталость притупляют чувства людей, вселяют равнодушие ко всему на свете и даже собственную жизнь делают не столь уж значительной.

Сергей Стогов, солдат 92-го саперного батальона, как могло показаться, мало дорожил собственной жизнью и потому прославился он храбростью. Под огнем финнов, волоча за собой салазки с взрывчаткой, подобрался он к финскому ДОТУ и взорвал бы его, если бы не помешала собственная артиллерия, открывшая в это время огонь по финским позициям и ранившая смелого сапера-подрывника. Ночью приполз он назад к своим позициям. После недельного пребывания в госпитале, вернулся он в строй. На груди его красовался орден красного знамени.

Но если Сергей Стогов был, более или менее, равнодушен к собственной своей жизни, то жизнь его родителей, жены и детей, оставшихся в селе Кривое Колено, Воронежской области, переполняла всего его жгучей тревогой. Из села приходили письма, повергавшие солдата в великое смятение. Отправители писем, за неимением конвертов, посылали их сложенными треугольником и обернутыми в газетную бумагу. Каждое такое письмо заставляло Стогова снова идти к командиру роты, к политруку всё с той же просьбой — отпустить его на побывку.

Но все просьбы бойца разбивались о несокрушимое упорство политрука роты.

Это был молодой коммунист, студент Института красной профессуры. В начале финско-советской войны, напросился он на низовую политическую работу в армии, принадлежал он, следовательно, к редкой уже в то время породе коммунистов-энтузиастов. Молодой политрук слыл в дивизии образцовым работником, неутомимо «воспитывал» бойцов и потому вызывал к себе неприязнь и вражду. Справедливости ради, надо сказать, что был он не лишен личной храбрости и неизменно в наступлениях был впереди своей роты. А

саперный батальон, о котором идет речь, занимал участок передовой линии и выполнял роль обыкновенной пехотной части. Саперных работ на фронте было мало.

Я в то время был занят непривычным для меня делом расследования. В частях той дивизии, к которой принадлежал 92-й батальон, солдат убил младшего командира. Такие случаи происходили и до того. Мехлис заинтересовался происхождением такого рода убийств и приказал своим порученцам изучить вопрос.

Солдат, убивший младшего командира, был арестован и содержался при штабе дивизии. Мне позволили ознакомиться с делом и несколько раз беседовать с убийцей. Ко мне приводили неуклюжего, похожего на медведя великана. До войны он был рабочим судоремонтной мастерской в Ростове на Дону, но, насколько я мог понять, это была лишь часть его биографии. Сидел он в тюрьме за ограбление кассира. Потом был арестован по подозрению в убийстве. В разговоре он пользовался жаргоном и слова «блат», «мокрое дело», «шмара» постоянно срывались с его языка. Медведеобразный гигант принадлежал к обширному миру урок, это было совершенно ясно. Достаточно было посмотреть на его огромный череп с узким лбом и приплюснутыми ушами, чтобы все сомнения на этот счет отпали.

Даже при моей неопытности в такого рода исследованиях, я мог сделать безошибочный вывод, что в данном случае имеет место убийство уголовного характера. Беседа с бойцами того взвода, в котором был Симоненко — это фамилия убийцы — лишь укрепила меня в этом выводе. Убитый им отделенный командир пользовался уважением бойцов. Колхозник из Ленинградской области, он ничем не отличался от бойцов своего отделения. Но Симоненко люто возненавидел отделенного командира. Родилась эта ненависть после того, как отделенный командир обнаружил в вещевой сумке Симоненко ручные часы, украденные у другого бойца. Случай ничтожный, часы были старые и испорченные, но Симоненко почувствовал в отделенном своего личного врага и называл его не иначе, как лягавым.

Вражда развивалась, а в солдатской жизни, если она уже завелась, причин для нее всегда найдется много. Отделенный командир посылал в наряд, Симоненко спорил и поносил отделенного последними словами. Долго терпел отделенный, а потом доложил по начальству. Дали Симоненко пять дней ареста, отбываемого при части. Командир батальона посылал Симоненко на самые тяжелые работы и в самые тяжелые наряды. Жизнь в отделении должна была показаться ему раем. Потом его вернули. Затаил Симоненко лютую ненависть к отделенному командиру. Когда батальон был послан в наступление, отделенный командир погиб. Его убил Симоненко выстрелом в спину. Разъяренные бойцы, на виду у которых это произошло, связали Симоненко и доставили в штаб батальона, а оттуда его перевели в штаб дивизии.

Казалось бы, дело Симоненко совершенно ясное. На лицо было убийство своего командира, вызванное личной ненавистью к нему. Убийство вероломное, отвратительное по своей природе. За это преступление в условиях войны, когда оружие в руках преступника становится страшным для окружающих, следует только одно наказание: расстрел. Но тут обнаружилось, что такого простого подхода в этом случае не может быть. То ли кто-то научил Симоненко, то ли сам он додумался, но на следствии он стал уверять, что убил отделенного командира, так как тот хотел увести их в плен к финнам.

Устав красной армии тогда представлял любопытную аномалию. Требуя от бойца безусловного послушания приказам командира, он в то же время, делал оговорку: кроме случаев, когда командир отдает контрреволюционное приказание.

У Симоненко не было никаких доказательств, что убитый им хотел увести бойцов в финский плен, но он упорно стоял на своем и уверял, что отделенный отдал ему приказ перебежать к финнам и предупредить их, что всё отделение сдастся в плен. Эта неуклюжая выдумка парализовала военно-следственные власти и они не знали, как им поступить.

Военно-полевой суд над Симоненко назначен не был до получения инструкций.

Только что я закончил ознакомление с делом Симоненко и еще не написал рапорта о нем, как в штабе дивизии получилось донесение, что в 92-м саперном батальоне боец Сергей Стогов убил политрука роты. Так как такие донесения молниеносно доходят до самых верхов армии, то в тот же день я получил приказ Мехлиса ознакомиться и с этим случаем. Стогов был привезен в штаб дивизии и содержался отдельно от Симоненко. Его привели ко мне в лесную сторожку, занятую начальником штаба дивизии. Два часовых остались за дверью. В лесном домике было почти темно. Растущие у самых окон ели затемняли внутренность домика. Стогов стоял у двери и молча ждал, а я силился рассмотреть его. На мое приглашение подойти поближе, Стогов сделал несколько шагов в мою сторону и опять остановился. Теперь мне было видно его тонкое, измученное усталостью лицо. Беловатые волосы и брови как бы еще сильнее подчеркивали бледность молодого солдата. Он был худощав, мал ростом, узкоплеч.

— Садитесь, Стогов, — предложил я, подвигаясь на скамейке, чтобы освободить для него место.

— Ничего, я постою, — тихим голосом откликнулся Стогов.

Пришлось взять его за рукав полушубка и усадить рядом о собой.

Тихим голосом Стогов рассказывал, а я слушал и передо мной раскрылась пропасть потерянной жизни. Сергей Стогов, всё образование которого закончилось в школе первой ступени, скромный и застенчивый деревенский паренек, рано женился. Есть люди, у которых неутолимая жажда любви преобладает над всеми другими чувствами. Сергей был из таких. В каждом его слове звучала боль и тревога за родных. Родила ему жена двоих малышей. Чтобы лучше было жене, детям, родителям, работал Сергей в колхозе не покладая рук и числился ударником. Прошлым летом призвали его на военную службу. Ушел он встревоженным за семью. Его несколько успокаивало лишь то, что в колхозе он заработал три сотни трудодней. Осенью семья получит по ним хлеб от колхоза и как-нибудь перебьется до его возвращения.

В тот год в Воронежской области произошла одна из обычных неурядиц. Государственный комитет заготовок наложил такие налоги, что, после их выполнения, для колхозников ничего не оставалось. Ошибка была вскрыта, но, вместо того, чтобы вернуть крестьянам неправильно отобранный у них хлеб, областное начальство решило выдавать в ограбленных деревнях по полкилограмма хлеба в день на едока. Выпекать хлеб было негде, мука разворовывалась и в ряде районов начался голод. Особенно в тяжелом положении оказался родной район Сергея, Кривоколенный.

Жена писала Сергею письма и из них он знал, что семья голодает. Эти письма я читал еще до того, как увидел Сергея. Они были у него отобраны при аресте и приобщены к делу. «А еще отписываю тебе, родной Сергуня, что Ксюша засовсем распухла и уже не плачет. А сегодня она спросила чи приедет батя, чи не».

Эта фраза из письма жены Сергея мне запомнилась на всю жизнь. В письмах малограмотной крестьянки описывалась трагедия крестьянской семьи. Сообщалось сначала о смерти матери. Потом умер отец. За ним следом письмо принесло вест о смерти сына. Ксюша было последним, что привязывало Сергея к жизни.

Сергей был уверен, что получи он отпуск хоть на один месяц и семья будет спасена.

— На коленях просил политрука, не помогло, — тихо и печально рассказывал он.

Студент Института красной профессуры был очень хороший политрук. Поэтому всё человеческое ему было чуждо. Он видел в Сергее не страдающего человека, а заблуждающегося гражданина Советского союза, который в минуту «грозной опасности» смеет думать о своем личном. Для него бойцы были прежде всего исполнителями высшей воли и выразителем этой воли был он, политрук роты и коммунист. Все обращения к нему Сергея шли вразрез с усвоенными политруком книжными представлениями. Когда командир роты, внемля мольбам солдата, обратился по начальству с просьбой дать Стогову отпуск, политрук не только не допустил, чтобы эта просьба была исполнена, но и добился смещения командира роты.

Сергей Стогов стал искать подвига. Он думал, что за проявленный им героизм, его обязательно отпустят в отпуск и семья будет спасена. Он даже не возражал против того, чтобы быть раненым, но только рана должна быть «подходящей», дающей право уехать на родину для излечения.

— Они думают, что я за орден старался, а в самом деле я думал, что после того, как храбрость покажу, домой меня отпустят, — рассказывал Сергей.

Но не повезло. Рана оказалась такая, что не давала права бойцу домой попасть, а вместо отпуска наградили его орденом.

Стогов тихим своим голосом рассказывал, а я мучительно искал для него выхода из мертвого круга. И не находил. Мелькнула было мысль, рассказать ему о Симоненко и о его способе самозащиты, не воспользуется ли этим приемом Стогов? Но мысль эту пришлось отбросить. Примерный политрук, убитый Стоговым, проверенный коммунист и никто не поверит, в то, что он отдавал «контрреволюционные приказы».

— Конечно, убивать нельзя и я жалею, что сделал это, — говорил Стогов, поникши головой. — Однако же, должен был политрук внять моему горю или нет?

Стогов строго смотрел на меня своими ясными, печальными глазами, словно ждал ответа на его вопрос.

— Расстреляют меня, — еще тише произнес он, снова поникая головой.

Да, выхода не было. Единственное, думал я, что могло бы спасти солдата, это признание его психически ненормальным. В моем рапорте Мехлису я, словно утопающий, держался за соломинку этой надежды. Я высказал в рапорте два соображения. Первое: семья, погибающая от голода, должна была бы дать солдату право на отпуск для ее спасения. Если нет, тогда должны были быть приняты другие меры для спасения семьи. Политрук обязан был обратиться в политотдел дивизии, а тот — к местным властям в Воронеже, которые должны были помочь семье солдата. Политрук этого не сделал, как не сделали и другие командиры и политработники, к которым обращался Стогов.

Второе мое Предположение было совсем уже шатким. Я высказывался в том смысле, что письма семьи могли привести Стокую в состояние невменяемости и прежде чем предавать его военно-полевому суду, следует устроить врачебно-психиатрическую проверку.

Мой рапорт я вручил Мехлису лично. Пока он читал, я сидел и чувствовал, как во мне всё дрожит от нервного ожидания. Судьба Стогова как будто стала моей собственной судьбой. Всё зависело от Мехлиса, который равнодушно читал мой рапорт.

— Я с вами не согласен. Боец не виноват в убийстве, — проговорил Мехлис, откидываясь на спинку стула.

На какую-то долю мгновения во мне вспыхнула радость. «Боец не виноват в убийстве» — сказал Мехлис. Но радость, не успев вспыхнуть, погасла. Я так был взволнован судьбой Стогова, что совершенно не думал о первой части рапорта, относящейся к делу Симоненко. Мехлис продолжал читать. Перевернул последнюю страницу. Барабанил пальцами по столу. Долго молчал.

— Вы мало осмыслили это явление, — проговорил он. — Вы не уяснили принципа нашей армии, построенной на взаимном контроле. Командир отдает приказы, но бойцы их контролируют. Боец Симоненко типичный случай советского патриотизма, вы же в нем усмотрели лишь мелкого убийцу. И, напротив, Стогов, убивший политрука, совершил тяжчайшее преступление, за которое... Вы понимаете?

— Но ведь многое говорит за то, что Стогов совершил убийство в невменяемом состоянии, — попытался я возразить.

— Это деталь, не заслуживающая внимания, — равнодушно махнул рукой Мехлис. — В военно-полевых условиях мы не можем заниматься такими тонкостями, как психиатрия. К тому же существует потребность показать всей армии, что жизнь политработников неприкосновенна. Я жалею, что поручил это дело вам. Вы совершенно ложно истолковали оба случая.

Через несколько дней в фронтовой газете появился рассказ о бойце-патриоте Симоненко. С газетного листа нагло ухмылялась рожа убийцы с узким лбом и приплюснутыми ушами. А на последней странице газеты было помещено короткое сообщение о том, что боец Много саперного батальона, Сергей Стогов, за убийство политрука, приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение.

Мне довелось потом встретить командира комендантского взвода той дивизии, где был Сергей Стогов. Он командовал нарядом бойцов при расстреле Сергея.

— Я виноват, товарищи, но только я прошу партию и правительство спасти Ксюшу. Это были последние слова Сергея Стогова.

Был ли он виноват?

Последнего этапа финской кампании я не видел. Мотоциклист, везший меня в одну из дивизий, не заметил предупреждающего сигнала и мы вкатили в пределы видимости финской батареи. Снаряд разорвался вблизи от нас. Мотоциклисту раздробило осколком ногу, а я отделался контузией. К тому времени, когда в военном госпитале в Москве меня избавили от болезненного подергивания головой и непрерывной тошноты, финская кампания была закончена.

Серошинельный поток устремился назад, растекаясь по стране и разнося славу о маленьком, но героическом финском народе, который имел силу и мужество противостоять лавине наших полков, дивизий, корпусов и армий.

Большая война

Ожерелье бурь

Если окинуть взглядом всё вокруг, то увидим мы океан жизни, взрыхленный бурями, кружащими в безумном хороводе человеческие судьбы.

Ожерелье бурь, тянущееся страшным серпантинном, перевалило через границу времени, обозначенную огненной датой: «1941».

Прошло больше десяти лет с тех пор, как мир упал за эту огненную черту, но до сих пор начало советско-германской войны воплощено, для многих из нас, не столько в фактах, сколько в чувствах.

Такое восприятие тех дней рисует передо мной картину, отчасти воспроизведенную в моем романе «Когда боги молчат», вышедшем на английском языке:

...Над миром нависла тишина. Меж облаками воровато пробирается луна, протягивающая к земле голубоватые щупальца лучей.

На западе, где кончается империя, осененная красными, словно брызги крови, звездами Кремля, стоят вдоль границы часовые. По другую сторону границы лежит притихшая чужая земля и часовые всматриваются туда, словно стараясь найти ответ на тревогу, разлитую вокруг. Кругом тишина, как вчера, как десять дней назад, а часовым не по себе, и сторожевые собаки жалобно повизгивают и жмутся к их сапогам. Им, как и людям, тревожно в эту теплую ночь, напоенную пьянящими запахами отдыхающей земли.

За пригорками, за перелесками на чужой земле идет бесшумная, торопливая жизнь.

Опадают к земле развесистые кусты, обнажая ряды танков, выставивших вперед короткие рыла пушек. У танков стоят молчаливые, как и машины, люди в черной одежде.

Чуть подальше, из замаскированных зеленью палаток, выбегают солдаты, торопливо затягивают пояса. Будь по светлей, можно было бы на бляхах поясов увидеть короткое, как выстрел, заклинание: «Gott mit Uns»[2].

Еще дальше — аэродромы. Люди с большими кожаными шлемами на головах, похожие на марсиан из фантастического романа. На рукавах их кителей — орел, хищно изогнувшийся для стремительного нападения. Молчащие лопасти пропеллеров устремлены в небо.

Отягощенные бомбами тела самолетов тяжело распластались на земле.

А в это время, человек, с внешностью заурядного торговца, отбрасывает с потного лба нависшую прядь коричневых волос и в глазах его загорается нездоровый блеск — азартный игрок делает страшную ставку:

«Мои армии войдут в Россию, как нож входит в масло... Наступать!».

На огромном пространстве эти слова азартного игрока привели в движение людей, люди привели в движение моторы — и предутренняя тишина взорвалась бешеным грохотом. Ринулись вперед танки. Вслед за ними — потоки людей в зеленых мундирах и касках. В грохоте и дыме на русскую землю ворвалась армия Гитлера. Ненужно прозвучали выстрелы пограничников. Коротким, никем не замеченным был отчаянный визг сторожевых собак, гибнущих вместе с часовыми под гусеницами танков. С аэродромов взмыли вверх эскадрильи, взявшие курс на восток. Понеслись над самой землей воюющие штурмовики. Запылали советские самолеты, так и не успевшие взлететь в небо навстречу врагу. Словно неуклюжие чудовища, умирали под бомбами советские танки. Расстреливаемые с воздуха и земли гибли западные советские армии и вскоре жалкие их остатки побежали на восток.

Воина!

Грохот, родившийся на границе, не пробудил спящих городов. Над ними было спокойное, безмятежное небо. Но покой и безмятежность — всё обман. В небе зарычали моторы. Забегали лучи прожекторов. Они испуганно задрожали, вырвав из темноты силуэты чужих воздушных кораблей с большими крестами на крыльях. Растерянно твякнули зенитки. Ревущий поток бомб обрушился вниз. В грохоте рушащегося мира метались полуодетые, обезумевшие от страха, люди.

Воина!

Утро солнечное, радостное спустилось на Москву, затопило светом улицы, веселыми бликами забегало по глади Москва-реки. И вдруг над Москвой, на всей страной раздался заикающийся голос Молотова, разносимый радио: «Братья и сестры! Коварный враг напал на нашу землю...».

Стало тревожно и показалось, что солнце померкло. Ожерелье бурь потянулось через годы великой войны...

Звонок

Обыкновенный звонок у двери был для меня сигналом еще одного поворота судьбы. После финской кампании я получил разрешение жить в Москве, но печать опалы оставалась на мне. Советская система с идеальной точностью исключает людей из бытия, превращает их в живые трупы. Человеку с «пятнистой» биографией необычайно трудно найти место под советским солнцем. Нужно иметь философский склад ума, чтобы оставаться спокойным, когда прежние друзья пугливо сторонятся тебя, а любимая девушка, под мощным натиском родителей, рвет с тобой отношения, присылая письмо, закапанное слезами.

У меня такого спокойствия не было и пламенное осуждение жило в душе. Надо было, чтобы прошло много лет, прежде чем я понял, что ни друзей, ни девушки, ни даже ее родителей осуждать нельзя. Горькое и тяжелое, пережитое тогда, исходило не от людей, а от чего то другого, внечеловеческого.

В те полтора года, которые прошли между концом «малой» и началом «большой» войны, я стучался во многие двери, не открывавшиеся передо мной, и во многие сердца, не откликавшиеся на мой зов. Я был один в мире одиноких людей. Это было страшно. Но я всё-таки продолжал верить. Если перестать верить в людей, что же тогда останется? Я глушил в себе волну горечи и, словно скряга, подбирал крохи человеческого, встречавшиеся на пути одиночества. Может быть сам я тогда не понимал, насколько органичной и неубиваемой была моя жажда веры в людей. Я бы мог рассказать много тяжелого и недоброго о моих соотечественниках, но зачем? Не тому надо удивляться, что

среди подсоветских людей есть хапуги, подлецы, трусы — этого добра на Руси всегда было в избытке, а удивляться надо тому, что страшнейшее обезличивание людей властью не способно было развеять потенциал добра, заложенного в народе.

Я был ущемлен жизнью и болезненно переживал это. Вся страна превращалась тогда в землю обездоленных. И мы не знали, как остановить это превращение. В нас тогда уже жило ощущение идейной пустоты. В вихрях чисток, в лавине насилия над людьми и в постоянном страхе за будущее, умерла идея, когда-то поднявшая на борьбу наших отцов, — другой же не было. Мы ощущали жгучую жажду новых откровений, мы были почвой, на которой семена этих откровений могли бы взойти, но сеятель, равный Христу, не приходил, и нашим уделом была пустота.

В таком состоянии скрываемой душевной ущемленности дожил я до того дня, когда ранним утром у моей двери раздался настойчивый звонок. Старенькая мать моя, вся жизнь которой была соткана из страха за сыновей, открыла дверь и впустила ко мне совсем юного офицера с сиротливым кубиком на петлицах интендантских войск. Пришедший сообщил, что через полчаса я должен быть готов покинуть дом, захватив с собой «личные вещи». На мой вопрос, что случилось, он ответил одним словом: мобилизация.

В моем воинском билете стояла пометка, что я подлежу мобилизации в первый день объявления страны на военном положении. Значит, этот день настал. Торопливо собирая вещи и успокаивая мать, я напряженно думал о случившемся. Несомненно, мы воюем. Значит правда, что Сталин решился напасть на Германию. Циркулировали упорные слухи, что такое нападение готовится. К западным границам страны шли эшелоны с войсками. Казалось, Сталин перехитрил Гитлера и лишь выбирает момент, чтобы нанести ему смертельный удар в спину. Он дал Гитлеру хлеб, масло, нефть, металл. Гитлер развязал войну на западе. Теперь же Сталин совершит предательский ход и поставит Германию на колени.

Так думали многие из нас.

Через полчаса неуклюжий военный грузовик вез нас через город. Выходило солнце, озарявшее почти пустые улицы. Ожесточенно взмахивали метлами дворники.

Было больно видеть Москву, спящую и не ведающую, что над ней уже скопилась гроза. Долгие годы, проведенные мною в столице, сделали меня москвичом, и Москва казалась мне живым, одухотворенным существом, нуждающимся в моем предупреждающем крике. Тем же чувством были охвачены и мои соседи. Нас в грузовике было человек пятнадцать. Все спешно мобилизованные. Сидевший рядом со мной человек с глубоким шрамом, обезобразившим левую сторону лица, тихо, словно сам для себя, сказал, что знай Москва, о войне, она не спала бы так спокойно.

— Не спала бы, а в очередях стояла, — откликнулся другой наш спутник — высокий худощавый человек. На его синем пиджаке алели два боевых ордена красного знамени. — Ох, плохо сегодня будет. Народ, как о войне узнает, озверевает.

— Да, судьба родины всех взволнует, — проговорил сопровождавший нас интендант. Человек с двумя орденами засмеялся:

— Не судьба родины, а жратва, — проговорил он. — Люди опытом научены, что раз война, так обязательно голод. Вот увидите, что сегодня в магазинах будет твориться.

— Не обязательно-же-голод, товарищ. Ведь столько лет готовились к войне. Запасы создали достаточные.

Интендант явно не хотел уступить. Орденоносец посуровел в лице и уже зло проговорил в сторону молодого интенданта:

— Вам, конечно, лучше знать. Технику-интенданту всё доподлинно известно. А я всего-то директор московских баз пищеснабжения. Куда уж мне знать, сколько в Москве имеется продовольствия?

Нас привезли в казарму одной из частей московской пролетарской дивизии. Здесь был организован приемный пункт для командного состава запаса, призываемого в первую очередь. В широкие ворота въезжали грузовики, доставлявшие группы мобилизованных.

Техники-интенданты, почему-то все на одно лицо, сдавали свою добычу по списку. Нас принял маленький хлопотливый капитан, до крайности возбужденный и совершенно неспособный стоять на одном месте. Сыпя словами, словно рассеивая мелкий горох, капитан в одну минуту сообщил нам о том, что мы мобилизованы, будем сегодня же отправлены в части и еще до отправки снабжены обмундированием и личным оружием. Цейгхауз там-то, оружейный склад там-то, а если мы голодны, то нас накормят в офицерской столовой, находящейся в другом конце казармы.

— Но только, товарищи командиры, не расходитесь, держитесь в пределах моей видимости. Очень, очень прошу об этом.

С этими словами пожилой капитан исчез из пределов нашей видимости и мне удалось встретить его только перед вечером.

На мобилизационном пункте было шумно и бестолково. Военные писаря сбились с ног. Кого-то вызывали на отправку. К казарменным воротам подходили женщины и дети. Радио начинало выкрикивать имена мобилизованных, которым разрешалось иметь с семьями последнее свидание. В полдень прибыла артистическая бригада. Я обрадовался, увидев хоть одно знакомое лицо. Крошечная Шура Л., начинающая тогда певица, а теперь известная исполнительница лирических песен, крепко уцепилась за мой рукав и, округляя глаза, отчего всё ее лицо становилось напуганным, торопливо рассказывала, что в Москве «ужас, что происходит». Как только узнали о войне, так все ринулись к магазинам. «Моя соседка, — говорила Шура, — принесла два преогромных бидона керосина и вылила их в ванную. Побежала опять в магазин, а у нее мальчик-ползунок, такой чудный мальчуган Петюнька, подполз к ванной, стоявшей на полу, вцепился за нее ручками, и упал в керосин. Мать вернулась, а Петюнька уже мертвый... Моя мама побежала в магазин, но ей в толкучке руку вывихнули. Всё-таки пять килограммов муки она принесла. А в соседнем доме у нас заведующий магазином живет. Он машину с продовольствием к дому привез, но другие увидели и накинулись на машину. Всё растащили... А меня по мобилизации взяли, призывные пункты обслуживать. Неужели вас совсем отправляют на войну? Какой ужас. Вы знаете, военная форма вас совершенно меняет»...

Шуру позвали в клубный зал, где сцена была уже готова для представления. Радио приглашало мобилизованных посмотреть выступление артистической бригады, но почти никто не шел. Не до того было людям.

Во второй половине дня, решив, что у меня еще есть возможность провести несколько часов с матерью, я отправился получить разрешение на отлучку с мобилизационного пункта. Но в это время радио громогласно выкрикнуло мое имя. Мне приказывалось немедленно явиться в штаб части, помещающейся в небольшом домике, окруженном подстриженными акациями.

В длинном коридоре штабного домика меня поджидал капитан, принявший нас утром. Он пританцовывал от нетерпения.

— Ах, товарищ командир, я же просил вас не отрываться от меня, а вы куда-то исчезли, — укоризненно говорил он, подталкивая меня к двери. Я вошел в просторную комнату.

— Вот и он, — проговорил генерал, сидящий у стола. Вокруг него стояло несколько офицеров, как видно только что надевших военную форму. Это был Рыбалко. Его появление было для меня неожиданным. Я ведь думал, что он всё еще находится в Китае.

— Хотите ехать со мною? — спросил Рыбалко, протягивая мне руку. Я не знал, куда меня зовут, но так как куда-то, всё равно, надо было ехать, я ответил кислой шуткой:

— Если харчи будут хорошие, то можно ехать.

— Харчи будут, — засмеялся Рыбалко. — Но не одним хлебом жив человек... Вы знаете, я совсем случайно обнаружил ваше имя в списке находящихся на этом пункте. Мне нужно подобрать группу для выполнения специального поручения и вы как раз для этого подойдете... Вы имеете чин старшего лейтенанта? — Я молча показал на свои петлицы с тремя кубиками. — Ничего, мы вас повысим, — уверенно произнес генерал-майор. — Быть вам завтра капитаном. Уверен, что не будет возражений и против того, чтобы я

забрал вас в свою группу. Сейчас же утрамбуем все эти вопросы, а вас я прошу через час быть готовым к отправке.

День, начавшийся звонком у двери, шел к концу. Я не знал, где встречу день грядущий.

Западный маршрут

— Нам предстоит тяжелый западный маршрут, — сказал Рыбалко, когда мы построились на товарной платформе станции Москва-Сортировочная. — Подробности узнаете в пути, а сейчас — по коням!

Рыбалко указал нам на два классных вагона, сиротливо стоявших у платформы. Я окинул взглядом выстроившихся в ряд офицеров группы генерала Рыбалко. Старшим в чине, после Рыбалко, был полковник Прохоров, единственный кадровый командир Красной армии. Все остальные, как и я, были запасные. Нас было около полусотни человек: кроме Рыбалко и Прохорова — два подполковника, шесть майоров, четырнадцать капитанов, остальные в лейтенантских чинах.

Вскоре наши вагоны были прицеплены к воинскому эшелону особого назначения. В закрытых и запломбированных вагонах перевозилось новое оружие, получившее впоследствии известность под названием «Катюши». Эшелон шел тихо, подолгу задерживался на станциях. Мы не спали. Пролетали немецкие бомбардировщики, пробиравшиеся воровскими ночными путями к Москве.

Поезд шел в кромешной тьме. В полночь нам приказали перейти в тот вагон, где находился Рыбалко. Мы толпились в коридоре, а Рыбалко, невидимый нами в темноте, рассказывал о маршруте на запад. Говорил он отрывистыми, резкими фразами. Нам дан приказ в прифронтовых районах, а если будет нужно, то и по другую сторону фронта, собрать остатки разбитых советских войск. Немцы нанесли такой чудовищный удар, что западные армии генерал-полковника Павлова стали разваливаться... Рыбалко не знал, как мы выполним нашу задачу.

— Но сделаем всё возможное, — говорил он. — Успехи немцев основаны не на их силе, а на слабости нашей организации. Известно ли вам, что немцы начали наступление, имея меньше танков, чем имел их генерал Павлов сегодня утром?

Многое из сказанного Рыбалко было нам в новость. Незадолго до этого началась перегруппировка советских войск. Немцы выбрали этот момент. Танковые соединения нашей армии оказались оторванными от баз горючего. Стрелковые дивизии находились в движении, направляясь к новым местам расположения. Они оторвались от своей артиллерии. Кавалерийские войска встретились лицом к лицу с танковыми соединениями противника.

— Мы не знаем в полном объеме того, что произошло, но рана нанесена, и пройдет много дней, прежде чем ее удастся зализать. Если это, вообще, удастся...

Под утро поезд стал двигаться, словно спотыкаясь. Видно было зарево пожаров — германская авиация постаралась в первую ночь войны. Потом поезд и совсем остановился. На маленькой станции были разрушены все пути. Дымилось станционное здание, обращенное бомбой в развалины. Голосила какая-то женщина, припав к телу убитого мужа-железнодорожника. Рыбалко деловито осмотрел станцию и вскоре его властный голос разносился вокруг. Железнодорожники принесли лопаты, ломы, кирки. Мы засучили рукава и взялись восстанавливать путь. К нам присоединились бойцы из охраны вагонов, заполненных «Катюшами». Невдалеке остановился еще один воинский эшелон и оттуда прибыло сразу две роты бойцов. Путь был восстановлен.

В этот день нам еще дважды приходилось останавливаться и браться за кирки и лопаты. Полковник Прохоров, прислушиваясь к крикам и брани Рыбалко, спросил меня, доставая папиросу:

— Что является движущей силой нашего эшелона?

— Паровоз, — ответил я.

— Не верно, товарищ капитан. Не паровоз, а ругань генерала Рыбалко. Без этой ругани мы и при десяти паровозах с места не тронулись бы.

Чем дальше, тем хуже. Немецкая авиация была занята разрушением мелких станций и полустанков. Рыбалко решил отказаться от мысли пробраться на запад по железной дороге и приказал нам покинуть вагоны. Ушли мы налегке, поручив охране эшелона доставить наши вещи на первую железнодорожную станцию и там сдать их военному коменданту. Мы направились к темнеющему лесу. Проселочная дорога шла между зеленеющими посевами. Солнце, склоняющееся к закату, придавало всему вокруг мягкие, ласкающие глаз оттенки. Отчаянно стрекотали кузнечики. Жаворонок пролетел над нами, потом, словно желая получше рассмотреть нас, повернул и еще раз пролетел. В стороне, на пригорке, виднелся дом с колоннами. От него, вниз по пригорку, сбегал старый сад. Помещичья усадьба стала тракторной мастерской. Об этом не трудно было догадаться, так как у самых колонн темнели неуклюжие туши тракторов. Но о тракторах не хотелось думать. Если сделать над собой усилие, то останется лишь дом с белыми колоннами, старый сад и... Впрочем, тургеневская девушка у изгороди была уже плодом воображения. У опушки леса начинался глубокий и широкий ров со скошенными краями. На зеленом ковре травы ров походил на кровоточащую рану. Мы шли молча, но все думали об одном. Помогут ли нам эти глубокие канавы, на рытье которых сгоняется население сел и деревень?

Немецкие танковые клинья вбиваются в живое тело страны, а мы по-настоящему-то и не знаем, как противостоять танковому нападению.

Вдоль опушки леса, насколько хватало зрения, шевелился людской муравейник. У дворянской усадьбы не оказалось тургеневской девушки, но ее потомки были собраны рыть противотанковый ров. Тут представлены были все сословия. Рядом с колхозницами работали учительницы, врачи, актрисы. Поразительно, как быстро удалось собрать эти толпы людей с лопатами.

— Словно сбесились, — проговорила пожилая колхозница в ответ на вопрос лейтенанта Переверзева, состоявшего адъютантом у полковника Прохорова. Она опиралась на лопату. Необъятная ее грудь мерно колыхала рваную кофту. Вытирая концом головного платка загорелое лицо, колхозница смело смотрела на нас и в ее глазах было что-то, похожее на осуждение.

— Всех из деревни погнали эту могилу копать, — она кивнула головой, показывая на ров. — Нам то еще ничего, мы к труду привычные, а каково им?

Снова кивок головой, но уже в другую сторону. На самом дне рва работали девушки городского вида. Переверзев наполовину сошел, наполовину сполз в ров.

— Знаете, товарищи, — рассказывал он, догнав нас через несколько минут. — Эти девушки все медички, с последнего курса медфака. Они в этот район попали из Москвы на врачебную практику, а тут их мобилизовали на рытье рва. Еле на ногах держатся. Пищи почти не выдают.

Лицо Переверзева было негодующим. Я посмотрел на сумку в его руках. Он носил в ней продовольствие для себя, Прохорова и Рыбалко. Теперь сумка была пустой.

Табор казался нескончаемым. Те, что не работали, лежали под деревьями, молча провожая нашу группу глазами. Другие, когда мы проходили мимо, вовсе не поворачивали голов в нашу сторону. Нам пришлось обойти довольно большую площадку, занятую лежащими на земле женщинами. Они отработали свою смену и теперь отдыхали.

— Из Брянска, — сухо бросила худощавая женщина с красивыми чертами лица в ответ на вопрос неугомонного Переверзева — откуда они? Лежащая рядом юная девушка лет семнадцати приподняла голову, обвела нас строгими глазами и проговорила:

— Может быть, товарищи командиры, возьмете нас в боевые подруги?

Ее вопрос звучал горькой иронией.

Мы прошли молча, а сзади раздавался невеселый смех женщин.

Навстречу нам попался военный инженер в чине полковника. Завидев среди нас генерала, он подошел и представился Рыбалко. Инженер доложил, что на его участке работает пятьдесят тысяч человек. Маленький Рыбалко, слушая инженера, переступал кривыми

ногами, словно лошадь, которой не терпится бежать. Сдерживаясь, голосом тихим, почти шипящим, Рыбалко спрашивал:

— Вы верите, что немецкие танки остановятся перед этими египетскими сооружениями? Инженер даже поперхнулся от неожиданного вопроса.

— Я думаю, что всей этой затее — грош цена, — ответил Рыбалко на свой собственный вопрос.

— Не скажите, товарищ генерал-майор, не скажите... Доказано, что такие рвы для танков непроходимы.

Инженер говорил, а уверенности в его голосе не было.

— Ерунда! Полнейшая ерунда. — Рыбалко злился. — Если танки не пройдут через эти рвы, то немцы в пятьдесят минут наведут мосты.

— Да, возможно, — согласился инженер. — Но надо сочетать противотанковые рвы с огневой силой наших позиции. Огневая сила должна быть достаточной, чтобы не допустить перехода танков через рвы.

— Если огневая сила достаточна, тогда на кой же чорт нужна вся ваша яма? — окончательно рассвирепел Рыбалко. — И зачем вы мучаете всех этих баб, которые с трудом поднимают лопаты.

От крика Рыбалко лицо инженера посерело, как будто даже осунулось. Стало видно, что это просто старый, смертельно уставший человек, которому надо бы лечь в постель, а не размышлять об огневой силе и проходимости сооружения, которое ему приказали рыть и до которого ему нет никакого дела.

Но, как мы скоро убедились, не один Рыбалко был уверен в ненужности противотанковых рвов. Были уверены в этом и немцы. Не успели мы дойти до деревушки, в которой размещался штаб инженера, как над нами появилось три немецких мессершмидта. Один из них выпустил густую белую струю, начавшую оседать к земле.

— Листовки, — вялым голосом сообщил инженер. Вдоль противотанкового рва раздавались испуганные крики. Люди потоком вливались в ров, ища в нем укрытия от мессершмидтов. Но появился новый звук. На этот раз летел советский истребитель, прозванный ишачком. Он держался у самой земли и немцы его не заметили. Ишачок пронесся над нашими головами, сделал крутой вираж над лесом и вдруг взмыл вверх. Он уходил в небо почти по вертикали и вскоре оказался над немецкими истребителями. Оттуда он перешел в пике. Донесся захлебывающийся треск пулемета. Немцы перестроились так, что ишачок оказался между ними. Он бросался из стороны в сторону, стрекотал пулеметом, а «мессеры», не нарушая треугольника, деловито расстреливали его. Струя черного дыма оторвалась от ишачка, потом он вдруг весь превратился в летящий сноп огня. Судорожно рванулся ишачок в сторону и ударил в бок «мессера». Самолеты, охваченные огнем, упали вниз. Два немецких истребителя поспешно улетали на запад. Генерал Рыбалко вытер с круглого лица пот и его небольшие глаза обожгли всех нас: — Десять лет талдычили об авиации, а теперь наши герои-летчики вылетают навстречу немцам на картонных самолетах, которые от одной пулеметной очереди загораются. Эх, вы...

Это «эх, вы», брошенное в нашу сторону, относилось не к нам — мы еще в меньшей мере были ответственны за происходящее, чем сам генерал Рыбалко, но в горьком этом восклицании прозвучал тот упрек, который каждый из нас носил в себе.

Сцена гибели ишачка была короткой, хотя и показалась она нам мучительной и долгой. Горящие самолеты упали где-то за лесом. Стали оседать на землю листовки. Крошечные листки бумаги и на них — четверостишие:

Советские дамочки
Не ройте канавочки.
Через те канавочки
Пройдут наши таночки.

Это всё.

Через три дня на двух военных грузовиках, присланных в распоряжение Рыбалко, мы добрались до Березины. В те дни эта скромная река делила мир на две части. На востоке всё еще существовал какой-то порядок. Работали мобилизационные пункты. Шли поезда. Двигались густые колонны войск. Сновали автомобили. А по другую сторону реки находился мир великого крушения. И чем дальше углублялись мы в этот мир, тем явственнее проступали черты катастрофы. За Рогачевым наши автомобили остановились у моста через безымянную речушку. Огромный танк загородил въезд на мост с западной стороны. На башне сидел лохматый лейтенант танкист. Он равнодушно озирал беснующуюся и воющую у танка толпу штатских людей — мужчин и женщин. Легковые автомобили «эмочки», «газики», «ЗИС»ы растянулись длинной чередой. Между ними возвышались грузовики, заполненные каким-то скарбом.

Рыбалко приказал мне выяснить, что происходит. Лохматый лейтенант испытывающе глядел мне навстречу, когда я шел к нему. Подойдя ближе, я увидел, что лейтенант бос, не подпоясан и выглядел так, словно решил лечь спать. На мой вопрос, что случилось, лейтенант ударил босой ногой по броне танка:

— Горючее кончилось.

— А зачем же вы проезд через мост закрыли?

— На этом самом месте и кончилось, — повел плечами лейтенант. В его глазах был озорной блеск. Что могло заставить лейтенанта загородить проезд? Ведь не думал же он провести свой многотонный танк через деревянный мостик? Значит, сделал он это нарочно, из озорства.

Меня окружили пассажиры легковых автомобилей. Какой-то толстяк кричал мне в ухо, словно думал, что я глух и не слышу его:

— Товарищ командир, я секретарь горкома партии. Он называл большой город на западе страны. Тут собрались «бегуны» — партийное и правительственное начальство, удирающее от наступающих немцев.

— Послушайте, товарищ лейтенант, ведь надо же дать людям проехать, — обратился я к лейтенанту.

— Надо, — спокойно согласился он. Лейтенант посмотрел в сторону наших грузовиков, ждущих на другой стороне моста и приподнялся с башни. Он стоял лохматый, широко расставив ноги. Его молодое, обросшее неряшливой растительностью, лицо было злым.

— Ну, хорошо. Езжайте, бегуны. Секретарь горкома говоришь? Подумаешь, птица!.. Город бросил, а сам удираешь, да еще грузовик казенного имущества с собой прихватил. Вожди и учителя, чтоб вас черт побрал.

Лейтенант плюнул в сторону и полез в люк. Те, кого лейтенант назвал вождями и учителями, стояли молча. Они готовы были снести любое оскорбление, только бы им дали проехать и снова нестись на восток, подальше от наступающего врага.

Загрохотал мотор, лязгнули гусеницы, и неуклюжая громада танка шевельнулась.

Легковые автомобили, словно боясь, что танк снова закроет дорогу, ринулись вперед. Тяжелый ЗИС секретаря горкома сцепился с «эмочкой». Образовалась пробка. Неслись крики, ругань. Плакали женщины. А лейтенант опять появился на танке и стоял, широко расставив босые грязные ноги. Он равнодушно смотрел на всю кутерьму, разыгравшуюся на мосту.

После ночевки в каком-то крошечном селе, через которое непрерывно шли беженцы, мы двинулись дальше и обогнули горящий Минск. С каждым часом всё явственнее ощущалось дыхание войны. Иногда в небе происходил воздушный бой. Падали вниз горящие самолеты. Откуда-то доносился гул бомбардировок. По дорогам двигались толпы военных и штатских. Женщины несли на руках детей. Жены командиров из пограничных гарнизонов. У них были печальные, отягощенные слезами глаза. Мужчины, одетые в рваную крестьянскую одежду. Бегуны не высоких рангов. Для них не нашлось

автомобилей и они уходили пешком. Встречались легко раненые командиры и бойцы. Но больше было таких, что потеряли свои части, бросили оружие и теперь брели неведомо куда. Автомобили, тракторы, танки, пушки, зарядные ящики — всё это стояло брошенным по обочинам дорог. Армия распадалась.

Трудно было понять, что вокруг происходит. Фронта не было вовсе. С каждым часом немецкие танковые войска, действующие подвижными клиньями, углубляли фронтальной район, походивший на слоеный пирог. В одном случае немцы оказывались восточнее советских войск, в другом, они окружали их, в третьем немецкие и советские армейские слои чередовались, а между ними образовалась пустота, в которой мы бродили, иногда даже не зная, находимся ли мы перед немецкими войсками или же позади их.

Рыбалко не давал времени на размышления. В этом маленьком генерале сидел беснеукротимого упорства. Будь во главе нашей группы кто-нибудь другой, мы поступили бы просто: собрали несколько тысяч уходящих от фронта солдат и офицеров и тем закончили наш западный маршрут. Но Рыбалко, встречая бредущих командиров и бойцов, раздраженно махал рукой:

— Эти сами дойдут и их в тылу подберут. Нам надо найти остатки боевых, понимаете, боевых войск. Так нам приказано.

Эти поиски завели нас в немецкий тыл. Мы и сами не заметили, как оказались в нем. Наш западный маршрут весь состоял из неизвестности.

Лесная сторона

Рыбалко распустил нас «веером» и мы растворились в царстве белорусских лесов.

В мирные годы проезжал я по большим и малым дорогам, тянущимся через эти леса, но в 41-м все дороги для нас были заказаны. Мы подолгу изучали карты местности, но не для того, чтобы найти пути-дороги, а чтоб надежнее потерять их и уйти дальше в лесную глушь.

Лес был молчалив, словно хранил тайну великую. По дорогам грохотали моторы, лязгали гусеницы, проходили войска, а в глубине леса копилась тишина. Немцы занимали дороги, но громада леса пугала их и они в нее не смели углубляться. В лесных чащах, на берегах озер, у редких колодцев шла своя, неприметная жизнь, порожденная войной.

Я держал путь к лесному селу Выселки. На закате солнца я подошел к шоссе. Надо было ждать, пока стемнеет и только потом пересечь его. По шоссе двигался поток немецких войск. Я не видел их, но грохот моторов и людские голоса доносились до того места, где я лежал под деревом, куря папиросу за папиросой. В вечерней полутьме я подошел к самому шоссе. Как раз в это время проходила пехотная часть. Солдаты высекали из булыжников искры подковами своих сапог. Слышалась немецкая речь.

Позади меня, среди деревьев, проплыли три силуэта. Немецкий дозор. Надо было затаить дыхание и прижаться к земле. Сознание говорило, что дозор не может заметить человека, лежащего в темноте под кустом, но страх не покорен сознанию.

Неожиданно с шоссе донеслась русская речь. Удивленный, я вновь приподнял голову.

Пехота уже прошла и теперь, в противоположном направлении, двигалась темная колонна. Я не ошибся, в колонне говорили по-русски. До меня явственно донесся запах махорки и характерное шуршание. Его могут издавать только сапоги с кирзовыми голенищами, трущимися одно о другое. Советские солдаты обуты в такие сапоги. Немцы ведут советских пленных.

В полночь, когда движение почти замерло и лишь изредка пробегали бронированные автомобили, я пересек шоссе и, ориентируясь по компасу, зашагал через лес.

Утро застало меня вдалеке от шоссе. По лесным тропам до меня прошло много людей. Об этом можно было судить по брошенным в кусты винтовкам и каскам, рассыпанным то тут, то там патронам. Иногда тропу перегораживала брошенная пулеметная тачанка с новеньким станковым пулеметом на ней и с полным комплектом боеприпасов. В одной лощинке я наткнулся на три небольших пушки. Около них аккуратно были сложены ящики со снарядами, словно кто-то готовился здесь вести бой.

У лесного колодца, к которому меня привела карта, увидел я бойца, поящего из брезентового ведра тяжелого артиллерийского коня. Может быть, этот боец был из той артиллерийской части, что бросила пушки в лесной лощинке. Он пристально смотрел мне навстречу. Был он молод, рябоват.

— Из какой части? — спросил я, протягивая руку к ведру, чтобы напиться.

Он назвал неизвестную мне часть. Я пил из ведра тепловатую, пахнувшую илом воду, а боец внимательно рассматривал меня. Конь уныло стоял, опустив вниз голову и по обычным признакам я видел, что болен конь желудочной болезнью.

— Ты коня поберег бы, — сказал я.

— Берегу, — солдат пригладил ладонью челку коня. — А вы, товарищ капитан, не знаете чем его лечить? Понос у него открылся... Наши все ушли, а я с конем остался. Жалко бросать.

— Куда ушли?

— Да, кто куда. Одни к фронту подались, а другие совсем даже наоборот.

— А вы?

— А я с конем остался.

— А дальше что думаете делать? Приказ Сталина знаете?

Лицо солдата покраснело, отчего рябины проступили еще явственнее.

— Так у Сталина, товарищ капитан, тоже понос открылся, как у моего коня. Только разница в том, что коня мне жалко, а Сталина нет. Вот ведь какая штукавина.

Солдат мне понравился и я предложил ему отправиться со мною. Это было нарушением приказа Рыбалко, запретившего мне до достижения Выселок «обрастать» людьми.

Солдата звали Кузьмой. Он охотно рассказывал о себе. Обыкновенная история молодого колхозника, родившегося уже при советской власти.

— В колхозе жить было бы можно, да уж очень долгов у нас много. Хлеба растут богатые, а нам остается с гулькин нос. Еще и не вызреют хлеба, а мы уже знаем, что государству да энтээсу из десяти колосков приходится семь. Потом, конечно, всякие делимо-неделимые фонды. Взаимы государству должен дать, на осоавиахимы, на борцов революции, на постройку самолета всё должен, должен и должен.

Кузьма засмеялся, что-то вспомнив:

— Был у нас в деревне дед Сипунов, въедливый такой старик. Он как-то на собрании речь держал. Агитатор до него говорил и всё кричал, что должны мы государству хлеб вовремя сдать, ну, и всё такое. После него дед Сипунов слово попросил. Скажите, говорит, товарищ из района, а много мы еще чего должны? Вот, к примеру, у меня советская власть, всё хозяйство забрала, остались на мне только портки. А вы говорите, что я опять должен. Так что, извините, придется портки снимать... И что бы вы думали? Начал, старый лешак, брюки расстегивать. Крик тут, конечно, бабы подняли... Потом деда судили и в Сибирь на пять лет засобачили.

Кузьма рассказывал, ведя за собой коня, и нет-нет взглядывал на него жалостливыми глазами. Из крови мужичьего сына колхоз не вытравил привязанности к коню, которая издавна жила среди крестьян.

Тропа сделала крутой поворот и перед нами открылась обширная поляна, засеянная рожью. На другой ее стороне, прячась меж деревьев леса, виднелись дома. Это и были Выселки.

У крайнего дома стояла группа людей, наблюдавшая за нашим приближением. Когда мы подошли ближе, от нее отделился лейтенант, в лихо сдвинутой на затылок фуражке. Он подошел с обычным вопросом:

— Из какой части, товарищ капитан?

— Проводите меня к генерал-лейтенанту Ракитину, — вместо ответа попросил я лейтенанта.

Удивленный лейтенант развел руками, но спрашивать об источнике моей осведомленности не стал.

Кузьма с конем остался у первого же двора, а меня лейтенант повел дальше. В просторном, пропахшем лекарствами доме, в который мы вошли, стояла мертвая тишина. На длинной скамье, тянущейся вдоль стены, в неудобной позе спала девушка. Одна нога в хромовом сапоге свесилась со скамьи.

Между печью и стеной протянута была ситцевая, цветастая занавеска. Из-за нее раздался негромкий мужской голос:

— Нюра, кто это пришел?

Девушка вздрогнула и быстро встала со своего твердого ложа. Увидев нас, она смущенно улыбнулась, подошла к занавеске и раздвинула ее. На кровати, покрытый лоскутным одеялом, лежал седоволосый великан с круглым лицом. Это-и был генерал-лейтенант Ракитин, которого мне приказано разыскать.

Я назвал себя и доложил кто я, откуда и зачем прибыл.

— Генерал-майор Рыбалко приказал явиться к вам, чтобы сопровождать вас в место, намеченное для сбора личного состава войск, оставшегося в немецком тылу.

— Это все?

— Все.

Ракитин пошевелил пальцами, словно они помогали ему о чем-то думать.

— Как далеко до этого места? — спросил он.

— Немногим больше пятидесяти километров. Но опасный участок, который мы должны пройти ускоренным маршем и ночью, не длиннее десяти километров. Нам надо пересечь шоссе.

— Насчет ускоренного марша — не знаю, — вяло проговорил Ракитин. Видно было, что он думает о чем-то другом. — Ходок из меня теперь никудашный.

Рука лежащего поползла вдоль тела. Только теперь я заметил, что одеяло плотно облегло правую ногу генерала. Левой не было.

— Вот, всё ищу свою ногу, — жалко улыбнулся генерал. — Всё кажется, что мозоль на мизинце левой ноги болит.

Девушка стояла у изголовья генерала — строгая и словно за что-то осуждающая меня.

— Папе нельзя много разговаривать, — проговорила она.

— Ничего, доченька, я уже в полном порядке. Это «доченька», произнесенное грустным голосом генерала, отозвалось во мне волнением. Странно, что Ракитин оказался в этой лесной глуши с дочерью, но спрашивать об этом было бы не к месту.

— Скажите, капитан, вы совершенно уверены, что сказали мне всё?

В глазах Ракитина, обращенных на меня, было откровенное ожидание, но я не знал, чем оно вызвано. Я, действительно, сказал всё, что должен был и мог сказать.

— Хорошо. Мой начальник штаба находится где-то поблизости. Согласуйте все вопросы с ним. Ракитин отвернул лицо к стене.

— У командарма было раздроблено колено и начиналась гангрена. Пришлось ногу отрезать, — рассказывал лейтенант по дороге к соседнему дому, где помещался начальник штаба танковой армии, которой командовал Ракитин. От всей этой армии осталась только часть штаба, добравшаяся до Выселок, да какое-то количество солдат и офицеров, бродящих теперь в лесах.

— Хорошо, что с вами были врачи.

— Врачей не было. Нюра отрезала. Мы держали, а она резала.

Я внутренне содрогнулся, представив себе всё это. Сколько силы должно было быть у Нюры, чтобы отрезать отцу ногу!

У начальника штаба, сутулого генерал-майора с лысым черепом, как и у Ракитина, появилось в глазах тревожное ожидание, когда я докладывал. Не позабыл ли я, в самом деле, чего-то важного, что должен сказать этим генералам? Кажется, нет. Тогда чего же они ждут от меня?

— Оставьте нас с капитаном наедине, — приказал генерал лейтенанту. Тот молча вышел.

— Вы всё сказали? Ничего не упустили? — спросил меня генерал.

— Всё. Мне кажется, что вы ждете от меня еще каких-то сообщений, но я, право же, не знаю, что я мог бы еще сказать. Мне лишь приказано разыскать вас и обеспечить безопасное, насколько это, вообще, возможно, передвижение к месту, назначенному генерал-майором Рыбалко.

— А откуда Рыбалко известно, что мы находимся здесь?

Это уже начинало походить на допрос.

— Не могу сказать.

— Не можете или не знаете?

Генерал пристально смотрел мне в глаза и я видел, что он придает какое-то особое значение моему ответу.

Генерал вынул из кармана грязный кисет и стал неумело вертеть козью ножку. В коробке у меня оставалось еще несколько папирос и я протянул ему их. Подумав, он взял одну, а остальные вернул.

— Отдайте Ракитину.

Закурив, долго молчал. Думая, что меня отпускают, я приподнялся со скамьи.

— Сидите! — приказал генерал, затягиваясь папиросным дымом. — Вы не должны обижаться, что я вас допрашиваю. Положение, видите ли, очень... ответственное.

Пожалуй лучше, если вы будете знать.

И генерал-майор рассказал мне, что в Москве отдан приказ о расстреле Ракитина, допустившего разгром танковой армии, которой он командовал.

— Меня, как начальника штаба, ждет та же участь, — печально улыбнулся генерал-майор. Об этом приказе Сталина сообщили штабные радисты, которые потом сбежали, бросив радиостанцию. Последнее сообщение, которое удалось передать в Москву, указывало на Выселки, как на место, куда остатки штаба могли пойти, неся на носилках раненого Ракитина.

— Вполне возможно, что из Москвы были даны указания вашему генералу... Во всяком случае, кто-то должен был появиться.

Теперь я понял. Ракитин и его начальник штаба ждали появления исполнителя приговора над ними. Приказ расстрелять Ракитина мог быть дан любому офицеру. В этом смысле и было истолковано генералами мое появление в Выселках. Начальник штаба заметил впечатление, произведенное на меня его словами, и бледная старческая рука его легла на мое колено.

— Дорогой мой капитан! На войне всё надо рассчитывать, всё предвидеть, всё допускать.

— Вы всё это лучше меня знаете, товарищ генерал-майор, — я изо всех сил старался быть спокойным. — Но если всё надо допускать, тогда почему же вы находитесь здесь, в Выселках? Почему вы сообщили о своем местопребывании в Москву? Почему вы не ушли в другое место, куда к вам не могли бы послать людей для приведения приговора в исполнение?

— Всё сказанное вами не лишено логики, — печальная улыбка скользнула по лицу генерала. — И именно потому, что существует логика, мы остаемся здесь. Логикой же является то, что ни Ракитин, ни я, ни все другие наши генералы не повинны в гибели западных советских армий... Об этом долго надо было бы рассказывать. Но могу вас заверить, что перед любым военным судом, я, с математической точностью, докажу, что поражение на западе есть результат ошибочных стратегических концепций, предписанных сверху.

Я хотел было сказать, что в нашей стране математически точные доказательства собственной невиновности многих приводили в подвалы НКВД, но смолчал. Какое значение, в этих условиях, могли иметь мои слова! В конце концов, генералы лучше меня должны знать, как им следует поступать.

Была уже ночь, когда я вышел от начальника штаба. После избы со стенами, покрытыми копотью и с неистребимым запахом махорки, лесной воздух охватил бодрящей волной. Было необычайно тихо и, казалось, что весь мир скован этой тишиной. Далекие взрывы,

слышные днем, теперь замерли. Я стоял под деревьями, стараясь уловить хоть какие-нибудь звуки, но кругом было мертвое безмолвие, осененное темным куполом неба с гирляндами звезд.

Ноги, давно не знавшие отдыха, были налиты свинцовой усталостью, но спать не хотелось. Я медленно брел по тропинке, удаляясь от домов. Мне нужно было быть в ту минуту одному, хотя я и не знал, что мне делать с моим одиночеством. Огромный дуб, состарившийся на корню и рухнувший на землю, перегородил тропинку. Он мне напомнил Ракитина.

Присевши на поваленный ствол, я думал о Нюре. Знает ли она о том, что отец обречен? Вряд ли. Начальник штаба просил никому об этом не говорить. «Нюра только и мечтает о том дне, когда мы выберемся из окружения и отца можно будет поместить в больницу», — сказал он.

В неясных думах о девушке и ее отце прошел час. Пора было идти искать место для ночлега. С трудом поднялся я на ноги, но в это время послышались шаги. Донеслось ритмичное клацанье. Это, несомненно, был конь Кузьмы. Я еще днем заметил, что подкова на одном копыте отстала.

На меня надвинулся силуэт человека с конем.

— Вот животину вожу, — отозвался Кузьма на мой окрик. — Тут в одном доме старик живет, на лесного колдуна похожий. Так я к нему коня водил. Спереди и сзади накачал коня каким-то лекарством и велел всю ночь водить. А я, товарищ капитан, постельку вам на сеновале сообразил. Идемте, покажу.

Мы медленно брели назад, к Выселкам. Говорить не хотелось. Все мы были тогда необычайно молчаливыми.

В ранний утренний час позвали меня к Ракитину.

— Нюра может предложить вам вареной картошки, но масла и соли не спрашивайте, — проговорил Ракитин. Он полулежал на кровати, но теперь на нем был китель с тремя орденами. Девушка подала мне миску с дымящейся картошкой. На ее лице было написано волнение и она даже не старалась его скрыть.

— Всё-таки, я должна спросить его, папа, — звенящим голосом проговорила Нюра.

— Но ведь капитан не знает. Ему приказано разыскать нас. Это всё.

— И всё-таки я спрошу, — упрямо повторила девушка.

Худощавое лицо Нюры было, как и вчера, суровым, а глаза горячими и требовательными. Темные, коротко подстриженные волосы, как у мальчика, были влажными. Она только что умылась и капельки воды остались не стертymi на розовых мочках ушей.

— Скажите, капитан, правда ли, что есть приказ о... наказании моего отца за то, что он потерял армию?

— Нюре кто-то сказал, что меня ждет строгое наказание за развал армии, вот она и тревожится, — проговорил Ракитин. — Подтвердите, капитан, что это всё выдумки. — В голосе генерала слышалась просьба.

— Я такого приказа не читал, — ответил я.

— Ну вот, видишь, — обрадовался генерал. — Я же говорил тебе, что всё это кем-то придумано.

Голос Ракитина был уверен и бодр, а в глазах светилась печаль. Он-то знал, что такой приказ есть.

День прошел в хлопотах. Начальник штаба разослал во все стороны нарочных. Нужно было собрать тех, кто пришел с Ракитиным в Выселки, человек около полутысячи. Кроме комендантской роты, где-то поблизости бродили, в поисках пропитания, остатки штаба армии, и сотни три солдат и офицеров из полевых войск. В Выселках не оставалось ни одной коровы, овцы или курицы, — всё было съедено и людей пришлось отправить в другие лесные селения, где они могли кое-как прокормиться.

Вместо ожидаемых пятисот человек, явилось человек двести. Командир комендантской роты, тот самый лейтенант, что встретил меня на околице Выселок, растягивая рот в улыбке, говорил:

— Они по селам да по лесным заимкам под боком у молодых баб-солдаток греются. У меня в роте половина личного состава бабами из строя выведена. За тридцать верст приходят сюда, мокрохвостые, бойцов в примачи сманивать.

— Надо бы надлежащие меры принять, — говорил начальнику штаба майор с круглым рыжеватым лицом. С первого взгляда он вызвал во мне неприязнь, нетрудно было догадаться, что он «из органов».

— Оставьте, — морщился начальник штаба. — В этих условиях ничего сделать нельзя, а если попробуем взять примачов силой, то мужики с кольями на нас пойдут. Им молодой рабочий народ сейчас позарез нужен.

Что касается меня, то я считал за благо, что с нами будет не пятьсот, а всего лишь двести человек. Чем меньше, тем незаметнее проскользнем мы в лесной массив, лежащий по другую сторону шоссе.

Прошла еще одна ночь.

Наутро, построившись колонной, тронулись в дорогу. Впереди шли остатки комендантской роты. Бойцы поочередно несли носилки с Ракитиным. Жители Выселок стояли у своих домов и молча провожали нас глазами. Они не имели причины сожалеть о нашем уходе. Колонну замыкал Кузьма, неразлучный с конем.

В полдень мы добрались до села, заброшенного в самые лесные дебри. Хоть находилось оно глубоко в немецком тылу, но немцы в нем еще не бывали и царило здесь полное безвластье. Сельсовет распался, колхоз развалился, колхозный скот крестьяне развели по домам.

Мы проходили по единственной улице села, а крестьяне стояли у своих дворов. И опять это гнетущее молчание. В центре села остановились отдохнуть. Я стоял в тени дома, обсуждая с лейтенантом дальнейший маршрут. Через открытые окна из дома доносились голоса. Бойцы из комендантской роты получили от хозяйки несколько кувшинов молока.

— Коров-то у тебя, тетка, сколько же теперь? — приставал к хозяйке кто-то из бойцов.

— Ох, милый, нету коровы, — отвечала певучим голосом крестьянка.

Бойцы заливались смехом.

— Кого же ты доишь, тетка? Коровы нет, а молоко есть, — не унимался всё тот же голос. Женщина поняла, что попала впросак и рассердилась.

— Какого тебе лешего надо, — закричала она. — Пей молоко, раз дают. Может я мужика своего дою. В доме захохотали.

— Они весь скот угнали в лес и тал! прячут от нас, — сказал лейтенант. — Правильно делают. По лесу сейчас много голодного люда бродит, подчистую грабят крестьян... Как мы ограбили Выселки.

Лейтенант засмеялся, словно сообщил что-то чрезвычайно веселое.

У одного из домов разыгрался скандал. Круглолицый, рыжеватый майор из особого отдела, который предлагал принять надлежащие меры против дезертиров, увидел в одном из дворов молодого парня в крестьянской одежде. Короткая стрижка под машинку ясно свидетельствовала о том, что парень этот солдат, решивший остаться в селе. Чекистское сердце майора не выдержало и он попытался арестовать парня. Но не тут-то было. В наступление на майора ринулась молодая крестьянка весьма свирепого вида.

— Ты что же, лиходея, опять над нами измываться пришел, — визжала баба на всё село.

— Тебе муж мой понадобился, собачья твоя душа.

Майор, не ожидавший такого нападения, сначала было растерялся, но потом ринулся к женщине и нанес ей пощечину. Женщина от изумления окаменела на миг, а потом вдруг вцепилась в рыжеватые волосы майора. Тот, бранясь, отталкивал ее от себя, а она царапала ему лицо и ее визгливый крик разносился далеко вокруг. Оказавшиеся поблизости бойцы оттащили обезумевшую женщину. Тем временем парень, из-за которого поднялась вся эта

кутерьма, исчез. Вытирая платком кровь с расцарапанных щек, майор кричал толпе крестьян, собравшейся у дома:

— Партию и правительство защищать надо, а вы дезертиров по своим домам прячете. Молодайка вырвалась из рук бойцов и ее голос заставил майора умолкнуть.

— Защищать? — кричала женщина. — Пусть твоя партия поцелует меня сюда, а правительство вот куда...

Женщина сделала непристойное движение и перед изумленной толпой мелькнули части ее тела, обычно прикрываемые одеждой. В толпе засмеялись.

Майор готов был смириться с нанесением ему лично оскорбления, но тут уже оскорблялись партия и правительство. Побледнев до того, что на рыжей коже его лица явственно проступили крупные веснушки, майор потянулся за пистолетом.

— Ну, это вы, товарищ майор, бросьте! — тихо проговорил боец из комендантской роты, став между женщиной и майором. Его рука покоилась на спуске новенького автомата. Но не рука и автомат бойца были внушительными, а лицо, хмурое и решительное. Майор взглянул в это лицо и, кажется, побледнел еще больше. Повернувшись, он молча пошел вдоль улицы. Ожидая, пока колонна построится, я прислушивался к разговору крестьянок, оставшихся у того дома, у которого был посрамлен майор из особого отдела.

— Он ведь Костика хотел забрать, — певуче говорила молодайка. Столько было в этом «Костика» нежного женского тепла, что я с удивлением оглянулся: та ли это женщина, что за полчаса до этого выкрикивала бранные слова. Это была она.

— А всё-таки перед столькими мушчинами заголяться не гоже, — поучала старуха молодайку. — Могут что нехорошее подумать.

Наш расчет оказался нарушенным. Я надеялся, что нам в этот же день удастся дойти до лесной сторожки, с тем, чтобы под утро пересечь шоссе. Но приходилось часто останавливаться, так как движение причиняло Ракитину нестерпимую боль. Остановились на ночевку, пройдя немногим больше половины пути до лесной сторожки.

Выставив охранение, я присел под лиственницей, немного в стороне от нашего бивуака. Темнело. Небо еще было совсем светлым, а под деревьями уже копилась тьма. Мне казалось, что она струится от корней деревьев и медленно ползет снизу вверх. Опять пришла мысль о Нюре. Как хватило у нее силы ампутировать ногу у отца. Днем, когда она шла рядом со мною, я невольно смотрел на ее полудетские руки, расширяющиеся в локтевом суставе. Она заметила мой взгляд и недовольно нахмурилась. Натянула поверх кофточки солдатскую куртку, которую до этого сняла из-за жары. Пришлось оправдываться.

— Это, действительно, было ужасно, — рассказала Нюра, поверив моим оправданиям. — Но другого выхода не было. Я должна была спасти папу. Вы знаете, я учусь на медицинском, еще через год могла бы стать врачом, не случись этой войны. Приехала к папе, чтобы провести каникулы. Мама с сестрой и братом должны были приехать позже. К счастью, они не успели выехать из Москвы... Папу ранили... Начиналась гангрена, надо было быть сильной...

От одного лишь воспоминания об операции Нюра побледнела и стала походить на испуганного подростка.

В кустах прошмыгнул какой-то лесной зверек. Прокаркала над головой ворона, укладывающаяся на ночевку. Потянуло сыростью — недалеке было болото. Захотелось курить. Рука по привычке шарилась в кармане, но табаку не было. Стороной прошли два темных силуэта.

— Гречневая каша хороша с гусиными шкварками, — донесся до меня голос.

Все говорят о пище. О войне — ни слова, а всё больше о пирогах. А этот — о гусиных шкварках. Изголодались люди. Более предприимчивые кое-как добывают себе пищу, а робкие — превращаются в доходяг. Днем я рассмотрел наше воинство. Много таких, что идут с трудом и могут по дороге сдать. Но думать об этом не стоит.

Мне показалось, что я спал всего лишь одно мгновение, но когда я открыл глаза, уже светало.

Пробудился я от людских голосов. Из-под моего дерева мне было видно, как на небольшой поляне Кузьма отбивался от нападающих на него бойцов. Здесь же была Нюра и начальник штаба.

— Не дам, гады, — кричал Кузьма, загороживая спиной коня, уныло понурившего голову. Человек пять бойцов наседали на Кузьму со всех сторон.

— Что же, тебе конь дороже товарищей? — визгливо кричал один из нападающих.

— Не подходи, застрелю! — размахивал Кузьма наганом.

— Сидор Евгеньевич, прикажите им не убивать. Ну разве же можно? — Нюра говорила требовательным тоном, а начальник штаба беспомощно топтался на месте и растерянно твердил:

— Но поймите, Нюра, людям надо есть. Поймите, Нюра.

Кузьма взвел курок нагана и разъяренно прохрипел в сторону осаждающих:

— Ну, гады, подходи по очереди. На всех хватит...

Дело принимало плохой оборот. Начальник штаба поступил правильно, приказав убить коня и дать его в пищу. Всё равно это пришлось бы сделать в следующую ночь, когда надо будет пробираться через шоссе и конь может всех нас выдать. Но разумный приказ натолкнулся на солдатскую любовь к коню.

Медлить было нельзя. Подсознанием я почувствовал, что слова тут не нужны, и молча подошел к коню. Сизый зрачок коня отражал в себе деревья. Волнуясь, я выдернул из кобуры пистолет. Конь тяжело, с храпом опустился на колени, сраженный моим выстрелом в ухо, потом повалился на бок. Ответит ли Кузьма на мой выстрел? Эта мысль пульсировала во мне и породила озноб.

Когда я обернулся, Кузьма стоял, закрыв ладонями глаза. Наган он выронил. Нюра смотрела на меня.

— Зачем вы так? — с укором сказала она. Я поднял наган и вложил его в кобуру Кузьмы.

— Пойдемте, Кузьма! — сказал я ему.

Он покорно поплелся за мной.

Мы оба, каждый по-своему, пережили гибель коня.

Переход наш был труден, но счастье не изменяло, и через два дня мы были в урочище, обозначенном на картах названием Мертвый лес. Когда мы явились сюда, урочище было заполнено людьми. Расчет Рыбалко был правилен, со всех сторон офицеры нашей группы приводили толпы окруженцев.

Выслушав мой рапорт, Рыбалко сокрушенно покачал головой.

— Я надеялся, что вы не найдете Ракитина, — проговорил он угрюмо. — Вы, ведь знаете, что его ждет на той стороне фронта?

— Генерал-лейтенант утверждает, что есть приказ о его расстреле, но я об этом ничего не знал.

Послышались голоса. В отверстии шалаша появилась голова часового.

— Товарищ генерал-майор, тут вас спрашивают. Рыбалко вышел из шалаша.

— Позвольте доложить, товарищ генерал-майор, — послышался знакомый голос. Я выглянул наружу. Перед Рыбалко стояло человек шесть из колонны, которую я привел. Говорил рыжеватый майор.

— Я помощник начальника особого отдела. Товарищи (он кивнул головой на других, пришедших с ним вместе) сотрудники Особотдела. Более подробный доклад я вам сделаю позже, а сейчас я хотел довести до вашего сведения, что мною доставлен сюда генерал-лейтенант Ракитин...

— Я знаю, — сказал Рыбалко.

— Генерал-лейтенант, по личному приказу товарища Сталина...

— Тоже знаю.

— В таком случае я прошу вас отдать приказ о передаче особому отделу генерала Ракитина.

— Зачем?

— Видите ли, в тех условиях, в каких мы находились, мы не могли выполнить приказа товарища Сталина.

— Почему?

— Нас бы всех перебили... Настроение антисоветское. Из моего доклада вы узнаете, что капитан, например (кивок в мою сторону), не оказал мне поддержки, когда я попытался арестовать дезертира.

— Это не входило в его обязанности, — угрюмо проговорил Рыбалко. — А условия тут такие же, как и там. И вам никто не позволит вводить тут ваши чекистские порядки. Понятно? Рыбалко кричал на майора, а у того на лице опять заметными стали веснушки.

— Имейте в виду, если вы хоть пальцем тронете Ракитина, я поставлю вас перед строем и расстреляю к чортовой матери... А теперь, кругом и марш.

Рыбалко повернулся и вошел в шалаш.

— Чорт возьми, неужели Ракитин решил изображать из себя овцу, которую каждому дано право прирезать, — бросил он мне сердитым голосом.

— А что он должен делать? — спросил я. Но у Рыбалко, как и у меня, ответа на этот вопрос не было.

— Хотя бы вы потеряли Ракитина на дороге, — воскликнул Рыбалко. — Убить его тут, я не позволю. Этой сволочи, что была сейчас здесь, руки поотрублю. Но таскать его с собой, чтобы потом отдать той же сволочи, тоже счастье небольшое. Вы говорили с ним, что он сам-то думает обо всем этом?

— Говорил. Никаких желаний он не выражал... Начальник штаба рассчитывает доказать, что Ракитин не виноват.

— Идеалист.

Рыбалко произнес это слово с презрением. Носилки с Ракитиным принесли в шалаш Рыбалко. Пришел начальник штаба Ракитина. Нас всех, в том числе Нюру, Рыбалко попросил оставить их втроем. Часовому было приказано отойти на пятнадцать шагов от шалаша. Часа два мы ждали, когда кончат беседу генералы. Потом из шалаша вышли и направились в нашу сторону Рыбалко и начальник штаба.

— Это ваше дело, каждый по-своему с ума сходит, — донеслись до нас сердитые слова Рыбалко. — Но только не верю я, что вам это удастся. Не верю, и всё тут...

— Ракитин надеется, что Сталин отменит приказ, — говорил Рыбалко, когда мы шли на поиски нового шалаша для него. — А я думаю, что какой-нибудь барбос поторопится исполнить приказ. Вот что. Подберите взвод из хороших ребят. Командира взвода я сам назначу. Объявите им, что они головой отвечают за Ракитина... Надо помочь ему уцелеть. Ночью, в конце июля, немцы, должно быть, были встревожены неожиданным и на первый взгляд бессмысленным наступлением советской дивизии на Десне. Стоявшие здесь небольшие немецкие заслоны были атакованы с фронта. В то же время незамеченные немцами советские войска бешено атаковали с тыла. Не оказав сопротивления, германские части отошли вверх по течению реки. Германский штаб хотел видеть, во что выльется это странное наступление, ничего советским войскам не обещавшее.

Но к утру всё затихло. Атакующие советские части отступили. Июльское наступление на Десне вошло в ряд непонятных мелочей войны, так как немцы, естественно, не знали, что оно было предпринято лишь затем, чтобы помочь ген. Рыбалко вывести из немецкого тыла его отряд. На рассвете мы уже двигались вместе с другими отступающими советскими войсками. Командование отрядом перешло к тучному генерал-майору из управления формирований, а Рыбалко собрал офицеров, проделавших с ним западный маршрут. Нас было теперь меньше сорока человек, — двенадцать офицеров погибли.

— Спасибо, товарищи, — сухо сказал нам Рыбалко. — Вы сделали всё, что могли.

Два военных грузовика, каким-то образом полученные нашим генералом, везли нас в сторону Москвы. Рыбалко приказал мне сесть с ним в кабину переднего автомобиля. Попался нам необычайно пугливый красноармеец-шофер. Всё его внимание было направлено не на дорогу, а на небо. Вверху пролетали германские эскадрильи, изредка появлялись одиночные самолеты; дальность мешала определить, свои это или чужие. Шоферу казалось, что каждый самолет занят лишь тем, что разыскивает наш грузовик. Между тем ехали мы по лесистой местности и заметить нас из поднебесья было трудно. Когда над нами раздавался гул пропеллеров, шофер нажимал газ и автомобиль начинал бешенную скачку на ухабистой лесной дороге. В таких случаях Рыбалко сердито кричал. Но никакой генеральский окрик не мог вернуть самообладания солдату, смертельно боявшемуся гула самолетов. Может быть, он уже побывал под ударами с воздуха и теперь не был в силах совладеть со своим страхом.

Кончилось тем, что наш грузовик попал в канаву и поломал рессоры. На этот раз Рыбалко даже не ругался. Ему было жалко молодого бойца, испуганно бегавшего вокруг поломанного грузовика. Мы ждали полчаса, но второго автомобиля не было. Может быть, он свернул на другую дорогу.

Пришлось продолжать путь пешком.

— Удачно начавшийся день, — сказал я Рыбалко, — полезно закончить пешей прогулкой.

— Что вы нашли удачного в этом дне? — спросил он.

Еще утром я заметил, что наш генерал необычайно раздражен.

— Как же, товарищ генерал-майор. Мы вышли из немецкого тыла почти без потерь. Я даже думаю, что потерь и вовсе не было. Ведь немцы покинули позиции еще до того, как мы пошли в наступление.

— Вы плохо знаете, — хмуро ответил Рыбалко. — Сколько вчера, при последнем подсчете, было у нас людей?

— Восемнадцать тысяч с хвостиком.

— Ну, а сегодня я сдал управлению формирований семь тысяч двести бойцов и командиров.

— Да не может быть? — воскликнул я.

— Это вам кажется, что не может быть, а я нечто подобное предвидел. Не в таком, правда, размере.

— Значит...

— Значит одиннадцать тысяч человек воспользовались ночной темнотой, чтобы уйти от нас. Из этого факта и исходите, определяя степень патриотизма и готовности воевать за советскую власть.

Мы долго шагали молча.

— А Ракитин? — спросил я.

Круглое лицо Рыбалко осветилось улыбкой.

— Нет Ракитина, — почти весело сказал он. — Был и нет его.

Рыбалко подумал и закончил:

— Не идиот же он, в самом деле, чтобы совать голову в петлю. У него, в последние дни, появился чудесный план.

Я ждал, что Рыбалко еще что-нибудь скажет, но он молчал. Какой у Ракитина появился план, я не узнал, хотя был уверен, что план этот подсказан ему самим Рыбалко.

— А как же дочь Ракитина, Нюра? — спросил я.

— Ну, дорогой мой, об этом я вам ничего не могу сказать. Думаю, что идет сейчас за носилками отца где-нибудь в лесу.

Мне стало не по себе при мысли о девушке. Любовь к отцу повела ее суровой дорогой, пролегающей через неизвестность.

Выдержит ли она или девичья ее судьба, вместе с другими безвестными судьбами, растворится в лесной стороне?

Москва моя...

Даже в песнях, написанных по казенному заказу, встречаются слова и образы, рождающие в душе волнение. Советская молодежь часто распевала популярную песенку: Страна моя, Москва моя, Ты самая любимая-Составитель песни, может быть, и вкладывал в свое творение ортодоксально-советский смысл, но многих, и меня в том числе, оно волновало просто потому, что мы любили Москву. Что она — «столица мирового пролетариата», право же, касалось нас мало. Мы просто так, без политики, любили наш город, часто рассудку вопреки.

Поэтому, когда вернулся я в Москву, то первое, что меня до боли поразило, был новый, невиданный мною дотоле лик города. Москва, за два месяца войны, как будто нахмурилась, посуровела. Ночью, в подворотнях домов, стояли группы москвичей. Стояли часами, почти молча. Ночные улицы были похожи на черные траншеи. По утрам артерии города медленно, с трудом оживали. Ветер разносил пепел и полуобгоревшую бумагу. Сжигались архивы. Уходили поезда специального назначения, увозившие правительственные ценности. Правительство перекочевало в один из городов на Волге. Демонтировались военные заводы. Был введен двенадцати, а кое-где и четырнадцатичасовой рабочий день. Магазины встречали людей пустыми полками. Только неизменное кофе «Здоровье» имелось в продаже. Паек с каждым днем урезывался. Его стали называть мистификацией. До войны москвичи с великим упорством старались сохранить достойный облик обитателей столицы, а теперь вдруг все потеряли интерес к одежде и даже женщины как-то опростились, словно каждая из них старалась быть незаметной. Вернувшись в Москву, мы поселились в Хамовнических казармах, в это время полупустых. Рыбалко вскоре отправился формировать мотомеханизированную дивизию, впоследствии ставшую знаменитой Кантемировской гвардейской дивизией, а мы остались ожидать назначений.

По улицам Москвы днем и ночью двигались войска. Они разгружались на подмосковных станциях и через столицу проходили в походных колоннах. Может быть, в Кремле думали, что вид этих войсковых масс поднимет настроение столицы. Но оно не поднималось, а падало. Это была уже не та армия, которую москвичи привыкли видеть на парадах. Там была молодежь, а эта, перекатывающаяся через Москву, состояла из людей зрелого возраста, одетых в зелено-грязную рвань, в ботинки с обмотками, вооруженных трехлинейками. Могла ли такая армия воодушевить своим видом москвичей? Нескончаемый поток войск двигался на запад и словно растворялся там, превращаясь в ничто. Враг перемалывал этот поток и всё ближе подходил к столице. В Москве появлялось странное воинство. «Ты записался в ополчение?» — орали плакаты со стен домов и общественных зданий.

Партийные организации изошрялись в придумывании способов понудить москвичей вступать в ополчение. Эта новая беда обрушилась, прежде всего, на московскую интеллигенцию. Рабочие были нужны на заводах, шоферы водили автомобили, машинисты паровозы, а зачем во время войны нужна интеллигенция? В ополченские части, правдой и неправдой, завлекались университетские профессора и врачи, литераторы и педагоги. Все были уверены, что ополчение создается для охраны складов, дорог и для поддержания порядка в столице. Кое-как с этим еще можно было мириться и люди шли в него. Полумиллионом ополченцев командовали партийные секретари вверху и безусые лейтенанты досрочного выпуска внизу.

Однажды, я долго стоял у школы на улице Кропоткина. Во дворе маршировала рота пожилых людей, к строю совершенно не привычных. Одеты они были в какую-то смесь штатской и ветхой военной одежды. Многие носили очки. Какой-то человек, с тонким интеллигентным лицом и, по-видимому, глуховатый, каждый раз, когда подавалась команда, останавливался и растерянно спрашивал лейтенанта, командовавшего ротой: «Простите, что вы сказали?».

Я задержался у ворот, так как заметил в строю знакомое лицо. Вначале я не поверил, что это проф. Кудрин, но, присмотревшись, убедился, что это он. Только ему свойственно

было так, склонив на плечо голову, рассматривать окружающий мир через выпуклые стекла очков. Лет десять назад проф. Кудрин читал в университете лекции по истории античного мира, но потом был причислен к уклонистам и потерял кафедру. Теперь я увидел его в строю ополченческой роты.

Командовал юнец-лейтенант. Ему могло быть не больше двадцати лет. В те дни много таких лейтенантов встречалось на улицах Москвы. Военные училища досрочно выпустили своих питомцев, а для приобретения командирского опыта направили в ополчение.

Лейтенант, в отличие от своих подчиненных, был одет в полную военную форму и перепоясан ремнями во всех направлениях. Он очень серьезно относился к своим обязанностям и вкладывал много энергии в дело переобучения профессоров и врачей в солдат. Потный, распаренный, метался он перед строем. «Справа по два!» — подавал он команду. Немедленно раздавался вопрос маленького человечка с умным лицом:

«Простите, что вы сказали?». Строй неуклюже начинал распадаться на колонну по два, ополченцы не знали, где их место, лейтенант вопил и, наконец, приказывал остановиться. В выражениях он не стеснялся и в его словах сквозило откровенное презрение к людям, которые не могут построиться по два.

— Вы, товарищи ополченцы, счет до двух знаете?

— спрашивал лейтенант. — В Красной армии служить

— это вам не в микроскопы глаза пялить.

Почему-то лейтенант вспомнил о микроскопе, хотя вряд ли в прошлом он имел к нему какое-нибудь касательство.

— Это же позор, товарищи. Хвастаетесь, что интеллигенты, а повернуться не умеете!

Ополченцы внимали речи лейтенанта, а глуховатый всё время спрашивал соседей:

«Простите, что он говорит?».

Лейтенант перешел к изучению строевого шага. Незадолго до войны такой шаг был введен в армии для торжественных случаев. Отличает его то, что он совершенно не соответствует строению человеческого тела. Надо поднимать ногу под прямым углом, ставить ее на землю, не сгибая в колене, отчеканивать шаг и закидывать голову вверх. Советская пехота на парадах похожа на стадо гусей именно потому, что ее заставляют идти этим шагом допавловских времен. Лейтенант стоял, а ополченцы должны были по очереди подходить к нему строевым шагом, прикладывать ладони к пилоткам и рапортовать: «Ополченец такой то явился по вашему приказанию». Это была не столько смешная, сколько грустная картина. Дошла очередь до проф. Кудрина. Он старался, как только мог, но строевого шага у него не получилось. Что угодно, но только не строевой шаг. Он вскидывал короткие ноги в белых парусиновых туфлях, погромче ставил ступни ног на землю, склонив голову на плечо, вопросительно смотрел на лейтенанта, что должно было изображать поедание глазами начальства. Лейтенант был взбешен нелепым видом человека в очках.

— Ты что же, труха интеллигентская, издеваешься над командиром! — заорал он на проф. Кудрина. Лейтенант начал употреблять нецензурные слова. Я вошел во двор и отозвал его в сторону.

— Вы, товарищ лейтенант, не по чину ругаетесь, — сказал я ему. — В Красной армии употреблять матерные выражения могут только генералы. Даже полковникам это запрещено, а вы всего лишь лейтенант.

Командир ополченской роты растерянно моргал глазами, но не возражал.

— Понятно? — спросил я.

— Понятно.

И он, в точном соответствии с уставом, повторил:

— В Красной армии матюкаться могут только генералы, а другим запрещено.

Может быть, он и всерьез думал, что где-нибудь есть такой приказ, да только ему о нем не сказали, так как выпуск из школы был произведен досрочно.

Я увел проф. Кудрина и мы долго сидели на Зубовском бульваре.

— Вы понимаете, неудобно было отказаться. Партийная ячейка вызывает, профсоюз вызывает, и все спрашивают: «Записались вы в ополчение?». Не запишешься — подозрение вызовешь, работы лишат. Записался. Говорили, что это только так, запишут, и всё на этом кончится. Но вот, забрали в эту школу и учат. Я, конечно, не против послужить, могу же я, в конце концов, какие-нибудь склады охранять. Это, знаете, даже интересно.

— Но требует кое-каких данных. Что вы будете, например, делать, если в склады, когда вы на посту стоите, полезут грабители? — спросил я.

— Зачем же они полезут, если будут видеть, что я имею ружье?

— А всё-таки? — приставал я. Профессор задумался.

— Если уж случится такой невероятный случай, то я крикну им, уговорю их не грабить. Слово великая сила, — уверенно произнес Кудрин. — Помните, как сказано у Горация? И профессор процитировал Горация. Разговор перешел на анархию, следы которой были видны повсюду.

— Нечто подобное было во времена похода спартанцев...

Кудрин блестяще знал историю Спарты и можно было подумать, что военная организация — его призвание. Но всё-таки строевым шагом он ходить не умел и когда я напомнил ему об этом, он засмеялся:

— Но ведь в Спарте так не ходили. Там было всё рациональным и подобный шаг мешал бы спартамцам воевать.

Опасность надвигалась на Москву. Военные поражения тщательно скрывались, но о них все узнавали. Маршалы Тимошенко и Буденный потеряли гигантские армии во второстепенных операциях. В Москве полз слух, что Сталин встретил незадачливых полководцев по-отечески: побил палкой.

Поток вновь сформированных войск плыл на запад. Гигантская мясорубка войны перемалывала этот поток и надо было снова посылать полки, корпуса, армии навстречу врагу. Сдача в плен немцам стала тем секретом, о котором все знали. «Последний патрон для себя» — требовал Сталин в приказе по армии. Но легче написать такой приказ, чем пустить себе пулю в лоб, и немцы уводили всё новые колонны пленных советских воинов, чтобы погубить их в голодных лагерях. «Сдача в плен является изменой родине» — писали газеты. Но кого это могло остановить? Полковник К. из штаба воздушных сил рассказывал: «Приказано бросить советскую авиацию на бомбежку лагерей пленных в германском тылу». Рассказывая, морщился: «Представьте, что там произошло?».

С полковником Прохоровым меня направили инспектировать пункты формирования. Дыхание войны мертвило не только столицу, но и всю страну. В глазах людей появилось новое выражение — ожидание.

Прихода немцев ждали и боялись его. Это уже в крови — боязнь иностранного нашествия. Даже советская власть не могла убить эту боязнь. На какой-то станции я делил котелок супа, полученного на пищеблок-те, с хитрым мужиченком, типичным подмосковным огородником. Чинно блюда очередность погружения ложек в жидкий перловый суп, он говорил присказку:

...И вот, значит, у мужика тот мозоль болит нестерпимо. А приходит Никола Чудотворец и говорит: «Давай я мозоль сниму, а тебе дам другой, може он полегче будет». Мужик подумал и отвечает: «Ежели бы совсем без мозоля, тогда ясное дело, а так чтобы на обмен, я не согласен. К своему мозолю я привык, а к другому еще привыкать требуется». Кто в то время не уразумел бы сути этой присказки?

В Иваново-Вознесенске работницы разгромили пустые продовольственные магазины.

Отряд милиции врезался в толпу. Раздались отчаянные крики женщин. С пункта формирования на помощь женам ринулись их мужья. Разгорелся форменный бой. Милиция поспешно отступила.

На станциях люди спали вповалку. Вокзальные помещения, перроны, привокзальные площади были заняты спящими. Бродили беспризорники в поисках добычи. Девушки с

накрашенными губами и подведенными глазами. Смотрят зазывающе, а у самих в глазах тоска лютая. Прохоров отдавал весь наш паек таким девушкам. «Дочь у меня, может быть, так же по вокзалам ходит», — говорил он.

Потом нас вернули в Москву и опять наши имена появились в списке офицерского резерва.

Каждый день я забегал к матери, принося ей свой хлебный паек. Она грела чай и мы пили его с сахарином. Как-то получалось так, что большую часть принесенного хлеба я съедал сам. Давал себе слово на другой день не есть, но мать так ловко и незаметно подсовывала мне куски хлеба, что результат опять получался тот же.

Лик Москвы менялся с каждым днем.

Военные заводы были вывезены, оставшиеся подготовлены для взрыва.

Через городские заставы катился поток отступающих. Шоферы обезумели от сказочных заработков. Им платили по 20–25 тысяч рублей, чтобы только увезли они пассажиров за полсотни километров от Москвы, где те могли втиснуться в поезда. Бежала сталинская элита, у нее были деньги. Те, у кого денег не было, но кому надо было бежать, проводили недели на привокзальных площадях, надеясь попасть на поезд.

Рабочие завода «Серп и молот», несущие охрану на заставе, остановили грузовик и произвели обыск. Обнаружили чемодан, набитый деньгами и ценностями. Убегающего с ценностями ответственного товарища забили кулаками на смерть. На другой день на всех заставах рабочие отряды останавливали автомобили и производили обыски.

Мы жили словно в военном лагере. Ополчение, коммунистические и комсомольские отряды, женские ударные бригады двигались по улицам. У генерала А. А. Власова, незадолго до того назначенного командующим обороной столицы, светилась тоска под большими роговыми очками, когда он принимал парад этих отрядов на площади Маяковского. Перед Власовым, ставшим к тому времени очень популярным в Москве, проходили отряды, составленные из рабочих, комсомольцев, коммунистов, девушек, ополченцев. Обмундирования не хватало, и защитники Москвы были наполовину в штатской одежде. Они шли неровным строем, вяло кричали «ура» и, хотя гремела музыка и площадь была украшена алыми стягами, оживления не чувствовалось.

Мне приказали проверить боеподготовку в ударном женском отряде имени Доллорес Ибаррури. Отряд размещался в театре ленинского комсомола, на Малой Дмитровке. Насчитывалось в нем что-то около пятисот солдат-девушек и молодых женщин.

Командовала Ирма, испанка, участвовавшая в гражданской войне в Испании. То, что отряд располагался в центре города, а в его формировании приняли участие партийные организации центральных учреждений, наложило на него известный отпечаток. Больше всего в нем было девушек, к которым издавна приклеилось название «совбарышень» — машинистки из наркоматов, сотрудницы библиотеки имени Ленина (быв. Румянцевской), маникюрши, стенографистки, почтовые служащие.

Ирму я застал за странным для командира отряда занятием: она кормила грудью ребенка. По широкой мраморной лестнице мы поднялись в театральный зал, превращенный в казарму. Навстречу нам попадались женщины, одетые в военную одежду. В отличие от других отрядов такого рода здесь все были снабжены полным комплектом обмундирования.

Все носили на головах пилотки, были коротко, но всё-таки не по-солдатски подстрижены. Обширный театральный зал был заполнен двухъярусными кроватями, покрытыми одинаковыми серыми одеялами. При входе, как в заправской казарме, стояла девушка-дневальный. Завидев нас, она звонким голосом подала команду: «Встать, смирно!».

Ирма несколько раз просила меня идти потише, ей трудно было поспевать за мной. А мне казалось, что самое важное для меня — поскорее пройти через огромный зал и вырваться из-под насмешливых глаз, отовсюду направленных в нашу сторону. В душе я проклинал полковника из отдела формирований, который послал меня инспектировать этот отряд.

Мы вернулись в комнату Ирмы. Я стоял, отирая пот с лица, когда услышал тихий, веселый смех. Смеялась Ирма. Всего за минуту до этого была строго-официальной, а теперь заливалась смехом, и стало вдруг видно, что она молода, стройна и даже военный мундир не очень обезображивает ее.

— Вы у нас не первый, — сквозь смех говорила она. — До вас несколько офицеров приезжали инспектировать наш отряд, но все они, как и вы, бегом пробегали через зал, ничего не видя... Вы даже не заметили, что позади шла девушка из второго взвода с хронометром в руке.

— Это еще зачем? — спросил я.

— Видите ли, девушки любят позабавиться. Заметив, что все офицеры попадающие в нашу казарму, стараются поскорее пробежать через нее, они решили определить, кто из них будет развивать наибольшую скорость. До сих пор, рекорд принадлежал полковнику Ватанину. — Это было имя полковника, пославшего меня в отряд Ирмы. — Он прошел через зал за полторы минуты или что-то в этом роде. Думаю, что теперь рекорд перейдет к вам, так как вы даже не шли, а бежали, и я по-настоящему устала, сопровождая вас. С наигранным смирением Ирма вздохнула и села у стола.

— Послушайте, товарищ Ирма, — сказал я. — Не потому ли послал меня к вам Ватанин, что его обременял рекорд скорости, принадлежавший ему здесь?

— Очень странное явление, — Ирма задумчиво посмотрела на меня. — Каждая женщина прекрасно себя чувствует в обществе многих мужчин. А мужчины становятся несчастными, как только оказываются в одиночестве среди женщин.

— Видите ли, товарищ Ирма. Дело тут в другом. Мы не в силах привыкнуть к тому, что женщина оказывается в одинаковом положении с нами, я сказал бы, в одинаково плохом. В какой-то мере каждый из нас виноват в этом... развенчании, что ли, женщин. Поэтому мы и развиваем скорость, как вы говорите, когда оказываемся среди женщин, которых мы поставили в положение, в котором преклонение перед ними становится невозможным. Я окончательно запутался и умолк.

— Удивительно, — проговорила Ирма. — Вы говорите то же самое, что мой муж. Я привыкла считать его передовым человеком, настоящим коммунистом. Мы с ним в Испании встретились. Поженились мы уже тут, в Москве. Сергей Семенович никогда не вмешивался в мои дела и считал, что испанская революционерка должна заниматься политической работой... Но вот началась война и первым, кто запротестовал против моего поступления в отряд, был Сергей Семенович... Он, видите ли, женился на женщине, а не на солдате, — так он говорит... У вас, у мужчин, слишком развито то, что вы, русские, называете мешанством. Вы на словах признаете равноправие женщины, но отводите ей известные области, где она свое равноправие может проявить. Вы кривитесь, видя нас в военной одежде...

— Но поймите, товарищ Ирма! Ведь, невозможно же любить женщину, у которой наган на боку и граната за поясом!

— Какие вы все... отсталые, — устало проговорила Ирма. — В вас над всем превалирует мужское начало, которое затмевает гражданский долг.

И потом вдруг, безо всякой связи с предыдущим, Ирма сообщила, что пять дней назад ее Сергей Семенович отправился на фронт.

В глазах Ирмы появилось тревожное выражение. Командир отряда, коммунистка Ирма, всё-таки была женщина.

Во дворе строились два взвода женского отряда.

— Хотите проверить строевую подготовку? — спросила Ирма, вставая от стола.

— Нет, не хочу!

Ирма опять улыбнулась.

— Что же вы скажете полковнику Ватанину, пославшему вас инспектировать?

Женская полурота довольно хорошо перестроилась в колонну по четыре и с песней зашагала на улицу. Сквозь закрытые окна звуки песни доходили приглушенными.

Мы красная кавалерия и про нас
Былинники речистые ведут рассказ.
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы смело, мы гордо в бой идем...

«Мы красная кавалерия», — повторил я слова песни. — Какая всё-таки нелепость!

— Да, песня звучит немного странно для женского отряда, — проговорила Ирма. — Но мы сейчас ставим задачу иметь женские военные песни. В следующую субботу мы соберем к нам композиторов, мобилизуем их на творчество женских песен войны.

Полковник Ватанин внимательно посмотрел на меня, когда я входил в его кабинет, но ничего не сказал.

— Должен я писать рапорт об отряде имени Ибаррури? — спросил я.

— Не стоит, — зевнул Ватанин. — Товарищ Ирма уже была у меня и рассказала. Вы не справились с возложенной на вас задачей, товарищ капитан.

— Зато я побил рекорд скорости, принадлежавший до этого полковнику Ватанину, — отбил я нападение.

Ватанин усмехнулся и отпустил меня.

На улице Горького, когда я проходил по ней, меня окликнула женщина, закутанная по самые глаза в черный платок. Надо было подойти совсем близко, чтобы узнать жену известного тогда очеркиста Сергея Р. До войны была она модницей и блистала на горизонте Дома Печати звездой первой величины. Теперь же нужда, тревога за сына, отправленного еще до войны в Крым, страх за мужа, раненого и лежащего в госпитале, состарили женщину.

В тот же день я зашел в Пироговскую больницу навестить Сергея Р. Он лежал в палате у самого окна. Был ранен в ногу.

— Что за странный ход ты сделал? — спросил я, пожимая его горячую руку. — Пойти в ополчение, когда у тебя такое имя и положение, это, знаешь ли, выше моего понимания:

— При чем тут твоё понимание? — пожал плечами раненый. — Все шли и я пошел. Чем я лучше или хуже других?

Мне было жалко Сергея, но я не удержался, чтобы не съязвить:

— Энтузиазм одолел? — спросил я.

— Замолчи! — рассердился вдруг Сергей. — Ты всегда был удивительно... колючий. Ведь ты знаешь, что энтузиазм в наше время явление точно регулируемое... В ополчение пошел потому, что понял — не напишу ни одной строки после того, как война началась. Ты ведь тоже улизнул от чернильного долга!

— Я не улизнул, а был мобилизован.

— Не лги! — тихо проговорил Сергей. — Ты знаешь пути, которые могут привести тебя назад в прессу, если ты этого захочешь. Но тебе, как и мне, нечего сказать. Время бездумных писаний прошло, а мы с тобой — дети этого времени. Другие придут и будут писать, мы же нет. Слишком много лгали, слишком много обманывали себя и других, чтобы иметь и теперь еще силу лгать.

Москва стала осажденным городом. Немцы были на подступах к столице. Стал доноситься далекий гул артиллерийской канонады. Никто не сомневался, что Москву придется отдать врагу. Город голодал.

В эти дни произошло событие, никем не отмеченное, хотя о нем стоило бы поведать в каких-то особенных словах. Впервые я узнал о нем от Прохорова. Поздно ночью он вернулся в казарму. В обширном помещении, в котором раньше помещалась рота бойцов, мы жили вдвоем. Прохоров стал трясти меня за плечо. После тяжелого дня, заполненного беготней, криками, руганью (я в то время руководил минированием Поклонной горы на Можайском шоссе), не так-то просто было стряхнуть сон. Сопrotивлялся я, как мог, но когда Прохоров бесцеремонно сдернул шинель, которой я укрывался поверх одеяла, и

взялся за самое одеяло, я вынужден был открыть глаза. Мы с Прохоровым крепко подружились и субординации не блюли.

— Послушай, пошел к дьяволу, — сердился я. — Что ты не даешь спать?

— Видишь это? — Прохоров подносил к моим глазам круглый металлический предмет, который вначале показался мне миной нового образца. И только окончательно продрав глаза, я увидел, что это не мина, а большая консервная банка.

— Ну, консервы выдали, что тут особенного? — злился я, снова натягивая на себя одеяло и шинель.

— Нет, ты читай, несчастный, что на банке написано.

Я взял консервную банку. Она была довольно увесистой, килограмма два. По ее белой поверхности крупно было написано: «Свиная тушонка», а чуть ниже, крошечными буквами, сказано самое важное: «Made in USA».

Это было настолько неожиданным, что я даже приподнялся с постели. Мы уже свыклись с мыслью о нашем одиночестве, а тут банка консервов, появившаяся словно привет из другого мира.

— Я, знаешь, царский памятник возвел бы, — возбужденно говорил Прохоров.

— Кому памятник? — не понял я.

— Ну, памятник той американской свинье, из которой сделана эта банка консервов... Ведь ты подумай только: Америка присылает свиную тушонку. И название-то какое... аппетитное.

— Может быть случайно попала сюда эта банка, — всё еще сомневался я.

— Я всегда говорил, что писатели и журналисты насчет смекалки очень слабы. Ведь ясно же сказано:

«Свиная тушонка». На русском языке сказано. Значит, для нас это делают, для русских. Понимаешь теперь?

— Понимаю.

— А раз понимаешь, то можешь и дальше соображать. Сегодня мне дали консервы из Америки, а завтра я получу от американцев танк и самолет. Свиная тушонка это вроде передового отряда, а армия идет позади и мы ее еще увидим. Не веришь?

— Не знаю. Всё-таки это всего лишь консервы.

— Ну, брат, ты сегодня в минорном настроении. Ложись спать и не морочь мне голову. Но спать уже не хотелось. Я наблюдал за Прохоровым. Он вскрыл перочинным ножом банку и опять заговорил.

— Посмотри только, что за мясо. Тю-тю! — воскликнул он, вдруг, нюхая мясо.

Я подумал было, что консервы испорченные.

— Да они даже лаврового листа сюда положили, — сообщил Прохоров.

Действительно, до меня донесся запах лаврового листа. Во рту набегала слюна и голодные спазмы щекотали горло. Но я еще держался.

— Советский полковник, а возрадовался свиным консервам. Национального достоинства ни на грош. Ставить памятник американской свинье собирается.

Прохоров насмешливо посмотрел в мою сторону, но ничего не сказал. Он стал раскладывать мясо на шесть равных порций. Взял четыре порции и отнес их в соседнюю комнату, где жили четыре офицера, как и мы, причисленные к офицерскому резерву.

Вернувшись, он соединил две оставшиеся порции и снова разложил мясо, но теперь уже на три доли. Одну долю отдал мне, вторую взял себе, а третью аккуратно завернул в чистый лист бумаги и сунул в мою полевую сумку.

— Матери отнесешь, — сказал он.

Я знал, что Прохоров частенько забегает к моей матери, принося ей свой хлебный паек, но результат у него получается тот же, что и у меня. Мать греет ему чай и потчует хлебом.

Она стирает ему белье, штопает носки и выслушивает его бесконечные рассказы о войнах и походах, в которых он участвовал. У меня на это терпения не было и военные рассказы, как и охотничьи, я переносу плохо.

Прохоров присел на мою кровать. У меня в столике лежала краюха хлеба, полученная от каптенармуса «по благу». Мы намазывали мясо на ломти хлеба и ели.

— Вкусно? — спрашивал Прохоров таким тоном, словно он собственноручно приготовил эту тушонку. — А что касается национального достоинства, дорогой мой, так это уже из другой оперы будет.

Полковник стал суровым в лице и, размахивая перочинным ножиком, веско, словно отрубая каждое слово, произнес:

— Самое страшное для нас в этой войне — одиночество. Я всё это время думаю о нем. Мы не можем рассчитывать на помощь. Двадцать лет мы грозим кулаком всей загранице, помогать им нам не за что, это нужно признать. А не помогут, и мы погибли. Немец по всей России пройдет. Вот потому-то и казалось мне всё безнадежным. А вот эта банка свидетельствует, что, может быть, и не так всё плохо. Понимаешь, старина?

Прохоров был прав. Ожидание американской помощи на время даже затмило опасность, надвигавшуюся на Москву. Молодой, похожий на подростка, солдат из части, остановившейся на ночевку в наших казармах, уверял товарищей:

— Американцы два парохода с махрой шлют. Вот покурим!

Табак в то время не выдавали и курильщики были обречены на страдания. Пожилой боец, он, быть может, был не курящим, насмешливо посмотрел на паренька и рассудительно сказал:

— Дура ты, американцы и знать не знают, что такое махра. Они все трубки курят.

Молодой опечалился:

— Неужели не знают? Вот ведь беда. К трубке-то мы непривычные... Однако, не верю.

Американцы дома под самое небо строят и не может быть того, чтобы они в махре соображения не имели.

Наивная вера солдата в американцев, о которых он знал только то, что они «дома под самое небо строят», рассмешила меня и я протянул ему последнюю папиросу, оставшуюся у меня.

Немцы подошли к самой Москве. Дачные подмосковные городки, куда мы летом выезжали на дачу, были теперь по другую сторону фронта. С Поклонной горы, начиненной минами, словно пирог начинкой, по ночам видны были вспышки артиллерийской стрельбы.

Торопливо увели из Москвы ополчение, послав его навстречу врагу. Крайние улицы перегораживались баррикадами. В домах устраивались снайперские гнезда. Красную площадь огородили деревянным забором и поставили часовых. У храма Василия Блаженного стояли несколько самолетов, готовых к полету.

По радио каждый день, под разными предлогами, сообщалось, что Сталин в Москве.

Давалось понять, что он, при любых условиях, не покинет столицу.

А самолеты стояли, готовые к полету...

Всему командирскому резерву было приказано явиться в дом союзов. Попутный грузовик привез нас на Манежную площадь. До назначенного нам срока оставалось больше часа.

Я и Прохоров медленно брели по Александровскому саду. Пронизывающий ветер рвал с деревьев почерневшие листья. Низко над деревьями висело серое, наполненное влагой небо. Безрадостными, тяжелыми складками опадала вниз красная кремлевская стена.

Вышли к Москва-реке. Налево тянулась всё та же угрюмая стена Кремля, а направо — жилые кварталы, уходящие к тому холму, на котором когда-то стоял Храм Христа Спасителя. Так и не удалось на месте взорванного храма построить дворец советов. Над серой рекой нависали мосты. Беспорядочным скоплением больших и малых домов набегало Замоскворечье. Всё кругом выглядело таким жалким, подавленным, приниженным, что я невольно высказал то, что больно отдавалось во мне:

— Москва моя...

Прохоров внимательно посмотрел на меня и молча двинулся вдоль набережной, а я поплелся за ним. Больше мы не проронили ни слова.

Чудо под Москвой

В военной истории отмечено много чудес. Иисус Навин остановил солнце. Это одно из ранних чудес. Пилсудский в 1920 году спас Польшу от захвата Красной армией. Это позднее чудо — чудо на Висле. Но самое позднее, не описанное военной историей — чудо Подмосковное.

Офицерский резерв главного командования Красной армии был последним, что могло быть брошено навстречу врагу. Полевые войска армии испытывали острый недостаток в командном составе, но нас не послали в войска. Кто-то припомнил годы гражданской войны, когда офицерские полки и отряды не раз спасали положение Белой армии, и порешил, что нечто подобное может иметь место и теперь. В резерве были оставлены только генералы, а все остальные офицеры включены в офицерские ударные батальоны. В связи с этим многие получили повышения в чине. Я стал майором. Возникло тогда три офицерских батальона, человек по четыреста в каждом. На Советской площади, против здания московского совета, Жуков производил смотр. На тротуарах толпились москвичи, а мы стояли по трем сторонам площади и Жуков медленно проходил вдоль наших рядов. В то время всё кругом менялось, а Жуков оставался неизменным, — был всё таким же кряжистым человеком с каменно-неподвижным лицом.

Закончив обход отрядов, он вышел на середину площади и остановился у обелиска свободы, с недавнего времени преобразованного в памятник сталинской конституции. По этому поводу, москвичи шутили: «Ликвидировали свободу, чтобы очистить место для конституции». Жуков выкрикивал слова, уносимые ветром и из всей его речи мне удалось услышать лишь то, что Москва в критическом положении, что враг рвется к столице и что мы должны отстоять ее.

В колонне по шести проходили мимо здания московского совета. С его фасада на нас пристально смотрели прищуренные холодные глаза Сталина. Огромный портрет вождя закрывал почти весь дом. Дожди размыли краску на полотне и она стекала по лицу Сталина. Хрящеватый нос почти был смыт, усы потекли вниз. Но глаза смотрели всё так же холодно и беспощадно. Они словно контролировали наши движения, грозили и повелевали. Какой-то неисправимый энтузиаст распахнул боковое окно во втором этаже и зычно выкрикнул:

— За Сталина, за родину, вперед, товарищи! Мы молчали. Человек, словно напугавшись нашего молчания, поспешно захлопнул окно. Глаза Сталина стали как будто еще острее и подозрительнее. А во мне билась мысль:

«Идущие на смерть приветствуют тебя»... Мы были гладиаторами нового времени и в нас, как и в гладиаторах времен Нерона, бурлило то же чувство ненависти, подавленной сознанием неизбежного. Мы отбивали шаг, упорно приковавшись глазами к затылку идущего впереди. Люди на тротуарах останавливались и подолгу смотрели нам вслед, словно удивленные нашим угрюмым молчанием. На Пушкинской, которую мы по привычке продолжали именовать Страстной площадью, большой, забрызганный грязью автомобиль с разбега остановился у тротуара. Он рычал, словно угрожая чем-то. Из него вышел генерал с тремя звездочками — Городовиков. Он поднял руку и крикнул приветствие. Мы прошли мимо, не ответив. Краем глаза я видел растерянность на лице Оки. Он махнул рукой и юркнул в автомобиль.

На Страстной площади наши батальоны разделились. Полковник Прохоров повел нас вдоль бульвара, в сторону Никитских ворот. Другие батальоны ушли вдоль Тверской, направляясь к Белорусскому вокзалу.

В лицо нам бил колючий ветер. В спину снова смотрел Сталин. На этот раз он был в свете неоновых трубок. Мне не надо было поворачиваться, чтобы видеть лицо Сталина, направленное в нашу сторону. Оно светилось с темного фасада высокого здания, с которым у меня было связано столько лет жизни. «Известия». Из прошлого память вырвала эпизод. Я знаю, что с правой стороны дома, на самом верхнем этаже, есть круглое окно. За ним когда-то работал Бухарин. В просторном кабинете редактора устраивались приемы для почетных гостей. Здесь когда-то я с надеждой и отчаянием вопрошал у Леона

Фейтвангера, бывшего для меня почти пророком: «Скажите, во что должен верить человек?». И Фейтвангер ответил мне одним словом: «В Сталина». Короткий ответ, а сколько горького опыта надо было пережить молодому советскому журналисту, чтобы понять его великую и злую неправду.

Жизнь столицы переместилась на окраины. По Арбату двигались рабочие отряды. Шли женские батальоны. Дребезжали колеса санитарных двуколок и кухонь. В тихих арбатских переулках устраивали привал войска. Бойцы заходили в дома погреться. Какие-то сердобольные старушки разносили вареную картошку и соленые огурцы. Может быть, последнее, что у них еще оставалось.

За Смоленской площадью улицы были перегорожены баррикадами. Женщины, дети и старики разбирали кирпичный дом — кирпичи были нужны для баррикад. Беременная женщина везла тачку, нагруженную цементом. Она остановилась, пропуская нас. Согнулась, чтобы поставить тачку, но разогнуться не могла. Держалась за живот и молча глядела на нас. В глазах ни осуждения, ни требования, а только печаль. Может быть, не о себе, а о нас думала она. Прохоров молча взялся за ручки тачки и перевез ее через улицу. Мы стояли и молчали. Молчали рабочие, строившие баррикаду. Они на миг прекратили работу и смотрели на нас, словно ждали от нас какого-то особого слова. Но такого слова у нас не было. Мы ушли дальше.

У села Фили, почти слившегося с окраиной Москвы, тянулись окопы. В окопах были люди. Они сидели сгорбившись на земле или медленно бродили вдоль окопов. Невдалеке от дороги, у пулемета, стояла группа рабочих в коротких куртках и в шапках-ушанках. Встречались какие-то бледные юноши в парусиновых летних туфлях. В другом месте позиции были заняты женским отрядом. Не отряд ли это Ирмы? Девушки в пилотках протягивали к кострам покрасневшие руки.

Десятка два больших грузовиков ждали наш батальон у церкви. Мы переглянулись с Прохоровым и поняли друг друга без слов. За неделю до этого мы со взводом разминировали здание церкви. Может быть, эта церковь переживет нас и не взлетит на воздух. Всё-таки наши предки были стоящими людьми и стыдно было бы разрушать памятники их подвигов. А церковь в Филях — это ведь 1812 год, битва при Бородине, пожар Москвы, победа Наполеона, обернувшаяся для него гибелью, это, наконец, ...были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы...

Потому-то и нарушили мы с Прохоровым предписание штаба обороны Москвы и порешили минирования церкви в Филях не производить, а когда оно было проделано другой группой, мы ночью, потихоньку, унесли мины и ящики со взрывчаткой.

Шоферы, изучившие проходы между минными полями, бойко погнали автомобили в сторону Можайска. Откуда-то плыл гул артиллерийской стрельбы. В воздухе внезапно появился германский штурмовик. Он летел над самым лесом и поэтому гул его пропеллера мы слышали почти одновременно с тем, как увидели его. Мы еще и не поняли толком, в чем дело, а штурмовик уже, пронесся над нами, рыча и воя. Раздались крики. Грузовики на полной скорости рванулись к роще. Штурмовик снова пронесся над нами. Нам был виден пилот, склонившийся над бортом и высматривающий добычу. Он долго кружил над рощей, но, не обнаружив нас, улетел. Один грузовик пылал там, где его настигли крупнокалиберные пули штурмовика. Мы перенесли раненых под деревья. Убитых отнесли от горящей машины и оставили на земле. Раненые покорно лежали, провожая нас глазами.

— Подберут санитары, — мрачно буркнул им Прохоров. — Помогите друг другу.

Мы пересекали район, подготовленный для обороны. На пригорках торчали указательные пальцы зенитных пушек, устремленные в серое небо. Возле них плясали от холода бойцы. В рощах стыли неподвижные танки. Во время какой-то остановки я протянул танкисту пачку папирос. Нам почему-то выдали в этот раз длинные румынские папиросы. Танкист долго рассматривал коробку.

— Американские, — произнес он с удовлетворением и закурил. — Легкие, а так ничего — добавил он.

— Румынские, — разочаровал я танкиста.

— То-то я смотрю — не серьезные какие-то. Танкист отшвырнул сигарету и полез за кисетом.

Нас привезли к санатории. Знакомый дом. До войны я несколько раз проводил в нем воскресные дни. Старая барская усадьба, окруженная рощей, была превращена в однодневный санаторий. Теперь в ней помещался штаб укрепленного района. К нам вышел комиссар с тремя ромбами. Вся армия снова была пронизана корсетными шнурами комиссарства. Лицо комиссара было мне знакомым. При Гамарнике он был начальником одного из отделов. Потом его имя появилось в списке ответственных хозяйственников. Только я никак не мог припомнить, в каком наркомате он работал. Кажется, в последнее время он был заместителем наркома, но какого наркома? Я так упорно думал над этим, что не слышал первых фраз комиссара, обращенных к нам. Так и не решив, где пребывал он в последнее время, я стал вслушиваться в его слова. Опять та же словесная мякина из казенного оптимизма, лозунговой бессмысленности и откровенного страха перед будущим. Когда комиссар, увлекшись, выкрикнул лозунг, имевший хождение до войны, но поблекший в самом ее начале, то в наших рядах пробежал смех.

— Ни одной пяди своей земли не отдадим никому... — снова повторил комиссар. Смех стал сильнее, и хоть невеселый был это смех, но от него как-то становилось легче. Из дома вышел низенький генерал-майор. Он стал рядом с комиссаром. Жалкий и растерянный. Потирал маленькие ручки и почти с робкой улыбкой озирал нас. Это был начальник укрепленного района. Когда комиссар умолк, он вдруг сорвался с места и старческой иноходью пробежался вдоль строя. При этом он выкрикивал тонким голосом, взмахивал ручками и даже хватался ими за голову:

— Только чудо может спасти нас, только чудо. Потом, словно опомнившись под свирепым взглядом комиссара, он остановился и тихо, почти просительно произнес:

— Я очень надеюсь на вас, товарищи офицеры... Личный пример очень нужен войскам. С этими словами генерал-майор исчез за дверью дома. Комиссар развернул лист бумаги, который он до этого держал свернутым.

— Вы будете рады, товарищи, узнать, что сам Сталин возлагает на вас большую надежду. Нам в то время было это более или менее безразлично, но мы всё-таки внимательно прослушали приказ Сталина о создании офицерских ударных батальонов. В нем говорилось что-то о нашем долге показать пример в бою, воодушевить Красную армию и весь советский народ на новые подвиги. Суворовское искусство побеждать не позабыто нашим народом. Это уже было что-то новое.

Мы долго ждали, пока Прохоров получит инструкции. Наконец, он появился. За ним семенил генерал-майор:

— Я жду от вас чуда, товарищ полковник, — говорил старенький генерал.

— Мы не чудотворцы, — огрызнулся Прохоров и подал команду строиться.

Было уже за полночь, когда мы добрались до брошенной жителями деревушки Конино. Она находилась в непосредственной близости от линии фронта. Где-то невдалеке вспыхивали ракеты. Немцы освещали местность. Горели стога сена. Изредка доносилась винтовочная стрельба, еще реже — пушечные выстрелы.

На фронте в те дни царило спокойствие.

Половину изб в Конино занимал саперный батальон, другая половина была отведена нам. Саперы, за отсутствием саперных работ, заняты были, главным образом, поисками брошенного колхозного скота и поеданием его. Нам с Прохоровым досталась самая маленькая из изб, зато мы могли оставаться вдвоем. В избе нашлись сухие дрова: пехотинцы, обигавшие тут до нас, разобрали сарай на топливо, но сжечь всех заготовленных дров не успели. Вскоре большая русская печь наполняла избу нестерпимым жаром, но мы были рады теплу.

Под утро на улице послышались голоса и мимо окон потянулась какая-то воинская часть. Мы лежали с Про-хоровым на ворохе соломы и ждали, пока часть пройдет. Но послышалась команда и колонна остановилась. Я подошел к окну, но за ним была непроглядная тьма. Нащупав на скамейке полевой телефон, поставленный саперами, я крутнул ручку. Сразу послышался голос телефониста:

— Сорока слушает.

— Вызовите мне третьего.

— Есть, вызвать третьего.

Телефон нудно гудел, пока кто-то на другом конце провода снял трубку. Третьим был начальник штаба саперного батальона, разводивший нас по домам.

— Это остановился штрафной батальон... Я предложил командиру батальона поместить штрафников с нашими людьми, но он отказался...

— Штрафной батальон пригнали, — сообщил я Прохорову.

Тот помолчал. Послышалось шуршанье соломы, вспыхнула спичка, осветившая низ прохоровского лица. Он закурил.

— Какая это скотина занимается всем этим? — вдруг зло проговорил Прохоров. — Ну, я понимаю, офицерский ударный отряд может быть, хотя при недостатке офицеров в армии это тоже порядочная глупость. Но штрафные батальоны? Хватать людей и за малейшую провинность включать в эти батальоны — ведь это же издевательство.

Я думал про себя, что Прохоров ошибается. Почва под сталинским режимом так явственно заколебалась, что в Кремле придумывают отчаянные меры, чтобы не допустить всеобщего развала. Старые средства устрашения перестали действовать на людей и нужно придумать новые. Точно так же, как перестали действовать старые методы поощрения. «За родину, за Сталина» никого не волнует, но может быть взволнует Суворов? Сталин уже обращается к народу: «Братья и сестры». Если не действует страх перед концлагерями, то, может быть, подействует штрафной батальон? Постоянная система кнута и пряника. В приказе о штрафных батальонах сказано, что присужденные к ним бойцы и командиры должны кровью искупить свою вину перед родиной. Боец натер ногу и отстал от своей части, а его в штраф-батальон. Командир вывел свою роту из-под артиллерийского обстрела без приказа — штраф-батальон. Искупайте кровью вину. Сталину всё равно за что карать людей, лишь бы эта кара вселяла страх, обезволивала всех нас.

— Штрафной батальон пойдет с нами в наступление? — спросил я.

— Нет. Ему поставлена задача провести разведку боем... Необходимо нащупать узловые пункты неприятеля.

Кряхтя, Прохоров натянул сапоги. Мы вышли из избушки. Рассвет еще только намечался.

На востоке появилась светлая полоска. Земля под ногами гулко отвечала на наши шаги.

Лед, сковавший грязь, не ломался. Кругом было тихо и, казалось, спокойно. Трудно было поверить, что в нескольких километрах в окопах лежат солдаты, в окружающих рощах стыннут танки, а на недалеком кладбище стоят готовые к стрельбе пушки. Неуютная, холодная эта ночь всё-таки была напоминанием о мире. О войне напоминали люди.

Улица была заполнена ими. В темноте с трудом можно было рассмотреть их неясные силуэты. Прохоров опять закурил и около нас сразу же выросло несколько человеко-теней.

Лиц разобрать было нельзя.

— Товарищи, угостите закурить, — произнес хриплый голос.

Прохоров протянул несколько папирос.

— Разве вас табаком не снабжают? — спросил он.

— Зачем тратить табак на штрафников? — саркастически произнес всё тот же хриплый голос. — Табачное довольствие полагается только особо отличившимся в бою, а мы еще не отличались.

В словах штрафника была горечь.

— За что вы попали в штрафной батальон? — спросил опять Прохоров.

— У нас все одинаковы... Наш батальон офицерский, окруженцы.

Мы знали, что офицеров, потерявших свои войска в первые дни войны и вышедших из окружения, Сталин приказал включить в штрафные батальоны.

— Нам сказано, что мы должны кровью искупить свою вину. Был бы человек, а вина у него всегда найдется.

Штрафники хотели еще что-то сказать, но к нам приблизился кто-то, начальственно закричавший, чтобы все заняли свои места.

— С посторонними разговаривать запрещено. Сколько раз вам об этом говорить?

Штрафники покорно отходили от избы, у которой мы стояли.

— Кто такие? — надвинулся на нас человек, приказавший штрафникам с посторонними не разговаривать. Прохоров закурил папиросу. При свете спички я увидел стоящего перед нами парня. На груди у него висел автомат. Парень был одет в короткий полушубок. Тогда такие полушубки выдавались солдатам и офицерам внутренних войск НКВД. Охранник, пока я его рассматривал, успел заметить на петлицах Прохорова четыре «шпалы».

— Они, товарищ полковник, никак не желают дисциплину блюсти, — проговорил он. — Раз наказан, так и веди себя, как полагается штрафнику.

В голосе охранника не было теперь ничего угрожающего.

— Занимайтесь своим делом, — зло бросил Прохоров. Охранник повернулся и молча ушел в темноту.

— Барбос, — тихо проговорил Прохоров. Он был вне себя.

Яснее обрисовались избы на противоположной стороне улицы — стало светлее. В свете наступающего дня бледные пятна лиц штрафников приобрели очертания. Мы с Прохоровым несколько раз уходили в избы, но нам не сиделось в ней и мы опять выходили наружу, словно наше присутствие могло чем-нибудь помочь этим людям.

Посреди улицы остановились две полевые кухни. Штрафники построились в очередь.

Кашевары разливали черпаками коричневую воду. Чай. Каждому выдавалась пайка хлеба в полфунта весом.

Послышалось тархатенье колес. На этот раз появились две подводы, груженные винтовками. Одна винтовка с двумя обоймами патронов пришлась на троих. На опустевшую телегу взобрался комиссар штрафного батальона. Снова лозунговая словесность, никому не нужная и никого не воодушевляющая.

— Вы должны кровью доказать верность родине и родина простит вас, — кричал комиссар.

— Если кровью, тогда прощать уже не к чему, — ворчал Прохоров. — Мертвым прощение нужно так же, как капли от насморка.

В рядах штрафников возник крик. Из многих голосов выделился хриплый бас. Может быть, этот голос принадлежал штрафнику, подходившему к нам закурить.

— Ты нам речей не говори, а скажи толком, куда нас гонят? — хрипел голос.

— Наш батальон сегодня пойдет в бой... Вам, товарищи, дана возможность искупить вашу вину, не гнить по тюрьмам, а на поле битвы доказать свою верность делу партии Ленина-Сталина.

Комиссар выкрикивал эти слова, а в его голосе не было бодрости.

После его слов, штрафники заволновались. Снова вспыхнули крики:

— Без оружия в бой!

— Одна винтовка на троих.

— Оружия больше нет, — упавшим голосом ответил комиссар. Потом, словно в нем развернулась невидимая пропагандная пружина, он закричал:

— Кто предан родине, тот у врага добудет оружие! Если твой товарищ пал, возьми у него винтовку и иди вперед!

— Возьми сам! — кричали штрафники. — Не имеете права без оружия посылать.

— Не пойдем!

Молодцы в полушубках молниеносно построились в шеренгу и щелкнули затворами автоматов. Протестующие голоса смолкли.

Батальон построился в колонну и потянулся вдоль улицы. Штрафники шли молча, не глядя по сторонам. Начал падать легкий снег. Он оседал на лицах людей, на шапках и шинелях. Это был первый снег приближающейся зимы. Позади батальона двигался отряд внутренних войск НКВД. Один из солдат нес флаг штрафного батальона. На нем желтой краской было написано:

«За родину, за Сталина!».

Этот клич очень подходил к заградительному отряду, который останется позади и будет расстреливать тех штрафников, которые посмеют повернуть назад. «За родину, за Сталина!».

— Гады, вот ведь гады! — хрипел Прохоров. — На смерть послали людей, прямо-таки на смерть! Знал бы...

Прохоров не договорил, но я понял, о чем он думал. Это по его предложению была назначена разведка боем.

Происходило что-то странное. Армия, защищающая Москву, корчилась в предчувствии немецкого наступления, а немцы молчали. Ожидание этого наступления повисло кошмаром над войсками и штабами. К обороне готовы не были. Войска московского участка фронта наполовину состояли из необученных резервов и наскоро сколоченных отрядов. В штабах ясно отдавали себе отчет, что немцев нечем удержать. Это и порождало эпидемию страха перед немецким наступлением, которое, по всем предположениям штабов, должно было уже давно начаться.

Ожидание стало, наконец, нестерпимым и на том участке, куда был послан наш батальон, решено было прощупать противника наступлением. В нем, кроме офицерского батальона, должны были принять участие две пехотных дивизии, одна из них ополченческая, и небольшое танковое соединение. Размеры этого соединения никому не были известны, так как танковые части стояли без горючего, а последний его запас хранился для того, чтобы, в случае немецкого наступления, отвести танки в Москву и приспособить там для уличных боев.

В штабе укрепленного района Прохоров высказал мысль о необходимости выяснить узловые пункты немецких позиций. Ему было обещано выделить специальную часть для проведения разведки боем.

Если бы Прохоров знал, это в такое предварительное наступление пошлют штрафников, он не осмелился бы сделать свое предложение.

Весь этот день от линии фронта неслась стрельба. Когда по нашим расчетам штрафной батальон должен был появиться у немецких позиций, оттуда донесся грохот артиллерии и лихорадочный треск пулеметов. Потом стрельба потеряла свое напряжение и стала какой-то методической и спокойной. С нашей стороны артиллерия стреляла лишь изредка. Во-первых, у нее было очень мало снарядов, а во-вторых, ей было приказано себя не обнаруживать.

К вечеру штрафники вернулись в село. Уходило полторы тысячи человек, вернулось не больше тысячи. Ночной мороз не сдавал, земля не оттаяла. Штрафники плелись, спотыкаясь о смерзшиеся кочки грязи. Прохоров увидел кого-то в рядах и рванулся к нему: — Вася! Василий Герасимович! — закричал он. Идущий с краю маленький штрафник с огромной трехлинейной винтовкой повернул в нашу сторону лицо, обросшее седой щетиной. Он кивнул Прохорову головой, улыбнулся, но из строя выйти не посмел.

Прохоров отправился к командиру батальона и вскоре вернулся в сопровождении штрафника, названного им Васей. Это был полковник, старый друг Прохорова, попавший теперь в беду. Вблизи его лицо оказалось изрытым морщинами, а глубоко запавшие глаза смотрели так, словно человек этот ждал удара.

Отправился я к кухне саперного батальона и принес полный котелок жирного супа из кур — саперы доедали «куриное поголовье» брошенной колхозной птицефермы. Но наш гость отодвинул котелок.

— Шесть раз ходили в атаку, — продолжал он рассказ, начатый еще до моего прихода. — И шесть раз нас разгоняли пулеметами и минометами. Подавить огневую мощь противника живым мясом нельзя... Много полегло. Странно, что нет раненых... Позади всё время был заградительный отряд. Эти ребята с автоматами могли бы пригодиться в бою, но их задача была другой: стрелять в тех из нас, кто не выдерживал и бежал назад. Командиры тоже назади остались, так что в атаку мы шли сами, по своему разумению. Может быть, это и правильно, ведь в батальоне одних полковников человек с полсотни наберется... Странно, однако, что нет раненых.

Мысль о раненых занимала ум штрафника и он к ней то и дело возвращался. Я понимал, о чем он думает. Не добивает ли, в самом деле, заградительный отряд раненых? Словно отвечая на этот вопрос, Прохоров тихо сказал, что раненых подбирает специальный санитарный отряд и что все они свезены в соседнюю деревню.

— Ты уверен в этом? — спросил полковник.

— Да!

— Ну слава Богу, слава Богу, — оживился полковник. — А то прямо не знаешь, что подумать. Убитых много, а раненых ни одного.

— Неужели, Вася, ничего сделать нельзя? — спросил Прохоров. — Ведь у тебя было столько друзей...

— А что тут можно сделать? — опять упавшим голосом отозвался штрафник. — Полный автоматизм действует. Ты думаешь, меня кто-нибудь присуждал к штрафному батальону? Ничего подобного! Даже не спросили, как была разгромлена наша дивизия. Командир дивизии погиб и мне, как начальнику штаба, пришлось спасать остатки дивизии. С ними я и вышел из окружения. Какой-то... очень молодой парень из особого отдела штаба фронта всё кричал на меня и потрясал перед носом наганом. Однако, не расстреляли, а направили в этот штрафной батальон. Я думаю, что это последнее место, занимаемое мною в армии. Полковник потянул к себе котелок со стынувшим супом и взялся за ложку. Прохоров молчал, опустив на грудь кудлатую голову.

После разговора с полковником из штрафного батальона Прохоров уехал в штаб укрепленного района выяснить обстановку. Вернулся под утро. Контуры предстоящего наступления становились более отчетливыми. Не ясной была лишь цель, преследуемая задуманным наступлением. Создавалось впечатление, что наше командование не могло дальше выдерживать неизвестности и хотело знать, как примут немцы нашу активность. — Боюсь, что немцы надают нам в загривок и на нашем хвосте до Москвы дорвутся, — угрюмо говорил Прохоров. — Кстати, в штабе мне сказали, что танковые войска немцев захватили аэродром. Если это правда, то им ничего не стоит дойти до Белорусского вокзала, а там и весь центр Москвы попадет под прямой обстрел... Получается, что наш участок как бы в полукольце. Тысяча и одна опасность возникает для нас. Отрезать нас совсем плевое дело.

Но наступление всё же произошло. Две пехотные дивизии наступали на узком семикилометровом участке. Наш батальон был как бы острием клина, направленным в сторону противника. Справа от нас шла стрелковая дивизия, слева ополченческая. Впрочем, ополченцев нам так и не довелось увидеть. При нас остались только связные от этой дивизии. Но и они не могли найти своих частей и возвращались к нам с сообщением, что дивизия «потерялась».

Ошибка выяснилась на рассвете. Так как наступление началось в темноте, то ополченческая дивизия оторвалась от нас и ушла вперед. Командование дивизии не исполнило настойчивого требования Прохорова «не зарваться» и двигаться по точному графику, им составленному. В результате, мы еще были на половине пути, когда ополченская дивизия завязала бой с передовыми немецкими частями, а к тому времени, когда мы подошли, с нею уже было покончено. Навстречу нам бежали бойцы. Какой-то пожилой ополченец с трясущимися губами, потерявший пилотку, винтовку и, как видно, смертельно напуганный, подбежал к группе офицеров, окружающей Прохорова:

— Представьте себе, там ужасно стреляют, — выкрикнул он в нашу сторону. Прохоров невнятно выругался и отвернулся, а его адъютант, всегда веселый лейтенант Коля, не мог удержаться, чтобы и тут не позубоскалить:

— Неужели? Впрочем, товарищ ополченец, насколько нам известно, на войне всегда стреляют, — сказал он, вызывая улыбку на наших лицах.

Ополченец почувствовал к Коле доверие. Он снял и протер полую шинели очки, потом снова водрузил их на нос:

— Как вы думаете, что мне полагается теперь делать? — спросил он дружелюбно.

— Бежать дальше, — ответил Коля. — Бежать — так бежать.

— Вы серьезно?

— Вполне.

Ополченец засеменял ногами с бугра, на котором мы стояли, совещаясь, а Коля кричал ему в спину:

— Бегите марафонским стилем... Если задержат, скажите, что посланы полковником Прохоровым с донесением о победе.

Ополченец приостановился, оглянулся, но потом махнул рукой и засеменял дальше. Белая холщевая сумка неуклюже болталась на его спине.

Прохоров строго посмотрел на Колю и тот перестал балагурить. Положение, по словам Прохорова, было ясным «на все сто». Он и не надеялся на ополченческую дивизию.

Неприятно то, что она своей поспешностью уничтожила элемент внезапности, который входил в расчеты Прохорова. Но, в общем, задача остается неизменной.

На пригорок пришел капитан-танкист. Обещанное танковое соединение на деле оказалось всего лишь танковой ротой не полного, к тому же, состава.

— Я имею четыре Т-34, — доложил капитан Прохорову.

— И это всё?

— Всё... И прошу вас, товарищ полковник, учесть, что горючего у меня на двадцать пять километров.

— Что же, вас на пикник послали, что ли? — расสวิрепел Прохоров.

— Ни один идиот не поедет на пикник, имея столько горючего, сколько имеем мы, — не менее Прохорова рассердился вдруг капитан. — Я всю ночь добивался горючего и не получил его. Со всеми перелялся, словно пес...

— Ну, ладно, не будем горевать, — примирительно произнес Прохоров. — Будем брать на авось.

Танкист молча приложил руку к замасленному шлему.

Пехотная дивизия, имея наш батальон на оголенном левом фланге, пошла в атаку. Перед этим наша артиллерия сделала несколько залпов, что должно было изображать артиллерийскую подготовку. Снарядов у артиллерии было в обрез. Предположение Прохорова сбылось. Преждевременное появление ополченской дивизии, почти целиком попавшей в плен, предупредило немцев о нашем наступлении и нас с далекого расстояния немцы встретили шквальным огнем артиллерии и минометов. Появились первые убитые и раненые. Прохоров рассыпал батальон в две цепи. Атака наша задохнулась, разбившись об огонь немецких позиций. Но Прохоров упорно вел батальон вперед. Судя по тому, что с правого нашего фланга неслась лихорадочная стрельба, пехотная дивизия наступала.

Эпизоды боя почти не запечатлелись, как это часто бывает. Под прикрытием большого камня, одиноко торчащего у края оврага, я наскоро перевязал Колю, раненого в живот. Он смотрел на меня помертвевшими глазами и тихо, задыхаясь, спрашивал: «Насмерть?». Я не знал, выживет ли он. На животе у него была маленькая дырочка, вздувающаяся синеватой пеной, а на спине рана величиной в кулак.

— Ерунда... Простая рана, — говорил я. Но когда я кончил перевязывать и перевернул Колю с живота на спину — он был мертв. Мертвые глаза всё так же, казалось, спрашивали: «Неужели смерть?». Мы попали под обстрел минометов. Немцы занимали позиции уже давно и имели время пристреляться. Капитан Туманов, угрюмый офицер из

артиллеристов, упал впереди меня. Из оторванной ноги ударила струя крови. Испуганный, я приостановился. Но еще больший ужас обуял раненого. Каким-то судорожным движением он извлек пистолет и выстрелил себе в лоб. Один из наших взводов в сомкнутом строю бросился на немецкие позиции. Теперь уже были видны немцы, припавшие к пулеметам и хладнокровно расстреливавшие нас. Отчаянно кричал Прохоров, приказывая залечь. На правом фланге майор Иващенко — огромный украинец, необычайно сочно сквернословящий, пытался вывести свой взвод из-под минометного обстрела. Но немецкая артиллерия отрезала ему путь. Торопливо уходили от нас четыре танка Т-34. Они уже, казалось, вырвались из-под обстрела, но вдруг повернули назад и снова направились к нам. Вспыхнувшая было надежда погасла. В нашем тылу показались танки незнакомых очертаний.

— Конец! — прохрипел Прохоров и мне казалось, что он стал равнодушным ко всему тому, что происходило вокруг.

Это был конец. Немецкие танки обошли нас и теперь приближались, раскинувшись веером. Вспыхнул один, а за ним другой танк Т-34. Два оставшихся приблизились к нам и остановились.

— Конец, — прокричал капитан танкист, высовываясь из башни своего танка. — Горючее кончилось.

Он снова скрылся в башне и дуло пушки обволокло дымом. Он стрелял в сторону приближающихся немецких танков.

Но взять нас немцам не удалось. Прохоров уводил нас по глубокому оврагу в ту сторону, где должна была быть пехотная дивизия. Советская артиллерия с опозданием открыла огонь, чтобы помочь нам. Немцы затихли, вероятно они ожидали нового наступления с советской стороны. Это короткое затишье спасло нас. К нам пристал взвод радиосвязи.

— Всю дивизию немцы взяли в плен, — говорил лейтенант, командовавший взводом. — Командир дивизии убит.

— Многие отступили, — поправился связист. — Взяли в плен только один полк, а другие полки побежали в тыл. Я сам видел.

Овраг вывел нас в лес. Наступила ночь. Прохоров остановил отряд. Теперь нас было не больше ста человек.

— Всё пропало! — вяло проговорил Прохоров. Мы молчали. Никто из нас даже не думал о будущем. У нас его не было.

Ночь и весь следующий день мы провели в овраге. Радиовзводу удалось найти связь со штабом фронта и оттуда поступил приказ уводить отряд глубже в немецкий тыл. Это была единственная возможность, оставшаяся еще у нас. Вырваться назад нечего было и думать. Ночь выдалась необыкновенно холодная. Мороз обжигал щеки. Казалось, всё в мире — смерть, плен, ранение лучше, чем эта пытка холодом. Семья, обитавшая в глухой сторожке, была напугана, когда толпа окоченевших вооруженных людей ворвалась в дом. Отчаянно плакали дети. Испуганно крестился старик, а мы наполнили домик до отказа. Оставшиеся на улице ждали, пока первая партия немного отогреется и уступит им место. В коровнике каким-то чудом уцелела корова. Мы обнимали ее, чтобы согреться ее теплом. Отчаянно визжала свинья. У солдата из взвода связи нашелся тесак и Прохоров старался им прирезать ее. Старый лесник помогал ему и при этом приговаривал: «Ножом бы надо, мучается бедная».

К утру многих разобрал понос. Желудки отказывались принимать жирную, наспех сваренную свинину. В домике стало просторнее, зато в коровнике было тесно. Между деревьями бродили одинокие фигуры, о которых капитан-танкист сказал, что они — индивидуалисты.

Перед вечером дозоры донесли: к домику направляется немецкий отряд. Было страшно уходить в холодный лес, но старик, как будто проникшийся нашей тревогой, взялся провести нас к глухой заимке.

Мы подошли к шоссе и залегли в кустах.

— Как стемнеет, так мы перейдем, а сейчас ни-ни! — говорил старик.

Мы послушно ждали. Нам было видно шоссе, по которому двигались немецкие войска. Я наблюдал в бинокль за прохождением пехотного полка. Это было странное шествие. В деревнях солдаты награбили теплую одежду — а какая же у колхозников одежда? Шли в женских полупальто с меховыми воротниками, в рваных полушубках. Некоторые походили на баб, укутанных тяжелыми деревенскими шальями. Какой-то счастливцев был одет в огромный тулуп. Этому я позавидовал. Как хорошо было бы иметь такой тулуп! Связисты «поймали» Москву.

— Товарищи, немцы отступают, — захлебываясь говорил лейтенант, присосавшийся ушами к наушникам радио-приемника. — Советские войска взяли в плен больше ста тысяч немцев... Захвачено двести двадцать танков... около тысячи пушек и пулеметов... Пятьсот автомобилей.

Лейтенант продолжал передавать нам сообщения Москвы, а мы плясали вокруг него, дули в кулаки, терли щеки и носы. Это было похоже на чудо. Чудо под Москвой! Всего неделю назад мы были в столице и положение казалось всем безнадежным. Но вот пришла первая победа.

— Подумайте, товарищи, первая ведь победа, — вдруг весело проговорил Прохоров. Сообщения Москвы снова вернули ему силу и бодрость. — Значит, товарищи, не всё еще потеряно.

— Есть еще порох в пороховницах, — откликнулся майор Иващенко, раненный в руку.

— И мороз на Руси, — в тон ему произнес капитан танкист. — Не будь этого мороза, немец нас из Москвы выковырнул бы. Не сомневайтесь.

— Всё равно, мороз или нет, а Москва как будто пока спасена. — Прохоров стал отчаянно тереть обмороженный подбородок.

Мы все хотели верить, что Москва спасена. В какой-то мере это могло оправдать наше наступление, завершившееся разгромом, и устранить то ощущение бессмысленности, которое давило на всех нас. И хоть у всех нас жило недоверие к сообщению из Москвы, никто его не высказал. Мы хотели верить в чудо.

Под утро мы были уже далеко от шоссе. В лесу, в стороне от всех дорог, стояла заимка, совершенно пустая и холодная. Дед, приведший нас сюда, растопил печь. Не уместившихся в довольно-таки просторном доме, он отправил в зимовник, в котором когда-то зимовали пчелы.

— А насчет пропитания, товарищи, соображайте сами, — развел он руками. — Тут невдалеке деревенька есть, не знаю только, бывают там немцы или нет. Пойду туда, разведая и если германцев нет, так мужики продовольствие вам представят. В этом не сомневайтесь.

Под утро человек пять молчаливых колхозников принесли и сложили на заимке мешки с продовольствием. Но мы в это время, затаив дыхание, прислушивались к словам лейтенанта-связиста. Он принимал приказ штаба фронта: «По лесам пробраться в район Красный Луч. Найти связь с генералом Безнозовым... Поступить в его распоряжение... Попытаться выйти назад запрещаю... Жуков».

При свете лучины, горящей на столе, люди казались похудевшими и суровыми. Мы молчали. Словно почувствовали, что эта одинокая заимка лежит на границе нового и неведомого.

* * *

Мы пошли в неведомое. Безвольные пылинки, несомые ветром. Наш путь лежал через великую пустоту, начинающуюся в наших собственных душах.

Много месяцев прожил я жизнью лесного человека. В угрюмых лесах Белоруссии за нами охотились, словно за дикими зверьми. По нашим следам брели отряды немецкого SS, равнодушно, с легкостью привычных убийц, пристреливающие тех из нас, кто попадал им в руки. Серые мундиры полевой жандармерии и черные — эсэсовцев были знаком нашей

смерти. Зеленые мундиры немецких солдат сулили плен. Но самым ужасным было не это, а то, что у нас не было друзей, а лишь враги. Наши соотечественники боролись с нами с таким же ожесточением, как и немцы. Мы невольно стали оплотом ненавистного народу режима, прогнанного немцами. В сердцах людей зажигались тогда огни великой веры в будущее. Мы мешали этим огням разгораться, тушили их. Наиболее смелые и, вероятно, наиболее честные — уходили от нас. Ушел и Прохоров. Немецкие самолеты разбрасывали над лесами его письмо к нам:

«Братья, товарищи! Бросьте оружие. Народ не желает больше власти Сталина. Пойдете ли вы против народа?.. Немцы пришли и немцы уйдут, Россия же останется. Она имеет право на свободу и счастье...».

Инерция борьбы, страх и отчаяние вели нас всё дальше. Наши отряды рассыпались. Убегали бойцы. Но приходили другие. Если не приходили сами, мы заставляли их приходиться. Над нами висело какое-то проклятие, толкающее нас по нашему пути. В холодный зимний день, который мог бы быть последним моим днем, власть этого проклятия надо мной была оборвана немецким пулеметчиком, настигшим меня своим обжигающим свинцом. Дико всхрапнув, покатился по земле конь, раненый в шею. Уносились среди деревьев мои товарищи, не заметившие моего падения. Я полз к коню, оставляя на снегу широкую кровавую полосу. Необыкновенно тяжелой и ненужной была левая нога. Голенище сапога наполнялось теплой кровью. Конь жалобно, по-человечески стонал. Он смотрел на меня синими тоскующими глазами. В обойме пистолета оставался последний патрон.

«Последний патрон для себя», — пришли вдруг на ум слова сталинского приказа.

«Нет уж, хватит!» Мне казалось, что я выкрикнул эти слова в низколобое лицо Сталина. Может быть, это было первое свободное мое решение, принятое в условиях полного отречения от всего, даже от самой жизни.

Дуло пистолета вошло в мохнатое конское ухо. Выстрел заставил коня задрожать всем телом.

Теперь всё для меня было кончено. Можно было привалиться к вздрагивающему боку коня и ждать.

Среди деревьев замелькали люди в зеленых мундирах. Это очень много значило — зеленые. Черные и серые мундиры несли смерть, зеленые — оставляли надежду на жизнь. Немецкий солдат увидел меня и испуганно остановился. Крикнул товарищам. Они подходили ко мне осторожно, зорко следя за мной.

Немецкие санитары перевязали мне ногу и помогли взобраться на носилки.

От трупа моего коня брали начало новые дороги. Дороги через безвременье.

Примечания

1

«Конармейской» она именовалась потому, что состояла из командиров, вышедших из рядов 1-й конной армии Буденного.

2

«С нами Бог»

Война в Афганистане 1979-1989 гг.

Справка

15 мая 1988 года начался вывод советских войск с территории Афганистана. Выводом войск руководил генерал-лейтенант Борис Громов. 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из страны.

15 мая 1988 года начался вывод советских войск с территории Афганистана. Операцией руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. Советские войска находились на территории страны с 25 декабря 1979 года; они действовали на стороне правительства Демократической Республики Афганистан. Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. Официальной целью ввода было предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства. В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана.

Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником.

В конфликте принимали участие вооруженные силы правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, или душманы) - с другой. Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран-членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы.

25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в ДРА по трем направлениям:

Кушка-Шинданд-Кандагар, Термез-Кундуз-Кабул, Хорог-Файзабад. Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар.

В состав советского контингента входили: управление 40-й армии с частями обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения и некоторые другие части и учреждения.

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, то есть 2.238 дней.

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 г. – февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.

2-й этап: март 1980 г. – апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.

3-й этап: май 1985 г. – декабрь 1986 г. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.

4-й этап: январь 1987 г. – февраль 1989 г. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.

14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.

В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года. 15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены

советские войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов.

Потери:

По уточнённым данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14 тысяч 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек.

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 млн. человек.⁹²

В. Окулов: "Правда" исполняла свой интернациональный долг

В позапрошлом году газета "Правда" отмечала столетие, и воспоминаниями о ней делились бывшие сотрудники редакции.

Среди них — Вадим Окулов, работавший собкором "Правды" в Афганистане. К 25-летию вывода советских войск из Афганистана Pravda.Ru публикует часть интервью с журналистом, свидетелем той войны.

— Расскажите, пожалуйста, как вы стали собкором в Афганистане, где тогда шли военные действия.

— Когда началась афганская эпопея, "Правда" не только освещала события в штатном режиме, но и исполняла свой интернациональный долг: мы должны были передать свой опыт афганскому народно-демократическому режиму. Для этого в Афганистан отправили советников. Я был одним из них. Мы шутили: "Только у слона в кабульском зоопарке не было советника". Правдисты-советники организовали выпуск "Правды апрельской революции", газеты Народно-демократической партии Афганистана.

В редакцию пришли работать интеллигенты из Кабульского университета, члены Народно-демократической партии Афганистана, бывшие врачи, инженеры, которых надо было научить журналистике. Я написал несколько гуманистических материалов, были и экзотические статьи — например, из заблокированного городка на границе. Из-за них меня заметили и, когда собкор Владилен Байков менялся, предложили мне продолжить его работу. Я перешел из советников в собкоры.

— Материалы из Афганистана подвергались цензуре?

— Редактирование материалов из районов боевых действий военной цензурой всегда было нормой. Другое дело, что иногда доходило до трагикомизма. Полетели мы с полковником Петей Студеникиным в эпицентр боевых действий — в "зеленку" так называемую, возле нашей авиационной базы под Баграмом. Наутро батальон разведчиков должен был как раз из "зеленки" вернуться, наш полк их ждал, подстраховывал. Эту операцию мы живописали в материале "Ночь на броне". Его напечатали, но сначала Пете Студеникину пришлось долго доказывать, что требование военной цензуры — заменить все имена в статье на афганские — неразумно. Доводы о том, что это была операция прикрытия, поддержка афганских вооруженных сил, не действовали. Военная цензура работала по своим законам: какое-то кромсание по концепции той поры.

— А сами правдисты как воспринимали афганскую войну?

— Мы поддерживали дружественный нам режим, который обеспечивал покой нашей южной границы. Делали акцент на примирении. Тогда геополитическая обстановка обязывала наши войска войти в Афганистан или поддерживать тамошний режим в надежде, что у нас будет устойчивое "подбрюшье". Мы создали там устойчивую общественную, политическую, экономическую инфраструктуру, которая могла бы выжить самостоятельно. Но при Ельцине снабжение было отрезано, и этот лакомый кусок сейчас под ударом.

— Как, по вашему мнению, сейчас развиваются российско-афганские отношения?

— Пока мы с позором наблюдаем хорошо просчитанный трафик американских вооружений и солдат по воздуху. Грядет и еще одно несчастье — создание там некоего перевалочного пункта, который в любой момент может стать базой НАТО. Совершается ошибка, о которой мы потом можем очень сильно пожалеть, — более того, преступление. А между тем, у нашей страны есть предпосылки и возможности для сотрудничества с Афганистаном: мы могли бы вместе восстанавливать инфраструктуру, которую однажды уже создали⁹³.

Штурм дворца Тадж-Бек⁹⁴

В это время сам Амин, ничего не подозревая, находился в эйфории от того, что удалось добиться своей цели - советские войска вошли в Афганистан. Днем 27 декабря он устроил обед, принимая в своем роскошном дворце членов Политбюро, министров с семьями. Формальным поводом, чтобы собрать всех, стало, с одной стороны, возвращение из Москвы секретаря ЦК НДПА Панджшири. Тот заверил его: советское руководство удовлетворено изложенной им версией смерти Тараки и сменой лидера страны, визит еще больше укрепил отношения с СССР. Там подтвердили, что Советский Союз окажет Афганистану широкую военную помощь.

Х.Амин торжественно говорил присутствующим: "Советские дивизии уже на пути сюда. Все идет прекрасно. Я постоянно связываюсь по телефону с товарищем Громыко, и мы сообща обсуждаем вопрос, как лучше сформулировать для мира информацию об оказании нам советской военной помощи". Порассуждали и о том, как начальнику Генерального штаба Мохаммеду Якубу лучше наладить взаимодействие с командованием советских войск. Кстати, сам Якуб, тоже ни о чем не догадывающийся, пригласил к себе в Генштаб для "налаживания более тесного взаимодействия" советских военных представителей. Ждать он их будет вечером, после 19.30, в своем рабочем кабинете.

Днем ожидалось выступление Х.Амина по афганскому телевидению. На съемки его выступления во дворец Тадж-Бек были приглашены высшие военные чины и начальники политорганов. Однако этому помешала акция, проводимая по плану КГБ СССР.

Неожиданно во время обеда Генсек НДПА и многие его гости почувствовали себя плохо. Некоторые потеряли сознание. Полностью "отключился" и Х.Амин. Его супруга

93 <http://www.pravda.ru/news/world/15-02-2014/1192221-okulov>

94 Российский союз ветеранов Афганистана- <http://army.lv/ru/tadzh-bek/90/80>

немедленно вызвала командира президентской гвардии Джандада, который начал звонить в Центральный военный госпиталь (Чарсад Бистар) и в поликлинику советского посольства, чтобы вызвать помощь. Продукты и гранатовый сок были немедленно направлены на экспертизу. Повара-узбеки задержаны.

В середине дня полковник В.В.Колесник и командир батальона проинформировали офицеров о плане операции в части, их касающейся, и поставили боевые задачи. Затем объявили порядок действий. Когда проводили рекогносцировку, увидели в бинокли на одной из высоток Джандада и группу офицеров с ним. Подполковник О.Швец поехал к ним, чтобы пригласить на обед, якобы на день рождения одного из офицеров батальона, но командир бригады сказал, что они проводят учение и приедут вечером. Тогда О.Швец попросил отпустить советских военных советников, которые находились в бригаде, и увез их с собой. Возможно, этим он спас многим из них жизни.

В 15.00 из посольства передали, что время начала штурма (время "Ч") установлено - 22.00, потом перенесено на 21.00. Позже оно периодически уточнялось и в конечном итоге стало - 19.30. Видимо, руководители операции рассчитывали, что сработает план устранения Х.Амина путем его отравления и тогда, возможно, отпадет необходимость штурмовать дворец Тадж-Бек. Но ввиду строгой секретности этого плана советские врачи не были к нему допущены и по незнанию сорвали его выполнение.

Во дворец по просьбе начальника Главного политического управления М.Экбаля Вазири и настоянию начальника политического отдела аппарата главного военного советника в ДРА генерал-майора С.П.Тутушкина прибыла группа советских врачей, находившихся тогда в Кабуле. В нее входили начальник медицинской службы, терапевт советников, командир группы хирургического усиления, врач-инфекционист из Центрального военного госпиталя афганской армии, врач из поликлиники советского посольства, две женщины - врач и медсестра - диетологи, работавшие в медпункте, расположенном на первом этаже дворца Тадж-Бек. Вместе с ними прибыл и афганский доктор подполковник Велоят.

Когда советские врачи терапевт полковник Виктор Петрович Кузнечков, командир группы хирургического усиления госпиталя полковник Анатолий Владимирович Алексеев, другие медики примерно в два часа дня подъехали к внешнему посту охраны и, как обычно, стали сдавать оружие, их дополнительно еще и обыскали, чего раньше никогда не было. Причем обращались в достаточно резкой форме. При входе во дворец тщательней, чем обычно, проверили документы и еще раз обыскали. Что-то случилось? Поняли, что именно, когда увидели в вестибюле, на ступеньках лестницы, в комнатах лежащих и сидящих в неестественных позах людей. Те, кто "пришел в себя", корчились от боли. Наши врачи определили сразу: массовое отравление. Решили оказывать пострадавшим помощь, но тут к ним подбежал афганский медик подполковник Велоят и увлек их за собой - к Х.Амину. По его словам, Генсек был в тяжелейшем состоянии. Поднялись по лестнице. Х.Амин лежал в одной из комнат, раздетый до трусов, с отвисшей челюстью и закатившимися глазами. Он был без признаков сознания, в тяжелой коме. Умер? Прощупали пульс - еле уловимое биение. Умирает?

Полковники В.Кузнеченков и А.Алексеев, не задумываясь, что нарушают чьи-то планы, приступили к спасению главы "дружественной СССР страны". Сначала вставили на место челюсть, затем восстановили дыхание. Отнесли его в ванную комнату, вымыли и стали делать промывание желудка, форсированный дюрез. После этого перенесли Х.Амина опять в спальню. Стали вводить лекарство. Уколы, снова уколы, капельницы, в вены обеих рук введены иглы:

Эта работа продолжалась примерно до шести часов вечера. Когда челюсть перестала отпадать и пошла моча, врачи поняли, что их усилия увенчались успехом, и жизнь Х.Амину им удалось спасти. Но, почувствовав, что назревают какие-то тревожные события, А.Алексеев заблаговременно отправил женщин из дворца, сославшись на необходимость срочно сделать в лаборатории анализы промывных вод.

Пройдет довольно значительное время, прежде чем дрогнут веки Х.Амина и он придет в себя, затем удивленно спросит: "Почему это случилось в моем доме? Кто это сделал? Случайность или диверсия?"

Это происшествие очень встревожило офицеров, ответственных за организацию охраны председателя Ревсовета ДРА (Джандад, Экбаль). Они выставили дополнительные (даже внешние) посты из афганских военнослужащих и позвонили в танковую бригаду, чтобы там были готовы оказать помощь. Однако помощи им ждать было неоткуда, так как наши десантники уже полностью блокировали располагавшиеся в Кабуле части афганских войск. Вот что, например, рассказал много лет спустя ныне полковник В.Г.Салкин, находившийся в Кабуле в декабре 1979 г.: "Вечером, приблизительно в 18.30, командиру бригады капитану Ахмад Джану поступила команда ввести один батальон в город. Я и советник командира бригады полковник Пясецкий в это время постоянно находились рядом с командиром. Тот отдал приказ командиру первого танкового батальона привести батальон в состояние полной боевой готовности, заявив, что приказ о выходе батальона будет отдан позже. Личный состав, получив приказ, буквально ринулся к танкам. Моментально взревели танковые двигатели. Первый батальон был готов к действиям. Пясецкий время от времени смотрел на часы, ожидая новых команд бригаде. В 19.10 Виктор Николаевич сам попросил Ахмад Джана связаться со своим командованием и уточнить указания по выходу батальона в город. Однако командир не смог позвонить из-за отсутствия связи (спецгруппой КГБ уже был взорван узел связи. - Примеч.авт.).

Убедившись в отсутствии связи, В.Н.Пясецкий посоветовал командиру проконтролировать состояние телефонного провода на территории бригады. Срочно был вызван взвод связи, и солдаты начали тщательно проверять состояние кабеля. На это ушло примерно около 30 минут.

... Неожиданно четыре БМД на полном ходу сбили ворота военного городка и, не снижая скорости, окружили здание штаба бригады. Из первой машины вышел советский капитан. Он вошел в здание, представился, отозвав в сторону Пясецкого, переговорил с ним, затем достал фляжку со спиртом и предложил выпить. Капитан, обращаясь к командиру бригады, заявил, что в городе неспокойно и выход бригады в город нежелателен. Командир, посоветовавшись, дал команду "отбой" первому батальону..."

По свидетельству В.Колесника, около шести вечера его вызвал на связь главный военный советник генерал-полковник С.К.Магометов и сказал, что время штурма перенесено и начинать надо как можно скорее. Буквально спустя пятнадцать-двадцать минут группа захвата во главе с капитаном Сатаровым выехала на машине ГАЗ-66 в направлении высоты, где были закопаны танки. Офицеры батальона внимательно следили за ним. Танки охранялись часовыми, а их экипажи находились в казарме, расположенной в 150-200 метрах от них. Одна из рот "мусульманского" батальона залегла в указанном ей районе в готовности поддержать огнем действия группы Сатарова. Офицеры увидели, что, когда машина подъехала к расположению третьего батальона, там вдруг послышалась стрельба из стрелкового оружия, которая неожиданно усилилась. Полковник В.Колесник немедленно дал команды "Огонь!" и "Вперед!". Одновременно кабульское небо рассекли две красные ракеты - сигнал для солдат и офицеров "мусульманского" батальона и спец-

групп КГБ. На дворец обрушился шквал огня. Это произошло примерно в четверть восьмого вечера.

Первыми по дворцу прямой наводкой по команде капитана Паутова открыли огонь зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилки", обрушив на него море снарядов. Автоматические гранатометы АГС-17 стали вести огонь по расположению танкового батальона, не давая экипажам подойти к танкам. Подразделения "мусульманского" батальона начали выдвижение в районы предназначения. По дороге к дворцу двинулась рота боевых машин пехоты (БМП) старшего лейтенанта Шарипова. На десяти БМП в качестве десанта находились две спецгруппы КГБ. Общее руководство ими осуществлял полковник Г.И.Бояринов. Боевые машины сбили внешние посты охраны и устремились к Тадж-Беку. Единственная дорога круто серпантинном взбиралась в гору с выездом на площадку перед дворцом. Дорога усиленно охранялась, а другие подступы были заминированы. Едва первая боевая машина миновала поворот, из здания ударили крупнокалиберные пулеметы. БМП была подбита. Члены экипажа и десант покинули ее и при помощи штурмовых лестниц стали взбираться вверх в гору. Шедшая второй БМП столкнула подбитую машину с дороги и освободила путь остальным. Они быстро выскочили на площадку перед Тадж-Беком.

Сначала на штурм пошли спецгруппы КГБ, за ними последовали некоторые солдаты из спецназа. Для устрашения оборонявшихся, а может быть, и со страху атакующие дворец громко кричали, в основном, матом. Бой в самом здании сразу же принял ожесточенный и бескомпромиссный характер. Если из помещений не выходили с поднятыми руками, то выламывались двери, в комнату бросались гранаты. Затем без разбору стреляли из автоматов. "Шилки" на это время перенесли огонь на другие объекты. БМП покинули площадку перед дворцом и заблокировали единственную дорогу.

Все шло как будто по плану, но случилось непредвиденное. При выдвижении подразделений батальона в район боевых действий с построенного через арык мостика свалился один бронетранспортер и перевернулся. Люки оказались закрытыми, и экипаж не мог из него выйти. Командир отделения стал вызывать по радиостанции подмогу. Он включился на передачу, безостановочно вызывая своего старшего командира. Этим в самый ответственный момент радиосвязь была парализована. Пришлось командованию батальона использовать другие средства и сигналы. Хорошо еще, что они были предусмотрены заранее.

Другая рота и два взвода АГС-17 вели огонь по танковому батальону и не дали его личному составу добраться до танков. Затем они захватили танки и одновременно разоружили личный состав строительного полка. Спецгруппа захватила вооружение зенитного полка, а личный состав взяла в плен. На этом участке руководство боевыми действиями осуществлял подполковник О.Швец.

Во дворце офицеры и солдаты личной охраны Х.Амина, его телохранители (около 100-150 человек) сопротивлялись отчаянно, не сдаваясь в плен. "Шилки" снова перенесли огонь и стали бить по Тадж-Беку и по площадке перед ним (заранее была установка - никому из спецгрупп КГБ и спецназа на площадку из дворца не выходить, потому что никого живым оттуда выпускать не будут). Но не все эту установку выполнили и заплатились за это жизнью. В здании на втором этаже начался пожар. Это оказало сильное моральное воздействие на оборонявшихся.

Однако по мере продвижения спецназа ко второму этажу Тадж-Бека стрельба и взрывы усиливались. Солдаты из охраны Амина, принявшие спецназовцев сперва за собственную

мятежную часть, услышав русскую речь и мат, сдались им как высшей и справедливой силе. Как потом выяснилось, многие из них прошли обучение в десантной школе в Рязани, где, видимо, и запомнили русский мат на всю жизнь.

Позже мне не раз приходилось слышать мнение, что дворец Тадж-Бек брали спецгруппы КГБ, а армейцы только присутствовали при этом. На мой взгляд, это не совсем так. Одни чекисты ничего бы сделать не смогли. Конечно, по уровню личной подготовки спецназовцам трудно было тягаться с профессионалами из КГБ, но именно они обеспечивали успех этой операции.

Советские врачи попрятались, кто куда мог. Сначала думали, что напали моджахеды, затем - сторонники Н.М.Тараки. Только позднее, услышав русский мат, они поняли, что действуют советские военнослужащие.

А.Алексеев и В.Кузнеченков, которые должны были идти оказывать помощь дочери Х.Амина (у нее был грудной ребенок), после начала штурма нашли "убежище", у стойки бара. Спустя некоторое время они увидели Х.Амина, который шел по коридору, весь в отблесках огня. Был он в белых трусах и в майке, держа в высоко поднятых, обвитых трубками руках, словно гранаты, флаконы с физраствором. Можно было только представить, каких это усилий ему стоило и как кололи вдетые в кубитальные вены иглы.

А.Алексеев, выбежав из укрытия, первым делом вытащил иглы, прижал пальцами вены, чтобы не сочилась кровь, а затем довел его до бара. Х.Амин прислонился к стене, но тут послышался детский плач - откуда-то из боковой комнаты шел, размазывая кулачками слезы, пятилетний сынишка Х.Амина. Увидев отца, бросился к нему, обхватил за ноги, Х.Амин прижал его голову к себе, и они вдвоем присели у стены.

Спустя много лет после тех событий А.Алексеев рассказывал мне, что они не смогли больше находиться возле бара и поспешили уйти оттуда, но когда шли по коридору, то раздался взрыв и их взрывной волной отбросило к двери конференц-зала, где они и укрылись. В зале было темно и пусто. Из разбитого окна сифонило холодным воздухом и доносились звуки выстрелов. В.Кузнеченков стал в простенок слева от окна, А.Алексеев справа. Так судьба их разделила в этой жизни. Х.Амин приказал своему адъютанту позвонить и предупредить советских военных советников о нападении на дворец. При этом он сказал: "Советские помогут". Но адъютант доложил Х.Амину, что стреляют советские. Эти слова вывели Генсека из себя, он схватил пепельницу и бросил ее в адъютанта, закричав раздраженно: "Врешь, не может быть!". Затем сам попытался позвонить начальнику Генерального штаба, командиру 4-й танковой бригады (тбр), но связи с ними уже не было. После чего Х.Амин тихо проговорил: "Я об этом догадывался, все верно".

Тем временем спецгруппа КГБ прорвалась к помещению, где находился Хафизулла Амин, и в ходе перестрелки он был убит офицером этой группы. Труп главы правительства ДРА и лидера НДПА завернули в ковер. Основная задача была выполнена.

Валентин Братерский (сотрудник бывшего Управления внешней разведки КГБ СССР), вспоминая о тех днях, поделился некоторыми своими впечатлениями о штурме дворца Тадж-Бек:

"Нас было пятеро из ПГУ и две группы по 30 человек, которые и осуществляли операцию. Уникальная группа "Гром", в которую входили классные спортсмены, должна была непосредственно действовать во дворце. Группа "Зенит" - обеспечить подступы к дворцу.

В ней были ребята из балашихинской школы, где готовят спецназовцев. Из 60 ребят в строю остались 14.

С другой стороны были большие потери. В охране Амина было 300 человек. 150 сдались в плен. Убитых не считали. Амин еще пригнал двухтысячный полк, и они окопались вокруг дворца. Полк мы прорезали, как кинжалом. Во время штурма он как-то рассеялся. Кармаль обещал, что нас поддержат 500 верных ему боевиков. Завезли для них оружие, гранаты - ждали. Из 500 человек пришел только один.

Была еще одна группа под началом майора КГБ. В их задачу входило доставить некоторых представителей афганского руководства для подтверждения версии о внутреннем перевороте. Версия же, которая внушалась нам: Амин связан с американцами, мы получим еще одного опасного соседа с юга. Никаких документов, подтверждающих эту версию, никогда предоставлено не было.

Мне все стало окончательно ясно, когда человек, застреливший Амина, сказал мне, что приказ был живым Амина не брать. Кстати, тогда же в перестрелке был ранен грудь и скончался сын Амина лет восьми. Я собственными руками перевязывал рану его дочери - ее ранили в ногу. Мы оставили дворец, в котором ковры были пропитаны кровью и хлюпали под ногами. Это трудно себе представить ...

Перед отлетом нам всем обещали звезды Героев. Двое, насколько я знаю, получили, один - посмертно, всего в КГБ было награждено за это дело 400 человек, вплоть до машинисток и секретарш.

... Уцелевшие после той ночи ребята договорились, что будут встречаться каждый год 27 декабря в семь часов вечера у могилы неизвестного солдата. Крючков запретил - мол, нечего сопли распускать ..."

На двух захваченных у афганцев танках к зданию дворца прибыла группа капитана Сатарова. Он доложил Колеснику, что когда они проезжали мимо третьего батальона бригады охраны, то увидели - в батальоне объявлена тревога. Афганские солдаты получали боеприпасы. Рядом с дорогой, по которой проезжали спецназовцы, стоял командир батальона и еще два офицера. Решение пришло быстро. Выскочив из машины, они захватили командира афганского батальона и обоих офицеров, бросили их в машину и поехали дальше. Некоторые солдаты, успевшие получить патроны, открыли по ним огонь, а затем и весь батальон устремился в погоню за машиной - освобождать своего командира. Тогда спецназовцы спешили и начали стрелять из пулеметов по бегущей пехоте. Открыли огонь и бойцы роты, обеспечивающей действия группы Сатарова. "Положили" очень много - порядка 250 человек, остальные разбежались. В это же время из снайперских винтовок "сняли" часовых возле танков и чуть позже захватили их.

Бой во дворце продолжался недолго. Вскоре все там было кончено. Командир роты старший лейтенант Шарипов доложил, что дворец захвачен. Полковник Колесник дал команду на прекращение огня и перенес свой командный пункт непосредственно в Тадж-Бек.

За скрывавшимися долгое время в "мусульманском" батальоне тремя членами будущего правительства ДРА приехали их сторонники и куда-то увезли.

В тот вечер в перестрелке был убит общий руководитель спецгрупп КГБ СССР полковник Г.И.Бояринов, его заменил подполковник Э.Г.Козлов. по свидетельству участников

штурма, в конференц-зале осколком гранаты был сражен полковник В.П.Кузнеченков. Однако все время находившийся рядом с ним А.В.Алексеев утверждает, что когда они вдвоем прятались в конференц-зале, то какой-то автоматчик, заскочив туда, дал на всякий случай очередь в темноту. Одна из пуль попала в В.Кузнеченкова, он вскрикнул и сразу же умер. Мертвого товарища А.Алексеев взвалил на себя и вынес во двор, где положил его на бронетранспортер, который вывозил раненых. "Мертвых не берем", - кричал какой-то автоматчик А.Алексееву. "Да он еще жив, я врач", - возразил полковник. В последующем труп В.Кузнеченкова отвезли в госпиталь, а А.Алексеев встал к операционному столу.

В "мусульманском" батальоне погибло 5 человек, ранено - 35. Причем 23 человека, получившие ранения, остались в строю. Остальных раненых медик батальона капитан Ибрагимов вывез на БМП в кабульский госпиталь.

В течение ночи спецназовцы несли охрану дворца, так как опасались, что на его штурм пойдут дислоцировавшиеся в Кабуле дивизии и танковая бригада. Но этого не случилось. Советские военные советники, работавшие в частях афганской армии, и переброшенные в афганскую столицу части воздушно-десантных войск не позволили им этого сделать. К тому же спецслужбами заблаговременно было парализовано управление афганскими силами.

Не обошлось и без курьезов. Ночью нервы у всех были напряжены до предела. Ждали нападения верных Х.Амину войск. Предполагали, что во дворец ведет подземный ход. Вдруг из шахты лифта послышался какой-то шорох. Спецназовцы вскочили, стали стрелять из автоматов, бросили гранаты, но оттуда выскочил обезумевший от страха кот.

Вполне вероятно, что кое-кто из наших соотечественников пострадал и от своих же: в темноте личный состав "мусульманского" батальона и спецгруппы КГБ узнавали друг друга по белым повязкам на рукавах и мату. Но ведь все были одеты в афганскую военную форму, а вести стрельбу и бросать гранаты приходилось часто с приличного расстояния. Попробуй уследить ночью, в темноте, в такой неразберихе - у кого на рукаве повязка, а у кого ее нет?!

Артем Боровик

Об авторе

Артем Генрихович Боровик родился 13 сентября 1960 г. в семье политического обозревателя, писателя и драматурга Генриха Боровика.

С 1966 г. по 1972 г. вместе с семьей жил в Нью-Йорке, где его отец работал корреспондентом Агентства печати "Новости".

После окончания школы в Москве Артем поступил в МГИМО. Студенческую практику он проходил в советском посольстве в Перу, где зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

В 1982 г. Артем окончил факультет международной журналистики МГИМО, и был распределен в Министерство иностранных дел, однако пошел работать литературным сотрудником в международный отдел газеты "Советская Россия". В течение пяти лет он работал корреспондентом в "горячих точках". Был в Чернобыле после взрыва, писал из Никарагуа и Афганистана.

В 1987 г. Артем Боровик перешел на работу в журнал "Огонек", где до 1990 г. работал старшим корреспондентом, заведующим международным отделом журнала.

По заданию журнала несколько раз ездил в Афганистан.

В 1988 г. он несколько месяцев проходил военную службу в армии США в рамках эксперимента, в ходе которого советский журналист направлялся в американскую армию,

а американский – в советскую. О своем армейском опыте Артем написал книгу "Как я был солдатом армии США".

В 1988 – 1990 гг. Артем Боровик был корреспондентом и одним из ведущих телепрограммы "Взгляд" на Центральном телевидении СССР.

В 1989 г. он начал работать в газете "Совершенно секретно" и через некоторое время стал первым заместителем главного редактора Юлиана Семенова.

В 1991 г. он стал главным редактором газеты "Совершенно секретно" и в том же году создал одноименную телепередачу на телеканале "Россия", а чуть позже – программу "Двойной портрет".

С 1992 г. по 2000 г. Артем Боровик был председателем Совета директоров информационно-издательской группы "Совершенно секретно", позднее – президентом информационного холдинга "Совершенно секретно".

С 1993 г. по 2000 г. был генеральным директором телекомпании "Совершенно секретно-телеком".

С 1996 г. по 2000 г. – главным редактором журнала "Лица".

В 1997 г. он был помощником мэра Москвы Юрия Лужкова по организации юбилейных торжеств в честь 850-летия Москвы.

Артем Боровик являлся сопредседателем Совета попечителей Экзекьютив Клуба "Москва"; с 1996 г. был членом редакционных советов журналов "Власть", "Московские лица".

С 1998 г. был главным редактором газеты "Версия".

С июня 1999 г. он входил в состав совета директоров телекомпании "ТВ-Центр".

Артем Боровик участвовал в боевых действиях в Афганистане (как журналист), участвовал в движении журналистов в защиту независимой прессы, через издания своего холдинга участвовал в борьбе с коррупцией.

Он автор нескольких книг об Афганистане, книги "Встретимся у трех журавлей", "Спрятанная война" (1989, переведена на многие языки мира).

За работу в Афганистане Артем был награжден медалью "За боевые заслуги".

У него было много наград: он был лауреатом премии "Общественное признание", лауреатом премии ТЭФИ, премии "Лучшие перья России". Был награжден медалью Союза Журналистов "Золотое перо".

Он – единственный журналист (не только в России, но и во всем мире), кто дважды – в 1992 г. и 1994 г., был удостоен престижной американской премии в области журналистики Edvard mugrow award.

Во время последнего интервью в своей жизни, которое Артем дал на канале НТВ в ночь с 6 на 7 марта 2000 г., от одного из телезрителей пришел на пейджер вопрос: "Если вы такой честный, почему же вы до сих пор живы?.."

Ровно через 56 часов, утром 9 марта 2000 г. самолет Як-40, выполнявший частный рейс в Киев, в котором находился Артем Боровик, разбился при взлете в московском аэропорту Шереметьево-1. Вместе с ним погибли все пассажиры (8 человек) и члены экипажа. В числе пассажиров был также глава компании "Группа "Альянс" Зия Бажаев.

11 марта 2000 г. Артем Боровик был похоронен на Новодевичьем кладбище.

У Артема Боровика осталась вдова – Вероника Хильчевская и два сына – Максимилиан и Кристиан.

В мае 2000 г. был официально зарегистрирован Благотворительный фонд Артема Боровика, учредивший ежегодную премию за лучшие журналистские расследования, которая с 2001 г. вручается ежегодно в день его рождения.

Результаты расследования

Причины катастрофы до сих пор до конца не выяснены. В службе безопасности аэропорта не исключили, что падение самолета было "не случайным". По факту авиакатастрофы

было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Следствие рассматривало различные версии, среди которых и террористический акт.

Сотрудники холдинга "Совершенно секретно" проводили независимое расследование авиакатастрофы.

4 мая 2000 г. газета "Версия" сообщила, что сотрудники холдинга "Совершенно секретно" полагают, что Як-40 рухнул из-за какого-то внешнего воздействия.

В сентябре 2000 г. шеф-редактор холдинга "Совершенно Секретно" Рустам Арифджанов заявил, что версия крушения самолета Як-40 по причине спешки экипажа, которая перед этим была озвучена специалистами Международного авиационного комитета, "не только смешная, но и кощунственная". Представители холдинга "Совершенно Секретно" не исключают версию теракта, согласно которой крыло потерпевшего катастрофу Як-40 было покрыто так называемым жидким мазутом – веществом, способным изменить кристаллическую структуру любого металла. По словам Арифджанова, разработки жидкого мазута были начаты 12 лет назад НИИ Министерства обороны.

В июне 2001 г. было завершено расследование обстоятельств крушения самолета Як-40.

Стали известны официальные результаты расследования причин гибели самолета. Однако двое членов комиссии, расследовавшей катастрофу, отказались подписать этот отчет.

Межгосударственный авиационный комитет, проводивший расследование, пришел к выводу, что к авиакатастрофе привели ошибки экипажа и авиатехников. По словам представителей комитета, при взлете экипаж принял ошибочное решение использовать нестандартное положение закрылков. Кроме того, при подготовке самолета к вылету его несущие поверхности не были обработаны противообледенительной жидкостью. Это и стало причиной аварии.

Такой же была и первоначальная версия катастрофы. Позже ее подтвердили экспериментальные полеты в Летно-исследовательском институте имени Громова, и продувки, проведенные в ЦАГИ.

Эту официальную версию гибели Як-40 поддерживают не все члены комиссии по расследованию авиакатастрофы. "Расследование не закончено хотя бы потому, что на его заключении нет двух подписей. Моей, – говорит Александр Воробьев, первый заместитель генерального директора Вологодского объединенного авиаотряда, к которому относился разбившийся Як-40, – и председателя инженерно-технической подкомиссии Якушева. У нас особое мнение. Оно не совпадает с официальным".

По мнению несогласных, причины гибели Як-40 до сих пор не установлены.

Спрятанная война⁹⁵

Твое имя и подвиги были забыты
Прежде, чем высохли твои кости,
А ложь, убившая тебя, погребена
Под еще более тяжелой ложью.

Джордж Оруэлл «Памяти Каталонии»

Вместо предисловия

Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну стал частью Афганистана, частью его земли, которая так никогда и не смогла поглотить всей пролитой на ней крови. А Афганистан стал частью каждого воевавшего там.

95 По мат. сайта http://royallib.com/book/borovik_artem/spryatannaya_voyna.html

Впрочем, «Афганистан» – это не страна и уже больше года как не война. «Афганистан» – это скорее молитва, обращенная не столько к Богу, сколько к самому себе. Шепчи молитву эту перед сном ровно столько раз, сколько людей погибло там. Выплювай это слово, выбрасывай его быстрее автомата. И если повезет, быть может, где-то на пятнадцатой тысяче ты поймешь, услышишь его изначальный тайный смысл.

Идиоты называли Афганистан «школой мужества». Идиоты были мудрецами: сами они предпочитали в эту школу не ходить. Они полагали, что это «интернациональный долг», «битва с наймитами империализма на южных рубежах Отчизны», «решительный отпор агрессии со стороны региональной реакции» и все такое пятое-десятое... – словом, они убеждали себя и заодно страну в том, что Афганистан «обращает несознательных юнцов в стойких борцов за нашу коммунистическую веру».

Но Афганистан был никчемным университетом для юного атеиста. Именно там ты начинал верить в абстрактное существование Добра и Зла, хотя через пару месяцев и обнаруживал, что в итоге их противоборства Добро отнюдь не всегда выходит победителем. Чаще наоборот. Зло было везде и всем сразу: «духом», потом «мятежником», чуть позже «повстанцем», пока не превратилось в «вооруженную оппозицию». Иногда оно выступало в образе ротного, «прапора», «дедушки», которому осталось всего два месяца до дембеля. Но где пряталось Добро, знало лишь оно одно. И постепенно ты начинал ценить просто-напросто доброту – так оно верней. Добро – доброволец – интернационалист – Афганистан – смерть. За добро не жди добра – уже это точно.

В апреле 87-го и я познакомился со снайпером, у которого тыльная сторона грязного подворотничка была исписана словами из псалма – 90: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой и уповаю на Него...»

Война давала столько поводов, чтобы стать циником. Или убежденным мистиком. Каждый месяц – а на боевых – каждый, бывало, день – она заставляла тебя мучиться в поисках ответа на извечный вопрос: «Господи, почему его, а не меня?! И когда же – меня? Через минуту или через пятьдесят лет?»

Сегодня солдат возносил молитву тому, кого на следующий же день проклинал.

И наоборот.

Помню, лет пять тому назад – кажется, в Кандагаре – паренек, только что прибывший туда после учебки, во время обстрела шептал быстро-быстро: «Мамочка, возьми меня в себя обратно! Мамочка, возьми меня в себя обратно!..» А другой, оставшись без рук и глаз, отправил из госпиталя письмо отцу «На черта ты, старый хрен, сделал это девятнадцать лет назад?!»

В одном из наших монастырей и познакомился с болезненного вида человеком, который в конце разговора переспросил: «Вы были в Афганистане? Когда? Хм. И мне довелось...»

Что за историю поведал мне он! Как-то раз пошел он в камыши по нужде, а в это время начался обстрел.

Парень поклялся, что, если ему будет спасена жизнь, он уйдет в монастырь. В тот самый момент ребят из его отделения, стоявших на блоке неподалеку, накрыло прямым попаданием из миномета.

Он рассказал и больше не проронил ни слова. Я по привычке продолжал атаковать его длинной очередью вопросов. Он стиснул зубы, повернулся резко, на армейский манер, и ушел.

Вот тогда-то я и понял, что в этой войне вообще ни черта не смыслю.

В 86-м под Баграмом я почти сутки провел с заместителем командира роты по политчасти Сашей Бородиным.

Дело было числа пятнадцатого июня.

Поразила печать смерти на его лице: бывает и такое. Когда видишь ее – мурашки по загривку. Гибельность в тот день витала в воздухе.

...А через неделю с гаком, 24 июня, его невеста – по другую сторону границы, в Крыму, в поселке Щепкине – собралась на школьный выпускной бал. Белой материи в магазинах не нашли и, шив себе платье из черной, отправилась танцевать. Когда Тамара Петровна, мать замполита, узнала про черный цвет, задохнулась, беспомощно зашарила глазами, ноги ее обмякли. Она еще крикнула иступленно в телефонную трубку: «Почему же черный – сними черный! Ради Христа, сними черный!»

Но было поздно: кто-то (кто?) уж очень хотел, чтобы девочка в свои семнадцать стала невенчанной вдовой.

24 июня, в тот самый час, когда в щелкинской средней школе начались танцы, заместителя командира роты Бородина тяжело ранило, а в 10.30 следующего дня он скончался.

«Черный тюльпан» доставил труп в Крым в холодном цинке.

Случайно случился случай? Стечение обстоятельств? Не знаю. Знаю другое: иногда то, в чем ты боялся молча признаться, чтобы не утратить остатки уважения к самому себе, оказывалось там, в Афганистане, всеобщей, но тщательно скрываемой манией.

Как-то раз в нужнике я стал невольным свидетелем страстной, неистовой молитвы дюжего сержанта-спецназовца. Я скорее мог поверить в самое невероятное чудо (например, что мы выиграем войну), но только не в то, что видел своими глазами. Парень был олицетворением несокрушимой мощи спецназа – надежды наших надежд, генштабовского идола-божества. Не помню, о чем конкретно он просил. Помню, что сортир был единственным безопасным местом в той части, куда не мог проникнуть вездесущий глаз замполита, который, скорее всего, тоже молился втихаря, но не там и не в то время. Да и просил замполит, должно быть, о другом. О чем? Я готов был проторчать в той части на пару недель дольше, еще одну ночь пролежать в засаде – лишь бы узнать ответ на заинтриговавший меня вопрос. Но в тех местах тогда ничего не происходило, и я уехал в Кундуз: здоровая жажда происшествий оказалась посильней нездорового любопытства. Меня всегда интересовала не столько видимая сторона жизни, сколько ее затемненная, если угодно – мистическая сторона.

Говорят, если хочешь понять явление, войди в него через черный ход. Но где искать начало нитки, образующей клубок тайн под названием «война в Афганистане»?

Сказать, что это была ошибка, – значит ничего не сказать: как известно, найти ошибку значительно легче, чем истину.

«Франц Фердинанд жив! Первая мировая война была ошибкой».

«Брежнев был не прав! Война в Афганистане была ошибкой».

Эти фразы стоят друг друга.

Но люди, тщась объяснить себе что-то, часто довольствуются бессмысленной фразой, видимостью.

Даже если завтра общественности предоставят все секретные документы, связанные с решением войны в Афганистане, это вряд ли прольет свет на истину, но, возможно, еще больше запутает клубок.

Конечно, было бы любопытно ознакомиться с секретными телеграммами, которые слали из Кабула в Москву в 79-м году представители МИД, КГБ и Минобороны – Пузанов, Иванов и Горелов.

Было бы интересно узнать, что сообщил руководству начальник Главпура Епишев, посетивший Афганистан вскоре после Гератского восстания и встретившийся там как с Тараки, так и с Амином. Или какие впечатления вывез из Кабула Главком сухопутных войск Павловский? Или почему застрелился в конце декабря 79-го заместитель Щелокова генерал Попутин, незадолго до самоубийства ездивший в Афганистан? Какого рода переговоры велись между Бабраком Кармалем и советским руководством весной и летом 79-го? Что привело Чурбанова в Афганистан вскоре после начала девятилетней войны? Какие дары преподносили советским официальным лицам те афганцы, которые получили высокие государственные посты у себя в стране сразу же после ввода 40-й армии? Почему, наконец, было дано указание убить Амина?

Но все это легкие вопросы. Есть и посложней. Однако дело даже не в них. Сегодня исследователи дают самые разные объяснения тому, что произошло 27 декабря 79-го года.

Одни полагают, что Брежнев и его коллеги, решив послать войска в Афганистан, хотели убить сразу двух зайцев: уничтожить вооруженную оппозицию и убрать Амина, чтобы привести к власти группировку во главе с Бабраком Кармалем. Международный отдел ЦК КПСС, МИД и КГБ связывали с именем этого человека надежды на объединение НДПА, распавшейся на две фракции – Хальк и Парчам. Вывод же войск, как мыслилось, был бы осуществлен потом в обмен на прекращение зарубежной финансовой и военной помощи повстанцам.

Другие считают главной причиной войны то, что Брежнев, который целовался в засос и обнимался с Тараки во время краткой остановки последнего в Москве на пути из Гаваны в Кабул, не смог простить Амину, сместившему всего через несколько дней после этого Тараки с поста президента и, более того, отдавшему приказ о его убийстве, такой откровенной наглости. Амин, рассказывала его вдова, был отравлен нашим агентом-поваром, а потом убит при штурме его дворца советскими специальными подразделениями.

Бабрак Кармаль, прибывший в Кабул на нашей броне, объявил себя новым правителем Афганистана, а Амина – агентом ЦРУ. Дело дошло до того, что он затребовал у американского правительства секретные документы, подтверждавшие это. Советская пресса активно поддержала такую версию.

Многие данные свидетельствуют о том, что тогдашнее руководство КГБ действительно было обеспокоено деятельностью Амина. Его левацким креном во внутренней политике (террор против духовенства, интеллигенции и партийных кадров), а также его участвовавшими контактами с представителями США и Пакистана. Амин несколько раз просил Брежнева о встрече в любом месте и в любое время, однако ответом было лишь молчание Москвы. Есть основания полагать, что именно этим было вызвано его шараханье то в сторону Пакистана, то в сторону Америки. Нашу зоологическую шпиономанию подхлестнул тот факт, что в юные годы Амин обучался в нью-йоркском Колумбийском университете.

Встретившись недавно с Бабраком Кармалем, я спросил его:

– Вы действительно верили в то, что Амин – агент ЦРУ?

– Я могу судить, – ответил Кармаль, – лишь по результатам его деятельности. Если бы американцы потратили сто миллиардов на дестабилизацию обстановки в Афганистане, они не смогли бы нанести ДРА столько вреда, сколько нанес стране Амин.

– Если исходить из подобной логики, – возразил я, – Брежнев, доведший СССР до ручки, был агентом сразу всех западных разведок.

В ответ Кармаль вспомнил очередную цитату В.И.Ленина, а потом, хитро улыбнувшись, спросил:

– Скажите, а в СССР еще не запретили упоминать имя Ленина?

И сам себе ответил громким смехом.

Однако объяснять девятилетнюю трагедию тем, что Леонид Ильич обиделся на строптивного Амина, – значит не объяснять ничего.

Академик Арбатов, хорошо знавший Брежнева и часто общавшийся с ним вплоть до последних дней жизни бывшего лидера, говорил мне, что к концу семидесятых годов Брежнев был не только не в состоянии принимать самостоятельные политические решения, но даже не мог вести осмысленную беседу более двенадцати-тринадцати минут: его внимание и интеллектуальные способности увядали на глазах.

– Когда они принимали решение, – сказал Арбатов, – то не посоветовались ни со специалистами, ни со своими внешнеполитическими советниками. Лично я узнал о вводе войск по радио из сообщения «Голоса Америки». И тут же сказал об этом Добрынину. Мы с ним лежали тогда в больнице...

– Насколько мне известно, – сообщил мне другой приближенный к Брежневу человек, – Политбюро, собравшись 13 декабря, даже не голосовало по этому вопросу. Брежнев доложил о решении вводить войска, а Устинов тут же перешел к военной стороне дела. Тем не менее версия о личной ответственности Брежнева получила широкое распространение. Одни утверждали, что таким образом Брежнев хотел оставить о себе память в истории России как о лидере, расширившим зону влияния Советского Союза на Востоке. Другие доказывали, что Брежневу импонировало стремление Петра пробиться к теплым морям. По их мнению, следующим на очереди был Пакистан или Иран. Но один наш высокопоставленный мидовский функционер вполне логично доказывал мне, что во всем виноваты военные. Что именно они запугали Брежнева скорой высадкой американского десанта в «нашем южном подбрюшьи».

– Иначе, – говорил он, – зачем было вводить в Афганистан части ПВО? Повстанцы-то ведь авиацией не располагали. Генштаб боялся американского вторжения как реакции Белого дома на потерю Ирана. Да и вообще к середине семидесятых наши войска достигли паритета с Америкой, и им во главе с Устиновым не терпелось опробовать где-нибудь свою мощь. Под рукой оказался Афганистан.

Однако такую версию категорически отверг генерал армии В.И.Варенников – в ту пору начальник Главного оперативного управления (ГОУ), первый заместитель начальника Генерального штаба, а ныне заместитель министра обороны СССР и Главком сухопутных войск.

– Генштаб, – сказал он мне, – выступал против идеи ввода наших войск в Афганистан до тех пор, пока это не приняло форму решения. Генштаб предложил такой альтернативный вариант: советским частям встать гарнизонами и в боевые действия не ввязываться... Сейчас ясно, что линия, которую предлагал тогда Генеральный штаб, была в принципе верной. И нам надо было отстаивать ее до конца, хотя это и таило в себе тяжелые последствия для защитников такой линии... К сожалению, в свое время мы поддались напору со стороны Бабрака Кармалы и позволили вовлечь себя в затянувшуюся войну. Подобная точка зрения генерала армии (после публикации в Огоньке") вызвала бешенство Бабрака Кармалы.

– Со всей ответственностью, – говорил он, затыкаясь «Кентом», а я слышал свист в его легких, – заявляю, что до начала 1980 года я ни по закону, ни на практике не был ни руководителем Афганистана, ни тем человеком, который пригласил в мою страну советские войска... Надо сказать, что действия советских войск в Афганистане, особенно на начальном этапе, не могли не вызвать недовольства народа.

Здесь можно упомянуть и о наступательной тактике ведения боевых действий, и о проверке новых видов оружия, и о провокационных бомбардировках, происходивших вопреки моей воле, воле афганцев и ряда советских офицеров. Это общеизвестно, что я неоднократно хотел подать в отставку...

Если хотите знать мою точку зрения, то надо было думать в самом начале. Если ввод войск – ошибка, то она проистекает из непонимания Афганистана, плохого знания этой страны и характера афганцев.

Но кто же тогда пригласил советские войска в Афганистан – Кармаль, который этого не признает и который не был уполномочен приглашать? Или Амин, который был убит через несколько часов после ввода войск?

Многие военные и мидовцы говорили мне, что сценарий, по которому развивались события в Афганистане, был разработан в КГБ.

– Понимаешь, – заметил один из них, – время от времени спецслужбы должны доказывать политическому руководству страны оправданность и необходимость своего существования, а также тех безумных финансовых затрат, которые идут на обеспечение их деятельности. Поэтому периодически они создают заговоры, а потом сами же их успешно раскрывают и нейтрализуют.

Человек, близко знавший Ю.В. Андропова, сказал мне, что сперва бывший председатель КГБ не поддержал идею ввода войск, но потом все-таки победил рефлекс, выработанный у него еще четверть века назад в Венгрии, где он был послом и куда бросили войска в 56-м. Андропов, как и многие его сверстники в Кремле, временами смотрел на Афганистан как на вторую Испанию, с событиями в которой ассоциировались в его сознании молодость и «победоносное шествие социализма» в СССР. Почему бы не повторить?

Кремлевские старцы и впрямь слепо любили коммунизм и идею мировой революции, но с годами эта любовь приобрела извращенный характер.

Однако мне приходилось встречать троцкистов, которые утверждали, что Россия вторглась в Афганистан для того, чтобы подавить афганскую революцию. Подобные заявления находили сочувствие среди иных халькистов, недовольных тем, что Москва привела к власти парчамиста Кармалю.

Почему, спрашивали они, вы делали все, чтобы защитить частную собственность и передать власть среднему сословию, а не революционному беднячеству?

А бывший государственный секретарь США Александр Хейг сказал мне, что Москва вторглась в Афганистан потому, что была обеспокоена укреплением пояса исламского фундаментализма на своих южных рубежах.

– Советский Союз, – заметил он, – и Афганистан разделяет лишь тонкая линия Амударьи. И потому любое мощное исламское движение на ваших южных рубежах неизбежно отразится на советских мусульманских республиках.

Логика Брежнева объяснима.

Однако с Хейгом никогда бы не согласился Кармалю, который склонен рассматривать советскую военную помощь как проявление личной благосклонности к нему со стороны Брежнева. И тем не менее у бывшего государственного секретаря найдется масса сторонников. Иные из них идут еще дальше, заявляя, что девятилетняя война была последним крестовым походом на Восток, превентивной битвой христиан с мусульманами перед массированным и окончательным наступлением последних. Я знал религиозных фанатиков, видевших в этой войне противоборство Христа и Аллаха. И вспоминал о них в Кабуле, когда тамошние дукашники говорили мне: «Русский солдат всегда шел с севера на юг. Теперь он впервые уходит с юга на север. И он будет отступать все дальше и дальше. Аллах свидетель».

А Гульбеддин Хекматиар, один из лидеров афганской вооруженной оппозиции, заявил в мае 1987 года: «Если моджахеды будут настойчиво продолжать борьбу, недалек тот день, когда оккупированные земли в советской Средней Азии будут освобождены».

– Отдаленная возможность того, что такое может случиться в какой-то момент в будущем, – убежденно говорил Александр Хейг, – и вынудило Красную Армию войти в Афганистан в 1979 году.

Однако если и допустить, что слова генерала несут в себе намек на истину, то 8 марта 1987 года, когда повстанческий отряд Ортабулаки обстрелял реактивными снарядами через границу таджикский городок Пяндж⁹⁶, полувоображаемая опасность разрастания мусульманского пояса неожиданно трансформировалась в кошмарную возможность.

...А тогда, весной 79-го, Кремль с опаской наблюдал за действиями Вашингтона в Афганистане. Москва была убеждена, что Вашингтон видел в нем не только первый и долгожданный пример краха революции под натиском вооруженной оппозиции, но и шанс расшатать советские мусульманские республики.

Тем временем советское посольство в Вашингтоне информировало Москву о том, что тогдашнему помощнику президента США по вопросам национальной безопасности Збигневу Бжезинскому удалось убедить колебавшийся государственный департамент в

⁹⁶ Подробно этот эпизод описан в документальной повести А.Боровика "Встретимся у «Трех журавлей». (Прим, ред.)

том, что укрепление альянса Москва – Кабул угрожает безопасности США, а также что, если удастся скорректировать должным образом развитие ситуации в Афганистане, это сможет принести США существенную политическую выгоду. Как отмечалось чуть позже в очередном сообщении госдепа, «смена власти в ДРА продемонстрирует всему миру, и в особенности „третьим странам“, что убежденность Советов в исторической неотвратимости социализма не всегда оправданна».

Начиная с апреля 1979 года работники американского внешнеполитического ведомства начали под давлением Бжезинского регулярные встречи с лидерами афганской вооруженной оппозиции.

Каждое новое сообщение из-за рубежа увеличивало нервозность в Кремле.

Более десяти лет тому назад в Пакистане к власти пришел правый военный режим, свергнувший прогрессивное правительство Бхутто.

Зия-уль-Хак видел в обострении афганского конфликта уникальную возможность добиться резкого увеличения американской военной и финансовой помощи Пакистану. Аналогичным образом размышляли и преемники Мао, заложившего незадолго до смерти неплохие основы для американо-китайского сотрудничества. Что же касается египетского президента Садата, прозванного после подписания Кемп-Дэвидского договора «предателем дела арабов», то он спешил реабилитировать себя в глазах мусульман всего мира, а поставки оружия мятежникам в Афганистан (преимущественно советского) открывали ему такую возможность.

Без помощи Египта, Китая, Пакистана и США афганской вооруженной оппозиции было бы нечем воевать. По крайней мере так или приблизительно так, как говорят, объяснял себе советский министр иностранных дел А.А.Громыко враждебные действия четырех стран.

Ни его, ни Устинова, ни Андропова, ни Брежнева уже нет в живых. И тайну, связанную с вводом наших войск в Афганистан, они не забыли прихватить с собой, но, правда, великодушно оставили нам возможность свалить всю вину на них и тем самым спасти тех, кто еще здравствует. Воспользуемся ли мы этой «услугой»? Или будем копать глубже?

Если будем, то в данный момент меня интересует другой вопрос: где та точка отсчета роковых событий, начиная с которой все у нас в Афганистане пошло кувырком?

Может быть, все началось тогда, когда мы назвали кабульский военный переворот 78-го года Апрельской революцией и сразу же превратились в рабов этой фразы? Или же все у нас пошло вразнос с 68-го года в Чехословакии, где мы доказали самим себе, что при помощи войск можно сохранить режим? Или когда мы сделали то же самое двенадцатью годами раньше в Венгрии?

Некоторые из нас, споривших об этом в Кабуле, полагали, что Афганистан начался точно в 56-м. Потому что, во-первых, тогда была Венгрия, а во-вторых, тогда мы приняли первую группу афганских офицеров и начали обучать их в наших военных училищах и академиях, а они через двадцать два года попробовали применить теорию на практике.

А если все для нас началось и кончилось в Афганистане еще за два года до установления русского протектората над Бухарой? Тогда, почти век назад, полковник Генштаба Глуховской, знаток Средней Азии, написал своему начальнику генералу Кауфману-Туркестанскому: «Никакие убеждения, советы, угрозы России не смогут пересоздать вековое устройство мусульманских государств...»

Или же все провалилось в тартарары, когда Россия презрела печальный опыт викторианской Англии в Афганистане? А он научил британцев тому, что лучше субсидировать мятежных племенных вождей, чем пытаться их утихомирить или уничтожить. Во всяком случае, стоило Брежневу лишь удвоить советскую экономическую помощь Афганистану, вместо того, чтобы посылать туда армию, и нам не пришлось бы сегодня раскаиваться в содеянном.

Еще сто лет назад один из английских военачальников в Афганистане, сэр Роберте, писал: «Нам не надо бояться Афганистана, и лучше всего предоставить ему самому решать свою

судьбу. Может быть, это и не столь привлекательно для нас, но я чувствую, что прав, когда утверждаю: чем меньше они будут видеть нас, тем меньше будут ненавидеть. Даже если предположить, что Россия попытается вторгнуться в Афганистан или захватить через него Индию, у нас будет значительно больше шансов перетянуть афганцев на свою сторону, если мы воздержимся от какого бы то ни было вмешательства в их внутренние дела». Чему мы, обуреваемые горделивой идеей мессианства, хотели научить афганцев, если сами не научились вести как следует собственное хозяйство? Скорей всего мы экспортировали не революцию, а застой.

Порой мы напоминали тех самых астронавтов из знаменитого фантастического романа Станислава Лема, которые, отчаявшись распознать сущность мыслящего океана на планете Солярис, решили воздействовать на него пучками сверхжесткого рентгеновского излучения.

Астронавты полагали, что изучают Солярис, но на самом деле он изучал их.

Великие путешественники говорили: «Рели хочешь познать чужую страну, растворишься в ней». Но нам и этого не удалось. Восемь миллиметров брони на протяжении всех девяти лет наглухо отделяли нас от Афганистана. Мы попытались понять страну, со страхом глядя на нее сквозь триплекс бронетранспортера.

Мы полагали, что воздействуем на страну при помощи телевидения, бомбардировочной авиации, шкоп, танков, книг, артиллерии, газет, новых видов оружия, экономической помощи и АК-47, но редко задумывались над тем, какое воздействие оказывал на нас Афганистан, пропуская через себя сотни тысяч советских солдат, офицеров, дипломатов, журналистов, ученых, партийных и военных советников.

Трудно определить, чему нам удалось научить Афганистан, однако много легче установить степень влияния Афганистана на советских людей, воевавших и работавших там.

Старческим мановением брежневской руки они были брошены в страну, где подкуп, взяточничество, бесчестность, спекуляция, наркотики были не менее обычны, чем у нас очереди в магазинах. А эти инфекционные болезни поопасней тифа или гепатита.

Особенно если они приобретают характер эпидемии.

Наш советнический и офицерский корпус моментально поделился на две фракции – Хальк и Парчам. И та война, которая шла внутри НДПА, переметнулась и на членов КПСС, работавших в Афганистане. К середине 80-х уже не собака виляла хвостом, но хвост – собакой.

Время шло, и мы постепенно стали походить на Балаганова и Паниковского, которые давно поняли, что золота в гирях нет, но все равно продолжали пилить их с еще большим остервенением.

Война тянулась девять долгих лет – почти одну седьмую часть всей советской истории.

В восьмидесятом году 40-я армия была такого же возраста, что и я: большинству солдат не перевалило еще и за двадцать. Но в последний раз, когда я был в Афганистане, с холодным ужасом вдруг заметил, что теперь армия младше меня на 10 лет.

Одно "поколение входило в Афганистан. Совсем другое его покидало.

По официальной статистике, за годы войны мы потеряли в «нашем южном подбрюшье» около 15 тысяч людей, были ранены 36 тысяч. Без вести пропавших – более 300 человек. Дрожащий росчерк пера дряхлеющего «полководца» стоил нам около 60 миллиардов рублей.

Но разве можно сравнивать эти потери с потерями нравственными?

В Афганистане мы бомбили не повстанческие отряды и караваны, а наши идеалы. Эта война стала для нас началом переоценки наших этических ценностей. Именно в Афганистане изначальная нравственность нации вошла в вопиющее противоречие с антинародными интересами государства.

Дальше так продолжаться не могло. И не случайно, что идеи перестройки победили именно тогда, когда война достигла своего пика, – в 85-м.

Но неужели за прозрение нам следовало платить ценою 15 тысяч молодых жизней?!

Вспоминается разговор между офицерами, услышанный в январе 89-го на баграмском аэродроме:

– Польза от этой войны, – сказал один из них, – хотя бы в том, что здесь мы вкусили от древа познания. Социализм потерял тут свою девственную непорочность. Как заметил один наш генерал – ученый, с которым я близко сошелся в Афганистане, – все победоносные войны, которые вела Россия, вели к усилению тоталитаризма в стране, все неудачные – к демократии...

Я часто встречал людей, искавших позитивную сторону этой войны. Одни говорили так: «Нет худа без добра. Если бы не ввели войска сюда, то наверняка бы – в Польшу. А это стало бы еще большей катастрофой».

Другие утверждали, что в Афганистане мы испытали и довели до совершенства многие виды оружия и боевой техники.

Но таких было мало, и спорить с ними не стоило, потому что они отличались непробиваемой твердолобостью и упрямством, подобно танку.

Однако не только сама война наносила ущерб нашей морали, но и многолетнее официальное вранье о ней в газетах и по телевидению. Я не виню журналистов. Если кто из нас и пытался писать правду, то военная цензура виртуозно превращала ее в ложь.

Человек, в той или иной мере связавший свою жизнь с Афганистаном, находясь там или регулярно приезжая туда, проходил приблизительно через четыре стадии понимания того, что там происходило.

Первая стадия (длилась обычно до трех месяцев, в зависимости от прозорливости или догматизма вновь прибывшего): «Война идет нормально, надо добавить еще двадцать-тридцать тысяч войск, и тогда вообще все будет чик-чик».

Вторая стадия (пять месяцев): «Уж коли мы ввязались в это гиблое дело, надо быстрее довоевывать. Тридцатитысячной добавкой тут не обойтись. Чтобы перекрыть границы, нужна еще по крайней мере одна армия».

Третья стадия (еще полгода): «Нет, братцы, что-то тут глубоко не так. Ну и вляпались же мы!»

Четвертая стадия: «Братва, надо делать отсюда ноги. И чем быстрее, тем лучше».

И армия последовала последнему совету. Ушла из Афганистана, как могучий штангист с помоста, не взяв веса.

I

К концу 1988 года большая часть 40-й армии уже покинула Афганистан, но почти пятидесятитысячное войско все еще оставалось там, ожидая команды на вывод. Декабрь незаметно перешел в январь, и тот потащился медленно, с ленцой, словно длиннющий товарняк на подходе к конечной станции – с коротенькими просветами-днями между долгими, изматывающими терпение, мерзлыми гулками ночами.

К исходу первой январской недели потянул северный ветер, ударил мороз, в горах выпало еще на четверть снега. Но на кабульских улицах он так и не появился, и ветер от нечего делать гонял проржавевшие консервные банки из-под солдатских сухпайков, пыль да песок.

Эвакуация нашего Центрального военного госпиталя (ЦВГ) началась 19 декабря, и сегодня, 9 января, там, по слухам, оставалось всего три-четыре врача, которые должны были улететь завтрашним утренним рейсом в Ташкент.

Вечером я поехал в госпиталь, чтобы выпросить необходимых лекарств: предстояло жить в Афганистане еще месяц с гаком.

ЦВГ, обычно столь шумливо-суетливый, поразил своей зловещей пустотой и остервенением, с которым он хлопал всеми окнами и дверьми. У стелы, бессмысленно устремленной в мглистое небо, в котором, судя по гулу и мигавшим огонькам, было

больше транспортных самолетов, чем звезд, какой-то солдат, заломив крутую цену, попытался продать мне десять банок сгущенки.

Надпись на стеле, как и пять лет назад, утверждала, что «Советско-афганская дружба вечна и нерушима».

Три офицера-афганца в советских бушлатах, озираясь по сторонам, несли на тощих спинах ржавые кондиционеры, с мясом выковырянные из окон покинутых модулей. Время от времени истошно взывали пружины, вырываясь из прогнивших госпитальных матрацев. Со скрипом открылась и потом закрылась дверь с надписью «СЕСТРА-ХОЗЯЙКА»: в этом кабинете два года назад мне накладывали повязку на колено после неудачного прыжка из вертолета, потом зачем-то делали анализ крови и, не дождавшись его результатов, через пару минут объявили, что анализ чист «как слеза ребенка». Выйдя отсюда после перевязки, я, помнится, увидел парня на носилках, у которого оторвало обе ноги выше колен.

Взгляд его заплаканных глаз прошибал насквозь даже самых бронированных вояк. То был взгляд человека, который знал наперед всю свою и вашу жизнь. Это делало его еще больше похожим на веласкесовского карлика.

Память отчетливо воспроизводила увиденное и услышанное в ЦВГ за годы войны. Казалось, сотни прошедших через этот госпиталь раненых и больных, выживших и умерших, молчаливой толпой бродили следом за мной по темным, опустевшим коридорам.

Вот здесь, у этой самой операционной, я видел в июле 86-го солдата, совсем еще мальчика, у которого снесло осколком снаряда всю нижнюю часть лица: за три часа после ранения – он не терял сознания – солдат выстрадал не меньше, чем человечество за всю свою историю.

Потом кто-то додумался перевернуть его на живот, ткнув тем, что осталось от лица, в подушку, чтобы он не захлебнулся кровью.

В госпиталь меня, только что впервые приехавшего в Афганистан, отправил тогда бывший ЧВС 40-й армии генерал Щербаков. Он сделал это в ответ на наивную просьбу дать мне борт, чтобы лететь на боевые в район Рухи. «Езжай сначала в ЦВГ, поброди там, – сказал он, – и посмотри, что война делает с человеком. Остуди свой пыл, и после этого поговорим».

ЦВГ пыл мой не остудил, но помог еще раз убедиться в том, что вид чужих, более тяжелых страданий превращает твои собственные переживания, до того казавшиеся безысходно-тупиковыми, в сущий пустяк. Глядя на смертельно раненных, чувствуешь, как где-то на самом доньшке подсознания шевелится радостно-подлое: «Ух, не со мной! На этот раз – не со мной!»

...Сейчас я продолжал этот «вечерний обход» в поисках хоть одной живой души, пока не наткнулся на ведущего терапевта, человека средних лет, деловито резавшего в одной из палат на окровавленном табурете кусок мяса.

– Баранина, – вовремя пояснил он. – Начальник психиатрического отделения и я готовимся к прощальному ужину. Милости просим.

Мясо, истекавшее кровью в госпитальной палате, подействовало на меня удручающе. Я отказался от приглашения, но не забыл попросить лекарств, которые потом, надеялся я, никогда мне не понадобятся. В массивном железном шкафу остались лишь таблетки седуксена, какие-то неведомые депрессанты и транквилизаторы. Я зачем-то набил ими карманы. Должно быть, из жадности.

Таблетки и впрямь так никогда мне и не пригодились. Их забрал у меня, обменяв на пару банок тушенки, десантник с меланхолически-потусторонним взглядом, служивший на 42-й заставе близ Саланга. Бросив пару «беленьких» в рот, парень пообещал «растянуть балдеж до самой до границы».

Мало того, что он знал наизусть официальные медицинские названия каждой таблетки (реланиум, элениум, амитриптилин и т. д.), но именовал каждую из них на своем смачном жаргоне. Помню лишь, что седуксен он прозвал «перпетуум кайф».

– Как кончилась история с вице-консулом? – спросил я терапевта. (Еще в прошлом году его привезли в госпиталь после того, как кто-то тщательно и жестоко избил его на собственной же вилле. Травм было много. В том числе пробитый череп. Эхо этой истории разнеслось по всему Афганистану.) – У вице-консула поехала крыша, – ответил терапевт. – Вдруг потребовал автомат. Его спросили: к чему тебе АК?

– И что же он?

– Говорит, АК необходим, чтобы китов бить... Или ни с того ни с сего попросил отправить его на Дальний Восток.

– Зачем?

– Говорит, так он будет ближе к американцам. Словом, поперло подсознание... – Отрезав очередной кусок мяса, ведущий терапевт вытер взмокший лоб рукавом.

– Вы отправили вице-консула в Союз?

– Волен-с неволен-с... Мы с ним повозились – пусть теперь другие.

В прошлый приезд сюда я познакомился с парнем, лежавшим в психиатрическом отделении ЦВГ и обеспокоенным тем, что у него исчезла тень. Точь-в-точь как в пьесе Шварца. Логически, с пафосом в голосе он доказывал, что человек без тени не может, не должен жить. Несколько раз он пытался покончить жизнь самоубийством. Этот случай всплыл в памяти уже в Москве, когда Леня Раевский, «афганец», студент МГУ, поведал мне замысел своего киносценария, главными героями которого должны стать ветераны Афганистана, вернувшиеся домой с войны. От всех прочих людей их отличает одно – отсутствие тени. Был тут погребен какой-то страшный смысл, до которого невозможно докопаться на трезвую голову. Вот тогда я и понял: то, что происходило в Афганистане вне стен психиатрического отделения ЦВГ, и было истинным сумасшествием. А «психушка» ЦВГ – лишь способ уйти, избавиться от безумия, именуемого войной.

Прежде всего давала сбой психика тех, кто воевал в составе десантно-штурмовых подразделений – наиболее самозабвенно и жестоко. Я знавал одного из таких людей, прозванных здесь «рэмбовиками». Парень служил второй срок в Афганистане. Бросив в стакан с желтой жидкостью сухого спирта, пять ложек растворимого кофе и вылакав его до дна, он сказал: «Водка – вода. Спирт – горючее. Понимаешь, с головой мужика на войне происходит то, что с головой бабы во время аборта: рвутся логические связи... Пить будешь?» Я заколебался, потому что у меня от одного вида этой смеси нутро свело в морской узел, а он, должно быть, посчитал меня придурком, с которым и разговаривать-то без толку, не то что пить.

Начальник психиатрического отделения ЦВГ полковник Фролов, пришедший на прощальный ужин, сразу же отказался отвечать на мои вопросы.

Я спросил:

– Боитесь?

Он сказал:

– Разве человека, который видит перед собой лужу и не идет в нее, следует называть трусом? Мне 50 лет. Я полковник. К чему же мне портить самому себе жизнь?

Логика его была пуленепробиваемой.

Я вышел во двор.

Солдат опять предложил мне сгущенку: на сей раз цена была ниже, но все равно не по карману командированному в Афганистан журналисту.

Прислонившись спиной к стеле, содрогаясь, точно на электрическом стуле, всем своим миниатюрным телом, плакала женщина, одетая в военную форму. Слезы все еще текли из ее глаз, оставляя на обветренных щеках тонкие белесые от соли бороздки, словно полосы на вспотевшем конском крупе после резкого удара хлыстом.

– Вы не с пересылки? – спросила она, перемогая судороги в горле.

– Нет, просто журналист, – ответил я и тут же пожалел, что я не с пересылки, потому что женщина разрыдалась пуще прежнего. Губы ее задрожали. Разлетные брови сошлись у переносья.

– Я могу вам как-то помочь?

– Да как вы можете мне помочь в этом дурдоме? – Она по-детски, кулачками потерла мокрые глаза. – Вызвали меня сюда из Мазарей сделать один блатной аборт... Обещали отправить обратно – там все мои вещи остались – и забыли. Сегодня утром ездила на аэродром, погрузили нас всех в транспортники, вот-вот должны были взлететь... – она опять всхлипнула, – ..а потом согнали с борта и начали грузить армейские архивы. Все вещи мои уж небось разворовали...

– Прекрати истерику. – Резкий мужской голос раздался из-за моей спины. – И без тебя делов невпроворот.

Это был майор, выскочивший на улицу в одной тельняшке. "

Он спросил:

– Вы кто?

Я сказал:

– Журналист.

– Прекрати реветь! – опять рявкнул он, подмигнув мне. – Видишь – журналист, так его и так... Ей-бо, прекрати!

– Да мне вот только сюдашеньки печать постави-и-ть, товарищ майор, – жалобно завывла она, – подпись и на пересылку отправь-и-ть...

Он сказал:

– Не обращайтесь на бабу внимания, товарищ журналист.

Как все бабы – дурная. Просто нервный срыв. Нештатная ситуация. Люди очень устали. Приезжайте завтра.

Я спросил:

– Но завтра здесь уже никого не будет, верно?

– Тогда не приезжайте завтра. Всего вам! – Он деланно улыбнулся, показав желтые, как дедово домино, зубы.

Майор взял женщину за руку и повел в модуль. На прощание она бросила мне через плечо скудную, жалкую улыбку.

Я прихватил эту улыбку с собой в дорогу. На память.

II

С каждым днем войск в Афганистане становилось все меньше, 40-я армия отходила на север, словно море в отлив, и ты, заскакывая днем в безоружное совпосольство, чувствовал себя – вместе со всей дипломатической братией – зайцем в лесу, кишашем волками.

Зайцем, который, прижав уши, судорожно сжимал в лапах здоровенный плакат: «Ребята, давайте жить дружно!» Теперь мы активно примирялись со всем лесом, а волков с недавних пор стали официально величать «вооруженной оппозицией».

Часто вспоминалась песенка, которую любил напевать знакомый парторг полка:

По дороге по долине ехал полк в одной машине,

Но вдруг вышел серый волк – тогда мы его убедили:

Ты не бойся, старый волк, не щелкай зубами.

Мы кадрированный полк и тебя боимся сами.

Армия уходила и в какой-то момент отобрала у журналистов давным-давно розданное им оружие – пистолеты Макарова.

Под опустевшей портативной кобурой на груди репортерское сердце забилося чуть быстрее.

Ветеран советского пресс-корпуса в Кабуле Лещинский подбадривал всех тем, что «Макаров» был нужен лишь для того, чтобы в крайнем случае успеть пустить себе пулю в лоб: жизни бы он все равно не защитил.

– Ничего, – говаривал он, – при мне остались мои клыки!

И демонстрировал внушительный оскал, пожелтевший от здешней воды и сигарет.

По ночам пронзительно, словно нетопырь, кричал мулла:

«Алла акбар! Алла акбар!» Раза три за ночь ему обязательно удавалось меня разбудить.

Но однажды я проснулся в холодном поту от кошмарного сна. Снилось поле, усеянное трупами. Даже очнувшись, я явственно чувствовал фиалковый запах мертвечины. Утром выяснилось, что просто-напросто сломался холодильник: он мелко, лихорадочно дрожал (тоже боялся, сволочь!) в гигантской луже крови, вытекшей из морозилки, которую мой предшественник месяца два назад плотно забил мясом. С тех пор на кухонном линолеуме остался, несмотря на все старания очистить, соскоблить его, бурый кровоподтек.

Кровоподтек всякий раз напоминал мне про тот сон, но чаще это делала сама война – кошмарный сон наяву. Как-то раз я раздобыл у приятеля «Толкователь ночных грез», чтобы разгадать суть видения, но оказалось, что до меня такая дрянь никому никогда не снилась.

– Глюки, брат, глюки! Но дальше будет хуже, – успокоил меня один наш кабульский старожил.

Иногда облака по небу проносились со скоростью истребителей, хотя ветра не было и в помине. А когда он налетал, обрушиваясь на Кабул всей своей мощью, они неподвижно зависали, словно разбухшие аморфные белые вертолеты – души подбитых за десять лет Ми-8 и Ми-24. Ветер все чаще освистывал нас. И ни разу с тех пор как сошла листва осенью 88-го, он не шумел как аплодисменты.

Я часто вспоминал врезавшийся клинком в память визгливый фальцет коренастого майора из баграмской дивизии: «Ни пяди земли здесь нашей нет! Видишь квадрат тени под БТРом? Вот лишь его мы и контролируем». Но под тенью могло быть штук пять мин.

Слова майора были красивыми, но разлетелись бы в прах, вместе с броней, подорвись на одной из них БТР.

Опасность таилась за той горой, пряталась под этим вот камнем...

Я все чаще просыпался с головной болью, потому что даже во сне зубы мои были стиснуты, как потом жаловались свидетели, до скрипа.

С восходом солнца, споро пробивавшегося сквозь скорлупу мглы, город светлел, а я храбрел.

Но заодно замечал, что комната стала еще меньше. Стены надвигались на меня. Каждый новый день отвоевывал метр за метром безопасного пространства. «Ни пяди земли здесь нашей нет...» Сквозь солнце, закрытое стальной решеткой, жалюзи, газетами, одеялом и занавеской, пробивался отраженный от сверкающего глетчера утренний солнечный свет.

Я долго брился, пил желудевый напиток «Бодрость» и ехал в представительство какой-либо советской организации звонить по городскому телефону – договариваться об очередном интервью с очередным «крупным деятелем местного разлива» – и всякий раз читал на аппарате надпись, от которой неизменно веяло пронизывающим холодом:

«Внимание! Враг подслушивает!»

Ни пяди земли... Баграмский майор был прав.

Еще с первого приезда в Афганистан я потехи ради начал коллекционировать надписи – официальные и не очень, на вертолетах и на БМП, на прикладах АКМ и изнанке шлемов. На тыльной стороне двери кабульского морга прочел такую: «Веселись, юноша, в юности своей. Но помни – и это суета!» Ничего подобного я не нашел бы здесь в 80-м, 81-м или 82-м. Но с тех пор прошло девять лет. Менялись надписи, и я вместе с ними.

Число к десятому января я почувствовал, что мое кабульское житье подзатынулось, и стал готовиться к поездке на Саланг. На южных подступах к перевалу намечалась крупная армейская операция. О ней шушукались в городе. Официальных заявлений не было, но разговоры и в штабе, и в посольстве, и на журналистских виллах, и в дуكانах крутились вокруг этой темы.

Призрак предстоящих боевых действий витал в колком прозрачном воздухе, постепенно обретая плоть в виде штабной нервозности, приготовлений к возможным контрмерам повстанцев – терактам и диверсиям в Кабуле.

На транспортнике Ан-12 ночным рейсом я добрался до Баграма и, выпросив там БТР, покатил на север. Мин можно было не бояться: мерзлую землю не так-то просто наспиговать взрывчаткой.

Проскочив баграмский перекресток, где прошлой весной погиб известинский фотокорреспондент Саша Секретарев, мы подбавили скорости.

Дорога круто виляла на поворотах, извивалась меж скал, взлетала и падала.

Напротив меня в транспортере сидел прапорщик с мраморным лицом и серыми губами.

Тело его ритмично подергивалось. Похоже, он слушал никем, кроме него, не слышимую музыку и про себя танцевал. Танец начинался в глазах, захватывал губы и волной шел вниз. Плечи вытанцовывали рок-н-ролл, правый указательный палец с маслянистым колечком – видать, парню частенько приходилось стрелять из АКМ – выщелкивал быстрый ритм. Во взгляде была отрешенность, словно на рок-концерте в «Олимпийском».

– Прапорщик! – сказал я.

Он не отозвался.

– Прапорщик, слышь меня? – крикнул я.

Он сконцентрировал на мне свой блуждающий взгляд, лишь когда я крепко потряс его за плечо.

– Те че? – спросил он, не шевеля серыми губами.

– Нормально себя чувствуешь?

– Я себя вообще не чувствую, а ты меня нервируешь. На, послушай пару минут – и отзынь!

Он вытащил крохотные наушники из-под шлемофона и дал мне. Шнур от них вел в карман бушлата, где грелся дешевенький «уокмэн».

Я надел наушники и перенесся на «Концерт в Китае»

Жан-Мишеля Жарра. Пару минут я плавал в волнах электронной музыки. Нажав на кнопку «Стоп», я вновь услышал рев БТРа – этот «тяжелый рок» войны.

– В Кабуле купил? – спросил я.

– Военный трофей, – загадочно улыбнулся он.

Парень служил в Афганистане по второму заходу. Он почему-то счел нужным мне об этом сообщить.

Я спросил:

– Тебе одного раза показалось мало?

Он ответил:

– Понимаешь, старче, обрыдло мне все в Союзе. Иной раз случались приступы почти плотской любви-тоски по этой Богом, но не мной забытой земле. Ночью мне регулярно снился Афганистан, утром я смеялся, днем скулил, а вечером надирался до чертиков.

Помню, как-то на очередной вечеринке дамочка средних лет ко мне подседа и сказала: «Расскажите про войну». Я спросил: «Что вас, мамаша, интересует?» – «Ну, – ответила она, – например, приходилось ли вам убивать людей? Что вы при этом чувствовали?»

Я психанул, сорвался, заорал на нее: "Вы понимаете, что вы меня спрашиваете?! Нет, вы понимаете, о чем вы только что меня спросили?! Нельзя об этом вот так, как вы, спрашивать!"

Понимаете, нельзя-я!" Утром я проснулся с уже готовым решением ехать сюда опять. Ночью той снились московские православные церкви, но с исламской символикой – месяцами на куполах... Гони обратно мои наушники!

Оставшуюся дорогу он ехал, плотно сжав зубы. Его лицо луной белело в мглистых внутренностях брони.

Темнота растворялась в сверкающем горном воздухе.

День становился ночью. Кровоточащее солнце медленно сползло за горизонт, где-то там, у себя в берлоге, отлеживалось, зализывало полученные накануне раны. Но к утру опять выглядывало и, с опаской озираясь по сторонам, отчаянно шло к зениту. Словно на жертву. И так каждый день.

Солнцу тоже досталось на этой войне. В него стреляли от нечего делать солдаты. Его проклинали, когда оно светило противнику в спину, а тебе – в глаза и слепота не позволяла вести прицельный огонь. На его восход молились мусульмане и наши летчики – когда по ним стреляли из ПЗРК⁹⁷ самонаводящимися на тепловой источник зенитными ракетами: если везло, ракеты уходили на солнце.

...Я как-то подсчитал, что половину всего времени, проведенного в Афганистане, затратил на дорогу, добираясь из одной точки в другую. Дорога эта иногда тянулась по воздуху, часто проходила сквозь просверленные скалы, бежала по земле. Она бывала скучной и страшной, дневной и ночной, покрытой льдами и песками, асфальтом и кровью. Десятки людей составили мне компанию за время перелетов и переездов, которым я давно потерял счет. Многих помню. Иных позабыл.

Все здесь увиденное и услышанное, понятное и нет, испытанное и прочувствованное, задуманное, но так и не осуществленное, обещанное и невыполненное, мечтавшееся и несбывшееся, все это так или иначе связано Дорогой, которая Бог знает откуда и куда ведет. Сколько бесплатных истин открыли, подарили или невольно поведали мне люди, встретившиеся на Дороге.

Помню парня с едва приметной дырочкой от серьги на розовой мочке правого уха. Саму серьгу он надевал по ночам, а по утрам снимал. Странную фамилию носил он – Пепел. Было ему не больше двадцати в то лето. За пару дней до дембеля и отлета в Союз я сказал ему, похлопав по плечу: «Ну, брат, теперь жить и жить – на полную катушку!» Пепел изумленно поглядел на меня из своей дали, хотя стоял в двух метрах, и ответил: «Черт побери, да я же весь седой внутри...»

В джелалабадской бригаде встретился мне сержант по кличке Мамочка. Мамочка не вышел ростом, и вся та сила, которая должна была пойти в рост, пошла в пронзительность взгляда. Словно мазохист, он радовался тому, что его бросила подруга в Харькове. На мой недоуменный вопрос он ответил коротко, но ясно: "Теперь будет легче воевать..."

На войне проще, когда человек несчастен. Меньше теряешь". Мамочка прощально улыбнулся и пожелал удачи. Но в глазах его я прочел фразу: «Чтоб ты, гад, сдох со своей безмятежной московской жизнью!»

В Кабуле мне рассказывали про парня, чуть было не попавшего в психиатрическое отделение из-за маниальной депрессии, в бездну которой вогнала его война. Мысль о самоубийстве медленно, но верно грызла его мозг, и, возможно, догрызла бы, если бы не «счастливый» случай – контузия, в результате которой парень просто-напросто забыл свое прошлое. Он был счастлив, потеряв память. Однополчане по очереди рассказывали ему историю его жизни, но он все время задавал один и тот же вопрос: «Ребята, а чего мы делаем в Афганистане?» Но никто не мог дать ему убедительного ответа.

А как забыть лейтенанта, встреченного в Ленинграде?!

Мы сидели в ресторане гостиницы «Пулковская» и болтали о всякой всячине.

Рассказывать он умел так, как мало кто в Союзе писателей. Раздражала лишь его привычка

97 Переносной зенитно-ракетный комплекс.

причмокивать языком каждые три минуты. Я предложил ему зубочистку, а он в ответ поведал историю, после которой ни он, ни я не притронулись к еде на столе. Дело было где-то в районе Кундуза. Он с ребятами стоял на блоке третьей сутки.

Утром, на самой заре, начал бить снайпер и тремя прицельными выстрелами прикончил двоих: минометчика и радиста.

Пули ложились сначала в метре, потом в сантиметре от его головы. Снайпер будто издевался, всаживая пулю за пулей в самую грань между жизнью и смертью. Но каждая четвертая-пятая с чавканьем впивалась в мертвые тела рядом.

– Этот звук... Этот звук, с каким пуля входит в труп... Не дай Бог моему врагу услышать такое... Не дай...

IV

Прапорщик с «уокмэном» соскочил где-то на подступах к чарикарской «зеленке»⁹⁸, а мы покатали дальше. Скорость пришлось сбросить: дорога была запружена полковыми тылами.

Окрепший к вечеру морозец схватил лужи, отражавшие покрасневшее небо, и трасса покрылась хрусткой коркой льда. На глаза попался беспомощно лежавший на обочине БТР с хвостом неведомого зверя на антенне. Под хвостом дрожал от ветра самодельный бумажный флажок, надпись на нем гласила: «Едем домой – не стреляйте!» По дороге между машинами сновали жители окрестных кишлаков – преимущественно мужчины, одетые в советские армейские бушлаты и вооруженные автоматами.

– Фирменные «духи», – кивнул на одного из них механик-водитель, когда мы в очередной раз остановились, – Из ахмадшаховских банд. Но, поскольку боевых уже давно не было, и мы, и они придерживаемся дружественного нейтралитета.

К нашему БТРу подбежал бачонок⁹⁹ и, озорно блеснув улыбкой, крикнул мне:

– Эй, командор, давай быстрее у.., в Москва!

Еще недавно русский мат в устах афганских мальчишек невольно коробил меня. Но потом привык и к этому. Один из наших советников однажды пошутил: «По крайней мере хоть ругаться по-нашему мы их научили. И то дело!»

Я спросил бачонка:

– Эй, бача, поедешь со мной в Москву? Давай залезай в машину!

– Нет, командор, Москва – ..!

– Бача, а где хорошо? – вылез из люка черномазый водитель.

– Ахмад Шах – хорошо! А Москва твой – ..!

– Грубиян ты, братец! – улыбнулся водитель.

Бачонок что-то по-своему крикнул и побежал, сверкая голыми щиколотками.

Чарикарская «зеленка» теперь осталась позади и лежала, раскинувшись от горизонта до горизонта черным безмятежным морем. Воздух над ней был серым и прогорклым от сотен печных дымов, тянувшихся ввысь, сплетавшихся там и превращавшихся в акварельные рисунки абстракциониста.

Афганцы жгли все, что попадалось под руку, – резиновые покрышки, хворост, солярку из трубопровода и даже изношенные дырявые калоши с клеймом «Сделано в СССР».

Неподалеку шумела река, время от времени с отчаянным, свободным звоном взрывая толстую корку льда, пенясь вокруг горбатых валунов.

⁹⁸ Кодовое обозначение растительности.

⁹⁹ На армейском жаргоне – ребенок.

Сидевшие на обочине комендачи¹⁰⁰, в когда-то белых, а теперь ставших серыми овчинных полушубках, грели ладони над ведром горячей соляры. Рядом лежал на брюхе танк, зарывшись правой гусеницей в серый сугроб. Метрах в двадцати от него чернела обугленная башня, устремив в небо разорванную пушку. Присоединившись к сгрудившимся вокруг огня солдатам, я выпил горячего чаю из раскаленной фляги – в моей позвякивали льдинки – и пошел в направлении КП дивизии.

Силы ее были растянуты на многие десятки километров вдоль дороги. Ушла на север тыловая колонна, но в Кабуле еще оставались два мотострелковых и один артиллерийский полки. Два мотострелковых полка стояли близ городка Джабаль-Уссарадж.

Предполагалось, что дивизия будет идти в арьергарде армии на дорожном отрезке от Кабула до Джабаля, как его иной раз именовали наши. Около пяти тысяч людей отправятся в Ташкент на воздушных транспортниках Ил-76.

Девять лет войны крепко потрепали дивизию. Наибольшие потери пришлось на 84-й год, когда проводилась изнуряюще длительная Панджшерская операция.

Во время боевых действий против повстанческих отрядов Ахмад Шала Масуда многие люди померзли в высокогорных снегах, другие подорвались на минах, оставленных в Панджшере еще со времен такой же кампании 82-го года.

Операция Панджшер-84 проходила нескладно, много было нестыковок, обернувшихся лишними жертвами. За один день в последних числах апреля дивизия потеряла сразу семьдесят человек в одном лишь батальоне. Он двигался по Панджшеру вдоль реки на юг. Вдоль левого берега шли две наши роты и одна афганская, по правому – одна наша и две афганские. Комбат находился справа. Жара стояла невыносимая. Противника не видеть. Было принято решение не перенапрягать людей, идти не по тактическому гребню, а вдоль русла, не занимая высот. Но на КП полка передавалась ложная информация; поэтому командир полка в свою очередь докладывал наверх о занятии то одной, то другой господствующих высот.

Постепенно солдаты устали. Комбат дал команду на перекур. Люди плавно опустили на горячую землю, упершись спинами в РД. Дремотная тишина прерывалась лишь позвякиванием автоматов да чирканьем спичек. Запахло сигаретным дымком. В тот самый момент из трех точек батальон был атакован «духами». Ливень пуль обрушился на солдатские головы, распластывая и кромсая тела, вдавливая их в землю. Комбат рванулся в реку. Успел крикнуть:

«Ррр-а-а-а – аа...» Его мало кто слышал. Комбат сделал еще несколько шатких шагов по пенящейся быстрой речке, в сторону левого берега, но нечеловеческой силы удар в лоб повалил его в воду. Течение развернуло тело комбата, и река понесла на юг красные пряди его крови...

Несчастья в тот роковой апрель сыпались пулеметной очередью – одно за другим, одно за другим. Несколькими днями раньше «грачи»¹⁰¹, поднятые с авиабазы, пошли на Панджшер, но ущелье было закрыто, и штурмовиков отправили на запасные цели. В районе одной из них вели боевые действия части нашей воздушно-десантной дивизии. Не разглядев толком, что и кто там, внизу, они обрушили БШУ¹⁰² на своих же солдат...

В тот же месяц вызванные на подмогу вертолетчики, приняв за повстанческий отряд роту нашей мотострелковой бригады, действовавшей неподалеку от того места, где я сейчас

100 На армейском жаргоне – представители военной комендатуры.

101 На армейском жаргоне – самолеты Су-17.

102 Бомбово-штурмовой удар.

находился, нанесли удар нурсами¹⁰³ по ее позиции. Один из офицеров штаба ТуркВО, пытаясь спасти вертолетчиков, свалил всю вину на афганский 66-й мотопехотный полк 11 и дивизии, обвинив афганцев в расстреле советской роты. Но эта деза не прошла, так как в ходе расследования было установлено, что все ранения осколочные, а не пулевые... Словом, всякое бывало на этой войне.

– Чаю хотите? Здорово намерзлись? – Начальник политотдела дивизии подполковник Иванов, не дожидаясь ответа, бросил мне в кружку столовую ложку душистого грузинского чая. – Чарикар – это вам не Форт-Беннинг в жарком штате Джорджия. Снимайте бушлат и расстаньтесь наконец со своим автоматом. На сегодняшний вечер война отменяется. Вы – с сахаром?

Я много слышал о Николае Васильевиче Иванове от своих друзей, но ранее встречаться с этим человеком мне не доводилось. По оценкам людей, которые сталкивались с ним и на боевых, и в повседневной жизни дивизии, Иванова отличали редкостная порядочность, стопроцентная неподкупность, светлый ум, способность смотреть широко и различать полутона.

Но меня он поразили своей деликатностью. Слово это как-то не очень на первый взгляд вяжется с армейским бытом, но точнее определения не подобрать. Да и язык его, манера говорить, сам голос, спокойный и мягкий, резко выделялись на общем фоне. Известен он был еще и тем, что в свое время отказался от присвоения ему звания полковника.

А это, согласитесь, Ч П. В хорошем смысле. Полковник, служивший в одной с Ивановым дивизии, но запятнавший офицерскую честь, говорил мне со злостью (после того как Николай Васильевич воспрепятствовал его стремительному восхождению на предгорья военного Олимпа), что по этому «правдоискателю тоскует дурдом».

– Вам не мешает ваша деликатность? – спросил я. – Ведь в армии это воспринимается скорее как недостаток, нежели плюс.

– А по-моему, – ответил он, – нам в армии как раз и не хватает вежливости, уважения. Грубость и хамство дисциплину не поднимут. Солдат скорее откликнется на доброту. А у нас некоторые привыкли черствость называть аскетизмом, бездушие – порядком. Я в данном случае имею в виду не только армию, но и общество. Одно от другого не оторвешь.

Ведь если посмотреть в корень многих наших армейских ЧП, то легко заметить, что они проистекают не только из разгильдяйства, непрофессионализма, но зачастую именно из дефицита доброты. В том числе и самоубийства...

Иванов продолжал говорить, я – внимательно слушать, но краем своего мозга зацепился за последнее оброненное им слово – самоубийство.

...Парень получил письмо от любимой. В письме любимая сообщала, что нашла наконец того, кого искала всю свою жизнь. Солдат прочитал письмо. Положил его в нагрудный карман. Взял автомат. Засунул ствол в "рот. Уперся им в небо. Нажал спусковой крючок. Выстрел – мозги и кровь на стене.

...Старший лейтенант заметил, что у его солдата волосы на голове длиннее допустимой нормы. Старший лейтенант оседлал солдата. Как коня. Стал его стричь. После этого он слез с него. Еще раз убедился в том, что длина волос соответствует Уставу. Погрозил солдату указательным пальцем.

Пошел к себе в модуль. Солдат посмотрел на себя в зеркало. Взял автомат. Догнал старшего лейтенанта. Застрелил его. Пощупал его пульс. Убедился в том, что старший лейтенант мертв. Лишь после этого солдат покончил жизнь самоубийством.

103 Неуправляемый реактивный снаряд.

... Во время физ-подготовки старший лейтенант сделал резкое замечание старослужащему и объявил наряд вне очереди. Старослужащий воспринял это как оскорбление его «дедовского» достоинства. После физ-подготовки старослужащий пошел в комнату офицерского модуля, где находился старший лейтенант с товарищами. Солдат остановился у порога. Разжал кулак. Выдернул чеку из гранаты. Швырнул ее в старшего лейтенанта. Промаяхнул. Граната взорвалась над койкой. Офицеры успели выскочить из помещения. Осколки посекали стены. Поняв, что старший лейтенант жив, парень кинул в него вторую гранату. Когда она летела, старший лейтенант успел одним прыжком выбросить свое тело в коридор. Старослужащий не стал гоняться за ротным. Он вошел в его комнату. Взял с тумбочки ПМ¹⁰⁴. И нажатием спускового крючка пустил себе пулю в висок.

– Пропавшие без вести? – переспросил Иванов. – Конечно, и такое было. Причем не раз. Вот гляньте-ка на эти списки...

Он протянул папочку с ворохом бумаг. Я начал читать одну за другой. Фамилии, имена, отчества, номера частей, даты рождения и компактные справки замелькали перед глазами. Минут через пять взор мой, точно клин, воткнувшийся в землю, встал на самой середине пятой страницы:

"...Рядовой Деревляный Тарас Юрьевич. В.Ч. П/П 518884.

Наводчик-оператор. 11.09.68-го года рождения, город Ходоров, Львовской области. Призван 14 ноября 1986 года Яворовским РВК Львовской области. Украинец. Член ВЛКСМ.

Отец: Деревляный Юрий Тарасович.

Пропал с оружием без вести 2 июля 1987 года..."

– Что с вами? – спросил Иванов.

– Я знаю этого человека.

– Деревляного? – Иванов ослабил ворот на шее.

– Деревляного. Более того – разговаривал с ним.

– В Афганистане?

– В Нью-Йорке.

– Погодите минуту. Я должен позвать офицера особого отдела...

Пока подполковник звал особиста, я успел прочитать лишь:

«...Рядовой Шаповаленко Юрий Анатольевич. Призван 3.08.83-го года. Измена...»

Особист, как я и предполагал, оказался человеком крайне немногословным. Без каких-либо запоминающихся черт лица – в этом, видно, и заключалась его главная особенность. Он разглядывал меня внимательно, и в его глазах ясно читалась помесь любопытства и настороженности.

По-моему, он никак не мог определить своего отношения ко мне и потому предпочитал слушать, но не говорить.

– Вы, – спросил Иванов, – виделись с Деревляным до или после объявления амнистии?

– После.

– Я понимаю, что вы устали, – Николай Васильевич бросил полтора кусочка сахара в свою кружку, – но без рассказа об этой встрече я вряд ли смогу отпустить вас спать.

Особист достал из нагрудного кармана блокнот и шариковую ручку.

– Хорошо, – согласился я, – но за это вы мне подробно расскажете про вашу жизнь, дивизию и войну. Идет?

Иванов улыбнулся:

– Идет.

Офицер особого отдела что-то пометил в своих записях.

V

... Нью-Йорк плавился под перпендикулярными лучами полуденного солнца. Люди чувствовали себя не лучше, чем бройлеры в электродуховке. Казалось, стонали от изнеможения даже признаки некогда роскошной растительности, что много десятков лет назад, на заре прошлого столетия, оказалась погребенной под улицами и домами гигантского города. Сквозь асфальт прорастали невидимые дикие каштаны, тутовники и дубы. Горожане прилипли к кондиционерам, тщетно охлаждавшим раскаленный воздух, пропитанный асфальтовыми испарениями и приторными запахами отработанного бензина. Поэтому Крэйг Капетас и я несказанно обрадовались, когда добрались наконец до небольшого (по американским меркам) зданьца, в котором расположилась правозащитная организация «Дом Свободы». В десять часов утра там должна была начаться пресс-конференция шести бывших советских солдат, когда-то воевавших в Афганистане, оказавшихся по разным причинам в плену, потом освобожденных и вывезенных в США. Часы показывали без четверти десять, и мы, с тоской глянув на кондиционеры, торчавшие из окон «Дома Свободы», решили сделать еще пару кругов вокруг дома.

Сопровождавший меня Капетас работал старшим литсотрудником вашингтонского ежемесячника «Регардис», предложившего «Огоньку» осуществить двухнедельный обмен журналистами; «Огонек» дал согласие, и я, превратившись в специального корреспондента «Регардиса», должен был через несколько дней вылететь в Атланту, чтобы написать серию очерков для этого журнала. Капетасу предстояло стать корреспондентом «Огонька» и написать для нас несколько материалов под общим заголовком «Перестройка глазами американца». Если честно, то меня интересовала не столько Атланта, сколько возможность повстречаться с бывшими советскими военнопленными, оказавшимися в Америке. Еще из Москвы по телефону я попросил Капетаса устроить мне несколько таких встреч. С его-то легкой руки я и оказался в Нью-Йорке.

В моем нагрудном кармане лежало удостоверение внештатного корреспондента «Регардиса», помогавшее мне в тех случаях, когда не срабатывало краснокожее огоньковское удостоверение.

Ровно в десять мы переступили порог «Дома Свободы».

Расписавшись в журнале учета посетителей, я начертал напротив своей фамилии – «Корреспондент „Регардиса“, Вашингтон». Странное чувство испытывал я в ту минуту – нечто наподобие того, что, наверное, ощущает человек, сделавший пластическую операцию лица и впервые после нее глядящий в зеркало: вроде я, да не совсем...

В «Доме Свободы» уже суетились репортеры, устанавливая телевизионную аппаратуру и осветительные приборы.

Вскоре послышались шаги, и в конференц-зал вошли шесть молодых людей – Мансур Алядинов, Игорь Ковальчук, Микола Мовчан, Владимир Ромчук, Хаджимурат Сулейманов и Тарас Деревляный. Пока они занимали места за длинным столом, ломившимся от обилия микрофонов, я успел взять со стенда несколько брошюр, выпущенных издательством «ДС». В одной из них я прочитал, что четверо участников конференции совсем недавно прибыли на Американский континент, но Мовчан и Ковальчук живут здесь уже несколько лет.

...Наше отношение к солдатам и офицерам, попавшим в плен в Афганистане, эволюционировало по мере изменения взглядов на характер самой войны. В начале восьмидесятых это отношение можно было сформулировать как подозрительность. Доминировали стереотипы времен сталинщины.

Уж не говорю про дезертиров и тех, кто воевал на стороне повстанцев против своих же, хотя ненависть к ним – чувство совершенно естественное. И я сам, находясь в Афганистане, испытывал его не раз и не два. Но что было делать с этим чувством, когда, с

точки зрения политической, война была неофициально признана трагической ошибкой, а с точки зрения морали – злом? В новой системе нравственно-этических координат, более или менее четко прорисовывавшихся в нашем общественном сознании к середине восьмидесятых годов, такое чувство стало выглядеть одиозно. Это понимали все – и те, кто его испытывал, и те, кто подогревал, и те, кто его не принимал, видя в нем рецидив прошлой эпохи. И потому летом 1988 года Генеральный прокурор СССР Сухарев объявил амнистию всем военнопленным – вне зависимости от того, что они совершили.

И все же на вопрос о том, как относиться к человеку, решившему закончить войну не 15 февраля 1989 года, а, скажем, в 1982-м и подписать свой сепаратный мир, я до сих пор не могу найти однозначного ответа без всяких там «с одной стороны – так, а вот с другой...». Но, быть может, такого ответа вообще нет?

...Началась пресс-конференция. Первым выступил Ромчук. Он поблагодарил за предоставление убежища правительство США и лично президента, который помог освободить их из плена. Много хороших слов было сказано в адрес «Дома Свободы», русских и украинских эмигрантских организаций, позаботившихся о пленниках. Особая благодарность была выражена моджахеддинам. Потом слово взял худенький паренек со светлыми волосами. То был Мовчан.

– Приятно видеть, – сказал он, – что наконец СССР начал беспокоиться о своих людях, и поэтому мы, естественно, не имеем ничего против объявленной амнистии. Однако каковы ее гарантии? Пока их нет. – Он говорил с сильным украинским акцентом, время от времени употребляя английские слова. – Гласность не достигла того уровня, когда все вопросы без исключения можно было бы обсуждать в открытой прессе. Что будет с нами, если мы вернемся, а в СССР произойдет очередное изменение политики в отношении дезертиров? Ведь у нас не будет права на независимую защиту, мы не сможем обратиться в прессу, чтобы отстаивать себя и свои права.

Хотя в СССР в последнее время много пишут о нас, были статьи и о Рыжкове¹⁰⁵, мы не считаем это достаточным. Мы ничего не слышим о наших товарищах, вернувшихся в СССР из Лондона. Из Швейцарии возвратилось около десяти человек, а не двое участвовавших в московской пресс-конференции. – Мовчан достал сигарету и закурил. – Мало гласности в отношении Афганистана. И хотя война была неофициально признана ошибкой, пресса все равно продолжает писать о геройствах и благородных делах советских солдат на войне. – Он оглядел зал и затушил сигарету. – О'кей, я не хочу обижать тех ребят, которые жертвовали своей жизнью в Афганистане. Только я не могу понять, ради чего это было нужно.

Тарас Деревляный говорил неуверенно, тихо. Смотрел себе под ноги. Лишь раза два глянул в зал, но исподлобья.

– Я, – начал он, и легкое смятение коснулось его глаз, застыв в них, – полностью согласен с тем, что говорилось до меня... («Это, братец, – мысленно сказал я ему, – у тебя осталось от наших комсомольских собраний – не вытравишь!»)... В амнистию, может быть, и смог бы поверить, но я живу здесь, в Америке, уже три месяца. И мне тут очень нравится.

От этих слов потянуло откровенным подхалимажем, но каким-то уж очень детским. Я невольно поморщился. Так ведет себя беспризорный щенок, стремясь понравиться человеку, подобравшему его на улице в стылый мокрый день.

– ..Меня Америка приняла, – продолжал он, вскинув голову и тряхнув волосами, – дала мне работу. Я буду учиться. Там, – он почему-то кивнул в дальний угол конференц-зала, – у меня такой возможности не было.

105 Бывший советский военнопленный Н.Рыжков, вывезенный в США, по собственному желанию вернулся в СССР еще до объявления амнистии 88-го года. И хотя нашими консульскими работниками в Нью-Йорке ему была гарантирована свобода по возвращении, он, прибыв домой, вскоре оказался в тюрьме. Теперь он на свободе.

Я опять мысленно спросил его: «Это почему же?!»

– ..Я не хочу возвращаться домой, – он неожиданно усилил голос. – Как отнесутся ко мне люди, если я вернусь?

Чисто психологически... Скажут: удрал, а теперь возвратился. Скажут: он предатель! Мне не нужна амнистия! Я буду жить в Америке! Я отрекаюсь от советского гражданства!

Последние слова он почти выкрикивал.

Завершил пресс-конференцию Алядинов. После него слово взял один из наших дипломатов, разъяснил отдельные положения Сухаревского заявления.

Все, словно по команде, встали, разминая ноги, пряча диктофоны в карманы.

Я побрел в гостиницу, где журнал «Регардис» забронировал мне номер и прямо с порога повалился на скрипучую койку.

Я не мог заснуть и долго лежал, уничтожая сигарету за сигаретой, прокручивая в голове события, встречи и разговоры последних дней. Потом, словно на фотобумаге, опущенной в проявитель, в памяти начала прорисовываться давняя кабульская всамделишная история, известная как «Сказка про посла Табеева и солдата Круглова».

...Дело было еще в самом начале войны. Неожиданно до нашего посольства дошел слух о том, что бежавший из советской части рядовой Круглов находится в американской дипломатической миссии. Запросили наших военных. Те рапортовали: никто не пропал. Тогда запросили американцев. Они подтвердили, но на просьбу о встрече с рядовым ответили: надо проконсультироваться с госдепом. Тем временем военные признали факт исчезновения Круглова из кабульской части, дав ему резко отрицательную характеристику: лентяй, лоботряс и все такое прочее.

Парень был родом из Свердловска. Находясь в американском представительстве, Круглов жил в комнате с не очень-то разговорчивым морским пехотинцем, до того служившим в Западной Германии. Два солдата помаленьку освоили язык мимики и жестов. Американец однажды спросил с завистью: «Ты ушел, чтобы открыть в Штатах бизнес? У тебя там уже удочки заброшены?» Круглов вылупил на морского пехотинца глаза и отрицательно покачал бритой головой. «Чего же ты тиканул?» – не понял пехотинец. «Меня, – ответил руками Круглов, – избивал ротный».

Как выяснилось, самым близким для Круглова человеком была его классная руководительница. Связались с ней.

Она переправила в Кабул магнитофонную кассету с устным обращением к бывшему ученику. Американский временный поверенный разрешил передать пленку солдату и даже согласился на встречу советского посла с ним. Но при одном условии: не оказывать на парня морального давления.

Встреча началась. Посол спросил: «Сынок, что случилось?» Круглов объяснил, что ротный заставлял его ходить к дукащикам – продавать армейское барахло и приносить деньги. Он отказывался, и тогда ротный избивал его по-черному.

Во время встречи посол спросил солдата: «Пойдешь со мной?» Тот подумал и ответил: «Да». Посол взял солдата за руку, и они двинулись к двери. На выходе американский временный поверенный обратился к солдату: «Вы все окончательно взвесили?» Круглов остановился, кивнув. Пошел дальше, еще крепче сжав руку посла.

Через несколько часов солдата отправили в Москву...

Что стало с солдатом, не знаю. Но у посла все в порядке.

По-разному относятся в Союзе к тем, кто вернулся домой из плена. Особенно к тем, у кого была промежуточная остановка где-нибудь на Западе. Как-то раз, выступая перед ветеранами-афганцами", я сказал, что нельзя огульно охаивать всех военнопленных, необходимо разбираться в каждом отдельном случае.

Послышался свист. Он был мне понятен.

В другой раз пришлось выступать перед собранием московской творческой интеллигенции, где я повторил те же мысли. Раздались негодующие крики. Но с другого фланга.

Игорь Морозов, когда-то воевавший в Афганистане и написавший теперь уже знаменитую песню «Мы уходим, уходим, уходим...», рассказывал о том, как его рота получила приказ уничтожить дезертира – дело было в самом начале войны, – убившего при побеге двух советских солдат. «Тот парень, – сказал Морозов, – сейчас сшивается где-то в Штатах. Если он посмеет сюда вернуться, – Игорь посмотрел на свои руки, – я убью его, невзирая ни на какие амнистии». В мае 89-го, давая концерт в московском Театре эстрады, он повторил те же слова. Зал откликнулся на них овацией. Все еще слыша те яростные аплодисменты, я провалился в сон. Но проснулся под гаубичные глухие выстрелы.

VI

Утром, после первого за несколько дней горячего завтрака, я пошел в медпункт переговорить с Мишей Григорьевым – начальником передвижной санитарно-эпидемиологической лаборатории. Он обещал дать мне несколько таблеток для дезинфекции воды.

У входа в медпункт, на морозе, лежали два трупа. Они были обернуты в фольгу. Чтобы ее не срывал горный ветер, тела погибших перетянули вдобавок несколькими витками бинта. Утреннее солнце играло лучами по фольге. Ее металлическое сияние не вязалось с ее мрачным предназначением.

Трупы напоминали серебристые новогодние хлопушки для елки. В фольгу были завернуты тела сержанта Кипера и рядового Жабраева. Два часа назад они вместе с лейтенантом Горячевым ехали на машине по дороге Баграм – Джабаль-Уссарадж. Им оставалось всего ничего до КП дивизии, но их МТЛБ¹⁰⁶ попал под перекрестный огонь двух повстанческих отрядов. Пуля прошила насквозь голову водителя Жабраева, машина пошла юзом по льду, перевернулась. Киперу спастись не удалось. Горячева отвезли в Пули-Хумри. Он лежал в тамошнем госпитале без сознания. Врачи надеялись, что выживет.

– Ничего, – сказал Григорьев, – выкарабкается. Организм здоровый.

Горячев не выкарабкался. Он скончался сутками позже, так и не придя в сознание. А еще через несколько дней в Союзе раздался тихий выстрел похоронки.

– Надеюсь, – Григорьев, прищурившись, кивнул на блеск фольги, – они последние в этой войне.

Но он опять ошибался.

С его братом, тоже военным врачом, я познакомился недавно в Баграме. Всякий раз, бывая в том боевом медсанбате, я вспоминал июль 86-го. Тогда я увидел там солдата, у которого вся кожа сгорела в подбитом вертолете. С такими ожогами человек не мог жить, но тот раненый жил. Каждые два часа ему кололи наркотик. Медсестре, не отходившей от него весь тот день, он говорил, что не жалеет о том, что приехал в Афганистан. Парень дотянул до вечера. Ночь провел уже в морге.

Жена, которую он оставил в Ленинграде, говорила потом, что «если бы Петенька не поехал в Афганистан, он нашел бы какой-нибудь другой способ самоубийства».

Но баграмский Григорьев не знал о том случае – его тогда еще здесь не было. Мы говорили с ним в передвижной операционной, оборудованной на базе бывшего рефрижератора.

– За год через наш медбат, – сказал он, – проходили тысячи раненых. Самые мраки были в 84-м и 85-м. Если за весь 88-й год мы произвели порядка пятидесяти ампутаций, то за 85-й – двести шестьдесят четыре. Цифры эти, ясное дело, не учитывают афганских раненых.

Григорьев достал из ящика стола какие-то тетради, полистал их, бросил обратно.

106 Малый тягач, легкий, бронированный.

– Конечно, – развел он руками, – тяжело приходилось. Особенно если учесть, что у нас не было и нет ни одной заводской медицинской машины или операционной... Последнее время раненых перевозили в Кабул преимущественно на БТРах и КамАЗах – кого сидя, кого лежа: «Спасители»¹⁰⁷ побаивались сюда летать. Я знаю, что создана прекрасная операционная на базе КамАЗа. Их всего две в наших вооруженных силах – видел на картинках. Одну из них прислали в ТуркВО на учения, но только не на войну – боялись, что угробим. Абсурд? Притом чистой воды! Мы здесь предложили принципиально новую схему развертывания медпункта и медицинского батальона в боевых условиях, но ее начальство оставило без внимания. Почти пятьдесят лет мы готовили страну к глобальной, стратегической войне, а в Афганистане пришлось вести малую. К ней мы оказались не готовы.

До 87-го всех раненых мы эвакуировали в кабульский госпиталь вертолетами – я не мог нарадоваться. Но с появлением «Стингеров» массовое использование вертушек запретили. Приходилось до отказа набивать БТРы искалеченными людьми (по пятнадцать в машине) и отправлять по здешним, так сказать, дорогам в Кабул.

Все лекарства поступают к нам со складов в стекле. Как я потащу этот хлам в горы?

Побью ж все! Даже повстанцы используют для транспортировки медикаментов в боевых условиях полиэтиленовые мешочки – удобно и компактно.

А мы все еще остаемся на уровне достижений времен Великой Отечественной.

Григорьев распахнул дверь, и в операционную ворвался свежий воздух. Он пах горелой бумагой. Серый пепел медленно опускался на пол.

– Это мы письма сжигаем: люди-то, – пояснил Григорьев, – уже уехали в Союз, а почта все идет... Мы вот уходим, а как они, – он кивнул на шедшего по аллее афганского военного летчика, – без нас останутся – не знаю. Не научились они у нас! Это трагедия. Показываю на днях их врачу трехзубый крючок, а он понятия не имеет, что это за штуковина...

Недавно привезли раненого с проникающим ранением в живот: два отверстия – входное и выходное. Афганский хирург берет обычные черные нитки, какими я штаны себе зашиваю, и начинает штопать отверстия. И все! В другой раз привезли к нам бойца – пуля застряла в брюшной полости. Живот надулся, как барабан. Я сделал операцию – оказалось, бедняге залепили дырку в кишке лейкопластырем.

Вошел фельдшер, взял с тумбочки целый ворох каких-то склянок и столь же внезапно вышел. Его белый халат растаял в темноте.

– Ноя, – задумчиво произнес Григорьев, – чист перед афганцами. Чист перед самим собой. Я лечил людей, в меру сил старался их спасти. Вот через несколько недель меня тут не будет. А я не знаю, радоваться мне или плакать. Такое ощущение, будто в Союз еду доживать жизнь. Здесь я выложился до конца. Такого у нас никогда уже не будет. Может, такое и не нужно – не знаю... Но кем я буду, когда вернусь?

Он помолчал минуту. Зачем-то завел часы, хотя последний раз делал это минут тридцать назад.

– Я, – сказал он шепотом, – очень боюсь возвращения.

Очень.

В глазах его печаль перемешалась со страхом.

В старости так бояться запаха сырой земли, в детстве – ночной пустоты, а в зрелости – неудач.

Джабальский Григорьев в будущее смотрел спокойно.

Отвалив мне целую пригоршню таблеток – каждая размером с пятак, – он пожелал мне сохранить то, что есть, – жизнь.

– Больше ведь нам ничего и не надо, – постановил он, а я вспомнил Баглан, 1987 год, апрель, воскресенье, шесть часов утра, ...Бои шли с девятой на восьмую улицу.

107 Специально оборудованный военно-транспортный самолет для перевозки раненых.

Группировка Гаюра сопротивлялась отчаянно. Уже две недели наша дивизия держала ее в непробиваемом кольце, но уничтожить не могла. «Духовский» гранатометчик с расстояния в триста метров прямой наводкой попал в нашего солдата на блоке.

Все, что осталось от человека, уместилось в гильзе от ДШК¹⁰⁸.

Ни одно слово из того длинного набора слов, изобретенных для определения смерти человека, в данном случае не годилось, потому что не о ком и не о чем было сказать: «Он умер», «он погиб», «кончился», «отдал Богу душу». Не срабатывал и солдатский жаргон с его «гукнулся», «улетел», «сказал, чтоб довоевывали без него», «взял планку», «дембельнулся досрочно», «ушел в запас», «родился обратно», «вышел в проекцию», «выложился», «выпал в осадок», «спрыгнул»...

VII

Полковник Сергей Ан...енко отвоевал в Афганистане двадцать один месяц. Долгое время командовал джабальским полком, но осенью 88-го был назначен замкомдива.

Хотя силы дивизии были растянуты вдоль дороги от Кабула почти до перевала Саланг, Ан...енко по-прежнему находился преимущественно в зоне ответственности своего бывшего полка, потому что знал ее как свои пять.

Был Ан...енко высок ростом, широк в кости. Лет – не больше сорока. На его подбористой фигуре ладно сидела военная форма. Серые глаза зверовато глядели из-под мощных надбровий, припорошенных (когда он снимал кепи) россыпью пшеничных волос. Волевая линия крепкого породистого носа делила остроскулое лицо пополам. Сквозь смуглую кожу тщательно выбритых щек пробивался едва приметный румянец. Золотистая полоска аккуратных усов прикрывала сверху рот, очерченный несколькими сильными короткими штрихами. Глубокая ямка рассекала правильный металлически поблескивавший на солнце подбородок.

«Вот он – человек, на которого должна равняться армия!» – шепнул мне кто-то, обдав промерзшее насквозь ухо горячим дыханием. Я оглянулся, но позади ничего не было.

Ан...енко сплюнул окурочек, зло проследил за его стремительным полетом.

– В последний год мы с «духами» крепко закорешились – сообщил он негромко, – прямо закадычными друзьями стали. Однако же полагаться на это нельзя. Восток – дело темное и хитрое. Говорят одно, думают второе, делают третье. Так-то. Словом, усиливаем маршрут как можем. На днях пришли два батальона – десантники и мотострелки.

Сейчас занимаемся размещением людей на заставах. Тесновато, конечно, но жить и воевать можно. За Северный Саланг я не боюсь: там исмаилиты прочно оседлали маршрут.

Тут, на южных подступах к перевалу, посложней. Именно здесь сейчас сосредоточены мощные силы Ахмад Шаха. Одна лишь группировка Басира насчитывает больше четырехсот штыков. Они полагают, мы скоро начнем здесь боевые действия. Но я по мере сил успокаиваю и Басира, и прочих командиров. Я сказал им: если вы обеспечите безопасность вывода наших войск через Саланг, мы усиливать маршрут не будем. Я предложил подписать договор, который обязал бы их охранять дорогу от нападений других повстанческих отрядов, пропускать колонны афганских регулярных войск, а нас – воздерживаться от боевых. Но они отказались, заявив, что устное слово мусульманина – закон. В общем, поглядим-посмотрим... Хотите курить?

– У вас какие? – спросил я.

– У нас «Ява», а у вас?

– У нас «Лихерос» – остатки кабульских запасов. – Я достал вскрытую пачку.

108 Крупнокалиберный пулемет.

– Estascigarros! O madre mia! Можно взять одну? – спросил подошедший к нам комбат Абрамов.

– Пожалуйста, – ответил я. – Откуда вдруг испанский на подступах к Салангу?

– Как – откуда! – усмехнулся он, – Там тоже пришлось отслужить. А тут двадцатый месяц пошел. Куба – самое светлое пятнышко в жизни. Семьдесят третий – семьдесят пятый... Золотое времечко! Тоже там купались?

– Не довелось, – ответил я. – Просидел как-то целый день в аэропорту: по усам текло, а в рот не попало.

– Гавана-мама! – Абрамов вкусно, глубоко затянулся. – Ладно, братцы, мне пора – надо объехать заставы.

– Батальон Абрамова, – Ан...енко махнул рукой ему вслед, – растянут на тридцать семь километров по маршруту: семнадцать сторожевых застав, не считая выносимых постов. Где-то все время что-то происходит.

Я сказал:

– Пока что здесь, на дороге – а она стратегическая, – не видать регулярных афганских войск. Дивизия уйдет на север через несколько недель. Кто же будет контролировать трассу?

– В этом вся проблема. – Ан...енко стряхнул кончиком указательного пальца прилипшие к усам крошки табака. – «Духи» на пушечный выстрел не подпускают к дороге «зеленых»!

– Попытаются ли повстанцы занять наши заставы, когда мы уйдем?

– Почему я знаю. – Ан...енко защебил зубами спичку. – Вообще-то им нет нужды в этом. Они вполне комфортабельно чувствуют себя в своих же кишлаках. Ведь все здешние банды состоят из местного мужского населения. Главари – тоже выходцы из здешних районов.

– Вы имеете в виду Басира? – спросил я.

– Да, – ответил Ан...енко, – и Басира, и Малагауса, и других. Недавно была встреча с Малагаусом. Когда я увидел его, попытался по афганскому обычаю коснуться своей правой щекой его правой щеки – в знак особого расположения. Но он меня остановил. Отвел в сторону от своей охраны и говорит: «Командор, не надо этого делать. Ты ведь подрываешь мой авторитет в глазах бойцов. Мы с тобой живем как соседи – ты у себя на заставе, я – в родном кишлаке. Но никаких сделок у нас с тобой нет». Так и сказал. Гордые, бестии...

По дороге промчался БТР, злобно обрызгав нас с ног до головы грязью.

– Мерзавец! – зло шепнул Ан...енко, смахнув брызги с бушлата. – Раскатались, понимаешь...

– Что из себя представляет Басир? – спросил я и отошел на обочину: подпрыгивая на колдобинах, на нас мчал КамАЗ с пустым кузовом.

Обозначение афганских регулярных войск – Мудрый мужик этот Басир. – Ан...енко улыбнулся одним уголком рта. – Народ местный любит его, уважает. И, конечно, боится. На нем всегда американская военная куртка, черные солнечные очки. Про Союз знает все. Как-то меня спросил: «Командор, как дела в Армении?»

– Я могу с ним встретиться?

– Исключено. Он общается лишь с теми, кого уже проверил и кому доверяет, – с комбатом Абрамовым и мною. Я, когда иду на переговоры с ним, не имею права взять с собой даже нового переводчика. Незнакомое лицо сразу же его насторожит, он просто-напросто не явится.

– И все-таки спросите его – вдруг согласится? Скажите Басиру, что мне приходилось встречаться не только с полевыми командирами повстанцев, но и с Гейлани¹⁰⁹.

109 Один из семи лидеров афганской вооруженной оппозиции в Пешаваре.

– Вы – с Гейлани?! – Ан...енко от удивления прищурил глаза и слегка присел. Сигаретка его потухла.

VIII

... Сквозь затянутое грязными облаками небо сочился на землю серый свет. Люди обходили принарядившиеся магазины, покупали друг другу подарки, возвращались домой с покупками, обернутыми в пеструю хрусткую бумагу. По вечерам в окнах зажигались елочные огни. В воздухе пахло скорым Рождеством.

Повсюду слышался детский смех и мягкий перезвон бокалов в ресторанах. Музыка предпраздничных дней, которые порой веселее, чем сам праздник, захватила Англию, в такт ей плескалось море в портах, двигались, чуть пританцовывая, прохожие.

В один из таких дней прибыл в Лондон повидать свою семью на Рождество Христово лидер Национального исламского фронта Афганистана Сайд Ахмад Гейлани.

Фронт был создан в 1978 году. Его штаб-квартира расположилась в Пешаваре, а филиалы партии – в Кветте, Мирамшахе, Чамане и Парачинаре. В состав руководящих органов партии вошло несколько комитетов: военный, по вербовке новых членов, контрразведки, по делам беженцев, культуры, связи и финансовый.

Еще в 78-м НИФА провозгласил своими целями священную войну против «неверных» и иностранной агрессии, свержение существующего режима, установление республиканской системы на основе «ислама и национализма».

Фронт известен прочными связями с бывшим королем Афганистана Захир Шахом.

Особенно крепки позиции партии в афганских провинциях Кабул, Нангархар, Пактия и Пактика. До недавнего времени НИФА насчитывал 75 отрядов и групп на территории Афганистана. Общая численность – две тысячи семьсот хорошо вооруженных бойцов.

Сам Гейлани – он имеет высший духовный титул «Пир» – родился в 1931 году в семье потомственных хазратов-накибов. В юности получил солидное образование, овладел четырьмя языками. Могущество его основано не только на религиозном авторитете или мощных вооруженных силах, но также и на внушительных финансовых средствах, которыми располагает семья.

Вооруженные отряды Гейлани на протяжении последних девяти лет здорово досаждали как правительственным войскам Афганистана, так и советской 40-й армии. Нетрудно было вообразить себе его отношение к СССР и НДПА, но особенно к афганским органам госбезопасности, от рук которых еще в конце семидесятых пали многие его личные друзья и соратники.

Размышляя над этим, я вошел в роскошный многоэтажный дом, расположившийся через дорогу от Гайд-парка. В холле легким поклоном меня приветствовал седоголовый портье.

Швейцар, от которого пахло дорогим мужским одеколоном «Дракар», проводил меня до лифта. Двери неслышно раздвинулись и так же закрылись за спиной, когда я вошел внутрь. Нажав нужную кнопку, я взлетел наверх.

Ни портье, ни швейцар не оборонили ни единого слова, однако казалось, они давно знали меня. Не успев сделать из этого вывода, я увидел темный силуэт в обрамлении двери неподалеку от лифта. Силуэт испарился, и я проследовал в ярко освещенную квартиру.

– Добрый день, – раздался спокойный женский голос за моей спиной, – пожалуйста вот сюда за мной.

Это сказала Фатима – дочь Гейлани. Раньше я видел ее несколько раз по американскому телевидению. В жизни она была еще краше.

Над широко посаженными глазами – признак таланта – цвета ночной волны распластала тонкие, с легким изломом, крылья чайка бровей. Когда Фатима говорила, чайка едва заметно взмахивала крылышками. Черные густые волосы, туго схваченные на правильном затылке, россыпью падали на стройную спину. Через тонкую, с едва уловимой смуглой

примесью кожу просвечивали на висках голубоватые прожилки. Изящная линия переносицы придавала точеным чертам лица классическую завершенность.

Разглядывая эту молодую женщину, чья родословная, как принято считать, восходила к пророку Магомету, я вспомнил одного нашего генерала, поведавшего мне по секрету, что Фатиме симпатизирует Наджибулла.

– Что вы так смотрите? – улыбнулась она. – Проходите же, прошу вас, отец ждет.

– Отец, это наш гость, – сказала Фатима и коротко представила меня.

Гейлани сидел в кресле спиной к входу, держа голову вполоборота. Сразу же ожег пристальный взгляд его карих блестящих глаз, разделенных коршуничим носом.

Зачесанные назад седые волосы открывали высокий светлый лоб, тронутый неглубокими тонкими морщинами.

Лидер Национального исламского фронта привстал и дал мне пожать свою широкую теплую руку.

– Присаживайтесь, – сказал он по-английски мягким баритоном. – Я буду говорить на родном языке, а Фатима переведет.

– Спасибо. Как вам угодно. – Я сел на диван рядом с его креслом.

– Вы из «Огонька» – я знаю это. До вас два советских журналиста беседовали со мной в Пакистане, но то, что было опубликовано, сильно исказило суть беседы.

– Я постараюсь быть максимально точным.

– Посмотрим, – улыбнулся Гейлани. – Честно говоря, я все еще не могу до конца поверить в вашу гласность.

– Хотите чаю? Кофе? – Фатима рукой подозвала служанку. Та была одета в национальную афганскую одежду.

– Кофе, если можно, – сказал я.

– Мне – чай. – Гейлани повернулся к служанке.

Она скрылась в дверях.

Комната была просторной. Сквозь пепельные занавески внутрь проникал мягкий свет. На книжных полках я заметил много словарей.

– Мне говорили, что ваш сын тоже сейчас в Лондоне, – сказал я. – Его сегодня можно будет увидеть?

– К сожалению, нет, – ответила Фатима. – Я пыталась найти его, чтобы вы познакомились, но ничего не получилось.

– Дело в том, – пояснил Гейлани, – что в Афганистане сын получил серьезную травму. Он сейчас у врачей. Ему необходимо подлечиться, чтобы вернуться назад. Сожалею, что сейчас его нет с нами.

Я спросил:

– Господин Гейлани, вам самому приходилось бывать в Афганистане за время войны?

– Нет. – Он развел руками. – Мои люди там. И этого достаточно. Когда я однажды собрался посетить Афганистан, некоторые религиозные деятели, которым я весьма доверяю, посоветовали мне этого не делать. Если я направлюсь туда, сказали они, это станет сразу же широко известно и поставит район посещения под угрозу обстрелов и боевых действий. К чему бессмысленный риск? Мой сын и мои племянники сражаются в Афганистане. Этого вполне достаточно.

– В Лондон вы прибыли из Пакистана?

– Да, из Пешавара. – Гейлани плавно кивнул головой.

– Вы там живете с 78-го года?

– Да. Я был вынужден покинуть Афганистан в октябре того года, вскоре после коммунистического переворота.

Однако мы не были довольны ходом дел и до прихода к власти Тараки. Я считаю, что режим Дауда тоже был навязан народу. Я пытался убедить его идти по нашему пути. К сожалению, произошел коммунистический переворот. Сразу же стало ясно, что новый режим враждебен афганскому народу, его традициям. Восстание против этого режима

было неотвратимо. Передо мной открывались два пути: остаться и разделить участь родных Сабгатуллы Моджаддеди¹¹⁰, либо покинуть страну, чтобы бороться против режима. Я избрал второй путь.

Служанка принесла на подносе чай, кофе и чашечки, беззвучно поставила его на журнальный стол. Фатима налила отцу чай. Я хотел было взять кофейник, но Фатима отстранила мою руку.

– Позвольте лучше мне, хорошо? – Она улыбнулась.

– Так что мы начали борьбу еще до вторжения советских войск, – закончил свою мысль Гейлани.

Аромат свежесваренного зеленого чая, переплетаясь с запахом крепкого кофе, заполнил комнату.

– Если вы занимаетесь Афганистаном, – заметил Гейлани, – вам следует переключаться на чай.

– Но поскольку мы сейчас в Англии, то кофе допустим.

Как вы относитесь к бывшему королю Афганистана?

– Мы были очень довольны его правлением. Особенно последним периодом, который вошел в историю под названием «десяти лет демократии». Именно тогда была создана демократическая конституция и прошли выборы в парламент. Страна развивалась в направлении полноценной демократии. При короле начался законодательный процесс, нацеленный на создание многопартийной системы в Афганистане. Но, как я уже говорил, произошел переворот Дауда. Вы знаете, я убежден в том, что это был первый шаг на пути, который в конечном итоге привел к перевороту Тараки и военному вторжению. Очень грустно, что Афганистан постигла такая участь. К демократии всем следовало относиться очень бережно.

– Кого конкретно вы вините в трагедии, которая девять лет подряд убивала Афганистан? – Я глазами попросил Фатиму подлить мне еще кофе.

Гейлани задумался, сделал большой глоток чаю. Сказал, чуть вскинув дуги бровей, с легкой дрожью в голосе:

– Мы не столь наивны и злопамятны, чтобы винить советский народ. Ведь вы и понятия не имели о готовящемся решении послать войска в мою страну. Но люди у власти совершили страшную ошибку, приведшую к великой трагедии... Поймите, когда мы позволили нашим офицерам ехать в Советский Союз и учиться у вас в военных академиях, это означало, что мы доверяли вашему правительству. Но Советский Союз предал наше доверие. И мы до сих пор страдаем от того предательства, пожиная его горькие плоды. Гейлани поставил чашку на стол и, чуть сжав губы, долго смотрел в нее. Казалось, он пытался подавить в себе чувства, вызванные к жизни нашим разговором.

– Советский солдат, – сказал он после паузы, – оставил о себе скверную память в Афганистане. Ведь наибольшие потери были среди мирного населения. Вы, жалея войска, уклонялись от прямых столкновений на поле боя, но потом расправлялись с крестьянами в кишлаках... Сегодня мне не стыдно благодарить американцев за оказанную нам военную и денежную помощь. Мы были вынуждены принять ее, чтобы защищаться от современной армии. Но пусть все помнят: если кто-то попытается установить свой контроль над Афганистаном, мы будем сражаться с ним, как сражались с вами. Вы хотите курить? Пожалуйста. Не возражаю.

– Фатима, – спросил я, – а вы?

– Конечно, почему нет, – отозвалась она.

Я спросил:

– Матери советских солдат, попавших в плен, уже много лет ждут своих сыновей. Сколько им еще ждать?

¹¹⁰ Один из лидеров афганской вооруженной оппозиции. Принадлежит к ее умеренному крылу.

– Проблема в том, что большинство пленных моджахеддинов уже расстреляны. – Гейлани опять помолчал. – Если вы скажете, как вернуть им жизнь, я, быть может, смогу ответить на ваш вопрос. Давайте подождем и поглядим, как пойдут дела в Афганистане. Могу вам гарантировать, что вашим солдатам будет сохранена жизнь. Никто сегодня не хочет вымещать на них злобу... Вы должны понять, что произошло страшное надругательство над моей страной. Выросло целое поколение людей, которые ничего, кроме войны, не знают и не видели. Они умеют только воевать. Вспомните знаменитые афганские ковры, которыми славилась моя страна. Еще десять лет назад люди вышивали на них пирамиды и верблюдов. Но сегодня – лишь танки, боевые самолеты и бомбардировщики. Вот что произошло с моей страной!

Как много образованных людей – истинных носителей афганской культуры – погибло или покинуло пределы родины.

Уехавших надо возвращать, но куда? В полуразрушенную страну? Необходимо отстроить Афганистан, и мы надеемся на помощь. В том числе и вашу. Придется заново приучать людей к миру, к смыслу демократии. А это труд на десятилетия.

Гейлани говорил самозабвенно, глядя поверх меня и Фатимы. Неожиданно он опять перешел на английский.

– Не могу понять, – спросил он сам себя вслух, – и возвращаюсь к этому вопросу опять и опять: как могла великая держава поверить посулам и заверениям нескольких людей? Как она могла пойти у них на поводу, предварительно не взвесив все «за» и «против»? Ведь политика строится не на обещаниях, а на реальной информации. Вон гляньте-ка на него... Гейлани указал на мальчика лет пятнадцати, тихо вошедшего в комнату. Одет он был в просторную, почти до колен рубаху и широкие тонкой светлой материи штаны. Когда мальчик подошел ближе, я увидел детское изуродованное лицо.

– У него, – Фатима чуть потеснилась на диване, дав мальчику возможность сесть, – уничтожена вся семья.

– Но вы, – Гейлани встал, – вряд ли сможете ему объяснить, ради чего это было нужно... Вчетвером – мальчик, Гейлани, Фатима и я – мы медленно направились к выходу.

– Вы... – Гейлани вскинул вверх глаза, словно следя за полетом удаляющейся бабочки. – Вы..., пришли к нам в тяжелый для нас час. Это так. Но ведь каждый час на земле – горький или счастливый – велик по-своему. Прощайте.

Я вышел на улицу и медленно побрел вдоль Гайд-парк Тауэрс. Я чувствовал в теле усталость, как после бега на длинную дистанцию. Вечер плавно, словно черный зонтик, опускался на Лондон. Ничего особенного не случилось в тот предрождественский стылый день: как и вчера, в парках слышался детский смех и мягкий перезвон бокалов в ресторанах.

Просто я понял, что постарел еще на один год жизни.

IX

– Всего вам! – сказал я и крепко пожал руку Ан...енко.

– Да мы расстанемся ненадолго, – он спрятал в усах улыбку, – еще на Саланге повидаемся. Механик-водитель утопил акселератор, и наш БТР с ревом попер в гору. Часов через пять, если не помешают заторы, мы планировали оказаться на Саланге.

Броня уверенно карабкалась по льду все выше и выше.

Облака, еще два часа назад казавшиеся недостижимыми, теперь безмятежно лежали слева и справа от нас. Январский свет солнца едва пробивался сквозь них. Снег теперь был везде – лежал на дороге, кружился в воздухе, засыпал скалы, пролезал за шиворот, старательно залеплял триплексы машин, бесконечной извилистой линией тянувшихся к перевалу.

Миллионы снежных тонн молчаливо лежали на горных кручах, грозя лавинами и обвалами уходящей на север армии.

Солдаты ехали, облепив сверху своими телами боевые машины и бронетранспортеры, забитые изнутри разной всячиной. Они кутались в одеяла, защищались от ветра матрацами, по самый нос натягивали бежевые шерстяные шапочки. Из-за сорокапроцентной нехватки кислорода люди вовсе работали легкими, но надышаться не могли. Грузовые машины ревели всю двигателями, однако с каждой новой сотней метров подъема скорость безнадежно падала. Зажигалки и спички не хотели гореть, и приходилось изводить по полкоробка на одну сигарету. От четырехкилометровой высоты слегка кружилась голова, ноги были ватными.

Слева и справа от дорожного серпантина проплывали сторожевые заставы. Многие из них были обнесены рядами колючей проволоки вплетенными в них порожними консервными банками. Когда налетал ветер, банки недовольно позвякивали. А эхо разносило этот консервный перезвон далеко окрест.

Время от времени мы тормозили у очередной заставы, нам давали перекусить и выпить водки. Она горячила кровь, поднимала настроение и глушила чувство опасности, без которого ехать по тем местам было легче: казалось, ты сбрасывал с плеч целую тонну груза. На иных заставах предлагали посмотреть видеофильм с Брюсом Ли или Сильвестром Сталлоне в главной роли. Начало боевика ты видел на одной заставе, продолжение – на второй, а концовку – на следующей.

Порой мелькали тощие голые деревца, торчавшие из каменистой земли, точно костлявые руки мертвецов с растопыренными заледеневшими пальцами. Высоко в горах едва виднелись сквозь пургу выносные посты, затерявшиеся в снегах и одиночестве. Странные названия были у них: «Ласточкино гнездо», «Марс», «Луна», «Жемчуг» или «Мечта». Чем романтичнее название, тем удаленней и выше пост.

Солнце незаметно превратилось в Луну. Она белела круглой пробойной на черном щите неба. Надо было искать место для ночлега.

– Видите вон там огоньки? – крикнул мне механик-водитель.

Глянув в триплекс, я кивнул.

– Это пятьдесят третья застава. Там можно заночевать.

А я двину дальше – к туннелю. – Он надавил на педаль, и машина пошла бойчее.

Минут через пять мы распрощались, и я, прыгнув с бронетранспортера, пошел по узкой тропинке в сторону едва мерцавших огней.

Застава утопала среди снегов в седловине между горами, невидимые пики их растворялись в темноте. Гул КамАЗов, тянувшихся на север, сник, и я почувствовал, как на землю плавно опускается тишина. В небе неподвижно висели осветительные бомбы, издали напоминавшие светлячков.

Застава была по-военному чумаза и грязна, и, когда я открыл скрипучую дверь, на меня пахло сладковатой сыростью. В углу темного коридора трещала рация. Близ нее на табурете сидел дневальный. Он грел черные от копоти ладони над консервной банкой горячей солянки. Тени и блики света гонялись друг за другом по стенам коридора.

– Вам кого? – спросил дневальный, подняв на меня воспаленные глаза.

– Кого-нибудь из офицеров, – ответил я.

– Комбат Ушаков вон там, за дверью, – дневальный пошевелил над огнем промерзшими пальцами.

В этот момент распахнулась дверь, и я увидел человека средних лет – рычагастого, тощего, с измученным лицом.

От всей его громадной, чуть сутулой фигуры, от впалых щек, ранних морщин, от глаз с желтоватыми белками веяло многомесячной хронической усталостью.

– У-у-ушаков, – заикаясь, сказал он.

Я назвал его и сказал, что ищу место для ночлега.

– Милости п-п-прошу. – Он слегка посторонился и дал мне пройти в комнату.

– Так вы тот самый знаменитый Ушаков? – спросил я, усаживаясь на скрипучую койку.

– Знаменитый-незнаменитый, н-но Ушаков, – ответил он и присел на противоположную койку. – А вы тот самый журналист, который опозорил десантников?

– В каком смысле? – не понял я.

– В п-прямом. – Он подбросил несколько лучинок в «буржуйку», шипевшую рядом. – Ведь это вы описали засадные действия, в которых участвовали джелалабадские десантники, обутое не в горные ботинки, как полагается, а в кроссовки.

Я сразу же вспомнил разгневанное письмо одного майора из Рухи, полученное мною год назад в Москве. Когда я вскрыл конверт, оттуда пахло гарью, порохом, войной.

– Ваше письмо было самым злым из всей почты, которую я получил после публикации повести про Афганистан.

Тогда вы были еще майором. Поздравляю с очередной звездочкой. Честно говоря, я не очень понял вашу критику. Ведь кроссовки, пакистанские спальники, «духовские» фляги – все это было правдой.

– Я вам вот что скажу. – Ушаков ударил ладонью по табурету. – У нормального командира солдаты одеты по Уставу, а вы показали банду расхлабаев, нацепивших на себя все трофейное барахло. Ведь это же стыд и с-срам!

– Конечно, стыд и срам, – ответил я.

– Но вы этим срамом в-в-восторгались! – Ушаков разволновался и никак не мог прикурить сигарету.

– Вам померещилось, – сказал я и подумал: «Ну и влип же я. Теперь придется всю ночь выслушивать нравоучения».

Ушаков взял со стола гребень, расчесал рыжие усы, а затем по-гусарски подкрутил их кончики. Эта процедура чуть успокоила его.

– В армии и так полно разного дерьма. – Он выпустил изо рта струйку дыма. – И н-нечего его пропагандировать...

Ладно, не берите в голову. Это я так. Кто старое п-помянет...

Он глубоко затянулся, а когда выдохнул, я не увидел дыма.

– Есть хотите? П-проголодались небось с дороги. Сейчас сварганим что-нибудь. – Он встал, хрустнул суставами затекших ног и скрылся за дверью.

...Батальон Ушакова прибыл из Рухи на Саланг в сентябре 88-го. Он входил в состав полка, который потом стал известен как «рухинский». Полк был одним из самых боевых в Афганистане. На его долю выпало немало тяжелейших сражений и еще больше обстрелов. Передислокация на Саланг, где в последние месяцы было относительно спокойно, казалась мотострелкам лирическим отступлением после Рухи.

Местечко это имело славу самой гиблой и опасной точки в стране. Даже полет туда и обратно воспринимался иными штабистами как геройство. Ушаков вместе с однополчанами провоевал там два года.

Прибыв на южные подступы к перевалу, батальон занял пять застав вдоль дороги Кабул – Саланг и выставил три выносных поста в горах. Сам Ушаков расположился на пятьдесят третьей, где стояла минометная батарея двадцатичетырехлетнего старшего лейтенанта Юры Климова.

Так что с сентября 88-го оба комбата жили вместе. Ушаковскому батальону была определена зона ответственности в двадцать километров – вплоть до 42-й заставы, которую занимали десантники-востротинцы¹¹¹.

– Я и сам люто есть х-хочу, – сказал выросший в дверном проеме Ушаков. В его правой руке шипела сковородка, брызгаясь во все стороны обжигающим свиным жиром. – Харчи под завязку войны у нас маленько оскудели. Потребляем остатки запасов: т-тушенка, консервированная картошка, репчатый лук, рис да сгущенка. Но главное, – солдат сыт и обут. Недавно «духи» подарили б-барана. Наш повар-узбек мастерски разделал его. Так

111 Полковник Валерий Востротин – командир полка. Герой Советского Союза.

что иногда мы и попить горазды, Накладывайте себе побольше. Это ужин. Сегодня нам больше ничего не светит.

Ушаков прикрыл глаза, вдохнул сизый пар, поднимавшийся от сковороды, улыбнулся и отвалил мне в миску царскую порцию.

Я внимательно посмотрел на него. Чем-то он походил на страну, в которой родился: огромный, доверчивый, не помнящий обид, веселый и грустный одновременно. Хорошие у него были глаза: он как бы хмуро сиял ими. Порой невидимая волна пробегала по его лицу, и оно становилось печальным, но все-таки чаще светилось неясной улыбкой. Голос был глуховат, насквозь прокурен. Красно-коричневая кожа обтягивала скуластое лицо. И хотя шел ему лишь тридцать седьмой год, сквозь поредевшие светлые волосы просвечивали по бокам высокого, с сильными надбровьями лба бледные залысины. Всем своим обликом Ушаков напоминал усатых русских солдат на полотнах, посвященных баталиям 1812 года.

Когда я разговаривал с ним, мне казалось, что он родился, уже зная то, чему сам я выучился гораздо позже по книгам. И хотя с самого начала он дал мне понять, что журналистов не очень-то любит, все равно я разглядел, вернее, почувствовал в нем сквозь эту неприязнь редкую на войне доброту человека к незнакомому человеку.

– Б-беден тот, – сказал Ушаков, бросив в кружку пару кусков сахара, – кто видит снег только белым, море – синим, а траву – зеленой. Весь смысл жизни в сочетании и смешении цветов. И журналист это тоже должен понимать.

Иначе про эту в-войну писать нельзя. Иначе – фальшь и ложь... Сколько мне приходилось читать о сражениях, которых и в помине не было, а о реальных битвах – молчок.

Сколько трусов мы провозгласили героями, а и впрямь храбро воевавших людей газеты игнорировали. «Чижик»¹¹² ходит весь в орденах, а солдат...

Ушаков махнул рукой, и через мгновение язык пламени в печке метнулся в сторону.

– Вот случай был. – Комбат поставил вытертую хлебом сковородку на пол. – На заставе.

Пошел один боец в кусты по ну-нужде. В этот миг ударила безоткатка, и заставу накрыло. Все погибли. Но тот, в кустах, выжил. Случай был подан позже наверх так, будто парень один отстреливался в окружении и победил.

– И что же? – спросил я.

– Героем сделали. Другой эпизод. Ротный вез на БТРе проверяющего из Союза. Подъехали к пе-персиковой роще.

Проверяющий сказал: «Эх, вот бы персиков набрать домой!» Ротный оказался смышленным: остановил машину, спрыгнул, но неудачно – на мину. Оторвало обе ноги.

Проверяющий, чувствуя свою вину, сделал все, чтобы ротного представили к Герою... Ты не думай, я не з-завидую, боже меня упаси. Я п-просто хочу сказать, что Герой Советского Союза – это святое. Понял меня?

Я кивнул.

За окном рычал дизельный движок, качая на заставу электричество. Где-то в горах ухнула гаубица Д-30: оконное стекло всосало в комнату, потом опять отпустило. Над крышей пронеслась мина, завывая как певичка в периферийной опере.

– Знаешь, как в Союзе определять: кто действительно воевал т-тут, а кто по штабам прятался? – вдруг спросил Ушаков.

Он снял с печи чайник, плеснул кипятком в кружки и сам же ответил на поставленный вопрос:

– Кто девкам заливает м-мозги про свои подвиги по самую ватерлинию, тот и свиста пули не слышал. Настоящий ветеран будет помалкивать о войне. Эй, дневальный, поди сюда!

112 На армейском жаргоне – штабист.

Через несколько секунд открылась дверь, и на пороге появился солдат в замызганном бушлате. К парню прочно приклеилась кличка «Челентано». Иначе никто на заставе его не звал.

– Солдат, – Ушаков протянул ему чайник, – принеси-ка нам еще воды.

Челентано исчез, не сказав ни единого слова: он был узбеком и по-русски говорил хуже афганца.

– В одной из моих рот, – Ушаков улыбнулся, – узбеки решили сколотить свою мафию и начали терроризировать русское меньшинство. Ну, я был вынужден продемонстрировать им ответный русский террор. Я этих дел не люблю.

За окном раздалась глухая очередь из АК.

– Какой-нибудь часовой, – прокомментировал Ушаков, – разрядил магазин в собственную тень. Ничего, бы-бывает. Воевать осталось четыре недели: н-нервы н-не выдерживают.

– А я думал, тревога.

– Н-нет, – опять ухмыльнулся комбат.

Он поглядел на часы. Почесал затылок и предложил:

– Уже ча-час ночи. Может, соснем чуток? Возражений нет?

Я отрицательно покачал головой.

– Добро. Значит, спать, – сказал он и кряхтя повалился на койку. – Я не раздеваюсь: за ночь двадцать р-раз успеют поднять. Замаешься натягивать форму. Тебе тоже не советую.

Я сбросил горные ботинки и вытянулся на своей койке.

Она что-то промурлыкала подо мной.

– Ты н-не обращай внимания, – предупредил комбат, – если я во сне буду материться. Можешь меня разбудить, когда начну крыть всех и вся десятиэтажным...

Я улыбнулся в ответ и выключил свет.

Громя сапогами, в комнату вошел дневальный и поставил на печь чайник. Мокрое его днище умиротворенно зашипело.

– Не забудь, – Ушаков отодрал от подушки голову и поглядел на солдата, – подбросить через час углей в огонь. Не то мы корреспондента за-заморозим. Давай, ступай к себе.

Ушаков опять уронил голову на подушку. Минут через пять я услышал спокойное дыхание комбата. Охристый огонь едва освещал его лицо, и было заметно, что он дремлет с полужакрытыми, заведенными вверх глазами. Из-под век поблескивала нездоровая желтизна белков. На разгладившемся лбу лежала мокрая от пота прядь волос.

Х

Ушаков получил подполковника совсем недавно, хотя документы послали досрочно – еще два года назад. Дело было в Рухе: один из его новеньких лейтенантов самовольно поехал менять БМП на блоке и подорвался на mine, потому что по неопытности решил обойтись без саперов. После этого Ушакову завернули представление и на орден, и на звание.

Звонки полевого телефона вернули меня из прошлого в настоящее. Прежде чем я успел разомкнуть отяжелевшие за день веки, Ушаков уже кричал в трубку своим глухим басом:

– Алло, «Перевал»! Алло, «Перевал»! Как слышишь?..

«Перевал», дай мне «Курьера»!.. Да!.. Н-на т-трассе никаких происшествий! Все идет нормально!

Через мгновение он устало бросил трубку на рычаг и прошептал:

– Вот так целую ночь...

– Но ведь все равно легче, чем в Рухе?

– В каком-то смысле, конечно, легче. Правда, тут не знаешь, чего ждать. Боюсь, в последние дни здесь, на Саланге, фирменная вешалка начнется. Наверняка «духи» будут бить нам в хвост... Вся охота спа-пать пропала... В Рухе они обстреливали нас почти каждый день. Начальники летать к нам боялись. А когда все-таки навевывались, ничем хорошим это не кончалось. Уезжали обратно з-злющими-презлыми. Во-первых, потому,

что машин мы им не давали: каждая была задействована. Водки и бакшиш¹¹³ тоже не давали. Ведь непосредственного контакта с дуканщиками у нас не было, кроме того, мы установили сухой закон. Вот из-за этого начальство уезжало недовольным, и полк был на плохом счету. А наш командир, человек п-порядочный, честный, на партсобраниях постоять за себя не умел. Или не х-хотел.

Я ему всегда шептал на ухо: «Давай, к-командир, на амбразуру!» А он вечно сидит, отмалчивается. Так что приходилось мне лаяться с начальниками.

– Не боялись? – скорее подумал, чем спросил я.

– А чего мне их бояться? – угадал мой вопрос комбат. – Я считаю: нормальному, здоровому человеку вообще нечего бояться. Вот уволят меня из армии – пойду уголь добывать. И заработаю, кстати, больше. Мои руки везде пригодятся... П-предки наши, не имея ничего, вона какую одну шестую оседлали. Мне друзья говорят: «Не сносить тебе, Ушаков, г-голова!» А я отвечаю: «М-меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют».

– Но ведь послали?

– Да, послали, – тихо засмеялся Ушаков. – Ну, т-так дальше Афгана не пошлют...

Настоящий армейский трудяга всегда в тени, а по-подонок, умеющий звонко шелкнуть каблуками, генерала в задницу поцеловать, а потом облизнуться, – этот бойко скачет вверх. Ста-тарая история...

Ушаков подошел к «буржуйке», бросил в ее огненную пасть несколько углей и щепок.

Сырое дерево уютно зашипело, и в комнате стало светлей. Ушаков выпрямился на длинных тощих ногах и, морщина блестящий лоб, направился в свой угол.

– Какая ни есть армия, – Ушаков сел, упершись острыми локтями в узкие колени, – а я, видно, по своей воле ее не брошу. Хотя, конечно, много всякой чепухи... Служил тут у нас командиром отдельного реактивного дивизиона армейского подчинения один неплохой человек – мужик он б-был крутой, п-принципиальный. И дорого она ему обходилась, принципиальность-то. А у его предшественника карьера шла как по маслу, тот все умел – и хорошенько баньку растопить, и девочек вовремя организовать, и бакшиш ненавязчиво подсунуть какому-нибудь начальнику. Даже самому захудалому. Ну а тот, про кого я т-толкую, всего этого не умел.

Не желал. Он, бывало, возмущался: "Товарищи начальники, на какие шиши я вам водку ставить б-буду?! Своих д-денег мне жалко – в Союзе осталась семья. А воровать не буду. Не заставляйте". Словом, начались у него проверки, неприятности, пятое-десятое: съели его. Пришел он ко мне с понижением – заместителем по вооружению... Мой зам по тылу тоже ссыльный. Раньше с-служил в одном из придворных полков, но честность, как говорят французы, фраера сгубила: п-получил пинок под зад и оказался у меня.

Я глянул на комбата: глаза его лихорадочно, словно в горячке, сверкали. Казалось, они-то и освещали комнатку.

Левая бровь изогнулась крутой дугой и мелко дрожала.

Ушаков облизнул пересохшие белесые губы.

– Чуть южнее, – сказал он, – служит комбат А. Ни одной зарплаты не получил: все переводит в Союз на счет "Б". Но тут отоварился капитально. К-как? Да очень п-просто. Списывал имущество как боевые потери, а сам продавал его Басиру. Печально все это. С-солдат видит такое и тут же пример берет. А начнешь со всем этим воевать, скажут: сумасшедший – в психушку его! Я там уже насиделся. Больше н-нет охоты.

...Первый раз подполковник Ушаков угодил в армейскую психиатрическую клинику в апреле 71-го (18 суток), когда учился в киевском ВОКУ, второй раз – в мае 83-го (10 суток), когда служил на Кубе. Третий раз – в ноябре – декабре 85-го года (47 суток) в Калининграде. В Киеве Ушаков повздорил с преподавательницей, в двух других случаях – с начальством.

113 Подарки, подношения начальству (одно из значений).

– На Кубе, – усмехнулся себе в усы Ушаков, – им не понравилась моя фраза о том, что армия должна заниматься не показухой, а делом. Я всегда считал: если в части порядок, а солдат готов отдать жизнь за Родину, значит, командир с-свое дело знает. И нечего его отвлекать идиотскими проверками. Конечно, я тогда вспылел... Ясное дело, ок-казался в дурдоме. Начали врачи выяснять мое умственное развитие: не может же нормальный человек брякнуть такое начальству! Сказали, чтобы з-зполнил анкету. Умора, честное слово, что в ней было. Один вопрос дурней другого: например, чем отличается столичный город от периферийного? Чем отличается лошадь от трактора? Самолет – от птицы?.. Как нормальному ч-человеку ответить на них? Скажешь, лошадь ржет, а трактор урчит; птичка машет крылышками, а самолет нет, – назовут дуриком.

Оконце начало медленно светлеть, словно экран древнего телевизора после нажатия кнопки. Потом на стекле про ступил легкий румянец: солнце лениво начинало свое многомиллиардное по счету восхождение на небосклон.

Левая щека комбата, обращенная к окну, тоже порозовела, а правая половина лица, отсеченная крупным приподнятым носом, была черной, как невидимая сторона Луны.

– Или, – продолжал Ушаков, – все эти вопросы типа:

«Если бы у меня была нормальная половая жизнь, то...?» Я сказал комиссии: «Как мне отвечать на него, если я себя ущемленным в половом плане не чувствую и от бабы меня за уши не оторвешь?!»

– И что же врачи? – не удержался я.

– А что они? Рассмеялись и отпустили... Понимаешь, психушка – отличный способ для начальства избавиться от ЧП в части.

Комбат раскрыл уже распечатанную пачку сигарет. Все они были аккуратно уложены фильтрами вниз – попытка солдата перехитрить афганскую инфекцию: в рот берешь кончик, не тронутый грязными пальцами.

– Курнем? – предложил он, подняв на меня прижмуренные в усталой улыбке глаза. Куцые, выжженные солнцем ресницы вокруг них едва приметно подрагивали.

Дверь скрипнула, чуть приоткрылась. В образовавшейся черной щели я увидел аккуратно подстриженную голову с картечинами маленьких глаз.

– Товарищ подполковник, разрешите войти?

Ушаков бросил в сторону говорившего грузный взгляд, сказал:

– Заходи, С-славк.

Это был старший лейтенант Адлюков – небольшого росточка, совсем еще мальчик.

Черные волосы, слегка курчавившиеся на висках, подчеркивали бледность его девичьего лица.

– Наливай себе чай, кури, отдыхай, – глухо пробурчал Ушаков.

Адлюков только что, в пять утра, спустился с секрета «Роза». «Роза» не вышла на связь в условленное время, и Славке пришлось ночью карабкаться в горы. Предварительно он дал три одиночных выстрела из АК, ожидая в ответ два одиночных, но их не последовало.

Больше часа он с сапером шел вверх по глубокому снегу лишь для того, чтобы выяснить: на высокогорном посту сели аккумуляторы.

Он пристроился рядом со мной и начал снимать резиновые чулки от ОЗК¹¹⁴. Из них посыпались на дощатый пол слежавшиеся комья снега. Потом он налил в кружку горячего чаю, обнял ее ладонями и долго смотрел в остывавшую черную воду.

Адлюков потерял родителей еще в раннем детстве. Его приютила тетка, но Славка, когда подрос, вдруг почему-то закомплексовал и, не желая быть обузой-нахлебником, после восьмого класса подался в суворовское училище. Затем учился в Тбилисском артиллерийском и, наконец, оказался в Афганистане.

– Так что психушка, – Ушаков вернулся спустя десять минут к тому, на чем мы остановились, – это зачастую палочка-выручалочка для командира. К примеру, ударил солдат офицера. Его надо судить – это ведь ЧП. Но если в полку ЧП и есть осужденный, то командиру не перепрыгнуть на следующую должность. Следовательно, происшествие оформляют как сдвиг по фазе – и все. А рассуждают так: разве может нормальный солдат ударить офицера?! Нет, не может, значит, псих.

За время службы в армии Ушакову трижды предлагали поступать в Академию имени Фрунзе. Но он отбрыкивался как мог.

– Первый раз, дай Бог памяти, – он внимательно посмотрел на косою потолок, сложенный из пробитых труб, словно там была написана история его жизни, – агитировали поступать в 81 м. Я тогда был назначен начальником штаба батальона. Конечно, почетно походить на старости лет в штанах с лампасами: умрешь – на лафете тебя прокатят, отсалютуют... Но, понимаешь, у меня прикрытия сверху нет, а без него задолбит начальство и хватит инфаркт в пятьдесят лет. Так что в-выше батальона я п-прыгать не желаю. Чтобы идти дальше в гору, надо быть либо циником и не принимать ничего близко к сердцу, либо блатным. А я ни тот и ни другой.

Уже совсем рассвело. Комбат, глянув в окно, улыбнулся:

– Кончились белые ночи, начались черные дни. Кто всех главней, тот себя не жалеет!

Он бросил на колени вафельное полотенце, обмакнул кисточку в кипяток и принялся взбивать пену на щеках, мурлыкая какую-то песенку. Наблюдая за ним, я подумал; «Вот они – два полюса нашей армии: Ан...енко и Ушаков. Первый – бравый, уверенный в собственной правоте, олицетворение мощи вооруженных сил. Второй – сутулый заика, болезненный, с серебряными зубами, сомневающийся в себе и во всем, прежде времени состарившийся комбат».

Ушаков шумно соскребал щетину и пену со впалых щек.

Перехватив мой пристальный взгляд, сказал:

– Изучаешь? Изучай... – Хлопья пены слетали с его губ. – Я – из поморов. А поморы никогда крепостными не были.

В комнату вошел батальонный фельдшер, человек лет сорока с худым лицом, острым носом и водянистыми точками глаз.

– И ты присаживайся, Петро! – Ушаков указал безопаской на свою койку. Мельком обшарив его глазами, комбат спросил:

– Ты че т-так приоделся, военизированный доктор?

Ты че бутсы с шипами натянул? А автомат к чему?

– Шипы – чтобы не скользить, а автомат – чтобы было чем отстреливаться, – чуть обиделся фельдшер.

– Ну, т-ты, Петро, юморист: ты ж только и ходишь, что между каптеркой да столовой, – где тебе скользить?! И автомат брось, не с-смеси людей: коли начнется, мы тебя прикроем...

А если серьезно, сок-колики мои, то берегите себя, лишний раз не высывайтесь.

Осталось совсем ничего, и обидно б-будет, если вдруг что случится в последний день...

Вот пересечем границу, оставлю я в расположении двух прапорщиков, что у меня на пьянке попались, а все остальные рванут в лучший термезский кабак: будем праздновать не победу, не поражение, а выход... Странная была война: входили, когда цвел застой, а выходим в эпоху бешенства правды-матки.

Ушаков начисто вытер полотенцем посвежешее после бритья лицо. Прислушившись к громким шагам в коридоре за дверью, сказал:

– Полковник Якубовский приехал. Только он так громыхает. Братцы, в-встрепенулись!

Якубовский вошел в комнату, и сразу же в ней стало тесней. Был он велик ростом, розовощек. Казалось, вместе с ним на заставу влетела вьюга.

– Ух, холодно там! – улыбаясь, зашумел Якубовский.

Повернувшись к Адлюкову, сказал:

– Эй, воробушек, организуй-ка мне чаю.

Славка, вытянувшийся у моей койки, с дрожью в голосе отчеканил:

– Товарищ полковник, я не воробушек. Я – человек!

Ушаков спрятал смеющиеся глаза.

Якубовский громко захохотал, потрепал Адлюкова по голове:

– Ладно, брат, не обижайся. Просто я продрог, пока ехал к вам с Саланга. А ты ершист!

Быстро-быстро застучав по доскам пола сапожками, Адлюков пошел на кухню.

Якубовский расспросил Ушакова об обстановке на трассе, потер бурое лицо руками и, не дождавшись чаю, ушел.

Через пару минут глухо взревел двигатель его БТРа.

– Ураган, а не мужик! – Ушаков восторженно кивнул на дверь, за которой скрылся

Якубовский. – Если пересечем границу, я бы, будь моя воля, дал солдатам по полкружке

водки, взводным – по кружке, ротным – по две, а комбатам – по три. Эх, бабий ты смех!

Адлюков толкнул бедром дверь, вошел, держа в руках чайник и дрова.

– Дневальный! – крикнул комбат, сложив руки раструбом у рта. – Дневальный!

Не получив ответа, он накинул на плечи бушлат и выбежал в коридор.

– Ты не очень-то, – обратился ко мне Адлюков, – верь Ушакову про водку. Комбат – заядлый трезвенник. Прибыл на нашу заставу и личным приказом установил «сухой

закон». Помню, еще сказал: «Будем теперь воевать без водки и без женщин...»

– Вот именно – без женщин! – подхватил последние слова Адлюкова вихрем ворвавшийся в комнату комбат. – Это относилось не только к женатым, но и к холостякам.

– А к холостякам-то почему? – не понял я.

– Потому, – огрызнулся Ушаков, – что здесь порядочных женщин нет. Семейным же запретил, исходя из элементарной логики: если тебя жена там ждет, почему же ты ее не ждешь?!

– Словом, – улыбнулся Адлюков, – отношения между батареей и батальоном, тогда, в сентябре, напряглись.

Кто-то даже осмелился сказать товарищу подполковнику:

«Вы не лезьте в чужой монастырь со своим уставом. Люди жили себе – дайте же им дожить нормально до 15 февраля».

– Я тогда ответил, – Ушаков стряхнул с бровей снежинки, – будут так жить – не доживут!

Когда батальон Ушакова стоял в Рухе, командир полка предложил однажды всем офицерам сброситься по десять чеков на подарки женщинам к 8 Марта. Комбат отказался наотрез.

«Тебе чеков жалко?» – спросил командир полка.

«Нет, – ответил Ушаков, – просто я не вижу тут ни одной женщины здесь..!» Он достал из кармана десятичековую бумажку и разорвал ее на мелкие кусочки. Командир полка развел руками: «Аполитично ты, комбат, рассуждаешь...»

Появившись в Рухе, Ушаков сказал полковым дамам:

"До меня солдат и офицеров доили, а я не дам!

Судя по всему, Ушаков не очень-то любил женское племя. И были на то у него свои причины.

Еще в Союзе, вернувшись однажды с полигона, застал не свои ноги в своей постели рядом с женой. Ушаков, не долго думая, вытащил пистолет из кобуры и заставил того шустрого малого – владельца ног – сесть нагишом за стол и писать объяснительную записку, которую заверил печатью начальник политотдела, вызванный на место преступления.

Состоялся суд. Женщина-судья предложила Ушакову не торопиться с голословными обвинениями. «Это, – сказала она, – скорее всего навет». Вот тогда Ушаков положил на стол объяснительную записку с полковой печатью. Давая развод, судья заявила, что многое видела за время своей карьеры, но только не это.

С тех пор Ушаков не женился. Не было ни желанья, ни везения. Правда, в отпуску я недавним летом в Союзе, повстречал на юге женщину с редким именем Таисия. Тая. Глянув на нее, даже про войну забыл. Что-то шевельнулось в окаменевшем сердце комбата. Он собрал со дна души остатки сил и влюбился в ту женщину, плюнув на

рассудок и Афганистан. Бросился в пропасть нового чувства, точно мальчишка на санках с горы.

– Та-и-си-я Та-еч-ка. Тай-ка, – повторил нараспев комбат и задумчиво поглядел на потухшую сигарету.

– Видно, – предположил Славка, – вас, товарищ подполковник, кто-то крепко вспоминает.

– Если кто и вспоминает, – улыбнулся Ушаков, показывая прокопченное на сигаретном дыму серебро клыков, – так это черт в могиле.

... Сколько раз читали мне люди, воевавшие в Афганистане, письма из родного дома.

Читали как молитву. Как часто я видел письма от детей, начинавшиеся словами. «Дорогой дядя папочка!» Многие из них не помнили своих отцов, знали лишь, что те на войне.

Майор из Желалабада рассказал мне как-то историю о том, как ездил летом 87-го в отпуск. Жена с дочкой встретили его в аэропорту. Взяв такси, помчали в город. Жена всю дорогу плакала, целовала его в белесые виски мокрыми холодными губами. Когда подъезжали к дому, дочь спросила:

– Папочка, а ты будешь мне дарить две шоколадки перед школой?

– Две много, но одну – обязательно! – улыбнулся он.

– Папочка, я хочу две, – попросила дочка. – Дядя Валера каждое утро, когда уходил от нас, дарил мне две шоколадки.

Майор закрыл глаза. Счастливый хмель из него, словно клином, вышибло. Он попросил шофера остановить машину. По крыше тяжело били капли дождя. Майор протянул водителю четвертной и попросил довезти жену и дочь до дому. Взял сумку и пошел прочь. С тех пор он их не видел...

– Эх, жизнь моя, – Ушаков звучно ударил ладонями по икрам, – комедия со смертельным исходом! Братцы, а знаете, как проверять верность жены, когда возвращаешься с полигона домой?

– Мне бы для начала отженихаться. – Славка заблестел картечинками глаз.

– Это от тебя никуда не улетит, – постановил Ушаков, – ежели ты сам не улетишь. Так вот, метода т-такая: подъезжаешь к дому, идешь к подъезду, грохочешь сапогами на полную мощь. Старухи на лавках замирают, притаившись от ужаса. Набираешь в легкие побольше воздуха и орешь им, что есть мочи: «Ну, что, б...!» А они тебе в ответ:

«Это мы-то б...?! А вот твоя, такая-растакая..!» Тут ты все и узнаешь.

Замкомбата Корниенко и заместитель командира полка Ляшенко, незаметно появившиеся в комнате во время монолога Ушакова, затряслись от беззвучного смеха. Адлюков прихлопнул в ладоши.

– Ай да комбат! – Корниенко смахнул слезу.

– Ты бы, – неожиданно посерьезнел Ушаков, – лучше меньше смеялся, да дело бы делал.

– Что это тебя, – говорил все еще улыбающийся Корниенко, – из стороны в сторону шарахает: то шутишь, то злишься...

– Злюсь я потому, что отдал тебе своего прапорщика, а ты его распустил. Он, подлец, вконец разболтался.

– Да не разболтался он, – вкось улыбнулся Корниенко. – От парня жена ушла.

– Передай прапорщику, что ему повезло. Без баб лучше.

Спокойней. Уж я-то знаю. Вот этим местом познал.

Комбат несколько раз с силой ударил себя по хребту.

– Нет, Ушаков, – тихо заговорил Ляшенко, – это ты, брат, тут в кулак сжался. А вернешься – разожмешься.

Здесь, на войне, мы день и ночь вместе. Воюем вместе.

Спим вместе. А там днем вместе, а вечером и ночью порознь. Там ты не сможешь, как тут. Не надейся.

– Д-да им вообще верить нельзя! – Ушаков со злобой ударил костяшками пальцев по столу. – Как только на полигон уходишь, они норовят с соседом переспать.

– Мы, Сережа, ставим наших жен в более жесткие рамки, чем самих себя. Мы себе наяву позволяем то, что даже в мыслях не разрешаем им.

Ушаков поймал Ляшенко за рукав, прошептал с вспыхнувшей ненавистью.

– Послушай сюда: за все те десять лет, что б-был женат на Людмиле, я ей ни разу не изменил. Хотя, когда она уезжала, соседки мигом сбегались. Но я их всех выпроваживал. Лишь после развода позволил кое-кому оставаться. А тут у меня «сухой закон» И по части спиртного. И по части женщин.

– Не убеждай меня, Сережа, – Ляшенко обнял комбата за плечи, – не может человек всю жизнь бежать степным волком.

Лицо Ушакова было облито бледностью.

– Не может, – мягко повторил Ляшенко. – Должен же быть кто-то в старости, кто поможет тебе. Пока ты в армии, тебя обслужит прапорщик. А потом? Ведь ты пойми, чудак-человек, с каждым годом будет все трудней.

XI

Часам к десяти утра ветер нагнал туч, небо помутнело, с новой силой поднялась метель. Я вышел на дорогу и пошел в сторону пятидесятой заставы. Бронетранспортеры и боевые машины пехоты бесконечным пунктиром тянулись на север. Шли они медленно. Снежная поэмка звонко била по броне. Солдаты от нечего делать курили сигарету за сигаретой, поднося их к синим губам мерзлыми, неподвижными пальцами. Пройдя метров пятьсот, я нагнал бодро шагавшего лейтенанта. Он опустил на лицо шерстяную шапочку с двумя самодельными дырками для глаз, вверх натянул брезентовый капюшон. Два конца обледеневшей веревки, схваченной под подбородком в узел, хлестали его по щекам. Шли мы долго, изредка перебрасываясь короткими фразами. Близилась пятидесятая застава. Там лавиной снесло с дороги БТР, и лейтенант хотел ускорить работу солдат, с раннего утра раскапывавших машину. В ней находились механик-водитель и секретарь комитета комсомола полка. Оба они отделались легкими ушибами, но с момента аварии прошло несколько часов, и ребята здорово намерзли.

Ветер все крепчал, норовя столкнуть нас на обочину.

– Вот ведь метет, стерва! – ругнулся лейтенант в адрес вьюги. – И кто это вздумал выводить войска в феврале?!

Сколько техники уже угробили...

Он сдвинул вязаную шапочку, показав широколобое лицо с глубоко всаженными черными глазами.

– Как Россия войну ведет, – лейтенант провел ладонью по заиндевевшим бровям и ресницам, – так зима лютая. Не пойму только, кому больше не везет – «духам» или нам. Им-то ведь тоже несладко приходится... Все тропы в горах позавалило снегом, связь между отрядами нарушена... Ты с ушаковской заставы?

– Да.

– А где же сам комбат?

– Поехал к чайхане. Часовой доложил ему, что три десантника трясут там дуکان. Он помчал разбираться, прихватив командира роты Зауличного. Десантникам понравилась гонконговская парфюмерия и магнитофонные кассеты.

– Десантура свое дело знает! – улыбнулся лейтенант.

Пройдя еще метров семьсот, мы увидели человек пять солдат и одного капитана, демонтировавших самодельный памятник на обочине дороги. Год тому назад здесь погиб механик-водитель бронетранспортера, и однополчане поставили в память о нем железную пирамиду с пятаконечной звездой на вершине.

– Уж месяца три, как поступил приказ от Громова, – объяснил лейтенант, – вывозить всю советскую символику, снимать с дорог памятники павшим... Чтобы, когда армия уйдет, «духи» не издевались, не глумились над памятью.

Двое солдат лопатками и монтировкой долбили промерзлую, захрясшую от зимы и времени землю, тщаь выковырять из нее проржавевшее железо. Рядом нервно урчал КамАЗ. Кузов его был забит чахлыми плакатами с радостными призывами и лозунгами. Капитан, то и дело переступавший с ноги на ногу от холода, вытащил из кузова почерневший тесаный шест с приколоченным к нему фанерным щитом и, надломив его ударом сапога, бросил в вянувший костер. Пламя принялось прожорливо облизывать сухую древесину, с треском корежить многослойный фанерный лист, гласивший, что «... зм – наше знамя!»: кусок щита был отколот.

Я сел на корточки, вытянув руки к костру. Лейтенант уперся ногой в полыхавшее бревно: от толстой подошвы с шипением потянулись вверх струйки дыма.

– Ух, благодать какая, – промурлыкал он. – Я уж думал, пальцы на ногах отвалятся... В Союзе и то теплей.

– Давно вернулся? – Я прикурил от лучины.

– С неделю.

– Отпуск?

– Сопровождал «двухсотый груз»¹¹⁵.

– Куда?

– Под Ташкент.

– Домой успел съездить?

– Да. Дали четырнадцать суток. Но долго проторчал в Баграме: самолеты не садились из-за погоды. Потом добрались-таки до Кабула – перед самым Новым годом. В тамошнем морге холодильники, как на мясокомбинате. Сидели несколько дней подряд в обшарпанной комнатухе инфекционного госпиталя – рядом с моргом, где и встретили Новый год. Труп положили в цинк, запаяли. Цинк – в деревянный гроб, а гроб и фуражку – в транспортировочный ящик. В цинке оставили окошко: труп не был изуродован.

Лейтенант несколько минут помолчал, следя глазами за хаотичным танцем огня.

Пододвинул левый сапог ближе к костру: правый был окутан прогорклым сырым дымком.

– Говорят, – медленно продолжил он, тасуя в голове недавнее прошлое, – как встретишь Новый год, таким он и будет. Я встретил в кабульском морге. Не успел вернуться сюда из Ташкента, получил похоронку из Союза – брата в драке убили...

Лейтенант отчаянно глянул навстречу ветру и тут же зажмурился от попавших в глаза колких снежинок.

– Я, – сказал он с деланным равнодушием в голосе, – на войне выжил, а он там не смог. Так-то.

– Ездил далеко от Ташкента?

– Нет. Прилетел, передал военкому дипломат солдата, свидетельство о смерти, справку о денежной компенсации, закрытый военный билет. Военком поехал сообщать родителям, прихватив с собой «Скорую»: У отца сердце шалило...

Мать на похоронах выла. Отец рвал на себе остатки волос:

«Как допустили?! Как допустили?!» На меня смотрел, словно я сына его убил. Родня обступила, что-то на своем быстро-быстро говорила... Я спросил военкома: что им надо? Спрашивают, ответил он, зачем черный груз привез? Он меня побыстрее в аэропорт отвез: бывали случаи, когда сопровождавших забрасывали камнями... Обстановка накаленная. Только что показали «Маленькую Веру» – народ побил окна в кинотеатре. А тут еще этот гроб...

115 Кодовое обозначение для цинкового гроба с телом погибшего.

Несколько афганцев с автоматами подошли к костру, стали выменивать у солдат таблетки стрептоцида на сигареты.

– Фирменные «духи», – лейтенант с улыбкой глянул на них.

– А есть риск, что эти самые «духи» вдруг откроют огонь?

– Да нет, – махнул он рукой, – по всей дороге идет массовое братание в виде торговли. Воевать ни у кого нет охоты...

Памятник все не давался. Один из солдат предложил подорвать его, но капитан категорически отказался. Он приказал водителю развернуть машину и ковырнуть железную пирамиду бампером.

Памятник сопротивлялся, словно под землей в него вцепился мертвыми руками убитый механик-водитель. Невнятную, но горькую тоску нагонял вид этой битвы пяти живых с одним мертвым.

Бампер прошел в нескольких сантиметрах над звездой.

– Ну, что ты тянешь?! – орал в мегафон капитан. – Наезжай! Цепляй его осью!

КамАЗ медленно наехал на пирамиду, металл отчаянно заскрежетал. Когда машина отошла, я опять увидел памятник: он чуть покосился, но не упал. Погнутая звезда валялась рядом.

– Давай еще! Ну? – кричал в мегафон капитан, стараясь переорать рев двигателя, «Давай еще! Ну?» – вторило ему эхо в горах.

Один из солдат разбежался и обеими ногами прыгнул на пирамиду.

Та выстояла, металлически охнув.

– Ну, это ни к чему, – сказал лейтенант. – Ногами не надо.

Капитан зло глянул в нашу сторону.

КамАЗ развернулся и зашел по-новой. Через минуту все было кончено: памятник лежал поверженный.

Мертвый солдат проиграл опять.

Лейтенант и я двинулись дальше. Оставалось еще тысячи две метров до того места, где утром сошла лавина и снесла бронетранспортер. Дорога была забита тылами баграмской дивизии. Машины стояли впритык друг к другу. Двигатели работали. Лед и асфальт под ногами мелко дрожали. Выхлопная гарь, мешаясь с пургой, клубилась над дорогой.

Дышать было нечем. Лейтенант опустил на нос шерстяную вязанку. Я достал из бушлата грязный платок, сложил его вчетверо и прижал ко рту, используя как противогаз.

Прячась от удушливых выхлопов, мы всякий раз перебегали на ту сторону дороги, откуда дул ветер. Солнце из послед них сил пробивалось сквозь небесную мглу, вьюгу и гарь, словно сознание человека, получившего сильную контузию.

– Вчера пропал без вести солдат! – крикнул лейтенант, когда мы приблизились к сползшей с гор лавине.

– Где?

– По ту сторону Саланга. Близ озера!

– «...близ озера!» – подтвердило эхо.

– Говорят, ушел вместе с собакой! – крикнул лейтенант.

Я мысленно попытался воссоздать образ пропавшего без вести, представить его судьбу.

Незаметно для себя опять перенесся в Нью-Йорк, в «Дом Свободы», на встречу с бывшими советскими военнопленными...

XII

– ...Хорошо. О'кей! – сказал Микола Мовчан и сбросил джинсовую куртку с плеч, узких, как женская вешалка, повесил ее на спинку стула, закурил длинную черную сигарету.

Капельки пота в его жидких светлых волосах блестками вспыхивали на свету.

– Ты хочешь знать историю моей жизни? Слушай же.

Родился я в Лазорянке, возле Житомира. Маленькая такая деревушка, знаешь? Ничего, коли не слышал – не в ней дело... Однако там прошло мое детство. В город первый раз поехал, когда мне стукнуло восемь лет. Школу не любил. Да и сейчас не люблю. Скука. Чаще всего вспоминаю деревню, дорогу, деревья, дом. Мой любимый каштан. Я на нем всегда прятался. Вот говорю с тобой и вижу дорогу из моей деревни в город. Вижу себя, идущего по ней в последний раз.

На уроках я читал книги. В деревне нелегко было достать их, но моя тетка работала в школьной библиотеке. Помню, в книге «Спартак» не хватало половины страниц.

Я понятия не имел, чем буду заниматься в жизни. Родился в шестьдесят третьем году. Активным пионером, тем более комсомольцем я никогда не был. Друзья детства? Сейчас, пожалуй, и не вспомню: с тех пор как я покинул дом и ушел в армию, прошло шесть лет. Шесть очень долгих лет.

Очень долгих. В Ашхабаде, в части, сказали, что нас бросят в Афганистан.

Я не испугался: верил прессе, красочно расписывавшей, как мы там НЕ воюем. Шел восемьдесят второй год. Но в ашхабадском военном госпитале случайно увидел раненых из Афганистана и понял, что там идет война. Что там даже стреляют. Родителям поначалу ничего не сказал, но потом все-таки написал. Помню, успокаивал их, что буду кушать арбузы и им присылать.

Отец мне сказал: «Сын, служи и слушайся». Отец – тракторист. Мать – доярка. Но я не послушался.

На столике, за которым мы сидели, не было пепельницы.

Мовчан соорудил ее из пустой сигаретной пачки и стряхнул туда пепел. Тонкими указательными пальцами он потер скулы.

– ..Фамилия солдата Стариков, – уточнил лейтенант, вернув меня из Нью-Йорка на Саланг. Несколько минут мы шли молча.

– А где служил этот Мовчан? – спросил лейтенант...

...Мовчан закурил сигарету, положил руки на стол, сплел пальцы. Сказал:

– В Афгане я служил в Газни. Осень и зима восемьдесят второго. Зима и весна восемьдесят третьего. В начале лета я перешел...

Я служил до ухода в мотострелковой части. В расположении была довольно спокойная жизнь. Но на операциях все обстояло иначе. О нашей армии ничего плохого сказать не могу. Но то, что происходило за пределами полка, было ужасно. Нигде мы не видели дружественных афганцев.

Лишь одни враги. Даже афганская армия не была дружественной. Мы точно знали, что на всей территории провинции лишь одна деревня более или менее нормально относится к нашему присутствию. Когда пропагандисты выезжали агитировать, так сказать, за Советскую власть, то брали с собой роту и танки. Поговаривали, что в восемьдесят первом обстановка была лучше. Уж не знаю.

Я служил сержантом. Но не в боевых подразделениях.

Обычно полк высылал на войну один батальон и разведроту.

Но меня в них не было. Я прослужил около шести месяцев и ушел. Я перебежал рано утром. На рассвете. Мне просто повезло.

Мне все казалось, что я смотрю фильм про себя. Это ощущение усилилось, когда я оказался среди повстанцев.

Странно, я не заметил злости в их глазах. Они видели, как я бежал, и помогли мне спрятаться, когда советский вертолет начал искать меня, обшаривать местность, кишлаки. Желание уйти появилось в конце службы. Вначале было чувство отчаяния и неуверенности в правоте нашего дела.

Все вокруг враги. Помню страшную злость к повстанцам: ведь погибало много наших. Хотелось мстить.

Потом – сомнения в целях и методах интерпомощи. Для себя я ничего не мог решить. Знал лишь, как отвечать на политзанятиях: что мы воюем с американской агрессией и паками. Я

себя спрашивал: почему же мы заминировали все подходы к расположению полка? Почему целимся в каждого афганца из пулемета? Почему убиваем тех, кому пришли на помощь?

Когда на mine подорвался крестьянин, никто не отвез его в санчасть. Все стояли и наслаждались видом его смерти.

Офицер сказал: это враг – пусть помучается.

Это уже мраки. Темно. Я не послушался отца. Ушел на рассвете.

Это моя жизнь. Теперь – Америка. Другая жизнь.

Фильм. Да, фильм...

Утром, когда решил уйти, долго смотрел на поле. Было тихо. Очень. Я стоял и смотрел. Мышцы ног напряглись помимо моей воли. Я замер. Посмотрел в рассвет и побежал. Когда я оглянулся, полк был далеко позади. Через поле. Афганцы, работавшие на нем, помогли мне спрятаться. Я видел, как поднялись вертолеты. Они видели, как я бежал, и все поняли.

Дня через два мы покинули кишлак и пошли в горы. Долго шли, пока не оказались в повстанческом отряде. Повстанцы смотрели на меня с любопытством, без злобы. В их руках были лишь древние буры – еще со времен британского нашествия. Другого оружия в восемьдесят третьем у них не было. Представляешь кремневые буры – против танков, вертолетов и самолетов. Это ведь правда. Оказалось, я попал в группу Саяфа. Они по-хорошему обращались со мной.

Сначала я не понимал ни бум-бум. Позже появился человек, неплохо говорящей по-русски: он учился в Союзе, служил офицером, потом дезертировал из афганской армии...

– ..Саяф до сих пор воюет в Афганистане, – сказал задумчиво лейтенант, – нашему батальону не раз приходилось скрещивать с ним шпаги. Отчаянный вояка, ничего не скажешь...

...Мовчан погладил ладонью поверхность стола, взял еще одну сигарету, щелкнул электронной зажигалкой.

– Саяф, – Мовчан затянулся, – спросил меня, почему я ушел. Я сказал, что мне не нравится эта война, что я не хочу убивать афганцев. Саяф ответил, что его люди тоже не хотят воевать, но должны отстаивать независимость страны. Иначе борьба миллионов афганцев, живших раньше на этой земле, будет сведена на нет. Нельзя обесмысливать жизнь предков.

Я жил в отряде год. Передвигался по стране вместе с повстанцами. Тогда-то я увидел и понял, что это такое – афганское сопротивление. Когда мы приходили в деревню, нас с радостью встречали все: и стар и млад. Дети тащили еду.

Женщины – одежду. Мое отношение к войне сложилось и приняло форму убеждения именно в тот год. Я понял, что вся наша..., то есть советская пропаганда насчет войны в Афганистане – ложь от начала и до конца.

Стал учить язык афганцев и постепенно неплохо освоил его. Я готов был сделать все, чтобы искупить свою вину перед ними, хотя не по своей воле пришел в их страну.

Я приехал в Штаты в восемьдесят четвертом году, оказавшись одним из первых советских солдат здесь. Техническую сторону того, как я сюда попал, у меня нет желания обсуждать. Это может помешать другим военнопленным перебраться в Америку.

Я оказался здесь из-за того, что меня изначально обманули, послав воевать в Афганистан. Я не хочу, чтобы когда-нибудь мир судил меня, как сейчас судит преступников второй мировой войны.

Знаю, что в СССР сейчас начинают плохо говорить о ребятах, воевавших в Афгане...

Заговорили, когда стало безопасно говорить и критиковать войну... Раньше надо было. Я пытался завязать переписку с родными, но потом они сообщили, что у них начались проблемы. Я перестал писать.

Не хочу, чтобы они страдали из-за меня. Это не их вина. Они хотели, чтобы я служил и слушался. Но я не внял их совету.

Это моя жизнь. И если она сломана, то не родители виноваты в этом.
Мовчан не смог сдержать дрожь в голосе. Он глубоко вдохнул прокуренный воздух...

...Лейтенант слушал меня, словно ребенок сказочника.

Глаза его были по-детски расширены...

– ...Когда я бежал из расположения, – опять заговорил Мовчан, – через поле, я бежал не в Америку. Я не собирался сюда. Даже не думал об этом. Я не бежал с Украины. Я бежал от войны. В США я приехал без особенной радости.

Но у меня не было иного выхода. Я... Сейчас мне кажется, что дороги обратно у меня нет...

– ...Ну, это он зря, – сказал лейтенант, дослушав мой рассказ.

– Мовчан никогда не вернется, – ответил я. – Не чувствовал бы за собой вины, возвратился бы. Впрочем, каждый человек должен жить там, где хочет. Иначе – рабство.

– Он вернется. Он помнит каштан и деревенскую дорогу.

Она выведет его. Вот увидишь. Просто он еще раз должен встать во весь рост и побежать. Как тогда – через поле. Буксируйте!

Солдат соскочил с БТРа и снял трос. Водитель сдал чуток назад. Солдат бросил трос в обрыв, где колесами вверх беспомощно лежала уже раскопанная машина. Людям пришлось снять с нее пятиметровый слой снега.

Солдат внизу поймал конец троса и надел его на скобу сметенной лавиной бронетранспортера.

Лейтенант сказал, чтобы для страховки зацепили вторым тросом и привязали к МТЛБ. Со страховочным тросом возились минут десять. Он был слишком коротким, и МТЛБ, обдавая всех синими выхлопами, подъехал к самому краю обрыва.

– Теперь достанет! – крикнул солдат внизу, помахав рукой.

Лейтенант отколупнул монтировкой камень от скалы, подложил его под левую гусеницу тягача, вогнав острием в лед.

Взревели движки двух бронетранспортеров и МТЛБ. Вторая броня подталкивала первую сзади глухими ударами.

Лейтенант что-то орал на всю округу, перемогая рев машин и собственное эхо, вряд ли понимая смысл своих слов.

Солдат внизу тоже кричал. Я это понял по его открывавшемуся и закрывавшемуся рту. БТР, лежавший колесами вверх, дернулся и рывками пополз по почти отвесной стороне обрыва, оставляя за собой плотно утрамбованный след шириной метра в два.

Тягач всюду крутил гусеницами. Они скользили, выбрасывая из-под себя осколки льда.

Под одну из них солдат бросил свой бушлат и получил его обратно через секунду с противоположной стороны в виде рваных лохмотьев.

Он что-то крикнул и истерически засмеялся.

Смеха его я не слышал.

Сержант-узбек начал толкать руками второй бронетранспортер, но лейтенант точным ударом кулака отбросил его в сторону.

Парни, которых откопали, теперь грелись в БТРе неподалеку. Один из них высунул голову из люка, нервно крутил ею во все стороны.

Минут через пятнадцать упавший с обрыва бронетранспортер уже лежал на дороге.

Столько же времени прошло, пока его не поставили на колеса.

Лейтенант, работая яростно легкими и выпуская из порозовевших ноздрей клубы пара, подошел ко мне и показал ладони:

– Вот! – сказал он.

Руки его были изодраны в кровь.

– Ты сейчас куда? – спросил я.

– Повезу тех двух в Пули-Хумри. Поедешь?

– Да. А оттуда – в Найбабад.

Мы сели в бронетранспортер, еще тридцать минут назад лежавший в пропасти. Двигатель не заводился, стартер визжал вхолостую. Подъехал тягач и пару раз ударил нас сзади.

– Пошла! – обрадованно крикнул водитель.

Лейтенант закрыл люк над головой, зажег синюю лампочку и полез за сухпайком.

Мир сжался до размеров БТРа.

– Нам ехать часа три. Наговоримся всласть, – сказал он, протягивая мне жестяную банку с консервированным компотом. – С Мовчаном все ясно. А как другие? Ты уговаривал их вернуться домой?

– Нет.

– Почему?

– Это их личное дело.

– Они поняли, как ты к ним относишься?

– Честно говоря, я сам этого до сих пор не понимаю.

– «Афганцы» их не любят.

– Знаю. Игорь Морозов, мой друг, воевавший здесь в начале восьмидесятых, рассказывал историю о том, как он участвовал в операции – лет восемь назад – по поимке дезертира, который при побеге из части убил двух наших солдат. По словам Морозова, тот парень живет сейчас в Штатах.

Или Канаде. Морозов сказал, что, если парень посмеет вернуться, он разыщет его и прикончит своими же руками. Невзирая на амнистию Сухарева.

– И правильно сделает, – после паузы сказал лейтенант.

А мне в тот момент на память пришла старинная славянская заповедь:

В годину смуты и разврата

Не осудите, братья, брата...

Пять лет назад я прочитал ее на кладбищенской часовне где-то под Смоленском. Я повторил заповедь вслух. Лейтенант не откликнулся: скорее всего, не расслышал – рев БТРа давил на барабанные перепонки.

– Так что же с другими? – опять спросил лейтенант.

С другими?

XIII

...Рокот бронетранспортера исчез, превратившись в урчание кондиционера. Я был одет не в военную форму – теперь на мне болтались выцветшая майка и вылинявшие от многократной стирки небесно-голубые джинсы.

Напротив за круглым столиком сидел Игорь Ковальчук.

Бычье лицо его было спокойно. Незаметней, чем чередование теней, оно меняло выражение, напоминая то древнеримского диктатора, то крестьянина-баска. Он, как и Мовчан, беспрестанно сосал сигареты. Ворочал налитыми кровью глазами. Казалось, я слышал, как она тяжело и ритмично стучит в его висках.

– Я харьковчанин, – он выдавил улыбку на пухлых губах, но тут же стер ее тыльной стороной ладони. – Родился в шестидесятом.

– Мы одногодки, – сказал я.

– Замечательно, – сказал он. – Как и все молодые люди, я имел множество увлечений, но больше всего я любил поэзию, спортивную стрельбу, историю, музыку и, конечно, девушек. Так вот, с первыми тремя увлечениями у меня не было проблем в нашем свободолобивом обществе.

А вот за музыку и девушек мне часто доставалось – меня учили, внушали, говорили...

С девушками было сложнее всего – эта проблема доходила до скандалов и в школе, и дома. На каждом родительском собрании моим родителям говорили, что они должны удержать сына от развращения. Меня стыдили, говорили, как же мне не стыдно в такие молодые годы не ночевать дома, спать с девушками. Я взрывался и кричал: «Мне теперь 17 лет, и мне нельзя спать с девушкой, потому что я еще молодой, а когда я буду седой и старый, то все скажут: надо же, какой старый, а за бабами бегаёт». Весь класс смеялся, а учительница злилась, грозясь каждый день позвонить моей матери.

Итак, в 1978 году я окончил десять классов средней школы № 90 города Харькова.

Получил паспорт, освоил профессию электромеханика по самолетам и пошел работать на авиационный завод. Дни летели за работой, вечера – за поэзией и стрельбой, я узнавал новых людей, переживал удачи, падения, любовь и рифмовал свои строчки. Я видел наш однообразный, инкубаторный люд, воспитанный директивами партии. Так прошли два года, и властная рука системы вклинилась в мою жизнь, разорвала однотонный цвет моего существования и направила меня в армию.

На призывном пункте нас было 160 спортивных, умеющих стрелять ребят. Я был 120-м по счету команды № 80 особого назначения.

Попрощавшись с родителями, сестрой и друзьями, весной 1980 года я покинул свой родной и любимый город, забрав с собой воспоминания, поэзию и умение стрелять.

Поезд уносил нас на юг. Мы проводили время за картами и водкой. Так прошло 12 дней утомительного путешествия, и мы оказались в Туркменистане, в одном из грязных провинциальных городишек. Там находилась часть, в расположение которой весной 1980-го я прибыл вместе со своими товарищами.

Начались тяжелые дни физической подготовки. На каждые десять новобранцев было два сержанта, которые учили нас всему, нападению, обороне, работе штыком и прикладом и, конечно же, стрельбе. Со стрельбой у меня было отлично, но вот с физической подготовкой было сложнее.

Через два с половиной месяца мы приняли присягу. Нас всех построили и объявили, что на нашу долю выпала большая честь, что партия доверяет нам выполнить наш интернациональный долг в Афганистане. Мы должны будем помочь афганскому народу удержать завоевания Апрельской революции и защитить его от кровожадной акции империализма, который вторгся на территорию дружественного нам Афганистана, ставя тем самым под угрозу наши южные рубежи.

В течение двух дней мы были расформированы. 160 человек разлетелись по земле Афгана. Я и двенадцать моих друзей прибыли в расположение разведдесантного подразделения, позывной «Ромашка», которое находилось в 25 километрах к югу от города Мазари-Шариф...

– ...Через полтора часа мы будем в Мазарях, – ухмыльнулся лейтенант. – Чаю хочешь?
– Давай.

Он бросил мне холодную флягу.

– Пакистанская?

– Ага, – ответил он.

Лейтенант сапогом расплющил пустую банку от компота, приоткрыл люк и выбросил ее на обочину спешно уносившейся назад дороги...

...Ковальчук зачем-то расстегнул и опять застегнул ворот рубашки. Пригладил волосы на голове, защемил указательным и большим пальцем прямую переносицу, закрыл глаза.

Помолчал с минуту. Сказал:

– В расположение 7-й роты мы попали после обеда. Капитан Руденко посмотрел на нас и торжественно объявил:

«Вот, братва, теперь вы есть мясо, натуральное мясо, предназначенное для шакалов. Запомните мои слова: вы должны стать волками или умереть – одно из двух. Не нюхав крови, не можешь жить, не можешь бегать, тебя загрызут!» Потом капитан позвал старшину и приказал выдать нам оружие.

Слова ротного командира впились в мой мозг натуральными волчьими клыками. Ничего не понимая, я думал: почему он такой злой, что мы ему сделали, за что он на нас набросился?

Но уже через месяц я был хуже него.

Получив должность разведдесантника, заслужив доверие старших ребят похабными шуточками, я чувствовал, как меня засасывает огромный кровавый водоворот, в котором я теряю способность думать. Только работаю штыком и прикладом. Скоро я потерял своего друга Олега. Потом был Витя. Его голубые застывшие глаза остались шрамом на моем сердце. Его последние слова были: «Ты знаешь, Гарик, прожить мы могли бы по-другому».

Я терял контроль над собой, кричал сквозь слезы, поливая местность пулеметным огнем. Так прошли шесть месяцев службы. Я стал, как все, – закрывал глаза павшим товарищам без дрожи в руках, курил наркотики. Кисло-сладкий запах крови уже не переворачивал мои внутренности тошнотой, при стрельбе в упор глаза не закрывались.

В январе 1981-го я понял слова ротного командира. Я превратился в заедаемого вшами матерого волка. Мне было присвоено звание ефрейтора, три месяца спустя – звание младшего сержанта и должность оператора-наводчика БРМ.

Я не знал, чего я хочу. Я был такой и не такой. За все время службы под мой пулемет не попал ни один американец. Просыпался и снова думал: почему бы властям не сказать нам всю правду? Мол, так и так, братва, нужно захватить Афган. Все ясно и понятно. Так нет, обманули нас, своих же солдат, крутят нами, как игрушками, а мыдохнем, как мухи. По вечерам я выл с тоски, а утром смеялся.

Несколько эпизодов из жизни там стали для меня поворотными.

Дело было в полку в Мазари-Шариф. Шестая горнострелковая рота. Служили в ней три неразлучных дружка – один парень по фамилии Панченко, второй – киевлянин, третий – с Алтая. Фамилии этих двоих не помню. Как-то раз они здорово напились браги. Захотелось им «гаша» и барана. Пошли в соседний кишлак. На дороге повстречали старика. Ну, они бухие... Словом, хрясь его по голове – аж у автомата цевье отскочило. Правда, они этого не заметили. Деда в кусты затащили и пошли дальше. Добрались до кишлака, зашли в дом. Там женщина. Начали ее насиловать, та – орать. Выскочила сестра. Молодцам не оставалось ничего другого, как заколоть тех баб. Зашли в следующий дом. Там дети. Солдаты открыли по ним огонь из АК. Всех уложили, но одному удалось скрыться. Панченко потом на суде говорил, что по пьяни не заметил пацана, потому, дескать, и не удалось его прикончить. Потом зашли в дуكان. Взяли целый мешок гашиша, прихватили барана. Возвратились в часть.

Панченко обнаружил, что на автомате нет цевья, а на цевье ведь стоит номер автомата... Потопали обратно. Деда добились, чтобы не кричал. Нашли в кустах цевье. Опять вернулись. Утром строят роту. Выходит спасшийся мальчуган. Следом за ним – ротный, замполит и особист. Парень обошел строй и указал пальцем на Славку. Панченко и Славка – словно братья-близнецы. Славка не выдержал, крикнул:

«Вон Панченко, он убивал – пускай и расплачивается!» Панченко вышел из строя. Пацан завизжал: «Она! Она в меня стреляла!»

Суд был в Пули-Хумри. Длился шесть месяцев – показательный. Потом осужденных отвезли в Термез. Перед отъездом они сказали, что будут писать письмо Брежневу, просить о помиловании. Они раскаивались лишь в том, что не прикончили парня. Пока подследственные сидели в Пули-Хумри, им ребята с полка регулярно героин и опиум передавали. Шприц достали раньше. Долбились ежедневно. На пятый месяц они закололись до чертиков – ходить не могли: их водили. На суде Панченко сказал: "Когда на операциях я по вашему приказу двадцать человек в день на тот свет отправлял, вы говорили – молодец! Отличник боевой подготовки! На Доску почета!.. А когда я жрать захотел – хорошо, надолбил я тогда, пьяным был – и пошел за бараном, потому что продовольствия не было, убил таких же людей, что и всегда убивал, но на сей раз не по

вашему приказу, вы меня судить вздумали?! Суд заявил, что Панченко извергает антисоветскую пропаганду... Ротный тогда пришел к нам и сказал: «Вот видите, братва, три дурака попались. Делайте, что хотите, но не попадайтесь!»...

– ...Не верю, что ротный так сказал, – лейтенант сплюнул в люк. – Не верю, и баста!

– В рассказе Ковальчука я обнаружил достаточно логических несостыковок, – заметил я. – Однако меня интересует не столько мера правдивости этого человека, сколько его образ мышления. Конечно, и он, и Мовчан, и другие бывшие военнопленные старались оправдать свое дезертирство в моих, но, главное все-таки в своих глазах. На меня им было плевать. Они знали, что мы вряд ли еще когда-нибудь свидимся.

– Кто их разберет... – задумчиво произнес лейтенант и положил ноги на сиденье. – А сам Ковальчук считает, что он благородней Панченко?

– По-моему, нет.

Я взял флягу, гревшуюся у воздуходува, и сделал большой глоток крепкого чая...

...Ковальчук налил в пластиковый стаканчик «Коку» и, лихо запрокинув голову, осушил его до дна. Словно стопку водки.

– Сколько раз, – сказал он, – мне самому приходилось делать то же самое. Просто-напросто Панченко попался, а другие – нет.

Ковальчук покрутил сигаретку в крепких, мозолистых пальцах с обгрызанными ногтями. Понюхал ее, закурил.

– Как-то, – вспомнил он, – у нас скопилось три битых БТРа. Начальство собралось отправить их обратно в Союз.

По этому поводу заставили нас три дня корячиться, отвинчивать днище. Туда надо было барахло засунуть, чтобы в Союзе сдать: контрабанда. Ведь никто на границе не будет дрючиться со шпангоутами, смотреть, что везут. Проверяющий подмахивает бумагу, а не хочет – его покупают.

От нас два солдата ездили в Союз, сопровождали. Чтобы они держали рот на замке, офицеры разрешили им пару недель дома поболтаться... Половину барахла солдаты унесли тогда с собой: думаешь, офицер помнит, что везет? Сколько за годы войны наркотиков и оружия в Союз было переправлено – подумать страшно...

После гашиша – крутой кайф. Правда, следом – зверский аппетит. Вот тогда-то и прешь за бараном в кишлак.

Можно хорошо отключиться, если накуришься и напьешься одновременно. Но вот чем гашиш плох: если в твоей голове застряла какая-то проблема, она начинает тебя убивать, сводить с ума. Я дурел, бесился от гашиша. Начинал опять и опять думать о войне, о том, кто же следующий в этой б... роте?!

На операцию лучше всего идти обкуренным: звереешь.

После водки или сухого спирта, разбавленного в воде, ты все свое тело чувствуешь, а после наркотика – вроде как обезболиваешь себя, вообще перестаешь что-либо чувствовать. Только вот потом приходишь и падаешь. Словно где-то внутри завод кончился. И каждая мышца болит. А на боевых – куришь и бегаешь. Куришь и бегаешь, как чумной. Гашиш глушит эмоции, сглаживает нервные срывы. А их полно. Особенно вначале.

Видишь, как приятель в кишлаке ногой дверь вышибает.

А оттуда – смуглая тощая рука с серпом. Р-р-раз по брюху: все кишки на земле. А приятель стоит, смотрит и поверить не может, что это не во сне. Ты видишь такое – тебе плевать, что и кто там в доме. Ты туда лимонку – одну, другую.

Бум-м! Крыша взлетела. Когда ты накурился, не замечаешь, что устал. Носишься козлом по горам и кишлакам без остановки.

Ковальчук достал из кармана синий платок и вытер им вспотевший лоб. Капельки пота катились от висков вниз по щекам. Правый уголок рта чуть дрожал.

– Потерял я себя там, – сказал он упавшим голосом. – Потерял... Потом еще случай был... Хотя погоди, дай стих прочитаю.

Он откинулся на спинку стула, глянул вверх, словно было там начертано что-то, невидимое мне. И начал тихим низким голосом:

Дорога,
Колесом раздавлена-душа...
Нервы,
Банку водки пропускаю.
Кошмар,
Куски судьбы.
Я девочку в белом вспоминаю.
Рамадан.
Она так молода,
Через дорогу, словно лебедь, проплывала.
Рывок, толчок, –
Кровавая слеза мне на сердце
По триплексу спадала
И только пульс
Налитых кровью глаз.
Свою сестру на место той я ставил.
И снова крик,
Скрипели тормоза,
Тянули жилы,
Ад мне напевали...

Несколько мгновений он сидел молча, медленно опускал глаза. Когда его взгляд пересекся с моим, Ковальчук усмехнулся. Выждал несколько секунд, сказал:

– Так вот, случай был. Стихи как раз об этом. Сопровождали мы группу артистов, которые неожиданно свалились на наши головы. Мы только что провели недельную операцию в переулках Айбака и приехали в расположение, чтобы выспаться. А тут на тебе! Звонит начальник штаба и говорит:

«Слышь, ребята, тут артисты приехали выступать перед афганскими коммунистами, так надо их до Джаркундука подкинуть, да и вам интереснее с бабами проехаться». Хорошо, сделаем. Сели по машинам. Выехали на дорогу. БМП, соприкоснувшись стальными зубчатыми гусеницами с асфальтом, взревела, выбросила клубы черного дыма и набрала скорость.

В десантном отделении машины находились молодая певица, прапорщик и я. Прапорщик все приставал к девушке с дурацкими шутками, показывал ей свой пистолет, рассказывал ей про свои похождения. Я же поглядывал на нее редко, только в тот момент, когда отрывался от прицела. Она сидела за пультом лазерного оператора, и получалось так, что мы встречались глазами. И вот в один момент она мне говорит: «У тебя красивые глаза. Я бы хотела иметь такие, давай поменяемся». – «Слышишь, девушка, оставь меня, если я оторвусь от прицела, то ты и я окажемся на том свете, поняла?» – ответил я ей. Прапор все продолжал рассказывать ей о том, какой он великий вояка. Вдруг она сказала:

«Пошел ты вон!» Водитель услышал это, обернулся и, скаля зубы, крикнул прапору: «Молодец баба! Как она тебе врезала!» Заезавшийся водитель не сумел удержать машину. Она пошла юзом прямо на обочину дороги, где стояли ребяташки – девочка двенадцати лет и мальчик. Было ему лет семь, не больше. Мальчик выскочил из-под гусеницы, а девочка не успела. Ее широко открытые черные глаза в предсмертном крике смотрели мне в прицел, оставляя черно-белую фотографию на моем сердце. Я заорал: «Коля, вправо!»

Но было уже поздно. Левый бок машины слегка качнуло: девочку намотало на гусеницу. Я видел сквозь триплекс окровавленные куски мяса. Все еще слышал ее крик. Прапор рыпнулся к рации: «Ромашка!» «Ромашка!» В ответ заорал капитан: «Приедешь, я вам всем.., дам!» У машины номера были замазаны грязью, ее не запомнили.

Когда мы подъехали к месту, певица, увидев кровь на броне, спросила: «Ой, что это?» Прапор стал объяснять. Певица стояла, кивала головой, приговаривала: "Да, понимаю... Что подделаешь... Война есть война..." Повернулась и пошла петь свои дурацкие песни. А я сидел на башне машины с Колей, курил гашиш, проклиная себя, певицу и прапорщика. Ковальчук скрестил руки на груди и выпустил мне в лицо струю дыма.

– За два года, – сказал он, – я выполнил все приказы, которые мне давались. Потом подумал: не могу я так жить больше!!! Не могу жить в этом обмане! Господи, думал я, ведь он меня будет преследовать всю оставшуюся жизнь. Я постараюсь, конечно, залить ложь водкой. Но найти себя не смогу. Даже написать о пережитом не смогу. Ведь тогда, в восьмидесятом году, замполит говорил, что по возвращении из Афгана мы не имеем права рассказывать про войну.

Я решил уйти, когда мне оставалось всего десять дней до отъезда, когда, собственно, все бумаги и документы уже были у меня на руках. Я написал последнее письмо домой, собрал всю свою амуницию, взял оружие и ушел.

В кишлаке неподалеку меня приютили партизаны. Мы сидели и пили чай. В какой-то момент я спиной понял, что кишлак окружают наши. Меня схватили, вернули на кундузскую гауптвахту. Началось четырехмесячное следствие.

31 июля 1982 года я попытался уйти опять. Пошел в сортир, отодрал доску от стены, пролез в дыру и рванул. На этот раз я победил. Четыре долгих года провел я в повстанческом отряде. Теперь я здесь. Все.

Ковальчук сидел молча, устало опустив голову. Я ждал несколько секунд, перехватил тяжелый взгляд Ковальчука, посмотрел на него в упор: глаза – в глаза.

– А теперь, – попросил я, – попытайся объяснить мне свой уход как можно более компактно. В двух-трех предложениях.

Он глядел на меня не моргая, словно вдаль. В его черных глазах я видел два собственных отражения.

Скоро я почувствовал резь в глазах, но усилием воли продолжал удерживать веки. Мне удавалось это еще секунд пятнадцать.

– Я понял, – медленно сказал Ковальчук, – что не смогу смотреть в глаза матерям погибших в Афганистане солдат. Поэтому я ушел. И на этот раз – окончательно...

– ...Интересный тип, – задумчиво произнес лейтенант. – Только вот никак не пойму, почему он не смог бы смотреть в глаза матерей. Не вижу логики.

– Я тоже.

XIV

Ранние сумерки омрачили небо над Пули-Хумри. Ветер долго гонялся за тучами, словно собака за голубями во дворе. Разогнав их и решив, что на сегодня хватит, он улегся и теперь лишь изредка, во сне, завывал где-то далеко в горах.

Какие сны видел он?

Очень долго над головой не видно было ни одной звезды, но вот наконец, разливая вокруг себя мягкий зеленый свет, зажглась одна. Снега здесь не было: он остался на Саланге. Под ногами сыто чавкала грязь.

– Если хочешь жить в грязи, поезжай в Пули-Хумри, – сказал с недоброй угрюмостью лейтенант, спрыгнув с бронетранспортера и поводя по сторонам мутным взглядом.

Он плюнул в ладонь, стряхнул серые брызги с бушлата.
– Приехали? – зачем-то спросил я, хотя прекрасно знал ответ.
– Механик-водитель взял тряпку и принялся счищать ею грязь с того места на броне, где был номер машины.
– Иди вон в том направлении, – лейтенант указал на контуры далекого модуля. – Там штаб полка. А мы двинем к медикам.
Из-за каменной ограды появилась миниатюрная женская фигурка. Она выскользнула из ворот, нагнувшись, взяла что-то в руки и пошла обратно.
– Фью-ить! – присвистнул лейтенант. – А я думал, всех баб уже отправили.
Улыбка застыла на его лице. Несколько мгновений он молча стоял, провожая женщину мечтательным взглядом.
Вдруг заговорил стихами:

Красивое имя-отчество
Для подвига и для ночи.
Помощница и обуза –
Со всех уголков Союза.
Приехали, чтобы сражаться.
Приехали, чтоб развлекаться.
Связисты, врачи и старшины –
Перед вами ломались мужчины...

Лейтенант, выдержав паузу, спросил:

– Слышал такие стишата?

Я кивнул.

Фигурка почти растворилась в темноте. Женщина шла по яркой лунной дорожке, лежавшей в мокрой грязи, словно полоска сильно измятой фольги.

– Ну, Бог даст – свидимся. Пока! – Придерживая рукой шапку, лейтенант побежал туда, где ночь прятала второй бронетранспортер.

Он скрылся, а я вдруг понял, что так и не спросил его имени.

Показав на КПИ удостоверение, я зашагал по лунной дорожке и вскоре нагнал миниатюрную женщину, что вдохновила лейтенанта на чтение стихов.

– Простите, где штаб полка? – спросил я.

Женщина обернулась, показав лунно-бледное лицо.

– Вон там, – медленно ответила она, указав рукой на запад. – Но в штабе сейчас только дежурный.

– Она была красива той броской, вызывающей красотой, на которую нельзя не обратить внимания.

– Вы откуда? – поинтересовалась она.

– С Саланга.

– Я иду в столовую. Есть хотите?

– До смерти. Вы – официантка?

Она кивнула, чуть заметно улыбнувшись.

В столовой было пустынно и гулко. Холодно горели лампы дневного света. Женщина ушла на кухню, долго гремела посудой, хлопала дверьми. Появилась она опять минут через десять с алюминиевым чайником и тарелкой лапши в маленьких смуглых руках.

– Вот, – сказала она, присев на стул рядом. – Прямо с пылу.

– Вы давно здесь?

– Кажется, всю жизнь.

– Надоело?

– И да и нет.

– «Да» понятно. А почему «нет»? – В Союз страшновато возвращаться, – сказала она, подперев кулачком подбородок. – Я, собственно и уехала-то от проблем: семейных, денежных, сами знаете...

– Как же вас муж отпустил? – спросил я, подлив в кружку горячего чаю.

– Понимаете, так я устала от нашей с ним бедности, от долгов, что однажды не выдержала и сказала ему: "Ты бы, Коль, съездил на Север. Подзаработал, а?"

– А он?

– А он наотрез отказался... – Какая-то детская растерянность вошла в ее серые глаза и застыла в них. – Тогда я сказала, прекрасно понимая, что он не позволит: «Если ты не хочешь, я сама поеду и привезу денег».

Женщина нервно постучала вишневыми ногтями по столу и добавила:

– Но он ничего не возразил. Просто повернулся на другой бок. Даже не поинтересовался – куда?

Она достала из правого кармана бушлата пачку папирос «Беломорканал», долго распечатывала ее. Закурила.

– Но подзаработать не удалось. – Женщина выпустила тонкую струйку дыма, он ударился о поверхность стола и медленно растекся по ней, обволакивая, словно туман, две кружки и опустевшую тарелку. – В прошлом году здесь взорвались армейские склады: все накопленное добро сгорело. Потому-то наш полк и называют «погорельцами»...

От ее лица исходил едва приметный запах сладковатой пудры и легких ландышевых духов. Поежившись от налетевшего сквозняка, женщина обняла себя за плечи.

– Всяко тут было, – задумчиво сказала она. – Последний месяц повадился ходить к нам в часть один афганский майор. На днях он мне вдруг заявил: "Ханум¹¹⁶, я тебя женюсь!" «Аллах с тобой! – говорю ему. – Я замужем». А он: «Женюсь – все!» Потом поняла: он этого добивается, чтобы уехать со мной в Союз. Боится оставаться один на один с «духами»... И смех, и грех, ей-богу...

Ночь я провел в летном модуле неподалеку от столовой.

Крысы нагло, с отчаянным весельем, пировали под дощатым полом, не давая спать. Бессмысленно проворочавшись часа полтора на скрипучей койке, я закурил.

За тонкой стенкой офицеры допоздна смотрели видеоманитонфон, и время от времени раздавался их громовой смех. Скоро все звуки стихли, и в комнату, перегороженную пополам парашютной материей, вернулся ее хозяин, старший лейтенант Вареник. Он сел на стул и долго матерился по поводу того, что «соляру отправляют в первую очередь, а летчиков – во вторую». Вареник зло ударил роскошным ботинком на шнуровке и «молнии» по электроплитке, но успел поймать слетевшую с нее кастрюлю. Потом достал из-под своей койки чемодан и принялся запихивать в него бесконечный свадебно-белый парашют.

– Это зачем? – поинтересовался я.

– Устрою тент на садовом участке, – огрызнулся он.

Часа в четыре начала бить безоткатка. В такт ей вздыхал целлофан на окне, позвякивали танковые колеса, которыми были обнесены стены летного модуля, – самодельная защита от реактивных снарядов.

Я опять лег, но скоро почувствовал, как мне на лицо падают капли ржавой воды из кондиционера. Пришлось поменять положение и лечь головой в противоположную сторону.

Промаявшись всю ночь, я под утро потерялся – забылся в нервном, неглубоком сне. Снилось бесконечная взлетно-посадочная полоса, уходившая за горизонт, взлетавшие и садившиеся истребители-бомбардировщики. От их рева даже во сне ломало в висках.

... Сколько часов я провел на наших авиабазах в Афганистане под яростным солнцем Баграма и Джелалабада, Шинданда и Кундуза, Кандагара и Герата? Сейчас уж не сосчитать. Острым саднящим клинком врезались в память 39 минут и 42 секунды боевого вылета на МиГ-23 в июне восемьдесят шестого. Тогда, три с лишним года назад, полет вызвал во мне пьянящее чувство странного восторга: представьте, что вы катаетесь со сверхзвуковой скоростью на «американских горках», установленных в аду. Но прошло время, и вместе с ним – восторг. Образовалась серая, холодная пустота, постепенно наполнившаяся невнятной смесью тоски и вины. Мы летали четверкой на северо-восток, к границе с Пакистаном, прячась в рельефе гор от паковских радиолокационных станций. Подполковник Карлов и я шли в «спарке», под крыльями которой не было ни одной «пятисотки». И хотя наш МиГ не бомбил, сегодня от этого не легче. Вернувшись тогда на авиабазу в Баграм, я лег на койку в комнате отдыха летного состава и долго слушал, как пиликает на своей миниатюрной скрипке афганский сверчок.

Играл он виртуозно и самозабвенно. Его-то музыка как раз и родила первые сомнения, тоску. Несопоставимость МиГа и сверчка раскалывала сознание, словно попытка понять бесконечность или постичь фразу: «Я часть той силы, что вечно жаждет блага, но совершает зло».

Последний или, как говорили наши в Афганистане, крайний раз я был на баграмской авиабазе неделю назад, в самом начале января. Жил в модуле прямо у ВПП и не мог спать, потому что штурмовики давали форсаж над моей крышей и головой. Познакомился с Антоном – бравым военным летчиком, ходившим вразвалочку, руки – в карманы роскошной, вкусно пахнущей кожаной куртки. Как-то раз сидели мы с ним в ЦБУ¹¹⁷ – просторной темной комнате, едва освещенной многочисленными приборами. На стенах были изображены свои боевые самолеты и самолеты вероятного противника, висели карта-решение командира полка на отражение воздушного нападения, карта группировки ВВС и ПВО вероятного противника на ТВД¹¹⁸, ТТХ¹¹⁹ своих и чужих самолетов. В дальнем углу красовались опознавательные знаки истребителей-бомбардировщиков Афганистана, Пакистана, Ирана, Китая и Индии.

– У каждого из наших летчиков, – сказал Антон, хлопнув рукой по развернутой на столе карте, – сильно развито чувство профессионального самолюбия. Так что он стремится нанести точный удар, попасть именно туда, куда ему было приказано. Даже если это кишлак, в котором, помимо банды, возможно, есть и мирные. Раз взлетел, значит, надо точно нанести БШУ. Лично у меня такая позиция. Я запретил себе ощущать что-либо во время бомбардировок. Все свои личные чувства и сомнения следует оставлять на аэродроме.

Или держать при себе. Если действовать иначе, неизбежно возникнет вопрос: а для чего же тогда мы здесь?

Я посмотрел на стену и прочитал: F-16 – экипаж – один человек; практический потолок – 18 тысяч метров; максимальная скорость 1400 – 2100; максимальная перегрузка 7 – 8 единиц. Вооружение: пушка «Вулкан», бомбы, НУРСы. Потом подумал: неужели этот человек испугался журналиста?

Или история, рассказанная мне про него, – ложь?

117 Центр боевого управления.

118 Театр военных действий.

119 Тактико-технические характеристики.

Суть ее заключалась в следующем: несколько месяцев назад он в паре с ведомым пошел на север наносить БШУ по кишлаку, где засела банда. Через несколько секунд после сброса бомб ведомый крикнул в СПУ *Тактико-технические характеристики*.¹²⁰: «Кажись, промазали...» Оба штурмовика сделали противоракетный маневр, спрятались в облаках, развернулись, но пошли не на кишлак, а домой – в Баграм. Лишь на подлете ведомый дождался ответа: «Ну и слава богу, что промазали».

В июне 86-го, находясь здесь же, в Баграме, я, помнится, подсел к одному мальчиговатому летчику. Из кармана его бежевых летних брюк наивно торчала огоньковская книжечка повестей Экзюпери. Взгляд светлых, как небеса, глаз был мрачным. Потерянно кривились ранние горизонтальные морщинки на тонкой коже лба. Я открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос, но не спросил, а выдохнул его: мне на плечо положил свою сильную руку политработник. "Оставь парня, – посоветовал он, – не бери у него интервью. Это наш пацифист. Любит, понимаешь, думать".

...Баграмская авиация работала денно и ночно. В среднем она сбрасывала за сутки около 200 тонн боеприпасов.

Бывало и больше. Например, в период обеспечения операции «Магистраль»¹²¹. Тогда ежедневный расход боеприпасов достигал 400 тонн.

Непросто жилось баграмским летчикам. Они рисковали не только в воздухе, но и на земле. Обстрелы РСами участились со второй половины августа 88-го. Особенно тяжело пришлось 13 ноября и 26 декабря.

По другую сторону аэродрома обосновались афганские летчики. Им тоже приходилось несладко. Особенно если учесть, что недели через две вся советская авиация должна была подняться и уйти в Союз, оставив их наедине с оппозицией.

– Национальное примирение – что это? Почему? – спрашивали они, разводя сухими коричневыми руками. – Почему примиряемся с врагом? С врагом дерутся!

Двадцатисемилетний майор Амин медленно встал из-за стола, и все затихли.

– Я, – сказал он и утопил тонкие пальцы в густой бороде, – начальник ОТП¹²² полка.

Шесть лет назад окончил летное училище в Союзе. За пять лет я налетал тысячу пятьсот часов. Ты мне можешь верить. Я солдат Халька. Объясни, почему мы врага раньше звали бандитом, потом басмачом, потом террористом, затем экстремистом, дальше – непримиримым, а сейчас – оппозицией. Но ведь с оппозицией не воюют!

В глазах его вспыхнули два вопросительных знака.

– А кадровый политик?! – Он встал со стула, быстро и нервно заходил по комнате. –

Почему так много продажных людей командуют нами? Прислали вдруг в Баграм человека и дали ему МиГ. А он перелетел в Пакистан. Почему нам его дали? Я всегда знал, что он предатель. Он всегда промахивался, не попадал по кишлаку, хотя всем известно было: там банда сидит... Но нас убеждали, говорили, что он революционер. Почему так?

Он подошел к карте, висевшей на стене, и прислонился к ней тощей, узкой спиной.

– Вы уходите! – выкрикнул он. – Мы все равно будем воевать. Но если нам опять плохо, вы придете помогать афганский друг?

Амин помолчал, а потом подошел совсем близко ко мне, спросил:

120 Самолетное переговорное устройство.

121 Кодовое название армейской операции 1988 года, позволившей выбить со стратегической дороги на г. Хост отряды вооруженной оппозиции и доставить в ранее блокированный город провизию и боеприпасы. Операцией руководил генерал-лейтенант Б.В.Громов.

122 Огневая и тактическая подготовка.

– Придете?!

От этого вопроса холодок пробежал по спине.

Поздно вечером того же дня я вылетел из Пули-Хумри на паре вертушек в Найбабад, где расположился резервный КП 40-й армии.

XV

Погода была паршивой. Вертолет мотало и трясло, словно грузовик на проселочной дороге: зубы отчаянно выстукивали чечетку.

Рядом со мной летел прокурор из бывшего Кундузского гарнизона – человек с аккуратными черными усиками, быстрыми внимательными глазами и слегка скошенным на кончике носом. Из одного кармана он достал портативный фонарик, из другого – мятый нераспечатанный почтовый конверт. Наведя на него луч жидкого желтого света, чертыхнулся:

– Сучьи сыны! Прокурорам не доверяют... Опять! – в голосе его слышалась тихая, сдавленная злоба. – Полюбуйтесь-ка...

Прокурор протянул мне конверт с жирным штемпелем:

«Поступило со следами вскрытия. Оператор УФПС»¹²³.

– А вот предыдущее – от жены. – Он сунул юркую руку под ремень подвесной парашютной системы, крестом обхватившей его грудь, и достал из кармана пожухлый конверт. Я разглядел на нем другой штемпель: «Поступило в грязном виде. Оператор № ...»

– Как-то я не вытерпел, – опять заговорил прокурор, ища своими глазами мои, – вызвал фельда, отчитал его:

«Что за хамство?! Я же прокурор, полковник, в конце концов!»

– А что фельд? – спросил я, возвращая конверт.

– Говорит, что не он читает, а спецслужба в Алма-Ате...

Вы, кстати, вооружены?

– Только этими двумя, – ответил я и показал два кулака. – А вы?

– Есесьно! – лукаво улыбнулся прокурор и похлопал по кобуре. В ней лежал пистолет Стечкина.

– И вон еще, – он кивнул на сиденье. Там трясся новенький автомат с подствольным гранатометом. Чуть позже я разглядел на полковнике нагрудник, плотно набитый магазинами для АК и гранатами.

– Вы самый вооруженный человек в Афганистане, – заметил я. – Мне страшно сидеть с вами.

– Не смейтесь. Мало ли что!

– Лететь нам долго. Расскажите-ка какое-нибудь интересное дело, которым вам пришлось заниматься.

– Боюсь, – махнул он рукой, – я вас разочарую. Не дают нам заниматься крупными рыбами. Разрешают лишь мелочевкой. Все сделано для того, чтобы не подпустить прокурора к настоящим преступлениям, к мафии.

– Что вы называете мелочевкой?

– К примеру, несколько лет назад поступило распоряжение бросить все силы на выискивание, извините за выражение, «незаконных» бань в частях и подразделениях, жестоко карать тех, кто их построил. Понимаете, нас отвлекают этой мелочью. А ежели иной раз возьмешь крупную рыбину на крючок, так звонить начинают аж из Москвы, приказывают прекратить дело...

– Я в Кабуле познакомился с одним прокурором.

123 Управление фельдъегерской почтовой связи.

По-моему, он целую неделю занимался тем, что допрашивал солдатика, решившего заработать себе на медаль.

– Самострел что ли?

– Да. Парень оттянул кожу на животе и выстрелил через бронезилет... А дезертирами или пропавшими без вести вы не занимаетесь?

– Как не занимаемся! – встрепнулся полковник. – Конечно, занимаемся.

Я отодвинул шторку и глянул в иллюминатор. Казалось, небо и земля поменялись местами. Все пространство внизу было усыпано тысячами маленьких звезд, слабо мерцавших в ночи. Над головой же клубилась кромешная тьма.

– Скорее всего это Рабатак, – предположил полковник.

– А не Айбак?

– Может быть. Когда прилетим, я дам вам кассету с допросом одного из дезертиров.

– Сухаревская амнистия на него не распространяется?

– Пока Указа Президиума Верховного Совета не было, нас она, если честно, мало волнует. – Полковник улыбнулся и подмигнул мне:

– Политика политикой, а солдат в узде держать надо. Так-то.

– Что сейчас с Целуевским? – спросил я.

– Это тот, что вернулся прошлой осенью из США?

– Да.

– Его дело прекращено. Парень попал в психиатрическую лечебницу. Хотите чаю? У меня хороший, индийский...

– Хотите чаю? У меня хороший, индийский... – Рита Сергеевна Переслени, маленькая, чахлая, прежде времени состарившаяся женщина, разгладила выдавшую виды скатерку на круглом столе и пошла неверной, шаткой походкой на кухню в дальний конец коммуналки. В этой московской квартире стойко пахло бедой и одиночеством. Жалобно скрипели половицы под старческими ногами ее обитателей. Холодно, в такт громыхавшим на дороге грузовикам, позвякивали замызганные стекла в окнах.

Юрий Сергеевич Кузнецов, брат Риты Сергеевны, прикрыв за ней дверь, опять сел в кресло и закурил папироску.

Сморщив кожу на переносье, сказал почти шепотом:

– Знаете, сохнет она по нем. Истосковалась вконец, Я гляжу на сестру: у меня, у старика, сердце закипает. Последнюю рубаху отдам, только бы увидеть ее улыбку. Хоть разок... Глаза его слезились. Но вместо того, чтобы вытереть их, он снял массивные очки и протер краем выпущенной рубахи толстые линзы.

– Учился он в школе номер восемьдесят три. – Юрий Сергеевич опять надел очки, ударил по ним пальцем, чтобы переносица лучше вошла в пах. – Знаете, тут неподалеку: восемнадцатый троллейбус, остановка «Школа»... Окончив восьмилетку, пошел в ПТУ. Потом работал на заводе «Салют». Одиннадцатого мая восемьдесят третьего Алешку забрали в армию. С тех пор ни она, ни я его не видели.

Я услышал шаги Риты Сергеевны. Остановившись, она поставила звякнувший крышкой чайник на пол, открыла дверь, опять нагнулась, взяла чайник, тихо вошла в комнату.

– Когда мы прощались на вокзале, – брат помог сестре расставить три чашки на столе, – бабушка Алешки навзрыд плакала.

– Двух других внуков провожала спокойно, – сказала Рита Сергеевна, доставая из разошедшегося буфета песочное печенье, – а Алексея моего – с ревом. Словно предчувствовала беду.

– Отбыл Алексей шесть месяцев в ашхабадской учебке, – по-стариковски вздохнул Юрий Сергеевич, – потом – Кабул. Потом – часть где-то в горах. Потом...

– Потом, – подхватила Рита Сергеевна, – двадцать шестого января восемьдесят четвертого года из Краснопресненского военкомата сообщили, что сын мой, Алексей Владимирович Переслени, пропал в Афганистане без вести.

Она закрыла лицо штопаным-перештопаным фартуком и сидела так несколько минут без звука и движения.

Юрий Сергеевич приставил указательный палец к губам:

– Тссс...

За окном темнело. Августовский дождливый день шел на убыль. Он умирал, уступая место теплой, душной ночи, не обещавшей прохлады.

– Замаялась она, – сказал, помолчав, Юрий Сергеевич. – С утра до ночи работает в «Узбекистане», выпекает чебуреки. Там духота, крики, пьяные...

Женщина оторвала фартук от глаз, посмотрела на меня внимательно-жалко. Спросила чуть севшим голосом:

– Скажите, вы из КГБ?

– Нет, – улыбнулся я, – из «Огонька».

– Из журнала? – оживился брат.

– Из него самого. – Я попросил папироску.

– Так когда вы уезжаете в Америку? – Юрий Сергеевич встал с кресла и сел к столу.

Отломив кусочек печенья, он макнул его в чай.

– Завтра. Очень хочу повидать вашего сына, но, к сожалению, у меня нет его адреса.

– Какой он, Алешка, теперь? – задумчиво произнес Юрий Сергеевич и подул в чашку.

– Возмужал, крупнее стал, – горделиво сказала Рита Сергеевна. – Вот его фотка. Он мне недавно прислал. Правда, малость подурнел с лица. Уж не мальчик. Любашка, дочка моя, едва признала брата.

Она подошла к комоду, достала из хрустнувшего ящика картонную коробку. Бережно обняв ее руками, поднесла к столу.

– Видите, – она протянула мне несколько писем и цветную фотографию, – это мой Алексей... На фоне собственной машины и гаража в Сан-Франциско.

– Разбогател Алешка! – мотнул головой Юрий Сергеевич.

Было ли в этом движении больше гордости или же осуждения, я не понял.

– Если желаете, – улыбнулась Рита Сергеевна, – прочтите письмо. Там, кстати, адрес и телефон указаны...

Я взял из ее слегка дрожавшей, покрытой ранними пигментными пятнышками руки белый разлинованный лист бумаги с тремя фабричными дырочками на полях.

Бумага прохудилась на сгибах. Была она исписана еще не устоявшимся, школьным почерком. Я начал читать:

"Здравствуйте дорогие мои Мама и Любашка!

Получил от вас письмо. Был очень, очень рад. Наконец-то за три года первый раз. Я очень рад, что все живы и здоровы. Любашку на фотографии я не узнал. Так изменилась.

Стала красавицей. А ты, мама, похудела. А в общем, выглядишь, как 11 мая 1983 года. Рад слышать, что бабушки живы и здоровы. Я работаю все так же поваром. Уже многому научился. Очень люблю свою специальность. Такое ощущение, что был рожден стать поваром. Готовлю французскую, итальянскую, китайскую, американскую кухню. Не мало, правда? Я жалею, что я не с вами, а то бы не дал Любе идти работать в 16 лет. У меня есть немножко опыта за плечами, и я советовал бы ей пойти в институт. Она неглупая, а образование откроет ей широкий путь в жизнь.

Ну, а в общем, она уже не малая. Голова есть на плечах – и не глупая. Пусть делает так, как считает нужным. Да, деревушку нашу жаль. Долго-долго я вспоминал дни, проведенные там. Но чему быть, того не миновать. Хорошо, что у бабушки все нормально. Да, кстати, почему ты не написала, как бабушка Саша? Что с ней? Вот я не ожидал, что Мишка так быстро женится! Интересно, я знаю ее или нет? Пусть напишет. Да, как Игорь Ореховский

– помогает вам? Что с ним? Ну, пока и все. Вроде больше нечего писать, да я и не любитель расписывать драматические романы.

Живу я в Сан-Франциско. Все хорошо. Есть огромная квартира, гараж, машина. О чем мечтаю, мама? Наверное, ты должна знать это не хуже меня. Америка, мама, это не моя родина. И этим все сказано.

Может быть, настанет время, и все мы встретимся.

Ну, пишите – не забывайте. И присылайте хоть по одной фотографии всех родных и близких. А также фото отца.

Ну, всех люблю и помню.

Алеша.

P.S. Жду Ирин адрес!

Посылаю фото".

В конце письма указаны его телефон и адрес. Я переписал их.

– Кто такая Ирина? – спросил я, отдавая конверт и письмо.

– Девочка его, невеста, – ответила Рита Сергеевна, сдерживая слезы. – Они встречались когда-то.

– Он просил ее адрес, – сказал я.

– Адреса у меня нет, – развела она руками. – Но телефон ее передайте Алеше.

Рита Сергеевна, надев очки, открыла истрепанную телефонную книжку на букву "И", протянула ее мне.

– Пока вы читали Лешкино письмишко, – просительно улыбнулся Юрий Сергеевич, – я настроил ему ответ. Захватите?

По оконному карнизу ковылял сизый голубь с розоватыми ободками вокруг строгих глаз.

– Знаете, – неуверенно начал Юрий Сергеевич, – вы с Алексеем поаккуратней. Он парень нервный.

– А что такое? – спросил я.

– Детство у него трудное было, – пояснил Юрий Сергеевич. – Ритина семья жила бедно.

Муж любил выпить.

Крепко бил ее. Даже когда она беременная была. Алешка рос, видел все это: сначала плакал, потом замкнулся в себе.

Когда Лешке десять стукнуло, отец его сгорел.

– Как?

– Оголенный провод. – Юрии Сергеевич поставил чашку на блюдце, – высокое напряжение. Бывает...

– Он часто пишет вам? – спросил я Риту Сергеевну.

– Не очень, – сразу же отозвалась она. – Но иногда звонит. Последний раз я бросила трубку.

Она положила руки на острые колени и беззвучно заплакала, ткнувшись подбородком в грудь. Было в этой позе такое отчаяние, такое бессилие перед судьбой, что я невольно обнял ее за вздрагивавшие узкие плечи.

– Тссс! – опять зашипел брат на другой стороне стола и поманил меня рукой.

Я сел ближе к нему.

– Понимаете, – шепотом объяснил он, – мы с Ритой думаем, что звонит нам из Америки человек, говорит голосом Алексея... Но это не Алексей.

– Кто же он, этот человек? – вторя Юрию Сергеевичу, шепотом спросил я.

Он пригнул голову к столу, почти касаясь его подбородком, сказал, обдав меня горячим дыханием:

– Видимо, из американской разведки...

– Но почему вы думаете, что это не ваш племянник? – рискнул поинтересоваться я.

– Понимаете, – ответил Юрий Сергеевич, – он говорил с каким-то едва заметным акцентом. Но Рита сразу же уловила его. Это во-первых...

– Во-вторых, – уже чуть громче, уверенней сказал он, – в одном из писем Алексей поздравил мать с... Пасхой! Но ведь наш Алексей никогда и в церкви-то не бывал! Тут американцы, конечно, допустили ляп, непрофессионально сработали..., это невооруженным глазом видно.

Рита Сергеевна успокоилась. Она упрямо смотрела в окно. По ее лицу мелькали слабые блики света.

– И письма не его, – упавшим голосом сказала она. – Все написаны под диктовку. Я своего Алешку-то как-нибудь знаю. Не его письма.

– Честно говоря, – признался я, – не могу понять до конца вашу логику.

– Логика простая, – попытался объяснить брат. – После смерти отца Лешка остался единственным мужчиной в доме. Матери помогал во всем. Иной раз о друзьях забудет, но Риту – никогда... Вон он пишет, у него теперь машина, гараж, дом... Да если б это наш Алешка был, он себе бы отказал, но матери помог. Ведь знает, в какой нищете она живет!

– Как же ему вам из Сан-Франциско-то помочь? – опять не понял я.

– Денег бы выслал! – отрезал Юрий Сергеевич.

– В почтовом конверте?

– В почтовом конверте! – подтвердил он. Немножко подумал и опять поманил меня пальцем:

– Есть верный способ проверить, Алешка это или же его двойник – агент.

Алексей в детстве посадил дерево рядом с нашим деревенским домом. Спросите того человека при встрече, что это было за дерево? А потом сообщите нам – вот мы и проверим...

– Хорошо... Скажите, когда вы получили первое письмо от Алексея? – спросил я.

– Давно. – Рита Сергеевна продолжала смотреть в окно.

Юрий Сергеевич барабанил пальцами по столу.

– Можно глянуть? – спросил я.

– У нас его нет, – ответил Юрий Сергеевич, глядя перед собой.

– Где же оно? – не унимался я.

– В КГБ, – сказала Рита Сергеевна. – Я сама отнесла его в КГБ в тот же день, когда получила.

– Зачем? – спросил я, чувствуя, как вянет мой голос.

– Эх, молодой человек, – посмотрел мне в глаза Юрий Сергеевич. – Были бы вы моим сверстником, испытали б то, что пришлось мне, не задавали бы этих вопросов...

Рита Сергеевна подлила себе в чашку воды из остывшего чайника.

– Хотите, подогрею? – предложила она.

– Спасибо, – поблагодарил я. – Мне уже пора... Скажите, это русская фамилия – Пере-слени?

– Почему вы спрашиваете? – В глазах брата появился легкий налет страха.

– Любопытства ради. Впрочем, если не хотите – не отвечайте...

– Нет, почему же? – Юрий Сергеевич встал из-за стола и, упершись в него пальцами, глядя на сестру, объяснил:

– Я думаю, что корни итальянские. Но, во-первых, это все было давно. А, во-вторых, фамилию Переслени носил Ритин муж. А он, как вы знаете, уже лет пятнадцать назад отошел в лучший мир...

– Может быть, вы передадите Алексею что-нибудь на память из дома? – Рита Сергеевна опять обняла картонную коробку, прижав ее к груди.

– Пожалуйста, – согласился я. – А что именно?

– Можно расческу... – Она принялась торопливо перебирать бумаги, документы и вещи, лежавшие в коробке. – Нет, расческу я оставляю себе... Она еще пахнет Алешиними волосами... Вот, если хотите, его профсоюзный билет, а?

– Давайте. – Я взял зеленую книжечку из ее рук. – Алексею, если наша встреча состоится, будет приятно подержать его.

– Вот тут есть фотография, – показала Рита Сергеевна. – Алеше на ней всего лет пятнадцать.

XVI

– ..Так что вы взяли с собой в Сан-Франциско профсоюзный билет, письмо от дяди и телефон любимой девушки? – спросил прокурор, демонстрируя профессиональную память и умение слушать.

– Да, – ответил я. – И еще текст Сухаревской амнистии.

– А любимой девушке вы позвонили?

– Конечно. Но ее не оказалось дома: Ирина отдыхала где-то на юге.

– Ну, не томите, – улыбнулся прокурор, – что же было в Сан-Франциско?

– Знаете, – сказал я, – это мне было надо вас расспрашивать, а не вам меня. Я же журналист. Вот уеду с пустым блокнотом, а виноваты будете вы.

– У журналистов, прокуроров, следователей и разведчиков, – заметил он, – есть одна общая черта.

– Это какая же?

– Все они душу готовы запродать ради интересной информации.

...Солнце взлетало над Сан-Франциско быстро-быстро, словно желтый воздушный шар. И уже часам к девяти утра город был до краев залит воскресным солнечным половодьем. На западной его окраине шумел океан, тщательно вылизывая бежевые пляжи. Соленый ветер сквозняком носился по аккуратным улочкам, шумел в пальмовых листьях, гладил теплой ладонью лица людей.

Сан-Франциско показался праздником после долгих удушливых будней Нью-Йорка. Золотисто сияя в лучах спелого летнего солнца, он напоминал зрелую, налившуюся соками, готовую радостно треснуть от распирающих молодых сил желто-оранжевую дыню.

Схватив в аэропорту такси, я минут через тридцать оказался в центре города на 16-й авеню. Сбросив скорость до пятнадцати миль, водитель, плавно шурша шинами, заскользил по ней на ветхом «додже». Он нажал на тормоз напротив дома № 1221, и автомобиль легонечко качнуло, словно на волне. Я расплатился и вылез из него, чувствуя, как яростно стучат маленькие молоточки в висках. Взгляд мой магнитом притянуло окно на втором этаже компактного особнячка. В его обрамлении я увидел бледное лицо и два внимательных, настороженных глаза.

Молоточки заколотили еще отчаянней. Холодной ладонью я вытер с затылка теплый пот. Медленно поднялся по ступеням на второй этаж. Позвонил. Дверь открылась без скрипа. Я увидел то же лицо и те же голубые, ломающие встречный взгляд глаза.

– Здравствуйте, – сказал я на всякий случай по-английски, не будучи уверен, что передо мной Переслени. – Вы Алексей?

– Да, – ответил он и зачем-то провел ребром ладони по белесым, в проталинках, усам. Я представился и протянул ему руку. Его пожатие было слабым, неуверенным.

Из соседней комнаты вышел Микола Мовчан.

– Хай, – сказал он и улыбнулся.

– Привет! – поздоровался я, но на сей раз по-русски. – Какими судьбами на западном побережье?

– Путешествую, – ответил он, пожав плечами.

Судя по этому беззаботному жесту, можно было подумать, что он здесь проводит каждое утро, а вечером возвращается на восток.

– Почему с Миколой ты говоришь по-русски, а со мной по-английски? – спросил Переслени. В голосе его сквозила смесь настороженности и обиды.

– Потому что с ним мы уже знакомы, – ответил я. – А тебя, Алексей, я знал лишь по фотографии. Боялся ошибиться.

– Проходи в ливинг-рум¹²⁴, – пригласил он, открывая массивную, кофейного цвета дверь. Гостиная оказалась просторной светлой комнатой с камином, диваном и журнальным столиком. У широкого окна курил сигаретку чернявый крепыш лет двадцати пяти в потертых джинсах и нейлоновой куртке. Он поздоровался со мной, сунул в магнитофон кассету и прислонился спиной к белой стене. Через секунду запел Розенбаум:

Лиговка, Лиговка, Лиговка!
Ты мой родительский дом.
Лиговка, Лиговка, Лиговка!
Мы еще с тобою попоем...

– Пушай поет, – сказал крепыш. – Разряжает атмосферу.
– Мое появление сильно накалило ее? – спросил я.
Мовчан дружелюбно улыбнулся. Крепыш, который, как выяснилось, работал каменщиком-строителем здесь же, в Сан-Франциско, сдвинул и без того сросшиеся черные брови. У камина стоял книжный шкаф, уставленный книгами на русском языке. Судя по названиям, почти все они были посвящены разным периодам российской истории. Автоматически взгляд сфокусировался на бежевой брошюрке, называвшейся: «Николай II – враг масонов № 1».
Я продолжал разглядывать обстановку.
Гостиную и кухню разделяла небольшая темная столовая. В самом центре овального обеденного стола красовалась соломенная ваза с ананасами и апельсинами. На краю лежала помятая банка кока-колы.
– Долго будешь в Сан-Франциско? – спросил Мовчан.
– Нет, – ответил я. – Думаю улететь одним из сегодняшних вечерних рейсов.
– Думаешь или улетишь? – не унимался он, вперившись в меня тяжелым взглядом.
– Улечу, – сказал я.
Мовчан и чернявый крепыш заметно успокоились.
Дослушав песенку, Мовчан хлопнул в ладоши и резко встал с дивана.
– Ну, – сказал он, – нам пора. Дела, понимаешь...
– Понимаю, – согласился я.
– Ну, прощай! – Мовчан протянул руку.
Он еще раз улыбнулся и, обняв крепыша за плечи, вывел его из гостиной. Через минуту хлопнула входная дверь.
Переслени вернулся в комнату, поменял кассету в магнитофоне. Уменьшая громкость, спросил;
– Что же тебя все-таки интересует?
– Твоя жизнь, – ответил я.
– Как видишь, – он иронично-удовлетворенно обвел глазами свою квартиру, – живем – хлеб жуем. – И засмеялся, руменя в скулах.
– Да, – согласился я, – квартирка и впрямь недурная. А где же гараж с машиной?
– Сейчас, видишь ли, их нет... – уклончиво ответил Алексей. – А откуда тебе известно об этом?
– Рита Сергеевна показала фотографию: ты на фоне машины и гаража. В письме ты тоже, если помнишь, об этом писал.
– Как мама? – вдруг спросил он, глядя в окно, нервно кусая ноготь.
– Юрий Сергеевич сказал, что за последнее время она сильно сдала. Я был у них перед отлетом из Москвы.

124 Гостиная (англ.).

– Бедная моя мама... – Переслени подошел вплотную к окну, положив на стекло ладони, прильнув к нему щекой.
Постоял так с минуту, резко повернулся:
– Садись на диван, – сказал он. – У нас времени мало: скоро Ленка придет – не даст нормально поговорить.
– Жена твоя? – спросил, вспомнив про Ирину.
– Подруга... – махнул он рукой. – Жена... Какая разница. Так, живем вместе. Потом поглядим-посмотрим.
– Это все ты читаешь? – спросил я, кивнув на полки.
– Ленкина библиотека. – Он вскрыл банку содовой. Разлил воду по стаканчикам. – Но я тоже листаю. Интересно все это. В Союзе ничего подобного у меня не было. Само-, так сказать, образываюсь... Ну, спрашивай валяй!
– Как приняла тебя Америка и как принял ее ты?
Переслени потер пальцами лоб, что-то припоминая.
– Прилетел я сюда ословелый... – начал он. – Сам понимаешь. Плен. Дорога. Нервы... Сперва привезли нас в Нью-Йорк. Странно, знаешь, было ходить незнакомому среди незнакомых... Интересно, таинственно. Я бродил, заглядывал в окна витрин, в лица... Сильно подействовал на меня этот сияющий холодными огнями реклам суровый город. Сознание как будто подернулось отупляющей пеленой.
Он ногтем мизинца скovyрнул табачную крошку с переносицы, выпил еще воды, закурил.
– Ходил я по Нью-Йорку, – продолжал он, – и не знал, что делать: благодарить судьбу или проклинать... Благодарить – потому что меня вытащили из плена. Проклинать – потому что я оказался отрезанным от своего прошлого...
Словом, привезли нас в Нью-Йорк и спросили: «Ребята, хотите в магазин – такой магазин, какого вы никогда в своей жизни не видели?» Мы сказали: «Валяйте ведите!» Привели. Заходим в огромный магазин-супермаркет. Все залито электрическим светом. Полки от продуктов трещат. Нас фотографируют, на магнитофон наши реплики записывают. Потом спрашивают: «Ребята, какое у вас впечатление от Америки?»
Я ответил: «Ваши женщины умопомрачительно красивы, но русские еще лучше!» Они как-то кисло улыбнулись... Понимаешь, я столько лет – не дней, а лет! – женщин нормальных не видел, что обалдел именно от них, но не от обилия жратвы. Война и плен отбили нормальные юношеские чувства: просыпаясь утром в Афганистане, я думал не о женском теле, а о смерти, о том, сколько мне осталось жить – два часа, сутки, год?
Мягкой походкой он прошелся по комнате. Поставил другую кассету в магнитофон. Розенбаума сменила Пугачева. «Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты...» – поет Алла в доме № 1221 на 16-й авеню Сан-Франциско.
– Аме-рика... – задумчиво произнес Переслени и хрустнул мослаками пальцев. – А что Америка?! Америка тебе дает опортьюнити¹²⁵. Америка дает тебе пристанище. Америка учит тебя жить...
Он опять сел на диван и вдруг заплакал. Как ребенок – отчаянно, навзрыд, с всхлипываниями и слезами. Он не стеснялся их, не прятал. Разрешил им течь по щекам и падать на пол.
– Когда тебя бросают одного, – он смотрел на носки своих кроссовок, перехватывая рукой капельки слез в воздухе, – ты как птица посреди океана. Ты ищешь берег. Так вот и я... Попробуй пристань... Слава Богу, что я пристал хоть к этому берегу, слава Богу... Ты видишь: я начинаю потихоньку обживаться. Вот это гнездо наспех с Ленкой свили... Получаю я достаточно.
Он несколько мгновений помолчал, отбросил волосы со лба, опять повторил:

125 Возможность (англ.).

– Все-таки достаточно... Но никогда ты не вырвешь из сердца то, что было в тебя вложено, – твою ро-ди-ну... Куда бы тебя ни забросило. В тебя это вло-же-но. Переслени оттянул майку на плече, вытер ею красные глаза. Нитка клейкой слюны повисла на губе.

– Что для меня Америка?! – превозмогая судороги в груди и горле, спросил он сам себя тусклым неровным голосом. – Бул щит!¹²⁶ Америка – бул щит, прости меня за это выражение... Хочешь, будем говорить по-английски? Я уже умею!

Он предложил это тоже как-то по-детски, словно приглашая меня поиграть с ним.

– Не хочу, – почему-то ответил тогда я.

– Факинг Америка! – голос его чуть сел. – Ай ноу ай доунт лайк зис щит! Но ай лайк американ пипл... Факинг щит!¹²⁷ Б...! После посещения магазина нас спросили: «Ребята, куда вы хотите ехать?» Я сразу же выпалил: «В Калифорнию!» Меня спросили: «Почему – в Калифорнию?» «Да потому, что другого штата в вашей Америке просто не знаю!» – ответил я. Ну, словом, отправили меня в Сан-Франциско. Я приехал сюда. Здесь один мужчина меня встретил. В его доме я прожил несколько месяцев. Он же помог мне устроиться на работу. И вот стал я грузчиком.

Грузил мебель, развозил ее, получал хорошие деньги. Мне все это очень нравилось. Но потом...

Зажмурившись, он зажал кончиками мизинцев виски, словно борясь с головной болью.

"Кто, не знаю, распускает слухи зря, – продолжала свой сольный концерт Пугачева, – что живу я без печали, без забот?..

Визгнула, резко затормозив, машина на дороге.

– .. Но потом, – Переслени медленно опустил руки на колени, – я связался с наркоманами.

Начал наркотики принимать. Мне стало лень работать грузчиком, бросил свою работу...

Я глянул на тыльную сторону его левого локтя, но не увидел ничего, кроме голубого ручейка вены.

– Как ты связался с ними?

– Не важно как... Все равно это дрянь, гадость, дерьмо, падаль, которую надо давить ногтем, как вошь!

– Что было дальше?

– Дальше я устроился работать портным, но одновременно стал учиться чинить компьютеры. И мне все это удавалось... Я хорошо освоил электронику. Я и сейчас смогу починить какой-нибудь компьютер, честное слово!.. Хочешь выпить? а то как-то пакостно на душе...

– Не откажусь.

– Тогда давай смотаемся в супермаркет. Это пять минут...

В магазине Переслени долго шарил глазами по полкам, пока взгляд его не воткнулся в пузатую литровую бутылку водки. Шевеля губами и бровями, он читал надпись на этикетке.

– Финская... – удовлетворенно постановил Переслени. – Все-таки рядом с Россией. Теперь – огурчики!

Строгим взором обвел он взвод стеклянных банок на нижней полке. Выбрал одну, лихо подбросил ее пару раз:

– Почти что с Рижского рынка!

Я расплатился с кассиршей, и минут через десять мы уже поднимались на второй этаж дома номер 1221.

126 Дерьмо! (англ.).

127 Чертова Америка! Я знаю, что не люблю это дерьмо! Я люблю американцев. Дерьмо! (англ.).

Вытащив несколько сосисок из холодильника, Алексей бросил их на раскаленную, политую кукурузным маслом сковородку. Обжарив их с одного бока, он автоматическим, привычным движением подбросил сосиски в воздух. Сделав сальто в метре над сковородой, они плавно опустились и легли на нее необжаренной стороной аккуратным рядком – затылком в затылок.

– В известном смысле, – сказал Переслени, когда мы сели за журнальный столик, – характер – это судьба. Попробуй как-нибудь на досуге понять свой характер – тогда ты сможешь вычислить собственную судьбу. Попробуй...

– По-моему, проще обратиться к гадалке.

– Ну, – он вдруг вонзил серьезный взгляд в стену напротив, чуть выше моей головы, – давай выпьем за судьбу России. Чтобы ей везло в будущем столетии. Поехали...

Алексей опрокинул стаканчик в рот. Выпил, не глотая.

– Хороша! – неожиданно перешел он на фальцет. Подумал. Скрестил сильные, чуть пухлые руки на груди. Заговорил обычным голосом:

– Темная штука – судьба... Когда мне было лет семнадцать-восемнадцать, я был влюблен в Юрия Владимировича Андропова. Хотелось мне пойти в школу КГБ, служить потом в его охране личным телохранителем. Я очень любил этого человека. Помнишь, как он с Мавзолея выступал в день брежневских похорон? Холодно было, снег шел. Все члены Политбюро стояли в шляпах и шапках, а он один – с открытой головой. Ветер ворошил его седые волосы. Говорил Андропов проникновенно, честно, Ведь очень долго никто у нас так с Мавзолея не выступал...

Он был сильным человеком: заставил страну работать во время рабочего дня. Я очень гордился, что Андропов стал Генеральным секретарем...

Переслени откинулся на спинку стула, сунул руки в карманы джинсов, мечтательно улыбнулся.

– Но судьба, – нахмурился он, – распорядилась иначе.

Меня не спросила, бросила в Афганистан. Я был сержантом.

В моем подразделении служили два казаха. Они ненавидели меня уже за одно то, что я москвич, били по-черному. До потери сознания и чувства боли. И приговаривали: «Служила тут до тебя одна русский – тоже с Москвы. Мы его перевоспитывай, как и тебя, потому что дурак, скотина! До тебя русский скотина ушла к душманам. Мы тебя перевоспитывай – ты тоже уйдешь!» Гнев их был страшен, а ярость – свирепа. Казалось, они хотели отомстить мне за все страдания своего народа. Я кричал: «За что, гады, бьете?» Они смеялись в ответ, но били сильней. Сапогами, кулаками... В пах, в живот, по голове... Ухх! Вспоминать больно!

Переслени зажмурился и коротко подрожал ноздрями.

Вытер лицо ладонями, словно оно было мокрым.

– Они ненавидели меня еще до того, как встретили. Может, в этом и заключалось их жизненное предназначение.

Ведь, если бы не они, я не ушел бы из части и мы с тобой здесь водку не пили... Мысль о том, чтобы уйти, подсознательно прорастала в моей голове во время и после побоев. Сами казахи вбивали ее в мои мозги, из которых они вытряхнули все, кроме этой спасительной мечты. Избитый, я ложился на пол, залезал под койку, чтобы не мозолить им глаза, и мечтал об уходе. Я мечтал сладострастно, с упоением. Моя мечта была моей мезтью казахам и судьбе. Я хотел жить только для того, чтобы когда-нибудь им отомстить. Другой цели у меня не было. В свои воспаленные мечты я вкладывал все свое воображение и вдохновение, все, что во мне было. И даже то, чего не было. Я улыбался, когда мечтал. Слезы счастья катались по моему лицу. Эх, горек мой мед!

Мы встали и молча поглядели друг другу в глаза. Я слышал свое и его дыхание. Рот Переслени кривился змейкой.

– Третий тост! – сказал он.

Мы выпили за пятнадцать тысяч людей, таких, как он и я, погибших в Афганистане.

– Словом, я ушел, – Переслени скользнул кончиком пальца по краю стола, – вернее, убежал после очередного побоя в виноградник, забыв автомат в части. Так что «духи» взяли меня безоружного, тепленького. Они, кстати, тоже круто лупили меня – за то, что сдался в плен без АК... Уже через несколько дней я молил бога и командование сороковой армии: «Миленькие, освободите меня из плена! Я воевал за вас и еще хоть пять лет воевать буду!» Но никто не освобождал. Мой Бог не слышал меня, и афганцы хотели заставить меня поклоняться их Богу – Аллаху. А это жестокий Бог...

Он щелкнул пальцем по выключателю – в столовой зажегся свет, и я опять увидел мутно-серые слезы на его лице.

Переслени продолжал:

– Я убежал из части не для того, чтобы перейти на сторону повстанцев. Я, веришь – нет, хотел пешком добраться до Италии. Считал, что там есть у меня родня. Думал, разыщу. В детстве, когда спрашивал мать, почему наша фамилия не Петров, не Иванов и даже не Тютюкин, она отвечала мне, что, видно, какой-нибудь прадедушка был итальянец. С тех пор образ итальянского прадедушки с каждым годом все больше обретал реальность в моей голове. Я хотел спрятаться в его замке где-нибудь в Неаполе от тех двух казахов... Но вместо Италии я попал в плен.

Переслени улыбнулся одними глазами, беззвучно зашевелил губами. Вернувшись из Неаполя в Сан-Франциско, а отсюда перенесясь в Афганистан, он сказал:

– Там, в Афгане, встречал других русских пленных. Некоторые были совсем детьми... Как же можно было надевать на них военную форму, кирзовые сапоги и посылать в Афганистан?! Как вообще можно детей-несмышленишек отправлять на войну?! Это же прес-туп-ле-ни-е! Пусть воюют тридцати-сорокалетние – тоже, конечно, идиотизм, однако понять можно. Но не обманутые дети. Ведь нас же обманули и превратили в детский мясной фарш... Я-то хоть выбрался из всего этого, а те, за которых мы пили, – они-то нет! Теперь я расплачиваюсь за вторично дарованную мне жизнь, расплачиваюсь одиночеством. Знаешь, что такое одиночество? Одиночество – это бесполое существо, которое иногда принимает облик человека в серой шляпе. Я привык к нему – он неплохой малый. Зла не делает: молчит себе, и все.

А ведь в наше время не делать зла – это уже ой как много...

– Куда выведет тебя судьба дальше, ты пытался представить?

Переслени бросил на меня недоверчиво-настороженный взгляд:

– Я, – сказал он, – сжег корабль, на котором плыл.

Старое кончилось, новое толком еще не началось. Я застрял где-то посередине. И мне сейчас до тяжести легко.

Алексей помолчал, пытаясь понять, верное ли сравнение подобрал.

– ...До тяжести легко, – повторил он. – Да, именно так: и тяжело, и легко одновременно... Бывает так...

Хлопнула в прихожей дверь, и в гостиной раздались быстрые женские шаги.

– Ленка пришла! – выпалил Переслени.

XVII

– ...Она – русская? – спросил прокурор, хлестнув меня по лицу острым, быстрым взглядом.

– Вроде бы, – ответил я.

– Сколько лет?

– Понятия не имею. Но постарше Переслени.

Вертолет начал снижаться, слегка накренившись носом вниз: автомат прокурора заскользил по сиденью вдоль борта в сторону кабины экипажа. Полковник ловко поймал его за приклад.

В овале иллюминатора теперь рябили звезды, сливаясь с огнями кишлаков.

Показавшись в дверном проеме, Ленаглянула на меня исподлобья. Ее березово-белоелицо с крохотной черной родинкой на щеке чуть выше губ было взволнованно. Густые брови сошлись в тревожную линию.

– Добрый день, – сказала она.

– Добрый, – ответил я.

– Лен, – сказал Алексей, – видишь, мы работаем. Интервью...

– Ах, бож-же ж мой! – метнула она быстрый взгляд на бутылку. – Я-то вижу, как вы работаете.

– Ты надолго домой. Лен? – спросил сникший Алексей.

– Еще не знаю, – ответила она и прошла на кухню.

Когда дверь за ней закрылась, Алексей шепнул:

– Пойдем в парк – там договорим.

Мы незаметно прошмыгнули на улицу, прихватив с собой закуску и остатки водки.

Сумерки тронули душистый парковый воздух легкой фиолетовой краской. Было часов шесть вечера. Стайки горожан в спортивных костюмах трусили по аллеям.

Темно-рыжее солнце пряталось в пальмовых листьях. Приятно было слушать журчание искусственных водопадов и ручьев, змеившихся в стриженной траве.

– Сядем здесь? – Переслени кивнул на свободную лавку под высоченной лиственницей, иглой впившейся в небо. – И вид на город отсюда хороший... Ты, кстати, на Ленку не обижайся. Она, видишь ли, уверена, что ты из КГБ.

Бойтся тебя.

– Даже если и предположить такое, как я могу ей угрожать?

– Не ей, а нам. Понимаешь, она уже пыталась сколотить семейное счастье с одним парнем, тоже прошедшим через афганский плен. Из-за разных обстоятельств не вышло: нервы, подозрения и все такое, о чем нет охоты сейчас говорить.

Ленка боится, что из-за тебя может рухнуть наш с ней картонный домик, что я уеду в Россию...

– Я не обижаюсь на нее, – сказал я, пытаюсь убедить в этом самого себя.

– Вот и вери гуд!¹²⁸ – обрадовался Переслени. – На чем мы с тобой остановились?

– Ты рассказывал про наркотики.

– Ага, вспомнил...

– Но не афганский же чаре ты здесь потреблял? – попытался пошутить я, чтобы согнать с его лица набежавшую волну подавленности.

– Нет, тут ребята используют препараты покрепче...

Словом, я оказался опять в плену. На сей раз – у наркотиков. Приступы тоски и депрессии стали одолевать меня все чаще. Каждый вечер наведывался человек в серой шляпе. Я чувствовал смрадное дыхание одиночества. Я по-настоящему боялся за себя. Словом, как-то раз в вербное воскресенье пошел я в здешнюю православную церковь. Познакомился с русскими, сошелся с ними поближе. Они и посоветовали ехать обратно в Нью-Йорк – учиться в семинарии при православном монастыре. Последний раз судьба протянула мне руку помощи. Я ухватился за нее из последних сил.

За спиной раздался шорох первых палых листьев. Вечер уверенно завладевал городом.

Видно было, как на глазах густеют сумерки.

– Семинария мне помогла. Душа моя окрепла. Про наркотики забыл. Там я понял: чем дальше от людей, от мира – тем ближе к Богу. Однако я не хочу Бога без мира, а мира без Бога... Начал читать книги по российской истории, увлекся русской философско-религиозной мыслью. Глотал страницы, коченея от тех бездн, что вдруг открывались мне. Много размышлял над тем, что произошло с Россией в октябре 17-го. Вдруг понял: по нехватке веры большевики надругались над законами жизни. Парадокс заключается в том,

128 Очень хорошо (англ.).

что, разрушив самодержавие, они через тридцать лет опять воссоздали его. Если бы в пятидесятом году состоялась коронация Сталина, это было бы воспринято страной как нечто само собой разумеющееся. Я вот о чем иногда думаю: если бы России была дана возможность развиваться в этом веке на основе конституционной монархии, православной церкви и молодого, неудержимого капитализма, она была бы сейчас впереди Америки – уж поверь! Но такая перспектива пугала: тогда-то и выпустили большевиков из бутылки... Ну, что – приговорим пузырек к смертной казни?

Переслени улыбнулся и кивнул на остатки водки. Выплеснув ее в пластиковые стаканчики, он оглянулся по сторонам. Трусившие вдоль дорожек поджарые американцы с удивлением наблюдали за нами.

– Водка – тоже спорт! – переводя дух после большого глотка, прохрипел Переслени. – Они, идиоты, не понимают.

Словно желая еще больше шокировать пуританствующую Америку, Переслени встал с лавки, принял позу оперного певца и запел низким грудным голосом:

Широка-а-а страна моя родная!

Много в ней больших концлагерей.

Я другой такой страны не знаю,

Где людей содержат, как зверей-е-е-ей!

Заплодировав самому себе и раскланявшись на три стороны, он сел.

– В Афганистане, – Алексей посерьезнел, – я видел, как люди боролись друг с другом за будущее страны.

Десятки стран сегодня борются за будущее мира. Я же предпочел уйти в семинарию и бороться с бесами только за самого себя. Каждый должен следовать за Богом в меру своего разумения. Там я понял, как далеко христианство от Христа, а коммунизм – от коммунистической мечты... Россия сегодня стоит на пороге новой веры или философии – называй, как хочешь. Мир прошел уже через религию Бога-Отца. Он познал религию Бога-Сына. Настал черед религии Бога-Духа Святого. Верю, что она выйдет из России. Мысль его металась из стороны в сторону, словно птица в комнате. Говорил он быстро, глотая слова, изредка облизывая сухие губы. Глаза Переслени горячно блестели.

– Россия, – продолжал он, схватив меня за руку, – вечно шарахалась из стороны в сторону, едва поспевая за своей интеллигенцией. Возьмем для примера девять лет войны в Афганистане. Страна перескочила от убеждения, что «война – это святое, патристическое дело», к уверенности в том, что «война – это ад, мерзость и позор», не только без каких-либо сомнений, но и без всякой промежуточной стадии. А как будет думать она завтра утром? Ты знаешь? Я – нет. И все же, куда бы Россию ни повело, она все равно останется сильной, великой. Конечно же, не из-за армии. Из-за веры. Для русских вера – чудо, для американцев – рутинная и тоска. Вот в этом вся разница... Я не столь примитивен, чтобы считать Америку символом и средоточием прогресса.

Критерием развитости общества служит его умение распознавать зло, природу зла. С Добром все ясно. Оно неизменно, как заповеди Христа. Но зло – каждый век оно меняет личину, вновь и вновь загадывая нам головоломную загадку.

Человечество много тысяч лет тому назад начало партию в шахматы с дьяволом. То он нас загоняет в угол, то мы его: шах, жертвуем королевой и принцессами, офицером и армией, атакуем, бессмысленно рокируемся, ход конем, пат!

Дьявол знает миллион этюдов и защит, а мы – только те, на которых споткнулись и расшибли себе лоб... Трагедия России в двадцатом веке проистекает из ее бескультурья – истинную интеллигенцию-то выбили! – и, как следствие, из ее неумения распознавать зло, маскирующееся под добро.

Именно поэтому оказался возможным сталинизм, его модификации. И даже ввод войск в Афганистан. Вторжение окрестили интернациональным долгом, а мы и поверили...

Окровавленный краешек неба на западе отчаянно боролся с наступающей ночью за жизненное пространство. Казалось, кто-то случайно разлил там, над горизонтом, красное вино. Тяжелые тучи бесшумно ворочались над нашими головами, грозясь проливным дождем. Было ощущение, что если он и пойдет, то непременно кровавый.

– И долго ты проучился в семинарии? – спросил я.

– Год. Вернулся потом сюда, – сказал Алексей и закурил.

– Здорово они его за один год накачали! – заметил прокурор и покрепче ухватился руками за сиденье, чтобы не свалиться на днище при посадке вертолета.

– Пошли домой. – Алексей глянул на небо. – Сейчас ливанет.

– Во – темень найбабадская! Так ее и раззтак! – чертыхнулся прокурор, когда все три колеса Ми-8 коснулись железных плит вертолетодромчика.

Мы встали и пошли: с Переслени – домой, на 16-ю авеню, а с прокурором – в расположение дивизии.

– Приехав в Сан-Франциско, – продолжал Переслени, – я вскоре сошелся с Ленкой. Совершенно случайно.

Мне как-то позвонили знакомые и спросили, не хочу ли я познакомиться с Сашей, с Александром Вороновым, тоже бывшим военнопленным. Я, конечно, обрадовался. Дали мне его адрес. Рванул к нему. Там-то и увидел Ленку. Ну, у нас с ней закрутилось-понеслось. Одним словом, роман. Ерундовый, конечно, но роман. Однажды она мне говорит: «Слушай, у меня с мужем плохо получается. Если хочешь, давай снимем с тобой квартиру». Вот мы и сняли. Нравится?

Я кивнул, продолжая думать о Воронове. Парень этот тоже жил в Сан-Франциско, но оказался в тюрьме. По официальной американской версии – за ограбление старухи. По неофициальной – из-за мании преследования. Говорят, опекуны Воронова здорово накачали его рассказами о КГБ.

Агенты этой спецслужбы мерещились ему всюду. Однажды вечером он шел по улице. Сразу за ним – пожилая парочка.

Решив, что ему на хвост прочно села советская разведка, принявшая лик старика и старухи, Воронов с кулаками набросился на парочку. Убегая, он, правда, прихватил с собой дамскую сумочку. Словом, история темная. Переслени говорить о ней не захотел. Незаметно мы оказались у дома Переслени. Дверь открыла Лена. На сей раз она была чуть более приветлива, чем утром, хотя, если честно, ненависть ко мне по-прежнему плескалась в ее красивых глазах.

Почему-то я всегда приходил в восторг от тех женщин, которые ненавидели меня особенно люто. Сколько я ни рылся в своей душе, никогда не мог объяснить этот парадокс. Думаю, что и папаша Фрейд сломал бы зубы, попытайся он разгрызть сей орешек, который, видимо, Лена разнюхала своим женским чутьем, И потому демонстрировала мне свою ненависть открыто, с гордостью. Словно роскошный особняк.

– Ленк, – спросил Алексей, – отвезем журналиста в аэропорт?

В ответ она громыхнула посудой на кухне.

– В нашем распоряжении еще час, – подсчитал Переслени, глянув на часы. – Кофе выпьешь? Отлично...

Во-первых, я не люблю опаздывать, во-вторых, гнать. Но то, что во-первых, не люблю еще больше, чем то, что во-вторых.

Шутка!

Мы сели за журнальный столик. Из кухни вкусно пахло бразильским кофе. Переслени закурил, и тлевшая крошка табака упала ему на штаны. Соорудив пинцет из ногтей указательного и большого пальцев, он удалил пепел с аккуратностью хирурга, оперирующего на человеческом мозге.

За окном сверкнуло, словно кто-то сфотографировал нас при помощи вспышки. Через несколько мгновений где-то на западе Сан-Франциско ухнула гаубица.

– Как услышу гром, – Переслени прикрыл окно, – сразу же перед глазами Афганистан.

Пошел дождь, и несколько брызг упало мне за шиворот.

– Завтра на работу? – спросил я.

– Да, – ответил он. – Встану, как обычно, в шесть утра.

Дорога занимает сорок минут: хожу пешком. К семи должен быть на месте.

– Где?

– В ресторане «На все времена» – «Фор ол сизенс». Я ведь повар. Очень люблю готовить.

Мои хозяева – неплохие люди...

Почему-то резануло словосочетание «мои хозяева». Быть может, потому, что никогда за двадцать семь лет своей жизни я не произносил этих слов. (Моим хозяином был не конкретный человек, а система.) И сделаю все, чтобы не произнести в будущем.

Гигантский смысл скрыт в этом словосочетании. С определенной точки зрения – смысл многого из того, что происходило на земле на протяжении всей человеческой истории.

Переслени вернулся из кухни с кофейником в руках.

Присев на диван, он стал разливать дымящийся кофе по чашкам. Я с нетерпением ждал, что он скажет дальше. Он молчал, а перед моими глазами вставали и кружились, словно в калейдоскопе Брюстера, тысячи лиц людей, умерших и еще живущих, жаждавших власти и мести, революций, переворотов, светлого будущего для миллионов людей, готовых погибнуть за онтологический аргумент, видевших абсурд жизни, но не веривших в него, принимавших его не как печальный и безысходный вывод, но как исходную точку и потому сосланных, повешенных расстрелянных, замученных или же (если повезло) захвативших власть и оказавшихся в положении тех, кого надлежит свергать...

– ..Мне нравится работать у них, – продолжал Переслени, потягивая кофе, – но я и сам хочу быть шефом. Я уже почти шеф. Поверь мне! Если бы я сейчас жил в СССР, уже давно был бы шефом. И это не пустые мечты. У меня есть знания и хватка. Я пробуюсь – увидишь! Приезжай через пять лет – я буду всеильным миллионером. Сейчас необходимо поднакопить денег – тогда можно будет самому открыть ресторанчик. А потом – целую сеть, а?!

– Я искренне желаю тебе успеха.

– Ведь как хорошо, как хорошо, что мама в детстве научила меня готовить! Какая она у меня умница!.. Так что я заработаю. Обязательно заработаю много денег. Уже сейчас у меня приличная зарплата. Вдобавок мы трясем время от времени еврейские лавки...

– Алексей, мне пора.

– Погоди, мы доведем тебя – Ленка гоняет быстрее звука.

Я достал из кармана письмо и положил его на стол.

– Это от дяди, – сказал я.

Он ловким движением вскрыл конверт, принялся читать.

Глаза его забегали из стороны в сторону. Я сделал несколько больших глотков кофе, теперь уже остывшего и не обжигавшего рот. Алексей сложил письмо, скользнув ногтем по сгибу.

– Что-то, – медленно и хмуро сказал он, – дядя стал шибко политикой увлекаться. Газеты, понимаешь, цитирует... Скажи честно – ему надиктовали?

– Юрий Сергеевич писал то, что ты сейчас прочитал, при мне. И никто не заставлял его это делать.

Удостоверившись, что дверь на кухню плотно закрыта, я протянул Переслени бумажку, на которой шариковой ручкой был написан телефон Ирины.

– Ты в своем письме к матери просил сообщить адрес Ирины, но Маргарита Сергеевна адреса не помнит. Она дала мне вот этот телефон. Я звонил, но не застал Ирину дома – она где-то отдыхала.

– Тебе дали этот телефон в КГБ, – холодно постановил Переслени. – Я-то уж знаю. Ты сам-то капитан или уже майора получил?

– Вот это да! – хлопнул себя ладонью по щеке прокурор, когда мы подходили к КПП. – Запугали же, черти, парня! Значит, так и спросил – капитан ты или уже майор?!

– Так и спросил, – улыбнулся я.

– А ты сообщил ему, что его родная мать полагает, будто он пишет ей письма под диктовку ЦРУ? – спросил прокурор.

– Нет, – ответил я. – Сын и мать доведены шпиономанией почти до помешательства. К чему было подбрасывать дрова и в без того полыхавший костер?

– Зря, – сказал прокурор. – Следовало сообщить... Так что же ты все-таки ему ответил?

– Если один человек убежден в том, что второй человек – верблюд, второму бывает очень трудно доказать обратное, – ответил я.

Переслени поглядел на меня исподлобья.

– Впрочем, – сказал он, – мне все равно, кто ты – гебист или журналист. В любом случае приятно поговорить с человеком, приехавшим оттуда.

– Если не хочешь брать телефон, давай его обратно.

Он ничего не ответил, но бумажку с телефоном поглубже упрятал в карман. Лена забрала чашки со стола и понесла их на кухню. Когда дверь захлопнулась, Переслени сказал:

– Как-то я был у приятеля на парти¹²⁹. Мы переписывали кассеты, пили чай... Девчонок не было. Я говорю: «Без женщин нельзя!» – «Давай, – отвечает он, – позвоним моей подружке, пригласим ее и попросим взять с собой какую-нибудь симпатичную девчонку. Идет?» Я обрадовался. Словом, скоро появляется его Ирина с приятельницей. Бог мой – что за Ирина! Мы знакомимся с ней, а я чувствую, что уже по уши ин лав¹³⁰... Понимаешь, я впервые полюбил по-настоящему красивую женщину. Роскошная коса на спине, большие глаза, чистый лоб, алые губы... Я медленно, но верно сходил с ума. А потом мы гуляли с ней по свежему снегу вдоль Москвы-реки. Я волновался, жутко хотел курить. Стрельнул сигаретку у водителя грузовика. Но Ирина сказала, что, если я посмею закурить, она начнет раздеваться... А ведь мороз стоял, снег кругом. Словом, она победила. Мы бродили с ней до вечера, а меня не покидало тягостное предчувствие разлуки. С тех пор она так и осталась в памяти – недосыгаемо прекрасной. Первой и последней. Самой дорогой на свете. Ты мне больше не напоминай о ней – не то опять, как баба, разревусь... Ладно?

Мне хотелось успокоить его, но я не знал, как.

129 Вечеринка (англ.).

130 Влюблен (англ.).

– Знаешь, – сказал я и положил руку на его плечо, – по мне, уж лучше страдания неутоленной любви, вечная скорбь и тоска, чем неизбежное разочарование и цепь predetermined банальностей. Да! Чуть не забыл...

Я еще раз порылся в нагрудном кармане куртки и выложил его старенький профсоюзный билет. Сказал:

– Это тебе на память. Маргарита Сергеевна просила передать.

Алексей раскрыл книжицу и, глянув на фотографию, рассмеялся:

– Какой же я здесь дурак! Ах, дурак! И ничего еще не знаю о том, что случится со мной всего через год... Бедный, глупый мальчик... Знаешь, вместо профсоюзного билета ты бы лучше привез мне веточку рябины... Я когда-то рябину посадил у нас в деревне под Москвой. Хотя, – он махнул рукой, – деревню снесли и рябину, должно быть, тоже не пощадили. Ну, пора ехать!

...По пути в аэропорт мы заехали в местную православную церковь. Она одиноко стояла посреди огромного шумного города. Омытая теплым вечерним, еще моросившим дождем. Окутанная туманом и темнотой. Внутри было тепло и сладковато пахло топленным воском. Переслени подошел ближе к алтарю, и я краем глаза увидел, как зашевелились его губы: – И крестом святым... Пречистая... Пресвятая..., раба Божия..., упование мое... О чем просил Переслени Бога в тот теплый августовский вечер под шум дождя и потрескивание свечей? Услышал ли Господь его молитву? А если да, то как рассудил?

Приблизительно через две недели в генеральное консульство СССР в Сан-Франциско позвонил человек, назвавшийся Алексеем. Он просил о встрече. Сказал, что находится в закрытой для советских людей зоне Сиэтла. Однако дело было в пятницу вечером, и консульские работники уже собрались расходиться по домам. Человеку, назвавшемуся Алексеем, предложили связаться с консульством в понедельник утром. Но он больше не позвонил...

Ирина недавно вышла замуж. По-прежнему живет в Москве, и, как говорят, брак ее счастливый. Но иногда, раз или два в год, когда странная тоска опускается на сердце, она подходит к телефону и, убедившись, что поблизости никого нет, звонит Маргарите Сергеевне. Они обмениваются новостями, долго разговаривают, вспоминая былое, и прощаются до следующего Ирениного звонка. Повесив трубку, Маргарита Сергеевна достает из комода картонную коробку и беззвучно – чтобы не потревожить соседей – плача, перебирает вещи, оставшиеся от Алексея, – расческу, комсомольский билет, носовой платок... Ирина же спешно прячет в сумочку книжку, где записан телефон женщины, которой не суждено было стать ее свекровью, и идет хлопотать по хозяйству.

XVIII

На центральном направлении вывода войск, в районе Южного Саланга, шла подготовка к последним боевым действиям против Ахмад Шаха. Но здесь, в Найбабаде, что затерялся среди бескрайних пустынных песков, в семидесяти километрах от советской границы, война, казалось, уже закончилась. О ней напоминали лишь бесконечные колонны боевой и транспортной техники, уныло тянувшиеся с юга на север, к Хайратону.

Близ этого глинобитного городка, в расположении мотострелковой дивизии, начальник штаба 40-й армии генерал-майор Соколов разместил запасной армейский командный пункт. Дней за десять до пересечения границы последним советским подразделением сюда, как предполагалось, должен был переместиться командующий армией генерал-лейтенант Громов. На всякий случай оборудовали отдельный модуль для руководителя оперативной группы Министерства обороны, все еще находившегося в Кабуле.

Солдаты его так и окрестили – «домик Варенникова».

В расположении дивизии гасли последние огни. Ночной мороз схватил редкие лужи – они подернулись прозрачной корочкой льда.

Прокурор распрощался со мной близ штаба дивизии и растворился в темноте, похрустывая башмаками по мерзлой воде.

За стеной и колючей проволокой опустились на ночлег припозднившиеся вертолеты.

Вскоре пустыня поглотила и их глухое урчание.

Командир дивизии полковник Рузляев сидел в своем кабинете за поздней кружкой чая. Он был коренаст, широкоплеч и, казалось, сколочен на века. Прозрачно-голубые глаза на вышелушенном солнцем и ветрами лице зло посверкивали по сторонам. Движения точные, быстрые. Энергией, которой зарядили этого человека сорок один год назад мать и отец, можно было запускать ракеты и двигать поезда. Он лукаво улыбался, прячась за фиолетовым дымом сигаретки.

Закончив десять лет назад бронетанковую академию, Рузляев попал в Сибирский военный округ, став начальником штаба танкового полка. Потом командовал мотострелковым полком на БМП, а в 83-м опять был назначен начальником штаба, но уже дивизии.

Оказавшись в Афганистане в 87-м, Рузляев принял дивизию у полковника Шеховцова и с тех пор командовал ею.

Когда-то – в Кундузе, а теперь вот в Найбабаде.

– С Шеховцовым мы познакомились в апреле 87-го, – вспомнил я, – когда он проводил операцию по уничтожению группировки Гаюра.

– В Багланах? – прищурился Рузляев.

– Да. И хотя Гаюр был окружен со всех сторон нашими и афганскими подразделениями – блоки стояли через каждые двадцать пять – тридцать метров, – ему удалось уйти.

Он еще воюет?

– Воюет, тудыть его мать! – выругался Рузляев. – Тогда, весной 87-го, Шеховцов и впрямь взял его в кулак. Казалось, не уйдет. Но Гаюр всех перехитрил. Одни убеждены, что он, переодевшись в женскую одежду, просочился сквозь окружение, другие – что подкупил царандоевцев и те вывезли его на бронетранспортерах, их-то никто не проверял. Словом, предательство... И по сей день Багланы – болезненное место у нас. Я уже вывел оттуда полк – теперь он в Союзе, а Гаюр с Шамсом опять активизировались.

Улыбку смыло с его лица. Рузляев заметно посуровел.

Последние дни потрепали комдиву нервы. У радонового озера, близ 8-й заставы, пропал рядовой Стариков, в пулихумрийском полку из-за пожара сгорели партбилеты и часть документов. Много забот доставляли десантники, двигавшиеся по дороге на север.

– Ох уж мне эти рэмбовики! – Рузляев кивнул на черное окно, откуда доносился приглушенный рев боевой техники.

– Гонора много, а дела мало! На днях встретил одного их прапора – вдупеля пьяный, а из карманов афошки¹³¹ торчат. И не десятки – тысячи! Так что не соскучишься. А тут еще Карп и Игнатенко...

...11 января ровно в 10.20 утра оперативный дежурный доложил комдиву, что повстанцы захватили УАЗ с двумя нашими военнослужащими. Рузляев бросился проверять. Выяснил, что двух людей и одной машины не досчитался полк связи. Оказалось, прапорщик Павел

131 На армейском жаргоне – афганские деньги – афгани.

Игнатенко и сержант Карп Андрее, взяв УАЗ, отправились в Ташкурган продать сгущенку, масло и несколько банок тушенки, украденных с продовольственного склада, но были обстреляны боевиками из банды Резока и взяты в плен.

Не долго думая, силами разведбата и разведроты Рузляев со всех сторон обложил повстанческий отряд, создал группировку артиллерии и несколько раз обстрелял партизанский КП. Черные вспышки разрывов месили землю, сотрясая все вокруг. Гарью наполнился воздух, и серый дым, словно туман, поплыл над песками пустыни.

Вскоре Резок прислал письмо Рузляеву, в котором просил прекратить залпы артиллерии и обещал вернуть Андреев и Игнатенко в обмен на 100 миллионов афгани и 50 пленных моджахеддинов. Чуть позже он передал комдиву через посланца список людей, которых требовал освободить.

За несколько дней Рузляев раздобыл 500 тысяч афгани и договорился с местными властями об освобождении из тюрем 21 моджахеддина.

Однажды утром он получил записку от Игнатенко:

"Находимся в кишлаке Кур. Ранены в ногу я и водитель.

Первую медицинскую помощь нам оказали. Если можно, не стреляйте.

Игнатенко".

Рузляев написал ответ:

"Карп и Игнатенко!

Напишите ваше состояние, здоровье. Ежедневно к 16.00 через старейшин присылайте мне записки с ответами на поставленные вопросы.

Рузляев".

Ответную записку опять прислал прапорщик:

"Здоровье удовлетворительное. Держаться еще можно.

Сколько надо, столько и будем держаться. Отношения стабилизируются. Лекарства нам дали.

14.20. Игнатенко.

P.S. Больше писать не дают!"

Через день старейшины передали новое послание от Резока:

"Командир советской дивизии Рузляев!

Два ваших человека по имени Паша и Андрей – у меня.

Их состояние очень плохое. Пока не освободите моджахеддинов, я их не отдам. Переписку запрещаю.

Когда моджахеддины будут готовы, я сам укажу место встречи и обмена.

Резок".

Положив в сундучок 500 тысяч афгани, усадив в БМП освобожденных партизан, Рузляев и начальник штаба армии Соколов двинулись 17-го утром в Ташкурган, где на мосту через реку Саманган должен был состояться обмен военнопленными. Весь район был оцеплен силами дивизии. В это же время подразделения МГБ под командованием полковника Хамида перекрыли кишлачные улицы вдоль реки.

Солнце стояло высоко над Ташкурганом. Воздух был прозрачным и холодным.

Было решено менять одного нашего на десять партизан.

Прибыв на место, Соколов и Рузляев внимательно осмотрели противоположный берег Самангана, оцетинившийся пулеметами и гранатометами. Резок стоял рядом с Карпом и Игнатенко. Женщина, одетая в европейскую одежду, снимала на видеокамеру сцену прощания командира отряда с военнопленными.

Дивизионные боевые машины заглушили движки. Их черные, тускло поблескивавшие на солнце пушки напряженно смотрели на ту сторону реки.

Боевики Резока подвели Карпа Андреев к мосту. К нему же, только с другого конца, двинулись десять партизан в сопровождении рузляевских бойцов. Обе группы медленно пошли навстречу друг другу. Мост слегка зашатался. Слышны были шаги да шум реки внизу.

Поравнявшись с теми, на кого его обменивали. Карп Андрее на секунду остановился, глянул им в глаза, потом на Рузляева и преодолевая боль в ноге, побежал утиной рысью к своим.

С Игнатенко было сложнее. Ни с того ни с сего Резок вдруг отказался его менять. Рузляев про себя чертыхнулся.

Соколов продолжал внимательно вглядываться в противоположный берег. Резок кругами ходил вокруг прапорщика, размахивал руками, что-то говорил.

С момента перехода Андреев через мост стрелки часов отсчитали пятьдесят минут.

Неожиданно Резок обнял Игнатенко и легонько толкнул его в спину. Через двадцать минут обмен был завершен.

Рузляев переправил на тот берег сундучок с деньгами и четыре автомата в придачу. Еще раз оглянулся, посмотрел на Резока. Тот – на него. Стояли так с минуту. Потом развернулись и пошли в разные стороны от серой реки Саманган.

Рузляев – на север. Резок – на юг.

Больше они не виделись.

– Андреем и Игнатенко, – сказал Рузляев, пробивая острым взглядом сигаретную дымовую завесу, – я занимался с 11 по 17 января. Резок оказался порядочным парнем – не склонял наших к измене, в Пакистан не отправлял.

Он прошелся по комнате, выключил телевизор. Подлив себе и мне крепкого рубинового чая, сказал:

– Освободишь, бывало, солдата из «духовского» плена, а потом думаешь: а стоило ли?

Однажды точно так же выменял я одного нашего, а он на меня – ушат грязи.

«Ушел, – говорит, – от вашей Советской власти. Ничего хорошего она мне не дала...»

Он потрогал пальцами адамово яблоко, словно хотел убедиться, на месте ли оно.

Несколько раз кашлянул, подошел к столу и тяжело опустился на стул.

А я вдруг вспомнил слова одного майора из Пули-Хумри.

...Был он круглолиц и толстошек. Казалось, его отцу лет тридцать пять назад не хватило сил, чтобы придать лицу сына отточенности, резкости. Прессу майор ненавидел люто, куда больше, чем «духов». Уставившись на меня черными, в любой момент готовыми открыть пулеметный огонь глазами, он процедил: «Странно, что вы из Казбека героя войны не сделали. Видно, не добрались еще...» Майор сплюнул и прожег в снегу черную дырку.

Казбек Худалов, выпускник Орджоникидзевого командного училища, перейдя на сторону повстанцев, сформировал отряд из десяти-двенадцати таджиков-дезертиров и начал активные боевые действия против афганских правительственных войск, подразделений 40-й армии, обстреливал выносные посты и заставы. Изменники иной раз передевались в советскую военную форму. Хитрость эта порой вводила в заблуждение даже бывалых солдат. Осенью 88-го отряд Казбека действовал в районе баграмского перекрестка, обстреливая афганские посты, но зимой след его затерялся где-то в горах Панджшера.

...Рузляев выкуривал сигареты до самого фильтра – признак человека бережливого, хозяина. Вот и сейчас огонек почти касался его желтых от никотина пальцев. Сведя глаза и убедившись в том, что окурок не длиннее сантиметра, он его затушил правой рукой, а левой принялся распечатывать новенькую пачку.

– Война, – сказал Рузляев, – подошла к своему логическому концу. Сейчас принято ругать ее, поносить. Вместе с войной ругают и армию. А это опасно. Нельзя сваливать все грехи на военных. Если так будет продолжаться и впредь, возникни вновь какая-то опасная ситуация, армия воевать не пойдет... Это я могу обещать... Ну, пора спать. У меня в 4.20 утра первый доклад.

Ночь я провел в вагончике на «Липской улице» – так солдаты окрестили асфальтированную дорожку, близ которой жил начальник политического отдела дивизии полковник Липский.

Небо над вагончиком было затянуто маскировочной сеткой, и ночью она шумела, словно лес.

Утром потянул теплый южный ветер. Он нагнал тучи и свел на нет мои шансы вылететь в Кабул. После разведки погоды стало ясно, что во всем виноват циклон, зародившийся где-то над Персидским заливом и теперь медленно передвигавшийся в северо-восточном направлении. Казалось, он решил облететь все войны на планете: Ближний Восток, Афганистан... Куда дальше? От этого сухого южного ветра, насыщенного запахами войны, волосы начинали сечься, кожа на лице – шелушиться, нервы – сдавать, а мозг – вянуть. Всю первую половину дня я провел в Хайратоне, куда ездил от нечего делать в компании самого неразговорчивого капитана из всех капитанов, которых приходилось встречать. За три часа дороги туда и обратно он не проронил ни слова.

Лишь один раз круто обматерил гаишника, не желавшего ставить печать на путевке водителя. В Хайратон мы мотались за углем для полка связи, но приехали с пустыми руками, потому что склад был наглухо закрыт.

Воротившись в Найбабад, я пошел к начальнику штаба армии Соколову просить вертушку до Кабула.

– Если ветер не уляжется, – сказал он, скептически глянув на небо из окна своего кабинета, – вертушки не пойдут.

Наши кабульские журналисты Соколова знали мало.

Известно было, что он сын бывшего министра обороны¹³², освобожденного от своих обязанностей весной 87-го года после полета Руста. Знакомые офицеры говорили, что Соколов-младший – человек талантливый, дельный, простой в обращении, но вместе с тем требовательный.

Попал Соколов в Афганистан под конец войны, сменив генерала Грекова, и сразу же схватил весь классический боекомплект инфекционных болезней – гепатит и прочее. Из госпиталя вышел осунувшимся, ослабевшим; Громов вскоре после того отправил его в Найбабад.

Соколов высок ростом, худощав, говорил приятным баском, тихо, но уверенно. На худом лице часто вырисовывалась улыбка честного, откровенного и умного человека.

Одет он был в пятнистую эксперименталку. Невиданной белизны подворотничок подчеркивал смуглость лица. Было ему чуть за сорок.

Еще в Кабуле я поинтересовался у ветерана нашего пресс-корпуса его мнением о генерале Соколове: ветеран знал всех и вся. «Умнейший человек, – ответил он, – интеллигент в третьем поколении!» Похоже, ветеран был прав.

Если бы в 40-й армии был вдруг устроен конкурс на интеллигентность, Соколов наверняка бы занял первое место.

– Когда вы приехали в Афганистан, – спросил я его после паузы, – долго осваивались?

– По опыту, – улыбнулся он в ответ, – могу сказать, что весь первый год вникаешь в дела, на второй год уже чувствуешь себя уверенно, а на третий можно съездить разок-другой на охоту. Курите? Пожалуйста...

Он протянул мне пачку сигарет.

132 Соколов С.Л. (р. 1911 г.) – советский военачальник. Маршал Советского Союза (1978 г.); в Великую Отечественную войну – начальник штаба бронетанковых и механизированных войск Карельского фронта. С 1965 г. – командующий войсками Ленинградского ВО. С 1967 г. – 1 и заместитель министра обороны СССР. Министр обороны СССР с 1984 по 1987 год.

– Сороковая армия, – сказал я, – судя по всему, самая курящая на свете. Дымят все, начиная с командующего и кончая рядовым. Единственное, по-моему, исключение – генерал армии Варенников.

– Война, что поделаешь!

– Негативная ее сторона активно обсуждается. А как насчет позитивной? Что она дала армии?

– Армия наша вообще плохо приспособлена для ведения боевых действий за рубежом. «Плюсы» войны? Сложно сказать. Уж очень специфичны условия Афганистана. Опыт, накопленный здесь, трудно применить в «классической» войне. Думается, мы тут осознали, что необходимо лучше готовить и обучать мелкие подразделения – от батальона и ниже. Их командирам надо предоставлять больше самостоятельности: нельзя все решать сверху. Впрочем, Афганистан-то как раз и научил их такой самостоятельности. Офицеры приобрели здесь настоящий боевой опыт. Вторая истина: план любой операции, даже незначительной, следует разрабатывать до мельчайших деталей... Что еще? Отдельные виды боевой техники мы здесь усовершенствовали.

Разговор наш метался от темы к теме: сигареты. Генеральный штаб, боевая техника, Афганистан, дети, семья, судьба армии...

– Я, – Соколов вскинул глаза вверх, – с детства мечтал стать военным, хотел идти по стопам отца. Но он был против: армия в конце пятидесятых была не в почете, как раз тогда началось сокращение вооруженных сил... Но я попер всем назло. Прошел путь от лейтенанта до генерала. Сейчас сын мой тоже мечтает об армии, но она нынче опять не в почете. Газеты высмеивают воинскую славу, патриотизм, даже мужество человека... Тяжко все это читать. Наши военные переживают трудную пору. Много у нас проблем. Женатых людей среди младшего офицерского состава сегодня значительно больше, чем в годы моей молодости, – нужны квартиры, а их нет. Зачастую в армию приходят не те люди, которых нам хотелось бы иметь: много больных – физически и психически. Все чаще встречаются наркоманы, потенциальные и реальные уголовники. Откуда, я вас спрашиваю, в вооруженных силах появилось слово «пайка»? Ответ ясен: его принесли с собой именно уголовники. Я убежден в этом.

Процессы, происходящие в обществе, неизбежно отражаются и на армии.

По телевизору передавали программу «Время». Диктор Игорь Кириллов зачитывал текст очередного заявления Советского правительства по поводу ситуации в Афганистане. Соколов слушал внимательно. Когда Кириллов дочитал и сделал многозначительную паузу, генерал убавил громкость.

– Знаете, – сказал Соколов, – у меня складывается впечатление, что история движется не столько по спирали, как принято считать, а дует по кругу. Все повторяется, только с удвоенной, даже утроенной силой. Хотите, дам вам почитать одну книжку?

– Конечно, – обрадовался я, потому что за последний месяц не прочитал, кажется, ни единой строчки.

– Почитайте. И вы поймете, о чем я толкую. Только она у меня дома. Пойдем? Тут близко – минут пять ходьбы...

Вагончик генерал-майора Соколова разместился неподалеку от ЗКП армии. Обставлен он был достаточно скромно – без какой бы то ни было роскоши: койка, телевизор, видеомэгафон, письменный стол, книги, диван.

Усевшись на него, генерал раскрыл атташе-кейс и вынул потрепанный томик – ксерокопию книги генерал-майора Е.Е. Мартынова, служившего в начале XX века в российском Генеральном штабе. Называлась она – «Из печального периода русско-японской войны». Книга открывалась эпиграфом: «О, Русь! Забудь былую славу! Орел двуглавый побежден, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен».

Вместо предисловия Мартынов сопроводил ее своей статьей, написанной в середине января 1904 года – то есть за несколько дней до начала войны. Статья оказалась пророческой; в ней генерал Мартынов предсказывал поражение России.

Соколов смахнул рукавом пыль с самиздатовской обложки, бережно раскрыл книгу и начал выборочно зачитывать абзацы, время от времени перемежая авторский текст собственными комментариями. И потому порой было трудно определить, какие слова принадлежат Мартынову, а какие – Соколову.

– В такой серьезный исторический момент, начинает свою статью Мартынов, – Соколов, глядя в книгу и водя указательным пальцем по строкам, на долю секунды оторвал взгляд от страницы, как бы проверяя, слушаю ли я, – пресса всего мира занята сравнением сил обеих сторон.

Однако один фактор, чрезвычайно важный по своему раннему влиянию на армию, – настроение общества – до сих пор еще остается незатронутым. Японский народ во всем своем составе от первого ученого до последнего рабочего проникнут патриотическим воодушевлением. Величие и благосостояние родины есть заветный идеал каждого японца, перед которым отходят на второй план его личные интересы...

Естественно, что при таком настроении общества, армия как представительница государственной идеи, как главное орудие для достижения национальных целей пользуется чрезвычайной популярностью. Уже в начальной школе при изучении истории мальчикам стараются внушить почтение к военным подвигам. С кафедр высших учебных заведений вместо космополитических утопий молодежь слышит проповеди здорового национального эгоизма. Призыв молодого японца в солдаты, как для него самого, так и для его семьи не огорчение, а радость. В состоянии службы он на себе испытывает то уважение, которым пользуется в стране военный мундир.

Соколов опять оторвался от книги и глянул на меня:

– А что же мы видим в России? – спросил он с легкой улыбкой на губах. – В это время в образованной России с кафедр, в литературе и в прессе систематически проводятся взгляды, что национализм есть понятие отжившее, что патриотизм не достоин современного «интеллекта», который должен в равной мере любить все человечество, что война есть остаток варварства, армия – главный тормоз прогресса и т.п.

Из университетской среды, из литературных кругов, из кабинетов редакций эти идеи, разрушительные для всего государственного строя (безразлично, самодержавного или республиканского), распространяются в широких кругах русского общества, причем каждый тупица, присоединившись к ним, тем самым приобретает как бы патент на звание «передового интеллекта».

Логическим выводом из такого мировоззрения является полное отрицание всяких воинских доблестей и презрение к военной службе как к глупому и вредному занятию. Такое отношение в разумных классах общества к армии пока еще не успело испортить русского солдата, хотя и в народные массы начинает уже проникать яд «толстовства», но оно оказывает очень вредное влияние на офицерскую корпорацию... Хотите воды? У меня есть пара бутылок «Боржоми».

Соколов открыл одну из них, стряхнув налипшие опилки.

Пузырьась, вода наполнила стаканы. Сделав несколько глотков, он вновь опустил глаза на книгу.

– Наблюдая это грустное явление, – генерал поднял вверх указательный палец, – невольно приходишь к выводу, что для своего радикального излечения Россия нуждается в новой тяжелой године, вроде двенадцатого года, дабы наши космополиты на собственных боках испытали практическую приложимость проповедуемых ими утопий.

Соколов, сдвинув колени, открыл книгу на последних страницах. Вновь наполнил доверху стаканы.

– Таким образом, – читал он уже послесловие, – в то время как все государства, не исключая самых демократических, в интересах национальной обороны стараются воспитать народ в военном духе, наша передовая интеллигенция озабочена обратным и нисколько не стесняется открыто заявлять об этом даже во время неудачной войны.

– В последние годы, – Соколов пропустил несколько предложений, пробормотав их скороговоркой, – наше правительство само стало во главе антивоенного движения. Громкие фразы правительственного сообщения не смогли, конечно, устранить войны из Вселенной, но они дали право всем многочисленным врагам, существующим в государстве и в общественном строе, прикрываясь авторитетом правительственной власти, приняться за расшатывание устоев армии...

Замечательно, что, взяв под свое покровительство (во время Гаагской конференции") эти идеи, в корне подрывавшие военный дух народа и армии, наша цензура не разрешала даже возражать против них. Мало того, когда я захотел издать перевод брошюры германского профессора Штейнгеля, доказавшего невозможность разоружения, то мне было запрещено!

При таких-то условиях неожиданно нагрянула на нас Япония, и появился сразу спрос на мужественного солдата, на самоотверженного офицера, на те военные доблести, которые только что оплевывались, на военное искусство, существование которого отвергалось. Соколов скользнул глазами вниз по странице. Что-то прошептав, перевернул ее.

– Ага – вот! – воскликнул он. – Не надоело?

– Что вы! Продолжайте, прошу вас.

– Темная народная масса, – читал дальше Соколов, – интересовалась непонятной войной лишь постольку, поскольку она влияла на ее семейные и хозяйственные интересы. Сами известия с далекого театра войны проникали в широкие народные круги лишь в виде неясных слухов.

Большинство образованного общества относилось к войне совершенно индифферентно; оно спокойно занималось своими обычными делами; в тяжелые дни Ляояна, Шахэ, Мукдена и Цусимы¹³³ театры, рестораны и разные увеселительные заведения были так же полны, как всегда.

Что касается так называемой передовой интеллигенции, она смотрела на войну как на время, удобное для достижения своей цели. Эта цель состояла в том, чтобы сломить существующий режим и взамен его создать свободное государство. Так как достигнуть этого при победоносной войне было, очевидно, труднее, чем во время войны неудачной, то наши радикалы не только желали поражений, но и старались их вызвать... Не устали? Я отрицательно покачал головой.

– Тогда слушайте дальше. Тут у Мартынова весьма интересный абзац о положении в тогдашней литературе, о писателях... Во время как в течение всей войны японская литература в поэзии, прозе и песне старалась поднять дух своей армии, модные русские писатели также подарили нам два произведения, относительно которых критика нашла, что они появились как раз своевременно. Это был «Красный смех» Андреева, старающийся внушить нашему и без того малодушному обществу еще больший ужас к войне, и «Поединок» Куприна, представляющий злобный пасквиль на офицерское сословие. Кроме того, во время войны вся радикальная пресса была полна нападка на армию и офицеров. Дело дошло до того, что в газете «Наша жизнь» некий Г.Новиков высказал, что студенты, провожавшие уходившие на войну полки, этим поступком замарали свой мундир. В той же газете мы прочли, что в Самаре какой-то священник отказался причастить привезенного из Маньчжурии умиравшего от ран солдата по той причине, что на войне он убивал людей.

Соколов внимательно поглядывал на меня и после недолгой паузы сказал, захлопывая книгу:

– Какой ужас должен был пережить этот несчастный верующий солдат, отдавший свою жизнь родине и вместо благодарности в минуту смерти выслушавший от духовного пастыря лишь слово осуждения.

133 Неудачные для России сражения во время войны с Японией 1904 1905 гг.

Соколов молчал, а я пытался понять, кому принадлежала последняя фраза – ему или Мартынову. Он накинул на плечи пятнистый бушлат и зябко поежился – то ли от холода, то ли от прочитанного.

– Словом, – опять повторил он, – история дует не по спирали, а по кругу. То, что восемьдесят лет назад писал Мартынов, точно ложится на нынешний день. Я имею в виду не только его мысли о роли общественного мнения, но и рекомендации по строительству Генерального штаба. Бери книгу эту и перестраивай Генштаб. Только вот не пойму, чего больше в этой ситуации – юмора или трагизма? Однако мне, к сожалению, пора на КП... Вам же советую сходить в «бабочку» и поинтересоваться насчет погоды: в районе Пули-Хумри только что должны были провести разведку. Если «вертушки» сегодня не пойдут, дам вам машину. Доберетесь на ней до Мазари-Шариф, а оттуда самолетом – до Кабула. Идет?

XX

Ночь утопила аэродром в густой, тяжелой мгле. Луна, прикрыв бледное лицо траурной вуалью облаков, надменно и холодно взирала на то, что происходило здесь, в Мазари-Шариф, на маленьком военном аэродроме.

Невидимые транспортники, потушив огни, садились и взлетали каждые тридцать минут. Неожиданно метрах в трехстах над головой вспыхнула фара и начала с оглушительным ревом спускаться вниз, точно мотоцикл с горы.

Фара оказалась вертолетом Ми-8, прилетевшим в Мазари-Шариф, чтобы забрать двух раненых. Они лежали на носилках под открытым небом близ выдавшего вида Ан-12 и молча глядели вверх. Лица их были бледнее Луны. Подполковник, собиравшийся лететь вместе со мной в Кабул, укрыл одного из них своим бушлатом.

– Достану себе еще один в Кабуле, – сказал он, обращаясь к ночи. – Безобразия: все штабные ходят в свитерах, а солдатам на заставах не хватает.

В его глазах цвета хаки отражался свет лобового прожектора Ми-8.

Раненых погрузили в вертолет, бросив туда несколько мешков с почтой.

– Несчастные хлопцы, – сказал подполковник с новым приступом горечи. – Завтра днем прилетят в Ташкент и поймут, что никомушеньки они не нужны. Ни невестам.

Ни стране... Мы тут воюем, а нас помоями обливают.

Мерзко.

Он достал из рюкзака брезентовую штормовку с капюшоном, бросил ее себе на плечи.

– Я, что ли, развязал эту войну? – спросил он вдруг меня. – Мне, что ли, она была нужна?

Правительство сказал «надо», и мы пошли. Теперь же нам это ставят в вину. Я политработник: как все это объяснять солдатам? Эти раненые, между прочим, еще осенью прошлого года могли оказаться в Союзе – срок службы истек уже тогда. Но командование попросило всех, кому предстояло увольняться, остаться дополнительно еще на шесть месяцев, потому что иначе армия здесь оказалась бы сплошь состоящей из молодняка, не нюхавшего пороха. И они остались. Вот теперь вернуться домой, а их в награду за службу травить начнут: убийцы! Живодеры!.. Здесь сложилось боевое товарищество – может быть, единственное, что человек приобрел в Афганистане на этой войне. За десять лет окрепли традиции сороковой-роковой... А что с ней делают?! Расформируют! Не будет больше сороковой армии...

Вокруг нас образовался круг людей. Они стояли и, молча глядя в землю, курили. Один из них предложил мне сигарету. Я протянул за ней руку и пальцами почувствовал холод космоса.

Подполковник продолжал свой монолог, распаяя сам себя:

– Нам говорят, что все в СССР делается для человека, во благо ему. Но я здесь понял, сколько стоит жизнь советского человека. Знаете, сколько?

Он показал мне ноготь своего мизинца.

– Вот сколько она стоит! Ради чего мы положили здесь пятнадцать тысяч хлопцев?! Между прочим, если бы военным дали вести войну так, как они считали нужным, мы давным-давно ликвидировали бы всю вашу так называемую вооруженную оппозицию.

– Для этого, – заметил я, – пришлось бы уничтожить весь Афганистан.

– Глупости! – выкрикнул он. – Надо было послушать военных и встать гарнизонами вдоль границы с Пакистаном и Ираном. Перекрыв все тропы и караванные пути, мы бы задушили душманов без боевых действий. Конечно, потребовалось бы расширить ограниченный контингент. Но кто-то из политиков заявил, что это будет смахивать на оккупацию.

Бредни! Интеллигентские штучки!

Подполковник ковырнул носком ботинка камень на земле, отбросил его в сторону.

– Ладно, – махнул он рукой, – что теперь об этом говорить. Историю не изменишь...

Пошли в самолет, экипаж уже в кабине.

Через десять минут вы взлетели. Долго набирали высоту над аэродромом. Развернулись и пошли на юг.

Приблизительно с десяти вечера и до четырех часов утра в Кабуле действовал комендантский час. Каждые 5 – 6 километров на дорогах попадались афганские военные патрули.

Они проверяли документы, но иной раз останавливали машины лишь для того, чтобы стрельнуть сигаретку. Солдат, уставившись в лицо водителя двумя дулами глаз и неморгающим черным оком автомата, медленно подходил и спрашивал леденящим душу голосом: «Сигар нис?» (Сигарет нет?) Но воспринималось это почти как: «Приятель, жить хочешь?» Водитель протягивал сквозь ветровое окошко пачку сигарет, вздрагивавшую в руке в такт ударам сердца.

«Бум-бум... Бум-бум...»

Слышал он и полагал, что это – в груди, хотя на самом деле то ухали гаубицы, бившие где-то километрах в пяти от Кабула.

Горы вокруг города днем напоминали черно-белый фотоснимок океанского шторма. Но по ночам они шевелились и казались гигантской живой волной, готовой накрыть Кабул сверху.

Из окна своего гостиничного номера я видел высоченную скалу, походившую на узловатый, корявый, указующий в небо гигантский перст. Тот чертов палец назидательно грозил всем смотревшим на него и цеплял ногтем за брюхо низкие серые облака, и потому его вершина была вечно в лохмотьях грязной ваты.

С каждым часом в Кабуле оставалось все меньше войск.

Через неделю командование должно было снять режимную зону вокруг столичного аэропорта, отправить домой солдат с застав и блоков, оборонительным кольцом опоясывавших город. Готовился покинуть Кабул и смешанный авиаполк.

Предполагалось оставить лишь экипажи трех военно-транспортных самолетов, в задачу которых входило перевезти 3 февраля командование 40-й армии из столицы в Найбабад, и человек десять для обеспечения взлета. Согласно плану руководитель Оперативной группы МО СССР в Афганистане генерал армии Варенников должен был оставаться в Кабуле вплоть до вечера 14 февраля. Ему предстояло покинуть Кабул самым последним из когда-то многотысячного гарнизона.

Что касается военных советников, то их незначительная после сокращения группа по-прежнему находилась в Афганистане. (За девять лет войны военно-советнический аппарат потерял 178 человек убитыми.) Партийные и комсомольские советники отбыли еще осенью 88-го года.

Сильно поредел и советский пресс-корпус.

Между теми, кто планировал уехать до 15 февраля 1989 года, и теми, кому надлежало оставаться здесь и после вывода войск, установились отношения, какие бывают в больнице между безнадежно больными и выздоравливающими. Нет, не зависть первых ко вторым, а просто некоторое отчуждение.

Жены оставили журналистов, работавших в Кабуле, еще в 1988 году. Пресс-корпус вел теперь неуютную холостяцкую жизнь. Один из нас, особенно изнывавший от одиночества, завел на своей вилле три или четыре кошки. Это вызвало шквальный огонь шуток со стороны репортера-ветерана, слывшего наиболее несентиментальным сухарем-матерщинником во всей советской колонии. Каким же было мое изумление, когда однажды утром, заночевав у него дома, я услышал его сиплый шепот: "Духик! Духик! Иди ко мне, моя деточка! Я тебе жрать приготовил... Ду-ухик, скотина, иди попей молочка, которое тебе приготовил папочка..."

Ду-ухик!" Через минуту из-за угла появился жирный черный кот и смачно-лениво облизнулся, увидев знаменитого тележурналиста на коленях, с блюдцем подогретого молока в руках.

На глазах таял и кабульский дипкорпус. От некоторых посольств остались лишь опустевшие здания. Иные же сократили свой состав до посла и советника. Последний зачастую одновременно исполнял роли дипломата, водителя, курьера, дворника, охранника, повара и собутыльника.

В дипломатическом представительстве Польши я вообще не обнаружил никого, кроме посла.

– Думаете ли вы покинуть Афганистан? – спросил я его.

– Кто его знает, где сейчас человек может себя чувствовать в большей безопасности – здесь или в Польше? – ответил он и мрачно улыбнулся.

– Вы давно в Афганистане?

– Порядочно, – сказал он и посмотрел в окно, заставленное мешками с песком.

– Как вы думаете, – спросил я, поняв, что беседа будет предельно короткой, – почему путь афганской революции оказался столь трагичным?

– Молодой человек, – по-стариковски прищурил он глаза, – умирают не только революции, но и куда более значительные вещи. Например, любовь...

На кабульских улицах все чаще мелькали советские военные бушлаты – люди покупали последние сувениры для родных в Союзе. В тех лавках, близ которых урчали наши бронетранспортеры, цены были как бы под прицелом и потому ниже, чем в «неконтролируемых» районах. Помню майора, который, хорошо отоварившись, запихивал покупки в «уазик». При этом он напевал:

Благодарю тебя, Кабул.

Ты одел нас и обул!

– Мир и здоровья покупателю! – приветствовал меня и переводчика-афганца на ломаном русском пожилой дукащик, когда я однажды появился на пороге его лавки.

Я намеревался купить зажигалку, однако хозяин магазинчика загнул чрезмерную цену.

– Слишком дорого, – сказал я.

– Твой дело! – ответил дукащик и потряс дымчатой бородой.

– Если я у тебя не куплю эту штуковину, – убеждал я его, – кому ты ее продашь?! Ведь через пару недель здесь уже не будет советских.

– Ахмад Шах будет! – хитро улыбнулся он. – У Ахмад Шах много доллара от Пакистана, от Америка... Он – покупать!

– Ахмад Шах не скоро здесь появится, уж поверь. А мы уходим.

– Уходим, уходим! – повторил он, внимательно посмотрев на меня умными полужакрытыми глазами. Помахал рукой и что-то сказал на своем языке.

Когда мы покинули лавку, я попросил сопровождавшего меня афганца перевести последние слова дуканщика. «Он сказал, – услышал я в ответ, – что русские солдаты уходят на север к себе домой. А потом они уйдут еще дальше на север, оставив свои мусульманские республики».

Эти слова мурашками пробежали по спине. Я оглянулся: дуканщик все еще приветливо улыбался и опять помахал мне рукой.

Неподалеку от той лавки я увидел многометровую очередь за хлебом. Она была не единственной в городе. Еще более длинные очереди автомобилей и грузовиков многовитковой спиралью закручивались вокруг бензоколонок. Кабул, подвешенный к границе с СССР, откуда шли все поставки муки и бензина, тонкой веревочкой единственной дороги через Саланг – а все движение афганских транспортных колонн по ней было заблокировано отрядами Ахмад Шаха, – изнывал от топливного и хлебного голода. Генерал армии Варенников организовал переброску сюда из Ташкента по воздуху муки и всех необходимых товаров. Но этого, конечно, было мало. Город задыхался. Многие верили, что предстоящие боевые действия против Ахмад Шаха на Южном Саланге – а слух об этом уже разлетелся по улицам – собьют напряжение в городе, дадут ему отдышаться. И хотя Ахмад Шах пользовался популярностью народного героя, люди были раздражены тем, что его тактика оборачивается бедствием не столько для регулярных правительственных войск, сколько для простых горожан. Большинству было безразлично, какая власть в Кабуле: их политические симпатии и антипатии определял желудок. Помню, на раздаче бесплатной муки, организованной советским командованием близ завода Джангишлак, познакомился с одним белобрысым солдатиком. От муки волосы его и брови стали седыми. Стряхнув ее с ресниц рукавом бушлата, он сказал: «Вот тебе и интернациональный долг – одной рукой стреляешь в них, другой – кладешь им пищу в рот».

XXI

В январе самым модным словом среди наших в Кабуле стало «оптимизировать». Его привез с собой из Москвы Ю.М.Воронцов¹³⁴. Оно означало – сокращать состав советских представительств, доводить их до оптимального уровня. На вопрос «Как дела?» ты всякий раз получал ответ: «Еще не оптимизировали. А тебя?» Именно этими словами мой сосед по гостиничному номеру начинал каждый свой день, каждое свое письмо жене. Посольство все больше напоминало крепость: двойная защитная стена с колючей проволокой, многотонные стальные ворота, бомбоубежище и даже бронетранспортер под брезентовым чехлом.

Контакты дипломатов с внешним миром были резко ограничены. Один из младших сотрудников ОДС¹³⁵ в связи с этим пожаловался мне, что девяносто процентов информации о том, что происходит в стране, он получает по радио – от Би-би-си и разных «голосов». Я и раньше подозревал, что любой наш боевой командир знает обстановку в Афганистане несравнимо лучше, чем дипломат, но теперь окончательно убедился в этой истине.

¹³⁴ Ю.М.Воронцов – первый заместитель министра иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Республике Афганистан (1988 – 1989 гг.).

¹³⁵ Оперативный дипломатический состав.

В одном из кабинетов нашего посольства, внешне напоминавшего горком партии где-нибудь в Сочи, я увидел знаменитый фотопортрет Че Гевары. Точно такой же – это было известно из английского документального фильма – возил с собой повсюду Ахмад Шах Масуд. Разглядывая фотографию Че, устремившего ввысь мечтательный взгляд, я подумал: «Интересно, а где бы сам Эрнесто, будь он жив, предпочел увидеть свой портрет – в боевом штабе Масуда где-нибудь в горах Панджшера или же в рабочем кабинете советского дипломатического советника в Кабуле?»

Афиша, уже недели три подряд бессмысленно шелестевшая на стенде близ посольского кинотеатра, всякий раз сообщала глянувшему на нее, что "Сегодня в 19.30 – новый французский фильм «Невезучие». Фильм этот так ни разу и не показали, но его название отнюдь не улучшало настроения ни сотрудников посольства, ни торгпредства.

По желтоватому дну пустого бассейна ветер гонял хрусткие эвкалиптовые листья. Теннисный корт совсем бы позабыл, для чего он предназначен, если бы шеф представительства КГБ по пятницам (единственный выходной) не напоминал ему об этом. Фантастическим казался мне этот еженедельный сорокаминутный сет с великолепными кручеными слева и потрясающими смэшами справа. Особенно когда над седой головой генерала пролетали пятнистые вертолеты огневой поддержки десанта. Но мне казалось, что свою главную партию он все-таки играет не с тем молодым человеком в хорошо отутюженном спортивном костюме, с такой прытью подыгрывавшим ему на противоположном конце корта, а со своим коллегой из американского посольства здесь же, в Кабуле.

Наше консульство ежедневно – с утра и до позднего вечера – штурмовали так называемые «совгражданки», то есть советские женщины, когда-то вышедшие замуж за афганцев и переехавшие жить в Афганистан, но теперь, когда обстановка накалилась до предела, а русофобия после девяти лет войны стала опасной для жизни, решившие вернуться в Союз вместе со своими мужьями и семьями.

По разным причинам они оказались здесь.

Алла М, была родом из Макеевки, что под Донецком. Замуж вышла восемнадцати лет. Как-то весной, еще года за три до свадьбы, возвращалась она вечером окраинной улицей домой. Двое парней налетели, сшибли с ног и, связав леской руки за спиной, изнасиловали.

– Вякнешь, на том свете достанем... – пообещал один из них.

Уже ночью, в рваном нижнем белье добралась она до дому. Билась в истерике, металась от стенки к стенке. Давилась еще детским хрипло-отчаянным плачем. К утру успокоилась, рассказала матери.

Парней приговорили к десяти годам. Через несколько месяцев после суда их кореш приехал к ней домой и сказал, чтобы сняла обвинение, иначе через десять лет ей... – И он провел пальцем по горлу. Она поняла, что в Союзе ей не жить. Как только стала совершеннолетней, выскочила за афганца.

Нина А, вышла замуж по любви, уехала в Афганистан. Через несколько лет узнала о смерти отца. Собралась на похороны, но для ребенка билета на самолет не достала. Уехала одна. Чтобы вернуться, нужно было приглашение от мужа.

Оно затерялось. Словом, в течение пяти лет она не могла попасть в Афганистан. Тем временем муж ее умер. Ребенок остался сиротой, и родня продала его какому-то джелалабадскому дуканщику в качестве холопа. Паренек рос, как Маугли. Когда ему стукнуло двенадцать, матери удалось вернуться. Начались поиски сына. Наконец он нашелся, но дуканщик потребовал за него выкуп. Денег у матери не было.

Вмешалось консульство – заплатило... Когда мать и сына привезли в кабульский аэропорт, чтобы отправить домой, в Союз, парень, увидев махину Ил-62М, испугался, бросился со всех ног обратно. Чуть было не затерялся опять... Но все обошлось.

Светлана Д. приехала в Кабул по приглашению мужа вскоре после свадьбы. Однако очень удивилась, когда он предложил ей жить в гостинице. Первое время она не возражала,

полагая, что любимый ищет подходящий дом для них двоих. Потом занервничала. Оказалось, что у любимого уже есть жена-афганка. И даже не одна, а небольшой гаремчик.

Вскоре и ей пришлось в нем поселиться. С годами Светлана привыкла и к гарему, и к чадре.

Наталья Н, приехала в Афганистан вскоре после ввода советских войск. Поселилась где-то на самой окраине страны в глухом кишлачке, который и на карте-то толком не обозначен. В ту пору вышел указ, запретивший людям вешать в своих домах портреты аятоллы Хомейни. Однажды ночью к ним в хибарку – по чьей-то наводке – ворвались представители властей, сорвали со стены портрет бородача, а мужа сбросили в тюрьму как злостного нарушителя указа.

Ее и слушать не захотели. Лишь когда его выпустили, молодоженам удалось доказать властям, что то был портрет не Хомейни, а Карла Маркса.

Словом, десятки таких вот женщин и их мужей сутками атаковали наше консульство в Кабуле, добиваясь въездных виз. А вместе с ними – обыкновенные афганцы и афганки, не связанные с СССР родственными узами, но по разным причинам боявшиеся оставаться здесь после ухода советских войск.

XXII

Командование и штаб 40-й армии, в течение войны находившиеся в бывшем дворце короля Захир Шаха, а потом Дауда, 10 января переместились в расположение нашей дивизии – тоже в Кабуле. Сюда же переехала и Оперативная группа Минобороны во главе с В.И.Варенниковым.

Кабинет командарма Громова теперь находился в одноэтажном модуле. Его рабочий день начинался в 5.30 утра и длился до 20.30. Лишь иногда днем командующий совершал короткую прогулку и опять возвращался на рабочее место.

Громов не отличается высоким ростом. Напротив, приземист, крепок.

Короткая мальчишеская челка, чуть прикрывавшая сверху сильный, выпуклый лоб, молодила его усталое лицо. Взгляд светлых глаз был твердым, даже упрямым. Что-то неразгаданно-наполеоновское таилось в нем. Впрочем, я знал людей, которые находили, что он похож на Высоцкого. Иные же утверждали, что манерами и внешностью он напоминает маршала Жукова.

Однако все соглашались. Громову не хватало полшага, чтобы превратиться в живую легенду. Армия любила его.

Все знали о том, что несколько лет назад он потерял жену.

Она погибла в авиакатастрофе, оставив Громову двух сыновей.

Еще находясь в Кабуле, он был назначен командующим войсками Киевского военного округа.

– Каковы заслуги Громова как командующего 40-й армией? – спросил я его однажды.

– Заслуги есть, – ответил он, – но не одного Громова, а всех офицеров. Я прибыл сюда летом 87-го. За полгода нам удалось уменьшить людские потери армии приблизительно в полтора раза, а потери техники – в два. Причем это связано не только с тем, что боевые действия пошли на убыль, но и с улучшением подготовки солдат.

– А потери отрядов вооруженной оппозиции?

– Я не располагаю точной статистикой. С 80-го года они каждый год теряли все больше и больше людей. Однако на протяжении последних четырех лет их потери были стабильными, не возрастали. Они ведь тоже научились воевать.

Через окно было видно медленно падавшее за горизонт солнце. Закату аккомпанировала дальняя артиллерия.

Громов задернул пестрые занавески, включил электрический свет. Достал золотистый блок сигарет. Распечатал его, закурил.

– Это «Астор». Хотите?

– Спасибо, товарищ командующий. Не откажусь.

До встречи с ним мне казалось, что если он и курит, то непременно что-нибудь очень крепкое и без фильтра. Сигареты «Астор», напротив, относились к разряду «женских» – слабые, с золотым колечком на тонком длинном фильтре.

– Какие дни были для вас самыми тяжелыми в Афганистане? – спросил я.

– Начало вывода войск, – ответил он, не раздумывая. – Отправили первые две колонны из Кабула. Думали, оппозиция начнет бить им по хвостам. Но все обошлось. Однако тяжелее всего оказалось выводить армейские части из Кандагара. Район очень трудный. Вдоль дороги сплошняком тянется «зеленка». Афганских войск маловато, да и уровень их подготовки оставлял тогда желать лучшего.

– Но сейчас-то легче?

– Пока рано говорить. Проблема номер один – Саланг.

За последние двое суток лишь на одном семидесятикилометровом участке сошло тридцать девять лавин. В районе Южного Саланга Ахмад Шах сосредоточил сильную группировку – более четырех тысяч вооруженных людей. Такого скопления еще никогда там не было. С ее помощью он планирует перекрыть дорогу на Кабул после нашего ухода. А это будет равнозначно блокаде столицы. Хоть Масуд и обещает не трогать наши колонны, мы не можем верить ему на слово. Допускаю, что он скоро развяжет боевые действия...

Понимаете, сложность состоит в том, что мы ограничены во времени. Мы обязаны покинуть страну к 8.30 утра 15 февраля. Если задержимся на несколько часов – мировой скандал. А на дороге лавины, лед. Техника идет медленно, все время остановки, пробки, аварии... Тут еще Ахмад Шах со своими четырьмя тысячами. Так что голове есть о чем болеть.

– Какое подразделение последним покинет Афганистан?

– Разведбат бывшей Кундузской дивизии. Но я пересеку мост через Амударью самым последним. Пешком.

– Вы уже знаете, что скажете в минуту окончания войны?

– Да: за моей спиной нет ни одного советского солдата.

– И все?

– Не совсем. То, что я скажу затем, не сможет выдержать ни один репортерский магнитофон – взорвется!

– Что вас ждет дальше?

– Киев. Киевский военный округ. Там я никогда не был.

Кабул знаю значительно лучше, чем украинскую столицу... Я ведь уже третий раз в Афганистане. Когда уезжаешь – среди наших бытует такая примета, – никогда нельзя говорить, что ты тут в последний раз. Вместо «последний» следует употреблять «крайний». Но я ею пренебрег. Улетая домой после первого захода, сказал: «Прощайте, братцы, обнимемся напоследок!» Но не прошло и нескольких лет, как я вернулся. Уезжая во второй раз, сказал себе: «Все, Громов, это твой последний приезд сюда – железобетонно!» Но судьба распорядилась иначе. И вот я здесь сижу с вами разговариваю, а про себя думаю: «Это мой крайний раз!»

– Бойтесь, что опять пошлют?

Громов выпустил дым сквозь сжатые зубы, вдохнул его носом. Откинувшись на спинку кресла, сказал:

– Нет. Это – точка. Все!

Но я не понял, к чему относилось «Все!» – к войне или к нашей беседе. И задал последний вопрос:

– Вам часто приходится контактировать с генералом армии Варенниковым?

– Конечно. Если бы не он, наши здесь наломали бы в пять раз больше дров.

Варенников родился в 1923 году в Краснодаре. Закончив в 42-м курсы командиров взводов при Черкасском пехотном училище, он попал на фронт в октябре того же года. Командовал взводом. С августа 43-го стал начальником артиллерии полка, а с апреля 45-го – заместителем командира полка по артиллерии. Находясь на Сталинградском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, он участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Правобережной Украины, Польши, в боях за Варшаву и взятии Берлина. Сопровождал Знамя Победы из Германии в Москву. Был трижды ранен. После войны командовал полком в одном из наших северных округов.

Шли годы – Варенников менял части, города и округа.

После учебы в академии Генштаба в июле 1967 года принял корпус, а через два года – армию. Летом 1971 года сорокавосемилетний генерал оказался в ГДР в качестве первого заместителя главкома Группы советских войск в Германии, с июля 1973 года – командующий войсками Прикарпатского военного округа. С августа 1979-го – в Генеральном штабе.

Был начальником Главного управления, первым заместителем начальника Генштаба.

Весной 1985-го он прибыл в Афганистан и возглавил здесь Оперативную группу Минобороны СССР, оставаясь в должности первого заместителя начальника Генштаба. С тех пор именно Варенникову подчинялись сменявшие друг друга командующие 40-й армией – когда-то Родионов, потом Дубынин, а на завершающем этапе войны – Громов. Упомянуть фамилию Варенникова журналистам было запрещено вплоть до последнего дня войны.

...Одна из проблем, которую мы так и не смогли решить во время войны в Афганистане, заключалась, на мой взгляд, в том, что там не было единого центра управления представительствами наших суперминистерств – КГБ, МИД, МВД и Минобороны. Шефы этих представительств зачастую действовали сепаратно, слали в Москву разношерстную информацию, получали оттуда директивы, которые иной раз противоречили друг другу. По идее, именно наш посол должен был объединить под своим руководством все четыре представительства. Однако этого не произошло по той, видимо, причине, что послы СССР в Кабуле менялись слишком часто, не успевая толком войти в курс дела. После Табеева приехал Можаяев, за ним – Егорычев, дальше – Воронцов. И все это – за два года. Из них лишь Юлий Воронцов был профессиональным дипломатом, имевшим значительный опыт работы на Востоке. Остальные же сделали карьеру в партийном аппарате и не имели востоковедческого образования.

Именно поэтому многие полагали, что было бы правильным сконцентрировать всю власть в руках генерала армии Варенникова, который с 1985 года практически безвыездно находился в Кабуле.

– Понимаете, – сказал Варенников во время одной из наших бесед, – за период моего пребывания в Афганистане произошла многократная смена руководителей представительств различных наших ведомств в Кабуле. Но каждый вновь назначенный начинал свою деятельность приблизительно с одного и того же предложения: «Давайте вместе с афганцами хорошо подготовим и проведем масштабные боевые действия против банд, и люди наконец спокойно заживут!» Но все дело в том, что подавляющее большинство – это не банды, а местное мужское население, которое с оружием в руках отстаивает свои родоплеменные интересы.

Сейчас можно назвать много районов, жители которых хотя и не поддерживают центральное правительство, но при этом не пускают на свою территорию и отряды оппозиции.

Они привыкли жить самостоятельно и никому не подчиняться. Естественно, они выступают против тех, кто идет на них с оружием и насаждает силой свою власть. Мы же, поддерживая руководство Афганистана, в первые годы войны полагали, что для распространения народной власти надо «сажать» в тот или иной уезд орядро этой власти.

Но добровольно жители такую власть к себе в кишлак не пускали. Поэтому использовались войска, оружие: там, где было сопротивление, применялась сила. Для охраны оргядра «народной» власти размещали в уезде воинскую часть, и отдельные товарищи спешили отрапортовать, что «еще один район освобожден от душманов». Абсурд? Конечно!

Разговор шел поздно вечером. Ночь проникла сквозь стекло в кабинет Варенникова, но он не включал света – давал отдохнуть глазам. Я видел лишь смутные очертания его лица, белые пятна висков да полоску тонких усов.

Время от времени трещал телефон, Варенников снимал трубку и внимательно выслушивал очередной доклад. Но иногда сам звонил, проверял, как идет доставка муки в город по воздушному мосту.

– Валентин Иванович, – начал я свой вопрос, – не кажется ли вам, что наши работники, в чьи обязанности входило информировать Москву о положении дел в Афганистане, зачастую слали в Москву лишь ту информацию, которая могла в столице понравиться, чтобы не рассердить начальство и не вызвать на себя его гнев. Я имею в виду не только 1979 год, но и последующий период.

Усмехнувшись, он ответил:

– Не берусь оценивать уровень подготовки соответствующих работников того времени – это должны сделать компетентные лица, но что касается подачи приятной для Москвы информации, то это, несомненно, было, и не только, допустим, у дипломатов. К сожалению, такова общая болезнь времен застоя – докладывать в центр только то, что могло понравиться, но не то, что происходило на самом деле. «Приписками» тогда болела у нас не одна лишь экономика.

Прежняя практика наносила гигантский вред стране: руководство порой получало информацию, которая расходилась с реальным положением дел. В результате в Москве могли приниматься не лучшие решения. Много проблем возникало также из-за нашего догматизма, инертности, неповоротливости. По этой причине не были, например, приняты предложения о создании в рамках единого Афганистана некоторых автономий – опасались, что развалится Афганистан. Хотя автономии значительно бы ослабили напряженность в отношениях между центральной властью и рядом провинциальных лидеров.

Очевидно также, что, если бы мы пораньше согласились на открытый диалог с лидерами вооруженной оппозиции – как внутри Афганистана, так и за его пределами, – он мог бы дать более ощутимые результаты...

Опять по-кошачьи зарычал телефон. Варенников снял трубку. Кивнув своему невидимому собеседнику на другом конце провода, он сказал:

– Спасибо. Благодарю за информацию. – Положил трубку и опять повернулся ко мне:

– Сообщают, что очередной Ил-76 сел в аэропорту – муку привез... В тупиковую ситуацию загоняет нас Ахмад Шах, не оставляет нам выбора.

Боюсь, скоро придется скрестить с ним шпаги на Южном Саланге. Его отряды подошли к самой дороге. В принципе мы готовы передать Масуду все сторожевые заставы вдоль трассы. При том, конечно, условии, что он возьмет на себя обязательство не пропускать через нее никого, кроме транспортных и боевых колонн Наджибуллы, защищать дорогу от посягательств всех других оппозиционных группировок.

Для этого мы хотим, чтобы он подписал договор с представителями правительственных войск. Но он отказывается.

Значит, если мы уйдем, он сядет на дорогу (а она – жизненная артерия страны), блокирует на ней все движение правительственного транспорта, и тогда Кабул окажется в еще более критическом положении, нежели сейчас. Допустить это мы не можем. Придется воевать. Всеми путями мы стремились избежать этого: кому охота воевать в последние недели войны?! У советского командования в Кабуле такого желания нет. Но мы связаны союзническими обязательствами, а Ахмад Шах, повторяю, не оставляет нам выбора.

Варенников говорил сущую правду: 40-я армия менее всех хотела воевать под занавес войны. Во-первых, была опасность увязнуть в боевых действиях и не успеть выйти из Афганистана к утру 15 февраля. Во-вторых, перспектива новых неизбежных жертв, как среди афганцев, так и среди советских солдат, оказывала мучительно-депрессивное воздействие на души и умы наших офицеров. Что же касается рядовых бойцов, находившихся в двадцатых числах января 89-го в районе южного Саланга, никто из них не жаждал стать ПОСЛЕДНИМ СОВЕТСКИМ СОЛДАТОМ, УБИТЫМ В АФГАНИСТАНЕ. Люди помрачнели, притихли. Еще недавняя радость, которую внушал скорый конец девятилетней войны, сменилась тяжким чувством безысходности и тоски. На иных заставах в канун последней битвы пели «Как служил солдат службу ратную, службу ратную – службу горькую...» На других – «Печален путь мой, горька судьба». А на одной мальчишеский тенорок неумело выводил, навевая ледяную печаль:

Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня, о, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и крови.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой
Оба мы – песчинки в мирозданьи.
Больше мы не встретимся с тобой...

Но Кабул давил на Москву, и командованию армии оставалось лишь подчиниться приказу.

XXIII

На третью неделю января зима начала потихоньку сдавать. С каждым часом солнце наливалось силой, днем слышался стеклянный звон горных ручьев, а снег покрывался корочкой.

По ночам же мороз вновь брал свое: все окрест цепенело, воздух становился колким, обжигал легкие.

Волчьи клыки Саланга по-прежнему скалились на небо.

Но теперь это был предсмертный оскал раненого зверя. Даже спустя неделю после боевых действий горы не могли остыть от них. В воздухе стоял крепкий дух только что пролитой крови.

Там, где огонь был наиболее сильным, по обеим сторонам дороги лежали обугленные развалины кишлачных хижин. Почти все население Южного Саланга покинуло родные деревни. Люди ушли в горы или в сторону Чарикара.

Лишь от нескольких глинобитных домиков тянулись в небо неуверенные, хилые струйки печного горького дыма.

Боевые действия начались в 7.30 утра вдоль дороги на ее двадцатидвухкилометровом отрезке от Джабаль-Уссараджа до южных подступов к перевалу Саланг. Огонь открыли из всех средств, имевшихся у дивизии на трассе. Захлебывались в кашле 82-миллиметровые автоматические минометы.

Ухала артиллерия, стремясь вызвать завалы троп и воспрепятствовать выходу к дороге дополнительных повстанческих отрядов. Работала авиация, нанося бомбоштурмовые удары на северо-западе от Чарикара, по ущельям Панджшер, Гарбанд, Шутуль, Марги, Арзу и Катломи. В операции были задействованы Су-24, Су-17, Су-25 и МиГи. Тряслась, дыбом вставала земля. Крошились скалы.

Партизаны открыли спорадический ответный огонь из кишлаков, поливая чахлыми пулеметными очередями наши заставы, сторожевые посты и боевую технику на трассе. К десяти утра в Кабул пришли сообщения о первых раненых.

Вскоре после начала боевых действий мирные¹³⁶ стали выбрасывать из окон белые флаги. Но из пробоин в соседних стенах по-прежнему били снайперы. И в таких случаях оператор-наводчик БМП не успевал разобрать, кто есть кто, сносил все подряд. Тогда женщины, старики и дети, подняв руки, начали спускаться вниз к дороге. Они несли раненых и трупы, складывая их длинными штабелями вдоль обочины.

Смуглые лица убитых еще больше почернели на солнце. Наши солдаты впервые порадовались холодам.

Близ Чаугани мы развернули палаточный городок для афганских раненых и тех, кто лишился крова, с обогревом и раздачей пищи. Но раненые женщины не подпускали наших солдат к себе, предпочитая смерть, отвергая медицинскую помощь «неверных»

Чистые горные ручьи в тот день окрасились в алый цвет.

Снег припух, стал ноздреватым и серым от тысяч разрывов и густой пороховой гари.

На востоке в тот день медленно восходил зодиакальный знак Водолея.

Наиболее ожесточенные боевые действия развернулись в восьмистах метрах от 42-й заставы близ кишлака Калатак.

Именно там, по данным разведки, засел отряд Карима – всего человек сто двадцать. У повстанцев были автоматы, горная пушка, безоткатное орудие и ДШК. Из завала работал снайпер. В ответ наши дали залп артиллерии, положив вокруг его укрытия десять снарядов. Он умолк.

Начальник штаба второго парашютно-десантного батальона майор Юрасов с отрядом солдат окружили кишлак. В нем находилось много мирных. Юрасов знал об этом и потому предложил Кариму сдаться. Но тот начал уходить в горы со своими боевиками, прикрываясь жителями кишлака.

Юрасов попытался отсечь мирных от партизан, вызвал резервную группу с КП батальона. В ту самую минуту из кишлака брызнула косая пулеметная струя, задела Юрасова, пробив ему бедро и пах, перерезав бедренную артерию. Хватаясь руками за воздух, он несколько раз беспомощно взмахнул ими и медленно повалился в снег. Рядовому Шаповалову, бросившемуся Юрасову на подмогу, срезало пулеметной очередью ушанку. Но он продолжал ползти, вдавливаясь телом в снег. Побледнел только. Каримовского пулеметчика забросали гранатами.

Когда подошли, Юрасов лежал, широко раскинув руки, истекая кровью.

Через пятнадцать минут он скончался.

С каримовцами и теми, кто их окружал, больше не нянчились – расстреляли в упор. Тело Юрасова привезли на КП батальона. Врач омыл его, одел в чистую форму, связал холодные, начавшие коченеть руки. Труп завернули в ОЗК и плед. Накрыв плащ-палаткой, положили на БМП. У Юрасова в Костроме остались жена и две дочери. Осенью он хотел поступать в Военную академию имени Фрунзе.

Теперь это сделает кто-то другой вместо него.

На следующий день после гибели Юрасова в батальон на его имя пришло письмо из Костромы. Писала жена:

"Здравствуй, дорогой наш папочка!

У нас все по-старому. С нетерпением ждем вашего окончательного вывода.

136 Так наши солдаты и офицеры называли гражданское население Афганистана, мирных жителей

У нас на улице тепло. Вместо крещенских морозов – оттепель В субботу ждем дедушку Ваню.

Буров пролежит в госпитале до конца января, а там видно будет.

Аня сидит рядом и рисует.

У Кати начались трудовые будни: эта ее математичка меня доконает.

В голову никакие мысли не идут.

Что-то опять телевизор стал мудрить. Чувствую, скоро начнется беготня в мастерскую.

Анька ужасно не любит умываться. Каждый день загоняю с боем Редко когда сама собирается.

Порошок и мыло теперь будем по талонам получать раз в квартал.

Вот и все.

Насобирала тебе всего понемногу.

До свидания. Целую. Лена. 18.01.89 г."

Но Юрасов это письмо прочитать не успел...

После того как закончилась стрельба 23 января, трупы, раненых начали отправлять на юг. Женский вой стоял над дорогой, заглушая рев техники.

– Да, мрачный это был денек, что-то рухнуло внутри меня, – рассказывал мне Валера Семахин, оператор-наводчик БМП № 504. – На всю жизнь запомню. Встал я тогда в 4.30 утра. Начал готовить машину к бою. Проверил состояние пушки, крутится ли она, поднимается ли. Днем раньше я всю ее разобрал, вычистил, чтобы не заклинило. В 5.30 моя машина была уже в полной боевой готовности. Командир батальона подполковник Ушаков приказал стрелять только в «духов», мирных не трогать. Но я «духов» не видел. Стрелял по тем домам, в которых предполагал, что они есть. Мне дали ориентир и сектор стрельбы. Я стрелял с 6.30 утра до 12.30 дня. Когда все кончилось, первая рота принялась эвакуировать убитых и раненых. Их отправляли на барбухайках".

– Мне дали сектор – несколько окон кишлака, – вспоминал приятель Семахина, находившийся в БМП несколькими сотнями метров ниже по дороге. – Мы старались стрелять выше людских голов, чтобы не задеть их. Одно дело, когда ты лупишь просто по стенам кишлака – это еще куда ни шло. А стрелять в людей... Ух, не готов я к такому, честное слово, не готов... Мирные спускаются и хотят целовать тебя за то, что ты их не прикончил. Станный народ.

Должны ненавидеть, а они благодарят. Жизнь здесь ерунду стоит – два мешка гороха и один риса. Я не мог смотреть им в глаза. Да и вы бы не смогли. Что-то я в себе самом убил тогда. Конечно, всех потом представили к наградам. Но от этого не легче.

Январские боевые продолжались с 23-го по 25-е. С раннего утра до первых сумерек. И так все три дня.

Наши солдаты и офицеры проклинали войну, приказ, себя и Афганистан.

24 января радио и телевидение Афганистана передали заявление Верховного командования вооруженных сил страны. В нем, в частности, говорилось:

«Ахмад Шах на протяжении последних полутора лет уклонялся от переговоров с правительством. Вооруженные формирования под его командованием продолжали препятствовать безопасному проезду транспортных средств по трассе Хайратон – Кабул на участке перевала Саланг. Вооруженные Силы Республики Афганистан вынуждены были провести военную операцию. В результате уничтожено 377 экстремистов, три склада с вооружением, четыре транспортных средства. Оппозиции предлагается не препятствовать прохождению по трассе транспортных средств. В противном случае вся ответственность за последствия ляжет на нее».

Автобусы.

Советское военное командование объяснило события на Южном Саланге следующим образом:

«...23-го числа текущего месяца афганские войска начали выставление постов и застав в районе Таджикистана. Но были обстреляны. Таким образом, банды Ахмад Шаха Масуда

спровоцировали боевые действия. Они продолжались на всем участке Южного Саланга не только против афганских подразделений и частей, но и против советских войск...» Советское командование также сообщило, что части и подразделения 40-й армии потеряли с 23 января по 31 января в районе Южного Саланга четыре человека убитыми, одиннадцать – ранеными.

По слухам, Ахмад Шах Масуд охарактеризовал январские боевые действия на Саланге как одну из наиболее жестоких операций за все годы войны.

Через несколько дней после нее наш кабульский политработник спросил меня, что мне известно о январской боевой операции: кто-то ему сообщил, что я там был. Не дожидаясь ответа, он дружески посоветовал: «Если что и знаешь, то ты это уже забыл. Верно?»

XXIV

Застава подполковника Ушакова осунулась, постарела.

Не слышал я солдатского смеха, звонких лейтенантских голосов. Люди делали свое дело молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами. Казалось, я попал в дом, где накануне кто-то умер, хотя во время последней операции никто на заставе не пострадал. А тогда, вечером 23-го, комбат повалился на свою койку и, спрятав в подушке лицо, плакал.

– Сейчас-то он малость отошел, – по секрету сообщил мне заместитель командира минометной батареи Слава Адлюков, – но неделю назад к нему опасно подойти было. Впрочем, у всех на душе погано с тех пор. Не у него одного... Вскоре после операции наш комбат поцапался с заместителем командира дивизии Ан...енко. Так что тут у нас целая стая неприятностей. Проходи, раздевайся...

Ушаков сидел в своей комнатухе. Сутулился у окна.

Упершись локтями в колени, сжимал широченными ладонями голову. Вид у него был побитый.

Комбат что-то насвистывал себе в усы.

За окном рябила метель. Знобкий ветер стучался в стекло.

– Яп-понский г-городовой! Закрывай, Славк, дверь – сквозняк... – чертыхнулся Ушаков, не поднимая головы.

Адлюков потянул меня за рукав, и мы пошли в его комнату – рядом, за дощатой стенкой.

Пудобней устроившись в стоявшем на полу камазовском кресле. Славка сказал:

– Раз как-то комбат уехал к особистам. Но на дорогу сошла лавина, и он задержался. В тот самый момент к ним пожаловал полковник Ан...енко. Стал нам рассказывать, кого и как бить во время предстоящей операции.

Славка ослабил ворот, покрутил в пальцах сигаретку. Закурил.

– Во время боевых действий, – Адлюков пустил в потолок струю горького дыма, – Ан...енко собственноручно перестрелял несколько десятков мирных. Хотя в его обязанности входило командовать, а не бить из автомата людей.

...Впоследствии я неоднократно слышал от многих очевидцев рассказ о действиях полковника Ан...енко 23 января.

О том, как, приехав к десанникам близ 42-й заставы, схватил АК и стал косить с бедра спускавшихся на дорогу людей.

О том, как к нему подбежал особист капитан Морозов и заорал не своим голосом: «Товарищ полковник! Зачем???» «А Юрасов?! – огрызнулся Ан...енко, оттолкнув капитана. – Они Юрасова пощадили? Теперь что ж – я буду их щадить?!»

Я повертел в руке полуую гранату. Бросил ее на койку.

– Как будто, – шепотом сказал Адлюков, – Юрасов ему был дороже и ближе, чем капитану Морозову. Как будто эта смерть значила для него больше, чем для всех нас. Тоже мне – ас-демагог... Здесь, на Саланге, Ан...енко так и прозвали: «наш Рэмбо». Эдакий Тарзан Иваныч... А номер на своем БТРе все-таки стер: чтоб «духи» не опознали. Комбата же

нашего он возненавидел за то, что Ушаков дал приказ в мирных не стрелять. Только – по «духам». И действительно, в зоне ответственности ушаковского батальона кишлаки целы, мирные не пострадали. Ан...енко не хотел, чтобы комбат вышел чистеньким из бойни. По всему Южному Салангу упорно ходили слухи о том, что Ан...енко приказал кому-то из своих подчиненных снимать то, как он расстреливал мирных, на видеокамеру. Для памяти. Но я тем слухам не верил. Не мог верить.

...В первых числах февраля Ушакова вызвали на ДКП¹³⁷.

Когда он приехал, Ан...енко был уже там.

– Почему вы, – громко спросил Ан...енко, обратившись к Ушакову, не как обычно – «товарищ подполковник», – а на «вы» (понимал, что после 23-го между ними ничего товарищеского быть не может), – почему вы не выполнили приказа? Почему в зоне ответственности вашего батальона мало разрушений? Вы мне доложили, что расстреляли по 3 – 5 боекомплектов, но по местности этого не видно. Я предполагаю, что вы стреляли в горы и в воздух, не били по установленным целям.

– У меня на заставе 23-го находился заместитель командира полка подполковник Ляшенко, – отвечал тогда Ушаков, стараясь сдержать дрожь в голосе, – и он может подтвердить, что мы д-действовали, как положено. Да, мародерства и лишних разрушений в зоне ответственности моего б-батальона не было. Мы стреляли столько, сколько было необходимо. А кишлаки с лица земли не сметали, потому что в этом мы н-не видели нужды. Мы били лишь туда, где сидели г-главары банд, и по складам. Ответного огня противник не открыл, потому что мы уничтожили главарей и накрыли все склады с боеприпасами. Так что сопротивления не было. А уничтожать лишь для т-того, чтобы уничтожать, ради удовольствия – вот этого я не допустил. Кроме того, старался, чтобы среди ми-мирных лишних жертв тоже не было. И вы пытаетесь обвинить моих солдат в том, что они стреляли в воздух? Что они не выполнили приказа?!

– Мне надоело разговаривать со слабоумными, – отрезал Ан...енко.

– А мне, – выпалил Ушаков, – надоело дуракам подчиняться.

Ан...енко вызвал командира полка подполковника Кузнецова и приказал ему составить акт в связи с тем, что батальон в ходе боевых действий не выполнил поставленную задачу.

Ушаков, вернувшись к себе на заставу, разыскал Ляшенко.

– Слушай, то-товарищ по-подполковник, – комбат от волнения заикался больше обычного, – вы поезжайте на ДКП и объясните им, как действовал 23-го мой б-батальон. А то получается, что мы саботировали приказ, и м-мне что, т-т-трибунал теперь?!

Отношения между заместителем командира дивизии и комбатом накалились до предела.

Можно было ожидать всего.

Друзья говорили Ушакову: "Не лезь на рожон, комбат.

Схлестнулись – и будет. У Ан...енко связи аж до Москвы.

Там у него все схвачено. Чего ты прешь под танк, рванув рубаху на груди?! Если во время вывода в зоне ответственности твоего батальона раздастся хоть один выстрел по нашим колоннам, он ведь тебя и впрямь под трибунал отправит". Ушаков отворачивался, прятал под бровями глаза, упрямо отвечал: «Стрелять „духи“ б-будут. Но не на моем участке, а там, где мы положили больше всего мирных, там, где стрелял Ан...енко. „Духи“ этого нам не простят. Помяните мое слово. Без жертв не обойдемся».

Холодом веяло от этих слов. Конец войны был не за горами. Но никто не знал, каким он будет, этот конец. Люди старались о нем не думать.

Как-то раз поздним вечером собрались офицеры в ком нате Ушакова. Пили крепкий грузинский чай, хрустели печеньем и сахаром, курили горький табак. Сизые медузы дыма медленно плавали в спертom воздухе. Потрескивали сырые поленья в печке. В углу шипела рация. Комбат лежал на койке, свернувшись калачиком.

137 Дивизионный командный пункт.

– У Ан..енко, – сказал он, приподнявшись на локте, – руки по плечи в крови. И просто так это ему не сойдет. Я-я н-не позволю. Его к ордену представили, толкают в Академию Генштаба. Если такие будут нами командовать, лучше уж армию распустить. Что за пример они подают молодежи?! Вот Славка Адлюков – парень хороший, дельный лейтенант. А армию решил оставить. Жалко ведь...

– Остынь, комбат, остынь, – прервал его подполковник Ляшенко.

– Не са-сабираюсь, – сказал Ушаков, сокрушая встречный подполковничий взгляд. – Когда во время последних боевых стало известно о расстрелах, я сообщил об этом начальнику оперативной группы Якубовскому, особистам, полковнику Востротину...

– Востротину вы доложили об Ан...енко? – не понял я.

– Н-нет, – ответил Ушаков, – Востротину я сообщил о действиях его десантников – они ведь тоже порезвились во время операции.

– Востротин принял меры? – спросил я.

– Это меня не касается. Я сказал ему об этом как коммунист коммунисту. Пусть он сам разбирается. Мы с ним по службе не связаны... К-кроме того, я счел нужным сообщить наверх не только о том, что тут учинил Ан...енко, но и о том, что он склонен к стяжательству в сверхкрупных размерах.

Даже п-по местным масштабам. Понятное дело, Ан...енко узнал об этом. Начал цепляться ко мне по разным мелочам.

Но мне не привыкать.

Ушаков скупой улыбнулся. Закурил.

За окном по-прежнему мело. Ветер, срывая снег с гор, бросал его в нашу заставу.

Пригоршни ледяной муки со звоном ударялись о камни.

– Перед тем как уйти с командира полка на должность замкомдива, – продолжал комбат, – Ан...енко организовал сбор средств с офицеров и прапорщиков части себе на подарок. Так сказать, любимому командиру от любящих подчиненных. Все это может подтвердить замполит второго батальона капитан Шавлай. Деньги были собраны и переданы в штаб полка. На них купили видеомагнитофон и подарили Ан...енко. Он этот «видик» перепродал, круто спекульнув.

Словом, Ш-Шавлай слишком много знал о д-деятельности Ан...енко. И это ему чуть было не стоило жизни.

– Жизни?? – переспросил я.

– Именно – ж-изни... За пятнадцать минут до начала операции 23 января полковник Ан...енко приказал капитану Шавлаю проехать по трассе на одном чахломе БТРе – а у нас в целях безопасности принято ездить как минимум на двух машинах – и проверить обстановку. Шавлай спросил:

«Как же я поеду на одном?!» – «Ты замполит, – ответил Ан...енко, – ты должен ехать и поговорить с людьми»... Когда Шавлай вернулся, чудом оставшись в живых, ан...енко, как говорят, был очень н-недоволен.

– Да, – заметил один из офицеров, – выжив, Шавлай здорово досадил полковнику.

– У него, – сказал другой, – была привычка: увидит на дороге солдата, остановит его, прикажет: «А ну покажи, что в карманах!» Если там обнаруживалось больше пятидесяти чеков, ан...енко забирал их себе, и получить деньги обратно было невозможно. В целях страховки он запасся неплохим оправданием: мол, у солдата не может быть больше пятидесяти чеков. А если есть, значит, наворовал... Не подкопаешься.

XXV

За дверью послышались шумные, уверенные шаги. Она с треском распахнулась.

На пороге стоял полковник ан...енко. Резким движением руки он смахнул иней с усов.

Из-за его плеча показалось смуглое лицо начальника штаба дивизии полковника Д.

Раздался громкий женский смех.

– Мальчики, – игриво сказала женщина, просунув голову в дверь, – вот и мы. Не ждали? Она тоже была одета в военную форму. Из-под ее вязаной шерстяной шапочки выбивались пряди светлых волос.

В комнате непривычно запахло духами. Все поднялись с коек. В воздухе застыло неловкое молчание. Комбат стоял, переминаясь с нога на ногу. Он был без ботинок. В одних шерстяных носках грубой вязки. ан...енко прошел к столу, снял трубку. Зажав ее плечом и щекой, смотрел на часы. Секунд десять ждал связи.

– Алло! «Перевал»? «Перевал», дай «Курьера»! – закричал он. – Как там на 42-й? Хорошо, доложите через десять минут...

Расстегнув ворот бушлата, ан...енко устало опустился на ушаковскую койку.

– Организуй чай, – обратился он к Ушакову, дырявя глазами дощатый пол, – и закуску. Да побыстрее.

Женщина и Д. сели рядом с ним.

– Тепло у вас! – улыбнулся Д. и потер руки.

– Комбатушка! – подмигнула Ушакову женщина. – Что же ты тянешь с чаем? Видишь, намерзлись мы. С дороги. Устали.

Ушаков надел ботинки и вышел из комнаты. Я услышал его сиплый голос из-за стенки: он что-то говорил командиру минометной батареи старшему лейтенанту Климову. Через несколько минут комбат вернулся.

– Сейчас будет вам чай, – сказал он, пряча глаза.

– Вот и умничка! – засмеялась женщина.

Кроме нее, ан...енко, Д. и комбата, в комнате остались заместитель командира полка Ляшенко и я. Все остальные вышли в ту минуту, когда ан...енко связывался с «Курьером».

Опять затрещал телефон, ан...енко, сняв трубку, молча выслушал доклад.

Ушаков сел на мою койку. Достав из тумбочки 12-й номер журнала «Юность» за 88-й год, принялся читать. Я вытащил пачку сигарет. Закурил.

В комнату вошел старший лейтенант Климов с полотенцем, чайником и шестью металлическими кружками в руках.

Он поставил их на приземистый столик между двумя койками, наполнил каждую до краев крепчайшим чаем. Вытерев капли с поверхности стола, Климов вышел. Потом опять вернулся – принес миску душистого жирного плова из тушенки и остатков риса.

Я старался не смотреть Климову в глаза: было неловко оттого, что старший лейтенант превратился в официанта. Да и сам Климов смотрел в пол.

– Комбатушка! – позвала женщина. – А, комбатушка-а...

– Что вам? – спросил Ушаков, не отрывая глаз от журнала.

– Комбатушка, что ты там читаешь? – Она ловко вскинула ногу на ногу.

– Вам непременно надобно знать?

– Какой, однако, хмурый, неприветливый сегодня комбат, – сказала она с легкой обидой, разглядывая тлевший кончик сигареты.

– А и правда, – спросил дружелюбно Д., – чего ж там интересного в твоём журнале, что ты все глядишь в него да глядишь, аж не оторвешься. Тут, понимаешь, женщина красивая сидит, а ты – ноль внимания. Нехорошо-о!

– Я читаю, – сказал Ушаков, стараясь говорить как можно спокойнее, – отрывок из нити Антона Антонова-Овсеенко «Берия».

– И что же, – спросила женщина, затушив окурочок с окровавленным фильтром в пустой консервной банке, – пишет этот ваш Фсеенко?

– Про сталинскую мафию, – ответил Ушаков. – Могу зачитать.

– Читай – и то веселей будет, – сказал Д. и недоверчиво улыбнулся, поглядев на Ан...енко. Упершись спиной в стену, а взглядом в комбата, Ан...енко закинул руки за голову. Он курил, перебрасывая сигаретку из одного уголка рта в другой.

– «...Всякий клан, – начал читать Ушаков, – предполагает наличие родственных связей. Их не было ни в лагере Берии-Маленкова, ни в г-группе Жданова. Каждый клан

действовал на здоровой основе бандитского братства, когда сообщников объединяют единая цель и общая опасность гибели от руки конкурента...». Ч-читать дальше или не хотите?

– Не надо, – властно махнул рукой Ан...енко. – Распустили прессу – пишут, что хотят. Всю нашу историю дерьмом облили. Ничего святого не осталось. Мерзость сплошная. – Он враждебно посмотрел в нашу с комбатом сторону.

– И правильно сделали, – сказал Ушаков, отрывая глаза от страницы и парируя мутный взгляд полковника, – что сняли засов со рта прессы. Иначе мафия будет процветать.

– А что, – вмешался Д., – сейчас, когда про мафию стали писать в каждой газетенке, ее разве поубавилось? Меньше ее сейчас, чем во времена безгласия?!

– Нет, – процедил комбат, – не меньше. И з-знаете почему?

– Почему? – переспросил Д.

– Потому что, – ответил Ушаков, – мафия проникла всюду. Она сидит даже в этой к-комнате.

Где-то за горой несколько раз кашлянула безоткатка. Д. нервным движением руки схватил со стола кубик сахара.

Бросив его в рот, несколько раз звучно хрустнул.

– Это какая же мафия? – спросил он. – Поясни-ка!

– А т-такая! – огрызнулся комбат, вскакивая с койки.

И тут он сбивчиво, заикаясь, рассказал про афганские КамАЗы, которые ходили в Панджшер в сопровождении БТР № 209 и БМП без номера, место постоянной дислокации которых – КП подполковника А.

– В Панджшер, к Ахмад Шаху, – хрипло выкрикивал комбат, – ма-машины шли доверху загруженные, обратно же возвращались п-порожняком. А один КамАЗ А, пустил на б-бакшиш¹³⁸ старшему начальнику...

– Товарищ подполковник, – Д. оборвал Ушакова, бешено вращая глазами, – вы только что всем нам нанесли оскорбление! Ваши обвинения бездоказательны! А потому, товарищ подполковник, немедленно выдь отсюда! Немедленно! Ты меня понял?!

– П-п-понял... – Ушаков махнул рукой, схватил «Юность» и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

В комнате вновь установилась густая тишина. Подполковник Ляшенко курил сигарету за сигаретой. Д. зачем-то развязал шнурок на ботинке, а потом опять завязал.

Ан...енко потянулся, хрустнув лопатками.

– Знаете, – сказала мне, нарушив молчание, женщина, – а наш комбатушка контуженный.

И в психушке не раз сидел. Нервы у него сдали. Но мы ведь об этом никому не расскажем, правда ведь?

Она нежно улыбнулась, чуть опустив ресницы на глаза.

– Одно слово – псих! – мрачно, почти про себя сказал Ан...енко. – Подполковника А, обвиняет в грабежах, меня – в расстреле мирных... Псих. Ладно, хватит о нем – много ему чести... Я вот только что из Термеза вернулся. Ездил смотреть, что там за городок ждет дивизию. Заодно с братом повидался.

Д. стучал пальцами по табурету.

Ан...енко нагнулся и достал из сумки батон колбасы, виски, несколько бутылок пива и копченую рыбу.

– В термезских озерах, – он едва улыбнулся уголком рта, – чудесные лещи. Вот пересечем границу, приглашу вас на рыбалку.

– Благодарю, – сказал я, – Понимаете, – Ан...енко принялся разрезать рыбину на несколько равных кусков, – такие психи, как этот комбат, пытаются теперь из меня сделать козла отпущения, эдакого советского лейтенанта Колли. А какой Колли преступник?!

138 Взятка (одно из значений).

На войне либо ты убиваешь, либо – тебя. Другого не дано...

Ан...енко налил в кружки пиво. Сдул со своей пену. Д. посмотрел сквозь рыбью чешуйку на электрическую лампочку.

– Красота! – улыбнулся он.

– Вот Ушаков, – продолжал после недолгой паузы Ан...енко, – во время последней операции не бил по кишлакам. А это преступление. Потому что на его участке «духи» смогут в любой момент без риска для себя открыть огонь по нашим колоннам.

Он осушил кружку до дна. Стряхнул желтые капельки с усов.

Алые женские ногти впивались в жирное рыбье мясо.

– А что мне было делать, – спросил сам себя Ан...енко, – когда все они из кишлака начали спускаться вниз к нашей заставе? Откуда я знал, кто там прячется под чадрой?! Ведь то запросто могли быть переодетые в женское платье «духи». Они подошли бы вплотную к заставе и всех наших перестреляли, выбили бы всех до единого. Солдатики и пискнуть бы не успели. Так что я вынужден был открыть огонь. Правда, сначала я все-таки дал очередь поверх голов. Но они продолжали спускаться. У меня не оставалось выбора... Между прочим, приказ был – стрелять. И я выполнял приказ. А комбат Ушаков – нет! Если «духи» укроются в зоне ответственности его батальона и начнут лупить по нашему арьергарду, виноват будет Ушаков, и никто больше! Он совершил преступление: тут не может быть никаких сомнений.

Я внимательно посмотрел в глаза Ан...енко. Он был надежно прикрыт непроницаемой броней благих намерений.

– Вот скажите, – Ан...енко встретил мой взгляд, чуть прищурив глаза, – что важнее для советского командира: уничтожить «духов» и вместе с ними немного мирных, но при этом спасти своих солдат, или же проявить пассивность и допустить уничтожение нашей, советской заставы? Думаю, любой офицер в здравом уме изберет первый вариант. А потом – разве они пощадили Юрасова? За него надо было отомстить. Ладно... Святых больше нет и, по всей видимости, уже не будет. Выпьем за все хорошее.

Бывает лак, на котором не остается царапин – хоть гвоздем скреби. Похоже, Ан...енко был покрыт таким лаком.

– Ой, мальчишки! – вдруг воскликнула женщина, и легкая печаль тронула ее улыбку. – А что же вы будете делать, когда кончится война? Что вы будете делать, когда вернетесь? Что вы, мои любимые, будете делать без войны? Без Афганистана? Бедные вы мои, бедные...

– Выпьем за Академию Генштаба! – предложил Д. и, обняв Ан...енко, поцеловал его в губы.

Женщина протянула руку и включила радиоприемник на столе. Раздался далекий голос Софии Ротару. Мечтательно прислушиваясь, Ан...енко сказал:

– У Софии началась вторая молодость. Она налилась соком зрелости.

– В самый бы раз а? – подмигнул мне Д. и сделал движение руками, повторяя изгиб женских бедер.

– А вот Гурченко, – чуть подумав, с печалью в голосе проговорил Ан...енко, – начала сдавать.

– Ой, мальчишки! – всплеснула руками женщина, явно недовольная тем новым направлением, в каком шел разговор. – Неужели в Термезе опять будет холодно?

– Не бойся, – успокоил ее Д., – нам с тобой будет тепло.

– И даже жарко, – уточнил Ан...енко.

– Давайте выпьем за любимых женщин! – почти выкрикнул Д. Глаза его сверкали. – Пьем стоя!

Он зажал стаканчик между левой щекой и ребром правой ладони, отставив локоть. Сделал резкое движение, и стаканчик, несколько раз повернувшись вокруг своей оси, оказался у самого рта. Д. резко запрокинул голову и осушил его, чуть притопнув ногой.

Постучавшись в дверь, вошел командир минометной батареи. Собрав со стола грязную посуду, он молча исчез.

Проводив его тяжелым взглядом, Ан...енко сказал:

– Вот мое семейство. – И протянул мне цветную фотографию жены и детей.

То была на редкость красивая семья. Я хотел сказать об этом Ан...енко. Но вдруг вспомнил 23-е января и промолчал.

– Я недавно ГАЗ-24 купил, – зачем-то добавил Ан...енко.

Д. опять крепко обнял его и поцеловал в засос. Потом вдруг, отпрянув, спросил меня:

– Хотите, мы подарим вам видеомагнитофон?

– Благодарю, – ответил я, – надеюсь, что смогу сам когда-нибудь заработать на эту штуковину.

– Бедный, но гордый! – засмеялся Ан...енко.

– А оружие вы везете домой? – не унимался Д.

– Я бы и рад, да ведь в Хайратоне таможня всех нас перетрясет, – ответил я.

– Бедный, гордый, да еще и наивный! – Д. от души рассмеялся.

– Полковник Д. шутить изволит, – сказал Ан...енко, сдвинув брови. – Вы совершенно правы: в Хайратоне таможня, и лучше не рисковать. Ну, а теперь есть смысл соснуть минуток триста, а?

XXVI

На следующий день я поднялся рано. Разбудил стеклянный перезвон выстиранного накануне, но промерзшего за ночь белья.

– Ух, холодрыга... – издали донесся до слуха мой же голос.

В комнату вбежал Славка Адлюков.

– Ну что, – улыбнулся он, стреляя по сторонам блестящими глазами, – ноги в руки – и в горы?

В семь утра предстояло восхождение на высокогорный сторожевой пост «Тюльпан». Как сказал Ушаков, вообще самое последнее восхождение на этой войне.

Когда я побрился, караван уже был готов. Забив рюкзаки дровами, углем, рисом, маслом, сахаром и табаком, боеприпасами для подствольных гранатометов, автоматов и миномета мы аккуратно сложили их у адлюковской комнаты.

– Держите между собой д-дистанцию не меньше десяти шагов, – напомнил перед выходом Ушаков. – Сапер потопает первым. Караван – в двадцати шагах за ним. Идти в след: помнить о минах. В случае, если вас обстреляют и потребуется помощь снизу, п-пускайте красную ракету. Все ясно?

Я надел два свитера, бушлат, ватные штаны, а поверх горных ботинок – чтобы не промочить ноги – чулки от ОЗК.

МТЛБэшка подбросила нас к исходной точке, и мы пошли.

Горы горбатились под тяжестью снега. Ноги утопали в нем по бедро. Ветер и солнце действовали похлеще слезоточивого газа: слезы выкатывались из слепнувших глаз, сосульками замерзали на ресницах.

Мы двигались по белому ущелью, словно муравьи по ложбинке человеческого позвоночника, шаг за шагом вскарабкиваясь на ослепительно сахарный хребет.

МТЛБ внизу, на дороге, теперь казавшейся юркой змейкой, превратился в песчинку, но сознание того, что к нему припаян «Василек»¹³⁹, действовало успокоительно.

Ветер насквозь продувал шерстяную шапку, и мокрые волосы постепенно превращались в ледяной панцирь. Отстегнув от ремня шлем, я надел его и услышал, как с металлическим звоном забарабанила по нему метель.

Вскоре мы миновали пустой кишлак с полуразрушенными обугленными стенами и пробоинами в крышах.

139 Автоматический миномет.

Перемогая вой вьюги, Адлюков крикнул сержанту Рахимову, чтобы тот поглядывал на кишлак, когда мы пройдем его.

Вдалеке, по ту сторону дороги, почти у самого горизонта, работала авиация. Горы вздыхали, но стоически выдерживали многотонные удары, а ветер изредка доносил до нас их глухие стоны: у-ух..., ох-х..., ух-х..., о-ох...

Бесконечные хребты образовывали сложную, словно церковный орган, пневматическую систему со своими звуконагнетателями и воздухопроводами, а ветер с Панджшера, этот бестелесный дух девятилетней войны, носясь между горами, исполнял концерт, подолгу выдерживая в басу звуки печали и тоски, аккомпанировал маленькому отряду людей, упорно карабкавшихся куда-то вверх.

Чем круче и выше склон, тем меньше снега на нем. Под ногами осталась лишь многометровая ледяная корка.

Мы ползли на карачках, придавленные рюкзаками. Вязаный подшлемник то и дело падал на лицо, вьюга забивала смерзшиеся глаза и ствол АК. Сапер впереди бессмысленно стучался шомполом в лед. Уж было не видно МТЛБ внизу и все еще – поста наверху. Где-то в немыслимой вышине поднебесья, на фоне неба, белели пики гор, окруженные ореолом пурги.

Вдруг впереди, прямо над головой, угрожающе вырос многометровый валун. Казалось, раздайся один-единственный выстрел или согреши ты еще хоть раз в своей жизни, нарушь тем самым хрупкий баланс добра и зла в мире – и камень обрушится на тебя. Но чья-то спасительная воля из последних сил удерживала его на месте.

Над нашими головами кружила тощая птица с крючковатым клювом. И, похоже, предвкушала аппетитную трапезу, поглядывая на отряд. Солдат впереди меня, не целясь, сделал пару одиночных выстрелов. Вытерев рукавом лоб под шлемом, прохрипел: «Гад!» Видно, он представил, как, случись вдруг что, птица будет долбить его глазницу.

Ресницы мои вконец смерзлись. Казалось, понадобится монтировка, чтобы их разодрать. Шершавым брезентом варежки я соскребаю наледь с глаз и увидел впереди выносной сторожевой пост «Тюльпан».

Солдаты, что служили здесь, на высоте четыре тысячи семьсот, уж больше года не видели ничего, кроме гор. Лишь изредка спускались они на заставу Ушакова, чтобы помыться, отвести душу от высокогорной тоски, взять письма и, прихватив боеприпасы, опять подняться на «Тюльпан».

Старший лейтенант, командир этого поста, провел здесь почти два года. "Я вычеркнул их из жизни, – бесстрастно сказал он и, положив ноги на табурет, кивнул на окно, в котором солнце уже готовилось к очередному закату:

– Итак, продолжение многосерийного фильма Афганской киностудии под названием «Горы». Пятьсот шестая серия: «Вечер»...

Присаживайтесь – будем смотреть вместе".

Я вспомнил сержанта Сайгакова, который летом 1986 года самовольно ушел с поста лишь для того, чтобы в наказание его отправили туда, где шла настоящая война. Он еще сказал, что страх перед смертью вынести легче, чем черную скуку на сторожевом посту.

Впрочем, здесь, на «Тюльпане», жизнь и война временами подбрасывали солдатам происшествия.

Однажды двое из них пошли на родник, что неподалеку от секрета – всего метрах в четырехстах, не больше. По давнему договору, бачата каждую неделю в условленное время таскали туда чаре, а солдаты выменивали его на патроны. В тот раз бачонок смеха ради попросил автомат – так, поиграть. Солдат, ничего не подозревая, отдал свой АК. Бачонок, продолжая улыбаться, передернул затвор, сместил рычажок на автоматическую стрельбу.

– Эй! – сказал солдат. – Не балуй, бача...

Но пацан, еще раз сверкнув улыбкой, нажал на спусковой крючок и короткой очередью свалил солдата на землю. Второму, правда, удалось спастись.

Множество историй поведали мне люди, служившие на «Тюльпане». Но все же больше заставляли говорить меня, обстреливая самыми неожиданными вопросами.

Мы провели там часа полтора – отдыхали, пили горячий чай, отогревали ноги и руки.

Потом, вытряхнув содержимое рюкзаков, приготовились к спуску.

– Теперь задница, – сказал Адлюков, – послужит нам вместо санок.

Он сел на снег и, бросив автомат на колени, понесся, взвывая снежную пыль, вниз, словно в детстве. А следом – все остальные.

Они и впрямь были детьми. Но – войны.

XXVII

Через два дня батальон подняли на рассвете.

БМП выстроились друг за другом вдоль дороги. В воздухе таяли остатки тьмы.

Ушаков вышел на трассу и окинул тусклым взглядом батальон. Не хватало одиннадцати машин – почти роты. Шесть ушли с командиром полка раньше. Остальные он передал «зеленым».

На антенне второй БМП из роты Мокасия отчаянно бился на ветру красный флажок. Точно крыло подранка.

– Засунь флаг себе в з-зад, солдат! – зло крикнул Ушаков. – Это не парад. Лучше сними хлам с брони – если что, пушку не развернешь.

Солдат хотел ответить, но ротный сказал, чтобы он заткнул свой огнемет.

– Я считаю... – вступился было за солдата стоявший рядом замполит из другого батальона, но его резко оборвал Ушаков.

– Вы, – тихо, но четко сказал комбат, – считайте д-до ста. А я буду поступать так, к-как считаю нужным.

– Вместо флага, – поддержал Ушакова ротный, – мы привяжем к БМП голову замполита с бантиками в волосах.

Журналисты в Термезе умрут со смеху...

Минометная батарея Климова застряла на выезде с заставы из-за сломавшегося БТРа.

Второй час подряд в его двигателе копался Славка Адлюков, но все безуспешно.

Ушаков кругами ходил вокруг испорченной машины, цедя сквозь зубы:

– Щенки! Не слушаете матерого к-комбата. Г-говорил же вам, чтобы проверили машины накануне...

Но БТР так и не завелся. Его облили двумя ведрами солянки и подожгли ракетницей.

Вспыхнув, одинокий факел взметнулся ввысь.

Батальон хрустнул всеми своими металлическими суставами и медленно попер в гору.

Отчаянно ревели двигатели, скрежетали гусеницы, выбрасывая назад грязные ошлепки пропахшего гарью снега.

Вскоре колонна скрылась за горой.

Двумя километрами ниже карабкался на Саланг, к перевалу, второй батальон парашютно-десантного полка.

В третьем его взводе шла 427-я БМП. Гроздь прижавшихся друг к другу солдат облепила башню. Сзади сидели Андрей Ланшенков, Сергей Протапенко и Игорь Ляхович.

Все – в брониках.

Вечером, в начале восьмого, батальон остановился у 43-й заставы, рядом с кишлаком Калатак. Как раз там, где погиб майор Юрасов и где так жестоко отомстил за него полковник Ан...енко.

Черная ночь расплзлась по небу, словно чернила по промокашке.

Комбат приказал выключить все габаритные огни на машинах.

– Еще сутки, – сказал Ляхович, – и будем на границе.
Не верится...
Раньше Ляхович служил в саперной роте, и кличка у него была «Сапер». Потом его перевели в разведвзвод старшего лейтенанта Овчинникова.
Но кличка осталась.
На 40-ю заставу Сапер попал в декабре прошлого года.
Обеспечивал выставление блоков – искал мины.
За весь последний год во взводе не было "021 " – х¹⁴⁰.
– Если на перевале армию не заклинит, – ответил Саперу Ланшенков, – то будем.
– Дай-то бог, – отозвался Протапенко.
Мороз наглед с каждой минутой. Водитель завел двигатель, и солдат обдало горячей гарью.
Через пару секунд взревел весь батальон. Но с места не тронулся.
«Урал» зампотеха не заводился. Пришлось открыть капот и проверить стартер.
– Нужен ключ на «17». Торцовый, – сказал зампотех.
Майор Дубовский подошел к 427-й БМП, взял ключ, но четырехгранника у водителя не было.
– Он есть на 563-й, – сказал ротный. – Пошли туда.
Рядом с «Уралом» остановился «газик». Из окошка высунулась голова комендача.
– Эй ты, – крикнул он водителю через мегафон, – сын нерусского народа, в чем дело?!..
Быстрее заводи и двигай без переключения передач!
Водитель не отреагировал. Продолжал рыться в двигателе. Должно быть, не понял.
«Газик» уехал.
На стоявшем рядом БТРе время от времени с шипением срабатывал компрессор, добавляя воздух в шины.
Ротный и майор вернулись, дали водителю четырехгранник. Сами полезли в кабину греться.
На 427-й один за другим зажглись восемь огоньков. Солдаты курили, отогревая теплым дымом сигарет посиневшие губы и пальцы.
– Хорошо... – сказал Сапер Ланшенкову, глубоко затянувшись.
Хотел добавить что-то еще, но струя пулеметного огня секанула поперек дороги. Трассеры красным пунктиром прошили тьму.
Стреляли с заставы, только что переданной «зеленым».
БМП впереди дала предупредительную очередь по небу.
Остальные молчали. Комбат, видно, решил не ввязываться в перестрелку.
Ланшенков услышал, как Сапер прохрипел ему что-то на ухо и несколько раз судорожно всосал ртом воздух.
– Что? – переспросил Ланшенков. – Что???
Сапер сидел в прежнем положении, лишь голову запрокинул назад – глядел в небо.
– Сапер! Ты как?! – крикнул Ланшенков.
Тот молчал.
К 427-му подбежал ротный. Тряхнув Сапера за плечи, заорал водителю:
– Включайте фары! Куда его зацепило?
Сапера аккуратно спустили с брони, положили на дорогу в желтый круг электрического света. Красная змейка крови заскользила по льду к обочине.
– Шея... – сказал, вставая с колен, ротный. – Навылет.
Пуля вышла из затылка...
Прапорщик присел на корточки и потрогал левое запястье Сапера.
– Пульс пока прощупывается, – сказал он.

140 Условное обозначение убитых.

Два солдата отрезали рукав бушлата. Санинструктор вколочил в начавшую остывать серую руку промедол. Перетянул ее резиновым жгутом. Подождя, пока набухнет вена, поставил капельницу.

– Потекло... – сказал Ланшенков.

Связавшись с комбатом, ротный закричал в ларинг шлемофона:

– У меня «трехсотый» или «ноль двадцать первый»... Как понял?

– Вези его на 46-ю! – ответил комбат.

Там был медпункт.

Сапера положили на БМП. Водитель включил зажигание.

Машина дернулась, пошла в гору.

– Ставь вторую капельницу! – крикнул ротный.

Санинструктор поставил, но жидкость не пошла. Замерзла.

– Б..! – выругался ротный.

Потом взял чей-то бушлат, накрыл им Сапера.

Тот лежал на ребристом листе акульей морды БМП, смотрел вверх.

В небе болталась шляпка месяца.

– Б..! – опять выругался ротный. Grimаса исказила его лицо.

Приехали на 46-ю. Положили Сапера на плащ-палатку и понесли в кунг – к врачу. Тот минут пять возился, слушал пульс, осматривал рану.

Наконец открыл дверь, вышел на улицу, сказал:

– Все... Пуля пробила шейные позвонки... Перелом основания черепа... Кровоизлияние в мозг... Все.

Сапера вынесли на свежий воздух и опять положили на броню.

Он был похож на гранату, из которой вытащили запал.

В небе висели осветительные бомбы, и лицо Сапера было хорошо видно.

Кожа его стала похожа на лист вощеной бумаги. Из носа и ушей все еще шла кровь. В глазах отражалось небо – то небо, каким оно было двадцать минут назад.

– Закройте ему глаза и накройте лицо, – сказал кто-то.

Сапера завернули в одеяло, подложив под него носилки.

Через пять минут одеяло припорошил снег.

Вокруг БМП с телом Сапера кольцом стояли солдаты.

Курили.

В глазах одного застыл вопрос; «Сапер, почему – тебя?»

В глазах другого: «Прощай».

В глазах третьего: «Лучше – тебя, чем меня».

В глазах четвертого: «Если не повезет, скоро встретимся».

В глазах пятого: «Б...»

В глазах ротного – слезы.

Никто из них не хотел стать ПОСЛЕДНИМ СОВЕТСКИМ СОЛДАТОМ, УБИТЫМ В АФГАНИСТАНЕ.

Сапер взял это на себя и тем самым спас несколько десятков тысяч людей, которые в тот момент все еще оставались на земле Афганистана.

А заодно поставил точку на этой войне.

Январь-февраль 1989 года

Чеченские кампании

А. Политковская. Закавказское гетто. Беженцев гонят поближе к кладбищу

На улице Матросова беженцы Багдасаряны застали «пейзаж после битвы». В квартире 6, куда после многолетних ожиданий семью направила жить Московская миграционная служба, не оказалось входной двери. И ни единой внутренней. Картину дополняли разгромленная ванная, раскрошенный унитаз, отсыревшие стены с грибковым «орнаментом» и нечто напоминающее кухню, откуда только что ретировалась гвардия опустившихся бродяг.

«Будьте счастливы, другого вам не положено! — сказал сопровождающий из домоуправления. И передал им ключи, которые некуда было вставить. — Только краны не открывайте: зальет».

«А как нам быть без воды?» — вот и все, что успели они крикнуть ему вслед.

«Как хотите, теперь это ваши проблемы...» — долетело с улицы сквозь оконные рамы без стекол.

Багдасаряны отправились по соседним домам — искать знакомых, чтобы узнать секреты местного выживания. Подъезды их встретили гигантскими черными свастиками на полуразрушенных стенах, наскальной росписью в стиле «Россия без черных!» с прибавлением широко известных идиоматических выражений и плакатами РНЕ, куда ни глянь.

Была середина дня. По улице Матросова из школы домой шли горбоносо-черноволосяе дети. Под ногами шмыгали крупные хвостатые животные. «Не бойтесь — крысы у нас ручные...» — успокоил один из мальчиков.

Хотите — верьте, хотите — нет, но это и есть сегодня столичный миграционный центр (МЦ) «Востряково», о создании которого столько лет говорили московские власти. В просторечии — «закавказское гетто». Так его называют и чиновники, работающие в управлении Западного административного округа, и сами жители. Действительно, определение куда как точно. Тринадцать домов, входящих в центр, естественным образом зажаты между Московской кольцевой автодорогой и домостроительным комбинатом. С третьей стороны — Востряковское кладбище. На центральном пятачке — магазинчик и здание с полуобвалившейся вывеской «Клуб «Родина», оклеенное рекламной продукцией всяческих магов и экстрасенсов с обещаниями долгой и счастливой жизни.

История возникновения миграционного центра спонтанна и тем самым характерна. Два года назад здесь еще был обычный столичный микрорайон. Однако люди в этих тринадцати домах болели больше, чем в среднем по Москве. Грешили на цементную пыль, которую круглосуточно испускал домостроительный комбинат. Наконец санэпидслужба Западного округа признала микрорайон Востряково неблагоприятным для длительного проживания. Людей стали постепенно выселять, а чтобы добро не пропадало, членам московского правительства пришла мысль — создать на базе освобождающихся коробок центр временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев.

Улавливаете игру? «Длительно» нельзя — значит, «временно» можно... На том и порешили. И сегодня здесь уже 1218 человек. С точки зрения документации у них все соблюдено идеально. Принцип временности выдерживается неукоснительно. У всех беженцев без исключения — никаких прав на занимаемое жилье и временная регистрация. Зачем это нужно? Чтобы никто не смог привлечь Московскую миграционную службу к суду за то, что она нарушает санитарные нормы и Закон «О беженцах». Последний говорит: временное жилье предоставляется на срок от трех до шести месяцев. Именно столько отпущено соответствующим государственным учреждениям, чтобы подыскать беженцу постоянную крышу над головой.

Людмила Радимушкина, заместитель директора МЦ «Востряково», улыбается в ответ на все эти разговоры о законах. «Нашим беженцам тут жить вечно! Хотя и временно. Все равно других вариантов у города для них не будет».

Кто же такие Багдасаряны и все остальные, свозимые сегодня со всей Москвы в Востряково? Подавляющее большинство — бывшие бакинцы. Армяне и смешанные семьи. В 1989-1990 годах самолетами военно-транспортной авиации их вывозили из Азербайджана, спасая от геноцида. Много одиноких больных стариков и инвалидов. Намучившиеся, исстрадавшиеся люди. До Вострякова все они прожили по восемь-девять лет на птичьих правах по столичным гостиницам, надеясь, что вот-вот — и им дадут постоянный угол. Не обязательно в Москве, но хоть где-то. И обязательно — навсегда... Но время шло. СССР развалился, Россия обнищала, Чечня породила новую волну беженцев. Гостиничное начальство постоянно теребило московское правительство, требуя решения. И вот его нашли...

«Не верьте сплетням, — продолжает Людмила Радимушкина, — здесь не так уж плохо...» Но путешествие по анклаву не оставляет веры в объективность заместителя директора. Куда ни глянь — подвалы, залитые водой, которую никто не откачивает, а потому стоит вонь, неистребимая даже в мороз.

«Многие москвичи, уезжая, брали с собой двери, унитазы, выдирали ваннные лохани, снимали розетки и даже разбирали полы...» — рассказывает госпожа Радимушкина.

«Но зачем вы принимали по акту дома и квартиры, совершенно не пригодные для жилья?»

Она лишь пожимает плечами: «Выезжали тоже люди небогатые».

Несмотря на очевидную непригодность жилья, переселение беженцев сейчас продолжается ударными темпами. Причем — насильно. На очереди — те, кого приютили в гостиницах «Алтай» и «Кузьминки».

Заселение «гетто» происходит так. Человека вызывают в миграционную службу, дают направление и объявляют: откажешься — мы с тобой больше не работаем.

Рассказывает Нелли Касумова, одна из «кузьминских»: «Мне дали две комнаты на последнем этаже. Я пенсионерка, живу с сыном-студентом. Начала потихоньку ремонтировать своими силами. Тут обвалилась кровля, комнаты стали аварийными. Я пошла в миграционную службу и отказалась. Там покивали головами: мол, все понятно... Но регистрацию не продлили. Для беженцев это почти смертный приговор, ведь теперь мне отказали в пенсии и получении медицинского полиса. Что делать дальше?..»

Семья Багдасарянов — из «Алтая». Побывав на своей «новой квартире» в Вострякове, они притащили с помойки чью-то старую дверь, на всякий случай прикрыли ею проем в квартиру. Еще некоторое время побродили по соседним домам и поспрашивали, есть ли тут милиция и как пресекает она выходы окрестных фашистов...

Вот рассказ Майи Алексанян: «Ночью ломаются в дверь. Кричат: «Черная, открывай!» И все. А у меня в квартире двое детей, совсем старый отец и мама после инсульта. Пошла на следующий день в милицию. Там говорят: звоните, если что. Но телефона-то нет!»

У главы семейства Багдасарянов Генриха, инвалида второй группы, после этого вояжа так схватило сердце, что он больше недели пролежал под капельницей. А потом пошел в миграционную службу и все-таки отказался — и теперь тоже в наказание лишен пенсии. А что же с квартирой номер 6? Чиновники пустили ее «по рукам» — так беженцы называют манипуляцию, когда одни и те же квадратные метры, заведомо не пригодные для нормальной жизни, последовательно предлагают нескольким семьям. Авось кто-то сломается и согласится, опасаясь худшего.

— Скажите, ну куда нас еще погонят? — спрашивает Борис Айрапетян. — Неужели постоянное тихое жилье нам полагается только под землей?

Идешь по Вострякову, и тебя провожают настороженные взгляды: что ты принес им, еще один чужак со славянским лицом?.. На «пяточке» замолкают старики. Не кричат мальчишки. Воцаряется тишина — неестественная и нездоровая...

Кем они вырастут, эти дети из гетто, если уже сегодня на их лицах — печать второсортности? Чем в будущем обернется для нашего и без того больного общества эта отвратительно исполненная идея о создании столичного миграционного центра?¹⁴¹

А. Политковская. Имитация атаки. Потешные полки, потешная забота. Только боль — настоящая

Еще полгода назад 20-летний Дима Павленко имел 173 см роста, а теперь еле дотягивает до 170. Уменьшился природе вопреки. Галина Яковлевна застегивает на изуродованном сыновнем теле десятки пряжечек и ремешков, потом оборачивает каждую культю в специальные одежки, погружает их в специальные «гильзы», в отверстия которых вставляются и защелкиваются специальные палки. Две — как бы руки, но только очень длинные, раза в три длиннее человеческих, и с костыльными наконечниками-резинками вместо пальцев. Две — как бы ноги: туфли приделаны, а к ним верхушка мужского носка (наверное, для красоты). И — пошел! Вперед! Десять шагов по палате — и градом пот... Уже полгода, как у рядового Дмитрия Павленко нет ни рук, ни ног, ни даже коленных и локтевых суставов. Произошло несчастье 2 марта 1999 года.

Мы ратуем за то, чтобы на войну не посылали необстрелянных солдатиков? Да? Так вот Диму как раз и «обстреляли» — но при этом, как водится, один недоглядел, другой недосмотрел, третий не объяснил, офицер забыл, прапорщик временно отлучился... Всё вместе — плановые учения «Наступление и оборона в составе взвода» в воинской части 69771 Уральского военного округа. Имитация атаки. Отработка боевой задачи: соскочить с едущего по полю БМП и швырнуть гранату в противника.

Утром 2 марта Диминому взводу раздали боевые гранаты. Так уж вышло, что до этого дня рядовой Павленко ни разу в жизни никуда не кидал боевых гранат и эта наглая зелено-рифленая оказалась первой. В суете учений Диме почему-то забыли объяснить, как же ее, собственно, кидать. Просто выдали на складе, как всем, и сказали — бросай, четыре секунды у каждого, чтобы успеть это сделать. А еще всем выдали маскхалаты. На складе они оказались одного и очень большого размера — такого, что туда двух Дим запросто можно было запихнуть. Но Дима-то один! И поэтому прорезь для руки вышла в районе колен. Если встать прямо, то солдат все время из маскхалата выскакивал. Но куда деваться? Не ныть же? Вот и дернул чеку. А граната — возьми да и нырни в ту самую прорезь, под мышку. Пока пытался Дима ее выловить из недр самого себя — взрыв. Сначала он сознания совсем не терял. Видел, что ничего у него не осталось от конечностей. А потом — провалился. Кровопотеря оказалась выше того предела, что совместима с жизнью. 7 марта очнулся — мама уже стоит у постели. Дима плечики поднял — показал ей, что нет у него рук и что ног осталось 15 см. А еще — тяжелая контузия правого глаза, легкая контузия — левого. Пороховые ожоги. 20 процентов зрения осталось. В осколках — вся голова. Когда сегодня мама ему пот со лба вытирает, ее рука гладит прежде всего осколок, висящий над переносицей, — здоровущий такой, сантиметра четыре в длину. Врачи госпиталя № 6 Министерства обороны, что в подмосковных Химках, где Дима пока находится, сказали: все эти железки когда-нибудь сами выйдут. Надоест сидеть в теле — и поползут наружу... А как же те, что прямо на мозге улеглись? За глазным яблоком? Тоже — сами? И что тогда Диме делать прикажете в его родном поселке Арти Свердловской области, где нет нейрохирургов? Где не бывает живых денег годами? Где на еду рабочим механического завода дают бумажки — зарплатные суррогаты, чтобы отоваривали их в магазине в счет заработанных ими денег еще 96-го года?.. Много вопросов, только ответов нет. После того как Диму комиссуют в наступающем ноябре, все лечение за счет изуродовавшего его ведомства завершится. Рядовой Павленко превратится в гражданина Павленко с набором социальных льгот, равным для всех.

141 «Новая газета Понедельник» 07.12.98, N 48 - <http://politkovskaya.novayagazeta.ru/pub/1998/1998-01.shtml>

Врачи жмут плечами. Не они все это придумали, они только вот расхлебывают и на вопросы тяжелораненых постоянно отвечают — на одни и те же, кстати, вопросы. Почему Министерству обороны не будет до нас дела после выписки из госпиталя? Почему протезы надо делать на собственные средства? И фирмы, их производящие, говорят о таких суммах за искусственные руки и ноги, что семье Павленко они никогда и не снились!

Диме нужно 20 тысяч долларов США, чтобы не пролежать обрубком на кровати всю оставшуюся жизнь, а передвигаться и иметь шанс посещать время от времени наш российский социум. 20 тысяч долларов США — именно такова цена офицерских недоработок на учениях 2 марта под Екатеринбургом.

Но кто будет кошелек растворять? Оказалось — одни лишь Димины родные. Галина Яковлевна говорит: «Жалко, что не знала об этих тонкостях до призыва».

Димины мама — человек в высшей степени интеллигентный. «Тонкостями» она называет то омерзительное обстоятельство, что рядовой-срочник в РФ, изуродованный в период прохождения службы, «при исполнении» ее обязанностей, не считается ни военным пенсионером, ни пенсионером Министерства обороны, а его статус — точно такой же, как, например, у пьяницы, с перепою угодившего под поезд.

Хорошо родное государство устроилось «отвечать» за собственные ошибки? Отлично!..

Врачи в госпитале вроде бы соболезнуют Диме и ему подобным: таков, мол, закон на нынешний день и час, обращайтесь в Думу, пусть депутаты его меняют... Господи, как же нелепы и циничны подобные разговорчики в строю! Ну как дойти до Думы человеку, личный рекорд которого (ценою невероятных усилий, комканья в кулак всей Диминой воли) — 150 метров по больничному коридору. И ни метра больше. И чтобы ни одной ступеньки не встретилось на этом пути, потому что протезы, которые сейчас дали Диме от Министерства обороны, настолько допотопны и убоги, что он может передвигаться исключительно по прямой. Не дай вам Бог, депутаты, а также генералы из МО, пролоббировавшие подобный закон, оказаться ни на этих костылях, ни в той очереди в собес — полноправным ее членом!

Дима — все же оптимист. Наверное, потому что ему 20 лет. Он уверен, что как-нибудь жизнь ему улыбнется и все разрешится. Мечтает обучиться компьютерному делу.

— А компьютер дома есть?

— Нет. — Но улыбается.

— А учиться как будешь? В твоём Арти есть такие курсы?

— Нет. Учиться можно и по книгам. Правда?

Сущая правда. Чудный парень. У Диминой мамы оптимизма куда меньше. Она понимает, что надеяться ей предстоит лишь на свои силы и еще томительно ждать стука доброго спонсора в дверь их дома.

Как же мы притерпелись ко всему глупому и безобразному. К жутким законам, которых напринали эти депутаты-пофигисты. К чиновникам, которые потирают ручки, довольные приятной во всех отношениях Думой, регулярно освобождающей их от ответственности. К Министерству обороны, которое, как Молох, пережевывает и выплевывает каждое следующее вступающее в жизнь поколение мужчин. К спонсорам, которых надо обязательно заинтриговать «своим» инвалидом, чтобы «делателю добра» было по крайней мере не скучно это добро одноразово произвести... Мне не двадцать лет, и я давно не оптимист. Как быть?¹⁴²

А. Политковская. Чечня в кольце. Добра. В исполнении «младших медведей»

142 Химки, Московская область. 25.10.99, «Новая газета Понедельник» N 40 - <http://politkovskaya.novayagazeta.ru/pub/1999/1999-28.shtml>

Впервые с начала второй чеченской войны по всему Северному Кавказу проходит гуманитарный благотворительный марафон в помощь детям, оставшимся в Чечне. Его инициаторы — общероссийская общественная организация «Молодежное единство» (нечто вроде комсомола при нынешней партии власти). Акция «МЕ» пока беспрецедентна для России и по форме, и по содержанию. «Младшие медведи», как они себя называют, собрали для марафона уникальную концертную команду — по одному молодому эстрадному дарованию от каждого региона Южного федерального округа, самого многонационального и самого кипящего в стране, и в данный момент провозит их всех с концертами по всему Кавказу.

В каждом городе, где останавливается марафон, прямо во время выступлений, до и после них, в школах и институтах идет сбор гуманитарной помощи школьникам Чечни, а также — отдельно и целенаправленно для воспитанников Грозненского детского дома № 1, временно перебравшегося в Надтеречный район воюющей республики.

Прием везде на «ура».

Позади у марафона уже тысячи километров, аншлаговые концерты в Ростове, Майкопе, Пятигорске, Черкесске, Карачаевске, Нальчике. Впереди — Владикавказ и Чечня. За автобусами с артистами по северокавказским дорогам ползут груженные «КамАЗы» с несколькими тоннами благотворительного груза...

Однако не только поэтому марафон стал событием на Северном Кавказе

...На центральной площади города Карачаевска плакала бабушка, укутанная от ядреного вечернего горного воздуха в оренбургский пуховый платок. Она, не отрываясь, усталыми старческими небыстрыми глазами смотрела на импровизированную сцену в глубине площади... Она старательно подхлопывала явно не близким ей мелодиям современной молодежной эстрады... Она даже отбивала эти ритмы не своего века огромными, несоразмерными галошами...

А из глаз текли слезы.

Маленькая сгорбленная старушка на тусовке своих правнуков — среди беснующейся толпы.

— Как вас зовут? Почему вы плачете?

— По-карачаевски тебе будет трудно мое имя. Русские звали меня баба Валя... Мне скоро умирать — ты видишь... И я думала, что уже не доживу до такого...

— Какого?

— Парень-ингуш поет на своем... И парень из Дагестана — тоже на своем... И наш... И кабардинец... И им все аплодируют — и русские, и карачаевцы, и черкесы. И кто там еще?

— Да что же здесь особенного?

— Ты не у нас живешь, раз спрашиваешь. Я очень устала от того, что все мы стали тут злые. Что ушла простота. Что теперь даже мне, старухе, надо всегда помнить, кто рядом: черкес, чеченец, карачаевец... И другой наш, карачаевец, не должен увидеть, что ты добр к черкесу...

Карачаевская баба Валя простояла на площади все два с лишним часа молодежной тусовки. Вокруг, счастливые, бесновались те, кто годился ей в правнуки. А она повторяла:

— Пусть будет так и в жизни. Как на сцене. Чтобы вы были все едины. Я вас прошу...

Пусть будет не только на концерте. Но и после него. Пожалуйста...

Кто поверит во все это в Москве, в этом самом циничном городе нашей страны? Где сначала принимают решения, потом их «продавливают», еще позже сами же тихо хватаются за головы по кабинетам, а затем все равно надевают циничные маски и снова идут принимать все те же забубенные решения?... Кто поверит, что концерты марафона при абсолютной простоте организующей их главной идеи стали настоящим событием на Юге России — прежде всего своим миротворческим добрым духом?

Чтобы понять бабу Валью, надо видеть, что же творится сегодня на Северном Кавказе. Юг страны измучен, измочален вдрызг межнациональными распрями, зачатými еще в начале 90-х в Абхазии и Чечне и разогретыми теперь до последнего предела. В той же Карачаево-

Черкесии шагу нельзя ступить, чтобы тебе не рассказали: черкесы о наглых карачаевцах, захвативших всю полноту власти в республике (что неправда), карачаевцы — о злых и хитрых черкесах, подмявших всю банковскую сферу (что тоже вранье), наконец, русские — со вздохом тяжкого разочарования — о том, что вот обязательно придется отсюда уезжать, неуютно слишком стало (что чистая правда: число русских мигрантов неуклонно растёт)...

Полный раздрай, раскардаш, от которого и плакала баба Валя, почти ровесница века. Как жить и верить в будущее нормальному человеку, если одни тут носятся с идеей «Великого Карачая», другие — с лозунгом «Великой Черкесии от моря до моря», третьи — с чудовищной мыслью об отделении абазинов (около 30 тысяч человек) от Карачаево-Черкесии и присоединении специального автономного абазинского района к Ставропольскому краю, только бы прочь от карачаевцев, и, конечно, с абазинским президентом во главе?.. Как реагировать людям, желающим спокойной предсказуемой жизни и «только бы не Чечня», на постоянные публичные уколы со стороны Мухамеда Килбы — абазина-радикала № 1, как раз претендента в абазинские президенты и чем-то напоминающего Дудаева? Килбы, который не забывает напомнить всем и каждому, что он помнит, как держать в руках оружие, что он — герой Афганистана, заместитель министра обороны Абхазии времен их недавней войны, а еще — командир Басаева, который как раз под его руководством прошел в Абхазии боевое крещение?..

Ледяное дыхание чеченской войны — вот что чувствуют люди в Карачаево-Черкесии.

Понедельник, 27 ноября, участники благотворительного марафона «Мы — едины» провели на знаменитом Домбае. Там, с высоты более чем в две тысячи метров, Кавказ как на блюде — иди, бери его, и даже вечные строгие ледники подмигивают на солнцепеке весьма игриво ввиду их непозволительной близости.

Так вот, на Домбае особенно ясно: делить кавказскую землю более невозможно, пора уgomониться с нарезкой границ. Слишком мало тут земли — слишком много (140) народностей и национальностей, слишком болезненно и непоправимо отчуждение одних от других, слишком глупо бряцать отсутствием толерантности и дальше.

Каждый следующий концерт марафона в каждом следующем кавказском городе на пути аншлагами, по нарастающей, доказывал главное: все, приехали, люди больше не в состоянии жить в ругани, они проклинаят Москву с ее кознями и мечтают о единении, о том, чтобы и самим жить и дать жить соседу — они истосковались по нормальным человеческим взаимоотношениям, не взлелеянным на вражде.

Тот, кто видел чеченскую войну хоть одним глазком, тот знает цену таким настроениям на сегодняшнем Кавказе. Золото!

...Скоро совсем стемнело. Горы, между которыми уютно разлегся Карачаевск, будто сдвинулись и мрачно нависли над городком. Толпа на центральной площади стала растворяться в темноте, ранней и тотальной на Кавказе. Со сцены увели аксакалов в горских папахах, честно, больше двух часов напролет, просидевших тут, опершись на свои замысловатые ореховые палки, весь концерт от сих до сих. Карачаевская баба Валя, поддавшись общему настроению, потопала к артистам за автографами...

Никому не дано знать, сколько в действительности будет стоить его личный вклад в общее доброе дело и стремление сгладить нынешние распри. Остается добавить одно.

«Молодежное единство», хоть и новорожденная организация, которой всего 4 месяца от роду, и не без скепсиса была принята столичным бомондом, сумела своим северокавказским марафоном установить весьма высокую планку для тех, кто пожелает ее перепрыгнуть, также призывая кавказскую молодежь под свои знамена.

Бронированная грязь. На боевых машинах с замазанными номерами орудуют провокаторы и мародеры

Пять суток предновогодней командировки в Чечню. Что же, в конце концов, там творится сейчас — под шум афганской кампании и разговоры о выводе войск и «мирном процессе»?

Шалинские вещдоки

Приближалось время ночи, которая в Шали наступает в четыре часа дня. А ближе к пяти все, кто может, забиваются тут по своим норкам и ждут разбойников: ночь — время чеченского ужаса.

Мы сидим в стылой промозглой комнате, именуемой Шалинской районной прокуратурой. Все отопление — доисторическая электроплитка с оголенной «красной змеей» на кирпичах. В углу перед нами — груда барахла. Детские игрушки, тряпье, белье — женское и мужское, колготки, какие-то кастрюли... Простыня. Еще: ложки-поварешки и десятки видеокассет. Гантели... Сверху — полуоткрытый кофр кинокамеры.

Это не личные вещи Александра Рудых и Марата Бердиева, вконец замотанных хозяев кабинета — районного прокурора и его заместителя. Это — награбленное российскими военными служащими имущество.

Обычное дело — что награбленное. Необычное — что лежит у прокуроров: подобное в Чечне случается редко. Поэтому — история этого барахла, в которой сошлось все необходимое, чтобы понять сегодняшнюю чеченскую жизнь.

...Ранним утром 26 ноября уходящего года в полном соответствии с приказом № 46 генерального прокурора России Владимира Устинова, предписывающим «территориальным прокурорам» участвовать во всех зачистках в Чечне и «осуществлять надзор за законностью действий подразделений Объединенной группировки войск», Марат Бердиев был зван военными на зачистку в селение Автуры. Автуры — очень большое село. Оно тянется вдоль речки километров на семь-восемь, не меньше, и сначала Марат все пытался (о машинах и речи нет) обежать его несколько раз, стараясь держать процесс под своим прокурорским надзором. Но скоро понял, что бесполезно: люди в черных масках и камуфляже без каких-либо знаков воинского различия все крушили и громили вокруг себя, и надо было выбирать, что защищать — людей или имущество. И Марат занял позицию во дворе поселкового отделения милиции (ПОМа) — сюда стали сгонять задержанных автуринцев. Он всех их переписывал и фотографировал. С одной целью: пытаясь тем самым предотвратить последующее бесследное исчезновение — самую тяжкую беду нынешней Чечни.

Так продолжалось четыре часа.

— Около одиннадцати утра, замечаю, подъезжают два БТРа с замазанными грязью номерами. На броне, странно, полно народу, — рассказывает Марат. — Обычно все стремятся внутрь — холодно же, а эти сидят... Я подошел, походил рядом, пригляделся (на мне ведь тоже камуфляж), залез на броню. Улучил момент, открыл люки. А там — полным-полно барахла. Сфотографировал. Представился...

А дальше? Офицеры, хозяева БТРов, передернули затворы — и на прокурора: «Как ты смеешь? Это наши трофеи».

Против «калашникова», конечно, нет закона, и в этот момент подавляющее число прокуроров, работающих в Чечне, отступают на заранее подготовленные позиции. Но Марат все-таки стал оттирать грязь с бортов БТРов. А офицеры? Тут же приказывали солдатам снова замазывать номера. А потом, прямо у него на глазах, никого и ничего не боясь, стали разезжать по двору на экспроприированной ими машине, с ногами забравшись прямо на крышу и снимая ворованной же видеокамерой себя, любимых, на фоне трофеев.

— Прикалывались, короче, — объясняет Марат. — Прикольно им тогда было, какие они крутые. Им настолько все по фигу. Полнейшая безнаказанность, и они даже не думали, что

снимают против себя же — я изъял видеопленку и приобщил к материалам уголовного дела.

Марат приказал арестовать офицеров-мародеров: все факты налицо. Но сотрудники Шалинского временного райотдела внутренних дел (милиционеры, командированные из Алтайского края) отказались выполнить прокурорский приказ. Лишь чудом, благодаря личному мужеству подоспевшего шалинского районного военного коменданта генерал-майора Геннадия Нахаева, удалось затащить в прокуратуру для допроса три «маски», но даже там они отказывались снимать их с физиономий и представляться.

— Я не мог установить личность ни одного из офицеров. Я, прокурор! А что тогда делать просто жителю села?

Постепенно кое-что удалось. Офицеры — майор, капитан и старший лейтенант — оказались из дивизии особого назначения ДОН-2 внутренних войск МВД РФ, расквартированной на поле под райцентром Шали. Из той самой дивизии, на которую прокуроры уже слышали десятки людских жалоб.

Однако как только Бердиев и Рудых стали решать вопрос о возбуждении уголовного дела, «маски» опять заклацали затворами. На прокуроров навели автоматы. Мародеры в погонах вскочили в свои БТРы и укатили в дивизию.

Лишь утром 27 ноября прокуроры смогли туда прорваться для обыска и изъятия награбленного. Вот откуда эта гора в углу.

— Учтите, — подводит черту Марат, — это только процентов тридцать награбленного. Остальное они припрятали. Самое ценное: серьги, кольца, цепочки, часы. Царит тотальное покрывательство. Представьте: я, зам районного прокурора, еду по своему району — и солдат на блокпосту требует у меня взятку за проезд «через него». Я ему показываю свое удостоверение, и он злится, что я оказался прокурором и денег, значит, не будет. Он даже не боится, что вымогал, что я его задержу. Он знает: офицеры его всегда прикроют.

— Мы тут оказались между молотом и наковальней, — добавляет Александр Рудых. — Молот — военные, наковальня — чеченцы, воюющие с нами.

Прокуроры чуть стесняются и просят не писать, что означает это «между молотом и наковальней». Но я все-таки напишу — для ясности понимания процесса. У нас в последнее время наметилась дурная общегосударственная тенденция: стараться мало понимать и думать, что само собой рассосется. Так вот, «между молотом и наковальней» означает одно: прокуроров подстерегает пуля. Везде. Повсюду. Отовсюду. И с «той» стороны, и с «этой».

Это и есть сегодняшний чеченский мир: кто за закон — тот должен быть всегда готов встретить пулю.

— Пожалуйста, напишите главное, — добавляют прокуроры. — Чтобы навести порядок, первым делом должны быть категорически отменены маски. Маски здесь не нужны. Маски — только для того, чтобы после совершения преступления никто не опознал преступников. Военному маска не нужна, если он не бандит.

Пишу, конечно, «главное», потому что обещала. Но ни на секунду не забываю другого: генералы, с которыми приходилось обсуждать эту шалинскую историю, ИСКРЕННО удивлялись прокурорам, посмевшим встать на дороге БТРов: «А как вы еще живы после этого? Вас должны были убить. Наши такого не прощают». И это были те самые генералы, в чьем прямом подчинении офицеры, восставшие на шалинских прокуроров.

Это и есть главное. Чеченская война настолько выкрутила сознание людей, там побывавших, что даже генералы не понимают: подобное НЕЛЬЗЯ, НЕВОЗМОЖНО НИ ДУМАТЬ, НИ ПРОИЗНОСИТЬ. Иначе они — не генералы на службе у государства. Они — батьки в махновских отрядах, и не более.

Наконец мы доходим до точки — до статей, по которым возбуждено уголовное дело против ДОНцов. Есть ли возможности у гражданских прокуроров противостоять военному бандитизму?

— Есть, — убежден Марат. — Просто это трудно. Очень.

— Это был настоящий вооруженный мятеж, — добавляет Александр. — Со всеми его признаками. Однако уголовное дело № 24222 удалось возбудить по ст. 162, ч. 2, пункты «а», «в», «г» УК РФ — за разбой, учиненный в доме 34 по улице Черкесской, в доме 52 по Интернациональной, в доме 1 по улице Шалинской в селении Автуры. И даже это — очень большая удача. Хотя статей, на которые «навалили» офицеры внутренних войск, — длинный список: 286-я (превышение должностных полномочий), 293-я (халатность), 298-я, 285-я...

— И где сейчас эти офицеры-разбойники: майор, капитан и старший лейтенант?

— У себя в дивизии.

— Продолжают нести службу?

— Конечно. Дальше решают генералы.

Нетрудно догадаться, что 26 ноября сотрудники Шалинской прокуратуры в последний раз следили за «законностью» на зачистке. Больше на эти «спецмероприятия» их не приглашали.

Нетрудно догадаться и о другом: на ком отыгрались оскорбленные мародеры.

Наказание № 1

18 декабря улица Кооперативная в Автурах тонула в нескончаемом женском вое. В доме 13 был третий день поминок по 25-летнему Тимуру Исмаилову. Мужчины жарили мясо во дворе, и не было сил переступить порог этого дома.

Там, за порогом, в рядок стояли осиротевшие дети Тимура мал мала меньше и совсем молодая жена Асмалика с упертым в никуда бесслезным взглядом. Все произошло просто и пошло, по-современному, по-чеченски: 2 декабря ДОНцы оцепили Автуры, никто не имел права ни входить, ни выходить из кольца, и началась жестокая карательная операция. «Маски» крушили и громили все, что попадалось под руку, и в довершение увезли из села в неизвестном направлении двадцать пять человек — 24 мужчины и женщину.

Когда глава сельской администрации Ибрагим Умпашаев смог вырваться из Автуров, первым делом он кинулся в Шалинскую прокуратуру. И весь тот день Александр Рудых гонял по округе, из одной лесополосы в другую, и смог найти там и освободить 17 человек из 25 — их держали в лесу неподалеку от селения Джигурта соседнего Ножай-Юртовского района, и если бы не настойчивость Рудых, скорее всего, их участь была бы — бесследно исчезнуть. Еще пятерых автуринцев военные выкинули к вечеру на дорогу. Все пятеро были со следами жестоких пыток, но хуже других — Тимур Исмаилов.

Гелани Исмаилов, дядя покойного Тимура, тоже сидит на поминках, среди этого воя, и не может произнести ни слова — племянника пытали на его глазах. Офицеры кричали Тимуру: «Почему ты такой упитанный?» — а Тимур действительно под два метра и плотный — и били его.

— Он был черный, как уголь, от побоев, когда его принесли домой с дороги. Я такого еще в жизни не видела, — говорит вдова Асмалика, сама медсестра.

Последнее, что сотворили над Тимуром — вогнали под кожу несколько шприцев с соляной кислотой. На глазах у Гелани.

— Что они хотели узнать, Гелани? Спрашивали о чем-то?

— Где находится наш сосед, который живет через дорогу. Но мы не знали, где он. К тому же у соседа есть родственники, которые лучше нас могли бы ответить на этот вопрос.

Гелани больше не отвечает на вопросы. Он уверен, что виноват, — на его глазах убивали племянника, и теперь остались сироты, а он, хоть и распятый в те часы на БТРе, не помог.

Посмертный счет Тимура: переломы костей грудной клетки и черепа, множественные травматические разрывы легких, мошонки, печени, почек. И проклятый запах солярки, который до сих пор стоит в доме, в комнате, куда принесли Тимура. Лишь благодаря своему могучему телосложению и отменному здоровью он жил еще около двух недель — сначала дома: его отказались брать в Шалинскую районную больницу, врачи сказали, что боятся военных, да и оперировать бесполезно. Позже тело Тимура все-таки взяли в реанимацию, где 16 декабря он, студент 4-го курса Гудермесского филиала Московского заочного юридического института, готовивший себя к карьере адвоката, умер. Во исполнение приказа № 46 генпрокурора Российской Федерации. Но ДОН-2 на этом не остановился.

Наказание № 2

Улица Мамакаева в Автурах идет вдоль реки Хулхулау. 16 декабря с раннего утра сюда пришли ДОНцы. Они шли вдоль улицы, не пропуская ни одного дома, и корежили все. На сей раз они не желали грабить — они просто хотели отомстить. И отлично справились с поставленной задачей.

У Эммы Дудаевой (она — одна из тех, кто рискнул и написал заявление в прокуратуру по поводу событий 26 ноября, когда у нее утащили ВСЕ одеяла, ВСЕ полотенца, ВСЮ новую посуду, ВСЕ шесть стульев и пылесос) — так вот, 16 декабря в доме Дудаевых докрушили все то, что осталось.

Иду по ДОНским следам. Следующий дом — 127-й, здесь жила семья Магомадовых. — Я решил ничего не убирать. Все, конец, — говорит хозяин Мухаддин Магомадов. — Это третий погром за осень.

У Мухаддина разбили ВСЕ табуретки, раскрошили на мелкие части магнитофон. Зачем? Уж лучше бы унесли с собой. У Шерипа Садуева (следующий дом) БТРом снесли туалет и очень смеялись. У него же — стреляли по трубе печки-буржуйки, и теперь она вся в дырках и тепла в доме нет. Как и денег, чтобы купить следующую буржуйку.

— Уйдем мы отсюда. Нет больше сил, — говорит Шерип, тракторист госхоза «Автуринский». — Сходите к Сангараевым. Кто на такое способен?

Дом Сангараевых. Глава семейства тяжело болен — у него опухоль мозга. Чтобы жить без болей, ему нужны очень дорогие препараты. Женщины умоляли подкативших на БТРе № 331 с пометкой «ВВ»: «Не хватайте наши золотые украшения. Мы их постепенно продаем и покупаем отцу уколы...» Содрали с женщин все.

Наказание № 3

Мы сидим в доме, случайно не превращенном в пепел. Это придает стенам мистическую загадочность, но не спасает от холода. В Автурах нет света и газа ни для кого, даже для главы сельской администрации Ибрагима Умпашаева. Он — нервный, плохо слышащий человек. Ему всего 46 лет, а выглядит он на 60. Он рассказывает вещи страшные и предательские. Рядом слушают два сына-подростка.

— За мной идет настоящая охота, — говорит Ибрагим. — За то, что противодействую этому беззаконию. Причем охота с двух сторон.

Ибрагим, заметьте, говорит словами прокуроров Рудых и Бердиева. И эти слова ему также дали с боями. Как-то ночью в Автуры вошел отряд боевиков численностью около 50 человек. Первым делом они ринулись в дом Ибрагима. Нурди, 9-летнего сына Ибрагима, — он сейчас сидит рядом с отцом — долго били прикладами, потом затащили в комнату, заперли и начали поджигать дом вместе с Нурди. Жена Ибрагима, у которой еще четверо детей, сказала: «Делайте, что хотите, но я останусь с сыном. Поджигайте нас вместе». Только чудом они уцелели — их спас случай, и больше ничего.

— Я той ночью плакал по рации, — рассказывает Ибрагим, но сейчас он не плачет. — Передавал в эфир: «Нас атакуют силы, в 17—20 раз превосходящие... Прошу помощи... Прошу помощи... Боеприпасами или живой силой...» Военные мне ответили один раз: «Плохо слышим тебя». И отключились. Той ночью погиб, защищая село и убив нескольких боевиков, заместитель начальника поселкового милицейского отдела старший лейтенант Шарпудин Закриев, оперуполномоченный уголовного розыска Хамбулат Эмиев. Геройски погибли, я просил их посмертно наградить — ни ответа, ни привета.

Трое суток боевики были в Автурах. Ходили по улицам: автуринцы-боевики — в масках, остальные — даже без масок. Среди них было много русских парней, не знавших почеченски. И все трое суток ни одно воинское подразделение (кроме ДОНа, это 50-й и 70-й артиллерийские полки, дислоцирующиеся поблизости) не вступило с ними в бой, не попыталось выбить их из села, а все блок-посты (там обычно иркутские милиционеры и ДОНцы) оказались просто сняты. Через трое суток боевики просто ушли, откуда пришли — из леса и гор восточнее села, полностью сегодня оголенного. (Посты сняты и сейчас, сколько не кричит об этом Ибрагим.)

А войска вышли из укрытий, только когда боевики покинули село.

— Как это истолковать? — произносит Ибрагим. — Что мы — на другой планете? И за нами нет страны? Мы здесь защищаем сами себя. От тех и от этих. От всех. В Чечне теперь — ни Ичкерии, ни России. А еще в Автурах мы понимаем так: НИ У КОГО НЕТ ИНТЕРЕСА ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ.

Генералы за КПП

Весь следующий световой чеченский день уходит на то, чтобы встретиться с генерал-майором Игорем Артекбаевым, командиром дивизии ДОН-2, и спросить, что же у него творится.

Худющий издерганный лейтенант, старший дивизионного мобильного КПП, стоит на дороге вместе с такими же грязными и голодными солдатами, греющимися у хилого костерка. Порядок понятен: ты должен подойти к КПП, предъявить документы, попросить связаться с оперативным дежурным и замполитом, изложить свои вопросы, те доложат генералу, и дальше машина закрутится. Быть может.

Лейтенант все делает так, как положено. Лейтенант старается, чтобы замполит дивизии доложил генералу Артекбаеву. Лейтенанту самому интересно, что ответит генерал. Но идут часы, и лейтенант в конце концов извиняется: «командование» передало по рации, что, «если она хочет задать вопросы, пусть идет вперед, к нам, сюда, прямо ПО МИННОМУ ПОЛЮ».

Спасибо, конечно, за откровенность. Но так не думает Абу Мусаев, региональный шалинский представитель Владимира Каламанова (спецпредставителя президента по соблюдению прав человека в Чечне), этот 57-летний подполковник милиции в отставке, всю свою жизнь проработавший тут, в Шали. Он умоляет уходить отсюда, с КПП, и как

можно скорее. Заданным вопросам, им цена — жизнь. Так считает Абу. Впрочем, так тут считают все, у кого нет погон и «калашниковых», кто просто хочет жить в мире и закончить войну.

Кто погибает?

В пятницу, 7 декабря, Ризван Лорсанов, известнейший в Чечне человек, в доме которого в Новых Атагах, неподалеку от Шали, собственно, и шли те самые переговоры Масхадова и генерала Лебеда, позже завершившиеся тем, что называется Хасавюртовским миром 1996 года, так вот, 7 декабря 2001 года Ризван выехал из Новых Атагов на своей «Ниве» и сказал, что отправляется в Ханкалу, на главную военную базу Объединенной группировки. В последние месяцы Ризван понемногу входил в переговорный процесс, известный миру как «контакты Закаева от имени Масхадова и Казанцева от имени Путина». Переговоры не клеились, но к началу декабря Ризван успел встретиться с командующим Северо-Кавказским военным округом Геннадием Трошевым и президентом Ичкерии Асланом Масхадовым. Сегодня, после свершившейся трагедии, родственники уверены: Ризван только слегка двинул эти два трудных персонажа военно-чеченской новейшей истории навстречу друг к другу... Но 7 декабря уже наступило. Ближе к полудню, когда «Нива» Ризвана, прекрасно известная на ближайших блокпостах, катилась мимо здания бывшего Шалинского психоневрологического интерната, к ней вдруг «пристал» БТР с тщательно замазанными грязью номерами. Он прижал «Ниву» и заставил остановиться. Люди видели, как Ризван размахивал руками и что-то спрашивал. Потом все расселись по своим транспортным средствам и отъехали в сторонку. И вскоре раздался взрыв.

Никто точно не знает, что произошло. Ясно только одно: пока Ризван и двое его спутников отвернулись от «Нивы» и оказались к ней спиной, кто-то подцепил к днищу взрывное устройство, и не успела «Нива» отъехать, нажали на пульт дистанционного управления. Все. Тела погибших нашли не сразу. Да, собственно, более или менее уцелело только тело Ризвана — остальных разнесло до полной неопознаваемости.

Ильяс Лорсанов, младший брат Ризвана, говорит, что Ризван еще ничего особенного не успел сделать для новых мирных переговоров. Однако современная история чеченской войны-мира навсегда теперь останется с таким «пятном»: Ризвана Лорсанова, одного из лучших представителей своего народа, того, кто действительно мог способствовать РЕАЛЬНЫМ мирным переговорам, подло взорвали уже только на подступах к ним. А как же БТР-убийца с замазанными номерами? Это «лицо № 1» сегодняшнего чеченского беспредела? Спокойно «прочавкал» по чеченской грязи в сторону Мескер-Юрта.

Кто выживает...

Бандит без погон, терроризирующий райцентр Шали и прилегающие села на паях с федералами, всем известен. Это Джамдула — 24-летний эмир Шамсутдин Эльсултанов, сам родом из Шали, его тут каждая собака знает. На счету банды Джамдулы — «неотраженное» федералами осеннее нападение на Автуры, Сержень-Юрт и Шали. Именно его люди вырезали и вырезают чеченских милиционеров, сотрудников районных и сельских администраций, да и всех, кого хотят.

Нынешней осенью Джамдулу наконец арестовали — силами Шалинского районного отдела ФСБ. Казалось, удача! Район зажил бы совсем по-другому: сел бы Джамдула, его банда вскоре разбежалась бы. Но дальше было так: за 90 тысяч рублей и 5 автоматов, при посредничестве бывшего радуевского бойца Имрана Байсарова, ныне беспрепятственно входящего-выходящего из Шалинского ФСБ, Джамдулу просто-напросто выкупили из этой райФСБ. И Джамдула ушел в лес. И в Шали все покатилося по-прежнему. Блокпосты попросту запираются изнутри, как только на большую дорогу выходят люди Джамдулы.

Надеетесь, исключение? Но то же самое — как по нотам — случилось и с «правой рукой» Джамдулы — бандюгой из бандюг Шамсудином Сапиевым. И с эмиром Такаевым из Дуба-Юрта (тоже выкуплен) — ближайшим человеком Хаттаба. За то, чтобы ЭТИ были живы, сегодня мертвы Тимур Исмаилов из Автуров. И Ризван Лорсанов из Новых Атагов. И ждут нападения — со всех сторон, и со спины, от «своих» — прокуроры Рудых и Бердиев.

Светланочка, Светланочка...

...Пора прощаться. В кабинете шалинских прокуроров совсем уж чеченская ночь — где-то семь вечера. Надо искать угол на ночь, чтобы надежнее схорониться до утра. Мы тоскливо смотрим на груды награбленного, этот «пик коммунизма», и нам противно. Разрывается телефон. Марат поднимает трубку и передает ее Рудых. И прокурор Рудых — тот самый прокурор Рудых, который ежесекундно ходит под пулями, летящими в него со всех сторон, — развернувшись спиной к нам и ко всему этому страшному шалинскому миру, начинает шептать в телефонную мембрану: «Светланочка, Светланочка... Обещаю тебе... Клянусь...»

Стыдно подслушивать. Но в чем же клянется бесстрашный и молодой прокурор Рудых? В любви?

«Светланочка, Светланочка... Будут у тебя деньги к Новому году. Я пошлю их тебе».¹⁴³

А. Бабицкий. На войне

Глава 1

Первая война. Дагестан. Начало Второй войны

В декабре 1994 года, когда российские войска вошли в Чечню, я, несмотря на то что в этот момент не работал журналистом, понял, что мне сложно жить так, будто ничего не происходит. Телевизионные картинки, демонстрировавшие бесконечные караваны бронетехники, которые вкатывались в незнакомую мне южную российскую республику, задевали меня лично.

Это было открытое, не имевшее никаких понятных объяснений насилие. Для меня было очевидно, что Россия выбирает свое будущее, что она по воле своих политиков ввязывается в скверную историю, которая будет, возможно, стоить ей недавно обретенной свободы.

Есть некий предел произвола для любой власти. Если она начинает беспорядочно убивать своих граждан, то это начало разрушения нравственных основ нормальной жизни, для меня неразрывным образом связанных с абсолютным признанием неприкосновенности любого человеческого существа. Его можно — и очень часто стоит — наказывать, но только по выверенным и неукоснительно соблюдаемым правилам, в которых заложено представление о достоинстве и свободе человека. Понятно, что война — это такое особенное, экстремальное состояние человеческих отношений, когда убивать необходимо, но по какому-то очень точному нравственному и юридическому расчету. Я не мог не поехать на Северный Кавказ, поскольку был уверен, что вот эта вот нерасчлененность, хаотичность смертоубийства очень быстро подведет черту под всеми надеждами на нормальное будущее. Я и сегодня окончательно не потерял надежду, что России суждено

143 <http://politkovskaya.novayagazeta.ru/pub/2001/2001-72.shtml>

стать свободной страной, где власть лишена возможности произвольно выбирать себе человеческие мишени.

В конце 1994 года Россия несколько месяцев снабжала чеченскую оппозицию оружием и деньгами, предполагая, что ее руками удастся сбросить Джохара Дудаева. В ноябре первая танковая колонна, которую ввели в Грозный люди вскормленного Москвой оппозиционера Умара Автурханова, была в одночасье разбита. После этого в Кремле было принято решение начинать военные действия.

Перед вводом войск российская авиация бомбила Грозный. Гибли люди, но российское руководство с удивительным упорством утверждало, что не знает, чьи самолеты бомбят город.

В начале войны чеченское ополчение было еще очень неопытным. В Грозный стекались толпы не умеющих воевать вооруженных крестьян. Первоначальные победы чеченцев в столице были достигнуты очень незначительными силами — две-три тысячи человек. Российские подразделения вошли в Грозный на бронетехнике, не зная города, не имея хороших карт, и двинулись по заранее намеченным маршрутам.

В городе бронетехника после изобретения фауст-патрона фактически не способна воевать: ее легко обстрелять с любой точки — из-за угла дома, из окна... Поскольку бронеколонне трудно развернуться, подбивают первую и последнюю машины, а потом расстреливают все остальные — техника сопротивления очень проста.

То, что министр обороны Грачев завел в город бронетехнику, несмотря на ноябрьское фиаско, свидетельствует о полной неспособности тогдашнего российского генералитета спланировать военную операцию. Все делалось наспех, без серьезного плана. Мне кажется, что официальные данные, которыми впоследствии оперировал Совет безопасности России и согласно которым за время первой чеченской войны погибло около ста тысяч человек, завышены. Но все равно можно говорить о том, что счет шел на десятки тысяч. В первую войну люди не умели предохраняться. Не покидали город во время массированных обстрелов, не спускались в подвалы. Еще сохранялись иллюзии, что это недоразумение, что авиация и артиллерия наносят точечные удары по конкретным объектам. Никто не предполагал, что войска начнут тотально разрушать жилые кварталы. Генерал Лев Рохлин начал сметать с лица земли все, что находилось на пути движения его подразделений. Первыми жертвами российской армии стали русские, которых в те годы в Чечне было очень много и которым в принципе некуда было идти.

Я попал на первую войну в начале февраля, когда бои в Грозном были уже практически завершены. Только в районе Черноречья оставались еще отряды Шамиля Басаева. Потом я стал работать на юге республики, в труднодоступных горных районах, где скрывались отряды сопротивления.

Первая война была похожа на грандиозный рыцарский турнир. Стороны еще не воспринимали друг друга как абсолютных противников — была еще жива память о жизни в едином государстве. Но первая война была жестокой по факту. Генерал Шаманов, отличившийся особой безжалостностью во время второй войны, в 1995 году, уже после мирных переговоров, начал снова захватывать чеченские села. Действовал он необычайно свирепо. В поселке Новогрозненский войска Шаманова разрушили треть или половину домов. Я помню, когда я тогда проезжал мимо по трассе Баку — Ростов, с дороги просматривалась деревня и ее как-то по-особому небрежно и демонстративно разрушенная окраина. Село Самашки было почти полностью — уже после первого захвата — уничтожено. Шамановские бойцы избивали, расстреливали и пытали местных жителей. Это было тяжелейшим шоком для чеченцев. Единичных случаев такого рода, конечно, было множество, но именно в Самашках истребление мирных жителей приобрело размах, ставший привычным во время второй войны.

Фильтрационные пункты появились еще на первой войне. Один из самых страшных был на территории Грозного — следственный изолятор, устроенный в бывшем автобусном предприятии ПАП-1.

После первой войны количество без вести пропавших чеченцев составило около полутора тысяч человек. Примерно столько же пропало и российских военнослужащих.

Надо полагать, что большинство чеченцев сгинуло именно в таких фильтрационных пунктах, где над людьми издевались, пытали их током, убивали — практика внесудебных казней процветала. На каждом блокпосту были ямы-тюрьмы. Возле селения Старые Атаги нас чуть было не посадили в такую яму, где уже сидели какие-то местные жители.

Военные называли такие импровизированные тюрьмы зинданами. Человек не может выбраться из глубокой ямы, его сбрасывают, а потом поднимают на веревках.

Федералы стали продавать захваченных ими чеченцев родственникам еще в первую войну, и в значительной степени именно эта практика подстегнула и сделала актуальным этот вид бизнеса. В крупных объемах торговали людьми и трупами именно российские военнослужащие, а чеченцы взяли это на вооружение только во второй половине войны, и то поначалу они захватывали своих, сотрудничавших с российскими властями.

В ту пору, да и во время второй чеченской войны одним из главных аргументов российской военной пропаганды были утверждения, что отряды чеченского сопротивления в основном сформированы из наемников. Эти заявления — полный вымысел. Немногочисленные иностранцы в отрядах сопротивления были не наемниками, а добровольцами, преимущественно из арабских стран. Общее их количество исчислялось десятками, может быть — сотня-две. Это не дает оснований говорить о том, что они сильно определяли действия сопротивления. В последние годы тему наемников успешно эксплуатирует российский президент, утверждающий, что Чечня стала плацдармом для международных террористов, угрожающих не только России, но и Западу. На самом деле роль иностранцев совсем невелика.

Я прожил в Чечне два военных года. В сентябре 1995-го я познакомился в Пятигорске со своей будущей женой Людмилой и взял ее с собой в Грозный. В Центральном загсе мы зарегистрировали брак. Здание было полуразрушено, стекла выбиты. Посреди пустой комнаты за столом сидела очень дорого и элегантно одетая женщина. Помню, как поразил нас ее ухоженный вид, контрастировавший с окружающей нищетой и разрухой. Она зарегистрировала наш брак, и мы поехали в грозненскую церковь, тоже разрушенную. В маленькой, недавно отстроенной часовенке нас обвенчали.

На следующий день мы выехали из Грозного в Пятигорск. Долго блуждали по дорогам, так что к Ингушетии подъехали уже к вечеру. Передвигаться приходилось с выключенными фарами, чтобы не попасть под обстрел. Я включал свет на несколько секунд, запоминал большой участок дороги и дальше двигался по памяти. Мы заплутали и вечером, когда уже начинался комендантский час, подъехали к блокпосту, где стояли совершенно пьяные омоновцы, державшие дорогу под прицелом. У меня были все документы, но омоновцев бумаги не интересовали. Они сказали, что закинут меня в яму, а Людмилу возьмут в землянку на ночь. Спасло нас в этой ситуации только вмешательство армейского офицера. Между армейскими и подразделениями МВД всегда были неприязненные отношения. На этот блокпост я незадолго до этого привозил солдатам письма от их родителей. Полковник узнал меня, и нас пропустили.

Ночь мы провели в Ачхой-Мартане, а на следующий день поехали в Серноводск, где начался антивоенный митинг, из-за которого милиция перекрыла дорогу в Ингушетию. Я объяснил на блокпосту, что я из Москвы, Люда из Пятигорска, мы вроде бы свои, и нам нужно в Россию. Но нас развернули самым невежливым способом: просто, не говоря ни слова, стали стрелять под ноги.

Так начался наш медовый месяц.

Телефильм ВВС «Война Бабицкого» открывается взрывом ракеты. История этого кадра такова.

В горах, в Ведено мы сидели в гостях у Ильяса Ахмадова — тогда адъютанта Масхадова, а ныне министра иностранных дел Чечни. На равнине всюду шла война. Мы пили кофе, и ракета ударила в правое крыло дома, где мы находились. Мы выскочили в коридор, я

включил видеокамеру. Послышался свист второй ракеты: звук был такой, словно она летит прямо в голову. Я снял ракету и ее взрыв буквально в пятнадцати метрах от себя. К счастью, она летела под углом, и поэтому осколки пошли в другую сторону. Через несколько минут разбомбили главный штаб сопротивления в Ведено, располагавшийся в здании бывшего техникума. Очевидцы рассказывали мне, что глубинная бомба прошла трехэтажное здание, как иголка, и взорвалась в подвале. Моя машина, стоявшая рядом, поднялась в воздух на три метра, упала, и ее завалило обломками.

Из репортерского дневника

12 августа 1999 года

Начало новой кавказской войне положено самыми незначительными силами, которыми руководят Басаев и Хаттаб. При тех ресурсах, которые есть у Басаева, ему не остается ничего иного, кроме как использовать досконально освоенную им тактику партизанской войны. На практике это означает войну набегами, войну из засады, войну, которая не будет иметь ни линии фронта, ни четко очерченного ареала. Война будет везде.

8 сентября

Боевая позиция возле небольшого дома на трассе Хасавьюрт — Герзель. Из-за непрекращающейся канонады хозяева дома съехали, оставив жилище под присмотр российских солдат. Сегодня утром они обнаружили, что дверь взломана и солдаты выносят ковры. На недовольство хозяев солдаты отреагировали традиционно: пообещали стереть хутор с лица земли.

Очень популярны разговоры о политической войне, заказной войне, коммерческой войне. Местные жители утверждают, что войска фактически не ведут боевых действий, дают боевикам свободно входить и уходить, а федеральные авиация и артиллерия заняты тем, что расстреливают дома местных жителей.

9 сентября

В Дагестан приехала депутат Государственной Думы Элла Памфилова. Тоже говорит, что это коммерческая война, поддержку которой оказывают московские олигархические группировки.

Уже на окраинах Хасавьюрта видны искры войны. Здесь толпятся люди, ожидающие беженцев из захваченных исламистами сел. Мы двинулись к селу Верхний Лачурдах. Над горами летают вертолеты, совсем рядом, в нескольких километрах — взрывы. Видно, как горят дома в селах Новолакского района.

У дороги в низине собрались местные ополченцы, готовые вместе с российскими войсками противостоять моджахедам. Неожиданно на дороге открывается отчаянная автоматная стрельба. Ополченцы бегут в заросли, не понимая, что происходит. Местные жители тоже не знают, кто стреляет. Говорят, что такое случается по нескольку раз в день. Сегодня в четыре утра выстрелом из орудия российской БМП разрушен дом черкеса Джабирова. Трое ранены, у одного оторвана рука. Всюду ощущение абсолютной беспорядочности, несогласованности действий военных.

Говорили с солдатами на передовой у села Ново-Кули.

— Нам нужны танки. Нужны танки, — монотонно повторяет мальчик в солдатской форме. От бэтээров никакого толку, они горят, как свечки.

У подразделений внутренних войск, воюющих у Новолакского, до начала боевых действий было два танка. Один подбили в первый же день, второй вскоре почти полностью вышел из строя. А три бронетранспортера сгорели.

— Из сорока человек разведроты, — спокойно, но заторможенно говорит паренек с темной косынкой на голове, — осталось десять. Остальные убиты или ранены.

— Дай бог, если в экипажах бронетранспортеров осталось три-четыре человека, — добавляет другой солдат.

Пятый день солдаты на сухом пайке. Денежное довольствие — 22 рубля 50 копеек в сутки.

Мимо нас проезжает БТР. Сверху на броне сидит офицер.

— Его же снайпер снимет, — говорит один из солдат.

— Обязательно снимет, — меланхолично замечает другой.

На окраине села Ново-Кули — передвижной госпиталь. Военнослужащие, у которых мы пытаемся узнать, что происходит, вступают в разговор неохотно.

— Раненых много?

— Много, — хмуро отвечает мальчик — срочник первого года службы.

— Сколько? Десять, двадцать, тридцать?

— Гораздо больше, — без всякого выражения говорит он.

И здесь срывается на хрип начальник санчасти:

— С начала боев не было столько раненых, сколько за последние два дня.

Пятеро военнослужащих ранены ударом с российского же вертолета, по ошибке обстрелявшего федеральные позиции.

— Мы вчера здесь говорили с ребятами... — подобострастно вступает в беседу корреспондентка столичной газеты.

— С кем вчера говорили — их, может, и в живых уже нет, — обрывает ее солдат.

В дагестанских боях проявилась одна из самых тяжелых болезней российской армии: неумение сконцентрировать силы и скоординировать действия подразделений. Всюду кошмарный хаос. Войска действовали несогласованно и из-за этого несли большие потери. Мы долгое время наблюдали за тем, как различные части, подчиняющиеся Министерству обороны и МВД, пытались взять сопку возле села Ново-Кули. Из-за несогласованности военных погибло много людей. Группа бойцов внутренних войск была обстреляна российскими вертолетами и потеряла больше половины личного состава. Люди гибли также из-за того, что в бой посылались старая, постоянно отказывавшая техника.

В первые после вторжения дни в «Независимой газете», владельцем которой был близкий к Кремлю в то время Борис Березовский, появилась статья, в которой говорилось, что российские спецслужбы заманили Басаева в Дагестан в результате точно и прекрасно спланированной операции, дающей России законную возможность начать войну в Чечне. В российской прессе появилась и расшифровка телефонного разговора Басаева с Березовским. Свидетельствую, что этот разговор — подлинный: в те дни Березовский часто говорил по телефону, скажем, с Удуговым.

Невозможно предположить, что российское население одобрило бы военные действия в Чечне, если бы в сентябре 1999 года не произошла серия терактов. В Москве и Волгодонске террористы взрывали жилые дома, погибли сотни людей. Это было тяжелейшим шоком для всей России, изменившим сознание страны. Моя жена много ночей подряд подтыкала детей одеялами на двухъярусной кровати, полагая, что если дом обрушится, одеяла смогут хоть как-то уберечь детей от гибели. И подобный психоз охватил всю Россию.

Теракты дали властям, обвинившим в этих преступлениях чеченцев, возможность полностью сменить интонацию в отношении Чечни. В этой истории до сих пор почти все остается неясным. В первые дни ответственность за взрывы взял на себя полевой командир Хаттаб, но потом отказался от своих слов. Понятно, что чеченцам теракты были невыгодны. Но ведь и поход в Дагестан тоже был им невыгоден. Похожие взрывы люди Хаттаба проводили в дагестанском городе Буйнакске. По делу о взрыве жилых домов в России в качестве обвиняемых проходит группа карачаевцев, обучавшихся в лагерях Хаттаба.

Для Хаттаба, уроженца Иордании и гражданина Саудовской Аравии, никогда не выезжавшего за пределы Северного Кавказа и плохо представляющего человеческий и военный потенциал России, эта страна была врагом, вполне соотносимым по

возможностям с чеченским сопротивлением. У Хаттаба или другого близкого ему по взглядам человека, ненавидящего Россию, вполне могла родиться идея о том, что на российской территории необходимо вести террористическую войну. Думаю, есть шанс на то, что взрывы были инициированы из Чечни, но шанс этот невелик: из этих терактов выросла новая российская власть, с их помощью Путин смог победить на выборах. Скорее всего, здесь была использована очень тонкая схема. Очевидные и прямые связи легко со временем обнаружить, и для таких масштабных бесчеловечных провокаций должны использоваться многослойные сценарии. Российские спецслужбы могли инфильтровать в лагерь Хаттаба некоторое количество людей, возможно, и не подозревавших о своей миссии. Трудно предположить, что ФСБ не ведала о готовящемся походе на Дагестан: о том, что рейд готовится, открыто говорили многие чеченские лидеры, знали об этом и в Дагестане и даже называли точную дату. Нет сомнения в том, что ФСБ сознательно дала отрядам Басаева возможность войти в Кадарскую зону. Чеченцы — не очень хорошие конспираторы, и если бы они разрабатывали планы террористической войны в России, то, уверен, об этом было бы известно российским спецслужбам. Инициатива действительно могла исходить из Чечни, но российские спецслужбы не поставили этой инициативе заслон, а, напротив, вполне осознанно дали ей развиваться.

События в Рязани, где жители одного из домов обнаружили в подвале мешки с взрывчаткой и ФСБ потом объявила, что это якобы была учебная тренировка, проверка бдительности, — отчасти подтверждают мою версию. Журналистское расследование «Новой газеты» доказало, что сотрудники Рязанского УФСБ ничего не знали о готовящихся учениях. А в одной из соседних воинских частей открыто хранился гексаген. Окончательного ответа пока нет ни у кого. Но я думаю, что даже если чеченцы и причастны к этим терактам, ответственность за них несет руководство ФСБ и руководство России: не знать о Дагестане и готовящихся взрывах оно не могло, да и не имело права. Российские войска вошли в Чечню в конце сентября 1999 года. Перед вторжением авиация вновь наносила удары по Грозному, Аргуну и горным районам республики.

Первым делом российское командование намеревалось разделить республику по Тереку на северную и южную части, поставить «санитарный кордон» и, не вступая в масштабные боевые действия, взять под контроль казачьи Наурский и Шелковской районы, традиционно лояльные России.

В первую войну войска совершенно беспрепятственно прошли через север Чечни. Но на этот раз первые серьезные бои произошли уже у станицы Червленая.

Чеченский боец, участвовавший в этом сражении, рассказывал мне, как на их позицию внезапно выкатился российский танк с хорошей активной защитой (танк укрывают взрывными шашками, и, когда попадает граната, происходит мини-взрыв, и ее отталкивает). Чеченцы попытались подбить танк из гранатомета. Первый, второй выстрел... Но у них ничего не выходило.

Неподалеку были позиции Хаттаба. Они связались с ним по радиации и пожаловались, что приехал танк, который невозможно подбить. Хаттаб прислал худенького корейца с каким-то странным прибором. Тот разложил аппаратуру, свинтил трубки, набрал что-то на компьютере — на экране появился танк. Кореец крикнул: «Аллаху акбар!», нажал кнопку — и от танка ничего не осталось. Потом на ломаном русском посланец Хаттаба спросил: — Еще техника есть?

Выяснив, что больше танков нет, он раскрутил трубки, покидал аппаратуру в ранец и, посвистывая, ушел.

В этой же станице произошел страшный случай. Водитель автобуса, у которого во время авиаобстрела погибли сын и дочь, взял автомат и расстрелял двенадцать русских — своих соседей. После этого односельчане привязали его к столбу на площади и забили камнями.

Я был в станице Шелковской сразу после того, как ее заняли российские войска. Говорят, что как только станицу начали обстреливать, чеченские бойцы сразу ее оставили.

— Они так бежали, аж пятки сверкали! — сказал мне местный русский дед. — Нечего было хвост на Россию поднимать.

Из репортерского дневника

27 сентября

Ежедневные бомбардировки Грозного. Четыре штурмовика атаковали школу в поселке Старая Сунжа. Восемь детей, выбежавших на улицу во время перемены, погибли. Тридцать ранены. Несколько домов в поселке полностью разрушены. Женщину с двумя детьми, прятавшихся в подвале, достали оттуда уже мертвыми. Пострадала местная больница, находившаяся напротив школы.

Не поддается пониманию то, что объектом бомбардировки стала школа. Боевиков здесь никогда не было, а ближайший военный объект — поселок Ханкала — находится в восьми километрах.

Совет безопасности Чечни под председательством Масхадова принял решение о мобилизации всего мужского населения от 17 лет.

28 сентября

В селах Замай-Юрт, Гелены, Мескеты и Ножай-Юрт разрушены почти все дома, но бомбардировки не прекращаются. Почти все помещения в Грозном, где разместили беженцев из этих сел, непригодны для жилья — нет света и воды. Мирные жители, решившие покинуть республику до лучших времен, направляются в Ингушетию. В Ингушетии уже 60 тысяч беженцев и еще столько же ждут на границе.

29 сентября

Утром российские штурмовики бомбили машиностроительный завод «Молот» в Аргуне. Бомбят нефтяные скважины и резервуары возле федеральной трассы «Кавказ», совхоз «Нефтяник» в пригороде Аргуна. После ракетных ударов по мосту закрылся рынок в центре Шали, и только самые отчаянные еще продолжают торговать картошкой, луком и помидорами.

1 октября

Отменены все аккредитации для военных корреспондентов. Бронетанковая колонна вошла на 10 км вглубь Наурского района. Префект района предупредил, что если продвижение колонны не будет остановлено, чеченские войска откроют огонь на поражение. В результате колонна отошла на пять километров.

7 октября

Граница Чечни и Северной Осетии. На этом направлении российские войска продвинулись вглубь территории Чечни на 25–30 км. Поля усеяны бронетехникой, сотни танков и бронемашин продолжают занимать позиции вдоль административной границы. На автобусах прибывают беженцы, их переправляют в Моздок.

8 октября

Станица Старогладовская. Сегодня сюда доставили гуманитарную помощь. Но местные жители больше нуждаются в другом.

— Попросите ваших генералов, чтобы не бомбили, — говорит пожилой чеченец Умар. — Наши дети весь месяц сидят в блиндажах и подвалах.

В прошлую войну почти все мужское население станицы воевало с русскими. На этот раз никто воевать не хочет.

— Тогда была другая война, — говорит сорокалетний Михаил. — В те годы мы воевали за независимость, теперь мы — такие же враги ваххабизма, как и русские. Мы тоже готовы воевать с исламистами, зачем же из нас делать врагов?

На днях в поле был убит семидесятилетний житель станицы, ехавший по полю на стареньком автомобиле.

В станице побывал генерал Трошев. Он сказал, что если сюда пустят боевиков — начнется обстрел.

Мы встретили псковских десантников, рассказавших о том, как на прошлой неделе армейские подразделения зашли в станицу Дубовская. Прошли совершенно спокойно, не обнаружив боевиков. После этого в станицу вошел ОМОН. Два подразделения друг друга не опознали, и между своими завязался жестокий бой. Много убитых и раненых.

Глава 2

Вторая война

В первую войну на то, чтобы пройти северную часть Чечни и окружить Грозный, российским войскам понадобился месяц. На этот раз дорога до чеченской столицы заняла больше двух. Несмотря на использование авиации и артиллерии, российские потери все равно были значительными. На многих участках без контактного боя продвинуться было невозможно.

Российский произвол возвращал чеченскому сопротивлению образ защитника человеческого достоинства и идеалов свободы. Сегодня сопротивление — единственный сдерживающий фактор, ограничивающий произвол. Не будь его, практика геноцида имела бы куда большие масштабы. Российские военные боятся вступать в серьезные конфликты с местным населением в селах, возле которых они остановились на длительный срок. В октябре 1999-го начались военные действия в Грозном. Я приехал в столицу Чечни в начале октября, встретился с Масхадовым, записал с ним большое интервью, потом снова вернулся в город — уже в середине месяца.

15 октября должно было состояться совещание полевых командиров.

В вечер перед началом совещания мы стояли во дворе, и вдруг раздался колоссальной силы взрыв. Очевидно, ракета «земля — земля» разделилась на ступени, три ступени упали возле штаба, где должно было проходить совещание, а еще одна отлетела к Центральному рынку в километре от нас. Было шесть часов вечера — время самой оживленной торговли.

Называли разные цифры погибших на рынке: от двухсот до трехсот человек. Мы сразу же поехали в Центральную больницу и застали кошмарную картину: привозили обрубки тел. На моих глазах умер ребенок.

Из репортерского дневника

16 октября

Еще две минуты назад человек был жив, он странно и тяжело ворочался на кафельном полу, куда его второпях небрежно кинули как безнадежного, которому уже не требуется уход. А сейчас он уже мертв — это определил врач, заглянув в зрачки. 9-я городская больница Грозного. Мертвый мальчик лет десяти, его вносит в палату мужчина. Зачем в больницу везут трупы? Те, кто привозит их сюда, не могут определить, жив человек или нет.

Сегодня утром мы побывали на рынке. Огромные, полутораметровые осколки ракеты. Целый квартал лоточков, будочек и навесов снесен взрывом. Погибло 137 человек, как утверждают грозненские власти. Несколько сотен ранено. Торговли нет, люди толпятся в разрушенной части рынка, ворочают осколки.

— Скажите там, в России, что пока хоть один чеченец живой — Северный Кавказ не станет русским, — кричит нам женщина.

27 октября

Грозный ликует. Вооруженные чеченцы не сомневаются, что на город движется федеральная группировка. Бой в городе — своего рода праздник для боевиков. В этих настроениях, конечно же, очень много от обычной кавказской бравады: чеченцы не понимают, что федералы будут действовать не так, как на прошлой войне, а начнут планомерно сносить до нуля квартал за кварталом.

28 октября

Российский самолет обстрелял колонну беженцев. Официальное объяснение таково: из «КамАЗа» по самолету стреляли из автомата. Пять погибших. Рассказывает свидетель: — Женщина там лежала, разделенная на два куска. Потом собрали ее в ящик и увезли.

5 ноября

В больницы Ингушетии ежедневно доставляют раненых мирных жителей из Чечни. Каждый день привозят 10–15 человек. Двенадцатилетнего Хусейна Ассаидхаджиева привез его отец. Они из Шали. У сына осколочное ранение: на одной ноге два перелома, сломана рука. Самолет бомбил дорогу, по которой ехала их машина.

Много пациентов, которых ждет глубокая инвалидность: оторванные конечности, раздробленные суставы... Врачи говорят, что федералы используют снаряды огромной разрушительной силы, приходится извлекать осколки 3 на 4 сантиметра.

— Утром мы пошли играть на полянке, — рассказывает 14-летний Юсуп Магомедов. — Нас было 22 человека, и все школьники — от второго класса до одиннадцатого. Ни с того ни с сего такой взрыв произошел! Я потерял сознание на несколько секунд и очнулся весь в крови. Все дети кричали: мама, мама! Я их не узнал: все были в крови.

Юсупу Магомедову российская бомба оторвала ноги. Восемь его товарищей погибли, четверо остались без ног, двое — без одной ноги.

Заведующая отделением больницы предсказывает: в районах, где идут такие бои, треть выживших останется инвалидами.

8 ноября

Горный аул Махкеты. Здесь происходит действие повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Российский самолет нанес ракетный удар по горному склону. Погиб пятнадцатилетний пастух, надежда семьи. Это лишь одна смерть из многих. В ауле и окрестностях за два месяца погибли уже 38 человек, более шестидесяти ранены.

9 ноября

Чечено-грузинская граница. Маленькое село Шатели, где живут 150 человек, забито беженцами. Грузинские пограничники получили приказ в Тбилиси не пропускать мужчин от 16 до 64 лет. Женщины тоже оседают в Шатели, потому что доехать до Тбилиси стоит 200 долларов. Дорога — шесть часов по обледеневшему горному перевалу.

15 ноября

Рассказывает Шамиль, беженец из Урус-Мартана:

— Город накрывают из всех видов оружия днем и ночью. Мы сидим в подвалах.

Убитых хороним наспех, прямо во дворе. По чеченским законам на похоронах обязательно должны присутствовать родственники, хоронить без родственников — почти святотатство и позор для тех, кто побоялся прийти. Но теперь на похороны приходят лишь те, кто живет в соседних домах. Из дома чуть подальше уже никто не придет: оповестить их о смерти близкого человека страшно и, похоже, уже не имеет смысла.

Шамиль стоит на ингушском посту «Адлер-20» в очереди на отправку в Чечню.

— Вернусь в Урус-Мартан, — говорит он.

— Не надо! — хватает его за рукав женщина, стоящая рядом. — Убьют ведь!

Он улыбается:

— Ничего, прорвемся.

У Шамиля остались в Урус-Мартане два брата, мать и дед. И, хотя выехавшие вчера и сегодня из этого города, оседланного генералом Шамановым, говорят, что ситуация — такая же страшная, как и несколько дней назад, Шамиль верит, что его родственники живы и он сможет их вывезти. Поэтому он смеется и болтает со знакомыми в очереди.

Другой чеченец в черной «Волге», в которой находятся еще три женщины, намеревается добраться до Гудермеса. Судя по расположению фронтов, сегодня это сделать невозможно, но чем черт не шутит — на войне возникают странные коридоры, сквозные дыры, через которые удастся попасть куда угодно.

В толпе беженцев, рвущихся в Чечню, русская старуха Таисия Васильевна. Заляпанное грязью пальто явно куплено еще в советские времена. Она плачет, просит, чтобы ее пропустили в Грозный, где осталась дочь. Мы пытаемся договориться с ингушскими омовцами, чтобы Таисию Васильевну посадили в автобус, но те отказываются:

— Нас разорвут другие беженцы. У всех свое горе, чужого никто знать не хочет.

17 ноября

Чеченское сопротивление далеко не так однородно, как кажется со стороны. Отношения между различными группами основаны на недоверии друг к другу, презрении и ненависти.

Простые ополченцы ненавидят ваххабитов. Ополченец Хаваж:

— У ваххабитов есть деньги и оружие, но они держатся особняком.

А ведь именно из-за них заварилась эта каша. После войны мы их всех под корень выведем, не будет этой заразы на чеченской земле.

Хаваж воевал на Сунженском хребте. Из окопов его группу выгнал не огонь федералов, а голод.

— Мы могли бы сидеть как угодно долго, но закончилась еда, а купить было не на что.

Денег нет ни на оружие, ни на патроны, ни тем более на лошадей.

Двести километров по горам отряд прошел за десять дней.

Об уровне недоверия между чеченцами говорит такой случай. Группа Хаважа вышла на позиции другого вооруженного отряда того же фронта и направления. Начался сильный артиллерийский обстрел, но местные не пустили пришлых в свой блиндаж отсидеться.

Чеченцы панически боятся, что их позиции будут помечены радиомаяками, по которым федералы их и обнаружат. Радиомаяки здесь, как и в прошлую войну, называют жучками.

— Мы друг друга знаем, не раз в штабе встречались, но все равно они нам не верят, — с недоумением говорит Хаваж.

19 ноября

Встреча с президентом Ингушетии Русланом Аушевым.

— С Чеченской Республикой можно разговаривать без этой крови.

Можно заключить договор, который не ущемлял бы интересов России.

О проблеме беженцев:

— Ведь у нас нет понятия, что человек должен утром горячей водой помыться, что он должен три раза в день питаться. На питание беженцев дают 15 рублей в день. Три рубля — хлеб. Можно на двенадцать рублей накормить? 20 рублей дают на содержание, из них 10 уходят на свет и газ. Вагоны пригнали разбитые, 1958 года выпуска. Отношение такое: да зачем они вообще нужны, эти чеченцы?

26 ноября

По Грозному работали боевые установки «Град» и «Ураган».

«Град» с полным боекомплектом поражает территорию в 6 гектаров, «Ураган» — в 16. Подобные артобстрелы будут вестись, чтобы заставить мирное население покинуть город. Действительно, после ночного удара из города потянулись беженцы. Они говорят, что подобного массированного обстрела никогда еще не было.

29 ноября

Федералы явно не решили, что делать с Грозным. Если будет штурм повторится ситуация 1994 года, когда чеченцы на улицах расстреливали танки из гранатометов. Очевидно, решено взять город в блокаду, как Ленинград во время Второй мировой, и медленно душить.

30 ноября

Село Самашки. Мало кто из местных жителей рискует днем выйти из дома. На окраине села, в здании школы, базируется сводный отряд милицейского спецназа, те 45 собровцев — «краповые береты», то есть люди, прошедшие самый сложный экзамен на профессиональную пригодность.

Школа со всех сторон окружена бетонными блоками, на которые в несколько рядов уложены мешки с песком.

— Пару раз, — рассказывает собровец, — мы во время перестрелки уложили несколько чеченцев. Через час-полтора приходят люди, просят отдать трупы. Ну, отдаем, что с ними делать.

Собровцы любят показывать гостям местное кладбище. На многих могилах — остроконечные пики с полумесяцем и черным флагом. Так хоронят шахидов — мусульман, погибших в бою с неверными.

На первой войне журналисты имели возможность передвигаться по Чечне на машине, объезжая блокпосты или как-то договариваясь с солдатами. В конце концов мы даже перестали брать обязательную аккредитацию от федеральной группировки войск.

На второй войне ездить на машине уже было невозможно.

Если ты оказывался на территории, еще не контролировавшейся российскими подразделениями, велика была вероятность, что машину расстреляют с воздуха. Кроме того, существовал абсолютный запрет на передвижение журналистов в зоне боевых действий. Да и сами журналисты боялись: в течение трех предвоенных лет они были объектом охоты со стороны чеченцев, занимавшихся торговлей людьми, и в первые месяцы боевых действий сохранялась инерция этого вируса. Еще свежа была память, что за журналиста можно было получить хорошие деньги.

Меня крайне раздражала шутка, которая чеченцам казалась страшно остроумной и которую приходилось слышать ежедневно по многу раз, — они все время приценивались и говорили: «За сколько тебя можно продать?». Как-то раз в Грозном я не выдержал и послал очередного шутника подальше. Он очень обиделся. Ему казалось, что, устанавливая высокую цену, он делает мне комплимент.

В ноябре дорога, связывавшая Чечню и Ингушетию, была полностью перекрыта. Без проводников и охранников передвигаться было крайне опасно, и в первые месяцы войны несколько журналистов были похищены.

Пресс-секретарь президента Чечни Майрбек Вачагаев организовывал для журналистов групповые поездки в Грозный под охраной, которые окрестили «масхадов-турами».

Получить аккредитацию в пресс-центре федеральной группировки было очень сложно, особенно иностранцам. Фрилансы западных изданий выдавали себя за корреспондентов российских газет. Мне, например, пришлось аккредитоваться от московской газеты «Время» и несколько раз удалось съездить с российскими военными в занятые ими села.

Иногда мы просто покупали водку, сигареты, продукты и договаривались с офицерами, которые разрешали нам пристроиться к уходящим в Чечню бронеколоннам.

Однажды таким образом мы попали на территорию российского артдивизиона, базировавшегося в девяти километрах от Грозного. Офицеры, приехавшие на «Урале» в Ингушетию за водкой, разрешили нам поехать с ними в Чечню.

Мы не предполагали, что дорога полностью разбита. Собственно, это была даже не дорога, а коллекция воронок разного диаметра и глубины. Один раз наша машина провалилась в воронку, поглотившую автомобиль целиком.

Военные предупредили нас, что если мы от них отстанем, нас непременно подстрелят. Они не шутили: это была мертвая территория, которую федералы еще полностью не контролировали. Потом кончилась даже эта дорога, и началось разбитое бронетехникой месиво из грязи. Когда я вернулся из этой поездки в Ингушетию, машину, покрытую слоем грязи сантиметров в десять, отказывались мыть на автомойках, и только одна чеченка, узнав, откуда мы вернулись, вздохнула:

— Родная земля... — и пошла к машине с тряпкой.

В тот день я впервые увидел, как разбивают Грозный, со стороны российских позиций. Как раз начался массированный обстрел чеченской столицы.

— Они там, в Грозном, смеются над нами, не хотят уходить, — сказал мне командир дивизиона. — Завтра посмотришь: будут меньше улыбаться.

Всю ночь по Грозному лупили «Грады», «Ураганы», дальнобойная артиллерия. Ощущение — чудовищное, особенно когда знаешь, что «Град» способен накрыть 16 гектаров на равнине. Кажется, что в городе после такого обстрела не должно остаться никого.

Рядом с этими пушками я испытал настоящую панику. Чувство такое, будто там, куда попадают снаряды, уничтожается все подчистую. В одно мгновение из сотен стволов с чудовищным свистом выходят реактивные снаряды: один, другой, третий, двадцать восьмой... В небе замирает красноватое мерцание.

— Как красиво! — говорят артиллеристы.

Через несколько секунд видны сполохи взрывов в городе.

Артиллеристы, с которыми я разговаривал, не видели ни одного чеченца.

— Да там в основном наркоманы, — говорил мне солдат про своих противников. — Дадут им там накуриться чего-нибудь или ширнуться, скажут: «Аллах с вами!» — ну, те и идут.

Солдаты сомневались, что война быстро закончится.

— Надо всю Чечню разбомбить, мирное население выгнать, и чтоб на каждые десять метров были солдаты. А еще лучше — атомную бомбу туда. Всех замочить, вот война бы и закончилась.

Меня обвиняли в том, что я работаю только на чеченской стороне. Это неправда: много раз бывал и на российских позициях. Другое дело, что работать с военными было намного сложнее. Как только мы съездили в Грозный в октябре 1999 года и передали репортажи о бомбардировке городского рынка и сотнях погибших, нас тут же лишили аккредитации.

Маше Эйсмонт, корреспонденту агентства «Рейтер», удалось пробиться к командующему российской группировки генералу Казанцеву. На каком-то банкете во Владикавказе он аккредитацию восстановил. Но когда мы съездили в Грозный еще раз, мы лишились аккредитации окончательно. Пришлось пойти на хитрость. Мой приятель сканировал бланк аккредитации, у нас получились точные копии, и всем желающим западным корреспондентам, которые не могли ездить в зону военных действий, мы выписывали разрешение прямо в холле гостиницы «Асса»: мы открыли собственный пресс-центр. Я помню, что Маша замечательно поддельвала подпись замкомандующего федеральной группировки Баранова, отличить бумаги от настоящих было невозможно.

Из репортерского дневника

2 декабря, Серноводск

Бывший курорт не в состоянии обзавестись собственной администрацией: найти желающих работать на русских невозможно. Люди, чьи дома солдаты беззастенчиво грабят каждый день, полны слепой ненависти.

52-летний сварщик рассказывает, как военнослужащие проводили у него обыск: — Зашли они ко мне все пьяные, с оружием. «Документы есть?». Я показал документы. «Дети твои?» — «Да, мои». Весь дом перевернули вверх дном. И начали стрелять. Всё расстреляли: люстры, двери, окна... Подходят и говорят: «Давай нам хлеба, давай барана, давай индюка». Что это за войска такие? Я раньше сам служил в Нижнем Тагиле в ракетных войсках, отец мой воевал. За что он воевал, зачем я служил? После того, что творит российская армия, я не хочу жить в России».

У соседа во дворе лежат трупы животных: после первых обстрелов жители Серноводска бежали из села, и коровы через некоторое время пали от голода. Теперь разлагающиеся трупы пропитывают почву ядом.

3 декабря, станица Слепцовская

Побывал в больнице, в которую привезли раненых из Чечни. В девять утра колонна беженцев — семь легковых автомобилей и автобус — выехала из Грозного под белыми флагами. Через пять километров — блокпост у села Гойты. К колонне подошли люди в масках и полевой форме и стали расстреливать ее в упор. От выстрела взорвался бензобак автобуса, и все, кто там находился, сгорели заживо. Только одна машина «Нива», на которой ехали беженка Таиса Айдамирова и ее родственники, сумела выбраться из пекла. Солдаты, расстрелявшие колонну, подошли и, выяснив, что в живых осталось всего семь человек, стали почему-то оказывать им первую помощь — перевязывать раны и колоть промедол.

5 декабря

Со вчерашнего дня вертолеты разбрасывают над Грозным листовки: тот, кто не покинет город до субботы, будет считаться террористом, то есть будет уничтожен.

Конечно, все равно еще много мирных жителей останется. Старики не хотят уходить — даже не из-за беспомощности, а в силу убеждения: мы здесь родились, здесь жили, здесь и умрем. Да и как выйти из города, который непрерывно бомбят?

Беженка Хадижа Энгиева рассказывает, что она пыталась уговорить своих соседей, русских стариков, выехать вместе с ней, даже готова была оплатить им проезд. Они наотрез отказались: «В Ингушетии принимают только чеченцев, а русских — нет». Такие у них представления о том, что происходит за пределами Чечни.

6 декабря

Ночью шли несколько часов вдоль федеральных позиций. Позиции окружены машинами с прожекторами и включенными фарами — федералы боятся нападения. Огромные колонны, растянувшиеся на сотни метров и ярко освещенные, напоминают Кутузовский проспект в Москве. Поскольку работают двигатели, подающие энергию на все осветительные приборы, солдаты, естественно, не слышат, как мимо их позиций ходят вооруженные чеченцы.

7 декабря, село Катыр-Юрт

Сегодня сюда буквально доползли по руслу реки пять женщин из Алхан-Юрта. Они говорят, что в селе множество убитых, поскольку федералы несколько дней забрасывали подвалы гранатами. Трупы лежат на улицах и в подвалах, похоронить их невозможно. Солдаты хватали людей и возили их на броне, чтобы никто не выстрелил в машину.

10 декабря

В Грозном остаются до 15 тысяч мирных жителей, в основном русских.

Сегодня чеченский отряд на окраине города атаковал федералов. Погибло, по данным чеченцев, около пятидесяти российских военных, подбито до десяти бронемашин. В ноябре все дороги в Чечню были перекрыты, республика окружена войсками, и я постоянно искал людей, которые могли бы провести меня в республику нелегально. Недели три я сидел в Ингушетии, и наконец в самом начале декабря ко мне прямо на улице подошел человек и сослался на общих знакомых. Он сказал, что может помочь. Попросил при этом довольно значительные деньги — около двухсот долларов в день. Я согласился сразу, хотя, конечно же, это была авантюра. Взял с собой корреспондента «Рейтер» Марию Эйсмонт и Юрия Багрова, работавшего на «Ассошиэйтед Пресс». У нас были фальшивые справки о том, что мы чеченцы. У меня были документы на имя Чебышева Руслана Магомедовича.

Мы отправились в Чечню пешком. Шли вдоль российских позиций. До Грозного добирались дней десять, в основном ночами. Прошли около двухсот километров. Это была чудовищная дорога. Один раз мы шли подряд 12 часов. При этом двигаться приходилось не только по равнине: недалеко от Грозного мы сделали большой крюк и пошли через горы.

Мы передвигались из села в село, и наш проводник Хамид повсюду искал людей, связанных с сопротивлением. В селе Гехи он неожиданно купил у сотрудников пророссийской милиции Беслана Гантамирова ручной пулемет «Красавчик». Цены на оружие во время войны сильно упали, и пулемет, который прежде стоил больше тысячи долларов, сейчас обошелся всего в 400. Хамид хотел передать его своим друзьям, воюющим в Грозном.

Покупка производилась очень странно: Хамид подsunул под ворота деньги, а ему оттуда пропихнули пулемет.

В этот момент на короткий отрезок пути у нас оказалась машина.

Хамид положил пулемет на заднее сиденье и нас посадил сверху. Для нас покупка оружия была полной неожиданностью. Это был очень сложный момент. Маша Эйсмонт считала, что мы по соображениям профессиональной этики не можем быть связаны с вооруженными людьми. Но, во-первых, в тот момент мы ничего не могли сделать, а во-вторых, потом я для себя окончательно решил, что признаю за чеченцами право на вооруженное сопротивление в рамках необходимой обороны.

У Хамида была договоренность с ближайшим блокпостом, что солдаты, которым была обещана водка и сигареты, нас пропустят, не досматривая.

Мы подъехали к блокпосту, но оказалось, что там идет проверка: на бронетранспортере приехали сотрудники ФСБ и осматривают весь транспорт. Было ясно, что если у нас обнаружат этот пулемет, то расстреляют — либо сразу, либо сначала подвергнут пыткам. Глядя на нас, Маша Эйсмонт печально сказала:

— Мне-то есть что им предложить, думаю, меня сразу не убьют. А у вас шансов нет.

Развернуться и уехать на виду у блокпоста мы не могли, поскольку сразу же привлекли бы к себе внимание. Мы решили пропускать стоявшие за нами машины. Но делать это бесконечно тоже было невозможно. Я помню, мы оцепенели от страха, не хватало даже воздуха для дыхания. Ситуация казалась безвыходной.

Прошел час, полтора. Проверка продолжалась.

И вдруг на блокпост опустился туман. Густой настолько, что в пяти метрах ничего не было видно. Тут же подскочил Хамид, вытащил пулемет и бросил его в кусты.

Мы уже могли ехать, но, разумеется, тщательная проверка ФСБ определила бы, что у нас фальшивые документы.

Подошла наша очередь. И в этот момент БТР, на котором приехали эфэсбэшники, развернулся и уехал с блокпоста.

К нам тут же выскочила веселая, расхристанная, пьяная компания.

Два солдата и офицер забрали водку и сигареты и даже подтолкнули нашу ветхую машину. Не таясь, Хамид забрал из кустов пулемет, кинул его в машину, мы поехали — и через пятьдесят метров туман кончился. Туман чудесным образом накрыл именно блокпост...

Глава 3

В осажденном Грозном

Мне часто приходилось проходить через российские позиции. В каждом селе к нам присоединялась группа чеченцев: поодиночке идти оборонять столицу сельчане или опасались, или ленились, а тут представилась возможность отправиться в Грозный большой и веселой компанией. Вышли мы из Ингушетии вчетвером, а входили в Грозный уже группой человек в сто.

Между нами и солдатами, охраняющими блокпосты, установился «паритет взаимного страха». Понятно, что такая большая группа не могла проходить незамеченной, но солдатам, ночевавшим в землянках возле постов, вступать в бой с появившимся среди ночи отрядом совершенно не хотелось.

Сложнее всего было проезжать мимо российских позиций на машине, когда нам ее удавалось достать. Если бы начали обстреливать — выбраться мы уже не смогли бы. Как-то раз, когда машина увязла в грязи и водитель принялся буксовать со страшным шумом, у Маши Эйсмонт не выдержали нервы. Она выскочила из салона, у нее тут же увязли галоши, и Маша километра полтора добиралась по дороге до ближайшего селения босиком.

В Грозный группа входила почти свободно, хотя физически все были крайне измотаны. Вся жизнь в столице Чечни ушла под землю. Люди жили в подвалах, встретить человека на улице было крайне сложно. Единственным местом, где днем появлялись люди, был маленький рынок в Старой Сунже.

Точное число мирных жителей, оставшихся в Грозном, определить было невозможно. Чеченцы говорили, что осталось до 50 тысяч. По моим подсчетам, скорее было от 15 до 30 тысяч. Значительную часть составляли русские, у которых не было возможности уехать. Прежде всего было непонятно, куда идти. Город бомбили с утра до вечера, и ориентироваться в руинах было очень сложно. Гуманитарные коридоры для беженцев, якобы открытые российским командованием, на самом деле не работали. Очень велика была опасность, что колонну обстреляют. Старикам многокилометровая дорога под обстрелом была не под силу. Кроме того, нужны были деньги, чтобы проехать до лагерей беженцев в Ингушетии, а у большинства русских не было ни копейки.

Возглавлял оборону Грозного Асланбек Исмаилов. Он поселил нас в центре города и предоставил охрану. Ходить по Грозному без охраны было по-прежнему опасно: ваххабиты воспринимали журналистов как товар или посланцев неверных.

Из репортерского дневника

13 декабря

Для беженцев из Грозного открыты два коридора — один через Первомайское, другой через Черноречье. Массированный авиаобстрел прекратился. Беженцы выходят неохотно, малыми группами, потому что в предыдущие дни коридор, который якобы был открыт, бомбили.

Нам рассказывали, что с позиций бегут ваххабиты, оборонявшие Урус-Мартановский район.

15 декабря

Сколько необходимо железа, сколько снарядов, чтобы попасть в каждый дом, в каждое окно, в каждый подвал? Чеченцам еще хватит подвалов и каменных стен, чтобы в них скрываться и стрелять.

Были на улице, где осталось двадцать жителей. На другой остались только трое. Старики, женщины, дети... Причины оставаться у всех разные, но выходить никто не намерен. Живут категориями прошлой жизни: говорят, что им не платят пенсии, что нет денег купить билет на автобус. Они даже не понимают, что приговорены.

16 декабря

Бои в поселке Мичурина и Ханкале. Чеченцы говорят, что в бою за площадь Минутка прошлой ночью убито около ста федералов. Я видел около восьмидесяти трупов. Мэр Грозного Леча Дудаев утверждает, что в городе осталось до ста тысяч мирных жителей. Мне кажется, эта цифра сильно завышена.

18 декабря

Штурм города продолжается седьмой день. Сегодня с утра был бой в районе 56-го участка. К одиннадцати утра российский штурм был отбит. В окопах и лесополосе лежат трупы. Снайпер, выстрелы которого стоили жизни двум чеченцам, лежит с перерезанным горлом, из раны вытянут язык.

Пока мы ходили по позициям, начался сильный обстрел. Мы заблудились и случайно наткнулись на мирных людей. В каждом дворе по несколько человек, в основном русские. Лидия Безрукова — ей 75 лет, в Грозном живет с 1971 года, уезжать никуда не собирается и не боится того, что происходит. Дома, в которых живут люди, стоят в ста пятидесяти метрах от линии фронта.

Сегодня утром чеченцы захватили танк и подбили БМП. Федералы пытаются оттащить разбитую боевую технику на буксире, чтобы не оставлять на поле боя приметы штурма.

20 декабря

Вооруженные чеченцы спокойно входят и выходят из Грозного, минуя российские позиции. Мы прошли в пятидесяти метрах от российских бронемашин, но нас не заметили.

21 декабря

Говорят о тяжелых потерях российского десанта, высадившегося неделю назад в пяти километрах от границы с Грузией. Убито до ста человек. На границе оставалось около трехсот чеченских беженцев, что с ними стало — неизвестно.

Интересно, что чеченцы ассоциируют себя с советскими солдатами времен Второй мировой войны, а российских военнослужащих — иногда в шутку, иногда всерьез — с немцами. Ночью мы пробирались мимо российских позиций, и чеченцы передавали: «Тихо, рядом фашисты».

Очень популярна фигура Путина. В подвале главного штаба сопротивления висит полупризывная-полувопросительная надпись: «Путин, где ты?». По Грозному ездит машина, сконструированная каким-то умельцем из бог знает каких деталей, на ветровом стекле — надпись: «Меняю на Путина». Чеченцы изобрели новое ругательство: посылают теперь к путиной матери.

Выходили из Грозного ночью, через большое поле между позициями противников. Слева были российские подразделения, справа — чеченские, и мы шли по тропке прямо посередине во время интенсивной перестрелки. Через каждые пять шагов мы падали и вжимались в землю, укрываясь от осколков.

К счастью, в Алхазурове нашли машину и вернулись в Ингушетию, давая взятки на блокпостах.

В те дни российская пропаганда утверждала, что в Грозном не ведутся боевые действия и все мирные жители покинули город. Сообщалось и о том, что большинство районов Грозного уже перешло под российский контроль. На самом деле они оставались в руках сопротивления.

Маша Эйсмонт сообщала в своих корреспонденциях для «Reuters» о боях в центре города, на площади Минутка, о тысячах мирных жителей. Путину на всех международных конференциях приходилось оправдываться и опровергать эти сообщения.

Я привез из Грозного десять часов видеозаписи. Я снимал убитых российских военных, обстрел города, чеченских ополченцев, мирных жителей... Провозить видеоматериалы открыто было рискованно. Я заплатил летчикам самолета, летевшего в Москву из Владикавказа, они согласились спрятать пакет в кабине и передать его мне в Москве, за пределами зоны контроля. Пленки я отдал телекомпании НТВ, и мой большой сюжет был показан в аналитической программе «Итоги». Шла предвыборная кампания, в передаче участвовали кандидаты в президенты России Сергей Кириенко, Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский, которые обсуждали мои съемки.

Этот сюжет вызвал чудовищную реакцию. 27 декабря появилось заявление правительственного Росинформцентра, в котором говорилось, что ремесло репортера я готов сменить на ремесло палача в отрядах Хаттаба и Басаева, а радио «Свобода» вовлечено в войну против российских граждан на стороне бандитов и террористов. Все мои съемки были названы фальшивками.

28 декабря, на следующий день после заявления Росинформцентра, я вылетел в Ингушетию и 29-го с тем же проводником вновь поехал в Чечню. В машине мы спустились в водоканал, объезжая блокпост. Как-то в этот день к вечеру попали в Аргун. Там бросили машину и на следующий день на перекладных и пешком добрались до поселка Старая Сунжа на окраине Грозного.

Мы остановились у чеченского поэта Салмана — автора герба независимой Ичкерии: волк под луной. Нищий, больной и одинокий, Салман жил в маленьком сарайчике. В его «доме» я встретил 2000 год. А 2 января моему проводнику Хамиду удалось подкупить солдат, и я снова вернулся в Грозный.

Мы прошли километров пятнадцать до центра города, и здесь я впервые увидел неподалеку взрыв вакуумной бомбы. Зарево на полнеба, в воронку, казалось, стягивается все вокруг... Станным образом люди выживали даже в таких обстрелах.

Мой проводник, опасавшийся, что меня опознают ваххабиты, старался, чтобы я как можно более походил на чеченца.

Главного штаба уже не было на прежнем месте: чеченские полевые командиры постоянно перемещали его из одного места в другое. После того как они выбирали какой-то подвал, через некоторое время по нему наносились авиаудары. Очевидно, работали российские агенты. В руководстве сопротивления царила шпиономания — все думали, что в подвалы закидывают радиомаяки, по сигналу которых самолет определяет цель.

Как-то раз, ожидая Хамида, я зашел в крошечный почерневший от времени домик, где жила русская семья — пожилые супруги Вениамин и Таисия. Они были до смерти перепуганы: в городе резали русских. В многоквартирном доме, где я прожил два года, за месяц убили семь русских стариков. Всюду хозяйничали мародеры, которых называли индейцами. Были и ваххабитские группы, вырезавшие русских из ненависти.

Самой большой проблемой для стариков была вода. Водопровод уже давно не работал, и за ней нужно было ходить за многие километры. Во дворе у них стояло много ведер — на случай дождя.

Вениамин и Таисия плохо понимали, что происходит. Войну против чеченцев они еще как-то оправдывали, но их возмущало, что бомбы, убивающие чеченцев, точно так же убивали и русских. Они говорили, что русские солдаты хуже фашистов. Действительно, в XX веке мало городов разрушено так, как Грозный. Город часто сравнивали со Сталинградом.

Разумеется, все разговоры российских военных о точечных ударах были вымыслом.

Взрывалось все подряд, никакой логики в обстрелах не было.

И старики, которых я встретил, дошли уже до последней степени страха, превращающего человека в животное. Они боялись каждого шороха. Таких русских семей в Грозном оставалось очень много. Старики умирали от истощения. Они бродили по опустевшим домам и собирали все, чтобы не умереть от голода.

Из репортерского дневника

31 декабря

Люди в подвалах и полуразрушенных зданиях готовятся к Новому году. В мрачных квартирах, лишенных тепла, воды и электричества, даже появляются новогодние елки, которые каждый украшает чем может. Боевики шутят, что в уходящем году они точно не оставят Грозный.

2 января

Жители Грозного дошли до последней степени обнищания. Я видел, как ловят и едят голубей.

Тактика сопротивления — очень гибкая. Бойцы отходят там, где считают оборону бессмысленной, и снова заходят туда, где их не ожидают. Гора с телевышкой, господствующая над городом, несколько раз переходила из рук в руки. Отдельные мобильные группы российского спецназа совершают рейды в город, но встречают ожесточенное сопротивление и отходят назад.

В Старопромысловском районе ополчение Гантамирова потеряло несколько десятков человек. Российское командование не считает убитых гантамировцев российскими солдатами, хотя они и носят российскую форму, и не включает погибших ополченцев в сводки потерь: для русских генералов это всего лишь чеченцы.

3 января

По телеканалу «Ичкерия» каждый день выступает президент Масхадов. Он говорит, что боевой дух его сторонников высок и у защитников Грозного хватит боеприпасов. Телевидение работает на передвижных установках и имеет довольно широкий диапазон действия. С хорошими усиливающими антеннами телесигнал принимают даже в Ингушетии.

4 января

Чеченские бойцы пытались прорвать блокаду на юго-западе Грозного. Уничтожено два федеральных ремонтных батальона, несколько минометных точек, в плен взяты 60 российских солдат. Действиями чеченского подразделения руководит Шамиль Басаев.

5 января

Российская пропаганда утверждает, что в Грозном воюют в основном наемники — из Ливии, Иордании, Турции. На самом деле иностранцев очень мало. Более 90 % защитников Грозного — чеченцы, просто чеченцы из разных районов: горные и равнинные, они различаются по внешнему виду, речи и интонации. Со стороны может сложиться ощущение, что люди, которые собираются в один отряд, представляют разные народы.

6 января

Чеченцы отступили лишь на одном участке — в районе Катаямы на Старопромысловском шоссе. Федералы привезли в этот район на бронетранспортерах мирных жителей, и, чтобы не подвергать людей опасности, вооруженные чеченцы отступили. Но это очень

небольшой участок, фактически оборона Грозного сохраняется в тех же пределах, что и месяц назад.

8 января

Говорят, что объявлено рождественское перемирие. Но в самом центре Грозного, на площади Минутка, из самоходных артиллерийских орудий были обстреляны жилые массивы.

При этом использовался отравляющий газ на бензиновой основе. Все чеченцы были с противогазами, а у меня противогаза не было, я отравился и весь день себя плохо чувствовал. Первое время сложно дышать, перекрывает носоглотку, а под вечер появляется сильная боль в горле.

Российская пропаганда утверждает, что чеченцы сами взрывают какие-то резервуары с хлором. Но зачем им это делать?

9 января

Самоходные артиллерийские орудия и минометы в районе 56-го участка каждую ночь обстреливают центр города. Сегодня я пошел заряжать аккумуляторные батареи в подвал, где работает бензиновый двигатель, и попал под такой обстрел. Снаряды взрывались так близко, что меня и моего проводника засыпало осколками.

10 января

Чеченские подразделения ведут контрнаступление на других участках фронта, чтобы оттянуть российские силы от Грозного. Это им удастся. Очаговые столкновения прошли от Ингушетии до границы с Дагестаном, в Ачхой-Мартане и Гудермесе. Подразделения федералов отходят от столицы и спешат на помощь частям, попавшим в окружение в других районах Чечни. Линия фронта фактически оголена.

11 января

Чеченские отряды покинули Шали, забрав с собой раненых. Это больше похоже на временное отступление.

Российские военные не в состоянии привести данные об убитых или взятых в плен чеченцах. Генерал Казанцев требует более тщательной проверки беженцев. По его логике, все, кроме женщин, детей до 10 лет и древних стариков, автоматически подозреваются в участии в сопротивлении.

Российское командование ведет себя на редкость неумно: таким образом все мужчины от 10 до 60 лет действительно станут боевиками — у них просто не останется другого выхода.

12 января

Обстрелы Грозного становятся все интенсивнее. Район площади Минутка перепахан полностью.

Я был сегодня под самым сильным обстрелом за все время работы в Чечне — в районе поселка Алды на окраине города. Обстрел ведется с высоты, на которой расположена телевышка. Федералы явно готовятся к решающему штурму, но осада Грозного ослаблена из-за постоянных боев в других районах Чечни. В районах Старой Сунжи и 20-го участка снята вся бронетехника, по чеченским позициям ведут огонь два-три бронетранспортера и БМП.

Вся ситуация соткана из противоречий, из взаимоисключающих эпизодов, которые никак не вяжутся друг с другом. Тут нет никакой нормальной логики. Но, судя по интенсивности артподготовки, решающий штурм города все же планируется на ближайшие дни.

13 января

Вооруженные чеченцы не очень страдают от постоянных обстрелов, они научились хорошо прятаться. За последние дни им удалось подбить несколько бронетранспортеров. В основном от обстрелов гибнут мирные жители. Уровень потерь стабильный: от ста до двухсот человек по всему периоду города.

14 января

Город перекрывается все плотнее. Последний канал, по которому сюда привозили продукты, — Старая Сунжа — практически полностью заблокирован. Продукты на исходе.

Ситуация напоминает блокадный Ленинград. Сто долларов в городе уже не деньги, на них можно купить 8 бутылок подсолнечного масла. Пачка сигарет «Ява» на рыночках, которые стихийно возникают, исчезают во время обстрелов, а потом снова появляются где-то в другом месте, стоит 30–35 рублей, пачка сигарет «Прима» без фильтра — 20 рублей. И это не предел, цены бывают и выше.

В одном из районов во время вчерашнего обстрела завалило подвал, где находилось несколько десятков мирных жителей. Сколько погибших — неизвестно, завал сейчас разбирается.

Я видел машину, перевозящую трупы. Торчали две пары ног — в кроссовках и сапогах. Машины ездят даже в дневное время, при бомбежках и обстрелах.

15 января

У стариков презрение к смерти, но им невыносимо смотреть на мучения близких и друзей. Многие ждут смерти как избавления. Я говорил с русским стариком, которому накануне оторвало ногу осколком. У него ледяное равнодушие к боли. По интонации, голосу, тону разговора невозможно было определить, что он искалечен.

Я попал в отряд под командованием Хизира Хачукаева. С Хизиром или с кем-то из его бойцов мы часто ездили в окраинные поселки Алды и Черноречье. Хачукаев держал позиции возле республиканской больницы, которую несколько раз пытались штурмовать федералы. В Алдах оставалось очень много мирных жителей. Военный комендант района говорил мне, что 25 процентов населения осталось в поселке.

Не было продуктов, муки, дров, голодали даже животные. Я зашел в дом, где жил русский старик. Его кошка подошла и потерлась о мою ногу. Мне нечего было ей дать, я отломил кусочек от лежавшей на столе черствой буханки, и кошка накинулась на этот сухой хлеб. Последний оставшийся в городе госпиталь каждый раз переезжал на новое место из-за обстрелов. Туда привозили раненных бойцов, и российские самолеты — так называемые летающие лаборатории, определявшие места скопления людей, давали координаты для обстрела.

В полузатопленном грязном подвале при керосиновых лампах врачи умудрялись делать сложнейшие операции. Меня поразила одна из них: под мышкой у женщины была огромная дыра, и хирург извлек осколок рукой.

Врач говорил мне: эта война характерна тем, что осколки крупнее и величина ран гораздо больше.

Министр здравоохранения Чечни Умар Хамбиев сообщил мне, что за три месяца в Грозном были убиты около 20 тысяч человек, а самая большая проблема в том, что тяжелых больных, которым требуются сложные операции, невозможно вывезти из города. Мест в больнице было очень мало. Легкораненым оказывали первую помощь и отправляли по домам. Раненым было опасно оставаться в Грозном: федеральные военнослужащие считали, что все раненые — боевики. Хамбиев рассказывал, как в больницу в селе Беной, где он работал потом, несколько раз врываются солдаты и пытаются увезти всех раненых. Дозвониться в Москву было невероятно сложно. Иной раз я набирал номер пять часов в день, чтобы передать репортаж. Иногда мне удавалось соединиться на десять секунд, я произносил одну фразу, и из обрывков склеивали что-то вроде репортажа.

Я познакомился с молодым ваххабитом Хусейном, прежде занимавшимся бизнесом в Москве. Он уехал в Чечню за месяц до московских взрывов. Его приятель, полковник ФСБ, предупредил: «Уезжай. Скоро у чеченцев в Москве будут большие проблемы». Хусейн перевел все свои деньги в Германию, послал туда людей организовывать бизнес, а сам поехал в Чечню, купил оружие и начал воевать.

Это был интеллигентный, спокойный и приятный парень, меня удивляло, что он примкнул именно к ваххабитам. Я попросил его свести меня с ваххабитскими лидерами, и мы стали часто заходить в ваххабитские казармы, располагавшиеся в подвалах, общаться с бойцами.

Ваххабитов легко было опознать на улице: бороды, на шапках намотано множество зеленых лент с сурами из Корана, заправленные в носки брюки. Это очень понятный в России тип фанатичного комсомольца — люди, уверенные, что они вправе посредством насилия распространять правильный порядок жизни, навязывать окружающим ценности, в истинности которых они уверены. Думаю, что ваххабитское движение и подпитывается в значительной степени теми же идеями, что и большевизм, — идеями социальной справедливости и распределения. Эти ребята не пили, не курили, не сквернословили, старались воздерживаться от дурных поступков, но вместе с тем относились к людям другой веры как к человеческому мусору, чья жизнь ничего не стоит. Бизнес по похищению людей был до войны освоен именно ваххабитами. Они получали разрешение на захват заложников и торговлю ими от арабских религиозных учителей и своих командиров. Их слепая уверенность в собственном праве порой вызывала даже нечто вроде симпатии. С другой стороны, это были безжалостные подростки, и я понимал, что не будь у меня защиты и попади я к ним при других обстоятельствах — никакой жалости я бы у них не вызвал. Самой распространенной темой разговора у них было: как стать шахидом, погибнуть в бою и сразу же получить место в раю подле Аллаха.

Но вместе с тем в их словах и эмоциях было очень много юношеской бравлады. Однажды мы с Хусейном должны были подвезти куда-то трех пятнадцатилетних ваххабитов. Дороги были разбиты, и каждый день авиация намеренно разбивала их еще больше. Вдруг прямо перед нами за углом дома, мимо которого мы ехали, взорвалась одна из ступеней ракеты «земля — земля». Взрыв был колоссальной силы: дождь осколков в полнеба, земля ходила ходуном... Мы выскочили из машины и кинулись в ближайший подвал. Помню, как перепугались юные исламисты. Как котят, они забились в дальний угол подвала. Им было очень страшно, как самым обычным детям.

Я побывал на ваххабитском кладбище в Грозном. Там было 38 свежих могил. Обычно чеченцы развозят свои трупы по родовым кладбищам: человек должен, по их представлениям, быть похоронен там, где лежат его предки. Ваххабиты думают иначе: перед Аллахом все равны, и человека можно хоронить где угодно. Я был там ночью на похоронах двух ребят. Они ехали по городу под обстрелом, в их машину попала самонаводящаяся тепловая ракета, и они заживо сгорели.

Глава 4 Чернокозово

Я находился в Грозном уже две недели. В середине января 2000-го российские войска еще стояли на подступах к городу, избегая контактных боев. Я не видел особой необходимости оставаться в Грозном. Пока ситуация не менялась, но было ясно, что город обречен. Мой проводник Хамид, как обычно, подкупил водкой и сигаретами солдат на блокпосту в уже занятом федералами поселке Старая Сунжа, и мы миновали солдат без проблем — нас не осматривали и ни малейшего интереса к нам не проявили. Проходя по улице, мы натолкнулись на военных, которые сцеживали из своего бронетранспортера горючее и продавали местным жителям. Меня поразило, как изменилась атмосфера в поселке:

многие чеченцы на улице теперь предпочитали говорить по-русски. Это была демонстрация лояльности.

Мы вернулись в домик нашего приятеля поэта Салмана. Хамид пошел узнавать, как пройти через второй пост, а я стал колоть дрова. Через некоторое время Хамид вернулся и сказал, что договорился с полковником гантамировской милиции. Я собрал вещи, и мы пошли ко второму посту. Я думал, что и дальше все будет в порядке: где пешком, где на попутке мы доберемся до Аргуна.

Но когда мы проходили территорию блокпоста, один из омоновцев вдруг сказал: — Посмотри-ка внимательно, чтобы не было видеокассет.

Нас завели в дежурку. Это был каменный сарайчик вроде киоска или закрытой автобусной остановки. Внутри на корточках сидел жестоко избитый чеченец и что-то мычал разбитыми губами.

Омоновец приказал мне выложить все из карманов на стол. У меня в карманах были видеокассеты, и я стал лихорадочно думать, как бы отвлечь внимание. Начал постепенно выкладывать все, что у меня было в сумке: крем для обуви, мыло, книжки? Но он велел мне снять куртку и тут же наткнулся на кассеты.

Он позвал кого-то из охраны, и в этот момент я заметил, что Хамид, у которого под одеждой была спрятана моя видеокамера и телефон, резко разворачивается и уходит. Чтобы отвлечь внимание, я тут же сказал, что я журналист.

— Какой ты журналист!

Я вытащил документы, показал. В этот момент в дежурку вошел пьяный чеченский омоновец и начал орать:

— Ты снимаешь кровь боевиков, а мою кровь не снимаешь!? и ударил меня по лицу.

Заставили раздеться. На плече у меня был след от сумки.

— Ах, ты нес автомат!

След, правда, стал исчезать на их глазах. Но в моих вещах они обнаружили перчатку с двумя обрезанными пальцами. Я их обрезал, чтобы пользоваться на морозе видеокамерой, но такие же были и у боевиков: они обрезают пальцы на перчатках, чтобы нажимать на курок автомата.

Меня вывели из дежурки. Мои документы уже были в руках офицера, стоявшего у бронетранспортера. Завязали глаза, скрутили руки моим же ремнем и закинули на БТР — грудью на броню. Уже стояли морозы, а я был в драной куртке. Продумывая мой внешний вид, мы подыскивали такую одежду, чтобы я был похож на беженца: маленькая чеченская шапочка, тонкий свитер, калоши, подвязанные бечевой.

Обращались со мной, как с боевиком, уже приговоренным к смерти.

— Вот если бы ты вышел и сказал, что ты журналист, это одно дело, — сказал омоновец.?

А ты выполз, как крыса, ну, как крыса, и получишь.

Ехали мы около часа. Наконец БТР остановился, меня сдернули с брони и куда-то повели. С глаз сняли повязку. Я обнаружил, что нахожусь в армейской палатке, в центре которой стоит буржуйка, а рядом три составленных вместе стола. Я оказался на российской военной базе в Ханкале.

Вскоре вошел майор в очках. На нем как-то нелепо сидела офицерская шинель, он весь был какой-то неладный, с бабьей физиономией.

— Ты по паспорту таджик, воевал небось, сука! — подошел и тоже ударил меня по лицу.

Потом зашел еще один человек в форме и ударил меня вообще без всяких предисловий, просто от полноты жизни.

Через некоторое время в палатке появились два офицера посерьезнее, развязали мне руки и попросили показать на карте Грозного, где я был и где находятся расположения боевиков. Я объяснил, что не могу ориентироваться по карте, потому что город полностью разрушен, и назвал наобум несколько общеизвестных районов Грозного. Думаю, что если бы даже у меня выпытывали с пристрастием, где я был, то я не сумел бы указать

расположение этих домов: ориентироваться в однотипных развалинах действительно было невозможно.

Часа четыре я просидел в палатке. Потом пришел мужичок из армейской разведки.

Назвался Иваном.

— Сейчас пойдем на допрос к полковнику.

Мы вышли из палатки, и я обнаружил, что мы находимся на поле, сплошь на сотни метров заставленном бронетехникой, зенитными установками, военными грузовиками... Все это стояло, врытое по самое горло в чудовищную грязь. Когда идешь по такому полю, на обувь сразу налипают килограммы грязи.

Мы прошли к штабному грузовику, в кузове которого сидел пожилой офицер, похожий на столичного профессора: седовласый, в очках. Он представился Сергеем Андреевичем и сказал, что возглавляет армейскую разведку.

Он стал задавать те же нелепые вопросы, а потом спросил, зачем я вообще приехал в Чечню. Я объяснил, не вдаваясь в подробности, что считаю войну преступлением, на ней гибнет множество невинных людей, и мое дело — рассказывать правду. Мы разговаривали минут пятнадцать. Меня вывели, и я решил, что меня отведут переночевать в какую-нибудь солдатскую палатку, а потом отправят в Моздок.

Но Иван подвел меня к стоявшему тут же в поле автозаку — машине для перевозки заключенных с железными перегородками, нечто вроде камер. Меня положили на землю, я полчаса пролежал лицом вниз. Потом подняли, заставили раздеться догола, прощупали мои вещи, разрешили одеться и провели в автозак. Провести ночь мне предстояло в железной камере, на холоде, в полной темноте.

Я начал ощупывать стены и потолок и обнаружил, что выше моего роста все покрыто ледяной коркой. Я решил, что не сумею дожить до утра — замерзну.

Меня окликнули из соседней камеры автозака. Выяснилось, что там сидят трое чеченцев. Они сказали, что их сильно избивали.

Я улегся на узкую железную скамейку и натянул всю одежду на ноги и голову, пытаюсь соорудить нечто вроде мешка. И всю ночь растирался, приседал, отжимался — разгонял кровь. Очень мучило, что негде было справить нужду. На ботинках окоченели огромные куски снега и грязи, я их аккуратно отломил, помочился в них и отложил в сторону.

Наутро опять повели на допрос в штабную машину. Сергей Андреевич исчез, вместо него были какие-то молоденькие офицеры. Они потребовали, чтобы я написал, почему у меня с собой икона.

— Чего-то тебе наш полковник не доверяет, — задумчиво сказал Иван.

Целый день я провел на улице, возле штабной палатки. Меня посадили на какой-то ящик, охранять поставили солдата с автоматом. Рядом находилась штабная баня — приезжали мыться какие-то генералы. Неподалеку стояли «Грады», которые время от времени стреляли по Грозному. Какой-то снаряд внезапно полетел вертикально и начал падать обратно. Народ разбежался, а снаряд взорвался неподалеку, что всех очень развеселило. Вечером меня снова отправили в автозак, где уже было гораздо больше людей.

Оказывается, пока я сидел на улице, грузовичок успел прокатиться в соседнее село, там взяли одиннадцать чеченцев и распихали по камерам. В той камере, где я находился, было семь человек, и восемь в соседней. Уже было гораздо теплее, но спать было сложно: места на скамейке хватало только четверым, и ночью мы менялись.

Утром нас вывели в туалет и всех пятнадцать заключенных согнали в один отсек автозака. Было чудовищно тесно, не пошевелиться, но потом мне сказали, что нам еще повезло: в этот отсек забивали и по сорок человек. Машина тронулась.

Я был уверен, что нас везут в Моздок. Но по каким-то только им понятным приметам чеченцы определили, что автозак едет в следственный изолятор Чернокозово.

Автозак останавливается. Слышен звук открывающейся внешней двери, затем — нашей секции. Нам приказывают выходить по одному. Выбираемся из машины, спрыгиваем на землю. Команда:

— Руки за голову! Смотреть вниз!

Тюремщики боятся, что заключенные увидят их лица. Мы должны смотреть себе под ноги, озираться запрещено. Лиц, собственно, не видно и так: большинство охранников — в масках. Гуськом проходим по узкому коридору из колючей проволоки. Нас подгоняют дубинками. Я выхожу последним. Меня не бьют: человек из автозака крикнул конвоирам, что я журналист.

Помещение, в которое нас загнали, рассмотреть не могу. Стоит поднять глаза — тут же следует удар дубинкой. По команде все раздеваются догола, начинается обыск. Фльтрационный пункт Чернокозово в самом лояльном Москве Наурском районе Чечни в советские времена был обычной зоной. В годы правления Масхадова сюда сажали по приговорам шариатского суда. В январе 2000 года российская группировка поспешила перестроить зону под следственный изолятор. Размеры тюрьмы довольно скромные, бараки для большого числа заключенных отчего-то не функционировали, и в 18 камерах основного здания содержалось около ста пятидесяти человек. Как мне потом рассказали, правила обращения с заключенными в Чернокозове в точности совпадают с условиями содержания приговоренных к смертной казни.

В складках одежды я попытался спрятать ножницы и деньги, но мой тайник был мгновенно обнаружен. У меня отобрали часы, очки, книжку, медные крестики, которые я нашел в развалинах грозненской православной церкви, выломали из ботинок супинаторы. Выдали картонку с описью конфискованного.

Крики, мат, побои... Жаловаться и протестовать бессмысленно. Врач из МЧС осматривает задержанных, на его глазах избивают людей, но он не обращает на это ни малейшего внимания.

Нам разрешают одеться, заталкивают в камеру. Приказывают встать к стене спиной к двери, руки над головой, ладони должны быть обращены к глазку. В таком положении мы проводим часа три. Трудно определить, который час — вероятно, пять вечера. Все очень сильно падают духом, когда меня помещают в общую камеру: раз уж корреспондента могут загнать в этот ад, то остальным вообще не на что надеяться.

Потом нас переводят в пустую камеру, снова заставляют встать к стене с поднятыми руками. Садиться запрещено. Мы в бетонном мешке. Площадь камеры — метров 25, в единственном окне нет стекла, решетка забита ватой из матраца. По стенам — двухэтажные железные нары: 15 коек.

Меня поразило, что чеченцы мгновенно смирились с тем, что происходит. Если кто-то пытался присесть, измученный многочасовым стоянием у стены, его сразу же заставляли встать сами заключенные.

Моих сокамерников начинают вызывать на допрос. Стоит человеку выйти — его тут же начинают колотить дубинками. Всю короткую дорогу от камеры до кабинета дознавателя, метров пятнадцать, арестанта избивает охрана. Людей бьют непрерывно. Крики жертв хорошо слышны в нашей камере, и мои товарищи по несчастью напряженно вслушиваются.

Меня вызвали одним из последних — часов через пять. За дверью сразу же принялись избивать дубинками. Каждый охранник старался попасть побольнее.

Допросом то, что происходило в кабинете, где сидел дознаватель — парень лет двадцати пяти, — можно было назвать с большой натяжкой. Поначалу он спросил, где находится мой дом и что расположено рядом. По всей вероятности, он знал этот район Москвы и пытался выяснить, тот ли я, за кого себя выдаю. Потом вяло поинтересовался, с кем из полевых командиров я встречался в Грозном. Я сказал ему, что все эти сведения можно найти в моих репортажах. Дознаватель не вел протокола, только редко черкал что-то на грязном обрывке бумаги. На столе лежали мои документы. Его очень интересовало, почему у меня в паспорте стоит американская виза. Весь допрос продолжался минут десять. Я попытался стрельнуть сигарету — бесполезно... Меня отправили обратно. В камере мы еще какое-то время стояли.

К двери подошел пьяный охранник и спросил: «Курить хотите?» Кто-то ответил утвердительно, и он запустил через окошко в двери слезоточивый газ. Полчаса все откашливались. Я попытался следовать инструкциям, которые помнил по книгам о ГУЛаге: быстро помочился на кусок тряпки и стал дышать через нее. Это помогло: кажется, я меньше страдал, чем другие. Слезоточивый газ нам запускали в камеру три раза.

Когда всех моих сокамерников избили и допросили, нам забросили семь матрасов: спать мы должны были по двое, без одеял и подушек. В полночь подошел охранник: — Даю пятнадцать секунд на то, чтобы улечься. Тот, кто не успеет, будет стоять всю ночь. За считанные секунды все упали там, где нашли себе место.

В камере было очень холодно, не больше ноля градусов. К счастью, с одним из сокамерников мне удалось поменяться одеждой. Еще в Ханкале у него отобрали кожаную куртку и бросили взамен рваную солдатскую шинель, которая была ему мала. Я отдал ему свою куртку — шинель гораздо лучше спасала от холода.

Спать было почти невозможно: всю ночь за стеной кого-то истязали, и время от времени стены тюрьмы оглашались воплями. Первые три дня заключенных избивали круглосуточно — перерывов не было вообще. Доставалось и людям из нашей камеры, но главным образом били «старожилов». У нас такому изощренному избиению подвергался только один человек — Асланбек Шаипов из села Катыр-Юрт. С ним я познакомился еще в автозаке на Ханкале. Его подозревали в том, что он боевик. Каждые два-три часа его выводили из камеры и били. У него была совершенно синяя спина, выбиты зубы, он не мог стоять, не мог говорить.

Почти все мои сокамерники были чеченцами, от 22 до 45 лет, только один русский парень — Смолянинов, лет тридцати семи. Он много лет прожил в Грозном, потом переехал в село и жил на положении раба на птицеферме. У нас в камере не работала параша, и он взялся ее вычистить. Единственным опытным зэком и самым старшим в камере был Ваха, уголовник со стажем лет пятидесяти.

Была в тюрьме и женская камера. Однажды я слышал, как избивают женщину. Били ее долго, часа три подряд, она не переставая кричала на одной ровной ноте. В женской камере была и девочка лет двенадцати, сидевшая там с матерью.

Думаю, ни одного боевика в нашей камере не было: обычные крестьянские парни, растерянные и напуганные. Один от страха признался на допросе, что он боевик. Его избили, и, вернувшись в камеру, он долго плакал, потому что ему было стыдно за проявленную слабость. Его друг, с которым его взяли вместе, не признал себя боевиком, несмотря на избиения. Те, кого определили в категорию боевиков — три-четыре человека из нашей камеры, — сразу перевели в другую.

Обстоятельства арестов были примерно одинаковые: группа военных, приезжавшая в деревню на бэтэрах, хватала молодых мужчин — всех подряд. У одного парня забрали брата, он пошел выяснять, что с ним, — забрали его, а брата почему-то отпустили.

Никакой системы и логики во всем этом не было.

Со мной в камере сидел огромный детина — кажется, единственный, у кого было высшее образование. Он попал в Чернокозово сразу после того, как вышел из другого фильтрапункта в Толстой-Юрте, там его продержали трое суток в соответствии с нормами УПК, выпустили и снова забрали. Еще один subtilный мужичок под сорок по имени Хожа, не имевший не малейшего отношения к политике, последние три года собирал деньги на машину, подрабатывая на стройках. Перед самой войной купил старую потрепанную «Ниву», долго ее чинил и стал работать таксистом. Другой парень в день ареста собрался идти в фитнес-клуб, который открылся в их селе, по дороге его забрали. Когда его били, он все время смеялся. Он объяснил, что обучался карате (в Чечне очень популярны восточные единоборства), и инструктор, избивая учеников, заставлял их смеяться.

Духовный, физический и нравственный слом в тюрьме происходит мгновенно. Помню, когда кто-то ночью попросил меня передать хлеб и я зашуршал пакетом, все сразу зашикали. Я объяснил им, что, несмотря на безумные правила, мы не должны превращаться в животных. Еще один конфликт возник, когда я наделал шума, пытаясь подпрыгнуть, чтобы схватить сигареты, спрятанные в зарешеченной нише над дверью, под круглосуточно горевшей желтой лампой. Кажется, я оказался самым подготовленным из всех к тюремным обстоятельствам: понимал, что не стоит подчиняться навязанным нам нечеловеческим законам, ждать пощады и думать, что можно в чем-то убедить, разжалобить тюремщиков или добиться каких-то льгот, безукоризненно выполняя их нелепые правила.

Подъем в шесть утра. Нас опять выстраивают у стены. Кто-то догадался, что можно сидеть в углу, который невозможно увидеть через глазок, и мы занимаем благословенное место по очереди.

Меня снова вызывают на очередной бессмысленный допрос к молодому дознавателю. — Кого из полевых командиров ты можешь назвать?

Я отвечаю:

— Их довольно много: Шамиль Басаев, Аслан Масхадов...

Он это все аккуратно заносит на грязный клочок бумаги.

Я уже понял, что оказался в ситуации, когда бесполезно чего-то требовать. Ясно было, что раз меня привезли в Чернокозово — у меня уже нет никаких прав, нужно просто выживать. И, скорее всего, я проведу здесь длительное время — вероятно, несколько месяцев. Если командование в Моздоке дало разрешение на мое этапирование в Чернокозово — на мне поставлен крест. Хотя, надо сказать, мне было легче от сознания, что я попал именно сюда. Все-таки в тюрьме была какая-то система: просто прийти и застрелить человека в камере невозможно.

В этот день нас впервые накормили (к тому времени мы не ели уже больше двух суток). Через окошко в двери раздали алюминиевые миски и ложки — тоже, как и матрацев, семь штук: одна порция на двоих. Я не сразу понял, что нам принесли. Один из сокамерников объяснил, что это сваренный на костре зерновой мусор, комбикорм для скота.

Кашеварами и разносчиками еды были двое русских заключенных, которых перевели из ставропольской тюрьмы. Иногда они пили всю ночь с охраной и на следующий день вообще ничего не готовили.

В тюрьме у меня сложилась типичная лагерная привычка, от которой я потом долго не мог избавиться: все крошки после еды я собирал, стряхивал в рот, следил, чтобы ничего не уронить.

Каждые два-три часа охранник подходил к камере, бил дубинкой по двери, и кто-то из находившихся внутри должен был назвать свое имя и доложить:

— Гражданин начальник, в камере номер тринадцать столько-то человек, на допросе столько-то.

Мне стихийно досталась роль «разводящего» — я сам вызвался отвечать на этот стук в дверь: многие из чеченцев плохо говорили по-русски, и охранников раздражало, когда они чего-то не понимали.

На второй день стали приносить посылки: родственники многих заключенных потянулись в Чернокозово. Самое тяжелое в тюрьме — отсутствие сигарет. В посылках передавали «Приму». Каждую пачку охрана резала пополам, проверяя, нет ли какой не положенной начинки.

Постоянно отключался свет — видимо, были перебои на местной подстанции. Другой проблемой была вода. Ее разносили один раз в день, а иной раз, когда замерзали колодцы, не приносили вовсе. На камеру полагалось два пятилитровых пластмассовых бачка. В первый день вода разошлась за несколько минут. Тех, кого приводили после допросов, мучила страшная жажда, а пить было нечего. Поэтому на второй день я забрал к себе

бачки и воду, которую передали в посылках. Я предложил такой порядок: тот, кто захочет пить, должен потерпеть до тех пор, пока не захотят все остальные. Таким образом вода расходилась как-то более равномерно.

Почему-то на третий день заключенных стали меньше избивать днем, в основном все избиения и издевательства происходили ночью. В тюрьме работали смены охранников из Ставрополя, Тулы, Ростова и Брянска. Каждые двенадцать часов они менялись. Смены отличались друг от друга, и за две недели я научился их распознавать. Большая часть охранников не расставалась с масками, хотя две смены появлялись с открытыми лицами. Одна смена отличалась садистской изощренностью. Они выдергивали заключенного из камеры и заставляли его ползать по дежурке, подползать на коленях к старшему офицеру и повторять текст, который диктовали охранники:

— Товарищ полковник, разрешите вас поблагодарить за то, что вас родила ваша мать, за то, что вы такой красивый, за то, что я российский гражданин... — текст варьировался.

Многих не просто избивали, но явно намеренно калечили. Это была самая жестокая смена. Охранники просто вытаскивали несколько человек и до утра их били. Все, что происходило в дежурке, было хорошо слышно, особенно по ночам. Там стояли магнитофон и телевизор, постоянно играла музыка.

Две смены вообще не появлялись трезвыми. Один вечно пьяный охранник очень любил подходить к камерам и беседовать с заключенными. Настроение у него менялось: иногда его тянуло на душевные разговоры, он вставал у глазка и говорил:

— Что же вы здесь делаете, ребята! Могли бы дома вставать жене.

Подобные разговоры чеченцы, не привыкшие публично обсуждать интимную жизнь, воспринимали очень болезненно. Но охранник при этом требовал, чтобы ему отвечали, и если камера молчала в ответ на его вопросы, это приводило его в бешенство. Так что всегда находились люди, которые поневоле поддакивали.

Иногда на него находил другой стих: он заставлял всех выстраиваться и начинал пересчитывать. Спать он считать не мог, просто смотрел в глазок и требовал, чтобы все прошли мимо двери. Это как раз он запускал в камеру слезоточивый газ.

Другой охранник, совершенно бандитского вида, просто ходил и орал на всех матом. Если охране что-то не нравилось в ответах или кто-то зазевался с отбоем или не так встал в строй, всю камеру поднимали и заставляли часами стоять с поднятыми руками. Если охранник замечал, что кто-то присел или разговаривает, то нарушителя выдергивали из камеры и избивали.

В моем существовании что-то стало меняться дня через три-четыре, когда российское телевидение заговорило о том, что я пропал. Как-то раз после отбоя кто-то из охранников подошел к двери и сказал:

— Бабицкий, дай расписку.

Я дал расписку, в которой были перечислены конфискованные у меня вещи. Возражать, конечно, было бессмысленно. Выяснилось, что пропали мои очки: кому-то показалось, что они в золотой оправе. Кроме того, один из охранников украл мои часы, продал их и страшно из-за этого нервничал. Потом я узнал, что он не просто уничтожил расписку, но вычеркнул из тюремного журнала весь список изъятых у меня вещей.

Среди ночи на третий день меня разбудили:

— Бабицкий, с вещами на выход!

Оказалось, что почему-то решено перевести меня в одиночную камеру. Я потом измерил ее спичечным коробком: в длину 1 м 85 см, в ширину 1 м 20 см. Бетонный прямоугольник, маленькая скамейка — сантиметров двадцать, вделанная в стену, очень высокий потолок — метра четыре.

Эта камера, как ни странно, считалась привилегированной: для русских. До меня в ней держали каких-то проштрафившихся солдат.

Через несколько часов ко мне забросили белобрысого русского пацана — Игоря Ращупкина из станицы Калиновской. Прежде, когда в Наурском районе выращивали

виноград, Игорь работал на вино-коньячном заводе. Война уничтожила весь урожай винограда, и последние два-три года Игорь выделывал ондатровые шапки. Его арестовал ооновский патруль, когда он, не взяв с собой паспорт, вышел проверить капканы на ондатру. Игоря схватили, посадили в местный отдел милиции, там он и еще двое чеченцев простояли пять часов на коленях, потом всех перевезли в Чернокозово. По дороге его, русского, не трогали, а чеченцев зверски избивали.

Поначалу я решил, что Игорь — «подсадная утка», но потом довольно быстро убедился, что это не так. В камере с Игорем я провел две недели.

В 1998 году Игорь уже сидел несколько дней в этой тюрьме по приговору шариатского суда: у него украли мотоцикл, он пошел жаловаться, в результате сам же оказался виноват и просидел несколько дней, пока мать не собрала по соседям деньги и не заплатила штраф. Игорь терпеть не мог чеченцев. В советские времена в северных районах Чечни, где русские всегда преобладали, они неплохо ладили с чеченцами, но в последние годы стало совсем невыносимо. Игорь говорил, что его часто избивали на улице без всякого повода. В основном русская молодежь уехала в Россию, Игорь был одним из немногих оставшихся. Его поразило, что чеченцы боятся тюремных условий:

— Вот как они, оказывается, могут себя вести!

Обрадовало его и то, что в женской камере сидела чеченка, которая с первых дней дудаевской власти стала одной из самых энергичных сторонниц независимости и притесняла русских в Калиновской. В предвоенные годы она не давала уезжавшим русским продавать дома, вынуждая их просто бросать жилье. После того как село заняла российская армия, эта женщина умудрилась устроиться в промосковскую администрацию, и когда ставропольские казаки прислали в качестве гуманитарной помощи коров для русских крестьян, она передала всех этих коров чеченцам.

— Сомнительно, что после такой войны, — размышлял Игорь, — русские и чеченцы смогут нормально жить вместе. Даже сейчас, через три месяца после того, как русские войска заняли северные районы, чеченцы все равно не боялись: враждебность было не искоренить.

Поначалу Игорь убежда меня, что Путин и российская армия — серьезная, хорошая защита для русских в Чечне. Но просидев несколько дней и совершенно одурев от непонимания, за что его держат, он пришел в отчаяние и даже Путина разлюбил. Игорь не мог понять, почему люди, которых он считал своими защитниками, так с ним обращаются. Я хорошо знаю эту ситуацию по первой войне, когда русские в Грозном встречали федеральную армию как освободительницу. Понятно, что у русских были серьезные проблемы: их унижали, убивали, никто их не защищал. Но радости повального мародерства, когда они бросились грабить соседей-чеченцев, сильно отозвались после войны.

Самой большой проблемой для нас были спички. Я нашел кусочек лезвия, спрятанный кем-то в дырке в бетонной стене, этим лезвием мы научились делить одну спичку на три части.

Было очень тяжело обходиться без очков, которые у меня отобрали в первый день вместе со всеми вещами. Я почти ничего не видел.

В камере не было параша. Нас выводили на оправку один раз в сутки, а иногда забывали вообще. Зато не было проблем с водой, как в других камерах, где заключенные страдали от жажды: каждый день или через день нам заполняли пятилитровый бачок.

Кормили нас все тем же комбикормом — раз в сутки, а то и раз в двое суток.

Страшнее всего был холод. В одиночной камере было значительно холоднее, чем в общей: минус один-два градуса. Все, что мне удалось вынести из Грозного, — несколько пар носков. Приходилось заправлять штаны в носки и затыкать все щели в одежде, чтобы не продувало. У Игоря был только один носок с резинкой, и я придумал способ, как связать другой тесемкой. Перед сном я заправлял ноги в один рукав шинели, а Игорь — в другой,

такое у нас было одеяло. Два узких матраца полностью занимали камеру, угол одного мы заворачивали на стенку: из-под железной двери страшно дуло.

Мы хронически не высыпались. Ночью не давали спать крики избиваемых, и я прислушивался, стараясь понять, что охранники делают со своими жертвами. Днем спать запрещали, и я научился впадать в короткую дрему на пять-семь минут. Время от времени, когда охрана отлучалась, я садился на скамейку, закрывался шинелью и мгновенно засыпал. Несколько минут сна мне хватало — я просыпался бодрый.

Допросы проводились утром. Появился новый следователь, довольно доброжелательный. Я попросил его связаться с моей женой, но он, похоже, так ничего и не сделал.

День в основном был заполнен тем, что раздавали передачи — на это уходило часа три-четыре. Охранник подходил к камере, называл фамилию, и заключенный забирал то, что ему принесли. Приехала в Чернокозово и мать Игоря, полуслепая старуха, привезла еду. Задержанный мог написать на листочке, что он просит передать ему в следующий раз. Об условиях содержания, разумеется, писать запрещалось.

Вечером — снова допросы.

Я нашел себе занятие: начал наводить порядок. Раза два в день мыл полы, постоянно подметал куском ваты из матраца. Пол камеры был покрыт толстым слоем грязи, но когда через две недели меня выпускали, уже показалось дерево. Я стирал майку и трусы: один из охранников дал мне кусок мыла, и я умудрялся стирать в ста граммах воды.

Режим в «русской» камере был довольно вольготный. Мы свободно могли курить.

Выстиранные носки я вывешивал на сетку возле лампочки.

Я часто молился и решил поститься — не ел ничего мясного из посылок, которые передавала Игорю мать. Много занимался гимнастикой, ходил пешком: представлял маршруты в своем районе Москвы, рассказывал Игорю, что там находится, куда можно зайти, и промерял шагами путь от магазина, потом — до метро...

Самой большой нашей мечтой было сварить чаю. Посылки передавали в целлофановых пакетах. Мы свернули из листов разорванного учебника, лежавшего в туалете, несколько трубочек, вставили их друг в друга, а потом завернули в несколько слоев целлофана и спаяли их по краям. Такой фитиль может гореть очень долго, а чайником служит обрезок пластиковой бутылки. Как ни странно, в нем можно вскипятить воду — он не прогорает, только деформируется. У нас была заварка, которую передала мать Игоря. Мы страшно продымили всю камеру, но так ничего у нас и не вышло. Но то, что удалось выпить теплой воды, уже оказалось счастьем.

Когда у Игоря возникало желание по-дружески пообщаться с охраной, я говорил, что этого не стоит делать. Это звери, которые могут проникнуться дружескими чувствами, но быстро передумать — как тот охранник, который вел с заключенными беседы, а потом запускал в камеру слезоточивый газ. Чем теснее у тебя отношения с охранником, тем больше вероятность, что они будут проявлять к тебе интерес не только когда пребывают в хорошем расположении духа, но и когда у них возникает желание кого-то унижить. В таких обстоятельствах нужно держаться очень настороженно, _____ его

желание с тобой побеседовать. Разумнее всего отгородиться и не обнаруживать человеческих слабостей. (Последнее, впрочем, было довольно сложно. Несколько раз, когда нас долго не водили в туалет, приходилось барабанить в дверь и умолять:

«Гражданин начальник, пустите на оправку!») Одно животное, в камере, просит проявить к нему снисхождение, а другое размышляет за дверью, как отреагировать: выполнить просьбу или избить просящего за то, что он осмелился это сделать.

Через несколько дней к нам бросили еще одного зэка — старика, бывшего заложника ваххабитского полевого командира Арби Бараева.

Роман Ашуров, еврей из Налъчика, народный целитель. Ему было 64 года, но выглядел он гораздо старше. В 1998 году он приехал лечить кого-то в Ингушетию, чеченская группа захватила его и продала Бараеву. Он сидел в нескольких селах в Чечне. Больше всего времени провел в селении Тенги-Чу, в подвале. Говорит, что обращались с ним неплохо:

кормили, он научился вязать и связал огромное количество носков, шапок, курток, свитеров...

Издевался над ним только Бараев. Однажды поджег ему бороду зажигалкой, а в другой раз разделся и показал ему член. По рассказам Романа, Бараев держал несколько красивых осетинских мальчиков, которые постоянно ему прислуживали. Ашуров считал, что Бараев — психически больной человек, абсолютно уверенный в своей непогрешимости. В самом начале второй войны он говорил Роману, что скоро пойдет на Моздок, что этот город отдан ему — по всей вероятности, лидерами ваххабитской шуры, отработывавшими направления завоевания Северного Кавказа.

Бараев пил водку, напивался до белой горячки. Ашурова он держал потому, что был уверен, что за заложника могут дать выкуп дочка и зять, уехавшие в Израиль. Они были небогатыми людьми и безрезультатно пытались объяснить это Бараеву. Он грозил, что скоро убьет Романа или начнет его пытаться. Как-то раз он приехал, сказал, что разговаривал с дочкой, та отказалась платить, и сейчас он выколет Роману глаза. Бараев, по утверждению Романа, собирался это сделать совершенно серьезно. Но на защиту заложника встали люди, у которых Бараев его держал.

Бизнес заложниками приобрел у чеченцев характер моды, как в свое время с подделкой авизо. Целые села сооружали мини-тюрьмы в подвалах, чтобы принимать заложников. С началом второй войны, когда вооруженные отряды ушли в горы, большинство заложников они взяли с собой.

Роман рассказывал, что в бараевском отряде было много украинцев, принявших ислам. Денег Бараев никому не платил, хотя был человеком очень богатым. Отряд разделился на несколько групп. Сначала Романа перевели в село Шатой, где его держали в больнице вместе с молодыми ваххабитами — пятнадцати-восемнадцати лет, которые над ним страшно издевались. Потом какое-то время Роман жил в лесу, где расположился отряд. — Российские авианалеты были очень странными, — рассказывал он. — Мы в лесу, горят костры, а самолеты бомбят в двух-трех километрах, выбивая целые гектары леса.

Как-то отряд сделал вылазку, напал на российское подразделение и захватил нескольких солдат. Через несколько дней боевики договорились с федералами и обменяли пленных на лошадь, муку и еще какой-то провиант.

Один из бараевских командиров взял Ашурова в свой отряд. Роман сумел вылечить боевику тяжелый геморрой, и тот в благодарность его отпустил.

Романа отвели на равнину и сказали, что если он пойдет вдоль речки, через четыре километра наткнется на российский блокпост. Он свалился в реку, весь мокрый подошел к солдатам, сказал им, что он заложник. Солдаты отдали его милиционерам, те повезли в Урус-Мартан, а там почему-то решили посадить в тюрьму, в Чернокозово.

Роман провел с нами две ночи. Спать втроем в крошечной камере было совершенно невозможно.

В соседней камере умирал старый чеченец, однорукий ветеран афганской войны, которого взяли вместе с Игорем. Его очень сильно били. На одном из допросов Игорю сказали, что этого человека выпустят из Чернокозова, чтобы он умер на воле и никакой ответственности за его смерть администрация тюрьмы не несла.

В другой камере сидели два парня лет шестнадцати. Один из них, студент российского университета, приехал в Чечню к родственникам. Омоновцы арестовали его вместе с приятелем. Родственники не знали, где они находятся, и передач ребята не получали. Они очень страдали от голода, и мы с Игорем часто просили полупьяного разносчика передать им хлеб и другие продукты, которые у нас оставались.

Самое ужасное в этих условиях — неопределенность. Пока я находился в Чернокозове, никого из привезенных со мной из тюрьмы не выпустили. Определенные Уголовным кодексом сроки предварительного задержания здесь не думали соблюдать. Я не знал, что со мной будет дальше. Вероятнее всего, считал я, два-три месяца еще придется провести в тюрьме. Я часто вспоминал заявление Росинформцентра — мне казалось, что оно станет

отправной точкой обвинения. Скорее всего, считал я, меня переведут в тюрьму в одной из северокавказских республик. Обычно из Чернокозова заключенных перевозили в «белую лебедь» — тюрьму в Пятигорске.

Однажды к камере подошел охранник и спросил, можно ли ему взять православный крестик из тех, что у меня конфисковали. Меня поразило, что он спросил разрешения. Потом этот человек приносил мне продукты, и, может быть, именно он написал письмо о том, что я нахожусь в Чернокозове, которое потом попало в газету «Independent».

Глава 5

Заложник

День на пятый-шестой я начал понимать, что вокруг меня что-то происходит. Когда меня раз в сутки выводили на opravку, охранники разрешили мне не нагибаться, хотя смотреть я все равно должен был только под ноги. В первые дни приходилось ходить в полупоклоне, теперь же я мог быстро проходить мимо дежурки по коридору.

— Ладно, можешь не класть руки на голову, — сказали мне.

Охранники говорили, что меня ищут и мою жену показывали по телевизору. Страшно стал нервничать ростовский охранник по кличке Генерал — невысокий мужичок лет сорока, укравший мои английские часы. Просил, чтобы я скрыл, если будут спрашивать, что они у меня были. Однажды, чтобы задобрить меня, он принес банку тушенки, а когда я отказался, сказав, что держу пост, — дал мне лук и чеснок. Потом принес в камеру еще один матрас. Мы с Игорем положили матрасы один на другой. Необыкновенная роскошь. Было даже и подобие подушки — кусок старой тряпки, набитый технической ватой.

25 февраля в Чернокозове появился начальник главного управления прокуратуры по Северному Кавказу Бирюков. По манерам и внешнему виду — редкостный мерзавец. Вел он себя по-хамски: не представился, дав понять, что не видит нужды что-то объяснять преступнику, то есть мне. С Бирюковым приехали Игорь Чернявский — следователь прокуратуры, который занимался моим делом, и прокурор Наурского района Титов — веселый мужик лет пятидесяти. Допрос, который они провели, тоже был довольно формальным. Бирюков спрашивал, для чего я поехал в Чечню, где был, что делал, почему у меня нет военной аккредитации. Я подписал протокол, но сказал Титову, что это первый и последний протокол, который я подписываю без адвоката.

— Ну, вы понимаете: Чечня, война, никаких адвокатов недозовешься, — и Титов подсунул мне бумажку, на которой было написано, что я не настаиваю на присутствии адвоката.

Когда он отвлекся, я зачеркнул «не» и вернул ему эту бумагу. Даже не взглянув, он сунул ее в папку. Как оказалось, все это было бесполезно: потом документы невозможно было отыскать, они так и сгинули где-то в прокуратуре.

Чернявский попросил меня подписать бумагу о том, что при выходе из Грозного у меня не было с собой документов.

— Как же я могу такое подписать? Вот перед вами мои документы, откуда они взялись?

Им нужна была какая-то формальная причина для ареста. И они прицепились к тому, что в моих водительских правах, которые были выданы в Ингушетии, не совпадает со справкой из ГАИ одна цифра, якобы все эти дни прокуратура это проверяла. Они оформили бумагу, что я задержан 25 января по указу президента о бродяжничестве и попрошайничестве.

Я сказал Бирюкову про своих сокамерников, про Романа Ашурова:

— Что же вы держите старика-заложника? Во-первых, вы можете получить у него оперативные данные на Бараева. К тому же это старый, измученный человек, зачем его бросили в тюрьму?

На следующий день Романа отпустили. Он вернулся в камеру и сказал, что прокурор Титов велел ему благодарить Бабицкого за заступничество. Через месяц или полтора после освобождения Роман уехал в Израиль к дочери.

Вскоре освободили и Игоря Ращупкина, а мне вернули конфискованную книгу и очки. Начальник караула потребовал у охраны, чтобы очки были найдены. В конце концов кто-то их вернул. Воры были убеждены, что оправа золотая, хотя она была просто хромированная.

Титов обходил камеры и спрашивал заключенных, нет ли жалоб. Никто не жаловался, кроме женщин: все понимали, что стоит Титову уехать — жалобщиков истребят, в лучшем случае просто избыют. Собственно, не заметить, что делают с заключенными, было сложно. Многие были избиты в кровь и искалечены, но правда Титова вряд ли интересовала.

Чернявский еще несколько раз вызывал меня на допросы, но ему явно не о чем было спрашивать. Я отказался подписывать что-либо без адвоката. На следующий день после приезда Бирюкова Чернявский сообщил мне, что меня скоро освободят. Но я в это абсолютно не верил. Я чувствовал, что вокруг меня происходит нечто непонятное. Никакой информации у меня не было, и я не представлял масштабов разгоревшегося в Москве скандала.

Последний раз меня вызвали на допрос снова к молодому дознавателю. Он сказал: — Ты в полном дерьме, тобой заинтересовались очень большие люди, — и дал мне сигарету.

Следом появился человек из президентской Комиссии по освобождению насильственно удерживаемых лиц. Меня привели в комнату следователя, там сидели заместитель начальника тюрьмы и человек в военном камуфлированном тулупе лет пятидесяти, седой, высокого роста, с довольно интеллигентным лицом. Говорил он без всякой агрессии. Сказал, что полевой командир Турпалали Атгериев обратился к командованию федеральной группировки с предложением обменять меня на двоих военнослужащих. Уже выбраны двое десантников, находящихся в плену. Атгериев дает гарантию немедленного моего освобождения после обмена, и я сам должен решить, можно ли ему доверять. Я не очень поверил во все это, сказав, что, на мой взгляд, для такого обмена нет никаких юридических оснований.

— Я готов дать согласие, но для меня важно, чтобы это не выглядело попыткой уйти от ответственности, избежать наказания по тем безосновательным обвинениям, которые мне предъявлены, — сказал я человеку в тулупе.

Мне предложили написать заявление, и я согласился. Честно говоря, об этой бумаге я вскоре забыл, уверенный, что такой обмен невозможен. Я сказал, что, готовя обмен, они должны иметь в виду, что меня, скорее всего, скоро выпустят. Тут замначальника тюрьмы, альбинос с физиономией эсэсовца, встрял в разговор:

— Хрен тебя кто отпустит.

1 февраля меня вызвал Чернявский. Я сказал ему, что объявляю голодовку.

Я уже совершенно не верил, что меня освободят. А с другой стороны, уже был уверен, что если решусь отказаться от пищи, меня не избыют до полусмерти.

— Зачем тебе голодовка? — поинтересовался следователь.

— У меня нет других форм протеста.

Утром при раздаче пищи мне все-таки попытались в камеру всунуть тарелку с кашей, но я отказался.

В тот же день в камере появились два мужика в камуфляже. Сказали, что они из МВД. Вид камеры моих анонимных посетителей совершенно потряс. По их реакции было видно: они не предполагали, что я нахожусь в таких условиях. Они поинтересовались, есть ли у меня какие-то жалобы. И вдруг завели разговор об иконе, которую у меня изъяли еще в Ханкале.

Я объяснил им, что венчался в этой церкви в 1995 году, церковь...

(Извините, часть записи затерта)

... в Дагестан. От Гудермеса до Махачкалы меньше трех часов на машине. Милиционеры, которые меня везли, прониклись ко мне симпатией: отчего-то они решили, что я — журналист, который был заложником у чеченцев, а я не стал их разубеждать.

Когда мы проезжали деревни, в которых оставались не разрушенные войной дома, один из них начинал ругаться:

— Хреново поработали — не всё разнесли. Всех чеченцев надо убивать.

Часа через два мы добрались до Гудермеса. Долго искали здание МВД.

Меня передали местным милиционерам, и тут произошло нечто странное. Я опять оказался в дежурке, меня стали обыскивать, изъяли вещи и документы — и отправили в камеру.

Я был в шоке. Я уже поверил в свою свободу — отношение сопровождавших милиционеров окончательно убедило меня, что я отправляюсь в Москву.

— Что происходит? Меня ведь освободили под подписку о невыезде.

— Покажи подписку!

Только тогда я осознал, что Чернявский не дал мне копию.

Меня закинули в довольно большую камеру.

Моим соседом оказался чеченский паренек лет восемнадцати. Его сдала в милицию родная мать. Судя по всему, он вел веселый образ жизни: пил, приходил поздно домой, и мать попросила российских милиционеров его проучить. Парня забрали, обвинили в воровстве сапог на рынке — на войне порой возникают такие безумные сюжеты.

Присланные из российской провинции милиционеры продолжают следовать привычным, отработанным годами схемам: видимо, и такие кражи по инструкциям должны были проходить в сводке происшествий, и вот они начинают «шить» первому попавшемуся мальчишке кражу сапог. Кроме того, это и их бизнес — надо предъявить любое обвинение, а потом можно потребовать у родственников выкуп.

Парень очень страдал в заключении. Он сказал мне, что если бы ему предложили выбрать какой-то жизненный минимум, то хватило бы маленького дворика. Десять квадратных метров. Он бы сажал деревья и цветы и спокойно жил в этом дворике всю жизнь, никуда не выходя. Он исходил тоской, хотя в камере провел всего дней пять.

В отделении были либеральные порядки. Заключенных не били, более того — чеченцы переговаривались друг с другом из разных камер, передавали сигареты и еду. Мой сосед, узнав, что меня не кормили, попросил в соседней камере пакет с гречневой кашей, и через дежурного нам его передали.

Самым неприятным для чеченцев с их этическим пуризмом было ходить на оправку в уличный сортир. У этого сортира не было стены, обращенной к зданию милиции, так что все нужды приходилось справлять на виду у большого количества людей. Менты тоже пользовались этим сортиром.

У меня началась истерика. Я стал колотить в дверь и требовать, чтобы пришел начальник отделения и объяснил мне, что происходит. Единственным трезвым человеком во всем отделении был дежурный, седоватый майор.

— Я сам не знаю. Придет начальник — все объяснит.

Действительно, через какое-то время приперся толстый пьяный мужик лет пятидесяти. Он решительно ничего не понимал. Я сказал ему, что я журналист, меня сегодня отпустили под подписку о невыезде и собирались отправить в Москву. Судя по всему, его действительно не поставили в известность. Выслушав меня, он стал спрашивать у дежурного, в чем дело. Тот сказал, что тоже не знает. Единственное решение, которое в этих обстоятельствах возникло у начальника, — перевести меня в другую камеру. Не знаю, хотел ли он ухудшить или улучшить условия моего содержания, думаю, он сам этого не понимал.

В камере, в которую меня перевели, сидел русский парень Игорь Любов. Он жил в Гудермесе, принял ислам, не так давно женился. Забрали его, как он сказал мне, за то, что он возвращался домой после комендантского часа. Уже в Москве я вдруг наткнулся на его

фотографию в газете. В заметке говорилось, что он был членом банды, похищавшей в Дагестане российских военнослужащих, а потом их продававшей. В заметке было много достоверно выглядящих деталей: как девицы завлекали солдат, как потом заложников связывали, бросали в машины... Хотя все это могло быть и выдумкой, конечно.

Под утро к нам кинули чеченца лет сорока интеллигентного вида. Во время зачистки у него дома обнаружили камуфляжную форму. Когда один из солдат попытался выйти в другую комнату, он хотел пойти за ним, чтобы не допустить кражи, которыми обычно промышляют военные. Его не пустили, завязался спор, и кончилось все арестом.

— Я не скрываю, что воевал в первую войну. А сейчас воевать не хочу.

Но все было бесполезно.

Он очень удивился, увидев меня в камере. Сказал, что вчера вечером видел по телевизору помощника Путина Сергея Ястржембского, который говорил, что меня должны в ближайшее время доставить в Москву спецсамолетом.

В десять утра мне скомандовали: «На выход с вещами!»

Вернули изъятое, вывели во двор. Там стояло три машины — автозак-таблетка и две «Волги», много народу. Я спросил у омоновцев, сажавших меня в автозак: куда меня везут, не в Моздок ли? Они сами не знали, стали спрашивать еще у кого-то, но так ничего и не выяснили.

Наш кортеж двинулся. Ехали мы примерно час. Я пытался понять, куда мы едем, но в зарешеченное окно ничего разглядеть не мог.

Остановились посреди дороги в пустынной местности. Открылась дверь, подошел молодой парень с видеокамерой в руках. На лице — скользкая ухмылка. Ни слова не говоря, начал меня снимать. Я как раз в этот момент надевал носки.

— Выключи камеру! — сказал я ему.

— Вы подписали заявление об обмене. Мы собираемся вас обменять в соответствии с вашим желанием.

— Я не давал согласия на такой обмен! Меня вчера освободили под подписку о невыезде, а потом еще сутки продержали под стражей. Я хочу, чтобы виновные понесли наказание.

Во-вторых, мне нужно связаться с семьей, успокоить родных. В-третьих, мне нужно прийти в себя после Чернокозова. И в-четвертых — такой обмен возможен только в условиях гласности, чтобы присутствовали журналисты и было понятно, что все происходит легально.

— Тебя бы вообще никуда не выпустили, если бы не этот обмен, — сказал какой-то человек.

— Меня это не волнует. Это акт насилия. Конечно, я вынужден подчиниться: вы с оружием, у меня никаких «аргументов» против оружия нет. Но имейте в виду, что на такой обмен я согласия не давал, не даю и давать не собираюсь.

Но все было бессмысленно. Меня вывели из машины. Дорога, стоит «уазик», вокруг вооруженные люди...

С другой стороны подъезжает «Волга». Из нее выводят двух ребят в гражданской одежде.

— Вот привезли солдат. Иди на ту сторону.

Потом журналист Вячеслав Измайлов пытался выяснить, что это были за солдаты.

Сначала чиновники утверждали, что освобожденных было двое, потом — трое, потом — пятеро... Менялись цифры и фамилии. Измайлов пытался найти тех солдат, имена которых назывались с самого начала, и не нашел. Их не было в списке обмененных.

Очевидно, что их просто одолжили для этой инсценировки в ближайшей воинской части.

Потом, когда выяснилось, что этих солдат никто реально не обменивал, попытались найти людей, действительно бывших в плену. Называлось имя капитана Андрея Астрицы. Но Измайлов обнаружил, что его освободили гораздо раньше и не обменяли, а выкупили. Еще одного офицера он попытался найти — и выяснил, что тот был выкуплен при совсем других обстоятельствах.

Неразбериха была страшная. Чиновники опровергали друг друга. На самом деле существует официальная, очень сложная процедура обмена, которую утверждают комиссия при президенте и российский парламент. Потом председатель этой комиссии говорил Измайлову, что никогда в жизни они не дали бы санкции на такой обмен. Но в тот момент у меня не было никаких сомнений, что меня на самом деле обменивают и что эти солдаты действительно находились в плену у чеченцев.

Я решил, что меня забирает Атгериев. Я даже спросил у человека, возглавлявшего группу, которая меня привезла:

— Но ведь Атгериев гарантировал мое немедленное освобождение сразу после этого обмена. Могу ли я чисто формально пройти на ту сторону, а потом развернуться обратно?

Мужик только криво ухмыльнулся:

— Ну, попробуй.

Всех, кто видел по телевизору кадры «обмена», поразило, что человек в маске, будто бы из отряда Атгериева, грубо схватил меня за руку. В этом жесте не было ни малейшего дружелюбия, похоже скорее на типичный полицейский захват. Я, впрочем, тогда отнес это на счет специфики обстоятельств: эмоциональная встреча враждующих сторон. Был и другой неприятный момент, когда этот человек ни с того ни с сего закричал:

— Мы своих людей в беде не оставляем!

Эта фраза безупречно вписывалась в обвинительную логику в духе пресловутого заявления Росинформцентра.

Впрочем, существования сложного сценария, разработанного в Москве, я тогда еще не предполагал. Теперь понятно, что они всё могли бы сделать гораздо проще: раз уж получилось сыграть на моих чувствах и выудить из меня согласие на обмен, то можно было бы и дальше использовать тот же прием и организовать все публично. Зачем нужно было действовать по-крысиному — засовывать меня в отделение милиции, а потом фактически сорвать весь замысел постановки? Ведь на видеопленке ясно было видно, что я не испытываю ни малейшего желания участвовать в этом обмене. И человек, схвативший меня клещами за предплечье, всем бросился в глаза, и явно недружелюбные лица... Все это выглядело отвратительно. Спектакль без труда можно было разыграть гораздо элегантнее.

Я сел в машину. Там находились три человека: один с открытым лицом, двое — в масках. Меня поразило, что они не снимают масок. В моем представлении большой необходимости скрывать лица не было. Мне тоже натянули на лицо черную вязаную шапку.

Чеченцы сказали, что Атгериев дал указание меня освободить. Я попытался объяснить, что меня освобождать не надо, я уже выпущен под подписку о невыезде.

Веселый дурак, сидевший впереди, обернулся:

— Может, бабу хочешь?

Потом какой-то безумный чиновник говорил журналистам, что есть сведения о том, что Бабицкий живет в деревне с чеченской женщиной.

По дороге спектакль продолжался. Я спросил, не боятся ли они, что военный вертолет может расстрелять машину.

— Не боимся: у нас есть еще один заложник, которого мы освободим, как только доведем тебя до места. Пусть эти суки попробуют за нами увязаться.

Ехали мы около часа. Я был уверен, что скоро увижусь с Атгериевым, все станет понятно, я придумаю, как добраться до Ингушетии, и на этом моя эпопея закончится.

Ни с того ни с сего человек в маске, сидевший на переднем сиденье, спросил меня, знаю ли я что-то об Адаме Дениеве — лидере пророссийского движения «Адамалла».

— Говорят, он человек не совсем нормальный, — сказал я. — К тому же он сотрудничает с российскими властями.

Они, судя по всему, обиделись и стали убеждать меня, что Дениев — человек, заслуживающий уважения, и единственный в Чечне, кто указывает верный путь. Я не стал

возражать: ссориться с ними было незачем. Меня этот разговор удивил, но тогда я не придавал ему значения.

Мы приехали в какое-то село. Парень, сидевший впереди, сказал, что некоторое время мне нужно будет побыть в подвале. Они свяжутся с Атгериевым, идти к нему в горы придется через участок, где идут бои, и мне нужно два-три дня подождать.

Среди чеченцев я обычно чувствовал себя уверенно. У меня было множество знакомых. В Чечне многие слушают «Свободу», и моя фамилия, голос известны большинству чеченцев. Мне всегда очень просто было устанавливать с ними контакт. Тут же ситуация была совершенно непривычной. Мне сказали: кругом полно стукачей, есть опасность, что если кто-то сообщит российским военным, меня могут попытаться забрать из села. Не было угроз, но не было и сочувствия.

Я с самого начала очень боялся оказаться заложником. Страшнее всего — превратиться в вещь, с которой можно сделать все что угодно.

Мы въехали во двор какого-то дома. Меня быстро вывели из машины и провели в подвал. Мы остались вдвоем с человеком, который схватил меня за руку во время обмена. Он снял шапку. Невысокий чеченец лет сорока. Сказал, что его зовут Руслан. Мне сразу бросились в глаза его маленькие, женские руки и большая седая борода. Борода — деталь внешности, которая отчасти говорила о его принадлежности к сопротивлению. Чеченцы, бывающие на территории, контролируемой российскими войсками, обычно сбрасывали бороду, поскольку федералы считали ее признаком нелояльности.

Между теми, кто воюет в Чечне, обычно складываются особые отношения — подчеркнутое уважение друг к другу. Это вполне понятно: если завтра придется предстать перед Аллахом, лучше явиться к нему не с матерной руганью на устах, а со словами вежливости.

Зная это, я удивился поведению Руслана. Он стал недоброжелательно отзываться о людях, которые меня привезли. Потом встал и помочился в углу подвала. У чеченцев есть особое уважение к чужому жилищу, и такие вольности им не свойственны.

Мы просидели с ним в подвале часов пять. Руслан рассказал, что воевал в прошлую войну, жил в поселке Мичурина, был дружен с полевым командиром Гелаевым, даже летал с ним на тренировки в пакистанские лагеря. Он очень жаловался на ваххабитов, говорил, что из-за них война и началась. Вспоминал, как рано утром в Грозном, когда еще все спали, на улице раздавался мерный топот и становился все слышнее: это маршировали ваххабитские отряды. Он говорил, что зря продолжает воевать, в то время как многие командиры теперь не воюют, потому что разочарованы в Масхадове и считают ваххабитов врагами Чечни и виновниками новой войны:

— Если бы Басаев сложил голову в Дагестане, нам было бы гораздо легче. Зачем он вернулся и привел с собой российские войска?

Руслан принес керосиновую лампу. Подвал, в котором мы находились, был забит кипами брошюр Хомейни. Многие из них даже были не распакованы — тысячи брошюр на русском языке.

Московская хроника

«За Бабицкого вооруженные боевики вернули трех российских военнослужащих — это господин Заварзин, Дмитриев и Васильев. Обмен произошел на одной из дорог между Аргуном и Шали». (Из заявления помощника президента России Сергея Ястржембского). «Бабицкий — не Шварцнеггер, Бабицкий — не банкир. Ценили его за информацию, значит, информация, которую давал Бабицкий, наверное, не всегда была объективной, мягко говоря. Я бы и десять Бабицких обменял на одного солдата, если бы просили чеченцы». (Из интервью министра обороны России Игоря Сергеева телеканалу ОРТ). «В результате Андрей оказался в той среде, которая ему любя, а мы возвратили трех наших солдат. И если бы не этот случай, то мы все равно освободили бы их». (Из

интервью первого заместителя начальника Генштаба России Валерия Манилова телеканалу РТР).

«Господин Бабицкий дал письменные пояснения о том, что он хочет быть вместе с представителями незаконных вооруженных формирований. С точки зрения сохранения жизни наших военнослужащих, я думаю, это вполне разумный и трезвый подход». (Из интервью министра внутренних дел России Владимира Рушайло телеканалу РТР).

«Федеральная служба безопасности не возбуждала уголовное дело, не задерживала Андрея Бабицкого, не имела отношения к его содержанию и к тому, что произошло после». (Из интервью Александра Здановича, начальника Центра общественных связей ФСБ, телеканалу НТВ).

«Боюсь, никакого реального обмена Бабицкого на боевиков не было и тем более не было реального желания Бабицкого. Нам показывают какой-то документ, подписанный им, как будто мы вернулись во времена Берии, когда собственноручное признание было царницей улик». (Из интервью бывшего заместителя главы администрации президента России Евгения Савостьянова радиостанции «Эхо Москвы»).

«Это действие я могу охарактеризовать только тремя словами: подлость, глупость и беззаконие. Парадокс и глупость этого дела состоят в том, что таким образом власти фактически признают чеченскую сторону отдельным государственным образованием». (Из интервью лидера партии «Яблоко», бывшего посла России в США Владимира Лукина радиостанции «Эхо Москвы»).

«В той мере, в которой это будет возможно, будем стараться оказать содействие спасению жизни этой заблудшей овцы». (Из интервью замначальника Генштаба Валерия Манилова телеканалу ТВЦ).

«Если руководитель защитников отечества маршал Сергеев считает возможным сдавать в руки жестокого и кровожадного противника плохих, с его точки зрения, граждан или в чем-то перед ним провинившихся людей, то это уже не глупость, а фашизм». (Из комментария главного редактора газеты «Сегодня» Михаила Бергера радиостанции «Эхо Москвы»).

«Даже если бы это было возможно, например, на государственном уровне, я бы категорически отказался от такого обмена, потому что это позор». (Из интервью президента Чечни Аслана Масхадова радио «Свобода»).

«Тем лицам, которые преследуются в уголовном порядке и преследуются вооруженными силами России, выдача человека невозможна. Не подходит сюда и аналогия с тем, что Бабицкий выдается как военнопленный, поскольку на территории России нет вооруженного конфликта с представителями других государств». (Из интервью бывшего генпрокурора России Валентина Степанкова телеканалу НТВ).

«В течение недели власти врут относительно судьбы журналиста радиостанции «Свобода» Андрея Бабицкого. Сомнения вызывает каждая деталь, связанная с обменом, задержанием и местонахождением Бабицкого. Ответственность за жизнь Бабицкого целиком и полностью лежит на тех, кто передал его в руки неизвестных людей в масках, и лично на Владимире Путине». (Из заявления группы российских и иностранных журналистов).

«Это вопрос частный, который не может возводиться в ранг национальной политики. Это уже не первый случай, когда создается впечатление, что есть некоторые на Западе, я уж не знаю, как их назвать — коллеги, партнеры, — которые так и ждут, за что вот ухватиться, чтобы сразу вокруг этого раздуть какую-то кампанию». (Из выступления министра иностранных дел России Игоря Иванова в Государственной Думе).

«И еще два российских военнослужащих отпущены из чеченского плена полевыми командирами за корреспондента радио «Свобода» Андрея Бабицкого. Речь идет об офицере морской пехоты Андрее Астранице и лейтенанте Александре Казакове. Они отпущены в соответствии с желанием журналиста Бабицкого возвратиться к полевым командирам». (Сообщение радиостанции «Юность»).

«В своем заявлении о якобы добровольном обмене Бабицкий написал, что не чувствует за собой вины и хочет оказать содействие Комиссии по освобождению насильственно удерживаемых военнослужащих при президенте России. Вчера корреспондент «Коммерсанта» дозвонился до представителей этой комиссии, которые заявили, что никакого отношения ни к Бабицкому, ни к обмену не имеют. Неизвестна комиссия и судьба солдат, которых за него отдали. Представители Союза комитетов солдатских матерей России высказались по этому поводу еще жестче: «Когда освобождают пленных солдат, мы тут же получаем из Комиссии по военнопленным или Минобороны исчерпывающую информацию: откуда они были призваны, в какой части служили и при каких обстоятельствах попали в плен. А сейчас даже не можем узнать имен солдат, чтобы сверить их с нашими списками. Военные назвали нам номер части, в которой, по их данным, служил рядовой Васильев. Но этой военной части не оказалось». («Коммерсант-Дейли»).

Был уже поздний вечер. Я понял, что сегодня Атгериева не увижу.

Вернулись люди, уехавшие на «Волге», и привели с собой двух молодых парней. Руслан сказал, что это мои охранники.

— Все будет в порядке, к ваххабитам ты не попадешь. Ничего не бойся. А я пойду к Атгериеву, выясню, что делать дальше и как переправить тебя в безопасное место. Я сказал, что безопасное место для меня — Ингушетия и я ничего не боюсь, главное — поскорее выбраться из Чечни.

Мы поднялись в дом, довольно богатый. Меня поместили в боковом крыле: две большие комнаты и длинный коридор. В комнате, куда меня привели, была разобрана мебель. Шкафы разобрали специально, чтобы их не украли российские военнослужащие во время «зачистки». Одна кровать, и почти посередине комнаты — газовая плита, чеченцы называют их «прометейками». Охранники потом объяснили мне, что у одного из старейшин (теперь я понимаю, что, видимо, речь шла об Адаме Дениеве) хорошие отношения с федералами и здесь с самого начала войны не отключали газ.

Рядом с нашей комнатой была еще одна — молитвенная: ковер на полу и Коран на полочке. Она была постоянно закрыта. Чешской журналистке Петре Прохазковой потом рассказывали, что у Дениева в селе Автуры три дома. Тот, в котором держали меня, Дениев отдал своей сестре — беженке из Грозного. Действительно, в соседнем крыле дома жили женщина с дочерью. Уже в Москве я узнал, что это сестра Адама Дениева Петимат. Принесли три матраса — мне и охранникам. Руслан забрал у меня документы и сказал, что сделает фальшивые.

Первые два дня у меня не было чувства страха, я хотел только, чтобы поскорее вернулся Руслан от Атгериева. У меня было ощущение, что я попал в руки какой-то промежуточной группе, которая не уполномочена решать мою судьбу.

Ребята-охранники Муслим и Хусейн были уверены, что они здесь всего на несколько дней. Муслим — полный высокий парень, Хусейн — поджарый, спортивного вида. Обычные деревенские ребята, работали в России охранниками, с началом войны вернулись в Чечню. Они сказали мне, что должны оберегать меня от соседей, чтобы те меня не выдали. Выходить на улицу в туалет мне разрешали только в сумерках, для малой нужды в комнате были пластиковые бутылки.

Село Автуры (название села от меня скрывали) в то время еще не было занято российскими войсками. Там оставались ополченцы и молодые ваххабиты. Окраины бомбили, слышна была перестрелка. Охранники говорили, что в начале войны при бомбежке села погибло больше сорока человек. А когда я находился в Автурах, снаряд попал в один из окраинных домов. Погибла женщина, мать двоих детей.

Днем над селом низко летали вертолеты. Как сказали мне Муслим и Хусейн, старейшины договорились с оставшимися боевиками, что те не будут обстреливать вертолеты и российские позиции, чтобы не вызывать ответный огонь по селу.

Любопытно, что в эти дни федералы не выпускали из Автуров мужчин. Существовало нечто вроде блокады. Пачку сигарет, стоившую в Шалях или Аргуне 5 рублей, здесь продавали за 25. Разрешали выходить только женщинам — пешком. Больше всего я опасался, что в село могут войти войска и нам не удастся вовремя уйти. Нет ничего хуже, чем оказаться в селе, в котором проводится «зачистка»: убивают всех подряд, и не станут разбираться, журналист ты или нет. Но Хусейн заверил меня, что пути отхода есть. — Уйдем огородами, — сказал он.

Глава 6 Освобождение

Я стал думать о побеге.

Охранники не отходили от меня ни на шаг. Верхней одежды у меня не осталось, хотя все равно бежать в шинели было опасно. В конце концов я решил, что смогу стащить куртку у одного из охранников.

В первые же дни Муслим и Хусейн заподозрили, что я думаю о том, как сбежать.

Произошло это совершенно случайно. Я как-то подошел к двери и машинально взялся за ключ. С этого момента отношение ко мне у них изменилось: они спрятали ключ и стали следить за каждым моим шагом. Больше я уже не мог свободно выходить в коридор. Однажды, это было числа семнадцатого, я обнаружил, что одно из окон в коридоре можно открыть. Как-то раз мы остались вдвоем с Хусейном, потом он вышел в туалет во дворе, я расшатал шпингалеты на раме и сумел открыть окно. На внешней раме я оставил шпингалет открытым, на внутренней закрыл. Теперь мне важно было получить свободу действий, чтобы воспользоваться этим окном.

Я постарался прежде всего привести в порядок одежду, чтобы подготовиться к побегу. По солнцу я пытался определить, где находятся Грозный и Ведено, и напряженно вслушивался в разговоры Муслима и Хусейна (я немного понимаю чеченский), чтобы узнать, где мы находимся.

Для побега мне нужно было быть в очень хорошей физической форме. Но я боялся, что если вдруг начну заниматься гимнастикой — это может вызвать подозрения охраны.

Поэтому я предложил им играть в карты на отжимания, приседания и другие физические упражнения. Я спокойно проигрывал, перед сном раз тридцать-сорок отжимался — и был очень доволен своим изобретением. В таких условиях появляется звериная смекалка.

Теперь мне нужно было убедить охранников, что я не могу спать ночью. Я действительно почти не мог спать: меня преследовали мысли о пытках, мучительной и позорной смерти. Я часто вставал, курил или просто сидел, подкручивая фитиль керосиновой лампы.

Главным для меня было получить ночью доступ из комнаты в коридор. Потихоньку я начал убеждать Муслима и Хусейна, что ночью, когда меня одолевает бессонница, я буду выходить в коридор — стирать или читать, и действительно начал это делать.

В последние пять дней, когда я уже получил свободный доступ в коридор, я никак не мог заставить себя выбраться из окна. Я просыпался, думая, что нужно встать, подойти, открыть, вылезти, — и не мог. Непонятно было, куда идти; обращаться к кому-то из соседей было опасно — я мог попасть к ваххабитам или к людям, которые связаны с моими тюремщиками.

Я не знал, где стоят российские войска. Если я на них наткнулся ночью, меня тут же пристрелят. Выяснить что-то у охранников не удавалось: они все время были настороже. Гази Дениев и Саша говорили мне, что мы находимся рядом с селом Дуба-Юрт — совсем в другой стороне от Автуров. Если бы я знал, что нахожусь в Автурах, я сбежал бы не задумываясь.

Но в мире, находившемся за окнами, таилось столько опасностей, что я не мог решиться.

Думал я и о таком плане: укрыться в подвале дома, прорыть нору в тюках с брошюрами Хомейни, остаться там и понять по шумихе, кто меня ищет, чего они хотят. И, когда шумиха уляжется, уйти.

По утрам, когда я просыпался все в той же комнате, я проклинал себя за нерешительность. Может быть, именно сегодня придет машина, которая отвезет меня на расстрел или на пытку к ваххабитам, и я последние минуты своей жизни буду жалеть, что не воспользовался возможностью бежать.

В селе вскоре должна была пройти «зачистка». Старейшины села и командиры федеральных подразделений договорились, что войска войдут в село 25 февраля. Мне было ясно, что меня должны вывезти до этого дня.

Наконец появился Руслан, которого я встретил как избавителя. Я решил, что он побывал у Атгериева и привез какой-то план. Но он принес шокирующее известие: что решено меня продать. Якобы сопротивлению нужны деньги. Он начал спрашивать, сколько за меня могут заплатить. Я попытался объяснить, что этого делать не стоит, потому что о продаже договориться непросто. Моих возражений он не слушал.

Наутро сказал, что пошутил — никто меня продавать не собирается, и ушел.

На следующий день пришли Гази и Саша и сказали, что действительно есть необходимость в деньгах, они будут пытаться получить за меня выкуп, и я должен сказать на пленку, что прошу заплатить за меня миллион долларов.

Я вновь начал возражать, и Саша сказал:

— Ну, хочешь — не миллион, скажи: пятьсот тысяч.

Эта пленка была записана. Еще я написал записку для шефа московского бюро о том, что за меня просят выкуп. Эту записку ему так и не передали. Кассета тоже не появилась.

Гази и Саша в последние дни говорили, что увезут меня 24 февраля. Я был уверен, что меня переправят в горное село Шатой, еще не занятое федеральными войсками. Хотя меня убеждали, что повезут в Дагестан.

Я окончательно решил, что в ночь с 23-го на 24-е сбегу, чего бы это ни стоило.

Но вдруг днем 23 февраля во двор въехали «Жигули» и «Волга». Вошли Гази и Саша. Саша сказал Хусейну, чтобы тот всё за нами убрал. Хусейн вынес матрас.

— Куда мы едем?

— В Дагестан, — сказал Саша.

Мне было сказано лезть в багажник «Волги». Я взял свою сумку и лег на матрас. Саша поехал впереди на «Жигулях», в «Волгу» сели Гази Дениев с шофером. Они не заперли багажник, и, когда мы проезжали по селу, я открыл защелку изнутри и выглянул. Я смог разглядеть только дорогу, вдоль которой стояли люди, продающие самодельный бензин в десятилитровых стеклянных банках. Понять, где мы находимся, было невозможно, и я багажник закрыл.

Через некоторое время мы стали проезжать блокпосты. Машина совершала характерные волнообразные движения, но мы не задержались ни на одном. Так мы миновали семь или восемь блокпостов. Саша о чем-то разговаривал на блокпостах, но машина притормаживала буквально на десять-пятнадцать секунд. Это означало, что у него был какой-то особый пропуск, потому что когда я ехал с милиционерами из Чернокозова в Гудермес на маркированной милицейской машине, нас останавливали на каждом блокпосту и тщательно проверяли. Саша был в маске и с автоматом. Меня очень впечатлило, что он может спокойно ездить в Чечне, а потом и в Дагестане в таком виде. Фантастическим было то, что они вывозили меня именно 23 февраля. Это одновременно день депортации чеченцев в Казахстан в 1944 году и праздник российской армии. Каждый год распространяются слухи о том, что чеченцы в этот день готовят вооруженное выступление, планируют захватить какие-то села или города... Как правило, ничего не происходит, но тем не менее эти слухи активно муссируются, и милиция перекрывает все блокпосты. Проехать по дорогам Чечни в этот период, обычно длящийся дня три, практически невозможно.

В дороге я попросился по нужде, чтобы понять, где мы едем. Машина свернула в какое-то глухое место, понять было ничего невозможно. Я вышел, подошел Саша, не расстававшийся с автоматом, и мы поехали дальше.

В багажнике я чуть не задохнулся угарным газом — подтекал глушитель. Я постоянно выглядывал из машины и наконец понял, что мы уже в Дагестане: по шоссе ехали машины с дагестанскими номерами. В этот момент я испытал огромное облегчение — понял, что меня не обманули.

Поездка продолжалась часа четыре. Мы заехали в какой-то двор, меня провели в маленький сарайчик из двух комнаток. В одной комнате были топчан и стол, на котором лежали продукты, в другой — еще два топчана, больше ничего.

Московская хроника

«Мы хотим услышать ответы на три вопроса. Первое: где находится Бабицкий, жив он или мертв? Второе: на каком основании российская власть отдает российских граждан в руки бандитов? Третье: означают ли подобные действия прямую, неприкрытую угрозу остальным журналистам, а также свободе слова и печати?»

(Из выступления лидера фракции Союза правых сил Бориса Немцова в Государственной Думе)

«Фарс на крови, который разыгрывается в связи с делом Бабицкого, совершенно отвратителен. Ни президент, ни кто другой не может отдавать бандитам, приговоренным к уничтожению, своих граждан. Это совершенно невиданная вещь».

(Из интервью лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского телеканалу НТВ)

«Андрей Бабицкий сейчас находится в Чечне, в селе Алхазурово. Там, кстати, была сделана запись 6 февраля, которую все видели на экранах центральных телеканалов. Его отдали в руки его друзей, к которым он стремился и деятельность которых он освещал. Это человек, который чувствовал себя как рыба в воде именно с этими бандитами из бандформирований. Там — это была его стихия и его жизнь, и он попал туда, куда хотел, его насильно никто не заставлял это делать».

(Из интервью пресс-секретаря МВД России Олега Аксенова телеканалу «Вести»)

«Андрей Бабицкий жив-здоров, находится у тех, к кому он захотел уйти».

(Из заявления министра внутренних дел России Владимира Рушайло)

«Вы знаете, что господин Бабицкий, как мы вам и говорили, жив и здоров. Все различные вопросы, которые существуют у прессы, — они законные, но существуют обстоятельства, которые по тем или иным причинам не позволяют отвечать на эти вопросы.

Дополнительной информации по поводу Бабицкого у меня сейчас нет».

(Из выступления помощника президента России Сергея Ястржембского на брифинге)

«Бабицкий был арестован исполняющим обязанности прокурора Чеченской Республики 27 января по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Ему были разъяснены права, которые ему предоставляются, в том числе и право иметь защитника. Бабицкий таким правом не воспользовался. 2 февраля мера пресечения — арест — в отношении Бабицкого была органами прокуратуры отменена. Ему была предоставлена возможность выехать из Чеченской Республики в любом направлении. Однако он этим своим правом не воспользовался. 3 февраля он предпочел вернуться на территорию, контролируемую незаконными вооруженными формированиями».

(Из ответа начальника Главного управления прокуратуры на Северном Кавказе Юрия Бирюкова на депутатский запрос Сергея Ковалева)

«Нельзя вести речь об обмене. Это называется добровольное перемещение. Если в тот момент полевые командиры согласились выпустить пять российских военнослужащих, ничего противозаконного тут нет.

(Из интервью Юрия Бирюкова «Радио России»)

«В судьбе Андрея Бабицкого обозначился новый поворот: у следствия появились данные, подтверждающие сотрудничество журналиста с боевиками. Если он не явится на допрос,

попытается скрыться за границей — его объявят в международный розыск по линии Интерпола.

(Из сообщения в информационной программе телеканала РТР)

«Сегодня стало известно об освобождении из чеченского плена Александра Шерстнева, десантника разведывательной группы, павшей в неравном бою под Харачоем. Тогда в Веденском ущелье погибли 12 наших разведчиков, а двое — Николай Заварзин и Александр Шерстнев — попали в плен. Имя первого освобожденного, Николая Заварзина, впервые прозвучало 3 февраля в сообщении об обмене корреспондента радио «Свобода» Андрея Бабицкого на трех российских солдат. Но, как видно на той знаменитой пленке, запечатлевшей сам обмен, навстречу Бабицкому и сопровождающим его людям ведут явно не Заварзина. Позже и сам Николай Заварзин в интервью «Вестям» рассказал, что был обменен в районе Дуба-Юрта на чеченца».

(Программа РТР «Вести»)

«Сегодня директор ФСБ Николай Патрушев, отвечая на вопросы информационных агентств, сказал, что не обладает данными о том, что Андрей Бабицкий в настоящее время находится за пределами России. «Вчера мы получили информацию о том, что Бабицкий собрался лететь из Стамбула в Варшаву или в Минск, — сказал Патрушев, — однако эти сведения не подтвердились».

(Новости телеканала ОРТ)

«Я в контакте постоянно с Генеральной прокуратурой, которая занимается этим делом. Даны соответствующие указания спецслужбам. Эти указания направлены на то, чтобы сделать все, что зависит от наших спецслужб, для того, чтобы сохранить Бабицкому жизнь, здоровье, свободу».

(Из заявления исполняющего обязанности президента России Владимира Путина)

«Я против этого Бабицкого. О нем говорить даже не надо. О нем нужно забыть раз и навсегда, и тему Чечни нужно снять. Нужно ввести в стране военную цензуру, и обо всех вооруженных конфликтах должны информировать только Министерство обороны и Министерство внутренних дел».

(Из выступления кандидата в президенты России, вице-спикера Государственной Думы Владимира Жириновского в программе телеканала ОРТ)

«Руководитель чеченской милиции Бислан Гантамиров сообщил, что Андрей Бабицкий находится в селении Дуба-Юрт к северу от Аргунского ущелья. Гантамиров сказал, что его милиционеры почтут за честь лично отбить Бабицкого у боевиков».

(Агентство РИА)

«Есть оперативная информация о том, что сами чеченцы сегодня используют Бабицкого как прикрытие, потому что понятно, что в том месте, где Бабицкий будет содержаться, российские войска не будут проводить агрессивную борьбу с бандитами».

(Из интервью министра печати России Михаила Лесина радиостанции «Эхо Москвы»)

«Андрей Бабицкий находится у мирных жителей в горном районе Чечни. Об этом сегодня Владимир Путин сообщил главе британского МИД Робину Куку».

(Новости ОРТ)

«На встрече с комиссаром по правам человека Альваро Хиль-Роблесом министр иностранных дел России Игорь Иванов заявил, что корреспондент «Свободы» Андрей Бабицкий жив и находится в расположении бандформирований в Чечне».

(Новости ОРТ, 25 февраля 2000 г.)

Через некоторое время в сарайчике появился Саша — в маске, в сопровождении нового человека весьма странного вида: худой, в холщовой курточке с капюшоном, деклассированного облика. Саша оставил Гази Дениева и этого странного дагестанца в «предбаннике», а мы прошли во вторую комнату. Саша достал бутылку водки:

— Выпьешь?

Я согласился. Мне казалось, что если он напьется, я смогу что-нибудь узнать о своей дальнейшей судьбе.

Мы сели выпивать. Саша вытащил два фальшивых паспорта и 300 долларов. Фотографии они пересняли с моего старого паспорта. Карточки были очень плохого качества. На внутреннем паспорте было ясно видно, что фотография подделана, на заграничном подделка была не так заметна из-за маленького размера снимка. Внутренний паспорт был на имя Мусаева Али Иса-оглы, заграничный — на имя Бурова Кирилла Зиновьевича. — Напиши расписку, что ты получил деньги и документы. — Он дал мне вырезку из «Независимой газеты»: — Посмотри, что о тебе пишут. Тебе нужно обязательно уехать из России, тут тебя убьют.

Это была подборка писем — отклики на статью главного редактора Виталия Третьякова о моем деле: обращение американского профессора в мою защиту и три довольно злобных письма о том, что я — предатель.

Саша сказал, что завтра он переправит меня в Азербайджан.

— Отправьте меня лучше в Ингушетию.

— Мы не доверяем президенту Ингушетии Аушеву: он бомбил наших людей в Афганистане.

Саша вдруг стал ругать чеченцев, говорить, что война проиграна и что он лично сделает все, чтобы выловить и повесить Басаева, Хаттаба и Масхадова.

Я попросил только об одном: чтобы завтра, когда мы поедем к границе, он посадил меня в машину — в багажнике легко задохнуться. Он спросил, не попытаюсь ли я как-то привлечь к себе внимание.

— Если бы я хотел это сделать, я бы еще в Чечне стал стучаться в багажник на блокпостах.

Тут Саша продемонстрировал мне крошечный пистолет величиной с ладонь:

— Смотри. Он стреляет бесшумно. — Вынул из пластмассовой упаковки два патрона, зарядил пистолет и выстрелил в стенку. Действительно, пистолет стрелял бесшумно. — Вот что с тобой было бы, если бы ты начал стучаться. Я пристрелил бы тебя прямо в багажнике.

Саша стал давать мне инструкции, как вести себя в Азербайджане:

— Перейдешь границу, возьмешь такси, доедешь до Баку, найдешь своего корреспондента — и там уже думайте сами, что будете делать.

Вечером Саша с Гази Дениевым отправились в баню. В домике остались странный человек в капюшоне и шофер «Волги». По их разговорам я понял, что мы находимся в пригороде Махачкалы.

Саша оставил мне армейский спальный мешок. Я улегся, проснулся очень рано, и сразу же ожили мои страхи. Я очень надеялся, что Гази и Саша напьются и не придут за мной. Если бы они оставили меня в покое, я сам бы решил, что делать. Переходить азербайджанскую границу мне совершенно не хотелось.

Но Саша — опять в маске — и Гази появились. С ними был человек с рельефным, запоминающимся лицом, довольно приятным (хотя после почти дегенеративного облика младшего Дениева любое нормальное лицо могло показаться красивым). Этот человек сказал Саше, что на границе все в порядке, есть договоренность с пограничниками, никаких проблем не будет.

Они вывели меня из дома и посадили в машину. Саша был абсолютно пьян, маска сползала на бок, выглядел он безобразно. С многодневной щетиной я тоже выглядел не лучшим образом и предложил им остановиться и купить бритву: переходить границу в таком виде было опасно.

На маленьком рыночке мы купили одноразовые станки, и прямо на улице я побрился. Часа три мы ехали до границы. На КПП нас встречал полный дагестанец в дубленке. В будке таможенников дагестанец взял декларацию, я заполнил ее, и мы подошли к таможеннику. Сначала тот равнодушно скользнул взглядом по моему лицу. Потом его

словно осенило — он стал пристально в меня всматриваться. Не было сомнений, что он меня узнал.

Появился еще один таможенник. Первый отвел его в комнату, они посоветовались, вышли и подписали декларацию.

Минут двадцать я стоял в компании толстого местного таможенника и решил, воспользовавшись моментом, объяснить ему, что из Азербайджана мне надо срочно попасть обратно в Дагестан.

— Мне надо будет вернуться, — сказал я ему. — Может быть, уже сегодня: вдруг я не найду своих сопровождающих. Если сможешь мне перейти, я заплачу.

Он согласился.

Я планировал сделать так: перейти в Азербайджан, несколько часов провести по ту сторону границы, не отходя далеко от КПП, а потом вернуться. Я не чувствовал за собой никакой вины и не знал, зачем мне нужно бежать за границу.

Мы подошли к пограничному КПП. И тут выяснилось, что приехала новая смена пограничников. Я отдал паспорт в будку молодому пограничнику.

— А где печать? — вдруг спросил он.

Меня отодвинул в сторону дагестанец и стал беседовать с этим парнем. Потом подозвали начальника смены. Пререкания продолжались минут сорок.

— Давай сделаем вот что. Мы договорились с местным проводником, тут очень легко пройти в обход КПП через соседнее село.

Саша подарил мне кожаную куртку. Я попросил у Гази Дениева омерзительного вида шапку, но он мне отказал:

— Не могу. Мне сегодня лететь в Москву, там холодно. — И добавил: — Ты потом поймешь, кто мы такие. Будешь в Москве — найдешь меня на улице Гиляровского. В машине у него лежала огромная кипа газет «Адамалла», которую выпускает Адам Дениев. В особняке на улице Гиляровского находится штаб-квартира Дениева.

Я пересел в «Москвич». Они забрали у меня сто долларов и заплатили проводнику.

— Как тебя зовут? — спросил водитель.

— Подожди, сейчас посмотрю, — и я полез в паспорт.

Я думал, что проводник как-то связан с моими конвоирами. Но он просто оцепенел, когда я стал читать свое имя, которого не знал, на первой странице паспорта. Вытянувшись в струнку, он замер от ужаса — и явно решил, что я чеченский боевик.

— Ты хорошо знаешь этих людей?

На всякий случай я ответил:

— Да, это друзья, которые хотели мне помочь выбраться в Азербайджан. А что?

Он странно на меня посмотрел:

— Знаешь, говорят, что они из ФСБ. Мы сейчас поедem по дороге, они сказали, что позвонят на пост ГАИ — и нас пропустят.

Действительно, когда мы доехали до поста, выяснилось, что туда позвонили, и нам позволили ехать дальше.

Мне было очень важно сорвать переход границы. И я попытался убедить в этом проводника, уверенного в том, что я — воевавший в Чечне наемник. Я решил поддержать эту версию: напустил на себя важный вид, стал говорить резко, отрывисто, употребляя военную терминологию, чем привел его в еще большее оцепенение.

Он сказал мне, что дагестанцы будут ждать его в каком-то доме. Когда он переведет меня через границу, он должен доложить им, что все в порядке. Мало-помалу я внушил ему, что действительно был в Чечне и люди, которые меня привезли, на самом деле обо мне заботятся, но плохо подделали документы, и переходить границу сейчас очень опасно: может быть, нас ожидает засада. Скорее всего, мне лучше вернуться в Махачкалу и все отладить, чтобы документы были в порядке и переход состоялся без проблем.

Мы остановились в лесочке, и я сказал:

— Пока светло, никуда не поедем. Если нас поймают — это будет большая беда не только для меня, но и для тебя тоже.

Я так напугал бедного парня, что он сидел ни жив ни мертв.

Мы дождались темноты. Я опасался, что если он расскажет, что я вернулся в Махачкалу, за мной организуют погоню. Как-то мне удалось убедить его, что ситуация под моим контролем и лучше ему никому ничего не говорить.

— Я сразу понял, кто ты такой, — сказал он, уважительно глядя на мой давний шрам от автокатастрофы, покрасневший от бритья на холоде. — У тебя еще не зажили ранения.

— Я не буду брать на себя лишний риск, я достаточно рисковал в своей жизни.

Разворачиваемся и едем в Махачкалу, — сказал я ему.

Мы заехали в ресторанчик. Он перекусил, выпил бутылку пива, и мы поехали в направлении Махачкалы. Загранпаспорт без печати я выкинул, у меня остался только внутренний паспорт, но и его я боялся предъявлять: было очень заметно, что фотография подделана.

На первом же посту ГАИ машину тормознули. Проводник ушел. Его не было пятнадцать минут, полчаса, час... Меня не покидало ощущение, что сзади, в считанных километрах от нас, сопровождавшие меня дагестанцы ждут сообщения о том, что переход состоялся, и если проводник не приедет вовремя — могут начать поиски.

Его не было больше часа. Потом выяснилось, что менты унюхали запах пива.

Наконец он вышел, остановил попутку, посадил меня. В машине сидело четверо дагестанцев — пьяноватых и веселых. Они стали спрашивать, кто я такой. Я сказал, что коммерсант, вожу из Азербайджана турецкие дрожжи и теперь приехал из Москвы передать документы на товар водителю грузовика.

Мы миновали пять постов ГАИ. Каждый раз машину останавливали, проверяли документы. Компания была веселая, к милиции относилась агрессивно. К счастью, у меня ни разу не спросили документов, так что до Махачкалы я доехал совершенно спокойно.

Арест

Я попросил таксиста отвезти меня в самую дешевую гостиницу в городе. Я спокойно устроился в гостиницу «Дагестан» — мой паспорт не вызвал у дежурной никакого интереса. Я посидел в номере, почитал книги и решил выйти на улицу поесть.

Прямо напротив гостиницы было маленькое кафе. Как потом выяснилось, напротив «Дагестана» была другая гостиница, полностью заселенная сотрудниками МВД, и как раз в этом кафе проводили время милиционеры, жившие в гостинице.

Первое, что я услышал, зайдя в кафе, — это сообщение по радио о том, что Мадлен Олбрайт на встрече с Путиным потребовала, чтобы власти решили «проблему Бабицкого».

Я сделал заказ, и тут из-за соседнего стола поднялся милиционер и направился ко мне:

— Ваши документы!

Я дал ему паспорт на имя Мусаева. Он посмотрел паспорт, потом взглянул на меня:

— Но вы же Бабицкий?

— Да. Только, прошу вас, давайте не поднимать шума. Отойдем куда-нибудь, и я все объясню.

Меня отвели в кабинет директора ресторана. Тот тут же заулыбался, стал жать руку.

Задержавший меня парень ушел и через час вернулся на министерском джипе.

Оказывается, министр внутренних дел Дагестана выделил ему собственную машину, чтобы доставить меня в министерство.

Меня сразу провели к министру Адельгирию Магомедтагирову. Появились корреспонденты местного телевидения. Министр вызвал трех милиционеров, которые меня задержали, и торжественно перед телекамерой вручил им денежные призы за спасение моей жизни.

Атмосфера была очень доброжелательной, меня встретили как героя. Пресс-секретарь МВД Дагестана Абдул Мусаев, мой давний знакомый, пригласил меня в свой кабинет.

Тут начались странности. Я попросил дать мне возможность позвонить в Москву. Мусаев отправился к министру, вернулся и попросил подождать. Потом выяснилось, что по указанию из Москвы запретили показывать пленку, снятую местным телевидением. Пришел заместитель министра, попросил меня рассказать, что произошло. Я начал рассказывать — и вскоре почувствовал, что наш разговор превращается в элементарный допрос.

— Если хотите меня допрашивать, вызывайте адвоката. Я все расскажу в его присутствии. К тому времени я уже знал, что у меня есть адвокаты — Генри Резник и Александр Зозуля. С первых же минут в Дагестане главным предметом моей тревоги было заявление, которое я подписал в Автурах, о том, что если я разглашу тайну удерживавшей меня организации — мои родные будут физически уничтожены. В тот момент я воспринимал это как реальную угрозу. О том, что моим родственникам угрожает опасность, я сказал и министру. Я еще больше испугался, когда узнал, что в Махачкалу прилетела Люда. Но было ясно, что в МВД никто мои слова всерьез не принимает; это меня испугало еще больше.

Появился адвокат Александр Зозуля. Сказал, что возбуждено уголовное дело об использовании поддельных документов.

Был проведен формальный допрос. Я отвечать отказался, ничего не стал подписывать, и после этого меня повезли в районный следственный изолятор. Из здания МВД меня выводили внутренними дворами, потому что у главного входа дежурили журналисты. Меня бросили в камеру — бетонный квадрат с покатой деревянной площадкой. Там сидел дагестанец, которого взяли после драки.

Оттого, что мои опасения за семью все игнорируют, у меня началось нечто вроде истерики. Я требовал у дежурных, чтобы мне дали связаться с министром и напомнить, что моя жена нуждается в охране. У меня безумно болела левая сторона груди, кололо под лопаткой. Я думал, что это сердечный приступ, и потребовал, чтобы вызвали «скорую помощь».

Прошло несколько часов. С министром меня не связали, «скорую помощь» так никто и не вызвал. То ли милиционеры решили, что я симулирую, то ли у них вообще не было принято вызывать к задержанным врача.

Я раздавил очки, чтобы вскрыть себе вены осколком. К сожалению, это оказался пластик, и осколком я только глубоко поцарапал, но не разрезал вены.

Я попросил сокамерника, чтобы он взял у охранника алюминиевую ложку: ее легко заточить о бетонную стенку и потом уже можно резать все что угодно. Он попросил ложку, но охранник проявил любопытство — зашел в камеру и увидел, что у меня разрезаны руки. Тут же вызвали врача, и тот вколол мне успокоительное.

Вечером меня перевезли в центральный следственный изолятор Махачкалы. В камере было пять коек, двухэтажные железные нары. Один парень из Буйнакса сидел по подозрению в распространении наркотиков. Другой, мелкий мужичок, был арестован за то, что якобы приносил ваххабитам в Карамахи хлеб и поддерживал с ними контакты. Вообще мне сказали, что в изоляторе было много ваххабитов, которых с первого дня заключения насиловали ростовские омовцы. Они, став «опущенными», теперь убирали тюрьму: ни один уважающий себя зэк не опустится до такой грязной работы.

Выяснилось, что за час до моего появления из камеры убрали телевизор, принадлежавший парню из Буйнакса. Я тут же объявил голодовку, и этот парень решил к ней присоединиться с требованием вернуть телевизор. Он начал качать права, кипишевать, но его просто вывели из камеры и перевели в другую.

Вечером меня вдруг выдернули из тюрьмы. Приехал врач, осмотрел меня, поставил диагноз: межреберная невралгия. И вскоре мне дали свидание с женой.

Оказалось, что Люда добивалась встречи со мной, ей все время отказывали, и наконец она подошла ко входу в Министерство внутренних дел и пригрозила охранникам, что если ей

не дадут встретиться с мужем в ближайший час, она ляжет прямо на ступеньки перед министерством и будет лежать. После этого ей сразу разрешили свидание.

Люда дала мне пятьсот рублей: сокамерники сказали мне, что у охранников можно купить все что угодно. Я спрятал их в носок, но, перед тем как отправить меня в камеру, меня обыскали и отобрали деньги.

Потом выяснилось, что мой приятель — милейший грузин Нико Топурия, корреспондент «Франс-пресс», быстро сошелся в Махачкале с серьезными уголовными авторитетами, которые договорились с прокурором города, что меня поместят в тюремную больницу, чтобы облегчить мне существование. Но заступничество бандитов не понадобилось. Я провел в камере ночь. А на следующий день меня посадили в машину и без всяких объяснений повезли в аэропорт.

Меня завели в абсолютно пустой самолет. Охранники сказали, что это личный транспорт министра Рушайло.

Я попросил, чтобы мне разрешили взять с собой жену, даже не знавшую, что меня отправляют в Москву. Но на мою просьбу просто никто не отреагировал.

Мы прилетели в Москву за полночь — в аэропорт «Быково».

Меня завели в какую-то комнатку. Там сидел мужичок, представившийся старшим следователем по особо важным делам Игорем Данилкиным. Он сонно листал мое дело, ставшее к тому времени довольно пухлым.

— Я изучил документы и пришел к выводу, что вас можно освободить под подписку о невыезде.

Я расписался, и охранники отвезли меня домой.

Началась довольно противная жизнь. Первые два дня у подъезда моего дома на окраине Москвы дежурил милиционер, наводя ужас на соседей. Ежедневно в моей квартире бывало по десять-пятнадцать иностранных корреспондентов. Я лег в больницу с острой невралгией, истощением, потом прошел психиатрическую экспертизу в Институте Сербского по требованию следствия, ходил на бессмысленные допросы к тошнотворному следователю Данилкину.

— Игорь Нестерович, — говорил я ему, — ну что вы, сами не понимаете, что дело дутое, что стыдно его вести? Есть люди, которые реально виновны во всем. Я никакого паспорта не подделывал.

В октябре 2000 года в Махачкале состоялся суд надо мной по обвинению в использовании фальшивых документов.

А за два дня до процесса убили в Москве Гази Дениева. Кто-то связал его убийство с предстоявшим процессом, но я думаю, что это была чисто уголовная история. Гази пошел к какому-то чеченскому банкиру в Москве и потребовал миллион долларов. Банкиру, судя по всему, сумма показалась неподъемной. Он взял охотничье ружье и всадил заряд в грудь Дениеву.

На суде я узнал, что моя история рикошетом ударила по парню, с которым я ехал до Махачкалы и у родственников которого переночевал. У них были два обыска, во время одного из них украли двести долларов. А у Назима закрыли ларек в Дербенте, теперь он не мог работать.

На суде все подтвердили мой рассказ. Обвинение в подделке документов было снято, осталось только их «использование». Меня приговорили к уплате штрафа в 100 минимальных окладов (примерно 300 долларов) и тут же освободили от уплаты по амнистии в честь 55-летия Победы над фашизмом.

Очень тяжело пережили всю эту историю моя жена и маленькая дочка. Дочка все время плакала, когда по телевизору меня поливали грязью. Она не очень понимает, что такое Чечня, но когда слышит это слово — всегда подходит и говорит, что в Чечню ехать не надо. Не очень любит она и Путина. Когда он появляется на телеэкране, она говорит: «Путин — плохой дядя». Я ей не возражаю. Хотя понимаю, что дело не только в этом.

Войны нашего времени

Н. Слободянюк. Летопись современных войн

Когда начинаются современные войны? Можно называть множество исторических событий, использовать научные изыскания историков – и все это будет верно. Но, пожалуй, основная линия водораздела проходит не в области политики, экономики, она прорезается в сознание человека массы, который ищет впечатлений и жаждет образов, испытывая наркотическую зависимость от новостного калейдоскопа. Можно назвать даже точную дату – 1895 год – испано-кубинская война, которая началась на страницах тогдашней прессы США. Херст в призыве к своим репортерам, сам не подозревая того сделал открытие новой эпохи: «Оставайтесь на Кубе, вы обеспечиваете репортажи, а я постараюсь обеспечить войну».

Прошло время – на смену режиму «тоталитаризма» на постсоветское пространство победоносно вступила свобода слова рука об руку с демократией. Торжествуют новые для российской журналистики международные стандарты, а вместе с ними и новые способы ведения войн, которые бушуют на полосах газет, на экране телевизоров и волной насилия затем выплескивается в реальную жизнь. Но теперь как в начале времен: «И было Слово, и Слово было Бог». Только теперь не Бог, а его противоположность, несущая разрушение. Да, была тоталитарная пропаганда (или не было? или это очередная химера нашего времени?), да, была ложь, была правда, была полуправда – и относится к ним можно было по –разному. Но никогда прежде один и тот же объект в сознании одного и того же «субъекта» не менял так стремительно свою полярность. Нынешняя эпоха – торжество головокружительного Торнадо-спина, и уже не понятно где Правое дело, а где ПР. Мы смотрим – наш мальчишка лет шести с автоматом – будущий герой, защитник, боец, а их шестилетний малыш с ружьем – законченный отморозок, террорист, хладнокровный убийца... И, вдруг, они меняются местами – и уже на лице нашего мы видим кровожадную усмешку, а их малыш... Стоп, а где наши? А где их? А где мы? А кто мы? Мы все на войне, на войне воспритий.

Эта война, похоже, не любит оставлять следов: она не любит писать – она рисует – образ многозначен, и действует лучше. Визуальные документы многократно превышают печатные – это тоже знак времени, знак новых войн.

Чеченская война, Первая и Вторая, - никогда прежде так стремительно не менялось отношение к одному и тому же в одном и том же обществе, в такие краткие промежутки времени. 1994-1996 годы – несправедная война: федеральные войска – преступники, их противники – «борцы за свободу». Вот ее небольшая зарисовка: «Колонна, которая двигалась с востока со стороны Дагестана, была остановлена на границе с Чечней местным населением, целые группы военнослужащих были взяты в плен. С этого направления российским войскам так и не удалось войти на территорию Чечни. Итак, к особенностям периода начала кампании следует отнести то обстоятельство, что российские войска понесли большие потери еще на подступах не только в Грозный, но и к самой Чечне. Довольно удачно против них сработала сплоченность закавказских народов: ингушей, чеченцев, дагестанцев и организованные действия чеченских командиров. На такой сплоченности населения была построена тактика боевых действий правительственных отрядов Д. Дудаева в первый период кампании. Эта тактика заключалась в том, что колонны российских войск останавливались и блокировались гражданским населением, а затем по войскам противника открывали огонь вооруженные формирования правительственных сил Д. Дудаева. 12 декабря колонна федеральных войск была обстреляна со стороны станицы Ассиновска (Чечня). Среди российских военнослужащих были потери. Ассиновск окружили. Под селом Новый Шарой толпа блокировал дорогу. В селах сопротивление проявляли отряды местного ополчения, тогда как регулярные вооруженные формирования ЧРИ, которые также имели тяжелое

вооружение, базировались на юге от населенного пункта Бамут. Российские же войска наносили в ходе боевых действий авиа- и артиллерийские удары (даже с использованием касетных бомб) по мирным селам с местным населением, чем приводили к еще большей консолидации чеченцев вокруг Президента Ичкерии. Такая тактика способствовала формированием отрядов ополченцев в каждом из сел, которые были вооружены легким стрелковым вооружением: автоматами, пулеметами, гранатометами. В результате такой тактики российские войска, двигавшиеся с запада были вынуждены остановиться и перейти к позиционной обороне на границе Чечни по линии Самашки - Давыденко - Новый Шарой - Ачхой-Мартан - Бамут. Таким образом во второй половине декабря русские войска понесли потери при выдвигении в Грозный. 23 декабря российские войска прибегли к отчаянной попытке отрезать Грозный от г. Аргун на востоке. В результате кровопролитных боев (в ходе которых российские войска отбили атаку чеченской бронетанковой колонны) им удалось закрепиться в районе аэродрома в Ханкале, размещенном на юго-востоку от Грозного»¹⁴⁴.

Война вызвала волну протестов в самой России. В частности, около 800 российских солдат и офицеров отказались участвовать в военной кампании. 83 из них впоследствии были осуждены военным трибуналом, а остальные освобождены. В знак протеста против войны в отставку подал заместитель министра обороны Борис Громов (ветеран войны в Афганистане). А также советник Ельцина Эмиль Пайн. Один из командующих российской армии в начале боевых действий - генерал Эдуард Воробьев также впоследствии подал в отставку, а генерал Лев Рохлин отказался от звания героя России за участие в чеченской войне.

И спустя два года герои вдруг превратились в бандитов, а захватчики в освободителей. Вот образ второй компании: «После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году мира и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило. Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях людей. Регулярно происходил захват заложников с целью выкупа — как официальных российских представителей, так и иностранных граждан, работавших в Чечне — журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, религиозных миссионеров и даже людей, приехавших на похороны родственников. В частности, в Надтеречном районе в ноябре 1997 года были захвачены два гражданина Украины, приехавшие на похороны матери, в 1998 году в соседних республиках Северного Кавказа регулярно похищались и вывозились в Чечню турецкие строители и бизнесмены, в январе 1998 года во Владикавказе /Северная Осетия/ похищен гражданин Франции, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсент Коштель. Он был освобожден в Чечне 11 месяцев спустя, 3 октября 1998 г. в Грозном похищены четыре сотрудника британской фирмы «Грейнджер телеком», в декабре они были жестоко убиты и обезглавлены). Бандиты наживались на хищениях нефти из нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде наркотиков, выпуске и распространении фальшивых денежных купюр, терактах и нападениях на соседние российские регионы. На территории Чечни были созданы лагеря для обучения боевиков — молодых людей из мусульманских регионов России. Сюда направлялись из-за рубежа инструкторы по минно-подрывному делу и исламские проповедники. Значительную роль в жизни Чечни стали играть многочисленные арабские добровольцы. Главной их целью стала дестабилизация положения в соседних с Чечней российских регионах и распространение идей сепаратизма на северокавказские республики (в первую очередь Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария)... Сломив сопротивление боевиков силами армейских частей и внутренних войск МВД (командование российских войск успешно применяет военные хитрости, такие, к примеру, как заманивание боевиков на минные поля, рейды по тылам противника и многие другие), Кремль сделал ставку на «чеченизацию» конфликта и

144 http://history-of-wars.ru/war_hrono/343-pe...-1994-1996.html (сохранена орфография источника)

переманиванию на свою сторону части элиты и бывших участников чеченских вооружённых формирований. Так, во главе прокремлевской администрации Чечни в 2000 стал бывший сторонник сепаратистов, главный муфтий Чечни Ахмат Кадыров. Боевики, напротив, сделали ставку на интернационализацию конфликта, вовлекая в свою борьбу вооруженные отряды нечеченского происхождения. К началу 2005, после уничтожения Масхадова, Хаттаба, Бараева, Абу аль-Валида и многих других полевых командиров, интенсивность диверсионно-террористической деятельности боевиков значительно снизилась. За 2005—2008 в России не было совершено ни одного крупного теракта, а единственная масштабная операция боевиков (Рейд на Кабардино-Балкарию 13 октября 2005) завершилась полным провалом. Однако с 2010 года отмечены несколько крупных терактов, Террористический акт во Владикавказе (2010), Террористический акт в аэропорту Домодедово). Генерал КГБ Филипп Бобков в 2005 году дал такую характеристику действиям чеченского сопротивления: «Эти операции мало чем отличаются от боевых действий израильтян до создания их государства на территории Палестины, а затем палестинских экстремистов на территории Израиля или ныне албанских вооруженных формирований в Косово».¹⁴⁵

Спустя 8 лет мы наблюдаем уже совершенно иную войну, которая не раскалывает, а консолидирует общество. Становится очевидным, что процесс более управляем, и во многом благодаря СМИ Россия получает маленький, но эффективный блицкриг, с помощью которого, она может утвердиться на внешней арене и усилить патриотические настроения. В отличие от Чеченских войн здесь намного меньше Слов и гораздо больше образов. Журналисты предпочитают апеллировать не к идее, а к эмоциональному образу. Картинки больше, чем текста, а сам текст все больше персонализирован.

И война, где гибнут люди, становится сценой для выяснения отношений межгосударственных. Збигнев Бжезинский: Не опускать глаза перед русскими ("Time", США), Заставить Путина платить ("The Wall Street Journal", США), Как остановить Путина ("The Washington Post", США), Россия в своем самодовольстве движется к падению ("The Times", Великобритания), Противостоять России ("Los Angeles Times", США), Как Запад может дать отпор России ("The Wall Street Journal", США), Сойдет ли это с рук России? ("The New York Times", США), Запад больше не может безучастно наблюдать за бесчинствами бандита-России ("The Guardian", Великобритания). Так война, уже к сожалению обычная, переходит в войну информационную.

Вот статья выпущенная из дальнбойного орудия - авторитетного западного издания, бьющая прямо в цель.

Следует ли осуждать Гергиева за концерт в Южной Осетии?

Пятница, 22 Августа 2008 г.

Редакционная статья, "The Times", Великобритания.

Музыка - ключ к самым глубоким человеческим страстям. Она поднимала людей на битвы, славилась победы, возводила на трон королей и провожала мертвых в могилу. Величайшие из музыкальных произведений были вдохновлены крупными историческими событиями. На Бетховена оказали глубокое влияние победы Наполеона. Шостакович выразил непреклонную доблесть своих собратьев-русских, умирающих от голода в осажденном Ленинграде. Позднее музыка продолжала играть важную роль во всевозможных акциях и кампаниях. Благодаря фестивалю Live Aid о голоде в Эфиопии узнали миллионы, он сделал - и продолжает делать - для голодающих больше, чем любые речи. Виолончель Ростроповича, игравшего у Берлинской стены, стала маяком свободы. И как можно забыть ликование Бернштейна, дирижирующего исполнением 'Оды к радости' Бетховена в честь падения Берлинской стены?

145 <http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=816>

Тем не менее, концерт, данный в Южной Осетии Валерием Гергиевым, главным приглашенным дирижером Лондонского симфонического оркестра, безусловно навлечет на этого блестящего музыканта мирового класса обвинения в том, что он унижает свой талант. Поставив себя на службу пропаганде, прославляющей российскую военную мощь, он перешел черту, отделяющую искусство от политики, красоту от зверства. Дав концерт в честь завоевания, он превратил музыку в инструмент российской внешней политики. Не стоит ставить под сомнение искренность чувств Гергиева. Он осетин по происхождению, его жена и дети продолжают жить в этом регионе. Кроме того, он близкий друг Владимира Путина и, возможно, частично разделяет политические взгляды российского премьера. Российский национализм не стал лейтмотивом его творчества. Разумеется, как всякий художник, он имеет право на собственные взгляды и вправе выражать их, если считает это уместным.

Гергиев продолжает длинный ряд музыкантов, выступавших, зачастую спорным образом и в ущерб собственной репутации, в защиту того, во что они верили. Иегуди Менухина, дававшего концерты перед бывшими узниками Берген-Бельзена, многие, и в первую очередь собратья-евреи, критиковали за то, что, после Второй мировой войны он протянул руку примирения Вильгельму Фуртвенглеру, немецкому дирижеру, игравшему для нацистов. Концерты Даниэля Баренбойма в Рамалле и его сотрудничество с палестинским критиком Израиля Эдвардом Саидом, с которым они вместе создавали палестино-израильский оркестр, также вызывали недовольство некоторых израильтян.

Художник - а значит, и искусство, - не может существовать полностью в отрыве от собственных взглядов. Вопрос в том, заслуживает ли поддержки то, за что он борется. Это всегда зависит от точки зрения. Если бы сэр Саймон Рэттл со своим Берлинским филармоническим оркестром дал в Кабуле концерт в честь борцов с 'Талибаном', на Западе вряд ли многие бы его осудили, а вот в исламском мире совсем наоборот. Гергиев освятил своим талантом то, что наша газета считает неоправданным актом войны, военным вторжением, вызванным империалистическими устремлениями. Свое мастерство музыканта он проявил, прославляя вооруженную агрессию Москвы.

Однако, несмотря на разделяемое нашей газетой критическое отношение к действиям России, поддержанным Гергиевым, важно понимать, что в западном обществе дирижер может продолжать свободно работать, невзирая на свой спорный поступок. В России г-на Путина, как в Советском Союзе, неповиновение приводит к остракизму. У нас такого быть не должно.

Российская информационная война против всего мира
13 Август 2008, 14:20

Информационная война. Стратегическое оружие России в грузинской войне – дезинформация, пропаганда и провокация. Информационный «обстрел» Украины уже начался. Когда-то коллеги в ведущем российском информагентстве похвастались: – Оцените, как мы лихо разместили на форуме польской газеты «Тыгодник повчехный» украинофобскую статью, а потом дали ее русскоязычный перевод, ссылаясь на то, что публикация вышла в самой газете. Скандал получился громкий. Но это лишь один из многих приемов работы машины российской пропаганды, которая с началом грузинской войны работает на полную мощь.

Большинство украинских СМИ пользуются переводами, сделанными российскими изданиями и агентствами, у которых больше ресурсов и возможностей. В итоге украинские читатели оказываются очень зависимы от этой самой российской точки зрения, что особенно проявилось в освещении военного конфликта Грузии и России. Украинцы смотрят российские телеканалы, читают российскую прессу и украинские, но

часто пророссийские сайты. И в нашем информпространстве доминирует прокремлевская оценка событий в Южной Осетии и Грузии.

Вчера, например, в «Газету...» позвонил равнодушный читатель и почему-то попытался убедить нас... не призывать «бить москалей». Увы, он так и не поверил, что таких призывов на страницах издания не было и не будет.

В российских СМИ сегодня в один голос своих солдат называют исключительно «миротворцами», грузинских – только «агрессорами», авиаудары российской авиации по грузинским городам интеллигентно именуется «принуждением к миру». И ни слова мимо идеологии.

Да, лжи, и правда, должно быть очень много, чтобы она выглядела правдоподобно. Как видим, это работает.

«Потом они возьмутся за Украину»

Что пишут о войне в британских, немецких, американских и польских газетах

В отличие от российских СМИ, в западной прессе можно встретить разностороннее освещение конфликта между Россией и Грузией. Пресса Западной Европы реагирует так же осторожно, как и правительства этих стран. Газ российский-то нужен... В немецких СМИ даже проскакивает некое злорадство, между строк читается: вот все нас критиковали, что мы поддерживали Россию в стремлении подсадить другие страны Европы на «энергетическую иглу» Газпрома, где же теперь резкая реакция?

А вот британские обозреватели отреагировали очень жестко. Тональность публикаций – «Мы же вас предупреждали!». Американские газеты больше пеняют на правительство – время заигрывания с Путиным закончилось. При этом все дружно сходятся на одном: следующей целью России станет Украина.

«Россия показала, кто здесь главный»

Российская реакция показала, кто здесь главный. Она – предостережение всем экс-вассалам, которые подчеркивают свою независимость и хотят провести собственные нефте- и газопроводы в Европу. Независимо от военного исхода эта война скажется на попытке (этих стран. – Ред.) снизить энергетическую зависимость от России.

Frankfurter Rundschau, Германия

«На Грузии это не закончится»

На аллее Руставели свой столик поставили грузинские интеллигенты. Они собирают подписи под своим обращением к миру, обращением «против российской агрессии в Грузии», с просьбой о «всяческой помощи». О том, чтобы Грузию не оставляли одну. «Потому что если мир нас оставит, если нам не помогут, то на Грузии это не закончится. Когда россияне справятся с нами, они возьмутся за другие страны своего так называемого «ближнего зарубежья» – в первую очередь, конечно, за Украину».

Tygodnik powszechny, Польша

«Что мешает России поглотить другие части бывшего СССР?»

Реакция России была слишком воинственной и слишком непропорциональной. Она как будто ждала такой возможности. На карту поставлено равновесие сил в регионе. Если Кремль в состоянии по сути дела аннексировать Южную Осетию, то что мешает ему поглотить и другие части бывшего СССР с русским населением? Быть может, теперь Россия объявит свое право защищать этнических русских в Балтийских государствах? Присоединения к себе пророссийски настроенных восточных областей Украины? Или формального объединения с Белоруссией?

Daily Telegraph, Великобритания

«США сейчас нужна помощь России»

У администрации Буша выбор сейчас такой. Поддержать Грузию, имеющую самые прочные, по сравнению с другими бывшими советскими республиками, союзнические связи с США – значит оттолкнуть Россию, чья помощь ей сейчас нужна для обуздания ядерных амбиций Ирана. А проблема Ирана находится в верхней части списка приоритетов в повестке дня Соединенных Штатов во внешней политике.

New York Times, США

Хроника информационной атаки

9 августа – президент России Дмитрий Медведев, провозглашая начало кампании, назвал ее операцией «по принуждению Грузии к миру». Это не помешало российской авиации нанести удары по грузинским городам, расположенным вне «зоны огня»: Поты, Тбилиси, Зугдиди, Гори и Карели. Генштаб России поначалу отрицал бомбардировку, но после демонстрации видео в интернете пойманных российских летчиков факт признали. Польские журналисты с места событий пишут о сотнях жертв мирных жителей только в городке Гори.

10 августа – МИД РФ обвинил официальный Киев в поставках вооружений в Грузию, чем Украина якобы поощряла «руководство Грузии к интервенции и этническим чисткам в Южной Осетии». МИД Украины подтвердил факт поставки вооружений, но на законных основаниях.

11 августа – в российских СМИ появилась информация, что президент Грузии якобы пытался наложить на себя руки, посчитав войну проигранной. По данным газеты «Твой день», охранник в последний момент выбил у него из руки пистолет.

11 августа – президент непризнанной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты заявил, что на стороне Грузии воюют наемники из Украины. «После боев мы обнаружили, что среди нападавших было очень много жителей Прибалтики, Украины, – сказал Кокойты в интервью российскому государственному агентству РИА Новости. Официальный Киев опроверг эту информацию – Украина никого не посылала на эту войну.

11 августа – в российском интернете под девизом «Хакеры и Блоггеры всех стран соединяйтесь!!!» прошла акция блокирования сайтов грузинской власти и новостных агентств. Ранее был атакован один из ведущих новостных интернет-ресурсов Грузии – Грузия Online.

11 августа – на сайте одного из пользователей ресурса livejournal.com появилась информация о том, что якобы «в селении Цунар украинские наемники изнасиловали и отрубили головы двум девушкам». Впрочем, из публикаций непонятно, по каким особым признакам беженцам удалось определить гражданство «наемников».

11 августа – российская «Независимая газета» опубликовала фотогалерею «Война в Южной Осетии. Вторые сутки». Якобы речь идет об осетинском Цхинвали. Но, как свидетельствуют подписи к этим фото на сайте британского информагентства Reuters, кадры были сделаны в разрушенном россиянами грузинском городе Гори.

Знающий человек
«Российские масс-медиа демонизируют Украину»

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:

– В этой информационной войне стороны используют как простую дезинформацию, хакерские атаки, так и утонченные пиартехнологии. Формируется образ России, как агрессора в западных СМИ, а Россия формирует образ Грузии, как неполноценного государства, ведущего геноцид против собственного народа. Украина оказалась втянутой в это информационное противостояние.

Российские масс-медиа демонизируют образ Украины, которая будто-то бы причастна к этническим чисткам грузинской армии в Южной Осетии. Украине закидывают поставки оружия Грузии, участие украинских инструкторов в подготовке бойцов грузинской армии, поставки украинских ракет, которыми грузины сбивают российские самолеты.

Это сильно вредит украино-российским отношениям, которые и без того непростые. Вероятно, российская сторона желает сделать невозможным участие Украины в качестве посредника в упомянутом конфликте, а также снизить политическую активность Киева на Кавказе. Но такие действия подрывают доверие Киева к Москве и формируют негативное отношение к политике России в Украине.

Возможен ли вооруженный конфликт между Украиной и Россией вообще? Как показывает грузинская кампания, такой конфликт становится вероятнее. В частности, он может возникнуть на фоне базирования Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Это приведет к росту сепаратистских настроений и нагнетанию проблем с территориальной целостностью Украины. Однако я надеюсь на здравый смысл и украинских, и российских политиков, которые не допустят подобных сценариев.

Открытым текстом

Сегодня – Грузия, завтра – Украина. Лицо российской империи проявляется каждый раз все больше, и каждый раз все опаснее. Чем быстрее мы это осознаем, тем лучше.

(с) Президент Польши Лех Качиньски в интервью польскому каналу TVP

Аргументы Москвы о том, что она действует, потому что вынуждена защитить своих граждан в Южной Осетии – пол века назад Гитлер использовал ту же самую доктрину, чтобы подорвать и атаковать значительную территорию Центральной Европы. Нужна очень мощная реакция со стороны ЕС.

(с) Глава МИД Швеции Карл Бильдт, официальное заявление внешнеполитического ведомства страны

Я уже выражал серьезную озабоченность диспропорциональным ответом России и мы решительно осуждаем бомбардировки за пределами Южной Осетии.
(с)Президент США Джордж Буш заявил в эфире телеканала NBC¹⁴⁶

Вот такая она, современная война!!!

Война в Южной Осетии

И. Кудрявцев. Военные корреспонденты

Из Южной Осетии корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц вернулся с тяжёлым ранением: пуля разорвала ему правое предплечье - прошла навывлет, раздробив кость. "Лечить будем долго, но вылечим", - обещают специалисты Боткинской.

Ту засаду и майора Дениса Ветчинова, который спас от верной гибели всех, кого успел, Александр никогда не забудет. "Въезжали в город. Внезапно я увидел, что с обеих сторон грузины. Военные тоже сразу это увидели. Мы свалились с БТРа, начался сразу такой массированный обстрел. Майор Ветчинов организовал вокруг нас круговую оборону. Стало совсем жарко – грузины напирали, в ход гранаты пошли. Майор Ветчинов принял решение выводить нас в сторону от города. Выскочил к дороге – посмотреть, не отходит ли какая-нибудь бронетехника. Тут его ранило в ноги. И как раз в этот момент на нас выскочил грузин. Сначала выстрелил из подствольного гранатомета, попал солдату в голову – сразу насмерть. Потом открыл беспорядочную стрельбу. Я упал. В этот момент у дороги майора Ветчинова сразило очередью, хотя он уже был ранен в тот момент. Раненый майор нас оборонял – там со стороны кидали гранаты. После его ранило в грудь и в голову. К сожалению, он погиб. Ему посмертно дали Героя России", - рассказывает корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Ранения в том страшном бою получила и съёмочная группа ВГТРК: звукооператор Игорь Уклеин, оператор Леонид Лосев и автор "Военной программы" корреспондент Александр Сладков. "Стреляли с двух, с пяти метров, перебрасывались гранатами, - вспоминает Сладков. – Наши солдаты кричали "Сдавайся!", хотя мы оказались в не самой комфортной ситуации по сравнению с грузинами – они же делали засаду. Они были экипированы аккуратно, у них были американские каски, разгрузки американские, форма, которая делала их почти незаметными в кустах".

Александр видел в деле солдат и офицеров разных стран мира. Его оценке действий грузинского спецназа стоит доверять: "Они действовали непрофессионально! Я не знаю, чему их там учили и чему смогли научить, выдрессировать, но, открывая огонь по колонне, они должны были выявить опасные цели, важные цели, опасно-важные цели, как у нас военные говорят. Они стреляли в безоружных. Первые выстрелы были по нам. Первый раненый был Леня Лосев, оператор. Единственное, в первые минуты боя они вели себя смело, дерзко отвечали. А потом начали сдвигаться постепенно".

"У грузинской армии нет мотивации. Они очень хорошо оснащены технически. В одном селе взяли такую штуковину, говорят, что это то ли лазерный дальномер, то ли прибор лазерного наведения ракеты, но какая-то технически очень оснащенная нанотехнологическая прибулда, - рассказывает Аркадий Бабченко. – Совершенно точно у них были пеленгаторы мобильной связи, совершенно точно у них были глушилки мобильных и совершенно точно у них были... говорят, это называется инициатор. Когда

146 <http://www.silanaroda.com/index.php?itemid=6148>

ребят зажали – батальон "Восток", с ними еще зашли пятеро журналистов, - в подвале мобильники они выключили. Вдруг у человека включается мобильник, оттуда слышна грузинская речь, и прямо на этот мобильник стала бить артиллерия. То есть, технически армия оснащена великолепно. Но внутренне, морально, у них мотивации нет. Как дело доходит до контактного боя, грузинская армия начинает отступать, потому что люди, видимо, до конца не ощущают своей правоты, до конца не понимают, зачем им эта война нужна. Дистанционными методами – великолепно, без вопросов. Как штурмовики у них работали, как они "Градом" работали, как артиллерией, танками работали, я на себе почувствовал. Два осколка словил, оба по касательной. Я везучий человек, мне с таким везением в казино надо идти играть". Аркадий Бабченко, старшина запаса, прошёл обе Чечни, ныне - репортёр "Новой газеты". Вспоминая Осетию и разрушенный Цхинвали, он курит одну за другой.

"В доме две квартиры – одна над другой, первый и второй этажи. Эдуард Гаглов, как сейчас помню, жена его и третья женщина, под ними жила, сейчас не вспомню фамилию, звали ее Дина, поехали во Владик по Закской дороге на двух машинах. Машины эти расстреляли и людей этих сожгли. То есть, все, что от них осталось – три простыни. Три узла. Вот они", - показывает Аркадий страшные фотографии.

"Один эпизод, который как-то выбил меня из колеи. Мы шли по улице, и навстречу нам идет мужчина. Очень спокойный на вид, осетин, лет 50, наверное. Он говорит: "Пойдем". Берет нас за руки и ведет в свой дом. Мы не поняли, пошли. Он заводит нас в спальню, открывает одеяло на кровати, а там его жена и дочь. Без голов. Обе. У меня не было слов, чтобы ему что-то сказать. Он спрашивал: "Как мне жить дальше?" Это, наверное, навсегда врежется в память", - говорит Евгений Поддубный.

Корреспондент ТВЦ Евгений Поддубный попал под грузинские мины в осетинском селе Хетагурово за несколько часов до штурма Цхинвали, когда в Осетии ещё надеялись, что хрупкий мир не будет нарушен. Как и все его коллеги, Евгений не поверил своим ушам, услышав из уст генерала Кулахметова, командующего миротворцами: "Грузия начала войну".

"С крыши мы увидели весь ужас того, что нас ожидало впереди. Со всех сторон, наверное, с десяти точек велся интенсивный обстрел города, - вспоминает Юрий Снегирёв. – Я был на двух войнах чеченских, могу сказать, что по интенсивности бомбежек, причем бомбежек в основном "Градом", это превосходит Грозный во много раз. Здесь была тяжелая артиллерия, тут работал "Град", тут работали танки, гаубицы, не считая всяких минометов – это уже мелочью считалось. Конечно, это было жестоко, на самое характерное, что первый выстрел, первое попадание на Цхинвал было сделано по базе миротворцев, по плацу".

Юрий Снегирёв, военкор "Известий", спасался в штабе миротворцев. Хотя по штабу и особенно по батальону грузины били из всех видов оружия: автоматов, пулемётов, гранатомётов, миномётов, танков, самоходных гаубиц и реактивных установок залпового огня "Град".

"Были какие-то укрепления, но не было полноценного бомбоубежища. То есть, если бы в нас попали бомбы, авиабомбы или снаряды от танка, никого бы не осталось в живых. Была простая щель с двадцатисантиметровым укрытием сверху. Выйти было невозможно. Обстрел был очень сильный, весь двор был усыпан осколками, и это продолжалось – мы считали – по времени около 18 часов. Без передышки. Передышки были, видимо, только для смены зарядов", - рассказывает Юрий Снегирёв.

В редкие моменты затишья, вместо того, чтобы передохнуть, журналисты отправлялись в город работать: слушать тех, кто выжил, запоминать всё увиденное, снимать и показывать миру, что стало с маленьким городом и его обитателями.

"Сложно сказать, зачем грузинские танки стреляли прямой наводкой по больнице, зная, что в больнице не было осетинских ополченцев, разве только раненые. Благо, под больницей был достаточно большой подвал, и там смогли разместить всех, кто в этом нуждался. Там же делали операции. Но на втором этаже больницы реанимация как была, так и осталась, потому что реанимацию перевести сложно. И были склады с медикаментами, с кровью – много чего. И танки прямой наводкой били по второму этажу больницы, по третьему этажу – там огромные дыры. Неоправданная жестокость. Непонятно откуда", - говорит Евгений Поддубный.

И вновь артобстрел, и вновь грузины штурмуют Цхинвали. В убежище кто-то просто молится о спасении, кто-то работает. И все ждут подкрепления.

"Многие ребята даже под обстрелом, под бомбежкой работали как черти, - рассказывает Юрий Снегирёв. – Я даже такого не видел никогда. И корреспондент канала "Вести" Андрей Чистяков, и остальные ребята – они диктовались в программу, хрипушку делали прямо под обстрелом. И была плохая связь – они подходили к окну, к крыльцу, чтобы было лучше слышно. Они не боялись".

"Мы как журналисты знаем такое правило, что по миротворцам стрелять нельзя. И мы не думали, что нас будут убивать. Вот так вот убивать 15 часов. Ощущения, конечно, непередаваемые, потому что когда ты понимаешь реальную угрозу своей жизни, когда появляется осознание того, что сейчас она может прекратиться, когда это приходит, тебя охватывает ужас", - рассказала Ирина Куксенкова.

Корреспондент МК Ирина Куксенкова из осаждённого Цхинвали выбиралась вместе с разведчиками. Девять часов пешком до Джавы.

"На меня смотреть страшно было после этого, - говорит Ирина. – Я вся исколота какими-то коллочками, вся грязная, потому что когда дают команду "Воздух", нужно прыгать в кювет и лежать там. Я не думала никогда, что можно лицом ложиться на землю – она же грязная. А там зарывалась – только в путь! Хотелось закопаться в нее".

В такой обстановке покинуть убежище, выйти на поверхность и работать – для журналиста смертельный риск. Кто-то возвращается целым и невредимым, кто-то с ранением, кто-то не возвращается вовсе. Турецким тележурналистам досталось второе. Посредине оказались. В прямом и переносном смысле.

"Думаю, что Грузия не сможет достичь своей цели. Осетины не хотят жить с грузинами. Я поговорил с двадцатью, сорока осетинами, они сказали" Мы – осетины, и нам грузины не нравятся после того, что они сделали". Дома разрушены, мирные жители погибли. Я не понимаю, как Грузия могла начать атаку на Осетию. Я не понимаю смысла этой войны", - говорит турецкий журналист.

"На мой взгляд, была поставлена задача очистить Цхинвал, всю Южную Осетию очистить от осетин. Выдавить их. Но не вырезать" - считает Аркадий Бабченко.

"К нам просто подъехала на улице "Волга". Говорят: "Представляете, что мы нашли?" Это была новенькая куртка – синтетическая, черная, новенький шеврон, на котором написано

"Служба безопасности по охране референдума по республике Южная Осетия". То есть грузины – это с грузинского склада куртка – готовились провести свой референдум, после того как захватят Цхинвал и всю республику Южная Осетия", - говорит Юрий Снегирёв.

"Проблема в том, что Саакашвили хотел слияния, соединения с Западом намного быстрее, чем того же самого хотели Соединенные Штаты. Прошли его первые четыре года. Он не получил того, на что рассчитывал. Он не вошел в НАТО. А внутри Грузии он терял популярность. В декабре ему пришлось фальсифицировать выборы, чтобы остаться президентом. Ему пришлось мухлевать и на парламентских выборах. И тут он придумал эту аферу, авантюру – развязать войну. Именно он ее развязал, он к ней готовился. Это было сделано, чтобы поставить США перед выбором: либо вы входите сюда, заступаясь за нас с помощью военной силы, мы становимся вашим однозначным придатком, либо вы от нас отказываетесь. Он рассчитывал, что американские самолеты приземлятся, что появятся американские солдаты. Он хотел некий формат присутствия американцев, который можно сопоставить с форматом Ирака или Афганистана, когда просто стоит действующая американская армия", - сказал Орхан Джемаль.

Орхан Джемаль своими глазами видел один из самых жарких эпизодов операции по принуждению Грузии к миру. Когда у села Земо Никози грузины атаковали коллонну танкистов и десантников 58-й армии, шедших вместе с бойцами батальона "Восток", те пошли на штурм села и выбили грузин оттуда, взяв двух пленных.

"В этом селе, когда стали бить по той улице, где проходили ребята, раздалась команда "Все разойтись по подвалам". И в этих подвалах стояли грушевые компоты в трехлитровых банках. Одну банку взяли, пробили две дырки, по кругу распили с полбанки, и чеченец, который взял эту банку, достал из кармана сто рублей, положил на то место, где стояла банка, и сказал: "Пусть ни одна сволочь не скажет, что я мародер". Я своими глазами видел, как чеченцы защищали задержанных резервистов от нападков осетин, которые могли зайти, увидеть сидящего пленного, крикнуть на него. Сразу останавливали", - рассказал Орхан Джемаль.

"Ни разу задержанных никто не ударил, кроме того момента, как их задерживали. Ни разу над ними никто не издевался и не унижал ни физически, ни морально. У них была вода, у них были сигареты, у них была еда. Чеченцы свои спальники отдали задержанным. Все что говорят о российской армии, которая всех режет, идет огнем и мечом, полная чушь. Предельно корректное отношение к мирным жителям и задержанным", - подчеркнул Аркадий Бабченко.

Цхинвали к тому времени уже был взят подразделениями 58-й армии, её вход в город для Юрия Снегирёва, пожалуй, единственное радостное воспоминание, которое он привёз с войны.

За эти дни в зоне грузино-югоосетинского конфликта погибли по меньшей мере три журналиста. Это фоторепортер Александр Климчук, работавший в том числе для агентства РИА Новости, его коллега – корреспондент из Грузии Григорий Чихладзе и голландский телеоператор Стан Сториманс. Более десяти журналистов получили ранения.¹⁴⁷

Е. Поддубный. Война в Южной Осетии

Меня зовут Евгений Поддубный. Я специальный корреспондент телеканала ТВ Центр. Приехал в Цхинвал 5 августа, вернулся в Москву 14. Я расскажу о том, что видел там своими глазами. Я не хотел писать в свой ЖЖ, но после того, что по приезду в Москву прочитал в интернете, просто не могу молчать.

7 августа. Мы узнали, что осетинские позиции в районе села Хетогурово обстреливают из гранатометов. Поехали туда - благо совсем недалеко от Цхинвала. С нами была группа 1 канала. Когда прибыли на место, пришли на осетинские позиции. Вокруг редко были слышны звуки взрывов минометных снарядов, осетинские ополченцы прятались в блиндажах и огонь не открывали. Только потом я понял почему: у них не было минометов, а у грузин они были. Оператор Леха Комаров немного поснимал, и мы решили пробираться к машине. Как только наша группа вышла на центральную площадь поселка, по нам был открыт огонь из минометов. Еле выбрались. Пару раз останавливались, потому что находили хорошие ямы, чтоб туда упасть. В итоге мы чудом добежали до машины, ее продырявило несколько осколков. Вечером узнали, что президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он не рассматривает силовой вариант решения конфликта. Стало тихо. Минометы и автоматы замолчали. До начала войны оставалось около 3 часов.

В 23:47 7 августа начался интенсивный обстрел Цхинвала. Я смотрел на часы, когда метрах в 300 от нашей группы упали первые залпы установки ГРАД. Естественно мы все оказались на земле. За полчаса до начала боевых действий почти все журналисты, которые находились в городе, приехали в объединенный штаб смешанных сил по поддержанию мира, чтобы записать заявление командующего ССПМ Марата Кулахметова. Генерал должен был рассказать о ходе переговоров между Поповым и Якобовили. Но Кулахметов сделал совсем другое заявление. Сразу после первых залпов мы все побежали в кабинет командующего, и он сказал, очень спокойно сказал, что только разговаривал с грузинской стороной, требовал объяснений, и те, мол, заявили - это война. Стоит отметить, что за сутки до начала боевых действий старший воинский начальник от грузинской стороны под каким-то предлогом покинул расположение штаба. Сотрудники миссии ОБСЕ также за несколько часов до начала обстрела сели в машины и уехали в сторону Гори. Они даже личные вещи не взяли, собирались в спешке. Но тогда на это никто не обратил внимания. С каждым часом огонь артиллерии усиливался. Город ровняли с землей минометами, гаубицами САУ, Градами и еще летала грузинская авиация. Все это время журналисты находились на территории штаба: сначала в бункере, который мог спасти разве что от осколков, но не от прямого попадания, потом, когда к базе начали сбегаться мирные жители, мы вышли на улицу. К утру уже было понятно, что после такой грузинской подготовки к наземной части операции «Чистая земля» в Цхинвале уже очень много погибших.

Утром 8 августа в столицу республики вошли войска при поддержке бронетехники. Грузинские войска. Было три основных направления штурма: южное (со стороны Гори), северное (со стороны грузинских анклавов Тамарашени и Кехфи), и восточное (Эрдви и Приси). Часам к 10 утра к базе миротворческих сил подошли танки. Они били прямой наводкой по пустым казармам и хозстроениям. (Миротворцы не стреляли: был такой

приказ. И с автоматом идти на танк просто самоубийство, а кроме «Калашниковых» у бойцов ничего не было). Журналисты находились в здании Бани. Танк, который стрелял по соседнему строению, был подбит очень вовремя. Его сбил лично генерал Баранкевич, секретарь совета безопасности Южной Осетии. К тому времени с момента начала войны прошло часов 16. И вот тут начала работать российская артиллерия и авиация. Первый штурм был остановлен, но обстрел Цхинвала грузинской стороной продолжался. Русские пушки работали по грузинским позициям, а осетинские ополченцы начали теснить грузинских солдат.

Вот 8 августа где-то во второй половине дня мы первый раз прошли по городу. На улицах было много убитых. Грузины, осетины, в городе горело около 8 танков. В больнице было огромное количество раненых. Операции делали в подвале, наверняка, вы видели эти кадры.

В морге, он находился на 1 этаже, не было свободного места. Трупы, горы трупов. Кстати, верхние этажи больницы были разрушены танками. Я спросил у своего друга, хирурга Сергея Цховребова: осетинские ополченцы были на территории больницы? Он сказал, что только раненые. Толи грузинские танкисты не знали что это больница, толи им что-то показалось, но они прямой наводкой били по палатам и операционным. Я Сергею верю.

Благо, всех больных в первые часы войны перенесли в подвалы. Кстати, трое врачей погибли в первые сутки как раз при обстреле больницы. Они переносили лекарства с верхних этажей в бункер. Опять начался обстрел города, где-то недалеко ложились минометные снаряды. К нам подошел пожилой мужчина и жестом пригласил в дом. Зашли в спальню, он подвел нас к кровати, большой двуспальной, откинул покрывало, а там его жена и дочь - обе обгоревшие и без голов. Тут многие говорят, мол, вы только рассказываете, можно показать.

Потом была еще одна артподготовка и второй штурм. Он, пожалуй, получился еще более кровопролитным.

Грузинский спецназ входил в город при ожесточенном сопротивлении осетинских ополченцев. Они шли, будучи хорошо экипированными и подготовленными, но их встречали уставшие и голодные люди с автоматами. До штаба миротворческих сил грузинские войска не дошли метров пятьсот.

В этот момент из Цхинвала - на свой страх и риск - решили эвакуироваться некоторые журналисты, они же забрали с собой всех мирных жителей, которые находились в расположении штаба МС. В итоге в городе остались только 4 съемочные группы: наша, 1 канала, НТВ и украинский Интер. Мы молились, чтобы автомобили коллег доехали до Джавы. Они дошли. Без потерь. Ночь с 9 на 10 августа я провел в городе вместе с группой первого канала. Город горел. То и дело на улице к нам подходили люди и вели нас снимать свои дома и своих родных, мертвых родных. Утром 10 августа я увидел на улицах столицы Южной Осетии российские танки. Части 58 армии прорвались. Стало полегче. Потом с боями российские подразделения захватывали господствующие высоты. Удалось проехать на так называемую верхнюю базу миротворцев. Батальон российских миротворческих сил 2-е суток находился в окружении, но так и не пропустил львиную долю грузинской бронетехники в Цхинвал. Южное направление было не по зубам наступающим, именно потому, что 180 солдат и офицеров держались 48 часов. Когда мы приехали туда, долго вообще не могли говорить. От военного городка практически ничего не осталось. И 18 убитых в маленьком помещении котельной. В тот момент территория базы еще простреливалась снайперами, трупы выносили под прикрытием брони танка.

В городе начались похороны, но мы договорились не снимать церемонии. Людям и так было жутко тяжело.

Я, конечно, рассказал не все. Нужно собраться с мыслями. Я специально старался описывать события максимально сухо. Но!

Первой военные действия начала грузинская сторона! Российские военные вошли в Южную Осетию спустя 16 часов после начала операции "Чистая земля"! Ни одной съемочной группы западных телеканалов в Цхинвале не было до момента окончания активных боевых действий! Российская авиация наносила удары по военной инфраструктуре! Просто, например, в городе Гори грузинские военные установили системы ГРАД на центральном стадионе. Так кого винить за то, что Гори разбомбили? На войне нет правых и виноватых, но есть какая-то отправная точка справедливости. По моему мнению, грузинское руководство в этой ситуации проявило невероятную жестокость и безответственность. Есть такой термин - военный преступник. Так вот то, что происходило там в эти дни - военное преступление грузинского руководства. И именно официальный Тбилиси, официальный, повинен в смерти осетин, грузин и русских.

Александр Сладков. О корреспонденте

Корреспондент телеканала "Вести" Александр Сладков, автор и ведущий "Военной программы", которого спас майор Ветчинов, вышел из госпиталя. Его репортаж - это и посвящение герою, и рассказ о том первом дне, когда российские войска начинали освобождение Цхинвали.

8 августа. 7 часов утра. Продвигаемся в Южную Осетию. Встречаем российскую технику. Танки, БТРы, БМП, установки "Град". На таможне в сторону Цхинвали дорога свободна. Оттуда - длинная пробка: беженцы.

Знаменитый Рокский тоннель - главное, что уберegli в те сумасшедшие сутки. На первом же перекрестке, где скапливается техника, пытаюсь заговорить с офицером. Зовут офицера Денис. Кто знал, что через сутки он спасет нам жизнь...

Джава - крупнейшее югоосетинское село. Заира Цанакова 60 лет живет в этих местах. Теперь приходится уезжать - час назад она была под бомбежкой. Одна из бомб попала во двор. Стоящий рядом дом частично разрушен. Ахсар Гегауров построил его своими руками. Ничего, говорит, не жалко, зато никто из семьи не пострадал. Догоняем машину с ранеными. Их везут в санитарную часть. Люди прорывались из осажденного города. Попали в засаду. Парень, который их спас, особого желания сниматься не проявляет.

Добираемся до первых армейских позиций. Пехота готовится к штурму. Солдаты повязывают друг другу на руки белые ленточки - это опознавательный знак "Свой-чужой". Подвозят боеприпасы. Готовится к стрельбе артиллерия. БМ-21 "Град" - оружие более чем серьезное.

И вот мы на окраине города. Пехота пробирается чуть вперед, занимает оборону. На сегодня маневры войск заканчиваются.

9 августа. 8 утра. На нашей высоте появляется Эдуард Кокойты со своей гвардией. Командарм 58-й армии Анатолий Хрулев тоже готовится идти в город.

На КП встречаю моего вчерашнего знакомого - Дениса Ветчинова. Он не отходит от радиостанции - держит связь с разведгруппами, работающими в городе.

Открывает огонь артиллерия. Это дуэль. Мы бьем по грузинским дивизионам - их пушки пытаются накрыть нас. Появляются первые раненые. И почти сразу - убитые. Эвакуация приостановлена. Уходить в тыл опасно - дорога, по которой мы приехали, - под обстрелом. Горит колонна наших грузовиков. Она везла боеприпасы минометчикам - теперь они рвутся в сотне метров от нас.

Президент Южной Осетии на бронированном "УАЗике" первым устремляется в город. Мы садимся на бронеколонну. Обходим сопку с юго-запада и уже через час "вползаем" в Цхинвали. На улицах никого нет. Встречаем на дороге брошенный грузинский танк: полный боекомплект, готов к бою. Денис Ветчинов кидает внутрь гранату - танк взрывается.

Мчимся дальше и через пять минут попадаем в засаду. Оператор ранен. Вместе с Денисом пытаемся подогнать поближе бронемашину - нарываемся на грузинский спецназ. Нас расстреливают в упор. Денис, прикрывая, стреляет в ответ. Через секунду он гибнет, спасая нас всех.

Александр Коц. О корреспонденте

ВОЙНА ЗА ОКНОМ ОБЪЕКТИВА: ОТ СЛОВА К ОРУЖИЮ...

Об авторе: Александр Валерьевич Сладков – специальный корреспондент ВГТРК. Ну вот, прошло время и десантников вернули обратно в миротворчество. Анатолий Квашнин, будучи начальником Генерального штаба, в 2002 году произнес что-то типа: «Ястреб не может быть голубем мира». И поехала на Балканы пехота. Правда, в тельняшках под камуфляжем и с парашютиками на петлицах. Для маскировки. Чтоб не расстраивать наших партнеров, – уж больно десантников уважали западные коллеги. Последняя десантная техника потянулась в Наро-Фоминск в 119-й парашютно-десантный полк, кстати, ныне тоже почивший в бозе.

Десант возвращается в миротворчество

Помню, как злился на Чкаловском тогдашний начальник пресс-службы ВДВ полковник Николай Брагин, когда видел переодетых кантемировцев, готовящихся к перелету в Косово. «Да они ж не имеют права носить тельняшки!» – шипел офицер сквозь зубы. К слову, пехота флаг России не опозорила. Задачу свою выполнила блестяще.

УВАЖАЛИ НАС ВЕЗДЕ

С миротворцами мне приходилось работать. Уважали нас везде беспрекословно. Допустим, в Сербии, где стояла наша миротворческая бригада, командовал ею в момент

моего пребывания полковник ВДВ Пархоменко, все официальные делегации охранялись только нашими десантниками. Только им доверяли.

Бывал я и в Восточной Словении Барании. Это часть Балкан, которая перешла к Хорватии. Мы снимали боевые действия в Вуковаре, есть такой город на Дунае, – и заезжали к нашим десантникам в стоящий неподалеку миротворческий батальон. Командовал им, я помню, полковник Жданеня. Мы встречались с ним в Чечне, в первую кампанию, где он руководил тыловым пунктом управления 76-й воздушно-десантной дивизии генерала Ивана Бабичева.

Чуть раньше мне довелось работать в нашем десантном миротворческом батальоне в Сараеве. Он стоял выше города, в предгорье. А жил я в хозяйстве полковника Андрея Димуренко. Он служил начальником штаба миротворческого сектора «Сараево», который базировался в центре города. На верхнем этаже главпочтамта. Первые этажи занимали французы. Я проиграл тогда в дартс его заму все имеющиеся у меня деньги. Было жалко. Но, уехав, я нашел их. Наш офицер их мне попросту подкинул.

А первых наших миротворцев я встретил в девяносто третьем в Абхазии. И были это, кстати, не десантники. Это была пехота 27-й мотострелковой дивизии из Топоцкого. Помню, как нам пришлось снимать уничтожение склада трофейных боеприпасов в районе дамбы на реке Ингури. Саперы сложили все танковые заряды в одну огромную авиационную воронку. Сначала взрывали частями, но запалы срабатывали через раз. И вот решили уничтожить все разом. Скоммутировали длинный-длинный бикфордов шнур. Сели в автобус. Рассчитали, что сумеем отъехать на безопасное расстояние. А автобус (из санатория Московского военного округа в Сухуми) не завелся. Я помню, как на нас падали большие огненные шары.

Начальник инженерной службы Миротворческих сил в Абхазии сидел на корточках на грунтовой дороге. Шары падали в метре от него. Он сидел и крестился. По национальности он был татарин, и как это совмещалось с его внутренним миром – мне было непонятно. У автобуса из окон вылетели все стекла. А когда мы подъехали к миротворческому посту на мосту через Ингури, – там все сидели в обороне, думали, что началось нападение, – осколки долетели и до них.

Последние наши десантники-миротворцы в Боснии располагались у населенного пункта Углевик. Там находилось управление бригады. Рядом стоял американский спецназ. И никакой это был не спецназ. Аналитическая группа по изучению нас, русских. Им единственным (зная, что и мы этим грешим) разрешалось негласно не соблюдать сухой закон. Они все пытались понять, как же у нас в армии принимают решение на приказ. И так анализировали, и эдак. Но. Когда полбригады снялось и вдруг перебазировалось в Косово, у них в стане случилась истерика. Как?! Как было принято решение?! Почему не предугадали?! Это тема не то что для статьи, для книги. И не будем ее трогать.

Знаю, что в Косове, на аэродроме Слатина пехоте российской достался один из важных секторов. Пассажирский терминал. А решение это важное созрело так. В Слатине каждые пять минут приземлялся самолет. Шла интенсивная ротация миротворческих контингентов из многих стран мира. И вот итальянские военные и английские военные поспорили в пассажирском терминале из-за багажных тележек. Поспорили – мягко сказано. Вынули пистолеты. Скандал! Вот-вот прольется кровь!

Итальянцы, ответственные за терминал, не знали, что делать! И тут мысль: «Русские рядом, позовем на помощь!» Обратились. Это были солдаты и офицеры из Воронежской армии, из роты спецназа. Наши долго не думали. Пришли. Применили силу. Ударили одних и других. Отобрали пистолеты. И с тех пор за терминал отвечать поставили русских. И ни одного случая неповиновения патрулю уже не было.

НАЗАД – В БУДУЩЕЕ

И вот в марте этого года оглашено решение: ВДВ вернуть в миротворческие силы страны. Командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, находясь в Ставрополе, высказался на эту тему так:

«Решение было принято министром обороны. Вышла директива Генерального штаба и в состав миротворческих сил наряду с 15-й мотострелковой бригадой из Центрального военного округа была включена 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Она в первоочередном порядке была на 100% укомплектована военнослужащими по контракту. Для нее была подготовлена специальная программа. Она согласована с Главным управлением боевой подготовки и утверждена Генеральным штабом. Но если сказать конкретно, то это дополнительные часы по международному праву. Это примерно 40 часов языковой подготовки. Это дополнительные занятия по оказанию помощи в районах техногенных катастроф и многое другое».

Я прибыл в Ульяновск 13 июня. Ознакомиться. Бригада вот уже две недели занималась по новой программе. В основном разведрота. Потому что батальон, который регулярно участвует в международных учениях и который будет переподготовлен в первую очередь, находится в полном составе в отпуске.

На территории городка бригады действуют несколько импровизированных учебных мест. Первое, что нам показали, – работа с агрессивной толпой с использованием алюминиевых щитов и резиновых дубинок. Одна группа десантников, экипированная «полицейскому», старается отсечь толпу «хулиганов», затягивая к себе в тыл наиболее активных людей из толпы и нейтрализуя их. Другая группа, переодетая в гражданку, подыгрывает, имитируя толпу. Старший на учебном месте – офицер штаба Николай Паскарь. Худощавый, высокий, подтянутый десантник. Судя по всему, техника таких действий ему известна. Во время перерыва мы успеваем пообщаться. Выясняется, все это может происходить, скажем, на местах проверки и пропуска людей и техники, там, где несут службу миротворцы. На КПП.

«Если же, скажем так, люди настроены агрессивно и меры воздействия и убеждения на них не действуют, – говорит Паскарь, – то применяется тактика, которую мы вам показывали, то есть выявляются лидеры, зачинщики беспорядков, которые изолируются от общей массы народа и потом уже в дальнейшем с ними работают более компетентные органы. Есть целая резолюция Совета Безопасности ООН, в которой расписаны все действия и правила миротворцев. Основной принцип нашей работы заключается в том, чтобы не применять излишнюю физическую силу, то есть никакой грубости, никакой излишней агрессии в отношении мирного населения быть ни в коем случае не должно». Правила-то расписаны, а вот как готовить миротворцев? Четкой программы, судя по всему, не существует. Командир 31-й десантно-штурмовой бригады полковник Геннадий Анашкин приехал из отпуска. И в этот же день мы встретились. Я поинтересовался: как же учить тому, что и учителям-то до конца неясно? А командир не смутился. Видимо, ему уже приходилось много говорить на эту тему.

«Во многих вопросах мы начинаем с нуля, то есть реально, вот если взять учебник, в котором все расписано, – нет его, – говорит он. – И наставлений как таковых тоже нет. Имея стрелковое оружие, очень много необходимо средств, которые у нас вообще на вооружении не стоят. Но их необходимо иметь».

Командующий ВДВ Владимир Шаманов не произносит названия: «Сирия», «Ближний Восток». Его мнение определено: пока идет подготовка общая. Пока.

«На сегодняшний день вооружение и техника определяются теми параметрами, которые заложены в гособоронзаказе, – говорит Шаманов, – но под каждую задачу еще идет дополнительное оснащение теми или иными боевыми материальными средствами, включая те или иные подразделения. Поэтому будет задача, будем говорить о конкретной структуре подразделения, привлекаемого к этой миссии».

ЯЗЫК – ВСЕМУ ГОЛОВА

Мы присутствуем на занятиях по иностранному языку. Собственно, это обучение необходимым репликам и командам. Присланного «из Центра» инструктора-лингвиста нет. Обучает свой сержант из бригады Тимур Загитов. И, надо сказать, весьма увлеченно, профессионально. Он-то как раз свою задачу знает четко.

«Конечно, тяжеловато, – говорит он, – потому что люди простые у нас служат, нет лингвистов, которые где-то учились, заканчивали специализированные школы, классы. Очень много из деревень простых ребят приехало. Но есть старание, есть желание у людей. Тяжеловато, но все равно люди учатся, выучат, конечно. Но самая большая проблема – это произношение. Люди не могут нормально донести саму фразу, которую хотят передать. Но мы работаем, вроде получается у людей. Даем английский язык, самый базовый для использования, потому что любая операция проходит под эгидой ООН. И даем самые простые фразы, такие как «стой», «предъявите документы», «выйдите из машины», «приготовьтесь к осмотру». Учим использовать жесты, чтобы при помощи жестов человеку в случае чего дать понять команду, продублировать ее жестами».

Сколько человек будут готовы принять участие в миротворческих миссиях из числа ВДВ? Этот вопрос был задан командующему ВДВ Владимиру Шаманову.

«Это все зависит от масштабов операции. Допустим, когда были волнения в Киргизии, туда мы выслали батальон 31-й бригады для прикрытия наших объектов на территории этого государства. Есть задача, когда выставляются всего несколько постов. А так в целом у нас есть 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада. А это по численности ну в пределах 2 с половиной тысяч человек, готовых к выполнению поставленных задач».

Какой опыт в ближайшем будущем десантники могут использовать?

Командир Геннадий Анашкин рассказывает, что в его бригаде осталось десять человек, имеющих боевой опыт, 20 участников разных миротворческих миссий, 500 – международных учений.

Еще несколько слов о деньгах. Тема важная и новости здесь вот такие.

«На совещании, которое проходило в мае, – говорит Геннадий Анашкин, – было озвучено, что планируется буквально в ближайшее время увеличить денежное довольствие всем соединениям миротворческим в нашей армии. Они будут получать прибавку к должностному окладу 50%. Непосредственно за выполнение миротворческих миссий и задач».

По словам командира бригады Геннадия Анашкина, в Минобороны никто не собирается экономить на миротворцах. Просят лишь четко определить, что нужно из оснащения, из экипировки. И всем обеспечат. А нужно многое. Начиная с миротворческих эмблем. Просто так синие линии на касках масляной краской не нарисуешь. Тем более они, каски, обтянуты штатными матерчатými чехлами. Все должно соответствовать мировой символике. Штат. Нужны лингвисты-инструкторы, штатные переводчики. Нужна своя кинологовическая служба с подготовленными проводниками и собаками – для профилактики терактов на миротворческих постах. Нужно подобрать и взять в штат миротворщиц-женщин. Для работы с женским населением для выполнения миссий за рубежом. Досматривать дам могут лишь дамы. Ну и, конечно, задача нужна конкретная. Готовиться «вообще» – очень сложно.¹⁴⁸

В Сирии к россиянам относятся как к родственникам

Учения в рамках комплексной проверки войск Восточного военного округа, ситуация в Сирии, скандал с Ольгой Овчаренко и другие темы.

Гость: Александр Сладков – тележурналист, военный корреспондент ВГТРК. Саралидзе: У нас в гостях - Александр Сладков, тележурналист, военный корреспондент ВГТРК.

Александр, ты недавно был в Сирии.

Сладков: Я был недолго, две недели. Меня вынули оттуда в связи с учениями. Я так хочу вернуться и поработать. Честное слово...

Саралидзе: Ну, мне очень интересно. Две недели - это всё равно. Какое-то представление о том, что там происходит, у тебя есть. Хотелось бы услышать мнение человека, который всё видел своими глазами. Потому что мы обсуждаем здесь события в Сирии, в основном

148 <http://www.ng.ru/>

ориентируясь по картинке, которую... Понятно, что там работают ребята, в том числе и нашего холдинга...

Сладков: Там, конечно, Настя Попова работала. Она монстр или, как смешно говорят про разбирающихся в десанте людей, это монстр своего дела. И Женя Поддубный, который сегодня приезжает. Когда я прибыл туда, он прочитал мне шикарную лекцию. Я понял, что я ничего не понимаю, и трудно будет понять. Так что...

Саралидзе: Там в прямом смысле слова под пулями работают ребята, чтобы показать нам, что происходит. Но всё-таки хотелось бы узнать у тебя. Сладков: Мои впечатления? Очень приятная страна, очень демократичная страна. Вы знаете, я работал в Ираке, я представляю, как себя вести в Иордании, я работал в Иране. Но, извините, Сирия - это совершенно другое государство. Там можно общаться. Там в эту жару можно ходить в шортах, в конце концов. Хотя в Дагестане или Ингушетии ты уже не очень-то поднимешь брюки. А вот отношение к нам, к людям из России, как к родственникам. На каждом блокпосту. Ты не брать можешь паспорт и ходить по всей стране, где война, и говорить: о, я... - Россия? - Россия. - Всё, давай. Нормально. Там интересное отношение. Там не говорят "Салам алейкум", хотя в этом нет ничего такого. Но настолько остро стоит вопрос исламизации территории, что они говорят "Мархаба" - "здравствуй". Там солдаты не восклицают "Аллах акбар" в атаке. У них свой лозунг - "Боже, храни армию". Кстати, подходит и для России. Вообще, добрая страна, очень хорошая. Интересно то, что ты живёшь в 5-звёздочном отеле, там ты утром занимаешься в спортзале, завтракаешь. Потом едешь 10 минут, останавливаешься возле шлагбаума, переодеваешься, надеваешь бронезилет (кто-то - шлем) и ты уже попадаешь в самую настоящую войну, без всяких дураков, без ничего. Где стреляют по людям, где такие маленькие снайпер-авеню, выложенные из автобусов, и люди перебегают за натянутыми холстами или брезентом. В Сараево была такая штука - снайпер-авеню. То есть огромная прилегающая к горам территория, откуда сербы (наши братья) стреляли в мусульман (тоже сербов, только мусульманского вероисповедования). Они тогда убили 5 тысяч человек, из них 2 тысячи детей. Вот. И здесь такая же штука. Война - вообще беспощадная вещь. Но, как ни странно, население быстро адаптировалось и не озлоблено. Там нет "поиска ведьм". Там вечного заглядывания в глаза: "Что у тебя в сумке?". Как-то так.

Саралидзе: Но там же есть места, где идут очень серьёзные бои. Насколько я понимаю из сообщений, это фактически пригород Дамаска. Сладков: Я же говорю вам: гостиница в центре Дамаска. Там люди живут обычной, нормальной жизнью. Писарева: То есть там зона, в которой нет войны. Сладков: Нет, это город. Это не зона, это город. Нет "зелёной зоны", как в Ираке. "Зелёная зона", а из нее выйдешь - тебе раз, и уши отрезали. И засушили на сувениры.¹⁴⁹